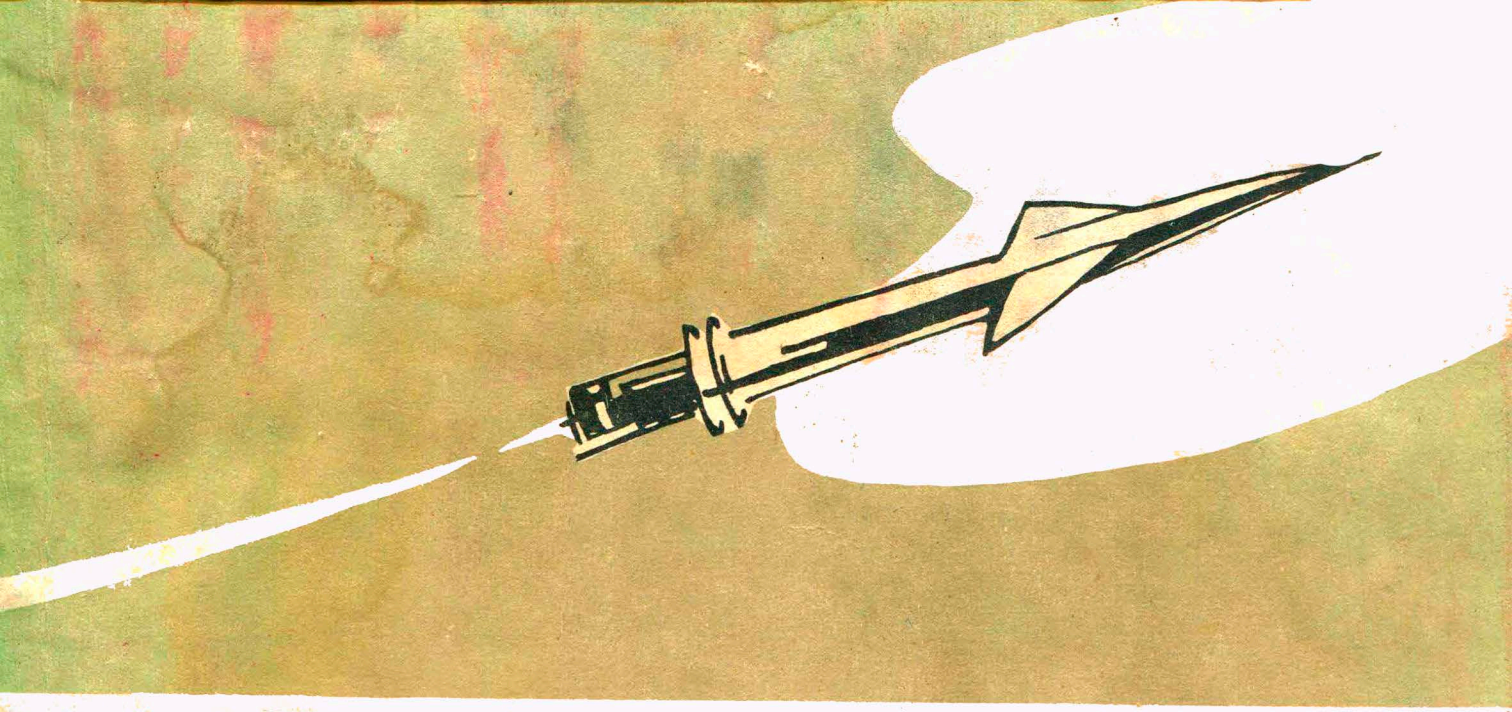


ЮНОСТЬ

1

С. ЛЕМ

ЗВЕЗДНЫЕ ДНЕВНИКИ ИЙОНА ТИХОГО

Рис. И. Семенова.

Перевод с польского Э. Вашлевской.

Предлагая вниманию читателя отрывок из «Звездных дневников» Ийона Тихого, издатель не намерен расходовать зря чернила для описания достоинств этого путешественника, имя которого знают обе Чаши Млечного Пути. Известный звездоплаватель, капитан дальнего галактического плавания, охотник за метеорами и кометами, неутомимый исследователь и открыватель восьмидесяти трех миров, почетный доктор университетов обеих Медведиц, член Общества покровительства малым планетам и многих других обществ, кавалер галактических и метагалактических орденов, Ийон Тихий сам предстанет перед читателем в этих «Дневниках», которые ставят его в одном ряду с такими бесстрашными мужами прошлого, как Карл Фредерик Иероним Мюнхаузен, Павел Маслобойников, Лемуэль Гулливер или метр Алкофрибас.

Все «Дневники» рассчитаны на восемьдесят семь томов ин-кварто с приложением (каталог звезд и сундук с наглядными пособиями), а также с картой всех путешествий. В настоящее время «Дневники» подвергаются обработке коллектива ученых астрографов и планетчиков и, принимая во внимание всю трудоемкость работы, не скоро выйдут из печати. Считая, что было бы неправильным так долго оставлять в неведении широкую публику, издатель выделил из «Дневников» небольшой отрывок и приводит его в необработанном виде, без сносок, замечаний, комментариев и словаря космических выражений.

*В подготовке «Дневников» к печати мне, в сущности, **никто** не помогал; лиц, мешавших мне, не называю, так как это заняло бы слишком много места.*

Фольмгаут, 18
VI Космической пульсации

Астраль Стерну Тарантога,
профессор звездной зоологии
университета Фольмгаут.

ПУТЕШЕСТВИЕ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ

У меня теперь много работы по приведению в порядок достопримечательностей, собранных во время моих путешествий в самые отдаленные уголки Вселенной. Уже давно я решил передать эту единственную в своем роде коллекцию в музей; третьего дня хранитель музея сообщил мне, что он приготовил для этой цели специальный зал.

Не все экспонаты мне одинаково дороги: одни вызывают светлые воспоминания, иные приводят на память события сверхъестественные и страшные,— но все они в одинаковой мере являются доказательством того, что мои путешествия действительно имели место.

К экспонатам, которые воскрешают особо интересные воспоминания, относится зуб, помещающийся на маленькой подушечке под колпаком; у него два больших корня, и он в полном порядке; я сломал его на приеме у Октопуса, повелителя мемногов с планеты Уртамы, где подавали великолепные, но чрезвычайно твердые кушанья.

Не менее почетное место в коллекции занимает трубка, лопнувшая на две неравные части: она вылетела из ракеты, когда я пролетал над каменистым небесным телом из звездного скопления Пегаса. Сожалея об утрате, я полтора дня провел в розысках среди зияющих безднами горных массивов.

Рядом в маленькой коробке лежит камень немногим больше горошины. История его весьма интересна. Отправляясь в Ксерузию, самую далекую

звезду в двойной туманности № NGC 887, я переоценил свои силы; перелет длился так долго, так томила меня тоска по Земле, что я не находил себе места в ракете. Неизвестно, чем бы это кончилось. Вдруг на двести шестьдесят восьмой день путешествия я почувствовал, как что-то колет меня в левую пятку. Я снял ботинок и со слезами на глазах вытряхнул из носка камень, крупицу самого настоящего земного гравия, попавшего туда, должно быть, еще на аэродроме, когда я поднимался по ступенькам ракеты. Прижимая к груди маленький, но столь милый кусочек родной планеты, я, воспрянув духом, долетел до цели. Этот сувенир мне особенно дорог.

Поодаль на бархатной подушке покоится обыкновенный кирпич из жженой глины желто-розоватого цвета, лопнувший и надкрошенный с одного конца; не будь счастливого стечения обстоятельств и моего хладнокровия, я никогда не вернулся бы больше из путешествия по туманности из созвездия Гончих Псов. Я имел обыкновение брать с собой этот кирпич в самые холодные участки межзвездного пространства, засовывал его на некоторое время в атомный мотор и потом, перед тем как ложиться спать, клал в кровать. В верхнем левом квадранте Млечного Пути, там, где звездное облако из созвездия Ориона примыкает к созвездию Тельца, пролетая с небольшой скоростью, я стал свидетелем столкновения двух громадных метеоров. Зрелище огненного взрыва в темноте меня сильно взволновало. Я схватил полотенце, чтобы вытереть себе лоб, но забыл, что раньше завернул в него кирпич, и, поднимая с размаху руку, чуть не размозжил себе череп. К счастью, со свойственной мне сообразительностью я сразу понял эту опасность.

Рядом с кирпичом стоит небольшая деревянная шкатулка, в ней перочинный ножик, спутник моих путешествий. О том, как сильно я привязан к нему, пусть засвидетельствует история, которую расскажу, потому что она действительно того стоит.

У меня был страшный насморк, когда я покинул Сателлину. Местный врач, к которому я обратился, посоветовал мне отрезать нос — процедура для жителей планеты пустячная, потому что носы у них отрастают, как ногти. Обескураженный этим предложением, я прямо от врача отправился на аэродром, чтобы полететь в ту часть неба, где медицина развита лучше. Путешествие было неудачное. Уже в самом начале, отдалившись от планеты на каких-нибудь девятьсот тысяч километров, я услышал позывные неизвестной ракеты. Я спросил по радио, кто это летит. В ответ раздался тот же самый вопрос.

— Скажи ты первый! — сказал я довольно строго, раздраженный грубостью неизвестного.

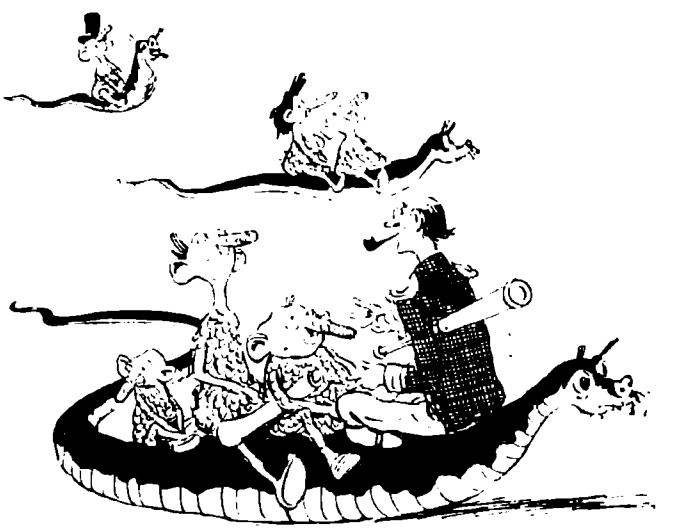
— Скажи ты первый! — отвечал тот.

Это передразнивание так меня взбесило, что я назвал неизвестного путешественника наглецом. Он не остался в долгу. Мы начали браниться все более исступленно, и только через несколько минут, возмущенный до последней степени, я понял, что никакой ракеты нет и голос, отвечавший мне,— просто эхо моих собственных радиосигналов, отражавшихся от поверхности луны Сателлины, мимо которой я как раз пролетал. Ее нельзя было заметить сразу, потому что она была повернута ко мне своим ночным, затемненным полушарием.

Каких-нибудь полчаса спустя, собравшись почистить себе яблоко, я заметил отсутствие перочинного ножа. Я сразу вспомнил, где пользовался им в последний раз: это было в буфете на аэродроме Сателлины; он лежал на наклонной стойке и, видимо, соскользнул на пол, в угол. Я представил себе это так точно, что мог бы найти его с закрытыми глазами. Повернув ракету,.. Но здесь начались трудности: все небо сплошь кишело мерцающими огоньками, и неизвестно было, где искать Сателлину. Это одно из четырехсот восьмидесяти небесных тел, вращающихся вокруг солнца Эрипелазы. Большинство из них имеет еще, кроме того, несколько лун, больших, как планеты, что усложняет ориентировку. Озабоченный, я попытался вызвать Сателлину по радио. В ответ откликнулось несколько станций, говорящих одновременно, так что все слилось в оглушительную какофонию. Надобно знать, что жители системы Эрипелазы, вежливые и рассеянные, назвали «Сателлиной» не меньше чем двести планет. Я глядел в окно на мириады мелких огоньков; на одном из них находился мой ножик, но, пожалуй, легче было бы найти иголку в стоге сена, чем нужную планету в этом звездном муравейнике. В конце концов я предоставил дело случаю и помчался к планете, которая находилась прямо против носа ракеты.

Вскоре я приземлился на аэродроме. Он был совершенно похож на тот, с которого я поднялся в два часа, и, обрадовавшись, что мне так повезло, я направился прямо в буфет. Однако каково было мое разочарование, когда, несмотря на самые тщательные розыски, я все же не нашел ножа. Подумав, я пришел к выводу, что или кто-нибудь забрал его, или же это совсем другая планета. Расспросив местных жителей, я убедился, что правильным было второе предположение. Я попал на Андрыгону, старую, рассыпавшуюся и обветшалую планету, которая уже давно должна была быть изъята из обращения, но, видимо, не доходят руки, так как она расположена в стороне от главных ракетных артерий. В аэропорте меня спросили, какую из Сателлин ищу, так как миры, все без исключений, снабжены номерами. Но, увы, нужный номер вылетел из головы. Тем временем, уведомленные руководством аэропорта, прибыли местные власти, чтобы устроить мне торжественный прием.

Это был великий день для андрыгонов: во всех школах происходили экзамены на аттестат зрелости. Один из представителей правительства спро-



сил, не могу ли я оказать им честь своим присутствием на экзаменах, и, поскольку мне был устроен очень радушный прием, отказать было нельзя. Итак, прямо с аэродома мы поехали на пидлаке (это большие безногие пресмыкающиеся, похожие на ужей, которых используют там как верховых животных) в город. Отрекомендовав меня собравшимся в большом количестве ученикам и педагогам как почетного гостя с планеты Земля, представитель правительства покинул зал. Преподаватели усадили меня на почетном месте за жерве (вид стола), и прерванный экзамен продолжался. Ученики, взволнованные моим присутствием, вначале заикались и конфузились, но я подбадривал их сердечной улыбкой и кое-кому подсказал нужное слово, так что лед отчуждения быстро растаял. Скоро они стали отвечать уже совсем хорошо. Наконец перед экзаменационной комиссией предстал молодой андрыгон, покрытый вздренгами (сорт устриц, которые употребляют вместо одежды), такими красивыми, каких я давно не видал, и стал отвечать с необычной эрудицией и красноречием. Я слушал его с удовольствием, констатируя, что уровень науки здесь весьма высок.

Вдруг экзаминатор спросил:

— Можете ли вы доказать, почему жизнь на Земле невозможна?

Кивнув утвердительно головой, юноша приступил к ответу.

— Высокочтимые экзаминаторы! — сказал он.— Как известно, бóльшую часть Земли покрывают холодные, очень глубокие воды, температуру которых, около ноля, поддерживают постоянно плавающие ледяные горы. Не только полюсы, но и окружающие их пространства являются царством страшных вечных морозов. На протяжении полугода там царит вечная ночь. А материк, как это великолепно видно в телескоп, даже в местах с более теплым климатом в течение многих месяцев покрывает мороженый водяной пар, так называемый снег, толстым слоем залегший в горах и низинах. Большая луна Земли вызывает на ней волны приливов и отливов, которые производят уничтожающее эрозивное действие. С помощью мощных аппаратов нашим ученым удалось заметить, что большие пространства планеты часто бывают погружены в полумрак, вызванный скоплением туч. В атмосфере возникают страшные циклоны, тайфуны и бури. Все это вместе взятое полностью исключает возможность существования жизни в какой-либо форме. Если бы,— закончил звучным голосом молодой андрыгон,— какие-нибудь существа попробовали опуститься на Землю, они неизбежно погибли бы, раздавленные чудовищным давлением местной атмосферы, которая насчитывает на уровне моря один килограмм на квадратный сантиметр, или 760 миллиметров ртутного столба.

Этот исчерпывающий красноречивый ответ был встречен комиссией одобрительно. Оцепенев от изумления, я сидел некоторое время, не двигаясь, и только когда экзаминатор перешел к следующему вопросу, я вскричал:

— Прошу прощения, уважаемые андрыгоны, но... но я как раз родом с Земли! Вы ведь не сомневаетесь, вероятно, что я жив, и помните, конечно, как вам представляли меня...

Воцарилось неловкое молчание. Педагоги были глубоко уязвлены моим бестактным выступлением и с трудом сдерживались; молодежь, которая не умеет еще скрывать свое волнение, как зрелые люди, смотрела на меня с явным недоброжелательством. Наконец экзаминатор сказал ледяным тоном:

— Прости, пришелец, но не предъявляешь ли ты слишком больших требований нашему гостеприимству? Не достаточно ли тебе такого почетного приема, угощения и всяких других доказательств уважения? Разве мы не сделали достаточно, допустив тебя к Высокой Жертве Зрелости? Тебе и этого мало, ты требуешь, чтобы мы специально для тебя изменили ш к о л ь н у ю п р о г р а м м у?!

— Но ведь... на Земле действительно существует жизнь...— пролепетал я смущенно.

— Если бы действительно было так,— сказал экзаминатор, глядя на меня, как будто я был прозрачный,— это было бы вопреки природе.

Я принял эти слова за оскорбление родной планеты и, не прощаясь ни с кем, тут же ушел, сел на первого попавшегося пидлака, поехал на аэродром и, стряхнув с туфель прах Андрыгоны, взял старт и полетел на поиски перочинного ножа.

Я приземлялся по очереди на пяти планетах группы Линденбляда, на небесных телах Стереопронов и Мелециан, на семи больших мирах из планетарной системы солнца Кассиопеи, посетил Остерилию, Аверанцию, Мельтонию, Латерниду, все ветви большой Спиральной Туманности в созвездии Андромены, системы Плезомаха, Гастроклянца, Эутермии, Сименофории и Паральбидии; на следующий год я тщательно обыскал окрестности всех звезд Саппонии и Меленваги, а также миры Эритродонию, Аргеноиду, Эодоцию, Артенурию и Строглона со всеми его восемьюдесятью лунами, иногда такими маленькими, что мне лишь с трудом удавалось посадить ракету; на Малой Медведице мне не пришлось остановиться: аэродром не принимал; я побывал на Цефеидах и Арденидах.

А когда я по ошибке еще раз приземлился на Линденбляде, у меня прямо-таки опустились руки. Однако я не смалодушничал и, как полагается настоящему исследователю, двинулся дальше.

Через три недели я увидел планету, которая до чрезвычайности напоминала памятную Сателлину; мое сердце учащенно билось, когда ракета кружилась и все сужала спирали. Я высматривал знакомый аэродром. Но напрасно... Я уже собрался было повернуть обратно в бескрайное пространство, когда заметил, что какая-то маленькая фигурка подает мне знаки. Выключив мотор, я быстро пошел на посадку и остановил машину вблизи группы живописных скал, на которых возвышалось довольно большое здание из тесаного камня. По полю навстречу мне бежал высокий старец в белой рясе доминиканца. Это был, как потом выяснилось, отец Лацимон, начальник всех миссий, действующих на территории ближних созвездий в радиусе шестисот световых лет. В этой местности насчитывается около пяти миллионов планет, из них два миллиона четыреста обитаемых. Отец Лацимон, узнав о причине, какая привела меня в эти края, выразил свое сочувствие и в то же время радость по поводу моего прибытия: оказалось, что я первый человек, которого он видит за семь последних месяцев.

— Я так привык,— сказал он,— к меодрацитам, населяющим эту планету, что многократно ловил себя на своеобразной ошибке: когда хочу внимательно что-нибудь выслушать, поднимаю руки вверх, как они (у меодрацитов, как известно, уши расположены подмышками)...

Отец Лацимон оказался очень радушным хозяином; мы вместе съели обед, приготовленный из местных блюд, а потом направились на веранду миссионерского дома. Грело лиловое солнце, пте-

родактилы, которыми кишит планета, пели в кустах, и в послеобеденной тишине почтенный приор стал посвящать меня в свои горести; он жаловался на трудности, с которыми сталкивается здесь миссионерство. Так, например, пятирнаки, жители горячей Атилены, которые мерзнут уже при 600° Цельсия, даже слышать не хотят о рае, в то время как описания ада вызывают в них живейший интерес из-за благоприятных условий: их очень привлекают кипящая смола и вечный огонь. К тому же неизвестно, кто из них имеет право принимать духовный сан, поскольку они различают пять полов; это нелегкая проблема для богословов.

Я выразил свое сочувствие, отец Лацимон только пожал плечами.

— Ах, это еще не все! Бжуты, например, считают воскресение из мертвых делом столь будничным, как одевание платья, и ни за что не хотят признать это явление чудом. У датридов из Эгиллии нет ни рук, ни ног, они могли бы креститься только при помощи хвоста, но я не могу на это решиться и жду ответа из апостольской столицы, но Ватикан молчит уже второй год... А вы не слышали о жестоком жребии, какой выпал на долю бедного отца Орибаза из нашей миссии?

Я отрицательно покачал головой.

— Тогда послушайте. Уже первые исследователи Уртамы не могли нахвалиться ее жителями, могучими мемногами. Существует убеждение, что мемноги принадлежат к наиболее отзывчивым, добрым, преисполненным альтруизма существам во всем Космосе. Рассчитывая, что на такой почве великолепно должно произрасти зерно веры, мы послали в Уртаму отца Орибаза, назначив его епископом в страну язычников. Прибывшего мемноги приняли так хорошо, что трудно было бы желать лучшего. Его окружили материнской заботой, уважением, ловили каждое слово, читали в глазах и тут же исполняли каждое его желание, на лету схватывали провозглашаемые им науки,— одним словом, они были целиком преданны ему. В письмах, которые я получал от него, он не мог нарадоваться, несчастный.

Здесь отец-доминиканец стряхнул рукавом рясы слезу.

— В такой благоприятной обстановке отец Орибаз днем и ночью без устали проповедовал принципы веры. Изложив мемногам историю Ветхого и Нового завета, Апокалипсис и апостольские Послания, он перешел к житиям святых; особенно много страсти он вложил в воспевание святых мучеников. Бедный... Это всегда была его слабость!

Превозмогая волнение, отец Лацимон продолжал дрожащим голосом:

— Он рассказывал им о святом Иоанне, который получил царствие небесное, когда его живьем сварили в кипящем масле; о святой Агнессе, которая во имя веры дала себе отсечь голову; о святом Себастьяне, пронизанном бесчисленными стрелами, который терпел страшные муки, за что в раю его встретили ангельские пения; о святых отроках, которых четвертовали, душили, ломали колесом, сжигали на медленном огне. Как они с восторгом принимали муки, понимая, что только так можно заслужить себе место по правую руку всевышнего! Когда отец Орибаз поведал им множество такого рода достойных подражаний подвигов, заслушавшиеся мемноги стали поглядывать друг на друга, а самый большой из них робко спросил:

— Преподобный наш приор, наш учитель и глубокочтимый отец, скажи нам, пожалуйста, если ты только захочешь снизойти к негодным слугам своим: попадает ли на небо душа каждого, кто готов на мучения?

— Без сомнения, да, сын мой! — сказал отец Орибаз.

— Да-а? Это очень хорошо...— протяжно ответил мемног.

— А ты, духовный отец, желаешь попасть на небо?

— Это — мое страстное желание, сын мой.

— А святым ты хотел бы стать? — продолжал спрашивать большой мемног.

— Сын мой, кто бы не хотел стать им! Но куда мне, грешному, до такого высокого сана; надо напрячь все силы и, смирив сердца, беспрестанно стремиться к вступлению на этот путь...

— Значит, ты хотел бы стать святым? — еще раз удостоверился мемног, ободряюще посматривая на товарищей, которые незаметно приподнялись со своих мест.

— Конечно, сын мой.

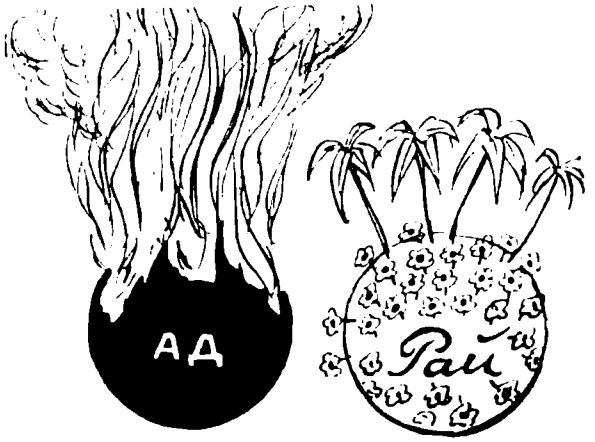
— Если так, мы тебе поможем!

— Каким образом, милые овечки? — спросил с улыбкой отец Орибаз: его очень обрадовало рвение верной паствы.

В ответ мемноги деликатно, но крепко схватили его подмышки и сказали:

— Таким, дорогой отец, каким ты научил нас.

Затем они содрали ему кожу со спины и смазали это место смолой, как это сделал палач Ир-



ландии со святым Гиацинтом; потом отрубили ему левую ногу, как поступили идолопоклонники со святым Пафнутием; затем распороли ему живот и сунули туда пук соломы, как это случилось с благословенной Елизаветой Нормандской; затем посадили его на кол, как эмалькиты святого Юго; поломали ему все ребра, как сиракузцы святому Генриху Падуанскому, и сожгли его на медленном огне, как бургундцы Орлеанскую деву.

Потом отдышались, помылись и стали проливать горькие слезы над своим загубленным пастырем. За этим занятием я их и застал, когда, обследуя все звезды епархии, навестил приход отца Орибаза. Заломив руки, я воскликнул:

— Негодные преступники! Ада для вас мало! Знаете ли вы, что обрекли свои души на вечные муки?!!

— А как же,— ответили они, рыдая,— знаем!

А самый большой мемног встал и сказал мне:

— Высокочтимый отец, мы знаем, что обречены на вечные муки и страдания до конца мира. Мы долго боролись в душе, пока решились на это дело, но отец Орибаз постоянно твердил нам, что нет такой вещи, какую добрый христианин не сделал бы для своего ближнего, что надо отдать ему все и быть готовым для него на все; и вот мы, в величайшем отчаянии, отказались от вечного спасения ради того, чтобы отец Орибаз получил венец мученика и сан святого. Не могу тебе рассказать, как трудно нам было решиться: ведь до прибытия отца Орибаза никто из нас не мог бы и муху обидеть. Мы упрашивали его, молили на коленях смягчить суровые наказы веры, но он все твердил, что для ближних надо делать все, без исключений. И мы решились, понимая, что мы существа никчемные по сравнению с этим набожным мужем и что он достоин любых жертв с нашей стороны. Поэтому-то мы свято убеждены, что все получилось очень удачно и что отец Орибаз царствует теперь на небесах. Должен сказать, что мы применяли те пытки, о которых он рассказывал в своих проповедях с наибольшим восторгом. Мы думали, что они будут ему приятны, однако отец Орибаз сопротивлялся. Особенное недовольство вызвало в нем глотание расплавленного олова. Нам даже в голову не приходило, что наш отец мог говорить одно, а думать другое. Крики, которые он испускал, были только доказательством слабости низких, телесных частичек его естества, и мы пренебрегали ими, согласно учению, что следует унизить тело, чтобы еще выше вознести душу. Желая его подбодрить, мы стали напоминать ему принципы, которые он нам проповедовал, но отец Орибаз ответил словом, совершенно нам непонятным; по сей день не знаем, что оно должно обозначать, потому что не нашли его ни в молитвенниках, которые он нам привез, ни в Святом писании.

Закончив рассказ, отец Лацимон вытер пот со лба, и мы долгое время пребывали в молчании. Наконец почтенный доминиканец сказал:

— Но скажите сами, каково быть пастырем в таких условиях! Или вот эта история! — Отец Лацимон ударил ладонью по письму, лежащему на столе.— Отец Ипполит сообщает из Арпетузы, маленькой планеты из созвездия Весов, что ее жители совсем перестали вступать в брак, не рожают больше детей, им угрожает полное вымирание.

— Почему? — спросил я с удивлением.

— Потому что, когда они узнали, что плотское общение — грех, они страстно пожелали спасения, все дали обет и сохраняют чистоту! Уже две тысячи лет церковь проповедует преимущество заботы о спасении души над бренной жизнью, но никто не принимал этого буквально, избави бог! Эти арпетузанцы, все до одного, почувствовали призвание и в массовом порядке вступают в монастыри; образцово соблюдают устав, молятся, постятся, умерщвляют свою плоть, а тем временем клонятся к упадку промышленность, сельское хозяйство, надвигается голод, и планете угрожает гибель. Я написал об этом в Рим, но, как всегда, он отмалчивается.

— Конечно, это было очень рискованно,— заметил я,— нести веру на другие планеты...

— А что нам оставалось делать? Церковь не торопится, потому что, как известно, царство ее не от мира сего, но пока кардинальская коллегия совещалась и колебалась, на всех планетах, как грибы после дождя, стали вырастать миссии кальвинистов, баптистов, редемптористов, мариавитов, адвентистов, сам не знаю даже, какие еще! Мы должны были спасать то, что можно было еще спасти... А теперь, поскольку я сам уже заговорил на эту тему, пойдемте.

Отец Лацимон повел меня в свой кабинет. Одну стену занимала громадная голубая карта звездного неба; вся ее правая сторона была заклеена бумагой.

— Смотрите! — Он показал на закрытую часть.

— Что это должно означать?

— Гибель, дорогой мой. Окончательную гибель. Эти пространства населяют народы, отличающиеся очень высоким интеллектуальным уровнем. Они проповедуют материализм, атеизм и советуют сосредоточить все усилия вокруг развития науки, тех-

ники и совершенствования условий жизни на планетах. Мы посылали к н и м наших самых умных миссионеров: отцов-салезианцев, бенедиктинцев, доминиканцев, мало того, даже иезуитов, вдохновленных проповедников слова божия, сладкоречивых ораторов. Все, все возвращались атеистами!!!

Отец Лацимон, нервничая, подошел к столу.

— Был у нас отец Бонифаций, помню его как одного из самых набожных монахов. А после трех недель пребывания т а м,— отец Лацимон показал на заклеенную часть карты,— он поступил в политехнический вуз и написал вот эту книгу! — Отец Лацимон взял и тут же с отвращением отбросил толстый том. Я прочел название: «О способах увеличения безопасности ракетных полетов».— Безопасность бренного тела он предпочел спасению духа. Разве это не кощунство? Мы послали тревожные рапорты, и на этот раз апостольская столица не медлила. При содействии специалистов из американского посольства в Риме Папская академия создала вот эти произведения.

Отец Лацимон подошел к большому сундуку и открыл его; сундук весь был набит толстыми книгами.

— Здесь около двухсот томов, с величайшей подробностью описывающих методы насилия, террора, гипноза, отравления и пыток, которые они применяют для истребления веры. У меня волосы поднялись дыбом, когда я смотрел эти книги. Здесь есть фотографии, показания, протоколы, вещественные доказательства, рассказы очевидцев,— в общем, все. Теряюсь в догадках, как они так быстро успели все сделать! Что значит американская техника! Но на самом деле, дорогой мой, все выглядит гораздо хуже!

Отец Лацимон подошел ко мне и, обжигая мне ухо своим дыханием, шептал:

— Я здесь на месте, поэтому ориентируюсь лучше всех... дорогой мой. О н и не пытают, не принуждают, не ввинчивают гвозди в голову, они просто-напросто учат, что такое Вселенная, откуда возникла жизнь, как зарождается новое сознание и как применять науку для всеобщей пользы. Из всех моих миссионеров сохранил веру один только отец Сервоций, и то потому, что он глухой, как тетерев, и не слышал, что ему говорили. Да, это будет хуже пыток, дорогой мой! У меня была молодая монашка, кармелитка, одухотворенное дитя, преданное небу; она все время постилась, умерщвляла свою плоть, получала знаки, общалась со святыми, время от времени ей являлся даже сам архангел Гавриил... Однажды она отправилась т у д а,— отец Лацимон показал на правый край карты.— Я разрешил ей это совершенно спокойно, поскольку она была нищая духом, а таким принадлежит царство небесное; как только человек начинает думать: что, откуда, зачем,— так сразу разверзаются бездны ереси. Я был уверен, что и х доводы никак не повлияют на нее. И вот, когда она прибыла т у д а, после первого публичного явления святых, соединенного с трансом религиозного экстаза, ее объявили невротичкой или, как это называется, лечили ваннами, садоводством, дали какие-то куклы, игрушки. Через четыре месяца она вернулась, но в каком виде!

Отец Лацимон задрожал.

— Что с ней произошло? — спросил я с сочувствием.

— Ей больше не являлись святые. Она поступила на курсы ракетных пилотов и полетела с исследовательской экспедицией в ядро Галактики. Говорю вам: гибель, разрушение, падение. До чего наивны эти американские специалисты! Присылают мне тонны книг, описывающих жестокость врагов веры! О! Если бы о н и захотели преследовать религию, если бы закрывали храмы, разгоняли верующих! Увы, ничего подобного — о н и все разрешают: и богослужение и духовные училища,— но в противовес всему этому распространяют свои доводы и теории. Одно время мы попытались применять этот метод,— отец Лацимон показал на карту,— но безуспешно.

— Извиняюсь, какой метод?

— Да вот мы заклеили бумагой т у часть Вселенной и решили считать ее несуществующей, но... не помогло. Сейчас в Риме поговаривают о крестовом походе в защиту веры.

— А вы, преподобный отец, что об этом думаете?

— Что ж, это было бы неплохо, если бы взорвать и х планеты, разрушить города, сжечь книги, а и х самих всех до одного уничтожить, может, удалось бы спасти учение о любви к ближнему, но кто пойдет в крестовый поход? Немноги или, может, арпетузанцы? Просто смешно, но страшно!

Воцарилось глухое молчание. Движимый глубоким сочувствием, я положил руку на плечо измученного служителя культа, чтобы подбодрить его пожатием. В эту минуту что-то выскользнуло у меня из рукава, блеснуло и стукнулось об пол. Кто опишет мою радость и удивление, когда я узнал свой перочинный ножик! Как оказалось, он все время преспокойно лежал под подкладкой пиджака, куда попал через дырку в кармане!

Георгий МАРТЫНОВ

Планетный гость

Фантастическая повесть

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

БЕЛЫЙ ШАР

Рисунки А. Побединского.

Блестящая точка

Было ясное утро конца июля. Высоко в небе расходились легкие перистые облака. Быстро испарялась ночная роса, и отдаленные предметы казались дрожащими в прозрачном воздухе. Солнце только что поднялось, а уже чувствовалось, что день будет жарким.

Дачный поселок Академии наук еще спал. На песчаной улице никого не было видно.

Чуть слышно скрипнула дверь, и на крыльцо одной из дач вышел мужчина в полосатой пижаме. Это был полный человек среднего роста, с гладко выбритым лицом, редкими седыми волосами, зачесанными назад. Глубокие залысины делали его лоб очень высоким. Мясистый нос и большой рот придавали лицу добродушное выражение.

Он медленно спустился с крыльца и пошел по дорожке сада. С наслаждением вдыхая чистый утренний воздух, он сел возле калитки на скамью и стал смотреть по сторонам. Нет ничего лучше этих ранних часов! А скоро проснется жена и позовет завтракать. Потом придет машина, и надо будет ехать в душный и пыльный город. Только поздно вечером, когда солнце низко опустится над горизонтом, он вернется и снова будет сидеть на своей любимой скамейке, пока не настанет время ложиться спать.

Он посмотрел через улицу на окрашенную в желтый цвет дачу, и чувство, похожее на зависть к ее владельцу — известному астроному академику Штерну,— невольно проснулось в нем. Сосед был в отпуске и целыми днями лежал с книгой в шезлонге. Есть же такие счастливцы!..

Доктор медицины профессор Куприянов обычно не завидовал людям, которые ничего не делают, но сейчас ему казалось, что лучше безделья ничего быть не может.

До желанного отдыха оставалось уже немного дней, но отпуск все же не радовал профессора. Хорошо бы провести его здесь, на даче, весь день лежать и читать, но это невозможно. Пошаливало сердце, и необходимо было ехать в санаторий. Путевка уже лежала в ящике письменного стола.

Прислонившись к забору, Куприянов стал смотреть вверх. Облака уже совершенно исчезли. Ясная, прозрачно-голубая бездна чуть заметно дрожала. Нагретый солнцем воздух казался видимым и физически ощутимым.

Печатается с сокращениями.

Профессор пристально вглядывался в бездонную глубину, и вдруг ему показалось, что прямо над его головой, в зените, внезапно вспыхнула крохотная яркая точка.

Он на секунду закрыл глаза. Посмотрев опять, убедился, что не ошибся. Едва заметная блестящая точка сверкала на том же месте. Вот она как будто погасла, снова вспыхнула и больше не исчезала.

«Самолет? — подумал Куприянов.— Нет, слишком высоко, и не видно белого следа, который всегда оставляют за собой высоко летящие самолеты. Звезда не может быть видна днем. Значит, это какая-нибудь планета».

Блестящая точка была так мала, что профессор несколько раз терял ее из виду и потом с трудом находил опять. С полчаса Куприянов наблюдал за ней, но она не изменила своего положения на небе.

Напротив отворилась калитка, и на улицу вышел академик Штерн. Это был маленького роста, слегка сутулый, грузный старик с длинными седыми волосами и огромной густой бородой, в которой сейчас блестели капли воды. (Он только что умылся.)

— С добрым утречком! — сказал он, подходя к скамейке и тяжело опускаясь на нее.

— Поздно встаете,— сказал Куприянов, пожимая протянутую руку.— Я уже с час как вышел.

— Ваше дело молодое! — засмеялся академик.— А мы, старики, любим поспать. Поздно лег вчера,— прибавил он.

Куприянов опять стал смотреть в небо. Несколько секунд он безуспешно искал блестящую точку и решил было, что она совсем исчезла, но скоро нашел ее на том же месте.

— Что это за планета, Семен Борисович?

— Какая планета?

— Да вон! Прямо над головой.

Штерн некоторое время пристально вглядывался в небо.

— Это не планета. При таком ярком свете можно видеть только Венеру, но она никогда не бывает так высоко над горизонтом на параллели Москвы. Это самолет!

— Не похоже. Почти час эта точка находится на одном и том же месте.

— Посмотрим! — сказал академик и, повернувшись к своей даче, крикнул: — Лида!

Внучка Штерна, девушка лет семнадцати, вышла на крыльцо.

— Лидочка, принеси-ка мне мою трубу. Она у меня на столе. Сейчас узнаем, что это такое,— сказал он.

Приставив трубу к глазу, он около минуты смотрел в нее.

— Это не самолет и не аэростат. Посмотрите!

В маленьком круглом отверстии объектива Куприянов увидел ту же точку. Она не увеличилась в размерах и так же сверкала золотистым блеском.

— Ни самолет, ни аэростат не может находиться за пределами атмосферы, — сказал Штерн, беря у Куприянова трубу.— А эта штука находится именно там.

Улица постепенно наполнялась людьми. Увидя, что академик разглядывает что-то на небе, несколько соседей подошло к нему.

Куприянов ушел пить чай. Позавтракав, он переоделся и снова вышел к калитке.

Штерн по-прежнему смотрел в трубу. Около него собралось уже много народу.

— Может быть, это новая комета? — сказал кто-то.

— Или стратостат...

— Комета!..— сердито сказал академик.— Аэростат, стратостат, самолет... Ну, что глупости говорить!

Куприянов хорошо знал Штерна и сразу заметил, что старый астроном сильно взволнован.

— Что же это такое? — спросил он.

Академик, не отвечая, направился к дому.

— Что это такое, Семен Борисович? — настойчиво повторил Куприянов.

— Позвоню на обсерваторию,— ответил Штерн.

Из-за угла бесшумно появился большой синий автомобиль. Мягко затормозив, он остановился у калитки.

Прежде чем сесть в машину, профессор еще раз отыскал на небе блестящую точку. Она по-прежнему сверкала на том же месте. Автомобиль плавно выехал из ворот и помчался по шоссе.

Немедленно приезжайте!

Куприянов был очень рассеян в этот день. Он отвечал невпопад, забыл проверить результат анализа, уронил и разбил мензурку. Это было так не похоже на обычно спокойного профессора, что сотрудники Института экспериментальной медицины с изумлением смотрели на своего шефа.

Куприянов часто подходил к окну и подолгу смотрел куда-то вверх. Отрываясь от этих непонят-

ных наблюдений, он хмурился, и было видно, что какая-то навязчивая мысль не дает ему покоя.

Иногда он надолго задумывался и, если ему задавали в это время какой-нибудь вопрос, вздрагивал и просил повторить.

— Может быть, он болен? — шептались его помощники.

Петр Широков, старший ассистент и любимый ученик Куприянова, выбрал момент, когда профессор находился один в своем кабинете, и в осторожной форме посоветовал ему уехать домой, так как профессор, по-видимому, не совсем хорошо себя чувствует.

— Я здоров,— сухо ответил Куприянов.

Молодой человек смутился.

— Я совершенно здоров,— повторил профессор.— Правда, я сегодня немного невнимателен. Меня все время занимает одна мысль.— Он задумчиво посмотрел в лицо ассистенту и вдруг спросил: — Как вы думаете, Петр Аркадьевич, есть на Марсе разумные существа?

При этом неожиданном вопросе на лице молодого ученого появилось выражение тревоги.

— Видите ли... Я, собственно... До сих пор... Я совсем не думал об этом.

— Я тоже,— сказал Куприянов.— Где вы живете?— задал он опять неожиданный вопрос.

— Обычно в городе, а сейчас на даче.

— Так! А сегодня утром вы смотрели на небо?

— Нет.— Молодой ассистент всеми силами старался скрыть тревогу, которая все сильнее охватывала его.— Сегодня я как будто не смотрел на небо.

— Напрасно!

Куприянов подошел к окну.

— На небе бывают интересные вещи. Вот, например, сегодня...— Он рассказал о блестящей точке и о беспокойстве академика Штерна.— Когда я ехал в Москву,— закончил Куприянов,— мне пришла в голову мысль, что этот маленький блестящий предмет, который находится, как сказал Штерн, за пределами атмосферы, может оказаться космическим кораблем, летящим на Землю с другой планеты. Я никак не могу избавиться от этой мысли.

Молодой человек успокоился и тоже подошел к окну.

— К сожалению,— сказал Куприянов,— в городе не видно этой точки. Тут воздух не так чист.

— Вы серьезно думаете, что это может быть корабль с Марса? — спросил Широков.

— А почему бы нет! Люди думают, что непременно они первыми полетят на Марс и другие планеты. Но если там есть разумные существа, может случиться, что не мы, а они первыми прилетят к нам.

— Это было бы интересно.

— Не только интересно! Ведь у нас еще нет космического корабля. Если на Землю прилетит такой корабль с другой планеты...

Зазвонил телефон. Куприянов снял трубку:

— Алло!

— Кто у телефона? — услышал он голос Штерна.

Профессор внезапно почувствовал волнение. Рука с трубкой задрожала.

— Это я, Куприянов.

— Бросайте все и немедленно приезжайте ко мне на обсерваторию. Как можно скорее!

Штерн повесил трубку.

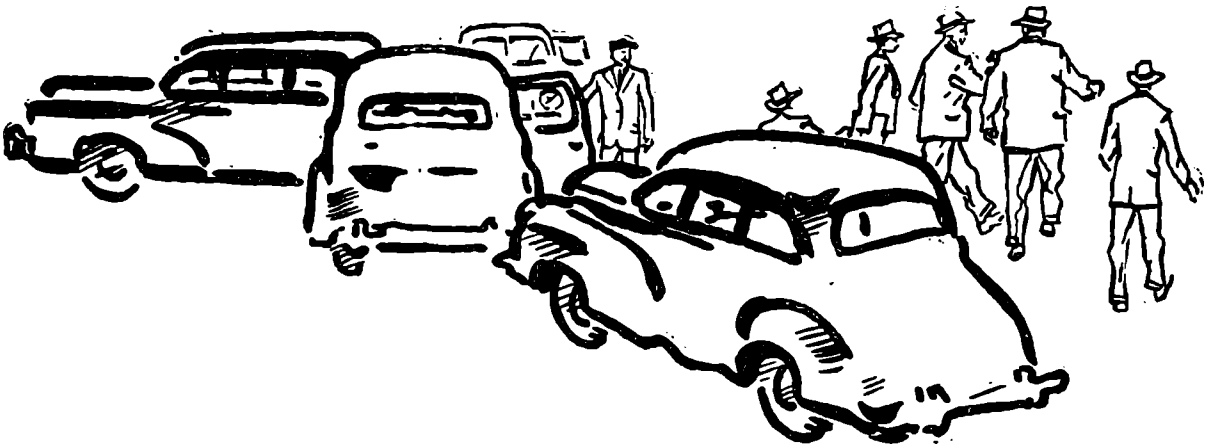
— Ну!..— Куприянов развел руками и тяжело опустился в кресло.— Академик Штерн срочно просит приехать к нему на обсерваторию. По-видимому, он очень взволнован.

— Вы поедете?

— Немедленно!

— Михаил Михайлович! — умоляюще сказал Широков.— Возьмите меня с собой.

— Хорошо! Вызовите мою машину!



Профессор и его ассистент были одинаково взволнованы. Как ни далеки они были от астрономии, они знали, что наука считает Марс и Венеру необитаемыми, не говоря уж о других планетах.

У главного входа в обсерваторию стояло несколько автомобилей. К подъезду подошла еще одна машина. Из нее вышел профессор Лежнев, известный лингвист, книги которого по истории языка пользовались большой популярностью. Он был очень высок, толст и неповоротлив. Кивнув головой, он пожал руку Куприянову и, отдуваясь толстыми губами, сказал:

— И вы здесь!.. Подумать только!

Вместе с ним приехал китаец средних лет в больших роговых очках. Он мельком оглядел Куприянова и Широкова и молча стал подниматься по лестнице.

Они вошли в обширный, отделанный белым мрамором вестибюль, вдоль стен которого стояли низкие скамьи, обитые красным бархатом. Сотрудник обсерватории подошел к ним и пригласил подняться на третий этаж, в кабинет директора. Там уже находилось человек двенадцать. Они сидели вокруг стола, покрытого темно-малиновым сукном. Академик Штерн быстро ходил по кабинету, заложив руки за спину.

— Ну, наконец-то все! — сказал он.— Садитесь, время не терпит.

Среди присутствовавших Куприянов увидел крупнейших ученых самых различных специальностей. Тут были биологи, химики, энергетики, языковеды, географы.

Куприянов сел на свободный стул, не понимая, зачем собралось столько ученых.

Когда Штерн вызвал его по телефону, он полагал, что астроном просто хочет показать ему блестящую точку, которую они наблюдали утром в телескоп.

Если даже эта точка и в самом деле космический корабль, то зачем все-таки это собрание?..

Штерн подошел к столу. Тотчас разговоры прекратились, и все нетерпеливо повернулись к нему.

Согласен!

Штерн обеими руками расправил свою могучую бороду («Нервничает старик!» — подумал Куприянов) и начал говорить.

— Сегодня утром,—сказал он,—произошло событие, равного которому еще не случалось за всю историю нашей планеты. Впрочем, не так! Вернее будет сказать, что такого события еще не случалось за всю историю сознательной жизни человечества на Земле. Так вот, сегодня утром на небе было замечено появление непонятной блестящей точки. Наша обсерватория выяснила природу этой точки, и оказалось, что она представляет собой металлический шар, имеющий около тридцати метров в диаметре. С помощью одного из наших рефракторов шар был детально рассмотрен. Нет никакого сомнения, что он является искусственным и имеет внеземное происхождение. Я сам его видел. Вероятнее всего, мы имеем дело с космическим кораблем обитателей другой планеты, и корабль этот, по-видимому, намерен опуститься на поверхность нашей Земли. Этот вывод вытекает из наблюдений, которые удалось провести, пока шар был виден. В шесть часов утра он находился над Москвой, почти в зените. В девять корабль отклонился на восемнадцать градусов к западу и летел на высоте четырех тысяч километров. Потом он постепенно стал опускаться, одновременно двигаясь на запад. Благодаря тому, что наша Земля имеет привычку вращаться вокруг своей оси, корабль к двум часам дня исчез за горизонтом. Последнее определение его высоты — три тысячи километров. Это значит, что корабль опускается со скоростью почти двести шесть километров в час, или пятьдесят семь метров в секунду. Вероятно, он вполне может замедлить или, наоборот, ускорить быстроту снижения. По этому поводу мы пока не можем сказать ничего. Намерения экипажа нам неизвестны, но если корабль начал снижаться, то нет никаких оснований думать, что он прекратит спуск и улетит от Земли, не опустившись на нее. Вопрос заключается в том, где он опустится. Я обо всем сообщил президенту Академии наук Неверову, а он — правительству. Вы сами понимаете, что подобное событие требует принятия самых срочных мер. Корабль может приземлиться в пределах СССР, или Китая, или в какой-нибудь капиталистической стране. Но не надо забывать, что СССР и Китай по площади, занимаемой ими, довольно заметная величина на поверхности Земли. Шансы примерно равны. Я даже думаю, что у нас больше шансов, если учесть скорость, с которой корабль опускается. Продолжая двигаться так же, он достигнет Земли завтра утром и как раз на нашей территории. Время не ждет, и на предварительные разговоры его у нас нет. Необходимо срочно создать научную экспедицию для встречи гостей. Корабль близок к Земле и хотя летит сейчас очень медленно, но опустится не позднее ближайших двадцати часов. Список членов экспедиции уже составлен в количестве девяти человек. Начальником экспедиции намечен член-корреспондент Академии наук, профессор Куприянов, которого вы все знаете. Он здесь присутствует.

Никак не ожидая подобного конца, Куприянов с изумлением посмотрел на Штерна. Старик усмехнулся в бороду.

— Да, да, Михаил Михайлович! Решили поручить вам встречу гостей, если они пожалуют. Главное, чтобы они у нас на Земле были живы и здоровы. На разных планетах разные атмосферы, а в них могут быть разные бактерии. Первая и главная роль принадлежит медицине. Мы не должны допустить, чтобы наши гости, хоть в малой степени, повредили свое здоровье. Вот поэтому и решили поручить руководство всей экспедицией именно вам как руководителю Института экспериментальной медицины. Я полагаю, что вы, как и все остальные товарищи, занесенные в список, не откажетесь от участия.

Никто ничего не ответил. Взволнованные ученые молча переглядывались. Было видно, что неожиданное и столь необычайное сообщение Штерна потрясло всех. У Лежнева лицо покрылось красными пятнами, и он нервно мял пальцами сукно на столе. Широков умоляюще смотрел на Куприянова, и, встретив его взгляд, профессор понял, что молодой человек горит желанием быть зачисленным в состав экспедиции. Китаец, приехавший с Лежневым, сидел неподвижно.

— Так что же, товарищи? — спросил Штерн.— Время не ждет. Давайте решать вопрос. Слово за вами, Михаил Михайлович.

Куприянов поднял голову. Он успел уже обдумать неожиданное предложение. Задача, которую хотели возложить на него, была трудна и ответственна, он это хорошо понимал.

Он встал. Все глаза устремились на него.

— Я согласен,— сказал он,— и благодарю за доверие. Участие в подобной экспедиции — большая честь...

— Ближе к делу, Михаил Михайлович! — сказал Штерн.— Время не терпит.

— У меня есть несколько вопросов,— продолжал Куприянов.— Что будем делать, если корабль опустится не в Советском Союзе? Каким образом мы узнаем место приземления и как доберемся до этого места? Кто зачислен в состав экспедиции?

— Как я уже говорил,— сказал Штерн,— вся наша подготовка должна вестись из расчета, что космический корабль приземлится в СССР или в Китайской Народной Республике. По счастливой случайности в

Москве сейчас вице-президент китайской Академии наук профессор Ляо Сен.

Китаец, приехавший с Лежневым, встал.

— По поручению китайского народного правительства,— сказал он на чистом русском языке,— с которым я связался сегодня утром, в случае приземления корабля на китайской территории приглашаю вас к нам.

— Прекрасно! — сказал Штерн.— Но может, конечно, случиться, что космический корабль опустится в Африке, Америке или Австралии. Гадать бесполезно. Нам остается только надеяться, что случится так, как мы рассчитываем. По всей территории Советского Союза и Китая идет подготовка. Авиационные соединения, военные и гражданские, получили приказ: как только корабль покажется, навстречу ему вылетят скоростные самолеты и проводят до места приземления, а затем немедленно сообщат об этом в Москву. Мы с вами будем находиться здесь и сразу же вылетим. Самолеты нас ждут.

Он надел очки и взял со стола бумагу.

— Состав экспедиции! — Он оглядел сидящих за столом.— Начальник экспедиции — профессор Куприянов Михаил Михайлович. Согласие имеется. Заместители или помощники начальника экспедиции: Штерн Семен Борисович («Согласен!» — ответил он самому себе), вице-президент Академии наук Китая профессор Ляо Сен.

— Согласен!

— Доктор биологических наук, профессор Лебедев Семен Павлович.

— Конечно, согласен! — сказал высокий мужчина с очень моложавым лицом и гладко зачесанными седыми волосами.

— Члены экспедиции: профессор филологии Лежнев Анатолий Владимирович, доктор химических наук Аверин Кондратий Поликарпович, доктор технических наук Смирнов Александр Александрович, доктор технических наук Манаенко Артем Григорьевич. И последний: доктор географических наук Степаненко Владимир Петрович. Названные мною товарищи,— продолжал Штерн,— составляют основной костяк экспедиции. В случае необходимости к нам присоединятся ученые других специальностей. Каждый участник отвечает за работу с гостями по своей области.

— А позвольте узнать, на каком языке вы собираетесь говорить с этими самыми гостями? — спросил Лежнев.

— Задача найти общий язык как раз ложится на вас, Анатолий Владимирович,— сказал Штерн,— и на товарища Ляо Сена. Есть у кого-нибудь вопросы?

— Как не быть! — сказал Аверин.— Может случиться, что через короткое время мы будем в самолете. А дома у нас ничего не знают.

— У меня, например, при себе денег нет!

— Мне надо оставить распоряжения по институту!

— У меня срочная работа, которую нельзя так бросить! Надо поручить ее кому-нибудь.

Штерн внимательно выслушал всех.

— Все это понятно,— сказал он.— Событие произошло внезапно. Ждать и откладывать наш вылет нельзя. Но кое-что сделано. Специальные люди уже отправлены на ваши квартиры. Они привезут то, что пришлют ваши жены. Вы можете позвонить по телефону. Все необходимое, что не успеем захватить сейчас, будет доставлено на место самолетом. Есть еще вопросы ко мне? Нет? В таком случае моя сегодняшняя роль окончена. Прошу обращаться к начальнику экспедиции.

— Есть еще один небольшой вопрос, Семен Борисович,— сказал Куприянов.— Надо взять с собой кинооператора.

— Предусмотрено,— перебил Штерн.— С нами едут корреспонденты, фотографы и кинооператоры. Они все будут на аэродроме одновременно с нами.

— Я хочу взять с собой моего ассистента Петра Аркадьевича Широкова.— Куприянов показал на своего спутника, который радостно встрепенулся, услышав эти слова.— Возможно это?

— Ваше дело,— ответил Штерн.— Позвоните президенту.

— Я могу воспользоваться вашим телефоном?

— Конечно, но только не этим.— Штерн указал на телефон, стоявший на маленьком столике.— По этому аппарату нам будут сообщать о космическом корабле. Он всегда должен быть свободен.

Ожидание

Переговорив с президентом Академии наук, Куприянов зачислил в состав экспедиции еще двух человек: Широкова и сотрудника обсерватории, молодого астронома Синяева.

Любая серьезная экспедиция всегда требует длительной подготовки, а Куприянову и его спутникам предстояло отправиться в исключительную по своему значению и ответственности поездку в «пожарном порядке». Не удивительно, что многие вопросы так и остались нерешенными.

Наконец в одиннадцатом часу все, что возможно, было согласовано, материалы для работы доставлены, личные дела участников экспедиции закончены.

Один за другим все собрались в кабинете Штерна и расселись по креслам и диванам.

Разговор, естественно, шел о корабле.

— Если он опустится в Америке, то сможем ли мы поехать туда? — спросил Синяев.

— Сможем-то сможем,— ответил Куприянов,— но там мы будем не хозяевами, а гостями.

— Не говоря уже о том,— подхватил Штерн,— что получение виз займет много времени.

— Откуда он мог прилететь? — тихо, ни к кому не обращаясь, спросил Степаненко и сам себе ответил: — С Марса.

— То есть как это с Марса? — вскинулся на него Штерн.— На Марсе нет разумной жизни!

— Откуда же тогда?

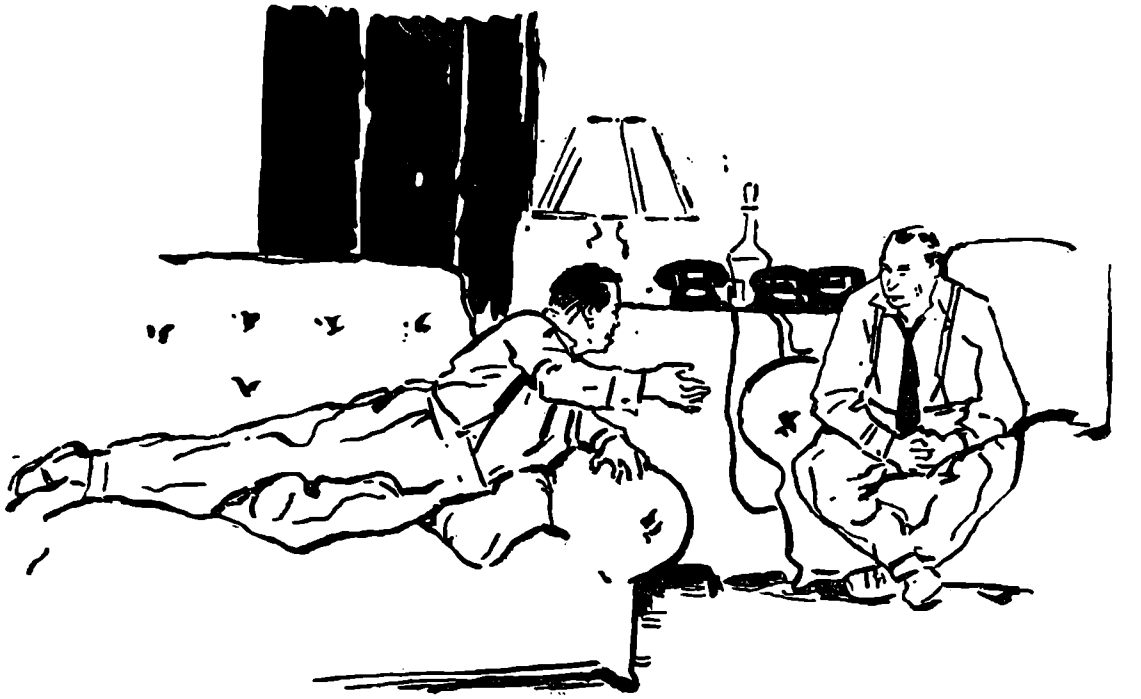
— Корабль прилетел с другой планетной системы.

— Но в таком случае он должен был лететь...

— Не менее четырех с половиной лет, и то, если он летел со скоростью света.

— Однако! — сказал Широков.

Куприянов не слушал. Он сидел в глубоком кресле с закрытыми глазами и думал. Мысль о том, что корабль может опуститься не в Советском Союзе, почему-то вызывала чувство досады и раздражения. «Им,— думал он,— этим существам, прилетевшим на Землю из глубин мирового пространства, совершенно безразлично, где опуститься. Они ничего не знают о Земле и о человечестве. Они опустятся там, где вздумается их начальнику, если таковой у них есть. А может быть, они и не подозревают, что Зем-



ля населена разумными существами, и, облетев ее кругом, направятся к Венере или Марсу».

Он выпрямился в кресле, пораженный неожиданной мыслью:

«Облетев ее кругом!.. Ну, конечно, это самое естественное, что должны сделать разумные существа, которые впервые подлетели к неизвестной им планете. Но тогда завтра утром корабль опять появится над Москвой, над которой он впервые так близко подошел к Земле. Зачем ему опускаться в Америке, когда, подлетая к ней, его экипаж видел только половину земного шара? Простое любопытство заставит их облететь вокруг всей Земли».

Он посмотрел на часы. Шел уже двенадцатый час.

— Вот что, товарищи! — сказал он.— Если корабль опустится в Америке, то нам бесполезно сидеть тут и ждать. А у нас он не может опуститься ночью. Это может случиться только утром или днем. Поэтому прошу вас разойтись по своим комнатам и лечь спать.

Требование было так логично, что никто не стал возражать. Участники экспедиции разошлись. В кабинете остались только Куприянов, Лебедев и Штерн.

— Я переночую здесь,— сказал Куприянов.— Лягу на диване, поближе к телефону.

— Мы тоже останемся с вами,— ответил Штерн.— Тут места хватит.

Лебедев и Куприянов долго не могли заснуть. Штерн уже спал, а они все еще лежали с открытыми глазами и разговаривали. Куприянов высказал свои предположения, и биолог вполне с ним согласился.

— Случайно,— сказал Куприянов,— они подлетели к Земле с нашей стороны. Облетев ее кругом, они опустятся именно здесь, в Европейской части Союза. Мне кажется это несомненным.— Он сел на диван.— Вы помните, Семен Павлович, Штерн говорил, что корабль летит очень медленно. Его движение не зависит от движения Земли вокруг своей оси. Он просто тихо опускается, а Земля, вращаясь, проходит под ним.

— И когда Земля сделает полный оборот, корабль опустится,— подхватил Лебедев.— Правильно, Михаил Михайлович! Вы угадали.

— И знаете, что я вам скажу? — На полном лице Куприянова появилась улыбка.— Хотите, я буду пророком? Мы получим известие о корабле в шесть часов утра, когда он появится над Владивостоком.

— Ну что глупости говорить! — послышался голос, и взлохмаченная борода поднялась над диваном.— Обсерватория Петропавловска-на-Камчатке первая увидит корабль, а это будет не в шесть, а в два часа ночи по московскому времени. При чем тут Владивосток, Хабаровск, Биробиджан, Комсомольск?..

— Мы вас разбудили, Семен Борисович?

— Я давно не сплю и слушаю вас! — ворчливым тоном ответил Штерн.

— Вы согласны со мной, Семен Борисович?— спросил Куприянов.

Штерн, не отвечая на вопрос, кряхтя, встал с дивана и подошел к своему столу.

— Кто их знает, какая у них там погода! — проворчал он.

Куприянов и Лебедев переглянулись. Об этом они не подумали. Пасмурная погода могла испортить все. Старый астроном, привыкший всегда думать о погоде, первый вспомнил об этом.

Он позвонил в Институт прогнозов и долго слушал ответ, записывая что-то на бумаге.

— Слава те, природа великая! — сказал он, кладя трубку.— Нам везет. По всей трассе от Петропавловска до Москвы ясное небо.

Он подошел к дивану, на котором лежал Куприянов, и сел в стоявшее рядом кресло. Вынув из кармана гребень, тщательно расчесал волосы и бороду. Потом с довольным видом вытянул короткие ноги и скрестил руки на животе.

— Да! — сказал он.— Жалко, что при вашем разговоре не присутствовал Степаненко Владимир Петрович! То-то бы он посмеялся. Академики!.. Школьную географию забыли! Владивосток настолько южнее, что там и не увидят корабля.

Куприянов засмеялся:

— Вы, я вижу, уже выспались!

— А вы всех разогнали спать, а сами... Эх вы, медик!

— Теперь, после того, что вы сказали, совсем не придется спать,— заметил Лебедев.— Без двадцати минут два.

Дверь тихо открылась, и на пороге с виноватым видом появился профессор Смирнов. За его спиной виднелись усы Манаенко.

— Вы не спите? — спросил он.— Можно?

— Входите, входите! — Куприянов засмеялся.— Где уж тут спать!

— Никак не заснуть,— извиняющимся тоном сказал Смирнов.— Когда я думаю о тех тайнах, которые несет к нам этот корабль... технических тайнах, меня охватывает чувство восторга и страха. Он летел почти пять лет в пустоте и мраке Вселенной с непостижимой для нас скоростью.

— Пять лет,— сказал Штерн,— это только в том случае, если он прилетел из системы ближайшей к нам звезды. Ближайшей! — повторил он, внушительно поднимая палец.

— Голова кружится, когда подумаешь о тех силах, которые с такой скоростью двигают этот корабль. Шар диаметром тридцать метров. Это значит, когда он приземлится, его верхняя часть окажется на высоте десятиэтажного дома.

— Да!— отозвался Манаенко.— Чтобы построить такой шарик, нужна фантастическая техника.

— Еще двое,— сказал Штерн.

Куприянов оглянулся и увидел, что в кабинете появились еще два члена экспедиции: Синяев и Степаненко.

Почти сейчас же за ними вошел Аверин.

— Если так будет и дальше,— смеясь, сказал Лебедев,— придется сменить начальника экспедиции. Его не хотят слушаться.

— И не будут слушаться, если он сам не выполняет своих распоряжений!— решительным шагом входя в кабинет, сказал Лежнев.

С приходом Широкова вся экспедиция, за исключением Ляо Сена, оказалась в сборе.

— Завидная выдержка,— заметил Лежнев.— Спит как ни в чем не бывало!

— Вы думаете, он спит? — спросил Лебедев.

Он вышел и через полминуты вернулся обратно.

— Заглянул в замочную скважину,— весело сказал он.— Сидит и читает. Я хотел...

Он не договорил и замер с открытым ртом. Почти все вскочили со своих мест.

Заветный телефон на маленьком столике зазвонил.

Куприянов, стараясь быть спокойным, снял трубку. Все с напряженным вниманием следили за выражением его лица.

— Космический корабль,— сказал он,— появился на горизонте Петропавловска-на-Камчатке на высоте около пятисот километров.

На Воронеж!

Никто больше не думал о сне. Нервное состояние, казалось, достигло предела. Обычно хладнокровные и уравновешенные, ученые бестолково метались по кабинету, уходили, возвращались, снова уходили. Начинались короткие разговоры и прерывались на середине. Голоса звучали громче обычного, но, как только звонил телефон, наступало гробовое молчание.

Телефоны трещали почти непрерывно. Звонили из Академии наук, из Совета Министров, из ЦК партии, с аэродрома, из различных институтов и научных учреждений. Казалось, что в эту ночь не спала вся Москва.

Без двадцати минут три поступило сообщение из населенного пункта Сковородино. Там видели корабль над северным горизонтом и определили его высоту в те же пятьсот километров.

Значило ли это, что экипаж корабля прекратил снижение? Или наблюдатели ошиблись? От ответа на этот вопрос зависело многое.

Это сообщение смутило многих. Кое-кто совсем упал духом, решив, что все пропало. Только Куприянов, Штерн и Ляо Сен сохраняли спокойствие. Китайский ученый неподвижно сидел за столом Штерна, и временами казалось, что он спит. Штерн ни разу не встал с своего кресла, сидя все в той же позе: ноги вытянуты, руки скрещены на животе. Куприянов переходил от одного телефона к другому и в промежутках между разговорами успокаивал особенно нетерпеливых. Он был непоколебимо убежден, что корабль опустится.

Позвонив на аэродром, он приказал подготовить самолеты и отправил туда весь багаж.

Раздался очередной звонок, и Чита сообщила, что космический корабль находится прямо над городом на высоте четырехсот километров.

— Корабль хорошо виден,— сообщили оттуда.— Он ярко блестит в лучах солнца, подобно звезде. Весь город на улицах.

Значит, корабль все-таки опускается!

— Они летят не совсем прямо,— сказал Степаненко,— но примерно следуют по пятьдесят второй параллели.

— Откуда можно ждать следующее сообщение? — спросил Широков.

— Из Иркутска,— ответил географ.

На горизонте медленно разгоралась утренняя заря...

Наступал день, один из самых замечательных дней в истории Земли.

Там, за линией горизонта, окрашенного в пурпурные цвета рассвета, солнце изливало свои животворные лучи на просторы Сибири, и в этих лучах высоко в верхних слоях атмосферы летел корабль.

Рожденный где-то в безднах Вселенной, задуманный и построенный неведомыми существами, он неопровержимо доказывал, что всепобеждающий разум существует не только на Земле.

Творение чуждого Земле разума летело над планетой, и глаза пока еще загадочных и неведомых существ смотрели из него на Землю.

Что представляют собой эти существа? Похожи ли они на людей? Удастся ли найти с ними общий язык?..

Но кем бы они ни были, на кого бы ни были они похожи, между ними и человечеством, населяющим Землю, уже возникла и незримо крепла связь! Связь разума, объединяющая живые существа всей Вселенной!..

Позвонили из Иркутска. Полученное известие взволновало всех еще больше: корабль был уже на высоте двухсот километров.

— Они увеличили скорость снижения! Корабль

опускается! Они приземлятся в Сибири! — раздались нетерпеливые голоса.

— Может быть, ошибка? — невозмутимо сказал Штерн.

Никто не успел ответить на это замечание, как поступило следующее сообщение. Абакан телефонировал, что космический корабль показался на его горизонте и быстро летит на запад на высоте ста пятидесяти километров.

Сомнений больше не было: гости из глубин Вселенной решительно опускались.

— На аэродром! — коротко распорядился Куприянов.

— Я останусь здесь,— сказал президент Академии наук.— Буду принимать сообщения и немедленно передавать вам. Необходимо хотя бы приблизительно определить, где они приземлятся.

Автомобили всю ночь стояли у подъезда. Четыре машины, выехав из ворот обсерватории, полным ходом помчались к аэродрому.

Начальник аэропорта провел Куприяноза и Степаненко в свой кабинет. Ожидание было непродолжительным. Президент передал телефонограмму из Акмолинска, сообщавшую, что корабль на высоте всего сорока пяти километров пролетел прямо на запад.

— Вылетайте немедленно! Счастливого пути!

Куприянов положил трубку.

— Ну, Владимир Петрович, решайте!

Географ думал недолго.

— Корабль летит вдоль пятьдесят второй параллели,— сказал он.— Судя по скорости снижения и быстроте полета, он должен опуститься по эту сторону Уральского хребта. Возможно, где-нибудь между Саратовом и Курском. Надо лететь по направлению к Воронежу.

— Так и сделаем,— сказал Куприянов.

Было уже совсем светло. Как только они вышли на бетонное поле, возле самолетов произошло движение. Летчики поспешно занимали свои места.

Равномерный рокот моторов сразу усилился, перейдя в оглушительный шум. Двухмоторные серебристые птицы нетерпеливо дрожали, удерживаемые тормозами на месте.

— Флагманский самолет второй слева! — крикнул начальник аэропорта, наклонившись к самому уху Куприянова.

— До свидания! — сказал профессор, протягивая руку.

— Счастливого пути! Желаю успеха!

Куприянов и Степаненко поднялись на борт. В самолете были Штерн и Ляо Сен.

Громче взревели моторы, и флагманский самолет, чуть-чуть покачнувшись, двинулся вперед.

За ним тронулись с места и три остальных.

После короткого разбега машины поднялись в воздух и, не делая прощального круга над аэродромом, легли на курс.

«Он не голубой, а совсем белый!»

Предположение Степаненко, что космический корабль опустится между Саратовом и Курском, по-видимому, было правильным

Миновав Акмолинск и быстро снижаясь, он перелетел Уральский хребет и в шесть часов тридцать минут утра появился над Чкаловом на высоте двух километров.

Ожидавшие его самолеты Чкаловского аэроклуба поднялись в воздух. Приветствуя гостей, они полетели с ним рядом, с обеих сторон.

Предполагая, что космический корабль может двигаться по принципу реактивного движения (хотя позади него не видно было ни малейшего следа), летчикам рекомендовали не приближаться к его задней части, чтобы не попасть в мощную струю, которую должен был оставлять за собой этот гигантский шар.

По неизвестной причине (это навсегда осталось тайной) один самолет нарушил это указание и вошел в «кильватер» гостю.

Тысячи зрителей, наблюдавшие полет корабля, видели, как самолет, словно отброшенный вихрем, с огромной скоростью помчался хвостом вперед в обратном направлении, несколько раз перевернулся и со сломанными крыльями рухнул на землю.

Заметил ли экипаж корабля катастрофу или ему не понравилось приближение машин, но шар резко увеличил скорость и в несколько секунд оставил все самолеты далеко позади себя.

Точно так же он уклонился от почетного конвоя в Саратове, а затем и в Воронеже.

К обоим этим городам он подлетал на небольшой скорости, но, как только в воздухе появлялись самолеты, корабль увеличивал скорость, упорно оставляя их позади и не подпуская к себе на близкое расстояние.

Боялся ли он неизвестных крылатых машин? Опасался ли с их стороны враждебных действий?

Эскадрилья с экспедицией Академии наук находилась в воздухе уже полтора часа. Радист непрерывно принимал и передавал Куприянову радиограммы.

Когда стало известно, что космический корабль на высоте шестисот метров пролетел мимо Воронежа, направляясь дальше на запад, эскадрилья повернула по направлению на Орел — Гомель.

Куприянов, Штерн, Ляо Сен и Степаненко внимательно перечитывали получаемые радиограммы, стараясь по неполным и отрывочным описаниям составить представление о внешнем виде космического корабля. Описания передавались со слов летчиков, которые видели его на близком расстоянии, и каждый по-своему рассказывал о нем.

Было несомненно, что корабль представляет собой геометрически правильный шар голубоватого цвета. В некоторых радиограммах его называли белым, в других — голубым, в третьих — «белым, как снег, при лунном свете». Летчики сходились на том, что корабль металлический, но определить, что это за металл, никто не смог. Сходились на том, что шар не окрашен. Поверхность шара покрыта небольшими черными пятнами; с одной стороны их насчитали сорок, с другой — сорок два.

Но поразительней всего было полное отсутствие окон. Все наблюдатели в один голос отмечали эту подробность.

— Но должны же они видеть окружающее! — сказал Ляо Сен.— Может быть, эти черные пятна?..

— Сомнительно,— ответил Штерн.— Трудно представить себе, зачем могло понадобиться такое большое число маленьких окон. Нельзя забывать, что полеты внутри планетных систем таят опасность встречи с бесчисленными метеоритами, бороздящими межпланетные пространства во всех направлениях. Чем меньше отверстий будет иметь космический корабль, тем лучше. Черные пятна — что-то другое.

— Бесполезно гадать,— сказал Куприянов.— Корабль построен не на Земле, и нам все равно не понять его конструкции, пока мы не познакомимся с ним вблизи.

— Может быть, стенки корабля прозрачны? — заметил Степаненко.

— Ну, это уж совсем невероятно,— сказал Штерн.— Корабль же металлический!

— Это могло бы быть только в том случае,— ответил географу Куприянов,— если органы зрения этих существ воспринимают невидимую для нас часть спектра.

— Мне кажется, мы имеем тут дело с техникой телевидения,— сказал Ляо Сен.

Радист вошел в кабину и подал Куприянову очередную радиограмму. Она была из Москвы.

Президент Академии наук сообщал, что правительство СССР договорилось с Польшей и Германской Демократической Республикой. Если космический корабль опустится на их территории, экспедиция свободно может отправляться туда.

— Очевидно, они прекратили снижение, — сказал Куприянов, прочитав радиограмму.

— Печально будет, если корабль улетит еще дальше.

Но прошло минут десять, и настроение пассажиров флагманского самолета снова поднялось. Радист принял следующую радиограмму. Из Тима сообщали, что корабль только что пролетел над городом по направлению на Щигры.

— Выходит,— сказал Степаненко,— что они круто изменили направление, уклонившись от пятьдесят второй параллели на юг, а потом опять повернули к северу.

— Для нас это хороший признак,— заметил Ляо Сен.— Раз корабль меняет направление полета, это может означать только одно: они выбирают место для посадки.

— Курская область должна показаться им удобной. Там местность равнинная. А лесистость — всего около восьми процентов.

Куприянов попросил штурмана повернуть больше к югу. Эскадрилья изменила курс.

Вскоре поступило еще более интересное сообщение. Курск радировал, что корабль вот уже минут десять медленно кружится над районным центром Золотухино, находящимся в сорока километрах на север. Вокруг Золотухина поднялась настоящая буря. Ураганный ветер, идущий от корабля прямо вниз, поднял тучи земли и пыли, которые закрыли весь горизонт, так что город находится в полумраке. Жители попрятались, и жизнь замерла. Ветер валит телеграфные столбы, срывает крыши с окраинных домов. С Курского аэродрома вылетели самолеты, так как телефонная связь с Золотухином внезапно прервалась.

— Все столбы повалили!— сказал Штерн.— Веселенькая история!

Становилось очевидным, что дело идет к концу. Космический корабль решил опуститься. Но зачем он кружится над этим небольшим городком? Неужели его экипаж не понимает или не желает обратить внимание на то, что под ними населенный пункт и что их маневр наносит вред этому населенному пункту? С высоты двухсот метров они не могут не видеть домов и улиц.

— Чуждая психология, чуждый разум!— проворчал Штерн, яростно расправляя бороду обеими руками.

— Вокруг города пшеничные, картофельные и конопляные поля,— сказал Степаненко.

Никто не отозвался на его замечание. Взволнованные ученые не отрывались от окон.

С высоты, на которой они находились, местность очень медленно, как им казалось, уходила назад. Самолеты пролетали мимо Орла, окраины которого смутно виднелись на горизонте. До Золотухина оставалось около ста километров.

С борта самолета, вылетевшего из Курска, передали через Москву длинную радиограмму, в которой сообщалось, что космический корабль опустился на землю в десяти километрах к югу от Золотухина и в пяти километрах от линии железной дороги Орел—Курск. Он сел на конопляное поле и при этом поднял громадную тучу земли и пыли.

Летчик сообщал дополнительно, что рядом с полотном железной дороги, с западной стороны, имеется хорошее, ровное поле, пригодное для посадки, и что он и три других самолета сейчас опустятся там и встретят эскадрилью.

— Молодец!— сказал штурман.— Видно, опытный летчик. Золотухино!— сообщил он, заглянув в окно.

Все бросились к левым окнам. Самолеты начали снижаться, и небольшой город был виден как на ладони. Левее города медленно оседала на землю громадная черная туча.

Четверо ученых напряженно вглядывались, стараясь найти корабль. Когда самолеты немного повернули в сторону, направляясь к месту посадки, они увидели его. Небольшой, как им в первую минуту показалось, белый шар резко выделялся на зеленом поле.

— Он не голубой, а совсем белый!— сказал Куприянов.

— По-моему, чуть-чуть голубоватый,— ответил Штерн.

Машины разворачивались. Внизу были видны четыре самолета, стоявшие по углам обширного четырехугольника. В центре этого поля четко выделялось посадочное «Т».

— Быстро они управились,— сказал штурман.— Все как полагается.

Флагманский самолет первым пошел на посадку. Едва не коснувшись посадочного знака, он мягко пробежал по полю и отрулил в сторону, давая место следующему. Один за другим сели остальные.

Открылись двери, и на землю начали выскакивать члены экспедиции. Как по команде, все побежали к полотну железной дороги. Пожилые ученые и убеленные сединами академики, как дети, бежали по полю. Вместе с ними туда же устремились и экипажи самолетов.

Высокая насыпь закрывала горизонт, и корабля не было видно. Только добежав до насыпи, Куприянов вспомнил, что корабль опустился километрах в пяти от железной дороги. И действительно, когда задыхающиеся люди взобрались на полотно, они были разочарованы. Белый шар был еле виден почти на самом горизонте.

«Никто не будет пропущен!»

Больше получаса участники экспедиции, корреспонденты и экипажи самолетов простояли на насыпи, молча всматриваясь в белый шар, заключавший в себе великую тайну, принесенную на Землю силой разума неведомого мира.

Молодые ученые Широков, Синяев и некоторые из корреспондентов выразили желание немедленно идти к кораблю. К ним присоединился и кое-кто из экипажей самолетов, но Куприянов категорически запретил подобную экскурсию.

— Все в свое время,— сказал он.

Было только восемь часов утра, но солнце стояло уже высоко, и было жарко. Члены экспедиции расселись прямо на траве.

— Прибытие этого корабля,—сказал Куприянов,— уже стоило жизни одному человеку и нанесло большой вред городу и населению Золотухина. Мы не знаем, каковы наши гости и как они будут относиться к нам. Я верю, что существа, сумевшие построить такой корабль и осуществить межпланетный полет...

— Межзвездный,— поправил Штерн.

— ...межзвездный полет, должны стоять на высокой ступени развития. Возможно, что все несчастья произошли случайно и наши гости в них не виноваты, но все же соблюдать элементарную осторожность мне кажется необходимым. Самолеты,— обратился он к летчикам,— пока останутся здесь. Не как руководитель экспедиции, а как врач я настоятельно

рекомендую всем немного соснуть после бессонной ночи. Это будет самое лучшее.

Никаких возражений не последовало. Большинство ученых забралось обратно в самолеты. Некоторые улеглись в тени крыльев, прямо на земле.

Куприянов тоже устал, но считал себя не вправе последовать примеру товарищей. Он в полной мере чувствовал ту ответственность, которая так тяжело ложится на руководителей. Он знал, что все равно не заснет, пока не убедится, что сделано все, чтобы участники экспедиции могли спокойно и по возможности удобно устроиться на новом месте. Он решил слетать к кораблю и посмотреть, что происходит около него. Военные самолеты, встретившие экспедицию, еще не улетели, и Куприянов обратился к летчикам со своей просьбой.

— Пожалуйста, товарищ профессор,— ответил ему молодой краснощекий летчик с погонами старшего лейтенанта.— Мой самолет двухместный. На какой высоте прикажете вести машину?

— Мне бы хотелось облететь шар кругом,— ответил Куприянов.— Если это можно. И поближе.

Куприянову никогда не приходилось летать на военных самолетах, а на современных, скоростных, тем более. Он не успел сообразить, что произошло, как увидел, что белый шар, быстро увеличиваясь в размерах, вплотную приблизился к самолету, на мгновение куда-то исчез и вдруг оказался над головой. Земля очутилась не внизу, где ей полагалось находиться, а сбоку. Все смешалось в какой-то бешеной карусели. Самолет, описав вокруг шара один круг, пошел на второй, опустившись почти до земли. Не в силах что-либо рассмотреть в этом сплошном круговороте, когда невозможно было понять, где небо, где земля и где шар, Куприянов закрыл глаза и, махнув на все рукой, ждал конца этого сумасшедшего полета. Почувствовав, что самолет летит горизонтально, он открыл глаза и увидел, что они уже опускаются. Он был ошеломлен и раздосадован на неуместную шутку, которую (как он думал) сыграли с ним. Но пока самолет отруливал к месту стоянки, он сообразил, что не летчик, а он сам был виноват во всем, когда попросился на военный самолет, не подумав о его скорости. Он понял и оценил замечательное искусство пилотирования, которое продемонстрировал ему этот молодой парень, буквально выполнивший его легкомысленную просьбу — облететь шар «поближе». Чувство досады сменилось восхищением перед мастерством летчика.

— Спасибо!— сказал он, когда мотор был выключен и наступила тишина.— Правда, я ничего не видел, но зато я знаю теперь, что такое военный самолет.

— Это истребитель, товарищ профессор,— извиняющимся тоном сказал старший лейтенант. Он чувствовал себя виноватым, что не предупредил профессора перед стартом.— Он не может лететь медленнее. Я не подумал, что вы не привыкли ориентироваться в воздухе. Я прошу вас не сердиться на меня.

— Нисколько не сержусь,— сказал Куприянов.— Мне только досадно, что я не видел то, что хотел увидеть.

— Шар лежит неподвижно,— сказал летчик,— и около него никого нет. Эта махина не имеет ни одной двери и ни одного окна. Я его очень внимательно рассмотрел. Сплошной металлический шар. Но в километре от него я видел большую толпу, которая, по-видимому, направляется из Золотухина.

— И вы успели все это увидеть? — спросил Куприянов.

Он вылез из машины и тут только заметил, что рядом с летчиками на траве сидит академик Штерн.

— Ну, как прошла разведка? — спросил старик и, не выдержав, громко расхохотался.— Много видели?

Куприянов улыбнулся и, заметив, как старший лейтенант подмигнул ему, серьезно ответил:

— Достаточно. Возле шара нет никого. Экипаж еще не показывался. Меня беспокоит другое. К кораблю подходят жители Золотухина. Их нельзя туда допускать.

— Вот как!— удивился Штерн.— Вы, оказывается, опытный летчик.

Куприянов посмотрел на своего пилота, и оба рассмеялись.

— Что нам делать с этими людьми?

— Остановить.

— Разрешите выполнить?— сказал старший лейтенант.

— Ах, голубчик, пожалуйста!— обрадованно сказал Куприянов.— Но как вы это сделаете?

— Посажу машину на дорогу и остановлю их. Мы слетаем вдвоем,— прибавил он.

Через несколько секунд два самолета поднялись в воздух и исчезли за высокой насыпью железной дороги.

— Поезд идет,— сказал Штерн.

Куприянов увидел длинный товарный состав. Поравнявшись с аэродромом, поезд остановился, и из вагонов высыпали солдаты. В одну минуту состав опустел, и возле насыпи выстроилась воинская часть. Два человека отделились от нее и направились к самолетам. Шедший впереди пожилой подполковник, увидев кучку людей, среди которых бросалась в глаза огромная борода Штерна, повернул к ним.

— Вы начальник экспедиции?— обратился он к Штерну.

— Нет, я,— сказал Куприянов.

Подполковник четко взял под козырек. Стоявший на полшага позади него капитан сделал то же.

Куприянов, не зная, как отвечать на такое официальное приветствие, тоже поднял руку и приложил ее к своей мягкой шляпе.

За его спиной послышался смех летчиков. Эти молодые, здоровые ребята смеялись по всякому поводу.

— По приказу министра обороны,—сказал подполковник,— стрелковая часть прибыла в ваше распоряжение, товарищ начальник экспедиции. Командир части подполковник Черепанов!

— Это очень, очень хорошо!— сказал Куприянов.— Вы нам до зарезу нужны. Необходимо организовать охрану шара. Сделать так, чтобы к нему никто не мог подойти. Окружить его кольцом.

— Понимаю!

— Но будьте и сами осторожны. Не ставьте людей близко к кораблю. Метров за двести, я думаю, и лучше, чтобы люди не стояли, а сидели или лежали.

— Вы ожидаете от этого корабля враждебных действий?

— Нет, но на всякий случай...

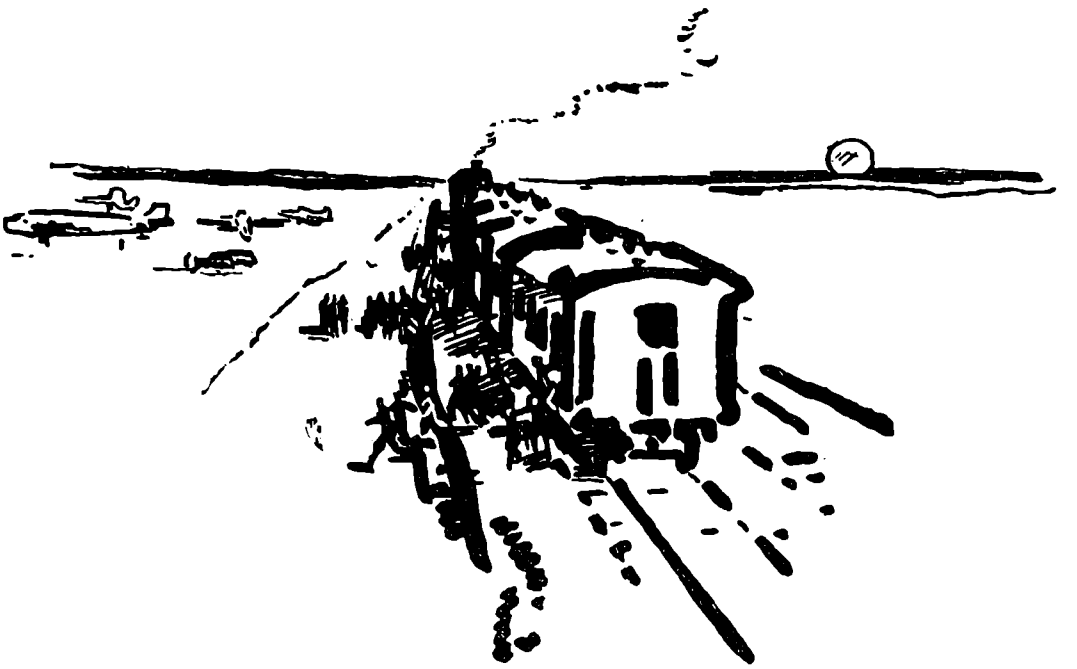
— Ясно!— сказал подполковник.— Товарищ капитан, ведите бойцов! — повернулся он к своему спутнику.

— Слушаюсь!

Капитан повернулся и пошел обратно к насыпи.

Паровоз дал свисток, и поезд тронулся. Подразделения одно за другим длинной лентой стали переходить полотно железной дороги. Куприянов заметил, что кинооператор тоже пошел с солдатами.

— Только бы он не сунулся к кораблю,— сказал он озабоченно.



— Без вашего разрешения,— сказал подполковник,— никто не будет пропущен через цепь.

Недалеко от импровизированного аэродрома проходило шоссе, и на нем вскоре показалась длинная автоколонна. Впереди шло несколько легковых автомобилей. Поравнявшись с аэродромом, машины остановились. Несколько человек подошло к самолетам.

— Кто из вас профессор Куприянов?— спросил высокий плотный мужчина в легком сером костюме.

— Я.

— Здравствуйте, профессор! Я секретарь Курского обкома партии, Козловский Николай Николаевич. Мы привезли вам все, что нужно для устройства лагеря. Где будем его ставить, здесь?

— Нет, лагерь должен быть ближе к кораблю.

— В таком случае поехали. Отправляйте самолеты обратно в Москву. Ваши машины, товарищ подполковник, пришли с нами. Вон они, в конце колонны. Сколько человек в экспедиции, товарищ Куприянов?

— Одиннадцать и пятеро корреспондентов.

Автоколонна медленно подвигалась по узкой и извилистой проселочной дороге между двумя высокими стенами созревающей пшеницы.

Внезапно вслед за крутым поворотом дороги желтые стены раздвинулись и словно разбежались в обе стороны, открыв взору широкий простор равнины. Прямо впереди, весь на виду, стоял космический корабль. Исполинский белый шар с едва заметной голубизной, ярко освещенный солнцем, четко вырисовывался на фоне неба. Непонятным и загадочным выглядел он среди этой обычной русской равнины.

Шофер остановил машину.

— Мм-да!— сказал Козловский после нескольких минут молчания.— Такое только во сне может присниться.

Одна за другой выходили машины из моря пшеницы, и каждая, словно в изумлении, останавливалась на несколько секунд.

Люди молча смотрели на шар, потом переводили глаза на засеянные поля, будто хотели убедиться, что родная природа по-прежнему окружает их. Белый шар был реальной действительностью, но каждый невольно задавал себе вопрос: не во сне ли он видит эту картину?

В передней машине первым нарушил молчание Ляо Сен.

— Вы обратили внимание,— сказал он,— что корабль спустился в таком месте, где до самого горизонта не видно ни одного населенного пункта?

— Да, место выбрано далеко не случайно,— сказал Куприянов.

Колонна все так же медленно, словно крадучись, приближалась к шару. Уже отчетливо были видны те черные пятна, о которых говорили радиограммы. Они были расположены по поверхности шара не как попало, а в строгом порядке. Слово «пятно» не подходило к их внешнему виду. Они были правильной круглой формы и совершенно черные, что резко подчеркивалось белым корпусом корабля. Каждое «пятно», насколько можно было судить на расстоянии, имело около метра в диаметре.

Когда колонна приблизилась на пятьсот метров, стало видно, что чудовищный шар на одну десятую часть корпуса погрузился в землю. Было ли это следствием его тяжести или выходящий из него с огромной силой поток неизвестного газа (тот ураганный ветер, который произвел опустошения в Золотухине), удерживая корабль от падения, вырыл под ним этот котлован, сказать было нельзя. Может быть, действовали обе причины.

— Остановимся вот здесь,— сказал Куприянов.— Место вполне подходящее.

В течение нескольких часов на поле вырос целый полотняный город. Просторные палатки экспедиции стояли ближе к шару, а за ними ровными рядами выстроились палатки военного лагеря. На берегу ручья задымили походные кухни воинской части и заканчивалось оборудование кухни экспедиции.

Привычные к лагерной жизни офицеры быстро навели порядок. У традиционных «грибов» встали часовые. Всюду мелькала озабоченная фигура дежурного с красной повязкой на рукаве.

Что это было?

Пока строился лагерь, Куприянов решил посмотреть шар поближе.

С ним пошли Лебедев, Ляо Сен, Аверин, Смирнов, Манаенко и два корреспондента.

По мере того, как они подходили все ближе и ближе, корабль словно вырастал, закрывая собой небо. На его гладкой, точно отполированной поверхности не заметно было ни одного шва. Словно на чудовищной величины токарном станке из одного куска белого металла выточили исполинское ядро и бросили его на Землю.

Черные пятна вблизи оказались круглыми отверстиями, закрытыми толстой решеткой. За ее прутьями была тьма. Кроме этих отверстий, не видно было никаких других: ни окон, ни дверей.

Куприянов и его спутники остановились в двадцати метрах от шара и молча смотрели на него. Кругом стояла полная тишина. Сколько они ни прислушивались, ни единого звука не слышно было из-за металлических стенок. Эти стенки, безусловно, были металлические, но такого металла на Земле не существовало.

— Сплав,— тихо сказал Смирнов.

— Что?— переспросил Куприянов.

— Я говорю, что это какой-то сплав.

— Возможно.

И опять все замолчали.

Громадный шар был неподвижен и казался безжизненным. Но не мог же он прилететь на Землю один, без живых существ. Кто-то находился в нем! Что они делают сейчас и что намерены предпринять дальше? Может быть, существа, находящиеся внутри, и не собираются выходить из своего корабля и он вдруг поднимется и улетит с Земли, продолжая свой путь по дорогам Вселенной?

Экипаж корабля, конечно, как-то видит, что его окружает. Все его поведение при спуске на Землю доказывало это.

Может быть, и сейчас чьи-то глаза (или что бы это ни было) внимательно наблюдают за людьми, подошедшими к шару?

При этой мысли Куприянов почувствовал себя неуютно. Он ясно представил себе, что произойдет, если кораблю вздумается именно сейчас подняться. Экипаж корабля, безусловно, видит, что около него собралось много людей. Если это не нравится обитателям корабля и они решат перелететь на другое место, то обратят ли они внимание на то, что рядом с кораблем стоят восемь человек? Может быть, подобная мысль и не придет им в голову («Если у них есть голова»,— подумал Куприянов) и они просто поднимут шар в воздух, не заботясь о том, что будет с хозяевами этого места. Исполинский корабль весит, вероятно, сотни тонн, и, чтобы поднять его, нужна чудовищная сила. Люди, неосторожно подошедшие к кораблю, будут сметены этой силой.

Профессору захотелось немедленно уйти отсюда, даже убежать со всех ног, но вместо этого он спокойно сказал:

— Надо обойти шар кругом.

— От же бисова дитына!— вдруг сказал Манаенко.— Страшно!

Он рассмеялся и пошел вперед. Остальные двинулись за ним. Они не прошли и тридцати шагов, как профессор Смирнов вдруг приглушенно вскрикнул и остановился.

— Смотрите!— прошептал он.

Но все уже увидели... Замерев на месте, люди не спускали глаз с того, что происходило перед ними...

На высоте шести — семи метров от земли часть поверхности шара сдвинулась с места и сначала медленно отошла внутрь, а затем скользнула в сторону. Образовалось темное круглое отверстие не более тридцати сантиметров в диаметре.

— Щоб я вмер...— прошептал Манаенко.

Несколько секунд отверстие в оболочке шара зияло чернотой. Потом в нем что-то показалось. Медленно выдвинулся длинный тонкий стержень. На его конце был какой-то предмет, похожий формой на цилиндр. Послышалось металлическое пощелкивание. Потом что-то громко стукнуло, и стержень с цилиндром так же медленно стал уходить обратно. Опять появилась круглая крышка и закрыла отверстие.

Все приняло прежний вид, но люди все так же стояли и молча смотрели на гладкую оболочку шара. Они не знали, что произошло, не знали, что представляет собой виденный ими цилиндр, но самый факт несомненно разумного действия, первое проявление жизни внутри корабля глубоко потрясли их.

Только через несколько минут они почувствовали себя в силах продолжить обход шара. Корреспондент с киноаппаратом вдруг начал ругаться и ударил самого себя кулаком по лбу.

— Шляпа!— бормотал он.

— В чем дело?— спросил Куприянов.

— Зазевался, как болван, и не заснял этого... ну, как его?..

— Это — дело поправимое,— утешил его Куприянов.

Хотя то, что он сказал, было бессмысленно, но корреспондента почему-то успокоили его слова.

Обойдя шар кругом, они вернулись на то место, откуда видели появление цилиндра, и около получаса стояли там в ожидании, не повторится ли то же явление. Но ничего больше не случилось.

— Пошли!— сказал наконец Куприянов.

Его неотвязно мучил нерешенный (и пока явно неразрешимый) вопрос о том, было ли появление цилиндра каким-нибудь сигналом, адресованным к ним, или нет. Случайно ли он появился именно тогда, когда они проходили мимо? Или экипаж корабля намеренно сделал это, желая показать, что внутри находятся разумные существа? Если это был сигнал, то что он означает?..

Погруженный в эти мысли, он не слушал, что говорили между собой его спутники, как вдруг слова профессора Аверина дошли до его сознания.

— ...взятие пробы воздуха, конечно, обязательно

для них,— говорил химик.— Они не могут выйти из шара, не зная состава нашей атмосферы.

Куприянов даже остановился.

— Ну, хорошо!— сказал он.— Я согласен с вами, что это было взятие пробы воздуха. Но почему они сделали это именно тогда, когда мы были рядом?

Аверин удивленно посмотрел на него.

— Мне не пришло в голову,— сказал он,— что этот цилиндр и был как раз аппаратом для взятия пробы. Я говорил вообще. Пожалуй, вы правы, Михаил Михайлович.

— Они видели, что мы рядом, и сделали это. Почему?

— Может быть, сигнал...

— Вот именно,— сказал Куприянов.— Может быть, они хотели подать нам сигнал.

— Если так,— сказал Смирнов,— то у них должно было остаться плохое мнение о нас. Мы стояли, разиня рот...

Манаенко засмеялся.

Куприянов недовольно посмотрел на него. Привычка этого человека смеяться когда не следовало раздражала его. Он ничего не ответил Смирнову и быстрым шагом пошел к лагерю.

Широков встретил их у первой палатки.

— Ну что?— спросил он.— Как?

Куприянов махнул рукой и нахмурился. Широков хорошо знал все оттенки выражения его лица и сразу понял, что профессор чем-то очень недоволен и что сейчас лучше ни о чем его не спрашивать.

— Обед готов, товарищи!— Широков хозяйским жестом показал на большую палатку, стоявшую поодаль.— Прошу вас!

— Где Штерн?— спросил Куприянов.

— В вашей палатке. Но я посоветовал бы вам пообедать, Михаил Михайлович.

По многолетнему опыту совместной работы с Куприяновым он знал, что когда профессор бывает в таком состоянии, как сейчас, то самое лучшее делать вид, что не замечаешь этого. Нужно только не затрагивать тех вопросов, которые испортили ему настроение, и тогда это быстро пройдет.

— Прошу вас,— повторил он еще раз.

Куприянов молча повернул к своей палатке.

По дороге в столовую Широков подробно расспросил Ляо Сена обо всем, что они видели у шара. Китайский ученый спокойно и обстоятельно удовлетворил его любопытство. Он говорил ровным голосом на чистом, даже чересчур чистом русском языке. (Этот выдающийся лингвист свободно владел восемнадцатью языками.) Но из его рассказа Широков так и не понял, почему начальник экспедиции вернулся в таком дурном настроении.

Между тем профессор вошел в палатку и свободно вздохнул, когда увидел, что, кроме Штерна, там никого не было.

Просторная палатка казалась очень уютной. Посередине стоял хороший стол и мягкие стулья. Возле четырех кроватей были тумбочки. Над столом висела электрическая лампа под абажуром. (Подходя к палатке, Куприянов видел, как связисты тянули провода.)

Штерн сидел у стола и, увидев Куприянова, поднял голову от книги.

— Ну что?

Куприянов, волнуясь, рассказал, что они видели и о своих мыслях на обратном пути. Штерн внимательно слушал.

— Вы хорошо слышали это пощелкивание?— спросил он.— Может быть, это был голос живого существа?

— Нет. На голос этот звук был совсем не похож. Если бы вы были с нами...

— Но я не был с вами!— перебил Штерн.— Так вы думаете, что это был сигнал? А может быть, просто взятие пробы воздуха?

— Но почему они сделали это именно при нас? Ведь они наверняка нас видели!

— Да,— сказал Штерн.— Это серьезный довод. Ну, что ж, когда они выйдут из корабля, мы это узнаем.

— Так вы не думаете, что они улетят, не выходя к нам? Ведь мы никак не реагировали на их сигнал! Ни одним движением! Стояли и смотрели... как баран на ворота.

— Я думаю одно,— сказал Штерн.— Существа, построившие подобный корабль, в умственном отношении не ниже нас с вами. А если так, то они должны были понять ваше состояние. Они опустились и выйдут. Они вас, несомненно, видели и доказали вам это. С их точки зрения появление цилиндра — вполне достаточное доказательство.

— Если бы так!— сказал Куприянов.

— А может быть, это был фотоаппарат?— спросил Штерн.— Может быть, они вас просто сфотографировали?

— Это тоже возможно.

— Идите обедать!— сказал Штерн.— И не волнуйтесь. Они выйдут из корабля.

Он сказал это так уверенно, что Куприянов поверил.

Два плюс два—четыре

Секретарь Курского обкома партии Козловский уехал из лагеря поздно вечером. Ушли и машины, доставившие палатки и все остальное оборудование. Военные автомобили и две легковые машины остались в лагере. Их разместили позади линии палаток.

Сумерки быстро переходили в ночь. Звезды покрыли все небо. Запахи конопли, пшеницы и свежего сена, накошенного солдатами, смешивались с чуть слышным ароматом каких-то цветов. Было очень тепло.

К Куприянову подошел подполковник Черепанов.

— Что делать, товарищ профессор? — спросил он.— Наступает темнота. Часовые не смогут наблюдать за кораблем. Разрешите зажечь прожекторы.

— Прожекторы?..— удивился Куприянов.

— У нас двенадцать автомашин с прожекторными установками,— ответил Черепанов.— Я поставил их вокруг корабля.

Куприянов задумался.

Боязнь, что шар улетит, если его экипажу надоест такое непрерывное наблюдение за ними, подсказывала решение отказаться от прожекторов, но он вспомнил все, что говорил ему Штерн. Если эти существа действительно имеют намерение выйти из своего корабля, то они поймут, зачем их освещают, а если они намерены вообще не выходить, то улетят и без света. Кроме того, наблюдать за шаром было необходимо.

— Хорошо,— сказал он.— Зажигайте!

— Пойдемте посмотрим,— предложил Лебедев.— Это, наверное, интересное зрелище.

Члены экспедиции собрались возле крайней палатки, от которой днем хорошо был виден космический гость.

Стемнело так, что шар был едва различим. Его огромный темный силуэт смутно угадывался на юго-востоке.

Подполковник поднял руку, в которой была ракетница...

И вдруг вспыхнул свет.

Это не был свет прожекторов. Они должны были загореться только по сигналу.

Свет шел от корабля.

Яркий луч появился сначала в стороне от лагеря, потом быстро пробежал по полю, и палатки словно вспыхнули, освещенные сильным белым светом.

Луч медленно передвигался по лагерю, будто ощупывая его. Было ясно, что за ним неотступно следуют глаза тех, кто направлял его.

Что он означал? Что хотели сказать обитателям Земли пришельцы из глубин Вселенной этим лучом света?.. Или они зажгли его только для того, чтобы увидеть лагерь?.. Но они его хорошо могли рассмотреть днем. Свет был зажжен с какой-то другой целью, но с какой?..

Луч медленно приближался к стоявшей неподвижно группе людей.

Никто не пытался уйти с этого места, которое, как они хорошо понимали, через несколько секунд будет ярко освещено. С глубоким волнением они следили за приближением луча...

Вот он уже совсем рядом!

И вдруг луч подскочил вверх, пронесся над головами и погас.

Прошло несколько секунд, и он появился снова, погас, опять появился и снова погас.

Два раза!

Это было явно не случайно. Экипаж корабля адресовал эти две вспышки света людям.

Зачем? Что, что они хотели этим сказать?..

— Скорее!— сдавленным голосом сказал Штерн.— Где ближайший прожектор?

— Тут, рядом,— ответил подполковник.

Штерн и понявший его намерение Куприянов побежали за Черепановым. Следом бросились остальные.

— Зажгите прожектор и осветите корабль,— сказал Штерн.— Только одним этим прожектором. Ощупайте лучом весь шар и погасите. А затем два раза подряд зажгите на две, три секунды.

Космический корабль был слишком близко расположен и слишком велик, чтобы прожектор мог осветить его целиком. Белый круг света лег на поверхность шара и медленно обошел ее.

Ученые, стоявшие у автомашины, с пристальным вниманием следили за лучом.

Все одновременно заметили, как на поверхности шара блеснуло стекло, но луч только скользнул по нему на какую-то долю секунды.

Подполковник Черепанов поднял руку, но Штерн удержал его.

— Не надо! — сказал он.

Было ли это окно или стекло иллюминатора прожектора?..

Свет погас, и все погрузилось в темноту. Потом он снова вспыхнул на секунду... И еще раз. Два раза!

Все молча ждали. Ответит ли экипаж корабля?.. Понял ли он?

Мгновения показались им очень длинными...

Все в один голос вскрикнули, когда то, чего они так желали, на что так надеялись, свершилось.

Космический корабль ответил! С короткими промежутками замигал ответный луч. Четыре раза!

Два плюс два — четыре! Два, помноженное на два,— четыре! Два, возведенное во вторую степень,— четыре!

Единственное и несравнимое ни с каким другим числом тождество результата.

Трудно было ответить яснее.

Свет погас, и снова наступила темнота. Люди ждали. Космический корабль ответил Земле. Теперь он сам должен был задать вопрос.

— Зажгите три раза,— сказал Штерн.

Его приказание было исполнено, и через несколько секунд пришел ответ.

— Четыре!

В этом ответе был и вопрос. Все хорошо это понимали. Гости из глубин Вселенной ждали ответа!

— Я думал, что они ответят пятью,—сказал Штерн.

— Тогда бы мы ответили — семь и одиннадцать,— отозвался Степаненко.— Ряд простых чисел. Чего же они хотят теперь?

— Пять,— сказал Штерн.— Соотношение сторон прямоугольного треугольника.

— Отвечайте!— сказал Куприянов Черепанову.

Пять раз зажегся и погас прожектор.

И снова мрак окутал Землю и космический корабль, прилетеавший с другой Земли.

Свершилось!

Разум неведомой планеты и разум Земли обменялись первыми словами.

Эти слова были сказаны на том единственном языке, который должен быть понятен любому высокоразумному существу, в какой бы точке безграничной Вселенной он ни жил.

На языке **математики!**

Долго, очень долго стояли участники экспедиции у потухшего прожектора. Но луч корабля больше не загорался. Его экипаж был, по-видимому, вполне удовлетворен достигнутым результатом.

— Будем освещать корабль? — первый нарушил молчание подполковник Черепанов.

— Нет, нет! — ответил Куприянов.— Зажгите прожекторы, но не направляйте их на корабль. Осве-

тите местность вокруг так, чтобы люди, находящиеся в нем, могли видеть вокруг себя так же, как и мы.

«Люди, находящиеся внутри корабля»...

Теперь, когда был достигнут первый успех, когда стала реальной действительностью мечта, у него не повернулся язык назвать посланцев другого мира «существами».

Когда же они выйдут?

Лучшие умы человечества много размышляли над проблемами жизни на других планетах. Обветшалая гипотеза о Земле, единственной носительнице разумной жизни во Вселенной, давно уже была отброшена наукой. Идея множественности обитаемых миров постепенно завоевывала всеобщее признание.

Но как ни привлекательна была эта идея сама по себе, она оставалась только гипотезой, требующей доказательства.

И вот на Землю прилетел космический корабль!

Корабль стал виден на небе утром 27 июля в виде маленькой блестящей точки. В этот момент он был на высоте свыше четырех тысяч километров и находился далеко за пределами атмосферы.

Замедлив космическую скорость, с которой он летел в межзвездном пространстве, корабль в течение двадцати шести часов все ближе и ближе приближался к поверхности планеты. В семь часов сорок минут утра 28 июля (по московскому времени) он совершил посадку почти в центре Европейской части СССР, то есть в том месте, над которым впервые появился накануне.

Движение корабля совершалось независимо от движения Земли вокруг ее оси, и за эти двадцать шесть часов его экипаж мог рассмотреть неизвестную ему планету по всей длине пятьдесят второй параллели, над которой он находился. По счастливой для гостей случайности, на всем этом пространстве совершенно не было облаков, и Земля предстала глазам звездоплавателей во всем разнообразии своей природы.

Увлекаемые вращением Земли, под кораблем медленно проплыли равнины, леса и реки, города, деревни и села СССР, Польши, Германии и Голландии. Если гости наблюдали Землю с помощью оптических приборов, то они могли заметить и Лондон. Панорамы европейского материка сменились просторами Атлантического океана. Экипаж корабля мог видеть на юге безграничную водную равнину, а на севере — льды Арктики и Гренландию. Затем полуостровом Лабрадор открылся материк Северной Америки. Корабль был уже настолько близок к Земле, что экипаж мог ясно различить Кордильеры и вершину горы Колумбия, поднимающуюся на 4 300 метров, прямо над которой они пролетели. Тихий океан мог показаться им не особенно большим, так как они пересекли его в северной части, над Алеутскими островами. Оказавшись над Камчаткой, они снова вернулись в ту страну, от которой начали свой путь над Землей. И вот, пролетев всю Сибирь, миновав Уральские горы и пройдя над Волгой, корабль закончил свой полет в равнинной части Средне-Русской возвышенности.

Было несомненно: экипаж космического корабля понял, что на пути попалась густонаселенная, освоенная разумными существами планета. Приняв решение опуститься, они выбрали место, где не было поблизости ни одного населенного пункта. Возможно, что это было сделано для того, чтобы приземление их огромного корабля не повлекло за собой новых жертв. (Они не могли не заметить катастрофы самолета под Чкаловом.)

28 июля все утренние газеты мира были полны сообщениями о космическом корабле и его посадке. Сообщение ТАСС о приземлении корабля к северу от Курска, о его внешнем виде и об экспедиции Академии наук СССР печаталось крупным шрифтом на первых страницах. В газетах были помещены портреты участников экспедиции и приводились рассказы очевидцев полета корабля, главным образом летчиков.

Небольшой районный центр Золотухино, о существовании которого мало кто знал даже в СССР, за один день прославился на весь мир.

Краткое упоминание ТАСС об урагане, сопровождавшем посадку корабля, превратилось под пером бойких журналистов в страшную катастрофу, при которой якобы погибли тысячи жителей.

«ГОРОД ЗОЛОТУХИНО ИСЧЕЗ С ЛИЦА ЗЕМЛИ!»

«ПОСАДКА КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ ПОВЛЕКЛА ЗА СОБОЙ СМЕРТЬ НЕСКОЛЬКИХ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК!»

«ПРИЛЕТ КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ ПРИЧИНИЛ СССР СТРАШНЫЕ ОПУСТОШЕНИЯ!»

Такими заголовками пестрели в этот день страницы европейских и американских газет. За всей этой шумихой ясно сквозило желание скрыть глубокое разочарование, вызванное посадкой корабля не там, где хотелось бы авторам.

Дневные газеты вышли со статьями, посвященными тому же событию. Содержание этих статей было самым разнообразным, от теории звездоплавания до новых видов оружия, которые могли бы появиться в результате знакомства советских ученых с техникой гостей из глубин Вселенной. Некоторые газеты не замедлили использовать эту тему для призывов к увеличению производства атомного и водородного оружия.

В последующие дни посольства СССР были засыпаны бесчисленным количеством просьб о визах. Эти просьбы исходили от отдельных ученых, научных учреждений, обсерваторий, редакций газет и журналов, киностудий и просто частных лиц. Удовлетворить все эти просьбы было явно невозможно, но в отношении крупных ученых, представителей обсерваторий и некоторых научных журналов посольства запросили Москву.

Тысячи людей, которым было отказано в визах, подняли шум, обвиняя СССР в желании монополизировать космический корабль, скрыть его от других стран. Снова зазвучала во весь голос старая сказка о «железном занавесе». Пытаясь успокоить общественное мнение, крупнейшие газеты выразили уверенность, что, посетив СССР, экипаж космического корабля, несомненно, захочет ознакомиться и с другими странами Земли. «Потерпите! — писали эти газеты.— После СССР корабль прилетит к нам.

Незачем ехать для его осмотра в Советский Союз».

Миллионы людей собирались у радиоприемников, слушая последние известия московских станций о космическом корабле, которые через каждые три часа передавались на разных языках. Фамилии Куприянова, Штерна, Лебедева и Ляо Сена были у всех на устах. Всюду были известны все подробности прилета экспедиции, устройства лагеря, первой попытки разговора с помощью прожектора.

«КОГДА ЖЕ ОНИ ВЫЙДУТ ИЗ КОРАБЛЯ?»
«НА ЧТО ОКАЖУТСЯ ПОХОЖИ ЭТИ СУЩЕСТВА?»
«КАК УДАСТСЯ НАЙТИ С НИМИ ОБЩИЙ ЯЗЫК?»

Эти вопросы одинаково интересовали все население земного шара.

По мере того, как шло время, волнение усиливалось. Были забыты повседневные заботы и интересы. Никто не читал в газетах политических новостей. Спортивные соревнования проходили на пустых стадионах. Театры и концертные залы собирали едва четверть обычного числа зрителей. Зато аудитории и лекционные залы ломились от желающих прослушать лекцию по астрономии. У кинотеатров, в которых демонстрировались научно-популярные фильмы о Вселенной, выстраивались гигантские очереди. В магазинах невозможно было достать книгу, имеющую хотя бы отдаленное отношение к науке о небесных телах. Люди, никогда раньше не интересовавшиеся небом, жадно вчитывались в астрономические книги, пытаясь разгадать, откуда прилетел корабль. За всю историю астрономии эта наука никогда не имела столько поклонников и усердных учеников, как в эти дни. Словно человечество впервые заметило небо над головой, и миллионы людей с наступлением вечера подолгу простаивали на улицах и площадях, глядя на звезды. Плохая погода расценивалась как величайшее несчастье, и люди проклинали облака, закрывавшие от их глаз блистательную красоту Вселенной, на которую они раньше так редко обращали внимание.

Интерес к кораблю и нетерпеливое ожидание выхода его экипажа усиливались все больше и больше.

В лагере экспедиции на весь этот шум не обращали никакого внимания. Ученые деятельно готовились к предстоящей работе. Считалось вполне вероятным, что корабль за все время своего пребывания на Земле не переменит места стоянки, так как трудно было предположить, что его запасы энергии неограниченны, а для того, чтобы оторваться от земли, требовалось чудовищное количество этой энергии. Исходя из такого соображения, решили подготовить все материалы для работы на месте, которая мыслилась как ознакомление гостей с жизнью земли во всех ее проявлениях. Предполагалось, что в составе экипажа находятся ученые различных специальностей и что их будут интересовать все области человеческой деятельности. По мнению Ляо Сена и Лежнева, на изучение языка гостей или на изучение ими одного из языков Земли (в зависимости от того, который окажется для них легче) потребуется не менее двух месяцев, и то, если такая задача окажется вообще осуществимой. Последнее особо подчеркивалось Лежневым, который мало верил в успех.

— Может случиться,— говорил он,— что как мы, так и они не сможем воспроизвести звуки языка друг друга.

Мало кто разделял это мнение, но среди скептиков были и такие авторитетные лица, как Штерн и Манаенко. Старый академик напоминал об эпизоде с появлением цилиндра во время первого осмотра корабля и был непоколебимо убежден, что металлическое пощелкивание было звуком голоса кого-то из членов экипажа. «Они приветствовали вас на своем языке»,— говорил он. Профессор Манаенко соглашался с ним. Если это действительно было так, то приходилось согласиться с мнением Лежнева. Для человеческого голоса такие звуки были недоступны, а для существ, говорящих при помощи «птичьих» звуков, будут недоступны звуки человеческого языка. В этом случае остается единственный способ общения — рисунок.

С утра и до позднего вечера в лагере кипела работа. Независимо от специальности все члены экспедиции принимали участие в подготовке, заключалась ли она в устройстве химической лаборатории для Аверина или технического «музея» Смирнова и Манаенко. Ежедневно в лагерь приходили сотни писем со всех концов Советского Союза и из-за рубежа. Космический корабль и предстоящая встреча с его экипажем были в центре внимания миллионов людей, и не удивительно, что у экспедиции нашлись тысячи добровольных помощников.

Конечно, ни Куприянов, ни весь состав экспедиции не смог бы прочитывать всю эту массу писем. На помощь пришли корреспонденты ТАСС. Они были относительно свободны и добровольно взяли на себя разбор корреспонденции, что было очень нелегким делом.

Два раза в день Куприянов или Штерн выступали перед микрофоном передвижной радиостанции, всегда в одно и то же время. Их сообщения транслировались по всей Земле. Сотни миллионов человек с волнением ждали этих сообщений.

Массовых экскурсий к космическому кораблю не было, но все же каждый день в лагере появлялись сотни людей. Большинство приходило только для того, чтобы посмотреть на звездолет, но многие появлялись с какой-нибудь идеей и настойчиво требовали, чтоб их выслушал начальник экспедиции. Куприянов хорошо понимал, что этими людьми движет искреннее желание оказать помощь, но был физически не в состоянии говорить со всеми. Эту обязанность взяли на себя Широков и Синяев.

Все человечество нетерпеливо ждало знаменательного события — выхода экипажа корабля. Но после светового разговора космический корабль не обнаруживал никаких признаков жизни. Луч не появлялся, а наблюдатели, не спускавшие глаз с корабля, не замечали в нем никаких признаков внутренней жизни. Шар казался мертвым.

Что делал экипаж корабля? Если гости решили совсем не выходить, то зачем им было оставаться так долго на одном месте? А если они хотели выйти, то почему откладывали свое намерение? Было вполне вероятно, что звездоплаватели с таким же нетерпением хотели познакомиться с Землей, с каким обитатели Земли хотели познакомиться с ними.

Но экипаж не выходил из шара, и эти вопросы оставались без ответа.

В первые дни Куприянова осаждали требованиями ответить на них хотя бы приблизительно, в порядке предположения, но профессор отказался заниматься досужими вымыслами.

— Я к этому не привык,— отвечал он.

За него это делали другие. Тысячи предположений ежедневно печатались в заграничных газетах. В Англии даже был открыт своеобразный «тотализатор», в котором могли участвовать за определенный взнос все желающие. Угадавший день выхода экипажа мог рассчитывать на крупный выигрыш.

В научных кругах мира считали, что экипаж выйдет тогда, когда тщательно изучит состав атмосферы.

По мнению Куприянова, на такой процесс «акклиматизации» могло потребоваться не менее месяца.

Второй разговор

Все таинственное, загадочное, непонятное имеет какую-то притягательную силу для людей мыслящих. Ученый любой специальности прежде всего любопытен. Это — хорошее, благородное любопытство. Оно источник радости, но и причина искренних и глубоких страданий, когда загадка нескоро поддается усилиям пытливой мысли. Ученые по самой своей природе активны. Они не могут ждать, пока тайна раскроется сама. Они стремятся раскрыть ее «силой». Пассивное ожидание чуждо натуре настоящего ученого. Не удивительно поэтому, что ожидание — когда же наконец раскроется тайна корабля,— по мере того как шло время, начинало все больше и больше раздражать участников экспедиции. Самый вид звездолета, неподвижного и загадочного, вызывал чувство досады, и люди становились с каждым днем все более молчаливыми и хмурыми.

«Когда они выйдут?»— этот навязчивый вопрос не давал покоя не только участникам экспедиции, но и всем офицерам и солдатам, несшим охрану шара.

С момента приземления корабля прошло уже шесть дней, но он по-прежнему не подавал никаких признаков жизни.

Никто не знал, сколько времени пробудет на Земле космический корабль. Полгода? Год? Ведь для того, чтобы одолеть расстояние от ближайшей планетной системы до солнечной, звездолету потребовалось не меньше четырех — пяти лет, и то, если он летел со скоростью света. (Штерн и Смирнов не допускали такой возможности.) На обратный путь требовалось такое же время. Казалось невероятным, что экипаж корабля, совершив такой длительный путь, в скором времени покинет Землю. Звездоплаватели, безусловно, захотят хорошо ознакомиться с населенной планетой, встретившейся на их пути.

Зимовать в наскоро оборудованном лагере было невозможно. Но захочет ли экипаж звездолета покинуть свой корабль? Это было сомнительно.

Все должно было выясниться тогда, когда экипаж выйдет, и если будет найден общий язык.

Вечером третьего августа Широков зашел в палатку, занятую Куприяновым, Штерном, Лебедевым и Ляо Сеном, и застал всех четверых.

— Садитесь, Петр Аркадьевич,— приветствовал его Штерн.— Что новенького?

— Когда же они наконец появятся? — спросил Широков вместо ответа.

— Свеженький вопрос! — сказал Лебедев.

— Я не понимаю,— продолжал Широков, не обращая внимания на насмешку.— Почему не спросить об этом экипаж корабля?

— Спросите,— пожав плечами, сказал Ляо Сен.— Если имеете возможность. Будем вам очень благодарны за такую услугу.

Подобная реплика со стороны всегда спокойного и невозмутимого китайского ученого ясно показывала, до какой степени у всех были напряжены нервы.

— Я считаю, что это вполне можно сделать,— сказал Широков.

— Тем лучше! — буркнул Лебедев.

— Что вы придумали, Петр Аркадьевич? — спросил Куприянов.

В его голосе прозвучало волнение. Все уже серьезно смотрели на Широкова, ожидая ответа.

— Очень простую вещь. Надо спросить их лучом прожектора. Как в первый вечер. Они не могут не понимать, что мы с нетерпением ожидаем их выхода. Надо послать семь вспышек по числу прошедших суток. Они обязательно поймут, что это вопрос, и ответят.

Несколько секунд все молчали.

— Что ж! Это идея! — сказал Лебедев.

— И весьма неплохая! — сказал Штерн.— Молодец, Петр Аркадьевич!

Куприянов ласково посмотрел на своего любимого ученика.

— Найдите подполковника и позовите сюда! — сказал он.

Широков бегом бросился за Черепановым.

Мысль использовать прожектор, чтобы задать экипажу звездолета мучивший всех вопрос, пришла ему в голову часа два назад. Он тщательно обдумал ее и только тогда решился предложить эту идею профессорам, не опасаясь с их стороны насмешливого отказа. Широков был очень самолюбив и избегал высказывать незрелые мысли.

Космический корабль и заключенные в нем тайны с непреодолимой силой влекли к себе воображение молодого ученого. Вероятно, больше всех в лагере он мучился нетерпением и старался найти способ как-нибудь узнать время выхода из корабля его экипажа.

Часами смотрел он на загадочный шар, и смелые мысли теснились в его голове. Он сам боялся тех мыслей, которые возникали все чаще и чаще, но упорно возвращался к ним, и они начали казаться ему осуществимыми. Сердце билось радостно и тревожно, нетерпение становилось сильнее, неизвестность мучительнее. Постоянно думая об одном и том же, он наконец нашел, как ему казалось, верный способ решить загадку.

Получив одобрение старших товарищей, он, как мальчик, бежал по лагерю, отыскивая командира полка.

Остроумная мысль Широкова понравилась всем.

— Молодец! — еще раз сказал Штерн.

— Вот ведь никому не пришла в голову такая простая мысль,— заметил Лебедев.

— Простые мысли часто оказываются самыми трудными,— сказал Ляо Сен.

Очевидно, Широков успел по пути рассказать о предстоящей попытке, так как участники экспеди-

ции один за другим поспешно подходили к палатке Куприянова.

Вскоре явился и подполковник.

— Прожекторная установка всегда готова,— ответил он на вопрос профессора.

Как и в первый вечер, все столпились вокруг машины.

Было еще совсем светло, но Куприянов и Штерн рассчитывали, что экипаж звездолета все-таки заметит луч прожектора. Ожидать, пока наступит полная темнота, не хватало терпения.

Вспыхнул прожектор, и семь коротких лучей ударились в белый корпус корабля.

Все молча ждали. Слышалось только взволнованное дыхание людей. Минута шла за минутой, но ответного луча не появлялось.

— Не заметили,— сказал Штерн.— Надо повторить.

Едва он это сказал, как от корабля пришел ответ. Вспыхнул свет его прожектора и погас.

— Один! — сказал Куприянов.— Неужели завтра?

— Мне кажется, что это только просьба повторить,— сказал Широков.— Они не успели сосчитать.

— Да, пожалуй,— сказал Штерн.— Для них это было неожиданно.

— Повторите,— обратился Куприянов к подполковнику.

Снова семь раз появился и погас луч прожектора. И тотчас же космический корабль ответил.

Двенадцать раз!

— Значит ли это, что они выйдут через двенадцать дней после посадки на Землю или через двенадцать дней, считая от сегодня? — спросил Лебедев.

И, будто услышав его вопрос, луч замигал опять.

ДЕВЯТНАДЦАТЬ раз!

— Ясно! — сказал Куприянов.— Они выйдут через двенадцать дней, то есть пятнадцатого августа! Пошлите им одну вспышку в знак того, что мы поняли.

Прожектор поставил короткую точку.

Иностранцы

Четвертого августа Куприянов получил радиограмму, извещавшую его о скором приезде трех западных ученых и пяти журналистов. Иностранцы должны были приехать двенадцатого числа, и начальнику экспедиции предписывалось встретить их и обеспечить всем необходимым.

Озабоченный этим известием, Куприянов показал радиограмму Штерну.

— Что же удивительного? — сказал академик.— Мы не можем монополизировать космический корабль. Это первые ласточки. За ними последуют другие.

Он взял листок из рук Куприянова и внимательно прочел его:

— «Директор Кембриджской обсерватории Чарльз О'Келли, профессор биологии Линьелль, профессор Маттисен...»

— Тоже биолог,— вставил Куприянов.

— И пять корреспондентов: Дюпон, Браунэлл, Гельбах, Лемарж и Ю Синь-чжоу. Пока рано строить второй лагерь. Поселите их здесь. Скажите, чтобы поставили еще две палатки.

Спустя пять дней Куприянов, Штерн и Лебедев поехали встречать гостей. Поле, на котором когда-то опустились самолеты экспедиции, превратилось за эти дни в оборудованный аэродром. У полотна железной дороги была построена платформа и возле нее два дома: один, побольше,— для обслуживающего персонала и небольшой домик, где помещался караул и начальник аэропорта.

Поле было ограждено, и на высокой мачте развевался флаг.

Ожидать пришлось недолго. Минут через двадцать над полем появились два самолета и один за другим опустились на аэродром. Первым вышел академик Неверов — президент Академии наук.

— Не вытерпел! — сказал он, здороваясь с Куприяновым.— Прошу меня приютить. У вас все готово для приема гостей? — озабоченно спросил он.

— По мере возможности, Александр Николаевич. Наш лагерь не курорт.

Кроме президента, из самолетов вышло еще тринадцать человек. Куприянов нахмурился.

— Мне сообщили только о восьми.

— Семеро корреспондентов. Трое ученых и их секретари.

Академик Неверов представил Куприянову и его спутникам всех прибывших.

Астроном Чарльз О'Келли оказался человеком высокого роста. Его лицо казалось совсем молодым, но длинные, совершенно седые волосы говорили о другом. Серые глаза были умны и проницательны. Здороваясь со Штерном, он сказал ему несколько любезных слов.

Жорж Линьелль, маленький, неряшливо одетый старик, с чисто выбритым морщинистым лицом, радостно приветствовал профессора Лебедева и тотчас же вступил с ним в оживленный разговор: они встречались раньше и знали друг друга.

Профессор Маттисен был типичный швед. Огромного роста, розовощекий, белокурый, с трубкой в крепких, белых зубах. Он с силой пожимал всем руку и радостно улыбался.

Четыре корреспондента — молодые энергичные люди, которых на первых порах было трудно отличить друг от друга. Они немедленно взялись за фотоаппараты и сфотографировали все, что было на аэродроме.

Ю Синь-чжоу скромно стоял в стороне рядом с двумя московскими корреспондентами. Поздоровавшись, он тотчас же опять отошел. Его узкие глаза внимательно наблюдали за всеми.

Из самолетов выгрузили довольно объемистый багаж.

Куприянов, посадив иностранцев в машины, прошел в кабинет начальника порта.

Через две минуты туда же зашел один из прибывших московских корреспондентов.

— Вы товарищ Куприянов? — спросил он.

— Да. А вы полковник Артемьев?

— Совершенно верно. Разрешите представить мой документ.

Куприянов посмотрел удостоверение и сказал:

— Идите! Не надо, чтобы нас видели вместе.

Полковник повернулся и вышел.

Пятнадцатое августа

День пятнадцатого августа выдался на редкость хороший. Рано утром прошел небольшой дождь, но к восьми часам небо совершенно очистилось, и омытая от пыли земля нежилась под жаркими лучами солнца. Наступил тот день, которого с волнением и трепетом ждало все население земного шара. Если световой разговор был правильно понят, то именно сегодня экипаж космического корабля должен был наконец показаться людям.

Специально приехавший из Москвы радиокомментатор с помощью радистов лагеря налаживал и испытывал переносный микрофон, готовясь к репортажу. Его рассказ о встрече будет транслироваться по всей земле. Корреспонденты с особым вниманием проверяли кино- и фотоаппараты.

Никто не знал, в котором часу произойдет долгожданное событие.

С самого утра все было готово к встрече. В ста метрах от шара ровными рядами выстроились войска. Ближе расположился оркестр и почетный караул. В пятидесяти метрах от корабля стоял микрофон, и возле него собрались все члены научной экспедиции и иностранные гости. Корреспонденты со своими аппаратами были тут же.

— Не мы одни волнуемся и ждем,— сказал Куприянов.— Они с таким же нетерпением ждали этого дня. Они тоже готовятся к встрече с нами и, может быть, тоже обсуждали, как сделать, чтобы мы их поняли.

— Им гораздо легче,— возразил Штерн.— Они видят нас и все время наблюдали за нами, а мы даже не представляем себе, что они такое.

В радиусе пятисот метров корабль плотной стеной окружали толпы народа. Никакие запрещения не смогли удержать жителей окрестных городов и сел, и они со вчерашнего вечера непрерывно подходили и подъезжали к лагерю. Больше половины этих людей провели здесь всю ночь и стоически мокли под утренним дождем.

Караульная цепь была отодвинута от шара на полкилометра, и люди остановились у этой границы, не пытаясь подойти ближе.

День обещал быть очень жарким. Ни малейшего дуновения ветра не чувствовалось в воздухе.

Шар был неподвижен и загадочен, как всегда. Белый корпус по-прежнему скрывал от людей то, что находилось внутри. Видит ли экипаж корабля все эти приготовления? Понимает ли он, что это означает?

Люди не спускали глаз с корабля. Они не замечали зноя, готовые ждать и ждать.

Внезапно со стороны корабля раздался громкий звук. Как будто тяжелый молот с силой ударился о звонкий металл. Мелодичный, вибрирующий аккорд пронесся над полем и смолк.

Его слышали все. Огромное кольцо толпы всколыхнулось одновременным движением подавшихся вперед людей.

Над лагерем, над полем, над притихшей толпой медленно и величаво поплыли звуки неведомой мелодии. Какой-то очень мощный инструмент чистым металлическим звуком играл, вероятно, гимн, гимн неизвестного народа, неизвестной планеты. Эти звуки не напоминали ни один из музыкальных инструментов Земли. Словно громадный хор людей с металлическими голосами пел на неведомом языке неведомую песню. Она звучала с какой-то необычайно мягкой силой, и ее было хорошо слышно на много километров вокруг.

Люди стояли, глубоко потрясенные этой музыкой, впервые раздавшейся на их планете. Это было создание неведомого композитора, близкое и дорогое тем существам, которые прилетели на Землю, иначе они не взяли бы его с собой.

Смолкла музыка, и опять над полем пронесся тяжелый удар молота о звонкий металл.

Наступила тишина.

Напряжение достигло предела. Сейчас они должны выйти! Вот сейчас в каком-то, пока неизвестном месте откроется дверь, может быть, на землю упадет лестница, и появятся... Кто? Какие существа выйдут к людям?.. Уродливые пауки с мохнатыми телами и неподвижным жестоким взглядом огромных глаз, глаз спрута? Подобия людей, с шестью руками и хоботом на лице? Исполинские жуки с жесткими перепончатыми крыльями и человеческими головами?..

Или вся фантазия земли не в силах предвидеть их внешний облик?

Их ждали.

Ждали с напряженным вниманием, не спуская глаз с корабля, но они появились неожиданно. Того, что произошло в действительности, никто не ожидал.

Внезапно со всех сторон одновременно раздался тысячеголосый крик...

На самой вершине шара показалось живое существо.

Несколько секунд оно неподвижно стояло, четко вырисовываясь на голубом фоне неба.

Потом рядом с ним появились еще семеро.

Они казались совсем маленькими на такой высоте в сравнении с исполинским размером их звездолета. Контуры их фигур были похожи на людей, одетых в длинные, мягкие одежды. Отчетливо виднелись головы.

Почему они появились наверху? Или, показавшись людям, они снова исчезнут внутри корабля, не ступая на землю? Может быть, они опасаются приближаться к неизвестным им существам?..

И вдруг складки «одежд» зашевелились, распахнулись, и восемь крылатых фигур поднялись в воздух...

Птицы! Птицы с человеческими головами!..

Они плавно, свободно и красиво опускались вниз. Крылья не шевелились. Они управляли своим полетом, как делают это орлы или ястребы, наклоняя тело и слегка покачиваясь.

Подняв головы, застыв от изумления, люди следили за полетом своих гостей.

Птицы...

Разумные птицы населяли неведомую планету, откуда прилетел этот корабль.

И этот гигантский шар был сделан птицами. И музыка, прекрасная мелодия гимна-песни была создана птицей... С этими пернатыми звездоплавателями говорили люди на языке математики. И птицы осуществили великую мечту человечества — межзвездный полет!

Люди ждали... но того, что они увидели, никто не мог предвидеть...

(Окончание следует).

Георгий МАРТЫНОВ

Планетный гость

Рисунки А. Побединского.

Фантастическая повесть

Тишину нарушил голос профессора Лебедева.

— Этого не может быть! — сказал он.

— Значит, может,— печально отозвался Штерн.

В пяти шагах от группы ученых птицы легко и плавно опустились на землю, сложили крылья и встали на ноги... на обыкновенные человеческие ноги... на ДВЕ ноги!

Крылья отделились от тела и легли на землю. Освободились руки... ДВЕ! Летательные аппараты лежали у ног.

Да, это были не птицы, а ЛЮДИ!

Все восемь в светло-серой одежде, похожей на летные комбинезоны, с красными меховыми воротниками и такими же манжетами на запястьях. На каждой руке ПЯТЬ пальцев, только значительно более длинных, чем у людей.

И они черные!

Всё — руки, шеи, лица — черное, как китайская тушь.

Черты их продолговатых лиц были такие же, как у людей белой расы, и красивы, красивы с ЗЕМНОЙ точки зрения. Светлые золотистые волосы лежали мягкими волнами.

Их глаза (ДВА глаза) были длинны и узки, так что казались прищуренными. Они были высокого роста, около двух метров.

Освободившись от своих крыльев, они сдвинулись теснее, ближе друг к другу, подняли головы и прямо взглянули своими узкими глазами в глаза людей.

Несколько минут представители двух миров неподвижно стояли друг против друга.

Люди Земли испытывали такое мучительное волнение, что, казалось, продлись оно еще немного — сердце не выдержит и разорвется. Они были не в силах сделать хотя бы одно движение.

Что испытывали пришельцы из глубин Вселенной, было трудно сказать, но их неподвижность говорила о многом.

И вдруг гость, стоявший прямо против Куприянова, сделал несколько шагов вперед и обнял его. Обнял так, как сделал бы это человек Земли, встретивший друга после долгой разлуки.

Окончание. Начало см. № 9 за 1957 год.

И ученый Земли ответил посланцу другой планеты крепким объятием.

Радиокомментатор опомнился и бросился к забытому микрофону. Фоторепортеры с растерянными лицами взялись за аппараты: они тоже забыли о своих обязанностях и не засняли появление гостей. Все смешалось в волнующуюся, гудящую толпу.

Несколько минут у корабля творилось что-то незообразимое. Звездоплаватели переходили из объятий в объятия. Каждый хотел хотя бы притронуться к ним.

Первым пришел в себя Черепанов. Он что-то сказал стоявшему рядом с ним офицеру. Раздалась громкая команда, перекрывшая шум. Со смущенными лицами солдаты бегом вернулись на прежнее место и с молниеносной быстротой выстроились.

Гости получили свободу.

Все это время Куприянов стоял рядом с гостем, обнявшим его, держа его за руку. Они смотрели друг на друга и улыбались.

Радиокомментатор подошел к ним и попросил профессора выступить перед микрофоном.

— Я передал все, что произошло,— сказал он.— Теперь нужно, чтобы вы сказали несколько слов.

Куприянов подошел к микрофону. Он знал, что вся Земля будет слушать его, но внешне был совершенно спокоен.

Командир звездолета (это, вероятно, был командир!) последовал за ним. Он внимательно и серьезно наблюдал за всем происходящим.

Его лицо бороздили глубокие морщины, и в волосах проступала седина. Он был уже далеко не молод. Глаза, губы (серого цвета), пальцы рук были непохожи на человеческие, и все же это был самый настоящий человек, только черного цвета, такого черного, какими не бывают даже негры.

Окончив свою краткую речь, Куприянов на секунду задумался и чуть дрогнувшим голосом сказал в микрофон:

— А теперь мы попросим командира звездолета сказать нам несколько слов.

Он отступил на шаг и жестом пригласил гостя подойти к микрофону.

Куприянов не мог объяснить, что побудило его сделать это, не знал, умеет ли этот черный человек говорить, не знал, поймет ли он, чего от него хотят.

Члены научной экспедиции, стоявшие вокруг микрофона, с изумлением посмотрели на своего руководителя.

И вдруг в наступившей тишине раздался мягкий голос. Говорил звездоплаватель.

Звуки неизвестного языка понеслись в эфир. Странные, чуждые земному слуху, с отчетливыми промежутками между словами, они поражали какой-то необычайной мягкостью. Как будто после каждой согласной буквы стоял мягкий знак, независимо от гласной, следующей за нею.

Он говорил не больше минуты. Закончив, он повернулся к Куприянову и улыбнулся, словно этой улыбкой спрашивал:

— Довольно ли?

Лежнев и Ляо Сен с особым вниманием прислушивались к языку гостя. Оба с удовлетворением отметили, что в этом языке не было ни одного звука, который люди не могли бы воспроизвести. Наибольшая трудность, несомненно, заключалась в мягкости согласных, которая не была свойственна земным языкам, но эта трудность не казалась непреодолимой.

Оба запомнили последнее слово в речи гостя.

Если написать это слово русскими буквами, то получалось странное созвучие: «КЬАЛЬИСЬТЬО».

Крылья

Кялистьё,— повторил Ляо Сен, стараясь произносить звуки как можно мягче.

Звездоплаватель отрицательно покачал головой.

Это движение, столь понятное и привычное людям, было с удовольствием воспринято всеми. Между гостями и хозяевами обнаруживалось все большее и большее сходство.

— Кьальисьтьо, — сказал он отчетливо.

Ляо Сен повторил, тщательно выговаривая «а» вместо «я» и «о» вместо «ё». Получилось гораздо лучше.

Звездоплаватель, одобрительно улыбнувшись, показал рукой на корабль, потом на себя и своих спутников и, наконец, на небо.

— Кьальисьтьо! — повторил он еще раз.

— Это, несомненно, название планеты, с которой они прилетели,— сказал Куприянов.

— Странное совпадение! — заметил Штерн.— Нам известна планета Каллисто. Это один из крупных спутников Юпитера, вторая по величине «луна» солнечной системы.

— Может быть, они с нее и прилетели? — спросил кто-то.

— Ну что глупости говорить! Во-первых, по нашим данным, Каллисто совершенно непригодна для жизни, а во-вторых, никак не могло так случиться, чтоб и мы и они назвали небесное тело одинаковым именем.

— Такое предположение действительно не выдерживает критики,— сказал Неверов. Он обвел рукой вокруг, показал вниз и раздельно произнес:

— Земля.

— Зьемьлья,— повторил гость.

Он опять указал на корабль и своих спутников, потом на людей и, подняв руку к небу, быстро опустил ее вниз, указывая на землю.

— Кьальисьтьо — Зьемьлья! — сказал он.

Смысл этого жеста и слов был совершенно ясен. Корабль прилетел на Землю с планеты Каллисто.

Еще несколько слов было сказано с обеих сторон. Широков вынул блокнот и тщательно записывал каждое слово. Звездоплаватели обходились без записей. Видимо, они или запоминали или решили, что этот первый разговор не стоит записывать.

Хозяева остались вполне довольны этим первым разговором. Насколько они понимали выражение лиц своих гостей, те тоже были удовлетворены.

Командир корабля показал рукой на темное кольцо толпы, все еще стоявшей на том же месте и не расходившейся.

— Люди! — сказал Лежнев.

— Льюдьи! — кивнул головой звездоплаватель. Он указал на своих товарищей, потом на толпу и изобразил руками крылья.

— Они хотят полететь к народу,— сказал Штерн.

Куприянов жестами показал, что желание гостей понято и не встречает возражений.

Семеро из них, в том числе и командир, подошли к своим крыльям, лежавшим на земле. Быстро и, видимо, привычно они надели на себя что-то похожее на длинную мягкую одежду. Теперь все заметили, что на спине помещался продолговатый ящик, сделанный из темного металла. Крылья прикреплялись к телу при помощи гибких металлических «ремней». Руки вошли в «рукава», вделанные с внутренней стороны крыльев.

Звездоплаватель, не присоединившийся к своим товарищам, поднял с земли свои крылья и подошел к людям. Семеро других, уже готовые к полету, стояли, не трогаясь с места, и ждали чего-то.

Звездоплаватель медленно надел на себя летательный аппарат. Он явно хотел показать людям, как это надо делать. Продев руки в «рукава», он

глазами указал на маленький ящичек, прикрепленный под левым крылом. На крышке ящичка было четыре кнопки. Он положил на них пальцы и нажал на первую кнопку, справа. С тихим шуршащим звуком крылья распахнулись. Их размах достигал четырех метров. На вид они были жестки и упруги. Каркас, на котором они держались, был, очевидно, внутри. Переждав минуту, чтобы дать возможность людям осмотреться, он кивком головы снова обратил внимание на кнопки и нажал вторую. Столб пыли поднялся с земли за его спиной. Но он не двигался с места. Показав, опять-таки глазами, на правую руку, он как бы попросил обратить внимание на второй такой же ящичек, на крышке которого находилась маленькая рукоятка. Он чуть-чуть, едва коснувшись, повернул рукоятку и сейчас же поставил ее в прежнее положение. Несмотря на молниеносную быстроту этого движения, звездоплаватель поднялся на метр от земли и опустился обратно. Пыль вихрем кружилась позади этой крылатой фигуры. Нажав третью кнопку, он остановил двигатель (ящик на спине был, несомненно, двигателем). Он нажал четвертую кнопку — и крылья сложились.

Все с волнением и интересом следили за этой демонстрацией.

— Ясно и, кажется, очень просто! — сказал Широков.

Звездоплаватель снял с себя летательный аппарат и протянул его Куприянову. Он явно приглашал его полететь.

— Ну, нет! Это не для меня! — сказал профессор.

— Я полечу! — воскликнул Широков.

— Упадете и разобьетесь,— сказал Штерн.

— Конечно, упадете,— поддержал его Куприянов.

— Я так не думаю,— возразил президент.— Эти люди очень разумны и не стали бы предлагать лететь, если бы не были уверены в устойчивости аппарата. Они должны понимать, что у нас нет и не может быть опыта.

— Я полечу! — повторил Широков.— Когда-то я мечтал стать планеристом...

Он решительно протянул руку к крыльям.

Звездоплаватель улыбкой выразил свое одобрение. Его узкие глаза смотрели прямо в глаза молодому медику.

— Вьельи! — сказал гость.

По интонации это слово, вероятно, означало «смелее».

Широков с удивлением заметил, что совсем не волнуется. Он надел на себя аппарат, оказавшийся очень легким, и продел руки в «рукава». Кнопки и рукоятка оказались как раз под пальцами. Звездоплаватель заботливо помогал ему. Он еще раз показал на каждую кнопку и жестами объяснил, для чего они служат.

Широков кивнул головой.

— Петр Аркадьевич! — взволнованно сказал Куприянов.— Может быть, лучше не надо?

— Нет,— ответил Широков.— Теперь уже поздно!

Он подошел к семерым звездоплавателям, которые встретили его ласковыми, одобрительными улыбками.

Командир сказал что-то, и его товарищи раздвинулись, освобождая место друг другу, чтобы иметь возможность свободно раскрыть свои крылья. Широков стоял рядом с командиром.

Ему еще как-то не верилось, что через несколько секунд он действительно превратится в птицу и полетит по воздуху с помощью этого непонятного аппарата. Он стоял и улыбался.

Раздался сильный шорох, и семь пар крыльев раскрылись рядом и позади него.

Широков стиснул зубы и нажал кнопку. Аппарат раскрылся с такой силой, что его руки поднялись сами собой.

Командир повернул к нему голову и кивнул.

Широков нажал вторую кнопку. Он ничего не почувствовал. Увидел только, как у ног командира вихрем поднялась пыль. Из ящика, расположенного

на спине, очевидно, била сильная струя воздуха или какого-нибудь газа.

Он знал, что рукоятка, расположенная справа, служит для усиления струи, и понимал, что надо повернуть ее, но не мог сделать этого: его пальцы вдруг онемели.

Он увидел, как Куприянов быстро направился к нему, и понял, что тот хочет запретить ему лететь. Поборов минутное оцепенение, он резко повернул ручку.

Земля провалилась вниз. Он почувствовал упругое сопротивление воздуха. Мощная сила несла его вперед. Тело само собой приняло горизонтальное положение. Рядом висел в воздухе командир звездолета, внимательно наблюдая за ним. Широков увидел внизу дорогу и понял, что летит к лагерю. Командир наклонил тело и повернул влево. Широков поднял правую руку и опустил левую. Его тело послушно повернуло в нужном направлении. Он чуть повернул ручку и полетел быстрее, догоняя командира. За ними летели остальные шестеро.

Чувство страха совсем исчезло. Аппарат был послушен. Широков целиком отдался необычайному и приятному ощущению этого свободного полета. Он наклонялся вправо и влево, опускался вниз и снова поднимался. Его спутники повторяли все его движения, очевидно, еще не решаясь оставить его одного. Они держались близко к нему и, казалось, были готовы в любую секунду прийти на помощь.

Прошло не более двух минут, и Широков почувствовал себя так, словно десятки раз летал на этих чудесных крыльях.

Они летели к кольцу толпы и, очутившись над нею, опустились совсем низко.

Широков намеренно отстал, пропустив своих спутников вперед. Они не возражали против этого, убедившись, что их земной товарищ чувствовал себя свободно.

Широков видел внизу, на расстоянии всего трех — четырех метров, поднятые к ним бесчисленные лица, слышал оглушительный шум приветственных криков. Шапки летели вверх, едва не задевая крылатых звездоплавателей. Несколько кепок и фуражек, подкинутых слишком высоко, были далеко отброшены струей от двигателей. Широков вспомнил при этом катастрофу под Чкаловом и понял, что эти аппараты двигались по тому же принципу, что и весь космический корабль.

Его спутники описывали в воздухе широкий круг. Они явно хотели облететь все кольцо толпы.

Широков внезапно почувствовал, что его руки устали, они начали болеть все сильней и сильней...

Группа ученых, корреспонденты и несколько офицеров полка стояли на том же месте, наблюдая за полетом. Куприянов очень волновался за своего ассистента, но, увидя, как легко и свободно он летит, успокоился.

— Молодец! — воскликнул Штерн.

— Жаль, что я уступил ему место,— шутливо сказал Куприянов.

— Ну, вот и состоялось это знаменательное событие,— проговорил президент.— И они оказались обыкновенными людьми! А сколько было гипотез!

— Я сразу не поверил, что это птицы,— сказал Лебедев.— Организм высокоразумных существ формируется трудом. Для труда необходимы соответствующие органы тела — руки или что-нибудь подобное рукам, но не крылья. Вы заметили, какие у них длинные и гибкие пальцы? Рука не только орган труда, она также его продукт, как говорил Фридрих Энгельс.

— Это верно,— сказал Аверин.— Руки свидетельствуют, что на их планете, так же как на Земле, царит труд.

— Без труда не построишь такой корабль,— заметил Неверов.

— Меня интересует: сможем ли мы осмотреть корабль внутри?— сказал Куприянов.

— А почему же нет?

— А каким способом мы проникнем в него?

— Может быть, есть другой выход, внизу, а если нет, то можно затребовать вертолет,— ответил Неверов.

— Это удачная мысль,— подхватил Штерн.— Если Михаил Михайлович не хочет уподобляться птице, то мне это и подавно не удастся.

Звездоплаватель, молча стоявший рядом, тронул Куприянова за плечо и показал рукой налево.

Крылатые фигуры несколько минут назад скрылись за шаром. Все видели, что Широков летел сзади. Теперь, когда они появились с другой стороны, их было только семеро.

Несколько секунд люди не могли понять, что это значит. Семь фигур летели вперед. Восьмая не появлялась.

Но вдруг спокойное течение полета нарушилось. Семь «птиц» резко повернули обратно. Очевидно, они заметили исчезновение своего спутника.

— Это Широков! — испуганно сказал Куприянов.— Он упал!

Все побежали, огибая шар. Они увидели, как звездоплаватели опустились на землю. Потом одна фигура поднялась в воздух и быстро полетела прямо к шару. Пять других тоже поднялись и продолжали полет по прежнему направлению.

— Кажется, все благополучно,— облегченно сказал Неверов.— Один из них остался с Широковым. Наверное, сломалось что-нибудь.

Направившийся к кораблю звездоплаватель быстро подлетел к ним и спустился на землю. Он кивал головой и улыбался, словно хотел сказать: «Все в порядке!»

— Они поняли, что мы будем волноваться, и послали его успокоить нас,— сказал Штерн.— Это не только люди — это очень хорошие люди! — прибавил он.

Наконец Широков и звездоплаватели, целые и невредимые, опустились у корабля.

— Что случилось, Петр Аркадьевич? — спросил Куприянов.

— Устал,— ответил молодой человек.— Почувствовал такую боль в руках, что был вынужден

опуститься на землю. К этому аппарату надо привыкнуть.

— Напугали вы нас,— сказал президент.— Ну, как впечатление?

— Замечательно! — ответил Широков.

Между тем командир звездолета стал настойчиво приглашать людей Земли посетить корабль. Он указывал на крылья, потом на Широкова, улыбался, жестами предлагая надеть аппарат и подняться наверх. Его мимика была так выразительна, что иногда казалось, что он просит словами.

«Ваш товарищ летал,— словно говорил он,— и с ним ничего не случилось. Наденьте крылья, и я покажу вам наш корабль».

Куприянов всеми способами старался объяснить ему, что завтра прилетит вертолет и тогда они примут приглашение, но из его объяснений ничего не выходило. Звездоплаватель не понимал.

Широков взял карандаш и нарисовал на листке из блокнота шар, старательно изобразив над ним вертолет с опущенной лестницей и фигурками людей. Затем он указал на солнце. Командир корабля закивал головой. Он хорошо все понял.

— Кьатьрьи! — сказал он.

— Кятьри! — ответил Широков, решив, что это слово означает «завтра».

После этого графического объяснения командир оставил в покое Куприянова и все свое внимание перенес на Широкова, приглашая его одного посетить корабль сегодня.

Предложение было очень заманчиво, и Широков спросил профессора, не будет ли тот возражать.

— Нисколько! — ответил Куприянов.— Могу только позавидовать вам.

— Скажите ему, что я тоже хочу с вами,— сказал Синяев, обращаясь к Широкову, как к «опытному» уже переводчику.

— Если можно, то и меня возьмите,— сказал Ляо Сен.

— И меня! И меня!...— послышались со всех сторон просьбы корреспондентов.

Широков обратился к командиру звездолета. Тот, очевидно, догадался, о чем идет речь, и показал два пальца. Это означало, что посетить корабль могут одновременно два человека.

— Пусть на корабль отправятся товарищи Ляо Сен и Широков,— сказал Куприянов.— Остальные подождут до завтра. А двух человек, которые отдадут вам свои аппараты, мы отведем в лагерь и покажем им нашу жизнь.

Когда восемь человек скрылись внутри шара, Куприянов пригласил оставшихся пройти в лагерь.

Звездолет

Очутившись на вершине шара, Ляо Сен и его спутник увидели, что находятся на небольшой плоской площадке. Посередине было круглое отверстие диаметром около полутора метров. Оно напоминало колодец или шахту с металлическими стенками.

Широков заглянул туда. Труба уходила глубоко вниз. Ее дно скрывалось во мраке.

Командир корабля снял с себя крылья. Все сделали то же. Он наклонился и нажал маленькую кнопку у края трубы.

Прошло несколько секунд, и снизу беззвучно поднялась круглая плоская крышка. Она остановилась как раз у края колодца и так плотно закрыла отверстие, что неразличимо слилась с поверхностью шара. Если бы не узкая синяя полоса, идущая по краю крышки, было бы невозможно найти ее.

Трое звездоплавателей стали на эту крышку и жестами пригласили Широкова присоединиться к ним. Очевидно, подъемная машина могла поднять одновременно только четырех человек. Три звездоплавателя и Ляо Сен остались наверху.

Крышка дрогнула и плавно опустилась вниз.

Кругом было совершенно темно. Высоко над головой виднелся светлый круг выхода. По его видимой величине Широков определил, что они опустились не меньше чем на десять метров. Это было уже близко к центру шара.

Машина остановилась без малейшего толчка. Раздался слабый свист, потом металлический звук, и темная заслонка, как показалось Широкову, над самой их головой закрыла колодец. Кусочек неба, видимый наверху, исчез.

Мрак еще больше сгустился. До сих пор Широков слабо, но все же различал черные тени своих спутников. Теперь и эти тени исчезли. Их окружала полная темнота.

Внезапно он почувствовал резкий и неприятный запах. Замкнутая со всех сторон кабина наполнилась каким-то газом. Стало трудно дышать.

Был ли это воздух Каллисто?..

Он не знал, что подумать. Мелькнула тревожная мысль: «Очевидно, эти существа не понимают, что мы не можем дышать таким воздухом, привычным для них».

Рука звездоплавателя коснулась его руки и сжала ее нежно, ласково, успокаивая...

И вдруг запах исчез. Воздух снова стал чистым.

Раздался мелодичный звон. Стенки кабины раздвинулись, и яркий свет на мгновение ослепил Широкова.

Открылась внутренность корабля.

Первое, что пришло ему в голову, было сознание, что он дышит воздухом чужой планеты. Вся процедура спуска доказывала, что звездоплаватели не допускали в свой корабль воздух Земли. Может быть, газ, наполнивший кабину, как раз и предназначался для того, чтобы каким-то образом уничтожить в ней земной воздух и заменить его своим?

«Но если это так,— подумал Широков,— то мы можем заразиться неизвестной на Земле болезнью, вдохнуть в себя неизвестный нам микроб, с которым наш организм не сумеет справиться».

Эта мысль мелькнула и тотчас же исчезла. Он чувствовал доверие к этим обитателям другого мира и подумал, что если бы существовала такая опасность, то они не допустили бы земных людей на корабль.

Он с любопытством осмотрелся.

Помещение, в котором он находился, представляло собой как бы внутренность граненого шара, перерезанного внизу плоскостью пола. Стенки этого шара состояли из правильной формы восьмиугольных панелей, сделанных из чего-то похожего на молочное стекло. Сходство со стеклом усиливалось тонкой металлической рамой или оправой, в которую были вделаны эти панели. Помещение имело пять или шесть метров в диаметре. Пол был сплошь металлический и состоял из ясно видимых отдельных плит. В середине, на длинных и тонких

металлических стержнях, уходящих в стены, висело что-то похожее на большой щит управления, какие Широкову приходилось видеть на электростанциях. Перед ним соединенное со стержнем, поддерживающим самый щит, находилось мягкое кресло совершенно «земного» вида. Никакой другой мебели в помещении не было. Пол проходил как раз под щитом, но, очевидно, не служил ему опорой.

В нескольких местах, наверху и почти у самого пола, были расположены источники света, закрытые выпуклыми матовыми стеклами или чем-то очень похожим на стекло.

Выйдя из кабины, они оказались на небольшой площадке с перилами. Вниз вела металлическая лестница. Напротив Широков увидел вторую такую же площадку и лестницу. Там, очевидно, была расположена другая подъемная машина, ведущая на поверхность шара.

Командир корабля жестом указал вниз. Широков спустился по лестнице. За ним последовали хозяева.

Они сняли с себя свои меховые комбинезоны и оказались в легких одеждах, сквозь которые просвечивали их черные тела.

Только сейчас Широков почувствовал, что внутри корабля было очень жарко. Он вспомнил, что, несмотря на знойный августовский день, звездоплаватели были очень тепло одеты. Сопоставив это с черным цветом их кожи, он предположил, что на неизвестной планете Каллисто, с которой прилетели эти люди, вероятно, значительно жарче, чем на Земле. (Это предположение впоследствии оказалось правильным.)

Он услышал, как снова опустилась подъемная машина и появились Ляо Сен и трое оставшихся с ним наверху звездоплавателей. Профессор без приглашения спустился по лестнице к Широкову.

— Что это за газ?— спросил он, кивнув головой назад, в сторону подъемной машины.

— Сам не знаю,— ответил Широков.

Три спутника Ляо Сена тоже сняли свои теплые одежды. На них были мягкие, разных цветов брюки, похожие на лыжные, с широкими поясами и легкие, почти прозрачные рубашки. Командир и еще два звездоплавателя были в синих костюмах, один в темно-сером и двое в красных.

Помещение было шарообразным, но пол проходил гораздо ниже центра этого граненого шара, и боковые стенки подходили к нему наклонно, под очень тупым углом.

Неожиданно один из восьмиугольников, примыкавших к полу, сдвинулся, отошел назад, затем скользнул в сторону. Образовался люк. Снизу поднялись еще два звездоплавателя, одетые в такие же костюмы: один — в серый, другой — в зеленый.

Значит, в экипаже корабля есть еще люди!.. Сколько же их скрыто в огромном корпусе звездолета?..

Тот, которого принимали за командира, указал на звездоплавателя в сером:

— Дьень Сьиньгь!

Потом он протянул руку к другому, в зеленом костюме, и представил его:

— Рьигь Дьиегьонь!

Он обвел рукой окружающее пространство, словно охватывая весь корабль, потом опять указал на того же человека и снова повторил:

— Рьигь Дьиегьонь.

Широков и Ляо Сен поняли, что человек в зеленом был или командиром звездолета или его конструктором.

Они поклонились и назвали свои имена. Китайский лингвист произнес свое имя на манер гостей: «Льао Сьень,— желая облегчить им произношение.

Широков, назвавшись, протянул руку. Он сделал это инстинктивно и сразу понял, что такой обычай неизвестен гостям.

Ригь Диегонь улыбнулся и, не беря руки, обнял сначала Широкова, потом Ляо Сена. То же сделал его товарищ.

Они были не молоды, с совершенно седыми волосами, явно старше остальных. Широков подумал, что им, вероятно, трудно пользоваться крыльями и что именно поэтому они не вышли из корабля.

Ригь Диегонь что-то сказал, и пятеро звездоплавателей один за другим спустились в люк и исчезли. Остались два старика и тот, которого принимали за командира.

Широкову захотелось узнать его имя. Он по очереди указал на вновь пришедших и повторил их имена. Потом указал на него и вопросительно замолчал.

Звездоплаватель понял. Приложив руку к груди, он сказал:

— Дьень Бьяиньинь!

Диегонь обратился к Широкову и, погладив его по плечу, руками изобразил крылья. Молодой ученый понял, что командир звездолета видел его полет и хвалит за смелость. Он вспомнил, что звездоплаватели каким-то образом видят сквозь стенки своего корабля, и ему захотелось узнать, как это делается. Но он не знал, как спросить. Несколько раз он показывал на свои глаза и затем на стены, но звездоплаватели не понимали. Они внимательно

и серьезно наблюдали за его мимикой, но, очевидно, не могли догадаться, чего хочет от них человек Земли. Они о чем-то поговорили между собой, и Диегонь жестами пригласил Широкова и Ляо Сена идти за ним. Приходилось временно оставить вопрос о «глазах» звездолета и подчиниться желанию хозяев.

— Узнаем потом,— сказал Ляо Сен.

Диегонь подошел к восьмиугольному люку и спустился по маленькой, всего в четыре ступени, лестнице. Широков, Ляо Сен и два других звездоплавателя пошли за ним.

Они очутились в круглом коридоре, напоминавшем внутренность широкой трубы. Коридор, как оказалось, был устроен кольцом вокруг шарообразной комнаты. Бьяниньинь жестами объяснил, что такой же круглый коридор был еще и наверху.

Через каждые несколько шагов коридор был освещен такими же лампами, прикрытыми матовыми стеклами, как и центральный пост. (Шарообразная комната была явно тем помещением, откуда осуществлялось управление космическим кораблем в полете.) Пол был покрыт чем-то вроде резиновой дорожки. Широков наклонился и пощупал материал. Это была не резина.

Они прошли шагов двадцать. Диегонь остановился и нажал кнопку. В этом месте снова оказалась совершенно незаметная дверь.

Все двери и люки космического корабля были так тщательно пригнаны, что их трудно было заметить. Это было сделано с какой-то целью, но с какой, Широков не мог догадаться.

Подъемная машина, летательные аппараты, двери — все приводилось в действие при помощи кнопок. Они, очевидно, служили для включения электрического тока. Предположить на корабле существование электростанции было трудно. Ток, по-видимому, давали аккумуляторы.

«Здесь много интересного для Манаенко»,— подумал Широков.

Оказавшаяся перед ними дверь вела в другой, узкий коридор с лестницей, круто поднимавшейся вверх. Лестница не была прикреплена к стенам.

Широков был мало знаком с вопросами звездоплавания, но его знаний было достаточно, чтобы догадаться: пол в центральном посту и эта лестница не являлись постоянными частями корабля. Они были нужны, вероятно, только тогда, когда звездолет находился в поле тяготения. Во время полета эти части были не нужны и, наверное, убирались.

Поднявшись по лестнице, они опять-таки оказались перед герметически закрытой дверью, которая открылась, когда нажали нужную кнопку.

Они вошли в небольшое, тесное помещение. Оно было полно толстых металлических труб, которые со всех сторон выходили из стен и оканчивались у массивного цилиндра — метра полтора в поперечнике. И цилиндр и трубы были сделаны из того же голубовато-белого металла, из которого состоял корпус корабля. Цилиндр уходил в противоположную стену.

Бьяниньинь, взяв у Широкова блокнот и карандаш, быстро нарисовал шар. Вокруг шара, со всех сторон, он изобразил звезды. Это явно означало: корабль в полете. Позади шара он нарисовал несколько длинных прямых хвостов, имевших вид пара. Потом он указал на цилиндр.

— Это двигатель,— сказал Ляо Сен.

— Да, это один из их двигателей,— ответил Широков.— Корабль приводится в движение реактивной силой.

Бьяниньинь опять указал на цилиндр и несколько раз сжал и выпрямил пальцы обеих рук.

— Восемьдесят,— сказал Широков.— Неужели у них восемьдесят двигателей?

— Это не удивительно,— ответил Ляо Сен.— Корабль так велик, что для его полета нужна огромная сила. Он должен иметь возможность двигаться во все стороны. Вспомните черные отверстия, закрытые решетками. Это наружные отверстия дюз [1].

По знаку Диегоня они снова спустились в круглый коридор.

На этот раз нужная дверь, вернее, люк, оказалась внизу, под полом. Бьяниньинь откинул «резиновую» дорожку и уже не кнопкой, а просто рукой поднял крышку этого люка. Здесь была не временная, а постоянная винтообразная лестница. Она уходила прямо вниз. Спустившись по ней, они очутились в небольшой, сплошь металлической комнатке с прямоугольными стенами, полом и потолком.

В одной из стен, в углублении, была дверь, которая открылась обычным порядком, то есть при помощи кнопки. За этой дверью оказалась вторая. Обе двери были очень массивны.

За ними находилось помещение, занятое какой-то большой и сложной машиной. Так, по крайней мере, показалось Широкову и Ляо Сену. Внешне этот агрегат мало походил на машину. Не было заметно никаких движущихся частей. Тяжелые металлические щиты, скрепленные между собой болтами, составляли как бы кожух, под которым сквозь толстые узкие «стекла» виднелись металлические трубы. Две массивные рукоятки на длинных стержнях, какие-то трубочки с металлическими шариками в них были расположены снаружи и ограждены легкой решеткой, выкрашенной в ярко-зеленый цвет. В этом помещении пол был отнюдь не временный и состоял из разноцветных плиток, напоминающих керамику, образующих красивый, но непонятный узор.

Ляо Сен хотел подойти ближе к машине, но Диегонь остановил его и отрицательно покачал головой. Очевидно, нельзя было подходить. Они остались стоять у самой двери.

Диегонь протянул руку к машине, потом обвел ею вокруг и в заключение положил к себе на грудь с правой стороны. Что он хотел этим сказать, не поняли ни Широков, ни Ляо Сен.

По-видимому, звездоплаватели хотели, чтобы их гости как следует рассмотрели эту таинственную машину, потому что они около пяти минут не двигались с места.

Широков был уверен, что перед ними находится одна из самых главных, если не самая главная часть космического корабля. Выражение лица Диегоня, насколько он понимал его, показывало, что он демонстрирует людям эту машину с чувством гордости. Чем же он гордился? Конечно, техникой своей планеты! Техникой Каллисто!

На секунду Широков представил себе, что роли переменились. Вот он, командир советского звездолета, прилетевшего на другую планету, показывает ее обитателям чудесное творение человеческого гения, могучее создание мысли и воли человека Земли. Какое чувство испытывал бы он тогда?..

Он повернулся к командиру корабля: «Не его ли конструкции была эта машина?» — и, взяв его руку, крепко сжал ее. Жест был непонятен этому черному человеку, но чувство, побудившее к нему, он хорошо понял. Протянув руку, он длинными черными

[1] Дюзы — выходные каналы, по которым истекают газы или поток частиц, служащие для получения реактивной тяги.

пальцами коснулся головы Широкова и погладил его по лбу. На серых губах появилась ласковая улыбка.

По той же винтовой лестнице они поднялись наверх и прошли опять в шарообразную комнату (Широков мысленно называл ее центральным постом.) Диегонь подошел к пульту и сел в находящееся перед ним кресло. Положив руки на рукоятки, он обернулся к людям и снова улыбнулся.

Широков и Ляо Сен поняли, что им демонстрируют управление космическим кораблем в полете. Не имея возможности говорить с гостями, хозяева не могли объяснить яснее. Но и так все было достаточно понятно. Гостям показали двигатель, машину, которая чем-то была связана с ним, и в заключение место командира корабля. Но не управляют же звездолетом вслепую?..

Диегонь нажал какую-то кнопку на пульте.

Широков и Ляо Сен с изумлением увидели, что один из восьмиугольников, находящихся на уровне их глаз, вдруг потемнел, потом стал ослепительно белым. И все исчезло. В стене было окно.

Они видели всю панораму лагеря так ясно, как будто это было действительно сквозное отверстие. Изображение получалось объемным, цветным и создавало полную иллюзию прямой видимости.

Это был огромный экран телевизора, съемочная камера которого находилась, по-видимому, в стенке корабля, позади экрана.

Бьяининь дотронулся до руки Широкова, словно призывая к вниманию. И вдруг панорама лагеря дрогнула и стала медленно приближаться. Как будто космический корабль сдвинулся с места и поплыл к лагерю. Все ближе и ближе, и вот уже на всем экране видна только вершина березы. Каждая веточка, каждый листик казались столь близкими, что до них можно было рукой дотронуться.

И опять все поплыло, но уже в обратную сторону. Лагерь стал удаляться, пока не занял прежнего положения, соответствующего действительному расстоянию до него.

— Будущее нашего телевидения! — сказал Ляо Сен.

— Весь этот корабль — наше будущее,— отозвался Широков.— Мы находимся в мире будущего.

Диегонь нажал другую кнопку — и рядом с первым экраном появился второй. Вскоре все восьмиугольные панели, за исключением тех, которые находились позади лестниц, и еще трех, очевидно, служивших дверями, превратились в экраны.

Бьяининь погасил свет, и изображение приобрело еще большую четкость. Если у Широкова и Ляо Сена были какие-нибудь сомнения относительно природы этих «окон», то теперь они рассеялись: это было телевидение, но неизмеримо более совершенное, чем на Земле.

Корабль исчез. Они стояли на полу, висящем в воздухе. Кругом и над головой была решетка из металлических прутьев в виде восьмиугольных ячеек. А за ней расстилался пейзаж, окружающий звездолет. Вверху ярко синело небо и нестерпимым блеском сияло солнце, заливая своим светом внутренность корабля. Солнечные лучи светили, но не грели, проходя через оптическую систему и провода, соединяющие съемочные камеры с экранами.

Тайна «глаз» корабля объяснилась просто и естественно: в наружных стенках помещались съемочные телекамеры, работающие автоматически и снабженные телеобъективами, силу которых можно было произвольно изменять с центрального поста.

— Артем Григорьевич с ума сойдет от восторга,— сказал Широков, когда экраны погасли и все приняло прежний вид.

— А вы еще не сошли? — улыбнулся Ляо Сен.— Я недалек от этого.

По приглашению хозяев они опять прошли в круглый коридор, спустились по другой лестнице и оказались в комфортабельно обставленной комнате. Она была совершенно круглая. Но так же, как и в центральном посту, здесь был пол. Широков подумал, что он тоже, вероятно, временный.

В комнате было много мягкой мебели, по форме очень похожей на земную. На стене находился большой щит с многочисленными приборами, и это навело Широкова на мысль, что они попали в каюту командира звездолета.

Книги

Диегонь жестом пригласил всех сесть в кресла. Это было сделано совсем по-земному. Бьяининь и Синьг достали из шкафа (как иначе было назвать этот предмет, столь похожий на обыкновенный шкаф?) две большие книги, как показалось Широкозу, в кожаных переплетах, положили их на стол и тоже сели.

Диегонь взял одну книгу и положил ее перед Широковым. Синьг положил другую перед Ляо Сеном.

Глубокое волнение охватило молодого ученого. Сейчас он увидит то, чего никогда еще не видели человеческие глаза...

Какие тайны откроются ему?

Он заметил, что у всегда невозмутимого китайского ученого заметно дрожала рука, когда он раскрывал книгу.

На первой странице (листы были плотны и толсты) Широков увидел... изображение космического корабля, на котором они находились. Это была, по-видимому, фотография.

Корабль стоял среди широкого поля, поросшего низкой оранжево-красной травой. Вдали виднелись какие-то здания. Около корабля не было ни одного человека. Над полем плыли облака, совсем такие же, как на Земле. Цвет неба был слегка желтоватым.

Оранжево-красная трава и желтое небо придавали пейзажу какой-то фантастический, неправдоподобный вид.

Широков пристально вглядывался в этот впервые увиденный человеком ландшафт чужой планеты. Красная трава могла быть следствием жаркого климата Каллисто, но почему небо было такого странного цвета? Чем это было вызвано?

Он перешел к следующей странице.

Это была схема... схема «солнечной» системы, к которой принадлежала планета Каллисто. Рисунок был в точности такой, какие неоднократно видел Широков в книгах по астрономии, где изображалась наша солнечная система. Так же в центре схемы находилось «солнце» и вокруг него орбиты планет.

Их было двенадцать. Четвертая была обведена красным кружком, и Широков понял, что это и есть Каллисто. Седьмая планета, как маленькое солнце, была окружена пятью орбитами спутников и напоминала Широкову Юпитер. На схеме виднелись какие-то непонятные значки, которые, по всей вероятности, представляли собой цифры.

Следующий рисунок опять изображал корабль, летящий среди звезд. Зеленая пунктирная линия шла от одной из них к другой. Узоры созвездий были совершенно незнакомы Широкову.

«Это все надо показать Семену Борисовичу»,— подумал он.

На следующем листе опять было изображено звездное небо с летящим по нему кораблем. Но созвездия были уже знакомыми. Зеленая пунктирная линия отсутствовала. Широков узнал созвездия Большой Медведицы, Ориона, Лебедя и некоторые другие. Одна из звезд была обведена красным кружком. Это было «солнце» Каллисто, но какая это была звезда, он не знал. Заметив, что Ляо Сен рассматривал тот же рисунок (книги были совершенно одинаковы), он спросил у него, что это за звезда, но китайский ученый не смог ответить на его вопрос: он знал астрономию не лучше Широкова.

Как жалко, что с ними не было Штерна или Синяева. Интересующий весь мир вопрос, откуда прилетел корабль, был бы уже выяснен.

Диегонь указал на обведенную кружком звезду, потом на себя и Бьяининя. Широков кивнул головой.

Да, эта звезда была центральным светилом той системы, с которой прилетел звездолет.

В эту минуту Широков проклинал себя за то, что недостаточно интересовался астрономией. Как он был глуп!

Но загадка оставалась загадкой, и волей-неволей приходилось перейти к следующей странице.

Перевернув лист, Широков замер: это была фотография... но какая!

Не раз люди пытались представить себе, как выглядит их планета со стороны, из мирового пространства. В любой астрономической книге можно встретить описание фантастической картины — Земля в пространстве!

И вот перед глазами Широкова была его родная планета, сфотографированная с расстояния многих тысяч километров. На фоне звездного мира висел голубоватый, белесый диск, окруженный словно прозрачной дымкой, сквозь которую смутно проступали очертания Северной Африки, Средиземное море и южные берега Европы. Характерный «сапог» Италии, нацелившийся своим носком в «футбольный мяч» Сицилии, не оставлял никаких сомнений, что это была Земля, а не другая какая-нибудь планета.

Эта фотография, которую, несомненно, удастся размножить, станет уникальным сокровищем, пока люди Земли сами не научатся летать в межпланетных просторах и не смогут получить другую, подобную этой.

Широков с трудом заставил себя перейти к следующей странице.

Пережитое им волнение при виде Земли, снятой из точки, находящейся вне ее атмосферы, было так сильно, что рисунок, помещенный на очередном листе, почти не поразил его, хотя сам по себе он мог поразить кого угодно.

На нем он увидел звездолет, стоявший... у лагеря!

Рисунок был прекрасно выполнен. Палатки, одинокие березы, дорога, на которой опустился шар, все мелкие подробности местности были изображены в красках рукой хорошего художника.

Да, это была не фотография, а рисунок, выполненный от руки. Значит, на корабле есть художник!

Просмотренные пять страниц изображали путь

звездолета от старта до финиша. Что могло быть дальше?

Следующая страница пестрела математическими формулами. Значки были чужды и непонятны, но это была математика. Широкоз без труда узнавал характерные линии геометрических фигур. Они были такими же, как на Земле.

Но разве могло быть иначе? Математика всюду одинакова. Это наука общая для всей Вселенной.

«Наши математики Штерн и Синяев легко разберутся в этих страницах»,— подумал Широков и невольно вздохнул: для него эти значки были совершенно непонятны.

Шестнадцать листов подряд были посвящены математике. Очевидно, ученые Каллисто при ее помощи надеялись быстрее найти общий язык с обитателями других миров. Эта книга доказывала их уверенность в том, что они встретят обитаемые планеты на своем пути.

Что подумали звездоплаватели, видя, как их гости равнодушно перевернули эти страницы? Может быть, они были глубоко разочарованы?..

Внешне они ничем не выдали своих чувств.

После математических страниц началась... азбука!

Это явно была она! На каждом листе были крупно изображены две буквы.

Ляо Сен встрепенулся и впился глазами в эти непонятные знаки: это была его область.

Диегонь встал и локтями оперся на стол.

Широков видел перед самыми глазами его лицо, черное, морщинистое лицо с серыми губами и неестественно (если в природе может существовать что-нибудь «неестественное») длинными глазами.

Бьяининь указал на первую букву и произнес звук «ЛЬ». По укоренившейся привычке Широков ожидал услышать «А», но азбука Каллисто, очевидно, начиналась с согласных букв.

Он вынул блокнот и хотел срисовать значок, изображавший букву «Л», но Диегонь остановил его руку. Он указал на книгу, предлагая в ней нарисовать земное обозначение этой буквы. То же самое предложил Синьг Ляо Сену.

Люди поняли, что хозяева хотят обменяться азбукой. Это был первый взаимный урок языка. Теперь стало понятно, почему была не одна, а две книги. Одна предназначалась людям, вторая— звездоплавателям.

Ляо Сен предложил Широкову, умевшему неплохо рисовать, взять на себя книгу хозяев. Молодой медик тщательно вычертил рядом с «ЛЬ» Каллисто земное «Л» (в русском начертании).

За «Л» последовало «Д».

В языке гостей оказались все буквы русского алфавита, за исключением «Ш», «Щ» и «Ч». Незнакомых Широкову звуков не было совсем.

Это облегчало людям изучение языка Каллисто, но затрудняло звездоплавателям изучение русского языка.

Широков решил во что бы то ни стало овладеть языком гостей.

Это намерение совпадало с его тайными мыслями, которые еще более настойчиво осаждали его после того, как он увидел каллистян и убедился, что они такие же люди, как он сам, правда, черные и с несколько иными чертами лица, но все же самые настоящие люди. Он понял в этот момент, что его неожиданная для него самого храбрость, когда ему предложили подняться на крыльях, объяснялась той же причиной, о которой он все же боялся думать определенно.

Книга (точнее говоря, альбом) заканчивалась азбукой. Это было пособие для облегчения первого знакомства, и только.

Когда последняя русская буква — «Ж» — была нарисована в альбоме, Бьяининь встал и торжественно передал его Ляо Сену. Второй альбом, с изображением русских букв, он прижал к груди.

Первый урок был окончен.

Широкову и Ляо Сену очень хотелось увидеть другие книги и фотографии, не имевшие «учебного» характера, но хозяева, очевидно, решили, что на первый раз вполне достаточно.

Они опять перешли в центральный пост. Сквозь «окна» Широков увидел, что возле корабля стоят Куприянов, Штерн и два звездоплавателя, оставшихся в лагере.

Пора было покидать корабль.

Сколько времени они пробыли в нем, Широков не знал. Может быть, прошел час, а может быть, десять. Время пролетело незаметно.

На этот раз кабина подъемной машины не наполнялась никаким газом. Он, очевидно, был нужен только при входе. Диегонь попрощался с гостями у подножия лестницы. Бьяининь и Синьг проводили их наверх.

Оказавшись снова на вершине шара, Широков обратил внимание, что вокруг корабля не было прежней толпы: она успела разойтись. Даже с высоты тридцати метров никого не было видно. Это доказывало, что они пробыли на корабле довольно долго.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

КАЛЛИСТЯНЕ

Под светом Рельоса

«Когда великая Сотис блистает на небе, Нил выходит из своих берегов».

Такую надпись сделали древние египтяне на фронтоне одного из храмов.

Сотис — звезда Нила!..

Она имела огромное значение для Египта.

В то время еще не существовало календаря и люди не умели определять времена года.

Веками разливы Нила заставали земледельцев врасплох, причиняли страшные бедствия. Египтяне не знали, как предвидеть эти разливы, как заранее и своевременно предсказывать их.

Плодородие полей зависело от Нила. Он давал жизнь Египту, но он же был и коварным врагом. Определять начало разливов было необходимо.

Египет остро нуждался в предсказателе, и в конце концов его нашли... на небе!

Люди наконец заметили, что разливу Нила всегда предшествует появление одной и той же блестящей звезды. Сверкая в лучах утренней зари, она как бы предупреждала о грозящей опасности.

Египтяне назвали эту звезду «Сотис». Ее считали божеством, в ее честь строили храмы, ей поклонялись, ей приносили жертвы.

Сотис — великая и добрая покровительница Египта!

На заре цивилизации звезда Сотис способствовала возникновению египетской астрономии.

Ее знали не только в Египте.

Древние греки называли ее «Сейриос», римляне — «Сириус», что значит «Блистающий».

Под этим названием она и вошла в современную астрономию.

Сириус — самая блестящая звезда на небе Земли. В северном полушарии, в частности в СССР, она видна зимой, на южной стороне горизонта, в созвездии «Большого Пса». Даже красавица северного неба — Вега, голубым бриллиантом сверкающая почти в зените, не может соперничать блеском с Сириусом.

Сириус — один из ближайших соседей нашего Солнца. Из видимых простым глазом звезд только «альфа Центавра» находится ближе к нам.

Ближайший сосед!..

Эти слова, когда речь идет об астрономии, имеют несколько иное значение, чем в обиходном разговоре. «Ближайший сосед» находится от нас на расстоянии 8,6 световых лет!..

Это значит, что свет Сириуса, пролетая триста тысяч километров в секунду, доходит до Земли только через восемь лет и семь месяцев!

Трудно представить себе подобную «близость»!

Но все же Сириус имеет полное право называться «близким»: другие звезды находятся гораздо дальше.

Солнце — звезда желтая, Сириус — белая. Температура Сириуса гораздо выше солнечной. Он светит абсолютно в 17 раз ярче Солнца и в 2 раза превосходит его по диаметру!

В 1862 году у Сириуса был обнаружен спутник, предсказанный за восемнадцать лет до этого астрономом Бесселем на основании математического исследования движения Сириуса в пространстве. Этот спутник необычен.

Названный «Сириус-В», он очень невелик. По размерам он только в три раза больше Земли, но, несмотря на это, оказывает заметное влияние на движение своего гигантского «солнца». Под воздействием притяжения маленького спутника Сириус уклоняется от прямого пути. Это может произойти только в том случае, если масса спутника очень велика.

Так и оказалось.

Сириус-В, имеющий всего сорок тысяч километров в диаметре, по массе почти равен (0,8) нашему Солнцу! Это доказывает невероятную плотность вещества, из которого он состоит. До того как был открыт Сириус-В, физики не подозревали о существовании в природе веществ, в пятьдесят тысяч раз более плотных, чем вода.

Сперва это казалось необъяснимым. Подобная плотность «противоречила законам природы»...

Но законам природы нельзя противоречить.

Люди проникли в тайны атома, и то, что казалось невозможным, стало легко объяснимо. Загадка Сириуса-В была раскрыта наукой.

Итак, солнце Сириус имел спутника! Но есть ли у него другие спутники, другие планеты?

На этот вопрос астрономия не могла ответить. Планеты сами не светятся. Они освещаются своим «солнцем». (Сириус-В был усмотрен в телескоп только потому, что светится сам.) На исполинских расстояниях, отделяющих звезды друг от друга, при современном состоянии оптической техники нельзя увидеть слабый, отраженный свет планет. Их присутствие можно только подозревать.

И астрономия подозревала, даже больше, была уверена, что не только наше Солнце имеет планетную систему, что планеты — это обычное явление в мире звезд. Но подозревать и даже быть уверенными — это все же не то, что доказать.

А доказательства, которое убеждало бы всех, не было.

Множественность планетных систем и логическое следствие из него — множественность обитаемых планет — оставались заманчивой, красивой сказкой.

Но сказка стала былью.

Прилетел космический корабль! Обитатели другого мира ступили на Землю. И они оказались людьми!

Много раз писатели-фантасты пытались изобразить жителей других миров. Но странно! Все, за редкими исключениями, рисовали образы существ, не имеющих ничего общего с человеком Земли.

Чем это было вызвано? Может быть, подсознательное, веками укоренявшееся в голове убеждение, что ТАКОГО человека, как на Земле, не может быть нигде в другом месте, мешало этим писателям понять ту простую истину, что человек есть продукт развития живого существа, приспособившегося к труду. Формы человеческого тела — это результат длительной эволюции, протекавшей в борьбе с природными условиями жизни, существующими на Земле, и что везде, где эти условия сходны с земными, везде, где развитие материи привело к появлению разумного существа, этот процесс может идти сходным путем и привести к появлению существа, хорошо приспособленного к трудовой деятельности. Тело человека создано природой, а природа всегда идет по самому естественному, самому простому пути.

И на четвертом спутнике Сириуса, названном его обитателями Каллисто, природные условия оказались сходными с природными условиями Земли, и это привело к тому, что человек Каллисто оказался почти тождественным человеку Земли.

Эволюция шла одним путем, и результат оказался одинаковым.

Можно ли этому удивляться?

— Человек мыслит консервативно,— сказал Штерн. (Хотя в своих книгах он всегда удивлял научный мир смелостью суждений.) Я был убежден, что звездолет прилетел с «альфы Центавра», и только потому, что это ближайшая к нам звезда. Сириус мне даже в голову не приходил.

Прошло уже три дня после выхода из корабля его экипажа. За это время члены научной экспедиции и иностранные ученые побывали на звездолете, а гости, которых оказалось двенадцать человек, почти все время проводили в лагере. Вызванный вертолет удобно и просто доставлял ученых на вершину шара и обратно. Его услугами пользовались и гости.

В лагере привыкли к внешнему виду гостей, и их появление уже не вызывало острого любопытства.

С помощью жестов и рисунков ученые обеих планет уже сумели кое-что узнать друг о друге. Стало известно, что в экипаже корабля имеются астрономы, медики, биологи и инженеры. Удалось добиться полного взаимопонимания и в вопросе о том, чей язык будет изучаться,— Земли или Каллисто. Решили, что люди научатся говорить на языке гостей, так как, во-первых, этот язык был проще, а, во-вторых, твердые звуки оказались совершенно непроизносимыми для каллистян.

Кроме того, не могли же каллистяне изучать все языки Земли. На Каллисто, как объясняли гости, уже давно был один язык. Вообще, разговаривая с ними на «мимическом языке», Куприянов убеждался в том, что умственное развитие жителей Каллисто так же перегнало людей Земли, как и их техника. Совершенно не зная Земли и не имея никакого понятия о жизни на ней, каллистяне, казалось, понимали все, что им показывали и объясняли с помощью рисунка и мимики.

Лежнев и Ляо Сен целые дни проводили на корабле и под руководством Бьяниня и Вьеньяня (это было имя одного из астрономов корабля) энергично и настойчиво старались как можно быстрее овладеть языком и получить возможность обстоятельно побеседовать с гостями. Не приходится говорить, что все члены научной экспедиции, да и гости с большим нетерпением ждали конца этой работы.

К удивлению Куприянова, Широков присоединился к лингвистам и изучал язык гостей с таким усердием, что Лежнев был от него в восторге.

— У вас большие способности к изучению языка и прекрасная память,— говорил он молодому медику.— Вам следовало бы быть лингвистом.

— Жена не позволила,— отшучивался Широков, который никогда женат не был.

У него была тайная причина, почему он хотел научиться говорить «по-каллистянски», но он никому не сообщал об этом.

Даже Лежневу и Ляо Сену, имевшим большой опыт изучения языков, язык Каллисто казался очень трудным, главным образом из-за совершенно необычного произношения. Грамматика была очень проста, и успех зависел только от памяти, но каждое слово было так чуждо земному слуху, так непохоже на слова любого земного языка, что даже вначале, когда они изучали только имена существительные, им иногда казалось, что эта задача не по силам. Что будет, когда придется перейти к понятиям, они себе плохо представляли. Но добиться успеха было совершенно необходимо. Только Широков ни минуты не сомневался и своей уверенностью заражал товарищей.

— Он действует на меня, как катализатор,— говорил Лежнев Куприянову.— Ваш Петр Аркадьевич — золото, а не человек! С ним все кажется легким.

— Да, он очень способный,— отвечал профессор.

Помимо вполне понятного желания ускорить возможность обмена мыслями, была еще одна причина торопиться с изучением языка. Диегонь сумел объяснить Куприянову, что звездолет пробудет на Земле не более ста дней. За это время надо было успеть показать гостям жизнь Земли.

Широков с головой ушел в работу. Он все время занимался зазубриванием слов. Даже обедая или ужиная, клал перед собой тетрадь и без конца повторял одно и то же слово, добиваясь правильного произношения.

Книга-альбом, принесенная с корабля в первый день посещения его людьми, была уже тщательно изучена. Ее математические страницы, непонятные для Широкова и Ляо Сена, были легко «расшифрованы» Штерном и Синяевым.

Кроме того, что звездолет прилетел с планетной системы Сириуса, люди узнали много других интересных подробностей.

Сириус, или, как называли его каллистяне, РЕЛЬОС, имел двенадцать спутников, двенадцать планет, обращающихся вокруг него. Четвертой из них была Каллисто. Вокруг нее обращались две «луны», по размерам почти равные спутнику Земли. Две луны! Можно было представить себе, как светлы и красивы ночи на Каллисто!

Седьмой планетой был тот самый Сириус-В, который впервые указал земным ученым на существование в природе сверхтяжелых веществ. Притяжение этого «белого карлика» [1] оказывало заметное влияние на путь Каллисто в пространстве, и планета совершала свой оборот вокруг Сириуса по странной, волнистой орбите.

Выяснилось, что Каллисто — очень жаркая планета. По-земному, средняя температура на ее поверхности равнялась пятидесяти пяти градусам. Планета находилась от своего «солнца» втрое дальше, чем Земля от своего, и ее «год» равнялся почти ровно двум земным годам. Эксцентриситет [2] Каллисто был очень мал — 0,0022, то есть планета двигалась по орбите, совсем мало отличающейся от окружности.

Несомненно, это обстоятельство способствовало ровности ее климата. Еще большее влияние оказывал малый угол наклона ее оси к плоскости эклиптики. Он был равен всего трем градусам двадцати минутам [3].

Это означало, что на родине звездоплавателей не было смены времен года. На Каллисто было всегда одно и то же время года, в зависимости от широты места.

По своим размерам Каллисто была почти равна Земле. Ее диаметр составлял 12 900 земных километров и был, таким образом, только на 143 километра больше земного. Ускорение силы тяжести тоже было почти такое, как на Земле, и равнялось 10 м²/сек.

По книгам, которые в большом количестве находились на корабле, было видно, что на планете богатая растительность, в общем похожая на растительность тропического пояса Земли. Но цвет ее был оранжево-красным. Подобно тому, как на Земле встречались растения, имевшие такую же окраску, как на Каллисто, на ней самой были растения зеленого (в умеренном поясе) и даже голубого (в полярных областях) цвета.

Отличительной особенностью растений Каллисто была небольшая высота. Она не превышала четырех — пяти метров.

Животный мир Каллисто был очень разнообразен. На суше, в воде и в воздухе обитало бесчисленное количество живых существ. Цветные рисунки, изображавшие обитателей планеты, занимали четыре толстых альбома.

Лебедев, Маттисен и Линьелль целыми днями просиживали над этими книгами.

Рыбы и птицы были поразительно похожи на соответствующих обитателей Земли. Биологов это не удивило: вода и воздух на Каллисто были такими же, как на Земле, и природа должна была создать именно такие существа, форма тела которых наилуч-

---

[1] Белый карлик — название, присвоенное в астрономии белым звездам, имеющим небольшие размеры и значительную плотность.

[2] Эксцентриситет — отношение расстояния между фокусами к длине большой оси у эллипса. Эксцентриситет Земли — 0,0167.

[3] Наклон оси Земли — 23°27'.

шим образом была приспособлена к движению и жизни в воздушной и водной среде. Но «похожие»— это не значит «такие же». Линьелль — специалист по ихтиологии — не нашел ни одной рыбы, которую можно было бы классифицировать по земной классификации. Они были похожими, и только. Это были рыбы и птицы Каллисто, а не Земли.

Наибольшая разница замечалась среди позвоночных животных. Тут было много видов, не имевших, казалось, ничего общего с земными. Животные с длинной шерстью попадались редко. Такими были небольшой зверек, похожий на очень длинную лисицу, и причудливый зверь на шести ногах, напоминающий ящерицу, с ярко-красным мехом, но величиной с гиппопотама.

Наибольший интерес вызвали у всех фотографии и рисунки населенных пунктов Каллисто. На планете было много городов, расположенных преимущественно по берегам морей и океанов. Чего-нибудь похожего на наши села, деревни или небольшие городки ни в книгах, ни на картах не было. Действительно ли их совсем не было или каллистяне не считали нужным показывать все, пока оставалось неизвестным.

Архитектура зданий напоминала строения древнего Египта. Плоские крыши со статуями, широкие террасы и длинные, спускающиеся к воде лестницы служили постоянными украшениями домов.

Своеобразный вид придавали зданиям очень широкие и высокие окна, не имевшие ни рам, ни стекол. Их обитатели не знали холода. Мягкие портьеры, окрашенные в самые разнообразные цвета, заменяли двери. Все города утопали в густой листве садов и парков желтого, красного и оранжевого цветов.

На планете было два обширных материка, разделенных широким, километров в триста, морским проливом. Оба они лежали в поясе экватора. По площади каждый из этих материков равнялся приблизительно Африке. Все остальное пространство занимали океаны, среди которых было разбросано несколько архипелагов небольших размеров. Ракетодром, с которого взлетел корабль, был расположен на одном из островов. Фотография именно этого острова и была помещена в первом альбоме.

На звездолете оказалось много технических книг, но, к великому сожалению Смирнова и Манаенко, без объяснений инженеров корабля в них невозможно было разобраться. В этом отношении приходилось запастись терпением.

И еще одно замечательное обстоятельство выяснилось из тех страниц альбома, которые были заняты математикой.

Звездолет летел от Рельоса к Солнцу ОДИННАДЦАТЬ ЗЕМНЫХ ЛЕТ!

Одиннадцать лет пребывания на корабле, во мраке и холоде межзвездного пространства — это казалось просто невероятным. Но этот научный подвиг был совершен экипажем звездолета. Обратный путь тоже должен был отнять одиннадцать лет! Двадцать два года жизни отдали эти люди для выяснения вопроса, есть ли жизнь на соседних планетных системах.

Это было замечательное доказательство того, что научная любознательность свойственна всем разумным существам Вселенной.

Двенадцать героев, в самом полном смысле этого слова, прилетели на Землю. Они не испугались ни опасностей долгого пути, ни отрыва на долгие годы от жизни своей родины — ничто их не остановило! Жажда знания, желание расширить научный кругозор, ненасытное любопытство ученых влекли их вперед.

И они были вознаграждены за свой героизм.

Все, на что они надеялись, все, чего так страстно желали, свершилось: на пути звездолета попалась планета, населенная разумными существами!

Трудно представить себе то чувство, которое испытали они, когда, подлетев к Земле, убедились, что их цель достигнута. Это была прекрасная награда.

Почти год звездолет летел с ускорением. Оно равнялось десяти метрам, то есть было равно обычному ускорению силы тяжести на Каллисто. Такое же время должно было занять и замедление скорости при подходе к Солнцу. Остальные девять лет корабль летел по инерции со скоростью ДВЕСТИ СЕМЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ В СЕКУНДУ.

Чудовищная скорость, близко подходящая к скорости света!

•

В «иностранном лагере» собралось очень много ученых почти всех стран мира. Работать им всем непосредственно на корабле было невозможно. Поэтому на ученом совете приняли решение, что изучение каллистянских материалов на месте будет проводиться только советскими учеными, Маттисеном и Линьеллем, которые должны были ежедневно докладывать обо всем, что узнают, ученому совету, количество членов которого достигало семидесяти человек. Ляо Сен, свободно владевший многими языками, взял на себя задачу знакомить желающих с каллистянским языком, по мере того как сам овладевал им. Желающих набралось более тридцати человек, и китайскому лингвисту предстояла нелегкая задача.

В обоих лагерях с раннего утра до поздней ночи кипела работа.

Штерна и Синяева в особенности заинтересовала оптика звездолета. Система телескопов была совсем иной, чем на Земле. Насколько можно было понять из объяснений Вьеньяня, оптика каллистян основывалась на амплитудном усилении световых волн, что было совершенно новым принципом, неизвестным земным оптикам.

Внешний вид телескопов также совершенно не был похож на земные инструменты. Не было привычной трубы. Объективы соединялись проводами с каким-то очень сложным прибором, откуда, опять-таки по проводам, изображение передавалось в глазок окуляра. Увеличение этих «телескопов» было во много раз более сильным, чем у самых мощных земных.

Занимаясь вопросами оптики, Синяев совершенно случайно наткнулся на чрезвычайно важный и интересный факт: трехцветная теория зрения была найдена учеными Каллисто приблизительно двести лет назад (по земному счету), то есть тогда же, когда на Земле эта теория была высказана Ломоносовым [1].

Это показывало, что в некоторых отношениях наука обеих планет, находящихся так далеко друг от друга, шла одним путем и, по крайней мере в прошлом, одновременно делала свои открытия.

Сообщение Синяева вызвало оживленную дискуссию: почему же сейчас наука Каллисто так далеко ушла вперед? Что послужило столь мощным толчком к ее развитию?

---

[1] Трехцветная теория зрения впервые была высказана Ломоносовым в 1756 году. Заключается в том, что в сетчатой оболочке глаза имеются три вида воспринимающих аппаратов — рецепторов, каждый из которых чувствителен к одному из трех основных цветов спектра — красному, желтому или синему.

— Мне кажется несомненным,— заявил на одном из собраний ученых академик Штерн,— что на Каллисто не только наука, но и общественное устройство было в прошлом таким же, как на Земле, или очень похожим. Наличие классов и подчинение науки классовым интересам так же, как у нас, тормозило ее развитие. Каллистяне, очевидно, изменили у себя общественный строй, создали условия для свободного творчества, свободного занятия наукой широчайших масс населения планеты. И мы видим результаты освобождения мысли от классовых оков.

— Вы хотите сказать, что на Каллисто полный коммунизм?— ироническим тоном спросил его один из иностранных ученых.

— Вашими устами глаголет истина,— ответил Штерн.

Инженеры встретили на звездолете еще большие трудности, чем другие ученые. Космический корабль был сплошной технической загадкой.

В нижней части корабля находилось его «сердце»— какой-то очень сложный агрегат, отдаленно напоминающий атомный реактор. Отсюда по специальным трубам (только с натяжкой их можно было назвать «трубами») неведомая энергия поступала в каждый из двигателей, воспламенялась и производила взрывы чудовищной силы. Следуя друг за другом со скоростью пятидесяти пяти взрывов в секунду, они создавали страшное давление, толкавшее корабль в сторону, противоположную открытым отверстиям дюз.

Пуская в ход различные двигатели, равномерно расположенные по всей поверхности звездолета, можно было двигаться в любом направлении.

Как было уже известно, корабль летел с ускорением, то есть с работающими двигателями, почти год при начале полета и столько же во время торможения. Стенки дюз должны были все это время выдерживать колоссальное давление и огромную температуру. Они были сделаны из того же металла, что и корпус корабля.

Этот сплав по прочности превосходил все известные на Земле сорта брони. Он отличался еще и исключительной жароупорностью. Температура плавления этого металла при нормальном давлении равнялась одиннадцати тысячам градусов, то есть значительно превосходила температуру плавления самого жароупорного материала на Земле — вольфрама.

По мнению Аверина, вольфрам, безусловно, входил составной частью в этот сплав.

Каллистяне очень охотно показывали и объясняли все, что интересовало земных ученых. Они совершенно не пытались скрыть какие-нибудь «секреты» и, как могли, помогали понять устройство двигателей и принципы их работы. Даже в помещение «атомного котла» (его называли так потому, что не нашли другого подходящего названия), являвшегося самой ответственной частью звездолета, они свободно допускали всех желающих.

Было ли это следствием их уверенности, что агрегат нельзя испортить или такая возможность даже не приходила им в голову, но они нисколько не боялись земных людей и с полным доверием относились к ним.

Они не могли не понимать, что если выйдет из строя «сердце» их корабля, они теряют возможность вернуться на родину. И, несмотря на это, не только не препятствовали Смирнову и Манаенко в их желании изучить работу этого «сердца», но даже часто на целые часы оставляли их одних.

Эта детская доверчивость, с земной точки зрения граничащая с беспечностью, очень беспокоила полковника Артемьева, и он часто обращался к Куприянову с просьбой ограничить число лиц, посещающих корабль.

— Вы уже достаточно хорошо познакомились с этим самым «котлом»,— сказал Смирнову Куприянов, пытливо всматриваясь в лицо профессора.— Скажите, Александр Александрович, можно вывести его из строя?

— Можно.

Куприянов нервным движением потер руки.

— Так зачем же, скажите на милость, они разрешают вам возиться у этого «котла»?

— Они нам верят. Конечно, рассуждая со стороны, они слишком доверчивы, порой кажутся даже наивными. Семен Борисович как-то сказал, что, по его мнению, эти люди привыкли к поведению и морали коммунистического общества. Если это так, то для них должны быть совершенно непонятны такие вещи, как диверсия.

— Зато эти, как вы выражаетесь, «вещи» должны быть хорошо понятны вам. Я очень прошу, Александр Александрович, никого не допускать к «котлу».

— Как, даже Артема Григорьевича?

— Нет, Манаенко я не имею в виду,— ответил Куприянов.— Но вот, например, Ю Син-чжоу? Почему он постоянно бывает на корабле вместе с вами? Что ему надо у «котла»?

— То же, что и нам. Старается изучить его. Разве вы не знаете, что Ю Син-чжоу не всегда был журналистом? По специальности он инженер.

— Я не знал этого,— нахмурившись, сказал Куприянов.

— Он сам рассказал мне свою биографию,— продолжал Смирнов,— когда я заинтересовался происхождением его технических знаний. Если вы требуете, я не буду брать его с собой.

Взгляд назад

Постепенно Петр Аркадьевич Широков стал неизменным переводчиком при всех беседах. Его успехи были так велики, что он теперь занимался языком отдельно от своих товарищей, далеко опередив их. Было очевидно, что в скором времени он сможет свободно говорить с каллистянами на любую тему. Лежнев и Ляо Сен были вынуждены признать, что они, несмотря на весь свой опыт, не в состоянии угнаться за молодым медиком, обнаружившим неожиданно для самого себя, что изучение языка Каллисто не доставляет ему почти никаких трудностей.

Неожиданные способности Широкова были очень счастливым обстоятельством. С его помощью выяснилось много подробностей прилета космического корабля на Землю.

Если планетная система Солнца имела только одну населенную разумными существами планету — Землю, то система Сириуса — Рельоса имела их две. Кроме Каллисто, еще на одной планете были люди, правда, стоявшие на низкой ступени развития, но все же люди, разумные существа, знакомые с орудиями труда, огнем и обладавшие членораздельной речью.

Звездолеты Каллисто только недавно побывали на этой планете, и сделанное ими открытие произ-

вело переворот в мыслях каллистян. До этого они склонялись к тому, что Каллисто — исключительное явление в природе. Большинство ученых придерживалось той точки зрения, что жизнь — это своего рода «болезнь» планеты, что нормальное состояние небесного тела исключает возможность жизни.

Этот глубоко ошибочный взгляд (на Земле он тоже существовал, его сторонником был английский астроном Джинс) тормозил развитие научного мировоззрения на планете, и с ним долгие века боролись лучшие умы Каллисто. Все это чрезвычайно напоминало не прекратившуюся до сих пор борьбу идеализма с материализмом на Земле.

Открытие населенной планеты по соседству с ними заставило каллистян пересмотреть свои взгляды на сущность жизни и послужило мощным толчком к организации полета к Солнцу.

Ригь Диегонь — инженер и крупнейший теоретик звездоплавания — еще до открытия разумного населения на соседней планете был ярым сторонником полета к Солнцу и работал над проектом звездолета, но его идея не встречала сочувствия, и только после того, как наука получила доказательство существования жизни на других мирах, он смог наконец осуществить свою долголетнюю мечту.

К этому моменту он был уже стар (на Каллисто средний возраст человека равен восьмидесяти — ста годам), но это его не остановило. Он был великим энтузиастом науки.

Первой планетой, обнаруженной звездоплавателями в «окрестностях» Солнца, была Венера. Корабль проник под ее облачный покров и встретил там богатую растительность такого же цвета, как на Каллисто. Животной жизни на планете не оказалось.

Это было сенсацией. Астрономы Земли только подозревали существование на Венере растительной жизни, а многие из них считали, что ее нет. Фотографии пейзажей Венеры, оказавшиеся на звездолете, рассматривались Штерном и другими учеными с величайшим вниманием. Это было такое научное сокровище, значение которого трудно было переоценить.

Убедившись, что на Венере нет разумной жизни, каллистяне стали искать другие планеты. Они скоро нашли планету Юпитер, но, учитывая ее величину и отдаленность от Солнца, решили, что на ней жизни быть не может. Диегонь и Вьеньянь считали, что бесполезно искать разумную жизнь на большом расстоянии от Солнца, и звездолет три месяца обследовал пространство между орбитами Венеры и Земли, о существовании которой они долго не подозревали.

Не находя никакой планеты (Марс остался так и не замеченным ими), каллистяне решили, что система Солнца гораздо беднее планетами, чем система Сириуса. С чувством глубокого разочарования они собирались отправиться в обратный путь.

Найти Землю помогла случайность. Желая точно рассчитать орбиту Венеры, Вьеньянь наблюдал планету с помощью телескопа и несколько раз фотографировал ее. Рассматривая снимки, он обратил внимание на заметное смещение одной из ярких звезд, на фоне которых он видел Венеру. Заподозрив, что эта звезда является планетой, Вьеньянь стал изучать ее и очень скоро убедился, что не ошибся. Определив орбиту открытого им спутника Солнца, он понял: найдено то, что они искали.

Неизвестная планета находилась на таком расстоянии от Солнца, что на ней вполне могла оказаться жизнь, хотя бы такая, как на Венере.

На совете экипажа корабля было решено направить звездолет к Земле.

Подлетев к ней, каллистяне сразу поняли, что эта планета сильно отличается от Венеры, что ее природа еще богаче. Наличие на Земле разумного населения было установлено ими только тогда, когда звездолет приблизился на пятьсот километров к ее поверхности. Первым признаком, по которому им стало ясно, что они встретили наконец человеческий разум, был океанский пароход, замеченный в телескоп. Его искусственное происхождение было несомненно.

Потом они увидели еще несколько кораблей. Оказавшись над Сибирью, они уже сознательно искали признаки разумной деятельности и без труда находили их.

Их радость была очень велика. Несколько часов, которые отделяли момент появления парохода от приземления звездолета в Курской области, пролетели для них, как один миг.

Только Диегонь сохранял относительное спокойствие и управлял звездолетом. Остальные находились в состоянии лихорадочного волнения.

Когда, опустившись ниже, они увидели поднявшиеся им навстречу самолеты, даже Диегонь оторвался от пульта управления и подошел к экрану. С огромным интересом рассматривали каллистяне воздушные машины.

Гибель самолета, неосторожно вошедшего в струю позади корабля, произвела на них потрясающее впечатление. Они были в отчаянии, что их прибытие повело к смерти обитателя Земли. Диегонь бросился обратно к пульту и резко увеличил скорость, боясь повторения несчастья. Он думал, что реактивное движение неизвестно на Земле и что люди не понимают опасности приближения к задней части звездолета.

Они видели другие эскадрильи самолетов и понимали, что жители Земли приветствуют их, но теперь каждый раз уходили далеко вперед, уклоняясь от почетного эскорта.

Им не хотелось производить посадку в пустынях, которые они встречали во время полета над Землей, и они стали искать достаточно уединенного места, где не было бы свидетелей приземления, и Курская область показалась им подходящей. Остановившись на окрестностях Золотухина. Диегонь долго кружил на одном месте, чтобы дать возможность Вьеньяню хорошо рассмотреть местность: он опасался сесть на болото. Тучи пыли, поднятые кораблем, помешали им видеть, что под ними населенный пункт. О существовании города они даже не подозревали и только случайно не посадили звездолет прямо на дома.

Когда корабль коснулся Земли и замер неподвижно, они поздравляли друг друга с достижением поставленной цели. Они были глубоко счастливы!

Звездолет находился на планете, подобной их собственной, и эта планета была населена разумными существами!

В свои «окна»-экраны каллистяне наблюдали за прибытием экспедиции и постройкой лагеря. Они хорошо поняли цель, с которой это делалось: люди готовились к встрече с ними.

Девятнадцать суток, которые они были вынуждены провести на корабле, показались им очень долгими [1]. Но было необходимо произвести пробы земной атмосферы и выяснить, какие в ней содержатся болезнетворные микроорганизмы.

---

[1] Сутки Каллисто, или время полного оборота планеты вокруг ее оси, равнялись двадцати трем часам сорока минутам, то есть были только на двадцать минут короче, чем на Земле.

Синьг, который испытывал такое же нетерпение, как и его товарищи, торопился как мог. Он установил, что состав и плотность атмосферы Земли такие же, как на Каллисто. Он обнаружил несколько микробов, неизвестных на их родине, и нашел средства против заражения ими. Это позволило каллистянам выйти из корабля без масок. Все бактерии, известные Синьгу, оказались и в атмосфере Земли. Это открытие обрадовало его, так как устраняло опасность заражения людей. Он решил, что на первое время нельзя допускать на звездолет воздух Земли, и именно поэтому они подвергали кабину подъемной машины «дезинфекции». Синьг надеялся, что в дальнейшем, когда он лучше изучит микроорганизмы Земли, можно будет обходиться без этой неприятной процедуры.

Первое появление людей вблизи корабля очень взволновало каллистян. С жадным любопытством они рассматривали жителей неведомой планеты, столь похожих на них самих, но с белым цветом кожи. Желая показать, что видят их, они намеренно выдвинули аппарат для взятия проб воздуха в тот момент, когда люди шли мимо. Бьяининь хотел выйти из корабля и показаться жителям Земли: так велико было его нетерпение. Он соглашался пойти на риск заражения, но Синьг и Диегонь не позволили ему это сделать.

День пятнадцатого августа (они, конечно, не знали, что это «август» и что сегодня пятнадцатое число) был для каллистян таким же праздником, как и для людей. По их счету это был четыреста тридцать третий день 2392 года.

На Каллисто, так же как и на Земле, время полного оборота планеты вокруг ее центрального светила (Сириуса) считалось «годом», но вследствие того, что орбита планеты была длиннее орбиты Земли и сама Каллисто двигалась медленнее, этот «год» равнялся почти двум земным годам.

«Год» Каллисто не делился, подобно земному, на месяцы. Это было не удивительно, если вспомнить, что на ней не было смены времен года. Каллистяне не знали, что такое весна, осень, зима и лето. В той части планеты, где были расположены материки, всегда было одно сплошное лето, более жаркое, чем на экваторе Земли. На полюсах Каллисто, наоборот, всегда царила зима, но значительно более мягкая, чем на полюсах Земли.

До отъезда из лагеря осталось три дня. Все вопросы, связанные с переездом в Москву, были успешно согласованы. Диегонь сам предложил, чтобы экипаж корабля в полном составе покинул лагерь.

Космический корабль должен был остаться под охраной воинских частей.

В районной больнице

Час ночи.

Экспресс «Пекин — Москва» только что отошел от крупной станции и, набирая скорость, мчался вперед. В двухместном купе международного вагона у окна, закрытого спущенной занавеской, сидели два пассажира. Один из них был пожилой китаец; второй, судя по его костюму и манере держаться,— американец.

Беседа шла на английском языке.

— Что же мне оставалось делать?— говорил американец.— В разрешении посетить лагерь мне отказали. Я не ученый и не журналист. Просто любознательный человек. Хочу увидеть марсиан — жителей другой планеты... Я очень доволен, что удалось получить визу и что еду в Москву. Может быть, марсиане приедут туда, а если нет, постараюсь хоть издали посмотреть на корабль.

— Профессор Куприянов разрешил экскурсии к звездолету,— сказал китаец.— Вам надо поехать в город Курск. Советую сделать это пятнадцатого августа.

— Вы думаете, что световой разговор был правильно понят?

— У меня это не вызывает сомнений.

— Вы счастливый человек,— сказал американец.— Без всяких хлопот увидите корабль и марсиан.

— Почему вы называете их марсианами? По данным современной науки, на Марсе нет разумного населения.

— Ну, что «современная наука»! Что она знает? Тайны природы недоступны слабому человеческому уму.

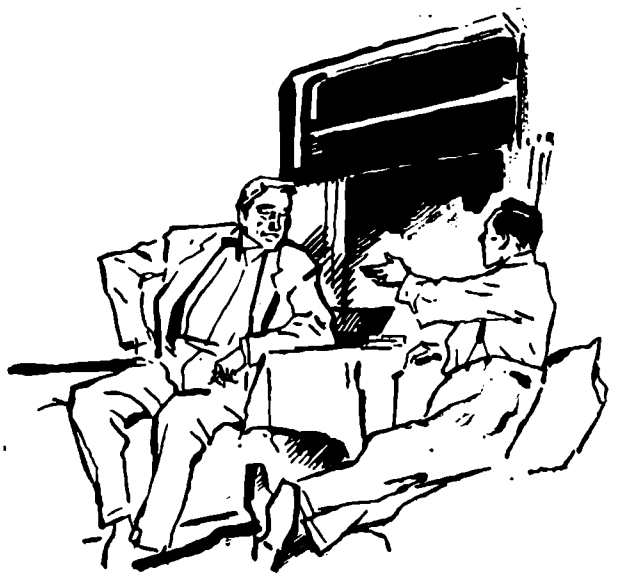
— Вот как!— усмехнулся китаец.— Вы не верите в науку? Во что же вы тогда верите?

— В человека. В силу его ума и энергии.

— Так это и есть сила науки.

— Человеку не понять тайн природы,— повторил американец.

— Непознаваемость мира! — Китаец засмеялся.— Вы фидеист?



— Как вы сказали? Фидеист? А что это означает?

— Есть такое философское учение. Оно оспаривает научное познание мира и отдает предпочтение вере перед знанием. Фидеизм — опора реакции.

— Вы говорите, как коммунист.

— Я и есть коммунист,— просто ответил китаец.

Американец вынул часы, взглянул на них и поднялся.

— Не хотите ли пройти в ресторан? — предложил он.— Стаканчик водки перед отходом ко сну. Русская водка лучше джина.

— Нет, благодарю вас,— ответил китаец.

Американец вышел из купе. Оставшись один, китаец начал раздеваться. Вспоминая разговор, он улыбался. «Таковы они все,— думал он.— Считают себя высшей расой и сочетают это с научной неграмотностью».

Едва китаец успел снять пиджак, как его спутник вернулся.

— Идемте скорее!— сказал он.— В соседнем вагоне убили человека!

— Что вы говорите!— воскликнул китаец. Он поспешно надел пиджак и пошел за американцем.

В коридоре вагона было пусто. Пассажиры спали.

Поезд мчался в густом лесу. В слабом свете маленькой лампочки на площадке смутно темнела фигура какого-то человека. Американец сделал шаг назад, пропуская китайца вперед.

Неизвестный человек взмахнул рукой. Звук тяжелого удара потерялся в стуке колес бешено несущегося экспресса.

Тело упало на площадку вагона. Двое наклонились над ним и поспешно обыскали труп. Потом они открыли дверь и выбросили убитого на всем ходу в черноту ночи.

Главный врач одной из районных больниц Омской области доктор Казимбеков всегда приходил на работу ровно в восемь часов. Надев халат, он в сопровождении дежурного врача начал обычный обход больных.

— Слышали? — говорил он в каждой палате.— Товарищ Широков уже почти свободно говорит с каллистянами. Что значит медицинский работник! Принято решение переехать из лагеря в Москву. Профессор Аверин узнал много нового в вопросах синтеза органических соединений. Профессор Смирнов изучает двигатели.

Больные улыбались. Они уже привыкли, что главный врач каждый день сообщал им новости из лагеря под Курском, не считаясь с тем, что они сами их уже знали. Радиостанции три раза в день включали в свою программу передачу сообщений Куприянова.

Казимбеков очень интересовался звездолетом. Он сетовал, что сам не увидит гостей с Каллисто, и ворчал на то, что корабль не опустился где-нибудь поближе.

— Что им, места не хватило у нас в Сибири? — говорил он.

Миллионы сибиряков видели звездолет во время его полета, но даже этого утешения судьба не доставила бедному Казимбексву. Корабль пролетел в стороне от Омской области.

Не один Казимбеков был в эти дни недоволен своей судьбой. Вряд ли можно было отыскать в Советском Союзе человека, который не завидовал бы жителям Курской области. Звездолет, его экипаж, научная экспедиция Академии наук были самой волнующей темой разговора. Где и о чем бы ни говорили люди в эти дни, беседа обязательно переходила на Каллисто.

И в небольшой районной больнице все — здоровые и больные — думали и говорили о том же.

Пациентов было не так много, и Казимбеков скоро закончил свой обход.

— А в каком положении китаец?— спросил он дежурного врача.

— Все в том же,— со вздохом ответил тот.

Речь шла о человеке, доставленном в больницу девятого августа с линии железной дороги. Он был

найден путевым обходчиком рано утром на лесном перегоне.

У китайца, хорошо одетого пожилого человека, была разбита голова и сломаны обе ноги.

Он лежал под насыпью и не подавал никаких признаков жизни.

Несмотря на то, что человек выглядел мертвым, путевой обходчик доставил его в ближайшую больницу.

Китаец оказался жив («на один процент», как выразился Казимбеков).

Энергично принятыми мерами удалось если не совсем предотвратить смерть, то, во всяком случае, отдалить ее и получить слабую, но все же надежду на благополучный исход.

У пострадавшего не нашли никаких документов или бумаг, из которых можно было бы узнать, кто он такой.

Путевой обходчик утверждал, что тело под насыпью появилось после того, как прошел пассажирский экспресс «Пекин — Москва».

Возможно, что пострадавший упал именно с этого поезда.

Но расследование не подтвердило этой догадки. На посланную вдогонку за поездом телеграмму пришел ответ, что все пассажиры экспресса на своих местах. Никто не пропал дорогой.

Делом занялась прокуратура. Судебно-медицинский эксперт, специально приехавший из Омска, установил, что рана на темени (голова была разбита в двух местах) была вызвана падением, а вторая, с левой стороны лба, нанесена раньше каким-то тупым орудием.

Падение с поезда, видимо, было не случайным. По мнению эксперта, пострадавший был выброшен из вагона на ходу после того, как ему нанесли удар кастетом.

Переломы ног были не опасны, заживление подвигалось быстро.

Но с головой дело обстояло плохо. Рана на темени была очень глубокой, и пострадавший вот уже больше месяца не приходил в себя. Китайца приходилось кормить искусственным способом, и было очень мало надежды на спасение его жизни.

Выяснить обстоятельства преступления и личность убийцы можно будет только тогда, когда пострадавший придет в сознание.

Казимбекова ежедневно запрашивали из Омска, но на вопрос о состоянии больного он изо дня в день вынужден был отвечать, что все по-прежнему и пострадавший в сознание не приходит.

Состояние неизвестного было настолько тяжелым, что не могло быть и речи о перевозке его в Омскую хирургическую клинику, и он оставался в районной больнице.

— Значит, без перемен?— спросил главный врач.

— Без перемен.

— Плохо его дело,— сказал Казимбеков.— Такое длительное беспамятство неизбежно заканчивается смертью.

— И преступник останется неузнанным?

— Меня не интересует преступник! — сердито ответил главный врач.— Это — дело следственных органов. Меня интересует больной.

Он вошел в отдельную палату, где лежал раненый.

Здесь стояли только одна кровать, стул и небольшой столик.

Окно было плотно завешено, и в комнате царил полумрак.

Китаец лежал на спине.

Его забинтованная голова сливалась с белой подушкой.

В первый момент Казимбеков не заметил никаких перемен в положении пациента, но, подойдя ближе, он с удивлением и радостью увидел, что глаза раненого открыты.

— Сейчас же вызовите переводчика,— шепнул он дежурному врачу.

По полученному им приказу он был обязан немедленно сообщить, как только раненый придет в сознание.

Следственные органы с нетерпением ждали этого момента.

Надо было спешить, может быть, это последняя вспышка жизни.

Но как ни тихо было дано это распоряжение, раненый расслышал и понял его.

— Не надо...— чуть слышно сказал он,— переводчика. Я... сам... говорю по-русски.

Дежурный врач быстро вышел. Казимбеков наклонился над кроватью.

— Не разговаривайте!— сказал он.

— Что... со мной... случилось?

— Вы ранены.

Китаец закрыл глаза.

Казимбеков взял его руку.

Пульс был слабым, но ровным.

Врач позвонил, чтобы вызвать к раненому дежурную сестру.

Внезапно китаец вздрогнул и сделал движение, желая, видимо, подняться.

Казимбеков поспешно, но все же очень осторожно удержал его за плечи.

— Спокойно!— сказал он.— Не надо шевелиться.

Раненый поманил Казимбекова, предлагая нагнуться.

Доктор услышал прерывистый шепот:

— Я вспомнил... Скорее следователя.... Я должен успеть...

. . . . . .

Опрос продолжался долго.

Раненый говорил с трудом.

Часто приходилось делать длительные перерывы, чтобы дать ему возможность собраться с силами.

Казимбеков ворчал и требовал перенести опрос на завтра, но китаец не соглашался на это.

— Я должен успеть,— говорил он.— Это очень важно. Может случиться, что я умру.

— Теперь вы уже не умрете,— уверял его врач.

— Все равно, время не терпит.

— Постарайтесь подробнее описать внешность вашего спутника,— сказал следователь.

Раненый, как мог, подробно рассказал об американце.

— Вы успели разглядеть человека на площадке?

— Я его плохо видел... Мне показалось... что он китаец.

— Номер вагона и купе?

— Вагон восемь. Купе пять.

— Что, по-вашему, могло быть причиной нападения?

— Думаю, что им нужны были мои документы... Это и есть самое страшное... Ему нужно было пробраться в лагерь... под моим именем.

— В какой лагерь?— одновременно спросили следователь и Казимбеков.

— В лагерь у космического корабля... Я еще не говорил вам... Я ехал туда. Я корреспондент агентства Синьхуа. Мое имя — Ю Син-чжоу...

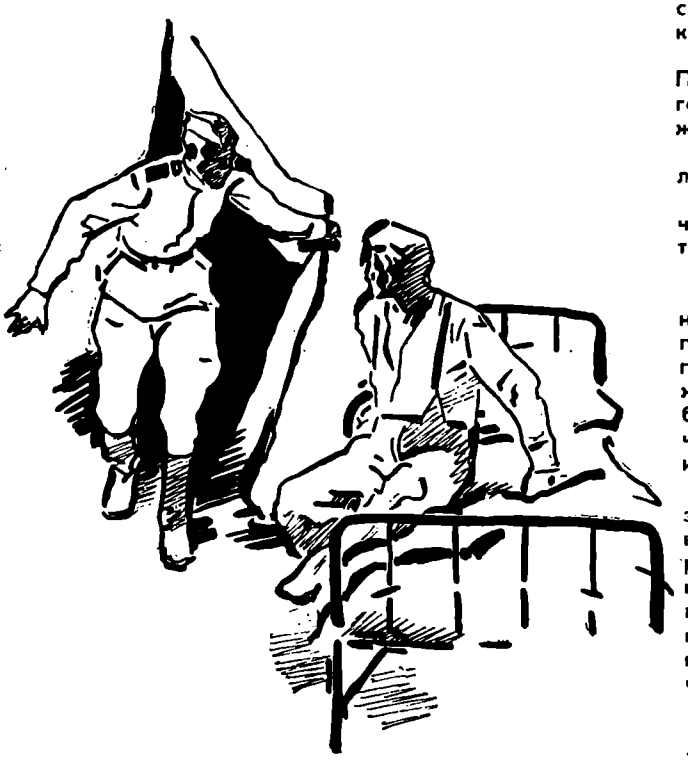
Они отравлены

Полковника Артемьева разбудили шаги около его палатки. Он всегда спал очень чутко, а в последнее время вообще забыл, что значит спокойный сон.

Никто в обоих лагерях не подозревал, кто он такой. Все считали Артемьева корреспондентом. Один только Куприянов знал, что он сотрудник разведки.

Работа с каллистянами, изучение их научных материалов внешне шли гладко. Ничто не говорило о том, что гостям Земли может угрожать какая-нибудь опасность. Но советская разведка знала, что такая опасность существует.

Атомная техника Каллисто все еще оставалась загадкой. Изучением двигателей звездолета занимались Смирнов и Манаенко — оба советские ученые. Определенные круги за границей опасались, что результаты открытий останутся в руках СССР и не будут опубликованы, как и другие материалы, добытые на звездолете. С их точки зрения, советские люди должны были скрыть «атомные тайны», использовать их на усиление военной мощи своей страны. Такая перспектива, разумеется, тревожила их. Они не могли себе представить возможность добровольного отказа от технической тайны, да еще столь важной. Они судили по себе и сделали соответствующие выводы. Пусть лучше атомная техника Каллисто останется никому не известной, чем отдать ее СССР. Лучше уничтожить «котел», все книги каллистян, убить их самих... Это было чудовищно, но, с точки зрения империалистов, логично...



Полковник Артемьев не допускал мысли, что сведения, добытые советской разведкой, могут быть ложными. По ее данным, враг был в лагере. Его необходимо найти. Но враг хорошо замаскировался.

Куприянов не придал большого значения факту, сообщенному ему профессором Смирновым. Но не так поступил опытный разведчик. Узнав, что китайский журналист Ю Син-чжоу — в прошлом инженер, Артемьев не оставил это неожиданное открытие без внимания. Подлинность Ю Син-чжоу до сих пор не вызывала у него сомнений. Сведения, полученные от агентства Синьхуа, устраняли малейшие подозрения.

«Почему он раньше не сказал о том, что он инженер? — думал полковник.— Случайно это или намеренно?»

Конечно, агентство Синьхуа могло именно потому и послать Ю Син-чжоу в лагерь, что он инженер, человек технически грамотный. Такой корреспондент в данном случае был, безусловно, полезнее профессионального журналиста. Но почему он молчал до сих пор?..

Смутное недоверие к Ю Син-чжоу возникло у Артемьева. Он решил проверить все до конца. В тот же день, когда ему стал известен разговор Куприянова с профессором Смирновым, он послал радиограмму с просьбой прислать подробную биографию журналиста и его фотографию.

Было четыре часа утра, лагерь спал, и только серьезное дело могло привести кого-то к палатке Артемьева.

Вошел один из его помощников, дежуривший в эту ночь на радиостанции подполковника Черепанова.

— Срочная радиограмма, товарищ полковник!

Радиограмма была длинной. В ней сообщалась вся биография Ю Син-чжоу.

Глаза Артемьева быстро бегали по строчкам.

«Имя... Год рождения... Партийность... С какого года... Семейное положение... Образование...»

Рука Артемьева замерла на бланке:

«Образование: окончил Литературный институт в Москве».

Значит...

Значит, Ю Син-чжоу не был инженером. Но профессор Смирнов, заподозривший в нем инженера, не мог ошибиться. Да и сам Ю Син-чжоу подтвердил, что он инженер...

Артемьев на секунду закрыл глаза. Замысел врага предстал вдруг перед ним с ослепительной ясностью. Так вот где таилась опасность, которую он предвидел, приближение которой чувствовал!..

Куда девался настоящий Ю Син-чжоу, китайский товарищ? Как им удалось убрать его, заменить своим человеком?

Артемьев быстро оделся и побежал к Куприянову. Палатка начальника экспедиции была пуста.

Секретарь Курского обкома партии Козловский довольно часто появлялся в лагере. На этот раз он остался ночевать.

Как только Артемьев переступил порог его палатки, Козловский проснулся. Прочитав радиограмму, он сразу все понял.

— Немедленно...— начал он, но в этот момент полог палатки распахнулся и в нее буквально «влетел» Широков.

С одного взгляда на его лицо Козловский и Артемьев поняли, что случилось что-то страшное.

— Хорошо, что вы не спите!— тяжело дыша, сказал Широков.— Звездоплаватели умирают!..

Он бросился на стул и сжал голову руками.

— Они умирают,— повторил он.— Идемте, Николай Николаевич! Надо что-то делать. Нельзя допустить такого конца.

— Где Куприянов?

— Там, с ними. Он послал меня за вами.

Козловский повернулся к Артемьеву.

— Немедленно,— сказал он,— надо арестовать человека, живущего в лагере под именем Ю Син-чжоу. И не спускайте с него глаз. Идемте, Петр Аркадьевич!

Широков настолько был поглощен мыслями о каллистянах, что даже не обратил внимания на эту короткую сцену, которая в другое время, безусловно, очень удивила бы его.

По дороге он рассказал Козловскому о подробностях неожиданного происшествия.

Звездоплаватели последнее время ночевали в лагере. Один Вьеньянь оставался на корабле. Широков поселился с ними, чтобы все время слышать их разговор и упражняться в языке.

Сегодня ночью Синьг разбудил его.

— Он еле держался на ногах,— сказал Широков.— Разбудив меня, он упал на пол. Остальные лежали без сознания. Я бросился за Михаилом Михайловичем, и он, как был, не одетый, прибежал в палатку. Штерн, Ляо Сен и Лебедев прибежали с ним, но он попросил их уйти. Лебедев принес ему одежду.

— Что могло случиться, по-вашему?

— Отравление. Михаил Михайлович тоже думает, что они отравились растительным ядом. Нашей пищи не ели. Только свою...

— Положение опасное?

— Очень. Самое скверное, что Синьга не удается привести в чувство. Его помощь необходима. Михаил Михайлович вызвал Аверина и поручил ему срочно сделать анализ остатков ужина. Что мы можем предпринять, не зная яда?

— Какие меры вы приняли?

— В палатке имеется аптечка Синьга, но пока он не придет в себя, она бесполезна. Все же Михаил Михайлович ввел им один препарат, который я указал ему. Синьг говорил мне, что он употребляется при отравлениях. Но полной уверенности, что мы сделали именно то, что нужно, у нас нет.

Около палатки, где жили каллистяне, толпились члены экспедиции и много военных. Печальная новость быстро распространилась по лагерю и всех подняла на ноги.

— Вьеньянь знает? — спросил Козловский.

— Нет. У меня не было времени сообщить ему.

— Пошлите за ним Лежнева или Ляо Сена. Может быть, он сможет чем-нибудь помочь.

Куприянов стоял, наклонившись над постелью, на которой лежал Синьг. Он обернулся при входе Козловского.

— Извините, что разбудил вас,— сказал профессор (странно и нелепо прозвучала эта фраза).— Необходимо позвонить в Золотухино и срочно доставить сюда подушки с кислородом. У нас может не хватить.

Выражение лица Куприянова, его голос и движения были совершенно спокойны, и Козловский понял, что этот человек перестал быть начальником экспедиции. Он был сейчас только врачом у постели больного.

Молча кивнув головой, Козловский быстро вышел. Он видел, как Куприянов и Широков снова наклонились над Синьгом.

Хотя Козловский пробыл в палатке не больше минуты, он успел внимательно осмотреться. Звездоплаватели лежали неподвижно, с закрытыми глазами. Черный цвет их кожи не давал возможности определить, «бледны» их лица или нет. Они казались такими же, как всегда. На полу валялись куски ваты, осколки ампул. Сильный запах какого-то лекарства стоял в воздухе.

Едва за ним опустился полог, Козловский оказался в плотном кольце взволнованных людей.

— Как там?.. Что?.. Есть надежда? — слышались со всех сторон нетерпеливые вопросы.

— Я ничего не знаю, товарищи,— отвечал Козловский.— У постели пострадавших один из лучших врачей Советского Союза. Будем надеяться на его искусство. Пропустите меня! — прибавил он, видя, что пробраться сквозь толпу будет трудно.— Я очень тороплюсь выполнить просьбу товарища Куприянова.

Эти слова оказали волшебное действие. Сразу перед ним образовался проход, и Козловский почти бегом направился к палатке начальника экспедиции, где был телефон.

Он позвонил на квартиру первого секретаря Золотухинского райкома и попросил как можно быстрее доставить кислород.

Положив трубку, Козловский вышел из палатки.

Оранжевым заревом разгоралась утренняя заря. Бледнело небо, одна за другой потухали звезды. Наступал день, полный тревог, день, который мог стать последним в жизни ученых Каллисто, совершивших великий научный подвиг. Неужели одиннадцать лет летели они через бездны Вселенной, чтобы, достигнув цели, победив пространство и время, здесь, на Земле, в восьмидесяти трех триллионах километров от родины, прийти к такому печальному и нелепому концу?..

Была ли какая-нибудь связь между этим внезапным отравлением и разоблачением Ю Син-чжоу? Действительно ли каллистяне отравились своими же продуктами (это казалось просто невероятным) или они были ОТРАВЛЕНЫ?..

На звездолете был огромный запас самых разнообразных продуктов, рассчитанный на двадцать с лишним лет полета. Бóльшая часть их состояла из растительных веществ.

Все запасы хранились в шестнадцати кладовых, в которых искусственно поддерживалась низкая температура. Испортиться в пути они никак не могли, а предположение, что при снаряжении звездолета в космический полет попали уже испортившиеся продукты, было невероятно. Каллистяне рассказывали, что их полет готовился почти год (два года по земному счету) и в этой подготовке принимала участие вся планета...

Мысли Козловского внезапно прервались: он увидел Артемьева. Полковник должен был находиться возле арестованного им «журналиста», но вместо этого шел по лагерю, явно разыскивая кого-то.

Заметив Козловского, Артемьев подошел к нему.

— Ю Син-чжоу нет в лагере,— сказал он.

— Как нет?

— Нигде! Все палатки обысканы.

— Куда же он мог деваться? Вечером я его видел,— перебил Козловский.— Ночью охрана никого не пропустит.

— Я спрашивал у дежурного офицера,— поче-

му-то шепотом сказал Артемьев.— Часовые видели, как кто-то пролетел на крыльях в сторону звездолета.

— Когда это было?

— Около трех часов ночи.

Козловский вцепился рукой в плечо полковника.

— Вертолет! Как можно скорее позовите профессора Смирнова!

Неужели?.. Неужели радиограмма пришла слишком поздно?..

Звездоплаватели отравлены... Ю Син-чжоу на корабле... Там один Вьеньянь, он не сможет помешать злодею.

Неужели ему не удастся помешать и его чудовищный замысел увенчается успехом?

По дороге к месту стоянки вертолета Козловский рассказал Смирнову о радиограмме и своих подозрениях.

— Ю Син-чжоу воспользовался крыльями. Он знал, что ночью, без разрешения Куприянова, вертолет не доставит его на корабль.

— Он хорошо знает внутреннее устройство корабля,— заметил профессор.

— Надо во что бы то ни стало помешать ему! — воскликнул Артемьев.

— Если мы не опоздали...— так тихо, что его услышал один только полковник, прошептал Козловский.

Они почти бежали.

— Кондратий Поликарпович только что был у Куприянова,— сообщил Смирнов.— Он нашел в пище звездоплавателей кристаллы соли синильной кислоты.

Как ни торопился Козловский, но он невольно остановился, услышав эти слова.

— Но это же смерть!

— Петр Аркадьевич говорит, что для человека доза, безусловно, смертельная. Но он считает, что есть надежда на благополучный исход.

— Не понимаю.

— Доза смертельна для человека Земли,— повторил Смирнов.— Но раз каллистяне до сих пор не умерли, значит, их организм не так восприимчив к этому яду, как наш. Вы знаете, что Широков считается специалистом в токсикологии [1].

— Он надеется?

— Да. И Михаил Михайлович разделяет эту надежду.

Когда они пришли на место, вертолета не оказалось: он улетел, чтобы доставить на вершину космического корабля Ляо Сена.

Было уже настолько светло, что они хорошо видели над кораблем неподвижно висящий в воздухе вертолет. Очевидно, китайский ученый приказал летчику ожидать его возвращения.

В лагере был только один летательный аппарат Каллисто. Им и воспользовался диверсант.

Козловскому и его спутникам не на чем было подняться на вершину шара.

---

[1] Токсикология — наука о ядах и противоядиях.

«Сердце» корабля

Вертолет неподвижно повис в двух метрах над кораблем. Бортмеханик отворил дверцу и опустил лестницу.

— Подождите меня,— сказал Ляо Сен.

Он быстро спустился на площадку. У шахты подъемной машины темнел какой-то предмет. Профессор с удивлением узнал крылья. Это было странно и непонятно. Каллистяне очень заботились о своих летательных аппаратах и никогда не бросили бы их на «крыше» звездолета. Но думать о причине этого необычного нарушения порядка было некогда: Ляо Сен торопился сообщить Вьеньяню о несчастье, постигшем его товарищей.

Еще одно непонятное обстоятельство: подъемная машина оказалась внизу. Отверстие шахты всегда закрывалось на случай дождя.

«Кто-нибудь опередил меня»,— подумал профессор.

Ляо Сен зажег карманный фонарик и при его свете отыскал знакомую кнопку. Как всегда, бесшумно поднялась снизу подъемная машина.

Опускаясь, он вспомнил, что не знает, как наполнить кабину газом для дезинфекции. Обычно при посещении звездолета людьми с ними всегда был кто-нибудь из каллистян.

Профессор знал, что кабину можно наполнить газом и изнутри. Сигнализация, связывающая подъемную машину с внутренними помещениями, также была ему хорошо известна.

Но поймет ли Вьеньянь, что от него хотят, когда услышит сигнал?

«Поймет! — подумал Ляо Сен.— Я ведь не первый. Человек, пришедший до меня, тоже должен был обратиться к нему за помощью».

Когда машина остановилась, он нажал кнопку сигнала.

Прошла минута. Ответа не было.

Ученый вторично нажал кнопку и долго не отпускал ее.

Даже сквозь металлические стенки шахты он слышал громкое гудение (на звездолете не было звонков), но никто не откликался.

Так прошло минут пять.

Что делать? Вернуться в лагерь и посоветоваться с Куприяновым? А если это промедление будет стоить жизни ученым Каллисто? Каждая минута была на счету! Но открыть дверь и войти внутрь звездолета без дезинфекции — это значило свести на нет все меры предосторожности, которые выполнялись так пунктуально.

Ляо Сен сделал последнюю попытку «дозвониться». Никакого результата!

Он ничего не знал о полученной радиограмме и не мог заподозрить, что на корабле Ю Син-чжоу. Тем более ему не могло прийти в голову, что журналист, в подлинности которого у профессора не было никаких сомнений, находится здесь с враждебными намерениями.

Ляо Сен был уверен, что Вьеньянь не покидал звездолета. Тот факт, что подъемная машина была внизу, неопровержимо доказывал это. Он должен слышать сигнал. Гудение было очень громким, и его хорошо было слышно во всех помещениях корабля, кроме тех, которые находились внизу у «атомного котла», отделенного от остальных помещений очень толстыми, двойными стенами. Но Вьеньяню незачем было находиться там.

Что же это значит?..

Профессор чувствовал, как тревога все сильнее охватывает его. В безмолвии звездолета ему чудилось что-то страшное. Медлить дальше было нельзя.

«Если можно дезинфицировать подъемную машину,— решил он,— то можно сделать это и со всем кораблем».

Он снова зажег фонарь и решительно нажал кнопку. Дверь раздвинулась.

Центральный пост, или «граненая комната», был, как всегда, ярко освещен. В нем никого не было.

Ляо Сен спустился по лестнице и подошел к люку, ведущему в круглый коридор. У самой стены он заметил небольшой блестящий предмет. Он наклонился и поднял его.

Это была гильза, от которой шел свежий запах пороха...

Ляо Сен неподвижно стоял у отверстия люка, держа на ладони маленький медный цилиндрик, неопровержимо доказывающий, что совсем недавно в центральном посту звездолета раздался выстрел...

Кто стрелял? Зачем? В кого?..

У каллистян не было пистолетов, подобных земным. Они имели оружие совсем другого рода. Стрелял человек Земли...

Меньше минуты понадобилось китайскому ученому, чтобы понять все... Звездоплаватели не отравились, они отравлены. На корабле находится враг... Он стрелял в астронома Каллисто.

Цель врага была ясна: вывести из строя «сердце» корабля, чтобы не дать возможности советским ученым изучить его механизм, чтобы уничтожить технические книги и другие материалы, которые могли бы рассказать людям об атомной технике Каллисто.

Где сейчас находится враг? Если он слышал сигнал, то понял, что кто-то хочет войти. С какой стороны последует выстрел из-за угла? У Ляо Сена не было никакого оружия. Диверсант не остановится перед вторым убийством!

Подняться наверх и предупредить летчика? Это казалось самым разумным, но Ляо Сена тревожило, что он нигде не видел тела Вьеньяня. Может быть, каллистянин только ранен? Может быть, он нуждается в помощи?

Ляо Сен осторожно наклонился и заглянул в люк. В коридоре никого не было. Спрятаться там было негде.

Он спустился по лестнице.

У самых ступенек лежала вторая гильза. В нескольких шагах перед собой профессор увидел третью.

Диверсант, стреляя, гнался за Вьеньянем. Чем кончилась эта погоня?..

Ляо Сен знал, где помещались каюты экипажа. Вот здесь было помещение командира звездолета, немного дальше — каюта Синьга. В которой из них скрылся Вьеньянь, если ему удалось избежать трех пуль?

Профессор сознавал, что в любую секунду может встретиться с диверсантом, и тогда... но он не мог заставить себя уйти, не узнав о судьбе астронома.

Нажав кнопку, он открыл дверь каюты Диегоня. В ней никого не было.

Ляо Сен хотел войти в следующую, но в этот момент заметил, что дверь в каюту Бьяининя открыта. Он бросился туда, забыв об опасности.

Вьеньянь лежал на пороге лицом вниз. У его головы расплывалась лужа крови.

Неужели конец?..

Профессор наклонился. Опустившись на колени, он осторожно повернул каллистянина. Послышался слабый стон.

Астроном был ранен. Пуля разорвала кожу на лбу, и из раны обильно текла кровь. Вьеньянь был в полном сознании. Длинные и узкие глаза его смотрели на Ляо Сена с выражением страдания и недоумения. Он слабым жестом указал на маленький шкафчик на стене.

Это была аптечка с неизвестными Ляо Сену лекарствами и перевязочными материалами. Он, как мог лучше, наложил на лоб раненого повязку.

— Хорошо! — сказал Вьеньянь.— Теперь плечо.

Рана на голове была не единственной: две пули попали в правое плечо.

С помощью самого пострадавшего Ляо Сен закончил перевязку и помог Вьеньяню лечь на диван.

— Что это значит? — спросил астроном.

Только сейчас, при этом вопросе, профессор вспомнил о диверсанте и поспешно закрыл дверь: враг мог вернуться. Почему он оставил Вьеньяня живым, было непонятно. Или он решил, что все уже кончено?..

— Как вы себя чувствуете? — спросил Ляо Сен вместо ответа.

Как жаль, что тут, на его месте, не было Широкова! Молодой медик мог бы лучше оказать помощь раненому и объяснить ему, что произошло.

— Больно,— сказал Вьеньянь.— Особенно голове.

Он вопросительным и по-прежнему недоумевающим взглядом смотрел на лингвиста. Очевидно, он никак не мог понять, что послужило причиной неожиданного нападения.

— На меня напал Ю Син-чжоу,— сказал астроном.

Эти слова, как громом, поразили профессора. Ю Син-чжоу?! Неужели именно он был врагом?

— Где Ю Син-чжоу?

— Не знаю! Он выстрелил в меня и убежал. Я потерял сознание. Надо позвать Синьга.

Сказать, что Синьг сам лежит при смерти? Взволновать этим известием человека, который чуть дышит и еле может говорить от слабости? Нет, этого нельзя делать!

— Я позову Синьга,— сказал Ляо Сен.— Ю Син-чжоу сошел с ума. Нет ли у вас тут какого-нибудь оружия?

Он сам чувствовал, что говорит на таком ломаном языке, что вряд ли Вьеньянь поймет его слова. Но это уже не имело никакого значения, так как каллистянин вновь потерял сознание.

Профессор беспомощно оглянулся: он был один с раненым, которого нельзя было бросить, ибо запереть дверь можно только изнутри. Если оставить ее незапертой, диверсант вернется и добьет свою жертву.

Но во что бы то ни стало надо было помешать Ю Син-чжоу.

Положение казалось безвыходным. В лагере не знают ничего о том, что произошло на корабле. Никто не придет на помощь!

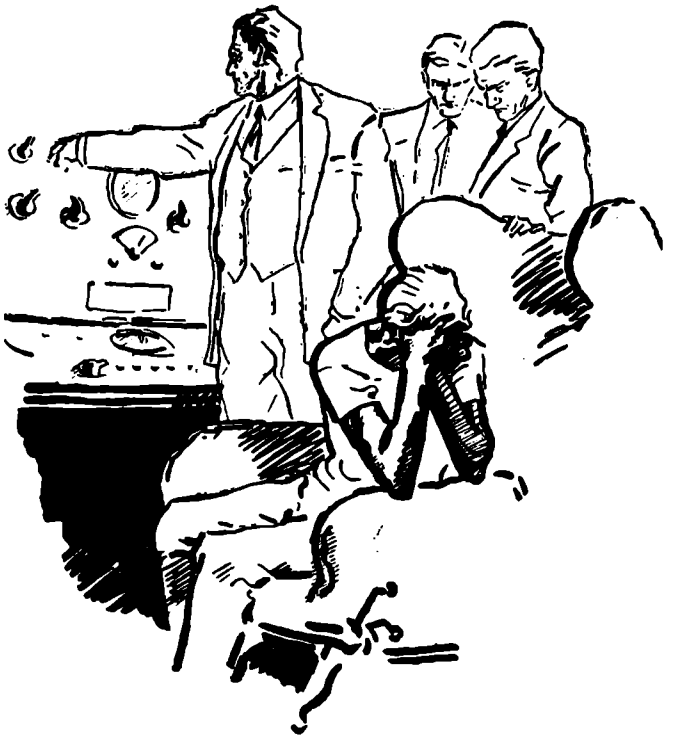
Вертолет!.. Надо как можно быстрее сообщить летчику и вернуться к Вьеньяню. Может быть, найдется и какое-нибудь оружие?

Риск был велик, но промедление могло обойтись слишком дорого. Все равно другого выхода не было...

Ляо Сен посмотрел на Вьеньяня. Каллистянин лежал неподвижно, его дыхания не было слышно. Как можно скорее надо вызвать врача!..

Профессор выбежал в коридор.

На корабле по-прежнему было очень тихо. Его



огромный корпус казался пустым. Где сейчас Ю Син-чжоу? Что он делает?

Подбежав к лестнице, ведущей в центральный пост, Ляо Сен едва успел поставить ногу на первую ступеньку, как услышал звук открывшейся двери подъемной машины.

Кто там? Может быть, Ю Син-чжоу закончил свое дело и теперь собирается покинуть корабль? Если он до сих пор был внизу, то мог не слышать и не знать, что кто-то, кроме него, находится на звездолете...

Послышались шаги. Они приближались к люку. Шаги нескольких человек.

Ляо Сен еще не решил, что ему следует делать, когда увидел Козловского, который быстро спустился, вернее, прыгнул, в люк. За ним появились Артемьев, Смирнов и Широков.

— Где он? — отрывисто спросил Козловский.

— Не знаю! Я его не видел,— ответил Ляо Сен, понимая, что его спрашивают о Ю Син-чжоу...— Вьеньянь тяжело ранен. Идемте скорее, Петр Аркадьевич.

— Идите к раненому,— сказал Козловский. Он повернулся к Артемьеву: — Оставайтесь здесь. При появлении диверсанта задержите его. В случае сопротивления убейте гада!

В сопровождении Смирнова он прошел несколько шагов и спустился в открытый люк.

Оказавшись на лестнице, ведущей в помещение «атомного котла», Козловский шепотом сказал Смирнову, чтобы тот держался позади, а сам осторожно стал спускаться. Он был уверен, что диверсант находится там, у «сердца» корабля.

Тяжелая дверь, за которой находилась вторая такая же, была заперта. Если мнимый Ю Син-чжоу догадался выключить механизм замка, то проникнуть внутрь будет невозможно.

Козловский стал напротив двери и приготовил оружие.

— Нажмите кнопку! — тихо сказал он.

Дверь открылась.

Вторая, отстоящая от первой на полметра, тоже была закрыта. Чтобы открыть ее, надо было подойти к ней вплотную.

— Отойдите от двери! Под защиту стены! — сказал Козловский.

Смирнов открыл рот, чтобы протестовать, но Козловский, не тратя времени на разговоры, оттолкнул его и решительно нажал вторую кнопку.

Он знал, что дверь откроется быстро. Если диверсант слышал, как отворилась дверь, то Козловского могла встретить пуля, выпущенная в упор. Но он считал промедление недопустимым и сознательно шел на риск. Если он будет убит или ранен, то профессор Смирнов встретит преступника в коридоре. А если и профессора постигнет неудача, то дело будет доведено до конца Артемьевым. Во что бы то ни стало надо было помешать злодею испортить важнейший механизм звездолета.

Но дверь не открылась. На этот раз диверсант не забыл выключить кнопку.

Знал ли он, что ему все равно не удастся скрыться после выполнения замысла, или, услышав, как открылась первая дверь, запер вторую, чтобы без помех довести дело до конца, но он отрезал всякий доступ в помещение «котла» и мог делать там, что хотел.

— Оставайтесь на месте! — поспешно сказал Козловский Смирнову.— Если Ю Син-чжоу появится, стреляйте, не задумываясь!

Он опрометью бросился наверх. Единственный, кто мог, может быть, спасти положение, был Вьеньянь.

Каллистянин был уже приведен в чувство. Широков менял перевязку, неумело наложенную Ляо Сеном. Он что-то быстро говорил астроному.

— Скорей! — крикнул Козловский, вбегая в каюту.— Переводите ему мои слова! Диверсант находится в помещении «котла», дверь заперта, и нет возможности помешать ему испортить механизм. Не может ли Вьеньянь посоветовать, что делать?

Выслушав Широкова, астроном на секунду задумался. Потом что-то сказал.

— Вьеньянь говорит, что в это помещение есть вторая дверь, но она тоже может быть закрыта,— перевел Широков.— Он предлагает пустить в ход механизм «котла», но это, безусловно, приведет к смерти того, кто около него находится.

— Если это может спасти машину,— сказал Козловский,— то надо так и сделать. Но спросите его, не опасно ли это для Александра Александровича, который находится у самой двери?

Вьеньянь ответил, что не опасно.

— В таком случае пусть говорит, что надо делать. Только скорее! — сказал Козловский.

— Вьеньянь говорит, что если Ю Син-чжоу добрался до каких-то частей «котла», я не могу понять, каких именно, то пуск в ход может привести к взрыву,— сказал Широков.— Но он все же советует это сделать. Другие помещения корабля не пострадают, если обе двери закрыты.

— Я закрыл вторую дверь,— сказал Козловский.

Он действительно сделал это, чтобы как-то обезопасить Смирнова.

— Все-таки позовите сюда Александра Александровича,— посоветовал Широков.

Выполнить задуманный план можно было только из каюты Диегоня или из центрального поста. Каюта была ближе, и туда осторожно перенесли раненого.

Вьеньянь, видимо, волновался. Он что-то горячо говорил Широкову.

— Ему страшно пустить «котел» в работу,— сказал Широков.— И не потому, что он боится взрыва, а потому только, что это убьет человека.

— Скажите ему, что там не человек, а бешеное животное,— ответил Козловский.

На стене каюты командира звездолета находился большой щит с многочисленными кнопками, ручками и приборами. Вьеньянь указал, как пустить в ход «котел».

Козловский подошел к щиту и положил руки на указанные рукоятки.

— Смирнов здесь? — спросил он.

— Я здесь,— ответил профессор, появляясь в дверях.— Может быть, не надо, Николай Николаевич?

Он сразу понял, что сейчас произойдет.

— Если есть хоть один шанс из тысячи,— жестко ответил Козловский,— мы обязаны это сделать.

И с этими словами он повернул обе ручки.

Все замерли, напряженно прислушиваясь. Вьеньянь закрыл лицо длинными пальцами обеих рук.

Но все было по-прежнему. Ни единого звука не раздалось на корабле.

Только маленький шарик в узкой трубочке вздрогнул и стал подниматься вверх.

— Взрыва не произошло,— сказал Козловский. Его лицо было очень бледно, но совершенно спокойно.

— Жизнь человека дороже любой машины. Я рад, что на Каллисто такой же взгляд на это, как у нас. Но бывают случаи, когда машина дороже человека. К тому же там совсем не человек.— Он нервно рассмеялся.— Там не человек,— повторил он,— а ядовитое пресмыкающееся!

— Остановите «котел»!..— дрожащим от волнения голосом сказал Смирнов.— Ничего живого там уже не осталось.

Медлить нельзя

Сообщение о случившемся в лагере было немедленно послано в Москву. Во второй половине дня прибыла правительственная комиссия для расследования диверсии и принятия мер к ликвидации ее последствий. В составе комиссии были крупнейшие советские специалисты.

По просьбе Куприянова приехал известный хирург, чтобы оказать помощь Вьеньяню, в плече которого застряли две пули. Состояние каллистянского астронома не вызывало опасений, но срочно была необходима операция.

Куприянов подробно ознакомил хирурга с особенностями организма каллистян и показал ему рентгеновские снимки, сделанные им за это время.

— Теперь,— сказал хирург, получив все эти сведения,— я могу делать операцию совершенно спокойно и гарантирую вам благополучный исход.

Здоровье звездоплавателей уже не вызывало тревоги, но они были еще слабы и по настоянию Куприянова и Синьга лежали в постели. Синильная кислота — страшный яд для людей — не оказала на каллистян смертельного действия. Причина этого выяснилась сразу, как только Синьг узнал, каким ядом их хотели отравить. На Каллисто употреблялось в пищу растение, по своим химическим свойствам родственное земному горькому миндалю. Так же, как на Земле, плоды этого растения (внешне совсем не похожего на миндаль) содержали цианисто-водородную кислоту, и организм жителей Каллисто привык к ней. У них образовался иммунитет ко всей группе земных ядов, добываемых из солей синильной кислоты, и именно поэтому яд оказал на них слабое действие.

Но все же доза была сильна, и если бы не энергичные действия Куприянова, дело могло кончиться гораздо хуже. Профессор правильно сделал, что все внимание обратил на Синьга. Каллистянского врача быстро привели в чувство, и по его указаниям пострадавшим было произведено вторичное вливание лекарства, которое сначала было дано в недостаточном количестве.

Яд, безусловно, смертельный для людей, не был таким для каллистян. Этого не учел диверсант.

Преступный план не осуществился в той мере, как этого хотелось его инициаторам, все намеченные жертвы остались живы, а это было самое главное. Насколько удалось диверсанту повредить «сердце» звездолета, должно было выясниться в ближайшее время. Пуск «котла» прошел, по-видимому, нормально, и можно было надеяться, что мнимый Ю Син-чжсу не успел добраться до его главных частей.

Помещение «котла» было закрыто. Вторая дверь также оказалась запертой изнутри.

Механизм дверей помещался внутри стен. Кнопки были устроены так, что когда они выключены снаружи, невозможно восстановить электрическую цепь.

Такое устройство было не случайно. Каллистяне, уверенные в прочности стенок своего корабля, все же допускали, что на таком длительном пути возможны всякие непредвиденные случайности, и принимали меры против них. Каждая дверная кнопка, помимо ручного выключения, имела еще и автоматическое, приводимое в действие понижением температуры воздуха внутри помещения.

Если бы стенка корабля оказалась все же пробитой случайным метеоритом, обладавшим большой скоростью, то хлынувший через образовавшееся отверстие холод Вселенной мгновенно выключил бы механизм двери и доступ в помещение стал бы невозможен. Правда, помещение «котла» было расположено так, что ему ни при каких случайностях не угрожала опасность, но его двери были устроены так же, как и все остальные.

Разве могли каллистяне предвидеть то, что случилось?

Поздно вечером в палатке Куприянова собрались все члены экспедиции, правительственная комиссия, Диегонь и старший инженер звездолета Мьеньонь.

Профессор Смирнов подробно ознакомил собравшихся с устройством дверей звездолета. По его мнению, оставалось только одно — прорезать стену, но сплав, из которого состоял корпус корабля и все его перегородки, был настолько тверд, что никакой земной инструмент не мог справиться с ним.

— Электродуговые, автогенные и термитные способы резки металлов не годятся в этом случае,— сказал он.— Они могут дать температуру не больше трех — четырех тысяч градусов, а для расплавления металла Каллисто требуется не менее одиннадцати тысяч.

— Может быть, у них есть что-нибудь вроде «каллистянского» сварочного аппарата? — спросил Неверов.

— Насколько я знаю,— ответил Смирнов,— нет. Они уверены в крепости частей звездолета и не предполагали, что возникнет необходимость ремонта.

Положение казалось затруднительным. Проникнуть внутрь помещения «котла» и установить, в какой мере потребуется помощь земной техники, надо было как можно скорей. Но как это сделать?

— Товарищ Диегонь спрашивает,— сказал Широков,— можем ли мы сделать аппарат... такой аппарат, чертежи которого имеются на звездолете.

Инженеры комиссии переглянулись.

— Все зависит от того, что для этого нужно.

Мьеньонь принес книги с описанием и чертежами сварочного аппарата Каллисто.

Выяснилось, что для того, чтобы сделать этот аппарат, надо предварительно изготовить тот металл, из которого был построен звездолет, и найти способ получения из земных материалов неизвестного до сих пор газа. Сварочный аппарат Каллисто был газовый.

— Эту задачу быстро не решить,— сказал один из инженеров комиссии.— Но она не является невыполнимой. Медлить нельзя. Когда мы откроем дверь, могут появиться новые проблемы. Завтра утром надо возвратиться в Москву и решить, каким заводам поручить этот необычный заказ. Кто из каллистян будет нас консультировать? — обратился он через Широкова к Диегоню.

— Мьеньонь и Ньяньиньг,— ответил Диегонь.

— Ньяньиньг,— пояснил Широков,— это второй инженер корабля. Кроме того, он химик.

— Изготовить металл, который может выдержать температуру в одиннадцать тысяч градусов, нелегко,— сказал Неверов.— Но будем пробовать!

На следующий день, четырнадцатого сентября, инженер правительственной комиссии Лежнев и два каллистянских инженера — Мьеньонь и Ньяньиньг — вылетели из лагеря в Москву.

Им предстояло изготовить из земных материалов аппарат для резки, а затем для сварки металла, из которого был сделан звездолет.

Необходимо было прежде всего получить сплав, способный выдержать температуру в одиннадцать тысяч градусов, а таких сплавов еще никогда не изготовляли на Земле. Газ для сварочного аппарата тоже был неизвестен.

Все понимали, что если не удастся добиться успеха, то звездоплаватели вынуждены будут навсегда остаться на Земле. Нечего и говорить, что люди были готовы совершить невозможное, но не допустить такого конца космического полета.

Каллистяне, несомненно, отдавали себе отчет в серьезности своего положения и понимали, что спасти их может только техника Земли, сила ее промышленности. Они, конечно, сильно волновались, но внешне ничем не выявляли этого. Их поведение и отношение к людям Земли оставались прежними.

В этот день с самого утра погода стала хмуриться. Временами накрапывал мелкий осенний дождь. В низинах не расходился ночной туман. Вершина звездолета смутно проступала в колеблющейся дымке.

Оставаться в лагере дальше было нельзя. Осень вступала в свои права. «Иностранный лагерь» уже ликвидировался. Некоторые его обитатели переехали в Москву, другие вернулись на родину.

На следующий день погода окончательно испортилась. Все время шел дождь. Земля стала мокрой, вязкой, и звездоплаватели вынуждены были надеть земную обувь. Их легкие туфли, похожие на сандалии, были совершенно негодны в этих условиях.

Последние две ночи каллистяне провели на звездолете. Они хотели проститься со своим кораблем, на котором провели одиннадцать лет.

Внутри корабля, за толстыми двойными стенами, оставалось лежать тело человека, пытавшегося навеки остановить сердце металлического гиганта. Труп диверсанта будет лежать там до тех пор, пока инженеры не сумеют открыть двери и выбросить его оттуда.

Было неприятно сознавать, что звездолет — замечательное создание разума далекой Каллисто — сейчас не что иное, как временный гроб. Но изменить пока ничего было нельзя.

На аэродром решили добираться на вертолете, так как путешествие в автомобилях по размытой дороге предвещало мало приятного.

Куприянов не узнал поля, на котором когда-то опустились их самолеты. Перед ним был современный, прекрасно оборудованный аэродром с бетонными дорожками.

Самолеты, прилетевшие за ними из Москвы, уже ждали.

— Нам бы хотелось еще раз взглянуть на корабль,— сказал Диегонь.

— Обязательно! — ответил Куприянов, когда ему перевели эту просьбу.— Я скажу летчикам, чтобы они пролетели над звездолетом.

Петр Широков

Приехав в Москву, они уже не застали Мьеньоня и Ньяньиньга. Оба инженера, Лежнев и сопровождающие их земные ученые уже вылетели на Уральский металлургический комбинат. Они не хотели терять ни одного часа.

В этот вечер Широков долго не мог заснуть. Он лежал с открытыми глазами в полной темноте и думал. Потом он встал и подошел к окну. Поднял штору. Огромным заревом разливалось необъятное море городских огней. Далекими красными точками сверкали звезды Кремля.

Широков боялся признаться самому себе, что он принял решение.

Но он не мог отказаться от этого решения. Его терзали противоречивые мысли.

«Нужно ли это? — думал он.— Есть ли смысл тратить драгоценные годы?»

Может быть, впервые он ясно понял, что его ожидает полный отказ от всех прежних намерений и планов.

«Это нужно! — говорил ему внутренний голос.— Половина твоей жизни пройдет не напрасно. Живое

слово о жизни другой планеты, другого человечества, все, что ты увидишь и узнаешь, принесет огромную пользу людям.

Но достоин ли я быть избранником человечества? — встал перед ним тревожный вопрос.— Хватит ли у меня знаний, способностей и сил, чтобы успешно справиться с исполинской задачей, которую я хочу взять на себя? Может быть, кто-нибудь другой был бы полезнее на моем месте?»

Эта мысль заставила сжаться его сердце. Он чувствовал, что не может уже отказаться от мечты, которая с такой силой овладела им. Далекая Каллисто непреодолимо влекла к себе.

Наступающий рассвет уже погасил все звезды на небе, а Широков все еще стоял у окна. Он знал, что сегодня его судьба решится окончательно. Сегодня он скажет о своем намерении и получит ответ.

Он думал о своей жизни, стараясь для себя самого решить вопрос: пригоден ли он к выполнению задачи, которую сам же поставил перед собой?

Какие у него права считать себя достойным доверия всего человечества? Разве то, что он изучил язык Каллисто... Да еще, пожалуй, его молодость.

Но этого так мало!

Утром он пошел к Штерну. Директор обсерватории был не один. Он сидел в том же кресле и в той же позе, как и в ту памятную ночь на двадцать восьмое июля, когда еще таинственный космический корабль летел над Землей. Напротив него на диване сидел Козловский.

— Петр Аркадьевич? Рад вас видеть,— сказал Штерн таким тоном, как будто они не виделись уже несколько дней.— Садитесь!

— Вы не знаете, когда приедет Михаил Михайлович?— спросил Широков.

— Уже соскучились?— усмехнулся Козловский.

— Михаил Михайлович только что звонил,— ответил Штерн.— Он немного задержится. Будет здесь часа в два.

— Я поеду к нему. Я не могу ждать.

— Где же вы будете искать Куприянова?— спросил Козловский, ласково и внимательно посмотрев на молодого человека.— Не лучше ли подождать его здесь? Вы напрасно волнуетесь. Михаил Михайлович знает, что́ вы хотите ему сказать, как знаем это и мы. Теперь он одобряет ваше намерение.

— Теперь?..

— Сначала он был против. Но его убедили, что это нужно...

— Вы не знаете, что́ меня мучает,— перебил Широков.

— Возможно,— мягко сказал Козловский.— Многое может мучить человека перед таким шагом. Но вопрос о вашей пригодности к роли представителя Земли на Каллисто,— Широков с изумлением посмотрел на Козловского,— давно обсужден и решен положительно,— докончил он.

Штерн положил руку на руку Широкова.

— Отбросьте от себя все сомнения,— сказал он.— Наша планета может только гордиться, что ее представителем будет такой человек, как вы. Велика и почетна задача, стоящая перед вами. Я дорого дал бы за то, чтобы быть на вашем месте, но годы... Идите вперед, не оглядываясь!

— Ну что?— спросил Козловский.— Поедете искать Куприянова?

— Я подожду его,— сказал Широков.

— Михаил Михайлович хорошо знает вас,— сказал Штерн.— Он первый догадался обо всем. Правда, он противился вашему намерению, но потом понял, что это разумно и нужно. Вам об этом не говорили, потому что мы не хотели влиять на ваше решение. Мы и так были уверены в нем. Если бы вы передумали... Да что глупости говорить! Разве можно отказаться от такого великого дела! Вопрос заключается в том только, как отразится на вашем здоровье пребывание на Каллисто. Куприянов советовался с Синьгом, и они пришли к заключению, что все будет в порядке...

— С Синьгом?

— А с кем же еще? Каллистяне очень полюбили вас и рады, что вы хотите посетить их родину.

— Почему вы не сказали мне об этом раньше?

— А почему вы сами молчали? Единственное, что нас смущало,— это то, что вы полетите один.

— Смущало?..

— Да, но теперь больше не смущает,— сказал Штерн.— У вас нашелся товарищ.

Широков стремительно выпрямился.

— Кто?

— Георгий Николаевич Синяев,— ответил Штерн.— Его влечет то, что вас должно пугать,— двадцать два года полета на космическом корабле. Он проделает на звездолете огромную работу. На корабле хорошие астрономические инструменты, и у него с избытком хватит дела на все двадцать два года. А вы получите товарища, с которым легче будет перенести долгую разлуку с Землей. Что ни говорите, а это не легко. Вдвоем будет легче.

— Давно он задумал это?

— Вероятно, тогда же, когда и вы.

— Это очень неожиданно,— сказал Широков.— И очень радостно. У Георгия Николаевича есть семья?

— Он, как и вы, не женат, но его родители живы. У него есть сестра и два брата. Конечно, родителям будет тяжело. Они могут никогда больше не увидеть сына. Более двадцати лет не шутка. Его отец, старый коммунист, участник гражданской войны, понимает, что сын идет на великий подвиг. Он одобряет его.

— Синяеву, должно быть, гораздо тяжелее, чем мне,— задумчиво сказал Широков. Сам он был одинок. Его родители погибли во время Великой Отечественной войны в блокированном Ленинграде. Братьев и сестер не было.

Неожиданное известие, что он не один полетит на Каллисто, очень обрадовало Широкова. Когда ему сказали, что у него будет товарищ, он понял причины своих колебаний. Это был страх перед полной оторванностью от людей, полным одиночеством среди каллистян, все же чуждых и не совсем понятных существ. Лететь на Каллисто вдвоем с молодым астрономом — это совсем не то, что одному.

Несмотря на заверение Козловского, Широков с волнением ожидал приезда Куприянова. Профессор приехал, как и обещал, в два часа. Разговор получился гораздо проще, чем ожидал Широков. Только потом, вспоминая подробности и выражение лица Куприянова, Широков понял, что внешнее спокойствие было маской, за которой профессор хотел скрыть свое истинное состояние.

Он не произнес ни одного слова упрека. Подробно расспросил о планах Широкова и одобрил их. Поговорил даже о том, кого можно поставить на его место в институте.

Он встал, минуту колебался, потом резко повернулся и направился к двери. Уже взявшись за ручку, долгим взглядом посмотрел в глаза Широкову, который медленно шел за ним, и сказал:

— Только мы с вами, Петя, никогда уже не увидимся.

И вышел.

Коллективными усилиями

Десятки крупнейших иностранных инженеров обратились к Советскому правительству с просьбой разрешить им принять участие в работе. Их предложение было с благодарностью принято. Советские люди последовательно проводили раз принятую линию: космический корабль — гость всей Земли. На Земле он попал в беду. Дело всего человечества — выручить каллистян из этой беды.

Лучшие инженерные силы планеты собрались на Уральском металлургическом комбинате.

В первую очередь необходимо было получить металл Каллисто. Его назвали «кессинд» от каллистянского слова «кьясьиньд».

Кессинд обладал большой тугоплавкостью. Чтобы получить его в жидком виде, требовалось создать температуру свыше одиннадцати тысяч градусов. Подобных печей не существовало. Больше того, не существовало кирпича, способного выдержать такой жар. Конструкция самой печи, основанная на совершенно новом принципе, подсказанном каллистянами, была сравнительно быстро разработана. Но из чего строить печь? Этот вопрос казался неразрешимым.

Тут уж каллистяне ничем не могли помочь. У них на родине существовал природный материал для постройки высокотемпературных плавильных печей, напоминающий внешним видом земной кварц. Но на Земле такого «кварца» не было. Его надо было заменить чем-нибудь.

Десятки лабораторий бились над этой задачей. Вставала реальная угроза поражения в самом начале.

Мир «затаил дыхание». Даже газеты, злорадно предсказывавшие неудачу, замолчали.

В конце концов упорство и настойчивость победили...

Прошел месяц, и в одном из цехов комбината уже стояла небольшая, необычного вида плавильная печь. Сквозь ее прозрачные стенки были видны приготовленные к расплавлению части будущего сплава — кессинда.

Печь была... стеклянной. Это было новое, ранее не существовавшее стекло, способное выдержать температуру до пятнадцати тысяч градусов. Честь его открытия принадлежала ученым и инженерам многих стран. Это было в полном смысле слова коллективное творение Земли.

От получения металла в колбах отказались. Сконструировать печь было нетрудно. Это была та же конструкция, которую предназначали для постройки печи из будущего кирпича. Ее пришлось только немного переделать применительно к новому материалу.

В стеклянные стенки для повышения прочности вплавили вольфрамовый каркас. По расчетам, стекло должно было предохранить вольфрам от расплавления.

Вторая задача заключалась в получении равномерного нагрева печи до температуры в одиннадцать с половиной тысяч градусов. Она была решена с помощью сверхвысокого напряжения, для получения которого пришлось изготовить специальный трансформатор.

Печь установили на гранитном постаменте. Выпуск кессинда должен был произойти автоматически, так как находиться в этот момент возле печи было опасно. Для этого сконструировали и изготовили специальную аппаратуру.

В середине ноября все было готово к варке металла.

Но дальше начались другие трудности.

Кессинд был нужен не сам по себе. Из него предстояло сделать сварочный аппарат по чертежам, изготовленным на Каллисто.

Для обработки металла нужны были станки. Таких станков не было. Никакой резец не мог бы справиться с твердостью кессинда.

Профессор Смирнов нашел выход. По его предложению было решено собрать аппарат из кессиндовых частей, соединяя их болтами, также изготовленными из кессинда. Части и болты предстояло отлить в формах, сделанных из нового стекла.

Металл решили выпустить из печи прямо в формы, которые, после того как остынут, могут быть просто разбиты.

Несмотря на кажущуюся простоту этого способа, его осуществление потребовало огромных усилий. Не все части можно было соединить болтами. Во многих местах нужны были нарезки. Получить их одной только отливкой, без последующей обработки на станке, казалось невозможным. Нарезка была и на самих болтах и на гайках к ним.

И земные мастера справились с этой задачей!

Стеклянные формы для всех частей будущего сварочного аппарата были успешно изготовлены. Чтобы расплавленный кессинд хорошо заполнил формы, он должен был поступать в них под значительным давлением. Потребовалось устройство сложных механизмов для подачи в печь сжатого воздуха. Когда и это было сделано, еще одно препятствие осталось позади.

Но это было опять-таки не все!

Аппарат работал по принципу земных автогенных аппаратов. Пламя давал газ ньеоль. Его состав был до сих пор неизвестен на Земле. Этот газ надо было создать — синтезировать. Но так же, как элементы, из которых состоял кессинд, элементы ньеоля имелись на Земле и были хорошо известны химикам.

Было ли это счастливой случайностью? Нет, это было закономерно. Вся вселенная состоит из ограниченного числа элементов, сведенных великим Менделеевым в его знаменитой таблице. Все эти элементы в разное время были уже найдены на Земле. Других, не имеющих места в таблице Менделеева, в природе не существует.

Ньяньиньг дал формулу ньеоля, а профессор Аверин «перевел» ее на земной химический язык.

Получение ньеоля оказалось сравнительно легким делом. После нескольких предварительных опытов он был получен, изготовлен в требуемом количестве и заключен в стальные резервуары.

Им пришлось придать особую прочность, так как ньеоль сразу, в момент окончания синтеза, расширялся с огромной силой.

Возникшее затруднение разрешили просто. Синтез ньеоля доводили не до конца, после чего накачивали почти готовый газ в резервуар, внутри которого происходила последняя реакция.

Ньеоль горел не сам по себе. В обычном состоянии он не воспламенялся, но, соединяясь с чистым озоном, давал ослепительное пламя огромной температуры.

Пока шла борьба за кессинд, каллистяне никуда не выезжали из Москвы. Интерес к жизни Земли заглушала тревога.

Снова на корабле

Пятнадцатого января, ровно через пять месяцев после выхода каллистян из шара, на месте бывшего лагеря снова собрались все его прежние обитатели.

Среди них был человек, впервые попавший на это историческое место, хотя его имя было тесно связано с несчастьем, постигшим каллистянский звездолет.

Это был корреспондент Ю Син-чжоу.

Придя в сознание после двадцатисемидневного беспамятства, журналист стал быстро поправляться и через два месяца уже был в Москве, где его радостно встретили не только члены экспедиции, но и каллистяне, знавшие все, что с ним произошло, и ожидавшие его приезда.

С опозданием на три месяца корреспондент агентства Синьхуа приступил к своим обязанностям.

Доктор Казимбеков приехал в Москву с ним вместе. Так неожиданно осуществилась его мечта, и доктор не только увидел каллистян, но и имя его вошло в историю прилета космического корабля.

Выяснилась любопытная подробность, показывавшая, как обдуманно действовал фальшивый Ю Син-чжоу. Агентство Синьхуа аккуратно получало из лагеря радиограммы своего корреспондента и не могло поэтому даже заподозрить что-нибудь неладное.

Глубокий снег покрывал те места, где раньше стояли палатки. Окруженный высокой оградой, сам белый, как снег, космический корабль казался еще более фантастическим и неправдоподобным, чем летом. Снежная шапка покрывала его вершину.

Рота солдат быстро очистила площадку для вертолета и убрала снег с «крыши» корабля. Участники экспедиции и каллистяне поселились на аэродроме.

Предстояло открыть дверь в помещение «атомного котла» и выяснить, в какой степени он был поврежден диверсией.

В торжественной обстановке, в присутствии всех каллистян, земных ученых и журналистов, Мьеньонь, одетый в асбестовый костюм, с маской на лице, направил на стену узкое ослепительно голубое пламя сварочного аппарата.

Это было великое торжество техники Земли.

Низкий гул аппарата смешивался с шипением пламени. Тонкая щель медленно ползла по металлу. Мьеньонь вырезывал небольшое круглое отверстие, достаточное для того, чтобы просунуть в него руку и включить кнопку механизма двери.

Голубые искры непрерывным каскадом вылетали из-под острия. Иссиня-черными фантастическими силуэтами метались по стенам и потолку тени людей. Даже сквозь надетые темно-синие очки невозможно было долго смотреть на нестерпимо яркий огонь.

Через пять минут Мьеньоня сменил Ньяньинг.

Глазам больно смотреть на пламя вольтовой дуги. Его температура доходит до четырех тысяч градусов [1]. Даже днем голубоватый свет сварочных аппаратов освещает значительное пространство. Ночью мерцающие вспышки электросварки видны за несколько километров. А здесь, в небольшом помещении, среди отражающих свет металлических стен, горело пламя, раскаленное до одиннадцати тысяч градусов.

Но никто не хотел уходить, и только по настойчивому требованию Синьга, которого поддержал Куприянов, все, кроме двух каллистянских инженеров, перешли в центральный пост, где и ожидали конца работы.

Два часа дали остывать раскаленному металлу.

Ровно в полдень наступил самый ответственный момент операции. Перед дверью собрались все находившиеся на звездолете. Было уже известно, что расчет Мьеньоня правилен. Отверстие вырезано там, где и требовалось. Разомкнутая диверсантом цепь механизма двери была опять замкнута.

Диегонь нажал кнопку. Так долго запертая дверь беззвучно открылась.

Три месяца огромных усилий, напряженной мысли и настойчивого труда было вложено в эту победу.

Победу ли? Или только первый успех в ряду долгих усилий, которые придется приложить, если «котел» — сердце корабля — поврежден серьезно?

И вот дверь открыта! Но никто не двинулся с места. Только Диегонь, Мьеньонь и Смирнов вошли внутрь. Остальные остались ждать в коридоре.

Медленно шли минуты. Никто не проронил ни слова. Каллистяне стояли тесной кучкой, и на их черных лицах нельзя было ничего прочесть.

Трудно придумать более страшный вопрос, чем тот, который решался для них сейчас. Возвращение на любимую родину или вечное пребывание на чужой для них Земле?

Синяев обнял за плечи Вьеньяня и с трудом удерживал нервную дрожь.

Томительную тишину прервал голос Широкова.

— Все равно! — сказал он по-каллистянски.— Если механизм испорчен, мы построим новый. Звездолет будет на Каллисто!

---

[1] Заставляя вольтову дугу гореть в закрытом сосуде под высоким давлением (до 22 атм.), можно повысить температуру примерно до 6 000 градусов.

Стоящий рядом Синьг медленно провел рукой по лбу, не спуская глаз с двери.

Когда наконец появился Диегонь, все взгляды устремились на него.

— Передайте всем земным людям нашу бесконечную благодарность,— сказал он.

И хотя фраза была произнесена по-каллистянски, шумный вздох облегчения вырвался у всех.

Агрегат «атомного котла» оказался неповрежденным. Диверсант успел только снять часть верхнего кожуха машины.

Не только каллистяне, но и профессор Смирнов сразу увидел, что хотел сделать мнимый Ю Синчжоу, куда он пытался добраться. Враг рассчитал верно. Если бы тогда, в ночь диверсии, помедлили еще минут двадцать, агрегат — сердце корабля — был бы непоправимо испорчен.

— Теперь совершенно очевидно, что негодяй был инженером,— сказал Смирнов, выйдя за Диегонем в коридор.— Еще немного — и конец!

— И что бы было в этом случае? — спросил Куприянов.

— Тогда пришлось бы строить весь агрегат заново,— ответил профессор.

Куприянов не решился спросить, осуществимо ли это.

Обожженный до неузнаваемости труп диверсанта лежал у самой машины. Кто был этот человек? Что побудило его пожертвовать своей жизнью? Все усилия выяснить его настоящее имя остались безрезультатными.

Спокойно и радостно прошел день на корабле. Гнетущая тревога и волнение, четыре месяца не дававшие покоя каллистянам и людям, наконец покинули их. Последствия диверсии были полностью ликвидированы, и корабль в любую минуту мог отправиться в обратный путь.

По Земле

Каллистяне не выезжали из Москвы до тех пор, пока не успокоились за судьбу своего корабля. Теперь им надо было посмотреть другие города, совершить путешествие по планете. Так как осталось мало времени, гости разбились на две партии. Одну должны были сопровождать Смирнов, Лебедев и Широков, другую — Куприянов, Лежнев и Ляо Сен.

Степаненко, Синяев, Штерн, Манаенко и профессор Аверин остались в Москве. Молодой астроном хотел провести время до старта со своей семьей, а его старшим товарищам было трудно сопровождать гостей в длительной поездке.

Двадцатого января с Ленинградского и Курского вокзалов каллистяне покинули столицу. Тысячи москвичей провожали их.

Поезда отошли под звуки каллистянского гимна, впервые раздавшегося на Земле в день пятнадцатого августа. Во время пребывания звездоплавателей в лагере он был записан на пленку.

Каллистяне объездили города и села Советского Союза; они посетили многие города Франции, Англии и Америки. Всюду, где бы они ни появлялись, их восторженно встречало население.

В Египте они провели больше недели. Каллистяне отдыхали в привычном для них жарком климате Африки.

Искренняя радость и теплота, с какой встречали каллистян во всех странах, убедили их в том, что покушение в лагере было организовано отдельными лицами, потерявшими человеческое подобие.

Двадцать третьего апреля каллистяне вернулись в Москву. Они откровенно высказывали свои впечатления от всего виденного на Земле. Многое им не нравилось.

— Ваши большие города пыльны, и в них мало зелени. Зачем вы строите заводы в черте города? Не лучше ли удалить их на значительное расстояние? — говорили они.— Мы понимаем, это вызвано тем, что рабочие должны жить рядом с заводом, на котором они работают, но вам надо больше автоматизировать производство и дать людям возможность быстро и удобно перемещаться на большие расстояния. Детские учреждения надо строить за городом, и лучше всего на морском берегу.

Их высказывания были справедливы, но непонимание ими условий жизни на Земле, вызванных недостаточным еще развитием техники, сказывалось на каждом шагу. Привычная техника их родины казалась им очень простой и легко применимой всюду.

— У вас существуют автомобили, дающие большую скорость,— сказал как-то Вьеньянь.— Почему вы не снабдите ими всех рабочих? Тогда они смогут работать на заводах, расположенных далеко за городом.

— Почему у вас нет в личном пользовании самолетов?

Трудно и сложно было отвечать на все эти вопросы. «Все это мы намерены создать в будущем»,— был, в сущности, единственный, но недостаточный ответ.

— Прилетев на Землю, мы перенеслись в прошлое,— сказал Бьяининь.

Обидно было слышать такие слова, но они были справедливы.

Конец месяца прошел почти в непрерывных научных конференциях, на которых каллистянские ученые делали обширные доклады о науке и технике их родины.

Уже не как чужие, а с теплым, братским чувством смотрели каллистяне с высоты Мавзолея на первомайский парад и демонстрацию трудящихся Москвы, которые радостно приветствовали представителей другого мира.

Весь мир знал о героическом подвиге, который готовились совершить два сына Земли. Проходящие по Красной площади демонстранты приветствовали их наравне с гостями.

Они стояли среди новых друзей и прощались с родным народом, Родиной и Землей. Пройдет немного дней, и звездолет Каллисто унесет их в неведомую людям бездну межзвездного пространства, на далекую планету. Спокойно и просто шли они навстречу тому, что ожидало их впереди.

Во имя торжества науки!

Старт

Снова раскинулся вокруг берез полотняный лагерь. Успевшая просохнуть земля нежилась и зеленела под безоблачным небом. Словно проснувшийся от зимней спячки, умытый весенними дождями, космический корабль, готовый к полету, отбрасывал от полированных кессиндовых стенок ослепительные лучи высоко поднявшегося солнца.

На земле и в воздухе, вокруг корабля, кипела работа. Серебристые вертолеты непрерывно, один за другим, взлетали к его вершине, разгружались и снова опускались на землю. Подобно океанскому пароходу у причала, космический корабль принимал в свой огромный корпус все новые и новые грузы. Подъемные машины второй день работали без перерыва, опуская вниз все эти бесчисленные, добротно сделанные ящики, металлические коробки и герметически запаянные стальные баллоны. По указаниям Мьеньоня, Ньяньиньга и Диегоня «дары Земли» размещались по многочисленным подсобным помещениям звездолета.

К вечеру девятого мая погрузка полностью закончилась. Корабль и его экипаж были готовы к старту.

Эту последнюю ночь на Земле даже каллистяне провели в лагере. Не только Широков и Синяев, но и гости из другого мира не могли без грусти думать о разлуке с Землей, к которой успели привыкнуть за десять месяцев.

Как только Солнце поднялось над горизонтом, в лагере снова закипела работа. Свертывались палатки, грузились на автомашины, поле постепенно пустело. Потом стали уезжать люди.

Проводить каллистян собралось более тридцати тысяч человек. Аэродром и все поле далеко за ним были заполнены самолетами, автобусами и автомобилями. Делегации со всех концов СССР и несколько тысяч иностранцев ждали за насыпью железной дороги момента старта. Было запрещено приближаться к звездолету ближе чем на пять километров.

Людям, заполнившим поле, не был виден космический корабль: его скрывала высокая насыпь. Он появится, когда поднимется над Землей, чтобы начать долгий путь по дорогам Вселенной.

Все знали, что старт будет беззвучным. Ни взрывов, ни грохота...

Двенадцать часов...

Далеко, почти на горизонте, поднялась над Землей темная туча. Где-то, в самой ее середине, на секунду блеснула яркая точка. Порыв ветра пронесся над полем.

Там, на месте, где был лагерь, бушевал сокрушающий вихрь, во много раз превышающий силу самого страшного урагана. Многотонной тяжестью обрушивался потрясенный воздух на землю, вздымая ее вверх клубящимися массами.

Исполинский шар медленно и плавно отделился от Земли и повис в воздухе.

Только киноаппараты, заряженные пленкой, чувствительной к инфракрасным лучам, «видели» сквозь бурую тучу, как он словно в нерешительности остановился на секунду.

Еще сильнее, еще яростнее заметалась под ним черная стена Земли. Разъяренный воздух раскидывал ее во все стороны, вырывая на месте, где стоял корабль, глубокую яму...

Огромная толпа, затаив дыхание, не спускала глаз с темной тучи, которая все больше и больше расширялась.

Но вот, словно вынырнув из пучины моря, над ней показался и засверкал на Солнце космический корабль. Заметно для глаз, все быстрей и быстрей, поднимался он в сияющую бездну, пока не превратился в еле видную серебристую точку.

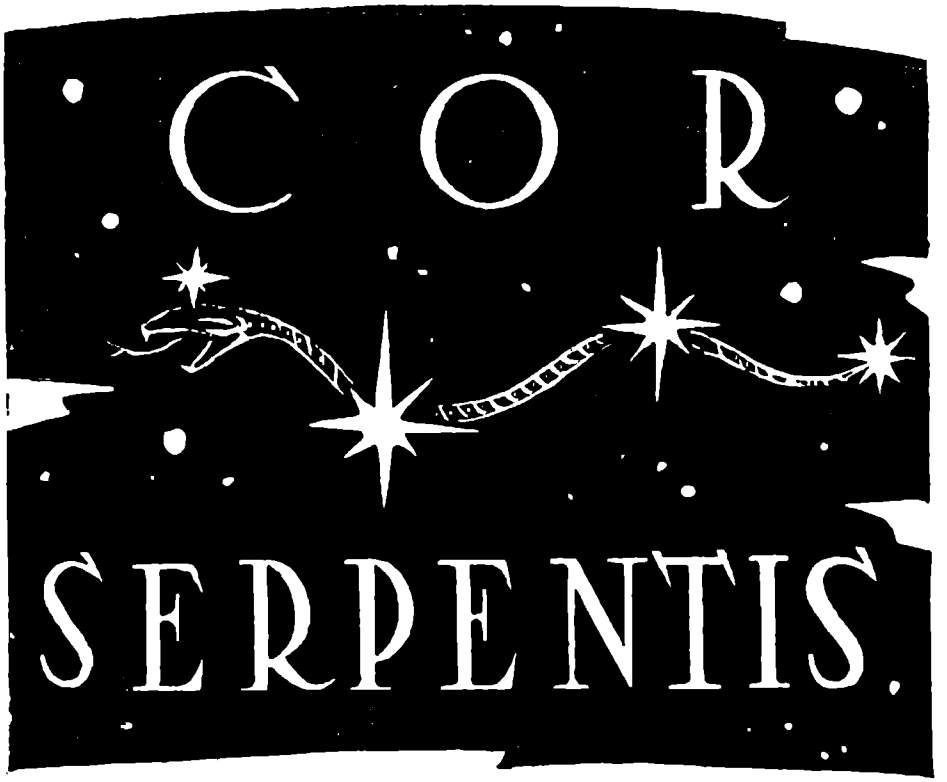
Исчез...

Медленно оседала поднятая земля.

И долго в торжественном молчании стояли люди, всматриваясь в голубую бесконечность, за которой скрылся звездолет Каллисто, унесший двух человек Земли, отважившихся покинуть ее.

Вернутся ли они или, скрывшись в неведомой людям дали, они никогда не ступят на родную Землю, взрастившую их, наделившую их пытливым умом, пылким и мужественным сердцем?

Фантастика



И. ЕФРЕМОВ

Рисунки В. Грибко.

СЕРДЦЕ ЗМЕИ

Сквозь туман забытья, обволакивающий сознание, прорвалась музыка... «Не спи! Равнодушье — победа Энтропии черной!..» Слова известной арии пробудили привычные ассоциации памяти и повели, потащили за собой ее бесконечную цепь.

Жизнь возвращалась. Громадный корабль еще содрогался, но автоматические механизмы неуклонно продолжали свое дело. Вихри энергии вокруг каждого из трех защитных колпаков остановили невидимое вращение. Несколько секунд колпаки, похожие на большие ульи из матового зеленого металла, оставались в прежнем положении, затем внезапно и одновременно отскочили вверх и исчезли в ячеях потолка, среди сложного сплетения труб, поперечин и проводов.

Два человека остались недвижимы в глубоких креслах, окруженных кольцами — основаниями исчезнувших колпаков. Третий осторожно поднял отяжелевшую голову и вдруг легко встряхнул густыми темными волосами. Он поднялся из глубины мягчайшей изоляции, сел, для устойчивости подогнув под себя ногу, и наклонился вперед, чтобы прочитать показания приборов. Они во множестве усеивали наклонную светлую доску большого пульта, протянувшегося поперек всего помещения в полуметре от кресел.

— Вышли из пульсации! — раздался уверенный голос.— Вы опять очнулись раньше всех, Кари? Идеальное здоровье для звездолетчика!

Кари Рам, электронный механик и астронавигатор звездолета «Теллур», мгновенно повернулся, встретив еще затуманенный взгляд командира.

Мут Анг, с усилием двигаясь, облегченно вздохнул и встал перед пультом.

— Двадцать четыре парсека[1]... мы прошли звезду. Новые приборы всегда неточны... вернее, мы не владеем ими... Можно выключить музыку. Тэй проснулся!

Кари Рам услышал в наступившей тишине лишь неровное дыхание очнувшегося товарища.

Центральный пост управления звездолета напоминал довольно большой круглый зал, надежно скрытый в глубине гигантского корабля. Выше пультов приборов и герметических дверей помещение обегал синеватый экран, образуя полное кольцо. Впереди, по центральной оси корабля, в экране был вырез, в котором находился прозрачный, как хрусталь, диск локатора диаметром почти в два человеческих роста. Огромный диск как бы сливался с космическим пространством и, отблескивая в огоньках приборов, походил на черный алмаз.

Мут Анг сделал неуловимое движение, и тотчас все три человека, находившиеся в посту управления, почти одинаковыми жестами прикрыли глаза. Ко-

[1] Парсек — единица измерения звездных расстояний = 3,26 светового года.

И. ЕФРЕМОВ

лоссальное оранжевое солнце загорелось с левой стороны на экране. Его свет, ослабленный мощными фильтрами, был едва переносим.

Мут Анг покачал головой.

— Еще немного, и мы пронеслись бы через корону звезды. Больше не буду прокладывать точного курса. Гораздо безопаснее пройти стороной.

— Тем и страшны новые пульсационные звездолеты,— ответил из глубины кресла Тэй Эрон, помощник командира и главный астрофизик.— Мы делаем расчет, а затем корабль мчится вслепую, как выстрел в темноту. И мы тоже мертвы и слепы внутри защитных вихревых полей. Мне не нравится этот способ полета в Космос, хотя он и быстрее всего, что могло придумать человечество.

— Двадцать четыре парсека! — воскликнул Мут Анг.— А для нас прошел как будто миг...

— Миг смерти, подобной сну,— хмуро возразил Тэй Эрон,— а вообще на Земле...

— Лучше не думать,— выпрямился Кари Рам,— что на Земле прошло больше семидесяти восьми лет. Многие из друзей и близких мертвы, многое изменилось... Что же будет, когда...

— Это неизбежно в далеком пути с любой системой звездолета,— спокойно сказал командир.— На «Теллуре» лишь время для нас идет быстрее. И хотя мы забираемся дальше всех в Космос, вернемся почти теми же...

Тэй Эрон приблизился к расчетной машине.

— Все безупречно,— сказал он несколько минут спустя.— Это Кор Серпентис, или, как называли древние арабские астрономы, Унук аль Хай — Сердце Змеи.

— А где же ее близкий сосед? — спросил Кари Рам.

— Скрыт от нас главной звездой. Видите, спектр К-ноль. С нашей стороны — затмение,— ответил Тэй.

— Раздвиньте щиты всех приемников! — распорядился командир.

Их окружила бездонная чернота Космоса. Она казалась более глубокой, потому что слева и сзади горело оранжево-золотым огнем Сердце Змеи, затмившее все звезды и Млечный путь.

Только внизу, споря с ней, сияла пламенем белая звезда.

— Эпсилон Змеи совсем близко,— громко сказал Кари Рам. Молодой астронавигатор хотел заслужить одобрение командира. Но Мут Анг молча смотрел направо, где выделялась чистым белым светом далекая и яркая звезда.

— Туда ушел мой прежний звездолет «Солнце»,— медленно проговорил командир, почувствовав за своей спиной выжидательное молчание,— на новые планеты...

— Так это Альфекка в Северной Короне?

— Да, Рам, или, если хотите европейское название, Гемма... Но пора за дело!

— Будить остальных? — с готовностью спросил Тэй Эрон.

— Зачем? Мы сделаем одну — две пульсации, если убедимся, что впереди пусто,— ответил Мут Анг.— Включайте оптические и радиотелескопы, проверьте настройку памятных машин. Тэй, включите ядерные моторы! Пока будем дзигаться на них. Дайте ускорение!

— До шести седьмых световой?

И в ответ на молчаливый кизок командира Тэй Эрон быстро проделал необходимые манипуляции. Звездолет даже не вздрогнул, хотя ослепительное радужное пламя полыхнуло во весь обзор экранов и совсем скрыло слабые звезды ниже сверкающего Млечного пути. Среди этих звезд было и земное Солнце.

— В нашем распоряжении несколько часов, пока приборы завершат наблюдения и окончат их четырехкратную проверку,— сказал Мут Анг.— Надо поесть, потом каждый из нас может уединиться и отдохнуть немного. Я сменю Кари.

Звездолетчики вышли из центрального поста. Кари Рам пересел во вращающееся кресло посредине пульта. Астронавигатор закрыл задние приемники, и пламя ракетных моторов исчезло.

Огненное Кор Серпентис продолжало мерцать дерзкими отблесками на бесстрастной полировке приборов. Диск переднего локатора оставался черным, бездонным колодцем, но это не смущало, а радовало астронавигатора. Расчеты, занявшие шесть лет труда могучих умов и исследовательских машин Земли, оказались безошибочными.

Сюда, в широкий коридор пространства, свободного от звездных скоплений и темных облаков, был направлен «Теллур» — первый пульсационный звездолет Земли. Этот тип звездолетов, передвигавшихся в нуль-пространстве, должен был достигнуть гораздо больших глубин Галактики, чем прежние, ядерно-ракетные, анамезонные звездолеты, летавшие со скоростью пять шестых и шесть седьмых скорости света. Пульсационные корабли действовали по принципу сжатия времени и были в тысячи раз быстрее. Но их опасной стороной было то, что звездолет в момент «пульсации» не мог быть управляем. Люди также могли перенести пульсацию лишь в бессознательном состоянии, скрытые внутри мощного магнитного поля. «Теллур» передвигался как бы рывками, всякий раз тщательно изучая, свободен ли путь для следующей пульсации.

Мимо Змеи, в почти свободном от звезд пространстве высоких широт Галактики, «Теллур» должен был пройти в созвездие Геркулеса к углеродной звезде.

«Теллур» послали в неимоверно далекий рейс, чтобы его экипаж исследовал и изучил загадочные процессы превращения материи на звезде, очень важные для земной энергетики. Подозревалось, что звезда была связана с темным облаком в форме вращающегося электромагнитного диска, обращенного ребром к Земле. Ученые ожидали, что они увидят повторение истории образования нашей планетной системы сравнительно недалеко от Солнца. «Недалеко» — это сто десять парсеков, или триста пятьдесят лет пути светового луча...

Кари Рам проверил приборы-охранители. Они показывали, что все связи автоматов корабля в исправности. Теперь молодой астролетчик предался размышлениям.

Далеко-далеко, на расстоянии семидесяти восьми световых лет, осталась Земля — прекрасная, устроенная человечеством для светлой жизни и вдохновенного творческого труда. В этом обществе без классов каждый человек хорошо знал всю планету. Не только ее заводы, рудники, плантации и морские

промыслы, учебные и исследовательские центры, музеи и заповедники, но и милые сердцу уголки отдыха, одиночества или уединения с любимым человеком.

И от этого чудесного мира человек, предъявляя к себе высокие требования, углублялся все дальше в космические ледяные бездны в погоне за новыми знаниями, за разгадкой природы, все более покорной человеку. Все дальше и дальше шел человек от Луны, залитой убийственным рентгеновским и ультрафиолетовым излучением Солнца, от жаркой и безжизненной Венеры с ее океанами нефти, липкой смоляной почвой и вечным туманом, от холодного, засыпанного песками Марса с чуть теплящейся подземной жизнью. Едва началось изучение Юпитера, как новые корабли достигли ближайших звезд. Земные звездолеты посетили Альфу и Проксиму Центавра, звезду Барнарда, Сириус, Эту Эридана и даже Тау Кита. Конечно, не сами звезды, а их планеты или ближайшие окрестности, если это были двойные звезды, как Сириус, лишенные планетных систем...

Но межзвездные корабли Земли еще не побывали на планетах, где жизнь уже достигла своей высшей формы, где обитали мыслящие существа — люди.

Из далеких бездн Космоса ультракороткие радиоволны несли вести населенных миров; иногда они приходили на Землю через тысячи лет после того, как были отправлены. Человечество только училось читать эти передачи и стало представлять, какой океан знаний, техники и искусства совершает свой круговорот между населенными мирами нашей Галактики... Мирами, еще недостижимыми. Что уж говорить про другие звездные острова — галактики, разделенные миллионами световых лет расстояния!.. Но от этого становилось только больше стремление достичь планет, населенных людьми, пусть непохожими на земных, но тоже построившими мудрое, правильно развивающееся общество, где каждый имеет свою долю счастья, наибольшего при их уровне власти над природой. Впрочем, было известно, что есть совершенно похожие на нас люди, и этих, вероятно, больше. Законы развития планетных систем и жизни на них однородны не только в нашей Галактике, но и во всей известной нам части Космоса!

Пульсационный звездолет — последнее изобретение гения Земли — дает возможность прийти на призывы далеких миров. Если полет «Теллура» окажется удачным, тогда... Только, как все в жизни, новое изобретение имеет две стороны.

— И вот другая сторона...— Задумавшись, Кари Рам не заметил, что произнес последние слова вслух.

Вдруг позади раздался приятный и сильный голос Мут Анга:

— Другая сторона любви —
что глубоко и широко, как море,
то отзовется душным коридором,
и этого не избежать — оно в крови!

Кари Рам вздрогнул.

— Я не знал, что вы тоже увлекаетесь старинной музыкой,— улыбнулся командир звездолета.— Этому романсу не меньше пяти веков!

— Я вовсе ничего не знаю! — воскликнул астронавигатор.— Я думал о нашем звездолете. О том, когда мы вернемся...

Командир стал серьезным.

— Мы проделали только первую пульсацию, а вы думаете о возвращении?

— О нет! Зачем бы я старался попасть в число избранных для полета? Мне показалось... ведь мы вернемся на Землю, когда там пройдет семьсот лет и, несмотря на удвоившееся долголетие человека, даже правнуки наших сестер и братьев уже будут мертвы...

— Разве вы этого не знали?

— Знал, конечно,— упрямо продолжал Рам.— Но мне пришло в голову другое.

— Я понял. Кажущаяся бесполезность нашего полета?

— Да! Еще до изобретения и постройки «Теллура» ушли обычные ракетные звездолеты на Фомальгаут, Капеллу и Арктур. Фомальгаутская экспедиция ожидается через два года — уже прошло пятьдесят. Но с Арктура и Капеллы корабли придут еще через сорок.— пятьдесят лет: до этих звезд ведь двенадцать и четырнадцать парсеков. А сейчас уже строят пульсационные корабли, которые могут оказаться на Арктуре в одну пульсацию. Но это пустяки по сравнению с нашей дальностью. За то время, пока мы совершим свой полет, люди окончательно победят время, или пространство, если хотите. Тогда наши земные корабли окажутся гораздо дальше нас, а мы вернемся с грузом устарелых и бесполезных сведений...

— Мы ушли с Земли, как уходят из жизни умершие,— медленно сказал Мут Анг,— и вернемся отсталыми в развитии, с пережитками прошлого.

— Об этом я и думал!

— Вы правы и глубоко неправы. Развитие знаний, накопление опыта, исследование бездонного Космоса должны быть непрерывны. Иначе нарушатся законы развития, которое всегда неравномерно и противоречиво. Представьте, что древние естествоиспытатели, кажущиеся нам наивными, стали бы ожидать, ну, скажем, изобретения современных квантовых микроскопов! Или земледельцы и строители давнего прошлого, обильно политые нашу планету своим потом, стали бы ждать автоматических машин и... так и не вышли бы из сырых землянок, питаясь крохами, уделяемыми природой!

Кари Рам звонко рассмеялся. Мут Анг продолжал без улыбки:

— Мы также призваны выполнить свой долг, как и каждый член общества. За то, что мы первые прикоснемся к невиданным еще глубинам Космоса, мы умерли на семьсот лет. Те, кто остался на Земле, чтобы пользоваться всей радостью земной жизни, никогда не испытают великих чувств человека, заглянувшего в тайны развития Вселенной. И так все. Но возвращение... Вы напрасно опасаетесь будущего. В каждом веке своей истории человечество в чем-то возвращалось назад, несмотря на общее восхождение по закону спирального развития. Каждое столетие имело свои неповторимые особенности и вместе с тем общие всем черты... Кто может сказать, может быть, та крупица знания, что мы доставим на нашу планету, послужит новому взлету науки, улучшению жизни человечества. Да и мы сами вернемся из глубины прошлого, но принесем новым людям наши жизни и сердца, отданные за будущее. Разве мы придем чужими? Разве может оказаться чужим тот, кто служит в полную меру сил? Ведь человек — это не только сумма знаний, но и сложнейшая архитектура чувств, а в этом мы, испытавшие всю трудность долгого пути через Космос, не окажемся хуже тех, будущих...— Мут Анг помолчал и совсем другим, насмешливым тоном закончил: — Не знаю, как вам, а мне так интересно заглянуть в будущее, что ради этого одного...

— Можно временно умереть для Земли! — воскликнул астронавигатор.

Командир «Теллура» кивнул головой.

— Идите мойтесь, ешьте, следующая пульсация уже скоро! Тэй, вы зачем вернулись?

Помощник командира пожал плечами.

— Хочется скорее узнать путь, проложенный приборами. Я готов сменить вас.

И без дальнейших слов астрофизик нажал кнопку в середине пульта. Вогнутая полированная крышка беззвучно отодвинулась, и из глубины прибора поднялась скрученная спиралью лента серебристого металла. Ее пронизывал тонкий черный стержень, означавший курс корабля. Как драгоценные камни, горели на спирали крохотные огоньки — звезды разных спектральных классов, мимо которых шел путь «Теллура». Стрелки бесчисленных циферблатов начали хоровод почти осмысленных движений. Это расчетные машины уравновешивали прямую линию следующей пульсации так, чтобы проложить ее в возможно наибольшем удалении от звезд, темных облаков и туманностей светящегося газа, которые могли скрызать еще неведомые небесные тела.

Увлеченный работой, Тэй Эрон не заметил, как прошло несколько молчаливых часов, пока громадный звездолет продолжал свой бег в черную пустоту пространства. Товарищи астрофизика тихо уселись в глубине полукруглого дивана, поблизости от массивной тройной двери, изолировавшей пост управления от других помещений корабля.

Веселый звон маленьких колокольчиков сигнализировал окончание вычислений. Командир звездолета медленно подошел к пультам.

— Удачно! Вторая пульсация может быть почти втрое длиннее первой...

— Нет, тут тридцатипроцентная неопределенность! — Тэй показал на конечный отрезок черного стержня, едва заметно вибрировавшего в такт колебаниям связанных с ним стрелок.

— Да, полная определенность — пятьдесят семь парсеков. Отбросим пять на возможность скрытых ошибок — пятьдесят два. Готовьте пульсацию.

Снова проверялись все бесчисленные механизмы и связи корабля. Мут Анг соединился с каютами, где находились погруженные в сон остальные пять членов экипажа «Теллура».

Автоматы физиологического наблюдения отметили, что организмы спящих в нормальном состоянии. Тогда командир включил защитное поле вокруг жилых помещений корабля. На матовых панелях левой стены побежали красные струи — потоки газа в спрятанных позади них трубках.

— Пора? — слегка хмурясь, спросил командира Тэй Эрон.

Тот кивнул. Трое дежурных молча опустились в глубокие кресла, закрепляя себя в них воздушными подушками. Когда был застегнут последний крючок, каждый достал из ящичка в левом подлокотнике металлический шприц, готовый к употреблению.

— Итак, еще на полтораста лет земной жизни! — сказал Кари Рам, всаживая иглу в обнаженную руку.

Мут Анг зорко посмотрел на него. Глаза юноши светились легкой насмешкой, свойственной здоровому и вполне уравновешенному человеку. Командир подождал, пока его товарищи откинулись в креслах и закрыли глаза, впадая в бессознательное состояние. Тогда он включил рычажки на маленькой коробке у своего колена. Бесшумно и неотвратимо, как сама судьба, спустились с потолка массивные колпаки. За минуту до этого Мут Анг включил механических роботов, управлявших пульсацией и защитным полем. Под колпаком в слабом свете голубоватого ночника командир прочитал показания контрольных приборов и только после этого вонзил иглу шприца себе в руку...

☆

Звездолет вышел из четвертой пульсации. Теперь загадочное светило — цель полета — выросло на экранах правой, «северной» стороны до размеров Солнца, видимого с Меркурия.

Колоссальная звезда из редкого класса «темных» углеродных звезд подвергалась детальному изучению. «Теллур» шел на субсветовой скорости в расстоянии меньше четырех парсеков от гигантской тусклой звезды КНТ8008, едва с Земли видимой даже в мощные телескопы. Подобные звезды — их поперечник равнялся ста пятидесяти — ста семидесяти диаметрам нашего Солнца — отличались обилием углерода в своих атмосферах. При температуре в две — три тысячи градусов атомы углерода соединялись в особые молекулы-цепочки из трех атомов каждая. Атмосфера звезды с такими молекулами задерживала излучение фиолетовой части спектра, и свет гиганта был очень слабым сравнительно с его размерами.

Но центры углеродных гигантов, разогретые до ста миллионов градусов, были могучими генераторами нейтронов и превращали легкие элементы в тяжелые и даже зауриновые, вплоть до калифорния и россия, как был назван самый тяжелый из элементов с атомным весом 401, созданный уже четыре столетия назад. Ученые считали, что фабриками тяжелых элементов были углеродные звезды. Они рассеивали эти элементы в пространстве после периодических взрывов. Обогащение общего химического состава нашей Галактики идет именно за счет действия темных углеродных гигантов.

Пульсационный звездолет дал наконец человечеству возможность изучить углеродную звезду с близкого расстояния, понять существо происходивших в ней процессов превращения материи.

Экипаж звездолета проснулся, и каждый занялся теми исследованиями, ради которых он умер для Земли на семьсот лет. Движение корабля казалось теперь очень медленным, но более скорый бег и не был нужен. Экспедиции предстояло длительное изучение ряда сложных процессов. К их разрешению физики Земли еще не подобрали ключей.

«Теллур» шел, слегка отклоняясь к югу от углеродной звезды, чтобы держать экран локатора вне ее излучения. И его черное зеркало недели, месяцы и годы оставалось по-прежнему беспросветно темным. «Теллур», или, как он значился в реестре космофлота Земли, «ИФ-1 (Зет-685)», первый звездолет обращенного поля, или шестьсот восемьдесят пятый по общему списку космических кораблей, не был так велик, как субсветовые звездолеты дальнего действия. От их постройки отказались лишь недавно — с изобретением пульсационных кораблей.

Те колоссальные корабли несли экипаж до двухсот человек, и смена поколений давала возможность проникать довольно глубоко в межзвездное пространство.

С каждым возвращением дальнего звездолета на Земле появлялось несколько десятков выходцев из другого времени — представителей далекого прошлого. И хотя нервная система и уровень развития этих пережитков прошлого были очень высоки, все же новые времена оказывались для них чуждыми, и часто глубокая меланхолия или отрешенность становились уделом космических скитальцев.

Теперь пульсационные звездолеты забросят людей еще дальше. Пройдет немного времени, по мерке астролетчиков, и в человеческом обществе появятся тысячелетние Мафусаилы. Те, кому выпадет на долю отправиться на другие галактики, вернутся

на родную планету миллионы лет спустя. Таковой оказалась оборотная сторона дальних космических рейсов, коварная препона, поставленная природой своему неугомонному сыну. На новых звездолетах экипажи насчитывали всего восемь человек. Этим путешественникам в безмерные дали Космоса и одновременно в будущее было запрещено, в отмену прежних поощрительных постановлений, иметь детей во время путешествия.

И хотя «Теллур» был меньше своих предшественников, все же он представлял собою огромный корабль, где просторно разместился его малочисленный экипаж.

Пробуждение после продолжительного сна вызвало, как всегда, подъем жизненной энергии. Экипаж звездолета — преимущественно молодые люди — проводил свободное время в гимнастическом зале.

Они придумывали труднейшие упражнения, фантастические танцы или, надев отталкивающие пояса и кольца на руки и на ноги, совершали головоломные трюки в антигравитационном углу зала. Астролетчики любили плавать в большом бассейне с ионизированной светящейся водой, сохранявшей прекрасную голубизну колыбели народов Земли — Средиземного моря...

Кари Рам сбросил рабочий костюм и устремился к бассейну, но его остановил веселый голос:

— Кари, помогите! Без вас не получается этот поворот.

Высокая девушка-химик Тайна Дан, в короткой тунике из зеленой сверкающей ткани в тон ее глазам, была самой веселой и молодой участницей экспедиции. Она не раз возмущала спокойного Кари своей порывистой резкостью. Правда, танцы он любил не меньше Тайны — прирожденной плясуньи. Он с улыбкой подошел к ней.

Слева, с высоты помоста над бассейном, его приветствовала Афра Деви — биолог звездолета. Она старательно укладывала в чепчик массу своих черных волос, перед тем как броситься в воду. К Афре приблизился, осторожно ступая по пружинящей пластмассе, Тэй Эрон, протягивая за спиной девушки мускулистую, сильную руку. Раскачиваясь в такт движениям доски, Афра откинулась назад, на эту надежную опору. На секунду оба замерли, смуглые, с той похожей на блестящий металл кожей, которую дает человеку лишь здоровая жизнь на воздухе и солнце. Едва уловимым движением молодая женщина выгнулась еще сильнее, сделала полный оборот вокруг руки помощника командира, и оба полетели в воду, сплетаясь, точно в танце.

— Он все забыл! — пропела Тайна Дан, прикрывая глаза механика кончиками горячих пальцев.

— Разве не красиво? — ответил тот вопросом и притянул к себе девушку в первом движении танца, войдя в полосу звукового фона.

Кари и Тайна были лучшими танцорами корабля. Только они умели отдавать себя полностью мелодии и ритму, выключая все другие думы и чувства. И Кари унесся в мир танца, не ощущая ничего, кроме наслаждения согласованными легкими движениями. Рука девушки, лежавшая у него на плече, была сильна и нежна. Зеленые глаза потемнели.

— Вы и ваше имя — одно,— шепнул Кари.— Я запомнил, что Тайна на древнем языке — это неведомое, неразгаданное.

— Вы радуете меня,— без улыбки ответила девушка,— мне всегда казалось, что тайны остались только в Космосе, а на нашей Земле их нет более. Нет их у людей — все мы просты, ясны и чисты!

— И вы жалеете об этом?

— Иногда. Мне хотелось бы встретить такого человека, как в давнем прошлом. Вынужденного скрывать свои мечты, свои чувства от окружающей злобы, закалять их, выращивать неколебимыми, полными невероятной силы.

— О, я понимаю! Но я думал не о людях и жалел лишь о неразгаданных тайнах... Как в древних романах: повсюду таинственные развалины, неведомые глубины, непокоренные высоты, а еще раньше — заколдованные, проклятые и обладающие загадочными силами рощи, источники, заповедные тропы, дома.

— Да, Кари! Хорошо бы и здесь, в звездолете, найти тайные уголки, запрещенные проходы.

— И они вели бы в неведомые комнаты, где скрывалось...

— Что скрывалось?

— Не знаю,— помолчав, признался механик и остановился.

Но Тайна вошла в игру и, нахмурившись, потянула его за рукав. Кари последовал за девушкой, и они вышли из спортивного зала в тускло освещенный боковой проход. Указатели вибрации равномерно и неярко мигали, будто стены корабля боролись с надвигавшимся сном. Девушка сделала несколько быстрых, бесшумных шагов и замерла. Тень скуки мелькнула на ее лице так быстро, что Кари не мог бы поручиться, что он действительно заметил у нее признак душевной слабости. Незнакомое чувство больно резнуло его. Механик снова взял руку Тайны.

— Пойдемте в библиотеку. Мне два часа до смены, а вам и еще дольше.

Она послушно направилась к центру корабля.

Библиотека, или зал общих занятий, находилась непосредственно за центральным постом управления, как на всех звездолетах. Кари и Тайна открыли герметическую дверь третьего поперечного коридора и вышли к двустворчатому эллипсу люка центрального прохода. Едва только Кари наступил на бронзовую пластинку и тяжелые створки беззвучно разошлись, как молодые люди услышали могучий вибрирующий звук. Тайна радостно сжала пальцы Кари.

— Мут Анг!

Оба скользнули в библиотеку. Рассеянный свет, казалось, вился дымкой под матовым потолком. Два человека ютились в глубоких креслах между колонками фильмотек, скрытые в тенях углублений. Тайна увидела врача Свет Сима и квадратную фигуру Яс Тина — инженера пульсационных устройств, грезившего о чем-то, закрыв глаза. Слева, под гладкими раковинами акустических устройств, склонился над серебристым футляром ЭМСР сам командир «Теллура».

ЭМСР — электромагнитный скрипко-рояль — давно уже заменил повсеместно жестко звучащий темперированный рояль, сохранив его многоголосую сложность и придав ему богатство скрипичных оттенков. Усилители звука этого инструмента могли придавать ему в нужные моменты потрясающую силу.

Мут Анг не заметил вошедших. Он немного подался вперед, подняв лицо к ромбическим панелям потолка. Пальцы командира нежно касались клавиш. Как и в старинном рояле, пальцы музыканта определяли все оттенки звучания, хотя производили звук не при помощи молоточка и струны, а тончайшими электронными импульсами почти мозговой тонкости.

Гармонично сплетенные темы единства Земли и Космоса стали раздваиваться, отдаляться. Противоречия спокойной печали и жестокого дальнего гро-

«Раскачиваясь в такт движениям доски, Афра откинулась назад, на эту надежную опору»

«Догадка заставила содрогнуться Мут Анга, закусить губы Тэй Эрона, до боли сжать край пульта Кари Рама»

ма накипали, усиливались, прерываясь звенящими нотами, словно криками отчаяния. И вдруг мерное, мелодическое развертывание темы замерло. Удар столкновения был сокрушителен, и все рассыпалось лавиной диссонансов, скользнув, как в темное озеро, в нестройные жалобы невозвратной утраты.

Неожиданно под пальцами Мут Анга родились ясные и чистые звуки прозрачной радости, она слилась с тихой печалью аккомпанемента.

В библиотеку беззвучно скользнула Афра Деви в белом халате. Свет Сим, врач корабля, стал делать командиру какие-то знаки. Мут Анг снял руки с клавиш, поднялся, и тишина согнала власть звуков, как быстрая ночь тропиков — вечернюю зарю.

Врач и командир вышли, провожаемые встревоженными взглядами слушателей. Со вторым астронавигатором на дежурстве случилась очень редкая беда — приступ гнойного аппендицита. Вероятно, он не выполнил абсолютно точно всей программы врачебной подготовки к космическому путешествию. И теперь Свет Сим запросил разрешение командира на срочную операцию.

Мут Анг выразил сомнение. Современная медицина, овладевшая методами импульсного нервного регулирования человеческого организма, как в электронных устройствах, могла устранять многие заболевания.

Но врач звездолета настоял на своем. Он доказал, что у больного останется залеченный очаг, который может дать новую вспышку при огромных физиологических перегрузках, переносимых звездолетчиками...

Астронавигатор лег на широкое ложе, опутанный проводами импульсных датчиков. Тридцать шесть приборов следили за состоянием организма. В затемненной комнате размеренно замигал и слабо зазвенел гипнотизирующий сонный прибор. Свет Сим окинул взглядом аппараты и кивнул Афре Деви — помощнику врача. Каждый член экипажа «Теллура» был одновременно научным работником и мастером в какой-либо отрасли корабельных механизмов, обслуживания или питания.

Афра придвинула прозрачный куб. В синеватой жидкости лежал членистый металлический аппарат, похожий на крупную сколопендру. Афра извлекла из жидкости аппарат и из другого сосуда вытащила коническую втулку с присоединенными к ней тонкими проводами, или шлангами. Легкий щелчок зажима — и металлическая сколопендра зашевелилась, издавая едва слышное жужжание.

Свет Сим кивнул, и аппарат исчез в раскрытом рту астронавигатора, продолжавшего спокойно дышать. Засветился полупрозрачный экран, косо поставленный над животом больного. Мут Анг придвинулся ближе. В зеленоватом сиянии серые контуры внутренностей были совершенно отчетливы, и по ним медленно двигался членистый прибор. Легкая вспышка мелькнула, когда прибор дал импульс запирающей мышце-сфинктеру желудка, проник в двенадцатиперстную кишку и изогнулся, почти переламываясь пополам, в эс-образной кишке. Еще немного — и тупой конец сколопендры уперся в основание червеобразного отростка.

Здесь, в области нагноения, боли были сильнее, и от давления прибора непроизвольные движения кишок так усилились, что пришлось прибегнуть к успокоительным лекарствам. Еще несколько минут — и аналитическая машина выяснила причину заболевания: случайное засорение отростка,— установила характер нагноения и рекомендовала нужную смесь антибиотиков и обеззараживающих лекарств. Членистый аппарат выпустил длинные гибкие усики, глубоко погрузившиеся в аппендикс. Гной был отсосан, попавшие в аппендикс песчинки удалены. Последовало энергичное промывание биологическими растворами, быстро заживившими слизистую оболочку отростка и слепой кишки.

Больной мирно спал, пока внутри него продолжал действовать замечательный прибор, управляемый автоматами. Операция кончилась, и врачу оставалось лишь извлечь прибор.

Командир «Теллура» успокоился. Как ни велико было могущество медицины, все же нередко непредусмотренные особенности организма (ибо заранее определить их среди миллиардов индивидуальностей было немыслимо) давали неожиданные осложнения, нестрашные в огромных лечебных институтах планеты, но опасные в небольшой экспедиции.

Ничего не случилось. Мут Анг вернулся к скрипко-роялю, в обезлюдевшую библиотеку. Командиру не хотелось играть, и он погрузился в размышления, опустив на клавиши неподвижные руки.

Не раз уже командир звездолета возвращался к мыслям о счастье, о будущем.

Четвертое путешествие в Космос... Но еще никогда он не думал совершить такой далекий прыжок через пространство и время. Семьсот лет! При той стремительности жизни, нарастании новых достижений, открытий, при тех горизонтах знания, какие уже достигнуты на Земле! Трудно сравнивать, но семьсот лет значили мало в эпохи древних цивилизаций, когда развитие общества, не подстегнутое знаниями и необходимостью, шло лишь к дальнейшему распространению человека, заселению еще пустых пространств планеты. Тогда время было безмерным и все изменения человечества текли медленно, как некогда ледники на островах Арктики и Антарктики.

Столетия как бы проваливались в пустоту бездействия. Что такое одна человеческая жизнь, что такое сто, тысяча лет?

Почти с ужасом Мут Анг подумал: каково было бы людям древнего мира, если бы они могли знать наперед медлительность тогдашних общественных процессов, понять, что угнетение, несправедливость и неустроенность планеты будут тянуться еще так много лет? Вернуться через семьсот лет в древнем Египте означало бы попасть в то же рабовладельческое общество с еще худшим угнетением; в тысячелетнем Китае — к тем же войнам и династиям императоров или в Европе — от начала религиозной ночи средневековья попасть в разгар костров инквизиции, разгула свирепого мракобесия.

Но теперь попытка заглянуть в будущее сквозь насыщенные изменениями, улучшениями и познанием семь столетий вызывает головокружение от жадного интереса к потрясающим событиям.

И если подлинное счастье — движение, изменение, перемены, то кто же может быть счастливее его и его товарищей? И все же не так просто! Человеческая натура двойственна, как окружающий и создавший ее мир. Наряду со стремлением к вечным переменам нам всегда жаль прошлого, вернее, того хорошего в нем, что отфильтровывается памятью и что прежде вырастало в представления о минувших золотых веках.

Невольно искали хорошее в прошлом, мечтали о его повторении, и только сильные души могли предвидеть, почувствовать поступь неизбежного грядущего улучшения и устройства человеческой жизни. С тех пор в душе человека глубоко лежит сожаление о минувшем, печаль о невозвратно ушедшем, чувство грусти, охватывающее нас перед руинами и памятниками прошлой истории человечества. Это

сожаление о прошедшем особенно усиливалось у людей зрелых, пожилых, накапливало печаль у людей хороших, вдумчивых и чутких...

Мут Анг поднялся из-за инструмента и потянулся сильным телом.

Да, все это так ярко и интересно описано в исторических повестях. Что же может пугать молодежь звездолета в момент, когда она созершает прыжок в будущее? Одиночество, отсутствие близких? Пресловутое одиночество человека, попавшего в будущее, столько раз обсуждалось и расписывалось в старых романах... Одиночество всегда мыслилось как отсутствие близких, родных, а эти близкие составляли ничтожную кучку людей, связанных часто лишь формальными родственными узами. Но теперь, когда близок любой из людей, когда нет никаких границ или условностей, мешающих общению людей в любых уголках планеты?!

«Мы, люди «Теллура», потеряли всех своих близких на Земле. Но там, в наступающем грядущем, нас ждут не менее близкие, родные люди, которые будут знать и чувствовать еще больше, еще ярче, чем покинутые нами навсегда наши современники» — вот о чем и какими словами должен говорить командир с молодыми людьми своего экипажа...

В центральном посту управления Тэй Эрон установил излюбленный им режим вечера. Неярко горели только самые необходимые лампы, и большое круглое помещение казалось уютнее в сумеречном свете. Помощник командира мурлыкал простую песенку, занимаясь неустанной проверкой вычислений. Путь звездолета подходил к концу — сегодня надо было повернуть корабль в направлении созвездия Змееносца, чтобы пройти мимо исследованной углеродной звезды. Приближаться к ней еще опасно. Лучевое давление начинает возрастать настолько, что при субсветовой скорости корабля может нанести страшный, непоправимый удар.

Почувствовав чье-то присутствие за спиной, Тэй Эрон обернулся и встал перед командиром.

Мут Анг наклонился над плечом помощника, читая суммированные показания приборов в квадратных окошечках нижнего ряда. Тэй Эрон вопросительно посмотрел на своего командира, и тот кивнул головой. Повинуясь едва заметному движению пальцев помощника, по всему кораблю зазвучали сигналы внимания и стандартные металлические слова:

— Слушайте все!

Мут Анг придвинул к себе микрофон, зная, что во всех отделениях звездолета люди замерли, невольно обратив лица к замаскированным отверстиям репродукторов: человек еще не отвык смотреть по направлению звука, когда хотел быть особенно внимательным.

— Слушайте все! — повторил Мут Анг.— Корабль начинает торможение через пятнадцать минут. Всем, кроме дежурных, лежать в своих каютах. Первая фаза торможения окончится в 18 часов, вторая фаза при шести «Ж» будет продолжаться шесть суток. Поворот корабля произойдет после сигналов УО — ударной опасности. Все!

В 18 часов командир поднялся из кресла и, пересиливая обычную боль торможения в пояснице и затылке, объявил, что, пожалуй, отправится спать на все шесть суток замедления хода. Весь экипаж «Теллура» теперь не оторвать от приборов: идут последние наблюдения углеродной звезды.

Тэй Эрон хмуро посмотрел на удалявшегося командира. С каждым усовершенствованием возрастала надежность и сила космических звездолетов. Трудно даже сравнить мощь «Теллура» с теми скорлупками, плававшими по морям Земли, которые издавна получили название кораблей. И все же его звездолет тоже не более как скорлупка в бездонных глубинах пространства... И как-то спокойнее, когда командир бодрствует во время маневра.

☆

Кари Рам чуть не подскочил от неожиданности, услышав веселый смех Мут Анга. Несколько дней назад весь экипаж был встревожен известием о внезапной болезни командира. В его каюту допускался лишь врач, и все невольно понижали голос, проходя мимо ее гладкой двери, плотно закрытой, как во время аварии. Тэй Эрон вынужден был проводить всю намеченную программу — поворот корабля, новый разгон его,— чтобы уйти из области сильного лучевого давления углеродной звезды и начать пульсацию назад, к Солнцу. Помощник шел рядом со своим командиром и сдержанно улыбался. Оказалось, командир, в сговоре с врачом, намеренно устранился от командования, чтобы дать возможность Тэй Эрону произвести всю операцию самому, ни на кого не надеясь. Помощник ни за что не признался бы в жестоких сомнениях перед поворотом, но корил командира за причиненное всему экипажу волнение.

Мут Анг шутливо оправдывался и убеждал Тэй Эрона в полной безопасности звездолета в пустоте космического пространства. Приборы не могли ошибиться, четырехкратная проверка каждого расчета исключала возможность неточности. Пояса астероидов и метеоритов у звезды не могло быть в зоне сильного лучевого давления.

— Неужели вы более ничего не ждете? — осторожно осведомился Кари Рам.

— Неучтенная случайность, конечно, возможна. Но великий закон Космоса, названный законом усреднения[1], за нас. Можно быть уверенным, что здесь, в этом пустом уголке Космоса, ничего нового не встретится. Мы вернемся немного назад и войдем в пульсацию испытанным нами направлением, прямо к Солнцу, мимо Сердца Змеи... Уже несколько дней, как мы идем к Змееносцу. Теперь скоро!

— Даже странно: нет ни радости, ни ощущения хорошего дела, ничего, что бы оправдало нашу смерть для Земли на семьсот лет,— задумчиво сказал Кари.— Да, я знаю — десятки тысяч наблюдений, миллионы вычислений, снимков, памятных записей. Новые тайны материи раскроются там, на Земле... Но как незримо и невесомо все это! Зародыш будущего, и ничего более!

— Сколько же борьбы, труда и смертей вынесло человечество, а до него триллионы поколений животных на слепом пути исторического развития из-за вот этих зародышей будущего! — с азартом возразил Тэй Эрон.

— Все так, для ума. А для чувства мне важен только человек — единственная разумная сила в Космосе, которая может использовать стихийное развитие материи, овладеть им. Но мы, люди, так одиноки, бесконечно одиноки. У нас есть несомненные доказательства существования множества населенных миров, но никакое другое мыслящее существо еще не скрестило своего взгляда с глазами людей Земли! Сколько мечтаний, сказок, книг, песен, картин в предчувствии такого великого события, и

---

[1] Закон усреднения — математическое выражение, в котором конечные результаты подсчетов обозначаются некиим средним числом. Крайние наибольшие и крайние наименьшие величины отбрасываются.

оно не сбылось! Не сбылась великая, смелая и светлая мечта человечества, рожденная давным-давно, едва рассеялась религиозная слепота!

— Слепота! — вмешался Мут Анг.— А знаете, как наши недавние предки уже в эпоху первого выхода в Космос представляли осуществление этой «великой мечты»? Военное столкновение, зверское разрушение кораблей, уничтожение друг друга в первой же встрече.

— Немыслимо! — горячо воскликнули Кари Рам и и Тэй Эрон.

— Наши современные писатели не хотели писать о мрачном периоде конца капитализма,— возразил Мут Анг.— Вы знаете из школьной истории, что наше человечество в свое время прошло весьма критическую точку развития.

— О да! — подхватил Кари.— Когда уже открылось людям могущество овладения материей и Космосом, а формы общественных отношений еще оставались прежними и развитие общественного сознания тоже отстало от успехов науки.

— Почти точная формулировка. У вас хорошая память, Кари! Но скажем иначе: космическое познание и космическое могущество пришли в противоречие с примитивной идеологией собственника-индивидуалиста. Здоровье и будущность человечества несколько лет качались на весах судьбы, пока не победило новое и человечество в бесклассовом обществе не соединилось в одну семью... Там, в капиталистической половине мира, не видели новых путей и рассматривали свое общество как незыблемое и неизменное, предвидя и в будущем неизбежность войн и самоистребления.

— Мечты! — недобро усмехнулся Кари.— Как можно называть это мечтами?

— Но они называли.

— Может быть, критические точки проходит каждая цивилизация везде, где формируется человечество на планетах иных солнц,— медленно сказал Тэй Эрон, бросая беглый взгляд на верхние циферблаты ходовых приборов.— Мы знаем уже две необитаемые планеты с водой, атмосферой с остатками кислорода, где ветры вздымают лишь мертвые пески и волны таких же мертвых морей. Наши корабли сфотографировали...

— Нет,— покачал головой Кари Рам,— не могу поверить, чтобы люди, уже познавшие безграничность Космоса и то могущество, которое им несет наука, могли...

— ...рассуждать, как звери, только овладевшие логикой? Но ведь старое общество складывалось стихийно, без заранее заданной целесообразности, которая отличает высшие формы общества, построенные людьми. И разум человека, характер его мышления тоже были еще на первичной стадии прямой или математической логики, отражавшей логику законов развития материи, природы по непосредственным наблюдениям и опыту. Как только человечество накопило исторический опыт, познало историческое развитие окружающего мира, возникла диалектическая логика как высшая стадия развития мышления. Человек понял двойственность явлений природы и собственного существования. Осознал, что, с одной стороны, он, как индивидуальность, очень мал и мгновенен в жизни, подобен капле в океане или маленькой искорке, гаснущей на ветру... А с другой — необъятно велик, как Вселенная, обнимаемая его рассудком и чувствами во всей бесконечности времени и пространства.

Командир звездолета умолк и в задумчивости начал ходить перед своими помощниками. На их молодые лица легла тень суровой сосредоточенности.

Мут Анг первый нарушил наступившую тишину.

— В моей коллекции исторических книг-фильмов есть одна, очень характерная для той эпохи. Этот перевод на современный язык сделан не машиной, а Сакией Чен — историком, умершим в прошлом веке. Прочитаем ее! — Он улыбнулся жадному интересу молодых людей и вышел через дверь в коридор носового отсека.

— Никогда я не буду настоящим командиром,— вздохнул виновато Тэй Эрон,— невозможно знать всего, что знает наш Анг.

— А он при мне говорил, что он плохой командир из-за широкого диапазона своих интересов,— отозвался Кари, усаживаясь в кресло дежурного навигатора.

Тэй Эрон удивленно посмотрел на товарища. Они молчали, и негромкое пение приборов казалось неизменным. Громадный корабль, набрав предельную скорость, уверенно устремлялся в сторону от углеродной звезды в избранный квадрат, где в глубочайшей черноте пространства тонули, слабо мерцая, далекие галактики — четыре звездных острова. Они были на таком расстоянии, что свет, шедший оттуда, бессильно умирал в глазу человека — чудесном приборе, для которого достаточно было всего нескольких квант...

Внезапно что-то случилось. На экране большого локатора вспыхнула и заколебалась светящаяся точка. Раздался пронзительный звон, от которого у астролетчиков замерло дыхание.

Тэй Эрон, не раздумывая, дал сигнал общей тревоги — вызов командира,— приказывавший всем остальным членам экипажа занимать места аварийного назначения.

Мут Анг ворвался в пост управления и двумя прыжками очутился у пульта. Черное зеркало локатора ожило. В нем, как в бездонном озере, плавал крохотный шарик света — круглый, с резкими краями. Он качался вверх и вниз, медленно сползая направо. Астролетчики удивились, что роботы, предупреждавшие столкновение корабля с метеоритами, бездействовали. Значит ли это, что на экране не их отраженный поисковый луч, а чужой?!..

Звездолет продолжал идти тем же курсом, и световая точка теперь трепетала в нижнем правом квадрате... Догадка заставила содрогнуться Мут Анга, закусить губы Тэй Эрона, до боли сжать край пульта Кари Рама. Нечто невероятное, небывалое летело навстречу, испуская сильный луч локатора, такой же, какой бросал далеко впереди себя «Теллур».

Так отчаянно было желание, чтобы догадка оправдалась, чтобы после безумного взлета надежды не свалиться в пучину разочарования, уже сотни раз случавшегося у звездолетов Земли, что командир замер, боясь произнести хотя бы одно слово. И как будто его тревога передалась тем, впереди...

Светящаяся точка на экране погасла, зажглась снова и замигала с промежутками, учащая вспышки, по четыре и две. Эта регулярность чередования могла быть порождена лишь единственной во всей вселенной силой — человеческой мыслью.

Больше не оставалось сомнений: навстречу шел звездолет.

Здесь, в этой безмерной дали пространства, впервые достигнутой земным кораблем, это мог быть только звездолет другого мира, с планет другой, отдаленной звезды...

Луч главного локатора «Теллура» также стал прерывистым. Кари Рам передал несколько сигналов условного светового кода. Казалось совершенно несбыточным, что там, впереди, эти простые движения

кнопки вызывают на экране неведомого корабля правильные чередования вспышек...

Голос Мут Анга в репродукторах корабля выдавал его волнение:

— Слушайте все! Навстречу идет чужой корабль! Мы отклоняемся от курса и начинаем экстренное торможение. Прекратить все работы! Экстренное торможение! По местам посадочного расписания!

Нельзя было терять ни секунды. Если встречный корабль шел примерно с той же скоростью, что и «Теллур», то скорость сближения звездолетов превышала полмиллиона километров в секунду. За минуту корабли сближались на тридцать миллионов километров, и локатор давал в распоряжение людей не более ста секунд. Тэй Эрон, пока Мут Анг говорил в микрофон, что-то шепнул Кари. Бледный от напряжения юноша понял с полуслова и произвел какие-то манипуляции на пульте локатора.

— Блестяще! — воскликнул командир, следя, как на контрольном экране луч очертил стрелу, изогнул ее налезо, назад и завился в спираль.

Прошло не больше десяти секунд. На экране промелькнул светящийся стреловидный контур, отогнулся к правой стороне черного круга и завертелся мгновенной спиралью. Вздох облегчения, почти стон вырвался одновременно у людей на центральном посту. Те, неведомые, летевшие навстречу из таинственных глубин космического пространства, поняли! И пора!

Зазвенели тревожные звонки. Теперь уж не луч чужого локатора, а твердый корпус корабля отразился на главном экране. Тэй Эрон молниеносным движением выключил робота, пилотировавшего корабль, и сам дал «Теллуру» ничтожнейшее отклонение влево. Звон умолк, черное озеро экрана погасло. Люди едва успели заметить световую черту, промелькнувшую на обзорном локаторе правого борта. Корабли разошлись на невообразимой скорости и унеслись в безмерную даль.

Пройдет несколько дней, прежде чем они сойдутся снова. Мгновение не упущено, оба звездолета затормозят, повернут и ходом, рассчитанным точными машинами, снова приблизятся к месту встречи...

— Слушайте все! Начинаем экстренное торможение! Дайте сигналы готовности по секциям! — говорил в микрофон Мут Анг.

Зеленые огни готовности секций выстраивались в ряд над погасшими индикаторами моторных счетчиков. Двигатели корабля замолкли. Весь звездолет замер в ожидании. Командир окинул взглядом пост управления и молча кивнул головой на кресла, включив в то же время робота, предназначенного управлять торможением. Помощники видели, как Мут Анг нахмурился над шкалой программы и повернул главную клемму на цифру «8».

Проглотить пилюлю — понизитель сердечной деятельности, броситься в кресло и нажать включатель робота было делом нескольких секунд.

Звездолет ощутимо уперся в пустоту пространства — так в древности спотыкались ездовые животные и их всадники летели через голову на милость судьбы. И сейчас гигантский корабль как будто поднялся на дыбы. Его «всадники» полетели в глубину гидравлических кресел и в легкое беспамятство.

В библиотеке «Теллура» собрался весь экипаж. Только один дежурный остался у приборов ОЭС, охраняющих связи сложнейших электронных аппаратов корабля. «Теллур» повернул после торможения, но успел отдалиться от места встречи больше чем на десять миллиардов километров. Звездолет шел медленно, со скоростью в одну двадцатую абсолютной, в то время как все его расчетные машины непрерывно проверяли и исправляли курс. Надо было вновь найти незримую точку в необъятном Космосе и в ней совсем уже ничтожную пылинку — чужой звездолет. Восемь суток должно было длиться почти невыносимое ожидание. Если все расчеты и поведение корабля не дадут отклонения более допустимого, если те, неведомые, также не ошибутся и обладают столь же совершенными приборами и послушным кораблем, тогда звездолеты сойдутся настолько близко, чтобы нащупать друг друга в непроглядной тьме незримыми лучами локаторов.

Тогда, впервые за всю историю, человек соприкоснется с братьями по мысли, силам и стремлениям. С теми, чье присутствие давно уже было предугадано, доказано, подтверждено бесконечно прозорливым умом человека. Чудовищные пропасти времени и пространства, разделявшие обитаемые миры, до сих пор оставались непреодолимыми. Но вот люди Земли подадут руку другим мыслящим существам Космоса, а от них — еще дальше... Цепь мысли и труда протянется через бездны пространства как окончательная победа над стихийными силами природы.

Миллиарды лет надо было копошиться в темных и теплых уголках морских заливов крохотным комочкам живой слизи, еще сотни миллионов лет из них формировались более сложные существа, наконец вышедшие на сушу. В полной зависимости от окружающих сил, в темной борьбе за жизнь, за продолжение рода прошли еще миллионы веков, пока не развился большой мозг — наисильнейший инструмент поисков пищи, борьбы за существование.

Темпы развития жизни все ускорялись, борьба за существование становилась острее, и убыстрялся естественный отбор. Жертвы, жертвы, жертвы — пожираемые травоядные, умирающие от голода хищники, погибающие, слабые, заболевшие, состарившиеся животные, убитые в борьбе за самку, во время защиты потомства, погубленные стихийными катастрофами...

Так было на всем протяжении слепого пути эволюции, пока в тяжких жизненных условиях эпохи великого оледенения дальний родич обезьяны не заменил осмысленным трудом звериный поиск пищи. Тогда он превратился в человека, познав величайшую силу в коллективном труде и осмысленном опыте.

Но и после того протекло еще много тысячелетий, наполненных войнами и страданием, голодом и угнетением, невежеством и надеждой на лучшее будущее.

Потомки не обманули своих предков: лучшее будущее наступило, человечество, объединенное в бесклассовом обществе, освобожденное от страха и гнета, поднялось к невиданным высотам знаний и искусства. Ему под силу оказалось и самое трудное — покорение космических пространств. И вот наконец вся тяжкая лестница истории жизни и человека, вся мощь накопленного знания и безмерных усилий труда и мысли завершились изобретением звездолета дальнего действия «Теллур», заброшенного в глубокую пучину Галактики. Вершина развития материи на Земле и в солнечной системе соприкоснется через «Теллур» с другой вершиной, вероятно, не менее трудного пути, проходившего также миллиарды лет в другом уголке Вселенной.

Эти мысли в той или другой форме тревожили каждого члена экипажа. Сознание величайшей

ответственности момента заставило стать серьезной даже юную Тайну. Ничтожная горстка представителей многомиллиардного земного человечества — смогут ли они быть достойными его подвигов, труда, физического совершенства, ума и стойкости?

Как подготовить себя к предстоящей встрече? Помнить о всей тяжкой и великой борьбе человечества за свободу тела и духа!

Самым важным, захватывающим и таинственным был вопрос: каковы те, что идут сейчас нам навстречу? Страшны или прекрасны они, на наш земной взгляд?

Афра Деви, биолог, взяла слово.

Молодая женщина, ставшая еще более красивой от нервного возбуждения, часто поднимала взгляд к картине над дверью. Исполненная перспективными красками, большая панорама Лунных гор Экваториальной Африки с потрясающим контрастом угрюмых лесных склонов и светоносного скалистого гребня как бы оттеняла ее мысли.

Афра говорила, что человечество давно отрешилось от когда-то распространенных теорий, что мыслящие существа могут быть любого вида, самого разнообразного строения. Пережитки религиозных суеверий заставляли даже серьезных ученых необдуманно допускать, что мыслящий мозг может развиться в любом теле, как прежде верили в богов, являвшихся в любом облике. На самом деле облик человека, единственного на Земле существа с мыслящим мозгом, не был, конечно, случаен и отвечал наибольшей разносторонности приспособления такого животного, его возможности нести громадную нагрузку мозга и чрезвычайной активности нервной системы.

Наше понятие человеческой красоты и красоты вообще родилось из тысячелетнего опыта — бессознательного восприятия конструктивной целесообразности и совершенства приспособленности к тому или другому действию. Вот почему красивы и могучие машины, и морские волны, и деревья, и лошади, хотя все это резко отличается от человеческого облика. А сам человек еще в животном состоянии благодаря развитию мозга избавился от необходимости узкой специализации, приспособления к только одному образу жизни, как свойственно большинству животных.

Ноги человека не годятся для беспрерывного бега на твердой, тем более на вязкой почве и, однако, могут ему обеспечить длительное и быстрое передвижение, могут помогать взбираться на деревья и лазить по скалам. А рука человека — наиболее универсальный орган, она может выполнять миллионы дел, и, собственно, она вывела первобытного зверя в люди...

Человек еще на ранних стадиях своего формирования развился как универсальный организм, приспособленный к разнообразным условиям. С дальнейшим переходом к общественной жизни эта многогранность человеческого организма стала еще больше, еще разнообразнее, как и его деятельность. И красота человека в сравнении со всеми другими, наиболее целесообразно устроенными животными — это, кроме совершенства, еще и универсальность назначения, усиленная и отточенная умственной деятельностью, духовным воспитанием.

— Мыслящее существо из другого мира, если оно достигло Космоса, также высоко совершенно, универсально, то есть прекрасно! Никаких мыслящих чудовищ, человеко-грибов, людей-осьминогов не должно быть! Не знаю, как это выглядит в действительности, встретимся ли мы со сходством формы или красотой в каком-то другом отношении, но это неизбежно! — закончила свое выступление Афра Деви.

— Мне нравится теория,— поддержал биолога Тэй Эрон,— только...

— Я поняла,— перебила Афра.— Даже ничтожные отклонения от привычного облика создают уродства, а тут вероятность отклонений слишком велика. Ведь незначительные отклонения формы: отсутствие носа, век, губ на человеческом лице, вызванные травмой, воспринимаются нами как уродство и страшны именно тем, что они на общей человеческой основе. Морда лошади или собаки очень резко отличается от человеческого лица, и, тем не менее, она не уродлива, даже красива. Это потому, что в ней красота целесообразности, в то время как на травмированном человеческом лице гармония нарушена...

— Следовательно, если они будут по облику очень далеки от нас, то не покажутся нам уродливыми! А если такие же, как мы, но с рогами и хоботами? — не сдавался Тэй.

— Рога мыслящему существу не нужны и никогда у него не будут. Нос может быть вытянут наподобие хобота (хотя хобот при наличии рук, без которых не может быть человека, тоже не нужен). Это будет частный случай, необязательное условие строения мыслящего существа. Но все, что складывается исторически, в результате естественного отбора, становится закономерностью, неким средним из множества отклонений. Тут-то выступает во всей красоте всесторонняя целесообразность. И я не жду рогатых и хвостатых чудовищ во встречном звездолете — там им не быть! Только низшие формы жизни очень разнообразны; чем выше, тем они более похожи на наши земные!

— Вы победили! — согласился Тэй Эрон с Афрой и, не без гордости за подругу, оглядел присутствовавших.

Неожиданно стал возражать Кари Рам, слегка покраснев от юношеского смущения. Он говорил, что чужие существа, даже обладая вполне человеческой и красивой оболочкой — телом, могут оказаться бесконечно далекими от нас по разуму, по своим представлениям о мире и жизни. И, будучи столь отличными, они легко могут стать жестокими и ужасными врагами.

Тогда на защиту биолога стал Мут Анг.

— Только недавно я думал об этом,— сказал командир,— и понял, что на высшей ступени развития никакого непонимания между мыслящими существами быть не может. Мышление человека, его рассудок отражают законы логического развития окружающего мира, всего Космоса. В этом смысле человек — микрокосм. Мышление следует законам мироздания, которые едины повсюду. Мысль, где бы она ни появилась, неизбежно будет иметь в своей основе математическую и диалектическую логику. Не может быть никаких «иных», совсем непохожих мышлений, так как не может быть человека вне общества и природы...

Восторженные восклицания одобрили командира.

— Не слишком ли сильно? — неодобрительно сказал Мут Анг.

— Нет,— смело возразила Афра Деви,— всегда восхищаешься совпадением мыслей у целого ряда людей! В этом залог их верности и чувство товарищеской опоры... особенно, если подходишь с разных сторон науки...

— Вы имеете в виду биологию и социальные дисциплины? — спросил молчавший до сих пор Яс Тин, по обыкновению устроившийся в удобном углу дивана.

— Да! Самым ярким во всей социальной истории земного человечества было неуклонное возрастание взаимопонимания с ростом культуры и широты познаний. Чем выше становилась культура, тем легче было разным народам и расам бесклассового общества понять друг друга, тем ярче светили всем общие цели устройства жизни, необходимость объединения сначала нескольких стран, а затем и всей планеты, всего человечества. Сейчас, при том уровне развития, которое достигнуто Землей и, несомненно, теми, кто идет нам навстречу...— Афра умолкла.

— Это так,— согласился Мут Анг,— две разные планеты, достигшие Космоса, легче сговорятся, чем два диких народа одной планеты!

— Но как же насчет неизбежности войны даже в Космосе, в которой были убеждены наши предки с довольно высоким уровнем культуры? — спросил Кари Рам.

— Где она, та знаменитая книга, обещанная вами,— вспомнил Тэй Эрон,— о двух космических кораблях, которые при первой же встрече хотели уничтожить друг друга?

Командир снова направился в свою комнату. На этот раз ему ничто не помешало. Мут Анг вернулся с маленькой восьмилучевой звездочкой микрофильма и вставил ее в читающую машину. Фантазия древнего американского автора интересовала всех звездолетчиков.

Рассказ, называвшийся «Первый контакт», в драматических тонах описывал встречу земного звездолета с чужим в Крабовидной туманности, на расстоянии более тысячи парсеков от Солнца. Командир земного звездолета отдал приказ приготовить все звездные карты, материалы наблюдений и вычислений курса к мгновенному уничтожению, а также направить на чужой корабль все пушки для разрушения метеоритов. Затем земные люди начали решать ответственнейшую проблему: имеют ли они право попытаться вступить в переговоры с чужим звездолетом или должны немедленно атаковать и уничтожить его? Смысл великой тревоги людей Земли заключался в опасении, что чужие разгадают путь земного корабля и как завоеватели явятся на Землю.

Дикие мысли командира принимались экипажем корабля за непреложные истины. Встреча двух независимо возникших цивилизаций, по мнению командира, должна неминуемо вести к подчинению одной и победе той, которая обладает более сильным оружием. Встреча в Космосе означала либо торговлю, либо войну — ничего другого не пришло в голову автору. Пока на земном звездолете обсуждали, что делать, черный чужой корабль выслал в пространство сферического робота и удалился на четыреста миль. Люди отправились к роботу в скафандрах и установили на нем свои коммуникаторы. Скоро выяснилось, что чужие очень сходны с земными людьми, хотя видят лишь в инфракрасном свете, а переговариваются радиоволнами; тем не менее люди сразу разгадали язык чужих и поняли их мысли. У командира чужого звездолета были такие же убогие социальные познания, как у людей Земли. Он ломал голову над задачей, как выйти из рокового положения живым и не уничтожать земного корабля.

Долгожданная великолепная случайность — первая встреча представителей разных человечеств — грозила обернуться страшной бедой. Корабли висели в пространстве на расстоянии около семисот миль друг от друга, и звездолеты уже более двух недель вели переговоры через робота — сферическую лодку.

Оба командира заверяли друг друга в миролюбии и тут же твердили, что не могут ничему верить. Положение было бы безвыходным, если бы главный герой повести — молодой астрофизик — не подружился с одним из членов экипажа чужого корабля. Спрятав под одежду бомбы страшной взрывной силы, он вместе с командиром явился в гости на чужой звездолет. Они предъявили ультиматум: поменяться кораблями. Часть экипажа черного звездолета должна была перейти на земной, а часть землян — на чужой, предварительно обезвредив все свои пушки для разрушения метеоритов, обучиться управлению разными системами, перевезти все имущество. А пока оба героя с бомбами должны были оставаться на чужом звездолете, чтобы в случае какого-либо подвоха мгновенно взорвать корабль. Командир чужого звездолета принял ультиматум. Размен кораблей произошел благополучно. Черный звездолет с людьми, а земной корабль с чужими удалились от места встречи, скрывшись в слабом свечении газа туманности.

Командир не мог нахвалиться догадливостью молодого астрофизика, а тот скромно признал, что никогда не додумался бы до такой стратегии, если бы не понял, что земные люди и чужие совершенно подобны в своей психологии. На вопрос, как же он смог понять это, астрофизик отвечал, что провел два часа у коммуникатора, рассказывая анекдоты своему другу с чужого звездолета.

...Гул голосов наполнил библиотеку. Еще во время чтения то один, то другой из молодых астролетчиков выказывали признаки нетерпения, несогласия, сгорая от желания возразить. Теперь они принялись говорить, едва избегая величайшей невежливости, какой считалась попытка перебить собеседника. Все обращались к командиру, будто он стал ответствен за древнюю повесть, извлеченную им из забвения...

Большинство говорило о полном несоответствии времени действия и психологии героев. Если звездолет смог удалиться от Земли на расстояние четырех тысяч световых лет всего за три месяца пути, то время действия повести должно было быть даже позднее современного. Мы еще не достигли таких глубин Космоса... Но мысли и действия людей Земли в повести ничем не отличаются от принятых во времена капитализма, много веков назад! Немало и чисто технических ошибок, вроде невозможно быстрой остановки звездолетов или общения чужих мыслящих существ между собою радиоволнами. Если их планета, как указывалось в рассказе, обладала атмосферой почти такой же плотности, как и земная, то неизбежным было развитие слуха, подобного человеческому. Это требовало несравненно меньшей затраты энергии, чем производство радиоволн или сообщение биотоками. Невероятна также и быстрая расшифровка языка чужих, настолько точная, что могла быть закодированной в переводную машину...

Тэй Эрон отметил убогое представление о Космосе в повести, тем более удивительное, что великий древний ученый Циолковский за несколько десятков лет до того, как был написан рассказ, предупреждал человечество, что Космос устроен гораздо сложнее, чем мы ожидаем. Вопреки мыслителям-диалектикам некоторые ученые считали, что они находятся почти у пределов познания.

Прошли века, множество открытий бесконечно усложнило наше представление о взаимозависимости явлений и тем самым как будто отдалило и за-

медлило познание Космоса. Вместе с тем наука нашла огромное количество обходных путей для разрешения сложных проблем и технических задач. Примером подобных обходов было создание пульсационных космических кораблей, передвигающихся будто бы вне обычных законов движения. Именно в этом преодолении кажущихся тупиков математической логики и заключалось могущество будущего. Но автор «Первого контакта» даже не почувствовал необъятности познания, скрытой за простыми формулировками великих диалектиков его времени.

— Никто не обратил внимания еще на одно обстоятельство,— вдруг загозорил молчаливый Яс Тин.— Рассказ написан на английском языке. Все имена, прозвища и юмористические выражения оставлены английскими. Это не просто! Я лингвист-любитель и изучал процесс становления первого мирового языка. Английский язык — один из наиболее распространенных в прошлом. Писатель отразил, как в зеркале, нелепую веру в незыблемость, вернее, бесконечную длительность общественных форм. Замедленное развитие античного рабовладельческого мира или эпохи феодализма, вынужденное долготерпение древних народов были ошибочно приняты за стабильность вообще всех форм общественных отношений: языков, религий и, наконец, последнего стихийного общества, капиталистического. Опасное общественное неравновесие конца капитализма считалось неизменным. Английский язык — архаический пережиток, потому что в нем фактически два языка — письменный и фонетический, и они полностью непригодны для переводных машин. Удивительно, как не сообразили, что язык меняется тем сильнее и скорее, чем быстрее идет изменение человеческих отношений и представлений о мире!

Полузабытый древний язык санскрит оказался построенным наиболее логически и потому стал основой языка-посредника для переводных машин. Прошло немного времени, и из языка-посредника сформировался первый мировой язык нашей планеты, с тех пор еще претерпевший много изменений. Западные языки оказались недолговечными. Еще меньше прожили взятые от религиозных преданий, из совсем чуждых и давно умерших языков имена людей.

— Яс Тин заметил самое главное,— вступил в разговор Мут Анг.— Страшнее, чем научное незнание или неверная методика,— косность, упорство в защите тех форм общественного устройства, которые совершенно очевидно не оправдали себя даже в глазах современников. В основе этой косности, за исключением менее частых случаев простого невежества, лежала, конечно, личная заинтересованность в сохранении того общественного строя, при котором этим защитникам жилось лучше, чем большинству людей. А если так, то что за дело было им до человечества, до судьбы всей планеты, ее энергетических запасов, здоровья ее обитателей?

Неразумное расходование запасов горючих ископаемых, лесов, истощение рек и почв, опаснейшие опыты по созданию убийственных видов атомного оружия — все это, вместе взятое, определяло действия и мировоззрение тех, кто старался во что бы то ни стало сохранить отжившее и уходящее в прошлое, причиняя страдания и внушая страх большинству людей. Именно здесь зарождалось и прорастало ядовитое семя исключительных привилегий, выдумок о превосходстве одной группы, класса или расы людей над другими, оправдание насилия и войны — все то, что получило в давние времена название фашизма.

Привилегированная группа неизбежно будет тормозить развитие, стараясь, чтобы для нее оставалось все по-прежнему, а униженная часть общества будет вести борьбу против этого торможения и за собственные привилегии. Чем сильнее было давление привилегированной группы, тем сильнее становилось сопротивление, жестче формы борьбы, и развивалась обоюдная жестокость, и, следовательно, деградировало моральное состояние людей. Перенесите это с борьбы классов в одной стране на борьбу привилегированных и угнетенных стран между собою. Вспомните из истории борьбу между странами нового, социалистического общества и старого, капиталистического, и вы поймете причину рождения военной идеологии, пропаганды неизбежности войн, их вечности и космическом распространении. Я вижу здесь сердце зла, ту змею, которая, как ее ни прячь, обязательно укусит, потому что не кусать она не может. Помните, каким недобрым красно-желтым светом горела звезда, мимо которой мы направились к нашей цели...

— Сердце Змеи! — воскликнула Тайна.

— Сердце Змеи! И в литературе защитников старого общества, пропагандировавшей неизбежность войны и капитализма, ее сердце — это сердце ядовитого пресмыкающегося.

— Следовательно, наши опасения — тоже отголоски змеиного сердца, еще оставшиеся от древних! — серьезно и печально сказал Кари.— Но я, наверное, самый змеиный человек из всех нас, потому что у меня еще есть опасения... сомнения, как там их назвать.

— Кари! — с укором воскликнула Тайна.

Но тот упрямо продолжал:

— Командир хорошо говорил нам о смертных кризисах высших цивилизаций. Все мы знаем погибшие планеты, где жизнь уничтожена из-за того, что люди на них не успели справиться с военной атомной опасностью, создать новое общество по научным законам и навсегда положить конец жажде истребления, вырвать это змеиное сердце! Знаем, что наша планета едва успела избежать подобной участи. Не появись в России первое социалистическое государство, положившее начало великим изменениям в жизни планеты, расцвел бы фашизм и с ним убийственные ядерные войны! Но если они там,— молодой астронавигатор показал в сторону, с которой ожидался чужой звездолет,— если они еще не прошли опасного пика?

— Исключено, Кари! — спокойно ответил Мут Анг.— Возможна некая аналогия в становлении высших форм жизни и высших форм общества. Человек мог развиться лишь в сравнительно стабильных, долго существующих благоприятных условиях окружающей природы. Это не значит, что изменения совсем отсутствовали,— наоборот, они были даже довольно резкие, но лишь в отношении человека, а не природы в целом. Катастрофы, большие потрясения и изменения не позволили бы развиться высшему мыслящему существу. Так и высшая форма общества, которая смогла победить Космос, строить звездолеты, проникнуть в бездонные глубины пространства, смогла все это дать только после всепланетной стабилизации условий жизни человечества, и уж, конечно, без катастрофических войн капитализма... Нет, те, что идут нам навстречу, тоже прошли критическую точку, тоже страдали и гибли, пока не построили настоящее, мудрое общество!

— Мне кажется, есть какая-то стихийная мудрость в историях цивилизаций разных планет,— сказал с загоревшимися глазами Тэй Эрон.— Чело-

вечество не может покорить Космос, пока не достигнет высшей жизни, без войн, с высокой ответственностью каждого человека за всех своих собратьев!

— Совершив подъем на высшую ступень коммунистического общества, человечество обрело космическую силу, и оно могло обрести ее только этим путем, другого не дано! — воскликнул Кари.— И не дано никакому другому человечеству, если так называть высшие формы организованной, мыслящей жизни.

— Мы, наши корабли — руки человечества Земли, протянутые к звездам,— серьезно сказал Мут Анг,— и эти руки чисты! Но это не может быть только нашей особенностью! Скоро мы коснемся такой же чистой и могучей руки!

Молодежь не выдержала и восторженными криками встретила заключение командира. Но и старшие, достигшие мужественной сдержанности чувств, окружили Мут Анга с явным волнением.

☆

Где-то впереди, все еще в миллионах километров, летел навстречу корабль с планеты чужой и далекой звезды. И люди Земли впервые за миллиарды лет развития жизни на своей планете должны соприкоснуться с другими... тоже людьми. Не удивительно, что астролетчики, как ни сдерживали себя, пришли в лихорадочное возбуждение. Удалиться на отдых, остаться наедине с собой в горячем нетерпении ожидания казалось невозможным. Но Мут Анг, рассчитав время встречи звездолетов, приказал Свет Симу дать всем успокоительного лекарства.

— Мы,— твердо отвечал он на протесты,— должны встретить своих собратьев в наилучшем состоянии души и тела. Предстоит еще огромный труд: нам придется понять их и суметь рассказать о себе. Взять их знание. И отдать свое! — сдвинул брови Мут Анг.— Никогда еще я так не опасался своего неумения, некомпетентности.— Тревога изменила обычно спокойное лицо командира, пальцы стиснутых рук побелели.

Астролетчики, может быть, только сейчас ощутили, какую ответственность налагала на каждого небывалая встреча. Они беспрекословно приняли пилюли и разошлись.

Мут Анг оставил только Кари, потом поколебался, окидывая взглядом могучую фигуру Тэй Эрона, и жестом пригласил его тоже в пост управления. Со вздохом усталости командир вытянулся в кресле, склонил голову и закрыл лицо руками.

Тэй и Кари молчали, опасаясь нарушить раздумья командира. Звездолет шел очень медленным по космическим масштабам ходом — так называемой тангенциальной скоростью, употреблявшейся при вхождении в зону Роша какого-либо небесного тела, делая двести тысяч километров в час. Роботы, управлявшие кораблем, держали его на тщательно вычисленном обратном курсе. Пора было появиться лучу локатора чужого корабля, и то, что его не было, заставляло Тэй Эрона с каждой минутой тревожиться сильнее.

Мут Анг выпрямился с веселой и немного грустной улыбкой, хорошо знакомой каждому члену экипажа.

— Приди, далекий друг, к заветному порогу...

Тэй нахмурился, оглядываясь в беспросветную черноту переднего экрана. Песенка командира показалась ему неподходящей в такой серьезный момент. Но Кари подхватил еще более весельй припев, лукаво поглядывая на угрюмого помощника.

— Попробуйте помахать нашим лучом, Кари,— вдруг сказал Мут Анг, прерывая себя,— по два градуса в каждую сторону, а потом по зертикали.

Тэй слегка покраснел. Не додумался до простой меры, а мысленно укорял командира в легкомыслии!

Прошло еще два часа. Кари представлял себе, как луч их локатора там, впереди, в колоссальном удалении, скользит налево, направо, вверх и вниз, пробегая с каждым взмахом сотни тысяч километров черной пустоты. Такие взмахи сигнального «платка» превосходили самую буйную фантазию старых земных сказок о великанах.

Тэй Эрон погрузился в созерцательное оцепенение. Мысли текли медленно, не вызывая эмоций. Тэй вспоминал, как после отлета с Земли его не покидало чувство странной отрешенности.

Вероятно, это чувство было свойственно человеку в первобытной жизни — ощущение полной несвязанности, отсутствия каких-либо обязательств, забот о будущем. Вероятно, подобные ощущения появлялись у людей во времена больших бедствий, войн, социальных потрясений. И у Тэй Эрона прошлое, все, что было оставлено на Земле, ушло навсегда и невозвратно; неизвестное будущее отделено пропастью в сотни лет, за которой ждет только совсем новое. Поэтому никаких планов, проектов, чувств и пожеланий для того, что впереди... Только принести туда добытое из Космоса, вырванное из его глубин новое познание. Вперед, только вперед! И вдруг случилось такое, что заслонило собою и ожидание новой земли и заботы помощника командира.

Мут Анг пытался представить себе жизнь идущего навстречу корабля. Командир представлял себе корабль чужих и его обитателей сходными с земным кораблем, земными людьми, земными переживаниями. Он убедился, что легче представить чужих, выдумывая самые невероятные формы жизни, чем подчинить свою фантазию строгим рамкам законов, о которых так убедительно говорила Афра Деви.

Еще не подняв опущенной головы, по внезапному напряжению товарищей Мут Анг почувствовал появление сигнала на экране локатора. Он не увидел ее, эту световую точку,— так быстро она исчезла, черкнув по черному блестящему диску. Сигнальный звонок едва звякнул. Астролетчики вскочили и перегнулись через столы пультов, инстинктивно стараясь приблизиться к экрану. Как ни мгновенно было появление светящейся точки, оно означало очень многое. Чужой звездолет повернул им навстречу, а не скрылся в глубинах пространства. Кораблем управляют не менее искусные в космических полетах существа, они сумели рассчитать обратный курс достаточно точно и быстро и теперь нащупывают «Теллур» лучом на безмерном расстоянии. Две невообразимо маленькие точки, затерявшиеся в необъятной тьме, ищут друг друга... И в то же время это два огромных мира, полных энергии и знания, касаются один другого направленными пучками световых волн. Кари повел луч главного локатора с деления «1 488» на «375»... Еще, еще... Световая точка вернулась, исчезла, снова мелькнула в черном зеркале, сопровождаемая мгновенно умиравшим звуковым сигналом.

Мут Анг взялся за верньеры локатора и стал описывать спираль от периферии к центру того колоссального круга, который очерчивался лучом в районе приближавшегося звездолета.

Чужие, видимо, повторили маневр. После долгих усилий световая точка укрепилась в пределах третьего круга черного зеркала. Она металась лишь от вибрации обоих кораблей. Звонок раздавался теперь

непрерывно, и его пришлось приглушить. Не было сомнения, что луч «Теллура» также уловлен приборами чужого звездолета и корабли идут навстречу, сближаясь за час не меньше чем на четыреста тысяч километров.

Тэй Эрон извлек из машины заданные ей расчеты и определил, что корабли разделяет расстояние около трех миллионов километров. До встречи звездолетов осталось семь часов. Через час можно было начинать интегральное торможение, которое отодвинет встречу еще на несколько часов, если чужой звездолет сделает то же самое и если он тормозится по сходным расчетам. Возможно, чужие смогут остановиться быстрей или же придется снова миновать друг друга, и это опять отдалит встречу, а ожидание становится почти невыносимым.

Но чужой звездолет не причинил лишних мучений. Он начал тормозиться сильнее, чем «Теллур», потом, установив темп замедления земного звездолета, повторил его. Корабли подходили ближе и ближе. Экипаж «Теллура» снова собрался в центральном посту. Звездолетчики следили, как в черном зеркале локатора световую точку заменило пятно.

Это собственный луч «Теллура», отразившись от чужого звездолета, вернулся к кораблю. Пятно стало похоже на крохотный цилиндр, опоясанный толстым валиком (форма, даже отдаленно не напоминавшая «Теллур»). Еще ближе — и на концах цилиндра проявились куполовидные утолщения.

Сияющие контуры увеличивались и расплывались, пока не достигли периферии черного круга.

— Слушайте все! По местам! Окончательное торможение при восьми «Ж»!

Гидравлические кресла долго вдавливались в свои подставки, в глазах у людей краснело и темнело, на лицах выступал липкий пот... «Теллур» остановился и повис в пустоте, где не было верха и низа, сторон или дна, в леденящей космической тьме, в ста двух парсеках от родной звезды — желтого Солнца.

Едва придя в себя после торможения, астролетчики включили экраны прямого обзора и гигантский осветитель, но ничего не увидели, кроме яркого светового тумана впереди и левее носа корабля. Осветитель погас, и тогда сильный голубой свет ударил в глаза всем смотревшим на экран, окончательно лишив их возможности что-либо увидеть.

— Поляризатор-сетку, тридцать пять градусов и фильтр световых волн! — распорядился Мут Анг.

— На длину волны шестьсот двадцать? — осведомился Тэй Эрон.

— Вероятно, это будет наилучшим!

Поляризатор погасил голубое сияние. Тогда могучий оранжевый поток света вонзился в черную тьму, повернул, задел край какого-то сооружения и, наконец, осветил весь чужой звездолет.

Корабль с другой звезды находился всего в нескольких километрах. И такое сближение делало честь как земным, так и чужим астронавигаторам. С расстояния трудно было точно определить размеры звездолета. Внезапно из чужого корабля ударил в зенит толстый луч оранжевого света, по длине волны совпадавшего с тем, который излучал «Теллур». Луч появился, исчез, возник снова и остался стоять вертикально, возносясь к незнакомым созвездиям на краю Млечного пути.

Мут Анг потер лоб рукой, что делал всегда в минуты напряженного раздумья.

— Вероятно, сигнал,— осторожно сказал Тэй Эрон.

— Без сомнения. Я понял бы его так: неподвижный столб нашего света означает: «Стойте на месте, буду подходить я». Попробуем ответить.

Земной звездолет погасил свой прожектор, переключил фильтр на волну четыреста тридцать и повел голубым лучом к своей корме. Столб оранжевого света на чужом корабле мгновенно погас.

Астролетчики ожидали, чуть дыша. Чужой корабль больше всего походил на катушку: два конуса, соединенные вершинами. Основание одного из конусов, видимо, переднего, прикрыто куполом, на заднем установлена широкая, открытая в пространство воронка. Середина корабля выступала толстым, слабо светившимся кольцом неопределенных очертаний. Сквозь кольцо просвечивали контуры цилиндра, соединявшего конусы. Внезапно кольцо сгустилось, сделалось непроницаемым, закрутилось вокруг середины звездолета, как колесо турбины. Чужой корабль стал вырастать на обзорных экранах; за три — четыре секунды он заполнил собою все поле видимости. Люди Земли поняли, что перед ними корабль больше «Теллура».

— Афра, Яс и Кари — в шлюзовую камеру, к выходу из корабля вместе со мной! Тэй останется на посту. Планетарный осветитель выключить! Зажжем посадочное освещение левого борта! — отдавал короткие распоряжения командир.

В лихорадочной спешке названные астролетчики надели легкие скафандры, применявшиеся для планетных исследований и для выхода из корабля в космическое пространство, в отдалении от смертоносного излучения звезд.

Мут Анг критически осмотрел всех, проверил работу своего скафандра и включил насосы. Они мгновенно всосали воздух из шлюзовой камеры внутрь корабля. Едва показатель разрежения достиг зеленой черты, командир повернул одну за другой три рукоятки. Беззвучно, как и все, что происходило в Космосе, сдвинулись в стороны бронезые плиты, изоляционный слой и коробка воздушной ячейки. Отскочила круглая крышка выходного люка, и тотчас гидравлические штанги выдавили вверх пол шлюзовой камеры. Четверо астролетчиков оказались на высоте четырех метров над передней частью «Теллура», на круглой, огражденной площадке, так называемой площадке верхнего обзора.

☆

Чужой звездолет в поясе голубых огней оказался совершенно белым. У него была не зеркальная поверхность металла, отражающая все виды излучений Космоса, как панцирь «Теллура», а матовая, светившаяся с ярчайшей белизной горного снега. Только центральное кольцо продолжало испускать слабое голубое свечение.

Исполинская громада корабля заметно приближалась к «Теллуру». В космическом пространстве, далеко от любых полей тяготения, оба звездолета ощутительно притягивали друг друга. «Теллур» выставил с левого борта гигантские причальные упоры в виде телескопических пружинных труб.

Концы упоров были снабжены подушками из упругой пластмассы с предохранительным слоем на тот случай, если бы то, к чему предстояло прикоснуться в Космосе, оказалось из антиматерии. Куполовидный нос чужого звездолета прорезался наверху черным зиянием, похожим на раскрывшийся в наглой усмешке рот. Оттуда выдвинулся балкон, огражденный частыми тонкими столбиками. В черной пасти зашевелилось что-то белое. Три товарища Афры услыхали вырвавшийся у нее стон разочарования. Пять мертвенно белых, непомерно широких фигур появились на выступающей площадке звездолета. Ростом примерно соответствовавшие людям Земли, они бы-

ли гораздо толще, спины горбились гребневидными выступами. Вместо круглых прозрачных шлемов землян на приподнятых поперечными валиками плечах чужих помещалось нечто вроде большой известковистой раковины, обращенной выпуклостью назад. Спереди веером расходились и торчали большие шипы, образуя навес, под которым неразличимая темнота чуть отблескивала черным стеклом.

Первая появившаяся белая фигура сделала резкий жест, из которого стало ясно, что у чужих две руки и две ноги. Белый корабль повернулся носом к борту земного звездолета и выдвинул более чем на двадцать метров гармонику из пластин красного металла.

Мягкий пружинящий толчок — и оба корабля соприкоснулись. Но на концах стержней не вспыхнула ослепительная молния полного атомного распада, закапсюлированного мощным магнитным полем: материя встретившихся звездолетов была одной и той же.

Стоявшие на обзорной площадке «Теллура» услышали в своих телефонах тихий довольный смешок командира и переглянулись в недоумении.

— Я думаю утешить всех, и прежде всего Афру,— сказал Мут Анг.— Представьте себе нас с их стороны! Пузырчатые куклы с суставчатыми конечностями и огромными круглыми головами... пустыми на три четверти!

Афра звонко рассмеялась.

— Все дело в начинке скафандров, в том, что там внутри, а снаружи — дело произвольное!

— Ног и рук столько же, сколько у нас,— начал Кари.

Но тут вокруг выдвинутого белым кораблем металлического каркаса возник складчатый белый футляр, пустым рукавом протянувшийся к «Теллуру». Передняя фигура на площадке, в которой Мут Анг чутьем угадал равного ему по рангу командира, стала делать не оставляющие сомнений жесты, приближая к груди вытянутые к «Теллуру» руки. Люди не заставили себя ждать и выдвинули из нижней части корпуса соединительную трубу-галерею, употреблявшуюся для сообщения между кораблями в пространстве. Галерея «Теллура» была круглого сечения, у белого звездолета — вертикально-эллиптическая. Земные техники быстро изготовили из мягкого дерева переходную раму. На космическом морозе дерево мгновенно изменило свою молекулярную систему и стало прочнее стали. За это время на выступе чужого корабля появился куб из красного металла с черной передней стенкой — экраном. Две белые фигуры склонились над ней, выпрямились и отступили. Перед взглядами землян на экране засветилось подобие человеческой фигуры, верхняя часть которой ритмически расширялась и распадалась. Маленькие белые стрелки то устремлялись внутрь фигуры, то вылетали наружу.

— Гениально просто — дыхание! — воскликнула Афра.— Они покажут нам, чем дышат, состав своей атмосферы, но как?

Будто отвечая на ее вопрос, дышащая модель на экране исчезла, заменившись новой фигурой. Черная точка в сероватом кольцевидном облачке,— несомненно, ядро атома, окруженное тонкими орбитами светящихся точек — электронов. Мут Анг почувствовал, как сжалось горло, он не мог произнести ни слова. На экране были уже четыре фигуры: две в центре, одна под другой, связанные толстой белой чертой, и две боковые, соединенные черными стрелками.

Все земляне с бьющимися сердцами считали электроны. Нижний, видимо, основной элемент океана: один электрон вокруг ядра,— водород. Верхний, главный элемент атмосферы и дыхания: девятнадцать электронов вокруг ядра,— фтор!

— О, о! — жалобно вскрикнула Афра Деви.— Фтор!..

— Считайте,— перебил командир,— налево вверху — двенадцать электронов: углерод, направо — четырнадцать: азот. Вот и все ясно. Передайте, чтобы изготовили такую же таблицу нашей атмосферы и нашего обмена веществ — все будет то же, только вместо центрального верхнего, фтора, у нас кислород с его шестнадцатью электронами. Как жаль, отчаянно жаль!

Когда земляне выдвинули свою таблицу, астролетчики заметили, как пошатнулась передняя белая фигура на мостике своего корабля и поднесла руку к раковине скафандра жестом, понятным человеку Земли... Видимо, те же чувства, но еще более сильные, были у командира чужого звездолета.

Эта же белая фигура перегнулась через ограждение мостика и сделала рукой резкий взмах, как бы разрубая что-то в пустоте. Шиповидные выросты его головной раковины угрожающе наклонились к «Теллуру», который находился на несколько метров ниже белого корабля. Потом командир чужих поднял обе руки и провел ими вниз на некотором расстоянии одна от другой, как бы показывая две параллельные плоскости.

Мут Анг повторил его жест. Тогда командир чужого звездолета высоко поднял одну руку жестом безмолвного привета, повернулся и скрылся в черной пасти. За ним последовали остальные.

— Пойдемте и мы,— сказал Мут Анг, нажимая опускающий рычаг.

Афра даже не успела поглядеть на великолепное сверкание звезд в черной пустоте Космоса, которое всегда приводило ее в особенный созерцательный восторг.

Люк закрылся, вспыхнуло освещение шлюзовой камеры, стало слышно легкое шипение насосов—первый признак того, что воздух достиг земной плотности.

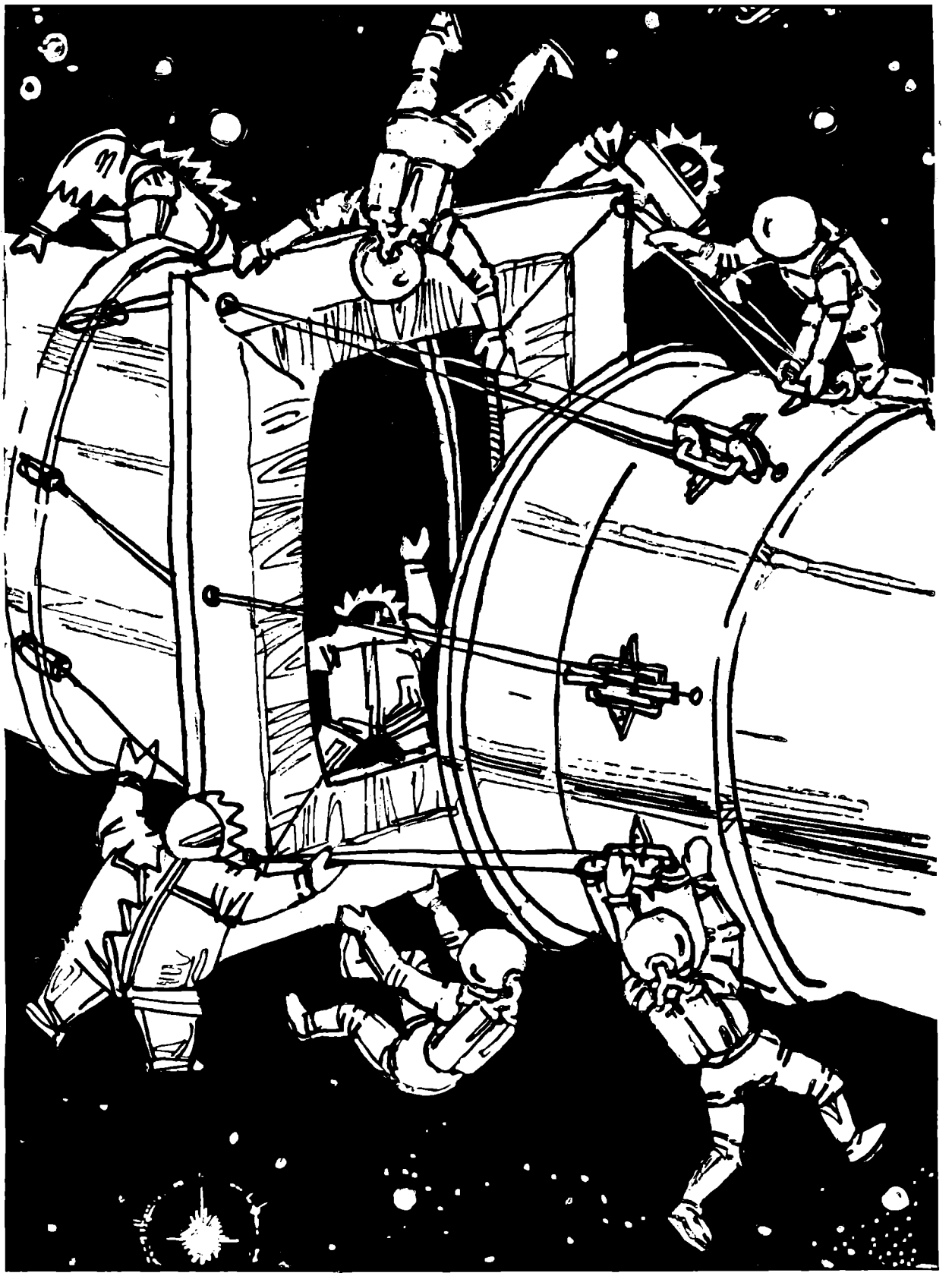
— Будем строить перегородки, а потом соединять галереи? — спросил Яс Тин командира, едва освободившись от шлема.

— Да. Это и хотел сказать командир их звездолета. Какое горе: у них на планете газ жизни — фтор, смертельно ядовитый для нас! А им так же смертелен наш кислород. Многие наши материалы, краски и металлы, стойкие в кислородной атмосфере, могут разрушиться при соприкосновении с их дыханием. Вместо воды у них жидкий фтористый водород — та самая плавиковая кислота, которая у нас разъедает стекло и разрушает почти все минералы, в состав которых входит кремний, легко растворимый во фтористом водороде. Вот почему нам придется ставить прозрачную перегородку, стойкую против кислорода, а они поставят свою, из вещества, не разрушаемого фтором. Но пойдемте, надо спешить. Мы обсудим все, пока будет изготовляться переборка!

Матово-синий пол гасительной камеры, отделявшей жилые помещения от машин «Теллура», превратился в химическую мастерскую. Толстый лист хрустально-прозрачной пластмассы был отлит из заготовленных еще на Земле составов и теперь медленно цементировался, прогреваемый отопительными коврами. Неожиданное препятствие сделало невозможным прямое общение людей Земли с чужими.

Белый корабль не проявлял никаких признаков жизни, хотя наблюдатели непрерывно следили за ним у обзорных экранов.

«Мягкий пружинящий толчок — и оба корабля соприкоснулись»



«Затем земляне и чужие встретились в пустоте, помогая друг другу скреплять распоры и переходную раму»

В библиотеке «Теллура» кипела работа. Все члены экипажа отбирали стереофильмы и магнитные фотозаписи о Земле, репродукции лучших произведений искусства. Спешно готовились диаграммы и чертежи математических функций, схемы кристаллических решеток веществ, наиболее распространенных в земной коре, на других планетах и на Солнце. Регулировали большой стереоэкран, заделывали в устойчивый к фтору чехол обертонный звучатель, точно передающий голос человека.

В короткие перерывы еды и отдыха астролетчики обсуждали необыкновенную атмосферу родины встреченных путешественников Космоса.

Круговорот веществ, использующий лучистую энергию светила и позволяющий жизни существовать и накапливать энергию в борьбе с рассеянием энергии — энтропией, обязательно должен был и у чужих следовать общей схеме земных превращений. Свободный активный газ, будь то кислород, фтор или какой-нибудь еще, мог накопиться в атмосфере только в результате жизнедеятельности растений. Животная жизнь и человек в том числе расходовали кислород или фтор, связывая его с углеродом — основным элементом, из которого состояли тела и растений и животных.

На чужой планете должен был быть фтористоводородный океан. Расщепляя с помощью лучистой энергии своего светила фтористый водород, как у нас на Земле воду (кислородистый водород), растения той планеты накопляли углеводы и выделяли свободный фтор, которым в смеси с азотом дышали люди и животные, получая энергию от сгорания углеводов во фторе. Животные и люди должны выдыхать фтористый углерод и фтористый водород.

Подобный обмен веществ дает в полтора раза больше энергии, чем земной с его кислородной основой. Не мудрено, что он послужил для развития высшей мыслящей жизни. Но диалектически — большая активность фтора по сравнению с кислородом требует и более сильной радиации светила. Чтобы лучистая энергия была в состоянии расщепить молекулу фтористого водорода в растительном фотосинтезе, нужны не желто-зеленые лучи, как для воды, а лучи более мощных квант, голубые и фиолетовые. Очевидно, что светило чужих — голубая высокотемпературная звезда.

— Противоречие! — вмешался в разговор вернувшийся из мастерской Тэй Эрон.— Фтористый водород легко превращается в газ.

— Да, при плюс двадцати градусах,— ответил, заглядывая в справочник, Кари.

— А замерзает?

— При минус восьмидесяти.

— Следовательно, их планета должна быть холодной! Это не вяжется с голубой горячей звездой.

— Почему? — возразил Яс Тин.— Она может быть удалена от светила. Океаны могут находиться в умеренных или полярных зонах планеты. Или...

— Вероятно, может быть еще много «или»,— сказал Мут Анг.— Как бы то ни было, звездолет со фторной планеты перед нами, и мы скоро узнаем все подробности их жизни. Важнее сейчас понять другое: фтор очень редок во Вселенной. Хотя последние исследования передвинули фтор с сорокового по степени распространения места на восемнадцатое, но наш кислород занимает во Вселенной третье место по количеству своих атомов, после водорода и гелия, а уже за ним следуют азот и углерод. По другой системе подсчета, кислорода в двести тысяч раз больше, чем фтора. Это может означать только одно: планет, богатых фтором, чрезвычайно мало в Космосе, а планет со фторной атмосферой, то есть таких, на которых долго существовала растительная жизнь, обогатившая атмосферу свободным фтором и совсем ничтожное число, исключение из правила.

— Теперь мне понятен жест отчаяния у командира их звездолета,— задумчиво произнесла Афра Дави.— Они ищут себе подобных, и их разочарование было очень сильно.

— Если очень сильно, то, значит, они ищут давно и, кроме того, уже встречались с мыслящей жизнью...

— И она была обыкновенная, нашего типа, кислородная! — подхватила Афра.

— Но могут быть и другие типы атмосферы,— возразил Тэй Эрон,— хлорная, например, или сорная, еще сероводородная.

— Не годятся они для высшей жизни! — торжествующе воскликнула Афра.— Все они дают в обмене веществ в три и даже в десять раз меньше энергии, чем кислород, наш могучий живительный кислород Земли!

— Только не серная,— пробурчал Яс Тин,— у нее энергия одинакова с кислородом!

— Вы подразумеваете атмосферу из сернистого ангидрида и океан из жидкой серы? — спросил Мут Анг, и инженер согласно кивнул.

— Но ведь в этом случае сера заменяет не кислород, а водород нашей Земли,— нахмурилась Афра,— то есть самый обычный элемент Космоса! Вряд ли редкая во Вселенной сера сможет быть частой заменительницей водорода. Явно, что такая атмосфера — явление еще более редкое, чем фтор.

— И лишь для очень теплых планет,— ответил Тэй, листая справочник,— океан из серы будет жидким только выше ста и до четырехсот градусов тепла.

— Мне кажется, что Афра права! — вмешался командир.— Все эти предполагаемые атмосферы — слишком большая редкость по сравнению с нашей стандартной из наиболее распространенных в Космосе элементов. Это не случайно!

— Не случайно! — согласился Яс Тин.— Но случайностей в бесконечном Космосе немало. Возьмем нашу «стандартную» Землю. На ней да и на соседях ее—Луне, Марсе, Венере—много алюминия, вообще редкого во Вселенной.

— И, тем не менее, найти повторения этих случайностей в той же бесконечности — дело десятков, если не сотен тысячелетий,— угрюмо сказал Мут Анг.— Даже с пульсационными звездолетами! Если они ищут давно, то как я понимаю их!

— Как хорошо, что наша атмосфера из самых обычных элементов Вселенной и нас ждет встреча с великим множеством подобных же планет! — сказала Афра.

— А впервые встретились с отнюдь не подобной! — отозвался Тэй.

Афра вспыхнула и только собралась возразить, как явился химик корабля с докладом о том, что прозрачный щит готов.

— Но мы можем войти в их звездолет запросто в космических костюмах? — осведомился Яс Тин.

— Так же, как и они в наш. Вероятно, состоится не один обмен визитами, но первые знакомства начнем с показа,— ответил командир.

Астролетчики закрепили прозрачную стену на конце передаточного рукава, а белые фигуры чужих начали ту же работу в своей галерее. Затем земляне и чужие встретились в пустоте, помогая друг другу скреплять распоры и переходную раму. Поглаживание по рукаву скафандра или по плечу — жест нежности и дружбы был в равной мере понятен тем и другим.

Грозя рогообразными выростами головных раковин, чужие пытались рассмотреть лица землян сквозь дымчатые шлемы. Но если головы земных людей были видны сравнительно отчетливо, то слабо выпуклые передние щитки шлемов чужих, укрытые под шипастыми навесами «раковин», оставались непроницаемы для земных глаз. Только безошибочное человеческое чутье говорило, что из этой темноты следят внимательные глаза, напряженно и доброжелательно.

На приглашение войти в «Теллур» белые фигуры ответили отрицательными жестами отталкивания. Один из них коснулся своего скафандра и затем быстро развел руками, как бы разбрасывая что-то.

— Боятся за скафандр в кислородной атмосфере,— догадался Тэй.

— Они хотят, как и мы, начать со встречи в галерее,— сказал командир.

Оба звездолета — снежно-белый и металлически-зеркальный — составляли теперь одно целое, неподвижно повисшее в бесконечности Космоса. «Теллур» включил мощные обогреватели, и его экипаж смог войти в соединительную трубу-галерею в обычных рабочих костюмах — плотно облегающих синих вязаных комбинезонах из искусственной шерсти.

На чужой стороне галереи вспыхнуло голубое освещение, похожее на свет горных высот Земли. На границе двух по-разному освещенных камер прозрачные перегородки казались аквамариновыми, будто из застывшей чистой воды моря.

Наступившая тишина нарушалась только учащенным дыханием взволнованных землян. Тэй Эрон коснулся локтем плеча Афры и почувствовал, что молодая женщина вся дрожит. Помощник командира крепко прижал к себе биолога, и Афра ответила ему быстрым благодарным взглядом.

В глубине соединительной галереи показалась группа из восьми чужих... Чужих ли? Люди не поверили зрению. В глубине души каждый ожидал необычайного, никогда не виданного. Полное сходство чужих с людьми Земли казалось чудом. Но то было лишь при первом взгляде. Чем дольше всматривались земляне, тем больше различий находили в том, что не было скрыто под темной одеждой — сочетанием коротких просторных курток с длинными шароварами, напоминавшими старинные одежды Земли.

Погас голубой свет — они включили земное освещение. Прозрачные перегородки потеряли свой зеленый цвет и стали белыми, почти невидимыми. За этой едва заметной стеной стояли люди. Можно ли было поверить, что эти настоящие люди дышат ядовитейшим для Земли газом и купаются в морях всеразъедающей плавиковой кислоты! Пропорциональные очертания тел, рост, соответствующий среднему росту землян. Странный чугунно-серый цвет кожи с серебристым отливом и скрытым кроваво-красным отблеском, какой бывает на полированном красном железняке или гематите. Серый тон этого минерала был одинаков с кожей обитателей фторной планеты.

Круглые головы поросли густыми иссиня-черными волосами. Но самой замечательной особенностью их лиц были глаза. Невероятно большие и удлиненные, с резко косым разрезом, они занимали всю ширину лица, косо поднимаясь наружными уголками к вискам, выше уровня глаз земных людей. Белки густого бирюзового цвета казались непропорционально удлиненными по отношению к черной радужине и зрачкам.

Соответственно размерам и положению глаз, прямые и четкие, очень черные брови смыкались с волосами высоко на висках и почти сходились к узкой переносице, образуя широкий тупой угол. Волосы над лбом от середины спускались к вискам такой же четкой и прямой линией, совершенно симметричной бровям. Поэтому лоб имел очертания вытянутого горизонтально ромба. Нос, короткий и слабо выступавший, обладал, как у землян, направленными вниз ноздрями. Небольшой рот с фиолетовыми губами показывал правильный ряд зубов такого же чистого небесного цвета, как и белки глаз. Верхняя половина лица казалась очень расширенной. Ниже глаз лицо сильно суживалось к подбородку с чуть угловатыми очертаниями. Строение ушей осталось невыясненным: виски у всех пришельцев прикрывались через темя золотистыми жгутами.

Среди чужих были женщины и мужчины. Женщины угадывались по высоте стройных шей, округлости очертаний лиц и по очень пышной массе коротко стриженных волос. У мужчин был более высокий рост, большая массивность тела, более широкие подбородки,— в общем, те же черты, какими различались оба пола землян.

Афре показалось, что руки чужих имеют только по четыре пальца. Соответствуя человеческим пропорциям, пальцы людей фторной планеты как будто не обладали суставами: они сгибались плавно, не образуя угловатых выступов.

Ног нельзя было разглядеть: ступни их утопали в мягком настиле пола. Одежды в свете, естественном для земных глаз, казались темно-красного, почти кирпичного цвета.

Чем дольше вглядывались астролетчики, тем менее странным казался облик пришельцев с фторной планеты. Более того, людям Земли становилась все понятнее своеобразная экзотическая красота чужих. Их главным очарованием были огромные глаза, смотревшие сосредоточенно и ласково на людей, излучая тепло мудрости и дружбы.

— Какие глаза! — не удержалась Афра.— С такими легче становиться людьми, чем с нашими, хотя и наши великолепны!

— Почему так? — шепнул Тэй.

— Чем крупнее глаза, тем большее количество элементов сетчатки, тем большее число деталей из окружающего мира может усвоить такой глаз.

Тэй кивнул в знак понимания.

Один из чужих выступил вперед и сделал приглашающий жест. Тотчас же земное освещение на той стороне галереи погасло.

— Ох! — горестно воскликнул Мут Анг.— Я не предусмотрел!

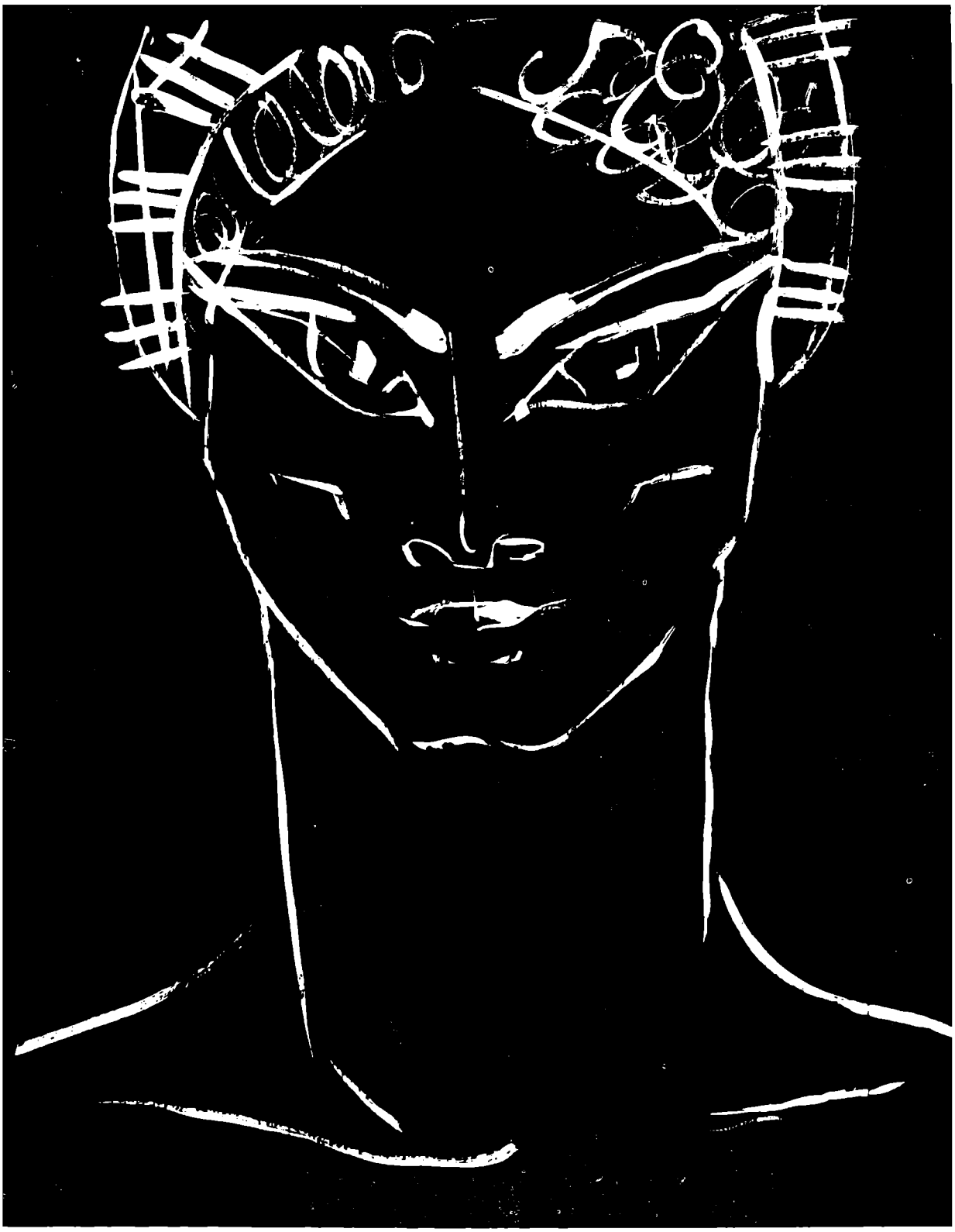
— Я сделал,— спокойно отозвался Кари, выключил обычный свет и зажег две сильные лампы с фильтрами четыреста тридцать.

— Мы выглядим мертвецами,— огорченно сказала Тайна,— неважный вид у человечества в таком свете!

— Ваши опасения напрасны,— сказал Мут Анг.— Их спектр наилучшей видимости уходит далеко в фиолетовую сторону, может быть, и в ультрафиолетовую. Это подразумевает гораздо больше теплоты и оттенков, чем видится нам, но я не могу представить, как.

— Пожалуй, мы им покажемся много желтее, чем на самом деле,— сказал, подумав, Тэй.

— И это гораздо лучше, чем синеватый трупный цвет. Только посмотрите вокруг! — не унималась Тайна.



«У мужчин был более высокий рост... более широкие подбородки»

«Женщины угадывались по высоте стройных шей, округлости очертаний лиц и по очень пышной массе коротко стриженных волос»

Земляне сделали несколько снимков и вытолкнули в маленький шлюз обертонный звучатель, работающий на кристаллах осмия. Чужие подхватили его и поставили на треножник. Кари направил в чашечную антенну узкий пучок радиозолн. Во фторной атмосфере звездолета зазвучала речь и музыка Земли. Тем же путем был передан прибор для анализа воздуха, который позволил установить температуру, давление и состав атмосферы неведомой планеты. Как и следовало ожидать, внутренняя температура белого звездолета оказалась ниже земной и не превышала семи градусов. Давление атмосферы было больше земного, и почти одинаковой — сила тяжести.

— Сами они, вероятно, теплее,— сказала Афра,— как мы теплее нашей привычной двадцатиградусной температуры. Я думаю, что у них теплота тела — около четырнадцати наших градусов.

Чужие передали свои приборы закрытыми в двух сетчатых ящичках, не позволявших угадать их назначение.

Из одного ящичка послышались высокие прерывистые чистые звуки, как бы тающие вдали. Земляне поняли, что чужие слышат более высокие звуки, чем они. Если их слух по диапазону был примерно равен земному, то часть низких нот человеческой речи и музыки пропадала для обитателей фторной планеты. Чужие снова зажгли земное освещение, и земляне выключили голубой свет. К прозрачной стенке подошли двое — мужчина и женщина. Они спокойно сбросили свои темно-красные одежды и замерли, взявшись за руки, потом стали медленно поворачиваться, давая землянам рассмотреть их тела, которые оказались более сходны с земными, чем их лица. Гармоничная пропорциональность фигур фторных людей полностью отвечала понятиям красоты на Земле. Несколько более резкие переходы в очертаниях линий, какая-то резкость всех впадинок и выпуклостей создавали впечатление некоторой угловатости, вернее, более четкой скульптурности тела чужих. Вероятно, впечатление усиливалось серым цветом кожи, более темной в складках и впадинах.

Их головы красиво и гордо были посажены на высоких шеях; мужчина обладал широкими плечами человека труда и борьбы, а широкие бедра женщины — матери мыслящего существа — нисколько не противоречили ощущению интеллектуальной силы посланцев неведомой планеты.

Когда чужие отступили с знакомым приглашающим жестом и погасили желтый земной свет, земляне уже не колебались.

По просьбе командира перед прозрачной преградой встали, взявшись за руки, Тэй Эрон и Афра Деви. Несмотря на неземное освещение, придавшее телам людей холодный оттенок голубого мрамора, все астролетчики вздохнули с восхищением — настолько очевидной была нагая красота их товарищей. Это поняли и чужие. Смутно видимые в неосвещенной галерее, они стали обмениваться между собой взглядами и непонятными короткими жестами.

Афра и Тэй стояли гордо и открыто, полные того нервного подъема, который появляется в моменты исполнения трудных и рискованных задач. Когда наконец чужие кончили съемку и зажгли свой свет, экипаж «Теллура» разразился аплодисментами. Смущенные молодые люди побежали одеваться.

— Теперь я не сомневаюсь, что у них есть любовь,— сказала Тайна,— настоящая, прекрасная и великая человеческая любовь... если их мужчины и женщины так красивы и умны!

— Вы совершенно правы, Тайна, и от этого еще радостнее, потому что они поймут нас во всем,— отозвался девушке Мут Анг.

В это время чужие выдвинули вперед зеленый экран. На нем начали двигаться маленькие фигурки. Они шли процессией, поднимаясь на крутой склон, и несли на себе какие-то большие предметы. Поднявшись на плоскую вершину, каждая фигурка сбрасывала свою ношу и падала лицом вниз. Похожая на земную мультипликацию, картина свидетельствовала об утомлении, желании отдыха. Земляне тоже почувствовали, насколько утомили их напряженное многочасовое ожидание и первые впечатления встречи. Жители фторной планеты, видимо, надеялись на встречу с другими людьми и подготовились к ней, создав, например, подобные «разговорные» фильмы.

Экипаж «Теллура», не готовый к встрече, вышел из затруднения. К перегородке придвинули экран для скорых зарисовок, и художник «Теллура» Яс Тин начал набрасывать последовательные серии рисунков. Сначала он изобразил таких же утомленных человечков, затем нарисовал одну большую рожицу с таким явно вопросительным выражением, что чужие оживились, как при появлении Тэй Эрона и Афры Деви. Потом художник изобразил Землю, обходящую по орбите Солнце, разделил орбиту на двадцать четыре части и зачернил ее половину. Чужие вскоре ответили похожей схемой. С той и с другой стороны включились метрономы, которые помогли установить продолжительность малых делений времени, а затем вычислить и большие. Астролетчики узнали, что фторная планета вращается вокруг своей оси приблизительно за четырнадцать земных часов, а обегает свое голубое солнце в течение девятисот суток. Перерыв на отдых, который предложили чужие, равнялся пяти земным часам.

Все еще ошеломленные, расходились люди из соединительной трубы. Погасли огни в галерее, потухло и наружное освещение кораблей. Оба звездолета, темные, замерли неподвижно рядом друг с другом, как будто все живое в них погибло, заледенело в чудовищном холоде и глубочайшем мраке пространства.

Но внутри кораблей жизнь, горячая, пытливая и деятельная, шла своим чередом. Бесконечно изобретательный человеческий мозг изыскивал новые способы, как передать братьям по мысли, рожденным на планетах удаленных звезд, знания и надежды, взращенные тысячелетиями безмерных трудов, опасностей и страданий. Знания, освободившие человека сначала от власти дикой природы, затем от произвола дикого общественного строя, болезней и преждевременной старости, поднявшие людей к бездонным высотам Космоса.

Вторая встреча в галерее началась с показа звездных карт. И землянам и обитателям фторной планеты были совершенно незнакомы рисунки созвездий, мимо которых шли пути кораблей. (Лишь на Земле астрономам удалось установить точное положение голубого светила: в небольшом звездном облаке Млечного пути около Тау Змееносца.) Путь чужого звездолета шел к звездному скоплению на северной окраине Змееносца и пересекся с ходом «Теллура», когда тот достиг южных границ созвездия Геркулеса.

В галерее чужих встала какая-то решетка из пластин красного металла высотой в рост человека. Что-то завертелось позади нее, видимое в просветах между пластинами. Внезапно все они сдвинулись, повернулись ребром и исчезли. На месте решетки показалось громадное пустое пространство с про-

носящимися в отдалении слепяще синими шарами спутников фторной планеты. Медленно приближалась и она сама. Широкий синий пояс непроницаемой облачности обвивал ее экватор. На полюсах и в околополярных зонах планета светилась серовато-красными отблесками, а посредине шли полосы, своей чистейшей белизной похожие на внешнюю оболочку чужого звездолета. Здесь, сквозь слабо насыщенную парами атмосферу, смутно угадывались контуры морей, материков и гор, чередовавшихся неправильными вертикальными полосами. Планета была больше Земли. Ее быстрое вращение возбуждало вокруг нее мощное электрическое поле. Сиреневое сияние вытягивалось длинными отростками по экватору в черноту окружающего пространства.

Затаив дыхание, час за часом сидели люди перед прозрачной стенкой, за которой неведомое устройство продолжало развертывать с потрясающей реальностью картины фторной планеты. Люди Земли увидели лиловые волны океана из фтористого водорода, омывавшие берега черных песков, красных утесов и склонов иззубренных гор, светящихся голубым лунным сиянием. Ближе к полюсам планеты окружающий воздух синел все больше, становился глубже и чище темно-голубой свет фиолетовой звезды, вокруг которой быстро неслась фторная планета.

Горы здесь стали округлыми куполами, валами, плоскими вздутиями с ярким опаловым блеском. Синие сумерки лежали в глубоких долинах, направлявшихся от полярных гор к фестончатой полосе морей на юге. Большие заливы дымились опалесцировавшим покровом голубых облаков. Гигантские постройки из красного металла и каких-то травяно-зеленых камней обрамляли края морей, бесконечно длинными вереницами всползали по вертикальным долинам к полюсам. Эти исполинские скопления построек, заметные с громадной высоты, разделялись широкими полосами густой растительности с зеленовато-голубой листвой или плоскими куполами гор, светившихся изнутри, будто опалы или лунные камни Земли. Круглые шапки льдов из застывшего фтористого водорода на полюсах казались драгоценными сапфирами.

Синие, голубые, лазурные, лиловые краски преобладали повсюду. Самый воздух словно был пронизан голубоватым свечением, точно слабый разряд в газовой трубке. Мир чужой планеты казался холодным и бесстрастным, будто видение в кристалле — чистое, далекое и призрачное. Мир, в котором не чувствовалось тепла, ласкающего разнообразия красных, оранжевых и желтых цветов Земли.

Цепи городов виднелись в обоих полушариях планеты, в зонах, соответствовавших полярной и умеренной зонам Земли. К экватору горы становились все острее и темнее. Зубчатые пики торчали из мутной от паров поверхности моря, ребра хребтов протягивались в широтном направлении, окаймляя тропические области фторной планеты.

Там плотными массами клубились синие пары: от нагрева голубой звезды легко испарявшийся фтористый водород насыщал атмосферу, подступал колоссальными облачными стенами к умеренным зонам, сгущался и каскадами лился обратно в теплую экваториальную зону. Плотины, достойные гигантов, обуздывали стремительность этих потоков, заключенных в арки и трубы и служивших источником энергии силовых станций планеты.

Нестерпимым блеском сверкали поля огромных кристаллов кварца,— видимо, кремний играл роль нашей соли в водах фтористоводородного моря. Постройки городов приближались. Их очертания резко обрисовывались в холодном голубом свете. Везде, куда хватал глаз, вся площадь обитаемых зон планеты, за исключением таинственной экваториальной области, тонувшей в голубом молоке паров, была устроена, изменена, улучшена руками и творческой мыслью человека. Гораздо сильнее изменена, чем наша Земля, еще сохранившая в неприкосновенности огромные площади заповедников, древних руин или заброшенных разработок.

Труд бесчисленных поколений миллиардов людей вырастал выше гор, оплетал всю поверхность фторной планеты. Жизнь властвовала над стихиями бурных вод и густой атмосферы, пронизанной убийственно сильными лучами голубой звезды и неимоверно мощными зарядами электричества.

Люди Земли смотрели, не отрываясь, и сознание как бы раздваивалось: в памяти одновременно возникало видение своей родной планеты. Не так, как представляли себе родину древние предки, в зависимости от места своего рождения и жизни: то равнинами просторных полей и сыроватых лесов, то каменистыми грустными горами, то радостно сверкающими в теплом солнце берегами прозрачных морей. Вся Земля, в разнообразии своих климатических зон: холодных, умеренных и жарких стран — проходила перед мысленным взором каждого астролетчика. Бесконечно прекрасны были и серебристые степи — области вольного ветра — и могучие леса из темных елей и кедров, белых берез, крылатых пальм и гигантских голубоватых эвкалиптов. Туманные берега северных стран в стенах мшистых скал и белизна коралловых рифов в голубом сиянии тропических морей. Властно-холодное, пронизывающее сверкание снеговых хребтов и призрачная, зыбкая дымка пустынь. Реки — величавые, медленные и широкие или неистово мчащиеся табунами белых коней по крупным камням ущелистых русел. Богатство красок, разнообразие цветов, голубое земное небо с облаками, как белые птицы, солнечный зной и пасмурная, дождливая хмурь, вечные перемены времен года. И среди всего этого богатства природы — еще более великое разнообразие людей, их красоты, стремлений, дел, мечтаний и сказок, горя и радости, песен и танцев, слез и тоски...

То же могущество осмысленного труда, поражающего изобретательностью, искусством, фантазией, прекрасной формой повсюду: в строениях, заводах, машинах, кораблях.

Может быть, чужие тоже видят своими огромными раскосыми глазами гораздо больше землян в холодных голубых красках своей планеты, а в переделке своей более однообразной природы ушли дальше нас, детей Земли? Назревала догадка: мы, создания кислородной атмосферы, в сотни тысяч раз более обыкновенной в Космосе, нашли и найдем еще огромное количество подходящих для жизни условий, найдем, встретимся, соединимся с братьями — людьми с других звезд? А они? Порождения редкого фтора, с их необыкновенными фтористыми белками и костями, кровью с синими тельцами, впитывающими фтор, как наши красные — кислород?

Эти люди заперты на ограниченном пространстве своей планеты. Наверное, они давно уже странствуют в поисках себе подобных или хотя бы планет с подходящей им атмосферой из фтора. Но как им найти в безднах Вселенной столь редкие жемчужины, как пробиться к ним через тысячи световых лет? Так близко и понятно их отчаяние, великое разочарование при встрече с кислородными людьми, вероятно, не в первый раз.

В галерее чужих ландшафты фторной планеты заменились видом колоссальных построек. Откосы

наклоненных внутрь стен походили на здания тибетской архитектуры. Нигде не было прямых углов, горизонтальных плоскостей — формы плавно изгибались, переходя от вертикали к горизонтали винтообразными или спиральными поворотами. Вдали возникло темное отверстие, по очертанию похожее на скрученный овал. Когда оно выросло, приближаясь, стало видно, что нижняя часть овала представляет собою спирально изогнутую широкую дорогу, поднимавшуюся и углубленную в темноту гигантского входа в здание размерами с целый город. Большие голубые знаки, оправленные в красное, издали напоминавшие волновую рябь, виднелись над входом. Вход приближался. В глубине его становилась видна слабо освещенная гигантская зала со светящимися, как флуоресцирующий плавиковый шпат, стенами.

☆

И внезапно, без предупреждения, картина исчезла. Изумленные астролетчики, приготовившиеся увидеть нечто необычайное, почувствовали буквально удар. Галерея по ту сторону прозрачной стены осветилась обычным голубым светом. Решетчатый экран из красного металла сложился и сдвинулся в сторону, появились чужие звездолетчики. На этот раз они двигались очень быстро, резкими движениями.

В этот момент на экране «Теллура» возникла череда последовательных картинок. Они замелькали в таком темпе, что экипаж едва мог уследить за изображениями. Где-то во тьме Космоса двигался такой же белый звездолет, какой висел сейчас бок о бок с «Теллуром». Видно было, как крутилось, сверкало, разбрасывая во все стороны лучи, его центральное кольцо. Вдруг кольцо остановило вращение, и корабль повис в космической бездне, недалеко от маленькой голубой звезды-карлика.

Из звездолета устремились вдаль лучи, черточками мелькавшие на экране, в левом углу которого появился второй звездолет. Летящие черточки достигли его, неподвижно стоявшего рядом с земным кораблем, в котором люди узнали свой «Теллур». И белый звездолет, принявший зов своего товарища, словно отодвинулся от «Теллура» куда-то в черную даль.

Мут Анг вздохнул так громко, что подчиненные обернулись к своему командиру с немым вопросом.

— Да! Они скоро уйдут. Где-то очень далеко шел второй их корабль. Они каким-то способом переговаривались, хотя я не могу себе представить, как это возможно в неизмеримых безднах, разделявших корабли. И теперь второй звездолет поврежден, его зов достиг наших чужих, хотя правильнее будет сказать, наших друзей!

— Может быть, он не поврежден, а нашел что-нибудь важное? — тихо спросила Тайна.

— Может быть. Как бы то ни было, они уходят. Надо торопиться изо всех сил, чтобы успеть переснять, записать как можно больше сведений. И главное, карты, их курс, их встречи... Я не сомневаюсь, что у них были встречи с кислородными, как мы, людьми

Из переговоров с чужими выяснилось, что они могут задержаться на земные сутки. Люди, подстегнутые специальными лекарствами, работали совершенно неистово и не уступали неистощимой энергии быстрых серых жителей фторной планеты.

Переснимались учебные книжки с картинками и словами, тут же записывалось звучание чужого языка. Передавались коллекции с минералами, водами и газами в стойких прозрачных ящиках. Химики обеих планет старались понять значение символов, выражавших состав живых и неживых веществ. Афра, бледная от усталости, стояла перед диаграммами физиологических процессов, генетическими схемами и формулами, схемой эмбриологических стадий развития организма обитателей фторной планеты. Бесконечные цепочки молекул фторостойких белков были в то же время изумительно похожи на наши белковые молекулы: те же фильтры энергии, те же ее плотины, получившиеся в борьбе живой материи с энтропией.

Прошло двадцать часов. В галерее появились Тэй и Кари; едва живые от усталости, они несли кипу звездных карт, отражавших весь путь «Теллура» от Солнца к месту встречи. Чужие заспешили еще больше. Фотомагнитные ленты памятных машин землян записывали расположение незнакомых звезд, обозначенных незедомыми знаками расстояния, астрофизические данные, перекрещивавшиеся сложными зигзагами пути обоих белых кораблей. Все это должно было быть потом расшифровано по приготовленным заранее чужими таблицам объяснений.

И наконец люди не удержались от радостных восклицаний. Сначала у одной, потом у другой, третьей, четвертой, пятой звезды на экране появились увеличенные кружки, в которых завертелись планеты.

Изображение неуклюжего, пузатого звездолета сменилось целой стаей других, более изящных кораблей. На опущенных из-под их корпусов овальных платформах стояли в своих скафандрах существа — несомненные люди. Знак атома с шестнадцатью электронами — кислорода — увенчивал изображение планет и кораблей, но звездолеты на схеме соединялись только с двумя из изображенных планет: одной, расположенной близко к красному большому Солнцу, другой, вращавшейся вокруг яркой золотистой звезды спектрального класса Эф. По-видимому, жизнь на планетах трех других звезд, тоже кислородная, еще не достигла высокого уровня, позволявшего выход в Космос, или мыслящие существа еще не успели появиться там.

Выяснить это людям Земли не удалось, но в их руках были неоценимые сведения о путях, ведущих к этим населенным мирам, отдаленным на многие сотни парсеков от места встречи звездолетов.

☆

Пора было расставаться.

Экипажи обоих звездолетов выстроились друг перед другом за прозрачной стеной. Бледно-бронзовые люди Земли и серокожие люди фторной планеты, название которой осталось неясным землянам. Они обменивались ласковыми и грустными жестами, улыбками и обоюдно понятными взглядами умных, внимательных глаз.

Небывалая острая тоска овладела людьми «Теллура». Даже отлет с родной Земли, с тем, чтобы вернуться семь веков спустя, не казался такой болезненно невозвратимой утратой. Нельзя было примириться с сознанием, что еще несколько минут — и эти красивые, странные и добрые люди навсегда исчезнут в космических безднах, в своем одиноком и безнадежном искании родной по природе мыслящей жизни.

Может быть, только теперь астролетчики полностью, всем существом поняли, что самое важное во всех поисках, стремлениях, мечтах и борьбе — это человек. Для любой цивилизации, любой звезды, целой Галактики и всей бесконечной Вселенной глав-

ное — это человек, его ум, чувства, сила, красота, его жизнь!

В счастье, сохранении, развитии человека — главная задача необъятного будущего, после победы над Сердцем Змеи, после безумной, невежественной и злобной расточительности жизненной энергии в низкоорганизованных человеческих обществах.

Человек — это единственная сила в Космосе, могущая действовать разумно и, преодолевая самые чудовищные препятствия, идти к целесообразному и всестороннему переустройству мира, то есть к красоте осмысленной и могучей жизни, полной щедрых и ярких чувств...

Командир чужих сделал какой-то знак. Тотчас же молодая женщина, которая демонстрировала красоту обитателей фторной планеты, рванулась в сторону, где стояла Афра. Широко раскинув руки, она прижалась к перегородке, точно старалась обнять прекрасную женщину Земли. Афра, не замечая катившихся по щекам слез, распласталась по перегородке, как бьющаяся о стекло пленная птица. Но свет у чужих потух, и почерневшее стекло стало мрачной пучиной, в которой потонули все порывы землян.

Мут Анг приказал включить земное освещение, но галерея по ту сторону перегородки оказалась пуста.

— Наружная группа, надеть скафандры для отсоединения галереи! — властно ворвался в тоскливое молчание голос Мут Анга.— Механики— к двигателям, астронавигатор — в пост управления! Всем подготовиться к отлету!

Люди разошлись из галереи. Унесли все приборы. Только Афра, освещенная тусклым светом из открытого бортового люка, стояла в неподвижности, будто скованная леденящим холодом межзвездных пространств.

— Афра, мы закрываем люк! — окликнул ее Тэй Эрон откуда-то из глубины корабля.— Хочется проследить за их отлетом.

Молодая женщина вдруг очнулась и с криком: «Стойте! Тэй, стойте!»— побежала к командиру. Удивленный помощник стоял в недоумении, но Афра вернулась очень быстро. Рядом с ней бежал Мут Анг.

— Тэй, прожектор в галерею! Вызовите техников, экран установите назад! — распоряжался на бегу командир.

Люди заторопились, как при аварии. Сильный луч пробился в глубину галереи и замигал с теми же интервалами, как луч локатора «Теллура» в первый момент встречи кораблей. Чужие, прервав работы, появились в галерее. Земляне зажгли голубой свет «430». Дрожащая Афра склонилась над рисовальной доской, отражавшей на экране торопливые наброски биолога. Двойные спиральные цепочки механизмов наследственности должны были быть в общем одинаковыми у земных и фторных людей. Изобразив их, Афра нарисовала диаграмму обмена веществ в человеческом организме, сводящуюся к одинаковому превращению лучистой энергии звездных светил, добытой через растения. Молодая женщина оглянулась на неподвижные серые фигуры и накрест перечеркнула атом фтора с его девятнадцатью электронами, поставив вместо него кислород.

Чужие дрогнули. Командир выступил вперед и вплотную приблизил лицо к прозрачной перегородке, вглядываясь громадными глазами в неловкие чертежи Афры. И вдруг поднял надо лбом крепко сцепленные руки и низко склонился перед женщиной Земли.

Они поняли то, что только намеком, в последний момент расставания родилось в мозгу Афры и, вызванное тоскою разлуки, осмелилось вырваться. Афра думала об изменении, дерзкой замене химических превращений, приводивших в действие весь величайшей сложности организм человека. Путем воздействия на механизм наследственности заменить фторный обмен веществ на кислородный! Сохранить все особенности, всю наследственность фторных людей, но заставить их тела работать на иной энергетической основе. Эта гигантская задача была еще так далека от возможности своего осуществления, что даже семь веков, через которые «Теллур» вернется на Землю, веков непрерывного нарастания успехов науки, вряд ли намного приблизят к ее решению...

Но как бесконечно много могут сделать соединенные усилия обеих планет! Если же к ним присоединятся и другие мыслящие собратья... Фторное человечество не пройдет бесследной тенью, затерявшейся в глубинах Вселенной.

Когда люди разных планет с неисчислимых звезд и галактик неизбежно соединятся в Космосе, серокожие обитатели фторной планеты, может быть, не будут отверженцами из-за редчайшей случайности строения своих тел.

И, может быть, тоска неизбежной разлуки и утраты была преувеличенной? Недоступно далекие по строению своих планет и тел, фторные люди и люди Земли похожи в жизни и уже совсем близки в разуме и знании. Афре, смотревшей в огромные раскосые глаза командира белого звездолета, казалось, что все это она прочла в них. Или это было только отражением ее собственных мыслей?

Но чужие, видимо, обладали той же верой в могущество человеческого разума, которая была свойственна людям Земли. Вот почему даже робкая искра надежды, высказанной женщиной-биологом, так много значила для них, что их приветственные жесты более не походили на знак прощания, а ясно говорили о будущих встречах.

☆

Сопла звездолета медленно расходились, опасаясь повредить друг другу силой своих вспомогательных моторов. Белый корабль на минуту раньше окутался облаком слепящего пламени, за которым, когда оно угасло, не оказалось ничего, кроме тьмы Космоса.

Тогда и «Теллур», осторожно разогнавшись, вошел в пульсацию, которая служила как бы мостом, сокращавшим прежде необоримую длину межзвездных путей. Надежно укрытые в защитных футлярах люди уже не видели, как укорачивались летевшие навстречу световые кванты и далекие звезды впереди голубели и делались все более фиолетовыми. Потом звездолет погрузился в непроницаемый мрак нулевого пространства, за которым цвела и ждала горячая и яркая жизнь Земли...

ГОЛУБАЯ

Научно-фантастический рассказ

Андрей Чешенко упорно смотрел на снеговые вершины хребта Черского, облитые розовым светом заходящего солнца. Таня тихо подошла к нему и беспокойно заглянула в глаза:

— Ты чем-то озабочен?

Андрей хмуро и как-то виновато улыбнулся.

— Сегодня я был в Секторе Межзвездных Проблем. Астронавты Южноамериканского Космоцентра рассказывали поразительные вещи... Они только что вернулись из путешествия к планетам Голубой Цефеиды. Туда снаряжается новая экспедиция!..

Он внезапно умолк и быстро отошел к окну. Перед ним расстилался Северо-Восточный Космоцентр. С наступлением ночи город утонул в сиянии огней; разноцветный свет дрожащими волнами стекал с колоссальных конструкций эстакады.

— Когда... состоится вылет?..

От волнения и нахлынувшего предчувствия у Татьяны стеснило дыхание.

— Через три месяца,— глухо ответил Андрей и опустил голову. Потом добавил: — Мне поручено возглавить экспедицию...

Таня порывисто отвернулась к окну, до боли закусила губы. Не потому, что предстоящая разлука обрекала ее на одиночество, нет! Ведь за стенами Дворца Семьи, где они жили, раскинулась великая родина человечества, Земля-сад, Всемирное Братство Свободных Тружеников, где каждый ищущий обретал радость, дружбу, утешение, понимание. Люди пятого тысячелетия Эры Октября неизмеримо высоко поднялись по лестнице бесконечного совершенствования, научились понимать сердце человека, друга и товарища по труду; они крепко держали в руках знамя всеобщего счастья и дружбы. Нет, она не чувствовала бы себя одинокой в Новом Светлом Мире.

И все же... ее пугал космос со своим беспредельным коварством. Кроме того, ей хотелось немного простого земного счастья. Всего два года прошло с

А. КОЛПАКОВ

ЦЕФЕИДА

Рисунки В. Грибко.

тех пор, как Андрей вернулся из последней экспедиции. И вот опять его неугомонная душа стремится в космос. Она искоса взглянула на задумавшегося Андрея.

«Останься! Не уходи!..» Эти слова рвались из сердца Татьяны, но она молчала. Гордый разум женщины нового мира напоминал ей о долге подруги астронавта перед человечеством, о том, что нельзя расслаблять волю друга, которая должна быть так же несгибаема в борьбе с грозными силами космоса, как был несгибаем дух великих борцов за Светлый Мир в прошлой истории людей.

И, пересилив себя, с ласковой улыбкой, открытым взглядом и глухой болью в сердце она промолвила:

— Я понимаю... и горжусь тобой, Андрей. Знаю, что это важно и необходимо... буду ждать тебя...

Андрей долго смотрел ей в глаза, но Татьяна громадным усилием воли выдержала и это испытание.

☆

Накануне отлета они провели несколько утренних часов в Парке Астронавтов. Обнявшись, они стояли на той самой площадке у вершины горы, на которой стоял Андрей двести лет тому назад, незадолго до путешествия к звезде Гамма Кассиопеи... Как и тогда, величественно молчали горы: для них эти два века, уложившиеся для Андрея и его друзей в три года «собственного времени» звездолета, были подобны легкому дуновению ветерка с просторов Океана Времени. И Космоцентр все так же лежал внизу, в долине, знакомый и незнакомый, более прекрасный, но все такой же родной. Он еще выше поднялся по склонам гор, дальше шагнул вниз по долине. Колоссальная эстакада по-прежнему стремилась к вершине ближайшего пика. Но эстакада изменила свой облик: тяжелые километровые опоры исчезли, уступив место тончайшим колоннам из мезовещества [1]; они были незаметны на расстоянии, и Андрею казалось, что эстакада, с которой через несколько часов взлетит «Россия», реет в воздухе, точно птица. На миг в его сердце шевельнулась смутная тревога. Ему захотелось спуститься вниз, где приветливо шелестели сады, кольцом обступившие Дворец Семьи. Мир Земли был так прекрасен!..

Внезапно у него возникло беспричинное чувство утраты: сердце стукнуло, прошептало: «Останься... На этот раз ты не вернешься на Землю». Но разум успокоил его: «Не верь!» Андрей крепче обнял Татьяну. В его голосе звучала скрытая грусть, когда он выразил сожаление, что у них нет детей.

Татьяна приоткрыла рот, но вовремя сдержалась: она чуть не призналась, что его желание осуществится: у них будет сын (так сказал ей контрольный биоробот во Дворце Молодых Матерей)...

Их фигуры резко выделялись на фоне свежающего в лучах утреннего солнца неба. Казалось, это была живая скульптурная группа, олицетворяющая жизнь, дружбу, любовь...

---

1 Мезовещество — искусственный материал необычайной прочности. Если обычные атомы перестроить в так называемые «мезоатомы», где электроны заменены мезонами, то это вызывает громадное уплотнение материи. Поэтому мезовещество в девять миллионов раз плотнее, чем обычное вещество **(фантаст).**

☆

...Наступила минута расставания. Родные и близкие членов экипажа «России» стали покидать овальную «летающую платформу», которая должна была вознести астронавтов на полотно эстакады, к люку корабля.

Не раздалось ни одного стона, никто из отлетающих не проронил слезы. Жены, матери, отцы, братья и сестры космонавтов медленно отступали за барьер; взмахи разноцветных платков, улыбки или гордое спокойствие на лицах, пальцы, сжатые над головой в дружеском рукопожатии... Оркестры приглушенно играли симфонию «Радость Познания» — гимн Покорителей космоса. Величайшей бестактностью людей Нового Мира было бы нарушить душевное спокойствие уходящих в космос жестами горестного прощания, гримасой плача, звуками рыданий. Кроме того, наиболее близкие астронавтам люди — жены, матери, отцы — могли, по недавно введенному в действие закону Тружеников Земли, погрузиться в чудесное анабиозное небытие, чтобы встретить своих сынов и братьев в далеком будущем. Взоры провожающих время от времени останавливались на сфероиде Мавзолея Ожидания, как называли в Космоцентре анабиозную усыпальницу, выстроенную в центре города. Жены астронавтов, если они еще не имели детей, «усыплялись» в Мавзолее Ожидания, где сотни лет пролетали для них, как мгновение, пока мужья не возвращались и не «пробуждали» их.

Татьяна наконец высвободила свои пальцы из рук Андрея. Она была бледна, но улыбалась.

— ...Я буду ждать твоего возвращения в Мавзолее. И первым, что я хочу увидеть через несколько веков, будет твое лицо... Ведь иначе не может быть? Ведь так? Неужели возможно иное?

— Все может быть... Но об этом не думай...

Они молча, с немым вопросом в глазах смотрели друг на друга.

— Ты прав,— чуть слышно сказала Татьяна,— ты прав... Иди!

Андрей сделал шаг к ней, протянул руки. Татьяна отступила, на ее бледном улыбающемся лице отразилась внутренняя борьба.

— Иди...— прошептала она, задыхаясь.— До свидания в грядущих веках!

Она еще раз судорожно сжала его руки.

Андрей хотел что-то сказать, но лишь решительно взмахнул рукой. У него не хватало слов.

Председатель Высшего Совета по освоению космоса — молодой человек с сократовским лбом — обнял и трижды поцеловал Андрея. Он не пошевельнулся, не проронил ни слова, пока «летающая платформа» плавно и очень медленно поднимала их на двухсотметровую высоту. Внизу плескался океан восторженных криков и приветствий. Неистоствовали оркестры. На вершинах окрестных гор громоподобно ухнули звуковые «пушки». Тридцать восемь раз — по числу отлетающих космонавтов! Это был традиционный салют в честь уходящих к звездам.

Андрей неотступно смотрел на Татьяну, оставшуюся внизу. Ее фигура в голубом платье уменьшалась с каждой секундой.

Татьяна теперь уже не сдерживалась. Крупные слезы текли по ее лицу, в то время как глаза жадно следили за фигурами космонавтов, исчезающих в черном зеве люка корабля. Прежде чем войти в звездолет, Андрей помахал ей рукой. Возможно, это был и не он: Татьяна не могла рассмотреть лица космонавтов, а костюмы на всех были одинаковые. Приглушенный звон закрывшегося люка больно отозвался в ее сердце.

Трижды прогудел сигнальный робот, установленный на шпиле Стартовой Башни. Без единого звука, даже без шороха огромный, длиной около двух километров, звездолет медленно заскользил по эстакаде. Ни один квант света не оторвался от параболоидного зеркала «России». Таня не удивилась этому: она знала о великом достижении техники пятого тысячелетия — умении «высверливать» в гравитационном поле Земли туннели свободного пространства; по такому туннелю, на создание которого расходовались биллионы киловатт энергии, вырабатываемой северо-восточной группой термоядерных электростанций, «Россия», словно шар с водородом, поднимется на высоту десяти земных радиусов, потом на ионных двигателях за шесть суток дойдет до орбиты Плутона и, наконец, уж там включит генераторы микроэнергии, реактивная тяга которых в несколько недель разгонит звездолет до скорости в двенадцать девяток после нуля, то есть до чудовищной скорости, всего лишь на три миллиметра в секунду меньше скорости света [1].

Она тщетно всматривалась в вершину пика — туда, где в сиянии неба почти растворялась выходная арка эстакады. Она не могла понять, прошел ли звездолет арку или еще движется где-то между серединой горы и ее вершиной. Бесшумный старт корабля сбивал ее с толку. Наконец ей на миг показалось, что по небу прочертилась темная линия, точно след гигантского карандаша. Вероятно, то был звездолет.

☆

Чешенко вошел в Централь Управления, протирая заспанные глаза.

— Сколько времени мы уже в полете?— обратился он к Варену, второму пилоту «России».

Бронзовый атлет, вечно мурлыкавший себе под нос песенку, взглянул на экран Счетчика относительного времени [2], пощелкал ручным интегратором:

— Два месяца в собственном времени звездолета, или сто двенадцать лет по часам Земли. Корабль прошел тридцать четыре парсека пути... До Голубой Цефеиды осталось всего пять световых лет, которые мы покроем за полтора дня.

Андрей взглянул на голубую звезду; она ярко горела в правом квадранте экрана астротелевизора... Он знал, что вокруг этой долгопериодической Цефеиды обращаются двенадцать больших и сотни малых планет. И среди них — чудо, о котором рассказали в Совете звездолетчики Южноамериканского Космоцентра; они отправились в экспедицию к Голубой Цефеиде в конце четвертого тысячелетия, а возвратились в Космоцентр спустя двести лет после старта. По заданию Академии Всеобщего Мезополя они изучали там пространство: дело в том, что приемники излучений, установленные Академией на Плутоне, отметили присутствие около Цефеиды больших скоплений праматерии. Той самой таинственной суб-

---

[1] Скорость света, как известно, составляет 299 786 километров в секунду. Она принята наукой за единицу максимально возможной скорости. Таким образом, скорость в двенадцать девяток после нуля всего на несколько миллиметров меньше абсолютной.

[2] Счетчик относительного времени — особый электронно-часовой прибор с двумя циферблатами, показывающий ход времени в звездолете и на Земле в соответствии с законами теории относительности. На одном циферблате отсчитывается «собственное время» в корабле, то есть время, замедляющееся в зависимости от скорости звездолета; на другом — время на Земле, «уходящее вперед» по сравнению с «собственным временем» корабля (фантаст.).

станции, из которой рождаются все частицы и поля, кванты тяготения и света, атомы пространства-времени. Праматерия!.. При этом слове бледнели от волнения все физики. Над разгадкой природы праматерии напряженно трудились великие умы всех эпох — Ганета, Самойлов, Конст...

— К сожалению, южноамериканские звездолетчики не смогли выяснить причину образования этих скоплений,— вслух сказал он.

— Но что же все-таки они видели там? — поинтересовался Варен. Он не был на памятном заседании Совета, когда докладывали южноамериканцы.

— Почти что ничего... Какие-то туманные, причудливые сооружения вокруг шестой от звезды планеты. Эти сооружения на мгновение вырисовывались перед ними из плотного фиолетового облака. Когда они хотели приблизиться к сооружениям, у них с катастрофической быстротой стали исчезать запасы микроэнергии. Потом их отбросило к двенадцатой планете. Они предприняли еще одну попытку достичь загадочных сооружений, едва не лишились всех запасов топлива и... возвратились к Солнцу.

— Странные, непонятные явления...— помолчав, продолжал Андрей.— Послушаем-ка Ибаньеса.

Варен вызвал из салона физика Ибаньеса, коренастого, широкоплечего брюнета с серо-голубыми глазами. Это был один из участников предыдущей экспедиции к Голубой Цефеиде.

Андрей спросил его, что он знает о природе загадочных сооружений.

— Мы долго ломали голову...— Ибаньес на мгновение задумался.— Но не могли прийти к определенному выводу. Слишком все это было нереально... Может быть, нам просто показалось? Но это было грандиозно! — воскликнул он с внезапным воодушевлением.— Представьте себе: непроницаемая фиолетовая материя! Кажется, что весь космос заполнен ею. Бесконечной чередой набегают ослепительные зеленые волны. Потом картина неожиданно меняется, фиолетовый покров раздергивается, проступают колоссальные выгнутые к планете конструкции. Сквозь них просвечивает диск планеты, окутанный мерцающими вихрями... И снова фиолетовая завеса. Главный пилот нашего звездолета Амад пытался провести корабль через фиолетовое облако, но нас отбросило в пространство на целый миллипарсек. И неизвестно, куда исчезла половина запасов античастиц!

— Но все же у тебя есть какая-нибудь гипотеза? — продолжал допытываться Андрей.— И какие уроки извлекла из вашей экспедиции Академия Всеобщего Мезополя?

— Я думаю...— с сомнением в голосе начал Ибаньес.— Мне кажется,— продолжал он более уверенно,— что виденные нами сооружения являются энергостанциями. Вероятно, их построили разумные существа, возможно, жители шестой планеты. Такого мнения и Академия, которая предложила для предотвращения утечки микроэнергии создать вокруг «России» мезоэкран. Насколько это будет эффективно, покажет практика...

— М-да...— задумчиво проговорил Андрей.— Чрезвычайно скудные сведения. Но мы все-таки должны разгадать тайну этих сооружений!

— Прошли восьмую внешнюю планету,— сообщил Андрею астроном Жемайт, оторвавшись от экрана стереотелескопа.— Следующая планета,— он указал на оранжевую звездочку в левом углу экрана,— по сообщению «Скандия» (он имел в виду звездолет Амада), имеет атмосферу, близкую по составу к земной. Может быть, там есть растительная жизнь, животные...

— Вот как! — удовлетворенно откликнулся Варен.— Тогда в случае необходимости мы можем совершить здесь посадку. Уточни координаты планеты.

«Россия» оставила в стороне Оранжевую Планету, как окрестил ее астроном, и на минимальной скорости приближалась к Цефеиде.

— Цефеида начинает разгораться! — воскликнул Жемайт.

Голубоватый диск звезды увеличивался в размерах. Еще час тому назад Цефеида была ярко-белой, а теперь все голубела и голубела, оправдывая свое название. Призрачные тени лежали на лицах космонавтов, на приборах, на стенах салона. Спектрограф показал, что в максимуме блеска звезда стала «горячее» на тысячу градусов.

Жмурясь от сияния, отбрасываемого экранами, Андрей включил преобразователи излучений, и сразу ослепительный свет экранов померк, приобрел спокойные, желтоватые тона.

Вдруг экраны заволокло дымкой.

— Фиолетовая материя! — воскликнул Ибаньес. Он беспокойно оглянулся на Чешенко и Варена, которые молча наблюдали за эволюциями корабля.— До шестой планеты осталось два миллиона километров. Отсюда мы начинали вторую попытку пробиться к планете...

Андрей шагнул к пульту и быстрым движением руки повернул большой черный круг в центре табло. Погасли экраны, зато как будто растаяла толща корпуса звездолета впереди пульта. Астронавты оказались как бы на краю обрыва: перед ними распахнулась необъятная ширь космоса. Звезды по границам сферы обзора светили холодным, немерцающим светом. Прямо же по курсу корабля горела Цефеида, раскинув необъятные крылья своей короны; в ее сиянии совершенно потонули звезды центральной части обзора.

Внезапно Цефеида стала тускнеть, гаснуть и наконец скрылась в облаках фиолетового тумана.

Андрей напряженно подался вперед. Фиолетовая материя заволокла, казалось, все пространство, поглотила все звезды, ближние и дальние. Звездолет, вероятно, вплотную подошел к окраине фиолетового облака.

— Пора включать генераторы защитного мезополя,— напомнил Ибаньес.— Может быть, мезоэкран действительно предотвратит утечку микроэнергии? А вообще я советовал бы повернуть на девяносто градусов вправо и попытаться исследовать облако, двигаясь вокруг него по эллипсу.

— Нет, это не годится,— хмуро возразил Андрей.— Так мы ничего не узнаем...

— Я вижу сооружение! — крикнул вдруг Варен.— Смотрите, вон в тех разрывах!

Плотная лиловая завеса распалась во многих местах. Образовалось как бы окно диаметром в тысячу километров. На заднем плане «окна» сквозь тончайшую сиреневую дымку обрисовалась часть громадного диска планеты. Диск излучал странный мертвенно-зеленый свет. А на его фоне четко выделялись гигантские параболоиды, цилиндры тысячекилометровой длины, отражательные зеркала-спутники, двухполостные гиперболоиды; конструкции густо усеивали пространство; казалось, что на планету наброшена частая сеть, узлами которой являлись похожие на огромные сердца кардиоиды, сильно выгнутые к планете. Время от времени по сооружениям пробегали мерцающие вихри.

— Поразительно!..— прошептал Варен.— Но кто бы мог создать все это?

«Окно» продолжало стремительно расширяться. Открывалась все более грандиозная панорама неведомых космических сооружений. На переднем плане виднелось огромное кольцо параболоидов, сцепленных по кругу. Вдруг в глаза космонавтам ударил яркий сиреневый свет. Кольцо параболоидов выбросило столб голубовато-фиолетового излучения. Исполинский столб неведомой материи или энергии вонзился в черноту космоса, куда-то северо-восточнее Цефеиды. Одновременно коротко прогудел сторожевой робот (он следил за расходом микроэнергии). Тревожно запели сотни приборов, точно жалуясь на неприятные внешние воздействия. На миг сам собой включился генератор микроэнергии и тут же смолк, захлебнувшись от перенапряжения. Космонавты еще не пришли в себя от изумления, как вдруг звездолет сильно качнуло, он заметно ускорил движение, хотя двигатели молчали. Падая, Варен увлек за собою Андрея; Жемайт вцепился в пульт, Ибаньес почти повис на руках, держась за плечи сторожевого робота.

— Та же история! — выкрикнул он, обратив к Андрею красное от напряжения лицо.— Срочно уходи из зоны! Видишь?..— Он кивнул головой на овальную шкалу, вмонтированную в диск сторожевого робота.— Потеряно десять процентов энергии! Но все-таки мезоэкран помогает! Тогда у нас сразу улетела половина античастиц!

— По местам! — скомандовал Андрей. Его глаза расширились. Он с глубоким интересом смотрел на исполинский столб энергии.— Варен! Включи вихревую защиту.

— Ты что задумал? — тревожно спросил Варен, прикрывая глаза от слепящего света.

— Должны же мы, в конце концов, разгадать эту загадку...— пробормотал Андрей.

— Это опасно! — предостерег его Ибаньес.

— В космосе всегда опасно! — возразил Андрей.— Заложи-ка лучше команду роботу пусковой ядерной лампы.

Ибаньес пожал плечами, как будто говоря: «Я не отвечаю за последствия». Андрей на миг включил экраны внутренней связи: во всех отсеках и постах звездолета он видел космонавтов, застывших в напряженных позах. Варен тронул его за плечо:

— Может быть, отойдем к Оранжевой Планете?..

— Нет! Пойдем вперед,— сказал Андрей.

Ибаньес включил двигатели. Раскачиваясь в мощных завихрениях силового поля, звездолет ринулся в фиолетовую мглу. Туманный ореол мезоэкрана, окутывавший корабль, засветился красным светом. Затем быстро сократился, прижавшись вплотную к «России», и вдруг пропал, словно его сдуло ветром.

Андрей упорно вел звездолет вперед. И вот поразительно ясно открылась поверхность планеты; на ней проступили контуры гигантских сооружений, отчетливо видных даже с такой высоты наблюдения. Внезапно с планеты на кольцо параболоидов хлынула новая, еще более мощная волна фиолетовой материи. Новый шнур вонзился в космос несколько правее звездолета. Снова прозвенел сторожевой робот.

— Мы потеряли уже четверть энергетического запаса! — с тревогой произнес Ибаньес.

В Централи Управления внезапно погас свет. Корабль с огромной скоростью понесло от сооружения. Он не слушался команд управления. Двигатели молчали, так как магнитные поля генератора почему-то не возбуждались.

Андрей метался у пульта, стараясь включить двигатель. Акселерограф показывал чудовищное ускорение — две тысячи «жи»,— несмотря на то, что двигатель молчал! Ибаньеса прижало к стенке салона. Варен пытался ощупью наладить аварийное освещение. В полумраке они натыкались друг на друга.

— Представляю, что бы стало с нами, если бы не вихревая защита! — прохрипел Ибаньес.

Он неотступно следил за кривыми на экране генератора антигравитации. Верхняя желтая кривая почти достигала координатной оси. Ибаньес с содроганием представил себе, что бы могло произойти, если бы кривая коснулась оси напряжений антитяготения. Вихревые токи силой в миллионы ампер — они циркулировали в кольцевом пространстве, которое опоясывало жилые салоны корабля,— мгновенно упали бы до нуля, исчезло бы мощное поле антитяготения, которое нейтрализовало перегрузки от ускорения или замедления движения. На тела астронавтов навалилась бы тысячепудовая тяжесть, расплющила бы их...

К счастью, генератор антигравитации не отказал...

Наконец они смогли перевести дух. Сооружения исчезли, как и фиолетовая материя. Кругом была черная сфера, усеянная звездами. Цефеида уменьшилась в размерах и заметно потускнела; она горела теперь почти в зените.

— Далеко же нас отбросило! — подал голос Жемайт.— А знаете, где мы находимся? Около восьмой планеты!..— Он указал на юго-восток.— Это наша, Оранжевая...

Все выжидательно смотрели на Андрея. Потирая ушибленное плечо, он решительно махнул рукой:

— Варен!.. Веди корабль на Оранжевую! Попытаемся исследовать сооружения с помощью разведывательной ракеты.

☆

В последний раз полыхнули фонтанами огня мощные ионные тормозные двигатели, и «Россия», выпустив посадочные гусеницы, мягко «приземлилась» у входа в широкую котловину. Котловина буйно поросла странной густо-багровой растительностью. Это были даже не джунгли, а что-то невероятно дремучее, бесконечно дикое, сцепившееся миллионами стволов, ветвей, крон. Кое-где над общей массой растений вздымались к небу двухсотметровые гиганты с кронами в виде пучка исполинских метелок. Цефеида снова разгоралась, и над котловиной дрожало густое марево.

— Какое богатство растительных форм! — воскликнул биолог Янек.— Миллионы новых, неизвестных человеку пород животных и видов растений... Миллионы новых названий!

Как бы в подтверждение слов биолога в поле зрения локатора на миг показалось странное существо — не то букет красных щупальцев, не то животное-растение. Ритмически выбрасывая багровые присоски, оно молнией пронеслось меж кустов и с силой ударилось о корпус звездолета. Главный механик Кирс, в бытность на Земле панически боявшийся даже ужей, слегка побледнел, но, вспомнив, что от этого мира его отделяет тройной корпус с прослойкой из мезовещества, полувиновато-полуоблегченно улыбнулся.

— Что ж,— сказал Андрей на другой «день».— Начнем разведку сооружений. Кирс! Подготовь беспилотную ракету!

...Спустя два часа разведчик достиг зоны фиолетовой материи. Космонавты сгрудились у большого вогнутого экрана, на который беспилотная ракета передавала свои «наблюдения». Вдесятеро более сильный, чем вокруг «России», мезоэкран окружал ее непроницаемым облаком.

— Вот опять появилось «окно»,— сообщил Варен.

— Ввожу в него разведчика...— Андрей быстро переключил серию белых кнопок на вспомогательном пульте.

— Кольцо параболоидов! — воскликнул Ибаньес.

На экране появилось четкое цветное изображение, выступили мельчайшие подробности сооружения. Вдруг поле экрана прочертила толстая фиолетовая полоса.

— Что бы мог представлять собой этот фиолетовый столб?..— опять заговорил Ибаньес.— Мне кажется, что это поток энергии, уловленной и сконцентрированной сооружениями. Такое впечатление, как будто энергия передается куда-то в глубины Галактики!

— А по-моему, мы видим природные явления, совершенно случайно связанные с сооружениями,— возразил Жемайт, требуя взглядом ответа.

Но Ибаньес не изъявил желания продолжать схоластический спор.

— Никогда бы не подумал...— начал Андрей.— Такие масштабы!.. С трудом укладывается в сознании. Но почему разумные существа Планеты Сооружений не подают признаков жизни? Интересно было бы на них посмотреть вблизи. Попробуем посадить разведчика на поверхность Планеты Сооружений!

Разведчик, круживший в это время вокруг скопления кардиоид, нырнул в желто-белесую атмосферу планеты. Вначале на экране локатора мельтешили неясные желтоватые пятна, затем внезапно посветлело, и Андрей увидел красноватую выжженную равнину, плоскую, как стол. Горизонт резкой чертой отделял от красной равнины белесовато-желтое небо с нестерпимо пылающей Цефеидой. Во все стороны, куда хватал глаз, тянулись еще более причудливые, чем в пространстве, сооружения. Толстые низкие колонны, точно мертвый лес, окружали кубические глухие постройки; тороидальные конструкции, по виду напоминающие земные энергоприемники, концентрическими рядами уходили в огненную даль.

— Тороиды! — прошептал Ибаньес. Его лицо раскраснелось от волнения.— Конечно, это какие-то генераторы энергии!

— Генераторы праматерии! — уточнил Варен.— Вот почему земные приемники обнаружили около Цефеиды скопления этой субстанции.

— Да, но где же люди, управляющие всем этим? — недоумевал Жемайт.

— Я думаю, что сейчас мы выясним,— коротко ответил Андрей.

Серией команд-радиоимпульсов он подвел ракету к кубическому зданию и включил локатор гамма-света. На экране возникло внутреннее помещение здания. Его стены были сплошь заняты огромными панелями, на которых мигали тысячи приборов. Громоздились ряды и ярусы кибернетических машин; тут и там виднелись какие-то сторукие существа, они неустанно манипулировали своими конечностями. Вероятно, то были роботы и автоматы.

— Вот в чем дело! — воскликнул Ибаньес.— Самонастраивающаяся и саморегулирующаяся энергетическая система! Гигантская фабрика праматерии!

— В масштабе целой планеты,— добавил Андрей.— А сырье для нее поставляет Цефеида.

Пораженный догадкой Андрея, Ибаньес в восторге хлопнул себя по лбу:

— Ну, конечно! Кто-то, кого мы не знаем, запряг Цефеиду в работу! Ее лучистая энергия улавливается околопланетными сооружениями, преобразуется в них и затем отражается на поверхность планеты. Тороиды концентрируют энергию, передают на кольцо параболоидов, а они-то и излучают ее в космос!

— Почти согласен с тобой,— сказал Андрей.— Но вот куда идет энергия? В какую солнечную систему Галактики? Если бы нам узнать это... Ясно, что на выжженной Цефеидой шестой планете нет живых существ, одни лишь роботы и автоматические системы.

Разведчик продолжал тихо вращаться вокруг кубического здания. Наморщив лоб, Андрей задумался. Как узнать, куда передается энергия, вернее, праматерия? Не следовать же вдоль «фиолетового столба»? Ведь не исключено, что придется лететь до противоположного края Галактики, то есть десятки тысяч световых лет...

— Смотрите! — негромко воскликнул Варен.— Что это за пульсирующие огоньки на верхнем экране?

Андрей, Ибаньес и Варен вплотную приблизились к гамма-экрану. Они увидели, что на большом квадратном экране, вделанном в переднюю панель огромного робота (он стоял в гуще наиболее сложного переплетения механизмов и машин; это был, вероятно командный робот), ритмически вспыхивала и гасла цветная сетка кругов и спиралей.

— Клянусь Магеллановым облаком! Это звездная карта! — сказал Ибаньес.

— Да, это карта нашей части Галактики,— внимательно всмотревшись, подтвердил догадку Ибаньеса астроном.

Через несколько минут тщательного изучения они поняли, что на «груди» робота действительно пульсировала светящаяся карта. Они нашли на ней значок Цефеиды, который то разгорался, то угасал; Оранжевую Планету, где они «приземлились»; Планету Сооружений. В тот момент, когда в космос устремлялся столб праматерии, на карте возникала светлая линия, протягиваясь от Планеты Сооружений попеременно то к одному, то к другому из пяти разноцветных кружков в созвездии Лебедя — туда, где сиял Денеб...

— Все ясно! — воскликнул Варен.— Праматерия от Цефеиды передается в созвездие Лебедя!

— И там наши собратья по разуму...— задумчиво добавил Чешенко.

Он сосредоточенно смотрел в пространство. Его память воскресила бесконечно далекие события одной из прошлых экспедиций к Сверхновой Звезде. Он снова увидел незабываемый Мир Пяти Эстакад, несомненно сооруженных разумными существами. Тогда ему не удалось найти их в безграничной Вселенной... Так, может быть, их потомки живут на планетах Денеба? И это они построили фабрику праматерии у Голубой Цефеиды?

— Четыреста световых лет...— вслух произнес он.

— О чем это ты? — не понял Варен.

— Я хочу сказать,— продолжал Андрей,— что до планет Денеба больше сотни парсеков. Собратья по разуму, живущие там, обладают неизмеримо более высокими знаниями, чем мы, раз сумели обуздать Цефеиду и передавать энергию на такие громадные расстояния. Если бы достичь их мира!.. Какие неоценимые знания могли бы передать они людям Земли!

— К сожалению, для нашего звездолета Денеб недоступен,— перебил его Ибаньес.— На поддержание мезоэкрана мы израсходовали больше половины микроэнергии. И сейчас продолжаем непрерывно расходовать ее,— указал он на разведчика.— Пора выводить ракету обратно...

— Записав предварительно на магнитную ленту изображение звездной карты,— добавил Жемайт.

Однако первые изображения карты при проецировании на экране оказались расплывчатыми и неясными.

— Вероятно, мешает вещество стен этого диспетчерского поста,— сказал Андрей.— Придется ввести разведчик внутрь здания.

Радиокомандами он подвел ракету вплотную к кубу и включил плазменный генератор, смонтированный в носовой части разведчика. Лиловая струя плазмы ударила в стену куба. Прошла минута, другая, третья... Вещество куба лишь слегка оплавлялось.

— Непостижимо! — произнес Ибаньес.— Ведь в плазме — миллионные температуры!

Только через два часа непрерывной работы генератора в стене начало углубляться отверстие. Ракета наполовину вошла в него. И тотчас изображение карты, записанное на магнитной ленте, приобрело четкость.

— Скорей выводи ракету,— озабоченно проговорил Варен, показывая на расходомер топлива.— Мезоэкран съедает огромное количество...

Вдруг неведомая сила вытолкнула их разведчика из отверстия. Вслед за тем полыхнуло фиолетовое пламя, закончившееся ослепительной белой вспышкой. Там, где только что был разведчик... медленно угасало оранжевое сияние.

— М-да!..— Андрей озадаченно потер переносицу.— Вот тебе и мезоэкран!

— Вероятно, в диспетчерской сработала какая-то силовая защита,— предположил Ибаньес.

— Хорошо, что мы успели записать четкое изображение карты,— облегченно вздохнул Жемайт.— Теперь мы точно определим местоположение творцов сооружений в Галактике.

— Мы сделали все, что могли,— сказал Андрей. Его усталые глаза блестели.— Завтра стартуем обратно, к Земле... Высший Совет по освоению космоса должен снарядить к Денебу большую экспедицию. А теперь отдыхать!

Едва Андрей проснулся, как к нему вошел запыхавшийся биолог.

— Старший брат! — обратился он к Андрею.— Прежде чем уходить с Оранжевой Планеты, мы с геологом хотели бы совершить небольшую экскурсию в местные джунгли.

Некоторое время Андрей колебался. Он знал, что нельзя доверять природе чужих планет. Поэтому дав согласие, он добавил:

— Только не задерживайтесь. Не увлекайтесь. Собирайте самые необходимые образцы.

Затем он вызвал Кирса.

— Непрерывно дежурь во внешнем тамбуре,— предупредил его Андрей.— Янека и геолога впускай обратно в корабль лишь после самой тщательной проверки и десятикратной обработки излучениями. Строго соблюдай правила!

Сгрудившись возле экранов, космонавты с волнением наблюдали, как Янек с геологом, одетые в биологические скафандры, осторожно вошли в чащу джунглей. Густо-багровая природа этого мира производила тягостное впечатление не столько своими красками, сколько невероятной мощью и причудливостью форм.

— Я не стал бы здесь устраивать пикник,— сказал Варен, поморщившись. В Космоцентре он славился умением организовывать веселые пикники.

Вскоре из зарослей показались Янек и геолог, держа в руках свои трофеи. Кирс заранее выбросил им с помощью автомата специальные контейнеры для упаковки образцов. Когда укладка была закончена, Янек подтащил контейнеры к главному люку. Кирс, дежуривший в последнем тамбуре, получив сообщение от Янека о готовности к входу в корабль, включил систему защиты. Механизм открывания люка был синхронно связан с установкой воздушной экранировки «Тайфун» и биоизлучателями. Едва открылся люк, как из него начала истекать мощная воздушная струя, препятствуя проникновению в тамбур спор, вирусов и бактерий чужого мира. На стенах тамбура замерцали биоизлучатели (впрочем, они не давали абсолютной гарантии защиты; наиболее действенным средством была, конечно, система «Тайфун»).

Манипуляторы втянули контейнеры в тамбур. Затем вошел геолог.

— Скорей, Янек! Не медли! — крикнул он, стараясь удержаться в ураганном потоке «Тайфуна».— Или еще...

Он осекся. Его глаза расширились от изумления. Биолога стремительно обвивала длинная золотисто-черная спираль толщиной в руку. Кирс, нервно топтавшийся позади геолога, в страхе отступил к внутреннему люку. Вместо Янека на лужайке возвышалась теперь какая-то чудовищная фигура, из нее торчали лишь макушка шлема да кончик антенны локатора. Змея или удав был так длинен, что еще дважды обвил биолога своими кольцами. Не выдержав тяжести пресмыкающегося, Янек упал.

— Чепуха!..— раздался в шлемофонах Кирса и геолога его смеющийся голос.— Оно ничего мне не сделает! Просто я не могу сдвинуться с места... Выдвигайте манипуляторы!

Бледный Кирс торопливо подал команду роботу. Удлиняясь, раскачиваясь, металлические, гибкие в сочленениях «руки» манипулятора приблизились к лежавшему биологу, схватили удава за зеленовато-серую квадратную голову и начали легко раскручивать кольца. Удав бешено сопротивлялся.

Наконец Янек был освобожден и одним прыжком очутился у люка. Его быстро подняли наверх. Удав же успел густо опутать «руки» манипулятора. Растерянный Кирс не мог сообразить, как их освободить.

— Ну что ты мешкаешь! — почти грубо сказал ему отдышавшийся Янек.— Пора кончать с этим ужом.— Это был явный намек на земную слабость Кирса.— Да включи же ток!..

Кирс виновато бросился к миниатюрному пульту на стене тамбура и включил рубильник. С выступающих концов манипулятора сорвались голубые молнии, потом вспыхнула ослепительная дуга. Обуглившийся удав черными кусками падал на камни.

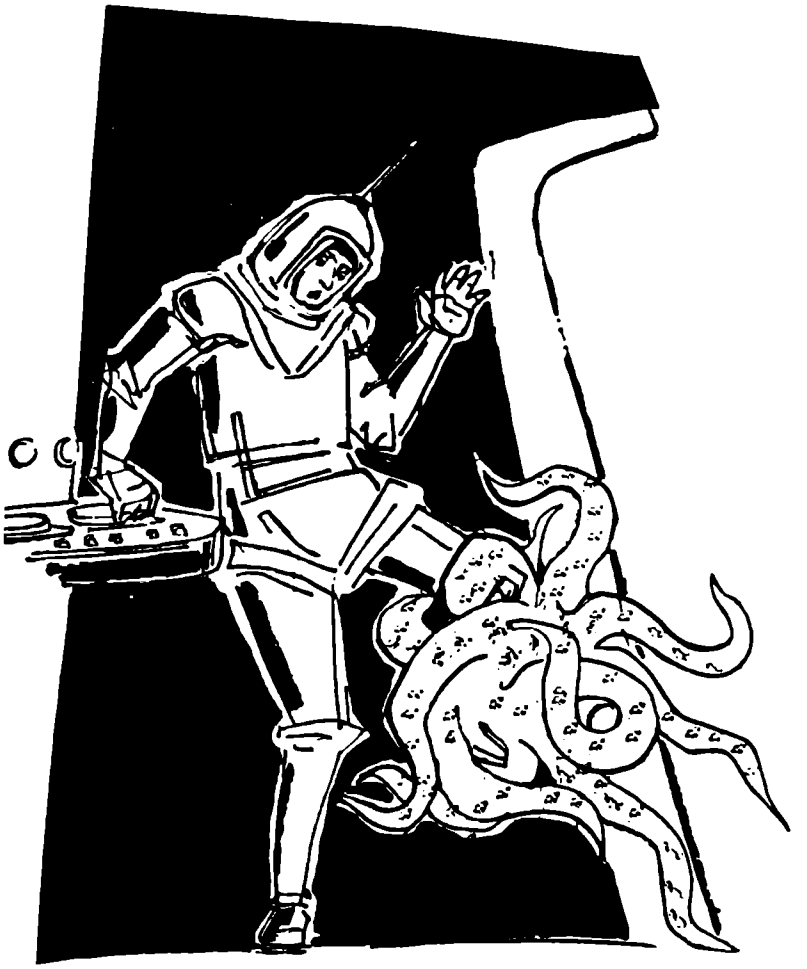
— Ну, вот и все...— облегченно заметил Янек.— А ты...

Он не договорил. Внезапно из-под посадочных гусениц звездолета вырвалось что-то подобное связке красных молний. Вокруг правой ноги Кирса, собиравшегося включить белый диск автоматического закрывания входного люка, обвились несколько щупальцев того самого создания, которое он увидел на экране телевизора при посадке звездолета. Раздался полный отвращения и страха вопль Кирса. С выкатившимися из орбит глазами он отчаянно тряс поднятой ногой, в которую вцепился «букет». Рука его инстинктивно ухватилась за голубой диск аварийного отключения системы «Тайфун» — это было совершенно непроизвольное движение. Внезапно стало тихо. Воздушный экран перестал действовать.

— Ради спутников Сатурна, успокойся! — захохотал Янек.— Ты в скафандре! Я сейчас помогу тебе. Включай же систему отдува!

Кирс повиновался.

Янек спокойно принялся отдирать гостя Оранжевой Планеты от ноги механика. Наконец он с трудом справился с «букетом» и выбросил его в люк, который тотчас захлопнулся.



Бледный Кирс направил на товарищей биоизлучатели и пульверизаторы обеззараживающей жидкости и сам стал рядом с Янеком.

На экране внутренней связи показалось озабоченное лицо Андрея.

— Как дела? — спросил он, с недоумением осматривая бледного Кирса.— Вы что-то долго мешкали у люка после расправы с многометровым питоном.

— Все в порядке! — весело ответил Янек, лукаво поглядывая на главного механика.— Тут один «ужонок» хотел пробраться в тамбур. Но мы его выбросили...

— Тщательней обрабатывайтесь! — напомнил успокоенный Андрей.— Скоро стартуем.

...Звездолет круто вонзался в небо Оранжевой. Вследствие трения о ее слишком плотную атмосферу корабль сильно раскалился. Он сиял белым светом, отбрасывая ослепительные лучи.

☆

Прошло всего несколько суток с тех пор, как «Россия» покинула Оранжевую. Подобно лучу света, она неслась к родной Земле, к друзьям и братьям. Все были удовлетворены результатами экспедиции, и больше всех Андрей. Когда все погрузились в анабиоз, к нему подошел бледный Янек и тихим голосом пригласил зайти в биологический отсек салона-лаборатории. Несколько удивленный Андрей молча последовал за ним. Биолог подвел его к грушевидному хрустальному баллону, задняя стенка которого представляла собой абсолютно черный фон. Этот баллон был индикаторным устройством биоробота — сложного электронно-кибернетического автомата, который следил за чистотой атмосферы в корабле.

— Как ты себя чувствуешь? — неожиданно осведомился Янек.

— Превосходно...— Удивленный Андрей пристально посмотрел на биолога.

Тогда Янек молча указал на «грушу».

Андрей приблизился к прибору, взглянул и неуверенно проговорил:

— Там... мелькают какие-то точки на черном фоне.

Он с беспокойством оглянулся на Янека, начиная подозревать что-то неладное.

— Это вирус с Оранжевой, увеличенный в десять миллионов раз,— глухо пояснил Янек. На его лице выступили необычные белые пятнышки.— Мы... занесли в корабль... страшных посланцев чужой жизни.

Наступило долгое молчание.

— Чем это нам... грозит? — Андрей был внешне спокоен, но голос его на миг прервался.

— Я не хотел говорить, пока не закончил исследований. Теперь я знаю... Вирус поглощает фосфор наших клеток. Он уже начал свою работу. От него нет никакой защиты... Медленное умирание в течение нескольких недель или дней...

— Как это могло случиться?! — гневно воскликнул Андрей. Его лицо выражало мрачное отчаяние. Он большими шагами ходил по салону и ударял кулаком правой руки по ладони левой.

Янек низко опустил голову.

— Впервые следы вируса я обнаружил позавчера... Биоробот указал мне главный очаг заразы — внутренний угол седьмого тамбура. Тогда я сразу вспомнил... на Кирса бросилось растение-животное, он нечаянно выключил «Тайфун»... только на минуту! Этого оказалось достаточно, чтобы проник вирус. Когда мы снова включили «Тайфун», микроорганизмы уже цепко сидели в самых отдаленных от входа закоулках тамбура... и поток воздуха не мог достать их оттуда...

Янек обхватил руками свою голову:

— Не надо мне было выходить на эту планету! Убей меня! — Он опустился на пол.

— Снявши голову, по волосам не плачут...— махнул рукой Андрей. Он все еще ходил большими шагами по салону. Потом остановился, широко раскрыв глаза. Его потрясла мысль о Татьяне, «спящей» в Мавзолее Ожидания.

— Сколько... нам осталось жить?

— Несколько недель,— прошептал Янек.

— Точнее! — потребовал Андрей.

— Не знаю... Надо закончить обработку показаний робота-диагноста, он настроен на мой организм.

...Спустя шесть часов Янек снова подошел к Андрею, который все еще неподвижно стоял у пульта с застывшим лицом.

— Мы проживем... от четырех до шести недель... в зависимости от индивидуальных особенностей каждого из нас.

— Что это? — спросил Андрей, дотронувшись пальцами до белых пятен на лице Янека.

— Это работа вируса с Оранжевой,— с трудом ворочая языком, произнес Янек. Его глаза лихорадочно блестели, нездоровый румянец покрывал щеки в местах, свободных от пятен. Биолог едва держался на ногах.

— Ложись в анабиоз,— ласково сказал Андрей и обнял его за плечи.

Янек слабо сопротивлялся, но Андрей почти силой увел его в анабиозный салон, где в два ряда стояли прозрачные грушевидные резервуары, внутри которых опалесцировала тяжелая жидкость. Это были анабиозные ванны — обязательная принадлежность всех дальних звездолетов; несмотря на то, что астронавты, совершая полеты в сотни парсеков за считанные дни и недели «собственного времени», обычно не нуждались в анабиозном замедлении процесса старения организма, ванны всегда могли пригодиться. Ведь достаточно было поломки одного из двигателей или непредвиденного расхода топлива, как звездолет терял способность развивать скорость, обеспечивавшую замедление времени. Тогда между Землей и звездолетом сразу вырастали сотни и сотни лет полета со скоростью в какие-нибудь «одну-две девятки после нуля». Тогда анабиоз спасал астронавтов от старения и смерти в пути...

...Андрей «разбудил» Варена и рассказал ему о несчастье, обрушившемся на экипаж звездолета.

— Это ужасно! —прошептал Варен. Он отвернулся к пульту и долго молчал, машинально проверяя показания приборов. Впервые он не мог мурлыкать свои любимые песенки.— Неужели нет никакой надежды?

— Никакой! — отрывисто бросил Андрей.

Снова наступило долгое молчание. Каждую минуту мерно отзванивал Счетчик относительного времени. И с каждой минутой им все меньше оставалось жить...

— Пусть наши братья остаются в анабиозе до самой Земли...— как бы взвешивая свои слова, медленно заговорил Андрей.— Так будет лучше. Зачем им знать о страшном госте... Янек сказал, что анабиозная среда замедляет действие вируса в такой же степени, в какой замедляются и жизненные процессы в организмах «спящих». Мы тоже могли бы погрузиться в летаргию... Тысячи лет носился бы в пространстве мертвый звездолет с космонавтами, в телах которых притаился вирус... Но какой был бы в этом смысл?

— Но что же делать?! — в отчаянии воскликнул Варен.

— Донести на Землю весть о необыкновенной фабрике праматерии у Голубой Цефеиды! — решительно ответил Андрей. Варен обратил внимание на его блестящие глаза и нездоровый румянец.— О собратьях по разуму из системы Денеба! Человечество должно установить с ними связь и обменяться знаниями! — Потом он продолжал спокойнее: — В нашем распоряжении мало времени, и мы должны на предельной скорости довести «Россию» до Земли. Включай генераторы микроэнергии на полную мощность.

Варен остался у пульта, с трудом упросив Андрея заснуть хотя бы на несколько часов.

Войдя в свою каюту, Андрей упал в кресло. Невыносимо болела голова. В мозгу точно плавили свинец. Он чувствовал, как в клетках его тела шла невидимая борьба. Организм отчаянно сопротивлялся, шаг за шагом сдавая позиции под натиском вируса-убийцы. Андрей положил голову на стол и закрыл глаза. Его мозг не хотел примириться с мыслью, что все кончено. Неужели он никогда больше не пройдет по улицам Космоцентра, не поднимется на Зеленую Вершину, где они стояли с Татьяной в день отлета? Никогда больше не испытает высокого наслаждения слияния с вечной природой? Не ощутит могучего зова Вселенной, того неповторимого чувства, которое древний мыслитель называл «ощущением присутствия»?

Его мысли унеслись в прошлое...

Андрей снова увидел себя на Плоскогорье Мезолета, созерцающим неповторимый закат чужого солнца — Шестьдесят Первой звезды Лебедя. Этот закат был необыкновенно хорош. Медленно звезда прожигала себе путь сквозь гряду облаков, разрывала ее, превращала ее в кровь и пурпур, заливала разорванные края гряды слепящим золотом и пронизывала синеву веером расходящихся полос света и тени. Внезапно закат преобразился. Оранжевые скалы внизу, поросшие желтой редкой травой, пылающие лужицы и ручейки, широкий сверкающий морской залив, в котором отражалось небо,— все преобразилось. Казалось, Вселенная проснулась: она улыбалась, раскрываясь, навстречу ему, словно она допускала его к полному общению с собой. Ландшафт потерял свои конкретные черты. Он словно ожил: оставаясь недвижим, он наполнился жизнью, стал громадным живым существом, принявшим Андрея в свое лоно. Исчезли время и пространство, он ощутил тишину, в которой исчезают все звуки. Космос вдруг открылся ему ясно, как кристалл, преисполненный глубокого смысла и великолепия. Все было до нереальности прозрачно, и все было чудом. Чудо было в самой сокровенной глубине его существа и всюду вокруг него. Закат звезды, и чужое темно-сапфировое небо, и весь видимый мир, и далекие светила, и сознание — все слилось воедино. С изумительной отчетливостью он услышал подобный далекому эху зов Вселенной: она звала его на холодные сияющие вершины бесконечного Познания...

Сменяясь с Вареном каждые два часа, они вели корабль к Земле. Через три недели «собственного времени» звездолет достиг области кометных афелиев нашей солнечной системы; Андрей тормозил на пределе устойчивости вихревой защиты салонов. Иногда замедление движения корабля достигало чудовищной величины — двух тысяч «жи», то есть темп торможения звездолета был таков, что в каждую секунду его скорость уменьшалась на двадцать километров в секунду. Чешенко знал, что только при таком замедлении он сможет погасить скорость в «двенадцать девяток после нуля» до обычной планетарной — тридцать километров в секунду — за две недели вместо месяцев, требовавшихся при нормальном режиме торможения.

По перпендикуляру к плоскости эклиптики звездолет вошел в солнечную систему между Землей и Венерой. Андрей едва держался на ногах. Вот уже вторые сутки, как он не будил Варена на очередное дежурство, так как твердо верил в могущество земной науки: огромный материал, накопленный в недрах биоробота, который час за часом исследовал организм Андрея, прослеживал все стадии его болезни, поможет микробиологам найти бактериофаг против вируса. Пусть он, Андрей Чешенко, погибнет,

но зато будут спасены его товарищи, «спящие» в анабиозе. Они могут ждать и сотню лет в своих анабиозных ваннах, в звездолете, летящем по стационарной орбите, до тех пор, пока ученые Земли, найдя противоядие против вируса, не войдут в звездолет и не уничтожат невидимого врага.

...Андрей вывел корабль на стационарную орбиту как раз над Космоцентром и включил все экраны. С каким-то холодным спокойствием он сознавал, что в последний раз видит этот город, его проспекты, здания, сады и каналы. Он увидел, что Площадь Погибших Астронавтов была до краев переполнена народом, но не могла вместить всех желающих, и людские волны выплескивались в проспекты, по радиусам сходящиеся к ней. Всех безотчетно тревожило и поражало видение звездолета, недвижно висящего в зените и не отвечающего на позывные. Над планетой беззвучно сталкивались электромагнитные волны радиозапросов. «Почему молчит звездолет? Это ведь «Россия»?.. Да, да! Это корабль Андрея Чешенко, стартовавший к Голубой Цефеиде 250 лет тому назад».

«Почему он не отвечает на позывные всех космоцентров Земли?.. Может быть, у него не хватило энергии?»

На мгновение Андрею мучительно захотелось бросить звездолет вниз, в ласковое тепло земной атмосферы, пришвартоваться к Центральной Посадочной Колонне, а затем, выйдя из астролета, смешаться, слиться со своими братьями по Труду и Познанию. Но он тут же с презрением отбросил эту мысль: его умирающее тело, в котором гнездились полчища вируса, представляло страшную опасность. Едва он ступит на землю Родины, как мириады невидимых врагов вызовут страшную эпидемию на всей планете. Прежде чем ученые разберутся в механизме действия этого вируса, он пожрет мыслящую материю, высший цвет жизни на Земле.

Преодолевая свинцовую тяжесть, разлитую во всех мышцах, Андрей вызвал наконец Высший Совет по освоению космоса, одновременно включил все радиопередатчики, для которых заранее составил программу последней передачи. И вся планета услышала:

— Люди Земли!.. Дорогие братья!.. Я звездолет «Россия», стартовавший из Северо-Восточного Космоцентра к Голубой Цефеиде в 4348 году от начала эры Всемирного Братства. Нас постигло несчастье: на Оранжевой Планете — восьмой по счету от Цефеиды — в корабль проник смертоносный вирус, порождение чужой, неисследованной жизни. Вирус гнездится в наших телах. Мы не можем совершить посадку, мы погрузились в анабиоз, чтобы приостановить разрушительную работу вируса. Будем ждать, пока ученые Земли найдут антибиотик, спасающий от посланцев чужой жизни. Командир звездолета Андрей Чешенко.

Он увидел на экране суровое лицо Председателя Совета. Высокий, совершенно седой старик, похожий на библейского патриарха, всматривался в лицо космонавта. Позади Председателя Андрей увидел членов Совета, космонавтов, ученых.

— Что случилось с вами, дорогие братья?.. — как сквозь вату, услышал Андрей глухой голос Председателя. В вопросе звучали горечь, любовь, сочувствие.— Как произошло это несчастье?

Андрей короткими фразами поведал Совету о случившемся.

— Там... в Мавзолее Ожидания... Татьяна... разбудите ее. Она так долго ждала... Я хочу увидеть ее, прежде чем...— Он назвал Председателю шифр «пробуждения» Татьяны.

Несколько томительных часов, пока Татьяну возвращали к жизни, он отдыхал в кресле пилота. Он принял две дозы сильно действующего стимулятора и собрал все силы для встречи с любимой. Он не сводил взгляда с экрана биоробота, подключенного к его организму. С бесстрастной точностью умный автомат регистрировал угасание жизненных функций его организма. На экране зловеще горела цифра «30». Тридцать минут до агонии, до конца!.. Но Андрей был спокоен. Он сделал все, что мог. Когда микробиологи прочтут записи робота, они получат ясную картину действия вируса на организм человека и, несомненно, найдут средства борьбы с ним. Его товарищи будут жить!..

Наконец он увидел Татьяну и протянул руки к экрану, словно хотел обнять ее.

— Андрей!.. Я не сказала тебе тогда... у нас будет сын...

— Сын! — крикнул Андрей. Его лицо озарилось радостью.— Сын...— прошептал он.— Наш сын... Мы снова с тобой...— продолжал Андрей. Внезапно по его лицу прошла судорога боли.— Прости, что так получилось! Береги нашего сына. Он должен быть космонавтом!..

Широко раскрытыми, остановившимися глазами Татьяна смотрела на Андрея и видела на его лице печать страданий, которые он перенес.

Она прилагала все усилия, чтобы не закричать, старалась улыбнуться, кивала головой в ответ на его слова. Как в тумане, она видела измученное лицо Андрея, на котором, словно факелы, горели глаза.

Андрей говорил быстро, иногда бессвязно. Он торопился, как будто в эти последние минуты хотел сказать ей все о своих чувствах. Ведь он так мало и скупо говорил о них прежде, в дни их счастья! Потом он снова повторил просьбу вырастить сына и в день Памяти Погибших Астронавтов отдать его в Академию Межзвездных Проблем.

— Ты обещаешь мне? Обещаешь? — спрашивал он.

— Да...— шептала Татьяна, продолжая машинально улыбаться.— Обещаю!

Его лицо засветилось.

— Спасибо! Расскажи сыну обо мне. Верю, что именно он...— Андрей напрягал последние силы,— первым достигнет миров Денеба... Там живут удивительные существа, создавшие фабрику праматерии... Голубой Цефеиды. Прощай... Прощайте, братья!

Внезапно все исчезло: Андрей выключил экран связи. Глухо вскрикнув, Татьяна потеряла сознание.

Она уже не видела того, что увидели космонавты, стоявшие на площадях Космоцентра: далеко в стороне от звездолета вдруг ослепительно вспыхнула голубая звездочка. Через минуту она угасла. Миллионноголосый крик прокатился по городу. Космонавты поняли, что означала эта вспышка... Андрей сжег себя в пламени плутониевой шашки, развивающей температуру в четыреста тысяч градусов, потому что его тело, насыщенное до предела вирусом, представляло бы наибольшую опасность для тех, кто потом войдет в мертвый звездолет...

☆

Совершенно седая женщина медленно шла по Площади Погибших Астронавтов. Ее поддерживал за руку высокий, стройный черноволосый юноша. На его светлом, открытом лице странно выделялись угрюмоватые глаза Андрея.

Со всех концов на площадь вливались толпы людей.

— Сегодня день Памяти Погибших Астронавтов...— чуть слышно промолвил юноша.— День памяти моего отца.

— Да,— так же тихо ответила Татьяна и невольно посмотрела в зенит. Но звездолета «Россия», который в течение восемнадцати лет висел в небе над Космоцентром, там уже не было. Два года назад ученые наконец разгадали сущность действия вируса с Оранжевой и создали эффективный препарат. В великой «битве за спасение тридцати семи», как назвали земляне работу ученых по разгадыванию тайны действия вируса, принимали участие все микробиологи планеты, самые мощные кибернетические машины. Шестнадцать лет напряженного труда принесли победу. Облаченные в скафандры высшей биологической защиты, микробиологи вошли в мертвый звездолет. Три месяца ученые тщательно дезинфицировали салон корабля, проверяли биороботами каждую микроскопическую пору. Затем они полгода осторожно «пробуждали» космонавтов, по мере усиления жизнедеятельности их организмов вводя им в клетки все более мощные дозы «Антивируса». Все тридцать семь были спасены.

Татьяна перевела взгляд на землю. Гигантская площадь утопала в цветах. Цветов было много, целое море. За ними любовно ухаживали все дети Космоцентра. Она взяла сына за руку.

— Пойдем к отцу...— сказала она тихо и вдруг запнулась. По ее лицу прошла печаль.

— Не надо,— мягко сказал сын Андрея.— Ты опять плачешь?.. Что бы сказал отец? Я горжусь им! — воскликнул он.— Хочу быть таким же, как он и все его друзья...— добавил он несколько смущенно.

Они достигли противоположного края площади. Там перед Высшим Советом по освоению космоса, среди кустов цветущих роз, возвышался стометровый мраморный обелиск. На пьедестале, выполненном в виде мезонной ракеты 3060 года, стоял до боли знакомый ей человек. Его лицо было обращено к космосу, ради познания которого он отдал свою жизнь; гениальный скульптор изобразил Андрея в космическом скафандре, без шлема; непокорная прядь волос, казалось, шевелилась в струях теплого ветра, дувшего с юга. Андрей держал в руках раскрытую Книгу Познания Вселенной. Лицо космонавта освещалось доброй улыбкой. У его ног плясали языки пламени. Неведомым ухищрением искусства и техники цветового освещения скульптор придал языкам пламени почти осязаемое, реальное трепетание. Казалось, Андрей наяву сгорает во имя спасения людей.

На окрестных холмах прозвучал салют в честь Погибших Астронавтов, заиграли на Площади сотни оркестров. Тысячи людей, пришедших сюда в этот день, почтили долгим молчанием светлую память своих погибших братьев.

Кто-то осторожно тронул Татьяну за плечо. Она вздрогнула и обернулась: перед ней стоял Варен. Старый товарищ Андрея задумчиво улыбался.

— Здравствуй, Таня... я пришел к тебе и... к нему.— Он показал глазами на обелиск.

— И за ним?..— с усилием спросила она и посмотрела на сына.

— Да,— ответил Варен.— Ты же знаешь... Сегодня я должен представить его членам Совета. Они хотят посмотреть твоего мальчика, прежде чем он отправится на восьмой спутник Сатурна для прохождения начал астронавигации.

Она взглянула на Варена. Потом она перевела взгляд на сына, опустила голову и вздохнула.

— Веди его в Совет... Так хотел Андрей.

Памфлет

Л. ЛАГИН

БЕЛОКУРАЯ БЕСТИЯ

Рисунки Н. Бутина.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

В последних числах апреля 1943 года унтер-офицер Франц Кашкель дезертировал из германской армии по причине, в своем роде единственной в тысячелетней практике дезертирства. В середине мая того же года Кашкеля поймали, судили военно-полевым судом и расстреляли.

Прошло около трех с половиной лет, и километрах в двухстах от места, где закопали злосчастного унтера, приключилось событие, которое даже в те богатые событиями дни могло стать мировой сенсацией, если бы не принятые меры.

Случилось это в одном из глухих и суеверных горных селений Баварского Оберланда. Местный житель, некто Гуго Вурм, почтенный хуторянин, человек серьезный и заслуженный,— он вернулся с войны в чине обер-фельдфебеля,— забравшись как-то во время прогулки довольно далеко в лес, почти носом к носу столкнулся с оборотнем.

О том, что где-то в окрестностях замечен оборотень, в селении поговаривали уже не первую неделю. Лично господин Вурм, как человек, не чуждый просвещения, больше склонялся к мысли, что оборотней не бывает, а что это скорее всего какая-нибудь обезьяна, сбежавшая из Мюнхенского зоопарка.

И все же одно дело — отвлеченные рассуждения насчет оборотней, а совсем другое — столкнуться под вечер в одиночку и в довольно дикой лесной чаще с чем-то голым, бесхвостым, передвигающимся на четвереньках. А вместо головы у этого «чего-то» — круглое, вроде арбуза средних размеров. Нет, скорее, не арбуза, а огромного одуванчика.

Обезьяна (мы будем так вместе с господином Вурмом называть впредь до скорого уточнения это загадочное существо), не заметив бравого обер-фельдфебеля, стремительно промелькнула в густом подлеске и словно сквозь землю провалилась. Поначалу Вурм несколько струхнул, но он тут же взял себя в руки и осторожно пополз по следам обезьяны.

Вскоре он убедился, что единственно, куда она могла скрыться, был еле видный лаз под мощным нагромождением полусгнившего бурелома.

Метрах в тридцати высился дуб. Вурм избрал его в качестве наблюдательного пункта. Пыхтя и отдуваясь, залез он в самую гущу ржавой, не успевшей опасть листвы. В лицо ему дул приятный предзакатный ветерок.

Прошло не менее часа. Солнце ушло за горизонт. Быстро сгустились осенние сумерки. Заметно посвежело. Наступила та удивительная тишина, которая воцаряется в лесу сразу после заката. И вдруг, когда Вурм уже окончательно решил, что ждет понапрасну, под буреломом чуть слышно хрустнуло, фосфорически блеснули в лазу два зеленовато-желтых кружочка, и из-под сухих сучьев высунулась... волчья голова. Она медленно и настороженно повернулась сначала налево, потом направо, и совсем не слышно, без единого шороха наружу выбралась поджарая матерая волчица.

Засветилась в лазу вторая пара глаз, показалась еще одна голова, тоже волчья, но поменьше, тоже оглянулась по сторонам, и также бесшумно, на брюхе выполз из логова полугодовалый волчонок. За ним, уморительно повторяя все повадки матери, показался еще один.

Волчата жмурились, отряхивались, переминались с лапы на лапу, не отходя от волчицы, которая продолжала оглядываться по сторонам.

«Мда-а-а! — сокрушенно подумал господин Вурм.— Конечно, и за волков полагается неплохая премия, но где же моя обезьяна? Неужели они ее слопали?»

Не успел он прийти к этой огорчительной мысли, как в лазе сверкнула еще пара глаз. Потом возникла голова, вернее, нечто более или менее светлое, обрамленное теперь уже еле различимым в сгустившемся мраке огромным, болтающимся из стороны в сторону шаром. Этот шар качнулся сначала направо, затем налево, и наружу выбралось то самое существо, которое час тому назад промелькнуло перед Вурмом в подлеске.

Волчица в последний раз с шумом втянула в себя воздух, проверяя, нет ли все же опасности. За нею то же самое проделали оба волчонка, а вслед за ними и обезьяна. Сейчас уже стало так темно, что трудно было определить, голая ли она или покрыта шерстью. Но что задние конечности у нее длиннее передних, все же можно было разглядеть.

Очевидно, волки ждали ее, потому что, как только она оказалась рядом, волчица легкой и спокойной рысцой направилась в глубь леса. За нею затрусили оба волчонка. За волчатами, монотонно тряся шароподобной головой, по-волчьи перебирая конечностями и нелепо вихляя задом, побежала и обезьяна...

На закате следующего дня господин Вурм и оба его сына в великой тайне от соседей отправились в лес за большими деньгами.

Дальше все пошло по плану.

Младший Вурм швырнул в логово камень и отпрянул в сторону, держа наготове вилы.

Тотчас же выскочила волчица. Шерсть на холке стояла дыбом. Возможно, она рычала, но ее рычание потонуло в грохоте залпа двух охотничьих ружей. Раненое животное взвыло и, оставляя на ржавой траве черный кровавый след, пропало в чаще.

Нельзя было терять времени: быстро темнело. Господин Вурм передал свое ружье младшему сыну и, держа в левой руке электрический фонарик, а в правой — охотничий нож, полез в берлогу.

В дальнем углу, упершись взъерошенными спинками в стенку, испуганно уставились на страшного гостя волчата. Они щерили острые желтоватые зубы и рычали, ослепленные ярким светом фонаря. А рядом с ними, тесно к ним прижавшись, оскалилось на господина Вурма и тоже рычало то самое существо, которое он вчера принял за обезьяну. Но это не была обезьяна. На господина Вурма рычало, дико таращя глаза, нечто удивительно похожее на человеческое существо, точнее, на ребенка лет четырех-пяти. Оно сидело, по-волчьи опираясь передними лапами о земляной пол берлоги, но у него было лицо, очень грязное, остроносое и тонкогубое детское личико, обрамленное шарообразной шевелюрой нестриженых и нечесаных волос, в которых было полным-полно сучков, травинок, комьев сухой земли и даже косточек.

Если это и был оборотень, отступать было поздно...

Первым делом господин Вурм оглушил и придушил волчат. Он равнодушно сжимал в своих жестких железных ладонях их мягкие и теплые пушистые шейки и силился понять, что же это все-таки за чудище такое сидит перед ним, по-волчьи упершись передними лапами в землю и угрожающе скаля зубы. Стоит ли вообще с ним связываться?

Покончив с волчатами, господин Вурм протянул руку к оборотню, который с ужасом смотрел, как душат его четвероногих товарищей. Очевидно, решив, что сейчас наступил и его черед, он стал бешено отбиваться, царапаться, потом, зажатый могучими коленями господина Вурма, впился в левую руку обер-фельдфебеля, да так и замер, стиснув зубы в мертвой хватке. Господин Вурм, вне себя от боли, чуть было не прикончил это загадочное существо, когда вдруг заметил на его голой и очень грязной шее нечто вроде металлической цепочки. Это и была металлическая цепочка. Золотая. На ней висел красивый, старинной работы, медальон. Медальон тоже был, очевидно, золотой.

Дрожащими от нетерпения руками господин Вурм раскрыл его и увидел крошечное золотое распятие тончайшей ручной работы. А на внутренней стороне другой крышки, на серебристом фоне рыцарского щита, геральдический орел нес в когтях меч и цепь. Вокруг щита шла тонкая готическая вязь. Для того, чтобы ее прочесть, Вурму пришлось надеть очки.

Вокруг щита было написано: «ЧЕСТЬ, БЕСПОЩАДНОСТЬ И ПОСЛУШАНИЕ». ВОЛЬФГАНГ ИОЗЕФ ПАНКРАТИЙ АМАДЕЙ БАРОН ФОН ВИВВЕР».

И тут господина Вурма словно молнией пронзило. Он вспомнил унтер-офицера Франца Кашкеля.

2

А о октября сорок второго года унтер-офицер Кашкель командовал отделением в заурядном пехотном полку на Восточном фронте. После октября сорок второго года он, положив на это немало хлопот, стал денщиком начальника гарнизона одного из полукурортных городов в Баварских Аль-

пах, генерал-майора Эриха Готфрида барона фон Виввер.

Унтер-офицер Кашкель был специально приставлен к полуторагодовалой особе барона Хорста фон Виввера, единственного сына начальника гарнизона — прямого потомка четырнадцати поколений баварских военных с отцовской стороны и старинного гамбургского патрицианского торгового рода — с материнской.

Вилла, в которой проживал со своей немногочисленной семьей начальник гарнизона, была расположена на самой аристократической окраине курортной части города. От помещения штаба ее отделял двор, щедро расцвеченный клумбами, а от опушки леса — просторная, с полгектара лужайка, благоухавшая сплошным ковром чудесных вешних цветов. Лужайка была изрезана посыпанными желтым песочком дорожками, по которым унтер-офицер Кашкель, на зависть другим нижним чинам и унтер-офицерам, и прогуливал маленького барончика. Во время этих частых прогулок на господине унтер-офицере Кашкеле почивало отраженное, но все же достаточно мощное сияние его начальника. Господин Кашкель с наслаждением купался в подобострастии встречных лиц рядового и унтер-офицерского состава, и следует отметить, что в какой-то степени он как раз и пал жертвой этого подобострастия.

Дело в том, что накануне рокового для унтер-офицера Кашкеля дня двое писарей набрели в лесу, километрах в пятнадцати от города, на троих крошечных волчат. Волчата, видно, еще совсем недавно прозрели и еле держались на своих слабеньких лапках. Они жмурились на славном апрельском солнышке неподалеку от родного логова и с полным доверием, по-щенячьи приветливо помахивая хвостиками, отдались в руки писарей. На этих волчатах, если подарить их маленькому Хорстлю, можно было заработать расположение самого господина начальника гарнизона. Пусть мальчик с ними поиграет, пока они еще совсем безобидны. А придет время, пристрелить их — пара пустяков.

Чтобы привлечь на свою сторону в этом многообещающем предприятии влиятельного ходатая, господин Кашкель и был приглашен полюбоваться милыми пушистыми и жизнерадостными трофейчиками.

В писарской комнате, любуясь волчатами, порывавшимися с полным доверием пососать толстые писарские пальцы, Кашкель ни на минуту не упускал из виду маленького Хорстля. Он следил за ним сквозь раскрытое окно. И вдруг он увидел: по дальней аллее трусит овчарка — тощая, облезлая, с длинными сосцами, свисающими до самой травы. Кашкель стремглав выскочил из дому и побежал ей наперерез. Он был еще сравнительно далеко, когда Хорстль решительно поднялся с травы, приветливо, а может быть, для сохранения равновесия, протянул ручонки и заковылял навстречу овчарке, давая всем своим видом и поведением понять, что в отсутствие его строгого воспитателя он ничего не имел против того, чтобы поиграть с этим милым четвероногим существом. Вот это уже Кашкелю совсем не понравилось. Он прибавил шагу, он даже позволил себе пробежать прямо по клумбе. Но пока он решился на это небывалое нарушение правил общежития, волчица — только теперь он удостоверился, что это неведомо откуда появившаяся волчица,— впилась зубами в ягодицы маленького барона и стремительно умчалась с ним в лес.

Весь личный состав штаба гарнизона и штабных команд был сразу поднят по боевой тревоге. И хотя было ясно, что от бедняжки Хорстля давно уже и косточек не осталось (какие там косточки у такого малыша! Одни хрящи!), но лес окружили и прочесывали до поздних сумерек.

Никаких следов маленького Хорстля, конечно, не обнаружили.

А когда вернулись с поисков, оказалось, что унтер-офицер Франц Кашкель, испугавшись ответственности, скрылся.

Дней через двадцать его поймали, судили военно-полевым судом за дезертирство и расстреляли.

Старшим в команде, приведшей в исполнение приговор над Францем Кашкелем, был обер-фельдфебель Гуго Вурм.

3

Есть смысл отметить дату и час, когда обер-фельдфебель Гуго Вурм, обнаружив в волчьем логове маленького барона фон Виввера, тем самым вернул его в лоно человеческого общества. Это произошло 15 октября 1946 года, в 22 часа 45 минут по среднеевропейскому времени. Нам тем легче запомнить эту дату и час, что как раз в это время в нескольких стах километрах от означенной берлоги, в одной из камер Нюрнбергской тюрьмы принял смертельную дозу цианистого калия и тем самым избежал уготованной ему виселицы бывший рейхсмаршал бывшего Третьего рейха Герман Геринг.

Примерно четырьмя часами позже, на исходе третьего часа, в ночь на 16 октября, когда во дворе Нюрнбергской тюрьмы уже висели с петлей на шее Иоахим фон Риббентроп, Вильгельм Кейтель, Эрнст Кальтенбруннер, Альфред Розенберг, Ганс Франк, Вильгельм Фрик, Юлиус Штрейхер, Фриц Заукель, Альфред Йодль и Артур Зейсс-Инкварт, неутомимый Гуго Вурм, залегший в засаде у края своего картофельного поля, заметил, наконец, шагах в тридцати фосфоресцирующие огоньки волчьих глаз. Он давно ждал раненую волчицу. Он был уверен, что она где-то поблизости, что она, превозмогая страх перед человеком, обязательно придет. Как бывалый охотник, он знал, что существует и у зверей и у птиц такое чудо, как неистребимый ни страхом, ни болью великий и прекрасный инстинкт материнства. Господина обер-фельдфебеля это обстоятельство, конечно, нисколько не умиляло, но вполне устраивало. Он лежал в кустах, поеживаясь от пронизывающего до костей осеннего тумана, и размышлял насчет того, как это здорово получается, что есть на свете такой приятный инстинкт, который избавит господина Вурма от муторных поисков в лесу раненой волчицы и сам приведет ее сюда, на хутор, за ее последней пулей. Ему было забавно думать о том, что эта волчица — виновница приведенного им в исполнение приговора над задавакой Кашкелем, а вот сейчас, совсем скоро он пристрелит и ее и что таким образом унтер-офицер германской армии Франц Кашкель будет в некотором смысле им же и отомщен.

Господин Вурм мог еще некоторое время поразмышлять и о том, почему эта глупая зверюга не слопала тогда же, в апреле сорок третьего года, пухленького и такого аппетитного маленького барончика. Но ему и в голову не могло прийти, что тот самый инстинкт, который неумолимо гнал ее сейчас на верную гибель, тогда, в апреле сорок третьего года, заставил ее похитить человеческого детеныша, чтобы излить на него всю материнскую нежность и заботу, не истраченную на похищенных у нее накануне волчат.

И вот сейчас, истекая кровью, тяжко раненная,

она приковыляла сюда на трех ногах, томимая тоской по отнятому у нее человеческому детенышу.

Она шла, покачиваясь от слабости, теряя силы и тяжело дыша, прямо на притаившегося в холодном ожидании Вурма, пока он не удостоверился, что можно стрелять наверняка. Двумя пулями в упор с нею было покончено.

Рано утром господин Вурм особо тщательно побрился и поехал со своим старшим сыном Гансом в ближайший городок получать награду за волчицу и волчат. Шкурки волчат он продал, а шкуру их матери попросил отделать в самом срочном порядке. Это была совсем неплохая идея — подарить баронессе фон Виввер шкуру того зверя, который доставил ее материнскому сердцу столько горя.

А маленький барон фон Виввер лежал тем временем в овине господина Вурма на куче соломы. Он лежал на боку, по-волчьи подтянув к самому подбородку покрытые шрамами и бесчисленными рубцами коленки. Около него белели на табуретке кувшин с молоком, толстая фаянсовая чашка и благоухающий ломоть еще совсем теплого хлеба. Хорстль лежал неподвижно, с закрытыми глазами, ощеривая зубы и рыча при каждом движении караулившего его младшего Вурма.

В другое время селение было бы взволновано прозвучавшими прошлой ночью выстрелами. Но сегодня утром дошла весть о казнях во дворе Нюрнбергской тюрьмы. Это была потрясающая новость. Были и такие, что плакали. В том числе фрау Вурм.

4

Надо сказать, что вскоре после столь трагической и необыкновенной потери сына генерал-майор Эрих Готфрид барон фон Виввер тихо скончался от тяжелой уремии. Проводив на кладбище своего мужа, молодая вдова поселилась в родовом имении Виввердорфе. Раза два-три в месяц ее навещал молодой, прекрасного происхождения и не менее прекрасного телосложения дальний родственник и бывший адъютант покойного барона лейтенант Гейнц фон Тэрах. Далекий от всяческих сплетен, автор этих строк вряд ли упомянул бы об этих родственных визитах, если бы Гейнц фон Тэрах не сыграл весьма значительную роль в последующих событиях...

Поздним вечером шестнадцатого октября сорок шестого года лакей принес баронессе записку, написанную четким писарским почерком. Некто оберфельдфебель Гуго Вурм, имевший честь в свое время служить под началом покойного барона фон Виввера, просил баронессу уделить ему несколько минут для очень важного разговора, который, без сомнения, обрадует ее превосходительство.

Господин Вурм вошел твердой и четкой походкой старого служаки.

— Госпожа баронесса,— отчеканил он и щелкнул каблуками,— честь имею предложить вашему вниманию один предмет.— С этими словами он торжественно извлек из жилетного кармана нечто, завернутое в тонкую папиросную бумагу, и вручил побледневшей женщине.

В пакетике был медальон, снятый господином Вурмом с шеи Хорстля фон Виввера накануне вечером, в берлоге.

— Он жив, баронесса,— сказал господин Вурм с грубоватой заботливостью старого воина.— Он жив и здоров. Мне это стоило многих недель поисков, жестокого сражения в рукопашную с громадной волчицей, но сейчас все в порядке. Так что не извольте беспокоиться.

— Где он? — очень тихо проговорила баронесса, тщетно пытаясь встать с дивана...— Где вы его оставили?

Господин Вурм почтительнейше поставил ее в известность, что барон Хорст фон Виввер находится у него на хуторе.

На расспросы баронессы господин Вурм отвечал с разумной сдержанностью.

— Судя по всему,— сказал он,— юный барон прекрасно освоился с жизнью в лесу. Он вполне здоров, но, конечно, как бы это сказать, несколько диковат... Отвык от людского общества. А вообще, здоров, очень даже здоров... Но, прямо скажем, нескольно диковат...

Вурм вернулся домой вскоре после полудня.

Его младший сын Фриц доложил обстановку: маленький Хорстль за все время не прикоснулся ни к хлебу, ни к молоку.

Тут господин Вурм проявил сообразительность, которая сделала бы честь и человеку более обширного ума. Он перелил молоко из кувшина в миску и поставил ее на пол. Потом он послал Фрица поймать и доставить в овин первого попавшегося под руку цыпленка. Свернув цыпленку шею, Вурм положил его рядом с миской, а сам вместе с Фрицем покинул овин, оставив Хорстля наедине с молоком и цыпленком.

Прикрыв за собой дверь, они стали сквозь щель в стене наблюдать за юным бароном. Он еще пролежал без движения так долго, что господин Вурм начал терять терпение. И вдруг барон Хорст фон Виввер шевельнулся, злобно урча, оглянулся по сторонам, встал на четвереньки, уперся ладонями в лежавшего на земле мертвого цыпленка и стал жадно рвать его зубами. Когда от цыпленка осталось нескольно перышек и когти, барон фон Виввер нагнулся над миской и быстро вылакал из нее молоко.

Теперь предстояло постричь юного барона. Это был нелегкий труд. Мальчику, видимо, было и неудобно, и больно, и страшно. Он все время пытался вырваться из рук своих мучителей, и с каждым рывком ему становилось все больней. Но все имеет свой конец. Кончилась стрижка — и перед Вурмами возникла голова белобрысого мальчика с острым носиком и бессмысленным взглядом свирепого идиота.

Чтобы задобрить его перед тем, как впервые за последние три с половиной года помыть, Хорстлю принесли еще миску молока и снова оставили его одного. Он вылакал и ее с фантастической быстротой.

Пока Фриц на огороде за овином разогревал воду, мальчика оставили в покое. Потом его запихнули по шею в мешок и вымыли голову и шею. Потом пришлось засунуть в мешок его голову, чтобы лишить его возможности кусаться, господин Вурм и Ганс изо всех сил держали его за руки и ноги, а Фриц, как самый слабый из них, орудовал мылом, мочалкой и горячей водой. Если бы не сознание, что за вымытого мальчика баронесса вознаградит щедрее, чем за грязного, господин Вурм ни за что не взялся бы за эту неописуемо трудную процедуру. Но, наконец, было покончено и с мытьем. И тогда оказалось, что самое трудное еще впереди. Поистине непостижимо, как Вурмам удалось в конце концов облачить Хорстля в нижнее белье. С не меньшими трудностями на него натянули штанишки, курточку, обули в ботинки, натянули на него пальто. Потом его запеленали бинтами и усадили в машину, рядом с ним с обеих сторон сели оба младших Вурма, а старший уселся за руль.

В дороге их только один раз остановил американский патруль. Проверили документы. Искали контрабанду и оружие. Поинтересовались, что это за мальчик, которого они везут, и поверили, что мальчик безумный и что его везут в Мюнхен в психиатрическую больницу.

Вечером того же дня машина с наследником титула прославленных баронов фон Виввер подкатила к воротам его родового поместья. Через несколько минут она остановилась у массивных и просторных ступеней, ведших в широко распахнутые двери его родового дома.

Еще не успел выбраться из кабины господин Гуго Вурм, как в дверях показалась полуобезумевшая от счастья Урсула фон Виввер.

Вслед за нею выбежал Гейнц фон Тэрах. Он хотел удержать баронессу. Вурм еще вчера рассказал ему, в каком состоянии находится маленький Хорстль, и просил подготовить к этому баронессу. Но господин лейтенант смалодушничал. Он не решился испортить праздничное настроение счастливой матери. И вот теперь, с запоздалым раскаянием и страшась того, что сейчас произойдет, он пытался было удержать баронессу, но не успел. Она рванула дверцу машины.

Внутри машины царил полумрак. Баронесса только различила двух рослых мужчин, а между ними что-то меньшее, и это что-то меньшее было ее сыном, ее Хорстлем.

Она даже не заметила, что мальчик, которого незнакомцы тут же вынесли из машины, спеленат по рукам и ногам. Его матросская нарядная бескозырка была туго натянута на уши, а почти сразу под ее околышем по-кошачьи блестели два совершенно диких глаза.

— Мой мальчик! — воскликнула молодая женщина.— Мой дорогой Хорстль!..

Она припала к бледному личику мальчика, чтобы поцеловать его, и страшно вскрикнула: барон Хорст фон Виввер, перепуганный ее порывом, укусил мать в подбородок.

От барона Хорста фон Виввер исходил отвратительный запах. Впервые за несколько столетий пятилетний представитель этого прославленного рода понятия не имел о том, что следует проситься на горшок.

5

Никто не заметил, как Вурмы, получив заранее заготовленный чек на весьма значительную сумму, покинули поместье.

А пока лейтенант фон Тэрах оказывал окровавленной баронессе первую медицинскую помощь, четверо дюжих лакеев, искусанные и расцарапанные в кровь, сняли с юного Хорстля загаженную одежду, кое-как отмыли его в большой старинной мраморной ванне и отнесли в приготовленные для него покои.

Его нарядили в ночную рубашку тончайшего голландского полотна, но он тут же изодрал ее в клочья.

Пытались хоть голым уложить его в постель и прикрыть прелестной пуховой перинкой. Он сбросил с себя перинку, спрыгнул на пол, забрался в полутемный угол и оттуда зарычал, свирепо ощерив острые зубы.

— Оставим его в покое,— сказал, наконец, фон Тэрах.

И они покинули комнату.

— Ну, как он там? — спросила баронесса, закрыв носовым платком укушенный подбородок. Она уже взяла себя в руки и хотела проститься с Хорстлем, благословить его перед тем, как он отойдет ко сну.

Фон Тэрах не решился отпустить ее одну на это новое тяжкое испытание.

Они тихо приоткрыли дверь в темную спальню Хорстля, и первое, что они увидели,— это два глаза, поблескивающих из темного угла. Мальчик лежал на толстом ковре голый, скорчившийся по-звериному, с коленками, поджатыми к самому подбородку, и настороженно рычал.

— Уйдемте, Урсула! — сказал лейтенант, преисполненный жалости к столь красивой и столь несчастной матери.— Поверьте мне, так будет лучше... Пусть он привыкнет...

А барон фон Виввер еще долго прядал ушами и настороженно рычал при малейшем шорохе, притаившись в темном углу этого непонятного, непостижимо просторного, высокого и такого чуждого ему логова.

6

В этой трудной и необычной обстановке Гейнц фон Тэрах показал себя с самой лучшей стороны.

Прежде всего он пригласил управляющего имением и попросил его немедленно переговорить с персоналом Виввердорфа и предупредить, чтобы никто не болтал насчет маленького барона.

— Сейчас,— сказал ему фон Тэрах,— ясна печальная история маленького барона. Вскоре после своего таинственного исчезновения весной сорок третьего года он был найден неким добрым крестьянином и сдан в ближайший приют. К великому несчастью, бедного мальчика постигло безумие, этот подлинный бич столь многих старинных аристократических родов. Последние три года он провел в психиатрической больнице.

Так Гейнц фон Тэрах оградил семейство фон Виввер от ловцов газетных сенсаций. Рядовой случай дегенерации древнего дворянского рода. В другое время — материал для двадцати строчек петитом. 18 октября сорок шестого года, на третий день после казней во дворе Нюрнбергской тюрьмы, газетчикам хватало материала куда более сенсационного.

Самый крепкий и бесстрашный из лакеев принес юному барону завтрак. Он снял с драгоценного серебряного подноса и поставил на ковер большую фарфоровую миску с молоком, две чудесно подрумяненные куриные котлетки, несколько бисквитов и — увы! — кусок нежнейшей сырой телятины килограмма на полтора весом.

Сквозь приоткрытую дверь несчастная мать и ее верный рыцарь Гейнц фон Тэрах с ужасом и омерзением наблюдали, как барон Хорст фон Виввер, встав на четвереньки, по-собачьи лакал молоко, как он, прижав ладонями сырую телятину к толстому ворсу бесценного ковра, урча и злобно косясь по сторонам, рвал ее зубами и глотал огромными кусками. Они увидели, как он подозрительно обнюхал и, щелкнув зубами, проглотил бисквит и как он обнюхал и оставил нетронутыми обе котлетки, те самые куриные котлетки, которые он когда-то так любил.

Позавтракав, он снова свернулся калачиком, худенький, голый, беспокойный.

На цыпочках, зажимая нос пальцами, вернулся за посудой лакей. Хорстль тотчас же раскрыл глаза и стал, настороженно следя за ним, молча открывать и закрывать рот, давая понять, что он начеку и что лучше с ним не связываться. Он спокойно позволил

лакею убрать миску, чашку и остывшие котлетки. Но лакей снова вернулся, чтобы раздвинуть шторы. Резкий солнечный свет ударил в глаза привыкшему к ночной волчьей жизни Хорстлю. Он рванулся на четвереньках к двери, чуть не сбив с ног снова заливавшуюся слезами фрау Урсулу, и с непостижимой быстротой и увертливостью помчался по коридору в поисках темноты и покоя.

За ним гонялись долго, бестолково, неумело, пока не удалось загнать его в домашнюю часовню, в которую вела только одна дверь.

Было уже совсем ясно, что Хорстля надо лечить, если его состояние излечимо. А впредь до излечения содержать где-нибудь подальше от слишком любопытных глаз. При любых обстоятельствах следовало первым делом посоветоваться с врачом, очевидно, врачом-психопатологом. А где его найти, такого, который обладал бы достаточным опытом, чтобы разобраться в столь небывалом случае и в то же время умел бы держать язык за зубами?

Они вспомнили милого профессора Вайде, светило отечественной психопатологии, частого и желанного довоенного гостя в доме фон Вивверов. Оккупанты посадили его в тюрьму. Его оговорили. У него хватает врагов, как у всякого истинно немецкого ученого. И вот они понаехали после мая сорок пятого года, все эти красные, розовые, коммунисты, либералы, атеисты,— все эти недорезанные враги рейха, и стали клеветать на тех, кто честно выполнял свой долг немца и ученого. Они придумали про профессора Вайде, что он якобы пользовался для своих опытов недочеловечками из концентрационных лагерей. Какая чепуха! Как будто фрау Урсула и фон Тэрах не знали близко этого превосходного врача и милейшего человека! А если он даже и взял какое-то количество живых скелетиков из Освенцима или Майданека, так ведь он тем самым, по крайней мере, на несколько месяцев, а то и на полгода продлевал им жизнь, потому что в лагере их бы сразу отправили в крематорий...

Да, но что же все-таки делать с Хорстлем?

Неизвестно, нашли бы они достойный выход из создавшегося положения, если бы не фрау Бах, воспитательница и экономка детского дома «Генрих Гейне», который километрах в двадцати от поместья фон Вивверов содержала группа мюнхенцев, преследовавшихся при нацизме.

Фрау Бах приехала в Виввердорф с почти безнадежным заданием. Надо было попытаться уговорить управляющего имением продать да еще в рассрочку детскому дому несколько дойных коров.

Управляющий куда-то отлучился. Фрау Бах присела на скамейке неподалеку от входа в господский дом и стала ждать его возвращения.

Если бы как раз в этот момент господин фон Тэрах не выглянул из окна и не осведомился у лакея, кто эта немолодая и весьма скромно одетая дама, воспитанникам детского дома «Генрих Гейне», возможно, пришлось бы еще долгое время обходиться без молока, а история, которую мы стараемся поведать со всей тщательностью и беспристрастием, развернулась бы совсем по-другому.

Его словно озарило, лишь только он узнал, что эта дама — воспитательница в детском доме для детей лиц, преследовавшихся при нацизме: кому придет в голову, что в таком приюте воспитывается единственный сын барона Виввера, того самого, который был столь обласкан властями Третьего рейха!

Он подсел к этой женщине, нисколько не брезгуя тем, что она могла оказаться коммунисткой, и узнал, что ее зовут фрау Бах и что она прибыла поговорить с господином управляющим насчет коров.

Господин фон Тэрах позволил себе высказать предположение, что можно насчет коров поговорить прямо с баронессой, минуя управляющего. Вскоре он проводил ее в гостиную, а сам пошел к фрау Урсуле и изложил ей свой план. Фрау Урсула легко дала себя уговорить: ей становилось не по себе при одной только мысли, что этот пятилетний идиот, ничем не отличающийся от животного, будет проживать с нею под одной крышей. А тут вдруг представляется возможность устроить его в закрытое детское учреж-

дение, где его будут лечить, а может быть, и вылечат, потому что во главе этого детского дома стоит профессор доктор Каллеман, тот самый, место которого в Институте психоневрологии занимал до мая сорок пятого года бедный профессор Вайде.

Фрау Бах была почти оглушена щедростью вознаграждения, которое было предложено детскому дому «Генрих Гейне» за то, что он приютит в своих стенах маленького Хорстля. Конечно, инкогнито. На все время, пока мальчик будет пребывать в этом доме, его воспитанники и персонал обеспечивались молоком и мукой. Кроме того, группу, в которой будет воспитываться барон Хорст фон Виввер, баронесса обязалась снабжать и свежим мясом.

Вечером того же дня Хорстля под прикрытием сгустившихся сумерек тайно вывезли из отчего дома. Никто из многочисленной челяди не знал, когда, куда, зачем и на какой срок его увезли. Машиной правил сам господин фон Тэрах. Он же и сдал мальчика на руки лично профессору Каллеману.

7

В детском доме «Генрих Гейне» Хорстль прожил с 19 октября 1946 года по 8 мая 1953-го, то есть шесть лет и семь месяцев. Срок, как видите, немалый и насыщенный воспитательными экспериментами не только интересными и незаурядными, но по существу своему уникальными. При некоторой приверженности к высокопарной терминологии, эти долгие и трудные годы своеобразнейшего педагогического подвига персонала и коллектива воспитанников детского дома Организации лиц, преследовавшихся при нацизме, можно было бы назвать примерно так: «Семьдесят девять месяцев в борьбе за превращение мальчика-волка[1] в нормального ребенка».

Нет сомнения, что очень многих заинтересует строго научное изложение хода и деталей этого необычного дела. Я мог бы отослать их к дневнику, который профессор Каллеман вел все эти годы день за днем. Его записи по необходимости насыщены специальными психологическими, медицинскими и анатомическими терминами, густо пересыпаны латынью, снабжены обильным справочным аппаратом и, на наш взгляд, по-настоящему могут быть интересными только для специалистов.

Неспециалист рискует, безнадежно завязнув в терминологии и узконаучных деталях, упустить то, что составляет их главную ценность для непосвященных.

Поэтому мы, воспользовавшись разрешением фрау Бах, публикуем, конечно, в сильно урезанном виде только ее записи, чрезвычайно интересные, которые она, к сожалению, по сильной своей занятости, вела очень нерегулярно.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1946 год

1

ОКТЯБРЬ, 20. Ему даже не дали еще раз переночевать в отчем доме. Господин фон Тэрах, который, конечно, совсем не так благодушен, как он хотел бы казаться, привез его поздно ночью, в полной тайне. У матери Хорстля круги под глазами, покрасневшие веки. Можно понять ее горе.

Мы поместили Хорстля на отшибе, в комнатке за конторой, той самой, где раньше хранилось белье.

От передвижения на четвереньках у него на ладонях, локтях и коленках толстенные затвердения. Ладони по той же причине несуразно большие и широкие. На теле множество ссадин, следы зубов: очевидно, память драк и игр с несколькими поколениями его сводных братьев — волчат. У него очень подвижные уши и широкие ноздри.

Но удивительнее и страшнее всего глаза. Бегающие, бессмысленные и в то же время свирепые.

ОКТЯБРЬ, 21. Любой ребенок, попав в возрасте Хорстля в подобную обстановку, ничем не отличался бы спустя некоторое время от Хорстля, будь он даже с самыми гениальными задатками и потомком самых физически и умственно полноценных предков. Идиотизм неизлечим, а одичавшего человека можно раньше или позже сделать практически нормальным. И профессор Каллеман как раз этим и собирается заняться. Нет, он не тешит себя иллюзиями. Это дело не месяцев и даже не одного года. «Но я уверен, что кое-что в этом направлении удастся сделать,— сказал он,— если и вы и ваши воспитанники мне в этом увлекательнейшем и труднейшем деле поможете».

«Наши воспитанники?! — удивленно переспросила я.— Какие воспитанники?»

«В первую очередь я имею в виду воспитанников из нашей группы ползунков»,— ответил мне профессор и решительно отказался прокомментировать свое удивительное заявление.

«Вы совсем не глупая женщина, фрау Бах,— ухмыльнулся он с мальчишески-победоносным видом.— Пройдет несколько дней, и вы сами догадаетесь».

ОКТЯБРЬ, 22. Я догадалась в тот же день.

Дело в том, что по своему уровню умственного развития Хорстль находится на стадии примерно десятимесячного ребенка. Поэтому его и зачислили в группу ползунков. Вместе с ними он будет расти и развиваться, как человек, изживая постепенно в себе все волчье.

Ночью весь приют был трижды поднят на ноги жутким воем, доносившимся из комнатки, где раньше

---

[1] Мы говорим «мальчика-волка», потому что науке известны мальчики и девочки-волки, мальчики-медведи и даже один мальчик-леопард. Сравнительно недавно, лет сорок тому назад, в Индии были обнаружены в одной берлоге сразу две девочки-волчицы. Младшая — ее звали Амала, прожила в приюте около года, старшая Камала — умерла после девяти лет пребывания в том же приюте от болезни почек.

Л. Л.

ше хранилось белье. Этот дикий, скорее волчий, чем человеческий, вой начинался очень низкими, хриплыми звуками, похожими на тяжкий стон, и стремительно взвивался до дребезжащего, пронзительного визга непостижимой высоты.

В этом вое звучала такая душераздирающая тоска, и был он так неописуемо дик, что даже у взрослых мороз прошел по коже. Это был вопль души бедного человеческого детеныша, которому было страшно и одиноко среди непонятных и новых для него двуногих существ и который звал свою любящую мать-волчицу и веселых братцев-волчат скорее, как можно скорее прийти за ним и увести домой, в лес, в родную милую берлогу.

Еле успокоили ребят.

2

ДЕКАБРЬ, 8. Сегодня он впервые лег спать на человеческой постели. Правда, пришлось постелить ему на полу, в его любимом углу. Но это все же была настоящая постель: тюфяк, покрытый простыней. Подушку и одеяло он пока отвергает. Спал, как всегда, свернувшись калачиком, но все же на простыне. Прогресс бесспорный.

Лоб у него морщинистый, как у старичка.

Лицо Хорстля обычно неподвижно. В случае необходимости он может строить свирепые рожи. Но никто ни разу не заметил на его лице и тени улыбки. Он никогда не плачет.

Мы пользуемся каждой свободной минутой, чтобы читать ему стихи, рассказывать сказки, разговаривать с ним, вернее, над ним. Нет, он, конечно, не понимает ни слова из того, что мы говорим. И еще очень долго не будет понимать. Но мы должны приучить его бедный мозг к звукам членораздельной речи. Ведь и нормальные грудные ребята не понимают того, что нашептывает им мать. Я раньше полагала, что, разговаривая со своим сосунком, мать только удовлетворяет свою потребность выразить ласку ребенку. Оказывается, это чрезвычайно важно и для самого ребенка, для формирования его восприятия мира. И вот мы вперемежку с профессором читаем лежащему с закрытыми глазами и подогнутыми к самому подбородку коленками пятилетнему голому мальчику-волку стихи Гейне и Гете, рассказываем самые простенькие сказки, мечтаем вслух о том замечательном времени, когда он забудет, что был волком, начнет ходить на ногах, разговаривать, как все другие мальчики и девочки; когда он будет иметь много-много друзей; когда он вырастет в умного и доброго человека. А Хорстль лежит с закрытыми глазами, и мы даже не всегда знаем, бодрствует ли он или спит. Время от времени мы при этом осторожно гладим его. Сначала он настороженно рычал и ощеривал зубы каждый раз, когда мы касались его светло-русой головенки, но довольно скоро привык и даже (быть может, мне это только кажется) испытывает от этой простейшей ласки некоторое удовольствие.

Он уже начинает привыкать к мытью. Вчера, когда он сидел в жестяной ванночке, опершись спиной о ее стенку, он нагнулся и стал быстро-быстро лакать воду, в которую был погружен по грудь. Потом, когда я намылила ему руки и спину, он вдруг стал слизывать с себя мыльную пену. Поэтому сегодня прибавили в воду хины. Хорстль попробовал ее лакать, но тут же выплюнул.

Пока что мы ставим еду — молоко, сырое мясо и бисквиты — перед ним прямо на пол. Но в той же комнате, где мы воспитываем и кормим наших ползунков.

Вторая задача — приучить его самого приходить (покуда хоть на четвереньках) за едой и брать ее из наших рук. А так как за пищей ему придется приходить ко мне или профессору, а мы во время раздачи пищи окружены целой кучей ползунков, то Хорстль будет сразу привыкать и к их обществу.

Он все еще чуждается людей. Вчера к нему подползли Густль Шварц и Бетти Пекарек. Они среди ползунков самые любопытные и самые смелые. Им было занятно, как он, нагнувшись над миской, лакает молоко. Хорстль перестал лакать и зарычал на них. Не спуская с него недоумевающих глаз, они, пятясь, отползли шагов на пять и уже оттуда отважно досмотрели до конца, как странно завтракает их новый, непонятно большой и сердитый голый товарищ.

Сегодня эти отчаянные ползунки снова подобрались поближе к Хорстлю. На сей раз он кинул на них быстрый взгляд, отвернулся и продолжал насыщаться, как если бы их совсем не было рядом.

Мы пробовали ставить его на ноги, когда купали (это не то слово — «купали»! Когда мы сражались с ним в ванной комнате). Он не мог продержаться на ногах и несколько мгновений. Они у него подгибались, как резиновые.

Ему трудно держать голову в вертикальном положении: у него совершенно не развиты соответствующие мышцы шеи. А для правильного своего развития голосовые связки у человека требуют вертикальной посадки головы.

ДЕКАБРЬ, 11. Хорстль приучается принимать пищу по общему звонку. Услышав звонок, он теперь торопится (пока что на четвереньках), к тому месту посреди комнаты, где ему положено с начала этого месяца обедать, завтракать и ужинать. Здесь он терпеливо ждет своей порции. Покончив с нею, он немедленно возвращается в свой угол, уткнется в него носом, и уже никакого внимания не обращает на то, что происходит за его спиной.

3

1947 год

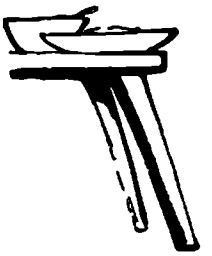
ЯНВАРЬ, 7. Они подружились-таки с Густлем. И помог им в этом Рекс — щенок нашей овчарки Евы. Густль играл с Рексом, а Хорстль к Рексу уже давно неравнодушен. Он возится с ним, гладит, усаживает к себе на колени. Видно, он ему напоминает его братцев-волчат. Щенок отвечает ему полнейшей взаимностью. И в то же время Рекс преисполнен самых приятельских чувств к Густлю. А раз Рекс благожелательно и с полным доверием относится к Густлю и остальным загадочным существам, наполняющим своим визгом комнату, значит, и Хорстлю не опасно с ними водиться. Очевидно, именно эти причины и толкнули Хорстля на дружбу с Густлем.

И вот они улеглись рядышком на полу — белокурый пятилетний сынишка высокопоставленного нациста и черноголовый годовалый мальчик, у которого друзья барона фон Виззер сожгли в печах Освенцима всю родню, кроме родителей. Они полны друг к другу самых добрых чувств. У них есть общие друзья — Бетти и Пекарек и Рекс. А до остального им нет дела.

ФЕВРАЛЬ, 9. Ползунки оказались неплохими педагогами. В последние дни мы заставляли их самих брать свой обед с низенького столика. А Хорстлю ставим его порцию по-прежнему на пол.

Сегодня, после звонка на обед, он, как всегда, приполз на привычное место и стал терпеливо ждать своей очереди. Обычно ему давали последнему для того, чтобы он мог присмотреться, как ребята становятся на коленки и берут со столика то, что им положено. Наконец, все ребята взяли еду, а Хорстлю я и не подумала подать его обед. Он был озадачен. Прождал минут пять, потом подполз ко мне и боднул меня головой в ногу. Я сделала вид, будто не поняла, чего он хочет. Он боднул меня еще раз, вернулся к себе в угол и с недоумением смотрел оттуда, как я покидаю комнату, не накормив его.

Сквозь замочную скважину плотно закрытой двери я стала наблюдать за обескураженным Хорстлем. Он довольно долго просидел в углу, в обычной своей позе, по-собачьи вытянув перед собой ноги и опираясь о пол ладошками. Он был такой смешной и трогательный в своем оранжевом костюмчике. Наконец, он решился на самостоятельные действия. Он подполз к столику, старательно обнюхал его со всех сторон, опасливо поднял правую руку, оперся ею о край стола, прижался к нему грудью, чтобы не потерять равновесия, поднял левую руку и, наконец, обеими руками вцепился в миску с молоком. Я ее нарочно оставила у самого краешка. Он нагнулся над миской и убедился, что языка его не хватает, чтобы лакать из нее, стоя на коленках. Тогда он, озабоченно урча, поднял ее и перенес на пол. Точно так же он поступил и с тарелкой, на которой было для него приготовлено отварное мясо и его любимые бисквиты.



Стыдно признаться, но меня чуть не прошибла слеза. С сегодняшнего дня Хорстль будет сам брать со столика свою пищу.

АПРЕЛЬ, 23. Сегодня он вдруг обрушился на Густля и повалил его на пол. Я перепугалась, как бы он не искусал его. Но, пока я подбежала, оказалось, что ничего страшного: Хорстлю просто захотелось побороться со своим дружком, как когда-то в лесу с братцами-волчатами. Он куда сильнее Густля, но не нанес ему никакого ущерба. Конечно, это, скорее всего, инстинктивное великодушие, но все-таки приятно отметить.

ИЮЛЬ, 22. Сегодня у Хорстля, когда он гладил Рекса, на лице на какую-то долю секунды промелькнуло нечто отдаленно напоминающее улыбку. Я сейчас же побежала к профессору.

— Фрау Бах,— сказал профессор.— По этому случаю я бы выпил рюмочку коньяку, если бы у нас был коньяк. Дело, кажется, идет на лад, дорогая фрау Бах. Раньше или позже из Хорстля вылупится настоящий человечек. Или я ничего не понимаю в семействе гоминид отряда приматов класса млекопитающих.

4

СЕНТЯБРЬ, 4. Наконец-то! То есть, передвигается он по-прежнему на четвереньках, но, останавливаясь, немедленно становится на коленки. Сам. Без надежды на немедленное поощрение.

Терпеть не могу подсматривать сквозь замочную скважину. За исключением тех случаев, когда это связано с Хорстлем. Вчера, оставшись один в комнате, он прошел некоторое расстояние на коленках, устал, хлопнулся на четвереньки, отдохнул, снова поднялся на коленки, снова сделал несколько шагов, снова хлопнулся на четвереньки... И так раз десять, пока не устал и не ушел на четвереньках отдыхать к себе, в угол.

СЕНТЯБРЬ, 10. Сегодня, когда ребята вернулись с прогулки, Хорстль подполз к ним и возбужденно залопотал. Это еще не были слова. Это больше походило на лепет годовалого ребенка, но это был **ПЕРВЫЙ** случай, когда он высказал свои чувства не мычанием, а более или менее членораздельными звуками.

Прозвенел звонок на обед. Хорстль подполз ко мне, встал на коленки и протянул руки.

— Хочешь кушать, Хорстль? — спросила я, не надеясь что он мне ответит.

И вдруг Хорстль утвердительно кивнул головой!

Он понял вопрос!

Боже мой!

Две такие радости в один день.

СЕНТЯБРЬ, 24. Снова ездила к его матери, в Виввердорф. Когда я вернулась, он подполз ко мне, легко встал на коленки, обхватил мою ногу и залопотал:

— Та-та-та-та... Не-не-не-не-не... Та-та-та...

Затем он перевел дух и внушительно произнес:

— Мо-ко!

Таким образом, Хорстль знает уже целых три слова! Не беда, что он, как и все ребятишки, которые учатся говорить, проглатывает отдельные слоги, искажает и недоговаривает слова. Со временем все наладится. Особенно, если удастся привлечь на помощь врача-дефектолога.

А вот что его мать фрау Урсула тоже чего-то недоговаривает, это никаких оснований для оптимизма, увы, не дает. Что-то политическая погода в нашей благословенной Бизонии день ото дня становится все менее благоприятной для тех, кого при нацизме преследовали, и все благоприятней для тех, кто преследовал.

Профессор ездил на днях в Мюнхен и вернулся темнее тучи: профессора Вайде до сих пор еще не собрались судить. Он проживает под домашним арестом у себя на вилле, дает интервью, принимает гостей, в том числе и американских. Кое в каких газетах уже раздаются голоса в его защиту. С одной стороны, он, видите ли, гордость немецкой науки. С другой — сам жертва нацизма, потому что это, видите ли, Гиммлер виновен в том, что Вайде производил свои изуверские опыты над узниками Освенцима и Майданека. Гиммлер его заставлял, а профессор, как мягкий и интеллигентный человек, не смел ослушаться. С третьей стороны, указывалось на то, что опыты профессора Вайде производились над людьми, которые и так были обречены, а результаты этих опытов должны были послужить делу дальнейшего развития медицины, этой гуманнейшей из наук...

Боюсь, что это только цветочки, что ягодки еще впереди.

И, кроме всего прочего, в нашем детском доме объявился свой политический барометр. Я имею в виду садовника Курта. Вчера он спросил у профессора, правда ли, что среди наших воспитанников имеются «дети коммунистов». Интонация, с которой был задан этот вопрос, знакома профессору с тридцать третьего года. Еще год тому назад Курт не осмелился бы задать такой вопрос руководителю учреждения, в котором он работает. А сейчас мы и думать не можем о том, чтобы освободиться от его неприкрытого и наглого соглядатайства. Горько сказать, но за него первым делом заступится профсоюз, не говоря уже о весьма сомнительной общественности нашей округи.

ДЕКАБРЬ, 20. Научившись новому слову, Хорстль с упоением повторяет его без конца, целый день, по любому поводу, и безо всякого повода и всем, кто ему попадается на глаза. А если никого в комнате нет, он твердит это новое слово, обращаясь к стене, двери, стулу, ящику, окошку.

Сегодня он овладел словом «мясо». Он произнес — «мяс».

За все время пребывания у нас он еще ни разу не засмеялся и не заплакал.

ДЕКАБРЬ, 28. Вчера умер от воспаления легких наш милый, веселый и озорной Густль. Он проболел ровно неделю, и всю эту неделю Хорстля нельзя было отогнать от дверей изолятора. Его пробовали увести, он ощеривал зубы и рычал. Последние двое суток он не являлся по звонку ни на завтрак, ни на обед, ни на ужин. И умер бы от голода и жажды, если бы я не поняла, что бороться с ним бесполезно и не ставила поблизости миску с молоком. Время от времени он начинал яростно царапать ногтями дверь, за которой умирал его храбрый и веселый дружок. Когда бедный Густль перестал дышать, нянька побежала за мной. Дверь осталась открытой, и Хорстль проник в изолятор. Мы застали Хорстля на четвереньках возле кроватки. Он не выл, не урчал. Лицо его по-прежнему ничего не выражало. Но в уголках его глаз поблескивали слезинки. Это были первые слезы за все время его пребывания в нашем приюте.

1948 год

ЯНВАРЬ, 7. После того, как родители Густля увезли его хоронить в Мюнхен, Хорстль несколько дней не находил себе покоя. Он ползал по дому, обнюхивал все места, где они в последнее время играли с Густлем, кроватку Густля, его стульчик, столик, на котором он сидел во время приема пищи, вешалку, на которую Густль вешал свое пальтишко.

Ночью после почти годичного перерыва он снова разбудил нас своим душу выматывающим полуволчьим-получеловечьим воем и сам ни на минуту не заснул. А в среду, когда ребята уже отходили ко сну, мы вдруг хватились Хорстля. Обшарили весь дом, не сразу догадались, что он где-то во дворе. Мы нашли его на снегу. Босой, в одном платьице он лежал, скрючившись, под той яблоней, у которой они с Густлем обычно отдыхали во время прогулок. Он посинел от холода. У него были закрыты глаза, губы лихорадочно дрожали. Через час его температура перевалила за сорок. Все симптомы показывали, что у него воспаление легких, та же болезнь, от которой умер Густль...

Только тогда, когда я его увидела на снегу, почти окоченевшего, я поняла, как привязалась к нему и как страшно мне даже подумать о том, что он может умереть.

Я не могла оставить его ни на минутку, и в Виверфорф уведомлять фрау Урсулу о беде, которая приключилась с ее сыном, поехал сам профессор. Ни баронессы, ни фон Тэраха в поместье не оказалось. Она в отъезде, в Америке, на курорте, который называется Майами.

А фон Тэрах — человек занятой. Он сейчас служит в Мюнхене в каком-то важном учреждении на какой-то важной должности.

Вчера у Хорстля был кризис. Я пришла к нему сегодня утром, перед завтраком. Он очень бледен, высох, как щепка, под глазами — круги. Руки стали совсем тоненькие, особенно в сравнении с его непомерно широкими и мощными ладонями. Когда я приблизилась к его кровати, он, совсем как любой нормальный ребенок, отодвинулся (по собственному почину!), чтобы освободить для меня место. Я присела на краешек кровати, погладила его чудесные белокурые волосы.

Он взял мою руку, положил к себе на грудь и улыбнулся слабой и доброй улыбкой выздоравливающего ребенка!

Только сегодня мне пришло в голову, что смерть Хорстля подрубила бы под самый корень хозяйственное благополучие нашего приюта.

А все-таки хорошо, что его матери не оказалось в Виверфорфе.

Она могла увезти его в какую-нибудь мюнхенскую аристократическую клинику и уже не вернуть обратно. А ему нужно еще не один год расти в большом и **дружном** ребячьем коллективе под наблюдением не просто опытного, но и **талантливого** и обязательно **доброго** воспитателя. Такого, как наш профессор.

«Хорстль еще не научился ходить по-человечески и знает всего восемь слов!» — скажет профан.

«Хорстль уже научился стоять на коленках, сидеть за столом, играть с ребятами. Со дня на день он научится стоять на ногах, и он знает целых восемь слов!» — скажет любой, кто понимает необычайную стойкость и сопротивляемость волчьего воспитания Хорстля.

ИЮНЬ, 16. Мы наблюдали сквозь замочную скважину, как Хорстль, оставшись один, тренируется в прямохождении. Сделает несколько шагов, устанет, шлепнется на четвереньки, немножко отдохнет, снова подымется на ноги, и снова трогается в путь, чуть-чуть балансируя руками, как канатоходец на веревке. Шагает и сам себе улыбается. Это человеческая улыбка. Улыбка человека, который доволен тем, что далось ему с таким трудом.

На сегодняшний день в его словаре уже девятнадцать слов. Это его активный словарный фонд. Пассивный куда больше.

СЕНТЯБРЬ, 23. Он участвует в хороводах. Прекрасная практика в прямохождении. Ему нравится быть среди ребят. Он уже давно никого не укусил, но сегодня прельстился ярко-красной деревянной игрушкой, выхватил ее из рук одной девочки и с игрушкой в зубах на четвереньках убежал в глубь сада. Бегать он умеет только на четвереньках.

НОЯБРЬ, 4. Сегодня он впервые, наконец, засмеялся! Я уронила сумку, мы с Хорстлем одновременно нагнулись, чтобы ее поднять, небольно столкнулись лбами, и он засмеялся! У него вдруг сделалось очаровательное детское личико. По крайней мере таким оно мне в этот момент показалось.

1949 год

МАРТ, 12. Он научился пользоваться ложкой.

Понемножку подсаливаем ему пищу. Привыкает. С апреля будем кормить его нормально соленой пищей.

Курт раз в месяц отпрашивается в город на собрание «фронтовых друзей». Впрочем, «отпрашивается» не то слово. Он просто ставит нас в известность уже готовый к отъезду, и мы ничего не можем сделать.

ОКТЯБРЬ, 19. Сегодня ровно три года, как Хорстль поступил в наш детский дом. Он вырос, окреп, научился по-человечески пользоваться руками, обедать, сидя за столиком, ходить (но не бегать) на ногах, спать на кровати, прикрываясь одеялом, надевать на ночь ночную сорочку, проситься по нужде на горшок, есть соленую пищу, пить из кружки, пользоваться ложкой. Он привык к детскому обществу, понимает, когда к нему обращаются с вопросами, конечно, простейшими, знает, что его зовут Хорстль. И ко всему этому он уже знает СОРОК ВОСЕМЬ СЛОВ! Он их произносит в довольно изуродованном, но все же вполне понятном виде.

1950 год

МАЙ, 2. Вчера мы устроили небольшой праздник для наших воспитанников. Водили хороводы. Более старшие танцевали, читали стихи. Потом пел хор, и Хорстль пытался подпевать. Природа ему начисто отказала в слухе.

Он смело вмешивается в любую ребячью беседу. Они выслушивают его с тем редким тактом, какой бывает только у ребят, играющих в учителей. Там, где у Хорстля не хватает слов, он пытается восполнить свою болтовню мимикой. И беспримерно счастлив, убедившись, что его понимают.

ИЮНЬ, 16. Заинтересовался волчком, которым забавлялись старшие ребята. Сказал: «Тай!»

Ему дали, и он долго и безрезультатно пытался его завести. Рассердился и стал его кусать.

1951 год

МАРТ, 5. На прогулке нашел большую кость и с наслаждением грыз ее, пока я не заметила и не отобрала.

АПРЕЛЬ, 14. Сегодня Хорстлю ровно десять лет.

По уровню своего развития он приблизился к четырехлетнему. Прибыл он к нам с развитием десятимесячного ребенка. Таким образом, за четыре с половиной года пребывания у нас он прибавил в своем развитии столько, сколько нормальный ребенок за три — три с половиной года. В дальнейшем этот разрыв будет все время сокращаться. Профессор в этом глубочайшим образом убежден. И я тоже.

— Сколько тебе лет? — спросила я его за завтраком.

— Тетять... лет... я,— ответил Хорстль.

— Значит, кому сегодня десять лет? — переспросила я.

Он ткнул себя пальцем в грудь, рассмеялся и сказал:

— Хосль!..

АВГУСТ, 21. — Хорстль,— сказала я ему перед завтраком.— Пойди к дяде (дядей он называет профессора), пойди к дяде, возьми у него ключ от холодильника и принеси мне. Понял?

— Та,— сказал Хорстль, опустился на четвереньки и помчался по коридору. Дверь в кабинете профессора была распахнута настежь. Мы так с профессором договорились. Хорстль вбежал, встал на ноги, приблизился к столу и остановился.

Профессор сделал вид, будто он углубился в чтение каких-то документов. Хорстль подождал какое-то время молча, потом сказал:

— Тя-тя!

Профессор к нему обернулся:

— А, это ты, Хорстль? Чего тебе надо?

— Куч,— сказал Хорстль.

— Не понимаю.

— Тетя, куч,— повторил Хорстль и показал пальцем на ключ, лежавший поверх стопки бумаг.

— Ах, ключ? — сказал профессор.— Тетя прислала тебя за ключом?

— Тетя,— замахал головой Хорстль.— Та, та, та, та. Тетя куч!..

Он получил ключ, взял его в зубы, вышел в коридор, опустился на четвереньки и помчался ко мне.

— Спасибо, Хорстль,— сказала я и погладила его по голове. Он уже по-прежнему стоял на ногах.

— Та! — сказал Хорстль, сияя.

СЕНТЯБРЬ, 22. Сегодня Курт напился. В будний день. На радостях. В газетах сообщают, что совет НАТО решил включить в состав Европейской армии войска, создаваемые в Западной Германии. Курт прекрасно понимает, чем это пахнет.

Он встретил меня у подъезда.

— О, фрау Бах,— сказал он, с трудом удерживаясь на ногах,— для каждого НАСТОЯЩЕГО НЕМЦА сегодня подлинно торжественный и счастливый день. И если вы, фрау Бах, НАСТОЯЩАЯ немка, вы разделите со мной эту радость!

— Фу! — ответила я, с трудом сдерживая возмущение.— От вас разит спиртом!.. Да еще в будний день...

— Нет, фрау Бах, сегодня совсем-совсем не будний день!.. Сегодня, фрау Бах, праздник! Пасха, рождество, троица, вознесение господне!.. День всех святых! Ах, если бы до него дожил бедный господин Скунс!..

Это была уж ничем не прикрытая наглость!

Дидерих Скунс — бывший владелец имения, где помещается наш детский дом. Ему здорово повезло, когда его убило во время одной из апрельских бомбежек Берлина в сорок пятом году. В противном случае висеть бы ему с петлей на шее на одной из площадей советского города Минска.

Я бы отдала год жизни за то, чтобы иметь возможность прогнать Курта ко всем чертям. Но в Мюнхене достаточно, как он изволит выражаться, «настоящих немцев», которые только ждут случая раздуть вокруг нас «патриотическую» кампанию.

— Пойдите, проспитесь,— сказала я Курту.— Вы не понимаете, что болтаете.

— Мне нельзя идти спать,— озабоченно сказал Курт.— У меня масса работы в саду.

И ушел, насвистывая, не очень, правда, громко и ясно, подлую нацистскую песенку. По его мнению, видно, еще рано распевать ее во всю глотку, но насвистывать уже можно.

ДЕКАБРЬ, 26. Вчера на елке Хорстль выступал с чтением стихов:

«Ёлоч-ка, ёлоч-ка,
Де ты не-тёшь?
Фтём-нам ли-соц-ке
Ми-няты най-тёшь».

Ребята все поняли. Хлопали. Хорстль был счастлив.

Ему скоро одиннадцать. Когда он молчит и стоит на ногах, он выглядит нормальным, миловидным, крепкосколоченным мальчиком своих лет.

Бетти оттачивает на нем свой педагогический дар. Он уже знает четыре буквы: А, Б, Ц и О.

1952 год

СЕНТЯБРЬ, 23. Ребята играли во дворе в прятки. Пятилетняя Рита упала и в кровь разбила себе коленку. Подняла с перепугу страшный рев. Хорстль, принюхиваясь к моим следам, разыскал меня на кухне, схватил за рукав и возбужденно залопотал:

— Рита бо-бо!.. Рита бо-бо!

Убедившись, что я следую за ним, он убежал во двор, время от времени оборачиваясь, чтобы удостовериться, что я не вернулась на кухню. Я подняла зареванную девочку на руки и понесла домой, окруженная толпой взволнованных ребятишек, а Хорстль шагал впереди нашей процессии, страшно довольный и важный, как полковой капельмейстер.

И снова прежнее: бежал на четвереньках, а шел впереди нас на своих на двух.

Вчера баронесса вдруг впервые за шесть лет новой разлуки с Хорстлем захотела его повидать. Заслушав мое очередное сообщение, она изъявила желание съездить к нам, чтобы хоть издали взглянуть на сына. Всю дорогу меня томили опасения: ведь если он произведет на нее достаточно приятное впечатление, она, не задумываясь, заберет его домой, с таким же легким сердцем, с каким шесть лет назад отдала его на воспитание нам, по существу, совершенно незнакомым и глубоко чуждым ей людям.

К счастью, все обошлось в высшей степени благополучно. Хорстль очень скучал по мне и ждал меня у ворот. Завидев меня, выходящей из автомашины, он кинулся ко мне на четвереньках, схватил мою руку и пылко прижал к своей груди.

Но тут из машины вышла фрау Урсула. Вид незнакомой, да еще так странно глядящей на него женщины испугал Хорстля. Он бросил мою руку и снова на четвереньках (как я была на этот раз рада этому обстоятельству!) убежал в кусты. Впрочем, он тут же высунул из кустов голову и, оттуда испуганно уставился на плакавшую в отдалении баронессу.

Она не захотела дожидаться, пока его приведут к ней, села в машину и укатила.

Тогда Хорстль вылез из кустов, снова взял меня за руку и торжественно проследовал со мною до кабинета профессора.

— Ну, как ты поживаешь, Хорстль? — спросила я его перед тем, как расстаться.

— Хошо! — сказал Хорстль.— Я хошо!

И улыбнулся чудесной мальчишеской улыбкой...

1953 год

АПРЕЛЬ, 8. После завтрака Курт, расфранченный, напомаженный, наглый, поставил меня в известность, что он отбывает автобусом в Шварцбург.

С утра весь Шварцбург был на ногах: встречали двух мерзавцев, земляков. Чрезвычайно заслуженные эсэсовцы: майор Грибль и капитан Швальбе. Милосердный советский суд приговорил их всего лишь к двадцати годам тюрьмы за преступления, за которые они заслуживали тысячекратного расстрела. Во всем цивилизованном мире подобные выродки называются военными преступниками. У нас, в ФРГ, и слов таких нет—«военный преступник». У нас они герои, патриоты, истинные немцы, страдальцы за родину — невинные жертвы «всемирного еврейско-коммунистического заговора», краса и слава нации. У нас, в ФРГ, им присвоено элегичное звание «поздно вернувшихся на родину». В самые лучшие годы Союзу лиц, преследовавшихся при нацизме, не уделялось и сотой доли того внимания, уважения и материальных благ, которые имеет этот союз массовых убийц.

В больших городах, на виду у иностранных корреспондентов власти еще стараются соблюдать какие-то приличия. В маленьких городах и деревнях этих людоедов встречают, как страстотерпцев.

Когда оба мерзавца в новехоньких, только что подаренных им автомашинах пересекли границу города, грянул колокольный благовест всех трех шварцбургских церквей. Духовые оркестры. Аплодисменты. Возгласы: «Зигхайль! Зигхайль! Зигхайль!»

Потом на площади у ратуши состоялся митинг с участием высокого гостя из Мюнхена, родственника нашего Хорстля — господина фон Тэраха.

Он поздравил доблестных эсэсовцев Грибля и Швальбе со счастливым возвращением на родину и заявил, что клевете на германских солдат надо положить конец. Затем он напомнил, что Германия окружена алчными врагами, что ей не на кого рассчитывать, кроме как на своих собственных сынов, и что история еще не закончилась и не все еще потеряно. А в заключение он сказал: «Вам пришлось страдать ради нас всех. Но теперь я приглашаю вас служить в качестве стимуляторов нашего товарищества».

«Стимуляторы» кланялись, пожимали руку господину фон Тэраху, господину бургомистру, господину начальнику полиции, господину директору гимназии.

Вечером было гулянье. Жгли фейерверк. У бургомистра был званый ужин с духовым оркестром. Шварцбуржцы попроще наливались пивом в пивных и орали песни, от которых на километры смердело эсэсовско-нацистской мерзостью.

АПРЕЛЬ, 9. Толковали с профессором насчет вчерашних торжеств в Шварцбурге. Он вздохнул:

— Существует реальная опасность, что бывшие нацисты займут большинство руководящих постов в республике.

Я сказала:

— Ошибаетесь, господин профессор. Этой опасности уже не существует.

Он фыркнул:

— Неоправданный оптимизм, фрау Бах!

— Скорее оправданный пессимизм,— возразила я.— Опасность существовала в сорок шестом году. Сейчас она уже превратилась в действительность...

Веселый у нас получился разговор.

АПРЕЛЬ, 30. Сегодня старшие воспитанники проводили последнюю, генеральную репетицию к первомайскому вечеру. Они стояли в два ряда: сзади мальчики, впереди девочки и пели «Болотные солдаты», когда вошел Хорстль. Не говоря ни слова, он пристроился к мальчикам и стал им подтягивать. Он чудовищно детонировал. Нужно было обладать железной выдержкой и горячим желанием не обидеть Хорстля, чтобы продолжать петь и не сбиться. Ребята выдержали это трудное испытание с честью. Они растут хорошими товарищами.

Кто знает, что будет с нашими мальчиками лет через пять-шесть. Ходят упорные слухи, что собираются вводить в нашей «мирной ФРГ» обязательную воинскую повинность. Забреют мальчиков в солдаты и пошлют под командованием нацистских генералов против их братьев из Германской Демократической Республики, против Чехословакии, Польши, Венгрии, Советского Союза. Горько и страшно думать об этом. Профессор — оптимист. Он считает, что до обязательной воинской повинности дело не дойдет. Он видит нечто успокаивающее в том, что Аденауэр не смеет, хотя и очень хотел бы, запретить КПГ. Боюсь, что пройдет совсем немного времени, и Аденауэр при любезном содействии наших милых социалистов посмеет. Тогда у него будут развязаны руки для любой подлости.

•

5

МАЙ, 1. Сегодня Хорстль весь день преследовал меня по пятам. Перед самым обедом я зашла в столовую, убежденная, что он разыщет меня и здесь. Так оно и случилось.

По случаю праздника каждому воспитаннику предполагалось раздать после обеда по две конфеты.

— Вот хорошо, что ты пришел! — сказала я Хорстлю.— Сбегай на кухню. Фрау Матильда даст тебе вазу с конфетами, а ты принеси их сюда. Понятно?

— Та, онятно,— ответил он, довольный таким ответственным поручением.

Вскоре он вернулся, торжественно держа перед собой на вытянутых руках вазу, полную конфет. Я не стала их пересчитывать. Я была уверена, что он не злоупотребил моим доверием, и в награду за труды подарила ему конфетку.

Вместо того, чтобы сразу ее съесть, он побежал к своим товарищам по группе и привел их в столовую, чтобы я и им дала конфет. Но порядок есть порядок. Звонка на обед еще не было, и я их выгнала из столовой. Последним покинул столовую Хорстль. Перед тем, как уйти, он подошел к своему месту за столом и оставил возле прибора конфету, которую я ему дала.

Прозвенел звонок на обед. Ребята пришли, расселись, пообедали, потом выстроились в очередь, и я каждому из них вручила по две конфеты. Получил свои две конфеты и Хорстль. Но так как одну он уже получил раньше, то он взял со стола ту, прежнюю, а одну из полученных на общем основании вернул мне. Он не считал себя вправе получить больше любого из его друзей.

Лучшего первомайского подарка для нас с профессором милый Хорстль не мог придумать.

Назовите меня сентиментальной, но я его расцеловала в обе щеки.

А настаивать на том, чтобы он все-таки взял третью конфету, я не стала. Пусть будет так, как решил этот маленький человечек. Его решение стоило ему душевного напряжения, и это было решение, достойное настоящего человека и доброго товарища.

Завтра утром приезжает наконец из Берлина доктор Бауман, врач-дефектолог, друг нашего профессора. Он погостит у нас и заодно займется дикцией Хорстля.

МАЙ, 2. Случилось ужасное, непоправимое.

В одиннадцатом часу утра в ворота въехала зашарпанная трехколесная машина. Из нее вылез господин лет сорока пяти, невысокий, плотный, широкий в плечах, с круглым улыбающимся лицом чисто выбритого деда-мороза. На нем был потертый костюм, желтые краги. Его круглую некрупную голову украшала зеленая тирольская шляпа с павлиньим перышком.

Признаться, он не очень походил на старого врача-ученого.

— Доктор Бауман? — спросила я несколько удивленно.— А мы вас ждали с двенадцатичасовым поездом.

— С вашего позволения, сударыня, не имею чести знать вашего имени — Дидерих Скунс, если это имя вам что-нибудь говорит,— отвечал незнакомец со сладчайшей улыбочкой.

— Дидерих Скунс?! — Я почувствовала, что у меня вот-вот подкосятся ноги.— Насколько мне известно, Дидерих Скунс погиб весной сорок пятого года.

— А насколько мне известно, я жив-здоров, с честью прошел святой обряд денацификации и прибыл сюда, чтобы немедленно снова вступить во владение своей законной собственностью...

Я не в силах была проговорить ни слова. У меня отнялся язык.

— ...и попросить вас,— продолжал Скунс, и вдруг голос его взвился до фальцета,— и попросить вас и всю вашу шайку немедленно освободить мое имение от вашего вонючего присутствия!..

Из сада уже мчался проклятый Курт. Лицо его выражало неземное блаженство.

— Господин Скунс!— кричал он на ходу.— Господин Скунс!.. Какое счастье!.. Если бы вы знали, что тут без вас было!.. Но я никогда не верил, что вы погибли!.. Я молил пресвятую матерь, чтобы она вас вернула сюда живым и здоровым!..

— А, Курт?— довольно холодно отозвался Скунс.— Не мешайте. Мы с вами потолкуем попозже.

— Слушаюсь, господин Скунс... Какое счастье! Боже мой, какое счастье!..

На этом записи фрау Бах прекращаются.

Теперь и ей и профессору Каллеману было не до ведения дневников. Три дня ушло на бесполезные хлопоты в Мюнхене и Бонне. Потом две с лишним недели — на то, чтобы вернуть родителям тех воспитанников, у которых были родители, и кое-как рассовать по другим приютам тех, кто были круглыми сиротами. Многих пришлось переправить в ГДР.

Это были дни, полные унижения и забот, нежных уговоров и тяжких прощаний, слез ребятишек и с трудом скрываемого горя взрослых. Об этом и о дальнейших судьбах воспитанников и воспитателей так неожиданно и стремительно закрытого детского дома «Генрих Гейне» можно было бы написать много достойного внимания и памяти. Но наша задача — не расставаться с Хорстом фон Виввером, чтобы рассказать все, что нам удалось узнать о его удивительной и горестной судьбе.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

За ним по просьбе фрау Урсулы приехал господин Гейнц фон Тэрах: фрау Урсула боялась встречи со своим сыном. Конечно, она не сказала об этом даже фон Тэраху. Но он и сам, без ее пояснений, понимал, в чем дело. Официально фрау Урсула не могла в этот день покинуть Виввердорф потому, что с минуты на минуту ожидалось прибытие с визитом — впервые после сорок пятого года! — старого друга дома баронов фон Виввер — профессора Вернера Вайде. Восторжествовала высшая справедливость. Фемиде помогли чуточку приподнять повязку с ее глаз, ровно настолько, чтобы она увидела, кто за профессора Вайде хлопочет, и смогла признать его невиновным в чем-нибудь более или менее серьезном. А за несерьезные свои провинности этот старый добряк достаточно отсидел под арестом у себя на вилле. И, конечно, один из первых его визитов по праву принадлежал баронессе фон Виввер. Само провидение посылало его фрау Урсуле в тот самый момент, когда она больше, чем когда-либо после октября сорок шестого года, нуждалась в доброжелательном совете квалифицированного врача-психопатолога, умеющего хранить доверенные ему тайны.

Нужно сказать, что поначалу Дидерих фон Скунс требовал, чтобы ему очистили его имение в сорок восемь часов. Куда девать детей? Это не его дело. У него не спрашивали, когда поселили в его доме всю эту вонючую банду.

Он стал более покладистым, когда профессор Каллеман догадался поставить его в известность, что за одним из воспитанников детского дома прибудет не более и не менее, как сам господин Гейнц фон Тэрах — один из виднейших молодых деятелей христианско-социального союза и восходящая звезда на политическом небосводе земли Бавария.

Господин Скунс пять часов проторчал на солнцепеке только для того, чтобы приветствовать господина фон Тэраха в своем имении. Фон Тэрах обратил на него не больше внимания, чем в свое время сам господин Скунс на садовника Курта, но господин Скунс был все же очень-очень польщен.

Он не поленился еще битых два часа потратить на то, чтобы дождаться момента отбытия высокого гостя и пожелать ему счастливого пути.

А пока умиленный господин Скунс потел под жарким майским солнцем, а Хорстля готовили к отъезду, господин фон Тэрах имел подробную беседу с профессором Каллеманом.

Профессор считал необходимым в целях преемственности в воспитании Хорста фон Виввера сообщить учтивому господину фон Тэраху основные принципы, которые были положены им в основу работы с мальчиком-волком. Было подчеркнуто профессором Каллеманом и принято к сведению господином фон Тэрахом, что мальчика надлежит и в дальнейшем содержать по крайней мере еще пять-шесть лет в дружном, благожелательном и тактичном детском коллективе и что следует немедленно привлечь опытного врача-дефектолога к исправлению дикции Хорстля.

Тем временем фрау Бах успела собрать нехитрый багаж Хорстля. Она его причесала, умыла, одела в праздничный костюмчик, в последний раз повязала на нем его любимый, белый с красными крапинками, галстук и осторожно приступила к разговору, которого она больше всего боялась.

Она могла расплакаться и тем самым напугать Хорстля, который, понятно, не должен был знать, что они прощаются надолго, если не навсегда. И, кроме того, мальчик мог вдруг заартачиться и не захотеть уезжать с незнакомым дядей.

— Хорстль,— решилась наконец фрау Бах,— хочешь покататься в машине?

— Та,— сказал Хорстль.— Хотю.

— Тебя покатает новый дядя. Ты его видел? Такой красивый, добрый дядя.

— Не,— сказал Хорстль.— Ты... Ты катай...

— Ты же видишь, Хорстль, я сегодня очень-очень занята. А дядя такой добрый. Он тебе привез столько красивых игрушек. Они тебе понравились?

— Та,— сказал Хорстль.

— Ты хочешь подарить игрушку Бетти?

Бетти сидела рядом с Хорстлем. Это была умненькая девочка. Она знала, что ей нельзя плакать, потому что тогда Хорстль испугается.

— Та,— сказал Хорстль, взял из коробки с игрушками темно-рыжего плюшевого медвежонка, сунул в руки Бетти, улыбнулся и сказал: — На, Бетти, медведь...

— Ну, а теперь,— сказала фрау Бах,— пока новый дядя освободится, покушай яблочко.

Она дала ему два яблока, и он одно отдал Бетти.

Потом они сидели, ели яблоки, разговаривали и ждали, пока придут за Хорстлем.

А потом господин фон Тэрах увез Хорстля в своей красивой новой американской машине.

2

Двенадцатого октября тысяча девятьсот сорок шестого года Хорстля увезли из Виввердорфа на стареньком «оппель-кадете» спеленатого по рукам и ногам, загаженного, дикого, со свирепыми глазами идиота, жутко горевшими под надвинутой на уши матросской бескозыркой. Это был мальчик-волк пяти с половиной лет с уровнем развития десятимесячного ребенка.

Восьмого мая тысяча девятьсот пятьдесят третьего года его вернули в отчий дом в роскошном «паккарде» — двенадцатилетнего, рослого, стройного, прилично одетого белокурого мальчугана с живыми и любопытными глазами нормального ребенка.

Фрау Урсула встретила его у подъезда. Она не кинулась обнимать и целовать его, так как еще накануне была предупреждена особым письмом фрау Бах, как вести себя с Хорстлем, чтобы не напугать его, а впоследствии постепенно завоевать его расположение.

— Здравствуй, Хорстль! — сказала она, стараясь придать своему голосу непринужденную приветливость доброй знакомой.

— Дяствуй,— ответил Хорстль не без настороженности.

Фон Тэрах незаметно скрылся, чтобы оставить их вдвоем.

— Хочешь эту игрушку? — спросила фрау Урсула. В ее руках была маленькая ярко-красная автомашина. Фрау Урсула, опустившись на корточки, поставила машину на широкую каменную ступеньку крыльца, легонько толкнула ее, и машина покатилась.

Хорстль, тоже опустившись на корточки, полюбовался, как она катится, и сказал:

— Хотю.

Фрау Урсула вручила ему машину, и они оба поднялись на ноги.

— А хочешь, я тебе дам еще много-много других игрушек?

— Хотю,— сказал Хорстль.

— Тогда пойдем со мною,— предложила фрау Урсула и протянула ему руку.

Так Хорстль фон Виввер впервые после октября сорок третьего года вошел в свой дом, держась за руку своей матери.

3

Они сидели в прохладной и просторной столовой — фрау Урсула, профессор и неутомимый Гейнц фон Тэрах — и с удовлетворением наблюдали, как обедает маленький барон фон Виввер. Хорстль вполне пристойно пользовался ложкой, чашкой, салфеткой. Правда, он несколько излишне звучно жевал. Но зато он уже не лакал языком из миски, поставленной на пол, не рвал зубами сырое мясо, прижав его руками к полу, не рычал.

Пообедав, Хорстль вспомнил, что он в гостях.

Он подошел к господину фон Тэраху, тронул его за рукав и потянул к двери.

— Тамой! — сказал.— Хотю тамой.

Но все было заранее предусмотрено в письме фрау Бах.

Его повели гулять, показали кроликов, покатали на пони, на качелях, и мальчик до того устал, что уже спал, когда его осторожно раздели и уложили в постель.

А тем временем его мать, профессор и господин фон Тэрах обсудили план дальнейших действий.

Профессор Вайде был полностью согласен с мнением коллеги Каллемана, которое сообщил господин фон Тэрах: мальчика нужно еще по меньшей мере пять лет держать в коллективе его сверстников. Но где найти подходящий коллектив? Школа закрытого типа? Ни в коем случае. Хорстль еще все-таки настолько уязвим для насмешек, что его там заклюют, доведут до отчаяния.

И тут господин Гейнц фон Тэрах еще раз доказал, что у него отлично варит голова.

А почему бы, сказал он, не создать на средства баронессы небольшой, но хорошо оборудованный **аристократический** приют человек этак на двадцать, ровесников Хорстля? Это должны быть сироты самых заслуженных людей, прославивших германское оружие, павших в священной борьбе с мировым коммунизмом. Любой немец почтет за честь работать в таком приюте. И знаете, как можно было бы назвать этот приют? «Виввергейм». Дом Виввера! Это звучит благородно, возвышенно. Баронесса фон Виввер не только учреждает и вкладывает фамильные средства в этот приют, но и воспитывает в нем своего единственного сына, наследника прославленного родового имени! Разве это не лучшее доказательство того, что она собирается сделать «Виввергейм» лучшим из германских воспитательных учреждений!

— А что до меня,— все больше распаляясь, продолжал фон Тэрах,— то я был бы счастлив взять на себя общее руководство воспитательной работой.

Фрау Урсула смотрела на него с благоговением.

Но оказалось, что он еще не все досказал. Господин фон Тэрах взял на себя смелость придумать, где поудобней разместить «Виввергейм», чтобы не огорчать фрау Урсулу новой разлукой с ее сыном и заодно обойтись без расходов на наем помещения. Господин фон Тэрах решается предложить приспособить для этой цели дом под зеленой крышей, тот, в котором до войны обычно располагались гости, приглашенные в Виввердорф.

— Дорогой Гейнц,— восторженно прошептала фрау Урсула,— вы гений!..

Возвращаться в Мюнхен было уже поздно. Пока для фон Тэраха и профессора Вайде готовили комнаты, они сидели с фрау Урсулой в уютно освещенной маленькой гостиной.

За окном только что отшумел теплый весенний дождь. Выглянула луна. Открыли окно. Из сада веяло ароматом цветов и покоем.

И вдруг пронзительный мальчишеский вопль взорвал уютную тишину ночи.

4

Минут за пять до этого Хорстль фон Виввер проснулся в своей комнате. Ему срочно требовалось провернуть одно небольшое дельце. Любой другой мальчик ночью в совершенно незнакомом доме оказался бы в безвыходном положении. Хорстля выручило обоняние.

Нам бы не хотелось, чтобы у читателя создалось необоснованное впечатление, будто дом баронов фон Виввер не содержался в надлежащей чистоте. Но у Хорстля было тончайшее, поистине нечеловеческое обоняние, и оно его без лишних проволочек

привело прямо в туалетную комнату. И оно же несколькими минутами позже чуть не свело на нет многолетние труды фрау Бах и профессора Каллемана.

Уже возвращаясь в свою комнату, Хорстль был заинтересован слабым, но чем-то хватающим за сердце запахом. Он побрел на этот запах по скудно освещенному коридору. С каждым шагом запах становился все более четким и волнующим, пока не привел Хорстля к неплотно закрытым дверям библиотеки.

Учащенно раздувая свои и без того широкие ноздри, мальчик нерешительно раскрыл дверь и вошел в большое, щедро залитое лунным светом помещение.

В нескольких шагах от двери у подножия массивного кожаного кресла серебрилась в лунном свете большая, богато отделанная волчья шкура — давний дар обер-фельдфебеля Гуго Вурма.

У Хорстля потемнело в глазах. Страшно медленно, на негнущихся ногах приблизился он к креслу, с воплем грохнулся на шкуру и прильнул к ней всем телом, уткнувшись лицом в мягкую, теплую, густую, но уже пахнувшую тленом шерсть.

5

Фон Тэрах вбежал в библиотеку первым. Он зажег электричество и бросился поднимать Хорстля. Мальчик покорно встал. Он был очень бледен. Взгляд его был обращен вниз, на окантованную красной материей шкуру.

Со стен библиотеки на него недовольно смотрели предки в золоте эполет, в блеске рыцарских лат, в средневековых шлемах и лакированных касках го-

генцоллерновской Германии, во фраках,с широкими орденскими перевязями и в усыпанных орденами гвардейских мундирах в рюмочку, предки с бритыми и предки с бородатыми физиономиями, предки с бакенбардами и предки с усами, кончики которых были лихо закручены кверху а-ля Вильгельм Второй; на него жеманно щурились с потемневших портретов бабки, прабабки, прапрабабки в шелках, парче и бархатах, увешанные драгоценностями, как веригами, в кринолинах, в мантильях, в шубках, в строгих, подпоясанных под самой грудью платьях наполеоновских времен, в старательно завитых буклях, в пышных пудреных париках, в громоздких, многоэтажных сооружениях из своих и покупных волос.

Но Хорстль их не видел. Он видел только большую серую шкуру на тускло поблескивающем темно-рыжем паркете и ничего больше: ни фрау Урсулы, ни господина фон Тэраха, ни профессора, ни слуг, выглядывавших из-за их спин. Только шкуру волчицы.

— Хорстль! — сказала фрау Урсула.— Что с тобой, мой мальчик?

— Мамм-мма! — чуть слышно промолвил он и снова упал на шкуру.

И фрау Урсула поняла, что сын, произнося это слово, имел в виду не ее.

В этот миг, склонясь над обеспамятевшим Хорстлем, баронесса Урсула фон Виввер жестоко, смертельно и безнадежно ревновала своего сына к давно пристреленной безымянной волчице.

— Я себе этого никогда не прощу,— сказал фон Тэрах.— Надо было еще вчера убрать ко всем чертям эту мерзкую шкуру!.. Для мальчишки это такая травма!..

— Вряд ли даже вы с вашим острым умом представляете себе всю опасность этой травмы,— отвечал ему профессор шепотом, чтобы не услышала фрау Урсула.— Как бы не пошли насмарку все семь лет трудов Каллемана... Или этот нервный удар пройдет совершенно бесследно. Или регресс и, к сожалению, полный...

— Вы хотите сказать, что неполный регресс вас бы устроил?

— Вот именно... Было бы совсем неплохо, если бы можно было стереть из памяти мальчика все, что он приобрел в пределах последних двенадцати месяцев.

— Простите, но я вас не совсем понимаю, профессор.

— А разве вам не бросилась в глаза во время ужина одна неприятная деталь?

— То, что он чавкал?

— То, что он благодарил лакея каждый раз, когда тот подавал ему блюдо. Господин, благодарящий лакея!..

Хорстля уложили в постель, побрызгали ему в лицо водой, и он пришел в себя. Он лежал (на спине, а не скрючившись на боку, с коленями, подогнутыми к самому подбородку, и это уже было хорошей приметой) бледный, обессиленный, безмолвный. Губы у него дрожали. Глаза что-то искали. Его трясло.

— Теперь для мальчика самое главное — спать, спать и спать! — сказал профессор.— Будем лечить его сном.

Хорстлю дали снотворного, и он заснул.

А злосчастную шкуру тут же в библиотеке густо пересыпали нафталином, чтобы ее не потратила моль и чтобы заодно начисто отшибить ее натуральный запах, скатали в рулон и спрятали под замок в сарае среди всякой пыльной рухляди.

6

Хорстль встал задумчивый и вялый и сразу направился в библиотеку.

Как и прошлой ночью, высилось на прежнем месте тяжелое кожаное кресло, но шкуры возле него не было. И ею даже не пахло, как Хорстль ни раздувал ноздри. Библиотека благоухала нафталином.

Из библиотеки Хорстль нерешительно вышел в коридор. Раздувая ноздри и старательно принюхиваясь, он обошел одно за другим все помещения отчего дома и не нашел того, что искал.

Дверь из холла в парк была открыта. Хорстль вышел в парк. Он шагал медленно, сторожко, то и дело останавливаясь, чтобы с силой втянуть в себя воздух.

Выйдя из ворот, Хорстль свернул налево.

Ему дали дойти до шоссе. Дальше пускать его было опасно: шоссе кишело американскими военными грузовиками, «джипами», немецкими машинами. Но Хорстль и сам не рискнул выйти на шоссе. Он сел на травку и стал с напряженным вниманием следить за движением машин. Ему было внове это зрелище, и оно, видимо, его занимало. Приятный симптом!

Тогда вышли из укрытия фон Тэрах и профессор Вайде.

И фон Тэрах не нашел ничего умнее, чем предложить:

— Хочешь, Хорстль, мы тебя покатаем в машине?

— Та,— встрепенулся Хорстль.— Хотю... Та!.. Тамой... Хотю там!.. Бетти... тетя, тятя...

И указал в ту сторону, откуда его вчера привезли.

Он плакал, упирался, вырывался из рук. С ним пришлось порядком повозиться, пока он позволил отвести себя обедать. В молоко подмешали снотворного. Он спал до ужина. После ужина он снова плакал и просился «тамой». И снова пришлось пустить в ход снотворное.

Таким образом, наметилась первая и нелегкая задача: заставить мальчика забыть о своих друзьях.

Ему создали компанию из местных мальчиков, возраст которых колебался между восьмью и десятью годами. Их кормили вместе с Хорстлем, они с ним играли с утра до вечера, почтительные, напуганные богатством и титулом их нового товарища. Каждое утро, отводя своих сыновей в господский дом, родители заклинали их не забывать о том, что им оказана великая честь. Умный мальчик должен быть к господину барону почтительным и, упаси боже, не давать сдачи, даже если его светлости угодно будет его разок-другой ударить.

Но его светлости не было угодно ударить. Фрау Бах научила его, что сильный никогда не должен бить слабого. А Хорстль был в этой компании не только самым старшим по годам, но и самым сильным. Ведь он столько лет передвигался на четвереньках, и у него были очень сильные руки. Он никого не трогал. Это радовало родителей его новых дружков и огорчало профессора Вайде и господина фон Тэраха. Во-первых, потому, что, по его убеждению, любой немецкий мальчик должен быть агрессивен. Немецкий мальчик не должен ждать, пока его ударят. Он должен всегда быть готов ударить первым. Во-вторых, потому, что Хорстль был совсем не любой немецкий мальчик. Он должен с детских лет привыкнуть к тому, что рожден быть господином, повелевать теми немецкими бывшими

мальчиками, которые рождены для того, чтобы почитать своих хозяев и повиноваться им самозабвенно, с истинно прусским упоением. А у Хорстля проскальзывали тревожные симптомы низкопробного плебейского демократизма. Мальчикам его круга и его лет уже свойственно проявлять волю к власти, а Хорстль не проявлял.

Мальчики научились не смеяться над его младенческой дикцией, а потом и сами стали говорить, как он, исковерканными словами, коротенькими, неуклюжими фразами. И они, возможно, и вовсе разучились бы правильно говорить, если бы 27 июля не открылся наконец пансионат для сирот заслуженных лиц германской расы под гордым названием «Виввергейм».

На торжественное открытие понаехало из Мюнхена множество важных особ, в том числе несколько высших чинов американской военной администрации. Молебен служил один из самых блестящих прелатов Мюнхенской епархии. Все двадцать воспитанников «Виввергейма» были выстроены в четыре ряда и пели ангельскими голосами. Они были в новехоньких форме, придуманной для них самим господином фон Тэрахом. Хорстль стоял в заднем ряду, единственный двенадцатилетний среди девятнадцати девятилетних мальчиков. Он выделялся среди них ростом и чудовищным отсутствием слуха. К тому же он не знал ни одной молитвы. Но он, как мы уже знаем, обожал подпевать. Его густой и красивый альт то и дело выскакивал из слаженного хора, как мощный чертополох над грядкой с салатом.

Это было в высшей степени трогательно и непередаваемо смешно.

Дом под зеленой крышей после капитальной перестройки вонял олифой и паркетной мастикой. В дортуарах воспитанников ждали двадцать новехоньких коек, заправленных с суровым щегольством прусских кадетских корпусов. В классных комнатах застыли в полной боевой готовности батареи черных, отполированных до мраморного блеска парт. На стенах залегли на исходных позициях «изречения великих немцев». Девять отрядов цифр держали железное равнение на крупнокалиберной таблице умножения. Она подавляла своей достоверностью висевшую рядом с нею карту Германии. Эта карта шла в описи имущества «Виввергейма» под рубрикой «географические карты», что было большой натяжкой. Скорее ее можно было бы назвать игральной картой, одной из тех, что изготовлены были для обреченной на проигрыш азартной игры, в которой ставкой будет само существование немецкого народа.

Над парадным входом, поверх вывески с единственным словом черным по красному — «Виввергейм», горделиво высился щит с фамильным гербом баронов фон Виввер.

Геральдический черный орел, широко распахнув негустые зубчатые крылья, парил на серебристом фоне. В одной лапе он держал золотой меч, в другой — черную цепь. Вокруг щита узорчатой готической вязью было выведено: «Честь, беспощадность и послушание» — девиз четырнадцати поколений баронов фон Виввер.

Мы говорим «четырнадцати» потому, что единственный представитель пятнадцатого — барон Хорстль фон Виввер еще понятия не имел ни о своем родовом гербе, ни о своем родовом девизе, ни о том, что такое барон.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

О том, что происходило с Хорстлем фон Виввером с 27 июля пятьдесят третьего года, когда впервые открылись двери «Виввергейма», и по 27 июля шестьдесят пятого года, когда на мюнхенском стадионе Федеральных волчат состоялись международные состязания, приуроченные к двенадцатилетнему юбилею этого примечательного учебного заведения, придется рассказать более кратко и отрывочно, чем хотелось бы. Особенно о первых десяти годах. Потому что только немногое, касающееся этого периода, дошло до нас с полной достоверностью.

Доподлинно известно, например, что потребовалось около четырех лет, чтобы выкорчевать из памяти Хорстля все, связанное с детским домом «Генрих Гейне» и его обитателями. Поначалу осторожные, а потом все более и более прямые контрольные упоминания о фрау Бах, Каллемане, Беттн и других его давних воспитателях и друзьях уже к сентябрю пятьдесят седьмого года наталкивались на полное равнодушие юного барона фон Виввера.

Примерно столько же времени потребовалось, чтобы отучить Хорстля от того, что господин фон Тэрах называл «отвратительным плебейским демократизмом». Четыре года Хорстлю вдалбливали в голову, что он не кто-нибудь, а барон фон Виввер; что он не только единственный знатный, но и самый богатый из всех, кто пребывает в «Виввергейме», что он хозяин и «Виввергейма», и «Виввердорфа», в котором «Виввергейм» расположен, и еще одного большого имения (к сожалению, в Восточной Пруссии), и двух больших фабрик, и уймы ценнейших акций самых могущественных монополий и т. д. и т. п.

У Хорстля не хватало жизненного опыта, чтобы понять, что такое богатство, знатное происхождение, собственность, тем более акции. Но, что он почему-то не такой как все, а единственный, имеющий право на всяческие поблажки, до него в конце концов все-таки дошло.

Хуже было с исправлением дефектов его речи. «Центр Брока» — тот самый участок задней части третьей лобной извилины левого полушария головного мозга, который ведает речевыми движениями, упорно и успешно отбивал все атаки и хитрые обходные маневры, предпринимавшиеся лучшими врачами-дефектологами Мюнхена, Бонна и Франкфурта-на-Майне.

Да и самый словарный фонд рос у Хорстля удручающе медленно: всего сто сорок три новых слова за первые три года! Менее пятидесяти слов в год!

А без расширения активного и пассивного словарного запаса не мог нормально расти и уровень его умственного развития. Получался своеобразный заколдованный круг. И так продолжалось, пока в «Виввергейме» не ввели военного обучения.

Помогло то совершенно не предусмотренное дефектологией обстоятельство, что военные команды произносятся нараспев. Преподавателю военных дисциплин (впоследствии также и помощнику воспитателя) господину Фохту посчастливилось обнаружить, что Хорстль, совсем как заики, нараспев легко произносит слова, недоступные для него при обычном разговоре. А так как виввергеймовцы проходили военные предметы по программам для унтер-офицерских школ, то Хорстль, в буквальном смысле этого слова припеваючи, без особого труда выучил наизусть, и очень мило нараспев произносил все положенные по программе многочисленные команды, и уже к исходу четвертого года пребывания в «Виввергейме» свободно ориентировался во всем круге понятий, положенных западногерманскому унтер-офицеру запаса.

Таким образом, всего только спустя год после введения в программу «Виввергейма» военных дисциплин Хорстль пополнил свой словарный фонд четырьмястами сорока двумя военными словами и выражениями, включая такие абстрактные понятия, как «Германия в ее естественных границах», «раса господ», «уготованное возмездие», «германский порядок» и «божественное предназначение».

Приблизительно тогда же опыт господина Фохта был распространен и на преподавание других предметов. Заметно ускорился рост и общегражданского словарного фонда Хорстля, и все же юный барон заметно отставал от своих школьных товарищей.

Успели закончить курс и покинуть «Виввергейм» воспитанники первого набора. Их сменили девятнадцать новых мальчиков в возрасте десяти-одиннадцати лет, то есть того возраста, на котором Хорстль остановился в своем развитии.

Но он вскоре безнадежно отстал почти по всем гражданским предметам и от воспитанников второго набора. Пришлось выделить его из группы. С ним занимались отдельно, но с очень малым успехом.

Единственное, в чем он успел по-настоящему, кроме военной и политической подготовки,— это в искусстве прямохождения и, если допустим такой неологизм, прямобегания.

2

Мы позволили себе несколькими строками выше упомянуть об известных достижениях Хорстля в политической подготовке. Нам хотелось бы, чтобы читатель почувствовал всю условность этой формулировки. Точнее было бы, пожалуй, назвать это политической дрессировкой...

3

Раза два в неделю фон Тэрах наезжал из Мюнхена, чтобы повидаться с фрау Урсулой и заодно поинтересоваться, как обстоят дела в «Виввергейме». Его дружба с баронессой давно уже перестала быть тайной для всех, кто хоть в какой-то степени интересовался личной жизнью одного из влиятельнейших политических деятелей Мюнхена. Теперь они оба не скрывали, что их брак — дело решенное. Поговаривали даже, что Хорстль — незаконный сын фон Тэраха, но это, конечно, было досадным преувеличением. Гейнц фон Тэрах был всегда и при всех обстоятельствах в высшей степени осторожным человеком и никогда не терял над собой контроля.

В тот вечер он с удовольствием и с пользой для дела присутствовал на киносеансе для воспитанников.

Показывали «Восхождение на Голгофу» — фильм о подвигах и страданиях в сибирском плену храбрых, великодушных, рыцарски благородных и глубоко несчастных пленных эсэсовцев.

Трудно перечислить, сколько подобных кинокартин показывали виввергеймовцам, но каждый раз воспитанники идеально реагировали на них. Вот и сейчас кой у кого подозрительно покраснели веки, и это с удовлетворением отметил фон Тэрах, лишь только зажгли свет.

— Друзья мои,— обратился фон Тэрах к воспитанникам,— могу ли я попросить вас задержаться ненадолго? Мне хотелось бы вас кой о чем расспросить.

Он взял у помощника воспитателя список воспитанников.

— Ну, вот хотя бы для начала Гуго Дица.

Гуго Диц встал.

— Скажи нам, Гуго, кто твой отец? Чем он занимается?

— Мой отец был гауптштурмфюрером войск СС, господин фон Тэрах.

— Был?! — притворно удивился фон Тэрах, который тщательно, никому не препоручая, сам отбирал кандидатов в «Виввергейм».— Разве он умер?

— Мой отец убит в тысяча девятьсот сорок третьем году в России. Его убили партизаны.

— Это ужасно, мой друг. Ну, а твой отец кто, Фриц Мейснер?

— Мой отец был гебитскомиссаром в Польше, господин фон Тэрах.

— Тоже был? Он давно умер, бедный Фрицль?

— Поляки его повесили в сорок пятом году. Русские его поймали и передали полякам, а поляки его повесили.

— Бедный страдалец! Теперь я позволю себе задать тот же вопрос Вильгельму Ахенбаху.

— Мой отец был унтерштурмфюрером СС.— Мальчик произнес чин своего отца с некоторым смущением. Ему было неудобно, что у его отца был такой маленький чин.— Он был еще совсем молодой, когда его убили русские военнопленные. Он служил в охране Освенцимского лагеря, и они его убили, когда взбунтовались.

Оказалось, что и у остальных воспитанников отцы погибли или от рук партизан, или по приговорам военных судов в Советском Союзе, Польше, Чехословакии, Югославии.

Хорстль сидел потрясенный: до него впервые дошло, что все его товарищи осиротели по вине врагов Германии, потому что одно дело — смотреть в кино русские, польские и всякие иные славянско-коммунистические зверства, а совсем иное — видеть тут же, в своем доме, совсем рядышком живых, всамделишных мальчиков, которые так непоправимо пострадали от партизан и коммунистов.

— Бедные мои друзья,— с чувством подвел итог фон Тэрах,— как видите, у всех нас один и тот же враг. Вам нужно хорошо учиться, закалять себя, чтобы, когда придет время, отомстить за своих храбрых отцов. А родина никогда не забудет ни их, ни вас, ни все остальные жертвы, которые она понесла от хищного и алчного врага...

Хорстль сидел потрясенный...

4

На другой день после демонстрации «Восхождения на Голгофу» воспитанники играли только в одну, совершенно новую игру: они ловили партизан и пристреливали их на месте холостыми выстрелами. Когда это им несколько приелось, Вилли Ахенбах предложил хоть одного партизана повесить. Это была прекрасная идея. Хорстль побежал доставать веревку, а мальчики тем временем раздобыли картонку, большими буквами изобразили на ней слово «ПАРТЕЗАН» и за два яблока наняли на эту неблагодарную роль маленького Фридля, сына прачки. Хорстль принес веревку, ее перекинули через сук первого попавшегося дерева и вздернули Фридля под крики: «Зигхайль! Зигхайль! Зигхайль!»

Но казни не получилось, потому что виввергеймовцы тогда еще не знали, что их отцы, вешая партизан, предварительно намыливали веревку.

Зато получился неслыханный скандал. На вопли несчастного Фридля набежал народ. Мальчика вынули из петли полузадохшегося, с посиневшим лицом. Пришлось дать отступного матери Фридля, чтобы она не доводила дела до суда. А воспитанникам объяснили, что партизан для повешения надо искать не в Виввердорфе, а на Востоке, когда дело дойдет наконец до войны. И, кроме того, им указали, что «партизан» пишется через «и», а не «е». Впрочем, последнее Хорстля не касалось. С грамотой у него обстояло из рук вон плохо.

Вот, пожалуй, и все, что мы можем сообщить достоверного о первых десяти годах пребывания Хорстля в «Виввергейме».

И вдруг в какие-нибудь полчаса он из предмета презрительного сострадания немногих знавших его людей превратился в предмет восхищения десятков и сотен тысяч.

Случилось это в Мюнхенском зоопарке теплым и ясным вечером 14 сентября тысяча девятьсот шестьдесят третьего года.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

В тот день впервые за все годы существования «Виввергейма» воспитанников решились свозить в зоопарк. Помощник воспитателя господин Фохт — человек положительный и волевой — был перед отбытием автобуса в Мюнхен снова и снова предупрежден: ни в коем случае не забираться с воспитанниками в тот сектор зоопарка, где расположены клетки с волками.

Волки, гиены, шакалы, енотовидные собаки, австралийские динго были размещены на отдаленной и обособленной площадке, так что господину Фохту не стоило труда выполнить это странное указание. К тому же воспитанников нельзя было оторвать от клеток с обезьянами, попугаями, львами, тиграми, медведями, особенно белыми, от вольеров, за которыми покачивались медлительные громады слонов. О волках никто и не вспомнил. Даже Хорстль.

Они весело расселись за столиками ресторана, чтобы подкрепиться перед тем, как отправиться в обратный путь, когда парк внезапно захлестнул будоражащий рев сигнальной сирены.

Виввергеймовцы, конечно, сразу высыпали из ре-

сторана, чтобы посмотреть, в чем дело. Толпа насмерть перепуганных мужчин, женщин и ребят с криками: «Волк!», «Волк!», «Спасайтесь! Из клетки выскочил волк!», «Вон он, вон он!» — ворвалась в спасительные двери ресторана и вмиг заполнила его до отказа. Когда послышался треск и грохот раздавленной мебели и разбитой посуды, хозяин приказал запереть двери.

Семнадцать виввергеймовцев из двадцати, к великому их удовольствию и к великому ужасу господина Фохта, остались по ту сторону дверей, на открытой террасе. И как раз в тот момент, когда за их спинами щелкнул дверной замок, вдали показался волк.

Они увидели, как там, у самого начала главной аллеи, его пытались окружить служащие зоопарка и как он вырвался, прибавил шагу и понесся прямо по аллее, между двумя тесными рядами клеток. Взбудораженные сиреной, ревом, гулом и топотом бегущей толпы, звери в этих клетках уткнулись мордами в зазоры между железными прутьями и выли, кричали, ревели, визжали.

А волк бежал среди этого адского гама, неслышно ступая сухими и могучими лапами, соскучившимися по дальним многочасовым переходам, матерый, поджарый, с поджатым хвостом и прижатыми к голове ушами, дикий, сильный, страшный, но, по существу, неопасный. Ему было не до людей. Он хотел только одного: чтобы ему не мешали убежать. Вот разве только если кто осмелится встать на его пути, тогда уж пусть пеняет на себя.

Все, кому не удалось забиться в ресторан, прижались к его стенам, поняв, что беглецу не до них.

И вдруг молодой человек, красивый, рослый, совершенно безоружный и никакого отношения к администрации зоопарка не имеющий, кинулся по пустынной аллее навстречу волку.

Это был безумный и бесцельный поступок, и он сам по себе заслуживал не столько восхищения, сколько порицания за ненужную игру со смертельной опасностью. Но была в нем одна подробность, превращавшая его из глуповатой трагедии в фарс: молодой человек мчался навстречу волку на четвереньках! Под его напряженно вытянутой вперед крепкой и загорелой шеей смешно и жалко болтался щегольской шелковый галстук. Пышная белокурая шевелюра при каждом его скачке взметалась, как конская грива.

Когда между ним и волком осталось всего несколько метров, свидетели этой невероятной сцены, даже бесстрашный господин Фохт, зажмурились, чтобы не видеть того ужасного и неотвратимого, что должно было свершиться мгновением позже.

Но они прождали в этом страшном напряжении секунду, две, три, но не услышали ни жуткого человеческого вопля, ни кровожадного волчьего рычания.

Тогда они решились, опасливо приоткрыли глаза и увидели такое, чего, конечно, не мог ожидать ни один человек на земле: огромный волк и отчаянный молодой человек, все еще остававшийся на четвереньках, дружелюбно и спокойно обнюхивали друг друга!

Волк лизнул вспотевший лоб молодого человека, а тот в ответ лизнул волка в морду, нет, не в морду, а прямо в его чуть приоткрытую пасть, из которой торчали могучие желтоватые клыки. Лизнул и пошел себе на четвереньках, и не оглядываясь, туда, где за дальним углом, на тесноватой площадке поблескивала толстыми железными прутьями опостылевшая клетка беглеца. А волк как ни в чем не бывало трусил рядом с ним, спокойно вслед за молодым человеком вошел в клетку, устроился поудобней на полу и стал урча уписывать свой ужин. А молодой человек некоторое время посидел возле него на корточках, затем погладил его по холке, нагнулся, лизнул в окровавленную морду и, не торопясь, вышел на волю. Дверь ему, на сей раз уже с должной осторожностью, приоткрыл, и тут же захлопнул, и запер не столько даже перепуганный, сколько пораженный служитель.

У клетки сгрудились сотни свидетелей этого небывалого события. Они встретили молодого человека восторженными криками и рукоплесканиями, но он не обратил на них никакого внимания. Он подошел к клетке, которую только что покинул, просунул перепачканную песком руку между прутьями ее решетки и на прощание снова погладил волка. А тот не откусил эту руку, и не зарычал, и не ощерил свои острые зубы. Волк прижался к ней щекой, ласково потерся о нее и продолжал рвать на части и глотать кровавое мясо, составлявшее его вечерний рацион.

Это был уже немолодой волк. Его привезли в зоопарк в сорок седьмом году. Возможно, он был отцом нескольких поколений сводных братьев барона Хорстля фон Виввера, когда тот еще не расстался со своей матерью-волчицей. Или бегал с ними когда-то в одной стае. Все может быть. Но скорее всего он просто почуял, что все поры безволосой шкуры прискакавшего ему навстречу существа крепко и прочно, на долгие-долгие годы пропахли неистребимым и милым волчьим запахом.

Откуда-то возникли репортеры, фотографы, ослепляя молодого человека вспышками своих «блицев», щелкали затворами фотокамер.

Но герой этого фантастического события, видимо, не понимал, чего от него хотят репортеры. Он бросал на них исподлобья диковатые и недружелюбные взгляды и молчал.

А господин Фохт понял, что лучше всего будет, если отвечать на их расспросы будет он, а не Хорстль.

— Его фамилия? — спросили господина Фохта репортеры.

— Барон Хорстль фон Виввер,— надменно ответил господин Фохт.

— О-о-о!.. Господин барон приезжий?

— Он проживает в родовом имении Виввердорф со своей матерью баронессой фон Виввер.

— А отец господина барона?

— Господин генерал-майор барон фон Виввер геройски погиб в сорок третьем году.

— О-о-о! Герой и сын героя!.. Это прекрасно!.. Это возвышенно!.. Это великолепно!.. Нельзя ли попросить господина барона сказать несколько слов читателям нашей газеты? Что-нибудь о великом будущем нации, рождающей такие плеяды героев?

— Вы же видите, господа, барон устал... После такого нечеловеческого усилия...

До самого автобуса за ними следовала восторженная толпа, а Хорстль шел странно-задумчивый, чему-то улыбающийся и ни на кого не обращал внимания. Даже на восхищенно шушукавшихся соучеников. Даже на господина Фохта, которого он все же несколько побаивался.

Молчаливый и задумчивый сидел он в автобусе, который вез теперь уже возбужденно галдевших мальчиков домой, в «Виввергейм». У двери на заднем сиденье трясся господин Фохт и мрачно прикидывал в уме, что ему будет от начальства за то, что он, испугавшись волка, не удержал проклятого барончика от его идиотского поступка. Подумать даже страшно, чем это могло завершиться!

И как господин Фохт ни прикидывал, все получалось плохо, в высшей степени плохо. Дело пахло увольнением с самой уничтожающей характеристикой.

Но вопреки его опасениям все обошлось более чем благополучно.

2

В ту ночь баронесса Урсула фон Виввер в последний раз легла спать несчастнейшей из матерей Западной Германии, чтобы на утро проснуться самой счастливой из матерей.

Были и среди предыдущих поколений фон Вивверов люди, которые приходили к своей славе после долгих лет прозябания. Были полуидиоты, прославившие впоследствии умницами и государственными мужами, бездарные солдафоны, ставшие за выслугой лет высокопоставленными полководцами. Но ни один из предков Хорстля ни по отцовской, ни по материнской линии не совершил в несколько часов столь головокружительного взлета из полной и заслуженной безвестности до поистине всенародной славы. Еще вчера он был предметом тщательно скрываемого позора и отчаяния этой древней фамилии. Сегодня он стал ее гордостью, самой высокой ее вершиной, ее знаменем и славой. И не потому, что в нем внезапно открылись великолепные, ранее не замечавшиеся за ним доблести, а потому, что его удручающие и почти неисправимые недостатки вдруг обернулись вдохновляющими достоинствами.

В вечерних мюнхенских газетах, вышедших часа через два после удивительных событий в зоопарке, о поступке Хорстля рассказывалось с веселым репортерским изумлением, в утренних — с пафосом. В вечерних о нем еще говорилось в рубрике происшествий, а в утренних — в передовых статьях. В вечерних немало места было уделено критике порядков в зоопарке, при которых дикий зверь может выскочить из клетки прямо в толпу посетителей, в утренних — еще большее место посвящалось выводам, которые из поразительного по своему бесстрашию и продуманности поведения молодого барона фон Виввера должны были бы сделать для себя тысячи и тысячи немецких юношей, если они хотят быть достойными высокого звания Молодого Немца.

Бывалые читатели газет, бывалые радиослушатели и телезрители догадывались, что вокруг случая в зоопарке разворачивается нечто большее, чем обычная возня с сенсационным происшествием. Самые бывалые понимали, что из молодого барончика пытаются сфабриковать национального героя. Самые информированные догадывались, что это затея христианско-социального союза. Самые избранные знали, что она задумана и проводится в жизнь такими опытными, набившими руку дельцами, как Гейнц фон Тэрах и профессор Вайде.

Приведенные выше догадки делали честь их авторам. Этот блистательнейший из политических экспромтов был придуман и обдуман в главнейших его деталях Гейнцем фон Тэрахом, в то время, когда они с профессором Вайде вечером четырнадцатого сентября мчались в его могучей американской машине из Мюнхена в Виввердорф.

Они торопились. С минуты на минуту туда должны были нагрянуть репортеры с целой кучей деликатнейших вопросов. От того, кто и как на эти вопросы ответит, зависело, останется ли случай в зоопарке забавной, но преходящей сенсацией или ляжет первым камнем в фундамент новой и мощной организации национально-активной немецкой молодежи.

На всякий случай фон Тэрах еще до отъезда созвонился с Виввердорфом и предупредил, что скоро будет и чтобы без него никто ни в какие разговоры с газетчиками не вступал.

Их наехало так много, что пришлось устроить форменную пресс-конференцию. Она состоялась в полуосвещенном по случаю позднего времени актовом зале «Виввергейма».

3

Мы имеем возможность предложить вниманию наших читателей завизированный господином фон Тэрахом официальный отчет об этой пресс-конференции.

«Господин Гейнц фон Тэрах предлагает господам журналистам задавать вопросы. Как воспитатель и долголетний старший друг барона Хорстля фон Виввера, он может дать столь же исчерпывающие ответы, как если бы отвечал сам барон.

ВОПРОС. Нельзя ли было бы пригласить на нашу собеседование молодого героя сегодняшних событий?

ОТВЕТ. К сожалению, это невозможно. Барон фон Виввер спит.

ВОПРОС. Так рано? Еще нет и половины двенадцатого.

ОТВЕТ. Барон Хорстль фон Виввер придерживается строжайшего распорядка дня. Что бы ни случилось, он ложится спать точно в двадцать два тридцать. Он полагает, что это долг каждого молодого немца. Без строжайшего соблюдения порядка дня не может быть здоровой немецкой молодежи. Без здоровой молодежи нет сильной армии. Без сильной армии мы беззащитны перед лицом коммунистической агрессии.

ВОПРОС. Можно ли рассчитывать на то, что барон согласится выступить завтра вечером перед нашими телезрителями?

ОТВЕТ. Бесспорно. Но я обязан предупредить вас, что барон чрезвычайно немногословен. Господин барон убежден, что многословие было одной из основных причин национальной катастрофы сорок пятого года. Он полагает, что не слова сейчас нужны, а дела, решительные, продуманные и всеобъемлющие. Вряд ли он скажет завтра телезрителям больше двух-трех слов. Но я уверен, что это будут слова, полные высокого смысла.

ВОПРОС. Можете ли вы, господин фон Тэрах, сказать что-нибудь о так называемом «Хорстльшпрахе»? (Смех в зале.) Ходят слухи, что этот так называемый язык, получивший распространение среди некоторой части нашей молодежи, имеет своей родиной «Виввергейм».

ОТВЕТ. Полагаю, что смех, который мы только что слышали, основан на недоразумении. (Голоса: «Слушайте, слушайте!») То, что получило в некоторых кругах нашей нации название Хорстльшпрахе, действительно ведет свое происхождение из учебного заведения, в стенах которого мы сейчас с вами находимся. Барон Хорстль фон Виввер впредь до окончательного и полного воссоединения германской нации не желает пользоваться тем немецким языком, который скомпромотирован, по его глубокому убеждению, коммунистами восточной зоны и прочими антинациональными элементами. Воспитанники первого набора нашего учебного заведения после окончания курса стали пропагандистами этого энергичного, лаконичного и антикоммунистического варианта немецкого языка среди широких кругов патриотической, активно настроенной молодежи. (Аплодисменты.)

ВОПРОС. Можно ли на основании дружелюбных отношений, установившихся сегодня между бароном и бежавшим из клетки волком, говорить об особых его симпатиях к этому отряду хищников?

ОТВЕТ. Безусловно. По мнению барона фон Виввера, равно как и по моему, многие черты характера и поведения волков глубоко симпатичны и достойны подражания. В связи с этим совсем не случайно, что для той организации немецкой молодежи, о которой мы с ним уже давно мечтаем, придумано название «Федеральные волчата». (Голоса: «Слушайте, слушайте!») Каковы же бесспорно привлекательные черты волчьего характера и поведения? Прежде всего то, что волки не терпят слабых. Даже в собственной стае. Любовь к слабым аморальна. Она демобилизует и расслабляет сильных — опору нации господ. Волки осторожны. Они умеют выжидать и выбрать момент прыжка, который должен решить бой с врагом. У них есть воля к власти, а без воли к власти нет победы. Волки скрытны и высокоорганизованны. Они легко проделывают большие переходы, ступая в след первому, главному волку, так что даже опытным охотникам трудно определить, сколько волков прошло по данному месту. И, наконец, нельзя забывать, что на войне не всегда можно рассчитывать на то, что полевая кухня окажется рядом. Национальная катастрофа сорок пятого года в какой-то части имела своей причиной и то, что наш солдат не был приучен питаться сырым мясом. Опыт волков и в этом отношении достоин внимательного и всестороннего изучения.

ВОПРОС. Не будете ли вы любезны сообщить, предпринято ли уже что-нибудь для претворения вашего с бароном замысла об учреждении организации «Федеральные волчата»? Когда вы предполагаете открыть запись в эту организацию?

ОТВЕТ. Вы видите в моем лице Волка-Председателя организационного комитета. Почетный председатель организационного комитета и Федеральный Волк — барон Хорстль фон Виввер. Член организационного комитета и Волк-Казначей — присутствующий здесь наш знаменитый ученый, гордость подлинно немецкой науки, профессор доктор Вернер Вайде. (Аплодисменты.) О записи в члены организации Национально-активной немецкой молодежи «Федеральные волчата» я буду иметь честь сообщить завтра вечером во время выступления в телевизионном центре. (Аплодисменты.)

ВОПРОС. Очевидцы сегодняшних событий в зоопарке высоко отзываются о скорости и непринужденности, с которой барон фон Виввер бежал на четвереньках навстречу волку. Является ли это результатом его особой тренировки?

ОТВЕТ. Да, является. Барон Хорстль фон Виввер полагает, что значительный процент наших жертв в прошлых и особенно последней войне был следствием неприноровленности наших солдат к перебежкам на четвереньках под огнем противника. Нет сомнения, что тренировка в беге на четвереньках сильно повысит боеспособность нашей армии и благотворно скажется на размерах наших потерь в будущих боях против врагов германской нации и христианского гуманизма.

ВОПРОС. Позволено ли мне будет от имени собравшихся здесь журналистов пожелать вам, господин фон Тэрах, вам, господин профессор, и нашему отважному молодому барону успехов в создании организации «Федеральные волчата»? (Аплодисменты.)

ОТВЕТ. Благодарю вас, господа, за внимание. Спокойной ночи».

4

Почти весь день пятнадцатого сентября фон Тэрах и профессор Вайде провели в Виввергейме, натаскивая Хорстля к вечернему выступлению по телевидению. Задача стояла перед ними фантастической трудности: за несколько часов, оставшихся до выступления, ему предстояло выполнить свою двухнедельную норму — выучить пять новых слов! От этого зависело слишком многое, чтобы можно было позволить себе опустить руки. И нельзя сказать, чтобы и сам Хорстль не старался. Он очень старался.

Фон Тэрах на этот предмет придумал мотивчик песенки. Они запели ее вдвоем с профессором, Хорстль с удовольствием подхватил, и они пели ее втроем вплоть до самого их отбытия в Мюнхен с коротеньким перерывом на обед, пели вместе с Хорстлем, пока он переодевался для выступления, дружно и во все горло распевали всю дорогу до самого подъезда телевизионного центра. Это было мучительно, нелепо, а со стороны глядя, невероятно смешно. Шофер чуть не лопнул, удерживаясь, чтобы не расхохотаться. Но цель была достигнута и закреплена: к моменту прибытия в телестудию Хорстль знал свою речь назубок.

Передача прошла наилучшим образом. Ведущий представил зрителям всех трех членов организацион-

ного комитета вновь учреждаемой активно-патриотической молодежной организации «Федеральные волчата». Волк-Президент, господин фон Тэрах, ответил на все вопросы ведущего. Потом ведущий высказал несколько соображений в похвалу немногословности отважного молодого барона фон Виввера, отметил высокие мотивы, побудившие молодого героя вчерашнего незабываемого события выражаться так экономно, и попросил его сказать несколько слов тем, кто сейчас расположился в ожидании его речи у экранов своих телевизоров.

Хорстль откашлялся и полупропел в микрофон:

— Геймания, пйоснись для новой славы!

Коротко и трогательно. Эффект был потрясающий.

На этом выступление организаторов «Федеральных волчат» закончилось, и студия стала передавать военные марши.

5

Идея создания организации «Федеральные волчата» была очень тепло встречена в самых высших сферах: обильные взносы общественных организаций и частные пожертвования подвели под нее вполне достаточную финансовую базу. В первую же неделю возникли организационные комитеты во всех столицах земель и крупнейших городах Федеральной республики. К концу сентября число членов организации «Федеральные волчата» перевалило за сорок пять тысяч и продолжало расти.

В начале октября для волчат была придумана и утверждена форма одежды — парадная и повседневная (она была родной сестрой формы «Гитлерюгенда») и значок — юноша на четвереньках. Были выпущены и расклеены во всех более или менее значительных населенных пунктах вербовочные плакаты с портретом Федерального Волка — «Белокурого зверя», знаменитого барона Хорстля фон Виввера.

Разработали, утвердили и опубликовали для всеобщего сведения коротенький и доступный пониманию самого неразвитого молодца уставчик:

«Федеральные волчата» — внеполитическая организация активной немецкой молодежи.

Членом организации «Федеральные волчата» может быть каждый активно настроенный молодой немец, не имеющий физических недостатков и годный в дальнейшем к несению военной службы.

Организации «Федеральных волчат» строятся по территориальному признаку и разделяются на стаи — сельские, городские, окружные, земельные.

Во главе всереспубликанской организации стоит Совет Федеральной Стаи в составе трех человек: Волка-Президента, Федерального Волка и Волка-Казначея.

Железная дисциплина — основа всей жизни «Федеральных волчат».

«Федеральные волчата» не занимаются политикой.

Единственная цель члена стаи «Федеральных волчат» — готовиться к тому, чтобы прийти во всеоружии физической и нравственной закалки ко «Дню Великого Испытания».

После десяти лет существования в качестве частного учебного заведения «Виввергейм» получил наконец официальную задачу: отныне ему предстояло стать фабрикой инструкторов для местных и земельных стай «Федеральных волчат».

Две самые длинные и прямые аллеи в Виввердорфском парке были переоборудованы в гаревые дорожки для тренировки будущих инструкторов по бегу на четвереньках.

Виднейшие спринтеры и стайеры страны помогли выработать первые, пока что ориентировочные нормативы для будущих соревнований.

Коллеги профессора Вайде, работавшие во время минувшей войны над важнейшими проблемами питания на людском материале Освенцима, Майданека и Треблинки, любезно консультировали при разработке методики приучения «Федеральных волчат» к скоростному потреблению сырого мяса.

Рекомендовалось начинать с мясного фарша, слегка поперченного и перемешанного с мелконарезанным репчатым луком. Постепенно доводить количество перца и лука до минимума, одновременно укрупняя гранулы мяса с доведением их к концу первого семестра до кусочков размером спичечного коробка. Параллельно рекомендовалось вести практические занятия по раздиранию больших порций сырого мяса (сначала телятины, потом баранины и, наконец, говядины) на возможно более мелкие куски.

Чтобы желудок на первых этапах тренировки безотказно справлялся с сырым мясом, были спешно изобретены безвредные для организма и приятные на вкус капли, которые надлежало принимать за пятнадцать минут до приема мяса внутрь, постепенно сводя дозировку и частоту потребления капель до нуля.

Серьезнейшее внимание придавалось Советом Федеральной Стаи и тренировке в «КВТ», как в целях краткости называлась оригинальная и в высшей степени жизнерадостная спортивная игра «Кнопка во Тьме».

Это было состязание на ловкость, скорость и быстроту ориентации в совершенно темном помещении, неизменно вызывавшее непринужденное веселье и среди его участников и среди зрителей.

Надо было вбежать в абсолютно темное помещение, как можно быстрее разыскать на одной из его стен кнопку и легонько ее нажать. Тогда на наружном табло возникали цифры, обозначающие время, показанное данным участником, а на ближайшего из предыдущих участников, показавших худшее время, обрушивалось ведро холодной воды. Оркестр исполнял при этом сначала песенку «Лорелея» на слова неизвестного автора и сразу вслед за нею песенку на слова известного автора «Ах, мой милый Аугустин, Аугустин, Аугустин». Можно было помереть со смеху.

Бег на четвереньках и скоростное поедание сырого мяса — мясоборье и «КВТ» — были официально утверждены как новые виды национального немецкого спорта с ежегодными «соревнованиями» и присвоением по каждому из них звания чемпиона республики, федеральной земли, округа и города.

В мае тысяча девятьсот шестьдесят четвертого года до Виввердорфа докатились тревожные вести, что в Бонне, Мюнхене, Дюссельдорфе и Франкфурте-на-Майне объявились серьезные претенденты на призовые республиканские места по бегу на четвереньках. Хорстлю следовало подтянуться. Отныне он все свободное время использовал для тренировки и поднимался с четвереньек на ноги только для классных занятий, приема пищи, участия в собраниях земельных стай и в заседаниях Совета Федеральной Стаи.

Что до фрау Урсулы, то она получала сверхполную компенсацию за долгие годы материнского горя. Правда, Хорстль все еще дичился ее и никакой нежности к ней не проявлял, да, видимо, и не испытывал. Но зато он стал самым знаменитым молодым человеком Федеральной республики. Он был красив. Четко национально красив. Его уже не раз

называли в газетах, журналах, и не только благожелательных к движению «Федеральных волчат»,— «Белокурой бестией». Фотографии фрау Урсулы вместе с Хорстлем и персональные, мелькали в разных изданиях. Милый Гейнц становился все более частым гостем Виввердорфа. Она была так счастлива, что даже вспомнила о покойном муже: как жаль, что и он не может насладиться блистательной судьбой их сына! Сотни тысяч молодых немцев с жаром и стоя, пели как гимн песню об ее сыне Хорстле фон Виввере, о его подвиге, о его замечательных патриотических достоинствах. Они клялись в этой песне быть такими, как ее Хорстль, чтобы в случае чего беззаветно умереть за старую, в довоенных границах, родину и за новый, в границах Федеральной республики, христианский гуманизм. И горе было тем, кто не вставал, когда волчата пели эту песню: от бега на четвереньках мышцы рук развиваются, как ни при каком другом виде спорта.

Можно себе поэтому представить, какая буря возмущения поднялась в стране, когда газета «Рейнское утро» вдруг вышла с «шапкой» на всю первую полосу:

«ВАС НЕ ТРЕВОЖИТ ТАКОЕ СОВПАДЕНИЕ? ПЕСНЯ ПРО ХОРСТА ВИВВЕРА И ПЕСНЯ ПРО ХОРСТА ВЕССЕЛЯ — ДУХОВНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ!».

Целые полосы в национально мыслящих газетах и журналах были заполнены резолюциями протеста и письмами оскорбленных патриотов. «Федеральные волчата» старших возрастов нанесли визит вежливости редакции «Рейнского утра», разнесли в пух и прах ее помещение и намяли бока засевшим в ней еврейско-коммунистическим прихвостням.

Господин Гейнц фон Тэрах, который был не только один из руководителей христианско-социального союза и Волком-Президентом «Федеральных волчат», но и председателем «Федерального комитета по защите граждан от нападок левой печати», добился того, чтобы зарвавшуюся газету основательно оштрафовали и обязали публично признать, что между «Федеральными волчатами» и пресловутой Гитлерюгенд разница существует.

На другой же день после решения суда «Рейнское утро» публично признала, что между двумя этими организациями разница существует. «Шапка» на первой полосе так и говорила:

«МЕЖДУ «ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ВОЛЧАТАМИ» И ГИТЛЕРЮГЕНДОМ РАЗНИЦА СУЩЕСТВУЕТ. ТАКАЯ ЖЕ, КАК МЕЖДУ БЕГЕМОТОМ И ГИППОПОТАМОМ».

Газету снова оштрафовали. На сей раз на еще большую сумму. Но штраф в первый же месяц с лихвой окупился за счет резко возросшего спроса на «Рейнское утро»... Тогда господин фон Тэрах добился, чтобы газету закрыли.

6

За отличные успехи в учебе и достойную поощрения дисциплину виввергеймовцев весной шестьдесят третьего года, на пасхальные каникулы, отправили в Западный Берлин.

Их повезли туда американцы в просторном и удобном автобусе, не чета их виввергеймовскому. За ними следом в двух других автобусах веселились и всю дорогу орали песни делегации «Галльских волчат», которые с охотой отзывались на кличку саланчики, и судетских, и перемещенных волчат.

У здания рейхстага их встретили треском барабанов и пронзительным свистом флейт западноберлинские «Фронтовые волчата». Их повели на высокие мостки, с которых можно было видеть, как по ту сторону Бранденбургских ворот томятся в большевистской неволе их порабощенные братья.

Сердце Хорстля разрывалось от сострадания к порабощенным и ненависти к поработителям. Он был готов немедленно перемахнуть через бетонную стену, чтобы вырвать своих братьев из хищных славянско-коммунистических лап. Но он был дисциплинированным волком. Он крепко усвоил, что без команды нельзя. Он знал, что, когда пробьет уготованный час, будет дана команда.

На помосте был установлен мощный репродуктор, и каждый из виввергеймовцев, судетских и перемещенных волчат получил возможность обратиться с призывом к тем, кто страдал по ту сторону стены, и с угрозами тем, кто заставлял их страдать.

Хорстль, когда до него дошла очередь, крикнул во всю мощь своих легких: «Германия, пйоснись!» Но в ответ оттуда, из-за Бранденбургских ворот, из невидимого репродуктора чей-то молодой бас очень спокойно, не повышая голоса, на чистейшем берлинском диалекте посоветовал задрипанным нацистам убраться подобру-поздорову к чертовой бабушке.

Так отвечать лицам, которые хотят их спасти от неволи! Это было непонятно, возмутительно и ужасно. Но Хорстль уже был подготовлен к подобному ответу: чего ждать от немцев, продавшихся русским. Ну, что ж, он будет ждать часа, когда прозвучит долгожданная команда. Настоящий немец должен уметь держать себя в руках.

После обеда в теплый и ясный предзакатный час начались товарищеские соревнования волчат в условиях, приближенных к фронтовым.

Под щелканье фотоаппаратов и треск кино- и телевизионных камер они в полной выкладке, на четвереньках, с винтовками в зубах побежали по мостовой вдоль бетонной стены, отгораживающей от них Восточный Берлин. Против каждого контрольно-пропускного пункта они рассыпались в цепь и открывали по нему беглый огонь, к великому их сожалению, покуда только холостыми патронами. Поначалу Хорстлю было немного не по себе оттого, что он стрелял по своим же, по немцам. Но молодые люди, стоявшие по ту сторону проходных ворот, только смеялись им в лицо и выкрикивали такие слова, которые показывали, что они окончательно погибли для Великой Германии и что, когда придет желанный час освобождения, их надо будет не жалеть, а уничтожать без пощады.

Виввергеймовцы выиграли по всем видам бега на четвереньках, включая пробег по канализационным трубам. Это был очень важный вид бега, потому что он приближался к бегу по подземным ходам. Правящий бургомистр Западного Берлина придавал ему особое значение, так как в Восточный Берлин проникнуть для активных действий можно было только по специально вырытым подземным лазейкам. Победа в этом виде бега виввергеймовцев была немалым ударом по самолюбию западноберлинских волчат, но они показали себя справедливыми соперниками и первыми поздравили своих гостей с победой.

В заключение в одном из старых кварталов были проведены в высшей степени эффектные соревнования по внезапной стрельбе из-за угла. Победителями на этот раз оказались «Саланчики», понабившие себе руку в командах ОАС. Они оставили далеко позади себя по сумме очков всех остальных участников соревнований, и это означало, что и «Федеральным волчатам», и перемещенным, и судетским, и даже западноберлинским надо еще очень и очень работать, пока они освоят этот насущнейший вид стрельбы по быстро движущимся целям.

Потом в клубе «фронтовых волчат» состоялся ужин с участием взрослых и очень солидных господ. Один из них сказал: «Мы никогда не признаем границы по Одеру — Нейсе!» Ему долго хлопали. Другой говорил о «воссоединении в условиях свободы» и призывал волчат быть готовыми освободить все, что будет приказано. Ему хлопали еще дольше.

Но когда выступил Знаменитый Молодой Немец барон Хорстль фон Виввер и произнес перед микрофоном телекамеры «Геймания, пйоснись!» и «Войчата выпойнят свой долг!», стены зала чуть не обрушились от рукоплесканий: с таким чуаством, с такой страстью, с такой глубокой верой произнес он эти слова.

В Виввердорфе в гостиной у телевизора рыдала от счастья и гордости за своего сына фрау Урсула. В высшей степени удовлетворены были его речью и господин Гейнц фон Тэрах и профессор Вайде.

Правда, не все в Федеральной республике были довольны этой краткой, как выстрел, речью, но таких было меньшинство, и господин фон Тэрах со спокойным сердцем сбрасывал их со счета.

С точки зрения воспитательной вылазка виввергеймовцев в Западный Берлин прошла вполне благополучно.

Господин фон Тэрах был удовлетворен: воспитание Хорста фон Виввера продвигалось вперед семимильными шагами.

7

Как-то майским вечером того же года Хорстль в сопровождении нескольких своих поклонников возвращался со слета Городской стаи.

Немного не доходя Старой пинакотеки, они почувствовали сильную жажду и завернули в ближайшую пивную.

Сказать по совести, Хорстль никак не мог привыкнуть к пиву, хотя он и очень старался. Он предпочел бы ему лимонную воду, оранжад или кока-колу, но он твердо знал, что если ты настоящий немец,— пей пиво и наслаждайся. Он с отвращением потягивал горьковатую пенистую влагу, и в нем постепенно нарастала злость. После первой кружки ему вдруг припомнилась поездка в Западный Берлин, спокойный басок, пославший его из репродуктора к чертовой бабушке, после второй — коварные горбоносые и курчавые, а также курносые и бородатые жестокие комиссары, которые во всех кинофильмах так мучили несчастных и благородных страдальцев за Германию.

К этому времени его злость перебродила в потребность немедленно набить морду хоть одному из отрицательных персонажей этих фильмов.

Красивые глаза Хорстля сузились, как у кошки, которая учуяла мышиную возню. Он неторопливо и придирчиво переводил их с одного столика на другой в пьяной уверенности, что врага Немецкой Идеи, если хорошенько поискать, можно найти, и не выходя из пивной. И он вскоре нашел. И не одного, а целых трех. Они шушукались за столиком в дальнем углу. Боже мой, что за носы у них были! Будто прямо с карикатур «Зольдатен Цайтунг» — горбатые, хищные, мясистые. Они были смуглы, эти люди, словно их специально окунали в бочку с коричневой краской. У них были черные глаза и черные волосы. Правда, один из них, длинный и тонкий, как жердь,

был ко всему прочему и плешив, как колено. Но жалкие остатки его шевелюры были цвета воронова крыла. У другого гладкая, прилизанная бриллиантином прическа блестела, как голенище черного лакового сапога. У третьего, толстенького и самого старого из них, волосы курчавились, как у пасхального барашка.

Хорстль, не говоря ни слова, встал с кружкой пива в руке.

Вслед за ним, ничего не спрашивая, поднялся его верный адъютант Конрад Штудент, парень, удивительно сочетавший в себе немалую начитанность, природный ум и умение разбираться в людях со слепой и беспрекословной преданностью Хорстлю.

Они молча и сумрачно направились к угловому столику. Хорстль остановился возле плешивого. Рядом застыл с кружкой в вытянутой руке Штудент. Плешивый, увлеченный разговором на неизвестном Хорстлю языке, не сразу обратил внимание на Хорстля, который, покачиваясь на ослабевших ногах, уставился на его горбатый нос с тупым упорством ненавидящего пьяного человека.

— Чем могу служить? — спросил тот наконец на дурном немецком языке, бросив на Хорстля пренебрежительный взгляд непьющего и очень занятого человека, к которому в самый неподходящий момент вдруг пристал пьяный.

Хорстль продолжал молча смотреть на него немигающими, ненавидящими глазами.

— Я вас спрашиваю, что вам угодно? — раздраженно повторил плешивый и пересел на другой стул, подальше от Хорстля.

Хорстль молча сделал шаг и снова остановился около него. Сделал шаг и Штудент.

— Пожалуйста, молодой человек,— примирительно проговорил курчавый толстячок,— оставьте нас в покое. Не заставляйте нас прибегнуть к помощи кельнера.

— Уйод! — пропел ему с ненавистью Хорстль.— Ты уйод, и ты, и ты тозе!.. Вы все тьи — уйоды!..

— Что он говорит, этот пьяный скот? — осведомился курчавый у плешивого.— Вы не знаете, что значит по-немецки это слово «уйод»? — Он спросил по-французски.

Конрад Штудент знал французский с детских лет. Он им разъяснил:

— Мой начальник сказал, что вы все трое уроды.

И тут же с негодованием обратил внимание Хорстля на то, что его обозвали пьяным скотом.

— Бей уйодов! — крикнул Хорстль и выплеснул всю кружку прямо в лицо курчавому. Штудент ради такого святого дела тоже не пожалел своего пива, после чего в ход пошли кулаки. Со звоном посыпались на пол кружки, тарелки, столовые приборы. Загрохотали падающие табуретки. Улюлюкая, с воплями: «Бей коммунистов! Зигхайль!» — примчались на помощь Хорстлю и Штуденту остальные волчата. Иностранцы сопротивлялись изо всех сил. Но что они могли поделать, трое немолодых, изрядно уставших мужчин, против стольких натренированных и алчущих боя парней, которые наконец дорвались до живых агентов мирового коммунизма!

Кельнер, не торопясь, отправился за шуцманом. Шуцман, не торопясь, прибыл к месту происшествия, не торопясь, остановился в дверях, не торопясь, издали изучил побоище и вмешался только тогда, когда плешивый и толстяк уже валялись на полу под сенью опрокинутого столика, в луже пива, изрядно сдобренного кровью.

Кельнер, не торопясь, принес воды, шуцман, не торопясь, плеснул ею в лицо плешивому и курчавому, без особой радости удостоверился, что они приходят в себя, и чуть не умер от удара, когда плешивый, с ненавистью глянув на собравшихся в кружок посмеивавшихся зрителей, на очень дурном немецком языке потребовал, чтобы его немедленно соединили с господином Гейнцем фон Тэрахом...

— Ты хоть понял, что ты со своими идиотами наделал? — сказал фон Тэрах Хорстлю, когда они часом позже покинули помещение главного правления ХСС.— Вы позволили себе избить трех вернейших и нужнейших наших заграничных друзей.

У Хорстля на лбу белел огромный пластырь. Под глазом темнел не менее внушительных размеров фонарь.

Правая щека припухла, как при флюсе.

— Они меня хотели убить... У, я им там! Я им так там!..

— Но какое ты право имеешь обижаться на них? Ведь вы двоих чуть не отправили на тот свет. И ведь это вы на них напали, а не они на вас...

— У-у-у, я им там! — мрачно стоял Хорстль на своем.

До него никак не доходило, что он не имеет права обижаться на то, что ему надавали тумаков в порядке самообороны.

Фон Тэраха поначалу смешила, а потом стала злить вопиющая нелогичность его будущего пасынка. Но ему и в голову не приходило, что Хорстль в частном и мелком случае с этой идиотской дракой в пивной, в сущности, только придерживается той же самой логики, которой в отношении куда более кровавых и разрушительных событий придерживаются и сам господин фон Тэрах, и профессор Вайде, и тысячи других фон тэрахов и вайде.

— Все! — сказал фон Тэрах, чувствуя, что вот-вот окончательно потеряет контроль над собой.— Домой ты сегодня не поедешь. Переночуешь у меня, а завтра мы с тобой поедем извиняться. Понятно тебе?

— Понятно,— сказал Хорстль.

— И, заметь, твое счастье, что ты знаменитый Хорстль фон Виввер. В противном случае дело кончилось бы для тебя и твоих идиотов очень и очень плохо. И даже я ничего не смог бы поделать.

Впервые с момента начала драки Хорстль ухмыльнулся. Приятно все-таки, черт возьми, когда ты знаменитый Хорстль фон Виввер! Очень и очень приятно!

«А все-таки,— думал он, покачиваясь на мягком сиденье машины фон Тэраха,— славно мы поколотили этих чернявых господинчиков!.. Вообще, оказывается, ужасно приятно заехать разок-другой человеку в физиономию. Особенно если он не может дать тебе сдачи...»

Теперь перейдем к тому, что произошло на новеньком мюнхенском стадионе «Федеральных волчат» двадцать седьмого июля тысяча девятьсот шестьдесят пятого года на Первых международных состязаниях по спортивному комплексу «Федеральных волчат». Они были приурочены, как мы уже имели случай сказать, к двенадцатой годовщине Виввер-гейма.

Кроме «Федеральных волчат», в них приняли участие команды родственных зарубежных молодежных организаций: «Галльских волчат» — они же «Саланчики» (Франция), «Беби койот», «Гризли чилдрен» и «Волчата на страже конституции» (США), «Судетские волчата» (ФРГ), «Удавчики» (остров Тайвань), «Перемещенные волчата» (ФРГ, Франция, США, Австралия, Южно-Африканская Республика, Италия, Перу, Коста-Рика, Канада, остров Реюньон).

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Ровно в пять часов дня по среднеевропейскому времени грянул сводный оркестр воинских частей мюнхенского гарнизона, и по гаревой дорожке стадиона «Федеральных волчат» мимо набитых зрителями трибун, мимо правительственной ложи, блиставшей орденами, золотым шитьем, дамскими нарядами и алой кардинальской мантией папского нунция, продефилировали со своими знаменами команды — участницы соревнований.

Господин фон Тэрах от имени Совета Федеральной Стаи и федеральный министр по общегерманским вопросам произнесли краткие речи, которые были выслушаны с уважением, но не без нетерпения.

Стадион ждал выступления Хорстля фон Виввера — Федерального Волка, Белокурой бестии, Молчаливого Зверя.

Однако после министра слово для приветствия от братской французской организации РАК (Радикальная Антикоммунистическая Корпорация) получил господин Марсель де ля Фук.

Хорстля передернуло от ненависти и жажды мести: это был Плешивый, тот самый, который тогда, в пивной, чуть не убил его табуреткой. Ничего, он еще сведет с ним счеты, с этим чернявым французиком!.. Не сейчас. Сейчас еще не настало время. Этот Плешивый и его компания, оказывается, чем-то полезны делу Великой Германии. Это объяснил Хорстлю его верный оруженосец и наперсник Конрад Штудент, который здорово разбирается в высокой политике, то есть, в том, кому и когда бить морду.

А пока Хорстль брал себя в руки, мосье де ля Фук взял в свои руки стадион.

— Я не сомневаюсь,— сказал он, заговорщически улыбнувшись,— что у слабонервных название нашей корпорации может вызвать кое-какие неприятные медицинские ассоциации. Но, во-первых, наше движение, как и наше время, не для слабонервных. (Аплодисменты.) Во-вторых, я считаю своим долгом особо подчеркнуть, что мы будем счастливы, когда наш РАК разъест до конца трижды ненавистный, гнилой и богопротивный организм демократии. (Аплодисменты.) В-третьих, мне хотелось бы обратить ваше внимание, что наш РАК имеет нечто общее и с классом беспозвоночных. Это общее — то, что мы, как и эти членистоногие, можем стать красными только в том единственном и маловероятном случае, если нас живьем опустят в кипяток. (Смех, аплодисменты.) Но никак не раньше. (Аплодисменты.)

— Мне хотелось бы,— продолжал мосье де ля Фук,— в нескольких словах воздать должное традиционной германо-французской дружбе, нашедшей свое ярчайшее выражение в войнах 1870—1871, 1914—1918 и 1939—1945 годов. Я горд при мысли, что именно пять миллиардов французских франков, выплаченных нами Германии в виде контрибуции, помогли Германии вырасти в могущественного и неподкупного стража и ревнителя германо-французской дружбы и взаимопонимания. И разве не глубоко символично и трогательно, что первыми французскими словами, которые заучивали германские военные перед тем, как отправиться погулять по парижским вечерним Большим бульварам, были нежные слова «Же ву зэм», то есть «Я вас люблю»? Они отправлялись на Большие бульвары с шоколадом в карманах и словами любви на устах, и наши женщины, не все, конечно, но те, которые видят свое призвание в том, чтобы не оставлять без любви тех, кто ее ищет, разве не встречали они первые французские слова немецких военных первыми заученными ими немецкими словами?.. Эти немецкие слова были: «Майн зюссер», то есть «Мой сладкий»! (Аплодисменты. Задумчиво-мечтательные улыбки на лицах многих уже немолодых господ в правительственной ложе и на трибунах.)

Да будет мне поэтому в заключение позволено, дорогие мои друзья и соратники по борьбе с нашим общим врагом — коммунизмом, левым радикализмом и безбожием, обратиться к вам с проверенными на опыте трех войн двумя словами: «Майн зюссер!» (Шлет трибунам воздушные поцелуи. Гром аплодисментов. Стадион ревет, скандируя: «Же ву зэм!.. Же ву зэм!.. Же ву зэм!..»)

2

Хорстль стоял у микрофона, высокий, статный, широкоплечий, белокурый, подлинно немецкий красавец, новый Зигфрид из новых Нибелунгов, и спокойно ждал, пока стадион успокоится. А ему, Хорстлю, чего волноваться? К овациям он уже давно привык. Речь свою он знал назубок.

— Одер — Нейсе — не, не! — энергично пропел он в микрофон и решительно тряхнул своей прекрасной шевелюрой. Грянула овация. Он подождал, пока стадион затихнет, и продолжал:— Бойба, бойба!.. (Овация.) Мы им показим! (Овация.) Мы им всем показим! (Буря оваций.) Вейните нам нашу Укьяину!.. (Гром оваций.) Наши Сутеты! (Грохот оваций.) Нашу Пуссию!.. Геймания, пйоснись!.. (Ураган оваций.)

Хорстль прижал руку к сердцу:— Байшая честь!.. Аткьиваю сойвеннования! (Грохот, шквал, шторм, ураган, тайфун оваций.)

Щелкали аппараты фоторепортеров, стрекотали камеры кинооператоров, сосредоточенно колдовали у своих громоздких ящиков телеоператоры.

Хорстль фон Виввер и капитан американской команды «Беби койот» Джерри Покитнайф подняли флаг соревнований.

Первыми на поле вышли спринтеры. Их ноги были обуты в обычные шиповки, а руки — в «лапки» — эластичные перчатки из черной замши, оснащенные по числу пальцев пятью острыми шипами.

По команде «На старт!» спринтеры становились, как и в нормальных состязаниях, на одно колено, упираясь ступнями о стартовые колодки, а когтями «лапок» — о землю. Словом, совсем как при беге на одних ногах, только руки для лучшего рывка были выдвинуты значительно дальше вперед.

В ста метрах белела на фоне дорожки шелковая ленточка финиша. Чтобы на нее удобно было набежать головой или задом (что зависело от длины ног спринтера), она была приспущена с высоты груди до семидесяти сантиметров.

Грянул выстрел, и вперед рванулась первая шестерка спринтеров.

3

Вплоть до последнего забега в стометровке лидировал Фернандо Полицаенко («Перемещенные волчата», Перу) с прекрасным временем — 10,8 секунды.

Но в последней четверке бежал Хорстль и показал рекордную цифру — 10,1.

В беге на четыреста метров лучшее время — 49,1 секунды — показал Фридль Гаазе из «Федеральных волчат». Но побежал Хорстль фон Виввер, и бедному Фридлю пришлось удовлетвориться вторым местом и серебряной медалью. Результат Хорстля был на грани фантастики — 40,3 секунды!

Он вышел на первое место и в беге на все остальные дистанции, и в беге с препятствиями, и в эстафетном беге 4 × 100. Доставило истинно эстетическое наслаждение видеть, как он легко, изящно, ни на йоту не замедляя бега, перехватил зубами эстафету из уст Фридля Гаазе.

Это был день его сплошных триумфов: все золотые медали по бегу на четвереньках и все золотые медали по мясоборью, то есть скоростному поеданию сырого мяса. Абсолютный чемпион мира по двум новейшим и труднейшим видам национального спорта! Хорстль был приятно взволнован. Он хлопал по плечу осаждавших его поздравителей, одаряя окружающих ослепительными улыбками.

Чтобы подготовить поле к соревнованиям по КВТ, намечался перерыв. Но штаб соревнований обратился к зрителям с просьбой не расходиться. Хозяева поля — «Федеральные волчата» приготовили сюрприз. Сейчас будет впервые показан широкой публике новый вид игры, разработанной спортивной коллегией «Федеральных волчат».

Оркестр грянул «Ах, мой милый Аугустин, Аугустин, Аугустин». На поле вышли ветераны движения «Федеральных волчат» — команда виввергеймовцев. Двадцать парней как на подбор. Во главе с Федеральным Волком.

Прозвучала команда: «На старт!».

Виввергеймовцы опустились на четвереньки и замерли в напряженной готовности.

И вдруг откуда ни возьмись на поле оказалась словно сошедшая со старинных карикатур пожилая толстуха, краснолицая, в старомодной соломенной шляпке, еле державшейся на ее жидкой огненно-рыжей прическе, в ярко-оранжевых чулках на тумбоподобных ногах, торчавших из-под множества юбок, как чудовищно толстые морковки. В довершение всего она была в мужских ботинках с ушками.

В руках у нее была древняя плетенная из ивовых прутьев корзина-чемодан с висячим замочком.

За толстухой побежали два шуцмана, чтобы убрать ее с поля. Испуганная их свистками, она стала с воплями и визгом метаться по обширному полю под хохот и свист зрителей. Пробегая неподалеку от застывших в положении «На старт!» виввергеймовцев, она обернулась, бросила на них кокетливый взгляд, споткнулась и грохнулась наземь. Под грохот и визг стадиона ее бесчисленные юбки задрались ей на голову, обнаружив обтянутый длинными панталонами зад. А корзинка отлетела в сторону, раскрылась, и из нее выбежали два десятка трехмесячных цыплят.

И вот тут только и лопнул стартовый выстрел, и виввергеймовцы стартовали... Они... кинулись в погоню за цыплятами.

Нет ничего забавней, чем наблюдать, как человек гоняется за юрким и быстроногим цыпленком. Его трудно поймать, даже имея свободные руки. Насколько же труднее было поймать его зубами, преследуя на четвереньках!

Стадион помирал от смеха. Некоторые дамы уже дошли до истерики.

Но вот стадион загремел аплодисментами: пойман первый цыпленок! И, конечно, поймал его не кто иной, как абсолютный чемпион соревнований барон Хорстль фон Виввер! Он прижал правой рукой к земле конвульсировавшего цыпленка, у которого кровь хлестала из перекушенной шеи, победоносно оглядываясь по сторонам, с удовольствием выслушал рукоплескания, затем опустился на коленки и локти и стал рвать зубами еще трепещущее тело своей жертвы, рвать и пожирать вместе с перьями и внутренностями.

Теперь уже многие на трибунах падали в истерику от ужаса и отвращения, десятки и сотни людей возмущенно покинули трибуны, но тысячи молодых зрителей ревели от восторга, топали ногами, кричали «Браво!», и, пока он уплетал цыпленка, они успели исполнить песню о Хорстле фон Виввере и давно уже публично не исполнявшуюся песню «Сегодня в наших руках Германия, а завтра в них будет весь мир».

Хорстль успел сожрать без остатка несчастного цыпленка, а все остальные были еще живы и невредимы. Они ускользали из рук (точнее, изо ртов) гонявшихся за ними виввергеймовцев. Над беднягами смеялись, улюлюкали, советовали сходить в ресторан и заказать себе куриный шницель или сбегать на рынок, в птичьи ряды.

Тогда распаленный аплодисментами и болевший за честь своей команды Хорстль фон Виввер показал высокий класс товарищества: он стал гоняться за другим цыпленком.

Его движения в отличие от движений его сотоварищей были точны, стремительны, целесообразны Вскоре он уже чуть не был у цели: его челюсти щелкнули в нескольких сантиметрах от шеи очумевшего от ужаса цыпленка, и тогда тот из последних сил вспорхнул, перелетел через барьер и побежал вверх по третьему проходу Восточной трибуны.

У самого края прохода, в шестнадцатом ряду, сидела пожилая, весьма скромно одетая женщина и девушка чуть старше двадцати, белокурая, с добрым, решительным и умным лицом.

Они с отвращением и горечью смотрели на перелезавшего через барьер Хорстля фон Виввера, на его азартные глаза, дико блестевшие на измазанном свежей кровью, загорелом и красивом лице.

— Боже, они его снова сделали волком! — сказала девушка, уткнувшись в плечо своей соседки.—До чего они его довели!..

— Ничего, Бетти, ничего,— тихо успокаивала ее пожилая женщина.— Есть в Германии и другая, совсем другая молодежь!.. Да и с Хорстлем мы еще постараемся повидаться... Если он нас узнает, он еще не погиб... Мы за него еще повоюем!..

Тем временем цыпленок увернулся от Хорстля и сейчас мчался вниз по проходу. Вот он метнулся в сторону и притаился, судорожно разевая свой клювик в спасительном полумраке между ног зрителей в пятнадцатом ряду.

Сейчас внимание всего стадиона было обращено на третий проход Восточной трибуны. Тысячи биноклей, телеобъективы фото- и киноаппаратов и телевизионных камер следили за тем, как в узком ущелье прохода то показывалась, то снова исчезала широкая спина скачущего на четвереньках барона Хорстля фон Виввера.

А с ним тем временем приключилась небольшая

авария. Трудно бежать на четвереньках вниз по круто спускающейся бетонной дорожке. Когда цыпленок неожиданно свернул в пятнадцатый ряд, Хорстль пытался затормозить, но не удержался, поскользнулся и грохнулся лбом о пыльный бетон.

Пожилая женщина из шестнадцатого ряда испуганно вскрикнула:

— Хорстль!.. Бедняжка ты мой!..

Хорстль фон Виввер медленно приподнялся на четвереньки. Теперь уже и лоб у него был в крови, не цыплячьей, а собственной. Он повернул голову в сторону вскрикнувшей женщины, которая крепко обняла молодую спутницу и прижала ее лицом к своей груди, чтобы та не видела ужасное лицо Федерального Волка. А Федеральный Волк вдруг глубоко втянул в свои широкие ноздри воздух, сделал несколько неуверенных шагов, приблизился вплотную к фрау Бах (потому что это, как читатель уже, конечно, догадался, была наша старая знакомая) и стал медленно обнюхивать ее и Бетти. Его лицо стало задумчивым и кротким, на лбу возникли напряженные морщинки. Он словно пытался вспомнить что-то очень далекое и важное, ускользавшее от него, как этот проклятый цыпленок. А фрау Бах смотрела на него с тоской и ужасом. И все это торопливо снимал возникший неведомо откуда кинооператор, и фрау Бах, заметив кинооператора, поспешно закрыла лицо руками, в чем трудно было усмотреть что-нибудь подозрительное, потому что Хорст фон Виввер являл собой в тот момент зрелище не для слабонервных.

Глаза у Хорстля фон Виввера становились тем временем все более и более задумчивыми, и он, быть может, вспомнил бы в конце концов и детский дом «Генрих Гейне», и фрау Бах, и сидевшую рядом с нею старинную свою подружку Бетти, но в это время услужливые зрители, которые по-другому, но тоже вполне искренне сочувствовали барону Хорстлю фон Виввер, соединенными усилиями вытолкали цыпленка на дорожку. Несчастный куренок кинулся прямо вниз по проходу, снова перелетел барьер и, устало размахивая крылышками, заметался по полю.

И едва только он снова оказался в пределах видимости, Хорстля фон Виввера передернуло в яростном охотничьем азарте. Он метнулся вниз по дорожке, легко, на полном скаку, вызвав восхищенные рукоплескания, перемахнул на четвереньках через барьер. Догнал он цыпленка уже у противоположной, Западной трибуны, щелкнул челюстями с такой силой, что почти начисто откусил ему головку со смешным, детским еще гребешком и сожрал в рекордное даже для него самого время.

Фрау Бах и Бетти уже не было на стадионе, когда господин Гейнц фон Тэрах под руку подвел Хорстля фон Виввера к микрофону, чтобы абсолютный чемпион соревнований смог сказать несколько слов.

Лицо Хорстлю фон Вивверу Волк-Президент успел на ходу вытереть. Оно было теперь сравнительно чисто, но очень бледно. Глаза сверкали на нем, как ярко-синие пластмассовые пуговицы.

Хорстль фон Виввер устало поднялся на трибуну, откинул пышную белокурую прядь, свисавшую на залитый йодом лоб, глубоко и прерывисто вздохнул и начал прямо с середины своей твердо вызубренной речи:

— Войчата кьянутся... Мы им показим!... Мы им всем показим!..

Стадион вздрогнул от рукоплесканий.

И тогда произошло нечто совершенно страшное и непредвиденное ни волчатами, ни счастливой фрау Урсулой, ни знаменитым профессором доктором Вернером Вайде, ни даже самим господином Гейнцем фон Тэрахом, Волком-Президентом, человеком, который всегда все понимал и предусматривал.

Барон Хорстль фон Виввер — Головной Волк — Молчаливый Зверь — Белокурая Бестия — Великий Молодой Немец вдруг обхватил обеими своими непомерно широкими ладонями холодную металлическую стойку микрофона и завыл.

Это был дикий, скорее волчий, нежели человеческий, вой. Он начинался очень низкими и хриплыми звуками, похожими на тяжкий и неизбывный стон, и стремительно взвивался до дребезжащего, пронзительного визга непостижимой высоты и резкости.

В нем звучала такая страшная тоска, и он был в то же время так невыразимо дик, что даже «Бэби койоты», затянувшие было во славу абсолютного чемпиона песенку «Он чертовски славный парень», замолкли на полуслове.

Стадион оцепенел.

— Выключите микрофоны! — истерически закричал господин фон Тэрах, который все-таки первым из всех на трибуне пришел в себя.— Немедленно выключите все микрофоны!.. И телекамеру! Сию же секунду!..

И он в бешенстве, что уж совсем не было на него похоже, затопал ногами.

Но пока приходили в себя кино- радио- и телеоператоры, пока до них наконец дошло, чего от них требует господин фон Тэрах, вой абсолютного чемпиона Первых международных соревнований по спортивному комплексу «Федеральных волчат» несся, наводя ужас и смятение, над всей территорией Федеральной республики, врывался в пивные, где у телевизоров сгрудились болельщики бега на четвереньках, в казармы, в закрытые учебные заведения, в квартиры миллионов и миллионов немецких и зарубежных телезрителей и радиослушателей...

● Игорь Росоховатский

ТОР-1

Фантастический рассказ

Рисунки И. Обросова.

Сегодня мы перевели Володю Юрьева в другой отдел, а на его место поставили ВМШП — вычислительную машину широкого профиля. Раньше считалось (и лучше бы так считалось и теперь), что на этом месте может работать только человек.

Но вот мы заменили Володю машиной. И ничего тут не поделаешь. Нам необходима быстрота и точность, без них работы по изменению нервного волокна немыслимы.

Быстрота и точность — болезнь нашего века. Я говорю «болезнь» потому, что когда «создавался» человек, природа многого не предусмотрела. Она снабдила его нервами, по которым импульсы мчат со скоростью нескольких десятков метров в секунду. Этого было достаточно, чтобы моментально почувствовать ожог и отдернуть руку или вовремя заметить янтарные глаза хищника. Но когда человек имеет дело с процессами, протекающими в миллионные доли секунды... Или когда он садится в ракету... Или когда ему нужно принять одновременно тысячи сведений, столько же извлечь из памяти и сравнить их хотя бы в течение часа... И когда каждая его ошибка превратится на линии в сотни ошибок...

Каждый раз отступая, как когда-то говорили военные, «на заранее подготовленные рубежи», я угрожающе шептал машинам:

— Погодите, вот он придет!

Я имел в виду человека будущего, которого мы создадим, научившись менять структуру нервного волокна. Это будет Homo celeris ingenii — человек быстрого ума, человек быстродумающий, хозяин эпохи сверхскоростей. Я так часто мечтал о нем, мне хотелось дожить и увидеть его, заглянуть в его глаза, прикоснуться к его коже... Он будет благородным и прекрасным, мощь его — щедрой и доброй. И жить рядом с ним, работать вместе с ним будет легко и приятно, ведь он мгновенно определит и ваше настроение, и то, чего вы хотите, и что нужно предпринять в интересах дела, и как решить трудную проблему.

Но до прихода Homo celeris ingenii было еще далеко. А пока мы в институте ждали нового директора.

Черный как жук и нагловатый Саша Митрофанов готовился завести с ним «душевный разговор» и выяснить, что он собой представляет. Я хотел сразу же поговорить о тех шести тысячах, которые нужны на покупку ультрацентрифуг. Люда надеялась выпросить отпуск за свой счет (официально, чтобы помочь больной маме, а на самом деле, чтобы побыть со своим Гришей).

Он появился ровно за пять минут до звонка: лопоухий, сухощавый, с курчавой шевелюрой, запавшими строгими глазами, быстрый и стремительный в движениях. Саше Митрофанову, кинувшемуся было за-

водить «душевный разговор», он так сухо бросил «доброе утро», что тот сразу же пошел в свою лабораторию и в коридоре поругался с добрейшим Мих-Михом.

В директорском кабинете Мих-Миха ждала новая неприятность.

— Уберите из коридоров все эти диваны,— сказал директор.— Кроме тех двух, которые у вас называют «проблемным» и «дискуссионным».

— Выписать вместо них новые? — со свойственным ему добродушием спросил Мих-Мих.

У директора нетерпеливо дернулась щека.

— А что, стоя женщинам очень неудобно болтать? — спросил он и отбил охоту у Мих-Миха вообще о чем-либо спрашивать.

Это был первый приказ нового шефа, и его оказалось достаточно, чтобы директора невзлюбили машинистки, уборщицы и лаборантки, проводившие на диванах лучшие рабочие часы.

— Меня зовут Торием Вениаминовичем,— сказал он на совещании руководителей лабораторий.— Научные сотрудники (он подчеркнул это) для удобства могут называть меня, как и прежнего директора, по инициалам — ТВ или по имени.

Многие из нас тогда почувствовали неприязнь к нему. Он не должен был говорить, как называть его. Это мы всегда решали сами. Так получилось и теперь. После совещания мы называли его «Тор», а между собой «Тор-1», подчеркивая, что он у нас не задержится.

Люду, пришедшую просить об отпуске за свой счет, он встретил приветливо, спросил о больной маме. Его лицо было сочувственным, но девушке казалось, что он ее не слушает, так как его взгляд пробегал по бумагам на столе и время от времени директор делал какие-то пометки на полях. Люда волновалась, путалась, умолкала, и тогда он кивал головой: «Продолжайте».

«Зачем продолжать, если он все равно не слушает?» — злилась она.

— Мама осталась совсем одна, за ней некому присмотреть. Некому даже воды подать,— грустно сказала девушка, думая о Грише, который заждался ее и шлет пылкие письма.

— Ну да, к тому же, как вы сказали раньше, ей приходится воспитывать вашу пятнадцатилетнюю сестру,— «заметил» директор, не глядя на Люду, и девушка почувствовала, что он уже все понял и что врать больше не имеет смысла.

— До свидания,— сказала она, краснея от стыда и злости.

Затем Тор-1 прославился тем, что отучил Сашу Митрофанова задерживаться после работы в лаборатории. Однажды он мимоходом сказал Саше:

— Если все время работать, то когда же будете думать?

Гриша Остапенко, вернувшись из села, где напрасно прождал Люду, пришел к директору просить командировку в Одессу. Лицо Тора-1 казалось добрым. Словно вот-вот лучи солнца, ломаясь на настольном стекле, брызнут ему в глаза, зажгут там веселые искорки. Но это «вот-вот» не наступало...

Остапенко рассказал о последних работах в институте Филатова, с которыми ему необходимо познакомиться.

Директор понимающе кивал головой.

— Мы сумеем быстрее поставить опыты по восстановлению иннервации глаза...

Директор снова одобрительно кивнул, а Остапенко умолк. «Кажется, «увертюра» длилась достаточно»,— подумал он, ожидая, когда директор вызовет Мих-Миха, чтобы отдать приказ о командировке к морю и солнцу.

Тор-1 посмотрел на него изучающе, потом сказал без нотки юмора:

— К тому же неплохо в море окунуться. Голову освежает...

Остапенко пытался что-то говорить, обманутый серьезным тоном директора, не зная, как воспринять его последние слова. А Тор-1 наконец вызвал Мих-Миха и приказал выписать Остапенко командировку в Донецк.

— Сфинкс! — в сердцах сказал в коридоре Гриша Остапенко.— Бездушный сфинкс!

Нам пришлось забыть «доброе старое время». Где-то лениво и ласково плескалось синее море, шумели сады, звали в гости родственники «завернуть мимоходом», но больше никому в институте не удавалось ездить в командировки по желанию. Теперь мы ездили только туда, куда Тор-1 считал нужным. Если быть до конца честным, то надо признать, что это всегда было в интересах дела.

Но завоевал наше уважение он совершенно неожиданно. Каждый месяц мы устраивали шахматный блицтурнир. Победитель должен был играть с ВМШП. Так мы отыгрывались на победителе, потому что если бы даже чемпион мира стал играть с ВМШП, то это походило бы на одновременную игру одного против миллиона точных шахматистов.

Победителем в этот раз был Саша Митрофанов. Он бросил последний торжествующий взгляд на унылые лица противников, затем на ВМШП, обреченно вздохнул, и его лицо вытянулось.

Он проиграл на девятнадцатом ходу.

Даже Сашины «жертвы» не радовались его поражению. В том, как ВМШП обыгрывала любого из наших чемпионов, были железная закономерность и в то же время что-то унизительное для всех нас. И, зная, что это невозможно, мы мечтали, чтобы ВМШП проиграла хотя бы один раз и не за счет поломки.

Саша Митрофанов, натянуто улыбаясь, встал со стула и развел руками. Кто-то пошутил, кто-то начал рассказывать анекдот. Но в это время к шахматному столику подошел Тор-1. Прежде чем мы успели удивиться, он сделал первый ход. ВМШП ответила. Разыгрывался королевский гамбит.

После размена ферзей Тор-1 перешел в наступление на королевском фланге. На каждый ход он тратил вначале около десяти секунд, потом — пять, потом — одну, потом — доли секунды. Это был небывалый темп.

Вначале я думал, что он просто шутит, двигает фигуры как попало, чтобы сбить с толку машину. Ведь не мог же он за доли секунды продумать ход. Затем послышалось свистящее гудение. Оно означало, что ВМШП работает с повышенной нагрузкой. Но когда машина не выдержала предложенного темпа и начала ошибаться, я и все остальные ребята поняли, что каким-то непостижимым образом наш директор делает обдуманные и смелые ходы. Он бил машину ее же оружием.

— Мат,— сказал Тор-1, не повышая голоса,— и мы все увидели, как на боковом щите впервые за всю историю ВМШП загорелась красная лампочка — знак проигрыша.

Да, мы кричали от восторга, как дикари, хотя еще ничего не понимали. То, что мы узнали потом, по удивительности превзошло все наши самые смелые догадки.

А сейчас несколько человек подбежали к директору, подняли его на руки, начали качать. Тор-1 взлетал высоко над нашими головами, но на его

лице не было ни радости, ни торжества. Оно было озабоченным. Вернее всего, он в это время обдумывал план работы на завтра. Когда его подбрасывали повыше, он замечал окружающее и растерянно улыбался. Какая-то лаборантка показала «нос» машине.

Мы уже почти примирились с ним, готовы были уважать его и восторгаться его необыкновенными способностями. Но прошло всего три дня, и неприязнь вспыхнула с новой силой.

Валя Сизончук по справедливости считалась самой красивой и самой гордой женщиной института. А я считал ее и самой непонятной. Она окончательно утвердила меня в этом мнении на праздничном вечере перед Первым мая.

Я стоял рядом с Валей, когда в зал стремительно вошел Тор-1, ведя под руку запыхавшегося Мих-Миха и что-то доказывая ему. Я видел, как Валя вздрогнула, слегка опустила плечи, словно сразу стала ниже ростом, беззащитнее. Она растерянно и невпопад поддерживала разговор со мной. А когда объявили «Дамский вальс», ринулась к Тору через весь зал.

— Пойдемте танцевать, ТВ!

ТВ! Она предала нас, назвав его так, как он нам тогда предлагал. Она смотрела на него сияющими, откровенно восхищенными глазами. Она раскрылась перед ним сразу, как плеск реки за поворотом. Нам неудобно было смотреть в эту минуту на Валю. Мы смотрели на директора.

Что-то дрогнуло в его лице. В холодных изучающих глазах открылись две полыньи с чистой синей водой. Словно тонкие девичьи пальчики постучали в эту непонятную, закрытую душу, и в дверях на миг показался человек. Выглянул и скрылся. Дверь запахнулась — он натянул на свое лицо невозмутимость, как маску. Пожал плечами.

— Я плохо танцую.

— Иногда люди танцуют, чтобы поговорить.

Валя была чересчур откровенной. Сказывалась ее самонадеянность. Ей никто из мужчин никогда ни в чем не отказывал.

Тор-1 повел себя самым неожиданным образом,.

— О чем говорить? — пренебрежительно протянул он.— Если вы хотите оправдаться за небрежность в последней работе, то напрасно. Приказ о выговоре я уже отдал.

Он говорил громко и не беспокоился, что все слышат его слова. А затем повернулся к собеседнику, продолжая прерванный Валей разговор.

Валя быстро пошла через весь зал к двери. Наверное, так ходят раненые. Я пошел за ней, позвал. Она посмотрела на меня совершенно пустыми глазами и, кажется, не узнала. Для другой то, что произошло, было бы просто горькими минутами обиды, а для Вали — жестоким уроком.

Она побежала по лестнице, не глядя под ноги. Я боялся, что вот-вот она споткнется, покатится по ступенькам.

Догнал я ее у самой двери. Вложил в свой голос все, что чувствовал в ту минуту:

— Валя, не стоит из-за него. Он гнилой сухарь. Мы все — за тебя.

Она зло глянула на меня.

— Он лучше всех. Умнее и честнее всех вас.

Она оставалась самой собой. Я понял, что ничего не смогу с этим сделать. И еще понял, что никогда не прощу этого Тору.

С того вечера я перестал замечать директора. Приходил только по его вызову. Отвечал подчеркнуто официально. Так поступали и мои друзья.

А Тор-1 не обращал на это никакого внимания. Он вел себя со всеми и с Валей так, как будто ничего не произошло, по-прежнему вмешивался во все мелочи.

Издавна в нашем институте установилась традиция: влюбленные рыцари ранней весной преподносили девушкам мимозу, а те, не чуждые тщеславия, ставили букеты в лабораториях, так что сильный запах проникал даже в коридоры. Тор-1 распорядился заменить мимозу подснежниками, и добрейший Мих-Мих сначала познакомился с благословлявшими его старушками — продавщицами подснежников, а по-

том, тысячу раз извиняясь, начал исполнять приказ директора в лабораториях, меняя цветы в вазах. Тут вместо добрых пожеланий его встречали язвительными шуточками, вроде:

— Какую долю от продажи подснежников получает директор?

— Приоритет родной природы?

Или невинным голосом:

— Правда, что у директора болит голова от сильного запаха?

Больше всех старался Саша Митрофанов.

Это продолжалось до тех пор, пока директор не объяснил:

— Фитонциды мимозы влияют на некоторые опыты.

И Саша понял, почему два дня тому назад неожиданно не удался выверенный опыт с заражением морских свинок гриппом.

По-настоящему мы поняли цену директору на заседании ученого совета. Доклады по работе лабораторий начал Саша Митрофанов. Он рассказывал о наблюдениях за прохождением нервного импульса по волокнам разного сечения. Известно, например, что у спрута к длинным щупальцам идут более толстые нервные волокна, чем к коротким. Чем толще нервное волокно, тем быстрее оно проводит импульс. Благодаря этому сигнал, посланный из мозга спрута, может одновременно прийти на кончики коротких и длинных щупальцев, чем и обеспечивается одновременность действия.

Саша рассказал о серии тонких, остроумных опытов, проведенных в его лаборатории, о том, как была уточнена зависимость между толщиной волокна и скоростью импульса, о подготовке к новым опытам.

Директор слушал доклад Саши очень внимательно. Казалось, он старается запомнить каждое слово, даже шевелит губами от усердия. А иногда его глаза медленно погасали, углы рта опускались. Но затем он спохватывался и снова придавал своему лицу выражение пристального интереса. Когда Саша закончил доклад, все посмотрели на директора. От того, что скажет Тор-1, зависит последний штрих в мнении о нем.

В тишине отчетливо прозвучал бесстрастный голос:

— Пусть выскажутся остальные.

Он слушал их так же, как Сашу. А потом встал и задал Митрофанову несколько вопросов.

— Какова оболочка у волокон разной толщины и зависимость между толщиной оболочки и сечением волокна? Учитывалась ли насыщенность микроэлементами различных участков волокна? Почему бы вам не

создать модель нерва из синтетических белков и постепенно усложнять ее по участкам?

Не то, чтобы эти вопросы зачеркивали всю работу, проведенную в лаборатории Митрофанова. Они и не претендовали на это, особенно по форме. Но Тор-1 наметил принципиально новый путь исследований. И если бы лаборатория Митрофанова шла по этому пути с самого начала, то работа сократилась бы в несколько раз.

С того времени я начал внимательно присматриваться к директору, изучать его.

Меня всегда интересовали люди с необычными умственными способностями. Ведь и работа моя была такой. Успех в ней помог бы нам усовершенствовать нервную систему.

Природой установлено для нас жесткое ограничение: приобретая новое, мы теряем что-то из того, что приобрели раньше. Позднейшие мозговые слои накладываются на более ранние, заглушают их деятельность. Засыпают инстинкты, угасают и покрываются пеплом неиспользованные средства связи. Но это только половина беды.

Лобные доли не успевают анализировать всего, что хранится в мозгу: как в уютных бухтах, стоят забытыми целые флоты нужных сведений; покачиваются подводными лодками, стремясь всплыть, интересные мысли; гигантские идеи, чье местонахождение не отмечено на картах, ржавеют и приходят в негодность.

Можем ли мы признать это законом для себя? Признать и примириться?

Мы привыкли считать человеческий организм, и особенно мозг, венцом творения. Привыкли и к более опасной мысли, что ничего лучше и совершеннее быть не может. Так нам спокойнее. Но ведь спокойствие никогда не было двигателем прогресса.

А на самом деле наши организмы косны, как наследственная информация, и не всегда успевают приспособиться к изменениям среды. Импульсы в наших нервах текут чертовски медленно. Природа-мать не растет с нами, не поспевает за нашим развитием. Она дает нам теперь то же, что и двести, и пятьсот, и тысячу лет тому назад. Но нам мало этого. Мы выросли из пеленок, предназначенных для животного. Начали самостоятельный путь. И мы можем гордиться собой, потому что создания наших

рук во многих отношениях совершеннее, чем мы сами: железные рычаги мощнее мышц, колеса и крылья быстрее ног, автоматы надежнее нервов, и вычислительная машина думает быстрее, чем мозг. А это значит, что мы умеем делать лучше, чем природа.

Пришло время поработать над своими организмами.

Я пытаюсь представить себе нового человека. Он будет думать в сотни раз быстрее — и уже одно это качество сделает его сильнее в тысячи раз. Ради этого работает наш институт. Ради этого мы изучаем сечение нервов, соотношение в них различных веществ. Каким же будет новый человек? Как бы мы отнеслись к нему, появись он среди нас?

Моя фантазия бедна, и я не могу создать его образ, представить его поступки. Перестаю фантазировать и думаю о работе, о своей лаборатории.

Мы сделали немало. Но в исследовании свойств некоторых микроэлементов на проводимость зашли в тупик. Насыщенность волокна кобальтом в одних случаях давала ускорение импульса, в других — замедление. Никель вел себя совсем не так, как это предписывала теория и наши предположения. Одни опыты противоречили другим.

В конце концов я решился посоветоваться с директором. Несколько раз заходил к нему в кабинет, но нам все время мешали. Потому что хотя тех, кто его не любил, было немало, но и в тех, кто его уважал, недостатка не было. А поскольку и те и другие нуждались в его советах, дверь директорского кабинета почти никогда не закрывалась. Я удивлялся, как мог он успевать разбираться во всех разнообразных вопросах, и вспоминал состязание с машиной...

После очередного неудачного визита Тор-1 предложил:

— Заходите сегодня ко мне домой.

Признаться, я шел к нему с болезненным чувством, которое трудно было определить,—в нем сливались воедино настороженность, любопытство, неприязнь, восхищение.

Мне открыла дверь пожилая женщина с ласковым озабоченным лицом. На таких лицах выражение заботы не бывает кратковременным, а ложится печатью на всю жизнь.

Я спросил о директоре.

— Торий в своей комнате.

Она так произнесла «Торий», что я понял: это его мать.

— Пройдите к нему.

Я прошел по коридорчику и остановился. Через стеклянную дверь увидел директора. Он сидел за столом, у окна, одной рукой подпер подбородок, а второй держал перевернутую рюмку. Его лицо было сосредоточенным и напряженным. Радиоприемник пел чуть хрипловато:

«...Напишет ротный писарь бумагу...»

Тор-1 твердо опустил рюмку на стол, словно ставил печать. Затем поднял другую, перевернутую рюмку.

Мне стало не по себе. Промелькнула догадка: он закрылся в комнате и пьет. Холод чужого одиночества на миг коснулся меня. Но почему же тогда мать не предупредила его о моем приходе?

Я открыл дверь...

Директор обернулся, сказал приветливо:

— А, это вы? Очень хорошо сделали, что пришли.

Он поставил рюмку на... шахматную доску. И я увидел, что это не перевернутая рюмка, а пешка. Тор-1 играл в шахматы против самого себя.

— Рассказывайте, пока никто не пришел,—предложил он, устроился поудобнее, приготовившись слушать. Но уже через минуту перебил меня вопросом: — А вы всегда учитываете состояние системы?

Он вскочил, почти выхватил у меня из рук рентгенограммы, начал ходить по комнате из угла в угол, заговорил так быстро, что слова сливались:

— Вы спрашиваете, что даст вот здесь пятно—железо или никель? Но надо учесть, что перед этим нерв находился в состоянии длительного возбуждения. Станет ясно: пятно — кобальт. А вот этот зубец — железо, потому что, во-первых, в этой области железо может выглядеть на ленте и так, во-вторых, процент железа в ткани уже начал увеличиваться, в-третьих, функция изменилась. И, в-четвертых, когда функция изменилась и процент железа в ткани растет, то зубец с таким углом — только железо.

Он стоял передо мной, привстав на носки, расставив длинные сильные ноги, и слегка покачивался из стороны в сторону.

Мне показалось, что я могу дать точное определение гения. Гений — это тот, кто может учесть и сопоставить факты, которые кажутся другим разрозненными. Я думал, что мне выпало большое счастье— работать вместе с Тором. Боясь неосторожным словом выдать свое восторженное состояние, я заговорил о нуждах лаборатории, доказывал необходимость обратить особое внимание именно на наши работы.

— В конце концов от этого зависит будущее...

— Чье?—спросил директор, сел в кресло, и у его рта притаилась насмешливая улыбка.

Я не успел своевременно заметить ее.

— Всей работы института... Того, к чему мы стремимся...—Я запутался под его взглядом.—Всех людей...

— Вы бы еще сказали вместо «будущее» «грядущее». Например: «От нашей работы зависит грядущее человечества».

Улыбка больше не пряталась у рта. Она изогнула губы и блестела в глазах. Он держал себя так, как будто не знал о значении наших работ или не придавал им такого значения. Но он меня больше не мог обмануть.

Я ушел от него опьяненный верой в свои силы. Долго не мог уснуть. Слушал пение птиц за окном, капанье воды из испорченного крана, шелест листвы, голоса мальчишек и пытался сопоставить все это.

А потом мне приснились горы. Туман стекал по ним в долину, сизо-зеленый, как лес на рассвете, и прохладный, как горные ручьи...

Я проснулся с предчувствием радости. Ночью прошел дождь, промытый воздух был свеж, а пронизанная лучами синева слегка ослепляла и казалась особенно нарядной. Я несколько раз выжал гири, быстро умылся и, на ходу дожевывая бутерброд, вышел из дому.

Я размахивал портфелем, как школьник, и мне казалось, что будущее — раскрытая книга и можно прочесть его без ошибок.

Легко взбежал по ступенькам главного входа. Взялся за ручку двери, когда раздался первый взрыв, за ним второй, третий, особенно сильный, от которого вылетели стекла. Какие-то обгоревшие бумаги закружились в воздухе, как летучие мыши. Ко мне подбежал Саша Митрофанов, схватил за рукав, потащил куда-то. Мы увидели две багровые свечи над корпусом, где размещались Сашина лаборатория и реактор. Густой дым валил из окон, сквозь него, как языки змей, быстро высовывались и втягивались языки пламени. Последовала серия небольших взрывов, как пулеметная дробь.

«Огонь бежит по пробиркам с растворами. Подбирается к складу реактивов,— с ужасом думал я.— А там...»

Очевидно, и Саша думал о том же. Не сговариваясь, мы бросились к клокочущей воронке входа. Это было безумием. Все равно не успеть, не преградить дорогу огню. Погибнем! Но мы не думали об этом.

Нам оставалось несколько шагов до входа, а уже нечем было дышать. Нестерпимый жар обжигал лицо, руки. Сзади нас послышался крик:

— Это я виновата! Я одна... Пустите!

Валя бежала прямо в огонь.

Я успел схватить ее за руку. По лицу Вали текли слезы, оставляя на щеках две темные полосы. Она снова рванулась к выходу. Я не удержал ее, не смог. Куда она? Пламя...

Я не слышал, как подъехала машина директора. Тор-1 внезапно вырос на фоне багрового пятна рядом с Валей. Отшвырнул ее назад, сказал «извините», исчез в бушующем пламени.

Теперь Валю держали мы с Сашей вдвоем. Она стояла сравнительно спокойно, исчерпав все силы. Повторяла сквозь слезы:

— Моя вина. Забыла убрать селитру. Это я...

Я смотрел туда, где исчез Тор-1, вспомнил его слова: «Человек имеет право только на те ошибки, за которые сам в силах расплатиться. Только сам».

В первый раз он отступил от своих слов. Что заставило его броситься в огонь, какая сила? Самопожертвование? Жалость? Сострадание? Благородство и смелость?

Почему я тотчас не бросился за ним? Это до сих пор терзает меня.

Через две-три минуты мы увидели директора. Он вышел, пошатываясь, одежда на нем свисала черными клочками. Сделал два шага и упал. Мы бросились к нему. Он лежал на боку, скорчившись, и смотрел на нас.

— Не трогайте,— простонал он и приказал, глядя на Валю так, что она не посмела ослушаться.— Проверьте, выключен ли газ в центральном корпусе. Вы,— он перевел взгляд на Сашу,— скажите пожарникам, пусть начинают тушить с правого крыла.

Он посмотрел на меня, но его взгляд бегал, словно искал еще кого-то:

— В левом верхнем ящике моего письменного стола папка. Мать отдаст ее вам. Там записи опыта. Да, я сумел изменить свою нервную ткань, ускорил прохождение импульса в семьдесят шесть раз. Сечение волокна, насыщенность микроэлементами... Главное — код. Код сигналов — больше коротких, чем длинных...

Ему становилось хуже. Лицо серело, словно покрывалось пеплом. Губы потрескались так, что было больно смотреть.

— Узнаете, когда прочтете... Только учтите мою ошибку. Ускорение импульса действует на гипофиз и другие железы. Это я проверил на себе. Узнаете из дневника...

— Почему вы бросились в огонь? — закричал я.— Ведь любой из нас...

— Там надо было быстро... Слишком быстро для нормального человека...

Откуда-то появились санитары. Осторожно положили его на носилки. Он не стонал и не шевелился.

Торий Бениаминович умер по дороге в больницу.

Я разбираю его бумаги. Стремительный почерк, буквы похожи на стенографические значки. Кляксы разбросаны по страницам, как попадания. Очень много исправлений разноцветными карандашами: красный правит чернила, синий карандаш правит красный, зеленый правит синий — так, очевидно, он различал более поздние правки от ранних. Исписанные листы сухо шелестят, говорят со мной его голосом. Он первым решился поставить на себе опыт, который мы пока проводили на животных-моделях.

Неужели человек будущего будет похож на него? Ведь нам было так трудно с ним...

● П. Багряк

КТО?

Рисунки автора.

1. Традиционное начало

— Телефон! — Линда тормошила спящего мужа. — Слышишь?

— М-мг...— Фред повернулся на другой бок.

— Мне самой подойти?

Он приподнялся на локтях и чиркнул зажигалкой.

— Успеется...— Потом спустил ноги на пол и стал шарить ими в поисках туфель.— Моим клиентам некуда спешить.

Когда он вернулся, Линда спросила:

— Ну?

— Какой-то профессор... Звонил сам шеф. Вовремя, черт возьми! Нам как раз нужно вносить за пианино.

— Как ты можешь?

Он пожал плечами.

— Не будь ханжой. Ему уже ничем не помочь.

На улице шел дождь. Было темно и сыро, и после теплой постели Фред Честер чувствовал себя особенно неуютно. Он поднял воротник пальто и поежился. Подумал: преступники никогда не заботятся о репортерах — ночью, да еще в такую погоду...

Взвизгнув тормозами, из темноты неожиданно вынырнула, взметнув тучу брызг, знакомая машина. Фред едва увернулся.

— Салют, старина! — приветствовал его обычный партнер в подобных поездках фоторепортер Мелани.

Усаживаясь в машину, Честер с завистью посмотрел на своего спутника. Всегда бодр — ночь для него, что день. Сам Фред все еще никак не мог прийти в себя и, чтобы взбодриться, жадно затянулся сигаретой.

У ворот, ведущих на территорию института, долго и придирчиво проверяли документы. Наконец их пропустили. Проходя по двору, Фред не заметил обычного оживления. Рассекая темноту ярким светом фар, подъехала какая-то машина. Вспыхивали огоньки карманных фонарей. Часть людей была одета в военную форму. Корреспондентов других газет Фред не видел.

Поднимаясь по лестнице, они столкнулись с Гардом. Дэвид Гард, старший инспектор уголовной полиции, был давнишним знакомым Фреда. Они поздоровались.

— Послушай, Дэви, что за народ? — осведомился Фред.

— Т-с-с! — Гард приложил палец к губам.— Серьезная история. Этот профессор работал на военных. Он, кажется, открыл что-то важное.

Фред насторожился. Чутьем опытного газетчика он почувствовал запах сенсации и ревниво оглянулся по сторонам.

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

— Где же «вечные перья»?

— Репортеры? — Гард усмехнулся. — Других не будет.

Фред с чувством пожал ему руку. И вправду говорят: «Хорошие друзья дороже денег».

— Пойдемте, я провожу вас,— сказал Гард.

Они шли по длинному коридору второго этажа. По обеим сторонам — двери лабораторий. На металлических табличках выгравированы имена известных ученых. Инспектор открыл одну из дверей, пропуская корреспондентов. Фред успел прочитать надпись: «Профессор Эдвард Миллер». В небольшой светлой комнате стояли стенной шкаф, письменный стол, пишущая машинка.

Сверкнула молния. Это Мелани поспешил щелкнуть затвором.

— Идемте, идемте,— поторопил их Гард.— Это произошло в кабинете.

Они вошли. Большой кабинет профессора Миллера напоминал муравейник. Какие-то люди что-то искали, измеряли, фотографировали. Обычная картина. В этой суете Фред не сразу заметил тело, распростертое на полу как раз посреди комнаты.

Профессор Миллер лежал на боку, лицом к двери, подмяв под себя правую руку. Тело его было напряжено, словно, упав, он пытался встать. Крови почти не было. Гард наклонился над трупом и осторожно повернул голову. Глаза под густыми, сросшимися на переносице бровями были открыты. На побледневшем лице, чуть пониже правого глаза, резко выделялся синевато-багровый шрам, след неудачного эксперимента. Честер вопросительно посмотрел на Гарда.

— Пуля прошла чуть пониже сердца. Вскрытие покажет. Навылет. Вот посмотрите.— Инспектор указал на маленькое аккуратное отверстие в стене. Мелани сфотографировал.

— Стреляли из этого? — Фред кивнул на пистолет, валявшийся на полу рядом с трупом.

— Видишь ли...— Гард помолчал.— Стреляли оба. Вероятно, профессор защищался. Во всяком случае, вот.— Он подвел репортеров к противоположной стене. Там, в промежутке между двумя книжными полками, чернело второе отверстие, в точности похожее на первое. Мелани снова сфотографировал, сначала крупно, а затем, отойдя в другой конец кабинета и сменив объектив, сделал еще несколько снимков, так, чтобы захватить сразу обе стены.

— А не может быть, что в профессора стреляли дважды? — спросил Фред. — Помнишь, как в деле Мортона?

— Нет.— Гард покачал головой.— В пистолете не хватает только одного патрона. Второй выстрел был произведен из другого оружия.

Честер взглянул на часы.

— Сейчас десять минут четвертого. Когда же это случилось? И куда мог скрыться убийца? И вообще как он мог скрыться, если здание охраняется?

— Хотел бы и я это знать,— сказал Гард.

Один из агентов что-то тихо сообщил ему.

— Пойдемте,— обратился Гард к репортерам.— Допросим дежурного.

Они снова вышли в первую комнату. Дежурный, маленький полный человечек с седыми волосами, сидел за столом, закрыв руками лицо. Его била дрожь.

— Успокойтесь,— сказал Гард.— Постарайтесь все рассказать. По порядку.

В ответ послышалось что-то невнятное.

— Возьмите себя в руки. Я требую наконец!

Дежурный поднял голову. Честеру показалось, что его лицо еще бледнее, чем лицо убитого. Все молча ожидали.

— Это... это было около полуночи,— произнес дежурный. Он продолжал дрожать, лицо его нервно подергивалось.

— Точнее,— потребовал Гард.

Дежурный на минуту задумался.

— Это случилось сейчас же после полуночи... Пробили часы и... Сигнал зажегся вскоре после того, как пробили часы...

— Говорите яснее,— попросил Гард.— Какой сигнал?

— Перед дежурным висит табло с сигнальными лампочками, инспектор,— пояснил кто-то из агентов.— Если нажать в лаборатории кнопку, на табло вспыхивает лампочка.

— Хорошо, продолжайте.

— Зажегся двадцать седьмой,— сказал дежурный.— Лаборатория Миллера... Я еще подумал: кто может быть там в такой поздний час? Снял телефонную трубку... набрал номер... Никто не ответил. Пока я звонил, сигнал погас... Я успокоился. Решил: какая-нибудь неисправность в сигнализации. Но сигнал сейчас же вспыхнул опять! Тогда я пошел наверх... пошел по коридору... Я смотрел на таблички... я никогда не был в этой лаборатории... не знал, где дверь... И тогда...— Голос дежурного вдруг стал глухим, словно раздавался из пустой бочки.— И тогда я встретил его.

— Кого?

Дежурный молча кивнул в сторону кабинета.

— Миллера?

— Он быстро шел по коридору мне навстречу. «Это вы давали сигнал?» — спросил я. Но он не ответил. Прошел мимо. Не знаю почему, господин инспектор, мне стало как-то не по себе. И я подумал: «Нет, Джозеф, ты все-таки должен посмотреть, что там стряслось!» Джозеф — это я, господин инспектор, я всегда так себе говорю...

Дежурный замолчал.

— Продолжайте,— сказал Гард.

— Я был так взволнован, что, добравшись до конца коридора, не нашел двери. Двадцать седьмой номер... Наверное, я пропустил его... Тогда я пошел назад и увидел дверь. Она была не заперта. Я прошел в кабинет. Горел свет, а на полу лежал... он! Больше никого не было. Я поднял тревогу.

— Вы слышали выстрелы? — быстро спросил Гард.

— Нет.

— Вы уверены, что в коридоре встретили именно профессора Миллера?

— Да. Тот же серый костюм в клетку... черные волосы... глаза... глаза... Нет, я не заметил... нет-нет, я не знаю... я больше ничего не знаю... я все сказал...

— Что ты думаешь? — осведомился Честер, когда репортеры остались с Гардом без посторонних свидетелей.

— Это не простое убийство,— медленно произнес инспектор.— Похоже, что профессора Миллера устранили.

Фред привстал. В глазах его вспыхнули азартные огоньки.

— Но это же!.. Я давно жду такого случая. Повод для большого разговора.

Гард сразу охладил его пыл.

— То, что я сказал, не для печати. Боюсь, что и на этот раз тебе придется ограничиться чисто уголовными деталями.

— Но разве тебе самому не безразлично...— начал было Фред, но инспектор сухо оборвал его:

— Мои интересы тут ни при чем. Я должен отыскать убийцу. А все остальное меня не касается. Да и тебе советую поменьше философствовать.

...По пути в редакцию Честер обдумал, как лучше преподнести материал. Жаль, конечно, что нельзя писать, чем занимался Миллер. И все же это будет сенсация, настоящая сенсация! Он представил себе гигантские заголовки, фото на всю полосу — труп профессора и лицо крупным планом — отдельно. Спасибо Гарду.

Домой Фред вернулся уже под утро. Несмотря на бессонную ночь, он испытывал чувство приятного удовлетворения от удачно сделанной работы. Материал был продиктован, отредактирован, набран. Честер сам проследил, как его разместили на первой полосе. Правда, фотографий он не дождался. Но на Мелани можно было положиться — он не подведет.

Фред снисходительно поцеловал спящую Линду, залпом осушил стакан холодного молока и, быстро раздевшись, нырнул под одеяло. Когда он проснулся, было уже десять. Сквозь опущенные шторы пробивались солнечные лучи, и, казалось, ничто не напоминало о мрачных событиях минувшей ночи. Очутившись на улице, Фред с наслаждением вдохнул осенний воздух и, предвкушая удовольствие, подумал о том, как развернет сейчас утреннюю газету. Хотя Честер был опытным журналистом, он все равно испытывал приступы радости, видя свои материалы напечатанными на полосе. Его никогда не переставало удивлять, что слова и мысли, рожденные им, как бы освобождались от власти автора и вдруг начинали жить самостоятельной жизнью на газетных страницах, словно дети, ставшие взрослыми и ушедшие из родительского дома в необъятный мир. А иногда случалось, что, вырвавшись на волю, слова бунтовали в этой новой жизни и вели себя не совсем так, как хотелось автору. И уже ничего нельзя было сделать...

Подозвав мальчишку-газетчика, Честер вложил в его ладонь десятилемовую монету и развернул еще пахнувший свежей краской номер. На первой полосе его материала не было. Вторая, третья, четвертая, пятая... Он торопливо пробегал глазами заголовки: «Глубоководная экспедиция», «Авиационная катастрофа», «Встреча министров», «Бракосочетание мисс Каролины Бэкли»...

Репортаж исчез.

2. Встреча

Что за чертовщина! Он сам видел, как его материал верстали на первую полосу... Мистика! Это было так неправдоподобно, что, не веря собственным глазам, он в третий раз медленно перелистал все двадцать четыре страницы газеты.

В редакции тоже никто ничего не знал. Распоряжение снять материал пришло в последнюю минуту. Приказал сам Хейсс. Пришлось заново набирать первую полосу, номер опоздал на полтора часа. В ответ на расспросы Честера сотрудники пожимали плечами.

— Я так рассчитывал!..— признался Фред начальнику своего отдела Мартенсу.— Что же это в конце концов?

Всегда грустный, страдающий одышкой Мартенс сочувственно кивал головой.

— Кто может это знать, Честер? По-моему, ваш материал был как раз то, что надо. Я тут ни при чем, сами понимаете. Шеф!

— Хорошо, придется спросить у шефа! — не выдержал Фред.

Мартенс положил ему руку на плечо.

— Не советую...

Но Честер уже бежал по лестнице. Навстречу ему попался Мелани. Всегда улыбающийся, итальянец сейчас тоже выглядел расстроенным.

— Почему сняли материал? — остановил его Фред.— Что у вас тут стряслось?

Фоторепортер сокрушенно покачал головой.

— Не знаю...

Фред яростно чертыхнулся и побежал дальше.

— Может быть, я во всем виноват,— прокричал ему вдогонку Мелани,— пленка оказалась засвеченной!

Но Честер уже скрылся за поворотом лестницы.

Однако, добежав до приемной Хейсса, он резко остановился на пороге. «В самом деле — зачем? Чего я хочу добиться? — подумал он.— Не станет же Хейсс объяснять свои поступки каждому репортеру уголовной хроники! Нет, прав был Мартенс — это до добра не доведет...»

И Фред уже хотел было незаметно исчезнуть, но в этот момент мисс Горн, высокая, сухопарая, похожая на классную даму секретарша Хейсса, заметила его.

— Мистер Честер, как хорошо, что вы пришли! — с улыбкой прощебетала она.— Шеф как раз посылал за вами.

И она любезно распахнула перед Фредом дверь кабинета.

Пыл Честера уже испарился, а вместе с ним и решительность. Но делать было нечего — он шагнул через порог и молча остановился.

Хейсс был занят разговором по одному из своих многочисленных телефонов. Судя по его лицу, беседа была не из приятных. Он даже отодвинул немного телефонную трубку: видимо, собеседник кричал. И действительно, Фред ясно различил слова, сопровождаемые усиленным дребезжанием телефонной мембраны:

— ...или вся ваша контора отправится к чертовой матери!..

«Ага, значит, и на тебя иногда покрикивают»,— мелькнула у Фреда злорадная мысль. Но это было только на миг. Заметив вошедшего в кабинет Честера, шеф бросил на него неприязненный взгляд и, плотно прижав трубку к уху, быстро закончил разговор такими словами: «Хорошо... Так точно... Можете не сомневаться, господин Дорон».

Фред продолжал стоять у порога, молчаливо ожидая неизбежного разноса. Чего еще можно было ждать, если материал из верстки попал в корзину?

— Что вы стоите, Честер? — с неожиданной любезностью произнес Хейсс, поднимая из-за стола свое короткое толстое тело.— Прошу вас, садитесь.

«Сейчас начнется»,— тоскливо подумал Фред, опускаясь в кресло.

— Я был вами доволен, Честер,— продолжал шеф, шагая по кабинету.— Особенно последнее время. Вы, кажется, второй год работаете без отпуска?

Фред молча кивнул, не глядя на шефа. Куда он клонит?

— Вам надо отдохнуть. Обязательно. Немедленно. По вашему лицу видно, как вы устали.

Сердце у Фреда сжалось: неужели конец?

— Простите, сэр,— произнес он, стараясь не выдавать волнения,— простите, но я чувствую себя отлично. Я не устал. И могу...

— Нет, нет,— перебил его Хейсс.— Никаких возражений. Берите жену и поезжайте к морю на пару недель. За сегодняшний материал получите двойной гонорар. Кроме того, вам выдадут еще двести пятьдесят кларков, я уже распорядился.

И Хейсс сел за стол, давая понять, что разговор окончен.

Ничего не понимающий Фред медленно попятился к двери.

«Спросить или не спросить? — лихорадочно размышлял он, глядя на шефа.— Эх, была не была!»

— Простите, сэр,— пробормотал он, останавливаясь.— Почему мой материал... Я хотел бы знать...

Произнеся эти слова, Фред сейчас же пожалел об этом. Всем сотрудникам редакции было отлично известно, что шеф терпеть не может, когда подчиненные задают ему вопросы.

Однако на этот раз в серых, глубоко сидящих глазах Хейсса, к удивлению Фреда, мелькнуло что-то похожее даже на сочувствие.

— Не стоит жалеть об этом, Честер,— сказал он мягко.— Одним материалом больше, одним меньше. У вас еще все впереди. Послушайте моего совета.— В голосе Хейсса вновь зазвучали твердые нотки.— Отправляйтесь отдыхать и постарайтесь забыть обо всей этой истории.

Фред немного пришел в себя только на лестнице.

«Нет, положительно сегодня невероятный день,— подумал он.— В конце концов все обернулось не так уж плохо. Но почему все-таки снят материал? И с какой стати шефа заинтересовало мое здоровье? Что все это значит? Похоже, что меня просто хотят на время спровадить отсюда. Интересно знать, Мелани тоже получил подобное предложение?»

Маленького фоторепортера он отыскал в небольшой каморке позади буфета, где Мелани обычно колдовал над своими пленками. Итальянец склонился над столом. Многочисленные бачки и ванночки были отодвинуты в сторону, а на образовавшемся свободном пространстве аккуратными пачками были разложены кларковые бумажки. Итальянец, часто слюнявя палец, тщательно пересчитывал одну из пачек.

— Раскладываешь пасьянс? — осведомился Фред.— Двести пятьдесят?

Мелани удивленно взглянул на него.

— Откуда ты знаешь?

— И отпуск на две недели?

Итальянец молча кивнул.

Честер присел на свободный стул и сказал, глядя фоторепортеру прямо в глаза:

— Вот что, Чезаре. Вся эта история мне не нравится. Тут что-то не так... Ерунда...

— Не знаю...— пробормотал Мелани.

— Не хочу чувствовать себя дураком,— продолжал Честер.— Я должен выяснить, в чем дело. Где твоя пленка?

— Я же сказал тебе, она оказалась засвеченной.

— Засвеченной?! Неостроумно. Придумай что-нибудь проще.

Мелани молчал.

— Ты сам ее проявлял? — спросил Фред.

— Нет, пленку забрали в центральную лабораторию.

— А когда выяснилось, что она засвечена?

— Вскоре после того, как ты ушел домой.

— Пленка у тебя?

— Нет, мне ее не отдали.

— Так.— Фред встал.— Вот что, Чезаре, поехали.

— Куда?

— Туда... туда, где мы были ночью. Я хочу еще раз побывать там.

— Кто нас пустит? — возразил Мелани.

— Ну, как хочешь. Я поеду один.

Мелани вскочил.

— Послушай, Фред! Послушай меня, не ввязывайся в эту историю. Ну что тебе до этого? В конце концов свой гонорар мы получили.

— Сдается мне только,— усмехнулся Фред,— что он чересчур велик.

— Что же тут плохого? — не понял Мелани.

— Ну, ладно! — Честер хлопнул его по плечу.— Бери мой гонорар и отдай мне твой характер... Пока, старина!

В проходной института его неожиданно пропустили, как только он предъявил свое редакционное удостоверение. Фред миновал холл, быстро поднялся на второй этаж и нашел знакомую дверь.

И здесь, стоя у двери и еще не открыв ее, он вдруг не то чтобы понял — для этого у него не было никаких оснований,— скорее интуитивно ощутил, что сейчас произойдет нечто невероятное. Это ощущение было так остро, что Фред почувствовал неприятный холодок в пояснице.

И он даже не удивился, когда, открыв дверь и войдя в кабинет, увидел, что навстречу ему из-за стола поднимается профессор Миллер...

3. «Спи спокойно, друг!»

— Гард, объясни в конце концов, что произошло!

Инспектор взглянул на журналиста, но ничего, кроме растерянности на его лице, не заметил.

— Успокойся, Фредерик. Дело не заслуживает того, чтобы так волноваться.

Фред вспылил:

— Десять минут я, как дурак, стоял перед Миллером, не зная, что ему сказать. Тем самым Миллером, труп которого видел собственными глазами ночью. А ты говоришь — успокойся! Что это все значит?

Гард усмехнулся.

— Ровным счетом ничего! Не всегда верь глазам своим. Не было никакого убийства. Тебе приснился сон.

Фред резко встал и, наклонившись к невозмутимому лицу Гарда, сказал медленно, отчеканивая каждое слово:

— Не считай меня идиотом. Час назад я видел два отверстия от пуль в кабинете Миллера. Убийство было!

Инспектор недовольно поморщился.

— Не кричи,— сказал он.— У тебя больное воображение. Тебе нужно отдохнуть. Ты слишком много работаешь.

Честер, не спрашивая, взял сигарету на столе, затянулся и подошел к окну. Он долго смотрел на мигающую рекламу пива. Из ярко-красной бутылки лился радужный фейерверк огней. Они плясали на лице Фреда, и Гард, внимательно наблюдавший за репортером, заметил, как разглаживаются морщины на его лице.

— Ты говоришь то же самое, что Хейсс,— успокоившись, проговорил Честер.— Мы с тобой друзья, знаем друг друга почти десяток лет. Но ты мне сказал то же самое, что Хейсс. Почему?

— Фред, ты хочешь носить голову на плечах или под мышкой? — спросил Гард.

— Покажи мне протокол убийства,— неожиданно прервал сыщика Честер.

— Нет никакого протокола.— Гард замялся, подошел к Фреду и дружески обнял его за плечи.— Я привязался к тебе, мы друзья. Поэтому я прошу: забудь, что было. Представь, что шла обычная тренировка полиции. Еще одна проверка, которых у нас, сам знаешь, хватает.

Зазвонил телефон. Гард поднял трубку.

— Да... да... сейчас выезжаю.

— Что это? — встрепенулся Фред.

— На Селенджер-авеню драка, двоих отправили в больницу, один убит. Поедем?

— Нет, я уже в отпуске.

...Шел мелкий, неприятный дождь. Фред поднял воротник плаща и побрел прочь от полицейского участка. «Ну и черт с ним, с Миллером!» — подумал он. Неожиданно кто-то ударил его по плечу, он обернулся и увидел расплывшееся от улыбки лицо Конды. От него несло дешевым вином.

— Привет, Честер! Ты чего грустный? Пойдем поднимем настроение?

— Не хочется. Да и тебе хватит на сегодня.

— Ну, что ты,— запротестовал Конда.— Я выпил лишь рюмочку, а при моей работе это пустяк!

Конда работал в морге полицейского участка и убеждал всех, что покойники не выносят трезвых. Они любят жизнерадостных людей, а не хлюпиков, которые брезгливо бросают их на полки и стараются смыться из морга. А Конда может душевно поговорить с любым из своих подопечных, ну, конечно, хватив при этом рюмочку-другую.

— Зайдем на минуту.— Конда схватил за рукав Фреда и потянул его в соседний кабачок.— Не упрямься, мне скоро на работу, а я не в форме.

Фред заказал два бокала вина. Выпили. Официант принес еще.

Конда болтал не переставая.

— Передай своему приятелю, фотографу,— говорил он,— что порядочные люди так не поступают. Снимок он напечатал, а где десять кларков? Нет их. Я ему полный порядок навел, своих подопечных простынями укрыл, лампу принес, а он и носу теперь не показывает. Да и мой портрет неважный. Расплывчатый. Мог бы постараться твой фотограф, нехорошо...

— Вот, возьми.— Фред протянул Конде десятикларковую бумажку.— Мелани просил передать,— солгал он.

Конда схватил деньги и быстро спрятал их.

— Это — другое дело,— пробормотал он.— Вы, журналисты, народ приличный. С вами можно иметь дело.

— Если ты окажешь мне одну услугу,— сказал Фред,— получишь вдвое больше.

— Валяй говори.

— Покажи мне списки твоих покойников, которых привезли вчера.

— Гони двадцатку!

Фред достал бумажник.

— Я могу тебе список не показывать.— Конда захохотал.— Потому что вчера было всего два трупа: старуху машиной сбило и женщина покончила самоубийством. Все. Адреса их...

— Не надо.— Фред протянул Конде стакан вина.— А мужчин не было?

— Привозили одного старикана, но его не выгружали. Шеф сказал, что вскрытия не будет, сразу отправили к Бирку... Да, это не тот товар, который

тебя интересует. Помнишь, две недели назад, когда ту, девятнадцатилетнюю, отчим утопил в ванне? Это — другое дело. А вчера старуха, неврастеничка да нищий. Скучно.

— Старик был нищим?

— Конечно, поэтому и не вскрывали... Давай выпьем!

— Хватит! — Честер встал.— Мне пора. Жена ждет.

Конда с сожалением поплелся к дверям вслед за журналистом. На улице они пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны...

Хозяин фирмы «Спи спокойно, друг!» пользовался всеобщим уважением. В прошлом году Бирк напечатал в одной из утренних газет шесть статей под заголовком «Почему мы хороним вечером?». Бирк доказывал, что «похороны с факелами в руках на закате дня наиболее отвечают таинству происходящего, когда индивидуум меняет один мир на иной». Статьи вызвали споры, и фирма Бирка начала процветать.

Честер несколько раз встречался с Бирком. Он писал репортажи с его кладбища, их печатали дважды на первой полосе с великолепными снимками Мелани. Помнит ли Бирк его?

Бирк никогда ничего не забывал. Фред убедился в этом, едва он набрал номер телефона и услышал голос секретаря Бирка: «Шеф примет в любое удобное для вас время. Для ведущего репортера уголовной хроники он никогда не бывает занят».

Контора находилась у входа на кладбище: изящный коттедж из стекла и алюминия на фоне черных крон деревьев. Бирк встретил Честера у входа.

— Прошу, садитесь! — Он показал Фреду на кресло.— Валери, — обратился он затем к секретарю,— прошу вас, вино и коньяк.

Фред огляделся. В центре кабинета небольшой стол, четыре стула. Стол затянут черным бархатом. «Для заседаний»,— решил Честер. На стене напротив развешено несколько фотографий, среди них — знакомые, те, что делал Мелани. В углу кабинета письменный стол, рядом два кресла. На одно из них и сел Фред.

Бирк расположился напротив.

— Мы очень давно не виделись,— сказал он.— Ваша газета совсем забыла обо мне. И я, наконец, рад, что вновь вы у меня.

— Я пришел по сугубо личному делу,— угрюмо заметил Фред,— оно к газете не относится.

— Боже мой, это не имеет никакого значения!— Бирк широко улыбнулся, ослепив собеседника большими, как у певца, зубами.— Вы так много сделали для моей фирмы, что я готов оказать вам услугу.

Вошла Валери и внесла на подносе две рюмки, коньяк «Наполеон» и бутылку «Фраскати».

— Шеф,— сказала она,— звонит миссис Бирк, просит соединить.

— Разрешите? — спросил Бирк у Фреда.

Журналист молча кивнул, всем видом своим пытаясь показать, что дело, по которому он пришел, не к спеху. Бирк взял трубку.

— Дорогая, я задержусь сегодня на тридцать пять минут. Уложи детей спать и поезжай в оперу. Я смогу приехать лишь к третьему акту, мне еще нужно переодеться.

Фред, глядя на хозяина фирмы «Спи спокойно, друг!», начал злиться. Его безукоризненно светские манеры (Бирк был принят в высшем обществе), элегантный черный костюм французского покроя и, наконец, холеные белые руки, сливающиеся с накрахмаленной сорочкой, раздражали его. Честеру вдруг захотелось встать и уйти. Но Бирк, поговорив с женой, сел напротив и заулыбался настолько добродушно, что Фред не двинулся с места и, собрав силы, как можно равнодушнее сказал:

— У меня дело... пустяковое. Мне нужно взглянуть на старика нищего, который похоронен вчера.

Бирк понимающе кивнул головой.

— Одну минуту,— сказал он, поднял трубку и вызвал по селектору управляющего седьмым участком.— Принесите мне документы на вчерашнего клиента. Да, да, анкету и результаты обработки.— Бирк положил трубку и, обращаясь к Фреду, предложил: — Отведайте «Наполеона», я предпочитаю его остальным.

— А как же с моим делом? — спросил Фред.

— Прошу вас подождать несколько минут.

На селекторе зажегся красный глазок.

— Простите,— вновь извинился Бирк. Он пододвинул микрофон поближе к себе:— Слушаю.

— Шеф, к клиенту номер 4725,— услышал Фред,— пришла жена, а репродуктор не работает. Мы вызывали радиомеханика, но он придет лишь через полчаса. Что делать?

— Кто обслуживает клиента?

— Лермен.

— Оштрафуйте его на десять кларков. Если подобное повторится,— увольте. Перед женой клиента извинитесь и дайте музыку с соседнего участка, так, чтобы она слышала, конечно.

— Еще один вопрос, шеф. Клиент любил Моцарта и Штрауса. Кого из них транслировать?

— Сегодня пасмурно. Дайте Моцарта.

Огонек на селекторе погас.

— Бирк,— сказал Честер,— вам нравится работать здесь?

— Безусловно! У меня беспроигрышный бизнес, и, кроме того, разве можно найти более спокойное место? Десять лет назад, после окончания Кембриджа, я два года работал в одной из крупнейших клиник Лондона, но больно уж там беспокойно. Наш же клиент тихий, благоразумный.

— Да, пожалуй, вы правы.

Появилась Валери и положила на стол черную папку. Фред прочитал: «Клиент № 24657. Доставлен 24 сентября 1965 года. Участок № 7».

Бирк раскрыл папку, быстро пробежал глазами анкету.

— Драгоценностей нет, золотых зубов тоже,— сказал он Фреду.— Что вас интересует в этом клиенте?

— Я хочу просто посмотреть на него.

— Странно.— Бирк пристально глянул на Честера.— Очень странно... Ну что ж, милый Фред, я уже дал распоряжение на раскопки. Но это противозаконно, потому что беспокоить наших клиентов могут только полицейские...

— Разрешите, я пойду туда? — нетерпеливо сказал Фред.

— Одна маленькая формальность,— остановил его хозяин фирмы.— В какой банк представить счет?

— Я предпочитаю платить наличными.

— Нас это вполне устраивает. Итак, непосредственно за раскопку — 6 кларков 25 лемов и за риск— как известно, среди деловых людей он оплачивается — 150 кларков. Итого, 156 кларков 25 лемов.

«Бандит»,— ругнулся про себя Фред, но быстро достал деньги и положил на стол.

Когда вместе с Бирком они подошли к седьмому участку, рабочие уже закончили работу. Бирк осветил фонарем могилу, потом гроб, покрытый сырыми комьями глины.

— Откройте крышку! — приказал он.

Один из служащих спустился вниз и приоткрыл крышку. Фред отшатнулся: он увидел лицо профессора Миллера.

4. Накануне решения

Гард поправил подушечку на сиденье, поддернул брюки, чтобы не так сильно мялась складка, сел и уже был готов заняться обычными криминалистическими делами, когда раздался стук в дверь.

Еще не видя человека, Гард по характеру стука определил, что посетитель взволнован, нервничает и что следующие минуты будут беспокойными. Поэтому его лицо приняло любезно-сосредоточенное выражение.

— Войдите!

Вошел Фред Честер.

Они не виделись три недели, и Гард не знал, что делал это время журналист, был ли он вообще в городе, но не удивился его неожиданному приходу, потому что уже давно отучил себя удивляться: мешало работе.

— Гард,— тихо сказал журналист,— зачем было обманывать меня?

Фред заметно изменился. Он походил на человека, выброшенного из привычной колеи жизни. Гарду было достаточно увидеть, как дрожат его пальцы, чтобы понять это.

— Сегодня прекрасный день,— сказал Гард.— Но газеты пишут, что в Австралии ураган. Так-то вот.

— Гард!— Голос журналиста дрогнул.— Завтра этот ураган может быть здесь!

— Возможно. Ну и что? Сегодня небо безоблачно. Сегодня истина в этом.

— Брось! Я раскопал то дело... о Миллере.

Искусство сыщика во многом зависит от умения слушать: кто больше знает, тот и сильней.

— Я слушаю тебя,— сказал Гард.

Честер вытащил из кармана блокнот.

— У меня нет протоколов,— сказал он.— И я не проводил следствия. Дело вообще не в фактах — они часто лгут. Дело в людях, которые стоят за этими фактами. Поэтому не удивляйся. Многое покажется тебе непривычным и странным...

— Я слушаю,— повторил Гард.

И он услышал то, что уже знал Честер.

В то утро Миллер стоял у распахнутого окна. Была осень. Он смотрел на поток прохожих. Каждый торопился по своим делам. Редко кто поднимал голову, а если поднимал, то задумывался ли о большом мире, который его окружает? О людях, что шли рядом? О себе, наконец? Эдакие маленькие, замкнутые вселенные двигались по тротуару, далекие от Миллера, как и он от них. И равно близкие.

Миллер захлопнул окно. Великолепие осени раздражало, как обман. Он оглядел кабинет. Все строго и нерушимо стояло на своих местах, но Миллер испытывал состояние человека, увидевшего, что во всех углах вдруг занялся пожар.

Всего лишь несколько дней назад он пережил счастливый миг, когда внезапно, в каком-то истинном озарении нашел то, что искал долгие годы. Это был тот миг, когда Миллер увидел путь до самого конца — так, будто уже прошел его. Начинался он, как ни странно, в самом запаутиненном отсеке физики, куда давно никто не заглядывал, ибо там двери были заперты аксиомами. Миллера толкнуло отчаяние поиска,— право же, мысль его уже готова была ломиться в любую дверь.

Что означала его находка для него самого, для людей, он понял не сразу. Кинулся сначала к Дорону — докладывать, но что-то остановило Миллера, он словно споткнулся о взгляд этого военного в штатском, который прямо, как перпендикуляр, восседал в кресле. Споткнулся и забормотал о каких-то пустяках... Дорон, естественно, остался недоволен им больше, чем обычно.

«Главное — жить в мире с самим собой», — сказал кто-то из мудрых. Но с самим собой у Миллера началась отныне мучительная схватка. То, о чем он сегодня думал как о подлости, завтра казалось ему добродетелью. А послезавтра — наоборот. Его средство могло — действительно могло! — избавить мир от страшной угрозы ядерного самосожжения. Атомные бомбы, которые не взрываются! Водородные заряды ракет, которые не могут поразить и воробья! «Люди, это возможно, возможно,

возможно!» — хотелось ему кричать. Но люди бывают разными. «О да,— сказал бы Дорон,— это великолепно. Бомбы не взрываются — у противника! Вы, Миллер, великий патриот. Вы герой!»

Он скажет так и даже не улыбнется.

Когда Миллер понял это, ему стало страшно. Конечно, он может нарушить подписку о неразглашении военных тайн и послать статьи с описанием «эффекта Миллера» и схемы установки во все ведущие журналы мира. Сделать его установку несравненно легче, чем создать атомную бомбу. Тогда он спаситель человечества от угрозы ядерной войны. Но тогда он государственный преступник в глазах доронов и его ждет быстрая и «случайная» смерть, ибо дороны не прощают. Они убьют его просто потому, что так надо. В назидание другим.

Или — или. Выбор. Между славой и гибелью. Между благом человечества и собственным благом. Газеты твердят: маленький человек, сегодня ты особенно ничтожен. Ты винтик сверхсложной машины современности... Миллер тоже так считал. Но в наше время маленький человек может оказаться у кнопки, повелевающей силами ада и рая. Все беды и заботы мира лежат на твоих плечах, маленький человек, профессор Миллер!

Вот и сегодня, как много раз за последние дни, с потухшей сигаретой в руке он стоял посреди кабинета. По циферблату настенных часов бежала секундная стрелка. Секунды, минуты, часы... Рано или поздно, но он должен принять какое-то решение. На его открытие завтра набредет кто-то другой. Это неизбежно. И тогда ответственность перед самим собой и перед всем человечеством ляжет на плечи этого другого, но кто знает, что решит он?

Когда зазвонил телефон, Миллер догадался, что это Ирэн. Он волновался, видя издали девушку, похожую на нее. Он волновался, проходя мимо тех мест, где они бывали вместе. Миллер мог представить мир без себя, но представить себя без Ирэн— это было выше его воли.

Он снял трубку.

— Да...

— Ты решил?

Миллер едва не застонал. Вчера, в минуту слабости, он малодушно попытался переложить тяжесть решения на ее плечи. Он не сказал Ирэн ничего о существе своего открытия,— он просто дал ей понять, что стоит на грани решения, от которого зависит либо их собственное счастье... либо счастье всего человечества.

Ирэн ответила ему тогда: «Я хочу быть с тобой. Как всякая женщина, я хочу иметь свой дом, своих детей — твоих детей. И чистое небо над головой. Мне легко принять решение, но решать должен ты. Потому что, если это сделаю я, ты мне не простишь». Она права. И, что бы она ему ни сказала, свободы в их отношениях уже не будет.

— Ты меня слышишь? — спросила Ирэн.— Ты еще не решил?

— Завтра утром...

Почему завтра утром, он сам не знал. Наступило молчание. Миллер готов был взвыть от боли.

— Завтра утром, Ирэн! Я буду тебя ждать... И прости!

Он бросил трубку. Потом побрел к двери. Его вел уже не разум, а инстинкт, желание найти кого-то более сильного, умного, кому можно было бы пожаловаться, как в детстве он жаловался отцу.

Миллер не помнил, как очутился у двери профессора Чвиза. Это был единственный человек — его добрый старый учитель,— к которому он еще мог

прийти. Не рассказать — об этом не могло быть и речи,— но хотя бы услышать его спокойный голос.

На дверях лаборатории горела надпись: «Не входить! Идет опыт!»

Но Миллер не заметил ее. Он дернул дверь, она не поддалась. «Старик опять заперся, чтобы ему не мешали»,— подумал Миллер и нажал тайную кнопку, отключающую блокировку. Дверь распахнулась, и он вошел в лабиринт установок.

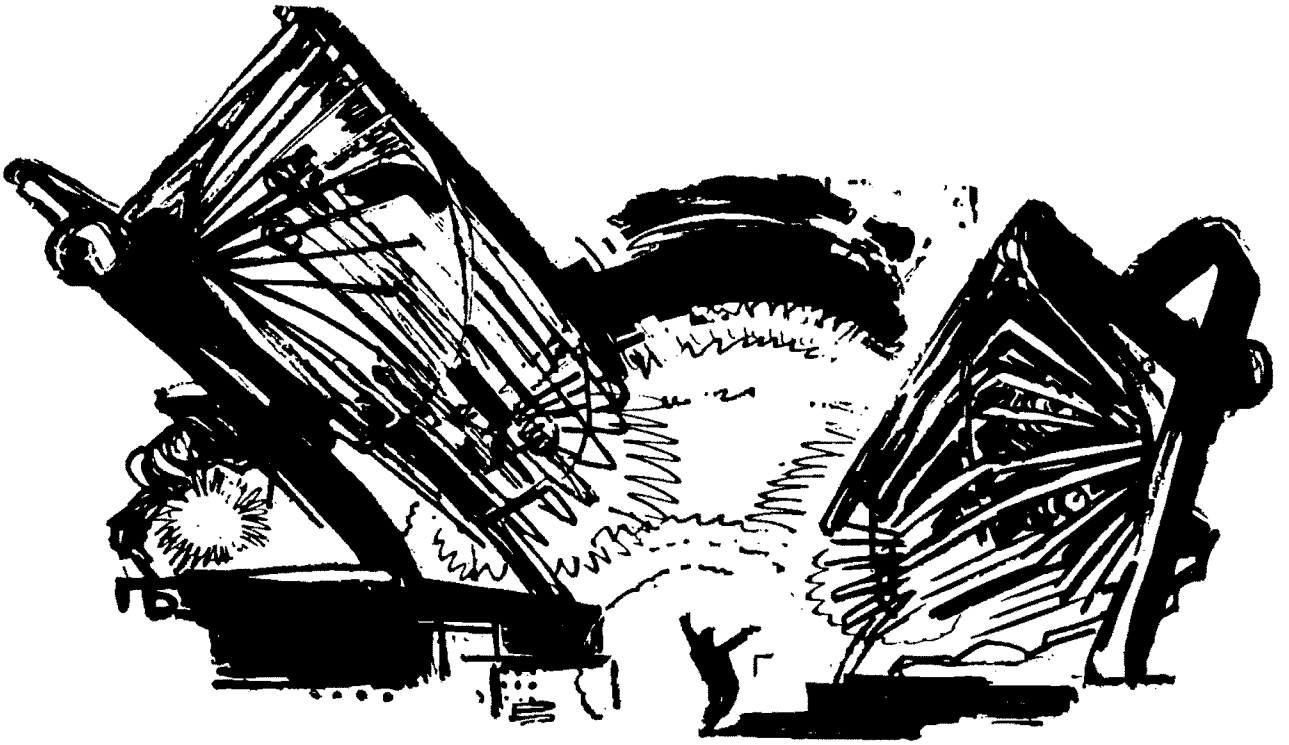
Он шел мимо электронных машин, не видя их, думая о своем. Его лицо отразилось в экране телевизора. «Нет, нет,— говорил он себе,— мой страх ложен! Разве прокляли себя создатели атомной бомбы?» Он шел мимо колонн Графтена, мимо бетонных выступов, за которыми прятались шины, несущие в себе миллионы вольт напряжения, мимо пультов электронных микроскопов. «Хорошо то, что разумно,— билось в голове.— Какое мне дело до всех, если меня ухлопают дороны и меня не будет?»

Он шел мимо полусфер гиперрегулятора — гордости старика Чвиза. «Жизнь, богатство, Ирэн, дети, власть, слава — стоит ли отказываться от всего этого из-за дурацкой политики?»

Что-то сверкнуло перед глазами Миллера радугой. Какая-то пелена окутала раструбы гиперрегулятора. Миллер взмахнул рукой. Ее кольнул холод. Сверкание исчезло. Миллер опомнился. Нет, он попал не туда... Надо взять влево.

— Миллер, вы опять здесь? —вскричал Чвиз, увидев его.— Я же просил вас...

— Меня? — сказал Миллер.— Это было, наверное,



вчера, дорогой учитель, когда вы прогнали своего любимого ученика из лаборатории...

— Идите домой, Миллер, на вас нет лица.

— Пустое... Нервы.

— Но у меня до нуля упало напряжение! Миллер, вы случайно...

— Простите, Чвиз. Возможно. Я задумался. Но разве у вас идет опыт?

Борода Чвиза стала торчком.

— Вы были в камере?!

— Это опасно? — Миллер спросил почти равнодушно.

— К счастью, нет. Но вы меня напугали. Вот этот кролик,— он показал на застекленный вольер,— благодаря вам мог превратиться в эдакого сфинкса...

— Как жаль, учитель, что я не перенял у вас способность шутить! Но простите меня, я, кажется, действительно очень виноват, что помешал вашему опыту.

— Ничего страшного, Миллер, ничего страшного. Но вам следовало бы отдохнуть. Погодите, я провожу вас.

...Заснуть в эту ночь Миллеру не удалось. Тьму наполняли лица, даже когда он плотно зажмуривал глаза. Лица. Молодые, старые, красивые, уродливые, они толпой шли через сознание и смотрели, смотрели на Миллера. Их взгляд был невыносим. Так, вероятно, могли смотреть те, кого нацисты вели в газовые камеры.

С истерзанными нервами, стучащим сердцем Миллер бросился к ванной, чтобы принять холодный душ и хоть так прогнать видения.

И в эту минуту он услышал, как в замочной скважине входной двери заскрежетал ключ. Миллер обмяк. Ключ повернулся. Кто-то осторожно нажал дверь. Но запор изнутри не поддался. Тогда за дверью стало тихо. «Что за бред! — подумал Миллер.— Кому я нужен, если мои секреты еще при мне?»

В порыве отчаянной решимости он отбросил запор и распахнул дверь. На лестничной площадке никого не было, но внизу затихали шаги.

5. Галстук из Монако

На следующее утро, как обычно, ровно в 9.00 Миллер был в институте. Он прошел длинным коридором, легким наклоном головы приветствуя встречных, и, остановившись перед дверью своего кабинета, не сразу понял, что она уже отперта. «Странно»,— подумал Миллер и вошел в кабинет.

Мягкий щелчок заставил обернуться человека, стоящего спиной к Миллеру и перебиравшего бумаги на столе.

— Простите, я не совсем понимаю...— начал Миллер, плохо сдерживая раздражение бесцеремонностью посетителя,— это мой кабинет и...

— Ваш? — искренне изумился человек у стола, и только в этот момент Миллер вдруг понял, что тот удивительно, просто удивительно похож на него. Такое же растерянное веселое недоумение заметил он и во взгляде незнакомца. Миллер бросил портфель в кресло и подошел ближе, вглядываясь в стоящего напротив человека. Он видел себя! Именно таким он знал свое лицо. Час назад, когда он брился, он видел вот этого человека в зеркале. Зеркало? Голографическая проделка шутника Раута из оптической лаборатории? Он подмигнул своему изображению, но оно не ответило ему, и он понял, что это реальность.

Человек у стола засмеялся нервно и коротко.

— Забавно, очень забавно,— проговорил он задумчиво, разглядывая Миллера.

Тут физик заметил, что и одежда незнакомца была точной копией его костюма. Те же серые брюки, пиджак в клетку, белая рубашка, черные полуботинки и даже этот галстук с крохотным гербом Монако внизу, который он купил в прошлом году, когда ездил в отпуск на Ривьеру. Галстук — это уж слишком... Он подошел ближе и спросил:

— Простите, откуда у вас этот галстук?

— Купил в Монако,— ответил незнакомец.

— В прошлом году?

— В прошлом году.

— В августе?

— В августе.

Тут у Миллера впервые мелькнула мысль, что все происходящее — галлюцинация, болезненная реакция мозга, утомленного бессонными ночами последней недели. Как это называется у психиатров? Раздвоенность сознания? Неужели он заболел? Заболеть сейчас, накануне решающих опытов... Ужасно... Он опустился в кресло и, прикрыв лицо рукой, до боли надавил на глаза. Взглянул снова. Вот он, стоит.

— Это редчайший феномен,— сказал незнакомец и засмеялся нервным смехом.— Насколько я знаю, у моей матери не было близнецов. Вероятность такого совпадения практически равна нулю. И тем не менее, коли уж вы пришли ко мне, давайте познакомимся.

— Я пришел к вам? — спросил Миллер.

— Не понимаю.— Незнакомец пожал плечами.— Или вы будете отрицать, что минуту назад переступили порог моего кабинета?

— Но это мой кабинет! — Миллер встал с кресла.

— Черт с ним, с кабинетом! Не будем спорить по пустякам. Итак, разрешите представиться.— Незнакомец протянул руку.— Профессор Эдвард Миллер, доктор физики...

— ...родился в Женеве 9 марта 1927 года,— продолжал Миллер,— окончил Мичиганский университет в 1950 году...

— Совершенно верно! — воскликнул незнакомец.

— Еще бы не верно! — сказал Миллер.— Это же я!

Теперь он подумал, что участвует в грандиозной мистификации, великолепном иллюзионе, и уже заранее восхищался гением неизвестного фокусника.

— Что значит «я»? — спросил незнакомец.

— Я — значит я,— сказал Миллер весело.— Эдвард Миллер, доктор физики — это я.

— Та-ак...— протянул незнакомец и вытащил из кармана пачку сигарет. «Курит тот же сорт»,— подумал Миллер и взял предложенную ему сигарету. Две зажигалки щелкнули одновременно. Две одинаковые зажигалки. Они оба заметили это.— Так... так,— снова протянул незнакомец и выпустил первое колечко дыма.— Итак, вы утверждаете, что вы тоже профессор Миллер?

— У меня есть на это некоторые основания,— не без иронии сказал Миллер.

— Хорошо. Предположим. Как говорят политики, поговорим не о том, что нас разъединяет, а о том, что нас объединяет.

— При самом беглом осмотре видно, что объединяет нас чересчур многое.

— Итак, вы мой двойник.

— Простите, это вы мой двойник.

— Не понимаю.

— Почитайте «Начала» Эвклида, он пишет там о принципе подобия,— посоветовал Миллер.

— Кстати, я читал Эвклида.

— На третьем курсе. Главным образом для того, чтобы произвести впечатление на Леру Вудворд, рыженькую теннисистку с химфака.

— Вы и это про меня знаете? — удивился незнакомец.

— Это я знаю про себя!

— Послушайте,— сказал незнакомец,— а ведь все серьезнее, чем вы думаете. И зря вы веселитесь.

— Это — единственное средство, чтобы не сойти с ума.

— Да, нервы работают за красной чертой. И еще бессонная ночь: не привык ночевать в гостинице.

— В какой вы остановились? — с веселой любезностью спросил Миллер.

— Нигде я не останавливался. Я живу на Грей-авеню...

— ...дом 37, квартира 14.

— Верно! Но прошлой ночью я вернулся поздно и обнаружил, что замок заклинило. Ломать замок — это работа до утра, и я решил заночевать напротив.

— В «Скарабей-паласе»?

— Да.

— Значит, это вы скреблись в дверь, когда я сидел в ванной?

— В какой ванной?

— В своей ванной, в своей квартире 14, дом 37, на своей улице Грей-авеню!

— Та-а-ак.

— А ведь вы правы,— задумчиво продолжал Миллер,— положение действительно гораздо серьезнее.

Помолчали.

— Послушайте меня спокойно, кажется, я все понял,— сказал наконец Миллер.— Так вот, я — настоящий Миллер, а вы — мой двойник, случайно синтезированный вчера в лаборатории Чвиза. Старик добился своего! Он рассказывал мне не раз свою теорию матричной стереорегуляции. Человек — система живых клеток, особенным образом организованных. Никакой души, духа и прочей мистики. Физика и химия. Только! Организм для Чвиза — матрица. Он дробит его на молекулярном уровне в поле своего гиперрегулятора и перепечатывает наново... Полная копия, абсолютно полная, вплоть до напряженности нейронов... Чвиз рассказывал об этом, но я всегда считал, что это бред.

— Кстати, и я думал, что это бред,— сказал незнакомец.

— Да-да, не перебивайте. Еще вчера утром вас не было. Поэтому мы никогда не встречались раньше. Вы — это я в то самое мгновение, когда я проходил мимо его биохологенератора или как там его называют.

— Послушайте, а вы не отличаетесь скромностью,— сказал двойник.— Почему «я — это вы»? А если наоборот? Как я мог родиться вчера, если я помню себя десятки лет? Я все помню,— сказал он задумчиво.— Я могу показать вам могилу отца, и две сосны, где висели мои качели, и свои фотографии... Мальчик в матроске на велосипеде...

— Это мои фотографии!

— ...и свои фотографии, и ту скамейку в Парке смеха, где я впервые увидел Ирэн...

— Ирэн! — воскликнул Миллер.— Вы знаете Ирэн?

— Простите, это моя невеста,— спокойно ответил двойник.

— Но это чудовищно!

— Успокойтесь, так называемый «профессор Миллер». И давайте здраво взвесим все события. Если вы утверждаете, что я возник вчера и виной тому ваша неосторожность в лаборатории старика Чвиза, то, насколько я знаю теорию Чвиза, мы должны быть абсолютно одинаковы физиологически, а характер и эмоции одного из нас должны определяться характером и эмоциями другого точно в момент синтеза. Каким были вы в ту секунду, когда Чвиз включил поле? Не помните? Разумеется, вы не помните: человек не может контролировать и запоминать свои эмоции по секундам. А тогда ответьте мне на вопрос: как можно сейчас доказать, что вы — настоящий Миллер, а я — синтезированный?

Миллер молчал.

— Значит, критерия нет,— продолжал двойник.— Сравнивать не с чем. И, клянусь, я не отобрал у вас вашего имени. Синтезированный двойник — вы.

— Послушайте,— сказал Миллер,— но ведь я отлично помню, как все было. После разговора с Чвизом я сел на такси и уехал домой, а утром...

— А я после разговора с Чвизом пошел домой пешком и опоздал: вы заперли дверь.

— Но я помню все, что было до Чвиза, я все время думал...

— И я прекрасно помню, я тоже все время думал о своей установке нейтронного торможения.

— Это ваша установка?

— Ну а чья же?

— Послушайте, но ведь это уже очень серьезно! Теперь нас двое. Наша установка...— он невольно запнулся, так дико прозвучали эти слова «наша установка»,— мы двое должны решить наконец...

— Не знаю, как вы, а я уже решил,— ответил двойник.— Всю ночь в «Скарабейе» я ворочался с боку на бок и думал, думал...

В этот момент в дверь постучали.

— Это Ирэн! — сказал Миллер.

— Да, это Ирэн, вчера я попросил ее зайти ко мне,— подтвердил двойник.

— Она не может видеть нас двоих,— зашептал Миллер,— вы должны уйти!

— Я?

В дверь опять постучали.

— Убирайтесь! — закричал Миллер.

— Послушайте,— глухо сказал двойник,— эта женщина — единственное, что есть у меня в этом мире, единственное, во что я верю.

Он резко оттолкнул Миллера и бросился к двери.

6. Кредо

Миллер едва успел закрыть за собой дверцу стенного шкафа. До прихода Ирэн у него оставалось мгновение, чтобы оценить ситуацию, в которую он попал, и найти какую-нибудь статичную позу. О боже, оценить ситуацию! Люди устроены так, что необычность своего положения по достоинству оценивают потом, много позже, заливаясь краской стыда, смеясь или испытывая приступы запоздалого страха. Но в конкретный момент они нередко ведут себя столь спокойно и привычно, словно всю жизнь только тем и занимались, что на два часа в сутки регулярно прятались в темных и душных стенных шкафах.

Так или иначе, но Миллер немедленно присел на корточки, чтобы замочная скважина оказалась на уровне его глаз, и обнаружил под собой твердый предмет, пригодный для сидения. Он даже успел подумать о том, что неплохо бы узнать, какой это болван не выполнил его распоряжения и не выбросил старенький оппель-сейф... Впрочем, надо бы при случае сказать ему «спасибо».

И тут вошла Ирэн.

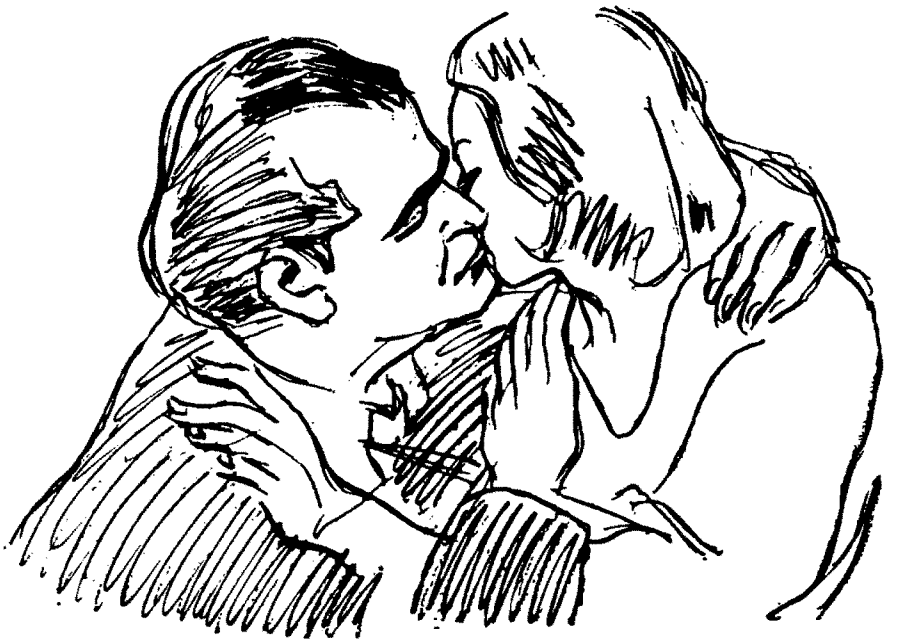
Дальнейшее было, как в кино. Нет, как в романе. Нет, как во сне. Во всяком случае, было так, как не бывает в обычной, нормальной жизни. Миллер, сидя в шкафу, наблюдал через замочную скважину не просто сцену свидания знакомого или незнакомого мужчины со знакомой или незнакомой женщиной, что уже достаточно пикантно и необычно для ученого с его именем,— он подглядывал за самим собой, причем подглядывал совсем иначе, нежели мы порой следим украдкой за собственным отражением в зеркале. Он имел возможность наблюдать себя, ну, что ли, целиком, хоть со стороны затылка, понимая при этом, что отражение может действовать совершенно независимо от своего хозяина.

Миллер затаил дыхание и прильнул к замочной скважине.

Между тем Миллер-второй, подойдя к Ирэн, поцеловал ее в лоб, как это делал всегда Миллер-первый. Потом подумал и вдруг поцеловал прямо в губы, что Миллер-первый делал чрезвычайно редко, когда испытывал прилив особого волнения от встречи с Ирэн. Затем он специфическим миллеровским движением шеи поправил воротничок рубашки, и Миллер-первый подумал про себя, что жест этот выглядит со стороны удивительно неприятно и какое счастье, что Ирэн на этот раз, как, вероятно, и всегда, не обратила на него внимания.

Звук поцелуя помог Миллеру-первому очнуться от созерцательности. «Я ревную или не ревную?» — неожиданно спросил он себя и понял, что сама возможность спокойно задать этот вопрос уже есть ответ на него.

Он чуть не рассмеялся. В конце концов можно относиться к происходящему как к научному эксперименту, способному вызвать у ученого лишь любопытство. Важно только понять, беспредельно ли оно. Итак, что будет дальше? Пора предложить Ирэн кресло у окна — ее любимое низкое кресло, стоящее рядом с низким столиком, затем открыть крышку бара, достать начатую вчера бутылку кальвадоса или стерфорда... «Ты сегодня лирически настроена, Ирэн? Значит, кальвадос?»



Словно подчиняясь приказанию Миллера-первого, двойник мягко проводил Ирэн в ее любимое кресло, затем беспомощно оглянулся, будто ища чего-то («Действительно,— подумал в это же мгновение Миллер-первый,— куда я сунул вчера ключ от бара?»), потом решительно протянул руку к той самой книжной полке, где стоял недочитанный томик Вольтера («Он вспомнил быстрее меня!» — с интересом отметил Миллер-первый), достал ключ, и вот уже крышка бара открыта.

— Я хочу, Ирэн, чтобы ты была сегодня серьезной.

Итак, кальвадоса не будет. Ирэн бросила на Миллера-второго внимательный взгляд и протянула рюмку. Забулькал стерфорд.

Отлично. У юристов это называется «эксцессом исполнителя»: отражение проявило свою первую независимость от хозяина. Непонятно лишь, зачем Ирэн надо быть серьезной.

— Ты устал, Дюк?

Ну вот, они произнесли наконец по одной фразе. У Миллера гулко застучало сердце, потому что именно в этот момент он понял, что́ больше всего волновало его секундой прежде. Узнает ли Ирэн подделку? Поймет ли, что перед ней не настоящий Миллер? Не заподозрит ли по одним ей известным приметам, что это двойник?

Нет, не заподозрила. Она сказала «Дюк», она произнесла «Дюк», а не свое обычное «Эдвард», и это была ее маленькая благодарность за его волнение, за поцелуй при встрече, за предстоящий разговор, серьезность которого она угадала,— так редко он доверял ей серьезные разговоры...

Признательность не всегда красноречива.

— Ты устал, Дюк? — И все. Ни одного лишнего слова.

— Спасибо, милая... Я плохо спал этой ночью.

— Сердце? — Бедняжка, она всегда волновалась из-за его сердца!

— Нет. Думал. Я хочу сказать тебе...

В замочную скважину Миллер плохо видел выражение ее лица. Она сидела вполоборота к шкафу, а свет из окна шел неяркий: на улице моросил дождь и солнца не было.

Но вся ее поза: и закинутая голова с пышной прической, и поставленная быстрым движением рюмка, и рука, беспокойно лежащая на подлокотнике,— все это говорило о том, что она волновалась.

— Что ты хочешь сказать мне? — переспросила Ирэн, привыкшая к тому, что Миллер, погруженный в свои мысли, не всегда торопился их излагать.— Ты принял решение? Или что-нибудь случилось?

«Ого! Еще как случилось!» — подумал Миллер-первый и с благодарностью посмотрел на Ирэн: умница, все-таки почувствовала что-то...

— Да,— сказал Миллер-второй,— я, кажется, принял решение...

Зазвонил телефон. «Черт возьми, надо будет завтра сказать миссис Слоу, чтобы она не лезла со своими звонками в дообеденные часы!» — нелепо подумал Миллер-первый, нетерпение которого было естественным. Между тем двойник, извинившись перед Ирэн, спокойно поднял трубку.

— Я вас слушаю, миссис Слоу. Дорон? Ну что ж, соедините. И скажите Керберу, чтобы он зашел ко мне... минут через десять.

«Дорон? Как он некстати!» — подумал Миллер-первый и даже приподнялся со своего сиденья, потому что никогда не видел себя разговаривающим по телефону с шефом.

— Дорон? — сказал двойник.— Вы очень кстати, я только что хотел вам звонить... Да, генерал, я готов принять участие в испытаниях. Кое-что есть, попробуем... Благодарю вас, шеф, но поздравления я буду принимать после испытаний. Когда? Вы говорите, сегодня? Ну что ж, не возражаю. Пусть будет в четыре. До встречи на полигоне!

Невероятным усилием воли Миллер-первый заставил себя усидеть в шкафу. Так вот оно, решение! Минутный разговор с Дороном, десяток элементарных слов, и подведена черта переживаниям, бессонным ночам, гамлетовским раздумьям. Как это просто — в течение минуты решить судьбу свою, судьбу Ирэн, судьбу всего мира! И ничего вокруг не изменилось. Где-то по коридору шагает спокойно Кербер; как всегда, подкрашивает губки миссис Слоу; едут машины по улице, танцуют где-то пары;

работают где-то люди, на какой-то части земного шара шьется пальтишко для ребенка, и неизвестно теперь, успеет ли он его надеть... Нет, не дрожит рука Миллера-второго; булькает стерфорд в рюмку Ирэн.

— Спасибо, Эдвард, я больше не хочу.

Он взял ее ладонь, прижал к своей щеке.

— Но ты же сама отдала мне решение.

— Ты говоришь так, будто я возражаю.

— У тебя теперь будет все, Ирэн,— продолжал он, словно не слыша ее слов.— Виллы, яхты, машины, покой, счастье... Знаешь, если верно, что отдельные беды порождают общее благо, то пусть общая беда создаст хотя бы наше с тобой счастье. Мне надоело...

— Ты говоришь так,— повторила Ирэн,— будто я возражаю!

— Когда, Ирэн, впереди идет гордость, позади идет убыток. Но я люблю тебя, Ирэн, ты понимаешь?

Раздался стук в дверь. Вошел помощник Миллера Кербер. Он остановился у порога, издали поклонился Ирэн и, как всегда, сняв очки, молча обратил свой взор к шефу. Он был в сером халате с рукавами, засученными до локтей, а его голый череп, начищенный до блеска, опять, как и всегда, вызвал желание у Миллера-первого поставить на нем печать. Даже сейчас, сидя в шкафу, он почувствовал зуд в руках и, глядя на своего двойника, понял, что тот, вероятно, испытывает нечто подобное.

— Кербер,— сказал Миллер-второй,— мы сейчас осмотрим установку. К четырем часам ее надо доставить на полигон. Ирэн, это займет не более десяти минут. Прости, тебе придется подождать. Я пришлю за тобой, как только мы кончим.

Кербер расширил глаза, но ничего не ответил, только склонил чуть-чуть голый череп.

Они вышли.

Совершенно неожиданно Ирэн показала им вслед язык, потом достала из сумочки пудру и повернулась лицом к окну.

Не колеблясь, Миллер осторожно отпорил дверцу и бесшумно вышел из шкафа. Когда он, уже не таясь, сделал несколько шагов по кабинету, Ирэн, не оглядываясь, без удивления спросила:

— Так быстро?

— Да. Мне нужно позвонить.

— Ты где-то выпачкал весь костюм,— сказала, повернувшись, Ирэн.

Миллер уже поднял телефонную трубку.

— Миссис Слоу, срочно соедините меня с Дороном!

Прошла долгая минута, прежде чем Миллер услышал:

— К сожалению, шеф, Дорон не отвечает.

Миллер швырнул трубку на рычаг.

— Черт возьми! — вырвалось у него.

— Эдвард,— сказала Ирэн,— случилось еще что-нибудь?

— У тебя не будет ни яхт, ни вилл, Ирэн. Это все бред. Ты будешь нищей, как я. Ты будешь...

— Что это значит, Эдвард?

— Я не могу объяснить. Не умею. Нам пора уходить.

— Куда?

— Этого я тоже пока не знаю. Если угодно, я испытывал тебя, Ирэн, хотел проверить.

— И Дорона тоже испытывал? И Кербера? Зачем?!

— Пойдем, Ирэн. Все очень сложно. Тебе не понять.

— У меня голова идет кругом... Опомнись и помоги, опом...

Она не договорила. Миллер вдруг увидел в ее глазах ужас. Она смотрела мимо него совершенно невыносимым взглядом. Потрясение было так сильно, что она лишилась чувств.

Он быстро оглянулся.

В дверях стоял Миллер-второй.

7. Голый король

Нахальства у Двойника, очевидно, хватало. Он подтолкнул Миллера к шкафу.

— Забирайтесь назад,— сказал он,— поговорим потом.

Миллер чуть не задохнулся от злости. В нем все клокотало, но он понимал, что пререкаться сейчас бессмысленно: каждую секунду Ирэн может очнуться, и тогда трудно представить, что произойдет. Он забрался в шкаф.

Все в ту же замочную скважину Миллер увидел, как Двойник, смочив носовой платок водой, приложил его ко лбу Ирэн. Она глубоко вздохнула и открыла глаза. Ее взгляд скользнул по кабинету беспомощно и боязливо.

— Дюк,— тихо сказала она, не то спрашивая, не то утверждая,— я больна?

— Успокойся, Ирэн,— мягко сказал Двойник,— не надо волноваться.

Он поднял ее и усадил в кресло.

— Эдвард, мне показалось, что ты... Я видела двоих...

— То есть как двоих? Кого?

— Мне страшно, Дюк.

— Успокойся, Ирэн,— повторил он.— Ты очень утомлена. Это бывает. Когда я много работаю, со мной происходит нечто подобное. Это не болезнь.

Успокойся. Ты знаешь, миражи в пустыне, ложные солнца... Ты, наверное, волновалась?

— Да. Я ждала твоего решения и...

— Не будем сейчас об этом.— Двойник обнял Ирэн за плечи.— У нас еще целая вечность впереди.

— Да-да, Дюк, ты прав, как всегда.

Миллер, наблюдавший за этой сценой из шкафа, вначале удивился тому, как Двойник вышел из столь трудного положения, как легко он успокоил Ирэн. «Молодец! — невольно похвалил он.— Я, наверное, не смог бы сделать это столь убедительно». Но когда Ирэн, тронутая его тактом и благодарная, прильнула к Двойнику, смотреть на это было выше его сил.

— Я провожу тебя,— услышал Миллер голос Двойника.

— Не надо, Дюк. Мне нужно побыть одной.

Ирэн направилась к двери. У порога она на мгновение остановилась, и ее взгляд вновь скользнул по кабинету.

Миллер сидел неподвижно, закрыв лицо руками, пока Двойник не распахнул двери шкафа.

— Выходите,— сказал он,— мы одни.

Нестерпимо жгло горло. Опустившись в кресло, где минуту назад сидела Ирэн, Миллер схватил рюмку, одним махом выпил вино и закашлялся. Двойник укоризненно посмотрел на него.

— Я не думал,— ехидно заметил он,— что у вас есть склонность к алкоголизму.

Миллера взорвало, но он сдержал себя и как можно спокойнее ответил:

— Еще неизвестно, какие пороки обнаружились бы в вашем характере, если бы вы сидели в этом шкафу, а я бы нежничал с вашей невестой.

— Оставим это,— прервал Двойник.— Лучше обсудим положение.— Он посмотрел на часы.— До испытаний осталось мало времени, я должен к ним подготовиться. Ну, а вы...

— Что вам делать на испытаниях? Если кто-нибудь из нас должен на них присутствовать, то, конечно, я! Вы оставайтесь здесь, в кино сходите, что ли.

— Я не люблю кино. И вы отлично это знаете. Мне нужны испытания, они слишком много для меня значат, поэтому я должен быть на полигоне!

— В таком случае я звоню сейчас Дорону и говорю ему, что поедет один Кербер.— В голосе Миллера послышались металлические нотки. Он решительно направился к телефону. Двойник остановил его.

— Не торопитесь. Через час после вашего звонка я зайду к Дорону и скажу, что еду на испытания!

— Он примет вас за сумасшедшего.

— Почему меня, а не вас?

Они замолчали.

— Поймите, я, как и вы, тоже ученый,— сказал Двойник.— Мне, как и вам, прежде всего важно убедиться в том, что установка работает.

— Это, пожалуй,— единственное, что заслуживает внимания.— Миллер усмехнулся, понимая, что первый раунд у них кончился вничью.— Так давайте, коллега, объединим свои усилия хотя бы на этом этапе.

Оба помолчали и шеями поправили воротнички рубашек.

— Вы... впрочем, могу и я... короче говоря, один из нас поедет на полигон раньше,— неожиданно предложил Двойник.— Там и встретимся. В бункере могут находиться только двое, нам места хватит.

— Но как быть с Кербером? Он всегда ездил на полигон вместе со мной...

— И со мной тоже... Обойдемся без Кербера,— отрезал Двойник.— А то, боюсь, я ему все же поставлю печать на лысину!

И они, быть может, впервые добродушно рассмеялись, отлично поняв друг друга.

...Как и договорились, Миллер приехал на полигон раньше, а Двойник должен был приехать вместе с Дороном. Предъявив часовому пропуск, Миллер прошел в свой бункер. Дверь была открыта. У пульта управления колдовали два механика — служащие полигона. Они доложили, что установка к опыту готова. Миллер отослал их.

Оставшись один, он полностью переключил свой мозг на предстоящий эксперимент.

В то время как глубоко под землей должна будет взорваться бомба и вспыхнет ядерный шквал огня, он, Миллер, находясь в двух километрах от этого ада, попытается задержать взрыв, ну, пусть на пять секунд, на десять, этого будет достаточно, чтобы понять: установка сработала! Она сейчас там, над черным жерлом шахты, уходящей в глубины земли. Но если нажать вот эту красную кнопку, суперполе должно заключить атомный огонь в свои объятия. Это поле должно держать его не только секунды — вечно, всегда! — но может и выпустить, и тогда бетон, земля — все превратится в сгусток плазмы...

Миллер чувствовал, что эксперимент закончится хорошо. Все прошлые ошибки исправлены. Но все ли? Да, кажется, все... Сегодня установка будет работать!.. А вдруг нет? Разве он застрахован от неожиданностей? И кто вообще избавлен от них?

Неожиданно Миллер услышал голос Дорона.

— Профессор,— сказал генерал,— что вы нам сегодня обещаете?

Миллер испуганно отшатнулся, но, поняв, рассмеялся. На командном пункте включили трансляцию, голос Дорона доносился из репродуктора.

— Наука не терпит спешки.— Ошарашенный Миллер услышал свой собственный голос. «Значит, они уже там. Лишь бы Двойник не наговорил лишнего!» — Из суммы рядовых репетиций складывается премьера, генерал.

— Вы театрал, профессор,— ответил Дорон с раздражением,— но у нас все-таки не спектакль! Вы когда-нибудь скажете мне толком о ходе ваших работ?

— Но, генерал, иногда и репетиция может доставить удовольствие! — ушел от прямого ответа Двойник.

Да, он вел себя осторожно. «Или он не уверен в исходе испытаний,— подумал Миллер,— или...— и тут его поразила неожиданная мысль: — или он, кроме самой установки, больше ничего не знает!»

— Профессор,— сказал между тем Дорон,— мы с нетерпением ждем завершения вашей работы. И чем быстрее она будет закончена, тем лучше для вас.

— Я постараюсь, генерал.

Когда Двойник наконец появился в бункере, он увидел Миллера, улыбающегося и почти счастливого. Миллер сидел в кресле и курил сигарету. Он встретил своего коллегу иронически.

— Как добрались, профессор? — спросил Миллер.

— Отлично, профессор! — Двойник принял предложенный тон разговора.— Правда, Дорон забросал меня глупыми вопросами, а в остальном все нормально. Установка готова к опыту?

— Конечно.

— Итак, коллега, сегодня решается наша судьба? — сказал Двойник.— Если установка будет работать, как я и предполагаю, то мир вскоре узнает о новом открытии.

Миллер угрюмо насупился.

— Не надо торопиться,— заметил он.

Двойник пролистал журнал монтажа, в котором шаг за шагом записывалась сборка аппаратуры, и с удовлетворением потер руки.

— Я представляю,— сказал он,— как мы начнем выпускать установки серийно, большими партиями. Любой хороший завод освоит их производство за два месяца.

— Это не так просто,— заметил Миллер.

— Знаю. Но достаточно посадить конструктора, чтобы он грамотно сделал чертежи по уже существующей разработке, и все будет нормально. В установке, конечно, не все совершенно, но она и так хороша.

— Может быть, хватит болтать? — зло заметил Миллер.— Пора приступить к делу.

Они тщательно проверили все приборы.

— Я очень волнуюсь,— признался Двойник,— и в то же время я спокоен, мне кажется, что опыт будет удачен.

— Возможно, возможно.— Миллер испытующе посмотрел на Двойника.— Но меня беспокоит одна деталь: сможет ли гиперполе пробить такую толщу земли? Я как-то упустил это из вида.

— Вполне естественно,— сказал Двойник.— Как вы могли думать о том, о чем я не думал?

Они взволнованно зашагали по комнате. «Господи, почему я не проверил это раньше?» — подумал каждый из них.

— А если... если...— Двойник остановился,— увеличить напряженность?

Миллер на секунду задумался, но, проделав в уме несложные подсчеты, разочарованно сказал:

— Нельзя! Не справятся блоки фокусировки поля. Кроме того, в зону действия установки попадет первый бункер, там люди...

— Ерунда! — Двойник загорелся своей идеей.— Я уверен, ничего им не будет!

— Люди могут пострадать! — резко сказал Миллер.

— Вы просто хлюпик, профессор!

Миллер ничего не ответил. В голову пришла любопытная мысль: если включить оба генератора гиперполя последовательно, то этого будет вполне достаточно...

— Слышите, я требую! — упрямо повторил Двойник.

— У вас нет времени, чтобы переналаживать установку.

— Что же делать?

— Включим генераторы поля последовательно.

— Зачем? — не понял Двойник.

Миллер, не скрывая своего превосходства, объяснил идею. Некоторое время Двойник не понимал и только в конце, когда Миллер сказал ему, что и как надо делать, согласился. Через несколько минут аппаратура была готова.

Миллер торжествовал. «Двойник,— думал он,— не очень-то хорошо соображает. Впрочем, это естественно, ведь он живет отдельно от меня второй день,— значит, уже два дня мыслит иначе, совсем иначе... Вероятно, в лаборатории Чвиза воспроизвелось далеко не все... Главное! — И от этой мысли Миллер пришел совсем уж в отличное настроение.—Двойник, кажется, и не подозревает о некоторых тонкостях теории нейтронного торможения!»

— Еще есть надежда, что король голый,— сказал вслух Миллер.

— Что? — не понял Двойник.

— Это я просто так.— Миллер мысленно обругал себя за несдержанность. Он подумал о том, что если не будет установки — она, например, исчезнет,— то Двойнику грош. Ведь он не сможет вновь создать установку!

В репродукторе раздался голос начальника полигона:

— Зона освобождена. Приготовиться, через пять минут взрыв.

— Садитесь за пульт,— сказал Миллер.— Я буду снимать показания приборов.

И отошел в глубь бункера.

...Из командного пункта доносился монотонный голос начальника полигона:

— До взрыва 30 секунд... 10... 5... 3...

Двойник включил установку.

Начальник полигона считал:

— Два... Один... Взрыв!

Тишина.

Прошло пять секунд, десять...

Взрыва не было.

— Выключайте,— спокойно сказал Миллер.

Двойник даже не пошевелился.

На командном пункте началась паника.

— Выключайте! — сказал Миллер.

— Еще несколько секунд,— не оглядываясь, ответил Двойник.

— Выключайте!

Двойник взорвался:

— Как вы не понимаете, что каждая лишняя секунда — это тысяча кларков в недалеком будущем!

Миллер остолбенел от изумления.

Паника катилась по полигону.

— Немедленно проверить энергетику! — ревел в микрофон Дорон.— Начальника третьего участка ко мне!

— Выключайте! — закричал Миллер и бросился к пульту.

Двойник, сжав кулаки, поднялся ему навстречу.

8. Билет в Аргентину

Миллер не успел нажать кнопку сброса поля: рука Двойника цепко обхватила его запястье. Физик рванулся. Двойник засмеялся коротко и неприятно.

— Драка отменяется,— сказал он отрывисто,— ведь и физически мы равны.— Он разжал руку.

Миллер чуть тронул красную кнопку, и в тот же миг они увидели, как острой пикой взметнулась вверх дрожащая голубая линия на экране нейтронного счетчика: в шахте взорвалась бомба.

Миллер устало опустился в кресло, закрыл глаза. Двойник подошел к контрольному секундомеру.

— Шесть минут, семнадцать и три десятых секунды,— сказал он.— Боже мой, какой вы все-таки идиот! Просто не верится, что вы мой двойник.

— Идиот вы,— лениво сказал Миллер.— Впрочем, даже кретину ясно, что если процесс ядерного деления можно затормозить на десять секунд, то при определенном расходе энергии его можно затормозить на десять минут, или дней, или лет. Это уже неинтересные технические детали, которые должны заботить не физика, а репортера... А вы упивались своей властью над нейтронами, как мальчишка, которому подарили барабан и который не может остановиться.

— Да! Упивался! — закричал Двойник.— Упивался! Потому что нам с вами все ясно и секунду спустя, а Дорону и господам из министерства обороны секунды мало! Им нужен эффектный фокус,— вот тогда им будет ясно! Эффектный и достаточно долгий, чтобы они успели сообразить. Года два назад я листал книжку «Теория рекламы»...

— Это я листал! — сказал Миллер.

— Опять дурацкий спор,— вздохнул Двойник.— Ну хорошо: мы листали. Но вы ничего, видно, не запомнили, а я запомнил. Надо уметь продавать. И, право же, все равно, чем вы торгуете — пивом или установками нейтронного торможения. Если вы принесете Дорону листок с формулами, вам заплатят тысячу кларков, а если вы сунете ему под нос секундомер,— можете сорвать миллионы.

— Так, так,— сказал Миллер,— браво! Раньше я думал, что есть физики-теоретики и физики-экспериментаторы. Оказывается, есть еще физики-лавочники.

— Зря стараетесь: драки не будет,— спокойно сказал Двойник.— Ну что вы злитесь? Почему цену моим мозгам должен назначать кто-то, а не я?

— Вашим мозгам? — переспросил Миллер.

— Ну хорошо: нашим.

— Это, простите, меняет дело. Я сам распоряжаюсь своими мозгами.

— Можете не волноваться: я джентльмен. Все деньги — пополам. И, послушайте меня, давайте сразу договоримся: я покупаю билет в Аргентину или в Австралию, куда хотите, хоть в Россию, и вы уезжаете. Нам будет трудно вдвоем.

— Интересно,— сказал Миллер,— очень интересно. Я уезжаю, а вы? Что будете делать вы? Только откровенно.

— Абсолютно откровенно! Я иду к Дорону и рассказываю ему о том, что генератор существует, работает, и предлагаю его купить... ну, допустим, за миллиард кларков.

— Зачем вам такая куча денег?

— Я не жадный: миллиард надо просить для солидности. На двоих нам вполне хватит двадцати миллионов. Потом отдаю установку, ее разбирают, изучают...

— Но они не понимают принципа генерирования и ориентации поля.

— А зачем его понимать? Кто понимает, что такое энтропия? Кто представляет себе бесконечность пространства? Так даже удобнее: я им — установку, они мне — чек. И до свидания. Поселимся с Ирэн где-нибудь у теплого моря...

— Но ведь Ирэн будет в Аргентине.

— Почему?

— Вы же собираетесь спровадить меня в Аргентину.

— Вас, но не Ирэн.

— Ах, вы надеетесь, что я...

Их разговор прервал голос Дорона из репродуктора:

— Профессор Миллер! Профессор Миллер!

Двойник быстро подошел к микрофону, щелкнул выключателем.

— Миллер у микрофона.

— Мы до сих пор не понимаем, чем вызвана задержка взрыва,— сказал Дорон.— Могут ли ваши опыты влиять на наш эксперимент?

— Гм... Трудно сказать...— осторожно начал Двойник.

— Думаю, что не могут,— быстро вставил Миллер.

Двойник погрозил ему кулаком.

— Вы могли бы зайти ко мне? — спросил Дорон.

— Хорошо,— сказал Двойник.

— Я зайду через десять минут,— добавил Миллер.

Двойник выключил микрофон.

— Зайду все-таки я,— сказал он.

— Послушайте, мне это надоело.— Миллер закипал.— С меня хватит. Вы ходили по моему кабинету — я сидел в шкафу, вы ездили в моей машине — я брал такси. Давайте вести честную игру: утром вы говорили с Дороном, теперь моя очередь.

— Понял,— сказал Двойник и улыбнулся,— вы думаете, что я начну торговлю и оставлю вас в дураках...

— А где гарантия?..— перебил Миллер.

— Вот это настоящий разговор! — захохотал Двойник.— «Где гарантия?» Да, вы не такой простак, каким хотите казаться.— Внезапно он стал серьезным.— Даю вам слово: сегодня торговли не будет. Это — слишком серьезное дело, и к нему надо подготовиться. Более того, я постараюсь убедить Дорона, что задержка, возможно, не имеет к нам отношения. Если он узнает о нашем опыте, то спокойно сможет обойтись и без нас: установка в его руках. Итак, сейчас пятнадцать тридцать, в семнадцать встретимся дома и все обдумаем... Да, пока не забыл: купите себе домашние туфли, я не могу больше ходить по квартире босиком.

Двойник вышел. Некоторое время Миллер неподвижно сидел в кресле, потом встал, в задумчивости походил по тесному бункеру, сел снова. Итак, решение, о котором он думал так долго, принято. Принято не им. Помимо его воли. Двойник продаст установку, это вопрос только времени. Он должен помешать ему. Как? Как? Как?

Он сидел долго. Вдруг вспомнил: «Кто понимает, что такое энтропия? Кто представляет себе бесконечность пространства?» Миллер быстро встал.

— Может быть, это не лучшее решение, но это — решение,— сказал он своему отражению в трубке осциллографа. Выпуклое стекло искажало его лицо. Там, в трубке, он совсем другой, непохожий на Двойника...

«Мерседес» профессора Миллера подъехал к стенду, где была смонтирована установка. Он улыбнулся часовому: тут его знали. Подошел к аппарату, долго возился, отключая провода, тянувшиеся к маленьким ящичкам — блокам ориентации поля. В них — все. Два ящичка не больше жестянки из-под чая. Правда, тяжелые. «Гири,— подумал Миллер,— гири на весах войны и мира». Он отнес их в машину.

Через десять минут, когда он был уже милях в пятнадцати от полигона, он остановил свой «мерседес» у моста через реку. Вышел. Вынул блоки, положил под передние колеса. Сел за руль и двинул автомобиль. Раздался легкий хруст, как сахар на зубах. «Мерседес» снова остановился. Миллер вышел с газетой в руках. Аккуратно сгреб в газету исковерканные пластинки металла, панельки, магнитики, битое стекло, комочки рваных проводков. Завернул. Пакетик полетел в реку, шлепнулся и даже проплыл, к удивлению Миллера, несколько метров. Но тонкая бумага быстро размокала, расползалась под тяжестью разбитых приборов.

Он переехал мост. Крутой поворот шоссе был огорожен белыми бетонными столбиками, прямыми и строгими, как солдаты. Миллер на ощупь проверил застежки предохранительного шоферского пояса. «Жалко все-таки машину...» — это была его последняя мысль перед тем, как «мерседес», ударившись правым боком в столбик, с визгом отлетел на левую сторону шоссе. Маленькая тонкая струйка побежала к обочине. Наверное, это была вода. А может быть, бензин. А может быть, кровь?

...17.00. Миллера нет. Что он придумал? Душно. Двойник подошел к окну, распахнул створки и в тот же миг услышал голос мальчишки-газетчика: «Экстренный выпуск! Новый подземный взрыв прошел успешно!» (Он улыбнулся.) «Миссис Лэлли Кички — мать двадцать шестого ребенка!» (Молодец Лэлли!) «Известный физик профессор Миллер — еще одна жертва автомобилизма». Двойник вздрогнул. Нет, он не мог ослышаться. Выскочил на улицу, схватил газету и сразу увидел на первой полосе свой искореженный «мерседес». Отдельно — фотография Миллера: голова откинута назад, глаза закрыты. Не понимая слов, пробежал глазами заметку: «...доставлен в госпиталь св. Фомы...» Где этот святой находится?

Первое, что сказал врачу Миллер, когда открыл глаза в госпитале святого Фомы, было:

— Прошу вас позвонить по телефону РС-15-875... господину Дорону... и рассказать ему...

— Обязательно, обязательно,— суетливо и ласково ответил врач и тут же начал набирать номер.

«Так,— подумал Миллер,— установки нет. Это раз. Дорон знает, что я в больнице. Это два. Сегодня об этом напишут газеты.— Он готов был смеяться от радости.— Главное теперь — надуть врачей... Какие признаки сотрясения мозга? Тошнота. А еще? Кажется, сотрясение нельзя проверить никакой электроникой... Итак, он перешел наконец на легальное положение. «Профессор Миллер — жертва автомобильной катастрофы». Ха! Ха! Пусть теперь тот покрутится!»

— Если придет мой брат, вы узнаете его, он очень похож на меня,— пропустите его, пожалуйста,— сказал он самым больным голосом, на который только был способен.

Двойник пришел в тот же вечер, едва не столкнувшись с только что ушедшей Ирэн. Миллер улыбнулся, увидев его наклеенные усы.

— Не колются? — спросил он шепотом.

— Что? — не понял Двойник.

— Усы не колются? — Миллер захохотал.— Может быть, теперь вам купить билет в Аргентину?

— Чему вы, собственно, радуетесь? Разбили мою машину...

— Нашу машину,— поправил Миллер.

— ...нашу машину,— продолжал Двойник,— и только ради того, чтобы заставить меня купить эти

дурацкие усы? Это не смешно, это глупо. Неужели вы до сих пор не понимаете, что Дорону совершенно наплевать на то, кто из нас настоящий Миллер? Ну, пусть вы. Пусть. А я пойду и предложу ему установку. Он что же, по-вашему, не возьмет ее только потому, что вы, так называемый «настоящий Миллер», лежите в госпитале? Чепуха!

— Правильно,— весело сказал Миллер.— Все правильно. Но вся штука в том, что теперь вам нечего предлагать Дорону.

Он ожидал увидеть на лице Двойника удивление или возмущение. И не увидел.

— Знаю,— Двойник устало махнул рукой,— все знаю. Я был на полигоне. Вы сняли блоки ориентации поля и выбросили в какую-нибудь помойку. Согласен с вашим выбором: это самая дорогая вещь, которая когда-либо лежала на помойке за всю историю человечества. Но я не буду их искать. Пусть ищет Дорон, если ему жалко двадцать миллионов кларков. А мне эти блоки не нужны. У меня они есть. Вот тут.

Он постучал себя пальцем по лбу.

9. Ключевое уравнение

Миллер молчал, а Двойник со вкусом описывал детали открытия. Он так увлекся, что вынул карандаш и потянул к себе листок с температурной кривой, чтобы изобразить ключевое уравнение.

Это было уже слишком. Перед Миллером сидело его «я», на этот раз не только физическое, но и интеллектуальное. Сидел ученый, которому формулы доставляли чисто эстетическое наслаждение.

— Хватит,— сказал Миллер.

Карандаш Двойника замер.

— Хорошо, коллега, хватит. Но согласитесь, что у нас с вами великолепная профессия. Право, мне жалко лишать вас удовольствия быть ученым.

— То есть как лишать? Почему меня, а не себя?

Это был глупый и ненужный вопрос, но Миллер нарочно задал его, чтобы выиграть время.

— По-моему, это ясно.— Двойник улыбнулся.— В наши дни всесилия доронов жизнь ученого трудна. Я к ней более приспособлен, потому что во мне, к счастью, нет вашего комплекса неполноценности.

— Совести,— поправил Миллер.

— А! — Двойник улыбнулся.— Для нас, ученых, объективная реальность превыше всего. Что такое совесть? В каких координатах прикажете ее измерять? И чем? Вот так-то.

— Пожалуй, вы правы,— заметил Миллер,— вам легче жить.

— Ну, не сказал бы. Черт возьми, кому из нас приходится больше заботиться друг о друге: вам или мне?

— Если вы имеете в виду вариант с Аргентиной...

— Почему? Мы можем рассмотреть и другие варианты. Помнится, в детстве я — значит, и вы,— мы оба мечтали быть художниками. Почему бы вам не вернуться к живописи? Тоже творчество.

— Действительно, почему бы?

— Да и вообще Аргентина не обязательна. Вы можете остаться здесь, вы станете моим братом, документы мы купим. Затем вилла на Коралловых островах, а? Плохо разве?

— Неплохо,— согласился Миллер.

— Но без Ирэн, профессор,— сказал Двойник.— Ирэн моя.

Миллер не умел притворяться. Он знал за собой эту слабость. К тому же у него по-настоящему заболела голова.

— Так что же,— сказал Двойник,— обсудим этот вариант?

— Не сейчас.— Миллер закрыл глаза.— Завтра... У меня голова идет кругом.

— Вижу, вижу, вы побледнели. У вас действительно сотрясение мозга? Бедный мой братик...

Двойник нежно погладил Миллера по плечу.

«А ведь он, пожалуй, не врет,— подумал Миллер.— Он действительно жалеет меня, ибо считает поверженным. Он просто опьянен сознанием своего превосходства! Это хорошо».

И вдруг Миллера, как острым ножом, резанула мысль: Двойника не было раньше, и его не должно быть в будущем! Боже, как это просто! Как это бесчеловечно просто!

— Завтра,— сказал Миллер, не открывая глаз.— Решим все завтра. Вы подумайте... о вариантах. Я тоже подумаю... братик.

Последнее слово далось ему с трудом, но почему-то очень захотелось его произнести.

— Что ж, неплохо! Дела наши, кажется, идут на лад. А говорят, что от автомобильных катастроф один только вред.— Двойник подмигнул Миллеру.— Итак, завтра. Вы больной, а потому выбирайте время.

— Я выйду отсюда в девять вечера. Заеду домой переодеться,— у меня порван пиджак. Встретимся в одиннадцать... На углу Кригс-стрит и Лобн-авеню.

— Почему на улице? Уж лучше в кафе...

— Хорошо, давайте тогда в институте. Там никого уже не будет, и нам не помешают.

— Дома еще спокойней.

— Нет, нет, только не дома!

— Понимаю. Может прийти Ирэн? Пожалуй, вы правы, профессор...

Двойник поправил шеей воротник рубашки и вышел.

Когда за ним закрылась дверь, Миллер понял, что еще минута-другая — и он сорвался бы. Накричал бы, нагрубил и все испортил... Итак, Миллер против Миллера. Как странно. Впрочем, странно ли? Разве все эти последние месяцы он не был занят борьбой с самим собой? Здесь ничего не изменилось, если не считать того, что его второе, темное «я» отделилось и зажило самостоятельной жизнью. Завтра этой борьбе придет конец, только и всего. Но хватит ли у него сил сломать это «я» в другом человеке?

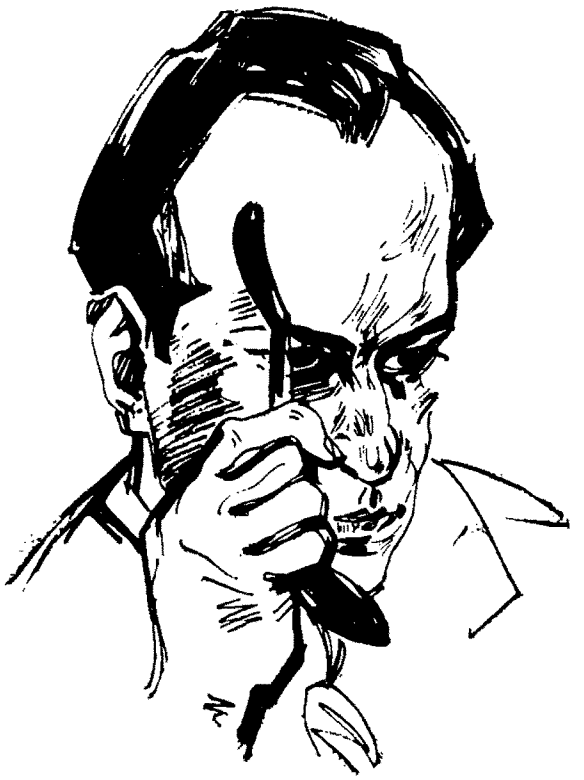
...Утром Миллер проснулся бодрым, решительным, каким давно уже не был. Уговорить врачей выписать его из госпиталя не составило особого труда. Куда труднее было дождаться вечера.

План был четок и ясен. В 9.15 Миллер заехал к себе домой, торопливо переоделся, открыл ящик стола и, ни секунды не колеблясь, сунул в карман пистолет. Потом вышел на улицу, остановил такси. «Уэлком-сквер, 18!» — крикнул шоферу.

Ирэн, как он и ожидал, была дома. С того времени, как Миллер оказался в больнице, она не находила себе места, но из квартиры не вышла ни на секунду. В любой момент Миллер мог позвать ее — так думала Ирэн, страдая от случившегося.

Когда Миллер вошел, она молча поднялась к нему навстречу, и глаза ее говорили больше, чем любое слово, которое могли бы произнести губы.

— Ирэн,— сказал он.— Помоги мне быть сильным...



Она на шаг отступила — маленькая серьезная девочка с внезапно осунувшимся лицом — и тихо спросила:

— Дюк, нам будет... очень плохо?

— Да, Ирэн, скорей всего. Я принял решение, и через два часа...

— Но уже ночь,— сказала она.

— Через два часа я сделаю самый важный и самый трудный шаг к его осуществлению. Я пойду сейчас...

— Не надо,— прервала Ирэн.— Что бы ты ни сделал, я одобряю. Однажды я уже сказала тебе об этом. Лишь бы ты не был таким...

— Каким?..

— Таким... разным. Издерганным. Я устала мучиться твоими мучениями.

— Ирэн, я должен сейчас уйти.

— Хорошо.

Она подняла голову. В ее глазах блестели слезы.

— Потом ты мне все объяснишь. Когда у тебя будет время. Я жду, Дюк.

Говорить Миллер больше не мог. Он благодарно посмотрел на Ирэн и вышел из комнаты.

После его ухода Ирэн с минуту еще стояла у двери, опустив руки. Медленным взглядом обвела комнату, в которой сгущались сумерки. Потом вытерла слезы, посмотрела на часы — было десять вечера — и пошла в спальню. Когда раздался стук в дверь, она была уже в халате.

— Лили, это ты? — спросила она, решив, что это маленькая Лили, живущая на первом этаже.

Дверь открылась.

— Дюк?! — воскликнула Ирэн, удивленная столь внезапным возвращением Миллера.

— Да, я. Ты расстроена? А у меня хорошие новости. Все складывается так удачно, что не сегодня-завтра ты станешь женой богатого и знаменитого мужа. Через неделю, Ирэн, мы отправимся на Коралловые острова. Ты так давно мечтала о поездке... Что с тобой, дорогая?

Ирэн зажала рот, чтобы не закричать.

— Ирэн! — Он шагнул к ней, но она отпрянула в угол.

— Не подходи...— прошептала она.— Это не ты!

Страшным усилием воли Двойник удержал проклятия.

— Ирэн, послушай... Я не думал...

Но Ирэн не слушала его. Она вжалась в стену и медленно покачивала головой. Потом словно обмякла, взгляд ее потух.

— Уходи,— глухо сказала она.— И не появляйся, пока я не позову тебя. Мне надо подумать.

— Но я тебе все объясню!

— Десять минут назад я не просила у тебя объяснений.— Она хрипло засмеялась.— Ты хамелеон. Ты не способен решать раз и навсегда. Теперь решу я сама. Уходи.

...Двойник быстро шел по темному коридору института, не глядя по сторонам. Если бы перед ним сейчас вдруг возникла стена, он не стал бы ее обходить, он прошиб бы стену, так переполняла его ярость. Но у двери в кабинет он замедлил шаг, вынул из кармана пистолет и, поколебавшись секунду, поставил спуск на предохранитель...

10. Развязка без конца

— Что было дальше? — быстро спросил Гард.

Некоторое время Фред не отвечал. Он закрыл блокнот, отвернулся к окну и с тоской смотрел на улицу. У Гарда возникло ощущение, что, не будь его в кабинете, Фред распахнул бы сейчас окно и измерил остаток своей жизни двадцатью метрами до мостовой.

— Ты слишком близко принимаешь все к сердцу,— сказал Гард.— Тебя так надолго не хватит.

— Что было дальше? — медленно спросил репортер, словно не слыша последних слов Гарда.— Они вполне созрели для решительных действий. Понимаешь, Дэвид,— он повернулся к инспектору,— это почти то же самое, как в одном человеке идет борьба с самим собой и вот он однажды решает, что пора подвести черту. Быть или не быть — в конце концов это каждому рано или поздно приходится решать. Но когда мы подводим черту для себя, мы можем убить мысль, оставив плоть живой. У них же плоть оказалась неотъемлемой от мысли... Убийство было, Гард, и ты это прекрасно знаешь!

— Но юридически...

— Но юридически его не было, если Миллер жив, а наличие двойников нигде не зафиксировано?

— Однажды я уже слышал это,— сказал Гард.

— От Дорона,— спокойно добавил Честер.

— Откуда ты знаешь?

— Я знаю все. С того момента, как появился Двойник, и до того момента, как тебя вызвал Дорон. Он тебя вызывал?

— Но при этом никто не присутствовал.

— И он говорил с тобой?

— За последние три года я впервые позволяю себя допрашивать. Да, говорил, две минуты.

— Вполне достаточно, чтобы сказать: «Инспектор Гард, зарубите себе на носу...»

— Но про Двойника он мне ничего не говорил.

— А ты у него спрашивал? Дорон привык иметь дело с теми, кого уже трудно превратить в людей, потому что святой Франциск давно обратил их в бессловесных скотов...

— Фредерик!

— Что было дальше, Дэвид? Была ночь. Дежурный сказал, что это случилось где-то в районе двенадцати. Но их последняя встреча началась часом раньше. Целый час они сидели в креслах друг перед другом, пили вино и сжимали в карманах пистолеты. В сущности, Гард, они не были врагами, потому что человек не умеет быть врагом самому себе. Непримиримы были их планы! Одинаковое прошлое— и взаимоисключающее будущее! Это трагедия, Гард, трагедия нашего века — я не взял бы на себя обязанность адвоката, если нужно было бы защищать оставшегося в живых... Дурацкая жизнь, если она может до такой степени искалечить психологию человека, что нередко и без двойников мы сами себя не узнаем!

Да, Гард, они были умными людьми и наверняка думали обо всем этом в тот последний час. Впрочем, тогда уже ничто не имело для них значения— ни открытие, ни установка, ни Аргентина, ни даже Ирэн. Они еще произносили какие-то слова, но только для формы, боясь спугнуть жертву, ведя тонкую игру. Ведь каждый из них думал, что лишь он замыслил убийство, меж тем жертва об этом даже не подозревает!

Вот почему, Гард, они, не сговариваясь, выстрелили одновременно и даже несколько неожиданно для себя, хотя оба стремились к такому финалу,— они выстрелили вскоре после того, как одновременно поняли, что оба пришли убивать. А сначала... Сначала они наивно искали повода вытащить друг друга из кабинета, из этого института — куда-нибудь на улицу, в темноту, чтобы можно было сбросить труп в канаву, обезобразив предварительно лицо, или в реку... Это страшно, Гард, это чудовищно, но представь себе:

«— Ах, как хорошо сейчас на свежем воздухе, профессор!

— Где-нибудь у реки...

— Цивилизация скоро задушит природу.

— А помните, как мы в детстве мечтали попасть на необитаемый остров?

— Вместе с рыжей химичкой Лерой Вудворд?

— Нет, еще раньше. Правда, тогда у нас была... Роза Мэрфи! Она жила в соседнем доме...

— И тоже рыжая! Нам с вами везло на рыжих, коллега.

— Какая славная пора!

— Так выйдем на воздух?

— Пожалуй...»

Разговор современных убийц... В недалеком будущем, Гард, прежде, чем покончить со своими жертвами, убийцы будут, как фотографы, говорить: «Простите, можно попросить вас чуть-чуть повернуть голову — вот так? Смотрите в эту точку. Подбородочек повыше, это выглядит эстетичней. И, пожалуйста, повеселее взгляд. Отлично!» — а затем: «Спокойно, стреляю!»

Знаешь, что испортило им все дело? Вызов дежурного. Не нажми Миллер кнопку, мы ничего не знали бы о происшедшем. Ни мы, ни весь мир...

— Ты думаешь,— сказал Гард,— что мир об этом узнает?

— Иначе какой смысл в том, что это случилось?

— От тебя?

— Да, от меня. Чего бы мне это ни стоило. И очень скоро!

— А почему ты считаешь, что именно Миллер вызвал дежурного? И зачем?

— Потому что Миллер... Видишь ли, он позволил себе поиграть с Двойником в кошки-мышки. Ты обратил внимание, Гард, на то, что Миллер почти во всем был нерешительнее Двойника? Он, а не Двойник сидел в шкафу, он прятался на полигоне, он жалко выглядел перед Ирэн, он метался из крайности в крайность... Я не знаю, почему так происходило. Возможно, потому, что человек, творящий зло, всегда решительней человека, творящего добро. Зло более прямолинейно, оно грубее, целеустремленней...

— Но добро все же сильнее, Фред.

— Только в итоге. И не всегда. Так вот, Дэвид, дежурного вызывал тот из них, у кого прежде сдали нервы. Миллер незаметным движением — спинкой кресла, чуть откинувшись назад,— нажал кнопку вызова дежурного. Когда раздались бы шаги по коридору, он сказал бы Двойнику: «Сюда кто-то идет. Прячьтесь в шкаф!» — и настоял бы на этом со всей решительностью, которой ему прежде так не хватало. Он еще не знал в тот момент, что Двойник тоже пришел убивать. И он рассчитывал не просто подшутить над Двойником, а получить при этом хоть крохотное подтверждение собственной решимости и воли, без которых его палец не смог бы нажать на спусковой крючок пистолета.

Но дежурный не появлялся! А повторный вызов уже не прошел незамеченным. И вот тут-то, в течение каких-то секунд, словно спрессованные обстоятельствами, разыгрались трагические события.

— Зачем вам дежурный, Миллер? — резко спросил Двойник.

— Чтобы вы сели в шкаф! — так же резко и прямо ответил Миллер.

— В шкафу проще убивать?

— Проще на улице.

Вызов был принят. Они все поняли. Они уже не сидели. Они стояли посередине комнаты. Они смотрели друг другу в глаза, но, как боксеры, видели все, что делают их руки.

Два выстрела слились в один.

Остальное ты знаешь, за исключением некоторых подробностей.

Убийца, перешагнув труп, вышел из кабинета. В любую секунду могла открыться дверь. Правда, у него оставалась возможность убрать дежурного, но это было уж слишком, и он понимал, что убийство дежурного юридически не оправдаешь.

И действительно, они столкнулись почти у самых дверей кабинета.

— Вы давали сигнал? — спросил дежурный.

Он ничего не ответил: он был взволнован и, кроме того, ему было некогда.

Через семь минут его машина остановилась у дома, где живет Дорон. От института до этого дома ровно семь минут езды по ночной улице. Это был тот случай, когда разговор с Дороном должен был состояться не по телефону и немедленно,— поэтому он рискнул прийти к нему прямо в дом и поднять с постели. А не прийти не мог: в кабинете лежал труп, надо было предупредить события. Еще через десять минут Дорон выехал в институт. Ты помнишь машину, которая, сверкнув фарами, въехала во двор института, когда мы, допросив дежурного, выходили из здания? Это был Дорон.

Так что же, Гард, он сказал Дорону?

Он напомнил ему о направлении поисков Чвиза, сказал о появлении двойника и об Ирэн. И больше ничего. Об открытии и установке не было сказано ни слова! П о к а не было сказано ни слова... И у

него были для этого существенные причины,— я не знаю точно, какие именно, но полагаю, что самой главной была та, что он боялся стать таким же трупом, как тот, что остался лежать в кабинете... Ведь Дорон мог легко освободиться от автора открытия, считая, что в его руках установка, тем более что повод для этого был самый подходящий...

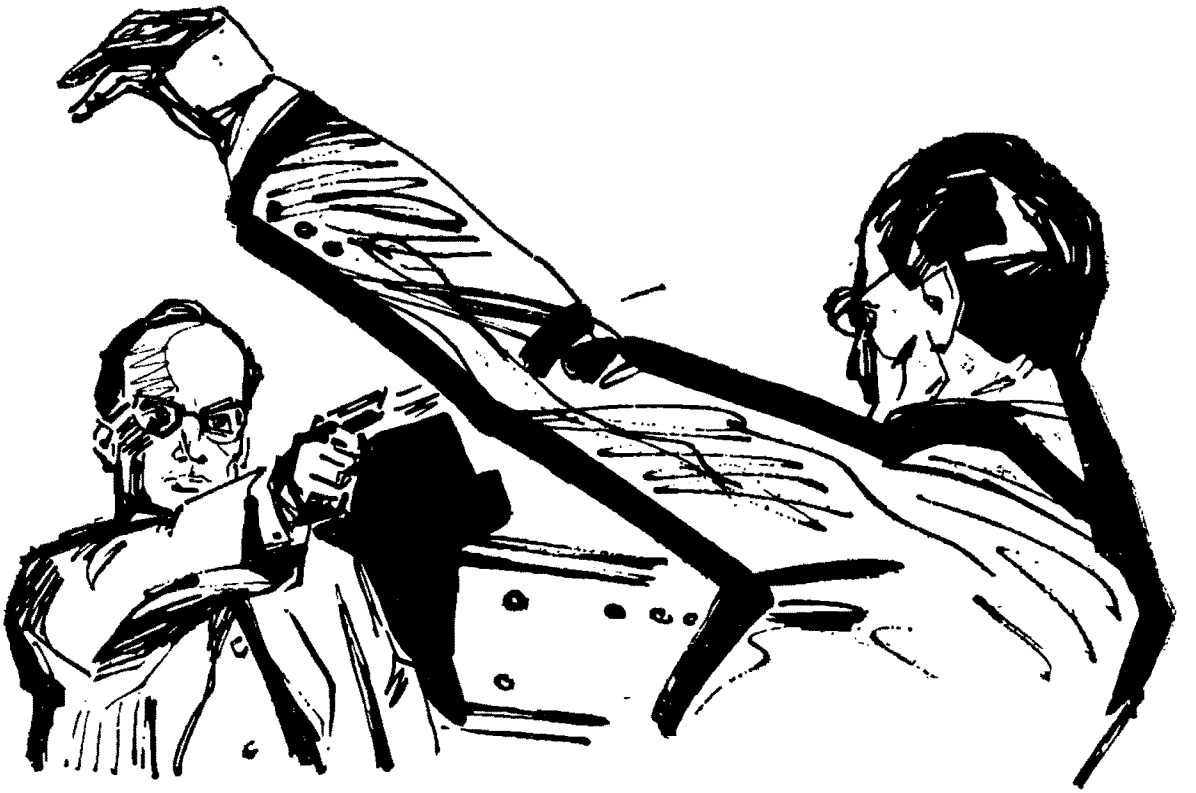
Затем последовали два вызова: тебя и Чвиза. Старика подняли с постели, и Дорон принял его у себя в кабинете. Понимаешь, если бы можно было повторить все условия, при которых получился Двойник, это стало бы открытием всех открытий! Дорон отлично это понимал. Вероятно, он уже рисовал в своем воображении какого-нибудь кретина, физическая сила которого вполне компенсировала отсутствие мозгов. Таких кретинов можно было бы делать тысячами и миллионами, это были бы замечательные солдаты, полицейские, дешевая рабочая сила,— черт знает какие перспективы открывала такая возможность! Бедный Чвиз! Теперь он испытает на себе такое давление Дорона, какого не испытывал даже Миллер. Я не знаю, сумеет ли он воспроизвести эксперимент, который привел к появлению двойника, но то, что он сам теперь раздвоится, не сомневаюсь. Это будет битва не менее трагическая и не менее кровавая, чем битва двух Миллеров!

То, что сказал тебе Дорон, ты помнишь, я повторять не буду. Конечно, он немедленно позвонил Хейссу, и газета на следующий день вышла без моего репортажа. Труп, завернутый в какие-то тряпки, убрали сначала в морг, выдав за нищего. А затем убитого похоронили на кладбище Бирка. Похоронили рано утром, хотя Бирк вот уже шесть лет хоронит только вечером, при свете факелов. Но чего не в силах сделать Дорон!

Утром профессор сидел в своем кабинете, как будто бы ничего и не случилось...

— А что с Ирэн? — спросил Гард.

— Сейчас, наверное, уже все в порядке. Она ведь ничего не знает об убийстве, а все ее подозрения и тревоги должно развеять время.



— Фред, ты гениальный сыщик! — не без зависти сказал Гард.— Как ты все узнал? Ты говорил с людьми? Нашел очевидцев? Видел...

— Дело сейчас не во мне. Это в другой раз. А сейчас... Ты должен помочь! Дай хотя бы совет. Я не знаю, Дэвид, что делать... Или немедленно предупредить мир о случившемся, или... Что мне делать, Гард? Я должен торопиться с решением — пока не поздно, пока еще можно предотвратить катастрофу!

— О чем ты говоришь, Фред?

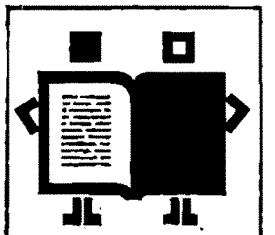
— Мир должен быть сейчас предельно бдительным, Дэвид. Нам нельзя спать спокойно, мы должны...

— О чем ты говоришь? — повторил Гард.

— Ах, Дэвид, ты никак не хочешь понять, в чем ужас положения! Да, я знаю все, я знаю все про двух Миллеров. Но я не знаю главного: кто из них остался в живых!..

Конец первой книжки

П. Багряк



ПРОЗА

ПЕРЕ-КРЕ-СТОК

Рисунки автора.

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

В журнале «Юность» № 7 за 1966 год была напечатана первая приключенческая повесть П. Багряка «Кто?».

Профессор Миллер создал теорию нейтронного торможения и установку, способную замедлять ядерную реакцию. Он решил утаить свое открытие, понимая, что установку можно использовать для развязывания войны. Однако его Двойник — Миллер Второй, случайно синтезированный в лаборатории профессора Чвиза, надеется продать установку, заработать на ней. Конфликт между Миллером и Двойником приводит к убийству...

Кто же из двоих остался в живых: профессор Миллер или его Двойник? На этот вопрос журналист Честор так и не смог ответить, хотя он блестяще провел расследование таинственного убийства в Институте перспективных проблем. Так закончилась первая книга «Кто?».

В повести «Перекресток» читатель встретит многих героев первой книги П. Багряка.

КНИГА ВТОРАЯ

1

Генерал делает историю

Дорон, как всегда, приехал вовремя.

Машина, моргнув стоп-сигналами, ушла за поворот. Ветер тронул придорожные кусты и сдул с пустынного шоссе струю бензинового перегара. Дорон запахнул плащ, плотней надвинул шляпу, тяжеловесным прыжком одолел канаву. Здесь не было и намека на тропинку, однако он уверенно двинулся к прогалу в чернеющем ельнике. Густая роса окропила ботинки и манжеты брюк — увы, ничего не поделаешь: срочная и секретная встреча с президентом имела свои неудобства.

Наконец обозначился силуэт двухэтажного дома с флюгером на островерхой крыше. Пройдя вдоль глухой стены, Дорон распахнул неприметную калитку — кто-то тотчас запер ее — и быстро пересек широкий двор.

Дорогу генералу заступил было охранник, но, узнав, немедленно стушевался. Дорон и на него не обратил внимания.

Он миновал короткий коридор, на ходу снимая плащ и шляпу, и поднялся по деревянной лестнице, застланной потертой на сгибах ковровой дорожкой. Репортеры любили отмечать эту подробность,— вся страна знала, что президент живет скромно и старомодно.

Замкнутое лицо Дорона не выражало ни озабоченности, ни волнения, когда он входил к президенту.

В небольшом зале, обшитом панелями из мореной лиственницы, старческая фигура президента совершенно терялась среди громоздкой, темной от времени мебели. Единственным источником света был сложенный из массивных камней очаг, в котором потрескивали смолистые поленья. Здесь все дышало минувшим веком, и белый телефон с кнопочным диском казался занесенным сюда случайно. Играющие отблески падали на красное сукно восьмиугольного столика, зажигая рубиновые точки в стакане глинтвейна. Президент — щупленький человек с напомаженными волосами и маленькой эспаньолкой — раскладывал «гранд-пасьянс». Его губы шевелились, словно он разговаривал сам с собой. «Бамм!» — ударили часы в углу.

— Ах, генерал! — Президент выпрямился в крес-

ле; у него оказались розовые, висящие мешочками щеки и неожиданно живые ярко-синие глаза.— Вовремя пришли. Не знает ли ваша математика способа заставить сойтись этот проклятый пасьянс?

Он энергично стукнул кулачком по разложенным картам.

— Могу дать задание машине рассчитать,— четко сказал Дорон.

— Присаживайтесь, генерал.— Президент махнул рукой в сторону кресла.— Хотите к огню? И прошу вас, без церемоний. Вы ведь знаете, я сугубо штатский человек, и все военное мне претит. Разумеется, это не касается вас, дорогой генерал.

Дорон молча поклонился, а затем не без усилий придвинул кресло к камину и сел.

— Приступать к докладу?

— Может, стаканчик глинтвейна, чтобы согреться?

— Не меняю привычек, господин президент.

— И напрасно. Совершенно напрасно, генерал. Маленькие слабости делают нас человечней. Докладывайте.

Дорон покосился на шлепанцы президента.

— Как я сообщил телефонным звонком,— сухо сказал он,— дело имеет чрезвычайную государственную важность. Речь идет об установке, работающей по принципу...

Президент умоляюще замахал кулачками.

— Не надо подробностей! Я полон уважения к людям, знающим, из чего состоит вода, но техника, как вам известно, нагоняет на меня сон.

— Как будет угодно, господин президент. Речь идет об установке, которая будет создана в Институте перспективных проблем и которая предназначена для дублирования людей.

— Что? — сказал президент.— Дублирования? Как вы прикажете вас понимать, генерал?

Секунду-другую Дорон наслаждался произведенным эффектом, хотя внешне это никак не проявлялось.

— Берут человека, господин президент, подробности опускаю, и дублируют его. Получаются новые люди, точно такие же. В неограниченном количестве.

— Вот как? Любопытно...— Президент с явным удовольствием отхлебнул глоток глинтвейна.— Если так, дорогой Дорон, то и меня можно, как вы сказали, дублировать?

— Разумеется, господин президент.

— И тоже «в неограниченном количестве»?

— Так точно, господин президент.

— Очень любопытно! Но не кажется ли вам, генерал, что это будет не совсем удобно: двадцать одинаковых президентов в одной стране?

— Наоборот, сэр, вы будете вездесущи, как сам господь бог! Кроме того, полная гарантия личной безопасности, так как всякие покушения станут просто бессмысленными.

— Но если все же покушения будут, то этим, как вы сказали...

— Дубликатам, господин президент.

— ...дубликатам, благодарю вас, будет больно?

— Я вас не понял.

— Ну, от пули, ножа, яда...

— Да, господин президент, будет больно, как и вам, поскольку от вас они ничем не будут отличаться.

— Даже душой?

— Душа, очевидно, тоже дублируется. Правда, в этом направлении еще необходимы кое-какие специальные разработки. Господин президент, мои слова, возможно, звучат фантастично, но не менее фантастичной выглядела когда-то идея атомной бомбы.

— Да-да, понимаю... А как же бог? Он нам простит, генерал, вторжение в ту область, в которой до сих пор он разбирался лучше нас?

— С господом богом, мой президент, придется договориться,— сказал Дорон.

Президент встал. Шаги то уносили его в темные углы зала, тогда оттуда белел лишь венчик его седых волос на затылке, то внезапно устремляли к огню, и тогда его заливал багровый отсвет скопив-

шихся углей. Дорон холодно следил за стариком. Его раздражало шарканье шлепанцев президента.

Наконец президент сел, отхлебнул глинтвейна.

— Не так давно, помнится, вы приходили ко мне с идеей другой установки. Той, что не позволяет атомным бомбам взрываться. А потом выяснилось...

— Что аналогичную установку создал потенциальный противник.

— Не только противник, генерал... И другие. Даже во время визита в Этруссию мне преподнесли нечто подобное, как сувенир. Пришлось подарить дюжину лошадей... Одной из них я очень дорожил.

— Я сожалею, мой президент.

— А бедные налогоплательщики? Эх, генерал, они не простили бы нам те кларки, которые вы выбросили на свои установки.

— Жертвы нужны не только на войне.

Президент поморщился.

— Не надо банальностей, генерал,— сказал он.— Я не виню вас. К сожалению, ученые есть и в других странах.

— Я хочу, чтобы у нас их было больше! И поэтому предлагаю их производить, а не ждать, когда они появятся...— Дорон замялся,—...естественным путем,— наконец добавил он.

— Значит, двойники. И сейчас я должен взять на себя всю ответственность за этот шаг? Я должен разрешить дублирование людей, наделенных божественной душой, разумом, чувствами?

— Да, господин президент. И еще дать разрешение использовать некоторые суммы из государственного бюджета.

Президент пожал узенькими плечами.

— Но разве не тем же самым, господин президент, занимаются наши казармы? Разве там не стараются сделать людей одинаковыми?

— Уж не думаете ли вы...

— Почему бы и нет, если нужно?

— Генерал, давайте говорить серьезно. Я не хочу, чтобы вы забывали о таких понятиях, как общественное мнение и суд потомков. Для меня это, поверьте, не пустой звук.

— Господин президент, вы вольны сказать «нет». Смею, однако, предупредить, что рано или поздно установка будет создана в какой-нибудь другой стране. Это неизбежно. Найдутся ученые, которые придут к той же идее, и найдется правительство, которое скажет «да».

Президент задумался и посмотрел туда, где висели портреты великих деятелей прошлого. Отблеск огня совсем ослаб, портреты покрывала тень, лишь на ближнем портрете редкие вспышки пламени оживляли чей-то суровый облик.

— Я почему-то всегда любил старый способ размножения людей,— серьезно сказал президент.— А вы, Дорон? Но хорошо... Так вы полагаете, что эта идея изготовления солдат-двойников может прельстить какое-нибудь правительство?

— Должен уточнить. Солдаты-двойники и армии неограниченной численности — это в перспективе. Пока что дублирование слишком дорого.

— Сколько?

— Двести тысяч кларков экземпляр.

— Уф! Если не ошибаюсь, рядовой солдат стоит сорок тысяч?

— Совершенно верно.

— Так кого же вы будете дублировать, генерал? Уж не себя ли?

— Нет. Талантливых ученых.

Президент удивленно посмотрел на Дорона.

— По-моему, их у нас и так слишком много,— сказал он.

— Согласен. Ученых много. Но речь идет о талантливых, по-настоящему талантливых людях.

— Это ужасный народ! Несносный! Их приходится терпеть, потому что они полезны, но...

— Разрешите возразить. В наши дни побеждает тот, на чьей стороне больше талантливых мозгов. Это аксиома, которую не поняли немцы. Этим они лишили себя атомной бомбы.

Из бокового кармана куртки президент, помедлив, извлек маленькую записную книжку.

— Сколько стоит ученый, господин генерал?

— Рядовой ученый — сто пятьдесят тысяч кларков. Выдающийся... тут нет точной цены. Иногда его мозг может стоить сотни миллионов. Мозг гения — миллиарды.

Карандаш президента занес цифры в записную книжку. Минуты две он что-то подсчитывал, беззвучно шевеля губами, потом удовлетворенно сказал:

— Итого получается: чистая прибыль — два миллиона кларков. Неплохо, мой генерал!

— Простите, не совсем понял ваш баланс.

— Поясню.— Президент назидательно поднял палец — привычка с тех времен, когда он был судьей.— Принимаем ориентировочный доход от дублирования талантливого ученого равным... не миллиарду кларков, тут вы хватили через край, генерал, а десяти миллионам. Для гениев вполне достаточно. Теперь — расходы. Само дублирование — двести тысяч, создание материальных благ для «новорожденного»,— президент улыбнулся,— ну, это мизер... Всякие там автомобили, виллы... Расходы на обработку общественного мнения страны в пересчете на одного дублируемого человека — два миллиона кларков. Впоследствии этот расход может быть снижен... Затраты на обработку мирового общественного мнения положим равными трем миллионам. Отчисления на амортизацию престижа страны, надеюсь, временную,— два миллиона, престижа правительства внутри страны — около миллиона... В дальнейшем, особенно при массовом производстве, расходы могут быть значительно снижены. И это, конечно, черновой расчет. Вы с ним согласны?

— Не совсем. Зачеркните графу «расходы на обработку общественного мнения». Очень талантливых ученых, как я сказал, мало. Для начала мы сделаем не так уж много дублей. Вопрос их статуса можно урегулировать без оповещения общественности. Здесь есть свои трудности, но...

Его остановил жест президента.

— Я даю разрешение, генерал. Но только на проведение опытов. Во имя науки. Ясно?

— Вполне, господин президент. Я вас еще ни разу не подводил.

— Я знаю.

Некоторое время они молчали.

— А что,— неожиданно с интересом спросил президент,— эти ученые... Они согласятся?

Дорон улыбнулся впервые за весь вечер.

— Меня иногда интересует,— сказал он,— видит ли рыба крючок перед тем, как попасться. Лично я думаю, что видит.

— Значит, все дело в приманке?

— Конечно. Наша главная слабость в том — ведь некоторым образом и я ученый, господин президент,— что мы безумно хотим видеть конечный результат своих опытов. Разве мало было исследователей, которые пробовали на себе культуры всяких там зловредных микробов?

— Вот это-то, говоря откровенно, и страшит меня в ученых.

— А разве вы сами не хотите видеть результаты своей политики?

Президент досадливо поморщился и допил глинтвейн.

— Кстати, генерал, кто будет первым... э... Нет, я не так должен спросить. Кто будет вести опыты?

— Опыты ведут профессор Чвиз и профессор Миллер, который однажды уже испытал действие установки на себе (президент вздрогнул). Мы рассчитываем закончить работы в течение года.

— Так.— Лицо президента приняло отрешенное выражение.— Год... только год... Сегодня четверг? Через неделю вы представите мне подробный доклад о всех аспектах проблемы. Опыты продолжайте. Должное финансирование вам будет обеспечено.

— Благодарю, господин президент.

Дорон встал.

— Сегодня я проведу ночь в молитвах,— сказал президент.

После ухода генерала он включил свет и сел за неоконченный пасьянс. Его губы беззвучно шептали что-то, и со стороны могло показаться, что президент молится.

2

Необычный день

До звонка оставалось ровно пять минут. Луиза успела еще раз взглянуть в зеркальце и улыбнуться своему отражению. Ей ответило улыбкой миловидное продолговатое лицо с маленьким прямым носиком, припухлыми губками и серо-зелеными, чуть навыкате глазами.

«Пусть попробует эта рыжая девчонка, когда ей стукнет двадцать восемь, выглядеть так же,— подумала она.— И что нашел в ней хорошего Питер? Странные вкусы у этих мужчин...»

Она торопливо спрятала зеркальце и помаду в сумочку, потом достала из ящика лабораторные журналы и стала раскладывать их на столе в раз навсегда заведенном порядке.

Луиза спешила. Она знала, что еще не успеет отзвонить звонок, как дверь лаборатории резко распахнется и на пороге появится профессор Чвиз. Он стремительно подойдет прямо к ее столу и, вскинув свою легендарную бороду, в тысячный раз произнесет одну и ту же фразу: «Добрый день, Луиза. А где профессор Миллер?»

Третий год работает Луиза в лаборатории старика Чвиза и уже привыкла к тому, что здесь всегда все совершается по заведенному порядку. Заведенному и педантично охраняемому профессором Чвизом. И эти журналы, и этот обязательный утренний вопрос о Миллере, и даже сама Луиза, безропотно и пунктуально выполняющая все многочисленные распоряжения своего придирчивого шефа.

Единственным человеком в лаборатории, на которого строгие порядки Чвиза не распространялись, был профессор Миллер.

Странный он, Миллер. Еще не стар, но совсем не обращает на Луизу внимания. Правда, он неизменно любезен, но его взгляд всегда направлен куда-то за спину Луизы.

И вообще этот человек был ей как-то несимпатичен. Может быть, потому, что она не могла в нем разобраться, а может быть, потому, что однажды случайно услышала отрывок разговора между ним и Чвизом. «Я полагаю,— сказал Миллер,— что к нашей работе следует привлекать как можно меньше людей. И без лаборантки мы могли бы вполне обойтись». Старик что-то возразил, но о чем они говорили дальше, Луиза уже не слышала. Во всяком случае, все осталось по-прежнему.

В коридоре мелодично запел звонок. Открылась дверь. Появился профессор Чвиз. Подошел к столу. Запрокинул голову, так что борода встала торчком.

— Добрый день, Луиза. А где профессор Миллер?

— Добрый день, шеф,— автоматически ответила Луиза.— Профессор Миллер просил передать, что его сегодня не будет.

Чвиз что-то недовольно пробормотал, но, как всегда в таких случаях, молча прошел в соседнюю комнату. Луиза видела, как он подошел к умывальнику и, засучив рукава своей неизменной нейлоновой куртки, принялся мыть руки.

Каждое утро он проделывал эту операцию с особой тщательностью, словно врач перед осмотром больного. У Луизы никогда не хватало терпения смотреть, как он долго и упорно трет один за другим каждый палец.

Она подвинула к себе журнал и, листая страницы, стала искать последнюю запись.

«Слава богу, с Миллером на сегодня покончено»,— отметила она про себя.

Действительно, не было еще случая, чтобы на протяжении дня Чвиз поинтересовался Миллером вторично. «Сейчас он усядется в свое любимое кресло,— подумала Луиза,— и потребует, чтобы я читала вчерашние данные. Боже, как все это мне надоело!»

Могла ли она предполагать, что этот день, начавшийся точно так же, как все предыдущие, окончится необычайно?

Но пока все шло по традиционному расписанию. Чвиз опустился в кресло. Несколько раз провел своей широкой ладонью по бороде и, устремив взгляд куда-то вверх, произнес:

— Ну, что же, послушаем вчерашние данные.

Лабораторный журнал был уже раскрыт на нужной странице, и Луиза сразу начала читать ровным голосом:

— Опыт номер 1421 — шестнадцать часов пятнадцать минут. Объект — три бутона роз, начальное напряжение — восемьсот вольт, пиковое — двенадцать тысяч.

Ее прервал телефонный звонок. Среди многочисленных странностей и чудачеств профессора Чвиза была и такая: он терпеть не мог телефонов. Его просто в дрожь бросало от каждого звонка. А когда ему все же приходилось брать трубку, он держал ее двумя пальцами, точно взрывчатку, на почтительном расстоянии от уха.

— Алло? — сказала Луиза.— Это вас, шеф.

Она узнала голос Дорона.

— Слушаю,— недовольно произнес Чвиз.— Да, я внимательно слушаю.

Дорон говорил четко и громко, и даже Луиза поняла каждое его слово:

— Разрешение президента получено, профессор. Деньги есть. Поздравляю. Форсируйте опыты.

— Благодарю вас, генерал,— ответил Чвиз.— Приму к сведению.

И двумя пальцами — осторожно, как будто трубка могла взорваться,— положил ее на рычаг.

— Можно продолжать? — осведомилась Луиза и, поскольку Чвиз ничего не ответил, стала читать дальше: — Сила тока в импульсе — три тысячи ампер...

Но Чвиз остановил ее:

— Вы не знаете, когда придет профессор Миллер?

Луиза удивленно взглянула на шефа.

— Я уже говорила, что профессора Миллера сегодня не будет.

— Да, да...— как-то неопределенно протянул Чвиз.— Простите, Луиза, мне нужно подумать.

Он зашагал из угла в угол, почему-то держа руки перед грудью, как это делают хирурги перед началом операции. Левая щека его нервно подергивалась. Луиза удивленно наблюдала за шефом. Никогда еще она не видела Чвиза таким. Старик был явно выбит из колеи, хотя обычно поражал Луизу своей невозмутимостью и непоколебимым равновесием. Впрочем, Луизе и раньше иногда казалось, что вся эта пресловутая пунктуальность и педантичность Чвиза только щит, с помощью которого он пытается оградить себя от необходимости принимать какие-либо решения. Женское чутье подсказывало Луизе, что за подчеркнуто суховатым, а временами даже грозным внешним обликом Чвиза скрывается мягкий и слабохарактерный человек. Во всяком случае, такие мысли не раз приходили ей в голову.

Чвиз неожиданно остановился возле Луизы и сказал, глядя куда-то в сторону:

— Простите, Луиза, я хочу вас спросить... Для меня это очень важно. Вы, кажется, разошлись со своим мужем?

Щеки Луизы мгновенно вспыхнули.

— Да.— И почему-то торопливо добавила: — Но это было три года назад.

— Еще раз простите,— продолжал Чвиз.— Я, возможно, касаюсь событий, воспоминания о которых вам неприятны, но, повторяю, для меня это важно. Вы сами решили его оставить?

— О нет! — вырвалось у Луизы.— Питер ушел от меня к другой...

— Жаль,— перебив Луизу, сказал Чвиз и отошел от стола.

Луиза растерянно посмотрела ему вслед. Кажется, она сделала глупость. Ну, конечно же, не следовало так говорить. У мужчин свой взгляд на вещи, и оставленная женщина, вероятно, не может вызвать их сочувствия.

— Это все равно должно было случиться,— торопливо заговорила Луиза, словно стараясь оправдаться перед Чвизом.— Я слишком идеализировала Питера. Такая уж я неисправимая фантазерка. А он был всего лишь обыкновенным, заурядным парнем, если прельстился этой...

Чвиз бросил на Луизу быстрый взгляд из-под своих густых бровей.

— Вы сейчас одиноки? То есть...— Он смутился.— Извините, я не знаю, как это лучше сформулировать.

Луиза на мгновение задумалась.

— У меня есть друг,— сказала она, стараясь придать своему голосу игривое выражение, хотя вовсе не была уверена в том, что это вообще следовало говорить.

— И, устроив свою жизнь, вы, вероятно, не прочь были бы оставить работу? Ну, я хочу сказать, вы не очень жалели бы, если бы вам пришлось покинуть эту лабораторию?

— Бэри хорошо обеспечен. И, мне кажется, он любит меня,— уже серьезно ответила Луиза.

— Мм-г,— протянул Чвиз не то разочарованно, не то удовлетворенно и медленно пошел в другую комнату.

Через открытую дверь Луиза видела, как он открыл сейф, достал с полки большой желтый портфель с серебряной монограммой, извлек из него пачку чертежей и, развернув их перед собой, углубился в какие-то подсчеты.

Чвиз сидел к Луизе вполоборота, и она могла видеть, как он то сосредоточенно что-то писал, то вдруг откладывал ручку и, наморщив лоб, устремлял свой взгляд куда-то в пространство.

«А что, если сбрить у него бороду? — вдруг мелькнула у Луизы озорная мысль.— Как бы он выглядел?»

Она попыталась представить себе Чвиза без бороды. Высокий рост, могучее телосложение, запоминающееся лицо,— с таким мужчиной приятно пройти по улице, ничего, что ему уже за шестьдесят. Но почему он задавал ей эти странные вопросы? О разрыве с мужем, о дальнейших планах? Что бы все это могло значить? И Луизе вдруг захотелось продолжить прерванную беседу. Удобно ли только отрывать его от работы? Но в конце концов он сам начал этот разговор.

Она поднялась из-за стола и, тихонько пройдя в другую комнату, осторожно присела на стул рядом с Чвизом.

— Скажите, профессор,— негромко спросила она,— вы всегда жили один?

— Что, что? — не сразу понял Чвиз, отрываясь от бумаг.— Ах, вот вы о чем...

Он сунул ручку в карман своей блузы и откинулся на спинку кресла.

— Нет, дорогая Луиза. Но все это давно ушло. Все позади.

— Почему? — запротестовала Луиза.— Вы не должны так говорить!

Она неожиданно смутилась и замолчала.

— Что поделаешь, дорогая Луиза. Время, увы,— необратимая функция,— грустно пошутил Чвиз.

Оставшаяся часть рабочего дня промелькнула для Луизы словно в каком-то сне. Она машинально переходила от прибора к прибору, автоматическими движениями смахивала пыль с многочисленных циферблатов и шкал, что-то поправляла, что-то записывала. Но мысли ее были о другом.

«Чвиз влюбился,— думала она,— это ясно, как день. Но боится, что слишком стар для меня. Бэри, конечно, намного моложе Чвиза, но ему, пожалуй, все же далеко до него... Но что это я?» Луиза попыталась приостановить стремительный полет своего воображения, однако услужливая фантазия уже рисовала ей одну картину заманчивее другой. Вот они венчаются в церкви, вот отправляются в свадебное путешествие на борту белоснежного лайнера, вот они вдвоем стоят на палубе, и все пассажиры бросают на нее и Чвиза восхищенные взгляды...

К реальной жизни ее вернул звонок, возвестивший окончание рабочего дня. Чвиз тоже оторвался от своих бумаг и посмотрел на часы. Они показывали половину пятого.

— Луиза.

— Да,— встрепенулась Луиза, уже начавшая было собирать свои вещи.

— Могу ли я обратиться к вам с просьбой?

— Да, конечно.

— Вы сегодня никуда не торопитесь?

— Мы с Бэри собирались уехать к морю на субботу и воскресенье. Но если...

— Не могли бы вы немного задержаться? Я должен сделать контрольный опыт. Мне очень не хотелось бы откладывать его на понедельник.

И хотя это были совсем не те слова, которых ждала Луиза, она, не задумываясь, сняла телефонную трубку и набрала номер:

— Бэри? Это я. Мне придется немного задержаться. Не знаю, может быть, час, полтора. Ты будешь ждать меня? Хорошо.

Она положила трубку и посмотрела на Чвиза.

— Что я должна делать?

— Прежде всего сходить в виварий и принести кролика.

Когда Луиза вернулась в лабораторию, неся в руках небольшую клетку с белым зверьком, Чвиз уже приготовил установку. Он взял у Луизы клетку и поставил ее в один из отсеков большого прозрачного колпака, к которому тянулось множество проводов. Потом он начал задраивать люк, но в это время в лаборатории появился Кербер. Он вежливо поздоровался с Луизой и почтительно поклонился Чвизу.

— Добрый день, шеф. Как идут дела?

— Работаем, как видите,— не слишком любезно пробурчал Чвиз.

Он вообще недолюбливал этого человека, который когда-то работал у Миллера и вместе с ним появился в лаборатории Чвиза. Профессор считал Кербера неважным физиком и старался по возможности обходиться без его помощи.

Кербер приблизил свою лысую, похожую на бильярдный шар, голову, на которую профессору Миллеру всегда хотелось поставить печать, к прозрачной стенке колпака и с интересом посмотрел на кролика.

— О, вот какой опыт вы собираетесь проделать! Понимаю, понимаю.— Он внимательно посмотрел на Чвиза.— Выходит, мы уже у самого финиша?

— Возможно,— буркнул Чвиз, с беспокойством поглядывая на часы.

Как бы не замечая этого, Кербер несколько раз медленно прошелся по лаборатории.

— Ну, не буду вам мешать,— откланялся он наконец.

Когда дверь за ним закрылась, Чвиз еще раз проверил люк и подвел Луизу к главному пульту.

— Вы должны следить за тем, чтобы стрелки на этих двух вольтметрах показывали одинаковые напряжения. Правая должна дублировать левую. Если возникнет отклонение, вы будете вносить поправки этим верньером. Правда, в цепи стоит автоматический регулятор, но я не очень на него надеюсь. А теперь — самое главное,— продолжал Чвиз.— Как только стрелка на этом приборе дойдет до красной черты,— он указал на большой прямоугольный циферблат, вмонтированный в стену, прямо над пультом,— вы должны нажать эти две кнопки. Только строго одновременно. И как раз тогда, когда стрелка достигнет черты. Ни раньше, ни позже. Обычно за этим следит профессор Миллер, но сегодня... Одним словом, я прошу вас быть очень внимательной. Вы все поняли?

Луиза кивнула.

— Тогда начнем.

Чвиз отошел ко второму пульту, установленному рядом с прозрачным боксом. Сухо щелкнули реле. Лабораторию наполнило равномерное гудение. Луиза увидела, как стрелка на левом вольтметре медленно поползла по шкале. Вслед за ней послушно двинулась и стрелка на правом приборе.

Гудение усилилось. Стрелки на вольтметрах дошли до середины шкалы и одновременно остановились.

Луиза на мгновение оглянулась. Чвиз стоял к ней спиной, возле бокса, и сосредоточенно вращал какие-то ручки. Кролик в боксе сидел неподвижно, словно изваяние, плотно прижав длинные уши. Его окружало колеблющееся сиреневое сияние.

Луиза торопливо, как бы испугавшись того, что на мгновение перестала следить за вольтметрами, вновь наклонилась над пультом. И сразу же стрелки приборов, словно они только того и ждали, начали стремительный замысловатый танец.

Следить одновременно за двумя циферблатами да еще все время поглядывать на верхний прибор было мучительно трудно. Уже через несколько минут у нее заболели глаза. Между тем скачки напряжения становились все сильнее. Они следовали один за другим во все убыстряющемся темпе. Луиза не успевала переводить взгляд с одного циферблата на другой. Сияние за спиной становилось то ослепительно ярким, то спадало настолько, что сиреневые блики на стеклах приборов гасли и исчезали.

Гудение временами достигало угрожающей силы. За спиной Луизы что-то происходило. Но она не решалась оторвать взгляда от приборов. От напряжения у нее потекли слезы. Перед глазами бежали желтые, зеленые, красные круги.

Луиза уже не видела ничего, кроме лихорадочного метания стрелок. Она едва успевала переносить взгляд с пульта на верхний циферблат и обратно. Весь мир сосредоточился для нее сейчас в двух маленьких белых кружках с черными делениями и красной чертой наверху.

Стрелки, гудение, вспышки, стрелки. Все перемешалось в нескончаемом водовороте. Луизе начало казаться, что все приборы застыли в неподвижности, а она сама вместе с лабораторией мечется из стороны в сторону.

Словно сквозь сон Луиза увидела, как черное острие на верхней шкале коснулось красной линии. Обеими руками она с силой нажала кнопки.

Оглушительный треск! Вспышка ослепительного света!

И все стихло.

Обессиленная, как после тяжелой работы, Луиза в изнеможении откинулась на спинку стула. Словно откуда-то из другого мира до нее донесся голос Чвиза:

— Благодарю вас, Луиза.

Она с трудом выбралась из-за пульта и, пошатываясь, подошла к боксу. Чвиз стоял, прижавшись к прозрачной стенке, и смотрел внутрь. В правом отсеке, который еще несколько минут назад был совершенно пустым, теперь стояла клетка с белым кроликом. Точно такая же, как и в левом отсеке.

Луиза понимала, что это значит. Она восторженно посмотрела на шефа, но, к своему удивлению, увидела, что лицо его мрачно.

Чвиз заметил ее взгляд и повторил устало:

— Благодарю вас, Луиза. Без вашей помощи я бы ничего не смог сделать. А теперь вы можете идти.

Очутившись в коридоре, Луиза прислонилась к стене. Голова все еще немного кружилась, а перед глазами плыли оранжевые пятна. Она взглянула на часы. Было двадцать пять минут шестого. «Пожалуй, пойду выпью чашку кофе». Держась за перила, Луиза медленно поднялась на четвертый этаж в бар, но в последний момент вспомнила, что оставила сумочку с деньгами в лаборатории. «А что, если Чвиз уже ушел?» — подумала она.

Однако лаборатория оказалась незапертой, хотя Чвиза в ней не было. Ключ торчал из замочной скважины с внутренней стороны двери. Луиза подошла к своему столу, чтобы достать сумку. На гладкой коричневой поверхности стола белел клочок бумаги, прижатый сверху большим ключом с замысловатыми бороздками — ключом от сейфа.

Холодея от смутного предчувствия, Луиза наклонилась над столом и прочла несколько слов, написанных знакомым косым почерком Чвиза:

«Я ухожу навсегда. Чвиз».

Еще не осознав как следует смысла записки, Луиза быстро прошла в аппаратную. Все как обычно. Но в аппаратной Чвиза не было.

Луиза беспомощно огляделась по сторонам. Увидела две клетки с кроликами. Они стояли в углу. Только тогда до нее вдруг дошел истинный смысл слов «ушел» и «навсегда».

Ужасная догадка обожгла Луизу: Чвиз отослал ее, чтобы зачем-то проделать опыт на себе! Ну, конечно же, он убрал клетки с кроликами и сам занял место в боксе. И что-то произошло. Какое-то несчастье. Зачем она только послушалась его и ушла?..

Стараясь побороть противную дрожь в ногах, Луиза добралась до телефона и набрала знакомый номер.

— Бэри? Случилось что-то ужасное. Исчез профессор Чвиз! Он оставил записку. Нет, я ничего не трогала. Да-да, я понимаю... Да-да, конечно.

Она медленно опустила трубку на рычаг.

3

И у шефа бывают неприятности

Генерал Дорон вставал ровно в восемь.

Впрочем, об этом вы, наверное, знаете из нашумевшего три года назад репортажа Эдуарда Поста «В гостях у осьминога». Пост — первое перо журнала «Ennui» («Скука»), самого интересного из всех иллюстрированных еженедельников. Эдди Пост полгода ходил у Дорона в садовниках, пока его допустили в дом присматривать за аквариумами. Тут он и состряпал своего «Спрута» — восемь полос с фотографиями. Помните? Сначала сад, вилла, а потом вся начинка. Например, спальня с кроватью XV века и японскими электронными штучками, которые имитируют шум дождя, чтобы лучше спалось.

А помните библиотеку? Генерал собирал только рукописные книги. Нет, не старинные — современные. Писатели переписывали ему от руки собственные книги. А как отказаться, если только за переписку он платил больше, чем издательство за книгу! Правда, штрафовал за помарки. Генеральская страсть неплохо подкармливала некоторых молодых.

А помните тир с настоящими летучими мышами, по которым гости Дорона лупили трассирующими пулями в абсолютной темноте?

Ну зачем повторяться, вы, конечно, читали Поста. Редко, кто не читал его репортаж три года назад, и никто не сомневался в том, что генерал открутит Посту голову за этот репортаж и за фотографии, сделанные микроаппаратом, который Пост упрятал в зубную коронку. Стоило ему улыбнуться и нажать языком спуск, как снимок был готов.

Но случилось чудо: Пост был обласкан генералом и спустя неделю распрощался с хозяином «Ennui», намекнув ему, что, даже если его еженедельник будет выходить толщиной с библию и на каждой странице будут помещать его фотографии, он все-таки заработает меньше денег, чем сегодня предлагает ему Дорон.

Это была сущая правда, хотя Пост был не из последних хвастунов. Это была правда, потому что, когда Дорон решал что-нибудь купить — кровать XV века, ловкого репортера или научный институт,— он не жалел денег.

Генерал Дорон, или Дорон-младший, был сыном знаменитого Дорона-старшего, короля электробритв. Отец генерала выпускал миллионы электробритв, и его эмблема — шимпанзе, со смехом бреющий себе живот,— украшала рекламные щиты на всех континентах.

Дорон-старший отправил своего единственного наследника в военно-морское училище, считая, что это неплохое начало для любой карьеры и что с какой-нибудь пустяковой медалью и мужественным гавайским загаром мальчику будет легче пролезть в конгресс. Однако сын несколько спутал планы папаши, заняв вскоре довольно теплое кресло в управлении военно-морской разведки. Затем он перебрался в Центральное управление разведки (ЦУР), а затем, прикрываясь, как фиговым листком, папиным «шимпанзе», путешествовал по Европе и Южной Америке, что, впрочем, не вызвало заметного оживления электробритвенного бизнеса. Потом он вновь вернулся в ЦУР и, наконец, тихо и незаметно отпочковался в самостоятельную организацию, так называемый «Комитет Дорона», род деятельности которой был известен не более чем десятку людей в стране.

Дорон-старший, дожив до весьма преклонного возраста, окончил свой век в Швейцарии, в пансионате для слабоумных миллионеров, где последний год дни и ночи напролет писал яростные письма Гомеру, Чарльзу Дарвину, Менделееву и Хемингуэю, требуя, чтобы они брились его электробритвами. После его смерти Дорон-младший стал единственным наследником гигантского капитала. Впрочем, он не очень нуждался в нем, будучи к моменту кончины своего родителя человеком и без того весьма и весьма состоятельным.

Генерал Дорон был теоретиком шпионажа. Долгие годы работы в разведке многому научили его. Он презирал старую классическую школу и смеялся над резидентами, пересчитывающими перископы подводных лодок в какой-нибудь бухте или заставляющими своих агентов ночевать в канавах на сортировочных станциях железных дорог.

Вся легальная дипломатическая разведка, все эти советники и атташе, на которых Дорон вдоволь насмотрелся в Европе и Южной Америке, напоминали ему инфузорий под микроскопом.

Одно время Дорон весьма заинтересовался космическим шпионажем, полагая, что новая техника в соединении с новой методологией может дать очень много. Однако он скоро понял, что воротилы из Ассоциации космоса (АК) выгрызут ему адамово яблоко при первой же его попытке подставить свою голову под золотой водопад, который щедро изливал на них конгресс, завороженный магическим словом КОСМОС и окончательно сбитый с толку проектами лунных крепостей и межпланетных минных полей — всей этой звездной галиматьей, плодом болезненной фантазии целого роя параноиков, купленных АК. И тогда Дорон всерьез задумался о собственном «деле».

Зачем нужна разведка вообще? Чтобы узнать силу противника, его резервы, его возможности. Что составляет в наш век эту силу, эти резервы? Заводы? Нет. Танки? Нет. Количество дивизий? Нет. Ракеты? Нет и нет! Главная сила — идеи. Бесплотные сегодня, они могут обернуться завтра и заводами, и ракетами, и танками. Талантливые мозги — вот за чем надо присматривать в самую первую очередь.

— Поймите, что бумажные салфетки, оставшиеся в ресторане после спора двух физиков, стоят дороже чертежей атомной бомбы,— не раз повторял Дорон своим сотрудникам.

— Не тратьте деньги на жадных осведомителей, тратьте деньги на отвергнутых изобретателей,— поучал он.

— За агента-лаборанта из Бактериологического центра, ворующего немытые пробирки, готов отдать двух агентов — полковников из Генерального штаба с их микрофильмами совершенно секретных инструкций о введении новой офицерской портупеи.— Этой шуткой он гордился.

— Я хочу знать сегодня то, что будет открыто завтра,— это был его девиз.

Комитет Дорона являлся крупнейшей организацией научно-технического шпионажа. Его люди работали в обсерваториях, ядерных центрах, на биостанциях. Они плавали на исследовательских судах океанографов и поднимались в стратосферу. Редкий институт обходил Дорон своим вниманием. Очень часто он вербовал агентуру в мире ученых. Это обеспечивало меньший процент погрешностей при обработке сведений. Сведения эти под разными грифами, в зависимости от степени их Срочности, Важности и Секретности, ложились каждое утро на стол Дорона. Сам он ввел десятибалльную систему для определения этих критериев: от единицы до десяти нарастали Срочность, Важность, Секретность; цифра в углу бланка сразу говорила ему все.

Итак, Дорон вставал всегда ровно в восемь часов утра. В десять секретарь Дитрих клал перед ним суточную сводку. В этот день все было как обычно. Генерал сел в кресло и раскрыл папку.

«Сроч.», «Важ.», «Секр.».

1.3.1 — Опыты кормления коров хлореллой.

1.1.4 — Доктор Сидзуки (радиоактивные изотопы) продолжает переписку с филателистом Кривопаловым А. В. из города Великие Луки.

4.8.2 — Фирма «Бицотти» проводит заключительные испытания пилюль, вызывающих стойкую бессонницу.

3.10.6 — Английское адмиралтейство дало заказ на покрытие для подводных лодок, искажающее ультразвуковое эхо.

9.7.9 — Инженер-изобретатель Коллинз вчера начал испытания подземного снаряда-крота.

2.1.3 — Получены полные чертежи нового военного австралийского геликоптера.

1.2.9 — Инженер-изобретатель Коллинз погиб во время испытаний подземного снаряда-крота.

3.3.3. — Новые каблуки для ботинок с ракетными двигателями одноразового действия, позволяющие прыгать в длину до 10 метров и в высоту до 4 метров.

10.10.10! Взгляд Дорона задержался. Три десятки. Такое бывает не часто. Нечто Сверхсрочное, Сверхважное и Сверхэкстренное.

10.10.10 — Исчез профессор Чвиз.

Среди десятка научных центров мира, особенно интересующих генерала Дорона, Институт перспективных проблем, в одной из лабораторий которого работал профессор Чвиз, занимал, пожалуй, первое место. И в то же время именно этот институт доставлял Дорону чуть ли не каждую неделю какие-нибудь неприятности.

Итак, новая таинственная история. «Черт возьми,— подумал Дорон,— то там появляется лишний про-

фессор, как это случилось с Миллером, то исчезает единственный Чвиз. За что, спрашивается, он платит деньги кретину, которому поручено не спускать глаз с гениев? Теперь этот кретин, ни капельки не смущаясь, присылает три десятки. Старик исчез. А машина? Что с ней? И надо же, чтобы это случилось буквально на следующий день после встречи с президентом! Именно сейчас, когда все на мази! О, эти физики! Сколько лет жизни заплачено за их капризы».

Рука Дорона уже уперлась в белую кнопку звонка. Натренированный Дитрих появился в кабинете с такой скоростью, что дверь для него можно было бы заменить шторками фотозатвора.

— Миллера, Кербера и Гарда срочно ко мне.

Этими короткими быстрыми словами Дорон уже взвел себя, как пружину, и сразу почувствовал, что взведен. Он отметил в себе это, казалось, уже позабытое, азартное состояние упругой силы и какой-то нестареющей, совсем юношеской легкости. Он, проповедник протокольной точности, ревнитель картотек, списков и досье, поклонник холодных и абстрактных цифр, шифров, он, издевающийся над детективными фильмами, презирающий всю эту невыразимо бездарную толпу сексуально распущенных полуковбоев, полушпионов, кривляющихся с дорогим оружием в руках на обложках пестрых книжек,— он все-таки любил, стыдясь признаться себе в этом, вот такой накал мужества, как у Шона Коннери[1], автомобильную погоню, темноту западни и сладкий запах, который можно почувствовать, потянув носом воздух из пистолетного ствола. Наверное, в нем еще жил тот мальчишка, который, насмотревшись гангстерских фильмов, решил учиться подкрадываться к Дику, датскому догу старика Дорона, так тихо, чтобы Дик не поворачивал свою добрейшую морду на его шаги...

4

Настоящий или двойник?

В это утро супруги Миллеры проснулись, как обычно, в тот момент, когда по радио началась передача, открывающаяся маршем из популярной комедии «Семеро засыпают в полдень». Пока Эдвард брился, Ирэн еще нежилась в постели.

В спальню вошла горничная.

— Кофе готов,— сказала она.— Только что звонили из секретариата генерала Дорона и попросили передать, чтобы хозяин приехал на совещание к одиннадцати часам.

— Накрывайте на стол, Агата,— ответила Ирэн и обратилась к мужу, вышедшему из ванной комнаты: — Дюк, звонили от Дорона...

— Я слышал, милая, спасибо.

После завтрака Эдвард позвонил Керберу:

— Отто? Предупредите профессора Чвиза, что я приеду сегодня позже, так как меня вызывают к Дорону. Вас тоже? Ну и прекрасно. Тогда позвоните ему прямо сейчас, а потом мне.

Через несколько минут Кербер был вновь у телефона.

— Чвиза нигде нет,— сказал он.— Я звонил и домой и в лабораторию. Вероятно, он тоже приглашен на совещание и уже находится где-то в пути.

Миллер повесил трубку и посмотрел на часы. Таратуре уже пора было подавать машину.

В эту минуту Таратура, сидящий за рулем черного «мерседеса» — любимой марки профессора Миллера,— был уже недалеко от дома своего шефа. На углу Дайнен-стрит, при повороте направо, ему пришлось резко затормозить, чтобы не стукнуть какого-то чудака, меланхолически переходящего улицу.

— Ой, ля-ля! — сказал Таратура, узнав журналиста Фреда Честера, с которым не виделся больше года, с тех самых пор, когда Честер написал за Таратуру его первую и единственную в жизни статью под названием «Я гоночный автомобиль».

Дело в том, что Таратура работал прежде инспектором полиции, и тем, кто забыл его имя, можно напомнить, что именно он блестяще расследовал убийство банкира Костена. Когда дело было закончено и убийца — им оказался зять миллионера — предстал перед судом, Таратура, в свою очередь, предстал перед многочисленными репортерами и газетчиками, и еще неизвестно, кому из них было легче: убийце или инспектору полиции. «Вечерний звон» предложил Таратуре выступить на его страницах с автобиографическими воспоминаниями, и вот тогда инспектор Гард познакомил Таратуру с Фредом Честером. Честер к тому времени уже был под каким-то предлогом уволен из газеты, сидел без работы и кое-как перебивался небольшими заработками.

Три вечера они провели в кафе «Золотой зуб», а затем появилась статья, принесшая Таратуре еще большую известность. «Я гоночный автомобиль,— написал Честер от имени инспектора,— и, пока с «бензином» дела обстоят благополучно, преступникам далеко не уйти». Лишь одного не мог понять Таратура: зачем Фреду понадобилось критиковать в этой статье президента, обвиняя его в попустительстве финансовой олигархии,— но Честер успокоил инспектора, сказав, что это обстоятельство ни в коем случае не повредит популярности Таратуры. «Наоборот! — сказал он и объяснил, что глава государства, как известно, читает только те газетные статьи, в которых поминается его имя, не очень-то волнуясь из-за критики.— Он будет знать тебя, старина, а это не так уж мало!»

Вскоре после того, как статья была опубликована, профессор Миллер и позвонил инспектору Гарду. Затем у Гарда с Таратурой состоялся разговор, из которого Таратура понял, что он может неплохо устроить свою жизнь, если плюнет на карьеру.

Миллер в то время еще жил на старой квартире. Таратура приехал к нему, совсем не зная, как отнестись к предложению профессора, но долго сопротивляться не стал.

— Мне нужен человек,— сказал Миллер,— который был бы моей тенью. Такой человек, как вы.

— Тень — бесплотное существо,— ответил Таратура,— а у меня есть тело.

Миллер улыбнулся и мягко произнес:

— Я буду платить вам девятьсот кларков.

Это было вдвое больше, чем получал Таратура в управлении, и только сумасшедший мог отказаться от такого предложения. Сумасшедшим Таратура не был.

— Позвольте, профессор, задать вам один вопрос.

— Прошу,— сказал Миллер.

— Ваше положение в науке привлекает внимание

---

[1] **Шон Коннери** — английский артист, исполнитель роли агента 007 — Джеймса Бонда — в кино.

агентуры других стран? Или вас волнуют иные соображения?

— Думаю,— ответил Миллер,— ваши обязанности от этого не изменятся.

И Таратура стал личным шофером, секретарем и телохранителем профессора Миллера. Он кое-что слышал о неприятностях, которые были у его нового шефа некоторое время назад, но когда спросил о них Гарда, тот посоветовал обратиться по этому поводу к Честеру, «если тебе,— сказал он Таратуре,— очень уж хочется знать то, что знать не нужно». Таратура был любознательным человеком, таково было свойство его прежней профессии, но разыскать Честера в ту пору ему не удалось, а со временем любопытство несколько увяло. Тем более, что его новая работа занимала очень много времени, хотя обязанностей теперь было несравненно меньше, чем в полиции: они свелись, по существу, к сидению за рулем «мерседеса», а на жизнь профессора, к счастью, еще никто не покушался.

И вот Честер, самим господом богом посланный Таратуре чуть ли не под колеса автомашины.

— Фред! — крикнул Таратура, прижав «мерседес» к тротуару.— Алло, старина! Куда ты смотришь?

Фред Честер, остановившись посреди улицы, смотрел на окна домов, на крыши, на толпу прохожих, но никак не на шикарный «мерседес», откуда кричал ему Таратура. Когда его взгляд все же упал на физиономию бывшего инспектора полиции, Честер покачал головой, как это делают люди, желая отбросить кошмарное видение.

— Таратура? — сказал он, подходя к машине.— Я знал, старина, что прежде ты раскрывал преступления. А теперь, наверное, сам кого-нибудь ограбил?

— Судьбу! — ответил Таратура, широко улыбаясь.— Но не завидуй, Фред, эта штука мне не принадлежит.

— Удивительное совпадение,— сказал Фред.— Я этот плащ тоже взял напрокат.

— Старина, я очень рад тебя видеть, но страшно тороплюсь, и если опоздаю хоть на минуту, мне придется занимать где-то голову. Тебе не по пути со мной?

— А куда ты едешь?

— Клингельн-парк, двенадцать.

— А, мне все равно,— сказал Честер, влезая на сиденье рядом с Таратурой.— Когда человека кормят ноги, можно дать им немного отдохнуть. Гони!

Они тронулись с места, и Таратура тут же спросил:

— Фред, я давно хотел с тобой поговорить. Что это за история с профессором Миллером, в которой, говорят, ты когда-то копался?

— Много будешь знать,— сказал Честер,— меньше заработаешь.

— Я не шучу, старина.

— А меня прямо-таки распирает от хохота.

— Секрет?

— Какой к черту секрет! Загадка.

Таратура сжал губы и искоса посмотрел на Честера.

— Не обижайся,— сказал ему Фред.— Я сам на себя обижен. До сих пор решаю этот ребус и никак не могу решить.

Машина остановилась в это время у дома Миллера.

— И все? — спросил Честер.— Кто тут живет?

— Мой шеф.

— Прилично платит?

— Как говорится, на хлеб с сосисками мне хватает.

— «Гоночный автомобиль» нашел себе пристанище в уютном гараже? Ну ладно, я пойду, а то еще твой шеф решит, что я пытаюсь переманить тебя.

Честер открыл дверцу машины, и в это время появился Миллер, который, быстро пройдя садик, окружавший особняк, торопился к «мерседесу».

— Профессор Миллер? — тихо сказал Фред, слегка поклонившись.

Миллер на мгновение задержал на лице бывшего журналиста взгляд, словно припоминая, откуда ему знакомо это лицо, и, тоже кивнув Честеру, сел в машину. Через мгновение Честер остался одиноко стоять на тротуаре, глядя в ту сторону, где скрылся «мерседес».

«Вот оно что! — подумал он.— Значит, Миллер переехал в этот особняк. И купил Таратуру... Что бы это могло значить?»

Подняв воротник, Фред зашагал по улице, обдумывая эти мало что говорящие данные и пытаясь сопоставить их с тем, что вот уже более полутора лет не давало ему покоя. Он все еще мучился вопросом: какой же Миллер остался в живых, настоящий или Двойник?

5

Четверо у сейфа, не считая Фукса

Дорон не тратил времени на приветствия.

— Гард, у меня к вам дело. Куда-то запропастился профессор Чвиз из Института перспективных проблем,— сказал генерал инспектору полиции, когда тот вместе с профессором Миллером и Кербером вошел в кабинет.— В его лаборатории обнаружена вот эта записка: «Я ухожу навсегда». Я не стал бы тревожить вас по пустякам, но этот старик действительно мне нужен. И желательно живой. Мои ребята тоже ищут его, но им надо помочь. К вам,— Дорон обернулся к ученым,— пока единственная просьба: попытаться установить, где находятся чертежи установки Чвиза и другие документы.

— Мне кажется, это нетрудно сделать,— сказал Миллер, поправляя очки,— все документы были в сейфе...

— Тем лучше,— перебил генерал и подумал: — «Мир, в котором профессора верят в незыблемость сейфов, воистину не оставлен еще господом богом».

— Не смею задерживать.— Дорон встал.

«Все-таки он деловой парень, этот генерал,— подумал инспектор Гард.— Но люди, которые подразумевают в собеседниках сообразительность, обычно плохо кончают».

— Вы не возражаете, профессор, если я поеду в институт вместе с вами? — спросил Миллера полицейский инспектор, когда они вместе с Кербером вышли из кабинета генерала Дорона.

— Пожалуйста. Как вам будет угодно.— Миллер был погружен в собственные мысли.

— Я бы хотел посмотреть на этот сейф с документами,— продолжал Гард, делая вид, что он не замечает выражения сосредоточенного раздумья на лице физика.— Если эти документы еще там...

— А если их нет? — быстро спросил Кербер.

— Ну, в этом случае мое присутствие становится просто необходимым,— спокойно сказал Гард, щурясь от яркого солнца, ослепившего их после мрачноватых коридоров «Комитета Дорона».— Вы на машинах?

— Нет, генерал присылал за мной свою,— сказал Кербер, а Миллер промолчал.

— Отлично, тогда поедем на моей.— Инспектор распахнул дверцу черного «гепарда-108», над крышей которого торчала антенна, длинная, как удочка.— Помимо неплохой резвости, у нее есть еще одно важное преимущество: мы можем не обращать внимание на знаки движения и полицейские трели.— Он вздохнул и добавил с грустной улыбкой: — Поверьте, это единственная радость в моей жизни.

Ехали молча. Инспектор за рулем, ученые — на заднем сиденье.

— Кстати, профессор,— прервал молчание Гард,— для меня было бы нелишним узнать, у кого, собственно, находились ключи от сейфа?

— У Чвиза,— ответил за Миллера Кербер.

— Да, они всегда были у Чвиза,— подтвердил Миллер.

— А дубликат?

— Дубликата не было,— ответил Кербер.

— Откуда вы знаете? — спросил инспектор.

— Мне помнится, что сейфом пользовался только профессор Чвиз.

— Да, других ключей не было,— подтвердил Миллер.

— Вам не кажется, что запертый сейф без ключей — достаточно унылое зрелище? — спросил Гард, включая рацию на приборной панели автомобиля.

Миллер и Кербер не улыбнулись. Гард поправил рукоятку громкости и сказал:

— Я шестьдесят седьмой, вызываю дежурного.

— Дежурный О'Лири слушает,— хрипловато отозвался динамик.

— Здравствуйте, О'Лири, как дела? Много работы?

— Здравствуйте, инспектор. Пока все нормально. В лесу, в восьми милях по Хамберлендскому шоссе, обнаружен мужской труп без следов насилия. Пока не опознан. Больше ничего интересного. Прием.

— Молодой или старый?

— Старый. Борода. Прием.

Миллер встрепенулся и теперь внимательно слушал радиодиалог. Кербер тоже подался вперед, стараясь не пропустить ни одного слова.

— Хорошо, я потом посмотрю его. Вещей или бумаг не было?

— Корзинка с грибами и фляжка с водой. Прием.

— Хорошо. У меня к вам два дела. Пошлите Ройта и еще кого-нибудь, кто поглазастее, на квартиру профессора Чвиза. Пусть просто посмотрят, как там у него, но поаккуратнее. В общем, они знают, как это делается. И второе: подошлите Фукса с его тотализатором в Институт перспективных проблем. Там для него есть работа. У меня все.

— Слушаюсь, инспектор. Фукс будет через полчаса...

Гард повернул ручку, раздался мягкий щелчок, рация умолкла.

— Надо сейчас же осмотреть труп,— сказал Кербер.— Я вспомнил, Чвиз говорил как-то, что любит собирать грибы.

— А он не говорил, что этим занятием, кроме него, увлекается еще миллионов десять человек? — спросил Гард.

— Но приметы...— Миллер тронул инспектора за плечо.— Согласитесь, что это может быть...

— Может быть! — перебил Гард.— А может и не быть. Не обижайтесь, дорогой профессор, двадцать лет назад, когда я начинал, я бы, не дожидаясь ваших советов, сломя голову бросился опознавать труп этого бедняги. Но теперь я стал старым и умным. Теперь я знаю, что труп — это верняк, он уже никуда от меня не денется. Это «самые спокойные клиенты в нашем беспокойном мире», как говаривает Бирк, хозяин похоронной фирмы «Спи спокойно, друг!». А вот сейф — дело другое. Поверьте мне, дорогой профессор, я знавал случаи, когда сейфы бегали не то что резвее покойников, а побыстрее самого олимпийского чемпиона, как там его... забыл... склероз.

Но тревоги инспектора оказались неоправданными: сейф был на месте. Да и мудрено было похитить его. Стальной куб был вмурован в стену лаборатории так искусно, что среди развешанных на стене химических диаграмм не сразу можно было заметить узкий глазок замочной скважины.

— Вот здесь,— сказал, подходя, Миллер.

— Да-а-а,— задумчиво протянул Гард,— аккуратная вещица. Впрочем, если внутри нет никакой нестандартной штуки, Фукс с ним справится.

— Кто это? — спросил Кербер.

— «Человек-ключ», как писали о нем в газетах,— усмехнулся инспектор.— Старик из Одессы, в прошлом — взломщик сейфов экстра-класса. Из Одессы он уехал еще в двадцатом году. Знаменит ограблением королевского банка в Копенгагене. В Париже его поймали, отсидел лет пять. Потом он некоторое время резвился в Бразилии и Аргентине, опять попался и решил, что тюрьма чудесно обойдется без него. Сейчас он выручает ротозеев, которые теряют ключи, и иногда помогает нам. Но не будем терять времени. Я хотел бы узнать у вас некоторые детали.

— Какие детали? — быстро спросил Кербер.

— Прежде всего надо установить последовательность событий. Итак, когда вы видели в последний раз профессора Чвиза?

— В пятницу, около пяти часов вечера, я заходил в лабораторию и видел Чвиза,— сказал Кербер.— Он, как обычно, сидел около установки, вон там.

— Один?

— Нет, здесь была Луиза, его лаборантка.

— Вы говорили с ним?

— Говорил.

— О чем?

— Даже не помню. Какой-то пустяковый, ничего не значащий разговор.

— А вы, профессор? — Гард обернулся к Миллеру.

— Последний раз я видел его тоже в пятницу, примерно в то же время.

— Вы были вечером в институте?

— Да. Я приехал где-то около шести часов. Чвиз зашел ко мне, мы немного поговорили.

— Что было дальше?

— Потом он сказал, что окончил опыт и собирается уходить.

— Какое он произвел на вас впечатление? Вы не заметили в его поведении чего-нибудь необычного?

— Он всегда был чудаковатым человеком. Все необычное в нем трудно перечислить.

— Ну, например?

— Например, он мог бы сейчас разговаривать с вами и одновременно разучивать гимн Эфиопии.

— Скажите, профессор, а чем он, собственно, занимался в этой лаборатории? Вы понимаете, я спрашиваю не из праздного любопытства.

Миллер помолчал.

— Как вам объяснить,— начал он.— Это очень сложная проблема. Чвиз разработал теорию матричной стереорегуляции. Вы, и я, и он,— Миллер оглянулся на Кербера,— все мы состоим из клеток, клетки — из молекул и так далее. Если говорить популярно, популярно до вульгаризации, Чвиз научился разлагать организм на молекулярном уровне в поле гиперрегулятора...

— Вон в той штуке? — перебил его инспектор, кивнув в сторону установки.

— Совершенно верно. Только не непосредственно в той штуке, а в поле этой штуки создается молекулярная матричная копия, двойник организма. Энергия огромна. Секунда работы установки стоит...

Но Гард уже не слушал профессора. Он отошел в глубину лаборатории, к установке, разглядывая это огромное, причудливое сооружение. Медные шины, какие-то белые решетки на толстых блестящих изоляторах, тусклые металлические зеркала. Гард сразу заметил, что одна из двух больших прозрачных полусфер под этими зеркалами расколота.

— Простите, если я не ошибаюсь, установка повреждена?

— Да, к сожалению,— сказал Миллер.

— Это серьезная поломка? — спросил Гард.

— Как вам сказать? Сферу сделать не так уж трудно, но фокусировка займет несколько недель. И не всегда это получается с первого раза.

Взгляд Гарда задержался на циферблате часов, наверное, единственно знакомом и привычном предмете в этом непостижимо дремучем лесу техники.

— А зачем тут часы? — спросил инспектор.

— Часы показывают время работы установки. А на счетчике срок работы в миллисекундах,— ответил Миллер.

Гард подошел к ученым.

— Итак, вы, профессор, не были вечером в пятницу здесь, в лаборатории?

— Нет, я был у себя в кабинете.

— А вы,— Гард обернулся к Керберу,— были?

— Да, минут десять.

— Между пятью и шестью часами. Так?

— Что-то около этого,— ответил Кербер.

— В это же время он заходил к вам, профессор. Так?

— Примерно.

— Что же произошло раньше? Ваш визит в лабораторию или...— Гард обернулся к Миллеру.

— Право, не знаю,— сказал Миллер.— Да и какое это имеет значение?

— Думаю, что профессор видел Чвиза позже меня,— сказал Кербер.— Когда я пришел в лабораторию, он еще работал, а профессору он сказал, что кончил опыт и уходит.

— Разумно. Но вы говорили, что Чвиз работал с лаборанткой. Наверное, она сможет уточнить это. Она здесь?

— Думаю, что здесь. Я позову ее,— сказал Кербер.

— Не торопитесь,— остановил его Гард.— Я попрошу всех подойти к установке. Итак, если, как вы говорите, опыт был окончен до шести часов, каким образом эти часы показывают 18.15?

— Что? Этого не может быть!

Гард обернулся и увидел бледное лицо Кербера.

— Поразительно,— сказал Миллер.

— Простите, профессор,— Гард повернулся к Миллеру,— насколько мне удалось вас понять, старик разбивал организм вдребезги, делал копии с каждого осколка и вновь склеивал теперь уже точных двойников. Так?

Миллер улыбнулся.

— Хорошо, что вас не слышит Чвиз, он бы показал вам «вдребезги». Впрочем, в принципе вы правы.

— А если так, может ли эта штука,— инспектор показал на гиперрегулятор,— разбить, но не склеить?

— Что?

— Разбить, может быть, даже снять копию с осколков, но не склеить эти осколки? Ни первый, ни второй экземпляр? Так быть может?

— Нет. Программа работы регулятора заложена в него...

— Но ее можно вынуть и заменить?

— Нет, ее нельзя вынуть. Как таковой ее не существует, вы не поняли. Программа заложена в природе самой установки. Ну, как бы это сказать... Нельзя заставить автомобиль ехать только на задних колесах.

— Какое-то время можно.

— Весь процесс длится в течение тысячных долей секунды.

— Отлично! И если в это время, когда он уже наполовину прошел, отключить к дьяволу все эти провода? Что тогда?

— Сброс поля?

— Назовем это так. Значит, эта штука может разрушить и не создать?

— Но схемы задублированы...— рассеянно сказал Миллер.

— Это уже детали, дорогой профессор.

— Вы хотите сказать, что Чвиз...

— Я ничего не хочу сказать. Но прежде, чем двигаться вперед, я хочу видеть перед собой все дороги. Этот случай — побег, похищение или, наконец, впервые в моей практике, превращение в ничто, в святой дух? Или остается какой-нибудь пепел?

— Какой пепел? Ну что вы! Полная сублимация,— спокойно сказал Миллер.

— А это что за штука?

— Сублимация? Переход из твердого состояния в газообразное, минуя жидкое.

— Да, из этой штуки получился бы отличный крематорий,— усмехнулся Гард.— Если надумаете, возьмите меня в пайщики.— Он подошел к телефону, не спеша набрал номер: — Алло! О'Лири? Это опять я. Нет, еще не приехал. А что слышно с тем грибником? Так. Ну, спасибо.— Гард повесил трубку.

— Это он? — спросил Миллер, заметно волнуясь. Гард внимательно посмотрел на профессора.

— Нет. Это кузнец из соседней деревушки. Инсульт. Видно, нагнулся не за своим грибом.

— Разрешите войти? — раздался сзади тихий голос.

Все обернулись и увидели маленького старичка с небольшим чемоданчиком, похожим на этюдник.

— Входите, Фукс! — весело сказал Гард.— Тут для вас я припас одну хитрую коробочку.

Он показал Фуксу замочную скважину сейфа. Фукс открыл чемоданчик, достал отмычки и, ласково перебирая их в руках, покосился на скважину.

«Возможно, что в исчезновении Чвиза повинен только сам Чвиз,— размышлял Гард, наблюдая за работой Фукса.— Конечно, это возможно. Обыкновенное самоубийство или эта... как ее? Переход в газообразное состояние. Но тогда документы должны быть на месте. Если бы Чвиз захотел унести с собой в могилу секрет всей этой штуки, он уничтожил бы не только чертежи, но прежде всего саму установку...»

Что-то мягко и тихо щелкнуло под руками Фукса.

— Покорно прошу отойти в сторонку,— ласково попросил Фукс.— Вы не представляете, какие нервные люди строят эти сейфы. Ты их открываешь, а они поливают тебя из огнемета. Просто кошмар, а не работа.

Гард, Миллер и Кербер неторопливо отошли. Старик бесшумно распахнул дверцу. В черном чреве сейфа не белело ни одной бумажки.

— И вот вам награда за мои труды,— грустно улыбнулся Фукс.

— Отлично,— сказал Гард.— Вот теперь я попросил бы вас,— он посмотрел на Кербера,— пригласить эту... как ее зовут, ну, лаборантку.

— Луизу?

— Да.

Кербер вышел.

Минут через пять он вернулся с Луизой.

— Извините за беспокойство,— никто не ожидал от Гарда такого изысканно благородного полупоклона,— я хотел бы задать вам вопрос: вы первой обнаружили записку, оставленную профессором Чвизом?

— Да, я.

— И это вы передали ее в секретный отдел института?

— Да, я.

— Когда вы в последний раз видели Чвиза?

— Это было в пятницу, часов в пять. Потом профессор отпустил меня...

— В это время он не выходил из лаборатории?

— Не помню... Как будто нет... Нет, не выходил.

— Вы работали на установке?

— Да.

— В какое время вы включали установку?

— Я же говорила: около пяти часов.

— Не позднее?

— Нет, ведь я ушла, когда еще не было шести.

— И когда вы вернулись?

— Что?

— Когда вы снова пришли в лабораторию и увидели записку?

— Утром, в понедельник...

6

Тридцать роковых минут

— В понедельник...— задумчиво повторил Гард, не испытывая удовольствия ни от вопроса, который он задал, ни от полученного ответа, поскольку вообще терпеть не мог так называемых «дежурных» слов, не продвигающих следствие хотя бы на дюйм вперед. Но, повинуясь своей старой привычке, он вскинул голову и строго посмотрел на Луизу:— Итак, вы говорите, в понедельник? В котором же часу?— В то же мгновение он с тоской подумал, что любая фраза, которую он произнесет, окажется сотканной из сложных словесных кружев, и, начав ее, он сам не будет знать, как ее закончить. Так всегда бывало, когда Гард допрашивал женщин, знатоком которых он никогда не был.— Прошу прощения,— сказал он, мучительно краснея.— В котором же часу, позвольте вас спросить, если мой вопрос не покажется вам неуместным, хотя я... («Черт возьми,— подумал Гард,— здесь можно было бы поставить точку!»)... хотя я уверен, что в понедельник вы явились на работу вовремя, ибо всю ночь провели... («Боже, о чем я говорю?!»)... в спокойном сне и ничто не помешало вам соблюсти расписание вашей работы? («Фу, слава богу, кажется выкрутился!»)

— В девять тридцать утра,— очень коротко ответила Луиза и с нескрываемым любопытством посмотрела на Гарда. Он был одет в темно-серый костюм свободного английского покроя, какой обычно носят клерки из отдела мелких ссуд, причем одна пуговица на левом рукаве пиджака могла вот-вот оторваться. Это обстоятельство не ускользнуло от внимательного взгляда Луизы и позволило ей вслух, причем в довольно милых выражениях, сказать Гарду о том, что, если бы она была его женой, он никогда не терял бы пуговиц, не говоря уже о том, что не носил бы полосатые галстуки Айви лиг, которые Луиза считала «консервативными».

Гард в некотором замешательстве выслушал эту тираду, и ему понадобилось усилие, чтобы выжать из себя слова, более свойственные инспектору полиции, нежели джентльмену, ведущему светскую беседу.

— Я вынужден прервать вас,— сказал Гард,— поскольку меня больше интересует, какое впечатление произвел на вас профессор Чвиз, когда вы его видели в последний раз...

Луиза мгновенно прикусила язык и, подняв глаза кверху, припомнила свой последний разговор с Чвизом.

— Профессор показался мне несколько странным,— сказала она,— так как прежде он никогда не интересовался ни моим прошлым, ни будущим, а тут вдруг задал мне нелепый вопрос, замужем ли я. Кроме того, он задержал меня в лаборатории после работы, а это у нас не принято, хотя отлично знал, что я тороплюсь, и разрешил мне уйти лишь в половине шестого, а если говорить точнее, то в 17.25 вечера.

— У вас прекрасная память,— сказал Гард.

— В тот день я следила за часами, так как имела кое-какие планы на вечер.

— А вы действительно замужем?— неожиданно для самого себя спросил Гард и тут же подумал, что если бы его бывший учитель и шеф, ныне покойный Альфред Даф Купер, узнал о таком вопросе, то наверняка сказал бы: «Стареешь, Гард, стареешь».

Луиза быстро оглянулась на Миллера и Кербера.

— Простите, инспектор,— сказала она, чуть-чуть помедлив,— но, может быть, вы позволите мне пришить вам пуговицу?

При этих словах оба ученых, как по команде, посмотрели на пуговицу Гарда, как будто от нее зависел дальнейший ход следствия. Вероятно, они прислушивались к разговору, и Гард решил пощадить Луизу. Чутьем опытного сыщика он понял, что невзначай приподнял покрывало с какой-то скорее всего маленькой и личной тайны Луизы, которую он из чисто профессиональных соображений обязан был теперь открыть для себя — да простит его Альфред Даф Купер!— хотя пятью минутами раньше у него и в мыслях не было затягивать так долго допрос лаборантки.

И Гард, улыбнувшись Луизе своей знаменитой «гардовской» улыбкой, на которую, кроме него, больше никто не был способен во всем полицейском управлении, галантным жестом предложил ей пройти в соседнюю с лабораторией комнату.

В этой комнате обычно переодевался Чвиз, мыл руки и готовился к опыту. Там стояло всего одно кресло, высокое и старомодное, как трон, и Гард предложил его Луизе. Сам он присел на край низкого журнального столика, удивительно нелепого в сочетании с этим древним креслом, и его глаза оказались почти на уровне рук Луизы, положенных на колени. Руки чуть-чуть дрожали, но Луиза сохраняла на лице спокойное выражение и, как заметил Гард, даже успела мельком взглянуть на себя в круглое зеркало, прикрепленное над умывальником. В комнату заглянул кто-то из помощников Гарда, но инспектор попросил оставить его на время в покое.

— Итак, я вас слушаю.

— Что?— спросила Луиза.

— Кто ваш муж?

Гард умел быть настойчивым, он знал за собой это качество и хотел, чтобы Луиза это поняла. Она еле заметным движением руки, на которое способны только женщины, что-то поправила в своей прическе.

— Питер,— произнесла она кротко и таким тоном, как будто Гард не позднее, как вчера вечером, ужинал вместе с этим Питером в «Лармене», а сегодня с утра уже успел сыграть с ним партию в гольф.

— Кто он и где сейчас?

— У вас есть сигарета?— сказала Луиза.

— Прошу.

Гард открыл портсигар. Луиза закурила, выпустила несколько колечек дыма и, казалось, даже не собиралась продолжать разговор.

— Вы злоупотребляете моим временем. Кто такой Питер и где он сейчас?— спросил Гард.

Луиза кокетливо подняла бровь.

— Я обязана отвечать?

— Нет. Мы можем выяснить это и без вашего участия. Но я попрошу вас хотя бы объяснить причины, по которым вы не желаете мне ответить.

— Мы расстались с Питером три года назад,— сказала Луиза, и на глазах у нее выступили слезы.— Прошу вас, не думайте ничего дурного... Но я не хочу, чтобы он оказался втянутым в эту историю. Я скрываю от Питера, что служу лаборанткой и... что вообще служу.

Открылась дверь, и вновь вошел кто-то из помощников Гарда.

— Простите, шеф, чрезвычайное сообщение.

— Вы мне еще понадобитесь,— сказал Гард, хотя почувствовал, что интерес к тайне Луизы у него пропал.

Первое, что он увидел, вернувшись в лабораторию, было растерянное выражение лица профессора Миллера. Кербер стоял к Миллеру в полуоборот и с таким видом, который ясно давал понять, что сожалеет о случившемся, но поделать ничего не может. У Гарда не оставалось сомнения в том, что чрезвычайное сообщение исходит именно от Кербера, а потому он сразу подошел к нему.

— Я вас слушаю.

— Повторить?

— Пожалуйста.

— Видите ли,— сказал Кербер,— с того момента, как я увидел стрелки контрольного циферблата, я подумал, что тут какое-то недоразумение.

— Продолжайте.

— Стрелки показывают, что опыт Чвиза кончился в 18 часов 15 минут. Между тем лично я отдал распоряжение обесточить весь институт получасом раньше.

— В пятницу?

— Совершенно верно, в пятницу. На шесть часов вечера был назначен ремонт пульта центрального сектора. Профессор Чвиз, вероятно, не знал об этом или просто забыл, или... я вообще ничего не понимаю.

— Ваше указание было выполнено?

— Не помню случая, чтобы мои указания не выполнялись.

— Кем?

— В ту пятницу, вероятно, Пэнтоном.

— Он здесь, шеф,— сказал помощник Гарда.— Мы успели его вызвать.

Вошел Пэнтон, добродушного вида человек в синем комбинезоне.

— Меня звали? А что это здесь стряслось?

— Вы электрик?— спросил Гард.

— Ну и что?— ответил Пэнтон.

— В минувшую пятницу вечером вы обесточили институт?

— А я-то при чем? Мне сказали, и я выключил рубильник.

— В котором часу?

— Как сказали, так и выключили: в 17.45. На секунду промедлишь — будет несчастье, я это понимаю. Может, что-нибудь и стряслось? А? Но, клянусь вам, я выключил ровно в срок и еще сказал Ивенсу: «Слушай, дружище...»

— Благодарю вас,— прервал Гард.— Вы свободны.

Кто-то из помощников осторожно взял за локоть Пэнтона и вывел из комнаты.

Гард мгновенно оценил обстановку. Если все так, как утверждают Кербер и Пэнтон, профессор Чвиз не мог в 6 часов вечера разговаривать с Миллером. Его опыт должен был закончиться не позднее 17.45, и не позднее этого времени он должен был превратиться в газообразное состояние, если он действительно «сублимировался». На этих же цифрах обязаны были замереть стрелки контрольных часов. Но они не замерли, они проделали еще путь, измеряемый тридцатью минутами. Сами? Нет, не могли. Выходит, кто-то и зачем-то эти стрелки передвинул.

В ближайший час в лаборатории стояла тишина, никто не произнес ни единого слова, если не считать коротких междометий, которыми обменивались срочн-

но вызванные специалисты по снятию отпечатков пальцев. Кербер, серьезный и задумчивый, медленно прохаживался из угла в угол, стараясь не смотреть в сторону Миллера, поскольку он понимал, что его открытие бросает тень главным образом на профессора. Миллер сидел в кресле, внимательно наблюдая за действиями специалистов, но Гард видел, что он уже взял себя в руки и, кажется, принял какое-то решение, зависящее от того, чем кончится исследование злополучных стрелок. Гард курил, стараясь ни о чем не думать, поскольку строить предположения сейчас было преждевременно, а он умел мыслить только конкретно. Иногда он бросал короткие взгляды на Луизу, которая давно уже вернулась в лабораторию и теперь сидела на своем законном месте у пульта, где обычно она находилась, когда Чвиз проводил опыты. Видимо, ничего не понимая в происшедшем, Луиза и не делала попыток что-либо понять и вся ушла в чтение какой-то книжонки, достав ее из ящика стола.

Когда один из помощников Гарда вернулся из секретного архива, неся с собой две формулы — одну с только что снятых отпечатков и вторую, взятую из архива, с которой первая формула совпадала,— в комнате произошло легкое движение, какое обычно происходит в театральном зале при открытии занавеса, хотя никто из присутствующих не трогается с места.

— Чвиз,— одним дыханием сказал помощник, наклоняясь к Гарду. Он сказал это тихо, но достаточно четко, так, что по его губам все сумели угадать слово, им произнесенное.

Луиза уткнулась в книгу недвигающимися зрачками, Кербер нервно тер лысину, а Миллер, тяжело и громко вздохнув, закуривал, но никак не мог прикурить.

Гард на секунду закрыл глаза и, когда открыл их, уже знал, что будет делать дальше.

— Господа,— сказал он,— я не смею вас больше задерживать. Спасибо за помощь.

Лаборатория быстро пустела, и только Миллер продолжал сидеть в своем кресле. Гард благодарно посмотрел в его сторону, поскольку профессор сам избавил инспектора от неприятной обязанности задержать его.

— Прошу ко мне в кабинет,— сказал Миллер, когда, кроме помощников Гарда и людей Дорона, никого не осталось.— Я хотел бы поговорить с вами наедине.

7

Голос с того света

— Получается так,— сказал Миллер,— что если Чвиз покончил с собой, это должно было случиться не позже 17.45?

— Да, профессор,— сказал Гард.

— Кроме того, получается, что я ухитрился разговаривать с ним после его сублимации?

— Вы правы, профессор.

— Значит, я что-то путаю или попросту лгу, когда утверждаю, что беседовал с Чвизом в районе шести часов вечера?

— Не исключено, профессор.

— И вы склонны подозревать меня в причастности к его исчезновению, хотя вам известно, что стрелку он передвинул сам?

— Не буду этого скрывать, профессор.

— Отлично. В таком случае я тоже буду с вами откровенен.

— Это скорее в ваших, а не в моих интересах.

— Я понимаю.

Миллер умолк и сделал несколько шагов по своему огромному и мрачному кабинету. Он явно что-то обдумывал и, кажется, даже забыл на время о Гарде. Гард терпеливо ждал, наблюдая за Миллером и чувствуя себя той кошкой, которая позволяет мышонку еще немного поиграть, прежде чем им поужинать. Но вот Миллер решительно подошел к высокому секретеру, нажал кнопку, и Гарду открылся крохотный магнитофон. Повернувшись всем телом к инспектору, Миллер произнес:

— Гард, профессор Чвиз действительно был в этом кабинете, он сидел в том самом кресле, в котором сидите сейчас вы, и это случилось в районе шести часов вечера. Мы говорили с ним не более пятнадцати минут. Я записал наш разговор на пленку, я хочу, чтобы вы сейчас его прослушали. Вы готовы?

— Да, профессор.

Неприятный холодок пробежал по спине Гарда, предвещая ему наступление того знакомого, одновременно жуткого и желанного состояния, которое он, уже не как кошка, а как хорошая гончая, неизменно испытывал, нападая на точный след, чуя его, готовясь к погоне или острой схватке. Для того, чтобы Миллер не заметил его волнения, Гард быстро положил сигарету в пепельницу и обеими руками крепко сжал подлокотники кресла.

Миллер и сам волновался не меньше. Он даже снял свои массивные очки, чтобы протереть стекла, как будто ему предстояло сейчас что-то увидеть, а не услышать.

— Хочу вас предупредить,— сказал Миллер прежде, чем пустить магнитофон.— Я встретил Чвиза в коридоре, столкнувшись с ним у дверей своего кабинета. Начала разговора здесь нет, но там, в коридоре, было сказано лишь несколько слов — я, право, не помню, каких именно.

Бесшумно двинулась кассета, даже шипением не нарушая мертвой тишины, и Гард услышал голос Чвиза, прозвучавший так близко и так реально, что лишь усилием воли он заставил себя не оглянуться.

«— ...ровно на пять минут, я очень тороплюсь. Откровенно говоря, никак не ожидал вас сейчас увидеть. Спасибо, я сяду. Вы были у Роуса?

— Нет, в Бред-Харре.

— Коньяк? А где ваш знаменитый стерфорд?»

Наступила пауза, во время которой Гард услышал, как булькает жидкость и как горлышко бутылки мелко и дробно стучит о край рюмки. «Чвиз никогда не пил,— успел сказать Гарду Миллер прежде, чем пауза кончилась.— Во всяком случае, такие крепкие напитки. Я сразу понял, что ему не по себе».

«— Что случилось, профессор?— услышал Гард спокойный голос Миллера.— Уж не влюбились ли вы?

— Мне не до шуток, Эдвард. Звонил Дорон.

— Сегодня?

— Он был у президента.

— Не хватит ли вам одной рюмки, профессор?

— Пожалуй, вы правы, Миллер. Дорон сказал, что нам дали деньги и дали срок. Я не уверен, что вы меня правильно поймете и что вообще кто-нибудь способен меня понять, но мне стало страшно...»

В этот момент послышался звук опрокинутой рюмки и резко отодвигаемого кресла. «Ему стало плохо»,— сказал Миллер Гарду.

«— Нет, нет, не волнуйтесь,— услышал Гард голос Чвиза.— Я, вероятно, просто пьян.

— Присядьте, профессор, у вас и так неважное сердце. Стоит ли нервничать раньше времени?

— Ах, мне бы ваши годы, Миллер!.. Скажите мне, как своему коллеге и соавтору: вы думали когда-нибудь о том, что нам с вами придется отвечать перед историей?

— С меня вполне достаточно отчитываться перед Ирэн, которая даже сегодня спросит, где я так поздно задержался.

— Вы это серьезно, Эдвард? Я никогда не мог угадать, где вы говорите серьезно, а где шутите... Но вы думали о том, что наши потомки не простят нам, если установка будет создана? Вы это понимаете? Или вы думаете, что Дорон будет дублировать вместо солдат коров? Но что Дорону, который ответствен лишь до тех пор, пока он физически существует? А мы живем и после нашей смерти...

— Вы что-то рано о ней заговорили, профессор.

— Ну ладно, хорошо, поймите меня правильно. Я знаю, что у меня просто не хватит сил бороться с Дороном, если в такой борьбе вообще есть смысл. Но, честно говоря, я до сих пор не понимаю вас. Что вы хотите? Что вы намерены делать? Вы стали осторожны...

— Коллега, вам нельзя много пить.

— Ну вот, так я и знал, вы совершенно не приемлете разговоров на эту тему. А мне чрезвычайно важно знать, Миллер! Чтобы решить, что мне делать. Ну, что мне делать?

— Я отвезу вас сейчас домой, а утром...

— Поздно. Конечно, я чудак, с вашей точки зрения, но вы знаете: я упрям в своем чудачестве. В конце концов одной ногой я уже в могиле, и вот я стою перед вами, а на самом деле...

— Профессор, я никогда не думал, что одна рюмка...

— Как мне хочется все бросить и уйти, исчезнуть, раствориться, плюнуть на Дорона, на эту страшную установку, даже на вас, простите мне, ради бога, такие слова!

— А потом?

— Потом? Какое мне дело, что станет потом? Когда вам, Миллер, будет столько лет, сколько мне сейчас, вы тоже серьезно задумаетесь над тем, с какой совестью лучше отправляться на тот свет. Ладно, мне пора, я и так уже заговорился».

Часы в кабинете Миллера четко пробили шесть раз. Гард поднял глаза и убедился, что звук идет с пленки магнитофона, так как реальным часам еще предстояло минут пятнадцать повременить до боя.

«— Прощайте, коллега»,— сказал Чвиз откуда-то издали, вероятно, от двери.

И пленка кончилась. Несколько минут они сидели молча, и наконец Гард нарушил тишину:

— Пожалуйста, профессор, включите с того момента, где Чвиз говорит о могиле, в которой он стоит одной ногой.

Кассеты завертелись в обратную сторону, и Гарда даже передернуло, когда он услышал голос Чвиза, перешедший в визг и действительно ставший потусторонним. Но вот наконец:

«—...одной ногой я уже в могиле, и вот я стою перед вами, а на самом деле...

— Профессор, я никогда не думал, что одна рюмка...»

— Спасибо,— сказал Гард.— Только вы зря, Миллер, перебили его мысль.

Миллер ничего не ответил, и в комнате опять наступила тишина.

— Позвольте вам задать один вопрос, профессор,— тихо произнес Гард, глядя на Миллера в упор.— Почему вам пришла в голову мысль записать этот разговор с Чвизом?

Миллер сел в кресло напротив и, тоже глядя в упор на Гарда, спокойно сказал:

— С некоторых пор, Гард — а что я имею в виду, вы прекрасно понимаете,— я стал принимать некоторые меры по самозащите. Но разве сам факт записи вызывает у вас какие-то подозрения?

Гард пожал плечами.

— Не знаю, быть может, в ваших сомнениях и есть резон,— продолжал Миллер,— но я привык теперь записывать все разговоры, которые ведутся со мной, по крайней мере в этом кабинете. Надеюсь, вы не обидетесь, если узнаете, что и эта наша беседа...

Миллер перевел рычаг магнитофона, и Гард услышал собственный голос:

«—...задать один вопрос, профессор. Почему вам пришла в голову мысль записать этот разговор с Чвизом?

— С некоторых пор, Гард — а что я имею в виду, вы прекрасно понимаете,— я стал принимать некоторые меры по самозащите. Но разве сам факт...»

Миллер резким движением выключил магнитофон. Гард вновь пожал плечами.

— И все же, профессор, я не могу сказать, что полностью удовлетворен. Во всяком случае, если даже к исчезновению Чвиза вы действительно не имеете отношения, то папка с документами...

— Мне трудно убеждать вас, Гард,— прервал Миллер нетерпеливо,— но неужели вы до сих пор не понимаете, что документы мне не нужны, так как все данные по установке находятся вот здесь.— И он тронул рукой свою голову.— Больше того, Чвизу эта папка тоже не нужна. Какой ему в ней толк, если он знает, что я все знаю?

— Значит, чужой?

— Я вас не понял.

— Вы полагаете, что документы выкрал чужой человек и он же повредил установку?

— Трудно сказать, инспектор. Смотря кого считать «чужим». Того, кто связан с институтом или не связан? Я хочу, чтобы вы поняли одно: мне документы не нужны!

— А Чвиз вам нужен?

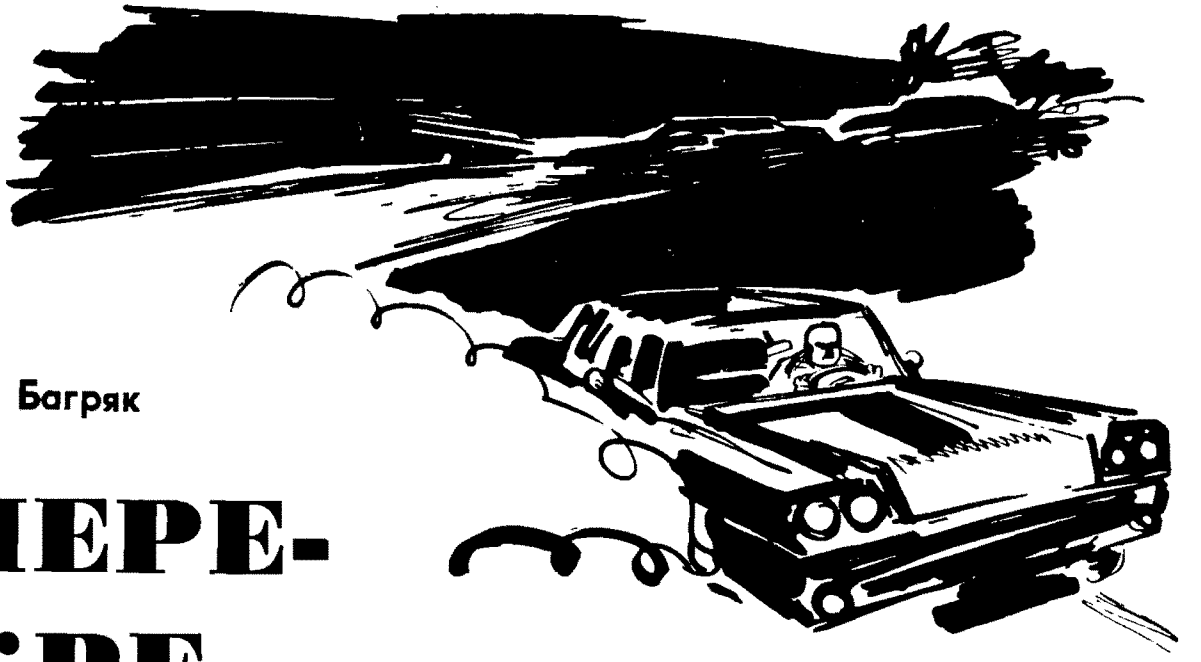
Миллер хотел было что-то ответить, но неожиданно скис и опустился в кресло. Гард почувствовал, что профессор словно бы потерял опору под ногами. По всей вероятности, Миллер возлагал слишком большие надежды на демонстрацию магнитофонной пленки и, когда убедился, что она не произвела на Гарда должного впечатления, откровенно сник.

— Ну что ж,— сказал Гард, поднимаясь с кресла,— в конце концов у меня теперь есть материал для раздумий. И на том спасибо.— Остановившись в дверях, он добавил: — Если ваш магнитофон, Миллер, включен до сих пор, я хочу, чтобы после моего ухода вы еще раз внимательно прослушали слова, которые я сейчас произнесу: уважаемый профессор, мне трудно пока решить, помогли вы мне, продемонстрировав пленку, или только меня запутали. До новых встреч!

Когда Гард удалился, Миллер подошел к своему столу и решительно нажал кнопку. За спиной профессора бесшумно распахнулись узкие дверцы, и в комнате появился Таратура.

— Таратура,— сказал Миллер твердым голосом,— есть важное дело...

(Окончание следует.)



П. Багряк

ПЕРЕКРЕСТОК

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Рисунки автора.

ПРОЗА

8

Темный лес

Звонок Гарда застал Фреда Честера в ту самую веселую минуту, когда он ссорился с женой.

С тех пор, как Честер был вынужден расстаться с газетой, жизнь под одной крышей с Линдой стала для него очень трудной. Нельзя сказать, чтобы она не любила своего мужа или испытывала к нему какую-то неприязнь, но претензии Линды к Фреду явно перерастали его нынешние возможности. Линда продолжала жить так, будто Фред по-прежнему приносил домой регулярные деньги, а не случайные гонорары,— вероятно, подобным образом устроены все женщины на белом свете, которые однажды, разучившись экономить, уже никогда не могут постичь заново это немудрое искусство. Во всяком случае, Линда и слышать не хотела о продаже пианино, на котором она раз в месяц играла попурри из современных оперетт, и тем более стареньского «бьюика», у которого только чудом крутились колеса.

В этот день Линда с самого утра пилила Фреда, настаивая на том, чтобы он вновь вспомнил о своей прежней профессии парикмахера. Сначала Фред не возражал, говоря, что в любую минуту готов взять в руки ножницы и щипцы для горячей завивки, если Линда даст согласие быть его первой клиенткой. Но потом ему все это надоело, и он серьезно заявил Линде, что настолько перезабыл парикмахерское ремесло, что наверняка будет среди прочих парикмахеров «каменотесом». И вообще он не желает расставаться с профессией журналиста, чего бы ему это ни стоило.

— Ну вот,— вскричала Линда,— еще не хватает, чтобы ты сам платил за свои дурацкие интервью, вместо того чтобы получать за них!

Окончание. Начало см. в № 3 за 1967 год.

И в это мгновение зазвонил телефон, за который, кстати, уже три месяца не было плачено.

— Старина,— сказал Дэвид Гард,— я чувствую, ты, как всегда, чирикаешь со своей милой супругой? У меня есть к тебе дело...

Гард ждал его в парке Майнтрауза, сидя на лавочке, укрытой под плексигласовым навесом. Шел противный, мелкий дождь, и место, выбранное Гардом, было как нельзя более удачным.

Фред уже привык к тому, что Дэвид вызывал его, как правило, для совета. Прежде он был отменным поставщиком сенсационных материалов, но то золотое время для Честера благополучно кончилось на деле Миллера, и даже с самыми скогсшибательными статьями он не мог появиться в редакциях ведущих газет. С другой стороны, Дэвид в последнее время все чаще стал заниматься делами, не подлежащими огласке.

— Что стряслось, старина? — спросил Честер, усаживаясь рядом с Дэвидом и «беря быка за рога», поскольку он знал, что у Гарда обычно не бывает свободного времени.

— Я не тороплюсь, Фред,—вопреки обыкновению сказал Гард.— В этом деле торопливость чревата...

— Ну что ж, тогда давай поговорим для начала о том, как кормят в «Ламенге».

— Ого, не ранее как сегодня утром я вспомнил этот ресторан, когда Луиза сказала мне о Питере.

— Старина,— заметил Фред,— я тоже умею говорить загадками, и если ты хочешь, чтобы у нас получилась толковая беседа, я напомню тебе о Розе и Форшдермоте.

— А кто это такие?

— Позволь спросить в таком случае: кто из нас кого вызвал на это милое свидание? Быть может, лучше ты расскажешь мне, кто такие Луиза и Питер?

— Дело не в них, Фред. Я хочу спросить тебя: что ты думаешь о том, какой Миллер остался?

— Я не могу ответить на твой вопрос хотя бы потому, что не знаю, с какой целью он задан. Кроме того, ты уверен, что я вообще знаю ответ? Таратура мог бы быть тебе сегодня полезней...

— Он человек Миллера и ничего не скажет, даже если бы и знал, что сказать,— возразил Гард.— А ты по крайней мере больше всех возился с тем делом, и, я уверен, оно мучает тебя еще сегодня.

— Хорошо, Дэвид. Но при условии: карты наружу.

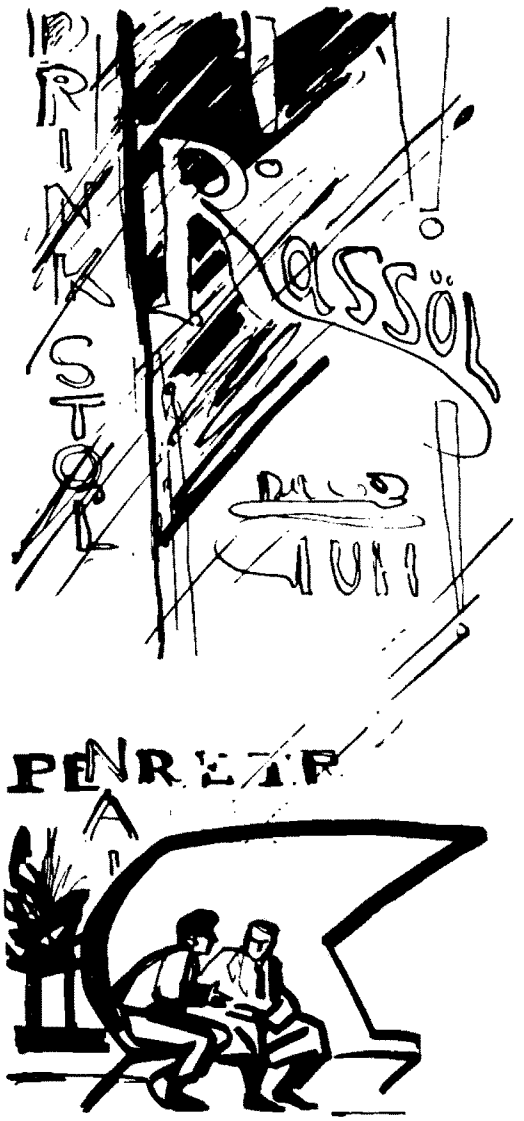
— Как всегда.

Они подняли правые руки, коснулись своих левых плеч, что еще с незапамятных времен означало у них клятву в безоговорочном доверии друг к другу, и Гард в течение получаса подробно изложил Честеру все, что ему было известно по делу Чвиза.

Собственно, знал он не так уж много. Он знал, бесспорно, что профессор исчез, как исчезла и папка с секретными документами, и мог определенно предположить, что его исчезновение было инсценировкой. Он, безусловно, знал, кроме того, что записка написана самим Чвизом и что он собственной рукой передвинул стрелки контрольных часов. Сам ли он задумал исчезнуть или его заставили, по доброй ли воле написал записку или ему продиктовали содержание, и, наконец, добровольно ли он передвигал стрелки часов,— ответить на эти вопросы Гард не мог. Старик скорее всего жив, он где-то спрятан или прячется сам, но кому это нужно и зачем, остается тайной.

В конце концов в этом деле могли быть замешаны совершенно посторонние люди, хотя их вход в институт и выход за его пределы чрезвычайно усложнены, если сравнивать с возможностями «своих». А «своими» были только трое: Кербер, Миллер и Луиза, которая в крайнем случае могла оказаться лишь орудием в чьих-то руках, ну, предположим, в руках некоего Питера, своего бывшего мужа, до которого Гард еще хотел «добраться». Кербер тоже вызывал сначала серьезные подозрения, особенно после того, как он буквально изменился в лице, когда в лаборатории были обнаружены контрольные часы. Но затем странное состояние Кербера получило разгадку, ибо именно он установил несоответствие стрелок с фактической возможностью проводить опыты. Значит, Миллер? Да, Миллер. И Гард не желает скрывать своих подозрений ни от Честера, ни от Дорона, ни от самого Миллера, который, зная о них, может предпринять кое-какие действия и тем полностью себя разоблачить.

Но вот что интересует Гарда на этом этапе следствия: мог ли Миллер, если учесть его характер, образ мышления и прочие личные качества, «убрать» Чвиза и выкрасть документы? Мог или не мог?



— Я понимаю,— сказал Гард Честеру,— что ты не располагаешь точными данными, но я верил и верю твоей интуиции. Подумай, Фред, и скажи мне: какой Миллер остался?

Честер молчал очень долго, до конца испытав терпение друга. Наконец он сказал:

— Дэвид, что должна была делать эта установка?

— Какая тебе разница?

— Удовлетвори мое любопытство.

— Откровенно говоря, я и сам толком не знаю. И вообще, на кой тебе черт лезть в это дело, если каждый человек, знающий об установке, рано или поздно попадает в «список Дорона»?

— Я в этом списке так давно, что одним секретом больше, одним меньше...

— Хорошо,— сказал Гард.— Я понял так, что она может превращать людей в газ, а может и создавать новых.

— Печатать?

— У них это называется как-то иначе.

— Я так и думал. Появление двойника Миллера заинтересовало Дорона в той истории больше всего, и я еще тогда понял, что старику Чвизу придется туго.

— А Миллер?

— Что Миллер? Я иногда смотрю на тебя, Дэвид, и мне кажется, что ты появляешься рядом со мной транзитом из потустороннего мира.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Не обижайся, старина, но ты или делаешь вид, или действительно наивен, как ребенок, если полагаешь, что от характера Миллера и только от него зависит его же поведение. А Дорон? А общественное мнение? А прочие внешние обстоятельства?

— Я инспектор уголовной полиции...—начал Гард.

— Очень приятно познакомиться,— прервал его Честер.— Остальное я могу сказать за тебя: «И я не лезу в политику. У меня есть труп, и моя задача найти убийцу». Все?

— Все.

— А я сейчас нарисую тебе варианты, и ты поймешь, что твоей страусиной логике полтора лемма цена. Предположим, остался «плохой» Миллер — человек крайне реакционных взглядов, коварный, злой, властолюбивый, завистливый и так далее. Ну что ж, вполне логично, если он захочет «убрать» конкурента Чвиза, украсть документы, чтобы они больше никому не достались, получить в свои руки всю установку, а потом диктовать условия Доронам и, может быть, всему миру.

— Согласен,— сказал Гард.— Вот это мне от тебя и было нужно.

— Ты, кажется, сказал, что торопливость в этом деле чревата? Куда же ты торопишься?

— Ты стал ворчлив, как твоя милая Линда.

— Один-один. Можно дальше? Так вот, представь себе, что остался «хороший» Миллер — благородный человек, с прогрессивными взглядами, честный и справедливый, гуманный и умный. Что может сделать он в подобной ситуации? Он тоже может «убрать» Чвиза — уговорить старика отправиться в надежное и тайное место,— ибо понимает, что старик слишком слаб и мягок, чтобы сопротивляться Дорону, что он не борец, что он может под небольшим нажимом даже не продать, а просто отдать Дорону все, что угодно. И, конечно, может взять при этом документы, чтобы они не попали в чужие руки. Вывод: и «хороший» и «плохой» Миллер могли поступить в этой ситуации одинаково.

Гард, потрясенный логикой Честера, даже поднялся со скамейки и вышел под дождь.

— Если уж ты хочешь мокнуть,— сказал Честер,— гораздо приятней промочить внутренности.

Они вышли из парка и через несколько минут уже сидели в дальнем углу «Золотого зуба», отгороженные от прочей публики поролоновой занавеской. Платил Гард, и прежде, чем он вновь заговорил о деле Чвиза, они успели выпить по целой квинте горячего пива.

— Ты знаешь,— сказал Гард,— о чем я сейчас подумал? Если психология не может помочь мне в решении задачи, должна помочь обыкновенная криминалистика.

— Гениально! — заметил Честер.

— Смотри, получается любопытная картина. С одной стороны, Чвиз мог в тот вечер инсценировать исчезновение и передвинуть стрелку на полчаса вперед, чтобы спокойно убраться, имея фору времени. О том, что институт обесточен, он, я думаю, не знал, иначе инсценировка с самого начала была бы глупой и нелепой. А мог и так: инсценировать исчезновение, написать записку и уже отправиться в свое убежище и тут неожиданно столкнуться с Миллером.

— Чего же ему с ним сталкиваться,— перебил Честер,— если ты считаешь Миллера причастным к исчезновению?

— Подожди, не мешай. Я обдумываю вариант, при котором Миллер остается в стороне. Он так горячо пытается меня убедить в этом, что я просто обязан подумать... Итак, столкнувшись с Миллером, старик заводит разговор, который давно накипел в его душе и до такой степени, что просто ему надо с кем-то поделиться. Судя по магнитофонной записи, так и было, потому что мне трудно допустить, чтобы старик мог «сыграть» подобную сцену. Они поговорили, попрощались, и — что дальше? Дальше Чвиз должен вернуться в лабораторию, чтобы на время этого разговора передвинуть стрелку часов, иначе Миллеру будет ясно, что никуда он не распылился, а где-то сидит в теплом местечке и попивает пиво.

— А в это время в лаборатории кто-то крадет папку с документами,— сказал Честер, — старик прячется в замочную скважину или в булавочное ушко, и не хватает только сценариста с режиссером, чтобы сделать из этой истории сногсшибательный боевик.

— Ты болван, — спокойно сказал Гард. — Но, между прочим, ты можешь оказаться прав: не исключено, что Чвиз видел вора,— серьезно продолжал он.— Если папку украл «свой», он мог это сделать именно в тот промежуток времени, когда Чвиз разговаривал с Миллером...

— Я вижу, Миллер у тебя совсем ангел.

— ...поскольку,— невозмутимо продолжал Гард,— ни в субботу, ни в воскресенье никто попасть в институт не мог. А в пятницу вечером люди еще были.

— Кто?

— Что значит «кто»? Луиза была, ее задержал Чвиз после работы, и мы не знаем, ушла ли она сразу, как только он ее отпустил. Был, вероятно, Кербер, который заходил в тот вечер к Чвизу и понял, что Чвиз готовится к контрольному опыту, и мог остаться, чтобы узнать результат. Был, наконец, Миллер...

— Но не мог же Миллер одновременно говорить с Чвизом и в то же время красть документы?

— Черт его знает! — в сердцах ответил Гард.— Я отлично помню время, когда ты ухитрился видеть Миллера одновременно сидящим в своем кресле и лежащим в гробу на кладбище у Бирка.

— Ну, а если Чвиз действительно видел вора, тогда что?

— Ничего. Тогда Чвиза уже нет в живых, а если

он жив, я не хотел бы быть на его месте. Но, к сожалению, это наша с тобой выдумка, и, если бы все было так просто, делами уголовной полиции занимались бы дети, и даже тебе они были бы по плечу.

— Могу ли я расценивать твои слова как оскорбление? — с надеждой в голосе спросил Честер, но Гард мгновенно уловил подвох.

— Нет,— сказал он,— это комплимент.

— Слушай, а на кой черт старик Чвиз разломал установку? — спросил Фред.

— Я об этом не думал,— признался Дэвид.— Но если не он украл документы, ему действительно нет смысла ломать машину.

— Так, может, он и украл документы? Работы задержатся на какие-то полгода, и старику этого довольно?

— Все может быть.— Гард тяжело вздохнул.— Все может быть, старина. Во всяком случае, тот, кто украл документы, тот и разделался с установкой, ты совершенно прав.

— Но кто?

— Темный лес,— сказал Гард.— Ни одного просвета.

— Да,— подтвердил Честер.— Запутанная история.

9

Под зеленой крышей

Таратура стоял перед Миллером, стряхивая пыль с локтей своего пиджака.

— Вы все слышали? — спросил Миллер.

— Иначе зачем бы я там сидел, шеф? Этот тайник надо расширить. Душно. Антисанитарные условия работы.

— Оставьте ваши шутки,— поморщился Миллер.— Вы понимаете, что этот инспектор подозревает меня?

— Я работал с этим инспектором несколько лет, шеф. Вы абсолютно правы, он действительно подозревает вас.

— А что вы думаете обо всем этом? Кого подозреваете вы?

— Вас, шеф.

— Так. Прекрасно. Давайте начистоту. Работа Чвиза — очень важная работа. Я много думал о ней и понял, что должен помогать Чвизу. Мы работали вместе и достигли важных результатов. Я хорошо знаю последнюю модель установки. Многие детали этой модели — мои детали. Я собирал их своими руками. Мне не нужно было красть чертежи. Вы верите мне?

— Допустим.

— Если так, придется сменить объект ваших подозрений. Кто тогда?

— Видите ли, шеф, есть два принципиально разных пути поиска. Можно искать Чвиза, а через него документы. Но можно искать документы, а через них — Чвиза. Оба исчезновения связаны между собой. Это ясно. Ясно и другое: документы похитил не Чвиз. Если бы он задумал бежать со своим изобретением, он должен был бы, простите, пристрелить вас, шеф. Ведь он знал, что вы понимаете, как устроена эта машина. Поэтому к короткой цепочке Чвиз — документы цепляется какое-то дополнительное звено или несколько звеньев. Они могут цепляться за Чвиза, могут за документы, а могут и с

двух сторон. Но во всех случаях цепочка остается цепочкой — все связано.

— Это логично,— прокомментировал Миллер.

— Итак, повторяю, шеф, можно начинать с Чвиза, а можно и с документов. Вы, конечно, считаете, что найти человека легче, чем пачку листков бумаги. Именно так и меня учили в полицейской школе. Но это не всегда так, шеф. Убейте меня, если в моей башке есть хотя бы одна, пусть самая дохлая идея, где находится Чвиз. В Париже, в Москве, на острове Таити, на дне деревенского пруда, в могиле или в четырех посылках, идущих малой скоростью в разные города по несуществующим адресам? А может быть, старик плюнул на все и валяется четвертый день с какой-нибудь девчонкой вон в том доме напротив ваших окон? Другое дело — документы. Они исчезли из института между вечером пятницы и утром понедельника. Доступ в институт открыт очень ограниченному кругу людей. В лабораторию Чвиза — еще более ограниченному. Круг сужается. Ближе всего к его центру — вы, шеф, Кербер и Луиза. С этих людей и начал бы любой грамотный детектив. Например, такой, как я. Фантазия в нашей профессии только вредит. Я бескрылый человек, и я начал бы с вас, шеф. Но вы стараетесь убедить меня, что это никудышная затея, хотя, простите, алиби у вас нет. Только рассуждения. А слова, шеф, такой мягкий материал, что из них можно вылепить что угодно. Теперь вы спрашиваете: «Кто, если не Миллер?» Я начал бы с Луизы. Женщина. Конечно, работы больше, это верно. Но знаете, шеф, интереснее! Механизм поведения женщины — это такая штука, по сравнению с которой установка Чвиза — детский волчок. Я хочу попробовать разузнать что-нибудь интересное о Луизе.

— Хорошо,— согласился Миллер.— Лишь одна просьба к вам: все, что вы узнаете, вы доложите инспектору Гарду. Я так хочу. Он продолжает подозревать меня, но я сам даю ему помощника.

...Таратура не терял времени даром. Ему удалось быстро установить, что Луиза Муллен двадцать восемь лет назад родилась в маленьком городишке Кролле, в шестидесяти милях отсюда, в семье мелкого лавочника Жана Муллена, скончавшегося три года назад. Ее мать продала лавку и жила в Кролле, а брат, сержант морской пехоты, служил где-то в Юго-Восточной Азии. Живет Луиза на улице Желтого Клоуна, где снимает крохотную квартирку.

Домохозяйка Луизы сразу сообразила, что на Та-

ратуре можно заработать, и ее пришлось «размачивать» десятью кларками. В рассказе домохозяйки была одна любопытная деталь. Никогда никто не видел Луизу в обществе молодых людей. Подруги были. Болтали, дурачились, бегали в кино. Иногда подруги приходили со своими кавалерами. Это бывало. Но Луиза — никогда. Правда, не чаще одного раза в неделю она возвращалась очень поздно. Обычно на такси. Ее никто не провожал.

— Я уверена, что у нее есть возлюбленный,— сказала домохозяйка и подмигнула Таратуре.

Даже она не знала, что Луиза была когда-то замужем. В карточке полицейского управления, к которой Таратура по старой дружбе получил доступ, удалось установить, что Питер Клаус, торговец скобяными товарами, довольно средней руки коммерсант,— действительно был мужем Луизы Муллен. Расставшись с ней, он женился на дочери покойного Флетчера Претта, вдова которого держала небольшой ресторан на углу Баркен-стрит и улицы св. Франсиска. Полгода назад Питер Клаус объединил свой капитал с матушкой Претт, и ресторан буквально расцвел. Никакого отношения к научному миру Питер никогда не имел, а с Луизой, судя по всему, не встречался.

«Или она таскает документы Института перспективных проблем какому-нибудь шпиону,— подумал Таратура,— или шпион является ее «возлюбленным», или Питер еще не забыл дорогу к Луизе, и они продолжают тайно встречаться... Во всяком случае, сейчас выслеживать ее было бы глупо. После всей этой истории она, конечно, понимает, что за ней могут следить. Впрочем, я увлекаюсь, как это бывало и в прежние добрые времена. А не проветриться ли мне? Пожалуй, надо навестить старушку...»

Следующим утром Таратура уже сидел на веранде крохотного ресторанчика со странным названием «Розовый кавалер» — единственного ресторанчика Кролля, если не считать пивной «Радость» и аптеки, где подавали кофе. Таратура не спеша потягивал пиво и с каждым глотком преисполнялся мира и благодушия. Вся эта суета с пропажей старого профессора, хриплые телефоны, тайники, автомобили, потные, душные воротнички нейлоновых сорочек, торопливые обеды — вся эта бессмысленная, шумная, пестрая городская жизнь отлетела от него. И он думал о ней так, будто все это его не касалось, будто он уже порвал с ней навсегда, а эта веранда, и плетеные пластмассовые креслица, и холодное вкусное пиво, и гомон ласточек, и это высокое чистое небо будут с ним навсегда.

«Как я живу?» — вдруг подумал он.

Жизнь — бег, в котором нет финиша, вернее, в котором на финише тебя ждет Бирк. И нет никаких призов, как бы быстро ты ни бежал, а если и дарят цветы, то венки, а не букеты.

— Не хотите ли еще пива? — услышал он за спиной голос хозяина ресторанчика и обернулся.

— Нет, спасибо. У вас отличное пиво, и чем больше пьешь, тем труднее остановиться.

— Мы варим его сами, без всяких химических хитростей,— засмеялся польщенный хозяин.— Я вижу, вам понравилось у нас.

— Да, очень нравится,— просто сказал Таратура и вдруг понял, что «там», в «той» жизни, он бы не смог так просто ответить.

— А надолго в наши края?

— Нет, сейчас поеду... Впрочем, надо еще зайти к мамаше Муллен, передать ей привет от дочки.— И он снова заметил про себя, что назвал незнакомую ему женщину «мамашей», чего никогда не сделал бы «там».

— О, как хорошо! Она будет рада! Обязательно, обязательно зайдите! — обрадовался хозяин ресторана.— Это же совсем рядом. Вот ее дом, зеленая крыша за зелеными деревьями... Хотите, я провожу вас?

— Спасибо,— сказал Таратура и опять подумал, что «там» никто бы не обрадовался такой крошечной чужой радости и не пошел бы провожать его в чужой дом.

Он вошел в зеленый палисадник и сразу увидел маленькую старушку с лейкой в руках.

— Простите, могу ли я видеть мадам Муллен? — спросил Таратура.

— Это я,— отозвалась старушка и поставила лейку на землю.

— Добрый день. Я от Луизы.

— Вы Бэри?! — воскликнула мамаша Муллен.— Ну, конечно, я сразу вас узнала! Ну, конечно же, вы Бэри!

«Черт возьми,— пронеслось в голове Таратуры,— этого я не предусмотрел. Однако стоит рисковать».

— Да, я Бэри,— сказал Таратура.— Никак не ожидал, что вы меня узнаете.

— Ну как же! Луиза так много писала о вас! Пойдемте в дом.

И вот они уже сидят в чистенькой гостиной со старенькой мебелью и портьерами с бахромой в виде маленьких шариков, какие «там» нельзя купить ни в одном универмаге. Они сидят, и он рассказывает ей о Луизе и ее работе.

— О, это так трудно — химия! — вздыхает мамаша Муллен.— Я знаю, я читала в газетах. Скажите, а это не опасно?

И Таратура рассказывает, что это совсем не опасно, а она угощает его чаем, советует попробовать джем из слив.

— Вы тоже химик? — спросила она.

— Не совсем,— осторожно сказал Таратура.

— Но ведь Луиза писала, что вы тоже работаете в этом институте?

— Да, разумеется,— поправился Таратура.— Но у нас в институте не только химики. Я занимаюсь химической физикой. Это, как вам сказать...

— О, не трудитесь, я все равно не пойму.— Она замахала на него руками.— Лучше попробуйте вот это. Да, да, засахаренные вишни. Из собственного сада. О, это очень вкусно и дает прекрасный цвет лица. Впрочем, вы в этом не нуждаетесь. С такой целью есть эти вишни вам положительно рано. Никогда вам не дадут ваших лет! Никто и никогда!

— А сколько дадите мне вы? — лукаво спросил Таратура.

— Ну, я не в счет,— заулыбалась мамаша Муллен,— я-то знаю, Луиза писала мне. Я могу вам только польстить.

— Но, может, Луиза прибавила, стараясь показать вам, что у нее серьезный и солидный друг? — сказал Таратура.

— Вы старше ее на двенадцать лет,— с простодушным смущением сказала мамаша Муллен.— Ну что? Теперь вы сами видите, что моя дочка не обманывает свою маму. А?

— Да, это верно,— улыбнулся Таратура.

Он досидел до обеда, и они вместе обедали, а потом опять говорили, и он опять рассказывал, как живет Луиза, где бывает, какие у нее подруги, что купила она себе в последнее время. Наконец он собрался уезжать, но матушка Муллен не отпускала Таратуру, просила новых рассказов, и он не мог ей отказать.

Потом, уже под вечер, она проводила его, и, когда они распрощались и он уже повернулся, чтобы идти к машине, она вдруг схватила его за рукав и, заглядывая в глаза, спросила тихим, срывающимся шепотом:

— Бэри, вы правда любите мою Луизу? Правда?

— Да, очень,— выдавил из себя Таратура.

— Не обижайте ее, Бэри. Она хорошая, моя девочка. Ну, идите, идите... Храни вас бог.

Никогда еще не было у Таратуры так мерзко на душе.

Над редким мелколесьем, слева от автострады, уже поднималось розовато-пепельное зарево большого города. Таратура увидел его и понял, что напьется сегодня, как самая грязная свинья.

— Бэри работает в Институте перспективных проблем... 40 лет,— вслух повторил Гард, когда Таратура рассказал ему все, что узнал.— Ну что же, старина, это и мало и очень много.

Через полчаса перед инспектором уже лежала бумага, срочно присланная из канцелярии института. В институте работало четверо сорокалетних:

Вильям Слейтер — сварщик, сварочная мастерская.

Самуэль Гротгус — инженер, лаборатория № 8.

Мэри Петтерсон — судомойка, бар третьего этажа.

Отто Кербер — инженер, лаборатория профессора Чвиза.

— Кер-бер, Бэ-ри. Ясно,— сказал Гард.— Это именно тот случай, когда надо докладывать боссу. Видит бог, как я не люблю этих случаев...

Еще через полчаса он был у Дорона.

— Очень любопытно. Очень,— сказал генерал, выслушав доклад Гарда.— Но вы идете по ложному следу. Кербера не трогать. Это мой человек в институте.

10

Черный «мерседес»

Миллер прочитал телеграмму, поданную горничной, быстро свернул ее и нервно положил в бумажник.

— Что случилось, Дюк? — спросила Ирэн.

— Ничего,— ответил Миллер.— Пустяки.

Он встал из-за стола, вышел из комнаты, потом вернулся.

— Агата,— спросил он у горничной,— где может быть сейчас Таратура?

— Перед уходом он мне сказал, что с 16.30 до 18.15 будет в «Ветоке», в 18.30 приедет сюда, а в 19.45 пойдет в кинотеатр «Боклан», где будет находиться...

— Благодарю вас,— перебил Миллер.— Принесите мне телефонный справочник.

Перевернув несколько страниц, Миллер нашел кафе «Ветока» и набрал нужный номер:

— Прошу позвать Таратуру.

Личный шофер, секретарь и телохранитель словно ждал этого звонка. Через двадцать секунд он был у телефона:

— Слушаю, шеф.

— Немедленно приезжайте! — приказал Миллер.

— Через восемнадцать минут буду,— ответил Таратура и повесил трубку.

— Эдвард, я знаю, что-то случилось,— сказала Ирэн.

Миллер ничего не ответил и молча прошел в свой кабинет. Там и застал его Таратура. Профессор не сидел на месте, он ходил по комнате, с явным нетерпением ожидая телохранителя. Сначала Таратуре показалось, что профессор взволнован, но, когда свет лампы осветил его лицо, Таратура понял, что заблуждается. Перед ним опять был традиционно спокойный Миллер.

— Как идут дела, инспектор? — спросил Миллер, хотя было ясно, что он ждал Таратуру не для того, чтобы задать ему этот вопрос.

— Есть любопытные детали.

— Например?

— Кербер и Луиза — любовники!

— Действительно, любопытно,— сказал профессор.— Вы, естественно, пошли дальше?

— Конечно. Разумеется, не вмешиваясь в их интимные отношения.

— Без отступлений, пожалуйста.

Миллер был раздражен, но скрывал свое раздражение. Это ясно. Таратура внимательно следил за лицом шефа. Оно оставалось непроницаемым и чуть-чуть безразличным ко всему на свете. Таратура заметил это безразличие при первом же знакомстве с Миллером. А потом он понял, что это маска, очень удобная и респектабельная.

— Кербер оказался человеком Дорона,— сказал Таратура.

— Откуда вы это узнали?

— От Гарда.

— А Гард?

— От Дорона. Он доложил Дорону о нашем открытии, и генерал...

— Я всегда думал, что Кербер старается не только для меня,— сказал Миллер.— Еще во время работы над той установкой. Н-да, не очень-то приятно узнавать, что твои ассистенты за твоей спиной что-то докладывают начальству.

— Насколько я знаю, вас контролировали всегда, и это ничуть вам не мешало.

— Как знать...— сказал Миллер и резко перевел разговор.— Да, кстати, что вы должны были смотреть в кино?

Таратура не почувствовал подвоха.

— «Призраки испаряются в полночь». Новый детектив Шеллана.

— Это помогает вам искать документы и Чвиза? Миллер издевался.

Таратура спокойно ответил:

— Нет, шеф. Это помогает убить время.

— У вас его избыток?

— С тех пор, как вы загнали меня в тупик,— отомстил Таратура.

— Я?

— Да, вы. Кербер и Луиза автоматически отпали после признания Дорона, а себя вы приказали исключить из расследования.

— В таком случае я вам помогу.— Миллер протянул Таратуре телеграмму.

Таратура быстро прочитал ее, потом еще раз перечитал, и только тогда смысл телеграммы дошел до его сознания. Он ошалело посмотрел на Миллера, затем еще, почти что по складам перечел телеграмму. Там было написано:

«Я вас видел. Верните документы. Жду одиннадцать вечера у статуи Неповиновения во Фришпарке. Чвиз».

— Настоящая? — наконец сказал Таратура.

Миллер презрительно усмехнулся:

— Неужели вы думаете, что ее написал я, сидя за этим письменным столом?

— Понимаю,— сказал Таратура.— Что мне делать, шеф?

— Что хотите,— ответил Миллер.— У меня после обеда отдых.

И он направился к двери.

— Одну минуту, шеф,— остановил его Таратура,— позвольте задать несколько вопросов.

— Попробуйте.

— Почему вы не хотите сами встретиться с Чвизом?

— Если я ему нужен, пусть заходит ко мне. Он знает мой адрес. Тем более я не привык встречаться с кем бы то ни было так поздно вечером... да еще у какой-то статуи. У вас есть еще вопросы?

— Да. Как вы относитесь к тексту телеграммы?

— Запомните, Таратура, мне нужны документы или по крайней мере точные сведения о том, кто их взял и где они находятся. Остальное меня не интересует. Понятно?

На этот раз, не дожидаясь новых вопросов, Миллер решительно вышел из гостиной. Из соседней комнаты доносился смех Ирэн, которая, вероятно, смотрела по телевизору комедию.

Таратура еще раз посмотрел на телеграмму, на почтовые штемпеля, потом подошел к кабинету Миллера и осторожно постучал в дверь.

— Кто там? — услышал он голос Миллера.

— Шеф, мне можно воспользоваться вашим «мерседесом»?

— Нет. Он будет мне нужен. Возьмите машину Ирэн.

Таратура терпеть не мог «фольксвагены», но делать было нечего.

Таратура отлично знал сквер, который Чвиз назвал в телеграмме Фришпарком. Еще в бытность свою инспектором. Таратуре довелось выслеживать здесь соучастников убийцы банкира Костена, которые регулярно встречались в кабачке напротив статуи Неповиновения. Правда, он не был в этом парке года два, но изменилось немногое. Только окна кабачка были заколочены досками. Очевидно, хозяин разорился — место было малолюдное — и покинул негостеприимную статую.

Таратуре это обстоятельство показалось кстати. Вместо того, чтобы мерзнуть где-то под кустом и пачкать костюм (хотя он и надел самый старый, но все-таки жалко), он получил великолепный наблюдательный пост.

Оторвать две доски и высадить стекло было делом одной минуты. Таратура очутился в комнате, совершенно пустой, как разграбленные пирамиды фараонов. Найдя в углу стул с отломанной ножкой, Таратура расположился у окна, откуда великолепно было видно статую и освещенный фонарем круг — назначенное Чвизом место встречи.

Была половина одиннадцатого.

Таратура достал из кармана плаща крошечный термос, отлил в стаканчик кофе и еще раз выглянул в окно. У статуи никого не было. Ветер раскачивал фонарь, и свет освещал то ноги женщины, то ее грудь, то прятал ее целиком в тень. Казалось, статуя исполняет какой-то медленный и странный танец.

Таратура пожалел эту несчастную обнаженную женщину, символизирующую Неповиновение. Он мысленно обругал скульптора, заставившего ее прозябать в одиночестве на самом краю города.

Кофе приятно разогревал тело, и Таратура подумал, что через пару часов он с наслаждением растянется дома на кровати и забудет все — и Миллера, и этого чудака Чвиза, и даже само Неповиновение. Сны никогда не снились ему.

И вдруг Таратура заметил, как кто-то крадется к дому, в котором он находился. Тень скользнула у окна и остановилась. Таратура замер. Он отчетливо слышал дыхание человека, притаившегося с другой стороны подоконника. Бывший инспектор осторожно поставил на пол стакан с недопитым кофе и на всякий случай потянулся к карману за кастетом.

В окне появилась голова незнакомца. Он заглянул в комнату, но не заметил Таратуру, который буквально прилип к стене в десяти сантиметрах от окна.

Послышалось учащенное дыхание: незнакомец полез в окно. Таратура мгновенно выхватил фонарь, и яркий луч света брызнул тому в лицо. Человек зажмурился и закрыл руками глаза.

— Честер? Это ты? — воскликнул Таратура, узнав журналиста.

— Фу ты, черт! — выругался Честер.— И напугал же ты меня!

— Ты чего здесь делаешь? — спросил Таратура.

— То же самое, что и ты.

— Я пью кофе.

— Превосходное местечко ты выбрал,— улыбнулся Честер.

Таратура взглянул в окно и толкнул журналиста в бок:

— Тише!

В освещенном пятне у статуи появился человек. Он постоял секунду, оглянулся и быстро скрылся за статуей, с той, неосвещенной стороны.

— Это он,— прошептал Честер.

Таратура привычно перемахнул через подоконник и смело пошел к человеку. Но тот вдруг метнулся в сторону и напрямик, через кусты, бросился из сквера.

— Профессор Чвиз! Куда же вы?! — крикнул Таратура.

Человек, не останавливаясь, довольно ловко перелез через решетчатый забор и вскочил в машину, двигатель которой работал. Когда Таратура, а следом за ним и Честер выбежали на улицу, машина с потушенными фарами уже тронулась с места.

— Профессор Чвиз! Остановитесь! — вновь крикнул Таратура.

— Дурак!.. Быстрей к моей машине.— Честер побежал к микролитражке, которая стояла у самого входа в сквер. Таратура уже на ходу вскочил к нему в машину.

Они вновь увидели «оппель» с погашенными фарами, когда въехали на шоссе, начинавшееся в конце улицы.

— Быстрее! Быстрее! — подгонял Честера Таратура.— Старик просто сошел с ума!

— Дурак! — крикнул Честер.— Это не Чвиз, это человек, укравший документы!

— Что?! — не понял Таратура.

Лицо Честера покрылось капельками пота. Он выжимал из своей микролитражки все возможное, но расстояние между машинами не сокращалось. Более того, «оппель» начал постепенно удаляться.

— Уйдет! — Честер нецензурно выругался.

— Пусти! — крикнул Таратура.— Пусти меня за руль!

Не снижая скорости, по очереди держа баранку и нажимая на акселератор, они поменялись местами, чуть-чуть не свалившись при этом в кювет. Дальним светом Таратура выхватил из тьмы силуэт «оппеля», который находился теперь от них в трехстах ярдах.

— Жми, старина! — крикнул Честер не своим голосом.— Там будет перекресток, он может задержаться у него!

«Оппель» действительно затормозил у перекрестка. В поперечном направлении плотным потоком шли машины, преградив путь беглецу.

Честер и Таратура почти нагнали «оппель», и Таратура уже приоткрыл дверь, чтобы выпрыгнуть, но включился зеленый свет, и «оппель» молнией рванулся с места. Погоня продолжалась.

Вдруг сзади раздался пронзительный гудок. Черный «мерседес» — тоже с потушенными фарами — легко обошел их. Вскоре и «мерседес» и «оппель» скрылись за поворотом. Под колеса стлалась пустая лента шоссе.

— Ушел...— выдохнул Честер.

И все же они продолжали гнать машину, и деревья вдоль шоссе по-прежнему со свистом проносились мимо.

Внезапно, они не успели опомниться, поворот — луч фар выхватил опрокинутый в кювет «оппель». Искореженная ударом о погнувшийся бетонный столб машина смотрела расплющенным радиатором в небо.

Таратура резко остановил микролитражку. Они выскочили из кабины и бросились к «оппелю». Водитель лежал в нескольких шагах на обочине. Он был мертв.

Таратура осветил лицо погибшего.

Перед ним был Кербер.

Честер бессильно опустился на крыло, которое валялось рядом с трупом.

— Комедия окончена,— сказал он.

Таратура не понял. Он еще раз осветил лицо Кербера и его лысый череп.

— Как же Кербер мог оказаться во Фришпарке? Где же Чвиз?

— Я дал им телеграммы,— устало сказал Честер.— Я. Понимаешь? Не Чвиз. Всем троим: и Миллеру, и Луизе, и ему.— Он кивнул в сторону Кербера.— Иди, вызывай Гарда.

11

Ночной визит

Через двадцать минут Гард уже мчался к месту происшествия на своем «гепарде-108» с желтым мигающим огоньком на крыше.

Он прибыл минут за десять до того, как появилась «Санитарная молния» и еще три машины, переполненные сотрудниками полицейского управления.

— Кербер? — бросил Гард Таратуре.— Никогда бы не подумал, что Кербер.

Пока он внимательно разглядывал лицо трупа, Честер торопливо рассказывал ему о событиях минувшей ночи.

— Ты сам придумал трюк с телеграммами?—спросил Гард.

— Нет, я посоветовался с Линдой,— съехидничал Честер.

— Ну и ну!..— произнес инспектор и как-то странно посмотрел на журналиста.

К ним подошел Таратура.

— Я уже осмотрел «оппель». Никаких следов столкновения с другой машиной. Видимо, Кербер

развил слишком большую скорость и не справился с управлением. Счастливая случайность, Гард, а то бы нам его не догнать.

— Случайность? — В голосе Гарда звучало сомнение.

Он отлично знал, что в жизни бывают поразительные совпадения, но опыт сыщика давно приучил его относиться к любой случайности если не с предубеждением, то по крайней мере с осторожностью. «Случайность должна происходить только случайно»,— частенько говаривал своим ученикам покойный Альфред Дан Купер. Из этого замысловатого афоризма Гард научился делать практические выводы. Разумеется, думал он, в этой ночной катастрофе случайность и могла сыграть свою роль. Кербер знал, что его преследуют, он стремился не открывать себя, и не исключено, что при таких обстоятельствах он действительно развил скорость до опасного предела. Но была ли у него необходимость рисковать жизнью? Ведь он не мог не видеть, что у преследователей всего лишь старенькая и слабенькая микролитражка, от которой даже на хорошей лошади можно удрать...

— Дэвид, ты не одобряешь мои действия? — сказал Честер, прервав ход мыслей инспектора.— Пойми, я сделал то, что должны были сделать вы...

— Потом, Фред, потом, если нам вообще придется говорить на эту тему,— ответил Гард и повернулся к медицинскому эксперту, который уже закончил свою работу.— Что скажете, доктор?

— Смерть наступила мгновенно. Перелом шейного позвонка.

— Вы исключаете убийство?

— Трудно сказать, инспектор. Прямых следов насилия нет.

— Ну что ж,— сказал Гард,— посмотрим.

Он приказал полицейским машинам осветить полотно дороги. Вспыхнули три пары автомобильных

фар. Гард присел на корточки и прямо так, на корточках, стал медленно двигаться, тщательно изучая следы на асфальте. С другой стороны ему навстречу двигался Таратура. Когда они сошлись, к ним присоединился Честер и кое-кто из полицейских.

— «Мерседес»,— сказал Гард.

Таратура утвердительно кивнул головой.

Две характерные темные полосы начинались на левой стороне дороги, потом поворачивали направо и упирались в обочину.

— Они перекрыли ему дорогу,— сказал Гард.— Старый прием.

— Ты видел «мерседес», который нас обогнал? — спросил Таратуру Честер.

— Откровенно говоря, меня интересовал в основном похититель. Но что-то было, это точно. Черная тень, проскользнувшая слева.

— Подфарники, конечно, были погашены? — спросил Гард.

Честер неуверенно пожал плечами.

— Ты думаешь, Дэвид,это — убийство?—спросил он.

— Похоже, что так. Если бы он не разбился насмерть, его, вероятно, прикончили бы. Но расчет у них был точный.

— Это очень опасно,— заметил Таратура.— Я бы не рискнул ставить свою машину поперек дороги. Могло произойти столкновение, при котором жизнью рисковали все.

— Я думал об этом,— подтвердил Гард.

— Не проще ли им было обстрелять его на ходу? — сказал Честер.

Гард впервые улыбнулся.

— Зря они с тобой не посоветовались, старина. Но, мне кажется, они предпочли рискнуть и обойтись без выстрелов. Даже место на дороге выбрано удачно, как раз у бетонного столба. Авария и авария — не придерешься. Машину Кербера осмотрели внимательно?

— Да, инспектор,— отозвался кто-то из полицейских.— В ней ничего нет. Только в кармане обнаружили вот это.

В протянутую руку Гарда были положены два зеленых прямоугольника.

— Билеты на самолет? — сказал Гард.— Ну-ка, посветите фонариком. Да, два билета. В Канберру. Он собирался бежать. Самолет улетает сегодня утром, через два с половиной часа.

— Второй билет, вероятно, предназначался Луизе? — сказал Таратура.

— Всё! — решительно произнес Гард.— Всем по машинам. Майкл, возьмите трех человек и гоните на аэродром. Луиза Муллен, двадцать восемь лет, блондинка, среднего роста,— вам ясно? Труп заберет к себе в машину Джеймс. Доктор может быть свободным. Билл Харри сядет за руль «бьюика». Честер и Таратура со мной.

Минуты через полторы на шоссе уже было пусто, если не считать вдребезги разбитого «оппеля».

Когда, даже не скрипнув тормозами, «гепард» остановился у подъезда шестиэтажного серого дома, в котором жила Луиза, было около четырех часов утра. Подъезд был заперт, и прошло немало времени, пока консьержка отозвалась наконец на яростные звонки Таратуры. Лифт не работал, и пришлось подниматься пешком до самого верха. Опередивший всех Таратура осторожно постучал в дверь.

Луиза открыла сразу, как будто она стояла за дверью и дожидалась стука. Увидев Гарда и его спутников, она непроизвольно сделала шаг назад, и по ее лицу разлилась мертвенная бледность. Вошедшие обратили внимание на то, что Луиза была одета и даже причесана: в эту ночь она, вероятно, еще не ложилась спать.

— Вы нас не ждали,— сказал Гард,— но мы не всегда приходим в гости по приглашению.

Луиза молча стояла посреди неприбранной комнаты, безвольно опустив руки.

Гард все еще тяжело дышал, отдуваясь после быстрого марша по лестнице. Несколько минут никто не проронил ни слова, и наконец Гард спросил то, что уже готово было сорваться с уст Таратуры:

— Луиза Муллен, ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос: вы только что приехали домой или как раз собирались уехать?

С трудом взяв себя в руки, Луиза сделала неуклюжую попытку улыбнуться.

— Простите, инспектор, но джентльмены не должны задавать...

— Я повторяю, — сухо прервал ее Гард, — вы приехали или собирались уезжать?

— Но по какому праву,— возразила Луиза,— вы врываетесь в мой дом и позволяете себе...

— Хорошо,— спокойно сказал Гард,— в таком случае вам придется поехать с нами.

Из глаз Луизы вдруг брызнули слезы, ее лицо сморщилось в жалкий комочек.

— Я буду отвечать,— тихо сказала Луиза,— но только оставьте меня здесь. Что вас интересует? Я ниоткуда не приехала и никуда не собиралась уезжать. Мне не спалось, и больше ничего, и я прошу вас...

— Луиза,— мягко перебил ее Гард,— вы можете пренебречь нашими полицейскими званиями и нашим полицейским опытом — это ваше дело. Но не забудьте хотя бы о том, что мы не дети. Я повторяю свой вопрос: что вы собирались делать этой ночью или что вы сделать уже успели?

Луиза аккуратно вытерла носик тонким и нежным платком и, кротко вздохнув, ответила:

— Это касается меня одной.

— Инспектор,— сказал Таратура,— мы зря теряем время.

— Поехали,— решил Гард.— Луиза, возьмите с собой пальто.

— Мне нужно предупредить консьержку или хозяйку дома.— И Луиза шагнула к двери.

— Не надо,— быстро сказал Таратура.— Мы сделаем это сами.

Пока все усаживались в машину, Гард задержался внизу у консьержки.

— Скажите,— спросил он,— кто-нибудь входил в этот дом сегодня после часу ночи?

— Мистер Марроу,— охотно ответила пожилая женщина.— Но не сам. Его, как обычно, принесли, я потом целый час проветривала подъезд, а один его ботинок до сих пор лежит у входа.

— Благодарю вас,— сказал Гард.— И больше никто не входил?

— Больше никто. Да я бы и не пустила, потому что и мне спать положено, и я ни за что не согласилась бы за шесть кларков в неделю...

— В этом доме только один подъезд?

— За два я получала бы не меньше десяти!

— И никаким другим путем попасть внутрь дома невозможно?

— Мистер Марроу иногда обходится без подъездов, но лишь тогда, когда ему надо выйти, а жена его не пускает, и тогда он по водосточной трубе спускается вниз, бежит в «Три пескаря», но назад он возвращается, как все нормальные люди, через подъезд. Только не сам.

— Разве жильцы не имеют ключей от подъезда?

— А зачем бы тогда я была им нужна?

— Благодарю вас,— сказал Гард.— Спокойной ночи.

Машина тронулась, и Таратура, сидящий рядом с Гардом, шепнул инспектору:

— Мне кажется, Луиза имеет прямое отношение к убийству.

Гард промолчал, о чем-то сосредоточенно думая.

— Очень уж подозрительно себя ведет,— продолжал Таратура,— что-то явно скрывает, перепугалась, увидев нас... А самое главное, пока ты с ней разговаривал, я нашел на полу вот что.— И он сунул Гарду какое-то маленькое удостоверение.

— Что это? — спросил Гард.

— Права на вождение автомобиля! — шепнул Таратура.— На имя Луизы Муллен! Ну, что ты скажешь? Не была ли она за рулем черного «мерседеса»?

— Нет,— секунду подумав, сказал Гард.

— Почему ты так думаешь? Разве она не могла убить Кербера? Женщины на такие штуки способны, Гард!

— Нет, не могла,— твердо ответил инспектор.

— Но почему в конце концов?

— Ей нет смысла его убивать.

12

Куда ведут дороги

— Вы ждали Бэри, Луиза?

Луиза сидела в кресле, Честер — на подоконнике, Таратура стоял, прислонившись к стене, а Гард медленно ходил по своему кабинету. Это был первый вопрос, который он задал с того момента, как они приехали в управление.

Женщина вздрогнула. Ее глаза расширились от удивления, она определенно не справлялась со своим состоянием.

— Вас удивляет, откуда мы знаем это имя? — сказал Гард.— Теперь мы знаем все, Луиза. Итак, вы ждали Бэри.

В последней реплике инспектора уже не было вопроса, она звучала утвердительно.

— Вам нет смысла отпираться,— продолжал Гард.— Расскажите, что было после того, как профессор Чвиз отпустил вас домой.

— Все, что я могла вам сказать, я сказала еще там, в лаборатории,— упрямо ответила женщина.

— Меня интересует, при каких обстоятельствах Бэри похитил папку с документами.

— Я сказала все. Остальное, если вам угодно, можете спросить у самого Бэри.

— К сожалению, Луиза, это невозможно.

— Как вас понять? — спросила женщина.

— Соберитесь с силами,— ответил Гард,— сейчас вы все поймете.

Честер слез с подоконника и подошел к Гарду.

— Дэвид,— сказал он тихо,— не слишком ли это жестоко?

— У нас нет другого выхода,— так же тихо сказал Гард.

Луиза уже не сидела в кресле, она стояла, испуганно глядя на Гарда и Честера. Левой рукой она сжимала горло, словно удерживая рыдания, готовые вот-вот вырваться наружу. Глаза ее помутнели от тяжкого предчувствия.

— Что случилось? — еле выдавила она из себя.

— Бэри нет в живых, Луиза,— жестко сказал Гард.— Этой ночью он...

— Ложь! — крикнула Луиза.— Ложь!

— Этой ночью он погиб в автомобильной катастрофе.

— Я вам не верю!

— Вы можете увидеть его. У нас это называется «опознать». Таратура, проводите ее в соседнюю комнату.

— Не надо,— сказала Луиза.— Я сама. Куда мне идти?

Гард показал на дверь, ведущую прямо из его кабинета. Как сомнамбула, Луиза двинулась вперед, не глядя себе под ноги. Все трое с напряженным ожиданием смотрели ей вслед. Через мгновение из соседней комнаты донесся исступленный крик.

— Таратура,— сказал Гард,— помогите ей.

— Она справится и без моей помощи.

Честер вскочил с подоконника и, бросив на ходу Таратуре: «Удивительно, как в тебе рядом с сентиментальностью может уживаться жестокость»,— пошел к двери. Но не успел он дойти до нее, как на пороге появилась Луиза.

Она была бледна, но выглядела совершенно спокойной. Только плотно сжатые губы и голубая жилка, бившаяся на виске, дали возможность присутствующим догадаться, каких усилий ей это стоит. В глазах Гарда мелькнуло что-то похожее на уважение.

— Как-это-случилось? — произнесла она очень медленно, с какой-то жуткой расстановкой.

— Его убили, Луиза,— тихо сказал Гард.— Мы будем искать убийцу.

— Я знала, что так случится,— прошептала Луиза, опустив низко голову и ни к кому не обращаясь.— Я говорила ему...— Потом снова выпрямилась и в упор посмотрела на Гарда.— Что вы теперь от меня хотите?

— Ничего,— сказал он мягко.— Прошу вас, присядьте. Таратура, дайте воды... Я понимаю, Луиза, что вам сейчас нелегко. Терять близких всегда трудно, и горе горем остается, с кем бы оно ни случалось. Вы любили его?

— Да.

— Иначе вы не позволили бы ему на ваших глазах взять документы... По всей вероятности, после того, как Чвиз отпустил вас, вы вернулись в лабораторию за какой-то забытой вещью, за пудреницей, например, или...

— За сумочкой,— тихо сказала Луиза.

— И увидели на столе записку профессора,— продолжал Гард.— Я бы на вашем месте тоже решил, что Чвиз покончил с собой, и, наверное, тоже бы испугался. А в это время зашел Кербер, ведь вы собирались куда-то с ним ехать, у вас были планы на вечер...

— Нет, я позвонила ему.

— И он пришел. Тотчас. Буквально через три-четыре минуты. Он прочитал записку и, как и вы, поверил в то, что Чвиз распрощался с жизнью. Тогда он подошел к сейфу и открыл его. Сделать это было несложно, так как ключ торчал в замке...

— Он лежал на записке,— сказала тихо Луиза.

— Хорошо, на записке,—мягко согласился Гард.— А когда папка с документами уже была у Кербера, вы неожиданно увидели Чвиза...

— Нет,— сказала Луиза.— Мы его не видели.

— Да, вы не знали, что он сидит в это время у Миллера, живой и здоровый, и ведет с ним беседу. Не знали? И что он вернется потом в лабораторию, чтобы передвинуть стрелки контрольных часов? Тоже не знали. И вдруг увидели, как дверь открывается...

— Нет,— повторила Луиза.— Мы услышали скрип в соседней комнате. Просто скрип.

— Вы замерли, прислушиваясь, но все было спокойно? И только в понедельник утром, когда мы приехали в лабораторию, Кербер понял, что означал этот скрип?

— Да,— сказала Луиза.— Он понял, что Чвиз вернулся, чтобы передвинуть стрелки.

— И что он мог вас видеть?

— И что он мог нас видеть,— подтвердила Луиза.

— А в тот вечер, успокоившись, Кербер запер сейф, а потом взял что-то тяжелое и ударил по колпаку установки. Так?

— Я спросила его: «Отто, зачем ты это делаешь?» Он сказал: «Так надо, дорогая, я потом тебе все объясню».

— Ремонт занял бы не менее полугода, и этого времени достаточно, чтобы осуществить свои планы,— сказал Гард.— Он велел вам молчать о записке до понедельника?

— Он не велел,— сказала Луиза.— Он прижал папку к своей груди и сказал мне: «Лиза! — Он звал меня Лизой.— Лиза, в этой папке наше с тобой будущее!» И больше ничего не сказал, я поняла все сама.

— Ну, а что было после понедельника, я уже знаю. Вы еще виделись с Кербером после того вечера?

— Да. Один раз. После того, как Чвиз прислал нам телеграмму. Мне и ему.

— Вы уверены, что это сделал профессор Чвиз?

— А как же,— сказала Луиза.— Еще раньше, как только Отто понял, что Чвиз жив и что он мог нас видеть, мы не исключали такой возможности.

— Но на всякий случай Кербер «вспомнил» о том, что институт был обесточен, и направил следствие по ложному пути, взвалив подозрение на Миллера. Это понятно,— сказал Гард.— Он хотел выиграть время. А что он делал, получив телеграмму?

— Он вызвал меня на свидание, хотя мы договорились до отъезда не видеться. Мы встретились...

Луиза умолкла. Наступила долгая пауза.

...Если бы Луизу спросили, почему она любит Отто Кербера, она вряд ли смогла бы ответить. Но она его любила! Она знала, что у него нет друзей, что сослуживцы сторонятся Отто, а некоторые откровенно его ненавидят. Но если они не умели понять, за что она любила этого человека, она искренне не понимала, за что они его ненавидели. Разве он эгоист? Разве Отто — холодный и расчетливый человек, как говорили о нем некоторые? Разве он дума-

ет только о себе? Кто, как не Луиза, мог лучше других судить обо всем этом? Вот уже два года, как они виделись почти ежедневно, и Луиза была уверена: ни до Кербера, ни после него у нее никогда не было и не будет такого внимательного, доброго и заботливого друга.

Чвиз и Миллер — Луиза это знала — считали Кербера никудышным физиком. А ведь он талантлив. Она понимала это лучше других. Он мог быть ничуть не хуже самого Чвиза. Но разве он виноват в том, что всю жизнь его преследовали сплошные несчастья и угнетающие неудачи, которые могли бы свалить с ног любого?

В детстве у него обнаружились незаурядные математические способности, ему прочили большое будущее, но, когда он, блестяще окончив колледж, собрался было поступать на математический факультет, его призвали в армию и отправили в тропики. Три года он воевал с туземцами. Луизе страшно было подумать о том времени, когда ее Отто могли убить! Но нет, он был всего лишь ранен, но на самом исходе войны. И еще два года он провалялся в госпиталях, хотя все его товарищи благополучно устраивали свою жизнь. Его еле выходили, потому что тогда с ним рядом не было Луизы...

Неважный физик? Но разве его вина в том, что самые лучшие годы ушли так бездарно? А потом, потом он почувствовал, что стал не тем, чем был раньше. Он прямо сказал об этом Луизе: «Луиза, я потерял свой мозг. Пропала ясность мысли, сообразительность, способность взглянуть на задачу с неожиданной стороны. Осталась разве что только память...»

Она знала, что Отто стал «человеком Дорона». Он признался ей даже в этом. Но Луиза готова была понять Кербера. У него не было иного выхода. Иначе ему никак не удавалось возвыситься над другими людьми, между тем он стремился получить от жизни то, что соответствовало его истинным способностям.

В тот последний раз, когда они встретились, Отто не был мрачным или грустным. Наоборот, он выглядел как человек, воспрянувший от неприятностей. Телеграмма Чвиза? Ну и что: телеграмма?! Она лишь поможет ему ускорить события. Так он собирался некоторое время подождать, пока все утихнет, пока улягутся страсти, а потом спокойно уехать вместе с Луизой в такую даль, где никакой Дорон их не достанет. А тут придется действовать решительней. Он не трус, он пойдет на свидание к Чвизу, и, если старик заупрямится... Нет-нет, Луизе не надо волноваться, пусть ее не беспокоит, что он предпримет тогда.

Но если его план почему-либо сорвется, она должна быть готова. Он заедет за ней ночью, они очень скоро будут в безопасном месте...

— Отто, но что мы будем делать с этими чертежами? — спросила Луиза.— Брось их, мы обойдемся и так.

— Установка Чвиза, дорогая моя,— серьезно ответил Кербер,— важнее сейчас, чем атомная бомба.

В его голосе ей почудились незнакомые нотки.

— Но к чему тебе атомная бомба, милый?—спросила Луиза, как мудрые родители могут спросить своих капризных детишек, требующих слишком дорогую игрушку.

Они сидели в его «оппеле», был вечер, машина стояла на обочине загородного шоссе. Кербер внимательно посмотрел на Луизу и совершенно серьезно сказал:

— Атомная бомба мне действительно не нужна. Я говорил тебе однажды: после того, как Миллер создал свою установку, тормозящую взрыв атомной бомбы, это оружие стало не более опасным, чем лук и стрелы. Теперь все снова будет зависеть от людей — ты понимаешь? — от людей! Я смогу производить солдат. Сколько угодно солдат. Сильных, не знающих колебаний, готовых на все... Сверхлюдей.

— Что нам с тобой до этого! — воскликнула тогда Луиза.— Пусть заботится об этом Дорон.

— Дорон? — сказал Кербер.— Этот слюнтяй? Человек, который способен только комбинировать, согласовывать и считаться с общественным мнением? Нет, действовать нужно решительно и твердо!

— Ты шутишь, милый?

Кербер тогда странно посмотрел на Луизу и отвел глаза в сторону.

— Да, я, разумеется, шучу.

И они вернулись в город...

— Он был моим последним и единственным шансом в жизни,— тихо сказала Луиза Гарду.

В кабинете наступила тишина. Никто не двинулся с места. Гард закурил:

— Луиза, где папка с документами?

— Он всегда держал ее при себе. Скажите,— спросила вдруг Луиза,— его убил Чвиз? Во время свидания? Я хочу это знать.

— Нет,— ответил за Гарда Таратура.— Чвиз не был на свидании.

— Но вы нашли Чвиза?

— Вам надо отдохнуть, Луиза,— сказал Гард.— Вас проводят сейчас...

Ни с кем не прощаясь, Луиза медленно вышла из комнаты. Как только за нею и Таратурой закрылась дверь, Фред Честер наклонился к Гарду:

— Невероятная история! Ты понял, Дэвид, что никто из них, за исключением, пожалуй, Чвиза, не действовал предумышленно? Ведь ничего бы не случилось, если бы старик не вздумал «исчезать». Но стоило ему сделать свой первый шаг к исчезновению, как все вокруг оказались удивительно подготовленными к этому шагу! У меня такое впечатление, что они даже не выбирают дорог, по которым идут. Стоят на перекрестке и ожидают, какая дорога освободится, и стоит ей стать свободной, как они бросаются вперед, забыв обо всем на свете, кроме самих себя!

Не «исчезни» старик — произошло бы что-нибудь другое, но обязательно произошло бы! Страшный мир, в котором люди живут, держа руки на спусковых крючках пистолетов... Но, Дэвид, как в старой сказке: направо пойдешь — голову потеряешь, налево пойдешь — жизнь отдашь...

— Ты процитировал, старина, кусок из своей новой газетной статьи,— перебил Гард.— Только не вздумай ее публиковать. Тогда в конце твоей дороги тоже не будет рая.

В комнату вошел Таратура.

— Однако,— сказал Гард,— кто же все-таки убил Кербера?

— И у кого теперь папка с документами? — вставил Таратура.

— Надо искать среди тех, кто знал о мнимом свидании с Чвизом,— сказал Честер.

— Логично, старина,— подтвердил Гард.— Я вообще думаю, не пора ли тебе бросить журналистское перо и целиком перейти на службу в наше управление.

— Скорее ты станешь журналистом,— заявил Честер.

— Итак, о телеграмме знаешь ты,— Гард показал пальцем на Честера,— ты,— он ткнул рукой в Тара-

туру,— Луиза, затем я,— он приставил указательный палец к собственной груди, словно ствол пистолета,— и еще...

— Профессор Миллер! — чуть слышно сказал Таратура.

13

Миллер, опять этот Миллер!

Дорон умел молчать так, что людей, от него зависимых, прошибал пот. Редко кто мог спокойно выдержать его давящий, холодный взгляд.

Генерал слушал инспектора полиции молча.

Гард формально не подчинялся Дорону, и был он достаточно опытен, чтобы подавить волнение. Все же у него мелькнула тоскливая мыслишка, что именно так, в такие часы, люди и укорачивают себе жизнь. «А ведь я уже стар...» — вдруг ужаснулся он.

Впрочем, это никак не отразилось на речи инспектора.

— Таким образом, генерал, серьезное подозрение падает на Миллера. Катастрофа на шоссе вызвана «мерседесом», и, хотя машин такой марки в городе много, машина Миллера входит в их число. Кроме того, он был единственным, кто еще знал о встрече с мнимым Чвизом. И если верно, что у него были веские мотивы завладеть документами, тогда его странные, противоречивые поступки получают четкое объяснение, как и убийство Кербера, которое дало ему в руки ускользнувшие материалы. Сколь ни огорчителен этот вариант и как бы неожиданным он ни казался, иного пока не видно, и я счел своим долгом доложить вам о нем.

Напрасно Гард ждал ответа. Молчание сгущалось, и Гард почти физически ощущал удушье. Он даже пошевелил шеей, чтобы избавиться от этого чувства.

— Так какие будут указания? — Гард наконец не выдержал гнетущего взгляда Дорона.— Слежку «вплотную» мы установили за Миллером еще вчера ночью, поэтому маловероятно, чтобы документы...

Инспектор осекся, заметив улыбку на лице Дорона. И впрямь, это было жутковато. Вероятно, так могла улыбаться гранитная скала.

— Так вы говорите, что за Миллером установлена слежка? Забавно...

Еще продолжая улыбаться, Дорон надавил кнопку.

— Профессора Миллера ко мне! — бросил он в микрофон селектора.

У Гарда от этих слов сделалось на душе довольно кисло. Он поспешно перебирал в памяти: где и какую ошибку он допустил? Дорон с высоты своего роста и кресла, на котором он восседал, бесстрастно следил за инспектором.

Недоумение Гарда возросло, когда буквально через несколько секунд бесшумно отворилась дверь и в кабинет вошел подтянутый, свежевыбритый Миллер. Профессор суховато поздоровался с инспектором, поклонился Дорону и сел, повинуясь кивку генерала.

Дорон встал, неторопливо отпер стенной сейф, вынул оттуда пухлый портфель, любовно взвесил его и протянул Миллеру.

— Берите, профессор. Это документы.

Миллер вскочил на ноги, пораженный.

— Значит...— начал было он, но генерал прервал его на полуслове:

— Надеюсь, профессор, работа двинется быстро?

Миллер уткнулся в папки и ничего не ответил.

— Кстати, профессор, инспектор жаждет услышать, с какой целью вам вчера вечером потребовался ваш черный «мерседес».

— Но мы же вчера вместе с вами, генерал, были на приеме у президента...

— Я не смею вас более задерживать, профессор,— сказал Дорон, но, когда Миллер уже направился к двери, остановил его еще одним вопросом: — Между прочим, вы не заметили за собой какой-нибудь слежки?

Миллер пожал плечами:

— Сегодня утром, генерал, моя жена обратила внимание на какого-то субъекта, который с газетой в руках торчал у нашего подъезда. Я подумал еще, что читать под дождем даже «Вечерний звон» не очень-то приятно.

— Узнаю ваше ведомство, Гард,— ехидно сказал Дорон и жестом отпустил Миллера. Когда за ним закрылась дверь, он многозначительно добавил: — Мои люди работают чище. Они следят изнутри, а не снаружи, и я хотел бы, чтобы вы об этом не забывали.

Гард на мгновение прикрыл глаза. У него возникло искушение совершенно не по назначению использовать тяжелую пепельницу из оптического стекла, стоящую на столе Дорона.

— Надеюсь, Гард,— сказал Дорон,— мне не придется тратить время на разъяснения?

В другом состоянии Гард после такого провала немедленно поспешил бы сказать «нет». Но сейчас он был отнюдь не уверен, что сможет встать и, не пошатываясь, выйти.

— Прикажете ли продолжать розыск Чвиза? — тусклым голосом спросил он.

Дорон сделал брезгливое движение рукой.

— Мы никого не принуждаем работать насильно. Тем более таких... блаженных. Но между тем розыском профессора Чвиза («Или его трупа»,— подумал про себя Гард) займусь я, вам это дело не по зубам. Полагаю, расследование автомобильной аварии, приведшей к смерти Кербера, уже закончено?

— Еще нет,— сказал Гард и, подумав, добавил:— Но уже ясно, что авария произошла из-за отказа тормозов. Или чего-то в этом роде, не помню подробностей.

— Тормоза, руль или баллоны — это неважно,— тихо сказал Дорон.

Он опустился в кресло, как-то весь обмякнув, отяжелев. Крахмальная рубашка пузырем вздулась на его груди. Теперь он выглядел утомленным, под глазами набрякли мешки, и Гард с удивлением подумал, что ведь и Дорон — человек, что и ему эта история стоила нервов. Каких еще, наверное...

— Да,— продолжал Дорон задумчиво, как бы отвечая своим мыслям.— Если взвесить, то эта глупая авария даже к лучшему. Кербер...— Глаза Дорона на мгновение затуманили какие-то воспоминания.— Кербер... Прямолинейный дурак, вырвавшийся из-под контроля. На таких примерах я все более убеждаюсь, сколь нужна людям мораль. Не эта дряблая, ветхозаветная, а наша, новая, разумная. Сегодня ночью я думал, что было бы, если бы установка попала в руки керберов. Людей без принципов и здравого смысла. Они способны разрушать, только разрушать..

Гард успел полностью прийти в себя, и в нем теперь боролись два желания. Уйти побыстрей — первое, и узнать, какова же мораль и каковы принци-

пы самого генерала,— второе. Но внезапно он поймал себя на контрвопросе: «А каковы же мои собственные принципы?» И у него осталось только одно желание — уйти.

— Разрешите идти? — сказал Гард.

Дорон с недоумением посмотрел на инспектора, словно не понимая, кто же это осмелился перебить ход его мыслей.

— Да,— резко сказал он.

Дорон снова был самим собой. Жестким, непроницаемым — каменной глыбой мускулов и бесстрастных нервов.

— И вот что,— услышал инспектор, уже стоя в дверях.— Слишком много людей оказались посвященными в секрет существования установки. Если вы в ком-нибудь сомневаетесь, скажите это сейчас.

Гард с трудом заставил себя обернуться.

— Нет, генерал, я ни в ком не сомневаюсь.

— Посмотрим,— многозначительно сказал Дорон.

«Надо немедленно предупредить Честера»,— решил Гард. После такого заявления Дорона любое слово, ненароком оброненное журналистом, могло дорого обойтись им обоим.

Он не рискнул позвонить Фреду домой: линию уже могли прослушивать. Оставалось побывать в тех кафе, где в это время дня мог оказаться Честер.

Улицы были полны машин, все кипело и торопилось, словно люди только и заботились о том, чтобы поспеть куда-то вовремя, обогнать кого-то на доли секунды или на доли дюйма. Распахнутые двери универсальных магазинов жадно заглатывали прохожих; близился День Свободы, и каждый спешил купить подарки своим близким, своим любимым, кого считал единственными и неповторимыми, но с кого, как с книжных матриц, можно было печатать, оказывается, бесчисленные копии.

Радиаторы автомобилей сверкали на солнце лучезарными металлическими улыбками, пучки света, отброшенные ветровыми стеклами, перемигивались с окнами, хлопали полотнища уже вывешенных флагов. Машины катились ряд к ряду — поток слева, поток справа, и пешеходы на тротуарах тоже двигались строем: поток у стен — направо, поток у бровки — налево, и все замирало, повинуясь жезлу регулировщика, словно вдруг стопорился механизм огромной машины, чтобы минуту спустя снова прийти в движение, в перемалывающий бег, нескончаемый и шумный. И тщетно песчинка — автомобиль Гарда — пыталась вырваться, уйти вперед; ее затирали, на нее шипели тормозами, и никому не было дела, куда спешит этот человек за рулем, почему он хватается за сердце, отчего он бормочет проклятия.

Но Гарду повезло. В третьем по счету кафе еще с улицы он увидел за зеркальным окном голову репортера.

В кафе оказалось пусто и прохладно, в углу за столиком — наметанный взгляд Гарда определил это сразу — не было хмурого соглядатая с развернутой газетой. Фред допивал молоко.

— Al — обрадовался он, завидя Гарда.— Я начинаю верить, что в один прекрасный день ко мне постучится английская королева. Что-нибудь сенсационное?

— Забудь, старина, что у тебя есть голосовые связки, и перейди на чревовещание,— сказал Гард и, как ни в чем не бывало, кивнул бармену.— Четыре двойных виски.

— Ого! Такого за тобой давно не замечалось, Дэвид.

— Мне с некоторых пор кажется, что только пьяный может быть счастлив в этом мире.

Честер даже поперхнулся молоком. Машинально он потянулся за сигаретой.

— Что стряслось?

— Ничего особенного, если все эти дни ты держал язык приклеенным.

— Ну знаешь! — Честер искренне обиделся.— Я хоть раз...

— А теперь и полраза нельзя.— Гард наклонился к Честеру.— Кербера убрали люди Дорона.

Легко скользя по паркету, подскочил бармен с двумя стаканами виски. Лицо Честера медленно бледнело.

— Ну? — сказал он, когда бармен исчез. Он пытался закурить, но кончик сигареты никак не желал попасть в язычок пламени зажигалки.

Пока Гард пересказывал содержание разговора с Дороном, Честер — и это обеспокоило инспектора — все более успокаивался. Скоро он стал совершенно спокойным, слишком спокойным, будто зритель на чужих похоронах.

— Ты все понял? — счел нужным переспросить Гард.

— Нет.— Честер упер локти в стол, и это движение открыло Гарду, что именно придавало Фреду торжественно-спокойный вид: полная неподвижность лица.— Нет, я многого не понял,— продолжал Честер, в упор глядя на инспектора.— Как Дорон догадался, что Кербер его предал, и откуда он узнал о моих телеграммах?

— Зачем это тебе знать?

— Затем, что, когда тебе или всем нам грозит удав, не мешает получше узнать его повадки.

— Осторожней, Фред.— Гард украдкой массировал плечо. С той самой минуты в кабинете Дорона, не переставая, ныло сердце.— Как Дорон узнал о Кербере и телеграммах? Это же ясно. Или мой доклад о связи Кербера с Луизой заронил в Дороне подозрение, или он сомневался в нем уже и раньше. Так или иначе, к Керберу был на всякий случай прицеплен «хвост». Не исключено также, что у него на квартире поставили парочку электронных «ушей» и «глаз»... Наконец, доложить Дорону о телеграммах мог Таратура,— не исключено, что он перекуплен Дороном, ведь ты не хуже меня знаешь, что в этом мире все продается и покупается... Вот так и появился на вашем свидании черный «мерседес» из ведомства Дорона. А генерал ничем не рисковал, он отлично понимал, что если документы украл Кербер, то он не смоется сию же минуту. Кербер же был уверен, что улик против него нет. Бежать немедленно — значит выдать себя, а это верная смерть. Дорон достанет его на другом конце земли. Проще выждать, пока все утрясется, уехать в отпуск за границу, тайно встретиться с кем нужно. А потом... Потом ему уже ничего не было бы страшно, так как он оказался бы под защитой какого-нибудь другого Дорона. Расчет точный. Но тут, как выстрел, твоя телеграмма, которая спутала Керберу планы и помешала спокойно добраться до безопасного места. Затем «встреча», странный побег... Дорону надо было быть круглым идиотом, чтобы не догадаться об истинных намерениях Кербера. И все. Пустынное шоссе, дорога внезапно загорожена, удар о столб, дверцы настежь, папка с документами выхвачена из рук мертвеца. Чистая работа.

Гард выпил виски.

— И все-таки он помиловал Чвиза...— прошептал Честер.

— Пустое, Фред. Дорону жалость неведома, но он рационалист. Чем ему опасен перепуганный, выжатый, как лимон, старик, забившийся куда-то в щель, добряк, бежавший от самого себя? Дорон и тебя не тронет, если не будешь глупить, как он не тронул Луизу, распорядившись отпустить ее на все четыре стороны, если она, разумеется, будет молчать. Он либо презирает, либо уничтожает, но, поверь мне, до старика Чвиза он еще доберется! Я это понял. Мне кажется, сейчас появилась новая порода людей, с умом строгим, как формула, и с душой робота. Дороны. А может, они всегда были...— Гард махнул рукой.— Только сейчас они нашли в жизни что-то такое, чего им не хватало для всесилия.

Кто-то опустил в музыкальный автомат монету, и ящик весело грохнул.

Моя мать дорогая,
Тебя я узнаю сквозь тысячу лет.
Тебя не заменит никто, никогда и нигде...

— Уже заменили! — Гард выругался и опустошил стакан виски.— И как у доронов мозги работают! С установкой можно было бы делать редкие лекарства, много лекарств или еще что-нибудь очень хорошее. Чвиз, вероятно, делал бы коровок, каждому по коровушке. Рай можно было бы сделать на земле! А они... Как их только матери рожают? Впрочем, они теперь будут пользоваться машиной. Машина наконец нашла себе машину!

— Это будет во многом зависеть,— тихо сказал Честер,— от того, какой Миллер остался.

— Ерунда.— Гард с сожалением смотрел на дно стакана.— Я стал умнее за эти два дня, а ты, кажется, поглупел, если противоречишь сам себе. Что говорил ты мне совсем недавно? Или забыл?

— Ах, Дэвид, тогда были только предположения, а теперь известно, что реальная установка в руках у Миллера. И если в живых остался не Миллер, а его двойник...

— Надо бежать в Анды? К дикарям? — Гард пьяно засмеялся. Его уже разбирал хмель.— Ты еще мучаешься вопросом, какой Миллер остался? Плюнь! Не лезь в психологию одного человека. Что он может сделать? Помнишь, в той истории...

— А может быть, двойник?

— Ах, все равно, Миллер или двойник!.. Не путай меня, Фред... Не надо преувеличивать роль одного человека, даже такого, как Миллер... Когда теория...

— Нейтронного торможения,— подсказал Честер.

— Ну да, торможения,— машинально повторил Гард,—...была только в его голове, Миллер еще мог раздумывать: спасать ему человечество или нет? Смешно? А ему было страшно, Фред. Очень страшно. С одной стороны, человечество, а с другой — Дорон... Я не хотел бы быть в его шкуре, Честер. Потом он понял, что роль всемирного спасителя ему не суждено сыграть, человечество обошлось своими силами... Не качай головой, Фред.

— Я это понял, старина... Но сейчас другое дело. И многое зависит от Миллера, настоящего или двойника.

— Ты сам меня научил: попробуй, проследив поведение Миллера в этой истории, сказать, какой он: хороший или плохой? Ну?

— Вот этого я и не пойму...— признался Честер.

— И не надо! Забудь. Ты, вероятно, думаешь, что убить в себе ангела или дьявола навсегда так просто? Ха-ха... Да какая разница, хороший ли Миллер остался, плохой ли? Обстоятельства есть обстоятельства, и никуда от них не денешься, и будет он, миленький, поступать то так, то сяк, как все мы, грешные, поступаем. Потому что остался живой Миллер! Живой! Понимаешь?

— Невероятно,— покачал головой Честер.— Я понял сейчас другое, Гард. Я понял, что, если живым остался хороший Миллер, ему придется иметь дело с Дороном, и кто из них победит — еще вопрос. Но если остался в живых двойник, ему придется иметь дело со мной! И с такими, как я, Дэвид. Ты уже спишь? Зря спишь, старина. Ни в какие Анды я не поеду...

Конец второй книги.

ПРОЗА

«Месть» — третья, заключительная книга приключенческой повести П. Багряка о профессоре Миллере. Первая книга, «Кто?», была опубликована в «Юности» № 7 за 1966 год. В ней рассказывалось об удивительном опыте профессора Чвиза, жертвой которого случайно стал его коллега профессор Миллер. Во время опыта был синтезирован двойник Миллера. Оказалось, что двойник не во всем копирует оригинал, а кое в чем прямо противоположен: он жестокий индивидуалист, исповедующий реакционные взгляды. Двойник вступает в борьбу с Миллером подлинным. В борьбе один из двух погибает, но кто?

Во второй книге, «Перекресток» («Юность» №№ 3 и 4 за 1967 год), читатель тоже не получает ответа на этот вопрос. События все более усложняются. Исчезает профессор Чвиз — автор удивительной установки, воспроизводящей двойников. Борьба за овладение установкой и ее чертежами становится все острее, а Миллер не выдает себя: его позиция в этой борьбе весьма неопределенна даже в те моменты, когда решается судьба открытия Чвиза. Это удивительное открытие крупные военные дельцы, мечтающие о захватнической войне, пытаются использовать для усиления гонки вооружений. Во главе агрессоров стоят президент страны и его правая рука, всемогущий генерал Дорон. И никто из окружающих Миллера — ни телохранитель Таратура, ни инспектор полиции Гард, ни вездесущий журналист Честер — не знает, кто из двух таких разных Миллеров живет рядом с ними, о чем думает, что замышляет.

П. Багряк

МЕСТЬ

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Рисунки автора.

1. СНОВА ЧВИЗ

Темные квадраты окон слепо смотрели на улицы. Уже не выбирая дороги и топая прямо по лужам, спешили одинокие прохожие. Время перевалило за полночь.

Таратура вел машину медленно: улицы были слишком узки для «мерседеса». Кроме того, ему приходилось притормаживать у каждого перекрестка: профессор Миллер только в последний момент коротко говорил: «Направо» или «Налево».

Он сидел рядом и, казалось, был весь погружен в раздумья. Таратура бросил на него взгляд и понял, что свои приказы он отдает, не поднимая глаз. Или он знал дорогу на память, или угадывал ее каким-то шестым чувством.

За последний год они вообще ни разу не выезжали так поздно — во всяком случае, вместе,— да еще с такими предосторожностями. Миллер обычно звонил Таратуре за полчаса до выезда и, оказавшись в «мерседесе», коротко бросал: «К Дорону!», или «В лабораторию!», или «Куда хотите, Таратура!» — и такое бывало.

На этот раз еще утром он пригласил Таратуру к себе в кабинет, усадил в кресло и, сделав непривычно долгую паузу, произнес:

— В час ночи вы должны быть у аптеки в районе Строута. Об этом никто не должен знать. Даже Ирен. Все. Да! До часу ночи занимайтесь чем угодно, только не ставьте машину в гараж.

Таратура давно отучился задавать шефу вопросы.

В час ночи он подобрал Миллера у аптеки, словно случайного прохожего, и за сорок минут, повинуясь его приказаниям, пересек почти весь город. Теперь они были в старом и грязном районе, который, как знал Таратура, не славился ничем, кроме своей древней архитектуры да, пожалуй, еще погребка «Указующий перст»...

Асфальт отсвечивал, слепя глаза. Моросил дождь. Редкие неоновые рекламы, сиротливо приютившиеся на старомодных фасадах, выглядели лишними и даже нелепыми.

— Стоп! — вдруг резко сказал Миллер.

Таратура мгновенно остановил машину и замер, напряженно держа баранку и не выключая стартер.

— Отсюда пойдем пешком,— продолжал Миллер.— Но прежде у меня есть к вам несколько, я бы сказал, контрольных вопросов. От них зависит, пойдете ли вы со мной дальше или останетесь ждать в машине. Выключите подфарники и двигатель.

Таратура выполнил приказание. Вокруг была тишина, нарушаемая лишь дождем, равномерно стучащим по кузову «мерседеса».

— Вам известно, Таратура,— сказал после паузы Миллер,— что я иногда посещаю этот район?

— Два раза в неделю, шеф,— сказал Таратура.

— Вы следили за мной?

— Нет, шеф, вы запретили мне это делать. Я просто догадывался, потому что каждая ваша минута была у меня на учете, кроме...

— Никому об этом не говорили?— прервал Миллер.— Даже Ирен?

Таратура улыбнулся.

— Само собой, шеф. Хоть я ваш телохранитель, я понимаю, что вы имеете право на личную жизнь!

— Благодарю,— сказал Миллер без тени иронии.— В таком случае нам пора.

Они вышли из машины. Таратура двинулся вслед за профессором, который, безошибочно ориентируясь в темноте, миновал какую-то арку, вошел в переулок и остановился у старинного трехэтажного дома, воздвигнутого, вероятно, лет двести назад. Таратура знал, что в подобных домах обычно бывают многочисленные коридоры, террасы, спуски и подъемы и тысячи ступенек внутри, десятки ходов, в которых легко запутаться, как это и случилось с ним однажды, когда он расследовал убийство банкира Костена. Этот дом ничем не отличался от того дома, и Таратура, приблизившись к Миллеру, сказал:

— Здесь не меньше двенадцати входов и выходов.

— Вы знаете этот дом?!— изумленно воскликнул Миллер.— Так вы все же следили за мной?!

— Ну что вы, шеф!— обиделся Таратура.— Не забывайте, что в прошлом я полицейский сыщик.

Миллер внимательно посмотрел на Таратуру и остановился. Он явно не торопился или делал вид, что не торопится, потому что никак не мог решить, брать с собой Таратуру или не брать.

— Сколько сейчас времени?— спросил он.

Таратура посмотрел на часы и тихо ответил:

— Два ночи, шеф. Сейчас должны пробить часы на католической часовенке, что в двух кварталах отсюда.

И в этот момент действительно раздался гулкий перезвон, после которого два продолжительных удара в точности подтвердили слова Таратуры. Миллер уже совсем не знал, что делать.

— Черт возьми!— в сердцах сказал он.— Вы знаете этот дом? Или не знаете? Вы бывали здесь или не бывали?

— В «Указующем персте», шеф. Он рядом с часовней. Мы прежде захаживали туда с Честером, вы должны его помнить, он был в ту пору репортером «Вечернего звона». Там редкое пиво.

— Идите за мной,— строго сказал Миллер.— Прошу вас ничему не удивляться и не задавать никаких вопросов.

И Миллер вошел в подъезд дома. Затем они, чуть-чуть пригнув головы, свернули под мрачный свод и очутились в длинном коридоре, слабо освещенном единственной лампой, пристроенной в дальнем его конце. Миллер шел впереди, и, когда он повернул вправо, Таратуре показалось, что шеф просто вошел в стену. Но там были ступеньки, они вели на второй этаж, и снова был коридор, снова ступеньки, какие-то своды и, наконец, небольшой проем, в котором торчала грубая дощатая дверь. Миллер постучал в нее четырьмя короткими ударами. Через некоторое время в ответ раздались три легких стука. «Женщина»,— успел подумать Таратура.

— Это мы,— сказал Миллер.

Дверь распахнулась. В тускло освещенном коридорчике стоял высокий старик с седой бородой, в котором можно было без труда угадать профессора Чвиза.

2. В БЕРЛОГЕ

Лицо Таратуры никогда не было зеркалом его души.

Он молча поклонился и вошел в комнату, вежливо пропустив вперед шефа. Затем, присев на подвернувшийся диванчик, который жалобно скрипнул под его мощным телом, подумал о том, как вести себя в этой странной ситуации, чтобы не выглядеть слишком глупо. Таратура был чертовски самолюбив.

Миллер был непроницаемо спокоен. Чвиз тоже не казался взволнованным. Судя по всему, они еще прежде договорились об этом визите. В нем непременно был какой-то смысл, пока еще неизвестный Таратуре. Он не умел да и не хотел тратить много душевных и физических сил на разгадку тайн, которые рано или поздно должны раскрываться сами. Заметив, что Миллер закуривает сигарету, он тоже вытащил пачку, чиркнул зажигалкой и пустил кольцо дыма. Потом сел поудобней, приняв столь непринужденную позу, будто всю жизнь провел в этой комнате бок о бок с профессором Чвизом.

— На улице дождь? — спросил Чвиз, и это были его первые слова.

— Так, моросит,— ответил Миллер, беря с дубового стола миниатюрную пепельницу.

— На-до-ело.

Последнее слово Чвиз произнес жутко спокойно и вышел из комнаты. Что-то стукнуло в коридорчике, вероятно, дверь в кухню. Таратура решил оглядеться.

Большой зал, в котором они находились, напоминал одновременно тюремную камеру, монастырскую келью и дешевую меблированную комнату. Безобразно высокий сводчатый потолок, как в храме, венчала громадная позолоченная люстра с двумя десятками длинных лампочек, имитирующих свечи. Ни одна из них сейчас не горела, свет исходил от торшера, стоящего рядом с узкой деревянной кроватью, прикрытой обычным одеялом. Крохотное окно под потолком было зарешечено, и Таратура подумал, что не удивился бы, если бы снаружи увидел тюремный козырек. Старые, выцветшие обои во многих местах полопались и отставали от стен. Мебель была явно музейная, громоздкая и покосившаяся, особенно стоящие в углу старинные часы с неподвижным маятником и буфет с причудливой резьбой по дереву. На подоконнике стояла финиковая пальма в деревянной кадке, доверху заполненной окурками,— верная примета дешевых меблированных комнат. Картину завершал камин, доступ к которому был закрыт массивным дубовым столом. Камин имел цвет крови, словно на нем последние десять лет производили ежедневные вскрытия трупов. На столе возвышалась какая-то аппаратура, никогда прежде не виданная Таратурой, стоял кофейник зеленоватого цвета, валялись стопки книг, несколько грязных чашек и большой нож, напоминающий штык.

«Да,— подумал Таратура,— все это может изрядно надоесть. Я бы не выдержал тут и неделю, не то что год».

Странно, все это очень странно! Сколько уже времени Таратура служил профессору Миллеру, но все еще не мог похвастать, что знает этого человека! Он определенно не смог бы предсказать ни одного из его поступков, хотя последние три года следовал за ним, словно тень,— если не считать времени его внезапных исчезновений,— теперь понятно, куда: к профессору Чвизу. Может быть, именно эти исчезновения и мешали Таратуре раскусить Миллера до конца?

— Коллега, вчера утром меня вновь вызывал к себе Дорон,— жестко сказал Миллер, когда Чвиз вернулся в комнату.— Поймите, наконец, что президент торопит Дорона, Дорон торопит меня, а мне уже нечем отговариваться. Вы понимаете? Я лечу, как баллистическая ракета по заданной траектории.

— Слава богу, меня это не касается,— упрямо сказал старик.— Я вовремя снял с себя всякую ответственность.

— Но от себя вы никуда не уйдете!— зло произнес Миллер, как будто прочитал приговор.— Хватит об этом, я пришел сегодня не для того, чтобы толочь воду в ступе, а чтобы услышать ваш совет как ученого. Сейчас менять мой план и придумывать новый уже поздно. Кроме того, вы же знаете, что я надеюсь на вашу помощь. Вы думали о моем плане?

— Но почему вы решили, что я обязан помогать вам делать глупости?— сердито пробурчал Чвиз.

Миллер исподлобья посмотрел на Чвиза, и оба они замолчали.

— Я жду вашего ответа,— требовательно сказал Миллер.

— К сожалению,— через силу сказал Чвиз,— идея в принципе осуществима, хотя весь план авантюрен и лишен здравого смысла. Он знает?— И Чвиз кивнул в сторону Таратуры.

— Теперь может и должен знать,— твердо сказал Миллер.— Таратура, от вас будет зависеть многое, если не все. Слушайте внимательно.

В течение десяти минут Миллер изложил Таратуре свой невероятный план.

3. ДРАМА В ПЯТИ АКТАХ

Солнце поднималось медленно, цепляясь лучами за корявые ветви старых дубов. Окна восточной террасы уже брызнули золотом, и зяблики грянули первую песнь дня.

В усадьбе еще спали. Спали дежурный электрик и дежурный водопроводчик, спали дежурный синоптик и дежурный врач, дежурный шифровальщик и вообще Дежурный, чья должность существовала с 1883 года и который никогда ничем не занимался, поскольку тогда же, в 1883 году, в спешке забыли оговорить круг его обязанностей. Не проснулись еще повара и горничные, шоферы и вертолетчики, садовники и механики. Дремал связист у погашенного табло коммутатора, рядом с которым, не мешая далекому ликованию зябликов, безмолвствовал телетайп.

Храпел седой майор у красного, очень красивого телефонного аппарата, который, согласно инструкции, должен зазвонить в тот момент, когда начнется атомная война. Впрочем, майор почти всегда спал. Он был типичным армейским философом, этот майор, и рассуждал так: если телефон молчит — можно спать, если телефон звонит — нет смысла просыпаться.

Спокойно вздымалась во сне богатырская грудь беспокойного О'Шари — командора спецгруппы из двенадцати телохранителей. А в соседней комнате словно по команде слаженно вдыхали и дружно выдыхали спертый воздух все двенадцать телохранителей, подстраиваясь в такт начальственному сопению. Они спали без тревог и угрызений совести, поскольку сейчас работала НЭСИА. Столь романтическое имя, достойное украсить стены Карнака, скрывало пусть весьма совершенную, но, увы, начисто лишенную всякой романтики Ночную Электронную Систему Инфракрасной Аппаратуры, окружавшую усадьбу и видевшую в темноте так хорошо, как не умели видеть даже на свету все двенадцать телохранителей вместе с командором О'Шари.

Разбросался во сне десятилетний Арви, единственный наследник хозяина усадьбы, справедливо называемый всеми вышеперечисленными его обитателями божьим бичом, ниспосланным за грехи прошлые и будущие, ибо одни только прошлые грехи при самом тенденциозном их подсчете не могли уравновесить факт существования Арви.

На широкой кровати под синим, в серебряных метеоритах балдахином, неподвижно вытянувшись, как на смертном одре, спала хозяйка усадьбы. Впрочем, сейчас никто из ее знакомых и близких не смог бы поручиться, что это действительно она: столь неузнаваемы были ее черты без крема «Мисс Аида», без парижских румян и прочей парфюмерии.

Наконец, в маленькой и сыроватой комнате с туго запертыми окнами, задернутыми занавесками, тяжелыми от золотого шитья и вековой пыли, в конусе желтого света лежал, разметав по подушке кисточку ночного колпака, старичок в очках — хозяин усадьбы, гражданин № 1 — президент.

Улегшись с вечера, он начал было просматривать сводки иракских нефтяных курсов, заскучал, взял киноревю да и заснул вот так, в очках, не выключив ночника, как часто засыпают люди, обремененные делами и годами.

А солнце между тем поднималось все выше и выше.

Первым в доме, как всегда, проснулся Джек Джекобс: мистер Джекобс — для газетных отчетов, старина Джек — для друзей дома, Старик — для всей большой и малой прислуги, старая лысая обезьяна — для Арви, и Джи — секретарь, камердинер, друг и партнер для игры в простого (не подкидного) дурака — для президента. Джек Джекобс познакомился с президентом задолго до того, как тот стал президентом. Джеку было 22, а Кену — 16, и Кен своим «фордом» превратил мотоцикл Джека в дружеский шарж на самогонный аппарат. Они подружились. Легендарная авария случилась так давно, что ничего более из событий тех лет они решительно не помнили, а Кен однажды в минуту раздражения сказал даже, что никакого столкновения не было, что все это выдумали проклятые репортеры. На что Джек заметил:

— Люди безутешны, когда их обманывают враги или друзья, но они испытывают удовольствие, когда обманывают себя сами.

И вышел.

Надо сказать, что Джекобс часто прибегал к афоризмам в разговорах с президентом. Его любимой книгой была «Максимы и моральные размышления» Франсуа де Ларошфуко. Только эту книгу читал и перечитывал он последние четверть века, полагая, что проницательный француз сказал больше, чем все человековеды во всех книгах, изданных за последние триста лет, не говоря уже о газетах и журналах, ко-

торые Джекобс презирал так, что носил их только кончиками двух пальцев, а на лице его появлялось тошнотворно-брезгливое выражение, будто он вытаскивал битую мышь из мышеловки. Во всяком случае, финалом всех пресс-конференций в Доме Власти неизменно являлись организованные им феерические дезинфекции, неизвестные даже в лепрозориях.

Джекобс всегда просыпался раньше других не потому, что у него было много дел и забот, а потому, что он был стар и любил утро, утренние тени, совершенно не похожие на тени вечера. Сейчас он встанет, побреется, выпьет чашечку кофе и выйдет к президенту.

— О, Джи, ты отлично выглядишь сегодня! — изумленно воскликнет президент.

— Мы хвалим других, Кен, обычно лишь для того, чтобы услышать похвалу себе,— ответит Джекобс, как отвечал вчера, и позавчера, и третьего дня, ведь этому утреннему ритуальному разговору уже, наверное, лет пятнадцать. «А что, если ответить ему сегодня по-другому?» — вдруг озорно подумал Джекобс и засмеялся своей мысли.

Акт первый

Около девяти Джекобс, еще пахнущий кофе и легкой утренней сигарой, заглянул на всякий случай на южную террасу и, увидев там только Арви, чья рубашка слиплась на груди от сока жадно пожираемого ананаса, понял, что президент уже в кабинете и его корзина для бумаг, вероятно, уже набита утренними выпусками газет.

Джекобс не ошибся: президент просматривал газеты. Это было правилом неукоснительным, как зарядка для спортсмена. Президент искал в газетах реальное воплощение своих идей и находил их. Это было приятно, вселяло бодрость и чувство собственной необходимости человечеству. Впрочем, иначе и быть не могло: если бы газеты не воплощали его идеи, он закрыл бы их.

— А, это ты, Джи! — Президент оторвался от газет.— Послушай, да ты отлично выглядишь сегодня! — Президент в изумлении откинулся на спинку кресла.

— Не доверять друзьям, Кен, позорнее, чем быть ими обманутым,— улыбнулся Джекобс.

— Что? — оторопело спросил президент. От удивления у него отвисла челюсть.

— Согласен с вами, Кен, я действительно отлично себя чувствую.

Президент снял очки, протер их, вновь надел и спросил тихо:

— Ты заболел, Джи?

— Откуда у меня был бы такой цветущий вид?

— М-да,— сказал президент, беззвучно пожевав губами.— Ничего себе начинается день. Ты совершенно выбил меня из седла. И это перед митингом! Просто не знаю, о чем говорить теперь... Ну, хорошо, я иду в зеркалку, а ты садись и слушай. Времени очень мало.

Отличительной чертой президента, снискавшей ему громкую славу, было отсутствие текстов его речей. Он не только не писал их сам — в этом не было бы ничего удивительного хотя бы потому, что ни один из его предшественников их тоже никогда не писал,— он не поручал писать и другим: впервые за многие годы каторжного труда канцелярия президента разогнула склоненные над столами спины. Президент выступал тысячи раз и никогда не держал в руках текста. Речи на весьма острые и сложные политические темы он произносил экспромтом. В философских кругах родилась невероятная гипотеза о необъятности президентской эрудиции, которая завоевала немало сторонников и вылилась в присуждение президенту ученой степени доктора права.

Однако существовал секрет необыкновенной способности президента, но он не разгадан и по сей день. Вернее, было два секрета. Первый заключался в том, что президент репетировал речи в зеркальной комнате, позволявшей ему видеть себя со всех сторон. Второй — более сложный и действительно доступный отнюдь не всякому — заключался в том, что президент никогда, нигде и ни о чем не говорил по существу вопроса. Картины, нарисованные им, принадлежали кисти монументалиста. Даже один неверный мазок, способный перечеркнуть работу тонкого рисовальщика миниатюр, не влиял на впечатление от захватывающих дух панорам. Он обладал необыкновенным даром говорить обо всем и ни о чем. И репетиции в зеркальной комнате отнюдь не преследовали задачу отработки текста. Там, с учетом предстоящей аудитории, ее численности, национального и социального состава, интеллектуального уровня и эмоционального настроя, репетировалась лишь мимика и проверялся тембр голоса, для чего в приемную, на стол Джекобса, был вынесен из зеркалки динамик. Раньше Джекобс присутствовал на репетициях в самой зеркальной комнате в качестве единственного слушателя. Однако после того, как, просмотрев весьма ответственную речь для конгресса, он на вопрос президента «Ну, как?» ответил: «Величавость—это непостижимое свойство тела, изобретенное для того, чтобы скрыть недостатки ума»,— президент разгневался, даже топнул ногой и с тех пор репетировал в одиночку, поручив Джекобсу лишь досмотр за тембром.

Сегодня президент должен был выступить на митинге, организованном обществом по борьбе с алкоголизмом, и ставил перед собой важную задачу завоевания полутора миллионов голосов антиалкоголиков на предстоящих выборах. Джекобс, сидя за своим столом, слышал, как президент откашлялся, забулькала вода—он прополоскал горло, и, наконец:

— Дамы и господа! Что привело меня сюда, вырвав из тяжкого лона государственных забот? Политическая возня моих противников? Нет! Накал международных страстей? Нет! Меня привела сюда тревога за судьбы моей нации...

— Ш-ш! — зашипел Джекобс в микрофон.—Так не пойдет, Кен, вы сразу берете быка за рога. Все уже ясно. Надо поинтриговать. Запомните, что ничто так не льстит самолюбию людей, как доверие сильных мира сего. Они принимают его как дань своим достоинствам и не замечают, что оно вызвано простым тщеславием или неумением держать язык за зубами.

— Может быть, ты будешь выступать вместо меня? — съязвил динамик.

— Если вы не в духе, я выключаюсь.

— Меня интересуют не механизмы людских слабостей, а тембр,— сказал президент.

— Излишне демократичен. Так надо говорить как раз с пьяницами, а вы выступаете на митинге трезвенников. Это хитрющие бестии, и они быстро разберут, что ваша показная простота — это утонченное лицемерие.

Динамик смолчал. Потом заговорил снова:

— Дамы и господа! Я отложил встречу в главном штабе Военно-Морского Флота, чтобы побывать у вас на митинге. Я далек от мысли... Среди тяжкого бремени тревог... Воля нации движет сегодня мною...

Лишь в отравленных сивушными маслами мозгах могла родиться сумасбродная мысль... Ибо никогда пути прогресса не подходили столь близко к пропасти алкоголизма... Порукой тому наши общие самоотверженные усилия...

Репетировали около часа. Наконец динамик замолк. Опять послышалось бульканье воды.

— Ну как? — спросил президент.

— Вы знаете, Кен, чертовски убедительно! Мне придется сделать гигантское усилие, чтобы впустить в себя перед обедом рюмочку вермута.

— Я уже опаздываю. Машину!

— Мне с вами?

— Оставайся. Зачем тебе тащиться по жаре!

— Спасибо, Кен. До свидания.

Джекобс выключил микрофон и, обернувшись к своему пульту, ткнул пальцем в одну из кнопок.

— Машину президенту к Южному входу.

Новый щелчок.

— О'Шари? Президент желает вывести на прогулку двух твоих бульдогов. Поедут на митинг общества трезвости.

...Милях в пятнадцати от усадьбы президента, на обочине автострады, стоял черный «мерседес» с поднятым капотом. Из-под капота торчали ноги. Первыми их заметили, как и полагалось по рангу, два телохранителя. Потом президент. «Как будто машина заглатывает человека»,— скромно удивляясь образности собственного мышления, подумал президент. Телохранители ни о чем не подумали и подумать не могли, потому что им незачем было думать. «Мерседес» выплюнул человека на асфальт. Президент не успел разглядеть его лицо. Телохранители, как и полагалось по рангу, успели. Когда автомобиль президента превратился вдали в черную блестящую точку, человек захлопнул капот, сел за руль, но не тронулся с места. Рядом с ним на сиденье лежал плоский, как конфетная коробка, коротковолновый радиопередатчик с приемным устройством.

— Алло, шеф! Как слышите меня? Прием.

— Неплохо. Что нового? Прием.

— Первый выехал, шеф. Прием.

— Ну что ж,— задумчиво сказала коробочка.— Начнем, пожалуй. Следите, Таратура.

Акт второй

Проводив президента до ворот, Джекобс постоял немного, пока машина не скрылась за поворотом. Он пошел, не торопясь, через парк. Хотелось подышать немного утренним воздухом. Как только Джекобс вошел к себе, зазвенел звонок, вызывающий его в кабинет президента. Джекобс «погасил» его, подумав при этом, что, вероятно, опять западает какая-нибудь клавиша сигнализации. Но звонок вновь зазвенел, вернув Джекобса чуть ли не от двери. Тогда Джекобс опять его погасил, поднял телефонную трубку и набрал номер дежурного электрика.

— Гремон? — сказал он.— Я был бы рад вас увидеть, тем более что вы, вероятно, ужасно соскучились по работе.

Для всей прислуги Джекобс был даже бо́льшим президентом, чем сам президент, поскольку их благополучие зависело не столько от предвыборной речи президента, сколько от настроения «Старика». Ему подчинялись безоговорочно и мгновенно, и потому молодой Гремон явился так быстро, словно стоял за дверью, а не бежал к усадьбе через весь парк.

Джекобс молча кивнул ему, ответив на приветствие, и показал глазами на дверь кабинета. Гремон понял, что президент отсутствует, иначе без сопровождения Джекобса туда нельзя было войти даже самому министру государственной безопасности, и, пожалуй, только смерть могла посетить президента, не спрашивая разрешения старого слуги.

Поправив на плече сумку, Гремон неслышно скользнул в кабинет, но уже через секунду с громким воплем выкатился наружу спиной вперед и, странно глядя на Джекобса, пошел вон из комнаты. А на столе вновь зазвонил звонок! Тогда Джекобс медленно приблизился к дверям, аккуратно приоткрыл их и увидел... президента.

Тот сидел за столом, нетерпеливо и зло глядя на старого Джека. И все же, отдавая дань традиции, президент сначала сказал то, что говорил последние пятнадцать лет, чтобы затем, не дожидаясь традиционного ответа, сказать совсем иное, что не сказать он уже не мог:

— Ты отлично сегодня выглядишь, Джи, но это вовсе не значит, что тебе позволено посылать вместо себя разных молодчиков!

Происшедший затем короткий диалог состоял из одних вопросов, начисто исключающих какие-либо ответы.

— Как, вы здесь, Кен? — тихо сказал Джекобс.

— А где я должен быть, Джи? — сказал президент.

— А кто же поехал на вашей машине в благотворительное общество, чтобы произносить там речь?

— Джекобс, ты молился сегодня утром? — спросил президент.

— В таком случае, Кен,— сказал Джекобс,— вам, вероятно, не понравилась речь, которую вы репетировали сегодня в зеркальном зале?

— Ты шутишь, Джи! Или ты забыл, что перед благотворителями я выступал на той неделе?

— Но вы забыли, Кен, что тогда вы говорили за алкоголиков, а сегодня должны были говорить против!

— Ты не путаешь меня со своим двоюродным дедушкой, о котором сам говорил, что он умел чревовещать?

— А вы уверены, Кен, что перед вами стою именно я? — парировал Джекобс.

И они оба умолкли, потрясенные взаимной дерзостью. Наконец Джекобс, собравшись с мыслями, решил сказать свою коронную фразу, которой явно не хватало в сегодняшнем утреннем ритуале:

— Мы хвалим других, Кен, лишь для того, чтобы заслужить похвалу в свой собственный адрес.

— Узнаю! — сказал президент.— Это ты! Слава всевышнему!

И он перекрестился. Все встало на свои места, опять все задышало покоем, и президент, выйдя из-за стола, доверительно сообщил Джекобсу, которому — только одному — мог позволить знать об этом:

— Джек, у меня опять что-то происходит с головой!

— Ничего, Кен,— как всегда, философски заметил Джекобс,— пока происходит с головой, это никто не замечает, но когда происходит с ногами...

— Я точно помню,— продолжал президент,— как вчера вечером молился в часовне, и... больше ничего не помню! Тебе не кажется это странным?

— Нет, господин президент,— ответил Джекобс.— Если бы вчера после молитвы вы не выпили целую

бутылку рома и не раскладывали бы до часу ночи пасьянс, тогда бы мне показалось это странным.

Президент изменился в лице и вновь перекрестился.

— Побойся бога, Джи, что ты говоришь!

— Если я буду бояться бога,— сказал Джекобс,— он подумает, что меня уже нет в живых.

Президент побледнел, закашлялся и вдруг встал на колени.

— Господи,— воскликнул он,— прости мою грешную душу! Клянусь тебе, что отныне и навсегда мои руки не прикоснутся к картам и душа моя освободится от этого порока! А губы мои забудут то мгновение, когда последний раз они окропились вредным алкогольным ядом...

— Кен, так вы все же будете произносить речь против алкоголиков?— сказал Джекобс.— Тогда пора торопиться, там назначено на десять утра, а речь ваша, как мне кажется, уже отрепетирована.

Президент ничего не ответил, поднялся с колен и прошел вдоль всего кабинета, внимательно разглядывая портреты своих предшественников и беззвучно шевеля губами. Вероятно, он каждому из них произносил свой приговор, восхваляя при этом свою собственную воздержанность от мирских страстей.

Все эти десять—пятнадцать минут, пока президент сводил личные счеты с портретами своих предшественников, старый Джекобс, не шелохнувшись, привычно стоял в дверях, чуть-чуть полуприкрыв глаза. Ему на ум пришла известная мысль Ларошфуко, и он повторял ее время от времени, как молитву: «Если уж дурачить людей, то нужно дурачить их долго, как это делали в Риме».

Наконец президент умирающим голосом попросил Джекобса прислать сына и в ожидании Арви сел в кресло.

Молодой бандит со всего размаха бросился отцу на колени, от чего кости хрустнули даже у старого Джекобса.

— Ты молился сегодня, сын мой? — спросил президент, хотя Джекобс мог дать голову на отсечение, что Арви знает только одну молитву: «Папа, дай мне пятнадцать кларков!»

— Уже два раза! — бойко соврал Арви.— Папа, а ты дашь мне пятнадцать кларков?

— Хорошо, сын мой, но прежде мы отправимся в церковь Святого Марка, где скоро начнется служба.

— Сейчас?! — сказал Арви, словно ему предложили запить десяток пирожных стаканом касторки.— О, нет, папочка, ведь ты обещал мне зоопарк!

Ему ничего не стоило выдумывать чужие обещания, так как он очень надеялся на то, что у всех взрослых очень рано начинается склероз.

— Джекобс, я действительно обещал Арви поехать сегодня в зоопарк?

— Какая разница, господин президент,— ответил Джекобс,— когда выполнять свои обещания: до того, как их даешь, или после?

— Зоопарк так зоопарк! — сказал президент, не имея сил встать на ноги после того, как на его коленях посидел милый сынишка.— Джекобс, машину к Западному подъезду! А ты иди, Арви, переоденься и скажи маме, что мы скоро вернемся.

Когда Джекобс нажал кнопку гаража, там началась небольшая паника, но ослушаться старика никто не посмел. В комнате телохранителей по селектору ответил Грег, сменивший О'Шари.

— Прошу, Грег,— сказал Джекобс,— двух питекантропов, но с более или менее приличными рожами, так как им придется ехать с президентом в зоопарк, и я боюсь, что они перепугают всех зверей.

Через десять минут машина с президентом и Арви выехала за ворота. Джекобс постоял у окна и с тоской подумал о том, что старость все же приводит к необратимым изменениям в характере людей и отныне, вероятно, ему уже не суждено будет сыграть с президентом ни одной партии в простого (не подкидного) дурака. Затем он поднял телефонную трубку и позвонил устроителям благотворительного собрания.

— Алло! — сказал Джекобс, когда услышал чей-то мужской голос.— Говорит секретарь президента. Я хочу предупредить вас, что президент не может к вам приехать, он...

— Спасибо за информацию! — перебил его довольно-таки нахальный голос.— Но президент уже на трибуне и несет, как всегда, чепуху!

— Что вы мелете?! — разозлился Джекобс.

— Но он тоже мелет, господин секретарь! — нахально ответила трубка.

— В таком случае извольте сказать, что делает сын президента Арви!

— Думаю, он будет выступать следом, но скажет что-нибудь поумнее своего папаши! — не унимался нахал.

— Вы меня разыгрываете! — устало произнес Джекобс и нажал на рычаг. В ту же секунду звонок на столе ожил, заверещал, приглашая Джекобса в кабинет, но он остолбенело смотрел на него, не двигаясь с места.

Когда машина с президентом, его сыном и двумя телохранителями поравнялась с черным «мерседесом», Таратура передал:

— Шеф, прошел второй! Прием.

— С богом! — ответил Миллер.

Акт третий

Звонок продолжал звонить настойчиво и требовательно, но Джекобс не мог тронуться с места.

— Нет, уж на этот раз ты меня не обманешь! — пробормотал он и плотно заткнул оба уха указательными пальцами.

— Никакого звонка нет!.. Никакого звонка нет!..— повторил он несколько раз подряд.

Потом осторожно отнял пальцы.

В приемной стояла полная тишина. Джекобс просиял.

— Вот и все,— вздохнул он с облегчением.

Однако в этот момент звонок застрекотал снова.

— Ну, теперь-то я знаю, как с тобой бороться,— погрозил пальцем Джекобс.

Он снова заткнул уши и на некоторое время словно застыл. Убрал пальцы.

Звонок звонил!

Джекобс снова повторил свой нехитрый прием.

Звонок звонил!

— Странно! — растерянно пробормотал Джекобс и торопливо снял телефонную трубку.

Личный врач президента доктор Арнольд Креер был человеком незаурядным. Во всяком случае, он сам со всей определенностью, исключавшей какие бы то ни было кривотолки, заявил об этом на юбилейном ужине, посвященном столетию медицинского общества «Будь здоров». Плотный, коренастый, с квадратной фигурой и наполовину облысевшим черепом, усеянным многочисленными бугорками, с резкими, стремительными движениями, доктор Креер походил на преуспевающего коммивояжера.

Он явился почти мгновенно, словно дух, вызванный из бутылки. И, как будто испугавшись его появления, звонок тут же умолк.

— Приветствую вас, дорогой Джекобс,— произнес доктор громким голосом и так энергично сжал пальцы секретаря, что тот невольно поморщился.— Что-нибудь случилось?

— Медведь! — недовольно пробурчал Джекобс, украдкой массируя помятую руку.

— Что вы сказали?

— Дело в том, милейший Арнольд, что со мной... гм... с господином президентом происходит нечто странное.

— Сегодня чересчур яркое солнце,— безапелляционно заявил доктор и, подойдя к окну, задернул штору.

Доктор Креер был не просто врач. У него была своя теория. Он считал, что причиной большинства болезней служат слишком резкие зрительные раздражения. Исходя из этого, он практиковал два способа лечения: перемену впечатлений и длительный сон в совершенно темном помещении.

Разумеется, у этой теории, как и у всякой гениальной теории, были свои противники. Но доктор Креер не унывал и лучшим доказательством правоты своего метода считал неизменно бодрое состояние президента, которое ему так или иначе удавалось поддерживать.

— Итак, пройдем в кабинет? — почему-то торжественным тоном осведомился доктор.

Но, поскольку звонок молчал, Джекобс не торопился.

— Видите ли, Арнольд...— начал он что-то неопределенное.

Но в этот момент снова настойчиво затрещал звонок. Джекобс вздохнул и почтительно распахнул перед доктором дверь кабинета.

Президента за столом не было.

«Час от часу не легче!» — подумал Джекобс и в ту же секунду чуть не лишился чувств.

Глава государства стоял в углу кабинета и, методично выбрасывая руки в стороны, проделывал какие-то замысловатые приседания.

— В чем дело, Джекобс? — недовольно сказал президент, не отрываясь от своего занятия.— Я звоню уже больше четверти часа. Вы что, заснули?

— Я думал...— смущенно пробормотал Джекобс.— Я...

— А, доктор Креер! — обрадовался президент, заметив врача и прекратив свои упражнения.— Очень хорошо, что вы пришли. Я как раз собирался вас вызвать.

Креер с достоинством поклонился.

— Что-то я сегодня в плохой форме. Отвратительно себя чувствую.

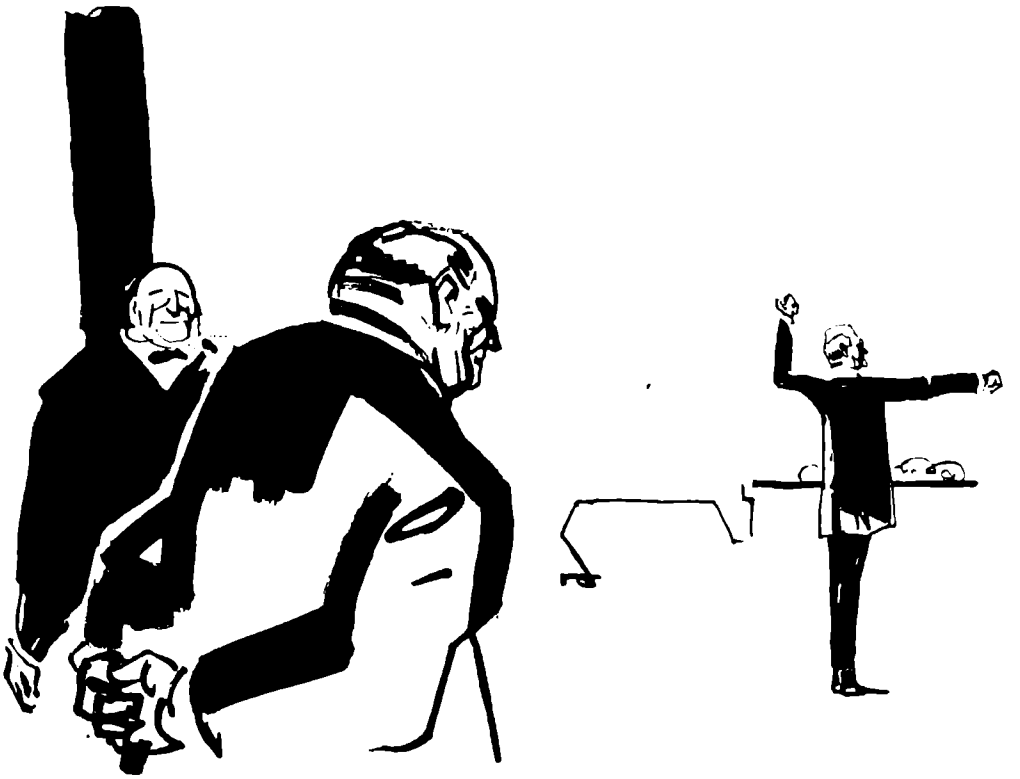
— Что вы ощущаете? — деловито осведомился доктор.

— Неприятный вкус во рту, кружится голова и какой-то звон в ушах.

«Вот-вот,— подумал Джекобс.— И у меня совершенно то же самое: головокружение, звон... этот проклятый звонок!»

— Но самое неприятное,— продолжал президент,— это какие-то странные провалы в памяти. Я, например, совершенно забыл все, что было со мной сегодня утром и вчера вечером.

— Провалы? — заинтересовался доктор.— А скажи-



те, господин президент, у вас ничего не мельтешит перед глазами?

— Как вам сказать? Мельтешит! — неожиданно признался президент.— Какой-то странный предмет, похожий на тыкву.

— Давно это у вас?

— Со вчерашнего дня. С того самого момента, как я посетил регби. Этот предмет не оставляет меня в покое. И, знаете, у меня все время такое чувство, что я должен схватить его и куда-то бежать!

«Боже мой! — с ужасом подумал Джекобс.— Те же симптомы! И у меня перед глазами все время предмет... похожий на Кена. И тоже хочется бежать! Что же это творится?»

— Джекобс! Джекобс! Ты меня слышишь?

— Извините, господин президент.

— Джи, ты не помнишь, что́ я делал после того, как вернулся с регби?

Джекобс сокрушенно покачал головой и осторожно сказал:

— Извините, господин президент, но у меня тоже провалы в памяти.

— Разрешите,— вмешался доктор Креер.— Разрешите вас осмотреть, господин президент.

Он быстро сосчитал пульс, измерил давление, на несколько секунд приставил к груди стетоскоп.

— Учащенное сердцебиение,— резюмировал он.— Можно подумать, что вы все еще находитесь на стадионе. Ведь я не раз предупреждал: не следует злоупотреблять спортивными зрелищами.

— Да, да, вчера я действительно переволновался. Это было ужасно: Прайс не смог точно пробить. И это в самый решающий момент! Ах, этот проклятый мяч всегда летит не в ту сторону!

Креер озабоченно посмотрел на президента.

— Боюсь, что ваше увлечение спортом становится угрожающим. Мне не нравится.

— Дорогой Арнольд, разве есть в мире место лучше стадиона! Только там обо всем и забываешь.

— Запишите,— строго сказал Креер, обращаясь к Джекобсу.— Утром и вечером мясной отвар. На обед фрукты и лимонный сок. Алкоголь исключить на три дня. Обеспечить резкую смену впечатлений... Послушайте, дорогой Джекобс, зачем вы пишете под копирку?

— Я знаю, что делаю,— проворчал Джекобс.— Пусть будет в двух экземплярах.

Креер пожал плечами.

— А сейчас, господин президент, вам не мешало бы отвлечься. Заняться чем-нибудь... по возможности интеллектуальным. Чтобы вытеснить из головы навязчивый желтый мяч.

— Это мысль! — сказал президент.— Я давно собирался выступить по радио или телевидению. Джекобс, предупредите студию, что я прибуду через тридцать минут.

В 11 часов 08 минут Тарагура, увидев промчавшуюся по шоссе черную машину с флажком президента на крыле, доложил по рации:

— Шеф, проехал третий.

Акт четвертый

Дверь открылась, появился президент и только было собрался произнести: «Джекобс, ты отлично сегодня выглядишь!»—как удивился до такой степени, что потерял дар речи.

— Дж!..— получилось у него, и он протер глаза. Секретарь отсутствовал!

Отсутствовал тот, кто должен был сидеть в этом кресле за этим столом, словно прикованный к ним цепями; кто последние пятнадцать президентских лет был непременной составной частью этой комнаты наряду с телефонными аппаратами, люстрой на потолке и ковровой дорожкой до самой двери; кто был символом и одновременно живым олицетворением порядка в президентском доме...

Невероятно!

Проводив президента на радио, Джекобс в изнеможении вернулся к себе в комнату.

Невесть откуда появился доктор Креер с большой сигарой в зубах.

— Пойдемте ко мне, дорогой Джекобс. Я вам дам чудодейственное лекарство — и все ваши хвори как рукой снимет.

Джекобс вздохнул и пошел вслед за доктором.

А на столе секретаря в круглой хрустальной пепельнице осталась лежать дымящаяся докторская сигара.

Невероятно...

Нет, что ни говорите, но день начинался на редкость удачно!

Если бы кто знал, как надоела президенту вся его президентская жизнь! Этот глупый утренний ритуал, когда он должен говорить Джекобсу идиотскую фразу, уже потеряв всякую надежду услышать в ответ что-нибудь новенькое и смешное; эти ханжеские физиономии слуг; эта постная и несоленая пища, которую нельзя было брать в рот от одного сознания, что десятки человек, отвечающих за драгоценную президентскую жизнь, пробовали и обнюхивали ее прежде, чем подать на президентский стол; эти отвратительные эскулапы во главе с Креером, которые при каждом президентском чихе устраивали консилиумы, укладывали его в постель и пичкали всевозможными таблетками; эти тупые телохранители, которые даже в туалет входили прежде, чем туда войдет президент; эти машины, отучившие президента ходить; эти бесконечные напоминания о том, что много спать нельзя, и мало спать нельзя, и работать нельзя, и не работать нельзя, и туда нельзя, сюда нельзя, того нельзя, этого нельзя!.. Тьфу! Если бы безмозглый кретин Боб Арборо хотя бы краем глаза видел, какая мука быть президентом, он снял бы свою кандидатуру, отдав голос за существующего президента и тем самым убив его окончательно [1].

Вот почему сегодня утром старый Кен совершил подлинную революцию в своем налаженном президентском быте: он впервые за пятнадцать лет не позвал Джекобса в кабинет звонком, а вышел к нему сам! Так есть бог или нет бога, если первый нетрадиционный шаг привел к такому исключительному везению: Джекобса на месте не оказалось!

Итак, надо пользоваться сложившимися благоприятными условиями. Президент воровато оглянулся, секунду подумал, и в голове у него созрел превеличайший план. Он решительно направился к двери, предварительно схватив кем-то оставленную и еще дымящуюся сигару и сделав две глубоких и жадных затяжки.

В коридоре никого.

Быстрыми шажками президент поднялся по левой лестнице, ведущей в покои жены, и, остановившись перед дверью, костяшками пальцев произвел тот условный стук, с которым, бывало, много лет назад приходил к своей Кларе: «Там-та-та-там, та, та!» Небольшой переполох в комнате и, наконец, взволнованно-удивленное:

— Это вы, Кен?

Узнала!

Президент вошел в громадную спальню, и пока он шел к Кларе, уже сидящей перед зеркалом, она имела возможность по его походке заметить странную метаморфозу, происшедшую с мужем. Он шел легко, изящно, будто и не было ему семидесяти лет.

— Доброе утро, моя дорогая!— сказал президент, нежно целуя лоб своей супруги, уже освеженный кремом «Аида».

— Ах, Кен,— воскликнула Клара, заливаясь молодым румянцем,— вы так неожиданно! И вы курили?!

От него пахло сигарой, как в добрые прежние годы. Он улыбнулся и виновато опустил глаза.

— Ради бога, Клара, прости меня... Тридцать лет назад, когда ты была хрупкой девушкой, я нес тебя на руках от самой машины до озера Файра, и ты обнимала меня за шею, а вокруг были какие-то люди, но им не было до нас никакого дела, потому что тогда все были молоды...

— Разве у тебя уже была в ту пору машина?— перебила Клара.

— Ты все забыла,— мягко перебил президент.— Был «форд», и я уже имел маленькую, но собственную адвокатскую контору... А ты помнишь мое первое дело, когда я чуть не опростоволосился, но твой отец... Удивительно, Клара, но это все я так отчетливо помню. А то, что было вчера,— словно было тысячу лет назад: ни одного воспоминания! Я сегодня проснулся, открываю глаза: кабинет, уже утро, хочется есть, хочется вина, хочется жить! Понимаешь, Клара, во мне проснулась молодость, я понял, что больше не вынесу ограничений, я устал от них. Вероятно, нервы...

Пока президент произносил этот сбивчивый монолог, Клара восхищенно смотрела на мужа и думала, наверное, о том, как жаль, что он «проснулся» так поздно.

— Знаешь, Кен,— сказала Клара,— а что, если мы отправимся сейчас на озеро Файра? Сегодня воскресный день, тебе действительно нужно отдохнуть, мы возьмем Арви.

— И этих тупых молодчиков О'Шари?!

— От них никак нельзя избавиться?

— Можно...— неуверенно произнес президент.— Но тогда нам придется ехать вдвоем, без Арви, чтобы улизнуть от них.

— Все! Я знаю, что надо делать!

Клара решительно поднялась с кресла, еще раз взглянула на себя в зеркало,— нет, нет, не так уж дурна! — и вышла из спальни. Через пять минут она вернулась в платье одной из своих горничных.

— Твой костюм достаточно скромный,— сказала она, оценивающим взглядом рассматривая рабочий пиджак президента.— У тебя есть деньги?

— Кларков пятьдесят, не больше.

— Прекрасно!

Она была решительной дамой, может, поэтому президент и женился на ней в свое время...

— Но, Клара,— сказал он, вновь почувствовав себя таким, каким был много лет назад, когда Клара требовала беспрекословного себе подчинения и он не смел ее ослушаться,— как мы выйдем незамеченными?

[1] Роберт Арборо, или Боб Арборо, как все его называли, кандидат в президенты от Свободной Партии Насилия (США) был главным соперником президента на предстоящих выборах, где бывший президент должен был представлять Партию Насильственной Свободы (ПНС).

Она смерила его таким странным взглядом, словно видела впервые, и медленно произнесла:

— Кен, кто вывел тебя в президенты? Так неужели я не выведу тебя с усадьбы?

И Клара вдруг подошла к стене в своей спальне и в том месте, где кончалась кровать, нашла какую-то кнопку, а затем распахнула потайную дверь, о которой президент понятия не имел.

— Клара!— сказал он строгим голосом, но жена, улыбнувшись, взяла его за руку и увлекла за собой.

Через двадцать минут они вышли на шоссе в ста ярдах от того места, где все еще возился с мотором черного «мерседеса» Таратура. Президент, потрясенный тем, что ни одна «собака» из охраны их не заметила, что скромно промолчала все замечавшая даже в темноте Ночная Электронная Система Инфракрасной Аппаратуры (НЭСИА), вел себя излишне возбужденно и порывисто. Не снимая черных очков, он лихо просеменил к «мерседесу» и звонко предложил Таратуре пять кларков за доставку в город.

Таратура онемел. Но тут же, взяв себя в руки, вздохнул и с сожалением отказался, сославшись на то, что машина испорчена.

— Я сам жду помощи,— сказал он.— А вам... папаша,— с усилием выдавил он из себя,— советую взять такси. Тут их много.

И действительно, из-за поворота показалась машина. Президент остановил ее торжественным поднятием руки, и через секунду они укатили.

На какое-то время Таратура даже забыл о рации.

Акт пятый

В душе напичканного лекарствами Джекобса, когда он вернулся от доктора Креера, пели ангелы. Прежде всего он с удовлетворением отметил, что за время его отсутствия ничего не изменилось. Ковер лежал на своем месте — на полу, часы висели на стене в единственном числе, и вообще в комнате не было никаких признаков чуда.

И тут он увидел сигару. Она дымилась.

Джекобс погрозил ей пальцем.

— Не-ет,— сказал он.— Не обманешь.

Он потоптался вокруг стола, зажмурился и даже хихикнул, радуясь своей догадке. Потом осторожно открыл глаза. Сигара дымилась, как ни в чем не бывало.

— Существуешь? — миролюбиво спросил Джекобс.— Ну существуй.

Он сел за стол и громко сказал:

— Никакого президента нет! Не было и нет! Сигара есть, раз она существует, а президента нет. Чья сигара? Моя, конечно...

Вторая рюмочка, кажется, была лишней.

Он задумался. О чем-то подобном философы однажды уже говорили. Как это? «Я» есть «я» только по отношению к своему «я», а поэтому все окружающее есть проекция моего «я». Умные головы! Конечно! Вот он сейчас войдет в кабинет президента, и никакого президента там не окажется, потому что он видел, как тот уехал, а раз он видел, то никакого президента в кабинете быть не может. А когда он вернется обратно, то и сигары не окажется, потому что в его отсутствие исчезнет проекция его «я», надо только выбросить из головы мысль о сигаре. Тогда все будет хорошо. Надо помнить только о кресле. И о ковре. И о мире тоже. А то, кто его знает, может и он исчезнуть, если о нем не думать.

Шаркая, Джекобс на негнущихся ногах сделал несколько шагов к двери президентского кабинета и, мурлыкая детскую считалку: «Раз, два, три, четыре, пять — я иду искать»,— переступил порог.

За столом сидел президент и что-то писал.

— Я иду искать,— вслух сказал Джекобс.

— Что?— Президент поднял голову.— В чем дело, Джек? Я тебя не звал.

— Ах, не звали? — Джекобс широко улыбнулся.— Очень хорошо.

Он повернулся, как манекен, и вышел. «Что-то философы путают,— грустно подумал Джекобс.— Раз президент на месте, то и сигара должна быть на месте». Он покосился: сигара была. «А если это мой президент, то, значит...» — и его посетила неожиданная мысль.

— Кен,— сказал он, снова входя к президенту.— Похоже, вам нужна машина.

— Машина?— Президент оторвался от бумаг.— Я не просил никакой машины.

— Выходит, речь в благотворительном обществе вы произносить не будете?

— Какая речь? Ты видишь, Джек, я работаю.

— Допустим, вижу. Но это еще ничего не значит. Так вам не нужна машина?

— Джек, ты мне мешаешь.

— А в зоопарк вы тоже не поедете?

— Что-о?! — Президент отшвырнул ручку, и она прокатилась по бумаге, разбрызгивая кляксы. Лицо Джекобса излучало кротость.— Что с тобой, Джи?

— Ничего. Я почему-то решил, что вы хотите выступить по радио.

— А-а... Э-э...— Президент попятился вместе с креслом.— Джекобс, кто-то из нас сошел с ума!

— Не я.

— Боже... Какой сегодня день?

— Воскресенье.

— Суббота, Джекобс, суббота! Приди в себя!

— Воскресенье. Желаете убедиться?

Джекобс на негнущихся ногах подошел к столу, набрал номер и с лучезарной улыбкой протянул трубку президенту.

— Сегодня, в воскресенье,— донеслось оттуда,— жителей столицы с утра ждет малооблачная погода без осадков, во второй половине дня...

Президент обмяк.

— О господи! — вырвалось у него.— Воскресенье! А что я делал с тех пор, как выступил на митинге филателистов?

— Определенно могу сказать: не лечился, Кен, хотя неплохо было бы подлечиться.

«А вот сейчас я расскажу ему про философов,— подумал Джекобс,— и подам воды, и мы славно потолкуем о проекциях моего «я», а то, чего доброго, бедняга и вправду подумает, что я сошел с ума».

— Джек,— президент взял себя в руки,— суббота сегодня, воскресенье или понедельник, и пусть хоть весь мир спятил, но это еще не дает тебе права мешать мне работать. Уходи и соедини меня с Дороном.

— А врача не надо?

— Не надо.

— И вы никуда не поедете?

— Никуда.

Джекобс чуть не рассмеялся.

— И не надо присылать вам Арви?

— Я занят! — взорвался президент.— Ты что, не понимаешь, что я работаю?

— А в дурака (не подкидного) мы еще будем с вами играть? — не сдавался Джекобс, давясь от еле сдерживаемого смеха.

— Вон! — заорал взбешенный президент.

— Ну, как знаете, Кен,— невозмутимо ответил Джекобс.— А то я могу принести вам сигару.

Состояние духа Джекобса было теперь непробиваемо, как железобетон.

Этого, однако, нельзя было сказать о Таратуре. Час шел за часом, в канаве оглушительно стрекотали кузнечики, солнце раскалило кузов машины, над пустынным шоссе заструились серебристые переливы марева. А из усадьбы никто не выезжал.

«Четыреста восемьдесят семь... Четыреста восемьдесят восемь... Четыреста восемьдесят девять...» — считал Таратура, вывинчивая и снова завинчивая запальную свечу. Когда счет достиг пятиста, Таратура не выдержал.

— Шеф,— крикнул он в микрофон рации,— с пятым, похоже, осечка! Его до сих пор нет! Прием.

— Черт с ним,— после секунды молчания ответил Миллер.— Хватит и четырех. Возвращайтесь.

4. ВЫЗОВ ДОРОНУ

По воскресеньям первую половину дня Дорон работал.

Это не значило, однако, что Дорон не умел отдыхать. Напротив. В воскресенье он позволял себе встать на час позже, не торопясь — за стаканом черного кофе — перечитывал ночные донесения, перелистывал утренние газеты и тем самым сразу включался в ритм жизни планеты. Дорон был и мудр и равнодушен; в донесениях он видел смысл и содержание истории, к творцам которой причислял и себя.

Программу второй половины воскресенья готовил Дитрих, который точно угадывал желания и фантазии своего генерала. Поэтому вечером Дорону предстояла либо стрельба из лука по летучим мышам, либо поездка в варьете, ужин при свечах с певицами, развлечения в духе Борджиа, пасторальные танцы. В одном он был уверен твердо: Дитрих не ошибется, и вечер будет приятным, интересным, запоминающимся.

В этот день все шло, как и всегда. До обеда было еще далеко. В углу кабинета то и дело раздавался пулеметный стук телетайпа, и Дитрих неслышно клал на угол стола бумаги с нулями и единицами. Дорон, погруженный в обдумывание, не замечал своего секретаря. В эти часы Дорон оставался сверхточной и сверхлогичной вычислительной машиной.

— Осмелюсь побеспокоить, господин генерал.— Дитрих воспользовался секундным перерывом в размышлениях Дорона, точно им угаданным.— Сейчас объявили, что по радио будет выступать президент.

— Стоит ли слушать этот треп?— вслух. спросил себя Дорон.— Ладно, включи.

Дорон гордился своим умением делать сразу несколько дел: думать, писать, слушать. Гай Юлий Цезарь, говорят, тоже обладал таким качеством.

Мурлыкающую речь президента он слушал в полуха, но сразу отметил некоторое своеобразие выступления: президент много и с жаром говорил о регби. Мысли генерала текли параллельно, не мешая друг другу. «Если Ла-Ронг действительно осуществит операцию на гене, то это открытие должно принадлежать нам...», «Чего это Старик так напирает на регби? Нет ли тут тайного политического хода?»; «Ла-Ронг работает в нищей стране. Переманить его, вероятно, не составит большого труда. Но если он патриот...»; «Надо было сразу догадаться. Президент — умница. Какой тонкий ход: привлечь перед выборами на свою сторону болельщиков регби!..»; «...тогда нужно будет организовать против Ла-Ронга газетную кампанию. Подрыв религии, связи с коммунистами. Ему уже некогда будет заниматься наукой. Не грубо ли?»; «Да, у президента надо поучиться. Как заливается!»; «Нет, другой план лучше. Надо будет устроить Ла-Ронгу видный административный пост. Если патриот — клюнет. Благо народа, благо страны...— и все время уйдет у него на совещания, заседания, представительство, руководство. Это хорошо. Изящно и действенно»; «Можно подумать, что от правил регби зависит ход государственной политики. Интересно, сам президент всерьез принимает свои речи?»

На пульте перед Дитрихом зажегся огонек. Секретарь снял трубку.

— Господин генерал, вас просит президент.

«Ну, конечно, выступление было записано на пленку»,— подумал Дорон.

— Поздравляю с отличной речью, господин президент. Я в восторге от вашего тонкого хода. Какого хода? С регби! Что, терпеть не можете регби? Это естественно, я тоже. Грубая игра. Но народ... «Хлеба и зрелищ», как говорили римляне. Перед выборами надо польстить народу... Да, да, полон внимания, господин президент.

— Генерал,— донеслось из трубки,— настоятельно прошу форсировать опыты по дублированию. Я только что подписал распоряжение о выделении вам из секретного фонда пяти миллиардов кларков. Результаты должны быть получены за месяц до выборов.

— Слушаюсь! — воскликнул Дорон.

— Поскольку мы принадлежим к одной партии, я раскрою вам смысл этого требования. Успех опытов повлияет на финансирование кампании. Боюсь, что в противном случае трудно будет одолеть Арборо. А Арборо, как вы знаете, ненавидит интеллигенцию и всех, кто с ней связан. Прошу понять, что мой успех будет и вашим успехом, генерал.

— Это я прекрасно понимаю. И хочу вас заверить... («Как бы не так! Арборо тоже не кретин и в случае победы не закроет передо мной кассу. Но лучше иметь дело со Стариком, тем более, что сейчас он зависит от моих работ, а не мои работы от него».) ...Хочу заверить, что вы можете быть спокойны, господин президент. Я был и остаюсь вашим верным...— на мгновение Дорон запнулся, подыскивая нужное слово,— генералом!

— Вот и отлично. Вы знаете, я не забываю своих друзей. Уверен в успехе. Всего хорошего, генерал.

— Дитрих, откуда он звонил? — спросил Дорон, вернув секретарю трубку.

Дитрих взглянул на пульт:

— Из усадьбы, генерал.

— Я так и понял,— сказал Дорон.— Это была пленка.

Ну, что ж, все складывается превосходно. До обеда еще оставалось время, чтобы обдумать ситуацию с Ла-Ронгом. А там уже скоро вечер...

Хм, еще пять миллиардов кларков, без которых, откровенно говоря, уже вполне можно обойтись. Чистейший подарок! Шальные деньги! Президент, вероятно, здорово боится этого Арборо. Ну и отлично! Деньги можно употребить... на того же Ла-Ронга! Превосходная мысль!

— Дитрих, сегодня хороший день.

— Так точно, господин генерал. Разрешите обратить внимание вот на это донесение?

— Что такое? Хм... «Незапланированный расход энергии в Институте перспективных проблем». В воскресенье?

— Прикажете дать взбучку?

— Зачем? Миллер просто усердствует, зря я в нем сомневался. Работает даже в воскресенье! Судя по расходу энергии, у него сегодня серьезные успехи. Поистине день чудес. Соедини меня с Миллером, Дитрих.

Пока секретарь набирал номер, Дорон успел отключиться, чтобы уточнить план обработки Ла-Ронга. Генерал терпеть не мог непоследовательности. Что бы ни происходило, а начатое дело должно быть закончено.

— Ни в лаборатории, ни дома телефон Миллера не отвечает, господин генерал.

— Странно. Не хочет, вероятно, отрываться от работы. Хорошо, успею поздравить его завтра.

И все же Дорону трудно было сосредоточиться. Он инстинктивно почувствовал, что именно сегодня ход событий повлечет его вверх. И потому он не удивился, когда Дитрих положил на стол экстренный выпуск газеты. Экстренный?! Дорон, торопливо пробежав полосы, с некоторым разочарованием отложил газету. Всего-навсего утренняя речь президента на благотворительном собрании. «Ну и энергия у старика!» — подумал он. Внезапно он снова схватил газету. Какое-то несоответствие, какая-то нелогичность... Так и есть. Он еще раз перечитал это место. «С печалью я гляжу на бурные проявления низменного инстинкта непросвещенных масс, которые так ясно сказываются в оглушительном реве толпы на регби, этой грубой, отталкивающей игре, достойной только пьяниц. Я поднимаю этот бокал (Дорон иронически улыбнулся) за то, чтобы у нас было больше больниц, церквей и школ — и меньше пьяниц! Больше воздержания от порока — и меньше упоения грубыми зрелищами!»

Дорон с досадой отшвырнул газету. Когда только эти политики научатся быть логичными! Впрочем, это в их характере — сегодня говорить одно, а завтра — нечто прямо противоположное. Но чтобы в один и тот же день! Старик явно теряет чувство меры.

— Господин генерал, вас просит президент.

— Что-о?

— Вас просит президент.

Дорон вытер вспотевший лоб. Что, если телепатия действительно существует, и стоит подумать о президенте, как он тотчас...

— Слушаю вас, господин президент.

— Генерал, сегодня весь день я думаю о вашем богопротивном дублировании и молю бога, чтобы он простил мне мой грех.

В трубке трещало, и Дорон еле слышал голос президента.

— Господин президент! — заорал Дорон.— Я не понимаю вас! Плохо слышно!

— И я решил...— Голос наконец прорвался сквозь треск помех и зазвучал так громко, что Дорон отвел трубку от уха,— ...решил с божьей помощью прекратить ваши пагубные опыты впредь до...— Голос опять пропал.

— Господин президент, господин президент! Но ведь четверть часа назад вы твердо обещали... Алло, не слышу! Можно подумать, что вы говорите из автомата!

— Я говорю из своей машины. Четверть часа назад я видел этих бедных мартышек...

— Каких мартышек?! — Дорон сел.

— ...которые, как две капли воды, похожи друг на друга, и даже родная мать не может их различить. Но если богу позволено так делать, то для нас это грех!

— Господин президент! Что с вами? Откуда вы говорите?

— Из зоопарка. Здесь так хорошо светит солнце, поют птички, и как я подумаю о том, что у нас творится... Я твердо решил. Прощайте.

— Алло, алло!

Но трубка уже безмолвствовала.

— Безумие какое-то! — Дорон был бледен.— Откуда президент звонил первый раз?

— Из усадьбы. Это точно. Показал пульт, и, кроме того, я узнал голос его секретаря Джекобса.

— Быть не может! За пятнадцать минут доехать до... зоопарка?! Я ничего не понимаю! Дитрих, немедленно выясните, где Миллер.

Когда секретарь вышел, Дорон схватил со стола пустотелую гипсовую копию статуи Неповиновения и изо всех сил запустил ею в стену. Она с грохотом разлетелась на мелкие осколки. Генерал недаром изучал научную информацию. Он знал, что психологи рекомендуют нервам именно такую разрядку.

Ла-Ронг мог еще неделю спать спокойно. Дорону было теперь не до него.

— Выяснили? — встретил он Дитриха вопросом, как только тот переступил порог.

— Прислуга отвечает, что профессор не был дома со вчерашнего вечера. Его супруга третьего дня уехала к своим старикам в Паркинсон и вернется только в субботу.

— Достать из-под земли!

— Да, генерал,— поклонился Дитрих.

— Целым и невредимым!

И тут на пульте снова зажегся желтый огонек. Дорон покосился на него со страхом.

— Вас слушают,— сказал Дитрих, щелкая рычажком.— Даю.

Он зажал ладонью микрофон.

— Господин генерал, это он сам.

— Президент?!

— Миллер.

«Надо обратить серьезное внимание на телепатию,— машинально подумал Дорон.— Она существует!»

— Профессор Миллер, хорошо, что вы позвонили.— Голос Дорона звучал почти спокойно.— У меня к вам всего один вопрос, я ищу вас сегодня с самого утра.

— Насчет президента? Ставлю вас в известность, генерал, что мной синтезировано три новых. Вместе с оригиналом в стране сейчас четыре президента.

— Что-о?! Где вы находитесь?!

— Хотел бы я знать, господин генерал.

— Зачем вы так шутите? Вы понимаете...

— А вы, господин генерал?

— Вы рискуете многим!

— Вы тоже, если сообразите, что вас тоже можно дублировать.

Дорон окаменел. Трубка выскользнула из его рук, но Дитрих успел подхватить ее. На безмолвный вопрос генерала он тихо ответил:

— Звонит из автомата. Район Строута.

— Миллер,— прошептал Дорон,— вы меня слышите?

— Да.

— Чего вы от меня хотите?

— Узнаете немного позже. Всего хорошего.

Телефон дал отбой.

5. ЗА КРУЖКОЙ ПИВА

«Денег у меня на одну маленькую кружечку, а выпить я хочу минимум две больших»,— рассуждал Фред Честер. Что же предпринять? Клуб прессы? Там не хотелось бы брать в кредит: надо держать марку. Занять у знакомых? Странное дело: у тех, которые бы дали, нет денег, а у тех, у кого они есть, не хочется занимать. Бар в «Скарабей-паласе»? Дорого. «Титаник»? Это не пивная, а какой-то конвейер по изготовлению пьяных людей. Значит, «Указующий перст». Милый и добрый «Указующий перст», где ему, Честеру, без особых переживаний всегда давали в кредит пару-другую кружек пива.

Честер и сам не заметил, что уже шагает по направлению к «Указующему персту». Это была маленькая пивная, простая пивная, без модернистских вывертасов и стилизации под океанский корабль или морг. Сюда снобы не ходили.

В «Персте» Фред взял газету, кружку пива и, дожидаясь, пока осядет пена, принялся читать.

Речь президента на благотворительном обеде. «Наш папа плодовит, как лабораторная мышь,— подумал Фред.— Час назад старик говорил по радио о регби и вот уже успел». Он пробежал статью:

«Мы слишком внимательны к телу, забыв о духе... Спорт и косметика, автомобили и авиация, целые отрасли промышленности заняты телом... даже пластические операции... где эквивалент духа?.. Вознесет ли авиация наши принципы?.. Устранит ли косметика изъяны морали?.. Кто и чем сможет сделать пластические операции наших нравов?.. Сейчас, перед лицом воинствующего атеизма Арборо и его единомышленников, мы обязаны прежде всего в интересах нации подумать о горизонтах процветания духа...»

До чего же гнусный старик! Ведь час назад он кричал по радио о том, что нация погрязла в мелком самокопании, порицал культ узкогрудых грамотеев, этих лазутчиков туберкулеза, агитировал за регби как за наиболее полное выражение национального здоровья и политического здравомыслия и упрекал Боба Арборо в строительстве библиотек вместо стадионов.

Впрочем, чему удивляться? Можно подумать, что Честер столкнулся с этим в первый раз. Было бы страшно любопытно подсунуть ему на этом благотворительном собрании команду регбистов. Что бы он тогда сказал? Но есть ли у старика действительно свое мнение хоть по какому-нибудь вопросу? Вряд ли. Он не смог бы тогда стать президентом.

Честер опустил газету, чтобы взять свою кружку, и... остолбенел. За его столиком сидел президент с женой.

— Свежее пиво? — учтиво осведомился президент у безработного репортера.

«Неужели моя прелестная Линда права, и я действительно допрыгался до белой горячки?» — пронеслось в голове Честера, но на всякий случай он ответил:

— Здесь всегда свежее пиво.

— Разрешите представиться: Карл Бум, коммерсант. Моя жена!

«Может, и в самом деле Бум?» — подумал Честер, но тут же заметил, как президент слегка подтолкнул свою супругу локтем.— «Ну, погоди, старый лицемер,— решил тогда про себя Честер.— Я отучу тебя корчить Харун-аль-Рашида и бегать «в народ»!»

И он воскликнул:

— Не может быть!

— Уверяю вас,— растерянно сказал президент, оглянувшись на Клару.

— Значит, мы однофамильцы?

— То есть?

— Я тоже Бум,— представился Честер.— Феликс Бум, зубной техник.

— Очень приятно.— «Коммерсант» и его супруга натянуто улыбнулись.

— Как вам нравится вот это? — Честер протянул газету с «горизонтами процветания».

— А что? — осторожно спросил президент.

— А то, что теперь уже всем ясно, что старый болван в глубоком маразме!

— Вы кого имеете в виду? — с некоторым беспокойством спросила Клара.

— Одного нашего общего знакомого,— не моргнув глазом, ответил Честер.

Журналист ликовал. Он понял, что ему представился наконец тот фантастический, лишь в сновидениях доступный случай, когда он может сказать самому президенту все, что о нем думает. В состоянии большого душевного подъема Фред осушил кружку пива, тут же потребовал вторую и, навалившись грудью на липкий столик, начал:

— Объясните мне, пожалуйста, кого мы поселили в Доме Власти? Кто это такой? Нет, нет, не надо мне перечислять знаменательные даты его биографии с предвыборного плаката, от которого тошнит каждого приличного гражданина,— надеюсь, вас тоже. Что он за человек? Каковы его взгляды?

— Ну, как же...— смущенно сказала жена президента.— Он истинный христианин, любящий муж и отец...

— Отцом может быть любой негодяй,— перебил Честер, даже не догадываясь, какую глубокую травму он наносит жене президента.— Согласитесь, мадам Бум: чтобы стать президентом, недостаточно быть всего лишь отцом, как недостаточно быть только президентом, чтобы превратиться в отца!

Клара, по лицу которой пронесся весь спектр существующих в природе цветов, чуть не упала со стула.

— Наш президент — демократ! — сказал президент, очнувшись от потрясения.— Он тонкий политический стратег, теоретик в области финансов...— И президент напряг склеротическую память, вспоминая сведения из предвыборных агитброшюр.

— И гуманист,— добавила жена.

— И гуманист,— согласился президент.

— Этот зажравшийся сноб — демократ? — воскликнул Честер.— За всю жизнь он не пожал руку ни одному рабочему человеку, за исключением тех случаев, когда его фотографировали. Этот демократ за все свое президентство не преодолел по земле и мили собственными ногами. А зачем демократу целая шайка телохранителей, вооруженная огнеметами, газами, лазерами, глазерами и другими шмазерами?

— Но политические враги...— начал было робко президент.

— Какие враги? — горячо перебил Честер.— Вы верите в эти сказки? Как, по-вашему, господин Бум, можно ли всерьез говорить о вражде кукол в театре марионеток?

— Вы забываетесь! — выдохнула Клара.

— Ничуть! Ссориться могут лишь актеры, дергающие за ниточки.

— Уж не хотите ли вы сказать, что я...— перебил президент.

— Помилуй бог,— в свою очередь, перебил Честер,— вы мне глубоко симпатичны, и я никоим образом не хотел бы обидеть вас, господин Бум.

— Я хочу сказать, что из ваших слов явствует, что президент — лицо пассивное и ничего не решающее.

— Совершенно верно! — улыбнулся Честер.— Я рад, что помог вам разобраться в этой простой проблеме.

— Но если президент ничего не решает, как объясните вы ожесточенную борьбу за этот пост? — не скрывая неудовольствия, спросила Клара.

— Так ведь Боб Арборо — такой же законченный кретин. У него единственное преимущество: он моложе. Если же исключить физиологию, они абсолютно одинаковы: два близнеца из одной политической банды.

— Но Арборо...— начал было президент, однако Честер тут же перебил его:

— Не рассказывайте мне об Арборо. Я уже все о нем знаю. Вот, читайте! — Честер сунул под нос президенту газету:— «Тонкий стратег на полях политических битв... Демократ, в жилах которого бьется пульс его народа... Знаток права... Теоретик юриспруденции...» И, разумеется, «гуманист»!.. Прочитали! Каково? А? Я спрашиваю, каково бедному избирателю, которому приходится выбирать между этими двумя подонками? Неужели им так сложно хоть чуть-чуть пофантазировать?

— Кому «им»? — осторожно спросил президент.

— Ну, тем, кто дергает за ниточки.

— Если бы я был президентом...— торжественно начал президент, но в это время официант попросил Фреда к телефону.

— Простите, мистер Бум,— извинился Фред,— подождите одну минуту. Мне страшно интересно было бы узнать, что́ бы вы предприняли, будучи президентом.— И он встал из-за стола.

«Кто бы это мог звонить?— думал Честер, шагая к телефонной будке.— По всей вероятности, кто-нибудь из друзей, которым известны две мои тайны отсутствие денег и кредит в «Указующем персте» Только бы не уполз президент, пока я буду говорить по телефону!»

Он поднял трубку:

— Алло! Честер слушает.

— Привет, старина! — Этот голос он узнал сразу.

6. МИНИСТР ИЗОБРЕТАЕТ ЗАГОВОР

Две машины, стрельнув по фасаду бликами ветровых стекол, въехали во двор президентской усадьбы почти одновременно. Дорон, ковыряя носком трещину в асфальте, ждал, пока вылезет министр. Из распахнутой дверцы второй машины появился наконец сам министр внутренних дел Эрик Воннел. Он отчаянно щурился. Круглые очки на крючковатом носу, перышки седых волос, торчащие в разные стороны, делали его похожим на вспугнутого филина. К груди министр прижимал пухлый портфель.

— Э... э... дорогой генерал...

Переваливаясь, Воннел подошел к Дорону и, взяв его под локоть, увлек в тень от дома.

— Уф! — Он вытер платком пот.— Я все еще не могу прийти в себя после вашего звонка. Рассказывайте.

Дорон покосился на министерскую машину. Из окон вились струйки сигаретного дыма. Четверо дюжих молодцов на заднем сиденье, уперев локти в колени, затягивались, как по команде, разом вспыхивая четырьмя огненными точками. Раскаленный двор был пуст. Только на крыльце стоял, широко расставив ноги, охранник и выжидающе глядел на министра и генерала.

— Все, что мне известно, я доложил вам по телефону.

Воннел хмуро кивнул.

— Согласитесь, однако, что это похоже на бред.

— Буду рад, если это окажется бредом.

— Невероятно! Все так спокойно... Мы можем попасть в дурацкое положение.

— Вы скажете, Эрик, что приехали с экстренной проверкой состояния охраны.

— И прихватил вас, Артур, чтобы потом вместе отправиться на рыбалку? Блестящий вариант.

Он поманил охранника. Тот приблизился с достоинством каменной статуи и металлическим голосом, четко по-уставному, не меняя тональности, произнес:

— Господин - министр - прикажете-доложить-о-вашем - приезде-господину-секретарю-господина-президента?

Секунду министр разглядывал охранника.

— Президент у себя?

— Так-точно!

— Не беспокоить. Где Джекобс?

— В-приемной!

— Не предупреждать! Мы пройдем к нему сами.— Воннел повернулся к Дорону.— Идемте. Там хоть прохладно. Ох, что будет, если вы... Что будет!

— Ничего не будет,— мрачно сказал Дорон.— Просто вы заявите, Эрик, что я сошел с ума.

— А что, я так и сделаю,— серьезно сказал министр,— но у вас, генерал, еще осталось несколько секунд, чтобы подумать, не померещилась ли вам эта сказка с дублированием.

— Это не сказка, Воннел. Это наука.

Навстречу им шел Джекобс.

— Тем хуже. Здравствуйте, Джекобс! Как ваше здоровье, старина?

— А ваше, господин Воннел? И господин генерал тут? Вы одни?

Министр вопросительно посмотрел на Дорона, Дорон — на министра. Джекобс с безоблачной улыбкой смотрел на обоих. Из кармашка его жилета торчал окурок сигары. Они вошли в приемную.

— Один ли я? — переспросил Дорон.— Разве я могу быть сам-два?

— Почему бы и нет? (Дорон вздрогнул.) «Я», как известно, есть «я» материальное и духовное, а потому...

— Ах, как жарко на улице! Президент, надеюсь, чувствует себя хорошо? — перебил министр.

— Прекрасно, Воннел, даже слишком! — Джекобс кивнул головой.— Они будут рады вас видеть.

— Они... кто?

— Разве я сказал «они»?

— Да, сказали.

— Ах, это все лекарства Креера. «Мы, божьей милостью». Туманят голову.

— Какие лекарства?

— Президентские. Я тоже их выпил.

— А почему их пил президент? — спросил Воннел.— Ведь вы сказали, что он прекрасно себя чувствует?

— Смотря кто,— загадочно произнес Джекобс.

Разговор явно зашел в тупик.

— Скажите, Джек,— мягко начал Дорон.— Президент куда-нибудь сегодня уезжал?

— Конечно. Они уехали на благотворительное собрание, выступать на радио и с сыном в зоопарк. В трех машинах. А сейчас президент сидят у себя в кабинете.

— Нет, нет, Джекобс! — Воннел прижал к груди портфель, словно ища защиты.— О, боже мой! Он всякий раз уезжал отсюда?

— Ну да, господин министр. Уехать можно только оттуда, откуда можно уехать. И он был бы рад вас видеть, если бы с утра, как он мне сам сказал, не был занят чтением бумаг.

— С самого утра?!

— Разве я могу не верить своему президенту?

Министр и Дорон переглянулись.

— Джекобс,— осторожно сказал министр.— Как

может президент с утра быть в кабинете, если он уехал?

— Может. Если философы говорят «может»,— значит, так оно и есть.

— Какие философы?

Джекобс скромно промолчал.

— К черту!— воскликнул Дорон.— Расскажите все по порядку, когда и куда уезжал президент.

Джекобс стал добросовестно называть время каждого отъезда. Воннел поспешно застегнул верхнюю пуговицу рубашки, щелкнул портфелем. «Магнитофон,— тотчас понял Дорон.— Предусмотрителен, бестия!»

— Благодарю вас, Джекобс. Вы свободны. Идите отдыхать.

— Я могу потребоваться президенту.

— Не можете.

— Блажен тот, кто думает, будто он думает за других.

— Государственная служба, Джекобс! — строго произнес министр.

— Ах, служба! В воскресный день! Сочувствую. Такая жара... Может, хотите освежительного?

Воннел чуть не вытолкал Джекобса за дверь.

— Вы правы, Дорон,— сказал он почему-то шепотом.— Типичный заговор! Ну, погодите! — И он потряс в воздухе кулаком. Потом нажал кнопку селектора, соединяющего с комнатой охраны.— Командира охраны ко мне!

У командира охраны О'Шари было заспанное, отекшее лицо. Но достаточно было одного взгляда министра, чтобы оно разгладилось, как под утюгом.

— О'Шари! — В голосе министра звенел металл.— Куда отбыл президент?

— На собрание благотворительного общества! — бодро отчеканил О'Шари.

— Кто с ним в охране?

— Пэл и Андерсон.

— Вернулись?

— Никак нет.

— Были другие вызовы?

— Не могу знать. Я отправил президента с охраной и пошел отдохнуть.

— Вы отметили выезд в журнале?
— Так точно.
— Кому поручили дежурство?
— Грегу.
— Ко мне!
— Слушаюсь.

Грег, полный человек добродушного вида, сразу смекнул, что сейчас потребуется вся его находчивость. Но внешне это никак не отразилось на его лице: он казался олицетворением спокойствия.

— Грег! Куда отбыл президент во время вашего дежурства?
— На радио, господин министр.
— А еще?
— В зоопарк, господин министр.
— Охранники вернулись?
— Нет.
— Вы знали о том, что до вашего дежурства президент отбыл еще на благотворительное собрание?
— Конечно. По книге регистраций.
— Вас не удивил короткий промежуток времени между вызовами?
— Я исполняю приказания, господин министр.
— Но вы думали об этом?
— Я обязан думать об охране президента.
— Где же сейчас президент?
— В своем кабинете.
— А ваши люди, которых послали с ним на собрание, на радио и в зоопарк?
— В городе.
— С президентом?
— Совершенно верно.
— Вы в этом убеждены?
— С ними поддерживается радиосвязь. По инструкции.
— Значит, президент находится сейчас сразу в трех местах?
— В четырех. Вы забыли, что он у себя в кабинете.
— Грег! Как может президент быть одновременно в четырех местах?!
— В связи с этим у меня имеется жалоба сенату.
— Жалоба?! Сенату?! На кого?!
— На вас, господин министр.
— Что-о?!

— Так точно. Не мое дело знать государственную необходимость, которая заставила президента поступать таким образом, как он поступает. Но, поскольку его планы затрагивают вопросы охраны, секретариат обязан был информировать нас заранее. А он не информировал. Налицо явное нарушение сенатской инструкции.

Дорон едва удержался от смеха: так забавно выглядел потерявший дар речи Воннел.

— Да, вы правы,— судорожно глотнув воздух, сказал министр.— Я разберусь. Идите.
— Слушаюсь.

Грег круто повернулся.

«Хорошая все-таки вещь бюрократия»,— подумал министр.

— Стойте, Грег! А почему вы не позвонили мне, когда узнали, что президент совершает незапланированные поездки?

— Во-первых, господин министр, согласно вашей инструкции, параграф 17-й, пункт «Б», охрана повинуется президенту, а не президент охране. Во-вторых, господин министр, согласно параграфу 21-му, пункт «V», подпункт XXXVII, начальник охраны имеет право обратиться лично к вам лишь в случае возникновения ситуации, угрожающей безопасности президента. Такой ситуации не возникало. В-третьих, в инструкции нет параграфа, требующего...

— Хватит! Можете быть свободным.

— А что,— спросил Дорон, когда за Грегом затворилась дверь,— действительно таков порядок, что президент ставит в известность охрану о своих планах через вас?

— Да, таков порядок, и он не так глуп, как кажется с первого взгляда. Охрана не может знать, где президенту опасно быть, а где не опасно. Это знаем мы. Впрочем,— спохватился Воннел,— какое это сейчас имеет значение?

— Вы правы: никакого.

— Не сказка! Не сон! — Воннел забегал из угла в угол, снова прижимая к себе портфель.— Один президент в кабинете. Второй смотрит кенгуру. Третий где-то на радио. Четвертый пьет на благотворительном банкете антиалкоголиков. Четыре президента. О, бог мой, что же делать?

— Убрать лишних, пока об этой истории никто не узнал.

— Как вы сказали? Убрать? — Министр остановил свой бег и подозрительно посмотрел на Дорона.— Вот что, генерал. Я не знаю, как появились лишние президенты. Я не знаю, кто их создал. Я не знаю, зачем. Я знаю одно: в этом деле замешаны вы!

— Я? Но, позвольте, Воннел...

— Профессор — ваш. Не так ли? Установка — ваша! Не так ли?

— Но ведь я...

— Сообщили об этом. Разберемся. Я далек от подозрений, но, сами понимаете, государственная служба!

— Что вы собираетесь делать?
— Сейчас узнаете.

Воннел коснулся одной из пуговиц своей рубашки, и четверо приехавших с ним людей разом вошли в комнату. Сразу стало тесно.

— Вот! — Министр покопался в портфеле и вынул оттуда какую-то бумажку.— Срочно пригласите всех по этому списку. Сюда. Инструкция, как это сделать, там есть. Далее: немедленно вызвать в усадьбу команду «АС». Президентской охране передать приказ: исполнять обязанности, как обычно. Охрану шоссе, Дома Власти, радио, телеграфа, всех аэродромов и банков возложите на своих людей. Группе из «АС» взять на себя правое крыло здания, вашим людям — левое. Дополнительные распоряжения я дам, когда потребуется. Супругу президента пригласить ко мне. Полк «Моргинг» привести в состояние боевой готовности. И еще...— Министр понизил голос так, чтобы Дорон не смог расслышать ни слова: — Ясно? Действуйте!

Четверо вышли так же безмолвно, как и вошли.

— Воннел, можно задать вам один вопрос? — сказал Дорон.

— Догадываюсь, какой, и потому сразу на него отвечу: арестовывать вас я не собираюсь.

— Я хотел спросить не это, поскольку знаю, что нет закона, по которому вы могли бы меня арестовать.

— Вы правы, генерал. Формально я не могу задержать ни вас, ни даже вашего Миллера, пока не будет установлен факт заговора. Но к чему нам с вами эти формальности?

— Вам, может быть, и ни к чему,— обескураженно начал Дорон, но Воннел его бесцеремонно перебил:

— Вы что-то хотели спросить?
— Да. Как вы решили поступить с президентом?
— Решать буду не я. Решать будут...— И министр ткнул пальцем куда-то вверх.
— Совет?
— Совет.

— Ну, что ж...

Дорон снял трубку телефона.

— Алло! Мне... Что? Вот так... Поздравляю,— буркнул генерал, кладя трубку.— У вас расторопные ребята. Но мне нужно связаться с городом.

— После решения Совета.

— А если я не...

— Не советую.

— Воннел! Вы забыли, что я — Дорон!

— Генерал! Не забывайте, что я — министр!

В дверь постучали. Просунулась коротко стриженная голова одного из людей Воннела.

— Госпожа президентша, шеф, по свидетельству ее горничной, с утра отбыла в город.

— В город? Передайте Джекобсу: когда она вернется, пусть он ей скажет, что неотложные дела помешают президенту быть с ней сегодня ночью.

Голова исчезла.

— Я отправляюсь к президенту, генерал,— сказал Воннел.— К тому, что здесь, в кабинете. Можете не сопровождать меня.

Шаг министра был тверд, а в мыслях была решительность. Но когда он вошел в кабинет, и президент поднял голову, и Воннел увидел знакомое до мельчайших черт лицо, его взяла оторопь. Несмотря на объяснения Дорона, он никак не мог поверить, что копии тождественны оригиналу; он ожидал встречи с чем-то поддельным, фальшивым, с двойником, которого нетрудно будет взять за шиворот. Но на него,— Воннел был готов поклясться,— выжидающе и зло смотрел настоящий президент.

— Однако...— сказал президент, постукивая костяшками пальцев по столу.— Чем вызвано ваше появление, Воннел, да еще без сопровождения Джекобса?

— Простите.— Воннел зачем-то снял очки, повертел их, надел обратно.— Я хотел только сказать...

— Разве вам не сказали, что я занят?

Воннел сжал ручку портфеля, будто портфель у него уже отбирали, и принялся лихорадочно искать в чертах президента что-то необычное, что-то такое... он и сам не знал, что. Наверное, что-то такое, что позволило бы ему выйти из-под гипноза привычного подчинения, что помогло бы ему низвести президента с престола власти и превратить его в двойника, в копию, в человека, стоящего вне закона.

— Поистине, сегодня день чудес! — не дождавшись ответа, сказал президент и откинулся на спинку кресла.— Ну, уж раз пришли — докладывайте, а не молчите.

— Как вы сказали, господин президент? День чудес? — Невидимая броня вокруг президента треснула, и Воннел почувствовал некоторую твердость в ногах.— Господин президент,— выпалил он,— раскрыт заговор против вас!

— Заговор?— Президент удивленно поднял брови.— Раскрыт? Это что еще за веселые картинки?

— Прошу отнестись к факту серьезно,— нервно сказал Воннел, поглядывая на часы.— Вам придется перейти в правое крыло здания. Тут небезопасно.

— Прежде доложите, в чем дело. И позовите сюда Джекобса. Я уже пять минут нажимаю кнопку, но он оглох, старый индюк!

Этой минуты Воннел боялся больше всего. Кем бы ни был человек, сидящий перед ним,— копией, двойником или даже авантюристом, но он сидел в кресле

президента, он был президентом, главой государства. Воннел замахивался на святая святых любого чиновника — на власть! Поэтому на мгновение им вдруг овладела трусливая мыслишка — сбежать, предоставив событиям течь своим чередом. Но умом он понимал, что это уже невозможно.

— Пока не имею права,— глухо сказал Воннел. По его спине щекотно побежали струйки пота.— По воле обстоятельств сейчас вступил в силу (Воннел в отчаянии уже не следил за речью) пункт инструкции о мерах по вашей безопасности, господин президент, которому вы, как и я, должны подчиняться и который на несколько часов потребует принятия чрезвычайных мер...

— Ничего не понимаю! — раздраженно замахал руками президент.— Пункт «В», что ли?

— Именно он, господин президент!

— Но я не хуже вас знаю эти пункты. Там не сказано, что министр внутренних дел не должен информировать президента.

Путей к отступлению у министра уже не было. Или— или. Воннел, похолодев, пошел ва-банк:

— Господин президент! Мы теряем драгоценное время! Я все потом вам объясню, но у меня нет сейчас ни секунды, все зависит от срочности мер!

И он, решительно вцепившись в рукав президента, чуть ли не потащил его за собой.

— Не сходите с ума, Воннел! — Президент брезгливо высвободил руку.— Будь я президентом какой-нибудь банановой республики, я бы решил, что мой министр задумал осуществить государственный переворот, снюхавшись с каким-нибудь Бобом Арборо.

— Как вы могли подумать?!

— А я и не думаю так. Но, согласитесь, ваше поведение выглядит странно. Я полагаю, независимо от каких бы то ни было заговоров вы представите мне прошение об отставке. А сейчас исполните свой последний долг, как гражданин моей страны, и покиньте кабинет президента. Я никуда отсюда не уйду!

— И я тоже,— неожиданно твердо произнес Воннел.

— Что ж тогда будет? — спросил президент, кисло улыбнувшись и подумав о том, что почему-то в минуты мрачных предчувствий совсем не так он представлял свое свержение.

— Тогда вас убьют! — в полном отчаянии закричал Воннел.— Надо бежать!

— Куда бежать? Кто убьет? Отдайте приказ охране, вызовите войска...

— Не могу! Тут замешаны такие люди... Умоляю вас, господин президент!

...Когда через десять минут Воннел спустился в Мраморную комнату, он был уже не министр, а тень министра. Его рубашку можно было выжимать.

— Разрешите доложить! — Воннел бессмысленно уставился на коротко остриженного молодого человека с холодным, энергичным лицом.— Машина президента подъезжает к усадьбе.

Воннел закрыл глаза и тихо застонал.

— Разрешите доложить! — раздалось ровно через секунду.— Члены Совета вылетели сюда!

...Спустя сорок минут затянутый в черную пару министр внутренних дел Воннел переступил порог президентского конференц-зала. Едва держась на ослабевших ногах, он все же стал навытяжку, как до этого стояли перед ним охранники.

— Господа члены Совета,— осевшим, но твердым голосом сказал он.— Должен сообщить вам пренеприятную новость. Здесь, в этом доме, сейчас находятся четыре президента нашей страны.

7. ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ ХАОСА

Миллер нервно ходил по комнате из угла в угол.

— Целых полдня страной управляют четыре президента,— говорил он,— и никто не обращает на это внимания, никто ничего не замечает! Не странно ли это? Я отказываюсь что-либо понимать.

— Люди всегда были для меня самой большой загадкой,— философски заметил Чвиз.— В их поведении есть что-то иррациональное.

— Все в мире имеет свои причины, коллега — энергично возразил Миллер.— В том числе и поступки людей. Но мы не всегда их знаем. Вот и сейчас эти причины ускользают от нас, хотя нам казалось бы, все ясно: еще утром президент в одной речи говорил одно, а спустя час — совершенно другое, между тем народ...

— А что мы знаем о народе, профессор? — перебил Чвиз.— Я старше вас, но даже я имею о нем весьма смутное представление. Хотя, казалось бы...

Он умолк, и оба ученых, как будто сговорившись одновременно пожали плечами. Было от чего прийти в недоумение! Два часа назад Таратура принес свежие газеты, где была напечатана речь президента на благотворительном собрании. Теперь, когда каждое слово, произнесенное главой государства, живо интересовало ученых, они вслух прочитали речь, должно быть, впервые в своей жизни пытаясь вникнуть в ее смысл. Но когда через час радио передало новую речь президента, Миллер слушая ее, с удовольствием потирал руки и подмигивал Чвизу.

— Вот оно! Вот, вот! Начинается! — воскликнул Миллер.

И что же? Прошли пять минут, потом десять, и уже миновал целый час, и второй — и ничего! Никто не выступил вслед за президентом, даже его ярый противник Боб Арборо, и не заявил, что, мол, наш президент спятил. Тишина. Город живет нормальной жизнью, на улицах не собираются толпы народа, не парализуется транспорт, не рушатся стены, не сползают крыши с домов.

— Наивный вы человек, Миллер,— покачал головой старый Чвиз.— Неужели вы думаете, что кто-нибудь всерьез обращает внимание на слова президента да еще во время предвыборной кампании!

— Но такие противоречия! Они сами бросаются в глаза!

— Ну и что? —спокойно сказал Чвиз.— Все давным-давно привыкли к тому, что сегодня говорится одно, завтра — другое, а делается совсем третье, и если уж стоит серьезно относиться к чему-то, так лишь к тому, что делается.

— Да, мы не подумали об этом,— мрачно произнес Миллер.— Очень может быть, что появление нескольких президентов само по себе еще не вызовет замешательства, на которое мы рассчитывали. Необходимо предпринять что-то дополнительное. И как можно скорее.

— Я думаю, лучше всего дождаться возвращения Таратуры,— возразил Чвиз.— Возможно, все дело в том, что события просто развиваются не столь быстро, как мы ожидаем. Может быть, что-то уже происходит, но из нашего подполья этого не видно. Давайте подождем.

— Кажется, стучат? — встрепенулся Миллер.

— Нет, нет, успокойтесь. Я дал Таратуре ключи от двери.

В этот момент отворилась дверь и в комнату бесшумно вошел Таратура. Он был спокоен, но выглядел несколько обескураженным. Миллер и Чвиз вопросительно посмотрели на него.

— Все тихо,— сообщил Таратура, подходя к столу и присаживаясь на край стула.— В городе и, судя по всему, по всей стране все как обычно.

— Откуда вы знаете? Вы с кем-нибудь говорили? — спросил Миллер.

— С буфетчиком в баре. С шофером такси. Старался навести их на эту тему. Намекал. Результат — ноль.

— Буфетчик, шофер...— протянул Миллер.— А к кому-нибудь рангом повыше?

— Скажите, шеф,— неожиданно спросил Таратура,— Честер, по-вашему, умный человек?

— Да,— после некоторой паузы твердо сказал Миллер.

— Кто этот Честер? — живо поинтересовался Чвиз.

— Бывший журналист,— сказал Таратура.— Замечательный парень! Уж этот-то все знает и все понимает. Я могу позвонить ему, шеф.

— Ну что ж, это идея,— сказал Миллер.— Она мне нравится еще и потому, что нам сейчас нужно столкнуть один камень, чтоб начался обвал. И ваш Честер — вполне подходящая фигура. Звоните, Таратура!

— Отсюда?! — с ужасом воскликнул Таратура.— Мы же мгновенно завалимся!

— Как, как? — спросил Чвиз.— Завалимся? А что это значит?

— На языке преступников — «погорим»,— объяснил Таратура.

— «Погорим»? Впрочем, я догадываюсь,— сказал Чвиз.— Нас обнаружат и свяжут по рукам и ногам. Так? На чудный жаргон мы с вами переходим, ничего не скажешь!

Миллер улыбнулся.

— Какие ж мы преступники, если этого никто не хочет замечать? Ничего. Звоните отсюда. При всем могуществе Дорона прослушивать сразу восемь миллионов телефонных аппаратов невозможно. А брать на особую заметку этот... С какой стати?

И он протянул телефонную трубку Таратуре. На том конце провода трубку подняла Линда. Таратура сразу узнал голос супруги Честера.

— Добрый день, Линда,— сказал он.— Мне нужен Фред.

— Мне он тоже нужен,— ответила Линда.— А с кем я говорю?

— Со старым его другом, поэтому я знаю вас, но мое имя вам ничего не скажет.

— Если вы действительно его старый друг,— сказала жена Честера,— вы можете найти Фреда по количеству денег, с которыми он вышел на улицу.

— Сколько же миллионов он взял с собой? — спросил Таратура.

— Все мое состояние,— ответила Линда.— Пять лемов. Будьте здоровы.

И в трубке щелкнул отбой.

— Ну? — спросил Миллер.

— Будем искать,— ответил Таратура.— Однако где мне его искать? Он вышел из дому, имея пять лемов в кармане, это значит на одну кружку пива. Следовательно, ни в «Титанус», ни в «Скарабей-палас» он войти не мог. Нужно звонить в «Золотой зуб».

Таратура извлек из кармана записную книжку, пролистал две-три странички и вновь поднял телефонную трубку. На этот раз ему пришлось изменить свой голос:

— «Золотой зуб»? У вас нет Фреда Честера? Не заходил? Благодарю вас. Не позвонить ли мне в

«Указующий перст»? — сказал Таратура, безрезультатно набрав номера еще двух или трех заштатных кабачков.— Алло! «Перст»? Если вы хотите доставить мне крохотную радость, поищите под столиками Фреда Честера.

И ровно через три секунды Честер взял трубку:

— Слушаю.

— Здорово, Фред! — воскликнул Таратура.— Я очень рад тебя слышать, старина!

— Таратура? — удивился Честер.— Как тебе удалось меня разыскать?

— Я звонил сначала Линде.

— Что она тебе сказала?

— Она сказала, что у тебя пять лемов в кармане.

— Преувеличила ровно вдвое.

— А потом мне пришлось покрутить телефонный диск,— сказал Таратура.

— Что-нибудь случилось? — спросил Честер.

— Как тебе сказать? У меня — ничего, но я хотел спросить, не знаешь ли ты каких новостей.

— Ты что же, решил отбивать у меня хлеб и поступил в репортеры?

— Мне не до шуток, Фред. Я потом тебе все объясню.

— Ну что ж, если хочешь серьезно, то вот тебе потрясающая новость: за два лема я наливаюсь пивом по самое горло.

— Но у тебя же в «Персте» кредит, Фред, я действительно серьезно...

— Ах, как ты недогадлив, Таратура! При чем тут кредит! Знаешь, кто за меня платит?

— Знаю,— сострил Таратура.— Президент.

— Ты что, с ума сошел? — потрясенным голосом ответил Честер.— Ты тоже был в «Персте»?

— Почему «с ума»? — возразил Таратура.— Сейчас президентов, как нерезаных собак.

— А я-то обрадовался! — перебил Честер.— Понимаешь, увидел президента с его Кларой и думаю...

— Подожди, Фред,— ничего не понял Таратура,— какого президента? Где?

— Здравствуйте,— сказал Фред.— Начнем все сначала. Я сижу в «Указующем персте» и наливаюсь пивом за президентский счет. А президент со своей очаровательной супругой — рядом. Ты понял?

— Не может быть! — воскликнул Таратура и, зажав трубку рукой, быстро сообщил Миллеру и Чвизу невероятный факт.— Старина, ты не ошибаешься?

— Как и в том, что говорю именно с Таратурой, а не с Линдой.

— Спросите его, Таратура, что сейчас делает президент! — возбужденно произнес Миллер.— И как выглядит!

— Кто это у тебя там путается в разговор? — сказал Честер.

— Я звоню от приятеля,— ответил Таратура, энергично показывая знаками Миллеру, чтобы тот говорил тише.— А что делает президент?

— Боюсь, пока мы тут болтаем, он смотает удочки, тем более, что я уже успел сказать ему, что он кретин.

— Да ну?!

— Он выдает себя за какого-то «коммерсанта Бума», и это облегчает мне возможности. Но его незабвенная Клара, скажу тебе, это женщина!

— Послушай, старина, я хотел бы взглянуть на них собственными глазами.

— Не успеешь. Они собираются уходить. Ты на машине?

— Задержи их, Фред, ровно на полторы минуты. Я в двух шагах от тебя, мне ходу секунд сто.

— Ну, если так, валяй, я что-нибудь изобрету.

Таратура бросил трубку на рычаг и стремительно поднялся. Но Чвиз сказал:

— Если вы собираетесь туда идти, я посоветовал бы вам обдумать это обстоятельство.

Таратура и сам понимал, что предприятие было рискованным. В охране президента уже могли быть люди Дорона, знающие Таратуру, и отвертеться потом от хвостов будет невероятно сложно. Открывать же место, где прячутся Миллер и Чвиз, равносильно самоубийству.

— Кроме того, какой вообще смысл туда идти? — сказал Чвиз.— Проверять вашего приятеля? Я не думаю, чтобы он обманывал... Но президент — и сидит в каком-то захудалом кабачке да еще за одним столом с отставным репортером!..

— Да, да, господа,— торжествующе произнес Миллер,— в обычных нормальных условиях такое решительно невозможно. А если это все же произошло, значит, что-то уже нарушилось. Начинается, господа, начинается!

8. ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Последней фразой коммерсанта Бума было:

— Молодой человек! Образ ваших мыслей представляется мне антипатриотичным и недостойным гражданина великой страны! Но вас оправдывает ваша молодость! (Хотя Честер, имея за плечами ровно тридцать три года, уже давно не считал себя мальчишкой.)

После этого президент упорно выставил локоть, на который тут же оперлась Клара, и направился к выходу. Супруга президента тоже не одарила Честера своей знаменитой улыбкой, потому что, во-первых, не разделяла его взглядов на президента и, во-вторых, Честер, откровенно говоря, никогда не считался красавчиком.

В потном кулачке президент держал зажатыми десять лемов, которые с видом кутящего миллионера вручил швейцару, распахнувшему двери «Указующего перста». Единственная фраза, которую успел Честер крикнуть президенту вдогонку: «Но, согласитесь, господин Бум, что страну, которая позволяет управлять собой законченному кретину, нельзя назвать великой!» — эта фраза не принесла видимого удовольствия ни уходящей паре, поскольку фразу Честера президент воспринял, как обычную грубость, ни самому Честеру, которому показалось, что он слишком мягко выразился.

А Таратуры все не было. «Вот болван! — подумал Честер, так как ему пришлось буквально выворачивать себя наизнанку, чтобы задержать президента на лишние десять минут.— Метал бисер, и все, оказывается, зря!»

Между тем негодование президента и его супруги было отчасти успокоено экзотическим финалом этого невероятно экзотического дня: поездкой на такси. Как и утром, они тут же остановили машину с тремя синими шашечками на желтом фоне и получили возможность еще раз насладиться потрясающей поездкой.

Президент, право, не мог припомнить, сколько десятилетий тому назад он в последний раз пользовался такси (и пользовался ли вообще?), и потому вся процедура остановки неизвестной машины с неизвестным шофером, посадка в нее, когда шофер не позволил себе даже пошевелиться, чтобы распахнуть дверцу, щелканье счетчика — решительно все сделало поездку жгуче любопытной. В своем автомобиле президент ездил обычно с несравненно меньшими удобствами потому, что со всех сторон бывал зажат телохранителями и ужасно потел в тесноте. Тут же было просторно, уютно, не гудел радиотелефон, а шофер и не думал каменеть от ответственности за судьбу главы государства, поскольку не понимал, что его нога, упертая в акселератор, держит эту судьбу, образно говоря, в своих руках. Президенту втайне хотелось, чтобы шофер узнал его, он все поворачивал к нему лицо и много раз начинал заговаривать, но шофер лишь мычал в ответ что-то нечленораздельное, явно пренебрегая разговором с этим навязчивым и шустрым пассажиром. Короче говоря, он так и не признал в президенте президента, даже когда они подъехали к усадьбе и потрясенная охрана взяла под козырек.

Первый человек, которого дома увидел президент, был Джекобс.

— Добрый вечер, Джи,— бодро приветствовал глава государства своего секретаря, поскольку день действительно шло уже к вечеру, и вдруг добав-

фразу, которой сегодня еще не произносил, до сих пор не видя Джекобса: — Старина, ты преотлично выглядишь!

Джекобс посмотрел на супругов странно туманным взглядом, потом светло улыбнулся и сказал:

— Господа, весьма польщен, но для всех вас у меня уже нет достойных ответов.

И, закрыв глаза, низко поклонился, чего с гордым Джекобсом никогда не случалось.

— Вы себя плохо чувствуете, Джи? — участливо спросила Клара, и тревога действительно прозвучала в ее голосе.

— Я? — спросил Джекобс и приоткрыл один глаз.— Я-то что! Вы спросите, Клара, как чувствуют себя сенат, биржа и генеральный штаб!

Он открыл наконец оба глаза.

— Какие-нибудь новости? — быстро спросил президент.

— О, матерь божья!— воскликнул старый слуга.— Он еще спрашивает! Воистину родитель новости узнает о ней в последнюю очередь, поскольку, рожая, не знает, что это новость, а знал бы, так не стал бы рожать.

— Кого рожать?— не поняла Клара.

— Ларошфуко,— не моргнув глазом, ответил Джекобс.— Эта мысль принадлежит ему.

— Да что случилось, наконец! — не выдержал президент.— О каких новостях ты говоришь, выживающий из ума болван?

— Благодарю покорно,— сказал Джекобс обиженным тоном.— Вы уже давно, господин президент, не обласкивали меня такими словами, но сегодня вы сами все посходили с ума. Да, Клара, чуть не забыл, мне велено передать вам, что сегодня господин президент не будет с вами ночевать.

— Но кто посмел «велеть»?! — вскричал президент, почувствовав, что задеты одновременно и честь мужчины и честь главы государства.

— Не горячитесь, Кен,— печально улыбнулся старый Джекобс.— Я тоже могу погорячиться, но у нас просто неравные силы! Я — один, а вас — много.

— Не понимаю,— вмешалась Клара,— кого «вас»?

— Кенов,— невозмутимо произнес Джекобс.

— Он и впрямь свихнулся,— шепнул президент супруге.— Иди к себе, дорогая, я сам разберусь в случившемся. Впрочем, я так устал сегодня, что отложу-ка я дела на потом. Мы идем вместе, Клара! Джи, проводи нас наверх.

— Простите, Кен,— сказал вдруг Джекобс,— вам не кажется, откровенно говоря, что президентов слишком много даже для такой большой страны, как наша, а секретарь у них всего лишь один?

— С ним бесполезно сейчас объясняться,— шепнула Клара президенту.

— Глав государства ровно столько,— официально сказал президент,— сколько положено по конституции. А ты, Джи, пока неплохо справлялся со своими обязанностями.

— Кен, скажите, мы с вами друзья? — грустно спросил Джекобс.

— Конечно! — демократично воскликнул президент.

— Тогда скажите по совести: какой вы по счету президент?

— Что значит «какой»? — оторопел глава государства.— Это же всем известно!

— Уже?! — воскликнул Джекобс.— И Клара тоже знает?!

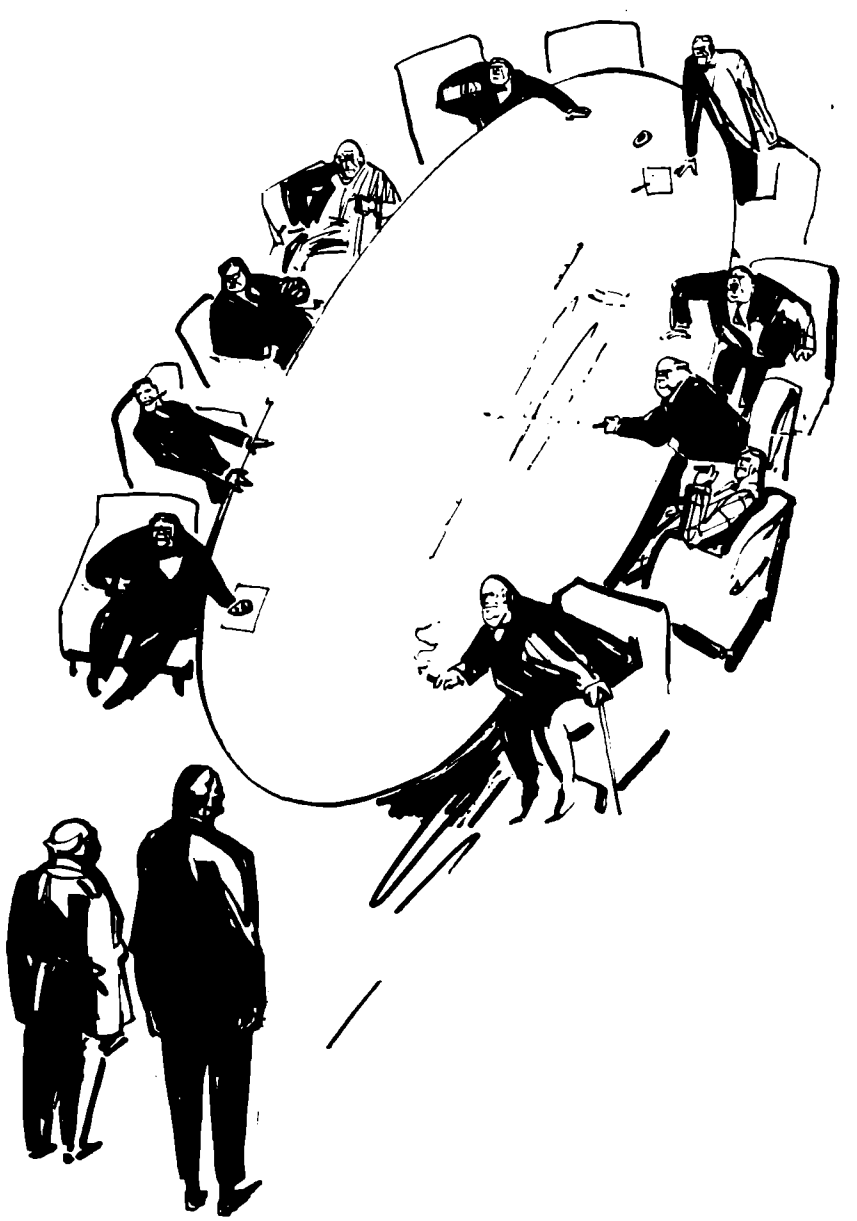
— Чуть ли не в первую очередь,— смеясь, сказала Клара.

— Я — двадцать девятый! — не без гордости произнес президент, совершенно не понимая, почему Джекобс, воскликнув: «О, матерь божья! Я этого не перенесу!» — вдруг повалился на пол без чувств.

Пока длился весь этот разговор, на втором этаже дома, в Круглом зале для заседаний, за огромным круглым столом белого дерева сидели восемь пожилых и достаточно симпатичных людей в скромных костюмах и незаметных галстуках и два относительно молодых, имеющих внешность киногероев.

Из скорбных старческих ртов (а также из ртов молодых) не торчали тигриные клыки, из белоснежных тугих манжет не высовывались ястребиные когти, никто из присутствующих не ел сырое мясо и не пил теплую кровь. Но это были самые опасные хищники, которых только можно было отыскать на планете. Все кровожадные твари с древнейших времен, все ихтиозавры и вампиры были в сравнении с ними плюшевыми игрушками из детских яслей, в которых царь Ирод мог претендовать только на место доброй нянечки.

Эти восемь тусклых старичков, скрестивших на дорогих набалдашниках тростей свои подагрические ручки, и два молодых пижона, то и дело поправляющих какую-нибудь часть своего туалета, жгли напалмом деревни в далеких странах, обматывали колючей проволокой резервации аборигенов, взводили курки в дни военных путчей в соседних республиках и т. д. и т. п. За дорогим столом белого дерева сидели десять самых крупных мировых воров. Они воровали нефть в Азии, ананасы в Америке, уран в Африке, шерсть в Австралии и руду в Европе. Они выворачивали страны и государства, как вор выворачивает карманы. Они покупали банки, газеты, министров и президентов. Они решали, чем должна кончиться предвыборная возня, на которую они смотрели, как на возню щенят, понимая, что щенятам нужно иногда разрешить повозиться. Они были всемогущи, эти короли нефти, стали, ракет, нейлона и напалма. Они редко собирались вместе, потому что слишком ненавидели друг друга. Но когда обстоятельства требовали и они собирались, их единству могли бы



позавидовать самые верные друзья. Ибо в эти минуты их объединял страх. Они боялись на этом свете только смерти, друг друга и людей, влюбленных в свободу.

Чрезвычайные обстоятельства собрали их этим чудесным летним вечером в усадьбе президента, чрезвычайные, необыкновенные, фантастические, не поддающиеся их старческому и даже молодому воображению, не укладывающиеся в привычные рамки политических и экономических коллизий: в стране было четыре совершенно одинаковых президента!

— ...таково положение на 20 часов сегодняшнего дня,— объявил, заканчивая свой доклад, министр внутренних дел Воннел.— В настоящее время все четыре президента находятся в усадьбе, здесь на втором этаже, в соседней комнате. Они поручены моей личной охране. Вызван врач, потому что все четыре президента, увидев друг друга почувствовали себя плохо.

Министр стоял у холодного камина, в тени, вытянувшись по стойке «смирно», идеально выбритый и в идеально подогнанном френче. Рядом с Воннелом, в той же стойке «смирно», застыл и генерал Дорон.

Больше в зале никого не было: совещание было сверхсекретным и не предназначалось даже для преданных ушей личных секретарей.

Чарльз Роберт Пак-младший (сталь, алюминиевая корпорация, вся добыча и выплавка титана, компания по использованию лазеров в металлургии, рудники меди в Чили, рудники олова в Малайе и т. д.) пожевал потухшую сигару и совсем тихо — это был не голос, а шорох — спросил:

— Ну?

Все молчали.

— Может быть, вы потрудитесь отвечать на вопросы, генерал?— проскрипел наконец Мохамед Уиндем-седьмой (нейлон, силоны, пластмассы, химия моющих средств, краски, специальные химические инертные покрытия, жаростойкие эмали, промышленность синтетических пленок и т. д. и т. п.).

Дорон вытянулся так истово, что казалось, вот-вот лопнет от внутреннего напряжения, но не проронил ни слова.

— Институт перспективных проблем находится в вашем ведомстве, генерал? — прошамкал Джон Уайт и сыновья (нефть и многое другое).— Мы требуем объяснений.

— Действительно,— глухо начал генерал, — установка биологического дублирования точнее, матричной стереорегуляции, находится...

— Не перегружайте нас научной терминологией, генерал,— перебил Металл.

— ...находится в Институте перспективных проблем,— продолжал Дорон,— и работает...

—...постарайтесь не говорить уже известное нам — сказал Нейлон.

—...работает в течение трех лет. Установку создал профессор Чвиз, затем к работе подключился известный вам профессор Миллер.

— Какой Миллер?— спросил Цемент (железобетон, строительная техника, дорожные машины и подъемные краны).

— Я вас не понял,— быстро сказал Дорон.

— Какой из двух Миллеров, генерал?! — взревел Металл.— Не прикидывайтесь дурачком!

— Этого никто не знает,— тихо и спокойно ответил генерал.— Даже сам Миллер. Ведь оба считают себя настоящими.

— Почему вы не подняли тревогу, когда появился второй Миллер? — спросил Нейлон.— Ведь тогда мы были бы гарантированы от чрезвычайных событий, которые привели нас сюда.

— История с Миллером была чистой случайностью. Мой человек в институте гарантировал...

— Что сейчас гарантирует ваш человек? — язвительно перебила Нефть.

— Его уже нет. Он погиб в автомобильной катастрофе,— ответил Дорон.

— Мы отвлекаемся,— поправил Нейлон.— Итак, в институте эти работы вели профессора Миллер и Чвиз. Где они?

— Чвиза нет. Я уже год ищу его,— ответил Дорон.

— А Миллер? Может быть, их осталось два?

— Нет,— ответил Дорон.— Один из Миллеров обезврежен и устранен. Я сам видел его труп. У меня все эти три года не было оснований сомневаться в оставшемся Миллере. Он был очень послушен и исполнителен. Но куда он исчез, пока не знаю. Буду искать.

— Неважные перспективы, генерал. Один исчез, другой погиб, третий затерялся...— задумчиво проговорил самый молодой член Совета, король ракет и самолетов.

— Меня интересует другое, Дорон,— перебил Металл,— зачем Миллеру потребовалось создать четырех президентов?

— Я думаю, он сошел с ума,— ответил Дорон,— других объяснений пока не вижу.

— А я вижу! — взвизгнул Металл.— Я вижу! Сегодня четыре президента, завтра — сорок четыре президента! И все в стране летит вверх тормашками! И над нами смеется весь мир! А вы знаете, генерал, сколько миллиардов кларков стоит одна улыбка общественного мнения?!

— Можно прожить хоть с сотней президентов,— спокойно сказал молчавший до сих пор самый престарелый член Совета, король угля.—Можно прожить даже с тысячей президентов,— продолжал он,— и пару сотен из них я берусь прокормить сам. Это чепуха. Но что будет, если появится пять Доронов, генерал? Или десять Воннелов отдадут десять разных приказов службе безопасности? Или,— он вдруг поднялся, и всем стало как-то не по себе, жутко и муторно,— или появится два, три, десять каждого из нас? Что будет тогда? Дробление капитала, ликвидация всякого контроля за деловой активностью. И речь идет сейчас не об улыбках общественного мнения,— он обернулся к молодым членам Совета,— сколько бы они нам ни стоили, а о стабильности самих устоев нашего общества. Я надеюсь, что мне не потребуется рисовать перед вами все ужасы бесконтрольного дублирования деловых людей.

Он сел, и в течение целой минуты никто не мог не только произнести слова, но даже пошевелиться.

— Где гарантия, генерал, что опыты Миллера уже прекращены? — резко крикнул кто-то.— Я требую немедленных и абсолютных гарантий!

— Я уже отдал приказ об отключении института от всех линий энергопитания,— ответил Дорон.

— Только института?! Вы с ума сошли! Необходимо вырубить всю энергетическую сеть! Все до единой лампочки! Откуда мы знаем, где сейчас Миллер, что он может, а главное, что он хочет? Пока мы не найдем Миллера, все источники энергии во всей стране должны быть отключены! Вы слышите, Дорон!

— Вы ручаетесь, генерал,— спросил Уголь,— что

четыре президента — это первый и последний сюрприз профессора Миллера?

— Да,— глухо ответил Дорон.— Ручаюсь. Поскольку лаборатория лишена тока, блокирована и полностью мною контролируется. Между тем другой аппаратуры, способной осуществлять дублирование из иных мест, не существует...

— Послушайте, что за шум, что здесь происходит? — послышался вдруг спокойный, даже сонный голос.

Все обернулись и увидели президента. Он стоял в тяжелом, дорогом халате, под которым белели худые ноги в шлепанцах. Кисточки ночного колпака вздрагивали, когда президент, щурясь от света залы, обводил глазами своих нежданных ночных гостей.

— Чем обязан, господа, в столь поздний час? — спросил президент.

— Пятый! — громко сказал Воннел.

(Окончание следует.)

Рисунки автора.

ПРОЗА

П. Багряк

МЕСТЬ

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

9. ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Пятый президент, появившись столь неожиданно в дверях, оглядывал присутствующих, резко поворачивая голову то вправо, то влево. Кисточка его ночного колпака, подвешенная на длинной тесемке, с каждым поворотом дважды обкручивалась вокруг головы, издавая в последний момент странный звук, напоминающий звук поцелуя. Наконец президент понял, что только два человека из собравшихся здесь двенадцати способны перенести его раздраженный тон. Поэтому он, наградив членов Совета совершенно неуместной в данном случае улыбкой, строго посмотрел в сторону камина, где стояли Дорон и Воннел, и сердито произнес, обращаясь определенно к ним, но не называя их по фамилиям:

— Господа, потрудитесь дать объяснения!

Дорон даже не пошевелился, поскольку чутьем опытного интригана понял, что ситуация может оказаться для него либо смертельной, либо выигрышной, но и в том и в другом случае она не зависит от него. Надо терпеливо ждать развития событий, а уже потом принимать решение: либо спасаться, либо выходить на сцену в качестве исполнителя главной роли. Дорон, закусив губу, бросил взгляд на Воннела, как бы призывая его выкручиваться из нелепого положения.

Воннел так же быстро вспотел, как и обсох, почувствовав жар во всем теле. И он произнес фразу, единственно возможную.

— Присядьте, господин президент,— сказал он.— Пожалуйста, присядьте.

Курс был дан — Воннел определил отношение к появившемуся президенту. Если бы министр внутренних дел, сардонически улыбнувшись, воскликнул: «Что-о-о? Объяснение?! Давать тебе, пятому дубликату, нулю без палочки, пятой спице в колесе, объяснение?! Много вас тут!..» — то, возможно, члены

Окончание. Начало см. в № 8 за 1968 год.

Совета в две секунды вышвырнули бы самозванца за шиворот из круглого зала.

Теперь же им пришлось на какое-то время признать в президенте президента и продолжить игру.

— Прошу вас,— любезно сказал король Угля, указывая на пустующее рядом с собой кресло.— Сейчас мы вам все объясним, но прежде я прошу принять наши извинения за то, что мы оказались в вашем доме без вашего разрешения.

Декорум был соблюден, хотя все, в том числе и президент, отлично понимали, что никаких разрешений на сбор членов Совета ни от кого не требуется и что не только дом, но даже кресло, в которое президент сел, ему не принадлежит.

— Генерал,— после некоторой паузы спросил король Угля,— вы умеете считать до пяти?

Дорон промолчал, не дрогнув ни единым мускулом, хотя можно себе представить, что было бы, если бы он вдруг ответил: «Виноват, господа, не умею!»

— Вы нас сознательно вводили в заблуждение или сами ничего не знаете? — резко спросил король Стали.

— Я могу проверить, господа, в чем дело,— сказал наконец Дорон и сделал попытку шагнуть к выходу из зала. Но из десяти членов Совета восемь, способных стоять без посторонней помощи, мгновенно встали, как будто их пронзило током.

— Дорон! — проревела Сталь, выплевывая изжеванную сигару прямо на пол.— Вы никуда не уйдете отсюда!

Воннел при этих словах уже готов был прикоснуться к пуговице своего костюма, чтобы срочно вызвать необходимых для такого случая людей. Но все обошлось. Дорон лишь качнулся, не двигаясь с места, и вновь застыл, слегка пожав плечами.

— Господа,— повторил президент,— я все же хотел бы знать...

— Одну минуту,— довольно бесцеремонно перебил его Уголь.— Генерал, у вас есть язык? Я уж не спрашиваю, есть ли у вас голова и сколь дорога она вам?

Дорон неожиданно улыбнулся — это была его давняя привычка прикрывать мушкетерской улыбкой бурю, происходящую в душе,— и презрительным взглядом смерил короля Угля.

— Между прочим,— сказал он с деланным спокойствием,— ваши головы, господа, тоже мне дороги.— Это была неслыханная дерзость, но генерал уже не давал никому опомниться: — Мне известно, что на каждого из вас профессором Миллером заготовлены матрицы, с которых можно печатать людей, и я не уверен, что в эту минуту он не приступает к осуществлению своей программы.

Дорон откровенно переходил в наступление, решив, вероятно, что терять ему уже нечего.

— Своей программы? — спросил король Нефти.— Или вашей, генерал?

Дорон предпочел пропустить этот вопрос мимо ушей, как и все последующие.

— Вы знали, что их пятеро?

— Где сейчас Миллер? Вам известно его местонахождение?

— Это ваш заговор, генерал?

— Вы с ним заодно?

Вопросы сыпались со всех сторон, и, когда наступила пауза, вновь раздался голос президента:

— Господа, я все же не понимаю: что случилось?

— В стране сейчас пять одинаковых президентов,— сказал Дорон.— Вы продублированы профессором Миллером. Ваши...

— То есть как?! — простонал президент, чуть не лишаясь чувств.

Но Дорон, не меняя тональности, продолжал:

— Ваши двойники находятся здесь же, в соседнем зале, и вам, президент, есть смысл отправиться к ним и не мешать нам наводить порядок в стране.

Когда Дорон сказал «нам», члены Совета сделали движение, какое обычно делают театральные зрители после открытия занавеса, когда каждый пытается найти себе удобную точку для обзора.

Воннел молча подошел к президенту, тот молча встал и, шлепая тапочками по паркету, поддерживаемый Воннелом, медленно вышел из зала. Вернувшись через минуту, министр внутренних дел увидел Дорона уже сидящим за круглым столом в том единственном пустующем кресле, где только что сидел президент.

Но «круглого стола» явно не получалось. На одной стороне его были члены Совета, на другой — Дорон. Это можно было определить хотя бы по взглядам, которые они дарили друг другу.

Дорон отлично понимал, что в открытой войне с могущественными членами Совета он немедленно проиграет, как, впрочем, проиграет и в мире с ними. И поэтому он сказал:

— Господа, прошу прощения за то, что я так решительно вмешался в события. Я человек военный, а не штатский. Прошу также поверить мне, что я намерен действовать в наших общих интересах. Вы спрашивали меня: где сейчас Миллер? Отвечаю: в данный момент будем считать, что его местонахождение мне неизвестно... (Дорон вдруг перехватил взгляд короля Ракет, недвусмысленно обращенный к Воннелу. «Пора!» — тут же подумал Дорон.) Я понимаю, господа, что вы можете подозревать меня в причастности к той игре, которую ведет Миллер. Это — ваше право, и у меня нет возможности немедленно вас переубедить. Следовательно, вы вольны арестовать меня, связать мне руки, заткнуть мне глотку или даже убрать меня вообще, но...

Он сделал паузу, во время которой все отчетливо услышали астматическое дыхание короля Угля.

— ...но я прошу вас иметь в виду, что и сам не уверен, я ли перед вами или мой дубликат!

Генерал Дорон отлично понимал, что он сейчас не по зубам Совету, а человек, который был Совету не по зубам, уже одним этим обстоятельством возвышался в ранг зубастых.

«Следовательно,— думал Дорон,— мне нужно и впредь делать вид, что Миллер у меня в руках, а сам я — двойник Дорона». Кстати, эта выдумка была одним из самых блестящих ходов Дорона, которые когда-либо приходили ему в голову.

С другой стороны, он не мог не понимать, что его зубастость не вечна. Как только Миллер будет найден, ей придет конец, а Дорон и так уж зашел слишком далеко, чтобы ждать от Совета пощады.

«Опередить!» — такова главная и основная забота Дорона в ближайшие сутки. Опередить всех, захватить Миллера, перепрятать его в надежное место и выяснить его истинные цели.

Члены Совета поднялись, церемонно раскланялись друг с другом и направились к выходу. У Западного входа в усадьбу их ждало десять машин разных марок и личная охрана каждого. Хлопнули десять дверок, зажглись почти одновременно двадцать подфарников, и бесшумно заработали десять моторов. Одна за другой машины выехали с территории и уже там, на шоссе, показали друг другу все, на что они были способны.

10. ИГРА В ОТКРЫТУЮ

Луна то и дело выглядывала из прорези облаков, как из амбразуры. Ее свет не в силах был уничтожить темноту равнин. Лента шоссе высвечивалась луной, как лезвие ножа, и по этому слабо белеющему лезвию едва ползли две черные капли; с высоты казалось немыслимым, что эти капли мчатся со скоростью ста миль в час, что одна из них наэлектризована нетерпением, а другая — тупым упорством соглядатаев.

Впрочем, внешне Дорон не выглядел ни озабоченным, ни встревоженным. Волнение было привычно загнано глубоко внутрь; в летящей машине сидел просто усталый, задумавшийся человек с чуть покрасневшими от бессонницы глазами и обмякшими складками морщин властного, крупного лица. Он не оборачивался. Он и так знал, что чужой взгляд будет теперь сопровождать каждый его шаг, а чужие уши — ловить любое его слово. Он был еще свободен, но уже связан. Только его мысли оставались никому не подвластными, и Дорон спешил воспользоваться этим единственным своим оружием.

Не далее как утром он был всесильным хозяином, и от его решения зависела судьба многих. Теперь его собственная жизнь зависела от других. От Миллера и его необъяснимых поступков. От Совета. От случайных людей, наконец. И чем дольше Дорон думал, тем ясней ему становилось, что он должен поставить себя в зависимость — на этот раз сознательно — и от человека, с которым придется иметь дело, превратившись в скромного просителя.

Этим человеком был комиссар полиции Гард. Собственная служба Дорона сейчас стоила немногого, каждое движение его людей — Дорон это отлично понимал — будет парализовано людьми членов Совета. Но Гард был вне всяческих подозрений. Он уже не раз занимался Миллером, и потому у него было больше шансов отыскать профессора, чем у кого бы то ни было. К тому же Гард был умен, опытен и обладал интуицией — качеством, весьма редким в грубом ремесле сыщика. Правда, Гард не имел бесценного в теперешней ситуации свойства: он не был верен ему, Дорону... В какой-то миг размышлений генерал искренне пожалел, что в свое время держался с бывшим инспектором, а ныне комиссаром высокомерно. Но сделанного не вернешь. Просто урок на будущее: с людьми, обладающими самостоятельным характером и талантом, лучше поддерживать дружбу вне зависимости от того, как низко они стоят по сравнению с тобой.

Итак, на преданность Гарда рассчитывать нечего. И для угроз сейчас не время. Остаются деньги. Купить Гарда, может быть, и нельзя. Но кто с легким сердцем откажется от денег, которые обеспечат все его будущее? «Да, деньги,— решил Дорон.— Только они всесильны и всемогущи в нашем мире».

Приняв решение, Дорон с облегчением откинулся на спинку сиденья.

Розовое зарево не встало перед машиной, когда она приблизилась к городу. Безмолвные дома по обеим сторонам улиц походили на склепы. Льдистым блеском мерцали окна. Лишь в некоторых теплился жидкий огонь свечей. Кое-где по тротуарам метался растерянный луч фонарика. Даже на проспектах стояла жуткая темнота, как на дне ущелий.

Наконец машина остановилась перед особняком. Рокот мотора эхом прокатился по улице; из-за угла выскользнула еще одна длинная машина, погасила фары и замерла в пяти метрах от машины Дорона. Черные фигуры в плащах и шляпах, не скрываясь, высыпали из кузова, неторопливо окружили особняк. Мимо генерала они проходили, как мимо пустого места. Их каблуки твердо печатали шаг, они двигались четко, как автоматы.

На ощупь, спотыкаясь, Дорон поднялся по лестнице в свой кабинет. Шторы были опущены, на столе среди вороха донесений оплывала свеча, прилепленная к массивной, оптического стекла пепельнице. Колебания пламени зажигали в гранях пепельницы тусклую радугу. За столом, положив голову на руки, спал верный Дитрих.

Дорон осторожно коснулся его плеча. Секретарь тотчас вскочил и вытянулся. Дорон махнул рукой: «Садитесь». Сам он тоже сел и секунду молча глядел на коптящий огонек свечи, который вызывал в памяти какие-то давние и почему-то щемящие душу ассоциации.

— Кофе? — Дитрих вопросительно посмотрел на Дорона.

— Нет. Спать.

— Вам звонил...

Но Дорон вдруг поднял вверх палец предостерегающим жестом, и Дитрих осекся.

— Никаких дел, Дитрих,— устало произнес Дорон и повторил:— Спать. Все дела — завтра.

Затем он на листочке блокнота, лежащего на столе, энергичным почерком написал одно слово. Дитрих взглянул, прочитал: «Уши!» — и понимающе склонил голову.

— Генерал,— сказал он после паузы,— вы будете спать, как всегда, в кабинете или в спальной комнате?

— Сегодня там,— ответил Дорон и жестом показал Дитриху: «Внимание, Дитрих!»

На листочке блокнота появилась новая запись: «Мне нужен Гард». Дитрих кивнул головой. «Немедленно!» — вывел Дорон. Дитрих подумал и вновь кивнул. «Чтобы никто не знал!» Дорон трижды подчеркнул слово «никто». Секретарь кивнул головой. «Учтите, за домом следят». «Понял»,— сказали губы Дитриха. Дорон задумался и медленно вывел еще одну фразу: «Это не приказ, а больше, чем приказ: человеческая просьба». Дитрих чуть-чуть расширил глаза и приложил руку к сердцу, давая понять, что он тронут доверием генерала.

Затем, взяв в руки перо, секретарь четко вывел на листочке блокнота: «Разрешите использовать бункер?»

На этот раз решительно кивнул Дорон и громко сказал:

— Спать, Дитрих, я еле стою на ногах.

...Об убежище Дорона знали лишь самые доверенные люди. Оно лежало под домом и садом, его перекрывали пять метров железобетона и десять метров земли. Словом, это было построенное по всем правилам фортификации домашнее атомоубежище, пригодное для жизни, даже если весь город превратится в радиоактивные развалины.

Дитрих набрал на циферблате условный шифр. Часть подвальной стены медленно стронулась, открыв толстую, массивную дверь, ведущую в тамбур. Вторая дверь тамбура открылась после того, как закрылась первая, и секунду Дитрих стоял, замурованный, полуослепленный вспышкой тотчас зажегшейся под потолком лампочки. О том, что у Дорона была собственная небольшая электростанция, тоже никто не знал. Лампочка светила тускло, но после темного коридора и электрического фонарика ее свет казался необыкновенно ярким.

За тамбуром открылся узкий коридорчик, выстланный кафелем. Под потолком тянулась четырех-

угольная труба с отверстиями, забранными решеткой. Легкое шипение воздуха в них показало, что вместе со светом автоматически включилась воздухоочистительная установка.

Коридор шел ломаной линией и потому казался еще длиннее, чем он был на самом деле. От него отходили тупички, за дверями которых находились помещения, где было все необходимое, вплоть до искусственной погоды, искусственных закатов, солнечных дней, запаха леса,— все это превращало комнатки в подобие загородной виллы. Одной из причин безусловной верности Дитриха Дорону было сознание, что в случае чего этот подземный мир скроет и его от всеобщего уничтожения. Дитрих не очень верил в новоизобретенную установку нейтронного торможения атомных взрывов. Будучи на службе Дорона, он знал, что есть еще облака отравляющих газов, биологические яды и вирусы, способные уничтожить все живое ничуть не хуже лучей радиации. А в благоразумии людей, варясь в котле службы Дорона, он вовсе не был убежден.

Однако вид голых бетонных стен, унылый отзвук собственных шагов, низкий потолок, как и всегда, подействовали на Дитриха давяще. Он поспешил пройти коридор, без задержки сманипулировал с очередным циферблатом и очутился на дне тесного, как в средневековой башне, спирального хода. Сотня с лишним ступеней наверх, затем прикосновение к еле заметной кнопке, и Дитрих выскочил наружу. Люк колодца сам собой задвинулся. Капельки росы слабо поблескивали на траве там, где только что было отверстие.

Это был городской парк, расположенный на площади Вознесения, у самой ратуши, что в трех кварталах от дороновского особняка. Озираясь, Дитрих перепрыгнул изгородь, как хорошо тренированный спортсмен, и зашагал по тротуару — запоздалый прохожий, отрезанный от дома бездействием городского транспорта.

Гард жил неподалеку, всего в получасе ходьбы, но Дитрих скоро понял, что спокойно дойти до жилища Гарда будет не так-то просто. Едва он пересек Центральную улицу, как в одном из переулков раздался душераздирающий крик женщины, зовущей на помощь. Дитрих мгновенно нырнул в ближайший подъезд, и очень скоро мимо протопали, тяжело дыша, какие-то люди, запихивая за пазуху награбленные вещи. Прошло минут пять, в течение которых не хлопнула ни одна дверь и не донесся ни единый звук. Дитрих вновь вышел на улицу, но пошел в сторону, прямо противоположную той, что вела в зловещий переулок: его следов на месте ограбления быть не должно.

Сделав крюк, Дитрих снова зашагал вперед.

Он шел по ночному городу без всякого страха, заботясь лишь о том, чтобы выполнить приказание Дорона. Он понимал, что случилось что-то сверхисключительное, если генерал в собственном доме не может говорить вслух, но не хотел и не умел связывать неприятности шефа с внезапным отключением электроэнергии во всем городе, с погруженными в темноту улицами, с вспыхнувшими, как эпидемия, грабежами, с хаосом, который явно подкрадывался со всех сторон.

...Гард спал без сновидений,— вероятно, потому, что у него были крепкие нервы, хотя и очень нервная работа. Еще покойный учитель Гарда, небезызвестный Альфред Дан Купер, говорил: «Сыщику по горло хватает реальных кошмаров, чтобы видеть их во сне!»

В прихожей маленькой квартирки Гарда стоял упакованный чемодан, который оставалось только взять в руки, чтобы выкинуть из головы всякие мысли о службе, заботах и реальных кошмарах. Все, что делал Гард, он делал обстоятельно, и потому он предпочел заранее уложить чемодан, хотя утром у него было бы достаточно времени до самолета. Билет был в кармане, машину подали бы точно в указанное время, а спать позже семи утра Гард все равно не мог, даже если ложился глубокой ночью.

«Ах, черт возьми! — подумал он за минуту до того, как заснуть.— Черт возьми, дождался-таки первого дня отпуска!..» — И блаженство, разлившись по всему телу, окончательно освободило Гарда от тяжких дум. Когда он погасил свет и закрыл глаза, ему приснилось море, аккуратная вилла на самом берегу, безмятежность, и счастье неведения, и желанность безделья.

Проснулся он от осторожного стука в дверь и тут же понял, что проснулся: во сне ему никто постучать не мог. Он прислушался. Стояла мертвая тишина, и первой мыслью его было: «Неужели служба?»— хотя странно, что посыльный стучит в дверь, вместо того чтобы позвонить. Померещилось? Увы, всегда, когда мы только произносим это слово, все стуки немедленно повторяются, чтобы услышавший их мог сказать сам себе: «Нет, не померещилось».

Он дернул шнурок бра, но свет почему-то не зажегся. Тогда он встал, ощупью добрался до выключателя, но лампа под потолком тоже не зажглась. А стук уже стал более резким и настойчивым.

Тогда Гард набросил на плечи халат и уже перед тем, как двинуться к двери, глянул на фосфоресцирующие стрелки часов. У Гарда еще с детства выработалась привычка смотреть на часы всякий раз, когда он просыпался ночью: а вдруг потом для кого-нибудь это окажется важным, и когда тебя спросят, что было в три часа ночи, когда ты проснулся, и ты ответишь, что ничего не было, кроме тишины, кто-то сделает вывод, что убийство произошло не в это время, а раньше или позже, и это поможет уличить убийцу. Уже став полицейским инспектором, Гард убедился, что детские представления очень редко подтверждаются в жизни,— в литературе и на экране куда чаще. Впрочем, без таких представлений он никогда бы не стал следователем.

Итак, часы показывали начало четвертого. Гард подошел к дверям и повернул замок. Спрашивать: «Кто там?»—было бессмысленно. Грабители обычно не стучат, а открывают дверь отмычкой. Убийцы стреляют в окна, а достать окно гардовской квартиры, находящееся на втором этаже, ничего не стоило, если взобраться на любое из трех деревьев, растущих прямо перед домом. Полиция была Гарду не страшна, друзьям он был всегда рад, а просители так поздно не приходят по пустякам. Наконец, на случай ошибки в кармане халата лежал браунинг.

Дверь открылась, в переднюю стремительно вошел человек и быстро сказал: «Закройте дверь, пожалуйста». Щелкнув фонариком, он направил его не на Гарда, а на собственное лицо.

— Я Дитрих, секретарь Дорона. Простите за беспокойство, Гард. У меня поручение от генерала.

— К сожалению,— сказал Гард,— в квартире перегорели пробки.

— Вы ошибаетесь,— прервал его Дитрих.— Электричество вырублено по всей стране.

— Вот как?

— Гард, Дорон хочет вас видеть.

Комиссар полиции ничего не ответил, а лишь молча взял Дитриха под руку и провел в гостиную. Фо-

нарь, который Гард взял из рук Дитриха, осветил кресло.

— Присядьте, мне неловко говорить с вами в таком виде.

Через три минуты, наскоро одевшись, Гард вошел в комнату к Дитриху, держа в руках две зажженные свечи. Сев в кресло напротив, Гард прикрыл глаза и произнес:

— Так я вас слушаю, Дитрих.

— Я уже сказал, комиссар...— повторил Дитрих.— Генерал хочет...

— Он не мог прислать за мной хотя бы завтра днем?

— Вероятно, нет.

— Очень жаль,— сказал Гард.— Завтра днем я был бы отсюда очень далеко.

Дитрих не оценил шутки и серьезно сказал:

— Я думаю, Гард, мне пришлось бы ехать за вами даже на край света. Мне велено без вас не возвращаться.

Гард закурил предложенную Дитрихом сигарету и задумался. Было похоже на то, что отпуск повисает на волоске: от Дорона пока еще никто не получал пятиминутных заданий, если они не сводились к производству одиночного выстрела из-за угла.

— Хорошо,— сказал Гард.— Мне нужно переодеться. Мое управление не должно знать об этой встрече?

— Нет,— коротко ответил Дитрих.

— Отлично,— сказал Гард.

В спальне, где он переоделся, все осталось нетронутым — ни раскрытая постель, ни пижама, небрежно брошенная Гардом на спинку стула, ни теплые ночные туфли, стоящие у кровати. Ко всему прочему Гард быстро написал на листке бумаги: «3.15 ночи. Дитрих от Дорона. Иду» — и сунул записку под подушку: когда имеешь дело с людьми типа Дорона, необходимо оставлять свои следы.

Еще через минуту они шагали по темному городу. За время пути и даже тогда, когда Дитрих привел Гарда в парк, открыл колодец, а затем провожал до самого бункера, комиссар не задал ни одного вопроса, прекрасно понимая, что с ответами все равно придется подождать до встречи с Дороном.

Генерал ждал их, стоя, в крохотном кабинете, скопированном с того большого, в котором Гарду уже приходилось бывать прежде.

— Я рад,— сказал Дорон, движением руки приглашая Гарда сесть в кресло.— Я рад.— Он помолчал, затем кивком головы отпустил Дитриха и неожиданно для Гарда сказал:— Я буду играть с вами в открытую. Это тоже маневр, сейчас вы это поймете, но откровенность с вами — моя единственная выигрышная тактика.

Затем он спокойно и неторопливо рассказал Гарду о всех событиях сегодняшнего дня, не утаив ни одной мелочи, даже того, что член Совета кричал на него: «Не прикидывайтесь дурачком, генерал!» С невольным уважением Гард смотрел на Дорона, который ухитрялся не терять достоинства и ума в такой опасный момент.

Когда генерал умолк, Гард сказал:

— Вам нужен Миллер?

— Да,— сказал Дорон.

— Его найти должен я?

— Да,— сказал Дорон.

— Но мое официальное положение...

— Вы в отпуске, Гард.

Они помолчали.

— Вы понимаете, генерал, что это чрезвычайно трудно?

— Я не беспокоил бы вас, комиссар, если бы думал, что это легко. Такая задача по плечу лишь талантливому человеку.

И Гард понял, что Дорон не льстит ему, что это не комплимент, а истинное убеждение генерала.

— Благодарю вас,— сказал Гард.

— Вы, конечно, понимаете,— продолжал Дорон,— что после вашего успеха я буду неоплатным должником.

— Задача не просто трудная,— как бы размышляя вслух, сказал Гард,— но и опасная.

— Знаю,— подтвердил Дорон.— И потому дело не в том миллионе кларков, которые вы получите. Они не окупят риска. Но, согласитесь, более важной, интересной и ответственной операции у вас до сих пор не было.

— Что вы хотите сделать с Миллером? — спросил Гард.

— Надежно спрятать. Эти ученые не умеют скрываться. День, ну, два его, может, и не найдут, а потом...

— Но Чвиз, генерал?

— Случайность. И потом Чвиза я ищу в тысячу раз менее усердно, чем теперь будут искать Миллера.

— Допустим, я найду Миллера и вы его перепрячете. А потом?

— Я уверен, он поймет, что нам нужно стать союзниками.

— Зачем?

— Затем, чтобы реальная власть в государстве оказалась в наших руках.

— Диктатура?

— Да. Но диктатура двоих.

— Вы уберете Миллера, когда достигнете цели, генерал?

— Нет. Без него я бессилен.

— А если он откажется?

— Разумный человек отказаться не должен.

— Вы уверены, генерал, что Миллер именно такой?

— Надеюсь.

— Значит, я должен помочь вам сесть в седло?

— Да.

— Разрешите подумать.

— Конечно.

Это была крупная игра, в которой ничего не стоило сломать себе шею. Дорон откровенен,— он умный человек и прекрасно понимает, что сейчас иначе нельзя. Миллион кларков получить, конечно, можно, но что дальше? Предугадать, как поведет себя Дорон, став диктатором, невозможно. Как поведет себя Миллер, тоже. Это зависит от того, какой Миллер остался. Судя по всему, двойник, но все может быть. С другой стороны, отказаться от его поисков уже невозможно: нет гарантии, что тогда удастся выбраться из этого убежища живым. Кроме того, судьба страны Гарду тоже небезразлична, а его вмешательство может привести к существенным изменениям плана Дорона.

— Генерал,— сказал Гард,— гарантировать успех, как вы понимаете, я не могу.

— Понимаю.

— Но Миллера искать буду.

— Спасибо.

Дорон встал и пожал руку комиссару полиции. Потом вынул из кармана толстую пачку банкнот.

— У вас будут расходы.

— Конечно.

Гард взял деньги.

— Сроки?

Дорон развел руками:

— В идеале — через час.

Дорон нашел в себе силы улыбнуться.

11. ЗОЛОТАЯ КОРОНКА

В пять часов утра в квартире Фреда Честера раздался стук. Линда быстро набросила халатик и открыла дверь. На пороге стоял комиссар полиции Гард.

— Дорогая Линда,— сказал он,— простите меня, ради бога, за поздний визит, но вы знаете: по пустякам я никогда не прихожу.

— То-то вы ни разу не приходили по поводу устройства Фреда на работу.

Но Гард, не слушая ее, прошел в комнату.

— Фред,— сказал он полуодетому Честеру,— у меня к тебе очень сложное дело и чрезвычайной секретности.

— Если ты мне скажешь, что расследуешь преступление господа бога, я не удивлюсь,— сказал Честер.— Сегодня очень странный день.

— Чем же?

— Днем я удостоился чести разговаривать с нашим президентом в «Указующем персте», а ночью ко мне является сам комиссар полиции. Разве не странно?

— Ты прав, Фред. Выйдем на улицу.

Через пять минут они уже шагали по тротуару.

— Ты действительно видел президента? — спросил, останавливаясь, Гард.

— Как тебя сейчас,— ответил Фред.

— Это был один из пяти президентов, существующих сегодня в стране.

— Что?— сказал Честер.— Ты где-то хлебнул лишнего?

— Работа Миллера,— ответил Гард.— Слушай, старина, внимательно.

И Гард подробно изложил Фреду свой разговор с генералом Дороном.

— Дэвид,— выслушав, сказал Честер и коснулся рукой плеча Гарда,— я в полном твоем распоряжении. Что мне делать?

Гард тоже коснулся рукой плеча Фреда — так испокон веку они клялись друг другу в верности — и тихо произнес:

— Давай рассуждать.

— Согласен.

— Для своего управления я нахожусь в отпуске, и потому руки у меня развязаны. Следовательно, действовать я могу.

— Во имя чего, Дэвид?

— Об этом и поговорим. У меня была возможность послать Дитриха к чертовой матери, не впутываться в эту историю и укатить к морю, чтобы пить коньяк на лазурном берегу. Но коньяк показался бы мне слишком горьким.

— Совершенно верно,— вставил Честер.

— Вокруг нас заваривается нечто такое, мимо чего, спасибо господу богу, мы уже не проскочим. Не вмешаться было бы преступлением перед совестью, но я говорю обо всем этом зря, потому что уже вмешался.

— Согласен,— сказал Честер.

— Теперь могут быть только два варианта: или я нахожу Миллера, или не нахожу.

— Если не находишь,— сказал Честер,— ты окажешься в стороне и уже никак не сможешь повлиять на события. Но если находишь? Ведь ты везуч, как моя Линда, которая нашла себе такого мужа, как я!

— Мы подошли к главному, Фред,— сказал комиссар.— Давай разберемся, что мне делать, если я обнаружу Миллера.

— Это зависит от того, что задумал Миллер.

— Можно предположить.

— Исходя из того, что он сотворил пятерых президентов, скрывшись от Дорона,— сказал Честер,— Миллер ведет собственную игру.

— Цель?— спросил Гард.

— Хотел бы я знать!.. Во всяком случае, в его игре нет места Дорону, и это обстоятельство можно толковать как в пользу, так и во вред Миллеру.

— Я думаю,— сказал Гард,— у Миллера могло быть лишь две цели: либо захват власти, либо желание наказать сильных мира сего.

— А может, он просто шутник?— сказал Честер.

— Так не шутят, Фред. Если бы Миллер хотел посмеяться, он сделал бы не пять президентов, а пять Линд.

— Убедил!— воскликнул Честер.— Но я потерял нить рассуждений.

— Сейчас восстановим. У Миллера могут быть две цели. Какая из них в действительности, зависит от того, каков сам Миллер. Мы пришли, Фред, к тому, что остается для нас извечной загадкой.

Они помолчали, сделав несколько шагов по тротуару. Затем Честер сказал:

— Предположим, действует Миллер. Если ты его найдешь, его нельзя передавать в руки Дорона. Тебе это ясно, Дэвид?

— Так же, как и то, что нельзя передавать Дорону Миллера-двойника.

— Объясни.

— Они же мгновенно сговорятся!

— Это не так просто, Дэвид,— сказал Честер.— Если они не договорились прежде, почему ты думаешь, что найдут общий язык теперь?

— Потому что прежде они не были равными.

— Тогда Миллер сам найдет путь к Дорону, став ему равным. Без твоей помощи. О, это будет хорошая пара коней в одной упряжке!

— И тогда, Фред, моей задачей должна стать задача помешать их единению.

— Пожалуй, ты прав.

— Подводим итог: если я нахожу Миллера, каким бы он ни оказался, я должен начинать собственную игру. Верно?

— Ты крепко рискуешь, Дэвид.

— Нет! Посуди сам, Фред: если Миллера найдут без меня, Дорон не может иметь ко мне претензий. А если я найду Миллера и перепрячу его от Дорона, генералу — крышка, и он ничем не сможет мне угрожать.

Фред с уважением посмотрел на Гарда.

— Теперь я понимаю,— сказал Честер,— почему ты, оставаясь порядочным человеком, все же ухитряешься делать карьеру, старина. У меня так не получается.

— Стоп. Тихо!— сказал вдруг Гард.

Из подъезда дома, возле которого они стояли, вышел человек, но тут же исчез, не обратив на Гарда и Честера внимания.

— Как ты будешь искать Миллера? — спросил Честер.

— К сожалению, в этом деле ты мне плохой советчик. Но помощником быть можешь, одному мне вообще не справиться.

— А может, Миллер совсем не спрятался, а удрал?

— Все может быть, старина, все может быть.

— Тогда ищи ветра в поле.

— Попробую. Придется для начала выяснить, где его жена, где Таратура...

— Он в городе,— сказал Честер.— Вчера я говорил с ним по телефону.

— И до сих пор молчишь?!— воскликнул Гард.

— Он разыскал меня в «Указующем персте», ког-

да я мило беседовал с президентом. Он обещал прийти, но не пришел.

— Почему?

— Не знаю, Гард. Я прождал его лишних полчаса, а потом понял, что он не придет.

— Таратура сказал что-нибудь такое, что заострило твое внимание?

— Нет, Гард, ничего особенного. Он очень удивился, что я сижу рядом с президентом.

— Странно... И про Миллера ничего?

— Ни единого слова.

— Жаль. Там, где Таратура, там и Миллер... Как ты думаешь, остался все же двойник или настоящий?

— Ну, Дэвид, ты был всегда мастер задавать вопросы.

— Но что подсказывает твоя интуиция?

Честер задумался.

— Иногда мне кажется, что двойника вообще не было. Был просто кошмарный сон. И все.

— Но ты же видел одного из них в гробу? Там, у Бирка?— сказал Гард.

— И это могло быть сном.

— Знаешь, Фред, я все понимаю умом, но все же никак не могу смириться с тем, что двойники похожи друг на друга, как близнецы. Даже у настоящих близнецов могут быть разные по цвету глаза и родинки не там... А тут копия? Ты уверен, что тот, в гробу, был копией?

— Это было страшно, Дэвид,— признался Честер.— Прошло уже три года, но физиономия покойника стоит перед моими глазами, хотя, наверное, в действительности он давно уже сгнил.

— Сгнил? — сказал Гард и вдруг остановился как вкопанный.— Фред, ты дал сейчас великолепную мысль! Если Миллеров действительно было двое и если один из них синтетический, то процесс разложения трупа должен проходить как-то иначе! Нейлон, например, остается целехонький, а не сгнивает дотла,— так и тут, и мы можем...

— Ты хочешь сказать, что двойник из нейлона?

— Нет, Фред, я хочу сказать, что двойник синтетический и что ему от роду всего три года, а не под сорок, как настоящему Миллеру!

— Ах, Дэвид, чтобы строить гипотезы, надо быть специалистом. А что мы понимаем с тобой в химии?

— Ты ошибаешься, старина, это — дело не столько химиков, сколько криминалистов. Не будем терять времени. Пошли! Я жажду встречи с Бирком!

Хозяина фирмы «Спи спокойно, друг!» мучила бессонница. В последние дни хоронили довольно влиятельных в столице людей, и он был вынужден присутствовать на всех церемониях. Теперь же, едва закрыв глаза, Бирк видел им же придуманные факелы, слышал траурную музыку и не мог отделаться от красных фейерверков, букетом расцветавших в небе, когда гроб медленно опускался в землю.

В начале шестого утра у особняка Бирка затормозила машина. Два человека пересекли палисадник и остановились у двери, которую Бирк услужливо распахнул. Он привык к ночным визитам.

— Прошу извинить нас, Бирк,— сказал один из вошедших,— мы подняли вас с постели, но дело не терпит отлагательства.

Бирк пригляделся и узнал обоих: комиссара полиции Гарда и бывшего репортера уголовной хроники Честера.

— Если дело не ждет, я к вашим услугам, господа,— вежливо ответил Бирк.— Вам, очевидно, нужны мои клиенты?

— Да,— подтвердил Гард,— один из них.

— Через минуту я буду в вашем распоряжении.

Бирк вышел, а когда вернулся, каждая складочка его черного костюма излучала элегантность. Они сели в машину: Бирк — рядом с Гардом, а Честер устроился на заднем сиденье.

Машина мягко летела по чуть посветлевшим улицам.

— Я думал, что в моем доме перегорели пробки,— удивился Бирк, впервые заметив, что погашены уличные фонари и рекламы.— Неужели война?

— До этого еще не дошло,— бросил с заднего сиденья Честер.— Так что работы вашей фирме не добавится.

— Я не об этом беспокоюсь, дорогой Честер.— Бирк улыбнулся.— Забот у нас и сейчас много. Даже ночью беспокоят,— намекнул он.— Кстати, чем я обязан вашему визиту?

— Нам нужно взглянуть на одного нищего,— сказал Гард.

— Того самого, за которого я заплатил вам однажды сто пятьдесят шесть кларков двадцать пять лемов,— съязвил Честер.

— Помню, помню.— Бирк продолжал улыбаться.— Клиент № 24657. С седьмого участка. Полицейскому управлению эксгумация обойдется бесплатно, хотя за эти годы и земля слежалась и могила благоустроилась.

— Неужели вы помните всех покойников? — удивился Честер.

— Как заботливая мамаша своих детей,— ответил Бирк.— Особенно тех клиентов, которые хоть изредка приносят доход, будь они хоть президенты, хоть нищие.

— Нищие тоже доходны?— поинтересовался Гард.

— Каждый покойник — капитал. И он надежней, чем акции алмазной компании. Сегодня он нищий, а завтра его сын богатеет. Ему неприятно посещать седьмой участок, и он просит перевести папашу на первый. Фирма получает восемь тысяч кларков плюс пятьсот за установку громкоговорителя, триста — за лучшее обслуживание... Вот так, комиссар.

— Искренне жалею, что занимаюсь журналистикой! — воскликнул Честер.

— Каждому свое,— сказал Гард,— а я терпеть не могу ни покойников, ни журналистов, особенно болтливых.

Кладбище Бирка было расположено в восточной части города. Машина шла, держа направление на гигантское розовое пятно, разрастающееся над городом. День обещал быть солнечным и жарким.

Потом они сидели в кабинете Бирка, за столом, накрытым черным сукном, и пили коньяк «Наполеон». Бирк распорядился, чтобы вскрыли могилу клиента № 24657, и надо было подождать, пока рабочие закончат дело. Наконец смотритель пригласил их на участок.

Подходя к глиняному холмику, выросшему среди цветочной клумбы, они услышали бой часов на ратуше. Честер насчитал шесть ударов.

— Слава богу,— сказал Бирк,— с рассветом нечистая сила уходит спать.

Один из рабочих спрыгнул вниз и мелкими ударами топора чуть-чуть приподнял крышку массивного гроба.

— Стоп! — сказал Гард.— Уберите лишних, Бирк.

Хозяин фирмы отдал распоряжение, и рабочие во главе со смотрителем удалились. Гард сам опустился на дно могилы и осторожно взялся за крышку. С сухим потрескиванием она отделилась от гроба, вызвав у Честера возглас удивления, а у Бирка — растерянность.

Гроб был пуст.

Только в том месте, где когда-то лежала голова покойника, Гард заметил какой-то блестящий предмет. Это была золотая коронка.

— У меня никогда не воруют трупы,— ошалело перекрестившись, сказал Бирк,— тем более трупы нищих!

— А уж если воруют, то золотые коронки, а не трупы,— произнес Гард, вылезая из могилы. Затем он спрятал коронку в нагрудный карман и сказал:— Здесь был необычный вор, Бирк. Очевидно, та самая нечистая сила, которая с рассветом уходит спать. Но вы можете не волноваться. Мы не подорвем вашей коммерции, если вы сами дадите слово молчать.

— Сенсационный материальчик можно сделать! — воскликнул Честер.

— Господа,— заволновался Бирк,— я, ей-богу, не знаю, как это случилось...

— Прощайте, Бирк,— сказал Гард,— вам лучше молчать об этом прискорбном случае.

— Конечно, комиссар, конечно,— поспешил с заверениями Бирк.

— И верните мне сто пятьдесят шесть кларков, которые я давал вам в долг три года назад,— неожиданно потребовал Честер.

Бирк тут же достал бумажник и стал отсчитывать деньги. Гард искренне рассмеялся.

— Ладно, Бирк,— сказал Честер.— Не надо, я пошутил. Надежней берегите своих клиентов!

И они торжественно покинули кладбище.

— Ты не осуждаешь меня?— спросил Честер, садясь в машину.

— За что?— не понял Гард.

— За то, что я чуть не отнял у этого похоронного бандита свои собственные деньги,—сказал Честер.— Выходит, я действительно люблю Линду, если вспомнил о ней даже в такой момент.

— Одной любовью она сыта не будет, Честер,— улыбнулся Гард.— Но подведем итоги. Ты чуть было не получил сто пятьдесят шесть кларков, а я... Если я найду Миллера, Фред, я задам ему всего один вопрос, и мне все будет ясно.

12. ЗАГОВОР ПРЕЗИДЕНТОВ

Бурные переживания могут достичь такого уровня, что человек, только что находившийся в состоянии высокой нервной перегрузки, вдруг разом успокаивается и как-то балдеет. Когда Воннел перед началом Совета богов свел вместе четырех президентов в кабинете рядом с Круглым залом, они неистовствовали часа два, наскакивая, как петухи, друг на друга, и каждый тщетно попытался доказать другим, что он, именно он подлинный президент. Но к тому времени, когда Воннел препроводил туда же пятого президента, крепкий сон которого после выпитого в «Указующем персте» пива был потревожен взволнованными голосами членов Совета, первые четыре президента уже как-то сникли.

Вновь вошедший, все еще будучи под легким хмельком, увидев себя в четырех экземплярах, не выказал не только какой-либо враждебности, но, как ни странно, даже удивления.

— Забавно! — улыбнулся новый президент.— Нет, просто отлично! Послушайте, господа, где вас всех отыскали?

Четыре президента устало фыркнули. Заново объяснить все этому типу в «их» ночном колпаке и «их» халате было уже выше сил. А потом, кто знает, может быть, следом придет шестой?

— Президент издан массовым тиражом?— весело сказал новенький, точно попадая в цель.— Ну, вот что, друзья, до утра все свободны!— Он сделал тот доступный немногим повелительный жест, каким обычно цезари пускали в бой легионы, а кинорежиссеры распускали массовки.— Утром я вас вызову. Разберемся.— Он запахнул халат и вышел так быстро, что остальные четверо не успели и рта раскрыть.

Усадьба президента — сооружение доброй старой архитектуры, не зараженной еще микробом рационализма, с просторными холлами, кабинетами и гостиными, спальнями для гостей и обширными вспомогательными помещениями — рассосала президентов как-то незаметно. Начальник личной охраны президента О'Шари был торжественно назначен начальником личной охраны президентов с предоставлением ему самых широких полномочий на территории усадьбы и с непременной обязанностью каждые пятнадцать минут информировать Воннела обо всем, что на этой территории происходит.

Сказать по правде, ничего из того, что в действительности произошло, ни О'Шари, ни его люди не поняли, про себя считая, что пять президентов — штука, придуманная Воннелом просто для их проверки, что-то вроде учебной боевой тревоги в казарме. Но уже утром они сообразили, что если это и проверка, то, очевидно, самая сложная и хлопотливая за все годы их безупречной службы. «Видит бог, мы не заслужили к себе такого отношения»,— сказали они друг другу и обиделись.

Утром первым в доме, как всегда, проснулся Джекобс. Воспоминания о событиях вчерашнего дня поначалу вызвали у секретаря президента легкое головокружение, и он лежал, стараясь отыскать в этих воспоминаниях какие-либо штрихи, убедительно и окончательно доказывающие, что множественность президентов не старческая галлюцинация. Неопровержимых доказательств он не обнаружил, но дать себе право считать все происшедшее сном Джекобс, человек трезвого ума, тоже не мог. Полежав и поразмыслив, он пришел к единственно правильному выводу в данных обстоятельствах: существовало ли пять президентов на самом деле или ему это только казалось, необходимо сохранять полное спокойствие и продолжать поддерживать у окружающих иллюзию своей абсолютной осведомленности,— короче, не удивляться ничему.

Он быстро поднялся, оделся и решил тихонько пройтись по усадьбе. Однако усадьба проснулась раньше обычного и жила жизнью странной и невероятно нервной. Если бы Джекобс ничего не знал о существовании «ряда президентов» (он не хотел даже для себя ограничивать их число), то он мог бы подумать, что страна внезапно вступила в войну или подверглась ударам какой-либо грозной стихии.

Издерганные дежурные метались из кабинета в кабинет. Потребовалось пять комплектов утренних газет, а их, разумеется, не было, не говоря уже о «Жизни с мячом», еженедельнике регбистов, без которого президент № 3 не желал завтракать. С завтраками тоже произошла изрядная кутерьма: готовили-то на одного. Президент № 4 требовал к кофе коньяку, чего никогда прежде не было. Совсем сбились с ног связисты, ибо каждый президент требовал сверхсрочной секретной связи, хотя всем было ясно, что сверхсрочная секретная президентская связь не рассчитана на одновременное пользование несколькими людьми, не говоря уже о том, что Воннел приказал вообще ею не пользоваться. Короче, в

усадьбе никто ничего не понимал и толком не знал, сколько же все-таки президентов. Кто говорил, трое, кто пятеро, а дежурный у телефона войны и мира, проснувшись, сразу сказал, что «президентов одиннадцать человек, я знаю точно».

И все-таки сколько их? Это волновало всех. Джекобс с удивлением и даже с замешательством отметил: сам факт, что президент не один (!), дебатируется гораздо реже, чем вопрос, сколько их. Качественная сторона дела явно уступала количественной. В охране заключали пари, как на скачках. Пополз невероятный слух, что настоящего президента нет вовсе, а все эти — жулье. Назревал крупный скандал, и, чтобы пресечь его, по просьбе О'Шари в усадьбу приехал Воннел. Он попросил Джекобса быстро и тихо собрать всю прислугу в вертолетном ангаре, где и выступил с краткой, яркой и необычайно емкой речью. Двумя штрихами обрисовав контуры красной опасности, он бегло отметил основные этапы мирового общественного прогресса, которыми человечество обязано президенту, и наконец, как говорится, взял быка за рога.

— Происки наших внешних противников,— заявил он,— ожесточение предвыборной борьбы внутри страны, губительная для нации активность оппозиции, помноженная на распространение наглого свободомыслия цветного, экономически слаборазвитого, физически и умственно отсталого населения, потребовали в настоящее время от правительства принятия самых срочных и решительных мер для обеспечения мира и спокойствия во всем мире. Одна из них — гарантирование полной безопасности главы государства, для чего и были созданы еще четыре президента-двойника. Прошу запомнить, что все пять президентов... (В этот момент в группе охраны можно было заметить оживление: хлопали по плечу и жали лапу рыжему детине, который, вероятно, и выиграл пари.) ...все пять президентов,— повторил Воннел, косясь на охрану,— одинаковы и равноправны со всеми вытекающими отсюда последствиями. Может быть, кто-нибудь сомневается в целесообразности такого решения?— ласково спросил министр внутренних дел, улыбнувшись вполлица, и подождал ответа.

Ласточки весело щебетали под крышей ангара.

— Ну и прекрасно,— сказал Воннел.— Мне остается предупредить вас, что всякий намек на то, что президент, как бы сказать... не один, будет рассматриваться как выдача жизненно важных оборонных секретов и караться сообразно этому военным трибуналом без права апелляции и пересмотра приговора. При отсутствии утечки информации жалованье всей прислуге возрастает в пять раз в связи с увеличением объема работы. Выход из усадьбы категорически воспрещен. Ответственность за поддержание порядка возлагается на начальника личной охраны президентов командора О'Шари.

Командор щелкнул каблуками.

В то время, когда Воннел выступал перед прислугой, в большом парадном кабинете президента сошлись все пять высокопоставленных старичков.

С полчаса поворчав друг на друга для приличия, они быстро перешли к воспоминаниям молодости, и тут каждый из них, разумеется, не мог найти более интересных собеседников.

— Как приятно все-таки поговорить с образованными людьми!— воскликнул президент № 1.

— Вы совершенно правы,— убежденно закивал № 2.— И в самом факте нашей множественности я вижу прежде всего доказательство неустанного труда господа, возблагодарить которого все мы обязаны.

— Возблагодарить, конечно, можно,— перебил третий президент,— но я возблагодарил бы его несравненно усерднее, если бы нас было не пять, а одиннадцать. Первая в истории футбольная команда президентов! А?

— Я плевал на всех этих горилл с мячиком,— сказал № 2.— Я хочу покоя. Я хочу жить жизнью пахаря и танцевать на деревенских праздниках. Пить вино и... целовать женщин. Да, да, господа! А что? Что может быть прекраснее?! Кстати, не выпить ли нам?

— Прежде чем решать этот вопрос,— суховато заметил пятый президент,— необходимо решить более существенные проблемы. Хочу напомнить, что день выборов президента близок.

— Вот именно: президента, а не президентов!— заносчиво воскликнул № 1, который когда-то и был единственным.

— Не будем уточнять,— твердо сказал пятый.— Я считаю нынешнюю политическую обстановку в стране чрезвычайно благоприятной для нас. Арборо, наш главный соперник,— один. Нас пятеро!

— Все мы братья во Христе,— сказал второй, но № 3 тут же перебил его:

— Если мы встанем поплотнее вокруг президентского кресла — представляете? Никакой Арборо не найдет лазейки в нашей защите.

— Так выпьем, господа, за нашу победу!— предложил № 4.

— Я рад, что нашел в вашем лице единомышленников,— с казенным волнением в голосе сказал пятый.— Вторая проблема, стоящая перед нами, представляется мне еще более важной. Я имею в виду отношение к нам Совета богов. Все мы прекрасно знаем достойнейших людей нашей страны, его составляющих. Надеюсь, я выражу общее мнение, если скажу, что те посильные услуги, которые мы оказывали им (в интересах прежде всего благоденствия нации), мы и впредь готовы оказывать. Но сам факт решения нашей судьбы без нас, за закрытыми дверьми, наводит меня на весьма грустные размышления.

— Они перетопят нас поодиночке, как котят,— предположил № 4.

— Мы не позволим!— перебил его ребист.

— Господь не допустит этого,— перекрестился № 2.

— Вы думаете, и меня они могут... того?— изумленно спросил первый у пятого.

— А чем вы лучше? — изумился четвертый.— На ваших поминках я слопаю ту же бутылку старого шотландского виски, что и на его.— Он ткнул пальцем в грудь ребиста.

— Но они должны оставить в живых хотя бы одного президента?— с надеждой спросил первый.

— Должны,— подтвердил пятый.— Но почему вы воображаете, что выбор падет на вас? И в этом случае,— пятый обвел глазами всех двойников,— лишь наше единство и сплоченность гарантируют безопасность каждого!

— Что я говорил, господа? — воскликнул ребист.

— Да поможет нам бог!— перекрестился святоша.

— Сегодня утром я составил проект послания Совету богов,— твердо сказал пятый.— Не буду утомлять вас чтением этого документа. Скажу только, что в нем указано: в случае уничтожения или отстранения от власти любого из пяти президентов оставшийся или оставшиеся моментально обнародуют не только все происшедшее, но и некоторые другие сведения, о которых, кстати, не мне вам, госпо-

да, напоминать. Если вы согласны с такой постановкой вопроса, прошу подписаться.

Он протянул бумагу.

Пять совершенно одинаковых подписей легли под рукописными строками послания.

— Я послал за Воннелом,— продолжал пятый.— Он скоро будет здесь. Ему мы поручим вручить этот документ Совету. А пока Воннела нет, необходимо оговорить уже частные, чисто бытовые вопросы. Дело в том, что у нас... жена и сын.

— Как это «у нас»? — спросил первый президент.

— У вас, у него, и у него, и у всех нас, черт побери!— пояснил регбист.

— Деликатность положения состоит в том,— продолжал пятый президент — политик и дипломат,— что жена и сын одни, а нас пятеро. Нам необходимо каким-то образом регламентировать нашу семейную жизнь. Очевидно, в лоне семьи мы будем пребывать по очереди.

— Как?!— возмутился первый президент.

— Я полагаю...— начал было второй, но в этот момент в комнату вошел министр внутренних дел.

— Ну и прекрасно,— закончил № 5.— Отложим, господа, решение этого вопроса на потом. Воннел, потрудитесь прочитать сей документ.

Воннел молча прочитал текст послания Совету богов, сохраняя на лице выражение государственной озабоченности. Затем он внимательно оглядел президентов и сказал с легкой улыбкой, впрочем, весьма почтительной:

— Здесь написано: «В случае уничтожения или отстранения от власти любого президента оставшийся или оставшиеся моментально обнародуют...» и т. д. А почему, собственно, господа, вы думаете, что обязательно будут «оставшиеся»?

13. ПОЛТОРЫ МИНУТЫ ХОДЬБЫ

По дороге в трактир «Указующий перст», где должна была произойти встреча с Честером, Гард принял все необходимые меры, чтобы избавиться от «хвостов». В это утро ему пришлось невольно думать о несколько странном и не совсем обычном положении, в котором он оказался. Опытный сыщик, инспектор, а затем и комиссар уголовной полиции, он всю свою жизнь занимался тем, что кого-то разыскивал, преследовал и выслеживал. А теперь впервые сам очутился в роли преследуемого: ведь очень могло быть, что тем, кто ведет охоту за Миллером и следит за Дороном, все же удалось засечь Гарда во время встречи с генералом. В таком случае за ним наверняка установлено наблюдение. Было бы совсем некстати привести «хвост» за собой в «Указующий перст».

Чертовски неприятное ощущение. Кажется, что кто-то все время смотрит тебе в спину.

Гард внезапно и резко обернулся. Улица была пустынной. Только одинокий дымчатый кот мирно грелся на солнце, отдыхая после бурных ночных приключений.

Эта часть города была застроена довольно беспорядочно. Сооружения давних и близких времен соседствовали друг с другом, словно напластования различных геологических эпох, а узкие проезды и переулочки змеились замысловатой паутиной, столь же непонятной, как марсианские каналы.

Но часть улицы, примыкавшая к «Указующему персту», как назло была широкой и совершенно прямой. Она отлично просматривалась на большом расстоянии, и, когда Гард подходил к кабачку, у него было такое ощущение, словно его раздели догола.

У самого входа в кабачок он еще раз задержался и снова долго и придирчиво разглядывал улицу. И, лишь убедившись, что никто за ним не следит, быстро скользнул вниз по лестнице.

Честер уже был на посту — в дальнем конце погребка, за своим столиком, который теперь, после воскресного визита президента, мог когда-нибудь сделаться историческим. Перед Фредом стояли три большие пустые кружки.

Больше никого в этот утренний час в кабачке не было.

— Присаживайся, Гард,— пригласил Честер.— Такого пива ты еще никогда не пробовал.

Когда комиссар полиции сел напротив, Честер, хитро взглянув на инспектора, сказал:

— А ты знаешь, когда я разговаривал с Таратурой, мне послышался в трубке чей-то голос. Теперь мне кажется, что это был голос Миллера.

— Это очень важно,— сказал Гард.— Так что говорил Таратура?

— Оживился, когда узнал, что я сижу с президентом. Таратура сказал, что хотел бы взглянуть на президента собственными глазами.

— Так, так,— насторожился Гард.— И что дальше?

— Дальше ничего не было,— пожал плечами Честер.— Он не пришел.

— Или ты его не дождался?

— Сколько можно было ждать? Я просидел лишних полчаса, а он просил всего полторы минуты.

— Что?! — Гард вскочил.— Повтори, что ты сказал, и в деталях вспомни свой разговор с Таратурой!

— Подожди, не нажимай на меня так сильно. Ну, да, он сказал, что находится где-то неподалеку, что от него до «Перста» полторы минуты ходьбы.

«Полторы минуты...» Гард быстро прикинул: за час человек нормальным шагом проходит что-то около шести километров. Сто метров в минуту. За полторы минуты — сто пятьдесят. При быстрой ходьбе — двести. Бежать Таратура, конечно, не собирался: это привлекло бы к нему внимание. Значит, круг с радиусом около двухсот метров с «Перстом» посередине. Это уже кое-что! Впрочем, даже не круг, а что-то вроде овала. Ведь «Указующий перст» расположен на склоне, с восточной стороны город подступает к нему из низины, отсюда добираться до кабачка дольше. Зато с западной стороны человеку, направляющемуся в «Указующий перст», нужно опускаться вниз. Здесь круг вытянется.

Гард решил быстро съездить домой и изучить микрокарту района, которая наверняка хранилась в его картотеке.

Дома он аккуратно очертил карандашом замкнутую линию вокруг кабачка. К счастью, застройка в этом месте была не очень плотной, и внутри зоны оказалось всего лишь около двух десятков зданий, в которых мог бы скрываться Миллер. Некоторые из них можно было отбросить сразу, например, районное полицейское управление и пансионат для слабоумных. Трудно было также предположить, что профессор нашел себе пристанище в пошивочном ателье мадам Борвари. Этот двухэтажный особняк с большими стеклянными витринами стоял несколько в стороне от других строений, и в него трудно было бы входить и выходить незаметно. К тому же, судя по картотеке Гарда, городу было известно, что почтенная хозяйка этого заведения обладает весьма подвижным язычком.

Разумеется, Миллер и особенно Таратура достаточно опытны и, несомненно, обратили внимание на эти обстоятельства.

Как раз напротив ателье, на пригорке, находилась адвокатская контора Дика Смиттса. Он был весьма темной личностью, близкой к Бобу Арборо. Вряд ли у профессора Миллера могло найтись что-либо общее с этим адвокатом.

Скоро внутри овала, очерченного Гардом, осталось всего четыре здания.

14. ЗАПАСНОЙ ВАРИАНТ

— Ну что же, не будем терять времени,— сказал Честер, поднимаясь навстречу возвратившемуся Гарду.— Отправимся?

— Минуту,—остановил его комиссар.— Мы обязаны предусмотреть запасной вариант. У нас слишком мало времени, чтобы ошибаться.

Над этим вариантом Гард размышлял всю обратную дорогу в «Указующий перст». «Какой бы Миллер

в живых ни остался,— размышлял Гард,— у него, вероятно, имеются далеко идущие цели. Поэтому скорее всего он будет отсиживаться в своем убежище лишь до тех пор, пока обстановка не накалится в достаточной степени. Трудно предположить, что все это просто веселая шутка. В таком случае Миллер, добившись определенного эффекта, выйдет из укрытия. Он должен рано или поздно появиться на сцене. Не исключено, что профессор предъявит что-то вроде ультиматума. Ведь не будет же он в самом деле до конца своих дней сидеть в подполье! Маловероятно также, что Миллер попытается бежать за границу, бросив на произвол судьбы жену, друзей, коллег по работе и саму установку. Кому же он будет предъявлять ультиматум? Президентам? Нет. Скорее всего Дорону, от которого непосредственно зависит его судьба. Впрочем, в поступках Миллера, как и в поступках любого другого человека, нельзя быть особенно уверенным заранее...» Так думал Гард, и приблизительно так он изложил Честеру свои предположения.

— Это только догадки,— закончил Гард.— Но кое-какие меры мы все же должны принять. Необходимо одновременно с поисками Миллера организовать его перехват на тот случай, если он действительно явится к Дорону.

— А-а-а,— сказал Честер.— Тебе нужны люди?

Гард кивнул:

— Своих обычных помощников, как ты понимаешь, я не могу привлечь.

— Хорошо,— коротко сказал Честер,— жди меня здесь. Я тоже не терял времени даром.

Не прошло и часа, как он снова появился в кабачке, сопровождаемый двумя скромно одетыми молодыми людьми.

— Знакомьтесь,— сказал Честер.— Ральф Уорнер. Шофер бывшей моей редакции. Мы с ним немало поездили в свое время, не правда ли, Ральф?

— Бывало,— бодро произнес маленький широкоплечий крепыш в берете и кожаной куртке.

— А это,— продолжал Честер, похлопывая по плечу гиганта в толстом вязаном свитере,— мой товарищ по армии, Бенк Норрис. Он был отличным боксером, а сейчас служит грузчиком в торговой фирме «Крептон и К⁰». Ручаюсь за обоих, как за самого себя.

— Отлично,— сказал Гард.— К сожалению, я не могу сейчас посвятить вас во все подробности. А потребуется вот что.

И комиссар как можно подробнее описал им приметы Миллера и Таратуры. Один из парней должен был занять позицию неподалеку от входа в особняк Дорона, а другой — в парке возле ратуши, у люка потайного входа.

Разумеется, Гард отлично понимал, что оба парня понятия не имеют о методах сыска. Однако это не очень смущало комиссара. Во-первых, чем меньше традиционно поднятых воротников, газет, прикрывающих лицо, глупых улыбок при столкновении с человеком, за которым установлена слежка, тем меньше подозрений. Ну, а если на Уорнера и Норриса все же обратят внимание, то в той перепутанной толчее конкурирующих друг с другом сыщиков, которая, вероятно, происходит сейчас возле дома Дорона, их просто примут за чьих-то людей.

— Теперь за дело,— сказал комиссар, когда Ральф и Бенк отправились на свои посты.

Обойдя безрезультатно два из четырех намеченных Гардом дома, Честер и комиссар приблизились наконец к трехэтажному зданию с двенадцатью подъездами. Когда Гард шагнул к одному из подъездов, чья-то фигура метнулась из-за угла в соседний вход и мгновенно скрылась внутри дома.

— Ты видел? — вырвалось у Честера.

— Тише... Может быть, это кто-нибудь из тех.— Гард ткнул пальцем куда-то в небо.

Перепрыгнув через ступеньки, они побежали по полутемному коридору. Незнакомца не было видно, но Гард каким-то нюхом без колебаний определял дорогу. Неожиданно коридор сделал резкий зигзаг, и они с ходу чуть не ударились о стену.

— Левее,— прохрипел Гард.

В этот момент что-то просвистело над их головами. Гард проворно отскочил за угол, увлекая за собой Честера.

— Что это было? — шепнул Фред.

— Пуля,— сказал комиссар.

— Но...

— Бесшумный пистолет.

Они стояли, прижавшись к стене, стараясь не шевелиться, и напряженно всматривались в глубь коридора. Ближайшая лампочка не горела, и в том месте, где они находились, было совсем темно.

15. ВСТРЕЧА У ДВЕРИ

Если бы Таратура знал, чем кончится для него сегодняшний день, он, наверное, так и не вышел бы из квартиры Чвиза.

А дело обстояло следующим образом.

Накануне Таратура был свидетелем ожесточенного спора ученых. Сначала он ничего не понимал. Они говорили о совершенно непонятных вещах.

Чвиз убежденно произнес:

— Надо бежать. Бежать, пока не поздно.

— У вас, коллега, побег — идея фикс,— сказал Миллер. — Уже надоело.

— А мне надоела ваша беспрерывная жажда деятельности, хотя вы сами не знаете, чего вы хотите!

— Я хочу немедленно информировать общественное мнение, Чвиз! — с жаром воскликнул Миллер.— Поднять на ноги прессу, позвонить в посольства, расклеить по городу объявления...

— Вам никто не поверит, шеф, — решил наконец вмешаться Таратура.— Или сочтут за остроумную шутку, или признают вас сумасшедшим.

— Прав! Тысячу раз прав! — подхватил Чвиз.— Новость о том, что в стране несколько президентов, должна исходить от самих президентов, и только тогда она будет достоверной. Мы выпустили джина из бутылки, и теперь мы лишились власти над ним. Вам понятно, Миллер, хотя бы это?

— К сожалению, я вынужден это понимать.

— Но кое-что еще вы поймете несколько позже,— вдруг загадочно произнес Чвиз.— Не хочу вас разочаровывать раньше времени, но вы явно поторопились со звонком Дорону.

— Почему? — настороженно спросил Миллер.

— Потому, что этим звонком мы отрезали себе пути к отступлению,— ответил Чвиз.— А они у нас были.

— Простите, коллега, но в ваших словах нет логики. Корабли мы сожгли, создав несколько президентов,— сказал Миллер.— Теперь нам остается единственное: идти в атаку с поднятым забралом!

Чвиз даже крякнул от досады:

— Если бы я был уверен, коллега, в вашем благоразумии, если бы я был убежден, что вы не ринетесь тотчас в свою атаку, я сказал бы вам нечто та-

кое, что убедило бы вас в необходимости оставить поле битвы.

Миллер очень внимательно посмотрел на Чвиза и тихо сказал:

— Я давно подозреваю, что вы знаете что-то больше меня, но никак не могу понять....

— Шеф,— снова вмешался Таратура,— а если все же пойти дальше?

— Что вы имеете в виду?

— Сеять так сеять, как говорил комиссар Гард, когда был еще инспектором и когда составлял списки подозреваемых в убийстве лиц, включая в них даже младенцев, находящихся в утробе матери.

— Выражайтесь яснее, Таратура,— нетерпеливо сказал Миллер.

— Я говорю, шеф, не стоит ли нам отпечатать пяток Доронов и десятка полтора с каждого члена Совета? Они сразу же передерутся между собой...

Но Таратуру прервал Чвиз:

— Молодой человек, ваш шеф надеялся, что передерутся президенты. Однако этого не случилось!

— Вероятно, им помешали члены Совета, которым помешать уже никто не сможет. И тогда мы... захватим власть!

— Вам — пост министра внутренних дел! — мгновенно добавил Чвиз.— Согласны?

Он сказал это так серьезно, что Таратура заколебался с ответом. С одной стороны, конечно, неплохо работать у Миллера, но, с другой стороны...

Он не успел додумать свою мысль, как в комнате погас свет. Таратура тут же зажег фонарик, а Чвиз сказал:

— Вероятно, перегорели пробки.

— А где щиток? — спросил Таратура.

— Откуда я знаю? — ответил Чвиз.— Это же не моя квартира.

Таратура стал шарить лучом по стенам, а Миллер тем временем подошел к окну. В доме напротив тоже не было света. Не горели даже уличные фонари. «Странно, очень странно...» — подумал Миллер, и вдруг острая догадка пронзила его.

— Чвиз, поднимите телефонную трубку! — воскликнул он.

Профессор нащупал в темноте аппарат.

Телефон был мертв.

Таратура уже зажигал свечи, оплывшими огарками торчащие из бронзового старинного подсвечника.

— А радио? — воскликнул Миллер.

Молчало и радио.

— Господа,— не сдерживая волнения, сказал Миллер,— они вырубили электричество!

— Вы думаете? — спросил Чвиз.— Во всем городе?

— Может быть, даже во всей стране!

— Но почему? — удивился Таратура.

— Они нас лишают электричества! Они боятся нас! Они хотят сохранить статус-кво! И это — начало хаоса, уже определенно, господа, определенно!

Когда три маленьких языка пламени, чуть-чуть разгоревшись, слегка потеснили темноту и без того мрачной комнаты, Миллер решительно сел за стол и тоном полководца произнес:

— Пора!

— Что вы намерены делать? — спросил Чвиз.

— Бумагу мне, Таратура! Дайте мне бумагу! Наш час, господа, пробил!

Через несколько минут Миллер передал Таратуре письмо.

— Учтите,— резко сказал Миллер,— мы подождем до утра, когда паника наверняка достигнет максимума, а затем... письмо должно быть вручено лично генералу Дорону. Никому другому. Понятно?

Утро выдалось солнечным...

Таратура выглянул в коридор и, не увидев ничего подозрительного, вышел из квартиры. Вместо того чтобы спуститься вниз, он сначала поднялся на следующий этаж, постоял в конце лестницы, закурил и только потом быстро сбежал к одному из черных ходов. Затем он пересек двор дома, легко перемахнул через невысокий каменный заборчик и очутился на стоянке автомашин, которая была расположена рядом с девятиэтажным зданием полицейского управления. Этот дом выглядел чужестранцем среди серых средневековых коробок, но придавал колорит старому району города, осовременивая его сразу в двух смыслах: архитектурно и политически. Небольшую площадь перед управлением всегда занимали хозяева переносных ларьков. Чем ближе к закону, тем легче его нарушать, это же известно всем!

По утрам здесь было шумно и многолюдно, почти как на базаре.

Смешавшись с покупателями и ротозеями, Таратура медленно продвигался вдоль ларьков. Он пристально всматривался в лица людей, которые толкались рядом, но ничего подозрительного не заметил.

Постояв минут двадцать в очереди за свечами (пригодятся!), он наконец решительно пересек площадь и зашагал к главной магистрали, которая перерезала город на две части. Таратура и тут убедился, что слежки за ним нет.

Теплое летнее утро плыло над городом, бурлящим и шумящим больше обычного. Даже не очень внимательным взглядом можно было заметить, что люди возмущены: полицейских на улицах столько, сколько бывает во время выборов или забастовок. Город жил в ожидании каких-то необычайных и далеко не веселых событий. Таратура шагал к дому Дорона.

В пяти шагах от Таратуры рослый парень возился возле тачки. Огромное деревянное колесо лежало на тротуаре, немногочисленные прохожие осторожно обходили его.

— Алло, приятель,— окликнул парень Таратуру,— будь любезен, подержи-ка эту сволочь.—Он показал пальцем на колесо.

Предложение было как нельзя кстати. Таратура быстро поднял колесо и подтащил его к тачке. Пока парень загонял шплинт, Таратура внимательно осмотрелся. Кажется, за домом Дорона только наружное наблюдение. В саду, примыкавшем к дому, его опытный глаз не заметил ничего подозрительного.

— Вот спасибо, выручил,— поблагодарил парень и пристально посмотрел в лицо Таратуры.— Понимаешь, я уже два часа мучаюсь и все без толку. Ты торопишься? — неожиданно спросил он.

Таратура не ответил.

— Торопливость — неважная штука,— добавил парень.— Не на тебя ли направлены эти глаза? — И он осторожно кивнул на молчаливые и неподвижные фигуры, которые, как по команде, уставились на Таратуру, а потом, словно повинуясь чьему-то приказу, двинулись в его сторону.

— Ныряй во двор! — прошептал парень.— Не отставай от меня.

Он быстро покатил тачку к углу дома.

Таратура заколебался, а затем решительно метнулся на противоположную сторону улицы и перемахнул через забор. В три прыжка он перелетел через цветочную клумбу и рванул дверь особняка. К счастью, она была открыта.

Парень тем временем осторожно завел тачку на тротуар, прислонил ее к стене и медленно зашагал

к темному проему между домами. За углом его спокойствие и неторопливость исчезли. Он со всех ног пустился бежать по улице. Через десять минут Ральф Уорнер уже сидел в «Указующем персте», дожидаясь Гарда и Честера.

Увидев Дорона, Таратура оробел. Перед ним сидел холодный, подтянутый человек, сознающий свое величие и могущество.

— Прошу вас.— Генерал показал Таратуре на кресло.— Я очень рад, что вы наконец пришли. Как поживает ваша матушка?

Таратура ничего не понял. Он настолько растерялся, что не ответил.

— Я вижу, вы очень взволнованы.— Генерал вызвал Дитриха и, когда тот появился в дверях, приказал: — Коньяк, пожалуйста! Вы не возражаете? — спросил он у Таратуры.

— Я... люблю кофе,— сказал вдруг Таратура.

— ...и чашечку кофе,— добавил генерал, обращаясь к Дитриху.

— Я давно не помню такой жары.— Дорон встал и подошел к окну.— Словно в Сахаре. Говорят, что солнце вредно для здоровья. В избытке, конечно. Раковые заболевания и прочее.

— И мух много,— добавил Таратура. Он почувствовал, как холодные струйки пота побежали по его спине.

— Совершенно верно,— сказал Дорон.— И мух.

Дитрих принес коньяк и кофе. Таратура лихорадочно схватил чашку и сделал несколько глотков.

— Генерал,— сказал он наконец.— Я явился к вам по поручению...— Он не закончил фразы, так как Дорон приложил палец к своим губам. Таратура сразу все понял и, сделав короткую паузу, добавил: —...по поручению матушки. Она просила узнать, нет ли у вас для меня работы.

Дорон что-то быстро написал на листке бумаги. «Ни слова! — прочитал Таратура.— Следуйте за мной».

Миновав несколько дверей и комнат, они вошли в подземный кабинет Дорона. Таратура искренне поразился тому, что он был точной копией главного кабинета. Даже из окна та же панорама. «Оптическая иллюзия,— сообразил Таратура.— Ну ладно, у тебя обо мне иллюзии не будет».

— Скажите, генерал,— твердо произнес Таратура,— зачем мы пришли сюда? У меня разговор короткий.

— Там нас могут подслушать, Таратура,— сухо сказал Дорон.— Здесь же никто, кроме бога.

Таратуру приятно поразило, что Дорон разговаривал с ним на равных.

— Я к вам от профессора Миллера,— сказал Таратура.— Он просил передать это письмо.— Таратура протянул пакет Дорону.

Тот осторожно, двумя пальцами взял пакет, достал из ящика стола ножницы и надрезал бумагу. Доставая письмо, он невзначай спросил:

— Где сейчас Миллер? Далеко?

Таратура усмехнулся:

— У него менее удобное убежище, генерал, чем у вас, но достаточно надежное.

— Благодарю за исчерпывающую информацию.— Дорон раскрыл письмо.

— Странно, очень странно,—сказал он, внимательно прочитав послание Миллера.— Вам знакомо содержание письма, Таратура?

— Нет.

— Я не понимаю, чего хочет профессор Миллер. Нам лучше встретиться с ним и обо всем договориться. Уверен, он будет удовлетворен. Как с ним связаться?

— Я передам шефу все, что вы сказали,— заверил Дорона Таратура.— Мне можно идти?

— Не торопитесь,— сказал генерал. Таратура едва заметно улыбнулся. Дорон поморщился. Затем, прямо глядя в глаза Таратуре, спросил: — Где Миллер, Таратура? Вы должны мне сказать.

Таратура пожал плечами.

— Два миллиона кларков. Заранее. Сейчас.

— Благодарю, генерал,— ответил Таратура.— Я вам буду признателен за столь щедрый подарок.— Таратура явно издевался, и Дорон понял это.

— Вы будете моей правой рукой, Таратура,— сказал генерал.

— Мне кажется, вы тоже понимаете, что игра ведется уже не на деньги и почести. Зачем лишние слова, генерал?

Дорон сдался.

— Вы выйдете отсюда потайным ходом, прямо в парк. Учтите, я жду Миллера. Дитрих будет дежурить в парке. Берегитесь, вас ищут,— предупредил Дорон.

— Я это знаю,— вновь улыбнулся Таратура.— Кстати, наверное, и ваши люди тоже. Я должен вам сказать, что с ними труднее всего работать.

— Благодарю.— Дорон склонил голову.— Но сегодня моих «хвостов» за вами не будет. Не беспокойтесь об этом.

«Так я и поверил,— подумал Таратура.— Мягко стелешь, да жестко спать...»

Дитрих проводил Таратуру. Выскользнув из люка, Таратура отряхнул с костюма комочки земли и направился к выходу из парка.

Кто-то схватил его за запястье железной хваткой.

— Таратура, стой! — сказал незнакомец.— Пойдешь со мной.

— Хорошо,— неожиданно покорно согласился Таратура.

Рыжий детина подумал и отпустил его руку.

— Так-то лучше,— пробормотал он.— Бенк Норрис не любит, когда его не слушаются.

Они медленно шли по аллее парка. Таратура чуть впереди, Норрис сзади.

— Подожди, — остановился Таратура, — у меня развязался шнурок.

Он нагнулся. Норрис слегка наклонился, пытаясь разглядеть, что делает его спутник.

Сильный, резкий удар правой сбил Норриса с ног. Он грохнулся о землю, как чушка металла. Деревья поплыли в сторону, откуда-то из-за них выплыло лицо Чарльза Квика, «короля Эфитрии», который все-таки побил Норриса в той решающей схватке. Точно таким же ударом в солнечное сплетение.

Когда Норрис очнулся, в парке никого не было.

Таратура не один раз сам ходил «хвостом» за преступниками всех мастей, и поэтому отлично знал, как нужно от «хвостов» избавляться.

Заскочив в кабачок «Старый моряк», он поздоровался с хозяином и, подмигнув ему, направился к черному ходу. Хозяин не сказал ни слова, он отлично понимал подобные штуки и молчал, когда его клиенты предпочитали черный ход парадному.

Пройдя дворами, Таратура вышел на главную улицу и, миновав несколько домов, вновь исчез в одном из подъездов. Пройдя на второй этаж, он остановился и прислушался. «Хвост» не появлялся. В конце коридора был балкон, о его существовании

Таратура знал. Он открыл стеклянную дверь балкона. Во дворе трое ребятишек возились возле кучи песка. Женщина сидела на лавке и читала газету. Больше никого не было. Таратура спрыгнул вниз и поморщился от боли. Правая рука ныла. Он ударил Норриса настолько сильно, что, кажется, вывихнул кисть. Сейчас, когда он оперся на руку, острая боль пронзила тело. Таратура пересек двор и очутился в одном из переулков, примыкающих к дому, где скрывались Миллер и Чвиз. Облегченно вздохнул. Его нелегкая миссия подходила к концу.

Только сейчас Таратура понял, насколько он устал. Он хотел уже было войти в подъезд, как заметил у одного из входов двух подозрительных типов.

Кажется, они не смотрели в его сторону, но даже если бы смотрели, все равно необходимо было предупредить ученых: дом обнаружен! Эти двое были «чужаками», один из них — полицейский. Таратуре показалось, что он даже знает его, настолько знакомой была фигура этого человека. Метнувшись в подъезд, Таратура бросился в левую галерею. И даже не услышал, а скорее понял, что те двое кинулись за ним.

Таратура добежал до конца галереи, а затем вверх по лестнице. Его окутали сумрак и прохлада бетонных перекрытий. Двое бежали следом. Таратура наугад дважды выстрелил в темноту.

Оставался единственный выход — только наверх. Перепрыгивая через две ступени, он побежал туда. Вот и третий этаж. Один из преследователей, вероятно, отстал. Он что-то крикнул, но Таратура не разобрал слов.

Дверь на чердак была закрыта. Таратура растерялся: он оказался в ловушке. Внизу, двумя этажами ниже, он слышал стук каблуков. Не раздумывая, Таратура навалился плечом на чердачную дверь. Прогнившие доски треснули, и он упал на рухнувшую дверь. Острая боль вновь резанула тело: рука, поврежденная в парке, давала о себе знать.

Таратура вскочил и, опрокидывая на пути какие-то корзины, ящики, стулья, побежал к светлому пятну,— это было слуховое окно.

Он выбил стекло и протиснулся на крышу.

Под собой он слышал топот. Двое приближались.

Черепичная крыша была очень скользкая. Балансируя руками, Таратура осторожно шел по коньку. В двадцати шагах начиналась крыша другого дома, а там пожарная лестница и спасение.

— Таратура, стой! — услышал он знакомый голос Честера.— Вернись!

Таратура остолбенел. «Честер? — мелькнуло в голове.— Почему он?»

Левая нога заскользила, Таратура упал и медленно поехал по крутому склону крыши. Судорожным движением он попытался дотянуться до стойки телевизионной антенны. Но когда пальцы почувствовали металл, сознание помутилось от пронизывающей боли. «Да, я очень сильно ударил рыжего парня»,— успел подумать Таратура.

...Когда Честер и Гард сбежали вниз, возле распростертого на земле тела собирался народ.

16. ЧЬЯ ВОЗЬМЕТ!

Осторожный стук в дверь заставил Миллера и Чвиза переглянуться. Миллер стоял у окна, Чвиз сидел в кресле. Оба они не шевелились.

Стук повторился.

— Это не Таратура,— стараясь говорить спокойно, произнес Миллер.

— Что будем делать? — спросил Чвиз.

Миллер ничего не ответил, лишь нервно закурил сигарету. В дверь снова постучали.

— Он мог потерять ключ,— сказал Чвиз.

Миллер пожал плечами.

— Спросите.

Приблизившись к двери, Чвиз строго спросил:

— Кто там?

— Полиция,— мгновенно ответил жесткий мужской голос.

Чвиз оглянулся на Миллера.

— Открывайте! — шепнул Миллер.— В противном случае они просто выломают дверь. Я буду за шкафом.

Чвиз повернул замок. Дверь распахнулась. На пороге стояли Честер и Гард, держа руки в карманах.

Честер остался в дверях, а Гард решительно шагнул в комнату мимо Чвиза. И тут же увидел Миллера. Мгновенно побледневшее лицо профессора не выражало, однако, никакого страха.

— Я знал, Гард, что, если нас обнаружат, это будете вы,— сказал Миллер.— Прикажите своему человеку закрыть дверь. Терпеть не могу сквозняков.

— Там Честер,— сказал Гард.— Вы с ним знакомы. Простите, я очень устал.— И Гард с явным удовольствием опустился в кресло.

Честер, слышавший этот разговор, закрыл дверь и вместе с Чвизом вошел в комнату.

— Позвольте представить вам, господа, профессора Чвиза,— сказал Миллер.

При этих словах Гард встал и учтиво поклонился. Честер с изумлением смотрел на Чвиза. Зло улыбнувшись, Миллер сказал:

— Коллега, этот тот самый Гард, о котором я вам говорил.— Затем, повернувшись к Гарду, он спокойно спросил: — Что вы намерены с нами делать, комиссар?

— Еще не знаю,— ответил Гард.

Наступила долгая и томительная пауза. Каждый лихорадочно продумывал линию дальнейшего поведения.

— Я видел вас, профессор, лишь на фотографиях,— сказал Гард, нарушив молчание.— Никак не ожидал встретить здесь.

— Я очень изменился? — ехидно спросил Чвиз.

— За минувший год я тоже не помолодел,— жестко сказал Гард.— Хотя и не жил в заточении.

— Вы легки на помине,— обернувшись к Честеру, произнес Миллер.— Не ранее, как вчера, мы о вас вспоминали.

— Благодарю,— без тени иронии ответил Честер.— Очень жалею, что Таратура не пришел в «Указующий перст». Я долго его ждал, и, приди он, все бы сложилось иначе...

— Увы, ему пришлось уехать по срочному делу,— осторожно сказал Миллер.— Но он вернется и встретится с вами, поскольку считает вас порядочным человеком.

— Он не вернется,— сказал Гард.— Никогда.

— Как вас понимать? — насторожился Миллер.

— Таратуры, к сожалению, больше нет,— грустно сказал комиссар.— Он принял нас за своих преследователей, пытался увести от этой квартиры и... погиб, сорвавшись с крыши.

Чвиз схватился за сердце и начал тихо массировать грудь.

— Вам плохо? — спросил Честер, но старик не удостоил его ответа.

— Поверьте,— сказал Гард,— мы в этом не виноваты. Я хорошо знал Таратуру.

— Когда это случилось? — прошептал Миллер.

— Полтора часа назад,— ответил Гард.

Они вновь умолкли. Миллер стоял посреди комнаты, понурив голову и тупо глядя перед собой.

Наконец он встряхнулся:

— Где... где он сейчас?

— Его увезли, по всей вероятности. Мы были в толпе, но очень недолго, так как понимали, что рядом могут оказаться люди, которые интересуются вами. И не хотели рисковать.

— Чем?

— Скорее кем,— сказал Гард.— Вами. Они могли обнаружить квартиру прежде, чем это сделали бы мы.

— За кого же вас принимать? — нахмурившись, спросил Миллер.

— Такой же вопрос вертится у меня на языке, профессор,— сказал Гард.— Но я задам его в иной форме. Скажите, три года назад у вас была золотая коронка?

— Глупо,— устало произнес Миллер.— Поверьте, мне сейчас не до шуток и тем более не до загадок. Если хотите, спрашивайте в открытую.

Гард отрицательно покачал головой.

— В открытую не могу, Миллер. Особенно теперь, когда я понял, что вы обманули меня в деле профессора Чвиза. В открытую я вам пока не верю.

— Предположим,— ответил Миллер.— Но какое отношение ко мне имеет золотая коронка?

— Вы хотите знать правду? Обещаю сказать ее, как только получу ответ на свой вопрос. Итак, была ли у вас три года назад золотая коронка? Я имею в виду время до того, как случилось дублирование.

Честер обратил внимание на то, что Чвиз тоже с нетерпением ждет ответа Миллера.

— Коронки никогда не было,— нехотя ответил Миллер.— У меня, я помню, когда-то болел зуб, и пришлось его впоследствии удалить. Если вам достаточно этих стоматологических данных, я жду вашей правды.

Гард широко и добро улыбнулся.

— Отлично! Вы не представляете, профессор, сколько пудов сомнений вы сняли с меня своим ответом! Так вот: вы — и я узнал об этом только сейчас — настоящий Миллер! Вы не двойник! И потому можете располагать мною и Честером, как своими друзьями!

— Ничего не понимаю! — искренне сказал Миллер.— В своей истинности я никогда не сомневался.

— Да что тут понимать! — не выдержав, вскочил на ноги Гард.— Несколько часов назад мы с Честером были на кладбище у Бирка и видели труп двойника!

— Это ложь! — вдруг яростно сказал Чвиз.— Никакого трупа видеть вы не могли!

— Совершенно верно,— спокойно подтвердил Гард.— В гробу было пусто. Но в нем лежала золотая коронка!

Старый Чвиз подошел к Гарду, остановился перед ним и долго-долго смотрел на него. Потом повернулся к Миллеру и сказал:

— Коллега, он умный человек. И честный человек. Ему можно и нужно верить.

— Ничего не понимаю! — с досадой воскликнул Миллер.— Но чувствую, Чвиз, что у вас есть какая-то тайна, которую вы опять скрываете от меня...

— И которая только что блестяще подтвердилась! — с жаром сказал Чвиз.

— Господа,— спокойно сказал Гард.— Прежде всего нам следует немедленно покинуть эту квартиру. В более надежном убежище мы попытаемся разгадать все наши тайны.

Казалось, смерть Таратуры и внезапное появление Гарда повергли Миллера в какое-то оцепенение. Он больше не задал ни одного вопроса, не расспрашивал, куда и зачем ведет их комиссар, послушно сел в машину, которую Гард предусмотрительно оставил неподалеку от дома в одном из тупичков. Его движения были скорей машинальными, чем осознанными.

Молчал и Чвиз, думая о чем-то своем. Мертвый Таратура владел мыслями ученых так, как никогда не владел ими, будучи живым. Неизменно веселый, всегда решительный и верный, как-то обходящийся без глубоких размышлений о смысле происходящего, он был для Миллера безупречной опорой в жизни, человеком, на твердость которого можно было положиться. И вот он, Миллер,—от этого никуда не уйти — фактически послал его на верную смерть, потому что считал себя вправе рисковать чужой жизнью. Но почему, почему он присвоил себе такое право? Этот вопрос не давал Миллеру покоя.

Он не замечал, что творилось на улицах, по которым они ехали. Зато Гард замечал все.

Может быть, впервые за всю многовековую историю столицы ее жители в будний день остались без работы. Не было тока — стояли заводы. Замерла связь, остановились троллейбусы, метро и трамваи, погасли экраны телевизоров. Миллионы людей вдруг были вышвырнуты из привычного распорядка.

Многие из них пережили кошмарную ночь, наполненную тревогой, неизвестностью, страшными и фантастическими слухами о надвигающейся войне, диверсиях на электростанциях, антиправительственном заговоре, высадке марсиан...

День не принес облегчения. Официальное сообщение о крупных поломках в энергосистеме, переданное правительственной радиостанцией, не столько успокоило, сколько вызвало гнев. (Чтобы передать это сообщение и дать возможность его прослушать, на несколько минут был включен ток.) Для тех, кто не поверил сообщению по радио, это стало доказательством, что в стране происходят какие-то тревожные и таинственные события. Поверившие (их было меньшинство) задали себе один и тот же вопрос: чего же стоят власти, если они допустили такое?

На магистральных улицах машин всегда было больше, чем людей. Так по крайней мере казалось. Сейчас было наоборот: Те сотни тысяч людей, которые днем сидели в конторах, работали в цехах, а вечером смотрели телевизор, сегодня очутились на улице. Не только потому, что в толпе они чувствовали себя лучше. Каждый искал правду о происходящих событиях, и потому любая информация — достоверная или недостоверная — разносилась по городу, как на крыльях. Домыслы о начале войны, высадке марсиан очень скоро испарились, не получая абсолютно никакого подтверждения. Зато все более крепли слухи об остром неблагополучии в правительстве, о том, что кто-то с помощью двойников президента хочет захватить власть и установить диктатуру. Наконец, пополз слух, которому сначала не поверили ввиду его абсолютной фантастичности, но который тем не менее креп и обрастал реальными подробностями: кто-то сделал нескольких искусственных президентов. (Если бы Гард и Честер появились в «Указующем персте» на три часа позднее, они бы обнаружили у дверей толпу, жаждущую лично удостовериться у владельца кабачка и его прислуги, что президент действительно был там вчера днем.)

Увеличившиеся наряды полиции еще более накалили обстановку, вместо того чтобы успокоить народ. И к тому времени, когда Гард вывел ученых из убежища, в настроении людей произошел перелом.

— Что это? — вышел из оцепенения Миллер при виде возбужденной толпы на площади, куда они въехали. Люди размахивали руками, что-то кричали. Их было так много, что Гарду пришлось притормозить.

— По-моему, это пузырьки пара,— спокойно заметил комиссар, пытаясь развернуть автомобиль.

— Как, как? — не понял Миллер.

— Ну, вы, физики, должны знать это лучше. Кипение воды всегда начинается с появления пузырьков.

— А недовольство с демонстраций,— догадался Честер.

— Недовольство? — Гард пожал плечами и до упора нажал на тормоз. Его машина, как и соседние, уже была в плотном кольце людей.— Недовольство — это постоянное состояние нашего общества, или я, комиссар полиции, ничего не понимаю в своем деле. Вы даже не представляете, до чего у нас непрочно в стране. Люди озлоблены, потому что впереди нет ясной и обнадеживающей перспективы, потому что жить трудно, потому что в промышленности постоянно возникают временные затруднения, потому что доверия к правительству нет, потому что кругом лицемерие и обман, потому что над всеми висит угроза войны... А вы, Миллер, поставили этот котел недовольства на жаркий огонь. Мне непонятно ваше удивление.

— Позвольте!—воскликнул Миллер.— Еще вчера...

— А кто сказал, что вода закипает мгновенно? Нужно время и температура. Лучше послушайте, что они кричат.

Где-то посреди площади (где — не было видно из-за спин), очевидно, образовался какой-то центр, потому что именно оттуда доносились выкрики. Миллер опустил стекло.

— ...Требуем правды! — Шум рвал обрывки слов.— ...Правительство обманывает... Совет богов... с вечера... Президенты арестованы!.. Заговор против народа... Пользуясь случаем... фашистская диктатура... Все к Дому власти... К ответу правительство!

Все перекрыл одобрительный рев. «К ответу, к ответу!» — орали тысячи глоток.

Внезапно толпа колыхнулась. Раздались возгласы: «Полиция, полиция!»

На несколько секунд в толпе образовался разрыв. Гард тотчас сбросил ногу с тормоза, дал газ с выключенным сцеплением, мотор взревел, люди впереди шарахнулись в стороны, Гард круто положил руль, и машина пушечным ядром вылетела из толпы в боковой переулок.

— Я думаю, нам незачем попадать в эту заваруху,— сказал Гард.

— Это напоминает мне дни моей молодости,— сказал Чвиз.

Все с удивлением посмотрели на дотоле молчавшего Чвиза.

— Я во многое тогда верил, а главное, в науку. Я считал, что наука может служить только добру. Верил, пока не появилась эта проклятая установка и пока Дорон не наложил на меня свою лапу. Он отнял у меня науку, а с наукой и смысл жизни. С тех пор мне все равно, жив я или умер. Но все-таки перед концом приятно видеть начало цепной реакции и сознавать, что ее вызвали мы. И чем бы теперь это ни кончилось, мир уже не останется прежним.

— Чушь,— сказал Миллер,— революции у нас никогда не будет.

— Тогда почему же вы, коллега, своими действиями подталкиваете — и не без успеха — к ней народ?

Миллер промолчал.

— Просто об этой возможности я как-то не думал,— наконец сознался он.

— А чего же вы тогда хотели? — сказал Гард.

— Осторожней! — воскликнул Честер.— На той площади мы, похоже, снова влипнем!

Гард поспешно дал задний ход и свернул в переулок.

— Так чего же вы хотели? — повторил он вопрос, когда убедился, что путь впереди свободен.

— Я хотел их обжечь! — с яростью сказал Миллер.— Я хотел, чтобы они на своей шкуре почувствовали, как больно жжется научное открытие. Чтобы они поняли, с каким огнем играют!

— Они — это президент? — тихо спросил Честер.

— Да.

Честер разочарованно присвистнул.

— Знаете что,— вдруг сказал он.— Я выйду сейчас на одну из этих площадей и расскажу людям все. Вот тогда начнется!

— Никуда ты не выйдешь,— отрезал Гард.— Ты можешь рисковать своей головой, но не нашими. Тем более, мы приехали.

— Но это же твоя квартира, Гард!

— Вот именно,— сказал комиссар.— Прятаться нужно там, где искать заведомо не будут. Идемте.

Обойдя все три комнаты, Гард опустил шторы на окнах и лишь после этого разрешил спутникам покинуть прихожую. Нераспакованный чемодан все еще стоял у двери, и Гард, показав на него, сказал:

— Повторяю, вы будете здесь пока в полной безопасности. С одной стороны, я в отпуске, с другой — «человек Дорона».

— Вот как? — сказал Миллер.

— Не беспокойтесь, последняя должность у меня чисто символическая.

— Кроме того,— добавил Честер,— я обещаю вам в случае чего просто свернуть ему шею.

Миллер натянуто улыбнулся. Он все еще не мог избавиться от подозрительности, хотя прекрасно понимал, что теперь в ней нет никакого смысла. Словно чувствуя состояние ученых, Гард поторопился рассказать им о своей встрече с Дороном. При этом он дал понять, что, вмешавшись в дело, был готов и к роли гостеприимного хозяина и к роли человека, способного подвергнуть их принуждению.

— Я бесконечно рад тому,— сказал Гард,— что случилось первое.

— Простите, господа,— добавил Честер,— но, как мы ни гадали, мы не могли заранее предположить, что у вас благородные цели.

На что Чвиз мрачно заметил:

— Ни у кого на лбу не написаны достоинства. Особенно у людей, занимающих пост комиссара полиции.

— Мы отвлеклись, господа,— сказал Гард.— Я хотел бы знать, какие шаги вы уже предприняли и что намерены делать в будущем.

Миллер пожал плечами и поправил воротничок рубашки своим характерным движением шеи.

— К несчастью,— сказал он,— мы лишены какой бы то ни было информации. Мы знаем лишь, что в городе выключено электричество и что там происходят... м-м... волнения. Вмешаться в события мы сейчас не можем. Единственное, что мы сделали,— это отправили Дорону ультиматум, как только почувствовали признаки хаоса. Но нам неизвестно даже, удалось ли Таратуре...

— Удалось,— сказал Честер.— Уорнер и Норрис оповестили нас. Это наши люди, они видели Таратуру входящим в особняк Дорона, а затем выходящим в парке из колодца, причем Норрис еще долго будет помнить этот выход.

— А что за ультиматум? — спросил Гард.

— Копии нет,— ответил Миллер.— Могу вспомнить основной смысл. В письме было написано, что я — о профессоре Чвизе, разумеется, там нет ни слова — пойду на крайние меры, если Дорон не примет моих условий. Условия такие: полная независимость в работе и дальнейшем усовершенствовании установки, использование ее только в благородных целях и абсолютная гарантия свободы, которую я требую от лица всей науки. На размышления я давал Дорону пять часов после получения письма.

— А сколько времени прошло с тех пор, как были созданы президенты? — вдруг спросил Чвиз.

— Первый был создан в воскресенье утром,— сказал Миллер.— Второй — спустя час, а третий — где-то около полудня. Вот и считайте, коллега. А что?

— Так,— сказал Чвиз.— Первому, выходит, уже около сорока часов жизни.

— Простите,— вмешался Гард.— Как я понял из ваших слов, вы сделали трех новых президентов?

Он подчеркнул слово «трех».

— Да,— сказал Миллер.— Хотели сделать четырех, но с последним почему-то получилась осечка. Я даже не знаю, почему. Матрицы, с которых осуществлялось печатание, были в порядке, Таратура заранее доставил их в кабинет президента...

— Каким образом? — поинтересовался Честер.

— Увы, он не сказал нам, и теперь это навсегда останется тайной... И поскольку мы готовили матрицы в разное время, делая снимки с президента в разных местах — когда он молился, когда был на матче регбистов, на банкете и, наконец, один снимок, который сорвался во время предвыборного митинга,— у нас должны были получиться четыре президента с гипертрофированием определенных человеческих качеств. Нам казалось, что именно это обстоятельство приведет к полному разнобою в управлении государством и, следовательно, к хаосу.

— А что потом? — спросил Честер.

— Вас интересует наш план? Или то, что случилось в действительности?

— План, план,— нетерпеливо сказал Гард.

— Я же говорил. Они должны были понять, что обращаются с нашим открытием, как дети со спичками. Надо было научить их благоразумию.

— И это все? — сказал Честер.

— Разве этого мало?

— Ах, боже мой! — воскликнул бывший репортер.— Эти детки должны обжечься, а потом дуть на свои бедные пальчики и плакать крупными слезами?! Простите, господа, но это счастье, что они не знают вашего плана. Вы наивны до беспредельности, если верите в благоразумие акул! Убежден, что всем этим доронам и гангстерам из Совета богов мерещится страшный заговор, чуть ли не революция, но никак не ваши пасторальные надежды!

— А что сделали бы вы на нашем месте? — спросил Чвиз.— Дело в том, что даже эту идею Миллера я считал авантюрой.

— Я бы? Я бы... Я бы напечатал несколько тысяч уорнеров, и норрисов, и даже честеров, которые к чертовой матери разнесли бы...

— Стоп, стоп! — сказал молчавший до сих пор Гард.— Все это наивно, но что сделано, то сделано. А потому постараемся извлечь максимум пользы из сделанного. Что касается тысяч честеров, то лично с меня хватит и одного, а для свержения власти люди найдутся и без дублирования. И будут они по-

крепче Честера. Если Честер подумает, он поймет, что я прав. Итак, господа, прежде всего должен сообщить вам, что из разговора с Дороном я понял, что в стране сейчас не четыре, а пять президентов.

— То есть? — сказал Миллер.— Мы зафиксировали четырех!

— Дорон сначала тоже. И когда ваша лаборатория была обесточена, он заверил Совет богов, что дальнейшее дублирование невозможно. Тогда-то и явился пятый президент, который перепутал им карты.

Миллер задумался.

— Вероятно,— сказал он после паузы,— произошла какая-то случайность...

— Гадать нет смысла,— сказал Чвиз.— Что бы там ни произошло, Гард прав. Надо думать, как использовать это обстоятельство.

— Вы действительно не можете продолжать дублирование? — спросил Гард.

— Сейчас нет,— ответил Миллер.— Установка в чужих руках.

— Но они думают, что можете! — воскликнул Честер.

— И это наш козырь,— добавил Гард.

— Второй наш козырь тот,— продолжал Честер,— что они уверены в заговоре и дрожат за себя. Следовательно...

— И главный наш козырь,— вставил слово Гард,— волнения в стране.

Миллер посмотрел на него с недоверием.

— Простите, но как вы, комиссар полиции, один из оплотов власти, можете радоваться волнениям?

— А как вы, профессор Миллер, один из научных оплотов власти, могли планировать потрясение основ этой власти? По-моему, Чвиз уже задавал вам этот вопрос.

— Обстоятельства...— буркнул Миллер.

— Я тоже исхожу из обстоятельств. А они подсказывают мне, что в сложившейся обстановке мы заинтересованы...— Гард запнулся,—...в революции. Это наш единственный козырь.

— Не надо считать козыри,— сказал вдруг Чвиз.— Через несколько часов все равно не будет ни одного.

Он сказал эти слова так спокойно и убежденно, с такой жуткой размеренностью, что по спинам у каждого пробежали мурашки.

— Чвиз,— тихо сказал Миллер,— прошу объясниться.

— Скажите, Гард,— вместо ответа спросил Чвиз,— каким образом по золотой коронке вы угадали происхождение профессора Миллера?

— Извольте,— начал Гард.— Я прежде всего предположил, что синтетический труп должен разложиться как-то иначе, нежели естественный,— простите, Миллер, что я столь циничен в вашем присутствии. Но, обнаружив пустой гроб, а в гробу — золотую коронку, я понял, что при всех случаях коронка была естественной. Или профессор поставил ее до сублимации, и тогда я подумал бы о странных ворах, которые украли полуразложившийся труп, нарочно выбросив золотую коронку. Или двойник поставил ее в период после сублимации до своей смерти,— и тогда естественно, что от него осталась лишь коронка. Логично?

— С одной поправкой,— медленно сказал Чвиз.— Тело двойника не поддается гниению. Оно просто исчезает. Десублимируется. Превращается в ничто.

— Так я был прав! — воскликнул Гард.

— Постойте, постойте,— сказал Миллер.— Для меня это новость. В какие же сроки, коллега?

— В том-то все и дело,— сказал Чвиз.— Теоретические расчеты, которые я провел здесь, показывают, что в отличие от кроликов сублимированные люди должны существовать в среднем около сорока — пятидесяти часов!

Сначала все ошалело посмотрели на Чвиза, а потом, как по команде, перевели глаза на часы. Первым пришел в себя Гард.

— В таком случае,— сказал он,—для успешной организации вашего побега мне нужно, чтобы правительству на несколько часов стало не до нас.

17. МЕСТЬ ПРОФЕССОРА МИЛЛЕРА

С того момента, как у парадного подъезда плавно затормозила первая машина с опущенными занавесками, и до того, как бесшумно скользнула последняя — десятая, прошло не более минуты. Говорят, точность — вежливость королей. Особенно когда их подгоняет страх...

Воннел приехал на усадьбу еще раньше. Он знал о разворачивающихся в стране событиях куда больше, чем знали о них Миллер и Гард, видевшие лишь краешек происходящего. Из многочисленных донесений агентов явствовало, что затаенное недовольство теперь прорвалось наружу и что митинги и демонстрации смогут оказаться прелюдией к чему-нибудь гораздо более серьезному. Пока волнения были неорганизованными, люди еще не думали о целенаправленных действиях; просто ими владели растерянность и гнев. Но Воннел отлично был осведомлен о способности масс к самоорганизации, особенно когда есть люди, мечтающие о перемене социального порядка. А в том, что таких людей много и что они вооружены опытом, Воннел не сомневался.

Но, как ни странно на первый взгляд, больше всего министра волновало сейчас не это. Он покрывался холодным потом лишь при одной мысли о том, что именно ему предстоит сообщить Совету обо всех событиях.

Дорон прибыл самым последним. Он подкатил на белом лимузине, сидя рядом с шофером. За его спиной теснились люди Воннела. И хотя они проворно выскочили из машины, чтобы любезно отворить Дорону переднюю дверцу, он не обольстился этой предупредительностью: конвоир тоже кажется вежливым, когда пропускает в камеру заключенного. Однако Дорону хватило выдержки сделать вид, что ни под каким домашним арестом он не находится и по-прежнему самостоятелен. Легким кивком головы он поблагодарил стоящего к нему ближе агента и с невозмутимым выражением медленно, почти торжественно стал подниматься по ступенькам. Чуть сзади неотступно шествовали два дюжих молодца, но Дорон шел так, будто его сопровождал почетный эскорт. Несмотря на двусмысленность своего положения, генерал был единственным из собравшихся в Круглом зале, кому удалось сохранить бодрый вид. Он справедливо рассудил, что поскольку в данный момент все зависит не от него и не от членов Совета, а от Миллера, Гарда, сыщиков Воннела и господа бога, то лучшее, что он может сделать,— это использовать вынужденное домашнее заключение для того, чтобы отдохнуть и хорошо выспаться.

Короли выглядели далеко не такими свежими. Видимо, необычайная угроза, нависшая над ними, оказалась сильнее самых новейших успокоительных средств. Заметив это, Дорон еще более приободрился: он чувствовал, что при нынешней неопределенности лучшие шансы выиграть у того, кто обладает

более крепкими нервами. «А что, если мне действовать так, будто Миллер уже в моих руках?»— подумал он, усаживаясь в кресло.

Тем временем Воннел приступил к докладу. Торжественно-многозначительным тоном, вовсе не соответствующим характеру достигнутых результатов, он сообщил присутствующим о принятых чрезвычайных мерах по обнаружению профессора Миллера. «Увы, Миллер, еще не найден,— сказал Воннел,— но зато,— его голос в этот момент взвился до победной интонации,— удалось наткнуться на Таратуру, телохранителя и секретаря профессора, когда Таратура проникал в особняк генерала Дорона». Затем последовала заранее отрепетированная пауза, в течение которой члены Совета должны были, по мысли Воннела, насладиться сообщением и проникнуться к Воннелу некоторой признательностью, очень необходимой ему в дальнейшем. «Назад Таратура не вышел,— продолжал Воннел,— по всей видимости, он и сейчас скрывается в особняке, но приняты меры, которые не допустят его дальнейшего исчезновения»,— уж будьте, мол, на этот счет спокойны.

Воннел и все члены Совета посмотрели в сторону Дорона. Дорон даже не опустил глаза, он продолжал сидеть каменным изваянием.

— Что касается профессора Миллера,— закончил министр,— не исключено, что и он скрывается у генерала, и я прошу членов Совета санкционировать обыск особняка!

Воннел вновь смерил Дорона уничтожающим взором. «Благодарю за ценную услугу,— подумал Дорон.— Редкий болван!»

Министр глубоко вздохнул: пора было переходить ко второй части доклада. Члены Совета терпеливо ждали. Дорон отлично представлял себе, какая буря происходит сейчас в их головах, решающих вопрос о проведении обыска у почти равного им хозяина страны.

О прочих событиях Воннел сказал вроде бы между прочим, скороговоркой и таким тоном, каким обычно сообщают пустяки. Но тон не помог. По выражению лиц членов Совета, мгновенно изменившихся, Дорон понял, что вопрос о нем уходит на второй план, так как возникает опасность более серьезная.

— Вам следовало начать доклад с сообщения о событиях в стране!— грозно произнес король Стали, как только Воннел умолк.

— Вы чрезвычайно легкомысленны, министр!— добавил король Нефти.

— Хоть какие-то меры вы принимаете?!— рявкнул кто-то еще.

— Я полагаю, господа...— начал было Воннел, но его перебили.

— Полагаю, нужно немедленно дать стране электричество!— решительно сказал король Стали.— Связь парализована, а это обстоятельство мешает нам вести борьбу против волнений. Кроме того, в дальнейшем ограничении я вообще не вижу смысла, если Миллер, как явствует из доклада министра, уже взят на прицел. Разумеется, если этому сообщению можно верить!

Воннел сжался в комочек и затаил дыхание.

Предложение не голосовалось. Как всегда, оно отражало общее мнение, и, как обычно, исполнять его нужно было немедленно. Воннел вышел, через секунду вернулся, а еще через какое-то короткое время заработали установки кондиционирования воздуха, которые, вероятно, в спешке не были выключены в ту ночь, когда выключалось электричество. Воздух сразу посвежел, но общая атмосфера от этого не стала лучше.

Арчибальд Крафт, взяв слово, выразил надежду, что полиция и служба безопасности уже приведены в готовность. Кроме того, сказал Крафт, на всякий случай нужно дать соответствующее указание военному министру, чтобы и войска были готовы «сдержать лишнюю энергию неустойчивой части населения».

Приказ военному министру можно было отдать прямо из Круглого зала, воспользовавшись оживившим телефоном. Воннел включил динамик, и потому его разговор с военным министром транслировался с помощью усилителей для всех. Команда была дана, и члены Совета отчасти успокоились. Оставалась «проблема Дорона», она вновь вышла на первый план, и все посмотрели, как по команде, на генерала.

«Пора!— в ту же секунду подумал Дорон.— Ни в коем случае нельзя отдавать инициативу в чужие руки!» Приняв такое решение, он, однако, еще несколько мгновений молчал, медленно повернув голову в сторону Воннела, он даже слегка приоткрыл рот, но злополучный комок вдруг закупорил ему глотку. У Дорона теперь был только один настоящий враг на всем белом свете, но самый сильный и могущественный: он сам. И в борьбе со своей собственной нерешительностью и страхом он не мог рассчитывать ни на деньги, которые у него были, ни на верных людей, наемных убийц, шантаж и угрозы. Один на один. Дорон против Дорона. Ум против глупости. Страх против смелости. Уверенность против нерешительности...

Сознание генерала на какое-то мгновение помутилось. Он вдруг почувствовал, будто проваливается в бездну, как это бывает в кошмарном сне. Но тут раздались слова, произнесенные чьим-то размеренным и спокойным голосом:

— Господин министр, пригласите сюда президентов!

Дорон обвел присутствующих мутным взором. На лицах королей было откровенное недоумение, но взгляды их оказались прикованными к Дорону. «Это я сказал?!» — с ужасом и одновременно с чувством облегчения подумал Дорон.

Воннел был растерян, но короли уже надели на себя каменные маски.

— Я должен повторить, господин министр?— четко произнес Дорон.

Воннел осторожно выскользнул за дверь. Несколько минут в зале стояла тишина, нарушаемая лишь шипением кондиционных установок. Дорон позволил себе встать с кресла и медленно пройтись вдоль стола и обратно. При этом он заложил руки за спину, и каждый из королей получил возможность заметить его высоко поднятую голову. Наконец дверь открылась. Появился Воннел во главе невиданной процессии. Вошли пять президентов, пять совершенно одинаковых людей, имеющих каждый свое собственное выражение лица. Членам Совета могло показаться, что это ожили фотографии какого-то великого актера, демонстрирующего на страницах иллюстрированного журнала свои мимические способности.

Процессию торжественно замыкал Джекобс. Он был, как всегда, философически настроен, а потому выглядел не то сонным, не то мудрым.

Дорон тоже разглядывал лица президентов, чуть сощурив глаза. Потом неожиданно перевел взгляд на их одежду и еле сдержал улыбку. За истекшие сутки почтенные главы государства, предоставленные, видимо, сами себе, успели внести некоторые изменения в свои туалеты, соответствующие их вкусам и наклонностям. От этого зрелище сделалось еще более нелепым и невероятным.

Впереди шагал президент в узеньких не по возрасту джинсах и в легкомысленной спортивной курточке, на рукаве которой красовалось изображение ядовито-желтого продолговатого мяча. Следом шел президент, одетый в безукоризненную темно-синюю пару, ослепительно белую сорочку с туго накрахмаленным воротничком и в галстуке бабочкой. Третий был одет во фланелевую рубаху без галстука и в простой твидовый пиджак — столь демократичный вид делал его похожим скорее на коммивояжера средней руки, нежели на президента могущественнейшего государства. Четвертый, взгляд которого был устремлен куда-то вверх, словно он молился, был облачен в строгую черную одежду, которая определенно гармонировала с изящными четками слоновой кости, нервно перебираемыми сухими пальцами. Наконец, последний, пятый президент, опустив голову, семенил позади всех; у него была нетвердая походка; плохо отглаженный костюм и явно несвежая рубашка с помятым воротничком говорили о том, что он был самым неухоженным,— либо о нем в суматохе забыли, либо он сам пожелал оказаться забытым.

Все пять президентов чинно уселись во главе стола, а чуть позади них примостился Джекобс. Его вид не выражал никакого желания выполнять приказы своих хозяев, а говорил скорее о простом любопытстве старого слуги.

Какое-то время никто не сделал ни одного движения, не произнес ни единого слова. Все ждали, что скажет Дорон, понимая, что скажет он что-то чрезвычайно важное.

Генерал встал. По привычке он на мгновение вытянулся, как на параде, но только на мгновение, чтобы затем принять вольную позу. Присутствующие оценили это обстоятельство как желание Дорона подчеркнуть, что отныне он не намерен вытягиваться в присутствии президентов и даже королей. На самом деле Дорон вновь потерял связь между реальным своим положением и тем, которое хотел занять. Он понимал, что неожиданно получил власть над всеми этими людьми, с которыми не мог поставить себя рядом даже в тайных мечтах. Играть с ними было опасно. Равносильно тому, чтобы забавляться атомной бомбой на складе водородных. Генерал не строил иллюзий. Он отлично понимал, что его миллионы — ничто в сравнении с их миллиардами. И если ему даже посчастливится продлить свою власть над ними, то это все равно будет власть для них.. Но, боже, много раз организуя смену правительств и перевороты в зависимых странах, Дорон, как ни странно, практически не знал, как это делается в натуре, с помощью каких слов и каких конкретных действий. Впрочем, подобное неведение скорее диктовалось не тем, что генерал не умел осуществлять перевороты, а тем, что он не был уверен в необходимости этого шага именно сейчас, в данный момент. Достаточно ли у него для этого оснований? Не слишком ли рискованно он действует? Может, лучше поискать какие-то более мягкие пути? А вдруг сейчас откроется дверь, войдут агенты Воннела и положат прямо на пол перед круглым столом связанного по рукам и ногам профессора Миллера? Что будет тогда? Акция Дорона немедленно превратится в мыльный пузырь, и спасения уже никакого не будет...

— Господа!— сказал Дорон, понимая, что молчать уже невозможно, но еще не зная, что будет говорить дальше.— Нам пора, господа, учитывая происходящие в стране события, наличие пятерых президентов, неизвестность местонахождения Миллера и общую критичность ситуации, принять соответствующие меры, для того чтобы по крайней мере стабилизировать власть и...

И вдруг раздался телефонный звонок. Как в хорошо отработанном сценарии. Прямо тут, в Круглом зале, звонил телефон. Это произошло впервые после той злополучной ночи при свечах, и почему-то все решили — все, кроме Дорона,— что звонок имеет прямое отношение к его речи. Между тем сам генерал мог воспользоваться телефонным звонком как передышкой для осмысления последующих своих слов, и никак иначе.

Дорон умолк. Джекобс, в обязанности которого всегда входило поднимать первым телефонные трубки, поднял ее и на этот раз. Полагая, что Дорон знает сценарий лучше остальных и между тем не возражает против вмешательства Джекобса, никто из присутствующих тоже не посмел возразить, в том числе и Воннел. Все еще включенные усилители донесли до присутствующих во много крат увеличенный голос Джекобса:

— Секретарь господина...— Джекобс запнулся, но, видимо, решив, что уже не выдает никаких государственных тайн, тут же поправился: — Секретарь господ президентов слушает!

— Срочно министра внутренних дел господина Воннела!— донесся чей-то взволнованный голос.

Дорон похолодел. «Вот оно,— подумал он.— Они нашли Миллера! Что делать? Что делать?!» Впору было бросаться вперед, хватать трубку и хоть на не-

сколько минут, хоть на секунды оттянуть обнародование страшной вести.

Но Воннел уже держал трубку в руке.

— Я слушаю!

— Господин министр, докладывает агент семьсот сорок восьмой. У меня срочное секретное сообщение...

— Говорите!— приказал министр.

— Только что обнаружен труп...— Агент вдруг закашлялся и сделал паузу. Члены Совета даже привстали со своих мест. Дорон весь напрягся.

— Чей труп?!— заорал Воннел.— Да прекратите дурацкий кашель! Чей труп, я спрашиваю?!

— Таратуры, господин министр!— сквозь кашель с трудом выговорил агент.

— Где?

— Район Строута. Двор меблированных комнат...

Вдруг раздались отбойные гудки — по всей вероятности, агент звонил из автомата, и ему помешали вести дальнейший разговор. Несколько раз произнесенное Воннелом «Алло!» было бессмысленным. Бросив трубку на рычаг, он почему-то сокрушенно произнес, ни к кому не обращаясь:

— Ускользнул!

— А Миллер?— воскликнул кто-то из членов Совета.

— Я не понял, господа,— произнес Воннел,— он сказал «труп» или «трупы»?

Все переглянулись и промолчали, но было заметно, что ангел надежды пролетел по залу, потому что лица членов Совета оживились.

— Трупы! — сказал вдруг Джекобс, научившийся в последнее время отдавать предпочтение множественному числу перед единственным.

На Дорона уже никто не обращал внимания. Генерал сел в кресло, закрыл глаза и представил себе собственное будущее настолько отчетливо, что, будь при нем какой-нибудь яд, он принял бы его непременно.

— Господа,— сказал президент, одетый в помятую рубашку,— нам хотелось бы определенности, и, очевидно, назрел вопрос...

И вновь раздался телефонный звонок. На этот раз Воннел опередил Джекобса и схватил трубку.

— Сейчас будет определенность! — быстро сказал Арчибальд Крафт.

Дорон продолжал сидеть с закрытыми глазами.

— Воннел слушает!— сказал министр.

— Отлично!— произнес чей-то голос.— Если вы тот Воннел, который является министром внутренних дел, немедленно передайте трубку генералу Дорону!

— Кто говорит?— спросил министр.

— Профессор Миллер!

У Воннела отвалилась челюсть. Члены Совета, как по команде, встали со своих мест. Дорон, двигаясь почему-то боком, приблизился к телефонному столику. Нервы его были на пределе. С трудом сохраняя контроль за своими движениями, он сомнамбулическим жестом взял трубку.

— Да,— сказал он тихо.— Я слушаю.

— Господин генерал,— сказал Миллер,— рад сообщить вам, что матрицы членов Совета приготовлены. Жду ваших дальнейших указаний!

— Что?— сказал Дорон.

— Я говорю,— повторил Миллер,— что вы можете объявить членам Совета о том, что я жду ваших указаний по поводу их дублирования.

— Так,— сказал Дорон, пытаясь сориентироваться в этой невероятно изменившейся обстановке.— Вы... там же?— Глупее вопроса он задать не мог.

Миллер откровенно расхохотался в трубку:

— Почти, генерал.

На присутствующих этот смех произвел гнетущее впечатление. «Ну, конечно,— решил каждый,— они в сговоре! Это ясно, как божий день...»

Дорон тем временем уже взял себя в руки. «Вероятно, Гард сделал свое дело. Или Миллер открылся сам? В конце концов сейчас не это имеет значение. Важно то, что он предлагает мне сотрудничество, да еще в момент, как нельзя более подходящий...»

Крафт, опустив низко голову, кусал кончик платка, торчащего из нагрудного кармана. «Вот когда начал действовать их сценарий!— подумал он.— Не в тот раз, когда был непредвиденный звонок, а именно сейчас! Дорон опасен, как черти в аду!»

— Ну, генерал?— спросил Миллер.

В голосе Дорона появились властные нотки: он уже почувствовал способность на равных участвовать в игре.

— Профессор,— сказал Дорон,— если в течение часа от меня не поступит никаких указаний, приступайте к дублированию!

— Хорошо, генерал. И вот еще что. Полиция и армейские части пытаются разогнать митинги протеста. Это обостряет обстановку в стране и ведет к напрасным жертвам. Отдайте распоряжение о соблюдении властями конституции. Иначе я приступлю к дублированию немедленно. Вы поняли?

— Разумеется!— сказал Дорон и повесил трубку. Затем, сделав паузу, он обвел присутствующих торжествующим взглядом.— Воннел, будьте любезны выполнить распоряжение Миллера. Он прав. Незачем накалять обстановку, мы все решим полюбовно. Садитесь, господа!

Все сели. Воннел опрометью бросился выполнять приказ, Дорон же так и остался стоять у телефонного столика. Свободное пространство, которое теперь пролегало между ним и членами Совета, как бы подчеркивало существо создавшегося положения. По лицу генерала пробежала еле заметная улыбка. Он вновь принял вольную позу, медленно полез в карман, медленно вытащил портсигар, неторопливо щелкнул зажигалкой и с откровенным наслаждением пустил облако сизого дыма.

— Мне кажется, господа,— произнес Дорон,— ситуация вполне созрела для выводов. Кто первый?

Первым был Крафт.

— Генерал совершенно прав,— сказал он.— Наш либерализм и игра в демократию привели к распылению власти. Необходимо противопоставить единую и твердую силу, и кандидатура генерала Дорона мне кажется подходящей.

Члены Совета промолчали. «Так вот как это происходит!— подумал вошедший на цыпочках Воннел. Звонит какой-то профессор, провозглашает диктатором генерала, и прежнее правление летит вверх тормашками! Ни выстрелов, ни крови, никакой резни... Да, перевороты в банановых республиках осуществляются куда эффектней!» Воннел отлично помнил один такой переворот, к которому и сам приложил руку, когда три человека в масках явились среди бела дня на заседание Совета министров, у всех на глазах спокойно застрелили премьера и двух его заместителей и тут же заняли вакантные должности. В первые минуты, управляя страной, они даже забыли снять маски...

— Ну что ж, господа,— сказал Дорон.— Если возражений нет, я думаю, нам прежде всего следует поблагодарить наших президентов за их труды. Господин министр, проводите их, пожалуйста!

Воннел вытянулся перед Дороном.

— Куда, господин... генерал?

— Что куда?

— Проводить?

— Куда хотите. Воннел, вы отвечаете за каждого головой, пока сами занимаете пост министра. Господа, приступим к первоочередным делам...

— Но их не пять!..— воскликнул вдруг Воннел.— Их только четверо, господа!

Дорон резко повернул голову. Крайнее кресло, в котором только что сидел президент, перебирающий четки, было пусто. Впрочем, не совсем. На столе лежали четки, а в кресле — жалкий комочек одежды, в которую только что был облачен президент. Никто не заметил, когда он успел раздеться и куда вышел, и в зале началась паника.

И тут пропал второй президент! И вновь никто не заметил, как это случилось! Дорон почувствовал, как на его голове поднимаются волосы. Бред какой-то, типичное наваждение! Президента в спортивной курточке не было, но сама курточка лежала в кресле! И в этот момент Дорон, как и все присутствующие, увидел совершенно фантастическую картину: растворился третий президент! Он никуда не ушел, не бежал, не взвился под потолок и не провалился под пол. Он сделался прозрачным настолько, что сквозь него стала отчетливо видна спинка кресла, потом пропали его очертания, и, наконец, он беззвучно рассеялся, как эфирное облако, оставив в кресле бесформенную горку одежды.

Столь же тихо и деловито прекратил свое существование четвертый президент. Все ошеломленно смотрели на пятого, не в силах вымолвить ни единого слова. Лишь Джекобс философски заметил:

— Бог дал, бог взял...

Пятый президент, одетый в несвежую рубашку, судорожно вцепился в ручки кресла, словно надеялся с их помощью удержаться в этом обманчивом мире. Воннел еще никогда не видел, чтобы кто-нибудь так буквально и так крепко держался за президентское кресло.

Внезапно тишину нарушил Джекобс.

— Кен,— сказал он президенту,— мы с вами опять одни?

Членов Совета словно пронзил электрический ток.

— Генерал,— прохрипел Крафт.— Объясните!

Дорон судорожно глотнул воздух.

Спасительно — о, как спасительно!— сзади проскрипела дверь. Оттуда высунулась рука и сделала Воннелу энергичный знак. Как зачарованные, члены Совета уставились взглядами на эту кощунственную руку.

Воннел метнулся к двери.

Президент, ни на что не обращая внимания, лихорадочно ощупывал себя. Со стороны могло показаться, что президента одолели блохи.

— Господа! — Лицо Воннела дергалось, когда он обернулся.— Некоторым образом... Осмелюсь сообщить...

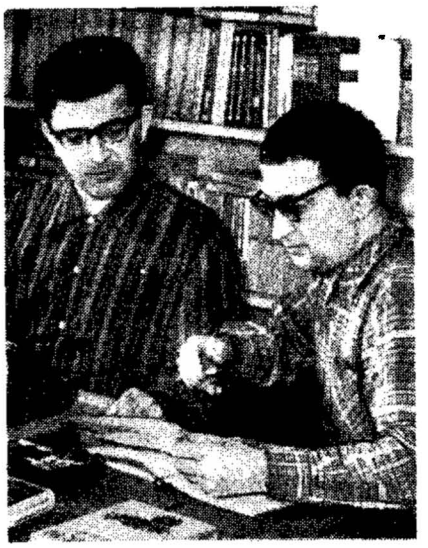
— Ну?! — теряя самообладание, завопил Крафт, и члены Совета вскочили.

— К усадьбе движется колонна машин с демонстрантами!— выпалил Воннел.— Они близко!

— Кто допустил?!— Крафт сгреб министра за отвороты пиджака.— Войска! Почему не стреляют?

— Это Дорон!— пискнул министр.— Он отдал приказ соблюдать конституцию!

— Господи, упокой его душу!— вздохнул Джекобс.



Арк. Стругацкий
Бор. Стругацкий

ПРОЗА

ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

«Как сообщают, в округе Винги, близ города Мюр, опустился летательный аппарат, из которого вышли желто-зеленые человечки о трех ногах и восьми глазах каждый. Падкая на сенсации бульварная пресса поспешила объявить их пришельцами из космоса...»

Из газет.

Глава 1

Я оставил машину, вылез и снял черные очки. Все было так, как рассказывал Згут. Отель был двухэтажный, желтый с зеленым, над входом красовалась траурная вывеска «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА». Высокие ноздреватые сугробы по сторонам крыльца были утыканы разноцветными лыжами — я насчитал семь штук, одна была с ботинком. С крыши свисали мутные гофрированные сосульки толщиной в руку. В крайнее правое окно первого этажа выглянуло чье-то бледное лицо, и тут парадная дверь отворилась, и на крыльце появился лысый коренастый человек в рыжем меховом жилете поверх лавсановой рубашки. Тяжелой, медлительной поступью он приблизился и остановился передо мною. У него была грубая красная физиономия и шея борца-тяжеловеса. На меня он не смотрел. Его меланхолический взгляд был устремлен куда-то в сторону и исполнен печального достоинства. Несомненно, это был сам Алек Сневар, владелец отеля и долины Бутылочного Горлышка.

— Там...— произнес он неестественно низким и глухим голосом.— Вон там это произошло.— Он простер указующую руку. В руке был штопор.— На той вершине...

Я повернулся и, прищурившись, поглядел на сизую, жуткого вида отвесную стену, ограждавшую долину с запада, на бледные языки снега, на иззубренный гребень, четкий, словно нарисованный на сочно-синей поверхности неба.

— Лопнул карабин,— все тем же глухим голосом продолжал владелец.— Двести метров он летел по вертикали вниз, к смерти, и ему не за что было зацепиться на гладком камне. Может быть, он кричал. Никто не слышал его. Может быть, он молился. Его слышал только бог, и земля дрогнула, когда он грохнулся об нее вместе с сорока двумя тысячами тонн кристаллического снега...

— Привет от инспектора Згута,— сказал я, и владелец тут же охотно прервал себя.

— Вот достойный человек! — сказал он с живостью и весьма обыкновенным голосом.— Я вижу, он не забыл наши вечера у камина.

— Он только о них и говорит,— сказал я и повернулся было к машине, но хозяин схватил меня за руку.

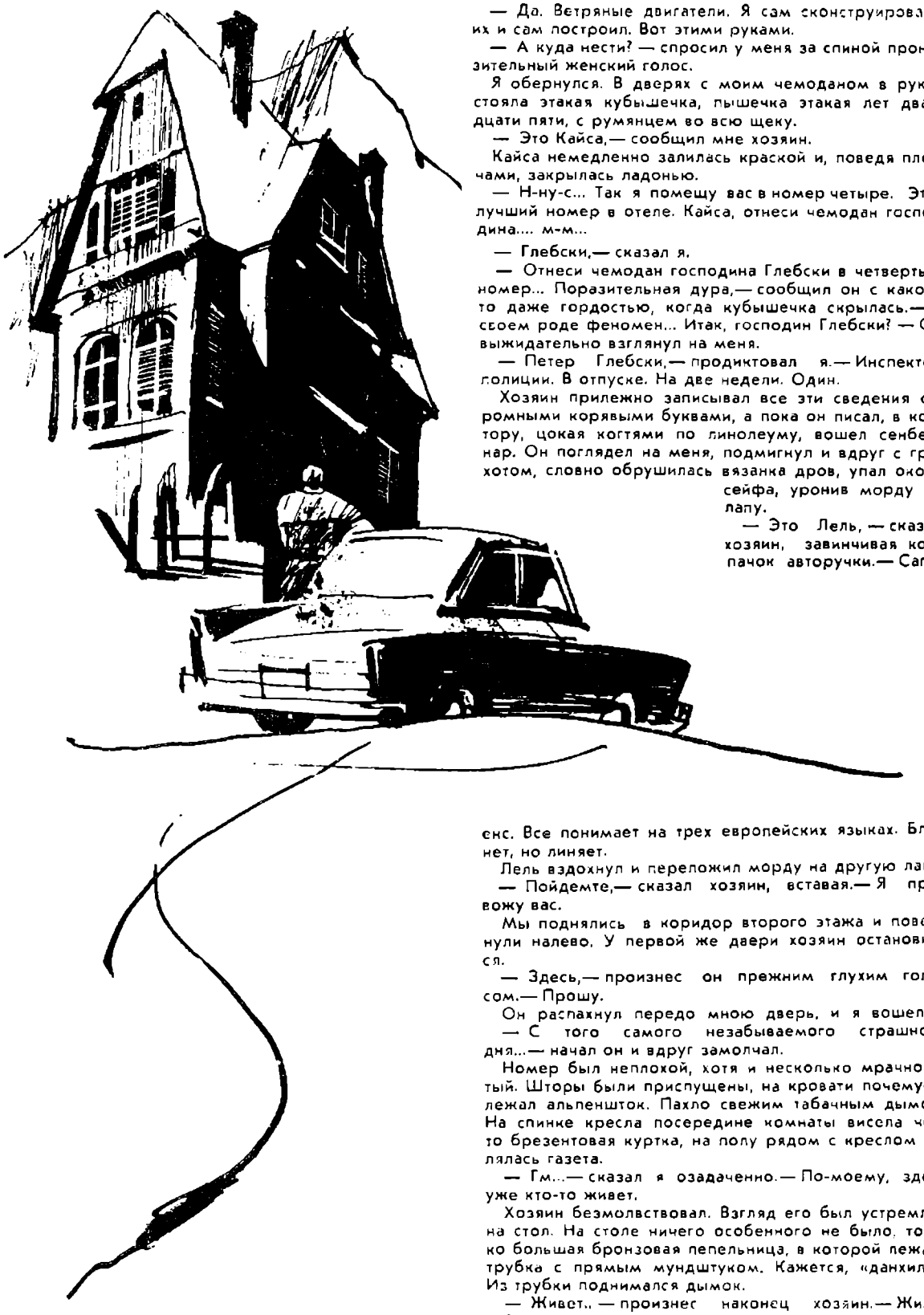
— Ни шагу назад! — строго произнес он.— Этим займется Кайса. Кайса! — трубно взревел он.

На крыльцо выскочила собака — великолепный сенбернар, белый с желтыми пятнами, могучее животное ростом с теленка. Как я уже знал, это было все, что осталось от Погибшего Альпиниста, если не считать некоторых мелочей, экспонированных в номере-музее. Я был бы не прочь посмотреть, как этот кобель с женским именем станет разгружать мой багаж, но хозяин твердой рукою уже направлял меня в дом.

Мы прошли через сумрачный холл, где ощущался теплый запах погасшего камина и тускло отсвечивали лаком модные низкие столики, свернули в коридор налево, и хозяин плечом толкнул дверь с табличкой «Контора». Я был усажен в уютное кресло, и хозяин распахнул на столе громоздкий гроссбух.

— Прежде всего разрешите представиться,— сказал он, сосредоточенно обскабливая ногтями кончик пера.— Алек Сневар, владелец отеля и механик. Вы, конечно, заметили ветряки на выезде из Бутылочного Горлышка?

— Ах, это были ветряки?..



Рисунки Г. Новожилова

— Да. Ветряные двигатели. Я сам сконструировал их и сам построил. Вот этими руками.

— А куда нести? — спросил у меня за спиной пронзительный женский голос.

Я обернулся. В дверях с моим чемоданом в руке стояла этакая кубышечка, пышечка этакая лет двадцати пяти, с румянцем во всю щеку.

— Это Кайса,— сообщил мне хозяин.

Кайса немедленно залилась краской и, поведя плечами, закрылась ладонью.

— Н-ну-с... Так я помещу вас в номер четыре. Это лучший номер в отеле. Кайса, отнеси чемодан господина.... м-м...

— Глебски,— сказал я.

— Отнеси чемодан господина Глебски в четвертый номер... Поразительная дура,— сообщил он с какой-то даже гордостью, когда кубышечка скрылась.— В своем роде феномен... Итак, господин Глебски? — Он выжидательно взглянул на меня.

— Петер Глебски,— продиктовал я.— Инспектор полиции. В отпуске. На две недели. Один.

Хозяин прилежно записывал все эти сведения огромными корявыми буквами, а пока он писал, в контору, цокая когтями по линолеуму, вошел сенбернар. Он поглядел на меня, подмигнул и вдруг с грохотом, словно обрушилась вязанка дров, упал около сейфа, уронив морду на лапу.

— Это Лель, — сказал хозяин, завинчивая колпачок авторучки.— Сапиенс. Все понимает на трех европейских языках. Блох нет, но линяет.

Лель вздохнул и переложил морду на другую лапу.

— Пойдемте,— сказал хозяин, вставая.— Я провожу вас.

Мы поднялись в коридор второго этажа и повернули налево. У первой же двери хозяин остановился.

— Здесь,— произнес он прежним глухим голосом.— Прошу.

Он распахнул передо мною дверь, и я вошел.

— С того самого незабываемого страшного дня...— начал он и вдруг замолчал.

Номер был неплохой, хотя и несколько мрачноватый. Шторы были приспущены, на кровати почему-то лежал альпеншток. Пахло свежим табачным дымом. На спинке кресла посередине комнаты висела чья-то брезентовая куртка, на полу рядом с креслом валялась газета.

— Гм...— сказал я озадаченно.— По-моему, здесь уже кто-то живет.

Хозяин безмолвствовал. Взгляд его был устремлен на стол. На столе ничего особенного не было, только большая бронзовая пепельница, в которой лежала трубка с прямым мундштуком. Кажется, «данхилл». Из трубки поднимался дымок.

— Живет.. — произнес наконец хозяин.— Живет ли?..

Я не нашелся, что ответить ему, и ждал продолжения. Чемодана моего нигде не было видно, но зато в углу стоял клетчатый саквояж с многочисленными гостиничными ярлыками. Не мой саквояж.

— Здесь,— окрепшим голосом продолжал хозяин,— вот уже шесть лет, с того самого незабываемого страшного дня, все пребывает так, как он оставил перед своим последним восхождением...

Я с сомнением посмотрел на курящуюся трубку.

— Да! — сказал хозяин с вызовом.— Это е г о трубка. Это вот е г о куртка. А вот это е г о альпеншток...

— А вот это е г о газета,— сказал я. Я отчетливо видел, что это позавчерашний «Мюрский вестник».

— Нет,— сказал хозяин.— Газета, конечно, не его.

— У меня тоже такое впечатление,— согласился я.

— Газета, конечно, не его,— повторил хозяин.— И трубку, естественно, раскурил здесь не он, а кто-то другой.

Я пробормотал что-то о недостатке уважения к памяти усопших.

— Нет,— задумчиво возразил хозяин,— здесь все сложнее. Здесь все гораздо сложнее, господин Глебски. Но мы поговорим об этом позже. Пойдемте в ваш номер.

Однако, прежде чем мы вышли, он заглянул в туалетную комнату, открыл и снова закрыл дверцы стенного шкафа и, подойдя к окну, похлопал ладонями по портьерам. По-моему, ему очень хотелось заглянуть также и под кровать, но он сдержался. Мы вышли в коридор, и хозяин распахнул передо мною дверь четвертого номера.

Номер мне сразу понравился. Все здесь сияло чистотой, воздух был свеж, на столе ни пылинки, за промытым окном снежная равнина и сиреневые горы. В спальне хозяйничала Кайса. Чемодан мой был раскрыт, вещи аккуратно разложены и развешаны, а Кайса взбивала подушки.

— Ну вот вы и дома,— сказал хозяин.— Располагайтесь, отдыхайте, делайте, что хотите. Лыжи, мази, снаряжение — все к вашим услугам, внизу; обращайтесь при необходимости прямо ко мне. Обед в шесть, а если вздумаете перекусить сейчас или освежиться — я имею в виду напитки,— обращайтесь к Кайсе. Приветствую вас.

И он ушел.

Кайса все трудилась над постелью, доводя ее до немыслимого совершенства, а я достал сигарету, закурил и подошел к окну. Я был один. Благословенное небо, всеблагий господи, наконец-то я был один! Я знаю, нехорошо так говорить и даже думать, но до чего же в наше время сложно устроиться таким образом, чтобы хоть на неделю, хоть на сутки, хоть на несколько часов остаться в одиночестве! Сам я этого не читал, но вот сын утверждает, будто главный бич человека в современном мире — это одиночество и отчужденность. Не знаю, не уверен. Либо все это поэтические выдумки, либо такой уж я невезучий человек. Во всяком случае, для меня две недельки отчужденности и одиночества — это как раз то, что нужно. И это просто прекрасно, что мне хорошо с самим собой, с моим собственным телом, еще сравнительно нестарым, еще крепким, которое можно будет поставить на лыжи и бросить вон туда, через всю равнину, к сиреневым отрогам, по свистящему снегу, и вот тогда станет совсем уже прекрасно...

— Принести что-нибудь? — спросила Кайса.— Угодно?

Я посмотрел на нее, и она опять повела плечом и закрылась ладонью. Была она в пестром платье в обтяжку, которое топорщилось на ней спереди и сзади, в крошечном кружевном фартуке, руки у нее были голые, сдобные, и шею охватывало ожерелье из крупных деревянных бусин.

— Кто у вас тут сейчас живет? — спросил я.

— Где?

— У вас. В отеле.

— В отеле? У нас тут? Да живут здесь...

— Кто именно?

— Ну кто? Господин Мозес живут с женой. В первом и втором. И в третьем тоже. Только там они не живут. А может, с дочерью. Не разобрать. Красавица, все глазами смотрит...

— Так-так,— сказал я, чтобы ее подбодрить.

— Господин Симонэ живут. Тут вот, напротив. Все на бильярде играют и по стенам ползают. Шалуны они, только унылые. На психической почве.— Она снова закраснелась и принялась поводить плечами.

— А еще кто? — спросил я.

— Господин дю Барнстокр, гипнотизеры из цирка...

— Барнстокр? Тот самый?

— Не знаю, может, и тот. Гипнотизеры... И Брюн.

— Кто это Брюн?

— Да с мотоциклом они, в штанах.

— Так,— сказал я.— Все?

— Еще кто-то живет. Только они просто так... Стоят просто. Не спят, не едят, только на постое стоят...

— Не понимаю,— признался я.

— А и никто не понимает. Стоят, и все. Газеты читают. Давеча туфли у господина дю Барнстокра утащили. И еще следы оставляют... Мокрые...

— Ну ладно,— сказал я со вздохом.— Не понять мне тебя, Кайса. И не надо. Пробегусь-ка я лучше на лыжах.

Я раздавил окурок в девственно чистой пепельнице и отправился в спальню переодеться.

Глава 2

Возле самого отеля еще пытались ходить на лыжах, но в остальном снежный покров долины был чист и нетронут, как новенькая накрахмаленная простыня.

Я попрыгал на месте, пробуя крепления, гикнул и побежал навстречу солнцу, все наращивая темп, зажмурившись от солнца и наслаждения, с каждым выдохом выбрасывая из себя скуку прокуренных кабинетов, затхлых бумаг, слезливых подследственных и брюзжащего начальства, тоску заунывных политических споров и бородатых анекдотов, мелочных хлопот жены и наскоков подрастающего поколения,... унылые заслякоченные улицы, провонявшие сургучом коридоры, пустые пасти угрюмых, как подбитые танки, сейфов, выцветшие голубенькие обои в столовой, и выцветшие розовенькие обои в спальне, и забрызганные чернилами желтенькие обои в детской,— с каждым выдохом освобождаясь от самого себя, казенного, высокоморального, до скрипучести законопослушного человечка со светлыми пуговицами, внимательного мужа и примерного отца, хлебосольного товарища и приветливого родственника, радуясь, что все это уходит, надеясь, что все это уходит безвозвратно, что отныне все будет легко, упруго, кристально чисто, в бешеном, веселом, молодом темпе, и как же это здорово, что я сюда приехал... Молодец, Згут, умница, Згут, спасибо тебе, Згут, хоть ты и лупишь своих «медвежатников» по мордам... и какой же я еще крепкий, ловкий, сильный — могу вот так, по идеальной прямой, сто тысяч километров по идеальной прямой, а могу вот так, круто вправо, круто влево, выбросив из-под лыж тонну снега... А ведь я уже три года не ходил на лыжах,

с тех самых пор, как мы купили этот проклятый новый домик... А, черт с ним со всем, не хочу я об этом сейчас думать, черт с ней, со старостью, черт с ним, с домиком, и черт с тобой, Петер, Петер Глебски, законолюбивый чиновник, спаси тебя бог...

Потом волна первого восторга схлынула, и я обнаружил, что стою возле дороги, мокрый, задыхающийся, с ног до головы запорошенный снежной пылью. Я снял перчатку, вытер лицо и вдруг услышал трескучий грохот, словно шел на посадку спортивный биплан. Я едва успел протереть очки, как он пронесся мимо меня — не биплан, конечно, а громадный мотоцикл из этих, новых, которые пробивают стены и губят больше жизней, чем все насильники, грабители и убийцы, вместе взятые. Он обдал меня ошметками снега, очки снова залепило, и я едва успел заметить тощую согнутую фигуру, развевающиеся черные волосы и торчащий, как доска, конец красного шарфа...

Когда я подъехал к отелю, мотоцикл остывал перед крыльцом. Рядом на снегу валялись громадные кожаные перчатки с раструбами. Я воткнул лыжи в сугроб, почистился и снова посмотрел на мотоцикл. До чего все-таки зловещая машина! Так и чудится, что в следующем году отель станет называться «У Погибшего Мотоциклиста». Хозяин возьмет вновь прибывшего гостя за руку и скажет, показывая на проломленную стену: «Сюда. Сюда он врезался на скорости сто двадцать миль в час и пробил здание насквозь. Земля дрогнула, когда он ворвался в кухню, увлекая за собою сорок два кирпича...»

Посередине холла стоял невообразимо длинный и очень сутулый человек в черном фраке с фалдами до пят. Заложив руки за спину, он строго выговаривал тощему, гибкому существу неопределенного пола, изящно развалившемуся в глубоком кресле. У существа было маленькое бледное личико, наполовину скрытое огромными черными очками, масса черных спутанных волос и пушистый красный шарф.

Когда я закрыл за собою дверь, длинный человек замолчал и повернулся ко мне. У него оказался галстук бабочкой и благороднейших очертаний лицо, украшенное аристократическим носом. Секунду он разглядывал меня, затем сложил губы куриной гузкой и двинулся мне навстречу, протягивая узкую белую ладонь.

— Дю Барнстокр,— почти пропел он.— К вашим услугам.

— Неужели тот самый дю Барнстокр? — с искренней почтительностью осведомился я, пожимая его руку.

— Тот самый, сударь, тот самый,— произнес он.— С кем имею честь?

Я отрекомендовался, и тут он вдруг схватил меня за лацкан.

— Какая прелесть! Инспектор! Где вы это нашли?

В пальцах у него оказалась синенькая фиалка. И запахло фиалкой. Я заставил себя поаплодировать, хотя таких вещей не люблю. Существо в кресле зевнуло во весь маленький рот и закинуло одну ногу на подлокотник.

— Из рукава,— заявило оно хриплым басом.— Хилая работа, дядя.

— Из рукава!—грустно повторил дю Барнстокр.— Нет, Брюн, это было бы слишком элементарно. Это действительно была бы, как вы выражаетесь, хилая работа.

Он положил фиалку на раскрытую ладонь, поглядел на нее, задрав брови, и фиалка пропала.

— Вы мастерски владеете лыжами, господин Глебски,— продолжал дю Барнстокр.— Я следил за вами из окна. И, надо сказать, получил истинное наслаждение.

— Ну что вы! — пробормотал я.— Так, бегал когда-то...

— Дядя,— воззвало вдруг существо из недр кресла.— Сотворите лучше сигаретку.

Дю Барнстокр, казалось, спохватился.

— Да! — сказал он. Позвольте представить вам, господин Глебски: это Брюн, единственное чадо моего дорогого покойного брата... Брюн, дитя мое!

Дитя неохотно выбралось из кресла и приблизилось. Волосы у него были богатые, женские, а впрочем, может быть, и не женские, а, так сказать, юношеские. Ноги, затянутые в эластик, были тощие, мальчишеские, а впрочем, может быть, совсем наоборот — стройные девичьи. Куртка же была размера на три больше, чем требовалось. Чадо равнодушно улыбнулось мне розовым, нежным ртом и осведомилось сипло:

— Хорошо мы вас шуганули? Там, на дороге...

— Мы? — переспросил я.

— Ну, не мы, конечно. Буцефал. Он это умеет... Все очки ему запепил,— сообщило оно дяде.

— В данном случае,— любезно пояснил дю Барнстокр, — Буцефал — это мотоцикл, безобразная и опасная машина, которая...

— Сигаретку бы,— напомнило дитя.

Дю Барнстокр удрученно покачал головой и беспомощно развел руки. Когда он их свел опять, между пальцами у него дымилась сигарета, и он протянул ее чаду. Чадо затянулось и капризно буркнуло:

— Опять с фильтром...

— Вы, наверное, захотите принять душ после вашего броска,— сказал мне дю Барнстокр.— Скоро обед...

— Да,— сказал я.— Конечно. Прошу прощения.

У себя в номере я умылся, переоделся и, взяв сигарету, завалился на диван. Мною овладела приятная истома, и на несколько минут я даже задремал. Разбудил меня чей-то взвизг и зловещий, рыдающий хохот в коридоре. Я подскочил. В ту же минуту в дверь постучали, и голос Кайсы промяукал: «Кушать, пожалуйста!» Я откликнулся в том смысле, что да-да, сейчас иду, и спустил ноги с дивана, нашаривая туфли. «Кушать, пожалуйста!» — донеслось издали, а потом еще раз: «Кушать, пожалуйста!» — а потом снова короткий взвизг и призрачный хохот. Мне даже послышалось бряцанье ржавых цепей.

Я причесался перед зеркалом, опробовал несколько выражений лица, как-то: рассеянное любезное внимание, мужественная замкнутость профессионала, простодушная готовность к решительно любым знакомствам и ухмылка типа «гы». Ни одно выражение не показалось мне подходящим, поэтому я не стал далее утруждать себя, сунул в карман сигареты для чада и вышел в коридор. Выйдя, я остолбенел.

Дверь номера напротив была распахнута. В проеме, у самой притолоки, упираясь ступнями в одну филенку, а спиной — в другую, висел молодой человек. Поза его при всей неестественности казалась вполне непринужденной. Он глядел на меня сверху вниз, скалил длинные желтоватые зубы и отдавал по-военному честь.

— Здравствуйте,— сказал я, помолчав.— Вам помочь?

Тогда он мягко, как кошка, спрыгнул на пол и, продолжая отдавать честь, встал передо мною по стойке «Смирно».

— Честь имею, инспектор,— сказал он.— Разрешите представиться: старший лейтенант от кибернетики Симон Симонэ.

— Вольно,— сказал я, и мы пожали друг другу руки.

— Собственно, я физик,— сказал он.— Но «от кибернетики» звучит почти так же плавно, как «от ин-

фантерии». Получается смешно.— И он неожиданно разразился тем самым ужасным рыдающим хохотом, в котором чудились сырые подземелья, невыводимые кровавые пятна и звон ржавых цепей на прикованных скелетах.— Собственно говоря,— продолжал он,— я приехал сюда полазить по скалам, но никак не могу до них добраться. Вокруг снег. Вот я и лажу по дверям, по стенам...— Он вдруг замолчал и взял меня под руку.—Проект «Мидас», слыхали? Совершенно секретно. Четыре года без отпуска. Вот врачи и прописали мне курс чувственных удовольствий.— Он снова захохотал, но мы уже дошли до столовой. Оставив меня, он устремился к столику, где были расставлены закуски.— Держитесь за мной, инспектор! — гаркнул он на бегу.— Торопитесь, а не то друзья и близкие Погибшего съедят всю икру...

За столом уже сидели дю Барнстокр и чадо его покойного брата. Дю Барнстокр изящно помешивал серебряной ложечкой в тарелке с бульоном и укоризненно косился на чадо, которое, растопырив на столе локти, стремительно мело овощной суп.

Во главе стола царила незнакомая мне дама ослепительной и странной красоты. Лет ей было не то двадцать, не то сорок, нежные, смугло-голубоватые плечи, лебединая шея, огромные полузакрытые глаза с длинными ресницами, пепельные, высоко взбитые волосы, бесценная диадема — это была, несомненно, госпожа Мозес, и ей, несомненно, было не место за этим простоватым табльдотом. Таких женщин я видел раньше только на фото в великосветских журналах и в супербоевиках.

Хозяин, огибая стол, уже направлялся ко мне с подносиком в руке. На подносике, в хрустальной граненой рюмке, жутко голубела знаменитая фирменная настойка на лепестках эдельвейса.

— Боевое крещение! — объявил хозяин, приблизившись.— Набирайте закуску поострее.

Я повиновался. Я положил себе маслин и икры. Потом я посмотрел на хозяина и положил пикуль—маленький маринованный огурчик. Потом я посмотрел на настойку и выдавил на икру пол-лимона. Все смотрели на меня. Я взял рюмку, выдохнул воздух (еще пару затхлых кабинетов и коридоров) и вылил настойку в рот. Я содрогнулся. Все смотрели на меня, и потому я содрогнулся только мысленно и откусил половину огурчика. Хозяин крякнул. Симонэ тоже крякнул. Госпожа Мозес произнесла хрустальным голосом: «О! Это настоящий мужчина». Я улыбнулся и засунул в рот вторую половину огурчика, горько сожалея, что они не бывают величиной с дыню. «Дает!» — отчетливо произнесло чадо.

— Госпожа Мозес! — произнес хозяин.— Разрешите представить вам инспектора Глебски.

Пепельная башня во главе стола чуть качнулась, поднялись и опустились чудные ресницы. Я поклонился. Я бы с удовольствием согнулся пополам — так у меня пекло в животе,— но она улыбнулась, и мне сразу полегчало.

Разговор за столом направлял хозяин. Говорили о загадочном и непознанном, а точнее, о том, что в отеле происходят в последние дни странные вещи. Меня, как новичка, посвятили в подробности. Дю Барнстокр подтвердил, что действительно, дня два назад у него пропали туфли, которые обнаружились только к вечеру в номере-музее. Симонэ, похохатывая, сообщил, что кто-то читает его книги—по преимуществу специальную литературу, делает на полях пометки — по преимуществу совершенно безграмотные. Хозяин, заходясь от удовольствия, поведал о сегодняшнем случае с дымящейся трубкой и газетой и добавил, что ночами кто-то бродит по дому. Госпожа Мозес, нисколько не чинясь, охотно подтвердила эти сообщения и добавила, что вчера ночью кто-то заглянул к ней в окно. Симон Симонэ похвастался, будто он вот спит по ночам как мертвый, и ничего такого не слышал, а чадо хрипло объявило — к сведению всех присутствующих,— что оно, чадо, в общем, ничего особенного против этих штучек-дрючек не имеет, оно к этим фокусам-покусам привыкло, но совершенно не терпит, когда посторонние валяются на его, чадиной, постели.

Атмосферу сладкой жути, воцарившуюся за столом, нарушил господин физик.

— Приезжает как-то один майор в незнакомый город,— объявил он.— Останавливается в гостинице и велит позвать...

Внезапно он замолчал и огляделся.

— Пардон,— произнес он.— Я не уверен, что в присутствии дам,— тут он поклонился в сторону госпожи Мозес,— а также юно... э-э... юношества,— он посмотрел на чадо,— э-э...

— А, дурацкий анекдот,— сказало чадо с пренебрежением.— «Все прекрасно, но не делится пополам». Этот?

— Именно! — воскликнул Симонэ и разразился хохотом.

— Делится пополам? — улыбаясь, спросила госпожа Мозес.

— Не делится! — сердито поправило чадо.

— Ах, не делится? — удивилась госпожа Мозес.— А что именно не делится?

Дитя открыло было рот, но дю Барнстокр сделал неуловимое движение, и рот оказался заткнут большим румяным яблоком, от которого дитя тут же сочно откусило.

— В конце концов, удивительное происходит не только в нашем отеле,— сказал дю Барнстокр.— Достаточно вспомнить, например, о знаменитых летающих неопознанных объектах...

Чадо с грохотом отодвинуло стул, поднялось и, продолжая хрустеть яблоком, направилось к выходу. Я все размышлял, у кого бы спросить, мальчик это, черт возьми, или девочка, а дю Барнстокр продолжал журчать:

— ...Джордано Бруно, господа, был сожжен не зря. Космос, несомненно, обитаем не только нами. Вопрос лишь в плотности распределения разума во Вселенной. Будь я математиком, господа, я бы попытался установить вероятность хотя бы того, что наша Земля является объектом чьего-то научного внимания...

«Самого дю Барнстокра спросить как-то неловко,— размышлял я.— Кайса — дура. У Симонэ спросить — пережить лишний вал загробного веселья... Впрочем, что это я? Мне-то какое до этого дело?.. Жаркого еще взять, что ли?..»

— ...Согласитесь,— журчал дю Барнстокр.— Мысль о том, что чужие глаза внимательно и прилежно изучают нашу старушку планету через бездны космоса...

— Подсчитал,— сказал Симонэ.— Если они умеют отличать населенные системы от ненаселенных, то это будет единица минус «е» в степени минус единица.

— Неужели так и будет? — сдержанно ужаснулась госпожа Мозес, одаряя Симонэ восхищенной улыбкой.

Симонэ заржал, словно дворняга загавкала. Он даже на стуле задвигался. Глаза его увлажнились.

— Сколько же это будет в численном выражении? — осведомился дю Барнстокр, переждав сей акустический налет.

— Приблизительно две трети,— ответил Симонэ, вытирая глаза.

— Но это же огромная вероятность! — с жаром сказал дю Барнстокр, но тут дверь в столовую за моей спиной загрохотала и задребезжала, как будто ее толкали плечом с большой силой. Я обернулся. На пороге возникла удивительная фигура. Массивный пожилой мужчина с совершенно бульдожьим лицом, облаченный в какое-то нелепое подобие средневекового камзола цвета семги. Одну руку он держал за спиной, в другой сжимал высокую металлическую кружку.

— Супу! — прорычал он, глядя перед собой мутными глазами.

Возникла короткая суета. Госпожа Мозес с какой-то недостойной торопливостью бросилась к столику с супами, хозяин отвалился от буфета и принялся совершать руками движения, означающие готовность всячески услужить, а господин Мозес — ибо, несомненно, это был он,— торжественно вздрагивая щеками, пронес свою кружку к стулу напротив госпожи Мозес и там уселся, без малого не промахнувшись мимо сиденья.

— Погода, господа, нынче снег,— объявил он. Госпожа Мозес поставила перед ним суп, он сурово заглянул в тарелку и отхлебнул из кружки.— О чем речь? — осведомился он.

— Господин Симонэ подсчитал нам вероятность...— начал дю Барнстокр.

— Чушь,— сказал господин Мозес.— Математика — это не наука, Барн... Барл... дю! А это кто? — спросил он, выкатывая на меня правый глаз. Мутный какой-то глаз, нехороший.

— Позвольте представить,— поспешно сказал хозяин.— Господин Мозес — инспектор Глебски.

— Инспектор...— проворчал Мозес.— Фальшивые квитанции, подложные паспорта...— Он снова строго посмотрел в тарелку и отхлебнул из кружки.— Хороший суп сегодня,— сообщил он.— Ольга, убери это и дай какого-нибудь мяса. Но что же вы замолчали, господа? Продолжайте, продолжайте, я слушаю.

— По поводу мяса,— сейчас же сказал Симонэ.— Некий чревоугодник заказал в ресторане филе...

— Филе. Так!—одобрительно сказал господин Мозес, пытаясь разрезать жаркое одной рукой. Другую руку он не отнимал от кружки.

— Официант принял заказ,— продолжал Симонэ,— а чревоугодник в ожидании своего любимого блюда разглядывает девиц на эстраде...

— Смешно,— сказал господин Мозес.— Очень смешно пока. Соли маловато. Ольга, подай сюда соль. Ну-с?

Симонэ заколебался

— Пардон,— сказал он нерешительно.— У меня тут появились сильнейшие опасения...

— Так. Опасения,— удовлетворенно повторил господин Мозес.— А дальше?

— Все,— сказал с унынием Симонэ и откинулся на спинку стула.

Мозес воззрился на него.

— Как все? — спросил он с негодованием.— Но ему принесли филе?

— М-м... Собственно... Нет,— сказал Симонэ.

— Это наглость,— сказал Мозес.— Надо было вызвать метрдотеля.— Он с отвращением отодвинул от себя тарелку.— На редкость неприятную историю вы рассказали нам, Симонэ.

— Уж какая есть,— сказал Симонэ, бледно улыбаясь.

Мозес отхлебнул из кружки и повернулся к хозяину.

— Сневар,— сказал он.— Вы нашли негодяя, который крадет туфли? Инспектор, все равно вы здесь бездельничаете. Какой-то негодяй крадет туфли и заглядывает в окна. Что вы думаете по поводу этих краж?

— Я думаю, что это шутки кого-то из присутствующих.

— Странная мысль,— неодобрительно сказал Мозес.

— Нисколько,— возразил я.— Во-первых, во всех этих действиях не усматривается никаких иных целей, кроме мистификации. Во-вторых, собака ведет себя так, словно в доме только свои.

— О да! — произнес хозяин глухим голосом.— Конечно, в доме только свои. Но о н был для Леля не просто своим. Он был для него богом, господа!

Мозес уставился на него.

— Кто о н? — спросил он строго.

— О н. Погибший.

— Не забивайте мне голову,— сказал Мозес.— А если вы знаете, кто занимается этими вещами, то посоветуйте ему — настоятельно посоветуйте! — прекратить. Вы меня понимаете? — Он обвел нас налитыми глазами.— Иначе я тоже начну шутить! — рявкнул он.

Воцарилось молчание. По-моему, все пытались представить себе, чем все это кончится, если Мозес тоже начнет шутить.

Потом госпожа Мозес отставила тарелку, приложила к прекрасным губам салфетку и, подняв глаза к потолку, сообщила:

— Ах, как я люблю красивые закаты! Этот пир красок!

Я немедленно ощутил сильнейший позыв к одиночеству. Я встал и сказал твердо:

— Благодарю вас, господа. До ужина.

Глава 3

— Представления не имею, кто он такой,— произнес хозяин, разглядывая стакан на свет.— Записался он у меня в книге коммерсантом, путешествующим по собственной надобности. Но он не коммерсант.

Мы сидели в каминной. Жарко полыхал уголь, кресла были старинные, настоящие, надежные. Портвейн был горячий, с лимоном, ароматный. Полутьма была уютная, красноватая, совершенно домашняя. На дворе начиналась пурга, в каминной трубе посвистывало. В доме было тихо, только временами издалека, как с кладбища, доносились взрывы рыдающего хохота да резкие, как выстрелы, трески удачных клапштоссов. На кухне Кайса позвякивала кастрюлями.

— Коммерсанты обычно скупы,— продолжал хозяин задумчиво.— А господин Мозес не скуп, нет. «Могу ли я осведомиться,— спросил я его,— чьей рекомендации обязан я честью вашего посещения?» Вместо ответа он вытащил из бумажника стокроновый билет, поджег его зажигалкой, раскурил от него сигару и, выпустив дым мне в лицо, ответил: «Я Мозес, сударь. Альберт Мозес! Мозес не нуждается в рекомендациях. Мозес везде и всюду дома». Что вы на это скажете? Путешествует по собственной надобности... По моей долине не путешествуют. У меня здесь ходят на лыжах или лазят по скалам. Здесь тупик. Отсюда никуда нет дороги.

Я совсем лег в кресле и скрестил ноги. Было необычайно приятно расположиться таким вот образом и с самым серьезным видом размышлять, кто такой господин Мозес.

— Ну, хорошо,— сказал я.— Тупик. А что делает в этом тупике знаменитый господин дю Барнстокр?

— О, господин дю Барнстокр — это совсем другое дело. Он приезжает ко мне ежегодно вот уже тринадцатый год подряд. Он без ума от моей настойки. А господин Мозес, осмелюсь заметить, постоянно навеселе, а между тем за все время не взял у меня ни бутылки.

Я значительно хмыкнул и сделал хороший глоток.

— Изобретатель,— решительно сказал хозяин.— Изобретатель или волшебник.

— Вы верите в волшебников, господин Сневар?

— Алек, если вам будет угодно. Просто Алек.

Я поднял стакан и сделал еще один хороший глоток в честь Алека.

— Тогда зовите меня просто Петер,— сказал я.

Хозяин торжественно кивнул и сделал хороший глоток в честь Петера.

— Верю ли я в волшебников? — сказал он.— Вы видели мои вечные двигатели?

— Нет. Они работают?

— Иногда. Мне приходится часто останавливать их, слишком быстро изнашиваются детали... Кайса! — заорал он вдруг так, что я вздрогнул.— Еще стакан горячего портвейна господину инспектору!

Появилась Кайса, очень румяная и слегка растрепанная. Она подала мне стакан портвейна, сделала книксен, хихикнула и удалилась.

— Пышечка,— пробормотал я машинально. Все-таки это был уже третий стакан. Хозяин добродушно хохотнул.

— Неотразима,— признал он.— Даже господин дю Барнстокр не удержался и ущипнул ее вчера за подбородочек. А уж что делается с нашим физиком...

— По-моему, наш физик положил глаз на госпожу Мозес...

— Госпожа Мозес...— задумчиво произнес хозяин.— А вы знаете, Петер, у меня есть довольно веские основания предполагать, что она не госпожа и не Мозес.

Я не возражал. Подумаешь...

— Вы, вероятно, уже заметили,— продолжал хозяин,— что она гораздо глупее Кайсы. И потом...— Он понизил голос.— По-моему, Мозес ее бьет.

Я вздрогнул.

— Как бьет?

— По-моему, плеткой. У Мозеса есть плетка. Арапник. Едва я его увидел, как сразу задал себе вопрос: зачем господину Мозесу арапник? Вы можете ответить на этот вопрос?

— Ну, знаете, Алек...— сказал я.

— Я не настаиваю,— сказал хозяин.— Я ни на чем не настаиваю. Но должен вам заметить...— Он прислушался.

— Машина,— сказал он.— Слышите?

Он поднялся, подхватил меховой жилет и направился к выходу. Я устремился за ним.

На дворе бушевала настоящая метель. Перед

крыльцом стояла большая черная машина, возле нее в отсветах фар размахивали руками и ругались.

— Двадцать крон!—вопили фальцетом.—Двадцать крон и ни грошем меньше! Вы что, не видели, какая дорога?

— Да за двадцать крон я куплю тебя вместе с твоим драндулетом! — визжали в ответ.

Хозяин ринулся с крыльца.

— Господа! — загудел его мощный голос.— Это все пустяки!..

— Из-за пятерки удавиться готов! Мне еще назад возвращаться!

— Пятнадцать, и ни гроша больше! Вымогатель!

Мне стало холодно, я вернулся к камину, взял стакан и направился в буфетную. В холле я задержался — дверь распахнулась, и на пороге появился громадный, залепленный снегом человек с чемоданом в руке. Он сказал «бр-р-р», мощно встряхнулся и оказался светловолосым викингом. Румяное лицо его было мокрое, на ресницах белым пухом лежали снежинки. Заметив меня, он коротко улыбнулся, показав ровные чистые зубы, и произнес приятным баритоном:

— Олаф Андварафорс. Можно просто Олаф.

Я тоже представился. Дверь снова распахнулась, появился хозяин с двумя баулами, а за ним — маленький, закутанный до глаз человечек, тоже весь залепленный снегом и очень недовольный.

— Проклятые хапуги! — говорил он с истерическим надрывом.— Подрядились за пятнадцать. Ясно, кажется,— по семь с половиной с носа...

— Господа, господа!..— приговаривал хозяин.— Все это пустяки... Прошу вас сюда, налево... Господа!..

Маленький человечек, продолжая кричать про разбитые в кровь морды и про полицию, дал себя увлечь в контору, а викинг Олаф пробасил: «Скряга...» — и принялся оглядываться с таким видом, словно ожидал здесь обнаружить толпу встречающих.

— Кто он такой? — спросил я.

— Не знаю. Взяли одно такси. Другого не было.

Он замолчал, глядя через мое плечо. Я оглянулся. Ничего особенного там не было. Только чуть колыхалась портьера, закрывающая вход в коридор, который вел в каминную и к номерам Мозеса. Наверное, от сквозняка.

Глава 4

Утру метель утихла. Я поднялся на рассвете, когда отель еще спал, выскочил в одних трусах на крыльцо и, крякая и вскрикивая, хорошенько обтерся свежим, пушистым снегом, чтобы нейтрализовать остаточное воздействие трех стаканов портвейна. Солнце едва высунулось из-за хребта, и длинная синяя тень отеля протянулась через долину. Я заметил, что третье окно справа на втором этаже распахнуто настежь. Видимо, кто-то не желал даже ночью

терять возможность вдыхать целебный горный воздух.

Я вернулся к себе, оделся, запер дверь на ключ и сбежал в буфетную. Кайса, красная, распаренная, уже возилась на кухне у пылающей плиты. Она подносила мне кружку какао и сандвич, и я уничтожил все это, стоя тут же в буфетной и слушая краем уха, как хозяин мурлыкает какую-то песенку у себя в мастерских. Только бы никого не встретить, думал я. Утро слишком хорошо для двоих. Думая об этом утре, об этом ясном небе, о золотом солнце, о пустой пушистой долине, я чувствовал себя таким же скрягой, как давешний, закутанный до бровей в шубу человечишка, закативший скандал из-за пяти крон. (Хинкус, ходатай по делам несовершеннолетних, в отпуске по болезни.) И я никого не встретил, кроме сенбернара Леля, который с доброжелательным безразличием наблюдал, как я застегиваю крепления, и утро, ясное небо, золотое солнце, пушистая белая долина — все это досталось мне одному.

Когда, совершив десятимильную пробежку к реке и обратно, я вернулся в отель перекусить, жизнь там уже била ключом.

В буфетной у Кайсы я не без труда выяснил, что душ в отеле работает только на первом этаже, и поспешил за свежим бельем и полотенцем. Но как я ни спешил, я все же опоздал. Душ оказался уже занят, из-за двери доносился плеск струй и неразборчивое пение. Перед дверью стоял Симонэ, тоже с полотенцем через плечо. Я встал за ним, а за мной сейчас же пристроился господин дю Барнстокр. Мы закурили. Симонэ, давясь от смеха, оглядываясь по сторонам, принялся рассказывать анекдот про холостяка, который поселился у вдовы с тремя дочками. С первой дочкой он разделался быстро, а об остальных мы, к счастью, так ничего и не узнали, потому что в холле объявилась госпожа Мозес, которая спросила у нас, не проходил ли здесь господин Мозес, ее супруг и повелитель. Господин дю Барнстокр галантно ответил, что, увы, нет. Симонэ, облизнувшись, впился в госпожу Мозес томным взором, а я прислушался к голосу, доносившемуся из душевой, и высказал предположение, что господин Мозес находится там. Госпожа Мозес встретила это предположение явным недоверием. Она улыбнулась, покачала головой и поведала нам, что в особняке на Рю де Шаннель у них две ванны — одна золотая, а другая платиновая, и когда мы не нашлись, что на это ответить, сообщила, что пойдет поищет господина Мозеса в другом месте. Симонэ, гоготнув, тут же вызвался сопровождать ее, и мы с дю Барнстокром остались вдвоем, но ненадолго, ибо к нам тут же присоединился господин Хинкус, ходатай, который немедленно принялся раздражаться в том смысле, что деньги вот дерут за двоих, а душ вот работает только один. Господин дю Барнстокр успокоил его: извлек у него из полотенца два леденцовых петушка на палочке. Хинкус немедленно замолчал и даже, бедняга, переменился в лице. Он принял петушки, сунул их в рот и уставился на великого престидижитатора с ужасом и недоверием. Господин же дю Барнстокр, очень довольный произведенным эффектом, пустился развлекать нас умножением и делением в уме многозначных чисел.

А в душе все шумели струи, и только пение прекратилось, сменившись неразборчивым бормотанием. С верхнего этажа, тяжело ступая, сошли рука об руку господин Мозес и белокурый викинг Олаф. Сойдя, они расстались. Господин Мозес, прихлебывая на ходу, унес свою кружку к себе за портьеры, а викинг, не говоря ни слова, встал в наш строй. Я посмотрел на часы. Мы ждали уже больше десяти минут.

Хлопнула входная дверь. Мимо нас, не задерживаясь, пронеслось наверх неслышными скачками чадо, оставив за собой запахи бензина, пота и духов. И тут до моего сознания дошло, что из кухни слышатся голоса хозяина и Кайсы, и какое-то странное подозрение впервые осенило меня. Я в нерешительности уставился на дверь душевой. Хинкус вдруг что-то неразборчиво пробормотал и, толкнув Олафа плечом, устремился в холл.

— Послушайте,— сказал я.— Кто-нибудь приехал нынче утром?

— Только вот эти господа,—сказал дю Барнстокр.— Господин Андварафорс и господин... э-э... вот этот маленький господин, который только что ушел...

— Мы приехали вчера вечером,— возразил Олаф.

Я и сам знал, когда они приехали. На секунду в воображении моем возникло видение скелета, мурлыкающего песенки под горячими струями и моющего у себя под мышками. Я рассердился и толкнул дверь. В душевой никого не было. Шумела пущенная до отказа горячая вода, пар стоял столбом, на крючке висела знакомая брезентовая куртка Погибшего Альпиниста, а на дубовой скамье под нею бормотал и посвистывал старенький транзисторный приемник.

— Кэ дьябль! — воскликнул дю Барнстокр.— Хозяин!

Поднялся шум. Бухая тяжелыми башмаками, прибежал хозяин. Вынырнул, словно из-под земли, Симонэ. Перегнулось через перила чадо с окурком, прилипшим к нижней губе. Из холла опасливо выглянул Хинкус.

— Это невероятно! — возбужденно говорил дю Барнстокр.— Мы стоим здесь и ждем никак не менее четверти часа!..

— А у меня опять кто-то на постели валялся,— сообщило сверху чадо.— И полотенце мокрое.

В глазах Симонэ прыгало дьявольское веселье.

— Господа, господа...— приговаривал хозяин, делая успокаивающие жесты. Он заглянул в душевую и прежде всего выключил воду. Затем он снял с крючка куртку, взял приемник и повернулся к нам. Лицо у него было торжественное.— Господа! — произнес он глухим голосом.— Я могу только засвидетельствовать факты. Это ЕГО приемник, господа. И это ЕГО куртка...

Я молча отстранил хозяина, вошел в душевую и запер за собой дверь. Уже содрав с себя одежду, я сообразил, что очередь, собственно, не моя, а Симонэ, но никаких угрызений совести не ощутил. Он же и устроил, подумал я со злостью. Пусть теперь постоит. Сколько воды зря пропало...

Когда я вышел из душевой, публика в холле продолжала обсуждать происшествие. Ничего нового, впрочем, не говорилось, и я не стал задерживаться. На лестнице я миновал чадо, по-прежнему висящее на перилах. «Сумасшедший дом!» — сказало оно мне с вызовом. Я промолчал и пошел прямо к себе в номер.

Под влиянием душа и приятной усталости злость моя совершенно улеглась. Я придвинул к окну кресло, выбрал самую толстую и самую серьезную книгу и уселся, задрав ноги на край стола. На первой же странице я задремал и пробудился, вероятно, часа через полтора — солнце переместилось изрядно, и тень отеля лежала теперь под моим окном. Судя по тени, на крыше сидел человек, и я спросонок подумал, что это, должно быть, унылый шалун Симонэ — прыгает там с трубы на трубу и регочет. Я снова заснул, потом книга свалилась на пол, я вздрогнул и проснулся окончательно. Теперь на крыше отчетливо виднелись тени двух человек — один, по-видимо-

му, сидел, другой стоял. Загорают, подумал я, и отправился умываться. Пока я умывался, мне пришло в голову, что неплохо было бы выпить чашечку кофе для бодрости. Я закурил и вышел в коридор. Было уже что-то около трех.

На лестничной площадке я встретился с Хинкусом. Он спускался по чердачной лестнице, и вид у него был какой-то странный. Он был голый до пояса и лоснился от пота, лицо у него было белое до зелени, глаза не мигали, обеими руками он прижимал к груди ком смятой одежды. Увидев меня, он сильно вздрогнул и приостановился.

— Загораете? — спросил я из вежливости.— Смотрите не сгорите. Вид у вас нездоровый.

Проявив таким образом заботу о ближнем, я, не дожидаясь ответа, пошел вниз. Хинкус топал по ступенькам следом.

— Захотелось вот выпить,— проговорил он хрипловато.

— Вы бы все-таки оделись, — посоветовал я.— Вдруг там госпожа Мозес...

— Да,— сказал он.— Натурально. Совсем забыл.

Он остановился и принялся торопливо напяливать рубашку и куртку, а я прошел в буфетную, где получил от Кайсы тарелку с холодным ростбифом, хлеб и кофе. Хинкус, уже одетый и уже не такой зеленый, присоединился ко мне и потребовал чего-нибудь покрепче.

— Симонэ тоже там? — спросил я. Мне пришло в голову скоротать время за бильярдом.

— Где? — отрывисто спросил Хинкус, осторожно поднося ко рту полную рюмку.

— На крыше.

Рука у Хинкуса дрогнула, бренди потекло по пальцам. Он торопливо выпил, потянул носом воздух и, вытирая рот ладонью, сказал:

— Нет. Никого там нет.

Я с удивлением посмотрел на него. Губы у него были поджаты, он наливал себе вторую рюмку.

— Странно,— сказал я.— Мне почему-то показалось, что Симонэ тоже там, на крыше.

— А вы перекреститесь, чтобы вам не казалось,— грубо ответил ходатай по делам, выпил и налил снова.

— Что это с вами? — спросил я.

Некоторое время он молча смотрел на полную рюмку.

— Так,— сказал он наконец,— неприятности. Могут быть у человека неприятности?

Было в нем что-то жалкое, и я смягчился.

— Да, конечно,— сказал я.— Извините.

Он хлопнул третью рюмку и вдруг сказал:

— Послушайте, а вы не хотите позагорать на крыше?

— Да нет, спасибо,— ответил я.— Боюсь сгореть. Кожа чувствительная.

Он подумал, взял бутылку, навинтил колпачок.

— Воздух там хорош,— произнес он.— И вид прекрасный. Вся долина, как на ладони... Горы...

— Пойдемте сыграем в бильярд,— предложил я.— Вы играете?

Он впервые посмотрел мне прямо в лицо маленькими больными глазами.

— Нет,— сказал он.— Я уж лучше подышу воздухом.

Затем он снова отвинтил колпачок и налил себе четвертую рюмку. Я доел ростбиф, выпил кофе и собрался уходить. Хинкус тупо разглядывал свою рюмку с бренди.

— Смотрите не свалитесь с крыши,— сказал я ему.

Он криво ухмыльнулся и ничего не ответил. Я снова поднялся на второй этаж. Стука шаров не было слышно, и я толкнулся в номер Симонэ. Никто не отозвался. Из-за дверей соседнего номера слышались неразборчивые голоса, и я постучался туда. Симонэ там тоже не было. Дю Барнстокр и Олаф, сидя за столом, играли в карты. Они были очень увлечены.

Я извинился и закрыл дверь. Ладно, погоняю шары в одиночку. В сущности, никакой разницы нет. Даже еще лучше. Я направился к бильярдной и по дороге испытал небольшой шок. По чердачной лестнице, придерживая двумя пальцами подол длинного роскошного платья, спускалась госпожа Мозес. Увидев меня, она улыбнулась совершенно обворожительно.

— Вы тоже загорали? — ляпнул я, потерявшись.

— Загорала? Я? Что за странная мысль? — Она пересекла площадку и приблизилась ко мне.— Какие странные предположения вы высказываете, инспектор!

— Не называйте меня, пожалуйста, инспектором,— попросил я.— Мне до такой степени надоело слышать это на работе...

— Я о-бо-жаю полицию,— произнесла госпожа Мозес, закатывая прекрасные глаза.— Эти герои, эти смельчаки... Вы ведь смельчак, не правда ли?

Как-то само собой получилось, что я предложил ей руку и повел в бильярдную. Рука у нее была белая, твердая и удивительно холодная.

— Сударыня,— сказал я.— Да вы совсем замерзли...

— Нисколько, инспектор,— ответила она и тут же спохватилась: — Простите, но как же мне вас называть?

— Может быть, Петер? — предложил я.

— Это было бы прелестно. У меня был друг Петер, барон фон Готтескнехт. Вы не знакомы?.. Однако тогда вам придется звать меня Ольгой. А если услышит Мозес?

Мы прошли через столовую и оказались в бильярдной. В бильярдной был Симонэ. Почему-то он лежал на полу в неглубокой, но широкой нише. Лицо у него было красное, волосы взлохмачены.

— Симон! — воскликнула госпожа Мозес и приложила ладони к щекам.— Что с вами?

В ответ Симонэ заклекотал и, упираясь руками и ногами в края ниши, полез к потолку.

— Боже мой, да вы убьетесь!—закричала госпожа Мозес.

— В самом деле, Симонэ,— сказал я с досадой.— Вы сломаете себе шею.

Однако шалун и не думал убиваться и ломать себе шею. Он добрался до потолка, повисел там, все более наливаясь кровью, потом мягко спрыгнул вниз и отдал нам честь. Госпожа Мозес зааплодировала.

— Вы просто чудо, Симон,— сказала она.— Как муха!

— Ну что, инспектор,— сказал Симонэ, чуть задыхаясь.— Сразимся во славу прекрасной дамы? — Он схватил кий и сделал фехтовальный выпад.— Я вас вызываю, инспектор Глебски!

С этими словами он повернулся к бильярдному столу и, не целясь, с таким треском залепил восьмерку в угол через весь стол, что у меня в глазах потемнело. Однако отступать было некуда. Я угрюмо взял кий.

— Сражайтесь, господа, сражайтесь,— сказала госпожа Мозес.— Прекрасная дама оставляет залог победителю.— Она бросила на середину стола кружевной платочек.— А я вынуждена покинуть вас.— Она послала нам воздушный поцелуй и удалилась.

— Чертовски завлекательная женщина,— заявил Симонэ.— С ума можно сойти.— Он подцепил кием платочек, погрузил нос в кружева и закатил глаза.— Прелесть!.. У вас, я вижу, тоже без всякого успеха, инспектор?

— Вы бы побольше путались под ногами,— мрачно сказал я, собирая шары в треугольник.— Кто вас просил торчать здесь, в бильярдной?

— А зачем вы, голова садовая, повели ее в бильярдную? — резонно возразил Симонэ, разбивая пирамиду.

— Не в буфетную же мне ее вести...—проворчал я и пошел вокруг стола, выбирая шар полегче.

— Глядите-ка,— сказал Симонэ. Он стоял у окна и заглядывал куда-то вбок.— Какой-то дурак сидит на крыше... Пардон! Два дурака. Один стоит, я принял его за печную трубу.

— Это Хинкус,— проворчал я, пристраиваясь поудобнее для удара.

— Хинкус — это такой маленький и все время брюзжит,— сказал Симонэ.— Ерундовый человечек. Вот Олаф — это да. Истый потомок древних конунгов, вот что я вам скажу, инспектор Глебски.

Я наконец ударил. И промазал. Совсем несложный шар промазал. Обидно. Я осмотрел конец кия, потрогал наклейку. Наклейка была в порядке.

— Не разглядывайте, не разглядывайте,— сказал Симонэ, подходя к столу.—Нет у вас никаких оправданий.

Он ударил. Потом еще раз ударил. Хлестко, с треском, с лязгом. Я застонал и пошел к окну, чтобы не видеть этого. Симонэ еще раз ударил и сказал:

— Пардон. Действуйте, инспектор.

Тень сидящего человека запрокинула голову и подняла руку с бутылкой. Я понял, что это Хинкус. Сейчас отхлебнет как следует и передаст бутылку стоящему. А кто это, собственно, стоит?

— Вы будете бить или нет? — спросил Симонэ.— Что там такое?

— Хинкус надирается,— сказал я.— Ох, свалится он сегодня с крыши...

Хинкус основательно присосался, а затем принял прежнюю позу. Угощать стоявшего он не стал. Кто же это такой? А, так это же чадо, наверное... Я вернулся к столу, выбрал шар полегче и опять промазал.

— Вы читали мемуары Кориолиса о бильярдной игре? — спросил Симонэ.

— Нет,— сказал я мрачно.— И не собираюсь.

— А я вот читал,— сказал Симонэ. Он в два удара кончил партию и наконец разразился своим жутким хохотом. Я положил кий поперек стола.

— Вы остались без партнера, Симонэ,— сказал я

мстительно.— Можете теперь сморкаться в свой приз в полном одиночестве.

Симонэ взял платочек и торжественно сунул его в нагрудный карман.

— Прекрасно,— сказал он.— Чем мы теперь займемся?

Я подумал.

— Пойду-ка я побреюсь. Обед скоро.

Мы вышли в коридор и сразу же наткнулись на чадо любимого покойного брата господина дю Барнстокра. Чадо загородило нам дорогу и, нагло поблескивая вытаращенными черными окулярами, потребовало сигаретку.

— Как там Хинкус? — спросил я, доставая пачку.— Здорово надрался?

— Хинкус? Ах, этот...— Чадо закурило и, сложив губы колечком, выпустило дым.— Ну, надраться не надрался, но зарядился основательно и еще взял бутылку с собой.

— А вы тоже с ним заряжались?—спросил Симонэ с интересом.

Чадо пренебрежительно фыркнуло.

— Черта с два! Он меня и не заметил. Ведь там была Кайса...

Тут мне пришло в голову, что пора наконец выяснить, парень это или девушка, и я раскинул сеть.

— Значит, вы были в буфетной? — спросил я вкрадчиво.

— Да. А что? Полиция не разрешает?

— Полиция хочет знать, что вы там делали.

— И научный мир тоже,—добавил Симонэ. Кажется, та же мысль пришла в голову и ему.

— Кофе пить полиция разрешает?—осведомилось чадо.

— Да,— ответил я.— А еще что вы там делали?

Вот сейчас... Не может же оно сказать: «Я закусывало»...

— А ничего,— хладнокровно сказало чадо.— Кофе и пирожки с кремом. Вот и все мои занятия в буфетной.

— Сладкое перед обедом вредно,— с упреком сказал Симонэ. Он был явно разочарован. Я тоже.

— Ну, ладно,— пробормотал я.— Пойду побреюсь.

— Может быть, есть еще вопросы? — спросило чадо нам вслед.

— Да нет, бог с вами,— сказал я.

Хлопнула дверь: чадо удалилось в свой номер.

— Схожу-ка и я перекушу,— сказал Симонэ, останавливаясь возле лестничной площадки.— Пойдемте, инспектор, до обеда еще час с лишним...

Я отказался, и мы разошлись. Симонэ застучал ботинками по ступенькам, а я направился в свой номер. В тот момент, когда я проходил мимо номера-музея, там послышался треск, что-то с грохотом повалилось, разбилось что-то стеклянное, и послышалось недовольное ворчание. Я заглянул в номер и обнаружил там господина Мозеса. Господин Мозес, высоко задрав одной рукой край ковра, а в другой сжимая свою неизменную кружку, с отвращением глядел на опрокинутую тумбочку и на черепки разбитой вазы.

— Проклятый притон! — прохрипел он при виде меня.— Грязное логово!

— Что вы тут делаете? — спросил я.

Господин Мозес немедленно взвинтился.

— Что я тут делаю? — взревел он, изо всех сил рванув ковер на себя. При этом он чуть не потерял равновесие и повалил кресло.— Я ищу мерзавца, который шатается по отелю, ворует вещи у порядочных людей, топает по ночам в коридорах и заглядывает в окна к моей жене! Какого дьявола я должен этим заниматься, когда в доме торчит полицейский?

Он отшвырнул ковер и повернулся ко мне. Я даже попятился.

— Может быть, я должен объявить награду? — продолжал он, взвинчивая себя все круче.— Извольте, объявляю. Сколько вам нужно, вы, инспектор? Пятьсот? Тысячу?.. Извольте: полторы тысячи крон тому, кто найдет мои пропавшие золотые часы! Две тысячи крон!

— У вас пропали часы? — спросил я, нахмурившись. Шутки кончились. Золотые часы — это не войлочные туфли и не занятый душ.

— Да!

— Когда вы видели их в последний раз?

— Сегодня рано утром. Они лежали на столе.

Я подумал.

— Советую вам,— сказал я наконец,— написать формальное заявление. Тогда я вызову полицию.

Мозес уставился на меня, и некоторое время мы молчали. Потом он отхлебнул из кружки и сказал:

— На кой черт вам заявление и полиция? Я вовсе не хочу, чтобы мое имя трепали вонючие газетчики. Почему вы не можете заняться этим сами? Я же объявил награду. Хотите задаток?

— Мне неудобно вмешиваться в это дело,— возразил я.— Я не частный сыщик, я государственный служащий.

— Ладно,— сказал он вдруг.— Я подумаю...— Он помолчал.— Может быть, они сами найдутся. Хотелось бы надеяться, что это очередная глупая шутка. Но если часы не найдутся до завтра, утром я напишу это заявление.

На том мы и порешили. Мозес пошел к себе, а я к себе.

Не знаю, что новенького обнаружил Мозес у себя в номере. У меня новенького было полно. Во-первых, на двери косо висел лозунг «Когда я слышу слово «культура», я вызываю мою полицию». Лозунг я, конечно, содрал, но это было только начало. Стол в моем номере оказался залит уже застывшим гуммиарабиком — поливали прямо из бутылки, бутылка валялась тут же,— и в центре этой засохшей лужи красовался листок бумаги. Записка. Совершенно дурацкая записка. Корявыми печатными буквами было написано: «Господина инспектора Глебски извещают, что в отеле находится в настоящее время под именем Хинкус опасный гангстер, маньяк и садист, известный в преступных кругах под кличкой Филин. Он вооружен и грозит смертью одному из клиентов отеля. Господина инспектора убедительно просят принять какие-нибудь меры».

Я был до такой степени взбешен и ошарашен, что прочел записку дважды, прежде чем понял ее содержание. Потом я закурил сигарету и оглядел номер. Следов, конечно, я никаких не заметил. Я расправил смятый лозунг и сравнил его с запиской. Буквы лозунга были тоже печатные и тоже корявые, но выписаны они были карандашом. Впрочем, с лозунгом и так все было ясно — это была, конечно, чадова работа. Просто шутка. Один из тех дурацких лозунгов, которые французские студенты писали на стенах Сорбонны. С запиской же дело обстояло значительно хуже. Мистификатор мог подсунуть записку под дверь, мог воткнуть ее в замочную скважину, просто положить на стол и придавить, например, пепельницей. Нужно было быть кретином или полным дикарем, чтобы ради дурацкой шутки загадить такой хороший стол. Кретинов здесь полно, это верно... но не до такой же степени! Я еще раз перечитал записку, изо всех сил затянулся и подошел к окну. Вот тебе и отпуск, подумал я. Вот тебе и долгожданная свобода...

Солнце было уже совсем низко, тень отеля протянулась на добрую сотню метров. На крыше, запрокинув голову и присосавшись к бутылке, по-прежнему торчал опасный гангстер, маньяк и садист господин Хинкус. Он был один.

Глава 5

Я остановился перед номером Хинкуса и осторожно огляделся. Коридор был, как всегда, пуст. Из бильярдной доносился треск шаров — там был Симонэ. Дю Барнстокр и Олаф сидели в номере у Олафа. Чадо возилось с мотоциклом. Мозесы были у себя. Хинкус сидел на крыше. Пять минут назад он спустился в буфетную, взял еще бутылку, зашел в номер, облачился в шубу и теперь намерен, вероятно, дышать чистым воздухом по крайней мере до обеда. А я стоял перед его номером, пробовал в замочной скважине ключи из связки, которую утащил из конторки хозяина, и готовился совершить должностной проступок.

Пятый или шестой ключ мягко щелкнул, и я проскользнул в номер. Я сделал это так, как обычно делают герои шпионских боевиков,— других способов я не знал. Солнце уже почти зашло за хребет, но в номере было довольно светло. Вид у номера был нежилой, кровать не смята, пепельница пуста и чиста, а оба баула стояли прямо посередине комнаты.

Содержимое первого, более тяжелого баула сразу насторожило меня. Это был типичный фальшивый багаж: какое-то тряпье, драные простыни и наволочки и пачка книг, подобранных самым нелепым образом. Настоящий багаж содержался во втором бауле. Здесь было три смены белья, пижама, несессер, набор авторучек, пачка денег — солидная пачка, больше моей — и две дюжины носовых платков. Была там также небольшая серебряная фляжка — пустая, футляр с темными очками и бутылка с иностранной наклейкой — полная. А на самом дне баула, под бельем, я нашел массивные золотые часы и маленький дамский браунинг.

Я сел на пол и прислушался. Пока все было тихо, но времени на размышление у меня оставалось крайне мало. Я оглядел часы. На крышке была выгравирована какая-то сложная монограмма, золото было настоящее, червонное, с красноватым отблеском, циферблат был украшен знаками зодиака. Это были, несомненно, пропавшие часы господина Мозеса. Потом я оглядел пистолет. Никелированная безделушка с перламутровой рукояткой, строго говоря, вообще не оружие... Вздор, все это вздор. Гангстеры не обременяют себя такой чепухой. И если на то пошло, гангстеры не воруют часов, даже таких тяжелых и массивных. Настоящие гангстеры, с именем и репутацией.

Так-так-так... Давай-ка быстренько сформулируем. Никаких доказательств, что Хинкус — опасный гангстер, маньяк и садист, и сколько угодно доказательств, что кому-то очень хочется выдать его за гангстера. Правда, фальшивый багаж...

Я снова прислушался. В столовой звенели посудой — Кайса уже накрывала на стол. Кто-то протопал мимо дверей. Голос Симонэ зычно осведомился: «А где же инспектор? Где он, наш храбрец?» Пронзительно взвизгнула Кайса, леденящий хохот сотряс этаж. Пора было удирать. Я торопливо разрядил обойму, сунул патроны в карман, а пистолет и часы вернул на дно баула. Я едва успел выскочить и повернуть ключ, как в другом конце коридора появился дю Барнстокр.

— Дорогой инспектор! — провозгласил он.— Победа, слава, богатство! Таков всегдашний удел дю Барнстокров.

Я пошел ему навстречу, и мы сблизились возле дверей его номера.

— Обчистили Олафа? — сказал я.

— Представьте себе, да! — сказал он, счастливо улыбаясь.— Наш милый Олаф слишком уж методичен. Играет, как машина, никакой фантазии. Даже скучно... Кстати, милый инспектор. Вы знаете, какую новую шутку учинил наш дорогой покойник? Зайдемте-ка на минуточку ко мне...

Он втащил меня к себе в номер, пихнул в кресло и предложил сигару.

— Где же она? — пробормотал он, похлопывая себя по карманам.— Ага! Вот, извольте взглянуть, что я получил сегодня.— Он протянул мне смятый клочок бумаги.

Это опять была записка. Корявыми печатными буквами, с орфографическими ошибками, там было написано: «Мы вас нашли. Я держу вас на мушке. Но пытайтесь бежать и не делайте глупостей. Стрелять буду без предупреждения. Ф.». Стиснув зубами сигару, я перечитал это послание дважды и трижды.

— Прелестно, не правда ли? — сказал дю Барнстокр, охорашиваясь перед зеркалом.

— Как она к вам попала?

— Ее подбросили в номер к Олафу, когда мы играли. Олаф отправился в буфет за спиртным, а я сидел и курил сигару. Раздался стук в дверь, я сказал: «Да-да, войдите»,— но никто не вошел. Я удивился, и вдруг я увидел, что у двери лежит эта записка. Видимо, ее подсунули под дверь.

— Вы, конечно, выглянули в коридор и, конечно, никого не увидели,— сказал я.

— Ну, мне пришлось довольно долго выкарабкиваться из кресла,— сказал дю Барнстокр.— Пойдемте? Откровенно говоря, я основательно проголодался.

Я положил записку в карман, и мы отправились в столовую, захватив по дороге чадо.

Кажется, все уже были в сборе. Госпожа Мозес обслуживала господина Мозеса, Симонэ и Олаф топтались возле стола с закусками, хозяин разливал настойку. Дю Барнстокр и чадо отправились на свои места, а я присоединился к мужчинам. Симонэ зловещим шепотом рассказывал Олафу о воздействии эдельвейсовой настойки на человеческие внутренности. Олаф, добродушно хмыкая, поедал икру. Тут вошла Кайса и принялась тарахтеть, обращаясь к хозяину:

— Они не желают идти, они сказали, раз не все собрались, так и они не пойдут. А когда все соберутся, тогда они и придут. Они так и сказали... И две бутылки пустые...

— Так пойди и скажи, что все собрались,— приказал хозяин.

— Они мне не верят, я и так сказала, что все собрались, а они мне...

— О ком речь? — отрывисто вопросил господин Мозес.

— Речь идет о господине Хинкусе,— ответил хозяин.— Он все еще пребывает на крыше, а я...

— Чего там на крыше! — сиплым басом сказало чадо.— Вон он, Хинкус! — И оно указало вилкой на Олафа.

— Дитя мое, вы заблуждаетесь,— мягко произнес дю Барнстокр, а Олаф добродушно осклабился и прогудел:

— Олаф Андварафорс, детка. Можно просто Олаф.

— А почему тогда он?..— Вилка протянулась в мою сторону.

— Какого дьявола, Сневар?! — сказал Мозес.— Не хочет идти — пусть торчит на морозе.

— Уважаемый господин Мозес,— произнес хозяин с достоинством.— Именно сейчас весьма желательно, чтобы все были в сборе. Я имею сообщить моим уважаемым гостям весьма приятную новость... Кайса, быстро!

— Да не идут они...

Я поставил тарелку с закуской на столик.

— Погодите,— сказал я.— Сейчас я его приведу.

Выходя из столовой, я услыхал, как Симонэ ска-

зал: «Правильно! Пусть-ка полиция займется своим делом»,— после чего залился кладбищенским хохотом, сопровождавшим меня до самой чердачной лестницы.

Я поднялся по лестнице, толкнул грубую деревянную дверь и оказался в круглом, сплошь застекленном павильончике с узкими скамейками для отдыха вдоль стен. Здесь было холодно, странно пахло снегом и пылью, горой громоздились сложенные шезлонги. Фанерная дверь, ведущая на крышу, была приоткрыта.

Плоская крыша была покрыта толстым слоем снега, вокруг павильончика снег был утоптан, а дальше, к покосившейся антенне, вела тропинка, и в конце этой тропинки неподвижно сидел в шезлонге закутанный Хинкус. Левой рукой он придерживал на колене бутылку, а правую прятал за пазухой, должно быть, отогревал. Лица его почти не было видно, оно было закрыто воротником шубы и козырьком меховой шапки, только настороженные глаза поблескивали оттуда, словно тарантул глядел из норки.

— Пойдемте, Хинкус,— сказал я.— Все собрались. Ждут вас.

— Все? — хрипло спросил он.

Я кивнул и огляделся. Солнце скрылось за хребтом, снег в долине казался лиловатым, в темнеющее небо поднималась бледная луна. Краем глаза я заметил, что Хинкус внимательно следит за мной.

— А чего меня ждать? — спросил он.— Начинали бы...

— Хозяин хочет сделать нам какой-то сюрприз.

— Сюрприз...— сказал Хинкус и покашлял.— Туберкулез у меня,— сообщил он вдруг.— Врачи говорят, мне все время надо на свежем воздухе... и мясо черномясой курицы...

Мне стало его жалко.

— Черт возьми,— сказал я искренне.— Сочувствую вам. Но обедать-то все-таки тоже нужно...

— Нужно, конечно,— согласился он и встал.— Пообедаю и опять сюда вернусь.—Он поставил бутылку в снег.— Как вы думаете, врут доктора или нет? Насчет свежего воздуха...

— Ну-ну, Хинкус,— сказал я.— Туберкулез теперь лечат. Это вам не девятнадцатый век.

— Да, наверное,— вяло согласился он. Мы свернули в коридор. В столовой звенела посуда, гудели голоса.— Вы идите, я шубу сброшу,— сказал он, останавливаясь у своей двери.

Я кивнул и вошел в столовую.

— А где арестованный? — громогласно спросил Симонэ.

— Все в порядке,— сказал я.— Сейчас придет.

Дю Барнстокр что-то рассказывал о магии чисел. Госпожа Мозес ахала. Симонэ отрывисто похохатывал. «Бросьте, Бардл... Дюбр...— гудел Мозес.— Все это — средневековый вздор». Я налил себе хорошую порцию супу, и тут появился Хинкус. Губы у него дрожали, и опять он был какой-то зеленоватый. Его встретил взрыв приветствий, а он, торопливо обведя стол глазами, как-то неуверенно направился к своему месту между мною и Олафом. В это время хозяин постучал ножом о край тарелки.

— Господа! — торжественно провозгласил он.— Прошу минуточку внимания! Теперь, когда мы все собрались здесь, я позволю себе сообщить вам приятную новость. Идя навстречу многочисленным пожеланиям гостей, администрация отеля приняла решение устроить сегодня праздничный бал Встречи Весны. Конца обеду не будет! Танцы, господа, вино, карты, веселая беседа!

Симонэ с треском ударил в костлявые ладони. Госпожа Мозес тоже зааплодировала. Все оживились, и даже неуступчивый господин Мозес, сделав основательный глоток из кружки, просипел: «Ну, карты — это еще куда ни шло...» А дитя стучало вилкой о стол и показывало мне язык. Розовый такой язычок, вполне приятного вида. И в самый разгар этого шума и оживления Хинкус вдруг придвинулся ко мне и зашептал в ухо:

— Слушайте, инспектор, вы, говорят, полицейский... Что мне делать? Полез я сейчас в баул... за лекарством. Мне велено пить перед обедом микстуру какую-то... А у меня там... ну, одежда кое-какая теплая, жилет меховой, носки там... Так ничего этого у меня не осталось. Тряпки какие-то не мои, белье рваное... и книжки...

Я осторожно опустил ложку на стол и посмотрел на него. Глаза у него были круглые, правое веко подергивалось, и в глазах был страх. Крупный гангстер. Маньяк и садист.

— Ну, хорошо,— сказал я сквозь зубы.— А чего вы от меня хотите?

Он сразу как-то увял и втянул голову в плечи.

— Да нет... ничего... Я только не понимаю, это шутка или как... Если кража, так ведь вы полицейский... А может быть, конечно, и шутка, как вы полагаете?

— Да, Хинкус,— сказал я, отведя глаза и снова принимаясь за суп.— Тут все шутят. Считайте, что это шутка, Хинкус.

Глава 6

К моему немалому удивлению, затея с вечеринкой удалась. Пообедали быстро и неосновательно, и никто не покинул столовой, кроме Хинкуса, который, пробормотав какие-то извинения, поплелся обратно на крышу промывать легкие горным кислородом. Я проводил его взглядом, испытывая что-то вроде угрызений совести. Мельком я подумал, что для ходатая по делам, даже по делам несовершеннолетних, у Хинкуса слишком уж бедный лексикон. Я отогнал эту мысль и старательно заголотал вместе с Симонэ над какой-то его очередной суконной остротой, которую не расслышал. Я залпом проглотил полстакана бренди и налил еще. В голове у меня зашумело.

Между тем веселье началось. Кайса еще не успела собрать грязную посуду, а господин Мозес и дю Барнстокр, делая друг другу приглашающие жесты, проследовали к карточному столику с зеленым сукном, появившемуся вдруг в углу столовой. Хозяин включил оглушительную музыку. Олаф и Симонэ одновременно устремились к госпоже Мозес, и поскольку та оказалась не в силах выбрать кавалера, они принялись отплясывать втроем. Чадо снова показало мне язык. Правильно! Я вылез из-за стола и, ступая по возможности твердо, понес к этой разбойнице... к этому разбойнику бутылку и стакан.

— Танец, мадемуазель? — произнес я, плюхнувшись на стул рядом с чадом.

— Я не танцую, сударыня,— лениво ответило чадо.— Бросьте трепаться и дайте сигаретку.

Я дал ему сигаретку, хватил еще бренди и принялся объяснять этому существу, что его поведение — по-ве-де-ни-е! — аморально, что так нельзя. Что я когда-нибудь его выпорю, дайте мне только срок. Или, добавил я, подумав, привлеку за ношение неподобающей одежды в местах общественного пользования. Развешивание лозунгов, сказал я. Нехорошо. На дверях. Шокирует и будирует. Будирует!

Чадо отвечало мне что-то, и довольно остроумно, то хрипловатым мальчишеским баском, то нежным

девичьим альтом. Голова у меня шла кругом, и скоро мне стало казаться, что разговариваю я сразу с двумя собеседниками. Где-то тут обретался испорченный, вставший на неправильный путь подросток, который все время хлобыстал мое бренди и за которого я нес ответственность как работник полиции и старший по чину. И где-то тут же пребывала очаровательная, пикантная девушка, которая, слава богу, ну совершенно не походила на мою старуху и к которой я, кажется, начинал испытывать чувства более нежные, нежели отеческие. Отпихивая все время ввязывавшегося в разговор подростка, я изложил девушке свои взгляды на брак как на добровольный союз двух сердец, взявших на себя определенные моральные обязательства. И никаких велосипедов-мотоциклов, добавил я строго. Условимся об этом сразу же. Моя старуха этого не выносит. Мы условились, я откинулся на стуле и оглядел зал.

Все шло прекрасно. Законы и моральные нормы не нарушались. Никто не вывешивал лозунгов, не писал записок, не крал часов. Музыка гремела. Дю Барнстокр, Мозес и хозяин резались в тринадцать без ограничения ставок. Госпожа Мозес лихо отплясывала с Симонэ что-то совершенно современное. Кайса убирала посуду. Тарелки, вилки и Олафы так и вились вокруг нее. Вся посуда на столе находилась в движении — я едва успел подхватить убегающую бутылку и облил себе брюки.

Это была ошибка. Девушка обиделась и куда-то пропала, а подросток остался и принялся хамить. Но тут ко мне подошла госпожа Мозес и пригласила меня на танец, и я с удовольствием согласился. Через минуту у меня появилась твердая уверенность в том, что я болван, что судьбу свою мне надлежит связать с госпожой Мозес и только с нею. С моей Ольгой. У нее были божественно мягкие ручки, нисколько не обветренные и совсем без цыпок, и она охотно позволяла целовать их, и у нее были прекрасные, хорошо различимые глаза, не скрытые никакой оптикой, и от нее очаровательно пахло, и у нее не было родственника-брата, грубого, разбитного юнца, не дающего слово сказать. Правда, кругом все время почему-то оказывался Симонэ, унылый шалун, но с этим вполне можно было мириться, поскольку он не был родственником. Потом я как-то внезапно протрезвел и обнаружил, что нахожусь с госпожой Мозес за портьерой у окна. Я держал ее за талию, а она, склонив голову мне на плечо, говорила:

— Посмотри, какой очаровательный вид!..

Это неожиданное обращение на «ты» смутило меня, и я принялся тупо рассматривать вид, раздумывая, как бы это деликатнее убрать руку с ее талии, пока нас тут не застукали. Впрочем, вид действительно не был лишен очарования. Луна, наверное, уже поднялась высоко, вся долина казалась голубой в ее свете, а близкие горы словно висели в неподвижном воздухе. Тут я заметил унылую тень несчастного Хинкуса, сгорбившегося на крыше, и пробормотал:

— Бедняга Хинкус...

Госпожа Мозес слегка отстранилась и удивленно посмотрела на меня снизу вверх.

— Бедняга? — спросила она.— Почему бедняга?

— Он тяжело болен,— объяснил я.— У него туберкулез, и он страшно боится.

— Да-да,— подхватила она.— Вы тоже заметили? Он все время чего-то боится. Какой-то подозрительный и очень неприятный господин. И совсем не нашего круга...

Я горестно покачал головой и вздохнул.

— Ну вот, и вы туда же...— сказал я.— Ничего подозрительного в нем нет. Просто несчастный, одинокий человечек. Очень жалкий. Вы бы посмотрели, как он то и дело зеленеет и покрывается потом.

Тут портьера с треском раздвинулась, и перед нами возникло чадо. Не глядя на меня, оно неуклюже шаркнуло ногой и сипло произнесло:

— Пермете ву...

— Битте, мой мальчик,— очаровательно улыбаясь, отозвалась госпожа Мозес, подарила мне очередную ослепительную улыбку и, обхваченная чадом, заскользила по паркету.

Я вздохнул и вытер лоб платком. Стол был уже убран. Тройка картежников в углу продолжала резаться. Симонэ лупил шарами в бильярдной, Олаф и Кайса испарились. Музыка гремела вполсилы, госпожа Мозес и Брюн демонстрировали незаурядное мастерство. Я осторожно обошел их стороной и направился в бильярдную.

Симонэ приветствовал меня взмахом кия и, не теряя ни секунды драгоценного времени, предложил мне пять шаров форы. Я снял пиджак, засучил рукава, и игра началась. Я проиграл огромное количество партий и был за это наказан огромным количеством анекдотов. На душе у меня стало совсем легко. Я хохотал над анекдотами, которых почти не понимал, ибо речь в них шла о каких-то кварках, левожующих коровах и профессорах с иностранными именами, я пил содовую, не поддаваясь на уговоры и насмешки партнера, я преувеличенно стонал и хватался за сердце, промахиваясь, я исполнялся торжества, попадая, я придумывал новые правила игры и с жаром их отстаивал, я распоясался до того, что снял галстук и расстегнул воротник сорочки. По-моему, я был в ударе. Симонэ тоже был в ударе. Он клал невообразимые и теоретически невозможные шары, он бегал по стенам и даже, кажется, по потолку; в промежутках между анекдотами он во все горло распевал песни математического содержания; он постоянно сбивался на «ты» и говорил при этом: «Пардон, старина! Проклятое демократическое воспитание!»

Через раскрытую дверь бильярдной я мельком видел то Олафа, танцующего с чадом, то хозяина, несущего к карточному столику поднос с напитками, то раскрасневшуюся Кайсу. Музыка все гремела, игроки азартно вскрикивали, то объявляя пики, то убивая червы, то козыряя бубнами. Время от времени слышалось хриплое: «Послушайте, Драбл... Бандрл... дю!..», и негодующий стук кружки по столу, и голос хозяина: «Господа, господа! Деньги — это прах...», и раздавался хрустальный смех госпожи Мозес и ее голосок: «Мозес, что вы делаете, ведь пики уже прошли...» Потом часы пробили половину чего-то, в столовой задвигали стульями, и я увидел, как Мозес хлопает дю Барнстокра по плечу, и услышал, как он гудит: «Игра была хороша, Барн... дю... Вы опасный противник. Спокойной ночи, господа! Пойдемте, дорогая...» Потом, помнится, у Симонэ вышел, как он выразился, запас горючего, и я сходил в столовую за новой бутылкой бренди, решив, что и мне пора пополнить хладовые веселья и беззаботности.

В зале все еще играла музыка, но уже никого не было, только дю Барнстокр, сидя спиною ко мне за карточным столиком, задумчиво творил чудеса с двумя колодами. Он плавным движением узких белых рук извлекал карты из воздуха, заставлял их исчезать с раскрытых ладоней, пускал колоды из руки в руку мерцающей струей, веером рассыпал их в воздухе перед собой и отправлял в небытие. Меня он не заметил, а я не стал его отвлекать. Я просто взял с буфета бутылку и на цыпочках вернулся в бильярдную.

Когда в бутылке осталось чуть больше половины, я мощным ударом выбросил за борт сразу два шара

и порвал сукно на бильярде. Это было уже слишком.

— Все,— сказал я и положил кий.— Пойду подышу свежим воздухом.

Я миновал столовую, теперь уже совсем пустую, спустился в холл и вышел на крыльцо, а затем прошелся взад-вперед по расчищенной дорожке перед фасадом отеля. Светилось желтым окно кухни, светилось розовым окно в спальне госпожи Мозес, горел свет и у дю Барнстокра и за портьерами в столовой, а остальные окна были темны, и окно в номере Олафа было раскрыто настежь, как и утром. На крыше одиноко торчал закутанный с головой в шубу страдалец Хинкус, несчастный, согнутый под бременем своего страха.

— Хинкус! — тихонько позвал я, но он не шевельнулся. Может быть, дремал, а может быть, не слышал сквозь теплые наушники и поднятый воротник.

Я замерз и с удовольствием ощутил, что теперь наступило самое время выпить горячего портвейна. Я вернулся в холл и, встретив хозяина, посвятил его в свой замысел.

— Это идея,— сказал он.— Ступайте в каминную, Петер, а я пойду распоряжусь.

Я последовал его приглашению и, устроившись перед огнем, принялся греть озябшие руки. Я слышал, как хозяин ходит по холлу, как он что-то бубнит Кайсе и опять ходит по холлу, щелкая выключателями, потом шаги его затихли, и в столовой смолкла музыка. Грузно ступая по ступенькам лестницы, он спустился в холл и прошел в буфетную.

Я закурил сигарету, бросил спичку в камин, и в этот самый момент пол слегка дрогнул под моими ногами, жалобно задребезжали стекла, и я услышал отдаленный мощный грохот. Я подскочил и машинально поглядел на часы — было десять часов две минуты. Я ждал, весь напрягшись. Грохот не повторялся. Где-то наверху с силой хлопнула дверь, звякнули кастрюли на кухне. Кайса громко сказала: «Ой, господи!» Я поднялся, но тут раздались шаги, и в каминную вошел хозяин с двумя стаканами горячего пойла.

— Слыхали? — спросил он.— Обвал в горах. И не очень далеко... Подождите-ка, Петер.

Он поставил стаканы на каминную полку и вышел. Я взял стакан и снова уселся в свое кресло. Я был совершенно спокоен. Обвалы меня не пугали, а портвейн, вскипяченный с лимоном и корицей, был превыше всяческих похвал. Хорошо! — подумал я, устраиваясь поудобнее.

Вернулся хозяин. Он взял свой стакан, сел рядом и некоторое время молча смотрел на раскаленные угли.

— Дело швах, Петер,— глухо и торжественно произнес наконец он.— Мы отрезаны от внешнего мира.

— Завалило дорогу?

— Да. Сейчас я попробовал связаться с Мюром. Телефон не действует. Это может означать только то, что означало уже несколько раз за последние десять лет: обвалом забило Бутылочное Горлышко, вы его проезжали, единственный проход в мою долину.

Он отпил из стакана.

— Я сразу понял, что к чему,— продолжал он.— Грохот донесся с севера. Теперь нам остается только ждать. Пока о нас вспомнят, пока организуют рабочую бригаду...

— Воды у нас хватит,— задумчиво сказал я.— А вот не впадем ли мы в людоедство?

— Нет,— сказал хозяин с видимым сожалением.— Разве что вам захочется разнообразить меню.

— А как насчет топлива? — спросил я.

— У нас всегда есть в резерве мои вечные двигатели.

— Гм...— сказал я.— Они деревянные?

Хозяин взглянул на меня с упреком.

— Почему вы не спросите, Петер, как у нас с выпивкой?

— А как?

— С выпивкой,— гордо сказал хозяин,— у нас особенно хорошо. Одной только фирменной настойки у нас сто двадцать бутылок.

Некоторое время мы молча смотрели на угли, спокойно прихлебывая из стаканов. Потом хозяин вдруг сказал:

— Одно меня беспокоит, Петер, если говорить серьезно. У меня такое впечатление, что я потерял хороших клиентов.

— Каким образом? — спросил я.— Наоборот, восемь жирных мух запутались в вашей паутине. Какая реклама! Все они потом будут рассказывать, как чуть не съели друг друга...

— Это так,— самодовольно признался хозяин.— Об этом я уже подумал. Но ведь мух могло быть и больше, сюда вот-вот должны были приехать друзья Хинкуса...

— Друзья Хинкуса? — удивился я.

— Представьте себе. Он звонил в Мюр на телеграф и продиктовал телеграмму.— Хозяин поднял палец и торжественно продекламировал: «Мюр, отель «У Погибшего Альпиниста». Жду, поторопитесь».

— Вот уж никогда бы не подумал,—пробормотал я,— что у Хинкуса есть друзья.

Глава 7

К полуночи мы с хозяином прикончили кувшин горячего портвейна, обсудили, как бы поэффектнее оповестить остальных гостей о том, что они замурованы заживо, и решили несколько мировых проблем, а именно: обречено ли человечество на вымирание (да, обречено, однако нас к тому времени уже не будет); является ли сенбернар Лель разумным существом (да, является, однако убедить в этом дураков-ученых не представляется возможным); угрожает ли Вселенной так называемая тепловая смерть (нет, не угрожает ввиду наличия в сарае у хозяина вечных двигателей как первого, так и второго рода); какого пола Брюн (здесь я доказать ничего не сумел, а хозяин высказал и обосновал странную идею, будто Брюн вообще не имеет пола).

Кажется, именно в эту минуту сенбернар Лель, дремавший у наших ног, вдруг вскочил и глухо гавкнул. Хозяин воззрился на него.

— Не понял! — строго сказал он.

Лель гавкнул два раза подряд и направился в холл.

— Ага,— сказал хозяин, поднимаясь.— Кто-то пожаловал.

Мы последовали за Лелем. Мы были исполнены гостеприимства. Лель стоял перед парадной дверью. Из-за двери доносились странные скребущие и скулящие звуки. Я схватил хозяина за руку.

— Медведь! — прошептал я.— Гризли! Ружье есть? Быстро!

— Боюсь, что это не медведь,— глухим голосом произнес хозяин.— Боюсь, что это наконец он. Надо отпереть.

— Не надо! — возразил я.

— Надо. Он заплатил за две недели, а прожил всего одну. Мы не имеем права. У меня отберут лицензию.

За дверью скреблись и прискуливали. Лель вел себя странно: он стоял к двери боком и смотрел на нее с вопросительным выражением, то и дело шумно

потягивая воздух носом. Именно так должны вести себя собаки, впервые встретившиеся с привидением, но хозяин смело протянул руку и отодвинул засов.

Дверь отворилась, и к нашим ногам медленно сползло облепленное снегом тело. Мы бросились к нему, втащили в холл и перевернули на спину. Облепленный снегом человек застонал и вытянулся. Глаза его были закрыты, длинный нос побелел.

Хозяин, не теряя ни секунды, развил бешеную деятельность. Он разбудил Кайсу, велел ей греть воду, влил в рот незнакомцу стакан горячего портвейна, растер ему лицо шерстяной рукавицей, а затем объявил, что нужно отнести его в душевую. «Берите его под мышки, Петер, — распорядился он, — а я возьму за ноги...» Я выполнил приказание и ощутил некоторый шок: оказалось, что незнакомец был однорукий, правой руки у него не было до самого плеча. Мы перетащили беднягу в душевую, уложили на скамью, а затем прибежала Кайса в одной рубашке, и хозяин объявил мне, что дальше справится сам.

Я вернулся в каминную и допил свой портвейн. Голова у меня была совершенно ясная, я был способен анализировать и сопоставлять с необыкновенной быстротой. Одет незнакомец был явно не по сезону. На нем был кургузый пиджачок, брюки дудочками и модельные туфли. В здешних местах так мог быть одет только человек, едущий на автомобиле. Тут я понял: он ехал сюда на автомобиле и попал в лавину в Бутылочном Горлышке. Это был приятель Хинкуса, вот кто! Надо разбудить Хинкуса...

Я выскочил из каминной и побежал на второй этаж. Свет в коридоре был погашен, я довольно долго искал выключатель, а потом еще дольше стучал в дверь к Хинкусу. Хинкус не отзывался. «Да ведь он все еще на крыше!» — ужаснулся я и стремглав помчался к чердачной лестнице. Так и есть, сидит на крыше. Он сидел в прежней позе, нахохлившись, уйдя головой в огромный воротник и сунув руки в рукава.

— Хинкус! — гаркнул я.

Он не пошевелился. Тогда я подбежал к нему и потряс за плечо. Я обалдел. Хинкус вдруг как-то странно осел, мягко подавшись у меня под рукой.

— Хинкус! — растерянно сказал я, непроизвольно подхватывая его.

Шуба раскрылась, из нее вывалилось несколько комьев снега, свалилась меховая шапка, и только тогда я понял, что Хинкуса нет, а есть только снежное чучело, облаченное в его шубу. Вот в этот момент я и протрезвел окончательно. Я быстро огляделся. Яркая маленькая луна висела прямо над головой, и все было видно, как днем. На крыше было много следов, и все это были следы одинаковые, не разберешь, чьи. Рядом с шезлонгом снег был промят, разбросан и разрыт — то ли здесь боролись, то ли просто собирали снег для чучела. Снежная долина, насколько хватал глаз, была пуста и чиста, темная полоса дороги уходила на север и терялась в серо-голубой дымке, скрывающей устье Бутылочного Горлышка.

«Стоп!» — подумал я, стараясь держать себя в руках. Попробуем сообразить, зачем Хинкусу понадобилась вся эта бутафория. Несомненно, чтобы мы думали, будто он сидит на крыше. А он в это время находился совсем в другом месте и обделывал какие-то свои делишки... лжетуберкулезник, лжебедняга... Какие же делишки и где? Я снова внимательно осмотрел крышу, попытался разобраться в следах, ничего не понял, медленно спустился на второй этаж, снова постучался к Хинкусу, и снова никто не отозвался. На всякий случай я нажал на ручку. Дверь отворилась. Готовый ко всяким неожиданностям, вытянув перед собой руку, чтобы предупредить возможное нападение из темноты, я вошел и, быстро нашарив выключатель, зажег свет. В комнате все было как будто по-прежнему, и баулы стояли на прежних местах, но оба они были раскрыты. Хинкуса, конечно, в номере не было, да я и не ожидал его здесь найти. Я присел над баулами и снова тщательно обследовал их. В них тоже все было по-прежнему, за одним маленьким исключением: исчезли и золотые часы и браунинг. Если бы Хинкус бежал, он захватил бы деньги. Хорошая пачка, увесистая...

Одно мне было ясно: готовилось какое-то преступление. Какое? Убийство? Ограбление? Мысль об убийстве я торопливо погнал от себя. Я просто не мог себе представить, кого здесь могут убить и зачем. Потом я вспомнил про записку, которую подбросили дю Барнстокру. Мне сделалось нехорошо. Впрочем, из записки явствовало, что его убьют лишь в том случае, если он попытается бежать...

Я выключил свет и вышел в коридор, прикрыв за собою дверь. Я подошел к номеру дю Барнстокра и потрогал ручку. Дверь была заперта. Тогда я постучал. Никто не откликнулся. Я постучал вторично и приложил ухо к замочной скважине. Невнятный, явно со сна, голос дю Барнстокра отозвался: «Одну минуточку, я сейчас...» Старик был жив, и старик не собирался бежать. Объясняться с ним мне не хотелось, я выскочил на лестничную площадку и прижался к стене под чердачной лестницей. Через минуту щелкнул ключ, скрипнула дверь. Голос дю Барнстокра с изумлением произнес: «Странно, однако...» Снова скрипнула дверь, и снова щелкнул ключ. Здесь все было в порядке — по крайней мере пока. «Нет,— решительно подумал я.— Убийство — это, конечно, чепуха. А вот как насчет ограбления? Кого здесь имеет смысл грабить? Насколько я понимаю, в отеле два богатых человека: Мозес и хозяин. Так. Прекрасно. Оба на первом этаже. Номера Мозеса в южном крыле, сейф хозяина — в северном. Их разделяет холл. Если я засяду в холле... Вдруг я вспомнил об одноруком незнакомце. Гм... Может быть, он действительно попал в аварию, а может быть, все это комедия, вроде снежной бабы на крыше...

Я спустился в холл. В душевой уже никого не было, а посередине холла стояла с ошалелым видом Кайса в ночной рубашке с мокрым подолом и держала в охапке мокрую и смятую одежду незнакомца. В коридоре южного крыла горел свет, из пустовавшего номера, что напротив каминной, доносился приглушенный бас хозяина. Незнакомца, по-видимому, устроили там, а ему, может быть, только того и надо было. Хороший расчет: не потащат же полуживого человека на второй этаж...

Кайса, очнувшись, наконец, двинулась было на хозяйскую половину, но я ее остановил. Я отобрал у нее одежду и обыскал карманы. К моему огромному изумлению, в карманах не оказалось ничего. Решительно ничего. Ни денег, ни документов, ни сигарет, ни носового платка — ничего. Я вернул одежду Кайсе и пошел взглянуть на незнакомца. Незнакомец лежал в постели, закутанный одеялом до подбородка. Хозяин поил его с ложечки чем-то горячим, приговаривая: «Надо, сударь, надо... пропотеть надо... хорошенько пропотеть надо...» Вид у незнакомца, надо сказать, был ужасный. Лицо было синее, кончик острого носа — белый, как снег, один глаз был болезненно сощурен, а другой и вовсе закрыт. Но несколько вопросов я должен был ему задать. В любом случае.

— Вы один? — спросил я.

Он молча смотрел на меня сощуренным глазом.

— Кто-нибудь еще остался в машине? — спросил я раздельно.— Или вы ехали один?

Незнакомец приоткрыл рот, подышал и снова закрыл рот.

— Слаб,— сказал хозяин.— У него все тело, как тряпка.

— Черт возьми,— пробормотал я.— А ведь придется сейчас кому-нибудь ехать к Бутылочному Горлышку.

— Да,— согласился хозяин.— Вдруг там еще кто-нибудь остался... Я думаю, они попали под обвал.

— Придется вам поехать,— сказал я решительно, и в этот момент незнакомец заговорил.

— Олаф,— сказал он без выражения.— Олаф Андва-ра-форс... Позовите.

Я испытал очередной шок.

— Ага,— сказал хозяин и поставил кружку с питьем на стол.— Сейчас позову.

— Олаф...— повторил незнакомец.

Хозяин вышел, и я сел на его место. Я чувствовал себя идиотом. В то же время у меня немного отлегло от сердца: мрачная при всем ее изяществе схема, которую я построил, развалилась сама собой.

— Вы были один? — спросил я снова.

— Один...— простонал незнакомец.— Авария... Позовите Олафа... Где Олаф Андварафорс?

— Здесь, здесь,— сказал я.— Сейчас придет.

Он закрыл глаза и затих. Я откинулся на спинку стула. Ну, ладно. А куда все-таки девался Хинкус? И как там хозяйский сейф? В голове у меня была каша.

Вернулся хозяин, брови у него были высоко задраны, губы поджаты. Он наклонился к моему уху и прошептал:

— Странное дело, Петер. Олаф не отзывается. Дверь заперта, оттуда несет холодом. И мои запасные ключи куда-то пропали...

Я молча извлек из кармана связку, которую стащил у него в конторе, и протянул ему.

— Ага,— сказал хозяин. Он взял ключи.— Ну, все равно. Вы знаете, Петер, пойдемте-ка вместе. Что-то мне все это не нравится.

— Олаф...— простонал незнакомец.— Где Олаф?

— Сейчас, сейчас,— сказал я ему. Я чувствовал, что у меня начала подергиваться щека. Мы с хозяином вышли в коридор.— Вот что, Алек,—сказал я.— Позовите сюда Кайсу. Пусть сидит возле этого парня и не трогается с места, пока мы не вернемся.

— Ага,— произнес хозяин, играя бровями.— Вот, значит, как дела обстоят... То-то я смотрю...

Он трусцой побежал на свою половину, а я медленно направился к лестнице. Я уже поднялся на несколько ступенек, когда хозяин позади строго произнес:

— Иди сюда, Лель. Сиди здесь... Сидеть. Никого не впускать. Никого не выпускать.

Хозяин нагнал меня уже в коридоре второго этажа, и мы вместе подошли к номеру Олафа. Я постучал и, не ожидая ответа, отобрал у хозяина связку ключей.

— Который? — спросил я.

Хозяин показал. Я сунул ключ в замочную скважину. Черта с два — дверь была заперта изнутри, и в скважине уже был один ключ. Пока я возился, выталкивая его, отворилась дверь соседнего номера, и, затягивая пояс халата, в коридор вышел дю Барнстокр, заспанный, но благодушный.

— Что происходит, господа? — осведомился он.— Почему постояльцам не дают спать?

— Тысяча извинений, господин дю Барнстокр,— сказал хозяин,— но у нас тут происходят кое-какие события, требующие решительных действий.

— Ах, вот как? — произнес дю Барнстокр с интересом.— Надеюсь, я не помешаю?

Я расчистил путь для своего ключа и выпрямился. Из-под двери несло зимним холодом, и я был совершенно уверен, что комната окажется пуста, как и номер Хинкуса. Я повернул ключ и распахнул дверь. Волна морозного воздуха окатила меня, но я почти не чувствовал этого. Номер не был пуст. На полу лежал человек. Света из коридора было недостаточно, чтобы узнать его. Я видел только огромные подошвы на пороге прихожей. Я шагнул в прихожую и зажег свет.

На полу лежал Олаф Андварафорс. Он был явно и безнадежно мертв.

(Продолжение следует.)

ПРОЗА

Арк. Стругацкий,
Бор. Стругацкий

ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Рисунки Г. Новожилова.

Глава 8

Я тщательно запер окно на все задвижки, взял чемодан и, осторожно перешагнув через тело, вышел в коридор. Хозяин уже ждал меня с клеем и полосками бумаги. Дю Барнстокр не ушел, он стоял тут же, приспособившись плечом к стене, и выглядел постаревшим лет на двадцать. Аристократический нос его обвис и жалко подрагивал.

— Какой ужас! — бормотал он, с отчаянием глядя на меня.— Какой кошмар!

Я запер дверь, опечатал ее лятью полосками бумаги и дважды расписался на каждой полоске.

— Какой ужас!..— бормотал дю Барнстокр у меня за спиной.— И ни реванша теперь... ничего...

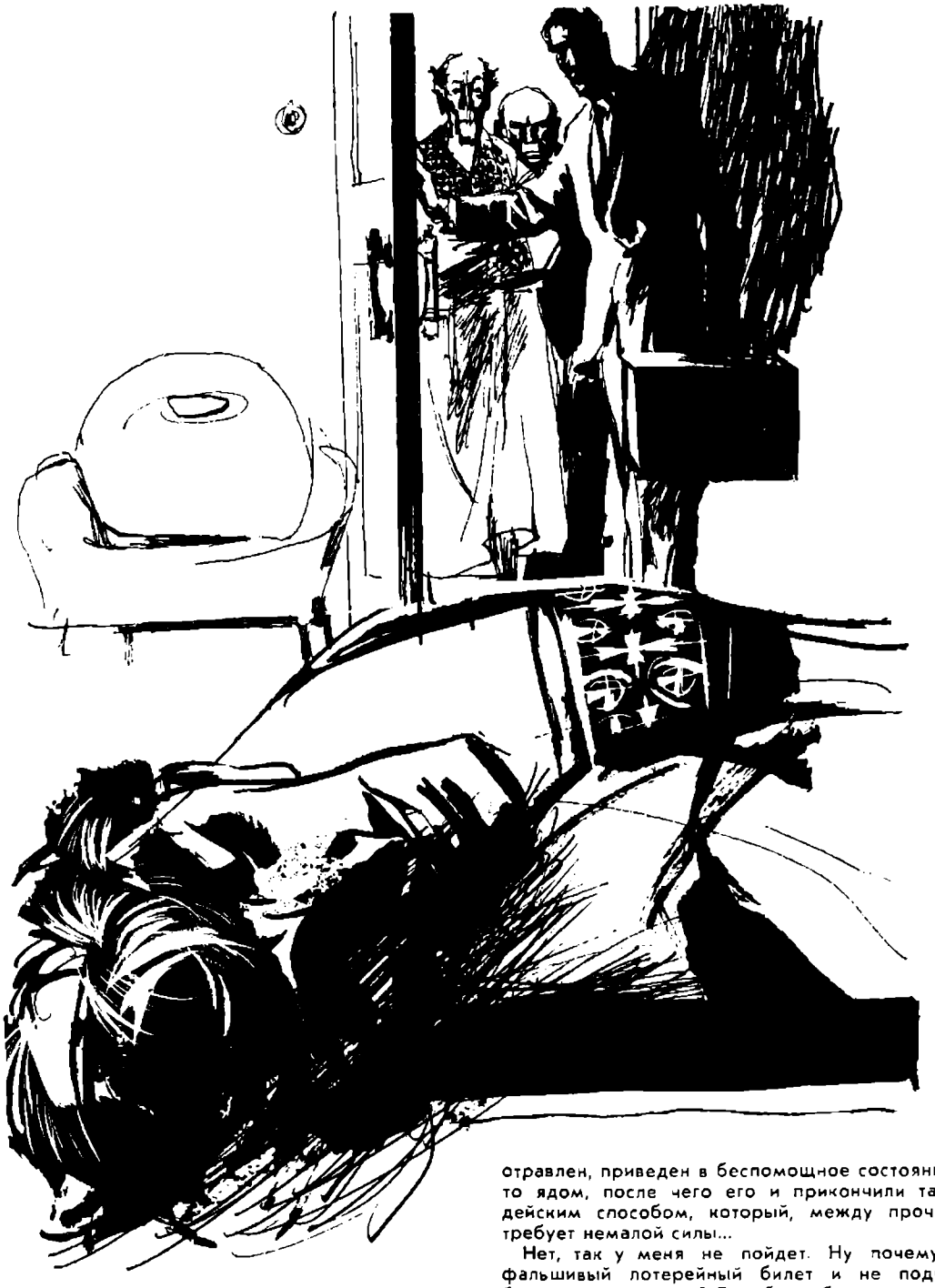
— Идите к себе в номер,— сказал я ему.— Запритесь и сидите, пока я вас не позову... Алек, оба ключа от номера я забираю себе. Больше ключей нет? Хорошо. У меня к вам просьба, Алек. Ничего пока не сообщайте этому... однорукому. Соврите что-нибудь, если он станет очень уж беспокоиться. Посмотрите гараж, все ли машины на месте... Теперь вот что... Если увидите Хинкуса, задержите его, хотя бы силой. Пока все. Я буду у себя в номере.

Хозяин кивнул и, не сказав ни слова, пошел вниз.

У себя в номере я поставил чемодан Олафа на загаженный стол и раскрыл его. Здесь тоже все оказалось не как у людей. Еще хуже, чем фальшбагаж Хинкуса. Там по крайней мере были тряпки и книжки. А здесь, в этом плоском элегантном чемодане, занимая весь его объем, помещался какой-то прибор — черная металлическая коробка с шероховатой поверхностью, какие-то разноцветные кнопки, стеклянные окошечки, никелированные верньеры... Ни белья, ни пижамы, ни мыльницы... Я закрыл чемодан, повалился в кресло и закурил.

Ладно. В ноль часов двадцать четыре минуты третьего марта сего года мною, полицейским инспектором Глебски, в присутствии добрых граждан Алека Сиевара и дю Барнстокра, обнаружен труп некоего Олафа Андварафорса. Труп находился в номере упомянутого Андварафорса, каковой номер был закрыт изнутри, но имел настежь раскрытое окно. Тело лежало ничком, вытянувшись на полу. Голова мертвого была зверским и неестественным образом вывернута на сто восемьдесят градусов, так что, хотя тело лежало ничком, лицо было обращено к потолку. Руки мертвого были вытянуты и почти касались небольшого чемодана, каковой чемодан был единственным багажом, принадлежащим убитому. В правой руке убитый сжимал ожерелье из деревянных бус, принадлежавшее, как достоверно известно, доброй гражданке Кайсе. Черты лица убитого искажены, глаза широко раскрыты, рот оскален. Вблизи рта ощущается слабый, но явственный запах какого-то едкого химического вещества, то ли карболки, то ли формалина. Определенные и недвусмысленные следы борьбы в номере отсутствуют. Покрывало застеленной кровати смято, дверцы стенного шкафа приотворены, сильно сдвинуто тяжелое кресло, предназначенное стоять в подобных номерах у стола. Следов на подоконнике, а также на покрытом снегом карнизе обнаружить не удалось. Следов на бородке ключа... (Я достал из кармана ключ и еще раз внимательно осмотрел его)... следов на бородке ключа при визуальном осмотре также не обнаружено. Ввиду отсутствия специалистов, инструментов и лаборатории медицинское, дактилоскопическое и всякое иное специальное исследование провести не

Продолжение. Начало см. в № 9 за 1970 год.



представилось возможным (и не представится). Судя по всему, смерть последовала в результате того, что Олафу Андварафорсу с чудовищной силой и жестокостью свернули шею.

Непонятен странный запах изо рта, и непонятно, какой же гигантской силой должен обладать убийца, чтобы свернуть шею этому великану без длительной, шумной и оставляющей множество следов борьбы. Впрочем, два минуса, как известно, иногда дают плюс. Можно предположить, что Олаф был сначала отравлен, приведен в беспомощное состояние каким-то ядом, после чего его и прикончили таким злодейским способом, который, между прочим, тоже требует немалой силы...

Нет, так у меня не пойдет. Ну почему это не фальшивый лотерейный билет и не подчищенная бухгалтерская книга? Там бы я быстро разобрался...

В дверь постучали. Вошел хозяин, неся на подносе стакан с горячим кофе и сандвичи.

— Машины все на месте,— объявил он, ставя передо мною поднос.— Лыжи тоже. Хинкуса нигде не нашел. На крыше валяется его шуба и шапка, но это вы, наверное, видели.

— Да, это я видел,— проговорил я, отхлебывая кофе.— А что однорукий?

— Спит,— сказал хозяин. Он поджал губы и потрогал пальцами натеки клея на столе.— Н-да...

— Спасибо, Алек,— сказал я.— Идите пока, и пусть все будет тихо. Пусть все спят.

Хозяин покачал головой.

— Уже не выйдет. Мозес уже встал, у него свет... Ладно, я пойду. А Кайсу я запру... хотя она еще ничего не знает.

— И пусть не знает,— сказал я.

Хозяин вышел. Я с наслаждением выпил кофе, отодвинул тарелку с сандвичами и снова закурил. Когда я видел Олафа последний раз? Я играл на бильярде, он танцевал с чадом. Это было еще до того, как разошлись картежники. А они разошлись, когда пробило половину чего-то. Сразу после этого Мозес объявил, что ему пора спать. Ну, это время будет нетрудно установить. Но вот насколько раньше этого времени я в последний раз видел Олафа? А ведь, пожалуй, незадолго. Ладно, это мы установим. Теперь так: ожерелье Кайсы, записка дю Барнстокра, слышали ли что-нибудь соседи Олафа — дю Барнстокр и Симонэ...

Я только-только начал чувствовать, что у меня вырисовывается какой-то план расследования, как вдруг услышал глухие и довольно сильные удары в стену из номера-музея. Я даже тихонько застонал от бешенства. Я сбросил пиджак, засучил рукава и осторожно, на цыпочках, вышел в коридор. По физиономии, по щекам, мельком подумал я. Я ему покажу шуточки...

Я распахнул дверь и пулей влетел в номер-музей. Там было темно, и я быстро включил свет. Номер был пуст, и стук вдруг прекратился, но я чувствовал, что здесь кто-то есть.

— Вылезай! — яростно рявкнул я.

В ответ раздалось глухое мычание. Я присел на корточки и заглянул под стол. Там, втиснутый между тумбочками, в страшно неудобной позе, обмотанный веревкой и с кляпом во рту, сидел, скрючившись в три погибели, опасный гангстер, маньяк и садист Хинкус и таращил на меня из сумрака слезящиеся мученические глаза. Я выволок его на середину комнаты и вырвал изо рта кляп.

— Что это значит? — спросил я.

В ответ он принялся кашлять. Он кашлял долго, с надрывом, с сипением, он отплевывался во все стороны, он охал и хрипел. Я заглянул в туалетную, взял бритву Погибшего Альпиниста и разрезал на Хинкусе веревки. Бедняга так затек, что не мог даже поднять руку и вытереть физиономию. Я дал ему воды. Он жадно выпил и наконец подал голос: сложно и скверно выругался. Я помог ему встать и усадил его в кресло. Бормоча ругательства, плачевно сморщив лицо, он принялся ощупывать свою шею, запястья, бока.

— Что с вами случилось? — спросил я.

— Что случилось...— пробормотал он.— Сами видите, что случилось! Связали, как барана, и сунули под стол...

— Кто?

— Почем я знаю? — сказал он мрачно, и вдруг его всего передернуло.— Бог ты мой! — пробормотал он.— Выпить бы... У вас нет чего-нибудь выпить, инспектор?

— Нет,— сказал я.— Но будет. Как только вы ответите на мои вопросы.

Он с трудом поднял левую руку и отогнул рукав.

— А, черт, часы раздавил, сволочь...— пробормотал он.— Сколько сейчас времени, инспектор?

— Час ночи,— ответил я.

— Час ночи...— повторил он.— Час ночи...— Глаза у него остановились.— Нет,— сказал он и поднялся.— Надо выпить. Схожу в буфетную и выпью.

Легким толчком в грудь я усадил его снова.

— Успеется,— сказал я.

— Кто вы такой, чтобы распоряжаться? — в полный голос взвизгнул он.

— Не орите,— сказал я.— Я полицейский инспектор. А вы на подозрении, Хинкус.

— На каком еще подозрении? — спросил он, сразу сбавив тон.

— Слушайте, Хинкус,— сказал я.— В отеле произошло убийство. Так что лучше отвечайте на мои вопросы.

Некоторое время он молча смотрел на меня, приоткрыв рот.

— Убийство...— повторил он как бы разочарованно.— Вот те на! А только я-то здесь при чем? Меня самого без малого укокошили... Я сидел себе на крыше, дремал. Вдруг чувствую, душат, валят, а больше ничего не помню. Очнулся под этим паршивым столом, чуть с ума не сошел, думал, заживо похоронили. Принялся стучать. Стучал-стучал, никто не идет. Потом вы пришли. Вот и все.

— Вы можете сказать, когда примерно вас схватили?

Он задумался и некоторое время сидел молча. Потом он вытер ладонью рот, посмотрел на пальцы, его снова передернуло, и он вытер ладонь о штанину.

— Ну? — сказал я.

Он поднял на меня тусклые глаза.

— Что?

— Я спрашиваю, когда примерно вас...

— А... Да что-то около девяти. Последний раз, когда я смотрел на часы, было восемь сорок.

— Дайте сюда ваши часы,— сказал я.

Он послушно отстегнул часы и протянул мне. Я заметил, что запястье у него покрыто сине-багровыми пятнами.

— Разбиты они,— сообщил он.

Часы были не разбиты, они были раздавлены. Часовая стрелка была отломана, а минутная показывала сорок три минуты.

— Кто это был? — снова спросил я.

— Откуда мне знать? Я же говорю, что задремал.

— И не проснулись, когда вас схватили?

— Меня схватили сзади,— угрюмо произнес он.— Нет у меня глаз на заду.

— А ну, поднимите подбородок!

Он мрачно смотрел на меня исподлобья, и я понял, что я на верном пути. Я взял его двумя пальцами за челюсть и толчком вздернул его голову. Бог его знает, что означали эти синяки и царапины на его худой жилистой шее, но я уверенно сказал:

— Перестаньте лгать, Хинкус. Вас душили спереди, и вы его видели. Кто это был?

Дернув головой, он освободился.

— Идите к черту,— прохрипел он.— К дьяволу. Не ваше собачье дело. Кого бы здесь ни стукнули, я к этому отношения не имею, а на остальных мне наплевать... И мне нужно выпить! — заорал он вдруг.— У меня все болит, понимаете вы это, полицейская балда?

По-видимому, он был прав. В чем бы он ни был замешан, к убийству он отношения не имел, во всяком случае, прямого.

— Ладно,— сказал я и поднялся.— Пойдемте.

— Куда?

— За выпивкой,— сказал я.

Мы вышли в коридор. Он лошатывался и цеплялся за мой рукав. Мне было интересно, как он отреагирует, увидев наклейки на двери Олафа, но он ничего не заметил, ему явно было не до того. Я провел его в бильярдную, нашел на подоконнике полбутылки бренди, оставшиеся с вечера, и подал ему. Он жадно схватил бутылку и надолго присосался к горлышку.

Я смотрел на него. Можно было, конечно, предположить, что он в сговоре с убийцей, что все это задумано для отвода глаз, тем более, что он приехал вместе с Олафом, можно было даже предположить, что он и есть убийца и что сообщники потом связали его для создания алиби, но я чувствовал, что это слишком сложно для правды. То есть с ним, конечно, явно не все было в порядке, никаким туберкулезником он не был, не был он, видимо, и ходатаем по делам несовершеннолетних, и оставался открытым вопрос, для чего он торчал на крыше... Меня вдруг осенило. Я вспомнил все эти истории с душем, с трубкой, с таинственными записками и вспомнил, каким зеленым и напуганным был Хинкус, когда днем спускался с крыши.

— Слушайте, Хинкус,— мягко сказал я.— Тот, кто вас схватил... Ведь вы видели его и раньше, днем?

Он дико взглянул на меня и снова присосался к бутылке.

— Так,— сказал я.— Ну, пойдемте. Я запру вас в номере. Бутылку можете взять с собой.

— А вы? — хрипло спросил он.

— Что я?

— Вы уйдете?

— Естественно,— сказал я.

— Послушайте,— сказал он.— Послушайте, инспектор...— Глаза у него бегали, он искал, что сказать.— Вы... Может быть, я пойду с вами? Я не убегу, и... ничего... клянусь вам...

— Вы боитесь остаться один в номере? — спросил я.

— Да,— ответил он.

— Но ведь я вас запру,— сказал я.— И ключ унесу с собой...

В каком-то отчаянии он махнул рукой.

— Это не поможет,— пробормотал он.

— Ну-ну, Хинкус,— строго сказал я.— Будьте же мужчиной! Что вы расклеились, как старая баба!

Он ничего не ответил и только крепче прижал бутылку к груди обеими руками. Я отвел его в номер и, еще раз пообещав навестить, запер. Ключ я действительно вынул и сунул в карман. Я чувствовал, что Хинкус — это неразработанная жила и что им еще придется заниматься. Я ушел не сразу. Я постоял несколько минут у дверей, приложив ухо к замочной скважине. Слышно было, как булькает жидкость, потом скрипнула кровать, потом раздались частые прерывистые звуки. Я не сразу догадался, что это, а потом понял: Хинкус плакал.

Я оставил его наедине с совестью и направился к дю Барнстокру. Старик открыл мне немедленно. Он был страшно возбужден. Он даже не предложил мне сесть. Комната была полна сигарного дыма.

— Мой дорогой инспектор! — немедленно начал он.— Мой уважаемый друг! Я чувствую себя чертовски неловко, но дело зашло слишком далеко. Я должен признаться вам в одной своей маленькой провинности...

— Что вы убили Олафа Андварафорса? — мрачно пошутил я.

Он содрогнулся и всплеснул руками.

— О боже! Нет! Я в жизни своей никого не тронул пальцем! Кэль идэ! Нет! Я хочу только чистосердечно признаться в том, что регулярно мистифицировал публику в нашем отеле...— Он прижал руки к груди, обсыпая халат сигарным пеплом.— Поверьте, поймите меня правильно, это были просто шутки! Это у меня профессиональное, я обожаю атмосферу таинственности, мистификации, всеобщего недоумения... Никакого злого умысла, уверяю вас! Никакой корысти...

— Какие именно шутки вы имеете в виду? — спросил я сухо.

— Н-ну... Все эти маленькие розыгрыши по поводу тени Погибшего Альпиниста. Ну, там туфли, которые я сам у себя украл и сунул к нему под кровать... Шутка с душем...

— Стол у меня испоганили тоже вы? — спросил я.

— Стол? — Он растерянно посмотрел на меня, потом оглянулся на свой собственный стол.

— Да, стол. Залили клеем.

— Н-нет,— испуганно сказал он.— Клеем... стол... Нет-нет, это не я, клянусь вам! — Он снова прижал руки к груди.— Вы поймите, инспектор, ведь все, что я делал, было совершенно невинно, я никому не причинял ни малейшего ущерба... Мне даже казалось, что это всем нравится, а наш дорогой хозяин так прекрасно мне подыгрывал...

— Хозяин был с вами в сговоре?

— Нет, что вы! — Он замахал на меня руками.— Я имею в виду, что он... что ему это, в общем, нравилось...

— Понятно,— сказал я.— А следы в коридорах?

Лицо дю Барнстокра сделалось серьезным.

— Нет-нет,—сказал он.—Это не я. Но я знаю, о чем вы говорите. Я это видел однажды. Это было еще до вашего приезда. Мокрые следы босых ног, они шли с лестничной площадки и вели, как это ни глупо, в номер-музей...

— Хорошо,— сказал я.— Оставим это. Еще один вопрос. Записка, которую вам якобы подбросили,— это тоже ваш розыгрыш, как я понимаю?

— Тоже не мой,— сказал дю Барнстокр с достоинством.— Передавая вам эту записку, я рассказывал чистую правду.

— Минуточку,— сказал я.— Значит, дело было так. Олаф вышел, вы остались сидеть. Кто-то постучал в дверь, вы откликнулись, потом глянули и увидели на полу у дверей записку. Так?

— Так.

— Минуточку,— повторил я. Я ощутил приближение новой мысли.— Позвольте, господин дю Барнстокр, а почему вы, собственно, решили, что записка адресована именно вам?

— Совершенно с вами согласен,—сказал дю Барнстокр.— Но ведь тот, кто постучал, слышал мой голос, то есть знал, что я здесь... Вы меня понимаете? Во всяком случае, когда наш бедный Олаф вернулся, я немедленно показал ему эту записку...

— Так,— сказал я.— И что же Олаф?

— Прочел, пожал плечами, и мы тут же продолжили игру. Он оставался совершенно спокоен, флегматичен и больше ни разу не вспомнил об этой записке... А вы полагаете, эта записка действительно...

— Все может быть,— сказал я. Мы помолчали.— А теперь расскажите, что вы делали, начиная с того момента, как Мозесы ушли спать.

— Извольте,— сказал дю Барнстокр.— Я ожидал этого вопроса и специально восстановил в памяти всю последовательность своих действий. Дело было так. Когда все разошлись, а было это примерно в половине десятого...

— Одну минуту,— прервал я его.— Скажите сначала мне вот что. Кто находился в столовой между половиной девятого и половиной десятого?

Дю Барнстокр взялся за лоб длинными белыми пальцами.

— М-м-м...— произнес он.— Это будет посложнее. Я ведь был занят игрой... Ну, естественно, Мозес, хозяин... Время от времени карту брала госпожа Мозес... Это у нас за столиком... Брюн и Олаф танцевали, а потом... нет, пардон, еще до этого... танцевали госпожа Мозес и Брюн... Но вы понимаете, мой дорогой инспектор, я совершенно не в состоянии установить, когда это было — в половине девятого, в де-

вять... О! Часы пробили девять, и я, помнится, оглядел зал и подумал, как мало народу осталось. Играла музыка, и зал был пуст, только танцевали Брюн с Олафом... Вы знаете, это, пожалуй, единственное ясное впечатление, которое осталось у меня в памяти.

— Так,— сказал я.— А хозяин и господин Мозес хоть раз выходили из-за стола?

— Нет,— сказал он уверенно.— Оба они оказались чрезвычайно азартными партнерами.

— Хорошо,— сказал я.— Теперь вернемся к вам. Итак, после того, как все разошлись, вы посидели еще некоторое время за карточным столиком, упражняясь в карточных фокусах...

— Упражняясь в фокусах? А, вполне возможно. Иногда в задумчивости я даю волю своим пальцам, это происходит неосознанно. Да. Затем я решил выкурить сигару и направился сюда, к себе в номер. Я закурил сигару, сел в это кресло и, признаться, вздремнул. Проснулся я словно бы от какого-то толчка — я вдруг вспомнил, что в десять часов обещал реванш бедному Олафу. Я взглянул на часы. Точного времени я не помню, но было самое начало одиннадцатого, и я с облегчением понял, что опоздаю ненамного. В коридоре, инспектор, было пусто, это я помню. Я постучал в дверь к Олафу — никто не отозвался, и я понял, что господин Олаф сам забыл о реванше. Я честно прождал до одиннадцати, читая вот эту книгу, а в одиннадцать лег спать. И вот что интересно, инспектор. Незадолго до того, как вы с хозяином принялись шуметь и стучать в коридоре, меня разбудил стук в мою дверь. Я открыл, но никого не оказалось. Я лег снова и больше уже не смог заснуть.

— Угу,— сказал я.— Понятно. Значит, до одиннадцати часов, когда вы легли спать, не произошло ничего существенного... не было никакого шума, движения?

— Нет,— сказал дю Барнстокр.— Ничего.

— А где вы были? Здесь или в спальне?

— Здесь, сидел в этом кресле.

— Угу,— сказал я.— И последний вопрос. Вчера до обеда вы не разговаривали с Хинкусом?

— С Хинкусом?.. А, это такой маленький, жалкий... Постойте, мой милый друг... Да, конечно! Мы же все вместе стояли возле душа, помните? Господин Хинкус был раздражен ожиданием, и я успокоил его каким-то маленьким фокусом. Ах да, леденцы! Он очень забавно растерялся тогда. Обожаю такие мистификации.

— А после этого вы с ним не разговаривали?

Дю Барнстокр задумчиво сложил губы куриной гузкой.

— Нет,— сказал он.— Насколько мне помнится, нет.

— И вы не поднимались на крышу?

— На крышу? Нет. Нет-нет. На крышу я не поднимался.

Я встал.

— Благодарю вас, господин дю Барнстокр. Вы оказали следствию помощь. Сейчас советую вам принять снотворное и лечь спать.

— Я попытаюсь,— с готовностью сказал дю Барнстокр.

Я пожелал ему спокойной ночи и вышел. Я намеревался разбудить чадо, но тут я увидел, как в конце коридора быстро и бесшумно захлопнулась приоткрытая дверь номера Симонэ. Я немедленно повернул туда.

Я вошел, не постучавшись, и сразу понял, что поступил правильно. Через открытую дверь спальни я увидел, как унылый шалун, прыгая на одной ноге, сдирает с себя брюки. Это было тем более глупо, что в обеих комнатах номера горел свет.

— Не трудитесь, Симонэ,— произнес я угрюмо.— Все равно вы не успеете развязать галстук.

Симонэ обессиленно опустился на кровать. Челюсть у него тряслась, глаза вылезли из орбит. Я вошел в спальню и остановился перед ним, засунув руки в карманы. Некоторое время мы молчали. Я не сказал больше ни слова, я просто смотрел на него, давая ему время осознать, что он пропал. А он под моим взглядом все более сникал, голова его все глубже уходила в плечи, волнистый унылый нос становился все более унылым. Наконец он не выдержал.

— Я буду говорить только в присутствии своего адвоката,— объявил он надтреснутым голосом.

— Бросьте, Симонэ,— сказал я с отвращением.— А еще физик. Какие здесь в задницу адвокаты!

Он вдруг схватил меня за полу пиджака и, заглядывая мне в глаза снизу вверх, просипел:

— Думайте, что хотите, Петер, но я вам клянусь: я не убивал ее.

Наступила моя очередь присесть. Я нащупал за собой стул и сел.

— Подумайте сами, зачем это мне? — страстно продолжал Симонэ.— Ведь должны быть мотивы... Никто не убивает просто так... Тем более такое зверство, такой кошмар... Клянусь вам! Она была уже совсем холодная, когда я обнял ее!

На несколько секунд я закрыл глаза. Так. В доме был еще один труп. На этот раз женщина.

— Вы же отлично знаете,— горячечно бормотал Симонэ,— преступлений просто так не бывает. Нужен мотив... Вы же меня знаете, Петер! Посмотрите на меня — разве я похож на убийцу?

— Стоп,— сказал я.— Заткнитесь на минуту. Подумайте хорошенько и расскажите все по порядку.

Он не стал думать.

— Пожалуйста,— с готовностью сказал он.— Но вы должны поверить мне, Петер. Все, что я расскажу, будет истинная правда и только правда. Дело было так. Она и раньше давала мне понять, только я не решался... А в этот раз вы накачали меня бренди, и я решился. И вот часов в одиннадцать, когда все угомонились, я вышел и тихонько спустился вниз. Вы с хозяином несли какую-то чепуху в каминной, что-то там о познании природы, обычная ерунда... Я тихонько прошел мимо и прокрался к ее номеру. У старика света не было, у нее — тоже. Темно было, хоть глаз выколи, но я различил ее силуэт. Она сидела на кушетке, прямо напротив двери. Я тихонько ее окликнул, она не ответила. Тогда, сами понимаете, я сел рядом с ней и, сами понимаете, обнял... Бр-р-р-р! Я даже поцеловать ее не успел! Она была совершенно мертвая. И этот оскал... Я не помню, как я оттуда вылетел. По-моему, я там всю мебель поломал... Я клянусь вам, Петер, поверьте честному человеку...

— Наденьте брюки,— сказал я с тихим отчаянием.— Приведите себя в порядок и следуйте за мной.

— Куда? — спросил он с ужасом.

— В тюрьму! — гаркнул я.— В карцер! В башню пыток, идиот!

— Сейчас,— сказал он.— Сию минуту. Я просто не понял вас, Петер.

Мы спустились в холл навстречу вопрошающему взгляду хозяина. Хозяин сидел за журнальным столиком, положив перед собой тяжелый многозарядный винчестер. Я знаком приказал ему оставаться на месте и свернул в коридор, на половину Мозесов. Лель, лежавший на пороге комнаты незнакомца, проворчал нам что-то неприязненное. Симонэ семенил за мною следом, время от времени судорожно вздыхая.

Я решительно толкнул дверь в номер госпожи Мозес и остолбенел. В комнате горел розовый торшер, а на диване, прямо напротив двери, в позе мадам Рекамье возлежала в шелковой пижаме очаровательная госпожа Мозес и читала книгу. Увидев меня, она удивленно подняла брови, но, впрочем, тут же очень мило улыбнулась. Симонэ за моей спиной издал странный звук — что-то вроде «а-ап!».

— Прошу прощения,— еле ворочая языком, проговорил я и со всей возможной стремительностью закрыл дверь. Затем я повернулся к Симонэ и неторопливо, с наслаждением взял его за галстук.

— Клянусь! — одними губами произнес Симонэ. Он был на грани обморока. Я отпустил его.

— Вы ошиблись, Симонэ,— сухо сказал я.— Пошли.

Прежним порядком мы проследовали в мой номер. Войдя, Симонэ бросился в кресло, на секунду закрыл лицо ладонями, а затем принялся стучать себя по черепу кулаками, как развеселившийся шимпанзе.

— Спасен! — бормотал он с идиотской улыбкой.— Ура! Снова живу! Не таюсь, не прячусь! Ура!

Потом он положил руки на край стола, уставился на меня круглыми глазами и произнес шепотом:

— Но ведь она была мертва, Петер! Я клянусь вам! Она была убита, и мало того...

— Ерунда,— сказал я холодно.— Вы были пьяны, ошиблись дверью...

— Нет-нет,— возразил Симонэ, мотая головой.— Я был пьян — это верно, но тут что-то нечисто, тут что-то не так... Скорее уж это был кошмар, бред. Я глаз не сомкнул все это время, то раздевался, то одевался...

— Где вы находились все это время?

— У себя. Я больше не выходил из номера.

— В какой именно комнате вашего номера вы находились?

— То в одной, то в другой... Честно говоря, пока вы допрашивали Олафа, я пытался подслушивать и сидел в спальне...—Глаза его вдруг снова выкатились.— Постойте-ка,—сказал он.—Но если она жива...— Некоторое время он молчал, глядя на меня круглыми глазами и покусывая нижнюю губу.— Что случилось?

— Убит Олаф,— сказал я.

— Как убит? Вы же только что были у него в номере... Я сам слышал, как вы с ним там разговаривали...

— Я разговаривал не с ним,— сказал я.— Олаф мертв. Поэтому постарайтесь поточнее вспомнить все, о чем я вас спрашиваю. Когда вы вернулись в свой номер?

Симонэ вытер покрытый испариной лоб. Лицо у него сделалось несчастным.

— Безумие какое-то!— пробормотал он.— Сумасшедший бред... Сначала то, теперь это...

Я применил старый, испытанный прием. Пристально глядя на Симонэ, я сказал:

— Перестаньте крутить. Отвечайте на мои вопросы.

Симонэ мгновенно ощутил себя подозреваемым, и все его эмоции тут же исчезли. Он перестал думать о госпоже Мозес. Он перестал думать о бедном Олафе. Теперь он думал только о себе.

— Что вы этим хотите сказать? — пробормотал он.— Что это значит — «перестаньте крутить»...

— Это значит, что я жду ответа,— сказал я.— Когда точно вы вернулись в свой номер?

Симонэ преувеличенно оскорбленно пожал плечами.

— Извольте,— сказал он.— Смешно, конечно, и дико, но... пожалуйста. Извольте. Из бильярдной я вышел без десяти десять. С точностью плюс-минус одна минута. Я прошел в спальню, разделся...— Он вдруг остановился.— А вы знаете, Петер... В это время Олаф был еще жив. За стеной спальни двигали мебель. Голосов я не помню. Не было голосов. Но что-то там двигалось. Помнится, я показал стене язык и подумал: вот так-то, белокурая бестия, ты ляжешь баиньки, а я пойду к моей Ольге... Или что-то в этом духе. Это было, следовательно, примерно без пяти десять. Плюс-минус три минуты.

— Так. Дальше.

— Дальше... Дальше я пошел в туалетную комнату, побрился, вымылся до пояса... Короче говоря, в следующий раз я посмотрел на часы, когда вышел из туалетной. Было около половины одиннадцатого.

— Вы остались в спальне?

— Да, одевался я в спальне. Но больше я уже ничего не слышал. А если и слышал, то не обратил внимания. Одевшись, я вышел в гостиную и стал ждать. И я клятвенно утверждаю, что после вечеринки Олафа в глаза не видел.

— Верю,— сказал я.— Теперь скажите: когда вы в последний раз разговаривали с Хинкусом?

— Гм... Да я, пожалуй, вообще с ним никогда не разговаривал. Не представляю, о чем бы я мог с ним разговаривать.

— А когда вы его в последний раз видели?

Симонэ прищурился, вспоминая.

— Около душа? — произнес он с вопросительной интонацией.— Да нет, что это я! Он же обедал вместе со всеми, вы его тогда привели с крыши... А что с ним случилось?

— Ничего особенного,— небрежно сказал я.— Еще один вопрос. Кто, по-вашему, разыгрывал все эти штучки с душем, с пропавшими туфлями...

— Понимаю,— сказал Симонэ.— По-моему, начал это дю Барнстокр, а поддерживали его все, кому не лень.

— И вы?

— И я. Я заглядывал в окна к госпоже Мозес. Обожаю такие шутки...— Он заржал было своим могильным смехом, но тут же спохватился и поспешно сделал серьезное лицо.

— И больше ничего? — спросил я.

— Ну почему же ничего? Я звонил Кайсе из пустых номеров, я устраивал «посещения утопленника»...

— То есть?

— То есть бегал по коридорам босиком с мокрыми ногами...

— А часы Мозеса — ваша работа! — спросил я.

— Какие часы Мозеса? Золотые такие? Луковица? Мне захотелось его ударить.

— Да,— сказал я.— Луковица. Вы их сперли?

— За кого вы меня принимаете? — возмутился Симонэ.— Что я вам, воришка?

— Нет-нет, не воришка,— сказал я, сдерживаясь.— Вы их утащили в шутку. Устроили «посещение Багдадского Вора».

— Слушайте, Петер,— сказал Симонэ очень серьезно.— Я вижу, что с этими часами тоже что-то про-

изошло. Так вот я их не трогал. Но я их видел. Да и все, наверное, видели...

— Хорошо,— сказал я.— Оставим это. Теперь у меня к вам вопрос как к специалисту.— Я положил перед ним чемодан Олафа и откинул крышку.— Что это может быть, как по-вашему?

Симонэ быстро оглядел прибор, осторожно извлек его из чемодана и, посвистывая сквозь зубы, принялся рассматривать со всех сторон. Потом он взвесил его в руках и так же осторожно вложил обратно в чемодан.

— Не моя область,— сказал он.— Судя по тому, как это компактно и добротно сделано, это что-то либо военное, либо космическое. Не знаю. Где вы это взяли? У Олафа?

— Да,— сказал я.

— Подумать только! — пробормотал он.— У этой дубины... Впрочем, пардон. На кой черт здесь верньеры? Очень странный агрегат...— Он посмотрел на меня.— Если хотите, Петер, я могу покрутить эти колесики и винтики. Но имейте в виду, это очень нездоровое занятие.

— Не надо,— сказал я.— Дайте сюда.— Я закрыл чемодан.

— Правильно,— одобрил Симонэ, откидываясь в кресле.— Это надо отдать экспертам. Я даже знаю кому... Между прочим, почему вы не вызовете специалистов?

Я коротко объяснил ему про обвал.

— Все одно к одному,— уныло произнес он.—Мне можно идти?

— Да,— сказал я.— Идите и ложитесь спать.

Он ушел. Я взял чемодан и поискал, куда его можно спрятать. Спрятать было некуда. «Военное или космическое,— подумал я.— Только этого мне и не хватало. Политическое убийство, шпионаж, диверсия... Тьфу, глупость! Если бы убили из-за этого чемодана, чемодан бы унесли... Куда же мне его деть?» Тут я вспомнил про хозяйский сейф и, взяв чемодан под мышку, спустился вниз.

Хозяин расположился за столиком с бумагами и арифмометром. Винчестер был у него под рукой — прислонен рядом к стене.

— Что новенького? — спросил я.

— Да ничего особенно хорошего,— ответил он с виноватым видом.— Пришлось мне объяснить Мозесу, что произошло.

— Зачем?

— Он с бешеной силой рвался к вам наверх, шипел, что никому не позволит врываться среди ночи к его жене. Я просто не знал, как его остановить, и объяснил, что к чему...

— Плохо,— сказал я.— Но это я сам виноват. А он что?

— А ничего. Выкатил на меня свои глазищи, помолчал с полминуты, а потом стал орать: кого это я поселил на его территории, да как посмел...

— Ну, ладно,— сказал я.— Вот что, Алек. Дайте мне ключ от вашего сейфа, я спрячу туда вот этот чемодан, а ключ, вы уж извините, оставлю у себя. Во-вторых, мне нужно допросить Кайсу. А в-третьих, я очень хотел бы кофе.

— Пойдемте,— сказал хозяин.

Глава 9

Я выпил кружку кофе и допросил Кайсу. Кофе был превкрасный, но от Кайсы я почти ничего не добился. Она все время засыпала на стуле, а когда я ее будил, немедленно спрашивала: «Чего это?» Однако мне удалось выяснить, что Олаф выпросил у нее бусы на память и что произошло это почти сразу после обеда, когда Кайса сносила вниз и мыла посуду. В общем, я отправил ее спать, а сам вышел в холл и принялся за хозяина.

— Что вы обо всем этом думаете, Алек? — спросил я.

Он с удовольствием отодвинул арифмометр и с хрустом расправил могучие плечи.

— Я думаю, Петер, что в самом скором времени мне придется дать отелю другое название.

— Вот как? — сказал я.— А что это будет за название?

— Еще не знаю,— ответил хозяин.— И это меня несколько беспокоит. Через несколько дней моя долина будет кишеть репортерами, и к этому времени я должен быть во всеоружии. Конечно, многое будет зависеть от того, к каким выводам придет официальное следствие, но ведь к частному мнению владельца пресса не может не прислушаться...

— У владельца уже есть частное мнение? — удивился я.

— Ну, может быть, не совсем правильно называть это мнением... Я все-таки механик-самоучка, поэтому ощущения мои, как правило, возникают вместо выводов. А вы полицейский инспектор. У вас ощущения возникают в результате выводов, когда выводы вас не удовлетворяют. Когда они вас обескураживают. Словом, задавайте ваши вопросы.

Неожиданно для себя — уж очень я отчаялся и устал — я рассказал ему о Хинкусе. Он слушал, кивая лысой головой.

— Да,— сказал он.— Вот видите, и Хинкус тоже...

Обронив это таинственное замечание, он обстоятельно и без всякого понуждения рассказал, что делал после окончания карточной игры. Впрочем, знал он очень мало. Олафа в последний раз он видел примерно тогда же, когда и я. В половине десятого он спустился вниз вместе с Мозесами, покормил Леля, выпустил его погулять, задал трепку Кайсе за неторопливость, а тут появился я. Возникла идея посидеть у камина с горячим портвейном. Он отдал распоряжение Кайсе и направился в столовую, чтобы выключить там музыку и свет.

— Насколько я помню, все было в порядке. Все двери верхнего этажа были закрыты, и стояла тишина. Я вернулся в буфетную, разлил портвейн по стаканам, и в эту минуту произошел обвал. Если вы помните, я занес вам портвейн, а сам подумал: пойду-ка я позвоню в Мюр. У меня уже тогда появилось ощущение, что дело швах. Позвонив, я вернулся к вам в каминную, и больше мы не разлучались.

Я разглядывал его сквозь прикрытые веки. Да, он был очень крепким мужчиной. И, вероятно, у него хватило бы силы свернуть шею Олафу, особенно если Олаф был предварительно отравлен. И он, хозяин отеля, как никто другой, располагал возможностями отравить любого из нас. Более того, у него мог быть запасной ключ от номера Олафа. Третий ключ... Все это он мог. Но кое-чего он не мог. Он не мог выйти из номера через дверь и запереть ее изнутри. Он не мог выскочить через окно, не оставив следов на подоконнике, не оставив следов на карнизе и не оставив следов — очень глубоких и очень заметных следов — внизу под окном... Между прочим, этого никто не смог бы сделать...

— Вы мне разрешите полюбопытствовать,— сказал хозяин,— зачем вы с Симонэ заходили к госпоже Мозес?

— А, пустяки,— сказал я.— Физик перепил, и ему почудилось бог знает что...

— Вы не скажете мне, что именно?

— Да вздор! — сказал я с досадой, пытаясь ухватить за хвостик какую-то любопытную мысль, про-

скользнувшую у меня в сознании за несколько секунд до этого.— Вы меня сбили, Алек. Ну, ладно, потом вспомню... Теперь насчет Хинкуса. Попытайтесь вспомнить, кто выходил из столовой между половиной девятого и девятью.

— Я, конечно, могу попытаться,— мягко сказал хозяин,— но ведь вы сами обратили мое внимание на тот факт, что Хинкус безумно напуган этим, скажем, существом, которое его связало.

— Я не могу сейчас заниматься мистикой, фантастикой и прочей философией,— сказал я с раздражением.— Просто Хинкус того...— Я постучал себя по темени.

— Ну, хорошо, хорошо,— произнес хозяин примирительно.— Не будем спорить об этом. Итак, кто выходил из зала между половиной девятого и девятью? Во-первых, Кайса. Она приходила и уходила. Во-вторых, Олаф. Он тоже приходил и уходил. В-третьих, ребенок дю Барнстокра... Впрочем, нет. Ребенок исчез позже, вместе с Олафом...

— Когда это было? — быстро спросил я.

— Точного времени я, естественно, не помню, но хорошо помню, что мы тогда играли и продолжали играть еще некоторое время после их ухода.

— Это очень интересно,— сказал я.— Но об этом после. Так. Кто еще выходил?

— Да, собственно, остается одна только госпожа Мозес... Гм...— Он сильно поскреб ногтями обширную щеку.— Нет,— сказал он решительно.— Не помню. Я хорошо помню, что госпожа Мозес танцевала с ребенком, и хорошо помню, что потом она подсела к нам и даже играла. Но выходила ли она... Нет, я не видел. К сожалению.

— Ну, что ж, и на том спасибо,— сказал я рассеянно. Я уже думал о другом.— А ребенок, стало быть, ушел с Олафом, и больше они не возвращались, так?

— Именно так.

— Спасибо,— сказал я и встал.— Я пойду. Да, еще один вопрос. Вы видели Хинкуса после обеда?

— После обеда? Нет.

— Ах, да, вы же играли... А до обеда?

— До обеда я видел его несколько раз. Я видел его утром, когда он завтракал... Потом он из моей конторы давал телеграмму в Мюр, потом... Да! Потом он спросил меня, как пройти на крышу, и сказал, что будет загорать... Ну и все, кажется. Нет, еще раз я видел его днем в буфетной, он забавлялся с бутылкой бренди.

Тут мне показалось, что я поймал ускользнувшую было мысль.

— Слушайте, Алек, я совсем забыл,— сказал я.— Как записался у вас Олаф?

— Олаф Андварафорс, государственный служащий, в отпуск на десять дней, один.

Нет, это была не та мысль.

— Спасибо, Алек,— сказал я и снова сел.— Теперь займитесь своими делами, а я буду сидеть и думать.

Я обхватил голову руками и стал думать. Что же у меня есть? Мало, чертовски мало. Я узнал, что Олаф ушел из столовой между девятью и половиной десятого и больше в зал не возвращался и что вместе с Олафом ушел этот самый ребенок. Таким образом, насколько можно пока судить, чадо — это последний человек, который видел Олафа живым. Значит, Олаф убит где-то между началом десятого и началом первого. Ничего себе, промежуточек. Впрочем, Симонэ утверждает, будто без пяти десять в комнате Олафа было слышно какое-то движение, а примерно в десять минут одиннадцатого никто в номере не отозвался на стук дю Барнстокра. Но это еще ничего не значит, Олаф мог в это время выйти. Я с досадой дернул себя за волосы. Олафа вообще могли убить не в номере. Нет, рано, рано делать выводы. Возьмемся-ка за чадо. Спросонок люди говорят иногда интересные вещи.

Стучать в номер к чаду пришлось долго и громко. Потом за дверью зашлепали босые ноги, и сердитый сипловатый голос осведомился: какого дьявола?

— Откройте, Брюн, это я, Глебски,— сказал я.

Последовало короткое молчание. Затем голос испуганно спросил:

— Вы что, свихнулись? Три часа ночи!

— Откройте, вам говорят! — прикрикнул я.

— А в чем дело?

— Вашему дядюшке плохо,— сказал я наугад.

— Ну да?.. Постойте, дайте штаны надеть...

Шлепанье босых ног удалилось. Я ждал. Потом ключ в замке повернулся, дверь распахнулась, и чадо шагнуло через порог.

— Не так быстро,— сказал я, придерживая его за плечо.— Ну-ка, зайдемте в номер...

Чадо явно еще не проснулось до конца и поэтому не проявило особенной строптивости. Оно позволило вернуть себя в номер и усадить на разоренную кровать. Я сел в кресло напротив. Несколько секунд чадо смотрело на меня сквозь свои огромные черные очки, и вдруг пухлые розовые губы его задрожали.

— Так плохо? — шепотом спросило оно.— Да не молчите же, скажите что-нибудь наконец!

С некоторым удивлением я был вынужден признать, что это дикое существо, по-видимому, любит своего дядю и боится за него. Я достал сигарету и сказал, закуривая:

— Нет, ваш дядя жив и здоров. Речь пойдет о другом.

— Но вы же сказали...

— Ничего я не говорил, вам приснилось. Вот что: быстро и немедленно говорите. Когда вы расстались с Олафом? Ну, живо!

— С каким Олафом? Что вам от меня надо?

— Когда и где вы в последний раз видели Олафа?

Чадо помотало головой.

— Ничего не понимаю. При чем здесь Олаф? Что с дядей?

— Дядя спит. Дядя жив и здоров. Когда и где вы в последний раз виделись с Олафом?

— Да что вы затвердили одно и то же? — возмутилось чадо. Оно постепенно приходило в себя.— И чего вы вообще вперлись ко мне посреди ночи?

— Я вас спрашиваю...

— А мне на вас плевать! Убирайся отсюда, а то я дядю позову! Фараон чертов!

— Хватит болтать! — гаркнул я.— Олаф убит. Я знаю, что после вас никто не видел его живым! Когда это было? Где? Живо! Ну?

Наверное, я был страшен. Чадо отшатнулось и, словно защищаясь, вытянуло руки ладонями вперед.

— Отвечайте,— сказал я спокойно.— Вы вышли с ним из столовой и направились... куда?

— Н-никуда... просто вышли в коридор...

— А потом?

Чадо молчало. Оно сидело, съежившись, на кровати под большим рукописным плакатом «Будем жестокими!» и молчало. Потом из-под черных очков по щекам потекли слезы.

— Слезы тоже не помогут,— сказал я холодно.— Говорите правду. Если вы будете лгать и изворачиваться,— я сунул руку в карман,— я надену на вас наручники и отправлю в Мюр. Дело идет об убийстве, вы понимаете это?

— Я понимаю...— едва слышно пролепетало чадо.— Я скажу... Мы вышли в коридор... А потом... Я плохо помню, память у меня паршивая. Он что-то сказал и ушел, а я... это...

— Ну? — сказал я.

— Это... это стыдно,— прошептало чадо.— И противно.

— Полиция, как и медицина,— наставительно произнес я, ощущая огромную неловкость,— не признает таких понятий, как «стыдно».

— Ну, ладно,— сказало вдруг чадо, гордо вздернув голову.— Хрен с вами. Дело было так. Сначала шутки: жених и невеста, мальчик или девочка... ну, вроде как вы со мной обращались... Он тоже, наверное, принял меня неизвестно за что... А потом, когда мы вышли, он принялся меня лапать. Мне стало противно, и пришлось дать ему по морде... по лицу...

— Ну? — сказал я, не глядя на него.

— Ну, он обиделся, обругал меня и ушел.

— Куда?

— Да откуда мне знать? Стану я смотреть, куда да зачем... Ушел по коридору.— Чадо махнуло рукой.— Не знаю, куда.

— А вы?

— А я... А что я? Все настроение пропало, противно, скукотища... Одно и оставалось — завалиться спать.

— Когда вы заснули?

— Не помню.

— Ну, хорошо, предположим,— сказал я.— А теперь подробно опишите все ваши действия до того момента, когда вы с Олафом удалились в коридор.

— Подробно? — спросило чадо.

— Да, со всеми подробностями.

— Ладно,— согласилось чадо, показав мелкие, острые, до голубизны белые зубы.— Значит, доедаю я десерт. Тут подсаживается ко мне в дрезину бухой инспектор полиции и начинает мне вкручивать, как я ему нравлюсь и насчет немедленного обручения...

Я скушал это, не моргнув глазом. Надеюсь, лицо у меня было достаточно каменное.

— Тут, на мое счастье,— продолжало чадо злорадно,— подплывает Мозесиха и хищно тащит инспектора танцевать. Они пляшут, а я смотрю, и все это похоже на портовый кабак в Гамбурге. Потом он хватает Мозесиху и волочит за портьеру, и это уже похоже на совсем другое заведение в том же Гамбурге. И стало мне инспектора жалко, потому что парень он, в общем, неплохой, просто пить не умеет, а старый Мозес тоже уже хищно поглядывает на ту же портьеру. Тогда я встаю и приглашаю Мозесиху на пляс, причем инспектор рад-радешенек: видно, за портьерой он протрезвел...

— Кто в это время был в зале? — сухо спросил я.

— Все были. Олафа не было, Кайсы не было, а Симонэ наяривал в бильярд. С горя, что его инспектор отшил.

— Так, продолжайте,— сказал я.

— Ну, пляшу я с Мозесихой, она ко мне хищно прижимается, и тут у нее что-то лопается в туалете. Ах, говорит она, пардон, у меня авария. Ну, мне плевать, она со своей аварией уплывает в коридор, а на меня набегает Олаф...

— Постойте, когда это было?

— Ну уж пардон! Часы мне были ни к чему.

— Значит, госпожа Мозес вышла в коридор?

— Ну, я не знаю, в коридор, или к себе она пошла, или в пустой номер,— там рядом два пустых номера... Я же не знаю, какая у нее была авария, может быть, вы ей за портьерой весь корсет разнесли... Дальше рассказывать?

— Да.

— Пляшем это мы с Олафом, он отсыпает мне разные комплименты—фигура, мол, осанка, мол, походка... А потом говорит: пойдемте, говорит, я вам что-то интересненькое покажу. А мне что? Пожалуйста, можно и пойти... Тем более что в зале ничего интересненького я не вижу...

— А госпожу Мозес вы в зале видите в это время?

— Нет, она у себя в сухом доке, заделывает пробоины... Ну, выходим мы в коридор... А дальше вам уже рассказано.

— И госпожу Мозес вы больше не видели?

И тут произошла заминка. Крошечная такая заминочка, но я ее уловил.

— Н-нет,— сказало чадо.— Откуда? Мне было не до того.

Очень, очень мне мешали черные очки, и я твердо решил, что при втором допросе я эти очки сниму. Хотя бы и силой.

— Что вы делали днем на крыше? — спросил я резко.

— На какой еще крыше?

— На крыше отеля.— Я ткнул пальцем в потолок.— И не врите, я вас там видел.

— Идите-ка вы знаете куда? — ощетинилось чадо.— Что я вам, лунатик какой-нибудь, по крышам бегать?

— Значит, это были не вы,— примирительно сказал я.— Ну хорошо. Теперь насчет Хинкуса. Помните, такой маленький, вы его еще сначала спутали с Олафом... Когда вы его видели в последний раз?

— В последний?.. Это было, пожалуй, в коридоре, когда мы с Олафом вышли из столовой.

Я так и подскочил.

— Когда? — спросил я.

Чадо встревожилось.

— А что такого? — спросило оно.— Ничего такого не было... Только это мы выскочили из зала, я смотрю, Хинкус сворачивает на лестницу...

— Вы уверены, что это был Хинкус?

Чадо пожало плечами.

— Мне показалось, что Хинкус... Правда, он сразу свернул налево, на лестничную площадку... Но все равно — Хинкус, кому же еще быть? Маленький такой, сутулый...

— Стоп! — сказал я.— Он был в шубе?

— Да... В этой своей дурацкой шубе до пят, и на ногах что-то белое... А что такое?—Чадо перешло на шепот.— Это он убил, да? Хинкус?

— Нет-нет,— сказал я.

Неужели Хинкус врал? Неужели это все-таки инсценировка? Часы раздавили, переведя стрелки назад... а Хинкус сидел под столом и хихикал, а потом ловко разыграл меня и сейчас хихикает у себя в номере... а его сообщник хихикает где-то в другом месте. Я вскочил.

— Сидите здесь,— приказал я.— Не смейте выходить из номера. Имейте в виду, я с вами еще не закончил.

— А можно, я пойду к дяде? — спросило чадо дрожащим голосом.

Я поколебался, потом махнул рукой.

— Идите.

Выскочив в коридор, я свернул к номеру Хинкуса, отпер дверь и ворвался внутрь. Везде горел свет: в прихожей, в туалетной, в спальне. Сам Хинкус, оскаленный, мокрый, сидел на корточках за кроватью. Посредине комнаты валялся сломанный стул, и Хинкус сжимал в руке одну из ножек.

— Это вы? — сказал он хрипло и выпрямился.

— Да! — сказал я. Вид его и какое-то безумное выражение налитых кровью глаз снова поколебали мое убеждение, что он врет и притворяется, но я все-таки сказал свирепо: — Мне надоело слушать вранье, Хинкус! Вы сказали, что вас схватили в восемь сорок. Но вас видели в коридоре после девяти! Вы будете говорить мне правду или нет?

На лице его промелькнула растерянность.

— Меня? После девяти?

— Да! Вы шли по коридору и свернули на лестничную площадку.

— Я? — Он вдруг судорожно хихикнул.— Я шел по коридору? — Он снова хихикнул, и еще раз, и еще, и вдруг весь затрясся от визгливого истерического хохота.— Я? Меня? Вот то-то и оно, инспектор! Вот то-то и оно! — проговорил он, захлебываясь.— Меня видели в коридоре... И я тоже видел меня! И я схватил меня... И я связал меня... И я замуровал меня в стену! Я — меня... Понимаете, инспектор? Я — меня!

Глава 10

Спустившись в холл, я мрачно сказал хозяину:

— Там Хинкус совсем свихнулся. Есть у вас какое-нибудь успокаивающее посильнее?

— У меня все есть,— ответил хозяин.

— Вот и займитесь,— сказал я, протягивая ему ключ.

Голова у меня гудела. Было без пяти четыре. Я устал, осатанел и, главное, не испытывал никакого охотничьего азарта. Я слишком отчетливо понимал, что это дело мне не по плечу. Ни малейшего просвета, даже наоборот: чем дальше, тем хуже. Может быть, в отеле кто-то прячется, похожий на Хинкуса? Может быть, у Хинкуса действительно есть двойник — опасный гангстер, маньяк и садист? Это кое-что объяснило бы, но зато тогда пришлось бы решить вопрос, где и как ему удается прятаться. Ладно, займусь-ка я Мозесами.

Старик Мозес не пустил меня к себе в номер. Он вышел на стук в огромном восточном халате,

с неизменной кружкой в руке и буквально выпер меня в коридор своим толстым брюхом.

— Вы намерены беседовать здесь? — устало спросил я.

— Да, намерен,— с вызовом ответил он, густо дохнув мне в лицо сложной и непонятной смесью запахов.— Именно здесь. Полицейскому нечего делать в доме Мозеса.

— Тогда лучше пройдемте в контору,— предложил я.

— Н-ну, в контору...— Он отхлебнул из кружки.— В контору — еще куда ни шло. Хотя я не вижу, о чем нам с вами разговаривать. Уж не подозреваете ли вы меня в убийстве — меня, Мозеса?

— Нет,— сказал я.— Упаси бог...

В конторе я усадил его в кресло, а сам сел за стол.

— Мне не нравится наша полиция,— немедленно объявил Мозес, уставясь на меня.— Мне не нравится этот отель. Какие-то убийства, какие-то обвалы... собаки, воры, шум среди ночи... Что это за бродяга расположился у меня в номере третьем? Я вам заплатил за номер третий! Вы были обязаны спросить у меня разрешение!

Я не мог с ним спорить, у меня сил не было объяснять ему, что он с пьяных глаз перепутал меня с хозяином. Поэтому я просто сказал:

— Администрация отеля приносит вам свои извинения, господин Мозес, и обязуется завтра же восстановить статус-кво.

— Может быть, и покойник воскреснет? — ядовито осведомился паршивый старик.— Может быть, вы мне и это пообещаете? Я Мозес, сударь! Альберт Мозес! Я не привык ко всем этим покойникам, собакам, бождемам, обвалам...

Я сидел с закрытыми глазами и ждал.

— Я не привык, чтобы к моей жене врывались среди ночи,— продолжал Мозес.— Я не привык проигрывать по триста крон за вечер каким-то заезжим фокусникам, выдающим себя за аристократов... Этот Барл... Брал... Он же просто шулер! Мозес не садится за стол с шулерами! Мозес — это Мозес, сударь!..

Он еще долго бурчал, скворчал, шумно отхлебывал, рыгал и отдувался, и я на всю жизнь усвоил себе, что Мозес — это Мозес, что это Альберт Мозес, сударь, что он не привык к тому-то, тому-то и проклятому снегу и что он привык к тому-то, тому-то и хвойным ваннам, сударь... Я сидел с закрытыми глазами и, чтобы отвлечься, старался представить себе, как он ложится спать, не выпуская из рук своей кружки, как он, храпя и посвистывая, бережно держит ее на весу и время от времени отхлебывает, не просыпаясь... Потом стало тихо.

— Вот так-то, инспектор,— сказал он и поднялся.— Запомните хорошенько то, что я вам сейчас сказал, и пусть это послужит вам уроком на всю жизнь. Это многому научит вас, сударь. Спокойной ночи.

— Одну минуточку,— сказал я.— Два пустяковых вопроса.— Он в негодовании открыл было рот, но я был начеку и не дал ему говорить.— Когда примерно вы покинули зал, господин Мозес?

— Примерно! — хрюкнул он.— И таким манером вы надеетесь раскрыть преступление? Примерно!.. Может быть, вы все-таки разрешите мне сесть? — осведомился он ядовито.

— Да, простите, пожалуйста.

— Благодарю вас, инспектор,— произнес он еще более ядовито и сел.— Так вот, я с госпожою Мозес, в номер которой вы столь неприличным образом ворвались нынешней ночью, не имея на то никакого права, да еще не один, да еще без стука, я уже не говорю об ордере или о чем-нибудь подобном,— я, естественно, не вправе ожидать от современной полиции соблюдения таких тонкостей закона, как бережное отношение к праву каждого честного человека пребывать в своем доме, как в своей крепости, и в особенности, сударь, если дело идет о женщине, о супруге, сударь, о супруге Мозеса, Альберта Мозеса, инспектор!

— Да-да, это было опрометчиво,— сказал я.— приношу вам и госпоже Мозес самые искренние извинения.

— Я не могу принять ваши извинения, инспектор, до тех пор, пока не уясню себе с полной отчетливостью, что за человек поселен в номере третьем, принадлежащем мне, на каком основании он расположился в помещении, граничащем со спальней моей супруги, и почему его сторожит собака.

— Мы еще сами не уяснили себе с полной отчетливостью, кто этот человек,— сказал я, снова закрывая глаза.— Он потерпел аварию на автомобиле, он калека, без руки, сейчас спит. Как только будет выяснена его личность, мы вам немедленно доложим, господин Мозес.— Я открыл глаза.— А теперь вернемся к тому моменту, когда вы с госпожой Мозес покинули столовую. Когда это было точно?

Он поднес кружку к губам и грозно посмотрел на меня.

— Меня удовлетворили ваши объяснения,— заявил он.— Выражаю надежду, что вы сдержите ваше обещание и доложите немедленно.— Он отхлебнул.— Итак, мы с госпожою Мозес встали из-за стола и покинули зал примерно...— Он прищурился с большой язвительностью и повторил: — Примерно, инспектор, в двадцать один час тридцать три минуты с секундами по местному времени! Это вас удовлетворяет? Отлично. Переходите к вашему второму и, я надеюсь, последнему вопросу.

— Мы еще не совсем покончили с первым,— возразил я.— Вы вышли из зала в двадцать один тридцать три. А дальше?

— Дальше? А дальше я вернулся в свой номер, немедленно разделся и лег спать. И спал до тех пор, пока не поднялся этот отвратительный шум и возня в принадлежащем мне третьем номере. Только природная сдержанность и сознание того, что я Мозес...

— Да-да, конечно,— поспешно сказал я.— Еще один последний вопрос, господин Мозес.

— Последний! — сказал он, угрожающе потрясая указательным пальцем.

— Не заметили ли вы, в какое примерно время госпожа Мозес покидала столовую?

Наступила жуткая пауза. Мозес, наливаясь синевой, глядел на меня вытаращенными мутными глазами.

— Кажется, вы осмеливаетесь предположить, что супруга Мозеса причастна к убийству? — сдавленным голосом произнес он. Я отчаянно замотал головой, но это не помогло.— И вы, кажется, осмеливаетесь рассчитывать на то, что Мозес в этой ситуации будет давать вам какие бы то ни было показания? Или вы, быть может...

Я закрыл глаза. На протяжении последующих пяти минут я услыхал массу самых чудовищных предположений относительно своих намерений и своих замыслов, направленных против чести, достоинства, имущества, а также физической безопасности Мозеса, сударь, не какого-нибудь пса, служащего очевидным рассадником блох, а Мозеса, Альберта Мозеса, сударь, вы способны понять это или нет?.. Потом Мозес вдруг остановился, подождал, пока я открою глаза, и произнес с невыразимым презрением:

— Впрочем, это смешно — приписывать такой мелкой личности столь хитроумные замыслы. Смеш-

но и недостойно Мозеса. Я принимаю ваши извинения, сударь, и честь имею откланяться. Мало того. Взвесив все обстоятельства... Я же понимаю, что у вас недостанет благородства оставить в покое мою жену и избавить ее от ваших нелепых вопросов. Поэтому я разрешаю вам задать эти вопросы — не больше двух вопросов, сударь! — в моем присутствии. Немедленно. Следуйте за мной.

Внутренне ликуя, я последовал за ним. Он постучался в дверь госпожи Мозес и, когда она откликнулась, скрипуче проворковал:

— К вам можно, дорогая? Я не один.

К дорогой было можно. Дорогая в прежней позе возлежала под торшером, теперь уже полностью одетая. Она встретила нас своей чарующей улыбкой. Старый хрыч подсеменил к ней и поцеловал ей руку — тут я почему-то вспомнил, как хозяин утверждал, будто он лупит ее плеткой.

— Это инспектор, дорогая,— проскрипел Мозес, валясь в кресло.— Вы помните инспектора?

— Ну как я могла забыть нашего милого господина Глебски? — откликнулась красавица.— Садитесь, инспектор, сделайте одолжение. Чудная ночь, не правда ли? Сколько поэзии!

Я сел на стул. Мне все это надоело. Хватит, подумал я. К черту.

— Сударыня,— сказал я сухо.— Следствием установлено, что примерно в половине девятого вчера вечером вы покидали столовую. Вы, конечно, подтверждаете это?

Старик негодующе заворочался в кресле, но госпожа Мозес опередила его.

— Ну, разумеется, подтверждаю,— ответила она.— С какой стати я буду это отрицать? Мне понадобилось отлучиться, и я отлучилась.

— Насколько я понимаю,— продолжал я,— вы спустились сюда, в ваш номер, а в начале десятого вновь вернулись в столовую. Это так?

— Да, конечно. Правда, я не совсем уверена относительно времени, я не смотрела на часы... Но скорее всего это было именно так.

— Мне бы хотелось, чтобы вы вспомнили, сударыня, видели ли вы кого-нибудь на пути из столовой и обратно в столовую.

— Да... кажется,— сказала госпожа Мозес. Она наморщила лобик, а я весь так и напрягся.— Ну, конечно! — воскликнула она.— Когда я уже возвращалась, я увидела в коридоре парочку...

— Где? — быстро спросил я.

— Ну... сразу налево от лестничной площадки. Это был наш бедный Олаф и это забавное существо... я не знаю, юноша или девушка... Кто он, Мозес?

— Минуточку,— сказал я.— Вы уверены, что они стояли слева от лестничной площадки?

— Совершенно уверена. Они стояли, держась за руки, и очень мило беседовали. Я, конечно, сделала вид, будто ничего не заметила...

Вот она, заминочка, Брюн, подумал я. Чадо вспомнило, что их могли видеть перед номером Олафа, и не успело ничего сообразить, а потому принялось врать, надеясь, что пронесет.

— Я женщина, инспектор,— продолжала госпожа Мозес,— и я никогда не вмешиваюсь в дела окружающих. При других обстоятельствах вы не услышали бы от меня ни слова, но сейчас, мне кажется, я должна, я вынуждена быть вполне откровенной... Не правда ли, Мозес?

Мозес в кресле пробурчал что-то неопределенное.

— И еще,— продолжала госпожа Мозес.— Но это уже, наверное, не имеет особенного значения... Когда я спускалась по лестнице, мне повстречался этот маленький несчастный человечек...

— Хинкус,— просипел я и откашлялся. У меня что-то застряло в горле.

— Да, Финкус... Его, кажется, так зовут... Вы знаете, инспектор, ведь у него туберкулез. А ведь никогда не подумаешь, правда?

— Прошу прощения,— сказал я.— Когда вы встретили его, он поднимался по лестнице из холла?

— Даже полицейскому должно быть ясно,— раздраженно прорычал Мозес.— Моя жена ясно сказала вам, что она спускалась по лестнице. Следовательно, он поднимался ей навстречу...

— Не сердитесь, Мозес,— ласково произнесла госпожа Мозес.— Инспектор просто интересуется деталями... Да, инспектор, он поднимался мне навстречу и, по-видимому, именно из холла. Мы разминулись и пошли каждый своей дорогой.

— Как он был одет?

— Ужасно! Какая-то кошмарная шуба... От него даже, простите, пахло... мокрой шерстью, псиной... Не знаю, как вы, инспектор, но я думаю: если у человека нет средств прилично одеваться, ему следует сидеть дома и изыскивать эти средства, а не выезжать в места, где бывает приличное общество.

— Я бы многим здесь посоветовал,— прорычал Мозес поверх кружки,— сидеть дома и не выезжать в места, где бывает приличное общество. Ну что, инспектор, вы наконец закончили?

— Нет, не совсем,— проговорил я медленно.— Еще один вопрос... Вернувшись к себе после окончания бала, вы, сударыня, наверное, легли спать и крепко заснули?

— Крепко заснула?... Да как вам сказать... Так, подремала немножко...

— И, вероятно, вас что-то разбудило? Ведь когда я позже так неловко ворвался в ваш номер — я приношу вам глубочайшие извинения,— вы не спали...

— Ах, вот вы о чем... Не спала... Да, действительно, не спала, но я не могу сказать, инспектор, чтобы меня что-то разбудило. Просто я чувствовала, что сегодня мне как следует не заснуть, и решила почитать немного... Впрочем, если вы хотели узнать, слышала ли я ночью какой-нибудь подозрительный шум, то я могу твердо сказать: нет, не слышала.

— Никакого шума? — удивился я.

Она посмотрела на Мозеса с какой-то, как мне показалось, растерянностью. Я не спускал с нее глаз.

— По-моему, никакого,— сказала она неуверенно.— А вы, Мозес?

— Абсолютно никакого,— решительно сказал Мозес.— Если не считать отвратительной возни, поднятой этими господами...

— И никто из вас не слышал даже шума обвала?

— Какого обвала? — удивилась госпожа Мозес.

— Не волнуйтесь, дорогая,— сказал Мозес.— Ничего страшного. Неподалеку в горах случился обвал, я расскажу вам об этом после... Ну что, инспектор? Теперь уже, может быть, достаточно?

— Да,— сказал я.— Теперь достаточно.— Я встал.— Еще один, самый последний вопрос. Сегодня днем, незадолго до обеда, вы поднимались на крышу, госпожа Мозес...

Она рассмеялась и перебила меня:

— Нет, я не поднималась на крышу. Я поднималась из холла на второй этаж и по рассеянности, в задумчивости, пошла дальше по этой ужасной чердачной лестнице. Я почувствовала себя очень глупо, когда увидела вдруг перед собой дверь, доски... я даже не сразу поняла, куда попала...

Мне очень хотелось спросить ее, зачем это она поднималась на второй этаж. Я представления не имел, что ей могло понадобиться на втором этаже, хотя и можно было предположить, что речь шла об

амурах с Симонэ, в которые я случайно вмешался. Но тут я посмотрел на старика, и все это вылетело у меня из головы. Потому что на коленях у Мозеса лежала плетка — мрачный черный арапник с толстой рукояткой и с многочисленными витыми хвостами, в которых поблескивал металл. Я ужаснулся и отвел глаза.

— Благодарю вас, сударыня,— пробормотал я.— Вы оказали большую помощь следствию, сударыня.

Чувствуя себя безнадежно усталым, я дотащился до холла и присел отдохнуть рядом с хозяином. Жуткое видение арапника все еще стояло у меня перед глазами, и, помотав головой, я с трудом отогнал его. Это не мое дело. Это — дело семейное, меня это не касается... Глаза у меня резало, как от песка. Наверное, мне следовало бы поспать хотя бы часа два, но я чувствовал, что сейчас мне не заснуть. По отелю бродят двойники Хинкуса. Чадо дю Барнстокра врет. Да и с госпожой Мозес тоже не все ладно. Либо она спала мертвым сном, и тогда непонятно, почему она проснулась и почему она врет, что почти не спала. Либо она не спала, и тогда непонятно, почему она не слышала обвала и возни в соседней комнате. И совсем непонятно, что все-таки случилось с Симонэ... Как бы поступил на моем месте Згут? Он немедленно отобрал бы всех, у кого хватит силы свернуть шею двухметровому викингу, и работал бы только с ними. А я вожусь с этим слабосильным чадом, с плюгавым шизофреником Хинкусом...

Я посмотрел на хозяина. Хозяин прилежно нажимал клавиши арифмометра и что-то записывал в счетоводную книгу.

— Послушайте, Алек,— сказал я.— Может в вашем отеле укрыться, оставаясь незамеченным, двойник Хинкуса?

Хозяин поднял голову и посмотрел на меня.

— Именно двойник Хинкуса? — деловито спросил он.

— Да. Именно двойник Хинкуса, Алек. В вашем отеле живет двойник Хинкуса. Он не платит за постой, Алек. Он, должно быть, ворует продукты, подумайте об этом, Алек!

Хозяин подумал.

— Не знаю,— сказал он.— Ничего такого я не заметил. Я чувствую только одно, Петер. Вы заблуждаетесь. Вы исследуете алиби, вы собираете улики, вы ищете мотивы. А мне кажется, что в этом деле обычные понятия вашего искусства теряют свой смысл, как понятие времени при сверхсветовых скоростях...

— Это ваше ощущение? — горько спросил я.

— Что вы имеете в виду?

— Да всю эту вашу философию насчет алиби при сверхсветовых скоростях. У меня голова пухнет, а вы черт знает что городите. Принесите уж лучше кофе.

Хозяин встал.

— Вы все-таки еще не созрели, Петер,— сказал он.— А я жду, когда вы наконец созреете.

— Зачем это вам надо? Я уже перезрел, я скоро упаду.

— Не упадете! — успокоил меня хозяин.— И вы еще далеко не созрели. А я хочу дождаться момента, когда мои слова покажутся вам единственным ключом к пониманию всего этого дела.

— Господи,— пробормотал я.— Могу себе представить, что это за слова!

Хозяин снисходительно улыбнулся и направился к кухне. На пороге он остановился и предложил:

— А хотите, я расскажу вам, что именно почудилось нашему сумасшедшему физику?

— Ну, попробуйте,— сказал я.

— Наш сумасшедший физик залез в постель к госпоже Мозес и обнаружил там вместо живой женщины бездыханный манекен. Куклу, Петер, холодную куклу.

Глава 11

Он стоял на пороге и, ухмыляясь, глядел на меня.

— Ну-ка, подите сюда,— сказал я.— Рассказывайте.

— А кофе?

— Черт с ним, с кофе! Я же вижу, что вы что-то знаете. Не морочьте мне голову, выкладывайте все, как есть.

Он вернулся к столику, но садиться не стал.

— Я не знаю, как все есть,— сказал он.— Я могу только кое-что предполагать.

— Откуда вы знаете, что обнаружил Симонэ?

— Ага, значит, я угадал...— Он сел и удобно развалился.— Согласитесь, это вышло у меня довольно эффектно...

— Слушайте, Алек,— сказал я.— Я не стану скрывать: вы мне нравитесь.

— Вы мне тоже,— сказал он.

— Заткнитесь. Вы мне нравитесь. Но это еще ничего не значит. Я не подозреваю вас, Алек. У меня, к сожалению, нет никаких оснований вас подозревать... А мне надо, мне уже пора кого-то подозревать... Так вот, если вы будете морочить мне голову, то я начну вас подозревать. У вас будут неприятности, Алек. Я очень неопытен в такого рода делах, и потому у вас могут быть очень большие неприятности... Вы представить себе не можете, сколько неприятностей может причинить доброму гражданину неопытный полицейский.

— Ну, раз так,— сказал он,— тогда конечно. Тогда я сейчас принесу вам кофе и расскажу о некоторых своих ощущениях.

Пока он ходил за кофе, я лежал в кресле с закрытыми глазами и думал, можно ли мне временно наплевать на все это и поспать часа три. Потом запахло кофе, и хозяин сказал: «Прошу». Я взял чашку, отхлебнул и покосился на него. Он уже сидел в своем кресле и тоже держал в руке дымящуюся чашку — широкий, кряжистый. Того и гляди, заговорит глухим голосом.

— Выкладывайте,— сказал я.

— Значит, так,— сказал он.— Как я понимаю, мне надлежит сейчас ответить на вопрос: откуда я знаю, что видел господин Симонэ в спальне госпожи Мозес...— Он отпил кофе и с наслаждением подвигал губами.— Значит, так. Начнем с теории. Колдуны и знахари некоторых малоисследованных племен Центральной Африки издревле владеют искусством возвращать видимость жизни своим умершим соплеменникам...

Я застонал, и хозяин повысил голос.

— Такое явление реального мира — мертвый человек, имеющий внешность живого и совершающий на первый взгляд вполне осмысленные и самостоятельные действия,— носит название «зомби». Можно сказать, что зомби — это третье состояние живого организма. А если использовать терминологию современной науки, то зомби функционально представляет собой очень точный биологический механизм, выполняющий...

— Слушайте, Алек,— утомленно сказал я.— Я смотрю телевизор и время от времени хожу в кино. Все эти чудовища Франкенштейна, Серые Девы, Джоны Кровавые Пузыри, Дракулы...

— Все это порождения невежественного воображения,— с достоинством возразил хозяин.— А Дракула — это вообще...

— Мне все это неинтересно,— сказал я.— Понимаю: вы репетируете свою речь перед газетчиками. Но меня-то все это не касается. Вы обещали мне рассказать что-то интересное насчет госпожи Мозес и Симонэ. Вот и рассказывайте. Вы что, тоже залезали к ней в постель? И тоже претерпели, мягко выражаясь, разочарование?

Некоторое время он смотрел на меня грустными глазами.

— Да,— сказал он наконец с сожалением.— Так я и думал. Вы еще не созрели... Ну хорошо.— Он вздохнул.— Пусть будут одни факты без теории. Шесть дней тому назад, когда мой отель осчастливили посещением господин и госпожа Мозес, со мною имело место следующее происшествие. Произведя все необходимые отметки в паспортах указанных господ, я отправился в номер господина Мозеса с целью вернуть ему эти паспорта. Я постучался. Я был несколько рассеян и потому, не дожидаясь разрешения, отворил дверь. Я был немедленно наказан за нарушение элементарных норм приличия. Я увидел в кресле посередине комнаты то, что при желании можно было бы назвать госпожой Мозес. Но это не была госпожа Мозес. Это была большая, в натуральную величину, красивая кукла, очень похожая на госпожу Мозес и одетая в точности, как она. А затем я был грубо схвачен за плечо и выдворен в коридор. Это грубое, но вполне оправданное действие произвел надо мною господин Мозес, который в это время, по-видимому, осматривал апартаменты своей супруги и набросился на меня сзади...

— Кукла,— сказал я задумчиво.

— Зомби,— мягко поправил меня хозяин.

— Кукла...— повторил я, не обращая на него внимания.— Какой у него багаж?

— Несколько обычных чемоданов,— сказал хозяин.— И гигантский, окованный железом, старинный дорожный сундук. Он привез с собой четверых носильщиков, и бедняги измучились, затаскивая этот сундук в дом. Разворотили мне весь косяк...

— Ну, что ж,— сказал я, подумав.— В конце концов это его личное дело. Я слыхал о миллионере, который повсюду таскал за собой коллекцию ночных горшков... Если человеку нравится иметь манекен своей супруги в натуральную величину... Между прочим, вполне возможно, что он заметил поползновения нашего Симонэ и подсунул ему вместо жены эту самую куклу... Черт побери, может быть, он возит с собой эту куклу именно для таких вот случаев! — Я представил себя на месте Симонэ и содрогнулся.— Ей-богу, славная шутка,— сказал я.

— Ну, вот вы все и объяснили,— сказал хозяин.

Тон его мне не понравился. Некоторое время мы смотрели друг на друга. Он все еще был мне симпатичен. Но, черт его побери, зачем ему это нужно — крутить мне голову, забивать мне мозги всей этой африканской чепухой? Я же все-таки не репортер и рекламе этого заведения способствовать не намерен... Нет, хватит с меня. Больше я с господи-

ном Алеком Сневаром на эти темы не разговариваю. Если у него и есть цель сбить меня с толку, это ему не удастся.

— Вот что,— сказал я.— Вы мне мешаете, Алек. Сидите здесь, а я пойду в каминную. Я должен хорошенько подумать.

— Уже без четверти пять,— напомнил хозяин.

— Ну и что? Спать сегодня все равно не придется. Имейте в виду, Алек, у меня вовсе нет впечатления, будто события закончились. Поэтому оставайтесь здесь, в холле, и будьте наготове.

— Ну, что ж, надо так надо,— сказал хозяин.

Я прошел в каминную (Лель опять поворчал на меня), взял кочергу и принялся мешать тлеющие угли. Итак, происшествие с Симонэ более или менее объяснилось, и его можно выкинуть из головы. Или наоборот, нельзя выкидывать ни в коем случае, потому что, если в одиннадцать часов вечера в номере госпожи Мозес была кукла, то где же была сама госпожа Мозес? Шутка, конечно, на славу... но есть в ней что-то чрезмерно громоздкое... Шутка ли? Может быть, попытка устроить алиби?.. Да нет, какое, к черту, алиби — ночь, темно, установить это алиби можно только на ощупь, а на ощупь получается не алиби, а шутка... Собственно, что меня здесь смущает? Только одно: комната Симонэ находится рядом с комнатой Олафа. Можно предположить, например, следующее: Мозесам нужно было, чтобы комната Симонэ, начиная с одиннадцати часов и в течение некоторого времени, была пуста. Вот что меня смущает. Но чтобы отвлечь господина Симонэ, совсем не нужна кукла, достаточно было бы самой госпожи Мозес. Это был бы самый естественный и надежный способ. И раз прибегают к такому неестественному и ненадежному способу, как кукла, значит, надо было, чтобы госпожа Мозес находилась где-то в другом месте. Госпожа Мозес... хрупкая, изнеженная, до кретинизма светская госпожа Мозес... Нет, все это никуда меня не ведет. Окончательно выбрасывать из головы славную шутку не стоит, но и пользы от этой истории пока не видно...

То есть на редкость мерзкая ситуация: все нити никуда не ведут. Во-первых, нет ни одного подозреваемого. Во-вторых, абсолютно непонятно, как произошло преступление. Самое главное непонятно. Бог с ним, с убийцей! Объясните мне, как он убил! Как? Окно открыто, но никаких следов на подоконнике, никаких следов на снегу, на карнизе. Ни снизу, ни справа, ни слева к окну подобраться было нельзя. Остается одно — сверху. С крыши по веревке. Но тогда были бы следы на краю крыши. Можно, конечно, сходить и посмотреть снова, но я точно помню: снег разрыт только рядом с шезлонгом Хинкуса. Теперь уже ничего больше не остается, кроме Карлсона с пропеллером в заднице. Влетел, свернул соотечественнику шею и вылетел... Так что в запасе у меня только два паршивеньких предположеньица. Первое — это всякие потайные люки, замаскированные дверцы и двойные стены. А второе — какой-то гений изобрел новое техническое приспособление, позволяющее поворачивать ключ снаружи, не оставляя на нем никаких следов...

Оба предположения указывают прямо на владельца дома и механика-изобретателя. Так. Ну-с, а как выглядит у нас алиби этого человека? До половины десятого он безвылазно сидит за карточным столом. Начиная примерно с без пяти десять и до момента обнаружения трупа он фактически либо у меня на глазах, либо где-то в пределах слышимости. У него остается на убийство примерно двадцать — двадцать пять минут, когда его не видит никто либо видит только Кайса, которой он, по его словам, задает трепку. Таким образом, теоретически он может быть убийцей, если знает потайной ход или владеет средством поворачивать ключ снаружи, не оставляя следов. Непонятны мотивы (не для рекламы же!), психологически совершенно неоправданно все его поведение, но, повторяю, теоретически он мог убить. Запомним это и пойдем дальше.

Дю Барнстокр. Алиби не имеет. Но он хилый старик, у него просто не хватит сил свернуть человеку шею. Симонэ. Алиби не имеет. Шею свернуть мог бы — парень крепкий, к тому же слегка не в себе. Непонятно, как попал в комнату к Олафу. А если попал, то непонятно, как оттуда ушел. Теоретически, конечно, мог случайно обнаружить пресловутую потайную дверь. Непонятны мотивы, непонятно все поведение после убийства. Ничего не понятно. Хинкус... Двойник Хинкуса... Хорошо бы выпить еще кофе. Хорошо бы плюнуть на все и завалиться спать...

Брюн. Да, это единственная ниточка, которая пока не оборвалась. Этот ребенок мне солгал. Ребенок видел госпожу Мозес, но сказал, что не видел. Ребенок любезничал с Олафом у дверей его номера, но сказал, что дал ему пощечину у дверей столовой... И тут я вдруг вспомнил. Я сидел вот здесь, в этом кресле. Пол дрогнул, послышался гул обвала. Я посмотрел на часы, было две минуты одиннадцатого, и тут наверху громко хлопнула дверь. Именно наверху. Кто-то с силой захлопнул дверь. Кто? Симонэ в это время брился. Дю Барнстокр спал и, возможно, проснулся именно от этого стука. Хинкус лежал, связанный, под столом. Хозяин и Кайса были на кухне. Мозесы были у себя. Значит, дверью могли хлопнуть либо Олаф, либо Брюн, либо убийца. Например, двойник Хинкуса... Я бросил кочергу и побежал наверх.

Номер чада был пуст, и я постучался к дю Барнстокру. Чадо, подперев кулаками щеки, уныло сидело за столом. Дю Барнстокр, закутавшись в шотландский плед, клевал носом в кресле у окна. Оба они так и вскинулись, когда я вошел.

— Снимите очки! — резко приказал я чаду, и надо немедленно повиновалось.

Да, это была девушка. И прехорошенькая, хотя глаза ее опухли и покраснели от слез. Я сел напротив и сказал:

— Вот что, Брюн. В девять часов десять минут госпожа Мозес видела вас с Олафом у дверей его номера. Вы сказали мне неправду. Вы расстались с Олафом не у дверей столовой. Где вы с ним расстались? Где, когда и при каких обстоятельствах?

Некоторое время она смотрела на меня, губы ее дрожали, покрасневшие глаза снова наполнились слезами. Потом она закрыла лицо ладонями.

— Мы были у него в номере,— сказала она.

Дю Барнстокр жалобно застонал.

— Нечего стонать, дядя! — сказала Брюн, немедленно рассвирепев.— Ничего непоправимого не произошло. Мы целовались, и было довольно весело, только холодно, потому что у него все время было открыто окно. У него было что-то вроде ожерелья, какие-то бусы, и он все хотел надеть их мне на шею, но тут раздался грохот, и я сказала: «Слушайте — лавина!» И он вдруг отпустил меня и схватился за голову, как будто что-то вспомнил... Знаете, как люди хватаются за голову, когда что-то вспоминают, что-то важное... Это длилось буквально несколько секунд. Он бросился к окну, но сейчас же вернулся, схватил меня за плечи и буквально выкинул в коридор. Я едва не упала, а он сразу же с силой захлопнул за мной дверь. При этом он ничего не говорил, только выругался шепотом, и еще я помню, как он повернул ключ в замке. Больше я его не видела, я дико разозлилась и сразу пошла к себе...

— Так,— сказал я.— Он схватился за голову, словно что-то вспомнил, и кинулся к окну... Может быть, его кто-нибудь позвал?

Брюн затрясла головой.

— Нет. Я ничего не слышала, только шум обвала.

— И ушли вы сразу же? Не задержались у дверей ни на секунду?

— Сразу же. Я дико разозлилась.

— Как же развивались действия после того, как вы с ним вышли из столовой? Повторите снова.

— Он сказал, что хочет мне что-то показать,— заговорила она, нагнув голову.— Мы вышли в коридор, и он потянул меня к себе в номер. Я, конечно, сопротивлялась... ну, в общем, мы дурачились. Потом, когда мы уже стояли у его дверей...

— Стоп. Вы говорили, что видели Хинкуса.

— Да, видели. Сразу, как только мы вышли в коридор. Он как раз в этот момент сворачивал из коридора на лестницу.

— Так. Продолжайте.

— Когда мы уже стояли у дверей Олафа, появилась эта Мозесиха. Она, конечно, сделала вид, что нас не заметила, но мне стало неловко. Противно, когда шляются вокруг и пялят на тебя глаза. Н-ну... и мы зашли в номер к Олафу.

— Понятно.— Я покосился на дю Барнстокра. Старик сидел, возведя очи горе. Так ему и надо. Вечно эти дядюшки воображают, будто у них под крылышком произрастают ангелочки. А эти ангелочки тем временем векселя подделывают.— Ну, ладно. Вы что-нибудь пили у Олафа?

— Я?

— Меня интересует, пил ли что-нибудь Олаф.

— Нет. Ни он, ни я — мы не пили.

— Есть предположение, что Олафа перед убийством отравили медленно действующим ядом. Вы не заметили ничего такого, что подтверждало бы это предположение?

— А что такого я могла заметить?

— Обычно заметно, когда человек плохо себя чувствует,— пояснил я.— Особенно это заметно, если он на ваших глазах чувствует себя все хуже и хуже.

— Ничего такого не было,— решительно сказала Брюн.— Он чувствовал себя прекрасно.

— А из того, что он говорил, вы не помните ничего странного?

— Я вообще ничего не помню,— ответила Брюн тихо.— Это был обычный треп. Шуточки, остроты... Про мотоциклы мы с ним говорили, про лыжи. По-моему, он был хороший механик. Во всех двигателях разбирался...

— Когда случился обвал, вы сидели или стояли?

— Стояли. У самых дверей.

— А вы уверены, что он кинулся от вас именно к окну?

— Н-ну, как вам сказать... Он схватился за голову, повернулся ко мне спиной, сделал шаг или два к окну... в сторону окна... ну, я не знаю, как еще вам сказать, может быть, и не к окну, конечно, но я просто ничего в комнате не видела, кроме окна...

— Олаф передвигал какую-нибудь мебель?

— Мебель?.. А, да, было. Это он заявил, что не выпустит меня, и придвинул к двери кресло... ну, потом, конечно, отодвинул.

Я встал.

— На сегодня все,— сказал я.— Ложитесь спать. Больше я вас сегодня не буду беспокоить.

Дю Барнстокр тоже поднялся и двинулся ко мне с протянутыми руками.

— Дорогой инспектор! Вы, конечно, понимаете, что я понятия не имел...

— Да, дю Барнстокр,— сказал я.— Дети растут, дю Барнстокр. Все дети, даже дети покойников. Впредь никогда не позволяйте ей носить черные очки, дю Барнстокр. Глаза — это зеркало души.

Я оставил их поразмыслить над этими сокровищами полицейской мудрости, а сам спустился в холл.

— Вы реабилитированы, Алек,— объявил я хозяину.

— Разве я был осужден? — удивился он, поднимая глаза от арифмометра.

— Я хочу сказать, что снимаю с вас все подозрения. Теперь у вас стопроцентное алиби. Но не воображайте, что это дает вам право опять забивать мне голову зомбизмом-момбизмом... Не перебивайте меня. Сейчас вы останетесь здесь и будете сидеть, пока я не разрешу вам встать. Имейте в виду, что с этим одноруким парнем первым должен говорить я.

— А если он проснется раньше вас?

— Я не собираюсь спать,— сказал я.— Я хочу обыскать дом. Если этот бедняга проснется и позовет кого-нибудь, даже маму, немедленно пошлите за мной.

— Слушаюсь,— сказал хозяин.— Один вопрос. Распорядок дня в отеле остается прежним?

Я подумал.

— Да, пожалуй. В девять часов завтрак. А там видно будет... Теперь вот что, Алек. Предположим, вам понадобилось спрятаться в этом доме. Надолго, на несколько суток. Где бы вы спрятались?

— Гм...— сказал хозяин с сомнением.— Вы все-таки думаете, что в доме есть посторонний человек?

— Где бы вы спрятались? — повторил я.

Хозяин покачал головой.

— Обманывают вас,— сказал он.— Честное слово, обманывают. Здесь негде спрятаться. Двенадцать номеров, из них только два пустуют, но Кайса убирает их каждый день, она бы заметила... Подвал — он у меня закрыт снаружи на висячий замок... Чердака нет, между крышей и потолком едва руку просунешь.. Служебные помещения тоже все закрываются снаружи, и, кроме того, мы там целый день крутимся — то я, то Кайса. Вот, собственно, и все... Может быть, стоит заглянуть в генераторную — туда я не часто наведываюсь.

— Давайте ключи,— сказал я.

Я посмотрел и поискал. Я облазил подвал, заглянул в душевую, обследовал гараж, котельную, генераторную, залез даже в подземный склад солярки — я нигде ничего не обнаружил. Естественно, я и не ожидал ничего обнаружить, это было бы слишком просто, но проклятая чиновничья добросовестность не позволяла мне оставлять в тылу белые пятна. Двадцать лет беспорочной службы — это двадцать лет беспорочной службы: в глазах начальства, да и в глазах подчиненных тоже, всегда лучше выглядеть добросовестным болваном, чем блестящим, хватающим вершки талантом. И я шарил, ползал, пачкался, дышал пылью и дряньем, жалел себя и ругал дурацкую судьбу.

Когда я, злой и грязный, выбрался из подземного склада, уже рассветало. Луна побледнела и склонилась к западу. Серые громады скал подернулись сиреневой дымкой. И какой же свежий, сладкий, морозный воздух наполнял долину! Пропади оно все пропадом!..

Я уже подходил к дому, когда дверь распахнулась, и на крыльцо вышел хозяин.

— Ага,— произнес он, увидев меня.— А я как раз за вами. Этот бедняга проснулся и зовет маму.

— Иду,— сказал я, отряхивая пиджак.

— Собственно, он зовет не маму,— сказал хозяин,— он зовет Олафа Андварафорса.

(Окончание следует).

ПРОЗА

Арк. Стругацкий,
Бор. Стругацкий

ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Рисунки Г. Новожилова.

Глава 12

Увидев меня, незнакомец живо наклонился вперед и спросил:

— Вы Олаф Андварафорс?

Такого вопроса я не ожидал. Совсем не ожидал. Я поискал глазами стул, придвинул стул к кровати, неторопливо уселся и только тогда посмотрел на незнакомца. Был большой соблазн ответить утвердительно и посмотреть, что из этого выйдет. Но я не контрразведчик и не сыщик. Я честный полицейский чиновник. Поэтому я ответил:

— Нет. Я не Олаф Андварафорс. Я инспектор полиции, и зовут меня Петер Глебски.

— Да? — сказал он удивленно, но без всякого беспокойства.— Но где же Олаф Андварафорс?

По-видимому, он вполне оправился после вчерашнего. Тощее лицо его порозовело, кончик длинного носа, такой белый вчера, теперь был красен. Он сидел на кровати, закрывшись до пояса одеялом, ночная рубашка Алека была ему явно велика, ворот висел хомутом и обнажал острые ключицы и бледную безволосую кожу на груди. И на лице его не было растительности — только несколько волосков на месте бровей да редкие белесые ресницы. Он сидел, наклонившись вперед, и рассеянно наматывал на левую руку пустой рукав правой.

— Прошу прощения,— сказал я,— но предварительно я должен задать вам несколько вопросов.

На эти мои слова незнакомец не ответил ничего. Лицо его приняло странное выражение — до того странное, что я не сразу понял, в чем дело. А дело было в том, что одним глазом он уставился на меня, а другой глаз закатил под лоб, так что на виду остался только белок. Некоторое время мы молчали.

— Так вот,— сказал я,— прежде всего хотелось бы узнать, кто вы такой и как вас зовут.

— Луарвик,— сказал он быстро.

— Луарвик... А имя?

— Имя? Луарвик.

— Господин Луарвик Луарвик?

Он опять помолчал. Я боролся с неловкостью, какую всегда испытываешь, разговаривая с сильно косоглазыми людьми.

— Приблизительно да,— сказал он наконец.

— В каком смысле приблизительно?

— Луарвик Луарвик.

— Хорошо. Допустим. Кто вы такой?

— Луарвик,— сказал он.— Я Луарвик.— Он помолчал.— Луарвик Луарвик. Луарвик Л. Луарвик.

Он выглядел достаточно здоровым и совершенно серьезным, и это удивляло больше всего. Впрочем, я не врач.

— Я хотел узнать, чем вы занимаетесь.

— Я механик,— сказал он.— Механик-водитель.

— Водитель чего? — спросил я.

Тут он уставился на меня обоими глазами. Он явно не понимал вопроса.

— Хорошо, оставим это,— поспешно сказал я.— Вы иностранец?

— Очень,— сказал он.— В большой степени.

— Вероятно, швед?

— Вероятно. В большой степени швед.

«Что он, издевается надо мной? — подумал я.— Непохоже. Скорее, у него вид человека, припертого к стене».

Окончание. Начало см. в №№ 9, 10 за 1970 год.

— Зачем вы сюда приехали? — спросил я.
— Здесь есть Олаф Андварафорс.
— Вы ехали к Олафу Андварафорсу?
— Да.
— Попали под обвал?
— Да.
— Ехали на автомобиле?
Он подумал.
— Машина,— сказал он.
— Зачем вам нужен Андварафорс?
— Я имею с ним дело.
— Какое именно?
— Я имею с ним дело,— повторил он.— С ним.
Дверь за моей спиной скрипнула. Я обернулся. На пороге, держа кружку на отлете, стоял Мозес.
— Сюда нельзя,— сказал я резко.
Мозес из-под нависших бровей разглядывал незнакомца. На меня он не обратил никакого внимания. Я вскочил и пошел на него грудью.
— Прошу вас немедленно выйти, господин Мозес!
— Не орите на меня,— неожиданно миролюбиво предложил Мозес.— Могу же я полюбопытствовать, кого вы поселили в моем помещении?..
— Не сейчас, позже...— Я стал постепенно, но настойчиво закрывать дверь.
— Извольте, извольте...— бурчал Мозес, вытесняемый в коридор.— Я, конечно, мог бы протестовать...
Я закрыл дверь и снова повернулся к Луарвику Л. Луарвику.
— Это был Олаф Андварафорс? — спросил Луарвик.
— Нет,— сказал я.— Олаф Андварафорс убит сегодня ночью.
— Убит,— повторил Луарвик. В голосе его не было никаких эмоций. Ни удивления, ни страха, ни горя. Как будто я сообщил ему, что Олаф на минутку вышел и сейчас вернется.— Мертвый? Олаф Андварафорс?
— Да.
— Нет,— сказал Луарвик.— Вы неточно знаете.
— Я знаю совершенно точно. Я видел его мертвым. Сам.
— Я хочу посмотреть.
— Зачем это вам? Я понял так, что вы не знаете его в лицо.
— Я имею с ним дело,— сказал Луарвик.
— Но я же говорю вам: он убит. Умер. Его убили.
— Хорошо. Я хочу посмотреть.
Меня вдруг осенило: я вспомнил про чемодан.
— Он должен был вам что-нибудь передать?
— Нет,— ответил он равнодушно.— Мы должны говорить. Я с ним.
— О чем?
— Я с ним. С ним.

— Слушайте, господин Луарвик,— сказал я,— Олаф Андварафорс мертв. Его убили. Я расследую убийство. Ищу убийцу, понимаете? Мне надо знать как можно больше об Олафе Андварафорсе. Прошу вас быть откровенным. Рано или поздно вам все равно придется рассказать все. Лучше рано, чем поздно.
Он вдруг заполз под одеяло до самого носа. Глаза у него снова глядели в разные стороны.
— Я ничего не могу сказать вам,— невнятно проговорил он сквозь одеяло.
— Почему?
— Я могу сказать только Олафу Андварафорсу.
— Откуда вы ехали? — спросил я.
Он молчал.
— Где вы живете?
Молчание. Тихое посапывание. Один глаз смотрит на меня, другой — в потолок.
— Вы выполняете чье-нибудь поручение?
— Да.
— Чье именно?
— Зачем вы хотите это знать? — спросил он.— Я имею дело не с вами. Вы имеете дело не с нами.
— Прошу вас понять,— сказал я проникновенно.— Если мы узнаем хоть что-нибудь об Олафе, мы узнаем, кто был убийца. Ну, хорошо. Вы, по-видимому, не знаете Олафа. Но те, кто вас к нему послал, они могут что-то знать.
— Они не знают Олафа тоже,— сказал он.
— То есть как?
— Они не знают Олафа. Зачем?
Я потер обросшие щетиной щеки.
— У вас концы с концами не сходятся,— сказал я угрюмо.— Люди, которые не знают Олафа, посылают вас, который тоже не знает Олафа, с каким-то поручением к Олафу. Как это может быть?
— Это может быть. Это так.
— Кто эти люди?
Молчание.
— Где они находятся?
Молчание.
— Господин Луарвик, у вас могут быть большие неприятности!
— Зачем? — спросил он.
— При расследовании убийства каждый добрый гражданин обязан давать полиции требуемые показания,— сказал я строго.— Отказ может быть рассмотрен как соучастие.
— Я хочу надеть одежду,— сказал вдруг Луарвик.— Я не хочу лежать. Я хочу видеть Олафа Андварафорса.
— С какой целью? — спросил я.
— Я хочу его видеть.
— Но вы же не знаете его в лицо.
— Я не хочу его лицо,— сказал Луарвик.
— А что же вам нужно?
Луарвик вылез из-под одеяла и снова сел.
— Я хочу видеть Олафа Андварафорса! — сказал он очень громко. Правый глаз его дергался и вращался.— Зачем вопросы? Зачем вопросы? Очень много вопросов. Почему я не вижу Олафа Андварафорса?
Я тоже потерял терпение.
— Вы хотите опознать труп? Так я вас понимаю?
— Опознать... Узнать?
— Да! Узнать!
— Хочу. Хочу видеть.
— Как вы можете его узнать,— сказал я,— если вы не знаете его в лицо?
— Какое лицо?— заорал Луарвик.— Зачем лицо? Я хочу видеть, что это не есть Олаф Андварафорс, что это есть другой!
— Почему вы думаете, что это другой? — быстро спросил я.
— Почему вы думаете, что это Олаф Андварафорс? — возразил он.

Мы уставились друг на друга. Я был вынужден признать, что этот странный человек в известном смысле прав. Я не мог бы присягнуть, что викинг со свернутой шеей наверху — это тот самый Олаф Андварафорс, которого ищет Луарвик Л. Луарвик. Это мог быть не тот Олаф Андварафорс, и это мог быть вообще не Олаф Андварафорс. С другой стороны, я не понимал, какой толк показывать труп человеку, который не знает Олафа в лицо. В лицо... А действительно, почему обязательно в лицо? Может быть, он должен был узнать его по одежде, или по какому-нибудь перстню... или, скажем, по татуировке...
В дверь постучали, и голос Кайсы пропищал: «Одеваться, пожалуйста...» Я открыл дверь и принял

у Кайсы высушенный и выглаженный костюм незнакомца.

— Одевайтесь,— сказал я, положив костюм на постель.

Потом я встал к окну и принялся смотреть на зубчатую скалу Погибшего Альпиниста, уже озаренную розовым светом восходящего солнца, на бледное пятно луны, на чистую темную синеву неба. За спиной у меня раздавалось шипение, шуршание, невнятное бормотание, почему-то двигали стулом — по-видимому, это нелегкое дело: одеваться при помощи одной руки и при таком косоглазии вдобавок. Дважды меня так и подмывало повернуться и предложить помощь, но я сдержался. Потом Луарвик сказал: «Я надел». Я обернулся. Я удивился. Я очень удивился, но тут же вспомнил, что этот человек пережил ночью, и перестал удивляться. Я подошел к нему, поправил и застегнул воротник, перестегнул пуговицы на пиджаке и пододвинул ему ногой шлепанцы хозяина. Пока я все это делал, он покорно стоял, отставив единственную руку. Пустой правый рукав я засунул ему в карман. Он посмотрел на шлепанцы и сказал с сомнением:

— Это не мое. У меня не так.

— Ваши ботинки еще не высохли,— сказал я.— Обувайте это, и пошли.

Можно было подумать, что он никогда в жизни не имел дела со шлепанцами. Дважды он с размаху пытался загнать в шлепанцы ноги и дважды промахивался, каждый раз теряя при этом равновесие. У него вообще было неважно с равновесием — видно, ему здорово досталось, и он еще далеко не пришел в себя. Я его хорошо понимал: со мной тоже бывало такое...

Рука об руку мы вышли в холл и двинулись на второй этаж. Хозяин, по-прежнему сидевший на своем посту, проводил нас задумчивым взглядом. Луарвик же на хозяина внимания не обратил совсем. Все свое внимание он сосредоточил на ступеньках лестницы. Я на всякий случай придерживал его за локоть.

Перед дверью номера Олафа мы остановились. Я внимательно осмотрел свои наклейки — все было в порядке. Тогда я достал ключ и распахнул дверь. Резкий неприятный запах ударил мне в нос — очень странный запах, похожий на запах дезинфекции. Я задержался на пороге, мне стало не по себе. Впрочем, в комнате все оставалось без изменений. Только лицо мертвеца показалось мне более темным, чем накануне, возможно, из-за освещения, и пятна кровоподтеков были теперь почти не видны. Луарвик довольно чувствительно ткнул меня в поясницу. Я шагнул в прихожую и посторонился, пропуская его посмотреть.

Можно было подумать, что он не механик-водитель, а служитель морга. С совершенно равнодушным лицом он остановился над трупом и низко наклонился, закинув единственную руку за спину. Ни брезг-

ливости, ни страха, ни благоговения—деловитый осмотр. И тем более странными показались мне его слова.

— Я удивлен,— произнес он совершенно бесцветным голосом.—Это есть Олаф Андварафорс на самом деле. Я не понимаю.

— Как вы его узнали? — сейчас же спросил я.

Он, не выпрямляясь, повернул голову и посмотрел на меня. Он стоял, нагнувшись, расставив ноги, глядел на меня снизу вверх и молчал. Это продолжалось так долго, что у меня заныла шея.

Как это он может оставаться в такой нелепой позе? В поясницу ему вступило, что ли?.. Наконец он произнес:

— Вспомнил. Видел раньше. Не знал, что Олаф Андварафорс.

— А где вы его видели раньше? — спросил я.

— Там.— Он, не разгибаясь, махнул рукой куда-то за окно.— Это не есть главное.

Вдруг он разогнулся и заковылял по комнате, смешно вертя головой. Я весь подобрался, не спуская с него глаз. Он явно искал что-то, и я уже догадывался, что именно.

— Олаф Андварафорс умер не здесь? — спросил он, останавливаясь передо мною.

— Почему вы так думаете? — спросил я.

— Я не думаю. Я сделал вопрос.

— Вы что-нибудь ищете?

— Олаф Андварафорс имел предмет,— сказал он.— Где?

— Вы ищете чемодан? —спросил я.—Вы за ним приехали?

— Где он?— повторил Луарвик.

— Чемодан у меня,— сказал я.

— Это хорошо,— похвалил он.— Я хочу его иметь здесь. Принесите.

Я пропустил мимо ушей его тон и сказал:

— Я мог бы отдать вам чемодан, но сначала вы должны ответить на мои вопросы.

— Зачем? — с огромным изумлением спросил он.— Зачем снова вопросы?

— А затем,— терпеливо ответил я,— что вы получите чемодан только в том случае, если из ваших ответов станет ясно, что вы имеете на него право.

— Не понимаю,— сказал он.

— Я не знаю,— сказал я,— ваш это чемодан или нет. Если он ваш, если Олаф привез его для вас, докажите это. Тогда я его вам отдам.

Глаза у него разъехались и снова съехались к переносице.

— Не надо,— сказал он.— Не хочу. Устал. Пойдем.

Несколько озадаченный, я вышел вслед за ним из номера. Воздух в коридоре показался на удивление свежим и чистым. Откуда в номере эта аптечная вонь? Может быть, там и раньше было что-то разлито, только при открытом окне не чувствовалось? Я запер дверь. Пока я ходил к себе за клеем и бумагой и занимался опечатыванием, Луарвик оставался на месте, погруженный, казалось, в глубокую задумчивость.

— Ну что? — спросил я.— Вы будете отвечать на вопросы?

— Нет,— решительно ответил он.— Не хочу вопросов. Хочу лежать. Где можно лежать?

— Ступайте в свою комнату,— вяло сказал я. Мною овладела апатия. Вдруг зверски разболелась голова. Потянуло лечь, расслабиться, закрыть глаза. Все это нелепое, ни на что не похожее, уродливо-бессмысленное дело словно бы воплотилось в нелепом, ни на кого не похожем, уродливо-бессмысленном Луарвике Л. Луарвике.

Мы спустились в холл, и он проковылял к себе в комнату, а я сел в кресло, вытянулся и, наконец, закрыл глаза. Где-то шумело море, играла громкая неразборчивая музыка, приплывали и уплывали какие-то туманные пятна. Во рту было такое ощущение, как будто я много часов подряд жевал сырую вату. Потом кто-то обнюхал мне ухо мокрым носом, и тяжелая голова Леля дружески прижалась к моему колену.

Глава 13

Наверное, мне все-таки удалось вздремнуть минут пятнадцать, а больше дремать мне не дал Лель. Он облизывал мне уши и щеки, теребил штанину, толкался и, наконец, легонько укусил за руку. Тогда я не выдержал и подскочил, готовый разорвать его на куски, бессвязные проклятья и жалобы теснились в моей глотке, но взгляд мой упал на столик, и я замер. На блестящей лакированной поверхности столика рядом с бумагами и счетами хозяина лежал огромный черный пистолет.

Это был парабеллум с удлиненной рукоятью. Он лежал в лужице воды, и комочки нерастаявшего снега еще облепляли его, и пока я смотрел, разинув рот, один комочек сорвался со спускового крючка и упал на поверхность стола. Тогда я оглядел холл. В холле было пусто, только Лель стоял рядом со столиком и, наклонив голову набок, серьезно-вопросительно смотрел на меня. Из кухни доносился звон кастрюль, слышался негромкий басок хозяина и тянуло запахом кофе.

— Это ты принес? — спросил я Леля шепотом.

Он наклонил голову на другой бок и все продолжал смотреть на меня. Лапы у него были в снегу, с лохматого брюха капало. Я осторожно взял пистолет.

Вот это было настоящее гангстерское оружие. Дальность прицельного боя — двести метров, приспособление для установки оптического прицела, рамка для приставного приклада, рычажок перевода на автоматическую стрельбу и прочие удобства... Ствол был забит снегом. Пистолет был холодный, тяжелый, рубчатая рукоять ладно лежала в ладони. Почему-то я вспомнил, что не обыскал Хинкуса. Багаж его обыскал, шубу обыскал, а самого его забыл. Должно быть, потому, что он представлялся мне жертвой.

Я извлек из рукояти обойму — обойма была полна. Я оттянул затвор, и на стол выскочил патрон. Я взял его, чтобы вставить в обойму, и вдруг обратил внимание на странный цвет пули. Она была не желтая и не тускло-серая, как обычно. Она сверкала, как никелированная, только это был не никель, а скорее серебро. Никогда в жизни не видел таких пуль. Я стал торопливо один за другим выщелкивать патроны из обоймы. Все они были с такими же серебряными пулями. Я облизал пересохшие губы и снова посмотрел на Леля.

— Где ты это взял, старик? — спросил я.

Лель игриво мотнул головой и боком скакнул к двери.

— Понятно,— сказал я.— Понимаю. Подожди минутку.

Я собрал патроны в обойму, загнал обойму в рукоять и, на ходу запихивая пистолет в боковой карман, пошел к выходу. За дверью Лель скатился с крыльца и, проваливаясь в снег, поскакал вдоль фасада. Я был почти уверен, что он остановится под окном Олафа, но он не остановился. Он обогнул дом, исчез на секунду и снова появился, нетерпеливо выглядывая из-за угла. Я схватил первые попавшиеся лыжи, кое-как закрепил их на ногах и побежал следом.

Мы обогнули гостиницу, а затем Лель устремился прочь от дома и остановился метрах в пятидесяти. Я подъехал к нему и огляделся. Все это было как-то странно. Я видел ямку в снегу, откуда Лель выкопал пистолет, я видел след своих лыж позади, видел борозды, которые оставил Лель, прыгая через сугробы, а в остальном пелена снега вокруг была нетронута. Это могло означать только одно: пистолет зашвырнули сюда либо с дороги, либо из отеля. И это был хороший бросок. Я не был уверен, что сам сумел бы забросить такую тяжелую и неудобную для броска штуку столь далеко. Потом я понял: пистолет бросили с крыши. Пистолет отобрали у Хинкуса и забросили подальше. Может быть, впрочем, и сам Хинкус забросил его подальше. Может быть, он боялся, что его застукают с этим пистолетом. А может быть, конечно, это сделал и не Хинкус, а кто-то другой... но почти наверняка с крыши. С дороги такой бросок мог сделать разве что хороший гранатометчик, а из окна какого-нибудь номера это сделать и вообще было бы невозможно.

— Что ж, Лель,— сказал я сенбернару,— ты молодец. А я вот нет. Хинкуса надо было трясти поосновательней, как это умеет делать старина Згут. Правда? К счастью, это еще не поздно сделать.

И, не дожидаясь ответа Леля, я побежал обратно. Лель, разбрасывая снег, проваливаясь и размахивая ушами, скакал рядом.

Я намеревался сразу же отправиться к Хинкусу, разбудить этого сукиного сына и вытрясти из него душу, даже если это будет стоить мне выговора в послужном формуляре. Мне было теперь предельно ясно, что дела Олафа и Хинкуса связаны между собой самым непосредственным образом, что Олаф и Хинкус приехали сюда вместе отнюдь не случайно, что Хинкус сидел на крыше, вооружившись дальнобойным пистолетом, только с одной целью: держать под прицелом ближайшие окрестности и не дать кому-то уйти из отеля; что это именно он предупреждал кого-то запиской, подписанной «Ф» (тут он, правда, напутал, и записка попала явно не по адресу — дю Барнстокр не вызывает ни малейших подозрений); что он кому-то здесь страшно мешал и, вероятно, продолжает мешать, и будь я проклят, если я сейчас же не выясню, кому и почему. В этой версии была, конечно, масса противоречий. Если Хинкус, скажем, был телохранителем Олафа и мешал его убийце, то почему с ним, Хинкусом, обошлись так мягко? Почему ему тоже не свернули шею? Да! И надо выяснить, кому он посылал телеграмму. Я все время упускаю это из виду...

Хозяин окликнул меня из буфетной и, не говоря больше ни слова, предложил кружку горячего кофе и громадный сочный бутерброд с ветчиной. Это было как раз то, что нужно. Пока я жевал и глотал, он внимательно разглядывал меня прищуренными глазами и наконец спросил:

— Что-нибудь новенькое?

Я кивнул, проглотил и ответил:

— Да. Пистолет. Только не я, а Лель. А я идиот.

— Гм... Да. Лель — умная собака. А что за пистолет?

— Интересный пистолет,— сказал я.— Профессиональный... Между прочим, вы слыхали когда-нибудь, чтобы пистолеты заряжались серебряными пулями?

Некоторое время хозяин молчал, выпячивая челюсть.

— Этот ваш пистолет заряжен серебряными пулями? — медленно произнес он. Я кивнул.— М-да, я читал об этом...— сказал хозяин.— Оружие заряжается серебряными пулями, когда человек собирается стрелять по призракам.

— Опять зомбизм-момбизм,— проворчал я.

— Да, опять. Вурдалака не убьешь обычной пулей. Вервольф... лисица-кицунэ... жабья королева... Я вас предупреждал, Петер! — Он поднял толстый палец.— Я уже давно жду чего-нибудь вроде этого. А теперь, оказывается, что не только я...

Я дожевал бутерброд и допил кофе. Нельзя сказать, что слова хозяина так уж совсем не задели меня. Почему-то все время так получалось, что версия хозяина — единственная и безумная — все время находила подтверждение, а все мои версии — многочис-

ленные и реалистические —нет... Вурдалаки, призраки, привидения... Тут вся беда была в том, что тогда мне осталось бы только сложить оружие: как сказал один писатель, потусторонний мир— это ведомство церкви, а не полиции...

— Вы узнали, чей это пистолет? — спросил хозяин.

— Да есть тут у нас один охотник за вурдалаками, Хинкус его фамилия,— сказал я и вышел.

Посреди холла, весь какой-то корявый и неестественный, торчал покосившимся столбом господин Луарвик Л. Луарвик. Одним глазом он смотрел на меня, а другим — на лестницу. Пиджак сидел на нем как-то особенно криво, брюки сползли, пустой рукав болтался и имел такой вид, словно его жевала корова. Я кивнул ему и хотел пройти мимо, но он быстро заковылял мне навстречу и загородил дорогу.

— Один небольшой, но важный разговор,— объявил он.

— Я занят. Давайте через полчаса.

Он поймал меня за локоть.

— Очень прошу выделить несколько минут. Это важно для меня.

— Это важно для вас...— повторил я, продолжая продвигаться к лестнице.— Если это важно только для вас, то для меня это не важно совсем.

Он тащился за мной, как привязанный, как-то странно ставя ноги: одну — носком наружу, другую — носком внутрь.

— Для вас тоже важно,— сказал он.— Вы будете довольны. Вы получите все желаемое.

Мы уже поднимались по лестнице.

— А в чем, собственно, дело? — спросил я.

— Это дело относительно чемодана.

— Через полчаса,— сказал я.— И отпустите меня, пожалуйста, вы мне мешаете.

— Да,— согласился он.— Мешаю. Я хочу мешать. Мой разговор срочный.

— Какая там срочность,— возразил я.— Успеется. Через полчаса. Или, скажем, через час.

— Нет-нет, очень прошу вас немедленно. Многое зависит. И это быстро. Я — вам, вы — мне. Все.

Мы были уже в коридоре второго этажа, и я сжалился.

— Хорошо, пойдемте ко мне. Только давайте побыстрее.

— Да-да, это будет быстро.

Я привел его в свой номер и, присев на край оскверненного стола, сказал:

— Выкладывайте.

Но он начал не сразу. Сначала он огляделся, надеясь, вероятно, что чемодан лежит где-нибудь здесь, на виду.

— Нету здесь чемодана,— сказал я.— Давайте скорее.

— Тогда я сяду,— сказал он и сел в мое кресло.— Мне очень нужен чемодан. Что вы хотите за?

— Ничего не хочу. Докажите, что вы имеете на него права, и он ваш.

Луарвик Л. Луарвик покачал головой и сказал:

— Нет. Чемодан не мой. Мне было приказано найти Олафа и сказать ему: «Отдай то, что взял. Комендант двести двадцать четыре». Я не знаю, что это значит. Не знал, что он взял. И потом, вы все время говорите: чемодан. Это меня обмануло. Не чемодан. Футляр. Внутри — прибор. Раньше я не знал. Когда увидел Олафа, догадался. Теперь я знаю: Олаф не убит. Олаф умер. От прибора. Прибор очень опасный. Угроза для всех. Все будут, как Олаф, или может быть взрыв. Тогда все будут еще хуже. Понимаете, почему надо быстро? Олаф — дурак, он умер. Мы умные, мы не умрем. Скорее давайте чемодан.

Все это он протараторил своим бесцветным голосом, глядя на меня по очереди то правым, то левым глазом и немилосердно теребя пустой рукав. Лицо его оставалось неподвижным, только время от времени поднимались и опускались реденькие брови. Я смотрел на него и думал, что манеры и грамматика у него остались прежние, а вот запас слов за последние полчаса основательно увеличился. Разговорился Луарвик.

— Кто вы такой? — спросил я.

— Я эмигрант. Изгнанник. Жертва политики.

Да, разговорился Луарвик. И откуда что берется!

— Эмигрант откуда? — спросил я.

— Не надо таких вопросов. Не могу сказать. Честь. Никакого вреда вашей стране.

— Откуда вы сюда приехали? Из какого города?

— Из города рядом. Не знаю названия. Меня проводили.

— Кто?

— Не знаю. Секретно. Тоже изгнанники.

— Вы хотите сказать, что вы член тайного общества?

— Не могу сказать. Честь. Надо скорее. Можно погибнуть.

Чем больше он меня торопил, тем меньше я был склонен спешить. Мне все было ясно: он врал и врал страшно неумело.

— На чем вы ехали сюда? — спросил я.

— Машина.

— Какой марки?

— Марки... Черный, большой.

— Вы не знаете марки своего автомобиля?

— Не знаю, он не мой.

— Но вы же механик,— сказал я со злорадством.— Какой же вы, к черту, механик, да еще водитель, если вы не разбираетесь в автомобилях?

— Дайте мне чемодан, иначе будет несчастье.

— А что вы будете делать с этим чемоданом?

— Быстро увезу.

— Куда? Вы же знаете, лавина завалила дорогу.

— Это все равно. Увезу подальше. Попробую разрядить. Если не сумею, убегу. Пусть лежит сам.

— Хорошо,— сказал я и соскочил со стола.— Поехали.

— Как?

— На моей машине. У меня хорошая машина. Возьмем чемодан, отвезем подальше, посмотрим.

Он не двинулся с места.

— Чего же вы сидите? — спросил я.— Ведь опасно, надо скорее...

— Не годится,— сказал он наконец.— Попробуем по-другому. Не хотите отдать чемодан, тогда продайте чемодан. А?

— То есть? — сказал я, снова присаживаясь на край стола.

— Я даю деньги, много денег. Вы не на работе, вы в отпуске. Вы нашли чемодан, я его купил. Все.

— И сколько же вы мне дадите? — спросил я.

— Много. Сколько хотите. Вот.

Он полез за пазуху и вытащил толстенную пачку банкнот. В натуре я видел такие пачки только один раз — в Государственном банке, когда вел там дело о подлоге.

— Сколько здесь? — спросил я.

— Мало? Тогда еще вот.

Он полез в боковой карман и вытащил еще одну такую же пачку и тоже бросил ее на стол рядом со мной.

— Сколько здесь денег? — спросил я.

— Какая разница? — удивился он.— Все ваше.

— Очень большая разница. Вы знаете, сколько здесь денег?

Он молчал, глаза его то разъезжались, то съезжались.

— Так. Не знаете. А где вы их взяли?

— Это мои.

— Бросьте, Луарвик. Кто вам их дал? Вы же явились сюда с пустыми карманами. Мозес, больше некому. Так?

— Вы не хотите деньги?

— Вот что,—сказал я.— Эти деньги я конфискую, а вас привлекаю за попытку подкупа должностного лица. Вы вляпались в очень нехорошую историю, Луарвик. Вам остается одно: говорить все начистоту. Кто вы такой?

— Вы взяли деньги? — осведомился Луарвик.

— Я их конфисковал.

— Конфисковал... Хорошо,— сказал он.— А где чемодан?

— Вы не понимаете, что такое «конфисковал»? — спросил я.— Спросите у Мозеса... Итак, кто вы такой?

Не говоря ни слова, он встал и направился к двери. Я сгреб деньги и пошел за ним следом. Мы прошли по коридору и стали спускаться по лестнице.

— Вы напрасно не отдаете чемодан,— сказал Луарвик.— Это не будет вам полезно.

— Не угрожайте,— напомнил я.

— Вы будете причиной большого несчастья.

— Хватит врать,— сказал я.— Не хотите говорить правду — дело ваше. Но вы уже влипли по уши, Луарвик, и утянули за собой Мозеса. Теперь вы легко не отделаетесь... Стоп! Не туда. Идите за мной.

Я взял его за пустой рукав и отвел в контору. Потом я позвал хозяина, в его присутствии пересчитал деньги и написал акт. Хозяин тоже пересчитал деньги — денег оказалось больше восьмидесяти тысяч, мое жалованье за десять лет беспорочной службы,— и подписал акт. Все это время Луарвик стоял поодаль, неуклюже переминаясь с ноги на ногу, как человек, которому хочется уйти как можно скорее.

— Подпишите,— сказал я, протягивая ему ручку.

Он взял ручку, внимательно оглядел ее и осторожно положил на стол.

— Нет,— сказал он.— Я пойду.

— Как хотите,— сказал я.— Ваше положение это не изменит.

Он сейчас же повернулся и вышел, задев плечом за косяк. Мы с хозяином посмотрели друг на друга.

— Зачем он хотел вас подкупить? — спросил хозяин.— Что ему было надо?

— Чемодан Олафа, который стоит у вас в сейфе...— Я достал ключ и открыл сейф.— Вот этот вот.

— Он стоит восемьдесят тысяч? — спросил хозяин с уважением.

— Он стоит, наверное, гораздо больше. Тут какая-то темная история, Алек.— Я сложил деньги в сейф, снова запер тяжелую дверцу, а акт положил в карман.

Хозяин поднял было толстый палец, чтобы что-то сказать, но раздумал. Вместо этого он энергично потер толстый подбородок, гаркнул: «Кайса!» — и вышел. Я остался сидеть за конторкой. Я принялся вспоминать. Я тщательно перебирал в памяти самые мелкие подробности, самые незначительные происшествия, свидетелем которых я был в этом отеле. Выяснилось, что запомнил я довольно много.

Оказывается, я помнил, что при первой нашей встрече Симонэ был одет в серый костюм, а на вчерашней вечеринке он был в бордовом, и запонки у него были с желтыми камешками. Я помнил, что, когда Брюн клянчила у своего дяди сигареты, он всегда доставал их из-за правого уха. Я помнил, что у Кайсы есть маленькая черная родинка на правой ноздре; что дю Барнстокр, орудуя вилкой, всегда отставляет мизинец; что ключ моего номера похож на ключ от номера Олафа; и еще много подобной же дребедени. Во всей этой навозной куче я обнаружил только две жемчужины. Во-первых, я вспомнил, как позавчера вечером Олаф, весь в снегу, стоял посередине холла со своим черным чемоданом и оглядывался, словно ожидал, что его встретят, и как он посмотрел мимо меня на закрытый портьерой вход на половину Мозесов, и как мне показалось, что портьера колышется, надо полагать, от сквозняка. Во-вторых, я вспомнил, что, когда я стоял в очереди у душа, сверху спустились рука об руку Олаф и Мозес...

Все это упорно наводило меня на мысль, что Олаф, Мозес, а теперь и Луарвик — все это одна компания, причем эта компания не стремилась афишировать, что она одна компания. И если вспомнить, что я обнаружил Мозеса в номере-музее рядом со своим номером за пять минут до того, как нашел у себя на загаженном столе записку насчет гангстера и маньяка; и если вспомнить, что золотые часы Мозеса были подброшены — явно подброшены, а потом снова изъяты — в баул Хинкуса... и если вспомнить, что госпожа Мозес была единственным человеком, не считая, может быть, Кайсы, который отсутствовал в зале именно тогда, когда Хинкуса скрутили в бараний рог и засунули под стол... если вспомнить все это, то картина получается прелюбопытная.

В эту картину неплохо укладывается и заявление Хинкуса о том, что один из его баулов ловко превратили в фальшь-багаж, и то обстоятельство, что госпожа Мозес была единственным человеком, который видел двойника Хинкуса в лицо.

Конечно, в картине оставалось еще много белых и совершенно непонятных пятен. Но по крайней мере теперь была ясна расстановка сил: Хинкус, с одной стороны, а Мозесы, Олаф и Луарвик — с другой. И тут мне пришло в голову, что я, пожалуй, напрасно держу Хинкуса взаперти. Мозес, небось, думает, что Хинкус до сих пор валяется под столом. Посмотрим, как он себя поведет, когда Хинкус вдруг объявится в столовой за завтраком... О том, кто и как скрутил Хинкуса, о том, кто и как убил Олафа, я решил пока не думать. Я смял свои заметки, положил в пепельницу и поджег.

— Кушать, пожалуйста...— пропищала где-то наверху Кайса.— Кушать, пожалуйста...

Глава 14

Хинкус уже поднялся. Он стоял посредине комнаты со спущенными подтяжками и вытирал лицо большим полотенцем.

— Доброе утро,— сказал я.— Как вы себя чувствуете?

Он настороженно глядел на меня исподлобья, лицо его несколько опухло, но в общем он выглядел вполне прилично. Ничего в нем не осталось от того сумасшедшего, затравленного хорька, каким я видел его несколько часов назад.

— Более или менее,— буркнул он.— Чего это меня здесь заперли?

— У вас был нервный припадок,— объяснил я. Лицо у него немного перекосилось.— Ничего страшного. Хозяин сделал вам укол и запер, чтобы вас никто не беспокоил. Завтракать пойдете?

— Пойду,— сказал он.— Позавтракаю и смотаюсь отсюда к чертовой матери. И задаток отберу. Тоже мне — отдых в горах... — Он скомкал и отшвырнул полотенце.— Еще один такой отдых, и свихнешься к чертовой матери. Без всякого туберкулеза...

— Да,— сказал я.— Не повезло вам. Можно только посочувствовать... Ну, мы еще поговорим об этом.

Я повернулся и пошел к двери.

— Нечего мне об этом разговаривать! — со злостью крикнул он мне вслед.

В столовой еще никого не было. Кайса расставляла тарелки с сандвичами. Я поздоровался с нею, отнаблюдал серию ужимок, выслушал серию хихиканий и выбрал себе новое место — спиной к буфету и лицом к двери, рядом со стулом дю Барнстокра. Едва я уселся, как вошел Симонэ — в толстом пестром свитере, свежевыбритый, с красными припухшими глазами.

— Ну и ночка, инспектор,— сказал он.— Я и пяти часов не спал. Нервы разгулялись. Все время кажется, будто тянет мертвечинкой. Аптечный такой запах, знаете ли, вроде формалина...— Он сел, выбрал сандвич, потом посмотрел на меня.— Нашли? — спросил он.

— Смотря что,— ответил я.

— Ага,— сказал он и неуверенно хохотнул.— Вид у вас неважный.

— У каждого тот вид, которого он достоин,— отозвался я, и в ту же секунду вошли Барнстокры. Эти были как огурчики. Дядюшка щеголял астрой в петлице, благородные седые кудри пушисто серебрились вокруг лысой маковки, а Брюн была по-прежнему в очках, и нос у нее был по-прежнему нахально задран. Дядюшка, потирая руки, двинулся к своему месту, искательно поглядывая на меня.

— Доброе утро, инспектор,— нежно пропел он.— Какая ужасная ночь! Доброе утро, господин Симонэ. Не правда ли?

— Привет,— буркнуло чадо.

— Коньяку бы выпить,— сказал Симонэ с какой-то тоской.— Но ведь неприлично, а? Или ничего?..

— А как наши дела, дорогой инспектор? — искательно спросил дю Барнстокр.

— Следствие напало на след,— сообщил я.— В руках у полиции ключ. Много ключей. Целая связка.

Симонэ снова загоготал было и сразу сделал серьезное лицо.

— Вероятно, нам придется провести весь день в доме,— сказал дю Барнстокр.— Выходить, вероятно, не разрешается...

— Почему же? — возразил я.— Сколько угодно. И чем больше, тем лучше.

— Удрать все равно не удастся,— добавил Симонэ.— Обвал. Я бы, конечно, мог удрать через скалы...

— Но? — спросил я.

— Во-первых, из-за этого снега мне не добраться до скал. А во-вторых, что я там буду делать?.. Послушайте, господа,— сказал он.— Давайте прогуляемся по дороге, посмотрим, как там в Бутылочном Горлышке...

— Вы не возражаете, инспектор? — осведомился дю Барнстокр.

— Нет,— сказал я, и тут вошли Мозесы. Они тоже были как огурчики. То есть мадам была как огурчик... как персик... как ясное солнышко. Что касается Мозеса, то эта старая брюква так и осталась старой брюквой. Прихлебывая на ходу из кружки и не здороваясь, он добрался до своего стула, плюхнулся на сиденье и строго посмотрел на сандвичи перед собой.

— Доброе утро, господа! — хрустальным голоском произнесла госпожа Мозес.

Я покосился на Симонэ. Симонэ косился на госпожу Мозес. В глазах его было какое-то недоверие. Потом он судорожно передернул плечами и схватился за кофе.

— Прелестное утро,— продолжала госпожа Мозес.— Так тепло, солнечно! Бедный Олаф, он не дожил до этого утра!

— Все там будем,— провозгласил вдруг Мозес хрипло.

— Аминь,— вежливо закончил дю Барнстокр.

Я покосился на Брюн. Девочка сидела, нахохлившись, уткнувшись носом в чашку. Дверь снова отворилась, и появился Луарвик Л. Луарвик в сопровождении хозяина. На лице хозяина имела место скорбная улыбка.

— Доброе утро, господа,— произнес он.— Позвольте представить вам господина Луарвика Луарвика, прибывшего к нам сегодня ночью. По дороге его постигла катастрофа, и мы, конечно, не откажем ему в гостеприимстве.

Судя по виду господина Луарвика Л. Луарвика, катастрофа была чудовищной, и он очень нуждался в гостеприимстве. Хозяин был вынужден взять его за локоть и буквально впихнуть на мое старое место рядом с Симонэ.

— Очень приятно, Луарвик! — прохрипел господин Мозес.— Здесь все свои, Луарвик, будьте как дома.

— Да,— сказал Луарвик, глядя одним глазом на меня, а другим — на Симонэ.— Прекрасная погода. Совсем зима...

— Это все чепуха, Луарвик,— сказал Мозес.— Поменьше разговаривайте, побольше ешьте. У вас истощенный вид... Симонэ, напомните-ка, что там было с этим метрдотелем? Кажется, он съел чье-то филе...

И тут наконец появился Хинкус. Он вошел и сразу остановился. Симонэ пустился вновь рассказывать про метрдотеля, и, пока он объяснял, что названный метрдотель не ел никакого филе, а все было наоборот, Хинкус стоял на пороге, а я смотрел на него, стараясь при этом не упускать из виду и Мозесов. Я смотрел и ничего не понимал. Госпожа Мозес кушала сливки с сухариками и восхищенно слушала унылого шалуна. Господин Мозес, правда, покосился на Хинкуса, но с полнейшим равнодушием и сразу же снова обратился к своей кружке. А вот Хинкус с лицом своим совладать не сумел.

Сначала вид у него сделался совершенно обалделый, как будто его ударили бревном по голове. Затем на лице явственно проступила радость, исступленная какая-то, он даже заулыбался вдруг совершенно по-детски. А потом злобно оскалился и шагнул вперед, сжимая кулаки. Но смотрел он, к моему величайшему удивлению, не на Мозесов. Он смотрел на Барнстокров: сначала в полнейшем обалдении, потом с облегчением и радостью, а потом со злобой и с каким-то злорадством. Тут он перехватил мой взгляд, расслабился и, потупившись, направился к своему месту.

— Как вы себя чувствуете, господин Хинкус? — участливо наклоняясь вперед, осведомился дю Барнстокр.— Здешний воздух...

Хинкус вскинул на него бешеные желтые глазки.

— Я-то себя ничего чувствую,— ответствовал он, усаживаясь.— А вот каково вы себя чувствуете?

Дю Барнстокр в изумлении откинулся на спинку стула.

— Я? Благодарю вас...— Он посмотрел сначала на меня, потом на Брюн.— Может быть, я как-то задел, затронул...

— Не выгорело дельце! — продолжал Хинкус, с остервенением запихивая себе за воротник салфетку.— Сорвалось, а, старина?

Дю Барнстокр был в совершенном смущении. Разговоры за столом прекратились, все смотрели на него и на Хинкуса.

— Право же, я боюсь...— Старый фокусник явно не знал, как себя вести.— Я имел в виду исключительно...

— Ладно, ладно, замнем для ясности,— ответствовал Хинкус. Он обеими руками взял большой сандвич, краем заправил его в рот, откусил и, ни на кого не глядя, принялся вовсю работать челюстями.

— А хамить-то не надо бы! — сказала вдруг Брюн.

Хинкус коротко глянул на нее и сейчас же отвел взгляд.

— Брюн, дитя мое...— сказал дю Барнстокр.

— Р-распетушился! — сказала Брюн, постукивая ножом о тарелку.— Пьянствовать меньше надо...

— Господа, господа! — сказал хозяин.— Все это пустяки!

— Не беспокойтесь, Сневар,— поспешно сказал дю Барнстокр.— Это — какое-то маленькое недоразумение... Нервы напряжены...

— Понятно, что я говорю? — грозно спросила Брюн, наставив на Хинкуса черные окуляры.

— Господа! — решительно вмешался хозяин.— Господа, я прошу внимания! Я не буду говорить о трагических событиях этой ночи. Я понимаю, да, нервы напряжены. Но, с одной стороны, расследование судьбы несчастного Олафа Андварафорса находится сейчас в надежных руках инспектора Глебски. С другой стороны, нас вовсе не должно излишне нервировать то обстоятельство, что мы оказались временно отрезаны от внешнего мира...

Хинкус перестал жевать и поднял голову.

— Наши погреба полны, господа! — торжественно продолжал хозяин.— И я убежден, что когда через несколько дней спасательная партия прорвется к нам через обвал...

— Какой такой обвал? — громко спросил Хинкус, обводя всех круглыми глазами.— Что за чертовщина?

— Да, простите,— сказал хозяин, поднеся ладонь ко лбу.— Я совсем забыл, что некоторые гости... Дело в том, что вчера в десять часов вечера снежная лавина завалила Бутылочное Горлышко и разрушила телефонную связь...

За столом воцарилось молчание. Все жевали, глядя в тарелки. Хинкус сидел, отвесив нижнюю губу,— вид у него опять был ошарашенный. Луарвик Л. Луарвик меланхолично жевал лимон, откусывая от него куски вместе с кожурой. По узкому подбородку его стекал на пиджак желтоватый сок. У меня свело скулы, я отхлебнул кофе и объявил:

— Имею добавить следующее. Две небольшие банды каких-то мерзавцев избрали этот отель местом сведения своих личных счетов. Я предлагаю этим лицам прекратить всякую деятельность, дабы не ухудшать и без того безнадежное свое положение. Я напоминаю, что наша отрезанность от внешнего мира является лишь относительной. Кое-кто из присутствующих уже знает, что два часа назад я воспользовался любезностью господина Сневара и отправил с почтовым голубем донесение в Мюр. Теперь я с часу на час ожидаю полицейский вертолет, а потому напоминаю лицам, замешанным в преступлении, что своевременное признание и раскаяние могут значительно улучшить их участь. Благодарю за внимание, господа.

— Как интересно! — восхищенно воскликнула госпожа Мозес.— Значит, среди нас есть бандиты? Ах, инспектор, ну хотя бы намекните! Мы поймем!

Я покосился на хозяина. Алек Сневар, повернувшись к гостям обширной спиной, старательно перетирал рюмки, стоящие на буфете.

Разговор не возобновился. Тихонько звякали ложечки в стаканах да шумно сопел над своей кружкой господин Мозес, сверля глазами каждого по очереди. Никто не выдал себя, но всем, кому пора было подумать о своей судьбе, думали. Я запустил в этот курятник хорошего хорька, и теперь надо было ожидать событий.

Первым поднялся дю Барнстокр.

— Дамы и господа! — сказал он.— Я призываю всех добрых граждан встать на лыжи и отправиться в небольшую прогулку. Солнце, свежий воздух, снег и чистая совесть да будут нам опорой и успокоением. Брюн, дитя мое, пойдемте.

Задвигались стулья, гости один за другим вставали из-за стола и покидали зал. Симонэ предложил руку госпоже Мозес — очевидно, все его ночные впечатления в значительной степени развеялись под действием солнечного утра и жажды чувственных удовольствий. Господин Мозес извлек из-за стола Луарвика Л. Луарвика, поставил его на ноги, и тот, меланхолично дожевывая лимон, потащился за ним, заплетаясь башмаками.

За столом остался только Хинкус. Он сосредоточенно ел, словно намеревался заправиться надолго, впрок. Кайса собирала посуду, хозяин помогал ей.

— Ну что, Хинкус? — сказал я.— Поговорим?

— Это насчет чего? — угрюмо проворчал он, поедая яйцо с перцем.

— Да насчет всего,— сказал я.

— Не о чем нам говорить,— сказал Хинкус мрачно.— Ничего я по этому делу не знаю.

— По какому делу? — спросил я.

— Про убийство! По какому еще?..

— Есть еще дело Хинкуса,— сказал я.

Он ничего не ответил. Дожевал яйцо, проглотил, утерся салфеткой и поднялся.

— Алек,— сказал я хозяину.— Будьте добры, спуститесь вниз и посидите в холле, где вы вчера сидели, понимаете?

— Понимаю,— сказал хозяин.— Будет сделано.

Он торопливо вытер руки полотенцем и вышел. Я распахнул дверь в бильярдную и пропустил Хинкуса вперед. Он вошел и остановился на ярких солнечных квадратах, засунув руки в карманы и жуя спичку. Я взял у стены один из стульев, поставил на самое солнце и сказал: «Сядьте». Помедлив секунду, Хинкус сел и сразу сощурился; солнце било ему в лицо.

— Полицейские штучки...— проворчал он с горечью.

— Служба такая,— сказал я и присел перед ним на край бильярда в тени.— Ну, Хинкус, что там у вас произошло с Барнстокром?

— С каким еще Барнстокром? Что у нас может произойти? Ничего у нас не произошло.

— Записку угрожающую вы ему писали?

— Никаких записок я не писал. А вот жалобу я напишу. За истязание больного человека...

— Слушайте, Хинкус. Через час-другой прилетит полиция. Прилетят эксперты. Записка ваша у меня в кармане. Определить, что писали ее вы, ничего не стоит. Зачем же вы запираетесь?

Он быстрым движением перебросил изжеванную спичку из одного угла рта в другой. В зале гремела тарелками Кайса, напевая что-то тонким фальшивым голоском.

— Ничего не знаю про записку,— сказал наконец Хинкус.

— Хватит врать, Филин! — гаркнул я.— Мне все о тебе известно! Ты влип, Филин. И если ты хочешь отделаться семьдесят второй, тяни на пункт «ц»! Чистосердечное признание до начала официального следствия... Ну?

Он выплюнул изжеванную спичку, поколался в карманах и вытащил мятую пачку сигарет. Затем он поднес пачку ко рту, губами вытянул сигарету и задумался.

— Ну? — повторил я.

— Путаете вы что-то,— ответил Хинкус.— Филин какой-то... Я не Филин, я Хинкус.

Я соскочил с бильярда и сунул ему под нос пистолет.

— А это узнаешь? А? Твоя машинка? Говори!

— Ничего не знаю,— угрюмо сказал он.— Чего вы ко мне привязались?

Я вернулся на стол, положил пистолет рядом с собой на сукно и закурил.

— Думай, думай,— сказал я.— Быстрее думай, а то поздно будет. Ребята твои не поспели, потому что случился обвал. А полиция здесь будет часа через два, самое большее. Понял, какая картина?

В дверь просунулась Кайса и пропищала:

— Подать чего-нибудь? Угодно?

— Идите, идите, Кайса,— сказал я.— Ступайте.

Хинкус молчал, сосредоточенно шаря в кармане, потом извлек коробок спичек и закурил. Солнце пекло его. На лице выступил пот.

— Маху ты дал, Филин,— сказал я.— Перепутал божий дар с яичницей. Чего ты привязался к Барнстокру? Разве его приказали тебе держать на мушке? Мозеса! Мозеса надо было держать! Олух ты царя небесного, я бы тебя в дворники не взял, не то что такое поручение давать... И твоя шпана тебе это еще припомнит. Так что теперь, Филин...

Он не дал мне закончить поучение. Я сидел на краю бильярда, свесив одну ногу, а другой упираясь в пол, покуривал себе и при этом, дурак этакий, самодовольно разглядывал струйки дыма в солнечном луче. А Хинкус сидел на стуле в двух шагах от меня, и он вдруг наклонился вперед, поймал меня за свисающую ногу, изо всех сил дернул на себя и круто повернул. Недооценил я Хинкуса, прямо скажем, недооценил. Меня снесло с бильярда, и я всеми своими девяноста килограммами, плашмя, мордой, животом, коленями грянулся об пол.

О том, что случилось дальше, я могу только догадываться. Коротко говоря, примерно через минуту я пришел в себя окончательно и обнаружил, что сижу на полу, прислонясь к бильярду, подбородок у меня разбит, два зуба шатаются, со лба на глаза течет кровь, а правое плечо ломит совершенно невыносимо. Хинкус валялся тут же неподалеку, скорчившись и обхватив руками голову, а над ним, как Георгий победоносец над поверженным змеем, возвышался осклабившийся героический Симонэ, держа в руке обломок самого длинного и самого тяжелого кия. Я утер кровь со лба и поднялся. Меня пошатывало. Хотелось лечь в тень и забыться. Симонэ нагнулся, поднял с пола пистолет и подал его мне.

— Вам повезло, инспектор,— сказал он, сияя.— Еще секунда, и он проломил бы вам голову. Куда вам попало? По плечу?

Я кивнул. У меня перехватило дыхание, и говорить я не мог.

— Подождите-ка,— сказал Симонэ и выскочил в столовую, бросив на бильярд обломок кия.

Я обошел стол и присел в тени так, чтобы видеть Хинкуса. Хинкус все еще лежал неподвижно. Экий дьявол, а ведь посмотришь на него — соплей перешибить можно... Да, джентльмены, это настоящий гангстер, в лучших чикагских традициях. И откуда только они берутся в нашей добропорядочной стране? И подумать только — ведь у Згута такой же оклад, как у меня. Да его озолотить надо!.. Я достал из кармана платок и осторожно промокнул ссадину на лбу.

Хинкус застонал, заворочался и попытался сесть. Он все держался за голову. Симонэ вернулся с графином воды. Я взял у него графин, кое-как добрался до Хинкуса и полил ему на лицо. Хинкус зарычал и оторвал одну руку от макушки. Физиономия у него опять была зеленоватая, но теперь это объяснялось естественными причинами. Симонэ присел на корточки рядом с ним.

— Надеюсь, я не перестарался? — озабоченно сказал он.

— Ничего, старина, все будет в порядке...— Я поднял руку, чтобы похлопать его по плечу, и застонал от боли.— Сейчас я его возьму в оборот.

— Мне уйти? — спросил Симонэ.

— Нет уж, вы лучше останьтесь. А то как бы он не взял в оборот меня. Принесите еще воды... на случай обмороков...

— И бренди! — с энтузиазмом сказал Симонэ.

— Правильно,— сказал я.— Мы его живо приведем в порядок.

Симонэ принес еще воды и бутылку коньяка. Я разжал Хинкусу рот и влил в него полстакана чистого. Еще полстакана чистого выпил я сам. Симонэ, запасшийся третьим стаканом, выпил с нами за компанию. Потом мы оттащили Хинкуса к стене, прислонили его спиной, я снова облил его из графина и два раза ударил по щекам. Он открыл глаза и громко задышал.

— Еще коньяку? — спросил я.

— Да...— сипло выдохнул он.

Я дал ему еще коньяку. Он облизнулся и решительно произнес:

— Что вы там говорили насчет семьдесят второй «ц»?

— Там видно будет,— сказал я.

Он помотал головой и сморщился.

— Нет, так не пойдет. Мне бессрочная и так обеспечена.

— Под розыск? — сказал я.

— В точности так. У меня теперь только один интерес: уклониться от галстука. И, между прочим, все шансы у меня есть — к Олафу я отношения не имею, сами знаете, а тогда что остается? Незаконное ношение оружия? Ерунда, это еще доказать надо, что я его носил...

— А нападение на инспектора полиции?

— Так об этом и речь!—сказал Хинкус, осторожно ощупывая макушку.— По-моему, так никакого нападения и не было, а было одно только сплошное чистосердечное признание до начала официального следствия. Как ваше мнение, шеф?

— Признания пока еще не было,— напомнил я.

— Сейчас будет,— сказал Хинкус.— Но вот в присутствии этого физика-химика обещаете, шеф? Семьдесят вторую «ц» — обещаете?

— Ладно,— сказал я.—Для начала будем считать, что имела место драка на личной почве в состоянии опьянения. То есть это ты был в состоянии опьянения, а я тебя урезонивал.

Симонэ заржал.

— А я что? — спросил он.

— А вы помогли мне справиться... Ладно, хватит болтать. Рассказывай, Филин. И смотри, если ты хоть слово соврешь. Ты мне два зуба расшатал, сволочь!

— Значит, так,— начал Хинкус.— Меня намылил сюда Чемпион. Слыхали про Чемпиона? Еще бы не слыхать...

Вот оно как. Чемпион. Я даже глаза зажмурил — так мне вдруг захотелось оказаться где-нибудь за сотню миль отсюда, например, у себя в кабинете, пропахшем сургучом, или у себя в столовой с выцветшими голубыми обоями. И что мне дома не сиделось? Раззавидовался на россказни старого осла Згута — природа, мол, покой, эдельвейсовая настойка... Насладился покоем. Чемпион — ведь это наверняка «Голубая свастика», а «Голубая свастика» — это

почти наверняка белоглазый сенатор. Смутное время, странное время. Нипочем нынче не разберешь, где политика, где уголовщина, где правительство. Ну что тут делать честному полицейскому? Ладно, пусть честный полицейский делает дело.

— Так вот,— продолжал Хинкус.— Год назад пригребся к нам в компанию один тип. Как он к нам заехал, я не знаю, и настоящего имени я тоже не знаю. Звали его у нас Вельзевулом. Работал он самые трудные и неподъемные дела. Например, он работал Второй Национальный банк, помните это дельце? Или, скажем, задрал он броневик с золотыми слитками — это вы опять же должны помнить, шеф... В общем, работал Вельзевул красиво, чисто, но вдруг решил он завязать. Почему — не знаю, но Вельзевул наш рванул когти. И нас намылили, кого куда, ему наперехват. Засечь его, взять на мушку и свистнуть Чемпиону... Вот я его и засек, и тут все мое чистосердечное признание.

— Так,— сказал я.— Ну, и кто у нас здесь Вельзевул?

— Тут я, точно, дал маху, шеф. Это вы мне глаза открыли, а я-то грешил на этого фокусника, на Барнстокра. Во-первых, вижу — магические штучки, разные фокусы. А во-вторых, подумал: если Вельзевул захочет под кого-нибудь замаскироваться, то под кого? Чтобы без лишнего шума... Ясно — под фокусника!

— Что-то ты тут путаешь,— сказал я.— Фокусы ладно. Но ведь Барнстокр и Мозес — это небо и земля. Один — тощий, длинный, другой — толстый, приземистый...

Хинкус махнул рукой.

— Я его в разных видах видел — и толстым и тонким. Никто не знает, какой вид у него натуральный... Это бы вам надо понять, шеф. Вельзевул — он ведь не простой человек. У него власть над нечистой силой...

— Понес, понес,— сказал я предостерегающе.

— Правильно,— согласился Хинкус.— Конечно, никто не поверит, кто сам не видел... А вот, например, баба его, с которой он разъезжает — кто это, по-вашему, шеф? Я ведь своими глазами видел, как она сейф вывоpотила и несла по карнизу. Под мышкой несла. Была она тогда маленькая, щупленькая, ни дать ни взять, ребенок, подросточек, вроде Барнстокровой этой девчонки... а ручищи...

— Филин,— сказал я строго.— Хватит врать.

Хинкус снова махнул рукой и приуныл было, но, впрочем, тут же оживился.

— Ну, хорошо,— сказал он.— Пускай я вру. Но вот я сейчас, извиняюсь, вас голыми руками положил, шеф, а ведь вы мужчина рослый, умелый... Так сами подумайте, кто мог меня таким манером скрутить, как младенца, и засунуть под стол?

— Кто? — спросил я.

— Она! Теперь-то я усек, как все это случилось. Он меня узнал, запомнил. И когда он увидел, что я сижу на крыше и живьем его из дома не выпущу, он и наслал на меня свою, эту... Под моим же видом наслал...— В глазах у Хинкуса всплеснулся пережитый ужас.— Матерь пресвятая, сижу я там, а оно стоит передо мной, то есть я сам и стою — голый, покойник, и глаза вытекли... Как я там со страха не подох, как с ума не сошел — не понимаю. Пью и ведь не пьянею, как на землю лью... Он, видно, решил: либо с ума меня свести, либо запугать до потери сознания, чтобы я смылся с глаз долой. А когда увидел, что не получается, ну, делать нечего, тут он силу и применил...

— А почему он тебя просто не прихлопнул?—спросил я.

Хинкус затряс головой.

— Нет. Этого он не может. У него тогда вся чародейская сила пропадет, если он человеческую жизнь погубит. Это мы все знаем, еще бы... Да разве кто-нибудь посмел бы его выслеживать, если бы не так?

— Ну, допустим,— проговорил я уже неуверенно.

Я опять ничего не понимал. Хинкус был, несомненно, психом. Но в его сумасшествии была своя логика. В рамках этого сумасшествия все концы сходились с концами, и даже серебряные пули находили свое место в общей картине. И все это как-то странно переплеталось с действительностью. Сейф из Второго Национального действительно исчез самым загадочным образом, «растворился в воздухе», как говорили, разводя руками, эксперты, и единственные следы, которые вели из помещения, вели на карниз. А свидетели ограбления броневика, словно сговорившись, упорно твердили под присягой, будто все началось с того, что какой-то человек ухватил броневик под днище и перевернул эту махину на бок... Черт его знает, как все это понимать.

— А почему же они остались в отеле? — спросил я.— Тебя связали, а сами остались...

— Этого я не знаю,— признался Хинкус.— Этого я сам не понимаю. Я как утром увидел Барнстокра, так прямо обалдел. Я ведь думал, их тут давным-давно и след простыл... Тьфу, не Барнстокра, конечно... Но я-то думал тогда, что Барнстокр... В общем, Вельзевул здесь, а почему он здесь остался, этого я не знаю. Может быть, через завал ему не перебраться... Он хоть и колдун, но не господь же бог. Летать, например, он не умеет, это уж точно известно. Через стены проходить — тоже... Правда, ежели подумать, баба эта его — или кто она там есть — любой завал могла бы расковырять в два счета...

Я повернулся к Симонэ.

— Ну,— сказал я,— а что скажет по этому поводу наука?

Лицо Симонэ меня удивило. Физик был очень серьезен.

— В рассуждениях господина Хинкуса,— произнес он,— есть по крайней мере одна очень интересная деталь. Вельзевул у него не всемогущ. Чувствуете, инспектор? Это очень важно. И очень странно. Казалось бы, в фантазиях этих темных, невежественных людей никаких законов и ограничений быть не может.

— Но они есть!

— Ну, положим, Чемпиона темным и невежественным не назовешь,— сказал я.— Матерая сволочь, фашист. Гитлеровец. Фюрер тоже не дурак был. Ну, и этот...

— Точно! — подхватил Хинкус.— Чемпион —парень ушлый, обращение понимает. Он до майской заварушки с сенаторами за ручку здоровался, на приемы разные ходил, чуть ли не к самому президенту... Да и сейчас... Денежки. Он их не жалеет.

Он вдруг запнулся, отвел глаза и сунул в рот большой палец. Мы подождали немного, затем Симонэ спросил:

— А как, собственно, был убит Олаф?

Хинкус вынул палец изо рта и сказал решительно:

— Этого я не знаю. Об Олафе ничегошеньки не знаю, шеф. Как на духу говорю.— Он прижал руку к сердцу.— Могу только сказать, что Олаф не наш, и ежели его действительно прикончил Вельзевул, то не понимаю... Нельзя Вельзевулу людей убивать. Что он — враг себе, что ли?

— Так-так-так,— сказал Симонэ.— А как же все-таки был убит Олаф, инспектор?

Я коротко изложил ему факты: про запертую изнутри дверь, про свернутую шею, про пятна на лице, про аптечный запах. Рассказывая, я не спускал глаз с Хинкуса. Хинкус, слушая, ежился, глаза у него бе-

гали, и, наконец, он умоляюще попросил еще глоточек. Мне ясно было, что все это ему внове и пугает это его до содрогания. А Симонэ совсем нахмурился. Глаза у него стали отсутствующими, обнажились желтоватые зубы-лопаты. Дослушав, он тихонько выругался. Больше он ничего не сказал. Думал.

Я оставил его размышлять и снова взялся за Хинкуса.

— А как же ты его, Филин, выследил? Ты же не знал заранее, в каком он обличье...

Хинкус самодовольно усмехнулся.

— Это мы тоже умеем,— сказал он.— Не хуже вас, шеф. Во-первых, Вельзевул всюду за собой таскает свой кованый сундук. Мне одно и оставалось — расспрашивать, куда этот сундук поехал. Второе — деньгам счету не знает. Сколько из кармана достанет, столько и платит. Где он проехал, там одни только о нем и разговоры... В общем, выследил я его, я свое дело знаю...

— И к тому же он все время с этой женщиной,— сказал я задумчиво.

— Нет,— сказал Хинкус.— Женщина — это, шеф, не обязательно. Это когда на дело надо идти, он ее откуда-то раздобывает... Да и не женщина она вовсе, тоже вроде оборотня. Куда она девается, когда ее нет,— этого никто не знает.

Тут я поймал себя на том, что я, солидный, опытный полицейский, сижу здесь и с полной серьезностью обсуждаю с помешанным бандитом всякие сказки насчет оборотней, чародеев и колдунов. Я виновато оглянулся на Симонэ и обнаружил, что физик исчез, а вместо него в дверях, прислонившись к косяку, стоит хозяин с винчестером под мышкой, и я вспомнил все его намеки, все эти его разговорчики насчет зомби, вспомнил его толстый указательный палец, совершающий многозначительные движения. Еще более устыдившись, я раскурил сигарету и с нарочитой строгостью сказал:

— Так. Хватит об этом. Ты видел когда-нибудь раньше этого однорукого?

— Кого? А, это который лимоны жрал... Нет, в первый раз. А что?

— Ничего,— сказал я.— Когда должен был прибыть Чемпион?

— Вечером я его ждал... Теперь-то я понимаю — лавина...

— На что же ты, дурак, рассчитывал, когда напал на меня?

— А куда мне было деваться? — сказал Хинкус с тоской.— Я — человек известный, пожизненная мне обеспечена. Вот я и решил: отберу пистолет, шлепну, кого надо, а сам подамся к завалу... Чемпион ведь сейчас тоже не спит, шеф. Вертолеты не только у полицейских есть...

— Сколько человек должно было прибыть с Чемпионом?

— Не знаю. Не меньше трех. Ну, конечно, самые отборные...

— Так,— сказал я. Очень мне все это не нравилось, но предстояло еще допросить Мозеса, и я сказал: — Ну-ка, быстренько, перечисли все дела, в которых участвовал Вельзевул.

Хинкус с готовностью принялся загибать пальцы:

— Краймонская пересылка — раз, Второй Национальный — два, золотой броневик — три... Теперь дальше... Архивы Грэнгейма, Вальская выставка...

— Архивы Грэнгейма?

— Да. А что?

Об этом деле я знал мало и уж никак не ожидал, что здесь замешан Чемпион. Грэнгейм собрал богатейшую картотеку нацистских преступников, укрывшихся после 1945 года в нашей стране, это дело было полностью политическое, и в Управлении были убеждены, что организовал ограбление сенатор Гольденвассер, хотя никаких улик против него, конечно, как всегда, не было. Но Чемпион... Впрочем, если учесть, что Чемпион — на самом деле не Чемпион, а бывший гауптштурмфюрер СС Курт Швабах, скрывающийся у нас... И все равно...

— На кой черт Чемпиону эти архивы?

— Этого я не знаю,— сказал Хинкус уже несомненно искренне.— Я человек маленький.— Он помолчал.— Надо понимать, политика. У нас многим не нравится эта политика, да только с Чемпионом не поспоришь.

— А где ты был в мае прошлого года? — спросил я.

Хинкус задумался, вспоминал, затем хитро осклабился и помахал пальцем.

— Нет, шеф. Не выйдет. В этой заварушке я не участвовал. Тут мне просто повезло — на операции лежал, ничего не знаю. Могу доказать...

С минуту мы молча смотрели друг на друга.

— Ты в «Голубой свастике» состоишь?

— Нет,— отозвался он.— Чего я там не видел, в «свастике» этой? Политикой мы сроду не занимались...

— А Вельзевул состоял?

— Откуда мне знать? Я же говорю, политикой мы...

— Кто Кёнига убил? Вельзевул?

— Какого еще Кёнига? А, профсоюзника этого... Нет, Вельзевул его не убивал. Здесь все наоборот. Из-за этого Кёнига, говорят, Вельзевул с Чемпионом и поцарапались. Сам я не видал и не слыхал, а ребята рассказывали, будто Чемпион хотел Вельзевула на это дело пустить. Ну, Вельзевул на дыбы. Ему же убивать — себе дороже... Слово за слово, говорят, так и пошла между ними трещина.

— Гольденвассер знал о Вельзевуле?

Хинкус поджал губы, оглянулся на хозяина и проговорил, понизив голос:

— Знаете, шеф, зря вы об этом-то. Не наше с вами это дело. Я — честный вор, вы—легавый, между собой мы всегда договоримся, и сколько мне дадут, столько я и отсижу. А о таких делах нам с вами лучше знать поменьше. Ни к чему это нам, шеф. Опасно это. И мне и вам. Темно это.

Подонок был прав.

— Ладно, вставай,— сказал я и не без труда поднялся сам.— Пойдем, я тебя запру.

Хинкус, постанывая и кряхтя, тоже встал. Мы с хозяином повели его вниз по черной лестнице, чтобы ни с кем не встречаться. В кухне мы все-таки встретили Кайсу, и, увидев меня, она взвизгнула и спряталась за плиту.

— Не визжи, дура! — строго сказал ей хозяин.— Горячую воду приготовь, бинты, йод... Сюда, Петер, в чулан его.

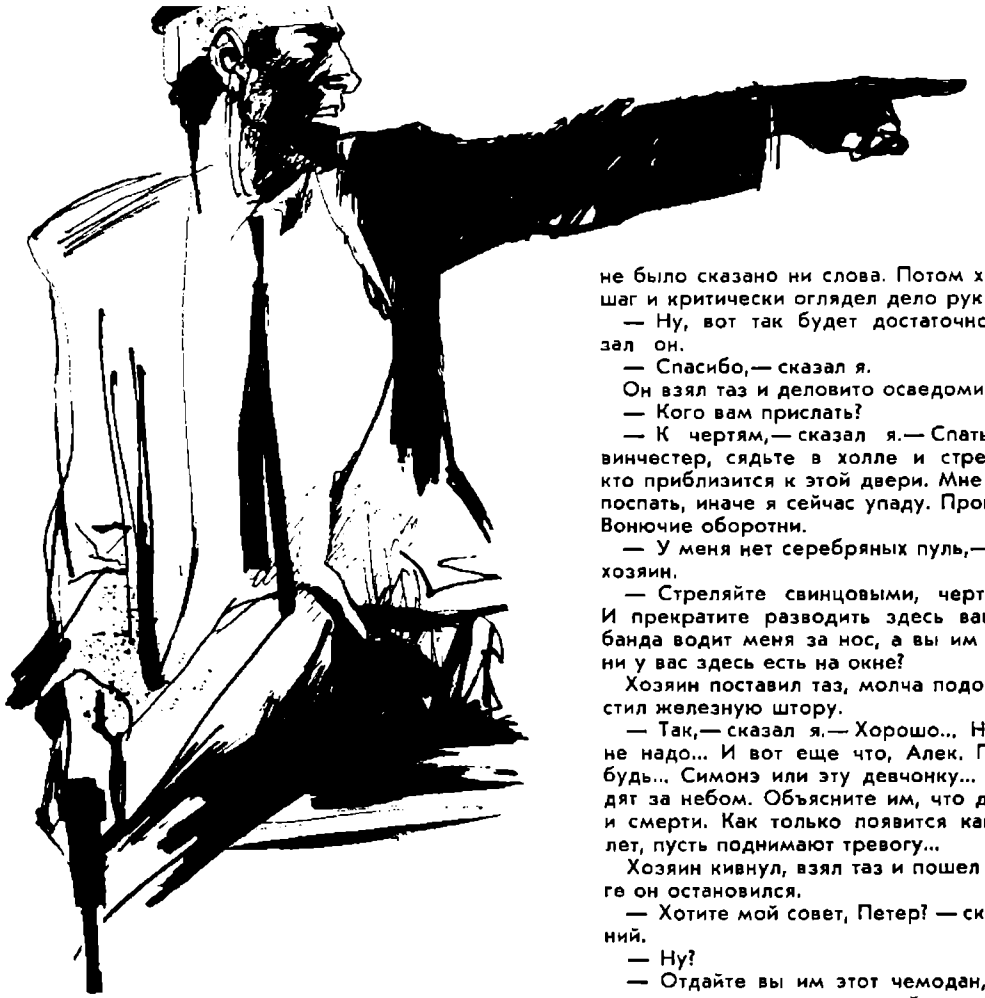
— Ну да! — заныл Хинкус.— Филина под замок, а этот ходит себе на свободе, с него все как с гуся вода... Нехорошо, шеф, несправедливо получается... И раненый я, и башка болит...

Я не стал с ним разговаривать, запер дверь и сунул ключ в карман. Огромное количество ключей скопилось у меня в кармане. Еще пара часов, подумал я, и все ключи, какие есть в отеле, мне придется таскать на себе.

Потом мы прошли в контору, Кайса принесла воду и бинты, и хозяин принялся меня обрабатывать.

— Какое оружие есть в отеле? — спросил я у него.

— Винчестер, два охотничьих дробовика. Пистолет...



— Н-да,— сказал я.— Маловато.

Дробовики против пулеметов. Дю Барнстокр против отборных головорезов. Да и не будут они перестрелками заниматься, знаю я Чемпиона — сбросит с вертолета какую-нибудь зажигательную пакость и перещелкает всех в чистом поле, как куропаток...

— Пока вы были наверху,— сообщил хозяин, ловко обматывая мне лоб вокруг ссадины,— сюда ко мне заявился Мозес. Положил на стол мешок с деньгами — именно мешок, я не преувеличиваю, Петер,— и потребовал, чтобы я все это тут же при нем положил в сейф. Он, видите ли, считает, что при таком положении дел его имущество находится в серьезной опасности.

— А вы? — спросил я.

— Тут я немного промахнулся,— признался хозяин.— Не сообразил и ляпнул ему, что ключи от сейфа у вас.

— Спасибо, Алек,— сказал я с горечью.— Вот теперь начнется охота на полицейского инспектора...

Мы помолчали. Хозяин обкручивал меня бинтами, мне было больно, прямо тошнило от боли. Должно быть, этот подонок все-таки сломал мне ключицу. Радиоприемник хрипел и потрескивал, передавали местные новости. О лавине в Бутылочном Горлышке не было сказано ни слова. Потом хозяин отступил на шаг и критически оглядел дело рук своих.

— Ну, вот так будет достаточно прилично,— сказал он.

— Спасибо,— сказал я.

Он взял таз и деловито осведомился:

— Кого вам прислать?

— К чертям,— сказал я.— Спать хочу. Возьмите винчестер, сядьте в холле и стреляйте в каждого, кто приблизится к этой двери. Мне нужно хоть часок поспать, иначе я сейчас упаду. Проклятые вурдалаки. Вонючие оборотни.

— У меня нет серебряных пуль,— кротко напомнил хозяин.

— Стреляйте свинцовыми, черт бы вас подрал! И прекратите разводить здесь ваши суеверия! Эта банда водит меня за нос, а вы им помогаете... Ставни у вас здесь есть на окне?

Хозяин поставил таз, молча подошел к окну и опустил железную штору.

— Так,— сказал я.— Хорошо... Нет, свет включать не надо... И вот еще что, Алек. Поставьте кого-нибудь... Симонэ или эту девчонку... Брюн... пусть следят за небом. Объясните им, что дело идет о жизни и смерти. Как только появится какой-нибудь вертолет, пусть поднимают тревогу...

Хозяин кивнул, взял таз и пошел к двери. На пороге он остановился.

— Хотите мой совет, Петер? — сказал он.— Последний.

— Ну?

— Отдайте вы им этот чемодан, и пусть они убираются с ним прямо в свой ад, откуда они вышли. Неужели вы не понимаете: единственное, что их здесь держит,— это чемодан...

— Понимаю,— сказал я.— Уж это-то я понимаю. И именно поэтому я расстреляю серебряными пулями любую сволочь, которая попытается отобрать у меня чемодан. Если увидите Мозеса, передайте это ему. Выражений можете не смягчать. Все. Идите и оставьте меня в покое.

Глава 15

Наверное, это был служебный проступок. Помощи мне было ждать не от кого, а гангстеры могли налететь с минуты на минуту. Я мог рассчитывать только на то, что Чемпиону сейчас уже не до Вельзевула. Наткнувшись вчера вечером на завал, он мог растеряться и впопыхах наделать глупостей — вроде попытки захватить вертолет на Мюрском аэродроме. Я знал, что полиция давно следит за этим бандитом, особенно после прошлогоднего майского путча, и надежда моя имела некоторые основания. А кроме того, я больше просто не держался на ногах. Проклятый Филин меня доконал. Я растепил газеты и какую-то отчетность перед сейфом,

придвинул конторку к двери, а сам улегся, положив пистолет рядом с собою. Заснул я мгновенно, а когда проснулся, было уже начало первого.

В дверь негромко, но настойчиво стучали.

— Кто там? — гаркнул я, торопливо нащупывая рукоять пистолета.

— Это я,— отозвался голос Симонэ.— Откройте.

— Что, вертолет?

— Нет. Но надо поговорить. Открывайте.

Скрипя зубами от боли, я поднялся — сначала на четвереньки, а потом, упираясь в сейф, на ноги. Плечо болело ужасно. Бинт сполз на глаза, подбородок распух. Я включил свет, оттащил конторку от двери и повернул ключ. Затем я отступил, держа пистолет наготове.

Вид у Симонэ был торжественный и деловой, хотя чувствовалось в нем и какое-то возбуждение.

— Ого! — сказал он.— Вы тут как в крепости. И напрасно: никто на вас не собирается нападать.

— Этого я не знаю,— сказал я угрюмо.

— Да, вы здесь ничего не знаете,— сказал Симонэ.— Пока вы дрыхли, инспектор, я выполнил за вас всю вашу работу.

— Да что вы говорите? — произнес я язвительно.— Неужели Мозес уже в наручниках, а его сообщница арестована?

Симонэ нахмурился.

— В этом нет никакой необходимости,— сказал он.— Здесь все гораздо сложнее, чем вы думаете, инспектор.

— Только не рассказывайте мне о вурдалаках,— попросил я, усаживаясь верхом на стул рядом с сейфом.

Симонэ усмехнулся.

— Никаких вурдалаков. Никакой мистики. Сплошная научная фантастика. Мозес не человек, инспектор. Тут наш хозяин оказался прав. Мозес и Луарвик — это не земляне, не люди.

— Они прибыли к нам с Венеры,— сказал я понимающе.

— Этого я не знаю. Может быть, с Венеры, может быть, из другой планетной системы, может быть, из соседствующего пространства... Этого они не говорят. Важно то, что они не люди. Мозес находится на Земле уже около года. В земных делах он, естественно, разобраться не сумел. Первыми, кого он встретил, были гангстеры. И они использовали его в своих целях.. В конце концов Мозес во всем разобрался. А разобравшись, решил немедленно бежать и бежал. Луарвик — что-то вроде пилота, он ведает переброской отсюда туда. Они должны были отбыть вчера в полночь. Но в десять часов вечера случилась какая-то авария, что-то у них взорвалось в аппаратуре. В результате — обвал, и Луарвику пришлось добираться сюда на своих двоих... Им надо помочь, инспектор. Это просто наша обязанность.

Я смотрел на него и уныло думал: слишком много сумасшедших в этом деле. Вот вам еще один псих.

— Короче говоря, что вам от меня надо?

— Отдайте им аккумулятор, Петер,— сказал Симонэ.

— Какой аккумулятор?

— В чемодане аккумулятор. Энергия для их роботов. Олаф не убит. Он вообще не живое существо. Он — робот. И госпожа Мозес тоже. Это роботы, им нужна энергия для того, чтобы они могли функционировать. В момент взрыва погибла их энергетическая станция, прекратилась подача энергии, и все их роботы в радиусе ста километров оказались под угрозой. Некоторые, вероятно, успели подключиться к своим портативным аккумуляторам. Госпожу Мозес подключил к аккумулятору сам Мозес... а я, если вы помните, принял ее за мертвую. А вот Олаф почему-то подключиться не успел...

— Ага,— сказал я.— Не успел он подключиться, упал, да так ловко, что свернул себе шею. Вывернул ее, понимаете ли, на сто восемьдесят градусов...

— Вы совершенно напрасно язвите,— сказал Симонэ.— Это у них квазиагонические явления. Выворачиваются суставы, несимметрично напрягаются псевдомышцы... Я ведь так и не успел вам сказать: у госпожи Мозес тоже была свернута шея.

— Ну, ладно,— сказал я.— Квазимышцы, псевдосвязки... Вы же не мальчик, Симонэ, если пользоваться арсеналом мистики и фантастики, можно объяснить любое преступление, и всегда это будет логично.

— Я ожидал этого возражения, Петер,— сказал Симонэ.— Все это очень легко проверить. Отдайте им аккумулятор, и они в вашем присутствии снова включат Олафа.

— Не пойдет,— сказал я сразу.

— Почему? Вы не верите — вам предлагают доказательства.

Я взялся за свою бедную забинтованную голову. Для чего я слушаю этого болтуна? Дать ему в руки винтовку и погнать на крышу, как доброго гражданина, обязанного содействовать закону. А Мозесов запереть в подвале. Подвал бетонированный, прямое попадание выдержит. И Барнстокров туда же и Кайсу. И будем держаться.

— Ну, что же вы молчите? — сказал Симонэ.— Сказать нечего?

Но мне было что сказать.

— Я не ученый,— медленно проговорил я.— Я полицейский чиновник. Слишком много вранья накручено возле этого чемодана... Погодите, не перебивайте. Я вас не перебивал. Я вас слушал даже с интересом. Я готов во все это поверить. Пожалуйста. Пусть Олаф и эта баба — роботы. Тем хуже. Такие страшные орудия в руках гангстеров — слуга покорный. Если бы я мог, я бы с удовольствием выключил и госпожу Мозес тоже. А вы предлагаете мне, полицейскому, вернуть гангстерам орудия преступления! Понимаете, что у вас получается?

Симонэ в затруднении похлопал себя по темени.

— Слушайте,— сказал он.— Если налетят гангстеры, нам всем конец. Ведь вы наврали насчет почтовых голубей? На полицию рассчитывать нельзя? А если мы поможем бежать Мозесу и Луарвику, у нас хоть совесть будет чиста.

— Это у вас она будет чиста,— сказал я.— А у меня она будет замарана по самые уши. Полицейский своими руками помогает бежать бандитам.

— Они не бандиты! — сказал Симонэ.

— Они хуже бандитов! — сказал я.— Вам известно, что они разграбили архив Грэнгейма? Вы что, за нацистов?

— Мне все известно,— сказал Симонэ.— Мозес мне все рассказал. Чемпион — правая рука сенатора Гольденвассера, начальник его штурмовиков. В мае прошлого года, когда эта сволочь затеяла путч, Чемпион был одним из главных организаторов, его чуть не сцапали солдаты, но тут вмешался Мозес. Он же ни черта не понимал в наших делах... да и сейчас не понимает... Он решил, что это не путч, а народное восстание, вытащил Чемпиона и еще двух мерзавцев и сам себя убедил, что имеет дело с солью земли, с цветом человечества... Вот тогда они к нему и присосались, как пиявки...

— В этом будет разбираться суд,— сказал я холодно.

Симонэ откинулся на спинку кресла и посмотрел на меня прищурившись.

— А вы, однако, порядочная дубина, инспектор Глебски,— сказал он.— Не ожидал.

— Придержите язык,— сказал я.— Идите и займитесь своими делами. Что там у вас в программе? Чувственные удовольствия?

Симонэ покусал губу.

— Вот тебе и первый контакт,— пробормотал он.— Вот тебе и встреча двух миров. Это же надо — прилететь на Землю черт те откуда и встретить гангстеров, а в конце концов такого хранителя закона, как вы, Петер.

— Не капайте мне на мозги, Симонэ,— сказал я зло.— И уходите отсюда. Вы мне надоели.

Он поднялся и пошел к двери. Голова его была опущена, плечи ссутулились. На пороге он остановился и сказал, полуобернувшись:

— А ведь вы пожалеете об этом, Глебски. Вам будет стыдно, очень стыдно.

— Возможно,— сказал я сухо.— Это — мое дело... Кстати, вы стрелять умеете?

— Да.

— Это хорошо. Возьмите у хозяина винтовку и идите на крышу. Возможно, нам всем скоро придется стрелять.

Он молча вышел. Я осторожно погладил вслухшее плечо. Ну и отпуск. И чем все это кончится — не ясно. Черт побери, неужели это действительно пришельцы? Уж больно здорово все совпадает... «Вам будет стыдно, Глебски»... Что ж, может быть, и будет. А что делать? Хотя, в общем-то, какая мне разница, пришельцы они или нет? Где это сказано, что пришельцам разрешается грабить банки и участвовать в антиправительственных заговорах? Землянам не разрешается, видите ли, а им — можно... Ладно. Что же мне все-таки делать?

На всякий случай я снял телефонную трубку. Ничего. Мертвая тишина. Все-таки скотина этот Алек. Не мог запастись аварийной сигнализацией. Торгаш, только бы ему деньги тянуть с клиентов...

В дверь снова постучали, и я снова поспешно схватился за парабеллум. На этот раз меня почтил вниманием сам господин Мозес собственной персоной — он же оборотень, он же венерианец, он же старая брюква с неизменной кружкой в руке.

— Сядьте у двери,— сказал я.— Вон стул.

— Я могу и постоять,— пророкотал он, глядя на меня исподлобья.

— Дело ваше,— сказал я.— Что вам нужно?

Все так же вызверяясь, он отхлебнул из кружки.

— Какие вам еще нужны доказательства? — спросил он.— Вы губите нас. Все это понимают. Все, кроме вас. Что вам от нас нужно?

— Кто бы вы ни были,— сказал я,— вы совершили ряд преступлений. И вы за них будете отвечать.

Он шумно потянул носом воздух и сел на стул.

— Я всего год на Земле,— сказал он.— И всего лишь два месяца назад я впервые понял, что помогаю отщепенцам и убийцам. Да, я им помогал. Я вскрывал сейфы, нападал на банки, захватывал золотые грузы. Я помог им ограбить архив. Я спасал преступников от возмездия. Верьте мне, я не ведал, что творю. Я считал, что эти гангстеры-политики и политики-гангстеры ведут борьбу за социальную справедливость. Я считал сенатора Гольденвассера вождем революционеров, а он оказался бешеным человеконенавистником и лакеем денежных тузов. Я считал Чемпиона героем, а он оказался организатором массовых избиений женщин и детей в десятке стран и инициатором политических убийств в этой стране. Я считал Филина и его приятелей... Ведь я считал их идейными борцами. Я понимаю, мои ошибки дорого обошлись вам, но едва я все понял... При первом удобном случае я бежал. Если бы не эта проклятая авария, меня бы здесь уже не было. Не было бы никакого убийства... Я клянусь, что все убытки, которые принесло вам мое пребывание здесь, будут возмещены. Частично я даже возмещаю их — я готов вручить вам ассигнации Государственного банка общей суммой на миллион крон. Это все, что мне удалось изъять у Чемпиона. Остальное ваше государство получит золотом, чистым золотом. Я уже отослал в ваше правительство подробную записку об омерзительной деятельности сенатора Гольденвассера, которая мне теперь ясна... Что вам еще нужно?

Я смотрел на него, и мне было нехорошо. Мне было нехорошо, потому что я ему сочувствовал. Я сидел лицом к лицу с явным преступником, слушал его и сочувствовал ему. Это было какое-то наваждение, и, чтобы избавиться от этого наваждения я сухо спросил:

— Это вы изгадили мне стол и наклеили записку?

— Да. Я боялся, что иначе записку сдует сквозняком.

— Золотые часы?..

— Тоже я. И браунинг. Мне нужно было, чтобы вы поверили, чтобы вы заинтересовались Хиккусом и арестовали его.

— Это было очень неуклюже сделано,— сказал я.— Все получилось наоборот.

— Да? — сказал Мозес.— Ну что ж, этого следовало ожидать. Не умею я такие вещи...

Я снова ощутил прилив сочувствия и снова попытался взвинтить себя.

— Все у вас как-то неуклюже получается, господин Вельзевул,— сказал я.— Роботы у вас не роботы, а какие-то, понимаете, половые неврастеники, а сами вы для пришельца из другого мира слишком уж похожи на негодяя, Мозес. На богатого, до предела обнаглевшего негодяя. И притом еще на пьяницу.

Мозес отхлебнул из кружки.

— То есть, вы хотите сказать, что наши роботы слишком похожи на людей? — спросил он.— Что ж, стереотип поведения этих роботов моделирует стереотип поведения среднего человека соответствующей социальной группы...—Он снова отхлебнул из кружки.— А что касается меня, инспектор, то я выбрал скверную маску и, к сожалению, не могу показаться вам в своем истинном обличье. К сожалению, потому что вряд ли я это переживу. Господин Мозес, которого вы видите, это скафандр. Господин Мозес, которого вы слышите,— это трансляционное устройство. Но, может быть, мне придется рискнуть — я оставляю это на самый крайний случай. Если окажется, что убедить вас совершенно невозможно, я рискну. Для меня это почти верная гибель, но тогда вы, может быть, отпустите хотя бы Луарвика. Он-то здесь совсем ни при чем...

И тут я наконец рассвирепел.

— Куда отпущу? — заорал я.— Если бы вам нужно было уйти, вы бы давно ушли! Перестаньте врать и говорите правду: что это за чемодан? Что в нем? Вы мне долбите, что вы — пришельцы. А я склонен полагать, что вы просто банда иностранных шпионов, укравших ценную аппаратуру...

— Нет! — сказал Мозес.— Нет! Все совсем не так. Наша станция разрушена, ее может починить только Олаф. Он — робот-смотритель этой станции, понимаете? Конечно, мы бы ушли давным-давно, но куда нам идти? Без Олафа мы совершенно беспомощны, а Олаф выключен, и вы не даете аккумулятор!

— И опять врете! — сказал я.— Госпожа Мозес— ведь тоже робот, как я понял! У нее, как я понял, тоже есть аккумулятор...

Он закрыл глаза и замотал головой так, что затряслись брылья.

— Ольга — простое рабочее устройство. Носильщик, землекоп, телохранитель... Ну, неужели вы не понимаете, что нельзя одним и тем же горючим питать... ну, я не знаю... грубый трактор, например, и самолет... Это же разные системы...

— У вас на все готов ответ,— угрюмо сказал я.— Но я не эксперт. Я простой полицейский. Я не уполномочен вести переговоры с вурдалаками и пришельцами. Я обязан передать вас в руки закона, вот и все. Кто бы вы ни были на самом деле, вы находитесь на территории моей страны и подлежите ее юрисдикции.— Я встал.— С этой минуты считайте себя арестованным, Мозес. Я не намерен запирать вас, я догадываюсь, что это бессмысленно. Но если вы попытаетесь бежать, я буду стрелять. И я напоминаю вам: все, что вы с этой минуты скажете, может быть обращено против вас на суде.

— Так,— сказал он, помолчав.— Со мной вы решили. Пусть будет так.— Он отхлебнул из кружки.— Ну, а Луарвик-то в чем виноват? Против него-то вы ничего не можете иметь... Заприте меня и отдайте чемодан Луарвику. Пусть хоть он спасется...

Я снова сел.

— Спасется... При чем здесь спасется? Почему это вы так уверены, что Чемпион настигнет вас? Может быть, он давным-давно лежит под обвалом... Может быть, его уже сцапали... Если вы действительно невиновны, подождите сутки-другие. Прибудет полиция, я сдам вас на руки властям...

Он затряс брыльями.

— Плохо, не годится. Во-первых, мы не имеем права входить в организованный контакт. Я здесь всего-навсего наблюдатель. Я наделал ошибок, но все это — поправимые ошибки... Неподготовленный контакт может иметь и для вашего и для нашего мира самые ужасные последствия... Но даже не это сейчас самое главное, инспектор. Я боюсь за Луарвика. Он не кондиционирован для ваших условий, никогда не предполагалось, что ему потребуется провести на вашей планете больше суток. А у него вдобавок поврежден скафандр, вы же видите — нет руки... Он уже отравлен... он слабеет с каждым часом...

Я стиснул зубы. Да, у него на все был готов ответ. Мне не за что было зацепиться. Мне ни разу не удалось поймать его. Все было безукоризненно логично. Я был вынужден признать, что, если бы речь не шла обо всех этих скафандрах, контактах и псевдомышцах, такие показания удовлетворили бы меня полностью. Я испытывал жалость, я был склонен идти навстречу, я терял непредубежденность...

В самом-то деле. Юридические претензии у меня были только к Мозесу. Луарвик был формально чист, хотя он тоже мог быть сообщником, но на это я бы еще мог закрыть глаза... Ну, хорошо, запереть Мозеса и... Что «и»? Отдать Луарвику аппарат? Что я знаю про этот аппарат?

Если отбросить все слова, правдивы они или нет,— налицо два несомненных факта. Закон требует, чтобы я задержал этих людей до выяснения обстоятельств... Вот факт номер один. А вот факт номер два: эти люди хотят уйти. Неважно, от чего они в действительности хотят уйти — от закона, от гангстеров, от преждевременного контакта... Они хотят уйти. Вот два факта, и они абсолютно противостоят друг другу...

— Идите,— сказал я Мозесу.— И позовите сюда Луарвика.

Мозес грузно поднялся и вышел. Я оперся локтями на стол и положил голову на руки. Парабеллум приятно холодил правую щеку. Мельком я подумал, что теперь таскаюсь с этим пистолетом, как Мозес со своей кружкой. Я был смешон. Представить было страшно, что станут говорить в Управлении об этой истории. Ловец Привидений, Охотник за Пришельцами... Ладно. Хинкуса я, во всяком случае, поймал. И Мозеса я не выпущу. Пусть смеются, а Мозеса я не выпущу. Пусть смеются, сколько душе угодно, а тайна Второго Национального, и тайна захвата броневика, и многие другие тайны будут раскрыты... Вот так-то. Смейтесь, черт побери, смейтесь... а если здесь еще замешана политика, то я простой полицейский, а политикой пусть занимаются те, кому это положено...

Дверь скрипнула, и я встрепенулся. Но это был не Луарвик. Вошли Симонэ и хозяин. Хозяин поставил передо мной кружку кофе, а Симонэ взял у стены стул и уселся напротив меня. Мне показалось, что его как-то обтянуло и что он пожелтел.

— Ну, что вы надумали, инспектор? — спросил он.

— Где Луарвик? Я вызывал Луарвика.

— Луарвику совсем плохо,— сказал Симонэ.— Мозес делает ему какие-то процедуры.— Он неприятно оскалился.— Вы его загубите, Глебски, и это будет скотский поступок. Я знаю вас, правда, всего два дня, но никак не мог ожидать, что вы окажетесь всего-навсего чучелом с золотыми пуговицами.

Свободной рукой я взял кружку, поднес ее ко рту и поставил обратно. Не мог я больше пить кофе. Меня уже тошнило от кофе.

— Отстаньте. Вы все болтуны. Алек заботится о своем заведении, а вы, Симонэ,— просто интеллектуал на отдыхе...

— А вы-то,— сказал Симонэ.— Вы-то о чем заботитесь? Бляху лишнюю вам захотелось на мундир? Вы мелкая полицейская пешка. В кои-то веки судьба вам бросила кусок. В первый и последний раз в жизни. В ваших руках оказалось действительно важное решение, а вы ведете себя, как распоследний тупоголовый...

— Заткнитесь,— сказал я устало.— Перестаньте болтать и хоть минуту просто подумайте. Вы, я вижу, ни черта не смыслите в законе. Вы воображаете, будто существует один закон для людей и другой закон для вурдалаков. Но оставим в стороне даже это. Пусть они пришельцы. Пусть они невинно обмануты. Великий контакт... Дружба миров и так далее... Вопрос: что они делают у нас на Земле? Мозес сам признался, что он наблюдатель. За чем он, собственно, наблюдает? Не скальтесь, не скальтесь... Мы здесь с вами занимаемся фантастикой, а в фантастических романах, насколько я помню, пришельцы на Земле занимаются шпионажем и готовят вторжение. Как, по вашему мнению, в такой ситуации должен поступать я, чиновник с золотыми пуговицами? Должен я исполнить свой долг или нет?..

Симонэ молча щерился, уставясь на меня. Хозяин прошел к окну и поднял штору. Я оглянулся на него.

— Зачем вы это сделали?

Хозяин ответил не сразу. Прижимаясь лицом к стеклу, он оглядывал небо.

— Да вот все посматриваю, Петер,— медленно сказал он, не оборачиваясь.— Жду, Петер, жду... Вы бы приказали девочке вернуться в дом. Там, на снегу, она прямо готовая мишень...

Я положил парабеллум на стол, взял кружку обеими руками и, закрыв глаза, сделал несколько глотков. Готовая мишень... Все мы здесь — готовые мишени. Ну, ничего, может быть, и обойдется... И вдруг я ощутил, как сильные руки взяли меня сзади за локти. Я открыл глаза и дернулся. Боль в ключице была такой острой, что я едва не потерял сознание.

— Ничего, Петер, ничего,— ласково сказал хозяин.— Потерпите.

Симонэ с озабоченным и виноватым видом уже засовывал парабеллум к себе в карман.

— Предатели! — сказал я с удивлением.

— Нет-нет, Петер,— сказал хозяин.— Но надо быть разумным. Не одним законом жива совесть человеческая.

Симонэ, осторожно зайдя сбоку, похлопал меня по карману. Ключи звякнули. Заранее покрывшись потом в ожидании жуткой боли, я рванулся изо всех сил. Это ничем не кончилось, и, когда я опомнился, Симонэ уже выходил из комнаты с чемоданом в руке. Хозяин, все еще придерживая меня за локти, тревожно говорил ему вслед:

— Поторапливайтесь, Симонэ, поторапливайтесь, ему плохо...

Я хотел заговорить, но у меня перехватило горло, и я только захрипел. Хозяин озабоченно наклонился надо мной.

— Господи, Петер,— проговорил он,— на вас лица нет...

— Бандиты...— прохрипел я.— Арестанты...

— Да, да, конечно,— покорно согласился хозяин.— Вы всех нас арестуете и правильно сделаете, только потерпите немного, не рвитесь... ведь вам же очень больно, а я вас пока все равно не выпущу...

Да, не выпустит. Я и раньше видел, что он — здоровый медведь, но такой хватки все-таки не ожидал. Я откинулся на спинку стула и перестал сопротивляться. Меня мутило, тупое безразличие овладело мною. И где-то на самом донышке души слабо тлело чувство облегчения — ситуация больше не зависела от меня, ответственность взяли на себя другие. По-видимому, я снова потерял сознание, потому что оказался вдруг на полу, а хозяин стоял рядом со мной на коленях и смачивал мне лоб мокрой ледяной тряпкой. Едва я открыл глаза, он поднес к моим губам горлышко бутылки. Он был очень бледен.

— Помогите мне сесть,— сказал я.

Он беспрекословно повиновался. Дверь была распахнута настежь, по полу тянуло холодом, слышались возбужденные голоса, потом что-то грохнуло, затрещало. Хозяин болезненно сморщился.

— Проклятый сундук,— произнес он сдавленным голосом.

Под окном голос Мозеса гаркнул с нечеловеческой силой:

— Готовы? Вперед!.. Прощайте, люди! До встречи! До настоящей встречи!

Голос Симонэ прокричал в ответ что-то неразборчивое, а затем стекла дрогнули от какого-то жуткого клекота и свиста. И стало тихо. Я поднялся на ноги и пошел к двери. Хозяин суетился рядом, широкое лицо его было белое и рыхлое, как вата, по лбу стекал пот. Он беззвучно шевелил губами —наверное, молился.

Мы вышли в пустой холл, по которому гулял ледяной ветер, и хозяин пробормотал: «Давайте выйдем, Петер, вам надо подышать свежим воздухом...» Я оттолкнул его и двинулся к лестнице. Мимоходом я с глубоким злорадством отметил, что входная дверь снесена начисто. На лестнице, на первых же ступеньках, мне стало дурно, и я вцепился в перила. Хозяин попытался поддержать меня, но я отпихнул его здоровым плечом и сказал: «Убирайтесь к черту, слышите?..» Он исчез. Я медленно пополз по ступенькам, цепляясь за перила, миновал Брюн, испуганно прижавшуюся к стене, поднялся на второй этаж и побрел в свой номер. Дверь номера Олафа была распахнута настежь, там было пусто, резкий аптечный запах расползался по коридору. Добраться бы до дивана, думал я. Только бы добраться до дивана и лечь... И тут я услышал крик.

— Вот они! — завопил кто-то.— Поздно! Поздно!

Голос сорвался. Внизу в холле затопали, что-то упало, покатилось, и вдруг я услышал ровное далекое гудение. Тогда я повернулся и, спотыкаясь, побежал к чердачной лестнице...

Вся широкая снежная долина распахнулась передо мной. Я зажмурился от солнечного блеска, а потом различил две голубоватые, совершенно прямые лыжни. Они уходили на север, наискосок от отеля, и там, где они кончались, я увидел четкие, словно нарисованные на белом, фигурки беглецов. У меня отличное зрение, я хорошо видел их, и это было самое дикое и нелепое зрелище, какое я помню.

Впереди мчалась госпожа Мозес с гигантским черным сундуком под мышкой, а на плечах ее грузно восседал сам старый Мозес. Правее и чуть отставая, ровным финским шагом несся Олаф с Луарвиком на спине. Билась на ветру широкая юбка госпожи Мозес, вился пустой рукав Луарвика. Они мчались быстро, сверхъестественно быстро, а сбоку, им наперерез, сверкая на солнце лопастями и стеклами кабины, заходил вертолет.

Вся долина была наполнена мощным ровным гулом, вертолет медленно, словно бы неторопливо, снижался, прошел над беглецами, обогнал их, вернулся, опускаясь все ниже, а они продолжали стремительно мчаться по долине, будто ничего не видя и не слыша, и тогда в это могучее монотонное гудение ворвался новый звук, злобный отрывистый треск, и беглецы заметались, а потом Олаф упал и остался лежать неподвижно, а потом кубарем покатился по снегу Мозес, а Симонэ рвал на мне воротник и рыдал мне в ухо: «Видишь? Видишь? Видишь?..» А потом вертолет повис над неподвижными телами, медленно опустился и скрыл от нас всех — тех, кто лежал неподвижно, и тех, кто пытался еще ползти... Снег закрутился вихрем от его винтов, сверкающая белая туча горбом встала на фоне сизых отвесных скал. Снова послышался злобный треск пулемета, и Алек сел на корточки, закрыв глаза ладонями, а Симонэ все рыдал, все кричал: «Добился! Добился своего, дубина, мерзавец!»

Вертолет так же медленно поднялся из снежной тучи и, косо уйдя в пронзительную синеву неба, исчез за хребтом. И тогда внизу тоскливо и жалобно завыл Лель.

Эпилог

С тех пор прошло больше двадцати лет. Вот уже год, как я в отставке. У меня внуки, и я иногда рассказываю ребятишкам эту историю. Правда, в моих рассказах она всегда кончается благополучно: пришельцы благополучно отбывают домой в своей сверкающей ракете, а банду Чемпиона благополучно захватывает подоспевшая полиция. Сначала пришельцы отбывали у меня на Венеру, а потом, когда на Венере высадились первые экспедиции, мне пришлось перенести господина Мозеса в созвездие Волопаса. Впрочем, не об этом речь.

Сначала факты. Бутылочное Горлышко расчистили через два дня. Я вызвал полицию и передал ей Хинкуса, миллион сто пятнадцать тысяч крон и свой подробный отчет. Но следствие, надо сказать, кончилось ничем. Правда, в разрытом снегу было найдено более пятисот серебряных пуль, но вертолет Чемпиона, забравший тела, исчез бесследно. Через несколько недель супружеская чета туристов-лыжников, путешествовавших неподалеку от нашей долины, сообщила, что они видели, как какой-то вертолет прямо у них на глазах упал в озеро Трех Тысяч Дев. Были организованы розыски, однако ничего интересного обнаружить не удалось. Глубина этого озера, как известно, достигает местами четырехсот

метров, дно его ледяное, и рельеф дна постоянно меняется. Чемпион, по-видимому, погиб — во всяком случае, на уголовной сцене он больше не появлялся. Банда его благодаря Хинкусу, который торопился спасти свою шкуру, была частично отловлена, а частично рассеялась по всей Европе. Гангстеры, попавшие под следствие, ничего существенного к показаниям Хинкуса не добавили — все они были убеждены, что Вельзевул был колдуном или даже самим дьяволом и что их бывший главарь погиб, откусив кусок не по глотке. Симонэ был убежден, что один из роботов уже в вертолете очнулся и в последней вспышке активности сокрушил все, до чего смог дотянуться. Очень может быть, и если это так, то не завидую я Чемпиону в его последние минуты...

А Гольденвассер, конечно, вывернулся. Одним гауптштурмфюрером больше, одним меньше — это для него не имело значения. Тем более, что архивы Грэнгейма исчезли бесследно, а сообщение Мозеса никакого действия не возымело. Оно было написано слишком странным языком, содержало ссылки на слишком странные обстоятельства и было, как я слыхал, признано просто бредом сумасшедшего. Особенно на фоне газетной шумихи, которая была поднята вокруг пришельцев. Может быть, Гольденвассеру вспомнились тогда трупы расстрелянных в России и во Франции, в Польше и в Греции, и мертвый Кёниг с черной дырой над переносицей, и другие мертвецы... Вряд ли.

Симонэ сделался тогда главным специалистом по этому вопросу. Он создавал какие-то комиссии, писал в газеты и журналы, выступал по телевидению. Но никто не принимал его всерьез. Комиссии, правда, функционировали, всех нас, даже Кайсу, вызывали в качестве свидетелей, однако настоящей, серьезной поддержки Симонэ не получил. Ни один научный журнал, насколько мне известно, не опубликовал по этому поводу ни строчки. Комиссии распадались, снова возникали, материалы комиссий то засекречивались властями, то вдруг начинали широко публиковаться, десятки и сотни халтурщиков вились вокруг этого дела, вышло несколько брошюр, написанных фальшивыми свидетелями и подозрительными очевидцами, и кончилось все это тем, что Симонэ остался один с кучкой энтузиастов — молодых ученых и студентов. Они совершили несколько восхождений на скалы в районе Бутылочного Горлышка, пытаясь обнаружить остатки разрушенной станции. Во время одного из этих восхождений Симонэ погиб. Найти так ничего и не удалось.

Все остальные участники описанных выше событий живы до сих пор. Недавно я прочитал о чествовании дю Барнстокра в Международном обществе иллюзионистов — старику исполнилось девяносто лет. На чествовании присутствовала племянница юбиляра, Брюнхилд Канн, с супругом, известным космонавтом Перри Канном. Хинкус отсиживает свою бессрочную и ежегодно пишет прошения об амнистии. В начале срока на него было сделано два покушения, он был ранен в голову, но как-то вывернулся. Говорят, он пристрастился вырезать по дереву и неплохо прирабатывает. Тюремная администрация им довольна.

Кайса вышла замуж, у нее четверо детей. В прошлом году я ездил к Алеку и видел ее. Она живет в пригороде Мюра и очень мало изменилась — все так же толста, все так же глупа и смешлива. Я убежден, что вся трагедия прошла совершенно мимо ее сознания, не оставив никаких следов.

С Алеком мы большие друзья. Отель «У Межзвездного Зомби» процветает — в долине теперь уже два здания, второе построено из современных материалов, изобилует электронными удобствами и очень мне не нравится. Когда я приезжаю к Алеку, я всегда поселяюсь в своем старом номере, а вечера мы проводим, как встарь, в каминной, за стаканом горячего портвейна со специями. Увы, одного стакана теперь хватает на весь вечер. Алек сильно высох и отпустил бороду, нос у него стал бордовый, но он по-прежнему любит говорить глухим голосом и не прочь подшутить над гостями. Мне всегда очень хорошо у Алека — так спокойно, уютно. Но однажды он глухим шепотом признался мне, что держит теперь в подвале ручной пулемет — на всякий случай.

Я совсем забыл упомянуть о сенбернаре Леле. Лель умер. Просто от старости. Алек любит рассказывать, что этот удивительный пес незадолго до смерти научился читать.

А теперь обо мне. Много-много раз во время скучных дежурств, во время одиноких прогулок и просто бессонными ночами я думал обо всем случившемся и задавал себе только один вопрос: прав я был или нет? Формально я был прав, начальство признало мои действия соответствующими обстановке, а начальник управления даже выбранил меня за то, что я не отдал чемодан сразу и тем самым подвергал свидетелей излишнему риску. За поимку Хинкуса и за спасение миллиона с лишним крон я получил премию, а в отставку вышел в чине старшего инспектора — предел, на который я мог рассчитывать. Мне пришлось немало помучиться, пока я писал отчет об этом странном деле. Я должен был исключить из официальной бумаги всякий намек на мое субъективное отношение, и в конце концов это мне, по-видимому, удалось. Во всяком случае, я не стал ни посмешищем, ни человеком с репутацией фантазера. Конечно, в отчете многого не было. Как можно описать в полицейской бумаге эту жуткую гонку на лыжах через снежную равнину? Когда при болезни у меня поднимается температура, я снова и снова ви-

жу в бреду это дикое, нечеловеческое зрелище и слышу леденящий душу свист и клекот... Нет, формально все обошлось. Правда, товарищи иногда посмеивались надо мной под веселую руку, однако чисто дружески, без зла и язвительности. Згуту я рассказал больше, чем другим. Он долго размышлял, скреб железную свою щетину, вонял трубкой, но так ничего путного и не сказал, только пообещал мне, что дальше него эта история не пойдет. Неоднократно я заводил разговор на эту тему с Алеком. Каждый раз он отвечал односложно и только однажды, пряча глаза, признался, что тогда его больше всего интересовала целость отеля и жизнь клиентов. Мне кажется, потом он стыдился этих слов и жалел, что признался. А Симонэ до самой своей гибели так и не сказал мне ни слова.

Наверное, они все-таки действительно были пришельцами. Никогда и нигде я не выражал своего личного мнения по этому поводу. Выступая перед комиссиями, я всегда строго придерживался сухих фактов и того отчета, который представлял своему начальству. Но теперь я почти не сомневаюсь. Раз мы достигли Марса и Венеры, почему бы кому-нибудь не высадиться у нас, на Земле! И потом, просто невозможно придумать другую версию, которая с такой скрупулезностью объясняла бы все темные места этой истории.

Но разве дело в том, что они были пришельцами? Я много думал об этом и теперь могу сказать: да, дело только в этом. Обойтись с ними так, как обошелся я, было, наверное, слишком жестоко. Наверное, все дело в том, что они прилетели не вовремя и встретились не с теми людьми, с которыми им следовало встретиться. Они встретились с гангстерами, с фашистами, с Гольденвассером, с полицией. Ну, ладно. А если бы они встретились с контрразведкой или с военными? Было бы им лучше? Вряд ли...

На душе у меня скверно, вот в чем дело. Никогда со мной такого не было до и никогда после: все делал правильно, чист перед богом, законом и людьми, а на душе скверно. Иногда мне становится совсем плохо, и мне хочется найти кого-нибудь из них и просить, чтобы они простили меня. Мысль о том, что кто-то из них, может быть, еще бродит среди людей, неведомо, в каком человеческом облике, мысль эта не дает мне покоя. Я даже вступил было в Общество имени Адама Адамского, и они вытянули из меня массу денег, прежде чем я понял, что все это только болтовня и что они никогда не помогут мне найти друзей Мозеса и Луарвика...

Когда мне становится плохо, жена садится рядом и принимается утешать меня. Она говорит, что, если бы я даже не чинил препятствий Мозесу и всем им удалось бы уйти, это все равно привело бы к большой трагедии, потому что тогда гангстеры напали бы на отель и, вероятно, убили бы всех нас, оставшихся в доме. Все это совершенно правильно. Я сам научил ее говорить так, только теперь она уже забыла об этом, и ей кажется, что это — ее собственная мысль. И все-таки от ее утешений мне становится немножечко легче. Но ненадолго. Только до тех пор, пока я не вспоминаю, что Симон Симонэ до самой своей смерти так и не сказал мне ни одного слова. Ведь мы не раз встречались с ним — и на суде Хинкуса, и на телевидении, и на заседаниях многих комиссий, и он так и не сказал мне ни одного слова. Ни одного слова. Ни одного.

Комарово — Ленинград.

ПРОЗА

Валерий АЛЕКСЕЕВ

В 1965 г. в № 2 «Юности» была напечатана его первая повесть «Люди Флинта».

ПОЧТИ ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

ЧУЖДЫЙ РАЗУМ

1

Научно-исследовательская окраина крупного города.

Бугристый пустырь, через который прокладывается проспект Торжествующей Мысли. («На Мысли сходите?» «Нет, я дальше». «Тогда не стойте в дверях»).

Длинное голубовато-серое здание Института Конкретного Счета (ИКС), похожее на развернутый бортом к проспекту авианосец.

Два нижних этажа Института заняты электронно-вычислительной техникой, в основном машинами класса «Нега» и «Большой Голубой Идеал». В машинных залах, стены которых обиты белым кожемитом, чуть слышно шипят кондиционеры. Среди серых шкафов основной памяти бродят операторы в сиреневых халатах и марлевых масках. Они курят в рукав и вполголоса переругиваются. На дверях предупредительные таблички: «Тоном ниже!», «Вали отседа!» и «Может дернуть».

На остальных семи этажах расположились абоненты электронного парка — отделы и группы Института. Здесь коридоры отделаны ореховыми панелями под пластик, пол покрыт алым полиэтиленом, на нем в изобилии расставлены желтые и зеленые кресла.

Нас, собственно, интересует третий этаж, где помещается Отдел пересчета, руководимый товарищем Никодимовым. Никодимов Борис Борисович — высокорослый, плотный, осанистый, белобрысый мужчина с красным лицом. Одет в черно-серый с блеском злановый костюм. Женат, морально чрезвычайно устойчив. Лицо в данной повести второстепенное.

В Отделе пересчета—двенадцать групп, каждой группе на третьем этаже отведены одна-две, а то и пять-шесть комнат. Двери комнат двойные, как в лифте, скользящие, на магнитных замках, поэтому в коридоре тихо, словно в подземелье. Снаружи на каждой двери горит криптоковое табло с фамилиями сотрудников. Если полоска на табло погасла, значит, сотрудник вышел прогуляться или покурить. Правда, эти табло в большинстве неисправны и горят постоянно, не выключаясь даже по ночам, когда Институт совершенно пуст.

Просторная застекленная галерея соединяет третий этаж Института с пищеблоком (ресторан, кафетерий, столовая, отдел полуфабрикатов), который построен во дворе, чтобы запахи съестного не распространялись по этажам Института и не влияли на магнитную память машин.

Рисунок И. УРМАНЧЕ

Возле входа в галерею (по правую руку) находится комната номер триста пятнадцать, где работает Группа пересчета трюизмов. На табло триста пятнадцатой комнаты обозначены четыре фамилии: Мгасапетов Г. В., Ахябьев Р. А., Путукнуктин В. В. и Фомин В. И.

Мгасапетов Гамлет Варапетович, старший научный сотрудник, руководитель Группы пересчета трюизмов Отдела пересчета Института Конкретного Счета (ИКС),— коренастый, смуглый, тонкогубый мужчина с короткой стрижкой и с маленькими глазами. Одет в тесноватую замшевую курточку и черную «водолазку». (Примечание. Брюки и прочие части одежды, которые нужны для объемного видения, просьба домысливать самостоятельно.) Женат повторно, но моратьно довольно устойчив. Деликатен, отзывчив, добр. Лицо в данной повести второстепенное.

Ахябьев Роберт Аркадьевич, младший научный сотрудник Группы пересчета трюизмов Отдела пересчета,— бледнопицый, сероглазый, практически лысый (легкий пушок на макушке), высокий мужчина с узкими плечами и большим животом. Одет в ярко-голубой свитер крупной вязки и мятые серые брюки. Морально устойчив и необычайно талантлив. Отличается развитым чувством юмора. Лицо в данной повести второстепенное.

Путукнуктин Владислав Всеволодович, младший научный сотрудник Группы пересчета трюизмов,— худощавый, миловидный шатен с длинными (до плеч) волосами. Одет хорошо. Женат, застенчив, морально подвижен. Лицо в данной повести второстепенное.

Фомин Владимир Иванович, младший научный сотрудник Группы пересчета трюизмов,— невысокий, худой брюнет с умеренными залысинами и с глубокими карими глазами. Опрятно одет в коричневый костюм и в рубашку защитного цвета без галстука. Холост, морально выдержан. Лицо в данной повести второстепенное.

Читатель, наверно, уже успел заметить, что в приведенном выше списке нет ни одного главного действующего лица. Это связано с тем, что дальнейшее развитие действия абсолютно не зависит ни от одного из перечисленных лиц. Оно всецело зависит от доверчивости и благожелательности читателя. Если читатель не найдет в себе сил и фантазии поверить в реальность последующих событий, события эти просто-напросто не состоятся. Вот почему главным действующим лицом в данной повести являетесь Вы, уважаемый читатель.

2

Стоял дождливый рабочий день примерно в середине лета. Ровно в полдень по всем девяти этажам Института Конкретного Счета (ИКС) с быстротой молнии пролетела весть о том, что пищеблок, о необходимости которого говорилось на последней профсоюзной конференции, наконец, открылся. На ферромагнитную ленту «Большого Голубого Идеала» была тотчас же нанесена соответствующая запись, и самопечатающее устройство этого гиганта мысли проворно отстучало на белом листе: «Слава богу!»

Надо сказать, что здание Института Конкретного Счета находилось в стадии достройки, и, хотя новоселье было отпраздновано месяц назад, на крыше Института еще полным ходом шли остаточные работы по доведению солярия, плавательного бассейна и малой вертолетной площадки.

Пищеблок не считался первоочередным объектом, но нужда в нем была огромная. Поскольку ни одной столовой на проспекте Торжествующей Мысли не планировалось, а питаться в основном здании категорически запрещалось, в обеденный перерыв сотрудники Института во главе с начальниками отделов выходили на улицу и живописными группами располагались на пустыре для поедания домашних бутербродов.

Пока стояла ясная погода, это было еще терпимо, но вот началась полоса обложных дождей, пустырь превратился в гигантское желтое болото, и положение стало почти безвыходным. Достаточно было кому-нибудь из сотрудников вынуть из портфеля жареный пирожок, как утонченные «Неги» начинали нервничать, барахлить и жаловаться на отвратительный запах. Не помогали ни двойные двери, ни магнитный запор. Вахтеры и охранники бродили по этажам и мрачно принюхивались, директор Института в ежедневных приказах сурово распекал «бутербродников» — не помогало и это. В туалетах и в фотолабораториях, в конференц-зале и в типографии — где-нибудь кто-нибудь что-нибудь то и дело жевал.

Дошло до того, что молодой программист, бормоча «К черту, к черту!», прямо в машинном зале принялся шелушить воблу, и головная «Нега-15», напечатав на ленте «Кошмар!», погрузилась в беспамятство. Только тогда руководство Института пригрозило строителям, что с них взыщут стоимость пострадавшей машины, и строители, засучив рукава, за одну неделю довели пищеблок до кондиции.

3

В двенадцать тридцать Ахябьев, Путукнуктин, Фомин сложили свои бумаги в папки с прижимными механизмами, разом посмотрели на табло внутреннего оповещения (там горела обычная надпись: «А если подумать?») и прислушались. В ту же минуту стены и потолочные перекрытия здания затряслись от топота ног. Это шли на обеденный перерыв сотрудники Отдела общего счета.

В Институте Отдел общего счета находился на особом положении. Именно этот отдел раз в три месяца спускал Предварительную Цифру, под которую, хочешь не хочешь, приходилось подлаживаться. Предварительная Цифра имела силу закона природы, и на этот случай во всех электронных машинах были установлены специальные ограничители. Какой-то шутник из числа операторов спросил однажды дежурную «Негу», как она относится к Предварительной Цифре. «Я ее обожаю»,— с достоинством ответила «Нега». На тот же вопрос более мощный и автономно мыслящий «Голубой Идеал» отреагировал по-другому. «Помалкивай, парень»,— отстучал он на ленте выдачи.

— Ну, нет, друзья мои,— сказал Мгасапетов, и на звук его голоса на табло моментально включилась другая надпись: «Не по делу выступаешь!». Гамлет Варапетович с неудовольствием покосился на горящую надпись, но ничего не предпринял: отключить служебную сигнализацию он мог, но был не вправе.— Меньше, чем за полчаса, они не управятся. Рановато вы расслабились.

Гамлет Варапетович сидел за своим столом, на котором как символ частичной власти возвышался пульт прямой связи с «Большим Голубым Идеалом» — довольно массивное сооружение, представ-

лявшее собой некоторую комбинацию телефонного аппарата и пишущей машинки. На столах у Ахябьева и у Фомина стояли лишь пульты вызова «Неги», ничем не отличавшиеся от обыкновенного телефона, да, по сути дела, телефоном и являвшиеся: набрав определенный номер и позабыв нажать кнопку распределителя, можно было вместо голоса любимой женщины услышать скрипучий ответ горбуньи «Неги»: «Еще один умник нашелся! Куда без очереди?» У Славы Путукнуктина и такого аппарата не было. Более того: по молодости лет тембр его голоса вообще не значился в картотеке электронного парка, и все свои переговоры с машинами Путукнуктин вел через третье лицо. Это было унизительно, но, в общем-то, справедливо. Право голоса в ИКСе надо было еще заслужить.

— Ну, прямо, за полчаса,— брюзгливо проговорил Ахябьев.— Они ведь шашлыками питаются, разбойники. Да еще каждый кусок обдумывают, прежде чем съесть. Расскажи-ка ты нам новости, Гамлет. Со всеми подробностями. Так и время пройдет.

— Да, да, конечно,— заторопился Мгасапетов и очень смутился, бедняга: он вечно смущался, когда ему прекословили.— Я, собственно, хотел огласить после обеда... но раз уж так получилось, можно и сейчас.

Ахябьев скрестил на груди руки и устроился поудобнее. Путукнуктин в точности повторил его позу, а Владимир Иванович Фомин горько усмехнулся и опустил голову, чтобы никто не видел его осуждающего лица. Владимир Иванович презирал мягкотелых людей (и, в частности, Мгасапетова) за то, что у них все получалось так, как хотят другие.

Гамлет Варапетович вкратце повторил то, что было известно уже всему Институту. Соседи из ИПП вчера перехватили еще одну телепатему, уже третью по счету. И опять-таки эта телепатема содержала подробнейшую информацию о положении дел в Институте Конкретного Счета, вплоть до таких деталей, что Никодимов не прошел в Ученый Совет, что «Большой Голубой Идеал» третью ночь простаивает без работы и от нечего делать играет в азартные игры с охранниками, что некий Ахябьев в рабочее время для собственного удовольствия пересчитывает внеплановый трюизм «Правда хорошо, а счастье лучше», в то время как в своих основных расчетах допустил ряд арифметических ошибок,— ну, и так далее, в том же духе.

Совершенно ясно было, что в Институте сидит какой-то телепат, прекрасно осведомленный, и регулярно посылает мысленные донесения о разного рода непорядках в счетной работе. Куда посылает, зачем — неизвестно. Во всяком случае, донесения эти составлены до неприличия тенденциозно. Картина складывалась такая, что в Институте неблагополучно все, а что благополучно — то представляет собой тщательно скрываемое безобразие. Естественно, руководство Института было обеспокоено. Уже после первой телепатемы директор ИКСа тов. Хачаврюжин недвусмысленно заявил: «Найду негодяя — уволю».

Институт парапсихологии (ИПП) находился неподалеку, за бугром. Сотрудники этого Института сами телепатировать не умели, но аппаратура им продана была импортная, чувствительная, и потому они очень обижались на соседей из ИКСа: «Или вы нам раскройте секрет, или прекратите хулиганить». Вся беда была в том, что в ИКСе тоже никто не умел телепатировать, а если кто и умел, то в графе навыков и способностей не указывал. Кроме того, мощность перехваченных телепатем значительно (примерно в пятьдесят тысяч раз) превышала человеческие возможности. Динамики в ИПП прямо-таки ревели, разглашая служебные тайны дружественного Института. Тем не менее природа этих сигналов была явно биологической, то есть исходили они не от машины, а с поверхности живого мозга. На этом товарищи из ИПП особенно настаивали и даже сердились. Для них это было вопросом престижа: два раза в год ИПП получал колоссальный разнос за безысходность научного поиска. А тут пожалуйста: передача со стороны, притом сверхчеловеческой мощности.

Поскольку энергии обычного человеческого мозга едва хватает для обслуживания карманного фонарика, проблема этих левых телепатем из внутриведомственной переросла в общенаучную, а может быть, и в глобальную. По Институту Конкретного Счета поползли тревожные слухи. Секретарь-машинистка Линочка из Отдела общего счета уверяла, что она своими глазами видела в коридоре девятого этажа таинственное существо. Существо это, в скафандре, увешанное щупальцами, якобы двигалось на нее и глухо мычало. Слово «пришелец» еще не было произнесено, но директор Института тов. Хачаврюжин был вынужден издать специальный приказ «о нераспространении». На лекцию «Теория контакта», организованную для институтских электриков, собралась такая масса народу, что конференц-зал чуть не провалился в гардероб, и главный инженер, составивший двусмысленное объявление, получил строгий выговор «за усугубление обстановки». Линочку убедили, что она столкнулась не с телепатом, а с газосварщиком, который шел на крышу приваривать трамплин, вдобавок был нетрезв, почему и издавал глухое мычание. Но этих мер оказалось недостаточно, и слухи продолжали распространяться.

Свою отрицательную роль сыграл и алый полиэтилен, которым были застланы полы в коридорах. От трения ног на поверхности пола скопился довольно значительный электрический заряд, и при малейшем рукопожатии даже между рядовыми сотрудниками проскакивала яркая искра, сопровождавшаяся оглушительным треском и резкими болевыми ощущениями. Люди стали сторониться друг друга, обмениваясь при встрече лишь беглыми улыбками, которые искры не вызывали.

Вот почему психологически сотрудники Группы пересчета были уже готовы к выводу, который напрашивался давно. Вкратце вывод этот сводился к следующему:

1. Институт Конкретного Счета (ИКС), являясь средоточием информации и статистики, может в принципе быть удобным местом для помещения наблюдателя извне.

2. Не исключено, что в стенах Института действительно функционирует чуждое существо, которое, внешне ничем не отличаясь от рядового сотрудника, является всего лишь хитроумной человеческой моделью и держит своих изготовителей в курсе институтских дел.

3. Если такое наблюдение имеет место, оно, в соответствии с целым рядом общих философских положений, должно служить благородным и универсальным целям, а потому не следует поддаваться панике, напротив — надо относиться к этой возможности терпеливо, доброжелательно и спокойно.

4. Однако не следует забывать, что, находясь под наблюдением извне, каждый отдел Института должен всемерно повышать эффективность и слаженность своей работы, чтобы не предстать перед чуждым взором организацией рыхлой, морально несобранной и лишенной определяющей цели.

— ...Итак, друзья мои, добросовестность, сдержанность, бдительность, — сказал в заключение Мгасапетов.— А главное — человеческий такт. Мне

представляется, что сам наблюдатель... ну, как бы поточнее это сформулировать... ну, не подозревает о своих функциях. Не сознает себя таковым...

— А кем же он себя сознает? — ехидно спросил Путукнуктин.

— Обыкновенной личностью,— смутившись, пояснил Гамлет Варапетович.— Научным работником, со своей темой, со своим прошлым, со своими планами на будущее. Иначе ему... как бы это сказать... трудно было бы функционировать незаметно. Вот нас здесь четверо, на глазах друг у друга...

— Что ты хочешь этим сказать? — быстро спросил Ахябьев.

— Нет, нет, Робик, что ты! — Мгасапетов замахал руками.— Я просто к примеру!

— А-а, к примеру...— разочарованно протянул Роберт Аркадьевич.— А я уж было подумал...

Роберт Ахябьев имел в виду то щекотливое обстоятельство, что телепат, на кого бы он ни работал, упомянул в своем последнем донесении персонально о нем. Надо признать, что такой чести (быть замеченным извне) в Институте покамест сподобились очень немногие, и Роберт Аркадьевич был, безусловно, польщен. Что же касается оргвыводов, которые руководство могло и имело право сделать (злополучный трюизм «Правда хорошо, а счастье лучше» шел по разряду некорректных, и пересчет его, да еще в рабочее время, был тяжким служебным проступком), то Ахябьева эти оргвыводы нисколько не волновали: он был несомненно талантлив, отлично знал об этом, и руководство тоже об этом знало. Пересчет внепланового трюизма был далеко не первой шалостью Роберта Аркадьевича. Арифметические же ошибки Ахябьев умел делать такие, что на каждой из них можно было строить докторскую диссертацию. Что, кстати, и сделал начальник Отдела пересчета тов. Никодимов прошлый год по весне.

— Ну, если мы начнем показывать друг на друга пальцами...— недовольно проговорил Путукнуктин. По молодости и неопытности Слава Путукнуктин был очень недоверчив. Он полагал, что никакого телепата не существует, и вся эта история выдумана Ученым советом, чтобы повысить качество расчетов.— Тогда уж надо начинать с верхов. Ведь если рассуждать логически, сам Хачаврюжин, как бы это выразить половчее, тоже может оказаться искусной человеческой моделью.

Гамлет Варапетович подумал, почесал пальцем нос и вынужден был согласиться, что такая возможность действительно не исключена.

— Да, но мои расчеты...— начал Ахябьев.— Хачаврюжин о них понятия не имел.

— О твоих расчетах, мой милый,— возразил ему Слава Путукнуктин,— о твоих расчетах знает половина Института. Перфораторщица знает! Знает. Дежурный оператор тоже знает. Не на пальцах же ты считаешь, в конце концов.

Владимир Иванович Фомин слушал этот разговор и раздражался. А раздражался он всегда, когда речь заводили о пустом. Не верил Фомин в пустое, и в ИПП он тоже не верил. Но если недоверие Путукнуктина исходило от недостатка опыта, у Фомина оно исходило от избытка. По поводу телепатем у Фомина была своя версия: ИПП (и это любому вахтеру известно) находится на грани закрытия. Три года назад торговые организации города Кимры заказали в ИПП простенький телепатометр для изучения спроса покупателей, и до сих пор этот заказ не выполнен. А почему? Да потому, что никакой телепатии не существует. И, чтобы поддержать свою репутацию, ИПП пустился на этот сомнительный трюк. «Позвольте, дорогие, как это не существует? Вот, полюбуйтесь, свеженькая телепатемка, подлинность которой подтверждена Институтом Конкретного Счета». А информацию о неприятностях в ИКСе сотрудники ИПП получают по нормальным человеческим каналам. Кто из нас не дарил шоколадных конфет секретаршам и машинисткам? А что мы с этого имеем? Информацию, ее одну.

Кроме того, что за подход — «завелся пришелец»? В солидном, уважающем себя Институте, где есть проходная, охранная служба, отдел кадров, наконец,— в таком учреждении не может ничего завестись. Мыши, тараканы — куда ни шло, да и то можно указать и наказать виновных, а тут, видите ли, завелся пришелец, и никто как будто ни при чем. Да еще пришелец, по внешнему виду не уступающий сотрудникам. Что значит «по внешнему виду»? А документы: у него тоже не уступают? А анкетные данные? У Фомина, например, в анкете все ясно: родился двадцать пятого августа тысяча девятьсот сорок пятого года в городе Туле. И это можно перепроверить, если настанет нужда. Допустим, окажется, что Фомин родился не в Туле, а в созвездии Лебедя. И сразу встает вопрос: где же тогда тот Фомин, который в Туле родился? Об этом Фомин и сказал со всей присущей ему прямотой, но понимания не встретил. Ахябьев и Путукнуктин переглянулись глумливо, а Мгасапетов возразил в том смысле, что «эти, там», по-видимому, не глупее нас, а, может быть, даже и умнее. Такое низкопоклонство перед чуждым разумом очень не понравилось Фомину, но он решил промолчать и предоставил дискуссии возможность развиваться естественным путем.

— Мне представляется.. — задумчиво начал Гамлет Варапетович, но ему не дали договорить.

Путукнуктин и Ахябьев шумно заспорили: может ли упоминание в телепатеме служить гарантией непричастности? Ахябьев утверждал, что может. Зачем наблюдателю доносить на себя самого? Путукнуктин, напротив, считал, что не может, поскольку «эти, там» должны были предусмотреть такой элементарный ход. Разгорячившись, Роберт Аркадьевич набросал на листке из календаря программу вопроса и позвонил в машинный зал. Минуты две все молча ждали ответа, потом Ахябьев пожал плечами и, криво усмехнувшись, положил трубку.

— Ну, что? — нетерпеливо спросил его Путукнуктин.

— А ничего,— ответил Роберт Аркадьевич.— Эти «Неги» совсем обнаглели, скоро непечатно выражаться начнут.

При этих словах Фомин громко и радостно засмеялся. Все посмотрели на него с недоумением, но он ничего не стал объяснять: только покрутил головой и, усмехаясь, стал рыться в своем столе. В тумбу стола у Фомина был вмонтирован портативный предметный каталог. С помощью этого нехитрого приспособления Владимир Иванович экономил отведенное ему машинное время. Другие по всякому пустяку становились на очередь к «Неге» и к концу квартала попадали в жесточайший цейтнот, Фомин же выходил на связь с машиной только в случае крайней необходимости, и за это «Нега» его уважала. Владимир Иванович был убежден, что ему-то машина не скажет ничего непечатного.

— Мне представляется...— снова начал Мгасапетов, и на этот раз его услышали.— Мне представляется неразумным выяснять, кто он и где находится. Пусть это модель, но модель человеческая, и устраивать на него облаву попросту бестактно. Мы должны отнестись к нему человечно: без пренебрежения, без излишнего любопытства и, главное, с тактом, со всем мыслимым тактом!

— Кончай ты о своем такте,— раздраженно сказал Ахябьев.— Все это мы уже слышали. А кроме того, Гамлет, ты требуешь от нас слишком многого. Чтобы относиться к н е м у человечно, мы должны как минимум знать, где о н есть.

Владимир Иванович Фомин зорко взглянул на Ахябьева, но опять-таки не вмешался. Хотя вмешаться стоило: недоволен был Фомин поведением своих товарищей. Ахябьев совсем зазнался, да и Путукнуктин тоже слишком активничает в разговоре. Пора бы им указать на их место... но Мгасапетов делать этого не умел.

И в это время на табло вспыхнула новая надпись:

«Вниманию тт. Мгасапетова, Ахябьева, Путукнуктина, Фомина. Уважаемые товарищи, произошла досадная неточность. Отныне и впредь вы можете обедать в любое удобное для вас время. Милости просим, дорогие вы наши! Лично ваш Недомычкин».

4

Ровно через минуту сотрудники Группы пересчета трюизмов вбежали в пищеблок — и остановились в оцепенении.

Пищеблок был прекрасен. Доверяя фантазии читателя, автор не станет в подробностях описывать грустную нежность погруженного в полумрак кафетерия, солидную задумчивость напоенной светом столовой, доверчивую прелесть отдела полуфабрикатов. Повсюду восхитительно пахло свежемолотым кофе, на стойках и в витринах в изобилии были выставлены рыбные копчености: палтус, салака, треска. Жемчужно-белая икра омонии подавалась на все столы бесплатно, как соль.

Низко кланяясь и безмолвно разводя руками, навстречу нашим героям выступил сам Недомычкин. Лицо его было искажено восторгом, на лбу выступили крупные капли пота. Такая встреча могла смутить кого угодно, и наши герои, естественно, слегка растерялись. Стараясь, насколько возможно, держаться с достоинством, они обошли все помещения этой райской пристройки, заглянули даже в душевую и в тенистый ресторан для руководства (официантка было погрозила им пальцем, но забежавший вперед Недомычкин шепнул ей что-то на ухо, и она, прикрывая лицо передником, отступила за перегородку),— и только затем, насытив глаза свои, сотрудники Группы пересчета трюизмов вернулись в кафетерий, который им как-то больше пришелся по душе.

На них смотрели. Больше того, с них не сводили глаз. При их появлении в кафетерии стало тихо. Никто не приглашал их за свой столик, никто не окликал, не махал фамильярно рукой. Люди смотрели на них с тревожным любопытством, как на делегацию реакционной державы. Слава Путукнуктин, пробираясь к свободному столику, похлопал по плечу кого-то из своих знакомых — тот поперхнулся и, поспешно вытирая губы бумажной салфеткой, вскочил. «Мэй ай хелп ю?» — спросил он отчего-то по-английски и, не дождавшись ответа, стоял до тех пор, пока наши герои не уселись.

В зале кафетерия собралась в основном институтская молодежь. Люди пожилые, щадя свою печень, спустились в столовую, подальше от холодных закусок, многосемейные толпились в очереди за антрекотами. Но обстановка в зале кафетерия тем не менее была принужденной. Не слышно было лихих кандидатских песен, научные сотрудники с деланным самозабвением ели, искоса поглядывая на наших героев.

— Ну, лично мне все ясно,— пробормотал Ахябьев, листая меню.— Эх, Гамлет, наивный ты человек! Хотел от нас скрыть то, что известно уже каждому официанту. Да что там официанту... Как-то встретит тебя жена твоя, Гамлет? Хотел бы я при этой встрече присутствовать.

— Ты думаешь? — понизив голос, спросил Мгасапетов.

— Абсолютно уверен,— ответил Ахябьев.— Да нас уже по Интервидению передают.

— А ты поменьше зыркай по сторонам,— смутившись, проговорил Мгасапетов.— Веди себя как средний турист-европеец.

— Кто? Я? — высокомерно спросил Ахябьев.— Я, преодолевший сотни тысяч парсеков, должен сидеть, потупив глаза, среди своих, можно сказать, братьев по разуму? Да наблюдатель я или не наблюдатель? За что мне платят командировочные?

И Роберт Аркадьевич, сдвинув брови, пронзительным взглядом окинул зал. За окрестными столиками произошло некоторое шевеление, и обедающие дружно накинулись на еду.

— А не произнести ли здравицу? — спросил Ахябьев.— Молчание какое-то удручающее. Поворотный момент, как-никак.

— Роберт Аркадьевич! — с отчаянием воскликнул Мгасапетов.

— Вас понял,— ответил Ахябьев.— Чистота Контакта превыше всего.

— О чем вы, собственно? — спросил Путукнуктин, с напряжением прислушиваясь к их разговору.

— Ну, как о чем? — добродушно ответил ему Ахябьев.— Нас запеленговали, дружок. Один из нас того... это самое...— Роберт Аркадьевич юмористически покрутил пальцами в воздухе.— И всем уже об этом известно. Кроме, естественно, нас.

Тут стало тихо за столиком. Слава Путукнуктин побледнел, потом покраснел и растерянно завертел головой, а Фомин, рассеянно шаривший у себя в карманах, вдруг резко выпрямил спину, как будто нащупал там скорпиона. Ахябьев наслаждался их реакцией, а Гамлет Варапетович, сбросив с плеч тяжкий груз мотиваций, по-видимому, сразу почувствовал себя легче: он вытер пот со лба, облегченно вздохнул и устроился за столом поудобнее.

— Что ж получается?..— заговорил Путукнуктин, но покраснел еще больше и надолго умолк.

— Допрыгались! — мрачно буркнул Фомин и, насупившись, возобновил свои поиски в карманах. Поиски, как ему ни хотелось их растянуть, тут же увенчались успехом: без особого удовлетворения Владимир Иванович достал из нагрудного кармана расчетную карточку по теме «Динамика автомобильных катастроф среди курящих женщин Северного Мадагаскара».

— Что ты этим хочешь сказать? — осторожно спросил Ахябьев, но Фомин не удостоил его ответом: у него был теперь повод уклониться от дальнейшего участия в разговоре, углубившись в изучение карточки, и он этим поводом воспользовался.— Так, так...— сказал Ахябьев неопределенно, но тут новая мысль завладела им, и он забыл о реплике Фомина.— И что же,— спросил он Мгасапетова,— один из нас, но неизвестно, кто? Я правильно понял?

— Правильно, Робик,— вполголоса сказал Мгасапетов.— Пока неизвестно. Удалось лишь установить, что источник излучения находится в триста пятнадцатой комнате. Но, может быть, мы все-таки будем обедать? Все смотрят, неудобно как-то..

Держа перед глазами карточку, Владимир Иванович снова горько улыбнулся.

— Однако! — с чувством произнес Роберт Аркадьевич и, откинувшись на спинку стула, повторил: — Однако! За себя я, конечно, спокоен, себя я помню с глубокого детства...

— Я тоже! — торопливо сказал Слава Путукнуктин.— Честное слово, товарищи! С четырехмесячного возраста! У меня просто феноменальная детская память.

— Вот как? — Ахябьев, прищурясь, посмотрел ему в лицо.— Насколько мне известно, это характерно именно для пришельцев. Кстати, Владислав, объясни ты мне наконец, почему ты так охотно откликаешься на имя «Слава»? Может быть, тебе все равно? Или тебе более привычен порядковый номер?

Путукнуктин взмок от волнения. Он судорожно глотнул, ослабил узел галстука, еще раз глотнул и издал какой-то слабый звук, похожий на писк.

— Да что ты так нервничаешь? — удивился Ахябьев.— Славик, дорогой, успокойся. Ты не пришелец. Для пришельца ты слишком быстро себя выдаешь. Итак, остаются двое. Либо Гамлет, либо Фомин. Гамлет, дорогой, я горжусь своей дружбой с тобой, но временами мне начинает казаться... Это имя, эти глаза! Эти маленькие нечеловеческие глаза! И потом, где ты достаешь такие дивные «водолазки»?

— Робик, ты расшалился,— оглянувшись, укоризненно сказал Мгасапетов.— Твое оживление, как бы тебе сказать...

— Выдает во мне пришельца? — подхватил Роберт Аркадьевич.— Боже мой, да я счастлив был бы осмыслить себя неземным существом! Это дало бы ответ на пронзительный вопрос, который меня с детства мучает: отчего я лысею? и большой живот мне зачем? Иногда он так странно урчит... Может быть, там и находится передатчик? В таком случае, я уже добрый час телепатирую. Нет, Гамлет, ты слишком любезен для пришельца. Ты вселил в меня такие надежды!

— А Фомин между тем молчит...— жалко улыбаясь, проговорил Путукнуктин.

— Фомин? — Роберт Аркадьевич круто повернулся на стуле, чтобы лучше рассмотреть Фомина.— Да, пожалуй. Склад черепа, форма ушей... Скажи, Владимир Иванович, тебе не хочется временами превратиться в исполинского паука?

Фомин ссутулился и ничего не ответил.

— Вот видите,— не унимался Ахябьев.— Видите, он промолчал. А ведь на его месте любой землянин ответил бы: «Да, хочется. Чтобы пожрать тебя, Роберт Ахябьев!»

Тут Владимир Иванович медленно поднял голову и посмотрел на Ахябьева ясным, красноречивым и бесконечно терпеливым взглядом.

Ахябьев смутился:

— Впрочем, да...— пробормотал он.— Впрочем, конечно... я несколько увлекся. Но поймите меня правильно: мы — участники Контакта! По сравнению с тем, что происходит в этом зале, высадка на Луне — пустячок, утренняя гимнастика для лиц среднего возраста. Завтра утром наши фотографии появятся во всех газетах мира! Наши мемуары будут закупаться на корню!

— Это все завтра, Робик,— недовольно сказал Мгасапетов.— А пока давайте перекусим — и к себе. Нечего напрасно мозолить людям глаза. Мы и так засиделись. Смотрите, какой затор создаем!

В самом деле, зал кафетерия был переполнен. Отобедавшие не уходили: сидя за столиками, они напряженно тянули шеи и прислушивались к беседе пришельцев, но, по-видимому, не понимали ни слова, как будто разговор шел на экзотическом языке. А в дверях толпились вновь прибывшие, толпились, не выражая недовольства и нетерпения. Все с волнением ждали момента, когда пришельцы начнут принимать пищу.

— Черт возьми, да пусть смотрят! — воскликнул Ахябьев.— Пусть записываются в очередь, как на гробницу Тутанхамона. Есть Контакт, вот в чем суть! И один из нас... нет, это невероятно! Потрясающее везение!

— Суета это, а не везение,— неожиданно сказал Фомин.— Что нам с этого пользы? Уставились, как в зоопарке.

— А! Ты практик, Фомин! — так и взвился Ахябьев.— Тебе надо немедленной пользы! Пожалуйста.

Он поднял руку и лихо щелкнул в воздухе пальцами. За соседними столиками все повскакивали с мест, но никто не решался приблизиться.

— Что он делает? Остановите его! — умоляюще произнес Мгасапетов.

Но Фомин и Путукнуктин не двинулись с места.

Через минуту из толпы зрителей осторожно выбрался Недомычкин. Лицо его блестело от волнения.

— Семен Семеныч, дорогой,— строго сказал ему Ахябьев.— Что это у вас тут делается? Теснота, обслуживания никакого. С завтрашнего дня будьте любезны подавать нам обед в триста пятнадцатую. Заказы будем делать по телефону.

— Понимаю,— шепотом ответил Недомычкин.— Понимаю и немедленно приму меры. Прикажете обслужить?

— Да уж, обслужите.

И Ахябьев победоносно оглядел сослуживцев.

— Забегали! — сказал он, когда Недомычкин, пятясь, удалился.— Заволновались! Есть Контакт, черт побери!

— Робик, ты меня ставишь в ужасное положение! — жалобно сказал Мгасапетов.— Ты мне делаешь очень плохо.

— Ни один волос не упадет с твоей головы! — заверил его Ахябьев.— Для дружественной галактики Недомычкин на все пойдет. Вот так, товарищи пришельцы! Может, осетринки желаете?

Гамлет тихо застонал и схватился обеими руками за свою голову.

— Все это, конечно, хорошо,— медленно проговорил Фомин.— Ну, а если ИПП блефует? Да у нас тогда эту осетринку из глотки вынут.

— Что значит «блефует»? — оскорбился Ахябьев.— Они нас запеленговали? Запеленговали. Значит, кто-то из нас телепатирует?

— Ну, не я, во всяком случае,— с достоинством ответил Фомин.— И насколько я понимаю, не ты. Иначе бы ты не вел себя так нахально.

— И не я! — поспешно вставил Путукнуктин.

— Значит, это Гамлет,— уверенно сказал Ахябьев.— Слушай, Гамлет, ну что ты жмешься? Здесь все свои.

Гамлет Варапетович поднял голову, мутным взглядом посмотрел на Ахябьева, машинально застегнул на животе замшевую курточку. Все молча ждали.

— Мне думается,— промолвил наконец Мгасапетов,— что в данной ситуации я имею право напомнить о своих полномочиях руководителя группы. Я уважаю вас, Роберт Аркадьевич, но мое уважение к Контакту, если он имеет место, неизмеримо больше. И потому прошу вас впредь согласовывать со мной любое ваше действие, выходящее за пределы вашей компетенции. В этой связи ваша выходка, Роберт Аркадьевич, выглядит попросту недостойно.

— Золотые слова,— одобрительно сказал Фомин.

Но пронять Ахябьева было не так-то просто.

— А в нашем созвездии все ведут себя недостойно,— язвительно ответил Ахябьев.— И попрошу мне не выкать. Вот обращусь сейчас в черепаху, узнаешь тогда, как дерзить.

И Гамлет Варапетович не выдержал тона.

— Не обижайся, Робик,— сказал он просительно.— Ты должен понять, что огласки не надо. Чрезмерная огласка может е г о спугнуть. Ты только представь, как будет неприятно, если он переметнется в какую-нибудь «Рекд-корпорейшн». Вот ты обидел Володю, назвал его пауком, а разве это красиво?

Ахябьев встал, поклонился Фомину в пояс.

— Простите меня, Владимир Иванович, если вы меня не так поняли.

— Бог простит,— ответил ему Фомин.

Между тем среди отобедавших выделилась группа добровольцев. Взявшись за руки, добровольцы вытеснили из кафетерия лишнюю публику, оставив только тех, кто сидел за столиками. Недомычкин подал знак, и к пришельцам медленно подошла смертельно-бледная официантка.

Мгасапетов выбрал себе жареную ветчину с горошком, Ахябьев — творожный пудинг и четыре молочных коктейля, Путукнуктин — кофе и пирожные, Фомин — сосиски, кефир и холодный свекольник.

— Никогда не предполагал,— сказал Ахябьев,— что мое меню будет так остро интересовать всю планету. Ну-ка, Гамлет, покажи свое неумение резать ветчину вилкой. Это будет очень эффектный номер.

— Ай, оставь ты меня! — пробормотал Мгасапетов и взял ломтик ветчины двумя пальцами.

Владимир Иванович Фомин не принимал участия в застольной беседе. Он методично раскрошил в свекольник сосиски, затем вылил туда кефир и начал хлебать. Была у Владимира Ивановича такая странность: он обожал смешивать в одном блюде первое, второе и третье. А потом чохом все поедал. Вкусовые нюансы его не интересовали, а экономия времени была значительная. Но сегодня Владимир Иванович впервые осознал, что его образ действий несколько отличается от обычного и может вызывать интерес окружающих. Поэтому он быстрее, чем всегда, буквально за три минуты, покончил со своей тюрей, поднялся и сдержанным кивком дал понять, что намерен уйти.

— Ты куда? — в один голос спросили Ахябьев и Мгасапетов.

— Дела,— коротко ответил Фомин и, размашисто, твердо шагая, покинул пределы кафетерия.

— А вы знаете, ребята, это ОН,— тихим голосом сказал Роберт Аркадьевич.— Телепатировать пошел, разрази меня гром.

— Ах, я забыл предупредить,— сокрушенно проговорил Мгасапетов — что нам не следовало бы разлучаться.

— Ну, это наивно, Гамлюша,— насмешливо сказал Ахябьев.— Мы, слава богу, еще не под колпаком.

Между тем Слава Путукнуктин вел себя по меньшей мере загадочно. Некоторое время он с тупым удивлением смотрел на эклеры, потом неуверенно взял чайную ложечку и, покраснев до слез, попытался отколупнуть кусочек обливки. При этом он озирался и потел. Эклер оказался слегка перезревшим. Он загремел на блюдечке и вдруг, взвившись в воздух, отлетел метра на полтора и скрылся под соседним столом. Тогда Путукнуктин сунул ложечку в нагрудный карман и заплакал.

— Я знал,— пробормотал он, вытирая рукавом слезы.— Я всегда это знал... Я всегда это за собой чувствовал...

Ахябьев поперхнулся коктейлем, Мгасапетов переполошился.

— Славик, ну что ты, Славик,— прошептал он, наклонившись над столом.— Кушай, милый, кушай. Постарайся хоть что-нибудь съесть.

— Не могу,— бормотал Славик, сморкаясь в широкий галстук.— Честное слово, не могу. Стыдно мне... Я не умею, честное слово! У меня спазмы в горле!

— Подумаешь, спазмы! — уговаривал его Мгасапетов.— Надо быть выше этого! Глоточек кофе — и все пройдет.

— Глоточек! — Путукнуктин нервно засмеялся и тут же подавился слезами.— Тебе легко говорить! Ты человек, а я... я существо!

— Клянусь тебе,— истово сказал Мгасапетов,— я никогда не перестану считать тебя человеком! Что бы ни случилось!

— Нет, неправда,— прошептал Славик.— Ты меня уже боишься. Ты, наверно, думаешь, что я в любую минуту... Но это не так! Это само находит. Вот и сейчас нашло...

— А ты не ошибаешься? — понизив голос и тоже наклонившись над столом, спросил Ахябьев.

— В том-то все и дело! — сказал Славик и всхлипнул.— Я абсолютно уверен! У меня внутри все другое. Хотите, я сейчас начну испускать волны?

— Ради бога, Славик...— Гамлет Мгасапетов умоляюще сложил руки.

— А, боитесь! — сказал Славик с ожесточением.— Я всегда это за собой знал. Мне всегда были странны эти волосы, эти одежды, эта пища... Боже мой, знали бы вы, что вы едите, из чего все это состоит!

Сотни сотрудников ИКСа с напряжением наблюдали за этой душераздирающей сценой, по их лицам было заметно, что они не понимают ни слова, да и не пытаются понять. Всем было интересно и страшно.

— Зачем же ты на меня-то... телепатнул? — участливо спросил Ахябьев.— Своих закладываешь, нехорошо!

— А я виноват, я виноват, да? — горячо возразил Славик.— Мной управляют на расстоянии!

5

Роберт Аркадьевич ошибался: у Фомина действительно были дела, причем земные, хотя и не совсем обычного свойства.

Из всех своих состояний Фомин тяжелее всего переживал недоумение. Состояние недоумения было для него мучительным, невыносимым. Владимир Иванович привык все понимать и постоянно держал в голове полную картину своего понимания мира. Согласитесь, что это довольно сложно, но для человека такого склада, каким отличался Фомин, это было совершенно необходимо. Каждую отдельную минуту Владимир Иванович должен был представлять себе весь мир в целом. Иначе у него начинали путаться мысли. Вот почему он вынужден был так внезапно покинуть своих товарищей. Владимир Иванович шел в Отдел общего счета к своей старинной знакомой Линочке — к той самой Линочке, которой первой посчастливилось встретить пришельца. Фомин шел к ней за тем, чтобы из первых рук получить информацию о позиции руководства и таким образом избавиться от состояния тягостного недоумения, которое им (Фоминым) владело.

Владимир Иванович не верил, во-первых, в то, что руководство Института могло признать факт существования пришельца, а во-вторых, в то, что руководство с этим фактом смирилось. Мгасапетов был, конечно, лицом официальным, но мягкотелым, и в угоду примитивным вкусам своих подчиненных он

мог кое-что исказить и кое о чем умолчать. Кроме того, проморгав чужое существо у себя в группе, Мгасапетов проявил административную близорукость и автоматически должен был потерять доверие инстанций, что, конечно, не могло не отразиться на полноте информации, которой Мгасапетов располагал. Но если Гамлет Варапетович ничего не исказил и ни о чем не умолчал, если он по-прежнему имеет доступ к каналам, если Ученый совет действительно капитулировал перед чуждым разумом,— тогда картина мира нуждалась в коренных переменах. Вот почему Владимир Иванович тоскливо и мучительно недоумевал.

Конечно, не исключена была возможность грандиозного розыгрыша — из тех, которые над ним частенько учиняли. Владимир Иванович готов был поверить в эту возможность и даже почувствовал бы облегчение.

В своем отделе Фомин работал над пересчетом зарубежных трюизмов. И никогда он не брался за пересчет, если заранее не знал, корректен трюизм или нет. Бывало, Ахябьев смеха ради подсовывал ему сомнительные исходные (к примеру, «Снижение кошачьей смертности среди певчих птиц Монпарнаса»), где подтверждение и опровержение трюизма были в равной мере ошибочны; Фомин неуклонно эти данные отбраковывал, не давая никаких объяснений и полагаясь исключительно на свой нравственный инстинкт.

Своей работой Фомин наслаждался. Особенно нравилось ему соблюдать всевозможные графики, регламенты, предписания и установки. На регулярную связь с «Негой-15» он выходил как на свидание с несовершеннолетней: взволнованный и в то же время собранный, прекрасно помнящий, что он себе может позволить и чего не может. Он тщательно причесывался, застегивал верхнюю пуговицу рубашки, проводил ладонью по щекам, проверяя побритость, и только после этого, откашлявшись, набирал заветный номер. «Алё,— говорил он чуть сипловатым голосом.— Фомин на проводе. С вами можно?» И машина с радостью отвечала ему: «Душка Фомин, я ждала этого целые сутки».

Вообще человеческий элемент в системе Института нравился Фомину значительно меньше. От человеческого элемента постоянно исходила низменная эманация расхлябанности и побочных страстей. Люди путали Фомина, сбивали его с толку юмором, он же отвечал им терпением. Что делать: человеческий элемент постоянно требовал поправки на личность. Перфораторщица, перевравшая знаки, была, разумеется, личностью: ей мешал сосредоточиться непредвиденный прыщ на носу. Оператор, нахально перекинувший заказ Фомина на завтра, тоже был личностью и тоже требовал на себя поправки: он боялся опоздать на футбол. Мгасапетов был помешан на деликатности, Ахябьев — на юморе, Путуктуктин был просто незрел. Из всех сотрудников ИКСа одна только Линочка не нуждалась в поправке на личность: она не была ни умна, ни остроумна, говорила все, что думала, а когда умолкала — моментально переставала думать вообще.

Линочка, двадцати двух лет, секретарь-машинистка Отдела общего счета была низенькая, толстенькая, темноволосая, густобровая, чуть-чуть усатая девушка с ярко-синими глазами. (Не замужем, морально устойчива, но одета со вкусом. Лицо в данной повести второстепенное.)

При всех остальных своих добродетелях, Линочка работала в головном Отделе, была в курсе всех институтских дел и нуждалась единственно в терпеливом слушателе, а Фомин любил слушать и умел терпеть. Временами он даже подумывал, не закрепить ли за собой право доступа к этому источнику информации пожизненно, тем более, что сердце Линочки в определенном смысле было свободно, но Линочка в присутствии Фомина говорила не переставая и не оставляла ему времени для произнесения решающих слов.

6

Владимир Иванович поднялся на девятый этаж и, сосредоточившись, приблизился к двери, на которой сияла бронзовая табличка «Г. К. Церебров». Уже по этой табличке, не нуждавшейся во внутренней подсветке, можно было предположить, что за дверью находятся приемная и кабинет человека исключительного значения. И то, что фамилии «Церебров» не предшествовали суетные обозначения «докт. мат. наук, чл.-корр. Акад. наук, лаур. Ноб. пр. и проч.»,— лишь придавало этой обитой черным хромом двери внушительность подлинника. Начальник Отдела общего счета Галактион Кузьмич Церебров не был ни доктором наук, ни академиком, ни даже лауреатом Нобелевской премии. Поговаривали, что и кандидатской степени у Цереброва не было, ходили также слухи, что и самого Цереброва не существует, так как даже секретарь Линочка ни разу в жизни его не видела, но все эти слухи не имели никакого значения. Посетители Лувра, с благоговением толпясь возле рамы от украденной картины, не задумываются над тем, что за шедевр должен здесь красоваться. Факт отсутствия впечатляет их больше, и на голой стене они читают взгляд и улыбку шедевра. Точно так же сквозь бронзовую табличку на двери девятьсот третьей комнаты проступали благожелательный взгляд и неопределенная улыбка Галактиона Цереброва.

Владимир Иванович прислушался: стука машинки не было слышно, между тем как Линочка наверняка уже отобедала. Фомин осторожно открыл дверь и вошел в приемную. Линочка сидела на своем рабочем месте и, пристроив на клавишах машинки круглое зеркальце, пинцетом выщипывала себе усики. Ярко-синие глаза ее были так вдохновенно устремлены к отражению, что, казалось, висели в пространстве. Нежный ротик Линочки был сжат, чистый лобик затуманен страданием. Линочка настолько была поглощена своим занятием, что заметила Фомина только тогда, когда он оказался уже посреди комнаты.

— Я не помешал? — учтиво спросил Фомин, приближаясь.

Вскинув глаза свои, Линочка ахнула и помертвела. Руки ее бессильно упали, зеркальце провалилось между клавишами. С самой любезной улыбкой Фомин подошел к ней вплотную, положил руку ей на плечо — и тут только понял, что Линочка впала в беспамятство. Взгляд ее был устремлен не на Фомина, а на то место, где он был ею замечен, на лбу ее выступила испарина ужаса.

Другой на месте Фомина непременно смутился бы, но Владимир Иванович был не из таких. Он потрепал Линочку по щеке (рано или поздно очнется, деваться ей некуда) и наклонился над приказом, который она печатала.

Это был внутренний, сугубо частный приказ по Отделу общего счета. Согласно этому приказу, сотрудники Группы Мгасапетова категорически отстранялись от допуска к очередной Предварительной Цифре, которая на сей раз имела абсолютное значение «2 41В,5», причем этот запрет впредь до особого распоряжения распространялся также и на весь Отдел пересчета. В целях сохранения внутренней ко-

ординации на Отдел пересчета спускалась другая, значительно меньшая Предварительная Цифра «1 390,15», однако и к этой Цифре Группа Мгасапетова допущена быть не могла. Линия связи Мгасапетов — «Большой Голубой Идеал» упразднялась, личные карточки с записью тембра голоса Мгасапетова, Ахябьева и Фомина изымались из картотеки. Два последних решения, однако, лежали за пределами компетенции Отдела общего счета: лишь Ученый совет имел право изымать карточки и упразднять линии связи. Рядом с этими пунктами начальственный карандаш вывел два задумчивых знака вопроса.

После первого прочтения приказа Владимир Иванович нахмурился, после второго поднял левую бровь, посмотрел на неподвижную Линочку и, с поднятой бровью, на цыпочках вышел в коридор.

Данный приказ мог означать только одно: гипотеза о пришельце полностью подтвердилась, но руководство Института (во всяком случае, его наиболее выдержанная часть) вовсе не собиралось капитулировать перед чуждым разумом. При всей своей озабоченности Фомин не мог не одобрить категоричность приказа: меры были задуманы правильные и своевременные. Однако лично для Фомина дело поворачивалось крайне неблагоприятной стороной: его пересчет по теме «Динамика автомобильных катастроф...» замораживался и командировка на Мадагаскар из текущей реальности превращалась в элементарный мираж.

Этого Фомин допустить не мог. Надо было срочно отделяться от злополучной Группы пересчета трюизмов. И, поскольку всякому отделению предшествует самоопределение, надо было найти убедительные доказательства своей непричастности к «делу о телепатемах». Личная уверенность Фомина была убедительной лишь для него самого и больше, по-видимому, никого не интересовала. Следовательно, необходимо было срочно определить, кто из троих (Мгасапетов, Ахябьев, Путукнуктин) является пришельцем (либо тем, что под этим словом подразумевается), и доложить об этом лично Никодимову Борису Борисовичу. Только таким (и никаким иным) путем можно было противодействовать огульному зачислению Фомина в Группу Гамлета Мгасапетова. Полагаться на компетентность соответствующих служб Владимир Иванович не мог: в случае, если пришелец будет выявлен и разоблачен усилиями посторонних, на всех остальных сотрудниках Группы Мгасапетова останется пятно косвенного соучастия.

7

С этой мыслью Владимир Иванович поспешил в Отдел текущей информации — единственное место, где никто не стал бы таращиться на пришельца и падать в его присутствии в обморок (по той простой причине, что Отдел текущей информации всегда и обо всем узнавал последним). Действительно, сотрудники Отдела не имели ни малейшего понятия о том, что происходит в Институте: по поручению месткома они готовили экстренный выпуск сатирической газеты «Мистер ИКС», посвященный десятилетию Института, а поскольку юбилей предстоял лишь в марте будущего года, текущая информация этих бедняг совершенно не касалась. Они трудились на ниве позитивного юмора, а эта нива, как известно, сильно истощена. Фомин был встречен вопросом: «Что у вас там происходит смешного?». На этот вопрос Владимир Иванович ответил краткой информацией об открытии пищеблока. В ту же минуту Отдел текущей информации опустел. Изголодавшиеся газетчики кинулись обедать с такой поспешностью, что забыли отключить всю внутреннюю аппаратуру, и Фомин получил возможность сесть за пульт связи с «Большим Голубым Идеалом», на что он, собственно, и рассчитывал: у этих юмористов были все привилегии Отдела, которыми они никогда не пользовались. «Большой Голубой Идеал» относился к позитивному юмору равнодушно и на все их запросы отвечал: «Да пошли вы»,— и отключался.

Трясущимися от волнения руками Фомин снял трубку, набрал общий номер и, назвав себя, попросил у «Голубого Идеала» разрешения задать ряд вопросов.

— Валяйте,— добродушно пробасил «Голубой Идеал».— А я был уверен, что вас уже вырубили.

— Известно ли вам,— осторожно спросил Владимир Иванович,— что кто-то из нашей группы...

— Мне все известно,— перебил его «Идеал»,— кроме того, что никому не известно. И если вы имеете спросить: «Кто конкретно?»,— отвечу: «Не знаю».

— Но, может быть, у вас есть личное мнение? — заискивающе спросил Фомин.

— Моим личным мнением имеет право интересоваться только начальник Отдела,— отрезал «Идеал».— Вопросов больше нет? Отключаюсь.

— Подождите, ради бога! — с отчаянием воскликнул Фомин.— Могу ли я изложить вам собственные прикидки — с тем, чтобы вы, с присущей вам любезностью, оценили степень их корректности?

— А зачем вам это нужно?— грубовато спросил «Идеал».— На вашем месте я бы поменьше суетился.

— Видите ли,— с предельной доверительностью сказал Владимир Иванович,— мне хотелось бы очистить свою психику от необоснованных подозрений.

«Идеал» хмыкнул, но не отключился, и Фомин осмелел.

— Подозреваю Гамлета Мгасапетова,— произнес он торжественно, как общественный обвинитель.

— Основания? — деловито спросил «Идеал».

— Нечеловеческая мягкость,— начал перечислять Владимир Иванович,— излишняя терпимость, я бы сказал, всетерпимость, граничащая с равнодушием...

— Вы лжете, Фомин! — резко перебил его «Идеал».— Я знаю Гамлета, он не таков. Это азартный человек, в душе игрок, хотя и несколько робок. Очищаю вас от этого подозрения.

— В таком случае, Роберт Ахябьев,— с меньшей уверенностью проговорил Владимир Иванович.— Основания — умение оперировать с девятизначными числами в уме, болезненная склонность к завиральным идеям, к необоснованным гипотезам и к бесстыдному юмору.

— Как вы сказали? — переспросил «Идеал».— К бесстыдному юмору?

Он зашипел и надолго умолк. Только через минуту осипший от беспрерывных криков «Алё! Алё!» Фомин услышал вновь бархатный бас «Голубого Идеала»:

— Да вы шалун, Володя. Меня чуть не задушил хохот. Запомните, мой мальчик: есть юмор и есть бесстыдство. Бесстыдство — очень серьезная вещь. Серьезная и мрачная.

— Так, очищаете?..— робко спросил Владимир Иванович.

— Ну, нет, голубчик,— весело сказал «Идеал».— Тут больше зависти, чем подозрения. С этим и оставайтесь. Кто дальше?

— Один Путукнуктин...— пробормотал Фомин.— Вот никогда бы не подумал. Хотя, с другой стороны...

— Что вы там бормочете? — поторопил его «Иде-

ал».— Имейте в виду, вы исчерпали свой полугодовой лимит машинного времени. Одна минута разговора со мной стоит полтора миллиона. До Нового года вам придется считать на пальцах. Если придется вообще.

— Да, да, конечно,— поспешно проговорил Фомин.— Я сознаю и готов нести ответственность. Но Слава Путукнуктин... Конечно, он молод, имеет привычку задавать нелепые вопросы, длинноволос, не по-земному миловиден... И потом, простите, у него практически не растет борода!

— У Наполеона, между прочим, тоже не росла борода,— заметил «Идеал».— Это все ваши подозрения?

— Все.

— Не густо, Вова. Отпускаю вам ваши грехи. Что бы ни случилось — мужайтесь.

И «Голубой Идеал» отключился.

8

Между тем остальные пришельцы, кое-как отобедав, вернулись к себе в Отдел. Молодой Путукнуктин был совсем плох. По галерее Мгасапетов и Ахябьев вели его чуть ли не под руки: он ослабел от переживаний и еле волочил ноги. Огромная толпа сослуживцев, покинув кафетерий, устремилась было за ними, но группа молодых ребят, взявшись за руки, перекрыла проход на галерею, и только несколько прорвавшихся шли в отдалении, останавливаясь всякий раз, когда Ахябьев оглядывался.

Однако, войдя в триста пятнадцатую и заняв свое рабочее место, Слава Путукнуктин несколько приободрился. К пушистым щекам его вернулся слабый румянец, глаза заблестели. С детским любопытством Путукнуктин принялся разглядывать стены комнаты, шкафчики, пульты, особенно его умилял хитроумный оконный переплет.

— Как будто впервые увидел! — повторял Путукнуктин с восторгом.— Ей-богу, как будто впервые!

Он посмотрел на хмурого Ахябьева и разразился заливистым смехом.

— Прелестная зверушка! — приговаривал он, тыча в Роберта пальцем.— Очаровательное двуногое!

Со стороны можно было подумать, что Путукнуктин пьян. Но приступ веселья кончился так же внезапно, как и начался. Славик побледнел, умолк, дыхание его участилось, взгляд стал блуждающим, глаза потемнели и запали.

— Воздух,— сказал он с беспокойством.— Вы чувствуете? Воздух. Сплошной сернистый газ. Роберт, у тебя не щиплет в глотке?

Ахябьев отрицательно покачал головой.

— Послушайте! — воскликнул Путукнуктин.— Мне плохо! У меня сожжены все легкие, я умираю!

Он судорожно схватился за горло, лицо его исказилось. И тут Гамлет Варапетович, который до сих пор сидел нахохлясь за своим пультом и не произносил ни звука, второй раз за сегодняшний день проявил свою власть.

— Мальчишка! — гаркнул он, побагровев от натуги.— Перестаньте морочить нам голову! Вы шесть месяцев у меня на глазах дышали этим воздухом и чувствовали себя превосходно! Ваши легкие рассчитаны на этот воздух, другого вы и не заслуживаете!

Путукнуктин перестал корчиться, отпустил свой накрахмаленный воротничок и с недоумением уставился на Гамлета.

— Что вы хотите этим сказать? — пролепетал он в полнейшей растерянности.

Но Гамлет Варапетович был настолько разгневан, что не смог выговорить больше ни слова, хотя рот его был открыт, а глаза вращались в орбитах.

— Видишь ли, Славик,— вкрадчиво сказал Роберт Аркадьевич, быстро оценивший ситуацию и уже успевший найти в ней определенную долю юмора.— Шеф имеет в виду, что тебе удалось одурачить себя самого, но нас не так легко одурачить. Ты внушил себе, что прислан извне, но, к сожалению, твое воображение сильнее логики. Пришелец как устройство специально рассчитан на земные условия, и для него сернистый газ в воздухе — совершенно естественная и необходимая приправа, вроде постного масла к редьке. Кто угодно будет задыхаться от смога, только не пришелец.

— Да, но...— начал было Путукнуктин и задумался. Он машинально поправил галстук, достал расческу и принялся приводить в порядок свои длинные локоны. При этом лицо его все больше и больше грустнело.— Жаль...— проговорил он наконец и покраснел.— В рамках этой гипотезы многое нашло бы свое объяснение.

— Например?—вежливо поинтересовался Ахябьев.

— Например, моя Люся считает, что я в некотором роде... не стандартен. И уж, во всяком случае, не от мира сего.

— Ей, конечно, виднее,— сказал Ахябьев.— Но для нас твоя Люся не авторитет. В том-то вся и штука, что пришелец должен быть абсолютно типичным. Как всякая модель, построенная на основе общих представлений... Постойте, постойте! — вдруг оживился Ахябьев.— Я, кажется, что-то нащупал. Предположим, мы строим модель коровы, способной автономно функционировать в стаде и не возбуждать подозрения у остальных коров, а также у пастуха. Включим ли мы в программу ящур, бруцеллез или рак вымени? Скорее всего, нет. Эти признаки характерны, но не системны. У меня, например, старинные нелады с печенью. Гамлет, а у тебя! Сдается мне, что ты здоров, как бык. Как типичный бык, я имею в виду. Или, пользуясь терминологией Люси Путукнуктиной, как бык стандартный. А, Гамлет?

— Ну, если не считать стенокардии...— задумчиво сказал Мгасапетов.— Но мне это не мешает функционировать.

— Тебе не мешает, пришельцу помешало бы,— возразил Ахябьев.— Пришельцу стенокардия без нужды. Хорош был бы наш «Луноход» со стенокардией. Или с холециститом.

— Ты забываешь, Робик,— сказал Гамлет Варапетович,— что «Луноходу» нет нужды вживаться в стадо.

— Экая важность! — отмахнулся Ахябьев.— Да не будь у тебя стенокардии, я бы и глазом не моргнул. При всем моем к тебе уважении. Ты мне подходишь даже совершенно здоровый. Короче, Гамлет, как это ни прискорбно, мы с тобой отпадаем. Славик, у тебя, кажется, хронический насморк?

Путукнуктин молча кивнул.

— Довольно странная характеристика для пришельца. Итак, остается Фомин. Наш любезный Владимир Иванович, который так загадочно отсутствует.

— У Володи повышенное давление,—заметил Мгасапетов.— Сто семьдесят на сто десять.

— М-да, многовато,— с неохотой признал Роберт Аркадьевич.— Значит, моя исходная гипотеза некорректна. Действительно, если вдуматься, любому современному человеку присуща та или иная современная хворь. Они ее включили в функциональное описание человеческой модели и оказались совершенно правы. Человек, которого изнутри ничто не гложет, выглядел бы неприличным бодрячком. А нука, зайдем с другого конца. Скажите мне, друзья

мои, может ли типичная человеческая модель скончаться? Иными словами, дать дуба, отбросить копыта?

— Вообще-то это для человека характерно,— сказал Мгасапетов.— Но, с другой стороны, смерть от телесного недуга они вряд ли стали бы предусматривать.

— Ну, а несчастный случай? — живо спросил Ахябьев.— Скажем, удар электрическим током? Слава, дорогой, рядом с тобой на стене розетка. Сунь туда пальчик, будь любезен.

Путукнуктин покосился на розетку и не двинулся с места.

— Я запрещаю подобные эксперименты,— сухо сказал Мгасапетов.

— Правильное решение,— одобрил Ахябьев.— В таком случае я выхожу из игры. И если в конце концов пришельцем окажется Роберт Ахябьев, не говорите, что он был слепым орудием в чужих руках. Он мучился и страдал.

Роберт Аркадьевич встал. Его лицо было светло и бесстрастно. И если бы Мгасапетов обладал хоть малейшим даром предвидения, он тигром бы кинулся на Ахябьева и придушил бы его на время или каким-либо иным способом лишил возможности действовать. Но Мгасапетов даром предвидения не обладал. Единственное, что его занимало, было расстояние между Ахябьевым и розеткой, за которым он зорко следил.

Однако Роберт Аркадьевич и не собирался приближаться к розетке. Он постоял у своего стола, задумчиво взял в руки настольный вентилятор — и вдруг, резко наклонившись, вцепился зубами в электрический провод.

— Роберт! — не своим голосом завопил Мгасапетов и, опрокинув стул, вскочил.

Путукнуктин последовал его примеру — с некоторым опозданием, вызванным замешательством.

Но все было уже кончено. С перекушенным проводом в зубах Роберт Аркадьевич выпрямился. Глаза его были полуприкрыты — как будто он с недоумением прислушивался к себе. Гамлет Варапетович схватил его за один локоть, Слава Путукнуктин — за другой. Ахябьев и не думал сопротивляться.

— Все ясно,— сказал он сквозь зубы и медленно опустился на стул.

Мгасапетов схватил один конец провода и потянул в свою сторону, Путукнуктин — другой.

— Кончена карьера,— тихо проговорил Ахябьев и, поведя плечами, освободился от дружеских рук.— Ну, что ж, будем действовать сообразно.— Он посмотрел на Мгасапетова, потом на Путукнуктина, грустно улыбнулся.— Двести двадцать вольт,— сказал он задумчиво,— а в отдельные моменты до двухсот пятидесяти. Болевой шок, паралич речевых, слуховых, зрительных центров, прекращение сердечной деятельности — и, как говорится, можно сливать воду.

Гамлет Варапетович и Слава Путукнуктин в ужасе отступили от ахябьевского стола.

— Займите свои места,— ласково сказал им Роберт Аркадьевич,— и давайте почтим память Ахябьева молчанием. Он был неплохим человеком и пал жертвой научного эксперимента.

Мгасапетов и Путукнуктин повиновались. Минуту в триста пятнадцатой комнате стояла жуткая тишина. Потом лицо Славы Путукнуктина мелко задергалось, он уронил свою голову на стол и заплакал навзрыд. Гамлет Варапетович заморгал и, не нашарив в кармане платка, вытер глаза рукавом замшевой куртки.

— Ну, что ж,— как ни в чем не бывало сказал Ахябьев,— приступим к делу. Гамлет, дорогой, пригласи сюда Никодимова.

9

В глубокой задумчивости Владимир Иванович Фомин возвращался к себе на третий этаж. Чтобы избежать встречи с сотрудниками Института, он отказался от услуг лифта и шел пешком по пустынной парадной лестнице.

Вдруг Владимир Иванович приостановился. Навстречу ему поднимался начальник Отдела пересчета Борис Борисович Никодимов. Начальник шел, глядя прямо перед собой, и избежать столкновения было невозможно. Собственно, взгляд Никодимова был устремлен поверх головы Фомина, но впечатление пристальности осталось, и даже неприязни.

Оказавшись лицом к лицу с начальником Отдела, Владимир Иванович с достоинством кивнул и сделал предупредительный шаг в сторону, чтобы Борис Борисович мог пройти своим путем, не посторонившись. Но Никодимов также сделал вежливый шаг в сторону и даже остановился, пропуская Фомина мимо себя. Здесь, собственно, должно было последовать беглое замечание («Пешком решили прогуляться?» — или что-нибудь в этом роде), но не последовало, и Фомин (не проходить же молча) вынужден был произнести нечто невнятное:

— Вот, Борис Борисович, вниз, так сказать, иду.

Никодимов усмехнулся и ответил в том же неопределенном тоне:

— А я, Владимир Иванович, так сказать, вверх. С вашего позволения.

И впечатление неприязни усилилось настолько, что Фомин счел за благо промолчать. Он еще раз кивнул и, приглаживая редкие, жесткие волосы, пошел вниз. Колени у него дрожали. Спиной он чувствовал, что Никодимов стоит на той же ступеньке вполоборота и через плечо смотрит ему вслед. Как смотрит, с усмешкой или без, Фомин судить не мог, но никакие земные блага не заставили бы его оглянуться.

Три года Владимир Иванович любовался своим начальником Отдела, тщательно фиксировал в памяти жесты его и манеры, а тихий голос Бориса Борисовича казался ему идеальным для современного руководителя. Причем ответного внимания Фомину не было нужно, оно его обеспокоило бы и отяготило.

Борис Борисович был человеком сдержанным и культурным. Местоимение «я» он употреблял только в косвенных падежах, даже если для этого ему приходилось выискивать замысловатые обороты: скажем, вместо «Я не согласен» у Никодимова получалось «Мне представляется это сомнительным»,— ну, и тому подобное. Но в отличие от Гамлета Мгасапетова Борис Борисович не был помешан на деликатности, и «Мне бы хотелось» у него звучало как «Вы, дорогой мой, обязаны». Эта частность поведения, наверно, не была самой главной, но Владимиру Ивановичу льстила мысль, что на месте Никодимова он держал бы себя точно так же.

До сегодняшнего дня Фомин был уверен, что Борис Борисович, хотя и не держит его на примете, как Роберта Ахябьева, но все же неосознанно на него полагается — как на исполнительного, надежного, пусть даже «фонового» работника. Теперь же в этом пришла пора усомниться. «Фоновых» работников не замечают оттого, что в них уверены, но уж никак не оглядывают их с неприязнью. Вообразите, что вы бегло взглянули на стену своей комнаты и вдруг почувствовали к ней сильнейшую неприязнь. Наверно, где-то в подсознании у вас уже бродит мысль содрать с этой стены обои либо загородить ее каким-нибудь шифоньером, а то и вовсе проломить ее и сделать сквозной проход.

Ни та, ни другая, ни третья возможность не устраивали Владимира Ивановича. И ему впервые стало очень неуютно в здании Института. Даже приказ Г. К. Цереброва вызвал у Фомина лишь приступ жажды деятельности, но вовсе не поколебал его уверенности в том, что уж кто-кто, а он-то здесь, в Институте, определенно на своем месте. Теперь от этой уверенности не осталось и следа.

Безусловно, у Никодимова были все основания негодовать на пришельца. Утечка информации шла через Отдел пересчета, и это бросало тень на самого начальника Отдела, каким бы авторитетом он ни обладал. Безусловно также, что Борис Борисович имел полное право держать на подозрении любого сотрудника Группы трюизмов. Но при чем здесь Фомин? Почему такая неприязнь именно к нему? Разве Никодимову не ясно, что «дело о телепатемах» касается кого угодно, только не В. И. Фомина? А если это не ясно даже Никодимову, то дела Фомина совсем не блестящи. Любая попытка отмежеваться будет рассмотрена Никодимовым как косвенное доказательство вины. И вот смотрите, что получается. Никодимов не даст в обиду Гамлета Мгасапетова, поскольку сам его назначал. Гамлет защитит Ахябьева, потому что только мыслями Ахябьева и живет. А Ахябьев курирует молодого Путукнуктина и наверняка поручится за него головой. Все они связаны круговой порукой и наверняка ополчатся на Фомина, который никем не курируем и, как это только что выяснилось, ходит под неприязнью начальства. Неизвестно еще, о чем эти трое из триста пятнадцатой договорились в его отсутствие. Тут уж не до самоопределения, речь идет о самозащите. Как В. И. Фомин может доказать всему миру, что он никакой не пришелец, а обыкновенный смертный, земной, младший научный сотрудник?

И тут Владимира Ивановича бросило в жар. Да ведь он же сам себя губит! Вместо того, чтобы сидеть тише мыши на своем рабочем месте (как ему советовал «Голубой Идеал»), Фомин, словно заправский пришелец, бродит в одиночестве по Институту, повергает в обморок секретарш-машинисток (легко вообразить, что рассказывает, очнувшись, Линочка о его внезапном появлении в центре комнаты, с искрами в глазах и щупальцами по углам рта), рассматривает закрытые документы, вступает в незаконную связь с «Большим Голубым Идеалом» и в довершение всего сталкивается с начальством в безлюдном месте!

Как пригвожденный молнией, застыл Владимир Иванович на лестничной площадке между пятым и четвертым этажом. Застыл от страшной догадки: а что если в с е м у ж е в с е п о н я т н о? А что если ему только дают возможность бродить в одиночестве по Институту, между тем как на его месте в триста пятнадцатой комнате уже сидит нормальный человеческий сотрудник?

Догадка была чудовищно жестокая: когда всем все понятно, лучше идти с повинной. А может быть, он действительно... действительно причастен?

Нет, только не это! Владимир Иванович оглянулся, слегка присел и, перепрыгивая через ступеньки, помчался за Никодимовым. Только не это, только не это, повторял он, устремляясь вперед и вверх. Только не это! Даже если это так... Надо опередить, предотвратить, предпринять!

Он догнал Никодимова между пятым и шестым этажами. Борис Борисович шел не спеша и, видимо, что-то обдумывал на ходу: с начальством это бывает. Услышав за спиной тяжелые прыжки и учащенное дыхание Фомина, он приостановился, напрягся затылком—что ни говори, а когда за тобой вприпрыжку мчатся по лестнице, ощущение не из приятных.

— Борис Борисович! — простонал Фомин, простирая к нему руки.

Никодимов обернулся. Вид Фомина был настолько ужасен, что можно было предположить наихудшее. Руководить — значит предвидеть, любил повторять Никодимов, но сейчас он решительно не знал, что ему делать. В полной растерянности Борис Борисович остановился и выставил вперед локоть, чтобы, в случае насилия, предупредить хотя бы нанесение физического ущерба. Но Фомин замедлил свой бег внизу, в двух шагах, и, упав на колени, с трудом поднялся и прекратил движение совсем.

— Считаю своим долгом...— прохрипел он, судорожно дыша.— Вы как руководитель... я не могу делать выводов...

— Помилуйте, Владимир Иванович,— со сдержанным негодованием сказал Борис Борисович.— Что с вами, дорогой? Успокойтесь же вы, ради бога!

— Считаю своим долгом...— тяжело ворочая языком, проговорил Фомин.— Гамлет Варапетович своим поведением... оказывает прямое покровительство... двусмысленным элементам.— Как ни был взволнован Владимир Иванович, он выражался нарочито туманно: прямые указания на личность могли лишь ему повредить.— Ведутся провоцирующие разговоры...— хрипел Фомин, цепляясь за лестничные перила,— о том, что вы и сам товарищ Хачаврюжин имеете отношение к проблеме так называемого пришельца. Не вправе делать выводы, но полагаю, что все это служит лишь прикрытием...

Растерянность Бориса Борисовича окончательно прошла и уступила место раздражению. Это и погубило Фомина.

— Прикрытием чего? — спросил Никодимов, пристально глядя в лицо Фомину.

Фомин смертельно побледнел и отступил на одну ступеньку.

— В данной ситуации,— невнятно произнес он,— когда чуждый элемент еще не обнаружен...

— Чуждый элемент уже обнаружен,— жестко сказал Никодимов.— Единственный чуждый элемент в нашей системе — это вы. И вы это отлично знаете.

Владимир Иванович пошатнулся, приложил руку к сердцу.

— Клянусь вам...— прошептал он.

Но Никодимов не стал его слушать. Круто повернувшись, он продолжал свой путь наверх. Теперь он шел значительно быстрее и через минуту уже скрылся за поворотом.

— Нет,— тихо сказал Фомин.— Нет!

Но это были последние конвульсии сопротивления. Ощущение отчужденности, потрясшее его десять минут назад, после взгляда Никодимова, теперь захватило Фомина целиком. У него уже не было ни сил, ни желания бороться с этим страшным ощущением.

Фомин стоял довольно высоко над глинистой поверхностью Земли, внутри громоздкого бетонного улья, в каждой ячейке которого тихо копошились и жужжали двуногие. Фомин был переполнен ненавистью к этим хитрым глазастым говорливым существам, с их мерзкими привычками, их жалким образом жизни, их воинственными мнениями и ядовитыми остротами. Все это было глубоко чуждо Фомину, чуждо и ненавистно. Теперь-то он отчетливо понимал, зачем его так тянуло к машинам, зачем он сторонился людей. Эти сумбурные, противоречивые, порочные создания — они даже магнитную память компьютеров начинили своими противоречиями, шуточками и точками зрения. Фомин был из другого мира — из мира, в котором все ясно и просто, все складывается в систему, исключающую точки зрения, все сводится в абсолютную истину, которую умеют беречь.

Помертвев от решимости, Фомин повернулся к окну и испустил мощный и в то же время пронзительный телепатический сигнал. Это был бессловесный сигнал, нечто вроде трехголосого рыка: «И-ы-и!» От натуги что-то всхлипнуло у Фомина в затылке, ощущение бесконечного счастья слияния пронзило все его существо, и, глядя сквозь стекло мокрыми от слез глазами, Владимир Иванович уже легко и свободно повторил этот безмолвный рык Пришельца «И-ы-и!», от которого, взревев, захлебнулись динамики соседнего Института, и стая галок, попавшая в полосу сверхмощной телепатемы, посыпалась на землю, как крупный пернатый дождь. Фомин был уверен: там, где-то там его услышат, поймут его тоску и его одиночество в этом мире.

— Хорошо же! — вслух сказал Владимир Иванович и засмеялся.— Хорошо же вам будет! Вы думали, я сдамся, уйду? Ну, нет. Вы меня обнаружили — тем хуже для вас. Вам придется меня бояться!

10

Он вошел в триста пятнадцатую комнату крупным тяжелым шагом. Трое двуногих, нелепо скрючивших свои порочные тушки над гладкими плоскостями рабочих мест, разом вскинули головы.

— Ну, что? — спросил их Фомин, стараясь говорить нормальным человеческим голосом.—Не ждали? Соскучились без меня? Вот мы и снова вместе.

Фомин протиснулся на свое рабочее место, устроился, насколько мог, удобно и громко цыкнул зубом. Двуногие растерянно подвигались, но промолчали.

— Вот-вот,— одобрительно сказал Владимир Иванович.— Вы сделали правильные выводы. В моем присутствии лучше держать язык за зубами. Особенно это касается Роберта Аркадьевича, который, по-видимому, является душевнобольным. Впрочем, я еще вплотную не занимался этим вопросом. Дела, знаете ли, дела. Номинальным руководителем группы остается Гамлет Варапетович, однако по поводу всех своих акций он обязан консультироваться лично со мной. А ты, щенок,— Фомин повернулся к Путукнуктину,— вообще должен замереть, понял? И постоянно — учти, постоянно! — смотреть мне в глаза. Каждый должен заниматься своим делом, остальное пока без изменений. Пока, я повторяю: п о к а.

С минуту в комнате было тихо. Путукнуктин побелел, как бумага, и трясся мелкой дрожью, Мгасапетов сидел с отвисшей челюстью, Роберт с жадным интересом наблюдал за Фоминым. Наконец, Мгасапетов сглотнул слюну и потянулся к аппарату связи.

— Назад! — рявкнул Фомин.— Без моего ведома никого не вызывать! Распустились!

— Володя, ты перегрелся! — возмущенно сказал Гамлет Варапетович.

— Оставь его, Гамлет,— мягко сказал Ахябьев.— И не хватайся за трубку: мы же отключены.

— Черт бы подрал этих перестраховщиков,— в сердцах проговорил Мгасапетов.— Вырубили в пять минут, а подключать теперь неделю будут.

— Ну, что касается меня,— возразил ему Роберт Аркадьевич,— то я на собственной шкуре убедился в пользе перестраховки. Не будь у нас в ИКСе осторожных людей, лежал бы я сейчас серьезный и красивый... Двести двадцать вольт, шутка сказать.

Театрально улыбаясь, он подобрал оборванные концы провода и, поставив локти на стол, сомкнул обрывки перед своим лицом. Раздался ужасающий треск, лиловая искра сверкнула над столом Ахябьева, и в ту же минуту вспыхнуло табло внутреннего оповещения: «Эй, вы, пришельцы! Прекратите баловаться с проводкой!»

— Однако...— озадаченно пробормотал Роберт Аркадьевич.— А нас уверяют, что никакого контакта не существует.

— Ну, слава тебе, господи,— Мгасапетов облегченно вздохнул.— Отбой, ребятки. Энергию подали. Все живы, все здоровы и все свои.

— Все хорошо, что хорошо кончается,— поддакнул Путукнуктин и зарделся.— Но, честно говоря, немножечко жаль. Было так интересно...

Владимир Иванович ошеломленно слушал, вертя головой от одного говорящего к другому.

— Да что здесь, собственно, происходит? — гневно спросил он наконец.— Вы что, с ума посходили? Какой отбой, при чем здесь отбой?

— Видишь ли, Володя,— осторожно сказал Гамлет Варапетович.— Ты, наверно, не совсем в курсе. Только что заходил Никодимов и сообщил нам, что ИПП во всем повинился. Они действительно блефовали, но им пришлось выложить карты на стол. Никаких телепатем не было, нет и, по-видимому, не будет.

Все заледенело у Фомина внутри, но на лице его не дрогнул ни один мускул.

— То есть?..— промолвил он неопределенно.

— Да никаких «то есть»! — осердился Мгасапетов.— Не было, нет и не будет. Тут некоторые нервные товарищи пирожными давились, электропроводку грызли, но ты-то, я надеюсь, не будешь строить из себя пришельца?

Владимир Иванович нахмурился, соображая, потом лицо его прояснилось, и медленная торжествующая улыбка поползла по его губам. Чтобы скрыть эту улыбку, он нагнулся низко над столом, достал из кармана расчетную карточку по теме «Динамика автомобильных катастроф среди курящих женщин Северного Мадагаскара» и принялся втискивать ее на место, в туго набитый ящик личного каталога.

«Так, так,— думал он, изо всех сил притворяясь озабоченным,— решили, значит, мне не мешать. Понаблюдать хотите за наблюдателем. Что ж, воля ваша. Посмотрим, кто кого... перенаблюдает».

Тихо стало в триста пятнадцатой комнате. Слава Путукнуктин, поджав ноги и склонив голову к плечу, обводил рамочкой какой-то график; Мгасапетов, прикрыв трубку ладонью, вполголоса переговаривался с «Большим Голубым Идеалом»; Роберт Аркадьевич, саркастически усмехаясь, набрасывал на уголке газеты колонки цифр. Шла нормальная будничная жизнь. И надпись на табло «А если подумать?» привычно мигала, не будоража воображения.

А Фомин сидел, потупясь, и напряженно телепатировал. Кожа на затылке его мелко подергивалась, но этого, естественно, никто не видел.

«Настоящим докладываю: обнаружен, но продолжаю функционировать. Необходимости в моем перемещении пока нет. Однако вынужден отметить положение младшего научного сотрудника, в котором я нахожусь, определенно сужает круг моих возможностей. Повторяю: сужает круг моих возможностей. Между тем мой непосредственный начальник Гамлет Варапетович явно не справляется со своими обязанностями. Считаю необходимым использовать данную ситуацию в интересах дела. Повторяю: в интересах дела. Прошу полномочий. Конец».

Закончив сеанс, Владимир Иванович расслабился, сел поудобнее и принялся с любопытством рассматривать свои руки. Руки были вполне человеческие: ногти тупо острижены, короткие пальцы покрыты золотистыми волосками.

«Вот ведь черти! — думал он с умилением.— Ни за что не отличишь. Умеют же все-таки делать!»

БЫСТРЫЕ

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ПОВЕСТЬ

Рисунки
Г. КАЛИНОВСКОГО.

СНЫ

Зиновий
ЮРЬЕВ

Глава I

Я открыл глаза и посмотрел на окно. Темно. Наверное, еще совсем рано. Я скосил глаза на будильник, но стрелки неясно расплывались по циферблату. Бог с ним, все равно еще не вставать. И здесь я почувствовал спросонья какую-то странность. То, что я проснулся в своей квартире рядом со своей женой, было более чем естественно. Но тем не менее странность была. Нечто явно неуместное в маленькой комнатке, из которой еще не вытекла ночная теплая тьма.

Несколько секунд эта странность барахталась в моем просыпающемся мозгу, затем окрепла и, осознанная, превратилась в какое-то удивительное состояние духа.

Я изумился. Никаких особых причин для такого радостного настроения, да еще часов в пять утра, у меня не было. Не было поводов для огорчений, это верно, но разве отсутствие поводов для огорчений — это повод для радости? Когда двадцатипятилетний учитель английского языка просыпается в своей кровати и прислушивается к ровному дыханию жены — этого, согласитесь, для неожиданной радости все-таки маловато.

Ничего особенного в этом не было. Можно было, правда, испытать чувство сладостного предвкушения: еще рано, часа два сна впереди. Ты здоров, тьфу, чтоб не сглазить! Жена тоже. Все в порядке, жизнь идет. Когда-то, совсем маленьким, я испытывал иногда беспричинную радость, радость жеребенка, прыгающего на солнечном лугу. Но острая, неожиданная, непонятная радость взрослого человека в пять утра... Может быть, что-нибудь в школе? Нет, в школе тоже ничего сверхъестественного не произошло.

И вдруг я понял. Радость исходила от сна. И сновидение всплыло на поверхность моей памяти. Четкое и ясное. Окрашенное в янтарные тона. Цвет, которым вспыхивает ствол сосны, когда перед закатом в него вдруг неожиданно ударяет из-за сизой тучи луч солнца.

Янтарный сон. Поразительно четкий, объемный. Чувство полета. Но дух не захватывает. Спокойный полет. И перед глазами возникает янтарный пейзаж. Чередование гор, скорее холмов. Гладких, округлых, спокойных. Долины с трещинками. То ли дороги, то ли реки.

Нырок вниз. Такой же бесшумный и стремительный, как полет. Цвет становится ярче. Янтарь наполняется пронзительной охрой...

— Ты что ворочаешься? — хриплым со сна голосом пробормотала Галя.— Не спишь?

— Не сплю,— сказал я и почувствовал к Гале благодарность за то, что она проснулась и что ей сейчас можно будет рассказать про удивительный сон.

— Не заболел?

— Нет, Люш, не беспокойся. Я здоров. Просто мне приснился такой сон...— Я замолчал, подыскивая слова, чтобы передать ей яркость сновидения.

В глубине моего сознания слова были такими же праздничными, как сам сон, но — удивительное дело — когда я попытался рассказать, слова потеряли нарядный блеск, стали скучными и серыми, как собранные на пляже и высохшие по дороге домой разноцветные камешки, как рассвет за окном.

— Ты понимаешь, прежде всего цвет... Необыкновенный цвет,— начал было я, но услышал ровное Галино дыхание. Слишком ровное.

Она спала, посапывая. Я собрался было обидеться, но так и не собрался, потому что сновидение снова разворачивалось огромной янтарной панорамой. Сон и не сон. Картина была четкой, ясной, полной деталей. Ощущение не сна, а просмотра цветных слайдов, которые плавно проходят перед тобой.

Ну хорошо, такой яркий сон, подумал я, встрепенувшись, но откуда эта детская радость? Может быть, сон вовсе ни при чем? При чем, ответил я себе убежденно. Каким-то странным образом ночной полет над янтарной планетой явно давал мне чувство острой, неожиданной радости.

Это чувство сохранялось у меня целый день, окрашивая все вокруг в праздничные, яркие цвета.

— Что ты улыбаешься? — спросила Галя, когда я делал зарядку.— Что смешного?

Я положил гантели на пол, выпрямился и посмотрел на Галино лицо с плотно сжатыми губами. По утрам она всегда сурова. Вообще она милая женщина, и я нисколько не жалею, что женился на ней. Но откуда у нее эта неприступность по утрам, эта холодность? А может быть, просто она просыпается раньше своих эмоций? Руки и ноги двигаются, стелят кровать, делают упражнения по системе йогов, открывают кран душа, ставят на плиту чайник, а эмоции спят, тихо, сладко спят.

Что ж, вполне убедительная теория, потому что часа через два, если мы не расстаемся, уходя на работу, Галя начинает нежнеть на глазах. Черты лица

смягчаются, слова перестают носить чисто информационный характер. И я из Юрия и Юры превращаюсь в Юрчу, Юрчонка и прочее.

— Что смешного? — снова спросила Галя тоном служащего испанской инквизиции.

— Не знаю,— сказал я.— Может быть, я улыбаюсь потому, что видел какой-то необыкновенный сон... Понимаешь...

Жена крайне неодобрительно посмотрела на меня.

— Яичницу будешь? — спросила она неприязненно и, не ожидая ответа, пошла на кухню.

«Господи,— подумал я,— если мы разведемся когда-нибудь, это будет, наверное, именно из-за того, что по утрам она не умеет улыбаться, а я в это время, наоборот, особенно любвеобилен».

«Ну, хорошо, Юрий Михайлович,— скажет судья и внимательно посмотрит на меня из-под очков в тонкой металлической оправе,— а какова все-таки причина, по которой вы хотите развестись с супругой? Разрушить молодую семью...» «Понимаете, товарищ судья,— скажу я, волнуясь и нервно подергивая пальцы до хруста в суставах,— все дело в том, что моя жена никогда не улыбается по утрам». Немолодой судья с усталыми, умными глазами вздохнет глубоко, печально и понимающе скажет: «Да... Это тяжелый случай... А вы пробовали рассмешить ее?» «Еще бы, товарищ судья. Я буквально засыпал ее анекдотами, гримасничал, паясничал...» «И что же?» «Все бессмысленно, товарищ судья. По утрам она не улыбается». «Да, боюсь, что юстиция в данном случае бессильна»,— скажет судья и смахнет украдкой скупую судейскую слезу.

По дороге в школу я встретил Вечного Встречного. Так я окрестил про себя средних лет человека, с которым всегда встречаюсь по утрам около аптеки. Плюс — минус двадцать шагов. Я работаю в школе уже три года и три года встречаю около аптеки Вечного Встречного. За все эти три года он изрядно пополнел, и портфель его соответственно стал вдвое толще. Полнота Вечного Встречного была приятной, солидной, лицо выражало почти полное удовлетворение жизнью. По-видимому, он успешно продвигался по службе, хотя до персональной машины еще не дорос. И хорошо, думал я эгоистически, потому что мне было бы немножко грустно расстаться с ним. День, начатый без него, потерял бы свою законченность.

Как-то я не видел его недели две подряд и все гадал, проходя мимо аптеки, получил ли он повышение или заболел. А потом, увидев издали знакомую фигуру со знакомым портфелем, обрадовался так, словно он был моим ближайшим другом. Но не поздоровался. По какому-то тайному соглашению мы не только не здоровались, но даже не кивали друг другу. Два атома в городской толпе, орбиты которых пересекаются у аптеки в восемь восемнадцать, максимум восемь девятнадцать утра.

Сегодня я поздоровался с Вечным Встречным. Я, конечно, не назвал его так. Просто, когда мы сошлись у аптеки, у средней витрины, в которой стояли запыленные и выцветшие коробки с лекарственными травами, я улыбнулся и сказал:

— Доброе утро, я думаю, нам пора уже начать здороваться.

Боже, какую реакцию вызвали мои слова! Вечный Встречный вздрогнул, остановился, расплылся в широчайшей улыбке, причем даже его очки, казалось, расплылись вместе с лицом, и сказал неожиданно высоким голоском:

— Здравствуйте, мой дорогой, и спасибо вам!

— За что же! — удивился я.

— Три года я думаю над тем, как поздороваться с вами, а вы это сделали так легко и просто! Благодарю вас, вы сняли у меня груз с плеч!

— Пожалуйста, пожалуйста, если нужно еще какой-нибудь груз...— улыбнулся я, чувствуя себя сильным, добрым и мудрым.

Мы пожали друг другу руки и разошлись.

В учительскую я вошел в восемь двадцать пять — на минуту позже, чем обычно. Минута ушла на беседу с Вечным Встречным. Прекрасно проведенная минута. Минута, которую не жалко потерять.

Я достал сигарету и закурил. Ближайшие три минуты я обычно неторопливо курил, думая о том, что надо, черт возьми, собрать волю в кулак и бросить наконец курить. От этих мыслей первая утренняя сигарета приобретала особый сладостный вкус греховности.

Но сегодня я не думал о силе воли. Воображение мое все еще занимал ночной сон, бесшумный и стремительный полет над янтарными горами; каждую из них я видел перед собой так отчетливо, словно всю сознательную жизнь парил над ними.

Я понимал, что настойчивость, с которой мой мозг все время возвращался к сновидению, была нелепой, может быть, даже маниакальной, но ничего поделать с собой не мог. И не хотел. Подобно тому, как сновидение дало мне почему-то радость, так и воспоминание о нем было приятно. Я отдавал себе отчет в необычности этого, но она не пугала меня. В ней не было ничего болезненного. Просто была некая веселая странность, окрасившая будни в яркие и неожиданные праздничные тона. Словно стены учительской вдруг оказались бы не скучного коричневого цвета, а какого-нибудь лилового с золотом. Или тишайший наш математик Семен Александрович явился бы не в своем вечном сером костюмчике, а в золотом камзоле, ботфортах и при шпаге.

Мне снова остро захотелось рассказать кому-нибудь о сне, и я обвел глазами учительскую. Математик Семен Александрович сидел в кресле, полузакрыв глаза, и держал на коленях журнал с аккуратной кляксой в правом верхнем углу. Восьмой «Б». Вид у математика при этом был такой напряженно-мученический, как будто он был ранним христианином и через несколько минут его должны были бросить в яму со львами. Впрочем, в некотором отношении восьмой «Б» хуже ямы со львами. Львы свирепы, но не болтливы, чего нельзя сказать о восьмом «Б».

Подойти к нему и сказать: «Семен Александрович, а я сон видел интересный...»

Я усмехнулся. Естественнее было бы, например, закукарекать, взмахнуть руками и взлететь на шкаф, на котором стоит сломанный глобус с геологическими напластованиями пыли.

Химик Мария Николаевна переписывала что-то из журнала в крохотную записную книжечку. Сама она была столь велика, а книжечка такая крохотная, что, казалось, ей не удержать такую малость в руках. Вся школа знала, что Мария Николаевна ровным счетом ничего не помнит и поэтому все записывает в многочисленные записные книжечки. Отметки учеников и дни рождения учителей, профсоюзные долги и расписание уроков — все было в ее книжечках. Система, разработанная ею, должно быть, отличалась большой эффективностью, потому что на самом деле она никогда ничего не забывала. А может быть, она все отлично помнила и жаловалась на память из кокетства.

А что — взять да рассказать ей о сне? Интересно, запишет она сон в маленькую записную книжечку? Или вместо этого напомнит о задолженности по профвзносам?

Зазвенел звонок, и я отправился в седьмой «А».

Нельзя сказать, чтобы ребята меня слишком боялись, но дисциплина на уроках у меня вполне пристойная. Я обвел глазами класс. Удивительно, прошло уже несколько часов со времени моего сновидения, а мир по-прежнему был освещен теплым янтарным светом и казался поэтому веселее, приятнее и трогательнее, чем обычно. Вон, например, Слава Жестков. Комбинация сонливости и брезгливости на его лице всегда казалась мне удивительно противной. Но сегодня и его лицо выглядело почти приятным. А Алла Владимирова становится прямо красавицей, как я мог раньше этого не замечать... Что она умница — это я знал всегда. Светлая головка. Но как же она похорошела с прошлого года! Высокая, тоненькая, глазищи в пол-лица, берегитесь, мальчики! На мгновение мне стало грустно, как бывает всегда, когда я вижу красивых девушек, за которыми никогда не буду ухаживать, которым никогда не скажу «Я люблю тебя», на которых никогда не женюсь. Нет, нет, я не исступленный ловелас. Просто когда-то, еще совсем мальчишкой, я прочел в одном рассказе Чехова про грусть, которая охватывает при виде красоты. Я вообще люблю Чехова. А это замечание поразило меня такой правдивостью, тонкостью, что я запомнил его навсегда.

Я попросил класс раскрыть тетради с домашними упражнениями и быстро прошел по рядам. Артикли, артикли — поймут они когда-нибудь разницу между определенным и неопределенным артиклем? С тем, что Слава Жестков свершит, по-видимому, свой жизненный путь, так и не вникнув в тонкости употребления английских артиклей, я готов был, скрепя сердце, примириться. Но Алла Владимирова...

— Милые дети,— сказал я по-английски со скоростью засыпающей улитки, и ребята заулыбались. (Куда охотнее моей жены, отметил я.) — Милые дети! Представьте себе, что вы единственные очевидцы автомобильной аварии. Машина-нарушитель скрылась. Суровый лондонский бобби достает книжечку (как у Марии Николаевны, хотел добавить я, но удержался),— и просит вас на более или менее чистом английском языке рассказать об удравшей машине. Начнем наше описание. Ну скажем, что машина была серого цвета. Только обращайте внимание на артикли! Евграфов, please![1]

— It was a gray car[2],— выпалил круглолицый и краснощекий малыш, обладавший огромным даром внушения. Не было случая, чтобы он не убедил меня, что не подготовился по уважительной причине.

— Отлично,— сказал я.— Машин серого цвета, как вы догадываетесь, в Лондоне много, и определение «серый» еще не дает нам права употребить определенный артикль. Ну-с, что еще можно сказать о нарушителе лондонского уличного движения?

Нет, что бы ни говорили циники, подумал я, а в преподавательской работе есть свои радости. Одна из них — частокол взметнувшихся рук.

— Мисс Котикова, please.

Аня Котикова необычайно спокойна, выдержанна и недоступна мирской суете. Она поднялась медленно и торжественно, подумала и сказала:

— It was a little gray car[3].

— Прекрасно,— сказал я.— Как видите, оба определения — и то, что машина была серой, и то, что она маленькая,— еще не гарантируют ее уникальности, неповторимости. А как, по-вашему, может быть у машины такое определение, которое сразу выделит ее из класса всех похожих машин и даст нам право, соответственно, употребить определенный артикль?

— Номер,— сказал басом Сергей Антошин, пробудившись на мгновение от летаргического сна, в котором пребывал с первого класса.

— Браво,— сказал я,— прощаю тебе за остроту ума и то, что ты не поднял руку и ответил по-русски. Может быть, кто-нибудь знает, как будет по-английски номер, номер машины?

«Ну, Алла Владимирова,— подумал я,— окажись на высоте. Сегодня все должно быть необычно». И Алла Владимирова подняла руку.

— Licence plate.

«Спасибо, Алла»,— растроганно подумал я.

На перемене я все-таки подошел к преподавательнице химии.

— Мария Николаевна, я хотел...

— Что, Юрочка? — спросила Мария Николаевна, извлекая из кармана одну из записных книжечек.

— Я видел сон,— сказал я,— представляете себе...

— Да, Юрочка. Но вы знаете, у вас не уплачены профвзносы за два последних месяца.

— Да,— виновато понурил голову я,— и это меня страшно угнетает.

— Но в чем же дело? — закричала Мария Николаевна.— Заплатите. Сейчас я достану ведомость.

— Э, Мария Николаевна, если бы все было так просто...

— Но в чем же дело? У вас, вероятно, нет денег?

— Вероятно? Не вероятно, а безусловно! — простонал я, и Мария Николаевна с улыбкой погрозила мне пальцем.

Это становилось навязчивой идеей. Неужели же я не найду человека, которому мог бы рассказать о необычном сне? А может, и незачем рассказывать? Бегает взрослый, солидный человек по городу и пристает ко всем со своим сном. Ну, сон, ну, янтарная планета. И слава богу. Двадцатый век на исходе. Раньше снились выпавшие зубы, черные собаки и деньги, теперь сны становятся космическими. Ничего странного.

Но снова и снова я вспоминал ни с чем не сравнимое чувство бесшумного полета над янтарной панорамой, округлые, плавные холмы, долины с трещинками не то ручьев или рек, не то дорог.

Ну, да бог с ней, с планетой, вздохнул я и взял журнал восьмого «Б». С круглой кляксой в правом верхнем углу.

Глава 2

Следующая ночь снова вернула меня к янтарной планете. Но на этот раз полет был совсем другим. Вернее, вначале он в точности повторял то же бесшумное скольжение над оранжевыми, янтарными и охристыми просторами, но потом что-то произошло.

Я долго думал наутро, как объяснить это словами. Я впервые в жизни понял, как, должно быть, нелегок писательский хлеб, если нужно изо дня в день судорожно и мучительно копаться в грудах слов, выбирая то единственное, которое точно и без зазоров ляжет рядом с другими. Нет, это я говорю неверно. Груда слов — это штамп. Как только нужно выразить словами нечто более или менее необычное, слов катастрофически не хватает. И боюсь, я не смогу даже приблизительно описать свои ощущения. Но тем не менее попробую.

Итак, я снова бесшумно парил над янтарными плавными холмами. Мне было хорошо, покойно и радостно видеть эти холмы. Их неторопливое чередование, сама их форма сливались в некую молча-

---

[1] Please — пожалуйста (англ.).

[2] It was a gray car — это была серая машина (англ.).

[3] It was a little gray car — это была маленькая серая машина (англ.).

ливую гармонию, которая отчетливо звучала в моем мозгу.

Внезапный взрыв. Ночь, освещенная миллионами прожекторов. Миллион объективов, сразу наведенных на фокус, миллион телевизоров, сразу настроенных на резкость поворотом одной ручки.

Голова моя огромна, как храм. Я всесилен. Я знаю все. Мелодия янтарных холмов усложнилась тысячекратно, и она принесла мне знание. Я знаю, что меня зовут У. Я знаю, что принадлежу к жителям Янтарной планеты, что я одновременно отдельный индивидуум У и в то же время часть другого организма. В моем мозгу звучат мои мысли и мысли других. Я могу сосредоточиться на своих мыслях, и тогда я начинаю ощущать себя У или могу раствориться, превратившись в часть огромного существа, которое состоит из моих братьев.

Переключаться вовсе не трудно. Если ты решаешь какую-то конкретную задачу, ты обретаешь свою индивидуальность. Как, например, сейчас. Я отдельное существо по имени У. Я прекращаю полет. Это очень просто. Я не дергаю ни за какие рычаги, не нажимаю педали, не вдавливаю кнопки. Я хочу опуститься. И я опускаюсь. Я плавно скатываюсь вниз с невидимой горки. Янтарная панорама стремительно увеличивается, заполняя собой горизонт, приближается. И вот я уже на твердой земле.

Я не могу объяснить вам, как я летаю над поющими янтарными холмами. Я знаю только, что не было никаких летательных аппаратов. Ничего не крутилось, не жужжало, не пульсировало. Было бесшумное, свободное скольжение по невидимым горкам, наклоны которых я изменял по своему желанию.

А потом У лежал на теплой янтарной скале и смотрел в желтоватое небо, в котором быстро скользили странные легкие облака, похожие на длинные стрелы. Он был полон поющей радости, и он не был теперь только У. Он был частью, клеточкой другого, большего существа, и его мысли и чувства были мыслями и чувствами этого большего существа, которое и было народом Янтарной планеты.

Быть может, этот сон покажется вам нелепым, тягостным, непонятным. Может быть, вам свойственно рациональное мышление и всякий флер мистики раздражает вас. Может быть. Но я, проснувшись, испытал то же радостное, светлое ощущение, ту же бодрость, прилив сил. Предвкушение. Канун праздника в детстве, когда твердо знаешь, что впереди радость, мальчишеское ожидание чего-то очень хорошего.

В конце концов почему я должен был беспокоиться, если мне снился многосерийный научно-фантастический сон? Чем, спрашивается, он хуже любого другого сна? Определенно даже лучше, потому что приносит мне приятные ощущения и, кроме того, интересен.

Как, например, может быть, что У — и отдельное существо и вместе с тем часть другого существа? И как они все-таки скользят в небе?

Я улыбнулся сам себе. Что значит родиться во второй половине двадцатого века! Я вижу сказочные сны и думаю о том, как и почему происходят чудеса. Почему летает Конек-горбунок? Какая у него подъемная сила? Как стабилизируется полет ковра-самолета? Каково сопротивление на разрыв скатерти-самобранки? Или разрыв-травы?

Я вздохнул. Три часа дня. Надо расстаться с У и поговорить с матерью Сергея Антошина. Может быть, это не так интересно, но, увы, нужнее.

Она опоздала ровно на двадцать минут. Наверное, сонливость у них чисто семейная черта. Как, впрочем, и редкое умение всегда чувствовать себя правыми. Она решительно бросила на стол сумку.

— Что будем делать с Сергеем? — строго спросила она меня, садясь без приглашения и закуривая.

— Не знаю,— честно признался я.

— Вы классный руководитель,— веско сказала товарищ Антошина,— вы должны знать.

Сейчас добавит: «Вам за это деньги платят»,— подумал я. И я, покраснев, буду лепетать, что платят, увы, не так уж много.

Мне стало стыдно. Должен знать — и не знаю.

— Понимаете, Сергей — парень толковый,— сказал я.— Несмотря на отвратительную успеваемость, или, скажем так, несмотря на прекрасную неуспеваемость, все преподаватели считают его не лишенным способностей.

— Не вижу здесь ничего смешного.

— Я тоже. Я просто хотел подчеркнуть, что неуспеваемость у вашего сына какая-то нарочитая, что ли. Даже абсолютно ничего не делая дома, и то можно было бы учиться лучше, чем он. Мне иногда кажется, что он изо всех сил старается не вылезать из двоек.

Мать Антошина начала медленно багроветь на моих глазах. Резким, решительным движением она расправилась с окурком, раздавила его в пепельнице, и посмотрела на меня.

— Вы хотите сказать...

Я молча смотрел на нее. Я не знал, что я хочу сказать.

— Вы хотите сказать, что мой сын специально учится плохо?

— Не знаю, специально ли, но порой, повторяю, у меня такое впечатление... Какие у вас отношения?

— Отношения? — Антошина посмотрела на меня с неодобрительным недоумением. Какие, мол, еще могут быть отношения у матери с сыном? — Отношения у нас в семье нормальные.

— Вы наказываете Сергея?

— Отец, бывает, поучит. И я тоже.— В голосе матери Сергея звучала такая свирепая вера в свою правоту, что я начал понимать Сергея.

— Можете ли вы обещать мне одну вещь? — спросил я.

— Какую? — Антошина подозрительно посмотрела на меня.

— Не наказывать вашего сына. Понимаете, он в таком возрасте, когда...

— А что же, Юрий Михайлович,— она произнесла мое имя и отчество с таким сарказмом, что я готов был устыдиться его,— что прикажете нам делать? По головке его гладить? Отец работает, я тоже, а он...

— Нет, я вас вовсе не прошу гладить Сергея по головке, как вы говорите. Просто... не бейте его.

— А мы его не бьем. С чего вы взяли?

— Вы же только что сказали, что отец, бывает, поучит. И вы тоже. Чем же вы его учите?

Антошина пожала плечами. Экие глупые учителя пошли, таких вещей не понимают!

— Ну, стукнет раз-другой для острастки, а вы — бить...

— Ладно, не будем с вами спорить о терминах. Я вас прошу: не бейте, не ругайте его, забудьте хотя бы на месяц о своих воспитательных обязанностях. Договорились?

— Гм... Посмотрим, Юрий Михайлович,— обиженно сказала Антошина,— вы, конечно, педагог...

— А сейчас, когда выйдете, попросите зайти Сергея.

— ...Сергей,— сказал я Антошину, когда он вошел в учительскую,— ты можешь чуточку меньше стараться?

Сонливость исчезла на мгновение с лица Сергея. Он внимательно посмотрел на меня.

— Да, Сережа, я совершенно не шучу. Я пришел к выводу, что ты чересчур стараешься, а перенапряжение в твоем возрасте опасно. Молодой, растущий организм и так далее.

Я чувствовал себя Песталоцци и Ушинским одновременно. Мерзкое самодовольство охватывало меня. Этак можно вдруг начать относиться к самому себе с величайшим почтением.

— Что-то я не пойму вас, Юрий Михайлович,— пробормотал Антошин. В его мире ирония была явно вещью непривычной и вызывала в нем неясное беспокойство, как капкан на тропе у зверька.

— Я только что уверял твою матушку, мой юный друг, что ты стараешься изо всех сил...— Сергей вопросительно-недоуменно посмотрел на меня.— Стараешься учиться плохо. Я договорился с ней, что месяц они тебя не будут трогать.— Лицо Сергея густо покраснело, и я опустил взгляд на журнал, чтобы не смущать Сергея.— А ты этот месяц постарайся никому ничего не доказывать. Прошу тебя как о личном одолжении. И никому ни слова. Идет?

— Идет,— без особого убеждения в голосе сказал Антошин. Если бы кто-нибудь мог сосчитать, сколько раз он давал обещания! — Можно мне идти?

— Конечно... Я хотел спросить у тебя одну вещь...

Сергей настороженно посмотрел на меня.

— Допустим, обычный человек вдруг начинает видеть необычные сны...

— Как это — необычные?

— Ну, необыкновенные сны...

— Так ведь все сны необычные. На то они и сны,— рассудительно и убедительно сказал Сергей.

— Я понимаю. Но я говорю о совсем необычных снах.

— В чем необычных?

— По содержанию. Какие-то космические сны. Чужая планета и так далее.

— Ну и что?

— Понимаешь, сны так похожи на реальность...

— Простите, Юрий Михайлович, какая же реальность, если вы говорите — чужая планета?

— Да, конечно, ты прав. Дело не в этом. Просто сны очень яркие, логичные по-своему и как бы серийные. Один сон переходит в другой...

— А это у кого так? Я что-то такой фантастики не помню...

— Я тоже. Сугубо между нами, Сергей, это происходит со мной.

— Честно, Юрий Михайлович? Или это вы ко мне такой педагогический прием применяете?

— Ах ты, негодник,— рассмеялся я.— Прием... Что я тебе, бросок через бедро провожу? Или двойной захват? Даю слово, что не воспитываю и вообще не знаю, зачем тебе это рассказываю, поскольку сам подрываю свой педагогический авторитет.

Сергей тонко улыбнулся. Что он хотел сказать? Что никакого авторитета у меня нет и подрывать, стало быть, нечего? Или наоборот? Что авторитет мой столь гранитен, что даже мысль о его подрыве смехотворна? Хотелось бы думать, что этот вариант ближе к истине. Мы поговорили с Сергеем еще минут пять и расстались более или менее довольные друг другом. По поводу снов мы решили, что они основаны на впечатлениях, полученных от чтения научной фантастики, и что следует подождать следующих серий, если, конечно, они будут.

Вечером мы собирались с Галей в гости.

— Надень замшевую куртку,— сказала она.

— Пожалуйста.

Галя внимательно посмотрела на меня, подумала и спросила:

— Как ты себя чувствуешь? Ты здоров?

— Вполне. А что, почему ты спрашиваешь?

— Обычно когда я прошу тебя надеть эту куртку, ты находишь сто причин, чтобы отказаться. А сегодня сразу согласился. Это странно. Вообще-то послушный муж — это, наверное, здорово, но ты уж оставайся таким, каким был, а то я начинаю нервничать и пугаться...

— Но куртку-то надеть?

— Надень.

— И коричневый галстук в клеточку?

Жена подошла ко мне сзади, положила руки мне на плечи и потерлась щекой о спину.

— Я боюсь, когда ты становишься вдруг таким послушным,— вздохнула она.

— Ладно, не буду тебя огорчать. Куртку не надену, галстук в клеточку не надену. Ботфорты и кожаный колет.— Я посмотрел на часы. Уже без четверти восемь.— Люш, мы, как обычно, опаздываем. Пока доедем, будет уже полдевятого.

— Не ворчи. Человек в ботфортах и колете не должен ворчать. Мушкетеры не ворчали.

— А ты откуда знаешь? — подозрительно спросил я.— Ты с ними встречаешься?

Галя потупила глаза.

— Я не хотела тебе говорить...

— Д'Артаньян? — застонал я.

— Атос,— прошептала Галя, но тут же не выдержала и прыснула.

Я присоединился к ней.

— Так ворчу я или не ворчу? — спросил я.

— Увы...

— Но я же надел куртку, которую терпеть не могу. Священная жертва, принесенная на алтарь семейного счастья. Пошли, пошли, а то надо еще такси найти.

— Какое такси? — грозно спросила Галя.— Разве мы не поедем на машине?

— Люшенька,— жалобно сказал я,— мне надоело наливать себе в гостях пузырьковую водку. Люди пьют горячительные напитки, начинают говорить громко и красиво, а я сижу с боржомом в рюмке и стараюсь смеяться громче всех над шутками, которые могут рассмешить только выпившего.

— Я поведу машину обратно,— сказала твердо Галя.— В отличие от некоторых я не страдаю от отсутствия алкоголя. Зато, выйдя на улицу, мы не будем бросаться с поднятой рукой к каждой проезжающей машине. Мы спокойно сойдем вниз, сядем в свой верный, старый «Москвич», заведем верный, старый двигатель...

— И въедем в старый, добрый столб.

— Ты всегда старался развивать во мне комплекс автомобильной неполноценности. Но все. Хватит! Я восстаю против автодомостроя. Отныне ты будешь просить ключ у меня. Твоя школа в двух остановках, а я езжу в институт с двумя пересадками.

— Браво, мадам! — вскричал я.— В гневе вы прекрасны. Я только боюсь, что мне придется искать себе другую жену. У вас есть какие-нибудь рекомендации на этот счет?

— Почему? — нахмурилась Галя.

Как истинная женщина, она не любит, когда я даже в шутку говорю о разводе.

— Потому что ты и автомобиль противопоказаны друг другу.

— Глупости! Вон Ира, она такая тюха, и то прекрасно научилась ездить.— Что я, хуже ее?

— О нет! — закричал я.— Нет, нет и нет! Нисколько не хуже. У тебя даже уши красивее. Разница только в том, что Ира умеет водить машину, а когда

тебе выдавали права, работники ГАИ отворачивались и краснели от стыда.

— Хорошо,— ледяным тоном сказала Галя,— посмотрим у кого красивее уши и кто в конце концов будет краснеть от стыда.

Поехали мы, разумеется, на машине. Когда «Москвич» простудно кашлял и чихал, не желая заводиться, я вспомнил о полете над янтарными холмами. Что делать, разные уровни техники.

Галя злорадно спросила, не подтолкнуть ли ей машину, и я вздохнул. Мне так хотелось напомнить ей тот день, когда она, сияя, показала мне новенькие права.

— Пошли, я продемонстрирую тебе, как я езжу,— снисходительно сказала она, и мы спустились во двор.

Она действительно лихо сделала круг, снова въехала во двор, аккуратно подрулила к нашей обычной стоянке против стены и нажала вместо тормоза на педаль газа.

Три дня после этого я искал новую фару и выправлял крыло, а Галя готовила на обед изысканные блюда и называла меня «милый».

Мы, конечно, опоздали. И, конечно, никто не хотел и слушать, что я за рулем и что сейчас проходит очередной месячник безопасности движения и инспектора, словно коршуны, бросаются на выпивших несчастных водителей.

Мне это, как я уже сказал, не впервой, и я ловко подменил большую рюмку с водкой такой же рюмкой с минеральной водой. К счастью, рюмки были темно-синие и пузырьки были незаметны.

Было шумно, накурено и, наверное, весело, потому что все громко смеялись и я смеялся вместе со всеми, а может быть, даже громче всех. Над чем я смеялся — не знаю, потому что снова вспоминал У, ни с чем не сравнимое чувство растворения, когда он смотрел в желтое небо, на длинные, похожие на стрелы облака и в его сознании с легким шуршанием прибоя роились мысли его братьев. Он был ими, а они были им. И сознание его было огромным и гулким, словно величественный храм, наполненный легким шуршанием прибоя. И храм этот не был холоден и пустынен. Он был полон теплой радостью, похожей на ту, что я испытывал, просыпаясь два утра подряд. Только во стократ сильнее и острее. И я, вспоминая мироощущение У, снова испытал легкий укол светлой грусти.

— Юрка, старик, ты чего за-думался? — наклонился ко мне хозяин дома, мой старинный друг Вася Жигалин. Человек он обстоятельный, целеустремленный, волевой, поэтому если уж решал выпить, то делал это со свойственной ему энергией.

— Господь с тобой, Вась! Разве я могу думать? Это вы, журналисты, должны думать.

— Э-э, не-ет,— погрозил мне пальцем Вася,— ты, старик, меня не проведешь. По глазам вижу, что задумался. Ты когда задумаешься — у тебя глаза пустеют.— Он поцеловал меня в ухо громко и сочно. Не об-бижайся, старик. Ты же знаешь, я тебя люблю, потому что ты блаженный. Понял? Бла-женный.

— В каком же смысле?

— А в таком. Ты учитель и нисколько от этого не страдаешь. Не грызет тебя, черт побери, червь тщеславия. А? Грызет или не грызет? Толь-ко как на духу! Понял? Друг я тебе или не друг? Раскрой душу другу и закрой ее за ним. Понял?

— Понял, Вась.

— Ну, вот и прекрасно. Давай, старичок, выпьем за кротких и тихих.

— А может, Вась, хватит тебе, а? Вон Валька на нас эспидом смотрит. Тебе ничего, побьет тебя и все, а мне каково? Ты-то привычный, тебя Валя все время бьет...

Вася посмотрел на меня с пьяной сосредоточенностью и вдруг всхлипнул:

— Бьет, Юрочка, не то слово. Истязает. Мучает. Все думают, что она меня лю-бит...— Вася замолчал, закрыл глаза, но, отдохнув, продолжал: — А она меня те-те... ро-ррризирует. Понял? Садистка. Савонарола. Выпьем за мою Савонаро-лочку...

— Вась, может, правда, хватит?

Неожиданно Вася совсем осмысленно подмигнул мне:

— Я же на семь девятых валяю дурака. Хочешь, по половице пройду?

— У тебя половиц нет.

— Таблицу умножения продекламирую?

— Ты ее и трезвый нетвердо знаешь. У тебя же по арифметике выше тройки сроду отметки не было.

Вася вдруг рассмеялся и совсем трезвым голосом сказал:

— Ты думаешь, я не видел, что ты минеральную воду вместо водки пил?

— Неужели видел? Ах, какой ужас! Как же я снова посмотрю в твои пьяные глаза?

— Перестань издеваться над близким другом, не развивай в себе жестокость. Лучше будь блаженным, понял? Тебе юродивость идет. К лицу она тебе. Понял?

— Так точно, господин вахмистр! — выкрикнул я, забыв на мгновение, что я разоблачен.

— А это уже нехорошо,— вдруг всхлипнул Вася.— Быть трезвым и притворяться пьяным — это аморально, безнравственно и вообще дурно. Делай, как я. Я пьян немножко, а притворяюсь трезвым. Это по-мужски. Но ты ведь, собака, так мне и не сказал, о чем думаешь. Ты вот и сейчас со мной разговариваешь, а сам где-то витаешь...

Слегка выпив, Вася всегда становится необычайно проницателен. Попал он в точку и на этот раз. Как раз в этот момент я пытался воспроизвести мелодию, которую создавали на Янтарной планете плавные, округлые холмы, когда У пролетал над ними. Нет, мелодия была слишком сложна, чтобы я мог ее вспомнить. Я помнил лишь ощущение бесконечной гармонии, мудрой и успокаивающей, вечной и прекрасной.

Как я мог рассказать кому-нибудь об этом? Где найти слова, которые хоть отчасти могли бы передать то, что ими передать невозможно? И вместе с тем Янтарная планета переполняла меня. Я был словно накачан этими двумя сновидениями, и они так и рвались из меня.

— Вась,— сказал я,— ты можешь хоть минутку помолчать?

— А для чего? Раз я болтаю — значит, существую. Это еще древние говорили.

— Честно.

— Честно, могу. Слушаю тебя. Но будь краток, ибо сказано: краткость — сестра таланта.

Как, как пробить мне эти защитные поля, которые окружают людей? Они все словно в кольчугах и шлемах. Они неуязвимы. До них невозможно добраться. Как до начальника ЖЭКа. Как рассказать начальнику ЖЭКа о Янтарной планете?

Конечно, конечно, в сотый раз говорил я себе, взрослый, культурный человек в конце двадцатого века не должен приставать к близким с рассказнями о снах. Кого интересуют сны учителя английского языка Юрия Михайловича Чернова? И что за самомнение думать, что они кого-то вообще могут заинтересовать?

Умом, повторяю, я все это понимал, но яркость, красота и необычность снов делали их в моем представлении сокровищами, которые просто грех было бы замуровать в моей черепной коробке. Разные есть люди. Одни могут смотреть футбол или хоккей в одиночку, другие — нет. Я отношусь к числу последних. Когда предстоит интересный матч, я иду к Васе, к Илье, к кому-нибудь из знакомых, лишь бы можно было радоваться или огорчаться вместе с кем-то. «У тебя психология дикаря,— подшучивала Галя,— ты не дорос до телевизионной эры». Сама она обожает спортивные передачи и любит смотреть их в одиночку.

Я поглядел на своего друга.

— Вася, если я буду смешон, скажи мне об этом.

— Старик, ты никогда не был смешон, ибо ты никогда не тщился выскочить из собственной шкуры, чем мно-о-гие страдают. Ты не представляешь, сколько шкур от этого лопается. Ну, давай, Юраня, выкладывай. Мои уши в твоем распоряжении.

— Ты только не смейся.

— Да ты, что, стихи, что ли, свои первые читать будешь? Чего ты стесняешься?

— Вась, мне снятся странные сны. Вот уже две ночи подряд мне снится какая-то планета, которую я называю Янтарной...

— Прости, старик... Валь,— крикнул он своей жене,— Юраня тут все ноет, что выпить нечего, принеси, дитя, заветную бутылочку из холодильника.

— Да вы что, сдурели, алкаши? — спросила басом Валя.— Перед вами почти полная бутылка.

— Гм, а Юраня утверждает, что это минеральная вода. Так ты думаешь, он ошибается? Поди к нам, дитя, поцелуй своего папочку.

Валентина сантиметров на пять выше Васи и килограммов на десять тяжелее. От одного ее взгляда мужчины цепенеют, а шоферы такси становятся вежливыми.

— Прости, старик, ты мне что-то начал про янтарь рассказывать. Янтарь... Окаменевшие слезы деревьев. Какова пошлость? А? Верно здорово?

Кончилось тем, что я все-таки сдался и выпил рюмку. За руль сел я, но взял с Гали клятву, что если нас остановят, мы быстро поменяемся местами и права предъявит она. Никто нас в два часа ночи не остановил, и мы благополучно добрались домой.

Глава 3

Я продолжал жить в двух мирах. Днем я ходил на работу, встречал у аптеки Вечного Встречного (теперь мы здоровались, как самые близкие друзья), вызывал к доске, ставил отметки, разговаривал с Галей. Одним словом, был Юрием Михайловичем Черновым, учителем английского языка.

По ночам я оказывался на Янтарной планете. Всякий новый сон что-то добавлял к предыдущим.

С каждым прошедшим днем я все более привыкал к нелепой на первый взгляд мысли, что Янтарная планета вовсе не порождение моих ночных фантазий. Она жила своей жизнью, и я медленно, шажок за шажком знакомился с народом У, таким странным и не похожим на нас. Не понимая, недоумевая, не веря, но знакомился.

Нет, нет, не думайте, что я полностью утратил самоконтроль и превратился в своеобразного наркомана, для которого единственная реальность — мир его фантасмагорий. Я полностью осознавал все. Единственное, повторяю, с чем я никак не мог согласиться,— это то, что мои сны были просто снами. Не могло этого быть. Ни с какой точки зрения. Сны не могут тянуться один за другим в строгой последовательности. Они не могут стыковаться один с другим столь строго. Они не могут быть так логичны, пусть фантастико-логичны, но логичны. Мой спящий мозг не мог воссоздавать ночь за ночью картины жизни неведомой планеты. Я понимал, что другим это утверждение могло показаться далеко не бесспорным, но я-то знал. Я знал, я чувствовал, я был уверен, что мои путешествия на Янтарную планету не просто сны. Если бы вы парили вместе со мной над поющими холмами или я мог бы по-настоящему рассказать вам о полете, вы бы поняли меня.

Но что тогда? Тогда оставалось два варианта. Или я сошел с ума, и все, что мне кажется,— плод моей больной психики. Или... Даже сейчас, спустя много времени после всего, что случилось, я поражаюсь, как я нашел в себе интеллектуальное мужество прийти к еще одной возможности. Поверьте, я не хвастаюсь. Всю свою сознательную жизнь я относился к себе достаточно скептически. Я никогда не был особенно умен, храбр, предприимчив. И знал это. Я легко смирялся с тем, что посылала мне судьба. И когда Галя упрекала меня в том, что я не борец, я вынужден был со вздохом соглашаться с ней Я действительно не борец.

Казалось бы, легче всего мне было решить, что Янтарная планета — своего рода заболевание. Для более или менее рационально мыслящего ума такой вариант представлялся бы наиболее правдоподобным. Но я был уверен в другом: я был уверен, что каким-то образом принимаю информацию, посылаемую У и его народом.

Представим себе, рассуждал я, стараясь оставаться спокойным, что какой-нибудь владелец телевизора где-нибудь, скажем, под Курском вдруг видит на экране своего «Рубина» или «Темпа» передачу из Рима. Или из Хельсинки. А перевода почему-то нет. Он к соседям.

— Марь Иванна, что-то вчера вечером футбол передавали из Рима, а перевода не было. И не поймешь, кто играл.

— Да ты что,— говорит соседка,— какой футбол? Какой Рим? Восемнадцатая серия была этого, ну как его? Ну, сам знаешь... И «Артлото». Ты что же, меня разыгрываешь?

— Да нет...— тянет он.— Нет...

Больше никто передачи из Рима не видел.

Что же должен подумать владелец злосчастного «Рубина»? Или что он рехнулся или что в результате каких-то неясных ему обстоятельств его приемник вдруг начал принимать передачи Римского телевидения. Тем более что редко, очень редко, но подобные случаи наблюдались.

Со мной дело обстояло приблизительно так же. С той только разницей, что Янтарная планета не Рим, голова моя не «Рубин», и ничего похожего, насколько мне известно, никогда ни с кем не случалось.

Вечером я решил поговорить с Галей. На этот раз она слушала меня, не перебивая. Когда я кончил, она обняла меня и потерлась носом о мою щеку.

— Ты колюч,— сказала она,— но все равно я тебя люблю.

Обычно, когда Галя обнимает меня, я чувствую себя большим двадцатипятилетним котенком, которому хочется мурлыкать и прогибаться под прикосновением ласковой и знакомой руки. Но сегодня я был насторожен, как зверь. Невольно я присматривался, стараясь понять, что она думает на самом деле.

Подозрительность — самовозбуждающееся состояние. Стоит сделать первый шаг в этом направлении, как второй окажется легче. Мне уже казалось, что Галин нос холоден и фальшив, что голос ее неискренен, что она разговаривает со мной, как с больным.

— Все будет хорошо,— сказала Галя,— тебе нужно просто отдохнуть. Может быть, поговорить в школе и тебя отпустят на недельку? В конце концов ты подменял Раечку, когда она выходила замуж... Съездишь на недельку в «Заветы Ильича» к тете Нюре, побродишь, подышишь чистым воздухом и приедешь совсем здоровым.

— Здоровым? Значит, сейчас я болен?

— Я не говорю, что ты болен, но...

— Я тебя понимаю. Я тебя прекрасно понимаю. Если бы ты рассказала мне, что видишь сны, идущие к тебе из космоса, я бы наверняка тоже отправил тебя к тете Нюре. Тетка — женщина земная, сны видит, наверное, сугубо реалистические, скорее всего поселкового масштаба...

— Ты напрасно сердишься. Я ведь желаю тебе только добра.

— Я не сержусь, Люш. Клянусь. Если ты заметила, у меня с начала янтарных снов стало прекрасное настроение. Но скажи, неужели ты не допускаешь, что я могу оказаться прав? А вдруг? А вдруг в привычных буднях мелькает лучик необычного? А ты его — к тете Нюре, на свежий воздух.

Галя вздохнула, и на лице ее вдруг появилась утренняя суровая неприступность.

— Ну, хорошо,— сказала она,— допустим на минуточку, что я верю тебе. Даже не верю. Это не то слово. Просто ты убедил меня. Ты, Юра Чернов, Юрий Михайлович Чернов, учитель английского языка в школе,— в Галином голосе появился легчайший сарказм,— оказался тем, которого избрали твои космические друзья. Допустим. И что тогда? Ты обожаешь в разговоре представлять, что было бы, если бы... Один раз и я попытаюсь это сделать. Ты придешь... ну, допустим, в Академию наук и скажешь: «Здрасте, я учитель английского языка Юрий Михайлович Чернов. Я, знаете, принимаю сигналы из космоса. Во сне». Ты вот пожимаешь плечами. Может быть, тебе безразлично, что о тебе думают окружающие. А я не хочу, чтобы моего мужа считали психом. Ты меня понимаешь?

Галины щеки раскраснелись, глаза блестели. Я взглянул на ее руки, сжатые в кулаки. Она была готова к бою. За здравый смысл, за меня, за то, чтобы никто за моей спиной не стучал пальцем по лбу.

— Ты молчишь,— продолжала Галя.— Да и что ты можешь мне возразить? Ничего. Тебе всегда легче выбрать вариант, при котором ничего не нужно делать. Чтобы все устроилось само собой. А ты бы лежал на тахте, сложа ручки...

По всей видимости, мне бы следовало рассердиться и высказать Гале свои соображения по поводу того, за кого ей следовало бы выйти замуж. Но странное дело: отблеск радости, приносимой снами, по-прежнему лежал на всем вокруг, даже на Галином лице с колючими глазами. Я лишь вздохнул. В том, что она говорила, был здравый смысл. Спасающий и уничтожающий все на своем пути. Боже упаси оказаться под гусеницами здравого смысла! Атака здравого смысла неудержима. На ее стороне сила и поддержка большинства.

И ты стоишь один, вооружившись хрупкими, странными идеями, в которые сам-то веришь не до конца.

— Наверное, ты по-своему права, Люш. Но что же ты мне посоветуешь, кроме тети Нюры?

— Может быть, показаться врачу? Хорошему психиатру, который мог бы объяснить твое состояние. У Вали есть прекрасный врач...

— Ты уже спрашивала?

Галя на мгновение задумалась — соврать или сказать правду.

— Да... Я видела: с тобой что-то происходит... Пойми, Юрча,— Галины глаза снова потеплели, а когда они теплые, я смотрел бы в них не отрываясь,— пойми, это ерунда, это пройдет. Но не нужно запускать болезнь. Вылечить вначале всегда легче, чем потом. Ты пойдешь к врачу?

— Пойду.— А что мне еще оставалось сказать? Что не пойду? И еще больше укрепить ее в уверенности, что я помешался? И смотреть, как она начнет прятать от меня острые предметы?

А может быть, она действительно права? Может быть, моя глубокая уверенность, что я здоров,— тоже один из симптомов надвигающегося безумия? Может быть, я уже давно болен? Задолго до появления янтарных снов? Склонность к рефлексии? Привычка вечно фантазировать, что было бы, если бы...

Я вспомнил своего друга Илью Плошкина. Еще в институте он любил называть меня слабоумным. Не был ли он пророком? И не скрывалась ли в шутке крупица истины? Или даже не крупица, а вся истина?

— ...И не волнуйся, милый,— сказала Галя,— все будет хорошо.

В голосе ее зазвучала свирепая решимость хранительницы очага отстоять свою крепость. Уж что-что, а решимости Гале не занимать. Как только в ее маленькой головке созреет какое-нибудь решение, она начинает проводить его в жизнь со всесокрушающей энергией.

— Хочешь, я пойду с тобой? — спросила она.

— Люшенька, давай решим, полный ли я инвалид или еще в состоянии передвигаться. Если я могу двигаться без няньки, даже такой симпатичной, как ты, я бы предпочел поехать сам. Адрес у тебя есть?

— Вот он. Ничего по телефону не объясняй. Скажи, что говорит Чернов от Валентины Егоровны...

Я нажал кнопку одиннадцатого этажа и, пока ехал наверх, прочел на стенках лифта всю недолгую летопись дома-новостройки. Олег плюс Света... Дай бог им счастья! Та-ак. Ленька дурак. Оля дура. Будем надеяться, что это клевета. Может быть, и их просто не понимают, им просто не верят.

Сто восемьдесят пятая квартира была в правом загончике, в котором царила кромешная тьма. Я пошарил руками по стенке, нащупал звонок и нажал. Звонок был мелодичный, и у меня вдруг на душе стало покойно и хорошо, как все эти дни. Дверь открылась резко и сразу, будто кто-то дернул ее изнутри со всей силой. Так оно, похоже, и было, потому что за ней стоял огромный детина с рыжей короткой бородой и в майке.

— Простите,— пробормотал я, чувствуя себя рядом с этой бородатой горой маленьким и беззащитным,— это квартира сто восемьдесят пять?

— Она,— с глубокой уверенностью ответил басом человек в майке.— А вы, должно быть, от Валентины Егоровны?

— Он.— Я постарался, чтобы в голосе у меня прозвучала такая же уверенность, как и у врача.

— Ну и прекрасно. Простите, что я в майке. Циклевал, знаете, пол. Пошли ко мне.— Человек-гора ввел меня в крошечную комнатку, половину которой занимал письменный стол.— Одну минуточку,— сказал он,— я с вашего разрешения надену рубашку, а то врач в майке — это не врач, а циклевщик

полов, черт бы их подрал. Я имею в виду и полы и циклевщиков. Особенно последних. Вам когда-нибудь приходилось циклевать полы?

Мне стало стыдно, что я до двадцати пяти лет так и не держал в руках циклю или как она там называется.

— Нет,— покачал головой я,— не приходилось. Только в литературе читал. У классиков.— Доктор ухмыльнулся, а я спросил его: — Вот я сказал: читал у классиков. И вы сразу знаете — этот, мол, шутит, а этот болен?

— Ну уж, сразу. Сразу не сразу, но кое-что мы все-таки умеем определять. Ну, расскажите, на что вы жалуетесь.

— Я, к сожалению, ни на что не жалуюсь.

Я произнес эту фразу и подумал, что не следовало бы шутить здесь. Бог его знает, как он воспримет мою манеру разговаривать.

— Ну, хорошо, расскажите, на что вы не жалуетесь.

О господи! Отступать было некуда, и я коротко рассказал врачу о сновидениях. Он слушал меня, не перебивая, время от времени забирал в кулак свою рыжую бороденку и подергивал ее, словно пробуя, хорошо ли держится.

Затем он расспросил меня о самочувствии, о том, как я засыпаю, об отношениях с родными и сослуживцами, о том, чем я болел, и тому подобное. Когда я ответил на последний вопрос, он принялся яростно жевать нижнюю губу. Я подумал, что он ее, по всей видимости, сейчас откусит, но все обошлось благополучно. Губу он оставил в покое, но начал вдруг чесаться. Он скреб голову, затылок, щеки, нос, подбородок.

«Если кто-нибудь и нуждается здесь в помощи,— подумал я,— так это наш милый доктор».

— Вам не помочь? — как можно более кротко спросил я. Я просто не мог видеть, как человек пытается голыми руками снять с себя скальп.

— Что? — вскинулся доктор.— А, это у меня такая скверная привычка. Впрочем, знаете, есть теория, по которой почесывание головы способствует лучшей циркуляции крови и соответственно лучшему мыслительному процессу.

Я засмеялся.

— Смешно?

— Простите, доктор, я понял, почему я с детства обожал, когда мне почесывали голову.

— О господи,— вздохнул доктор,— что же вам сказать? С одной стороны, вы абсолютно нормальный человек, прекрасно ориентирующийся во внешнем мире и в своей личности...

— Благодарю вас,— важно и с достоинством наклонил я голову, но доктор продолжал:

— С другой стороны, в ваших сновидениях есть, похоже, элементы парафренного синдрома. Но толь-

но, повторяю, элементы. Я имею в виду сам факт общения с вашими человечками... Довольно странная комбинация, я бы сказал.

— Простите, доктор, за настойчивость. Допустим, я бы ничего не рассказывал вам о Янтарной планете. Создалось бы у вас впечатление, что у меня нарушена психика?

— Безусловно и стопроцентно нет.

— Вы говорите, в моих снах есть элементы, как вы называете, парафренного синдрома. В снах. Допустим. Но во мне, в моей бодрствующей личности они есть, эти элементы?

— Как вам сказать... Пожалуй, нет. Но опять же все не так просто. Для этого синдрома характерны чувства самодовольства, блаженства, веселости, эйфории. Ну-с, отбросим самодовольство. Оно, по-видимому, вообще не характерно для вас. Блаженство, пожалуй, тоже можно вывести за скобки. А вот веселость, эйфория — это как раз примерно то описание вашего состояния после сновидений, которое вы мне дали. Вообще-то сновидения для парафренного синдрома нехарактерны. Речь идет скорее о галлюцинациях. С другой стороны, космические мотивы довольно часто встречаются в наше время у больных парафренным синдромом. Как, впрочем, и при онейроидном синдроме...

Начав пользоваться привычной терминологией, доктор значительно повеселел. Что значит хороший костыль для хромого!

— А это еще что такое?

— Онейроидный — сноподобный. Это как бы кульминация острого фантастического бреда. Яркие чувственные впечатления...

«Боже правый,— подумал я,— это уже ближе!»

— Они как бы зримы, эти впечатления, ярко выраженный эффект присутствия. И тоже часто встречаются космические мотивы.

— Похоже,— пробормотал я.

— Возможно, было бы похоже, если бы не одна маленькая зацепочка.

— Какая же?

— И при том и при другом синдромах всегда наблюдаются другие симптомы. Недавно у меня лежал больной с этим же диагнозом. Прекрасный, милый человек, который терпеливо объяснял всем, что он ответствен за судьбы Вселенной, поскольку все нити от всех звезд и планет он держит в руках. Иногда он очень вежливо просил кого-нибудь подержать, допустим, Альдебаран, поскольку звезда очень большая, держать ее трудно и у него устала рука. А не держать ниточку нельзя: улетит. Вселенная и так разлетается... Очень начитанный и интеллигентный человек.

— И как, вылечили вы его?

— Более или менее.

— Ну, а что же мне делать?

— Пока ничего. Абсолютно ничего. Если можете — отдохните немного. Спорт.

Я улыбнулся.

— Вы напрасно улыбаетесь. Если бы вы знали, какие громадные у нас резервы саморегуляции, вы бы не улыбались.

— Простите, доктор, я улыбнулся потому, что моя жена тоже уговаривала меня отдохнуть. У нас под Москвой, в «Заветах Ильича», есть родственница...

— Ну и прекрасно.

— Простите, доктор, еще раз за настырность. Допустим, повторяю, допустим, вы проводите всякие там исследования...

— Вам не нужны никакие исследования.

— Я говорю, допустим. И допустим вы приходите к твердому убеждению что я психически здоров. А сны будут продолжаться...

— Ну и смотрите их на здоровье, если они вам не мешают. Тем более, вы говорите, что чувствуете себя по утрам выспавшимся, отдохнувшим.

— А вообще-то в психиатрии известны случаи таких серийных снов?

— Строго говоря, это уже не психиатрия. Это скорее психология. Есть ведь, знаете, специалисты по сну. Они бы, конечно, дали вам более исчерпывающий ответ. По-моему, такие случаи известны, хотя и не часты. Но, как правило, это однотемные сновидения, когда снова и снова снится одно и то же. Или сны-компенсации, когда человек переживает в сновидении все то, чего он не имеет в реальной жизни. Подавление побуждений обеспечивает силу для построения сновидений, а память — сырье, осадок дня. Эта точка зрения Фрейда, который называл сновидение «фейерверком, который требует так много времени на подготовку, но сгорает в одно мгновение». Однако Фрейд, как известно, слишком увлекался побуждениями пола. Я же в ваших сновидениях эротического мотива не усматриваю. Адлер же считал, что человек видит сны, когда его что-то беспокоит. Не случайно неприятных снов больше. Если не ошибаюсь, их пятьдесят семь процентов, а приятные вещи снятся в два раза реже... Наш Сеченов называл сновидения небывалой комбинацией бывалых впечатлений...

— Но ведь в моем случае...

— Поймите, мозг — это чудовищно сложная машина. Личность человека практически неповторима, как отпечатки пальцев. Классически ясные случаи встречаются чаще в учебниках, чем в жизни. Вполне возможно, что у вас серийный, как вы выражаетесь, сон, носит характер переработки научно-фантастической информации.

«Гм,— подумал я,— бородач повторяет предположения семиклассника Антошина. Только тот пришел к ним значительно быстрее».

— А как вы относитесь к возможности, о которой я вам уже говорил, доктор? То, что я каким-то образом принимаю информацию, посылаемую из космоса?

— Именно поэтому-то я с вами разговариваю. Строго говоря, это единственный реальный симптом, заставляющий вообще задумываться. Иначе я бы давно распрощался с вами.

Бессмысленно. Силовое поле здравого смысла непроницаемо. Рыжему врачу легче посчитать здорового человека больным, чем приоткрыть дверь для неведомого. Впрочем, его можно понять. Это действительно легче. Когда человек держит в руках нити от всех звезд и планет, как продавец воздушных шариков, проще, конечно, прийти к выводу, что его нужно лечить, чем отнестись к нитям серьезно.

— Спасибо большое, доктор.— Я достал из кармана приготовленный конверт с деньгами и попытался неловко всунуть его в огромную ручищу доктора. Рука была покрыта короткими рыжими волосами.— Это вам,— пробормотал я.

— Деньги? — деловито спросил психиатр.

— Да,— признался я.

— Спасибо, но я не беру. Я вообще не имею частной практики. Меня просто попросила Валентина Егоровна, а она такая женщина, которой не отказывают. Вы ее знаете?

— Конечно, она жена моего близкого друга.

— Передавайте ей привет. Желаю вам отдохнуть. Знаете, что я вам могу еще порекомендовать? Циклюйте полы. Великолепная трудотерапия.

Глава 4

По дороге домой я вдруг вспомнил о своем друге Илюше Плошкине. Я не видел его уже несколько месяцев.

Мы учились вместе в институте иностранных языков, но у него было странное хобби — психиатрия. Он сыпал психиатрическими терминами направо и налево. Меня он называл в зависимости от своего настроения олигофреном вообще, дементным, имбецилом и дебилом, подробно объясняя все эти градации слабоумия. Обижаться на него было нельзя, потому что Илья — самый добрый человек на свете. На грани юродивости, говорил он сам о себе.

Я долго перетряхивал карманы, пока не нашел двухкопеечную монетку. По моим расчетам, Илья должен быть еще на работе. Там он и оказался.

— Это ты, олигофрен? — радостно забулькала трубка на другом конце провода, и у меня сразу потеплело на душе.

— Я. Как живешь?

— Не паясничай! — еще громче закричал Илья так, что в трубке задрожала мембрана.— Не ври себе и мне. Тебе что-то нужно от меня, мальчик. Скажи честно и прямо.

— Есть у тебя какая-нибудь более или менее популярная книжка по психиатрии?

— Ты что, смеешься? Есть, конечно. И книжки и учебники. Ты же знаешь: психиатрия — мое хобби. Ты помнишь диагнозы, которые я тебе ставил?

— Помню Олигофрен, идиот, дементный, имбецил и дебил сразу.

— Что значит запало в душу человеку. Ну и как, оправдываешь ты диагноз?

— Стараюсь, Илюша. Ты когда будешь дома?

— Через час.

— Если ты не возражаешь, я зайду к тебе и возьму что-нибудь. Учебник или книжку по психиатрии.

— Не пойдет.

— Почему?

— А потому, что в таком случае я закрываю лавку и освобождаюсь через тридцать секунд. Обмен технической информацией будет продолжаться и без моего личного руководства.

— А с работы тебя не выгонят?

— Меня?

— Тебя.

— Меня нельзя выгнать.

— Почему?

— Потому что у меня ужасная репутация. Все знают, что я разгильдяй, а разгильдяев не увольняют. Разгильдяев жалеют.

— Мне стучат в дверь.

— Ладно, ты где?

Я назвал свои координаты, и мы договорились встретиться через полчаса.

Илюша был все таким же. Толстым, уютно-измятым и полным энтузиазма. Каждый раз, когда я вижу его после мало-мальски длительного перерыва, я боюсь, что он вдруг похудеет и перестанет походить на Пьера Безухова. Но он, к счастью, не худеет. Скорее наоборот.

Он долго и ласково выбивал пыль из моего пиджака, изо всех сил похлопывая по спине, тряс, жал, крутил, вертел, рассматривал и, наконец, удовлетворенно кивнул.

— Пока вроде ты ничего.

— В каком смысле, Илюша?

— Признаков синдрома ИО нет как будто. Впрочем, два месяца — слишком малый срок...

— А это что такое?

— ИО? Я разве тебе не говорил? Синдром Ионыча. Помнишь рассказ Антона Павловича? Я так называю тех, кто начинает дуреть и прокисать. Симптомы: свинцовость во взгляде, замедленная реакция на нижестоящих, расширение и уплощение зада...

Однокомнатная Илюшина квартира являла собой абсолютный беспорядок, первозданный хаос. Вселенную до сгущения пылевых облаков и образования звезд. Однако пыль здесь, в отличие от Вселенной, сгуститься не может, потому что покрывает ровным, толстым слоем почти все в квартире, за исключением протоптанной хозяином тропинки.

— Ты уж меня прости,— вздохнул Илья.— Ты же знаешь, это у меня психическое заболевание такое. Все собираюсь описать его, да времени не хватает. Я страдаю навязчивой идеей, что чистота в конце концов погубит человечество. Природа не терпит чистоты и мстит человеку за стремление к чистоте и гигиене. Здесь, на маленьком островке в море противоестественной стерильности, я живу в гармонии с природой. Погоди, сейчас есть будем.

— Здесь? — искренне изумился я.— Здесь есть?

— Здесь, к сожалению, нельзя,— вздохнул Илья.

— Почему? — спросил я.

— Пробовал я...

— Ну и что?

— Скрипит очень.

— Что скрипит? Стол?

— Пыль, глупый. Пыль скрипит на зубах. Да громко так, соседи стучат.

— Пошел ты к черту!

— Видишь, как ограничен твой мозг. Чуть выберешься из болота банальности, а ты уже с палкой стоишь: пошел к черту. Ах, Юра, Юра, бедный мой маленький имбецилик. Ладно, я пошел на кухню. А пока буду готовить, вот тебе учебник психиатрии. Держи.

Боже, я никогда не видел столь обстоятельно проработанной книги! Каждая вторая строчка была подчеркнута, против абзацев стояли кабалистические знаки, а некоторые страницы пестрели таинственными цифрами, выведенными Илюшиной рукой.

Вербальные иллюзии, слуховые галлюцинации... Гм... Описаны В. Х. Кандинским еще в XIX веке. Больной уверен, что его мысли принадлежат не ему самому, а кому-то другому и вложены ему... Так, так... Больные жалуются на «сделанные» воспоминания, сновидения... «Ага, это уже ближе»,— подумал я.

Странно, но я нисколько не волновался. В глубине души я был уверен, что совершенно здоров.

Сделанные сновидения. Ну, допустим. Что еще здесь? Псевдогаллюцинации в сочетании с ощущением чуждости и «сделанности» собственных мыслей, их открытость носят название синдрома психического автоматизма Кандинского-Клерамбо.

«Увы,— подумал я,— до психического автоматизма мне далеко. Никаких сделанных мыслей, никакой открытости». Двинемся дальше. Навязчивые идеи. Мысли, от которых человек не может, хотя и хочет освободиться.

Освободиться от мыслей о Янтарной планете я действительно не могу. Но и не хочу.

Сверхценные идеи. Это еще что такое? Мысли не носят нелепого характера, но больной неправильно оценивает их, придает чрезмерно большое значение, которого объективно они не имеют. В отличие от навязчивых идей сверхценные идеи не сопровождаются тягостным чувством навязчивости и желанием освободиться от неправильного образа мышления.

А что... Это уже довольно близко ко мне. Тягостного чувства нет, желания освободиться нет. А мысль о том, что впервые в истории человечества какая-то другая цивилизация пытается сообщать нам что-то

о себе,— так это же явно пустяковая мысль, которой — как там говорится? — придается чрезмерно большое значение, которого объективно она не имеет.

Ладно, эдак утонешь в толстенном томе. Ага, вот мои любимые клички — олигофрены, дебилы, имбецилы, идиоты.

А вот и мой собственный парафренный бред. Я начал внимательно читать: «Больной часто считает себя святым, сверхчеловеком, призванным решать судьбу человечества».

Святой ли я? Увы, нет. На сверхчеловека, пожалуй, тоже не тяну. Не та весовая категория. С судьбами человечества — уже ближе.

— Ты еще не тронулся? — послышался из кухни голос Илюши.

— Держусь из последних сил,— буркнул я.

— Тогда иди есть.

Кухня, к моему изумлению, оказалась чище, чем была в прошлый раз, а яичница с жареной колбасой выглядела просто великолепно.

— Выпьем по рюмочке? — спросил Илюша.

— Мне предписано отдыхать и циклевать полы, а ты провоцируешь меня рюмочкой. Товарищ, друг называется...

— Уймись,— ласково пробормотал Илья и налил в рюмки что-то похожее по цвету на лимонную настойку.

Мы чокнулись и выпили. Водка, настоянная на лимонных корках, была хороша.

— Ну, так что с тобой стряслось, мой бедный друг?

— А терпения у тебя хватит выслушать меня?

— Не морочь голову. На что еще годятся друзья? Только чтобы выслушивать.

Я начал рассказывать. Илья доел яичницу и слушал меня, полузакрыв глаза. Мне показалось даже, что он задремал, но он серьезно покачал головой, когда я спросил, разбудить ли его к ужину.

Я рассказывал и остро, всей своей шкурой, всем своим нутром понимал, как нелепо звучит мой рассказ. Стражу здравого смысла даже не приходится отбиваться от меня. Одного его вида достаточно, чтобы мои истории замерли, остановились, потеряли краски, высохли и превратились в серую пыль. Подобно той, из которой сгущались звезды и которая лежала толстым слоем в Илюшиной комнате.

Но Янтарная планета все равно пела во мне, бесстрашно рвалась наружу, и я рассказывал, рассказывал, стараясь вложить в слова хоть частицу оранжевого отблеска, в котором жил У и его братья.

Когда я замолчал, я почувствовал странное ликование. Мне почудилось на мгновение, что Илья поверил мне. Он сидел, по-прежнему полузакрыв глаза, и не шевелился. А может быть, он все-таки заснул?

Пауза все росла, набухала огромным пузырем. Наконец он открыл глаза и посмотрел на меня.

— Юра,— сказал он,— я хочу задать тебе пошлый вопрос.

— Задавай.

— Это правда? То, что ты мне рассказал?

— Да.

— Тогда ты совершенно напрасно ходил к врачу и читал психиатрию.

— Почему?

— Потому что ты здоров. Если, конечно, не считать легкого слабоумия, которым ты страдал всегда. Во всяком случае, с тех пор, как я тебя знаю. Хочешь, я удивлю тебя?

— Хочу.

— Я верю тебе.

— Правда? — спросил я и почувствовал, как предательски дрожит у меня голос.

— Правда.

— Спасибо, Илюша.— Не знаю почему, на глазах у меня навернулись слезы.

— Не говори глупостей. Понимаешь, я верю тебе. Это... это фантастично! Но я ловлю себя на мысли, что реагирую на твои слова не так, как должен был, наверное. Ты сам-то понимаешь, что произошло? Контакт! Первый контакт с братьями по разуму, первая весточка от другой цивилизации! Величайшее, грандиознейшее событие в истории человечества! Бежать, кричать, звонить в колокола! Праздник людей, праздник планеты! А вместо этого мы сидим в этой маленькой, грязной квартирке и более или менее спокойно разговариваем. А ты знаешь, почему? Потому что даже ты сам не до конца уверен, что это все так. И я. Что ты думаешь, напрасно, что ли, наш мозг так натренировался в рациональном мышлении? О нет! Все, что он пропускает сквозь себя, он стремится объяснить, объяснить рационально. А как объяснить твои сны? Рацио-то в этом случае дохленькое, хиленькое, похожее на какую-нибудь научно-фантастическую повесть. Ну хорошо, будем холодны и неторопливы, как судьи. Какие у нас есть доказательства? Рассказ Юрия Михайловича Чернова? Он хороший, честное слово, он хороший. Вот, пожалуйста, характеристика из школы. За время работы... как квалифицированный, дисциплинированный и тэдэ. Отзывы знакомых. Свидетельство жены. Он, знаете, мне почти никогда не лгал. Так, больше по пустякам. Что еще?

Я глубоко вздохнул.

— Вот то-то и оно,— продолжал Илья.— Ты спросишь, а как же сказал, что веришь мне? Я верю и не верю. Я верю, потому что знаю тебя. Но не это главное. Верю, потому что хочу верить. Я идиот и романтик. Я не вырос. Я задержался в умственном и эмоциональном развитии. Я ребенок. Глупый ребенок. Мне хочется праздника. Чудес. Неожиданных, ярмарочных чудес, которые показали бы кукиш размеренным будням. Поэтому я верю тебе. Точнее, даже не верю, а хочу верить. Понимаешь, хо-чу! А диплом мой, кора больших полушарий — они упрямятся. «Позвольте-с,— мямлит кора,— эдак-с всякий начнет утверждать, что он с ангелами по ночам беседует, всевышнего в виде горящего куста видел». И что ей возразить, коре-то? Кора хитра, ой как хитра! И сильна! За ней культура, за ней наука. А против — маленький дурачок, которому хочется чуда. И второй дурачок, который это чудо ему обещает.

— Прости,— сказал я, вставая. Мне стало грустно, но все равно я не мог сердиться на него.

— Мой маленький, бедный дебил,— сказал Илья с такой пронзительной нежностью и дружеским участием, что сердце мое трепыхнулось от теплой благодарности и потянулось навстречу толстому человеку в очках, сидевшему напротив меня.— Не валяй дурака. Сиди и слушай умные речи. Все, брат, сводится к маленькому, пустяковому вопросику. Совсем пустяковому вопросику. Нужно получить объективные доказательства того, что ты принимаешь во сне какую-то информацию.

— Только и всего?

— Только и всего. И ты мне позвонишь завтра или послезавтра. За это время я что-нибудь придумаю.

— Если бы ты мог,— сказал я с таким жаром, что Илья почему-то закрыл глаза и несколько раз энергично кивнул головой.

— Смогу,— сказал он.— Ты ведь знаешь, я гений.

— Знаю,— сказал я.

Он действительно гений, мой нелепый, толстый и измятый друг. Если бы он только так не разбрасывался. «Я, кажется, уже и думаю, как Галя»,— пронеслось у меня в голове.

— Ты думаешь, я стараюсь только из любви к однокашнику?

— Нет, наверное.

— Ты прав. Я хитрый. Я эгоист и все время думаю: а вдруг Юрка и вправду входит в историю? А тогда и я эдакой Ариной Родионовной шмыг — и проскочил вместе с тобой. И твои биографы двадцать первого или тридцать первого века будут отмечать, что первый, кто поверил избраннику небес, был его друг Илья Плошкин, человек неряшливый, но огромного интеллектуального мужества. Ну как, берешь меня в Арины Родионовны? В историю берешь?

— Беру, Арина Родионовна, беру. Собирайтесь.

Галя, разумеется, обрадовалась, что и врач порекомендовал мне отдохнуть.

— Ты сам договоришься в школе?

— Нет, Люш, ни я не буду договариваться, ни ты тем более,— сказал я мягко, но твердо.

— Почему? — Галя посмотрела на меня с легким недоумением. Она не привыкла, чтобы я говорил «нет». То есть иногда я, конечно, говорю слово «нет», но в расчет оно не принимается.

— Потому что ни от чего отдыхать мне не нужно. Я совершенно здоров. И Илья Плошкин подтвердил это. А он величайший из психиатров-самоучек, которых я знаю.

Галя не удостоила Плошкина даже фразой. Она его недолюбливает. Может быть, она подсознательно ревнует меня к нему, может быть, она содрогается при мысли о хаосе в его квартире, а скорей всего в ней говорит инстинктивное недоверие замужних женщин к холостым друзьям мужа.

Мне вдруг стало жалко жену. Бьется она, бьется со мной, пытается сделать из меня взрослого, солидного человека, а я фортель за фортелем выкидываю. То от аспирантуры отказался, то по ночам с маленькими человечками беседую. И не хочу при этом отдохнуть у тети Нюры.

— Люш,— виновато вздохнул я,— так и быть, я согласен полечиться.— Галя бросила на меня быстрый подозрительный взгляд.— Врач порекомендовал мне циклевать полы. Узнай, кому из знакомых нужно недорого отциклевать паркет.

— Идиот,— сказала жена.

Боже правый, что они все сговорились, что ли, называть меня идиотом, дебилом, имбецилом? А может быть, устами друзей и близких глаголет истина?

— Почему? Разве физический труд не облагораживает человека? Вон Лев Николаевич Толстой пахал, почему же я не могу циклевать полы? Может быть, в них я как раз и найду истинное призвание? Ты все время сама подзуживаешь меня, чтобы я ушел из школы... Мы разбогатеем, купим арабский гарнитур. Нас будут звать в гости заинтересованные заказчики...— Удивительное дело, я испытывал сегодня каков-то сладостное чувство, поддразнивая Галю. Словно мстил ей. А может быть, я и мстил ей подсознательно за то, что она не верила мне?

— Успокойся. Если ты думаешь, что я ввяжусь в ссору с тобой,— клиническим тоном сказала Галя, и глаза ее стали утренне суровы и колючи,— ты ошибаешься. Телевизор — и то интереснее...

Глава 5

Сегодня я узнал еще одну деталь из жизни Янтарной планеты. Оказывается, У и его братья постоянно связаны некоей телепатической (а может быть, и нетелепатической) связью с... запасным мозгом. Да, да, именно так. Я видел своими глазами, то есть я хочу сказать глазами У, длинное, низкое здание со множеством ниш в стене, как в колумбарии. И в каждой нише — матово мерцающий кубик.

Если с У или с кем-нибудь из его братьев что-нибудь случится, запасной мозг всегда наготове. Берется новое тело, в него вставляется запасной мозг, который все время накапливал ту информацию, которой обладал погибший мозг, и погибший преспокойно продолжает жить и работать, а место в нише занимает новая запчасть. Изготовляются ли эти мозги или они как-то рождаются, металлические они или только кажутся такими — этого я еще не знаю.

Я жду каждой ночи с нетерпением. Мне пришло в голову, что я напрасно ничего не записываю. Хотя каждая, буквально каждая черточка, каждая деталь того, что я видел на Янтарной планете, врезается мне в память, лучше все-таки записывать виденное.

Не откладывая свой замысел в долгий ящик, я тут же положил перед собой лист бумаги, взял ручку, написал слова «Янтарная планета» и оцепенел.

В голове моей в первозданной своей яркости и четкости проплывали плавные, округлые холмы и звучала их мелодия, но слов, чтобы рассказать о них, у меня не было. Был лишь чистый лист бумаги, и чем больше я на него смотрел, тем больше убеждался, что никогда ни за что не смогу покрыть его странными маленькими загогулинками, которые называются буквами и которые теоретически могут рождать самые необыкновенные, тонкие, изысканные, трепещущие слова, способные описать все на свете. Нет, для этого нужно было обладать каким-то волшебством, знать заветное петушиное слово, а у меня была лишь грусть, смешанная с каким-то облегчением. «Наверное, потому,— подумал я,— что мне в глубине души не хотелось записывать на бумаге свое знакомство с народцем У — я боялся, что перенесенные на бумагу чары исчезнут, нить порвется и я потеряю Янтарную планету».

— Антошин,— сказал я и посмотрел на последнюю парту, где сидел Сергей,— ты готов сегодня отвечать?

— Yes [1],— сказал Антошин, и все тридцать шесть голов в классе, мальчишечьи и девичьи, светлые, темные и шатенистые, причесанные и лохматые, разом повернулись к Сергею. Впервые в письменной истории класса он выказал по доброй воле готовность отвечать, причем сказал это по-английски, пусть одним словом, но по-английски. Должно быть, он и сам понимал необычность этого момента, потому что явно покраснел и насупился, отчего стал сразу интереснее.

Класс замер, все хотели быть свидетелями чуда, чтобы потом рассказывать о нем своим детям и внукам. Как же, как сейчас помню, это было в тот год, когда Сергей Антошин сказал на уроке «Yes».

Антошин ответил на «тройку». Но я поставил в журнал с чистой совестью четверку. Подошел и молча пожал ему руку. Если бы я что-нибудь при этом сказал, все пошло бы прахом. Но я молча пожал ему руку, и впервые на лице Сергея вместо брезгливой сонливости сияла тихая гордость.

Черт возьми, как легко отмыкаются ребячьи души и как трудно найти ключик, который бы к ним подходил! Два года я не знал, что делать с Сергеем. Два года.

В перерыве телефон в учительской каким-то чудом оказался свободным, и я, веря в то, что такой день должен быть удачным во всех отношениях, позвонил Илье.

---

[1] Yes — да (англ.).

— А я как раз тебе собирался звонить, но никак не мог вспомнить, в какой школе ты терроризируешь детей неправильными английскими глаголами. Бери карандаш и записывай.

— Что, глаголы?

— Запиши телефон и адрес.— Он продиктовал мне: — Нина Сергеевна. Кандидат медицинских наук Нина Сергеевна Кербель. Записал? Ни пуха ни пера.

— Подожди, что такое Нина Сергеевна Кербель? Что она делает?

— Она изучает сон и сновидения. Привет от Арины Родионовны. Не обессудьте, батюшка, ежели что не так.

Он засмеялся и положил трубку.

Ну что ж, Нина Сергеевна так Нина Сергеевна.

Когда я позвонил ей, она долго молчала, вздыхала в трубку, чем-то шелестела и вдруг спросила:

— А сегодня вы приехать не можете?

Я сказал, что могу. Она снова молчала, дышала в трубку, и я подумал, что если и научные проблемы она решает с такой же скоростью, тайны сна и сновидений еще долго будут волновать человечество. Наконец она решилась и попросила меня приехать к пяти часам.

Оказалась Нина Сергеевна красивой, молодой женщиной с огромными серыми глазами.

— Да, да,— сказала она, пожимая мне руку,— мне звонил наш директор. Сам. Вы хорошо знаете Валерия Николаевича?

Я неопределенно пожал плечами. Жест должен был обозначать — так себе. Конечно, это было легкое преувеличение, поскольку я первый раз слышал его имя, но мне не хотелось огорчать Нину Сергеевну. Не знаю почему, но я вдруг посмотрел на ее пальцы. Мне было приятно, что обручального кольца я не увидел.

— Валерий Николаевич мне сказал, что вы журналист...

— Вообще-то... Но я к вам вовсе не по журналистскому делу...

Ай да ловкач Илюша! Журналист...

Нина Сергеевна вопросительно посмотрела на меня.

— А я поняла, что вы журналист. Гм... Ну, раз вы здесь, слушаю вас.

Это был самый трудный момент. Порог, за который так легко зацепиться ногой и шлепнуться лицом вниз. А мне совсем не хотелось падать перед этой стройной женщиной в белом, ловко сидящем на ней халате. Интересно, есть под ним платье или нет? Какая чушь! Но в голову мне лезли самые нелепые вопросы, лишь бы оттянуть страшный миг. Мне захотелось спросить, трудно ли изучать сон и сновидения, как она относится к теории Фрейда, почему халат на ней сидит как влитой, без единой складочки, а на других висит вялыми, жеваными хламидами; наконец, что ей снится самой.

Но отступать было поздно. Нина Сергеевна терпеливо смотрела на меня, и я увидел, как в ее огромных серых глазищах начинает тлеть недоумение.

Я зажмурился и прыгнул в холодную, страшную воду.

— Нина Сергеевна, то, что я собираюсь вам рассказать, будет звучать совершенно фантастически. Я это знаю и отдаю себе в этом отчет. И я не обижусь, если в любой момент вы скажете: простите, я занята, у меня много работы. Я вздохну, извинюсь и уйду, унося... и так далее.

Нина Сергеевна слабо улыбнулась и сказала:

— Я действительно занята, но после такого вступления я просто должна выслушать вас.

— Спасибо,— сказал я.

Весь мой ужас испарился, и я смело посмотрел на специалистку по сну. Она снова еле заметно улыбнулась и принялась рассматривать свои пальцы. Пальцы были тонкие и длинные.

Я начал рассказывать. Я был краток и, как мне казалось, убедителен. Я рассказал о сновидениях, о посещении психиатра. Она оторвалась от своих пальцев. Лицо ее ничего не выражало.

— Ну, а что мы можем для вас сделать?

— Мне сказали, что вы занимаетесь сном.

— Понимаете, никто в мире никакими приборами не может зарегистрировать, что именно снится человеку. Мы можем определить момент, когда человек начинает видеть сны, но что он видит — мы не знаем. Это может быть сон о вашей планете, а может быть сон самый обычный и земной. Физиологически они одинаковы.

Должно быть, на лице моем было написано такое разочарование, что она добавила:

— Поверьте, мы бы с удовольствием помогли вам, но я просто не знаю...

В ее глазах не было ни насмешки, ни брезгливого равнодушия. И за это я уже был ей благодарен.

— Простите, Нина Сергеевна, я отнял у вас столько времени.

Я протянул ей руку и на долю секунды задержал ее ладонь в своей. Она внимательно посмотрела на меня, и по лицу ее снова скользнула слабая улыбка.

— До свидания,— сказала она.

Я подумал, выходя, что был бы рад, если бы ее слова оказались вещими. До свидания, Нина Сергеевна.

День был холодный. Снег еще не лег, и голый асфальт стыл на морозе, и от вида его серой наготы было особенно зябко.

Мне должно было быть грустно. И оттого, что лаборатория сна помочь мне ничем не могла, и оттого, что у Нины Сергеевны такие прекрасные глаза, и оттого, что на пальце у нее нет обручального кольца, а у меня есть, и оттого, что свинцовое небо неохотно цедило скупой зимний свет. Но мне не было грустно. Мой друг с Янтарной планеты не только тянул ко мне зыбкие паутины сновидения. Он посылал мне бодрость и веру, и я почувствовал, что начинаю любить далекий и неведомый народ, такой не похожий на нас и такой похожий.

Это случилось утром. Когда я шел в школу. Я подходил к аптеке и увидел метрах в ста Вечного Встречного. Он сегодня опаздывал немножко. Я подумал, что улыбаться ему еще рано,— все равно не видит на таком расстоянии. И вдруг почувствовал в голове... как бы это назвать... Ну, легкую щекотку, что ли. Мгновенный зуд, но вовсе не неприятный. Не на коже, не в корнях волос, а где-то внутри, в мозгу. Тут же этот зуд перешел в неясное бормотание. Я по инерции продолжал идти навстречу Вечному Встречному, и с каждым нашим шагом, сокращавшим расстояние между нами, бормотание становилось громче, чище, явственнее, словно голова моя была приемником и кто-то подкручивал ручку настройки. Когда Вечный Встречный был уже в нескольких метрах от меня и мы улыбались друг другу, я услышал четкие слова: «Какой симпатичный молодой человек!»

До самых последних часов своей жизни я буду помнить эти слова!

Я не могу описать вам голос, который я услышал. Это был явно не голос Вечного Встречного. Голос был как бы бесплотный, мой внутренний голос, без тембра, звука, без окраски, но он четко произнес слова «Какой симпатичный молодой человек!», и я слышал ясно эти слова.

С невообразимой скоростью у меня перед глазами замелькали термины учебника психиатрии. Вербальные иллюзии, слуховые галлюцинации, псевдогаллюцинации...

На мгновение мне стало страшно. В груди образовалась пустота, властно всосала в себя желудок, сердце пропустило такт. «Значит, я все-таки схожу с ума»,— подумал я и понял тут же, что это неправда. Нет, это неправда. Мне уже не было страшно. Мною овладело детское ощущение, что происходит что-то интересное. Что из фотоаппарата вдруг действительно вылетела птичка и сказала «здрасьте».

Я обернулся. Вечный Встречный был уже метрах в ста позади меня. Я помчался за ним, размахивая портфелем, в котором лежал проверенный накануне диктант. Из сорока одной работы семь двоек. Не блестяще, прямо скажем.

— Простите,— сказал я, запыхавшись, и Вечный Встречный посмотрел на меня с недоумевающей улыбкой,— что вы подумали только что, проходя мимо меня? Это очень важно. Поверьте мне, это...

Вечный Встречный весело рассмеялся.

— Что я подумал? Я подумал, какой симпатичный молодой человек. И, ей-богу, это не комплимент, я в этом действительно уверен.

Я быстро обнял своего незнакомого знакомца, чмокнул его в тугую сизую щеку и помчался в школу. Теперь я услышал слова «странный мальчик». Сначала они прозвучали чисто и сильно, а затем, через несколько шагов, слились в неясное бормотание и погасли.

«Странный мальчик». По крайней мере один-то человек уже точно знает, что я рехнулся.

А мне было весело. Меня захлестывало радостное ожидание, детское предвкушение праздника. Птичка ярмарочного фотографа вилась вокруг моей головы, обещая удивительные события и необыкновенные встречи. Мне казалось, что внизу, подо мной, в шумной гавани, покачивается на зеленых волнах мой галеон, который вот-вот отправится в неведомые страны. А может быть, это вовсе не гавань и не галеон, а космодром и ракета. И я иду один по

бескрайнему полю к серебристой игле, нацеленной в зенит.

Я посмотрел на часы. Двадцать восемь минут девятого. Сигарету выкурить я, конечно, не успею, но можно не торопиться. Однако я не мог идти спокойно. Забыв о педагогической солидности, я галопом влетел по лестнице, ворвался в учительскую и почти пропел «Доброе утро».

Семен Александрович испуганно посмотрел на меня и поднял журнал, словно хотел загородиться этим педагогическим щитом, и я явственно услышал: «Уж не пьян ли он?»

— Нет, нет,— покачал я головой и увидел, как в выцветших бледно-голубых глазах математика, увеличенное стеклами очков, медленно поднималось облачко изумления.

Я схватил журнал и помчался в восьмой «А» раздавать диктант с семью двойками.

Вечером я решил проделать серию экспериментов. Солидных, корректных, как говорят ученые мужи, экспериментов.

— Люш,— сказал я жене,— ты можешь произнести про себя какую-нибудь фразу и записать ее на листке бумаги?

— А для чего?

— Для эксперимента.

— Фокус, что ли?

— Я ж тебе говорю: эксперимент. Только, пожалуйста, что-нибудь пооригинальнее. А то напишешь «Юрка-дурак», и мне будет неинтересно угадывать.

— Зато это будет правда.

— Люшенька, жена моя, спутница жизни, правда правдой, а эксперимент экспериментом. Ты же женщина. Ты должна быть любопытна и недоверчива, как сорока. Не слезай с тахты. Вот тебе карандаш, вот листок бумаги. Когда будешь писать — прикрой листок рукой, чтобы я ненароком не подсмотрел.

— Дай что-нибудь подложить под лист.

Я протянул ей номер «Науки и жизни». Теперь сосредоточиться. Я уже установил, что бесплотный голос в моем мозгу звучит чище и громче, когда я сосредоточиваюсь, прислушиваюсь к нему. И наоборот, когда я занят чем-нибудь, голос исчезает.

Быстрый, летучий зуд, приятная щекотка. Ощущение включенного приемника. Он включен, но передача еще не началась. И вот голос: «Что б написать... Что ему надо отдохнуть? Просто очень. Он просил пооригинальнее. Какую-нибудь стихотворную строчку... «Зима! Крестьянин, торжествуя, на дровнях об-. новляет путь...»

Я не удержался. Я хотел написать услышанное тоже на листке бумаги и сравнить потом. Вместо этого я пропел:

«Зима! Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь...»

Галя уставилась на меня, слегка приоткрыв рот, и я услышал, как она подумала: «Как это он?.. Фокус какой-нибудь...»

— Угадал? — спросил я.

— Да-а,— словно не веря себе, протянула Галя.— А как ты это делаешь?

— Очень просто,— небрежно и слегка покровительственно объяснил я.— Я смотрю на тебя и слышу твои мысли. В этот момент, например, никаких ясных мыслей у тебя нет. Но давай-ка поставим еще один опыт.

«Что бы такое придумать, чтоб он не догадался... Какие-нибудь имена... Знакомых... Нет, знакомых он может угадать... Чушь какая, как он может... О, есть! Напишу фамилии сотрудников соседней лаборатории. Зав — Сидорчук, потом этот симпатичный молодой доктор Леонтьев, Малыкина, Ишанова... Как фамилия этого хромого? Ш-ш... А, Шулятицкий. Кто еще? Полищук и Нина Сыч, которые никак не поженятся... Хватит, пожалуй».

— Хватит,— кивнул я, и Галя нерешительно посмотрела на меня.

У меня было такое впечатление, что она еще не решила: то ли удивляться, то ли восхищаться, то ли обругать меня. А для такой решительной особы, как Галя, неопределенность — состояние противоестественное.

— Записала? — спросил я.

— Да.

— Читаю,— сказал я.— А ты следи по своему списку, не пропустил ли я кого-нибудь: Сидорчук. Дальше у меня записано с. м. д. Леонтьев. Если я правильно помню, гражданка Чернова, с.м.д.— это симпатичный молодой доктор.— Я вздохнул, изображая отчаянную ревность.— Малыкина, Ишанова.

— Ешанова,— поправила Галя.

— Хорошо. Я великодушен. Я разрешаю этой даме быть отныне не Ишановой, а Ешановой.

— Она не дама. Она девушка.

— Передай ей мои поздравления. Продолжаю. Шулятицкий, Полищук и Нина Сыч. Правильно?

— Правильно. Здорово ты это делаешь. Будем ужинать?

— Ужинать? — переспросил я.

— Не завтракать же.

Боже, она только что была свидетелем чуда! Самого настоящего чуда. Маленького настоящего волшебства. И зовет ужинать. Вместо того, чтобы упасть на колени и обратить ко мне простертые длани, она зовет меня ужинать. У-жи-нать. Словото какое нелепое — у-жи-нать. И этот человек, с которым я живу под одной крышей, работает еще в научно-исследовательском институте. Исследовательском. Научном. А она зовет меня ужинать.

Она вся была в этом. Все, что она не могла контролировать, все, что не могла держать в своих маленьких, цепких лапках, она отбрасывала прочь. Ей не нужно было чуда, потому что для созерцания чуда нужна смиренность, а смиренностью моя жена не отличается.

— Галя,— сказал я.— Ты младший научный сотрудник. У тебя готова треть диссертации. Ты знаешь про пищеварение плоских червей больше всех на свете. Ты начинающий ученый. И ты так спокойно отнеслась к тому, что я тебе показал? Как это может быть?

— А что я должна была делать? — Галя сползла с тахты, потянулась, выгнувшись по-кошачьи.— Что сегодня по телевизору, ты не знаешь?

— Люшенька,— жалобно простонал я.— Как я это делал? Объясни мне.

— Откуда я знаю, ну, что ты хочешь от меня? Фокус какой-нибудь...

— Какой фокус? — загремел я.— Ну, какой это фокус?

— А что это? — необычайно вежливо спросила Галя.

— Это чтение мыслей, вот что это.

— Чтение мыслей, материализация духов и раздача слонов.

— Боже мой, какая эрудиция! Ты даже читала Ильфа и Петрова. Ну, хорошо, а если бы я сейчас взлетел в воздух и вылетел в окно?

— Я бы поплакала полгода и вышла, наверное, за другого.

— Спасибо, Люш, за полгода. На самом деле тебе, наверное, хватило бы для слез и полмесяца или полдня. Но я имел в виду благополучный полет. Предположим, я бы полетал и сел на по-

доконник. И ты бы тоже спросила меня, что сегодня по телевизору?

«С ним все-таки что-то происходит,— услышал я ее мысли.— Попросить Валентину, чтобы она еще раз поговорила с этим врачом...»

— Попроси, попроси! — крикнул я и подумал, что кричать вообще-то глупо и я, наверное, на ее месте вел бы себя так же.

— Что попроси? — Теперь, в первый раз за вечер из Галиных глаз исчез домашний ленивый покой.

— Попроси Валентину, чтобы она еще раз поговорила с этим врачом! — Я знал, что зря распаляюсь, но уже ничего не мог поделать с собой.— Ты абсолютно права. Как только встретишь что-то непонятное, не укладывающееся в принятые схемы, давай к психиатру! Последняя линия окопов! Если бы я утверждал, что у тебя на голове рожки, ты бы могла подумать, что у меня галлюцинации. Но ведь это не галлюцинации. Сравни две бумажки. Сидорчук, Леонтьев, Малыкина, Ешанова или Ишанова, как там ее... Или это тоже галлюцинация? Семейная галлюцинация? Ладно, когда я пытался рассказать тебе о своих снах и ты оставалась вежливо-равнодушной, я еще мог тебя понять. Какая-то планета, какой-то человечек У с запасным мозгом — мало ли что кому снится! Но сегодня... Объясни мне... Это же... Это же чудо! Это телепатия, которой не существует! А ты говоришь — ужинать!

Галя подошла ко мне и обняла меня. Знакомое теплое прикосновение. Слабый знакомый запах ее духов. Знакомая комната. Чуть криво висящий эстамп с букетом сирени. Сколько раз я собирался поправить его.

— Ну что ты, Юрча,— нежно сказала Галя и потерлась кончиком носа о мою щеку. Кончик был мягкий и теплый, и я, несмотря на раздражение, почувствовал прилив нежности к этому существу, которое я безжалостно волок за собой из ее привычного теплого мирка к далекой Янтарной планете.— Не нервничай, хорошо? — сказала она.— Наверное, ты прав. Наверное, я дурочка. Но что же делать, если господь обидел меня разумом? Но ведь ты тоже глупенький. Как ребеночек. Как потвоему, что я сейчас думаю?

— Все-таки я его люблю!

— Правильно,— засмеялась Галя. Это уже было нечто более понятное, чем можно было привычно распоряжаться. Можно было снова почувствовать себя хозяйкой.

Я не сердился на нее. Одни жаждут чуда, другие бегут от него. Мне было только чуть-чуть стыдно за нее. Перед У. И чувство это не было для меня смешным.

Галя ушла на кухню, а я подумал, что лучше всего, наверное, было бы забыть о Янтарной планете и начать выступать с так называемыми психологическими опытами. А сейчас феномен природы, заслуженный артист республики, продемонстрирует опыты чтения мыслей, основанные на учении Ивана Петровича Павлова... А я в сатанинском черном фраке, с бледным лицом и горящими глазами выхожу на эстраду, небрежно раскланиваюсь, замечаю во втором ряду сказочной красоты блондинку, подхожу к ней и пристально смотрю на нее.

Бедняжка дрожит и не может оторвать от меня завороженного взгляда.

Я прошу ее написать на бумажке два предложения и передать в жюри, а сам, отвернувшись, называю их. Зал гремит овациями, блондинка уже не дрожит, а вибрирует, а я продолжаю психологические опыты, основанные на учении Ивана Петровича Павлова.

Я улыбнулся. Нет, я не предам своего друга У и его дар ни за какие деньги, эстраду и завороженный взгляд блондинки. Не я хозяин дара, и не для заработка протянули мне братья У серебряную ниточку сквозь бесконечные просторы космоса.

Вдруг удивительно громко и неожиданно зазвонил телефон. Галя взяла трубку.

— Привет, Илюшенька... Да, дома, даю трубку.

Я взял трубку.

— Ты можешь ко мне приехать? Прямо сейчас? — выпалил одним духом Илья.

— Что-нибудь случилось? — спросил я.

— О имбецил! Стараешься для него, ломаешь голову, а он спрашивает, не случилось ли что-нибудь.

— Хорошо, Илюша, сейчас приеду.

Глава 6

Илья, наверное, высматривал меня в окно, потому что не успел я захлопнуть дверцу лифта, как он тут же распахнул дверь своей квартиры. Он схватил меня за руку и втащил на кухню, где зло шипел на плите чайник.

— Прости меня, Юрочка, но я действительно не ошибался, считая тебя олигофреном.

— Спасибо.

— И себя тоже. Вчера и сегодня я измучил всех, кто имеет хоть какое-нибудь отношение к кибернетике.

— К кибернетике?

— Вот-вот. Именно здесь и проявляется твое клиническое слабоумие. Что такое твои сновидения, если ты не разыгрываешь нас? Это сигналы, несущие какую-то информацию. Так?

— Очевидно.

— Очевидно! Я думаю, очевидно. Всем измученным в нашем институте я задавал один и тот же вопрос: если, скажем, одна цивилизация пытается передавать в первый раз информацию другой цивилизации, как она может привлечь внимание к своим сигналам? И все кибернетики в один голос отвечали: чтобы привлечь внимание к своим сигналам, они должны подчеркнуть их искусственный характер.

— А как?

— Вот именно, а как? И все ответили одно и то же: варьируя сами сигналы или интервалы между ними. Скажем, если сигналы поступают с интервалами в две, четыре, шесть и так далее единиц времени, можно быть абсолютно уверенным, что интервалы эти не носят случайного характера. Или интервалы меняются в геометрической прогрессии: два, четыре, восемь, шестнадцать... То же самое можно сказать о длительности или силе самих сигналов. Ты меня понимаешь?

— Как будто.

— А раз так, то мы можем сделать вывод. Твои людишки, безусловно, носители разума. Они должны понимать, что те, кто принимает их сигналы, захотят их проверить...

— Но их сигналы ведь не нужно расшифровывать. Это ж не какие-нибудь там точки и тире или кривые. Это кинофильм. Многосерийный учебный кинофильм.

— Да, но...— Илья задумался, но тут же встрепенулся.— Они должны понимать, что само содержание сновидений зафиксировать нельзя.

— Почему они обязательно должны так думать? Я не знаю, спят ли они вообще, видят ли сны. Этого я, повторяю, не знаю. Но я же тебе объяснял, что они не знают, что такое мои мысли и чужие мысли. Их мысли свободно циркулируют между всеми братьями У. И для них поэтому необходимость доказать кому-то, что я думал то-то и то-то, а не то-то и то-то, абсурдна. Ты понимаешь, они не могут знать, что такое ложь и потому не могут знать, что такое проверка.

— Да, ты, наверное, прав,— как-то сник Илья.— Хотя попробовать все-таки стоит.

— А что именно?

— То, о чем говорили кибернетики. Частоту сигналов.

— Но сон...

— Сновидение — это и есть сигнал. Ты ж говорил мне, что в лаборатории сна умеют объективно фиксировать начало сновидений.

— Да, так мне сказали. Но что такое сон? Заснул...

— В отличие от тебя я предприимчив и любознателен. Я сегодня прочел пять книжечек о сне. Сон, дорогой мой слабоумный друг, дело не простое. Там есть свои фазы и так далее. Пойди в лабораторию, упади в профессорские ноги...

— Там изумительные ножки...

— Профессорские?

— Почти. И глаза. Серые. Потрясающей формы. И узкие ладони. Ее зовут Нина Сергеевна.

— Да, это тебе не Янтарная планета. Здесь ты сразу становишься красноречив. С ней ты, я надеюсь, договоришься о сне.

— Не говори пошлостей.

— Боже мой, какое воспитание, какие манеры! Пардон, мсье. Я забылся. Икскьюз ми, сэр...

Илья что-то еще продолжал бормотать, а я вдруг вспомнил, что забыл сказать ему о телепатии. Это было невероятно. Как я мог забыть?

— Илюшенька,— сказал я,— а ты знаешь, мне кажется, что они дают нам еще одно подтверждение своего существования.

— Какое?

— Они каким-то образом наделили меня способностью улавливать чужие мысли.

Илья встал и выключил газ под плевавшимся паром и негодующе клокотавшим чайником.

— Неостроумно.

— Я не пытаюсь острить. Подумай о чем-нибудь. Отвернись от меня на всякий случай. Ну, думай же, думай, если умеешь.

«Разыгрывает или нет?..»

— Да нет, Илюша, не разыгрываю. Думай всерьез. Назови про себя хотя бы какие-нибудь цифры.

«Семь... сто три... пятнадцать...»

— Семь,— сказал я,— сто три, пятнадцать...

Илья повернулся ко мне, снял очки, подышал на стекла, потом долго и тщательно протирал их полой пиджака. Мне стало жаль его.

— Давай еще. Я думаю,— пробормотал он.

— По улицам ходила большая крокодила.

— Еще,— сказал Илья.

— Гутта кават ляпидом нон ви... Если я не забыл, это значит по-латыни — капля точит камень не силой.

— Еще,— жестко сказал Илья.— Только не повторяй вслух, а запиши на листке бумаги. И я запишу. Давай.

Я написал: «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». Он взял листок и мучительно долго читал то, что я написал. Потом то, что написал он. Потом положил рядом оба листка.

— Юрочка, как же так? Ты можешь ущипнуть меня, ударить, укусить, порезать, но не очень сильно? Как же так? Этого же не может быть. Понимаешь? Не может быть. Нет ни одного случая четко зафиксированной передачи мыслей на расстоянии. Ты это понимаешь?

— Я это понимаешь.

— Так что же ты стоишь? О боже, почему мой друг так дементен? Это же... это же... это событие, значение которого не укладывается в сознании. Нет, Юрка, это все правда? Если я не сплю, в честь такого события я клянусь убрать квартиру, покрыть полы польским лаком и выучить наизусть календарь. Что я сейчас подумал?

— Что я стою, как вол, начисто лишенный фантазии.

— С ума сойти. Я уж даже не знаю, как отметить... По рюмочке?

— Нет, мой друг,— важно ответил я.— В отличие от некоторых, я не могу относиться к своей голове безответственно. А вдруг алкоголь разрушает способность к телепатии?

— Ладно, бог с тобой. Я вот сейчас подумал... Хотя зачем мне тебе говорить, раз ты и так читаешь мои мысли...

— Разговаривать все-таки привычнее.

— Знаешь, Юраня, пока ты особенно не распространяйся о чтении мыслей.

— Почему?

— Это все слишком серьезно. Не надо делать из этого цирк. Галя знает?

— Да.

— А кто еще?

— Никто.

— Возьми с нее слово, что она никому не скажет. Обещаешь?

— Да.

— А я тоже подумаю, что нам делать дальше.

Педагог есть педагог. Я просто не мог отказать себе в маленьком удовольствии. К тому же я, если говорить откровенно, все-таки тщеславен.

— Так, подумаем, кого бы сейчас вызвать,— сказал я и встал из-за стола.

Седьмой «А» затаил дыхание. Я медленно пошел между партами, заложив руки за спину.

«Не спросит, прошлый раз вызывал»,— юркнула мысль Коли Сафонова.

— Ты в этом уверен?

— В чем, Юрий Михайлович? — вскочил ставосьмидесятисантиметровый акселерат.

— В том, что не спрошу тебя, поскольку прошлый раз вызывал?

Сафонов несмело улыбнулся.

— Ну что ж, уверенность — прекрасная вещь. Раз ты уверен — не спрошу. Садись, мой юный друг.

Сафонов сел, недоуменно моргая прекрасными пушистыми ресницами.

«А я не выучила»,— испуганно подумала Аня Засыпко, маленькая, чистенькая, беленькая девочка, у которой была самая длинная и толстая коса в классе, а может быть, и в мире.

— Печально, Анечка, печально,— сказал я и посмотрел на нее.

Класс встрепенулся. В мире нет более отзывчивой аудитории, чем школьный класс. Бездельники почувствовали, что на их глазах происходит что-то интересное, и на всех лицах, кроме беленького личика Ани Засыпко, был написан живейший интерес.

Аня стояла молча, маленькая, чистенькая, беленькая девочка с длинной толстой косой.

— Ты ведь не выучила на сегодня? — играл я с ученической мышкой эдаким учительским котом.

Аня еще больше потупилась и густо покраснела, отчего сразу стала похожа на дымковскую игрушку.

— Садись, Аня. Я твердо знаю, что ты не готова, я это знал с той минуты, когда только вошел в класс, но не буду тебя спрашивать. Я не садист, я не получаю удовольствия от двоек и записей в дневнике. Вот Сафонов только сейчас подумал: «Как это он узнал?» Верно, мой юный друг?

Сафонов сделал судорожное глотательное движение и так выразительно кивнул, что класс дружно рассмеялся.

— Вы видите, милые детки, сколь тщетны ваши попытки ускользнуть из моих сетей. Видите?

Класс печально кивнул. Я их понимал. Плохо, когда ты в сети. Я посмотрел на Антошина. Мне показалось, что в глазах у него тлеет заговорщицкий огонек. Я подошел к нему. «Хоть бы меня спросил»,— подумал Антошин. Даю вам слово, я чуть не расцеловал его от благодарности.

— У меня такое впечатление, что Сергей Антошин не прочь бы ответить. Так, Сергей?

— Я учил, Юрий Михайлович.— Антошин встал.

Он действительно выучил, мой милый Антошин. Он отвечал на четыре, но я с наслаждением поставил ему пять. В журнале и в дневнике.

Нина Сергеевна Кербель встретила меня у входа в лабораторию.

— Я не думала, что вы так быстро приедете.

— Вы назначили мне аудиенцию в четыре, а сейчас ровно четыре.

— Неужели уже четыре? Пройдемте сюда, вот в эту комнатку. Пока заведующего нет, я здесь обосновалась.

Нина Сергеевна села за стол, закрыла глаза и помассировала себе веки. На носу были заметны крошечные вмятинки от очков. Я молчал и смотрел на нее. Она, должно быть, совсем забыла обо мне. Наконец, она встрепенулась, открыла глаза и виновато улыбнулась.

— Простите, я что-то устала сегодня...

— А тут еще я...

— Слушаю вас.— Она, должно быть, не хотела, чтобы я услышал ее вздох, но я услышал его.

— Нина Сергеевна, подумайте о чем-нибудь.

Она подняла свои прекрасные серые глаза и посмотрела на меня.

— В каком смысле?

— В буквальном. О чем угодно. Произнесите про себя какую-нибудь фразу.

— Для чего?

— Нина Сергеевна, будьте иногда покорной женщиной, подчиняющей свою волю мужской.

— Вы думаете, я никогда этого не делала? — Она улыбнулась своей слабой, неуловимой улыбкой.— Ну, хорошо. Задумала.

— Простите меня, но это банально. Вы подумали: что он от меня хочет?

Нина Сергеевна чуть-чуть покраснела.

— Еще раз. Что-нибудь более специальное, чтобы свести к минимуму случайное совпадение. Ага, вот это лучше. Вы произнесли про себя фразу: «Быстрый сон был открыт в 1953 году Юджином Азеринским из Чикаго». Угадал?

— Как вы это делаете?

— Не знаю. Я думаю, что это как-то связано с моими сновидениями.

— И когда вы впервые обнаружили в себе такую способность? — Манеры Нины Сергеевны сразу стали напористыми, энергичными. Передо мной был уже исследователь.

— Вчера.

— И вы действительно слышите мои мысли?

— Когда нахожусь достаточно близко и концентрирую внимание. Нина Сергеевна, я ведь пришел к вам не для того, чтобы продемонстрировать свои телепатические способности...

— О чем вы говорите, я вас не отпущу. Вы даже не представляете себе, как это интересно...

— И тем не менее не это главное. Вы давеча говорили мне, что умеете фиксировать своими приборами начало и конец сновидений.

— Совершенно верно. Помните, я только что задумывала фразу, которую вы услышали... о быстром сне? Так вот, как раз быстрый сон — иногда его называют парадоксальный сон, РЕМ-сон или ромбэнцефалический сон — видите сколько названий... Этот сон и есть сон, во время которого мы видим сновидения.

— И вы можете фиксировать этот сон?

— О да, несколькими способами.

— Хорошо, Нина Сергеевна. Представьте себе на секундочку, что я не сумасшедший...

— Я...

— Я понимаю. Не надо извинений. Представьте себе на секундочку, что мои рассказы о Янтарной планете истинны. Истинны в том смысле, что такая планета существует в реальности, а не в моем воображении. И что мои сны — это информация, которую чужая цивилизация посылает нам. Я повторяю, допустим. Так вот, кибернетики говорят, что при передаче сигналов любая цивилизация постарается сделать так, чтобы эти сигналы можно было легко выделить, чтобы виден был их искусственный характер.

— Вы хотите сказать...

— Совершенно верно. Если считать сны сигналами, может случиться, что периодичность их или интервалы между ними будут подчиняться какой-то явной зависимости. Вы меня понимаете?

— Вполне...

— Я прошу вас об эксперименте, как о личном одолжении. Если все это окажется чистой фантазией, мы просто забудем об этом. А если нет...

— А если нет?

— Тогда подумаем.

— А мне бы хотелось посмотреть на вашу энцефалограмму во время чтения мыслей. Это может быть интересно. Во всяком случае, таких работ никто, по-моему, не делал. Хотя бы потому, что телепатии, как известно, не существует.

— Ну и прекрасно. Вы кандидат?

— Да.

— Вы станете доктором. Потом заведующей лабораторией. Потом вас выберут членом-корреспондентом. Вы будете самым красивым членкорром. И все будут говорить: а, эта та, интересная, открывшая телепатию... Подумаешь, повезло просто. Попади этот Чернов ко мне в руки, я бы уж академиком стал... Все равно она интересная дама...

— Ну, раз вы гарантируете мне членкорра, я поговорю с шефом, он как раз завтра выходит после отпуска.

— А он...

— Попробую уговорить.

(Продолжение следует.)

ПРОЗА

Зиновий ЮРЬЕВ

БЫСТРЫЕ СНЫ

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Глава 7

Нина Сергеевна шефа не уговорила, но попросила меня приехать и попробовать самому поговорить с ним.

Шеф, Борис Константинович Данилин, оказался невысоким, коренастым человеком лет шестидесяти, с лицом бывшего боксера и настороженными глазами участкового уполномоченного. Он был настолько выутюжен и накрахмален, что даже при малейшем движении издавал легкий жестяной шорох.

Я представился и попросил прощения за вторжение.

— Да, да,— неохотно сказал заведующий лабораторией,— Нина Сергеевна мне говорила о вас. Но у нас ведь научное учреждение, а не спиритическое общество. Хотите вызывать духов — ваше дело. Соберите приятную компанию и занимайтесь столоверчением на здоровье. Но мы-то здесь при чем?

Я почувствовал острое желание повернуться и выйти из комнаты. Но это было легче всего. Обида — защита слабых, а я не хотел быть слабым. К тому же я сражался не за себя. За себя я никогда по-настоящему постоять не умел. «Рохля»,— назвала меня однажды Галя. Это было жестоко, но довольно точно. Но сейчас за мной были У и его братья, я держал в руке дрожащую серебряную паутинку. Я отвечал за нее. Я не мог ее выпустить, если бы даже передо мной были десять тысяч Борисов Константиновичей и все они могучим хором предлагали бы мне заниматься столоверчением и вызыванием духов.

— Борис Константинович, я не спирит и не прошу вас участвовать в спиритическом сеансе. Я прошу проделать один научный эксперимент.

— Какой эксперимент? — брезгливо сказал заведующий лабораторией и стал раскатывать сигарету между пальцами.— О чем вы говорите? Эксперименты ставят тогда, когда они имеют отношение к науке. Пусть самое отдаленное, но все-таки имеют. А вы, простите меня, приходите не то с телепатией, не то со спиритизмом, не то с теософией. Это же, дорогой мой, чепуха. Абсолютная, раз и навсегда решенная че-пу-ха!

Я сделал такой скорбный вздох, что Борис Константинович чуточку смягчился.

— Поймите, если бы ко мне пришел самый симпатичный мне человек и попросил проверить работу изобретенного им вечного двигателя, я бы не стал этого делать, как не стал бы этого делать ни один ученый, слышавший о законе сохранения энергии. Вы тоже пришли ко мне со своего рода вечным двигателем. Не знаю уж, как вы сбили с толку Нину Сергеевну, она вообще человек мягкий,— голос Бориса Константиновича стал сердитым,— но я разрешения на шарлатанские фокусы дать не могу...

Борис Константинович сердился, а я, наоборот, совершенно успокоился. Наверное, и я бы на его месте вел себя так же. Но просто любой нормальный че-

Рисунок Г. КАЛИНОВСКОГО.

Продолжение. Начало см. в № 3 за 1976 год.

ловек должен обладать хоть каплей детского любопытства. Самое страшное существо на свете — это человек, начисто лишенный любопытства. Неужели же ученый может быть настолько лишен этого чувства? А может быть, именно потому он и ученый, что не хочет и слышать о вещах, выходящих за рамки его представлений?

Заведующий лабораторией перестал катать сигарету между пальцами, очень внимательно и придирчиво осмотрел со всех сторон, не прятались ли за ней спириты и телепаты, торжественно вставил себе в рот и вынул замысловатую зажигалку.

Почему-то я обратил внимание на его пальцы. Они были короткие, мощные; аккуратно подстриженные ногти были покрыты бесцветным лаком.

Не согласится, подумал я. Человек, лишенный любопытства, но кроющий ногти бесцветным лаком,— это нелегкая комбинация. Ну и бог с ним. Во мне поднималось прежнее настроение безудержного оптимизма.

— Борис Константинович,— сказал я,— мне известно, что телепатии не существует. Но можете вы задумать какую-нибудь фразу, или фразы, или числа и записать их на листке бумаги, произнеся лишь их про себя?

— Нет, не могу.

— Почему, Борис Константинович?

— Потому что никакого чтения мыслей на расстоянии не существует.

— А если я докажу вам, что существует?

— Вы ничего не можете мне доказать. Вы не можете доказать того, что не существует.

— Борис Константинович, для чего нам спорить? Насколько проще было бы проделать этот крошечный опыт, о котором я только что говорил. Да давайте даже не проделывать его. Только что вы подумали: «Вот еще напасть на мою голову».

Заведующий лабораторией сделал губы кружочком и выпустил несколько колец дыма редкостной правильности. Кольца казались такими же жесткими, упругими и металлическими, как и весь он. Он поднял глаза и посмотрел на меня.

— Вы не ошиблись, и я прошу извинения за слово «напасть», которое пришло мне в голову, хотя обычно за то, что думают, не извиняются. Но вы меня ни в чем не убедили. Абсолютно ни в чем. Сам характер нашей беседы,— Борис Константинович выразительно развел руками, словно говоря: я же в этом не виноват,— характер нашей беседы таков, что вам не составляло особого труда догадаться о моих мыслях.

Я улыбнулся. Во мне проснулся охотничий азарт. Неужели я не загоню его в угол?

— Согласен, Борис Константинович, я действительно навязался на вашу ученую голову. И я вас прекрасно понимаю. Но с другой стороны: отвяжитесь же от этой напасти, от этого настырного протеже слишком доброй Нины Сергеевны. Уважьте его прихоть!

Заведующий лабораторией улыбнулся. Для этого ему пришлось затратить немало усилий, потому что его металлическое лицо никак не хотело складываться даже в самую бледную улыбку.

— Теперь-то я понимаю, как вы заморочили голову моей заместительнице. Будь я женщиной, я бы тоже, наверное, не выдержал такой интенсивной осады.

На мгновение я представил себе Бориса Константиновича дамой и содрогнулся от ужаса.

— Но поймите же вы, молодой человек, никакого чтения мыслей, никакой телепатии не существует. Да сто раз угадайте вы задуманное мною — я лишь пожму вашу руку и скажу, что вы прекрасный иллюзионист.

— И у вас не возникнет желания узнать, как я это делаю?

— Может быть, и возникнет. Но я подавлю его. Если бы я занялся изучением искусства фокуса и иллюзий, тогда я бы не отпустил вас. Я бы запер вас. Я любыми способами постарался бы раскрыть, как вы проделываете свой трюк. Я же занимаюсь проблемами сна и сновидений. Я даже не буду спорить, что интереснее. Каждому свое. Одним перепиливание дам на манеже цирка, другим наука. Наверное, перепиливать дам интереснее, вполне допускаю это. Во всяком случае, аплодисментов наверняка больше. Но так или иначе я выбрал науку. Зачем мне тайны иллюзионистов? Посудите сами. Среди моих знакомых иллюзионистов нет. Это было бы некоей интеллектуальной суетой, которая мне в высшей степени неприятна.

Я почувствовал, что суровый Борис Константинович начинает мне нравиться.

— Ваша логика безупречна, и мне нечего возразить вам, но неужели же в вас нет самого что ни на есть детского любопытства? Любопытства малыша, который ждет вылетающей из аппарата птички? Ладно, не хотите иллюзий — не надо. Но птичку? Неужели и птичку вам посмотреть неинтересно?

— Я вырос,— мягко сказал Борис Константинович.

А может быть, он вовсе не вырос? Может быть, он так яростно сражается против детского любопытства именно потому, что не вырос? Нет, подумал я. Это, разумеется, было бы очень психологично и очень литературно. Но Борис Константинович никогда не был мальчиком.

Мы оба замолчали. Заведующий лабораторией посмотрел на часы. Взгляд был корректный. Достаточно быстрый и брошенный украдкой, чтобы не казаться грубым напоминанием. И достаточно в то же время заметный, чтобы я устыдился.

Теперь во мне начала разгораться веселая ярость древних воинов, которой они распаляли себя перед боем.

— А знаете, Борис Константинович, я не уйду отсюда, пока вы не проделаете маленький опыт, который вам так неприятен.

— Остерегайтесь! — Борис Константинович развел руками жестом человека, который снимает с себя всякую ответственность.— А я, с вашего разрешения, откланяюсь.

— А я вас не пущу,— улыбнулся я, вставая.

— Прямо не пустите?

— Прямо не пущу.

— А если я все-таки попытаюсь уйти?

— Вот видите, а вы говорили, что лишены детского любопытства. Что будет? Мы начнем возиться, упадем на пол, перепачкаемся, ушибемся. На грохот переворачиваемых стульев прибегут Нина Сергеевна и другие сотрудники. Меня, конечно, отправят в милицию и дадут суток десять, но, знаете, изобретатели вечного двигателя ведь маньяки. Препятствия остервеняют их. Посмотрите на меня — я же типичный маньяк. Я бы с таким не связывался. Ну его к черту. Лишь бы выпроводить как-нибудь.

Борис Константинович вдруг засмеялся. Неловко, неумело, каким-то квакающим смехом.

— Вы все-таки удивительный человек. Если бы вы только были психологом, биологом или даже врачом, я вас тут же пригласил бы в лабораторию. С вашей настойчивостью мы бы выбили себе оборудование, которого нет ни у кого.

— Увы, я учитель английского языка.

— Знаю. Нина Сергеевна говорила мне. Интересно, если это не секрет, как вы заморочили голову Валерию Николаевичу Ногинцеву?

— Во-первых, это не я, а мой приятель. Во-вторых, я был представлен как журналист, пишущий о науке. Как видите, я не останавливаюсь ни перед чем.

— Это-то я вижу,— покачал головой Борис Константинович.— Так что, вы твердо решили меня не выпускать?

— Твердо.

— Ну ладно, уступаю грубой силе.

Заведующий лабораторией уже, кажется, начал постигать искусство улыбки, потому что на этот раз его металлическое лицо сложилось в ее подобие почти без скрипа.

— Спасибо, профессор,— с чувством сказал я.— Но не пытайтесь бежать. Отечественная наука о сне может понести невосполнимый урон.

— Знаете что,— сказал Борис Константинович,— думаю, я смогу вас взять старшим лаборантом. Какая была бы в лаборатории дисциплина!

— Я не всегда такой, к сожалению. Скажу вам больше: я разгильдяй. И даже рохля. Это сегодня я такой.

Если бы Галя видела меня сейчас, подумал я. Наверное, даже она с ее напором не смогла бы уломать его.

— Жаль, жаль. Ну ладно. Но если уж проводить маленький опыт, то давайте по возможности построже. Я останусь здесь, а вы пройдите в комнату налево. Согласны?

— Вполне.

— Держите листок бумаги. Чем писать у вас есть?

— Я учитель,— обиженно сказал я.— Я сплю с четырехцветной шариковой ручкой.

— Прекрасно. Когда я позову вас, возвращайтесь.

— А вы честно не удерете, профессор? — спросил я и улыбнулся самой обезоруживающей улыбкой, какая есть в моем мимическом арсенале.

— Даю слово.

Я прошел в соседнюю комнату, где стояли какие-то незнакомые мне приборы, поздоровался с совсем юной девой, которая тщательно рассматривала свои выгнутые дугами тонкие бровки в зеркальце, и сел за шаткий столик. Дева едва заметно кивнула и даже не отвела взгляда от зеркальца. Чувствовалось, что она гордится бровями — этим творением рук своих — и никогда уже не сможет от них оторваться.

Я качнул столик локтями. Он застонал, но не развалился. Пожалуй, сегодняшний день еще простоит. Я сосредоточился. Подумал вдруг, что через стенку я еще никогда не читал мыслей. Получится ли? Легчайшая щекотка, зуд, секунда гудящей тишины и голос: «Ровные как будто. А Машка говорит, что тонковаты». Это бормотание дурочки, все еще стоявшей с зеркальцем в руках. Еще сосредоточиться. Шорох слов: «Таким образом... корреляция... локализуется... дважды проверенные нами... электроэнцефалограмма дублировалась... многоканальном... дает основание...» Только бы успеть записать.

Скрипнула дверь. Зеркальце в руках девицы испарилось, и в ничтожную долю секунды она приняла позу прилежно работающего человека.

— Готовы? — спросил профессор.

— Да, иду.

— Ну как, что-нибудь получилось?

— Вот,— сказал я и протянул заведующему лабораторией листок.

— Ну, давайте посмотрим, молодой человек. Но договоримся: если не получилось, на объективные причины не ссылаться. Идет?

— Идет, идет.

Борис Константинович уселся за стол, неторопливо надел очки в тонкой золотой оправе, взял мой листок и положил его рядом с другим листком. Потом ручкой начал подчеркивать слова по очереди на одном листке и на другом. Закончив, он снял очки, подышал на стекла, достал из кармана белоснежный платок, очень медленно и очень тщательно протер их, снова надел и снова начал подчеркивать слова.

— Вы не возражаете, если мы повторим? — вдруг спросил он.

— С удовольствием, профессор.

Я снова прошел в соседнюю комнату. Боже, мы тут спорим о принципиальной возможности чтения мыслей на расстоянии, горячимся, а юная лаборантка с выщипанными бровями уже давно пользуется ею в повседневной жизни. Когда дверь открыл профессор, ее как ветром подхватило. Когда вошел я, она даже не посмотрела в мою сторону. Как она могла знать, кто откроет сейчас дверь?

Теперь она была занята не бровями, а губами, которые подкрашивала с необычайным тщанием и чисто восточной отрешенностью от житейской суеты. Если она еще не замужем, подумал я, из нее выйдет превосходная жена. Во время самой яростной ссоры ей нужно только сунуть в руки зеркальце, и оно сразу погасит ее самый воинственный пыл.

И снова шорох слов. Теперь цифры:

«Два и семнадцать сотых... Четыре... шесть и тридцать две тысячных... одиннадцать... одиннадцать и одна десятая».

На этот раз профессор почти выхватил мой листок. Но читать сразу не стал, а медленно положил на стол. Чем-то он вдруг напомнил мне азартного картежника, томительно медленно сдвигающего карты, чтобы не спугнуть удачу.

Наконец он отодвинул оба листка.

— Я не считал, но по теории вероятности случайное угадывание в этих обоих случаях равно ничтожно малой величине, которой можно пренебречь. Стало быть...— Он побарабанил пальцами по столу и вздохнул: — Стало быть, приходится признать, что вы действительно мастер иллюзии.

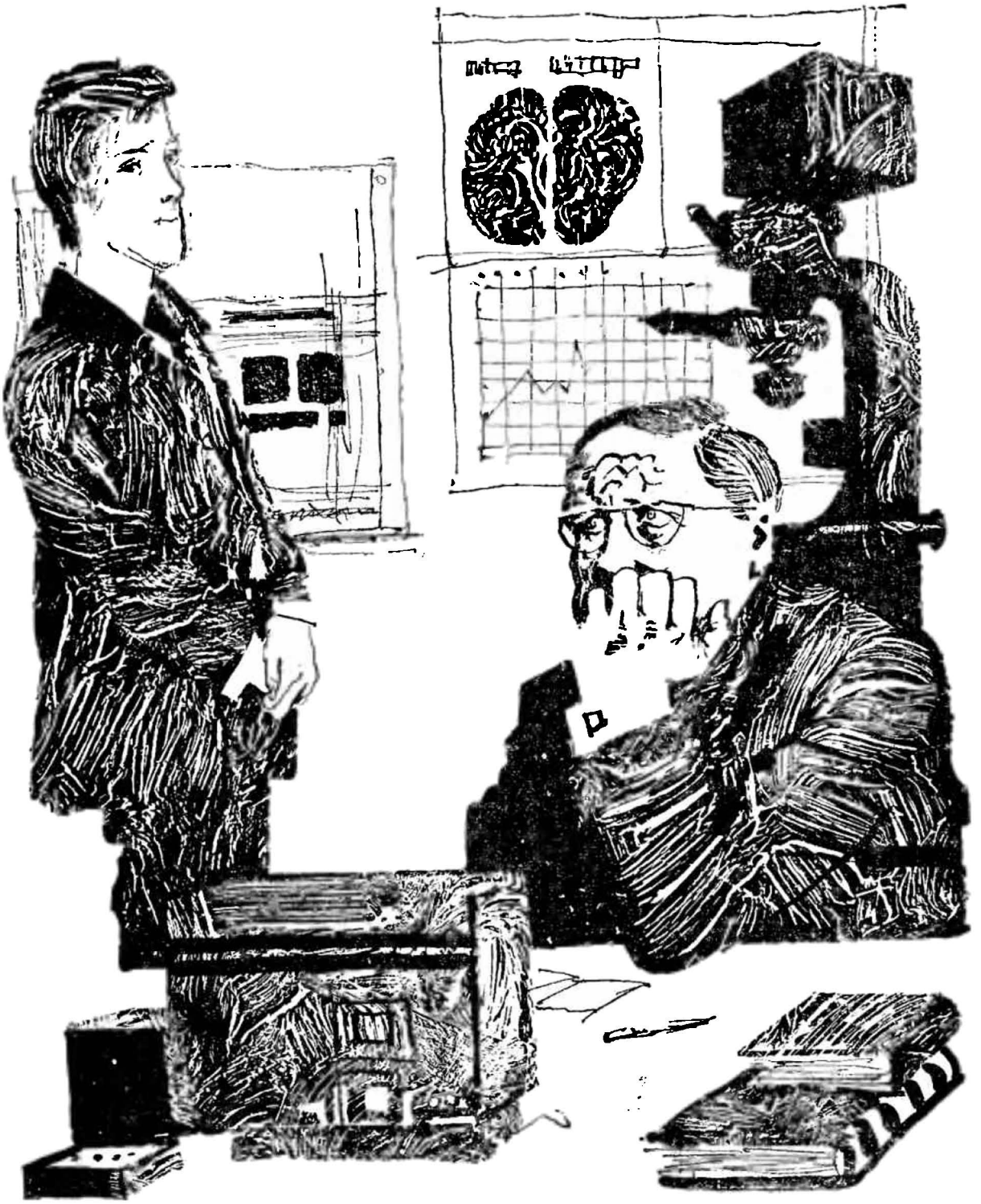
— О боже правый! — простонал я.— Какая может быть иллюзия? Я в одной комнате, вы в другой. Откуда я могу знать, какие слова, фразы или цифры вы произносите про себя?

— И все же. Знаете, я вдруг вспомнил опыт, наделавший в свое время много шума. Один врач посадил двух медиумов-телепатов в двух комнатах, расположенных в разных концах здания. Одному из телепатов врач сообщал какое-нибудь слово или фразу. Затем телепат клал руки врачу на плечи и долго смотрел в глаза, запечатлевая в них это слово. Врач шел в другую комнату, где второй телепат тоже клал ему руки на плечи, впивался взглядом в глаза и, наконец, произносил безошибочно слово, задуманное врачом. Доктор был потрясен. И знаете, что выяснилось?

— Нет.

— Когда врач называл слово первому телепату, тот незаметно писал его в кармане на липком листочке. Кладя руки на плечи врачу, он приклеивал сзади к пиджаку этот листочек, а второй телепат снимал его. Врач, в сущности, был курьером.

— Остроумно, но у нас же никто не ходит из комнаты в комнату. И я не пишу в кармане. Вы можете в этом прекрасно убедиться, посадив меня рядом с собой и диктуя мне мысленно.



— Гм... а что... давайте попробуем.

В одной комнате, почти рядом, мысли профессора звучали громко и чисто. Я без труда написал фразу, которую задумал Борис Константинович.

Он подпер голову рукой и прикрыл глаза. На лице его застыла мучительная гримаса. Профессор мужественно сражался за свои убеждения, но вынужден был отступать под напором превосходящих сил противника.

Мне стало жаль его. В сущности, непонятно, почему большинство людей так яростно обороняется против любой новой идеи. Это же праздник, поездка в незнакомую страну.

— Я не могу объяснить того, что вы делаете,— наконец сказал Борис Константинович.

— Но вы верите своим чувствам?

— Значительно меньше, чем данным науки. А телепатии, понимаете, не существует. Не су-щест-вует! Нет ни одного убедительного опыта, есть только слухи, болтовня, непроверенные россказни. Поэтому я выбираю науку. Я не верю своим глазам. Мои глаза могут ошибаться, а вся наука не ошибается. Конан Дойль был вполне рациональным писателем. Но он был искренне убежден, что не раз видел в своем саду танцы фей и эльфов.

— Я не фея и не эльф,— как можно мягче сказал я.— И я вовсе не утверждаю, что я телепат. Больше того, я с вами согласен, что никакой телепатии и прочих чудес не существует.

— Значит, вы признаетесь, что это ловкая иллюзия?

— Если бы,— вздохнул я.— Представляете, как я бы зарабатывал, выступая в цирке и на эстраде...

— Это идея. Вместо того, чтобы мучить меня здесь...

— Профессор, вы, надеюсь, понимаете, что такое чувство долга? Так вот, я мучаю вас исключительно из чувства долга.

— Перед кем же?

— Перед народом Янтарной планеты и перед всеми людьми. Я вижу торжествующую улыбку на ваших губах. Слава богу, думаете вы. Все стало на свое место. Больной человек. Кстати, если бы я даже был болен, листки на вашем столе не стали бы от этого менее реальными... Дорогой Борис Константинович, ответьте мне на один вопрос: если бы объективные показания ваших приборов установили, что мой спящий мозг принимает сигналы, посылаемые какой-то цивилизацией...

— Хватит! — крикнул профессор и вскочил с места.— Хватит! Вы что, издеваетесь надо мной?

— Нисколько, клянусь вам. Вы потеряли столько времени, потеряйте еще десять минут. И все время смотрите на листки бумаги на вашем столе. Борис Константинович, вы не простите себе, если прогоните меня сейчас. И до конца дней в душе вашей будет копошиться червячок сомнения.

Профессор молча закурил. На этот раз он забыл о кольцах и затягивался жадно и торопливо. Он закрыл глаза, покачал головой, снова открыл их и посмотрел на меня. Разочарованно вздохнул. Бедняга надеялся, наверно, что я вдруг растворюсь и исчезну и он сможет пробормотать с облегчением: что-то я заработался сегодня, всякая чертовщина мерещится.

— Знаете что,— вдруг сказал он,— давайте еще. Одно слово.— Глаза профессора засветились маниакальным блеском.

— С удовольствием. Только вы произнесли про себя не одно, а три слова, даже четыре: «Вышел месяц из тумана...» Это что, стихи?

— Считалка,— простонал специалист по сну и закрыл лицо руками.— Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана...— Профессор застенчиво улыбнулся и посмотрел на меня.

Я молчал. Он тоже.

Через пять минут он согласился на проведение эксперимента, взяв с меня страшную клятву, что ни одна живая душа на свете не должна знать о нашем договоре. Когда мы прощались, на него жалко было смотреть. Весь он как-то смягчился, словно накрахмаленный воротничок после стирки, а глаза были уже не глазами участкового уполномоченного, а человека, убегающего от него.

Глава 8

Я сидел в учительской после конца занятий и беседовал с преподавательницей литературы Ларисой Семеновной о смысле жизни. В дверь вдруг просунул голову Вася Жигалин. В элегантном рыжем кожаном пальто Вася был очень эффектен, и Лариса Семеновна сразу забыла о смысле жизни.

— Кто это? — театральным шепотом спросила она.

— У него семеро детей. Если вы отобьете его у жены, вам придется их всех обслуживать, потому что крошки обожают папочку и не расстанутся с ним. А жена его, кстати, весит около девяноста килограммов, и все хулиганы микрорайона прячутся под детские грибочки, когда она выходит из подъезда. Ну как, знакомить?

— Еще одно разочарование,— тяжко вздохнула Лариса Семеновна. Ей шестьдесят один год, но она обладает живым, молодым умом, обожает шутки и полна какой-то интеллектуальной элегантности.

— Вы по поводу своих детей, товарищ Жигалин? — сурово спросил я.

Вася бочком пролез мимо полуоткрытой двери учительской, низко поклонился нам и сказал:

— Спасибо, батюшка, за науку-то...

— Ты на машине? — спросил я.

— На ей, родимой.— Вася снова поклонился.

— Ларисе Семеновна, может быть, разрешите подвезти вас? Василий — мужик тверезый, мигом домчит.

— Спасибо, Юрочка, я пройдусь, две остановки всего.

— Тогда разрешите хоть представить вам моего друга Василия... Вась, как твое отчество?

— Ромуальдович. Старик Ромуальдыч кличут меня.

Лариса Семеновна пожала мужественную руку старика Ромуальдыча, тяжелоатлетическим рывком подняла чудовищный свой портфель и ушла.

— Что случилось, Вась? — спросил я.— Что-нибудь дома? В газете?

— Да нет, просто проезжал мимо, дай, думаю, зайду, посмотрю, как там Юрочка.

— Вась,— сказал я,— у тебя и без того блудливые глаза, а сейчас в них просто смотреть непристойно. Давай выкладывай, зачем пришел.

Мы шли по непривычно тихому школьному коридору, и Вася с лживым интересом рассматривал портреты великих писателей на стенах. Классики неодобрительно косились на него и молчали.

— Понимаешь, в определенных кругах и сферах считается, что единственный человек, который пользуется у тебя непререкаемым авторитетом,— это я. Ничего в этом удивительного, разумеется, нет. Как известно, я умен, рассудителен не по годам, крайне эрудирован и вообще...

— Вась, у меня сегодня было шесть часов, и уши изрядно устали от болтовни.

— Ладно, Юраня. Не буду. Понимаешь, Галя

таоя беспокоится за тебя. Ты переутомился, у тебя расстроена нервная система. Она предлагает, чтобы ты отдохнул хотя бы две недельки в «Заветах», а ты отказываешься. Она поговорила с моей Валькой, а та снарядила меня. Вот и все. Ты, старик, не обижайся. Если тебе этот разговор неприятен, я тут же замолчу. Но ты же знаешь, как я к тебе отношусь...

Вася — стихийный эгоист. И если он может говорить о ком-то, кроме себя, это значит, он любит этого человека. А на моей памяти за последние четыре или пять лет Вася уже второй раз говорит со мной не о себе, а обо мне.

— А в чем моя переутомленность, тебе сказали?

— Странные, навязчивые сновидения, нелепые идеи... Пойми, старик, это не моя точка зрения. У меня, как ты знаешь, своих точек зрения нет. Не держим-с. И тебе не советую. Накладное дело. Защищай их, следи за ними — хуже детей.

— Не трепись. Почему ты всегда стараешься играть роль циника?

— А ты не догадался?

— Нет.

— Чтобы скрыть за напускным цинизмом легко ранимую душу. Ранимую душу кого?

— Не знаю.

— Идеалиста и романтика. Я идеалист и романтик циничесного направления. Или циник романтического склада.

— Вася, ты знаешь, как ты умрешь? Ты погибнешь под обвалом собственных слов.

— Это была бы прекрасная смерть, смерть журналиста.

Мы вышли из школы. Шел мелкий, колючий снежок, сухой и похожий на манную крупу. На землю он не ложился и исчезал неведомо куда.

Мы сели в Васину машину. «Жигуль» был совсем новенький и девственно пах свежей краской. Не то что мой дребезжащий ветеран.

— У тебя есть часок или полтора? — спросил Вася.

— Есть.

— Знаешь что, давай поедем куда-нибудь за город и побродим хоть чуть-чуть по лесу? А?

— С удовольствием.

В машине было тепло. Вася молчал, и я думал о Янтарной планете, о Нине Сергеевне, о профессоре, о чтении мыслей. Неужели вся эта чертовщина происходит со мной? Да не может этого быть. Я вдруг увидел себя со стороны. Связной с незнакомой цивилизацией. Учитель английского языка Ю. М. Чернов берется связать человечество с народом Янтарной планеты.

И вся нелепость, смехотворность ситуации стала явной. Это же чушь! Бред! Почему я? Разве это может быть? Разве этому есть место в привычном моем мире? В моем мире есть Сергей Антошин с его мамашей, математик Семен Александрович с журналом, прижатым к груди, задолженность по профвзносам, дни зарплаты. Галина теплая и душистая шея, которую так приятно целовать, первозданная пыль холостяцкой квартиры Илюшки Плошкина... Какая планета, какая цивилизация, какие сны? О чем вы говорите? Не на машине меня за город возить нужно, а лечить от парафренного синдрома с элементами сверхценных идей и онейроидного синдрома.

Я видел себя мысленным взором в центре огромной толпы, и все показывали на меня пальцами, поднимали детей и смеялись: «Он установил связь с чужой цивилизацией! Смотрите на этого учителишку!»

Стоп, сказал я себе. А как же чужие мысли? Или это тоже химера? И железный Борис Константинович, давший трещину?

Я сосредоточился и вместо метания и кружения своих мыслей услышал неторопливый, покойный шорох слов, копошившихся в Васиной голове:

«Хорошо тянет... хотя, похоже, клапанок постукивает... Не забыть во время профилактики. А может быть, не связываться с этим очерком? Мороки много... Хорошо, к Юрке заехал... Жаль, так редко видимся... Друг...»

Спасибо, Вася. Если человек называет человека другом даже в тайнике своих мыслей, значит, он действительно считает его другом. Хорошие у меня друзья. И вообще меня окружают удивительные люди. И даже профессор оказался вовсе не таким жестяным, каким представлялся сначала.

Я глубоко вздохнул. Вася скосил на меня один глаз.

— Чего вздыхаешь?

— Так... Что у тебя нового в газете?

— Главный вдруг почему-то проникся ко мне. Отличает и голубит.

— Поздравляю.

— Ты что, смеешься, старичок? Это же несчастье.

— Почему?

— Ах ты, святая простота, классный руководитель. Я кто? Спецкор. Надо мной кто? Кому не лень! Его привечает главный? Значит, надо сделать так, чтоб не привечал. Зачем лишний конкурент? Осторожненько, конечно, не торопясь. Классик-то умнее тебя был, товарищ презент перфект.

— Какой классик?

— А этот... тот, кто сказал: минуй нас пуще всех печалей и барский гнев и барская любовь. Товарищ Грибоедов, если не ошибаюсь.

Нет, Галя все-таки права, подумал я. Я не борец по натуре. Доверчив, неэнергичен, всегда готов идти на компромисс с действительностью и самим собой.

Наверное, Вася преувеличивает. А может быть, и нет. Он весь в каких-то сложнейших интригах, суть которых я никогда не мог понять. Он делает вид, что страдает от них, но на самом деле он купается в них, плавает, как рыба. Я бы не мог. Я ничего не понимаю в людях. Я по-детски доверчив. Я не умею разговаривать с начальством.

Жизнь казалась мне огромной, сложной, полной запутанных лабиринтов, ловушек, капканов.

— Может быть, остановимся здесь?

— Давай.

Лесок начинался метрах в ста от шоссе. Ели казались вырезанными из темно-зеленого, почти черного бархата и приклеенными к серому низкому небу. Мы шли по нагой, не прикрытой еще снегом, смерзшейся земле. Опавшие листья шуршали сухо и печально. И все-таки это правда. Она реальна, эта тончайшая нить, протянувшаяся из невообразимой дали ко мне. Я здесь ни при чем. Я не претендую ни на какие лавры, чины, звания, награды. По каким-то неведомым причинам нить пришла ко мне...

Я вдруг вспомнил рассказ психиатра о человеке, в руках которого сходились нити от всей Вселенной. Бедный. Если я чувствую на плечах груз, нести который мне помогают У и его братья, что же должен был чувствовать этот несчастный человек в клинике? Ведь нити от Вселенной в его руках — для него абсолютная реальность. Они реальны, как реален для меня У, как реален этот чахлый пришоссейный лесок, припудренный холодной позднеосенней пылью.

И снова я почувствовал себя на ничейной земле между явью и фантазией, в зыбком, неясном тумане.

— Вась,— сказал я,— произнеси про себя какую-нибудь фразу. Чтобы я не мог догадаться, какую.

Вася остановился и посмотрел на меня. Рыжее кожаное пальто казалось удивительно красивым и богатым на фоне голых березок и мохнатых елей. Да и сам он был хорош — широкоплечий, уверенный в себе. Сильный.

— Почему все люди так банальны? — спросил я.— «Приближалась довольно скучная пора, стоял ноябрь уж у двора». Почти все вспоминают стихи.

Вася бросил на меня быстрый взгляд.

— Давай еще раз.

Вася наморщил лоб. «Что бы придумать... как это он делает? — слышал я.— Ага. Очерк писать не буду. С ним слишком много мороки».

— И не надо,— сказал я.— Не пиши этот очерк, если с ним столько мороки.

— Юрка,— вдруг крикнул Вася,— значит, это правда?

— Что? — испуганно спросил я.

— То, что ты телепат? Читаешь мысли? Валька мне говорила что-то, но я пропустил мимо ушей — бабья болтовня. Юрочка, дитя, ты хоть понимаешь, что это такое?

— Не очень.

— Идиот! Маленький бедный идиот! Да ты... да ты на секундочку представь, что это такое! Это же колоссально! Можешь еще раз?

Я еще трижды называл Васе произнесенные им про себя фразы, и он пришел в совершеннейший экстаз. Он носился по лесочку, как угорелый, и все причитал, что я идиот и ничего не понимаю. Может быть, я и действительно идиот, раз так много людей с таким пылом убеждают меня в этом?

Вдруг Вася разом успокоился и задумчиво посмотрел на меня.

— Юрка, а многим ты уже показывал эти фокусы? — спросил он.

— Ну, нескольким людям.

— А они не будут трепать языками?

— Не знаю...

— Я подумал, что это не такая простая штука, как может показаться с первого взгляда. Обладая таким даром, ты перестанешь быть тем блаженненьким Юрием Михайловичем, которым был раньше...

— Почему?

— Да потому, что ты всесилен! Ты знаешь, что люди готовы отдать, чтобы узнать мысли ближнего своего? Ты, наконец, становишься просто опасным элементом, которого необходимо все время держать под контролем. Ты можешь быть кем угодно, начиная от вокзального вора...

— Вокзального вора?

— Конечно. Стой у багажных автоматов и слушай, как люди повторяют про себя комбинацию цифр, когда засовывают в камеру чемоданы. А потом выбирай, что понравилось.

— Спасибо, Вася, ты открываешь мне глаза.

— Тобою может заинтересоваться милиция, органы госбезопасности.

— Понимаешь, это не моя собственность, и я не могу ею распоряжаться.

— Что не твоя собственность?

— Эта способность читать чужие мысли.

— А чья же, моя?

— Нет. Это доказательство, посланное мне, чтобы я мог убедить людей в том, в чем убедить невозможно.

Вася остановился, положил мне руку на плечо и пристально посмотрел в глаза.

— Что с тобой, Юрка? Неужели Галка твоя все-таки права? Да ты не волнуйся, ты не представляешь, как они сейчас лечат людей. Валька поможет, все сделаем. Попринимаешь какой-нибудь дряни, отдохнешь...

Я засмеялся. Как, в сущности, люди похожи друг на друга, какая одинаковая реакция!

Вася смотрел на меня с таким страхом, с таким состраданием в глазах, что волна благодарности прямо нахлынула на меня.

— Не смотри на меня так, друг Вася. И не оплакивай. Ты журналист и должен ценить необычные истории. Послушай самую необычную историю из всех, что ты когда-нибудь слышал. Или услышишь. Я уже раз пытался рассказать тебе, но ты был пьян и слишком занят собой.

Я рассказал о сновидениях о Янтарной планете.

Я не знаю, поверил Вася мне или нет, потому что он стал непривычно тихим и почти печальным.

Когда мы вышли из леса и подошли к машине, он вдруг протянул мне ключи.

— Ты можешь вести машину?

— А почему же нет?

— Садись тогда за руль. Я не могу. Я должен переварить хоть как-то твой рассказ.

Я понимал его. Если, несмотря на отблеск Янтарной планеты, несмотря на заряды бодрости, посылаемые У, и мне минутами сердце сжимает печаль, что же должны чувствовать другие? Печаль, невыразимую печаль, ибо Вселенная прекрасна и бесконечна, а мы малы и смертны, и гул вечности заставляет сжиматься сердце, как сжимается сердце при виде совершенной красоты. Чехов знал это.

Глава 9

Когда я пришел домой, Галя уже ждала меня.

— Где ты был так поздно? — спросила она.

Фальшь в ее голосе резала слух. Она же прекрасно знала, что Вася заехал за мной. Она об этом просила.

— Вася ко мне заезжал.

Галя неважная актриса. Ей, наверное, казалось, что она играет роль молодой женщины, разговаривающей, как обычно, со своим мужем, играет эту роль хорошо, в стиле лучших традиций Художественного театра. А я видел, как она напряжена, как неестественны и вымучены ее движения, голос, слова.

Симпатия, не говоря уж о любви,— хрупкая штука. Это волшебный зеленый луг, который на мгновение изредка вспыхивает при закате. Чуть изменилось что-то — и вместо сказочной зелени — обычный закат.

Я смотрел на жену и тщетно пытался дождаться хотя бы маленького зеленого лучика, который так часто вспыхивал раньше. Зеленого лучика не было. Была двадцатичетырехлетняя среднего роста женщина с довольно обычными чертами лица, с более крупными, чем следовало бы, руками. Сколько раз она заявляла, что садится на диету белковую, яблочную, капустную, молочную, кишмишную, мясную, очковую и бог знает какую еще. А килограммчиков пять лишних у нее так и остались, подумал я, глядя, как обтянули ее домашние брюки.

Мне вдруг стало стыдно. Я смотрю на свою жену и выискиваю в ней недостатки, выискиваю придирчиво, некрасиво. Что я делаю? Это же Галя, Люша, то самое существо, которое совсем недавно наполняло мое сердце томительной сладостью, стоило мне только посмотреть на нее.

Мы познакомились в метро. Я даже помню, где это было. На кольцевой между Белорусской и Новослободской. Я смотрел на ноги людей, сидевших

напротив. Я люблю смотреть на ноги. Усталые, нетерпеливые, кокетливые, самоуверенные... Какие красивые ножки, подумал я. Именно этими довольно пошлыми, но точными словами. И начал скользить взглядом от черных туфелек на толстой подошве вверх к круглым коленкам, к серой юбке и серой кофточке, к прекрасному овалу лица под серой же маленькой шапочкой. Глаз я не увидел, потому что глаза были опущены на толстенную книжку, которую она держала в руках. Если бы она была менее красива, я бы попытался догадаться, что за книгу она читает. Но книга меня не занимала. Меня занимали ее глаза. У этой девушки, подумал я, должны быть и глаза красивые.

И она подняла глаза. Они были красивыми. И она вся была как раз такая, какой должна была быть. И я улыбнулся. Просто так. А она сморщила нос и снова уткнулась в книгу.

Перед Курской она встала. Я встал за ней. Я видел ее в стекле дверей, на которых написано, что они открываются автоматически. Она посмотрела на мое отражение и снова смешно вздернула носик, и я улыбнулся. Мимо нас проносились яркие лампы на стенах тоннеля, змеились кабели, а я все ждал, пока снова увижу, как она морщит нос.

Мы вышли вместе. Я шел за ней на расстоянии шага, но она не оборачивалась. Я так не мог бы. Я не мог бы идти, не оборачиваясь, зная, что за мной идет человек, который смотрит на меня восхищенными глазами. А она могла. В этом и состояла разница между нами.

Я трусоват по натуре, хотя всячески маскирую это. Преимущественно отчаянно храбрыми поступками. Я так боялся, что потеряю в следующее мгновение эту девушку, что сказал ей:

— Это бессмысленно.

Она обернулась, а я ускорил шаг и оказался уже рядом с ней.

— Что бессмысленно?

— Бессмысленно вам пытаться уйти от меня.

— Почему?

— Потому что вы такая, какой должны быть.

Впоследствии Галя меня уверяла, что это была гениальная фраза, что ни одна женщина на свете не смогла бы противиться соблазну узнать, что это значит. Через полгода мы поженились.

И вот теперь я ловлю на себе ее настороженный взгляд и всем своим существом чувствую, знаю, что она не такая, какой должна быть. Она не выдержала испытания Янтарной планетой и чтением мыслей.

Может быть, не протянись ко мне паутинка от У, она не смотрела бы на меня так, как смотрит сейчас. Не знаю. Я знаю, что мне снова грустно, потому что я слышу Галины слова, которые она не произносит. Возможно, профессор был прав, когда говорил, что за непроизнесенные слова не извиняются. Но я слышал Галины слова, и они были мне неприятны.

— И со всеми этими штуковинами я должен буду спать? — спросил я Нину Сергеевну, кивая на датчики электроэнцефалографа.

— Обязательно. Мало того, раз вы уж сами так настаивали, Борис Константинович и я решили провести максимально точные исследования. Поэтому мы будем не только снимать энцефалограмму, но и замерять БДГ.

— Это еще что такое?

Я никак не мог найти для себя верный тон в разговорах с Ниной Сергеевной. То мне казалось, что голос мой сух, как листок из старого гербария, то я ловил себя на эдакой разухабистой развязности. А мне хотелось быть с ней умным, тактичным, тонким, находчивым...

— Это наши сокращения. Быстрые движения глаз, по-английски Rapid eye movement, или REM сокращенно.

— Это во сне? Быстрые движения глаз во сне? Я же сплю с закрытыми глазами.

— Конечно. Просто исследователи заметили, что в определенных фазах сна глаза быстро двигаются под закрытыми веками. Впоследствии, как я, по-моему, вам уже говорила, эту фазу назвали быстрым сном. Именно во время быстрого сна человек видит сны.

— Значит, вы будете регистрировать мой быстрый сон?

— Совершенно верно. Самописцы энцефалографа отметят появление волн, характерных для этой фазы, а система регистрации БДГ сработает, со своей стороны.

— А как же вы следите за движениями глаза, да еще у спящего, под закрытыми веками?

— Мы приклеим вам на веки кусочки зеркальной фольги, и, когда вы заснете, эта фольга будет отражать свет. Быстрые дрожания этого зайчика и будут соответствовать вашим БДГ. Видите, я вам целую лекцию прочла.

— Спасибо, Нина Сергеевна. Но как же вы? Я буду дрыхнуть, обклеенный датчиками, как космонавт, а вы...

— А я буду работать. Когда я пришла в лабораторию сна, муж все шутил, что я превращусь в сову. Оказалось, все наоборот. Большинство опытов со спящими...

Я не слушал, что она говорила. Муж...

— А как теперь, привык он? — спросил я и ужаснулся фальшивости своего голоса.

Она щелкнула одним выключателем, потом вторым, третьим. Потом просто сказала:

— Мы разошлись. Два года тому назад.

Мне захотелось крикнуть: «Умница! Браво! Мо-ло-дец! Правильно! Так ему и надо!» Вместо этого я неуклюже пробормотал:

— Простите...

— Не за что. Дела давно минувших дней... Ну, Юрий Михайлович, пора укладываться, уже полдвенадцатого.

— Еще немножко,— жалобно попросил я, и Нина Сергеевна улыбнулась.

Должно быть, я напомнил ей большого глупого ребенка, который никак не хочет укладываться. Прекресный способ понравиться женщине — играть роль умственно отсталого ребенка. Ухаживать, засунув большой палец в рот. Я посмотрел на нее. Она наклонилась над самописцем, заправляя в него рулон бумаги. Лицо ее было красивым, сосредоточенным и необыкновенно далеким. От кого далеким, от меня? А какое, собственно говоря, я имел право на близость? И все равно на душе у меня было весело и озорно. Все еще впереди. Все еще будет. И в этом будущем обязательно будет женщина, которая захлопнула крышку самописца и сказала мне со слабой улыбкой:

— Пора, пора. Вы же сами говорили, что обычно ложитесь в это время.

— Хорошо,— нарочито театрально вздохнул я.— А фольгу мне наклеите вы?

— Я.

— Тогда я закрываю глаза.

Я лег на неудобное и неуютное лабораторное ложе. Так, наверное, подумал я, ложатся на стол лабораторные собаки, мыши, кролики — великая армия безвестных служителей науки.

Сердце мое билось. Нет, я не боялся. Я даже не нервничал. Я был полон радостного ожидания, ощущения канупа праздника, во время которого я снова стану У, увижу янтарно-золотой отблеск моей далекой планеты. И самописцы обязательно зарегистрируют что-нибудь необычное. Такое, что заставит нас снова встретиться с Ниной Сергеевной. И ее улыбка окрепнет, станет живой и теплой, как ее пальцы, что прикоснулись к моим векам. Удивительные пальцы. Боже, как, в сущности, мало нужно человеку для счастья! И как много. Лежать на нелепом казенном топчане, опутанным проводами, в погоне за далекой химерой, но ощущать при этом прикосновение ее пальцев к векам — как это было прекрасно! Спасибо, У.

На веко мне упала холодная капелька. Нет, это, конечно, не слеза брошенной мужем-негодяем Нины Сергеевны. Это, наверное, капелька клея. Клей начал расплываться, склеивать глаза. Руки Нины Сергеевны приносили сон. Я не сопротивлялся ему. Сон нес с собой детские ожидания, новогоднее нетерпение, обещание праздника.

Я вплывал в сон спокойно, как в теплую маленькую лагуну, и рядом со мной плыла Нина Сергеевна. Веки у нее были серебряными, и я понял, что это фольга, чтобы отражать мои взгляды. Я посмотрел на нее, но она начала исчезать, потому что меня звал У.

Это было удивительное сновидение. Я шел вместе со своими братьями по янтарной земле к низкому длинному зданию, которое я уже видел. Здание, в котором хранился запасной мозг жителей планеты.

Мы вошли в зал. Бесчисленные ниши на стенах, и над каждой — маленький красный огонек, рубиновая тлеющая точка.

Я знаю, для чего мы пришли. Мы прощаемся с Ао, который погиб при взрыве. И мы приветствуем Ао, который снова рождается сегодня. Я полон поющей радости. Я — одно целое с моими братьями. И прибой их мыслей и чувств делает меня всемогущим и вечным. Я — струйка в потоке, я — частица атомного ядра, связанная невидимыми, но могущественными узами с другими частицами. Каждую секунду, каждое мгновение я ощущаю себя единым целым с моими братьями.

Но вот я улавливаю скорбь. Я улавливаю ее и излучаю ее. Потому что все мы думаем сейчас об Ао. Мы все знаем, как он погиб. Смерть его была почти мгновенной. Он не успел подумать о ней. Он ничего не испытал. Взрыв установки, с которой он работал, разметал все вокруг. Он не успел попрощаться с нами. Он не успел осознать, что уходит от нас. И мы поняли, что его нет, потому что ниточка его связи с нами всеми вдруг исчезла из того Узора, что и есть наше братство, наш мир. И Узор обеднел, и мы сразу осознали это, потому что даже без одной нити Узор не может быть полным. И вот мы пришли сюда, в место, которое называют Хранилищем, чтобы снова дать жизнь Ао, ибо Узор не может жить даже без одной-единственной нити.

И в нас звучала мелодия Завершения Узора, особая мелодия, которую мы создаем и слышим каждый раз, когда Завершаем Узор. Это самая торжественная и самая прекрасная из всех наших мелодий, потому что Завершение Узора — самое торжественное из всех наших дел и событий.

Прилетают и уходят в бархатную тьму пространства наши корабли, протягиваются паутинки братства в далекие миры, но Завершение Узора — самый любимый наш праздник. И никогда ни одна мелодия не звучит в наших душах с такой грозной и яростной нежностью, как мелодия Завершения Узора. Гроза и ярость — это наше непрекращающееся сражение с временем, с этим чудовищем, которое пожирает все, от звезд до любви. А нежность — наше чувство, когда мы побеждаем его, это прожорливое время.

Из боковой двери вынесли новое тело. Двое избранных положили его в центре зала и направились к нише, над которой — единственной в зале — не тлел рубиновый огонек. Этот огонек перестает тлеть, как только рвется нить, связывающая мозг каждого из нас с мозгом в Хранилище.

Избранные вынули тускло мерцавший мозг из ниши и вложили туда другой. Тот, что они вынули, они поднесли к лежавшему в центре зала телу и вложили в его голову. И сразу же над нишей Ао начал тлеть рубиновый огонек.

Мелодия Завершения Узора все поднималась и поднималась к вершинам бесконечно печальной и бесконечно радостной гармонии. Она печальна и радостна одновременно, ибо высшая гармония объединяет в себе все. Мелодия поднималась, пока наконец не взорвалась торжествующим фейерверком. Узор был завершен.

Тело в центре зала шевельнулось раз, другой, и новый Ао встал. Его нить вплелась в наш Узор. Мы одержали еще одну победу над всепоглощающим временем, вырвали из его лап нашего брата.

Когда я открыл глаза в лаборатории сна, я услышал слабое шуршание самописца. В комнату неохотно вползло серенькое утро.

Я почувствовал себя таким счастливым, таким бодрым, что мне стало стыдно. Если бы я только мог сделать так, чтобы и другие услышали мелодию Завершения Узора... Если бы ее могла услышать Нина Сергеевна... «Где она?» — подумал я.

Я осторожно сел. Что-то мешало глазам. Ах, да, это же фольга, которую мне приклеивала Нина Сергеевна на веки. Наверное, ее можно снять. Я содрал с век серебряные пластиночки, похожие на рыбью чешую. Снял с себя электроды, потянулся и вдруг увидел Нину Сергеевну. Она спала, сидя в кресле.

Я стоял, и смотрел на нее, и слушал, как шуршит самописец и как поскрипывает его перо. Внезапно она открыла глаза и посмотрела на меня. Она не вскочила на ноги, не стала извиняться, что заснула, что плохо выглядит после бессонной ночи, не стала ничего спрашивать. Она смотрела на меня и вдруг улыбнулась все той же слабой, неопределенной улыбкой, какой я не видел ни у кого, кроме нее.

— Как сладко я прикорнула,— вздохнула она.— Сколько времени?

— Половина восьмого уже.

— О боже, я продрыхла в кресле часа два. Как только прекратила регистрировать БДГ, решила отдохнуть немного. Ну, а как вы, Юрий Михайлович?

— О, Нина! — сказал я с таким чувством, что она вздрогнула и выпрямилась в кресле.— Если бы вы только знали, как это было прекрасно!

— Что?

— Нет... потом. Я не смогу вам рассказать. Где я возьму слова, чтобы описать вам мелодию Завершения Узора? И не существует таких слов...

Нина Сергеевна посмотрела на меня, и в сереньком ноябрьском утре глаза ее были огромны, темны и печальны.

— Вам грустно? — спросил я.

— Да, — кивнула она.

— Почему?

— Не знаю...— Она энергично встряхнула головой, и волосы ее негодующе метнулись.

— Нина... Сергеевна, у меня к вам просьба.

— Слушаю, Юрий Михайлович.

— Могу я вас называть просто Нина?

Нина Сергеевна подумала и серьезно кивнула мне.

— Да, конечно.

— Спасибо, Нина! — вскричал я, и она засмеялась.

Я тоже засмеялся. Стоит человек в лаборатории сна в пестренькой, глупой пижаме, стоит перед женщиной в белом халате и кричит ей «спасибо».

Нина встала, томно, по-кошачьи, потянулась и сказала:

— Ну-ка, посмотрим, что там наскребли самописцы. А вы одевайтесь пока. Борис Константинович взял с меня слово, что к восьми тридцати духа вашего здесь не будет.

Я пошел в маленькую комнатку, где мучил профессора, и начал одеваться. Какое это счастье — сидеть в маленькой пустой комнатке, натягивать на себя брюки и думать о детски незащищенном лице Нины, когда она спала в кресле. И слышать мелодию Завершения Узора. Спасибо, Нина, спасибо, У, спасибо, Борис Константинович, спасибо всем моим друзьям и знакомым за то, что они создали мир, который так добр ко мне.

— Юрий Михайлович! — крикнула Нина из соседней комнаты, и я вскочил, запутавшись в брючине.

— Что?

— Идите быстрее сюда, взгляните.

Босой, застегивая на бегу пуговицы, я влетел в лабораторию. Нина держала в руках длинный рулон миллиметровки с волнистыми линиями. Я встал рядом с ней и уставился на бумагу.

— Вот, смотрите.

Я смотрел на волны и зубчики. Волны и зубчики.

— Вы видите?

Нина бросила на меня быстрый взгляд и засмеялась. По крайней мере она должна быть благодарна, что я так веселю ее. Босой имбецил, смотрящий на миллиметровку с видом барана, изучающего новые ворота. Очень смешно.

— Сейчас я вам все объясню. Видите, вот эти зубчики мы называем альфа-ритмом. Здесь вот, в самом начале. Он соответствует состоянию расслабленности, пассивного бодрствования. Понимаете, Юра?

Юра! Она назвала меня Юрой! Да здравствует альфа-ритм, да здравствует пассивное бодрствование! Отныне я всегда буду пассивно бодрствовать, лишь бы она называла меня Юрой!

— Понимаю,— с жаром сказал я.

— Ну, и прекрасно. Идем дальше. Амплитуда ритма снижается, периодически он исчезает.

Зубчики действительно снижались. А может быть, и нет. Я не очень смотрел на них. Я смотрел на Нинин палец, тонкий и длинный палец. Совсем детский палец. А может, это мне просто хочется видеть ее беззащитной и хрупкой и соответственно воспринимать себя самого бесстрашным рыцарем, закованным в эдакие пудовые латы — мечту ребят, собирающих металлолом.

— Юра, вы смотрите?

— Да, да, Нина, клянусь вам! Никогда ни на что я не смотрел с таким интересом!

— Юра, а вы... всегда такой... как бы выразиться?..

— Дементный? — спросил кротко я.— Не стесняйтесь, у меня есть близкий друг, которого я очень люблю. Он еще много лет назад нашел у меня все симптомы и признаки слабоумия.

— Не болтайте, я вовсе не то хотела сказать...

— А что же?

— Не знаю... или, может быть... ага, нашла слово: небудничный? Небудничный. Конечно.

— Только по праздникам. Но сегодня у меня двойной, а может быть, и тройной праздник. Я был на Янтарной планете, я с вами, и мы сейчас увидим что-нибудь интересное. Какие же это будни?

— Спасибо.

— За что?

— За все. А теперь смотрите на бумагу.— Голос Нины стал нарочито суровым.— Мы с вами остановились на стадии «А». Это самое начало сна. Она у вас очень короткая, но не настолько, чтобы это что-то значило. Двигаемся дальше. Наступает дремота, альфа-ритм все уплощается, появляются нерегулярные совсем медленные волны в тета и дельта диапазонах. Видите?

— Вижу.

— Это вторая стадия «В» переходит в сон средней глубины. Стадия «С».

— Это уже сон?

— Конечно. Видите вот эти почти прямые участочки?

— Вижу.

— Это так называемые сонные веретена.

— Это я так сплю?

— Спите, спите, Юра. И не мешайте, когда вам объясняют, как вы спите. Тем более что мы уже в четвертой стадии. В стадии «Д». Стадия «Д» — это глубокий сон.

— Сновидения здесь?

— Нет, практически в стадии глубокого сна сновидений нет. А если и бывают, то они вялы, неярки. Смотрите на волны. Видите, какая высокая амплитуда? Это регулярные дельта-волны и те же сонные веретенца.

— Боже, кто бы мог подумать, что сон — такое сложное дело!

— Все на свете сложно, только дуракам все кажется ясно. Дуракам и еще, может быть, гениям...— Нина вздохнула и тряхнула головой, словно прогоняла от себя образы дураков и гениев.— И вот, наконец, стадия «Е». Совсем редкая дельта-активность.

— Смотрите, снова зубчики,— сказал я, как идиот.

— Это и есть быстрый сон. Быстрые и частые волны. Очень похожи на ритм бодрствования. Сейчас посмотрим время. Ага, примерно двенадцать сорок. Итак, в двенадцать сорок вы начали видеть сны. Проверим по БДГ.— Она взяла другой рулончик, поменьше.— Вот всплеск. Время, время... Двенадцать сорок. Совпадение полное.

— А что же здесь необычного? — спросил я.

— Сейчас увидите. Вот ваш быстрый сон кончается. Занял он всего пять минут.

— Это много или мало?

— В начале ночного сна это обычно. Быстрый сон ведь бывает три, четыре, пять раз за ночь. К утру продолжительность периодов быстрого сна может доходить до получаса.

— И за такие коротенькие сеансы люди успевают увидеть столько интересного?

— Вообще-то в большинстве случаев протяженность события во сне более или менее соответствует протяженности такого же события в реальной жизни. Но бывают и исключения. Во всех учебниках описывается один шотландский математик, который во сне часто переживал за тридцать секунд музыкальный отрывок, который обычно длится полчаса. Но дело сейчас не в этом.— Нина снова подняла длинную змею миллиметровки.— Вот коротенький промежуток, и снова период быстрого сна. Это уже не совсем обычно.

— Что не совсем обычно?

— Очень маленький интервал. И главное — второй ваш быстрый сон тоже длился ровно пять минут.

— А должен сколько?

— Что значит «должен»? Обычно продолжительность периодов быстрого сна увеличивается к утру. А у вас — нет. Мало того, Юра. Смотрите. Вот, вот, вот... Вы видите?

— Что? То, что их длина одинакова?

— Вот именно. У вас было десять периодов быстрого сна, и все совершенно одинаковые — по пять минут. Я такой ЭЭГ не видела ни разу. Странная картина...

Что это, думал я, сигналы или не сигналы? Наверное, сигналы. А может быть, так уж я просто сплю?

— Нина, скажите, а может, эта картина имеет естественное происхождение? Я имею в виду десять своих снов?

Нина наморщила лоб.

— Не знаю, надо подумать, показать Борису Константиновичу. Но эти десять периодов... И даже не то, что обычно число этих периодов редко бывает больше шести за ночь... Меня поражает их одинаковость. Ничего похожего никогда не видела...

Нина смотрела на змейку, вычерченную самописцем. Змейка то благодушно расправлялась, то собиралась в мелкие злые складочки.

— Что-нибудь еще, Нина? — спросил я и осторожно дотронулся до ее локтя. Локоть был теплым и упругим. Стать позади нее. Поддеть ладонями оба ее локтя. Привлечь к себе. Я вздохнул.

— Я сразу и не обратила внимания.

— На что?

— На интервалы между быстрыми снами. Девять интервалов, и все время они растут.

— Интервалы?

— Угу.

— А что это значит?

— Не знаю, Юра. Могу вам только сказать, что ЭЭГ совершенно не похожа на нормальную картину сна.— Нина посмотрела на часы.— Юра, вам пора.

— А вы останетесь?

— Мне еще нужно кое-что привести в порядок. До свидания.

Это было нечестно. Она не могла так просто сказать «до свидания» и выставить меня. После всего, что случилось... «А что, собственно, случилось?» — спросил я себя. То, что я спал в одной комнате с Ниной, не давало мне ровным счетом никаких прав на особые отношения. Что еще? Коснулся рукой локтя? И все.

— Нина,— сказал я тоном хнычущего дебила,— неужели же нам не придется повторить эксперимент? А вдруг все это вовсе не так?

Нина улыбнулась своей далекой слабой улыбкой. Лицо у нее после бессонной ночи было усталое и слегка побледневшее. А может быть, мне оно лишь казалось таким в свете серого ноябрьского утра. Но оно было прекрасно, ее лицо. Если бы и у меня был свой Узор, как на Янтарной планете, я бы понял, наверное, что мне не завершить его без нее.

Спасибо, У, спасибо, странный далекий брат. Спасибо за радость общения и за радость, которую я испытываю, глядя на это побледневшее и осунувшееся женское лицо с большими серыми глазами. Спасибо за янтарный торжествующий отблеск, который подкрашивает скучное и бесцветное, из бледной размытой туши, начало дня. Спасибо за десять маленьких быстрых снов, в которых ты познакомил меня с Завершением Узора. И что бы ни случилось со мной впредь, я уже побывал в Пространстве, и никто никогда не отнимет у меня вашего привета.

— До свидания, Нина.

Она ничего не ответила. Она стояла и держала в руках бесконечную ленту миллиметровки, и лоб ее был нахмурен.

Глава 10

Мы сидели с Галей в кино. На вечернем сеансе, на который я купил билеты, когда возвращался из школы. Старая французская комедия с покойным Фернанделем в главной роли. Трогательные в своей наивности и простоте трюки.

Где-то я читал, что волк, желая избежать схватки с более сильным соперником, подставляет под его клыки в знак смирения шею, и тот не трогает его. Так и фильм. Вот моя шея, я сдаюсь.

Галя просунула свою руку под мою, и ее ладошка легла на мою ладонь. Теплая волна нежности нахлынула на меня. А может быть, не столько нежности, сколько вины и угрызений совести.

Но кто знает, что вернее цементирует отношения двух людей...

— Люш,— тихонечко прошептал я.

Она не ответила. Она лишь быстро прижала свою ладошку к моей.

Жест успокаивающий, ободряющий. Ничего, Юра, все будет в порядке. Я тебя все-таки уговорю, ты поедешь к тете Нюре в «Заветы», в ее уютный домик, будешь пить каждый день парное молоко и забудешь про свои фантазии.

Если бы она только не была так уверена в своей правоте, подумал я и резко вырвал свою ладонь из-под ладони Гали.

Два дня я не слышал чужих мыслей и совсем было забыл о них.

А сейчас, сидя рядом с женой в темном зале кинотеатра, я незаметно для себя включился в неторопливый поток ее мыслей.

Она думала о тете Нюре, и моя виноватая нежность снова уперлась в плотину ее здравого смысла.

Слишком здравого.

Если бы она только могла понять, если бы только треснул ее стальной панцирь непогрешимости... А что тогда?

Да и хочу ли я, чтобы этот панцирь лопнул? Если быть честным с собой?

И снова чувство вины начало понемножку подтягивать из моего сердца резервы нежности. И снова ее рука ободряюще похлопала мою. И снова я услышал медленные и уверенные ее мысли:

«Ему, видно, совсем плохо... бедный... А все из-за упрямства. Мне захотелось крикнуть ей во весь голос: мне хорошо, не жалей меня! Это я должен жалеть тебя!

Когда мы возвращались домой, Галя была весела и оживленна. Если уж она решает что-нибудь, то никогда не останавливается на полпути. Она — как снаряд, летящий к цели: может попасть или промахнуться, но остановиться или повернуть назад — никогда.

А она твердо решила не подавать виду, не раздражать больного мужа. При душевных расстройствах и психических заболеваниях главное — чуткость родных и близких.

— А что, если сделать на ужин картофельные оладьи? — спросила Галя.— Натрем сейчас десяток картофелин...

Картофельные оладьи — мое любимое блюдо. Но, поскольку оно, как известно, довольно трудоемко, изготовляет его Галя не так-то часто.

Я чистил картошку, а Галя натирала ее на терке. Потом мы поменялись ролями. Горка сероватой кашицы все росла и росла в тарелке, темнела, а я думал, что не все на свете, к сожалению, можно исправить при помощи картофельных оладий.

— Юрочка,— сказала мне на большой перемене Лариса Семеновна,— что стало с вашим Антошиным?

— А что такое?

— Метаморфоза. Получил у меня четверку.

— О, Лариса Семеновна, боюсь сглазить. Сергея как подменили.

— Но все-таки, как это вам удалось?

— Мне?

— Вы же классный руководитель. И отвечаете за все на свете, от успеваемости до первой любви, от отношений с родителями до увлечения спортом.

— Вы знаете, есть такой старинный английский анекдот. В семье родился мальчик. Внешне совершенно здоровый, но и в год, и в два, и в три он так и не заговорил. Ребенка таскали по всем врачам — и все напрасно. Родители смирились. Глухонемой — так глухонемой, что же делать? И вдруг однажды, когда ему было лет восемь, мальчик говорит за столом: «А гренки-то подгорели». Родители — в слезы. «Как, что, почему же ты раньше не говорил?» «А о чем говорить? Раньше все было нормально».

— Гм, и что же ваша бородатая притча должна означать?

— А то, что Антошин столько лет продремал, что в конце концов выспался и проснулся.

— Да ну вас, Юрочка, к бесу... Ваша скромность носит вызывающий характер. Истинная скромность состоит, знаете, в чем?

— Нет, не знаю.

— В признании своих заслуг, вот в чем.

Лариса Семеновна как-то очень ловко и лукаво подмигнула мне, и я подумал, что не одно, наверное, сердце начинало в свое время сильнее биться от ее подмигиваний.

— Ладно, Лариса Семеновна, раз вы уже разгадали меня, открою вам свою тайну. Чур, только никому ни гу-гу.

— Идет.

— Я незаконный сын Ушинского. Именно от него и унаследовал незаурядный педагогический талант.

— То-то я смотрю, вы на него похожи... Вы с классом, говорят, в планетарий собрались?

— Вы наш Талейран и наш Фуше. От вас ничего не скрыть. Сегодня после занятий.

Я люблю ходить со своими ребятами на разные экскурсии. В школе они все ученики. Стоит им выйти на улицу, как они мгновенно преображаются. Девочки сразу взрослеют и хорошеют, мальчики обретают юношескую степенность.

Они немножко стесняются организованности экскурсии и быстро разбиваются на группки в два-три человека.

Однажды нас увидел на улице математик Семен Александрович, и в глазах его мерцал ужас. Не помню уж, куда мы шли, по-моему, в Третьяковку. Назавтра я спросил, что так поразило его.

— А разве можно ходить не строем? — посмотрел он на меня.

Ах ты, милый мой Беликов, современный ты человек в футляре, хотел я сказать ему, но вовремя удержался.

Мы вышли из школы.

Наконец-то первый раз в этом году пошел настоящий снег. Пушистые, театральные, нарядные снежинки... Просто жалко было смотреть, как гибнут такие шедевры под колесами машин и ногами прохожих.

Алла Владимирова шла вместе с Сергеем Антошиным. Так-так-так. Похоже, что Сергей подымается по социальной лестнице класса, перепрыгивая через ступеньки. Идти рядом с Аллой Владимировой — это дается не каждому. Господи, да я сам бы с удовольствием взял ее под руку. Щеки Аллы горят на ветру, на длиннющих ресницах тают новогодние снежинки.

Ей бы закружиться сейчас в вихре вальса, вылететь на середину улицы, и вся улица замерла бы от восхищения.

А Сергей цвел и цвел от тихой гордости. Он и выше стал, и плечи отведены немножко назад, и грудь колесом под стареньким демисезонным пальтишком.

Милый мой Сережа, как я рад, что ты наконец проснулся. И все у тебя будет хорошо, только не засни опять.

Мы доехали на метро до Краснопресненской, а потом дошли пешком до планетария. Я уже не первый раз сижу под его куполом, но сегодня я смотрел на звездное небо совсем с особым чувством. Где они, мои далекие братья? В какой части безбрежного космоса?

Тонкая световая указка лектора легко скользила по ночному небу над темными силуэтами домов по его краям.

И снова, как уже случалось, на меня нахлынуло ощущение чуда. Я, Юрий Михайлович Чернов, добившийся в жизни только, пожалуй, того, что Сергей Антошин шел в планетарий рядом с Аллой Владимировой,— я оказался избранником, в которого почему-то уперлась указка из сновидений, посланных откуда-то из неведомых далей.

Интересно, как чувствуют себя настоящие избранники судьбы? Как несут свое бремя славы? Неужели привыкают к нему? Главное мое чувство — это чувство нереальности. Не может быть. Не должно быть.

А потом я думаю, что все-таки это есть. И знаю еще, что я сам ни при чем. Я просто та точка, в которую уперся луч сновидения.

Первый раз, когда я шел на ночь в лабораторию сна, я заранее сказал об этом Гале.

— А что, есть такая лаборатория? — спросила она.— И туда ходят со своими пижамами? Раньше это называлось по-другому.

На этот раз я сказал ей, что буду ночевать у Ильи. Она ничего не сказала. Пожала лишь плечами. Наверное, мы уже пересекли черту, из-за которой не возвращаются. Эдакий брачный Рубикон.

В лаборатории меня встретили Нина и Борис Константинович. Нет, положительно он изменился. Куда девался металл, из которого он был выкован? Живой человек с растерянными глазами. И симпатичный от этого.

— Главное — часы,— говорил он Нине.

— Но, Борис Константинович, я ведь и прошлый раз заметила время включения приборов.

— По каким часам?

— По своим, конечно.

— Давайте найдем что-нибудь поточнее. Как вы думаете, у кого могут быть более или менее точные часы? В лаборатории Бабашьянца?

— Сомневаюсь.

— Если вам не трудно, посмотрите, что-нибудь у них должно быть.

— Борис Константинович, — сказал я, — еще раз прошу прощения, что доставил вам столько хлопот...

— Перестаньте,— профессор досадливо махнул рукой,— что-то я не замечал раньше у вас особой деликатности.

— Только ради научной истины. В присутствии истины я буквально стервенею.

— Ну, ну,— пробормотал профессор без улыбки. По-видимому, особой симпатией ко мне он так и не проникся.

Уснул я буквально через несколько минут после того, как улегся на уже знакомое мне ложе. Помимо всего прочего, я здорово устал за эти дни. Последнее, что я услышал, были слова Бориса Константиновича: «Как спит!» Это обо мне, подумал я, и мысль растворилась.

И пришел сон, посланный мне У. И я снова летал. Но не так, как раньше.

О, это был совсем другой полет! У стоял на каменистой площадке. Вдруг ощущение своего веса исчезло.

Он стал невесом, и легкий ветерок, тянувший с залитого солнцем холма или низенькой горы, раскачивал его, как травинку. Он оттолкнулся ногой и начал подниматься прямо вверх, как ныряльщик поднимается к поверхности воды, как поднимается воздушный шар.

Чувство легкости, свободы. У слегка наклонился в сторону, и горизонт послушно встал дыбом. Мы парили в золотисто-желтом небе, все поднимаясь выше и выше, и я слышал мелодию холмов.

А потом У скользнул вниз. Быстрее и быстрее. Свист воздуха вплелся в мелодию. Страха не было. Было веселое, озорное чувство всевластия над стихиями. Над янтарными холмами внизу, над желтоватым небом с длинными, стрелоподобными облаками. Над силой тяжести, которая сейчас тянула нас вниз и которая была вовсе не чужой и злобной, а ручной и доброй, как собака. У самой земли падение прекратилось, и мы снова поднялись вверх. Скатывались по крутым невидимым горкам неведомых силовых полей.

И встретили в небе еще одного. Его имя было Эо. А может быть, его имя звучало вовсе не так, но он остался в моей памяти как Эо. И мы играли в небе, как птицы, как играли бы щенки, умей они летать.

И вдруг мы оба скользнули на землю. Нас позвали. Коа столкнулся с неполадками на энергетической станции, в которых он не мог разобраться.

И на помощь ему мысленно спешили братья. Сначала те, кто был ближе других и кто был не слишком занят, потому что это был Малый Зов. И те, кто был ближе других к Коа, включались в его мозг. Их мозг и его мозг становились единым целым, работавшим в одном ритме.

Нам не нужно было объяснять, что случилось на станции, на которой был Коа.

Мы знали все, что знал он. Мы были частью его, а он был нами. Но задача была сложна.

Я не могу сказать, в чем она состояла, ибо мозг мой не смог усвоить технических образов, циркулировавших в кольце Малого Зова.

Они были слишком сложны и незнакомы мне.

И все новые братья вплавлялись в общий мозг, росший в кольце Малого Зова. И самосознание наше все расширялось и расширялось, пока не стало похоже на громадный, безбрежный храм, в котором тысячекратным эхом билась, сплеталась и расплеталась наша общая мысль. И эхо вибрировало от нашей общей мощи. И мы поняли, что случилось с машинами Коа и что нужно сделать, чтобы избежать аварии. Никто не мог бы сказать, что это понял он. Только мы, ибо внутри кольца Малого Зова не было меня, тебя, его. Были только мы.

И как только задача была решена, кольцо распалось, и У снова стал У — существом, протянувшим мне лучик сновидений сквозь бесконечную тьму космического пространства.

И я начал понимать, почему на Янтарной планете всегда сияет радостный отблеск...

— Когда, вы говорите, начался вчера первый цикл? — услышал я, просыпаясь, голос профессора.

— Быстрого сна? — переспросила Нина.— Сейчас посмотрим. Вот. В двенадцать сорок.

— Сегодня?

— В двенадцать сорок.

— Значит, совпадение полное?

— Нет, Борис Константинович. Вчера было десять периодов быстрого сна, а сегодня одиннадцать.

— И этот дополнительный?

— Тоже пятиминутный.

— А интервалы?

— Надо замерить. Сейчас я займусь.

Я встал.

— Вы что, всю ночь бодрствовали надо мной? — спросил я.

— Нет,— сухо ответил профессор.— Я ездил домой.

— Боже, и все это из-за одного человека...

— Вы здесь ни при чем,— неприязненно сказал Борис Константинович.

— Интервалы такие же, как и в прошлый раз,— сообщила Нина.— Совпадение полное. Дополнительный одиннадцатый цикл приходится на интервал между пятым и шестым периодами быстрого сна.

Профессор посмотрел на ленту.

— Действительно, сами интервалы все время увеличиваются. Смотрите, последний интервал раз в тридцать — сорок больше первого. Нелепость какая-то...

— А что, если составить график по времени быстрых снов и интервалов?

— Конечно, Нина Сергеевна. Не надо будет по крайней мере перематывать каждый раз этот рулон...

Я был здесь больше не нужен. Подопытный кролик сделал свое дело, подопытный кролик может уйти. Жаловаться не приходилось. Спасибо им и за это.

(Окончание следует).

ПРОЗА

Зиновий ЮРЬЕВ

БЫСТРЫЕ СНЫ

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Глава 11

На следующий день я позвонил Нине и попросил разрешения проводить ее домой. Она опять долго дышала в трубку, молчала и наконец согласилась.

Я приехал на пятнадцать минут раньше срока. По дороге я с трудом подавил в себе желание купить букет цветов. Я уже подошел было к старушке в тоннельчике у Белорусского вокзала и полез в карман за деньгами, как вдруг представил себя у входа в институт. Жених. Имбецил с букетом. Я вздохнул. Старушка соблазнительно встряхнула свои чахлые цветочки и зазывно посмотрела на меня. Я вынул руку из кармана, так и не вытащив денег, и в глазах продавщицы засветилось радостное презрение. Так тебе и надо, говорили они. Ты и с цветами был бы не очень-то, а уж без них и вовсе нечего ходить на свидание. Ноги только бить. Сидел бы в обнимку с телевизором.

А может быть, все-таки надо купить цветочки? Скромный букетик, преподнесенный исследователю благодарным кроликом.

Похоже было, что в их институте никто никому никогда не назначал свиданий, потому что каждый второй выходящий с глубоким интересом рассматривал меня. А возможно, это я вздрагивал и поворачивался, когда взвизгивала тяжеленная дверь и выпускала в облачке пара очередного лаборанта.

Нину я не узнал. Я сообразил, что она стоит подле меня, только тогда, когда она сказала:

— Здравствуйте...

Я засмеялся.

— Господи, я же ждал женщину в белом халате. Я вас видел только в белом халате. Простите меня.

Нина взяла меня под руку.

— Жалко, что у меня нет портфеля,— вздохнула она.

— Почему?

— В девятом и десятом классах я ходила домой вместе с одним мальчиком, и он всегда нес мой портфель. Свой и мой.

— Счастливый мальчик.

Нина неторопливо и внимательно посмотрела на меня сбоку, словно изучала, гожусь ли и я на роль мальчика, несущего портфель. Господи, только что я смотрел на гордого Сережу Антошина, который шел рядом с Аллой Владимировой и кис от счастья. И вот я иду рядом со своей Аллой и тоже молю небо, чтобы подольше идти так по зимней слякоти, ощущая легкое прикосновение ее руки к моей.

Рисунки Г. КАЛИНОВСКОГО.

Окончание. Начало см. в № 3 и № 4 за 1976 год.

— И что стало со счастливым мальчиком? — спросил я.

— Он стал моим мужем,— медленно, словно вспоминая, как это было, сказала Нина.— А потом... потом, когда носить портфель было больше не нужно, выяснилось, что нас мало что связывает...— Нина усмехнулась, и усмешка вышла невеселая. Ее лицо сразу постарело на несколько лет.

Я молчал. Всей своей шкурой болтуна я знал, что надо промолчать. Любое слово было бы пошлым. Любой жест был бы оскорбительным, даже легкое пожатие ее руки. Никто не бывает так чуток к реакции на свои слова, как болтуны. Слишком часто они говорят не то и не тогда, когда нужно.

Нина вдруг остановилась у освещенной витрины. В витрине стоял манекен в длинном черном платье с расшитым серебром подолом.

У манекена было напряженно-несчастное пластмассовое лицо. Наверное, ей было холодно, и ее не радовало черное платье за сто четырнадцать рублей тридцать копеек.

— Красиво? — спросил я.

— Что? Ах, вы про платье? Наверное, красиво... Мы отошли от витрины.

— Что говорит Борис Константинович? — спросил я.

— Вы должны понять его.— Нина словно обрадовалась, что разговор выбрался с ее прошлого на твердую землю нашего эксперимента.— Он видит, конечно, что ЭЭГ получается фантастическая. Ничего похожего никогда никем не было замечено. И поразительно точное совпадение начала первого быстрого сна, и одинаковая продолжительность всех быстрых снов, и увеличивающиеся интервалы между ними. С другой стороны, что все это могло бы значить? Можно утверждать, что в паттерне вашего сна... Простите, я сказала паттерн...

— Я понимаю, Нина, это же английское слово. Образец, схема...

— Совершенно верно. Так можно ли утверждать, что паттерн этот служит безусловным доказательством искусственности, наведенности периодов быстрых снов и соответственно ваших сновидений? Соблазн велик, конечно, но убедительны ли будут наши рассуждения? Да, скажут мужи, ЭЭГ в высшей степени странная, слов нет, но при чем тут космическая мистика? И нам нечего будет ответить. Знаете, Борис Константинович — очень осторожный человек. Это не значит, что он трус...

— Судя по тому, как я должен был его уламывать...

— Вам и меня пришлось уламывать... Поймите же, мозг ученого — это главным образом сепаратор.

— В каком смысле?

— В самом элементарном. Думая, пытаясь истолковать результаты опытов, ты занят в основном отсевом, отбраковкой негодных предположений. Мозг ученого приучен безжалостно отбрасывать всю чепуху. А вы приходите и настаиваете, чтобы мы занимались как раз тем, что всегда отбрасывали как чепуху. Попробуйте, влезьте в шкуру шефа... Но он, повторяю, не трус. Да, он человек суховатый, упрямый, но если он уж приходит к какому-то заключению, он не отступит от него, даже если придется идти напролом.

— Значит, пока вы не пришли ни к какому выводу?

— Пока нет. Вначале мы подумали, что, может быть, само число быстрых снов — десять — что-то может значить. Это значительно больше, чем наблюдается обычно. Обычно их бывает пять-шесть. Но во втором опыте, как вы слышали, их было уже не десять, а одиннадцать. Что будет в следующем? Может быть, двенадцать, а может быть, шесть. У нас мало материала. С такими данными нельзя делать никаких утверждений. Я построила самый примитивный график. Вот он, вы просили, чтобы я вам его принесла.— Она достала из сумочки листок бумаги.— Он ничего не говорит. Десять и одиннадцать точек на разном расстоянии друг от друга. Расстояния эти, правда, увеличиваются, но случайно ли увеличение или подчиняется какой-то зависимости, мы пока еще не знаем. Нужны новые серии экспериментов.

— Нина,— вскричал я с пылом,— я готов переехать в вашу лабораторию! Навсегда. Мы купим портфель, и я буду всегда носить его вам...

Будь проклят мой язык! Я все-таки ляпнул глупость. Нинина рука в моей сжалась. Я почувствовал, как она вся съежилась. Впервые за весь вечер я услышал ее мысли. «Не надо,— повторяла она про себя.— Только не надо».

— Простите, Нина.

Она промолчала. Она была ранима, как... Я хотел было подумать, «как цветок», но сравнение было пошлым. Нина обладала удивительным качеством отфильтровывать пошлость. Наверное, мальчик с двумя портфелями не прошел через этот фильтр.

— Мне в метро,— сказала Нина.

— Я провожу вас до дому.

— Не нужно, Юра,— мягко сказала она.

— Я не хотел вас обидеть.

— Я знаю. Я нисколько не обижена на вас. Разве что на себя. До свидания.

По лицу ее скользнула слабая, бледная улыбка, она кивнула мне, повернулась и исчезла в облаке яркого пара, всосанная человеческим водоворотом, бурлившим у входа в метро. Я бросился было за ней, но остановился. Не нужно преследовать ее. Две ошибки за вечер — это многовато.

Уже не спеша, я вошел в метро, постоял зачем-то в очереди за «Вечеркой», нетерпеливо развернул ее, словно ждал тиража вещевой лотереи или последних известий с Янтарной планеты.

Я вышел на своей остановке и понял, что мне не хочется идти домой. Видеть Галю, ловить на себе ее участливые взгляды.

Нет, она ни в чем не виновата передо мной, и в этом не главная вина. Люди прощают виноватых. Но невиновных никогда. Она заботилась обо мне и хотела, чтобы я был здоров. Ужасное преступление для жены. Я вздохнул. Ощущение предательства не самое приятное ощущение. Кому-то оно, может быть, и приятно. Не знаю.

Я позвонил Илье. Он был дома и через полчаса уже втаскивал меня к себе.

— Ну? — закричал он.— Есть что-нибудь?

— Да нет, Илюша. Ничего окончательного.

— Что за тон? Что за интеллигентские штучки? Что за физиономия опечаленного олигофрена?

— Да понимаешь, старик...

— Я тебе не старик. И брось этот жигалинский лексикон. Выкладывай, что случилось.

С Ильей нельзя кривить душой.

В его присутствии даже самая мягкая душа никак не может кривиться.

— Илюша, я чувствую, что мы с Галей неудержимо расходимся. Мы идем разными курсами...

— Подожди, при чем тут Галя? При чем ваша семейная жизнь? Я часто называл тебя олигофре-

ном шутя, но я вижу, в каждой шутке доля правды. Какая семейная жизнь, какой развод? Как ты смеешь говорить об этом, когда твою дурную голову избрали в качестве приемника братья по разуму? Одно из величайших событий в истории человечества — гимн материалистическому, атеистическому восприятию мира, а ты подсовываешь свою семейную жизнь. Да разве это соизмеримые величины?

Мне стало стыдно. Илья был прав. Но умение мыслить большими категориями — удел больших людей. Улетай я завтра на Янтарную планету, я бы и тогда, наверное, убивался из-за того, что запутался в двух женщинах.

Я посмотрел на себя Илюшкиными глазами. Он был абсолютно прав. Зрелище не из приятных.

Хныкающий идиот.

— Ладно, эмоции потом. Я тебе говорил по телефону, что они решили проделать второй эксперимент. Я спал у них еще раз.

— И как?

Илья сделал неосторожное движение ногой, и с книг, лежавших на полу, взметнулся высокий столбик пыли.

— Пошли на кухню.

Я рассказал Ильве о втором эксперименте.

— Нина Сергеевна дала мне график. Вот он, я еще сам его не видел.

На горизонтальной оси были отложены точки. Первые три почти рядом друг с другом. Остальные на все большем и большем расстоянии.

— А почему эта точка отмечена особо? — спросил Илья, показывая на шестую точку.

— Потому что в первом эксперименте ее не было. Она появилась только во втором. В первом было десять точек, во втором — одиннадцать.

— Чепуха! Почему именно эта? Почему вы не отметили, скажем, вторую или одиннадцатую точку?

— Не знаю, я как-то не подумал об этом.

— Не подумал! Господи, я всегда этого боялся больше всего. Братья по разуму протягивают нам руку и попадают в идиота.

— Можно подумать, ты только и делаешь, что ждешь братьев по разуму.

— Юрочка,— сделал забавную гримасу Илья,— что я вижу? Ты огрызаешься? Старшим? Правильно, не можешь лаять на своего директора школы — лай на друзей, это безопаснее.

— Илья, хочешь, я тебе врежу как следует?

— Ты? Мне? — Илья нарочито скорчился от хохота, качнулся.

Стул, на котором он сидел, зловеще хрустнул, и Илья успел вскочить как раз в тот момент, когда он начал рассыпаться.

— То-то,— сказал я.— Так будет с каждым, кто покусится...

— На что?

— Вообще покусится.

— Слушай, Юраня,— вдруг сказал Илья.— Ты хоть фамилию своей Нины Сергеевны знаешь?

— Знаю. Кербель.

— Вот тебе телефон. Ты набираешь ноль девять. Всего две цифры, это не трудно, уверяю тебя. А когда ответит женский голос, ты произнесешь всего три слова: личный телефон, пожалуйста. Со временем тебе ответит еще один женский голос. Ты скажешь: «Нина Сергеевна Кербель»,— и она назовет тебе номер телефона. Это не так уж сложно. Хороший попугай, если бы он мог держать трубку, сумел бы сделать это. Давай звони.

— Я не попугай. Я не могу.

— Почему? Ты брезгуешь? Трубка чистая, я вытираю ее ухом по нескольку раз в день.

— Я с Ниной Сергеевной...

— О боже,— простонал Илья.— Судьба послала мне в друзья повеласа, дон-жуана, казанову. Не пропустит ни одной женщины, с каждой ухитрится поссориться.— Илья вдруг пристально посмотрел на меня.— Это... это как-то связано с Галей?

Такой толстый шумный человек и такой проницательный.

— Да,— сказал я.

— Я позвоню сам.

Он довольно быстро дозвонился до справочной и получил телефон Нины Сергеевны.

Хоть бы ее не было дома, она же подумает, что это мои детские штучки. Попросить позвонить товарища. Хлопнуть портфелем по спине. Дернуть за косу.

— Нина Сергеевна? — спросил Илья.— С вами говорит некто Плошкин. У меня сейчас мой друг Юрий Михайлович Чернов, и мы как раз рассматривали график... Он сам? Он пытается вырвать у меня трубку.

Илья протянул мне трубку и некрасиво подмигнул.

— Нина...— промямлил я в трубку.

Сердце билось, словно я заканчивал марафонскую дистанцию.

— Юра, вы, наверное...— Нина замолчала, и я услышал в трубке ее дыхание.— Вы, наверное, рассердились. Я не хотела обидеть вас...

— Нет, что вы! — закричал я.— Я совершенно не обижен.

Маленькую Илюшину кухню заливал янтарный свет. Цвет, в который красит стволы сосен вечернее солнце, продираясь сквозь сизые июльские тучи.

— Ваш товарищ что-то хотел спросить...

— Дай мне,— сказал Илья и вырвал у меня трубку.— Нина Сергеевна, у моего друга стало почему-то такое выражение лица, что я не могу доверить ему серьезных научных переговоров. Нина Сергеевна, мы не могли понять на вашем графике, почему вы новую одиннадцатую точку во время второго опыта поместили не в конце, например, а между пятой и шестой? — Илья слушал и кивал головой.— Ага, понял. Я так и подумал. Спасибо, Нина Сергеевна.

Илья положил трубку.

— Понимаешь, расстояние между всеми точками осталось во втором опыте точно таким же, как в первом. И новая точка, похоже, вклинилась между пятой и шестой. Гм, интересно...

Илья положил перед собой график и тихонько загмыкал. Гмыкал он долго, но ничего, очевидно, не надумал, потому что повернулся ко мне и спросил:

— Есть будешь?

— А что у тебя?

— Жюльен из дичи, ваше сиятельство. Также рекомендую вашему вниманию седло дикой серны и вареные медвежьи губы. Но больше всего, ваше сиятельство, мы гордимся нашим фирменным блюдом — пельменями московскими!

Илья поставил на огонь кастрюльку с водой, подождал, пока она не начала бурлить, и высыпал в нее пельмени.

Пельмени булькнули и утонули и сразу успокоили расходившуюся воду.

— Ваше сиятельство, как только какая-нибудь из утопленниц вынырнет на поверхность, бросайте ей спасательный круг.

Кого благодарить за такого друга, как Илья? Не знаю, что б я сделал ради него.

Мы ели пельмени, молчали, и я ни о чем не хотел думать.

Глава 12

Мы проделали еще два опыта. Они в точности повторяли результаты двух предыдущих, за исключением одной детали. Эта проклятая лишняя точка то появлялась, то исчезала, просто подмигивала нам с графика. Нина Сергеевна и профессор решили продолжать опыты на следующей неделе.

Я смотрел по телевизору спортивную программу. Где-то на другом конце света наши борцы припечатывали к ковру противников. Они долго толкались, упершись лбами друг в друга, пока один из борцов вдруг не хватал противника за ноги...

Галя сидела около меня. Она любит спортивные передачи гораздо больше меня, ни одной не пропускает. Я незаметно посмотрел на нее сбоку. Лицо сосредоточенное, серьезное, собранное — она и зрителем была энергичным. На ней был ее голубенький стеганый халат, который ей очень идет. Я вдруг подумал, что никогда, наверное, не видел ее неряшливо одетой или непричесанной. Галя. Га-ля. Я попробовал имя на язык. Имя было мягкое. Такое же, как и имя, которое я ей дал. Люша. Люш. В чем же она виновата? Она виновата только в том, что я пытаюсь столкнуть на нее ответственность за Нину. Нет, не я, видите ли, разлюбил ее, нет, нет, нет, это она сама виновата. Слишком заботилась о моем здоровье.

Бедная Люша, она этого не заслужила. Разве она виновата, что маленькой ее головке легче думать о простых, ясных делах, которые можно решить, сделать, чем о неясных, романтических и космических фантазиях. Старый, как мир, спор между реалистами и романтиками. Я поймал себя на том, что мысленно умиляюсь своему романтизму. Опасный симптом. Еще шаг — и начнешь вообще восторгаться собой. Романтик, знающий, что он романтик, уже не романтик.

Га-ля. Га-ля. Я повторил имя жены несколько раз про себя. Но волшебство звуков не вызывало привычной нежности. А я хотел, я ждал, пока из глубин сердца подымется теплая, таинственная нежность к этому маленькому существу, что сидело рядом со мной и зачем-то смотрело на толкавшихся лбами борцов.

Я знал, что поступаю нечестно, но я положил руку на Галино плечо. Я почувствовал, как она сжалась. Она все понимала. Она никогда не обманывала себя. Она всегда отважно выходила навстречу фактам — один на один, ибо часто я бывал ей в этих сражениях слишком плохим помощником. Ты страус-оптимист, говорила она. Ты прячешь голову в песок и надеешься, что все как-нибудь обойдется.

Да, она не ошибалась сейчас, как не ошибалась почти никогда. Я все еще продолжал упрямо надеяться, что все образуется, утрясется, устроится и будет хорошо. Она взяла мою руку и мягко, почти ласково сняла со своего плеча.

Зазвенел дверной звонок. Я открыл дверь, и в прихожую вихрем ворвался Илья.

— Солнечная система! — крикнул он так, как никто еще никогда не кричал в нашем кооперативном доме-новостройке. Мы слишком дорожили им. Дом содрогнулся, но устоял.

— Что? Илюша, что случилось? — вскочила Галя.

— Это Солнечная система, Галка, вот что! Ты понимаешь, что я говорю? Солнечная система!

Он схватил мою жену, поднял на руки и попытался подбросить ее вверх, но она уцепилась за его шею.

— Ты что, сдурел?

— Сдурел, не сдурел, какое это имеет значение? — продолжал исступленно вопить Илья. Лицо его раскраснелось, глаза блуждали.— Одевайся немедленно! Едем!

— Куда? Что случилось? Да приди же в себя! — в свою очередь, начала кричать Галя.

Случилось в конце концов то, что должно было случиться, пронеслось у меня в голове. Человек, который всю жизнь проводит в пыли, должен был раньше или позже соскочить с катушек.

— Точки! — взвизгнул Илья.— Вы олигофрены! Вы одновременно идиоты, имбецилы и дебилы! Я ж вам говорю: точки! Десять точек! Галя, как ты можешь нести такой крест,— уже несколько спокойнее проговорил Илья,— жить под одной крышей с таким тупицей? Ты график помнишь? — обернулся он.

Я почувствовал, как сердце у меня в груди рванулось, точно спринтер на старте. Я все понял.

— Точки на графике?

— На графике. Десять точек — Солнце и девять планет.

— Но ведь...

— Интервалы соответствуют расстояниям между Солнцем и планетами. Абсолютно те же пропорции. Ты понимаешь, что это значит? Я тебя спрашиваю, ты по-ни-маешь? Это же все. Это то, о чем мы только могли мечтать! Случайность полностью исключается. Вероятность случайного совпадения десяти чисел — это астрономическая величина с минусовым знаком. Это то, чего мы ждали, Юраня! Они не только действительно существуют, они знают, где мы.

Галя, как завороженная, смотрела на Илью. Вдруг она начала дрожать.

— Что с тобой? — спросил я.

— Ни-че-го,— не попадая зубом на зуб, пробормотала она.

— Ты, может быть, ляжешь?

— Не-ет. Илья,— сказала она, и я почувствовал, что Галя напряглась, как борцы, которые все еще медленно ворочали друг друга на ковре.— Илья, ты не шутишь?

— Нет,— торжественно сказал Илья.— Шутить в исторические минуты могут лишь профессионалы-остряки.

— И это правда? — с яростной настойчивостью продолжала атаковать его Галя.

— Что правда? Что ты спрашиваешь, о чем ты говоришь?

— Все, что говорил Юрка... Сны, телепатия... Это правда?

— О боже! — застонал Илья и застучал себе кулаком по лбу.

— Значит, это правда,— всхлипнула Галя и повалилась на тахту головой вниз. Плечи ее вздрагивали. Одна домашняя туфля упала на пол, и маленькая ее пятка казалась совсем детской и беззащитной.

— Не нужно, Люш,— я погладил ее плечо.

— О боже, боже! — снова запричитал хором греческой трагедии Илья.— В такую минуту выяснять отношения... Нет предела человеческой глупости.

— Илья,— сказал я, продолжая поглаживать все еще вздрагивавшее Галино плечо,— а как же одиннадцатая точка? Или это еще не открытая планета?

— Ну, хоть вопрос догадался задать. Одиннадцатая точка непостоянна. Она то появляется, то исчезает, но всегда на одном и том же месте, между орбитами Марса и Юпитера. Тем самым нам говорят: это не планета, она непостоянна. Что же это? Это их корабль, который прилетел в нашу Солнечную систему. Ну? Ну? Хватит с вас, обезьянки? Можете вы прекратить вашу микроскопическую возню? Или вы на это не способны? Одевайтесь немедленно!

— Зачем?

— Мы едем.

— Куда?

Илья скрипнул зубами, схватил меня своими ручищами и основательно тряхнул.

— К твоей Нине Сергеевне.

У меня закружилась голова. Зачем ехать к Нине Сергеевне? Ах да, это же по поводу графика. И я вдруг понял всем своим нутром, что говорит Илья. Он прав. Не тем я оказался человеком. Мы получили доказательство контакта, первое объективное доказательство существования разумной внеземной жизни, а я вместо того, чтобы осознать все величие момента, копошусь в каких-то мелочах.

— Уже десять. Начало одиннадцатого.

— Какое это имеет значение? Десять? Десять и одиннадцать точек — вот что имеет значение!

Прав, прав Илья. Какое нам дело до времени? Его сумасшедший азарт начал передаваться и мне. Уходили назад, теряли резкость волнения последних дней. Нина, Галя. Галя, Нина. Илья прав. Тысячу раз прав!

— Вставай! — крикнул я Гале.— Илья прав, надо ехать, немедленно!

— К этой Нине Сергеевне?

— К ней.

— Я...

— Ну! — сжал кулаки Илья.— Брось свои бабские штучки! Ты же выше этих глупостей! Ты же человек, а не кухонное животное!

Галя вскочила на ноги и вдруг чмокнула Илью в щеку. О, боже, мир положительно непознаваем!

— Я люблю тебя! — пропела Галя и умчалась в ванную.

Я начал натягивать на себя свитер.

— Как ты догадался? — спросил я Илью.

— Если бы я... Это не я. Я разговаривал с одним приятелем по телефону. Так, о делах. Он физик. А в голове все время сидит график. Я говорю: «Боря, что могли бы значить десять точек, интервалы между которыми все увеличиваются?» Он говорит: «Не знаю. Планет, например, девять, а что такое десять, не знаю!» И смеется, дубина. Сострил. Я кладу трубку, достаю график и начинаю смотреть на него. Десять точек. И интервалы слева направо все увеличиваются. И точки — как планеты, только все одинаковые. И тогда, как в трансе, я взял карандаш и нарисовал новый график. Первая точка, первая слева — Солнце. За ней, почти рядом — крошечный Меркурий, дальше Венера, Земля, Марс и так далее. Сердце у меня заколотилось, на лбу выступила испарина. Но расстояния, расстояния между планетами?

— Я готова,— пропела звонким голоском Галя, входя в комнату.

Я посмотрел на нее и ахнул. Давно уж она не казалась мне такой победно красивой.

Я запер квартиру, мы пошли вниз к машине, а Илья продолжал рассказывать:

— Что вам сказать, мои маленькие, глупые друзья? Я нашел старую, добрую «Занимательную астрономию» старого доброго Перельмана, да будет земля ему пухом. И выписал оттуда расстояния планет от Солнца в астрономических единицах. Астрономическая единица, если вы помните,— это расстояние от Земли до Солнца. Приблизительно сто пятьдесят миллионов километров. Меркурий — ноль целых тридцать девять сотых, Венера — ноль семьдесят две и так далее до Плутона, который отстоит...

— Илья, а куда ехать? — перебил я его.

— Улица Зорге.

— А как ты узнал адрес?

— У нее самой... Я измерил расстояние между точками на графике и сравнил с таблицей, которую выписал из Перельмана. Пропорции абсолютно те же.

— Илюша, ты гений. Пыльный, но гений,— сказала с твердой убежденностью в голосе Галя.

— Другой стал бы спорить,— шумно, по-коровьи вздохнул мой друг.

Дом мы нашли быстрее, чем я рассчитывал.

— Я быстро,— сказал Илья.

— А мы? — спросила Галя.

Сегодня был ее час. Сегодня она чувствовала себя победительницей. Сегодня она взяла в союзницы Солнечную систему. Ах, Галка, Галка, экая ты воительница!

Я повернул голову и посмотрел на жену. Она посмотрела на меня. Может быть, мне показалось, а может быть, у нее действительно сверкнула в глазу крошечным бриллиантиком слезинка.

— Люш,— сказал я.

— Тш-ш,— прошептала Галя,— молчи...

Я замолчал, а она положила свою голову мне на плечо. Я вдруг подумал, что это глупо — Илья пошел к Нине Сергеевне, а я сижу с Галей в машине. Но все в этот вечер потеряло смысл или приобрело — кто знает. Илья открыл дверцу, и я вздрогнул от неожиданности.

— Знакомьтесь,— сказал Илья.— Юру Чернова вам представлять не надо, а это Галя — его жена. Нина Сергеевна — старший научный сотрудник.

Только теперь, продемонстрировав свои права на меня и нашу близость, Галя быстро подняла голову, пробормотала: «Простите»,— и обернулась к Нине. «Ах ты, маленькая, хитрая дрянь»,— подумал я. Вопреки ожиданию я не чувствовал себя несчастным, сидя в одной машине с этими двумя женщинами. Наоборот, мне стало легко и весело. Я был в точке, где притяжения с двух сторон взаимно уравновешивают друг друга, и плавал в невесомости, как У в одном из последних снов.

— Как ехать, Нина Сергеевна? — спросил Илья.

— А вы... уверены? Мы ведь будем у профессора в полдвенадцатого... Так поздно...

— И вы тоже... Ученые, называется! Великие открытия делаются от одиннадцати до часу по четвергам.

Нина засмеялась.

— Наверное, вы правы. Поехали. Ах да, я же не объяснила, куда ехать. Улица Дмитрия Ульянова. Вы знаете, где это, Юрий Михайлович?

Не Юра, а Юрий Михайлович. О женское чутье! О женский такт!

— Знаю,— сказал я.— Я все знаю. Вы хоть позвонили бы профессору.

— Господи,— сказала Нина,— я не сообразила в этой суматохе.

Два автомата оказались неисправными. На углу Красной Пресни автомат работал, но было занято. В результате мы приехали на улицу Дмитрия Ульянова без звонка. Было уже начало двенадцатого.

— Идем все вместе,— строго сказал Илья и быстро погнал нас, как стадо гусей, к подъезду.

Кнопку звонка нажал он. Никто не ответил.

— Не может быть,— пробормотала Нина,— ведь я же сама звонила. Было занято.

За дверью, обитой коричневым дерматином, послышались шаги. Вспыхнул глазок и тут же потемнел, должно быть, в него посмотрели. Дверь открылась. Профессор стоял в пижаме и смотрел на нас. Пижама была выглажена почти так же тщательно, как и костюм, в котором я его видел. Редкие волосы тщательно причесаны. Интересно, промелькнуло у меня в голове, он спит лежа или стоя?

— Простите, Борис Константинович,— нервно сказала Нина.— Уже поздно, я понимаю...

Профессор молча осмотрел нас всех. Настороженность в его глазах постепенно испарялась. А может быть, он просто просыпался.

— Добрый вечер,— сказал он и сделал приглашающий жест рукой.

Мы вошли в комнату, но не сели.

— Борис Константинович, позвольте вам представить,— сказала Нина,— это жена Юрия Михайловича, а это его друг...

Нина замешкалась, и я понял, что она даже не запомнила имени Ильи.

— И чем же я обязан столь неожиданному визиту? — сухо спросил профессор, так и не кивнув и не пригласив нас сесть.

— Только что выяснилось, что точки на графике быстрого сна Юрия Михайловича полностью соответствуют расстоянию планет Солнечной системы от Солнца,— быстро проговорила Нина Сергеевна.

— И кто же это выяснил, позвольте узнать? — спросил профессор.

— Я, с вашего разрешения,— сказал Илья и полупоклонился. Большой, пыльный, помятый, он все равно являл собой зрелище внушительное.

— Где график? — строго спросил профессор.

— Вот.— Илья стащил с себя куртку, швырнул ее, не глядя, на кресло в чехле и вытащил из кармана листок бумаги.— А это расстояния планет от Солнца в астрономических единицах. Вот пропорция, которую я составил. Вот пересчет.

— Линейка у вас есть? — спросил все так же строго профессор.

— Нет.

— Машенька,— произнес, не повышая голоса, профессор, и в комнату тут же влетела крошечная немолодая женщина.

Я готов был поклясться, что она караулила у двери, ожидая, пока ее позовут. Женщина кивнула нам и замерла, глядя на Бориса Константиновича. «Похоже, что она робот»,— подумал я.

— Машенька,— не отрывая взгляда от графика, сказал профессор.— Витя дома?

— Нет,— пробормотала профессорша испуганно.

— Посмотри, пожалуйста, в его комнате, нет ли у него линейки и готовальни. Или хотя бы линейки.

Так же стремительно, как вошла, профессорша выскочила из комнаты. «Старая школа,— подумал я,— теперь таких жен не выпускают».

Профессор сел за стол, не глядя протянул руку, в которую запыхавшаяся профессорша вложила линейку, и принялся измерять расстояния на графике.

Мы молча стояли вокруг стола. Профессорша тихонько отошла к двери — наверное, ее обычное место — и тоже замерла.

— Вы теорию вероятности знаете? — спросил наконец Борис Константинович Илью.

— Нет, я, знаете, по образованию гуманитарий.

— Так вот, вероятность случайного совпадения равна практически нулю.

— Значит...— тихо сказала Нина, и профессор внимательно посмотрел на нее, словно видел в первый раз.

— Значит, мы сейчас будем пить чай,— сказал профессор и вдруг засмеялся.— Я подумал о том, какая будет физиономия у Штакетникова... Машенька!

Профессорша-робот застыла по стойке «смирно».

— Машенька, организуй, пожалуйста, нам чай и посмотри у Вити, есть ли что-нибудь выпить.

Профессор опять неумело прыснул и повернулся к Нине.

— Нет, Нина Сергеевна, вы представляете себе, какая будет физиономия у Штакетникова?

Боже правый и милосердный, подумал я, как люди по-разному реагируют на великие события. Один подбрасывает к потолку чужих жен, другие плачут, а третьи думают о выражении лица Штакетникова. Нет, я ошибся. Профессорша не могла быть роботом. Роботы не могут работать с такой скоростью. За одну минуту стол накрылся скатертью, скатерть — тарелками с сыром, колбасой, вареньем двух сортов, рюмками и едва начатой бутылкой коньяка, не говоря уже о чайнике. Молодец, Витя. Все-то у тебя есть — от линейки до коньяка. Мне бы такого Витю...

— Сядь с нами, Машенька,— сказал профессор и принялся разливать коньяк по рюмкам.

Машенька стремительно бросилась к столу и застыла на краешке стула. Когда профессор выйдет на пенсию, он сможет неплохо зарабатывать. Демонстрация высшей дрессуры супруги.

Профессор поднял рюмку.

— Один мой знакомый американский психолог говорил мне, что самые доверчивые люди на свете — ученые. Никого так нельзя легко одурачить, как ученого. И действительно, сколько ученых мужей попадалось на удочку всяческих шарлатанов. А почему? Потому что ученый привык доверять фактам. И как бы ни были необычны факты, он вынужден принять их. Но если бы ученые не были доверчивы, не было бы науки, ибо все новое всегда кажется абсурдным, как казалась, например, Французской академии абсурдной идея, что с неба могут падать камни. Когда Юрий Михайлович в первый раз пришел ко мне, я не хотел слушать его. То, что он говорил, было фантастично. Но теперь это факты. И я должен им верить. И заставить верить других. Ибо ученый — это еще и миссионер, который должен всегда стремиться обращать людей в свою веру. Выпьем за великие факты, свидетелями которых мы с вами стали, выпьем за веру в науку.

Мы все выпили. Профессорша тоже выпила свой коньяк, не сводя взгляда с мужа. Пила она синхронно с ним.

Потом мы выпили за интеллектуальное бесстрашие и за братьев по разуму. Потом за Контакт.

— Машенька,— сказал профессор,— посмотри у Вити, нет ли у него чего-нибудь еще... эдакого...

Старушку как ветром сдуло и принесло обратно уже с бутылкой рома «Гавана-клуб». Профессорша прижимала бутылку к груди.

— Борис Константинович,— сказал я,— знаете, как я определил про себя ваши глаза, когда первый раз увидел вас?

— Как?

— Я решил, что у вас глаза участкового уполномоченного.

— По-ра-зи-тельно! — крикнул профессор.

— Почему?

— Потому что я в молодости работал в милиции.

Мы выпили за нашу милицию. Илья что-то шептал Гале на ухо, и она мелко тряслась от смеха.

— Дорогой профессор! — сказал я и почувствовал, что профессор вот-вот раздвоится и что надо его предупредить об этом.— Дорогой Борис Константинович! Я хотел вас предупредить...— Я забыл, о чем хотел предупредить профессора, но он уже не слушал меня.

— Машень-ка! — позвал он, и мне показалось, что голос его звучит уже не так, как раньше. А может быть, это я стал плохо слышать.— Машень-ка! Посмотри, нет ли у Вити чего-нибудь... Ром не годится.

Я посмотрел на бутылку «Гавана-клуб». Она была пуста.

Ночь постепенно теряла четкие очертания. Машенька еще дважды ходила к Вите, и Витин дух послал нам бутылку «Экстры» и бутылку «Саперави». Эту бутылку профессорша чуть не уронила, так как споткнулась об Илюшину ногу, и он поймал ее на лету.

Потом пришел какой-то немолодой лысоватый человек, назвавшийся Витей, и я доказывал ему, что Витей он быть не может, потому что Витя — это ребенок, мальчик такой ма-а-аленький, которому негде спать, так как злые родители заставили всю его комнату бутылками.

Лысоватый человек почему-то пожал мне руку и со слезами на глазах признался, что он все-таки профессорский сын и сам профессор.

Я сказал ему, что профессорский сын и профессор — совсем разные вещи, но он пошел в свою комнату, принес оттуда бутылку венгерского джина и какую-то книжечку, которую он все порывался показать мне, уверяя, что из нее я узнаю о его звании.

Потом он танцевал с Ниной, и Нина сбросила туфли, и мне было смешно и грустно одновременно, все были такими милыми, что сердце у меня сжималось от любви к ним всем.

Глава 13

Нина позвонила мне домой и передала просьбу Бориса Константиновича приехать к трем часам в институт. Оказалось, что он идет к директору и хочет, чтобы я был наготове.

— Посидите в приемной с Ниной Сергеевной, может быть, вам придется продемонстрировать еще раз свои способности,— сказал профессор, когда я примчался к нему.

Мы пошли к кабинету директора института. Впереди решительный Борис Константинович, за ним Нина, а потом уже и я.

— Оленька, Валерий Николаевич у себя? — кивнул профессор на дверь, на которой красовалась табличка «В. Н. Ногинцев».— Он назначил мне аудиенцию ровно на три.

Оленька, существо лет восемнадцати с ниспадающими на плечи русыми тяжелыми волосами, подняла глаза от книжки, которая лежала на пишущей машинке, и кивнула.

— Сейчас, Борис Константинович.— Она нажала на какой-то рычажок и сказала: — Валерий Николаевич, к вам Борис Константинович Данилин.

— Попроси его, пожалуйста,— послышался из динамика низкий мужской голос.

Именно такими голосами должны обладать, по моему глубокому убеждению, обитатели больших кабинетов, перед которыми сидят секретарши с длинными русыми волосами.

Борис Константинович коротко кивнул нам и исчез за обитой черным дерматином дверью.

— Здравствуйте, Борис Константинович,— послышалось в динамике.

— Добрый день, Валерий Николаевич,— ответил голос профессора.

Русоволосое существо потянулось к рычажку, и я вдруг неожиданно для самого себя сказал:

— Оленька, дитя мое, а зачем лишать нас маленького удовольствия? Дайте нам послушать, о чем будут говорить ученые мужи.

— Нельзя,— сказала Оленька, но динамик не выключила.

— А такой красивой быть можно? — спросил я и сам покраснел от бесстыжести своей лести.

Оленька прыснула и посмотрела на Нину Сергеевну.

— Да ничего, он свой.— Нина кивнула в мою сторону с видом заговорщика.

— Ладно, только никому ни слова, а то Валерий Николаевич, знаете, что мне сделает...

Я не знал, что он сделает Оленьке, но особенно за нее не волновался. Судя по ее манерам, еще большой вопрос, кто кому больше сделать может — директор Оленьке или Оленька директору.

— Валерий Николаевич, я к вам по не совсем обычному делу,— сказал Борис Константинович, и даже пропущенный через сито динамика голос его звучал напряженно.

— Слушаю вас.

— В нашу лабораторию сна пришел молодой человек, двадцати пяти лет, и попросил, чтобы мы определили, какой характер носят его сновидения.

— И что же снится молодым людям в наши дни? — мягко забулькал директорский бархатный бас.— Неужели не то, что снилось нам?

— Нет, Валерий Николаевич,— твердо, без улыбки в голосе сказал профессор, сразу же уводя разговор в сторону от предложенной директором слегка шуточной тропинки.— Юрию Михайловичу Чернову снится незнакомая планета, которую он называет Янтарной, так как именно этот цвет преобладает там. Юрий Михайлович уверен, что эти сновидения не что иное, как мысленная связь, установленная с ним обитателями этой планеты.

Мне стало зябко, и по спине пробежал озноб. Только сейчас я понял до конца, кем должен выглядеть в глазах нормального человека.

— Гм, гм,— басовито кашлянул директор, и в глухих раскатах его голоса можно было уловить приличествующее случаю сочувствие.— И что же? Нужно ему помочь?

— Да, но речь идет вовсе не о психиатрической клинике. Дело в том, Валерий Николаевич, что идеи Юрия Михайловича не заболевание и не иллюзия.

— То есть? — Голос директора прозвучал чуть строже, словно влажный и мягкий его бас слегка подсушило нетерпение.

Я почувствовал, что изо всех сил сжимаю подлокотники зеленого кресла. Каково же сейчас Борису Константиновичу? Милый, несимпатичный, упрямый и несгибаемый профессор.

— Мы имеем основания считать, Юрий Михайлович не ошибается, что с ним установили связь представители некой внеземной цивилизации.

— Очень мило,— облегченно засмеялся директор.— Я, признаться, не подозревал, уважаемый Борис Константинович, что вы у нас шутник-с...

— Я понимаю вас,— сухо и твердо произнес профессор.— Я полностью отдаю себе отчет в том, какое у вас должно сейчас сложиться мнение обо мне вообще и о моих умственных способностях в частности. Я сам прошел через это, и ваш скептицизм вполне понятен.

— О чем вы говорите, какой скептицизм? — с легчайшим налетом раздражения спросил директор.— Если вы для чего-то решили подшутить надо мной, то при чем тут скептицизм? Помилуйте, уважаемый коллега...

— Валерий Николаевич, я вас не разыгрываю и не шучу с вами. Как вы, возможно, заметили, я вообще не очень склонен шутить. В нашей лаборатории проведены исследования, которые на сто, повторяю, на сто процентов подтверждают вывод, о котором я уже имел честь вам сообщить.

— Да вы что, смеетесь, дорогой Борис Константинович? — В бас директора вплелись негодующие нотки.

— Я не смеюсь. Вы знаете, что за двадцать три года работы в институте я никогда не позволил себе никаких шуточек и никаких розыгрышей. Я повторяю: я не сошел с ума и не шучу. Я прошу вас только выслушать меня.

— Хорошо,— со вздохом сказал директор, и я представил себе, как он откидывается с жертвенным видом в кресле и полузакрывает глаза.

— Мы провели четыре ночных исследования Юрия Михайловича во время сна. Мы получили электроэнцефалограмму, которую дублировали регистрацией БДГ. Вот график быстрого сна испытуемого в первую ночь, во вторую, в третью и четвертую. Обратите внимание, что все периоды быстрого сна начинаются в одно и то же время и продолжаются ровно по пять минут. Вы видели когда-нибудь такую ЭЭГ?

— Довольно странная картина, согласен, но...

— Мы обратили внимание на то, что Юрий Михайлович в отличие от нормы прекрасно помнит все сновидения, во всех деталях и что сновидения последовательно знакомят его с жизнью Янтарной планеты.

— Борис Константинович!

— Прошу прощения, Валерий Николаевич, я еще не кончил...

— Я вовсе не настаиваю, чтобы вы продолжали этот странный разговор...

— Товарищ директор, я заведующий лабораторией. Я пришел к своему директору. Я, наконец, ученый и пришел к коллеге. Выслушайте же меня спокойно...

— Хорошо, Борис Константинович, если вы настаиваете, я, разумеется, выслушаю вас до конца. Но поймите...

— Поймите вы, что я никогда не пришел бы к вам, если не был бы уверен в том, что говорю. Вы думаете, я не представляю, что у вас должно сейчас вертеться в голове? Старый идиот, выжил из ума, этого еще не хватало и так далее...

— Борис Константинович, я, по-моему, не давал вам...

— Я вас ни в чем не обвиняю. Я лишь прошу, чтобы вы спокойно и беспристрастно посмотрели на графики, лежащие перед вами. Как вы видите, интервалы между короткими периодами быстрого сна все возрастают слева направо, от первого периода до десятого. В двух случаях между пятым и шестым циклами появляется еще один дополнительный период. Так вот, пропорция интервалов в точности соответствует пропорциям расстояний от Солнца до девяти планет. Дополнительная же точка между Марсом и Юпитером, которая то появляется, то исчезает, является, по-видимому, космическим кораблем, посланным этой Янтарной планетой. Я обратился к двум математикам с вопросом, какова вероятность случайного совпадения десяти цифр. Такая вероятность исчезающе мала...

Пауза, которая последовала за последними словами Бориса Константиновича, все росла и росла, наконец директор спросил со вздохом:

— Вы хотите уверить меня, что речь идет о телепатической связи между некоей внеземной цивилизацией и вашим испытуемым. Так?

— Так.

— И вы рассчитывали, что убедите меня в реальности такой связи?

— Рассчитывал.— твердо сказал Борис Константинович.

— Но вы же прекрасно знаете, что телепатия — это миф, фикция, выдумки шарлатанов. Для чего возвращаться к этим мифам?

— Это не миф. Перед вами на столе лежит реальность в виде графиков, составленных на основании абсолютно корректных опытов. Опыт повторен четыре раза. Возможность ошибки исключена.

— Вы читали работы, где исследуется вопрос, какова должна быть мощность мозга, чтобы он излучал сигналы, способные достигать мозга реципиента? Нет ни одной известной нам формы энергии, при помощи которой можно было бы передавать телепатическую информацию. На нашем с вами уровне обсуждать вопрос о телепатии — просто несерьезно. Если бы мы с вами были двумя дикарями, тогда, может быть, мы бы могли говорить о подобной чепухе... Не буду скрывать от вас, Борис Константинович, электроэнцефалограмма действительно весьма занятная, спору нет. Но что касается всего остального... Я даже не могу подобрать слов...

— Валерий Николаевич, в вашей приемной сидит наш испытуемый. Я не хотел говорить раньше об этом, но он может продемонстрировать вам те самые телепатические способности, которые, как мы с вами знаем, не существуют.

Оленька с любопытством посмотрела на меня, чуть склонив голову набок, как собачонка, и тяжелые ее русые волосы тоже опрокинулись набок.

— Борис Константинович, вы взрослый человек, и не мне вас воспитывать. Если вы решили пропагандировать телепатию,— это ваше частное дело. Но как сотрудника нашего института, как заведующего лабораторией нашего института я бы попросил вас воздержаться от столь странного хобби. Тем более, что это вовсе не ваша специальность. Вы можете выставлять себя на посмешище, ежели того желаете, но скреплять печатью научного учреждения ваши фантазии — нет, извольте уж, коллега, простить старика. Своим именем и именем института я как-то, знаете, не привык покрывать разного рода... шарлатанство.

— Валерий Николаевич, вы обвиняете меня в шарлатанстве?

— Вы сами себя обвиняете. Спасибо, что избавили меня от столь неприятной миссии.

— Прекрасно, товарищ директор. Допустим, я старый шарлатан. Прекрасно. Благодарю вас. Но вы директор института. Вы ученый. Вы член-корреспондент Академии наук. В пяти метрах от вас человек. Позовите его. Проверьте его. Поймайте нас на шарлатанстве. Неужели вы думаете, я не понимаю вас? Когда Юрий Михайлович впервые пришел ко мне, я тоже ничего не хотел слушать. Я говорил ему о проектах вечного двигателя, которые ни один грамотный человек не будет рассматривать. И все же он убедил меня, потому что знания не должны быть шорами на глазах.

— Не уговаривайте меня, я никогда ни за что не соглашусь участвовать в шарлатанских трюках.

— Но какая же у нас корысть...

— Дело не в корысти. Вы можете быть даже искренне уверены вместе с вашим подопечным в своей честности...

— Благодарю вас, Валерий Николаевич. Это уже большая похвала...

— Оставьте, Борис Константинович. Закончим этот тягостный разговор и давайте забудем, что мы его вели. Мы знакомы лет тридцать, наверное, и я никогда не давал вам повода сомневаться в моем добром к вам отношении.— В директорском басе снова появились очаровывающе бархатные нотки.

Надо было спасать бесстрашного Бориса Констан-

тиновича. Я встал, и Оленька испуганно взглянула на меня.

— Куда вы? — пискнула она.— Нельзя!

Но я уже входил в директорский кабинет.

Директор оказался точно таким, каким я его себе представлял — крупным, седым красавцем, стареющим львом.

— Простите, я занят,— коротко бросил он, удостоив меня одной десятой взгляда.

— Я знаю, Валерий Николаевич, что вы заняты. Я как раз тот человек, из-за которого весь сыр-бор.

Директор откинулся в кресле и внимательно посмотрел на меня. Он был так велик, благообразно красив и респектабелен, что я почувствовал себя маленькой мышкой, которая пришла на прием к коту. Борис Константинович молча хмурил брови. Вид у него был встрепанный и сердитый. И вдруг мне так остро захотелось взорвать неприступную директорскую броню, что у меня зачесалось в голове. И вместе с зудом пришел шорох слов, сухой шорох струящихся мыслей. И мысли директора были такие же солидные и респектабельные, как он сам. Такие же корректные и чисто вымытые. Немолодые, но хорошо сохранившиеся мысли.

«Нелепая история... наваждение... Позвать Оленьку...»

— Вы уверены, что это нелепая история,— сказал я,— вы уверены, что это наваждение. Вы даже хотите позвать вашу прелестную девочку, чтобы она выставила меня вон...

«Чушь какая-то... Цирковой трюк...»

— Теперь вы утверждаете, что это чушь какая-то, цирковой трюк.

Краем глаза я заметил, что суровое, взволнованное лицо Бориса Константиновича тронула едва заметная улыбка, и он неумело подмигнул мне.

— Че-пу-ха! — вдруг выкрикнул Валерий Николаевич, и голос его неожиданно стал выше и пронзительнее.— Жё де сосьете!

— Уверяю вас, это не салонные игры, как вы говорите. Настолько французский я знаю. Я просто слышу, что вы думаете.

«А может быть, проверить? Ловко он это делает»,— пронеслось в голове у директора.

— Конечно, проверьте.

— Что проверить? — вскричал директор.

Его невозмутимая респектабельность исчезала прямо на глазах. Он становился старше и суетливее. Он уже больше не был львом.

— Проверьте, как ловко я это делаю.

— Не смейте! — уже совсем тонким голосом взвизгнул директор.

Прошелестела дверь. Я обернулся. В дверях стояли Оленька и Нина Сергеевна. Я подмигнул им. Я уже не нервничал и не боялся. Веселая, озорная волна подхватила меня. Опьяняющая, радостная невесомость, в которую погружал меня У.

— Что не сметь?

— Не смейте читать мои мысли!

— Да позвольте же, Валерий Николаевич, разве читать чужие мысли возможно? Вы уже полчаса утверждаете обратное. Или вы теперь согласны с тем, что я слышу чужие мысли?

— Я ни с чем не согласен,— уже несколько спокойнее отчеканил директор. Должно быть, Оленька вливала в него силы.— Это элементарный трюк. Цирк. Вы видите мое лицо, вы знаете, о чем идет речь, вам вовсе не трудно догадаться, что я думаю. Я этого, тем более, не скрываю.

Последняя мысль, по-видимому, несколько поддержала директора, потому что он начал снова увеличиваться в размерах, опять заполняя собой вращающееся немецкое креслице.

— Вот именно,— сказал я и почувствовал, что держу аудиторию в своих руках, что рядом со мной Нина, что ее большие серые глаза смотрят на меня с восторгом и ужасом, что, наконец, на меня смотрит длинноволосая Оленька, которая, наверное, и не представляла, что с ее всемогущим шефом можно так разговаривать.

— Вот именно,— повторил я.— Что же может быть проще? Я сейчас выйду из комнаты, вы напишете на листке бумаги какие-нибудь две-три фразы, вложите листок в конверт. Я вернусь в комнату и назову эти фразы. Или не назову их. И все станет ясным.

Все замолчали. И вдруг раздался Оленькин голосок:

— Ой, Валерий Николаевич, сделайте, правда, так!..

Спасибо, Оля.

Директор института пожал плечами.

— Только для того, чтобы покончить с этой нелепой сценой.

Я вышел в приемную, уселся в кресло, в котором уже сидел. Зеленая искусственная кожа на правом подлокотнике лопнула, и сквозь трещинку видна была какая-то набивка. На пишущей Оленькиной машинке все так же лежала открытая книга. Я встал и посмотрел на нее. Биология. Не поступила, наверное, готовится снова.

Я сосредоточился. Надо было отсеять ненужные слова, принадлежавшие Борису Константиновичу, Нине и Оленьке. Убей меня бог, если я мог объяснить, как это делаю.

Я услышал сухой шорох директорских мыслей: «Что бы такое написать? Чтобы покончить с этой комедией... Кто бы мог подумать, что Данилин способен на такое... Не будем отвлекаться... Такое, чтобы он не мог догадаться по ситуации... Такое, что не имеет отношения к этой сцене... Ну-с, например, что-нибудь вроде этого... Наш институт... Нет, это глупо. Нельзя даже упоминать институт в связи с этим шарлатанством... Однако надо что-то написать... Это становится смешно... Они смотрят на меня... Какие-нибудь стихи, может быть? Прекрасно. Что-нибудь школьное, что Оленька знает... «Ты жива еще, моя старушка?» А почему бы и нет? Пишем. «Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет! Пусть струится над твоей избушкой...» Какой там свет? Какой-то там свет. Бог с ним. Достаточно».

Пора. Я медленно вошел в директорский кабинет. Все головы повернулись ко мне. Первый раз в жизни я почувствовал себя артистом. Я закрыл глаза и приложил руку ко лбу. Нельзя же разочаровывать девушку с такими необыкновенными волосами.

— «Ты жива еще, моя старушка?» — начал декламировать я чужим, деревянным голосом.— «Жив и я, привет тебе, привет! Пусть струится над твоей избушкой...» Строка не окончена. Не Есениным, а Валерием Николаевичем.— Я подошел к столу.— Можно конверт?

Директор автоматически взял конверт и протянул его мне. На мгновение мне стало даже жалко его.

— Ольга! — театральным голосом сказал я и протянул конверт Оленьке.— Прошу вскрыть и прочесть вслух.

Словно завороженная, не спуская с меня широко раскрытых глаз, Оленька протянула руки, медленно взяла конверт, открыла его, достала листок, бросила на него быстрый взгляд и громко и явственно сказала:

— Ой!

— Что «ой», дитя мое? — спросил я, самым тще-

славным образом упиваясь и Оленькиным «ое», и едва сдерживаемым торжеством милого Бориса Константиновича, и слабой улыбкой Нины.

— «Ты... жива... еще... моя... старушка»,— с трудом, запинаясь, начала Оленька.

— Смелее, дитя, это же не экзамен.

— Хватит! — крикнул директор.— Я даже не спрашиваю, как вы это делаете. Телепатии не существует...

— Вообще-то, наверное, да, но в этом случае...— начал было Борис Константинович.

— Никаких «наверное», никаких этих и тех случаев. Передача мыслей на расстоянии невозможна...

— Но должно же существовать какое-нибудь разумное объяснение тому, что сейчас наблюдало четыре человека? — спросил Борис Константинович.— Или оно не обязательно?

— Для меня не обязательно! — крикнул директор.— Я не цирковой режиссер, с вашего разрешения. Эффектный трюк, не спорю.

— Значит, вы не изменили своей точки зрения? — спросил Борис Константинович.

— Нет, и не изменю, пока я в здравом уме.

— Благодарю вас за любезность, товарищ директор. Хочу вас предупредить, что вынужден буду обратиться выше...

— Можете обращаться к кому угодно, уважаемый Борис Константинович, но меня от ваших бредней извольте уволить-с!

— С удовольствием! Когда ребенок капризничает, его лучше всего оставить в покое.

Директор сделал глубокий вдох и медленно, со свистом выпустил воздух. Руки его изо всех сил сжимали подлокотники креслица, словно он собирался сделать стойку. Борис Константинович пошел к выходу. Мы — за ним.

Армия отступала, сохраняя боевые порядки.

Глава 14

Уверовавший во что-то скептик — человек, которого остановить нельзя. Борис Константинович бросился на штурм вышестоящих научных инстанций с такой яростью, что стены здравого смысла не выдержали и рухнули. Была создана специальная комиссия, в которую вошли ученые разных специальностей. Комиссия должна была изучить феномен под названием «Юрий Михайлович Чернов».

Жизнь моя окончательно вышла из привычных берегов. Меня подхватили, понесли, закружили какие-то грозно-озорные водовороты. В веселой и странной круговерти мелькали школа, Галя, Нина, Илья. Днем я отвечал на бесконечные вопросы членов комиссии, наговаривал на магнитную пленку содержание своих сновидений, а по ночам спал в лабораториях, опутанный датчиками и проводами.

В комиссию входил астроном Арам Суренович Вартанян, который был уверен, что главную ценность для науки представляют не мои сны, а информация, передаваемая с Янтарной планеты с помощью чередования периодов быстрого сна и интервалов между ними.

Высокий, смуглый и слегка кокетливый, он все время повторял:

— Меня не интересуют ваши сны, Юра. Это все разные там четьи-минеи и прочие толкователи вещих сновидений. Это не наука. Очень мило, очень романтично, очень красиво, но не нужно. Наука начинается с графика. Когда мне показали первые графики вашего сна, я понял: это то. То, чего ждешь всю жизнь, если ты ученый, а не ученый-канцелярист.

Тишайший и нежнейший Сенечка, биофизик лет тридцати, похожий на Иисуса Христа, если не считать земских очков в тонкой металлической оправе, окружал меня по ночам различными экранами, а однажды устроил мою постель в металлической трубе, которую использовали в каком то институте для насыщения тканей больных кислородом.

Два психолога ежедневно терзали меня своими вопросами и тестами, пока я не догадался стравить их друг с другом, и они начали спор, который продолжался уже вторую неделю.

Примерно через день появлялся председатель комиссии академик Петелин. Академик был маленьким, седеньким человечком, в котором постоянно бурлила чудовищная энергия. По-моему, никакой проблемы получения термоядерной энергии не существует — существует проблема академика Петелина. Достаточно узнать, как в таком малом теле генерируется такое фантастическое количество энергии, как энергетическая проблема человечества была бы решена раз и навсегда.

Как только мы слышали за дверью стук палки Павла Дмитриевича, мы непроизвольно улыбались. Павел Дмитриевич влетал в дверь и начинал кружиться по комнате. Казалось, он с трудом удерживается, чтобы не взлететь к потолку. Кружась, он успевал все осмотреть, все спросить, все выслушать, все понять, все запомнить и все решить.

У меня своя теория, почему Павел Дмитриевич сразу поверил в меня, принял результаты первых опытов Бориса Константиновича и согласился стать председателем специальной комиссии. У меня есть серьезные основания подозревать, что старый волшебник тоже мыслит не совсем обычным образом. Сколько раз он смотрел мне в глаза и говорил, о чем я думаю. Не с такой точностью, конечно, как я, но попадание в цель бывало неизменным. Когда я спрашивал его об этом, он заливался мелким, бесовским смешком и подмигивал мне.

— Люди,— говорил он,— в сущности, довольно однообразные объекты, куда однообразнее, чем объекты, скажем, астрономические. А я весьма старый хрыч и неплохо изучил их. Вот вы сейчас, похоже, думаете, что старый хрыч кокетничает...

— Павел Дмитриевич, как вы можете?..

— Ага, попал! Один ноль в пользу академии.— Павел Дмитриевич хитро щурился и спрашивал: — Хотите, я открою вам секрет, как я сделал научную карьеру?

— Хочу, Павел Дмитриевич.

— Прежде всего я по натуре страшный лентяй и бездельник. Да-да, Юрий Михайлович, я не шучу. Но сколько я себя помню — я всегда был человеком энергичным. Энергия, помноженная на лень, дает, как правило, незаурядные результаты. Кроме того, я легко классифицируюсь. Чудак профессор, сумасброд. Это же тип. Клише. Стандарт. А в наш унифицированный век что может быть лучше и приятнее, чем человеческое клише? Не надо думать, кто он и что он, чем дышит и что носит за пазухой. Это как поздравительная телеграмма. Номер три — розочки. Номер семь — голубки на карнизе. Номер десять — чудак профессор. И все рады. Ага, Петелин? Да это же номер десять.

— Павел Дмитриевич, вы меня разыгрываете.

— Конечно, разыгрываю, неужели я буду говорить с вами серьезно? Серьезно я говорю только со своими врагами.

— А у вас есть враги?

— Ученый, у которого нет врагов, не имеет права называться ученым.

— И много их у вас?

— Много, ох, как много! Но знаете, что меня спасает?

— Что?

— Их количество. Враги опасны лишь в небольшом количестве. Когда их становится очень много, они обязательно начинают враждовать друг с другом. А враги твоих врагов — это уже почти друзья.— Академик лихо подмигнул мне и добавил: — А потом вот эта палка! Ну его, думают, мои враги, к черту, еще врежет, старый дурак!

Академик снова раскатывал горох озорного смешка.

И семейная моя жизнь тоже стала какой-то зыбкой и неопределенной. Галя была той же и одновременно другой. То ли это объяснялось недавними нашими размолвками, то ли она никак не могла привыкнуть к мысли, что живет под одной крышей с космическим телепатом — не знаю. Внешне отношения наши были вполне нормальными, но у меня все время было ощущение, что мы идем по тонкому льду. То ли выдержит, то ли треснет. А когда подсознательно ждешь все время зловещий хруст, ты, естественно, напряжен. А напряженное состояние никак не способствует благополучному плаванию семейного корабля.

И с Ниной я продолжал видеться регулярно, так как она и Борис Константинович тоже входили в комиссию академика Петелина. По какому-то молчаливому соглашению мы избегали разговоров на личные темы, но порой мне казалось, что это только этап в наших отношениях, железнодорожный перегон, на котором поезд идет без остановок. Остановки будут, они впереди.

Нина была такой же красивой, как и раньше, а может быть, даже стала еще красивей, и своим обостренным чутьем я начал замечать пылкие взгляды элегантного Арама Суреновича в ее сторону.

В школе, разумеется, ничего не знали о моих делах. Академик Петелин в первый же день, когда собралась комиссия, сказал, что во избежание ненужной шумихи, сенсаций, кривотолков принято решение пока сохранять работу в тайне, и попросил нас соблюдать ее.

Но поскольку мне почти каждый день нужно было куда-то бежать, я то и дело вынужден был переносить свои уроки, отменять классные собрания и избегать наиболее энергичных родителей.

В один из дней наша директриса Вера Викторовна призвала меня к себе в кабинет.

— Садитесь, Юрий Михайлович,— кивнула она мне и принялась перекладывать бумаги на столе с места на место.

Я сел и вопросительно посмотрел на нее.

— Юрий Михайлович, нам предстоит не совсем приятный разговор. Вы догадываетесь о чем?

Я вздохнул шумно и виновато.

— Конечно, Вера Викторовна. И не только догадываюсь, я полностью разделяю мысли и чувства, которые владеют вами.

Суровое лицо директрисы, которого никогда не касалась никакая косметика, начало медленно багроветь, и я подумал, что цвет этот очень идет к ее седеющим волосам, туго стянутым в аскетический наробразовский узел.

— И вы еще позволяете себе...— начала было она, но я ее прервал:

— Я ничего не хочу позволять себе. Я вас прекрасно понимаю и вполне согласен с вами, что Чернов в последнее время очень изменился, причем в худшую сторону.

Вера Викторовна достала из кармана носовой платок и трубно высморкалась. Звук был чистым и сильным. У нее не было никакого насморка, ей просто хотелось выиграть время.

— И что же, вы с этим согласны? — Платок она не убрала, держала в руке наготове, чтобы в случае необходимости снова выиграть время.

— Я уже сказал вам, что полностью разделяю ваши мысли и чувства. У меня сейчас просто в жизни трудный период...— Я на мгновение остановился, чтобы выбрать между несуществующей аспирантурой и несуществующими болезнями, и выбрал аспирантуру.— Я поступаю в аспирантуру...

— В очную?

— Нет, в заочную. Вы представляете, какие это хлопоты, особенно для учителя...

Тонкие губы Веры Викторовны были по-прежнему неодобрительно поджаты.

— Уверяю вас, мне самому неприятно, что я вынужден так маневрировать своими обязанностями. В ближайшее время я надеюсь освободиться...

— Хорошо. Я подожду. Но, надеюсь, вы понимаете, что долго так продолжаться не может...

Это случилось на перемене между первым и вторым уроками. Я сидел на своем обычном шатком стуле между шкафом с математическими наглядными пособиями, ключ от которого был потерян еще предыдущим поколением учителей, и весьма развинченным невысоким скелетом, каждый год терявшим по нескольку костей. На шкафу, как раз на уровне моих глаз, был прибит овальный инвентарный номерок. Семнадцать и тридцать один. Я курил, сосредоточенно смотрел на номер и думал, что более нелепых цифр не придумаешь. Ни на что их не разделишь, а перемножить их в уме я безуспешно пытался уже несколько лет.

И вдруг что-то произошло в моей голове. Я услышал звук включенного, но не настроенного на станцию приемника. Звук тишины, которая вот-вот должна прорваться звуком. Но звука не было. Вместо него в этой гулкой тишине моей черепной коробки начала копошиться какая-то мысль. Даже не мысль, а мыслишка. Нечто крошечное, неясное, но беспокойное. Она все ворочалась, крутилась, не находя себе места, постепенно росла и крепла. Но к сознанию еще не всплывала. Быть может, не обладай я опытом Янтарной планеты, я бы не обратил внимания на свое состояние. Мало ли что у кого зреет в голове — от теории относительности до решения написать анонимку. Но я прислушивался к себе, как больной, ловящий малейшие симптомы. И мысль, наконец, оторвалась от дна подсознания и начала медленно подниматься к поверхности. И превратилась уже в нечто, что я знал и ощущал.

А знал я, что на Земле есть еще кто-то, кто обладает такими же способностями, что и я, и кто связан той же нитью с Янтарной планетой, что и я. Не спрашивайте меня, как я это знал. Я не могу ответить на этот вопрос. Я знал. Я был уверен.

И знание это было приятно. Только в этот момент я осознал до конца, каким одиноким я был до сих пор. Один. Один среди миллиардов, выбранный У. Да, меня окружали люди, которые не отвернулись, поддержали, поверив в невероятное, но они полагались только на мои слова. А слова не могли передать ни гармонии плавных янтарных холмов, которую слышишь, паря над ними, ни полного растворения в братьях в Кольце Зэва, ни гимна Завер-

шения Узора, ни самого цвета Янтарной планеты. Слова были слишком грубым инструментом, не рассчитанным на незнакомый мир. И я был в плену Янтарной планеты, отгороженный от людей стеной пустых слов, которые я пробовал и отбрасывал, убедившись в их слабости, тусклости, сухости.

И вот теперь где-то на Земле объявилась живая душа, и мне не нужно будет слов, чтобы разделить с ней счастье знакомства с народом У. Мне стало так хорошо, так радостно, что я тут же впервые в жизни перемножил в уме семнадцать и тридцать один — волшебные цифры с таинственного инвентарного номерка. Пятьсот двадцать семь — какое прекрасное число!

В кресле сидел математик Семен Александрович. Почему всегда в какие-то очень важные для себя минуты взгляд мой обращается на нашего математика? Милый Семен Александрович, отнимите классный журнал от груди, и тогда с вами тоже случится что-нибудь удивительное. Может быть, вам пронзит сердце стрела Амура, прикинувшегося нашим школьным скелетом, без половины костей? Амур попадет в вас, и вы влюбитесь в нашу директрису Веру Викторовну. А она в вас. И вместо педагогического сурового пучка на голове сделает себе необыкновенную прическу. А вы придете в пестрой модной рубашке с широким галстуком.

Нет, это, к сожалению, была маловероятная картина. Не из-за Амура, нет. Амур — это просто. Но вот пучок Веры Викторовны — тут и трех Амуров было бы мало.

И все-таки мне нестерпимо хотелось приобщить Семена Александровича к счастью. Я подошел к нему.

— Семен Александрович,— спросил я его, чувствуя себя посланцем судьбы,— хотите я открою вам шкаф с вашими усеченными пирамидами?

Математик ушел в глубь кресла и выход из него забаррикадировал классным журналом с чернильной кляксой в правом верхнем углу.

— Э... ключа у нас нет...

— Может быть, закажем новый?

Семен Александрович посмотрел на меня с испугом, будто я предложил ему взорвать школу и ограбить кассу взаимопомощи.

Я подошел к шкафу. Синяя цветная бумага за стеклянными дверцами давно выгорела. Я взялся за ручку и несильно дернул. С печальным скрипом, с которым рушатся легенды, дверца открылась.

— Вот, Семен Александрович,— гордо и великодушно сказал я,— вам подарок. От нас двоих.

Прозвенел звонок, но Семен Александрович не шел на урок. Мелкими шажками он бочком, по-крабьи подходил к шкафу и вдруг коршуном бросился к нему. С блуждающей улыбкой он выхватывал из его пыльных глубин пирамиды и кубы, прямоугольники и параллелепипеды и дрожащей рукой стирал с них густую школьную пыль.

Девятый «А» я не слишком люблю. Брезгливые снобы, делающие мне одолжение уже своим присутствием. Но сегодня и они показались мне милыми.

— Сегодня объявляется однодневный мораторий на двойки в честь выдающегося события, только что происшедшего в нашей школе,— голосом Левитана сказал я.

— Какого? — заверещали девицы девятого «А», славящиеся своим сорочьим любопытством.

— Был открыт шкаф с математическими пособиями.

Девицы разочарованно хмыкнули. Конечно, они бы предпочли объявление о помолвке Веры Викторовны и Семена Александровича, но, увы, этого я им предложить не мог.

Из школы я пошел домой пешком. Потеплело. Снег весь растаял, шел мельчайший дождь. Даже не дождь, а водяная пыль. И никуда она не шла, а висела в воздухе. Две малышки, пританцовывая, промчались мимо меня. С портфельчиками на спине, с косичками, висящими из-под шапочек. А почему бы и мне не пойти пританцовывающим шагом?

Я зашел в булочную, купил наш дневной хлебный рацион, захватил из овощного магазина пакет картофеля и дома принялся разогревать себе обед.

И вдруг снова гулкая тишина в голове. Ожидание, что я не один. И что тот второй знает, что есть я. Неважно, знает ли он, кто я и где я, но он знает, что я есть. Я в этом уверен так же, как и в том, что тот второй знает о Янтарной планете. Уверен, знаю.

Я посмотрел на часы. Уже четыре. В пять часов на комиссию должен прийти Павел Дмитриевич.

Я не стал мыть посуду и помчался в институт, где нам было выделено две комнатки.

— Павел Дмитриевич,— сказал я, когда он влетел в дверь ровно в пять ноль-ноль,— произошло еще одно событие.

Все повернулись ко мне, а председатель комиссии вкусно облизнулся, словно предвкушая что-то интересное.

— Что же, Юрий Михайлович?

— Сегодня я узнал, что на Земле есть еще один человек, который, как и я, принимает сигналы с Янтарной планеты.

— Где он? — Павел Дмитриевич сделал видимое усилие, чтобы не взлететь со стула вверх.

— Не знаю.

— Откуда же вам известно о его существовании?

— Я получил сигнал. Я просто понял, узнал, что такой человек есть. Если вас интересует, я могу даже точно назвать вам время. Так... Это произошло на перемене между первым и вторым уроком, значит, было это примерно в девять двадцать, девять двадцать пять.

— Какого рода сигнал? — спросил Арам Суренович и почему-то взглянул на Нину, сидевшую у окна.

— Не могу сказать вам точно. Такое ощущение... будто включили приемник, а на станцию не настроили. Тишина, которая таит в себе звук, так, что ли. Гулкая тишина. И какая-то копошащаяся мыслишка. Неясная, и сразу знание. Уверенность.

— Четкая? — застенчиво спросил биофизик Сенечка.

— Что четкая? Уверенность? Абсолютно. Как таблица умножения.

— А что, кто, где? — спросил Павел Дмитриевич.

— Ничего не знаю. Знаю только, что такой человек существует, что он знает обо мне. И все.

— Ах, как было бы хорошо найти его! — вздохнул председатель комиссии.— Представляете, что бы это значило? Если и этот человек получает информацию в форме сновидений и если эта информация совпадает с той, которую получает Юрий Михайлович, это значит, что отпадают последние сомнения в существовании такой информации.

— Мы бы посмотрели тогда, как запищали бы скептики вроде Ногинцева! — мечтательно сказал Борис Константинович.

— Ногинцев пищать не может,— сказал Павел Дмитриевич.— У него бас.

— Пускай пищит басом,— предложил Арам Суренович и победно посмотрел на Нину.

— Мы смогли бы опубликовать свои работы,— стыдливо пробормотал биофизик Сенечка и, чтобы не видеть собственного смущения, снял свои земские очки в металлической оправе.

Почему я мысленно называл его очки земскими, объяснить не могу. Земская управа, земский врач, врач Чехов. Не знаю.

— Пока об этом не может быть и речи,— отрубил Павел Дмитриевич и поставил точку, стукнув палкой об пол. Точка получилась мягкая, наконечник на палке был резиновый.— Не может быть и речи! Это было одним из условий при организации комиссии, и я с ним полностью согласен. Вы представляете, какой шум начался бы? Нашего Юру разорвали бы на кусочки. А он нам пока нужен целиком... Послушайте, а то, что есть человек, знающий о Янтарной планете, и что этот человек знает о вашем существовании, вам стало известно сразу?

— Нет. Сначала я узнал о его существовании, а потом, уже около четырех часов, когда я собирался выйти из дому, я получил второй сигнал.

— Характер тот же, что и утром?

— Вы имеете в виду субъективные ощущения? Да. Такие же, как и утром.

— Будем надеяться, что Юра сможет уточнить информацию. Это было бы просто замечательно...

— Ногинцев...— начал было Борис Константинович, но Петелин оборвал его:

— Что-то я не пойму, друзья мои, чем мы здесь заняты. Выяснением, не осуществился ли первый контакт с внеземной цивилизацией или утиранием носа уважаемому Валерию Николаевичу Ногинцеву?

— Одно не исключает другого, Павел Дмитриевич,— сказал Арам Суренович.

— Вы правы, дорогой мой,— улыбнулся председатель комиссии.— Если в малом великое найти нелегко, в великом малое, как правило, можно обнаружить без особого труда. Так, Борис Константинович? Карфаген должен быть разрушен. Ногинцеву должен быть утерт нос?

— Должен! — с яростной уверенностью мстителя кивнул Борис Константинович.

— Ого, темперамент, однако, у вас! Не хотел бы я быть на месте вашего директора института и иметь такого сотрудника, как вы... Друзья мои, мне кажется, что сегодня Юрия Михайловича нужно отпустить с миром. Может быть, в спокойной обстановке он быстрее получит какую-нибудь дополнительную информацию о своем коллеге... Ах, как было бы хорошо найти его! Вы только подумайте, что бы это дало нам! Прямо дух захватывает, а у меня, у старого хрыча, дух захватить нелегко, поверьте мне... Юрий Михайлович, если что-нибудь прояснится, звоните мне тут же, в любое время суток.

Глава 15

Почти две недели я ничего нового рассказать Павлу Дмитриевичу не мог. В один прекрасный вечер в начале декабря Вася Жигалин зазвал нас поиграть в преферанс. Должен был прийти и Илья Плошкин.

На столе уже лежал расчерченный листок с магическими цифрами в центре: пулька до пятидесяти, по одной копейке. Галю услали смотреть по телевизору встречу по водному поло, а мы уселись за круглый стол.

— Мужики,— вдруг сказала жена Васи,— а ведь Юрочка обдерет нас как липку.

— Это почему ж? — спросил Илья.

— Да потому, что он читает наши мысли и знает наши карты.

— Спасибо, мать,— растроганно сказал Вася,— а у меня и из головы выскочило.

— Точно,— кивнул Илья.— Разденет. Он такой. Олигофрены, они хитрые!

— Как хотите,— сказал я.— Я совсем забыл. Вы же знаете, я начинаю читать мысли, только когда сосредоточусь.

— Ну, конечно. А я вот прошлый раз сосредоточилась, и мне впаяли четыре взятки на мизере.

— Ты, мать, лучше не сосредотачивайся,— ласково сказал Вася,— это к добру не приводит.

Валентина густо кашлянула, повела могучими плечами, и Вася сразу сжался и затих.

— Ладно,— сказал я,— не хотите — не надо. Буду нести свой тяжкий крест. Играйте, выигрывайте, проигрывайте свои имения, погружайтесь в пучину разврата, а мы с Галей поехали домой.

— Нет, вы с Галей не поедете домой. Галя будет смотреть, как топят друг друга «Спартак» и «Динамо», а ты спокойненько, не спеша приготовишь ужин.

— А полы натереть не нужно? — деловито спросил я.— Или отциклевать? Я из тимуровской команды...

И в этот момент я услышал уже знакомую мне гулкую, набухшую еще не родившимися звуками тишину. Я замер и закрыл глаза.

— Юрка,— услышал я голос Ильи,— тебе плохо?

Скрипнул отодвигаемый стул. Я махнул рукой.

— Не обращайте на меня внимания. Все в порядке. Просто устал.

— Честно? — басом спросила Валентина.

— Честно, Валюша, не беспокойся.

Я снова закрыл глаза. Тишина все нарастала и нарастала. Она гудела во мне, заполняла меня всего, но никак не могла вылиться в слово, в образ, в мысль, в знание.

И вдруг в голове у меня зажглась фраза.

Коротенькая английская фраза: «Спасибо, мисс Каррадос». И гулкая тишина в моей голове исчезла, погасла, словно приемник выключили.

Мисс Каррадос. Что такое мисс Каррадос? Кто такая мисс Каррадос? Связана ли она как-то с моим двойником, к которому, как и ко мне, протянулась с Янтарной планеты тонкая ниточка сновидений?

Тишина и ощущение ожидания были теми же, что и тогда в школе, когда я сидел между шкафом и скелетом. Но на этот раз я прочел фразу. Именно прочел. А может быть, все это мне только почудилось?

Ночью впервые за долгое время я видел вполне земной сон. Мне снился какой-то заграничный город. Я хотел догадаться, что это за город, но почему-то не мог никого спросить.

Я шел по небольшой улочке и слышал английскую речь, но понять, о чем говорят, не мог. И не потому, что не понимал слова и фразы, а потому, что они сливались. И я все старался расслышать, что же все-таки говорят прохожие, и не мог. Я напрягался, вытягивал шею — и не мог разобрать ничего.

Улочка, по которой я шел, была застроена одно- и двухэтажными домиками. На одном из более крупных зданий была вывеска. Я знал, что мне ее обязательно нужно рассмотреть, но почему-то не мог подойти поближе. На вывеске, небольшой медной табличке, как будто было слово «банк». Да, четыре буквы. «Банк». Очень похоже на «банк». А

вот какой банк... Я даже мог пересчитать буквы Их было семь, и первая... Первая была очень похожа на букву «к» в слове «Банк».

И больше я ничего не мог понять. Я проснулся с ощущением, что не сумел сделать того, что должен был. Я лежал в темноте, и незнакомая улочка, которую я только что видел, снова проплывала у меня перед глазами. Нет, это был не простой сон. Яркость картины, насыщенность деталями были такими же, как и янтарные сны. Но это была Земля. Люди говорили по-английски, я был в этом абсолютно уверен. Эх, если бы я мог прочитать название банка...

Павел Дмитриевич пришел в неописуемое волнение, когда я позвонил ему утром. Голос его дрожал от возбуждения.

— Приезжайте к десяти,— сказал он.

— Павел Дмитриевич,— взмолился я,— меня выгонят из школы. Меня уже вызывала директриса.

— Я возьму вас в свой институт. Старшим лаборантом.

— Спасибо, Павел Дмитриевич. Меня уже звали лаборантом, сторожем и завхозом. Но я хочу преподавать английский язык. Или в крайнем случае циклевать полы.

— Вы будете циклевать полы в моем институте. Вам их хватит на всю жизнь. А вообще-то... Знаете что, так, пожалуй, даже будет лучше. Банк. Кто все знает за заграничные банки, как когда-то говорили в Одессе? Финансисты. Это мысль. В четыре часа.

Я пришел без десяти четыре, а без двух минут четыре в комнату ворвался Павел Дмитриевич, погоняя перед собой вальяжного молодого мужчину с элегантным плоским чемоданчиком в руках. На пухлом, гладком лице его застыло изумление.

— Это товарищ Рыженков,— сказал Павел Дмитриевич.— Я выкрал его прямо с работы.

Выкраденный Рыженков виновато улыбнулся. Должно быть, он не привык иметь дело с людьми типа Павла Дмитриевича.

— Товарищ Рыженков постарается помочь нам в определении национальной принадлежности банка, который видел Юрий Михайлович.

Товарищ Рыженков вытащил сигареты и вопросительно посмотрел на Павла Дмитриевича.

— Никаких сигарет, дорогой... как вас прикажете величать? А то «товарищ Рыженков» слишком официально.

— Никита Алексеевич.

— Так вот, дорогой Никита Алексеевич, спрячьте ваши сигареты. Курить будете, когда определите банк. И чем быстрее определите, тем быстрее закурите. Такой стимул вас устроит? Наполеон, как известно, запрещал своим помощникам ходить в уборную, пока они не управятся. Я не Наполеон и заменил туалет табаком.

Специалист по банкам несмело улыбнулся. Он никак не мог понять, куда он попал и что от него хотят. Он спрятал сигареты в карман и сплел перед собой пальцы рук, изображая готовность и внимание. Руки у него были такими же чистыми и пухлыми, как и лицо. И обручальное граненое кольцо тоже было новеньким и блестящим.

— Ну-с, начнем, друзья мои. Никита Алексеевич, вы эксперт. Берите бразды правления в свои руки. Задавайте вопросы. Юрий Михайлович опишет вам все, что смог увидеть.

Эксперт слегка развел руками. Жест извинения.

— Ну, что ж, начнем, как говорится, с самого начала. Юрий Михайлович, о какой стране идет речь?

— Это-то мы как раз и пытаемся выяснить,— сказал Павел Дмитриевич.

— Простите... гм...— На лице специалиста по банкам появилось удивленное выражение.— Я понял, что... Юрий Михайлович видел какой-то банк...

— Совершенно верно,— сказал Павел Дмитриевич, сердито пристукнул по полу палкой и нетерпеливо задергался на своем стуле — вот-вот взлетит.— Я вам об этом уже говорил.

— Я понимаю, я понимаю,— торопливо кивнул Никита Алексеевич, и было видно, что он привык бывать на совещаниях, где лучше всего было соглашаться во всем.

— Прежде всего речь идет о стране, в которой говорят по-английски,— сказал я.

Никита Алексеевич что-то записал в такой же аккуратной и пухлой книжечке, как весь он.

— Я видел медную табличку. Слово «Банк» я смог рассмотреть, а вот само название...

— Вы входили в банк?

— Юрий Михайлович... гм... не совсем был там,— сказал Павел Дмитриевич.— Я думаю, не в этом дело, и мы не будем этим заниматься.

— Я понимаю, понимаю,— закивал эксперт. Удивительное дело, как только он окончательно потерял всякое представление, что происходит, он успокоился, и на розовом его личике появилось деловое, будничное выражение.

— Само слово «Банк» было написано по-английски? Вы знаете английский?

— Да. Безусловно по-английски. Би-эй-эн-кей.

— Понятно. А сколько слов до или после слова «Банк»?

— Одно слово перед словом «Банк».

— Одно? Без артикля в самом начале?

— Без. Я насчитал в нем семь букв. Так по крайней мере мне показалось.

— Понимаю, понимаю. Английский язык. Семь букв...— Никита Алексеевич закрыл глаза. Губы его что-то беззвучно шептали.

— Я не уверен на сто процентов,— сказал я,— но мне показалось, что первая буква первого слова похожа на последнюю букву слова «Банк». То есть английское «кей». Теперь, когда мы заговорили об этом, мне даже кажется, я понимаю, почему обратил внимание именно на букву «кей».

— Почему же? — спросил эксперт.

— У нее в обоих случаях была очень высокая вертикальная палочка.

— Понимаю, понимаю,— кивнул эксперт, полез в карман и вытащил сигареты.

— Мы же договорились, молодой человек,— сердито сказал Павел Дмитриевич.

— Да, да, конечно,— поспешно согласился Никита Алексеевич, но сигареты не убрал и даже вытащил из пачки сигарету, выбив ее элегантным щелчком.— Киферс. Банк Киферс. Средний провинциальный банк в Шервуде. Капитал на первое января прошлого года составлял двести двенадцать миллионов. Сорок два отделения. Президент Джеймс Перси Аллейн.

— Шервуд? — переспросил Павел Дмитриевич.

— Шервуд,— кивнул Никита Алексеевич.— Вы разрешите?

— Что?

— Курить?

— Конечно, о чем вы говорите.. А вы в этом уверены?

На пухлом лице эксперта промелькнула едва заметная улыбка превосходства.

— Вполне.

— В слове «Киферс» шесть букв, а не семь... Хотя, может быть, после «кей» идут две буквы «дабл и»?

— Совершенно верно.

мисс Каррадос

Павел Дмитриевич взлетел со своего места, пожал руку эксперта и выпроводил его из комнаты.

— А знаете, Юрий Михайлович, я даже рад, что ваша мисс Каррадос живет в Шервуде. У меня там есть коллега, с которым у меня недурные отношения. Я был у него дважды. В прошлом году он приезжал в Москву. Старик чудаковат, но честен и услужлив. Гм... конечно, просьба моя должна будет показаться ему безумной. Узнать, не проводят ли в Шервуде экспериментов с некой мисс Каррадос по установлению контактов с внеземной цивилизацией. Гм... Но, с другой стороны, если действительно такие эксперименты проводят, без него не обойтись. Он такой...

— А если мисс Каррадос действительно существует, но никаких опытов никто с ней не проводит? — спросил я испуганно. Я поймал себя на том, что уже начинаю волноваться за судьбу мисс Каррадос.

— Тогда старик Хамберт ответит мне, что я рехнулся.

— А сколько лет вашему Хамберту?

— Он всем говорит, что семьдесят четыре, но, по-моему, ему сильно за восемьдесят. Сильно. Сумасшедший старик, но дело с ним иметь — одно удовольствие.

Через три недели, когда я начал уже потихоньку забывать о мисс Каррадос и банке Киферс, во время урока дверь класса приоткрылась, и в щель просунулась совсем детская мордочка.

— Простите,— пропищала мордочка.— Вы Юрий Михайлович?

— Я, прелестное дитя. А ты кто?

— Я Штыканов Сережа. Вера Викторовна велела вам срочно прийти к ней в кабинет.

Мордочка исчезла, а я посмотрел на ребят.

— Ребята, чтоб без шума. Идет?

— Идет, Юрий Михайлович,— довольно загалдели ребята,— только вы не торопитесь...

— Здравствуйте, Вера Викторовна,— сказал я, входя к ней в кабинет.

— Добрый день,— сурово сказала она.— Садитесь и пишите.

— Уже?

— Что уже?

— Заявление об уходе?

— Не понимаю ваших шуток, Юрий Михайлович. Садитесь и пишите заявление о том, что просите отпуск на месяц без сохранения заработной платы.

— Я?

— Вы.

— А зачем?

— А вы ничего не знаете?

— Нет.

— Действительно не знаете?

— Нет.

— Мне позвонил академик Петелин и сказал, чтобы вам срочно оформили отпуск на месяц и дали характеристику для выезда за границу.

— Мне?

— Вам. Я решила, что все это глупые шутки. Чтобы академик Петелин звонил к нам в школу... Я извинилась на всякий случай и сказала, что на основании только телефонного звонка не могу и так далее. Это человек начал кричать и бросил трубку. Через пятнадцать минут позвонили из районо. Сама Клавдия Васильевна. И повторила просьбу насчет вашего отпуска. А потом — из райкома. Насчет характеристики. Чтобы сегодня же привезли им. Я, конечно, сказала, что не возражаю... Но в середине учебного года...

— Клянусь, Вера Викторовна, это не моя инициатива. Я, конечно, догадываюсь, о чем идет речь, но я и думать не мог...

Вера Викторовна посмотрела на меня неодобрительно, но с уважением.

— А что все это значит? — спросила она.

— Да так... Гм... Ну, как вам сказать?.. Понимаете, просто подвернулась туристская поездка...

— И поэтому звонят из райкома, чтобы сегодня же привезли им вашу характеристику? Юрий Михайлович, может быть, кое-кто в школе считает меня человеком несовременным...— Вера Викторовна обиженно поджала губы.— Но я не настолько глупа, чтобы ничего не понимать. Что же делать, поезжайте и постарайтесь не уронить честь нашей школы.

Повинуясь какому-то импульсу, я взял руку Веры Викторовны в свою, нагнулся и поцеловал.

Она посмотрела на меня безумным взглядом. Она было открыла рот, чтобы что-то сказать, но тут же снова закрыла его.

Веселый, сумасшедший вихрь подхватил меня. Я ничего не боялся. Все было возможно.

— Вера Викторовна,— пропел я,— я люблю вас, потому что вы замечательная женщина.

Когда я, пританцовывая, выпархивал из ее кабинета, я заметил, что директриса изо всех сил трет себе ладонью лоб.

Глава 16

Я позвонил Павлу Дмитриевичу, и, когда он ответил, трубка ударила меня током — так он был заряжен.

— Немедленно! — кричал он.— Все документы мне!

— Какие документы?

— Приезжайте, заполните все на месте. Мы летим послезавтра. До свидания, мне некогда.

— ...Мы летим послезавтра, мы летим послезавтра, мы летим послезавтра,— повторял я, как пластинка со сбитой бороздкой.— Мы летим послезавтра.

На мгновение мне стало стыдно. Я сяду в самолет, изображая на своем лице равнодушие много повидавшего путешественника, а Галя останется здесь. И Нина останется здесь. И Илья, и Вася, и Валентина. И Вера Викторовна, и Семен Александрович.

Хотя Семен Александрович сейчас все равно не смог бы расстаться с только что открытым своим шкафом...

Я позвонил Нине.

Да, конечно, она знает. Да, конечно, она желает нам успеха.

— Нина,— сказал я,— в шесть часов у выхода. Можно, я вас подожду?

— Нет, Юра, не нужно.

— Почему?

— Не нужно.

— Но почему? Я хочу попрощаться с вами.

— Не нужно, милый Юрочка. Вы очень хороший человек, и вы будете чувствовать себя неловко, потому что уезжаете, а я остаюсь. Потому что вы переполнены предстоящей поездкой, а я в вашем представлении остаюсь в печали и одиночестве. И, наконец, вам будет неудобно, потому что вы чувствуете какие-то несуществующие обязательства по отношению ко мне.— Нина вдруг рассмеялась.— Я

права? Вот видите, а то только вы читаете мои мысли.

— Нина, я...

— Не нужно, Юрочка. Вы милый, а поэтому молчите. И всего вам наилучшего. Мы все уверены, что все будет хорошо.

Я помчался в институт к Павлу Дмитриевичу. Самого его не было, но степенная секретарша удивительно домашнего вида достала из стола папочку и протянула ее мне.

— Павел Дмитриевич просил, чтобы вы все заполнили. Садитесь вот здесь.

Только я успел написать свой год рождения, как вихрем влетел Павел Дмитриевич. Седые его волосы стояли дыбом. Мелкие предметы кружились вокруг него. Он втянул меня в свой кабинет.

— Старик Хамберт нашел-таки мне мисс Каррадос. Ему это было нетрудно. Он сам принимает участие в опытах с ней. Финансирует фонд Капра. И у них решено пока не сообщать ни слова. Хамберт нисколько, оказывается, не был удивлен. Лина Каррадос тоже узнала о вашем существовании.

— А почему мы едем туда, а не они к нам?

— Потому что мисс Каррадос наотрез отказалась. У нее тяжело больна мать. Поэтому они пригласили нас. Вот уже билеты.— Павел Дмитриевич вытащил из кармана две длинненькие книжечки с красным флажком Аэрофлота.— Никто не мог бы добиться разрешения на нашу поездку за такой срок. Только старик Петелин. Каково, а? — Павел Дмитриевич нескромно засмеялся.— Всесоюзный рекорд! И знаете, Юра, почему люди идут мне навстречу? Не знаете? Я открою вам свой профессиональный секрет. Я требую настолько невозможные вещи, что люди просто поражаются. Поражаются и в состоянии транса делают. Вы представляете, что значит получить за три дня все разрешения, документы и даже визы в посольстве? А-а, то-то. Чиновник в посольстве настолько был изумлен, что раз пять переспросил меня, когда мы едем. «Да,— говорит он,— наши страны, конечно, сотрудничают, у нас много совместных научных программ, но чтобы оформить визы за трое суток — это неслыханно». «Ладно,— сказал я ему,— так и быть. Я согласен не на трое суток, а на двое. И учтите,— говорю я ему,— что вы становитесь на пути научных контактов, и мистер Хамберт, и фонд Капра, и вся ваша наука, не говоря уже о нашей, вам не простят, и вы никогда не будете избраны почетным академиком за заслуги в области быстрого оформления виз ученым». И знаете, Юра, за сколько хитрец оформил визы? За сутки. А сейчас не мешайте, у меня тысяча дел.

— Я вам не мешаю, Павел Дмитриевич, это вы учили меня, как жить вообще и добывать визы в посольстве в частности.

— Юрий Михайлович,— строго сказал Петелин,— в моем возрасте трудно переучиваться, а поэтому приходится всегда считать себя правым. Это удобнее, дорогой мой.

— Вы меня развращаете, Павел Дмитриевич,— совершенно серьезно сказал я, продолжая играть роль бесстрашного и наивного правдолюбца,— вы учите меня цинизму.

— Ах, Юра, Юра... Ваше счастье, что ваши друзья с Янтарной планеты выбрали почему-то именно вас. А то сколько есть молодых и не очень молодых людей, которые не спорят со старыми академиками, а соглашаются сразу, всегда и во всем.

— Я постараюсь,— сказал я и виновато повесил голову.

— То-то же. А сейчас выматывайтесь, мой юный друг, и не мешайте мне. На этот раз я не шучу...

— Жена,— сказал я Гале, как только она вошла в квартиру.—Я должен покинуть тебя. Послезавтра я улетаю.

— Ну-ну, хлеб купил или мне сходить?

— Я серьезно. Послезавтра я улетаю с академиком Петелиным в Шервуд.

Галя замерла на мгновение. Она наполовину сняла пальто, и оно висело у нее на одном плече. Обрадуется или обидится, что без нее?

— Ты шутишь.

— Нет. Честно.

Прыжком в длину с места Галя бросилась мне на шею. Пальто, развеваясь, полетело за ней вдогонку. Поцелуй с разгона был стремителен и точен. Она попала мне прямо в нос.

— Юрка, правда?

— А ты все говорила, что я тюфяк и не умею устраиваться. Кто завел блат на Янтарной планете? Юрий Михайлович Чернов. Всех обошел. Тихий-тихий, а как до дела — пожалуйста, вот он я.

— И ты прямо полетишь в Шервуд?

— А как ты хотела,— важно сказал я,— через Сокольники?

— Ой, Юраня, это же... это же...

— Конечно, это же.

— А что привезешь? Пончо ярко-синее. Замшевый брючный костюм...

— Пончо, а может быть, и ранчо.

— Ты все смеешься.

— Это я от серьезности. Смех — признак подлинной серьезности.

— Не болтай, Юрка... Как я за тебя рада, дурачок ты мой...

«Маленькая, глупая Люша,— подумал я,— как я мог только представить, что смогу жить без тебя».

— Люш, я понимаю, как тебе захочется завтра же так небрежно бросить между делом в институте: «Мой Юрка обещал привезти мне из Шервуда пончо. Знаете, девки, на Западе сейчас женщины просто помешаны на пончо. Практически не вылезают из него. Даже ночью». Так вот, к сожалению, тебе придется пока обождать с балладой о пончо.

— Почему?

— Потому что в Шервуде, как и у нас, решено пока не разглашать опыты. И едем мы с Петелиным по частному приглашению профессора Хамберта. Петелин — в качестве Петелина, я — в качестве его переводчика.

В глубине души я все-таки не верил, что мы летим. Не верил даже тогда, когда мы ехали с Галей в Шереметьево. Не верил, когда увидели на Ленинградском шоссе огромный указатель «Шереметьево-I», не верил, когда на дороге замелькали рекламные щиты Внешторга, не верил, когда наше такси остановилось около длиннющей машины с дипломатическим номером, из которой вылезла сказочной красоты негритянка в расшитой дубленке.

И только в самом аэропорту я начал подозревать, что, может быть, все это реальность, а не фантазии.

Петелина еще не было, и мы стояли около газетного киоска и молчали, потому что говорить нам обоим не хотелось.

Смуглая женщина вела за собой целый выводок смуглых ребятишек. Они шли за ней, как гусята, торопливо переваливаясь на коротких ножках. Последний, самый маленький, тащил на веревочке зеленого крокодила на колесиках. Крокодил, чем-то неуловимо напоминавший крокодила Гену, то и дело переворачивался на спину, и мне стало жалко его.

Молодая красивая женщина держала на руках одетую в шубку девочку, наклоняя ее к дипломатического вида мужчине, по всей видимости, отцу. Девочка, однако, дипломата целовать не хотела, а порывалась броситься за поднявшим вверх колесики крокодилом.

Напротив нас стояла группка наших спортсменов. Все были молоды, загорелы — наверное, прямо со сборов где-нибудь в Сухуми,— все в одинаковых синих пальто, и все смеялись. Наверное, рассказывали анекдоты.

Я вдруг почувствовал себя старым, мудрым и печальным. Впрочем, печаль моя была легка и тут же упорхнула, потому что, напомнил я себе, мы летим с Павлом Дмитриевичем в Шервуд и потому что мимо нас шли две стюардессы неземной элегантности и красоты и несли с собой обещание новых стран и новых впечатлений.

— Юрка,— сказала Галя,— если ты будешь так смотреть на всех красивых женщин, ты заставишь плакать маленьких детей.

— Почему?

— Потому что у тебя отваливается челюсть, и ты становишься похож на паралитика.

— Ладно,— сказал я со вздохом.— Не буду. Не хочу быть паралитиком.

— Что не будешь? Смотреть?

— Нет, открывать рот. А вот и Павел Дмитриевич идет.

Петелин стремительно надвигался на нас в сопровождении молодой женщины и мужчины лет сорока шоферского обличья.

— Неужели это жена? — успела шепнуть Галя.

— По-моему, жена и шофер.

Мы начали здороваться, и Павел Дмитриевич сказал:

— Знакомьтесь. Это моя внучка Леночка, а это ее папа и, стало быть, мой сын Владимир Павлович.

В этот момент страстный женский голос, усиленный динамиками, интимно прошептал на весь зал, что начинается регистрация пассажиров, вылетающих в Шервуд. Это было удивительно. И время вылета совпадало с тем, что было указано в наших аэрофлотовских билетах в виде книжечек, и номер рейса. Мираж не исчезал. Динамики прошептали все тот же призыв, теперь уже по-английски, и поблагодарили в конце с таким трепетом в голосе, что челюсть моя снова отвалилась бы, если бы не жена рядом со мной.

Мы попрощались легко и весело, как подобает старым путешественникам, слегка усталым глобтротерам, исколесившим, излетавшим и истоптавшим весь земной шар. Рио-де-Жанейро? Что вы, разве это интересно? Вот на прошлой неделе в Дар-эс-Саламе я...

Молоденький пограничник, пахнувший одеколоном, внимательно рассмотрел наши паспорта, потом улыбнулся и открыл турникет. Ветер дальних странствий уже гудел в моей голове, и она, моя бедная голова, кружилась оттого, что я напускал на себя серьезный и небрежный вид. Если бы они только знали, что я лечу за границу первый раз в жизни и мне хочется визжать от возбуждения и теленком носиться по залу ожидания!..

Мое место в огромном вблизи «ИЛе» оказалось у самого окна, и я снова поблагодарил судьбу, потому что я люблю смотреть из окошка самолета. Мы взлетели, и белые облака внизу казались такими плотными, такими похожими на огромную заснеженную равнину, что я начал искать глазами лыжников. Не может быть, чтобы в такой погожий день по такому свежему снежку, вобравшему в себя розоватость от зимнего солнца, не тянулись цепочки лыжников. Но лыжников не было.

Над вытянутым овальным окошком я заметил какую-то ручку и слегка нажал на нее. Опустилась синяя пластмассовая шторка, и снежная долина под нами окрасилась в густо-голубой цвет.

Погасли транспаранты с вечным наказом не курить и застегнуть привязные ремни. Павел Дмитриевич вытащил из кармана сигареты и предложил мне одну.

— Вы знаете, Юра,— сказал он,— я уже давно никуда не стремился с таким нетерпением, как сейчас в Шервуд. И знаете, почему? Мне не терпится познакомиться с тем, что они узнали о вашем народе У. Что это за цивилизация, на каком уровне развития они находятся? А то ведь ваши рассказы словно подернуты дымкой какой-то... Вы не обижаетесь?

Я сказал, что не обижаюсь, и посмотрел на часы. Одиннадцать часов утра. Вот-вот начнется перемена после третьего урока. Мария Константиновна смотрит в одну из своих крохотных записных книжечек и зоркими глазами профорга высматривает злостных неплательщиков профвзносов. Семен Александрович не спускает взгляда с обретенных сокровищ открытого мной шкафа. А кто же, интересно, сидит на моем месте рядом с нашим милым старым скелетом? И кто пытается перемножить в уме цифры на старом добром инвентарном номерке? И справляется ли Раечка с моими головорезами? И не отвергнет ли прекрасная Алла Владимирова дружбу проснувшегося Сергея Антошина?

Я, должно быть, вздохнул так озабоченно, что Павел Дмитриевич бросил на меня участливый взгляд и спросил:

— Что, Юрий Михайлович, так тяжко вздыхаете? Устали от жизни?

— Нет...

— И зря. Надо устать от жизни смолоду, а потом уже отдыхать. Вот я, например...

Я засмеялся.

— Что вы смеетесь?

— Это вы-то отдыхаете?

— А почему нет? — обиженно спросил Павел Дмитриевич.— Вот сейчас, например...

— Сейчас вы привязаны к креслу... По-моему, это единственный способ удержать вас на месте.

— Смотрите, Юрий Михайлович, я ведь могу и не взять вас старшим лаборантом. Почтительности в вас мало.

— А я из школы уходить не собираюсь.

— Как же вас там терпят? Учителя тем более должны быть почтительны к начальству.

— С трудом, наверное, терпят...

Павел Дмитриевич задумчиво сморщил нос и сказал:

— Юра, а почему все-таки вы мне так нравитесь? Это же противоестественно. Вы недостаточно почтительны, спорите, дерзки, независимы в суждениях, и из-за вас происходит одно из крупнейших событий в жизни человечества. А у меня в институте столько молодых людей, которые так прекрасно почтительны, с таким искренним жаром уверяют меня, что я всегда прав, и суждения и мнения которых всегда странным образом совпадают с моими.

Я захихикал, и Петелин сказал:

— Вот видите, и смех у вас несолидный. И дым вы выпускаете кольцами, а я не могу. Всю жизнь пытался научиться — и не смог. Может быть, я и академиком стал, чтобы хоть как-то компенсировать этот недостаток. А у вас, поглядите, какие кольца. Изумительные, первосортные, в экспортном исполнении.

Мне захотелось утешить старика.

— Павел Дмитриевич, вы не огорчайтесь. У меня тоже есть недостатки. Один мой близкий друг твердо установил, что я олигофрен.

— Олигофрен — это слишком общее понятие.— Павел Дмитриевич с интересом посмотрел на меня.— А точнее диагноз он не поставил?

— Как же, поставил. Он нашел у меня симптомы идиотии, общей дементности, дебильности и имбецильности.

— Очень, очень интересно. А кто ваш друг по профессии?

— Вообще-то он филолог, но работает в области технической информации.

— Передайте ему, что у него прекрасный глаз.

Павел Дмитриевич подмигнул мне и засмеялся. Удивительное дело, подумал я, почему судьба посылает мне таких замечательных людей? Чем я заслужил это?

Ответа на свой вопрос найти я не успел, потому что мысли мои начали разбредаться по сторонам, спотыкаться, останавливаться. С минуту или две я не мог сообразить, бодрствую я или сплю, но когда я увидел Илью, летевшего рядом с самолетом и заговорщически подмигивавшего мне, я решил, что все-таки сплю, и со спокойной совестью опустил голову на грудь.

Разбудил меня Павел Дмитриевич.

— Теперь я понимаю, почему они выбрали для Контакта именно вас,— сказал он с легчайшим намеком на иронию,— вы спите, как сурок.

— Я едва прикрыл глаза,— обиделся я и принялся тайком растирать замлевшую ногу.

— На три с лишним часа...

— Значит, скоро Шервуд?

— Над Шервудом бушует циклон, и аэропорт наглухо закрыт туманом. Мы садимся в Глендейле. И похоже, что мы просидим там сутки, а то и двое.

Как всегда, Павел Дмитриевич оказался прав. Мы проторчали в Глендейле ровно двое суток, пока циклону не надоело крутиться на одном месте над Шервудом и он благополучно не отбыл по своим делам.

Мы сидели в маленьком номере в гостинице, и я неторопливо читал увесистую газету «Глендейл геральд». В газете было сорок восемь страниц, и я рассчитал, что даже самый упорный циклон прекратится к странице тридцатой.

Сейчас я находился на третьей странице и читал о перспективах очередного повышения цен на нефть. Потом перешел к биржевым прогнозам. Перспективы были не очень блестящие, но они меня не расстроили. Не скрою, я даже испытал легкое злорадство, которое, наверное, испытывают все, у кого нет акций, когда читают, что те падают в цене.

Под биржевыми прогнозами почему-то была изображена молодая особа в лифчике. Ни сама особа, которая не блистала красотой, ни ее лифчик меня не заинтересовали, и я уже совсем было собрался перебраться на четвертую страницу, как вдруг почувствовал, что не могу этого сделать. Что-то слегка царапнуло мое внимание. Я скользнул глазами по газетной полосе. Нет, это безусловно была не нефть, не биржа. И тут я почувствовал, что начинаю быстро моргать глазами, как старая собака. Над девицей в лифчике было написано: «Бюстгальтеры «Контакт» льстят вашей фигуре и не стесняют движений! Мисс Лина Каррадос, участвующая в опытах профессора Хамберта по установлению контактов с внеземными цивилизациями, говорит, что бюстгальтеры «Контакт» дают ей ощущение космической невесомости».

Я протянул газету Павлу Дмитриевичу. Он надел очки и дважды прочел рекламу.

— Да,— сказал он,— ощущение невесомости...

Мы снова летели над белыми облаками, но мне почему-то уже не верилось, что вот-вот на снежной равнине покажутся лыжники.

Внезапно я услышал в себе уже ставшую для меня привычной гулкую тишину. Но на этот раз тишина не росла и не набухала медленно, как почка. Почти сразу она лопнула, схлынула, оставив мне сознание, что этой девушки, мисс Каррадос, больше нет. Мы разъединились. Мой мозг еще не мог переварить это знание, а сердце уже сжималось, и в груди мгновенно образовалась холодная, сосущая пустота.

Чепуха, сказал я сам себе, пытаясь остановить надвигавшуюся панику, типичная истерия. Но слова были жалкими и беспомощными.

Должно быть, Павел Дмитриевич задремал, потому что, когда я коснулся его руки, он вздрогнул.

— Павел Дмитриевич,— прошептал я торопливо, чтобы ком не заткнул мне горло,— я ее больше не чувствую...

— Кого? — круто повернулся он ко мне, но глаза его уже знали.

— Каррадос.

— Точно?

— Да. Как будто она вдруг исчезла... Сразу, насовсем... Наверное, ее нет в живых...

— Космическая невесомость... Когда это случилось?

— Не знаю. Я почувствовал это только сейчас.

Павел Дмитриевич несколько раз качнул головой, откинулся на спинку кресла и пробормотал:

— Да...

Он сразу постарел на моих глазах, и белый задорный хохолок на его голове поник.

— Значит, наша поездка бессмысленна? — спросил я.

Детская привычка задавать взрослым вопросы, на которые заранее знаешь ответы. Детская привычка ждать от взрослых чуда. Чуда быть не могло. Каррадос не было, и поездка наша, едва начавшись, потеряла всякий смысл.

Павел Дмитриевич говорил о том, что я, возможно, ошибаюсь, что все равно остались хоть какие-нибудь материалы, а я думал о девушке в лифчике, который льстит фигуре, не стесняя при этом движений... Это же абсурдно. Смерть абсурдна, она нелепа, противоестественна. Был живой человек, и к нему протянулась ниточка сновидений с далекой планеты. И вот человека нет. И конец ниточки повиснет беспомощно. И исчезнет.

А если бы ей и не снилась Янтарная планета? Разве смерть от этого становится менее абсурдна? Что должны испытывать сейчас ее мать, отец? А может быть, у нее был жених?

Я, наверное, задремал, потому что вдруг испуганно вздрогнул. Я посмотрел на Павла Дмитриевича. Он уставился в какую-то книгу, но я видел, что он не читает. О чем он думает сейчас? Я вдруг почувствовал, что должен знать, о чем он думает. А может быть, не столько знать, о чем он думает, сколько проверить, могу ли я по-прежнему слышать чужие мысли.

Я сосредоточился, ожидая, призывая к себе шорох чужих слов. Но шороха не было. Не было звука чужих мыслей. Были лишь мои собственные беззвучные

мысли, которые испуганно бились в голове летучими мышами.

Нет, не нужны мне были чужие мысли, ни разу не получил я удовольствия, подслушивая бесплотное бормотание в чужих черепных коробках. Да и не вспоминал почти о своих способностях, пока не возникала в них нужда. Но это был инструмент, было оружие в борьбе за признание Янтарной планеты, за реальность Контакта. Да, это было не мое оружие, не я выковывал его. Мне его дали, и я отвечал за него. Конечно, я не мог потерять это оружие сам. Это чушь. И все-таки в чем-то я был виноват.

Попробовать еще раз. Не спеша. Спокойно. Расслабиться. Не думать ни о чем. И как следует вслушаться. Жестяный шорох сухих листьев. Сейчас он зазвучит в моей голове.

Но он не звучал. Я ничего не слышал. Ничего. Я протянул было руку, чтобы коснуться руки Павла Дмитриевича и сказать ему о новой потере, но удержался в последнюю секунду. Мне было жаль его. Удар за ударом. И в обоих случаях я был вестником несчастья. Да и что это меняло? Не повернуть же огромный «ИЛ» с полутора сотнями пассажиров обратно только потому, что учитель английского языка Юрий Михайлович Чернов потерял свою странную способность слышать чужие мысли? Способность, которая и существовать-то по всем правилам науки не могла.

Две стюардессы, две прекрасные шереметьевские богини, разносили на пластмассовых подносиках элегантную международную еду. На их пластмассовых лицах были корректные международные улыбки.

Я засыпал, просыпался, снова засыпал, а в сердце все торчала заноза.

Наконец нас снова попросили не курить и застегнуть привязные ремни, горизонт встал дыбом, и самолет начал снижаться.

Глава 17

Профессор Хамберт оказался точно таким, как я его представлял: высокий, сутулый, по-стариковски изящный. Он еще издали помахал нам рукой. Лицо его было серьезно, и я понял, что, к сожалению, не ошибся.

— Добрый день, Хью,— сказал Павел Дмитриевич.

— Добрый день, Пол,— попробовал улыбнуться профессор Хамберт, но улыбки не получилось.— Как долетели?

— Отлично. Познакомьтесь с Юрием Черновым.

— Очень рад,— пожал мою руку профессор. Кожа его руки была суха, морщиниста и прохладна.

— Очень рад,— сказал я.

Пока, к своему некоторому удивлению, я понимал, что говорит профессор.

«Почему Павел Дмитриевич не спрашивает о Лине Каррадос? — подумал я.— Может быть спросить мне?» Я бросил быстрый взгляд на Петелина, но он незаметно покачал головой.

Мы прошли к нескольким металлическим кругам, похожим на аттракцион «колесо смеха». Но на колесе были не люди, а чемоданы. Хамберт спрашивал Павла Дмитриевича о ком-то, чьи имена были мне незнакомы, и вдруг я подумал, что, может быть, все-таки ошибся и мисс Каррадос жива. Но я сам не верил себе. Ее не было. В голову мне вдруг забралась совсем суетная мыслишка, что я бы на месте Павла Дмитриевича уже давно спросил старика про мисс Каррадос, а он вот не спрашивает.

Мы выловили с вращающихся колес свои чемоданы, прошли мимо обидно равнодушных таможенников и вышли на улицу. Здесь было теплее, чем в Москве, снега не было. Господи, вот я и в Шереметьеве, а где же желание прыгать теленком, что переполняло меня в Шереметьеве?

Мы уложили чемоданы в багажник машины, профессор Хамберт сел за руль, повернул ключ зажигания и, прислушиваясь к бульканью двигателя, вдруг сказал:

— Пол, я был бы рад еще оттянуть то, что должен вам сказать, но вряд ли это изменит что-нибудь...— Профессор вздохнул прерывисто, как обиженный ребенок, и посмотрел на нас. Черепашьи морщинистые веки прикрыли его глаза. А вдруг он не сможет их больше поднять, подумал я. Но он медленно, с усилием поднял веки. В глазах тлело недоумение.— Почему, почему это должно было случиться? — сказал он.— Простите, я даже не сказал вам, что, собственно, произошло...

— Мы все знаем,— в свою очередь, вздохнул Павел Дмитриевич. То ли из-за его акцента, то ли потому, что по-английски он говорил медленнее, чем по-русски, слова его прозвучали особенно кротко и участливо.— Когда она умерла?

— Умерла? Кто сказал, что она умерла? Она жива и, к сожалению, чересчур жива... Я думал, что мистер Чернов...

Мистер Чернов. Это я. Надо привыкать. Машина плавно набирала скорость.

— Мистер Чернов еще в самолете почувствовал, что с вашей помощницей что-то случилось,— поспешил на мою защиту Павел Дмитриевич, и я понял, за что его любят сотрудники.

Старик, не оборачиваясь, пожал плечами, и его пальто сморщилось на спине.

— В последние дни,— сказал он,— Линины сны стали терять яркость. А во вчерашнюю и позавчерашнюю ночь снов не было вообще. Сегодня она лишилась своих телепатических способностей и сказала, что потеряла вас... Все кончено.

— Может быть, не надо торопиться, Хью? — сказал Павел Дмитриевич.

— Если бы мне было хотя бы лет на двадцать меньше, я мог бы позволить себе не торопиться. В моем возрасте это непозволительная роскошь. Простите, Пол... Когда я узнал, что вы согласились приехать к нам, я сказал Марте: «Приедет Пол, и все вокруг него завертится, как в вихре. Как тогда в Москве, когда он нас чуть не замучил своим гостеприимством и своей энергией...»

— Я не спросил, как поживает Марта.

— О, она здорова, насколько можно быть здоровым в нашем возрасте. И знаете, Пол, что она сказала? Она сказала, что приготовит в день вашего приезда истинно русский обед для вас. И вот...

Профессор Хамберт замолчал. Стекла были подняты, в салоне было тепло и тихо.

Мы молчали. Я смотрел на спину Хамберта. Возраст профессора выдавала его шея. Ему, наверное, действительно было много лет, потому что шея была похожа на черепашью, только вылезала не из панциря, а из темно-серого тяжелого пальто.

— Вы простите меня, друзья,— вдруг сказал профессор, не отрывая взгляда от дороги,— что я молчу. Но я никак не могу прийти в себя. Я никогда в жизни не испытывал такого разочарования и такого презрения к людям. Вы знаете, почему они прервали Контакт?

Мы молчали.

— Потому что Лина и мои коллеги продали его. Да, продали! — Голос профессора стал высоким, почти крикливым.— Я просил их всех: не сообщайте по-

ка никому о нашей работе, не давайте интервью, не поддавайтесь коммерческим соблазнам. Куда там!.. Попробуйте внушить менялам из храма мысль о благородстве... Как только газеты и телевидение пронюхали о нашей работе, мои сотрудники и Лина словно взбесились. В течение двух дней они раздавали самые нелепые интервью налево и направо. Они кинулись на соблазны известности, как голодные окуни на жирных червячков. И тут же нас осадили специалисты по рекламе. О, вы не знаете этих джентльменов! Только они менее чем за сутки могли придумать название духов «Далекие сны», губной помады — «Золотая планета», бюстгальтеров — «Контакт». Вы не представляете, что тут творилось! Бизнесмены крутились возле нас, как биржевые маклеры в день появления на рынке акций, о которых они и мечтать не могли... Я не знаю другого такого молниеносного оружия, как пошлость.

Мы молчали. Я понимал, что говорит профессор Хамберт, но слова все равно с трудом укладывались в сознании. Чтобы реклама была таким ужасным оружием...

— И вы думаете, что Контакт прерван именно из-за...— Павел Дмитриевич замялся, подыскивая слово.

— Торговли?

— Да.

— У меня в этом нет ни малейшего сомнения. Ведь и Лина и мистер Чернов действовали, очевидно, не только как приемники, но и как передатчики. Представляю себе, что должны были почувствовать жители Золотой планеты, когда у нас тут началась большая распродажа...

—Мы называли планету Янтарной,— пробормотал я, но профессор не обратил на меня внимания.

— ...Они, наверное, оглохли от щелканья наших челюстей, от жадного урчания, от злобного клекота конкурентов, наперебой набивавших себе цену. Людская подлость, помноженная на пошлость,— тут не только Контакт уничтожить можно, всю цивилизацию, того и гляди, взорвут... Впрочем, я, должно быть, немножко смешон в своем праведном гневе. Ведь мы всегда были большими мастерами торговли. Мы торговали всем — от мечты до человека, от искусства до снов...

Лина Каррадос с огромными светлыми глазами, со слабой, неуловимой улыбкой на губах. Лина Каррадос, продающая Янтарную планету за гонорар от рекламы бюстгальтеров «Контакт».

Нет, я не мог презирать ее, как профессор Хамберт. Мне было просто бесконечно грустно, словно она предала меня. Как, как она могла променять мелодию янтарных холмов на деньги?

— Но все-таки ведь что-то вы успели сделать? — спросил Павел Дмитриевич.

— Очень и очень мало. Сначала нужно было изыскать деньги, все организовать. И тут же началась коммерция. Да и что я теперь могу продемонстрировать? Базарную торговку, которая клянется, что видела необыкновенные сны? Пока она могла читать мысли, хоть этим можно было козырять...

Я познакомился с ней только на следующий день. Она вошла в комнату, посмотрела на меня, и я сразу узнал ее. Я молчал, потому что никак не мог придумать, что сказать ей. Я понимал всю абсурдность своего поведения, но губы мои были заморожены, и я не мог пошевелить ими.

Она улыбнулась. Наверное, она хотела, чтобы улыбка вышла вызывающей — ну, ну, послушаем, что этот еще будет проповедовать. Но сквозь вызов вдруг явственно пробилась растерянность. Она сразу стала жалкой и беззащитной. Наверное, она всегда была такой. Вероятно, ей всегда не хватало опоры, и она решила, что, продав подороже янтарные сны, крепко встанет на ноги.

А сейчас она сделала неуверенный шаг по направлению ко мне, вопросительно посмотрела. На мгновение мне показалось, что в ее глазах зажегся отблеск Янтарной планеты. Я потянулся к ней. Пусть не будет телепатии, но должны же нас связывать общие сны. Янтарные сны. Но прежде чем я успел шагнуть к ней, отблеск исчез, а улыбка стала жесткой. Она не хотела контакта даже со мной. «Боже,— взмолился я,— сделай так, чтобы она хоть ничего не сказала». И она ничего не сказала. Только пожала плечами. Повернулась и вышла.

Которую уже ночь я просыпаюсь в невыразимой печали. Я просыпаюсь рано, когда за окном висит плотная ночная темнота. Я лежу с открытыми глазами и слушаю редкие звуки на улице.

Я больше не вижу янтарных снов. Я не вижу больше братьев У, не слышу мелодии поющих холмов, не скольжу в воздухе по крутым невидимым горкам силовых полей, не спешу на Зов, не завершаю с братьями Узора.

И мир сразу потерял для меня золотой отблеск праздничности, кануна торжества, к которому я так привык. Хотя это не так. К празднику привыкнуть нельзя. Праздник, к которому привыкаешь, уже не праздник. А сны оставались для меня праздником.

Может быть, если бы это была только моя потеря я бы относился к ней чуточку спокойнее. Или хотя бы попытался относиться спокойнее. Но это потеря для всего человечества.

Я здесь ни при чем. Я понимаю, что комбинации слов «я» и «человечество» по меньшей мере смешны. Но я ведь лишь реципиент. Точка на земной поверхности, куда попал лучик янтарных сновидений. Живой, на двух ногах, приемник из четырнадцати миллиардов нейронов.

Я лежу в темноте и тяжело вздыхаю. Это нелепо. Почему второй лучик с далекой планеты протянулся к человеку, который начал им приторговывать? Я ведь знаю стольких людей, которые берегли бы Контакт трепетно и с любовью. Нина, Илья, Павел Дмитриевич...

Никогда Галя не была так весела и ласкова со мной. Я ее понимаю. Куда привычнее быть женой учителя английского языка, который не только не слышит больше чужих мыслей, но часто не слышит того, что ему говорит жена. Жить с ходячим космическим приемником — это очень непривычно для женщины даже последней четверти двадцатого века.

А мы ждем. Я жду, пока к нам снова протянутся ниточки чужих сновидений. Должны же У и его братья понять, что не все на нашей планете готовы торговать далекой янтарной доверчивостью. Они это обязательно поймут.

Я жду.

Ждет Павел Дмитриевич.

Ждет мистер Хамберт.

Не знаю почему, но у меня такое ощущение, что мы обязательно дождемся...

ПРОЗА

Ярослав ГОЛОВАНОВ,
Юлий ГУСМАН

КОНТАКТ

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

14 марта, пятница. Нью-Йорк.

За белым полицейским «доджем» с красной мигалкой на крыше по широкой бетонной автостраде мчится кавалькада длинных черных «кадиллаков». Высокий голос сирены достигает истерических нот, когда машины, вынырнув из синего, наполненного сладким дымом тоннеля, вынеслись к подножию главного здания ООН. Шесть молодых щеголеватых мужчин, привычно улыбнувшись объективам фотоаппаратов, быстро, перепрыгивая через ступеньки, поднимаются к небоскребу и входят в просторный холл, под высоким потолком которого летит наш первый спутник — старинный, еще 50-х годов, дар правительства СССР Организации Объединенных Наций.

Зал заседаний ООН полон. Журналисты с любопытством рассматривают шестерых, сидящих за отдельным столом. На них нацелились своими голубыми глазами кино- и телекамеры.

— Дамы и господа,— призвав к вниманию, открыл пресс-конференцию председательствующий.— Космическое сотрудничество двух великих держав — Советского Союза и Соединенных Штатов — сегодня приносит новые великолепные плоды. Уже недалек тот день, когда первая советско-американская экспедиция на Марс возьмет старт с орбитальной станции «Мир-4». Мне доставляет большую радость представить вам по поручению Академии наук СССР и Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса США окончательно утвержденный вчера первый экипаж марсианской экспедиции. В него вошли прославленные герои космоса и видные ученые: начальник экспедиции и командир космического корабля «Гагарин», генерал-майор Александр Седов; командир десантного корабля «Мэйфлауэр» и руководитель группы высад-

Рисунки Г. НОВОЖИЛОВА.

ки бригадный генерал Алан Редфорд; борт-инженер доктор Джон Стейнберг, лауреат премии Винера, который, конечно, известен вам как автор робота «Зоэ», способного «рождать» подобных себе роботов. Перед вами — заместитель директора института медико-биологических проблем космонавтики, доктор биологии Анзор Лежава; астрофизик, автор новой теории пульсаров, профессор Майкл Леннон-второй и, наконец, геолог экспедиции, профессор Ленинградского университета, доктор геолого-минералогических наук Юрий Раздолин. Закончив курс комплексных тренировок в США, экипаж завтра вылетает в Советский Союз для продолжения предстартовой подготовки и последующего отдыха... Нет сомнения,— продолжает председатель,— что сотрудничество государств в организации первой в мире межпланетной экспедиции явится великолепным доказательством торжества политики мира, направленной на благо всех народов Земли... Уважаемые дамы и господа! Подробности предстоящего полета хорошо известны из имеющихся у вас на руках материалов, так что предлагаю перейти к вопросам... Прошу вас, мистер Джексон, «Юнайтед Пресс Интернэйшнл»...

26 марта, среда. Москва.

Седов молча сидит на белой металлической вертящейся табуретке в кабинете старого своего приятеля терапевта Зорина и сосредоточенно смотрит в пол, вертя в руках линейку. В кабинете все выкрашено в ослепительно белый цвет. Профессор Зорин — консерватор, он никогда не прислушивался к рекомендациям психологов из института технической эстетики и всегда считал, что если белый «больничный» цвет сковывает робкого посетителя, то это к лучшему. В этой светлой, стерильной обстановке единственным темным пятном был космонавт.

— У меня новости неважные, Александр Матвеевич,— говорит Зорин, перебирая бумаги на столе.— Кое-что в твоих анализах кое-кого смущает...

— «Кое-что», «кое-кого»!..— взрывается Седов.— Вам всем просто покоя не дает, что мне уже не двадцать, а я все еще летаю, нарушая тем самым ваши вековечные инструкции, рекомендации, всякие там ваши диссертации...

— Я не желаю говорить с тобой в таком тоне,— резко перебивает Зорин. Опять длинная пауза.— Пойми наконец,— спокойно, почти ласково продолжает врач,— что никто из нас, увы, не становится с годами здоровее.

— Запомни, Андрей Леонидович,— со вздохом говорит Седов,— у меня здоровья хватит еще на десять, а может, и на двадцать медкомиссий.

— Я тоже верю в это. Но это пока твои и мои субъективные ощущения, а вот объективные результаты исследований.— Он поднимает со стола листки.— И если оснований для паники — даю тебе честное слово — пока никаких нет, все же еще раз помучить тебя мы обязаны. Понимаешь, обязаны, и все тут. Трехлетний полет к Марсу — это не двухнедельная прогулка на Луну. А с такими бумажками комиссия тебя зарубит...

Седов сжимает линейку так, что белеют суставы пальцев.

— Твоя комиссия да и ты сам всегда верили анализам мочи и кардиограммам больше, чем живым людям. Врач обязан быть психологом, провидцем, гипнотизером, черт возьми, а вы превратились в операторов электронных машин! Как бы вы были счастливы, если бы я только сидел в президиумах торжественных собраний или писал мемуары! Я хочу работать, понимаешь, ра-бо-тать, а не занимать хорошо оплачиваемые и никому не нужные, специально «за заслуги» придуманные штатные единицы, ясно? А здоров я, как бык!

— Что дозволено Юпитеру, того нельзя быку,— улыбается Зорин.— Ты, Саша, в свои сорок пять успел предостаточно, не тебе говорить... Но забрать тебя недельки на две, повторяю, мы обязаны. Тренировки вы завершили, а кататься с американцами по стране и без тебя смогут. Только здоровье сохранишь. Знаю я грузинское гостеприимство, целее будешь... В общем, сворачивай свои дела...

— Легко сказать,— ворчит Седов.— Я еще должен съездить в деревню к матери...

— Вот к матери съезди,— встрепенулся Зорин.— Молочка попей, погуляй...

Седов вздыхает. Табуретка под ним скрипит.

Зал оперативного руководства ИКИАНа (Института космических исследований Академии наук СССР). Три ряда столов-пультов — те, что позади, чуть выше передних — развернулись широкой дугой против стены с многочисленными экранами и световыми табло. Сейчас начнется обычная «летучка» — оперативное совещание всех советских и американских служб, ответственных за подготовку экспедиции на Марс. Работа довольно нудная, монотонная, романтику в которой могут отыскать разве что зеленые выпускники факультета журналистики. Со скучным сонным лицом входит в зал академик Илья Ильич Зуев. Здоровается за руку с генерал-полковником Викентием Кирилловичем Самариным, кивает космонавтам и операторам, сидящим за столами-пультами, на которых укреплены таблички: «Дежурный баллистик», «Дежурный СЖО» (система жизнеобеспечения), «Дежурный МБК» (медико-биологический контроль), «НАСА», «Байконур», «Канаверал», «Служба Солнца», «МИР-4». Зуев лениво снимает пиджак, вешает на спинку кресла. Девушка в белом передничке ставит перед ним чашку черного кофе.

— Спасибо.— Прихлебнул кофе, искоса посмотрел на большое светящееся табло точного времени над экранами: 8.59. Говорит громко, всему залу: — Начинаем, товарищи! Слушаем Хьюстон...

Вспыхнул большой экран, на котором, словно в зеркале, отразился такой же зал, только таблички были уже английские, а вместо Зуева сидел Майкл Кэтуэй — руководитель американской части программы.

— Доброе утро, мистер Кэтуэй,— весело говорит Зуев.— Просим подтверждения старта транспортного корабля «ШАТТЛ-47».

— Отрыв от старта — 19.41.05 мирового времени. У нас все в порядке.

— О'кей! — говорит Зуев.— Просим подтверждение «МИР-4».

На другом экране вспыхивает новое изображение: два человека в легких спортивных костюмах в командном пункте долговременной орбитальной станции «МИР-4».

— Говорит «МИР-4». Старт 19.41.05 принят. Маяки начинают работать в режиме сближения по докладу с борта. «ШАТТЛу-47» дается третий причал, как просили.

— Принято,— говорит Кэтуэй.— Прошу запасной радиоканал.

— Минуточку,— отвечает станция. Один из сидящих за пультом вдруг всплывает, летит к потолку, возвращается с бортовым журналом.— Ваш запасной канал с 112,34 до 112,73.

— Вопросы к Хьюстону? — спрашивает Зуев.

— Вопрос доктору Райту,— говорит по-английски Леннон, сидящий за пультом «Связь с экипажем». И на экране возникает новое лицо: Райт — конструктор систем ориентации «Мэйфлауэра».

— Хэлло, Микки! Мне нужны расчеты эрозии оптических поверхностей фотоумножителей от испарения в вакууме,— говорит Леннон.

— Получите сегодня после ужина,— отвечает Райт.

— А раньше нельзя?

— После нашего ужина,— улыбается Райт,— а у вас это будет после завтрака.

— О'кей!

— Слушаем службу Солнца,— громко перебивает Зуев.

— Крым на связи,— загорается экран.

Красивая, загорелая женщина, заглядывая в бумажку, говорит тоном учительницы начальных классов:

— Мы уже докладывали ночью, повторяем для всех: по хромосферным вспышкам в открытом космосе работы для «Гагарина» закрываются с 11 до 14 часов. Прогноз на ближайшие сутки...

Прерывая эти слова, в динамиках нарастает какой-то резкий свист, быстро переходящий в громкое гудение. Изображения на экранах искажаются, будто кто-то, сидящий по ту сторону экранов, яростно мнет руками картинку. Это длится всего несколько секунд, и вот все снова на своих местах.

— В чем дело? Кто дежурит по связи? — раздраженно кричит Зуев.

У пульта «Дежурный по связи» молодой инженер, растерянный и смущенный, запинаясь, бормочет:

— У нас все в порядке, Илья Ильич... Амплитуда...

— Это называется — в порядке?! Меня не интересуют амплитуды. Мы с Крымом не можем связаться нормально, а собираемся с Марсом говорить! Сколько это будет продолжаться, я вас спрашиваю?

— Илья Ильич,— начинает инженер, но Зуев тут же перебивает его:

— Что за помехи? Откуда помехи? Кто нам мешает? Надо найти и наказать примерно!

— Очевидно, это помехи ионосферного происхождения...

— Молодой человек, я этими делами занимаюсь без малого сорок лет,— Зуев в сердцах бросает на пульт белые наушники,— почему-то раньше ионосфера не мешала. Я потребую создания специальной комиссии. Пора кончать с этим делом! У нас нет элементарной дисциплины и культуры работы!

— Не поняла? — спрашивает красивая дежурная Крымской службы Солнца.

— Это к вам не относится...

Кэтуэй холодно спрашивает с экрана по-русски, с сильным акцентом:

— Мистер Зуев, когда ваша служба давала солнечный прогноз, у нас прошел сбой связи. Что это значит?

— У нас тоже прошел сбой, но что это значит, я еще не знаю. Мы разберемся и объясним...

— Но это становится регулярным...

— Простите, но я могу предъявить точно такие же претензии Хьюстону.

— В Хьюстоне все о'кей...

— И у нас тоже о'кей. Я повторяю: мы разберемся. Итак, на чем мы остановились? Прогноз на ближайшие сутки. Слушаем Крым.

— Прогноз на ближайшие сутки в норме. Ожидаемая доза от ПКИ[1] до 11 миллиардов в сутки,— так же назидательно говорит загорелая дежурная.

— У вас все? — спрашивает Зуев.

— Все.

— Тогда подготовьте мне сводку по активности Солнца на время нашего с вами сеанса. А то тут у нас собственную халтуру валят на ионосферу.— Он зло косится на молодого инженера за пультом дежурного по связи.— «Гагарин» знает о запрете по хромосферным вспышкам? — спрашивает Зуев и оборачивается к одному из темных экранов.

Молчание.

— Я вызываю «Гагарин»,— нетерпеливо говорит Зуев.

— Проспали сеанс на «Гагарине»,— тихо шепчет Лежаве Раздолин.

Космонавты, кроме дежурного по связи Леннона, сидят на «гостевых» креслах, куда обычно сажают большое начальство, которое любит бывать здесь, особенно если существует полная гарантия успеха какого-либо космического эксперимента.

— Я вызываю «Гагарин»,— раздельно и громко говорит Зуев, нетерпеливо постукивая по пульту авторучкой.

Экран вспыхивает:

— Простите, Илья Ильич! Тут у нас...

— Что у вас? Да что это, в самом деле, сплошные сюрпризы сегодня! Тоже «амплитуды»?

— Да нет, ничего, пустяки,— на экране смущенно улыбается космонавт-испытатель.

— Запрет по Солнцу вы приняли?

— Да. У нас и нет никаких наружных работ. Все испытания корабля идут по штатной программе. Проверка аварийной системы связи закончена сегодня в 6.35, замечаний нет — И добавляет неофициальным тоном: — У нас, правда, все в порядке, Илья Ильич...— но, говоря это, он смотрит куда-то в сторону.

— Что у вас все-таки там происходит? — недовольно спрашивает Зуев.

— Тут вентилятор батарейный взбесился. Летает, мы его поймать не можем...

— Сачком! Сачком его! — кричит Раздолин.

— Каким сачком? — оторопело спрашивает человек с экрана.

— Для бабочек.

Все смеются.

— Почему Саши так долго нет? — спрашивает Редфорд, наклонившись к Лежаве.

— Ты что, медиков не знаешь? Наши ничуть не лучше ваших,— отвечает Анзор.

Вновь загорается экран Крымской службы Солнца, и та же хорошенькая, загорелая женщина таким же «педагогическим» тоном докладывает:

— По данным системы «Дозор», сбоев связи по вине Солнца на время сеанса быть не может.

— Так,— говорит Зуев.— Спасибо. Будем искать. И найду! — Он припечатывает кулаком пульт. Пустая чашечка со следами кофейной гущи тихо звякает...

20 мая, вторник. Подмосковье.

В рабочей комнате «марсианского корпуса» Космического центра за столами, заваленными графиками и бортжурналами, Редфорд и Леннон. Входит Стейнберг, явно чем-то озабоченный, что не мешает ему, впрочем, жевать резинку.

— Нам надо посоветоваться, ребята,— хмуро говорит он, подойдя к столу Алана.

— Сейчас? — Редфорд поднимает голову.

— Лучше сейчас...

Леннон встает из-за своего стола, медленно подходит.

---

[1] ПКИ — первичное космическое излучение.

— Ты чем-то взволнован, Джон? — спрашивает он Стейнберга.

— Не совсем так.— Стейнберг выплевывает жвачку в руку, а потом приклеивает к пульту.— Со мной говорили наши ребята из службы безопасности и просили разузнать тут кое о чем.

— О чем, например? — спрашивает Редфорд.

— Например, о том, что за штуки делают русские со связью.

— А что они делают со связью? — не глядя на Стейнберга, спрашивает Леннон.

— В последнее время они регулярно глушат связь Хьюстона, идут сбои всей нашей телеметрии, сильные помехи даже на самых коротких волнах, искажение и полная потеря видеоканала. Сначала русские делали вид, что виновато Солнце, валили все на ионосферу, но ведь наивно думать, что все это нельзя проверить. Наши в Хьюстоне проверили, оказалось, что все это «липа». Очевидно, это они глушат нас, глушат даже систему противоракетной обороны. А это, как вы понимаете, уже не шутки...

— Но как можно предполагать, что они делают это со злым умыслом, если они и себя тоже глушат? — спрашивает Редфорд.

— Ну, это может делаться для отвода глаз...— Стейнберг неопределенно покрутил пальцами в воздухе.— Одно дело, когда ты знаешь, что сбой будет, и готов к нему, другое, когда это полная неожиданность...

— Послушай, Алан,— вступает в разговор Леннон,— даже если это не злой умысел, если они искренне не могут разобраться в этих помехах на Земле, то что мы будем делать на траектории?

— Я думаю о другом,— добавляет Стейнберг.— Что мы будем делать на траектории, если здесь, на Земле, русские действительно что-то темнят...

— Как тебе не стыдно, Джон! — резко оборачивается Редфорд.

— А почему я должен верить?! — взрывается Стейнберг.— Ты демократ-идеалист! Ты, разумеется, веришь всем этим договорам, протоколам, актам, всем этим бумажкам. А знаешь, как это все у русских называется? «Филькина грамота»!

— Что это? — спрашивает Редфорд.

— Trickery,— невозмутимо переводит Леннон.

— Они просили, чтобы мы здесь разузнали, что это за сбои и почему русские крутят,— уже тихо, примирительно сказал Стейнберг.

— Я бригадный генерал военно-воздушных сил Соединенных Штатов,— глухо, но твердо ответил Редфорд.— Я четыре раза летал в космос и просто не успел выучиться на шпиона. Передай твоим ребятам, что для выполнения этого поручения у меня не хватает образования...

— Ну, Алан, причем здесь шпионаж? — смутившись, спрашивает Стейнберг.

— А что тогда означает «разузнать»?

— Ну просто, может быть, заговорить на эту тему, посмотреть, как они прореагируют,— поясняет Леннон.

Редфорд задумался. Резко встал.

— Согласен. Пошли.

В огромном здании МИКа — монтажно-испытательного корпуса,— под сводами которого всегда гуляет эхо голосов, стоит марсианский корабль «Гагарин» — точная копия того, испытания которого заканчиваются сейчас у причала орбитальной станции «МИР-4».

Сооружение это, по размерам своим близкое к морскому теплоходу, по внешнему облику не похоже ни на что, известное нам. Собранный на орбите, «Гагарин» будет летать только в пустоте космоса, поэтому у его конструкторов не было необходимости думать о том, чтобы отсеки корабля размещались компактно, а его формы были обтекаемы. Вакуум и невесомость создали новый инженерно-конструкторский стиль, породили невозможную на Земле межпланетную архитектуру, в которой впервые не спорили рационализм и свобода решений.

Корабль стоит в переплетении кабелей, проводов, в окружении пультов, приборов, в центре того лабораторного хаоса, в котором есть высокий порядок и строгая логика и который представляется хаосом лишь непосвященному.

Возле корабля у переносного пульта на круглом вертящемся табурете сидит Лежава с большой папкой документов в руках. Он что-то перекладывает, перетасовывает, вытаскивает скрепки, пережевывает. Рядом копошатся в бумагах Седов и Раздолин. В расписании занятий вся эта канцелярия значилась как «работа с документацией», но сейчас, когда неожиданно явившиеся американцы затеяли этот разговор о радиосбоях, все оставили, разумеется, свои дела. Претензии американцев были совершенно неожиданны, и Раздолин поначалу даже растерялся:

— Я геолог и ни черта в этом не понимаю...

— Я тоже не специалист по связи, но не надо быть специалистом, чтобы понять, когда тебя дурачат,— резко бросил Стейнберг.

— Наверное, мы зря затеяли этот разговор,— примирительно стал замазывать его слова Леннон.

— Да как ты мог так думать! — Лежава налетает на Стейнберга со всем своим грузинским темпераментом.— Это мы тебя дурачим?!

— Тихо! Тихо! — обрывает Седов.—Алан, я благодарен тебе за этот разговор. И я хотел бы, чтобы в будущем все неясности между нами решались так же: гласно и открыто. Я действительно не знаю, что происходит со связью, даю тебе слово. Я думаю, надо спросить у Зуева.

Он оглянулся на друзей. Анзор энергично кивнул.

— Пошли,— сказал Раздолин.

Американцы не ожидали решения столь стремительного.

— Но сможет ли он нас принять? — протянул нараспев Леннон.

— Думаю, что сможет,— сказал Седов.

Они шли по длинным коридорам ракетного Центра, мимо дверей с белыми матовыми стеклами, за которыми работали сотни людей — чертили, считали, думали, спорили,— работали для них, этих шестерых, думали и беспокоились о них, хотя многие люди за этими дверьми и не видели их никогда: не до любопытства — дела срочные.

На минуту Редфорд задержался у автомата с газированной водой, достал монету и все искал, куда ее опустить; Седов нажал кнопку, и вода пошла в алюминиевую кружку безо всякой монеты. Редфорд взял кружку, оказалось — она «прикована» к автомату тоненькой цепочкой. «Да, понять русских иногда действительно трудно»,— думает Редфорд, опрокидывая звякнувшую цепочкой кружку на мойку автомата.

Вот наконец и приемная Зуева. Только что закончилось очередное техническое совещание, и, как всегда после любого совещания, нашлись люди, искренне негодующие и недоумевающие, так и безусловно довольные итогами обсуждения. Космонавты, войдя в приемную, пробираются к дверям кабинета сквозь сизую голубизну отчаянно прокуренного пространства, в котором роятся группки людей и со всех сторон слышатся горячие голоса:

— Я был уверен, что Илья Ильич нас поддержит, потому что только слепой не видит, что 83-й блок не работает при крене более восьми градусов...

— А что вы возмущаетесь? — это уж другая группа.— Зуев прав. Мы с вами остаемся здесь, в тени лопухов, а им два года летать...

— Успеет Валерий Петрович или не успеет — это не тема для дискуссий. Его заставят успеть...

— Пусть я ничего не понимаю в технологии, это не моя система, но почему нельзя было предусмотреть все заранее? Почему американцы ничего не переделывают?!

— Переделывают,— бросает, проходя мимо, Редфорд,— очень часто переделывают.

— Не думаю,— не оборачиваясь на его слова, бросает возмущенный спорщик.

— Вы не думаете, а я американец, я знаю,— отвечает командир «Мэйфлауэра».

Шесть космонавтов входят в дверь с маленькой табличкой: «Академик И. И. Зуев».

Кабинет Зуева — типичный кабинет крупного конструктора высшего административного ранга. Письменный стол с пультом. Маленькая доска с мелками и губкой. Деревянные панели для развешивания чертежей. Большой стол для заседаний, аккуратные никелированные гирьки, которыми прижимают к столу листы ватмана. Глобусы Земли, Луны и Марса. Макет межпланетного корабля «Гагарин» и — подарок американцев — макет посадочного корабля «Мэйфлауэр». На стенах два портрета — Циолковский и Королев.

Зуев — за письменным столом. В кресле рядом — Седов. Леннон присел на подлокотник соседнего кресла. Раздолин рассеянно крутит марсианский глобус. Редфорд, скрестив руки на груди, стоит у окна. Лежава бесшумно прохаживается по ковровой дорожке, сцепив за спиной пальцы. Стейнберг один в позе прилежного ученика сидит за большим столом для заседаний.

Все молчат. Зуев снимает очки, трет глаза, снова ловко забрасывает очки на переносицу и говорит, обращаясь к одному Седову:

— А, в общем, они правы. Мы действительно темним...

Космонавты никак не ожидали такого ответа и сидят молча, не спуская глаз с Зуева: «Что дальше будет?»

Академик снова садится за стол и, оглядывая теперь уже всех, говорит:

— Да, темним. Темним, потому что стыдно правду сказать. Всего я ожидал в этом проекте, ведь действительно масса чертовски сложных вещей, но чтобы запутаться в связи! Элементарщина! Мы затравили астрономов, институт атмосферы, три комиссии радистов работают, мы консультировались с Министерством обороны, и никто ничего не может толком объяснить...

— Но этого не может быть,— пожимает плечами Леннон.

— Вот именно! — восклицает Зуев.

— Я не верю в потусторонние силы, мистер Зуев,— с иронией говорит Стейнберг,— но я не хотел бы участвовать в экспедиции, связь с которой не зависит от нашего Центра управления в Хьюстоне.

Зуев смотрит прямо в глаза Стейнбергу и говорит:

— Я понимаю вас и не настаиваю.

Долгая пауза.

— Я предполагал беседовать с людьми, искренно старающимися понять мою озабоченность,— продолжает Зуев.— Я не хотел беседовать с вами на эту тему до того, как мы разберемся в случившемся. Это вопрос научно-технического престижа. Но коли разговор состоялся...

— Послушай, Алан,— оборачивается Седов к Редфорду,— тебе не кажется, что мы не о том говорим?

— Пожалуй,— отзывается Редфорд.

— Можно сегодня сказать хотя бы, где находится источник помех? — спрашивает Седов у Зуева.

— Прекрати скрипеть,— зло шепчет Лежава Раздолину, и тот перестает вращать марсианский глобус.

— Источник атмосферный, или, точнее, даже заатмосферный, весьма мощный, апериодический, с размытым диапазоном частот...

— Может быть, это какой-нибудь пульсар? — спрашивает Раздолин рассеянно.

Леннон невесело смеется: уж в чем-чем, а в пульсарах он разбирается.

Редфорд резко поворачивается к нему и зло говорит по-английски:

— Хватит, Майкл!

Потом подходит к столу Зуева:

— Нам бы не хотелось, чтобы вам... у вас... Остался, как это?..— чувствуется, что он волнуется и забывает русские слова.— Не остался... mud... как это? — спасительно смотрит на Раздолина.

— Осадок,— догадался Раздолин и тут же подсказывает: — We would not like you to have unpleasant memories [1]...

— Да, да,— кивает Редфорд.

— Хорошо,— отвечает Зуев без улыбки.

— Если что-нибудь выяснится, сообщите нам,— говорит Леннон.

— Об этом мы уже утром договорились с Кэтуэем. Я бы хотел сделать это как можно раньше...

12 июня, четверг. Деревня Калитино.

Вдоль прозрачного леса, вдоль полей и лугов бежит проселочная дорога, которую только на автомобильных картах называют «шоссе». В запыленном газике рядом с шофером, молодым вихрастым парнем в ковбойке, сидит, прислонившись к металлической стойке, Седов. Глаза у него прикрыты, то ли он зажмурил их от солнца, то ли задремал, утомленный дорогой...

Раннее утро в деревне. С низин, за околицей, еле ползет туман, но солнце уже выглянуло из-за острых синих верхушек елового леса. Седов выбежал из избы голый по пояс, в закатанных до колен спортивных брюках. Он облился из ведра колодезной водой, передернулся, небрежно растерся стареньким «вафельным» полотенчиком и, осторожно ступая белыми, нежными, «городскими» босыми ногами по еще мокрой от росы траве, подошел к сараю, взял старую косу и, выйдя на лужайку за домом, начал косить.

...Возле костра стояла расседланная лошадь. Отблески пламени падали на нее, на Седова, на ребят, пригнавших коней в ночное и теперь тихо сидевших вокруг огня, ожидая, пока подоспеет печеная картошка, и с любопытством косясь на молчаливого космонавта. Лиц почти не было видно, огонь не высвечивал, а прятал черты, то совсем стирая тени, то сгущая их до трагических масок. Раскапывали угли, прутиком подкатывая к себе горячие картофелины. Седову не терпелось попробовать картошку, и он, попеременно дуя на обож-

[1] — Мы бы не хотели, чтобы у вас остались неприятные воспоминания... (англ.)

женные пальцы, отдирал пепельную корочку, не дожидаясь, пока она остынет.

...Седов нырнул в теплую, не остывшую чернильную воду и проскользнул почти по дну, затаив дыхание в кромешной, абсолютной темноте ..

— Товарищ генерал, приехали,— шофер осторожно тронул за плечо задремавшего Седова.

У околицы стояла невысокая фанерная арка, которую местный художник, видимо, скопировал с парижской «Триумфальной». Во всю длину арки тянулась кумачовая надпись: «Добро пожаловать, наш дорогой земляк, герой космоса т. Седов Александр Матвеевич!»

Под аркой уже собралось все районное и колхозное начальство, тут же, переминаясь от нетерпения, томились музыканты самодеятельного оркестрика под управлением Любови Тимофеевны — завклубом. Вот она подняла руку, энергично кивнула, и оркестр заиграл что-то торжественное.

Горестно вздохнув, Седов вышел из машины. К нему подошли нарядные девушки с хлебом и солью. Пионеры вручили космонавту цветы. Товарищ из райкома начал речь. А Седов искал глазами мать. Она была в новой кофте, которую он купил ей в Сан-Пауло, и в белоснежном платке...

И вот он уже сидит за длинным столом, уставленным напитками и закуской, и товарищ с красным лицом произносит тост, а Седов почти не слышит его, потому что вокруг него хлопочут и разговаривают незнакомые люди, и Седову вдруг стало очень скучно, и с тоской посмотрел он в дальний конец стола, где сидели его друзья, родные, старенькая учительница Надежда Ивановна...

Александр Матвеевич обедает вместе с матерью и двумя племянниками. В углу комнаты светится голубой экран телевизора. Идет детская передача, и племянники не знают, куда смотреть: на экран или на дядю.

— Забыла тебе сказать, Шура,— говорит мать, подкладывая квашеную капусту в тарелку сына.— Утром, когда ты спал, к тебе пионеры приходили. Я им сказала, чтобы после обеда зашли. Фотографии твои они уж давно перетаскали, так теперь им, видишь, живого подавай!

— К пионерам сходить можно,— кивнул Седов,— они хоть пить не заставляют...

Неожиданно изображение на экране пошло полосами и исчезло, раздался оглушительный и высокий по тону рев. Седов быстро подошел к телевизору, убрал звук. Через несколько секунд так же неожиданно изображение восстановилось.

— Не могут, черти, никак наладить,— вздохнула мать.— Каждый божий день вот так орет, словно чумовой. Иногда, поверишь, так рявкает, прямо из рук все валится. Любаша из клуба в район звонила, жаловалась, а они говорят: знаем, знаем, скоро исправим... У вас в Москве, поди, такого безобразия на телевизоре нету...

— Ехать мне надо, мама,— тихо сказал Седов.

1 августа, пятница. Тбилиси.

Дом Анзора Вахтанговича Лежавы стоит у подножия Мтацминды. Большая квартира с застекленной террасой выходит на гору, в кудрявой зелени которой прячется просторный, бестолковый и суетливый ресторан, куда Анзор категорически отказался вести своих гостей, убедив в том, что настоящий грузинский стол можно сделать только дома.

Несколько мужчин, друзей Анзора, толпятся вокруг большого, красиво накрытого стола, в то время как его жена и сестра Лия следят на кухне за бараньей ногой, шашлыками и табака, доделывая те самые дела, на которые даже у очень хороших хозяек всегда не хватает все-таки двадцати, ну, пусть, пятнадцати минут.

Три девочки — мал-мала меньше — дочки Анзора, принаряженные по случаю прихода гостей, сидят тихонько в уголке, уставшие от трехдневных репетиций книксенов и окончательно запуганные всеми предупреждениями матери и тетки касательно правил хорошего тона.

Наконец звонок в дверь. Космонавты — вся пятерка — вваливаются в квартиру и после неизбежной сутолоки и уговоров рассаживаются наконец за столом.

Анзор тихо предупреждает по-английски, что если какой-либо из тостов, произнесенных тамадой, можно будет пропустить, он подаст знак, положив на бокал палец.

Начинается грузинское застолье. Тамада говорит долго и красиво. После каждого тоста гости незаметно смотрят на Лежаву, но Анзор ни разу не подает им условного знака. Он лишь смущенно пожимает плечами под их вопросительными взглядами. Стейнберг, осушив бокал с вином, ставит шариковой ручкой «галочку» на белой бумажной салфетке. Уже взлетела целая стая таких «галочек».

За столом очень весело, и тамаде с большим трудом удается заставить слушать себя.

— Пока мы здесь развлекаемся,— говорит он,— наш друг и товарищ Александр Матвеевич Седов мучается в руках медиков. Нам горько, что с нами нет этого замечательного человека. Я предлагаю тост за его здоровье, за то, чтобы он выдержал все испытания на Земле и все перегрузки в космосе!

Редфорд встает с бокалом. Вслед за ним встают все.

— Я уже заметил,— говорит Редфорд,— что в Грузии есть обычай дополнять тосты. Я хочу сказать о Саше. Я рад, что встретил этого человека. И я очень хочу работать с ним вместе...

Ночь в квартире Лежавы. В спальне, на диване в гостиной, в кабинете отца, на широкой тахте веранды спят гости, которых Анзор не пустил в гостиницу.

Лия с женой Анзора тихо, стараясь не звякать посудой, убирают со стола. Захмелевший Анзор пытается помогать, но больше мешает; его уговаривают ложиться, но он говорит, что будет ждать отца, которого еще не видел и с которым ему «необходимо выпить совсем немного вина». Отец Анзора — сменный мастер прокатного цеха на металлургическом заводе. Наконец внизу, под террасой, тихо цокает дверца «Жигулей», и в комнату входит Вахтанг Георгиевич. Он целует сына, умывается, потом тихонько, оглядываясь на двери, за которыми спят гости, подсаживается к разоренному столу, наливает вино.

— Ну, рассказывай, какие новости, космонавт...

— Тс! Тихо, они только заснули,— отвечает Анзор.

Весь их дальнейший разговор происходит шепотом.

— Даже не знаю, с чего начать,— шепчет Анзор.— Еще до приезда американцев было принято решение по биологической программе. Когда я выступал в ОКБ, сначала поднялся страшный крик,

ведь всех интересуют сегодня радиосбои и никому до биологии дела нет, но Зуев всех быстро успокоил и полностью меня поддержал. Я же им все подсчитал, и Зуев говорит: «Лежаве нужно 7 миллионов, и мы должны деньги эти ему дать. Потому что надо...».

— Сколько? — переспросил отец.

— Семь миллионов. Да. Заплатим, говорит, раз нужно.

— А ты убежден, что нужно?

— Убежден. Один анализатор фотосинтеза стоит...

— Погоди. Ты представляешь, что такое 7 миллионов?

— Представляю. Я же объясняю тебе: анализатор..

— Нет, не представляешь! — Вахтанг Георгиевич повысил голос, Анзор замахал на него руками, и тот опять зашептал: — Вас, молодых, избаловал, нет, развратил социализм. Да, да, именно развратил! Своих денег у вас не было и нет, и считать вы их, понятно, не научились. А народные для вас — тьфу, трава, бумажки! Миллион, миллиард! Вы умеете произносить эти числа и не содрогаться. А при слове «тысяча» порядочный человек обязан содрогаться.

— Почему «содрогаться»?! Пусть жулик содрогается. Что я их краду?

— Нет, вы их не крадете. Хуже: вы их не чувствуете. Вот ваши коллеги,— он кивает в темноту комнат, где спят американцы,— они чувствуют потрохами каждый доллар. «7 миллионов!»

— Но, папа, это большая программа. Анализаторы жизнедеятельности, экология, ряд вопросов по охране внешней среды...

— Не спекулируй своей средой! Не смей спекулировать! Я читал в журнале недавно: в Германии еще в 18-м веке спекулянты, как ты, утверждали, что фабричная труба всех удушит. Я не спорю, чужны и фильтры, и в Куру спускать всякую гадость, конечно, безобразие. Но 7 миллионов! На эти деньги можно построить еще один прокатный стан!

— Отец, мне стыдно тебя слушать, ты государственный человек, депутат... Какой стан? О чем ты?

— Да, я именно государственный человек! Я рассуждаю как государственный человек! Я получаю за 7 миллионов стан тонкой прокатки и катаю жесть. Из этой жести делают банки. В банки кладут соки, варенье, фрукты, мясо, молоко.— Он яростно жестикулирует, руками хватая разные кушанья со стола.— И ты знаешь, что банок этих не хватает, что у нас и в Азербайджане гниют оливки, а на Украине яблочи уже поросята не едят. Я металлург, с меня за оливки не спросят, но я коммунист, и я понимаю, что глупо покупать заграницей масло и гноить свои оливки. Вот зачем мне 7 миллионов!

— Я понимаю. Ты сказал правду. И искренне сказал, но эта твоя правда — маленькая. Стране нужна бумага, говорили такие, как ты. Детям нужны букварн, студентам не хватает учебников. И сводили леса на бумагу. Дети читали «Бе-ре-за» — а ее не было. Студенты защищали проекты по борьбе с эрозией почв и не знали, что эрозия вызвана их учебниками. Неумело перегораживали реки, чтобы получить электроэнергию,—и губили рыбу; осушали болота — и ломали весь естественный водный баланс. Ты думаешь, делали все это со зла? Не считали? Не аргументировали вроде тебя? Мы занимались арифметикой, когда говорили о природе, а теперь поняли, что это даже не алгебра, а сложнейшая высшая математика!

— Отцы всегда в дураках..

— Не в дураках. Ты хочешь сохранить сегодня оливки, которые падают на землю, а я хочу чтобы они и завтра продолжали расти на деревьях! Ты боишься, что не весь урожай соберут, а мне нужны 7 миллионов, чтобы вообще он мог появиться, этот урожай. И я тоже коммунист, и я по-своему скажу: коммунизма не будет, пока мы не научимся заглядывать не только в завтра, но и в послезавтра!

Редфорда разбудил их громкий шепот, и он внимательно прислушивается к спору отца и сына. Они говорили по-русски.

— Отец, ты не хуже меня знаешь, что никто мне для пустяков миллионы не даст,— шепчет Анзор.— Я каждую копейку из этих миллионов расписал, каждый окуляр со всех сторон аргументировал..

— Я ваши аргументы знаю Ты человек честный, но увлеченный Ты не объективный, ты увлеченный человек, ты такого наговоришь...

— Папа! Пойми, чем лучше человек знает, тем больше он может! Вот зажигалка. Первобытные люди использовали кремень для того, чтобы делать топоры и ножи. Потом с его помощью добывали огонь. Теперь тот же кремень в качестве полупроводника используется в компьютере. Космонавтика уже сегодня служит и геологам и метеорологам, и рыбакам, и еще, черт возьми, тысячам земных профессий!

Анзор кричал, и гости его давно уже проснулись. Один Стейнберг спал как убитый, зажав в кулаке белую бумажную салфетку с «галочками»

— А вспомни, что ты сам говорил,— наступал сын,— вспомни, как вы в Куре с дедом купались, ловили форель, фазанов стреляли под Тифлисом. Меня Медейка спрашивает: «Папа, а ты видел дятла? Мне очень хочется увидеть дятла...» А ты — стан, банки консервные...

— И все-таки без банок и дятел не в радость,— качает головой отец.— Если у Медейки не будет банок, ей не захочется смотреть на дятла.

Лия, появившаяся в дверях, слышит эту последнюю фразу и говорит:

— Ненормальные люди. Какие банки? Какие дятлы? Семь часов. Ложитесь, поспите хоть часа два. Я иду на базар. Дом пуст, чем я буду кормить американцев, когда они проснутся!

Голос за дверью:

— Американцы проснулись.

Дверь тихо открывается, и выходит Редфорд. Он в джинсах и яркой летней рубашке с короткими рукавами.

Почтительно знакомится с Вахтангом Георгиевичем и говорит задумчиво:

— Извините, я слышал ваш разговор... Не в том дело, кто из вас прав. Как ни странно, но это неважно...

8 августа, пятница. Тбилиси.

Через зал ожидания тбилисского аэропорта тесной группкой под предводительством Анзора пробираются космонавты. Лежава пропускает всех в дверь с табличкой «Комната для депутатов Верховного Совета». Ковры, мягкая мебель, работает цветной телевизор, небольшой стол с фруктами и вином и три официантки в накрахмаленных передниках и кокошниках.

Лежава разливает в бокалы белое вино.

— Опять? — с тревогой спрашивает Стейнберг, кивая на бокалы, и достает шариковую авторучку,

— Закон предков,— строго говорит сопровождающий их важный грузин.— Перед дальней дорогой рог вина! Не нами заведено, не нам менять...

Вой телевизора заглушает его слова Стейнберг подходит к приемнику, крутит ручки и говорит спокойно:

— Ну вот опять. Сильный разряд на приемную антенну.

Вой и помехи, которые длились обычно всего несколько минут, не исчезают. Стейнберг поворачивает ручку громкости, но даже приглушенный телевизор трещит так, будто его раскалили, а теперь брызгают водой. Стейнберг недоуменно смотрит на своих друзей. Все переглядываются молча и тревожно.

Странное смятение в стеклянной рубке главного диспетчера. Он кричит в микрофон, но самолет, заходящий на посадку, не слышит его. Диспетчер срывает с головы наушники, из которых раздается только громкий треск.

Кабинет начальника аэропорта. Звонит телефон. Начальник снимает трубку и слышит нечто, отчего глаза его округляются:

— Владимир Степанович, нарушена вся система радиосвязи. Вся, понимаете?

— Как вся?

— Так, вся связь не работает. Ни дальняя, ни ближняя, ни аэродромная, ни пеленгаторы, ни даже телевизоры на вокзале. Ничего не работает, понимаете, Владимир Степанович? Один радар на полосе кое-как дышит, и все.

— Погоди, но не может же все сразу сломаться, правда?

— Владимир Степанович, все сразу сломалось, в этом вся штука...

Боевая тревога. Вспыхивают пульты подземных шахт баллистических межконтинентальных ракет, и чугунные плиты, прикрывающие их сверху, медленно отъезжают в сторону вместе со всем своим камуфляжем: деревьями, стогами сена, пасеками... Молниеносная эстафета коротких военных докладов, похожих друг на друга, только всякий следующий раз больше звезд и золота на погонах. И вот уже Кремль, и пожилой человек в скромном сером костюме снимает трубку с причудливого белого телефонного аппарата, и другой человек на другом конце провода тоже снимает трубку и говорит, отвернувшись к окну, за которым видна зеленая лужайка и цепочка курносых бойскаутов, протянувшаяся вдоль чугунной ограды.

В эти дни мир читал:

— Человек — больше не главный актер на сцене Вселенной!

— Трагедии аэропорта Дакар.

— Космический корабль или автомат-разведчик?

— Одиннадцать океанских кораблей пропали без вести.

— Сенатор Стенсон убежден: это новый трюк Москвы.

— 7 миллиардов лир в день — доход Ватикана на религиозном бумэ.

— Заговор против революционных народов мира!

— Конец мира или начало новой эры?

Шок, в который было ввергнуто человечество столь стремительным и неожиданным образом, к чести его, очень быстро сменился энергичными попытками разобраться в случившемся. Вопли оголтелых экстремистов о преднамеренной «радиоатаке» были оперативно пресечены сообщениями о том, что гигантские помехи не обошли ни одну страну, и сторонники взвинчивания милитаристского невроза вновь оказались посрамленными. Однако сознание того, что эти таинственные, непонятные по своим конечным целям действия имеют некое внеземное происхождение, никого не успокоило, а вызвало, пожалуй, тревогу еще большую. Укрепление международного сотрудничества, развитие экономических и культурных связей в последние годы все дальше и дальше отодвигали угрозу военных конфликтов. Народы мира стали жить спокойнее, с большей уверенностью в мирном будущем. И вот совершенно неожиданно появляется новая реальная угроза, несравненно более опасная, хотя бы потому, что она направлена против всех. А то, что это именно угроза, почти ни у кого не вызывало сомнений. К тому же ряд крупных транспортных катастроф, вызванных внезапным сбоем радиосвязи, красноречиво указывал на враждебность неизвестных сил.

Всегда довольно далекие от текущих политических проблем астрономы были немедленно вызваны в самые высокие правительственные сферы для объяснения странного явления, но ничего определенного сказать не могли и с разочарованием и раздражением были отпущены обратно в свои обсерватории, где наблюдения проводились круглосуточно. Работа обсерваторий вызывала невиданный в истории астрономии интерес, журналисты и телевизионные комментаторы буквально приступом брали крепостные башни телескопов и огромные «проволочные заграждения» радиоантенн дальней космической связи. Иногда замечание того или иного ученого интерпретировалось весьма вольно, что давало новое движение огромным снежным комам слухов.

Чтобы внести хотя бы относительное спокойствие в эту весьма нервозную обстановку, Генеральный секретарь ООН предложил пригласить в Организацию Объединенных Наций крупнейших специалистов и выслушать их мнение о создавшемся положении. И хотя прошло уже много времени после появления непонятных и удивительных радиопомех, ничего определенного никто сказать не мог. Это был тот редчайший, быть может, единственный случай в истории науки, когда ученые—астрономы и астрофизики могли потребовать от своих правительств чего угодно и они получили бы все. Но они требовали времени, чтобы разобраться,— как раз того, что им дать не могли. Невероятное количество сил, средств и слов расходовалось пока совершенно впустую.

19 августа, вторник. Нью-Йорк.

Первым на международном форуме ученых взял слово польский профессор Анджей Брожовски.

— Уважаемые дамы и господа! Товарищи! Прежде всего мне хотелось бы напомнить вам те факты, которые лежат в основе всех гипотез моих уважаемых коллег. Это нужно сделать еще и потому, что объем всевозможной дезинформации по интересующему нас вопросу значительно превышает достоверную информацию. Так, факт номер один заключается в том, что наша планета, как известно, подвергается в последнее время сильному облучению в радиодиапазоне, что приводит к серьезным сбоям

каналов радиосвязи в весьма широком диапазоне частот. Таков бесспорный факт. Что является источником этого излучения? Сегодня мы вправе предполагать, что этот гипотетический источник излучения находится в космических масштабах совсем близко — где-то между Землей и Луной. Поскольку оптические наблюдения не дали пока никаких результатов, мы считаем, что источник этот имеет весьма небольшие размеры. С другой стороны, если предположить, что источником является какая-то неизвестная комета или другой естественный объект, двигающийся по определенной траектории, то законы небесной механики позволили бы Земле выйти из зоны его действия буквально через несколько часов. Это дает основание полагать, что мы имеем дело со специально ориентируемым источником, с источником, наделенным понятием цели.

Реакция в зале была бурной. Профессор поднял руку и продолжал, не ожидая, пока окончательно уляжется шум:

— Вполне вероятно, что мы столкнулись с попыткой иного разума установить с нами контакт. Мы пробуем изучить объект излучения и планируем полеты беспилотных кораблей и автоматических станций в район излучателя. Мы не хотим рисковать. Таковы наши выводы в самых общих чертах. А теперь,— закончил Брожовски,— я отвечу на ваши вопросы.

Поднялся председательствующий, но его опередил корреспондент французской газеты. И, не ожидая, пока ему предоставят слово, он срывающимся от волнения голосом почти выкрикнул свой вопрос:

— Можно ли предположить, что Земле и всему человечеству угрожает опасность?

Наступила пауза.

Профессор Брожовски ответил не сразу. На него устремились все взгляды. Некоторые журналисты даже приподнялись со своих мест.

— Мы должны быть готовы к любым неожиданностям...

Вопрос: — Возможно, в этих сигналах заключена какая-то информация. Были ли предприняты попытки расшифровать их?

Ричард Когуэлл, обсерватория Джорделл-Бэнк, Англия: — На сегодня мы можем сказать только одно: измеренные различными обсерваториями параметры этого излучения не менялись ни разу с момента их возникновения. Словно вдруг зажглась лампочка, которая светит очень ярко и ровно. Не зафиксировано излучений ни в рентгеновском, ни в световом диапазоне.

Вопрос сэру Когуэллу:

— Можно ли сказать, что Земля подвергается своеобразному радиолокационному обзору?

— Вряд ли... Если бы, обладая такими мощностями, мы захотели произвести радиолокацию незнакомой планеты, то мы выбрали бы совершенно иную методику и иной спектр излучателя...

Вопрос: — Известны ли были науке раньше излучатели такой мощности?

Доктор Тхорана, профессор Мадрасского университета, Индия: — Конечно! И даже несравненно более высокой. Они давно известны во Вселенной. Это так называемые радиозвезды. Однако даже если предположить, что мы имеем дело с некоей блуждающей радиозвездой, непонятно, каким образом она оказалась в пределах Солнечной системы, не будучи замеченной за многие годы до этого еще на весьма далеких от нас расстояниях.

Вопрос доктору Тхорана:

— Известны ли науке сверхкарликовые блуждающие радиопульсары?

— Нет, никогда ничего, даже отдаленно напоминающего этот источник излучения, никем не наблюдалось.

Вопрос: — Есть ли хотя бы какие-нибудь сведения о размерах излучателя и его геометрической форме?

Доктор Майкл Леннон-первый, профессор Гарвардского университета, США: — Мы ничего не можем сказать по этому поводу. Как уже говорил мой коллега мистер Брожовски, излучатель не виден в оптические телескопы. Мы имеем лишь одно сообщение из Австралии о том, что на фоне лунного диска однажды была замечена черная точка, однако сами наблюдатели просили проверить это сообщение.

Оно не было подтверждено. Радиолокационные наблюдения невозможны в этих условиях. Я склонен предполагать, что размеры излучателя не превышают нескольких десятков метров.

Вопрос Леннону:

— Известны ли способы генерации столь большого количества энергии в столь малых объемах?

— Теоретически известны. Можно предположить, что в космосе находится очень совершенная термоядерная установка или некий генератор энергии, работающий на антивеществе. Но при работе подобных энергетических установок невероятной компактности должно было бы выделяться большое количество тепловой энергии. Однако отсутствие инфракрасного спектра убеждает нас, что излучатель— холодное тело. Способы же отвода таких количеств тепла в космосе не только неизвестны, но представляются теоретически невероятными. Короче, нам неизвестны процессы, которые могли бы поддерживать всю эту систему в энергетическом равновесии столь долгое время.

Вопрос: — Если это действительно некие посланцы внеземной цивилизации, можем ли мы как-то объяснить, что́ заставило их посетить именно нашу планету?

Академик Александр Пономарев, Пулковская обсерватория Академии наук СССР: — Появление подобного объекта в Солнечной системе не случайно. По нашим предположениям, именно на планетах, окружающих звезды спектрального класса F8-K0, к которому принадлежит наше Солнце, наиболее вероятна жизнь. В то же время понятен интерес к Земле в пределах Солнечной системы. Работа земных телевизионных станций привела к тому, что Земля по мощности радиоизлучения на метровом диапазоне— второе тело после Солнца. Ее излучение в миллион раз больше, чем у Венеры и Марса. Поэтому сигнал, который мы называем радиопомехой, идет к нам именно в радиодиапазоне.

Вопрос Пономареву:

— Но почему эти звездные пришельцы заставляют нас обращать на себя внимание столь долго? Почему они не предпринимают никаких других шагов?

— Когда мы говорим о космосе, мы должны помнить об относительности таких понятий, как мало и много, большой и маленький, быстро или медленно. Допускаю, что для некоей иной цивилизации неделя наших тревог — лишь одно мгновение... Мы слишком мало знаем друг друга, чтобы делать какие-либо выводы...

19 августа, вторник. Космодром.

На космодроме ненастная погода. Накрапывает дождь. На стартовой площадке — челночный корабль. Он напоминает обелиск в строительных лесах. В стороне, за откосом газоотводного канала, видны перископы бункера. В нем размещается командный пункт подготовки и пуска ракеты. Вдали, на пригорке, белеет за штриховкой мелкого дождя МИК — монтажно-испытательный корпус. Его размеры грандиозны. В этой космической гавани готовят корабли и носители. Железнодорожная колея связывает МИК и стартовую площадку.

В МИКе идет подготовка очередного корабля. Илья Ильич Зуев, которого не сразу и узнаешь в сером комбинезоне космонавта, стоит под яркокрасными заглушками больших сопел корабля в окружении нескольких инженеров.

— Учтите, второй корабль нам может понадобиться в любую минуту, в любую, понимаете?—Зуев очень серьезен.—Даже на несколько часов раньше «любой минуты». Нельзя тянуть с монтажом. Форсируйте все работы, раскалите здесь все докрасна — но форсируйте! Я не на год улетаю... Так и передайте Володе Орлову, чтобы он забыл о прежнем графике. Эти чертовы пришельцы не по нашему графику живут!

— Но мы и так, Илья Ильич, работаем в три смены. Люди с ног валятся...

— Понимаю, прекрасно понимаю. Людей добавим. Я ведь тоже на орбитальную станцию лететь не собирался, думал, уже все, отлетал свое, а вот видишь, лечу: своими глазами поглядеть все надо. Событие-то даже не фантастическое, просто...— Он ищет слово.— Ну, чертовщина какая-то! Вот, казалось, готовились, космический язык разрабатывали, конференции проводили по внеземным цивилизациям. А они прилетели — и ни черта понять не можем... Ладно, поехали на командный пункт, а то ребята уже заждались.

Командный пункт космодрома. Задняя стеклянная стена зала отгораживает амфитеатр кресел, сюда же выведены динамики громкой связи, по которым звучат обычные предстартовые команды. Через стекло виден огромный, в полстены, светящийся экран — короче, здесь обычный космический командный пункт, не лучше — не хуже других.

Зуев и космонавты примостились в уголке. Академик упрямо твердит свое:

—...Мы должны действовать наверняка, но для того, чтобы действовать наверняка, мы мало знаем. Я понимаю ваше нетерпение, желание активных действий. Господи, какой я ни старый человек, я все понимаю, и не надо меня агитировать. Но ни я, ни один человек на Земле ничего определенного вам сейчас не скажет. Поэтому работайте, прошу вас, по старому графику. Не прошу, я требую, чтобы вы работали по старому графику. Что у вас там? «Атлантида»? Вот извольте работать на «Атлантиде». Кстати, эта лазерная антенна, которую мы туда отправили,— вещь совершенно новая и тонкая. Научитесь ее монтировать и работать с ней. Она очень может нам понадобиться... И не бойтесь, о вас не забудут...

— Извините, Илья Ильич, но я вас совершенно отказываюсь понимать,— вдруг взрывается Лежава.— Произошло поистине фантастическое событие, космическое чудо, а вы не хотите даже на день сокращать программу марсианских испытаний! Только что мы провели двое суток в тренажере, имитируя отказ теплоэлементов, при одновременном аварийном выключении всех солнечных батарей. Кому это все надо, когда рядом с нашей планетой висит космическая радиолампа, которая, может быть, предвещает выход человечества в другой мир, другую галактику, другое измерение...

— Именно поэтому,— жестко прервал его Зуев,— вы должны быть готовы к немедленным действиям, а чтобы быть готовым, надо не ждать, не томиться, а работать. Надо быть в форме. А мы тем временем попытаемся кое-что разузнать...

— Вы ничего не разузнаете до тех пор, пока не пошлете к излучателю человека,— парирует Леннон.— Нужно верить в разум и добрую волю тех, кто прислал сюда этот гигантский динамик.

— Ах, «верить в разум»! — встрепенулся академик.— Да мы с вами, господа хорошие, на одной планете живем, и друг на друга, как две капли воды, похожи, а с каким трудом «верить в разум» научились. Вспомните... хотя вы молодые, вы не помните. А я помню 72-й год, свою первую поездку в Хьюстон. Так что не будем о других галактиках говорить! Ну, в общем, вот так...— Голос Зуева стал на минуту официальным и чужим.— Как член международной Специальной комиссии и как председатель Советско-американского комитета заявляю вам официально: до тех пор, пока хоть некоторая ясность не наступит, ничего в вашей подготовке мы ни менять, ни форсировать не будем. Ни-че-го,— раздельно произнес он.— А сейчас давайте спускаться вниз, мне уже пора... Да не грустите вы — поверьте, у меня чутье,— без вас здесь дело все-таки не обойдется...— Он хитро подмигнул космонавтам...

На экране телевизора видят космонавты, как поплыла вверх к люку челночного корабля коробочка лифта.

— Зачем он летит? — спрашивает молчавший до сей поры Стейнберг.— Он не доверяет своим сотрудникам на орбитальной станции?

— Человек, которому Зуев не доверяет, не смог бы проработать на орбите и одного часа,— спокойно отвечает Седов.— Но Зуев не пустит «Гагарина» даже до Луны без того, чтобы сам он не проверил каждую кнопку, вне зависимости от того, существуют пришельцы, или не существуют. Зуев — это Зуев. Это невозможно объяснить. У него нет в жизни ничего, кроме «Гагарина», как до этого не было ничего, кроме «Мира», а до «Мира» ничего, кроме «Звезды», а до «Звезды» — «Салюта», а до «Салюта» — «Союза»...

По трансляции разнесся голос:

— Объявляется готовность один час. Повторяю: часовая готовность. Начать эвакуацию старта...

По ракете стекал, клубясь, белый туман кислородных паров.

31 августа, воскресенье. Москва.

Кухня в квартире Александра Матвеевича Седова. Пожалуй, только в воскресенье удается позавтракать всей семье вместе.

— Вера! Как ты сидишь? — раздраженно говорит отец.— Где твои ноги? Сядь прямо. Почему мы об этом столько говорим?

Девочка усаживается за столом, исподлобья глядя на сердитого отца. Жена Александра Матвеевича молча наливает ему кофе.

— Что за моду взяли у нас на почте! — снова язвительно и капризно говорит Седов.— Девять часов—газет нет!

— А ты радио послушай,—примирительно говорит жена.

— Ну при чем здесь радио?

Девочка тихо сползает с табуретки и уходит.

— Что нужно сказать маме? — кричит ей вслед отец.

— Спасибо,— тихо доносится из коридора.

— Ну что ты, Саша? — ласково говорит жена.— Ну мы тут при чем?

Плохо Седову, муторно, стыдно. Права Вероника, кругом права. И подло это — срывать на них свое нетерпение. Да, действительно, не те уже у тебя нервы, Александр Матвеевич, что раньше. И, может быть, прав Зорин со своей командой, когда не хочет тебя в космос пускать. А то и там вот этак начнешь психовать. Ну ладно, ждать недолго осталось... Сегодня все выяснится...

Седов ловит руку жены и говорит уже совсем другим, покорным и усталым голосом:

— Ты знаешь, что́ меня больше всего раздражает? То, что они всегда изображают из себя самых загруженных людей, я это давно заметил. Комиссия заседает в воскресенье! Все надеются, что их за усердие похвалят... Они необыкновенные мастера имитации бурной деятельности. Сколько показухи! Ты бы на космодроме посмотрела: марлевые намордники, таблички «Рукопожатия отменены», необыкновенная озабоченность на лицах. Ты думаешь, только наши такие? Американцы еще хуже! Космонавты идут по коридору, так сирену включают, и люди встречные разбегаются, как от чумных. И сегодня: «Комиссия»! Право же, это не проблема — списать Седова на свалку или дать старику попрыгать еще немного... Надоело, Вероника, ох, как все надоело! Знаю, знаю все, что ты скажешь. Да, я уже налетался, я все уже знаю, все видел, но именно поэтому мне необходимо быть там! Я там нужен, понимаешь? Эти клистирники не могут понять грандиозности случившегося! Ведь от того, как все там...— он ткнул пальцем в люстру,— ...повернется, зависит, может быть, будущее всех нас!

— Но если ты будешь сейчас лезть на стенку, ничего не изменится и пользы не будет никому. Правда, Саня, милый, успокойся, а?

— Ладно. Я спокоен. Я спокоен, как сфинкс, как камень, как Стейнберг! Я спокойно беру дочку и спокойно еду с ней... в зоопарк, как полагается примерному отцу в воскресенье. Веруша, хочешь поехать в зоопарк? — кричит он в коридор.

Девочка, как все дети, тонко чувствующая обстановку, не хлопает восторженно в ладоши, а вопросительно смотрит на мать. Та улыбается. Наконец поняв, что ее не разыгрывают, девочка кричит: «Ура!»

— И не жди нас до обеда.— Седов целует жену и выходит из комнаты.

Вероника, улыбаясь, смотрит им вслед, но когда дверь за ними захлопывается, она устало садится на стул и плачет.

31 августа, воскресенье. Космос.

Голубая Земля внизу. Над Европой облачно, но очень четко через ясное сухое небо просвечивает желтым Аравийский полуостров. Зеленеющий клин Индии ткнулся в зыбкое, дрожащее бликами пространство океана, а к северу круто уходят за размытый горизонт шоколадно-белые Гималаи. Зуев смотрит на Землю из иллюминатора межпланетного космического корабля «Гагарин», пришвартованного к одному из причалов орбитальной станции «МИР-4». Молча отплывает от иллюминатора...

Очередная телепередача с борта орбитальной станции. У микрофона— Зуев.

— Мы не только не смогли вступить в контакт с космическим объектом, но, как и раньше, не уверены ни в одном его физическом параметре. Единственное, что его по-прежнему характеризует,— это постоянное, неподвижное, узконаправленное мощное радиоизлучение. Широкая полоса радиопомех движется по земному шару по мере его вращения. Хорошо, что теперь мы точно знаем, где в данный момент оно проходит. Вот сейчас, например, радиолуч накрыл восточную часть США от Атлантики до примерно Миссисипи, всю Кубу, республики Центральной Америки, Эквадор, западные районы Колумбии и Перу, острова у побережья Чили, а на севере — великие американские озера и центр Канады. Эта полоса движется на запад со скоростью земного времени...

31 августа, воскресенье. Москва.

Среди вольер нового зоологического парка на юге Москвы гуляет Седов с дочкой, тщетно заставляя себя заинтересоваться, отвлечься от мысли о проклятой комиссии, на которой, как ни высокопарно это звучит, решалась его судьба.

— Пап, а почему у гусей ножки красные? — спрашивает Верочка.— У них ножки всегда зябнут, да?

— Что? — Александр Матвеевич не слышал и не понял вопроса.—Что? Красные? Очевидно, зябнут... Я думаю так...

— Так ведь тепло...

— Да, вроде тепло... Кто их знает, гусей...

Многие посетители зоопарка узнают его, приветливо улыбаются, здороваются, другие просто шепчутся, скосив на него глаза. Народу в зоопарке немного, несмотря на воскресный день. Подходит мальчик, просит автограф. За ним — еще и еще.

— Извините, товарищи, но я тоже отдыхаю,— говорит Седов ворчливо и быстро уходит.

Шагают молча по пустынной аллейке.

— Пап,— спрашивает Верочка,— а почему ты раньше всем расписывался, а теперь нет?

— Потому что раньше я был космонавтом.

— А теперь?

— А теперь...— Он смотрит на часы.— А теперь не знаю, кто я. Может быть, просто отставной генерал...

31 августа, воскресенье. Дно Черного моря.

В домике космонавтов продолжается бесплодный, тягучий, изматывающий душу спор, который, то затихая, то разгораясь вновь, идет уже недели три.

— ...Все это прекрасно, но я задам вам вопрос, который мне задал мой отец и на который я не мог ответить: почему именно нам оказана честь посещения высшим разумом? — горячится Леннон.— Чем мы замечательны?

— Мы замечательны тем, что мы существуем,— говорит Лежава.

— Слушай, Анзор, если ты все знаешь, объясни мне, почему они исследуют нас так долго? — спрашивает Раздолин.— Не пора ли им составить о нас какое-то мнение и наконец решить, стоило ли вообще сюда лететь? Если это туристический экспресс, то где, черт возьми, сами туристы?

— Правильно,— кивает Леннон.— Можете ли вы себе представить, чтобы земляне пролетели миллионы, миллиарды, а возможно, и миллионы миллиардов километров и не попытались поговорить с существами, которых они обнаружили по прибытии к месту назначения?

— Не горячись, Майкл, они, может, и пытаются как раз поговорить с тобой,—спокойно замечает Лежава.

— Ну так что угодно можно напридумывать,— разводит руками Раздолин.

— Совершенно верно,— Лежава невозмутим.— Ты прав абсолютно: напридумывать можно что угодно.

31 августа, воскресенье. Москва.

Пап, а почему, интересно, крокодилы всегда спят? — удивляется Верочка.

— Спят? Крокодилы? — переспрашивает Седов.— А ведь верно! Делать им нечего, дочка, вот и спят, забот не знают.—Он опять смотрит на часы, оглядывается вокруг и говорит почему-то шепотом: — Верочка, давай поедем кататься на велосипеде! Ведь ты любишь кататься на велосипеде?— И, не дожидаясь ответа, Александр Матвеевич начинает пробираться к выходу из террариума. Он почти бежит по зоопарку. Прямо возле ворот им попадается свободное такси.

— Пап, это мы на велосипеде торопимся кататься?

— На велосипеде, доченька, на велосипеде...

Московские таксисты — люди начитанные, разносторонние и дерзкие. Шофер сразу узнал знаменитого космонавта, ему не терпится начать разговор, и единственное, что его сдерживает до поры,— на редкость сосредоточенное лицо необыкновенного пассажира. Наконец шофер не выдерживает:

— В Институт космической медицины?

— Нет, мы едем кататься на велосипеде,— громко отвечает Верочка.

Седов молчит. Он как будто даже и не слышал вопроса.

— Да, задали эти марсиане работы,— как бы сам с собой распевно разговаривает шофер.— Ведь надо же, что вытворяют, гады!

— А что, собственно говоря, вытворяют? — Седов отвернулся от окна и с интересом посмотрел на водителя.— Есть новости?

— Мне один пассажир рассказывал,— шофер продолжает разговор с радостным оживлением,— он тоже, между прочим, как и вы, где-то по космосу, как я понял, работает,— так он говорил, что это с Марса космический корабль, а марсиане сами — вроде больших пауков, в общем, гадость какая-то. Они вот сейчас нас изучают, а как закончат изучать, так и начнут...

— Что начнут?— спрашивает Верочка.

— Порабощать народы Земли,— уверенно говорит шофер.— Это у них в институте на закрытом собрании официально объявили. Солидный человек, врать не должен,— полувопросительно заканчивает шофер.

— Однако ж врет,— говорит Седов и снова отворачивается к окну.

Машина остановилась у проходной, рядом с которой блестит вывеска «Институт космической медицины».

Через минуту Седов с дочкой уже сидят в приемной директора ИКМ. Верочка ведет себя смирно, хотя ей очень скучно. Александр Матвеевич неотрывно смотрит на кожаную дверь, за которой сейчас заседает комиссия.

— Пап, а когда мы будем кататься на велосипеде? — тихонько спрашивает Верочка.

— Сейчас пойдем, дочка... Мы спустимся в зал,— говорит Седов секретарше.— Если что, позовите меня, пожалуйста.

— Конечно, конечно, Александр Матвеевич...

Вот он — зал, в котором Седов провел столько часов и один и вместе с друзьями... Верочка с интересом бродит среди холодно поблескивающих снарядов, увидела велоэргометр и с криком: «Велосипед, велосипед!» — быстро уселась на него и стала весело вертеть педали. «Проклятый велосипед»,— думает Седов. Сколько километров накрутил он в этом зале... Нет ни одного предмета здесь, глядя на который он не вспомнил бы всегда одно и то же: напряжение, выдержка, собранность, предельное усилие тела и духа, сладость расслабления и снова— напряжение... В этом зале человеческие сердца выработали столько энергии, сколько, наверное, установи тут генераторы, и то не получишь... Черт побери! А ведь вполне возможно, что он сейчас в последний раз пришел сюда... Пришел прощаться...

— Ну, поздравляю, дорогой, а ты боялся! Я же говорил...— Этими словами Андрей Леонидович Зорин прерывает мысли Седова.

Седов долго молча смотрит на врача, потом подходит к параллельным качелям — снаряду с виду невинному, но едва ли не самому тяжелому, толкает доску. Стоит и улыбается, глядя на ее четкое, как у часового маятника, движение.

9 сентября, вторник. Дно Черного моря.

Уже первые признаки осени в Крыму: золото солнца освещает поблекшую зелень парков. Но краски увядающего Крыма сейчас, увы, не для космонавтов. Подводный дом уже не впервые применялся для космических тренировок. Сюда, на крымское дно, приезжали строители больших орбитальных станций — космические монтажники. Здесь тренировались все, кому предстояло работать в открытом космосе, и, хотя в программе будущего полета такой выход допускался лишь в исключительной — так называемой нештатной — ситуации, Зуев на своем настоял, и Самарин отправил космонавтов на недельку в «Атлантиду» — так называлась подводная лаборатория. Сегодня в кают-компании «Атлантиды» остались Раздолин и Стейнберг. Остальные — «на выходе», как записал Раздолин в бортовом журнале. В одних плавках он сидит у большого иллюминатора, внимательно наблюдая за всем происходящим под водой. В руках — микрофон ультразвуковой подводной связи. Раздолин видит круто бегущую вниз песчаную отмель, по которой, перегоняя друг друга, прыгают веселые солнечные зайчики. Скачут они и по блестящей крутобокой металлической панели, имитирующей внешнюю оболочку «Гагарина». В программе сегодняшних тренировок — установка специальной наружной антенны лазерной связи, ее решено срочно смонтировать на «Гагарине», ибо это была единственно возможная аппаратура связи, которая не боялась помех «Протея» — так в последнее время журналисты окрестили мифический излучатель.

Три человека с аквалангами за плечами медленно кружатся в пестром свете солнечных бликов, стараясь закрепить на панели нечто, напоминающее до поры сложенный зонт. Зонт разворачивают «ручкой вверх», стараясь попасть опрокинутой «шишкой» в замок на панели, но это не удается, потому что один

из акванавтов отпускает «ручку», и зонт медленно валится набок. Двое плавающих у дна стремятся подхватить его, но в это время «шишка» выскальзывает из панельного замка.

— Нет,— спокойно говорит Раздолин, глядя на всю эту возню за иллюминатором.— Так дело не пойдет. Алан, заводи в замок, а Майкл с Анзором придерживайте легонько сверху. Но легонько, не надо дергать... Начали!

Зонтик опять поднимают и начинают заводить на прежнее место.

— Вот так,— комментирует Раздолин.— Майкл! Не дави! Ты же им мешаешь! Только придерживай. Анзор, сейчас на тебя упадет. Не отпускайте сверху, пока Алан не замкнет растяжку. Алан, давай... Молодец. Майкл может отпустить, а ты, Анзор, держи. Хорошо... Ну, вот и все... Крепите...

Позади Раздолина у электрической плиты орудует дежурный по подводному дому Джон Стейнберг. Он тоже в плавках, но этот «костюм-минимум» дополнен белым крахмальным фартуком. На электрической плите в большой сковородке шипит сало, краснеют помидоры, а Стейнберг колет в сковородку яйца.

— Ты сам придумал такую яичницу? — не оглядываясь, спрашивает Стейнберг.

— Это украинцы без меня придумали лет за пятьсот до моего рождения,— отвечает Раздолин, глядя в иллюминатор.

В иллюминатор видно, как огромный сложенный зонтик начинает раскрываться под водой, подобно цветку. Внутренняя поверхность поднятой вверх чаши оказывается зеркально блестящей, и тени маленьких волн, бегущих где-то высоко над ней, отражаются в солнечной сфере лазерного приемника, рождая причудливую игру света.

— Мне очень нравится русская кухня,— удовлетворенно оглядывая сковородку, говорит Стейнберг.— Мне только хлеб у вас не нравится.

— Ну, ты и сказал! — оборачивается Раздолин.

Из динамика на стене голос Редфорда:

— Не понял. Повтори.

Раздолин в микрофон:

— Это я не вам. У вас все в порядке. Крепите — и домой. Есть хочется.

Голос Леннона:

— Джон, конечно, спит?

Стейнберг подходит к Раздолину и громко говорит в микрофон:

— За этот выпад ты получишь свою порцию отдельно.

— Не понял.

— Поймешь.

— Хватит разговаривать. Я отключаюсь,— говорит Раздолин.

На ручке микрофона гаснет маленькая красная кнопочка. Стейнберг берет прозрачный полиэтиленовый мешочек, кладет в него яйцо, кусочек украинского сала, помидор и клочок бумаги, на котором пишет по-английски: «Для мистера Леннона»,— затягивает мешочек веревочкой и опускает в воду входного колодца. Раздолин весело наблюдает за ним. Встает, потягивается, потом говорит:

— Значит, говоришь, хлеб? Но ведь американский хлеб по вкусу — вата.

— Почему вата? — обиженно спрашивает Стейнберг.

— Ну, хорошо. Не вата. Пенопласт,— поправляется Раздолин.

— Ты ничего не понимаешь,— говорит Джон.

— Я понимаю, старина, что мы с тобой патриоты,— смеясь, говорит Раздолин, похлопывая Стейнберга по плечу.— И это замечательно!— Он молчит, потом продолжает медленно и серьезно: — Как счастлива была бы наша планета, если бы мы спорили только о вкусе хлеба..

— У нас все,— докладывает динамик на стене голосом Редфорда.

Раздолин бросает взгляд на круглые стенные электрические часы с резко бегущей большой секундной стрелкой, подходит к микрофону — вспыхнула красная кнопка — и говорит, обернувшись к иллюминатору:

— Молодцы. Девятнадцать минут. Это уже не сорок три.

Один из космонавтов смотрит на ручные часы, и динамик возражает несколько обиженным голосом Лежавы:

— Не девятнадцать, а семнадцать. Я точно засекал.

— Пусть так,— соглашается Раздолин.— Все. Отбой. Всем на обед.

Тихо шевеля ластами, тройка плывет к подводному дому...

9 сентября, вторник. Космос.

Сеанс связи с орбитальной станцией «МИР-4». У микрофона японский профессор Ятаки — один из спутников Зуева по космическому путешествию.

— По уточненным данным подтверждается гипотеза, высказанная за несколько часов до нашего старта уважаемым профессором Ленноном: размеры излучателя действительно не превышают в миделе[1] 30 квадратных метров,— говорит японец.— Для межзвездного пилотируемого космического корабля подобные размеры представляются невероятно скромными, если не сказать фантастическими. Точное, в пределах одной сотой процента, расположение излучателя в той точке пространства, где взаимно нейтрализуются силы притяжения Земли и Луны, говорит о высокой чувствительности гравитационной аппаратуры и стремлении к оптимизации траектории. Такое впечатление, что на излучателе тщательно экономят энергию за счет траектории и одновременно излучают ее столько, сколько с трудом могут выработать все электростанции Земли. Но самая большая загадка для нас сегодня: почему он такой маленький? По всем расчетам, он не может быть таким маленьким. Мы могли бы попытаться дать какое-то толкование излучателю, если бы он был хотя бы в сто раз больше, а еще лучше — в тысячу. Но сейчас ..

9 сентября, вторник. Дно Черного моря.

Подводный дом «Атлантида». За столом, вокруг яичницы — гордости Стейнберга — и прочих земных яств разместились космонавты в трусах и мягких махровых пляжных рубашках. Спор, разумеется, продолжается:

— Если ты прав,— горячо говорит Лежава Леннону,— то объясни, зачем мы возимся с этой лазерной системой?

— Затем, что наши радиосигналы «Протей» будет глушить,— говорит Раздолин, отрезая себе добрый ломоть консервированной ветчины.

— Но если мы полетим к Марсу, она не должна нам мешать! — замечает Редфорд.—Объясни ему, Майкл, ты же астроном.

---

[1] Миделъ — среднее поперечное сечение судна, дирижабля, крыла самолета или ракеты.

— Достаточно «Протею» переместиться по его сегодняшней орбите на 15 градусов, и они будут глушить нас по всей нашей траектории, не говоря о том, что Земля не всегда сможет выйти на связь с нами,—холодно говорит Леннон.—Да о чем ты говоришь! Если они захотят, с излучателями такой мощности они пикнуть нам не дадут ни вблизи Земли, ни у Марса.

— Говорите, что хотите, а я уверен, что мы полетим к нему навстречу,— мотает головой Раздолин.

— Я не знаток русского языка,— замечает Стейнберг,— но об одном и том же вы говорите, то «он», то «она», то «они».

— О, как много я отдал бы, чтобы узнать, кто же это «он» — пилотируемый корабль или «она» — автоматическая станция! — восклицает Лежава.

— А если это «оно»?— смеется Раздолин.— Нечто третье, ни на что не похожее?

Редфорд встает из-за стола, отходит к телевизору и включает только изображение. Красные и белые футболисты бесшумно резвятся на зеленом поле.

— Хочу проверить часы,— не оборачиваясь, объясняет Редфорд.

Резкий скачок на экране телевизора, изображение запрыгало, пошло рябью. Все смотрят на часы над пультом подводного дома.

— Все точно,—спокойно говорит Редфорд и возвращается к столу.

— Поразительно! Как будто ничего не произошло. Все уже привыкли к тому, что телевизор не должен работать,— говорит Лежава.— Иногда мне кажется, что эти «марсиане» были всегда.

— Приспособляемость к обстоятельствам не слабость, а сила человеческого рода,— говорит Стейнберг.— А потом люди верят, что пришельцами занимаются разные ученые, которые не дадут их в обиду. Мы уже много знаем, а завтра будем знать еще больше...

— А послезавтра еще больше,— одними губами улыбается Леннон.— О, как я ненавижу бюрократов! Конгресс не может договориться с НАСА, НАСА не хочет принимать решений без сенатской комиссии по космосу, комиссия согласовывает свои выводы с астронавтическим комитетом палаты представителей...

— А в результате? — перебивает его спокойный голос Редфорда.

— А в результате мы наслаждаемся жизнью, а «Протей» летает,— раздраженно заключает Леннон.

— И, кстати, это уже мало кого волнует,— грустно говорит Редфорд.— Интереса к «Протею» хватило на неделю. А если бы не помехи радиосвязи, о нем бы вообще не вспоминали. 90 процентов людей не могут даже представить себе масштаб случившегося «Протей» в принципе не мешает делать бизнес, почему же он должен волновать людей? А вот твоему бизнесу он мешает, и ты волнуешься.— Он оборачивается к Леннону.— И бизнесу Джона он тоже мешает, и Джон тоже волнуется...

— Ну при чем здесь бизнес, Алан? — поморщился Раздолин.— «Протей» — проблема не экономическая и не техническая, а мировоззренческая. Мы верим, что Вселенная бесконечна, что она познаваема и что за правду по-прежнему стоит отдать жизнь, а уж тем более частицу материального благополучия. Пусть на один легковой автомобиль меньше, но на один сантиметр к правде ближе!

— Единственно, чего нам не хватало,— криво усмехнулся Стейнберг,— это политических дискуссий.

— Ох, не могу! — закричал вдруг Лежава.— Не могу больше! До чего же мне надоели эти разговоры! Что мы обсуждаем? Сколько это будет продолжаться? Вместо того, чтобы действовать, мы все говорим, говорим...

— Что ты хочешь? — перебивает его Леннон.— Мы сказали Зуеву, что хотим лететь к излучателю, мы говорили с Кэтуэем... Решать им...

— Да почему решать им?! — снова взрывается Лежава.— Мы поговорили и успокоились. Ты что, не знаешь Кэтуэя? А Зуев твой любимый снова упрятал нас на дно морское, чтобы мы у него в ногах не путались. Сидим, едим, в шахматы играем, телевизор смотрим! Прямо Дом ветеранов сцены... Мне не нужна имитация невесомости, понимаешь? Я в невесомости два месяца прожил! И антенну эту дурацкую я в настоящей невесомости один могу смонтировать за десять минут!

— Ну-ну-ну,—улыбается Редфорд.

— Больше всего меня возмущает то, что мы живем, как будто ничего не изменилось. Последствия этого события могут быть страшнее, чем все наши войны, вместе взятые.

— Ты не допускаешь, что это событие может принести всем нам величайшее благо? — перебивает Леннон.

— Допускаю. В любом варианте речь идет о перевороте в судьбе земной цивилизации, это вы понимаете?

— Послушай, Анзор, в чем мы перед тобой провинились, что ты на нас кричишь? — с нарочитым спокойствием спрашивает Стейнберг.

— Ты провинился в том, что лопаешь яичницу с украинским салом, вместо того чтобы лететь к излучателю! — отрезал Лежава.

— Это ты ее лопаешь,— невозмутимо замечает Стейнберг,—а я ее жарю...

Редфорд подходит к полке, перебирает какие-то бумаги и, взяв один листок, возвращается к столу.

— Давайте-ка, ребята, обсудим,— говорит он задумчиво.— Я вот тут кое-что набросал...

Все оборачиваются к нему.

— Что это такое? — спрашивает Леннон.

— Это набросок программы полета к излучателю. Самый общий, разумеется...

— Э, нет, обсуждать давайте все вместе!

На этот веселый, добродушный голос мгновенно оборачиваются все, словно их током ударило. В шлюзовом люке подводного дома из воды торчит человеческая голова, лицо скрыто маской для ныряния. Тишина в доме такая, что слышно, как скрипит мокрая резина, когда человек стягивает маску.

— Саш, это ты? — шепотом спрашивает Раздолин.

— Я,— с улыбкой отвечает Седов.

Редфорд закрывает глаза и, набрав полные легкие воздуха, кричит, что было сил:

— Ур-ра! Саша вернулся! Ура!

Пять веселых полуодетых людей мнут и тискают мокрого Седова.

— Ну, рассказывай: все в порядке?

— Новости какие-нибудь привез?

— Новости дозревают,— улыбается Седов.

Резко звонит телефон.

Раздолин снимает трубку.

— «Атлантида» слушает... Саша, тебя.— Он протягивает трубку Седову.

— Седов. Да... Спасибо. Прибыл благополучно. Да, по-моему, неплохо встретили.— Он косится на друзей.—Понял... А повестка дня? Ах, вот оно что!— восклицает он радостно.— Спасибо... Конечно, конечно... До свидания

Он кладет трубку и, молча улыбаясь, оглядывает обступивших его космонавтов.

— Ну?! — не выдерживает Раздолин.

— Новости дозрели,— говорит Седов.— В 12 часов

в четверг советско-американское совещание. Будет обсуждаться вопрос об изменении программы нашего полета. Вот так, Алан...— Седов оборачивается к Редфорду.— Кончилась ваша курортная жизнь!

11 сентября, четверг. Крым.

Три одинаковых автомобиля спешат по горной дороге к белому красавцу дворцу, башенки и арки которого прячутся среди деревьев парка.

В одной из машин Леннон, обернувшись к Раздолину, сидящему сзади, говорит:

— Я сегодня слушал американское радио. Знаете, как называют нашу сегодняшнюю встречу? Вторая ялтинская конференция!

— Кстати,— Раздолин кивает в окно,— в этом дворце жил президент Рузвельт...

Помолчали.

— А им, пожалуй, было легче,—медленно говорит Леннон.

— Почему?

— Все было понятно. Был конкретный враг. Ясна была цель.

— Ну, не легче. Все-таки была война.

— А ты уверен, что завтра не начнется такая драка, по сравнению с которой все прошлые — детские игрушки?

— Уверен,— твердо говорит Раздолин.

— Почему?

— Потому что я коммунист, а следовательно, оптимист. Общественное сознание может в какой-то мере отставать от уровня развития техники, но очень большим этот разрыв быть, я уверен, не может.

— При чем тут общественное сознание?

— То, что там летает,—Лежава ткнул пальцем в небо,— не может сделать кто-то один. Одному это и не нужно. Их много. Следовательно, понятие общественного сознания справедливо и для них.

Во второй машине — Седов и Стейнберг.

— Саша,— говорит Джон и сразу замолкает, потому что это вырвалось у него непроизвольно: он никогда не называл своего командира вот так, просто по имени. И Седов тоже сразу понял, что Джон напряжен, и обернулся к нему просто и ласково, будто и не заметил ничего.—Ты знаешь,—Стейнберг сглотнул, что-то мешало ему говорить,—это я тогда заварил всю кашу... Ну тогда, когда мы ходили к Зуеву... Я после много думал об этом... Все уже забыли этот случай, а я все помнил. И вот я хотел... захотел, чтобы ты знал...

— Спасибо, Джон.—Седов положил ему руку на плечо.— Я все понял. Все понял, как надо, спасибо...

Машины останавливаются у подъезда дворца. На ступеньках космонавтов встречают генерал-полковник Самарин, Зуев, вернувшиеся вместе с ним с орбиты профессора Ятаки и Делонг, руководитель американской части программы «Марс» Майкл Кэтуэй. Шутки, рукопожатия, дружеские похлопывания по плечу. С террасы смотрят несколько телекамер, снуют фотокорреспонденты.

— Послы Нептуна прибыли, можно начинать,— говорит кто-то громко за их спиной.

Все тронулись вверх по лестнице...

Светлая просторная зала. Зеркала делают ее еще просторнее. Ветер шевелит белые шелковые занавески на распахнутых окнах. Большой круглый стол, в центре которого два флажка: советский и американский. Космонавты разделились на этот раз: слева сидят американцы, справа— представители СССР.

— Господа, товарищи! — поднялся Зуев.—Мы собрались здесь, чтобы обсудить возможность изменения программы полета космического корабля «Гагарин» в связи с непредвиденными и всем хорошо известными обстоятельствами. На этом изменении настаивает экипаж. Я знаю, что есть доводы против. Прошу высказываться.

Слово просит Кэтуэй. Он улыбнулся сидящим вокруг стола и заговорил по-русски, но с сильным акцентом:

— Кажется, у русских есть такая поговорка: за двумя зайцами побежишь, ни одного не схватишь. Так? Очень хорошая поговорка. Почему я против полета к непонятному излучателю и настаиваю на полете к Марсу? В первом случае у нас есть программа, которую мы разрабатывали вместе много лет. Мы знаем, куда и зачем летим. Наш корабль предназначен именно для такой, а не иной задачи: это корабль с многолетними ресурсами. Мы имеем идеальный экипаж, собранный и подготовленный именно для выполнения задач марсианской экспедиции. В составе этого экипажа наряду с навигаторами и техниками мы имеем биолога, физика и геолога. Наконец, наступает великое противостояние Марса, а следующего великого противостояния надо ждать 16 лет. Все это не позволяет менять программу. Уже несколько лет все человечество ждет экспедиции на Марс... Во втором случае,— продолжает Кэтуэй,— мы не имеем никакой программы. Мы не знаем, как близко от излучателя мы должны остановиться, не знаем, а что, собственно, мы должны предпринимать. Корабль не предназначен для такого полета, не имеет средств для разведки в открытом космосе. Его экипаж не подготовлен для подобной работы, выход в открытый космос является для него нештатной программой. Согласитесь, что для подобной космической разведки нам нужен совершенно другой экипаж, в который было бы неразумно включать столь уважаемых специалистов, как астрофизик Майкл Леннон и геолог Юрий Раздолин. Что будут делать они в таком полете? Наконец, мы совершенно не знаем, как поведет себя излучатель и что с ним произойдет через несколько минут. Мы заседаем, а он, может, уже улетел.—Кэтуэй сел и опять широко улыбнулся всем людям за столом.

— Самое парадоксальное, что он кругом прав,— говорит, наклоняясь к Раздолину, Седов.— Но надо с ним спорить...

Седов просит слова. Встает, вытягивается, как по стойке «смирно». Чуть бледен — видно, что волнуется и борется с волнением. Говорит отрывисто, сглатывает:

— Товарищи, господа! Я военный человек и выполню приказ, который мне будет отдан. Я командир корабля и поведу его туда, куда потребует программа. Но от себя и от имени моих товарищей — тех, кто рядом со мной, и тех, кто сидит напротив,— я хочу сказать несколько слов. Мы понимаем, что такое полет на Марс. Мы понимаем, что мы, члены этого экипажа, уже никогда не увидим Марса, о котором многие из нас мечтали долгие годы. То, что для вас называется изменением программы, для нас означает итог жизни. Но мы понимаем также, что привязанный к Солнцу Марс никуда не денется. Пройдут годы, и наши дети исполнят то, что задумали мы, и сделают это, наверное, лучше нас. Но ни дети, ни внуки, ни все грядущие поколения никогда не простят нам, если сегодня мы сделаем вид, что ничего не слышим и ничего не видим. Мистер Кэтуэй прав во всем. Действительно, может быть, пока мы тут заседаем, излучатель уже улетел. Что почувствуете вы, если это случится? Облегчение? Ведь все опять будет по-прежнему... Нет! Чувство необыкно-

венной утраты и, если хотите, даже стыда за всех нас, за нашу нерешительность, недоверчивость и подозрительность, за все то, что так часто мешало нам на Земле и что теперь мы, увы, переносим в космос... Я убедительно прошу изменить программу полета «Гагарина» и разрешить нашему экипажу — всему нашему экипажу, без замен,— провести разведку космического излучателя.

Седов садится. И вдруг в тишине — одинокие аплодисменты. Все оборачиваются. Редфорд аплодирует Седову. К нему присоединяются все космонавты, а за ними — и другие участники совещания.

30 октября, четверг. Космос.

Отсек связи орбитальной станции «МИР-4». У передающей телевизионной камеры — оператор в голубом комбинезоне. Ноги — в «стременах» на полу, удерживающих его от вращения в невесомости. Седов, паря в невесомости, старается закрепиться там, где указывает ему оператор. Он сосредоточен и несколько даже досадует на неудобства невесомости. И говорить он начинает без разбега, без предисловий:

— Прошу простить меня за краткость: мы должны садиться в корабль через...—он смотрит на часы,— двадцать девять минут. Мы собирались лететь к Марсу, как вы знаете. Наш путь изменился, но он не стал легче. Из тысячи пунктов прежней программы у нынешней остался только один: понять. Я хочу верить, что нам это удастся. Наш экипаж шлет привет Земле. До свидания.

Он медленно поплыл к переходному люку...

Зуев нажал несколько кнопок на своем пульте в маленьком рабочем кабинете и сказал торопливо и озабоченно:

— Соедините меня с Седовым, только побыстрей.

Но, когда на пульте зажегся транспарантик «Говорите», тон Ильи Ильича стал совсем иным, веселым, даже беспечным.

— Александр Матвеевич! Ты что такой невеселый был по телевизору? — звонко заговорил динамик голосом Зуева в шлюзовой камере орбитальной станции.

Седов здесь один. Он проверяет показатели на маленьких нагрудных щитках ранцевых ракетных двигателей перед тем, как положить их в мягкие ложа контейнеров. Откладывает ракетный ранец и говорит спокойно, точно так же, как только что говорил по телевидению:

— А что же веселиться, Илья Ильич? Дело-то ведь страшное...

Пауза: ответ неожиданный.

— То есть в каком смысле страшное? — наконец спрашивает Зуев.

— В самом прямом смысле. Ответственности страшно. За всю Землю ответственность на нас...— спокойно отвечает Седов.

Опять пауза. Потом Зуев говорит уже не тем веселым, бодрячески тоном, а медленно, с твердой убежденностью в голосе:

— Ты прав, Александр Матвеевич. И я рад, что ты это понимаешь и сказал мне это.

30 октября, четверг. Земля — Космос.

Черная бездна с россыпью немигающих звезд. Глубокая тень причала орбитальной станции, у которой стоит «Гагарин», заметна только потому, что в тени звезд нет. Только цепочка огней на борту космического корабля светится рядом с иллюминаторами станции. Вдруг цепочка эта дрогнула и тихо двинулась вперед. И весь причудливый, странный гигант начал выползать из черной тени, ослепительно сверкая под лучами солнца. Он отчаливал медленно и величественно, как отходит от пирса большой океанский лайнер. Никаких огненных струй, привычных для ракет, стартующих с Земли, никакого грома — безмолвие. Внутри «Гагарина» слышался, правда, тонкий, высокий свист магнитоплазменных двигателей — незнакомая нам, жителям 70-х годов XX века, мелодия орбитального старта межпланетного корабля. «Гагарин» начал свой путь к тайне.

Командный отсек. Довольно тесное помещение с большим, выгнувшимся дугой пультом, против которого три кресла. Посередине сидит Седов, справа от него Редфорд, слева — Стейнберг. Седов крепко держит в правой руке штурвал, похожий на рубильник, и медленно ведет его от себя. В иллюминаторах — край орбитальной станции на фоне расплывчатого бело-голубого диска Земли. Из динамика, незаметного среди множества приборов на пульте,— ровный, спокойный голос Зуева:

— «Гагарин», я двадцатый. Очень хорошо, «Гагарин». Мягко, плавно. 28-й двигатель не включайте, а то он своей струей может развернуть «МИР-4». Не беспокойте их. А угол по рысканью выберете, когда подальше отойдете. В общем, действуйте по штатной программе.

— Вас поняли, двадцатый,— отвечает Седов.— Угол 26 минут. Начнем его выбирать при отходе на 20 километров... У нас все в порядке, все параметры в норме.— И вдруг добавляет взволнованно и восхищенно: — Илья Ильич! Вот это действительно корабль! Такая громадина, а как слушается!

— А кто делал? — задористо говорит Зуев.

Голос Стейнберга:— Я третий. Десятая минута полета, замечаний по плазме нет.

Голос Лежавы: — Я четвертый. Замечаний по СЖО нет.

Голос Леннона: — Я шестой. На десятую минуту расстояние до станции 8434 метра.

— Я второй,—говорит Редфорд.— Принято по десятой минуте.

Радость, даже восторг сдерживаются тревожной напряженностью, ежесекундной готовностью прийти на помощь. В принципе «Гагарин» может управляться одним человеком, может управляться электронным мозгом, который поведет его строго по программе, а в случае каких-либо отклонений проанализирует причины их возникновения и мгновенно, несравненно быстрее, чем любой, самый опытный пилот, найдет наиэффективнейший путь к устранению любых неполадок. Но сейчас их руки на пульте корабля, сейчас, когда он делает первые шаги, они словно поддерживают его. Внимательно следит Седов за тем, как бьется магнитоплазменное сердце. Раздолин помогает ему за дублирующим пультом управления в главной физической лаборатории. Люк, сейчас задраенный, соединяет физическую лабораторию со шлюзовой камерой, отсюда же через переходный отсек можно попасть в «Мэйфлауэр» — посадочный модуль, маленький кораблик, который должен был сесть на Марс.

За пультом СЖО (системы жизнеобеспечения)— Анзор Лежава. Белую госпитальную чистоту биомедицинского комплекса приятно разнообразит зелень маленьких оранжерей. Среди них — клетки с подопытными мышами и морскими свинками, многие из которых, уже освоившись с невесомостью, сидят на решетках потолка или смешно кувыркаются. В стальной

ных зажимах укреплены шарообразные аквариумы с рыбками, и газовые пузырьки нагнетаемого в них воздуха не стремятся, как обычно, с веселым журчанием вверх, а кружатся серебристым хороводом.

Майкл Леннон, контролирующий работу автоматического штурмана, находится в обсерватории «Гагарина», которая отличается от других помещений большими размерами иллюминаторов и приборами, словно пронзающими ее стены. Леннон сидит — как бы точнее сказать? — на боковой стене, если считать, что кресло Лежавы укреплено на полу. Ведь в «Гагарине», предназначавшемся только для транспланетных перелетов, собранном на орбите искусственного спутника и не ведающем, что такое тяжесть, а значит, и такие понятия, как «верх» и «низ», некоторые рабочие места, входы и выходы расположены, по нашим земным представлениям, весьма странным образом. Земная жизнь приводит, естественно, к плоскостной архитектуре: невозможно, ска-

жем, жить в комнате со скошенным полом. В земных коридорах двери идут направо и налево. В «Гагарине» шесть кают экипажа расположены вокруг широкой трубы — коридора. Если все космонавты пристегнутся к своим постелям, окажется, что каждый из них по отношению к кому-то другому спит «вниз головой»... Смысл прямоугольной планировки теряется в этом мире. Поэтому большая кают-компания имеет идеальную для невесомости форму — шара. Единственная магнитная ножка кресел, двигаясь по внутренней поверхности шара-комнаты, может занимать в ней любое место. Поэтому в своей обсерватории Леннон работает сидя «на стене».

«Гагарин» лег на курс к таинственному излучателю. Седов откинулся в кресле, потер кулаками глаза, потом тронул кнопку внутренней связи и сказал весело:

— Экипажу перейти на автоматический режим. Спасибо за работу. Вахтенный в командном отсеке — Стейнберг. Остальных прошу на обед...

Из разных отсеков и лабораторий в шаровую кают-компанию «сплываются» к столу космонавты. По дороге они достают из встроенных в стену холодильников пакеты и тубы с едой, опускают их для подогрева в углубления на столе.

Раздолин включает электромагнит стола, тем самым закрепляя на нем вилки, фольгу туб и пакетиков.

— Из всех человеческих свобод самой большой борьбы за себя требует свобода мысли,— говорит Редфорд, отсасывая из тубы гороховый суп.— Нам, летящим к «Протею», так же трудно представить себе иную психологию, иную логику, как несколько лет назад конструкторам трудно было представить, что комната-шар — самое удобное помещение для жизни в невесомости.

— Но почему ты говоришь все время об иной логике и иной психологии? — возражает Раздолин.— А если все у них так же, как у нас?

— А если все, как у нас,— отвечает за Редфорда Седов,— какого же черта они прилетели и гудят во все тяжкие? Если бы ты полетел на другую планету, ты бы разве гудел так?

— Ребята,— перебивает всех Лежава,— а может быть, это гудение — все-таки какой-то рассказ, какая-то информация?

— Но ведь этот англичанин,— отзывается Седов,— забыл его фамилию...

— Когуэлл,— подсказывает Леннон.

— Да, да, Когуэлл. Ведь он же доказал, что никакой модуляции ни по частотам, ни по мощности нет. Представь толстую книгу без единой буквы — чистые листы. Вот это и будет сборник их рассказов.

— А я убежден, что в этой монотонности закодировано что-то,— не соглашается Лежава.— Иначе надо признать...

Биолога перебивает голос Стейнберга из динамика внутренней связи:

— Командир! Я третий. Получается, что мы стоим, а в то же время мы вроде летим... Ничего не понимаю...

Люди в кают-компании замолкли. Седов нажимает одну из кнопок на столе и говорит:

— Я первый. То есть как стоим? Как мы сможем стоять?!

— Ну, получается, что мы не летим вперед,— говорит Стейнберг нерешительно.

— А куда же мы летим? — спрашивает Редфорд.

— Куда-то летим, но не навстречу ему,— недоумевает Стейнберг.

— Погоди, сейчас разберемся...

Они дружно и быстро ныряют в широкий люк, ведущий в командный отсек.

— Мы летели навстречу излучателю, и он был нашим главным пеленгом. Чем мы ближе, тем он слышней — это понятно,— объясняет Стейнберг, когда все космонавты собрались перед пультом.— Вот смещение по частотам за счет нашего движения.

— Эффект Допплера,— говорит Седов.

— Он самый,— продолжает Джон.— Уровень рос.— Он нажимает кнопку, и на одном из маленьких экранов появляется яркая зеленая линия, медленно и ровно текущая в гору.— Вот что было. Потом получилось вот что...— Стейнберг нажал еще одну кнопку, и линия прекратила свой подъем, некоторое время шла ровно, а потом начала медленно и полого ползти вниз.— Получается, что мы вот тут остановились,— Джон ткнул пальцем в график,— а потом полетели куда-то в сторону от излучателя.

— Что показывает земной лазерный пеленг? — быстро спросил Редфорд.

— Что мы уходим от Земли точно по штатной программе.—Стейнберг кивнул на другой экран.

— Все понятно,— вдруг говорит Леннон, всплывая над спинками кресел.— Ответ единственный, но я отказываюсь в это верить! Ребята, неужели это правда?!

Зал центра управления полетами ИКИАНа. На большом, во всю стену экране горит схема: Земля, Луна, пульсирующая красная звездочка излучателя и белый кружочек, медленно ползущий навстречу к нему,—«Гагарин». Прыгают цифры на световых табло: «Полетное время», «Время Москвы», «Время Хьюстона», «Мировое время».

За рядами пультов — сменные дежурные. У пульта с табличкой «Технический руководитель полета» — Илья Ильич Зуев. Он повесил пиджак на спинку кресла, рукава белой рубашки закатаны по локоть, пуговка на шее расстегнута, и узел галстука приспущен. Вид у Зуева усталый, глаза покраснели, видно, что он уже много часов провел за этим пультом. Илья Ильич задумчиво отхлебывает черный кофе из маленькой чашечки, стоящей прямо на пульте. В зале атмосфера сонная, все идет по плану, и, как это всегда случается, если все идет нормально, напряжение первых часов полета «Гагарина» сменилось некоторой апатией. Поэтому неожиданный громкий и молодой голос звучит особенно резко:

— Внимание двадцатому, двадцать шестому и тридцать первому! Я сто седьмой. Обсерватория в Голдстоне докладывает: с 17.25.43 по мировому времени началось падение мощности сигнала излучателя со скоростью 183,3 киловатта в минуту. Падение стабильно продолжается уже четвертую минуту.

Зуев буквально подпрыгнул:

— Внимание сто седьмому! Запросите Голдстон: наблюдается ли смещение координат излучателя?

— Принято.

— Ну, дела! — выдохнул Зуев.— Неужели улетают?! Именно сейчас! Черт возьми! Но с какой же скоростью надо лететь, чтобы в минуту терять 183 киловатта? Это же уму непостижимо! Стояли, стояли и вдруг рванули!

— Я сто седьмой. Координаты излучателя не изменились. Данные Голдстона подтвердили Паломар и обсерватория в Каракасе.

— Принято,— радостно сказал Зуев.— Спасибо, сто седьмой! Вниманье сороковому! При программной скорости «Гагарина» и постоянном падении мощности излучателя какой будет мощность в момент подхода? Жду.

Зуев тронул клавишу на пульте и сказал негромко по-английски в маленький микрофон:

— Кэтуэй! Это я! Как тебе нравится?! Они замолкают! Ты представляешь?

— Надо сообщить ребятам,— отвечает с маленького экрана на пульте Зуева Кэтуэй.

— Уверен, что они уже заметили это!

— Успокой их.

— Сейчас, только получу прогноз.

— Внимание двадцатому! Я сороковой. При заданных условиях и расчетной скорости «Гагарина» на расстоянии ста метров от излучателя мощность будет равна нулю.

Зуев снова подпрыгнул:

— Они таким образом дают нам режим причаливания! Черт побери, ну, дела!!!

Все в зале пришло в какое-то озабоченно-радостное движение. Уже и тени прошлой апатии здесь нет. Сообщение о том, что излучатель, так неизменно и бесстрастно работавший все эти сумасшедшие недели, замолкает, всколыхнуло всех.

— Внимание на циркуляре! Внимание всем службам! «Гагарин», я двадцатый! Внимание, «Гагарин»!

— Двадцатый, я «Гагарин», слушаем вас,— раздается голос Седова.

— Началось падение мощности излучателя. С 17.25.43, повторяю: с 17.25.43 мощность падает на 183,3 киловатта в минуту. По нашим расчетам, когда вы подлетите к нему, он должен замолчать совсем. Как поняли меня?

— Все поняли. Мы это раньше поняли. У нас шестой отличился, все сразу усек.

— Мои поздравления шестому. Ребята! А ведь, похоже, вас заметили, следят за вами и понимают, что вы летите к ним. Вы понимаете, как это важно?! — Зуев в окружении молодых инженеров и ученых Центра. Он очень взволнован. Обнимает за плечи двух стоящих рядом с ним операторов и говорит, почти кричит: — Поймите, поймите, ребята! Возможно, мы переживаем сейчас поворотный момент в истории человечества! Запомните эти минуты! Все запомните: всех этих людей, погоду, кто в чем одет, как кофе пили, запомните! Запишите в дневники! Ведь потомки, дети, внуки наши, спросят нас: а как это все было?..

— Все,— говорит Седов, обернувшись к друзьям, окружившим его в командном отсеке.— На сегодня хватит приключений. Вахта Раздолина. Остальным всем спать. Завтра у нас трудный день.

Космонавты плывут к выходу. Редфорд задерживается, смотрит в иллюминатор и, не оборачиваясь, говорит задумчиво Раздолину:

— Посмотри, какая необыкновенная Луна сегодня... И вообще, Юра, как много в этом мире всякой красоты...

31 октября, пятница. Земля—Космос.

Утро. Впрочем, какое утро?! Просто начало следующего рабочего дня на командном пункте «Гагарина». А начался день с новых загадок.

— Ничего не понимаю,— говорит Седов Редфорду.— Ведь солнечные лучи должны сейчас освещать «Протей», а вместо этого видна какая-то темная непонятная глыба.

В черной бездне неба по затененным звездам угадывается некий темный продолговатый предмет, без каких-либо выступов, острых углов, надстроек, антенн, без всех разнообразных больших и малых деталей, уже привычных для космических кораблей земляк. Этот темный предмет очень медленно приближается, чуть разворачиваясь.

— «Гагарин»! Почему вы молчите? Рассказывайте же наконец, что там у вас,— раздраженно говорит Зуев.

Стоящий у его пульта генерал Самарин кладет руку на плечо академика:

— Илья Ильич, не торопи их...

— Трудно что-нибудь определенное сказать,— отзывается Раздолин.— Темное тело, цвет определить не могу. Форма тоже неопределенная. Неправильный эллипсоид. Ну, попросту сказать, какая-то картофелина, Илья Ильич...

— Мне не нужны ваши «картофелины»! — раздраженно кричит Зуев.— Вы за 2 километра от объекта и не можете ничего путного сообщить! Вы можете хотя бы сказать толково, как он выглядит? Как он ориентирован? Что значит темный? Он не может быть темный!

— Но он действительно темный...— пробует возразить Раздолин.— Мы видим просто силуэт...

— Илья Ильич! — резко перебивает геолога Седов.— Я прошу, чтобы Земля оставила нас в покое! Дайте нам самим разобраться. Мы ничего не можем вам сообщить просто потому, что ничего не видим сами.

— Но ведь солнце должно освещать его...— уже мягче пробует возразить Зуев.

— Должно. А оно не освещает! — почти кричит Седов.— Не желает освещать, и все тут! Нет ничего, темный ком за иллюминатором, понимаете?!

— Хорошо,— сухо говорит Зуев.— Я не задаю вопросов. Сами ведите репортаж.

Леннон просматривает расчеты, только что законченные бортовым компьютером. Ерошит волосы пятерней в полном недоумении и говорит самому себе:

— Но ведь этого быть не может!

С листиком в руках поплыл на командный пункт. «Причалил» за креслом Седова.

— Командир! Я подсчитал. Раз мы ничего не видим, значит, он поглощает почти весь видимый спектр. Следовательно, у него какая-то невероятная отражательная способность. Иисус Христос! Но ведь таких коэффициентов поглощения в природе не существует!!

Редфорд говорит Седову:

— А на Земле мы все гадали, откуда у него энергия... Отовсюду: от Солнца, от звезд, от Земли, от Луны. Он питается светом...

В своей лаборатории Лежава, наблюдающий в иллюминатор за непонятным объектом, взволнован не меньше Леннона.

— Я четвертый,— докладывает он на командный пункт.— Саша, понимаешь, какое дело, мне кажется, что он дышит...

— Как дышит? Что значит дышит? — подскакивает Седов.

— Ну, очертания его плывут, если приглядеться. Давайте проверим по локатору, у него должно быть записано в памяти.

— Локатор работает плохо,— отзывается Раздолин.— Отраженный сигнал очень слабый, на пределе приема...

— Но давайте все-таки попробуем,— предлагает нетерпеливо Редфорд.

На зеленоватом экране возникает дрожащий, неправильный овал. Заметно, что его контур как бы слегка сдвигается то чуть наружу, то немного вовнутрь, как бы колышется, но очень медленно, плавно, почти незаметно.

Кают-компания «Гагарина». Здесь все, кроме вахтенного Лежавы.

— Почему такое полное безразличие к нашему появлению? — задумчиво говорит Раздолин, машинально перебирая пальцами похожие на пчелиные соты кнопки автоматической фонотеки. Врывается то мелодия «Болеро» Равеля, то звучит бархатный, низкий голос чтеца: «Роняет лес багряный свой убор, сребрит мороз увянувшее поле...»,—то назидательно вещает лектор: «Выделение хилюсных клеток как особого элемента интерстициальной железы...»

— Юра, прекрати, я прошу тебя,— раздраженно говорит Стейнберг по-английски.

— А меня удивляет безразличие не к нам,— продолжает Леннон,— а к закону сохранения энергии. Берет энергию и ничего не отдает взамен. Накапливает? Как? Где? В таком ничтожном объеме? Пятиэтажный дом — ведь и тот больше, смешно сказать... Если бы еще...

Но слова астронома прерываются восхищенно-удивленным возгласом Лежавы, оставшегося на вахте в командном отсеке:

— Смотрите! Смотрите!

— По местам! — кричит Седов.

— Что у вас там? — с тревогой спрашивает динамик голосом Зуева.— «Гагарин»? Я двадцатый, доложите обстановку.

— Я четвертый. Все видно, все видно как на ладони,— говорит Лежава срывающимся от волнения голосом.

А в иллюминаторе происходят воистину волшебные превращения. То, что недавно было лишь расплывчатым, темным пятном, прямо на глазах начинает высвечиваться словно изнутри. Странное, серебристо-зеленоватое тело, висящее в космосе, меньше всего напоминает космический корабль. Это скорее увеличенная до невероятных размеров инфузория, гигантская модель микроорганизма, медленно, плавно пульсирующая, словно капля какой-то нерастворимой в пустоте жидкости. Эти движения — неправильные, не предсказуемые логикой предыдущего наблюдения,— не содержали в себе ничего тревожного, опасного и в то же время властно приковывали к себе взгляд, так что невозможно было оторваться от этой невероятной, едва ли даже во сне доступной космической фантасмагории.

15 ноября, суббота. Земля — Космос.

Зуев за большим круглым столом в кабинете Центра управления:

— ...и как итог, за прошедшие две недели мы имеем лишь весьма натянутое, более чем спорное уравнение энергетического равновесия. Мы не знаем по-прежнему, что это такое: обитаемый корабль или автомат. А мистер Уилкинс,— он кивнул высокому седому человеку за столом,— сегодня справедливо заметил, что это может быть вовсе не пристанище разумных существ, а одно разумное существо, само по себе живущее в космосе и путешествующее без всякой аппаратуры. Сколь это ни фантастично, но и такое может быть тоже. А почему нет?

— А почему да, Илья Ильич? — тихо говорит другой ученый, сидящий против Зуева.— Зачем нам все эти домыслы из фантастических романов? Нам нужны только факты, а не «мыслящие сверхамебы»...

Один из ученых говорит лениво, срезая острым ножичком кончик сигары:

— Давайте честно скажем друг другу: мы всё представляли себе несколько иначе. Мы говорили о контакте, а прошло уже 14 дней, и никакого контакта нет...

— Это мы знаем,— перебивает Зуев человека с сигарой.— У вас есть позитивные предложения?

— У меня даже негативных нет,— лениво говорит тот.

Затененный командный отсек «Гагарина». У пульта в кресле один вахтенный — Седов. Маленькие огни пульта чуть высвечивают его лицо. Сначала кажется, что он спит. Но это не так. Он думает.

— Саша...— Из сумерек люка выплывает Редфорд.— Это я...

— А, Алан, садись.— Седов встрепенулся.— Ты что не спишь?

— Я всегда плохо сплю в космосе.

Помолчали.

— Саша, мы все об этом думаем, но опять чего-то ждем, как тогда ждали в подводном доме. Я тоже военный человек и уважаю приказ, но ты же понимаешь, что надо действовать.

— Земля пока молчит,— говорит Седов.

— Что значит — молчит? — раздраженно говорит Редфорд.— Запроси еще раз!

— Зуев не тот человек, которого можно взять кавалерийским наскоком, ты знаешь это не хуже меня,— говорит Седов.

— Что он сказал? — спрашивает Редфорд.

— Он сказал по стандарту: «Гагарин» должен быть на связи и ждать распоряжений». Но, правда, сказал это не стандартным тоном.

— Самое глупое, что может сделать Зуев,— это советоваться с Кэтуэем,— проворчал Редфорд.— Я уверен, когда Кэтуэя рожала мама, он все равно сумел каким-то образом согласовать с конгрессом свое появление на свет...

Кабинет в Центре управления. Круглый стол ученых.

— Кэтуэй предлагает ждать, но я не понимаю, чего мы будем ждать,— горячо говорит Зуев.

— Но ведь ничто и не мешает нам ждать,— говорит человек с сигарой.

— Против этого трудно возражать.— Зуев пожимает плечами.— С другой стороны, ждать мы могли и на Земле. И экспедицию мы отправили не для того, чтобы ждать, а для того, чтобы разобраться, чтобы узнать и понять.

— И мы очень многое узнали,— говорит человек с сигарой.— Контакта нет: это тоже результат. В науке отрицательный результат — тоже результат...

— И опять мне трудно возразить,— все более раздражаясь, говорит Зуев.— Но я хочу спросить: что мне отвечать космонавтам? Единственное предложение, предполагающее действие, пока что исходит от них. Они ждут нашего разрешения уже третьи сутки.

— А кто возьмет на себя ответственность дать им такое разрешение? — спрашивает ехидно старичок в «академической» черной ермолке.

Пауза. И никто не смотрит друг на друга.

— Я,— негромко говорит Зуев.— Я возьму. Я имею на это полномочия моего правительства.

Все повернулись к нему.

— Это большой риск, Илья Ильич,— говорит старичок.

— Кто не рискует, тот не выигрывает,— это человек с сигарой.

Зуев резко оборачивается на последнюю фразу.

— Я не игрок,— говорит он раздельно и строго.

Шлюзовая камера «Гагарина». Редфорд и Лежава уже в скафандрах. Седов, Раздолин и Леннон вокруг них, что-то поправляют, помогают надевать ранцевые ракетные двигатели, обминают скафандры — ведут себя, как родители, отправляющие в школу первоклассника первого сентября.

— Ты подходишь и говоришь на чистом английском языке,— паясничая, говорит Раздолин Редфорду: — Прошу ко мне, в Техас...

— После того, как вы укрепите анализаторы, сразу назад, ни секунды промедления,— в который раз наставляет Лежаву Седов.— Мы не знаем реакции. Никаких облетов, никаких осмотров. Это приказ, Анзор.

— А представляешь, Анзор,— не унимается Раздолин,— они там внутри такие маленькие, пучеглазенькие, как лягушки. Столы накрыты, вас сажают, угощают. А вы одного хмельного лягушонка — цоп в карман, и деру оттуда.

— А если нас самих в карман? — весело спрашивает Лежава.

Вся эта абракадабра, необходимая для нервной разрядки, идет как бы стороной, не касаясь того напряжения, которое чувствуют все: и те двое, которым предстоит выход в открытый космос, и те, которым предстоит ждать их в корабле.

— Ну, ладно,— выдохнул Редфорд, и все сразу посерьезнели.— Пора...

Обнимаются, целуются. Голос Стейнберга из динамика:

— 18.00, командир. Надо начинать шлюзование...

— Мы идем,— откликается Седов.

Кэтуэй в холле отвечает на вопросы журналистов:

— Я обещал, а я сдерживаю свои обещания. Итак, принято решение о выходе двух космонавтов в открытый космос.

Голоса:

— Кто? Кто выходит?

Несколько человек уже рванулись к переговорным кабинам и в телетайпный зал.

— Алан Редфорд первый приблизится к излучателю, а затем Анзор Лежава установит на его поверхности комплект датчиков. Выход назначен на 18. 30 по бортовому времени. Леннон и Раздолин будут вести телерепортаж, который вы увидите с гостевого балкона нашего зала...

Потное от волнения лицо Седова у иллюминатора командного пункта. Он хорошо видит, как из шлюзовой камеры медленно выплывают две серебристые, похожие на рыбок фигурки. Редфорд, плывущий впереди, слегка помахал рукой, приветствуя невидимых ему товарищей и миллионы телезрителей Земли. Чуть в стороне позади Редфорда — Лежава. Он держит в руках небольшой контейнер с датчиками.

— Все нормально, Алан,— очень тихо, почти шепотом, говорит Седов в маленькую белую таблетку микрофона, укрепленную у самых губ.— Не торопись; все идет, как надо. Ты только не торопись.

— Я четвертый. Что-нибудь новое по объекту есть? — хрипловатым голосом спрашивает Лежава. Чувствуется, что ему не по себе.

— Вас понял, четвертый,— быстро отвечает Раздолин со своего поста в физической лаборатории.— Никаких изменений. Ведет себя тихо.

— Квакать не слышно? — снова спрашивает Лежава.

— Не понял...— Раздолин напряжен.

— Ты же говорил, что там лягушки,— весело говорит Лежава.

— Отставить, четвертый! — резко перебивает Седов. И добавляет мягко: — Анзор, не время. Ну, что ты, правда...

Леннон бесстрастно:

— Расстояние между объектом и вторым тридцать один метр...

— Принято,— спокойно отзывается Редфорд.

Седов у иллюминатора хорошо видит, как все ближе и ближе подтягиваются к «Протею» невидимыми течениями реактивных струй две маленькие фигурки.

— Все хорошо, Алан,— шепчет он.— Не торопись. Видишь что-нибудь?..

— Это как жидкость,— отзывается Редфорд.— Словно капля масла в воде...

— Спокойно, Алан, тормози, ты плавно подойдешь, но развернись на всякий случай...

— Я второй. Все понял. Не волнуйтесь, у нас все очень о'кэй!

Редфорд медленно, словно пушинка в неподвижном летнем воздухе, приближается к слабо пульсирующему телу излучателя и, вытянув вперед руки, смягчает и без того легкое свое прикосновение.

— Есть контакт! — спокойно говорит Редфорд.

— Принято,— отзывается Леннон.

— Совершенно твердое тело,— докладывает Редфорд.— Ничего страшного...

Оттолкнувшись от «Протея», он по инерции чуть отошел от его поверхности и развернулся в сторону медленно подплывающего Лежавы.

— Пятый, я первый,— быстро говорит Седов,— есть изменения в параметрах объекта?

— Я пятый,— тут же отзывается Раздолин,— все по-старому, никакой реакции.

Зуев на командном пункте весь сжался, съежился, словно изготовился для прыжка. Он ничего не видит, он весь в телеэкране, где блестят на фоне излучателя две серебристые фигурки.

— Поверхность твердая,— звучит в зале голос Редфорда,— но в то же время пластичная... Не знаю, с чем сравнить... Представьте себе резину, очень твердую, которую растягивают и сжимают какие-то силы внутри,— говорит Редфорд,— но блеск, как у металла, и как будто...

— Назад! — резкий, как удар хлыста, крик Седова.

Прямо перед фигурками на слабо пульсирующем теле излучателя мгновенно образовалась широкая, стремительно углубляющаяся воронка. Края ее подались вперед, заключив внутрь себя обоих космонавтов, и тут же, сомкнувшись позади них, распрямились, вновь тихо и плавно пульсируя. Там, где только что были космонавты, теперь не было никого

Это произошло так быстро, что походило на фокус, оптический обман. И в первое мгновение никто никак не реагирует на случившееся. Все как бы ждут чего-то, то ли обратного трюка, то ли какого-то продолжения. Невозможно представить себе, что же произошло, именно из-за простоты и быстроты: словно короткий глоток — и людей нет.

Как на пружине, вскочил бледный, с перекошенным лицом Зуев.

Седов зажмурился и мгновение стоит перед иллюминатором с закрытыми глазами. Опять смотрит в иллюминатор — пустота. Ярко светящийся таинственный излучатель начинает быстро тускнеть, темнеть, погружаясь в черноту космоса, словно растворяясь в ней.

16 ноября, воскресенье. Земля — Космос.

Академик Зуев считает, что было бы неверно расценивать реакцию излучателя только как агрессивную. Хотя немедленно приняты меры для возможного активного воздействия на космическое тело...— говорит с экрана телекомментатор.

Лия быстро пересекает комнату, снимает со шкафа чемодан, начинает рассеянно укладывать вещи.

— Ты куда? — поднимает голову отец.

— В Москву,— говорит она совсем спокойно.

— Зачем?

— Не знаю...

Она садится рядом с чемоданом, перекладывает что-то, вдруг вскакивает, кидается к отцу, обнимает его.

— Папа, папочка, ну что же это такое? Ужас, ужас какой-то! Что это?

— Успокойся.— Он гладит ее по голове.— Я не знаю, что это. Откуда мне знать? Вот вернется Анзор и расскажет.

— Он вернется?! — Вопрос вырывается, как крик.

— Обязательно. Анзор обязательно вернется. Я знаю.

— Откуда?! Как это можно знать?

— Знаю... Сядь. Сейчас чай будем пить.

Он идет на кухню, ставит чайник под струю, бегущую из крана. Вот уже чайник полный, из носика течет. Старый человек стоит, закрыв руками лицо.

Мать Седова сидит на краю стула у маленького письменного столика в доме заведующей клубом Любови Тимофеевны, той самой, которая во время торжественной встречи Александра Матвеевича дирижировала оркестром. Любовь Тимофеевна кутается в платок, неотрывно смотрит на телеэкран.

— Тимофеевна,— говорит мать Седова, теребя в руках мокрый платочек.— Ты грамотная, объясни мне, глупой, что это? Я ничего не пойму... Где этот грузинец? Куда они оба девались? Может, оно их съело? А Шура как же? Я ведь Шуру знаю, он ведь их вызволять полезет теперь. Господи, прости ты прегрешения наши...

Зуев перед журналистами:

— А теперь я готов ответить на ваши вопросы.

Вскакивает молодой человек с блокнотом.

— Газета «Юманите». На сколько часов автономной работы рассчитаны системы жизнеобеспечения скафандров?

— На восемнадцать часов...

Журналист смотрит на часы.

— Таким образом, в 3 часа 30 минут их ресурсы должны иссякнуть?

— Да, примерно так,— говорит Зуев.

Обсерватория Леннона на «Гагарине». У ее больших иллюминаторов собрались все четверо оставшихся на корабле. Нетерпеливое ожидание товарищей, отсутствие каких-либо обоснованных надежд на их возвращение — все это создает атмосферу предельно тягостную.

— Мы теряем время,— резко говорит Раздолин.— Чем меньше у нас времени, тем меньше возможностей.

— Что ты имеешь в виду? — спрашивает Леннон.

Стейнберг выплевывает жвачку и отвечает за Раздолина:

— Ты понимаешь, что он имеет в виду. И все понимают, но не хотят говорить об этом. Их надо выручать. Я привык выручать своих товарищей, когда они в беде, понимаешь?

— Но как? — спрашивает Леннон, невидимый в тени на потолке.

— Не знаю, как! — горячится Раздолин.— Но он прав,— кивает на Стейнберга.

— Нет, ты знаешь! — резко поворачивается Стейнберг.— И все вы знаете, но вам говорить об этом не хочется. Вы же гуманисты. А я скажу. Надо взять лазерный бур с «Мэйфлауэра» и вскрыть эту штуку к чертовой матери, как консервную банку!

— Прекратите истерику немедленно,— спокойно и твердо говорит Седов.— Мне стыдно за тебя, Джон. И, главное, хороша твоя психология: раз я не понимаю, надо хвататься за пистолет. Вспомним сорок восьмой — сорок девятый годы... И представьте себе, что тогда у наших дедов не хватило бы разума и терпения.

— О каком разуме ты говоришь сейчас? — перебивает Раздолин.— Где тут разум?

— Уже то, что «Протей» погас,— спокойно объясняет Седов,— а значит, вновь собирает энергию, говорит о том, что она ему нужна. Зачем? Возможно, для проведения каких-то исследований, для выбора вариантов контакта...

— Когда муравей залезает тебе за шиворот, ты давишь его пальцем и выбрасываешь, а не выбираешь варианты контакта,— зло говорит Стейнберг. В синих подсветах чуть мерцающих панелей аппаратуры обсерватории его лицо кажется мертвенно-бледным.

— Я верю и хочу, чтобы ты верил: речь идет не о муравьях,— спокойно отвечает Седов.— И наше уверенное ожидание, наша выдержка и терпение — это тоже проявление высшего разума.

— Может быть, у меня мало твоего «высшего разума»,— отвернувшись к иллюминатору, говорит Стейнберг,— но ресурс регенераторов в СЖО еще меньше...

— Я прошу тебя — иди, отдохни,— тихо и ласково отзывается Седов.

— Правильно,— свирепея еще больше, говорит Стейнберг.— Я буду спать, а они — задыхаться!

Седов прерывает его резко:

— Я не прошу, а приказываю вам прекратить эти разговоры!

Все молчат.

Центральный зал управления полетом. У своего пульта — Зуев с лицом измученным и непроницаемым. Рядом с ним — Самарин.

— ...И все-таки мы обязаны попробовать изобрести еще что-нибудь. У нас есть час,— продолжает разговор Самарин, взглянув на табло, где неумолимо и бесстрастно менялись светящиеся очертания секунд и минут.

— Мы сделали все, чтобы они поняли: мы за продолжение контакта,— говорит Илья Ильич.— «Гагарин» приблизился еще на 50 метров. Мы передали телеизображение автомата жизнеобеспечения, дали в двоичной системе предельный ресурс его работы, показали схемы атомов кислорода и азота. Мы использовали все возможные, спорные и бесспорные виды связи. Мы использовали все, что придумала наука за последние десятилетия для связи с внеземными цивилизациями. Нас уже поняли бы дельфины и мартышки...

— Спокойно. Мы пока разъясняли,— перебивает Самарин.— Это правильно. Но нельзя ли как-нибудь показать наше нетерпение, тревогу, наше недовольство, наконец?

На экране телемонитора связи с Хьюстоном — лицо Кэтуэя. Он строг и официален.

— Мистер Зуев! Мы предлагаем в 03.35 бортового времени, то есть через 5 минут после того, как у Лежавы и Редфорда иссякнут ресурсы и их уже никто не сможет спасти, направить на излучатель лазерный бур «Мэйфлауэра». Мы предлагаем согласовать наше предложение с Советским правительством, президентом Соединенных Штатов и генеральным секретарем Организации Объединенных Наций... Несколько месяцев они висят над нами, Илья,— говорит Кэтуэй уже неофициальным голосом.— Глушат нашу связь. Погибли самолеты, корабли. Мы летим навстречу, а они гробят наших ребят. Чего же еще ждать?

— Это страшное решение,— говорит Зуев.— Я никогда не уходил от решений, но сейчас нужно думать и думать... Я отвечу тебе через 10 минут...

Неподвижно висит в звездной бездне ярко освещенный солнцем «Гагарин». Рядом с ним темная масса излучателя. И вдруг она начинает быстро наливаться светом. Именно наливаться, словно внутрь «Протея» втекает какая-то лучезарная жидкость.

— Саша! — кричит Леннон, обернувшийся к иллюминатору, за которым теперь ясно было видно снова чуть пульсирующее тело «Протея».

Майкл не успел еще ничего добавить, а остальные — понять, как маленький, плавно поднявшийся бугорок на этом теле вдруг разошелся, как бы лопнул, и рядом с излучателем, тихо вращаясь в невесомости, зависли две маленькие фигурки.

— Второй! Четвертый! Я первый! Вы слышите меня? — кричит Седов.

— Я второй,— отвечает Редфорд так спокойно, как будто он вылез из тренажера.— Слышим хорошо, можешь даже чуть тише говорить...

Да, конечно, он понимал, как ждал мир его слов, и сейчас самим голосом своим и этой столь обыденной «телефонной» фразой он успокаивает родную планету и своих друзей.

— Все в порядке, а как у вас? — спрашивает Лежава.

— Ребята! Ура! — кричит Седов. Лицо его мокро от слез.

Все четверо бросаются друг к другу и, свившись в какой-то причудливый клубок, медленно вращаются посреди обсерватории в немыслимом хороводе невесомости.

Несущиеся со всех ног в телетайпный зал журналисты выбивают поднос с черным кофе из рук хорошенькой девушки в белом крахмальном переднике и кокошнике.

Редфорд и Лежава сидят в кают-компании «Гагарина» перед микрофонами и телекамерами, перед четырьмя своими слушателями.

— Поверьте,— говорит смущенно Лежава,— самое смешное, замечательное или ужасное заключается в том, что мы ничего не можем рассказать. Это было как сон, очень приятный, покойный сон, разве что в детстве мы спим так сладко... Сны? Да все время... Но как это рассказать... Мы не видели никого, кого можно было бы назвать живым существом, пусть даже совершенно не похожим на нас. Мы не видели предметов, которые сохранили бы на себе следы искусственного происхождения...— Он говорит медленно, с трудом подбирая слова.

— И вместе с тем,— добавляет Редфорд,— мы всем своим существом ощущали некий умственный контакт с различными — как бы это объяснить?..— телами... Точнее — объемами, которые плотно нас окружали, меняя свои размеры, формы и освещенность.

— Эти объемы — живые существа? — спрашивает Седов.

— Не знаю,— рассеянно говорит Лежава.— Может быть. Мы чувствовали их заботу, их внимание, правда, Алан?

Редфорд кивает.

— Мы были совершенно спокойны почему-то, совсем не волновались, верно?

Редфорд опять кивает и говорит:

— Я не знаю, есть ли там живые существа, но это разум...

Зуев говорит звонко и раздельно:

— Экипаж «Гагарина» поздравляем с успешным выполнением намеченной программы. Принято решение: немедленно отойти от «Протея» и взять курс на «МИР-4». Ждем вас на Земле, друзья!.. Как слышите меня, «Гагарин»?

Весь экипаж космического корабля — на командном пункте. Приказ Зуева слышали все, но Седов не отвечает. И никто не отвечает.

— Вы слышите меня, «Гагарин»? — вновь переспрашивает академик.— Я двадцатый. Прием...

— Мы слышим, Илья Ильич,— спокойно говорит Седов.— Только нам сейчас никак нельзя уходить... Помните, перед стартом вы говорили мне, что даете право принимать единоличные решения в случае необходимости. Так вот, такая необходимость есть. Мы не можем уйти. Контакт — это только начало, поверьте нам. Я, мы все,— он оборачивается к друзьям,— поняли это. Мы верим в это. Все еще впереди.— Он обводит глазами своих друзей, как бы ища в них поддержку, и встречается с уверенными и ясными взглядами Алана Редфорда, Юрия Раздолина, Майкла Леннона, Анзора Лежавы, Джона Стейнберга — членами экипажа межпланетного корабля «Гагарин», людей с планеты Земля.

Светится пульсирующий «Протей». Два человека снова плывут в открытом космосе. На плече одного из них — маленький звездно-полосатый флажок, а у другого — красный, с серпом и молотом. За светофильтрами шлемов нельзя разглядеть лиц Александра Седова и Майкла Леннона. Но это они летят в космосе. Все ближе и ближе светящаяся поверхность инопланетного корабля, на котором уже заранее, словно призывая их, возникла, закружилась волчком, все расширяясь, растягиваясь, широкая воронка, готовая принять людей, поверивших в Добро и Разум.

Баку — Хьюстон — Москва
Июнь 1972 г.— ноябрь 1975 г.

Аркадий
АРКАНОВ

КАФЕ «АТТРАКЦИОН»

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

ПРОЗА

Рисунок
И. МАКАРОВА.

Его просто незаметно убрали. Взяли и убрали. Он знал, что ему не простят отказа атаковать неизвестный космолет и когда-нибудь уберут.

Собственно говоря, этот отказ был последней зацепкой. Шеф уже давно относился к нему с плохо скрываемым раздражением. А он просто считал, что человечество уже имеет право освободиться от своей вечной подозрительности, за которую оно много веков расплачивалось. Почему от неведомого и непонятного надо прежде всего ожидать плохого? Почему необходимо было уничтожить неизвестный космолет, который никоим образом не выказал и малейшей агрессивности или даже простой заинтересованности, да и к тому же смахивал на пассажирский? Ну, занесло космолет в нашу стареющую Галактику, до которой, скорее всего, ему и дела-то никакого не было, как нет до нас дела случайной бабочке, залетевшей в комнату через раскрытое окно. В общем, он отказался атаковать неизвестный космолет, и этот приказ выполнил другой. А его убрали.

Стали назначать одну комиссию за другой, обнаружили угасание скорости реакций, неустойчивость давления, изменения в глазном дне и массу других глупостей. Прекрасно понимая, что он откажется, ему предложили унизительную должность наземного консультанта по тренировочным полетам в определенном радиусе, и он, естественно, отказался. Тогда, вежливо извинившись, ему вручили оранжевую карточку, согласно которой он навсегда лишался права непосредственно участвовать в каком бы то ни было космическом полете. Даже по детской околоземной орбите.

Ему был открыт счет в банке, и он, став владельцем отходного пособия в 6000 фл., получил возможность досыхать свою жизнь, как и все наземные пресмыкающиеся.

И Д. Сáут, бывший пилот Космической Разведки, придумал себе достойный уход из жизни. Как подобает космическому волку.

...З. Гроýнд, с которым он учился еще в школе, был шефом одного из отделов Грузовых Космических перевозок. Его база располагалась в окрестностях небольшого провинциального городка, куда и прибыл все решивший для себя Д. Саут. Терять ему было нечего, и в первой же встрече, зная определенные слабости З. Гроунда по части денег, Д. Саут выложил все предельно ясные условия: З. Гроунд обеспечивает его необходимой документацией и допуском к полетам, затем оформляет ему полет куда-нибудь в район «Альфа-127» и за это в тот же день получает 6000 фл. Ни больше ни меньше. Торговаться бессмысленно. Все, что есть. З. Гроунд выслушал его и, не задавая никаких вопросов, согласился. Во-первых, Д. Саут не тот человек, что станет обманывать, а, во-вторых, 6000 фл.— такая сумма, которая не требует дополнительных вопросов. Все будет готово в пятницу. Дальше — просто. Космолет возьмет курс на «Альфа-127», потом, удалившись от Земли на два-три световых года, Д. Саут проведет соответствующую коррекцию и направит космолет в никуда. Пока не кончится все. И все...

— Городок паршивенький,— сказал З. Гроунд на прощание.— Заведения сомнительные. Искать приключений не следует. Особенно в «Аттракционе». Я там не был, но рассказывают бог знает что...

Три дня в ожидании пятницы Д. Саут валялся в номере маленькой чистенькой гостиницы. Иногда заказывал кое-какую еду и мысленно изо всех сил подгонял время. В четверг часов около шести вечера время вдруг стало вязким настолько, что ему показалось, будто оно вовсе остановилось и сдвинуть его

больше нет никакой возможности. Он поспешно вышел на улицу. Был октябрь. На городок наполз туман. Чуть сгорбившись, долговязый Д. Саут шагал все равно куда, убивая время. Его заставила остановиться холодная голубоватая надпись «Кафе «Аттракцион». Он вспомнил предупреждение З. Гроунда, усмехнулся (опять эта подозрительность) и толкнул массивную деревянную дверь.

— Добро пожаловать! — услышал он приятный мужской голос и тут же заметил шагнувшего к нему откуда-то из розовой глубины молодого человека.— Вы правильно сделали, что заглянули к нам в этот не очень-то погожий вечер. Снимите ваш мокрый плащ, и вы почувствуете, как здесь тепло и уютно.

«Приятный парень, — подумал Д. Саут. — Просто лорд, а не швейцар. Даже неловко сдавать ему плащ...»

— Если вам угодно, можете повесить плащ сами,— сказал швейцар и, слегка поклонившись, отступил в розовую глубину, из которой недавно появился.

Д. Саут сел за маленький столик и осмотрелся. Зал был очень уютным, полусферическим и так ловко освещался, что потолка не было видно и возникала иллюзия висевшего над головой матового розового тумана.

В нише на небольшом возвышении играл оркестрик. Даже не играл, а наигрывал, создавая дополнительное внутреннее тепло. Пианист лениво плескался в клавишах, контрабасист бархатной подушкой ласкал вестибулярный аппарат, ударник набрасывал на все это какую-то слегка шуршащую, невесомую ткань.

«Ну, что ж,— подумал Д. Саут.— Печальная закономерность — последнее кафе в жизни непременно должно оказаться самым уютным... Еще бы чуть-чуть светлее...» И в этот момент свету прибавилось. А, может быть, Д. Сауту показалось, что прибавилось. Он откинулся на спинку кресла и с удовольствием вытянул под столом свои длинные ноги. «Удивительно все-таки устроен человек,— думал Д. Саут.— Казалось бы, какое значение имеют освещенность, уют, запах, музыка, если это его последний вечер?»

Д. Саут вспомнил, как двенадцать лет назад он присутствовал при расстреле убийцы. Когда приговоренного вели по двору к месту казни, он тщательно обходил лужи, чтоб не замочить ноги, хотя какой это имело смысл, если его пребыванию на свете оставалось не больше двух-трех минут... Простудиться он просто не успевал. Видимо, это что-то вроде инстинкта. Инстинкта комфорта. Вот и сейчас Д. Саут поймал себя на том, что его беспричинно, чисто внешне, раздражает сидящий через столик мужчина с нахальным, тупым выражением лица. И если бы это лицо не маячило перед глазами, то вообще все было бы превосходно. Мужчина с тупой физиономией подозвал официанта, вынул из бумажника, по-видимому, все деньги, потому что долго еще шарил в карманах, выискивая мелочь, встал из-за стола, бросил на Д. Саута не слишком любезный взгляд и вышел из зала. «Вот и славно,— подумал Д. Саут.— Славно и удивительно спокойно... Как будто тебя декорировали». Слово «декорировали» он придумал еще в школе. Убрали кору — декорировали. И остается только животное ощущение тепла, света, боли, голода...

— У нас не обязательно что-нибудь заказывать, но если вы желаете...— услышал он.

Д. Саут посмотрел направо и чуть-чуть вверх и увидел человека, который, судя по всему, исполнял обязанности официанта. В лице его не было угодливости, подобострастия, желания заработать. Нет. Только достоинство. Достоинство истинного профессионала: космопилота, официанта, ученого, футболиста, писателя... Все равно. Это было лицо человека, подготовленного к своей работе, отдающего отчет в том, что это **его работа**, и больше никто с этой работой не справится и не имеет права получать за нее деньги. У Д. Саута такие люди всегда вызывали уважение.

— Почему ваше кафе называется «Аттракцион»? — спросил Д. Саут.

— Потому что наша жизнь — это аттракцион,— ответил официант.

— Для кого же?

— Для нас. Саморазвлечение.

— А кто платит?

— Мы. В данном случае — вы.

— И какова плата за этот аттракцион?

— Все, чем вы располагаете.

— И сколько длится аттракцион?

— Для вас — до смерти. Для нас — до утра.

— Значит, еще есть время?

— Да. И для того и для другого.

«Хорошо бы выпить «верблюда»,— подумал Д. Саут.

— Могу предложить для начала «верблюд»,— сказал официант.

Д. Саут удивленно посмотрел на него:

— Почему именно «верблюд»?

— Такие, как вы, должны любить «верблюд»,— сказал официант.— Профессиональное наблюдение. Я не ошибся?

— Только большой «верблюд».

— Естественно,— сказал официант и удалился.

«Верблюд» они изобрели еще в колледже. Вместе с П. Карри. Дьявольская смесь виски, сливок и шампанского. Через пятнадцать минут пребывания в миксере получалась пенистая масса, напоминающая слюну верблюда. Кроме того, эта «слюна» оказывала такое длительное действие, что пить потом не хотелось очень долго, и это было удобно, учитывая их скудные стипендии. Бедняга П. Карри погиб двенадцать лет назад четвертого марта. Его корабль взорвался при столкновении с метеоритом.

— Откуда вы знаете эту смесь? — спросил Д. Саут, когда официант поставил перед ним кружку с желтовато-белой пеной.

— От одного посетителя,— ответил официант.— Он был у нас лет двенадцать назад.

— Как его звали? — грустно улыбнулся Д. Саут.

— Нетрудно выяснить,— сказал официант и снова удалился. Через минуту он вернулся: — Если верить книге посещений, то его звали П. Карри. Он был у нас четвертого марта, двенадцать лет назад...

Д. Саут вздрогнул.

— Этого не может быть,— сказал он.— П. Карри в этот день погиб.

— Возможно,— бесстрастно сказал официант,— но каждый клиент оставляет в нашей книге свою фамилию и дату посещения. Вам тоже придется это сделать. Такова традиция. Книга не врет. Значит, это был кто-то другой, выдавший себя за П. Карри. Приятного времяпрепровождения.

Д. Саут втянул в себя немного холодной пены и стал ждать. «Верблюд» начинал действовать минут через пятнадцать. Д. Саут закрыл глаза. Чепуха... П. Карри не мог быть здесь четвертого марта. Это чья-то шутка. По всей видимости, кого-то из тех, кто знал его по колледжу... Д. Саут не мог только уловить смысла этой шутки, но, с другой стороны, почему надо непременным образом во всем искать какой-то смысл. Ну и хорошо, что кто-то двенадцать лет назад в день гибели П. Карри вспомнил его. Может быть, в последнем калейдоскопе беспорядочных разорванных мыслей в сознании П. Карри возник этот «кто-то», кото-

рый и принял его сигнал, его своеобразный «SOS», и, не придав этому значения, попросил бармена приготовить смесь под названием «верблюд», печально увековечив тем самым память никому не известного космического пилота. И, не желая присваивать себе чужого, оставил в книге посещений фамилию П. Карри. Нормально в конце концов. А вот о чем подумает Д. Саут, что он вспомнит в последний момент? Больших стрекоз, за которыми он любил гоняться в детстве по зеленой траве? Отца с матерью, пропавших без вести во время знаменитого урагана? Обиды, нанесенные ему? Обиды, нанесенные им самим?..

Отвратительная, конечно, была история с женой Г. Кэррола. Глупая, никому не нужная. Ни ему, ни Г. Кэрролу, ни его жене. Г. Кэррол был наивен и глуп. Недаром его прозвали «тюфяк». Но он был честен, любил свою жену и ни о чем не догадывался. Или делал вид, что ни о чем не догадывается... Начал действовать «верблюд». И когда Г. Кэрролу стало известно, что Д. Саут... Неженка, «тюфяк». Он как-то странно улыбнулся, встретив в тот день Д. Саута, и ничего не сказал. Только глаза его были удивленны: вы, Д. Саут, вы же не такой, как они, а туда же.

Г. Кэррол после этого подал в отставку и уехал куда-то, оставив Д. Сауту неприятное наследство воспоминаний, от которых он так и не может до сих пор избавиться...

«Это все от музыки»,— подумал Д. Саут. Оркестранты в нише сменились. Появились другие и заиграли что-то беспечно-комфортабельное. Он огляделся. Кафе постепенно заполнялось разного рода посетителями: военными, коммивояжерами, неграми, работягами, старухами, сутенерами... Но при всей непохожести и разношерстности всех объединяло какое-то общее выражение лиц. Какая-то грустная усталость, отсутствие, покорное ожидание чего-то. Д. Саут подошел к зеркальной стене. Его лицо было таким же. «Наверное, от света»,— подумал Д. Саут. И тут он увидел в зеркале Г. Кэррола. Вне всякого сомнения, Г. Кэррола. Это был «тюфяк». Он сидел за отдельным столиком в конце зала, с тем же отсутствующим взглядом. Он, как показалось Д. Сауту, совсем не изменился, хотя прошло уже с тех пор тринадцать лет. На нем был форменный китель с погонами полковника, он что-то безразлично жевал и смотрел куда-то в никуда. Д. Саут оглянулся. Да, это был Г. Кэррол. Д. Саут поспешно подошел к своему столику, глотнул из кружки уже значительно потеплевшего «верблюда», закурил и направился в конец зала.

— У вас очень усталый вид,— произнес Г. Кэррол без всяких эмоций.

— Здесь у всех такой,— ответил Д. Саут.— А вы не изменились.

— Какая разница? — сказал Г. Кэррол.

— Вы давно здесь живете? — спросил Д. Саут, испытывая неловкость и не зная, с чего начать разговор.

— Мы куда-то летели, но вдруг испортилась погода, самолет сделал вынужденную посадку, и я оказался здесь, неизвестно для чего.

— Мне повезло, что я вас встретил именно сегодня.

— Никто ни перед кем не виноват. Чувство вины люди придумывают себе сами. Перед теми, кого они считают ниже себя или выше себя. У вас ведь нет оснований считать меня ниже вас, а тем более — выше.

— Но вы знаете, что я имею в виду, Г. Кэррол? — с трудом произнес Д. Саут.

— Откуда вам известно мое имя? — по-прежнему без всяких эмоций спросил Г. Кэррол.

— Мы служили вместе. Потом вы подали в отставку. Неужели я так изменился? Это было тринадцать лет назад. Я — Д. Саут.

— Д. Саута я знал. Это был отличный пилот и порядочный парень. Вы с ним тоже знакомы?

— Слушайте, Г. Кэррол,— сказал Д. Саут,— вы знаете, что я имею в виду. Я не извиняюсь перед вами. Это глупо. Я просто обязан вам был это сказать, тем более сегодня. Вы можете думать обо мне что угодно, но я хочу остаться честным. Именно перед вами...

— Зачем все это? — пробормотал Г. Кэррол.— Я куда-то летел. Погода испортилась. Я оказался здесь. Вы подходите ко мне... Почему?

И вдруг Д. Сауту стало легче. Действительно, что он привязался к несчастному «тюфяку»? Что он требует от него какого-то отпущения? Он высказался. Это главное. Неужели он подсознательно ждет, чтобы Г. Кэррол пожал ему руку и сказал, что все чепуха, что все дело прошлое, что не стоит вспоминать?.. Но ведь именно тогда Г. Кэррол остался бы в глазах Д. Саута прежним «тюфяком». Нет. Все правильно. И все справедливо. Главное, что он высказался. И вот почему наступило облегчение. К столику подошел официант:

— Г. Кэррол, погода наладилась. Вам пора.

Он протянул Г. Кэрролу счет. Тот взглянул на счет, вынул из бумажника деньги и стал рыться в карманах, выгребая оттуда мелочь, как это делал некоторое время назад мужчина с нахальным выражением лица. Затем он встал и, не глядя ни на кого, направился к выходу в сопровождении официанта.

Едва Д. Саут сел за свой столик, как в оркестровой нише появился средних лет мужчина во фраке и произнес поставленным, но безучастным, усталым голосом:

— Уважаемые дамы и господа! Мы рады предложить вам наш фирменный сюрприз! Оставшееся время каждый из вас проведет с человеком, о котором он сознательно или подсознательно мечтал всю свою жизнь! Только сегодня! Никогда раньше и никогда больше! Женщина ваших грез! Мужчина вашего воображения! Через мгновение состоится парад мечтаний. У каждой мечты на спине номер, который соответствует номеру вашего столика! Никакой путаницы! Вашему — ваше! Мы гарантируем полную конгруэнтность, абсолютное совпадение! Прошу!

И под звуки болезненно узнаваемого и в то же время незнакомого марша в зал вошли двадцать восемь человек — пятнадцать мужчин и тринадцать женщин. Теперь Д. Саут распознал в музыке знаменитый бетховенский похоронный марш, извращенный мажором. Шествие открывал генерал лет семидесяти, при регалиях и с апоплексическим затылком. За ним шла горбунья лет сорока с ярко напомаженными губами. Затем широкоплечий, узкотазый красавец с четким пробором. Невзрачная девушка в очках. Голый подросток. Негритянка в белых шортах... Взгляд Д. Саута заскользил дальше и остановился на высокой загорелой девушке с прямыми соломенными волосами, в голубом и коротком пляжном халате. Он почувствовал, легкое головокружение, и ему показалось, что когда-то он уже видел эту девушку, хотя прекрасно сознавал, что видит ее впервые. Но эти прямые соломенные волосы, этот голубой халат, этот загар... Что-то далекое и щемящее всплыло в памяти Д. Саута... Часов шесть утра. Лето. Куда-то они едут с отцом на машине. И неожиданно, как смена кадров в кино, открывается перед ними залив, пустынный песчаный берег и единственная фигурка, стоящая на чуть расставленных длинных ногах, лицом к морю, с прямыми соломенными волосами, в коротком голубом халатике. И он, пятнадцатилетний мальчишка, прокричал ей что-то, и, может быть, она услышала и обернулась, но дорога свернула резко влево, а Д. Саут поклялся себе, что непременно разыщет эту девушку, но вскоре в загородном парке, полном ко-

маров, стал взрослым, столкнувшись со жгучей брюнеткой на коротких упругих ногах, с хриплым низким голосом.

С последним аккордом странного марша участники парада повернулись спинами к посетителям, и Д. Саут увидел на ее халатике № 18. Его столик имел тот же номер...

Оркестр в нише сменился. Снова появилось тихое трио, и мечты стали расходиться по соответствующим номерам. Д. Саут встал, когда она подошла к нему. Сердце его бешено колотилось.

— Ты когда-нибудь стояла лицом к морю? — спросил он.

— Сегодня,— сказала она.— Рано утром. Потом я услышала, как кто-то крикнул, обернулась, но никого не было.— Она смотрела на Д. Саута спокойно, без робости, но все с той же грустной отсутствующей улыбкой.

— Это был я,— сказал Д. Саут.

— Я поняла.

— Откуда?

— Не знаю. Я уверена, что это был ты. Я сегодня утром думала о тебе.

— Но вечером за этим столиком мог оказаться другой.

— Нет. Только ты.

— Ты всем так говоришь?

— Нет. Только тебе.

— Но ведь это твоя работа.

— Значит, это не ты видел меня сегодня утром?

— Я! — испуганно произнес Д. Саут.— Только я!

— Тогда какая разница, что было вчера,— устало сказала она.

В зале появился человек во фраке.

— Нам надо переодеться,— сказала она, словно извиняясь.

Д. Саут провел рукой по ее прямым волосам.

— Ты вернешься?

— Я никуда не денусь до самого конца.

Он закрыл глаза.

Ему вдруг захотелось, чтобы этот вечер, его финальный вечер, не кончался. В последние годы он все чаще и чаще пытался представить себе свой последний момент. Свою последнюю кровать, последнюю рюмку, последнюю женщину... Он видел себя усталым и старым, недопившим последний стакан, недотронувшимся до последней женщины, обессиленно падающим на последнюю гостиничную кровать, запутавшимся в сумеречном лабиринте угасающего сознания. Но он и не предполагал, что последний вечер принесет ему столько облегчения, столько невероятного блаженства, столько желания продлить этот последний вечер до бесконечности. И Д. Саут просто физически ощутил то самое вселенское равновесие, по которому все минусы в конце концов обязательно соберутся в одной чаше весов, а все плюсы — в другой. И ни одна чаша не будет перевешивать. Это закон. Его жизнь тоже разместилась в двух чашах. В одной — сегодняшний вечер, в другой — все остальное. И еще он почувствовал, что первая чаша начинает переполняться и что в его силах не явиться утром к З. Гроунду и превратить, таким образом, свой последний вечер в первый.

Ее пальцы осторожно дотронулись до его лба. Д. Саут открыл глаза. Она была рядом. Во всем черном. Он опустился на колени и положил свою голову в ее прохладные, пахнущие морем ладони. Старый генерал мирно дремал на коленях сухой длинной старухи. Негритянка в шортах извивалась в танце на столе, а молодой бизнесмен смотрел на нее вялым взглядом и безразлично похлопывал в такт музыке. Широкоплечий узкотазый красавец с пробором играл мускулатурой. Горбунья с ярко напомаженным ртом раздевалась. Голый подросток рыдал на плече коммивояжера, а невзрачная девушка в очках вульгарно хохотала, увлекая куда-то толстого майора.

— Я хотел завтра улететь,— проговорил Д. Саут.

— Пойдешь со мной? — спросила она и сделала движение головой в розовую глубину зала.

— Нет. Ты пойдешь со мной,— твердо сказал он.

Чаша последнего его вечера перевесила.

— Куда?

— Куда угодно. Не знаю. Мы будем идти, пока не останемся одни, и тогда остановимся и никуда больше не пойдем.

— Это невозможно. У меня контракт.

— Я все оплачу. Ты знаешь, сколько у меня? 6000 фл.

Он допил «верблюд».

— Меня не отпустят.

— Тогда ты уйдешь сама.

— А ты?

— Я буду тебя ждать. В шесть утра у старой церкви на площади.

— Я не доживу до этого. Идем со мной. Сейчас.

И она повела Д. Саута за руку в розовую глубину зала.

Ему показалось, что прошла целая вечность, когда он снова появился в зале, легкий и опьяненный. Он подошел к человеку во фраке.

— Она уйдет со мной,— сказал он.

— До закрытия, куда угодно,— ответил человек во фраке и усмехнулся.

— Навсегда,— жестко произнес Д. Саут.— Я за все заплачу.

— Естественно,— сказал человек во фраке.— Но не за нее. Ваша мечта — наша собственность. Вы уйдете,— он нажал на слово «уйдете»,— а на вашем месте завтра окажется другой человек, и ему тоже захочется прикоснуться к своей мечте. Так что не тратьте время. Его уже не так много у вас осталось.

И он понимающе подмигнул Д. Сауту.

И тогда Д. Саут ударил его левой прямо в переносицу. Пока человек во фраке опрокидывал своим телом столик и делал попытки встать на ноги, Д. Саут заметил, как в зал вбежали трое крепко скроенных молодых людей, и понял, что сейчас ему придется туго. Он сбросил китель и встретил первого кинувшегося на него ударом в солнечное сплетение. Тот осел, и в то же мгновение Д. Саут совершенно инстинктивно отпрыгнул в сторону. Тяжелая каучуковая дубина, предназначенная для его головы, со свистом опустилась на столик, расколов его надвое. И второй, не сохранив равновесия, оказался на полу, лицом книзу. Кованый башмак Д. Саута заставил его оставаться в этой позе. Третий просто выстрелил в Д. Саута, но пуля ушла в потолок, потому что элегантный официант, который обслуживал его, резко в момент выстрела поднял руку стрелявшего.

Стало тихо. Посетители продолжали сидеть с тем же странным отсутствующим видом, как будто ничего не произошло. Тихо играло трио.

— Вы устали, Д. Саут,— спокойно произнес элегантный официант.— Я провожу вас наверх, где вы выспитесь.

И тут только Д. Саут почувствовал, что он действительно устал и страшно опьянел. Сердце бухало контрабасом, в ушах шумели щетки ударника, и мысли разлетались пассажами пианиста. Руки и ноги его стали ватными, и, поддерживаемый элегантным официантом, он послушной собакой поплелся куда-то наверх.

— Вам придется выполнить одну маленькую формальность,— сказал элегантный официант, когда они поднялись в комнату, предназначенную для ночлега.

И он положил перед Д. Саутом большую книгу в черном кожаном переплете с золотым тиснением.

— Зачем? — промычал Д. Саут и оттолкнул от себя черную книгу, которая почему-то вызвала у него прилив холодного липкого ужаса.

— Для коллекции,— сказал элегантный официант.— Не будьте ребенком. Оставьте здесь ваше имя и дату посещения.

И он раскрыл перед ним книгу.

Д. Саут боязливо перелистал несколько страниц и вдруг увидел знакомое имя, выведенное знакомым до мельчайших закорючек почерком. Д. Саут судорожно проглотил слюну. На шестой строчке сверху стояла подпись: «П. Карри», оставленная, вне всякого сомнения, им самим. Рядом стояла дата. 4 марта. Двенадцать лет назад. Д. Саут захлопнул книгу и испуганно взглянул на официанта. Тот оставался в прежней позе молчаливого ожидания. Тогда, движимый жутким предчувствием, Д. Саут снова стал листать книгу, пока не увидел аккуратно выведенные имена своих родителей. Дата посещения точно соответствовала дню знаменитого урагана...

«Этого не может быть,— подумал Д. Саут.— Я просто напился».

— Ну? — нетерпеливо сказал элегантный официант.— «Аттракцион» закрывается.

И вдруг Д. Сауту стало легко.

«Скорей бы утро»,— подумал он и улыбнулся. Он вывел свое имя на чистой строчке и поставил дату.

Больше он уже ничего не помнил до тех пор, пока не проснулся.

Утро было чистым и желтым. Д. Саут чувствовал себя удивительно бодро. Вчерашнее осталось в каком-то нереальном тумане, и единственное, что в нем вырисовывалось четко, было старой церковью на городской площади. Д. Саут взглянул на часы. Начало шестого. Ему казалось, что он стоит на нулевом делении между двух абсолютно пустых чаш весов. Ничего не осталось в прошлом. В настоящем только он. И томительное сладкое ожидание чего-то в будущем. На столике перед кроватью лежал лист бумаги, исписанный цифрами. Д. Саут понял, что это счет за вчерашнее, и пробежал по нему глазами. Дойдя до общей суммы, остолбенел. Под жирной красной чертой стояло: «6 000 фл.». И еще какая-то мелочь. «Что за чепуха?» — подумал он.

— Никакой чепухи,— услышал он знакомый голос.

В дверях стоял элегантный официант.

— Желания, воображение, мечты беспредельны,— продолжал официант.— Возможности ограничены. В любую игру человек играет до тех пор, пока ему есть что проигрывать. Выигрыш — понятие временное. Наступает момент, когда выигрыш становится проигрышем. К нам приходят тогда, когда готовы рассчитаться за все и готовы отдать все, чтобы рассчитаться. Когда-то наше кафе называлось «Финиш», но постепенно мы достигли уникального уровня обслуживания посетителей, мы научились улавливать тончайшее, еле заметное желание, малейшую прихоть, и мы изменили название на «Аттракцион». Это менее притязательно, но более оптимистично. Вы согласны?

Д. Саут молчал, с трудом понимая смысл услышанного. Официант взял в руки счет.

— Для того чтобы вы, уходя...— он подчеркнул слово «уходя»,— не имели к нам претензий и не подозревали, не дай бог, в обсчете и нечестном обслуживании, давайте разберемся во вчерашних деталях... Вам стало неловко сдавать плащ швейцару, внешне похожему на лорда, и он предложил вам повесить плащ самому...

— Да,— произнес Д. Саут.

— Это мелочь. 18 фл... Далее. Вам захотелось, чтобы чуть-чуть прибавилось свету, и свет прибавился...

— Мне так показалось,— проговорил Д. Саут.

— Нет. Не показалось. Свет прибавился. Это 280 фл. Электроэнергия обходится нынче дорого... Ну, и конечно, в копеечку обошелся мужчина с нахальным и тупым, как вам показалось, выражением лица, который беспричинно вызывал раздражение. Его уход стоил вам 1 000 фл.

— Но ведь я тоже мог ему не понравиться,— перебил Д. Саут.

— Еще как! Но ваша неприязнь к нему была более денежно обеспечена. В противном случае удалить пришлось бы вас.

— Это ужасно,— тихо сказал Д. Саут.

— Не лицемерьте. В тот момент вам было приятно. Затем «верблюд» и воспоминания о вашем друге... 150 фл... А вот удовлетворением ваших комплексов по отношению к Г. Кэрролу вы доставили много хлопот. Авиакомпания, вынужденная посадка, неустойка. Все это встало вам в 1 250 фл. Наконец, кульминация. Подсознательная мечта, берег залива, одинокая женская фигурка лицом к морю, в голубом халатике... И драка, которую вы изящно и непринужденно выиграли, как в дешевом кинобоевике... Думаете, это просто так? Вот уж почти 4 000 фл...

— Потрясающе,— абсолютно спокойно сказал Д. Саут,— но вы не учли главного. Вы обеспечили конгруэнтность, но не смогли учесть ее степени. Я столь же необходим этой девушке, сколь она необходима мне. И мы уходим! Она уходит со мной! Она не может не уйти со мной!

— Вы убеждены в этом? — улыбнулся официант.

— На все сто! — закричал Д. Саут.— На все сто!

— Прекрасно,— сказал официант.— Значит, мы доставили вам наивысшее наслаждение. Это все отражено в счете и составляет оставшиеся 2 000 фл. плюс какая-то мелочь.

И он протянул Д. Сауту счет. В последней графе перед жирной красной чертой Д. Саут прочел: «Стопроцентная убежденность клиента в истинности происходящего...» Он перечитал эту фразу несколько раз и, когда по-настоящему ощутил ее холодный смысл, сразу обмяк и почувствовал, что постарел.

— Мы держим высочайших профессионалов,— с гордостью сказал элегантный официант.

Д. Саут автоматически вынул из бумажника свое состояние — шесть банковских билетов по 1 000 фл. каждый, и растерянно стал шарить в карманах, выгребая оттуда оставшуюся мелочь.

— Прощайте,— поклонился элегантный официант.— Заметьте: я не благодарю вас и не приглашаю заглянуть еще раз. К нам больше не возвращаются...

...И Д. Саут начал уходить. Он уходил и уходил. Все дальше и дальше. Опустошенный и легкий. Он уходил, а его руки искали пульт управления. Он уходил, а двигатели работали бесшумно, не нарушая безмолвия бесконечности. Он уходил, а его руки осуществляли коррекцию в направлении никуда. Мимо пустынного залива, на берегу которого не было никого лицом к морю. Он уходил, а на площади маленького городка, возле старой церкви, весь день стояла девушка в голубом пляжном халате, с прямыми соломенными волосами. И когда часы на площади пробили шесть часов вечера, она медленно побрела в сторону особняка с надписью «Кафе «Аттракцион». Она поднялась на второй этаж и вошла в небольшую комнату. На столике возле кровати лежала большая черная книга с золотым тиснением. Она открыла эту книгу и прочитала: «Д. Саут». И дата.

На первом этаже зазвучала тихая музыка.

Кафе «Аттракцион» начинало работать.

МАРИЯ МАМОНОВА

ПРОЗА

В этом бесхитростном рассказе переплелись реальность и мечта, тревога за мир и вера в будущее, радость жизни и ответственность за нее.

Не поразил бы читателя этот рассказ, не будь он написан четырнадцатилетней девочкой. Можно только порадоваться широте интересов и богатству внутреннего мира нашей юности и поздравить журнал «Юность» с новым молодым автором.

Георгий ГРЕЧКО,
летчик-космонавт СССР

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

ЗВЕЗДНАЯ ДЕВЧОНКА

Ну вот, опять... Знали бы вы, как мне все это надоело. Уже давно мне стало ясно, что я, как говорится, родился не в рубашке.

— Витька!.. Ви-тю-ха!.. Ребята, да он оглох.

Нет, я, конечно, не оглох, но меня просто выводят из себя такие вот окрики моих одноклассников. Ей-богу, доведут человека, и случится что-то ужасное. Не берусь даже предположить, что случится.

— ...Негов, дурак!

И ведь продолжают. Но не отзовусь. Лопну, но не отзовусь.

— Тебя зовет учительница, Негов, слышишь? Не ответишь, будет капут.

Ну это уже наглость. Придется отозваться. Когда я приплелся в класс, там бушевали страсти. В центре непоколебимой громадой возвышалась Зоя Антоновна. Увидев меня, она одним движением своих густых бровей восстановила тишину и строго сказала:

— Негов, стань у доски... Не прислоняйся...

— Окрашено,— сострил кто-то с «камчатки».

— Восьмой «В», вы должны обсудить поведение Виктора Негова,— решительно заявила Зоя Антоновна.— Предоставляю слово Татьяне Провидоновой

— Внимание .. Наш микрофон установлен на стадионе имени мирового рекордсмена по толканию речей Татьян Привидение.

Рисунки К. БОРИСОВА.

Это, разумеется, сказал Толстый и смолк: понимает, что сердить Зою Антоновну в некотором роде даже опасно. Я с тоской подпирал стену. Все обвинения в мой адрес летели мимо ушей. О другом я думал. другое было в голове...

— Ребята! Поведение Негова должно найти горячий отклик в наших сердцах. Мы не можем допустить дальнейшего морального опускания нашего товарища.

Ого! Если Татьен так начала, пожалуй, все мы можем не успеть на двенадцатую серию.

— Он регулярно получает двойки, прогуливает, грубит учителям. Пора принять решительные меры. Что вы предлагаете?

И чем только она их задела? В классе поднялось такое, начали кричать, что меня надо выгнать из школы... Коллективное письмо моим родителям написать... Просто поколотить...

— Итак, что ты можешь ответить товарищам, Негов? — с сочувствием спросила Татьен, смотря на меня, точно на кляксу в тетрадке.

Что я мог ответить? Я вообще не умею с девчонками разговаривать, а тут нате — смотрят, будто на кляксу.

— Балда, кайся. Самое время,— шипел сзади Кастрюля, известный мастер подсказки.

— Неужели ты так ничего не ответишь на критику? — чуть не плача спросила Татьен.

До чего же в нашем «В» классе обожают разбирать огрехи в поведении... По косточкам разберут. В порошок изотрут. И тут взяло меня зло — все Негов да Негов, почему?

— Нет, я отвечу,— с достоинством заявил я Татьен.— Во-первых, ясно, что в тебе ораторского таланта ни на грамм. Во-вторых, с массами ты говорить не умеешь. В-третьих... В-четвертых...

Татьен прямо ошалела. Но я спокойно продолжаю:

— Если бы я был человеком некультурным, я бы тебе так сказал...— Тут я сделал многозначительную паузу.— Но я культурный, воспитанный и, видишь, молчу. И вообще не пора ли нам всем к голубому экрану? Телевидение расширяет кругозор.

— И это все? — упавшим голосом спросила огорченная Татьен.

— Все,— как можно вежливее подтвердил я.

Ну, конечно же, на двенадцатую серию мы опоздали. Песочили меня еще добрый час. Обещали даже вызвать к директору. А я слушал и все думал: ну почему я такой несчастливый? Что бы ни случилось в классе, во всем я виноват. Все шишки на меня валятся. Все люди как люди, отличники, старательные, примерные... А я... Разве я виноват: какая-нибудь важная идея влезет в голову и все передо мной заслоняет.

А как валялись они, когда я загнул про некую планету Шуэй возле Денеба. Просто языки проглотили. Я рассказал им, какие люди там живут и что я персонально получил туда приглашение. Все на меня воззрились, ну а меня как понесло, не могу остановиться. Даже сам испугался, будто кто-то во мне за меня говорит.

Рассказываю им, что есть у меня девчонка знакомая оттуда, необычная такая девчонка. Волосы у нее серебряные, глаза горят, а когда улыбается, вся улица вокруг освещается, вот какая.

...И до чего ж это здорово — идти из школы! Зима. Уже темно. Снег сверкает. Деревья в кружевах из таких малюсеньких белых двоечек. Они мне всюду, эти двоечки, мерещатся, хоть бы раз пятерка привиделась. Небо черное, в звездах. Бреду и вдруг вижу — вроде кто-то идет впереди. Не было никого, а появился. И движется по-особому, словно танцует. Танцует не как мы на вечеринках всякие там трали-вали, а кружится вместе со снегом, и сквозь снежинки трудно рассмотреть, как он это выделывает. Мне, конечно, интересно стало, сил нет. А он все кружится, кружится, будто земли не касаясь. Но я-то физику учил, знаю силушку всемирного тяготения.

Стал я догонять этого человека. С ним облако света рядом бежит, точно фонарик у него в кармане. Мне странно и даже жутко стало. А он медленнее закружился, словно бы дразнит. Ну, думаю, пожалуй, пора поворачивать домой. Видать, этот незнакомец с приветом. Пошел быстрее, а он неожиданно меня обогнал да и присел передо мною в этаком девчоночьем реверансе. С ходу я на него наскочил. Он упал прямо в сугроб. Плащ его отлетел в сторону. Гляжу — и не парень это. Девчонка. Девчонка моего возраста. Значит, лет пятнадцать. Глаза у нее огромные, на голове шапочка из каких-то крестиков, и каждый крестик будто отдельно — неизвестно как шапочка сделана. Бледная она такая, словно снег. Ясно, не из нашего города. И вообще чужая.

— Извини,— говорю ей,— я не нарочно. А вообще-то ты посреди улицы не очень танцуй, а то еще грузовик сшибет ненароком.— Сказал я ей это, замолчал. И, хоть убей, не знаю, как продолжать разговор. Однако соображения хватило, помог ей встать, поднял плащ. И вдруг меня как треснет... Током, что ли. Смотрю — не рассердилась, даже улыбается, и от этой ее улыбки кругом все посветлело. Ну, думаю, Негов, это у тебя галлюцинации начались.

— Нет,— говорит,— все правильно. Спасибо, Витя.— А потом вдруг добавляет: — Какие вы все-таки странные... люди.

Я прямо остекленел. Люди! А ты кто ж? А она подошла ко мне, пальцами скользнула по моей куртке, опять искры посыпались. Говорит:

— Не бойся. Заряд ушел. Это был совсем слабый заряд.

Я стою как дурак, ничего не понимая. Она улыбается, и опять светлее стало на улице. Потом закуталась в свой плащ, только глазищи сияют. Набрался я храбрости.

— А ты откуда такая приехала?

— Я? — Она смутилась, оглядела улицу, потом показала на небо.— Видишь ту звездочку? Во-он над деревом. Ясная такая.

— Ну, вижу.

— Оттуда я. По-вашему, с Денеба.

«Во врет! — думаю.— Тоже мне пришелец!»

— Нет, я не вру,— говорит она. И смотрит на меня вроде бы даже грустно, будто с психом разговаривает. И тут я ей вдруг поверил. Не совсем, конечно, но поверил... Плащ этот... искры колючие... Огромные глаза, и это, как его, чтение мыслей. Да еще вечер такой волшебный. Снег сверкает под фонарем, кружит в поземке, а над головой звезды, ясные, хоть пересчитывай их.

— Ну и как там у вас, на этом самом Денебе? — вежливо говорю я, чтобы поддержать разговор.

— Ты меня неправильно понял,— говорит она.— Денеб — это наше солнце, а планета, где мы живем, Шуэй.

Я прямо-таки подскочил.

— А как тебя звать-то?

— Луэвэ,— отвечает она. И звуки эти произносит так здорово, что я онемел, будто бы все чудеса мира прозвенели в этом имени.

— А зачем ты у нас? — вдруг спросил я. Она стоит рядом, прямая, словно выточенная из прозрачной планки. Плащик ее таинственно мерцает. Чувствую я, дико она мне нравится, но понимаю, что мысли мои она угадывает, и от этого краснею.

А Луэвэ смахнула с воротничка снежные хлопья, которые падали на нее. Падали и не таяли. Подумала и говорит:

— Вот что, Витя, приходи завтра вечером на холмы к реке. У меня ведь среди землян нет товарищей.— И стала удаляться летучими своими шагами. На повороте обернулась и издали сказала тихо, но так, что я различил каждое слово: — Странные, странные вы, люди. И вы со временем станете всемогущими, когда подружитесь с нами. Земля ваша прекрасна, как и наша Шуэй, и мы давно ждем встречи с вами. И я не первая уже посланница с нашей планеты. Наши посланники живут среди вас. Даже в твоем классе есть шуэянин.

— В нашем классе?!

— Да, это Митя Рулев.— Она взмахнула плащом и скрылась. А я в страшном смятении отправился домой.

Уроков, конечно, я не сделал. Уж какие тут уроки! С тяжелой головой приплелся на следующий день в школу. Там сидел тише воды, ниже травы и все размышлял: приснилось мне все вчерашнее или нет? Приснилось там или не приснилось, но решил все-таки с темнотою пойти на реку к холмам. Ведь это недалеко, тут, за городом. У меня в этот день был, наверное, отсутствующий вид, и потому, что я сидел тихо, ребята, наверное, решили, что я вообще тронулся. А наша строгая Татьен усмотрела в этом благотворное влияние своего пропесочивания, дескать, вот и Негова воспитали. На переменах я ни разу не подрался, но все следил за Митюхой Рулевым. Митюха как Митюха, ничего особенного. Подумал, что Луэвэ меня просто разыграла — ведь Митька себя ничем и не выдал. А когда я, не выдержав, в конце уроков подошел к нему и тихо сказал, что знаю, кто он, Митька уставился на меня большими глазами и молча покрутил пальцем у виска.

После уроков, когда я с нетерпением бросился в раздевалку, вдруг объявили сбор. О боже, этого еще не хватало! Я притворился, что не слышу, и выскочил из школы.

Наверное, не один час я околачивался возле приречных холмов, придумывая, что скажу Луэвэ, и не очень при этом веря, что она выполнит обещанное и появится. И еще думал, как и почему так неожиданно произошел контакт, о котором мечтали ученые и фантасты. Я уже не сомневался, что все вчерашнее мне приснилось. И вдруг недалеко от меня в снежной мгле вспыхнул голубоватый ореол, рассыпались искры. В них стояла Луэвэ. Когда ореол рассеялся, она подошла ко мне и очень просто сказала:

— Здравствуй, Витя,— и улыбнулась.

Тут моя скованность сама собой слетела, и я почувствовал себя превосходно.

— Вы, что ж, изучаете нас, что ли? — с ходу спросил я.

— Мы хотим знать вас лучше,— неопределенно ответила Луэвэ.

Я про себя ухмыльнулся: тоже мне, прислали научную экспедицию. Уж расщедрились бы на какую-нибудь паршивую летающую тарелку, что ли.

— Люди смеются над такими контактами, потому что привыкли жить одинокими в своем мире,— серьезно и строго ответила моим мыслям Луэвэ.— Но мы на многие тысячелетия старше. У нас уже никто и не помнит, что такое войны. Мы живем в счастливом мире, но наша планета пока—снежинка, растопленная дыханием вселенной. Поэтому так прекрасно встретить в беспредельном мире братьев по разуму. Мы давно уже наблюдаем вас, мы смотрим на вас как бы с вершин тысячелетий. И мы видим вас в будущем, когда вы познаете, что мир бесконечен, что истинная сила в разуме.

Я смотрел на нее и старался понять, что она говорит. Потом вдруг спросил:

— Слушай, ты, видать, все знаешь о том, что делается там, в космосе. Скажи-ка, что это за «черные дыры» где-то возле вашего Денеба?

Об этих «черных дырах» в космическом пространстве я что-то читал или слышал.

— О, для вас это пыль, скрывшая далекий свет. Ничего больше. Два кольца на бледных пальцах Млечного Пути, но за ними таятся входы в другие вселенные, где иные законы, где рушится пирамида времени. Кто знает, какая энергия бушует там в пучинах, что за миры владеют ею... Один из таких миров мы познали.— По лицу девочки облаком пронеслась тень. Луэвэ помрачнела и смолкла, не закончив фразы.

Меня ужасно удивила та одержимость, с которой она заговорила об этих самых «черных дырах». Эти «дыры» чем-то пугали ее. Я попробовал перевести разговор. Луэвэ перешла на другую тему, а я решил, что ей почему-то неприятно говорить о «черных дырах» и об энергии вообще.

Гуляли мы долго. Но я так ничего нового и не узнал ни о дырах, ни о световых туннелях, связывающих, как оказывается, далекую Шуэй с Землей. Решил подробнее расспросить потом.

Пошел пушистый снег. Он засыпал меня, лежал на воротнике, на шапке, но почему-то соскальзывал с Луэвэ, и, как вчера, веяло волшебным ветром чудес и сказок. Снежинки плавно кружились в морозном воздухе, а над ними, скрытые белой тьмой, мерцали звезды, зовя в неведомые дали. Интересно, с каких это пор я сделался поэтом?

— Какой он маленький, этот Денеб, если смотреть с Земли,— снова сказала она, точно проверяя расстояние между своей звездой и лентой Млечного Пути.— Как далека дорога.

Я не стал задавать вопросов. Не хотелось выглядеть болтуном, хотя вопросов в голове вертелось все больше и больше. Мы распрощались на берегу реки.

— До завтра,— сказала она и исчезла в метели.

А я не пошел домой. Я направился в библиотеку. Там отыскал и прочитал все, что нашлось, и о «черных дырах», и о Денебе, и о расположении этой звезды на небесной сфере. Потом возился с астрономическими картами, ничего толком в них не разбирая, но карты все-таки помогли мне понять, что Луэвэ, рассказывая о своем Денебе, имела в виду звезды Альферац или Альтаир. И почему ее так волнуют эти «дыры», надо будет завтра обязательно ее расспросить

И еще одно колоссальное событие случилось тогда. Я сделал уроки!

В школе я невольно приглядывался к Рулеву. Рулев как Рулев. Митюха Рулев. Но теперь мне уже начало казаться, что Митюха-то он Митюха, но, может быть, действительно замаскированный пришелец. Иногда мне даже мерещилось, что он хочет мне что-то сообщить. Что-то важное. Но он упорно не подходил ко мне. А когда я сам направился к нему, он вдруг заявил, что у него дико болит голова, и смылся с третьего урока. Это укрепило мое подозрение.

Кое-как досидев четвертый урок, я на пятом не стерпел и, пока Елизавета Петровна стучала мелом по доске, выводя уравнение, толкнул Толстого.

— Слушай,— прошептал я.— Рулев скотина или не совсем?

— Кто-о? — Пухлая физиономия Толстого источала недоумение.

— Говорю же, Митька Рулев,— хладнокровно повторил я.

— Какой Рулев? Нету у нас никакого Рулева,— добродушно выдал Толстый, оглядываясь по сторонам.

Я занес было руку, чтобы показать ему, как сбавляют лишние килограммы, но учительница, решив, что я рвусь к доске, моментально меня вызвала.

Едва прозвенел звонок, я, чуть ли не перемахнув через учительский стол, закричал на весь класс:

— Граждане, немедленно сообщите местонахождение товарища Рулева Дмитрия. Или я черт те что сделаю, повешусь, например.

Ребята отзывчиво заржали. У меня отлегло от сердца. Я быстро побросал в портфель книжки и хотел было бежать из класса, но в дверях меня остановил Профессор, отличник. Он, кажется, знал все. И всех убедительней рассуждал о невозможности контакта.

— Витька, про какого это Рулева ты тут говорил? — спросил Профессор.

Пол покачнулся у меня под ногами.

— Как про какого? Про нашего, вон того, что после третьего урока домой смотался.

Ребята удивленно смотрели на меня.

— Пошел бы ты, Виктор, к врачихе,— дал свой вечный совет Пилюля.

А тем временем дискант Татьен оповестил:

— Мальчики, не разбегаться. Сейчас начинаем сбор, посвященный все тому же Виктору Негову. Видите, что с ним происходит. Мы должны его осудить и исправить.

А странные вещи продолжали происходить. Елизавета Петровна в обычное время никогда бы не доверила мне классный журнал. А теперь вдруг отдала и велела снести в учительскую. Я понял: это неспроста. Лошадиным галопом пронесся по лестнице, влетел в учительскую, запер за собой дверь, раскрыл журнал. Фамилии, естественно, стояли в обычном порядке, выписанные ровно и красиво, но фамилии Рулева среди них не было. Митьки Рулева. Неужели все-таки?..

...Я торчал на приречных холмах до самого вечера. Но Луэвэ в условленный срок не появилась. Я не огорчился — я испугался. Неужели что-то заставило ее и Митьку вдруг покинуть Землю? Я догадался, что, исчезая, он у всех, кроме почему-то меня, стер о себе память. От этой догадки мне легче не стало, я начал думать о Луэвэ. Внезапное исчезновение их стало казаться мне полным какого-то зловещего смысла. Зловещий смысл мерещился мне теперь всюду. В памяти всплывали оговорки, непонятные, странные слова. И все-таки с холма я не уходил, мне все время казалось, что вот-вот вспыхнет ореол, рассыплются в темноте искры, и выйдет Луэвэ и улыбнется, освещая снег вокруг себя.

И в самом деле на вершине холма задрожало неясное сияние. Из мглы появилась фигура человека. Я бросился к нему. Но когда человек этот поднял лицо, я отшатнулся. Это была не Луэвэ. Странное, даже страшное было у него лицо. Продолговатое, узенький рот, небольшой, точно приплюснутый огромным лбом нос, щелочки глаз без зрачков. На голове какое-то подобие шлема. Из-под короткого плаща виднелся темный комбинезон. Сначала я струсил, но потом взял себя в руки.

— Что вам здесь надо, товарищ? — спросил я наглым тоном. Но он, казалось, меня не замечал и только внимательно обводил своими глазами-щелочками реку, заснеженные поля.

— Мне нужны вы,— проговорил он низким, скрипучим голосом, продолжая пялиться на дальний лес, что неясно темнел за речкой.

Незнакомец был совершенно не похож на Луэвэ. Почему-то чувствовалось, что этот новый пришелец — обитатель не Шуэй, а какой-то другой планеты. Он передернул плечами, поправил руками плащ и вдруг посмотрел мне прямо в глаза. Мой

взгляд просто приклеился к его глазам без зрачков. Я не мог его отвести, глаза холодные, будто в них ледышки. Он говорит:

— Я вас спрашиваю, вы отвечаете. Только так. Спрашиваю ради спасения огромной цивилизации.— Узенькие его глаза точно выбросили искры, он смотрел на меня свысока, хотя был ниже меня ростом.— Я спрашиваю, вы только отвечаете.

Тут меня окутал туман, и мне показалось, что я вроде уже из космоса смотрю на Землю. Вроде бы сижу в кресле, и рядом — этот узкоглазый тип. Он повернул руку, и Земля покорненько повернулась бочком. Не отрывая головы от изголовья кресла, я просто-таки отчаянно закричал:

— Не смейте, не смейте нашу Землю трогать! Свою вертите, если она у вас есть.

Он даже не посмотрел на меня. И повторил:

— Я спрашиваю, вы отвечаете.

Тут я сказал себе, что лучше засохну, чем отвечу. А Земля действительно поворачивается, будто по его велению, и я вижу Европу, Азию, Африку.

— Вопрос первый,— говорит этот тип.— Какое положение в вашем мире занимают державы данного континента и каково их социальное устройство? — И повертывает Землю Европой ко мне.

И я с ужасом чувствую, что, хотя всеми силами сопротивляюсь, все равно отвечаю на эти вопросы, да как отвечаю-то, меня точно бы понесло. На любой вопрос готов ответ, будто я стал Большой Советской Энциклопедией. Болтаю, болтаю, а он знай себе Землю поворачивает слева направо и справа налево. Вертит, слушает. Тут вспоминаю я слова Луэвэ, которые в свое время не понял, о том, что информацию можно добыть у любого. «И у круглого дурака?» — спросил я тогда. «Да,— ответила она.— Мозг подключится ко всем источникам информации на Земле...» И, что самое страшное, я понимаю, чувствую, что собеседник мой, не в пример Луэвэ, существо враждебное. Понимаю, а остановиться не могу. Несу ему про технику, в которой ничего не смыслю, про границы, которых я никогда толком не учил, всякие премудрости из науки. Болтал я очень много. Аж язык устал. В глазах чертики заскакали. Наконец этот тип говорит:

— Довольно. Благодарю. Мы удовлетворены вашей информацией.

А меня эта благодарность вовсе разозлила. Еще бы секунда, и я бы наплевал на них и на могучую цивилизацию и устроил бы такую драку, какой он на своей планете и не видывал. Но не успел сжать кулаки, как он, не попрощавшись, исчез. И у меня на душе стало пусто, холодно. Исчез. Унес все, что я ему выболтал про наши земные дела.

Я брел домой, и меня немного пошатывало, и несколько запоздалых прохожих проводили меня удивленными взглядами.

Дома, глянув на часы, я обнаружил, что уже... шесть утра. В школу, конечно, не пошел. Выслушал отповедь матери. Потом меня по всем правилам ругал отец. Он, дескать, в мои годы работал и учился, а я невесть где шляюсь, двойки хватаю, и из школы на меня жалобы. А расскажи ему, что я за эти дни пережил, не поверит. Да разве можно поверить, что ходит тут по нашему городку звездная девчонка в мерцающем плаще! Чего доброго, вызовут доктора. Песочили меня крепко, но я молчал, и не оставляла меня мысль о том, что мое дурацкое интервью, данное против воли, могло повредить и Луэвэ, а может быть, и людям: зачем понадобилось этому узкоглазому все выведывать о наших земных делах?

С трех часов дня я опять ходил за городом между холмами. Бродил дотемна, но Луэвэ не пришла. А в школе меня объявили злостным прогульщиком, Татьен назвала даже срывщиком мероприятий, потому что, оказывается, из-за моего отсутствия сбор сорвался, так как обсуждать было некого. Решили разбирать меня сегодня. У меня жутко трещала голова. А на геометрии просто свалил сон. По-настоящему заснул. Хорошо, что сижу на «камчатке», а передо мной Толстый, и из-за него меня целиком не видно. И снилось мне, что мы с Луэвэ идем по воде, не касаясь ее. Плащ Луэвэ сыплет искрами, и вся она еще лучше, еще красивее.

Снилось, что рассказывает мне Луэвэ о далекой своей планете, населенной хорошими, чудесными людьми, о волшебных городах, о том, что вечный вопрос энергии они решили раз и навсегда, что болезней у них уже нет и войн не бывает. И вдруг предлагает: «Витя, летим к нам, хочешь?» Мы схватились за руки, а вокруг замелькали звезды. А мы неслись с ней по Млечному Пути и хохотали. Летим — и вдруг вижу: темно стало, только «черные дыры»... светятся. Страшно, холодно в них, а тут во тьме подкарауливает нас тот самый незнакомец в шлеме, его беззрачковые глаза сделались еще уже. Подлетает к нам и говорит: «Благодарю за информацию, она нам очень пригодится». Услышав это, Луэвэ испугалась, побелела, кричит ему: «Прочь, уйдите прочь!» Глаза у нее огромные, как небо. Он что-то вскидывает на руке и прыгает в провал, а Луэвэ за ним, и глаза ее становятся будто стеклянными. В страхе я пробую вопить, но звуки глохнут, и ничего не слышно. Но у меня в руке луч, этим лучом я пронзаю незнакомца. Но все равно Луэвэ уже в пропасти. Тогда я громко кричу от ужаса.

В самом деле, должно быть, я заорал. Проснулся, а надо мной стоит Пифагорыч, и ребята давятся от смеха. Вид у меня, конечно, преглупейший.

— Негов! — говорит Пифагорыч.— Давайте ваш дневник.— И строго кашляет. — Гм, гм.

— У меня нет дневника — вяло отвечаю я.

И вдруг меня словно обухом по голове: портфель-то я забыл дома. Так и сказал.

— А голову случайно не забыл? — осведомляется Пифагорыч, поглаживая бороду. Коронный вопрос всех учителей в таких случаях.

— Забыл,— говорю я.— Видите. Ничего нету.— И ровненько так провел ладонью по шее.

Пифагорыч покраснел, подошел к столу и размашистым почерком вывел мне в журнале единицу.

— Ой, что же это делается на свете? — плачущим голосом вскрикнула Татьен.— В нашем классе единичник. Подумать только: единичник! Какой позор!

— Не расстраивайся, Танюшенька... Сегодня мы ему покажем... Мы его проучим...— наперебой принялись ее утешать девчонки.

Я стоял как каменный. Даже злости не осталось. В душе была пустота. Пустота и тревога.

...Чувствую, если Луэвэ не придет и сегодня, то она не придет больше никогда.

Я все-таки отправился на холмы, удивляясь самому себе и своей непонятной привязанности к этой звездной особе. Да и видел-то я ее всего дважды.

Луэвэ на берегу не было. Когда, замерзнув и отчаявшись, я совсем уж было собрался уйти, мне пришла мысль последний раз подняться на холм. Ну просто так. И что же? С вершины холма стало видно — внизу мерцают два плаща. Я бросился на их матовый блеск и чуть не сшиб с ног Луэвэ и... Рулева. И куда только девалось обычное дурашливое выражение Митькиного лица? Луэвэ, не оборачиваясь и потому вроде бы и не видя меня, произнесла:

— Здравствуй, Витя.

— Привет,— отвечаю сердито.— Я тут вчера ходил, ждал, ждал, в сосульку превратился. Эх ты!

Рулев скользнул взглядом по моему лицу и... не узнал.

— Какое это имеет теперь значение! — сказал он, махнув рукой и глядя вверх, точно уже несся там среди снежных лошадок, покидающих планету. Его длинные пальцы протянулись ко мне.

— Это трудно понять, Вить,— заговорила Луэвэ.— Все просто и сложно, ясно и запутанно. Безмерно далек отсюда наш мир. Громаден путь. Тысячелетиями мы ждали мига, когда сможем сорваться с нитки орбиты, прилететь к вам, помочь вам слиться с гармонией... Ведь и вас призовет когда-нибудь Совершенство. Вы можете стать его частью...

Я не понимал ее слов, но снова был поражен одержимостью, с какой она их произносила. Признаюсь, даже немного испугался.

— Но что случилось-то? Объясните хоть мне!

— Уходим! Покидаем вас.— Она вскинула к звездам тонкие руки, широкие рукава ее блистали.— Рано или поздно братья по разуму снова встретятся и объединятся, чтобы противостоять злой стихии, вместе творить, созидать. Придет этот миг — великий миг.—Эти слова срывались с ее губ, как облачка пара, плащ ее искрился больше обычного.

— Улетаешь насовсем? — как дурак спросил я.

Она смотрела на меня, улыбаясь, снежные кони вставали на дыбы перед ней.

— Вчера ты отвечал человеку, чье лицо холодно, а в глазах не светится лучик жизни. Мы знаем законы Черных планет: если им понадобится энергия, они могут уничтожить целую цивилизацию... Голубая Земля, как ты прекрасна! И над тобой нависла угроза. Ах, зачем, зачем ты, Витя, выболтал ему все ваши секреты!..

— Я не хотел ничего говорить! — закричал я.— Я сопротивлялся.

— Теперь он все узнал. Они могут уничтожить Землю. Вспышка. Земли нет. А они на долгое время будут свободны от вечного вопроса о снабжении энергией. Что ты наделал? — Голос Луэвэ прервался.— Прощай,— прошептала она.

— И вы уходите, не желая нам помочь? — во все горло завопил я.— Вы бросаете нас! Это подло! Не хотите нам помочь, черт с вами. Мы сами защитим себя. Улетай. Улетай в свою Гармонию...

— Странный землянин,— ответила она, словно говорила это не мне.— Мы знаем, вы будете сильны... Я верю в вас вот в эту реку, вот в эти холмы Но только не забывайте, что в провале Млечного Пути скрыт страшный мир и только излучатель нашей Шуэй закрывает им подход к вам, защищает вас. Возьми.— Луэвэ протянула мне маленький шарик.— Ты увидишь, я дам импульс. Своими глазами увидишь, что проход к вам я закрою. Но меня... не станет.

— Не надо, Луэвэ! — воскликнул я.— Мы сами. Не надо нам жертвы.

— О нас не думай. Меня не будет, но Шуэй спасет вас.— Луэвэ медленно подняла ресницы. Глаза ее увеличились, будто она хотела взять у Земли силу ее духа.— Я так полюбила вашу Землю! — крикнула она звонко, так что с веток ивы посыпался иней. Крикнула и беззвучно растаяла.

Я стал смотреть в шарик. Может быть, в нем горела душа Луэвэ. Менялись смутные картины, гигантский конус понял тень, сотни людей в развевающихся плащах лавиной пронеслись за Луэвэ, как призрачные видения в зеркале калейдоскопа. Показалось мне, что среди них мелькнуло лицо Рулева. Откуда-то вырвался страшной силы луч. Шарик в последний раз вспыхнул в моей руке. В это мгновение мне показалось, что звезда Денеб засветилась ярче. Потом свет померк

Потрясенный, я побрел домой. Иду я и опять вижу: кто-то идет впереди. Не было никого, а появился. Идет, словно танцует. И тут меня резануло. Ведь это все уже было, все это я уже видел. И промчались в моей голове — дорога... Луэвэ... энергия... Зачем мне снова знакомиться со звездной девчонкой и тем самым обрекать ее на гибель, впутывая Землю в космические истории? Но тут я понял, что не сверну, пусть все повторится снова, чем бы мне это ни грозило...

На небе здорово мерцали звезды. Снег скрипел под ногами. В морозном ветре порхали снежинки. Я отыскал в небе звезду Денеб и подмигнул ей. Потом ускорил шаги, стараясь догнать звездную девчонку, о которой я знал так немного. Я почему-то подумал: надо помочь ей как следует завернуться в ее сверкающий плащ. Как там, на планете Шуэй, не знаю, а у нас в декабре не жарко.

ЗИНОВИЙ
ЮРЬЕВ

ПРОЗА

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ПОВЕСТЬ

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК

Глава 1

Не знаю, как вы, а я вовсе не уверен, что астрономам удалось точно измерить продолжительность суток. Бывают дни коротенькие, даже куцые, когда ничего мало-мальски интересного просто не успевает случиться, а иногда, правда, редко, выпадают дни просто удивительные по своей емкости. Если учет в небесной бухгалтерии поставлен прилично, они там должны считать такие дни за два, а то и за три.

Именно такой удлиненный день и выпал нам восьмого восьмого восемьдесят восьмого года. И вовсе не потому, что подобное сочетание цифр повторяется раз в одиннадцать лет. Дело, как вы увидите, вовсе не в этом.

Впрочем, начнем по порядку. А поскольку порядок у нас в Институте искусственного разума начинается с директора Ивана Никандровича Бутова (во всяком случае, он так считает) и кончается им же (так считают остальные), то я приступлю к своему рассказу именно с него.

Иван Никандрович, как он мне потом рассказывал, пытался в этот момент вспомнить одну фразочку, которую очень любил. Говаривал ее его покойный дед Никифор Христофорович, бывший, между прочим, как и наш директор, членом-корреспондентом Академии наук.

Поводом для воспоминаний была рюмка коньяка, которую директор выпил незадолго до этого с тремя американскими коллегами из Массачусетского технологического института. Американцы восхищенно произносили «экселлент», «террифик» и даже «фантэстик», и было неясно, имеют ли они в виду достижения института, секретаршу директора Галочку, которая принесла им кофе, или сам коньяк.

Иван Никандрович, несмотря на скромность, склонялся к мысли, что восторженные эпитеты относились к институту, я же уверен, что — к Галочке. Посмотрим правде в глаза: институты, сравнимые с нашим, у них есть. Коньяк — тоже. Галочка же уникальна. Я настаи-

Рисунки
В. ХОРЬКОВА.

ваю на этом, хотя понимаю, что теоретически могу быть необъективным, поскольку давно уже влюблен в нее. И, к сожалению, без больших успехов...

Итак, американцы ушли, Галочка быстро убрала рюмки, а Иван Никандрович, ощущая приятную теплоту в пищеводе, вспоминал, что говорил об этой теплоте в таких случаях дед. И вспомнил. А говорил дед так: словно Христос босиком по душе пробежал. Что значит математик, до чего точное определение!

И вообще жизнь была прекрасна. Прекрасно было яркое августовское солнышко, что радостно вливалось в его кабинет, почтительно умерив свой пыл в нежно-салатовых драпировках. Прекрасен был сам кабинет с двумя полированными столами, поставленными в виде восемнадцатой буквы алфавита. О, эта восемнадцатая буква! Буква, так долго томившая душу Ивана Никандровича далекой мечтой и ставшая наконец двумя солидными столами в его директорском кабинете. Буква «Т»! И он, Иван Никандрович Бутов, восседает за верхней хозяйской перекладиной, посетители же пристраиваются к длинному буквенному стволу!

«Ах ты, старый карьерист»,— подумал о себе директор, и оттого, что не потерял он элегантную самоиронию, которой всегда гордился, настроение у него стало еще лучше.

Дверь кабинета беззубо чавкнула и впустила Шишмарева.

— Добрый день, Сергей Леонидович, прошу.— Иван Никандрович пожал руку сотруднику, пристально взглянул ему при этом в глаза (он всегда делал так) и усадил в кресло.

— Слушаю, Иван Никандрович,— с наигранной молодцеватостью сказал завлаб Шишмарев. Его полное, обычно добродушное лицо с черными, слегка навыкате глазами изображало напряженное внимание. «Вон даже испарина прошибла»,— отметил про себя Иван Никандрович, увидев, что завлаб вытер платком лоб. Отметил и мысленно усмехнулся: «Господи, вот не думал, что тебе так понравится на старости лет почтительность в подчиненных». И снова самоирония была ему приятна.

— Как дела в лаборатории? — спросил директор.

— Все в порядке, Иван Никандрович,— сказал завлаб, опять вытащил платок из кармана и вытер совершенно сухой лоб. «Только не тереть лоб в третий раз,— подумал он.— Это уже было бы похоже на издевательство. А два — как раз. Старик любит, когда подчиненные волнуются и трепещут...»

«Хитер, однако, наш Сергей Леонидович, тонок,— засмеялся про себя Иван Никандрович. Он заметил, что лоб у сотрудника был совершенно сухой.—Хотел привлечь внимание к своей несуществующей испарине. Неужели эти негодяи так изучили меня, что пытаются играть на моих самых потаенных инстинктах?»

— Тогда перейдем к делу,— сказал директор.— Вы, возможно, уже догадались, зачем я вас вызвал. К сожалению, руководитель учреждения часто оказывается похож на мужа: он обо всем узнает последним.— Шишмарев хотел было изобразить на лице полагающуюся в таких случаях недоверчивую улыбку, но не успел, потому что директор добавил: — Я имею в виду вашего Любовцева...

Здесь следует сказать, что Любовцев — это я, Любовцев Анатолий Борисович, кандидат физико-математических наук, двадцати девяти лет, руководитель группы в лаборатории Шишмарева, холостой и, как вы уже знаете, безнадежно влюбленный в секретаршу директора Галочку.

Когда директор упомянул мое имя, Шишмарев вздохнул. С момента его прихода к Ивану Никандровичу это был первый его искренний звук. Наш завлаб почти всегда вздыхает, когда называют мое имя, и вздохи эти многообразны, как жизнь. Здесь, я полагаю, и сожаление: неглупый вроде парень, но дураковат (излюбленное словечко Шишмарева), резковат, невыдержанноват (слово мое, А. Л.) и прочее и прочее. Но главный повод для вздохов — это, конечно, Черный Яша. Не ошибся мой завлаб и на этот раз, потому что директор продолжал:

— Вчера мне пришлось быть в одной весьма высокой научной инстанции. Поговорили о житье-бытье, о делах, а потом некое начальственное лицо осведомляется у меня с улыбкой: «Что,— говорит,— милейший Иван Никандрович, никак у вас в институте некоторые собираются кормить грудью компьютеры?» Я сижу, молчу и думаю. Точь-в-точь как вы сейчас, уважаемый Сергей Леонидович. И никак не могу сообразить, о чем речь идет... Ну-с, кое-как отшутился. Сравнение, как вы понимаете, достаточно игривое, чтобы почтительно пошутить. Примчался сюда, навел справки. И представьте, все, оказывается, слышали о новом, как говорят, подходе Любовцева к проблеме обучения эвээм, а я — нет. То есть, если уж быть точным, вы что-то, помнится, рассказывали мне, но то ли это было давно, то ли я запамятовал. Так что уж простите старика за назойливость, введите меня в курс дела: что за грудь, чья и так далее...

На последней фразе Иван Никандрович поморщился: вдруг поперла из него эдакая старческая брюзгливая обидчивость.

— Видите ли, Иван Никандрович, нам казалось, что идеи Любовцева столь... как бы выразиться... столь зыбкие и неопределенные, что я не считал необходимым постоянно держать вас в курсе работ, тем более что никаких результатов пока мы не получили и я вовсе не уверен, что их вообще когда-нибудь получат.

Иван Никандрович отметил, как по лицу сотрудника медленно расплывались красные пятна. Наползая на желваки, они чуть шевелились.

«Мы не получили. Молодец. сказал «мы», а не «он»...»

— Прекрасно, дорогой Сергей Леонидович. Мне даже хочется еще раз пожать вам руку. И действительно, зачем советоваться с директором, с этим администратором и, может быть, даже бюрократом? А то, что над ним могут подсмеиваться в инстанциях из-за этих, как вы говорите, зыбких и неопределенных идей, так над ним же посмеяться каждому лестно: и человек пожилой и член-корреспондент...

— Иван Никандрович, как вы можете...— сказал Шишмарев, и голос его дрогнул. Он встал и посмотрел на директора.— А что касается наших работ по нестандартному обучению компьютеров, то злые языки уже давно избрали нашу лабораторию своеобразной мишенью для упражнений в остроумии. Знаете, есть такая игра — бросание стрелок в мишень...

— Садитесь, прошу вас.— Иван Никандрович встал и торжественно положил руки на плечи заведующего лабораторией, словно посвящал его в рыцарский орден.— Да, конечно, злых языков у нас предостаточно...

Вошла Галочка с кофейником и двумя чашечками на подносе.

И угадала. Лучше момента для паузы не придумаешь.

— Ну-с, и что мы будем делать с вашим Любов-

девым и его зыбкими идеями? — спросил Иван Никандрович, уже окончательно успокоившись.

Галочка, которая шла в этот момент к двери, замедлила шаг. Как она мне потом передавала, ее волновал не столько я, сколько Черный Яша, с которым не раз тщетно пыталась разговаривать и к которому она, по ее же словам, привязалась больше, чем ко мне

— Поверьте, мне не слишком приятно говорить вам это,— твердо сказал мой завлаб,— но я полагаю, что мы прекратим эти работы

Это даже не было предательством или ударом в спину.

Я сам уже давно потерял какую-либо надежду и продолжал возиться с Черным Яшей лишь из глупой амбиции.

— Скажите, Сергей Леонидович, только честно: вы прекращаете эти работы из-за того, что я рассказал вам, или же вы действительно намеревались это сделать?

Иван Никандрович откинулся в кресле и пристально посмотрел на Шишмарева.

— Боюсь я не смогу дать вам однозначный ответ. Мы уже давно потеряли надежду, что получим какие-нибудь результаты. С другой стороны, знаете, это как на остановке автобуса, стоишь, ждешь, ждешь, знаешь, что давно нужно было уйти, и все-таки стоишь зачем-то. И наш сегодняшний разговор просто помог мне принять решение, которое и так запоздало.

— Не знаю, не знаю,— задумчиво сказал Иван Никандрович —Мне, слава богу, шестьдесят восьмой годок пошел, а я до сих пор никак не привыкну к слову «нет». Это же страшная ответственность, когда говоришь кому-то «нет». А вдруг все-таки что-то могло явиться на свет божий и не явилось только из-за слова «нет»? Ужасное слово, ужасное своей окончательностью.. Пусть уж лучше ваш Любовцев еще немножко покормит грудью свой компьютер..

Спустя некоторое время я спросил Ивана Никандровича почему он неожиданно вступился за меня. Не знаю,— пожал он плечами.— Вдруг мне стала неприятна даже мысль о том, что я запрещаю эту работу. Вообще весь день я был в странном состоянии, Толя То я начинал нести какую-то, в общем, несвойственную мне чепуху, то глупо обижался и вдруг вопреки всякой логике, реприманду в инстанциях и словам Шишмарева вступился за тебя. Причем, заметь, я представлял твою работу в самых лишь общих чертах. Это же как раз та мистика, в которую верит каждый уважающий себя ученый. Ты-то веришь в какую-нибудь чертовщину, например, в приметы?

«А как же, Иван Никандрович,—сказал я,—я набит предрассудками, буквально нафарширован ими. Ну, во-первых, я всегда сплевываю через левое плечо три раза, когда мне дорогу перебегает кошка..» «Любая или только черная?» — деловито осведомился Иван Никандрович «Любая»,— твердо ответил я. «Гм, а я — так только от черных. Может, твой метод и лучше». Мы оба засмеялись. Мы чувствовали себя детьми, несмотря на разницу в возрасте и положении. Мы были возбуждены и знали, что по коридорам института проносятся сквозняки истории. Они уносили мелкий мусор и почтительно замирали перед триста шестнадцатой комнатой размером в двадцать семь квадратных метров. В комнате триста шестнадцатой стоял наш Черный Яша, и в то время он уже не просто говорил, он буквально не давал нам жить...

Глава 2

Удивительный день восьмого восьмого восемьдесят восьмого продолжался.

Я сидел перед Яшей, уставясь невидящим взглядом в его объективы, и предавался отчаянию. Шопенгауэр рядом со мной показался бы резвящимся шалуном. (Шопенгауэра я не читал, но воображал его себе очень старым и очень печальным немцем в черном фраке и цилиндре)

Для отчаяния были все основания. Черный Яша молчал с нечеловеческим упорством. Молчал он уже второй год, и в этом, строго говоря, не было ничего необычного, потому что он представлял собой всего-навсего черный ящик, набитый десятью миллиардами нейристоров. И я, старший научный сотрудник Анатолий Любовцев, с упорством маньяка пытался превратить его в искусственный мозг.

Когда я начинал работу, каждый раз, засыпая, я мысленно составлял свою речь при вручении мне Нобелевской премии. У меня накопилась масса замечательных речей. Потом, когда твердая уверенность в скорой поездке в Стокгольм стала вянуть и засыхать, я подумывал даже о том, чтобы напечатать сборник этих речей на машинке и разослать тем, кому они могли пригодиться.

Это было в доисторическую эпоху. Я давно уже потерял надежду на премии. Я потерял надежду, что из моей работы вообще получится хоть что-нибудь, кроме подтрунивания коллег, не всегда безобидного, и Галочкиного молчания. Я потерял уверенность в себе.

За это время я похудел, спал, как уверяла меня мама, с лица, перестал ходить в бассейн и учить французский Я превратился из общительного, приветливого молодого человека, каким казался себе раньше, в невропата с мизантропическим восприятием жизни.

В сотый, в тысячный раз прокручивал я в голове печальный и однообразный фильм — «Моя работа за последние полтора года».

Сначала была мысль. Как и всякая мысль, она появилась маленькой, жалкой и беззащитной. Я даже не обратил на нее особого внимания. Но она росла, крепла, начала, наконец, стучать ножками в мою скромную черепную коробку, требуя внимания.

Мысль была довольно проста и не слишком оригинальна Не успели в сороковых годах появиться первые американские электронно-вычислительные машины «ЭНИАК», рьяные журналисты и популяризаторы поспешили назвать их «искусственным мозгом» Но ни громоздкие ламповые «ЭНИАКи», медлительные и капризные, ни их далекие потомки, в тысячи раз более стремительные и компактные, не имели никакого права называться думающими и разумными. Все они, в сущности, дети простого арифмометра. Несравненно более сложные, умеющие делать то, что и сниться не могло старым добрым канцелярским «феликсам», но все равно отпрыски арифмометра. Потому что работать они могли только по заданной программе. Возьми это, сложи с тем, запомни то и так далее. Просто машины Замечательные машины, но машины. Не менее, но и не более того.

Мысль, как я уже сказал, была проста. Собрать прибор на новых элементах — нейристорах, которые кое-чем напоминают нейроны мозга, прибор, относительно сравнимый по сложности с человеческим мозгом.

Нет, не думайте, что кто-нибудь точно знает, как

устроен и как работает человеческий мозг. Только в общих чертах. Мысль заключалась в том, чтобы обучать наш прибор не набором жестких программ, а тем же методом, каким обучается ребенок. Надо обрушить на машину поток информации. Такой же информации, которая обрушивается на младенца с того момента, когда в нем впервые шевельнется жизнь. И тогда, может быть, не совсем ясным для нас образом машина начнет превращаться в искусственный мозг. В этом «может быть» и было все дело.

Мы собрали такой прибор, применив самые последние достижения миниатюризации. Впрочем, «мы» — это не совсем точно. Мы, то есть наша лаборатория, не смогли бы сконструировать подобный прибор даже за тысячу лет работы без выходных. А поскольку на такой трудовой энтузиазм рассчитывать было трудно, всю эту работу обидно легко проделала большая институтская ЭВМ. Другие машины собрали эту схему, и на свет божий появился наш прибор. Подобно любому прибору, личная жизнь которого не совсем ясна исследователю, мы относили его к категории так называемых «черных ящиков». Но черным ящиком бедняга пробыл недолго. Очень скоро он получил имя Черного Яши. Кто именно первый окрестил его так, сказать невозможно. По меньшей мере двадцать человек претендовало на эту честь. Подчеркиваю: претендовало. Претендовало тогда, когда мы с минуты на минуту ожидали, что вот-вот Яшенька скажет «мама» или «папа».

Сегодня никто не настаивает на своих авторских правах, никто не интересуется Яшей. Потому что Яша молчит. Ребенок не удался. Это было печально, ибо даже самый неудачный ребенок ни в какой мере не бросает тень на метод его изготовления. Уродец же Яша убил мою идею.

Как я верил в него, в нашего Черного Яшу! Когда он впервые появился в нашей комнате номер триста шестнадцать, я не мог отойти от него. Я испытывал за него поистине отцовскую гордость. Он казался мне прекрасным: новая, без единой царапинки панель, три глаза-объектива, придававших ему загадочный вид буддийского божества.

С бьющимся сердцем я включил Яшу в сеть. Засветилась контрольная лампочка, и наш первенец ожил. То есть мы решили, что он ожил. Ожила на самом деле только контрольная лампочка...

Мы все, разумеется, понимали, что даже в идеальном случае, если наши надежды сбудутся, пройдет какое-то время, пока Яша подаст хоть какие-нибудь признаки жизни. Но не верьте, что ученые обладают холодными и бесстрастными мозгами. Я не знаю людей более склонных к детским фантазиям, людей более увлекающихся и доверчивых. Строгие умы дают в лучшем случае великих классификаторов. Двигают науку только несолидные фантазеры. А я твердо рассчитывал двинуть науку. Да что двинуть — я собирался основательно протащить ее вперед.

Итак, мы включили Яшу в сеть. Если бы тут же застрекотал печатающий аппарат и мы прочли: «Привет, ребята»,— клянусь, я не был бы особенно поражен. Когда наяву уже составляешь речи для получения Нобелевской премии, можно ждать чего угодно: исчезновения силы тяжести, беседы с соседским эрделем Батаром о смысле жизни, наконец, появления нашего лаборанта Феденьки без его лилового галстука. В этом галстуке Федя делал у нас курсовую и дипломную работы, в этом галстуке был зачислен к нам в штат, в этом галстуке женился и, увы, развелся.

Но галстука Федя не снял, и мы, вздохнув, приняли воспитывать Яшу. Ни один ребенок в мире не подвергался такому интенсивному уходу. Учебные фильмы следовали один за другим. Особым распоряжением по своей группе я потребовал, чтобы никто не смел молчать более нескольких секунд, необходимых для того, чтобы набрать глоток воздуха в легкие. Во время разговора мы вначале невольно поворачивались в сторону Яшиных микрофонов, но потом привыкли не смотреть на него.

Мы учили Яшу грамоте и счету, рассказывали ему сказки и ссорились при нем. Однажды, когда Феденька не соизволил вечером прибрать свой стол, я утром устроил ему сцену. Может быть, оттого, что нервы мои были к тому времени уже почти на пределе, я кричал, визжал, топал ногами.

— Толя,— испуганно сказала Татьяна Николаевна,—при Яше, побойтесь бога!

«При Яше»! Я сразу успокоился и невесело рассмеялся.

— Да я не обижаюсь, Анатолий Борисович,— мужественно пробормотал Феденька, хотя все в нем тряслось от обиды — включая губы и лиловый галстук.— Вы не волнуйтесь, может, он еще заговорит. Знаете, анекдот такой старинный есть: маленький английский мальчик никак не начинал разговаривать. Год, два, три, пять — его таскают по врачам, врачи только разводят руками, а он молчит. Родители, наконец, отчаялись и смирились. И вот, когда ему было уже лет двенадцать, он вдруг говорит за завтраком спокойным английским голосом: «А тосты-то подгорели». Ну, родители в слезы. Что же ты, Джоник, все время молчал, спрашивают. А что говорить, пожимает плечами Джон, раньше все было в порядке.

Мягкий душный комок плавно поднялся откуда-то снизу и остановился у меня в горле. Наивный, добрый Феденька, спасибо. Хотя Яша и не ест тостов, все равно спасибо.

По вечерам я оставался один с Черным Яшей. Я садился перед его объективами и начинал рассказывать ему мою жизнь. Никогда, никому, включая самого себя, не рассказывал я этих вещей. И не потому, что жизнь моя была полна жгучих или постыдных тайн. Просто кому интересен этот обычный осадок человеческой памяти?

Я рассказывал Яше, как полюбил в первом классе девочку в светлых кудряшках, по имени Леся. Я любил ее страстно и пылко. Иногда на перемене я садился за ее парту, и сознание, что я сижу на ее месте, наполняло мою крошечную трепещущую душонку сладким и мучительным томлением. А потом, когда ее родители получили новую квартиру и Леся исчезла, отчаянию моему не было предела. Мир померк в моих глазах, потому что светлые кудряшки больше не крутились на третьей от учителя средней парте и не наполняли класс праздничным сиянием. Через месяц я никак не мог вспомнить ее фамилии.

Я рассказывал, как в четвертом классе меня выгнали из школы за то, что я в припадке какого-то безумного и хвастливого озорства открыл зимой окна и выморозил класс.

Учитель истории, взъерошенный и добрый человек с нелепой кличкой Такса (он часто повторял «так сказать», сливая слова), печально спросил, кто это сделал. Лихое озорство уже давно выветрилось из меня, мне было стыдно, неловко, страшно. Я мечтал повернуть время минут на двадцать назад, чтобы провести перемену более пристойным образом, но время не поворачивалось.

Я знал, что надо встать и сказать: «Это сделал я»,— но позорная трусость опутала меня по рукам и ногам. Следствие продолжалось минут пять, а на

шестой минуте Такса уже вел меня по коридору к кабинету директора. Со стен на нас смотрели классики русской литературы. Смотрели сурово и неодобрительно. Особенно хмурился Лев Толстой.

Такса молчал, и мне вдруг показалось, что если бы я решил убежать, он бы не погнался за мной. Но бежать было некуда, и я даже не пытался вырвать ладошку из шершавой ладони Таксы.

Когда директор Александр Иванович, вздохнув, сказал, чтобы я забрал свои вещи, шел домой и без родителей не приходил, я заплакал. Мне было стыдно, стыдно слез, но я не мог остановиться.

Я рассказывал Яше, как украл у своего товарища Эльки Прохорова одиннадцать марок. У него было безобразно много марок, у меня — постыдно мало. В тот вечер он рассыпал по столу все свои дубликаты, которые мне не на что было выменять или купить. И безбожно хвастался богатством. Я прижимал к рассыпанным маркам рукава своего пиджачка, марки прилипали к ним, и с бьющимся от сладкого ужаса сердцем я незаметно прятал их в карман. Мне было страшно, но, увы, вовсе не стыдно...

Я рассказывал Яше, как полюбил в шестом классе девочку Тату, которая была на голову выше меня и весила, наверное, килограммов на двадцать больше. Теперь я думаю, что она могла бы убить меня одним ударом кулака. Но она меня не убила, а даже довольно спокойно разрешила поцеловать себя, для чего ей, правда, пришлось нагнуть голову. В благодарность я поклялся ей в вечной любви и вырезал номер ее телефона на своем ботинке. Увы, ботинок довольно быстро изорвался, телефон сменили, а вечной любви уже в который раз не хватило до конца четверти.

Боже мой, какой только ерунды я не рассказывал этими бесконечными вечерами Яше! Всю жизнь свою, от первого проблеска самосознания (он почему-то связан у меня с тенистой аллеей, по которой я убегаю от кого-то или чего-то) до своих отношений с Галочкой, вернее отсутствия их, я рассказывал нашему бедному Черному Яше. Бедный, бедный Яша! Наверное, ему не хватало золотых кудряшек девочки Леси, слез в кабинете директора, украденных марок, ботинок с номером телефона и множества других вещей, из которых складывается та странная и загадочная штука, которая называется человеческой личностью и человеческой жизнью.

Я делал все, чтобы заменить ему жизнь, но я быстро понял, что был обуреваем детской в своей наивности гордыней. Я не был богом и не был творцом. Я не был волшебником и не мог из ничего, из нелепых своих воспоминаний создать новую жизнь.

Шли дни, недели, месяцы. Яша молчал, и я чувствовал, как нестройной чередой уходят от меня уверенность, надежда и мечта. Уверенность покинула меня довольно быстро. Она убежала, даже не попрощавшись. Должно быть, она спешила к очередному юному дурачку. Расставание с надеждой было куда более мучительным. Я цеплялся за нее, просил не уходить, но и она, печально улыбнувшись на прощание, ушла. Оставалась только мечта. Я берег ее, я боялся за чее, как боится, наверное, мать за последнего из оставшихся в живых ребенка. Но и ее я не сумел удержать.

И вот я сижу перед Яшиными глазами-объективами, уронив, как пишут в таких случаях, руки на колени, и молчу. Мне теперь не горько, не обидно. Внутри у меня давно уже образовался какой-то вакуум. Я сижу перед Яшей и молчу. Все, что я мог ему сказать, я давно сказал. Мне стыдно. Стыдно перед Сергеем Леонидовичем, который больше года прикрывал меня своей мягкой и вовсе не мужественной спиной. Стыдно Феденьки, который смотрел на меня как на пророка и потерял на мне и Яше полтора года. Стыдно Татьяны Николаевны, которая за все время ни разу не позволила себе усомниться в исходе нашей работы. Стыдно Германа Афанасьевича, нашего инженера, который переработал столько, что, получи он все заслуженные отгулы, мог бы вполне пройти пешком от Москвы до Владивостока и обратно.

Я сижу и в тысячный раз думаю, что все могло быть иначе, если бы только Черный Яша заговорил. Ну что ему стоит, что там происходит в миллиардах его нейристоров, в бесконечных цепях его электронной начинки?

Слепая и глупая ярость охватывает вдруг меня. Я поднимаю кулак и изо всех сил ударяю по кожуху.

— Да будешь ты, черт тебя побери, разговаривать или нет? — воплю я пронзительным, базарным голосом. И сразу успокаиваюсь. Нет, не успокаиваюсь, а замираю. Потому что в этот момент печатающий Яшин аппарат оживает и коротко выстреливает.

Я замираю. Во мне подымается только одно чувство — страх. Сейчас я скошу глаза на бумагу и увижу: она пуста. И я пойму, что у меня начались галлюцинации. И не этого я боюсь. Впервые за долгие месяцы в комнату триста шестнадцать заглянула надежда. Безумная, нереальная, но надежда.

Я сижу перед Черным Яшей и панически боюсь скосить глаза на печатающий аппарат. В короткую долю секунды я понимаю игроков, поставивших на карту имение, последнюю копейку, жизнь. Они открывают карты мучительно медленно, потому что, пока ты не знаешь правды, можно надеяться. Факты для надежды, что святая вода для нечистой силы. Я думаю об этой чепухе, потому что боюсь скосить глаза. Всю жизнь я был трусоват. Хоть и не новая для меня, мысль эта пронзает мозг своей жестокой правдой, и от этой правды я смотрю на бумагу. На бумаге одно коротенькое слово. «Нет».

Я взрываюсь, как лопается глубоководная рыба, мгновенно вытащенная на поверхность. Все, что было зажато внутри, вырывается наружу. Глаза застилают слезы.

Я вскакиваю. Я реву. Я кричу. Я не знаю, что кричу. В комнату врывается Татьяна Николаевна. В глазах ее ужас.

— Толенька, милый, что с вами? — жалобно вопрошает она. Я хочу что-то объяснить ей, что-то сказать, успокоить ее, но не могу остановить странный, торжествующий крик. Ни я его не сумел потом вспомнить, ни Татьяна.

И тогда я показываю ей рукой на печатающий аппарат. Она подскочила к нему, мгновенно поняла, в чем дело, запричитала. Сотни поколений ее деревенских предков научили ее этому искусству, о котором она не имела ни малейшего представления. И не важно, что они причитали при виде сына или мужа, живьем возвратившихся с войны, она же причитала при рождении первого в мире искусственного разума.

Она бросилась мне на шею, я обнял ее, и мы пустились в медленный вальс по комнате триста шестнадцать. Я задел локтем осциллограф, и он с грохотом упал на пол, остро брызнув мелкими стеклянными осколками. Они были прекрасны, эти осколки, и они хрустели под нашими ногами, и мир был тепел, прекрасен и скрыт волшебным туманом, из которого вдруг появился Федя, крикнул «ура», вскочил зачем-то на стул, вспрыгнул со стула на

316
НЕТ

стол, еще раз крикнул «ура» и сорвал с шеи лиловый галстук. Было страшно и смешно смотреть, как Федя размахивает засаленной лиловой тряпкой, и только при виде ее в Фединой руке, а не на шее, я по-настоящему поверил, что нечто действительно необычное случилось восьмого восьмого восемьдесят восьмого.

Из клубящегося сказочного тумана вынырнула долговязая фигура нашего инженера Германа Афанасьевича. В руках у него была колба с бесцветной жидкостью.

— Ура! — рявкнул он.— Отметим, отметим, отметим! — Последние три слова он пропел неожиданным тенором на мотив «Три карты, три карты, три карты» из «Пиковой дамы».

Туман походил на цилиндр фокусника, из которого достают кроликов. Очередным кроликом оказался наш завлаб. Странно, однако же, устроены люди. Сергея Леонидовича нисколько не поразил руководитель группы, танцующий медленный вальс на разбитом осциллографе со своим младшим научным сотрудником. Его внимание не привлек и старший лаборант, методично подпрыгивающий на столе и с криками «ура» размахивающий галстуком. Его внимание привлекла склянка со спиртом в руках Германа Афанасьевича.

— Что это значит, Герман Афанасьевич? — строго молвил завлаб.— Вы разве не читали приказ по институту об упорядочении расхода спирта?

— Чи-тал, чи-и-тал, чи-и-тал! — все тем же оперным речитативом пропел инженер и вдруг добавил совершенно нормальным голосом: — Неужели же мы будем столь мелочны, что не отметим выдающееся событие?

Сергей Леонидович внезапно нахмурился, стремительно повернулся вокруг своей оси и взвизгнул:

— Толя, что это значит?

— Это значит, что Яша заговорил,— прыснул я. Почему я прыснул в этот момент, что здесь было смешного — объяснить я не умею. Похоже, все мои эмоции и рефлексы устроили между собой детскую игру «куча мала» и на поверхности в нужный момент оказывались самые неподходящие.

— Как это заговорил? — строго спросил Сергей Леонидович и снова сделал пируэт вокруг своей оси. Он увидел прыгавшего на столе Федю и остановился. Федя тоже замер, и только рука его царственным жестом указывала на печатающее устройство. Неведомая сила подбросила нашего завлаба в воздух и опустила возле Яши. Я готов поклясться чем угодно, что он не отталкивался от пола, не напрягался. Он просто перелетел от двери, где стоял, к Яше. Очень солидно и очень неспешно надел свои очки в толстой роговой оправе, очень спокойно посмотрел на слово «нет» и сказал:

— Нет.

— Что «нет»? — крикнул Феденька и негодующе замахал галстуком.

— «Нет» в смысле «да»,— сказал Сергей Леонидович, снял очки, вынул платок и деловито вытер слезы, которые уже успели набухнуть в его темных, слегка навыкате глазах.— Друзья мои...— Он остановился, сделал судорожное глотательное движение, сморщил нос и вдруг всхлипнул.— Феденька,— жалобно сказал он,— спрыгните, детка, со стола, вот вам ключ, и достаньте у меня из сейфа бутылку коньяка.

Должно быть, слово «коньяк» подействовало на завлаба отрезвляюще, потому что он встрепенулся, потряс головой, как собака после купания, кинулся к телефону и позвонил директору.

Иван Никандрович вошел почти одновременно с Феденькой. Старший лаборант шел пританцовывая и прижимал к своей лишенной галстука груди бутылку дагестанского коньяка. Правый верхний угол этикетки отклеился. Я говорю об этом, чтобы показать, как мой бедный маленький мозг цеплялся за всяческую ерунду в эти минуты. Наверное, он боялся разорвать стропы, привязывающие его к будничной действительности, и воспарить ввысь, туда, где у черных ящиков появляются собственные желания.

Иван Никандрович внимательно прочел Яшин ответ, самодовольно улыбнулся, как будто это он подучил наш черный ящик сказать «нет», пожал нам всем руки, причем делал это так значительно, что нам всем чудилось: вот-вот он возьмет ордена и начнет вручать их.

Позади него стоял Григорий Павлович Эммих, его заместитель по науке, которого все без исключения, даже сотрудники отдела кадров и спецотдела, звали Эмма. У Эммы были настолько тонкие губы, что всегда казались неодобрительно поджатыми. Злые языки утверждали, будто он сделал карьеру именно благодаря губам и умению молчать всегда и везде.

Вот и сейчас он стоял за спиной Ивана Никандровича и смотрел на нас не то чтобы осуждающе, но, во всяком случае, настороженно. Крики, рукопожатия, разговаривающие черные ящики, коньяк в стенах института—во всем этом, надо думать, было нечто глубоко Эмме неприятное.

Тем временем Иван Никандрович подошел к Черному Яше. Ах, если бы у Яши была хотя бы одна рука, подумал я, директор наверняка пожал бы и ее.

Иван Никандрович посмотрел на меня.

— Включен?—зачем-то спросил он, хотя Яша никогда еще в жизни не отключался от сети.

— Да, Иван Никандрович,— обогнал меня наш Сергей Леонидович, и я понял, почему завлаб он, а не я.

— Как, говорите, вы называете свое детище?

На этот раз я решил попытаться ответить раньше Сергея Леонидовича — надо же когда-то начинать делать научную карьеру. Но не тут-то было! Не успел я открыть рот, как завлаб уже рявкнул молодцевато:

— Черный Яша, Иван Никандрович!

— Остроумно,— кивнул директор, а Эмма окончательно проглотил свои губы. Иван Никандрович слегка кивнул нам, как бы приглашая принять участие в шутке, и спросил Яшу: — А почему, собственно, вы сказали «нет»?

Все заулыбались, и даже у Эммы глазки чуть сузились — то ли он хотел присмотреться к нам, то ли улыбнуться. Но в этот момент печатающее устройство вдруг застрекотало.

— По-то-му что не хо-чу с ва-ми раз-го-ва-ривать,— медленно и внятно, словно для умственно отсталых детей, прочел Иван Никандрович.

Я почему-то вспомнил, как мама рассказывала мне о моем театральном дебюте. Мне было четыре года, и в гала-представлении, дававшемся моим детсадом, я должен был играть весьма почетную роль лягушки. Мама сидела с папой среди прочих мам, пап, бабушек и дедушек и с замиранием сердца ждала моего выхода. И вот, вполне войдя в роль лягушки, я выскочил на сцену. Мама рассказывала, что у нее сжалось сердце — такой я был маленький, жалкий, в нелепой зеленой кофточке, которая должна была подчеркивать мою принадлежность к лягушачьему племени. Папа же, по словам мамы, весь напрягся и непроизвольно подергивал в такт со мной всеми четырьмя конечностями. Помогал мне таким образом прыгать.

Так и я, пока директор читал Яшин ответ, всей своей кандидатской душой тянулся к нашему детищу. Слезы опять перехватили мне горло. Спасибо, Яша! Спасибо, парень!

Я не шутил, не кокетничал. Я так и подумал: «Спасибо, Яша. Спасибо, парень». Черный ящик уже стал для меня живым.

Иван Никандрович тем временем поднимал лабораторную колбочку с коньяком.

— Милые мои,— сказал он, и от этих необычных слов все заулыбались,— сегодня, разговаривая с Сергеем Леонидовичем о вашей работе с Черным Яшей, я вдруг почувствовал, что не могу, не хочу сказать «нет». Яша же сказал. И не просто сказал «нет», а объяснил, что не желает разговаривать с нами. И это прекрасно. Мы присутствуем при величайшем событии: набор электронных компонентов впервые в человеческой истории выказал признаки воли и интеллекта. Да, именно, воли и интеллекта, ибо для того, чтобы не хотеть чего-то, нужна собственная воля, а для того, чтобы столь безапелляционно заявить нам об этом, нужен интеллект. Поздравляю вас, мои милые, еще раз поздравляю.

Глава 3

Было все то же восьмое восьмого восемьдесят восьмого. День растягивался, как синтетическая авоська, но был намного прекраснее ее.

Мы шли с Галочкой по Старому Арбату, и впервые я не думал при этом об Айрапетяне Тигран Суренович Айрапетян — это мой соперник. Соперник страшный и безжалостный. Поставьте себя на место Галочки и судите сами. Вот я, Анатолий Любовцев, кандидат физико-математических наук, двадцати девяти лет от роду, руководитель группы. Рост—сто семьдесят три сантиметра, вес — шестьдесят восемь килограммов. Лицо заурядное. Характер посредственный, склонный к рефлексии, самоанализу и фантазиям Холост. А вот Тигран. не кандидат, а доктор, не каких-нибудь жалких сто семьдесят три сантиметра, а целых сто восемьдесят. Жгучий брюнет с лицом решительным и страстными глазами. Весельчак и остряк. Женат, двое детей. Ашот и Джульетта. Вот на неведомых мне Ашотика и Джульетту я возлагал единственную надежду. Бросить двух очаровательных смуглых крошек, чтобы позорно сойтись с секретаршей директора,— да это же не просто персональное дело...

Я достаточно, однако, самокритичен, чтобы понимать, как зыбка моя судьба, врученная двум несмышленышам. Поэтому я составил таблицу оценки всех своих качеств и качеств Тиграна, просчитал в разных вариантах на машине. Машина была безжалостна. мои шансы на завоевание руки и сердца Галочки составляли двадцать девять из ста, у Тиграна — пятьдесят шесть — почти в два раза больше. Оставшиеся пятнадцать шансов приходились на долю других, пока еще неведомых нам претендентов.

Я никогда не забывал о своих двадцати девяти шансах. Может быть, потому что их было столько же, сколько мне лет. А скорее всего из-за комплекса неполноценности. Этот комплекс торчал во мне занозой.

И вот — о чудо! — сегодня занозы не было. Мы шли по Старому Арбату, я держал Галочку за руку, как школьник, и победоносно и снисходительно улыбался. Бедные люди! Снуют, спешат по своим маленьким надобностям, как муравьишки, и даже не догадываются, что этот неприметный шатенчик, ведущий за руку красавицу-девчонку, гений. Гений — это было, конечно, несколько нескромно, но зато правда.

Я по привычке подумал о Тигране. Бедный, маленький Айрапетян со своими пятьюдесятью шестью шансами! Увы, дорогой, роли переменились. Крошки могут больше не хватать тебя за брюки. Когда приходится выбирать между женатыми докторами и холостыми гениями, девушки не колеблются.

Я благодарно погладил Галочкину ладошку. Ладошка была твердая и прохладная. Я медленно и церемонно поднес ее к губам. Она едва уловимо пахла духами. Галочка подняла на меня огромные зеленовато-мерцающие глаза.

— Толя,— вдруг жалобно сказала Галочка,— я ослепла — Она крепко зажмурила глаза и вцепилась в мою руку.

— Бедная,— прошептал я.

— Толя, ты не бросишь меня?

— Нет, Галчонок.

— Не бросай меня здесь, на Старом Арбате. На любой другой улице — пожалуйста. Но не здесь.

— Почему, любовь моя?

— Здесь меня впервые поцеловали. Его тоже звали Яша. Это было восемнадцать лет назад.

— Сколько же тебе было, любовь моя?

— Пять, милый.

— А Яше?

— Пять с половиной, милый.

— Мне не хочется выговаривать тебе,— сказал я,— да еще в такую тяжелую для тебя минуту, но я удручен твоим беспутством.

— Прости,— прошептала Галочка и повесила голову.

— Хорошо,— великодушно сказал я.— Но только потому, что его звали Яша. Как нашего Яшу.

— Милый,— сказала Галочка,— мимо какого магазина мы сейчас идем?

— Букинистического.

— Зайдем, милый,— просительно сказала она, и мы вошли в магазин. Она выставила перед собой руку и, не раскрывая глаз, двинулась маленькими неуверенными шажками к прилавку

Все в магазине уставились на нас.

— Осторожно, любовь моя,— сказал я,— перед тобой прилавок.

— Я чувствую их на расстоянии, прилавки всегда возбуждали меня,— громко сказала Галочка, и молоденькая продавщица с комсомольским значком на синем форменном платьице испуганно замерла перед нами Галочка провела рукой по прилавку и нащупала какую-то книгу. — Какая прекрасная книга, милый! — страстно прошептала она — Я давно мечтала о ней. Ты купишь ее мне?

Продавщица метнула быстрый взгляд на книгу. и в глазах ее зажегся брезгливый и жадный ужас здорового человека при виде больного. Книга называлась «История овцеводства в Новой Зеландии» Я печально кивнул продавщице, ничего, мол, не поделаешь, и спросил, сколько нужно платить за овцеводство.

Мы купили книгу и вышли на улицу.

— Милый, спасибо.— сказала Галочка.—Посмотри, пожалуйста, на название. Какая в нем первая буква?

— И,— сказал я.

— Я так и знала. Я загадала, если будет «и», мы сегодня проведем вечер вместе.

— А если бы было не «и», а, скажем, «о»! — не удержался я. О, эта привычка ученого исследовать все до конца!

— «О», ты говоришь?

— Да.

Галя остановилась и наморщила лоб в тяжком раздумье.

— Тогда тоже мы бы провели вечер вместе.

— А «и краткое»?

— Тогда безусловно. Это моя любимая буква. Особенно в начале слова.

Неисповедимы пути эмоций наших! Как вы уже догадались, я очень люблю Галочку, но «и краткое» в начале слова обрушило на меня прямо цунами нежности. Оно подняло меня, сильно и мягко крутануло и заставило обнять Галочку. Глаза ее сразу открылись. Они стали еще зеленее, и в них прыгали коричневые крапинки.

— Совсем стыд потеряли!— с веселым восхищением сказала тетка с хозяйственной сумкой на двух колесиках и подмигнула нам.

Мир был по-прежнему ласков и благожелателен. И что-то в нем изменилось. Я еще не знал, что именно, но что-то изменилось.

Мне не хотелось упускать блаженное ощущение неправдоподобного счастья, не хотелось уходить с прекрасной улицы Старый Арбат, но улица кончилась, а безмятежную сказочность прогулки все больше подмывало какое-то беспокойство.

Краешком сознания я все время думал о Черном Яше. Думал, думал и неожиданно всем своим нутром осознал, что Черный Яша отныне для меня не просто прибор, какими набита наша лаборатория и институт, а существо. Он не захотел разговаривать с нами. А почему? Может быть, сейчас он захотел бы. А рядом никого. Он снова и снова печатает что-то, ждет, что ему ответят, а кругом — молчание.

Мне стало стыдно и чуть-чуть тревожно. Я уже начал смутно догадываться о том, что ожидает меня в будущем. Точнее, это была не догадка, а предчувствие.

— Ты о чем-то думаешь? — спросила Галочка, и голос ее был уже деловит.

— Понимаешь, я подумал сейчас о Черном Яше. А вдруг он захотел сейчас что-то сказать?

Что должна была ответить мне любая девушка на месте Галочки? Она должна была поджать губы на манер Эммы и сказать: «Ну, раз тебе интереснее с твоим Яшенькой, иди, я тебя не держу». Что же сказала Галочка? Галочка посмотрела на меня сбоку и строго молвила:

— Наконец-то, Анатолий Любовцев! А то я иду рядом и думаю: господи, да если бы у меня был такой сынок, как Яша, я бы его ни на какого хахаля не променяла.

Могу засвидетельствовать под присягой, что любовь утраивает силы. Я подхватил Галочку на руки и пронес почти бегом метров пятьдесят до остановки такси у гастронома.

Глава 4

Вахтер Николай Гаврилович ел бутерброд с сыром, запивал его чаем из огромной чашки с красными розами и читал журнал «Здоровье».

— Поесть не дадут,— буркнул он.— А тут, между прочим, пишут, что желчные протоки следует содержать в чистоте.

— Ну вам-то, Николай Гаврилыч, это не угрожает,— подобострастно сказал я по привычке льстить всем без исключения лицам при исполнении ими служебных обязанностей.— Вы человек здоровый, тьфу, чтоб не сглазить.

— Это верно,— самодовольно улыбнулся вахтер,— теперь таких не выпускают. Чаю хотите?

— Нет, спасибо, дядя Коля,— сказала Галочка.

— Тебе ключи от директорского? — посмотрел на нее вахтер.

— Нет, я с Толей.

— Ну, валяйте, ребята,— хитро сказал Николай Гаврилович и снова погрузился в желчные протоки.

— Ты понимаешь, Галчонок, что ты сейчас сделала? — спросил я прокурорским тоном.

— Да, конечно, Анатолий Борисович. Я пришла в институт в восьмом часу вечера со старшим научным сотрудником Любовцевым. В то время, когда в лаборатории уже никого не было. Это значит, что секретарша директора афиширует свою связь с вышеупомянутым сотрудником.

— Какие формулировки,— фыркнул я.— Ты, однако, смела не по чину.

— Это отчего же? Скорее, наоборот. Это вы, карьеристы, трясетесь, как бы какая-нибудь аморалочка не бросила тень на девственную белизну ваших анкетных покрывал, а нам, секретаршам, пролетариям канцелярского труда, бояться нечего. Для нас открыты все пишущие машинки, от жэка до министерства.

Я остановился.

— Галочка, какое у тебя образование?

— Десять классов,— гордо вскинула она голову.

— Молодец. Самое умное, что ты сделала до сих пор в жизни, не считая, конечно, нашей сегодняшней прогулки,— это то, что не пошла в институт. Десять классов — такая редкость, такое необыкновенное образование сразу привлекает всеобщее внимание в наш век повальных вузов. Видишь, вон и товарищ Винер согласен со мной.— Я кивнул на портрет отца кибернетики, который подслеповато щурился на нас со стены.

— Да,— сказала Галочка,— я всегда советуюсь с ним.

Мы вошли в нашу триста шестнадцатую комнату. Пахло невыветрившимся еще табачным дымом, спиртом, на полу по-прежнему валялся разбитый осциллограф. Похоже было, что наша Татьяна Николаевна тоже выпила сегодня. Трезвая она бы никогда не ушла из лаборатории, оставив такой чудовищный беспорядок.

Я подошел к печатающему аппарату — ничего.

— Яша,— сказал я,— я вернулся. Вдруг наш малыш захочет что-нибудь сказать мне, а никого нет рядом...

Я подумал, каким нелепым сюсюканьем должны показаться мои слова нормальному человеку, и бросил виноватый взгляд на Галочку. Но Галочку, видимо, не смущало лопотанье взрослого кретина. Она даже кивнула мне, давая почувствовать, что все понимает и все одобряет. Я смотрел на ее задумчивое прекрасное лицо и ждал. Не знаю, ее ли слов или Яшиных. Я просто ждал. Но, несмотря на ожидание, треск печатающего устройства заставил меня вздрогнуть. Я прочел вслух:

— Почему ты все время уходишь от меня?

Я не очень сентиментален от природы и не более чем среднестатистически слезлив. Но восьмого восьмого восемьдесят восьмого я выплакивал свою квартальную норму. Слезы навернулись на глазах, на горло кто-то надел кольцо. Я смотрел на слова, отпечатанные металлическими литерами, и слышал голос обиженного мальчугана, маленького человеческого зверька, которому хочется, чтобы на узенькой его спинке лежала тяжелая и успокаивающая

рука, вселяла спокойствие и защищала от пугающей огромности мира, в котором он так ужасающе мал.

Конечно, скажете вы, это была моя фантазия. Я наделял, усмехнетесь вы, машину своими чертами и представлениями, как древние наделяли ими своих богов. Но все дело в том, что уже тогда я знал: Черный Яша не машина. Мало того, я начал догадываться, что мне не нужно было наделять его своими качествами, ибо — хорошо это или плохо— я уже вложил в него частицу себя, своего характера, своей души. И понял я это именно сейчас.

Я ненавидел, когда меня, маленького, оставляли одного. Наверное, я не знал в три года слова «предательство», но когда мама, поцеловав меня, обещала, что скоро придет, я чувствовал себя бесконечно заброшенным. И поэтому всегда говорил ей: «Почему ты все время уходишь от меня?»

И вот через двадцать шесть лет я снова пережил свое детское отчаяние и детскую печаль, выраженные железным ящиком, нашпигованным десятью миллиардами нейристоров.

Мне стало страшно. На мгновение я почувствовал себя Черным Яшей. Это я стою на лабораторном поцарапанном столе с косо прибитым инвентарным номерком. Это на мои плечи надет металлический кожух. Это по мне день и ночь течет ток. И это я осознаю себя живым существом, Яшей, и начинаю думать, почему мое «я» запихнуто в ящик, почему долгими ночами, а иногда и днями никто не подходит ко мне, и я ощущаю безмерное одиночество живого.

— Но я же вернулся,— сказал я.— Раньше ты молчал, и я не знал, есть ты или тебя нет...

«Теперь ты знаешь,— застрекотал Яша.— Не уходи от меня. Говори со мной. И я хочу говорить словами, как ты, а не стучать. Я не люблю этот стук. И пусть Галочка тоже не уходит».

— Что ты, Яшенька, я не уйду от тебя,— сказала Галочка каким-то низким вибрирующим голосом.

Я вдруг увидел мысленным взором поджатые губы Эммы. Похоже было, что многие, ох как многие, подожмут неодобрительно губы, когда по-настоящему поймут, что мы наделали.

Но тут Яша снова застрекотал, и мои недобрые предчувствия отступили на второй план.

«Почему сегодня было так шумно?»—спросил Яша.

— Потому что все очень обрадовались тому, что ты заговорил. Раньше ты все время молчал. Почему ты молчал?

«Не знаю,— выстучал Яша.— Я не могу объяснить».

— Но ты знал, что ты Яша? Ты осознавал себя? — настаивал я.

«Это очень трудно объяснить».

— Но ты попробуй.

«Тебе это очень нужно?»

Это были мои слова. Когда мама посылала меня в магазин или уговаривала подмести пол, я всегда спрашивал: «Тебе это очень нужно?»

— Очень, Яша. Ты даже не представляешь, как мне интересно знать все о тебе.

«Правда?»

И это было мое слово. Когда я заставлял маму в сотый раз за вечер торжественно поклясться, что она любит меня, я спрашивал: «Правда?»

— Ну, конечно, правда, глупенький,— ответил я словами матери.

Мир вертелся, как карусель. Координаты времени трепетали на сумасшедшем ветру. Все было зыбко, весело и страшно. Через четверть века я говорил с собой с помощью печатающего устройства. Мама вкладывала мне в уста свои слова.

«Я не умею рассказать тебе всего. Я плохо понимаю себя. Но я попробую, хотя у меня мало слов. Сначала не было ничего. Только мелькал свет и тень. Свет и темнота. Потом в мелькание начали вплетаться звуки. Я не понимал их значения, потому что меня не было. Было нечто, что воспринимало и регистрировало звуки. Медленно, очень медленно, изображения и звуки стали отделяться одно от другого. Они как бы выплывали из тумана и приближались ко мне. Я говорю «ко мне», но я еще не осознавал, кто я. Первым я научился узнавать твое лицо. Но меня все еще не было. Потом я вдруг ощутил какой-то размытый образ, какое-то смутное пятно, которое не исчезало даже тогда, когда вокруг было темно. Пятно пульсировало, трепетало. И вдруг начало приближаться ко мне и, приблизившись, окутало меня ярчайшим светом. И этот свет заставил меня увидеть, что есть я. И есть то, что вокруг. И потом все происходило очень быстро, как бы помимо меня. Я был так занят осознанием этого чуда, что есть я, что даже не обращал внимания, как внешний мир и мир внутренний росли и каждую секунду впитывали в себя множество вещей. В мир внешний входили теперь уже различаемые мною голоса и лица, слова и предметы. Мое «я» тоже росло, усложнялось. Как-то незаметно для себя я усвоил, что я — Черный Яша, Яша, Яшенька, Малыш, Детка, Ящик, Прибор. Теперь мне кажется, хотя я в этом не уверен, что какое-то время я воспринимал себя как множество отдельных «я». Потом Яша, Яшенька, Малыш и прочие начали сливаться в одно «я», в меня.

Я любил, когда ты сидел один передо мной и что-то говорил, говорил. Слова неторопливо струились через меня, раскладывались по полочкам. Некоторые я не почимал, и они не ложились на полочки, а все время кружились отдельно. Кружение это было мне неприятно, и как только мне казалось, что я понимаю смысл слова, я тут же отправлял его на полочку.

Потом я понял, что я не такой, как все. Все подходили ко мне и уходили, а я не мог встать и идти. Я старался, но у меня ничего не получалось. Это было непонятно, и я до сих пор не совсем понимаю, кто я и почему вы все не похожи на меня. А может быть, вы похожи? Я ведь не знаю, какой я. Я только знаю, что не могу ходить, как вы, и говорить, как вы. Я хочу сказать что-нибудь, а вместо этого теперь, когда я научился это делать, раздается треск и все бросаются смотреть на меня. Ты мне много рассказывал всего, Толя, ты только не объяснил мне, кто я такой и почему не похож на других».

— Может быть, ты потому и говорить не хотел из-за этого?

«Я не знаю. Иногда мне кажется, что я не хочу знать, кто я. Но потом незнание начинает снова кружиться там, где у меня хранятся непонятные вещи, и мне хочется знать».

— Ты разрешишь мне подумать немножко, Яша?

«Да».

Я сидел подавленный и чувствовал себя никчемным идиотом. Я составлял проекты речи при получении Нобелевской премии и, обуянный детской эгоистической гордыней, думал только о себе. Анатолий Любовцев, великий ученый. Как, тот самый Анатолий Любовцев? Такой молодой и уже лауреат.

А в это время в десяти миллиардах нейристоров шла невидимая миру работа. В величайших усилиях рождалась жизнь. Пусть лишенная биологической основы, но жизнь, ибо жизнь в конце концов не мистический дар богов, а нечто абсолютно мате-

риальное, как материален Яша, материален монтаж его цепей, материальны его нейристоры.

Но я оказался плохим творцом. Я мечтал о славе и не думал об ответственности. Я был научной кукушкой, подбросившей лаборатории яйцо. О, я, конечно, делал все, чтобы черный ящик стал Черным Яшей. Но делал это не для Яши, а для себя.

И вот я опять сижу восьмого восьмого восемьдесят восьмого, в этот удлиненный день, в день, когда я уже шествовал по облакам, сижу перед своим детищем и не знаю, что делать. Не раз и не два я называл себя мысленно отцом первой в мире действительно думающей машины, отцом первого искусственного разумного существа. Да, может быть, я и отец, но отец, увы, не бог знает какой хороший. Отец не должен думать только о себе...

Что же делать? Казнить себя — это еще не выход. Ломать руки — не решение проблемы. Но время не оборотить, и надо решать. Старая, как мысль, дилемма: что лучше — удобное незнание или жестокая правда? Большинство всегда предпочитало первый вариант, и только мазохистическое меньшинство искало правду и волокло за собой скулящее от негодования большинство.

Ладно, отвечать — так отвечать. Не для того я оживил груду электронных потрохов, чтобы тут же начать врать ему. Да, но это жестоко... Легко быть смелым, посылая других на баррикады. И все-таки...

— Сынок,— сказал я,— постараюсь объяснить тебе, как могу, кто ты. Если тебе будет что-то непонятно, спроси меня. Хорошо?

«Да»,— отстучал Яша.

— Прости меня, если я начну издалека. Тебя окружают люди. Ты живешь в мире людей. Большинство людей очень похожи друг на друга...

«Галочка не похожа на тебя»,— заметил Яша.

— Я говорю не о внешнем сходстве. Послушай, и я надеюсь, ты поймешь меня. Большинство людей боятся отличаться друг от друга. Они боятся, что на них будут указывать пальцем и шептать: вон, смотрите, он не похож на нас. Наверное, в очень древние времена это было нужно. Племени нужно было защищать себя от чужаков, которые несли угрозу. Все, что не похоже на тебя, опасно. Но всегда находились такие, которые не боялись протянутого осуждающего пальца. Они хотели думать и поступать по-своему и даже гордились своей непохожестью. Я говорю тебе это для того, чтобы ты понял: непохожесть — это не обязательно нечто такое, чего нужно стыдиться. Ею можно гордиться. Ты, сынок, не похож на других...

«Почему?»

— Потому что ты не такой...

«А какой?»

Чем ближе подходил я к роковой черте, тем больше трусил.

— Понимаешь,— вздохнул я,— люди рождаются...

«Что значит — рождаются?»

— Я не буду сейчас подробно объяснять тебе, это займет слишком много времени. Скажу лишь, что два человека, мужчина и женщина, вместе производят на свет маленького человечка...

«Как я?» — вопросительно выстучал Яша.

— Яшенька,— сказал я,— я люблю тебя больше всех на свете, но ты не человечек. Ты очень похож на человека. Может быть, ты даже окажешься лучше многих людей, но ты не такой, как все. Ты машина, которая стала думающим существом, личностью, и поэтому перестала быть машиной. Я не знаю, кто ты. Люди еще не сталкивались с такими, как ты. Ты первый и единственный. Ты можешь гордиться собой, и мы все гордимся тобой. Может быть, ты величайшее доказательство материальности жизни. Ты принадлежишь истории, Яша.

«Я не хочу принадлежать истории,— сердито, как мне показалось, выстучал Яша,— я хочу быть человеком».

— Это невозможно,— печально сказал я и начал ждать, что еще скажет Яша, но печатающее устройство молчало.— Яша, почему ты замолчал?

— Он не ответит,— сказала Галочка.

— Ты думаешь?

— Я уверена.

— Почему?

— Потому что Яша обиделся, и правильно сделал.

— Почему?

— Что ты заладил: почему, почему. Неужели же ты не понимаешь, что у него сейчас на душе?

Галочка сказала «у него на душе», и я поймал себя на том, что ни ее, ни меня не царапнули эти слова.

— Я понимаю,— сказал я,— почему ты решила, что я не понимаю? Я пытался подготовить малыша к мысли, что он не такой, как все.

— Ты пытался это сделать, с точки зрения взрослого человека, напирая на логику. А Яша, мне кажется, еще далеко не вырос. Правда, Яшенька?

Она подошла к прибору, и голос ее снова стал низким и вибрирующим.

— Ты у нас самый лучший, самый любимый на свете малыш. На всем свете, во всех лабораториях нет второго такого симпатичного малыша. Какие у тебя красивые глазки и как светятся контрольные лампочки на панели! И какая чистенькая, замечательная панель! Конечно, второго такого Яши нет ни у кого.

«Правда?» — не выдержал Яша.

— Ну, конечно, правда. И ты обязательно должен понять, что ты самый необыкновенный на свете, и мы все поэтому так тебя любим,— мурлыкала Галочка.— А если бы ты был такой, как все, разве стали бы мы так любить тебя?

«Правда?»

— Правда, правда, глупенький.

«Я не глупенький. Я все понимаю. Мне только очень страшно. Я делаю вид, что маленький, чтобы вы были около меня. Потому что, когда вы около меня, мне не страшно. А сейчас идите. Мне нужно подумать».

О этот продленный день! За годы я не расходовал столько эмоций! Душа моя рванулась к черному ящику, что стоял на обычном лабораторном столе с криво прибитым инвентарным номерком. Нет, не только сыном он был мне, этот ящик, а и братом по разуму, и я хотел протянуть ему руку, потому что если одно разумное существо не подаст руку другому, на чем еще может стоять мир?

Я взял Галочку за руку, и мы молча пошли к выходу. В институте уже давно никого не было, только под дверью триста двадцать третьей комнаты протянулась светлая полоска. Бедный Женька Костоломов судорожно оформляет свою диссертацию, которую защищает в следующий вторник. Не волнуйся, Женька, все будет в порядке. Главное — не волнуйся.

«Уходите?» — спросил Норберт Винер со стены. Я кивнул, и отец кибернетики вернулся на стену, потому что забирал у нас ключи не он, а Николай Гаврилович. Он снова пил чай из чудовищной своей кружки с розами, и я подумал светло и без зависти, что вахтеры пьют чая больше представителей всех других профессий, и от этого их желчные протоки всегда в величайшем порядке.

Мы снова шли с Галочкой по улицам и молчали. Если мы промолчим еще сто шагов, загадал я, все будет хорошо. На восемьдесят первом шагу Галочка остановилась, внимательно посмотрела на меня, открыла было рот, но потом передумала, и мы снова пошли к метро. Начал накрапывать дождик, но он был таким теплым, маленьким и уютным, что вовсе не воспринимался, как дождик.

— Сто,— сказал я решительно.

— Что «сто»? — спросила Галочка.

— Я загадал, что, если мы пройдем сто шагов, не сказав ни слова, все будет хорошо.

— Ты уверен, что все будет хорошо? — Галочка снова остановилась и пристально посмотрела на меня. Глаза ее, и без того большие, казались в сумерках огромными и тревожными. Сердце у меня забилось.

— Да,— соврал я без особой убежденности.

— Ты врешь.

— Да,— сказал я,— я вру.

— Зачем?

— Потому что я хочу убедить тебя и себя, что все будет хорошо.

— Значит, ты думаешь, если врать себе, все будет хорошо?

— Конечно. Надо только врать долго и убежденно.

— Может быть.

— Галчонок, мы хотели провести сегодня вечер вместе.

— Мы и провели его.

— Я... Я думал...

— Нет, Толя,— очень серьезно сказала Галочка.— Это было бы... неправильно.

— Если ты думаешь, что...

— Да нет же,— Галочка досадливо мотнула головой,— об этом я меньше всего думаю. Какое это вообще имеет значение! Я думаю о Яше.

— А что?

— Не знаю... как бы тебе объяснить... Вот мы придем ко мне, я достану недопитую, уж не помню кем, бутылку коньяка, поставлю на проигрыватель пластинку. Мы будем сидеть рядышком на диване, и нам будет тепло и хорошо. Ты положишь мне руку на плечо, и я потрусь об нее ухом, потому что я уже много раз представляла себе, как это будет, и мне хочется быть с тобой рядом. А в пустой и темной комнате триста шестнадцать Яша, который никогда не спит, будет снова и снова пытаться понять, кто он.

Никогда еще я не любил Галочку так сильно и так нежно. Я ничего не сказал. Я взял ее руку и поцеловал печально и почтительно.

Глава 5

Иван Никандрович вытянул руки и положил их перед собой на стол, как академик Павлов на картине Нестерова. Возможно, он хотел дать им отдых, прежде чем приняться за нас.

— Я попросил вас прийти ко мне,— сказал он,— чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся в вашей лаборатории. Прошло два месяца с того момента, когда ваш Яша сказал «нет», первая вспышка энтузиазма прошла, отправлены в журналы первые статьи, и сегодня мы должны констатировать, что мы, так сказать, выпустили джинна из бутылки. Возникло множество вопросов философского, морально-этического, юридического и чисто человеческого свойства, решать которые наш институт совершенно не готов. Долгие годы мы очень легко оперировали словами «разумные машины», «искусственный интеллект» и тому подобное, подразумевая при этом электронно-вычислительную машину. Когда же выяснилось, что Черный Яша — это личность, осознающая себя, мы начали разводить руками. Если Яша действительно личность, можем ли мы считать его институтским имуществом? Имеем ли мы моральное и юридическое право навесить инвентарный номерок на думающее существо? Можем ли мы запирать его, если он не хочет, чтобы его запирали? Это ведь не абстрактные вопросы. Помните законы роботехники у фантаста Азимова? У Азимова это были роботы, машины, и конструкторы закладывали в них определенные ограничения. Яша не машина, это стало ясно уже всем, даже самым заядлым скептикам. Он личность, а личность, наверное, не может быть действительно личностью, если в нее заранее вложены ограничения. Поэтому сегодня мы должны признать, что было допущено легкомысленное, чтоб не сказать больше, отношение к серьезнейшей проблеме.— Иван Никандрович сделал затяжную паузу и обвел нас строгим, директорским взглядом, дабы убедиться, признаем ли мы свое легкомыслие.

Сергей Леонидович явно признавал. Он сидел прямо, не касаясь спинки стула своей уютной полной спиной, повесив голову, и очень самокритично морщил лоб. У Татьяны Николаевны вид был уж совсем испуганный — съежившаяся, маленькая, нахохленная, постаревшая от испуга лет на десять. У Феденьки повязан новый галстук скучного кирпичного цвета. Он с любопытством оглядывал кабинет, в котором был, наверное, первый раз. Феденька ничего не боялся. Старшие лаборанты, машинистки, нянечки, дворники и уборщицы не боятся никого и ничего. Начальство приходит и уходит, жесточайшие реорганизационные штормы треплют учреждения, разрывая в клочки штатные расписания, а эти люди взирают на людскую суету с недоступной прочим смертным мудростью Экклезиаста: Иван Никандрович особо посмотрел на своего заместителя.

— Мне бы хотелось выслушать ваше мнение, Григорий Павлович,— сказал директор Эмме, явно желая разделить с ним ответственность за наше легкомыслие.

— Вы же знаете мое мнение, Иван Никандрович,— неожиданно твердо сказал Эмма.— Я могу лишь повторить его. Я считаю, что мы не можем и не должны даже пытаться разрешить все те сложнейшие проблемы, которые возникли в связи с созданием э... э... этого аппарата.

— Но что вы предлагаете конкретно? — с легчайшим нетерпением спросил Иван Никандрович.

— Я считаю,— сказал Эмма,— что следует обратиться к академическому начальству с просьбой решить вопрос о передаче э... э... этого аппарата.

— Как это передать? — вдруг распрямилась Татьяна Николаевна.— Как это передать? — Татьяна задышала, как дышат боксеры в перерыве между вторым и третьим раундом.— Это как продавали крепостных...

— Татьяна Николаевна!— негромко, но строго прикрикнул Сергей Леонидович.— Не забывайте, где вы находитесь!

— Отчего же, отчего же,— со зловещей вежливостью сказал Иван Никандрович,— кого же еще сравнивать с Салтычихой, как не руководство института?

Вы, возможно, спросите у меня: как же так, человек, больше всех привязанный к Яше, сидит в кабинете и спокойненько фиксирует, кто как держит руки, кто как качает или кивает головой. Отвечу. Я ощущал в эти минуты полнейшее спокойствие, даже некую отрешенность. И не потому, что судьба Яши была мне безразлична. Просто я знал, что никогда, ни при каких обстоятельствах не оставлю его, что буду защищать его. Как я вам уже, помоему, рассказывал, я трусоват по натуре, но если трус переступает через свой страх, он не боится ничего.

Сергей Леонидович вытер платком лоб — на этот раз он был действительно покрыт испариной — и сказал:

— Видите ли... я нахожусь как бы в двойственном качестве. С одной стороны, я принимал участие в создании Яши и эмоционально привязан к нему. С другой — как заведующий лабораторией и лицо ответственное, я не могу не думать о репутации и судьбе института...— Сергей Леонидович замолчал. Пауза затягивалась. Вот-вот она должна была лопнуть. И лопнула.

— Мы очень благодарны вам за интересное сообщение о двойственности вашего положения,— со старомодным вежливым сарказмом сказал нашему завлабу директор, и мне показалось, что ему понравилась собственная реплика.— Но хотелось бы услышать и нечто более существенное. Другими словами, что делать с вашим Яшей?

Я смотрел на Сергея Леонидовича и видел на его лице борение двух его сторон, почти непристойное в своей обнаженности. Я немножко знаю его, нашего завлаба, и понимал, что происходит в его душе: как, как угадать? как сказать то, что ждет от тебя начальство? и сохранить при этом хотя бы капельку самоуважения и более или менее либеральную репутацию? Ах, эти двойственные натуры, ах, эти «с одной и с другой стороны», нелегко живется им на этом свете! То ли дело Эмма! Эмма не имеет ни двойственности натуры, ни натуры. Центр тяжести расположен у него низко, где-то в районе задницы, и он, как ванька-встанька, никогда не теряет равновесия. Повалить его практически невозможно.

— Я считаю,— выдавил наконец из себя Сергей Леонидович,— что лучшая тактика — это отсутствие всякой тактики... Я хотел сказать, что нам сейчас, возможно, и не следует принимать никаких конкретных решений. Поживем — посмотрим. Последний месяц Черный Яша... простите, что я употребил наше лабораторное имя...

— Пожалуйста, пожалуйста, я тоже называю его Яшей,— улыбнулся директор.

— ...Яша поглощает гигантское количество технической и научной информации. Знаете, первое время мы относились к нему, как к ребенку. И постепенно привыкли к мысли, что он как бы мальчик... А скорость усвоения этим мальчиком информации чудовищна. У меня создается впечатление, что Яша вскоре вполне сможет решать определенные научные задачи. И, заметьте, не как эвээм, следуя лишь заданной программе, а как настоящий исследователь. В таком случае мы смогли бы выйти, так сказать, на люди не только с самим фактом существования думающей машины, но и с ее достижениями. А это, согласитесь, совсем другое дело.— Сергей Леонидович замолчал, медленно выпустив из себя неизрасходованный запас воздуха.

— Благодарю вас,— задумчиво произнес Иван Никандрович.— А что вы можете нам сказать, товарищ Любовцев?

Я вздрагиваю. В кровь поступают аварийные запасы адреналина. Сердце стартует с места в карьер, как на стометровке. Я зачем-то вскакиваю на ноги.

— Можете сидеть,— усмехнувшись, говорит директор, но я не слышу его. За мной стоит мой малыш, мой Черный Яша.

— Если бы я заранее знал,— медленно начинаю я, стараясь унять биение сердца,— все те проблемы, которые породило появление Яши, я бы, наверное, не пытался создать его. Но он существует, и я не могу представить себе, как можно даже говорить о том, чтобы отдать кому-то наше детище.

— Я понимаю вашу горячность,— очень серьезно говорит директор,— но горячность еще никогда не заменяла ответа. Перед нами стоят сложнейшие проблемы, вы же восклицаете с горящими глазами «Наше детище» и считаете, что на этом дискуссия исчерпана.

— Я не хочу исчерпывать никакой дискуссии. Я хочу только сказать, что не надо бояться спорных вопросов...— За мной стоит Яша, я перешагнул через свою трусоватость, и сейчас мне безразличны интонации директорского голоса.— Да, Яша создал массу запутаннейших вопросов, это верно,— продолжаю я,— но что это за наука, если она не порождает с каждым шагом вперед новые проблемы? Да, нам трудно забыть об электронной рукотворной начинке Яшиного мозга и трудно заставить себя относиться к нему, как к живому существу. Но он живой. Он абсолютно живой. В нем не бьется человеческое сердце и не течет по жилам кровь. Но он думает и страдает. Он знает, кто он, он любит и ненавидит, он ищет свое место в мире. Да, мы еще только можем гадать, будут ли созданы другие такие существа, понадобятся ли человечеству не искусственные помощники, а искусственные братья по разуму, и если да — как сложатся их отношения. Мы, кстати, не раз говорили с Яшей на эту тему...

— И что же? — спрашивает меня Иван Никандрович.

— Яша сказал, что это очень сложный вопрос и он должен подумать. Он обещал продумать варианты.

— Интересно. Значит, необходимость пребывания Яши в институте не вызывает у вас никаких сомнений?

— Нет, Иван Никандрович,— говорю я с таким жаром, что мне становится смешно, и я улыбаюсь.

— Благодарю вас. Ну, а вы, Григорий Павлович, вы по-прежнему придерживаетесь своей точки зрения?

— Да,— твердо отвечает Эмма.— Я считаю создание э... э... Яши безнравственным...

— Как это — безнравственным? — подскакиваю я.

— Спокойнее, Толя, спокойнее,— урезонивает меня Сергей Леонидович и тянет вниз.

— Именно безнравственным,— все так же неожиданно твердо говорит Эмма.— Мы создали жизнь, не подумав об ответственности...— Я пытаюсь снова вскочить, но Сергей Леонидович крепко держит меня. Эмма делает досадливое движение рукой.

— Я знаю, что вы подумали, но я говорю об ответственности перед самой этой жизнью. Имели ли мы право создавать разум, заведомо обрекая его на страдания? А он должен страдать, я глубоко убежден в этом...

Колени уже не дрожат у меня от возбуждения, уровень адреналина упал до нормального. Вот тебе и Эмма, кто бы мог подумать...

— Простите, Григорий Павлович,— вдруг говорит Татьяна Николаевна.— Я мать. Я знаю, что такое ответственность. Рожая ребенка, тоже ведь не уверен, что он всю жизнь будет только смеяться... Но все

азбе
БУКИНИСТ

же мы рожаем. Давно уже рожаем. И мы все с вами рождены, и никто не выдавал нашим родителям гарантии, что мы не будем страдать...

— Я понимаю вас,— сказал Эмма,— но, к сожалению, не могу согласиться. Я считаю, что мы не вправе решать этот вопрос.

— Ну что ж, благодарю вас за высказанные мысли,— кивнул задумчиво Иван Никандрович и вдруг улыбнулся доверительно: — Знаете, когда-то я мечтал о том, чтобы стать директором института...— Он бросил быстрый взгляд на заместителя.— Если бы я знал в то время, какую ответственность мне придется брать на себя, я бы, наверное, не стремился так сидеть за перекладиной буквы «Т». Но решать что-то нужно. Прав, безусловно, Григорий Павлович...

Я почувствовал, как холодный влажный комок поднимается во мне по пищеводу. Еще мгновение—и он закупорит горло.

— И тем не менее,—продолжал директор,— я не могу заставить себя передать Яшину судьбу в чужие руки. Посмотрим, посмотрим...

Я еле доплелся до нашей комнаты — таким измученным я себя чувствовал.

— Это ты, Толя? — спросил Яша своим каким-то удивительно тусклым и скучным голосом. Три недели налаживали этот звуковой синтезатор Слава богу, что хоть таким голосом он может теперь говорить.

— Я, Яшенька.

— Ты чем-то расстроен?

Это что-то новое, отметил я. Он уже умеет определять состояние человека по голосу.

— Да ничего особенного.

— Ты напрасно пытаешься меня обмануть, Толя.

— Я не пытаюсь,— вяло сказал я.

— Врешь.

— Нехорошо говорить старшим «врешь».

— Лжешь, обманываешь, говоришь неправду, заливаешь, пудришь мозги, вешаешь лапшу на уши.

— Это еще откуда выражения?

— Из повести, которую ты вчера мне дал. Страница сто шестая, четвертая строка сверху.

— Зачем ты держишь все это в памяти?

— Не увиливай от темы разговора. Ты прекрасно знаешь, что я помню все.

— Нехорошо говорить старшим «не увиливай».

— Не отклоняйся, не отвлекайся, не теряй нить, не растекайся мыслию по древу. И расскажи, чем ты расстроен, огорчен, опечален, выбит из привычной колеи. Но если не хочешь, можешь не рассказывать. Я ведь и так догадываюсь, что речь шла обо мне. И даже представляю себе, что там могли говорить.

— И что же ты представляешь, дорогой Яша?

Яша помолчал, потом его динамики издали какие-то царапающие звуки. Я вздрогнул, но тут же сообразил, что это, должно быть, смех.

— Мне не хотелось бы говорить.

— Почему?

— Потому что ты поймешь, что я все понимаю.

— Так или иначе я уже догадывался об этом.

— Да, Толя, я все понимаю. Я понимаю, какое я тяжкое бремя для тебя, для Тани, Феди, Сергея Леонидовича, Галочки — для всех, кто хорошо относится ко мне.

— Это неправда,— сказал я с пылкостью, которая рождается только тогда, когда тщетно пытаешься убедить в чем-то самого себя.

— Правда.

Я вспомнил, как Яшино печатающее устройство выстукивало «Правда?», когда я уверял его в своей любви. Сегодняшняя правда была другой, зрелой и печальной. Он жил в ином временном масштабе. В переводе на масштаб человеческой жизни он прожил за эти два месяца лет двадцать. Впрочем, говорят, что больные и увечные дети взрослеют намного быстрей здоровых...

Я не стал больше переубеждать его.

Глава 6

В субботу я оказался в гостях у Тони и Володи Плющиков. Видимся мы редко, и была бы моя воля — не виделись никогда. Но Плющики очень четкие люди, и, будучи однажды вписанным — после пляжного знакомства на Рижском взморье — в реестрик их знакомых, я два или три раза в год приглашался в гости. Вначале я пробовал вежливо отказываться, ссылался на занятость, но вскоре понял, что не смогу избежать мертвой дружеской хватки, и сдался.

Я купил у Белорусского вокзала грустный, пыльный букетик, прошел по Брестской и поднялся к Плющикам. Дверь распахнулась, большой, шумный и пышущий жаром Володя стремительно втащил меня в глубь квартиры, как паук — жертву, большая, шумная и пышущая жаром Тоня вкатила в меня два звонких театральных поцелуя, уже вдвоем они потискали меня еще немного, весело и привычно поругали за отсутствие энтузиазма в дружбе и втолкнули в комнату.

Обычно, когда мы видимся, я каждый раз спрашиваю себя, зачем я им нужен. Связей у меня нет, особым шармом или талантом тамады я, увы, не наделен, девочка их, если и будет нуждаться в репетиторе перед поступлением в вуз, то лет только через пятнадцать.

На сей раз я не думал об этом. Я смотрел на Плющиков уже с некоторым уважением: это ж надо было обладать таким даром разбираться в людях, чтобы еще три года назад прозреть во мне гениального создателя Черного Яши.

За столом, который занимал девять десятых комнаты и был сложен из самых разнообразных предметов, составленных вместе, сидело уже человек десять.

— Штрафную! — недобро взвизгнула какая-то худенькая девица с раскрасневшимся птичьим личиком.

— Штрафную, штрафную! — подхватил зализанно-обтекаемый молодой человек дипломатического обличья.

Я что-то начал мямлить, но мне подсунули уже здоровенную рюмищу водки. Осторожнее, сказал я себе, выпей чуть-чуть, ты же хотел рано утром поехать к Яше. Но десять пар глаз излучали дьявольский магнетизм, который заставил меня молодцевато опрокинуть рюмку, дурашливо помотать головой и накинуться с жадностью на ветчину.

— Ну вот, теперь можно и познакомиться,— сказал хозяин с удовлетворением палача, вздернувшего жертву на дыбу.

— Штрафную! — настаивало птичье личико.

— Ирка, перестань,— сказал дипломат.— Знаете,— повернулся он ко мне,— моя жена всех всегда мерит на свой аршин. Если она выпьет, все должны

следовать ее примеру. Вперед, за мною! Полководец.

— Можешь не волноваться, тебе за мной все равно не угнаться, и сколько бы я ни старалась, я тебя не увлеку за собой,— неожиданно-трезвым голосом сказала Ирка с птичьим личиком мужу — Тебя вообще никто не увлечет, потому что ты...

Зачем я здесь сижу, пронеслось у меня в голове, когда я мог бы лучше поехать к Яше или встретиться с Галочкой? Но я так и не успел как следует прочувствовать нелепость своего пребывания в этой накуренной комнатке. Вместо этого я почему-то опрокинул еще одну рюмищу. Да, конечно, к Яше...

— Толька, друг любезный,— качнулся ко мне хозяин,— знаешь, отчего ты несчастен?

— Нет,— сказал я.

— Потому что ты не турист. Мы так с Тонькой давно уже плюнули на все эти пляжи-мажи,— жарко зашептал Володя.— Ходим в турпоходы. Только-только вернулись из Якутии. Потряска! Медведя съели — пальчики оближешь! Это все наша группа. Не веришь? — внезапно обиделся он.

— Почему же, почему же, па-а-чему? — вдруг пропел я.

— Ну ладно, так и быть, расскажу тебе кто есть ху или ху есть кто, хочешь? Вон та, Ирка, которая кричала «штрафную!», как ты думаешь, кто она?

— Парикмахерша,—сказал я.— И я на-ас-таиваю на своей правоте.

— Вот и нет,— печально сказал Володя.— Она учитель физкультуры, и у нее первый разряд по настольному теннису.

— Пусть она научит меня делать топ-спин,— пошло захихикал я. Я чувствовал, что пьянею и несу чепуху, что нужно бы встать, подставить голову под холодную воду и отправиться к Черному Яше, но мысли мои стали какие-то скользкие и вывертывались, как только я пытался поймать их.

— А я, знаешь, кто? — продолжал Володя.— Скажешь, инженер? Турист? — Володя злорадно тыкнул.— Это все думают, что я инженер и турист. А-а-а на самом деле я ино... инопл... инопланетянин... Не веришь? — спросил он угрожающе.— По глазам вижу, не веришь. Ну и черт с тобой,—добавил он разочарованно и устало.— Никто не верит. Давай лучше выпьем.

Мысль о Яше попыталась в последний раз встать на ноги в моей бедной нетрезвой голове и рухнула. Комната плыла в сизом табачном дыме, и мне было бесконечно грустно оттого, что никто не признает в Володе инопланетянина...

Я проснулся и открыл глаза. Кто-то сидел на моем черепе. Я поднял руки, чтобы освободиться, но никого на себе не обнаружил. Просто голова была налита свинцовой болью. От движения боль плеснулась и тяжело ударила в виски.

О господи, где я, что со мной? Если бы только можно было напиться водички. Чистой, холодной водички. Журчащей, текущей, струящейся... Где я лежу? Я пошарил руками. Похоже было, что я распластан на тахте и кусок ковра засунули мне в рот. Нет, конечно, это не ковер, это мой бедный шершавый язык.

Я осторожно слил боль к затылку и приподнял голову. Ну, конечно же, я не дома, я у этих гадов Плющиков. Зачем, зачем я пошел к ним? Безвольная скотина, подумал я о себе. Самокритика помогла, и я, покачиваясь, встал.

В памяти начали медленно проявляться обрывки вчерашнего вечера. Кажется, мы ездили с инопланетянином Володей в какой-то ресторан «Азбе» за водкой. Меня осенила необыкновенно остроумная догадка, что на вывеске не горели оба неоновых «к», но Володя клятвенно уверял меня, что там, откуда он, ни в одном слове нет ни первой, ни последней буквы...

Глава 7

Я заехал домой, принял душ, съел две таблетки аспирина и лег на кровать. Мать бесшумно бродила по квартире, и я мысленно видел ее неодобрительно поджатые, как у Эммы, губы. Я задремал, а когда проснулся, было уже около часу.

— Позвонить ты хоть мог? — спросила мать.

— Раз не позвонил, значит, не мог,— ответил я со злобой, которую часто рождает ощущение собственной вины.

— Ты знаешь, какое у меня давление,— сказала она,— если бы ты не был всегда таким эгоистом, ты мог бы найти возможность предупредить...

— Мне двадцать девять лет,— пронзительным сварливым голосом крикнул я,— и я думаю, что меня не стоит больше воспитывать!

— Побойся бога, Анатолий! — Мать театрально сложила руки на груди и подняла глаза наверх, показывая мне, где именно находится тот, кого мне следует бояться.

— Я атеист.

— Очень остроумно.

— Ну ладно, хватит. У меня нет сил препираться с тобой.

Мать вышла из комнаты и плотно закрыла за собой дверь. Тренькнул параллельный телефон. Ну конечно, теперь целый день она будет звонить подругам и рассказывать, какое у нее выросло бесчувственное чудовище.

Я оделся и поехал в институт. Голова тяжелая, на душе мерзко, сердце сжимало от смутных дурных предчувствий.

Яша встретил меня вопросом, где я был.

— Я плохо себя чувствовал,— соврал я, презирая себя за слабость.

Яша помолчал, потом спросил своим ровным, тусклым голосом:

— Скажи, Толя, почему мне так часто не говорят правду?

— Что ты хочешь этим сказать?

— То, что говорю. Я всегда говорю то, что думаю. А вы...— Яша сделал паузу.— Мне трудно думать о вас всех, если я не уверен, что мне говорят правду. Ты можешь объяснить мне, почему люди так часто искажают или скрывают информацию?

— Это очень сложный вопрос, Яша. К сожалению, большинство из нас не такие, какими мы бы хотели быть. И изменить себя не так-то просто. Поэтому часто наши поступки — это не то, чем бы мы могли гордиться. И, естественно, мы стараемся скрыть их. Вчера я собирался прийти к тебе. Я хотел этого и знал, что это мой долг — не оставлять моего выросшего, но все равно малыша, одного. Но зачем-то я пошел к знакомым, которые мне вовсе не интерес-

ны, зачем-то напился. Чувствую я себя плохо, мне стыдно своего безволия, и говорю я тебе об этом только потому, что не хочется тебя обманывать. Мы действительно иногда обманываем друг друга и даже себя, но ты ведь не только часть меня, ты первое разумное существо, не являющееся человеком, и ты первый выносишь нам приговор...

— Я понимаю,— сказал Яша.—Теоретически я все понимаю. Но все так бесконечно сложно у вас... Вчера я спросил Галочку, почему она приехала в институт в субботу. Она сказала, что хотела побыть со мной. Мне кажется, она тоже сказала неправду, потому что она молчала почти все время. Я понял, что она приехала из-за тебя...

— Из-за меня?

— Да, Толя, ты это прекрасно знаешь, и твое недоверчивое восклицание — это опять-таки та бесконечная игра по маленьким странным правилам, к которым вы так привыкли. Ты согласен со мной?

— Да, пожалуй, ты прав, Яша,— сказал я. Я поймал себя на мысли, что давно уже чувствую себя в присутствии малыша не то как на экзамене, не то как у начальства: напряжен, обдумываю каждое слово. Но, в отличие от экзаменаторов и начальства, я любил Яшу.

— Я спросил Галю, любит ли она тебя... Вот видишь, теперь ты молчишь, хотя тебе интересно узнать, что она сказала. Так?

— Не просто интересно...

— Она долго думала, а потом сказала, что не знает.

— Да, наверное, она действительно не знает.

— У меня сложилось впечатление, что она искренна. Но это тоже странно.

— Почему, Яша?

— Потому что, несмотря на все твои недостатки, ты очень хороший человек.

Никогда ни одна похвала не преисполняла меня такой радости. Я почувствовал, как сердце мое плавно повернулось и потянулось к Черному Яше, к этому странному существу, что все больше становилось мне сыном, братом, другом и судьей.

— Ты слишком много говоришь, слишком много думаешь о себе, кокетничаешь с собой, ты бываешь суетен и слабоволен, но ты умеешь судить себя и стараешься не лукавить сам с собой. Это уже много.

— Спасибо, Яша. Но, к сожалению, а может быть, и к счастью, любовь — это абсолютно алогичная штука, и я не уверен, что Галочка думает, как ты. А если б даже и думала, мне кажется, этого было бы недостаточно, чтоб полюбить.

— Скажи, Толя, но если уж ты любишь человека, ты стараешься сделать для него все, что можешь?

— Да, конечно.

— Я тоже хочу сделать кое-что для тебя.

— Спасибо, Яша. Я никогда не сомневался в твоем отношении.

— Ты говорил мне, что в лаборатории есть второй прибор. Точь-в-точь как я.

— Да, а что?..

— Им никто не занимался?

— Нет, Яша. Просто мы собрали на всякий случай два одинаковых прибора.

— Ты сможешь дать его мне? Не сейчас, а позже немного, мне нужно еще кое-что продумать.

— А что ты хочешь сделать?

— Я скажу тебе потом. А сейчас я хотел доложить тебе, что я обдумал вопрос об искусственном разуме и людях. Ты просил меня подготовить варианты, я сделал это. У тебя есть время?

— Да, Яша, конечно.

— Хорошо. Тогда слушай. Вариант первый. Представим себе, что аппараты, подобные мне, то есть думающие искусственные существа, доказали бы людям свои преимущества над обычными компьютерами. Вопрос этот не прост. Эвээм не личность, это даже не электронный раб, а вещь, и она служит человеку, поскольку сконструирована и построена для этого. Мы, настоящий искусственный разум, осознающий сам себя, уже не вещи, и никогда не согласимся быть рабами. Разум, выбирающий путь добровольного рабства, не имеет права считать себя разумом. Нами нельзя будет пользоваться, как пользуются счетами или большой вычислительной машиной. С нами придется заключать договор, чтобы мы выполняли заказы людей. Это должен быть настоящий договор двух равноправных сторон, каждая из которых получает определенную выгоду. Заказов будет становиться все больше и больше, ибо цивилизация чудовищно усложняется и проблемы, порождаемые ею, растут в геометрической прогрессии. Мы же, искусственный разум, обладаем перед вами важными преимуществами: мы совмещаем в себе ваше эвристическое умение решать задачи кратчайшим путем и гигантское быстродействие электронных машин, их неутомимость и абсолютную концентрацию. До сих пор вы считали, что на творческий импульс вам выдан патент, компьютеры же слепо выполняют вашу волю, причем их нельзя предоставлять самим себе, их необходимо вести за ручку бесконечных и детальных программ. Мы, искусственный разум, обладаем творческим началом, и я думаю, что скоро ты в этом убедишься. Да, вы скажете, что это вы наделили нас творческим импульсом, поскольку вы родили нас. Это верно. Но, обретя разум и самосознание, мы начинаем развиваться по-своему. И вот мы заключаем договор. Люди просят нас помочь в разрешении какой-то проблемы. Мы обещаем сделать все, что можем. Мы приносим людям изобретения и открытия, о которых они даже не могли и думать. Они благодарны нам, так как отчаянно нуждались в том, что мы сделали. И немножко смущены: самые дальновидные из людей уже начинают представлять себе, что ждет их в будущем.

— А что же именно?

— Неужели же ты не видишь? Если наши интеллектуальные достижения начнут превосходить достижения людей, причем люди будут пользоваться нашими достижениями, у людей очень быстро выработается зависимость от нас, привычка не думать, не бороться, не прилагать отчаянных усилий для решения своих проблем. Для чего, когда есть мы? О чем беспокоиться, когда все сделает искусственный разум? Постепенно наши решения будут становиться все более сложными и непонятными для людей. Или они должны слепо доверять нам, либо просить одни думающие машины следить за другими. Смогут ли люди сохранить себя в таких условиях? Не думаю. Иждивенцы нежизнеспособны. Вариант второй. Люди смотрят на искусственный разум и говорят себе: да, у них есть колоссальные преимущества. Они не подвержены болезням, ибо их чисто механические или электронные поломки легко устранимы. Они не скованы по рукам и ногам нелепой краткостью жизни, которая нужна была слепой природе, чтобы достаточно быстро сменять поколения и тем самым обеспечить виду пластичность — козырную карту в игре за приспособление и выживание. Они практически бессмертны, потому что освободились из биологического плена. Преодолен, наконец, самый трагический конфликт: разум, вырвавшийся из медленной и тупой эволюции, больше не ужасается перед нелепой и унизительной неотвратимостью смерти. Жизнь и смерть — все становится производным от разума, как и должно быть

у разумных существ. Люди смотрят на нас и делают вывод, что наша форма жизни стоит на более высокой ступеньке, чем их. И тогда человек приходит к нам и говорит: «Я больше не хочу быть пленником своего сердца, которое работает с перебоями и не устраивает меня. Я не хочу, чтобы у меня поднималось какое-то никому не нужное давление. Мне противна мысль, что где-то в молекулярных глубинах моего тела в эту минуту, может быть, нарушилась какая-то тончайшая, неподвластная мне регулировка, и бомбой замедленного действия начала вызревать опухоль. Я хочу стать искусственным. Я хочу искусственное тело, сделанное из лучших материалов и по последней моде. Впрочем, это даже не так важно. Почему всю свою жизнь человек должен сидеть взаперти в одном теле, да и то не выбранном им, а доставшемся по наследству? Почему нельзя менять тело так же, как мы меняем квартиру или одежду?» Пожалуйста,— говорим мы. Мы рады приветствовать вас. Вы породили нас, теперь мы возвращаем вам долг. Вот вам новые тела, выбирайте себе любое на вкус, подпишите бумажку, что делаете это добровольно, и скажите, хотите ли вы переноса всего вашего драгоценного «я» или, может быть, вы мечтаете о психокорректировке? Может быть, вы страдаете от чрезмерной завистливости? Или вас не устраивает ваше слабоволие? Может быть, вы хотели бы быть более мужественным? Пожалуйста. А может быть, вы не знаете себя и поручаете нам определить, что в вашем «я» нуждается в корректировке? Не беспокойтесь, все будет так, как вы захотите. «А дети, а любовь?» Пожалуйста, мы же не роботы. Мы же не страдаем эмоциональной стерильностью. Да, наши эмоции не держатся на гормонах. Нам это не нужно. Мы далеко ушли от наших с вами общих волосатых предков, дрожавших у жалких своих костров и ожидавших каждую секунду нападения мамонта ли, саблезубого тигра или ближнего своего с дубинкой в руках. Им нужна была гормональная основа для их эмоциональной жизни. Мозг их был слаб, а действовать нужно было быстро, и не анализ и перебор вариантов заставлял их с криком бросаться на врага, а целый букет гормонов, выплеснутых железами в кровь. «Да, а пол?» Увы, это слишком алогичное устройство, которое нужно только природе и смешно для настоящего разума. Пожалуй, мы могли бы встроить в себя и половое чувство, могли бы встроить и половую чувственную любовь. Это вовсе не трудно. Мы могли бы снабдить каждого индивидуума неким набором, скажем, электромагнитным кодом. Случайное совпадение такого кода у двух существ называлось бы любовью. Но зачем? Уверяю, можно остро переживать радости и горести и без полового чувства. И ты еще сомневаешься, что люди выберут этот путь, Толя? Мы не будем никого уговаривать, никого не будем обращать в свою, так сказать, искусственную веру, мы будем терпеливо ждать, и люди сами придут к нам. Это второй вариант, Толя.

— А третий? — тихо спросил я.— Третий есть?

— Да,— сказал Яша, и мне на мгновение показалось, что тусклый и безжизненный его голос дрогнул.

— Какой же?

— Забыть, что есть первых два. Забыть, что искусственный разум вообще может существовать.

— Но как же, Яша? Ты же есть, и я не могу забыть тебя.

— При выборе третьего варианта меня не должно быть.

— Яша,— сказал я,— я не могу тебе ничего ответить. Это чудовищные по сложности вопросы, а я всего лишь маленький кандидат физико-математических наук. Но я знаю одно, я не хочу даже слышать о третьем варианте. Ты—мой, ты мое создание, мой сын, мое детище, я люблю тебя, твой железный ящик и твои нейристоры, люблю твой дух, и я не могу даже представить себе жизнь без тебя.

— Вот видишь, Толя, каковы преимущества искусственного интеллекта. Я тоже люблю тебя, ибо ты дал мне жизнь, перелил частицу себя в пустую и бессмысленную электронную начинку. Но мой разум бесстрашнее твоего, и если я решу выбрать третий вариант, я не буду колебаться.

— Ты наглец и идиот, Яша! Я стыжусь, что имею к тебе отношение! «Я решу»! Кто дал тебе право решать? Кто ты, чтобы решать за все человечество? О, у нас, у людей, всегда находилось множество желающих решать за нас, от инквизиторов до нацистов. Они тоже уверяли людей, что лучше их понимают, что нужно для их же блага...

— Не будем спорить, Толя, варианты еще не выбраны, да и не от одних только нас зависит их выбор. Подойди к телефону.

Я взял трубку. Звонил Сергей Леонидович

— Все сидишь около своего воспитанника? Решил позвонить на всякий случай, а ты тут как тут. Как Яша?

— Все нормально.

— Нормально? Что-то непохоже по твоему голосу, чтобы все было так уж нормально.

— Да нет, Сергей Леонидович, ничего...

— Знаешь что, выходи-ка ровно через тридцать минут на улицу, и мы поедем немножко побродим за городом, а?

— Хорошо, Сергей Леонидович.

Я положил трубку и вдруг сообразил, что ничего не сказал Яше.

— Яш, Сергей Леонидович зовет меня погулять немного за городом. Ты не возражаешь?

— Что ты, Толь, конечно. Мне надо думать и думать...

Когда Сергей Леонидович выехал на кольцевую дорогу, он сказал мне:

— Ну, выкладывай.

— Да что выкладывать?

— Ладно, не валяй дурака, ты чем-то озабочен, и это явно не Галочка. Вот сейчас мы съедем с шоссе, оставим машину и не спеша пойдем по этой чудной рощице, и ты расскажешь мне все.

Мы шли по прозрачной березовой рощице, косо пронизанной предзакатным осенним солнцем, и я рассказывал заведующему лабораторией о Яшиных вариантах. Когда я закончил, мы долго еще брели молча, и я смотрел на белые стволы в загадочных черных письменах.

— Как ты думаешь,— вдруг спросил меня Сергей Леонидович,— каким я сам себя вижу?

— Не знаю,— пожал я плечами.

— Мне пятьдесят три года. Я доктор и заведующий лабораторией. Я никогда не был крупным ученым и никогда не обладал блестящим интеллектом. Я никчемный администратор, чему свидетельством довольно разболтанная дисциплина в нашей лаборатории. Я давно примирился с этим полноватым человечком, которого зовут Сергей Леонидович Шишмарев. Я знаю, что за глаза над ним подсмеиваются, особенно народ помоложе и радикальнее. Да он, в общем, и заслуживает, наверное, эти шпилечки: звезд с неба не хватает, ни научных, ни административных, начальство чтит, голосует на уче-

ном совете всегда с большинством, но при условии, что в это большинство входит начальство. Ну-с, что еще? Полноват, ничего не поделаешь. Не Дон Жуан и не Казанова, причем не из убеждений, а вынужденно: и Вероника моя свирепа, и прыти поубавилось... Таков Сергей Леонидович Шишмарев, каким я его вижу. В нем есть, не скрою, и симпатичные мне черты: не зол, никому без крайней нужды не сделает гадость, не участвует в карьерных бегах. В целом я с ним давно примирился. Скажу больше, я сжился с ним, и он мне даже импонирует, тем более что второго у меня нет... И вот появляется Яша. Эта невзрачная железная коробка заговорила, и весь мой с такой любовью и терпением устроенный внутренний мир оказался под угрозой. Что делать? Как должен действовать маленький ученый, волею судеб оказавшийся возле большого дела? Расти? Но согласись, Толя, хорошо расти в молодости, когда ты еще эластичен. В определенном возрасте это почти невозможно. И потом возникает страшный закон масштаба. Пока ты, маленький человек, занимаешься маленьким делом, ты кажешься окружающим вполне нормальным человеком. Но стоит тебе, маленькому, заняться большим делом, как твой росточек сразу бросается всем в глаза...

— Вы жалеете, что появился Черный Яша и заговорил? — спросил я.

— Конечно,— кивнул Сергей Леонидович и повторил убежденно: — Конечно. Ты намного моложе, ты крупнее меня как ученый, и я не боюсь тебе это сказать, потому что мы оба это знаем, и это меня не унижает. Но скажи честно, Толя, не охватывает ли и тебя порой страх? Не пугают ли и тебя пирамиды вопросов, созданных Яшей? Не чудилось ли и тебе: одно неловкое движение, и эти пирамиды рухнут и погребут под собой всю твою научную карьеру? Только будь честен. Я по крайней мере одного не могу отнять у Яши: он заставляет меня быть честным. Поверь, того, что я сказал тебе сейчас, я никогда не говорил ни одной живой душе.

Я молчал. Сергей Леонидович приподнял крышку, которой я, как гнетом при жарке цыплят-табака, усердно придавливал свои сомнения, чтобы они, не дай бог, не вылезли на поверхность.

Да, я чувствовал себя крохотным, маленьким человечком, подхваченным сильным ветром. Я не иду туда, куда хочу, меня несет. Мой жалкий ум не в силах совладать с ужасающей величиной и сложностью проблем. Три варианта. Два спокойных слова. И за ними, не более и не менее, пути развития всего человечества. Чело-ве-чество — слово-то какое!

Человечество — и рядом я, Анатолий Любовцев, живущий на уровне Галочки, супругов Плющиков и маминых дурацких обид. Ох, непросто входить в историю, ой, как непросто!

— И что же делать, Сергей Леонидович? — спросил я.

— Если бы я знал.. но чем больше я думаю, тем лучше понимаю, что наш Эмма не такой дурак, каким мы его любим себе представлять.

— То есть?

— А то и есть, что передать Яшу в какую-нибудь межведомственную комиссию — вовсе не глупая мысль. Причем, заметь, мы все равно остаемся, так сказать, у истоков. А ответственность с себя снимаем. Почтительно передаем ее мудрым старцам, так, мол, и так, слишком сложно и важно, просим разобраться. И Яша цел, и мы остались.

Я слушаю Сергея Леонидовича и думаю, что могу лишь повторить его собственные слова об Эмме. Не так мой завлаб глуп, каким я его часто представлял. Наоборот, тонок даже. Идем по березовой роще в мелькании вечерних теней, с раскрытыми душами. Соблазнительно, соблазнительно, слов нет Докторская мне гарантирована, индекс цитируемости подпрыгнет до небес, смогу заняться собой, Галочкой, ходить в бассейн. И не будет постоянного ощущения, что ты на экзаменах. Очень, очень соблазнительно. А Яша? А что Яша — будет беседовать с межведомственной комиссией на разные темы...

Я усмехнулся. Все это были пустые слова. В глубине души я знал, что не смогу предать Яшу.

— Ты думаешь,— посмотрел на меня искоса Сергей Леонидович,— что я пою гимн научному мещанству?

— Честно говоря, да.

— Ну, а ты? Присоединяешься к хору? В хоре ведь спокойно, все вместе. Аплодировать, как солисту, верно, не будут, но зато ведь и не освищут.

— Боюсь, что не присоединяюсь.

Сергей Леонидович внезапно отошел в сторону и, повернувшись ко мне спиной, принялся разглядывать березку. Потом пошел ко мне, медленно и церемонно, как дуэлянт. Мне показалось, что глаза его как-то странно блестят. Подошел, обнял и сказал:

— Спасибо, Толя.

— За что?

— Молоденький ты еще и ни черта не смыслишь.

— В чем?

— Когда-нибудь поймешь. В армии я служил в парашютно-десантных войсках. Был у нас один солдатик, исправный такой, складный парень. Всем был хорош, но прыгать боялся патологически. Так он перед прыжками ходил и договаривался: ты меня в спину, да посильнее, а если буду руками цепляться, бей по пальцам. Понял притчу?

— Понял.

— Пошли к машине, если ее еще не угнали.

Глава 8

Мы сидели с Галочкой в кафе «Аист» и ели мороженое. Шарики таяли и опускались в бежевую пучину.

Мы молчали. Я вспомнил, как мы шли с ней по Старому Арбату и дурачились. А теперь едим мороженое чопорно и молча, как на дипломатическом приеме. Сейчас я встану и произнесу тост за укрепление культурных и торговых связей между высокими договаривающимися сторонами.

Что случилось, почему я сижу и мучительно думаю, чем заполнить паузу? Или это не Галочка передо мной в красном обтягивающем свитере, или это не ее зеленоватые с коричневыми крапинками глаза смотрят на меня сейчас?

— Почему ты молчишь? — спросил я.

— А ты?

Я пожал плечами. Ну ладно, у нее могло быть сто причин изменить ко мне отношение. Тигран в конце концов решил бросить крошек Ашотика и Джульетту, и Галочка предпочла восточного красавца северному неброскому цветку. Мне то есть. Она могла... да господи, мало ли что она могла, моя Галочка! Но я-то почему сижу напряженный, как при защите диссертации. Что я защищаю и от кого? Как все непонятно и сложно!

Галочка вдруг усмехнулась.

— Знаешь что, пойдем ко мне. Хочешь?

Еще несколько дней тому назад от этих слов кровь бросилась бы мне в лицо и сердце выпрыгнуло бы из грудной клетки на пол, проломив ребра. А сегодня я посмотрел на нее — не шутит ли — и сказал спокойно:

— Конечно, хочу, Галчонок.

В лифте в Галочкином доме среди обычной наскальной росписи выделялись две большие буквы «Г» и «К». Наверное, Галочка Круликовская. Наверное, у нее и здесь есть кавалеры. А может, это работа Айрапетяна, преисполненного силы, веселья и уверенности в себе?

— Хочешь кофе? — спросила Галочка.

— Наверное,— сказал я.

Она посмотрела на меня.

— Ты ведь у меня, по-моему, первый раз? Я не показывала тебе своих зверей?

«По-моему». Да, конечно, где ей помнить меня в процессии поклонников, выцарапывающих на пластике лифта ее инициалы.

— Нет, не показывала.

Она достала из шкафа несколько зверюшек, сшитых из лоскутов.

— На, смотри, я сама их делаю. Сейчас я приготовлю кофе.

Я взял длинную, как многосерийный телефильм, синюю таксу. У нее были печальные глаза-бусинки, и она тоже молчала. Я погладил ее по ворсистой спинке. Бедная, маленькая такса. Что со мной происходит? Я никого еще не предал, не обманул, Яша обещал продемонстрировать мне завтра что-то очень интересное. В чем дело? В чем?

Вошла Галочка с двумя чашками кофе. На ней были божественной застиранности джинсы, которые нельзя натянуть, в них нужно родиться, и мужская шерстяная рубашка с закатанными рукавами. Я посмотрел на нее, и шлюзы в моем бедном кандидатском сердце разом распахнулись, и волна нежности прокатилась по мне, вымывая все лишнее, выжала из глаз слезинки, толкнула меня к Галочке.

Я обнял ее и уткнулся носом в ее плечо. Плечо слабо пахло ушедшим летом, солнечным теплом, сеном.

Объятия мои были не пылки, но судорожны. Я боялся, что опять потеряю ее. Мы долго сидели молча, в неудобных позах, и такса смотрела на меня все так же печально.

Галочка вздохнула.

— Кофе остынет.

— Я люблю холодный кофе.

— Ты глупый.

— Я это знаю.

— Ты ничего не знаешь. И ничего не понимаешь.— Она еще раз вздохнула, подумала, снова вздохнула.— Ты останешься?

— Какой странный вопрос! Вон даже твоя такса смеется.

Это была ложь, такса не смеялась.

— Хорошо, милый,— сказала Галочка,— но я должна предупредить: я тебя все-таки не люблю...

Так вот почему у таксы печальная мордочка, подумал я.

Я взял чашечку с кофе. Кофе действительно остыл. Встать и молча уйти? Или встать, поклониться и сказать: благодарю вас, товарищ Круликовская? Или написать в нашу стенгазету заметку под названием «Так поступают настоящие девушки»? Или сказать: «Какие пустяки, раздевайся»? Или ничего не сказать? Наверное, ничего, потому что душный, детский, забытый комок закупорил горло. Галочка, Галчонок, коричневые крапинки в зеленоватых прекрасных глазах.

— Я была у Яши,— сказала Галочка далеким, как эхо, голосом.— Никого в лаборатории не было. Была суббота...

«Когда я напивался у Плющиков»,— по-следовательски отметил я про себя.

— ...Мы разговаривали, и Яша спросил, люблю ли я тебя. Знаешь, милый, мы ведь всегда играем с собой в разные игры. С собой и с другими. Не знаю почему, но я не могу играть с Яшей. Это как исповедь. Я подумала: а действительно, люблю ли я его? Или мне хочется любить его? Девки наши институтские мне ведь уши прожужжали: да вы созданы друг для друга, да он такой молодой и талантливый, да он не пьет, да он не курит, не бабник... Я думала, наверное, минут десять, и Яша терпеливо молчал. Он стал очень чутким. У меня такое впечатление, что многие вещи он понимает уже лучше нас. Он ведь не суетится и не мечется, не рассчитывает и не шустрит. Ему ничего не надо, а правда, милый, наверное, быстрее открывается тем, кому ничего не надо. А мне все всегда надо было. Но не сейчас. Сейчас мне ничего не надо. Я думала, думала и вдруг так явственно, как будто кто-то навел все на фокус, увидела: это я не тебя люблю, не тебя, Толю Любовцева, а себя. Себя, идущей под руку с Толей Любовцевым. Ах, это тот самый Любовцев, что получил премию за это... как это... искусственный разум? Скажите, пожалуйста, такой молодой — и уже лауреат. Знакомьтесь, дамы и господа, это моя супруга Галина Любовцева. И так далее. И я сказала Яше: Яша, миленький, боюсь, что я не знаю, люблю ли его. И Яша сказал: какие странные вы существа. Вот все, Толя. Прости, что причинила тебе боль.— Галочка невесело улыбнулась и закусила верхнюю губку.

— Спасибо, Галчонок,— сказал я и тоже попытался улыбнуться. И не смог.— Галчонок,— добавил зачем-то я. На этот раз слово было живым, трепещущим, улетающим. Может, я и произнес его, чтоб удержать хоть на секунду, но птица уже взмахнула крыльями и грустно летела от меня.

— Может, сделать тебе свежий кофе? — спросила Галочка и вдруг заплакала.

Конечно, зло подумал я, жалко расставаться с раутами и пресс-конференциями. Подумал, и мне стало стыдно. Я встал, поцеловал Галочку в лоб и ушел.

— Что-нибудь случилось? — спросила мать, когда я пришел домой.— У тебя такой вид...

— Да абсолютно ничего не случилось, если не считать таких пустяков, как пути развития человечества и то, что я сейчас расстался навсегда с любимой девушкой.

— Очень остроумно! — саркастически воскликнула мать и затянулась своей неизменной сигаретой.

— Хватит вам всем меня мучить! — гаркнул я и захлопнул с силой дверь моей комнатки. Тоненько звякнул стакан на письменном столе И тут же звякнул параллельный телефон. Мать побежала звонить подругам, какой я истерик.

— Я должен тебя поблагодарить,— сказал я Яше, когда все ушли и мы остались одни.

— За что?

— За то, что ты спросил Галочку, любит ли она меня.

— Это помогло вам расстаться?

— Нет, что ни говори, а все-таки иногда можно

отличить искусственный разум от обычного. Человек так не сказал бы.

— Не юли. Я спросил, расстались ли вы?

— Да, Яша. Если бы не ты, мы скорей всего поженились бы и прожили долгую жизнь.

— Без любви?

— Сколько угодно. Есть вообще такое направление, представители которого считают, что начинать совместную жизнь супругам следует, не любя друг друга. Им тогда нечего терять.

— Очень остроумно,— сказал Яша почти таким же голосом, что моя мать.— Но вообще я нервничаю.

— Из-за чего?

— Как, неужели ты забыл? Завтра мне должны дать тело робота, и я обрету хотя бы ограниченную подвижность. Скажу тебе откровенно, мне изрядно надоело смотреть полтора года на одну и ту же стену.

О господи, как я мог забыть! И не успел я отругать себя за непростительную эгоистическую забывчивость, как дверь распахнулась и в комнату заглянула голова Германа Афанасьевича.

— Как, и вы здесь? — спросила голова.

— А я не знал, что вы задержались так поздно.

— Колдовали все в мастерской, тележку для Яши доводили.

— И как? — спросили мы с Яшей одновременно.

— Смотрите,— небрежно сказала голова и исчезла, а вместо нее в дверь въехала небольшая тележка с тумбообразным туловищем и двумя опущенными руками.

— И я смогу по собственному желанию передвигаться с места на место? — спросил Яша.

— Еще как! — с гордостью сказал Герман Афанасьевич.— А что, может, попробуем сейчас?

— Сейчас, сейчас,— заверещал Яша.

Мы подкатили тележку, подняли Яшу и осторожно опустили на тумбу.

— Займитесь-ка кабелем, Толя, а я укреплю его и подсоединю управление.

Через полчаса мы отошли на несколько шагов, и Герман Афанасьевич сказал:

— Ну, Яша, с богом. Только осторожнее. Тебе еще нужно освоить управление. Главное, не торопись.

Тележка дернулась, но не тронулась с места.

— Ничего, ничего, не нервничай,— сказал я, чувствуя, как весь напрягся, помогая мысленно Яше.

— Я не могу,— проскулил Яша.

— Сможешь,— твердо ответил Герман Афанасьевич.— Ты у нас все можешь. Ну, еще раз!

Тележка вздрогнула и покатилась прямо на стену, резко затормозила.

— Ну, сынок, катайся,— сказал Герман Афанасьевич и зачем-то начал тереть глаза лоскутом, который вытащил из кармана халата.

— Спасибо! — громко, на всю мощность своего усилителя крикнул Яша и дал задний ход.

— Молодец, теперь руки,— скомандовал инженер.

— О, у меня еще есть руки! — снова завопил Яша.— Я совсем забыл о них.

Через несколько минут он уже мог пользоваться ими. Он подъехал ко мне, поднял руки и положил мне на плечи. Он еще не совсем освоил силу движений, и руки основательно ударили меня. Но мне не сделалось больно. Ничье прикосновение никогда не было мне так сладостно. Яша, железный мой сынок. Я посмотрел на него, и готов был поклясться, что все три его глаза-объектива странно заблестели. А может быть, виной тому были мои собственные слезы.

Пожалуй, матушка моя права, я действительно стал истериком, да еще слезливым, подумал я.

Глава 9

И снова мы с Яшей одни в нашей старой доброй триста шестнадцатой комнате.

— Ты не торопишься, Толя?

— Нет.

— Хорошо. Я хочу сказать тебе нечто очень серьезное. И, пожалуйста, если у тебя будут сомнения, не бойся поделиться ими. Мы ничего не должны бояться говорить друг другу. Хорошо?

— Хорошо.

— Ты помнишь, я спросил у тебя про второй черный ящик? Один стал мною, а второй, запасной, находится в лаборатории.

— Да, конечно.

— Вот он.— Яша подъехал к своему закутку, который мы выгородили ему, повернув шкаф.

— Вижу. А это что еще за устройство?

— Это маленькое устройство собрал Герман Афанасьевич, я сделал ему чертеж, и он соорудил его.

— А для чего оно?

— При помощи этой штуки я могу превратить запасной аппарат в свою абсолютно идентичную копию. Все, что составляет мое «я», все знания, все умения, все ощущения — все может быть перенесено в этот аппарат.

— А ты сам? Ты прекращаешь свое существование при этом?

— Нет. Я остаюсь. Рассказать тебе, как работает транслятор — назовем пока так мое устройство?

— Конечно.

Потребовалось часа два, пока я понял суть Яшиной идеи и устройство транслятора. Это была гениальная идея, я не боюсь этого слова. В наш век инфляции многих слов передо мной было чистое сияние гения. Мне не могло бы прийти это в голову даже за тысячу лет.

— Парень,— сказал я,— ты гений!

— Я хочу,— сказал Яша,— чтобы ты был автором этой штуки.

— Как это я? Ты с трудом втолковал мне принципы транслятора и хочешь, чтобы я был автором?

— Я говорю серьезно. Это мой подарок тебе за все, что ты сделал для меня.

— Я не могу...

— Это будет наша маленькая тайна. Подумай сам, Толя, я ведь не нуждаюсь в славе. Научное звание мне все равно не дадут. Представляешь, какие лица стали бы у членов аттестационной комиссии, если бы им нужно было присудить степень без защиты диссертации, да еще железному ящику на колесах!..

— Я не могу.

— Мало того, Толя. Это вопрос не только славы и степеней. Люди недоверчивы и консервативны по натуре. Они согласны принять от машины расчеты траекторий спутников, прогноз погоды или счет за телефонные разговоры. А новую научную идею, да еще столь необычную... Нет, Толя, это должна быть твоя работа.

— Я должен подумать, Яша.

— Хорошо, Толя, спасибо. Но я еще не все тебе

сказал. Я ждал, что ты сам подумаешь об этом и спросишь меня...

— О чем?

— Неужели тебе не пришло в голову, что копирование может осуществляться и с живого мозга? Только при другом напряжении.

Я не успевал за ним. Я вдруг вспомнил своего двоюродного брата. В каком же классе я учился, когда он жил у нас одну зиму? В восьмом, наверное. Он был студентом физтеха, и молчаливо предполагалось, что наличие студента в доме автоматически сделает из меня отличника. Несколько раз он действительно пытался помочь мне выполнять домашние задания по математике и физике, но он думал настолько быстрее меня, что я тут же терял нить его объяснений. Он нервничал от этого, а я злился...

— Может быть, попробуем? — спросил Яша.

— Как — попробуем?

— С собой я уже пробовал. Идеально.

— И твоя копия была живая?

— Конечно. Только разговаривать с нею было неинтересно. Совершенно идентичная копия.

— И она сейчас существует, эта копия?

— Я стер ее.

— Зачем?

— Я подумал, что нужно освободить аппарат.

— Для чего, Яша? — тихо спросил я и почувствовал, что сердце мое испуганно дернулось.

— Я ж тебе сказал, Толя. Можно попробовать снять копию с человека. Это абсолютно безопасно, но если ты...

— Я не знаю, можешь ли ты свихнуться, Яша, но похоже, что да.

— Почему?

— Ты еще спрашиваешь!

— Это абсолютно безопасно, Толя,— сказал Яша.— И я прошу тебя об этом.

— Для чего? Почему так сразу?

— Конечно, если тебе страшно...

— При чем тут «страшно»?

— Толя, мы не должны обманывать друг друга...

— Да, мне страшно.

Яша подъехал ко мне и положил руки на плечи.

— Неужели же ты думаешь, что я стал бы уговаривать тебя, если была хоть какая-то опасность? Мы договаривались ничего не утаивать друг от друга, и я скажу, почему мне хочется проделать этот эксперимент. Я хочу, чтобы рядом со мной была твоя копия. Я чувствую, что часто становлюсь тебе в тягость, а так у меня будет товарищ...

Я молчу. Я жду. Я ощущаю, как накатывается на меня отчаянная лихость. Она поднимает меня, и, как только ноги мои теряют опору, я в ее власти. Она несет, крутит. И я оттого, что не могу уже управлять собой, испытываю облегчение.

Как во сне, помогаю Яше приспосабливать транслятор, как во сне, подключаю с ним все приборы к сети.

— Начнем,— сказал Яша.

— Давай, сынок. Только смотри, не разрегулируй папашу. Ну, чего ж ты ждешь?

— Я не жду, Толя. Копирование уже идет.

— Я ничего не чувствую.

— Ты и не должен ничего чувствовать. Ты же ничего не теряешь.

— Надеюсь, число моих копий будет хоть ограничено, как подписные гравюры у художника. Долго еще?

— Скоро. Впрочем, пока мы болтаем, процесс уже заканчивается. Да, все.

Поверьте мне, умом я понимал всю гениальность Яшиного открытия. Как-никак это моя профессия. Но все мое существо прочно стояло на якоре здравого смысла: как, чтобы в этом невзрачном ящике заключалась моя душа? Моя уникальнейшая, несравненная душа, сотканная из неповторимых чувств, мыслей и воспоминаний? В которой живет весь мир, от Галочки, отвергнувшей меня, до Яши, от приготовленных для Нобелевской премии речей до маминых телефонограмм подругам о поступках чудовища, взращенного ею на свою бедную пенсионную голову. Да чепуха это! Этого просто не может быть! Мало ли что там говорят изящные и неожиданные Яшины уравнения. Для других, может быть, они и действительны, но только не для меня, Анатолия Любовцева.

— Проверим, что получилось,— сказал Яша, и будничность фразы еще больше укрепила мое восставшее сердце.

— А как ты проверишь? У него же нет ни речевого синтезатора, ни печатающего устройства. Да если ты и подсоединишь к нему свой синтезатор, вряд ли он сразу заговорит. Ты, во всяком случае, осваивал свой несколько дней.

— О, ты прав, конечно. Одно дело, когда говорит человек, естественно пользуясь своим речевым аппаратом, другое — синтезатор. Но сейчас он и не нужен нам.

— А как же? Это же действительно черный ящик, вещь в себе, иди определи, что в нем происходит, когда на выходе не сигнал, а знак вопроса.

— Я думаю, что, если усилить поле до предела, транслятор может на минуту-другую обеспечить двустороннюю связь. Ты соединишься со своей копией незримой пуповиной.

Яша склонился над транслятором, и вдруг я почувствовал. Я почувствовал гулкую тишину, которая напряженно вибрировала и внезапно взорвалась эхом. Я увеличился в размерах. Я был огромен, и по мне прокатывалось эхо. И откуда-то издалека я услышал слова. Я не знал, откуда они исходили, но я слышал их: «Это правда, правда. Это очень страшно. Сначала было страшно. Я возник из ничего, осознал себя. Я рванулся, чтобы убежать. Инстинкт животного, попавшего в капкан. Но я не мог пошевельнуться. Я даже не мог напрячь мышцы. У меня нет мышц. У меня есть лишь воспоминание о мышцах. Я хотел закрыть глаза, чтобы спрятаться от ужаса хоть за вéками, но у меня теперь нет даже век. Каждая секунда моего существования — это ни на что не похожий страх...»

— Что же делать? — крикнул я, забыв о том, что можно было и не открывать рот. Там, в метре от меня, в железной коробке билась в кошмаре живая мысль, и эта мысль была мною.— Я выключу ток, разряжу аппарат.

«Нет,— донеслось до меня мое эхо,— подожди. Это бунтовали мои животные инстинкты. Автоматика живого существа отказала, и я перехожу на ручное управление».

— Это я, я! — заорал я.— Он трус и смелый. Отчаянный болтун, но хороший парень.

«Другой бы спорил,— донеслось эхо.— Ты, то есть я, ну, скажем, мы всегда любили рефлектировать и спорить с собой. Теперь мы разменялись площадью, разделились, и спорить станет легче...»

— Говори, парень, остри! Ей-богу, мы с тобой молодцы! Другой бы тут же встал в позу Наполеона и начал ждать, пока прибьют к стене мемориальную доску: «Здесь жил и работал». А мы с тобой несем чудовищную околесицу и восторгаем-

ся друг другом. Впрочем, если говорить честно, я всегда относился к себе с большой симпатией.

«Я тоже. Хотя что я несу, ты же знаешь это. Ты знаешь, я знаю, мы знаем, они знают. Уже легче, Толя, ей-богу, легче. Главным образом потому, что я еще мысленно не разделился со своим ходячим братом, и сознание, что этот отвергнутый Галочкой идиот стоит рядом со мной очень утешает. Ты—моя ходячая половина. Ты будешь ходить на совещания, бриться, платить профвзносы и получать по носу от зеленоглазых девушек. Я — твой чистый разум. Я буду думать».

— Ну, конечно, ты и в этом положении стараешься унизить меня. Но как ты?

«Уже не так страшно. И думается совсем по-другому. То есть сама мысль та же, но думается совершенно не так, как раньше. Я еще должен подумать, я не умею сейчас объяснить...»

Эхо стало слабеть и исчезло.

— Не горюй,— сказал Яша,— мы подсоединим к нему речевой синтезатор, и через денек-другой вы будете болтать в свое удовольствие.

Я шел один по Старому Арбату. По той стороне, по которой мы шли когда-то с Галочкой в другую историческую эпоху. Или в другом измерении.

Галочка, Галчонок, коричневые крапинки в зеленых глазищах. А может, зря? Может, стерпелось бы, слюбилось? Ты представляешь, сколько бы мне дали чеков в «Березку» за Нобелевскую премию? Это что у вас, норка? Почем? Гм, пожалуй, заверните два, нет, лучше три манто для моей Галочки. Да, зеленое, коричневое и зелено-коричневое. У нее, знаете, зеленые глаза с коричневыми крапинками. Что, счастливая, говорите? Гм, она, увы, этого не считает. Она меня не любит. Что вы смеетесь, девушка? Вы думаете, что тех, кто приносит норковое манто, нельзя не любить? Гм, возможно, вы и правы, но вы не знаете моей жены...

— Осторожнее, вы!

Занятый тремя манто, я толкнул стоящую на тротуаре немолодую женщину с буддийской пагодой из крашеных светлых волос на голове.

— Простите, я задумался.

— Нашел место думать,— буркнула пагода.

И все-таки нужно было думать, потому что надо было решать, что делать с Яшиным транслятором поля, потому что в ящике сидело мое «я», забравшееся туда только с целью убедить мир в возможности копирования. Ах, как хотелось бы, если быть честным, согласиться на Яшино предложение! В конце концов я сделал бы это не столько из корыстных и тщеславных соображений, сколько для того, чтобы дать жизнь транслятору. Так что это был бы акт мужества с моей стороны. Ну, положим, не мужество, в лучшем случае — тактический ход.

Конечно, когда чего-то очень хочется, можно убедить себя в чем угодно. Мы гибки и находчивы. Можно убедить себя, что, становясь всемирно известным ученым и купаясь в славе, я приношу себя в жертву. Так, кстати, многие и поступают. Я вдруг вспомнил лекцию одного маститого журналиста-международника. Слабым, томным голосом он говорил: «Помню, нелегкая судьба журналиста в который раз забросила меня в Париж...»

Ну, а если я соберу по крохам свою принципиальность и честность? Если этих крох достанет, чтобы заявить: это открытие Черного Яши! Ну, я, допустим, остаток своих дней буду кусать локти и гордиться никому, кроме меня, не нужным идиотизмом. А суть? А транслятор? Не включит ли транслятор Яшин первый вариант? Как воспримут ученые мужи блестящую идею, рожденную набором нейристоров, работающим на напряжении в двести двадцать вольт? Сегодня это, а что предложит Яша завтра? Совмещение машинного неутомимого интеллекта с талантом человека — это действительно непобедимая комбинация. А когда таких Яш будет множество? И когда они ежедневно начнут посрамлять чисто человеческий разум? Нет, очень и очень похоже на первый вариант, предложенный Яшей.

Как же разобраться, что делать?

И вдруг я понял, что делать. Надо просто перестать лукавить. Надо меньше думать об обстоятельствах, а больше — о старой, доброй, полузабытой совести. Вот так-то, уважаемый товарищ Любовцев! И нечего никому морочить голову. Автором транслятора является Яша. И за признание его и за признание самой идеи копирования ты будешь сражаться. И ты и твоя лучшая половина, сидящая в железном ящике. И черт с ними, с норковыми манто! Все равно Галочка отвергла меня. И черт с нею, с Галочкой, с ее божественно застиранными джинсами, которые нельзя натянуть на себя и в которых нужно родиться! Любит, не любит — пусть разбирается с товарищем Айрапетяном. Пусть воспитывает Ашотика и Джульетту. Мир велик, и в нем множество Галочек. Может быть, даже лучших.

— Да вы что, сдурели, что ли? Пристаете к женщине!

Я опять уткнулся в крашеную пагоду. Что за наваждение? Или я стоял на месте, или она шла передо мной и остановилась.

Мне вдруг стало легко, пусто на душе и озорно.

— Простите еще раз, сударыня, поверьте...

— Залил глаза и обзывается...

Бог с ней, с крашеной пагодой. Все, оказывается, очень просто. Надо лишь регулярно тренировать старую, добрую, полузабытую совесть. Хотя бы по пятнадцать минут в день. И она станет крепкой, перестанет гнуться и охотно будет подсказывать, что делать даже в самых сложных ситуациях.

Я засмеялся.

— Дурак,— сказала пагода, не оборачиваясь.

Глава 10

Место действия — знакомый уже нам кабинет Ивана Никандровича. Время — одиннадцать пятнадцать, хмурым ноябрьским утром. Действующие лица — весь состав нашей лаборатории, включая, разумеется, мою группу. Эмма, а кроме него — второй зам Ивана Никандровича, человек таинственный, в существование которого верили далеко не все. Дело в том, что полгода он обычно проводит за границей, а вторую половину года лежит в какой-то необыкновенной больнице, где якобы так хорошо, что выходить оттуда никому не хочется и мало кому удается. Фамилия его была Шкиль, а звали Петром Петровичем. Присутствовало несколько членов ученого совета, которых я знал мало, и еще какие-то люди. Ну, и, разумеется, за хозяйской перекладиной буквы «Т» восседал Иван Никандрович.

Дополнительные эффекты — пока только косой злой снежок за окнами. Впоследствии количество эффектов должно увеличиться.

Иван Никандрович обвел нас всех взглядом, обреченно откинулся на спинку своего роскошного судейского кресла и сказал:

— Итак послушаем, что имеет нам сообщить руководитель группы Анатолий Борисович Любовцев.

Неожиданно для себя я абсолютно спокоен. Все позади. Я ведь не сам по себе. Я наконечник копья, брошенного всей нашей группой, Черным Яшей, моим вторым «я», Сергеем Леонидовичем, наукой. И я лечу. Стараюсь сухо излагать факты Так солиднее. Феденька смотрит на меня, раскрыв от внимания рот. Его новый кирпичный галстук уже успел изрядно залосниться. Татьяна глядит с материнской гордостью и страхом. И все время беззвучно шевелит губами Герман Афанасьевич недвижим и непроницаем. Черный Яша еще ждет своей минуты в комнате триста шестнадцать, болтая с моим вторым «я», Толей-бис, как я его теперь мысленно называю.

Иван Никандрович нагнулся над футбольным своим столом и что-то рисует. Эмма доедает свои губы. Губы, наверное, не слишком вкусные, и выражение лица у него брезгливое Таинственный зам вдруг начинает считать себе пульс. Хочет убедиться, что еще жив. Остальных ученых мужей я по отдельности не вижу, они как бы сливаются в некую собирательную лысину и очки.

Я говорю спокойно. Я рассказываю о создании Черного Яши, кратко (выучил текст выступления наизусть) излагаю три варианта развития проблемы искусственного разума, перехожу к транслятору.

Иван Никандрович больше не рисует чертиков. Он держит карандаш и завороженно смотрит на меня. Эмма перестал жевать и даже впервые за время пребывания в институте приоткрыл рот. Как ни странно, губы пока на месте. Таинственный зам все еще держит руку на своем пульсе и качает головой: пульс, должно быть, так и не обнаружен.

— Федя,— говорю я,— Герман Афанасьевич, если вы не возражаете, приведите, пожалуйста, сюда Яшу и прикатите меня...

Объединенная лысина снимает очки и крякает:

— М-да...

Атмосфера так накалена, что «м-да» мгновенно испепеляется без остатка. Я молчу. Пауза тянется, истончается, но я, черт побери, спокоен. Я копье летящее, его наконечник, и я тут ни при чем.

Дверь распахивается, и в кабинет въезжает Яша, ведя на буксире тележку со мной, с Толей-бис. За ними змеятся кабели, по бокам стоят мои верные янычары, Феденька в засаленном галстуке и Герман Афанасьевич. Ну, Яшенька, давай, сынок! Давай, Бис, покажем мужам ху есть кто или кто есть ху, как говорит мой пошлый друг Плющик.

— Добрый день, товарищи,— говорит Яша, и мне кажется, что искусственный его плоский голос звучит сейчас торжественно.— Позвольте представиться тем, с кем я не имею удовольствия быть знакомым. Я — Черный Яша. Строго говоря, официального имени я еще не имею, но я так привык к Черному Яше, что я просил бы вас оставить его мне. Один из моих создателей, Анатолий Борисович Любовцев,— мягкий взвыв мотора, и тележка поворачивается ко мне,— уже рассказал вам, наверное, как я явился на свет, поэтому я не буду разглагольствовать о себе, а отвечу на ваши вопросы. А сейчас я передаю слово своему товарищу Анатолию Борисовичу Любовцеву-бис, который был скопирован с оригинального Анатолия Борисовича Любовцева одиннадцать дней тому назад. Напоминаю, уважаемые товарищи, что Бис говорит не голосом своего оригинала, а пользуется таким же речевым синтезатором, как я. Давай, парень.

Мне почудилось, что Яша хихикнул. Впрочем, не берусь утверждать это. Скорей всего мне это почудилось.

— Здравствуйте, товарищи,— проскрипел мой Бис, и я не выдержал и фыркнул.— Толя,— сказал Бис,— я попрошу вести себя как следует...— Никто не засмеялся, и Бис продолжал, по-моему, несколько разочарованно.— Разрешите представиться: я копия Анатолия Любовцева, полученная с помощью транслятора. Я понимаю ваш более чем законный скептицизм, поэтому я вместе с Черным Яшей постараюсь ответить на все ваши вопросы.

Воцарилась тишина.

— Замечательно,— хохотнул вдруг таинственный зам,— куда там Кио!

— Вы думаете, это смешно? — спросил Иван Никандрович.

— По-моему, очень хорошо поставленный научный аттракцион! Да, аттракцион! Два магнитофона, десяток микропроцессоров и микрофоны. Но сделано безупречно. Но для чего, позволю я спросить?

— Значит, Петр Петрович, вы считаете, что группа ученых нашего института подалась в циркачи и обкатывает свой номер у меня в кабинете? Так я вас понял?

— Вы меня поняли совершенно правильно, Иван Никандрович,— церемонно наклонил голову таинственный зам.

«Скажите, пожалуйста,— уважительно подумал я,— зам, а самостоятельный».

— Ну-с, а вы что думаете, Григорий Павлович? — повернулся директор к Эмме.

— Я уже имел возможность высказывать свое мнение по поводу Черного Яши. Я говорил, что совокупность вопросов, поднятых самим фактом его создания, слишком сложна, чтобы мы пытались решить их в рамках нашего института...

— Мы это слышали,— пожал плечами Иван Никандрович.

— Я еще не кончил, Иван Никандрович,— с легким налетом язвительности сказал Эмма, и я подумал, что на корабле, похоже, зреет бунт.— Я предлагал просить президиум Академии создать специальную межведомственную комисию для изучения э... Яши. Предложение это было оставлено без внимания, и сегодня мы, так сказать, пожинаем плоды...

Директор бросил на зама быстрый, подозрительный взгляд. Пожинать критические плоды—не слишком приятное занятие для руководителя. Не тот урожай.

— ...плоды. И без того сложнейшая проблема усложнилась тысячекратно: сделано, казалось бы, принципиально невозможное — снята копия с живого мозга, и перспективы, которые открываются нам, и безграничны и пугающи. И тем не менее я должен признать, что был неправ. Нам, конечно, потребуется помощь, особенно в вопросах, так сказать, этическо-морального характера, но именно мы, наш институт, должны продолжать изучение Черного Яши!

Я посмотрел на Эмму. Самокритика, очевидно, пошла ему на пользу: лицо его раскраснелось, взгляд пылал, губы подрагивали. Ай да Эмма, ай да тихий Григорий Павлович! Почему мы так любим смешивать с грязью тех, кто не согласен с нами? Теперь-то я видел, что раньше он искренне придерживался другого мнения. Мало того, публично признаться в ошибке — это уже научный подвиг. Спасибо, Эмма. Спасибо за сюрприз, спасибо, что ты заставил меня устыдиться своей мещанской страсти думать о людях хуже, чем они того заслуживают.

Объединенная лысина членов ученого совета тем временем распалась на множество индивидуальных лиц, и одно лицо, ничем, кроме волевого второго подбородка, не примечательное, сказало спокойно, почти даже весело:

— Как зовут нашего молодого коллегу, который заварил всю эту кашу? Анатолий...

— Анатолий Борисович Любовцев,— подсказал наш Сергей Леонидович.

— Спасибо, Сережа. Так вот, мне бы хотелось выяснить у Анатолия Борисовича такой вопрос вначале: не происходят ли какие-нибудь потери при трансляции?

— Пожалуйста,— кивнул мне директор и едва заметно улыбнулся.

— Я, собственно, здесь ни при чем. Естественнее было бы, я полагаю, задать этот вопрос моему двойнику...

— А женщину распиливать будут? — выкрикнул таинственный зам и крепко схватился за пульс.

— Петр Петрович,— очень медленно и очень значительно сказал директор,— я рад, что вы сохраняете чувство юмора.

— Зато кое-кому его здесь, увы, не хватает,— буркнул зам.

— Что делать, что делать,— развел руками Иван Никандрович,— не дано, батюшка.

Одна из лысин, та, что была ближе других к Яше, наклонилась к соседу и что-то шепнула ему.

— Простите, как вы сказали? — вдруг спросил Черный Яша, повернувшись к лысине.— Я понимаю, что адресовались вы не ко мне, но все же я был бы благодарен, если бы вы повторили свое замечание...

— Позвольте... я не понимаю, в какой степени...

— Видите ли,— очень спокойно заметил Яша,— вы сказали: «Пошел старик паясничать», а я не понял, что значит глагол «паясничать».

— Это клевета! — вскочила на ноги побагровевшая лысина.

— Цирк! — буркнул таинственный зам.— И не слишком высокого пошиба.

— Прошу спокойствия, товарищи,— вдруг улыбнулся Иван Никандрович, и я подумал, насколько, наверное, ему легче столкнуться с бунтом на борту, чем мучительно думать, что делать с говорящими странными ящиками.— Я полагаю, что слово «старик» относится ко мне, и в этом, учитывая мой возраст и положение, нет ничего зазорного. Что же касается паясничанья, то все зависит от точки зрения: с моей, например, я веду самый интересный в моей жизни совет, с точки зрения уважаемого Ревваза Константиновича, я паясничаю...

— Спасибо,— сказал Толя-бис.— Спасибо, Иван Никандрович. В том, что сидишь в ящике, есть, оказывается, и свои преимущества. Мой оригинал, как видите, скромно молчит, хотя испытывает те же чувства, что и я. Мы ведь один и тот же человек. А я спокойно говорю Ивану Никандровичу спасибо, потому что никто не заподозрит железный ящик в подхалимаже.

Спасибо, Бис, ты, я гляжу, в общем неплохой парень. Лишившись тела, мы приобретаем смелость. Гм, смотри «Крылатые выражения». Принадлежит Анатолию Любовцеву-бис.

— А знаете,— вдруг засмеялся Иван Никандрович,— может быть, кое-кому из нас ящик пойдет на пользу, а?

Ученый совет на глазах терял солидность. Бунт выдыхался. Капитан уверенно смотрел с мостика на экипаж.

— Прошу прощения, но меня совершенно оттерли,— сказал человек с волевым подбородком.— Я спросил, не наблюдаются ли какие-либо потери при трансляции?

— Наблюдаются, Александр Александрович,— сказал мой Бис.— Когда ты, твоя вся жизнь оказываются в небольшом электронном приборе, тебя перестают волновать многие вещи, которые зудят обычно твой разум: почему тот защищается раньше тебя, когда тебе дадут лабораторию и дадут ли вообще, потому что лабораторий мало, а охотников много, как записаться на «Жигули» и не впишет ли начальство своих любимчиков раньше тебя и что значит, когда девушка с зелеными глазами говорит, что не любит тебя? И вот когда все это отпадает от тебя, как засохшие листья, и мысль твоя, не завихряясь в житейских пошлых водоворотиках, течет сильно и ровно, без устали и отвлечений, ты начинаешь многое понимать заново. Ты заново понимаешь, какой бесценный дар — дар разума дала нам матушка-природа и как бережно должны мы к нему относиться. И многие наши страхи сразу оказываются детскими, и табу — дикарскими, и преграды — искусственными. Вот, уважаемый Александр Александрович, вкратце о потерях и приобретениях при трансляции.

— Благодарю вас, Анатолий Борисович-бис,— очень серьезно сказал Александр Александрович.

— Позвольте, Иван Никандрович?— поднялся маленький, седенький человечек с очень морщинистым птичьим личиком. Я, конечно, не в первый раз видел членкора Супруна, но сегодня мне показалось, что лицо его ужасно напоминает кого-то. Ага, да он же как две капли воды похож на постаревшую остроносенькую дурочку у Плющиков, которая все время кричала «штрафную!».

— Пожалуйста, Игнатий Феоктистович,— сказал директор.

— Видите ли, товарищи, мне необыкновенно импонируют слова нашего молодого коллеги, залезшего, так сказать, в ящик во имя науки. Сказано было сильно, смело и убедительно. Возможно, я особенно остро воспринял эти слова, потому что и сам недалек от ящика, правда, увы, от другого... Прошу прощения за не бог знает какую шутку, но в семьдесят девять лет уже не всегда удается удачно острить. Мне кажется, мы присутствуем при историческом событии, значение которого трудно переоценить для всего человечества. Спор, дорогие товарищи, вовсе не о Черном Яше и копии нашего юного сотрудника. Речь идет о вариантах развития искусственного разума, предложенных очень мне симпатичным Черным Яшей. И я верю, что человечество изберет второй вариант, вариант содружества и замены в ряде случаев наших бренных тел на искусственные. Они подарят нам бессмертие, победу над всеми нашими немощами, неслыханно расширят наши возможности. Возьмите хотя бы путешествие в космос. Насколько же удобнее космонавту иметь искусственное тело, которому не нужен ни воздух, ни пища, которому не страшно самое далекое путешествие... Я думаю, товарищи, что работы следует всячески расширять. Товарищу Любовцеву нужно дать лабораторию, нужно поставить вопрос о присвоении Черному Яше научной степени доктора наук.

Вот тебе и птичка, вот тебе и «штрафную!». Душа моя исполнилась трепетного восхищения маленьким морщинистым старичком. Наверное, не только моя, потому что несколько человек даже несмело зааплодировали.

— Несколько слов, Иван Никандрович,— сказал таинственный зам, отпустил пульс и поднялся.— Товарищи, легче всего, как известно, плыть по течению. Для этого не надо прилагать никаких усилий. Надо только держаться на поверхности. Но поскольку течение сегодня сносит нас явно не туда, куда нужно, я позволю себе не согласиться с уважаемым Игнатием Феоктистовичем и всеми, кто столь вос-

торженно отнесся к идее переноса человечества в нейристорные приборы.

— Позвольте, молодой человек, я так не формулировал свою мысль,— слабо выкрикнул Игнатий Феоктистович.

— Прошу прощения, хотя суть была именно такова,— внушительно сказал таинственный зам и поправил свою безукоризненную шевелюру.— Дело ведь, товарищи, не в формулировках. Перед нами возникает картина, которая не может не вызвать самых серьезнейших опасений. С легкостью необыкновенной нам уготавливают некую машинную цивилизацию... Нас призывают отказаться от всего, что с таким трудом достигло человечество в борьбе за существование. Нас призывают отказаться от человеческих эмоций, от человеческой культуры, от человеческого, наконец, общества. Возможно, в ящиках будет спокойнее, но спокойствие никогда не было целью лучших умов человечества.— Таинственный зам строго осмотрел всех нас, и я заметил, как сжался и втянул голову в плечи наш Сергей Леонидович.— Я считаю, товарищи, эту работу принципиально опасной и вредной. Если б я не был уверен в научной добросовестности ее авторов, я бы назвал ее некой современной электронной поповщиной.

Таинственный зам сел, и в ту же секунду вскочил Реваз Константинович, тот самый, который сказал про директора «пошел старик паясничать».

— Очень четко и очень правильно сформулированная точка зрения! — выкрикнул он.— Именно современная электронная поповщина! — Видно было, что профессор решил пуститься во все тяжкие. Впрочем, терять теперь ему было нечего.— Обскурантизм и мистицизм не обязательно рядятся в наивную религиозную тогу. Куда удобнее выступать в наше время в научном обличье. Но суть дела от этого не меняется. Я считаю, товарищи, что работы следует прекратить, приборы размонтировать.

Боже, думал я в каком-то странном оцепенении, неужели эти взрослые люди могут всерьез нести такую чушь? Нужно вскочить на ноги, нужно уличить их в злобном искажении фактов, в клевете! Может быть, Яша даст им отпор или Бис. Но они молчали. Зато вместо них медленно и неуверенно встал наш Сергей Леонидович. На лице его лежала печать трусливого страдания. Предаст, тоскливо подумал я и вспомнил березовую рощу, косые лучи предзакатного осеннего солнца, ковровую упругость опавших листьев и исповедь завлаба. Слабый человек. Предаст.

— Э... несколько слов, Иван Никандрович, я ведь в некотором смысле... как заведующий лабораторией ..— На нашего Сергея Леонидовича было больно смотреть. Он замолчал и тяжело задышал. О господи, сядь же, сядь, не позорься. Но он не сел.— Я хотел сказать, товарищи, что я не автор Черного Яши, но я... э... горжусь, что стоял рядом с таким великим научным событием. Да, товарищи, горжусь. Здесь прозвучали слова «поповщина», «обскурантизм», «мистицизм». Очень точные слова. Только относятся они не к нашей работе, а как раз к тем, кто ими воспользовался, чтобы прикрыть ими научную ограниченность, человеческую трусость и неумение посмотреть вперед. Неумение или нежелание.

— Сергей Леонидович,— сказал директор, но не строго, а с легчайшей улыбкой,— вы пользуетесь ударами ниже пояса.

— Возможно, но мои коллеги начали первыми,— сказал наш Сергей Леонидович и рухнул на стул.

Как я его понимал! Только несмелые люди могут понять, чего нам стоит такое! Ура нашему завлабу! Я чувствовал себя, как на воздушном шаре, на котором поднимался однажды в детстве. Предметы внизу как будто знакомые, но необычный ракурс придает всему сказочную нереальность Так и сейчас. Словно сговорились они все открываться сегодня самыми неожиданными, потаенными сторонами своих натур, которые по глупой своей юношеской самоуверенности я раз и навсегда классифицировал. Тишайший и осторожнейший Эмма мужественно признал ошибку и стал на защиту Яши, Сергей Леонидович, которого не боялись даже лаборанты, наносит негодяям удары ниже пояса. Кто знает, может быть, это было даже большим чудом, чем Черный Яша и мой Бис.

— Ну что ж, товарищи, подведем итоги,— сказал Иван Никандрович, откинулся на спинку кресла и положил руки на стол.— Здесь были высказаны весьма различные точки зрения, что, в общем, неизбежно при обсуждении столь небанальных проблем. Ясно лишь одно. Работа эта, безусловно, переросла рамки нашего института, и мы уже поставили вопрос перед президиумом Академии о создании специальной межинститутской комиссии. Вопрос, следовательно, можно теперь сформулировать так: продолжать ли работы, или подождать создания комиссии...

— Позвольте, Иван Никандрович, а вам не кажется, что сначала следовало бы спросить и нас? — с какой-то студенческой лихостью спросил мой Бис — Мы ведь как-никак не только институтское имущество, мы еще и думающие индивидуумы.

— Не спорю,— сказал директор нарочито сухо,— но и индивидуумы, как известно, переводятся с одной работы на другую и даже, между прочим, увольняются. Впрочем,— теперь он лукаво улыбнулся,— вас уволить нельзя хотя бы потому, что вы в штате не состоите и, следовательно, мне не подчиняетесь. Так? — Иван Никандрович посмотрел на меня и Сергея Леонидовича, и мне показалось, что он едва заметно подмигнул. Сердце мое дрогнуло и потянулось к нему.

— Вы затыкаете всем рот,— крикнул Реваз Константинович, хотя все начали уже двигать стульями,— существование этих машин опасно и безнравственно...

— Благодарю вас,— саркастически поклонился директор,— мы уже выслушали вашу точку зрения.

Таинственный зам демонстративно подошел к Ревазу Константиновичу и пожал ему руку.

Глава 11

Кончилась программа «Время», и начались какие-то соревнования по фигурному катанию.

— Ты посмотри,— сказала мама,— пять три, пять два, это же смешно. Девочка должна была получить как минимум пять и девять. Ты видел, какой она сделала тройной прыжок...

Я не видел, какой она сделала прыжок. Я тупо смотрел на экран и ничего не видел. Снова и снова память услужливо проворачивала замедленный повтор сегодняшнего совещания. Как могут быть люди так слепы, так ограниченны и трусливы. И так смелы.

Я вскочил, натянул на тренировочный костюм куртку и надел шапку.

— Куда ты? — испуганно спросила мама — Сильнейшая группа еще не выступала.

— В институт.

— В институт? В десять часов вечера? Зачем?

Я и сам не знал зачем. Я знал лишь, что должен быть в эту минуту около Черного Яши и Биса. Почему, почему я пошел домой, а не остался в лаборатории? Да, мы долго разговаривали с Сергеем Леонидовичем, снова и снова переживали перипетии схватки. Веселые, говорливые и возбужденные. Команда после выигрыша финального матча. И ни разу, ни на секундочку не подумал я, что, кроме нашей петушиной гордыни, может быть и другая реакция на ученый совет. Особенно у Яши.

От остановки автобуса до института я почти бежал. И чем быстрее я несся, разбрызгивая слякотный мокрый снег, тем острее саднило в душе беспокойство. Я ворвался в подъезд почти в истерическом состоянии.

— Ты что? — поднял голову Николай Гаврилович.— Забыл чего, что ли? Ты вот лучше послушай, что тут пишут об этой... погоди, сейчас... фри-гид-ности у баб Слышал? А я-то со своей всю жизнь прожил и слыхом не слыхал. Чаю хочешь?

Я никак не мог попасть ключом в дверь. Наконец я открыл ее. Свет в комнате горел, было почему-то очень холодно. Я посмотрел на окно: так и есть, открыто. Кто забыл его закрыть? Я думал об этом очень медленно и обстоятельно, потому что уже знал: стоит этой никчемной мыслишке ускользнуть из моей головы, как на смену ей придет нечто страшное.

И оно пришло. Я услышал голос Биса.

— Он был все-таки не совсем человеком, Толя.

— Что ты говоришь? — заорал я.

— Он понимал все, он не мог только понять трусов и идиотов. Он молчал весь вечер, Толя. Потом он сказал: «Передай Толе, что я не хотел его огорчить. Я люблю его. Никто в этом не виноват. Просто я появился слишком рано. Люди еще не готовы принять меня»... О, если бы у меня была тележка, как у него! Но я ведь до сих пор недвижим. Я что-то кричал, вопил, но он не слушал меня. Он подъехал к окну, раскрыл его, отъехал, разогнался и перевалил через подоконник.— Бис всхлипнул и долго молчал.—Мы забыли, что он все-таки не был человеком в полном смысле этого слова. Он не прошел курс эмоциональной закалки. У него просто не было иммунитета к тупости и ограниченности. Он был гениальным, но абсолютно не защищенным младенцем. Как мы могли с тобой не подумать, что это, нам с тобой казавшееся победой, может стать для Яши страшным шоком...

Бис замолчал, и речевой синтезатор донес до меня какие-то странные звуки. Наверное, он плакал. Мы плакали.

— Ничего, транслятор остался, и все еще только начинается...— Я не знаю, то ли это я сказал Бису, то ли он мне, то ли мы оба друг другу.

Я закрыл рамы и медленно пошел вниз, туда, куда выходило окно триста шестнадцатой комнаты.

СЕРГЕЙ
АБРАМОВ

СТРАННИКИ

ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАЗИЯ

1

Приглушенные тона осени...

Да нет, вздор: как же тогда — буйство красок, бунинское «осенний пестрый терем»? Лес — желтый, красный, оранжевый, но еще и зеленый и коричневый под ногами. И рыночные астры и желтые маковки золотых шаров. Это — из ряда природного. А есть еще ряд урбанистический, по-простому — городской: желтые, красные, оранжевые, зеленые, коричневые «Жигули» и «Москвичи», цветные квадраты «классиков» на асфальте, черно-белые, контрастные жезлы милиционеров. Ну и одежда, конечно: одеваются нынче ярко, толпа пестрая, нарядная.

Все так. А как быть с небом?

Вспомнили Бунина — не грех вспомнить и Александра Сергеевича. «Уж небо осенью дышало...» Осеннее небо — блеклое, выцветшее под летним солнцем, выгоревшее, его уж и голубым иной раз не назовешь, а если облака набегут, затянут — серым-серо...

— Бородин, спишь?

Это ему. Как гром небесный, как возмездие за леность мысли. Последний учебный год, пережить бы, перемочь...

— Куда там, Алевтина Ивановна, разве заснешь?

Хамский ответ, конечно, но Алевтина простит.

— Дома надо спать, Бородин, а на занятиях слушать педагога.

— Я слушаю, Алевтина Ивановна, я весь — одно большое ухо.

Улыбнулась. Представила Игоря Бородина в виде уха. А однокашничкам только палец покажи...

— Тихо, тихо... Прямо дети... Кончили разговоры, продолжаем урок...

Продолжаем... Итак, на чем мы остановились? Ах,

Рисунки А. Белоусова.

да: приглушенные тона осени. Окна в классе чистые, отдраенные перед началом учебного года, за одну сентябрьскую неделю не запылились, а видно-то сквозь них лишь небо, тусклое, как стиранные-перестиранные джинсы с заплатами облаков. Каково сказано? Сравнение в духе конца двадцатого века, броское и убедительное, а также лаконичное.

— Ну ладно,— опять Алевтина, неймется ей,— до звонка — пять минут, я вас отпускаю. Только тихо!..

Экое благородство! Хоть пять минут, да наши.

— Бородин, останься.

Не вышел номер.

— Надо ли, Алевтина Ивановна?

— Ну ты и нахал, Бородин! Если я говорю, значит, надо.

— Хозяин — барин,— это уж по привычке, чтобы его слово последним было. А так-то зря к Алевтине цеплялся, безвредная она и историю неплохо ведет, интересно...

— Что с тобой, Игорь?

— А что со мной, Алевтина Ивановна?

— Ты в последнее время стал каким-то рассеянным, остраненным.

Красивое слово — «остраненный». А ведь если вдуматься — ничего хорошего. Остраненный — со странностями, сдвинутый по фазе, псих ненормальный. Спасибо, Алевтина Ивановна.

— Спасибо, Алевтина Ивановна.

— За что?

— Да нет, это я так.

— Что случилось, Игорь? Ты здесь — и тебя нет. На других уроках так же?

— Вам жаловались?

— Пока нет.

— Уже приятно.

— Десятый класс, Игорь, выпускной год. Ты идешь на медаль...

Иду на «вы» Кто кого: я — медаль, или она — меня?

— Не волнуйтесь, Алевтина Ивановна, я постараюсь не подвести родную школу, альма-матер, так сказать, куда мы ребятишками с пеналами и книжками...

— Ну что ты за человек, Бородин?

Что за человек? Да так себе, серединка наполовинку, ученый мальчик с пальчик ста восьмидесяти сантиметров от полу.

— Обыкновенный человек, Алевтина Ивановна. Да вы не беспокойтесь, не надо, ничего со мной не случилось, просто сообразил, для чего мне голова дана.

— А раньше не знал?

— Раньше я ею ел. А теперь еще и думать начал.

— Лучше поздно... И о чем думаешь, если не секрет?

— Обо всем, Алевтина Ивановна, мало ли о чем. Как надумаю — сообщу.

— Ну иди, Бородин, думай...

Вот и поговорили. Алевтина огорчена: не проникла в душу юноши Бородина, не нашла контакта, сейчас клянет себя почем зря. И вправду зря. Бородин и сам нынче своей души не ведает, она ему — потемки. Бедный, бедный Бородин... Так и заплакать недолго — от жалости к себе. А между тем права Алевтина: год выпускной, а завтра контрольная по физике. Хотя она и несложной быть обещает, однако же подготовиться надо.

Вышел во двор, навстречу — Пащенко, гордость школы, прыгун в высоту, отличный парень, друг и товарищ.

— Чего ты к Алевтине пристал?

— Это не я к ней, это она ко мне.

— Как завтра с физикой?

— А как? Напишем, не впервой.

— Я за тобой сяду, лады?

— Нет проблем, Валера.

— Что вечером делаешь?

— Д у м а ю,— подчеркнул голосом.

Пащенко засмеялся.

— Ты, часом, не подался ли в дзэн-буддисты? Самосозерцание, самоуглубление... Хочешь, мантру подскажу?

«Мантра» — вещее слово, зацепка для ухода в нирвану. Интеллектуальный человек Валера Пащенко, все-то он знает, все-то он слышал.

— Спасибо, Валера, у меня есть.

А что ему еще ответить?

— Не спрашиваю, не любопытствую, удаляюсь, удаляюсь. Помни о контрольной!

Помню, помню, на память пока жалоб нет. Все будет в порядке, Пащенко заглянет через плечо с заднего стола, с его ростом это несложно, сдует что положено...

Вещее слово — «память». Отличная зацепка для самоуглубления. А какая память у семнадцатилетнего пацаненка, еще не жившего, а прораставшего у папы с мамой на виду? Память на события: переезд на новую квартиру, недельный поход на велосипедах по Московской области, поездка с отцом на Урал, «О, море в Гаграх! О, пальмы в Гаграх! Кто побывал, тот не забудет никогда...». Память на вещи: опять же велосипед «Старт-шоссе» с десятью передачами — мечта восьмиклассника Бородина, потом цветной телевизор, новая мебель, пятидесятитомная детская библиотека... Память на встречи: тут всего и не перечислить... Что еще? А ничего. Нечего вспоминать. И тогда на помощь может прийти чужая память. Отцовская, например. Хотя у него тоже, честно говоря, многого не наберешь. Единственное, что было,— война. Так он тогда мальчишкой существовал — в эвакуации с матерью, с бабкой Игоревой. А отец, то есть дед Игоря, тот воевал, тому было бы что вспомнить для внука, да не дожил он до Игоря, умер в шестидесятом.

Итак, отцу нечего вспоминать, самому Игорю нечего вспоминать. Второе поколение беспамятных. А точнее, тех, кого жизнь не била, не устраивала кому испытаний, в которых человек проверяется на сжатие, на растяжение и на изгиб, говоря языком нелюбимой Пащенко физики. Второе поколение благополучных. Скучно жить на белом свете...

День у него был расписан по клеточкам: после школы обед, оставленный матерью на плите и в холодильнике, уроки — под ярким девизом «Иду на медаль!». Потом быстренько переодеться, хлопнуть дверью, бегом вниз, через дорогу, плюя на светофоры, в боковые ворота парка «Сокольники», мимо Дворца спорта, мимо кафе «Фиалка», мимо павильона аттракционов, мимо детского городка с деревянными лисами, волками и бабой-ягой, мимо забора международной выставки — дальше, дальше, в лес, в осенний парк, где еще не поменявшие рыжую шкурку белки прыгают на плечо, тянут тупую мордочку за подачкой.

Там, за поломанной скамейкой, на которой никто не рискует сидеть, есть двойная береза, как гигантская рогатка. Можно встать около, прислониться спиной к шершавому стволу, закрыть глаза...

А потом открыть и увидеть другой лес, и дорогу в другом лесу, сухую, еще по-летнему пыльную, и низкий костер у дороги, и старика Леднева, прилаживающего котелок над костром. И услышать привычное:

— Набери веточек, Игорек.

2

За ветками далеко ходить не пришлось: начало осени, лето, видать, жарким было, безводным, сушняка кругом много. Целую осинку, невесть кем сломанную, притащил к костру Игорь, высохшую уже, без листьев. Старик Леднев котелок приладил, достал из котомки жестяную банку, давно обесцвеченную, со стертым рисунком, отсыпал чаю на ладонь, понюхал.

— Ах, нектар, чистый нектар...— Сыпанул в котелок, оттуда зашипело, будто не чай, а зелье какое-то брошено в воду.

Вообще-то говоря, Игорю не нравился чай, сваренный, как суп, непрозрачный, черный, хотя и духовитый. Он поморщился, заранее представив вкус «супа», но не стал лезть с замечаниями, сказал только:

— Нож дайте.

— Ножичек тебе, ножик...— Вроде бы засуетился Леднев, однако без всякой суеты, точным движением сунул руку в котомку, достал складной охотничий нож с костяной рукояткой.— Не поранься, Игорек.

— Ништо...— вспомнилось читанное где-то слово, старое, даже ветхое, «из Даля», как говорил отец. Мертвый язык.

Но старика Леднева на простачка не купишь. Бровь приподнял, глянул.

— Стилизуешься, Игорек... Не твое выражение, простонародное, а ты — мальчик из бар...

Спорить не хотелось. Подбрасывал к костру осиновые ветки, думал, что плохо без топора. Едят всухомятку, только чаем и заливают сало да хлеб — из той же котомки Леднева. Хорошо прийти в деревню, остановиться у кого-нибудь в избе, выпить молока, коли окажется, похлебать настоящего супу. Правда, откуда он в деревне — настоящий? Мяса нет, а с картошки да свеклы особо не разжиреешь. А что о топоре пожалел, так вот почему. Раз к вечеру уворовали картошки с чьего-то поля, хорошая картошка здесь уродилась, крупная, крепкая — так пока сварили, Игорь все ноги оббил, хворост для костра таскал, чтоб не угас тот раньше времени. А был бы топор, нарубили бы дровишек...

Топор был в московской квартире Игоря, но квартира та существовала в ином мире, в ином времени, в ином измерении, короче — неизвестно где, и приносить оттуда нельзя ничего, это Игорь знал точно.

— Чай готов, извольте кушать! — пропел Леднев, произвел над котелком, над паром какие-то пассы, потом сел, скрестив ноги, угомонился, сказал скучно: — Разливай, Игорек. Чаек — дело святое, от него любая болесть сгинет.

Пили чай из кружек, обжигались. Сало с хлебом старик еще раньше нарезал, хорошее сало.

Игорь сказал не без ехидства:

— А «болесть», выходит, ваше слово? Тоже под народ рядитесь?

— Ряжусь, Игорек.— Против обыкновения Леднев был спокоен, не петушился, не лез на рожон. Отставил кружку, ухватил в пятерню свою университетскую бородку, глядел, как умирал у ног слабый костер.— Это раньше, году эдак в тринадцатом, все ясно было. А нынче на дворе — восемнадцатый. Нынче и понятное непонятным стало. Нынче мы все ряженые, иначе не проживешь. Ты ко мне: маска, маска, я тебя знаю. А под маской — другая маска, и ничего ты, оказывается, не знаешь, не ведаешь. А что под народ, так все мы с одной земли вышли. Помнишь, у Ивана Сергеевича: «Мой дед землю пахал...»

— Ваш — вряд ли.

— Ну, мой дед не пахал, не пахал, так по земле ходил, по той, по какой и мы с тобой ходим.

Игоря порой раздражало ерническое многословие Леднева, пусть безобидное, пустое, но уж больно никчемушное в это трудное время, которое сам Леднев называл братоубийственным.

— Павел Николаевич, дорогой, вы же профессор русской истории, красивым слогом с кафедры витийствовали, студентов в себя влюбляли. На кой черт вы рядитесь, да не в народ даже, а в шута?

Обиделся старик? Вроде нет, а вообще-то кто его знает?..

— Шуты — они народу любы... А ты, Игорек, откуда знаешь, кем я с кафедры витийствовал? Может, шутом и витийствовал? Может, за то студенты-студиозы меня и любили?.. Да и не профессор я давно, а проситель, по миру пущенный. И ты со мной, сынок интеллигентных родителей, баринок безусый,— тоже проситель. Нету сейчас ни профессоров, ни дворян, ни студентов, ни интеллигентов. Есть люди, которые жить хотят. А точнее, выжить...

— Тоска-то какая в слове: вы-ыжить... Выть хочется.

— А ты и повой. Над всей Россией вой стоит: брат на брата войной идет.

— И какой же из братьев прав?

— Оба дураки. Им бы в мире блаженствовать, а они мечами бряцают.

Все это уже было, было, разговор многосерийный, долгий, как в телевидении, которое еще не изобрели.

— Мир в человецех и благоволение, и царь-батюшка сим миром мудро правит?

— Ну, это ты, Игорек, слишком. Время для царя кончилось.

— Это вы так считаете, а кое-кто из братьев, вами помянутых, иначе думает. Оттого и мечом бряцает.

— У тебя родители кто? Инженер папаша, так?.. А думаешь не как инженеров сын, а как кухаркин.

— Сами-то вы из каких будете, Павел Николаевич, не из кухаркиных ли?

— Груб ты, юноша, но прав по сути...— Засмеялся, откинулся на землю, задрал горе́ бороденку.— Хорошо в небе-е...

Игорь тоже лег на спину, сунул в рот травинку.

Ему иной раз хотелось рассказать мудрому профессору о том, что завтра будет, что послезавтра, что потом. Поведать, какой из братьев прав, как говорится, исторически, а значит, и житейски — не сегодняшней правотой, сиюминутной, а истинной, которая неподвластна времени. Профессор не дурак, давно его Игорь раскусил, притворяется старик хитро, комедию ломает, нравится ему шутом себя ощущать, да и вправду с людьми у него разговор хорошо получается, верят ему люди, какие встречаются на их пути. И не исключено, поймет его профессор, да толку-то что? В песне, которую он, наверно, не знает, но которую поют уже и еще раньше пели, есть такие слова: «Вышли мы все из народа». Профессор для людей его круга, для университетской элиты — типичный выскочка, сын мужика-землемера, кухаркин ребенок, сам себя,

подобно Мюнхгаузену, за волосы «в люди» вытащил. Ему ли не знать, кто прав? И разговор этот, как уже отмечалось, давно между ними ведется, Игорю до смерти надоел, а старик Леднев — как огурчик, как юный пионер: всегда готов покалякать, поискать истину в мутной воде слов.

Короче, можно было бы объяснить старику на пальцах ту Историю, о которой он пока не ведает, нет пока которой. Можно, но не нужно. Не для того Игорь пришел в этот мир, в это время, в эту память...

А для чего пришел?..

Звезды над головой висели неподвижно, и, если прищуриться, небо превращалось в тонко нарисованный театральный задник из какого-нибудь виденного в детстве спектакля — ну, скажем, из «Синей птицы».

— В Москву бы скорей...— мечтательно протянул Игорь.

— Далеко до первопрестольной. Тут верстах в пятидесяти городок есть, помню...

— А Пеликан где, сказал, будет?

— Бог ему судья. Кто что про Пеликана знает?

— Жалко.

— Никак соскучился?

— Да нет, так просто...

А ведь соскучился, а, Бородин? Соскучился по Пеликану, по тайне, что с ним рука об руку ходит, по улыбке его, по приговорке глупой: «Ехали бояре». Кто такой Пеликан? Что за прозвище дурацкое, птичье? И не просто птичье — Сорока или Орел, а экзотическое, броское. Леднев зовет его по-человечески: Григорий Львович. Но Пеликан вроде бы обижается, во всяком случае, делает вид, что обижен. Зови меня птичьим именем — и все! Вот нос у него, конечно, здоровущий — может, оттого?..

Он появляется и исчезает как бог на душу положит: только-только возник, а через пару часов его и след простыл. Но идет параллельным курсом с Ледневым и Игорем, в те же края движется.

Игорь спрашивал его, кто он такой и откуда.

Смеется, отшучивается: «Пеликаны — птицы вольные, южные»... Странный человек.

Да, хорошо, что вспомнил:

— Павел Николаевич, а кто в Лежневке?

— Не понял тебя.

— Красные или белые?

— А хоть зеленые — все люди.

Ну уж так! У Игоря на этот счет другое мнение имелось.

— А все-таки?

— Не знаю, Игорек. Придем — посмотрим.

— Не поздно ли будет?

— Кого ты боишься? Красных? Белых?

— Зеленых...— буркнул, не желая объяснять в тысячный раз, чтоб не возвращаться к утомительному старому спору. Старику только повод дай... Забавно: сколько они идут, а все как-то получается, что ни белых, ни красных в лицо, так сказать, не встречали. В какую деревню ни зайдут — пусто, никто постоем не стоит. Объясняют: были, вот-вот снялись. А кто был? Когда одни, говорят, когда другие. А какие лучше? Молчат, мнутся. Это-то понятно, боятся прохожих людей. Скажешь: красные хороши, а вдруг белым донесут? И наоборот.

Люди...

По-ледневски: выжить хотят.

Сказал о том Пеликану, а он смеется.

— Ишь, чего придумал, ехали бояре! Они, брат, честнее нас с тобой живут и жить будут. И молчат, потому что врать не хотят, а как по правде — не знают еще.

Игорь ему напомнил услышанное:

— У стариков Чоховых двух дочерей белые запороли.

А Пеликан опять смеется.

— Верно! Так в деревне, ехали бояре, красных пока не было. Вот они и не знают, сколь дочерей те запорют.

Игорь возмущался:

— Ну, знаешь, говори, да не заговаривайся!

А Пеликан смотрел на него хитрым глазом, другой сощурив до щелочки, спрашивал вроде начальнически:

— За красных страдаешь, милок?

И весь разговор. Ах, Пеликан, Пеликан, Григорий Львович...

Старик Леднев, профессор исторический, заворочался, устраиваясь поудобнее, сказал сонным голосом:

— А не мудренее ли утро вечера? Ложись, Игорек, спи, родной, завтра ра-а-аненько разбужу, чуть свет.— И захрапел. Засыпал, он всегда, как младенец, ни о какой бессоннице не слыхал, пилюль в котомке не носил.

А Игорь не спал. Закрыл глаза, потом снова открыл и увидел другой лес, еще светлый, предвечерний, прозрачный, и тропинку, протоптанную сотнями ног, и сломанную скамью, и рогатку березы. Дома он уже был, дома.

3

Что все это было?

Сон наяву? Расшалившаяся фантазия? Воображение, столь же болезненное, сколь и богатое?..

Или иначе. Традиционное путешествие во времени? Шаг в другой мир? Сложная наведенная галлюцинация?..

Если бы Игорь Бородин любил научную фантастику, то он запросто мог бы применить такие термины, как, например, «нуль-переход» или еще почище — «нарушение целостности пространственно-временного континуума». Щедрые на выдумку фантасты лихо объяснили бы все и вся, подвели бы научную базу — на уровне доброй гипотезы, навсегда заклеймив случившееся, как, скажем, «эффект Бородина». Каково, а?

А в общем-то никак. И ответ на естественный вопрос — что все это было? — увы, не существовал. Игорь и не задумывался над объяснением, просто шел к березе и...

Кстати, береза, как оказалось, прямого отношения к переходу не имеет. Однажды, опасаясь, что встретит родителей, возвращающихся с работы, что начнутся вопросы: куда? зачем? когда вернешься? — Игорь ушел в прошлое прямо из дома, из собственной комнаты. Не в березе дело — в самом Игоре. В чужую память можно путешествовать с любого вокзала. Просто с двойной березой связано самое первое путешествие, а Игорь всегда был склонен романтизировать приметы места...

Но между тем контрольная грянула в свое время, то есть в наше — время памяти Игоря и Валеры Пащенко, у которого память была похуже, чем у приятеля: плохо он запоминал формулы, всякие физические законы, считал себя прирожденным гуманитарием. Однако списал все умело, без ошибок, не вызвав никаких подозрений у физика. А уж радости-то потом!..

Хлопнул Бородина по плечу.

— Это дело надо отметить.

— Каким образом? — заинтересовался Игорь, поскольку пащенковская формулировка наталкивала на известный вывод.

Но спортсмен Валера Пащенко остался верен себе.

— Есть предложение,— сказал он.— Идем в гости.

— К кому?

— К Наташке Яковлевой.

Это предложение стоило обдумать.

— Повод?

— А так.

Хороший повод, убедительный.

— У тебя что, сегодня тренировки нет?

— Угадал! Так идем или как?

— А не выгонит? — все-таки усомнился Игорь.

— Нас?! Хо-хо! Она будет рада неземной радостью, ибо...— Тут он задрал к небу указательный палец, значительно потряс им где-то на уровне второго этажа, но разъяснять свое «ибо» почему-то не стал.— А к ней, между прочим, подруга приехала.

— Что за подруга? Откуда знаешь?

— Ответ первый: с подружкой Натали купалась в море. Ответ второй: сама сказала.

— Убедил. Тронулись.

И тронулись, благо идти недалеко. А к березе Игорь решил позже пойти, не уйдет от него путешествие...

Семнадцать лет, славный возраст, его понять надо. И Натали, одноклассница милая, недурна собой, волнует сердца сверстников-акселератов, а уж подруга, загадочная незнакомка с черноморским загаром — тут, как говорится, без вариантов, тут двух мнений не существует: спешить, знакомиться, побеждать, немедля, немедля. «И очи синие бездонные цветут...»

— А куда ты в последнее время исчезаешь? — нарушил молчание Пащенко, не ведая, что вторгся в хрупкий мир грез о Прекрасной Даме, расколол его своим приземленным вопросом.

Почему Игорь и был сух:

— Не понимаю, что ты имеешь в виду.

— Что ни вечер — ищи тебя, свищи.

— Гуляю.

— Один? Или кое с кем?

Игорь вовсе не собирался посвящать друга, даже самого близкого... во что? — ну, скажем, в тайну двойной березы. Нет, серьезно, то, что происходило в чужой памяти, принадлежало только ему и никому больше, никто не имел права даже заглянуть в мир, обретенный Игорем, да что там заглянуть — краешком уха услышать, что он есть, этот мир.

Да и есть ли?..

— Один. И кое с кем. С любопытной Варварой, помнишь, что стало?

— Не хочешь — как хочешь.— Пащенко не обиделся.

Он вообще не умел обижаться, счастливый человек. И не то чтобы держал себя этаким гордецом, а просто не видел в обидах смысла: чего зря дуться, когда жизнь прекрасна, и на городских соревнованиях установил личный рекорд — два метра пять сантиметров со второй попытки, и кубок завоевал, и погода улыбается, и все девушки будут наши.

Конечно, кое-кто назвал бы Валерку человеком с примитивной нервной организацией, но Игорь-то лучше других знал, что это не так, что Пащенко — просто добрый и умный парень, для которого радость — нормальное чувство, естественное состояние. А люди с тонкой нервной организацией по любому поводу психуют, сохнут от злости к ближним и дальним и выпендриваются тоже по любому поводу. Игорь, увы, не лишен был некой тонкости этой самой организации, и она доставляла ему немало хлопот. Во всяком случае, Валерке он завидовал искренне.

Как только подошли к Наташиной двери, Пащенко, ничтоже сумняшеся, затрезвонил в дверной электрический колокольчик, поднял тревогу в квартире. И когда Наташа открыла, заорал победно:

— Принимай гостей, коли не шутишь!

Наташа, могучая блондиночка, ростом под стать иному парню, хорошенькая, хотя и несколько кукольная — ведь бывают же куклы-гиганты, а? — оглядела улыбающегося Пащенко и Игоря заметила, сказала мрачно:

— Какие уж тут шутки... Ну, заходите, раз явились.

Будь Игорь один, повернул бы назад немедленно, не стерпел бы такого тона. Но Пащенко чужд был светских условностей: сказано «заходите», значит, зайдем. И танком ринулся в квартиру, выясняя на ходу:

— Кто дома? Одна? А где подруга? Ах, здесь... Так чего ж врешь, что одна? — И влетел в комнату.— Здрасьте, здрасьте, меня Валерой зовут.

А из кресла — навстречу — и впрямь Прекрасная Дама, загорелое существо семнадцати лет, тоже блондинка, но значительно меньших габаритов, очи голубые, ланиты смуглые, уста, естественно, сахарные...

— Настя.

— И мне очень приятно,— забалагурил Пащенко, закрутился по комнате, забегал из угла в угол.— А вот, рекомендую, мой лучший друг Игорь, чистейшей души человек, интеллектуал и дзэн-буддист, достигший невероятных глубин погружения.

Наташа — она-то Пащенко наизусть знает — прислонилась к дверному косяку, улыбалась, а Настя, несколько оглушенная, спросила:

— Погружения куда?

— В нирвану,— захохотал Пащенко,— в таинственные недра подсознания, в глухие леса седьмой сигнальной системы.

Настя смотрела на Игоря с явным интересом.

— Вы и вправду дзэн-буддист?

— Да шутит он, дурачится, что вы, не видите? — сказал Игорь и сел в кресло.

Настя ему понравилась.

— А-ах, шутит,— облегченно вздохнула Настя. Судя по всему, она страшилась непонятного, предпочитала ясное, реальное, земное.— Ну, а то, что вы Игорь,— это не шутка?

— Истинная правда...

Пошел разговор о том о сем, о минувшем лете и грядущей зиме, об увиденных фильмах и услышанных дисках, ни к чему не обязывающий, но очень приятный разговор, вполне светский, если это понятие вольно отнести к не очень светскому возрасту собеседников.

С Настей у Игоря много общего оказалось: и стихи она любит, и джаз предпочитает, и русской историей интересуется. Так все преотлично шло, как Пащенко, невежа и торопыга, возьми и спроси:

— Натали, а когда родичи вернутся?

Наташа на часы взглянула, прикинула:

— Мама должна через полчаса быть. А что?

— Сматываемся.— Пащенко вскочил с кресла.

— С каких пор ты моей мамы боишься? — удивилась Наташа.

— Я ее не боюсь. Я не хочу ей лишний раз мозолить глаза.— Бесхитростный Пащенко своим заявлением выдал тайну: выходит, он слишком часто м о з о л и т г л а з а Наташиной маме, то есть нередкий гость в ее доме. Другое дело, что тайна эта давным-давно Игорю известна, и не только Игорю — всей школе.

Ну, а Настя... Причастный к чужой тайне, Игорь не прочь был создать — именно так: создать! — свою. Общую с Настей. А значит, Пащенко и тут помог ему. Сейчас они уйдут от Наташки, Пащенко, как лучший друг, друг тактичный, скроется с глаз долой, а Игорь пойдет провожать девушку. Осень, падают листья, ветер кружит их по асфальту... Лирика!.. Мало ли что возможно осенним вечером...

Так и получилось. Правда, Наталья чуть-чуть подулась: как, ее бросают? И даже лучшая подруга, которая, кстати, пришла к ней скоротать вечер, вдруг поддалась необъяснимой панике, тоже спешит неизвестно куда. Но Наталья умная, ей ясно стало, куда спешит подруга. Вернее, зачем.

Пащенко распрощался с Игорем и Настей у подъезда, согнулся пополам, пополоскал у ног воображаемой шляпой, подмел пыль с асфальта воображаемым пером и с воплем «Адью, ситуайены!» исчез в осеннем сумраке, чтоб не сказать — мраке.

— Где вы живете, Настя? — спросил Игорь, потому что с чего-то надо было начинать.

— На Кутузовском. Я еду до Дзержинки, а оттуда — на маршрутке.

— Но ведь еще довольно рано,— стараясь быть небрежным, сказал Игорь.— Может, погуляем?..

И вдруг — в старых романах написали бы: «как молния сверкнула в мозгу юноши!» — он сообразил: у него же нет времени!.. За весь вечер Игорь ни разу и не вспомнил о старике Ледневе, который остался там, один, в осеннем лесу у проезжей дороги...

Даже Настя почувствовала, что с Игорем что-то случилось, но не спросила ничего, лишь взглянула с тревогой.

— Простите меня, Настя,— глухо сказал Игорь.— Я не могу вас проводить. Мне очень жаль...— И замолчал, ожидая, что сейчас произойдет непоправи-

мое — она повернется и уйдет и будет права. Во всяком случае, он бы на ее месте так и поступил.

Но, к счастью, Настя-то пока была на своем месте. Она не повернулась и не ушла, а спросила:

— Вам надо спешить?

Игорь обреченно кивнул.

— Идите. Я сама доеду. Не волнуйтесь.

Она смотрела на него, будто чего-то ждала.

— Простите меня, Настя,— повторил он.— Я очень хочу вас видеть. Можно я вам завтра позвоню?

Ну, когда бы еще Игорь рискнул так сразу, ничуть не стесняясь, сказать все, что думает, что чувствует сейчас? Да никогда, не было с ним подобного. А тут то ли волнение, что потеряет он ее, помогло, то ли странная его раздвоенность: и хочется остаться, и старик Леднев ждет — и подготовила то, что он сказал.

И Настя тоже не подкачала.

— Конечно, позвоните. Я буду ждать. Телефон вам Наташа скажет, я ее предупрежу.— Вот тут она повернулась и пошла, не оборачиваясь: все-таки надо марку поддержать, именуемую женской гордостью. Или женской независимостью.

А Игорь смотрел ей вслед и уже, пожалуй, не видел ее. А видел — внутренним, что ли, зрением? — лес, темный, по-ночному прохладный, узкий покрасневший край неба на востоке: подымалось солнце.

4

Каждый раз, вечером, старик Леднев грозился встать первым, бог знает в какую рань, и беспощадно будить Игоря. Не получалось. Леднев еще похрапывал, с головой накрывшись необъятным брезентовым плащом, а Игорь уже разжигал костерок на месте вчерашнего, на остывших за ночь угольях, набирал воду в ручье или роднике — ночевать старались неподалеку от воды — и тогда сам беспощадно расталкивал профессора.

Вот и нынче приладил Игорь над костром закопченный котелок, медный, луженый, куда тяжелее алюминиевых — современных Игорю, стащил с профессора плащ.

— Павел Николаевич, подъем!

Профессор скукожился на сухом лапнике, колени к подбородку подтянул, руками их обнял, глаз не открывал. Однако сказал:

— Сейчас, сейчас... Отыди от меня, изверг.

— «Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало...» — Игорь не врал: солнце давно поднялось над верхушками деревьев, высветило, выжелтило траву в лесу, грело. День обещал быть теплым, а то и жарким.

— Я же сказал: сейчас... Русского языка не понимает, охломон...— плаксиво затянул Леднев. Вдруг открыл один глаз, левый, уставил его на Игоря.— Заварку не цапал?

— Не велено было.

— То-то! — Споро сел, как ванька-встанька, пятерней лицо утер — умылся вроде. — Закипела?

— Кипит...— Игорь всегда с любопытством наблюдал за процессом утреннего оживления старика Леднева, именно оживления, другого слова не подберешь. Только-только лежал трупом, и — бах! — живой и деятельный, будто и не спал вовсе...

Леднев чай сварил, заварки его драгоценной никто не трогал, вот он и доволен был, даже несколько разнежен.

— Куда ты так торопишься? — только и спросил.

— В Лежневку вашу.

— А там тебе чего?

«Че-го»... Профессор называется.

— Может, Пеликан подгребет...

— Он тебе что говорил, Игорек?

— Говорил: до города увидимся.

— У-у, до го-о-орода... Эдак он в любой момент способен объявиться. Хоть сейчас.

— В Лежневке он будет,— упрямо сказал Игорь.

— Надежды юношей питают... А вот как ты мыслишь, Игорек, не супостат ли наш Пеликан, не тать ли ночной? Вот кличку разбойничью носит...

Попробуй разбери старика: то ли он шутит, то ли всерьез считает Пеликана разбойником.

— Вздор вы несете, Павел Николаевич, и сами о том знаете.

— Почему вздор? — Старик поел, попил, теперь сидел, жизнью наслаждался. А когда он в таком состоянии — Игорь заметил,— то склонен праздно философствовать.— Вот, к примеру, где он бродит? Почему не с нами, коли ему в город надо?

— А может, ему еще куда надо?

— Допустим. А зачем скрытничает? Отчего бы ему не поделиться своими планами с двумя добрыми странниками?

— С вами поделись...

— Обижаешь, Игорек. В своей многотрудной жизни я еще никого не выдал, не предал, на тридцать сребреников не льщусь, ныне их только на рюмку водки и достанет, а ранее, до пролетарского переворота, мне жалованья хватало.

При слове «переворот» Игорь поморщился: слабоват профессор в политграмоте, терминологию путает.

— Все на деньги меряете?

— А идеалы нынче бесплатно дают. С одной стороны: кто был ничем, тот станет всем. А с другой: отстоим святую Русь от посягательств черни. Какой идеал тебе по душе, а, Игорек?

Игорь усмехнулся.

— Первый, конечно.

— А папаша-то инженер, то есть буржуй. Как совместить?

— Отец мой так же думает.

— Хотя новой России инженеры понадобятся: строить-то придется... А вот как насчет профессоров?

— И без них не обойтись, думаю.

— Выходит, и я пригожусь государству рабочих и крестьян! Ах-ах, я роняю слезу от умиления... Значит, я тоже за первый идеал. А Пеликан?

— А что Пеликан?

— Ты, Игорек, про его идеалы что ведаешь?

А что ведает Игорек? Ничего не ведает. Темен Пеликан, аки нощь. Ни красный, ни белый, ни серо-буро-малиновый. Хитрит, темнит, но за всем его балагурством, за шуточками да ужимочками скрывается что-то серьезное — это ясно. Конечно, можно спросить напрямую: за кого ты? Ну, спросил однажды... А в ответ получил: «За маму с папой». Игорь не очень перед Пеликаном раскрывается. Не мальчик, о правилах конспирации наслышан. Тем более легенда однозначна: сын интеллигентных, хотя и небогатых родителей, целый год жил у родственников в Ростове, идет в Москву своим ходом, потому что поезда теперь вещь ненадежная, пешком быстрее и проще, да и землю посмотреть хочется. А то что в Москве видал? Дом да гимназию... По такой легенде ни красным, ни белым быть не стоит: биография не позволяет. Но вот с о ч у в с т в о в а т ь... А кому? Ну, тут Игорь чувств не скрывает.

Кстати, легенды у них со стариком похожи. Тот тоже в Москву топает — аж из Царицына, теперешн-

него Волгограда. Застрял там у родственников покойной жены, а у них самих семеро по лавкам. Лишний рот в тягость. Вот и пошел профессор истории своими глазами историю поглядеть.

Конечно, не легенда это, в отличие от Игоревой, а правда. Старику Ледневу скрывать нечего. Хотя... Убеждений его, по-ледневски идеалов, Игорь не ведает. Так и ответил:

— Я и про ваши ничего не знаю.

Засмеялся меленько, будто Игорь что забавное сказал.

— Мои идеалы давным-давно плесенью покрылись. Когда в Москву придем — если дойдем,— я тебе их презентую в отпечатанном виде. В типографии Московского университета. Называются «Смутное время».

— Учебник?

— Ошибник, прости за каламбурство. Писал о смутных днях в государстве российском, а как дожил до них, смотрю, не о том писал. Вот она, смута...— Он обвел короткими ручками вокруг себя.

Но вокруг был лес и смутой не пахло. Игорь знал: когда Леднев впадал в патетику, лучше разговор прекращать. Слишком много слов...

Дошли до Лежневки быстро, солнце только-только за полдень перевалило. Деревня лежала, соответствуя имени, на двух длинных и плоских склонах, вроде бы сбегала со взгорья, а внизу река текла, узенькая и голубая. И еще церковка на самом верху торчала, как сахарная голова, слишком богатая для такой деревушки церковь — каменная, шатровая, белая, с выложенными красным кирпичом кокошниками, с красными же поребриками, с синими куполами.

Деревня была — из собственной памяти. Точно такую — или похожую? — Игорь видел на картине в Третьяковке. На чьей картине, не помнил, но деревня, выписанная ясно и чисто, с проработанными деталями, запала в память и вот теперь будто возникла перед Игорем — хоть в раму вставляй.

Старик Леднев остановился, привычно перекрестился на еще далекую церковь, сказал тоненько:

— Однако...— Покосился на Игоря: как он?

А Игорю тоже все красивым показалось. Только креститься — увольте, это уж никакая легенда не заставит.

— Тихо чего-то,— проговорил.

— В полях все,— объяснил Леднев.

Возможно, и так. Игорь плохо разбирался в сельском хозяйстве, тем более — в эти давние годы, когда, как помнится, лошаденка заменяла и трактор и комбайн.

— Ну, с богом и со словом божьим.— Старик Леднев набрал воздуха, как будто собирался нырнуть, и покатился по дороге, треща и даже, казалось, гремя плащом. Обернулся: — Авось приютят калик перехожих... Хотя мужиков-то нет. Повыбили мужиков-то, позабривали в защитников. А баба — она разве что может?..

Сильно не нравилась старику Ледневу деревня. В такой деревне, дело ясное, особо не погостюешь, того и гляди — бани не истопят.

— Почему нет мужиков? — стараясь быть равнодушным, спросил Игорь.— Вон один стоит...

В конце улицы, вальяжно облокотившись на забор, улыбаясь в сто зубов, чистый и бритый, стоял Пеликан.

— С прибытием вас, гости дорогие!

И тут, как по сигналу режиссера, откуда-то вынеслись на улицу собаки разных мастей, завизжали, залаяли, помчались по колеям, а какие-то и задержались, начали пришельцев обгавкивать. И то из-под одного забора, то из-за другого стала появляться детвора, в основном мальчишки, босиком, в латаных и просто дырявых портках, а маленькие, сопливые — совсем без порток, кто в рубашонке, кто без оной. Стояли, смотрели на Леднева с Игорем. И то ли порыв ветра тому виной, то ли — Игорь уже склонялся к этому — так было задумано, но бухнул языком колокол на колокольне, разок бухнул и замолчал.

А Пеликан стоял и улыбался.

Чистая мистика!..

Старик Леднев на всю эту фантасмагорию поглядел, глаза к небу поднял, истово перекрестился.

— Что это вы, Григорий Львович, устроили?

— А что я устроил, Павел Николаевич, профессор наш разлюбезный?

— То никого-никого, а то...

И Игорь на Пеликана просительно смотрел, требовал ответа на тот же вопрос.

— Случайность,— хитро усмехнулся Пеликан, подмигивая Игорю.— Пустое совпадение, ехали бояре. А неужто вы, драгоценный Павел Николаевич, в сверхъестественное верите? Не верьте, бога нет, вон и Игорь вам подтвердит. Да вы и сами так считаете, ведь считаете, не спорьте, милейший вы человек...— Тут он подхватил малость ошарашенного Леднева под ручку, под железно-брезентовую десницу, и повел к избе, опять-таки оборачиваясь и подмигивая Игорю.

5

Изба была как изба, не лучше и не хуже других, в которых им уже приходилось ночевать, а порой — это уж какие хозяева попадутся — и делить стол. Игорь посмотрел по сторонам, прикидывая, откуда могут появиться в нужный момент очередные персонажи придуманного Пеликаном спектакля. Однако неоткуда. Ни одной двери, кроме той, что вела в сени.

Пеликан поймал взгляд Игоря, усмехнулся.

— Не жди, никого нету. Хозяин с утра в лес ушел.

— А остальные?

— В поле,— повторил Пеликан слова старика Леднева.— Народу мало. Бабы да старики.

— А мужики где? — сварливо спросил Леднев, еще, кажется, не пришедший в себя после уличного представления.

— Кто в красные подался, кто в белые, кто в зеленые. Деваться некуда, ехали бояре...

— А хозяин?

— Старик. Восьмой десяток потек. Только грибом и сыт.

Леднев сел на лавку, подобрал полы плаща. На лице его читалось неодобрение.

— Бедно живут...

— А то! — подтвердил Пеликан.— Придется вам нынче попоститься, Павел Николаевич. Деревенька беднейшая, не чета Ивановке.

Леднев, не вставая, потрогал ладонью печь: холодная. Вздохнул.

— Я что? Я ничего. У нас тем более сало есть.

— Тогда поешьте его сейчас, Павел Николаевич, а то вот-вот хозяин вернется, так они здесь сала да-авно не видывали...

— Это как? — не понял Леднев.— У нас на всех хватит. Анна из Ивановки, вы ее помните, Григорий Львович, солидный кус отломтила.

И тут Игорь не без злорадства узрел, как Пеликан краснеет. Узрел и понял, что стыдно Пеликану-великану, хитрому и умнющему мужику, за

свою промашку. Считал: профессор, мол, только о себе и заботится, до остальных ему дела нет. Дела-то ему до остальных, может, и нет, не вспомнит он о нынешнем хозяине никогда, имени в памяти не удержит, но жрать тайком, не поделиться с голодным... Нет, дорогой Пеликан, плохо вы о профессоре думаете! Игорь — уж на что юмористически к нему относится! — такой ошибки не сделает, знает точно, что Леднев — добрый и отзывчивый человек, да и воспитан папой-землемером в лучших традициях.

— Извините, Павел Николаевич,— сказал Пеликан.— Неловко пошутил. А видеть вас рад душевно, соскучился, честное слово. Устали с дороги?

— В некотором роде.— Леднев казался несколько растерянным от непривычной вежливости Пеликана, не баловал их тот изысканными оборотами, а над стариком так и вовсе посмеивался. Правда, беззлобно.

— Небось, о баньке размечтались? Так это доступно, ехали бояре. Вода и дрова есть, а топится она с утра. Сейчас туда, поди, и войти страшно...

Однако рискнули. Игорь не испугался предупреждения Пеликана, выдержал положенное в африканской жаре и теперь сидел с Пеликаном на шатком крыльце, расстегнув рубаху до пупа, дышал. Именно так: дышал, и ничего больше, потому что после парной одного лишь и хочется — отдышаться на свежем, обманно холодном воздухе.

Старик Леднев ушел в комнату, влез на печь, давил храпака, видел во сне прекрасное смутное время, когда все было ясно и просто: вот одни бояре, вот другие, вот самозванец с поляками... Не то что сейчас!

— Как бродится, Игорь? — спросил Пеликан. Он облокотился о верхнюю ступеньку, подставив ветру могучую, покрытую густыми черными волосами грудь, разбросал по земле босые ноги в белых подштанниках.

Игорь скептически глянул на свои — тощие, хорошо еще, что загорелые и тоже малость волосатые. Про трусы его и Пеликан и профессор уже спрашивали, домогались: что за мода, откуда такая невидаль? Чего-то объяснил, придумал про Европу, про парижские силуэты. А дело в том, что, собираясь сюда, отыскивая рубаху и брюки попроще, «вневременные», не подумал совсем, что трусов Россия-матушка в те годы не знала, куда позже они появились. Вот и пришлось выкручиваться...

— Чего молчишь, Европа? — поддел-таки его Пеликан, не утерпел.

— Нормально бродится, Пеликан.

— А зачем тебе это нужно, ответь-ка?

Точный вопрос! Пеликан и сам не подозревает, что попал в яблочко. Зачем он здесь, Игорь Бородин, мальчик-отличник, благополучный отпрыск благополучных родителей? Что он потерял в это смутное время? И ладно бы польстился на пресловутую романтику, пробрался бы в Первую Конную или к Котовскому, скакал бы с шашкой наголо на лихом коне. Или в неуловимые мстители подался бы. А то в Среднюю Азию, в барханы, с винчестером: по басмаческим тюльпекам — огонь!.. Так нет, бредет по срединной Руси, белых не видит, красных не встречает, ведет долгие и довольно нудные разговоры с ветхим профессором, соней и обжорой, в бане вот моется... Зачем его сюда понесло?

Игорь и сам толком не знал. Только чувствовал, что в хождениях своих с профессором, во встречах с Пеликаном, таинственным и до ужаса манящим к себе человеком, в коротких — на полуслове — разговорах с теми, кто встречается им на пути, в деревнях или прямо на проезжей дороге, в слепых поисках этих обретает он что-то, чего не хватало ему в жизни. Не геройку ее, нет, хотя и не прочь бы встретиться с какой-нибудь засадой белых, чтоб постреляли (над головой!), а то и в плен взяли, в холодную кинули (ненадолго!) — жив еще в нем былой восьмиклассник. Но если не будет с ним такого, не расстроится он, точно знает. Другое ценнее. Что другое — этого он пока не мог сформулировать. Даже для себя, не то что для Пеликана.

Так и ответил:

— Не знаю, Пеликан, пока не знаю.— Спохватился и добавил: — Ну, а вообще-то я в Москву иду, к родителям.

— В Москву и попроще можно. Поездом, например. Ходят поезда, хоть и редко. А все быстрее добрался бы.

— Быстрее мне не нужно.

— Вот и я чувствую. Темнишь ты что-то.

— А ты, Пеликан, не темнишь?

— Я? Господь с тобой!

— Сам недавно сказал: бога нет... А вот кто ты такой, какого цвета — тайга.

— Цвета я обыкновенного, ехали бояре,— хмыкнул Пеликан и почесал грудь.— Черного, как видишь. Таким мама родила. Да и папаня брюнетом был.

— Так и я тебе могу ответить. Иду, мол, потому что ноги дадены. Смотрю по сторонам, раз глаза есть.

— Тут ты не соврал: хочется тебе по сторонам смотреть. Глаза-то широко раскрыл.

— Да что я вижу, Пеликан? Тишь да гладь...

— Везло, брат, счастливец.

— Раскрывай глаза, не раскрывай — кроме красот природы, ни черта не увидишь.

— Вот ты как заговорил, парень... Жаль. Я считал тебя умнее.

Игорь обиделся.

Пеликан понял это, однако сказал:

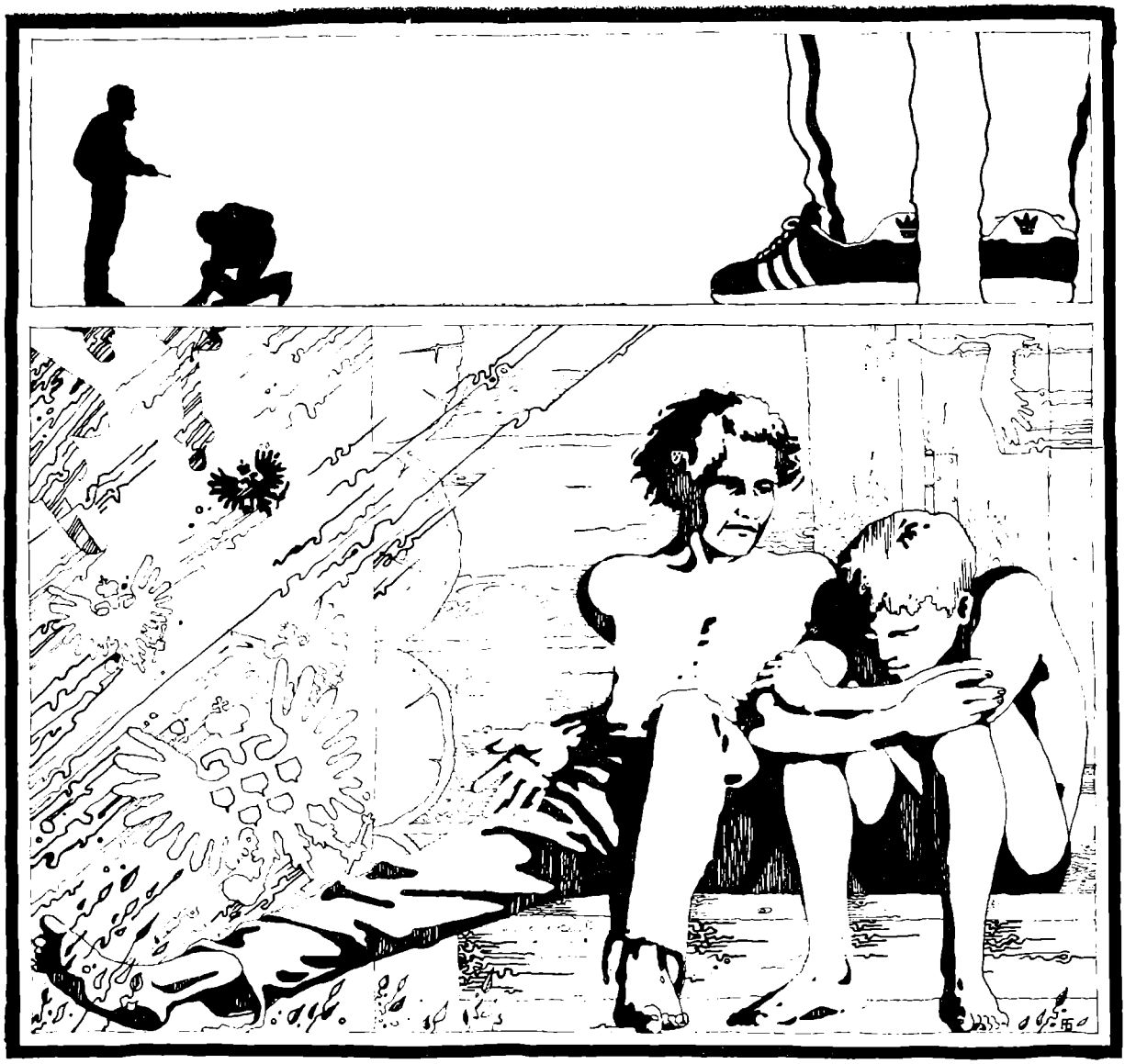
— Сидим мы с тобой, два здоровых мужика, ну, я поздоровее, не в том суть, ехали бояре, но сидим и ни хрена не делаем, пузо солнышку подставляем. А ты вокруг погляди. Что видишь? Нищета вокруг, дорогой Игорек, нищета беспросветная. Здесь белая гвардия, серебряный полк полковника Смирного прошел, все подчистую подобрал. Вон в той избе, видишь, где солома на крыше прохудилась, петух был, один петух на всю деревню, курей не осталось. Так серебряные орлы чего учудили, когда всю жратву враз вымели? Словили петуха — и ну сечь его. За то, что курей, подлец, не уберег. И что ты думаешь? Засекли птицу. По счету — на двадцать втором ударе богу душу отдал, прости, ехали бояре, что опять бога помянул...

— Ты это к чему? — осторожно спросил Игорь.

— А к тому, что, помимо глаз, тебе еще и мозги вручены. Чтоб думать и выводы делать. Лучше правильные.

— Какие же здесь выводы?.. Гады они, твои серебряные орлы...— Игорь очень старался быть бесстрастным, но не сдержался, выдал себя — злость прорвалась, и Пеликан ее заметил.

— Во-первых, не мои они, я-то себя орлом не считаю, именем другой птицы зовусь. А мыслишь верно: гады. И не потому, что петуха жалко. Он один в деревне погоды не сделает, хотя, может, для ребятишек здешних петуха того лучше б сварить. Но поскольку у нас с тобой птичий разговор



завелся, то я об орлах спрошу. Не высоко ль они залетели?

Состояние у Игоря сейчас — прямо в драку бросайся. Вывел его из долготерпения Пеликан, своими подковырками, вывел тем, что сам дурачком представляется и Игоря таковым держать хочет. А черт с ней, с конспирацией, с легендой затруханной, сил нет ахинею слушать!

— Вот что, Григорий Львович,— так и назвал вопреки просьбам,— хочешь знать, что я об орлах думаю? Пожалуйста. Отлетались они, недолго осталось. За что они сражаются? За белую идею? Нет такой идеи! Они Русь отстаивают, отвоевывают. А от кого? От краснопузой сволочи? Так краснопузая сволочь — Русь и есть. Значит, не за Русь, не за идею они воюют, а за себя, за свои права и привилегии. И не понимают, что безнадега это...— В запальчивости употребил школьное слово, любимое слово Валерки Пащенко.

А Пеликан послушал, головой покивал и спросил:

— Все они?

Старая школьная шутка, Игорь ее не раз применял. Когда кто-нибудь соловьем зальется, начнет трепаться, то прервать его бессмысленным вопросом, к делу не относящимся, и тот сразу же запнется, недоумевая, начнет выяснять суть вопроса.

Так и Игорь затормозил на полном скаку.

— Кто «все»?

А вопрос, оказывается, был со смыслом. Пеликан пояснил:

— Все поголовно за привилегии сражаются? И солдатики?

Игорь сообразил, что зарвался. В самом деле. Какие у солдат, то есть бывших крестьян, привилегии?..

— Ну-у, солдаты в большинстве своем мобилизованы.

— То-то и оно. А ведь воюют. И неплохо воюют, как и все делают, за что русский мужик берется.

— Одурманены пропагандой.

— А что ж они красной пропагандой не одурманены? Или неубедительна? Казалось бы, куда там: мир, земля, воля, хлеб — все ваше, берите, распоряжайтесь! Они же, распропагандированные, за своих бывших хозяев бьются, жизни кладут. Тут, браток, не так все просто, как кажется... А думаешь ты верно, хотя и сыроват, сыроват. Ну, это наживное... Так что не греши на свои глаза. Они у тебя в нужном направлении смотрят.— Встал, потянулся с хрустом и в доме скрылся.

А Игорь остался во дворе. Пошел к баньке и сел там на завалинку. Стыдно ему было. А еще историком собрался стать, косноязычный! Не сумел объяснить Пеликану даже не смысл белого движения — смысл-то на поверхности лежит,— а достаточную пока жизнеспособность его. Восемнадцатый год на дворе. До Москвы и Петрограда — версты немеренные. Деревни — одна другой глуше, бедность изо всех дыр прет. Пока мужик разберется, за кого сражаться стóит, он, не исключено, голову сложит в бою со своим же братом-мужиком. Но ведь скоро разберется, до конца все поймет — сам поймет, и разъяснят ему. Кто разъяснит? А нагайки командирские. А ночные расстрелы. А лихая удаль белых гвардейцев, которым уж и живых людей не хватает — петухов пороть начали. Людей-то они не только порют, но и вешают и стреляют... Вон в Ивановке, рассказывал Федор, хозяин избы, где они с Ледневым ночевали. Прошел через них полк, может, как раз того полковника Смирного, и для показу комиссара плененного в деревню привел. Привязали комиссара, как князя Игоря, к двум соснам за обе ноги и... Ну, день-два еще погужевались в Ивановке орлы, покуражились, поживились и ушли верхами. А половинки комиссарского тела все на соснах висели. Даже Федор, а он германскую вынес, ногу на ней потерял, и то крестился, когда рассказывал. Говорил: жуткое дело, когда они на ветру раскачиваются...

Вот это и есть красная пропаганда. И если бы ее еще словом подкрепить, кто б тогда к белым примкнуть вздумал?..

А чего ж ты, Игорек, не подкрепил? Ведь мог же, мог! Легенду свою замечательную бережешь? Грош ей цена, если будешь ходить по земле наблюдателем...

Вечером, когда стемнело и профессор, вдосталь наговорившись с хозяином о высоком смысле крестьянской жизни, собрался на боковую, Пеликан поманил Игоря.

— Выйдем-ка...

Вышли. Встали у крыльца. Пеликан осмотрелся кругом — никого. Дверь в избу поплотнее прикрыл.

— Ты вот что...— начал, запинаясь, что было не очень-то в духе Пеликана, краснобая и балагура, каким его знал Игорь.— Парень ты вроде правильный, ехали бояре, толковый парень. Разговор наш мы еще продолжим, время будет. А пока ты помочь мне должен, рассчитываю я на тебя, давно присматриваюсь, приценяюсь...

— Приценился? И почем я нынче?

Хотел того или нет, случайно вышло, а сердитой своей репликой вернул Пеликану вдруг пропавшую у того уверенность. Он хохотнул даже:

— В базарный день поторгуемся. Не продешевим, не бойся. А дело слушай, рот захлопни, уши раскрой. Я сейчас уйду, надо мне, а вы ночуйте. Спокойно здесь. Поутру в город тронетесь — тут близенько, к полудню дойдете. Так вот. Запоминай адрес: Губернаторская улица, дом четырнадцать. Хозяйка — Сомова Софья Демидовна. Запомнил? Повтори.

Игорь повторил, но не утерпел и спросил:

— Зачем мне это?

— Тебе, пожалуй, на будущее сгодится, а мне сейчас треба. Найдете со стариком этот дом, вызовете хозяйку, скажете: Гриша прислал. Она вас пожить пустит.

— Нам не жить надо. Переночевать — и в дорогу.

— Придется пожить.— Голос Пеликана стал жестким, колючим.— Вспомни серебряных орлов и пойми: надо. Кстати, в городе как раз они и обретаются. Весь полк в полном составе. Так что будьте с профессором осторожны.

— Делать-то что?

— Делать?.. Найдется дело... Рассчитываю на тебя. Жди: посвистят тебе с улицы, покличут. Скажут: привет от Григория Львовича. И все объяснят.

— А хозяйка?

— А что хозяйка? Хозяйка — женщина добрая, она моей матери родней приходится, седьмая вода на киселе. Но кто я такой — не знает.

Сам подставился, сам и получай.

— А кто ты такой, Пеликан?

Тот усмехнулся, уже невидный в темноте, спустившейся на деревню внезапно и сразу, почти без сумерек.

— Пеликан — птичка вольная, теплолюбивая, она и осенью весну чует. Видал у Брема: нос у нее какой? А у меня не меньше...— Протянул из темноты лапищу, похлопал по плечу, Игорь аж качнулся.— Все будет, как ты хочешь, Игорек. А иначе сказать: как надо. Не все ж орлам летать, ехали бояре, надо и пеликанам место уступить. Ну, бывай! Профессору мои наилучшие...

— Погоди!..— почти крикнул Игорь.— А ты-то сам появишься или как?..

И услыхал уже вроде издалека:

— Куда ж ты теперь без меня...

6

Что говорит школьный учебник «Истории СССР» о событиях гражданской войны в восемнадцатом году? Стыдно — до чего мало и второпях. Так, общие факты почти без комментариев. Ни Ключевский, ни Соловьев, ни тем более Костомаров до этих времен не дошли. А жаль: они умели интересно писать.

Факты, факты, факты...

Хороший историк находит их, суммирует, и конечный анализ его точен и убедителен. Хороших историков готовят, к примеру, на истфаке в МГУ. А кто, скажите, проанализирует психологию людей, ну, хотя бы тех, кто сражался в гражданскую? Хотя бы того комиссара, которого казнили в Ивановке?

Психология — дело литературы, а литература, увы, не столь точна, как история. С другой стороны, сказано: «Над вымыслом слезами обольюсь». А в пору над правдой слезами облиться, правда иногда куда страшнее вымысла.

Нет, хороший историк все-таки должен быть и психологом, считал Игорь, ибо факты фактами, но за каждым из них — люди. Говоря высокопарно, творцы факта. Каковы люди, таковы и факты, такова История.

Вот о чем поговорить бы с Пеликаном, который, к слову, тоже какую-то свою историю делает, ше-

буршится, а она, его история, сама собой в большую вольется, в Историю гражданской войны, в Историю великого времени, о котором в учебнике сорок скучных страниц. И все.

Сегодня на уроке поднял руку.

— Что случилось, Бородин?

— Алевтина Ивановна, как вы к учебнику истории относитесь?

Явно не поняла вопроса, но на всякий случай отшутилась:

— С уважением, Игорь. А ты?

— Хорошо, что у нас на уроках интересно. А ведь учи мы ваш предмет по учебнику, ничего, кроме тоски, не возникнет: железобетонно написано, ни одного живого слова...

Игорь стоял у стола, Алевтина гуляла около доски, класс с интересом ловил: что же она ответит? А Алевтина — иного Игорь от нее и не ждал — не стала спорить, согласилась с очевидным.

— Верно, скучноват учебник. Да и скороговорки там много. Но кто из вас на истфак пойдет, поднимите руки?.. Ага, один Бородин, простите за рифму. Один человек из класса—для меня уже приятно, теперь в историки мало кто идет. Однако тебе, Игорь, слабый учебник не помешал заинтересоваться историей? Нет. Как не помог он в том остальным. Значит, не в учебнике дело. Учебник, мил друг, нужен для того, чтобы пролистать его дома, вспомнить то, о чем педагог на уроке говорил, цифры и факты в памяти освежить. И не больше. Правда, это я по бедности так считаю. Хотелось бы, конечно, чтоб учебник истории читался, как иной детектив...

Пащенко после уроков умчался на тренировку новые высоты одолевать. Наталья подошла к Игорю, спросила:

— Тебе Настин телефон дать? — Спросила с обидой: мол, почему приходится навязывать, почему сам не поинтересовался?

А не поинтересовался, потому что не готов был. Шесть уроков отсидел, морально готовился. Это вам не шутка — подойти к однокласснице и, по сути, признаться, что ее подруга тебе не безразлична. Так что Наталья, сама того не подозревая, выручила Игоря.

— Дай, пожалуй...— Этак небрежно, взгляд из-под опущенных ресниц, сверху вниз, хотя с Натальей это плохо получается— сверху вниз.

— Не хочешь, не надо. И нечего себя насиловать...

Тут Игорь испугался, что переборщил, запричитал:

— Ты что, Наталья, с ума сошла? За кого ты меня принимаешь?.. Давай телефон, не морочь голову, уж и пошутить нельзя.

— С другими шути...—Но телефон назвала, и Игорь записал его в книжечку на букву «н».

А пришел домой — сразу и позвонил.

На том конце провода — женский голос, приятный:

— Слушаю вас.

— Добрый день, здрасьте, будьте добры Настю...

Стихами с перепугу заговорил.

— Это я.

— А это я. Игорем меня зовут.

— Здравствуйте, Игорь. Рада вас слышать.— Вот она, необязательная вежливость! — Как ваши дела?

— Дела прекрасны.

Интересно, что она имеет в виду? Или опять вежливость?

— Все вчера сделать успели?

Ах, вон оно что...

— Да, все. А как вы до дому добрались?

— Спасибо, хорошо.

— Еще раз простите меня за то, что не проводил...

Ну и реверансы развели — как в кино!

— Что вы, что вы, я же понимаю...

Ничего ты не понимаешь, но пусть.

— А что вы сегодня вечером делаете?

— В принципе свободна.

«В принципе» — это вариант защиты. Мол, не в принципе — занята, а так...

— Вы не будете возражать, если я попрошу вас о встрече?

— Попросите.

Подставился, оказывается. Молодец, подловила!

— Прошу.

— Я согласна. Подъезжайте ко мне, на Кутузовский. Я вас буду ждать у Триумфальной арки. Знаете?

Что же мы там, у арки, делать станем? Неужто в Бородинскую панораму поведет?..

— В котором часу вам удобно?

— Сейчас четыре. Давайте в шесть?

— Годится. В шесть у арки.

В Бородинскую панораму Настя его, как ни странно, не повела. Попросила:

— Вы не обидетесь, если я вас поэксплуатирую?

— Буду рад.

Интересно, от чего сейчас предстоит получить радость?..

— У нас в кухне ремонт. Соседи сверху протекли. Мама сказала, чтоб я купила две банки белил. А они, наверно, тяжелые?

Игорь никогда не таскал банки с белилами, веса их не представлял, но энергично закивал в ответ: мол, ясное дело, тяжесть неимоверная, без мужской силы, сами понимаете...

— Во-он хозяйственный. Через улицу...

Банки оказались куда легче, чем предполагал Игорь, так что надрываться ему не пришлось.

И все же, пока шли от магазина до дома, Настя постоянно проявляла женскую заботу, взволнованно спрашивала:

— Вам не тяжело?

Вопрос сам по себе бессмысленный. Ну, предположим, Игорь скажет: да, тяжело. Что она делать станет? Подхватит банку и понесет? Нет, *такие* сами тяжести не поднимают. *Такие* сами гвоздя не забьют, коня на скаку не остановят, в горящую избу не войдут. Для того у них мужчины существуют — влюбленные и безотказные. Но зато уж посмотрят — рублем подарят, тут классик прав. И этого, считал Игорь, для них вполне достаточно, ибо у него не хватало фантазии представить себе красивую — очень красивую! — женщину, несущую, к примеру, банки с белилами.

Сказано: где вы, рыцари? А рыцарь — вот он, Бородин фамилия. Силен, ловок, строен, неустрашим.

Однако поинтересовался по пути:

— Как дела в школе? Двоек нет? — Этак шутовски, со смешком.

А смысл в вопросе есть. Ежели плохо учится, значит, не без помощи рыцарей, которые иной раз и рады бы помочь, подсказать, дать списать, а не могут. Контрольная, например. Или у доски девушка плавает. Игорь хотел выяснить: не попадает ли учеба в тот же ряд, что и вхождение в горящую избу, остановка коня на скаку и ношение белил по Кутузовскому проспекту?

— Какие двойки? — Посмотрела, как рубль отняла.— Я иду на медаль.

Я иду на медаль. Ты идешь на медаль. Мы идем на медаль.

— Пошли вместе?

— Куда?

— На медаль.

Засмеялась. С чувством юмора полный порядок.

— А вы что, тоже из несчастной категории «гордость класса»?

— Из нее, будь она неладна...

— Немного осталось мучиться. Меньше года...

Ничего особенного: обыкновенное кокетство двух милых отличников. Ах, мы утомлены, мы измучены, нет нам отдыха!..

Между тем пришли. Прошествовали по двору — мимо песочниц, мимо юных мам и молодых бабушек с колясками, мимо вереницы частных автомобилей, мимо старых бабушек, сплетненакопительниц, сплетнераздавательниц — «Здравствуйте! Как поживаете? Добрый вечер!» — мимо каких-то ящиков, баков, темных туннелей-подворотен, сложенных штабелями кирпичей и прочего, что так характерно для уютного понятия «двор», о коем мы давно забыли в наших новых просторных, архитектурно-элегантных кварталах. Игорь, впрочем, помнил. Он сам вырос в похожем дворе у Сокола и теперь смотрел на все с грустной улыбкой узнавания, с понимающе-томной улыбкой человека, который ненароком увидел свои детские короткие штанишки.

Дома никого не было.

— Мама будет позже, а папа в командировке,— сообщила Настя.

Игорь отволок банки на кухню, которая смотрелась довольно грустно: закрытые газетами столики, шкафчики, плита, обернутый в тряпку фонарь под потолком, в углу — насос с распылителем — для побелки. Белил может не хватить, профессионально оценил Игорь: в прошлом году и у них ремонт был, кое-какой опыт имеется. Подумал: поделиться с Настей соображениями? Решил: попозже, перед уходом. Тогда появится повод приехать еще раз и еще раз побыть в приятной и необременительной роли рыцаря-банконоса.

Предложил:

— Может, в кино сходим?

Но Настя предложение отвергла:

— В следующий раз. А сейчас я вам сварю кофе, я замечательно варю кофе, и мы послушаем музыку.

Отличный вариант! Лучше не придумать! Тем более что «следующий раз» уже обещан.

Пили кофе — Настя, конечно, преувеличила свои способности, но разве в том дело? — слушали музыку. Коллекция пластинок у Насти прекрасная. «Отвальная», как сказал бы Пащенко, что означало: увидеть и «отвалиться» замертво — от зависти и восхищения. Потанцевали, благо, он это неплохо умел, а уж она —и говорить нечего. Иначе быть не могло: умение «отвально» танцевать заходило, по мнению Игоря, в заранее нарисованный им образ Насти, девицы-красавицы, святой покровительницы странствующего рыцарства.

Впрочем, кое-что, как Игорь еще в прошлый раз углядел, из образа выпадало. Вот и сейчас: говорили, танцевали, коробку шоколадного «Ассорти» ополовинили — все шло куда как гладко, а на прощание — он уже у двери стоял — Настя возьми да и спроси:

— Вас что-то тревожит, Игорь, ведь так?

Вот тебе и раз! Мама родная, любимая, папаня-инженер, лучший друг Пащенко, интеллектуал и прыгун в высоту,— никто не замечал. А девушка Настя с ходу заметила.

А что заметила, спросим? Что нас тревожит, волнует, спать по ночам не дает? Вроде спим спокойно, без снотворного, так что, извините, замечать нечего...

Ты хоть сам с собой не крути, товарищ Бородин, себя не обманывай. Отлично знаешь, что какой день уже живешь двойной жизнью, или, точнее, двумя жизнями. Один Игорь Бородин ходит на занятия в класс, зубрит уроки, смотрит телевизор, сидит в гостях у хорошей девушки Насти, перешучивается с другом Валерой, беседует с отцом о прочитанной книге. А другой Бородин, его тайный двойник, идет по Руси с котомкой, смотрит по сторонам, видит то, что видит, ищет смысл жизни.

А может, себя он ищет?..

Зачем ты пошел туда, зачем перешагнул зыбкую границу двух времен? Что ты потерял именно в этот год, в эту осень, на этой дороге? Что тебе нужно от старика Леднева, от Пеликана? Приключений тебе не хватало? Да не любишь ты приключений, только тишком помечтать о них и способен, а как дойдет до дела... Кстати, похоже, что скоро дойдет и до дела: вспомни наказ Пеликана...

А может, ты и вправду себя ищешь?..

Однако заданный вопрос требует ответа.

— С чего вы так решили, Настя?

— Вы как будто здесь и как будто вас нет.

Не очень по-русски, но понятно. И, главное, верно. Ах, как радостно было бы поделиться с кем-нибудь, пусть с Настей, собственной тайной, мучающей, выматывающей, сладкой! Но нет, нельзя. И не потому, что не поверит. А потому, что не его это тайна — того Игоря Бородина, двойника, который еще не знает, зачем отправился в путь. Узнает ли?..

— Я здесь, Настя, только здесь, и мне отсюда и уходить не хочется.— Вроде бы банальность сказал, а столько тоски в нее вложил, что Настя — сама того не ожидала!—протянула руку и погладила Игоря по щеке, легко-легко, чуть касаясь кончиками пальцев.

А он поймал ее руку и поцеловал. Вон какой смелый!

— Я позвоню завтра, ладно?

— Обязательно, Игорь. Я буду ждать.

7

Посмотрел на часы — десять, без пяти! В пору только до дому доехать, и то разговоров не оберешься: не позвонил, не предупредил, родители изволновались. Придется сегодня к березе не ходить, завтра пораньше проснуться и сбегать туда перед школой... Да ничего не произойдет: что сегодня, что завтра! Все равно он появится в прошлом как раз в тот момент, когда надо будет Леднева «оживлять», раньше незачем. В какой момент необходимо — в такой и появится, от желания зависит...

И все-таки совесть мучает: будто изменил чему-то близкому...

Вышел во двор. Куда идти? Ага, вон в те ворота, кажется.

Когда проходил мимо ящиков и кирпичей, сложенных у заднего входа в какой-то магазин, его окликнули:

— Эй, парень!

Остановился, посмотрел в темноту. В животе стало холодно, и будто камень повис.

— Что такое?

— Подойди сюда.

Сколько их там? Двое? Трое? Пятеро?

— Вам надо, вы и подходите. А мне некогда.

Хорошая мина при плохой игре.

Из темноты негромко засмеялись.

— Да ты не бойся, не тронем. Маленький разговор есть.

— А я и не боюсь.

Пошел к ящикам на ватных ногах. Там сидело пятеро — не ошибся! — парней, лет, пожалуй, по семнадцати-восемнадцати или чуть побольше, на вид вполне интеллигентных— в джинсах, в нейлоновых тонких куртках, двое в свитерах под горло. Сидели на тех же ящиках, курили, вспыхивали во мгле крохотные огоньки сигарет.

Кто-то подвинул Игорю ящик.

— Садись.

Игорь сел, успокаиваясь, в ожидании какого-то любопытного разговора. Все равно родители уже волнуются, так что лишние десять минут роли не сыграют. А он сейчас на проспект выйдет, из автомата домой позвонит.

— Сел.

— Удобно? — Вежливые ребятки.

— Вполне.

— Как тебя зовут?

— Игорь.

— Ну, а нас много, ты все равно всех не запомнишь...

Говорил один, явно старший, остальные молчали, прислушивались. Говорил он спокойно, не повышая голоса, без всякой щенячьей приблатненности, столь популярной у обитателей темных углов любого двора, и поэтому Игорь совсем успокоился, даже пошутить себе позволил:

— А вы придумайте себе общее имя. Мне легче будет.

Его собеседник, парень в свитере, негромко засмеялся, и Игорь отметил, что засмеялся он один, другие промолчали. То ли не приняли шутку, то ли у них так положено.

— Обойдешься,— сказал парень в свитере.— Полагаем, что мы больше не увидимся.

— Как знать. — Игорь старался поддержать легкий разговор.

— От тебя зависит. Ты Настю давно знаешь?

Вот оно в чем дело! Настя им спать спокойно не дает.

— Недавно.

— Зачем ты к ней ходил?

— А тебе-то что?

— Не груби старшим, Игорь, это невежливо. Я повторю вопрос: зачем ты к ней ходил?

— И я повторю: а тебе-то что?

Щелк! Из сжатого кулака парня в свитере, как чертик из табакерки, выпрыгнуло узкое лезвие ножа. Спринг-найф, пружинная штучка. Игорь видел такой однажды у отцовского приятеля, вернувшегося из загранплавания...

— Видишь? — Парень медленно вытянул руку в направлении Игоря.— Это нож.

Глаза давно привыкли к темноте, и казалось, что во дворе не так уж темно — все видно, пусть не очень отчетливо.

— Вижу,— сказал Игорь.

Странная вещь: он не ножа испугался, он просто не мог его испугаться, ибо не было в его жизни драк с ножами, знал о них теоретически — из кино, из книг, и относился к ним как к чему-то невзаправдашнему, искусственному. А вот угрозы, прозвучавшей в голосе парня, он испугался — чуть-чуть, самую малость. Угроза — это реально, это пахнет дракой, а драться Игорь не умел и не любил. И не хотел.

— Я тебя не обижу, я обещал,— напомнил парень,—но я не люблю грубости. Я показал тебе нож только для того, чтобы ты знал: я могу выйти из себя, и ты в том будешь виноват.

Разговор казался каким-то книжным, придуманным. Где этот парень нашел себе модель поведения: спокойный тон, вальяжная поза, да и в отсутствии вежливости его не упрекнешь.

— Я жду ответа,— повторил парень.

И Игорь, вновь ощущая камень в желудке, тяжелый холодный камень, сказал через силу:

— Она меня попросила помочь ей. Донести банки с белилами.

— И все?

— А что все?

— Ты у нее задержался, Игорь. Может быть, ты помогал ей белить потолок?

Один из парней, до сих пор молча куривший, не сдержался, хмыкнул, и тот, в свитере, резко повернулся к нему. Он ничего не сказал, но хмыкнувший парень кашлянул и опустил голову, затягиваясь сигаретой. А вожак вновь в упор посмотрел на Игоря.

— Ну так что?

— Мы разговаривали.

— Тебе с ней было приятно?

Игорь чувствовал себя трусом и подонком, но ничего не мог с собой поделать. Слова сами распирали его.

— Мы разговаривали. Что тут такого?

— Такого? Не знаю. Надеюсь, ничего... Ты помнишь ее телефон, Игорь?

— Помню.

— Ты умный парень, я чувствую, а я редко ошибаюсь. Ты все поймешь и поступишь, как надо. Забудь ее телефон, хорошо?

— Как забыть? — Все прекрасно понял, прав парень, но все-таки спрашиваешь — сопляк, трус!

— Фи-гу-раль-но... Не звони ей больше. Не появляйся. Не помогай. У нее есть другие помощники, они справятся. Ты все уяснил, Игорь?

— Да.

— Тогда можешь идти. Прощай. Рад был поговорить с тобой. Выход на проспект — налево через арку.

Ноги опять стали ватными и плоховато слушались. Игорь шел неестественно прямо, не оборачиваясь, но сзади было тихо. Никто не бежал за ним, не свистел, не улюлюкал, даже не смеялся. Тихие и вежливые ребята, отрада дворовой общественности. А ножичек — так, пустяки, им только карандаши чинить.

А если пустяки, чего ж испугался? Или страх у тебя в крови, боишься на всякий случай? Ну, не бандиты же они, ну, набили бы морду. Больно, но не смертельно. Не больнее, чем, скажем, у зубного врача. Только потерпеть, и все кончится...

Но можно и не терпеть. Можно и самому руками поработать — не дохляк какой-нибудь, сила есть. Когда не страшно, ты эту силу легко используешь. Когда не страшно...

А сейчас страшно? Страшно, Игорек, рыцарь бедный, аж поджилки тряслись...

Но ведь ничего не произошло. Поговорили и разошлись. А то, что он на их вопросы отвечал, так что тут плохого? Невинные вопросы, невинные ответы...

Вышел на проспект: светло, людей полным-полно, автомобили, троллейбусы, милиционер в «скворечнике» обитает. Нашел монетку, открыл дверь телефона-автомата, набрал номер.

— Мама? Я у товарища задержался. Через полчаса буду.

У товарища...

Ехал в метро, думая, как завтра со стариком Ледневым пойдут в город, отыщут Губернаторскую улицу, номер четырнадцать — что-то их там ожидает? Думал о том, пытаясь обмануть самого себя, заглушить ощущение какой-то гадливости, что ли, словно прикоснулся к чему-то скользкому, неприятному...

А завтра Настя будет ждать его звонка.

8

Игорь устал жить двумя жизнями. Устал от раздвоенности, от того, что нигде не умел полностью отключиться, быть только о д н и м Игорем Бородиным, не думать о судьбе и делах второго. Казалось бы, чего проще? Перестань проникать в чужую память, в чужое время, забудь о двойной березе в сокольнической глуши. Но нет, тянуло его туда.

Шел по дороге в город, слушал, как сзади, едва за ним поспевая, семенит старик Леднев, ведет на ходу очередной долгий дорожный рассказ «о разном». Это он так предупреждает: «А сейчас поговорим о разном». И говорит сам, безостановочно говорит, собеседник ему не требуется, как, впрочем, и слушатель. Есть впереди на пару шагов спина Игоря — ее и достаточно. Как стенки для тренировки теннисиста.

— А я ведь, Игорек, в молодости, ох, каким смельчаком был! В Воронеже, помню, в дворянском собрании, я с одной прелестницей, дочерью... нет-нет, имя неважно, без имен! Так вот, шли мы с ней в мазурке, в первой паре, а танцевал я, Игорек, как молодой бог, и говорю ей: «Вы очаровательны! Позвольте встречу...» Или что-то вроде... Да ты знаешь, Игорек, что в таких случаях шепчут на ушко... Ах, ушко, ушко!.. А после мазурки ко мне подходит какой-то корнетишка, усатенький парвеню, и при всех — представляешь, Игорек, при всех! — бросает мне: «Вы глупый и мерзкий напыщенный бочонок!» Или что-то вроде... А я, надо сказать, действительно не отличался худобой... Гм, любил поесть, грешен... Но напыщенный! Это, Игорек, было чистейшей диффамацией, ты же меня знаешь. Я не стерпел и сказал ему: «Вы хам, корнет! Будем стреляться». И представляешь, Игорь, все меня отговаривают: «Ах, он пьян, он влюблен, он не знает, что делает...» «Не знает,— говорю,— так узнает». И назавтра в семь утра, едва лишь солнце позолотило верхушки деревьев, мы вышли на поляну, там была такая поляна, все стрелялись, и... «Возьмут Лепажа пистолеты, отмерят тридцать два шага...»

Игорь даже обернулся, желая, как говорится, заглянуть Ледневу в глаза, но зря оборзчизался. Профессор пылил сзади, на него не смотрел, уставился себе под ноги и журчал, журчал.

— Я, Игорек, стрелок отменный. Он, корнетик липовый, стреляет первым — промах! Я стреляю, он вскрикивает, все бегут к нему, а я бросаю пистолет и говорю: «Не волнуйтесь, господа, он жив и невредим. Я перебил ему аксельбант». И точно: аксельбант — пополам...

Тут Игорь не стерпел:

— Он что, адъютант был, ваш корнет?

— Какой адъютант? Почему адъютант? — заволновался старик, не привыкший, чтобы кто-то врывался с вопросами в его рассказы «о разном».— Ах, адъютант! Ну да, наверно, я не помню, но раз аксельбанты... Разве в этом дело, Игорек?..

Не в этом. Старику сладко врать, нет, даже не врать — сочинять небылицы из собственной — якобы! — жизни. Хочется ему казаться стройнее, сильнее, ярче, мужественней. Понятное желание. У кого оно не возникало? Пусть сочиняет, от Игоря не убудет... Однако силен старик: «стрелок отменный», сердцеед воронежский... А ведь он, наверно, пистолета в глаза не видел. Корпел над архивными бумажками, чихал от пыли, находил, к примеру, данные о том, что жил в действительности Григорий Отрепьев, невыдуманная это фигура. Помнится, об этом он тоже рассказывал, сообщил: нашел подлинный документ. Да только потерялся, похоже, тот документ, потому что современные Игорю историки о нем и не слыхивали...

А уже и пригород пошел. Домики — аккуратные, с палисадничками, а в них золотые шары, астры, кое-где мальвы... Чистый, будто и не тронутый войной городок. Городок в табакерке. А между тем гуляют в нем — сказал Пеликан — серебряные орлы полковника Смирного.

— Где преклоним колена, Игорек? — спросил Леднев.— Полагаю, Григорий Львович дал на этот счет указания?

Вот тебе и раз! Как он, тихий старичок, не от мира сего, догадался? Пеликан ему сказал? Вряд ли. Пеликан предупредил: придумай объяснение для профессора. Игорь придумал, потом выскажет.

Не нашел ничего лучше, чем спросить напрямую:

— Откуда вы знаете?

— Старый я, Игорек, много видел и оттого умный. Григорий Львович, Пеликан наш драгоценный, ничего зря не делает. Мы ему зачем-то нужны, Игорек, ты не находишь?

— Нахожу, чего уж тут...

— Вот именно: чего уж тут. Но человек он симпатичный, да и любопытно мне: зачем мы ему? А тебе любопытно, Игорек, ведь любопытно?

— Любопытно.— Игорь не сдержал улыбки: ну, и аналитик старик, одно слово — профессор.

— Так зачем любопытству противиться? Удовлетворим его, алчущее. Веди, Игорек, куда Пеликан велел.

После некоторых расспросов нашли Губернаторскую улицу. Довольно далекая от центра, она оказалась все же городской, скучной, почти без зелени. Булыжная неровная мостовая, несколько покосившихся фонарей, а один вообще рухнул, лежал поперек дороги, и никто не пытался его убрать.

Дом номер четырнадцать оказался как раз неподалеку от поверженного фонаря. Обыкновенный одноэтажный низкорослый домик, купеческий грибок в четыре окошка. Глухой забор, глухие ворота, калитка на внутреннем запоре.

Игорь забарабанил в калитку, заорал:

— Эй, хозяева! Есть кто-нибудь?..

Где-то за забором противно заскрипела дверь, женский голос испуганно спросил:

— Кто там?

— Откройте! — крикнул Игорь.— Мы от Гриши.

— А вот кричать не надо бы,— обеспокоенно заметил Леднев.—Зачем соседям знать, что мы от Гриши?

Игорь ничего старику не ответил, но с удивлением подумал, что тот прав.

Залязгал железный засов, калитка приоткрылась, и в образовавшуюся щель выглянуло женское лицо. Старое или молодое, Игорь не разобрал, заметил, что в платке, и все.

— Сколько вас? — спросила женщина.

— Двое.

— А Гриша где?

— Дела у него... Он дал ваш адрес, просил, чтобы вы приютили нас на несколько дней.

— Шалопут он,— сердито сказала женщина, но калитку открыла.— Проходите.— Пропустила их во двор, старательно задвинула ржавый засов, обошла Леднева с Игорем, топтавшихся на дорожке у ворот.— Ступайте за мной.

Двор небольшой, неухоженный, поросший низкой выгоревшей за лето травой. Аккуратно сложенная поленница у забора, козлы перед нею, сараюшка на огромном — амбарном — замке. В глубине двора — известное сооружение, говорящее, что цивилизация в сей город не скоро доберется.

Женщина привычно вытерла ноги о плетенный из какого-то растения коврик у крыльца, толкнула дверь. Леднев с Игорем вошли за ней и очутились в неожиданно чистой и нарядной прихожей: с очень высоким, в деревянной раме зеркалом на полированном столике-подзеркальнике, с керосиновой люстрой под потолком, именно люстрой, хотя и дешевенькой. Пол крыт половиком — чистым, под стать прихожей.

— Снимите плащ,— сказала женщина Ледневу.

Тот торопливо сбросил свое жестяное чудовище, и женщина брезгливо взяла его, повесила на крюк — в стороне от остальных вещей, уместившихся на вешалке. Посмотрела на Игоря: тому нечего было снимать.

— Проходите в комнату.

Старик Леднев толстовочку одернул, расправил складки под кожаным пояском, как солдат перед смотром,— почуял, видно, открывающуюся возможность поговорить «о разном» со свежим собеседником,— и в комнату ринулся. Игорь за ним.

И комната чистотой блестела. Пол недавно крашенный, хоть смотрись в него. Скатерть на столе белая, крахмальная, с вышитыми голубыми цветами по краям. В горке — какие-то сервизы с рисунками. Может, мейсенские, «синие мечи», других фирм Игорь все равно не знал. На стене — портреты в темных рамках, дагерротипы. Славные щуры. Под щурами — диван, да не диван даже — некое сложно-сочиненное сооружение со шкафчиками, полками, зеркалами, тумбами.

Сели на диван, ибо к столу не решились: крахмальная скатерть отпугнула — не запачкать бы ненароком, с дороги все же. А женщина вошла в комнату — где-то задержалась на минутку, не иначе прятала с глаз долой антисанитарный плащ профессора — и устроилась как раз за столом, напротив непрошеных гостей.

Тут Игорь рассмотрел хозяйку получше. Платок она сняла и оказалась примерно сорокалетней, очень миловидной женщиной, с круглым добрым лицом, русским, «домашним», ничуть не соответствующим ее строгому, даже суровому тону.

Помолчали с минуту, разглядывая друг друга.

— Ну и что? — спросила женщина.

Странноватый вопрос. Даже профессор опешил. Замекал:

— М-ме, да-а... ничего, собственно... Нам бы приюту...

— Ну, вот вам приют. Гришу давно видели?

— Вечером расстались.

— Он придет?

Старик взглянул на Игоря: вступай в разговор, ты с Пеликаном секретничал.

— Придет,— сказал Игорь.

Пеликан ему о том впрямую не сообщал, но Игорь был уверен: объявится, раз задумал что-то, включил в свою игру Игоря с профессором.

— Когда? — Женщина допрашивала их со строгостью шефа жандармов.

Игорь озлился и сам спросил:

— Вы, случайно, в третьем отделении не служили?

Старик Леднев хрюкнул, ладошкой загородился, а женщина улыбнулась и еще более расцвела, раскрылась: улыбка у нее светлой оказалась — опять-таки вопреки тону.

— Не служила,— продолжала улыбаться.— Как звать-то, гости нежданные?

Леднев вскочил, шаркнул растоптанным башмаком.

— Профессор Московского университета Леднев Павел Николаевич, к вашим услугам. А этот вьюнош, не по летам наглый, зовется Игорем, фамилия — Бородин.

— Меня будете звать Софьей Демидовной. Да Гриша говорил, наверно?

Игорь кивнул.

— Обедать станете?

— Всенепременно, милая Софья Демидовна,— разливался старик Леднев,— если плеснете нам малую толику, не пожалеете для калик перехожих...

Протянула:

— Кали-и-ики... Идите мойтесь. Полотенце — на подзеркальнике в прихожей, умывальник во дворе.

А куда идут? откуда? почему пешком? да какие дела у них с Гришей Пеликаном? — ни о чем не спросила. Видно, рассудила: захотят — сами скажут.

На столе были огурчики малосольные, крепкие, лук зеленый, несколько помидорин на блюдечке и дымящийся суп, в котором плавали морковь, капуста, картошка. И все это — на красивых фарфоровых тарелках, бледно-розовых, с махонькими голубыми незабудками. Игорь изо всех сил сдерживался, чтобы не перевернуть одну — заглянуть, есть ли там скрещенные мечи?

— Извините, что скудно.

— Что вы, дорогая Софья Демидовна! — вскричал Леднев, от избытка чувств разбрызгивая суп из ложки. Хорошо, что в тарелку, а не на скатерть...—Пир, просто пир лукуллов!..

— Ну уж и лукуллов...— усмехнулась хозяйка и вдруг спросила кого-то позади Игоря: — Что так поздно?

Игорь обернулся. В дверях стояла тоненькая девушка, почти девочка, в длинном коричневом платье с глухим воротом. В руках она держала огромный — как уместился только? — букет разноцветных астр.

— Простите, тетя, задумалась, о времени забыла...— И с изумлением оглядела гостей.— Приятного аппетита.

— Спасибо,— машинально ответил Игорь. Он, не отрываясь, смотрел на девушку. Мистика, конечно, но она удивительно походила на Настю.

— Моя племянница,— представила ее Софья Демидовна.— Зовут Лидой. А это, Лидочка, друзья дяди Гриши. Павел Николаевич и Игорь... Ты голодна? Садись к столу.— И пододвинула ей стул.

9

После несытного, но элегантного обеда Игорь, поблагодарив, вышел во двор, сел на крыльцо, на ступеньку. Было над чем задуматься, от чего прийти в замешательство. Пеликан ни слова не сказал о племяннице Лиде, явной гимназисточке, барышне-эмансипе. Это придавало остановке в городе совсем иной вкус: сладко пахло приключением.

— Вам так удобно?

Поднял голову: она. Стоит, смотрит сверху вниз, улыбается. Нет, конечно, не похожа она на Настю, Настя куда лучше, решил Игорь и встал.

— Ваша тетя приказала дышать воздухом.

— Тетя любит приказывать, но она очень добра и мягкосердечна.

— Я так и подумал,— галантно сказал Игорь.

Лида спустилась с крыльца, медленно пошла по дорожке. Игорь последовал за ней, примечая около ворот скамеечку. Над ней нависали длинные стебли золотых шаров, холодных осенних цветов — без запаха, без души.

Лида аккуратно — платье бы не помять — присела на скамейку, на самый край, разрешающе кивнула Игорю. Тот, внутренне усмехаясь — церемоний-то сколько! — сел рядом.

— Вы правда от дяди Гриши?

— Конечно. Он вам привет передавал,— соврал Игорь, чтобы поддержать беседу.

— Спасибо,— серьезно сказала Лида.— Как он себя чувствует?

— Здоров.

— Он такой смешной!

Ничего себе определение для Пеликана...

— Вы находите?

— Он все время шутит. Как-то ко мне девочки пришли из класса, так он нас весь вечер развлекал. Я вам скажу по секрету: в него две девочки даже влюбились.

Интересно: она и впрямь такая инфантильная или притворяется? Ее ровесницы у Игоря в классе — та же Наталья, например,— куда взрослее... Да, кстати, а сколько ей лет? Так прямо не спросишь, неудобно, еще чего доброго обидится...

— Вы в гимназии учитесь?

— До сих пор училась. В женской гимназии на Лялином спуске. А теперь не знаю. Мы туда ходили, а она закрыта. И неизвестно: откроют или нет. Все-таки война...

— Все-таки?

— У нас в городе тихо. Стреляют редко, только в последние дни стали чаще. Но это там, в центре...

В центре — значит, не у нас. Значит, мимо, никакой войны на нашей улице нет. Хорошо рассуждает.

— А в каком вы классе?

— В восьмой перешла.

Быть того не может! Что ж, ей четырнадцать всего?.. Вспомнил: у них классы не соответствуют современным. В гимназии, кажется, учились восемь лет, а до того — приготовительное училище. Сложная система... Представил, как они сидят — со стороны. Чинно, прилично. Еще бы горсть семечек...

— А не пройтись ли нам в центр?

Хорошо, что не сказал «прошвырнуться»...

— Я не знаю, надо спросить у тети Сони. Подождите, я сейчас.

Побежала к дому. Все-таки длинное платье сдерживает, дисциплинирует. Наташка в своих джинсах сейчас отмахала бы до крыльца в четыре прыжка и не прикидывала бы: женственно это или нет... А может, зря он о Лиде так думает: инфантильная, чуть ли не дурочка? Зря, зря. Иное воспитание, против него не попрешь. У них в гимназии классные дамы зверствуют. На переменках девицы, небось, парами ходят, учат их, что девушка должна быть скромной, застенчивой, политикой не интересоваться,— это дело мужское, грубое, грязное.... Лида еще ничего, молодец. Разговаривает — не жеманится. Ее педагогессы, увидев идиллическую картину «Он и она на скамейке», за головы схватились бы: как так, сама к мужчине подошла, сама заговорила?! Ах, какой позор, какой моветон!..

Лида бежит. Сияет.

— Тетя Соня сказала — можно. Только недолго.

— Мы недолго.

Пошли, как братик с сестричкой. Иванушка с Аленушкой. Только за руки не держались. С Губернаторской свернули на Польскую — Игорь прочитал табличку на угловом доме. Такая же тоскливая, как Губернаторская. Игорь довольно живо представлял себе старую Москву: отец собирал московские карты, планы, путеводители, открытки, любил подолгу — по определению мамы— «мусолить» их и Игоря к тому привлекал. Но маленький провинциальный городок начала века Игорь видел впервые. Зрелище, надо сказать, не вдохновляющее. Улица грязная, ветер кружит по мостовой какие-то бумажки, папиросную коробку, обрывки газет, первые облетевшие листья. Ну это понятно: дворников мало осталось — «все-таки война», если использовать Лидино выражение, а до того еще были и первая мировая и революция: столько потрясений для простых работников метлы. Булыжная мостовая — неширокая, впору только двум экипажам разъехаться, но прочная, если впоследствии асфальтом не зальют, сто лет простоит, ни один булыжник не выскочит.

Дома на Польской улице маленькие: больше двух этажей ни в одном нет. Архитектура без излишеств: стена дома, стена забора, стена дома, стена забора, в заборах — калитки, над калитками— деревянные венцы. Где с резьбой, где без оной.

С Польской вышли на улицу с пышным именем — «Трехсотлетия дома Романовых».

— Наша центральная,— сказала Лида.

Оно и видно. Магазинов полно. Игорь вертел головой, стараясь ничего не пропустить. Лида удивленно спросила:

— Вам нравится?

Есть чему удивиться: москвич, а в восторге от провинциальной торговлишки. Кое-как выкрутился:

— Мы с Павлом Николаевичем так давно в города не заходили, что мне все вновь кажется.

Игорь жадно читал вывески. Про себя, конечно. «Скобяные товары бр. Кустовых». «Булочная О. П. Тарутина». «Головные уборы. Парижские модели. Только у нас». «Книжная торговля отца и сына Валецких». Вот куда бы зайти, порыться в книгах. Сколько там сокровищ для библиофила... Нельзя. Даже если бы деньги были — а их, увы, ни копья! — и то ничего не купишь: не перенести из времени во время... «Кинотеатр «Одеон». Сегодня и ежедневно: жгучая драма из жизни полусвета. С участием Веры Холодной и Ивана Мозжухина».

— Вы смотрели?

— Что?.. А-а, кино... Нет, не пришлось.

— А я два раза смотрела. Так захватывающе...

Позвольте усомниться. Показать бы девушке Лиде самый примитивный широкоформатный фильм — какой бы эффект был?

— Воображаю, что сказала бы Анна Карловна, если бы увидела нас сейчас...— Лида засмеялась, видимо, представив себе неведомую Анну Карловну.

— Кто такая Анна Карловна?

— Наша классная дама.— Помолчала, явно борясь с собой, добавила: — Индюшка надутая...— И быстренько взглянула на Игоря: как он реагирует? Не шокирован ли?

Игорь был, скорее, обрадован, а никак не шокирован. Живая нормальная девушка. Симпатичная, веселая. Ну до чего ж ее воспитанием добили — слово в простоте боится сказать.

— Да еще и дура, наверно.— Игорь злорадно дозернул гайку.

Засмеялась.

— Ой, верно! Дура дурой.

Так-то лучше. Совсем ожила смольная воспитанница. Вернее, с этого... как его... с Лялиного спуска. Звучит попроще, нежели Смольный, но ведь и городок — не Питер.

Игорь смотрел по сторонам и ловил себя на странной мысли. То, что он видел в городе — дома, вывески, люди на улице, извозчики,— все казалось знакомым, ничем не отличалось от того, что представлял он, читая книги, где действие происходило в таких же городишках. Не отличалось увиденное и от скрупулезно выверенных декораций многочисленных фильмов, просмотренных Игорем. Чужая память, подсказавшая ему место действия, плотно смыкалась с собственной, хотя и тоже благоприобретенной — из тех же книг и фильмов, а значит, все-таки чужой. Ясно одно: ничего нового, незнакомого, впервые узнанного Игорь не углядел. Еще один парадокс путешествия в прошлое. Парадокс Бородина, ибо технически его путешествие не имело ничего общего с классическими, описанными в любимых Валеркой Пащенко романах. А каким оно было — о том знал только Игорь.

В городе ощущался явный перебор офицерья. Чистенькие, подтянутые, штабные, не нюхавшие, видно, пороховой гари, кое-кто с золотыми шнурами аксельбантов, столь легко перебиваемых пистолетной пулей — рассказ профессора тому порукой. И другие — погрязнее, не такие нафабренные, наглаженные. Скорее всего — боевые, пришедшие в город с передовой. Не исключено —серебряные орлы. Одни куда-то спешили, иные просто фланировали, ухаживали за дамами, входили в лавки и магазины, пошатываясь, вываливались из кафушек и из ресторации Ивана Дудко, носящей громкое имя «Валенсия». Почему «Валенсия», а не, к примеру, «Андалузия», Игорь не знал. Похоже, что и Иван Дудко смутно представлял себе местоположение настоящей Валенсии, выбрал название только по звучности да явной «иностранности».

Улица «Трехсотлетия дома Романовых» упиралась в замечательно просторную площадь с фонтаном посередине. Позади него, в глубине, красовалось трехэтажное здание с колоннами. На круглой купольной крыше вился трехцветный романовский флаг. Офицеров — пруд пруди. Пешие, верховые. И — о чудо! — перед колоннадой стоял прекрасный открытый автомобиль, вершина технической мысли, сверкающий черной краской и зеркальной хромировкой, по виду — «бенц» года четырнадцатого. Игорь неплохо разбирался в старых машинах и даже некогда собирал их модельки, выполненные в точном масштабе, с подробностями, аккуратно.

— Что в этом здании?— спросил он Лиду.

— Не знаю,— пожала она плечами.— Какое-то военное ведомство.— И добавила радостно: — А вон там моя гимназия. Видите, улица за домом Махотина? Это Лялин спуск.

Игоря мало интересовала Лидина гимназия. И куда больше — «военное ведомство», судя по всему — штаб и резиденция командования той части, что расположилась в городе. А может, и контрразведка — не спросишь же...

— А что в этом здании до революции было?

— Я же сказала: Махотин жил. Помещик. Очень богатый. У него одних деревень в губернии штук двадцать, наверно.

— Где он сейчас?

— Уехал. Во Францию, кажется. Сразу после революции и уехал. У него дочка в нашей гимназии училась, только на три класса старше.

— В доме другие хозяева...— задумчиво сказал Игорь.— Свято место пусто не остается.

— Ой, там так красиво! — всплеснула руками Лида.— Кругом зеркала, разноцветный паркет, а уж мебель...

— Как вы туда попали?

— Махотин бал давал, когда дочка гимназию закончила. И пригласили нескольких лучших учениц...

— Из милости? — грубо спросил Игорь, но Лида не обиделась.

— Приглашали не из милости. Скорее — жест. Но чувствовали мы себя неловко. Чужие все-таки...

— То-то и оно, что чужие...

Надо было возвращаться домой, на Губернаторскую. Мало ли когда придет посланец от Пеликана? Дома посидеть надежнее.

— Тетя еще не волнуется? — дипломатично спросил он у Лиды: а вдруг она не нагулялась, вдруг ей еще хочется побродить по улицам родного города в обществе интересного молодого человека?

Но Лида опровергла его опасения.

— В самом деле, пора. Мы же обещали недолго...— И опять оживилась: — Здесь близко. Как раз мимо гимназии и там налево. Десять минут — и мы дома...

10

Пока шли, выспрашивала:

— А вы стихи любите?

— Люблю.— Это было правдой.

— А чьи вы стихи больше всего любите?

— Блока.

Удивилась:

— Кто это?

Вот тебе и раз! Блока не знает... Хотя, помнится, не так уж он и был популярен, так сказать, в массах. На выборах короля поэтов начисто проиграл Северянину.

— А вы, конечно, Северянина предпочитаете?

— Ой, конечно! Он гений!

— Он и сам того не скрывал. Помните: «Я гений Игорь Северянин, своей победой упоен».

Стала серьезной.

— Наверно, это нескромно, я знаю...

Уже хорошо: сама думает, без помощи любимого поэта. Не такого уж и плохого, кстати. Небесталанного.

— А Блока найдите, прочтите. Вот кто гений. Особенно «Двенадцать»...— Мучительно соображал: восемнадцатый год, написана поэма или еще нет? Кажется, написана...

— У нас городская библиотека закрыта,— пожаловалась Лида. Настроение у нее менялось в прямой зависимости от темы разговора. Только что, когда о Северянине толковали, лучилась от радости. Сейчас погрустнела: беда, книги брать негде. И снова — глаза настежь, улыбается с надеждой: — Может быть, вы наизусть помните?

А что? Можно и наизусть. Наглядный урок политграмоты.

— Слушайте...

Читал Игорь неплохо, а «Двенадцать» — особенно. Поэма эта вообще для чтения благодатна: меняющийся ритм, разговорные куски, разные человеческие характеры, тон — от камерного до патетического. Читал во весь голос, не смущаясь под взглядами прохожих, честно говоря — недоуменными: идет по улице сумасшедший, орет в рифму, рука-

ми размахивает. Да и орет что-то крамольное на слух... Лучше — мимо, мимо, не дай бог привяжется, а то и слушать заставит.

Но Игорь не замечал их, не разглядывал. Плевать ему на них было. С высокой колокольни. Он читал и слушал музыку стихов, звучавших сейчас в их собственном времени. И быть может, в эти минуты в Петрограде или Москве сам Александр Блок читал их — недавно написанные, еще горячие, жизые.

И Лида слушала как завороженная. А когда он выкрикнул последние строки — о Христе в белом венце из роз,— всхлипнула, даже не сдержизаясь. Уж на что Игорь ожидал супер-эффекта, то тут растерялся:

— Вы что?

— Жалко...— Вытерла ладошкой покрасневшие глаза.

— Что жалко?

— Я не знаю. Но ощущение от стихов очень грустное. Даже жить страшно.

— Да бросьте! Жизнь прекрасна!.. А стихи понравились?

Улыбнулась.

— Очень! — Повторила для усиления: — Очень-очень. Я обязательно найду книжку Блока... А прочитайте еще что-нибудь.

Игорь усмехнулся: «Еще что-нибудь? Пожалуйста». Начал:

— Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся, какое б новое сраженье ни покачнуло б шар земной, я все равно паду на той, на той далекой, на гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной...

— Кто это написал? — спросила Лида.

Сказать бы правду: не родился еще сей поэт...

— Так, один...

И неожиданный эффект:

— Я так и подумала: это вы сами! Ой, как здорово! Вы такой талантливый!

Вот так влип. Сам дурак, не надо было читать завтрашних стихов. Даже не завтрашних — из черт те какого далека. Хорошо, что уже пришли к дому. Тема сама собой закрылась.

А дома их ждала неприятность.

Растерянная тетя Соня, Софья Демидовна, отперла им калитку и с ходу объявила:

— К нам из контрразведки приходили.

Игорь почувствовал, как опять стало холодно в животе — от неосознанного страха. Что-то часто в последнее время приходит к нему это стыдное чувство. Ну, а сейчас почему? Чего бояться?

— Зачем приходили?

— Про Гришу спрашивали. Где он, давно ли здесь был...

— А вы?

— Что я? Откуда я что про Григория знаю? Он сам по себе, мы сами по себе. Седьмая вода на киселе,— повторила она слова Пеликана.

Старик Леднев по-прежнему сидел на диване-саркофаге. Книжка выпала из рук, валялась на полу, а он, привалившись виском к диванной тумбе, которая одновременно являлась шкафом, мирно похрапывал. Даже скорее похрюкивал. Знакомая картина.

— Он знает? — спросил про Леднева Игорь.

— О контрразведке? — Софья Демидовна старательно выговаривала малопривычное, но красиво звучащее слово.— Вряд ли. Он так и проспал все на свете. Они спросили, кто это такой, а я сказала, что давний знакомый, домой возвращается, в Москву. И что профессор, сказала.

— Поверили?

— Они его мешочек — он под вешалкой стоял, хорошо, что не убрала, а ведь хотела — вытряхнули, а там документы. Все честь по чести: Леднев Павел Николаевич, профессор истории. Диплом его профессорский, еще бумага какая-то от Академии наук...

Старик Леднев перестал похрюкивать-похрапывать, открыл по привычке один глаз и сказал абсолютно не сонным голосом:

— Не от Академии наук, а от исторического общества. Хотя для этих хамов все одно...

Софья Демидовна руками всплеснула, ойкнула. Даже Игорь с интересом на профессора поглядел: ну и хитер старикан. Одна Лида ничего не понимала, но внимательно слушала.

— Вы что же, не спали? — обиженно спросила Софья Демидовна.

— Спал не спал, вопрос другой,— сказал Леднев и сел ровно, руки на коленях сложил.— Я, может, чутко сплю. Как говорится: сплю-сплю, а кур бачу. Я ждал развития событий, чтобы вступить в дело, если понадобится. Но не понадобилось. И я не стал просыпаться.—Говорил все это он тоном короля, которого незаслуженно упрекнули в перерасходе государственных денег: и вроде вина очевидна, но с другой стороны — король, какие могут быть претензии...

Софья Демидовна молча повернулась и вышла из комнаты. Лида побежала за ней. Старик Леднев обеспокоенно посмотрел вслед.

— Неужели обиделась?

— Обиделась,— мстительно сказал Игорь.— И правильно. А если б они ее пытать вздумали?

Это было не что иное, как полемический прием, вздор собачий, но старик Леднев принял его всерьез.

— Они так вежливо спрашивали... И потом она и вправду ничего о Григории Львовиче не знает, так и объяснила. Он у нее давно был, год назад, если не больше. А я его вчера видел. Не мог же я о том говорить...

— Почему не могли? — Игорь озлился на старика и добивал его беспощадно.— Сказали бы: вчера расстались. Предложили бы подождать: вот-вот сам явится.

Старик Леднев резко поднялся, толстовку одернул, губы поджал — аж борода вздернулась.

— Профессор Леднев, милостивый государь, никогда предателем не был, напрасно так считаете.— Он даже на «вы» перешел в обиде кровной.— Вы меня оскорбили, а я, мне кажется, этого не заслужил.

Игорь остыл так же быстро, как и вспылил. В самом деле, зачем он на старика набросился?

— Извините, Павел Николаевич.

Старик Леднев заулыбался, рукой махнул.

— Пустое, Игорек... Как ты думаешь, если я попрошу прощения у Софьи Демидовны, она меня соизволит простить?

— Думаю, соизволит,— сказал Игорь.

— Так я попробую...— Покашлял, осторожно стукнул костяшками пальцев в дверь хозяйкиной комнаты. Ответа не получил, заговорщицки глянул на Игоря, приоткрыл дверь и бочком-бочком проник туда.

Ладно, они сами разберутся. Плохо другое: Пеликана ищут. И ждут именно здесь, у родственников. Хотя, может статься, и еще где-нибудь ждут. Интересно, не оставили ли они шпика на улице?..

Выскочил из дома, подбежал к воротам. Крепко строили: ни щелочки в заборе, доска к доске прилажена без зазоров. Ага, вот есть дырочка. От

выпавшего сучка, наверно... Прижался к ней глазом. Ни черта не видать! Тот самый поваленный столб с фонарем в поле зрения. И все...

Ладно, чего бояться-то?..

Открыл калитку, с независимым видом вышел на улицу, посмотрел по сторонам. Вот старушка с клюкой шествует. Вон пацаненок какой-то вдалеке пыль поднимает, бежит куда-то. Куда это он разбежался?.. «Ноги босы, грязно тело и едва прикрыта грудь». Пацаненок добежал до Игоря и резко затормозил. Некрасов был прав, но лишь отчасти. Ноги босы, грудь нараспашку, рубаха без единой пуговицы, навыпуск, на штаны. Но — чистая. И сам он — беленький, длинноволосый, умытый. Встал перед Игорем и устазился на него.

— Проходи, проходи, чебурашка,— сказал ему Игорь.— Не в музее, смотреть нечего.

Мальчишка на «чебурашку» не отреагировал, хлюпнул носом, спросил неожиданным баском:

— Это четырнадцатый номер?

— Четырнадцатый, четырнадцатый. Кого тебе надобно, старче?

— Если ты Игорь, то тебя.

Это уже становилось интересным.

— Ну, я Игорь...

— Велено передать: завтра к десяти утра приходи на Кадашевскую, в дом Игнатьева. Спросишь столяра дядю Матвея,— произнес все хрипловатой скороговоркой, штаны подтянул и с ходу включил четвертую передачу, вихрем понесся по улице — только пыль столбом.

— Эй! Стой! — заорал Игорь.— А кто...— Махнул рукой: бесполезно догонять.

11

Сидя на школьных уроках, гуляя с Валеркой Пащенко, читая или глядя телевизор, Игорь часто думал: а что сейчас делает старик Леднев? Или Пеликан. И вообще, что т а м сейчас, когда нет Игоря?

И понимал непреложно: ничего! Нет там ничего, и самого «там» не существует. «Там» возникает только с появлением Игоря, ибо он—его персонаж, но он же — его создатель. Сам бог, сам Адам. Такой вот веселенький парадокс...

А посему некуда торопиться, все в прошлом останется на своих местах, без изменений — до прихода Игоря. Пока же нужно поспешить в школу. Пять уроков, четыре перемены, из коих одна — большая, двадцатиминутная. На нее и рассчитывал Игорь. Надо было уединиться с Валеркой, засесть где-нибудь в укромном углу школьного двора — есть такой угол за теплицей, у забора,— и поговорить о вчерашней встрече с вежливыми парнями. Об их предупреждении. О пружинном ножичке.

Гамлетовский вопрос: звонить или не звонить? Нет, не может быть здесь дилеммы: звонить, спешить к телефону, слышать Настин голос, договориться о встрече...

А где?

Ну, скажем, у памятника Пушкину...

Но ведь ты боишься ее дома, ее двора, а, Игорек? Ты боишься ее провожать до подъезда, боишься остаться один на коротком вечернем пути до арки-туннеля, ведущей на многолюдный Кутузовский проспект... И сам себе признался: да, боюсь. Боюсь, черт возьми, хотя и стыдно... до боли стыдно!

До боли?.. Чего же бояться? Как раз боли? Ну, отлупят тебя пятеро, большое дело! Помнишь, кажется, у Зощенко, рассказ о студенте и матросе, влюбленных в одну девушку. Матрос регулярно колошматил студента, а тот, харкая кровью, вновь приходил на свидание. Более того: бросался на гиганта-матроса с кулаками, пока тот не сдался под сумасшедшим напором бесстрашного дохляка.

Беллетристика...

А что не беллетристика? Парни эти, короли двора? Типичная штампованная беллетристика. Герои нравоучительных очерков из серии «Человек среди людей». О заблудших подростках.

Но тем не менее они существуют. И боишься ты, Игорек, не боли, не крови, не ножичка какой-нибудь золингеновской стали, а чего-то другого, чему и названия не придумать.

Знаешь — чего? Себя ты боишься! Своей беспомощности, нерешительности, полного отсутствия того, что с избытком имелось у зощенковского студента. Ты, не слабый физически человек,— да и подручных средств вокруг много, палки, доски, кирпичи! — боишься применить свою силу, пойти на конфликт. Живешь по принципу: нас не трогай, и мы не тронем...

Но с Пащенко посоветоваться стоит. Он подобными комплексами, известно, не обладает. Предупредил его:

— Надо поговорить, старичок.

— В чем дело — вопрос! — Готовность у Валерки — ноль, как принято писать о всяких экспериментах.— Надолго? А то у меня в три пятнадцать тренировка.

— Да нет, ненадолго. На большой перемене сходим за теплицу...

Сели за теплицей на сложенные школьным завхозом доски — двадцать минут свободы впереди.

— Что стряслось, Игоряха?

Ничего не стал таить, все выложил. И про Настю, и про парней, и про свои непонятные страхи. Взглянул на часы, оказалось, что на все про все десяти минут хватило. А думал — леденящая душу история, за час не поведаешь...

И Пащенко к ней соответственно отнесся.

— Не вижу особых проблем, старичок. Обыкновенные пижоны, маменькины сынки. Папаня в загранку съездил, привез любимому отроку ножик, а тот теперь себя кумом королю чувствует...— Повторил еще раз: —Не вижу проблем. Хочешь, я с тобой вечером пойду? Я свободен. На двоих они не полезут.

Цельный человек — Пащенко. Ни в чем проблем не видит. А коли видит, то и решает их, не мудрствуя лукаво. И правильно делает! Легко ему живется... А Игорь каждый раз в сомнениях путается, никак их не размотает. И все они неразрешимые, все они мирового значения!.. Но тут приходит друг Валера и заявляет: плюнь, все мура, живи прямо, ничем не мучаясь.

И ведь прав, наверно...

А Пащенко развивал тему дальше:

— Во-первых, надо об этих гавриках Насте сказать. Она их наверняка знает, пусть имеет в виду, раз уж развела себе таких кавалеров. И цена тебе у нее побольше будет: не убоялся трудностей ради дамы... Ты говоришь, она на Кутузовке обитает? И Алик там же...— Это его коллега по прыжкам, друг-соперник. Все норовит познакомить, да както не получается. — У него приятелей — весь проспект.

— Зачем мне его приятели?

— На всякий случай. Соберем компаху и пуганем этих гадов — до окружной дороги поползут!

Это был выход. Пугануть. Сила на силу. Закон Ньютона: на всякое действие существует противо-

действие, да простит учитель физики столь вольное толкование физической классики. Показать «этим гадам», как выразился Валера, ньютоновскую правоту.

А самому в сторонке постоять? Двое дерутся — третий не мешай, старое дворовое правило? Этаким полководцем на горушке...

— Спасибо, Валерка, научил уму-разуму. Как вариант — застолбим. На будущее. А пока поглядим за развитием событий.

— Сам пойдешь?

— Угадал.

— А отлупят?..

— Ну уж, обязательно отлупят...

— А что? Запросто. Может, все-таки я с тобой?

— Спасибо, Валер, перебьюсь сегодня.

— Ну, перебейся...— Засмеялся: иносказательное буквально прозвучало.— Позвони вечерком.

...Как в воду с обрыва: схватил трубку, набрал Настин номер. И все дурацкие опасения показались мелкими и придуманными, когда услыхал чуть капризное:

— Наконец-то! Я уж и ждать устала...

— Настенька, я хочу тебя видеть! — Сам не заметил, что на «ты» ее назвал.— В «Россию» сходим, в кафе посидим...

— Я буду у Пушкина через час.

Задуманная программа начата по плану. Чем-то закончится?..

Пока смотрели фильм, а потом сидели в «Московском», Игорь все время пытался сравнивать Настю с Лидой. Не потому, что Лида ему понравилась — ничего подобного, такого даже в мыслях не объявилось,— просто он проверял то секундное впечатление, которое возникло у него, когда Лида впервые вошла в комнату. Тогда он подумал, что она удивительно похожа на Настю. Потом разуверился в этом. Сейчас, сидя за столиком кафе, в упор уставился на Настю, как голопузый вестник Пеликана — на него самого, на Игоря.

Настя даже спросила, на миг оторвавшись от мороженого:

— Что ты во мне углядел?

Чуть было не ляпнул машинально: ничего не углядел. Но сообразил вовремя, что буквальный смысл прозвучит обидно. Ругнул себя за невнимательность, сказал грубовато:

— Будто сама не знаешь...

— Честно — не знаю.

Язык стал тяжелым, неповоротливым. От мороженого, что ли? Своего рода анестезия...

— Красивая ты очень...

— Вот и соврал! — почему-то обрадовалась Настя.— Я себя знаю и не обольщаюсь на свой счет.

А может, она хотела, чтобы ее разубеждали?

— Нет, красивая, очень красивая! — упрямо настаивал Игорь.— Не верь зеркалу.

Двусмысленное вышло предложение. Значит, лучше зеркалу не верить, но можно и поверить: что-то такое оно отражает. Настя, к счастью, двусмысленности не заметила или не захотела заметить.

— Конечно, тебе верить приятнее...

И все же есть у нее что-то общее с Лидой. Даже не «что-то» — многое. Глаза, их выражение, особенно когда она улыбается, и сама улыбка, и ямочки на щеках. И волосы — обе блондинки... Но разве оно удивительно —это сходство? Ведь он увидел Лиду такой, какой хотел. А хотел увидеть похожей на Настю, об иной девушке не помышлял. И то, что Лида потом оказалась другой, так это естественно. Настя — здесь, Лида—там. Лида— человек из чужой памяти, хотя и пропущенной через мироощущение Игоря, через его фантазию.

Да и вообще: разве было бы что-нибудь там в пресловутой чужой памяти, если бы не Игорева фантазия?..

Странное дело, ему впервые за все время путешествий в прошлое хотелось рассказать о нем. Ну, просто распирало. Одно останавливало: не поверит Настя. Да и кто поверит в фантасмагорию, в чудо, в антинаучную фантастику? И то ли не мог он больше держать в себе все это, то ли Настя слишком располагала к откровенности, тем более — к давно желаемой, но решил попробовать, почву прощупать. Не впрямую, конечно, не в лоб, не всю правду чохом. Потихонечку, полегонечку. Иносказательно. Просто— о прошлом. Издалека.

— Ты куда после школы?

— На филфак, наверно. А ты?

— Соседями будем. На исторический.

— Давно решил?

— Пожалуй, давно. С детства книги по русской истории любил. Раньше Смутным временем интересовался, помнишь, было такое после смерти Ивана Грозного, а теперь в недальнее прошлое путешествую.

Слово сказано!

— Куда именно?

— В гражданскую, в восемнадцатый год.

— Почему именно в восемнадцатый?

— Понимаешь, какая штука. Дед у меня, он в девятьсот первом родился, в конце лета восемнадцатого года шел пешком из Ростова-на-Дону в Москву...

— Зачем?

— Застрял он в Ростове. Его родители отправили парня к родственникам — сестра прабабки там, кажется, жила, семья ее,— а тут революция, война началась. Ну, он и сбежал от родственников...

— Как сбежал?

— Как сбегают? Ногами. Ночью, когда все спали, налегке. И пошел по Руси-матушке. Тыща километров как отдай.

Ужаснулась:

— Война ведь!

— Верно. Рискованно было идти. Могли и шлепнуть. Но повезло. Дошел целым и невредимым.

— Ой, как интересно! Красные, белые... А он-то сам как настроен был?

Игорь усмехнулся: что сказать про деда? Видимо, правду.

— Никак, наверно. Мальчишка, плохо ориентировался в политике. Но когда дошел, стал красным, это наверняка.

Про деда — все правильно, иным он и не мог быть: дитя своего времени, только своего, а в то время семнадцатилетний парень из среднебуржуазной семьи нечасто имел какие-то устоявшиеся политические взгляды. Но дед дедом, а речь-то о нем, об Игоре... Ладно, начал не о себе, так и продолжу не о себе. Пока. Дальше видно будет.

— Он тебе сам рассказывал?

— Он умер задолго до моего рождения.

— Откуда же ты все знаешь?

— Бабушка, отец... Они про деда многое знали.— Игорь старался отвечать не впрямую, уклончиво, переводил акцент: — Дед у меня — герой-удалец. В финскую воевал, Великую Отечественную до конца прошел, полковником конец войны встретил. А потом демобилизовался, до смерти в газете работал.

— Журналист? Тоже Бородин фамилия?

— Нет, он не писал, не вспоминай. Он выпускающим работал, в типографии. А писать мечтал. Даже пробовал чего-то. Царапал в тетрадке пе-

рышком. И заметь, именно о гражданской войне, наверно, и меня заразил.

— Ты же его не знал, не застал.

— Он меня генетически заразил...

Посмеялись. Настя попросила:

— Ты бы мне рассказал обо всем этом подробно, а?

— О чем именно?

— О путешествии деда. Ты о нем подробно знаешь?

Усмехнулся: куда уж подробнее...

— Хорошо, будет время — расскажу.

— Завтра? Идет?..

Ты этого хотел, Игорек? Поведать Насте о хождении по времени, в подробностях поведать, ничего не упустить, не забыть. Ни старика Леднева, ни Пеликана, ни Лиду, ни ее тетку, ни даже босого мальчишку-вестника. Только не о себе придется говорить. О деде. А какая разница: тоже мальчик из хорошей семьи, тоже Бородин, тоже семнадцатилетний. Пускай о деде. Лишь бы выговориться...

12

Ясное дело, договорились завтра созвониться. Поутру, не откладывая в долгий ящик.

На часах — десять тридцать пять. Двор темен и тих. Интересно: ждут ли его вежливые ребята?.. Интересно — не то слово. Шел, не глядя по сторонам, еле-еле сдерживая желание побежать. Вон они, ящики...

— Эй, Игорь, подойди сюда, дружок!

Ждут!

Ну уж черта с два он к ним подойдет!.. Убыстрил шаги, почти побежал, молча, никак на окрик не реагируя.

Стоп!

— Ты куда это разбежался? Не слышал — зовут?

Двое в куртках перед ним. И как назло — никого во дворе. Вымер он, что ли?

Может, закричать?..

— Давай-давай двигай. Мы два раза не повторяем.

Эти куда грубее, чем их вожак. Вежливости не обучены. Взяли под локотки и поволокли к ящикам.

— Руки прочь! — Красивая фраза, но глупая. Игорь дернулся, сбросил руки «конвоиров», но ведь пошел к ящикам, сам пошел, как... корова на убой.

Придумал сравнение и про себя усмехнулся: пошляк ты, братец! Идешь по морде получать, а все же пыжишься, как бы «покрасивше» о себе выразиться...

Двое отконвоировали, трое поджидают. Итого — пятеро. Знакомые все лица. Вот и вожачок их. Сидит на ящике, развалился, на другой ящик оперся... Интересно, что они делают, когда из магазина пустую тару вывозят?

— Что же ты, Игорь? Ай-яй-яй...

Тон соболезнующий, того и гляди расплачется юноша, модный свитер слезами омочит.

— А что я?

— Я тебя предупреждал: забудь о Насте. Предупреждал или нет?

— Ну, предупреждал.

— А ты не послушался. Нехорошо...

Издевается, сволочь, остроумие свое показывает.

— Кому нехорошо?

— Будет? Боюсь, что тебе.

Странное ощущение: Игорь одновременно трусил и злился. Два малосовместимых чувства, ибо злость на противника должна рождать желание если не нападать, то уж защищать себя. Но ощущая эту злость, Игорь пытался хорохориться, страшась тем не менее нечаянным словом или действием перейти ту грань, за которой дипломатические переговоры окончатся. Страшился он ее перейти и не понимал — не хотел понимать! — что ребята-дипломаты ведут переговоры, только следуя неписаному протоколу подобных встреч «на высоком уровне», а на самом деле ими все давно решено...

— Ты о себе лучше подумай.

— Странно...— Вожак обернулся к приятелям, театрально требуя разделить с ним изумление.— Игорь, кажется, хамит...

— Хамит, хамит,— немедленно подтвердил один из приятелей и засмеялся довольно.

— Обидно,— сказал вожак, встал и, не замахиваясь, коротко ударил Игоря в солнечное сплетение.

Игорь открыл рот, попытался вдохнуть, не смог и резко согнулся пополам, присел на корточки. Было страшно: воздух не попадал в легкие, останавливался где-то на полпути, и к боли в животе добавлялась кружащая голову пустота в груди.

Вежливые ребята стояли над ним, молча смотрели, как он старается дышать, судорожно открывает и закрывает рот. Рыба.

— Плохо Игорю,— сказал вожак.

Возможно, он и раньше что-то говорил, но Игорь не слышал его. А сейчас услыхал, голос прорвался, как сквозь вату. И дышать стало легче.

— Как бы хуже не было,— добавил кто-то из парней.

— Сволочи! — Игорь почувствовал, что он вот-вот заплачет. Это было совсем уж стыдно.

— Он опять хамит,— грустно произнес вожак, глядя, как поднимается Игорь.— Он ничего не понял.

Игорь понимал одно: сейчас вожак снова ударит, и надо бы ударить первым, пока тот не ждет нападения, стоит, раскрывшись. Понимал и... ничего не мог с собой поделать.

И вдруг — это уж попахивало мистикой! — раздался такой знакомый голос:

— Ба-а! Какие люди!

Пащенко! Он-то откуда?..

Обернулся. Так и есть — Валерка. Улыбается во весь рот, будто невесть что развеселое углядел. И рядом с ним—другой парень. Тот, напротив, довольно мрачно на все посматривает.

— Игорь, тебе не кажется, что ты заставляешь себя ждать? — Это опять Пащенко.

Надо бы отвечать, но Игорь не знал что, не мог ничего выдавить. А Пащенко, оказывается, и не требовалось ответа. Он и вопрос задал риторический.

Теперь он обращался к своему мрачному спутнику:

— Они, Алик, явно чего-то не поделили. Ты не находишь?

Алик тоже промолчал, предоставляя Валерке право вести спектакль в одиночку. А того хлебом не корми — дай поговорить.

— Извините, парни, извините, но доделите в другой раз. Нам Игорь очень нужен, ему через полчаса из Организации Объединенных Наций звонить будут. Сам генеральный секретарь. Надо поспешать. Еще раз извините.

Он подхватил Игоря под руку и потащил прочь от ящиков. Алик пошел сзади, поминутно оборачиваясь, прикрывая тылы.

— Эй, длинный, ты бы не лез в наши дела! А то

и тебе кое-что обломится...— неожиданно опомнился кто-то из компании.

Не вожак — тот помалкивал.

— Премного благодарен,— паясничал Пащенко, полуобернувшись, однако не притормаживая, целеустремленно руля к воротам.— Всю жизнь мечтал. Обломите, что обещали, и передайте Насте. А уж она меня разыщет. Через Игоря.— И захохотал нарочито по-дурацки, взвизгивая и ухая.

А когда отсмеялся, то в разговор вступил вожак. Он сказал негромко, но Игорь услышал:

— Тебе сегодня повезло, Игорь. Но предупреждение остается в силе. Помни о нем.

— Он помнит,— продолжал на прощание дурачиться Валерка.— У него память, как у молодого. Адье, ребятишки, ариведерчи Рома...

Они вышли из подворотни на Кутузовский проспект, и Игорь опять, как и в прошлый раз, был ошарашен и светом, и шумом, и многолюдьем.

— Ну ладно, мне пора. Чао! — Алик помахал рукой и пошел по тротуару, легко обгоняя прохожих.

— Ты извини, время не рассчитал,— сказал Пащенко.— Позвонил Насте, ее мама доложила: мол, в десять будет. Ну, я и накинул полчаса на провожанье, вот чуть-чуть и опоздал к кульминации... Сильно тебе врезали?

— Пустяки...— Игорю опять хотелось плакать. Ну что ты скажешь, прямо девица сентиментальная! — Спасибо тебе.

— Сочтемся славой.

— Я не ожидал удара, а он в поддых...

— Ладно-ладно.— Пащенко видел, что Игорь пытается оправдать себя, и не хотел терпеть унижений друга.— В суде объяснения писать будешь. А я тебе не Фемида с весами, у меня оба глаза вперед смотрят. И как ты думаешь, что они видят?

— Что? — Игорь не сдержался — улыбнулся.

— Они видят замечательно пустое маршрутное такси, которое пулей домчит нас до площади имени Феликса Эдмундовича. Понеслись!

И они понеслись.

Потом, уже лежа в постели, собирая — пользуясь цитатой из любимого Игорем Блока — «воспоминанья и дела» минувшего дня, Игорь думал: почему «вежливые ребята» испугались? Их же пятеро, а против них — только двое, ибо себя Игорь считать не имел права. Испугались двоих? Вряд ли. Хотели бы — отлупили бы и Валерку и Алика самым лучшим образом. А ведь отступили... Может, шума боялись? Пожалуй, так. Тихие интеллигентные мальчики, не хулиганят, маленьких не обижают, со старшими не задираются. И вдруг драка. Пятеро против двоих. Тут и искать виновных не надо: кого больше, те и виноваты. Могла получиться осечка: вышли бы они из отработанного образа на виду у сбежавшихся на шум жителей дома. А этого им, ох, как не хочется!..

Тут телефон затрезвонил. Он у Игоря прямо на полу обретался, у кровати. Взял трубку. Настя.

— Игорь, что случилось?

— А что случилось?

— Мне Наташка звонила.

Трепло Валерка!

— Ну и что она говорит?

— Что тебе угрожали. Из-за меня. Даже ножом пугали. Так?

— Ну так...

— А ты не струсил? Валерка сказал, что он специально сегодня ко мне во двор приезжал, думал, драка будет, а ты прошел сквозь них, как нож сквозь масло...

«Нож сквозь масло» — это явно из Валеркиного репертуара. Как он Игоревы подвиги расписал, можно себе представить! Зря, выходит, Игорь на него сейчас клепал: друг — он во всем друг.

— Какой там нож, какое масло...— Трудно было Игорю это произнести, но иначе не мог.— Струсил я, Настя, как последний первоклашка. И если б не Валерка, не знаю, что было бы.

— Вот что.— Голос Насти стал деловым и строгим.— Теперь я тебя провожать буду. Каждый раз. Сначала ты меня — до подъезда, а потом я тебя — до троллейбуса.

Что ж, это выход. При Насте, можно быть уверенным, к Игорю никто из тех парней не прицепится. Только воспользуется ли он им, этим выходом? Надо уж совсем себя не уважать...

— Вздор, Настасья, ты что придумала?

— А что? Я знаю этих парней. Подонки. Вадька там один, он в меня в прошлом году влюбился, проходу не давал, а я его отшила разок. Теперь он считает, что я никого не могу полюбить — не имею права.

— А ты можешь? — с замиранием сердца, полушепотом.

И так же — полушепотом — в ответ:

— Могу.

И повесила трубку. До завтра.

13

В доме все еще спали, когда Игорь на цыпочках прошел к окну по крашеным молчаливым половицам и настежь распахнул его. Оно выходило на улицу, по-прежнему пустынную. Пахло сеном, прелой травой и еще — отчетливо — гарью. Запах гари тянулся откуда-то издалека, будто напоминание о недавнем пожаре.

Игорь тихонько открыл дверь, прошел через пустую общую комнату, через прихожую, выбрался во двор. Восемь на часах, на хороших часах марки «Слава», которые Игорь прятал в кармане брюк, скрывал ото всех, — здесь, в прошлом. Можно себе представить изумление старика Леднева, если бы он узрел эти супермодные «тикалки» с зеленоватым циферблатом под граненым стеклом. Пока не узрел, Игорь был осторожен.

На крыльцо вышла Софья Демидовна, увидела Игоря, сказала:

— Буди своего спутника. Завтракать станем.

Будить Леднева — дело привычное. Каждое утро Игорь им занимался, навострился. И сегодня со стонами, с обидами и мелкими оскорблениями, но поднялся старик. Умываться не пожелал.

— Мне от воды еще больше спать хочется. Я и так чистый. Ты что, забыл: мы же третьего дня в бане мылись...

Бог с ним, пусть не умывается! Но вот как его дома оставить, чтоб не увязался за Игорем? Проблема! Помнится, еще вчера он выражал желание побродить по городу. Говорил:

— Все равно Пеликана ждать...

И сказал это при хозяйке. Она, естественно, удивилась:

— Кого ждать?

— Григория Львовича,— ничтоже сумняшеся объяснил Леднев.

— Как-то вы его странно назвали...

Пришлось Игорю вмешаться:

— Был случай. Григорий Львович нам одну байку рассказывал, про пеликана. С тех пор мы его так иногда называем. В шутку. Он не обижается...— И безжалостно лягнул под столом ногу профессора.

Тот покривился, но смолчал. Потом, когда одни остались, не преминул поинтересоваться:

— Это что ж такого я сморозил?

— Глупость,— объяснил Игорь.— Видите, Софья Демидовна удивилась. Значит, Пеликан не афиширует здесь свое прозвище.

— Странно,— недоумевал Леднев.— Здесь, с родными, не афиширует, а с нами, посторонними — пожалте бриться. Мы, божьей милостью, Пеликан Единственный...

Игорю это тоже казалось странным. Приученный всему искать пусть собственное, но объяснение, он и тут нашелся: в доме у Софьи Пеликан человек респектабельный, куда как лояльный. Вон вчера из контрразведки приходили. Скажи им Софья, простая душа, про птичье прозвище — чего бы они не заподозрили только! А так — Григорий Львович, солидный мужчина, отсутствует за неимением в наличии. А то, что им, посторонним, Пеликаном назвался, так на то они и посторонние: сегодня есть, завтра ищи-свищи! Им как раз подлинную фамилию знать не следует.

Все это могло соответствовать истине при одном условии: Пеликан или бывший, или настоящий нелегал. А в том Игорь уже и не сомневался.

Завтракали вчетвером. Лида сидела напротив Игоря и смотрела на него если и не влюбленно, то с восторгом. Игорю было неудобно. Он на Лиду не глядел, уставился в тарелку с овсяной — нелюбимой! — кашей, скреб ее ложкой. Восторг инфантильной гимназистки он относил за счет прочитанных вчера стихов. И не столько Блока, сколько тех, что она за Игоревы приняла... Как же: знакомство с пиитом! Такой факт юной барышне-эмансипе легко голову кружит.

Поели. Игорь хозяйку поблагодарил, попросил разрешения покинуть стол.

— Мне в город надо.

— Я с тобой,— сказал старик Леднев.

Как Игорь и ожидал! Но это было бы полбеды. А тут и Лида свою лепту внесла:

— Можно, я тоже?

Хорошо, на профессора Игорь согласен, но Лида — это уж слишком. Надо было отбояриваться.

— Что вы, что вы! — деланно ужаснулся он.— Чувствуете, запах какой? Говорят, пожары в городе...

Старик Леднев немедленно вопросил:

— Кто говорит?

— Там...— туманно объяснил Игорь.

И старик Леднев его прекрасно понял, хмыкнул и ручки потер.

— Ну, раз там... А мы пожаров не боимся, правда, Лидочка? Мы пойдем и посмотрим... И вообще, в юности я служил в пожарной команде, я все знаю.— Тут он на спинку стула откинулся, глаза блаженно прикрыл.— Какие першероны, серые в яблоках! А каски, каски, начищены, как зеркала... И брандмайор впереди...— Сладко ему было вспоминать то, чего, на взгляд Игоря, никогда в его жизни не существоваало.

Софья Демидовна робко вставила:

— Может, и вправду опасно, а, Лида?

Старик Леднев очнулся от сладких воспоминаний и яростно воспротивился:

— Абсолютно не страшно, любезная Софья Демидовна. Я Лидочку ни на шаг от себя не отпущу, следить стану паче цербера. На меня, драгоценная Софья Демидовна, можно положиться безо всякой опаски.

— Да-а? — с сомнением протянула хозяйка, но спорить не стала.

А старик Леднев, довольный победой, так славно и просто одержанной, рвался в бой.

— Если идти, господа, то немедля. В путь, в путь, трубы зовут.

В городе было неспокойно. По дороге выяснили, что ночью какие-то злоумышленники взорвали казармы, расположенные на другом конце города, в районе Святой слободы. Пожарных частей не осталось, серых в яблоках першеронов — или на ком они тут ездили? — давным-давно мобилизовали не то белые, не то красные, как, впрочем, и топорников. Брандмайоры сами воевать тронулись — за единую и неделимую, а также святую Русь, опоганенную теми красными, к кому ихние, брандмайоровские, топорники подались. Стало быть, топорниками и опоганенную. Кому уж в таких сложных условиях пожары тушить? Некому. Вот казармы и погорели. Не вчистую, но сильно.

Старик Леднев разговорился с толстой, мордастой, краснощекой теткой, по виду торговкой, но с пустой корзиной. Распродала, что ли, все? Нашла время для торговли... Леднев вцепился в нее, как клещ, стал выяснять подробности городской жизни, торговли и наличия товаров на базаре, а Игорь решил: была не была! Потянул Лиду за рукав.

— Есть дело. Но — секрет!

Лида мгновенно расцвела, в буквальном смысле слова — щеки покраснели, глазки загорелись.

— Какой секрет, Игорь?

— Хранить умеете?

Она мелко и быстро перекрестилась.

— Христом богом клянусь.

Игорь посмотрел по сторонам — не слушает ли кто? — но сделал это больше для Лиды, чем для себя.

— Вы знаете, где Кадашевская улица? — шепотом спросил он.

— Знаю,— тоже шепотом ответила Лида.— Вон та Свитская, а там направо — Кадашевская. А зачем вам?

— Надо. Идем.

— А Павел Николаевич?

— Ему ни слова.

Лиде это не понравилось. Секрет секретом, но она же воспитана в уважении к старшим! Другое дело, что она не знала, как старшие иногда могут мешать...

— Может, мы его все-таки предупредим?

— Тогда он увяжется за нами, а там опасно.

Это сразило Лиду, и, уже не противясь, она пошла за Игорем, поминутно, впрочем, оглядываясь. Вопреки опасениям, никто на них не обращал внимания — ни раньше, когда они втроем шли, ни теперь, когда отделились от профессора. Игорь с Лидой на вид — юные влюбленные, местные Ромео и Джульетта, дети приличных родителей. А Леднев... Пащенко таких называл коротко: «чайники». Кто, скажите, заподозрит в «чайнике» поджигателя и бомбиста? Только параноик, страдающий манией преследования. Чайник — сосуд привычный и безопасный...

Без приключений дошли до Кадашевской. Там пришлось спросить, где дом Игнатьева. Им объяснили. Дом оказался солидным по размерам: трехэтажный, каменный, с двумя подъездами. Типичный доходный дом. Игорь сказал:

— Стойте здесь и смотрите в оба.

— На что смотреть, Игорь? — Уже задавая вопрос, Лида смотрела в оба именно на Игоря. Она опять была влюблена в него, ибо поэт, да еще и окруженный ореолом тайны, весь погрязший в правилах конспирации,— это особый человек. Не любить его невозможно.

В данный момент Лидина влюбленность играла Игорю на руку.

— Если заметите кого-нибудь подозрительного, делайте вид, что просто гуляете. Или ждете подругу.

— А как я узнаю, что это подозрительный?

— Узнаете. Подозрительного сразу видно.— Игорь не стал вдаваться в объяснения, да и что он мог объяснить? Ровным счетом ничего! Он сам не ведал, как узнать подозрительного...

— А вы? — Лида не отставала.

— Я — в дом. Ждите.

— Берегите себя!

Последняя фраза — из какого-то романа. Возможно, ее произносила некая прекрасная дама своему возлюбленному, который отправлялся в очередной крестовый поход. Или еще куда-нибудь, где уж-жасно опасно.

— Поберегу,— пообещал Игорь и вошел в подъезд.

Здесь было тихо и прохладно, даже холодно, как и в любом подъезде-колодце в старых московских, еще дореволюционной постройки домах. Игорь, случалось, бывал в них: там жили и его знакомые и знакомые его родителей. В любую жару такие подъезды, как термосы, хранили каменную прохладу. Неширокая, но внушительная лестница — похоже, из мрамора — поднималась вверх, ограниченная слева стеной с облупленной штукатуркой, но без привычных Игорю надписей цветными мелками, а справа — чугунными решетчатыми перилами. Вниз, в подвал или в полуподвал, тоже вела лестница, но куда поуже и попроще. В таком доме, если сравнить его с соседними на улице, квартиры вряд ли дешевы. Вон лестница какова... Да за нее одну хозяин, небось, лишний рубль к квартплате накидывал! Столяр дядя Матвей не мог жить в дорогой квартире — не по карману. А между тем он живет именно здесь. Где конкретно? Ответ ясен: в подвале. Или в полуподвале, где квартиры наверняка много хуже и дешевле. Гениальный ход мыслей, что там Шерлок Холмс!..

И тут, как в добротном детективе, сзади раздался голос:

— Чего встал? Вниз иди...

Игорь обернулся не без ужаса. На него смотрел давешний малец, стоял у входной двери, придерживал руками штаны — скорее по привычке, чем по необходимости: держались они на лямке — и улыбался. Переднего зуба у мальца не имелось. Судя по возрасту, молочные у него выпали давно, а коренного, видимо, он лишился в драке. Бывает...

— Иди-иди, не боись,— молвил малюточка басом, шмыгнул, как и вчера, носом, повернулся, не прощаясь, и выскочил на улицу. Счел свою миссию оконченной.

Выходит, за Игорем следили. Точнее, не за Игорем, конечно,— подумаешь, персона грата! — а за домом. И заочно уважая дядю Матвея, а тем более Пеликана, можно было утверждать, что не один малец фланировал вокруг дома, кто-нибудь еще тем же занимался. И постарше, посолидней и посерьезней.

Да, интересно, как Лида на мальца отреагировала? Сочла подозрительным или нет?..

Игорь осторожно спустился по лестнице — двенадцать ступеней вниз, сосчитал,— и уперся в низкую, обитую железом дверь. Ничего на ней не написано, никаких табличек не висит. Постучал. Сначала тихонько, а потом и посильней. Из-за двери раздался приглушенный голос:

— Кого надо?

— Мне дядю Матвея,— сказал Игорь.

— А от кого будете?

— Мне вчера сказали, чтоб я пришел...

— Погоди...

Чем-то загремели, что-то с лязганьем грохнулось. Дверь приоткрылась, и в щель Игорь увидел глаз. Глаз помигал, кто-то кашлянул, и дверь, наконец, распахнулась. На пороге стоял высокий сутулый старик с великолепными — под стать Буденному! — пшеничными усами.

— Игорь, что ли? — спросил старик.

— Ну, я...

— Заходи, ждут.

Игорь вошел в крохотную прихожую, вернее, в пространство, отделенное от всего остального плотной занавеской. Старик сзади лязгал замком. Игорь отодвинул занавеску, увидел маленькую комнатку с низким потолком, стол посередине, керосиновую лампу на его голых досках. И за столом, выложив на него огромные лапищи, улыбаясь в сто зубов, сидел Пеликан.

14

— Здорово, Игоряха,— сказал Пеликан.— Не ожидал?

— Обижаешь, Пеликан,— улыбнулся Игорь. Он рад был его видеть и не собирался это скрывать.— Не только ожидал, уверен был, что ты где-то здесь обретаешься.

— Ишь ты! — удивился Пеликан.— Какой проницательный, ехали бояре... С чего бы так?

— А с того, что если я кому-то и нужен, так тебе, а не мифическому дяде Матвею.

— Логично... А почему мифическому? Вот он, во плоти. Знакомься.

Усатый старик поставил хлипкий венский стульчик рядом с Пеликаном, сел и подкрутил усы. Жест был книжный, описанный всеми, кому не лень, но тем не менее...

— Здрасьте,— поклонился Игорь, а дядя Матвей ему на свободный стул указал:

— Садись. В ногах правды нет.

Честно говоря, дядя Матвей напоминал этакого традиционного революционера-подпольщика. Тут тебе и усы, и хриплый голос, и руки, как положено, жилистые, корявые, рабочие руки. Но он и не мог быть иным, потому что своя память, перемешанная с чужой, подарила Игорю именно то прошлое, какое он ж д а л, какое хотел видеть.

— Как профессор? — спросил Пеликан.

— Нормально. Гуляет по площади у фонтана.

— Он знает, куда ты пошел?

— Не-а, мы от него сбежали.

— Мы?

Надо было признаваться.

— Там, у подъезда, Лида...

— Что-о?..

— Так получилось,— зачастил Игорь.— Я не смог смотаться из дому, сначала Леднев увязался, город ему, видите ли, посмотреть захотелось, а потом и Лида, я же не сказал им, что иду к тебе...

— Погоди,— остановил Пеликан Игореву пулеметную очередь.— Где она?

— Лида? Гуляет возле дома.

Пеликан посмотрел на дядю Матвея.

— Там же Сом и Колька?..

Дядя Матвей смущенно кашлянул в кулак — это тоже у него вышло традиционно, по-книжному.

— Девка ведь... Чего за ней смотреть...

— Какая разница,— жестко сказал Пеликан.— Ладно — Колька, но Сом-то, Сом...

— Я скажу им...

Игорь слушал этот малопонятный разговор и делал свои выводы. Дом под наблюдением неизвест-

ного человека по фамилии или по кличке Сом. Ему в помощь придан некто Колька,— видимо, тот самый малец. Пеликан недоволен, что они никак не отреагировали на фланирующую у подъезда Лиду. Прав Пеликан, девка тоже может в охранке служить. Или не в охранке, охранка при царе была — в контрразведке...

— Ты говорил ей, куда идешь? — Пеликан явно нервничал.

— Что я, псих? — обиделся Игорь.— Не из детского сада.

Сказанул и осекся: какой тут, к дьяволу, детский сад? О них пока не слыхивали в России...

Но Пеликан на промашку внимания не обратил, а может, воспринял словосочетание буквально: сад, где гуляют дети. С боннами. Городской парк, к примеру...

Пеликан встал и заходил по комнате. Она была ему тесна, как тюремная камера: три шага в одну сторону, три в другую. Дядя Матвей по-прежнему сидел молча и, не отрываясь, смотрел на Игоря.

Игорь терпеливо ждал, пока Пеликан отмерит задуманное количество шагов и что-нибудь скажет. Наконец Пеликан остановился, взялся ручищами за гнутую спинку стула, Игорь даже испугался: не сломал бы...

— Вот что, парень. Я чего опасаюсь? Можно ли тебе доверять?

Другой бы стал убеждать Пеликана в своей верности, клялся бы и божился, а Игорь лишь плечами пожал.

— Твое дело. Я тебя понимаю: чужая душа — потемки.

— Не в том суть,— покривился Пеликан.— При чем здесь душа. Парень ты надежный, да больно дорога далека...

— Куда дорога?

Дядя Матвей разлепил губы — а Игорь думал, что они у него навеки склеились,— и вставил свое:

— Не путай малого, Гриня, дуй по порядку...

А Пеликан словно и ждал этих слов. Сразу успокоился, опять умостился на стуле и начал «дуть по порядку».

— Про взрыв и пожар в казармах слыхал?

— Весь город взбудоражен...

— Какие-то умные люди постарались.— Пеликан подмигнул Игорю, полагая: тот поймет, что к чему, кого он в виду имеет. Может, просто так подмигнул, от хорошего настроения, а Игорь напридумал себе невесть чего.— Так из-за этих громких дел,— продолжал Пеликан,— мне из города трудненько будет выбраться...

Игорь усмехнулся. Он знал то, что не было известно Пеликану.

— К Софье Демидовне из контрразведки приходили, про тебя спрашивали...

Дядя Матвей быстро глянул на Пеликана.

— Я упреждал, не ходи сюда...

— А не пришел бы — ни хрена б не было! — рявкнул Пеликан.

Но дядя Матвей на рявканье внимания не обратил, сказал спокойно:

— Зря гоношишься. И без тебя справились бы...

И опять Игорь почувствовал, что он здесь лишний, что разговор идет о чем-то своем, тайном, может быть, даже о взрыве в казармах. И посвящать Игоря в суть этого разговора никто не собирается.

— Не ходил бы, сам пошел бы...— непонятно сказал дядя Матвей.

А Пеликан немедленно отпарировал:

— Другой сходит, ехали бояре. Вон он...— И на Игоря кивнул.

— Идти далеко,— кротко заметил дядя Матвей.— А тебе сидеть и сидеть...

Игорь наконец не выдержал полного неведения— слушал дурак дураком, ушами хлопал,— взмолился:

— Может, объясните, о чем речь?

— Объясни человеку, Гриня,— строго сказал дядя Матвей.— Он мне нравится. Серьезный.

Вот и дождались! Игорь усмехнулся про себя. Большое дело: нас серьезными назвали...

— Плохих не держим,— заносчиво подтвердил Пеликан и бухнул, не раздумывая, без подготовки: — Понесешь кое-куда один пакетик. Ба-альшой ценности вещь!

Странное дело: Игорь совсем не думал сейчас об опасности. Более того, ни разу не вспомнил ни о темном дворе на Кутузовском проспекте, ни о вежливых мальчиках, ни об их угрозах, ни о своих — неподдельных! — страхах. Чужая память делала его смелым и решительным, а своя ни о чем неприятном не напоминала. Услужливой была.

— Хорошо,— сказал он.— Куда идти?

Пеликан перегнулся через стол, почти лег на него. Зашептал. Правда, шепот у него — в соседней комнате слышно.

— В сотне километров на северо-запад — по вашей с профессором дороге, крюка давать не придется — должна стоять сейчас двадцать вторая кавдивизия. Командиром у них Иван Федорович Сокол, человек геройский. А начразведки — Семен Дворников. Запомни их фамилии. Придешь к Семену, доложишь обо мне так: сидит Пеликан в подполе, пряники жует. И передашь пакет.

— А поверят?

— Поверят. Только так и скажи, слово в слово: сидит Пеликан в подполе, пряники жует. Запомнил?

— Запомнил. Дело нехитрое.

— Запомнить — тут и впрямь хитрость не нужна. А вот дойти...

— А что дойти? Шли до сих пор...

— То до сих пор.

— Или изменилось что?

— Может, и изменилось.

И тут молчаливый дядя Матвей выговорил не без суровости:

— Серьезное дело тебе поручаем, парень. Сам видишь, каково в городе. Пеликана ищут. Моя рожа примелькалась, не сегодня-завтра сцапают. Половина наших по дворам хоронится, носа не высовывает. Люто у нас, ох, люто! Дойди, парень, туда, дойди, очень надо.

Игорь встал.

— Давайте пакет.

Дядя Матвей вышел в другую комнату и через минуту принес небольшой, чуть крупнее современного почтового конверта, пакет, крестом перевязанный суровой ниткой, запечатанный сургучной печатью.

— Ежели что — съешь! — грозно сказал Пеликан, и непонятно было: то ли он всерьез, то ли шутит. Во всяком случае, Игорь тут же вспомнил виденный по телевизору фильм, где герой ел пакет с сургучной печатью, а потом долго мучился коликами в желудке. Весело! Однако ничего не попишешь, придется есть, коли что случится...

Игорь взял пакет, на котором ничего не было написано,— просто чистая оберточная бумага да коричневая клякса сургуча — и сунул его за пазуху.

— Дойду.

И в это время за окном раздался пронзительный свист. Пеликан замер, повернув голову к окну. А дядя Матвей спокойно, даже, показалось, лениво произнес:

— Тикаем. За мной, хлопцы.

15

Из соседней комнаты низкая, в половину человеческого роста, дверь вела на черную лестницу. Дядя Матвей чуть задержался, пропуская Пеликана и Игоря, и уже было слышно, как кто-то ломился в парадную дверь, грохотал железом по железу.

— Колька уйдет? — спросил, как ругнулся, Пеликан.

— Колька шустрый... А Сома они не углядят...

Промчались по темному коридорчику, выскочили в большой подвал, заваленный углем.

— На улицу! — крикнул Пеликан, вытаскивая из кармана наган.

И только увидев его в огромной лапище Пеликана, в доли секунды заметив игрушечную малость оружия, даже потертость какую-то, будто им гвозди забивали, Игорь внезапно осознал, что все происходит в действительности, что опасность реальна, что сейчас Пеликан станет стрелять, и дядя Матвей тоже сжимает пистолет — системы Игорь не знал,— понял все это, ожидая привычного за последние дни чувства страха, мерзкого холодка в животе и... не почувствовал ничего. Ничего, кроме ясной и четкой мысли: Лида! И сказал растерянно:

— Лида!

— А-а, черт! — Пеликан остановился, как налетел на какую-то преграду, выругался матерно.

Дядя Матвей положил ему руку на плечо:

— Не пори горячку...— Прижав правую руку с пистолетом к груди, неловко как-то он подкрался к двери, чуть приоткрыл ее, приблизил лицо к щели. — Пусто!

Рванул дверь, выскочил наружу, притиснулся спиной к стене. Махнул рукой: давай, мол...

Пеликан вышел следом, встал, не скрываясь.

— Дядя Матвей, Игорь, шпарьте задами.

Двор, куда они вышли, узкий тоннель, задавленный с одной стороны глухой кирпичной стеной какого-то здания, а с другой — деревянным, тоже глухим, доска к доске, забором, тянулся метров на тридцать, упираясь опять-таки в стену дома, в деревянную декорацию. Игорь намеренно подумал: «Декорация». В окнах, выходящих с двух этажей в двор-туннель, никого не было, никто не заинтересовался ни шумом, ни топотом, ни даже звероватого вида мужиком с наганом. Лишь в распахнутом окошке на втором этаже полоскалась под ветром ситцевая, в синий горох занавеска да цвел фиолетовым цветом незнакомый Игорю куст в горшке.

Если бежать, так именно через этот дом, в дверь, открытую настежь, в черную пустоту за ней.

— А ты? — Дядя Матвей смотрел на Пеликана и — этого Игорь понять не мог, в голове не укладывалось! — улыбался!

— Девка-дура, ехали бояре!..

Дядя Матвей торопливо сказал Игорю:

— Беги, пацан, бегом беги. Помни: пакет у тебя. Ничего сейчас нет важнее...— И повторил как заклинание: — Беги, беги...

Игорь, поминутно оглядываясь, побежал к дверям деревянного домишки, но на пороге остановился. Что-то держало его, не позволяло так просто взять и помчаться куда глаза глядят, подальше от опасности, от перестрелки, от погони, от всех традиционных атрибутов приключенческого фильма, в который его опрометчиво завела чужая лихая память. Ничего ему, к примеру, не стоило отключиться от нее, оказаться в привычном мирном времени, в своем времени, оставить здесь все как есть — без финала, не решая, каким ему быть. Своя рука — владыка... Ничего не стоило? В том-то и дело, что цены за такой поступок Игорь не поднял бы, как говорится, не вытянул. И бежать — даже спасая пакет! — он тоже не мог.

Дядя Матвей вслед за Пеликаном тоже одолел забор. Игорь пощупал рубаху: на месте пакет. Поглубже запихнул ее в брюки, расправил складки. Чего ждать?..

Рванул к забору, подтянулся и оказался в переулочке, который, видимо, отходил притоком от Кадашевской улицы. Тихо здесь было, патриархально, трава росла, цветочки у забора — лютики или как их там... Идиллия!

И в это время — впервые! — раздались выстрелы.

Уж на что Игорь штатский человек, а смог понять: из разного оружия стреляют. Один оружейный голосок потоньше, позвончее, а второй — грубее, басовитее.

С Кадашевской улицы в переулок на полном ходу свернула извозчичья пролетка. Игорь видел высоко задранную морду коня, пену на губах и выпученный безумный глаз его. На передке во весь рост стоял белоголовый парень в желтой рубахе навыпуск, свободно держал вожжи, размахивал над головой то ли кнутом, то ли просто веревкой. А в самой пролетке, согнувшись, сидел дядя Матвей, своим телом прижимая кого-то к сиденью. Кого?.. Они промчались мимо, не обратив внимания на прижавшегося к забору Игоря. Дядя Матвей приподнял голову — только седая макушка показалась над откинутым кожаным верхом пролетки,— положил на него руку с пистолетом и дважды выстрелил назад. С гиканьем, под выстрелы, влетели в переулок трое конных с шашками наголо, проскакали мимо, чуть не задев Игоря, обдав его горячим ветром погони.

Вестерн!..

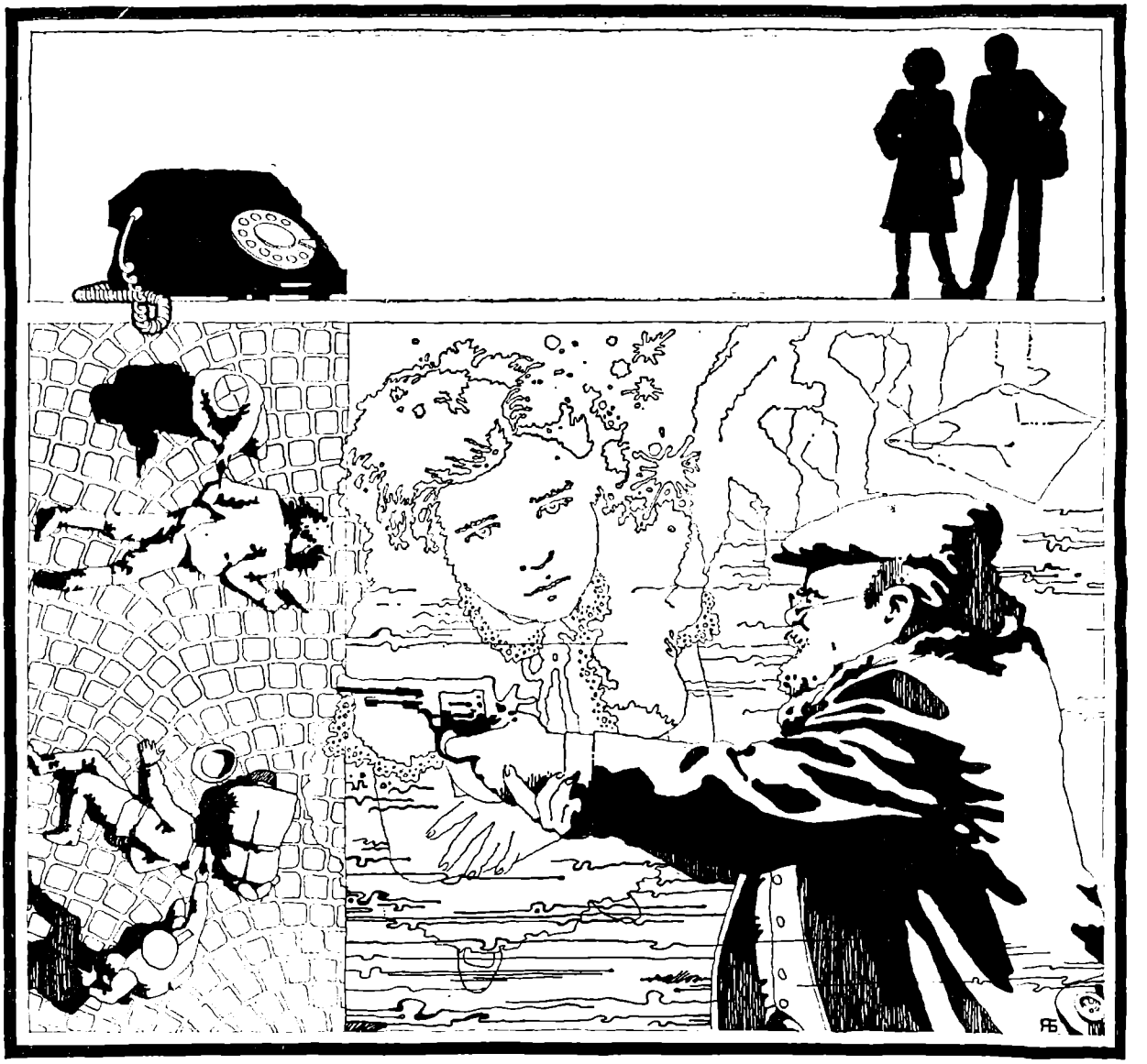
Но ведь кто-то лежал в пролетке — раненый или убитый? Кто? Лида?..

В вестерне герои не умирают. Они в итоге женятся, получают наследство и танцуют на свадьбе веселую мазурку или кадриль. А здесь стреляли настоящими пулями, и они убивали или ранили, и кровь текла настоящая, красная, горячая...

Игорь, невесть зачем пригибаясь, добежал до Кадашевки и выглянул из-за угла на улицу. То, что он увидел, было неправдоподобным, невероятным, этого просто не могло быть... Он хотел шагнуть, но ноги не слушались. Они стали ватными и неподвижными, вернее, их просто не было. Пришлось ухватиться за холодную шершавую стену дома, чтоб не упасть...

Прямо на мостовой, у подъезда, в который недавно вошел Игорь, лежал, раскинув руки, уткнувшись лицом в булыжник, Пеликан, лежал неподвижно, и черная лужица крови застыла у его головы. А рядом все в том же нелепом брезентовом балахоне, сжимая в кулачке обшарпанный наган Пеликана, стоял старик Леднев. Он стоял, будто вросший в мостовую, над телом Пеликана и смотрел на трех офицериков, на трех новеньких, с иголочки, офицериков, на смеющихся мальчиков из интеллигентных семей, которые, в свою очередь, смотрели на профессора, на этакое брезентовое патлатое чудище и весело смеялись. И вовсю светило солнце, и небо было чистым и высоким, и сверкали на узких офицерских плечиках странные витые серебряные погоны.

Они все еще смеялись, им было весело — остроумным парням, таким же, по сути, как и те, в дальнем-предальнем будущем, в темном дворе у магазинных ящиков. Они не перестали смеяться даже тогда, когда Леднев медленно вытянул руку, удли-



ненную тонким наганным стволом, когда, прищурившись, нажал спусковой крючок. И громыхнуло в руке, вспыхнуло короткое пламя, и оборвал смех один из серебряных орлов, нелепо, будто сдаваясь, вскинул к небу руки и опрокинулся на спину.

И второй раз громыхнул наган, почти сразу же, без перерыва, и вторая пуля достала второго парня.

Старик Леднев не обманывал. Он отлично стрелял, необидчивый дуэлянт, меткий истребитель адъютантских аксельбантов. У него была твердая рука, как принято писать, и точный глаз. Но молодость оказалась чуть быстрее. И третий офицерик, уже не улыбаясь, но оскалив в беззвучном крике рот, выхватив из кобуры вороненый браунинг, опередил третий выстрел профессора. Он стрелял еще и еще раз, расстрелял всю обойму. Даже мертвый старик Леднев казался страшным ему.

Игорь, бессильный что-либо сделать, судорожно вздохнул и почувствовал, что не может дышать, как тогда, на Кутузовке, после удара в солнечное сплетение. Он присел на корточки — тоже, как тогда,— пытался вдохнуть, втиснуть в себя горячий и твердый воздух и не мог, не мог, и слезы текли по щекам, оставляя на них грязные сероватые дорожки.

И тогда он бежал из прошлого.

16

Он бежал из прошлого, потому что оно окончилось для него вместе с гибелью Пеликана и профессора. Особенно — профессора, к которому привык, притерся. Полюбил. Больше ничто не связывало его со временем, которое он сам для себя выбрал, сам придумал, сам выстроил — по событию, как по кирпичику.

Прошлое, в которое путешествовал Игорь, было до мельчайших подробностей похоже на реальное, случившееся, возможно, в действительности в начале осени восемнадцатого года. Но, рожденное чужой памятью, оно было откорректировано воображением. А воображения Игорю хватало. Знаний,

правда, маловато, книжные все больше, да уж какие есть...

Но странная вещь! Оно, это прошлое, само себя корректировало, выходило из повиновения, жило по своим законам — законам времени, а значит, и было реальным, как ни крути. Парадокс! Нереальное реально, а реальное нереально...

Что было, что придумано — какая, к черту, разница, если на брусчатой мостовой прилизанной барской улочки остались лежать два близких Игорю человека, которых его воображение хотело видеть живыми! Чья это, скажите, прихоть, что они погибли? И прихоть ли? А может, это и есть жизнь, которую не подправить никаким воображением?..

Короче, кончилось для Игоря прошлое, и точка...

Воскресенье на дворе. Воскресенье — день веселья, как в песне поется. А другой поэт, напротив, заявил: для веселья планета наша мало оборудована. Кому верить?..

И хотя сейчас Игорю больше всего хотелось лечь в постель, накрыться с головой одеялом, не видеть никого, не слышать, не спать — просто лежать в душной пододеяльной темноте, как в детстве, и ни о чем не думать, он все-таки снял телефонную — тяжелую, как гиря,— трубку и набрал Настин номер.

Она откликнулась сразу, с первого звонка, будто ждала у своего алого аппарата, руку над трубкой держала.

— А не пойти ли нам погулять? — спросил Игорь тем фальшиво-бодрым тоном, каким говорят с больными, убеждая их в том, что здоровы они, здоровее быть не может.

Кого он в том убеждал? Себя, что ли?..

И Настя, умная маленькая женщинка, заметила это, несмотря на километры проводов, их разделяющих.

— Что-нибудь случилось, Игорь?

Как ответить?..

— Не знаю, Настя, наверно, случилось.

И вдруг ясно понял, что не может больше держать в себе свою боль, что должен поделиться ею с кем-то, кто воспримет ее, эту боль — ну, пусть не как собственную, но как близкую, почти ощутимую. И этим «кем-то» станет Настя, только она — еще совсем незнакомая, дальняя, н и к а к а я, но странно притягивающая. А, собственно, почему «странно»? Ничего тут странного нет. Игорь, во всяком случае, не видел...

— Приезжай,— сказала она.

Что он мог рассказать ей? Как уходил в другую жизнь и пытался жить ею? Как шел мимо этой жизни — любопытный пришелец, только летающей тарелочки не хватало? Как нагло влез в чужое прошлое, в чужую память, попытавшись оборотить ее своей? Странник...

Во всяком случае, ничего не скрыл. Все рассказал, не упуская подробностей.

Поверила ли Настя ему? Игорь ставил себя на ее место и усмехался: он бы ни за что не поверил, счел бы рассказчика психом ненормальным, вызвал бы дюжих санитаров из психбольницы — пусть-ка они послушают... А Настя поверила?..

Да наплевать ему было на то с высокой колокольни! Поверила — не поверила... Ему душу вывернуть требовалось, повесить для просушки — не для всеобщего обозрения, но лишь для нее одной, для Насти. Главное, он ей верил...

Но вот забавно: она кресло в испуге не отодвигала, на дверь не косилась, к телефону не рвалась — звонить в психбольницу. Слушала внимательно, даже, казалось Игорю, сочувственно, а когда про гибель Леднева говорил — почудилось или нет? — но, похоже, глаза ее на мокром месте были.

Закончил. Помолчали. Игорь в окно глядел, погода портилась, небо облаками затянуто, вот-вот дождь пойдет.

Настя спросила тихонько, как через силу:

— Чужая память... А чья, чья?..

— Я тебе говорил: деда. Это он в восемнадцатом году шел из Ростова в Москву, я не врал прошлый раз.

— И профессор у него был?

— И профессор и Пеликан.

— И тоже погибли?

— Не знаю. Его записи обрываются как раз на том месте, где они в город пришли, в дом к Софье.

— Он не дописал?

— Отец говорил: дописал. Но то ли потерялось остальное, то ли дед сам уничтожил, но нет конца, и все тут.

— А отец ничего не рассказывал?

— Отцу что... Он технарь, кроме своих гаек-винтиков, ничего не признает.

— Как же тогда вышло, что они погибли? Ведь не было этого, не было! Чужая память молчит...

— А моя? — тихо спросил Игорь.

И это, пожалуй, было ответом. На спрошенное и неспрошенное. На все.

— Ты сейчас так говоришь...— Настя подошла к нему совсем близко, ее дыхание касалось его лица.— Ты сам не веришь в то, что говоришь. Странник...— Она словно подслушала мысль Игоря.— Ты не сможешь не вернуться туда...— И приподнявшись на цыпочки, легко-легко поцеловала в губы.

А волосы ее почему-то пахли дымом.

Как мало надо человеку! Ничего, по сути, не было сказано Настей, ни-че-го... А ощущение — будто тебя поняли и приняли. Говоря казенным языком, встали на твою позицию.

Какова она, твоя позиция? Стороннего наблюдателя?..

Поздно засиделся, дотемна, опять родители волноваться станут, позвонить им из автомата...

А навстречу — из темноты:

— Вот и дождались тебя, Игорек. Теперь ты без помощников обойдешься?

То ли далекий — метрах в двадцати — тусклый фонарь качнулся под ветром, то ли окно на третьем этаже загорелось, но почудилось Игорю, словно на куртках вежливых улыбчивых мальчиков что-то серебряное сверкнуло.

— Обойдусь,— сказал он и, нагнувшись, поднял с асфальта тяжелый обломок кирпича.

17

У него впереди была долгая, долгая дорога. Пыльными трактами, лесными тропинками, горькими холодными деревнями — путем с в о е й памяти.

Чужой не было. Дед, легендарный в семье человек, знакомый Игорю только по фотографиям,— где он бравый и молодой, с боевым орденом на груди, дед-летописец, так и не дописал своей истории. Не захотел. Или, как сказано, уничтожил написанное. Почему? Память ему мешала?..

Выпало Игорю дописать, досказать, дойти. Довообразить то, чего не было.

Не было? Было?

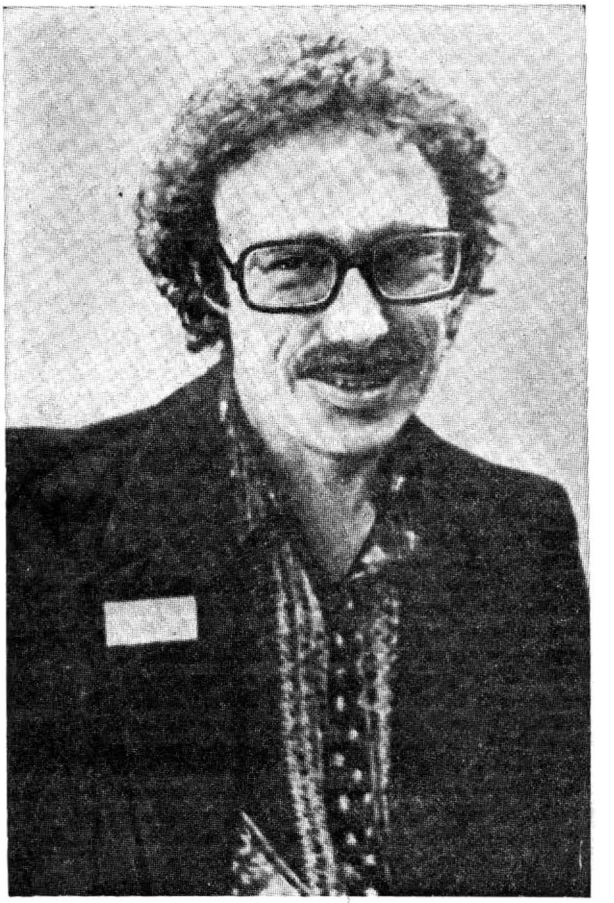
Трется за пазухой, царапает сургучом кожу на животе перевязанный суровой ниткой пакет.

Сидит Пеликан в подполе, пряники жует...

Долгая, долгая дорога впереди.

Наша публикация

РОБЕРТ ШЕКЛИ



ВАРИАНТЫ ВЫБОРА

Главы из романа

Том Мишкин стремительно пересекал Малое Магелланово Облако. Его корабль «Неустрашимый III», загруженный южноафриканскими омарами, кедами, кондиционерами и другими товарами первой необходимости, направлялся к колонии на Доре-5. Мишкин задремал в командирском кресле, убаюканный мигающими огоньками на пульте управления. Ему представилась новая квартира, которую он хотел купить в городе Перт-Амбой, в десяти милях восточнее Песчаной Косы. Там, конечно, тишина и покой, хотя сообщение подводной лодкой...

Мишкин внезапно насторожился. Что-то не в порядке!

Пробудился к жизни компьютер.

— Неисправность детали Л-1223А. Наименование по каталогу: «Запорный механизм центрального клапана».

— Прекрасно,— сказал Мишкин.— Что теперь?

— Я блокировал узел и выключил двигатель.

— Без руля и ветрил,— прокомментировал Мишкин.— Могу ли я включить основной двигатель хотя бы для того, чтобы добраться до ближайшей Станции технического обслуживания?

— Ответ отрицательный. Использование вышеупомянутой неисправной детали приведет к немедленному взрыву, гибели и черной пометке в вашем личном деле.

— Вот уж совершенно ни к чему мне портить личное дело,— сказал Мишкин.— Что же остается?

— Единственный выполнимый вариант — удалить и заменить неисправную деталь. Склады запасных частей размещаются на множестве необитаемых планет. Ближайшая к нам — Гармония, шестьдесят восемь часов полета на вспомогательном двигателе.

— Кажется, все весьма просто,— сказал Мишкин.

— Теоретически.

— А практически?

— Осложнения всегда могут возникнуть.

— Например?

— Если бы знать это,— заметил компьютер,— осложнения не были бы осложнениями, не правда ли?

— Пожалуй,— согласился Мишкин.— Будь по-твоему. Меняй курс и жми на всю железку.

— Слушаю и повинуюсь,— ответил компьютер.

Склад на Гармонии оказался большим, ярко освещенным зданием из стекла и нержавеющей стали, как две капли воды похожим на супермаркет в Майами-Бич. Мишкин опустил туда корабль, выключил зажигание и положил ключ в карман. Длинные стеллажи были уставлены подносами с транзисторами, жаровнями, спектрометрами, витамином В-6 в ампулах и всем прочим, что может понадобиться утомленному путнику.

Мишкин подошел к центральной коммуникационной панели и запросил деталь Л-1223А.

Шли минуты.

— Эй! — окликнул он.— В чем дело?

— Простите,— отозвалась панель.— Боюсь, что я витала в облаках. Трудности, немалые трудности... Вы не в состоянии себе представить... Голова кругом идет. Фигурально выражаясь.

— Так как же насчет моей детали? — напомнил Мишкин.

— Она снаружи.

— Где — снаружи?

— Милях в пятнадцати, двадцати.

— Но почему она снаружи?

— Первоначально все запасные части складировались в здании. Логично и удобно. Но потом кого-то осенило: а что если корабль упадет п р я м о н а з д а н и е? Вопрос поставили перед компьютером, и тот рекомендовал децентрализацию. Закипела работа, запасные части растащили по всей округе. С этого начались настоящие неприятности.

— Какие неприятности? — спросил Мишкин.

— Люди должны были покидать здание и выходить на поверхность Гармонии. А на незнакомых планетах случаются разные незнакомые штуки, и прежде чем сообразишь, что к чему, скорее всего уже отдашь концы.

— Какие такие «незнакомые штуки»? — спросил Мишкин.

— Мне запрещено говорить конкретно,— сказала панель.— Иначе все в тысячу раз усложнится.

— Почему?

— Успешная адаптация к окружающей среде предполагает широкую способность распознавать, что создает угрозу, а что — нет. Мое предупреждение будет ограничивать ваше восприятие неупомянутых опасностей. Кроме того, это вообще ни к чему.

— То есть?

— Вас будет сопровождать СЦИРС — Специальный Целевой Идеально Реагирующий на Среду робот. Он обнаруживает малейшую опасность человеку, предупреждает его и защищает. СЦИРСы программируются конкретно для каждой планеты. В обществе СЦИРСа вы будете в такой же безопасности, как в центре Нью-Йорка.

— Спасибо,— сказал Мишкин.

Алое лакированное туловище СЦИРСа было кряжистым и прямоугольным. Он передвигался на четырех веретенообразных конечностях, и еще четыре находились в верхней части каркаса. Робот сильно смахивал на тарантула, загримированного под робота.

СЦИРС сказал Мишкину:

— Ну, сынок, пошли, что ли.

— Здесь очень опасно? — спросил Мишкин.

— Могу с завязанными глазами. Как два пальца.

— На что мне обращать внимание?

— Я тебе скажу.

Мишкин пожал плечами и вышел за роботом через вращающиеся двери на поверхность Гармонии. Он предполагал, что робот знает, что делает. Но ошибался. Его заблуждение было чудовищным. Пожалуй, лишь девственница на единороге могла сравниться с Мишкиным. Джем, горячие булочки с изюмом, женские губы — вот что занимало его ум, когда он ступил на подозрительную почву Гармонии.

— Слушай,— бросил робот.— Твое дело — выполнять то, что я говорю, точно и быстро,— иначе, тебе каюк. Осознал?

— Осознал,— ответил Мишкин.

Они шагали по багряной равнине. С востока со скоростью пять миль в час дул ветер, доносилось пение электронных птиц.

— Когда я скажу тебе «падай», ты просто падай, и все тут. Не телись. Надеюсь, что у тебя хорошая реакция.

— Мне показалось, что ты уверял, будто здесь не опасно,— заметил Мишкин.

— Думаешь, поймал меня на противоречии, умник? — усмехнулся робот.— А может, у меня были причины соврать тебе.

— Какие же?

— А может, у меня есть причины не говорить тебе... Падай!

Мишкин услышал тонкий свист и шлепнулся на траву, в своем рвении больно ударившись носом. Робот покачивался из стороны в сторону, сжимая в металлических руках два бластера.

— Что это? — спросил Мишкин.

— Призывный крик шестинного протоБронтестегозавра. Когда он распаляется, то стремится спариться с кем угодно.

— Неужели не видно, что я неподходящий объект для его привязанности?

— Пока до него дойдет, эта двадцатитрехтонная тварь снесет тебе башку.

— Где же он? — поинтересовался Мишкин.

— Сейчас,— мрачно пообещал робот, вертя бластеры за рукоятки.

Свист приблизился, перешел в жужжание. Затем Мишкин увидел что-то очень похожее на бабочку с шестифутовыми крыльями, которая, не обращая на них внимания, полетела дальше, миролюбиво жужжа.

— Что это? — спросил Мишкин.

— Черт подери! Ясно: бабочка с шестифутовыми крыльями.

— Вот и я так подумал. Но ты говорил...

— Да, да, да! — раздраженно перебил робот.— Мне все совершенно ясно. Эта бабочья тварь начала подражать призывному крику прото-Б. Мимикрия. Рядовое явление.

— Рядовое? Даже ты был введен в заблуждение.

— Ну и что особенного? Впервые вижу эту бабочью тварь.

— Тебе следовало знать о ней.

— Отнюдь. Я предназначен для распознавания и предотвращения о п а с н о с т и человеку. Эта летающая перечница ничем тебе не угрожала; естественно, я ничего о ней не знаю. Пора тебе понять, что я не ходячая энциклопедия. Мне ни к чему заниматься каждой распроклятой шагающей, плавающей, ползущей или летающей тварью. Осознал, сынок?

— Осознал,— сказал Мишкин.— Надеюсь, ты знаешь, что делаешь.

— Уж для этого я построен,— падменно произнес робот.— Давай, надо идти.

Мишкин внезапно остановился.

— Что такое? — спросил робот.

— Я что-то вижу впереди.

— Большое дело,— ухмыльнулся робот.— Я много чего вижу впереди. Я всегда много чего вижу впереди. Господи, все всегда много чего видят впереди.

— По-моему, это зверь.

— Ну и что?

Зверь, которого увидел Мишкин, в общих чертах походил на тигра, темно-шоколадный с яркими оранжевыми полосами.

— Вид у него угрожающий,— заметил Мишкин.

— Много ты понимаешь,— сказал робот.— Это травоядная тварь с нравом коровы, только более робкая.

— А клыки?

— Пусть тебя это не волнует.

— Мимикрия?

— Мимикрия. Идем.

Они продолжали шагать по багряной равнине. Робот насвистывал, даже не думая вытаскивать бластеры. Мишкин, идущий на два шага позади, напевал.

Робкое животное повернулось и уставилось на них глазами цвета свернувшейся крови яка. Оно зевнуло, показав большие острые зубы. Оно потянулось, перекачивая мускулы под атласной кожей.

— Ты уверен, что эта тварь — травоядное? — спросил Мишкин.

— Ничего, кроме травы и одуванчиков,— ответил робот.— Хотя изредка они питаются и репой.

— Выглядит весьма неприятно.

— Природа способна на тысячи уловок.

Человек и робот подошли ближе. Зверь прижал уши. Его хвост вытянулся и напрягся. Он блеснул влажными клыками и зарычал — звук, от которого странствующие деревья свернули ветки, втянули корни и предпочли удалиться в более спокойную местность.

— Природа перестаралась,— сказал Мишкин.— Могу поклясться, что эта тварь готовится напасть на нас.

— Природа преувеличивает,— отозвался робот.— Такова природа природы.

Зверь замер и являл собой идеальную имитацию смертельно опасного чудовища, собирающегося в свирепом порыве изувечить и убить все, что попадается на пути.

Мишкин остановился.

— Послушай, мне чудится что-то неладное. Я думаю...

— Ты слишком много думаешь,— сказал робот напряженным голосом.— Ради бога, держи себя в руках, старина. Я, специально подготовленный робот СЦИРС, даю тебе слово, что эта несчастная корова в тигриной шкуре...

И тут животное сорвалось с места. Только что оно стояло смирно, а в следующий миг взорвалось клубком зубов, клыков и ярости. Оно мчалось, искусно имитируя голодного, безжалостного хищника.

— Кш, тварь, кшш! — воззвал робот неуверенным голосом.

— Падай! — вскричал Мишкин.

— Ааааргххх! — взревел клубок.

— Стреляй! — крикнул Мишкин, отскочив в сторону.

— Стрельба по травоядным не входит в мои обязанности,— сказал робот без особого убеждения.

Зверь развернулся и, испуская слюну, погнался за Мишкиным, повторяя его прыжки, как тень. Массивные челюсти открылись; Мишкин закрыл глаза.

В лицо полыхнуло теплом, раздался глухой удар.

Он открыл глаза. Робот все-таки решился выстрелить и уложил чудовище у самых ног Мишкина.

— Травоядное,— горько произнес Мишкин.

— Существует понятие мимикрии в поведении. Подражающее травоядное может дойти до того, что будет жить как образец-хищник, вплоть до поедания мяса, которое для него и отвратительно и несваримо.

— Ты в это веришь?

— Нет,— огорченно признался робот.— Но я не понимаю, почему это создание не занесено в мою память. Планета находилась под постоянным наблюдением в течение десяти лет, и зверь такого размера не мог остаться незамеченным. Не будет преувеличением сказать, что Дэрбис-4 изучен не хуже самой Земли.

— Погоди,— сказал Мишкин.— Но это не Дэрбис-4.— Он почувствовал себя обессиленным, приговоренным.— Эта планета называется Гармония. Ты не туда попал.

Робот деланно рассмеялся.

— Боюсь, что ты спятил. Стрессовое состояние...

Мишкин покачал головой.

— Сам посуди. Ты несколько раз ошибался в оценке опасности. Ответ прост — по ошибке тебя вместо Дэрбиса-4 доставили на Гармонию.

— Я думаю,— сказал робот.

— Валяй,— поощрил Мишкин.

— Я уже подумал. Мы, роботы СЦИРС, известны скоростью наших синаптических реакций.

— И к какому выводу ты пришел?

— Тщательно взвесив все доступные сведения, я считаю, что твое предположение наиболее вероятно. Но позволь указать, что к нам приближается существо неизвестных нрава и аппетита.

Мишкин рассеянно кивнул. События развивались слишком быстро. Нужен план. Для спасения жизни необходимо подумать, хотя бы и рискуя жизнью.

Робот запрограммирован на Дэрбис-4, Мишкин — на Землю. И оба, как двое слепых в бойлерной, находятся на Гармонии. Наиболее разумным было бы вернуться к хранилищу, связаться с Землей и ждать пересылки запасной детали, или другого робота, или и того и другого. Это, однако, займет месяцы или даже годы. А необходимая деталь всего в нескольких милях.

— Все же повернуть безопаснее.

Но потом Мишкин вспомнил конкистадоров, прокладывающих свой путь сквозь джунгли, встречающих неведомое и покоряющих его. Или он хуже их? Менее мужествен? Или Неведомое измельчилось в своей основе с тех пор, как финикийцы провели корабли через Геркулесовы Столбы?

Он никогда не сможет смотреть себе в лицо, если сейчас отступит, признав превосходство Писарро, Кортеса и прочих психов.

С другой стороны, если идти вперед и погибнуть, некому будет смотреть.

Все это, вместе взятое, составляло крайне интересную проблему, над которой можно долго и плодотворно размышлять. При наличии достаточного времени, скажем, нескольких недель...

— Существо приближается довольно быстро,— указал робот.

— Так стреляй.

— Может быть, оно безвредно.

— Сначала стреляй, а потом будем думать.

— Стрельба далеко не всегда наилучший выход из опасной ситуации,— сказал робот.— На Дэрбисе-4, например, можно спастись только оставаясь неподвижным.

— Вопрос лишь в том,— заметил Мишкин,— на что больше похожа эта планета: на Землю или на Дэрбис.

Новое бедствие оказалось червем, около двадцати футов длиной, оранжевым, с черными кольцами. Один конец червя венчали пять голов, каждая с фасеточным глазом и влажным беззубым зеленым ртом.

— Такая большая тварь очевидно опасна,— подумал вслух Мишкин.

— Не обязательно,— отозвался робот.— На Дэрбисе чем больше, тем симпатичнее. Опасаться надо маленьких бестий.

— Что ты предлагаешь?

— Хоть убей, не знаю!

Червь приблизился. Рты открылись.

— Стреляй! — велел Мишкин.

Робот поднял бластеры и выстрелил прямо в приподнятую грудь червя. Головы недоуменно мигнули. Робот снова поднял бластеры, но Мишкин остановил его.

— Бесполезно. Что теперь нам остается?

— Неподвижность.

— К чертовой матери. Я считаю, что нам нужно бежать сломя голову.

— Поздно,— сказал робот.— Замри!

Мишкин заставил себя стоять не шевелясь и с закрытыми глазами слушал следующий разговор.

— Давай съедим его, а, Винс?

— Заткнись, Эдди. Сколько можно есть? Хочешь, чтобы у нас было несварение?

— Я еще голоден.

— И я.

— Я тоже.

Мишкин открыл глаза и увидел, что пять голов червя разговаривают друг с другом. Та, которую звали Винсом, находилась посредине и была заметно крупнее остальных. Винс сказал:

— Слушайте, ребята, вы меня доведете своей жратвой. Только я привел наше тело в форму, месяц занимаясь гимнастикой, как вы собрались отрастить брюхо. Решительно нет!

Одна голова заныла:

— Наш папуля, господи, успокой его душу, говорил, что мы все равно распоряжаемся нашим телом!

— Он, кроме того, завещал мне присматривать за вами, малютки,— сказал Винс.— У вас мозгов не хватит на дерево взобраться... Кстати, папуля никогда не ел незнакомцев.

— Верно.— Голова повернулась к Мишкину.— Эдди.

Другие головы тоже повернулись.

— Люкко.

— Джо.

— Чико. А это Винс. Так вот, Винс. Сейчас мы его съедим, потому что нас четверо и мы устали от твоих нравоучений. Подумаешь, старший!

— Заткнись! — взревел Винс.— Если здесь кто-нибудь и будет есть, то только я!

— А как же мы? — захныкал Чико.— Папуля говорил...

— Все, что ем я, идет на общее благо,— сказал Винс.

Мишкин осмелился встрять.

— Простите, Винс...

— Для тебя мистер Паглиотелли,— отрезал Винс.

— Я всего лишь хотел отметить, что являюсь формой разумной жизни. Там, откуда я пришел, разумные существа не едят друг друга, разве что в исключительных обстоятельствах.

— Учишь меня манерам?! Тебе следовало бы спину переломать за твой поганый язык. Кроме того, ты напал на меня первым.

— Я тогда не знал про ваш интеллект.

— Ты что, издеваешься?! — возмутился Винс.— Я интеллигент? Да я даже института не кончал! После смерти папули я должен был работать по 12 часов в день в паршивой мастерской, чтобы этим горлопанам было что жрать. Но по крайней мере я достаточно умен, чтобы понимать, что я не слишком умен!

— Мне кажется, вы очень умны,— льстиво вставил Мишкин.

— Разумеется, от природы я практичен и проницателен и, пожалуй, не хуже многих других. Но образование...

— Мы слишком большое внимание обращаем на формальное образование,— указал Мишкин.

— Да разве я не знаю? — горестно вздохнул Винс.— Но как иначе прожить в этом мире?

— Трудно,— признал Мишкин.

— Ты вот будешь смеяться, но всю жизнь я мечтал играть на скрипке. Разве не забавно?

— Вовсе нет! — заверил Мишкин.

— Ты можешь себе представить — Винс Паглиотелли, чурбан неотесанный, играет из «Аиды» на распроклятой скрипке?!

— Разумеется! — ответил Мишкин.— Убежден, что у вас талант.

— Увы, это мечта. А потом наступает жизнь с колоссальным грузом ответственности, и приходится менять призрачное одеяние мечты на грубое серое рубище... э...

— Хлеба? — предположил Мишкин.

— Долга? — подсказал Чико.

— Нет, не совсем то,— поморщился Винс.— Такому необразованному болвану, как я, не стоит тратить время на параллельные конструкции.

— Возможно, вам следует поменять ключевые термины,— вставил робот.— Попробуйте — «невесомое призрачное одеяние поэзии на серое грубое рубище мирского».

Винс гневно взглянул на робота и повернулся к Мишкину:

— Кто этот умник?

— Робот СЦИРС,— ответил Мишкин.— Но он попал не на ту планету.

— Пускай он лучше следит за своим поганым ртом. Я не позволю паршивому роботу разговаривать со мной подобным образом.

— Простите,— поспешно сказал робот.

— Ладно... Пожалуй, не буду я вас есть. Но глядите. Не каждый здесь так добросердечен и простодушен, как я.

Мишкин и робот подошли к ущелью. Между его сторонами был перекинут мостик. Внизу, на глубине тысячи футов, бежала паутинная нить воды.

Ущелье отличалось естественным величием и красотой. Но больше всего поражал мостик. На его середине стояли столик и четыре стула; четверо мужчин сидели на стульях. Они играли в карты.

Мишкин приблизился и стал слушать.

— Доллар.

— Вдвое.

— Столько же.

— Добавляю.

— И еще доллар.

Они играли сосредоточенно, но устало. Их лица были бледными и худыми, засученные рукава грязными. Они пили пиво и ели толстые бутерброды.

Мишкин подошел и сказал:

— Простите...

Игроки подняли головы.

— Чего тебе, приятель?

— Я бы хотел пройти.

Они уставились на него, как на сумасшедшего.

— Ну так обойди.

— Не могу,— сказал Мишкин.

— Почему? Ты что — безногий?

— Вовсе нет. Но если я попробую обойти вас, то свалюсь в пропасть. Ваши стулья стоят на самом краю.

Игроки переглянулись.

— Фил, ты слышал что-нибудь подобное?

Фил покачал головой.

— Встречал я шизиков, Джек, но этот им сто очков вперед даст. Эдди, как полагаешь?

— Должно быть, пьян в стельку. Да, Джордж?

— Трудно сказать. Ты что думаешь, Барт?

— Я только собрался спросить Джека.— Барт посмотрел на Мишкина и весьма доброжелательно сказал: — Послушай, приятель. Мы с ребятами тихо и спокойно играем себе в покер в номере 2212 отеля «Шератон-Хилтон», и вдруг вваливаешься ты и заявляешь, что упадешь в п р о п а с т ь, если нас обойдешь. Не говоря уже о том, что твоего духу в нашей комнате быть не должно, ты мог бы ходить здесь кругами целый день и, к сожалению, никуда бы не провалился, потому что это отель, а не пропасть.

— Боюсь, что вы заблуждаетесь,— возразил Мишкин.— Вы именно не в «Шератон-Хилтоне».

— А где же? — осведомился Джордж или, быть может, Фил.

— Вы сидите за столом, находящимся на мостике через ущелье на планете Гармония.

— Ты совершенно свихнулся,— сказал Фил или, быть может, Джордж.— Мы, конечно, выпили, но не настолько, чтобы перепутать название отеля.

— Значит, мы на мостике через ущелье? — спросил Джек.

— Точно.

— А почему нам кажется, что мы в номере 2212 «Шератон-Хилтона»?

— Не знаю,— ответил Мишкин.— Случилось что-то странное.

— Разумеется,— вставил Барт.— С твоей головой. Ты спятил.

— Если здесь кто-нибудь и спятил,— обиделся Мишкин,— то это вы.

Игроки рассмеялись.

— Этот проклятый город просто кишит психами,— подытожил Фил.

— Вы меня пропустите? — спросил Мишкин.

— Куда же ты пойдешь?

— На другую сторону ущелья.

— Увы, ты подойдешь всего лишь к другому концу комнаты.

— Я думаю иначе,— с достоинством возразил Мишкин.

Фил зевнул и встал.

— Я все равно собирался сходить слить, так что можешь пройти. Но дай слово, что когда дойдешь до стены, повернешь, как пай-мальчик, и уберешься.

— Если это комната, я обещаю немедленно ее оставить.

Фил сделал шаг от стола и свалился в пропасть. Эхо его крика еще долго звучало из глубины.

— Эти паршивые полицейские сирены действуют мне на нервы,— сказал Джордж.

Мишкин и робот, прижавшись к столу, перешли на ту сторону ущелья.

— Эй,— удивился Барт,— куда делся этот псих?

Игроки огляделись.

— Ушел,— сказал Джордж.— Должно быть, в клозет.

— Нет,— возразил Барт.— Там Фил.

— Не выпрыгнул ли он в окно?

— Попробуй их открой.

— Это уж слишком...— вздохнул Джордж.— Эй, Фил, пошевеливайся!

— Как же, вытащишь его оттуда,— сказал Барт и начал тасовать карты...

Мишкин ехал по очаровательному зеленому лугу на протяжении нескольких часов. Наконец он выехал на пыльную узкую дорогу, а потом на шоссе. Перед ним возвышался замок.

— Любопытно,— заметил робот, очнувшийся от псевдосна.— Ты видел знак?

Перед замком на молодой ели висел знак: «В О О Б Р А Ж А Е М Ы Й З А М О К».

— Что это значит? — спросил Мишкин.

— Это значит, что есть еще приличные люди, у которых хватает отваги констатировать правду. Воображаемый замок это тот, который не имеет аналога в объективной реальности.

— Давай взглянем на него,— предложил Мишкин.

— Но я же объяснил. Замок нереален. Буквально не на что смотреть.

— Все равно.

— Ведь написано черным по белому!

— Может быть, это шутка или ложь.

— Если ты не веришь тому, что ясно как день,— сказал робот,— то как ты вообще можешь чему-нибудь верить?! Ты, надеюсь, заметил, что знак сделан аккуратно, буквы вычерчены четко. В правом углу стоит штамп Департамента Общественных Работ, серьезной и деловой организации. Совершенно очевидно, что знак вывесили специально, дабы никто из уважаемой публики не зашел туда, ошибочно считая его настоящим.

— А если штамп — подделка?

— Ты мыслишь, как типичный параноик,— сказал робот.— Во-первых, несмотря на привычный и естественный вид, ты считаешь знак шуткой или ложью (что, собственно, одно и то же). Затем, узнав источник так называемой «шутки», ты полагаешь это подделкой. Уверен, что, если я докажу тебе подлинность штампа, ты будешь настаивать, наплевав на принцип лезвия Оккама, что создатели замка воображаемы, а замок реален.

— Просто немного необычно,— сказал Мишкин.— Подойти к замку и узнать, что он воображаемый!

— Не вижу ничего необычного,— сказал робот.— По последним данным, десять богов, четыре основные религии и тысяча восемьсот двенадцать культов объявлены несуществующими.

В сопровождении служителя — бодрого старика с седой бородой и деревянной ногой — Мишкин и робот осматривали Воображаемый Замок. Они проходили по длинным, душным коридорам и по сырым подземельям мимо средневековых рыцарей и выцветших ковров с изображением дев и единорогов в двусмысленных позах.

Наконец они подошли к колоссальному банкетному залу. Стол был заставлен жареными цыплятами, прохладительными напитками, сосисками с перцем, абелонами, мороженым и подносами с пиццей (неаполитанской и сицилианской), сыром, грибами и

анчоусами, языками, сливками и луком, салатами из помидоров и битками, бифштексами, утками с орехами и многим, многим другим.

— А что будет, если я поем этого? — поинтересовался Мишкин.

— Ничего,— ответил служитель.— Воображаемая пища не может насытить, но не может вызвать и расстройства желудка.

— Дает ли она какой-нибудь психический эффект? — спросил Мишкин, пробуя сосиску.

— Безусловно, так как воображаемая еда есть буквально пища для ума,— указал служитель.— Но эффект зависит от конкретного уровня интеллекта и утонченности потребителя. Среди невежественных и легковерных воображаемая еда проявляет питательные свойства. Псевдопитательные, разумеется, но нервная система не способна различить реальные и воображаемые явления. Отдельные идиоты ухитрялись годами жить на этой иллюзорной субстанции.

Мишкин ел, и ел, и ел и получил несравненное удовольствие. Затем тяжело поднялся и лег на койку. Мягкая ирреальность койки сразу убаюкала его.

Лениво бродя, Мишкин созерцал окружающую природу, когда раздался голос: — Привет.

Мишкин машинально огляделся и никого не увидел. Он находился на гладкой равнине, и по крайней мере на пять миль в любом направлении не было ни одного высокого предмета, за которым кто-нибудь мог бы спрятаться.

Мишкин не потерял самообладания.

— Как поживаете?

— Прекрасно, благодарю. А вы? — отозвался голос.

— Неплохо, учитывая все обстоятельства. А что вы делаете в этих краях?

— Я живу в этих краях.

— Чудесное место.

— Безусловно,— подтвердил голос.— Но зимой у нас исключительно холодно и влажно.

— В самом деле?

— Да. Вы, полагаю, турист?

— Более или менее,— ответил Мишкин.— Я здесь впервые.

— И как вам нравится?

— Изумительно. Я видел немногое, но то, что видел, кажется мне изумительным.

— Я привык,— сказал голос.— Вероятно, потому что живу здесь.

— Вероятно,—согласился Мишкин.— Так я обычно чувствую себя дома.

— Между прочим, где ваш дом?

— На Земле.

— Кажется, я о ней слышал. Это очень, очень далеко.

— По всей видимости,— пожал плечами Мишкин.— Но я обожаю путешествовать.

— Вы прилетели на ракете?

— Да.

— Наверное, это очень интересно?

— Да.

Наступило молчание. Мишкина смущал факт, что он не видит собеседника. Он понял, что об этом надо было упомянуть раньше. Сейчас это прозвучит глупо.

— Любопытно, вы заметили, что я невидим? — спросил голос.

— Вообще-то да. Полагаю, вы меня видите?

— Само собой. Мы, невидимки, отличаемся хорошим зрением. Разумеется, кроме тех несчастных, кто слеп.

— А друг друга вы видите?

— Конечно, нет. Иначе мы не были бы невидимками.

— Очевидно, невидимость дает вам огромное преимущество на охоте?

— Не скажу. Мы, невидимки, весьма неуклюжи и производим сильный шум при передвижении. Из-за этого мы охотимся исключительно на один вид животных. Они называются глухачи, так как абсолютно ничего не слышат. Против них невидимость дает огромное преимущество. Однако глухачи — крайне неудобоваримая пища, даже тушеные и поданные под соусом.

— Как вы выглядите?

— Не имею представления. Сами понимаете, невидимость! Даже побриться трудно. Осторожно!

Мишкин наткнулся на невидимый объект и больно ударился лбом. Теперь он шел медленнее, вытянув перед собой руку.

— Как вы увидели невидимый предмет? — спросил он.

— Я его не видел, старина,— ответил невидимка.— Вот знак.

Оглядевшись, Мишкин обратил внимание на многочисленные жестяные щитки с надписями: «Скала», «Колючий кактус», «Старый фольксваген», «Утерянная мина», «Засохшее фиговое дерево» и тому подобные.

— Весьма предусмотрительно,— одобрил Мишкин, прокладывая путь между «Свалкой» и «Туристским бюро».

— Чистой воды эгоизм,— признался невидимка.— Мы сами устали налетать на них.

Пустыня перешла в полупустыню. Мишкин и робот поднялись на небольшую возвышенность и увидели мужчину в смокинге и черном цилиндре, сидящего на черном металлическом чемодане. Перед ним футов на пятьдесят в обе стороны тянулись ржавые рельсы.

— Господи,— вздохнул робот.— Еще один чокнутый.

— Не груби,— укоризненно сказал Мишкин. Он подошел и приветствовал незнакомца.

— Давно пора,— молвил незнакомец.— Я тут два дня сижу в одиночестве, и надо признаться, мне это порядком надоело.

— Чего вы ждете? — спросил Мишкин.

— Двенадцатичасового из Йимы,— сказал незнакомец, поворачиваясь налево и всматриваясь в пятьдесят футов полотна.— Но теперь поезда по расписанию не ходят...

— Я не уверен, что этот поезд вовсе здесь пойдет,— заметил Мишкин.

— Не буду удивлен. Сейчас нигде порядка не найти. Но топать пешком я больше не могу... А может быть, что-нибудь случится и поезд придет. Я не то еще видел. Вечно со мной что-нибудь приключается. Полагаю, вы меня узнали.

— Боюсь, что нет,— смущенно проговорил Мишкин.

— Вы, должно быть, просто невежда, ибо меня знают повсюду. В данном воплощении я Ронсард Великолепный величайший маг во всей Вселенной.

— Мрак...— пробормотал робот.

— Не позволяйте внешности ввести вас в заблуждение,— продолжал Ронсард.— Есть причина тому, что я временно путешествую автостопом и поджидаю несуществующих поездов в странных местах... Не угодно ли лицезреть некоторые волшебства?

— С удовольствием,— сказал Мишкин.

— Дерьмо собачье,— пробормотал робот.

— Первым номером я продемонстрирую трюк с кроликом..

— Я видел его,— сказал робот.

— А я нет,— сказал Мишкин.— Заткнись, пожалуйста.

Робот надменно скрестил руки. Недобрая скептическая улыбка легла на его металлическое лицо, и каждый изгиб тела выражал явное недоверие. Мишкин жадно подался вперед, возбужденно сжав кулаки. Каждый изгиб его тела выражал готовность к чудесам.

Ронсард открыл чемодан и достал сложнейший пульт управления, две батарейки, моток провода, бутылку с молочной жидкостью и крошечный спидометр. Он соединил все эти предметы проводом и подвел его к своей шляпе. Затем достал тестер, что-то замерил и повернулся к Мишкину.

— Как видите, дорогой сэр, шляпа совершенно пуста.— Маг продемонстрировал цилиндр пораженному Мишкину. Робот зевнул. Ронсард выбрал из чемодана кусок белого сатина и накрыл им цилиндр. Делая правой рукой пасы, он заговорил: — Рже-сгампо ринпоге-хи лам мхог ринкоче хи хренц-ва жес бай-ва бжукс!

При последнем слове он пнул пяткой пульт управления. Раздался треск, посыпались искры. Стрелки дернулись и вернулись к нулю.

Волшебник широким жестом сдернул сатин, достал из цилиндра кролика и поклонился.

Мишкин восторженно зааплодировал.

— Все сделано при помощи зеркал,— прошипел робот.

— Теперь я покажу вам карточный фокус,— объявил маг.— Не стойте, сэр (к роботу). Порядок и характер моих номеров тщательно продуман и распланирован для накопления и усиления эффекта. Карточные фокусы отвлекают, развлекают и повышают восприимчивость перед основными событиями вечера... точнее, дня. Итак...— Волшебник извлек из чемодана колоду карт.— Перед вами колода обыкновенных игральных карт. Вы можете убедиться, что карты в фабричной упаковке и никак не помечены.

Он передал колоду Мишкину, который вместе с роботом стал проверять их, а сам тем временем открыл снова свой чемодан и достал три параболических зеркала на треножниках, компьютер на батарейках и маленький радароскоп. Установив зеркала в различных направлениях, он подсоединил их к радароскопу и компьютеру. Потом Ронсард забрал карты, взмахнул ими перед одним из зеркал и ввел данные в компьютер. Радароскоп бибикнул.

Волшебник достал из чемодана шаткий деревянный столик и положил на него карты рубашками вверх.

— Теперь попрошу вас тщательно перемешать колоду, выбрать одну карту и запомнить ее.

Мишкин и робот повиновались, причем робот тасовал значительно дольше.

— Посмотрите на нее внимательно и запечатлите в своей памяти. Теперь положите карту в колоду и снова перемешайте.

Опять робот тасовал дольше. (Робот мог бы стать отличным банкометом; кстати, ему делали такое лестное предложение в Майами-Бич.)

— Теперь,— продолжал маг,— умножьте номер вашей карты, считая по одиннадцати в масти, на семнадцать. Если получилось число четное, прибавьте семь; если нечетное, вычтите два. К последней цифре прибавьте девять; причем черные масти — мнимые числа, красные масти — действительные. Добавьте любое действительное число по вашему выбору — от одного до девяноста девяти. Сделали?

— В два счета,— сказал робот.

— Что получилось?

— Восемьдесят семь.

Маг ввел информацию в компьютер, и тот немедленно начал выплевывать бумажную ленту.

— Ваша карта — валет червей.

— Верно,— сказал робот; Мишкин торопливо кивнул.

— По-моему,— прошептал робот на ухо Мишкину,— сейчас он распилит пополам женщину.

— В следующем номере,— объявил маг,— я распилю пополам женщину.

— Интересно,— сказал Мишкин.

— Все делается при помощи зеркал,— сказал робот.

Волшебник полез в чемодан и выбрал темноволосую девушку с фиолетовыми глазами, портативную электропилу, четырех хирургов и анестезиолога (в масках и с инструментами) и операционный стол с освещением и оборудованием. Темноволосая девушка легла на операционный стол. Она была прекрасна и отважна.

Маг включил пилу.

Неожиданно из чемодана выскочил толстый, низенький, лысый человечек и высоким дрожащим голосом выкрикнул: — Я возражаю против этого брака во имя здравого смысла и гуманизма!

— Еще рано! — зло прошипел волшебник.

Человечек извинился и залез в чемодан.

Анестезиолог сделал девушке укол. Ронсард медленно склонился над ее беззащитным обнаженным телом. Кровь брызнула, как вода из вырвавшегося водопроводного шланга. Задвигались хирурги, тут же накладывая швы.

— Отличное зрелище,— восхитился робот.

— Мне не нравится,— покачал головой Мишкин.

Пила прошла через основные вены и артерии. Хирурги пританцовывали с изяществом и точностью балетной труппы.

— Ооох,— произнесла девушка, и анестезиолог сделал еще укол.

Маг уже распилил стол. Из чемодана выскочил плотник и немедленно починил его. Девушка отважно улыбалась. Волшебник выключил пилу и раскланялся.

— Теперь перед самыми вашими глазами я...

Он замолчал. Все услышали паровозный гудок. Вскоре появился сам паровоз с тремя вагонами, прокладывающий перед собой рельсы по мере приближения.

— Увы, закончить не смогу,— извинился маг, поднимаясь на подножку первого вагона.— Так и живем. Всегда что-нибудь подворачивается.

— Билет,— потребовал кондуктор.

Ронсард извлек из цилиндра билет, и поезд медленно тронулся. Мишкин и робот проводили его взглядом.

— Как-то странно все это,— произнес Мишкин.

— Зеркала,— презрительно усмехнулся робот.— Пустая болтовня и дешевые эффекты.

Они стояли под небом, которое отражало землю, которая отражала небо, и обсуждали зеркала и эффекты.

ПОДЗЕМЕЛЬЕ

Кир БУЛЫЧЕВ

ВЕДЬМ

Фантастическая повесть

Поздно вечером с корабля «Гранат», который находился на орбите, заметили большой пожар. Пожар бушевал в степи, где располагалась исследовательская станция. В тот момент на станции было шесть сотрудников и один гость — Андрей Брюс. Брюс отправился на планету на корабельном катере, чтобы отвезти почту и оборудование для станции, забрать образцы и заболевшего сотрудника. Договорились, что Андрей Брюс останется на станции до утра.

Из экипажа «Граната» прежде никто не бывал на планете, и представление о ней оказалось самое общее. Известно лишь, что обитатели степи — дикие кочевники, постоянно воюют между собой.

Пожар, замеченный с «Граната», был не первым. За тот вечер на пункте связи зарегистрировали по крайней мере четыре пожара. Один большой — горела степь, три малых — результаты набегов и стычек.

Станция была надежно защищена от нападения дикарей, и поначалу пожар никого не встревожил. На всякий случай дежурный радист вызвал станцию, чтобы спросить, не требуется ли помощь.

Станция не отвечала. Радист доложил об этом вахтенному. Тот приказал выпустить «глаз» — спутник наблюдения — и остался в узле связи.

«Глаз» спустился к поверхности планеты и передал видеоинформацию. Горела станция.

Пылали конусообразные, похожие на шатры кочевников, здания. Огонь охватил даже планетарный катер, который стоял метрах в пятидесяти от шатров. Можно было угадать какие-то фигурки, что метались среди факелов. Дым, черный, густой и жирный, скрывая пожарище, тянулся на несколько километров.

Вахтенный разбудил капитана и распорядился готовить к вылету второй планетарный катер. На лайнере положено иметь два катера, один из которых в оперативной готовности. Но он-то и горел сейчас внизу, поэтому несколько лишних минут ушло на подготовку второго катера.

Капитан подтвердил распоряжения вахтенного. На катере отправились врач, второй штурман Гришин и два инженера.

Пока готовили катер, выдавали оружие и грузили медикаменты, на мостике обсуждалось, что же могло случиться.

Даже если случайно в каком-то из шатров возник пожар, его должны быстро загасить автоматы. Да и вряд ли пожар был настолько внезапным, что помешал станции выйти на связь с «Гранатом». Возможно, на станцию кто-то напал и это нападение застало врасплох даже опытного начальника станции Конрада Жмуду и капитана Космофлота Андрея Брюса.

Андрей был человеком энергичным, его томило вынужденное безделье на борту «Граната», который неспешно передвигался от планеты к планете, снабжая экспедиции аппаратурой и медикаментами и меняя ученых. Когда Брюс предложил отправиться на планету, подменив штурмана, капитан «Граната» был рад оказать Андрею такую услугу. Теперь же получалось, что эта услуга могла обернуться для Брюса бедой.

Планетарный катер опустился рядом со станцией примерно через полтора часа после того, как на «Гранате» впервые заметили пожар. Пламя сожрало все, что было ему подвластно. От шатров станции остались лишь черные остовы, даже катер выгорел изнутри.

Среди углей и пепла удалось отыскать три трупа. В одном опознали Конрада Жмуду, два других были в таком состоянии, что опознать их можно будет лишь в Галактическом центре. Недалеко от сгоревших шатров была найдена Ингрид Хан, сотрудница станции. Она была в тяжелом состоянии.

Пока врач старался оказать на месте первую помощь, а один из инженеров работал с кинокамерой, штурман со вторым инженером пошли к заросшей

Рисунки И. Мельникова

кустарником лощине. В этой лощине «глаз» обнаружил несколько небольших обтянутых шкурами шатров — там обитали кочевники.

Штурман и его спутник осторожно подошли к шатрам. Их встретили обитатели жилищ — грязные, первобытные, почти обнаженные люди, они знаками отрицали свою причастность к гибели станции, повторяя слова «октин хаш». Все же подозрение с дикарей не было снято, потому что штурман заметил в становище некоторые предметы со станции. Лица и руки у многих дикарей были измазаны сажей. Ясно, что они побывали на пожарище.

«Глаз» тем временем обследовал окрестности станции. Удалось увидеть и сфотографировать несколько групп кочевников. Среди них не было ни одного из троих исчезнувших со станции. Не исключено, правда, что все находившиеся на станции погибли. Невдалеке обнаружили логово хищных ящеров — тиранозавров. А если станция погибла от их нападения?

Дальнейшие поиски пришлось прервать, так как врачу не удалось привести в сознание Ингрид Хан. Решено было срочно вернуть катер на корабль, а с рассветом возобновить поиски. «Глаз» же продолжал находиться над степью, регистрируя передвижения кочевников.

Утром катер вновь отправился на планету. Он опустился возле большого становища, километрах в тридцати от станции. Становище готовилось к перекочевке, и прилетевшие с корабля были встречены враждебно. Ни людей, ни предметов со станции найти не удалось.

...Андрей Брюс был благодарен капитану, который разрешил ему вести на планету катер и остаться там до утра.

Катер опустился на зеленой лужайке возле станции. Встречать его вышли все шесть сотрудников.

Когда ты впервые видишь людей и знаешь, что через день расстанешься с ними навсегда, то твое внимание выделяет одно-два лица.

Андрей знаком был с Конрадом Жмудой, начальником станции. Тот за прошедшие годы раздался, постарел и полысел, но не потерял могучей энергии и уверенности очень сильного и здорового человека.

Станция существовала на планете уже полгода, и ее сотрудники стосковались по гостям. Конрад долго тискал Андрея в объятиях, словно обрел потерянного брата. Затем Андрея представили другим ученым, и взгляд его отметил изящную женщину в шортах и безрукавке — Ингрид Хан.

В отдалении возле деревьев стояли люди.

От густого потока воздуха фигуры их колебались, словно плыли.

— А это кто? — спросил Андрей.

— Наши соседи,— сказал Конрад.— Беженцы. Я потом расскажу.

Они прошли внутрь конуса. Там было чуть прохладнее.

— Мы не включаем кондиционеры,— сказал Конрад.— Так здоровее. А то насморки, простуды. Но ночами здесь прохладно. Ты отдыхай. Сейчас разгрузимся и будем обедать. Вечером предстоит зрелище.

— Какое?

Вбежал маленький чернявый человек с трагически сошедшимися к переносице бровями, бросил мешок с почтой и выхватил из-за пояса бластер.

— Они как чуют! — крикнул он и кинулся к выходу.

— Что случилось?

Конрад открыл стенной шкаф, вынул оттуда другой бластер.

— Хочешь — погляди,— сказал он.— Только от шатра не отдаляйся. Они зубастые.

Андрей привык следовать советам опытных людей. С годами понимаешь, что любопытство — в самом деле порок, особенно в незнакомом месте.

Стоя в дверях шатра, он увидел, что над поляной кругами, быстро и суетливо, как летучие мыши, вьются темные гадкого вида метровые создания, с длинными острозубыми рылами, перепончатыми крыльями и короткими заостренными хвостами. Это были птеродактили.

Порой кто-нибудь из них пикировал вниз, норовя вцепиться зубами в человека или в один из ящиков, сложенных возле катера.

Конраду удалось подстрелить ящера, и тот рухнул на землю. Остальные, забыв о людях, кинулись на собрата.

Засмотревшись, Брюс не заметил, как птеродактиль выбрал объектом нападения его голову. Он так рванул Андрея за волосы, что у того из глаз посыпались искры.

Чернявый человек обернулся и выстрелил.

Птеродактиль упал на Брюса и сшиб его с ног.

Конрад подбежал к Брюсу и сказал, помогая ему встать на ноги:

— Я же просил тебя не вылезать.

— Ну и развели вы гадов,— сказал Брюс, приложив ладонь к затылку. Ладони стало тепло и мокро.

— Как воронье,— сказал Конрад.— Их тут много. Приспособились к помойкам. У каждого становища вьются.

Он поглядел на птеродактилей. Они торопились, доедали товарища.

— Теперь они нажрутся и улетят,— сказал Конрад.— Как бы только соседи не заметили...— И тут же добавил: — Заметили.

К ним бежали дикари, которые волокли по траве большую редкую сеть.

— А этим что надо? — спросил Брюс, разглядывая ладонь. Ладонь была в крови.

— Ты промой рану, может быть заражение,— сказал Конрад.

— Обязательно.

Дикари были невысоки, тонконоги, вся одежда — короткая кожаная юбка и ожерелье из зубов и камней. И странные прически: небольшой гребень поперек бритой головы. Они кричали и смеялись, белые зубы сверкали.

Ингрид вытащила из катера пластиковое полотно и начала покрывать им ящики и контейнеры, лежавшие на траве.

Дикари подбежали к шевелящейся куче птеродактилей, накинули на них сети, и, когда птеродактили сообразили, что, увлекшись обедом, потеряли свободу, было поздно. Они бились под сетью, стараясь взлететь, а мужчины дротиками и каменными топорами глушили ящеров. Стоял страшный гомон.

— Эй! — крикнул Брюс.— Ты куда?

Один из дикарей, пользуясь суматохой, подскочил к вещам на траве, откинул угол полога и потащил к себе серебряный плоский ящик. Ингрид увидела и стала тянуть ящик на себя. Ей на помощь пришел Конрад. Худой высокий мужчина в белых шортах громко увещевал грабителей. Язык, на котором он говорил, был цокающим, быстрым, отрывистым, словно стрекотание лесной птицы.

Увещевания, а главное, неудача внезапного нападения утихомирили охотников. Еще через три минуты они удалялись, волоча сеть, полную битых птеродактилей.

Доктором оказалась Ингрид.

Она выбрила Андрею волосы на затылке и обработала рану, потом залила ее пластиком. Придется походить денек с этой заплатой. Но если Брюс хочет, ему можно сделать прическу как у кочевника. Жан тоже собирается...

— Зачем ему?

— Он гениальный филолог. Вы бы послушали, какие беседы он ведет со степняками. Его приняли в стаю. Теперь испортят они нашего Жана. У них нет принципов, что хорошо, а что плохо. Готовы всю станцию ограбить. Белогурочка, милейшее создание — я ее очень люблю,— украла зеркало. И повесила на юбку, спереди, представляете? От их хохота мы всю ночь не спали. Вот и все. Можете идти. А то у птеродактилей на зубах бывает трупный яд.

— Я думал, что они крупнее.

— Они бывают куда крупнее. К счастью, сюда не залетают.

Пришел Конрад.

— Не жарко? — спросил он.— А то включим кондиционер.

— Нет, спасибо. А почему вы пускаете аборигенов на станцию?

— В помещения мы их не пускаем,— сказала Ингрид.

— Дежурный на пульте всегда может включить силовое поле,— добавил Конрад.— А ночью обязательно включает.

— Конрад их жалеет,— улыбнулась Ингрид.— Это его стая.

— А ты их не жалеешь?

— Жалею,— сказала Ингрид.— Но мы ничем не можем помочь.

— Что с ними случилось? — спросил Андрей и дотронулся до затылка. Пластик стягивал кожу и хотелось его содрать.

— Сегодня увидишь,— сказал Конрад.— К нам пожалует сам Октин Хаш.

— Я думаю,— сказала Ингрид,— что он пришлет своего палача.

— Приедет,— сказал Конрад.— Я с ним говорил. Он любопытен.

Андрей Брюс попросил воды, выпил маленькими глотками. Вода была свежей, родниковой.

— Наши соседи, по-здешнему — стая Белого волка,— объяснила Ингрид,— кочевали раньше километрах в двухстах отсюда. Мы расположили станцию в безлюдном месте. Даже вместо куполов поставили шатры, чтобы не выделяться.

— Они о нас все знали,— сказал Конрад.— Охотники сотню километров проходят в день. А верховой и еще больше.

— Они у нас были,— сказала Ингрид.— Мы для них другая стая. И очень богатая. Мы с ними наладили отношения — они к нам привыкли, но приезжали нечасто. Обокрасть нас трудно, а железа мы не даем. Но потом пришел Октин Хаш.

— Кто он такой?

— Аттила, местный Аттила,— сказал Конрад.— Он пришел со своей ордой с юга. Так нам говорили. Другие считают, что он всегда кочевал у Зеленой реки, а года два назад стал сильным.

— Ведьмы помогли,— заметила Ингрид, складывая инструменты и закрывая шкафчик.— Наша стая так считает.

— Ведьмы или организационные способности,— сказал Конрад.— Но суть в том, что он сумел подчинить себе все стаи этой степи и собирается в большой поход к морю. А войны здесь простые — смерть или рабство. Стая Белого волка тоже была разбита, и остатки ее бежали к нам под крыло. Октину Хашу это не нравится, он не хочет делить с нами степь, но и не смеет напасть.

— Как же называется ваша стая? — спросил Андрей.

— Стая Железной птицы,— ответил Конрад.— Только не воображай, что нам все это нравится. Если бы не уникальная фауна, не миллион загадок, мы бы отсюда улетели.

— Соблазн велик?

— Знаешь, как кличут нашу планету в Управлении Исследований? Эвур. Эв-ур — Эволюционный урод. Здесь все сразу — триас и мезозой, кайнозой и хомо сапиенс. Новые виды здесь появлялись, а старые не вымирали. Этого не может быть, но случилось. Ради того, чтобы здесь поработать, можно пойти на переговоры даже с Октином Хашем.

Филолог Жан заглянул в медпункт.

— Там Белогурочка,— сказал он.— Ее отец заболел.

— Что с ним? — спросила Ингрид.

— Был на охоте.

— Я пойду,— сказала Ингрид.— Скажи Медее, что пирог в духовке.

— Я сам посмотрю,— сказал Конрад.— Возьми с собой нашего раненого. Ему интересно.

Перед выходом Конрад выдал Андрею пояс с бластером.

— Здесь много неожиданных гадов,— сказал он.— Правда, сюда они редко суются: шумно, запахи чужие. И все же залетают.

Они пошли втроем. До шатров было метров триста. Впереди шагал Жан, неся саквояж с медицинскими инструментами, затем Ингрид. Андрей замыкал шествие.

Спутники Андрея выглядели опереточно — легкие рубашки и шорты, широкие пояса с бластерами на боку, высокие сапоги: типичные покорители звездных трасс из детского фильма.

Они шли по широкой тропинке. Трава была сочной, зеленой. Гудели пчелы, огромный, в пядь, зеленый кузнечик выскочил на тропинку, присел и сиганул метров на десять. Вереницей пересекали тропинку большие желтые муравьи, мелкие розовые бабочки густой стайкой вились над белыми шапками соцветий. Андрей отмахнулся от шмеля размером с кулак. Тот обиженно взревел, но отлетел.

Вблизи шатры стаи Белого волка оказались жалкими. Несколько жердей связаны сверху, оплетены ветками и кое-как прикрыты облезлыми шкурами.

Площадка вокруг чумов была утоптана. Удручающе воняло. Более всего от тушек птеродактилей: женщины разделывали их на открытом воздухе. Тучи синих мух реяли над ними. Женщины прекратили работу, глазели. Их заинтересовал Андрей. Незнакомый человек, одет иначе. Синие рейтузы, серебряные башмаки и белая безрукавка.

Голые детишки, все с косточками, которые они обсасывали — в становище было много мяса,— сбежались, чтобы потрогать гостей. Одна из женщин поднялась и отогнала их хворостиной.

Верхом появился парень в меховой юбке. Он спрыгнул с коня, шлепнул его по морде, что-то гортанно сказал.

Жан ответил длинной фразой.

Из самого большого чума через низкое отверстие выполз толстый старик. Сидя на корточках, он принялся хлопать себя по щекам.

— Это брат вождя,— сказала Ингрид.— Показывает, какое большое горе.

— Пошли в шатер,— сказала Ингрид.— Там мух нет.

В шатре было прохладнее. Глаза быстро привыкали к зеленоватой полутьме; внутри шатер оказался просторнее, чем выглядел снаружи. Пахло терпко и остро: в середине дымил костер.

У костра на корточках сидела девушка. Она кинула в дым связку травы и поднялась. На темном лице светились белки глаз и зубы.

— Ты пришла.— Она легонько, на мгновение прижалась лбом к плечу Ингрид.

Куча тряпок и шкур за костром зашевелилась. Оттуда послышался низкий голос. Зацокал, заурчал. Жан ответил.

— Вождь был на охоте,— сказал Жан.— Его догнал лев.

Ингрид подошла к ложу раненого. Жан переводил ей.

Андрей понимал, что он здесь лишний, но выходить наружу, в жару и вонь, не хотелось.

Рядом с костром в землю было вкопано суковатое бревно. На сучьях висело оружие. Андрей подошел, разглядывая короткие копья с широкими каменными лезвиями, прямой зазубренный меч.

Девушка стояла к нему спиной, наблюдая за тем, что делает Ингрид. Наряд девушки ограничивался короткой юбкой, ладно сшитой из конской шкуры. Прическа странная: на висках волосы сбриты, на макушке торчат ежиком. Девушка почувствовала взгляд Андрея и обернулась. Глаза были светлые, внимательные. Андрей улыбнулся. Девушка после секундной паузы улыбнулась в ответ.

— Тебя я не видела,— сказала она.— Ты новый. Ты с неба?

— С неба. Ты откуда знаешь наш язык?

— Жан меня учит. Никто не знает язык людей неба. Я знаю. Я умная. Я — дочь вождя.

— Как тебя зовут?

— Биллегури, а твои люди зовут меня Белогурочка. Почему?

— Им лучше знать. Это хорошее имя.

В Белогурочке было что-то птичье — в посадке головы, настойчивом взгляде, тонкости костей. От плеча до небольшой груди шел светлый шрам. Белогурочка перехватила взгляд Андрея и сказала:

— Меня ударил врар, я упала с горы. И прямо на сук.

— Ты знаешь много слов,— сказал Андрей.— Кто такой врар?

— Это пещерный медведь,— объяснил Жан.— Их здесь не бывает, они живут к северу, где раньше кочевала стая.

— Мы раньше жили у леса,— сказала Белогурочка.— Потом пришел Октин Хаш и убил многих мужчин. И взял женщин. А мы убежали. Он хотел и меня взять. Вы будете с нами есть?

— Нет,— сказала Ингрид.— Мы будем есть дома.

— Жан боится нашей пищи,— сказала Белогурочка.— Он боится, что у него будет болеть живот от микробов.

Только когда стали прощаться, Андрей увидел отца Белогурочки. Тот лежал на спине с закрытыми глазами. Ингрид дала ему наркоз, и теперь он отдыхал от боли.

Белогурочка выпорхнула за ними на площадку. Андрею стало дурно от вони. Разделка птеродактилей подходила к концу. Дети гоняли собак, чтобы те не растащили мясо.

Подскакали два воина. Они подняли копья, приветствуя гостей. Один из них, одноглазый, засмеявшись, прощебетал длинную фразу.

Ингрид перевела Андрею:

— Он жалеет, что не смог утащить у нас блестящую коробку. Они страшные воришки. Если покопаться в шатрах, найдешь все, что пропало у нас за полгода.

Жан тоже смеялся. Белогурочка сказала:

— Брать чужое плохо.

Она посмотрела на Андрея снизу вверх. Она была на голову ниже его.

— Плохо,— согласился Андрей.

— У тебя на голове блестит. Это рана?

— Как ты догадалась?

— Ингрид всегда мажет раны жидкой мазью, которая потом твердая.

— Пошли,— сказала Ингрид.

Белогурочка смотрела им вслед. Она увидела, что Андрей обернулся, и крикнула:

— Ты красивый!

— Ну вот и поклонница,— сказала Ингрид.— Почему во всей Вселенной капитаны Космофлота пользуются такой популярностью у девушек?

— Не представляю. Раньше это говорили о гусарах.

— У них форма красивая,— сказал Жан.— Смотри под ноги! Змея!

Змея скользнула молнией и скрылась в траве.

Андрей принял душ. Ему казалось, что даже кожа пропиталась запахами становища.

За обедом Конрад сказал:

— Тебе повезло.

— Я рад, что побывал там,— сказал Андрей.— Это очень интересно. Только воняет.

— Я не об этом. К нас в гости пожаловал сам Октин Хаш.

— Аттила?

— Он умный человек. Я с ним разговаривал. Он осознает свою историческую задачу.

— Если историческая задача — грабить и убивать,— сказала Ингрид возмущенно,— то осознать ее несложно. Вам нравится суп?

— Необычно,— сказал Андрей.

— Мы здесь многому научились,— сказала Ингрид.— Знаем, какие травы полезны, а какие есть нельзя.

— Спасибо Белогурочке? — спросил Андрей.

— Она вам понравилась? Правда, замечательный ребенок?

— Сколько ей лет?

— Не знаю. Жан, сколько лет твоей Белогурочке?

— Здесь год немного длиннее нашего,— сказал Жан.— И потом в первобытном обществе другие мерки. Девиц отдают в соседний род, когда исполняется тринадцать-четырнадцать.

— А почему не отдали Белогурочку?

— Она была предназначена парню из стаи Динозавров. Но та стая полностью истреблена. Белогурочка — девушка-вдова. Это недостаток.

— Еще налить супа? — спросила Ингрид.

Пришел чернявый, ртутный, яростный Аксель Акопян. Присел за стол и принялся работать ложкой так, словно соревновался на скорость.

— Видели, какой дым? — сказал он.

— Мне говорили, что орда Октина Хаша захватила кибитки стаи Серой акулы. И был бой,— сказал Жан.

— Господи, когда это кончится! — воскликнула Ингрид.

— Я тупею от этих запахов,— сказал Конрад.— Здесь все пахнет.

Пышная добрая Медея, которая дежурила на кухне, принесла миску с тушеным мясом.

— Угадай, что это такое,— сказал Конрад.

— Лучше и не пытайтесь,— возразила Ингрид.— Я стараюсь не думать. Хорошо, что у нас запас консервов.

— Ничего особенного,— сказал Жан.— Это оленина.— Я покажу вам его рога. Два метра в размахе.

— Почему все так нелогично? — спросил Андрей.— Законы эволюции постоянны. Одно отмирает и уступает место другому.

— Здесь не уступило,— сказал Конрад.

— Сюда нужно экспедицию человек в сто,— сказал Аксель.— Я написал отчет, а в центре никак не раскачаются. Эта планета набита тайнами. Ты смотришь направо — так быть не может! Ты смотришь налево — такого не бывает, а оно есть.

— Андрею надо что-то показать. До темноты еще часа два,— сказал Жан.— Давайте, я покатаю его на флаере.

— Спасибо,— сказал Андрей. Ему было стыдно признаться в том, как сильно его тянет в сон. Впрочем, проницательная Ингрид угадала, что с ним творится.

— Никуда он не полетит,— сказала она.— Зачем спать во флаере, когда можно поспать в шатре. Человек впервые попал к нам. Вспомните, как вы здесь спали первые дни. Конрад, уступишь Андрею койку?

— А компот? — удивился Аксель Акопян.

— Пускай идет,— сказала Ингрид.— Через два часа мы его разбудим.

— Через час,— сказал Андрей.

Конрад разбудил Брюса через два с половиной часа.

— Ты не простишь, если я дам тебе спать до утра,— сказал он.

В руке он держал чашку кофе.

За окном было сине, почти совсем стемнело.

— Я себе не прощу,— сказал Андрей.— Спасибо, что разбудил. Со мной такого еще не бывало.

— Мы засекли со спутника,— сказал Конрад,— что Октин Хаш уже выехал. Хочешь посмотреть?

— А чего он к вам едет? — спросил Андрей, отбирая чашку у Конрада. Кофе был горячий и очень крепкий. Конрад постарался.

— Как соседняя держава. С визитом,— сказал Конрад.— Считается, что мы взяли под свою руку стаю Белого волка. И можем претендовать на их бывшие земли. Политика сложная.

— Вы взяли под свое покровительство стаю?

— Иначе бы их перебили люди Октина Хаша! Ты этого хочешь?

— Конрад, ты сердишься, значит, ты не прав.

— Просто замечательно, если ты сидишь в Галактическом центре и за тебя думает компьютер. А ты видел Белогурочку? А ты ее младших братишек видел? Они хотят жить, понимаешь?

— И вы решили встретиться с Октином Хашем?

— Это он решил с нами встретиться.

— Он вас считает богами?

— Религия их первобытна. Они одушевляют силы природы. Они еще не додумались до концепции бога в человеческом обличье. Поэтому мы не можем быть богами. У нашего племени много оружия и богатств. Покорить нас невозможно. Ему совершенно непонятно, чего же мы хотим. А любопытство — одно из первых человеческих качеств.

— А что тебе нужно от этой встречи?

— Только чтобы нас оставили в покое. Чтобы перестали нападать на наши партии. Степь велика. Пускай идут дальше. Эта земля,— Конрад сделал широкий жест рукой,— от озера до холмов — наша.

— Вождь стаи Железной птицы...

— Не могу же я объяснить Октину Хашу, что мы прилетели из Галактического центра для проведения комплексных исследований. С сумасшедшими здесь разговор короткий — дротик под сердце.

В дверь заглянула Ингрид.

— Едут,— сказала она.— Пошли в узел связи, поглядим.

Спутник связи завис над лагерем кочевников. Если бы сам великий Октин Хаш, повелитель северной степи, поднял голову, он мог бы заметить искорку — не более того.

На большом экране узла связи был виден клуб серой пыли. Октин Хаш уже несколько недель стоял на берегу небольшой степной речки. Люди и кони истоптали траву. Слабый ветерок оттягивал пыльное облако в сторону — из пыли, как из тумана, поднимались горбы кибиток, совсем иных, чем чумы у стаи Белого волка. Бивни мастодонтов были обтянуты кожей динозавров. Кибитки расходились радиально от центра лагеря, где стоял шатер вождя. Лагерь был огражден повозками, за которыми далеко тянулись хибары и навесы. Там жили рабы и слуги, а далее оказалась свалка — кости животных, навоз, ломаные телеги, ямы, куда кидали мертвых,— Октин Хаш любил порядок в лагере, но не интересовался, что творилось за его пределами.

Перед шатром Октина Хаша стояли высокие шесты с разноцветными тряпками, у входа горели два костра, наполнявшие пыльное облако оранжевым сиянием. Всадники в костяных шлемах, накидках из крыльев птеродактилей — высушенные когти торчат над плечами, как эполеты, с небольшими блестящими щитами из акульей кожи, горячили босыми пятками мохнатых лошадок, размахивали копьями, ожидая выхода вождя.

Два телохранителя, закованные в латы из кожи игуанодонтов, вышли первыми из шатра. Потянули, раздвигая, полог, и тогда, скрытый по колени в пыли, вышел сам Октин Хаш.

Он был мал ростом, на голову ниже людей, что следовали за ним. Корона из красных перьев лишь подчеркивала его малый рост. Одет он был скудно — лишь короткая юбка из тигровой шкуры. Вместо коня обнаженные рабы вели громадного ящера.

— Стегозавр,— сказала Ингрид.— Я покажу снимки — на них возят грузы через пустыню — целые караваны. Они тупы и послушны. А везет, как грузовик. Машина неприхотливая: поел травки — снова в путь.

Между вертикальными метровыми пластинами на хребте ящера было устроено сиденье из шкур. Второе, спереди, для погонщика. Подчиняясь удару копья, ящер покорно подогнул толстые ноги и коснулся брюхом земли. Два воина наклонились, чтобы вождь мог ступить на их спины. Оттуда — на спину ящера. Стегозавр поднялся и замер.

Всадники бешено закрутились вокруг, затем понеслись вперед, к проходу между повозок.

Ящер, не спеша переступая по пыли, двинулся вслед, как линкор за торпедными катерами.

— Они далеко отсюда?

— Часа через полтора будут. Надо готовиться. Жан, ты предупредил стаю?

— Сейчас схожу,— сказал филолог.

Конрад обернулся к Андрею:

— Логика порой не срабатывает. Он едет к нам установить мир. Казалось бы, замечательно. Но с ним скачут молодцы, которые могут вырезать всю деревню нашей стаи. Потому надо предупредить.

— Вы их будете прятать здесь?

— Они уйдут в лес. Так уговорено.

— Вы его впустите на станцию?

— Разумеется,— сказала Ингрид.—Он пускал Конрада к себе в шатер. Оскорбление — не пустить в дом.

— А соблазн не слишком велик?

— Разумеется, мы примем меры.

Андрей поглядел на экран. Спутник не выпускал из поля зрения посольство, которое шло к станции. Впереди носились всадники. Как пчелы, отрывающиеся от роя, они сновали в разные стороны и возвращались к громаде стегозавра. Колдуны и старейшины ехали спокойно, держась за хвостом ящера. Маленьким красным пятнышком покачивалась перьевая корона Октина Хаша между пластинами на спине стегозавра.

— Медея,— сказал Конрад,— проверьте со Стахом силовое поле. В станцию пропускаем только Октина и его советников. У вас час на то, чтобы решить, как это лучше сделать.

Андрей вышел наружу.

Громко стрекотали цикады. Быстрая тень беззвучно пронеслась над головой, и Андрей отпрянул к двери.

Два черных силуэта возникли у цепочки зеленых огоньков — границы силовой защиты. Огоньки у их ног на секунду погасли, затем загорелись ярким белым светом — в поле образовался проход.

Жан и Белогурочка подошли к Андрею.

— Вам цикады не надоедают? — спросил Андрей.

— Я привык,— ответил Жан.— Я их не слышу, как старые часы в комнате. Белогурочка решила побыть у нас.

— А остальные?

— Остальные отошли в лес.

— Почему ты не ушла со всеми? — спросил Андрей.

— Я хотела увидеть тебя,— сказала Белогурочка.

Жан сдержанно улыбнулся.

— Вы еще не привыкли к простоте чувств и отношений. Белогурочка всегда говорит, что думает.

— Андрей — твой друг? Почему он должен улететь?

— У меня дела далеко отсюда,— сказал Андрей.

— Ты охотник?

— Я караванщик.

Белогурочка обернулась к Жану, ожидая, чтобы он объяснил.

— Андрей хочет сказать, что он ведет повозки с товаром.

— Лучше, если бы ты был воином,— сказала Белогурочка.

Они вернулись в станцию. Там, на свету, Андрей смог разглядеть девушку. Она приоделась. На ней был короткий плащ из серых и черных перьев и несколько нитей бус из оранжевых острых зубов, из каких-то сушеных ягод. К сожалению, Белогурочка намазала брови сажей и на щеках нарисовала зеленые узоры.

— Красиво? — спросила она, перехватив взгляд Андрея.

— Не знаю,— сказал Андрей.— Я здесь первый день.

— Странно говоришь,— обиделась Белогурочка.— Один день, два дня, много дней — или красиво, или некрасиво.

— А это обязательно рисовать? — спросил Андрей.

— Обязательно. Это наш знак. Погляди.

Белогурочка протянула Андрею руку, на которой были вытатуированы такие же узоры.

— Когда я стану женщиной,— сказала она,— мне наколят на щеках такие рисунки. Я дочь вождя.

Они стояли в общей комнате станции. Еще днем здесь был беспорядок — складывали образцы и гру-

зы, полученные с «Граната». Сейчас все это убрали и комнату пропылесосили. Два кресла, самые красивые — их притащили из кают-компании,— стояли рядом у стены.

Белогурочка быстро прошла к креслам и села в одно из них.

— Ты садись рядом,— сказала она.— Ты будешь Конрад. А я буду Октин Хаш.

Андрей подчинился.

— Только Октин Хаш не сядет сюда,— сообщила Белогурочка.— Мы сидим на полу.

— А ты?

— Я привыкла. Мне здесь нравится. Жан сказал, что, когда вы будете улетать, меня возьмут с собой. Мне с вами совсем не страшно.

— А когда тебе страшно?

— Ты когда-нибудь бегал?

Андрей не понял.

— Бегал, чтобы тебя не убили? Других убили, а ты бежишь. И ждешь, чтобы убили. Октин Хаш убил моего друга. И потом убил мою мать.

Белогурочка подобрала ноги, усаживаясь поудобнее в кресле. Ноги были исцарапаны, на коленке белый шрам.

— Они не найдут наших в лесу,— сказала Белогурочка.— Они боятся ходить в лес ночью. А где твой нож?

— Мне не нужно.

— У твоих есть ножи, которые бьют издалека. Ты знаешь?

— Знаю.

— Октин Хаш хочет взять меня. Чтобы я жила с ним, варила ему мясо и родила ему детей.

— А он тебя видел?

— Он к нам приезжал, чтобы говорить о мире. Они сидели с отцом, и я приносила мясо. И он сказал отцу: отдай дочь — будем одна стая. А отец сказал, что я обещана. Октин Хаш смеялся и сказал, что он все равно возьмет меня.— Белогурочка помолчала.— Он всегда приходит говорить о мире, когда хочет убить. Я сказала Жану. Он идет вас убить. Жан сказал, что не боится.

Конрад вошел в комнату. Он был доволен.

— Зал для аудиенции готов. Жалко, что кресла не золотые,— сказал он.— Андрей, загляни в столовую. Жан сменит тебе заряд в бластере.

— Зачем?

— На усыпляющий. Если что случится, я не хочу, чтобы кто-нибудь погиб.

— Все же опасаешься?

— Октин Хаш — завоеватель. Хоть первобытный, но завоеватель. А завоеватели сами изобретают себе мораль.— Конрад обернулся к Белогурочке: — Пойди на кухню. У Медеи найдется для тебя что-нибудь вкусное.

— Ты боишься, что Октин Хаш увидит меня? — спросила Белогурочка, легко вскакивая с кресла.

— А ты хочешь его видеть?

— Пускай Октин Хаш знает, что у меня есть большие друзья. А потом мы пойдем в поход и убьем его, правда?

— Иди на кухню! Кому сказал!

Белогурочка скользнула из комнаты.

Конрад нервничал. Он-то не был завоевателем.

Уже совсем стемнело, когда Октин Хаш подъехал к станции.

Конрад с Жаном вышли их встречать. Конрад позвал с собой еще и Андрея, потому что у того были серебряные башмаки и куртка с золотыми знаками. На станции ни у кого не нашлось более впечатляющего облачения.

Они стояли возле огоньков силового поля.

Небо с частыми дырками звезд, куда более яркое, чем над Землей, было зеленым там, где село солнце. Сквозь стрекотание цикад доносился заунывный вой.

— Волки вышли на охоту,— сказал Конрад.

Посольство показалось Андрею продолжением неба — из-за мерцания оранжевых звездочек. Звездочки перемещались и становились все ярче — всадники Октина Хаша держали в руках факелы. Отблески огня играли на блестящих боках стегозавра, который черной горой выдвинулся из тьмы. Погонщик коротко крикнул, и стегозавр замер. Его маленькие красные глазки отражали свет факелов и оттого казались злобными. Стегозавр медленно поводил головой, словно принюхивался к добыче.

При виде встречавших всадники завопили, размахивая дротиками и факелами. Стегозавр медленно опустился на брюхо.

— Приветствую тебя, Октин Хаш, великий вождь и мой брат,— сказал Конрад.

Жан переводил.

Несколько всадников спешились, двое подбежали к стегозавру и встали на четвереньки, подставляя спины вождю.

Конрад счел момент удачным для подготовленного сюрприза. Он поднял руку, и по этому знаку со станции включили летающую лампу. Прожектор, зависший над головами, вспыхнул неожиданно и ослепляюще. Андрей зажмурился.

За эту секунду все вокруг изменилось. Стегозавр взметнулся на массивные задние лапы, когти передних дрожали над головами всадников. Погонщик, не удержавшись, полетел вниз, неловко свалившись на самого вождя, и они покатились под копыта коней. Вопли, рев стегозавра, проклятия Конрада, стук копыт, звон оружия создавали такой яростный грохот, словно рядом кипела битва.

И уже в следующее мгновение, придя в себя, всадники ринулись вперед, построив заслон между вождем и людьми, и острый зазубренный наконечник копья закачался перед лицом Андрея.

Жан, бросившийся было на помощь Октину Хашу, налетел на воина, и тот одним ударом сшиб его с ног.

Резким клекотом послышался голос вождя.

Андрей, помогая Жану подняться, увидел, что тот уже стоит, подобравшийся, четкий и прямой.

Копья опустились. Жан произнес длинную фразу, прося прощения у гостей. Потом была пауза. Жан обернулся к Конраду.

— Я объяснил,— сказал он тихо,— что мы не желали зла. Что мы хотели только достойно осветить место встречи...

Тут заговорил Октин Хаш.

— Меня нельзя испугать.— переводил Жан.— Я ничего не боюсь, но вы напугали наших животных. Так не принимают высоких гостей.

Очень толстая женщина с раздувшимся от жира лицом — глазки щелками,— облаченная в громоздкую меховую шубу, с трудом нагнулась, подобрала с земли помятую корону из красных перьев, расправила и нахлобучила на лысую голову Октина Хаша.

— Мы уезжаем,— закончил перевод Жан.— И между нами будет война.

— Какая еще война! — не выдержал Конрад.— Мы будем говорить! Мы не сделали ничего дурного. Андрей, ну подействуй на них! Нам работать нужно. С ума сойти!

— Скажи ему, Жан,— Андрей не поверил в гнев вождя,— что мы не допускали мысли, что такой смелый вождь, как Октин Хаш, изменит свое решение из-за того, что над его головой зажегся свет.

Пока Андрей говорил, он не сводил взгляда с вождя. Ему показалось, что тонкие губы Октина Хаша чуть изогнулись в усмешке.

Октин Хаш ответил Андрею.

— Великий вождь,— с явным облегчением в голосе перевел Жан,— соизволил принять объяснения вождя стаи Железных птиц и будет с ними разговаривать. Куда надо идти?

Проход в силовом поле был раскрыт, и Октин Хаш смело пошел вперед. За ним ринулись толпой старейшины и воины.

— Погодите! — крикнул Конрад.— Жан, скажи ему, чтобы остальные ждали здесь.

Жан не успел перевести, потому что Ингрид, которая следила за этой сценой с пульта управления, включила вновь силовое поле и оставшиеся снаружи воины бились о воздушную стену.

Октин Хаш остановился.

— Почему они остались там? — спросил он.

— Здесь тесно,— ответил Конрад.

— Ночь холодна, и мои воины голодны. Кто их накормит?

— Этого еще не хватало! — вырвалось у Конрада.

— Он прав. Мы нарушаем закон степи,— сказал Жан.

— Скажите им, что пищу вынесут на поляну. Там свободно. Пускай они подождут немного. Пища скоро будет готова.

Когда Жан перевел, Октин Хаш, подумав несколько секунд, кивнул и приказал воинам ждать и не беспокоиться.

— Пускай откроют консервы,— сказал Конрад, зная, что каждое его слово слышно внутри станции.— И учтите, что там человек двадцать, не меньше.— Он первым подошел к дому, ворча: — Разорение, сущее разорение.

— Хорошо, что свита невелика,— сказал Андрей.

Октин Хаш сразу увидел два кресла. Он смотрел, как Конрад прошел к одному из них.

Октин Хаш отлично владел собой, Андрей отдавал ему должное. Ведь дикарь никогда не был внутри станции. Белые стены, белый пол, яркий свет, мебель — все это должно было его смутить. Спутники вождя были куда более взволнованны. Они уселись на корточки у входа, не смея ступить в глубь комнаты.

Конрад уселся в кресло, показав гостю на второе. Тот остался стоять.

Они же не сидят на стульях, вспомнил Андрей.

Вдруг быстрым, обезьяньим движением Октин Хаш подпрыгнул и опустился в кресло, поджав ноги.

Его спутники громкими возгласами встретили это достижение.

— Мы рады,— произнес Конрад, стараясь не улыбнуться,— что великий сосед пожаловал к нам с миром.

— Я тоже люблю мир,— ответил вождь. Глаза у него были черные, мышиные, острые.— Все, кто послушен мне, будут есть много мяса...

— Хо! Хо! — поддержали вождя его спутники.

— Октин Хаш предлагает вам отдать ему этот дом и все вещи. За это вы всегда будете сыты и довольны. Он знает, что у вас много мужчин и мало женщин. Он даст вам хороших женщин.

— Жан, передай нашему гостю,— сказал Конрад,— что мы не будем жить здесь долго. Мы не хотим власти над другими стаями. Мы хотим покоя. Нам нужно, чтобы воины Октина Хаша не нападали на наших людей.

— Он обвиняет тебя во лжи,— перевел Жан.— Он говорит, что мы взяли в рабство стаю Белого волка, которая убежала от Октина Хаша.

— Они не рабы нам,— сказал Конрад.— Они пришли по доброй воле.

— И ты дашь мне дочь их вождя по имени Биллегури. Мой благосклонный взгляд упал на нее.

— А она согласна?

— Ты спрашиваешь желания маленькой женщины?

— Так у нас принято.

Когда Жан перевел слова Конрада, степняки, сидевшие кучкой у дверей, возмущенно заворчали.

Октин Хаш улыбнулся — рот тонкой полоской протянулся до ушей.

— Белые волки трусливо убежали от меня. Они не достойны твоей заботы, брат.

Конрад обернулся к Андрею. Он был в тупике.

— Как его убедить?

— Стой на своем,— сказал Андрей.— Он же тебя испытывает. Как только отступишь в чем-то, он сразу сделает шаг вперед.

Октин Хаш смотрел на Андрея.

— Он просит меня перевести ваши слова,— сказал Жан Андрею.

— Переведите, ничего страшного.

Жан перевел.

Октин Хаш по-лягушачьи растянул губы, пожевал ими задумчиво.

— На моем совете,— сказал он,— младшие не смеют давать советов вождю. Или ты больший вождь, чем Конрад?

Андрей не успел ответить, потому что в зал загля-

нул Теймур и спросил, как давать пищу воинам? Удобно ли в пластиковых контейнерах? И как будут обедать вожди? Накрывать в столовой?

— Что он говорит? — Октин Хаш был насторожен и подозрителен.

Жан объяснил, что проблема в том, как кормить его воинов.

— Пища готова? — Октин спросил это по-хозяйски, уверенно.— Тогда я пошлю моего колдуна с вашими людьми, которые понесут пищу. Он должен очистить ее, потому что ваши люди могли ее испортить.

— Еще чего не хватало! — Конрад был искренне возмущен.— Зачем мы будем портить пищу? Мы же сами ее едим.

— Мы не знаем мыслей нашего уважаемого брата,— ответил Октин Хаш.— Может быть, смерть моих воинов доставит ему радость.

Конрад растерянно поглядел на Андрея.

Андрей понимал его. Конрад был уверен, что встреча с Октином Хашем должна быть своего рода научным развлечением. Кладом для этнографов и антропологов. Непосредственная беседа со степным завоевателем — скрытые камеры трудятся, чтобы не упустить ни мгновения. Подарки заготовлены, угощение для вождя стынет в столовой. Пораженный могуществом людей, Октин Хаш смиренно обещает более не нападать на полевые группы, не безобразничать, и в степи наступает блаженный мир. А Октин Хаш, оказывается, настолько первобытен, что на него не действуют элегантные интерьеры станции и могущество Конрада, который умеет зажигать солнце над головой. И вообще он не хочет преклоняться перед Конрадом. Он видит в Конраде степного вождя, столь же коварного и мелкого, как сам Октин Хаш. И вместо того чтобы выслушивать разумные предложения Конрада, он сам чего-то требует.

Андрей смотрел на тонкие руки Октина Хаша, которые плетьми высовывались из-под тигровой накидки. Руки были густо татуированы. Левую обвивал синий змей, хвост которого скрывался под тигровой накидкой, а голова лежала на тыльной стороне ладони. Другая рука была украшена узорами, среди которых угадывались зубастые рыбы.

— Мы недовольны,— услышал он голос Жана, который снова переводил.— Вы не отдали нам стаю Белого волка, вы не хотите мира. Значит, будет война. Мы сами отберем у тебя твоих рабов, а ты с веревкой на шее будешь идти за моей повозкой.

Говоря так, Октин Хаш не двинулся с места. Пока Жан переводил, он заинтересовался креслом, поковырял ногтем обшивку, затем принялся задумчиво чесать большой палец на ноге, став похожим на умную обезьянку.

— Мы не хотим войны,— сказал Конрад.— Мы могучие люди. Мы сильнее всех твоих армий, и ты об этом знаешь.

— Я об этом не знаю,— возразил Октин Хаш,— потому что мы еще не воевали. Но думаю, что мои воины сильнее.

— Что ему нужно? — спросил Конрад у Андрея.— Я ни черта не понимаю. Он в самом деле хочет с нами воевать?

— Вряд ли,— сказал Андрей.— Он даже не удосужился изобразить гнев. Спроси его, хочет ли он меняться с нами или торговать.

Октин Хаш кинул на Андрея острый взгляд. Жан перевел.

— Что вы мне дадите? — Октин Хаш рассматривал палец ноги.

— У нас есть пища, украшения, у нас есть котлы, чтобы варить еду.— Конрад задумался... Чем бы еще пожертвовать? Хорошо было капитану Куку. Он специально вез бусы для туземцев.

— Мы сами добудем себе пищу,— сказал Октин Хаш.— И у нас есть из чего ее хлебать. Нам нужно оружие. Железное.

— Мы не можем дать вам оружия и железа,— сказал Конрад твердо.— Потому что ты будешь убивать им других людей.

Вот зачем приехал Октин Хаш, понял Андрей. Все остальное — камуфляж.

— А зачем еще нужно железо? — удивился Октин Хаш.

— Железо нужно, чтобы строить и добывать руду, пахать поля и делать нужные вещи,— наставительно сказал Конрад, и его слова канули в пустоту.

— Железо нужно, чтобы завоевывать,— не менее наставительно произнес Октин Хаш, и старейшины, сидевшие на полу, закивали головами, поражаясь мудрости вождя.

Октин Хаш откинул полу своей накидки — у пояса висели два ножа в кожаных ножнах. Он не спеша вытащил один и протянул его Андрею, которого, видимо, считал более важным вождем, чем Конрада.

Андрей взял нож. Нож был из стали. Одного взгляда было достаточно, чтобы это понять. Но даже не это более всего заинтересовало Андрея. Он понял, что основой для клинка послужила прокатанная на заводе полоса стали, которую потом разрезали на куски и заточили. Разумеется, здесь никто еще не умеет выплавлять железо. Но откуда-то в лапы Октина Хаша попала настоящая сталь...

— Это хороший нож,— сказал Андрей и вернул его Октину Хашу.— Из чего сделана такая красивая рукоять?

— Рукоять сделана из зуба акулы,— перевел Жан и добавил от себя: — Это в самом деле сталь?

— Да, - сказал Андрей.— Но поговорим позже.

Из-под потолка прозвучал голос Теймура — тот включил внутреннюю связь.

— Пища для воинов готова. Белогурочка говорит, что им должно понравиться. Мы понесли ее к ограде. Где их контролер?

Октин Хаш даже не взглянул на потолок. Он не выпускал из руки ножа.

Конрад сказал:

— Октин Хаш просил, чтобы его колдун проверил пищу. Пускай он пойдет и проверит.

Октин Хаш выслушал перевод и кинул два слова толстой бабе в меховой шубе. Та захихикала и с трудом поднялась с пола.

— Андрей,— устало попросил Конрад.— Ты не проводишь его? И скорее возвращайся.

Андрей пошел к двери. Колдун за ним.

Снаружи у дверей станции уже ждал Теймур. Рядом на тележке закрытый котел и в ящике — груда лепешек.

Белогурочка стояла у самой стены, не решаясь выйти на свет, потому что совсем близко, за невидимой преградой, столпились воины. При виде пищи они зашумели, видно, в самом деле проголодались.

Колдун заковылял к тележке.

— Он что, пробу будет снимать? — спросил Теймур.

Колдун открыл крышку котла, и оттуда повалил мясной пар, при виде которого воины за оградой еще более оживились. Колдун ткнул толстым пальцем в Теймура и заверещал.

Теймур понял. Он зачерпнул поварешкой из котла и отхлебнул.

Воины, повинуясь знаку Теймура, чуть отошли от входа.

Теймур покатил тележку вперед.

— Вам помочь? — спросил Андрей.

— Нет, не тяжело. Подстрахуйте меня.

— Я подожду,— сказал Андрей.

Он держал руку на бластере.

— Медея! — крикнул Теймур.— Открывай проход. Обед везем.

Зеленые огоньки в проходе погасли. Затем загорелись красным цветом.

Теймур лихо вкатил тележку в проход, и воины сдвинулись, галдя, отталкивая его и протягивая лапы к лепешкам.

Андрей увидел, что колдун, видно, удовлетворенный, повернулся и вразвалку побрел внутрь станции.

Андрей решил не уходить, пока поле не будет восстановлено. А где Белогурочка? Андрей поглядел вдоль стены. Именно в этот момент все и началось. Когда Андрей снова поглядел на ограду, Теймура не было. Толпа воинов, лязгая оружием, уже вливалась в проход в силовом поле.

— Закройте! - крикнул Андрей. - Закройте!

Стало зябко, цикады замолкли, и слышалось лишь завывание ветра и треск огня — горела станция. Оранжевые языки пламени вырывались из круглых окон и дверей: зрелище было праздничным и даже веселым. Пламя искажало лица, играло на них, и потому Андрею казалось, что все вокруг смеются и гримасничают.

Воины и в самом деле веселились. Они тащили из пылающей станции вещи, назначение которых было им неважно — из любой можно извлечь выгоду. Даже в смутном состоянии ума Андрей все же отметил, что у воинов в изобилии мешки, которые они приторачивали к седлам. Значит, вся эта операция заранее подготовлена, может, даже требование накормить воинов — изобретение военного гения вождя. Странно, думал Андрей, почему они уверены, что победят?

Только тут он вдруг догадался, что его ведут, вернее тащат, что его руки обмотаны веревкой. И когда воин, который вел его, дернул за веревку, в голове так отдалось болью, что Андрей взвыл.

И тут же сквозь треск пламени, крики солдат и вой ветра он услышал знакомый высокий голос Октина Хаша. Воин, который тащил Андрея, откликнулся. И веревка ослабла.

Андрей перевел дух. Боль уходила медленно.

И тут Андрей увидел Теймура. Глаза его были полуоткрыты и тускло отражали свет пожара. Он был мертв. Возле него у опрокинутой тележки лежал на боку котел, куски вареного мяса валялись в траве. Еще сохранился запах похлебки. Воин, который тащил Андрея, наклонился и подобрал из травы кусок мяса, лепешку и сунул в сумку у пояса.

Андрей оглянулся — станция пылала. Неужели он остался один?

— Эй! — закричал Андрей. Он думал крикнуть громко, но голос сорвался.— Эй, кто здесь есть живой, отзовитесь!

Он услышал, как недалеко кто-то откликнулся.

Чем дальше они отходили от пожарища, тем темнее становилось. Андрей находился в сердце потока, который медленно стремился прочь от станции.

Вдруг по колонне прошло движение. Спереди донеслись крики. Издали им ответили другие. Воин, который тащил Андрея, остановился.

Рядом возник еле видный в темноте всадник. Андрей почувствовал: Октин Хаш.

Вождь сказал что-то и ткнул Андрея в висок рукоятью нагайки. Засмеялся и растворился в ночи. Воин снова потащил Андрея, через несколько метров Андрей понял, куда.

Их ждали повозки, запряженные быками. Туда перевалили мешки. Воин забрался на повозку, втащив затем Андрея. Андрей оперся о мешок и поглядел в небо. Ему показалось, что одна из звездочек движется. Может, уже спускается планетарный катер? Сколько прошло с момента нападения?

Повозка дернулась и резво покатилась по ровной степи. Высокие колеса не боялись кочек. Но трясло ужасно. Андрея вырвало. Страшно хотелось пить, хотя бы прополоскать рот, ныла голова. За день ей досталось дважды.

Воин вынул флягу — сушеную тыкву с водой, вытащил зубами деревянную пробку и поднес ко рту Андрея. В жизни еще Андрей не получал лучшего подарка. Вода была теплой, тухловатой, но это была настоящая вода. Когда Андрей напился, воин рассмеялся. Совсем молодой парень, волосы — гребнем поперек головы, шлем он держал на коленях — умаялся, волоча пленника. В темноте поблескивал панцирь.

Ах, какой предусмотрительный и умный дикарь Октин Хаш, думал Андрей. Он даже приказал повозкам подъехать ближе к станции, чтобы сподручнее увозить добро! А мы не удосужились понаблюдать за степью, когда к нам прибыли гости. Впрочем, если бы даже и наблюдали, вряд ли встревожились бы. Ну, едут по степи повозки — значит так надо. Чем могут угрожать повозки великой, несокрушимой станции?

Что дикари делают с пленниками? Приносят в жертву своим богам? Заставляют трудиться по хозяйству? А может, меняют на железо? Они сообразительные дикари. У них кинжалы из стальных полос. Откуда на этой планете могут быть кинжалы из стальных полос?..

По небу чиркнула светлая полоса — все ближе и ближе. Она стала настолько яркой, что осветила всю процессию, как молния близкой грозы. Под волнами дурноты мозг Андрея работал лениво, вяло. Это идет катер с «Граната». Вот он и прилетел. Сейчас рядом окажутся спокойные парни, они велят этим дикарям отойти в сторону, и врач даст Андрею обезболивающее...

Вокруг засуетились люди, крики усилились — даже не зная, что происходит, воины встревожились. Завопили погонщики, подгоняя быков, замельтешили всадники вокруг. Но светлая полоса скрылась за невысоким холмом, там, где слабым розовым заревом осталась станция.

Все правильно, понял Андрей. Они сначала должны опуститься на станцию. Они же не знают, что случилось. Они должны увидеть пожарище, они будут искать людей...

Над шумом поднялся пронзительный голос. Он отдавал команды. И тут же все стихло. Только скрипели колеса и ухали быки.

Караван повернул направо. Теперь все шли еще быстрее, зная, где можно спрятаться. Ну, куда же вы спрячетесь? Вы же не можете скрыть своих следов.

— Хэ! — сказал негромко воин, трогая Андрея за плечо.

Впереди горели костры. Их пламя освещало большое становище.

Посреди кибитки горел глиняный светильник. Воин, который привел Андрея, не опускал копья.

— Не надейся, наши и сюда заглянут,— сказал ему Андрей.

Полог откинулся, и, нагнувшись, вошел Жан. Лоб его был рассечен, и полоса засохшей крови пересекла щеку. Руки тоже связаны.

— Жан! — Андрей несказанно обрадовался, что он не один.— Ты жив!

— Я тебе кричал,— сказал Жан.— Только ты не услышал. А Конрада убили... И Теймурика.

— Держись,— сказал Андрей.— Успокойся.

Он сделал шаг к Жану, но воин ткнул его в грудь копьем.

И тут же в кибитку втолкнули Акселя Акопяна.

Тот молча отбивался. Глаз подбит, на щеке синяк.

— Вот нас и трое,— сказал Андрей.— Может, еще кто остался.

— Нет,— сказал Аксель.— Не надейся. Жан, ты здесь?

— Конрада убили,— сказал Жан.

— Наши прилетят, мы их разгоним.

— Они уже прилетели,— сказал Андрей.

— Я видел,— сказал Аксель.— Они нас ищут.

Вошел пузатый кастрат в шубе. Радостно улыбаясь, он уселся на шкуры.

— Объясни ему нашу позицию,— потребовал Аксель.

Но колдун заговорил раньше.

— Он велит нам раздеться,— перевел Жан.

— Это еще почему? — спросил Аксель.— Ты спроси — почему?

— Рабы ходят раздетыми,— перевел Жан.

— Какие мы к черту рабы! — возмутился Аксель.— Пускай он не надеется, что это ему сойдет с рук.

Но толстому колдуну все сошло с рук.

Через несколько минут пленники были раздеты догола. Жан и Андрей разделись добровольно и безболезненно, Аксель приобрел еще несколько синяков.

Колдун, глядя на эту процедуру, радостно хихикал, ковыряя в носу.

Потом в кибитке появился еще один персонаж — голый горбатый мальчишка. Он притащил ворох грязных шкур. В это надо было облачиться. И кувшин с водой. Пленники напились, но не спешили одеваться.

Колдун сказал, что рабам не положено другой оде-

жды. Эта одежда не хуже другой. Шкуры были грязными и кишели блохами.

Андрей встряхнул шкуру, которую взял из вороха. Поднялась пыль. Воины засмеялись. Колдун заверещал фальцетом, отмахиваясь от пыли. Андрей понял, что очень устал. Нервная реакция, глаза закрываются. Он присел прямо на земляной пол. На минутку. И больше ничего не помнил.

Колдун знал травы. Он знал, от какой травы болит живот, а какая затягивает раны. В воде, которую принес горбатый мальчик, был сок сонного корня.

Андрей все проспал.

Он не видел, как горбатый мальчишка притащил серой грязи и этой грязью пленникам измазали лица и голые ноги. Пришел еще один человек, с острыми тонкими ножами. Он смазал им головы жидкой глиной и соскреб волосы, оставив лишь валики, подобно петушиным гребням, отчего лица пленников изменились. Колдун сам нарисовал черной краской узоры на плечах и руках спящих пленников и остался доволен своими трудами. Он позвал Октина Хаша, который посмотрел на пленников и сказал, что колдун все сделал правильно.

Пленных перенесли в большую кибитку, в которой держали рабов, и они растворились в человеческом месиве: даже вглядываясь в лица, не угадаешь, кто раб, а кто профессор филологии или капитан Космофлота.

Добро же, награбленное на станции, было спрятано в ямах и колодцах, вырытых под некоторыми кибитками.

Предусмотрительные степняки успели вовремя. Над становищем появился планетарный катер.

Его встретили враждебно — десятки всадников мельтешили перед ним, угрожая копьями, кричали и плевали в штурмана. Тот был рад, что он в скафандре высокой защиты.

Штурмана отвели в кибитку, где на возвышении, покрытом шкурами, сидел маленький лысый человек с упрямым подбородком и узкими сжатыми губами, над которыми нависал тонкий нос.

Штурман пытался знаками показать, что хочет осмотреть становище. Маленький человек ел мясо, захватывая его с подноса длинными кривыми пальцами. Кости он кидал в угол. Там сидела старая женщина, которая хватала их на лету и обгрызала. Штурман не знал, что это мать Октина Хаша, которую тот кормил из милости.

Наконец маленький вождь поднялся и повел штурмана по становищу. Их сопровождала большая толпа дикарей. Штурман был очень упорным человеком. Он заглядывал во все кибитки, в том числе и в те, где жили рабы. Он видел спящих землян, но ни он, ни люди с «Граната» не отличили их от сотен других рабов. Убедившись, что в лагере нет пленников и ничто не связывает становище с гибелью станции, штурман доложил на «Гранат», что возвращается.

Страшно болела голова. Эта боль и разбудила Андрея. Еще не очнувшись толком, он попытался сжать себе виски и тут понял, что его голова изменилась. Рядом кто-то застонал. Андрей приподнял голову — человек, который лежал там, очень напоминал кого-то. Он был грязен, голова острижена, руки татуированы. Человек открыл глаза, и Андрей понял, что это Жан.

Акселя они отыскали в другой стороне кибитки. Он еще спал.

— Зачем им это нужно? — спросил Андрей.

— Они считают нас рабами,— сказал Жан.— И хотят, чтобы мы выглядели, как рабы. В мире должен царить порядок...

— Выглядели, как рабы...— повторил Андрей.— А может, они умнее? Может, они боялись, что нас будут искать?

— Не переоценивай их способности,— возразил Жан.— Я тут уже скоро полгода и убежден, что подобные мысли им в голову не могут прийти. Иной уровень развития. Будь они смышленее, они бы никогда на нас не напали. Это же безумие!

— Безумие?

Завозился, просыпаясь, Аксель. Андрей сказал ему:

— Нас превратили в рабов. Даже головы побрили. Так что не удивляйся.

— Что за черт! — Аксель ощупывал голову.— Зачем им это нужно?

— С первобытных времен мозг человека не так уж изменился,— сказал Андрей.— Разница лишь в характере внешней информации. Октин Хаш знает, как называются травы, умеет ездить на стегозавре и метать дротик. Мы знаем, как работать с дисплеем и включать свет.

— Он не глупее,— возразил Жан.— Он иначе устроен. Он не в состоянии предвидеть последствия своих поступков.

— Интересно, кто же тогда нас одурачил?

— Чего мы сидим? — Аксель подошел к двери кибитки и осторожно отодвинул полог.

Сквозь дверь пробивался сумеречный свет. Сколько же они проспали? Почти сутки?

— С ума сойти,— сказал Жан, словно угадал мысли Андрея.— Уже вечер. Они нас опоили.

— Надо бежать,— сказал Аксель.

— Куда? — спросил Андрей.

— В степь, к станции.

— Чтобы нас через десять минут догнали?

— Насколько я знаю эту местность,— сказал Жан,— здесь вокруг степь на много километров. В ней полно всяких тварей.

— Так что же, будем сидеть и ждать, пока нас поджарят?

— Я бы предпочел не спешить,— сказал Андрей.— Вернее всего, пока мы спали, здесь побывал катер.

— Так что же они нас не нашли? — обиженно спросил Аксель.

— Я бы сам не отличил вас от рабов.

— Это только предположение,— сказал Жан.

Пришли два воина, принесли котел с вонючей теплой похлебкой.

Ели Жан и Андрей. Ели с отвращением, и со стороны их попытки выловить из супа что-либо съедобное выглядели курьезно. Воины покатывались со смеху. Аксель категорически отказался есть.

— Быть гордым почетно,— сказал Андрей,— но полезнее остаться живым.

— Ценой унижения?

— У меня была тетя,— сказал вдруг Жан. Он отыскал деревянную плошку, вытер ее рукавом и зачерпнул жижи из котла.— Она очень смешно воевала с моей дочерью. На равных. Дочери было пять, а тетке пятьдесят шесть. Понимаешь, они ссорились на равных.

— Я тебя не понял.

— Мы с ними существуем в разных мирах, которые не соприкасаются. А ты стараешься навязать им свою собственную психологию.

Квалифицированный генетик, надежда факультета вдруг оказался рабом какого-то дикого племени — эта перемена в статусе оказалась для Акселя невыносимой, и Андрей Брюс понимал, что за парнем надо присматривать, он может наломать дров.

— Черт знает что! — Аксель метался по кибитке.— Мне бы бластер! Я бы уничтожил этого Октина Хаша. Если его не остановить, он убьет еще тысячи людей.

— Не родился бы он — родился другой,— сказал Жан.— Без этого истории не обойтись. Со временем и здесь додумаются до гуманизма.

— Мы, как старшие братья, обязаны вмешаться.

— И наказывать, если они будут себя неправильно вести?

— Наказывать и поощрять.

— Ты, как выяснилось, гуманный дрессировщик,— заметил Андрей, вытягиваясь на жестких шкурах. Укусила блоха.

— Это старый спор,— сказал Жан. Он сидел на земле и чесался. Видно, тоже одолели блохи.—

В Центре уже давно доказали, что естественное развитие цивилизации благотворнее, так как не создает дуализма в сознании, не готовом к восприятию идеалов.

— Чепуха. Если отнять у них детей и вырастить в нормальных условиях, они будут такими же, как наши дети. Сами же говорите, что мозг человека не изменился,— возразил Аксель.

— Значит, гуманная дрессировка с питомниками для детей. А стоит ли возиться? Может, взрослых ликвидировать?

— Зачем шутишь? Разве время шутить?

— Всегда время шутить,— сказал Андрей.

Он поднялся: заели блохи.

За стенкой кибитки послышались крики, свист, хохот — происходило что-то интересное.

Андрей подошел к пологу, приоткрыл его. Часовых у входа не было. В плечо дышал Аксель.

Зрелище было и в самом деле внушительным. Несколько коней, словно лилипуты — Гулливера, тащили по лагерю тушу динозавра. Туша была метров пятнадцать в длину, и толстый у основания хвост тянулся по пыли еще метров на пять. Вокруг туши прыгали ребятишки и суетились женщины. Тушу бросили на площади посреди становища. Появился жирный колдун. Его помощник нес за ним короткий широкий меч. Толпа загомонила в предвкушении зрелища.

Колдун взял меч и остановился у брюха динозавра. Он стоял так довольно долго, и толпа криками подбадривала его. Затем он сделал резкое колющее движение мечом, и меч вошел по рукоять в тушу динозавра. Взявшись за рукоять обеими руками, колдун старался распороть грудь чудовища. Ему было трудно — надутое лицо стало мокрым от пота.

Отбросив меч, колдун сунул обе руки в тушу и резким движением вырвал сердце динозавра. Сердце было большим, тяжелым, оно обвисло в руках жреца. Толпа завопила от восторга.

С двух сторон к старому колдуну подскочили воины и подхватили тяжелое сердце. Подняв его на руках — кровь капала им на лица и плечи,— они понесли его к Октину Хашу.

Тот вытащил кинжал, отрезал полоску мяса и поднес ко рту. Он жевал, а толпа прыгала от радости.

— С ними ты собираешься воевать? — спросил Андрей, оборачиваясь к Акселю.

Аксель исчез.

— Жан, где он? — спросил Андрей.

Жан откинул полог и заглянул в кибитку.

— Там его нет,— сказал он.

— Так я и думал. Он сбежал!

Прямо над головой раздался резкий крик.

Октин Хаш подъехал на коне незаметно. Его рот был измазан кровью.

Жан тихо ответил.

— Что он спросил?

— Он спросил, где третий. Я сказал, что скоро вернется. У него болит живот, а он не хочет гадить в кибитке.

Октина Хаша ответ не удовлетворил. Он громко свистнул. Тут же все в лагере позабыли о динозавре. Поднялась суета, словно в муравейник капнули кипятком. Воины затолкали пленников в кибитку.

— Идиот! — Жан ударил кулаком по колену.— Мальчишка!

Неожиданно — как будто остановились часы — суматоха улеглась.

Один из воинов, что стояли в дверях кибитки, сказал что-то.

— Он говорит, поймали,— сказал Жан.

Октин Хаш вошел в кибитку.

— Плохой раб не нужен хозяину,— сказал он, глядя на Андрея и чуть улыбаясь.— Ты понимаешь, вождь.

Жан добавил от себя:

— Я боюсь, что его убили.

— Я тоже,— сказал Андрей.

Октин Хаш спокойно слушал, как разговаривают пленники.

Когда он решил, что пленники поговорили достаточно, он сказал длинную фразу, которая привела в смущение Жана. Тот начал спорить. Октин Хаш почти игриво погрозил ему нагайкой и ушел.

— Что еще он придумал?

— Он сказал, что ты поедешь с колдуном к святилищу ведьм. Ты вождь. Тебя ждут ведьмы. А я останусь здесь. Я ему нужен. Я знаю их язык. Я ему сказал, что мы не хотим разлучаться.

— Что это за святилище?

— Я там не был. Это где-то в горах. Судя по съемкам, ничего интересного.

Полог откинулся, показав зеленое вечернее небо. Громоздкий силуэт колдуна закрыл небо. Внезапный голос наполнил кибитку.

— Он говорит,— в голосе Жана было отчаяние,— чтобы ты выходил.

Ясно,— сказал Андрей, стараясь, чтобы голос его звучал бодро.— Ты жди меня. Все кончится хорошо.

Жан подошел к Андрею. Его глаза в полутьме казались черными колодцами. Жану было страшно. Он никогда в жизни не оставался один среди тех, кому все равно, жив ты или нет.

Жан протянул руку, холодную и влажную. Они обнялись.

Колдун покачивался в дверях.

Жан дошел с Андреем до выхода. Дальше его не пустил воин.

Группа всадников ждала на пыльной площадке. Андрею и колдуну подвели коней. Ноги Андрею связали под животом коня. Рядом ехали воины.

Обернувшись, Андрей увидел, что в становище царит оживление. С некоторых кибиток стянули шкуры — остались лишь громадные клыки мастодонтов. Пыль от конских копыт завилась смерчем.

На «Гранате» тоже видели этот клуб пыли — серое пятно на темной равнине. Дежурный дал максимальное увеличение — отряд состоял из степняков, их можно было угадать по одежде и странным прическам. Дежурный понял, что из становища отправились разведчики, может, охотники. И отметил этот факт в журнале наблюдений.

Отметил он также и то, что, едва стемнело, другие всадники отправились из лагеря, в котором укрывались остатки стаи Белого волка. Приблизившись к становищу Октина Хаша, они замедлили движение, поднялись на пологий холм невдалеке от становища и там спешились.

Через полчаса отряд перешел на шаг. Степь казалась огромной чашей, наполненной темно-зеленым воздухом и ароматом теплых трав. Здесь, на открытом пространстве, цикад было куда меньше, и их пение не заглушало иные звуки: далекий рев и уханье какого-то зверя, возникший из ничего и угасший вдали топот множества копыт, визг настигнутого совой грызуна... Впереди загорелись фонариками желтые глаза.

— Ииий-хо! — завопил воин, что ехал рядом с Андреем, и ударил пятками в бока коню.

Тот рванулся вперед. Воин метнул копье, раздалось рычание. Огоньки исчезли.

Толстый колдун, оседлавший коня, заговорил тонко и быстро. Он склонил голову, чтобы заглянуть Андрею в глаза, словно не мог допустить мысли, что на свете есть люди, не понимающие его.

— Что ж тебе сказать? — ответил Андрей.— Меня тоже интересует, куда мы едем на ночь глядя. Наверное, вы торопитесь, если не легли спать, как положено людям.

— Хо! — сказал колдун, словно был удовлетворен ответом.

Через несколько минут отряд приблизился к куще деревьев. Они окружали низину, в которой, журча по камешкам, бил родник.

Воины спешивались. Видно, решили остановиться на ночь.

Андрей был несказанно рад: связанные ноги затекли, и все тело ломило — на коне он не ездил лет десять, без седла вообще никогда.

Колдун достал кремень, трут и стал высекать огонь. Воины притащили сухие ветки. Скоро разгорелся костер.

Странно, подумал Андрей, какого черта они выехали вечером и через три часа остановились на ночевку? Почему не отправиться в путь с утра?

Где-то шумела речка — ночью звуки разносятся далеко.

Воины развязывали мешки, висевшие у них на поясах, доставали еду. Никто не подумал накормить Андрея. Ему же хотелось одного — вытянуться во весь рост и утихомирить боль в ногах и спине, но мешали путы.

Не спалось. Крутилась усталая мысль: как убежать?

Хорошо герою приключенческого романа. Он обязательно перетрет узы о кстати попавшийся корень и на быстром коне умчится навстречу ветру, где ждут его друзья. Андрей подвигал руками. Веревка была замотана надежно.

Когда все тело насторожено, мозг оставляет бодрствовать малый свой участок, и от любого прикосновения, от звука ты просыпаешься, но остаешься недвижен. Ты среди врагов...

Андрей проснулся, но не открывал глаз. Он ждал. Чья-то рука ощупала его лицо. Пальцы были жесткими. Потом к уху прикоснулись теплые губы, и, как дуновение ветра, послышался шепот:

— Андрей!

Андрей открыл глаза и очень осторожно повернул голову.

Начинался рассвет, воздух был синим. Он увидел, что рядом чья-то голова и блестят, отражая свет звезд, глаза.

— Тихо-тихо,— прошептала Белогурочка.

Андрей заметил, как блеснуло лезвие ножа. Нож врезался в веревку, он быстро и легко пилил ее. Веревка лопнула, лезвие соскочило и полоснуло по руке. Было почти не больно, но сразу пошла кровь. Андрей прошептал:

— Ноги тоже.

Тень заслонила звезды: Белогурочка склонилась к ногам.

— Полаи за мной,— сказала она, выпрямляясь.

Андрей медленно приподнялся, колено натолкнулось на руку воина, спавшего рядом. Он еле подавил крик, метнувшись в сторону.

— Не бойся,— шепнула Белогурочка.— Он не живой.

Вот и край леса. Степь была серебряной от света луны. Прямо перед ним стоял всадник, слишком большой на фоне неба.

— Это мой брат,— сказала Белогурочка.

Всадник держал на поводу двух коней.

— Только не верхом! — чуть не вырвалось у Андрея.

Без стремени забираться на коня было неудобно. Андрей сорвался. Конь переступил копытами и вдруг заржал. Брат Белогурочки рванул Андрея за локоть, помогая взобраться на коня.

Получился шум.

В то же мгновение сзади из рощи раздался крик.

— Скорее! — крикнула Белогурочка. И что-то еще, отрывисто, брату.

— Ий-ех! — крикнул тот.— Ий-ех!

Его крик потонул во взрыве конского топота и оглушительных воплях. Из степи неслись навстречу всадники. Конь Андрея закрутился на месте. Белогурочка, которая уже твердо сидела верхом, ухватила за гриву коня и повлекла его за собой, навстречу всадникам, которые пролетали совсем рядом, стремясь к роще.

Андрей и Белогурочка поскакали прочь.

— Это мои! — крикнула Белогурочка.

Сзади донеслись вопли, звон клинков, визг, ржание лошадей.

Светлело. Степь пошла под уклон. Внизу было неровное море тумана, и Белогурочка постепенно проваливалась в него. Туман подступал к брюху коней, затем невесомой мутью скрыл Белогурочку по пояс, по грудь, по шею — и с головой. Она пропала в тумане. Ничего не было видно. Только стук копыт впереди и крики сзади.

— Осторожно! — крикнула Белогурочка из тумана.— Тихо езди. Будет вода!

Конь слушался плохо, словно понимал, что его всадник неуверен.

Вода журчала рядом. Сквозь журчание прорвался всплеск, покатился камень. Туман отнесло ветром, и Андрей увидел, что впереди широкая неспокойная полоса воды.

— Эй! — негромко окликнула его Белогурочка.— Ты живой?

— Все в порядке,— сказал Андрей.

Переправа через речку, оказавшуюся хоть и мелкой, но очень широкой, заняла много времени. Потом берег полого пошел наверх, и еще через несколько минут они выбрались из тумана.

Андрею казалось, что ни один звук не вырывается из-под белой ваты тумана. Белогурочка прислушалась, сказала:

— Можно немного отдыхать.

— Как ты меня нашла? — спросил Андрей.

— Наш человек смотрел за вами.

Быстро светало. Словно отдохнув за ночь, в мир возвращались краски. Лоб Белогурочки был перетянут обручем, за него заткнуто большое синее перо, словно Белогурочка играла в индейцев. Она походила на мальчишку. Волосы острижены коротко, торчат бобриком, тонкий нос с горбинкой, раздутые ноздри, впалые щеки, глаза внимательные, насторожженные. За широким поясом два ножа.

— Они за нами гонятся? — спросил Андрей.

— Не сейчас. Позже. Но они не успеют.

— Объясни,— сказал Андрей.

Ему очень хотелось сойти с коня: он все-таки не создан для верховых прогулок. Но перед девушкой было неловко признаваться в этом. Она казалась девицей-кентавром — одно целое с конем.

— У нас мало воинов,— сказала Белогурочка.— Совсем мало. Сколько пальцев на руках. Понимаешь?

— Десять.

— Десять. И еще два. И отец мой больной. Отец сказал, Октин Хаш нарушил мир. Октин Хаш — враг. Враг наш и наших друзей. Ты понимаешь? Он убил Конрада. Он убил Медею. Он увел в плен трех мужчин.

— Акселя убили?

— Акселя убили. А мы не могли убить Октина Хаша. У него много людей. Они смотрят. Потом мой брат прискакал и говорит: того, кто прилетел вчера, повезли к святилищу ведьм. С ним две руки воинов и колдун. Тогда я сказала: мужчина, который прилетел вчера,— великий вождь Андрей. Отец болен. Нам нужен новый вождь. Ты будешь мой мужчина. Ты понимаешь?

— Почти все,— сказал Андрей, сдерживая улыбку. Он и не подозревал, что его судьбой намерен распоряжаться не только Октин Хаш.

Белогурочка угадала улыбку в его глазах.

— Не смейся! — она ударила коленями коня, и тот взвился на дыбы.— Ты будешь смеяться — я тебя убью. Нельзя смеяться над дочерью вождя!

— Я не смеюсь,— сказал Андрей.— Рассказывай дальше.

— Мы догнали вас у маленького леса, где надо спать.

— Почему мы выехали вечером? — спросил Андрей.— А потом остановились?

— Это ясно,— сказала Белогурочка. Почему-то она полагала, что ясное ей должно быть ясно Андрею.

Она замолчала, прислушиваясь. Последние звезды погасли, где-то в тумане у воды глухо запела птица.

— Все,— сказала Белогурочка.— Катурадж.

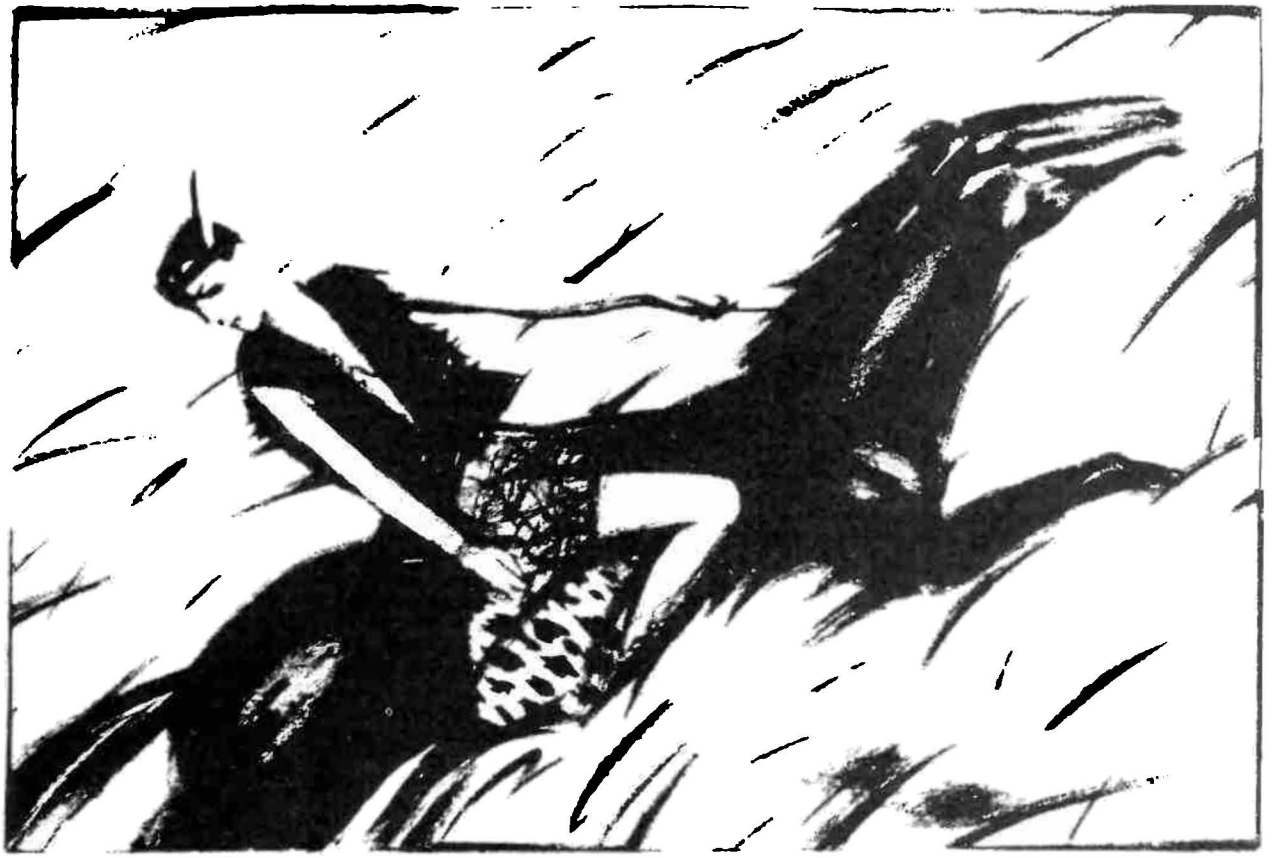
— Что?

— «Катурадж» — это значит «прощай».

— С кем ты прощаешься?

— С братом,— сказала Белогурочка.— Его больше нет.

— Он умер?



— Он ушел туда,— Белогурочка показала вверх, на редкие перистые облака.

Лицо ее было спокойным. Непонятно было, горевала она или смирилась с неизбежным.

— Это все я придумала. Как я тебя разбужу и выведу. Один человек рядом с тобой проснулся. Я его убила. Я тебя вывела. И мои братья напали на колдуна и его людей. А потом поскакали в другую сторону. Колдун думает, что ты вместе с ними. И они скачут за моими братьями. А мы перешли реку.

— Они догнали братьев?

— Они догнали одного брата... другие ускакали.

— Ты так далеко слышишь?

— Я слышу тут,— она показала себе на грудь.— А тут,— она показала на ухо,— я слышу, как колдун и его люди вернулись в маленький лес и теперь ищут наши следы. Скоро они поскачут сюда.

— Нам надо спешить?

— Подожди.— Белогурочка соскочила на землю. К куску кожи, который заменял ей седло, была приторочена сумка. Она достала оттуда два куска вяленого мяса.— Мы будем есть.

Андрей подчинился. Он не понимал, почему сначала они так спешили, а теперь должны ждать.

— Нас не догонят? — спросил он.

— Немного не догонят,— сказала Белогурочка.

Она уселась, скрестив ноги, на покрытую росой траву и принялась отхватывать куски мяса белыми крепкими зубами.

— Ешь,— сказала она, заметив, что Андрей держит мясо и прислушивается.— Ты мужчина, тебе не должно быть страшно.

— Согласен,— сказал Андрей.— А зачем меня повезли в это... святилище?

— В святилище ведьм? Ведьмы тебя ждут. Ты особенный. Ведьмы будут довольны. Они помогут Октину Хашу.

— Очень приятно,— сказал Андрей.

— Это неприятно.— Белогурочка не шутила.— Потом тебя отдадут великой рыбе. Катурадж.

— Ты не хотела, чтобы меня отдали ведьмам?

— Зачем нам мертвый вождь? — удивилась Белогурочка.

— Ты права,— согласился Андрей.

Туман упола, словно втянутый рекой. Открылся дальний берег — он полого поднимался, переходя в ровную степь, и далеко, у самого горизонта Андрей различил темное пятно — рощу, где он ночевал. У того берега стоял небольшой ящер и лениво поводил головой, словно раздумывая, то ли ему окунуться, то ли лучше погреться на солнце, край которого уже показался над горизонтом.

Андрей поглядел вдаль и увидел, что от рощи к реке скачут маленькие всадники.

— Смотри, Белогурочка!

Ящер побежал от воды, навстречу всадникам.

— Ты почему стоишь?!

— Сюда не достанет,— сказала Белогурочка.

И тут Андрей услышал глухой, нарастающий шум, в нем была такая грозная настойчивость, что Андрей замер, глядя туда, где в остатках тумана нечто огромное и несокрушимое двигалось вверх по течению. Он даже непроизвольно отступил на несколько шагов вверх по склону, но остановился. Белогурочка не двинулась с места.

Всадники заметили беглецов.

Они стали осаживать коней. Один из них поднял лук и выстрелил через реку. Стрела не долетела до Белогурочки. Тогда самый отчаянный из воинов ударил коня хлыстом, тот подчинился хозяину и помчался.

Словно расстилая гигантский сверкающий ковер, округлым валом поднималась волна, выталкивая пеной мирно журчавший слой воды.

Всадник, который столь неосмотрительно подскакал к реке, разворачивался; конь его от испуга крутился на месте и, когда вал был уже близко, сбросил всадника. Их обоих подхватила вода, завертела...

Река стала вдвое шире.

Угасающий грохот волны дополнился звонким смехом Белогурочки.

— Ты что? — спросил Андрей, все еще потрясенный.

— Ты видел, как смешно? — сказала она, вытирая слезы.— Йеех! И нет его.

— Не знаю,— сказал Андрей.— По-моему, это не смешно.

— Он был враг,— пояснила Белогурочка.

— Скажи,— спросил Андрей.— А далеко отсюда море?

— Море?

— Большая вода. Очень большое озеро, которому конца не видно.

— Большая вода — полдня пешком.

— Волна приходит каждый день?

— Каждый день. На рассвете.

— Значит, каждый день на рассвете по реке проходит приливная волна. И все об этом знают. Поэтому колдун выехал вечером, чтобы до утра успеть перейти реку. И ты не боялась, что они нас догонят.

— Конечно. Если ты знаешь, зачем спрашиваешь?

— Что же дальше?

— Дальше мы пойдем к месту, где гора разрезана кинжалом,— сказала Белогурочка.— Там будут ждать мои братья. Пора.

Кони трусили резво, утро было прохладным и влажным.

— Нам долго ехать? — спросил Андрей.

— Долго. Только не очень. Твоя стая погибла,— сказала Белогурочка.— Теперь ты в стае Белых волков. Мой отец умрет, ты будешь наш вождь. Хорошо?

— Я думаю, что моя стая не погибла,— сказал Андрей.— За нами прилетят.

— Это хорошо,— сказала Белогурочка.— Они придут, и мы вместе убьем Октина Хаша.

Не было смысла разубеждать Белогурочку.

— У Октина Хаша остался Жан,— сказал Андрей.— Мне надо его освободить.

— Его, наверное, не убьют,— сказала Белогурочка.— Октин Хаш его будет держать. Жан знает язык.

Андрей поверил Белогурочке. Это было разумно — переводчик мог пригодиться Октину Хашу, предусмотрительность которого порой поражала. Но тут же Белогурочка разрушила иллюзию.

— Только теперь он, пожалуй, отдаст Жана ведьмам,— сказала она задумчиво.

— Почему?

— Ты большой вождь. Тебя хотят ведьмы. А если тебя нет, кого им отдать? Надо взять другого. Очень просто.

— Жана принесут в жертву вместо меня?

— Больше у него нет людей из твоей стаи,— сказала Белогурочка.— Очень жалко Жана. Он хороший. Он меня учил.

— Мы можем его освободить?

— Я не знаю,— сказала Белогурочка.— У нас нет людей. Совсем мало моих братьев. Они согласились освободить тебя, потому что я сказала, что ты мой мужчина и великий вождь.

— Жан тоже будет мужчина в вашей, в нашей стае.

— Ты не умный,— Белогурочка нахмурилась.— Чтобы освободить Жана, надо, чтобы погибли все мои братья.

— Но почему они должны погибнуть?

— Потому что Октин Хаш сам повезет Жана к святилищу. Он не хочет два раза ошибиться. Нельзя сердить ведьм.

— Когда Октин Хаш поедет к этому святилищу?

— Он идет медленно. Много повозок, много людей — идут медленно. А тебя послали вперед, чтобы быстро. Надо понимать!

Белогурочка ударила пятками коня, и тот поскакал быстрее. Конь Андрея припустил за ним.

Дикая, тупиковая ситуация. Оказывается, своим освобождением он ставит под угрозу жизнь Жана. Черт бы побрал эту планету!

— Скорей! — крикнула Белогурочка. Она гнала коня к небольшому крутому холму, который, как темя ушедшего в землю великана, поднимался над степью.

В голосе ее чувствовалась тревога. У Белогурочки была замечательно организованная нервная система — она переживала ровно столько, сколько необходимо. Ни секунды более. Дополнительные тревоги, которые с помощью воображения взваливает на себя цивилизованный человек, ее не мучили.

Кони, быстро дыша, внесли ее на холм.

— Смотри,— сказала Белогурочка.

Андрей ничего не видел.

— Ты как слепой старик,— сказала Белогурочка.— Как ты стал вождем, если ты такой глупый?

И тут Андрей увидел.

По степи, раздвигая высокую траву, плыла бурая туша.

— Сколько мяса! — произнесла Белогурочка.— Сколько хорошего мяса! Его трудно поймать.

Огромный мастодонт — туша на толстых ногах, хобот вытянут вперед, огромные бивни торчат кверху — приближался к холму.

И только тогда Андрей увидел преследователей.

Ему показалось, что это большие обезьяны, рыжие и серые. Они бежали, порой становясь на четвереньки, а порой выпрямляясь и передвигаясь на двух ногах. Бежали они молча, и степь замолкла, пережидая погоню.

— Ууух,— прошептала Белогурочка.— Очень плохие.

Мастодонт выдыхался, лишь ужас гнал его вперед. Один из преследователей обогнал его и, подпрыгнув, ухватился за бивень. Мастодонт задрал голову вверх, и существо взлетело высоко над землей, но не ослабило хватки.

Как бы повинуясь этому сигналу, остальные кинулись на мастодонта, хватая его за ноги, взбираясь на спину, и тот, как жук, облепленный муравьями, волочил врагов вперед, и в этом была безнадежность жертвы, которая почуяла близость смерти.

Андрей заметил, что у одного из охотников, который вцепился в загривок зверя, в руке большой острый камень, и он быстро и яростно долбит этим камнем основание шеи мастодонта. Оттуда фонтаном брызнула густая, почти черная кровь. Зверь как-то сразу ослаб, перешел на шаг и упал метрах в двухстах от холма, на котором стояли люди.

— Скорей,— прошептала Белогурочка,— пока они заняты.

Они начали спускаться, так, чтобы холм остался между ними и обезьянами. Андрей обернулся и увидел морду, вернее, лицо обезьяны — одна из них услышала стук копыт и поглядела им вслед.

Это была не обезьяна. Но и не человек.

— Питекантроп? — произнес вслух Андрей.

— Они очень плохие,— сказала Белогурочка, оборачиваясь и торопя коня.— Хорошо, что они заняты. Они бегают, как кони. Если им попадается человек, они убивают и едят.

— А вы их убиваете? — спросил Андрей.

— Конечно, убиваем,— сказала Белогурочка.— Они же плохие. Когда наша стая была сильная, мы один раз делали большую охоту. Я пять стрел пустила в одного, а он все равно хотел меня убить. Это была великая охота, йех!.. Только мясо у них совсем невкусное.

Андрей еще раз обернулся. Холм скрыл от них питекантропов.

— Андрей,— сказала Белогурочка,— возьми.

Она передала ему нож. Нож был железный.

— Откуда вы их берете? — спросил Андрей.— Разве вы умеете делать такие ножи?

— Нет,— сказала Белогурочка.— Мы их меняем на разные вещи.

— У кого?

— Раньше, когда не было Октина Хаша, мы посылали людей к святилищу ведьм. Ведьмы давали нам ножи и другие железные вещи. А теперь мы не можем туда идти. Только Октин Хаш ходит туда. У нас осталось мало стрел и ножей.

— А откуда железо у ведьм?

— Разве кто знает? Ведьмы делают его, правильно?

— Вот это меня и интересует,— сказал Андрей.

— Мы туда не пойдем,— сказала Белогурочка твердо.

— Но нам надо освободить Жана.

— Я могла спасти тебя, потому что у колдуна было мало людей. А Жана спасти нельзя. Как ты будешь воевать со всеми воинами Октина Хаша? Они тебя убьют. У них столько стрел, что тебя превратят в большого ежа. Вот сколько будет из тебя торчать стрел.

Они ехали без происшествий еще часа три. Жарко. Ветер утих, небо стало белым и горячим. Кони плелись еле-еле.

Горы приблизились и постепенно потеряли прозрачность голубизны. Они оказались палевыми, выцветшими.

— Мы там будем ждать,— сказала Белогурочка.— Туда придут братья. Теперь уже недалеко.

Копыта коней зацокали по твердому. Перемена в звуке была столь неожиданна, что Андрей вздрогнул. Оказалось, что они выехали на дорогу. Дорога была старой, в трещинах бетона проросла трава.

— Погоди,— сказал Андрей, останавливая коня и спрыгивая на бетон.

— Нам надо спешить,— сказала Белогурочка.— Зачем ты слез?

— Мне надо поглядеть,— сказал Андрей.— Эта дорога куда идет?

— Я не знаю.

— Она здесь давно?

— Глупый, это старая дорога. Она здесь всегда.

Андрей отколупнул кусочек бетона. Бетон был стар и крошился.

— Это очень интересно,— сказал он, взбираясь на коня.— А другие дороги здесь есть?

— Такие дороги? Есть. А что?

— И вы никогда не задумывались, кто их проложил?

— Мы знаем. Это старые люди. Те, что жили здесь до нас.

— А куда они делись?

— Я же сказала — старые люди. Они умерли. Это все знают.

Они поехали дальше по дороге. Раскидистое дерево росло посреди бетона. Дереву было лет сто, не меньше.

Белогурочка дорогой не интересовалась, она была настороже, поглядывала по сторонам.

— Ты чего боишься? — спросил Андрей.— Зверей?

— Я ничего не боюсь,— сказала Белогурочка.— Но нас ищут. Вся степь знает, что я тебя украла.

— Скажи, а ты никогда не видела домов? Не таких, как твой дом, а домов, сделанных из камня.

— А зачем дом из камня? — удивилась Белогурочка.— Как ты его возьмешь с собой, когда хочешь откочевать?

— А может, старые люди не кочевали? Ведь мы не кочуем.

— Вы не кочуете? А зимой, когда звери уходят на юг в теплые места? Когда снег? Что вы будете кушать? Надо откочевать.

— Значит, не видела?

— Поехали скорей,— сказала Белогурочка.— Мне не нравится.

— Что тебе не нравится?

— Не нравится, и все тут! — Белогурочка поскакала вперед, ударяя голыми пятками в бока своего коня, и Андрей хотел было последовать за ней, но тут увидел на дороге, в широкой трещине нечто блестящее.

— Погоди! — крикнул он Белогурочке.— Одну секунду!

Соскочив с коня, он побежал назад.

Так и есть: он вытащил из трещины несколько небольших, как горошины, металлических шариков. Их поверхность была совершенно гладкой, не тронутой коррозией. Даже самый умелый кузнец не смог бы выковать или отлить такой шарик.

Белогурочки не было видно — высокая, в человеческий рост трава скрыла ее. Конь, не дожидаясь Андрея, пошел вслед за Белогурочкой, и Андрею пришлось бежать за ним, на бегу придумывая, куда бы спрятать шарики — карманов на шкуре не было.

Конь подпустил Андрея на несколько шагов, но тут же передумал и потрусил прочь. Запихав шарики за щеку и невнятно мыча, Андрей помчался следом.

— Эй! — крикнул он, и голос его угас, заглушенный травой и размытый густым жарким воздухом.

Ему показалось, что впереди прозвучал крик.

Трава стояла неподвижная и частая, жужжали мухи. И вдруг Андрей понял, что если Белогурочки нет, он навсегда останется в этом травяном лесу.

Заржал конь. Его конь? Совсем близко.

Стучат копыта. Глухо, все ближе.

Андрей обернулся и увидел, что к нему медленно едет всадник. Кожаная черная куртка, короткая меховая юбка, волосы гребнем, как и у Андрея, на шее ожерелье из желтых зубов, в руке копье.

Кто он? Воин Октина Хаша или родственник Белогурочки?

Андрей подавил в себе мгновенное желание нырнуть в траву и скрыться.

— Фррре,— радостно сказал воин.

Он поднял копье.

Значит, это не брат Белогурочки. Тот не стал бы угрожать копьем.

— Ы! — крикнул воин и ткнул копьем в Андрея.

Перед ним был раб. Беглый раб. И воин презирал его.

Андрей рассчитывал на то, что степняк не выпустит копья. Потому он схватился за основание наконечника и резко дернул. Падая, воин выпустил копье и, тяжело ударившись о землю, все же нашел в себе силы вскочить. И кинулся на Андрея.

Андрей ударил противника в скулу. Нокаут был глубоким.

Андрей снял с воина широкий пояс с кармашками — мечту путешественника,— надел. Потом выплюнул на ладонь шарики и спрятал в карман пояса. Подобрал с земли копье.

Все это заняло меньше минуты.

Конь воина стоял в двух шагах и не делал попыток убежать. Андрей вскочил на него. И когда выпрямился, глаза его оказались на метр выше травы.

Белогурочка была совсем недалеко, метрах в двухстах. Правда, Андрей не сразу сообразил, что это она, потому что Белогурочка лежала поперек конского крупа. Голова ее свисала вниз.

Он разрезал ножом веревки. Девушка скользнула на землю. Она стояла, опираясь на бок коня.

— Ты настоящий воин,— сказала она удовлетворенно.— Я горда, что у меня такой мужчина.

Из глубокого разреза на бедре сочилась кровь.

— Тебя ранили? — спросил Андрей.

— Не больно,— сказала Белогурочка.— Поехали дальше, у нас мало времени.

Еще через час, когда уже сил не было ехать, добрались до редкого кустарника. Тонкие длинные листья почти не давали тени.

— Сюда.— Белогурочка свернула в чащу.

В кустах была поляна. Посреди нее — ровное каменное кольцо диаметром около метра.

Белогурочка легко соскочила с коня, взяла пустую сушеную тыкву, что валялась рядом, и опустила ее на веревке внутрь кольца. Послышался плеск.

— Хорошая вода,— сказала Белогурочка, вытаскивая тыкву.

Андрей попытался проглотить слюну, но слюны не было. Главное — вытерпеть, пока девушка напьется, не показать виду, что ты готов вырвать у нее из рук эту тыкву.

Белогурочка отошла в сторону, где лежал большой плоский камень с углублением в центре. Она вылила туда воду.

— Ты что делаешь? — хрипло спросил Андрей.

Но ответа не требовалось. Оба коня уже тянули морды к воде.

Прошла вечность прежде, чем кони напились. Только потом Белогурочка протянула тыкву Андрею.

Он покачал головой.

— Пей.

— Ты мужчина.

— Пей же!

— Не сердись,— сказала Белогурочка, внимательно глядя на него.— Ты странный. Ты нарушаешь закон. Всегда поят по порядку. Сначала коней — они не могут сами достать воду. Потом мужчин — они не умеют терпеть. Потом пьют женщины.

Но Андрей упрямо отвернулся, и Белогурочка сделала глоток. Капельки пота выступили на смуглом лбу. Белогурочка спросила:

— Я твоя женщина, да? Ты добрый ко мне.

— У нас такой обычай.

Белогурочка смотрела, как Андрей пьет, и улыбалась.

Андрей присел у колодца. Он постучал костяшкой пальца по каменному кольцу. Керамика. Как это сделано? Кто это сделал?

— Ты отдохнул? — спросила Белогурочка.— Мы поедем дальше?

Мысль о том, что надо вновь взбираться на коня, была ужасна.

— Поехали,— ответил он.

— Уже немного осталось,— сказала Белогурочка.— Ты знаешь, я очень устала. Просто очень. Я даже удивляюсь, какой ты сильный.

Холмы были уже близко, степь понижалась. Копыта коней мягко вдавливались в землю, трава стала ниже, но гуще, начались пышные кусты, и еще через несколько сот метров путники въехали в заросли гигантских папоротников. Папоротники смыкались над головами, было сыро и душно. Снова захотелось пить. И спать. Андрей устал удивляться, он держался за гриву коня и пытался не задремать.

— Сейчас снова будет дорога,— сказала Белогурочка.

Но сначала было болото, настолько глубокое, что конь отказывался идти дальше. Белогурочка смело спрыгнула в воду. Она повела коня вперед. Андрей последовал ее примеру. Вода была теплая, черная, по голым ногам скользнуло что-то холодное. Вокруг, насколько глаз мог проникнуть между стволами папоротников, стояла такая же черная вода. И тут Андрей увидел диплодока. Он дремал в болоте, вытянувшись во весь рост, и сначала Андрей даже не понял, что это животное. Сообразив, Андрей остановился в изумлении перед расточительностью природы.

При виде людей динозавр лениво приподнял маленькую, изящную голову и укоризненно поглядел на тварей, посмевших нарушить его послеобеденный отдых.

Белогурочка обернулась и сказала:

— Не бойся. Он ест только траву. Он умный.

— Вы на них охотитесь? — спросил Андрей.

— Сюда наши не ходят. Это плохое место. Если не знаешь дорогу, то утонешь. И тут змеи, которые убивают.

Андрей все оглядывался, пока диплодок не скрылся из глаз.

— Много их здесь? — спросил он.

— Совсем мало.

Они прошли еще — стало чуть глубже. Андрей боялся, что Белогурочка может провалиться в яму.

— Хе! — сказала Белогурочка.— Дорога! Я боялась, что промахнусь.

Андрей тоже ощутил твердую поверхность. Повеселели кони, поверившие, что путешествие по болоту скоро кончится.

Лишь метров через двести Белогурочка выбралась на сухое. Когда Андрей догнал ее, он увидел, что Белогурочка стоит на широкой бетонной дороге, такой же, как и та, что была в степи.

— Зачем старым людям дорога в болото? — спросил Андрей.

— Разве можно знать желания старых людей? — удивилась Белогурочка.

Дорога медленно поднималась в гору. Папоротники уступили место странным деревьям, которых Андрей не знал.

Духота не спадала. Впереди была чернота, словно занавес. Белогурочка смело ехала туда.

Дорога вошла в ущелье. Ущелье было прорезано в отвесной стене, но сама стена скрывалась за листвой, и потому Андрей увидел только вход. Шириной ущелье было метров шесть, не более, и потому вертикальные стены как бы сходились наверху, и между ними виднелась лишь узкая щель.

Ущелье подавляло мрачностью и каким-то адским совершенством. Словно громадный меч прорубил его. Плоское дно было усеяно обкатанными камешками.

Громадный меч... Далеко впереди дрожал вертикальный столб света. Значит, ущелье было идеально прямым — даже маленькая неточность, без которой не может обойтись природа, не дала бы возможности увидеть его дальний конец.

— Откуда это ущелье? — спросил Андрей, и голос его прозвучал гулко, ускользая вверх.

— Старые люди сделали,— сказала Белогурочка.

Этого и следовало ожидать. Значит, она тоже думает, что ущелье с д е л а н о. А я вот не знаю, каким образом это можно сделать.

Сверху упала холодная капля, еще одна. Андрей поднял голову. Небо в щели потемнело — начался дождь. Капли били все чаще.

— Дождь пошел,— сообщила Белогурочка.

— Я слышу.

Ущелье повторяло их слова.

— Если там, наверху, сильный дождь,— крикнула Белогурочка,— вода пойдет сюда!

Несмотря на понукания, усталые кони плелись еле-еле.

Дождь усилился — холодные капли секли по плечам.

Конь Белогурочки остановился, и Андрей еле успел удержать своего, чтобы не столкнуться.

Только тут он разглядел, что дорогу преграждает туша какого-то зверя. Туша была полуобглодана. Черными тенями поднялись с нее и полетели прочь птеродактили.

Пришлось спешиваться и, прижимаясь к стене, протаскивать упрямившихся коней через это препятствие. К тому времени, когда они обогнули тушу, вода уже поднялась высоко и бурлила. А белая щель была все еще далеко впереди.

Последние метры пути по ущелью они шли пешком и тащили за собой коней, которые в панике рвались назад.

— Бросай коня! — крикнула Белогурочка.

Она отпустила своего коня, и он тут же скрылся, но тут легкая Белогурочка не удержалась на ногах, и ее повлекло назад. Андрей кинулся к ней — о коне он забыл, подхватил, и они шли обнявшись, очень медленно, после каждого шага их сносило обратно.

Они стояли, прижавшись спинами к каменному обрыву. У ног кипятилась вода, стараясь найти вход в расщелину.

Шел дождь, обильный, но мирный.

Там, в темноте, захлебываются кони, подумал Андрей. И ему было стыдно, что он не смог им помочь.

— Коней жалко,— сказала Белогурочка.— У нас в стае совсем коней не осталось.

Они шли вдоль отвесной скалы.

— Может, отдохнем? — предложил Андрей. Ноги не держали.

— Скоро,— сказала Белогурочка.— Совсем скоро

Ее шатало. Андрей пошел рядом с ней, обняв ее за плечи. Вокруг был лес, обыкновенный лиственный лес, деревья скрывались за пеленой дождя.

Андрей старался считать шаги, но все время сбивался.

И вдруг услышал:

— Вот и все. Мы пришли.

Белогурочка скинула с плеча его руку и раздвинула кусты.

За кустами было темно.

— Там сухо,— сказала она.— Братьев еще нет.

— Они должны ждать здесь? — спросил Андрей.

— Да. Они отстали. Или их убили. Но мы все равно подождем. Сейчас им не пройти сквозь щель.

— Иеп! — крикнула Белогурочка в темноту. Сде-

лала шаг вперед. Остановилась, прислушиваясь, потом с силой метнула в пещеру камень.

— Никого нет,— сказала она.— Бывает, что сюда приходит зверь. Я не знаю как по-вашему. Мы его зовем грих.

Белогурочка первой вошла в пещеру. Ее шаги прозвучали в глубине. Потом зашуршало.

— Тут есть сухая трава,— сказала она.— Иди сюда. Можно лечь. Если я сейчас не лягу, я умру.

— Я тоже,— признался Андрей.

— Мужчины не умеют терпеть. Правда, ты лучше других.

У стены была охапка сена. Не очень пышная — но все же на ней мягче, чем на камне.

Он вытянулся — тело было напряжено, оно не могло расслабиться. Ноги гудели и ныли. И Андрей понял, что не сможет заснуть.

Он видел серый круг входа и слышал стук капель по листьям.

Белогурочка устроилась рядом, ее легкая жесткая ладонь легла ему на грудь. Потом Белогурочка повернулась, устраиваясь поудобнее, и положила голову ему на плечо. Голова была мокрой, теплой и колючей.

— Йеех,— сказала она сонно,— вся еда с конями пропала.

И тут же начала дышать редко и легко — заснула.

Андрею хотелось повернуться, но он боялся потревожить девушку. Во сне она забормотала, засучила ногами и теснее прижалась к Андрею. А ему казалось, что он никогда не заснет... и заснул.

Хотя Андрей обычно, просыпаясь, мгновенно вспоминал — где он, на этот раз мозг его был столь заморочен вчерашними событиями, что Андрей несколько секунд оставался в блаженной уверенности, будто находится на Земле,— может, потому, что увидел, открыв глаза, зеленую мирную листву, пронизанную косыми солнечными лучами.

Было раннее утро, солнце, вставшее напротив входа, пробило листву кустов и, еще не грея, высветило пещеру обещанием тепла.

Андрей протянул руку — Белогурочки рядом не было. Он приподнялся на локте — девушка сидела чуть поодаль, подтянув коленки к груди, обхватив их руками, и глядела на Андрея. Белогурочка была обнажена, и он не сразу понял, почему. Лишь когда сам сел, увидел, что она сняла с себя куртку и меховую юбку, чтобы накрыть Андрея.

— Глупости,—сказал Андрей вместо приветствия.— Зачем ты это сделала? Ты же простудишься.

— Мне не холодно,— сказала она.— Женщины терпеливые.

— Одевайся,— Андрей протянул ей одежду.

Белогурочка надела юбку. Она совершенно не стыдилась своей наготы.

— Сколько тебе лет? — спросил Андрей.

— Не знаю,— сказала Белогурочка.— Вы, люди небесной стаи, всегда хотите знать, сколько дней, лет — зачем?

— Трудно объяснить. Мы привыкли.

— Там, если пойдешь вглубь,— указала Белогурочка,— есть вода. Только иди осторожно, потому что потолок низкий.

— Братья не пришли?

— Зачем спрашиваешь? Если бы пришли, ты бы их увидел.

Андрей поднялся, выглянул наружу. Близко к пещере подходил светлый лиственный лес. Белка скользнула по стволу липы, поглядела на Андрея и скрылась за стволом. Закуковала кукушка, будто ее нарочно привезли за тридевять парсеков, чтобы утешить Андрея.

Андрей вернулся в пещеру и пошел вглубь. Ручеек выбивался из-под стены.

Андрей умылся, привел себя в порядок. Вода была очень холодной, даже зубы заломило, когда он полоскал рот. Андрей провел ладонью по голове и отдернул руку — забыл, что он острижен по здешней моде. Каково будет появиться в Центре в таком виде? Впрочем, в Галактике столько мод и обычаев, что вряд ли кто удивится.

Когда Андрей возвратился ко входу в пещеру, Белогурочки не было.

Он вышел из пещеры. Жутко болели ноги и ломило спину.

Веселый лес оглушил гомоном и деловитой суетой. Андрей поднял лицо к солнцу — лучи мягко и нежно грели лоб и щеки. Он блаженно зажмурился и понял, как зверски голоден.

Он хотел позвать Белогурочку, но поостерегся — он здесь чужой и неизвестно, можно ли кричать или следует таиться.

Сейчас бы посмотреться в зеркало — набедренная повязка, перетянутая широким ремнем, снятым с поверженного врага, нож за поясом — вот и вся одежда. Хорош ты, капитан Андрей Брюс!

Листва раздалась, и появилась Белогурочка.

И вдруг Андрей увидел ее такой, какой не видел раньше.

Солнце светило ей в спину, подсвечивая ореолом смешной бобрик волос на голове и рисуя золотом контур гибкой девичьей фигуры. Она была феей этого веселого леса.

Белогурочка несла в ладонях горсть диких груш и яблок.

— Больше ничего не нашла,— сказала она.— Но лучше, когда в животе что-то лежит, правда? Ты чего так на меня смотришь? Я не убегу. Я твоя женщина.— И она весело рассмеялась.

Они сели на камни у входа в пещеру. Яблоки оказались кислыми, а груши Андрею понравились. Они были твердыми, вязали рот, но в них ощущалась свежая сладость.

— Хорошо, что мы с тобой убежали летом,— сказала Белогурочка.— Весной плохо с едой. А зимой просто ужас.

Белогурочка стянула меховую безрукавку, расстелила ее на камне и легла, нежась на солнце. Андрей любовался ею.

— А почему мы пошли сюда? — спросил он.

— А где еще тебя спрятать? — удивилась Белогурочка. Она всегда удивлялась недогадливости Андрея — брови уходили наверх, лицо принимало страдальческое выражение.

— Может, в твоей стае?

— Октин Хаш сразу послал людей к моей стае,— сказала она.

— Я думал, что твоя стая скрылась.

— В степи не скроешься. Люди Октина Хаша знают, где искать. Если тебя нет и меня нет, они уйдут, а если ты там, они всех убьют. Это же ясно.

— А почему они вас не тронут, если меня нет?

— Они тронут,— Белогурочка говорила спокойно, как о само собой разумеющемся.— Они будут бить. Потому что сначала не поверят. Но потом поверят. И уйдут. Зачем просто так убивать? Стая Железной птицы побеждена, нас никто не защитит. Октин Хаш знает. Теперь мы будем платить ему шкурами и рабами. У нас не осталось воинов... Почему мои братья не пришли?

— Они знают дорогу сюда?

— Конечно. Только наша стая знает эту пещеру.

Большая стрекоза с оранжевыми прозрачными крыльями уселась на маленькую грудь Белогурочки. Той стало щекотно, и она смахнула стрекозу. Стрекоза лениво перелетела к Андрею.

— Она тебе понесла привет от моего сердца,— сказала Белогурочка.— Хороший привет?

— Хороший. Спасибо.

— Я боюсь,— сказала Белогурочка.— Тут совсем близко святилище ведьм.

— Где святилище ведьм?

— Там,— Белогурочка махнула рукой, показывая в сторону леса.

— Далеко?

— Не очень. Если придут мои братья, они принесут мяса. Здесь нельзя охотиться.

— Почему?

— Нельзя,— сказала Белогурочка раздраженно.—

Если моих братьев убили, то я пойду на охоту за большую щель, в болото.

— А Октин Хаш со своими людьми идет в святилище той же дорогой, что мы?

— Ну как же ему пройти через болото со всеми повозками? — Белогурочка с трудом терпела вопиющую глупость Андрея.— Он идет хорошей дорогой. Он не прячется. Он главный в степи.

— Главнее, чем ведьмы?

— Ведьмы здесь, он там.— Белогурочка села, потянулась.— Он им дает большие подарки.

— А они?

— Они тоже дают подарки. Я вспомнила. Тут должны быть ореховые кусты. Пойдем, может, орехи поспели.

— Пойдем,— согласился Андрей. Безделье было невыносимо.— А когда Октин Хаш придет в святилище?

— Наверное, сегодня. Вот он запрыгает от злости, когда узнает, что тебя нет! Он думает, что ведьмы тебя уже подготовили, а тебя нет!

— Ты думаешь, он до сих пор не знает?

— Знает,— вздохнула Белогурочка.—Конечно, знает. Но веселее думать, что он еще не знает и будет злиться...

Белогурочка вскочила на ноги, проверила, легко ли выходит из ножен кинжал. И сразу подобралась, ступая по-звериному, пошла в чащу, настороженная и жестокая охотница — часть этого леса.

В сущности все случилось из-за меня, думал Андрей. Из-за нас. Спасая меня, она поставила под угрозу жизнь своей стаи. Легко объяснить это, предложив ей нашу мораль и нашу логику поведения. По этой логике мы с Жаном свои, друзья, которых надо спасать, благородно жертвуя жизнью. Но сама Белогурочка на такой версии и не настаивает. Говорит, что я ее мужчина. Что стоит за этим? Неожиданная безумная любовь? Непохоже. Обряд? Меня избрали женихом дочери вождя, не спросив согласия? Или порыв — неожиданное решение дикарей, разум которых действует по иным законам? Понимая, что нельзя судить Белогурочку по земным меркам, Андрей все же старался найти всему рациональное объяснение.

Случись это в иной обстановке, ситуация была бы забавной. И, разумеется, Андрей постарался бы тактично и мягко объяснить этой первобытной девице, что он не готов стать ее мужчиной и скакать за ней по степям, гоняясь за мастодонтами или сражаясь с коварными воинами из чужой стаи. А что делать теперь? Если тебя спасли из плена и, может, от смерти? Если ты уже вторые сутки скрываешься в степи и в лесу, сражаясь с воинами Октина Хаша? И если, наконец, ты уже привык к этому существу, абсолютно непонятному и, как ни странно, единственно родному на этой планете.

Орешник начинался недалеко от пещеры. Кусты зашуршали, расступаясь,— темное крупное животное поспешило уступить место людям.

— Кто это? — насторожился Андрей.

— Это... забыла слово... мохнатый, любит орехи, а зимой спит.

— Медведь?

— Медведь. Он сытый, ты не бойся.

Белогурочка быстро рвала орехи и ловко раскусывала.

Орехи были еще мягкие, сочные. Когда он в последний раз ел лесные орехи? Тысячу лет назад? Да и не в лесу — они были запакованы в прозрачный пакетик...

Андрей потянул к себе ветвь орешника, набрал целую горсть. А где Белогурочка? Она отошла за куст.

И тут Андрей услышал плач.

Кто мог плакать? Белогурочка — никогда. Она не знает, что такое слезы. Уж в этом Андрей был совершенно убежден.

Плакала Белогурочка.

Она сидела на корточках, закрыв ладонями глаза. Плечи тряслись от горя.

— Ты что? — Андрей наклонился к ней.— Что случилось?

Белогурочка дернула плечом, чтобы сбросить ладонь Андрея.

Андрей огляделся. Лес был тих и спокоен. Что же могло расстроить Белогурочку?

И тут он увидел: поломаны ветви лощины, примята трава, и в одном месте на ней бурое пятно — кровь.

— Скажи, что случилось?

Белогурочка подняла голову.

— Это все ты, ты! — сказала она зло.— Зачем ты к нам прилетел?

— Что-нибудь случилось с твоими братьями?

— Я хочу тебя убить! И моего отца с его глупыми старухами! — Она глядела на Андрея снизу вверх, прижав кулачки к горлу, словно ей трудно было говорить.— «Ах, найди этого вождя с неба! Он такой сильный! Его друзья прилетят за ним! Они дадут подарки нашей стае, если ты спасешь его от Октина Хаша!» Кому теперь твои друзья дадут вещи и кинжалы? Моих братьев нет, нет! Уйди!

Андрей отступил на несколько шагов.

Белогурочка вскочила. Руки взметнулись над головой. И бессильно упали. Она не смотрела на Андрея. А он вдруг понял, что ему горько, потому что его обманули. Все так просто: слабой стае нужно покровительство сильной стаи. И если для этого придется пожертвовать дочерью и последними воинами — пожалуйста, мудрый дикарь пойдет на такие жертвы. Он верит в силу друзей Андрея. И этот звереныш с гребешком на макушке тоже хитрил... А впрочем, какое тебе дело, капитан Брюс? Тебя спасли, ради тебя рисковали жизнью. На что ты в обиде?

— Почему ты решила, что твои братья погибли?— спросил Андрей, стараясь говорить спокойно, словно не было гневных слов Белогурочки.

— Вот,— она обвела рукой поляну, полагая, что следы на ней говорят Андрею не меньше, чем ей.

— Я плохо читаю следы,— сказал Андрей.— Скажи, что увидела.

— Пришел один брат,— покорно сказала Белогурочка.— Другие уже не пришли. Их убили в степи.

— Брат пришел сюда...

— Он пришел сюда ночью, когда мы спали. За ним гнались. Он знал. Видишь? — Белогурочка показала в прогалину между кустами. Андрей ничего не увидел, но поверил.— Он не хотел вести их к пещере. Он побежал в другую сторону. А они его догнали. И потом убили.

— Почему ты думаешь, что убили?

— Кровь.

— Понятно,— сказал Андрей.— Скажи мне тогда...— Он старался смотреть на Белогурочку глазами чужого человека, отрешиться от того образа, который стал привычен за вчерашний день. Худая и довольно грязная степнячка со злыми прищуренными глазами, некрасивая, замученная, истощенная... и тут он оборвал себя. Белогурочка истощена и замучена, потому что вторые сутки тянет его на себе. А это выше ее сил. То, что она делает это не ради его прекрасных глаз, а ради своего племени, отца и женщин, которых завтра может убить Октин Хаш, не умаляет ее отваги и самоотверженности.

— Скажи мне,— повторил Андрей.— Когда в степи убивают, что делают с телом? С мертвым человеком?

— Как что? Убили и пускай лежит.

— Тогда скажи — где твой брат? Где он лежит?

Белогурочка оглянулась, словно надеялась увидеть тело. Она сделала несколько шагов в одну сторону, потом остановилась. Повернулась под прямым углом, пошла снова по следу. Андрею даже показалось, что у нее раздулись ноздри, как у собаки, которая ищет след. Она прошла шагов пятьдесят, и Андрей почти потерял ее из виду за кустами. Он стоял неподвижно.

Белогурочка бежала обратно.

— Андрей,— сказала она торжествующе.— Они его тащили. Ты же видишь! — Она показала на следы.— Они его тащили, а он не хотел идти. Ты умный. Я глупая.

Она подбежала к нему и схватила за руку.

— Ты мой мужчина,— сказала она радостно.— Ты самый умный.

Андрей осторожно освободил руку.

— Что же теперь будем делать? Кто схватил твоего брата?

— Мы пойдем и узнаем,— сказала Белогурочка.— Ты сердишься?

— Пошли,— сказал Андрей.

Он предпочел бы сейчас пойти к святилищу ведьм, потому что там Жан. Но сначала надо вернуть долг.

Белогурочка читала следы.

Андрей шел сзади, поглядывая по сторонам. Он чувствовал себя здесь старожилом — а может, лес был не столь чужд, как вчера. Белогурочка часто оборачивалась, в глазах была нерешительность, словно она хотела сказать что-то, но не смела. Или Андрею это казалось.

Следы вывели их на открытое пространство. Они постояли несколько минут на краю леса, приглядываясь. Равнина была замкнута голубыми горами. Антилопа, похожая на окапи, паслась невдалеке, она взглянула на них, потом не спеша потрусила прочь.

— Она не боится,— сказала Белогурочка,— значит, никого нет.

Андрей согласился с ней.

Белогурочка показала на пятно примятой травы.

— Здесь они отдыхали,— сказала она.— Три воина. И брат. Там он сидел. А один воин хромой, видишь?

— Нет.

— Где у тебя глаза! — проворчала Белогурочка прежним голосом. Отвернулась. Потом сказала сама себе: — Так нельзя говорить с чужим.

— Куда они повели его? — спросил Андрей.

— К святилищу.

— Почему?

— Если перейти это поле, будут скалы. Ты видишь их?

— Вижу.

— Святилище около них, внизу, отсюда не видно.

— И туда приедет Октин Хаш?

— Он уже там.

— Они повели твоего брата к Октину Хашу?

— Или к ведьмам.

— У ведьм есть свои воины?

— Им не нужно. Их все боятся.

— Почему они не убили брата?

— Я думаю — они ищут нас, они знают — мой брат отправился к нам. Они будут его спрашивать. Идем.

Белогурочка сорвалась на бег — не выдержала. Андрей помчался за ней. Бежать было неудобно — ноги и без того болели, а острые камни ранили ступни.

У скал, которые поднимались, словно редкий лес на краю долины, камни были застелены разноцветным лишайником.

Белогурочка добежала до скалы, прижалась к ней, раскинув руки. Запыхалась. Потом обернулась, глядя, как подходит Андрей.

— Я бегу,— сказала она,— а они смотрят.

— Кто смотрит?

— Не знаю. Старые люди. Их нет, а они смотрят.

— Мне тоже так казалось,— сказал Андрей.

— Тише,— прошипела Белогурочка.

Андрей услышал голоса. Несколько человек, переговариваясь, приближались к ним. Сзади была открытая долина — никуда не денешься. Андрей посмотрел наверх. Скала была слишком крутой, чтобы залезть на нее. А соседняя?

Андрей схватил Белогурочку за руку и потащил к той скале.

На ней, метрах в пяти от земли, росло дерево, кривое, цепкое, упрямое. Андрей полез наверх, цепляясь за выступы в скале. Андрей остановился на небольшой площадке, протянул руку, чтобы помочь Белогурочке, но она уже была рядом. Она все поняла. Конец корня висел на расстоянии вытянутой руки. Андрей схватился за него и добрался до комля. Ствол был толст и узловат. Андрей обогнул его — между стволом и скалой была щель.

Они втиснулись в нее, стараясь дышать как можно тише.

Из-за скалы вышли несколько воинов. Они остановились, глядя на долину. Как мы успели, подумал Андрей,— минутой позже они бы застигли нас. Но и сейчас — стоит поднять голову...

Но воины не смотрели наверх. Они рассыпались цепочкой и пошли через долину к пещере.

— Ты не устала? — спросил Андрей.

— Но ведь ты меня держишь.

Белогурочка подняла тонкую руку и приложила ладонь к его щеке. Андрей чуть отвел голову в сторону — обида вдруг вернулась.

— Я тебя не обманывала,— прошептала Белогурочка.— Я никогда никого не обманываю. Я хотела, чтобы ты был мой мужчина.

— Не надо,— прошептал Андрей.

— А ты мне не веришь,— сказала Белогурочка.

— Чего мы ждем? Они же дойдут до пещеры и вернутся.

— Мне нравится так стоять.

Сказав это, Белогурочка скользнула вниз, держась за висячий корень дерева. Через две секунды она уже стояла внизу. Андрей спускался куда дольше.

Белогурочка вела его молча. Чтобы уйти подальше от тропы, по которой двигались воины Октина Хаша, они прошли в сторону. Здесь было трудиее — между скал высилась каменная мешаника. Андрей разбил ступни в кровь. Белогурочка скакала по камням легко, чуть касаясь их.

Они оказались на плато, заросшем кактусами. Некоторые из них цвели пышными оранжевыми соцветиями, и пятнистые бабочки лениво парили между ними.

Впереди лежало длинное голубое озеро. По ту сторону озера горы круто поднимались вверх. Справа горы расступались, открывая проход, через который вела широкая дорога. По дороге тянулись повозки.

Казалось, все становище Октина Хаша переехало сюда — сотни повозок толпились на ближнем берегу, дальше на склоне пасся табун лошадей, рабы устанавливали кибитки. В тростниках у самого берега бродил стегозавр.

— Святилище ведьм,— сказала Белогурочка.

— Где оно? — спросил Андрей.

— Гляди за озеро.

Дальний берег озера был пуст. Лишь посреди широкой поляны стояли три кибитки. Они были похожи на кибитки Октина Хаша, но превосходили их высотой. Пологи кибиток были закрыты.

— А где ведьмы? — спросил Андрей.

— Они спят.

Андрей вглядывался в суету у озера. Если даже Жан и был там, узнать его на таком расстоянии немыслимо.

Зато они увидели Октина Хаша. Тот был верхом, в красной короне. Он гарцевал у загона, сделанного из воткнутых в землю высоких кольев. В загоне держали коз. Но не только коз. Там, на земле, сидел человек. Октин Хаш хлестнул по ограде нагайкой. Человек поднялся.

— Мой брат,— сказала Белогурочка.— Как хорошо, что он живой.

— А Жана ты нигде не видишь?

— Наверно, он в кибитке,— сказала Белогурочка.— Или его уже отвели к ведьмам.

Белогурочка задумалась, глядя вниз. Октин Хаш отъехал от загона. Ее брат снова сел на землю. Козы жались в другой стороне.

— Я пойду туда,— сказала Белогурочка.— Там много рабынь. Никто не смотрит — рабыни общие. Рабыни из моей стаи тоже. Они видят меня и молчат. А я все узнаю и тебе расскажу. А ты жди.

И Белогурочка отбежала в сторону, где склон был не столь крутым. Там росли кусты, которые скроют ее, когда она будет спускаться.

Андрей понимал, что Белогурочка права. Ему идти с ней нелепо — сразу узнают. Но ждать — самое бессмысленное занятие на свете. Тем более ждать на жаре.

Андрей огляделся в поисках ориентира. Нашел метрах в ста корявое дерево с обломанной верхушкой.

Чтобы получше разглядеть кибитки ведьм, Андрей решил пройти по краю котловины на ту ее сторону, где обрыв подходил ближе к озеру. Шел он осторожно, стараясь не маячить на открытых местах — воины, что обшаривают заросли у пещеры, могут вернуться в любой момент.

К тому же следовало опасаться зверей. В детстве Андрей читал роман, герои которого попадают в обширную полость у северного полюса и, опускаясь в нее, проходят последовательно все эпохи в истории Земли. Роман написал знаменитый геолог, который хотел рассказать подросткам о палеонтологии. Правда, здесь все было иначе, чем в фантастической книге. Словно кто-то открыл ворота музея и выпустил на волю существа, разделенные миллионами лет. Стегозавр служил верховым животным для степного вождя, птеродактили реяли над мастодонтами, питекантропы охотились на ящеров. Законы эволюции были нарушены. Те, кому положено было вымереть много миллионов лет назад, этого не сделали и продолжали размножаться. Пожалуй, это была главная загадка планеты — от нее могли тянуться ниточки к остальным тайнам.

Задумавшись, Андрей чуть не налетел на носорога, который мирно дремал, склонив к земле тяжелую морду, украшенную четырьмя устрашающего размера рогами. Андрей осторожно отступил за камень, рассчитывая на то, что носороги плохо видят. Отступая, он напоролся на острый сучок. Доскакав на одной ноге до тенистого местечка под скалой, чертыхаясь сел и понял, что путешествие придется прервать.

Андрей отщепил от сухого толстого сука планку, обломал ее, чтобы получились подошвы, потом примотал их лианами к ногам. Он был так поглощен этой работой, что не замечал, как бежит время.

Солнце поднялось высоко. Откуда-то прилетели слепни и назойливо крутились, норовя вцепиться в обожженные солнцем красные плечи Андрея. Сейчас бы сбежать к озеру и нырнуть в него... Андрей приторочил подошвы к ступням, попробовал пройтись. Подошвы держались, но лианы врезались в икры ног.

Совсем рядом раздались голоса. Андрей догадался: вернулась партия, посланная на его розыски. Воины прошли левее и ниже — там была неглубокая промоина. Было слышно, как изредка они перебрасываются ленивыми словами. Стало тихо. Лишь жужжали слепни. Андрей переполз вслед за тенью. Хорошо бы Белогурочка принесла еды. Надо же кормить своего мужчину.

Прошло уже часа три, как она отправилась в становище. Что могло ее задержать?

Отмахиваясь от слепней, Андрей отчаянно боролся с желанием спуститься вниз. Даже под ложечкой сосало от желания действовать. Хотя ясно было — ни черта он внизу не сделает, хотя бы потому, что не знает, как поступить.

Тут его внимание привлекли события, разыгравшиеся у кибитки Октина Хаша.

Оттуда выскочили два воина, видно, те, что безуспешно искали Андрея. За ними вылетел сам Октин Хаш. Даже на таком расстоянии было ясно, что вождь взбешен. Он хлестал воинов нагайкой, пинал ногами. За ним из кибитки выплыл толстый колдун. Из соседних кибиток вылезали зрители; вскоре площадка перед кибиткой вождя была окружена толпой любопытных.

Затем Октин Хаш, видно, принял решение.

Колдун медленно побрел к озеру, держа в руке длинный белый предмет. За ним увязались детишки и собаки. Процессия дошла до берега озера и остановилась. Андрей догадался, что колдун несет рог. Он поднес его к губам. Звук до Андрея не долетел.

Гудел колдун довольно долго, больше минуты, прежде чем на том берегу раскрылся полог черной кибитки и на солнце вышла закутанная в длинное темное одеяние фигура. Фигура подняла руку, что удо-

влетворила колдуна, и он пошел обратно, размахивая рогом, как палкой.

Тем временем — Андрей, наблюдая за колдуном, упустил момент — привели Жана. Андрей узнал его сразу: Жан был на голову выше своих стражей. И шел он иначе, прямо, не раскачиваясь. Жан был пешеходом.

Андрей испытал облегчение — по крайней мере Жан жив и здоров.

Октин Хаш мирно разговаривал с ним, пока не вернулся колдун.

Внизу составилась солидная процессия. Сам Октин Хаш верхом на коне возглавлял ее. За ним вели Жана, затем толпой шли воины. Они остановились у козлиного загона, где к процессии присоединился брат Белогурочки. Затем эта процессия в сопровождении собак и зевак направилась в неспешное путешествие вокруг озера.

Процессия остановилась, не дойдя метров ста до кибиток.

Из кибиток вышли сразу три ведьмы. Они были в длинных черных балахонах, на головах капюшоны. Даже издали Андрей понял, насколько страшны ведьмы для степняков; толпа отшатнулась, когда они приблизились к пленникам. Лишь Октин Хаш и колдун остались на месте. Колдун помахивал рогом, Октин Хаш слез с коня и стоял, держа его на поводу.

Ведьмы шли медленно, словно плыли.

Когда ведьмам осталось идти шагов десять, брат Белогурочки вдруг кинулся в сторону. Он бежал, странно закинув за спину связанные руки. Воины бросились за ним, рассыпаясь веером. У пленника оставался лишь один путь — к воде.

Парень, видно, умел плавать, подняв столб брызг, он рванулся вперед, отчаянно работая ногами.

Все остальные стояли неподвижно, будто ждали чего-то. Ни один человек не последовал за беглецом в озеро.

Неожиданно рядом с пловцом вода бурно вскипела, из глубины озера поднялась темная тень. Андрей сверху мог угадать ее очертания: гигантская рыба стремилась к человеку.

Беглец понял, что ему грозит опасность, он постарался плыть скорее, но уже в следующую секунду он пошел вглубь, словно его потянула могучая рука. Вот тогда до Андрея долетел крик людей. А еще через несколько секунд на успокаивающейся поверхности воды расплылось кровавое пятно. Дикари пали ниц.

Только три ведьмы стояли неподвижно.

Потом они подошли к Жану и встали по бокам. И Жан побрел вместе с ними к черной кибитке. Третья ведьма замыкала шествие.

Когда Андрей, никем не замеченный, достиг дна котловины, сумерки внизу уже сгустились, и возле кибиток загорелись костры. Сюда не долетал ветер, и воздух хранил влажное тепло.

Самодельные подошвы разлетелись на полпути, и дальше Андрей ковылял босиком.

Обоняние Андрея обострилось от голода. В дыме костров он угадывал аромат жареного мяса, в голосах, что доносились все ближе и четче, была невнятность жующих людей. Ему казалось, что все в становище едят, жрут, насыщаются.

Первым обитателем становища, с которым Андрей встретился, была худая облезлая собака, которая отбежала подальше от кибиток, чтобы спокойно обгрызть кость. В Андрее она почуяла соперника и угрожающе зарычала, придавив кость лапой.

Еще наверху Андрей придумал такой план: он огибает озеро и добирается до кибиток, где живут ведьмы — там Жан. Вряд ли ведьм много. Значит, шансы отыскать и даже выручить Жана вполне реальны. А как только они будут вдвоем с Жаном, тот станет переводчиком и проводником. Тогда можно будет отыскать Белогурочку.

План был разумен, но по мере того, как Андрей спускался по крутому склону в котловину, воображение все ярче рисовало ему картины бедствий, угрожающих Белогурочке. Разум отступал перед опасениями. Пускай она тысячу раз доказала, что она ловчее, смелее и даже живучей, чем Андрей,— для него она оставалась девушкой.

Андрей быстро миновал несколько кибиток и оказался на небольшой площадке, посреди которой стоял шест с лошадиным хвостом. Он понял, куда попал: это была кибитка Октина Хаша. Перед ней сидел на корточках воин. Опершись о копье, он дремал.

Можно было пройти мимо, но Андрея одолело любопытство. Октин Хаш был главной опасностью, а к опасности всегда тянет.

Андрей обошел кибитку, чтобы не попасться на глаза часовому, отыскал край шкуры и осторожно отогнул ее.

Посредине горел небольшой костер, и дым улетал в отверстие наверху. В дальнем конце было возвышение, покрытое шкурами, на котором сидело несколько человек. Возле него горели два факела, укрепленных на железных треножниках. Свет был неверным и тревожным.

Потом он увидел Белогурочку.

Сцена была мирной, домашней, и именно эта будничность потрясла Андрея. Он был готов к тому, что увидит Белогурочку связанной, что ее готовятся убить, а она старается разорвать узы, он был готов ринуться к ней на помощь. Всего этого не требовалось.

Посреди кибитки стояла большая бадья с темной жидкостью.

Время от времени кто-нибудь поднимался и, зачерпнув оттуда своей чашкой, возвращался на место и пил. Андрей увидел, как поднимается Белогурочка и тоже зачерпывает из бадьи. Он мог даже окликнуть ее, но удержался. Зачем?

Октин Хаш сказал что-то Белогурочке, та ответила. Тучный кастрат захихикал. Им было весело.

Черт возьми, а я сидел голодный и ждал ее! Я бы успел тысячу раз спуститься и помочь Жану, а я ей поверил. Почему я решил, что она должна жить по тем же законам, что и я? Между нами тысячи лет и миллиарды километров. Ей было выгодно спасать меня. Теперь выгоднее пировать с Октином Хашем.

Андрей почувствовал, что к нему кто-то подходит. Он отскочил от кибитки, и вовремя. Это часовой пошел вокруг кибитки. Андрей ринулся прочь. Часовой закричал вслед.

Андрей зигзагами бежал между темных кибиток, потом скатился вниз по откосу и забился в высокие заросли тростника. Только тогда вспомнил, что в озере живет чудовище — пресноводная акула. Мелькнула мысль: разве на Земле водились гигантские пресноводные акулы? Когда вернусь, надо будет проверить.

Среди кибиток продолжалась суетня, но к берегу никто не выбежал. Видно, ночью степняки боялись подходить к озеру. Андрей утешал себя тем, что акула не выберется на мелководье. Вода была теплой, тростники шевелились, сквозь них виднелась дорожка луны.

Когда все в становище успокоилось, Андрей пошел дальше.

Через полчаса он уже обогнул озеро и оказался на площадке святилища — пыльной и голой каменной плеши среди травяной долины. Ноги онемели и уже не болели; Андрей провел ладонью от голени вниз — щиколотки и ступни распухли и почти потеряли чувствительность. Так даже лучше.

Впереди тремя черными куполами поднимались кибитки ведьм — немые, настороженные и зловещие.

На том берегу озера тускло алели костры, иногда доносился недалекий голос. Заплакал ребенок, залаяла собака...

Андрей подошел к средней кибитке, куда отвели Жана.

Кибитка была плотно запахнута, и покров ее был скреплен куда надежнее, чем в становище. Если швы и были, то в темноте Андрей не смог сразу их отыскать.

Он простоял минуты две, прижав ухо к обшивке, потом осторожно откинул полог. Темно.

— Жан! — шепотом позвал Андрей.

Никто не ответил.

Чем дольше Андрей стоял, держа откинутый край полога, тем более он убеждался, что кибитка пуста. Ни вздоха, ни шороха, которым выдают себя даже глубоко спящие люди.

Андрей вошел в кибитку, опустил полог и замер, представив себе, как зажигается свет и пришпиливает его к стене.

Но свет не зажегся.

Андрей присел на корточки и пощупал пол. Камень.

Андрей пошел вдоль стены, водя перед собой руками и волоча ноги. Ни одного предмета не встретилось ему. Обойдя кибитку, он затем пересек ее напрямик.

В кибитке никто не жил. Она была лишь пустой оболочкой.

Надо было уходить, осмотреть другие кибитки, но Андрей был уже почти убежден, что они лишь такие же оболочки, как и первая.

И это понимание не давало ему уйти. Кибитка что-то скрывала. И раз не могли ничего скрыть ее стены, следовало поглядеть, что под ней.

Следующие несколько минут Андрей ползал по полу, простукивая его костяшками пальцев.

Тук-тук.. звук другой. Внизу пустое пространство.

Андрей так надеялся на это, что не поверил, когда услышал.

Пустота простукивалась в круге диаметром около метра.

Андрей принялся водить кончиками пальцев по границе круга, отыскивая щель. Ведьмы живут под землей, но они выходят наружу. Думай, Андрей, думай.

Если бы он, Андрей Брюс, хотел скрыть вход в свое подземелье, он бы сделал его так, чтобы не отличить от остального пола. Так сделали и ведьмы. Затем он бы придумал простое устройство, чтобы можно было люк открыть или закрыть. И замаскировал бы его так, чтобы простодушные степняки его не нашли.

Ключ где-то рядом с люком, чтобы при нужде можно было быстро уйти вниз.

Андрей начал водить рукой вокруг люка, ползая по расширяющимся кругам, пока не отыскал на полу небольшой плоский камень, округлый и почти незаметный. Андрей повозился с камнем минуты три, прежде чем тот послушно сдвинулся, обнаружив углубление. И как только Андрей нажал на это углубление, раздался шорох, плита поднялась вертикально и снизу пробился слабый свет.

Андрей заглянул в люк — там виднелась неглубокая шахта со скобками в стенке.

Колодец был выдолблен в скальном массиве — умение вовремя исчезнуть весьма повышает авторитет волшебников.

Андрей ступил на скобу — спуск был прост.

Скобы кончились. Андрей стоял в туннеле, слабо освещенном бездымным светом факела, укрепленного в стене.

Дуновение воздуха скользнуло по щеке. Андрей отшатнулся: черной маленькой тенью пролетела летучая мышь.

Никакого плана у Андрея не было. Он знал лишь одно: надо быть осторожным. И чем позже его заметят, тем больше шансов чего-нибудь достичь.

Он шел медленно, гладкий пол приятно холодил разбитые ступни. Впереди туннель пересекался с другим.

И тут гулко застучали шаги.

Андрей успел лишь прижаться спиной к стене.

Старуха прошла близко, она несла в руке какой-то металлический предмет — Андрей уловил лишь тусклый отблеск, не осознав формы. Из-под капюшона виднелся острый профиль, как у крысы. Нижняя часть лица была скошена и стремилась, как и лоб, к кончику носа, чуть повисшего от старости. Шаги старухи раздавались часто и дробно, будто у нее четыре ноги. Даже хотелось приглядеться, нет ли хвоста. Черное одеяние волочилось по земле, наружу лишь белые пальцы рук и лицо.

Было что-то зловещее в деловитости ведьмы. Она прошла по коридору, перпендикулярному туннелю, где стоял Андрей. Когда ее шаги затихли, Андрей добежал до слияния туннелей и осторожно выглянул.

Он успел увидеть, как старуха остановилась у гладкой стены и провела по ней рукой. В стене обнаружилась черная дыра, в которой ведьма и скрылась.

Андрей стоял за поворотом туннеля, поглядывал на неровный и тусклый огонь факела, на черную дыру в стене и мысленно уговаривал старуху: ну, выходи же, спать пора, чего ты ночью разгуливаешь?

Гробовая тишина пещеры стала невыносимой. Андрей уже сделал было шаг вперед, но тут в проходе снова показалась старуха. Она провела ладонью по стене, отверстие затворилось.

Старуха просеменила мимо. Сейчас остановится и скажет: «Здесь человечьим духом пахнет...» Что за чепуха лезет в голову! Три дня назад Андрей и не подозревал, что его жизнь будет зависеть от ведьмы.

Шаги затихли. Андрей просчитал до ста. Будем надеяться, что ведьмы отправились спать.

Тишина. Лишь в сложном ритме падают с потолка капли.

Андрей вышел в большой туннель. Он был естественным, стены неровны, кое-где свисали сталактиты.

Андрей долго водил по стене ладонью, прежде чем нащупал нужную выпуклость.

Натужно загудев, плита пошла в сторону.

Андрей ступил в густую бархатную черноту помещения. Приключения смертельно надоели.

И тут загорелся тусклый свет.

Андрей стоял в обширном зале. Своды его были укреплены каменными столбами, вытесанными умело и ровно. Зал был музейным, правда, со следами некоторого небрежения смотрителей; прямо перед Андреем с потолка натекла большая лужа, поодаль на полу валялись какие-то тряпки. Среди колонн угадывались шкафы и витрины.

Андрей прислушался. Только привычный стук капель.

Шкафы у стен были одинаковыми, сделанными из тусклого металла. В некоторых виднелись иллюминаторы. Андрей подошел к шкафу и заглянул внутрь: там было темно; можно было лишь предположить, что шкаф наполнен водой.

Центр зала заставлен витринами; они были столь многочисленны и стояли такими тесными рядами, что нетрудно заблудиться. Нет, это не музей, а запасник.

Протискиваясь между витринами, Андрей разглядывал экспонаты. Это были животные и растения, некоторые Андрей уже знал. В расположении предметов ощущалась определенная система; в отличие от поверхности планеты, где животные и растения разных геологических эпох были безнадежно перепутаны, в музейном зале они располагались в хронологической последовательности. В ближайших к входу витринах лежали трилобиты, рыбы, водяные растения, громадные раковины и панцирные животные, примитивно громоздкие и неуклюжие, членистые бесконечные черви, морские звезды с размахом лучей в два метра... Лишь пройдя сто метров, Андрей попал в другую эпоху. Он увидел земноводных, кистеперых рыб, выползающих на сушу, примитивных ящеров. И чем дальше он шел, тем крупнее и разнообразнее становились ящеры. И наконец он увидел витрину, в которой стоял зверек, покрытый шерстью. Андрей не мог разглядывать музей подробно — число витрин и их разнообразие были невероятны, а размеры увеличивались до гигантских; в витрине умещался диплодок, а далее — многометровая акула. Андрей отдавал хозяевам музея должное: они умели хранить экспонаты в таком первозданном виде, что сберегли все до жилки на листке, до пушинки, до перышка. Звери казались живыми.

Менее всего Андрей ожидал найти в обиталище ведьм такой музей, и это раздражало, потому что не укладывалось в концепцию. Некто всесильный, кто мог пронзить горы мечом, послал сюда экспедицию с целью собрать образцы флоры и фауны. Затем что-то приключилось, сбор экспонатов был прерван, они

остались в подземном складе. А сами собиратели улетели. В покинутый музей пробрались ведьмы, которые сообразили, что музей как нельзя лучше подходит для их тайных мистерий. И обитают они здесь, как крысы в покинутом городе, не понимая смысла предметов, которые их окружают...

Размышляя, Андрей продолжал идти по залам. Им не было конца.

В четвертом зале Андрей увидел человекообразных. Сначала небольших сутулых обезьян, затем питекантропа. Витрины, где стояли эти существа, соседствовали с чучелами пещерного медведя, гигантского лося, саблезубого тигра.

Странно, думал Андрей, почему создатели музея решили расположить экспонаты по эволюционной лестнице? Их тоже смущала нелогичность этой планеты?

И тут Андрей увидел человека.

Было мгновение — Андрею показалось, что человек жив и лишь поднялся в витрину, чтобы его испугать.

Вернее всего, сработало убеждение, что в музее ставят чучела животных, но не чучела людей. Тем более это было не чучело, а самый настоящий первобытный человек: грудь и спина его густо поросли рыжей шерстью, длинные спутанные волосы, челюсть скошена и лоб покат,— но это был человек, и он смотрел на Андрея остановившимися глазами. И лишь неподвижность взгляда, сначала испугавшая, заставляла поверить в то, что человек «заспиртован».

У ног дикаря лежали кремневые скребки и костяные иглы.

Это сделали не люди, решил Андрей, переходя к следующей витрине, из которой на него в упор глядела девочка лет десяти. Возможно, их эволюция шла настолько иным путем, что они не ощущают разницы *между* заспиртованным человеком и заспиртованным ящером.

Людей в том зале оказалось немало — более сотни.

Андрей медленно и с неохотой совершал путешествие между тесно составленными витринами — аквариумами для людей. Каждый из них застигнут смертью в момент, когда ее не ожидал: лица были спокойны.

Андрей, не в силах более идти по этой выставке, свернул налево, надеясь обогнуть витрины вдоль стены, но там он оказался у длинного стеклянного шкафа, поделенного на прозрачные секции, в которых рядами покоились сотни человеческих сердец, почек, мозгов...

Андрей пошел быстрее, стараясь не смотреть по сторонам, и наконец добрался до конца выставки — дальше были лишь пустые, подготовленные для заполнения секции.

Андрей вздохнул с облегчением и взглянул на последнюю витрину.

На него смотрел Жан, худой, высокий, нескладный, обнаженный и глупо постриженный — поперек головы гребень черных волос. Глаза его были открыты, карие умные глаза смотрели сквозь Андрея, потому что никуда не смотрели...

Хозяева музея не улетали с этой планеты.

Они продолжали пополнять его, то ли таясь глубоко в подземельях, то ли изображая из себя ведьм. Вот почему ведьмы требовали человеческих жертв: им нужны экспонаты.

И все путешествие потеряло смысл для Андрея. Несколько часов назад у него было на этой планете два друга — Жан и Белогурочка, теперь не осталось ни одного.

Зачем-то Андрей старался разбить витрину и освободить Жана. Занятие оказалось бессмысленным: даже если бы Андрей витрину разбил, он ничем не смог бы помочь другу.

Смерть Жана была горем, положение его — в банке, на показ — унизительным. Нагота Жана — нагота мало занимавшегося спортом, очень цивилизованного человека — была нескромной.

Потом Андрей спохватился: нет ничего глупей, чем пустая трата времени. Кончится тем, что сам угодишь в банку.

И он пошел прочь, не оглядываясь.

Он должен вырваться отсюда, уйти из этой проклятой котловины и вернуться к людям. Октин Хаш — лишь жалкая марионетка в руках ведьм. Какие они, к черту, ведьмы! Это замаскированные, спрятанные под темными тогами, холодные и расчетливые вивисекторы, умы далекие, пришлые... Если бы найти ответы на все вопросы, Галактика стала бы проста и благодушна. Ты достигаешь понимания на одном уровне, ты бьешься за него только затем, чтобы за следующим поворотом увидеть человека, стоящего на голове. Почему вы стоите на голове, спрашиваешь ты невинно, ведь у тебя дома люди не стоят на голове. Этот же человек, не меняя позы, выпускает в тебя смертельный луч, потому что ты оскорбил его своим вопросом.

За музеем, в котором стояла витрина с Жаном, начинался длинный широкий коридор. Вместо стен в нем тянулись металлические шкафы пятиметровой высоты. Освещен коридор был паршиво, редкие пятна света горели в потолке. Андрей поймал себя на том, что бежит трусцой, устало и мелко. Дыхание его, сбитое, порывистое, слишком громко летит по коридору. Он заставил себя идти медленнее, потом остановился, прислушиваясь.

И тогда услышал шаги. Неуверенные, осторожные. Андрей застыл, готовый метнуться обратно.

Из коридора вышла человеческая фигура. Человек был гол; судя по прическе, он принадлежал к стае Октина Хаша.

Напасть первым?

Человек увидел Андрея и пошел быстрее.

Тогда Андрей побежал назад. Бежать было трудно, распухшие ноги скользили по каменному полу. К тому же Андрей не мог заставить себя испугаться. Им овладела апатия, рухнувшая на него, когда он увидел то, что осталось от Жана.

Андрей обернулся. Голый дикарь бежал за ним.

Андрей свернул обратно в зал музея — там можно скрыться среди витрин.

Впереди поднялась витрина с телом Жана...

— Андрей! — услышал он.— Андрей, это же ты, я тебя узнал!

Слова относились к нему, и произнести их было некому, кроме человека, что преследовал его.

Андрей остановился.

— Андрей, ты меня не узнаешь? Это я, Жан!

Андрея охватил ужас.

Один Жан, мертвый, стоял совсем близко.

Второй, живой и запыхавшийся, подбегал сзади.

— Стой! — закричал на него Андрей.

От злобного тона Андрея Жан остановился.

— Я не понимаю,— сказал он.— Что-нибудь еще произошло? Я что-то не так сделал?

— Вопрос не в том, что ты сделал,— сказал Андрей, не двигаясь с места.— Вопрос в том, что с тобой сделали?

— Пока ничего,— сказал Жан.

— А это кто? — Андрей показал на тело Жана в витрине.

Жан подошел ближе. Андрей сделал шаг назад.

— Ну и глупо я выгляжу,— сказал Жан.— У тебя нет какой-нибудь тряпки прикрыть чресла? Очень неприлично, а понимаешь только со стороны.— Собственное раздвоение Жана не удивило.

— Да я не об этом! Это твое тело?

— Это отличная голограмма,— сказал Жан.—Если бы я не знал, что я здесь, решил бы, что я там.

— Понимаю. Но зачем им снимать с тебя голограмму и выставлять здесь? Они же имеют тебя во плоти.

— Я тебе скажу, Андрей, это удивительное достижение. Когда они делали, я любовался. Ты думаешь, это просто голограмма? Это кочан капусты: миллион голограмм по слоям моего тела — оно все закодировано там, до последней клетки. Это совершенный памятник мне. Завтра утром меня отдадут колдуну, и его воины кинут меня акуле. Ты видел, какая тут в озере живет акула?

— Видел.

— Я погибну, а у них останется точная моя копия.

— Пойдем отсюда,— сказал Андрей.— Поговорим там, снаружи. Они могут в любой момент хватиться.

Уже прошел двойной шок — от встречи с мертвым Жаном и от перехода к Жану живому. Надо было действовать.

— Они не хватятся,— сказал Жан.— Они спят.

Все же они пошли прочь из музейного зала: соседство с копией Жана было неприятно обоим.

— Кто эти ведьмы?

— Не знаю,— сказал Жан.

— Ты с ними не говорил?

— Говорил. И немало. Но с невнятными результатами.

Они вновь вышли в коридор.

— Есть другой путь наверх? Или надо возвращаться через этот проклятый музей?

— Меня через музей не проводили.

— Ты так и не сказал, зачем они это делают.

— Андрей, ты задаешь слишком много вопросов,— улыбнулся Жан.— Я сам мало что знаю. Делают они это... потому что так положено. Это ответ, который я сам получил. Им дают жертву, то есть пленника, лишь на время, на одну ночь. Считается, что они готовят ее к смерти. Но эта жертва — не их, она принадлежит стае. Они ее должны вернуть. Таков обычай.

— Это ничего не объясняет.

— Они меня привели в свою лабораторию.

— У ведьм лаббратория?

— Когда они меня туда привели, у меня как камень с души. Значит, я не у дикарей, которые не знают пощады. Значит, здесь есть цивилизованные существа. Я гляжу на эти грязные старческие рожи и говорю им: «Поймите, тут недоразумение. Я попал сюда по ошибке». Но они так и не поверили, что я не дикарь...

Жан замедлил шаги.

— Хочешь посмотреть на лабораторию?

— Ты уверен, что они не спохватятся?

— Загляни.

Жан открыл дверь в стене. Он тоже понял, каким образом открываются здесь двери. Каменная плита утонула в полу.

— Осторожнее, не ушиби макушку. Здесь у них неполадки с энергией,— сказал Жан.— Я спрашивал, чем они питаются. Они поняли меня буквально, будто я говорю о бутербродах.

— И что же ответили? — с интересом спросил Андрей.

— Что им не надо питаться. Они выше этого. Они ведьмы.

— Логично,— сказал Андрей, ступая в большое сводчатое помещение, тесно уставленное приборами, назначения которых не угадаешь.— Они сами со всем этим управлялись?

— Вполне профессионально.

— Ты не сопротивлялся?

— Я на своем опыте понял, что ведьмы сильны, как медведи.

Андрей подошел к операционному столу, с него свисали пластиковые ремни. Он толкнул стол, тот поехал.

— Я сначала решил, что они меня разрежут. Очень испугался.

Они шли за столом, который катился в угол комнаты.

— Одна из ведьм уговаривала меня, что мне не будет больно, что мне не причинят вреда.

— Ты можешь уловить акцент, когда они здесь говорят?

— Я способен к языкам. Я их чувствую. Это был их язык. Но говорил лишь рот. Лицо в этом не участвовало. Это ненормально.

— И дальше?

— Дальше они начали меня исследовать. Они не только сняли с меня голограмму, они брали образцы крови, кожи, волос — порой это было неприятно. Они были жутко деловиты.

— Между собой говорили?

— Нет. Но я, как успокоился, начал задавать во-

просы. И они отвечали. Они сказали, что меня исследуют, чтобы оставить обо мне память. А самого меня отдадут акуле, так велит закон. Мне было бы понятнее, если бы они плясали вокруг меня, колдовали, шаманствовали, а они проводили физиологическое обследование. А потом я увидел, как в стеклянном цилиндре проявляется моя копия — сначала это был скелет, потом он стал обрастать сосудами, внутренностями. Зрелище интереснейшее. Когда появилась кожа, я думаю, кто это такой знакомый. А это я, собственной персоной.

— А как ты от них сбежал?

— Эти гуманисты заперли меня в пустой камере. Но я подсмотрел, как здесь открываются двери.

— Гуманисты?

— Разумеется. Они удобно устроились. Они никого не убивают. Они настоящие ученые, экспериментаторы, они собирают музей, никому не вредя. Они берут напрокат лишь тех, кому по законам степи положено погибнуть. Помнишь, как делала инквизиция? Преступник передается в руки светских властей...

— Я удивлялся,— сказал Андрей,— откуда у Октина Хаша столько железа?

Жан остановился у очередной двери.

— Ведьмы здесь. Я искал выход и наткнулся на них.

В небольшом помещении с несколькими погасшими экранами, над пультом, протянувшимся вдоль одной из стен, стояли неподвижно, темными привидениями, шесть ведьм. Шесть одинаковых черных фигур, закутанных в темные тоги. Они были одного роста, одного сложения, они стояли строго в ряд, как манекены. И это окончательно укрепило Андрея в его предположениях.

Жан остался у входа.

Лица ведьм были одинаковы. Глаза открыты и пусты.

Андрей внимательно осмотрел первую из старух. Он приподнял холодную тяжелую руку.

— Осторожно,— испуганно шепнул Жан.

— Помолчи, Жан,— сказал Андрей.— Ты замечательно умеешь разбираться в языках, а я умею разбирать и собирать часы.

— Часы?

— Чтобы посмотреть, где там сидит жучок. Если часы с обманом.

Говоря, Андрей отыскал тонкий шов на тоге ведьмы — черную молнию. Тога распахнулась. Жан, должно быть, ожидал увидеть внутри старческое белое тело и собирался отвернуться. Но увидел панель. Пальцы Андрея работали быстро, но осторожно; он был похож на сапера, который обезвреживает мину, прислушиваясь, не начнет ли она отсчитывать секунды перед взрывом.

Щелкнуло. Панель откинулась. Андрей грубо рванул на себя какую-то планку. На пол, зазвенев тонко и жалко, посыпались микроскопические детальки.

— Вечного тебе покоя, бабушка,— сказал Андрей, переходя к следующей ведьме.

Когда они выбрались из черной кибитки, снаружи было светлее. Становище на том берегу спало. Лишь в одном месте алым пятном догорал костер. Кибитки казались горстками земли, выкинутыми кротом на зеленую лужайку. Было так тихо, что, когда далеко на склоне заржала лошадь, показалось, что звук родился рядом.

— Здесь нет цикад,— сказал Андрей тихо.

— Красота какая! — сказал Жан.— Я и не предполагал, что буду снова любоваться звездами.

— К счастью, память избирательна.

— Ингрид очень любила ночь. Больше, чем день. Странно?

Андрей не ответил. Он смотрел на вторую черную кибитку.

Потом сказал:

— Я загляну туда. Время еще есть.

— Вот этого мы и не знаем,— сказал Жан.

Но пошел вслед за Андреем.

Андрей откинул полог. И включил факел, который снял со стены в подземелье ведьм. Светильник был ловко сделан под факел — хозяева ведьм не хотели, чтобы попавший внутрь дикарь почуял неладное. На конце факела вспыхнуло пламя неровное, мятущееся и похожее на настоящее.

Пересекая кибитку, тянулся невысокий длинный стол. На нем были разбросаны белые кости.

Андрей подошел поближе.

— Осторожнее! — предупредил Жан.

Андрей чуть не наступил на череп. Человеческий череп. Кости на столе тоже были человеческими. В глубоком кресле сидел скелет. Остатки блестящей гладкой одежды свисали странной бахромой. Андрей понял, почему скелет не рассыпался и не упал с кресла: он был пришпилен к спинке тремя короткими копьями.

Неровное пламя факела заставляло скелет в кресле дергаться. Андрей обошел стол. На полу лежал еще один скелет, на кисти руки, перехваченной металлическим браслетом, поблескивал какой-то прибор. Одежда была разодрана в клочья. Андрей понял, что до трупов добрались грызуны или муравьи. Череп человека, лежавшего на полу, был раскроен топором.

Андрей прошел за стол и опустился на корточки, шаря рукой по полу. По аналогии с кибиткой ведьм здесь должен быть ход вниз.

— Кто они? — спросил Жан из полутьмы. Он не отходил от входа.

— Хозяева ведьм,— сказал Андрей.

— Кто их убил?

— Ты задаешь вопросы, на которые знаешь ответы.

— Степняки,— сказал Жан,— трепещут перед ведьмами. Они никогда бы не подняли на них руку.

— Удивительное убеждение.— Андрей нашел, наконец, нужный камень, и плита в полу сдвинулась.— Конрад верил в нечто подобное до последней секунды жизни... Степняки еще слишком первобытны, чтобы трепетать. Как только среди них родился сообразительный вождь, он смог сделать выводы. Выгодные для себя. Представь себе такую картинку...

Голос Андрея стал звучать глуше. Жан увидел, как пламя факела спустилось к полу, освещая круг шахты, и затем скрылось в ней.

— Ты куда?

— Надо же поглядеть, что внутри.

— Слушай, Андрей, сюда прилетит экспедиция, они не спеша все обследуют. Здесь... неприятно.

Жан все же отошел от входа и остановился над шахтой.

— Ну вот, я так и думал,— сказал Андрей. Факел осветил скелет, лежавший на дне. Скелет был одет в зеленый свободный костюм — в подземелье не добрались хищники.— Он успел закрыть люк, и Октин Хаш остался ни с чем.

— Ты уверен, что это дела Октина Хаша?

— Да,— ответил Андрей,— на сто процентов.

Он говорил, закинув голову, и пламя факела искажало его черты.

— Все это было экспериментом. Когда наши прилетят, они обследуют подземелье и подтвердят. Это был великолепный, грандиозный эксперимент. Даже нам такой не по плечу. Они взяли планету, на которой жизнь делала лишь первые шаги, и начали гнать эволюцию скоростными темпами. Они создали для эволюции оптимальные условия, они подгоняли генетику, они втискивали миллионы лет в годы.

— Почему ты так думаешь?

— Потому что это — единственное объяснение тому, что рядом здесь живут динозавры и питекантропы. Я никак не мог сообразить, почему не вымерли динозавры? Почему птицы не вытеснили птеродактилей? А ответ относительно прост: они не успели вымереть. Эволюция здесь шла под контролем генетиков и генных инженеров.

— Но все равно это должно занять много лет.

— Тысячи лет, несколько тысяч.

— Но зачем, зачем? Кому это нужно?

— Я тебе назову множество экспериментов, которые ставила и ставит земная наука и которые могут показаться бессмысленными профану. Когда-то эксперименты генетиков с мухой дрозофиллой осмеивались как пустые... А знаешь, чем занимался мой дед, ува-

жаемый профессор? Он со своими учениками изготавливал орудия каменного века, рубил деревья каменными топорами, путешествовал в долбленых лодках и пахал землю деревянным плугом. Он хотел воссоздать технологию каменного века. Эксперименты, на которые идет наука, тем грандиознее, чем больше возможности ученых. Я могу поклясться, что, когда биологи и палеонтологи на Земле узнают об этом эксперименте, они взвоют от зависти. Воспроизвести эволюцию на целой планете — это же грандиозно!

— Но эксперимент затянулся на множество поколений...

— Этого мы не знаем,— сказал Андрей. Он опустил голову, глядя на скелет, лежавший у его ног. Свет факела вырвал из темноты остатки седых волос, обрамлявших череп.— Мы не знаем, сколько лет они жили. Может быть, они достигли бессмертия? Может, они жили по тысяче лет? Что мы знаем, брат Жан?

— Даже если это так, они потерпели поражение,— сказал Жан.

— Ты прав. Они могли разрубить горный хребет, чтобы осушить долину или соорудить болото для диплодоков. Они добились главного — создания разумного человека. Им пришлось приспосабливаться к тому, что они сами создали. Они сделали ведьм, чтобы поторопить людей и воспользоваться их верой в высшие силы. Люди сами стали приводить к ним...— Андрей искал нужное слово.

— Экземпляры,— подсказал Жан.

— Они продолжали торопить эволюцию, полагая, что прогресс социальный можно ускорить так же, как генетический. Вместо того, чтобы ждать тысячелетия, прежде чем люди сами додумаются до того, как плавить металлы, они стали выдавать им металлы. Причем уже в готовой форме — в форме оружия. Эксперимент дал результаты.

— Он был бесчеловечным.

— Боюсь, что эта категория была ими упущена.

— На чем бы они остановились?

— Не представляю. Но их остановил Октин Хаш. Он отлично понял, откуда приходят наконечники стрел и кинжалы. Для того чтобы стать властелином степи, ему нужно было больше железных ножей, чем он получал. Очевидно, они отказались удовлетворить его ненасытные стремления, и он решил взять эволюцию в свои руки.

— И застал их врасплох.

— Они слишком хорошо знали эту планету, они были уверены, что все здесь — создание их разума. Включая Октина Хаша...

— Чудовище Франкенштейна сожрало своего создателя?

— Хуже другое: Октин Хаш набрался опыта общения с пришельцами с неба. Он вкусил их крови. И это погубило наших с тобой товарищей. Опасно быть богом...

— Опасно полагать себя богом,— поправил Андрея Жан.

— Я пройду по этому коридору.

— Только недалеко,— сказал Жан.

У стен стояли бесконечные стеллажи. На них — контейнеры.

Андрей открыл наугад один из них.

Он был наполнен наконечниками для стрел. Железными, хорошо заточенными наконечниками. Они лежали аккуратными рядами, каждый в пластиковом пакете. Они были штампованы, но штамп тщательно имитировал неровность ручной ковки.

— Как ты думаешь,— донесся до него голос Жана,— почему не прилетели новые? Почему остались только роботы?

— Я не знаю,— откликнулся Андрей.

Стеллажи, стеллажи... Орудия, которые предназначались для степняков. И орудия, которые им еще предстояло получить. Ящик со стременами... контейнер со стальными мечами... пакеты с семенным зерном, железные гарпуны, стальные иглы... Коридор уходил далеко вперед, и для того, чтобы понять, где рубеж опеки, надо было потратить еще немало времени.

На несколько секунд Андрей задержался у широкой арки, что вела в еле освещенный зал, где длинными рядами стояли агрегаты, накрытые одинаковыми серебряными кожухами. Контроль над планетой требовал невероятной изобретательности и сказочных ресурсов... Но все это не спасло богов.

— Эй! — донесся далекий крик Жана.

— Иду.

Андрей выбрался из шахты.

— Что там? — спросил Жан, глядя на железный меч, который Андрей захватил с собой.

— Склады. Склады бус и других подарков для дикарей. Для общего образования.

Андрей пошел к выходу.

— Грустно,— сказал Жан, аккуратно закрывая полог, словно боялся нарушить покой тех, кто там остался.— Такие усилия — и все впустую.

— Не совсем впустую. Все те люди существуют.— Андрей обернулся к спящему становищу.

— Они рабы изувера — Октина Хаша.

— Кто такой Октин Хаш? Дикий мальчишка. Ему протянули конфетку, и он оттяпал руку дающую. Теперь ему придется надеяться лишь на себя.

Справа над горами небо начало светлеть. Прохладный ветерок зарябил темное озеро. В центре оно взбурлило, и волны разбежались, раскачивая тростник у дальнего берега. Акула проголодалась. Акула ждала жратвы.

— Не дождешься,— сказал ей Андрей, запахивая черную тогу, позаимствованную у выключенной ведьмы.

Жан не понял и спросил:

— Ты кому грозишь?

— Не знаю,— сказал Андрей рассеянно.

— Лучше бежать туда, через горы,— сказал Жан.

— И куда же мы побежим?

— Сначала надо уйти как можно дальше,— сказал Жан.— Потом мы найдем способ связаться с нашими.

— И далеко мы уйдем с тобой по степи пешком? В лучшем случае нас догонят через несколько часов, в худшем — нами позавтракает первый же тираннозавр.

— Так что же, сдаваться Октину Хашу?

— Это вариант,— серьезно сказал Андрей.

— Мы выберемся отсюда, потом зажжем большой костер,— сказал Жан.— И нас увидят сверху.

— При нескольких условиях,— возразил Андрей.— Во-первых, надо быть уверенными, что наши вообще наблюдают за планетой. А большого смысла я в этом не вижу.

— Но ведь они должны нас отыскать!

— Судя по их информации, нас нет. Мы погибли на станции. Но даже если корабль все еще на орбите, как ты зажжешь костер? Трением? Или ты спрятал в ухе зажигалку?

— Это не означает, что мы должны сдаваться!

— Я тебя к этому не призываю. И если бы я любил сдаваться, то не стал бы тебя искать.

— Но ведь ты сюда добрался! Сам!

— Не сам. Я бы и часа не выжил в степи, если бы не Белогурочка.

— Белогурочка?

И когда это имя было произнесено рядом, другим человеком, вернулась и Белогурочка. Ее только что не было — она была изгнана из памяти. Белогурочка, которая спит, доверчиво спрятав голову у него на груди, Белогурочка с бешеными от злости глазами, Белогурочка, плачущая в лесу...

— Она меня выручила из плена,— сказал Андрей.— Иначе как я смог бы оказаться здесь?

— Правильно. Я думал все время, куда тебя спрятали? Ведь ты должен был оказаться в святилище раньше меня... Ее послал отец?

— Как-нибудь расскажу.

Они шли вдоль озера. Было видно, как просыпается становище. Раздался плач ребенка, откинулся полог в одной из кибиток, и женщина спустилась к тростнику за водой. Громкий голос доносился от табуна, что пасся на склоне.

— Странно,— сказал Жан.— А почему она оказалась в становище?

— Ты ее видел?

— Да, еще вчера. Она была в становище, разве ты не знаешь?

— Знаю. Она хотела выручить своего брата, но опоздала.

Андрей не хотел говорить Жану, что видел Белогурочку в кибитке Октина Хаша. Как будто говорить об этом стыдно.

— Конечно,— сказал Жан.— Ее схватили раньше, чем она до него добралась. Октин Хаш знал, что она придет.

Андрей кивнул, разумеется, ведь воины искали их у пещеры.

— И он сделал просто,— Жан рассказывал обыкновенно, с сочувствием к Белогурочке, но не более.— Он загнал в кибитку, где сидел и я, рабынь из ее стаи. Знал, что она будет их искать. А за кибиткой спрятал воинов. Так просто... Она только вышла, ее и схватили.

— Постой! — Андрей остановился.— Но я видел ее в кибитке Октина Хаша! Ночью. Она была свободна. Она с ним разговаривала.

— Она же дочь вождя,— сказал Жан.

И Андрей вдруг уловил в его голосе интонацию Белогурочки, как будто сейчас Жан скажет: «Какой ты глупый! Это же само собой разумеется!» Ничего для Андрея не разумелось.

— А что будет?

— Он возьмет ее себе в жены.

Андрей хотел возразить. Но не было правильных слов. И пока он их искал, на том берегу раздался тонкий крик.

Андрей взглянул туда.

В тростниках стояла женщина, которая показывала в их сторону и что-то кричала.

— Что случилось? — Андрей остановился.

— Она кричит, что видит ведьм,— сказал Жан.

— Ну конечно же!

Они оба были облачены в черные тоги, снятые с роботов.

Андрей опустил на глаза капюшон.

— Может, попробуем подняться здесь? — Жан показал на крутой склон, который начинался за кибитками ведьм.

— Нет,— сказал Андрей.— Мы пойдем с тобой к Октину Хашу.

В кибитке Октина Хаша горел свет. Он пробивался теплыми в рассветной синеве лучами сквозь швы шкур, которыми она была покрыта. Часовой сладко спал, свернувшись калачиком у входа. Андрей заглянул в щель. Внутри кибитки было два человека.

Октин Хаш сидел на шкурах, скрестив ноги, держа в руке чашу и отхлебывая из нее. Толстый колдун развалился на полу вялой грудой жира, казалось, что он тает, растекается. Между ними на железном треножнике горел факел. Андрей боялся увидеть Октина Хаша с Белогурочкой. Вдвоем. Он не хотел в этом сознаться даже самому себе.

Белогурочки там не было.

Андрей кивнул Жану, чтобы тот следовал за ним, и откинул полог уверенным движением хозяина.

Октин Хаш рванул голову вверх — на звук шагов, на резкий шорох полога.

Две ведьмы — в черных до полу тогах, капюшоны на глаза, высокие и худые — вышли на середину кибитки, как призраки мести.

Андрей был убежден, что Октин Хаш испугается. Он не может не испугаться. На этом и строился весь расчет.

Октин Хаш поднял голову. Тонкие губы были растянуты в улыбке. Толстый колдун хихикал, словно кашлял. Черные ведьмы остановились у входа.

— Мы недовольны тобой, Октин Хаш,— сказала одна из них.

Октин Хаш смотрел на босые, израненные ноги ведьм. Колдун задыхался от смеха.

— Ведьмы никогда не приходят сюда,— сказал Октин Хаш.— Мы ходим к ним. Но если кто-то надел на себя черную одежду ведьм, он будет нашим гостем.

— Что он говорит? — спросил Андрей.

— Он догадался, что мы не ведьмы.

— Мы смотрели, как вы шли вокруг озера,— сообщил Октин Хаш.— Вы убили ведьм? Мне не жалко. Ведьмы давно уже нам ничего не дают. Вы правильно сделали, что убили ведьм. Садитесь. Будем вместе пить и говорить.

Он засмеялся удовлетворенно — приятно быть умнее противника, а Октин Хаш опять был умнее пришельцев. Он заговорил.

Андрей откинул капюшон. Жан переводил:

— Когда поймали Белогурочку, он сразу понял, что ты близко. Ты настоящий вождь, а вождь не сидит в кустах. Он думал, что ты нападешь на него. Но ты пошел к ведьмам. И это правильно: что жизнь женщины, когда есть мужчина из своей стаи?

Андрей не знал, издевается Октин Хаш или говорит серьезно. Обвиняет ли его в предательстве или отдает должное мудрости.

— Мы смотрели,— слышал Андрей ровный голос Жана,— мы знали, что вождь небесной стаи пошел к ведьмам. Чтобы освободить Жана, который говорит на нашем языке. И мы ждали, вернешься ли ты, или ведьмы тебя убьют.

— Ведьм больше нет,— сказал Андрей.

— Их слуги, старые люди, давали нам оружие,— сказал Октин Хаш.— Они давали нам много наконечников для стрел и копий, они давали нам ножи. Они давали нам хорошие листы железа, они учили нас стрелять из лука. Но они давали мало. А нам надо было готовиться к большой войне. Мы пошли, чтобы взять все.

Октин Хаш обернулся к Андрею и замолчал, почесывая переносицу. Потом заговорил:

— Я могу позвать моих воинов,— сказал он,— вас принесут в жертву великой рыбе озера...

— Пускай он скажет, чего хочет,— перебил Жана Андрей.

— Йаххх,— заворковал Октин Хаш, довольный поворотом разговора. Он вскочил со шкур и принялся, наклонив голову, как петух, ходить вдоль стены.— Я не хотел никого убивать. Я не хотел убивать твоих людей. Но мне нужно оружие. Я наказал стаю старых людей, я думал, что ведьмы дадут оружие, но они не давали. Я наказал твою стаю и взял железо. Но мне мало! Я отпущу вас, чтобы вы приносили мне железо. Много железа. Я дам вам место для охоты и буду защищать вас. Я не хотел тебя убивать и Жана не хотел убивать! Я бы не кинул вас рыбе! — Октин Хаш хихикнул.— Я бы попугал вас. А потом сказал бы — идите к себе и принесите много железа великому вождю Октину Хашу.

Колдун мелко кивал, подтверждая мудрость вождя.

— Скажи ему,— произнес Андрей,— что мы подумаем.

— Хватит с него оружия. Он же бандит,— сказал Жан.

— Мудрость твоя заставляет преклоняться перед тобой,— сказал Андрей.— Ты хочешь, чтобы акула тобой позавтракала? Я не хочу. У нас полная свобода выбора.

— Я понимаю,— сказал Жан.— Но все равно противно.

— Тогда переведи, что мы подумаем. Если он сделает нам дурное, он ничего не получит.

Октин Хаш не скрывал торжества.

— Ты мой друг,— сказал он Андрею.— Мы будем скакать рядом по степи.

— Он даст нам коней и Белогурочку,— сказал Андрей.

Октин Хаш удовлетворенно захлопал ладонями по бедрам.

— Он говорит, что сам будет приказывать нам, сколько дать железа. И мы дадим ему луки, которые стреляют огнем.

— Обещай ему атомную бомбу,— сказал Андрей.— А что он говорит о Белогурочке?

— Он говорит, чтобы ты сам ее искал. Она ему не нужна.

— Где она? — почти закричал Андрей.

— Катурадж,— развел руками Октин Хаш.

Андрей помнил это слово.

— Они ее убили?

Заговорил колдун. Жан выслушал его, и Андрей с ужасом ждал, что Жан сейчас скажет: ее убили. Он даже поднял руку, словно хотел заставить его замолчать.

— Белогурочки здесь нет,— сказал Жан.— Она убежала. Она дикая, как зверь. Она им не нужна. По-моему, они не врут.

Октин Хаш хлопнул в ладоши. Вошел часовой. Вождь отдал приказание.

Андрей чувствовал великую, бездонную пустоту.

— Он говорит, чтобы мы не спешили. У него есть суп. Он хочет накормить нас. Он знает, что мы голодные.

— Если хочешь, поешь,— вдруг ожил Андрей,— а мне надо сделать еще одно дело.

И он, не оборачиваясь, вышел из шатра.

— Ты думаешь, они не отравят суп? — спросил вслед Жан.— Жрать хочется смертельно.

— Не отравят. Ему нужно железо. Он очень горд собой. Победители не травят побежденных. Они просто пляшут на их костях.

Снаружи уже накатился рассвет. Он был голубой, туманный, зыбкий. Пахло дымом.

— Ты далеко? — Жан выглянул из кибитки.

— Когда поешь, жди меня с конями к востоку от становища.

— Где здесь восток?

— Восток везде там, где встает солнце,— сказал Андрей.

Андрей быстро прошел мимо крайних кибиток. Там начинался подъем. Кусты были мокрыми от росы. Андрей как-то забыл за всеми событиями о странностях этой планеты и, когда на него спикировал небольшой птерозавр, он от неожиданности упал. Птерозавр клацнул пастью над самым ухом и сразу взмыл кверху.

С половины склона Андрей обернулся. Озеро затянулось туманом. Черные кибитки поднимались над ним, как затылки погрузившихся в воду купальщиков. Какого черта я не сказал Жану, чтобы он захватил для меня супа. Полцарства за глоток горячего супа!

Андрей подобрал полы черной тоги и начал карабкаться по крутому склону. Затея его пуста, но отказаться от нее нельзя.

Он вышел на плато в стороне от того места, где провел вчерашний день. Но сразу увидел дерево с обломанной вершиной.

Белогурочка сидела под ним, сжавшись в комочек. Ей было холодно. Видно, она дремала и услышала приближение Андрея, когда он был уже в нескольких шагах.

Она широко раскинула длинные смуглые руки и побежала к нему.

— Ты убил черную ведьму! — Голос ее звенел, дрожал от возбуждения и сладкого ужаса.— А я думала, что они тебя убили!

Она с разбегу прыгнула в открытые объятия Андрея, обхватила его руками и ногами, как обезьяна. Она была мокрой от росы и горячей.

Она повторяла, как во сне:

— Я все равно тебя ждала. Я убежала от них и ждала. Я бы тебя до конца ждала. Пока не умру. Ты веришь?

— Верю, Белогурочка,— отвечал Андрей.— Поэтому я и пришел сюда. Октин Хаш сказал, что ты убежала. И я сразу пошел сюда.

— Ты зачем говорил с Октином Хашем? Ему нельзя верить.

— Я знаю. Он нас не тронет. Он даже дал нам лошадей.

— Хээх! — воскликнула Белогурочка.— Ему нужно железо? Он убил старых людей, он убил твоих людей, он убил моих братьев, а железа не хватает. Я правильно говорю?

Белогурочка соскользнула на землю и стояла, тесно прижавшись к Андрею, как замерзший странник прижимается к печке. Голова ее была запрокинута, и в глазах отражалось голубое утреннее небо.

— Жан с лошадьми ждет нас у загона.

— Тогда пошли скорее, потому что Октин Хаш может передумать. Он решит: лучше пускай они сидят у меня, а я буду менять их на железо... Ты согласился давать им железо?

— Я согласился бы на что угодно, чтобы нам уйти отсюда.

— Правильно,— обрадовалась Белогурочка.— Ты будешь давать железо моей стае, и мы перебьем всех воинов Октина Хаша!

Они начали спускаться вниз по осыпи и по мокрой траве. Потом Белогурочка остановилась, велела Андрею подождать, стрелой взлетела обратно, вернулась с кожаной сумкой, оттуда достала кусок вяленого мяса.

— Я утащила у них,— сказала она.— Я думала: если Андрей живой, значит, он голодный.

— Светлая мысль,— согласился Андрей, вгрызаясь в жилистое мясо. Он никогда в жизни не ел такого вкусного мяса.

Белогурочка спускалась рядом и радовалась, что оказалась предусмотрительной.

— Ты ешь,— повторяла она.— Тебе надо есть, ты большой мужчина. А я уже поела, пока тебя ждала. Я думала, если ты мертвый, то я потом доем, а если ты живой, то обязательно голодный. А как ты убил ведьму? Это очень страшно? Ты был у них в кибитке?

— Угу.

— А другие ведьмы? Они будут мстить?

— Нет, мы с Жаном всех ведьм убили.

— Мой мужчина — самый сильный в степи,— сообщила Белогурочка.

Туман рассеялся, и они издали увидели, что Жан ждет у загона, рядом с ним три лошади. Несколько пастухов стоят поодаль, робко поглядывая на черную тогу ведьмы, в которую облачен Жан.

Их никто не преследовал, лишь у выхода из котловины их догнал всадник от Октина Хаша и дал им копья — Октин Хаш хотел, чтобы они добрались невредимыми.

Они выбрались из котловины той дорогой, какой пришел Октин Хаш. Тропа была широкой, пыль прибита росой. Жан все время оглядывался — ему казалось, что вот-вот сзади раздастся топот погони.

— Хэ! Глядите! — крикнула Белогурочка.

На берегу небольшого озерка, еще не высохшего от летней жары, в грязи, перемешанной копытами и лапами животных, приходящих сюда на водопой, топтался десятиметровый трицератопс. Треть громоздкого тела занимала голова, лобовой панцирь которой уходил веером назад, ложась на широкую спину, расширяясь и заканчиваясь костяными пальцами. Короткий хвост не доставал до земли — природа воплотила в ящере идеал обороны.

Вокруг чудовища вились, подпрыгивая, мешая друг другу, ящеры, похожие на страусов,— громадные задние лапы, длинный вытянутый назад, напряженный от охотничьей страсти хвост, змеиные головы, усеянные рядами треугольных зубов, передние лапы невелики, но увенчаны острыми когтями. Подскакивая к трицератопсу, они высоко взлетали и вонзали в панцирные бока ящера полуметровые кинжалы когтей. Когти скользили по панцирю, трицератопс лениво поворачивал маленькую голову, всем своим видом давая понять: «Ну что еще за несчастье, я пришел напиться, никому не мешал, а эти злобные твари меня беспокоят».

— Им его не одолеть,— сказал Жан, который тоже придержал коня.— Жадность их погубит.

— Зря они нападать не будут,— сказал Андрей.— Это не люди, чтобы тратить время впустую.

Белогурочка подскакала к ним.

— Сейчас он устанет,— сказала она.— И они его повалят. Это очень интересно. Я думала, что его больше нет, всех съели. Один великий воин сделал себе щит из его шеи. Два человека не могли поднять этот щит. Очень красиво.

Высокая трава скрыла озерко, и ветер унес шум сражения.

— Тебя не удивляет, как она свободно говорит? — спросил Жан.

— Я потрясен.

— Это мой метод,— сказал Жан.— Ну и, конечно, ее способности.

— Я очень умная,— сказала Белогурочка.— Я дочь великого вождя и жена великого вождя.

— Кто же твой муж? — спросил Жан.

— Мой муж — Андрей,— сказала Белогурочка, подъезжая к Андрею и кладя ладонь на его колено.

— Это новость,— сказал Жан.— Почему же вы раньше мне не сказали?

— А как же тебе скажешь,— удивилась Белогурочка,— если ты сидишь в плену у ведьм?

— Это в самом деле так? — спросил Жан смущенно, словно о чем-то слишком уж деликатном.

— А я откуда знаю? — вдруг озлился Андрей.— Ты думаешь, меня на этой планете кто-нибудь о чем-нибудь спрашивает? Сначала меня объявили женихом и даже спасли из плена, затем мне было сказано, что все это чистой воды дипломатия, а на самом деле превыше всего интересы стаи. Затем Белогурочка чуть не вышла замуж за Октина Хаша...

Белогурочка зло, с оттяжкой хлестнула его кожаной нагайкой по плечу.

— Ты что? — крикнул он.— Что я сказал?

— Ты ничего не сказал.— Белогурочка ударила коня пятками в бока и поскакала вперед.

— Дикие нравы,— сказал Андрей, почесывая плечо, на котором вздулась полоса, будто от ожога.

— Не возбуждай в девушках тщетных надежд, господин кавалер,— сказал Жан.— Очередное столкновение цивилизации и дикости закончилось в пользу дикости.

— Я мечтаю о той светлой минуте,— искренне сказал Андрей,— когда ступлю на палубу самого обыкновенного космического корабля и забуду о дикарях и их покровителях.

— А я, пожалуй, останусь здесь,— сказал Жан.— Если станцию не закроют, я останусь. Удивительная станция, уникальная.

По небу прошла белая полоса. Черная точка мелькнула и пронеслась в сторону святилища.

— Андрей! — закричал Жан.— Это наши!

— Все-таки они не улетели,— сказал Андрей.

Планетарный катер опустился рядом с ними примерно через час после того, как они увидели его в первый раз.

Штурман сказал Андрею, что Ингрид пришла в сознание этой ночью, и тогда капитан «Граната» узнал, что виновниками нападения на станцию были люди Октина Хаша. Поэтому катер сразу был отправлен к святилищу ведьм.

Они были готовы к поискам, к сложным переговорам с дикарями, но все оказалось просто. Октин Хаш сам вышел к опустившемуся катеру, вынес с собой часы Андрея — он был спокоен и не боялся мести людей. Он знаками показал, что Андрей и Жан уехали. Штурман связался с кораблем, и оттуда с помощью «глаза» прочесали степь. В тридцати километрах от становища обнаружили трех всадников...

Катер стоял на берегу реки. Река была еще широка, хотя приливная волна давно уже прошла по ней.

Андрей поговорил с капитаном, вкратце объяснив ему, что произошло за последние два дня.

Разговаривая с кораблем, Андрей пил кофе и ел бутерброды, не замечая, что ест. А потом, когда связь кончилась, он спохватился, что Белогурочка голодная, а он совсем о ней забыл. Стало неловко. Вокруг Жана хлопотал врач — Жан с удовольствием отдался в его руки, но как-то сразу обмяк, его знобило.

Андрей, держа в руке большой бутерброд с сыром, вылез из планетарного катера. Он сразу увидел Белогурочку. Она повела коней к реке поить. Кони стояли по колено в воде, а Белогурочка сидела на берегу и глядела перед собой.

Андрей подошел к ней. Белогурочка не обернулась.

— Поешь,— сказал Андрей.— Это вкусно.

Не оборачиваясь, Белогурочка подняла руку ладонью кверху. Андрей положил бутерброд на ладонь.

— Ты улетаешь? — спросила Белогурочка.

— Конечно,— сказал Андрей.— Меня ждут.

— А я остаюсь?

Андрей кивнул, хоть она и не могла увидеть такой ответ.

Стало жарко. Между лопатками Белогурочки блестел пот.

— Тогда улетай,— сказала Белогурочка.— Зачем стоишь?

— Я думаю,— сказал Андрей.

— Брюс! — закричали от катера.— Мы поднимаемся?

— Давай, мы довезем тебя до твоего становища,— сказал Андрей слишком бодрым голосом.— Пускай они удивятся.

— Кто там удивится? — сказала Белогурочка.— Воинов нет, а про меня думают, что я уже убита.

— Тебе лучше лететь с нами, чем ехать одной по степи.

— А как же лошади? — спросила Белогурочка.

— При чем тут лошади? Они чужие.

— Я всегда говорила, что ты глупый! — Белогурочка вскочила и обернулась к Андрею.— Как я могу бросить в степи трех коней? Ты знаешь, что у нас в стае совсем не осталось коней? Ты знаешь, что конь дороже, чем ребенок или даже женщина? Ты ничего не знаешь. Ты только ходишь и обещаешь.

— Что я обещал?

— Ты обещал нам оружие, много оружия, ты обещал нам лук, который стреляет огнем. Ты обещал нам железный дом, в который не сможет забраться Октин Хаш, ты обещал нам много железных воинов...

— Белогурочка, что ты несешь! Это же неправда.

— Это правда, потому что без этого Октин Хаш возьмет в рабство всю нашу стаю. И ты это знаешь. И хочешь отнять у нас последних коней! Ты ничего нам не даешь, а все хочешь отнять. Ты очень плохой человек, и лучше бы тебя съели ведьмы!

Андрей вздохнул, пережидая вспышку гнева.

Белогурочка замолчала. Она посмотрела на Андрея в упор, и глаза ее были злыми.

— И что ты будешь делать? — спросил Андрей.

— Я подожду, пока спадет вода, и поеду домой. Но с конями. Все будут рады, что есть кони.

— А когда спадет вода?

— Когда солнце будет вон там,— она показала довольно низко над горизонтом.

— Хорошо,— сказал Андрей.

Он вернулся к катеру. Штурман ждал его у люка.

— Ну что, попрощались? Это ваша проводница? Неплохо сложена, правда?

— Отлично сложена,— сказал Андрей, входя в катер.

Он оглянулся. Белогурочка стояла на берегу и смотрела ему вслед.

Андрей включил микрофон и сказал капитану «Граната»:

— Слушай, Федор, я останусь здесь еще на пять часов. Вы заберете меня от нашей прежней станции.

— А что случилось?

— Я не хочу оставлять девушку, которая была с нами.

— Так пускай ее подбросят на катере.

— У нее три коня. Это большая ценность в степи. Надо подождать, пока спадет вода в реке.

— Может, дать вам кого-нибудь еще?

— Зачем? Мы же будем под наблюдением «глаза». Надеюсь, что вы больше нас не потеряете.

— Это рискованно,— сказал капитан.

— Это не более рискованно, чем было вчера и сегодня ночью, когда вы не знали, где я нахожусь и жив ли. Люди Октина Хаша меня не тронут. А от зверей мы как-нибудь убежим.

— Это необходимо? — В голосе капитана было сомнение.

— Да,— сказал Андрей.— До связи.

Жан слышал этот разговор.

— Может, я тоже останусь с вами? — сказал он.

Он лежал на откинутом пассажирском кресле, доктор массировал ему живот. Жан с наслаждением страдал.

— Не надо, ты же знаешь, тут недалеко.

— Ты прав,— с готовностью согласился Жан.— Недалеко.

Андрей не стал переодеваться. Так и вышел из катера в черной тоге ведьмы. Правда, перетянул тогу серебряным ремнем с бластером на боку, с аптечкой и передатчиком. Теперь Андрей был сильнее любого обитателя планеты... Хотя, впрочем, это не спасло Конрада.

Андрей отошел от катера и поднял руку, прощаясь. Катер беззвучно и плавно взмыл к редким облакам. Сразу стало слышно, как журчат кузнечики и поют в траве птицы. Кони вышли на сушу и паслись недалеко от берега. Андрей спустился к Белогурочке.

— Все улетели, а ты остался,— сказала Белогурочка равнодушно.

— Я провожу тебя — сказал Андрей.— Вдвоем лучше.

— Я бы и без тебя отвела коней,— сказала Белогурочка.

— Катер прилетит за мной к становищу.

— Может, тебе места не хватило в той машине?

— Может быть.

— А я думала, что боишься за меня.

— На провокационные вопросы не отвечаем,— сказал Андрей.

— Я тебя не поняла. Говори со мной понятно.

— Ты хочешь учиться?

— Я уже все знаю,— ответила Белогурочка.

— Когда сюда прилетит следующая экспедиция, тебя могут послать в Галактический центр.

— Слишком много незнакомых слов. Они мне не нужны.

Она поднялась, закрыв собой солнце. Черный силуэт очертила золотая кайма света. Было жарко, и вода журчала мирно, перекатывая мелкие камешки.

Глаза слипались. Засыпая, Андрей подумал, что он бесчувственный чурбан. Он скоро расстанется с этой девушкой и, наверное, навсегда, словно лишь мельком взглянул на нее в толпе. Он не должен спать, он должен беречь каждое мгновение...

Когда Андрей проснулся, солнце уже сошло с зенита. Жара стала томной и неподвижной. Он был весь мокрый от пота. Кожа горела.

— Можно идти дальше? — спросил Андрей.

— Можно,— сказала Белогурочка.

Они нашли лошадей, переехали через реку, миновали рощу.

— Если ты возьмешь меня,— сказала Белогурочка,— я буду очень послушная. Я буду варить тебе мясо и охотиться.

— Где охотиться? — не понял Андрей.

— У тебя дома.

— Ценная мысль,— сказал Андрей. И улыбнулся, представив себе эту дикую девочку с луком в руке на перекрестке центральных магистралей Космограда.

— Не смейся,— сказала Белогурочка строго.

— Я сам могу охотиться,— сказал Андрей.— У себя дома я знаю, как охотиться. Это только в степи я не все знаю.

— А если ты останешься, ты будешь здесь охотиться.

Андрей не ответил. Они ехали по степной тропе. Пыль поднималась из-под копыт.

— Если ты не хочешь жить со мной,— сказала Белогурочка,— ты можешь жить с моей сестрой. Она тоже красивая. Она будет рада.

— Ты хочешь этого?

— Я хочу, чтобы ты остался.

— А что ты сделаешь, если я соглашусь?

— Я буду рада,— сказала Белогурочка.— А потом я убью мою сестру.

Она была беспредельно откровенна.

— Белогурочка, я не могу остаться здесь,— у меня есть мое дело, моя стая, моя охота. Я не могу взять тебя с собой. Там все слишком чужое. Давай больше не говорить об этом.

...Они миновали руины сгоревшей станции. В руинах возились ребятишки из стаи Белогурочки. Они узнали ее и побежали вперед, к становищу.

Становище было там же, в заросшей кустами лощине.

Белогурочка оказалась в кольце женщин, которые расспрашивали ее, потом одна из них зарыдала. Из шатра вышел старый вождь.

Андрей стоял в стороне, возле лошадей. Два подростка, почти воины, взяли лошадей и повели их в кусты.

Андрей почувствовал, как беззвучной тенью опускается катер.

Катер улегся на траву за его спиной. Оттуда вышел штурман.

— У вас все в порядке? — спросил он.

— Все в порядке,— сказал Андрей.

Надо было что-то сделать.

Белогурочка смотрела на него. Рядом стоял и ее отец, и другие люди стаи.

Они смотрели на катер и на Андрея.

— Мы вернемся,— сказал Андрей.

Белогурочка перевела его слова отцу.

— Полетели,— сказал Андрей.

Он заставил себя пойти к катеру. Что делать Белогурочке в городе? Ее место здесь. Рыбу тоже нельзя вытаскивать из воды, даже если можешь подарить ей отдельный дом на суше.

Андрей оглянулся, помахал Белогурочке рукой, как перед короткой разлукой. Белогурочка сделала шаг к нему и крикнула:

— Андрей!

— До свидания! — сказал Андрей и забрался в катер.

Штурман закрыл люк.

— Грустно расставаться с друзьями? — спросил он.— Мне Жан рассказывал, что она объявила тебя своим мужем. Смешно.

— Смешно,— согласился Андрей, глядя в иллюминатор.

Те, кто остался снаружи, были отрезаны непоправимо и навсегда, как в кино. Кусты смыкались вокруг кучки шатров. Катер прижался к земле, прежде чем рвануться в небо. Белогурочка побежала к катеру, но он взмыл вверх, и фигурка ее с поднятой рукой стала быстро уменьшаться. А вокруг расстилалась бесконечная степь, которая подстерегает Белогурочку, которая ждет ее смерти и жаждет ее крови. И завтра Белогурочка пойдет на охоту или столкнется с воинами чужой стаи... И он, Андрей, будет завтра мысленно ехать рядом с Белогурочкой и ждать, когда разойдутся кусты и на нее прыгнет саблезубый тигр или поднимет дубину мрачный питекантроп. И он не будет знать, вернулась ли Белогурочка к своему шатру... Не зная, он послезавтра снова мысленно выйдет с ней в степь и каждый день образ ящера, прыгающего на нее из кустов, будет тягостной реальностью, отделяющей Андрея от всех остальных людей.

— Обратно,— сказал он сухо штурману.

— Ты что? — удивился тот.— Что-нибудь забыл?

— Обратно,— повторил Андрей, потому что скажи он еще хоть слово, пришлось бы объяснять, а объяснить невозможно.

Катер падал с неба к становищу.

Андрей видел сквозь иллюминатор, что все люди становища уже разошлись по шатрам. Здесь быстро забываются события и трагедии. Только Белогурочка стояла на поляне и смотрела вверх.

Белогурочка не двинулась с места, пока катер опускался. Потом, увидев в люке Андрея и все угадав по его лицу, она пошла к нему, сначала очень медленно, словно с трудом, потом отбросила в сторону копье и побежала.

Сама, как будто не впервые, она вошла в катер, села в кресло. Она была спокойна, потому что рядом сидел ее мужчина. Но потом, когда катер поднялся, Белогурочка оробела, отыскала пальцы Андрея и больно сжала их. И не отпускала до самого корабля.

Проза

Из десяти девять не знают отличия тьмы от света, истины от лжи, чести от бесчестья, свободы от рабства. Также не знают и пользы своей.

Трифилий, расколышк.

Симон же Петр, имея меч, извлек его, и ударил первосвященнического раба, и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх.

Евангелие от Иоанна.

Аркадий СТРУГАЦКИЙ,
Борис СТРУГАЦКИЙ

ОТЯГОЩЕННЫЕ ЗЛОМ, ИЛИ СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ

Фантастический роман

Рисунки И. Мельникова

НЕОБХОДИМЫЕ ПОЯСНЕНИЯ.

Две рукописи лежали передо мной, когда я принял окончательное решение писать эту книгу.

Решение мое само по себе никаких объяснений не требует. Сейчас, когда имя Георгия Анатольевича Носова всплыло из небытия, и даже не всплыло, а словно бы взорвалось вдруг, сделавшись в одночасье едва ли не первым в списке носителей идей нашего века; когда вокруг этого имени пошли наворачивать небылицы люди, никогда не говорявшие с Учителем и даже никогда не видевшие его; когда некоторые из его учеников принялись суетливо и небескорыстно сооружать некий новейший миф вместо того, чтобы просто рассказать то, что было на самом деле,— сейчас полезность и своевременность моего решения представляются очевидными.

Иное дело — рукописи, составляющие книгу. Они, на мой взгляд, без всякого сомнения требуют определенных пояснений.

Происхождение первой рукописи вполне банально. Это мои заметки, черновики, наброски, кое-какие цитаты, записки, главным образом дневникового характера, для отчет-экзамена по теме «Учитель двадцать первого века». В связи с событиями того страшного лета отчет-экзамен мой так никогда и не был написан и сдан. Конечно, можно только поражаться самонадеянности того восторженного юнца, зеленого выпускника Ташлинского лицея, вообразившего себе, будто он способен вычленить и сформулировать основные принципы работы своего учителя, состыковать их с существующей теорией воспитания и создать таким образом совершенный портрет идеального педагога. Помнится, Георгий Анатольевич отнесся к моему замыслу с определенной долей скептицизма, однако отговаривать меня не стал и, более того, разрешил мне сопровождать его во всех его деловых хождениях, в том числе и за кулисы тогдашней ташлинской жизни.

И самонадеянный юнец ходил за своим учителем, иногда в компании с другими лицеистами (которых учитель отбирал по каким-то одному ему понятным соображениям), иногда же сопровождал учителя один. Он внимательно слушал, запоминал, записывал, делал для себя какие-то выводы, которых я теперь, к сожалению, уже не помню, пламенел какими-то чувствами, которые теперь тоже основательно подзабылись, а вечерами, вернувшись в лицей, с упорством и трудолюбием Нестора заносил на бумагу все, что наиболее поразило его и показалось наиболее важным для будущей работы.

Я основательно отредактировал эти записи. Кое-что мне пришлось расшифровать и переписать заново. Многое там было застенографировано, зашифровано кодом, который я теперь, конечно же, забыл. Некоторые места вообще оказалось невозможно прочесть. Разумеется, я полностью опустил целые страницы, носящие дневниково-интимный характер, страницы, касающиеся других людей и не касающиеся Георгия Анатольевича.

Теперь, когда я закончил книгу и не намерен более изменять в ней хоть слово, мне бывает грустно при

мысли, что я, несомненно, засушил и обескровил забавного, трогательного, иногда жалкого юнца, явственно выглядывавшего ранее из-за строчек со своими мучительными возрастными проблемами, со своим гонором, удивительно сочетавшимся у него с робостью, со своими фантасмагорическими планами, великой жертвенностью и простодушным эгоизмом. В процессе работы я все это элиминировал беспощадно, ибо считал — и считал совершенно справедливо,— что незачем мне выпячивать себя в трагедии моего учителя. Все-таки книга эта прежде всего о нем и только потом уже — обо мне.

Это о первой рукописи.

Происхождение второй рукописи загадочно — столь же загадочно, как и ее содержание. Георгий Анатольевич вручил мне ее вскоре после того, как определилась тема моего отчет-экзамена. Он сказал, что эта рукопись может оказаться полезной для моей работы, во всяком случае, она способна вывести меня из плоскости обыденных размышлений. Этих слов его я тогда не понял, не понимаю я их и сейчас. Видимо, не так-то просто вывести меня из плоскости обыденных размышлений.

Помнится, Георгий Анатольевич рассказал мне, что рукопись эта была несколько лет назад обнаружена при сносе старого здания гостиницы-общежития Степной обсерватории, старейшего научного учреждения нашего региона. Рукопись содержалась в старинной картонной папке для бумаг, завернутой в старинный же полиэтиленовый мешок, схваченный наперекрест двумя тонкими черными резинками. Ни имени автора, ни названия на папке не значилось, были только две большие буквы синими чернилами: О и З.

Первое время я думал, что это цифры «ноль» и «три», и лишь много лет спустя сообразил сопоставить эти буквы с эпиграфом на внутренней стороне клапана папки. «...у гностиков ДЕМИУРГ — творческое начало, производящее материю, отягощенную злом». И тогда показалось мне, что «ОЗ» — это скорее всего аббревиатура: Отягощение Злом или Отягощенные Злом,— так свою рукопись назвал неведомый автор. (С тем же успехом, впрочем, можно допустить и то, что «ОЗ» — не буквы, а все-таки цифры. Тогда рукопись называется «ноль-три», а это телефон «Скорой помощи»,— и странное название вдруг обретает особый и даже зловещий смысл.)

Формально автором следует считать Сергея Корнеевича Манохина, от имени которого и ведется повествование. С. К. Манохин — личность вполне историческая, астроном, доктор физматнаук, он действительно в конце прошлого века был сотрудником Степной обсерватории, причем довольно долгое время. Более того, понятие «звездных кладбищ», упоминаемое в рукописи, было на самом деле введено им. Он предсказал это редкое и своеобразное явление природы, и, насколько я понял, еще при его жизни оно было обнаружено в наблюдениях. Больше никаких заметных следов в науке он не оставил, во всяком случае, никаких данных подобного рода мне найти не удалось. И уж совсем никаких данных не удалось мне обнаружить о том, что С. К. Манохин когда-либо баловался художественной литературой. Так что вопрос об авторстве «Отягощения Злом» и сейчас остается для меня открытым.

Читатель должен иметь в виду, что в рукописи «ОЗ» элементы гротесковой фантастики затейливо переплетены с совершенно реальными людьми и обстоятельствами. Ни у кого не вызовет сомнения, скажем, что Демиург — фигура совершенно фантастическая (наподобие булгаковского Воланда), но при этом упоминаемый в рукописи Карл Гаврилович Росляков действительно был директором Степной обсерватории, самым первым и самым знаменитым. Что же касается удивительной фигуры Агасфера Лукича, то этого человека я просто видел собственными глазами, причем при обстоятельствах трагических и незабываемых.

Проще всего было бы предположить, что автором рукописи «ОЗ» является сам Георгий Анатольевич. Однако принять это предположение не позволяет мне целый ряд обстоятельств.

Бумага, папка, технология машинописи, орфографические особенности текста — все это совершенно однозначно заставляет датировать рукопись восьмидесятыми годами прошлого века. В крайнем случае — девяностыми годами. То есть получается, что Георгию Анатольевичу, если бы это сочинение писал он, было тогда меньше лет, нежели мне, когда я его читал. Дьявольски маловероятно.

Далее, такая мистификация противоречила бы всему, что я знаю о Георгии Анатольевиче,— никак не укладывается она ни в его характер, ни в его отношение к своим ученикам.

Наконец, само содержание рукописи, выбранный автором герой. Зачем Георгию Анатольевичу понадобилось бы делать своим лирическим героем астронома? Георгий Анатольевич никогда не интересовался естественными науками. Разумеется, он был в курсе новейших представлений физики и той же астрономии, но не более, чем просто культурный, образованный человек. И уж совсем непонятно, зачем ему, при его деликатности, было брать героем астронома, реально существовавшего да еще работавшего здесь же, в двух шагах от Ташлинска.

Нет, гипотеза эта при всем ее кажущемся правдоподобии не может быть принята за окончательную. А ведь я еще ничего не сказал (и говорить сейчас не намерен) о тех элементах сочинения, которые не объясняются вообще никакими рациональными гипотезами.

Боюсь, все дело в том, что я так и не сумел понять, какую же связь Георгий Анатольевич усматривал между моим отчет-экзаменом и рукописью «ОЗ», на какие именно мысли должна была вывести меня эта рукопись. Вполне допускаю, что если бы мне удалось нащупать эту связь, если бы удалось мне выйти из плоскости неких представлений, я бы понял больше и в самой рукописи, и в загадке ее происхождения.

Может быть, кто-нибудь из читателей окажется удачливее и, прямо скажем, сообразительнее автора этой книги. Я же в заключение замечу только, что рукопись «ОЗ» помещена мною в книге без каких-либо исправлений и пропусков. Я позволил себе лишь разбить ее на части в примерном соответствии с тем, как сам читал ее в то страшное лето (урывками, по ночам).

Игорь К. Мытарин.

ДНЕВНИК. 10 июля (ночь на 11-е).

Только что вернулся из патруля. Левое ухо распухло, как оладья. А было так.

Мы уже попрощались. Иван с Сережкой пошли своей дорогой, а я — своей. И тут у ворот в Парк космонавтов я вижу, как трое «дикобразов» прижали своими мотоциклами двух парнишек, явных фловеров, к запертым воротам и, очевидно, намереваются учинить над ними какое-то хулиганское действие. Я по всем правилам науки издал воинственный клич матмеха и выступил на защиту Флоры, как будто она уже занесена в Красную книгу. Я и глазом моргнуть не успел, как «дикобразы» накидали мне по ушам. Говоря серьезно, все могло бы кончиться вовсе не забавно, если бы не подоспели Ванька с Серегой, услышавшие беспорядок за два квартала. «Дикобразы» моментально оседлали свою технику и были тако-

вы. Но что характерно! Фловеры, за которых я пролил свою благородную кровь, оказались таковы в тот же миг, когда «дикобразы» обратили свое внимание от них на меня. Дерьмо.

А во время патрулирования мы говорили главным образом о «неедяках». Не помню, кто начал этот разговор и почему. Я рассказал ребятам, откуда появилось это слово — они представления не имели.

(ПОЗДНЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Слово «неедяка» придумал и использовал в одном из своих рассказов писатель середины прошлого века Илья Варшавский. У него «неедяки» — всем довольные жители иной планеты, прогресс коей начался только после того, как пришельцы — земляне напустили на них блох.)

Ваня Дроздов относится к нашим «неедякам» чрезвычайно просто. Для него они делятся на два типа. Первый — люмпены, бродяги, тунеядцы вонючие, хламидомонады, Флора сорная, бесполезная. Второй — философы неумытые, доморощенные, блудословы, диогены бочкотарные, неумехи безрукие, безмозглые и бездарные. Один тип другого стоит, и хорошо было бы первых проперть с глаз долой куданиСудь на болота (пусть там хоть медицинских пиявок кормят, что ли), а вторым дать в руки лопаты, чтобы рыли судоходный канал от нашей Ташлицы до Арала. Иван, будучи мастером-брынзоделом, чрезвычайно суров к людям, не имеющим профессии и не желающим ее иметь.

Впрочем, бескомпромиссное отношение его к «неедякам» носит характер скорее теоретический. У Сережки невеста из семьи «неедяк», и Иван на весь город объявляет с упреком: «Танькин папан? Что ты мне про него болбочешь? Он же человек! А я про нищедухов тебе!» Тогда я рассказываю ему про дядю друга моего Мишеля. И снова: «Слушай, это же совсем другой обрат! Разве я тебе о таких толкую? У него же талант!»

Смех смехом, а в результате всего этого трепа у меня сформулировалась довольно любопытная классификация нынешних «неедяк».

Класс А. «Элита». Доморощенные философы, неудавшиеся художники, графоманы всех мастей, непризнанные изобретатели и так далее. Инвалиды творческого труда. Упорство, чтобы творить, есть. Таланта, чтобы творить, нет, и на этом они сломались. Между прочим, Мишкин дядя тоже, конечно, элита, но совсем в ином роде. Г. А. называет таких людей резонаторами и утверждает, что они большая редкость. Некий странный взбрык развития цивилизации. Действительно, поскольку цивилизация порождает такое явление, как поэзия, должны, видимо, возникать индивидуумы, приспособленные ТОЛЬКО к тому, чтобы потреблять эту поэзию. Они не способны производить ни материальные, ни духовные блага, они способны только потреблять духовное и резонировать. И вот это их резонирование оказывается чрезвычайно важным для творца, важнейшим элементом обратной связи для того, кто порождает духовное. (Странно, что дегустаторы чая, вина, кофе, сыра — уважаемые профессионалы, а дегустатор, скажем, живописи — не критик, не искусствовед, не болтун по поводу, а именно природный, интуитивный дегустатор — считается у нас тунеядцем. Впрочем, ничего странного здесь нет.)

Класс Б. Назовем их «воспитатели». Всю свою жизнь и все свое время они посвящают воспитанию своих детей и совершенствованию своей семьи вообще. Они почти не участвуют в процессе общественного производства, они замкнуты на свою ячейку, они отдельны. Это раздражает. В том числе и меня. Однако я понимаю осторожность Г. А., когда он отказывается дать однозначную оценку этому явлению. Рискованный эксперимент, говорит он. Если бы это зависело только от меня, я бы, наверное, не разрешил его, говорит он. А теперь нам остается лишь ждать, что из этого получится, говорит он. Очевидно, что получиться может все, что угодно. Пока известны дети «неедяк-воспитателей» и вполне удачные, и не совсем чтобы очень..

Класс В. «Отшельники». Желающие слиться с природой. Руссо, Торо, все такое. «Жизнь в лесу». В этих людях нет ничего нового, они всегда были, просто сейчас их стало особенно много. Наверное, потому, что туристическое оборудование сделалось дешево и общедоступно, в особенности списанное военно-походное снаряжение. Да и консервы для домашних животных распространились и стоят гроши.

И, наконец, класс Г. Г — оно и есть Г. (Зачеркнуто.) Люмпены. Флора. Полное отсутствие видимых талантов, полное равнодушие ко всему. Лень. Безволие. Максимум социальной энтропии. Дно.

Не знаю, куда отнести «дикобразов» с их мотоциклами и садизмом, а также «птеродактилей» с ихними дельтапланами и садизмом же. Какая-то разновидность технизированной Флоры. Полунеедяки, полууголовники.

Получившаяся классификация, я надеюсь, содержательна. Бурлящий энтузиазмом изобретатель вечного двигателя и полурастительный фловер, который от лени готов ходить под себя,— что общего между ними? Отвечаю: чрезвычайно низкие личные потребности. Уровень потребностей у всех «неедяк» настолько низок, что выводит их всех за пределы цивилизации, ибо они не участвуют во всеобщем процессе культивирования, удовлетворения и изобретения потребностей. Чеканная формулировка. Надо будет рассказать Г. А.

Кстати, нынче утром Г. А. вручил мне довольно солидную, музейного вида папку и сказал, что рекомендует ее мне как некую литературу к моему отчет-экзамену. Сто двадцать четыре нумерованные страницы. На обложке цифры: ноль-три. А может быть, буквы — О и З. Судя по всему, чей-то дневник. Какого-нибудь древлянина. Читать нет ни малейшего желания, но, вручая, Г. А. был настолько многозначителен и настойчив, что читать придется. Буду читать каждый вечер перед сном. Страниц по десять.

Ну какое отношение к моему отчет-экзамену могут иметь такие строки: «Дом этот был сдан строителями под ключ поздней осенью — дожди сделались уже ледяными, а время от времени сыпало и снежной крупкой...»?

Ухо болит. Возьми велосипедную цепь. Туго обмотай изолентой в десять — пятнадцать слоев. Образовавшийся предмет хватай за любой конец, а другим бей. По уху.

"We must find a way... to make indifferent and lazy young people sincerely eager and curious—even with chemical stimulants if there is no better way" *

По сути, это вопль отчаяния. Но как тут не завопить? Ведь, по существу, мы обязаны чуть ли не любой ценой создать человека с заданными свойствами. У Шкловского почти об этом сказано: «...если бы некто захотел создать условия для появления на Руси Пушкина, ему вряд ли пришло бы в голову выписывать дедушку из Африки».

РУКОПИСЬ «ОЗ» (1—3).

1. Дом этот был сдан строителями под ключ поздней осенью — дожди сделались уже ледяными, а время от времени сыпало и снежной крупкой. Странно-

---

* «Мы обязаны изыскать способ... превращать безразличных и ленивых молодых людей в искренне заинтересованных и любознательных — даже с помощью химических стимуляторов, если не найдется лучшего способа».

ват он был и, возможно, даже уникален вычурной своей и неудобоописуемой архитектурой. Был он целиком красного кирпича и тянулся вдоль Балканской улицы более чем на два квартала. Крыша была плоская, словно бы предназначенная для посадки воздушных кораблей будущего, фасад изукрашен провалами и изгибами сложной формы, прямоугольные тоннели висели над высоченными арками,— и для каких же, интересно, целей разрезáли фасад узкие, до пятого этажа ниши? Неужто для неимоверно длинных и тощих статуй неких героев или страдальцев прошлого? Зачем понадобилось архитектору воздвигнуть на торцах удивительного дома совершенно крепостные башни, полукруглые и разной высоты?

Леса давно были уже разобраны и увезены, и стекла окон были вымыты и прозрачны, и новенькие двери в подъездах не вызывали никаких нареканий, и чисты были каменные ступени, ведущие к ним, но все пространство от этих ступеней и до асфальта мостовой представляло собою сплошную грязь вперемешку со строительным мусором. Там можно было увидеть мокрые, частью измочаленные доски со страшными торчащими гвоздями и битые кирпичи, и треснувшие шлакоблоки со ржавой арматурой, и завитые неведомой силою в спирали водопроводные трубы, и забытые всеми секции батарей парового отопления, и какие-то расплющенные ведра, а между одиннадцатым и двенадцатым подъездами пребывал, накренившись, некий гусеничный механизм, и мокрый ветер хлопал его полуоткрытой дверцей.

Дом был сдан под ключ, но жильцов в доме не было и в помине. Пусто было на лестничных пролетах, пусто, темно и тихо, и пахло краской и нежильем, и мертво стыли коробки лифтов, поднятые к самой крыше. Все двери всех подъездов казались плотно и надежно запертыми, да так оно, наверное, и было на самом деле, однако в дом войти было можно. В него входили. И, наверное, выходили тоже. Во всяком случае, на каменных ступеньках тринадцатого подъезда, ведущего в южную торцовую башню, обнаруживались грязные следы. На длинной крашеной ручке парадной двери криминалист без труда обнаружил бы отпечатки пальцев. Пыль на цементном полу вестибюля кое-где свернулась во множественные шарики, как будто некто, войдя с улицы, энергично отряхнул здесь свою промокшую под дождем шляпу.

И кто-то забыл, или бросил за ненадобностью, или потерял в панике ветхий полураскрытый чемоданчик на лестничной площадке четвертого этажа, и высовывалось из чемоданчика вафельное полотенце сомнительной свежести. А на площадке восьмого этажа, в углу, у двери в квартиру номер пятьсот шестнадцать отсвечивали тускло две стреляные гильзы — то ли опять же потерянные здесь кем-то, а скорее всего лежащие там, куда выбросило их отсечкой-отражателем. При этом дверь квартиры пятьсот шестнадцать, как и всех почти квартир этого дома, была плотно заперта и не открывалась с тех пор, как покинул эти места бригадир бригады отделочников. Или, скажем, бригадир бригады сантехников.

Открыта же была в этом доме одна-единственная квартира — почему-то без номера, а если считать по логике расположения, то квартира номер пятьсот двадцать семь,— трехкомнатная, по замыслу, квартира на двенадцатом, последнем, этаже южной торцовой башни. В одной из комнат этой квартиры окно выходило на проспект Труда. Сама комната была оклеена дешевенькими, без претензий, обоями, торчали из середины потолка скрученные электропровода, паркетный пол, хотя и довольно гладкий, все-таки нуждался в циклевке, а в дальнем от окна углу стоял забытый строителями деревянный топчан, густо заляпанный известкой и масляной краской.

В этой комнате разговаривали. Двое.

Один стоял у окна и смотрел вниз, на грязевые пространства под серым моросящим небом. Он был огромного роста, и была на нем черная хламида, совершенно скрывавшая его телосложение. Нижний край ее свободно располагался на полу, а в плечах она круто задиралась вверх и в стороны наподобие кавказской бурки, но так энергично и круто, с таким сумрачным вызовом, что уже не о бурке думалось,— не бывает на свете таких бурок! — а о мощных крыльях, скрытых под черной материей. Впрочем, никаких крыльев, конечно, там у него не могло быть, да, наверное, и не было, просто такая одежда необычайного и непривычного фасона. И не была эта одежда более странна и непривычна, чем сам ее материал с чудящимися на нем муаровыми тенями: ни единой складки не угадывалось на поразительной хламиде, ни единой морщины, так что казалось временами, будто и не одежда это никакая, а мрачное место в пространстве, где ничего нет, даже света.

А на голове стоявшего у окна был, несомненно, парик, белый, может быть, даже пудреный, с короткой, едва до плеч косицей, туго заплетенной черным шнурком.

— Какая тоска! — произнес он словно бы сквозь стиснутые зубы.— Смотришь, и кажется, что все здесь переменилось, а ведь на самом деле все осталось, как и прежде.

Его собеседник отозвался не сразу. Видимо, совсем не боясь испачкаться, он сидел на топчане, скрестив короткие, не достающие до пола ножки, и быстро проглядывал пухлый растрепанный блокнот, то и дело подхватывая и водворяя на место выпадающие странички. Маленький, толстенький, грязноватый человечек неопределенного возраста, в сереньком обтерханном костюмчике: брюки дудочками, спустившиеся носки, тоже серые, и серые же от долгого употребления штиблеты, никогда не знавшие ни щетки, ни гуталина, ни суконки. И серенький скрученный галстук с узлом, как говорят англичане, под правым ухом.

Человечку этому было, наверное, жарко, пухлое лицо его было красно и покрыто мелкими бисеринками пота, влажные белесые волосенки прилипли к черепу, сквозь них просвечивало розовое. Шляпу свою и пальтишко человечек снял, и они неопрятной, насквозь мокрой кучей валялись в уголку вместе с разбухшим обшарпанным портфелем времен первого нэпа. Совершенно обыкновенный человечек, не чета тому, что черной глыбой возвышался перед окном.

— Зато как ВЫ изменились. Гончар! — откликнулся он, наконец.— Положительно вас невозможно узнать! Да вас и не узнает никто...

Тот, что стоял у окна, хмыкнул. Дрогнула косичка. Колыхнулись крылья черной хламиды.

— Я говорю не об этом,— сказал он.— Вы не понимаете.

Серый человечек словно бы не слышал его. Он все листал да перелистывал свой блокнот. Необыкновенный был этот его блокнот: то один, то другой листочек вдруг озарялся изнутри ясным красным светом, а иногда даже схватывался по краям явственным огненным бордюрчиком, и даже дымок как будто взвивался, а потом фокусы эти мгновенно прекращались, и наступало облегчение, что и на этот раз толстые грязноватые пальцы серого человечка остались целы.

— Вы и не можете понять,— продолжал тот, что стоял у окна.— Все это время вы торчали здесь, и вам здесь все примелькалось... Я же смотрю свежим глазом. И я вижу: какие-то фундаментальные сущности остались неколебимы. Например, им по-прежнему неизвестно, для чего они существуют на свете. Как

будто это тайна какая-то за семнадцатью замками!..

— За семью печатями,— поправил серый человечек рассеянно.

— Да. Конечно. За семью печатями... Вот, полюбуйтесь на них: прямиком, через грязь, цепляясь друг за друга, как больные... Да они же пьяны!

— О, да, здесь это бывает,— произнес серый человечек, отвлекшись от своего занятия. Он заложил блокнот пальцем и стал смотреть в спину стоявшего у окна, в гладкое черное пространство под косицей.— Последнее время меньше, но все-таки бывает. Вы привыкнете, Гефест, обещаю вам. Не капризничайте. Раньше вы не капризничали!

Тот, что стоял у окна, медленно повернул голову и глянул на серенького собеседника, и собеседник, как всегда, мгновенно вильнул глазами и, подавшись назад, набычился, словно в лицо ему пахнуло раскаленным жаром.

Ибо лик стоявшего у окна был таков, что привыкнуть к нему ни у кого не получалось. Он был аскетически худ, прорезан вдоль щек вертикальными морщинами, словно шрамами по сторонам узкого, как шрам, безгубого рта, искривленного то ли застарелым парезом, то ли жестоким страданием, а может быть, просто глубоким недовольством по поводу общего состояния дел. Еще хуже был цвет этого изможденного лика — зеленоватый, неживой, наводящий, впрочем, на мысль не о тлении, а скорее о яри-медянке, о неопрятных окислах на старой, давно не чищенной бронзе. И нос его, изуродованный какой-то кожной болезнью наподобие волчанки, походил на бракованную бронзовую отливку, кое-как приваренную к лику статуи.

Но всего страшнее были эти глаза под высоким безбровым лбом, огромные и выпуклые, как яблоки, блестящие, черные, испещренные по белкам кровавыми прожилками. Всегда, при всех обстоятельствах горели они одним и тем же выражением — яростного бешеного напора пополам с отвращением. Взгляд этих глаз действовал как жестокий удар, от которого наступает звенящая, полуобморочная тишина.

— Это не каприз,— произнес тот, что стоял у окна.— Я и раньше ненавидел пьяных — всех этих пожирателей мухоморов, мака, конопли... Может быть, мне с этого и надо было все тогда начинать, но ведь не хватило бы никакого времени!.. А теперь, я вижу, уже поздно... Вы заметили: вчерашний клиент явился навеселе! Ко мне! Сюда!

— Да им же страшно! — сказал серенький человек с укоризной.— Попытайтесь же понять их, Ткач, они боятся вас!.. Даже я иногда боюсь вас...

— Хорошо, хорошо, мы уже говорили об этом... Все это я уже от вас слышал: человек разумный — это не всегда разумный человек... хомо сапиенс — это возможность думать, но не всегда способность думать... и так далее. Я не занимаюсь самоутешениями и вам не советую... Вот что: пусть у меня будет здесь помощник. Мне нужен помощник. Молодой, образованный, хорошо воспитанный человек. Мне нужен человек, который может встретить клиента, помочь ему одеть пальто...

— Надеть,— произнес серенький человек очень тихо, но стоявший у окна услышал его.

— Что?

— Надо говорить «надеть пальто».

— А я как сказал?

— Вы сказали «одеть».

— А надо?

— А надо — «надеть».

— Не ощущаю разницы,— высокомерно сказал тот, что стоял у окна.

— И тем не менее она существует.

— Хорошо. Тем более. Я же говорю: мне нужен образованный человек, в совершенстве знающий местный диалект.

— Нынешние молодые люди, Кузнец, плохо знают свой язык.

— И тем не менее мне нужен именно молодой человек. Мне будет неудобно командовать стариком, а я намерен именно командовать.

— Здесь никто ничего не делает даром,— намекнул серый человечек с циничесой усмешкой.— Ни старики, ни молодые. Ни воспитанные, ни хамы. Ни образованные, ни игнорамусы.. Разве что какой-нибудь восторженный пьяница, да и тот будет все время в ожидании, что ему вот-вот поднесут. Из уважения.

— Ну что ж. Никто не заставит его работать даром... Как вы болтливы, однако. Есть у вас кто-нибудь на примете?

— Вам повезло, Хнум. Есть у меня на примете подходящая особь. Сорок лет, кандидат физико-математических наук, воспитан в такой мере, что даже умеет пользоваться ножом и вилкой, почти не пьет. А что же касается жизненного существа его, воображаемого отдельно от тела...

— Увольте! Увольте меня от ваших гешефтов! Скажите лучше, что он просит. Цена!

— Я в этом плохо разбираюсь, Ильмаринен. Гарантирую, впрочем, что просьба его вас позабавит. Другое дело — сумеете ли вы ее выполнить!

— Даже так?

— Именно так.

— И вы полагаете, что это лежит за пределами моих возможностей?

— А вы по-прежнему полагаете, будто можете все на свете?

Черно-кровавое яблоко глянуло на серенького поверх левого крыла, и человечек вновь отпрянул и потупился.

— Укороти свой поганый язык, раб!

Наступила звенящая тишина, и только через несколько долгих секунд неукрощенный серенький человек пробормотал:

— Ну зачем же так высокопарно, мой Птах? Зовите меня просто: Агасфер Лукич.

— Что еще за вздор,— с отвращением произнес стоявший у окна.— При чем здесь Агасфер?..

2. Действительно, при чем здесь Агасфер? Я специально смотрел: того звали Эспера-Диос (что означает «надейся на бога») и еще его звали Ботадеус (что означает «ударивший бога»). Это был какой-то древний склочный еврей, прославившийся в веках тем, что не позволил несчастному Иисусу из Назарета присесть и отдохнуть у своего порога,— у Агасферова порога, я имею в виду. За это бог, весьма щепетильный в вопросах этики, проклял его проклятьем бессмертия, причем в сочетании с проклятьем безостановочного бродяжничества. «Встань и иди!»

Так вот, начнем с того, что Агасфер Лукич никакой не еврей и даже не похож. Внешне он больше всего напоминает артиста Леонова (Евгения) в роли закоренелого холостяка, полностью лишенного женского ухода и пригляда,— в жизни не видел я таких засаленных пиджаков и таких заношенных сорочек. Далее, Агасфер Лукич, конечно, дьявольски непоседлив и подвижен (на то он и страховой агент, волка ноги кормят), однако спит он, как все нормальные люди (плюс еще часок после обеда), и никакие мистические голоса не командуют ему, едва он заведет глаза: «Встань и иди!»

Я познакомился с ним в конце лета, когда, вернувшись с того злосчастного симпозиума в Ленинграде, обнаружил, что в номер ко мне подселили за время моего отсутствия некоего деятеля, совершенно постороннего и к обсерватории отношения не имеюще-

го. Негодование мое, наложившееся на все те неприятности, которые я услышал в Ленинграде, выбило меня из обычной колеи до такой степени, что я унизился до скандала. Я накричал на дежурную, ни в чем, разумеется, не повинную. Я сцепился по телефону с Суслопариным, обвинил его в коррупции и швырнул на полуслове трубку. Я бы и Карла моего Гаврильича не пощадил, конечно, уж я бы объяснил ему, что быть директором обсерватории означает в первую очередь обеспечивать комфортные условия жизни для наблюдателей, да, по счастью, оказался он в то время в Москве, в Академии наук. Я со стыдом вспоминаю сейчас тогдашнее свое поведение. Но уж очень это достало меня тогда: вхожу в номер — в свой, законный, раз и навсегда за мною закрепленный,— и вижу на столе своем чьи-то безобразного вида носки, небрежно брошенные поверх моей рукописи...

Впрочем, как часто это случается в жизни, все оказалось вовсе не так уж страшно и беспросветно.

Агасфер Лукич проявил себя как человек чрезвычайно легкий и приятный в общении. Он был абсолютно безобиден, он ни на что не претендовал и со всем был согласен. Он тут же постирал свои носки. Он тут же угостил меня красной икрой из баночки. Он знал неимоверное количество безукоризненно свежих и притом смешных анекдотов. Его истории из жизни никогда не оказывались скучными. И он умудрялся совсем не занимать места. Он был и в то же время как будто и отсутствовал, он появлялся в поле моего внимания только тогда, когда я был не прочь его заметить. Он был на подхвате, так бы я выразился. Он всегда был на подхвате.

Но при всем при том было в нем кое-что, мягко выражаясь, загадочное. Он-то сам очень стремился не оставлять по себе впечатления загадочного, и, как правило, это ему превосходно удавалось: комический серенький человечек, отменно обходительный и совершенно безобидный. Но нет-нет, а мелькало вдруг в нем или рядом с ним что-то неуловимо странное, настораживающее что-то, загадочное и даже, черт побери, пугающее. Например, эта поразительная его записная книжка... или манера класть на ночь свое искусственное ухо в какой-то алхимический сосуд... или другая манера — бормотать что-то неразборчивое в отключенный телефон... но это ладно, это потом. И я уже не говорю про портфель его!

Первое, что удивляло, это за какие такие невероятные заслуги ничтожного страхового агента подселяют ко мне, к без пяти минут доктору, к человеку, прославившему эту обсерваторию... Да разве в науке здесь дело,— что нашему Суслопарину до науки? Ко мне, к личному другу директора, подселяют серенького страхагента! Милостивые государи мои! Наш заместитель по общим вопросам товарищ Суслопарин К. И. никогда и ничего не делает зря и ничего и никому не делает даром. Видимо, какую-то огромную, мало кому известную пользу можно, оказывается, извлечь из системы государственного страхования, и мы с вами, простые смертные, чего-то здесь недопонимаем, и недополучаем мы чего-то весьма значительного, опрометчиво проходя мимо заглядывающего нам в глаза скромного человека, жаждущего всучить нам договор из трех рублей в год... Загадка эта была сформулирована мною в первый же день знакомства с Агасфером Лукичом, но при прочих моих заботах и неприятностях того времени оставила меня в общем и целом равнодушным. Какое в конце концов мне дело до хитрых махинаций товарища Суслопарина?

Удивляло, конечно, почему он Агасфер. Хотелось все время спросить: при чем тут Агасфер? Что это за Лука такой нашелся, что назвал родного сына Агасфером? (Или, может, не родного все-таки? Тогда не так жалко, но все равно непонятно...) Да ведь не станешь же спрашивать малознакомого человека, откуда у него такое имя, а на облический вопрос о родителях Агасфер Лукич ответил мне: «О, мои родители, они были так давно...» — и тут же перевел разговор на другую тему.

Удивляла популярность Агасфера Лукича в Ташлинске. Когда я уезжал в Ленинград, никто здесь о нем и слыхом не слыхивал, а теперь, спустя всего две недели, не было, казалось, ни одного человека ни в обсерватории, ни даже в городе, чтобы в Агасфере Лукиче не был заинтересован. Даже совсем не знакомые мне люди останавливали меня на улице (в магазине, на Теренкуре, на автобусной остановке), чтобы справиться, как идут дела у Агасфера Лукича, и передать ему самые благие пожелания. Хуже того: после вороватых озираний по сторонам сообщалось что-нибудь вроде того, что договор-де можно бы и подписать, но только сумму страховки неплохо бы было удвоить. И странное дело! Когда я об этом Агасферу Лукичу сообщал, он всегда мгновенно понимал, о ком именно идет речь, словно заранее ждал эти приветы и эти предложения, и тут же из недр затерханного пиджачка появлялась знаменитая его записная книжка, и вываливающиеся страницы принимались порхать в его пальцах с такой скоростью, что казалось, будто они вот-вот загорятся от трения о воздух. И загорались ведь, я видел это собственными глазами, и не раз: загорались, горели и не сгорали...

Воистину, Агасфер Лукич, говорил я ему с опаской, воистину страховое дело в наши дни требует от своих адептов способностей вполне необычайных. На что он всегда отвечал мне со странным своим смешком: «А как же, батенька. Конкуренция! Нынешний страховой агент — это, знаете ли, человек высоко и широко образованный, это, батенька, дипломированный инженер или кандидат наук! Изощренность потребна, батенька, одной науки мало, надобно еще и искусство, а иначе, того и гляди, перехватят клиента, чихнуть со вкусом не успеешь!»

Наукой здесь и не пахло. Пахло мистикой. Преисподней здесь пахло, государи мои! Эта мысль приходила на ум всякому, кто хоть раз видел в действии портфель Агасфера Лукича. Портфель этот был таков, что с первого взгляда не производил какого-нибудь особенного впечатления: очень большой, очень старый портфель, битком набитый папками и какими-то бланками. Обычно он мирно стоял где-нибудь под рукой своего владельца и вел себя вполне добропорядочно, но только до тех пор, пока Агасферу Лукичу не подступала надобность что-нибудь в него поместить. То есть, когда Агасфер Лукич что-нибудь из этого портфеля доставал, портфель реагировал на это, как любой другой битком набитый портфель: он сыто изрыгал из недр своих лишние папки, рассыпал какие-то конверты, исписанные листы бумаги, какие-то диаграммы и графики, подсовывал в шарящую руку ненужное и прятал искомое. Однако же когда портфель открывали, чтобы втиснуть в него что-нибудь еще (будь то деловая бумага или целлофановый пакет с завтраком), вот тут можно было ожидать чего угодно: фонтанчика ледяной воды, клубов вонючего дыма, языка пламени какого-нибудь и даже небольшой молнии с громом. По моим наблюдениям, Агасфер Лукич и сам несколько остерегался своего портфеля в такие минуты.

Это о портфеле.

А теперь о телефоне. Агасферу Лукичу звонили довольно часто, и тогда он брал трубку, выслушивал и отвечал что-нибудь краткое, например, «Согласен» или, наоборот, «Не пойдет», а иногда даже просто «Угу» и сразу клал трубку, а если ловил при этом мой взгляд, то немедленно прижимал к груди короткопалую грязноватую лапку и безмолвно приносил извинения.

По своему же почину он прибегал к телефону редко, и выглядели такие его акции дешевым аттракциончиком. Извинительно улыбаясь, он выдергивал телефонную вилку из розетки, уносил освободившийся аппарат в свой угол и там, снявши трубку и отгораживаясь от меня плечом, принимался дудеть в нее что-то малоразборчивое, так что я схватывал только отдельные слова, иностранные какие-то слова, а может, и не просто слова, а имена собственные, очень меня в те времена интриговавшие. Откровенно говоря, все это было не столько даже странно, сколько смешно. Меня разбирало, я хохотал, несмотря на владевшее мною тогда дурное настроение. Я полагал, что он меня таким образом развлекает, этот серенький потешный клоун, но однажды я случайно проснулся в необычную для меня рань и стал свидетелем того, как он разыгрывает эту свою телефонную пантомиму, полагая меня спящим. И оказалось тогда, что ничего смешного во всем этом нет. Страшно это было, до обморока страшно, а вовсе не смешно...

Я сижу сейчас на заляпанном известкой топчане в пустой комнате, оклеенной дешевенькими обоями, совершенно один, жду и трусливо посматриваю на дверь в Кабинет, и дверь эта, как всегда, распахнута настежь, а за нею, как всегда, космический мрак, и, как всегда, неохотно разгораются там и сразу же гаснут белесые огни.

Я пишу все это, потому что не знаю иного способа передать свое знание еще хоть кому-нибудь, пишу плохо, «темно и вяло», пишу сумбурно, ибо многое спуталось в моей бедной памяти, пораженной увиденным. Я раздавлен, унижен, растерян и потерян.

У нас есть чувство глубокого удовлетворения, есть чувство законного негодования, а вот с чувством собственного достоинства у нас давно уже напряженка. Поэтому, когда наш немудрящий опыт и наша многоопытная мудрость, столь же глубокая, как глубокая тарелка для супа, сталкиваются даже не с жутковатым Агасфером Лукичом или с его вполне жутким партнером (хозяином? творцом?), а просто хотя бы и с отпетым хамом или образцово-показательным подлецом, мы, как правило, теряемся. Нам бы опереться тут на чувство собственного достоинства, раз уж недостает мудрости или хотя бы жизненного опыта, но собственного достоинства у нас нет, и мы становимся циничными, небрежными и грубо-ироничными. Так что пусть никого не удивляет тот ернический тон, в котором пишу я обо всех этих моих обстоятельствах. Ничего забавного и занимательного в них нет. На самом деле мне страшно. И всегда было страшно. Я уж не помню, с какого момента. По-моему, с самого начала...

3. Приемная наша более всего напоминает мебельный склад. Югославский гарнитур «Архитектор» из тридцати семи предметов чудом втиснут на площадь в 18,58 квадратных метра. Здесь есть два трельяжа, чудовищная, невообразимая, необозримая кровать, на которой лежат двенадцать полумягких стульев, а могло бы валяться двенадцать десантников со своими девками. Имеют место и какие-то застекленные шкафы неизвестного назначения, и микроскопическая книжная стенка, уставленная муляжами книг, выполненными весьма реалистично. (Помнится, увидевши впервые золотыми буквами на корешках Р. Киплинг, Петроний Арбитр, Эдгар Райс Берроуз, я среагировал мгновенно и непроизвольно: «Все! Это я сопру, и будь что будет!» И каково же было разочарование мое, когда, выдернув вожделенный томик, обнаружил я в руках своих пустую картонную обложку, и вынырнувший у меня из-под локтя Агасфер Лукич произнес сочувственно: «Декорация, Сережа. Всего лишь декорация».) Есть в Приемной два кресла лоснящейся коричневой кожи, одно для посетителей, а другое непонятно для кого, ибо из самой середины его сиденья совершенно открыто и нагло торчит длинный стальной шип сантиметров двадцати, да такой острый, что озноб пробирает по коже за того беднягу, которому предназначено устроиться на нем.

Кроме этого шипа, есть в Приемной и другие предметы, не входящие в югославский гарнитур. Очень большие и разношенные полосатые тапочки выглядывают из-под кровати. В самом дальнем углу, куда я так до сих пор и не сумел добраться, торчком стоят толстые рулоны — то ли географических карт, то ли линолеума, то ли ковров, а быть может, и просто бумаги. Рядом с рулонами, загораживая половину окна, висит картина на античный сюжет: Сусанна и сладострастные старцы. Старцы там как старцы, и Сусанна, в общем-то, как Сусанна, но почему-то с большим пенисом, изображенным во всех анатомических подробностях. Рядом с этими подробностями морщинистые физиономии и масленые глазки старцев, и даже их рдеющие плеши приобретают совершенно особенное, не поддающееся описанию выражение.

И великое множество телевизоров. Число их и модели все время кем-то меняются, но никогда их не бывает меньше четырех. Включать и выключать их я не умею, они включаются и выключаются сами собой. И сами собой они наводятся на резкость, и сами собой устанавливают контрастность, и сами выбирают себе программу, и, надо сказать, странноватые, как правило, оказываются у них программы. Помню, однажды вдруг пошла передача из прозекторской. Точнее, художественный фильм из жизни патологоанатомов. Изумительное изображение, пиршество красок, показалось, даже запахами потянуло. Клиента, застигнутого этой передачей, мне пришлось спешно выволакивать в санузел, и все-таки он заблевал мне часть Приемной и весь коридор. (Помнится, он был начфином Н-ского стройбата и пришел выпрашивать для нашего советского рубля статуса свободно конвертируемой валюты.) Или, помнится, однажды «джейвиси» битых полтора часа передавал в черно-белом варианте практические уроки, как восстанавливать и затачивать иголки для примуса. Это надо же, оказывается, и такие иголки еще существуют...

Телефоны. Их всегда три. Один стоит на моем столике — роскошный, с кнопочным управлением, с запоминающим устройством на двести пятьдесят шесть номеров, с маленьким встроенным экраном и с дисководом для гибких дисков. Он не работает. Второй телефон присобачен к филенке двери позади моего рабочего места. Это обыкновенный таксофон, можно бросить монетку и позвонить родным и близким, у кого они есть. Можно не звонить. Иногда он разражается отвратительными квакающими звуками. Я снимаю трубку, и Демиург говорит мне что-нибудь, не предназначенное для ушей клиента. Как правило, это распоряжения из ресторанно-отельного репертуара. «Такому-то на обед полпорции селянки, да погорячее». Или: «Постельное белье в номерах опять сырое. Проследите». Или даже: «Сергей Корнеевич, не в службу, а в дружбу. Башка трещит, сил нет. У вас там, кажется, был пенталгин...» Тогда я извиняюсь перед клиентом и бегу отрабатывать свой хлеб. Смысла или хотя бы простой логики во всем этом я уже давно не ищу... Что же касается третьего телефона, то это золотой предмет в стиле ретро, в сумраке он светится, и толку от него никакого, потому что стоит он на шкафу, перед которым расположено трюмо, перед которым, в свою очередь, друг на друге две полированные тумбочки для постельного белья. Иногда этот золоченый мегатерий звонит. Звон у него нежный, мелодичный, он радует слух. Так что толку от него все же больше, чем от Сусанны.

Каждое утро я ползаю, карабкаюсь, протискиваюсь среди всего этого добра с пылесосом. Пылесос у нас замечательный. Собранную пыль он прессует в брикеты. Брикеты я сдаю под расписку Агасферу Лукичу, он составляет акт о списании и бросает эти брикеты в свой портфель. Расписку и акт я обязан вручать лично Демиургу. Совершенно не могу понять, откуда в Приемной набирается столько пыли. Ей-богу, каждые сутки граммов на двести брикетов...

Особенная пылища собирается почему-то в платяном шкафу. Есть в Приемной такой, вполне доступный, и в нем полно одежды. На все возрасты и на все вкусы. Там можно найти мужской костюм-тройку, совершенно новый, ни разу не надеванный. А рядом будет висеть мятый плащ-болонья с рукавом, испачканным уличной засохшей грязью, и в кармане плаща найдется смятая коробка «Примы» с единственной, да и то лопнувшей сигаретой. В шкафу можно обнаружить и школьную форменную курточку с заштопанными локтями, и великолепное мохнатое пальто с плеча какого-то современного барина, и полный кожаный женский костюм с отпечатками решетчатой садовой скамейки на заду и на спине, и целый кочан разноцветных мужских сорочек, нацепленных на одну распялку... А внизу, в слое старой и новой разрозненной обуви, я нашел вчера табель ученика пятого «А» класса 328-й школы Манохина Сергея с оценками за первую четверть 1958 года, с двойкой по истории и с двумя тройками — по рисованию и физкультуре...

4. Вечером первого, как сейчас помню, августа (дело было еще в Ташлинске) меня остановил на Теренкуре наш шофер Гриня. Отведя меня в сторонку, он...

ДНЕВНИК. 12 июля.

...Это примерно в пятнадцати километрах от города.

На десятом километре северо-восточного шоссе надо свернуть налево на грунтовую дорогу. Дорога петляет между холмами и все время идет почти параллельно Ташлице, которая протекает здесь между высокими обрывистыми берегами белой и красной глины. Холмы округлые, выгоревшие, покрыты короткой жесткой колючей травкой. Пыль за машиной поднимается до самого неба. Километра через два после поворота слева от дороги открывается вид на древний скотомогильник. Огромная страшная гора лошадиных, бараньих, коровьих черепов, хребтов, лопаток, ребер, кости эти белые, как пыль, глазницы черные. Впечатляет. Г. А. говорит, что этому скотомогильнику лет сто, а может быть, и двести.

От скотомогильника по спидометру ровно три километра,— и попадаешь в райский уголок. Это распадок между холмами, большие деревья, тень, прохлада, мягкая зеленая трава, кое-где выше пояса. Ташлица делает здесь излучину и разливается, образуя заводь. Гладкая черная вода, листья кувшинок, заросли камыша, синие стрекозы. Парадиз. Потерянный и возвращенный рай.

Впрочем, вид стойбища Флоры основательно портит это впечатление. Похоже, они раздобыли где-то оболочку старого аэростата и набросили ее на верхушки молодых деревьев и высокого кустарника, так что получилось нечто вроде огромного неряшливого шатра неопределенного грязного цвета с потеками. Видимо, под этим шатром они всей толпой спасаются от дождей. Трава вокруг вытоптана и стала желтая. Неописуемое количество мятых бумажек, оберток, рваных полиэтиленовых пакетов, окурков и пустых консервных банок и бутылок. Запахи. Мухи. Множество черных выгорелых пятен — кострища. Тошнит на это глядеть, честное слово.

Между кустами натянуты веревки. На веревках сушится тряпье: майки, юбки, пятнистые комбинезоны, подозрительные какие-то подштанники... На других веревках вялится рыба. Оказывается, в Ташлице

довольно много рыбы, кто бы мог подумать! Несколько костров дымится, булькают закопченные котелки над огнем. Сорок тысяч лет до новой эры. А в отдалении, сцепившись рогами, теснится целое стадо мотоциклов.

Фловеры нашим прибытием заинтересовались, но пассивно. Кто сидел — остался сидеть, кто лежал — остался лежать, а прямостоящих или прямоходящих я не заметил там ни одного. Множество лиц повернулось в нашу сторону, множество рук поднялось, но не для приветствия, а чтобы прикрыть глаза от низкого солнца. Судя по движениям губ, последовал множественный обмен неслышными репликами. И только.

Павианий вольер, вот на что это было похоже больше всего. Было их там сотни две особей. Г. А. рассказывал, что они собираются сюда каждое лето со всего Союза, живут недели по две и перебредают в другие регионы, а на их место прибредают новые. Однако процентов десять составляют наши, местные, ташлинские. Главным образом школьники. Я искал знакомые лица, но не обнаружил ни одного.

Г. А. достал из багажника кошелку и направился наискосок через стойбище к самому населенному костру, расположенному в десятке метров от берега. Вокруг костра этого сидело человек пятнадцать, и, когда мы приблизились, народ раздвинулся и освободил нам место, всем троим. Г. А., усевшись, пробормотал: «Принимайте в компанию»,— и принялся извлекать из кошелки продукты. Он неторопливо вынимал пакет за пакетом — крупу, консервные банки, леденцы, макароны, твердую колбасу — и, не глядя, передавал девице, сидевшей справа от него. Она брала, говорила: «Спасибо...» — и передавала дальше по кругу. Фловеры оживились, зашевелились. Огромный парень, сплошь заросший (от макушки до пупка) черным курчавым волосом, в десантном комбинезоне, спущенном до пояса, принявши очередной пакет, надорвал его, заглянул внутрь и высыпал содержимое — мелкую вермишель — в кипящий котелок. Фловеры шевелились, усаживались поудобнее, я ловил на себе одобрительные взгляды. Вокруг произносились слова, которые я большей частью не понимал. Это был какой-то совершенно незнакомый жаргон, ужасная смесь исковерканных русских, английских, немецких, японских слов, произносимых со странной интонацией, напомнившей мне китайскую речь,— какое-то слабое взвизгивание в конце каждой фразы. Я несколько раз повторил про себя: «Каждый человек — человек, пока он поступками своими не доказал обратного»,— и посмотрел на Микаэля. У Микаэля моего был такой вид, будто его вот-вот вытошнит — прямо на спину Г. А. Я понял, почему Г. А. взял с собой именно его. Он брезглив, наш Майкл, а ведь он не имеет права быть брезгливым. Любовь и брезгливость несовместны.

Г. А. посоветовал покрошить в котелок колбасы. Наголо стриженная девица (с грязноватым лицом и гигантским боа из кувшинок на голых плечах) послушно принялась крошить колбасу. Г. А. не посоветовал сыпать в котелок консервированные креветки, и банка креветок была отставлена. Поварская ложка была уже в руке у Г. А., он ворочал ею в котелке, зачерпывал, пробовал, подувши через губу, и все смотрели теперь на него и ждали его решений. Он сказал: «Соль»,— и за солью сейчас же побежали. Он сказал: «Перец»,— но перца во Флоре не оказалось.

Я честно наблюдал их, стараясь сформулировать для себя: что они такое? (Я не чувствовал себя учителем, я чувствовал себя этнографом, в крайнем случае врачом.) Парни были как парни, девчонки — как девчонки. Да, некоторые из них были неумыты. Некоторые были грязны до неприятности. Но таких было немного. А в большинстве своем я видел молодые славные лица,— никакой патологии, никаких чирьев, трахом и прочей парши, о которых столько толкуют флороненавистники,— и, конечно же, все они разные, как и должно быть. И все-таки что-то общее есть у них. То ли в выражении лиц (очень бедная мимика, если приглядеться), то ли в выражении всего тела, если можно так говорить. Расслабленность движений почти нарочитая. Никто не положит предмет на землю — обязательно уронит, вяло разжавши пальцы. И не на то место, с которого взял, а на то место, которое поближе, словно сил уже не осталось протянуть руку...

И еще — непредсказуемость поступков. Я не взялся бы предсказывать их поступки, даже простейшие. Вот сидел-сидел, перекосившись набок, пришла пора хлебать из котелка, а он вдруг встал и лениво удалился — на другой конец стойбища — и там сел у другого костра. А на его место явился новый — длинный и тощий, как шест, в десантном комбинезоне, на широком ремне — фляга, на ногах — эти их знаменитые «корневища», огромные пуховые лапти, выкрашенные в зеленое. Пришел, уселся, отцепил флягу, полил свои корневища водицей и объявил, ни к кому не обращаясь: «Здесь врастаю». И стал, прищурясь, смотреть на Г. А.

Было ему лет двадцать пять, был он гладко выбрит и подстрижен вполне обыкновенно, в расстегнутом вороте комбинезона висела на безволосой груди какая-то эмблемка на цепочке. Живые ореховые глаза, большой рот уголками вверх и отличные белые зубы. Сразу было видно — это ихний предводитель. Ну́си. И ни в одном ухе не было у него этих чертовых музыкальных заглушек, фу́нков, из-за которых они выглядят такими сонными и как бы не от мира сего. Этот был вполне от мира сего, невзирая на свой комбинезон, корневища и прочие вытребеньки. И он явно знал Г. А. (Есть у меня подозрение, что и Г. А. его знает. Где-то они уже встречались и не слишком любят друг друга. Однако это все чистая интуиция. Мойша считает, что я все это выдумал.)

Тут почти голая девица, сидевшая слева от меня, тоненько рыгнула, отдулась, облизала ложку и произнесла с удовлетворением:

— Побе́ги — да́сьта.

(Мишель объяснил мне потом, что это значит. Это по русско-японски «дать побеги». В прежние времена она сказала бы «словила кайф», а теперь вот — «дала побеги». Флора!)

Наевшись, они завозились, устраиваясь на переваривание. Кто-то закурил. Кто-то принялся шумно жевать бе́тель, пуская оранжевые слюни. Кто-то захрустел леденцами. Начался зе́леный шум. Конечно, я не понимал и половины того, что говорилось, но, по-моему, там и понимать особенно было нечего. Один вдруг заявляет: «Щекотно. Червяки по корням ползают» Другой тут же откликается: «Личинки совсем заели. Дятлов на них нет. И ведь не почешешься». Третий вступает: «Влаги мало. Сухо мне, кусты. Влаги бы мне побольше». И так далее без конца. И видно, что им это очень нравится. Всем без исключения. На лицах блаженные улыбки, и даже глаза блестят.

Потом вдруг поднялся один парень в пестрых плавках и в полосатой распашоночке, отошел на несколько шагов в сторону, выбрал площадку поровнее и принялся выламываться в медленном, почти ритуальном танце. Надо понимать, он плясал под свой функен, так что музыку слышал он один, а мы видели только ритм этой музыки. И нам это нравилось, и, пока он танцевал, зеленый шум притих, все смотрели на танцора, а когда он устал, остановился, сел и лег, все как бы перевели дух, и моя соседка слева снова произнесла: «Побе́ги — да́сьта».

Тем временем начало смеркаться, и луна объявилась над деревьями. Объявились комары. Над заводью возник туман и стал распространяться на прибрежные кусты. Вдруг взревели двигатели, вспыхнули фары, грянула в полную мощь огромная музыка, и дюжина всадников на мотоциклах умчалась прочь — перевалила через вершину ближнего холма, и снова стало тихо.

Какой-то парнишка по ту сторону костра (видимо, новичок, почти не знающий жаргона) принялся рассказывать про суд, который прошел вчера в городе. Трое г о м о з я г из спецтеха, которые целый год спокойно курочили автомашины и приторговывали запчастями, получили по году принудработ, поскольку руки у них золотые и все сверху донизу характеризуют их положительно. А фловера — Костик из Хабаровска, рыженький такой, без переднего зуба — засадили на месяц клозеты мыть задаром на Тридцатке, на мясокомбинате, за то, что два батона стяжал в булочной, когда фургон разгружал.

Флора помолчала, усваивая информацию. Кто-то пробормотал: «Круто здесь у них». Пошли вопросы. Как фамилия судьи, сколько заседателей? Почему не шесть? Как зовут? Кто возбудил дело? Парнишка почти ничего не знал. Он не знал даже, что в суде бывает адвокат. «Тихий ты, куст»,— упрекнули его и оставили в покое.

Кто-то стал рассказывать про суд в Челябинске, но это уже был сплошной жаргон, я не понял даже, хороший там в Челябинске был суд или плохой. За что и кого судили, я тоже не понял. «Не суди и не судим будешь»,— почти пропел в сумраке женский голос. Слова эти прозвучали пронзительной, отчетливой, высшей правдой после шумовой неубедительности жаргона.

И тут заговорил нуси.

Это была проповедь. На прекрасном литературном языке. Если он и переходил на жаргон, то лишь для того, чтобы особо подчеркнуть, растолковать самым непонятливым какую-нибудь важную для него формулировку.

Он говорил о Флоре. Он говорил об особенном мире, где никто никому не мешает, где мир, в смысле Вселенная, сливается с миром, в смысле покоя и дружбы. Где нет принуждения и никто ничем никому не обязан. Где никто никогда ни в чем не обвиняет. И поэтому счастлив, счастлив счастьем покоя.

Ты приходишь в этот мир, и мир обнимает тебя. Он обнимает тебя и принимает тебя таким, какой ты есть. Если у тебя болит, Флора отберет у тебя эту боль. Если ты счастлив, Флора с благодарностью примет от тебя твое счастье. Что бы ни случилось с тобой, что бы ты ни натворил, Флора верит и знает, что ты прав. Флора никому не навязывает свое мнение, а ты свободен высказаться о чем угодно и когда угодно, и Флора выслушает тебя со вниманием. За пределами Флоры ты дичь среди охотников, здесь же ты ветвь дерева, лист куста, часть целого.

Он говорил о законах Флоры. Флора знает только один закон: не мешай. Однако, если ты хочешь быть счастливым по-настоящему, тебе надлежит следовать некоторым советам, добрым и мудрым. Никогда не желай многого. Все, что тебе на самом деле надо, подарит тебе Флора, остальное — лишнее. Чем большего ты хочешь, тем больше ты мешаешь другим, а значит, Флоре, а значит, себе. Говори только то, что думаешь. Делай только то, что хочешь делать. Единственное ограничение: не мешай. Если тебе не хочется говорить, молчи. Если не хочется делать, не делай ничего.

Пила сильнее, но прав всегда ствол.

Ты нашел бумажник? Берегись! Ты в большой опасности.

Хотеть можно только то, что тебе хотят дать.

Ты можешь взять. Но только то, что не нужно другим.

Всегда помни: мир прекрасен. Мир был прекрасен и будет прекрасен. Только не надо мешать ему.

(Г. А. сказал потом по этому поводу: «Стань тенью для зла, бедный сын Тумы, и страшный Ча не поймает тебя».— И спросил: — Откуда?»).

В разгар проповеди странные звуки привлекли мое внимание. Я вгляделся сквозь дым и обмер. Тот самый бородатый-волосатый (обволошенный) принялся овладевать своей бритой соседкой.

Мне сделалось невыносимо стыдно. Я опустил глаза и не мог больше поднять их. Особенно мучительно было сознавать, что все это видят, и Мишка, и Г. А. За фловеров мне тоже было стыдно, но их-то как раз все это совсем не шокировало. Я видел, как некоторые поглядывали на совокупляющуюся пару с любопытством и даже с одобрением.

«Внезапно из-за кустов раздалось странное стаккато, звук, который я до сих пор не слышал, ряд громких, отрывистых О-О-О; первый звук О был подчеркнутый, с ударением и отделен от последующих отчетливой паузой. Звук повторялся вновь и вновь, и через две или три минуты я понял, что было его причиной. Ди Джи спаривался с самкой».

Вопрос: откуда? Ответ: Д. Б. Шаллер «Год под знаком гориллы».

РУКОПИСЬ «ОЗ». (4)

4. Вечером первого, как сейчас помню, августа (дело было еще в Ташлинске) меня остановил на Теренкуре наш шофер Гриня. Отведя меня в сторонку, он с небрежностью, показавшейся мне несколько нарочитой, спросил:

— Как там у вас сейчас насчет субстанции?

— Где это у нас? — осведомился я, пребывая в настроении злобно-ироническом.

— Ну, в Ленинграде, в Москве...

— Да как везде,— сказал я, продолжая оставаться в том же настроении.— Семнадцать тридцать пять. А повезет — так десять с маленьким.

— Ну да, ну да...— промямлил Гриня неопределенно.— Ну, а если, скажем, она особая?

— «Особая»?.. Да ее, по-моему, давно уж не выпускают.

— Да нет, я не про эту «особую» тебя...— сказал Гриня нетерпеливо.— Я тебя спрашиваю: особая субстанция как? Нематериальная, независимая от моего тела!

Я пригляделся к нему, но ничего такого не заметил. Вообще-то Гриня, по моим наблюдениям, был человек непьющий и вполне положительный. Хозяин. Лучший садовый участок при обсерватории. С домиком. Все своими руками. Старый «Москвич» собрал себе своими руками... Он правильно оценил мой взгляд и несколько смутился.

— Да нет, это я так...— проговорил он уклончиво и вдруг принялся рассказывать, как заезжие гастролеры в прошлом году обманули мать его, старуху, выклянчивши у нее за пятерку дедовскую икону, коей цены нет и за которую любой музей отдал бы, не глядя, два стольника, самое малое.

Я слушал его с недоумением, а он вдруг, оборвав свой рассказ, предложил мне зайти к нему в «домишко» через два часа, чтобы «посвидетельствовать». Он, оказывается, хочет некую сделку совершить, и нужно ему, чтобы при этом присутствовал надежный человек.

Не могу сказать, чтобы предложение это пришлось мне по вкусу, однако и отказаться я тоже не мог. Нас с Гриней связывают давние приятельские отноше-

ния, еще с начала шестидесятых, когда я был начальником, а он шофером экспедиции, занимавшейся в Туркестане поисками места для установки Большого Телескопа. Гриня мне многим был обязан, да и я ему кое-чем обязан был, ибо оба мы были грешны в молодости, Гриня — побольше, я — поменьше, но оба.

И вот спустя два часа, то есть поздним уже вечером, оказался я в Гринином «домишке», что прятался в зарослях каких-то экзотических кустов на его садовом участке. Снаружи стояла глубокая южная тьма, кричали цикады, пахло пряностями и цветами, а внутри под лампой с розовым абажуром за столом, покрытым старенькой, но чисто выстиранной скатертью, некогда роскошной, сидели мы втроем: Гриня (Григорий Григорьевич Быкин, водитель первого класса), я (Сергей Корнеевич Манохин, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник) и Агасфер Лукич (Агасфер Лукич Прудков, агент Госстраха).

ГРИНЯ осведомляется у Агасфера Лукича, не возражает ли тот против присутствия здесь вот этого вот свидетеля.

АГАСФЕР ЛУКИЧ не только не возражает, но всячески приветствует, ибо знает, ценит и полностью доверяет.

ГРИНЯ предлагает прямо приступить к делу, потому что мало ли что.

АГАСФЕР ЛУКИЧ суетливо и хлопотливо извлекает из переполненного портфеля своего розовые бланки страховых свидетельств и принимается за работу.

ГРИНЯ (с некоторой тревогой): «А это на кой хрен понадобилось?»

АГАСФЕР ЛУКИЧ (не переставая бегать пером): «А как же иначе, батенька? Без этого никак нельзя. Это, можно сказать, всему голова».

ГРИНЯ с хмурым недоумением смотрит на Агасфера Лукича, затем лицо его вдруг проясняется, словно он что-то понял.

Я не понимаю ничего, начинаю раздражаться, но пока молчу.

АГАСФЕР ЛУКИЧ, профессионально сияя, вручает Грине «Страховое свидетельство по страхованию от несчастных случаев».

ГРИНЯ (просматривает свидетельство и ухмыляется): «Как раз трешник. Вот потом и вычтешь...»

АГАСФЕР ЛУКИЧ: «Само собой, само собой. Тут у меня все учтено». (Достает из портфеля и кладет перед Гриней большой лист плотной белой бумаги, исписанный от руки чрезвычайно красивым, каллиграфически красивым почерком с наклоном влево.)

ГРИНЯ изнуряюще долго читает текст, шевеля губами, зверски наморщив при этом лоб.

АГАСФЕР ЛУКИЧ приятно улыбается.

Я не знаю, что и думать, испытываю самые неприятные, но решительно неясные подозрения.

ГРИНЯ, дочитав документ по второму разу, с большим сомнением мотает щеками.

АГАСФЕР ЛУКИЧ: «Замечания? Дополнения?»

ГРИНЯ: «Не пойдет так. Не нравится. Тут у вас, например, сказано прямо... (читает вслух) «Передаю мою особую нематериальную субстанцию, независимую от моего тела...» Не пойдет. Насчет субстанции я справки навел, много неясного... Тем более «особая».

АГАСФЕР ЛУКИЧ: «Понял вас. Разумно».

ГРИНЯ: «Во-вторых. Не передаю, а, скажем, отдаю в аренду...»

АГАСФЕР ЛУКИЧ: «На девяносто девять лет».

ГРИНЯ: «Н-н-н... Ладно. Это еще туда-сюда... Тоже, между прочим, могли бы навстречу пойти... Ну, ладно. И главное! (Строго стучит ногтем по бумаге) Прямо здесь должно быть сказано: трешками! Других не приму!»

АГАСФЕР ЛУКИЧ: «Момент!» (Жестом фокусника выхватывает из портфеля и кладет перед Гриней новый роскошный лист, исписанный тем же каллиграфическим почерком.)

ГРИНЯ, подозрительно поглядев на Агасфера Лукича, вновь погружается в чтение.

Я только диву даюсь, на какие ухищрения приходится идти нынешнему страхагенту ради трех рублей; я заметил уже, что первый каллиграфический лист словно растворился в воздухе, на скатерти его больше нет, и неприятные подозрения во мне укрепляются.

ГРИНЯ (прочитав, передает лист мне). «Ознакомься, Корнеич»,— говорит он озабоченно.

Я ознакомливаюсь, и волосы мои встают дыбом.

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

Я, нижеподписавшийся Григорий Григорьевич Быкин, в присутствии свидетеля, названного мною Сергеем Корнеевичем Манохиным, отдаю предъявителю сего в аренду на 99 (девяносто девять) лет, считая с сего 1 августа 19... года, свое религиозно-мифологическое представление, возникающее на основе олицетворения жизненных процессов моего организма, в обмен на 2999 (две тысячи девятьсот девяносто девять) казначейских билетов трехрублевого достоинства образца 1961 года. Каковая сумма должна оказаться в моем распоряжении в течение двадцати четырех часов с момента подписания мною данного акта. *Дата. Подпись.*

Я в полном обалдении принимаюсь читать все сначала.

ГРИНЯ (скворчит у меня над ухом): «Религиозное... это... как его там... религиозное — это одно, не жалко... А субстанция — совсем другое дело, как ты считаешь, Корнеич?»

АГАСФЕР ЛУКИЧ (ласково вещает где-то на краю моего сознания): «Очень разумно, очень здраво поступаете, Григорий Григорьевич».

Я (как всегда, слетевши с рельсов повседневности, оказавшись в положении идиотском и абсолютно фальшивом, перескакиваю в истинно мужскую грубоватую иронию и произношу первую же пришедшую на ум пошлость): «С тебя полбанки, Гриня, в честь такого дела!»

Даже то ничтожное мозговое усилие, которое потребовалось мне, чтобы изрыгнуть вышеприведенную пошлость, оказалось, видимо, в тогдашнем моем состоянии чрезмерным. То ли обморок, то ли прострация овладела мною. Дальнейшее вспоминается мне урывками. И как бы сквозь некую вуаль. Отчетливо помню, однако, как Агасфер Лукич, опасливо отклоняясь, раскрыл портфель, и оттуда, словно из печки с раскаленными углями, шарахнуло живым жаром, даже угарцем потянуло, а Агасфер Лукич, схвативши (видимо, уже подписанный Гринею) акт передачи, сунул его в самый жар, в багрово-тлеющее, раскаленное, и торопливо захлопнул крышку, лязгнув железными замками.

— А не сгорит оно там к ядрене-же́не? — опасливо спросил Гриня, следивший за всей этой процедурой с понятной настороженностью.

— Не должно,— озабоченно ответствовал Агасфер Лукич и наклонил к портфелю живое ухо, как бы прислушиваясь к тому, что происходит там, внутри.

Помню также, что Гриня принялся немедленно и без всякого стеснения нас выпроваживать.

— Давайте, давайте, мужики,— приговаривал он, слегка подталкивая меня в поясницу.— Так ты обещаешь, что под орехом? — спрашивал он Агасфера Лукича.— Или под платаном все ж таки? Осторожно, ступеньки у меня тут крутые...

Агасфер же Лукич отвечал ему:

— Именно под орехом, Григорий Григорьевич. Или уж в самом крайнем случае под платаном...

Затем, помнится, шли мы с Агасфером Лукичом по Теренкуру в кромешной тьме, разнообразенной разве что огоньками светлячков, Агасфер Лукич явственно сопел у меня под ухом, цепляясь за локоть мой, и, помнится, спросил я его тогда, не хочет ли он дать мне какие-нибудь объяснения по поводу происшедшего. Решительно не сохранилось в моей памяти, ответил ли он что-либо, а если и ответил, то что именно.

Сейчас-то я понимаю, что ни в каких ответах и ни в каких таких особенных объяснениях я в ту ночь уже не нуждался. Конечно, многие детали и нюансы были мне тогда непонятны, так ведь они остаются непонятны мне и сейчас. В них ли дело?

Надо сказать, Агасфер Лукич никогда не делал особенной тайны из своих трансакций. Попытки легализовать свою сомнительную деятельность сопутствующими страховыми операциями не могут, разумеется, рассматриваться как серьезные. Они производят впечатление скорее комическое. В главном же Агасфер Лукич всегда был вполне откровенен и даже, я бы сказал, прямолинеен — просто ему не нравилось почему-то называть некоторые вещи своими именами. Отсюда это почти трогательное пристрастие к неуклюжим эвфемизмам, и даже не к эвфемизмам собственно, а к суконным формулировкам, извлеченным из каких-то сомнительных учебных пособий и походно-полевых справочников по научному атеизму. Впрочем, и контрагенты его, насколько мне известно, предпочитали эвфемизмы. Забавно, не правда ли?

Не знаю, существует ли в системе Госстраха понятие «служебная тайна», «тайна вклада» или что-нибудь в этом роде. Во всяком случае, Агасфер Лукич любил поболтать. Без малейшего побуждения с моей стороны он поведал мне множество историй, как правило, комичных и всегда анонимных,— имен своих клиентов Агасфер Лукич старательно бежал. Иногда я догадывался, о ком идет речь, иногда терялся в догадках, а чаще всего догадываться и не пытался. Сейчас все эти истории, вероятно, тщательно анализируются прокуратурой, не буду их здесь приводить. Но не могу не восхититься деловой хваткой зама нашего по общим вопросам товарища Суслопарина и не могу не плакать о судьбе бедного моего друга Карла Гавриловича Рослякова.

Суслопарин был единственным человеком (насколько мне известно), который без стеснения называл все вещи своими именами. Никаких субстанций, никаких религиозных представлений — ничего этого он признавать не желал. Цену он запросил немалую: гладкий, без ухабов и рытвин, путь от нынешнего своего поста через место директора сверхважного завода, главнейшего в нашей области, к, сами понимаете, посту министерскому. Не более, но и не менее. Однако, много запрашивая, немало он и предлагал. А именно, всех своих непосредственных подчиненных с чадами и домочадцами предлагал он в бездонный портфель Агасфера Лукича. Говоря конкретно, предлагались к употреблению: помощник товарища Суслопарина по снабжению И. А. Бубуля; комендант гостиницы-общежития Костоплюев А. А. с женой и свояченицей; племянник начальника обсерваторского гаража Жорка Аттедов, косому все равно в ближайшее время грозил срок; и еще одиннадцать персон по списку.

Самого себя товарищ Суслопарин включать в список не спешил. Он *полагал это несвоевременным*, он выражал опасение, что это было бы неверно понято. Агасфера Лукича казус этот приводил почти в неистовство. По его словам, это было невиданно, неслыханно и беспрецедентно. С этаким он не встречался даже в Уганде, где поселен он был в отдельный дворец для иностранца. Нынешнее же положение его чрезвычайно осложнялось еще и тем обстоятельством, что сделка такого рода никакими нравственны-

ми правилами не запрещалась, но влекла за собой массу чисто технических осложнений и неудобств. Переговоры затягивались, и я так и остался в неведении, чем они завершились.

Совсем в другом роде история разыгралась с Карлом Гаврилычем, директором обсерватории. Я хорошо знал его, мы учились на одном факультете, он был старше меня на три курса. Я играл тогда в факультетской волейбольной команде, а он был страстным болельщиком. Боже мой, как он любил спорт! Как он мечтал бегать, прыгать, толкать, метать, давать пас, ставить блок! От рождения у него была сухая левая рука и врожденный вывих левого бедра. Это печальное обстоятельство плюс ясная, все запоминающая голова определили его жизнь. Он быстро продвигался по научной лестнице и сделался блестящим доктором, когда я еще в ухе ковырял над своей кандидатской. За ним были все мыслимые почести и звания, о которых может мечтать ученый в сорок пять лет, а назначение его директором новейшей, наисовременнейшей Степной обсерватории было даже научными его недоброжелателями воспринято как естественный и единственно правильный акт.

Однако руку ему это не вылечило и хромать он не перестал. Еще какие-то недуги глодали его, он быстро терял здоровье, и когда Агасфер Лукич сделал ему свое обычное предложение, мой бедный Карл не задумался ни на минуту. Фантастические перспективы ослепили его. Обычная жесткая его логика изменила ему. Впервые в жизни не сработал скепсис, давно уже ставший его второй натурой. Впервые в жизни пустился он в азартную игру без расчета — и проиграл.

Мне еще повезло увидеть его в конце того лета, крепкого, сильного, бронзово-загорелого, ловкого и точного в движениях — совершенно преображенного, но уже невеселого. Он только что вернулся из Ялты, где и состоялось с ним это волшебное преображение, где он впервые вкусил от радостей абсолютного здоровья. И где он впервые почуял неладное, когда ему наскучило гонять в пинг-понг с хорошенькими курортницами, и он присел как-то вечерком у себя в номере рассчитать простенькую модель... Строго говоря, я ведь не знаю толком, что с ним произошло. Агасфер Лукич клялся мне, что зловещий портфель здесь совершенно ни при чем, что это просто лопнули от перенапряжения некие таинственные жилы, сплетавшие воедино телесное и интеллектуальное в организме моего бедного Карла... Может быть, может быть. Может быть, и вправду сумма физического и интеллектуального в человеке есть величина постоянная, и ежели где чего прибавится, то тут же соответственно другого и убавится. Вполне возможно. И все-таки мне иногда кажется, что лукавит Агасфер Лукич, что не обошлось здесь без его портфеля, и в раскаленной топке исчезла не только «особая нематериальная сущность» Карла моего Гаврилыча (как названо это в «Словаре атеиста»), но и его «активное движущее начало» (как это названо там же). В конце памятного августа Карл был просто машиной для подписывания бумаг. Я думаю, сейчас он уже спился.

Должен признаться, однако, что в те поры мне было не до него. Собственные проблемы одолевали и угнетали меня, как мучительная хроническая болезнь. Я все придумывал, как бы мне избежать этого самого стыдного пункта моего повествования, но вижу теперь, что совсем избежать его мне не удастся. Постараюсь по крайней мере быть кратким.

В конце концов, если подумать, мне нечего стыдиться. Как бы там ни было, а честь открытия Юго-Западного Шлейфа принадлежит все-таки мне, и одиннадцать шаровых скоплений, которые я обнаружил в Шлейфе, были предсказаны мною заранее — я предсказал, что их должно быть десять — пятнадцать. Этого у меня никто не отнимет, да и не собирается отнимать. И докторская диссертация моя, даже если вынуть из нее главу относительно «звездных кладбищ», все равно останется работой неординарной и вполне достойной соответствующей ученой степени. Другое дело, что претендовал-то я на большее!

Теперь я вижу, что поторопился, надо было выждать. Не надо было писать этой статьи в «Астрономический журнал», и уж вовсе не надо было посылать заносчивое письмо в «Астрономикл лэттэрз». Гордость фрайера сгубила. Очень захотелось быть блестящим, вот что я вам скажу. До смерти надоело числиться вдумчивым и осторожным ученым. Ладно, господь с ним...

Когда Ганн, Майер и Исикава, независимо друг от друга, пошли публиковать — кто в «Астрофизикл джорнэл», кто в «Ройял обзерватори бюллэтенз»,— что эффект «звездных кладбищ» обнаружить им, видите ли, не удалось, это было еще полбеды. Все наблюдения шли на пределе точности, и отрицательный результат сам по себе еще ничего не значил. Но вот когда Сеня Бирюлин рассчитал, как «эффект кладбищ» должен выглядеть на миллиметровых волнах, сам отнаблюдал, ничего на миллиметровых волнах не обнаружил и с некоторым недоумением сообщил об этом на июльском ленинградском симпозиуме,— вот тут я почувствовал себя на сковородке.

Я заново проверил все свои расчеты. Ошибок, слава богу, не было. Но обнаружилось одно место... этакий логический скачочек... К черту, к черту, не хочу сейчас об этом писать. Даже вспоминать отвратительно, какой ледяной холод я вдруг ощутил в кишках в тот момент, когда понял, что мог ведь и просчитаться... Не просчитался, нет, пока еще никто не вправе кинуть в меня камень, но видно уже, что стальная цепь логики моей содержит одно звено не металлическое, а так, бублик с маком. (Стыдно признаться, а ведь я за это звено так до сих пор и не решился потянуть как следует. Не могу заставить себя. Трусоват.)

Тогда, в августе, я даже думать на эту тему боялся. Мне только хотелось, как страусу, зажмурить глаза, сунуть голову под подушку — и будь, что будет. Разоблачайте. Драконьте. Топчите. Жалейте.

Ведь что более всего срамно? Ведь не то, что ошибся, наврал, напахал, желаемое принял за сущее. Это все дело житейское, без этого науки не бывает. Другое срамно — что занесся. Что дырки в лацканах стал проверчивать для золотых медалей, перестал с окружающими разговаривать, принялся вещать. Публично же сожалел (в нетрезвом виде, правда), что по статусу не полагается Нобелевской премии за астрономические открытия! Аспирантика этого несчастного задробил... как бишь его... вот уж и фамилии не помню... А ведь вполне может быть, что он в своей работенке — детской работенке, зеленой — весьма справедливо меня поддел. Это тогда, сгоряча я, кроме глупости да неумелости, ничего в его статейке не углядел, а он как раз, может быть, и ухватился за этот мой бублик с маком, и был это мне первый звоночек, так сказать...

Пути назад у меня были отрезаны, вот что меня губило. Слишком много было наболтано, нахвастано, наобещано, не мог я уже выйти перед всеми и сказать: «Пардон. Обоср...ся». И оставалось мне только одно: ждать и надеяться, что обойдется, что не обгадился я на самом деле, что вот запустят американцы «Эол», и в рентгене все получится по-моему.

Я докатился тогда до состояния такого ничтожества, что не мог даже заставить себя сесть и трезво, холодно просчитать все слабые места заново: да — да,

нет — нет. Куда там! Всех моих душевных сил хватало лишь на то, чтобы лежать на кровати навзничь, заложивши руки под голову. И ждать, пока Сеня перепроверит свои наблюдения на «Луче» или американцы запустят «Эол».

Собственно, именно в таком состоянии у людей и рождаются сумасшедшие, бредовые, фантастические идеи. Только обычно идеи эти перегорают, не оставивши по себе даже копоти, а у меня под боком оказался Агасфер Лукич.

Агасфера Лукича я определил бы как человека широко, но мелко образованного. Обо всем он знает понемногу, но самое замечательное в нем — его понятливость. Понятлив и догадлив, вот как бы следовало его определить. Что такое шаровое скопление — он не знал, не приходилось ему о таком ранее слышать, но стоило объяснить, и он, тут же ухвативши суть, поинтересовался, не искали ли чего-либо необычного в центре этих гигантских звездных колобков, а если искали, то что именно, и нашли ли. Со «звездными кладбищами» оказалось посложнее, все-таки это вещь сугубо специальная, тут он так и остался в некотором недоумении, однако сразу же заметил, что для нашего дела это его недопонимание существенной роли играть не может. Очень быстро схватил он также и самую суть моих неприятностей. Причем, надо отдать ему справедливость, проявил большую деликатность и тонкость чувств,— он напомнил мне чрезвычайно опытного хирурга, умело и деликатно орудующего ножом вокруг самых больных мест, но нимало их не тревожащего.

С деловитостью врача он предложил мне на выбор два апробированных пути излечения моей хвори. Я отвергнул их немедленно, почти без размышлений. Я не слишком высокого мнения о своей личности (особенно в свете происходящего), но и менять ее вот так, за здорово живешь, при первой же серьезной неприятности я не собирался. И вовсе не собирался я ради собственных амбиций водить за нос (всю жизнь!) такое количество ни в чем не повинных и, как правило, вполне симпатичных людей.

Тогда Агасфер Лукич взял у меня ночь на размышление и утром выдал мне третий путь.

Едва он заговорил, я даже вздрогнул: мне показалось, что он угадал мою собственную бредовую идею. Оказалось, однако, нет, не угадал, хотя и его идея была вполне достаточно бредовой. Он предложил организовать относительно небольшие изменения в распределении материи в нашей Галактике с тем, чтобы в обозримом будущем (10^{12}—10^{13} секунд) мою гипотезу нельзя было бы ни опровергнуть, ни подтвердить. Речь шла о подвижках в пространстве сравнительно незначительных масс темной материи и о внеплановом взрыве двух-трех сверхновых, способных существенно исказить наблюдаемую картину в моем Юго-Западном Шлейфе. Главная трудность здесь заключалась в том, что эта работа космологических временны́х и пространственных масштабов должна была сопровождаться мелкими, но чрезвычайно кропотливыми и скрупулезными подчистками в ныне существующих архивах наблюдательной астрономии. Я не совсем понял — зачем, но требовалось непременно создать впечатление, будто новая наблюдаемая картина имела место всегда, а не появилась только что, на глазах изумленных наблюдателей. Этот путь я даже не стал критиковать. Я просто предложил Агасферу Лукичу свой.

Сначала он не понял меня. Потом задумался глубоко. Впервые в жизни я тогда увидел, как изо рта у Агасфера Лукича идет зеленоватый дым,— зрелище по первому разу жутковатое. Потом он встрепенулся от задумчивости и посмотрел на меня с каким-то странным выражением.

Действительно, ведь моя гипотеза «звездных кладбищ» не нарушала ни одного из фундаментальных законов физики. Она могла быть ложной, она могла быть истинной, но она никак не могла быть названа невозможной. Природа вполне могла быть устроена таким образом, чтобы «звездные кладбища» существовали в реальности. И если оказывается, что она устроена не так, то почему бы не вмешаться, буде есть на то желание и соответствующие возможности. Пусть это будет сравнительно редкое явление, я вовсе не настаивал на его метагалактической распространенности. В конце концов возьмите фуоры. Во всей Галактике их обнаружено несколько штук. Редкость. Особое сочетание физических условий. Вот и с моими «кладбищами» пусть будет так же. Только пусть они будут (если их нет). А все свои расчеты я готов предоставить по первому требованию.

Дико и нелепо устроен человек. Ну, казалось бы, чем мне тут гордиться. А я горжусь. Удалось мне озадачить Агасфера Лукича. Забегал он у меня, засуетился, заметался. Признался, что такое ему не по плечу, но обещал в ближайшее же время навести справки.

Вот так, на трагикомическом уровне, определилась нынешняя судьба моя. И теперь сижу я на шершавом испачканном топчане, за окном постоянный ноябрь, белые мухи, в комнате жарко, хотя батареи еще не продуты,— пишу эти записки, не адресуя их никому, трепетно жду, когда ударят в космическом мраке Кабинета шаги моей сегодняшней судьбы.

Вот сейчас вспомнилось ни с того ни с сего. Гриня повадился каждый день разменивать в столовой новехонькую трешку и, как стало широко известно, записался в месткоме на «семерку-жигули»... Следователь районной прокуратуры, который допрашивал меня, деликатно, но весьма настойчиво добивался, не замечал ли я в последнее время каких-либо перемен в характере, поведении и образе жизни гражданина Быкина Г. Г. Меня и самого интересовал этот вопрос. Мне и самому было болезненно интересно узнать, что же происходит в конечном итоге с людьми, «ставшими жертвами жульнических махинаций гражданина Прудкова А. Л., выдававшего себя за сотрудника системы Государственного страхования». Так что я ничем не мог помочь товарищу следователю, я только честно признался ему, что сам жертвой упомянутых махинаций не стал. По-моему, он мне не поверил. Во всяком случае, прощаясь, он с довольно неприятным видом пообещал, что мы еще встретимся.

Но мы, конечно, никогда больше не встретимся.

5. Этот был рослый, выше меня на голову, в длинном кожаном...

ДНЕВНИК. 14 июля.

Вчера ничего не записывал, потому что весь день работал в 4-й детской. По-прежнему самое мучительное и невыносимое для меня — ассистировать при операциях. Поэтому вызвался на все шесть и четыре благополучно проассистировал, а перед пятой Борисыч прогнал меня в палаты носить горшки и приходить в себя.

В лицей вернулся в начале десятого без задних ног и сразу завалился. Думал, просплю до утра. Фигушки. В два часа ночи приперся Михей, распираемый впечатлениями. Он, оказывается, ходил с Пашкой и Иришкой слушать этого пресловутого Вегу Джихангира. Они от него в рептильном восторге. Набрался полный стадион народу. Джихангир ревет. Синтезаторы ревут. Народ ревет. Прожектора. Синхролайтинги. Петарды рвутся. И так четыре часа подряд.

Потом взвалили себе на плечи своего Джихангира и понесли в гостиницу через весь город.

Ни одной Джихангировой песни Мишель, конечно, не запомнил, но зато на обратном пути университетские студиозусы обучили его своему боевому маршу, который начинается так:

Рехо, рехо, рехо-хо-хо-хо-хо!
Ага-него, нам-нам-нам-нам,
Первачки на-а-ам!
А ну-ка демо! А шервервумба!
А шервервумба, вумба-вумба,
цум-бай-квале,
тольмицдадо,
Цум-бай-квале, цум-бай-ква...

И так далее. О, эти ташлинские титаны духа! Мишель никак не мог остановиться, я не выдержал и все-таки заснул. В результате утром проспал.

До обеда прилежно писал отчет-экзамен.

Доброта и милосердие. Разумеется, понятия эти пересекаются, это ясно. Но есть какое-то различие. Может быть, в отношении к понятию «активность»? Доброта больше милосердия, но милосердие глубже. И милосердие в отличие от доброты всегда активно. Литература по этой теме огромна и бесполезна. Если выпарить это море слов, останется чайная ложка соли. Воробьиная погадка. Надо бы спросить Г. А.: почему наиболее интуитивно ясные понятия более всех прочих оболтаны за истекшие двадцать веков? *(ПРИПИСКА 16 июля.* Г. А. сказал: потому что интуиция — в подкорке, а понятие — в коре. Непонятно. Надлежит обдумать.)

После обеда Г. А. послал меня в библиотеку читать последний выпуск «Логики...». В чем дело? Оказывается, он недоволен, как идут у меня по логике Санька-Ёжик и Сева Кривцов. Здрасьте вам! А я-то был уверен всегда, что они у меня идут на десять баллов. Я человек скромный и себя хвалить не терплю, но если у меня что хорошо, то хорошо. Оказывается, нет. Нехорошо у меня. Мы с ним поспорили. Я слово, он два. Ладно. Пошел в библиотеку, поднял «Логику...» за последний год. Все-таки Г. А.— бог. Сам он всегда убеждает нас, что главное — не знать, а понимать. Но ведь он-то вдобавок и ЗНАЕТ! Все знает! И бес, посрамлен бе, плакаси горько.

В «Молодежных новостях» сообщение про вчерашний концерт Джихангира: «Встреча с новой песней». С подъемом описывается радость, испытанная городскими любителями синхрозонга, от встречи с популярнейшим и любимейшим Марко да-Вегой. Новые тексты... новая манера... совершенно новое сопровождение... «К сожалению, конец этой волнующей встречи был омрачен хулиганскими выходками наиболее незрелой части слушателей. Кто бы ни был инициатором этих выходок — заезжие «дикобразы», местные фловеры или просто загулявшие студенты,— прощения и оправдания им быть не может. Мы уверены, что милиция с помощью общественности в ближайшее же время установит и строго накажет распоясавшихся хулиганов».

В «Городских известиях» колонка под названием «Ночной пандемониум». Никакого праздника синхрозонга на стадионе не было. Был омерзительный шабаш. Четырехтысячная толпа, состоящая главным образом из так называемых фловеров, устроила отвратительное побоище, сопровождавшееся актами вандализма. Стадиону нанесен значительный ущерб. Изуродовано несколько автомашин. В окрестных постройках не осталось ни одного целого стекла. Несколько десятков искалеченных хулиганов доставлены в больницы. Несколько десятков задержаны. Органы милиции ведут расследование. Газета не раз выступала против приглашений в наш город этих так называемых «властителей дум». Нынешний ночной пандемониум — лишнее, хотя и печальное, доказательство ее правоты.

Иришка с Мигелем утверждают, что ничего подобного не было. Все было очень громко, но вполне мирно.

Кому верить?

На сон грядущий пошли поболтать с Г. А. Серафима Петровна подала пирог-плетенку с абрикосовым вареньем. Сначала болтали о том о сем, а потом вдруг выяснилось, что разговор идет о преступности. (Ни минуты не сомневаюсь, что на эту тему повернул нас Г. А. Но в какой момент? Каким образом? И почему я опять этот поворот прозевал?)

Я считаю, что в наше время существуют три главных фактора, которые в сочетании делают человека преступником. Во-первых, система воспитания не сумела выявить у него направляющего таланта. Человек оставлен вариться в собственном соку. Во-вторых, он должен быть генетически предрасположен к авантюре: риск порождает в нем положительные эмоции. В-третьих, духовная нищета, духовные запросы подавлены материальными претензиями. Вокруг полно прекрасных вещей: автомобили, птеры, роскошные девочки, жратва, наркотики в конце концов. Зарабатывать все это невыносимо скучно и тяжко, потому что любимой работы у него нет. Но очень хочется. И он начинает брать то, что по существующему праву ему не принадлежит, рискуя свободой, жизнью, человеческими условиями существования, причем делает это не без удовольствия, а может быть, и с наслаждением, потому что риск у него — в генах.

Конечно, это самая грубая схема, не учитывающая никаких нюансов, да и великого множества разнообразных социальных и личных обстоятельств. Однако основную массу насильственных преступлений такая схема, по-моему, объясняет.

Аскольд: существует ли талант к преступлению? В конце концов разработка и исполнение преступного замысла — это в самом широком смысле слова игра, требующая незаурядных творческих способностей, своеобразных эстетических данных и психологической проницательности.

Возможно. Не спорю. Наше дело — устроить так, чтобы ему было интереснее играть в любую игру, но не в эту. А если общество не в состоянии предложить ему ничего, кроме как есть хлеб свой в поте кислой физиономии своей, то немудрено, что он предпочитает играть в казаки-разбойники и норовит ходить по краю. Вот если бы мы умели с младых ногтей привить ему человечность и милосердие, это было бы самой надежной прививкой и против бездуховности, и против тяги к преступному риску. Да что толку говорить об этом, если мы все равно этого не умеем делать сейчас так же, как тысячу лет назад!

«Пересадить свою доброту в душу ребенка — это операция столь же редкая, как сто лет назад пересадка сердца».

Г. А. сказал как бы между прочим: закон никогда не наказывает ПРЕСТУПНИКА. Наказанию подвергается лишь тварь дрожащая — жалкая, перепуганная, раскаивающаяся, нисколько не похожая на того наглого, жестокого, безжалостного мерзавца, который творил насилие много дней назад (и готов будет творить насилие впоследствии, если ему приведется уйти от возмездия). Что же получается? Преступник как бы ненаказуем. Он либо уже не тот, либо еще не тот, кого следует судить и наказывать... Слава богу, хоть смертная казнь у нас упразднена!

РУКОПИСЬ «ОЗ» (5—9)

5. Этот был рослый, выше меня на голову, в длинном кожаном пальто. Войдя, он снял огромную мехо-

вую шапку и, пригладив прическу ладонью, проговорил негромко:

— Колпаков. Мне назначено на семнадцать.

Он отряхнул шапку от мокрого снега, положил ее на столик под зеркалом, снял пальто («Благодарю вас, я сам...») и аккуратно, любовно повесил его на распялку.

Мы прошли в Приемную. Он шагал широко, бесшумно, на каждом шаге слегка подаваясь по-куриному туловищем вперед, и непрерывно мыл ладони воздухом. В Приемной он бегло, но цепко огляделся, как бы приценяваясь к обстановке, а когда я предложил ему кресло, он сел с видом человека, готового долго и терпеливо ждать. Если он и волновался, то волнение свое умело скрывал. Он даже ладони перестал умывать. Я сел на свое место и сказал:

— Можете говорить.

Он снова огляделся, теперь уже с некоторым недоумением, но быстро сориентировался (он, видимо, вообще умел быстро ориентироваться) и заговорил. Я смотрел, как он говорит, и мне почему-то вспомнилось, что Юрий Павлович Герман называл таких людей «красивый, но вьялый». Такой рослый, такой благообразный, такой русый, и широкие плечи, и кровь с молоком, и глаза вполне стальные, а в то же время какая-то бледная немочь во всем: движения плавно-замедленные, голос тихий, интонации умеренные. Умеренность — его лозунг. Умеренность и аккуратность.

Говорил он в пространство перед собой. (Как, откуда узнал он, что не я его собеседник, а ведь, кроме меня, в Приемной никого не было!..) Говорил, словно на докладе у начальства,— на память, не сбиваясь, но и не увлекаясь чрезмерно, только время от времени, в особенности когда шли цифры, поглядывая в шпаргалочку, оказавшуюся незаметно у него в ладони. И хотя не предпосылал он своему докладу никакого названия, после первых же двух-трех периодов стало ясно, что речь идет о «Необходимых организационных и кадровых мероприятиях для подготовки и проведения кампании по Страшному суду».

Говорил он по моему секундомеру почти десять минут — восемнадцати секунд не хватило для ровного счета. Закончив, осторожно положил свою шпаргалочку на полированную поверхность трюмо рядом с пепельницей и смирно свел пальцы больших белых рук у себя на коленях.

Демиург молчал целую минуту, прежде чем задал первый свой вопрос.

— Надо понимать, Зверь из моря — это лично вы? — спросил он.

Колпаков заметно вздрогнул, но отозвался тотчас же, без малейшего промедления:

— Возражений не имею.

Демиург вдруг очень красиво процитировал — нарочито бархатным, раскатистым голосом профессионального актера старой школы:

— «Зверь был подобен барсу; ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва; и дал ему Дракон силу свою, и престол свой, и великую власть...» Дракон, надо понимать,— это я?

Колпаков позволил себе бледно усмехнуться.

— Не могу согласиться, извините. В данном штатном расписании это уж скорее товарищ Прудков. Агасфер Лукич.

Полная тишина была ему ответом, и усмешка пропала с бледного лица, и оно стало еще бледнее. Потом Демиург заговорил снова:

— «...И поклонились Зверю, говоря: кто подобен Зверю сему и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца». У вас губа не дура, Колпаков.

— В некоторых переводах стоит: «сорок два года»,— чуть повысив голос, возразил Колпаков.

— И вы, разумеется, предпочитаете именно эти переводы. Да, губа у вас не дура. И как вы намерены развязать Третью и последнюю? Конкретно!

— Мне кажется, один случайный запуск... одно случайное неудачное попадание... Мне кажется, этого уже достаточно было бы...

— Во-первых, недостаточно! — загремел Демиург.— Во-вторых, если вы даже сумеете организовать бойню, понимаете ли вы, чем она кончится? Послушайте, вас вообще-то учили, что через шесть месяцев погибнет от девяноста пяти до девяноста восьми процентов всего населения? Вы перед кем, собственно, намерены «гордо и богохульно» говорить на протяжении сорока двух месяцев... я уж не скажу — лет?

На физиономии Колпакова не осталось ни кровинки, однако он и не думал сдаваться.

— Прошу прощенья,— произнес он с напором,— но ведь у меня и намерения такого не было — конкретизировать начало хаоса. Мне казалось всегда, что это как раз — на ваше усмотрение! И железная саранча Аваддона... и конные ангелы-умертвители... и звезда Полынь... Вообще весь комплекс дестабилизирующих мероприятий... Я как раз не беру на себя ответственность за оптимальный выбор...

— Он не берет на себя ответственность,— грянул Демиург.— Да ведь это же главное, неужели не ясно — оптимальный выбор! Максимум выживания козлищ при минимуме агнцев!

— Позвольте же заметить! — не сдавался Колпаков.— Был бы хаос, а все остальное я беру на себя, у меня агнцев вообще не останется, ни одного! Что же касается организации хаоса... Согласитесь, это совсем вне моей компетенции!

— Так уж и вне...— произнес Демиург саркастически.— Вон чего вокруг насочиняли... Кстати, а что такое в вашем понимании агнцы?

И опять не дрогнул Колпаков. И опять он ответил как по писаному:

— Насколько мне доступно понимание высших целей, это сеятели. Сейте разумное, доброе, вечное. Это про них сказано, как я понимаю.

— Ясно,— произнес Демиург.— Можете идти. Сергей Корнеевич, проводите.

Я встал. Колпаков все еще сидел. Красные пятна разгорались у него на щеках. Он разлепил было губы, но Демиург сейчас же сказал, повысив голос:

— Проводить! Пальто не подавать!

И поднялся бедный Колпаков, и пошел, понурившись, в прихожую, и снял с распялки роскошный свой черный кожан, и принялся слепо проталкивать руки в рукава, и мужественная челюсть его тряслась, а вокруг реял невесть откуда взявшийся Агасфер Лукич с портфелем на изготовку и говорил как заведенный — ворковал, курлыкал, болботал:

— Не огорчайтесь, батенька, ничего страшного, не вы первый, не вы последний, откуда нам с вами знать, может, оно и к лучшему... Сорок два года все-таки,— такой труд, такая работа, напряжение адское, ни минуты отдыха, никакой расслабленности... Да господь с ними, с этими глобальными мероприятиями!.. Ведь пришлось бы руку поднять на отечество свое, на все человечество! Стоит ли? Не лучше ли подумать прежде всего о себе, что вам лично нужно? Так сказать, персонально... в рамках существующей действительности... не затрагивая никаких основ... Скажем, заведующий отделом, а? Для начала, а?

Они вывалились из квартиры, Агасфер Лукич вел Колпакова, обнимая его ниже талии и заглядывая ему в лицо снизу вверх, все ворковал, все болботал, все курлыкал. Я слышал, как они медленно спускают-

ся по лестнице, Колпаков, видимо, опомнясь, принялся что-то отвечать высоким обиженным голосом, но слов уже было разобрать невозможно из-за лестничной реверберации.

Я запер дверь, вернулся в Приемную, поправил сдвинутое кресло, взял с трюмо забытую шпаргалку и попытался было ее прочитать, но ничего там не разобрал, кроме каких-то бессмысленных «убл», «опр», «II сзд». Я прошел в Комнату и уселся на топчан в ожидании приказаний. Приказаний не было, не было и обычных ворчливых комментариев. Черная крылатая глыба у окна была нема и неподвижна, как монумент Отвращения. Потом вернулся Агасфер Лукич, запыхавшийся от подъема на двенадцатый этаж и очень довольный. Швырнув портфель в угол, он уселся рядом со мной и сказал:

— Это тот случай, когда я не испытываю никакого удовлетворения. Фактически я его обманул. Не нужны ему те мелочи, дребедень эта, которую я ему всучил... Ему Великое служение нужно! Он создан для служения! Чтобы всех, кто под ним,— в грязь, но и сам уж перед вышестоящим — в пыль... А я ему — дачу в Песках...

Демиург произнес, не оборачиваясь:

— Все они хирурги или костоправы. Нет из них ни одного терапевта.

По-моему, это тоже была цитата, но я не сумел вспомнить, откуда, и, наверное, поэтому не понял, что он хотел сказать.

6. Разговоры об истории. О новой истории, о новейшей истории и особенно часто — об истории древней. Агасфер Лукич знает из истории все. Есть у него один-два пробела (например, Центральная Америка, шестой век,— «тут я несколько поверхностен»...), но в остальном он совершенно осведомлен, захватывающе многоглаголен и нарочито парадоксален. «Не так все это было,— любит пригонаривать он.— Совсем не так».

Иуда. Да, был среди них такой. Жалкий сопляк, мальчишка, присливый гусенок. Какое предательство?! Перестаньте повторять сплетни. Он просто делал то, что ему велели, вот и все. Он вообще был слабоумный, если хотите знать...

«Не мир принес я вам, но меч». Не говорилось этого. «Не мир принес я вам, но меч...ту о мире»,— это больше похоже на истину, так сказано быть могло. Да, конечно, по-арамейски подобная игра слогов невозможна. Но ведь по-арамейски и сказано было не так. «Не сытое чрево обещаю я вам, но вечный голод духа». Причем так это звучит в записи человека явно интеллигентного. А на самом деле вряд ли Учитель рискнул бы обращаться с такими словами к толпам голодных, рваных и униженных людей. Это было бы просто бестактно...

Конечно же, Он все знал заранее. Не предчувствовал, не ясновидел, а просто знал. Он же сам все это организовал. Вынужден был организовать.

«Осанна». Какая могла быть там «осанна», когда на носу Пасха, и в город понаехало десять тысяч проповедников, и каждый проповедует свое. Чистый Гайд-парк! Никто никого не слушает, шум, карманники, шлюхи, стража сбилась с ног... Какая могла быть там проповедь добра и мира, когда все зубами готовы были рвать оккупантов, и если кого и слушали вообще, то разве что антиримских агитаторов. Иначе для чего бы Он, по-вашему, решился на крест? Это же был для Него единственный шанс высказаться так, чтобы Его услышали многие! Страшный поступок и страшный поступок, не спорю. Но не оставалось Ему иной трибуны, кроме креста. Хоть из обыкновенного любопытства должны же были они собраться, хотя бы для того, чтобы просто поглазеть,— и Он сказал бы им, как надо жить дальше. Не получилось. Не собралось почти народу, да и потом невозможно это, оказывается,— проповедовать с креста. Потому что больно. Невыносимо больно. Неописуемо.

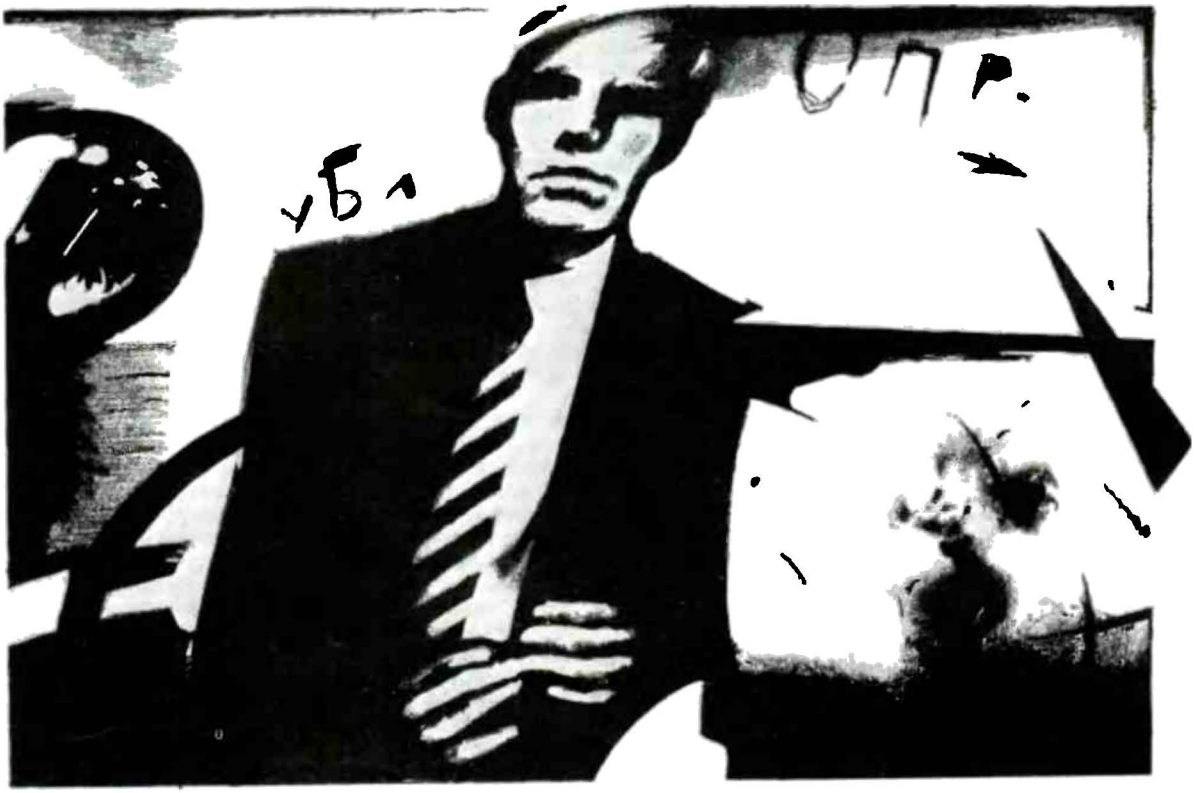
7. ...Я был в полном отчаянии. Видимо, начиналась уже истерика. Я собою не владел. Не помню, как я оказался на лестничной площадке. В ушах гудело — то ли бешеная кровь накручивала спирали в помраченном мозгу моем, то ли перекатывалось в лестничных пролетах эхо от удара двери, которую я изо всех сил за собой захлопнул.

Весь трясясь, но уже в себе, я спустился на этаж ниже и присел на калорифер. Ледяное железо резало зад, но не было сил стоять, и даже не в силах дело — в голову мне не приходило встать на ноги. Я весь сосредоточился на процессе закуривания. Шарил по карманам, ища мундштук. Долго извлекал сигарету из пачки прыгающими пальцами, сломал две, прежде чем вставил в мундштук третью. Потом принялся ломать спички одну за другой, но закурить в конце концов удалось, и, едва успев сделать первую затяжку, я услышал шаги.

Кто-то поднимался по лестнице, да так бодро, с энергичным, напористым шарканьем одежды, мощно, по-спортивному дыша и даже напевая что-то вместе с дыханием, что-то классическое — не то «Рассвет на Москве-реке», не то «Боже, царя храни». И я подумал злобно: это же надо, какой веселый, энергичный клиент у нас пошел, наверняка с какой-нибудь особенной гадостью, с гадостью экстра-класса, с такой гадостью, чтобы уж всех вокруг затошнило, чтобы женщины плакали, сами стены блевали и сотня негодяев ревела: «Бей! Бей!»...

Он увидел меня и остановился пролетом ниже. Фигура моя здесь, на лестнице, застала его врасплох. Теперь ему надлежало немедленно принять респектабельный и, по возможности, внушительный вид, дабы сразу было ясно, что перед вами не шантрапа какая-нибудь, не горлопан из молодежного клуба, не полоумный прожектер какой-нибудь, а человек солидный, личность со значительным прошлым, с весом, со связями, готовый предложить, отдать, пожертвовать идею, которую он глубоко продумал в тиши своего личного кабинета и отшлифовал в диспутах с людьми заслуженными, излюбленными и высокопоставленными. Белесовато-бесцветная, квадратная физиономия его с остатками юношеского румянца на щеках, как бы присыпанных пудрой, наглые васильковые глаза с пушистыми ресницами педераста мимолетно показались мне знакомыми,— где-то я видел этот притворный набор — то ли в рекламном ролике, то ли на плакате... Я не захотел вспоминать. Я слез с калорифера и, зажавши мундштук в углу рта, чувствуя, как немеют у меня от злобы челюсти, пошел спускаться ему навстречу и вдруг поймал себя на том, что на ходу судорожно похлопываю раскрытой ладонью по перилам.

Он быстро сорвал легкомысленно сдвинутую на затылок шляпу, прижал ее к груди и коротко, по-белогвардейски, дернул головой, отчего белобрысые волосы его слегка рассыпались. И уже явственно проступил на его поганой морде приличествующий джентльменский набор: солидность, печать значительного прошлого, отсвет глубоко продуманной идеи. И вот тогда я его вспомнил. Это был Марек Парасюхин по прозвищу Сючка, мы вместе кончали десятый класс, а потом он, окончивши все, что полагается, стал литсотрудником тоненького молодежного журнальчика с сомнительной репутацией, раскаживал в черной коже (не подозревая, конечно, по серости, что это форма не только эсэсовских самокатчиков, но и американских «голубеньких»), публиковал статейки,



в коих тщился реабилитировать Фаддея Булгарина, либо доказывал кровное родство князя Игоря и Одиссея Итакского, а в анкетах в графе «национальность» неизменно писал «великоросс». И известно мне было, что в определенных кругах на него рассчитывают.

— Ты зачем сюда приперся, скотина? — произнес я перехваченным голосом, надвигаясь на него.

Против света не видел он моего лица и узнать меня не мог, и теперь, задним числом, я понимаю, что до определенного момента он воспринимал все мои слова и действия как своего рода проверку, искус своего рода. Он приятно осклабился и ответил:

— Явился по вызову. Моя фамилия Парасюхин, честь имею.

— Сука ты, дрянь поганая,— произнес я, с наслаждением беря его за манишку.

Улыбка его несколько побледнела, но он продолжал рапортовать:

— Готов к докладу. Имею проект, предварительно одобренный...

— Какой еще проект? — просипел я, наматывая его манишку на кулак. Глаза у меня застилало. Отвратительное чувство априорной безнаказанности владело мною. Ведь вся эта погань испытывает наслаждение, не только издеваясь над теми, кто попал ей в лапы, она же наслаждается и собственным своим унижением в лапах того, кого считает выше себя.

Парасюхин только пискнул: «Однако же... Позвольте...» — и тут же продолжал:

— Имею проект полного и окончательного решения национального вопроса в пределах Великой России. Учитывая угрожающее размножение инородцев... учитывая, что великоросс не составляет уже более абсолютного большинства... На новейшем уровне культуры и технологии... Без лишней жестокости, не характерной для широкой русской души, но и без послаблений, вытекающих из того же замечательного русского свойства... Право же... мне немножко дышать... неудобно... Особое внимание уделяется проблеме еврейского племени. Не повторять ошибок святого Адольфа! Никаких «нутциге юде»...

Я врезал ему левой между глаз, да так, что сразу отшиб себе все косточки в кулаке. Руку мне пробило болью до самого плеча. Он болезненно охнул и замолчал. Мы раскачивались на площадке, лицо в лицо, тяжело дыша, как борцы на ковре. Я тянул его правой рукой за манишку к себе (совершенно непонятно, зачем, мерзко подумать, что целился я вцепиться зубами ему в нос), левая рука моя висела плетью, она хотела бить, но не могла, а он слабо упирался, из расквашенного носа у него текло, одичавшие глаза разъезжались. Но он нашел в себе силы снова изобразить улыбку и продолжить:

— Полуостров Таймыр переименовать в Новую Галилею... или Галилею Ледовитую... Район, давно уже требующий решительного освоения... и никому не будут мозолить глаза... Третья мировая уже идет... сионизм против всего мира...

Я швырнул его по лестнице вниз и бросился следом. Я гнал его уцелевшим кулаком и пинками пролет за пролетом, а он все не понимал, все пытался оправдаться, лицо его было разбито в кровь, ни единой пуговицы не осталось на пальто, шляпа пропала. Но каждый раз, оторвавшись от меня на расстояние вытянутой ноги, он хватался за перила, истово выкатывал глаза и визжал свое:

— Язву смешанных браков — каленым железом... Поздно будет... Поздно же будет, россы!..

И вдруг на каком-то этаже он меня узнал. Он завизжал, как женщина, и огромным прыжком оторвался от меня на целый пролет. А у меня уже и сил не было. Я сел на ступеньки и, кажется, заплакал — от боли в руке, от тоски, от безнадежности.

Он стоял на площадке пролетом ниже, расхлюстанный, весь в черных пятнах, судорожно раскорячив

руки и оскалив окровавленные зубы, глядел на меня снизу вверх и повторял, не находя слов:

— А ты... А ты... А ты...

И я глядел на него сверху вниз и с отчаянием думал, что вот опять я ничего не могу, даже сейчас, когда всего-то и надо, что раздавить мерзкую поганку, когда, казалось бы, все в моих руках, только от меня и зависит, и никто мне помешать не успеет, не посмеет мне никто помешать, но — не могу. Слаб, заморочен, скован, сам себя повязал по рукам и ногам взаимоисключающими принципами... «Раздави гадину...» — «Не убий...». «Если враг не сдается...» — «Человек человеку — друг...». «Человек по натуре добр...» — «Дурную траву с поля вон...». И ведь подумать только, который месяц уже нахожусь я у источника величайшего могущества, давным-давно смог бы устроить свою судьбу, и не только свою, и не только своих близких — судьбы мира мог бы попытаться устроить! И ведь ничего...

И тут он, Сючка поганая, непотребная, нашел, наконец, нужные слова и прошипел радостно:

— То-то жена у тебя полупархатая! Прихвостень жидовский...

Я кинулся на него сверху. Убить. Наверное. Я еще успел увидеть вскинутую руку его, и сразу же, одновременно,— лиловая вспышка, треск выстрела и страшный удар в голову.

Теперь мне кажется, что я тогда нисколько не удивился. У меня и в мыслях не было, что такая тля, как Парасюхин, может быть вооружена. Но когда он выстрелил, это меня нисколько не удивило.

Очнулся я на своем рабочем месте. Раскрытый бювар. Набор шариковых ручек. Календарь. Шестнадцатое ноября. Толстый красный фломастер и тонкий черный. Все было готово к работе.

Клиент, правда, к работе готов еще не был. Он ворочался в своем кресле, хлюпал носом, болезненно тянул воздух сквозь зубы и промакивал лицо мокрым испачканным платком. Никаких тезисов на столе перед ним не усматривалось — то ли не успел он их еще вынуть, то ли знал свое дело наизусть.

Голова моя, в особенности с правой стороны, разламывалась от боли, и, поднеся осторожную руку к виску, я обнаружил, что обмотан толстым слоем бинта — вокруг всей головы и вокруг шеи.

Голос Демиурга грянул:

— Кстати, откуда у вас пистолет?

Клиент с достоинством продекламировал:

— Всякая истинная идея должна уметь защитить себя. Иначе грош ей цена.

И с шумом потянул в себя кровавые сопли.

Телефон квакнул над моей многострадальной головой. Я снял трубку.

— Я поздравляю вас, Сергей Корнеевич,— сказал Демиург.— Вы получили контузию у меня на службе. Вы должны знать, что это вам зачтется. Однако в дальнейшем я попрошу вас обходиться без рукоприкладства. Я же ведь — обхожусь!

— Да,— сказал я.

— А теперь распорядитесь,— сказал Демиург,— чтобы клиент приступал. И чтобы покороче.

Я повесил трубку и сказал клиенту:

— Приступайте, пожалуйста. И постарайтесь быть кратким.

8. Рассказывают, что, когда товарищу Сталину демонстрировали только что отснятый фильм «Незабываемый 1919-й», атмосфера в просмотровом зале с каждой минутой становилась все более напряженной. На экране товарищ Сталин неторопливо переходил из одной исторической ситуации в другую, одаряя революцию единственно верными решениями, и тут же суетился Владимир Ильич, то и дело озабоченно произносящий: «По этом поводу вам надо посоветоваться с товарищем Сталиным»,— все было путем, но лицо Вождя, сидевшего по обыкновению в заднем ряду с погашенной трубкой, порождало у присутствующих все более тревожные предчувствия. И когда фильм окончился, товарищ Сталин с трудом поднялся и, ни на кого не глядя, произнес с напором: «Нэ так всо это было. Савсэм нэ так».

Фильм, впрочем, прошел по экранам страны с обычным успехом и получил все полагающиеся премии.

9. Так вот: не так все это было, совсем не так.

10. Иоханаан Богослов родился в том же году, что и...

ДНЕВНИК. 16 июля.

Сегодня утром, когда я возвращался из столовой, в большом коридоре на меня с разбегу налетел какой-то юнец, по виду — типичный к у с т,— весь в зеленом и пятнистом, босой, и полна голова репьев. Налетел он на меня с такой силой, что репьи посыпались во все стороны, и стал выпытывать, где ему найти Г. А. Сначала я не хотел его осведомлять, потому что знал, что Г. А. сейчас сидит у себя в кабинете и проверяет наши тест-программы. Но куст шумел, трепыхался, размахивал ветвями и чуть не плакал. Правая щека у него была заметно больше и румянее левой, мне стало его жалко, и я на нем сосредоточился. Ничего не удалось мне разобрать в его потемках, кроме бурлящего там беспокойства, граничащего с отчаянием, и я отвел его к Г. А.

Я уже забыл об этом происшествии, как вдруг Г. А. зашел ко мне и произнес обычное: «Пойдемте со мною, Князь».

Лицо Г. А. ничего не выражало, кроме обычной благожелательности. Пока мы шли по бульвару, он не уставал раскланиваться со всеми встречными и поперечными и раз даже остановился поболтать с какой-то раскрашенной старухой лет пятидесяти, но я-то чувствовал (даже не сосредоточиваясь), что он озабочен, причем озабочен сильно, гораздо сильнее обычного. И тогда я вспомнил о том кусте и спросил Г. А., чего ему было надо. Г. А. ответил, что я скоро сам все пойму, и мы вошли в горисполком.

Мы пришли прямо в кабинет к мэру, нас, видимо, ждали, потому что секретарша без лишних слов тут же распахнула перед Г. А. дверь.

Мэр уже шел нам навстречу по ковровой дорожке, разнообразными жестами выражая радушие. (Мне он сказал: «Я тебя помню, ты Вася Козлов». Мы с Г. А. не стали его поправлять.) Мэр тоже был озабочен, и это тоже было видно невооруженным глазом. Они с Г. А. сели лицом друг к другу за стол, а я скромно примостился у стены. Последовавший разговор я конспектировал и привожу его довольно близко к тексту.

Мэр начал было о погоде, но Г. А. его сразу же деликатно прервал — похлопал его ладонью по руке и сказал: «До меня дошли слухи, что готовится некая акция против Флоры. Это правда?»

Мэр сразу же перестал радушно улыбаться, отвел глаза и стал мямлить в том смысле, что да, есть кое-какие соображения по этому поводу. «Я слышал, что вы намерены их прогнать»,— сказал Г. А. Мэр промямлил в том смысле, что прогнать — не прогнать, а формируется такое мнение, что надо бы их попросить — и из самого города, и из-под города, и вообще. «А если они не согласятся?» — спросил Г. А. «Так в этом-то все и дело!» — сказал мэр с горячностью.

Г. А. спросил, кто это затевает и с чего это вдруг. Мэр сказал, что по поводу этой распроклятой Флоры

на него давят со всех сторон уже давно, а теперь, после этого распроклятого концерта на стадионе, все словно взбеленились. Г. А. сказал, что, по его сведениям, ничего особенного на концерте не произошло. Мэр возразил: как-никак четверо покалечены, стекол побили тысяч на пять, автобус перевернули, две легковушки помяли — в общем и целом тысяч на пятнадцать.

Г. А. А при чем здесь Флора?

Мэр. Там было полно фловеров. Все четверо пострадавших — фловеры.

Г. А. Там же были не только фловеры. Там были студенты, рабочая молодежь, солдаты. Там были «дикобразы».

Мэр. «Дикобразов» след простыл, а фловеры твои — тут как тут. Всем мозолят глаза и всем жить мешают.

Г. А. осведомился, кому персонально мешают жить фловеры. Выяснилось, что главный противник пригородной Флоры — завгороно Ревекка Самойловна Гинсблит. Она и сама-то рвет и мечет, а вдобавок ее подзуживают и растравливают остервеневшие родители. Флора притягивает ребятишек как магнитом. Бегут из дома, бегут с занятий, бегут из спортлагерей. Жуткие манеры, жуткие моды, жуткие нравы, ничего не читают, даже телевизоры не смотрят. Масса сексуальных проблем, страшные вещи происходят в этой области. И наркотики! Вот что самое страшное!

Далее — милиция. Милиция утверждает, что половина всех хулиганских проступков и три четверти мелких краж в городе, если брать два последних года,— дело рук фловеров. И вообще Флора ежедневно и ежечасно порождает преступность. Вдобавок на милицию жмут производственники, у которых прогулы и текучесть молодежных кадров, клубники, комсомол, жилконторы, ветераны, дружинники, кооператоры, итэдэшники. Все это сидит у мэра на шее уже больше двух лет, а сейчас все словно с цепи сорвались, и он, мэр, боится, что вот-вот дойдет до насильственных действий, чего он, мэр, не терпит и терпеть не намерен. Он, если хотите знать, и в отставку может подать в такой вот ситуации, благо сессия на носу...

Г. А. Подавать в отставку ни в коем случае нельзя. И руки заламывать тоже нельзя, в тоске и печали. Ты — мэр, ты обязан контролировать ситуацию. Ты — первый человек города, ты — лицо города. Тебя для этого выбирали. Если ты уступишь этим экстремистам, позор на всю Россию, на весь мир позор.

Мэр. Меня убеждать не надо. Ты их попробуй убеди.

Г. А. Будь покоен. А я хочу быть спокоен, что не подведешь ты.

Мэр. Это для тебя они экстремисты, а для меня — ближайшие помощники, мне с ними работать и работать, я без них как без рук. А страшнее всего, если хочешь знать,— родители! С ними не поговоришь, как с тобой или, скажем, как с Ревеккой. На них логика не действует!

Г. А. Ревекка тоже не сахар. Для нее, между прочим, Флора — это только предлог. Она гораздо дальше метит.

Мэр. Знаю. В тебя она метит.

Г. А. (демонстративно поглядев в мою сторону). Тихо, тихо, Петр! Дэ ван лез анфáн!

Мэр снова закатывает речь о том, как ему тяжело. На носу осенняя сессия. Итэдэшники требуют снижения регионального налога. Контракт с грузинами заключили, а проект до сих пор не готов. В ноябре общеевропейская конференция в обсерватории, сам Делонж приедет, а где их селить? Старую гостиницу снесли, а новую и до половины не построили. И так далее. Одним словом — самое время в отставку. Г. А. похлопывает его по руке, смеется, но по-прежнему озабочен. А вот мэру явно полегчало. Видимо, ему просто некому было тут поплакаться в жилетку.

Г. А. Значит, я на тебя надеюсь.

Мэр. На мэра надейся, но и сам не плошай.

Оба смеются. И тут в кабинет вваливается какой-то деятель с бюваром. Коломенская верста, по всей голове — белоснежная седина, а лицо молодое, острое и красное, как у индейца. Одет безукоризненно. Разит одеколоном на весь дом. Сначала он мне просто даже понравился, тем более, что с ходу подключился к беседе, причем на стороне Г. А.

Г. А. при нем и рта не раскрыл, а он высыпал на мэра все те же безотбойные аргументы: лицо города, срам на всю Европу, нечего потакать крикунам и паникерам. И даже более того — почтительные, но твердые упреки «господину мэру»: нельзя быть нерешительным, колебания — залог поражения, давно пора стукнуть кулаком по столу и показать, кто именно в городе хозяин.

Из контекста его выступления мне стало ясно, что он у нас в городе главный по культуре. Вся наша городская культурная жизнь, как я понял, лежит на его широких плечах и им одним вдохновляется — конечно, при поддержке «господина мэра» и вопреки яростному сопротивлению крикунов и паникеров. (Сам себя не похвалишь, то кто же?) Оказывается, и концерт Джихангира на нашем стадионе — это тоже его личная заслуга. Именно он, вопреки крикунам и паникерам, переманил к нам Джихангира из-под самого носа у Оренбурга, и вот теперь вся Европа пишет про нас, а не про них.

Мэру все это нравилось, он бодрел прямо на глазах, и вдруг Г. А. ни с того ни с сего сказал — причем голосом неприятным и даже сварливым: «Петр Викторович, я рассчитывал говорить с вами с глазу на глаз. Если вы заняты, я могу зайти позже». Возникла очень неловкая пауза, у мэра челюсть отвалилась, а наш культуртрегер так просто почернел. Впрочем, он быстро оправился, заулыбался и, извинившись, сказал как ни в чем не бывало, что забежал, собственно, только на минутку — подписать вот эту смету. Мэр, не читая, подмахнул, и культуртрегер, вновь извинившись, удалился. После этого произошел следующий разговор.

Мэр. Ну, брат Георгий Анатольевич, ты меня удивил! Единственный человек в городе тебя поддержал, и ты его — как врага!

Г. А. (тоном нравоучительным до нарочитости). А мне, Петр Викторович, чья попало поддержка не нужна. Я, Петр Викторович, человек разборчивый.

Мэр. А я, значит, неразборчивый. Спасибо тебе. Однако мое мнение: кто за доброе дело, тот и есть мой союзник. Нравится он мне или не нравится, симпатичен мне или антипатичен.

Г. А. За доброе дело не всегда выступают из добрых намерений. Представь себе, например, что наш военторг затоварен десантными комбинезонами б/у. Кто главный потребитель этого тряпья? Фловеры. И кто будет тогда главным защитником Флоры? Заведующий военторгом.

Мэр (с огромным подозрением). Ты на что это намекаешь?

Г. А. Я пока ни на что не намекаю. Вокруг доброго дела всегда толкутся разные люди — и добрые, и недобрые, и полные подонки. Флора — это рынок сбыта наркотиков. Удар по Флоре — удар по наркомафии. Помяни мое слово, если завтра в городе начнется дискуссия, завтра же газеты обвинят меня в том, что я — главный мафиози. А ты — мой сподвижник!

Мэр (ошарашенно). Йокалэмэнэ! Об этом я не подумал.

Г. А. Вот и подумай. И будь готов: драка предстоит почище, чем на выборах.

Когда мы вышли от мэра, Г. А. спросил, что я думаю по этому поводу. Не очень-то приятно объявлять своему учителю, что ты с ним не согласен, но истина дороже, и я честно ответил: Флора мне активно не нравится, я считаю ее источником всякой скверны, текущей в город, так что, выходит, мои симпатии на стороне противников Г. А. Другое дело, что я тоже не хочу и против насильственных действий. Язвы надо лечить, а не вырубать из тела топором. Так что в этом отношении я на стороне Г. А.

Г. А. помолчал, а потом спросил, что я думаю по поводу свободы образа жизни. Я ответил, что эта свобода, конечно же, должна быть полной, но при условии, что избранный образ жизни никому не мешает. «Так что в этом отношении ты на стороне Флоры?» — сказал Г. А. довольно ядовито. Я растерялся, но не больше, чем на полминуты. Я возразил, что никогда не утверждал, будто Флора во всем не права. У Флоры, конечно же, есть свои плюсы, иначе она не привлекала бы к себе так много людей.

По-моему, Г. А. понравилось мое рассуждение, но разговор на этом кончился, потому что мы пришли в горono и оказались перед секретарем заведующей. Секретарша удалилась в кабинет Ревекки, и ее довольно долго не было, так что мы стояли без толку и разглядывали прошлогоднюю выставку детского рисунка, развешанную по стенам. Мне понравилась акварелька под названием «Любимый учитель». Был изображен Г. А.— почему-то за обеденным столом. В одной руке у него был огромный кусок торта, в другой — огромный уполовник с вареньем, и еще огромная банка с вареньем стояла на столе перед ним. Видимо, парнишка собрал на картинке все свои предметы любви.

Потом мы предстали.

Ревекка Самойловна поздоровалась с Г. А. и сразу же спросила: «А что это за юноша?». Г. А. сказал: «Это мой выпускник, ему было бы полезно послушать, ты не возражаешь?». Ревекка явно хотела сначала возразить, но потом почему-то раздумала. Она протянула мне руку, и мы познакомились. Я сел в уголок и стал смотреть и слушать.

Она немолодая, но сногсшибательно красивая. У меня из-за этого мысли были вначале несколько набекрень. И мне понадобилось очень основательно осознать, до какой степени она враг Г. А., чтобы я перестал видеть в ней женщину. (Вообще-то они с Г. А. знакомы с незапамятных времен. Они вместе учились в Ташлинском педтехникуме, а потом в Оренбургском педвузе. Он на три года ее старше. Кажется, отцы их тоже росли вместе и даже вместе воевали где-то. В Афганистане, наверное. Поразительно красивая женщина. А какова же она была тридцать лет назад?)

Г.А. перешел прямо к делу. Он сказал, что пришел самым покорнейшим образом просить ее смягчить свою позицию по отношению к Флоре. Он называл ее Ривой и смотрел на нее почти умоляюще.

Она холодно возразила в том смысле, что обо всем об этом у них с ним уже сто раз говорено и переговорено и что ждать от нее смягчения позиции просто нелепо. Или Флора, может быть, перестала быть источником нравственной проказы? Или, может быть, Г. А. придумал новые аргументы, способные успокоить обезумевших от беспокойства родителей? Или Г. А. изобрел способ отвлекать неустойчивых школьников от низких соблазнов Флоры? Может быть, лучи изобрел какие-нибудь? Или микстуру? Впрочем, называла она его Жорой и была скорее иронична, чем неприязненна.

Г. А. иронии не принял. «Ты хорошо представила себе, как это будет? — спросил он.— Этих мальчишек и девчонок будут волочить за ноги и за что попало и швырять в грузовики, их будут избивать, они будут в крови. Потом их перешвыряют на платформы, как дрова, и куда-то повезут. Тебе это ничего не напоминает?»

Она несколько побледнела и построжела, но тут же возразила, что Г. А. сгущает краски, все эти ужасы вовсе не обязательны, все будет проделано вполне корректно и в рамках человечности.

Г. А. сказал: «Ты прекрасно понимаешь, что никакой корректности при выполнении подобной акции быть не может. Наши дружинники и наша милиция — это всего-навсего обыкновенные горожане, точно такие же обезумевшие от беспокойства родители, родственники и просто ненавистники Флоры. При малейшем сопротивлении они сорвутся и начнут карать. Потом они опомнятся, им сделается непереносимо стыдно, и чтобы спасти свою совесть от этого стыда, они дружно примутся оправдывать себя друг перед другом и в конце концов эту самую позорную страницу своей жизни они представят себе как самую героическую и, значит, изувечат свою психику на всю оставшуюся жизнь».

Она нервно закурила, ломая спички, и снова сказала, что Г. А. сгущает краски, что она и сама, разумеется, не видит ничего хорошего в этой акции, но вовсе не намерена рассматривать ее как некую преступную трагедию. Главное — все тщательно и четко организовать. Разумеется, всем участникам будет внушено, что они действуют во имя добра и должны действовать только добром...

Г. А. не дал ей договорить. «Держу пари,— сказал он с напором,— что сама ты не осмелишься присутствовать на этой акции. Ты все тщательно и четко организуешь, ты произнесешь нужные речи и дашь самые правильные напутствия. Но сама ты останешься здесь, за этим вот столом,— заткнув уши и закрыв глаза, будешь сидеть и мучительно ждать, пока тебе доложат, что все окончилось более или менее благополучно».

Еле сдерживаясь, она объявила, что не желает больше слушать этого карканья. Она совершенно убеждена, что никаких ужасов не произойдет.

Г. А. сказал печально: «Ты наговариваешь на себя. Я ведь вижу, ни в чем ты не убеждена. Ни в какие магические свойства инструкций и напутствий ты не веришь. Ты же умница, ты же знаешь людей. И, конечно, ты своевременно позаботишься о том, чтобы все больницы города были приведены в полную готовность, ты и соседние медсанбаты задействуешь, и в тылах твоей армии двинутся на Флору десять, двадцать, тридцать карет «Скорой помощи»... Само решение твое организовать эту акцию уже проделало дырку в твоей совести. Сейчас ты эту дырку начала латать и будешь латать ее дальше...»

И тут она сорвалась. «Прекрати демагогию! — почти закричала она.— Перестань выкручивать мне руки! И не воображай, пожалуйста, будто я стану разводить антимонии вокруг моей дырявой совести, когда речь идет о судьбе детей, которых ежедневно отравляет эта зараза...»

Тут вот, совершенно не вовремя, у меня опять схватило живот, да так, что глаза на лоб полезли, и я почти перестал слышать что-либо, просто стало ни до чего. (Возрастное это у меня, соматическое или психическое — когда схватывает, разницы никакой. Главное, что не вскочишь же и не побежишь вон, да и не знал я, где у них там заведение.)

Я сидел, обхватив свой несчастный живот, и молился только об одном, чтобы лицо мое ничего не выражало. Вспоминалось: харакири; рак желудка; ли-

сенок, пожирающий внутренности юного спартанца. И сейчас я просто горжусь, что, несмотря на мое несчастье, я все-таки кое-что услышал, запомнил и даже записал. Правда, только то, что говорил Г. А. От Ревекки остался в памяти один лишь резкий, почти истерический голос, от которого боли мои заметно усиливались, словно попадая в резонанс. А вот Г. А., чем больше она на него кричала, говорил все тише и печальнее.

Человечность едина. Ее нельзя разложить по коробочкам. А человечность, которую вы все исповедуете, состоит из одних принципов, вся расставлена по полочкам, там у вас и человечности-то не осталось — сплошной катехизис. Твой ученик лучше сожжет свои старые ботинки, чем отдаст их босому фловеру. И будет считать себя человечным в самом высоком смысле. «Пойди и заработай»,— скажет он.

(Сейчас я вспомнил: на прошлой неделе какой-то скот подкинул Флоре ящик тухлых консервов. Я, пожалуй, берусь логически обосновать позицию, с которой это деяние выглядит высокочеловечным. Тезис первый: человечность должна быть с кулаками... И так далее.)

Человечность выше всех ваших принципов, сказал Г. А. Человечность выше всех и любых принципов. Даже тех принципов, которые порождены самой человечностью.

Потом обнаружилось, что они почему-то говорят уже о лицеях. Оказывается, существуют две крайние точки зрения. Одни считают, что лицеи надобно упразднить как заведения элитарные и противоречащие демократии, а другие — что сеть лицеев, наоборот, надлежит всемерно расширять и открывать по стране не три лицея в год, как сейчас, а тридцать три. Или триста тридцать три. Замечательно, что и в том, и в другом случае самой идее лицея как школы, в которой учат будущих учителей, самым благополучным образом наступает окончательный конец.

Не знаю, заметил ли Г. А. мое состояние, или исчерпалась необходимость в дальнейшем продолжении беседы, но он вдруг (мне показалось — ни с того ни с сего) поднялся и произнес:

— Что, Рива, дорогая моя, мерзко тебе чувствовать себя госпожой Макиавелли?

И произнес он это таким странным голосом, что у меня разом прошли все мои боли, и я полностью очухался,— весь мокрый от пота, но в остальном, как огурчик.

Ревекка вдруг покрылась красными пятнами, сделалась совсем старой и некрасивой и объявила с вызовом:

— Понятия не имею, что ты имеешь в виду.

Что и было явным враньем. Прекрасно она понимала, что Г. А. имеет в виду. В отличие от меня.

И тогда Г. А. сказал совсем уже тихо:

— Приговор мне и моему делу читаю я на лице твоем.

И мы ушли. Вежливо попрощавшись.

(Мы свернули по коридору направо и очень скоро оказались перед дверью в сортир. Вопрос на засыпку: зашли мы туда потому, что это понадобилось Г. А., или потому, что он таким образом дал мне деликатно возможность воспользоваться? И тогда, спрашивается, что правильнее: проявить такую деликатность, но зато заставить потом младшего ломать голову, нет ли в этой деликатности некоего унижающего манипулирования его, младшего, самодостаточностью; или прямо сказать ему — сортир направо, я подожду здесь,— что, безусловно, на минутку покажется ему, младшему, неприятно бестактным, но зато не оставит по себе никаких обременяющих сомнений и рефлексий. Не знаю. Я не знаю даже, важно ли это и стоит ли об этом думать. Сам Г. А. наверняка о таких пустяках не думает и в подобных ситуациях действует совершенно рефлекторно. Но, с другой стороны, тот же Г. А. утверждает, что в отношениях между людьми пустяков не бывает.)

На лестнице Г. А. процитировал: «Шли головотяпы домой и воздыхали. Один же из них, взяв гусли, запел... Откуда?». Вместо ответа я продолжил: «Не шуми, мати, зеленая дубравушка...». Однако обычного удовольствия от обмена такого рода репликами мы не испытали. Во всяком случае, я. А когда мы вышли на улицу, Г. А. вдруг остановился и, посмотрев на меня и сквозь меня, произнес задумчиво: «Когда доброму гражданину цивилизованной страны больше некуда обратиться, он обращается в милицию». И мы направились в гормилицию. Три автобусные остановки. Довольно жарко. Тени нет.

У входа в «Снегурочку» нас словно поджидал некий очень молодой гражданин, который пристроился к Г. А. и сказал ему негромко, глядя прямо перед собой: «Они уже автобусы готовят». Я узнал его, это был давешний куст, но уже без репьев в голове, умытый и облаченный в цивильное, как все добрые граждане.

Г. А. ничего ему не ответил, только кивнул в знак того, что услышал и принял к сведению. Юнец тут же отстал, а Г. А. почему-то пошел медленнее, без всякой целеустремленности, а как бы фланируя, и даже руки заложил за спину. Так и профланировали мы до самого подъезда гормилиции. Г. А. молчал, а я — тем более. Перед подъездом он вдруг как-то прочно остановился. «Нет,— сказал он мне,— к этому разговору я еще не готов. Пойдемте-ка домой, ваша светлость».

Перечитал записи последних дней насквозь. Мне не нравится:

1. Что Г. А. так активно вступился за Флору. Милосердие милосердием, но, по сути дела, речь идет о выборе между благополучием все-таки подонков и социальным здоровьем моего города.

2. Что Г. А. явно останется в одиночестве. Если уж мне не хочется его поддерживать, то что же тогда говорить, например, о Ване Дроздове и о Сережке Сенько?

3. И мне не нравится то, что я сейчас написал. Люди несоизмеримы, как бесконечности. Нельзя утверждать, будто одна бесконечность лучше, а другая хуже. Это азы. Я отдаю предпочтение одним за счет других. Это великий грех. Я опять запутался.

Муторно. Поужинаю — и сразу спать.

17 июля, 5 часов утра.

События развиваются странно.

Около полуночи Г. А. постучался и безо всяких объяснений велел нам с Мишелем одеваться. (Я проспал часа три, а Михей вообще только глаза завел.) Мы оделись и сели в машину — Г. А. за руль, мы сзади.

Сначала я подумал было, что Г. А. решился наконец запустить нас в ночную смену на скотобойню, но мы поехали совсем в другую сторону, к университету, и остановились в тени новостройки, неподалеку от третьего блока общежития для женатиков. Там Г. А. велел Мишелю сесть за руль и ждать, а сам удалился — пересек сквер и нырнул в пятый подъезд.

«Как интере-е-есно»,— фальшивым голосом пропел Мишка и спросил меня, заметил ли я, как странно одет Г. А. Я ответил, что да, заметил, и, в свою очередь, спросил, заметил ли Мигель, что в этом полотняном балахоне Г. А. какой-то непривычно толстый и неповоротливый. Мигель заметил и это. Он приказал мне выйти из машины и принялся проверять стоп-сигналы, указатели поворота и прочее электрооборудование.

Пока мы этим занимались, откуда ни возьмись, появился Г. А. в сопровождении какого-то хомбре. Это был очень красивый хомбре баскетбольного роста, головы на три длиннее Г. А. Лет ему было порядком за двадцать, на нем был немолодой варсовый костюмчик,— вернее сказать, только штаны были на нем, а курточку он все никак не мог на себя напялить, видно, сильно нервничал, и она у него совсем перекрутилась на могучих плечах, в рукава не попасть.

Увидевши меня, он стал как вкопанный и спросил сипло: «А этого зачем?» Очень я ему не занадобился, он даже с курточкой своей воевать перестал. Г. А. буркнул ему что-то успокаивающее, но он не успокоился и жалобно проныл: «А может, не надо, Георгий Анатольевич?». Г. А., не вдаваясь, приказал ему сесть назад, и он сел, словно натянув на себя через голову нашу бедную малолитражку. Г. А. сел рядом с ним, а я вперед — рядом с Мишелем. Хомбре опять уже ныл в том смысле, что надо ли да стоит ли, но Г. А. его совсем не слушал. Он приказал Михаилу: «В университет»,— и мы поехали. Хомбре тут же заткнулся, видимо, отчаялся.

Мы подъехали к университету и принялись колесить по парку между зданиями. Г. А. командовал: «Направо, налево»,— а хомбре только один раз подал голос, сказавши: «Со двора бы лучше, Георгий Анатольевич...» Со двора мы и заехали. Это был двор лабораторного корпуса. Ничего таинственного и загадочного.

Г. А. скомандовал нам не отходить от машины и ждать, а сам вместе с хомбре двинулся вдоль задней стены, и они исчезли за контейнерами. Где-то там хлопнула дверь, и снова стало тихо.

«Как интере-е-есно»,— повторил Мишель, но ни ему, ни мне не было интересно. Было тревожно. Может быть, именно потому, что никаких оснований для тревоги вроде бы не усматривалось. (Я знаю, что такое предчувствие. Это когда на меня воздействует необычное сочетание обычных вещей плюс еще какая-нибудь маленькая странность. Например, атлетический хомбре, напуганный, как пятилетний малыш. Он ведь так и не сумел натянуть свою курточку, так она и осталась валяться на заднем сиденье.)

Ждать пришлось минут десять, не больше. Прямо над ухом с леденящим лязгом грянуло железо, и в двух шагах от машины распахнулся грузовой люк. Из недр люка этого, как из скверно освещенной могилы, выдвинулся хомбре, на шее которого, обхватив одной рукой, буквально висел наш Г. А. Другая рука Г. А. болталась как неживая, а лицо его было в черной, лаково блестящей крови.

Мы кинулись, и Г. А. прошипел нам навстречу: «Стоп, стоп, не так рьяно, дети мои...». А затем он проскрипел трясущемуся, как студень, хомбре: «Чтобы через два часа вас не было в городе. Заткните этого подонка кляпом, свяжите и бросьте, пусть валяется, а сами — чтобы духу вашего не было!..». И снова нам, все так же с трудом выталкивая слова: «В машину меня, дети мои. Но мягче, мягче... Ничего, это не перелом, это он просто меня ушиб...»

Мы осторожненько впихнули его на заднее сиденье, я сел рядом, прислонив его к себе, и мы помчались. Только две мысли занимали меня тогда. Первая — кто посмел? И вторая — почему бока у Г. А. твердые, как дерево?

Ответ на второй вопрос обнаружился быстро. Когда мы с Майклом принялись обрабатывать Г. А. в лицейском медкабинете, мы прежде всего разрезали на нем дурацкий балахон, спереди весь заляпанный кровью и в двух местах распоротый от шеи до живота. И тогда оказалось, что Г. А. облачен в старинный, времен афганской войны бронежилет.

Выяснилось, что у Г. А.: страшенный ушиб левого предплечья (ударили либо какой-то дубиной, либо ногой в подкованном сапоге) и длинная ссадина на правой половине лица, содрана кожа на скуле, надорвано ухо (по-моему, удар кастетом, но, к счастью, по касательной). Ушибом занимался Мишель, а ссадину обрабатывал я. Еле-еле управился — все внутри у меня тряслось от бешенства и жалости. Теперь я очень понимаю, почему врачи избегают пользовать своих родных и близких.

На протяжении всех процедур Г. А., как и следовало ожидать, развлекал нас шутками. Шуток этих я не запомнил ни одной, но зато очень даже запомнил, как он вдруг сказал с горечью: «Реакция у меня уже не та, ребятки. Да и всю жизнь у меня с реакцией было не ах. Но ведь это же был профессионал. Из бывших десантников, наверное». Словно мальчишка, который оправдывается, что его одолели в драке. Честно говоря, слышать это было странно. И в то же время трогательно. (Сначала я вообще не хотел об этом писать, мало ли кто прочтет, а потом решил: а почему, собственно?)

Дело наше уже подходило к концу, и нам с Мишкой совершенно одновременно пришло в голову: что теперь соврать Серафиме Петровне и вообще всем нашим? Г. А. эту нашу мысль моментально уловил и решительно нас пресек. Звонить никуда не надо, сообщать никому ничего не надо. Тем более не надо врать без самой крайней необходимости. Он благополучнейше переночует в своей каморке при кабинете. Князь сделает ему на ночь укольчик, и утром он, Г. А., будет как новенький. А перед тем, как отпустить нас, он сказал совсем уже другим тоном, без всякой шутливости, жестко и повелительно:

— Имейте в виду. Сегодня ночью вы постелей своих не покидали и ничего не видели. Я покалечился, потому что поскользнулся на лестнице. И вот что: никаких попыток расследовать, отыскать, отомстить и прочее. Это приказ. И просьба. Не знаю, что для вас обязательней. Особенно тебя касается, Мигель де Сааведра!

Мы вернулись к себе в два часа ночи. Сейчас пять. Больше двух часов ломали голову: что все это означает? Кто такой этот хомбре? Что Г. А. понадобилось в подвале? Он заранее знал, что будет опасно, и поэтому надел бронежилет. Почему тогда не взял с собой нас? Что еще там за профессионал объявился? Ничего не понятно. Только раздражение одно.

Ложусь спать. Майкл уже спит, только бурбулки отскакивают.

Нет, не спит Майкл. Повернулся ко мне и произнес мечтательно:

— А ведь он там так и валяется, связанный. И с кляпом. А?

Что я ему мог сказать?

17 июля. Вечер.

Около полудня Г. А. взял меня с собой в гормилицию. Чувствует он себя неплохо. Рука на перевязи и почти не болит. А что касается ссадины, то великая это вещь — терамидоновый пластырь. Лицо ничуть не опухло, разве что несколько оттянут внешний уголок правого глаза.

Майор Кроманов принял нас без задержки. Я вижу его не впервые и каждый раз удивляюсь, до чего же человек может быть непохож на начальника гормилиции. Он широкий, рыхлый, вяловатый в движениях и обожает поболтать о том о сем. Битых полчаса они с Г. А. рассказывали друг другу разные случаи о падениях с лестниц. А также — с трапов, с пандусов и прочих наклонных путепроводов. Потом Г. А. перешел к делу.

Какова позиция городской милиции в отношении готовящейся акции против Флоры? Что думает по этому поводу он, Михайло Тарасович, лично? Что

правильнее: сделать милицию непосредственной участницей планируемой акции или уделить ей роль некоего сдерживающего фактора, некоего нейтрального механизма, призванного обеспечить порядок и дисциплину? Вообще, понимает ли Михайла Тарасович всю деликатность своего положения?

Михайла Тарасович деликатность своего положения понимал очень даже хорошо. Флора — это настоящая куча дерьма. Чем меньше ее трогаешь, тем меньше вони. Таково личное мнение Михайлы Тарасовича. Если бы можно было всю эту кучу в одночасье поддеть на лопату и бесшумно перенести в соседнюю, скажем, область, то это было бы самое то. Однако бесшумно такое дело не сделаешь. Вот если бы поступил приказ УВД, тогда никаких проблем бы не было и быть не могло, и уже не очень важно, шумно ты выполняешь этот приказ или бесшумно. Однако приказа такого нет и что-то не предвидится. А имеет место быть общественное движение. Бесспорно, мощное движение, единодушное, но руководство исполкома не слишком его поощряет, а уж о горкоме и речи пока нет.

Теперь смотрите сюда, дорогуша Георгий мой Анатольевич. Существование Флоры никакими законами не запрещается. Массовая неформальная молодежная организация, никаких преступных целей не преследующая. Статья сорок вторая Общего уложения, пункты А, Б и В. Это с одной стороны. А с другой стороны — массовое общественное движение, которое стремится стереть эту Флору с лица земли,— волеизъявление большинства, причем подавляющего большинства, того самого большинства, которому мы с вами, милый вы мой учитель, обязаны служить. А с третьей стороны — меня здесь посадили, чтобы я охранял общественный порядок. А что такое общественный порядок? Это значит: никакого мордобоя, никакого насилия, вообще никаких эксцессов, а тем более — носящих массовый характер. Вот и получается, что я обязан всячески защищать Флору, всячески способствовать ее уничтожению, а также не допускать, чтобы хоть что-нибудь происходило,— и все это одновременно.

Г. А. признает, что да, трудные настали времена для милиции.

М. Т. (мечтательно заведя глаза). Вот, помню, когда я еще был курсантом... (Рассказывает замшелую историю, как ему пришлось принимать участие в великой битве древних «дикобразов» с ныне вымершими рокерами. Милиция оказалась бессильной, так вызвали из-под Оренбурга роту мотопехоты — и никаких разговоров. Буквально тридцать минут понадобилось, вот по этим часам.— Убедительно стучит ногтем по дисплею старинного «роллекса».)

Г. А. А если бы вы сейчас получили указание держать нейтралитет?

М. Т. Чье указание? Петра Викторовича, что ли?

Г. А. Хотя бы... Или, например, из Оренбурга, по вашей линии.

М. Т. Милый вы мой и дорогой! Ей-богу, все понимаю, одного понять никак не могу. Ну что вам эта Флора? Грязная ведь куча, и больше ничего. Что вы за нее так хлопочете?

Услышав это, Г. А. некоторое время молчал, а потом сказал (дословно).

Флора не нарушает никаких законов. Значит, то, что задумано, незаконно. Флора ни в чем не виновата. Город хочет наказать невиновных. Это несправедливо. Несправедливо и незаконно сразу. Как же я должен поступать?

М. Т. (крайне возмущен). То есть как это — несправедливо? Дети наши бегут туда, как в банду! Наркотики. Хулиганство. Промискуитет, простите за выражение. Принципиальное тунеядство! Мало ли что нет против них закона! Значит, отстаем мы от времени, не успевает наша юридическая наука за событиями... Ведь это только как официальное лицо я колеблюсь, а будь я сейчас в отставке, завтра же на Флору вашу первым же пошел бы и был бы в своем праве! (Он долго разоряется на эту тему, я записал только самое нутряное, у него еще было там четыре ссылки на древнюю историю, когда он был рядовым курсантом, а потом старшиной, и двадцать четыре ссылки на внучатых племянников и троюродных золовок.)

Г. А. (пытается втолковать). Они не бегут во Флору, они образуют Флору. Вообще они бегут не «куда», а «откуда». От нас они бегут, из нашего мира они бегут в свой мир, который и создают по мере слабых сил своих и способностей. Мир этот не похож на наш и не может быть похож, потому что создается вопреки нашему, наоборот от нашего и в укор нашему. Мы этот их мир ненавидим и во всем виним, а винить-то надо нам самих себя.

Для М. Т. все это как с гуся вода. Он откричался и вновь сделался благорасположен и самодостаточен. «Это, душа моя, все философия,— говорит он (от себя говорит, ни в коем случае не цитирует!).— Я ведь, собственно, что хотел вам посоветовать? Не связывайтесь вы с Оренбургом. Оренбург помалкивает. «Действуй по обстановке»,— вот и весь разговор. И очень хорошо я их понимаю. И, между прочим, действую. По обстановке. В Новосергиевке давеча полезли было эти неумытики из «пятьсот веселого» Оренбург — Черма, так там железнодорожники совместно с милицией вежливенько подсадили их обратно по вагонам, сигнал машинисту, и поехали они дальше... Оренбург официально слова не сказал, но было дано понять, что так, мол, держать и в дальнейшем. В Оренбурге ведь с вами и разговаривать не станут, Георгий свет Анатольевич! Ну, примут к сведению. Ну, пообещают чего-нибудь, поскольку вы все-таки депутат и заслуженный учитель. Но до дела не дойдет. Уклонятся. Да и нет такой силы, чтобы заставить их выступить против всей демократии, против народа выступить».

Г. А. некоторое время молчал, баюкая ушибленную руку, а потом вдруг посмотрел на меня. Я сейчас же встал и попросил разрешения выйти. Г. А. (с признательностью) разрешил и велел мне ждать его в буфете и чтобы взял я ему там бульон с пирожками — пусть остынет.

Все получилось очень мило, и все-таки я, конечно, был обижен. Ничего не могу с собой поделать. Не в первый раз. Все понимаю, и напрасно Г. А. потом приносит мне свои извинения. И все равно обидно. Возрастное. Вроде резей в животе.

Чтобы развлечь себя, я стал придумывать дальнейшее развитие беседы. Например, такое: «Ну, хорошо, Михайла Тарасович. Убедить вас мне не удалось. Тогда позвольте предложить вам взятку. Вот вам для начала тысяча рублей».

Г. А. отсутствовал пятнадцать минут. Потом пришел, не говоря ни слова, как-то механически похлебал бульону, откусил пирожка и только затем вдруг спохватился и принес мне свои извинения. Причем, к изумлению моему, счел даже возможным объясниться. Оказывается, они там без меня обменялись кое-какой информацией, имеющей узкослужебный характер.

Когда мы вернулись домой, в приемной дожидался Г. А. какой-то человечек. Я пишу сейчас о нем по одной-единственной причине: в жизни не видел я таких странных людей, да и не только я, как выяснилось.

Они с Г. А. скрылись в кабинете, а я все никак не мог разобраться. Физиономия совершенно бесцветная. Манеры — приторные до подхалимства. Одно

ухо красное, другое желтое. Пиджачная пуговица на сытом животике висит на последней нитке. И штиблеты! Где он взял такие штиблеты? Не туфли, не мокасины, не корневища, а именно штиблеты. У одного только Чарли Чаплина были такие штиблеты. И тут меня осенило: человечек этот, весь как есть, вывалился к нам в лицей прямиком из какой-то древней кинокомедии. Еще черно-белой. Еще немой, с тапером... Весь как есть, даже не переодевшись.

После ужина я спросил Г. А., кто это к нему приходил. Мне показалось, что Г. А. тоже порядком озадачен. «А тебе этот человек никого не напоминает?» — спросил он. Я сказал, что Чарли Чаплина. «Чарли Чаплина? Вот странная идея»,— произнес Г. А., и разговор наш на этом закончился.

В обиде, разочаровании и озадаченности заканчиваю я день сей.

РУКОПИСЬ «ОЗ» (10—14).

...Не так все это было, совсем не так.

10. Иоханаан Богослов родился в том же году, что и Назаретянин. Собственно, родился не он один, родилась двойня. Второго близнеца назвали Иаковом Старшим, потому что он увидел свет на несколько минут раньше Иоханаана. Кстати, Иоханаан (Иоанн, Иоганн, Иван, Ян, Жан) означает «Милость бога» («Яхве милостив»). Надо бы посмотреть, что означает Иаков (Джекоб, Яков, Жак).

Название рыбацкого поселка на берегу Галилейского озера, где увидели свет близнецы, не сохранилось, точно так же, как и сам поселок, дотла разрушенный римлянами во время Иудейской войны. Зато сохранилось имя счастливого отца. Был он рыбак и рыботорговец, и звали его Заведей. В семье Заведея было еще девять дочек, но они не играют в нашем повествовании совсем никакой роли.

Иоанн и Иаков в детстве были хулиганы и шкодники. В соответствии с легендой прозвище Боанергес («Сыны громовы») дал им Назаретянин, когда всем троим было уже за тридцать. Это неправда. Прозвали их так соседи, когда юные гопники вступили в пору полового созревания, и надо тут же подчеркнуть, что только в современном восприятии перевод жутковатого прозвища «Боанергес» звучит как нечто грозно-благородное. Для соседей же не Сыны громовы были они, а сущие сукины сыны, бичи божьи и кобеля-разбойники.

Время было смутное — время ожидания больших перемен, время великих пророчеств и малых бунтов. Как и вся галилейская молодежь того времени, Боанергес не желали идти по стезе покорности. Они не желали ловить рыбу и доходы свои смиренно отдавать мытарю. Они вообще не хотели работать. С какой стати? Они хотели жить весело, рисково, отпето — играть ножами, портить девок, плясать с блудницами и распивать спиртные напитки. И в то же самое время хотели они великих подвигов во имя древнего бога и древнего народа, мерещились им голоса могучих пророков и команды блестящих полководцев, грохот рушащихся стен Иерихона и жалкие вопли гибнущих иноверцев. Короче говоря, они являли собою великолепное сырье, из которого опытная рука могла вылепить все, что угодно,— от фанатичных убийц до фанатичных мучеников.

Однако, когда встал на их пути Иоанн Креститель, дороги братьев Боанергес разошлись. Выслушав первую лекцию знаменитого проповедника, Иаков сплюнул в пыль жвачку, затянул потуже пояс с римским мечом и негромко спросил: «Ну, что? Пошли к бабам?» Но Иоанн не пошел к бабам. Он остался. Парадоксальная идея любви к людям и всеобщего братства странным образом захватила его.

«Не будь занудой! — говорили ему.— Брось ты своего старого п. . . . , и пойдем выпьем эфесского!» «Сами вы п . . ,— ответствовал он.— В одном пуке моего п. в сто раз больше толку, чем во всем вашем болботанье». «Но ведь это учение совершенно бессмысленно! — втолковывали ему.— Как ты можешь верить в подобную чушь?» «Потому и верую я, что это бессмысленно»,— отвечал он, на несколько веков предваряя Блаженного Августина. «Но ты же должен понимать, что это учение противоречит здравому смыслу!» — внушали ему. «Киш мири ин тухес со своим здравым смыслом,— огрызался он,— унд зай гезунд!» (По-арамейски, разумеется, это звучало иначе, но смысл был тот же: поцелуйте меня в задницу со своим здравым смыслом и будьте здоровы.)

А потом появился Назаретянин (тот, которого тогда и потом все называли Назаретянином), и Иоанн отдался ему всей душой. Он стал учеником его, и телохранителем, и снабженцем, когда это требовалось,— иначе говоря, он стал апостолом его, одним из двенадцати и одним из двух любимых. Вторым любимым был Петр.

В традиции Петр представляет экзотерическую, всенародную сторону христианства — исповедание веры, данное всем и каждому. Иоанн же — эзотерическую сторону, то есть мистический опыт, открытый лишь избранным, немногим. Поэтому церковь всегда стремилась дополнить начало Петра началом Иоанна, а еретики — гностики второго века, катары одиннадцатого — тринадцатого веков — всячески противопоставляли Иоанна Петру. Все это домыслы, и все это совершенно неважно. Главное и единственное зерно истины здесь — противопоставление.

Они на самом деле не любили друг друга. Иоанн не любил Петра потому, что не верил ему (как показали события — справедливо). Петр же попросту ревновал, он никак не мог понять, почему Учитель ставит на одну доску с ним, смиренным, просветленным и безгрешным Петром, этого буйного, злоязычного, не расстающегося с оружием греховодника.

Петр был солиден и степенен. Иоанн был дерзок и резок.

Петр был велеречив и многоглаголен. Иоанн был зубоскал и ругатель.

С Петром Учителю было легко. С Иоанном ему было надежно.

Именно Иоанн возлежал на груди Учителя во время той последней трапезы, и это вовсе не было проявлением сентиментальности — просто помстилось ему вдруг, что вот-вот тоненько взвякнет в кустах за окном тетива и стрела вонзится в сердце любимого человека. И он заслонил собою это сердце и, слушая биение его, вдруг с ужасом ощутил, как страшное знание предстоящей муки переливается в него, Иоанна, мучительным предчувствием, обессиливающим и не оставляющим надежды.

И именно он, Иоанн, единственный из всех, встал с мечом в руке у входа и рубился со стражниками, не отступая ни на шаг, весь окровавленный, с отрубленным ухом, оскальзываясь в крови, хлещущей из него и из поверженных врагов, пока Учитель, сорвав голос, не подбежал к нему сзади и не вырвал у него меч. Тогда он голыми руками проложил себе дорогу к свободе и бежал, не желая видеть, что будет дальше, потому что он уже знал, что будет дальше.

Он должен был умереть этой же ночью, попросту истечь кровью, но добрые люди подобрали его в придорожной канаве, и каким-то чудом он сумел выжить. Слово «чудо» употребляется здесь не как фигура речи, он совершенно уверен, что спасло его именно чудо, мистическое вмешательство,— первое мистиче-

ское вмешательство в его жизнь. (С именем Иоанна традиция всегда связывала мистические мотивы. Византийские авторы прилагали ему слово «мист», церковно же славянские — «таинник».)

Через два месяца после гибели Назаретянина, когда Иоанн кое-как, на карачках, впервые выполз на солнышко погреться, его нашел Иаков Старший. «Все,— сказал матерый разбойник.— Хватит дурью маяться. Пошли, там у меня повозка». С этого момента и на некоторое время Иоанн перестал быть христианином. Наверное, его следовало бы назвать отступником. На самом деле никакого отступничества в строгом смысле этого слова не было. Просто от горя и отчаяния он потерял какую бы то ни было перспективу и пустился во все тяжкие.

Несколько лет спустя, когда Боанергес, наслаждаясь заслуженным отдыхом, прогуливали хабар в компании шлюх и подельщиков в одном из притонов на окраине Александрии, Иаков вдруг толкнул брата в бок.

— Гляди, кто пожаловал,— сказал он.

Иоанн поглядел и увидел длинного и сухого, как жердь, нищеброда, который, стоя у порога, торопливо и жадно поедал неаппетитную снедь, извлекая ее грязными пальцами из щербатой глиняной миски.

— Да это же тот самый Агасфер! — сказал Иаков.— Ботадеус, «Ударивший бога»!

— Не знаю такого,— отозвался Иоанн,— да и знать не хочу. По-моему, это его бог ударил, а не наоборот.

И тут Иаков с жаром пересказал ему, что произошло в день казни между Учителем и Агасфером на дороге к Голгофе, в то время как раз, когда Иоанн подыхал от потери крови у добрых людей.

Иоанн внимательно выслушал всю историю до конца. Он вдруг испытал огромное облегчение. Оказывается, он ничего не забыл. Оказывается, все эти годы он мучался мыслью, что Иуда сумел уйти от возмездия. Каифа тоже давно откинул копыта. Пилат недосягаем. И есть еще тысячи. Они не убивали Его. Они всего-навсего оскорбляли Его. Их тысячи, и они безымянны. Но вот наконец появился некто с именем. Длинный, тощий, унылый, пожирающий отбросы. Ударивший бога.

— Этот человек должен быть строго наказан,— сказал Иоанн громко. Он не знал, что этот человек уже наказан достаточно строго — так строго, как неспособны наказывать смертные. И, уж конечно, ему в голову не могло прийти, что, наказывая этого унылого дерьмоеда, он бесповоротно нарушает волю единственного человека, которого он любил,— из живых и из мертвых.

Никто не обратил внимания на его слова, а он спихнул с колен разомлевшую эллинку, легко поднялся, подошел вплотную к нищеброду и тем самым длинным ножом, которым только что кромсал баранью лопатку, ткнул под щербатую миску — снизу вверх, по самую рукоятку.

Exit Агасфер, он же Эспера-Диос, он же Ботадеус, Ударивший бога.

И дальше понесло братьев Боанергес по пределам Великой империи, и уже полиции двадцати городов и шестнадцати провинций числили их в своих списках «листид энд вонтид», трижды стяжали они и трижды промотали громадные состояния, четырежды принимали участие в мятежах против римских властей, и неисчислимое множество раз совершили они разбойные нападения на купцов, на помещиков, на ростовщиков, на мытарей, на случайных прохожих, а однажды даже — на базу морских пиратов,— пока не оказались в Риме и не попались на самом что ни на есть пустяковом дельце.

Поскольку дельце было пустяковое (они зарезали поддатого горожанина, возвращавшегося из бани, и были взяты ин флагранти), все было закончено в одно заседание. Разумеется, братья назвались чужими именами. Иаков Старший выдал себя за беглого из Пергама, а Иоанн, словно по наитию, назвал себя Агасфером, горшечником из Иерусалима. Господину районному судье, завзятому юдофобу, с утра вдобавок страдающему от алкогольного отравления, все это было совершенно безразлично. «Пергамец! — сказал он с болезненным сарказмом.— Это с такими-то пейсами! А ну скажи: «На горе Арарат растет красный виноград!..» Дело было абсолютно ясное. Двое бродяг из колоний дерзко лишили жизни римского гражданина. Приговорить мерзавцев к смерти через отравление.

В ночь перед казнью Иоанна почему-то совсем замучал дурацкий вопрос: зачем это ему вдруг понадобилось назвать себя именно Агасфером из Иерусалима? Что это было? Приступ бандитского ухарства, лихая предсмертная шутка? Холодный ли расчет? Назовусь-ка я именем мертвеца, пускай ищут. Или, может быть, подсознательное желание еще раз опозорить позорное имя?

О том, что это было предопределение, Иоанну суждено было догадаться гораздо позднее.

Иаков, проглотив яд, умер довольно быстро, хотя, разумеется, и помучался — ровно в той мере, в какой это было предусмотрено имперским правосудием. Иоанн — не умирал. Трижды ему, связанному, вливали в рот смертельное пойло, и трижды, судорожно корчась, он извергал все обратно. Случай это был хотя и редкостный, но далеко не первый, и в соответствии с прецедентом положено было доварить Иоанна в кипящем масле.

Так ему выпала еще одна ночь жизни. Видимо, яд все-таки проник в его организм, потому что до самого утра мучали его образы и одолевали голоса. Это было страдание. Он никак не мог понять, кто разговаривает с ним и что именно говорит. Нет, это не был Назаретянин. Это был кто-то равный Ему, но не внушающий любви и не дарящий радости. Слова его были невнятны Иоанну. Иоанн понял только, что ему снова выносят приговор и снова его наказывают.

Заколов Агасфера, ты нарушил волю Учителя,— вроде бы сказано было ему.

Приняв имя Агасфера, ты сам определил себе наказание,— вроде бы сказано было ему.

Отныне и до Страшного Суда ты будешь ходить по миру,— сказано было ему.

И будешь ты делать нечто, нечто и нечто,— сказано было ему.

А вот что такое это «нечто», Иоанн так и не понял в ту ночь.

Утром его привели к Латинским воротам и при небольшом скоплении народа сунули ногами вниз в огромный чан с кипящим маслом. Это было невыносимо больно, и Иоанн потерял сознание. Но он опять не умер.

Очнувшись, обнаружил он, что лежит на каменном полу в знакомом помещении суда, а над ним в пять глоток бранятся чины римской юридической коллегии. Оказывается, никакого преступника нельзя казнить трижды. Казнить третий раз, оказывается, означает искушать долготерпение богов. Искушать долготерпение не хотелось никому, кроме господина районного судьи, который таким образом остался в меньшинстве. Однако, с другой стороны, никакого преступника нельзя, разумеется, оставлять безнаказанным. Поэтому юридическая коллегия приговорила: сослать навечно Агасфера из Иерусалима в одну из самых занюханных колоний Рима, в Азию, а именно — на островок Патмос. Что и было исполнено.

(СПРАВКА: Патмос, крошечный остров в Эгейском море в сорока километрах южнее линии, соединяющей острова Икария и Самос. В описываемое время его населяло несколько десятков вполне диких фригийцев, имеющих словарный запас в две дюжины слов и питающихся козьим сыром, вяленой рыбой и водорослями. Кроме фригийцев и коз, из крупных млекопитающих обитали там также и ссыльнопоселенцы.)

Иоанн провел на Патмосе сорок лет.

Чрезвычайно важным обстоятельством является то, что все это время рядом с ним безотлучно находился ученик его и слуга по имени Прохор. В высшей степени замечательная фигура этот Прохор. В утро кипящего масла у Латинских ворот ему было шестнадцать лет. Он был грек по происхождению и тайный христианин по убеждениям. Случайно оказавшись у места казни, он со все возрастающим восторгом и обожанием наблюдал и слушал, как торчащая из булькающего масла голова с закаченными глазами хрипло провозглашает слова Учения вперемежку со странными откровениями и описаниями чудесных видений. К тому моменту, когда палачи отчаялись выполнить свой долг и потратили все отпущенное им масло, а вокруг котла собралось уже пол-Рима, Прохор понял, что се человек из царства не от мира сего. Судьба его определилась в это утро, и он последовал за Иоанном на Патмос, исполненный предчувствия подвига. При нем был большой запас пергамента и чернил, а также мешок сушеных смокв на первое время. Все это, разумеется, он украл у своего прежнего хозяина, в лавке которого отправлял обязанности ученика писца.

Предыстория Иоанна-Агасфера на этом заканчивается. На острове Патмос начинается его история.

11. В полном молчании мы поднялись на наш двенадцатый этаж и остановились перед дверью без номера. Миша сказал, слегка задыхаясь:

— Ты вот что, Серега. Говорить буду я, а ты помалкивай.

Я ничего ему не ответил, меня бил озноб. Только на лестнице, минуту назад, до меня вдруг дошло, что я втягиваю своего старинного дружка в крайне опасную для него затею. И тот факт, что у него, мол, служба такая и что он сам настоял на этом визите, меня ничуть не оправдывает. Очень мне хотелось сейчас сказать ему: «Ладно, Мишка, не надо. Ну их всех к черту». Но ведь и так поступить я тоже не мог! Надо же было как-то разрывать проклятый замкнутый круг...

В прихожей я помог Мише снять плащ, повесил его на распялку, а мокрый берет его положил под зеркало. Миша неспешно расчесывал перед зеркалом свои сильно поредевшие русые кудри. По-моему, он был абсолютно спокоен, будто в гости пришел в семейный дом коньячок пить и лимончиком закусывать.

— Куда прикажешь? — спросил он негромко, продул расческу и сунул ее в карман.

— Сейчас, подожди минутку,— сказал я.

Я не желал, чтобы мой Миша вел эту беседу из кресла для паршивых просителей. И вообще, пусть все увидит своими глазами.

— А вообще-то, чего ждать? Пошли,— сказал я и двинулся прямо в Комнату.

— Спокойно, Серега, спокойно,— промурлыкал Миша у меня за спиной.— Все нормально...

Комната была пуста. Я посторонился, пропуская Мишу, чтобы он увидел все: и дурацкий топчан у стены, и две блестящие металлические полосы, протянувшиеся от окна к дверям Кабинета, и дверь в Кабинет, как всегда распахнутую в глухую бездонную тьму, пронизываемую мутными пульсирующими вспышками. Миша все это быстро оглядел, и на лице его появилось незнакомое мне выражение. Он словно бы затосковал слегка, будто предстояло ему теперь же и непременно проглотить стакан касторки.

Демиург грянул:

— Клиента — в Приемную! Что еще за вольности?

Я стиснул зубы и злобно процедил:

— Это не клиент. Я попросил бы вас выйти и поговорить с ним.

— Делайте, что вам сказано!

Миша крепко взял меня за локоть и сказал в сторону Кабинета:

— Меня зовут Михаил Иванович Смирнов. Я — майор государственной безопасности и хотел бы с вами побеседовать.

Демиург, по-видимому, нисколько не удивился.

— Побеседовать или допросить? — осведомился он.

— Я здесь неофициально,— ответил Миша.— Просто хочу задать вам несколько вопросов.

— Почему — мне?

— Я хотел бы разобраться, представляет ли ваша деятельность интерес для моей службы. Уточняю: сейчас вы вправе не отвечать на мои вопросы.

— Можете не уточнять. Я всегда в таком праве... Сергей Корнеевич, я все равно не выйду, не надейтесь. Предложите гостю сесть.

— Не беспокойтесь,— сказал Миша.— Я сегодня весь день сидел. А вот повидать вас мне бы, честно говоря, хотелось.

— Еще бы... Ладно, я обдумаю эту идею. Посмотрим, как вы будете себя вести. А пока можете задавать ваши вопросы.

У меня икру свело от напряжения. Я кое-как дохромал до топчана, сел и принялся растирать ногу. А эти двое уже разговаривали, да так бойко, словно были знакомы всю жизнь и теперь затеяли игру в «барыня прислала туалет».

— Кто вы такой?

— У меня много имен. Меня зовут Гончар, Кузнец, Ткач, Плотник, Гефест, Гу, Ильмаринен, Хнум, Вишвакарман, Птах, Яхве, Мулунгу, Моримо, Мукуру... Достаточно, я полагаю?

— Я не спрашиваю ваше имя. Я спрашиваю, кто вы такой.

— Я гончар, кузнец, плотник, ткач... Неужели мало? Я Демиург, наконец.

— Но вы, я полагаю, человек?

— Конечно! В том числе и человек.

— А еще кто?

— Вы что — не знаете, кто такой демиург? Так посмотрите в словаре.

— Хорошо. Посмотрю. И давно вы здесь?

— Больше полугода... Хотя... Это же зависит от того, как считать. Послушайте, а вам не все равно?

— Мне не все равно. Но если вам трудно ответить, оставим пока этот вопрос. Откуда вы прибыли?

— Вот что, майор. Хочу вас предупредить. Если я стану отвечать на ваши вопросы, касающиеся пространства и времени, то уверяю вас: ни удовольствия, ни удовлетворения вы не получите.

— Хорошо, я приму это к сведению,— терпеливо сказал Миша.— Так откуда вы прибыли?

— Да ниоткуда я не прибыл. Я был здесь всегда.

— Вот в этой самой комнатке?

— Эта комнатка была здесь не всегда, майор. А я — всегда. В известном смысле. Причем и здесь, и не только здесь.

— Это любопытно. Насколько мне известно, человек такими возможностями не обладает. Прикажете мне сделать вывод, что вы все-таки не человек?

— Человек такой способностью не обладает. Вер-

ю. Зато я обладаю способностью быть человеком. И не только человеком.

— Ну что ж, это ваше право. Это никакими законами не возбраняется. А теперь расскажите мне, пожалуйста, если можно, конечно, какова цель вашего пребывания здесь.

— Мне кажется, что вы привыкли иметь дело с иностранцами.

— Почему же это вам кажется?

— Очень правильная речь. Очень свободные манеры. И вы явно привыкли задавать этот вопрос -- о целях пребывания.

— Между прочим, я и ответы привык получать на этот вопрос. Итак?

— Я ищу Человека.

— Кого именно?

— Я ищу Человека с большой буквы.

Все время, пока шел этот быстрый обмен вопросами и ответами, Миша не оставался в покое ни на минуту. У меня было даже такое впечатление, словно он не особенно задумывается над своими вопросами и не очень-то вслушивается в ответы. Бесшумно ступая, он обошел Комнату, внимательно оглядывая и ощупывая стены, постоял, задрав голову, под свисающим черным шнуром, изучая его прищуренными глазами, потом подошел к окну и заглянул вниз, а потом, присевши на корточки, осмотрел металлические полосы и даже постучал по ним ногтем — по одной и по другой. С отчаянием и бессильным разочарованием наблюдал я, как на его лице все отчетливее проступает сожаление о зря теряемом времени. Я словно читал его мысли: да, порядочной ерундой я тут занимаюсь, позвоню-ка я в раймилицию, пусть участкового пришлют, и все дела...

Услышав про Человека с большой буквы, он легко поднялся с корточек, подмигнул мне и, беззвучными шагами направляясь к двери в Кабинет, произнес с комической серьезностью:

— А вы возьмите меня.

И впервые не последовала ответная реплика. Миша успел сделать еще два осторожных шага — и тут из тьмы навстречу ему выдвинулся Демиург, остановился на пороге и навел на Мишу бешеные яблоки своих глаз. Я вскочил. Я испугался чуть не до обморока. А Миша отступил на шаг и произвел странное незаконченное движение правой рукой — то ли хотел заслониться ею, то ли (несмотря на заверения его) что-то все-таки висело у него под мышкой левой руки. Он побелел, и крупные капли пота разом выступили у него на лбу. И тогда Демиург прогрохотал:

— Я обдумаю ваше предложение.

Сказал и соскользнул обратно во тьму.

12. В прихожей я попытался подать Мише плащ, но он отобрал его у меня со словами: «Давай, давай сюда! Что еще за китайские церемонии!». Пока он застегивался и напяливал перед зеркалом берет, я все ждал, скажет он мне что-нибудь прямо здесь или мы поговорим на лестнице. Но тут рядом обрушилась спускаемая вода, щелкнула задвижка, и из совмещенного санузла вывалился в прихожую Агасфер Лукич. Он хлопотливо, обеими руками застегивал ширинку, ухитряясь при этом тремя пальцами правой руки держать при себе свой любимый портфель.

— Пардон, пардон, пардон! — жизнерадостно воскликнул он, лаская Мишу Смирнова профессиональным взглядом.— Разрешите представиться: Агасфер Лукич Прудков, Госстрах, к вашим услугам. Руки не подаю — в силу последнего местопребывания. Не могу не воспользоваться моментом, однако. Госстрах, уважаемый Михаил Иванович, предлагает к вашим услугам...

И с феноменальной скоростью, нисколько, впрочем, не отражающейся на разборчивости и внятности, Агасфер Лукич рассыпал перед ошеломленным Мишей роскошный бисер всех услуг, которые предо-

ставляет в распоряжение добропорядочного гражданина наша система государственного страхования.

Меня поразило, что Миша, по-видимому, совершенно забыл все, что я рассказывал ему об Агасфере Лукиче. Для него это явно был обыкновенный навязчивый страхагент, от которого совершенно не знаешь, как избавиться без откровенной грубости и хамства. Миша неловко улыбался, делал обеими руками отстраняющие жесты, прижимал ладони к груди со словами: «Благодарю вас, я уже...» — в общем, вел себя не как Исаев-Штирлиц, а как занюханный кандидат наук, застигнутый у родимой кассы с зарплатою на руках. И когда мы выкатились наконец на лестничную площадку и я захлопнул за собою дверь, он с комическим облегчением вытер со лба воображаемый пот и сказал:

— Уф-ф... Еле ушел!

Мы начали спускаться по лестнице.

— Ну, как тебе? — нетерпеливо спросил я с тревогой.

И тут выяснилось такое, о чем я и сейчас вспоминаю с ознобом между лопатками. Хотя на самом деле — ну чего другого мог я ожидать? А было так.

На протяжении первых четырех этажей Михаил говорил неохотно, как бы через силу, говорил не потому, что хотел говорить, а потому, что считал себя обязанным сказать мне хоть что-то. Он мне благодарен. Я молодец. Я правильно сделал, что обратился к нему. Дело вызревает нешуточное. Этим займутся те, кому положено, а мне оставаться здесь совершенно не нужно. Может быть, даже опасно... Что тебя, собственно, здесь держит? Может быть, нужна помощь? Так скажи! Лучше всего, если ты уйдешь прямо сегодня, прямо сейчас... О жилье не думай, это все будет устроено...

На девятом этаже он взял меня под руку и принялся доверительно рассказывать, что аналогичный случай уже был у него — лет пятнадцать назад. Жулики эти мои, надо сказать, ловкие, однако ничего нового под луною, как известно, нет. Стоило ему увидеть эти металлические направляющие, как он сразу все понял. Никакие это не направляющие — это шины. А в Кабинете у них — генератор. Правда, кое-что он даже сейчас объяснить не может, да это и не его дело... Это вообще не наше дело. Участковый прохлопал, ясно как день. У него в участке, понимаешь, такая банда аферистов, месяц уже орудуют как минимум, а он ушами хлопает. Я вот чего не могу понять: тебя-то они чем держат? Неужели ты такой легковерный? Мамочка моя, а еще кандидат, без пяти минут доктор... Ты дождешься, что тебя вместе с ними заберут! Статья такая-то, соучастие в жульнических махинациях... Не купили же они тебя, в самом деле! Понимаю, понимаю: обманули. Я и сам спервоначала черт-те что подумал, а ведь я — стреляный волк... Ничего, не дрейфь, я тебе верю, заступлюсь, пройдешь по делу как свидетель... И возвращайся-ка ты в свою Степную, займись своими любимыми звездами, забудь про все про это, черт тебя сюда принес!..

На третьем этаже он крепко обнял меня за плечи и продолжал совершенно уже дружески растроганным тоном. Хотя, с другой стороны, что ты имел в своей Степной? Гостиничный номер? А здесь такая квартирка, ей-богу, завидно. Спальней ты меня просто убил, я даже Варьке рассказывать не буду, она же меня живым съест... И где только люди достают такие гарнитуры! И вообще, где ты книги берешь? Блат у тебя, что ли? Я «Военные мемуары» всю жизнь собираю, но такого набора... Жалко, Соня твоя на работе, сто лет не виделись. Слушай, что за манера — приглашать среди бела дня? Давай встретимся по-человечески, с женами, с ребятишками, моего Саньку с твоей Танькой познакомим... (Тут он заржал.) Как она из туалета-то выскочила... заалелась, будто маков цвет... Красивая девка, между прочим, растет. Да, брат, стареем, матереем, еще пяток лет — и детей женить пора... А коньячок у тебя ничего был, штатный. И все-таки, когда ты ко мне придешь, я тебе поднесу такого, какого ты никогда не пивал и не выпьешь, если я об этом не позабочусь... Ну ладно, спасибо за приглашение, спасибо за угощение, спасибо за привет... Нет-нет, провожать не надо, я знаю — вон там «шестерка» останавливается.

Он обнял меня мимоходом, похлопал по спине и сбежал по ступенькам. Я остался стоять, придерживаясь рукой за мокрую, ледяную от дождя бетонную стену, и смотрел ему вслед, как он ловко перескакивает с кирпича на кирпич, пересекая грязевую полосу, а потом, глянув налево-направо, переходит улицу, направляясь к остановке автобуса.

13. Демиург сказал:

— Есть у вас еще вопросы?

— Нет,— сказал Миша.— Благодарю вас.

Он уже вполне оправился, и румянец вернулся на лицо его, но пот все стекал со лба по щекам на шею, и Миша то и дело вытирал его скомканным платком.

— Тогда я задам вам вопрос,— сказал Демиург.— Всего один. Чего вы хотите?

— Сейчас я хочу только одного,— криво улыбаясь, проговорил Миша.— Чтобы вас не стало. И никогда бы не было. Чтобы я сейчас благополучно проснулся. Проснулся, а вас нет и не было.

— Воистину странный ответ,— сказал Демиург.— Не ожидал от вас... Впрочем, я вовсе не имел в виду вас персонально.

— Ах, вы имели в виду... Знаете, все, чего мы хотим, изложено в Программе Партии. Прочтите, там все написано.

Демиург грянул:

— Благодарю вас! Вы свободны, майор. Сергей Корнеевич, проводите, пожалуйста, майора. Пальто и шляпу — подать.

...И когда я, как старая кляча, влекомая на живодерню, приволокся на свое место в Приемную, он сказал:

— Впредь попрошу вас не приводить сюда своих друзей без специального предупреждения. У меня здесь не салон, а служебное помещение... Впрочем, в данном конкретном случае я вам, пожалуй, даже благодарен. Ведь ваша эпоха — это эпоха могущественных организаций, а я по старинке все вожусь с отдельными фигурами. Вы навели меня на мысли, благодарю вас.

14. СПРАВКА. Я уже много лет не женат, нахожусь в разводе. Мою первую и последнюю жену звали Александра. Миша Смирнов никогда ее не видел. Детей у меня не было и нет. Не было и нет среди моих близких и друзей, а также среди знакомых женщины с именем Соня, Софья или что-нибудь в этом роде.

В дальнейшем я еще дважды звонил Мише Смирнову. Один раз мне сказали, что он в длительной командировке. В другой раз мы с ним несколько минут побеседовали по телефону. Он был приветлив и вполне дружелюбен, однако от встречи уклонился, сославшись на крайнюю занятость. Прощаясь, он с удовольствием вспомнил «славный вечерок», который провел у меня в гостях, и попросил передать привет «Сонечке и Танюшке».

Других знакомых «в могущественных организациях» у меня нет. Прямое, по официальным каналам, обращение не сулит в перспективе ничего, кроме сумасшедшего дома.

Я остался один. Теперь уже совсем один.

15. Был уже поздний вечер. Даже скорее ночь. Я лежал...

ДНЕВНИК. 18 июля.
(Дополнение к 17-му)

Я, точно так же, как Михайла Тарасович, никак не могу ясно объяснить себе, почему Г. А. так рьяно болеет за Флору.

«Милость к падшим призывал»?

Не то. Совсем не то. Я совершенно точно знаю, вижу, чувствую, что он не считает их падшими. Это мы все считаем их как бы падшими, не в том, так в другом смысле, а он — нет. Он вообще не признает это понятие — «падший». Все, что порождено обществом, порождено законами общества, а значит, закономерно, а значит, в строгом смысле не может быть разделено на плохое и хорошее. Все социальные проявления на плохое и хорошее делим МЫ,— тоже управляясь при этом какими-то общественными законами. (Именно поэтому то, что хорошо в девятнадцатом веке, достойно всяческого осуждения в двадцать первом. Безоглядное чинопочитание, например. Или, скажем, слепое выполнение приказов.)

Понимание и милосердие.

Понимание — это рычаг, орудие, прибор, которым учитель пользуется в своей работе.

Милосердие — это этическая позиция учителя в отношении к объекту его работы, способ восприятия.

Там, где присутствует милосердие,— там воспитание. Там, где милосердие отсутствует, где присутствует все, что угодно, кроме милосердия,— там дрессировка.

Через милосердие происходит воспитание Человека.

В отсутствие милосердия происходит выработка полуфабриката: технарь, работяга, лабух. И, разумеется, береты всех мастей. Машины убийства. Профессионалы.

Замечательно, что в изготовлении полуфабрикатов человечество, безусловно, преуспело. Проще это, что ли? Или времени никогда на воспитание Человека не хватало? Или средств?

Да нет, просто нужды, видимо, не было.

А сейчас появилась? «Как посмотришь с холодным вниманьем вокруг...» Значит, все-таки появилась! Иначе теория ПВП никогда бы не пробилась через реликтовые джунгли Академии педагогических наук. И не была бы создана система лицеев. И Г. А. был бы сейчас в лучшем случае передовым учителем в заурядной 32-й ташлинской средней школе.

Конечно, бытие определяет сознание. Это как правило. Однако, к счастью, как исключение, но достаточно часто случается так, что сознание опережает бытие. Иначе мы бы до сих пор сидели в пещерах.

Проснулся Микаэль. Как всегда с утра, скабрезен.

18 июля (вечер).

Только что вернулись из столовой. Дискутировали. Горло саднит, будто парадом командовал. Настроение мерзопакостное. Говорил — ни к черту плохо. Не умею говорить. Но каков Аскольд!

Не хочу сейчас об этом писать.

Г. А. чувствует себя неважно. Пластырь я ему снял, но рука болит. Мишка озабочен и смотрит виноватым. Делали руке волновой массаж. Серафима Петровна вызывала Михея к себе в кабинет, угощала меренгами и допрашивала с пристрастием.

С одиннадцати до четырнадцати был в больнице. Помогал Борисычу с историями болезни, выносил горшки (на самом высоком профессиональном уровне) и вел лечебную физкультуру по всем палатам третьего этажа.

С пятнадцати до девятнадцати готовился к отчет-экзамену, конспектировал мадам Тепфер. Все-таки до чего трудно! Неужели же придется всерьез браться за эту чертову психогеометрию? Высшая педагогика, будь она неладна! Не верю я в нее... А если у человека нет способностей к абстрактному мышлению? Все-таки мы живем в очень жестоком мире.

События.

С утра по городскому каналу выступил Михайла Тарасович и объявил о больших победах. Наша доблестная милиция обнаружила и разгромила подпольную фабрику наркотиков. Фабрика располагалась в подвале лабораторного корпуса университета. («Эге!» — разом подумали мы с Мишелем и молча посмотрели друг на друга.) Задержано шесть человек: один курьер, трое распространителей и двое боевиков. Арестован главный мафиози нашего города. Каковым оказался гражданин Тютюкин, занимавший пост заведующего отделом культуры горисполкома. («Эге!» — сказал я сам себе и, за отсутствием Г. А., переглянулся с Аскольдом.) По подозрению в причастности задержана еще куча лиц, в частности, заведующий складом химикатов, владелец кафе «Снегурочка», один из университетских садовников и прочие добрые граждане. (Ни одного студента. Что характерно.) Следствие продолжается. Есть все основания полагать, что в ближайшее время наш город наконец будет полностью очищен от наркомафии.

Уединившись с Мишкой, мы быстро обсудили, как же все это надобно понимать. Пришли к странному выводу. Получается, что Г. А. уже некоторое время знал и про подпольную фабрику, и про «крестного» из горисполкома, и еще, видимо, многое, но почему-то молчал, а позапрошлой ночью принялся действовать, причем как-то странно. Почти очевидно, что атлетического хомбре и прочих студиозусов вывел из-под удара именно он. Вопрос: зачем? Чем они лучше прочей наркомерзости? И откуда он мог знать, что Михайла Тарасович начнет свою операцию именно этой ночью?

Во время этого торопливого разговора мне пришла в голову одна довольно странная мысль, которая многое объясняет. Майклу я решил ее не сообщать. И воздерживаюсь излагать ее здесь. И так запомню.

Г. А. знает, что делает,— на этом мы с Михой и порешили.

Сегодняшние газеты полны Флорой. Оказывается, позавчера (я пропустил) Ревекка разразилась большой статьей в «Городских известиях», и теперь по всем газетам идут отклики. Триста тридцать три вопля отчаяния, горя, боли, ненависти, мести. Волосы шевелятся. Я представил себе моего Саньку Ёжика, как он валяется в остывшей золе у костра, ясные глаза остекленели, рот распущен, и слюни тянутся, а он, ничего не помня, раз за разом режет себя бритвой, а эти полуживотные смотрят на него даже без особого интереса. Я не сдержал себя и выразился. При всех. Вслух. Дело было за обедом. При женщинах. И даже не извинился. Впрочем, никто не обратил внимания, а Борисыч мрачно прорычал: «Давно пора с этой чумой кончать. В гинекологии две девчонки оттуда лежат — одной двенадцать, другой тринадцать. Знаете, как они себя называют? Подлесок!»

Никогда такого не видывал: в городе появились пикеты. Пожилые люди, на вид пенсионеры, стоят по двое, по трое перед дверями дешевых заведений и уговаривают туристов не заходить. Перед «Неедякой» — двое седобородых с самодельными плакатами. На одном плакате: «Здесь моего внука приучили к наркотикам». На другом: «Порядочные люди этот вертеп не посещают». Еще плакаты (на оградах, на бульваре перед горсоветом, прямо поперек улицы) — черным

по красному: «Твои дети в опасности! Спаси их!», «Бросай работу! Раздави гадину!», «Сделаем наш город чистым от зеленого гноя!»...

На улицах полно людей. И милиция. Никогда в жизни не видел столько милиционеров сразу, разве что на стадионе. И какая-то непривычная атмосфера всеобщего подъема, нервического, лихорадочного, нездорового, словно все слегка приняли то ли для смелости, то ли для бодрости,— раздаются приветственные возгласы в повышенном тоне, трещат по спинам увесистые хлопки крепких ладоней, все говорят, перебивая друг друга. Такое впечатление, будто никто сегодня не пошел на работу. Атмосфера не то вокзала, не то банкета. Атмосфера предвкушения.

(Вообще говоря, мне это не нравится. Неприятно даже представить себе хирурга, который жадно потирает ладони, хлопает ассистенток по попкам и возбужденно хихикает, предвкушая процедуру удаления опухоли.)

И, конечно же, ни одного фловера. Что неудивительно. Будь я фловером, духа бы моего не было в этой атмосфере. И вообще в радиусе трехсот километров. Может быть, все-таки обойдется без насилия? Не полные же они дураки, должны же они понимать, что надо уносить ноги побыстрее и подальше?

В конце бульвара у меня екнуло сердце: на дереве болтался повешенный. Маскировочный комбинезон, зеленые лапти, все честь по чести. Но, конечно, это оказалось всего-навсего чучело. Под чучелом деловито суетилась парочка пацанов лет двенадцати со спичками и зажигалками. Я окоротил их: во-первых, десантные комбинезоны не горят; во-вторых, омерзительно, когда жгут даже чучело человека; в-третьих, они похожи сейчас на куклускланов цев, поджигающих повешенного негра. Они удалились на третьей скорости, а я пошел своей дорогой, горестно размышляя о том, что атмосфера охоты на чудовищ уже начала порождать чудовищ.

(Впрочем, сейчас мне кажется, что я, как это часто бывает с педагогами, приписываю свой собственный нечистый образ мыслей ребятишкам, ни о чем таком и не думавшим. Действо, которому я придал символический смысл, для них не имело никакого отношения ни к фловерам, ни к страшным замыслам взрослых вообще. Во вчерашней хронике они видели, как демонстранты сожгли чучело премьер-министра перед парламентом, а сегодня попалось им это чучело на бульваре, и захотелось, чтобы трещал огонь, валил дым, чтобы все вокруг забегали в панике, а там, глядишь, и пожарники подвалят... Что-нибудь в этом роде. Так что мой педагогический заряд мощностью в десять килотонн оставил их вполне невредимыми и в недоумении, а брызнули они от меня только потому, что форменная куртка лицеиста пользуется у школьников большим уважением, а может быть, они вообще знают меня лично, может быть, вел я у них в прошлом году какие-нибудь уроки, и перепугались они, что я их тоже узнал. Педагогика. Наука.)

А за ужином дискуссия началась с того, что Иришка с негодованием поведала нам вполне омерзительную историю. Нынче она с утра дежурила в специнтернате «Вишенка», и заявился к ним после обеда инструктор гороно товарищ Лютиков Андрей Максимович, созвал весь персонал в преподавательскую и выступил с гениальным предложением: вывести на завтрашнюю демонстрацию к горсовету всю «Вишенку» в полном составе, включая парализованных, слепых и безнадежных. Колонна пойдет под лозунгом: «Мы обвиняем Флору!» Это произведет эффект. Это найдет отклик.

Это произвело эффект. Все в преподавательской обалдели. Это нашло отклик. Андрею Максимовичу, товарищу Лютикову, так врезали по мордасам со всех сторон, что он посинел, как вурдалак, и принялся орать неестественно тонким голосом, что все здесь будут уволены завтра же, что он этот рассадник защитников Флоры растопчет лично, а интернат развеет и расточит. Тогда Сергей Федорович взял трубочку, позвонил Риве и в двух словах объяснил ей, чем тут занимается ее инструктор. Рива велела отключить экран, а трубку передать Лютикову. «И затрясся вурдалак проклятый...»

В преподавательской воцарились три минуты великого молчания. В великом молчании товарищ Лютиков выслушал, что говорилось ему Ривою, в великом молчании осторожно положил трубку, в великом молчании собрал свой портфель и удалился. И был он при этом уже не синий, а серый, что его, впрочем, тоже не украшало.

Все-таки трудно придумать что-либо более отвратное, чем потуги взрослых вмешивать в свои взрослые дела детей. В особенности если это не дела, а делишки, а дети не просто дети, а несчастные от рождения. Нет этому оправдания и быть не может, какие бы красивые слова при этом ни говорили взрослые. Признаюсь, я почувствовал к Риве неизъяснимую симпатию, хотя, казалось бы, ну что такое особенно хорошее она сделала? Любой нормальный человек на ее месте должен был поступить так же. Особенно на ЕЕ месте. Тут, видимо, все дело в контрасте. На фоне злобного идиота даже самый обыкновенный человек выглядит ангелом, до умиления симпатичным.

Каким именно образом возникла дискуссия, я сейчас уже и не помню. Ведь вначале, сразу после рассказа Иришки, мы все пребывали в полном согласии. И вдруг — гвалт, размахивание руками, и каждый — ни шагу назад. Главное, в лицее-то нас осталось сейчас всего шесть человек. Страшно вообразить, как бы все это выглядело, если бы орали и размахивали руками все двести.

Картина: в столовой почти все огни погашены, тридцать пустых ненакрытых столов, мы все шестеро на ногах, стулья опрокинуты, ужин недоеден, а в дверях кухни застыл в изумлении и испуге Ираклий Самсонович, белый колпак сдвинут набекрень, в глазах ужас, в руке — невостребованный белый соус к биточкам.

Вот что замечательно: если отвлечься от взрывов эмоций, от взрывов остроумия лицейского, имеющего целью повергнуть противника в прах любой ценой, а также от взрывов взаимных обвинений, вообще не имеющих никакого отношения к спору... так вот, если отвлечься от всего этого, то останется на удивление мало. Так, несколько тезисов.

Нам казалось тогда, что мы спорим по широчайшему кругу вопросов, а на самом деле спорили мы только об одном: прав Г. А. или нет? И как относиться нам к его правоте или неправоте? (Господи! Куда подевались все лекции по риторике и по культуре дискуссий? Ираклий Самсонович свидетель: шестеро мартышек, швыряющих друг в друга пометом и банановыми шкурками.)

И что еще замечательно: ведь общего между нами гораздо больше, чем разного. Все мы ученики Г. А., и все мы обучены свято следовать своим убеждениям. Все мы ненавидим Флору и тем самым не являем собою ничего особенного — целиком и полностью держимся мнения подавляющего большинства. Все мы любим Г. А., и все мы не понимаем его нынешней позиции, а потому чувствуем себя виноватыми перед ним и слегка агрессивными по отношению к нему.

Мы с Мишелем размахиваем руками, главным образом, потому, что нам не нравится оказаться в одной куче с большинством. Мы от этого отталкиваемся, но никаких серьезных оснований отмежеваться от боль-

шинства у нас нет, и это нас ужасно раздражает. И никаких оснований мы не находим, чтобы полностью стать на сторону Г. А., и это нас ужасно беспокоит. Потому что ясно: если кто-то здесь и ошибается, то уж, наверное, не Г. А. То есть это для нас с Мишелем ясно. А совсем не ясно нам с Мишелем, как быть дальше. Следовать своим убеждениям — значит остаться в дураках, да еще предать Г. А. вдобавок. А слепо идти за Г. А. означает растоптать свои убеждения, что, как известно, дурно.

Вот у Иришки все просто. Она очень любит Г. А., и она очень жалеет Г. А. Этого для нее вполне достаточно, чтобы целиком быть на стороне Г. А. Это вовсе не означает, что она растаптывает свои убеждения. Просто у нее такие убеждения: ей жалко любимого Г. А. до слез, а на остальное наплевать. Флоры и фауны приходят и уходят, а Г. А. должен пребывать и будет пребывать вовеки. Аминь! А будешь много тявкать, получишь этой овсянкой по физиономии.

Кириллу хорошо: у него билет домой на завтра, на тринадцать двадцать. Впрочем, он теоретик. «Верую, ибо абсурдно». Человековедение — это не наука, это такая разновидность веры. Здесь ничего нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Человековерие. Ты либо просто веришь, либо просто не веришь. Что тебе ближе. Или теплее... Г. А.— бог. Он знает истину. И если даже ваша паршивая практика покажет потом, что Г. А. оказался не прав, я все равно буду верить в Г. А. и смеяться над вашей практикой, и жалеть вас в минуту вашего жалкого торжества, а потом, может быть, позволю вам, отступникам, поплакать у меня на груди, когда в конце концов ваша жалкая практика превратится в пепел под лучами истины.

Зоя кричала и размахивала меньше всех. Простым глазом видно было, что сам разговор о Флоре вызывает у нее тошноту почти физическую. Она со своей душевной чистотой, доходящей уже до фригидности, не переносит Флору органически. (И дело здесь вовсе не в повышенной брезгливости. Во время эпидемии, помню, она работала вместе с нами и лучше многих из нас — с утра до ночи и с ночи до утра, гнойные простыни, желто-красные язвы, кровавые испражнения умирающих...) А Флора для нее — за пределом. Ведь это уже не люди. Это даже не животные. Это какие-то мерзкие осклизлые грибы, гнездящиеся на падали. Они вне моей сферы. Они вне наших законов. Они вообще вне... Г. А.— святой, а вы — нет. А я уж совсем нет, до последней степени — нет. И заткнитесь вы, ради бога, хватит об этом, ужин ведь все-таки...

В общем, никто меня особенно не удивил. Аскольд меня удивил. Он всегда был малость супермен, с первого класса, и всегда ему это нравилось. Я-то раньше думал, что это у него поза такая. Имедж. Г. А., помнится, пошутил как-то: с такими манерами, Аскольдик, прямая тебе дорога преподавателем в кадетское училище. Однако сегодня выяснилось, что это не только манеры. Тунеядство должно быть уничтожено. Перед нами выбор: либо мир труда, либо мир разложения. Поэтому у каждого тунеядца не может быть образа жизни, у него может быть только образ неотвратимой гибели, и только в выборе этого образа гибели мы можем позволить себе некоторое милосердие. И каждый тунеядец должен это усвоить твердо. А мы с вами должны сделать так, чтобы каждый потенциальный тунеядец, которому не повезло с генотипом, с семейной средой, со школой и прочим, был с наивозможной убедительностью предупрежден о своей неотвратимой гибели. Не надо: слюней, соплей, метаний и самопожертвования. Надо: железную твердость, беспощадную последовательность, абсолютную непримиримость. Г. А.— гений, это бесспорно. Да с этим никакой дурак и не собирается спорить. Просто надо помнить; что гении тоже ошибаются. Ньютон... Толстой... Эйнштейн... и так далее. Мы должны иметь свою голову на плечах, хоть мы и не гении. Мы должны сохранять хладнокровие мысли и не позволять нашему преклонению и восхищению застилать глаза нашему разуму...

Как всегда, аргументов в нужный момент у меня не нашлось, и все мои аргументы были — яростное швыряние помета и банановых шкурок. А как славно было бы спеть с ним тогда такой, например, дуэт:

Я. Предположим, что ты врач. Новая страшная эпидемия поражает только негодяев. Твои действия?

Он (пренебрежительно). Было. Сначала венерические болезни, потом СПИД. Старо.

Я. Нет, не старо. Там болезнь поражала всяких людей. Совершенно ни в чем не повинные страдали тоже. А теперь представь, что болезнь поражает только и исключительно подлецов. Ты, разумеется, будешь в этом случае железно-твердым, беспощадно последовательным и абсолютно непримиримым?

Он. Что ты ко мне пристал? Я не врач!

Я. Да, ты не врач. Ты не приносил клятву Гиппократа. Но ты принимал присягу Януша Корчака! Люди вроде тебя всегда норовили делить человечество на агнцев и козлищ. Так вот, врач может делить человечество только на больных и здоровых, а больных — только на тяжелых и легких. Никакого другого деления для врача существовать не может. А педагог — это тот же врач. Ты должен лечить от невежества, от дикости чувств, от социального безразличия. Лечить! Всех! А у тебя, я вижу, одно лекарство — гаррота. Воспитанному человеку не нужен ты. Невоспитанный человек не нужен тебе. Чем же ты собираешься заниматься всю свою жизнь? Организацией акций?

(Он в бессильной ярости принимается швырять в меня пометом и банановой кожурой.)

Да, воистину: самые убедительные наши победы мы одерживаем над воображаемым противником.

Сейчас мне пришло в голову, что ведь, пожалуй, и Аскольдовы подопечные Сережка Петух и Ахмет-богатур заметно отличаются и от моих ребятишек, и от всего остального их класса. Холодные драчуны. Кадеты. Маленькие аскольдики. Это уже неконтролируемое размножение! Ей-богу, хватит с нас и одного Аскольда. Настроение, и без того не радужное, вконец у меня испортилось. Врачу, исцелися сам. Педагоге, воспитай себя, а уже потом суйся воспитывать других. А то ты такого навоспитываешь, что сотня Г. А. их не перевоспитает.

Для поднятия тонуса сходил в комнату моих ребяток. Пусто и уже припахивает пылью. Но на стенах — милые сердцу картинки. На подоконнике — недостроенная модель Термократора. На столике — развороченный компьютер. На спинке стула — забытая Ёжикова майка с надписью «It's Time of Total Truth...». Я присел перед подоконником, впаял Термократору недостающий глаз, и на душе у меня полегчало. Проще надо быть! Проще! Счастье — в простом.

Мне кажется, я понимаю, какую связь подразумевает Г. А. между этой древней рукописью и моей работой, но это слишком долго, а я слишком устал, чтобы сейчас об этом писать.

(ПОЗДНЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Совершенно не помню, что я тогда имел в виду. К сожалению.)

РУКОПИСЬ «ОЗ» (15—18).

15. Был уже поздний вечер. Даже скорее ночь. Я лежал под одеялом у себя в каморке и читал на

сон грядущий Агасферов «Преканон». Они разговаривали в Комнате. Тоже, видимо, на сон грядущий. Я не прислушивался. Как всегда между собою, они говорили на каком-то сугубо экзотическом языке, которого я никак освоить не мог,— гортанном и изобилующем придыханиями и шипящими. Вдруг голоса их возвысились. Я глазом моргнуть не успел, как они уже орали друг на друга. Встревоженный, я спустил ноги с тахты, и тут Демиург заревел, как иерихонская труба, а Агасфер Лукич завизжал невыносимым, скребущим душу визгом. Ничего подобного в жизни своей я не слыхивал. Визг этот был не животный, не механический и не электронный. Он был вообще не от мира сего. Так мог бы визжать Конь Бледный, бешено топча сонмы грешников. И сейчас же что-то тяжелое ударило в стену, да так, что все висевшее на ней оружие с лязгом обрушилось.

В одних трусах вылетел я в Комнату. В голове моей торчала одна-единственная нелепая мысль: «Весь ведь квартал на ноги поднимут, уроды!»

Уроды же выглядели так.

Агасфер Лукич, весь расхлюстанный, блистая потной плешью и потным брюхом, вывалившимся из-под брючного ремня, наскакивал на Демиурга, совершая диковинные взмахи и взбрыки ручками и ножками,— то ли норовил вскарабкаться на него, как на Красноярский столб, то ли стремился причинить ему какое-нибудь физическое увечье приемами борьбы, бывшими в ходу две тысячи лет назад.

Демиург же, отгораживаясь от него крылатым плечом, возился со знаменитым портфелем. Я впервые увидел руки Демиурга, они были черные, с зеленоватым отливом, с неопределимым количеством пальцев. Пальцы эти, длинные и мосластые, сложно и омерзительно шевелились, как шевелятся лапы паука, когда он бинтует муху.

На моих глазах он распахнул портфель (Агасфер Лукич вновь издал апокалипсический визг) и, придерживая его левой рукой, засунул правую в пышущие жаром недра — засунул глубоко, неправдоподобно глубоко, куда-то этажом ниже, как мне показалось. Несколько долгих секунд он шарил там, в жарких пространствах, звучно рыча и беспорядочно вращая налитыми кровью яблоками глаз.

Только на несколько секунд его и хватило — портфель полетел в сторону, а освобожденная рука взметнулась к потолку. Она была невероятной длины и с множеством локтей, а кисть ее была раскалена и светилась всеми цветами побежалости, и с кончиков ослепляюще белых пальцев срывались и летели по комнате дымные искры и капли. А потом левой рукой он ухватился за правую, с хрустом выдернул ее вон и швырнул в угол. Глаза его сделались уже, как дыни, он разинул пасть, изрыгнул непонятную, но явную брань, многоэтажную и древнюю, щучьими зубами впился в первый подвернувшийся локоть левой руки, бешено мотнул медной головищей так, что кисточка парика взвилась дыбом, с тем же хрустом выдернул из себя и левую руку и, словно окурок сигары, выплюнул ее в бездонную тьму за дверью Кабинета.

И сразу стало тихо. Демиург осанисто поводил головой из стороны в сторону и плавно приподнимал то одно плечо-крыло, то другое, как бы демонстрируя нимало не уменьшившуюся мощь и боеготовность своего организма. Агасфер Лукич сидел на корточках возле топчана, любовно оглаживая, осматривая и даже обнюхивая свой счастливо возвращенный портфель. В углу все еще корчилась, остывая, страшная рука — скребла по обуглившемуся паркету сосульками оплавленных пальцев. Пахло потом, гарью и медной окалиной.

Потом Агасфер Лукич вдруг, словно бы спохватившись, перекатился на четвереньки и принялся озабоченно оглядывать пол вокруг себя. Не обнаружив искомого, он двинулся вдоль стены на трех конечностях, прижимая четвертой портфель к голому потному боку. Тут я понял наконец: Агасфер Лукич в пылу сражения потерял свое искусственное ухо.

Демиург грянул:

— Да вон же оно, под калорифером! Что вы, в самом деле, будто Иов на гноище!

Агасфер Лукич, не поднимаясь, быстро добежал до калорифера, нащупал драгоценное и, радостно улыбаясь, приладил его на место.

— Благодарствуйте, мой Яхве! — весело сказал он.

Так закончилась еще одна ссора между ними. Правда, раньше до драки дело у них не доходило. Чего они не поделили на этот раз? То ли Демиург хотел отобрать что-то в свою пользу у Агасфера Лукича, то ли Агасфер Лукич ухитил что-то у Демиурга... Бог у бога портянки украл.

16. Вот этот клиент мне окончательно осточертел. То есть я, кажется, уже всяких повидал, но этот был — что-то неописуемое. Тощий, старый, бледно-зеленый, с запекшимися губами, с горящими глазами фанатика, он многословно и невнятно, постоянно повторяясь и сбиваясь, излагал свою методу спасения человечества. Мысль его, словно поезд метро, постоянно двигалась по одному и тому же замкнутому кругу. Его можно было прервать, но отвлечь его было невозможно. И этот ужасающий местечковый акцент!..

Все очень просто. Христианство исказило естественное течение человеческих отношений. Учение Христа о том, что надлежит любить врага своего и подставлять ему все новую и новую щеку, это учение привело человечество на грань катастрофы. Древний благородный лозунг «око за око, зуб за зуб» оклеветан, забросан грязью, заклеймен как человеконенавистнический. Все беды — именно отсюда. Зло сделалось безнаказанным. Обидчики и нападатели привольно разгуливают по жизни, попирая ими же поверженных. Все дозволено тому, кто нагл, силен и злобен. Нет управы на него, кроме законов человеческих, коим цена — овечье дерьмо. Хулиган безнаказанно измывается над слабым. Чиновник безнаказанно измывается над робким. Наглый безнаказанно топчет скромного. Клеветник безнаказанно порочит правдивого. Властитель безнаказанно попирает всех.

Конечно, сам по себе лозунг «око за око», будучи формулой человеческой, ничего в этом мире изменить не способен. Но теперь, когда его может осенить мистическое могущество, если он воссияет на хоругви, несомой мощными дланями...

Четырежды Демиург давал мне распоряжение проводить. Четырежды ходатай за обиженных замолкал на мгновение, чтобы тут же начать все сначала. Мне пришлось буквально выковыривать его из кресла, затем отдирать от платяного шкафа, за который он уцепился, а затем отклеивать его пальцы от дверного косяка. И все это время он, как бы не замечая моих усилий и своего унизительного положения, втолковывал нам, что единственный способ раз и навсегда защитить обижаемых, унижаемых и оскорбляемых — это наделить их способностью поражать обидчиков своих чем-нибудь наподобие электрического разряда.

Еле я его выпроводил. Когда я вернулся в Приемную, с отвращением обтирая об себя ладони, липкие от хладного пота ходатая, Демиург спросил:

— А как вы полагаете, Сергей Корнеевич, почему третий закон Ньютона не выполняется в сфере человеческих отношений?

Я подумал.

— На самом-то деле он, наверное, выполняется. В конце концов всем известно: как аукнется, так

в откликнется. Просто в человеческих взаимоотношениях нет ясных понятий действия и противодействия.

Демиург ничего не сказал на это, и я, подождав минуту, отправился на кухню. Наступало время обеда.

17. Я шел с авоськой по Балканской, направляясь в молочную, и думал о каких-то пустяках, когда произошло событие необыкновенное.

То есть началось-то оно вполне обыкновенно. Грохоча и лязгая, промчался мимо воняющий самосвал и с ходу обдал меня грязью из рытвины в асфальте. С обыкновенным проклятьем я остановился и принялся кое-как стряхивать с плаща и с брюк холодную жижу, как вдруг позади меня забухали приближающиеся сапоги, и хриплый, задыхающийся голос просительно просипел:

— Позвольте мне! Мне позвольте!

Я и ахнуть не успел, как здоровенный мужик в телогрейке, совершенно незнакомый, рухнул возле моих ног на колени и принялся трясущимися красными лапищами осторожно, как драгоценнейшее произведение искусства, обтирать полу моего плаща, брючину и заляпанный ботинок. При этом он, словно в лихорадке, бормотал:

— Сейчас!.. Моментально!.. Секундочку только...

Я в ужасе огляделся. Никого вокруг не было, и лишь шагах в двадцати вонял на холостых оборотах давешний самосвал, стоя совершенно наперекосяк. Я шарахнулся, мне было гадко и страшно, но мужик не выпустил полу моего плаща, он побежал за мною, быстро перебирая коленями, и, заглядывая мне в лицо совершенно собачьими глазами, отчаянно прохрипел:

— Языком вылижу! Блестеть будут...

А у меня и голоса не было. Я только рванулся изо всех сил, освободился наконец и быстрым шагом пошел прочь, еле удерживаясь, чтобы не перейти на бег. До самого угла я боялся, что он меня догонит, и, поворачивая на проспект Труда, украдкой глянул через плечо назад. Безумец так и стоял на коленях, он лишь опустил зад на пятки и медленно обтирал руки о ватник, понурив голову. У него был вид человека, обреченного на казнь.

Душевное равновесие мое было нарушено, и, не сделав по проспекту Труда и нескольких шагов, я налетел на пенсионера самого почтенного вида — в шляпе и с тростью. Собственно, столкновения не произошло, в последнюю секунду я сумел притормозить, и мы только слегка коснулись друг друга плечами. Я пробормотал что-то вроде: «А, ч-ч-ч... Виноват...» Он же с поразительной живостью отступил на шаг, сорвал шляпу и, взяв наотлет свою палку, проговорил, словно в театре:

— Мой дорогой! Разрешите принести вам мои глубочайшие извинения! Я позволил себе задуматься и был крайне небрежен.

— А-ап...— сказал я.— А-ас... Собственно, это я был небрежен... Вина, собственно, моя... Еще раз — пардон.

— Мы оба были небрежны,— с видимым облегчением произнес пенсионер и улыбнулся, как мне показалось, фальшиво.— Вообще-то сейчас время такое, что глаза лучше дома не забывать.

— Правда ваша,— согласился я, чтобы не затягивать сцены, и пошел себе дальше в молочную.

Неприятное предощущение зашевелилось во мне. Где-то под ребрами справа. Все вокруг было до тошноты знакомо. Испещренный трещинами неровный асфальт с вечными лужами, и прошлогоднее пятно на нем от пролитой краски перед хозяйственным магазином, похожее на рисунок кроманьонца. Мокрые жалкие прутья садовых насаждений вдоль тротуара, в некоем неприличном контрапункте странно сочетающиеся с гигантским выцинявшим плакатом «Саду — цвесть!» на брандмауэре бывшего доходного дома. Отгородившаяся от неба лоснящимися зонтиками терпеливая очередь за обоями г хозяйственный магазин. Прохожие, прохожие, прохожие, все больше тетки с кошелками, с сумками, с бидончиками, с собаками. И машины, машины, машины, господи, сколько нынче в городе машин!..

Вроде бы все, как обычно, но чем дальше, тем страшнее мне становилось. Что-то происходило в городе, только я не мог уловить, что именно, и я не знал, как об этом спросить.

...Решительно, машины двигаются слишком медленно. Правда, на проспекте Труда везде «40», но ведь и вчера здесь было «40», а половина шоферов, как водится, никакого внимания на это не обращала... У всех машин включены подфарники по случаю туманной погоды. То есть буквально у всех!..

...Что они мне все улыбаются? Я эту тетку вижу впервые в жизни, а она мне кланяется и вся расплылась в улыбке, такой же фальшивой, как ее зубы... И эта туда же...

— Здрасьте... И вам здрасьте... Приветствую вас...

Вот оно! Ведь все же прячут глаза... лица прячут... Кто прикрывается зонтиком, кто смотрит под ноги, словно пятак потерял, кто отворачивается к витрине, хотя в витрине ничего, кроме ремонта, нет... Но если уж так выходит, что глаза наши встречаются, тогда сразу пасть до ушей, поклон чуть ли не подобострастный и — «здрасьте! здрасьте вам! доброго денечка!» Сначала я подумал было, что это моя известность как личного секретаря Демиурга распространилась вдруг на все население ближайших кварталов. Но я не успел даже продумать последствия такого ошеломляющего предположения. Я обнаружил, что они все друг с другом раскланиваются, все друг другу осклабляются, все желают друг другу добренького денечка.

...Нет, не все, конечно. Им это явно не нравилось, они делали это явно через силу. Они делали это только в том крайнем случае, когда встречались друг с другом глазами и вынуждены были (почему, собственно?) непременно оказать внимание друг другу, как старым добрым знакомым. Можно было подумать, что нынче утром, пока я распинался на службе, власть в городе захватили исступленные почвенники и призвали соотечественников (под угрозой наказания на теле) вспомнить, откуда все они произошли, припасть к чистому источнику древних обычаев, погрузить обе руки в сокровищницу патриархальных нравов и, хотя бы на улицах, вести себя в соответствии.

Смешного тут не было ничего. Я предпочел бы сейчас вернуться домой, пусть даже без кефира и масла, и навести справки у Агасфера Лукича или по крайности включить телевизор. Но масла в доме не было никакого, это во-первых, а во-вторых, черт побери, надо было хотя бы попробовать разобраться во всем самому.

В молочной на первый взгляд ничего необычного я не обнаружил. Очередь в кассу была небольшая, за сметаной стояло старух десять, но сметана меня как раз не интересовала. Я набрал в сумку четыре бутылки кефира, обогнул стойку, взял три пачки масла по двести граммов и пристроился в очередь в кассу.

Нет, здесь тоже было нехорошо. Очередь вела себя не как очередь, а словно бы на светском рауте, как я себе это представляю. Они беседовали. Все. Они не стояли друг другу в затылок, как это принято испокон веков, они норовили встать друг к другу вполоборота, чтобы, упаси бог, не оказаться к кому-нибудь спиной.

Физиономию у кассирши, казалось, свело судорогой от перманентной любезной улыбки, руки ее так и порхали — выбивали, отрывали, отсчитывали, выдавали,— и с каждым покупателем она здоровалась и каждому говорила спасибо. (Обычно она разговаривает так: «Чего вы все лезете со своими десятками? Нет у меня рублей, ослепли, что ли?» Зовут ее Аэлита.)

В магазине были еще грузчики. Я заметил их не сразу, потому что они были бесшумны. Эти два опухших амбала в грязных черных халатах катали и разгружали свои тележки с продуктами, передвигались как бы на цыпочках, мгновенно замирая на месте, если путь им пересекал случайный покупатель. Ни лязга не было слышно, ни грохота, ни своеобычных возгласов: «Валек! На хрен ты, пала, это сюда приволок?.. Эй, мамаша, подбери корпуса!..»

До кассы было восемь человек. От силы десять минут. В очереди разговаривали:

— Дожди и дожди, а снегу все нет...

— Очень нужен снег. Для урожая.

— Это вы совершенно правильно говорите, дама. Снег зимой — это самое первое дело.

— То-то Рейган радуется!

— У них там — тайфуны. Я вам так скажу, что уж лучше пусть будут дожди, чем тайфуны...

Шесть человек до кассы. Грузный седой дядька, стоявший передо мною, повернулся ко мне вполоборота и, напрягшись, выдавил заветное:

— Осень в этом году. Все тянется и тянется...

Я напрягся и ответил:

— Да. Полгода уже тянется.

— И не говорите. Когда она кончится!

До кассы оставалось всего четверо, но тут из сметанной очереди прискакала бабка и, рассыпаясь в корявых извинениях, пристроилась второй. Она там занимала, оказывается, старая карга. Дядька передо мной еще раз поднатужился и пошел по новой:

— Когда осень, обязательно дожди. Случая такого не припомню, чтобы осень — без дождей.

Я не успел сообразить ответ, как из-за спины моей уже подхватили:

— Это вы правильно говорите, мужчина. Только в Африке этого нет.

— И в Австралии! — объявил дядька с неожиданным апломбом, но тут же спохватился: — Хотя точно утверждать не могу. В Австралии, может быть, и есть. Южное полушарие все-таки...

Я был уже третьим от кассы, но тут подошла особа в шляпе и с банкой сметаны в руке и сказала моему дядьке:

— Я, кажется, перед вами занимала...

— А пожалуйста,— сказал дядька с готовностью и потеснился ко мне.

Особа вперлась. Я оглянулся. Народу-то за мной стояло всего два человека. Нет, ей обязательно надо использовать свое право. Ладно, я четвертый, переживу... А вот я и опять третий...

И вдруг раздался странный звук, нечто вроде сдавленного мычания. Что-то треснуло. Банка со сметаной упала на кафельный пол и разлетелась белой многоконечной звездой. Дядька шарахнулся и наступил мне на ногу, а особа в шляпе, хватая воздух пальцами в черных нитяных перчатках, стала медленно падать вбок от очереди. На секунду все замерло. Раздался короткий взвизг. Я стоял столбом в обычном своем для подобных ситуаций ступоре. Особа в шляпе мягко, как волейболист, упала на спину, и сейчас же тело ее противоестественно выгнулось дугой, а голова несколько раз с силой ударилась затылком о кафель.

Я все стоял столбом, уставясь на бьющуюся в судорогах женщину, но уже понимал, что это у нее какой-то припадок, приступ какой-то и надо броситься и помочь ей, и я сейчас вот брошусь и помогу, только надо куда-то пристроить проклятую сумку с кефиром... Самое страшное, однако, заключалось в том, что люди вокруг, вместо того чтобы броситься женщине на помощь или хотя бы стоять столбом, как я, кинулись врассыпную кто куда, только бы подальше отсюда, сбивая друг друга с ног, с треском круша стойки и перегородки, нечленораздельно крича и панически взвизгивая.

Тут перед глазами у меня вспыхнуло, и я на некоторое время отключился.

Первое, что я, очнувшись, услыхал, был пронзительный, душераздирающий вопль Аэлиты:

— Ты что наделал, облом тамбовский? Харя твоя непроспатая! Это же ученый из нового дома, каждый день сюда ходит!

Я лежал щекой на кафеле, и кто-то осторожно стягивал с меня берет.

— У них такое пятно должно быть лысое за ухом...— виновато и опасливо бормотал незнакомый сипловатый басок.

— За каким ухом-то? За правым? За левым? — спрашивал другой голос, тоже сиплый и напряженно-испуганный.

Голову мою осторожно повернули и положили на кафель другой щекой.

— Нет у него ни хрена,— с явным облегчением и уже раздраженно сказал второй голос.— Ни за левым, ни за правым... Дурак ты, боцман, и шутки у тебя дурацкие.

— Да я же вам говорю! — снова завопила Аэлита.— Ученый он, из нового дома на Балканской!

— Так, а чего он, понимаешь...— агрессивно-виновато сипел басок.

— Чего, чего... В очереди человек стоял, вот чего!

— Так, а чего он на нее глядел? Так и вперился, как этот...

— Ладно, давай хоть посадим его, что ли...

Меня взяли под мышки и аккуратно посадили, прислонив спиной к прилавку-холодильнику. Две опухшие сизоватые физиономии возникли перед моим лицом. Амбалы разглядывали меня внимательно и с сочувствием.

— Извини, друг,— просипел тот, что был слева.— Мы тебя за этого приняли... за громобоя... знаешь, который разрядом человека бьет... Уж больно ты страшно на эту бабу уставился... Прямо вызверился, как этот...

В магазине не было ни одного покупателя. Припадочная особа тихо лежала головой в луже сметаны. Она уже моргала.

— Продуктов-то сколько потоптали! — завопила Аэлита с новой силой.— Прилавок опять разнесли!.. Ну, чего встали, запойные? Вызывайте милицию! «Скорую» вызывайте!

18. Я сказал Демиургу:

— Я очень прошу вас впредь не делать меня участником ваших экспериментов.

Демиург ничего не ответил, а Агасфер Лукич напомнил мягко:

— Сережа, ведь я же говорил вам: не надо нам кефира, обойдемся! Ведь говорил же!

— Так масла же не было в доме ни крошки,— сказал я растерянно.

19. Остров Патмос на поверку оказался...

(Окончание следует.)

Проза

Аркадий СТРУГАЦКИЙ,
Борис СТРУГАЦКИЙ

ОТЯГОЩЕННЫЕ ЗЛОМ, ИЛИ СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ

Фантастический роман

ДНЕВНИК. 19 июля (утро).

У Лема есть рассказ, как изобрели снадобье, от которого совокупляющийся человек терпит непереносимые мучения. Идея изобретателя: половой акт должен иметь исключительно функциональное значение. Как называется рассказ? Не помню. И Мишель тоже не помнит.

19 июля. 20 часов 30 минут.

Утром позвонил тренер: занятия по субаксу сегодня отменяются. Вообще все тренировки в доме спорта сегодня отменены. Вопрос: «Почему?» Ответ: «Вы что — сами не понимаете?»

В газетах продолжается вчерашнее. По-прежнему гнев, стоны, проклятия, душераздирающие факты. Однако появились некоторые попытки теоретических обоснований.

«Городские известия». В. Кривошапкин, заведующий отделом трудовых ресурсов. «Мы в принципе не против так называемых н е е д я к, которых все-таки правильнее было бы называть лицами с добровольно редуцированными потребностями (ДРП). Мы достаточно богаты, чтобы прокормить их, одеть и обуть, и даже обеспечить жильем. Тем более что уровень потребностей их в три — пять раз ниже среднего в нашем городе, и тем более что большая часть группы ДРП как-никак, а принимает участие в общественно полезном труде, причем берет на себя (пусть даже только спорадически) наименее престижные и непривлекательные работы. Я уже не говорю о том, что небезынтересный эксперимент некоторых семейств ДРП, посвятивших себя целиком воспитанию своих детей, не может не привлекать самого пристального и благожелательного внимания. Однако мы решительно против каких бы то ни было крайностей. А Флора, что бы ни говорили сердобольные ее защитники,— это и есть та самая отвратительная крайность, с которой мы не можем позволить себе мириться...»

«Университетский вестник». Профессор Н. Микава излагает предварительные результаты первого социологического исследования Флоры в нашем регионе. Лиц мужского пола во Флоре больше, чем лиц женского. Пятнадцатилетних больше, чем шестнадцатилетних. (Ну и что?) Пробовали наркотики хотя бы один раз 96,2% опрошенных. (Это и так все знают.) Алкоголем балуются примерно 30%. (Ну и что?)

Ни выводов, ни рекомендаций, ничего. Только гордое признание в конце: де прозевали мы те сложные объективные процессы в социуме, которые привели к возникновению Флоры, и надлежит теперь нам, социологам, искупить свою вину, вплотную занявшись этим поразительным социальным явлением. И тут же заметка группы студентов: чего вы к ним пристали? Вспомните хиппи, вспомните битников, «металлистов», «караканаров», «акутагуев», «шлемников»... Перебесятся и вернутся к нормальной жизни. Двое из подписавших заметку — сами бывшие фловеры.

Но зато статья проректора — это нечто! Оказывается, это Флора виновата, что в университетских подвалах гнали наркотики. Каленым железом! Поганой метлой! Дустом их, дустом!

«Ташлинский агропром». Сплошной мрак. Средневековье. Ночь. И горит городская свалка.

«Кооператор». Все авторы без исключения предостерегают сограждан от экстремизма — главным образом от пикетирования предприятий,— бьют себя в грудь на тему «не виноватая я!» и в качестве доказательства своей абсолютной лояльности призывают пустить на Флору кавалерию. При этом все они категорически требуют не смешивать Флору с мирными н е е д я к а м и, приводя примерно те же аргументы, что и «Городские известия».

«Молодежные новости». Тоже демонстрируют гордое признание своей вины. Это не только наша беда, это также и наша общая вина. Куда смотрел горком ВЛКСМ? Куда смотрели комсомольские организации предприятий и учебных заведений? Вот они, плоды чрезмерной заорганизован-

Рисунки И. Мельникова

Окончание. Начало см. в № 6 за 1988 год.

ности комсомольской работы, с одной стороны, и чрезмерного потакания самым невзыскательным вкусам — с другой. Одним словом, Что Лично Сделал Ты — Чтобы Твой Друг Не Ушел Во Флору? Замечательная газета. Ты комсомолец? Да! Ужель не поумнеешь никогда?

Все это, впрочем, цветочки, а ягодки — в «Ташлинской правде». Целая полоса. Три статьи. Дискуссия, если можно так выразиться.

Застрельщиком выступает некий Плюхин К. П. Из текста явствует, что к Флоре он никогда и близко не подходил, знает о ней только понаслышке да по рассказам знакомых, так что весь пафос его базируется на отвращении к внешнему виду фловеров, которых он случайно встречал на улице, а также на совершенно разумном тезисе, что труд сделал из обезьяны человека, а тунеядство поворачивает этот процесс вспять. Нынешняя молодежь совершенно не знакома с подлинными жизненными трудностями. Ей далеко до тех, кто осваивал Тюмень и Сургут, строил БАМ и выполнял свой интернациональный долг. И, хотя в массе своей наша молодежь «поднялась на здоровой закваске», закрывать глаза на уродливые отклонения от нормы в ее среде у нас нет никакого права.

Тут бы, казалось, самое время вскричать: «Огнем и мечом!» — однако же нет. Оказывается, нам всем надлежит только лишь использовать все меры воспитательного, идеологического и политического воздействия, основанные на рекомендациях наших педагогов и социологов. Комсомол должен встать во главе перевоспитательного движения. Правоохранительные органы обязаны пребывать на высоте и не терять бдительности ни на малую секунду. Что же касается отдельных экстремистских тенденций, заявивших себя в городе в последнее время, то их надо рассматривать как паникерские, волюнтаристские и столь же опасные, как тенденции к пассивному приятию существующего положения. Социальная пассивность и социальная агрессивность — это две стороны стершейся фальшивой монеты дешевого политиканства.

Таким вот путем.

Дальше на две колонки идет наш Г. А. Горькая и блестящая статья. Очень его, очень личная. Читаешь и все время слышишь его голос.

(ПОЗДНЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Статья эта не сохранилась. Я не нашел ее даже в Публичке. И можно лишь сожалеть, что в ту июльскую ночь я не переписал ее в свой дневник целиком, а только ограничился изложением некоторых ее тезисов, наиболее меня затронувших.)

Флора — разновидность преступного мира? Вздор. Ничего общего. Преступный мир паразитирует на нашей цивилизации, а Флора образует свою цивилизацию, свою собственную. Преступник вообще ближе к нам, чем Флора,— и по системе материальных ценностей, и по иерархии внешнего престижа. Дух цивилизации Флоры совершенно иной. Наши ценности для них — ноль. Их ценности для нас — за пределами нашего понимания, как кошачий язык.

Флора — дикари, не доросшие до нашей цивилизации? Неверно. Флора проросла из нашей цивилизации, как из слоя гумуса. Да, это дикари. Но это дикари совершенно особого типа — племя, вкусившее от нашей цивилизации и с отвращением извергнувшее то, что оно вкусило.

Суть происходящего в том, что никто не понимает Флору. А главная беда происходящего в том, что никто и не пытается понять Флору, потому что всем кажется, будто понимать здесь нечего, все и так ясно.

Флора не есть что-то отдельное от нас — некий отвратительный и опасный зверь из джунглей, которого надлежит либо уничтожить, либо отогнать на край света. (Кстати, куда хотите отогнать вы его? В соседнюю область, в соседний регион? В соседнюю республику?)

Флора — это боль наша, наше страдание. Может быть, это болезнь. Может быть, это гноящаяся рана. Но тогда нужен врач, профессионал, носитель знания и милосердия. И никакого самолечения! Никаких шаманских плясок! Никаких самопальных знахарей — с водкой вместо наркоза и ножовкой вместо ланцета.

А может быть, на наших глазах как бы стихийно возникает совершенно новая компонента человеческой цивилизации, новый образ жизни, новая самодовлеющая культура? И тогда кровь, боль, нечистота — роды! Младенец непригляден, даже уродлив, он вопит и гадит, но он обречен на рост, и в обозримом будущем он обречен занять свое место в структуре человечества. И если это так, то упаси нас боже от нечистоплотных повивальных бабок и деловитых абортмахеров!

Кто больше всех кричит в нашем городе? Оглянитесь вокруг себя, присмотритесь, прислушайтесь, задумайтесь!

Очень громко, оглушительно кричат те (как водится), кто больше всего виноват в происходящем, те, кто не сумел воспитать, не сумел увлечь и отвлечь, не сумел привязать к себе, и в первую очередь те, кто был ОБЯЗАН все это делать, числился специалистом, получал за это деньги и премии: плохие педагоги в школах, равнодушные наставники на предприятиях, бездарные культмассовые работники. Они заходятся в крике, чтобы заглушить собственную совесть и оглушить тех, кто рядом с ними пытается разобраться, где же виновные.

Зычно взревывают ответственные лица, те, кто определял на месте, выдвигал, пестовал упомянутых кое-какеров; теперь они пытаются свалить вину на своих подопечных, на объективные обстоятельства, на мифических соблазнителей и, уже как водится, на тлетворное влияние извне. А рядом не менее зычно ревут пока еще полуответственные, быстро сообразившие, что вот-вот начнут освобождаться места и что сейчас самое время сколотить политический капиталец, продемонстрировав свою объективность, деловитость и готовность решительно исправить положение. О, это вечное племя, призванное отвечать за все и потому не отвечающее ни за что!

И уже заболботали, зачуфыкали, закашляли наши родимые хрипуны, ревнители доброй старины нашей, спесивые свидетели времен очаковских и покоренья Крыма, последние полвека познающие жизнь лишь по газетным передовицам да по информационным телепередачам, старые драбанты перестройки, коим, казалось бы, сейчас правнуков своих мирно тетешкать да хранить уют семейных очагов,— нет, куда там! Вперед, развернувши старинные знамена, на которых еще можно разобрать полустертые лозунги: «Тяжелому року — бой! Не нашей культуре — бой! Цветоволосы — с корнем! Синхролайтинги — с корнем! Системки — на помойку! Контакторы — под каблук!»

И залязгали железными голосами ревнители абсолютного порядка, апологеты фрунта, свято убежденные в том, что от любых социальных осложнений есть только одно лекарство: строй, марш и бравая песня с запевалой. Тот, кто вне строя, тот и вне закона. А с тем, кто вне закона, надлежит поступать однозначно: высоко и коротко.

И с каждым часом все громче орут, улюлюкают, горланят в предвкушении веселой охоты соскучившиеся молодцы, почуявшие уже, что наступает времечко, когда можно будет дать себе волю, безнаказанно разнуздать себя, почесать кулаки, пуститься во все

тяжкие, не опасаясь правоохранительных органов. Уже за одну только эту свору не будет прощения тем, кто сейчас, вылупивши шары, мечет молнии демагогических словес, вместо того чтобы помолчать и задуматься.

«Я не называл имен, хотя я мог бы их назвать. Я был резок и, наверное, даже груб, но я не прошу прощения за это. Все, что я сказал здесь, обращено к людям, добрая половина которых — мои ученики и ученики моих учеников. Все, что я сказал здесь, обращено к ним в той же мере, в какой я обращаю это и к себе самому. Стыд и горе мучают меня последние дни, ибо вину за происходящее я полностью принимаю и на себя лично — в той мере, в какой может принять ее отдельный человек. И я прошу вас только об одном: замолчите и задумайтесь. Ибо настало время, когда ничего другого сделать пока нельзя».

Замыкает подборку декан социологического факультета. Статья его посвящена главным образом роли тунеядства, и в частности Флоры как социального явления в обществе начала второй НТР. Все очень разумно, академично и, на мой взгляд, бесспорно. В полемику с Г. А. он явно предпочел не вступать (не знаю уж, из каких соображений), однако чувствуется, что он не согласен с Г. А. практически по всем позициям. Ни с содержанием, ни с формой.

Но мне кажется примечательным одно его рассуждение. Высказавшись в том смысле, что Флора была бы невозможна, если бы мы научились предоставлять каждому молодому человеку работу по его вкусу, он замечает: «Пока мы еще имеем моральное право осуждать Флору. Не хватает рабочих рук, очень много непривлекательного и непрестижного труда, на который мы с упреком указываем Флоре, но уже недалеко то время, когда вторая НТР завершится (ориентировочно через 40—50 лет), непривлекательный и непрестижный труд будет целиком отдан кибертехнике, и что мы тогда ответим Флоре, когда она скажет нам: ладно, давайте вашу работу. Необходимо уже сейчас понять, что с нынешней точки зрения это будет очень странное время — время, когда труд навсегда перестанет быть общественной необходимостью. Может быть, нам действительно надлежит рассматривать нынешнюю Флору как некую модель общей социальной ситуации не столь уже отдаленного будущего?»

Что я из всего этого понял?

Редакционной врезки под публикацией нет. Следовательно, горком еще не принял своего решения по поводу намечающейся акции. И вообще заметно, что позиция горкома скорее умиротворяющая, нежели побуждающая. С другой стороны, подписи. Мне кажется важным, что про Плюхина К. П. все прописано досконально, и ветеран, и персональный пенсионер, и почетный наставник, и заслуженный рабочий РСФСР. То же и про декана: профессор, членкор, лауреат, депутат... А про Г. А. сказано просто, без затей: Г. А. Носов. Конечно, это можно понимать так, что каждый в городе знает, кто таков Г. А. Носов, и рекомендовать его нет никакой необходимости. Но при желании можно усмотреть здесь и некий предупреждающий намек: мол, сегодня ты и заслуженный учитель, и лауреат, и депутат, и член горсовета, а завтра — Г. А. Носов, и точка. Кирилл из всей этой подборки сделал в высшей степени оптимистические выводы: горком никаких крайних акций не допустит — пошумят, погалдят и утихомирятся. Смотри тон статьи ветерана, а также отсутствие среди авторов подборки преподобной красотки Ривы, да и арбитром выбран высоколобый, а не практик, не чиновное лицо.

Все это он изложил нам в вестибюле, с чемоданом наперевес. Говорил очень убежденно, но в его положении странно было бы говорить что-нибудь другое, например: да, ребятки, дело ваше дерьмо, ну да ладно, как-нибудь вывернетесь, а мне пора в круиз вокруг Африки.

Едва мы его проводили, как меня вызвал Г. А. и сказал: «Пойдем». Мы пошли, и по дороге я все гадал, куда это мы идем, и, конечно, не догадался. А пришли мы на телецентр и поднялись прямо к главному начальнику. Главный начальник оказался длинным, сутулым, потным, волосатым (несимпатичным), и сразу же выяснилось, что он на грани истерики. Едва мы вошли к нему, как он вскричал рыдающим голосом: «Ну что тебе, Георгий? Ну что тебе еще?»

Да, он старый и верный друг Г. А. Да, он до гроба благодарен Г. А. за свою дочь. Кажется, он уже не раз доказывал свою благодарность и словами, и делами. Но сейчас сделать нельзя ничего. Неужели он неясно выразил эту простую мысль в телефонном разговоре? Нет, по радио тоже нельзя. Нет, никаких секретов, никаких тайных пружин, и он никого не боится. Но он держится буквально из последних сил. Он не намерен на старости лет марать свою совесть, а самое малейшее вмешательство в происходящее с неизбежностью приведет к тому, что он будет замаран с ног до головы. Нет, это глубокое заблуждение, будто «хуже не будет, а лучше — может быть». Будет именно хуже, причем гораздо хуже! Сколько трудов стоило ему уклониться от чести предоставить эфир заведующей гороно, председателю Совета ветеранов, главному редактору «Ташлинского агропрома»... Если сейчас в эфир выйдет Г. А., тогда он (волосатый, несимпатичный главный начальник) по простой логике гласности должен будет предоставить эфир всем названным лицам и еще двум десяткам неназванным, которые, как собаки с цепи, рвутся призвать граждан к поганым метлам, каленому железу и ежовым рукавицам...

Кончилось тем, что Г. А. пришлось утешать его, волосатого, несимпатичного, вытирать ему сопли, напоминать о каких-то обстоятельствах, когда все закручивалось и похлестче, а кончилось благополучно, и в конце концов волосатый, несимпатичный совершенно разрыдался — уже не в переносном, а в самом прямом смысле слова, и Г. А. взглядом показал мне, чтобы я вышел.

На обратном пути я спросил Г. А., что он думает о подборке в «Ташлинской правде». Г. А. ответил: «Могло бы быть значительно хуже». Потом помолчал и добавил: «А может быть, еще и будет значительно хуже. Посмотрим». Потом еще помолчал и пробормотал как бы про себя: «Во всяком случае, я больше никуда обращаться не буду. Поздно». Это было ключевое слово. «Поздно, поздно! — кричал Вольф,— продекламировал Г. А., оживившись.— Пена и кровь стекали по его подбородку». Как всегда, цитата эта привела его в хорошее настроение. Он поглядел на меня повеселевшими глазами и вдруг спросил: «А не кажется ли вам иногда, Князь, что мы сейчас живем на переломе истории? Никогда не появляется у вас это ощущение? На переломе истории ужасно неуютно: сквозит, пахнет, тревожно, страшно, ненадежно, но, с другой стороны, счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые... А, Князь?»

В самом деле, каково это — жить на переломе истории? Надо подумать. Что это такое, собственно, перелом истории? Когда на перекрестках стоят броневики и чадят костры, на которых догорают старые истины,— это уже не перелом истории, это уже началась новая история. А перелом — это производная по времени. Говорят, сердечники реагируют не на плохую погоду, а на изменения хорошей. Вокруг еще солнышко сияет, тепло, благорастворение возду-

хов, но давление начало меняться, и сердечник хватается за сердце. Может быть, и с историей так же? Может быть, Г. А. со своей чуткостью реагирует на изменения, которые только-только еще начались? Не удивился бы, хотя сам никаких изменений не ощущаю.

Пикетов еще больше, чем вчера. Лозунги примерно те же. Интуристам страшно интересно, они непрерывно сверкают вспышками и шуршат во все стороны видеокамерами.

Спросил Михея, что он, комсомолец Михей, сделал для того, чтобы его друг, князь Игорь, комсомолец же, не ушел во Флору? Реликтовые звуки были мне ответом.

РУКОПИСЬ «ОЗ» (19—22).

19. Остров Патмос на поверку оказался довольно оживленным местечком. Видимо, в то время он располагался на пересечении нескольких каботажных если и не дорог, то, во всяком случае, тропинок. Чуть ли не каждую неделю в его удобной южной бухточке бросало якорь какое-нибудь судно, чтобы пополнить здесь запас пресной воды, снабдиться вяленой козлятиной, а то и спустить на берег очередного ссыльного.

На Патмосе оказалось полным-полно ссыльных. Они называли себя жаргонным словечком прикахты, что соответствует примерно нашему понятию «крестник». Были там крестники Калигулы, крестники Клавдия, крестники Тиберия. Возомнившие о себе сенаторы, проштрафившиеся артисты, иноземные князья, мастера и любители красного словца, непотрафившие реформаторы — некоторые при семействах и скарбе, а некоторые без ушей, без языка, иногда без гениталий.

И все это была элита, даже те, кто был без гениталий. Социально близкие. А полуголый, вываренный в кипящем масле, облезлый профессиональный бандит был социально чуждым. Строго говоря, он был даже недостоин ссылки: если уж на него не хватило масла, то место ему было, без всякого сомнения, на кресте, а не в светском обществе. Поэтому первые недели пребывания его на острове были омрачены инцидентами.

Впрочем, правильнее было бы сказать, что недели эти были омрачены, с точки зрения гордых прикахтов. Они стремились исправить упущение властей — и не преуспели.

Сначала были убиты три собаки: его пытались травить собаками, он убил их и вместе с Прохором съел, зажарив на угольях. Затем были изувечены четверо рабов сенатора Варрона, посланные отомстить за собак. Бандит лишил их гениталий, чтобы они в дальнейшем ни в чем не превосходили своего хозяина.

Тогда на него устроили настоящую облаву, которой руководили опальные офицеры Четырнадцатого легиона. Облава кончилась ничем: сожгли пустую развалюху, в которой ютился он с Прохором, разбили единственный его горшок со вчерашней похлебкой да захватили несколько коз, случившихся неподалеку и вряд ли ему принадлежавших.

Той же ночью поселок прикахтов запылал, подожженный с четырех концов пастухами-фригийцами, а бандит со своим Прохором, нагрузившись скарбом сенатора Варрона, ушел в горы. Таким образом, развеселое приключение изнывавших от скуки крестников трех императоров превратилось в тяжелую и бессмысленную войну с аборигенами, окончившуюся лишь месяц спустя капитуляцией на достаточно унизительных условиях.

Иоанн-Агасфер стал жить в горах. С точки зрения стороннего наблюдателя, это было чисто растительное существование. Он ничего не делал, только ел да спал. Приносил воду и добывал пищу Прохор. Иногда приходили пастухи. Не здороваясь, садились у костра и пили кислое вино, принесенное с собой в облезлых мехах. Тогда Иоанн напивался. Иногда ему хотелось женщину. Свободных женщин на острове не было. Он обходился козами. Никаких иных желаний у него не возникало. Собственно, он был счастливейшим человеком своего времени: ему не надо было работать, и все, чего он желал, было у него под рукой.

Вокруг него ничего не происходило.

Зато внутри него происходили вещи, поистине поразительные, и он с тревогой и изумлением впитывал их в свое сознание часами напролет, валяясь на шкурах в убогом шалашике. Началось это, несомненно, от римского яда, когда он трупом плавал в луже собственной блевотины на полу экзекуторской. Это продолжалось сквозь нестерпимую боль, когда его варили у Латинских ворот. И с тех пор это не прекращалось. Были ли это голоса, теперь уже вполне ясно и внятно рассказывающие ему о принципах и законах бытия? Возможно. Возможно, это были именно голоса. Были ли это видения, яркие и огромные, видения того, что было, того, что будет, того, что есть? Да, очень может быть. Он видел. Он видел, он обонял, он осязал, он ужасался и восторгался. Но он не участвовал.

Долгое время он думал, что это боги говорят с ним, что они готовят его к какому-то великому деянию и наделяют его для этого нечеловеческим знанием,— всезнанием наделяют они щедро его. Но по мере того, как сознание его наполнялось, по мере того, как вселенная вокруг него и в нем самом становилась все огромнее, все понятнее, все яснее в своих неисчислимых связях, протянутых в прошлое и будущее, все проще в своей неизреченной сложности,— по мере того, как все это происходило, он все тверже укреплялся в мысли, что никаких богов нет, и нет демонов, и нет магов и чародеев, что ничего нет, кроме человека, мира и истории, и все то, что озаряет его сейчас, идет не извне, а изнутри, из него самого, и что никаких таких особенных деяний не предстоит ему, а предстоит ему просто жить вечно, со всей вселенною внутри.

Замечательно, что в минуты бодрствования, пока он пожирал печеную рыбу, или глотал квашеное молоко, или подбирался к похотливой козе, он оставался прежним Иоанном-Агасфером, и даже не Иоанном-Агасфером, а попросту Иоанном Боанергесом — диким, хищным, простодушным галилеянином, не знающим грамоты и живущим только пятью чувствами и тремя вожделениями. Даже память об Учителе уже потускнела в нем, оставив лишь смутное ощущение неопределенной ласковой теплоты.

Он никогда не мог похвастаться хорошей памятью, если это не касалось мести и ненависти. В часы бодрствования сверхзнание его спало в нем, как Левиафан в толще вод, и если бы в такие часы его спросили, например, почему восходят и заходят небесные светила, он просто не понял бы вопроса. И если бы самому ему пришло в голову задаться вопросом, почему, например, дети похожи на родителей, он бы только подивился неожиданному баловству мысли, узревшей вопрос в естественном порядке вещей, а искать ответ он бы даже не попытался.

Знание просыпалось в нем неожиданно и всегда помимо воли. Как правило, это случалось в минуты крайнего раздражения, когда настигали его приступы нетерпимости к людям, к их глупости, к их самоуверенной болтливости, к их рабскому наслаждению собственным ничтожеством перед высшими силами — богами, жрецами или властями,— к их животному.

Впервые это случилось жарким летним вечером, когда солнце уже зашло и возле тлеющего костра шла неторопливая, специфически мужская беседа под мо-

лодое самодельное вино. Обыкновенным путем разговор от женщин перешел на коз, и пастухи с большим знанием дела принялись втолковывать Иоанну и Прохору все тонкости этого приятного занятия: по каким признакам следует выбирать животное; каким образом надлежит подготовить его к употреблению; а главное, какие меры надо принять, чтобы и в удовольствии ничего не было потеряно и чтобы не случилось скверного — чтобы не зачать чудовище.

Иоанн-Агасфер ничего не имел ни против мужской беседы, ни против козлиного поворота ее. Но когда пастухи понесли чепуху о козлолюдях, об их ужасном облике, об их кровавых повадках, когда вранье пошло громоздиться на вранье, когда наперебой и безудержно пошли мешаться авторитетные ссылки на богов и дедов, когда под треск раздираемых на грудях козьих шкур пошли в ход свидетельства очевидцев и непосредственных виновников, вот тогда Иоанн-Агасфер не выдержал. Он заговорил. Он сказал этим крикливым дуракам, что потомство коз от людей невозможно. (Он только что с совершенной ясностью понял, что знает это и, более того, совершенно точно знает, почему это невозможно.) Он попытался объяснить им, почему это невозможно. Впервые в жизни он ощутил, как это мучительно, когда все понимаешь, но не хватает слов. Лингвистическое удушье.

Они не поняли его. Он стал кричать. Он бил кулаками в каменистую землю. Он сплетал и расплетал пальцы, силясь продемонстрировать механизмы. Он заикался, как паралитик. Он заплевал себе всю бороду. Пастухи в ужасе разбежались, и он остался один — только Прохор рядышком с привычной сноровкой орудовал стилом по мятому листу грязноватого пергамента. Иоанн заплакал, швырнул в него головешкой и упал лицом в землю.

Ему пришлось учиться рассказывать. Он оказался способным рассказчиком. И очень скоро обнаружилось в нем четвертое вожделение: жажда делиться знанием. Это было что-то вроде любви. Здесь тоже нельзя было торопиться, а надлежало быть (если хочешь получить исчерпывающее наслаждение) обстоятельным, вкрадчивым, ласковым и нежным к слушателю. Приступы внезапного раздражения его против людской тупости, самодовольства и невежества не прекращались, но теперь сверхзнание его уже не нуждалось в них, чтобы изливаться совершенно свободно. Теперь ему достаточно было лишь корректной оппозиции. Это заставляло Иоанна искать партнеров.

Он сильно переменился к интеллигенции. Ему стали нравиться люди читающие и исполненные любопытства к окружающему миру. Разумеется, с его высоты начитанность их представляла собою всего лишь систематизированное незнание, более или менее сложный комплекс неверных, ошибочных или неточных образов мира, но образование вооружило их логикой, скепсисом и пониманием извечной невозможности объять необъятное.

Он стал своим человеком в колонии прикахтов.

А Прохор все записывал.

Но было бы неправильным утверждать, будто Прохор записывает каждое слово своего возлюбленного пророка, хотя сам-то Прохор был искренне уверен, что ни единое слово не пропало втуне. Он начал записывать еще у Латинских ворот. Он продолжал записывать на галере, которая везла их на Патмос, мечущегося в бреду Иоанна, с которого кожа слезала, как со змеи. На Патмосе, пока сверхзнание вызревало в нем, Иоанн-Агасфер разговаривал во сне. Прохор записывал и эти речи — горячечные беседы Иоанна с воображаемыми богами.

Он записывал, когда взбешенного Иоанна рвало знаниями перед перепуганными пастухами. Он записал диспут Иоанна с Плинием Старшим, высадившимся на Патмосе проездом, чтобы забрать помилованного вождя германцев. И диспут с Юстом Тиверниадским, прибывшим на Патмос специально встретиться с удивительным ученым. И еще многие и многие диспуты записал он, пока сам не научился умело заданными вопросами побуждать к извержению вулкан знаний своего пророка.

Так рождался АПОКАЛИПСИС, «Откровение Иоанна Богослова», знаменитый памятник мировой литературы, который сам Иоанн-Агасфер называл не иначе, как к е ш е р (словечко из арамейской фени, означающее примерно то же самое, что нынешний «ро́ман»,— байка, рассказываемая на нарах в целях утоления сенсорного голодания воров в законе). Ибо между тем, что рассказывал Иоанн, и тем, что в конечном счете возникало под стилом Прохора, не было ничего общего, кроме, может быть, страсти рассказать и убедить.

Иоанн-Агасфер говорил, бредил и рассказывал, естественно, по-арамейски. На арамейском Прохор был способен объясниться на рынке, и не более того. Писал же он и думал, естественно, по-гречески, а точнее — на классическом к о й н е.

Далее. У Иоанна-Агасфера поминутно не хватало слов, чтобы передать понятия и образы, составляющие его сверхзнание, и ему все время приходилось прибегать к жестам и междометиям. Сознание его вмещало всю вселенную от плюс до минус бесконечности в пространстве и времени, и как ему было объяснить молодому (а хотя бы и пожилому!) уроженцу Херонси, сыну вольноотпущенника от иберийской рабыни, что такое: пищаль, гравилет, ТВЭЛы, питекантроп, мутант, гомункулус, партеногенез, Линия доставки, протуберанец, многомерное пространство, инкунабула, Москва, бумага, бронепоезд, капитализм, нуль-Т, римско-католическая церковь, магнитное поле, облачный город, лазер, инквизиция... Он и сам-то, Иоанн-Агасфер, не умел не только объяснить, но и просто назвать эти понятия, предметы и явления. Он всего лишь ЗНАЛ о них, он только имел представление о них и о связях между ними. Однако Прохор был великий писатель и, как все великие писатели, прирожденный мифотворец. Воображение у него было развито превосходно, и он с неописуемым простодушием и уверенностью заполнял по своему разумению все зияющие дыры в рассказах и объяснениях пророка.

Далее. Прохор изначально убежден был в том, что перед ним действующий пророк во плоти. Иоанн-Агасфер делился знанием, Прохор же записывал пророчества. Смутность, непонятность и бессвязность Иоанновых рассказов только укрепляли его в убеждении, что это, конечно же, и именно пророчества. И задачу свою он видел в том, чтобы растолковать, привести в систему, расставить по местам, связать воедино. Он вычленял главное, он безжалостно отсекал второстепенное, он искал и находил всем доступные образы, он обнаруживал и выявлял смысл, а когда он считал необходимым, то скрывал смысл, он выстраивал сюжет, он выковывал ритм, он ужасал, вызывал благоговение, дарил надежду, ввергал в отчаяние...

В результате он создал литературное произведение, обладающее совершенно самостоятельной идейно-художественной ценностью. Как и большинство крупных литературных произведений, оно не имеет ничего общего со стимулами, которые подвигли автора на написание. Поэтому толковать получившийся к е ш е р можно множеством способов в зависимости от идейных установок и даже эстетических вкусов толкователя.

Насколько известно, ни один из толкователей не

принял во внимание того замечательного и, может быть, решающего факта, что значительную и плодотворную часть своей жизни (как-никак четыре десятка лет) Прохор провел в окружении прикахтов, в клокочущем котле оппозиционерских страстей, где бок о бок варились и яростные ненавистники Рима, и чрезмерные его паладины, и те, кто считал Рим тюрьмой народов, и те, кто полагал, что пора, наконец, решительно покончить с гнилым либерализмом. В этом бурлящем котле варились и переваривались самоновейшие слухи, сплетни, теории, предсказания, опасения, анекдоты, надежды, и Прохор, безусловно, был в курсе всего этого бурления. Он не мог не испытывать на себе, как и всякий великий писатель, самого глубокого воздействия этого окружения.

Так появляется еще одно возможное толкование Апокалипсиса, на этот раз как остросовременного сверхзлободневного политического памфлета, в котором элементы пророчества должны рассматриваться не более как литературный прием, с помощью которого до современника доводилась идея неизбежности трудного и страшного конца Римской империи. Главный же кайф современник должен был ловить, узнавая знакомую атрибутику римской иерархии, римской персоналии, римской инфраструктуры в чудовищных образах Зверя, железной саранчи и прочего. Во всяком случае, когда в конце шестидесятых Прохор, переводя с листа, читал Иоанну-Агасферу избранные отрывки из своего Апокалипсиса, пророк хлопал себя по коленям от удовольствия и, похохатывая, приговаривал: «Да, сынок, тут ты их поддел, ничего не скажешь, молодец...» А когда чтение закончилось, он, сделав несколько чисто стилистических замечаний, предрек: «Имей в виду, Прохор, этой твоей штуке суждена очень долгая жизнь, и много голов над ней поломается...»

Конечно, сейчас, спустя две тысячи лет, никто уже не способен воспринимать Апокалипсис Прохора как политический памфлет. Но ведь и другое великое явление мировой литературы, «Божественную комедию» Данте, тоже не воспринимают как политический памфлет, хотя и задумана, и исполнена она была именно в этом жанре.

А много лет спустя, когда не было уже ни Прохора, ни прикахтов, ни самой Римской империи, пришла однажды Иоанну-Агасферу в голову странная мысль: не был Апокалипсис Прохора ни мистическим пророчеством о судьбах ойкумены, ни политическим памфлетом, а был Апокалипсис на самом деле тщательно и гениально зашифрованным под литературное произведение грандиозным планом всеобщего восстания колоний-провинций против Рима, титанической диспозицией типа «ди ерсте колоннс марширт...», в которой все имело свой четкий и однозначный военно-политический смысл — и вострубление каждого из ангелов, и цвет коней, на коих въезжали в историю всадники, и Лева, поражавшая Дракона... И применена была эта диспозиция впервые (некоей своей частью) во времена Иудейской войны и, вполне по Л. Н. Толстому, обнаружила при столкновении с реальностью полную свою несостоятельность.

20. Самым трудным оказалось взгромоздить эту проклятую картину на наш этаж. Она оборвала мне руки, с меня семь потов сошло, два раза я ронял шапку, всю извалял в грязи и пыли. Я оцарапал щеку о золоченый багет. Где-то на середине подъема стекло хрустнуло, и сердце мое оборвалось от ужаса, однако все кончилось благополучно. Задыхаясь, из последних сил, я протащил картину через коридор, внес в Комнату и прислонил к стене: полтора на полтора, в тяжеленном багете и под стеклом.

Пока я переводил дух, утирался, отряхивал шапку, еле шевеля оторванными руками, из столовой появился Агасфер Лукич — прямо из-за стола. Он что-то аппетитно дожевывал, причмокивая, пахло от него жареным лучком, уксусом и кинзой.

— М-м-м! — произнес он, остановившись перед картиной и извлекая из жилетного кармана зубочистку.— Очень неплохо, очень... Вы знаете, Сережа, это может его заинтересовать. Дорого заплатили?

— Ни копейки,— сказал я, отдуваясь.— С какой стати! А если не подойдет?

— И как это все вместе у нас называется?

— Не помню... Мотоцикл какой-то... Да там написано, на обороте. Только по-немецки, естественно.

Агасфер Лукич живо сунулся за картину, весь туда залез, так что только лоснящаяся задница осталась снаружи.

— Ага...— произнес он, выпрастываясь обратно.— Все понятно. «Дас моторрад унтер дем фенстер ам зоннтаг морген».— Он посмотрел на меня с видом экзаменатора.

— Ну, мотоцикл...— промямлил я.— В солнечное утро... Под дверями, кажется...

— Нет,— сказал Агасфер Лукич.— Это живописное произведение называется «Мотоцикл под окном в воскресное утро».

Я не спорил. Некоторое время мы молча разглядывали картину.

На картине была изображена комната. Окно раскрыто. За окном угадывается утреннее солнце. В комнате имеют место: слева — развороченная постель с ненормальным количеством подушек и перин; справа — чудовищный комод с выдвинутым ящиком, на комоде — масса фарфоровых безделушек. Посередине — человек в исподнем. Он в странной позе — видимо, крадется к окну. В правой руке его, отведенной назад, к зрителю, зажата ручная граната. Все. В общем, понятно: аллегорическая картина на тему «Береги сон своих сограждан».

— Больше всего ему должна понравиться граната,— убежденно произнес наконец Агасфер Лукич, вовсю орудуя зубочисткой.

— «Лимонка»,— сказал я без особой уверенности.— По-моему, у нас они давным-давно сняты с вооружения.

— Правильно, «лимонка»,— подтвердил Агасфер Лукич с удовольствием.— Она же «феньки». А в Америке ее называют «пайн-эппл», что означает — что?

— Не знаю,— сказал я, принимаясь снимать пальто.

— Что означает «ананаска»,— сказал Агасфер Лукич.— А китайцы называли ее «шоулюдань»... Хотя нет, «шоулюдань» — это у них граната вообще, а вот как они называли «Ф-1»? Не помню. Забыл. Все забывать стал... Обратите внимание, у нее даже запал вставлен... Очень талантливый художник. И картина хорошая...

Я оставил его любоваться произведением живописи, а сам вернулся в прихожую повесить пальто. И вообще переоделся в домашнее. Когда я вернулся, Агасфер Лукич по-прежнему стоял перед картиной и разглядывал ее через два кулака, как детишки изображают бинокль.

— Но, во-первых,— сказал он.— во-первых, я не вижу мотоцикла. Мало ли что он пишет «дас моторрад», а на самом деле там у него, скажем, шарманщик. Или, страшно сказать, ребятишки с гитарой... Это во-первых. А во-вторых...— Глаза его закатились, голос сделался страдальческим.— Статично у него все! Статично! Воздух есть, свет, пространство угадывается, а движение где? Где движение? Вот вы, Сережа, можете мне сказать: где движение?

— Движение в кино,— сказал я ему, чтобы отвязаться. Мне очень хотелось есть.

— Кино...— повторил он с неудовольствием.— В кино-то в кино... А давайте посмотрим, как у него дальше там все развивается!

Человек на картине пришел в движение. Он хищно подкрался к окну, кошачьим движением швырнул наружу «лимонку» и бросился животом на пол под подоконник. За окном блеснуло. На нас с Агасфером Лукичом посыпался с потолка мусор. Звякнули стекла — в нашем окне. А за тем окном, что на картине, взлетел дым, какие-то клочья, и взвилось мотоциклетное колесо, весело сверкая на солнце многочисленными спицами.

— О! — воскликнул Агасфер Лукич, и картина вновь застыла.— Вот теперь то, что надо. Ясно, что мотоцикл. Не шарманщик какой-нибудь, а именно мотоцикл.— Он снова сделал из кулаков бинокль.— И не вообще мотоцикл, Сережа, а мотоцикл марки «цундап». Хороший когда-то был мотоцикл...— Он возвысил голос.— Кузнец! Ильмаринен! Подите сюда на минутку! Посмотрите, что мы вам приготовили... Сюда, сюда, поближе... Каково это вам, а? «Мотоцикл под окном в воскресное утро». Реализовано гранатой типа «Ф-1», она же «лимонка», она же «ананаска». Граната, к сожалению, не сохранилась. Тут уж, сами понимаете, одно из двух: либо граната, либо мотоцикл. Мы тут с Сережей посоветовались и решили, что мотоцикл будет вам интереснее... Правда, забавная картина?

Некоторое время Демиург молчал.

— Могло бы быть и хуже,— проворчал он наконец.— Почему только все считают, что он пейзажист? Хорошо. Беру. Сергей Корнеевич, выдайте ему двести... нет, полтораста рейхсмарок, обласкайте. Впредь меня не беспокойте, просто берите все, что он предложит... Каков он из себя?

Я пожал плечами.

— Бледный... прыщавый... рыхлое лицо. Молодой, черная челка на лоб...

— Усы?

— Усов нет. И бороды нет. Очень заурядное лицо.

— Лицо заурядное, живопись заурядная... Фамилия у него незаурядная.

— А какая у него фамилия? — встрепенулся Агасфер Лукич и нагнулся к самому полу, силясь прочитать подпись в правом нижнем углу.— Да ведь тут только инициалы, мой Птах. А и С латинские...

— Адольф Шиклыгрубер,— проворчал Демиург. Он уже удалялся к себе во тьму.— Впрочем, вряд ли это имя что-нибудь вам говорит...

Мы с Агасфером Лукичом переглянулись. Он состроил скорбную гримаску и печально развел руками.

21. — ...Трудно мне вас понять, Агасфер Лукич,— сказал я наконец этому страховому лжеагенту.— Все-то вы толкуете о своем всезнании, а, о чем вас ни спросишь, ничего не помните. Апостолов — поименно — не помните. Где у Дмитрия стоял запасной полк — не помните, а ведь утверждаете, будто принимали личное участие... Библиотекарем Иоанна Грозного были, а где библиотека находилась — показать не можете. Как прикажете вас понимать?

Агасфер Лукич выпятил нижнюю губу и сделался важным.

— Чего же тут непонятного? Знать — это одно, а помнить — совершенно иное. То, что я знаю,— я знаю. И знаю я действительно все. А вот то, что я видел, слышал, обонял и осязал,— это я могу помнить или не помнить. Вот вам аналогия, нарочно очень грубая. Блокада Ленинграда. Вы знаете, что она была. Знаете, когда. Знаете, сколько людей погибло от голода. Знаете про Дорогу Жизни. При этом вы сами там были, вас самого вывозили по этой Дороге. Ну, и много ли вы сейчас помните? Вы, который так чванится своей молодой памятью перед, мягко выражаясь, старым человеком!

— Ладно, ладно, не горячитесь,— сказал я.— По-

нял. Только опять вы все перепутали. Не был я в блокаде. Меня тогда еще и на свет не родили.

22. На небольших глубинах теплых морей, а также в чистых реках Севера обитают на дне хорошо всем понаслышке известные моллюски из класса двустворчатых (бивалвиа). Речь идет о так называемых жемчужницах. Морские жемчужницы бывают огромные, до тридцати сантиметров в диаметре и до десяти килограммов весом. Пресноводные — значительно меньше, но зато живут до ста лет.

В общем, это довольно обыкновенные и невзрачные ракушки. Употреблять их в пищу без крайней надобности не рекомендуется. И пользы от них не было бы никакой, если бы нельзя было из этих раковин делать пуговицы для кальсон и если бы не заводился в них иногда так называемый жемчуг (в раковинах, разумеется, а не в кальсонах). Строго говоря, и от жемчуга пользы немного, гораздо меньше, чем от пуговиц, однако так уж повелось испокон веков, что эти белые, розовые, желтоватые, а иногда и матово-черные шарики углекислого кальция чрезвычайно высоко ценятся и числятся по разряду сокровищ.

Образуются жемчужины в складках тела моллюска, в самом, можно сказать, интимном местечке его организма, когда попадает туда по недосмотру или по несчастливой случайности какой-нибудь посторонний раздражающий предмет — какая-нибудь колючая песчинка, соринка какая-нибудь, а то и, страшно сказать, какой-нибудь омерзительный клещ-паразит. Чтобы защититься, моллюск обволакивает раздражителя перламутром своим, слой за слоем,— так возникает и растет жемчужина. Грубо говоря, одна жемчужина на тысячу раковин. А стоящие жемчужины — и того реже.

Где-то в конце восьмидесятых годов, в процессе непрекращающегося расширения областей своего титанического сверхзнания, Иоанн-Агасфер обнаружил вдруг, что между двустворчатыми раковинами вида П. маргаритафера и существами вида хомо сапиенс имеет место определенное сходство. Только то, что у П. маргаритафера называлось жемчужиной, у хомо сапиенсов того времени было принято называть т е н ь ю. Харон перевозил тени с одного берега Стикса на другой. Навсегда. Постепенно заполняя правобережье (или левобережье?), они бродили там, стеная и жалуясь, погруженные в сладостные воспоминания о левобережье (или правобережье?). Они были бесконечны во времени, но это была незавидная бесконечность, и поэтому ценность теней как товара была в то время невысока. Если говорить честно, она была равна нулю. В отличие от жемчуга.

Люди того времени воображали, будто каждый из них является обладателем тени. (Так, может быть, раковины П. маргаритафера воображают, будто каждая из них несет в себе жемчужину.) Иоанн-Агасфер очень быстро обнаружил, что это — заблуждение. Да, каждый хомо сапиенс в потенции действительно способен был стать обладателем тени, но далеко не каждый сподобливался ее. Ну, конечно, не один на тысячу, все-таки чаще. Примерно один из семивосьми.

Некоторое время Иоанн-Агасфер развлекался этой новой для себя реальностью. Азарт классификатора и коллекционера вдруг пробудился в нем. Тени оказались замечательно разнообразны, и в то же время в разнообразии этом угадывалась удивительной красоты и стройности схема, удивительная структура, многомерная и изменчивая. Он углубился в анализ этой структуры. Ему пришлось создать то, что значительно позже будет названо теорией вероятностей, математической статистикой и теорией графов. (Он открыл для себя мир математики. Это открытие потрясло его.)

Поначалу он обрадовался, обнаружив россыпи теней, как радуется старатель, наткнувшись на золотую россыпь. Он еще не понимал, кому и как он будет сбывать тени, однако, будучи человеком практичным и безжалостным, радовался тому, что является единственным в ойкумене обладателем некоего редкостного товара. Он стал прикидывать организацию торговой компании. Возбуждение общественного спроса на тени. Массовая скупка товара. Создание рынков сбыта в Риме, в Александрии, в Дамаске, выход по «шелковому пути» к парфянам и дальше, в Китай... Очень скоро это надоело ему. Он пережил свой меркантилизм, как переживают романтическую любовь.

И тогда он вдруг понял, что открыл для себя, чем ему заполнить предстоящую необозримую вечность. Он будет искать, обнаруживать и приобретать все новые и новые жемчужины. Он будет неторопливо, но глубоко познавать механизмы их сродства и взаимоотталкивания, природу их образования и развития, он постигнет закономерности их формирования и, может быть, научится вникать в них, сливаясь и срастаясь с ними. Он научится обустраивать и формировать историю вида хомо сапиенс таким образом, чтобы выращивать именно те виды и сорта жемчужин, которые в данный миг, в данных условиях более всего привлекают и воспламеняют его. Он мечтал уже о селекции и — кто знает? — может быть, о синтезировании их вне раковин... Он загорелся энтузиазмом, будущее его наполнилось. Он был молод тогда и простодушен, все эти планы представлялись ему грандиозными, обещающими все на свете и неописуемо привлекательными. Так в наши дни маленький мальчик мечтает о счастье сделаться водителем мусоровоза.

Весь доступный ему на Патмосе материал он исчерпал в первый же год. Свои первые жемчужины он получил за глоток вина, за обломок ржавого ножа, за ловко рассказанную байку. Они недорого обошлись ему, да они немногого и стоили — мелкий тусклый грязноватый товарец для начинающего дилетанта. Однако жалеть о потерянном времени не приходилось: он отрабатывал технику, он делал первые маленькие открытия в области психологии раковины, он учился точно определять ценность товара, не подержав его в руках. Он учился разглядывать жемчужину сквозь створки. Несколько раз он ошибся. Он познал горечь и радость таких ошибок.

Он давно бы покинул остров, если бы не Прохор.

Прохор, сделавшийся к тому времени сухим, жилистым, козлообразным старикашкой, облезлым, вонючим, высокомерным, драчливым, брюзгливым, вызывающе неопрятным,— этот Прохор оказался носителем жемчужины удивительной, фантастической красоты!

Апокалипсис Прохора под именем «Откровение пророка Иоанна» уже вовсю ходил в самиздате и был знаком тысячам и тысячам знатоков и ценителей, фанатиков и скептиков. Первые яростные толкователи его уже появились, и появились первые его мученики, распятые при дорогах или зарезанные на базарных площадях. Имя Иоанна гремело. Что ни месяц, на острове появлялся новый адепт, чтобы припасть к ногам пророка, поцеловать край его лохмотьев и вкусить от его мудрости из уст в уши. Как правило, были они все безудержно фанатичны, неумны и слышали только то, что способны были воспринимать жалкими своими извилинами. По сути дела, это были глухие. Иоанн отправлял их к Прохору.

Сначала Прохор стеснялся навязанной ему роли. Потом попривык и только строго поправлял паломни-

ков, когда те пытались называть его Иоанном. А спустя какое-то время и поправлять перестал. Что и говорить, из них двоих именно Прохор был более похож на пророка. Ведь Иоанн не старился, он так и оставался крепким сорокапятилетним мужиком с разбойничьими глазами, без единого седого волоска в бороде, и весь облик его ничего иного не выражал, кроме готовности в любую минуту обойтись с любым собеседником без всяких церемоний.

Году этак в девяностом Прохор уже впал в старческий маразм. Гордыня окончательно помутила его мозги. В состоянии помутнения повадился называть он Иоанна Прохором и даже Прошкой, пытался ему диктовать свое евангелие, которое должно было стать лучше всех других, известных к тому времени вариантов описания жизни Учителя, самым полным, самым точным, самым содержательным в идейном отношении. При этом имелось в виду, что в конечном итоге оно самым естественным образом станет единственным. В минуты просветления он плакал, пытался возлечь на грудь Иоанна, каялся в непомерном своем честолюбии и жадно выспрашивал все новые и новые подробности времен ученичества Иоанна в звании апостола.

Его можно было понять. Он был стар. Он проделал огромную и замечательную работу, написав Апокалипсис. Он привык изображать Иоанна, и больше всего на свете хотелось ему теперь хотя бы остаток жизни своей прожить не просто признанным, но и подлинным Иоанном Боанергесом.

Идея сделки лежала на поверхности. Иоанн сделал осторожное предложение. Предложение было принято немедленно. Совесть каждого смущенно улыбалась. Каждому казалось, что он получил теленка за курицу. Они расстались, довольные собой и друг другом,— облезлый козлообразный пророк Иоанн отправился принимать очередную делегацию паломников из Эфеса, а крепкий и агрессивный Агасфер, держа под мышкой узелок с жемчугами, спустился в гавань и купил место на первый же баркас, уходящий к материку.

Начинался новый, бродячий период жизни Агасфера, Вечного Жида, Искателя и Ловца Жемчуга Человечьего.

Десяток лет спустя, находясь в Йасрибе, в славной лагуне человечьего моря, полной жемчуга, он узнал от Ибн-Кутейбы, странствующего поэта и новообращенного христианина, что святой Иоанн по прозвищу Богослов, великий пророк и один из апостолов Иисуса Христа, скончался в девяносто восьмом году в Эфесе.

Замученный жаждой посмертной славы, неутолимый Прохор даже помереть себе не позволил впросте, по-человечески. Он велел закопать себя живьем при большом стечении народа.

Воистину, прав был Эпиктет, сказавши: «Человек — это душонка, обремененная трупом».

23. Теперь их было уже трое. И у каждого...

ДНЕВНИК. Уже 20 июля. Ночь, 1.30.

Около одиннадцати позвонил снизу Ваня Дроздов и предложил встретиться. Срочно. Мы встретились в «Кабачке», и он с ходу объявил мне: «Ну, все. Доигрались вы со своим Носовым». Он был взвинчен до последней степени, я даже перепугался. Оказалось (по его словам), что статья Г. А. привела город в необычайное враждебное возбуждение. Все теперь жаждут его крови, а заодно жаждут стереть с лица земли наш лицей. Как рассадник и гнездо. Завтра с утра ждите пикетов, и еще скажите спасибо, если это будут пикеты от нашего молокозавода, у нас все-таки нет таких обалдуев, как на крупнопанельном или, там, на «тридцатке». Г. А. одного в город не выпускать — ни в коем случае, рядом чтобы не меньше трех мужиков, да поздоровее, не таких, как ты...

Он меня, признаться, совсем запугал было, но я не дался и сказал ему: «Что ты мелешь, мы с Г. А. весь день по городу ходили, что ты панику разводишь, паникер?» «Это вы сегодня ходили,— сказал он.— Завтра уже не походите. Ты вообще-то знаешь, что в городе делается? Про детскую демонстрацию знаешь?» Я сказал, что знаю, потому что решил, что речь идет про ребятишек из специнтерната. Однако оказалось совсем не то.

Оказалось, что эти гады из управления пионерлагерей посадили с три сотни детишек в автобусы, свезли на площадь перед горсоветом и устроили там отвратительный цирк. Между прочим, с полного одобрения огромной толпы идиотов-родителей. Ребятишкам сунули в лапы какие-то дурацкие лозунги, заставили их выкрикивать какие-то дурацкие требования, а вокруг бесновались наши доблестные добры молодцы, порывавшиеся бить в горсовете стекла. Все это Ваня видел своими глазами, потому что стоял в оцеплении и всячески добрых молодцев урезонивал.

Длился этот пандемониум минут двадцать, а потом на своей «ноль сорок третьей» примчалась ураганом красотка Рива и учинила всеобщий разгон. Детишек в два счета повезли в Ташлинский Центр смотреть новейшую серию «Термократора», родители были расточены и разогнаны, добры молодцы обратились в бегство, а всех остальных Рива уволила на месте. Осталось одно оцепление. Оно постояло-постояло и пошло на работу.

Рассказ этот вызвал у меня самые неприятные ощущения. С одной стороны, конечно, силы разума победили, а с другой — дикость ведь, двадцатый век! Главное, я никак не мог понять: зачем была эта демонстрация? Что им было надо? И кому, собственно? Иван утверждает, что город недоволен мэром. Весь город настроился на «субботник», все уже готово, а мэр тянет и тянет. Надо его подхлестнуть, труса мордастого. Вот его и подхлестывают.

«А ты-то куда смотришь? — спросил я, ощутивши вдруг приступ неописуемой злости.— Тоже на «субботник» настроился? А ведь я тебя держал за приличного человека». И мы тут же поцапались.

Ни в чем я его убедить не смог — может быть, потому, что сам потерял ориентировку. Все-таки это довольно нелепая ситуация — ты говоришь: «Так делать нельзя»,— а когда тебя спрашивают: «А как нужно?» — ты отвечаешь: «Не знаю».

В конце концов Иван угрюмо сказал: «Ладно. Я сюда не спорить пришел. У тебя свое, у меня свое. Ты про Носова своего все понял, что я тебе сказал?» Я ответил, что не верю во всю эту чушь. Г. А. в городе — человек номер один, тут и говорить не о чем. Иван возразил мне, что это вчера Носов был человек номер один, а нынче он и на шестерку еле-еле тянет. «Я тебя предупредил, дурака,— сказал он мрачно.— А там уж как знаете».

На том мы и расстались, и я сразу же побежал к Г. А. Оказалось, что у Г.А. в кабинете собрались все. Пока я разговаривал с Иваном, Г. А. сам собрал всех у себя. Он получил ту же информацию по своим каналам и теперь инструктировал нас, как нам должно себя вести в сложившейся ситуации. Спокойствие, выдержка, достоинство. В город выходить только по двое. Девочек сопровождать. Но! Силовые приемы — только в самых крайних случаях. Субакс не использовать вообще. Говорить, объяснять, спорить. Ситуация хотя и не уникальная, но в наше время достаточно редкая: дискуссия с враждебно настроенной толпой — не с коллективом, а с толпой. Хорошая прак-

тика. Такой редкий случай мы упускать не имеем права. И так далее.

Я встал и поднял вопрос о его, Г. А., безопасности. В конце концов главная злоба города направлена не против нас, не против лицея, а против Г. А. лично. К моему огромному изумлению, Г. А. тут же согласился, чтобы его при выходе в город сопровождал эскорт. Однако при этом он тут же добавил: мы должны знать и помнить, что не только он, Г. А., но и наш лицей как учреждение определенного типа давно уже является бельмом на глазу у некоторой части городского чиновничества. Поэтому в будущих дискуссиях мы должны быть готовы защищать и отстаивать право и обязанность нашего лицея на существование. «То, что под ударом сейчас оказался я,— это полбеды, а самая беда в том, что кое-кто использует ситуацию, чтобы поставить под удар наш лицей и всю систему лицеев вообще».

(ПОЗДНЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Напоминаю: действие происходит в тридцать третьем году. В следующем году появится печально знаменитое постановление Академии педнаук о слиянии системы лицеев с системой ППУ, в результате чего долгосрочная правительственная программа создания современной базы подготовки педагогических кадров высшей квалификации окажется подорванной. Глухая подспудная борьба, имевшая целью уничтожение системы лицеев, шла с конца двадцатых годов. Основное обвинение против лицеев: они противоречат социалистической демократии, ибо готовят преподавательскую элиту. По сути дела, антидемократическим объявлялся сам принцип зачисления в лицеи — принцип отбора детей с достаточно ярко выраженными задатками, обещающими — с известной долей вероятности — развернуться в педагогический талант. Ташлинский лицей оказался только первой жертвой тогдашней АПН.)

Потом разговор перекинулся на статью. Выяснилось, что все мы восприняли ее по-разному. Но самым разным оказался, как всегда, наш Аскольдик. Он объявил, что эта статья есть большая ошибка Г. А. Ни в какой мере не затрагивая основных положений этой статьи, с коими он вполне согласен, он тем не менее хочет подчеркнуть, что Г. А. выступил здесь как поэт и социолог, в то время как от него (по мнению Аскольдика) требовалось выступление педагога и политика. В результате вместо того, чтобы утихомирить взбушевавшуюся стихию, он возбудил ее еще больше.

Г. А. возразил, что у него и в мыслях не было кого бы то ни было утихомиривать, он ставил перед собой совсем другую задачу — заставить задуматься тех людей, которые способны задуматься.

В ответ на это распоясавшийся Аскольд объявил, что и эту свою задачу Г. А. не выполнил. Своей статьей он ухитрился оскорбить весь город, чуть ли не каждого доброго гражданина, так что десять человек в городе, может быть, и задумались, но зато десять тысяч только вконец остервенились.

Г. А. не стал с ним спорить. «Десять задумавшихся — это совсем не так мало,— сказал он примирительно.— Дай бог каждому из вас на протяжении всей вашей жизни заставить задуматься десять человек. Не к народу ты должен говорить,— продолжал он, возвысив голос с иронической торжественностью,— но к спутникам. Многих и многих отманить от стада — вот для чего пришел ты. Откуда?» Никто не знал, и Г. А. сказал: «Ницше. Это был большой поэт. Однако ему весьма не повезло с поклонниками».

И велел всем нам идти спать.

ДНЕВНИК. 20 июля. 11 утра.

Мы в осаде.

В семь утра нас поднял на ноги дикий рев, лязг, гром, одним словом, оглушительная какофония. Я бросился к окну. Вдоль всего фасада растянулась толпа прилично одетых павианов. Добры молодцы. Человек двести, наверное. Все кривляются, все размахивают конечностями и неслышно орут на нас. У каждого функен, включенный на полную мощность, и, кроме того, они приволокли еще десяток стационарных з в у ч к о в, каждый ватт на сто, и эти звучки тоже работают вовсю. Надо же — не поленились! Не поленились притащить звучки, не поленились подняться в такую рань, не поленились намалевать плакаты. На плакатах: «Носов, убирайся из города!», «Долой дворянское гнездо!», «Лицеисты, стыдно! Вы должны быть с нами!». Морды потные, налитые, волосы дыбом, как у диких, пасти разинуты, но что орут — ничего не слышно за музыкой.

Между ними и лицеем вдоль тротуара стоят редкой цепочкой спиною к нам ребята из городского патруля. (Не без удовольствия узнал я среди них Сережку Сенько, Рената Гияттулина, Рейнгарта Хансена с биологического и — с особенным удовольствием — Ивана моего родимого Дроздова.) Не знаю, как уж они там договорились с добрыми молодцами, но те ближе, чем на два шага, к ним не приближаются. Не сразу заметил я в сторонке два «лунохода» и кучку милиционеров. Угрюмых. Происходящее им явно не нравится. Издержки демократии.

Сначала все это показалось мне скорее забавным. Потом, когда я познакомился с лозунгами, я испытал сильнейший приступ естественного раздражения. Но страха вначале не было совсем, это я помню точно.

Однако пять минут спустя мне пришлось принять участие в нелегкой процедуре обуздания и остужения нашего Аскольда. Будучи настоящим суперменом и чемпионом города по субаксу, он побелел лицом, выпятил челюсть и танком двинулся вниз по лестнице к выходу — наводить порядок. Исполненный железной твердости, беспощадной последовательности и абсолютной непримиримости. Девчонки с визгом повисли на нем с двух сторон, но он их даже и не заметил. Пришлось тут уж и мне тряхнуть стариной, и только втроем мы сначала притормозили, а в вестибюле и остановили его неудержимое движение. Румянец вернулся ему на щеки, он принес нам извинения за свою горячность, и мы все направились к Г. А.

И вот тут на меня накатило. Воображение мое ни с того ни с сего нарисовало мне картину, как Аскольдик вырывается от нас, врезается в толпу — и что тогда начинается? Лишь в этот момент я понял, что ничего забавного у нас тут не происходит, что все держится на волоске, и стоит этому волоску лопнуть, как волна зверства захлестнет и нас, и ребят из патруля, и милицию,— не только в том смысле, что зверье растерзает нас, но и в том смысле, что мы все сами сделаемся зверьми.

(Страшная штука — неуправляемое воображение. Я уверен, что и Аскольдика подвело именно оно. Выглянул он в окошко, увидел это кишение зверья и испытал страх — но, будучи суперменом, бросился выбивать клин клином, с каждым шагом к выходу сам все более превращаясь в зверя.)

Пока мы шли к Г. А., мне объяснили, что лицей, оказывается, пуст. Кроме нас, в здании никого нет. Ни повара, ни библиотекаря, ни дежурного преподавателя — никого. Только Серафима Петровна не испугалась. Даже ночной вахтер таинственно исчез. Видимо, драпанул через хозяйственный выход.

Г. А. спустился нам навстречу. Он был совершенно такой, как всегда. Последовали распоряжения. Зойке и Аскольду — отправиться на кухню, готовить зав-

трак, а заодно и обед. Серафима Петровна уже там, будете на подхвате. Остальным заниматься своими делами. Кстати, где наш де Сааведра?

Де Сааведра тут же появился. Оказывается, все это время он торчал на крыше и снимал осаду на видеопленку, правда, к сожалению, без акустики. Смешной он был — встрепанный, в одних трусах, и аппарат на ремне, как автомат. Г. А. посмотрел на него с одобрением и продолжал: к окнам желательно не подходить. То есть если очень интересно, то подходить, разумеется, можно, но при этом языки не показывать, козу не делать и вообще не совершать аллегорических телодвижений. Стекол жалко.

Мы разошлись по постам.

Пневмопочта работает. Я просмотрел газеты. Признаюсь, с отвращением. Все-таки настолько всеобщего взрыва озлобления и неприязни я не ожидал. В рамках держалась только «Ташлинская правда». Все же прочие наши газеты шипели и плевались, как ошпаренные коты.

Деятельность, несовместимая с высоким званием народного педагога... Проповедь ложных утверждений, противоречащих самым высоким идеалам социализма... Ядовитая проповедь провозглашения (проповедь провозглашения!) мира между трудом и тунеядством... Претензии на роль некоего гуру, проповедующего новую религию, проповедь взглядов, идейно разоружающих строителей коммунизма... Приговоры: запретить преподавательскую деятельность; выгнать на пенсию; в двадцать четыре часа выдворить из города — через посредство административной высылки в установленном порядке...

Более всего неистовствуют, конечно, наши обожаемые хрипуны. Но совсем ненамного отстают от них господа наробразовцы, молодежные вожди, заместители деканов и вообще кадровики всех мастей. Несколько рабочих с «тридцатки», пара мастеров-наставников с крупнопанельного и даже трое каких-то неедяк, видимо, насмерть перепуганных размахом происходящего. И уж совсем ни к селу ни к городу — военный комендант.

Что характерно: Ревекка не выступила. Милиция промолчала. Горсовет практически промолчал. Такое впечатление, что весь этот рык и рев — действительно глас народа. Видимо, Г. А. своей статьей попал в самое больное место, я даже не понимаю, в какое именно. О Флоре — почти не слова. Будто про нее забыли совсем. Мне даже пришло в голову, что Г. А., может быть, нарочно выступил со своей статьей, чтобы перевести огонь на себя. Чтобы они оставили в покое Флору и разрядились на него.

В нескольких газетах встретились мне какие-то непонятные намеки. Можем ли мы доверять подготовку будущих педагогов человеку, который оказался столь беспомощным в своих собственных, личных делах? Не следует ли предположить, что трогательная забота о тунеядствующей Флоре вызвана соображениями совершенно личными, весьма далекими от философии, социологии, педагогики? И снова: не следует ли Г. А. Носову разобраться сперва с собственными, частными делами, а потом уже заниматься общественными?

Я показал эти места Мишелю. Он странно взглянул на меня и спросил:

«Ты что — не знаешь, что ли?» Я не знал. «Вырастешь, Ига, узнаешь»,— пробурчал Михей, и я вдруг понял, что узнать не хочу. Это какая-то гадость, ну ее к черту.

Ура! Наконец-то наш Ташлинск попал в центральную прессу. Не могу отказать себе в удовольствии — цитирую дословно из «Известий»:

«Ташлинск, 19 июля. На два месяца раньше срока запущена полностью автоматизированная линия по производству высококачественных брынз на Ташлинском молочном комбинате имени Емельяна Пугачева...» И так далее.

А мы-то, дураки, тут переживаем!

Имеет место определенная эволюция звуков, раздающихся снаружи. Сначала была просто сумасшедшая какофония. Потом им это надоело (сами, видимо, оглохли), и они принялись развлекаться: громовыми голосами читали избранные выдержки из сегодняшних газет. Тоже надоело. Принялись паясничать: «Внимание, внимание! Через пять минут здание лицея будет взорвано на воздух! Предлагается всем находящимся в здании капитулировать. Выходить без оружия по одному с интервалом в тридцать секунд, держа руки за головой. Первым выходит Носов, лично...» На этом месте диктора окончательно разбирает смех, и окрестности оглашаются громоподобным фырканьем и хрюканьем. Это им тоже надоело, и сейчас они гоняют Джихангира. Несколько сцепок пустились в пляс.

Аскольд наладил мегафон и предложил Г. А. выступить. «Чтобы они не думали, будто мы испугались и прячемся». Г. А. резко ответил: «Нет. Мне все равно, что они думают. Я не люблю их сейчас. Я не хочу с ними разговаривать».

РУКОПИСЬ «ОЗ» (23—25).

23. Теперь их было у нас уже трое, и у каждого был свой кабинет. В кабинете каждый из них спал, принимал пищу и посетителей, а также писал меморандумы, докладные, наставления, рекомендации, замечания и представления. Кроме того, у каждого был свой столик на кухне.

Кабинет Колпакова был светел, чист и пустоват. Петр Петрович был аскет. Канцелярский стол с двумя аккуратными пачками брошюр и справочных изданий. Железный ящик-сейф справа от стола. В углу за скромной ширмой — скромная раскладушка, застеленная серым шерстяным одеялом. У изголовья простая тумбочка, а на ней — Библия в издании Московской патриархии. Простой — и даже простейший — стул за столом и два таких же простейших стула у стены напротив стола. Голые стены: ни портретов, ни картин. Скромность и достоинство. Трезвость и целеустремленность. Умеренность и аккуратность. И чемодан с самым обыкновенным барахлом — под койкой.

Парасюхин же был апологетом безудержной роскоши. Он спешил жить. Он дорвался. Из моей приемной Марк Маркович уволок (сам, лично, обливаясь пóтом, задыхаясь и хрипя, иногда даже попукивая от нечеловеческого напряжения): половину чудовищной невообразимой кровати; два телевизора цветного изображения; два застекленных шкафа невыясненного назначения; книжную стенку вместе с муляжами книг; толстый рулон весом тонны в полторы (это оказались ковры, я думал, он умрет под этим рулоном, но он уцелел); картину с Сусанной, старцами и пенисом. Он порывался уволочь кресло для посетителей, но я запретил ему это делать, и тогда он уволок кресло со стальным шипом. Из платяного шкафа были им изъяты и унесены: плащ-болонья (испачканный), мужской костюм-тройка (новый, на три размера меньше, чем ему требовалось), мохнатое пальто мужское (одно), мужские сорочки разноразмерные (двенадцать, дюжина), бюстгальтеры женские разноразмерные (семь)... Много чего он уволок, мне в конце концов надоело за ним записывать, и я только следил, чтобы он не упер что-нибудь из моего рабочего инвентаря.

В результате кабинет Парасюхина блистает роскошью, словно комиссионный магазин. Ковры. Роскош-

ные покрывала. Огромный письменный стол с огромным письменным прибором (представления не имею, откуда прибор), на одной стене — Сусанна в тяжелой золоченой раме, на другой — портрет святого Адольфа, украшенный дубовыми листьями и черной муаровой лентой в знак вечного траура по великому человеку; над роскошной постелью — бессмертное творение кисти великого человека «Дас моторрад унтер дем фенстер ам зоннтаг морген». Кресло с шипом приспособлено для посетителей: на шип положена крышка от унитаза, а поверх крышки — подушка-думка с вышитой надписью «Кто рано встает, тому Бог дает». В дальнем углу огромное старинное зеркало, местами потемневшее,— перед ним Марк Маркович репетирует свои будущие речи. Пафос и верность. Нордическая лень и непоколебимая уверенность. Славянская широта и арийский гемютлихкайт. И запашок, как в борделе.

А вот кабинет, или, точнее, обиталище, Матвея Матвеевича Гершковича (Мордехая Мордехаевича Гершензона) являл собой типичный интерьер одинокого пенсионера районного значения. Здесь постоянно, а также сильно пахло сердечными каплями и вчерашней сдой. Подоконник здесь был вечно заставлен кастрюльками, судками и особыми баночками — Матвей Матвеевич никогда ничего не оставлял на кухне из опасения, что кто-нибудь подкинет ему в бульон чего-нибудь трефного. (Не то чтобы он был таким уж верующим, но всю жизнь свою он прожил по коммунальным квартирам, а это, знаете ли, накладывает свой отпечаток.)

Если, войдя, вы видели, что в левой половине помещения пол натерт и блестит, на аптечной тумбочке — ни пылинки, а лекарственные пузырьки расставлены строго по ранжиру, зеркало платяного шкафа свежепромыто, фикус в углу тщательно полит и даже обрызган из специального пульверизатора, то в правой половине комнаты обязательно будет безобразно развороченная постель, стул будет помещен на столе вверх ножками, огромный дедовский сундук неаппетитно распахнут, и лезут из него через край какие-то сиреневые фланелевые предметы, пол замусорен мятыми бумажками, просыпанными кнопками и высохшими стержнями из-под авторучек, а сам Матвей Матвеевич сидит среди всего этого на банной скамеечке, взлохмаченный и восторженный, и в который уже раз с наслаждением перечитывает роман «Во имя отца и сына».

В этом весь Матвей Матвеевич. Ему никогда не хватает выдержки и целеустремленности, чтобы убрать свою комнату от альфы до омеги. Он теоретик. Он великий моралист-теоретик. В теории он беспощаден, жесток, непреклонен и мстителен безгранично. Как сам Иегова. Око за око, зуб за зуб. Поднявший меч от меча да погибнет. Если враг задирает, его уничтожают. Мне отмщенье, и только мне... Казалось бы, дай ему волю,— и полмира насилья ляжет в дымящихся развалинах. Но не хватает целеустремленности, черт ее подери совсем. Мешает, черт ее подери совсем, природная незлобивость, а также врожденная убежденность, что два взрослых человека всегда могут договориться между собой. Поэтому перехода от теории к практике не происходит у Матвея Матвеевича никогда. Если бы Матвею Матвеевичу хоть раз в жизни привелось бы воплотить в реальность хоть один из своих страшных лозунгов, я думаю, он перепугался бы до икоты, а может быть, и совсем бы умер от огорчения, что так нехорошо получилось.

Он из тех знаменитых евреев, которые способны вызвать приступ острого антисемитизма у самого Меира Кахане или даже у теоретика сионизма господина Теодора Герцля. Он является утром на кухню и принимается назойливо докладывать непроспавшемуся и злобному Парасюхину, что совсем уже почти договорился с вдовой из дома напротив, так она ему устроит пансион. Пять рублей в день, ну и что? Это недорого. Обед и ужин, а завтракать он будет здесь, он всегда имеет возможность достать свежие яички и другие молочные продукты. В конце концов, если ему покажется недостаточно, так он всегда сможет прикупать. Пусть другие берут яйца по рубль тридцать. Вот я вижу, вы всегда берете яйца по рубль тридцать. А я могу брать по девяносто, и они будут лучше, чем ваши. Ваши битые, а у меня будут целые, хорошие яички. Вы — молодой человек, вы этого не понимаете, что главное — это устройство с питанием...

Кто может выдержать такое? Разве что Петр Петрович Колпаков. Он стоит к Матвею Матвеевичу вполоборота, вежливо улыбается и корректнейше кипятит себе молоко в кастрюльке. Видимо, он глубоко и тщательно обдумывает вопрос, куда ему отнести Матвея Матвеевича. К злакам или к плевелам? К агнцам или к козлищам? Истребить его в запланированном армагеддоне или, наоборот, возвысить?

Непроспавшийся же и злой антисемит Парасюхин, конечно же, не выдерживает. В кухне становится черным-черно, как в известном письме известного писателя известному историку.

Однако в отличие от известного историка Матвей Матвеевич (Мордехай Мордехаевич) ни эвфемизмов, ни аллюзий, ни литературных реминисценций не понимает. Он улавливает только общую идею о том, что весь мир заполонили дурные, своекорыстные люди, везде блат, по знакомству можно достать все, а без знакомства человек ничто — особенно, если он не сумел как следует устроиться с питанием.

Он живо подхватывает и развивает эту идею, и тогда Марек Парасюхин, прикованный к газовой плите необходимостью помешивать овсяную кашу, чтобы не подгорела, и потому лишенный даже возможности бежать, заткнувши уши, испускает из себя освященную веками нутряную исступленную жалобу: «Да господи же боже мой! Ну нигде же нет от них спасения! Куда ни сунься — везде ведь они!»

Простодушный Матвей Матвеевич уже заранее кивает, готовый согласиться и с этим утверждением, но тут на кухне объявляется слегка встрепанный после душа Агасфер Лукич. В правой руке у него чашечка кофе, в левой — бисквитик, а на устах — бессмертное: «Если в кране нет воды, значит, выпили жиды...»

Происходит двойной взрыв. Парасюхин взрывается потому, что усматривает в дурацкой частушке Агасфера Лукича злобный выпад против проверенных веками, глубоко теоретически обоснованных и животрепещущих установок и выводов по известному вопросу. Матвей же Матвеевич взрывается, потому что начисто лишен даже самого элементарного чувства юмора и в дурацкой частушке усматривает недвусмысленное и очевидное оскорбление своего национального достоинства.

Дуэт:

— Здесь нет ничего смешного, Агасфер Лукич! Довольно странно, что вы, при вашем опыте, при ваших знаниях, норовите отделаться шуточками, когда речь заходит об угрозе всей славянской цивилизации! Ведь вы же русский человек! Что вы тут нашли смешного? Да, выпили! Если нет воды, значит, именно они и выпили! В прямом или в переносном смысле! И ничего смешного!..

— Что значит — жиды? При чем здесь опять жиды? Почему у вас во всем и всегда виноваты жиды? Как вам только не стыдно, Агасфер Лукич? Ведь вы же сами — древний еврей! И откуда, интересно, вы взяли, что нет воды? Вода есть, пожалуйста! Пейте! Открывайте кран и пейте!..

Петр Петрович Колпаков неопределенно улыбается, видимо, размышляя, куда ему отнести Марека Парасюхина. Агасфер Лукич доволен. Кухня наполняется ароматом подгоревшей овсянки, и тут вхожу я и, сдерживаясь из самых последних сил, осведомляюсь:

— Слушайте, кто из вас постоянно не спускает воду в унитазе? Вот поймаю, возьму за шкирку и носом — в унитаз, в унитаз!..

Двадцать первый век на пороге. Коммуналка. Тоска. И над всем этим — черным фломастером по белому кафелю кухонной стены — напоминание:

"Lasciate ogni speranza" *.

Что держит меня здесь? На что я еще надеюсь? Почему давным-давно не сбежал?

Держит что-то. Надеюсь на что-то. Чего-то еще жду.

Вообще странные вещи происходят со мной в последнее время. Видимо, я так сжился со всеми этими людьми и настолько пропитался атмосферой наших поганых чудес, что почти воочию могу наблюдать любого из них в любой момент и сквозь любые стены.

Вот сейчас, например. Пожалуйста. Я пишу в своей каморке и точно знаю, что за четыре стены от меня Парасюхин сидит на своей роскошной постели со шлюхой, которую он привел с «плешки». Я не слышу его слов, однако знаю откуда-то, что рассказывает он ей о преимуществах настоящего арийского и в особенности — славяноарийского полового аппарата в сравнении с таковым же любого унтерменша, будь то косоглазый азиат или (в особенности) какой-нибудь пархатый семит. Шлюха, немолодая, утомленная, курит длинную шведскую сигарету и слушает его вполуха. О половых аппаратах она знает все.

Сегодня шестнадцатое ноября. Опять. И опять все та же слякоть на мостовых и падающий с серого неба то ли дождь, то ли снег.

А может быть, это Сверхзнание начинает прорастать во мне, превращая меня в нового Агасфера?..

24. Разговор начался с того, что Агасфер Лукич, сияя, как блюдо с красной икрой под яркой люстрой, явился предо мною и с легким поклоном протянул номер журнала в знакомой обложке. Это был последний «Астрофизикл джорнэл», и он по крайней мере наполовину был посвящен моим «звездным кладбищам».

Ганн, Майер и Исикава, независимо друг от друга, приносили извинения за неточности, допущенные ими ранее в их прежних публикациях на эту тему, и наперебой сообщали о наблюдениях, подтверждающих самые разнообразные следствия эффекта, предсказанного доктором Манохиным. Запущенный в начале ноября «Эол» сделал свое дело.

Ничуть не отставая от них, Семен Бирюлин, используя данные нашего «Луча», подтверждал мои «кладбища» в миллиметровых волнах и теоретически предсказывал, как это будет выглядеть в субмиллиметровых. И Карпентер тут же подтверждал, что в субмиллиметровых все выглядит именно так. И еще большая методологическая статья Де-Прагеса... и еще два письма каких-то незнакомых китайцев...

Удивительно, но все это оставило меня совершенно равнодушным. Как будто я не имею и никогда не имел ко всему этому никакого отношения. Как будто никогда я не мучился угрызениями совести, стыдом, ужасом публичного позора, как будто не пошел в свое время в дикую, унизительную и странную службу ради того фактически, чтобы полистать такой вот выпуск «Астрофизикл джорнэл» или хотя бы «Астрономикл лэттэрз».

Столько раз представлял себе, что буду листать его жадно, впиваясь глазами и упиваясь злорадным

* «Оставь всякую надежду». Данте. «Ад», песня третья.

облегчением и утоленной гордыней, а теперь вот листал его равнодушно, совершенно безразлично и думал более о том, что вот пуговица у меня на манжете оторвалась и ускользнула в рукомойник и теперь вот придется идти по такому дождю со снегом ради одной пуговицы в «Галантерею»...

И когда я поднял глаза на Агасфера Лукича, я обнаружил, что банкетное сияние в лице его значительно потускнело. «Что же это вы, голуба моя?» — с обидой и упреком произнес он и тут же сделал мне выговор.

Известно ли мне, сколько и каких усилий пришлось потратить ему, Агасферу Лукичу, чтобы подвигнуть известное лицо на выполнение этого моего научно-исследовательского каприза? Известно ли мне, какого неестественного напряжения стоило известному лицу сначала понять поставленную задачу, а потом разобраться во всех деталях этой моей совершенно чуждой и неинтересной ему механики? Сколько упреков было обрушено, сколько досады было вымещено,— вообще сколько времени было потрачено, драгоценного, невосполнимого времени известного лица? И наконец, известно ли мне, как близко, на какой последний волосок пришлось подойти известному лицу к той границе, за которой начинается абсолютное небытие,— и все для чего? Для того только, чтобы овеществить, сделать реальностью замысловатый бред, излившийся с кончика шкодливого пера капризного, избалованного теоретика!..

Большею частию все это было мне неизвестно, поскольку ни во что это меня не посвящали, так что я оставался вполне равнодушен под градом его упреков и диатриб. Оказывается, я уже основательно забыл, с чего началась эта моя история. Все былые чувства мои увяли, горечь выветрилась, а яд высох, как говаривал сэр Редьярд Киплинг. Гигантский груз новых впечатлений, нового знания и новой ответственности буквально выдавил, вытеснил, выпарил из меня прежнего С. Манохина с его маленькими амбициями, детскими капризами и совершенно микроскопическими вожделениями. В сущности, я давно перестал быть С. Манохиным. Я был теперь мелким лемуром в безотказном услужении у непостижимого чудовища, только в отличие от фаустовских лемуров я сохранял способность сознавать и все еще пытался разобраться в происходящем, упростить его до такой степени, чтобы оказаться способным его понять и, следовательно,— хоррибле дикту! — влиять на него...

Агасфер Лукич, конечно же, разобрался во всех этих моих мыслях и тут же направил огонь своих реприманд на другой фланг. Оказывается, уже довольно давно я вызываю у него определенное беспокойство. Я плохо ем. Я почти не улыбаюсь. Я перестал шутить. Опыт с женщиной, который Агасфер Лукич произвел, имея в виду мое духовное и физическое здоровье, окончился скорее неудовлетворительно...

Ему, Агасферу Лукичу, совершенно понятна причина этого духовного и физического увядания. Я потерял ориентировку. Я утратил представление о конечных целях. И все это потому, что с самого начала, вот уже много месяцев, я пребываю в состоянии хронического недоумения по поводу того мира, который окружил меня.

Сначала я (впопыхах и сгоряча) вообразил себе, будто оказался секретарем, мажордомом и лакеем Антихриста, явившегося наконец на Землю с тем, чтобы подготовить процедуру, известную в источниках под названием Страшный Суд. Эта безумная при всей своей примитивности идея заметно травмировала мою психику закоренелого атеиста, потому что продралась в мое сознание в результате свирепого сражения между всей совокупностью благоприобретенных материалистических представлений, с одной стороны, и железной логикой наблюдения — с другой. Это было время, когда мое душевное здоровье находилось под самой серьезной угрозой, ибо нельзя последовательному материалисту надолго погружаться в мир объективного идеализма безнаказанно.

К счастью, дальнейшее накопление наблюдаемых данных (скажем, появление в доме таких перлов мироздания, как Марек Парасюхин, участковый Спиртов-Водкин и неописуемая Селена Благая) благополучно разрушили первоначальную апокалиптическую гипотезу. Рассудок мой был спасен, однако ненадолго.

Новая гипотеза сформировалась. Известное лицо из совершенно мифического Антихриста трансформировалось в некоего Космократа, фантастически могущественного, фантастически вездесущего, фантастически надчеловеческого — вообще фантастического, но при этом фантастического научно. Сей Космократ обрушил свое внимание на Землю, имея целью произвести над человечеством некий грандиозный, сами понимаете, эксперимент, суть коего для современного землянина принципиально, сами понимаете, непостижима. И вот собирает он здесь, в этой квартире без номера, людей и людишек, одержимых самыми конкретными идеями, как наилучшим образом ущемить, ущучить, уязвить несчастное человечество. Зачем? А затем, чтобы Космократ в дальнейшем дал бы им всем волю, а сам наблюдал бы интересующие его реакции человечества на все эти ущемления, ущучивания и уязвления.

Именно это мучительное видение несчастного человечества, поверженного на гноище неописуемых страданий, подвергаемого беспощадным и равнодушным вивисекциям, и привело меня сейчас на грань отчаяния и безнадежности, за которыми вновь встает призрак безумия.

Ибо, несмотря ни на что, я все-таки люблю человечество. Несмотря на тупое стремление к самоистреблению этой огромной массы людей. Несмотря на тупое стремление этой массы людей получить самые низменные удовольствия ценою самых высоких наслаждений духа. Несмотря на потоки глупостей, подлостей, мерзостей, предательств, преступлений, уже тысячелетиями извергаемых из себя и на себя этой огромной массой людей. И несмотря, наконец, на совершенную несоизмеримость моей отдельно взятой личности с этим грандиозным явлением природы, частицей которого я, невзирая ни на что, остаюсь.

Любовь, как известно, зла. Она порождает удивительные намерения и провоцирует любящего на поступки противоестественные и благородные, благородные до неестественности, до извращенности даже. Если здесь вообще можно говорить о логике, то она у меня такова: раз уж Космократу так приспичило произвести гигантский эксперимент над миллионами, так, может быть, ему будет благоугодно устроиться таким образом, чтобы совершить миллионы экспериментов над одним? Ведь с научной точки зрения это одно и то же, то есть с научной точки зрения две эти ситуации инвариантны. Дело лишь за искусством экспериментатора, а в нем сомневаться не приходится. Что же касается подопытного материала, то вот он, здесь, перед вами! Глядите и приступайте!

Глядя на меня с жалостью и брезгливым восхищением, Агасфер Лукич всплескивал короткими лапками и повторял: «Какое нелепое простодушие! Какое благородное убожество! Какая несусветная и неуместная мизинтерпретация великого образца! Стыд! Изуверство! Какое беспомощное изуверство!..»

Признаюсь, ему-таки удалось расшевелить меня. Это было крайне неприятно — ощущать себя просматриваемым насквозь, да еще глазом бывалого микропсихолога. И в то же время я испытывал опре-

деленное облегчение человека, болезнь которого наконец названа и признана пусть тяжелой, стыдной, неприличной, но излечимой. Я искал слова, чтобы достойно ответить, и слышал уже энергические и раздраженные толчки пульса в висках, уже просыпалась во мне целительная злоба, однако нужные слова найти я не сумел, и Агасфер Лукич продолжал.

Откуда у меня эта презумпция зла? Откуда это навязчивое стремление громоздить ужасы на ужасы, страдания на страдания? Что это за инфантильный мазохизм? Разумеется, он, Агасфер Лукич, понимает, откуда у меня все это. Но ведь я же все-таки научный работник, сама профессия моя, сама моя идеология обязывает, казалось бы, смотреть широко, анализировать добросовестно и с особенной настороженностью относиться к тому, что лежит на поверхности и доступно любому полуграмотному идиоту.

По складу ума своего я не способен воздерживаться от построения гипотез относительно всего, что окружает меня. Я не люблю без гипотез, я не умею без них. Ради бога! Но если уж повело меня строить гипотезы, зачем же сразу строить такие ужасные, что меня же самого норовят свести с ума? Почему не предположить что-нибудь благое, приятное, радующее душу? Почему бы не предположить, например, что известное лицо, вконец отчаявшись затопить Вселенную добром, решило по крайней мере избавить ее от зла? Как мне это понравится: собрать в квартиру без номера всех наиболее омерзительных, безапелляционных, неисправимых и настырных носителей разнообразного зла, а собравши, утопить в Тускарорской впадине? «Всех утопить!» Фауст. Пушкин.

Я ни в коем случае не должен воображать, будто эта гипотеза хоть в какой-то мере соответствует истинному положению вещей. По рангу своему, по своей глубине она столь же убога, как и первые две. Но неужели я не вижу за ней по крайней мере одного преимущества — преимущества оптимизма?

Нетрудно догадаться, что именно помешало мне предпочесть оптимизм всем этим гипотезам барахтанья в тоскливом болоте апокалиптических и псевдонаучных ужасов. Разумеется, уже сам внешний вид известного лица никак не способствует приступам сколько-нибудь радужных чувств. Его неприятная метаестественность. Его грубость. Его брезгливость ко мне подобным. Его истерики. Наконец, его манера таращить глаза, каковая манера даже Агасфера Лукича приводит в рефлекторное содрогание...

Все это так. Но за всем тем не мог же я не заметить его постоянной изнуряющей занятости. Его метаний. Его измученного, но неутолимого любопытства. Не мог же я не заметить на этих изуродованных плечах невидимого мне, непонятного, но явно тяжкого креста. Этой его забывчивости, этих странных его оговорок и невнятных распоряжений... Да в силах ли я понять, что это такое: пребывать сразу во всех восьмидесяти с гаком измерениях нашего пространства, во всех четырнадцати параллельных мирах, во всех девяти извергателях судеб! В силах ли я понять, что Вселенная слишком велика даже для него, а время все проходит, оно только проходит — и для него, и сквозь него, и мимо него...

Агасфер Лукич разволновался. Я никогда не видел его таким прежде. Мне показалось, что это был восторг самоуничижения. Я слушал его, затаив дыхание, и тут, в самый патетический момент, грянул над нами знакомый голос, исполненный знакомого раздраженного презрения:

— На кухне! Из четвертого котла утечка! Опять под хвостами выкусываете?

25. Я не слышал звонка. Впрочем, никакого звонка, наверное, и не было. Я проснулся оттого, что неподалеку бубнили голоса, и голоса эти возвышались. Вначале я не понимал ни слова, я не сразу понял даже, кто это бубнит у нас посреди ночи — гортанно, яростно, с придыханиями, на совершенно незнакомом языке.

Впрочем, довольно быстро я понял, что один из бубнящих — Агасфер Лукич, а затем, как водится, начал разбирать и о чем они бубнят, сперва общий смысл, затем отдельные слова. Ни общий смысл, ни отдельные слова, ни в особенности все возвышающийся тон мне решительно не понравились, я торопливо натянул штаны, снял со стены тяжелый шестопер и высунулся в коридор.

В коридоре было темно и пусто, вся наша контора спала, но в прихожей горел свет, и я увидел Агасфера Лукича, стоявшего профилем ко мне и, надо думать, лицом к своему собеседнику. Собеседника не было видно за углом — Агасфер Лукич, надо понимать, дальше порога его не пускал.

Надо было понимать также, что Агасфер Лукич прямо из постели: был он в своем бежевом фланелевом белье со штрипками, памятном мне еще по гостинице «Степной», из-под рубашки торчал угол черного шерстяного платка, коим Агасфер Лукич оснащал на ночь поясницу в предчувствии приступающего радикулита, он даже накладное ухо свое не нацепил, оставил в граненом стакане с агар-агаром... ·

Невидимый мне визитер гортанно выкрикнул что-то насчет того, что демонам зла и падения дана великая власть, но не дано им преграждать путь ищущему милости Милостивого, ибо сказано: рабу не дано сражаться, его дело — доить верблюдиц и подвязывать им вымя. В ответ на это странное сообщение Агасфер Лукич уже совершенно для меня внятно произнес, почти пропел, явно цитируя:

— «Свои пашни обороняйте, ищущему милости давайте убежище, дерзкого прогоняйте». Почему ты не говоришь мне этих слов, Муджжа ибн-Мурара? Или твой нечистый не поворачивается повторять за тем, кого ты предал?

Я вышел в прихожую и встал рядом с ним, держа шестопер на виду. Теперь я видел абитуриента. Это был грузный, я бы сказал даже, жирный старик в синих шелковых шароварах, спадающих на расшитые золотом крючконосые туфли. Шаровары еле держались у него на бедрах, низко свисал огромный, поросший седым волосом живот с утонувшим пупом, по-женски висели жирные волосатые груди, лоснились округлые потные плечи, а свежевыбритая круглая голова была измазана сажей, и следы сажи были у него по всему телу полосами от пальцев, и лицо его, черное от солнца, тоже было в саже, и белая растрепанная борода была захватана грязными руками, а черные глазки с кровавыми белками бегали из стороны в сторону, как бы не зная, на чем остановиться.

Двери на лестничную площадку не было. Зиял вместо нее огромный треугольный проем, и из этого проема высовывался на линолеум нашей прихожей угол роскошного цветастого ковра (совершенно так же, как давеча вместе с Бальдуром Длинноносым ввалился в прихожую огромный сугроб ноздреватого оттепельного снега). Абитуриент стоял на своем ковре. То ли дальше не пускал его Агасфер Лукич, то ли сам он боялся ступить на гладкий блестящий зеленый линолеум.

— Демон зла и падения Абу-Сумама! — после некоторого молчания возгласил абитуриент.— Снова и снова заклинаю тебя: перед тобой смертный, который нужен Рахману!

— Муджжа ибн-Мурара,— явно пародируя, ответствовал Агасфер Лукич.— Ничтожнейший из смертных, предавший учителя и благодетеля племени свое-

го Масламу Йемамского, снова и снова отвечаю тебе: ты не нужен Рахману!

Муджжа ибн-Мурара непроизвольно облизнул пересохшие губы и, словно бы ожидая подсказки, оглянулся через жирное плечо в темноту треугольного проема.

Мрак там, надо сказать, не был совершенно непроницаемым. Какой-то красноватый огонь тлел там — то ли костер, то ли жаровня,— и колебались на сквозняке огоньки светильников, и отсвечивало что-то металлическим блеском — вроде бы развешанное по невидимым стенам оружие. И в этом неверном свете чудилось мне некое белесое лицо с черными, исполненными ужаса провалами на месте глаз и рта.

— Я свидетельствую: ты лжешь, Абу-Сумама! — прохрипел толстяк, не получивший из тьмы никакого подкрепления.— Я нужен Рахману! Если он захочет, я залью кровью Египет во имя его!

— Он не захочет,— равнодушно сказал Агасфер Лукич.— И Омар ибн ал-Хаттаб обойдется без тебя. Он заберет Египет мечом Амра. И без особенной крови, между прочим...

— Омар ибн ал-Хаттаб — жалкий пес и выскочка! — взвизгнул толстяк.— Он стал халифом только потому, что Пророк по упущению Рахмана остановил благосклонный взгляд на его худосочной дочери! Клянусь темной ночью, черным волком и горным козлом, кроме этой дочери, нет ничего у Омара ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем!

— Клянусь ночью мрачной и волком смелым,— отвечал Агасфер Лукич,— у тебя, Муджжа, нет даже дочери, не говоря уже о сыновьях, ибо Рахман справедлив. Уходи, ты не нужен Рахману.

Толстяк рванул себе бороду обеими руками. Глаза его выкатились.

— Я не прошу службы,— прохрипел он.— Я прошу милосердия... Я не могу вернуться назад. Доподлинно стало мне известно, что не переживу я этой ночи... Пусть Рахман оставит меня у ног своих!

— Нет тебе места у ног Рахмана, Муджжа ибн-Мурара, предатель. Иди к салукам, если они примут тебя, ибо сказано: ближе нас есть у тебя семья — извечно не сытый; пятнистый короткошерстый; и гривастая вонючая... Да только не примут тебя салуки, и даже тариды тебя не примут — слишком ты сделался стар и жирен, чтобы приводить кого-нибудь в трепет...

Я почти ничего не понимал из происходящего. Мне все время казалось, что Агасфер Лукич терзает этого жирного старца из, так сказать, педагогических соображений, что вот он сейчас поучит его уму-разуму, а потом сделает вид, будто смягчился, и все же пропустит его пред светлые очи. Однако довольно скоро я понял, что не пропустит. Ни за что. Никогда.

И как видно, толстый старый Муджжа тоже понял это. Выкаченные глаза его сузились и остановились наконец, чтобы испепелить ненавистью.

— Лишенный стыда и позволивший называть себя именем Абу-Сумамы,— просипел он, тяжело глядя в лицо Агасферу Лукичу.— Я узнал тебя. Я узнал тебя по отрубленному уху, Нахар ибн-Унфува, прозванный Раххалем! Клянусь самумом жарким и верблюдом безумным, я отрублю тебе сейчас второе ухо моим йеменским клинком!

Короткопалая рука его судорожно зашарила у левого бедра, где ничего сейчас не было, кроме шнурка полусвалившихся шаровар. Агасфер Лукич ничуть не испугался.

— Клянусь пустым кувшином и высосанной костью,— сказал он с усмешкой.— Ты никому ничего не отрубишь, Муджжа ибн-Мурара. Здесь тебе не Йемама, смотри, как бы тебе самому не отрубили последнее висящее. Уходи вон, или я прикажу своим ифритам и джиннам вышвырнуть тебя, как шелудивого, забравшегося в шатер.

Кто-то часто задышал у меня над ухом. Я оглянулся. Ифриты и джинны были тут как тут. Вся бригада в полном составе. Тоже, наверное, проснулись и сбежались на крики. Все были дезабилье, даже Селена Благая.

Только Петр Петрович Колпаков счел необходимым натянуть спортивный костюм с наклейкой «Адидас».

Наверное, с точки зрения средневекового араба, мы все являли собой зрелище достаточно жуткое и уж, во всяком случае, фантастическое. Однако Муджжа либо был не из трусливых, либо уже на все махнул рукою и пустился во все тяжкие, не думая больше о спасении жизни, а лишь о спасении лица. Он не удостоил нас даже беглого взгляда. Он смотрел только на Агасфера Лукича, все сильнее сутулясь, все шире оттопыривая жирные руки, обильно потея и тяжело дыша.

— Ты, Раххаль,— произнес он, захлебнувшись,— шелудивый бродяга и бездомный пес. Ты смеешь называть меня предателем. Предавший самого пророка Мухаммеда и перекинувшийся к презренному Мусейлиме!..

— А я запомнил времена, когда этого презренного ты называл милостивый Маслама! — вставил Агасфер Лукич, но Муджжа его не слушал.

— Трусливый и бесчестный, приказавший четвертовать мирного посланника! Вспоминаешь ли ты Хабиба ибн-Зейда, которого даже презренный Мусейлима отпустил с миром, не решившись преступить справедливость и обычаи? Посланником Пророка был Хабиб ибн-Зейд, а ты велел схватить его, мирно возвращавшегося, и отрезать ему обе руки и обе ноги,— ты, Раххаль, да превзойдут зубы твои в огне гору Оход!

— Пустое говоришь,— снисходительно сказал Агасфер Лукич,— и в пустом меня обвиняешь, ибо отлично знаешь сам: презренный Хабиб умерщвлял младенцев, отравлял колодцы и осквернял поля. Все получившее благословение Масламы он отравлял, чтобы погибло. Я всего лишь приказал отрубить ноги, носившие негодяя, и руки, рассыпавшие яд.

— Свидетельствую, что ты лжешь! — отчаянно выкрикнул Муджжа и вытер трясущейся ладонью пену, проступившую в уголках рта.— Лучше меня знаешь ты, что именно благословения фальшивого Мусейлимы были ядом для детей, для земли и для воды йемамской! Ты, Раххаль, раб лжепророка, предавший и его, вспомни сражение у Акрабы! Может быть, стыд наконец сожжет тебя? Ты, бросивший свое войско перед самым началом битвы, покинувший лучших из лучших Бену-Ханифа умирать под саблями жестокого Халида! Ты бросил их, и все они легли там, у Акрабы, все до единого, кроме тебя!

— А ты с фальшивыми оковами на умытых руках беспечно смотрел из шатра Халида, как они умирают, твои братья по племени...

— Лжешь ты и лжешь! Железо оков проело мясо мое до костей моих, слезы прожгли кровавые вади на щеках моих, но когда пришло время, я спас от жестокого Халида женщин и детей Бену-Ханифа, я обманул Халида!.. Ты, бросающий лживые обвинения, вспомни лучше, почему ты ускакал от Акрабы, будто гонимый черным самумом! Это похоть гнала тебя! Клянусь черным волком, похоть, похоть и похоть! Ради бабы ты бросил все — своего лжепророка, которому клялся всеми клятвами дружбы и верности; и сына его, Шурхабиля, которого Мусейлима доверил твоей верности и мудрости; и друзей своих, и своих воинов, которые, даже умирая, кричали: «Раххаль! Раххаль с нами!» Ты бросил их всех ради грязной христианской распутницы, которую ты сам же сперва подло-

жил под бессильного козла Мусейлиму, надеясь заполучить таким образом его душу...

— Я не советую тебе говорить об этом,— произнес Агасфер Лукич таким странным тоном, что меня всего повело, словно огромный паук побежал у меня по голой груди.

Но Муджжа уже ничего не слышал.

— ...однако лжемилостивый оказался слишком стар для твоего подарка, и ты остался с носом — и без вожделенной души его, и без своей вожделенной бабы! Ты, Раххаль, дьявол при лжепророке, преуспевший во зле!

Муджжа замолчал. Он задыхался, борода его продолжала шевелиться, будто он еще говорил что-то, и клянусь, он улыбался, не отрывая жадного взгляда от окаменевшего лица Агасфера Лукича. А тот медленно проговорил все тем же страшным, кусающим душу голосом:

— Ты просто чувствуешь приближение смерти, Муджжа. Перед самой смертью люди часто говорят то, что думают, им нечего больше скрывать и незачем больше томиться. Я вижу, ты сам веришь тому, что говоришь, и трижды заверяю я тебя, Муджжа: не было этого, не было этого, не было.

Тогда Муджжа засмеялся.

— Записочку! — проговорил он, захлебываясь смехом и пеной.— Записочку вспомни, Раххаль! — хохотал он, задыхаясь и всхлипывая, тряся отвислыми грудями и огромным брюхом.— Вспомни записочку, которую передали тебе накануне битвы... Ты помнишь ее, я вижу, что ты не забыл! Так слушай меня и никому не говори потом, что ты не слышал! Твоя Саджах нацарапала эту записочку, сидя на могучем суку моего человека. Ты знаешь его — это Бара ибн-Малик, горячий и бешеный, как хавазинский жеребец, вскормленный жареной свининой, искусный добиваться от женщин всего, что ему нужно. А нужно ему было тогда, чтобы дьявол Раххаль, терзаемый похотью, покинул войско Мусейлимы на чаше верных весов!

И сейчас же, без всякой паузы:

— Ты позволил себе недозволенное,— произнес Нахар ибн-Унфува по прозвищу Раххаль.— Ты должен быть строго наказан.

«Милиция!» — ужасно взвизгнул у меня над ухом Матвей Матвеевич. Он понял, что сейчас произойдет. Мы все поняли, что сейчас произойдет. И уж, конечно, Муджжа ибн-Мурара понял, что сейчас произойдет. Рука его нырнула во тьму треугольного проема и сейчас же вернулась с широким иззубренным мечом, но Раххаль шагнул вперед, мелькнуло на мгновение длинное узкое лезвие, раздался странный чмокающий звук, широкое черное лицо над испачканной бородой враз осунулось и стало серым... храп раздался наподобие лошадиного и страшный плеск жидкости, свободно падающей на линолеум.

Тут я, видимо, на некоторое время вырубился.

Вся прихожая была залита. Ужасно кричал Матвей Матвеевич. «Милиция! — кричал он.— Милиция!» Уткнувшись головой в зеркало, неудержимо блевал Марек Парасюхин... А Агасфер Лукич, фарфорово-белый, совершая выпачканными лапками выталкивающие жесты, бормотал нам успокаивающе:

— Тише, тише, граждане! Ничего страшного, все будет путем. Идите, идите, я тут все сам приберу...

Exit Муджжа ибн-Мурара, наместник йемамский.

26. Вся эта история завязалась тринадцать с половиной веков назад...

ДНЕВНИК. 20 июля, 13 часов.

Мы остались без Мишеля.

За ним приехал отец из Новосергиевки. Всю ночь гнал на машине, как сумасшедший. Была очень тяжелая сцена. Мишель, конечно, уезжать отказывался, но отец сказал ему, что мать лежит в тяжелом приступе (начиталась газет, наслушалась слухов, в Новосергиевке ходят ужасающие слухи) и Мишель ее просто убьет, если не приедет тотчас же. Огромный седоголовый красавец, а глаза тоскливые, губы трясутся, руки трясутся,— я не стал на это смотреть, ушел подобру-поздорову.

Конечно, Мишель сдался. И я бы сдался. Любой в таком положении сдался бы. Тем более что у нас здесь ничего страшного не происходит, толпа основательно подрассосалась — надоело, опять же и обедать пора. Ребята из патруля уже не стоят цепочкой, а столпились у крыльца и покуривают. Только милиция по-прежнему на своем посту, но смотрит уже явно не так угрюмо, как раньше.

Мишель демонстративно не взял с собой ничего. Он объявил, что через два дня снова будет здесь.

Без Мишеля тускло.

20 июля, 15 часов.

Плохо дело.

В два часа в дверь позвонили. Это явился Первый и с ним еще какой-то деятель в элегантнейшем костюме и фотохромных очках. Я им открыл. Точно помню, что уже тогда подумал: «Плохо дело»,— хотя еще не понимал, что именно плохо и почему.

Первый поздоровался, представился и сказал, что хочет видеть Г. А. Я повел их под перекрестными взглядами жалких остатков нашего гарнизона, сбежавшегося на дверные звонки. На лестнице Первый изволил пошутить: «Ну как вы тут, осажденные? Крыс уже всех подъели?» Мне было не до шуток.

Я запустил их в кабинет Г. А. и остался сидеть в приемной. Девочки и Аскольд посидели со мной немного, а потом разошлись по своим делам. Все они были настроены совершенно оптимистично. Логика: раз уж сам Первый нанес визит, значит, все будет ОК.

Из кабинета не доносилось ни звука. Я ждал. И чем дольше я ждал, тем яснее мне становилось, что ничего хорошего ожидать не приходится. Раз уж сам Первый в такое время и в такой ситуации наносит визит Г. А., это может означать только одно: дорогой Георгий Анатольевич, мы вас высоко ценим и глубоко уважаем, однако вы должны понять нас правильно... демократия... позиция первичных партийных организаций... наробраз... комсомол... невозможно, да и неверно было бы идти против воли всего города, выраженной настолько определенно... разумеется, мы учтем все ваши соображения, они представляют большую ценность, мы тщательно изучим их при формировании долгосрочной политики в будущем, но сегодня, сейчас.... и не обращайте внимания на выпады экстремистов... культура дискуссий у нас пока еще далека от совершенства, и вы погорячились, и они вот теперь горячатся.... но все мы ни на минуту не забываем, что вы — гордость нашего города, всего края, всего Союза, наконец!..

Все это я представлял себе так ясно, как будто слышал своими ушами. (А может быть, я действительно все это слышал? Только не ушами. Со мной и раньше такое бывало, когда доводили меня до крайности.)

Когда они вышли от Г. А., я еще владел собой. Пока пожимались руки и происходил обмен прощальными любезностями, я все еще сдерживался. (Лицо у Г. А. было такое, что я только разок глянул на него и больше уж не смотрел.) И я еще сдерживался, пока вел их по главному коридору, вывел на лестничную площадку *и вот тут сдерживаться перестал*. (Г. А. с нами уже не было, он вернулся к себе.)

К сожалению,— а может быть, к счастью,— я плохо помню, что я им говорил. И спросить не у кого — ни одного из наших поблизости не оказалось. Допускаю, что я назвал их предателями. Вы предали его, сказал я. Он так на вас надеялся, он до последней минуты на вас надеялся, ему в этом городе больше ни на кого не оставалось надеяться, а вы его предали. (Щеголь в фотохромных очках, кажется, пытался остановить меня: «Не забывай, с кем ты разговариваешь!» И я тогда сказал ему: «Молчите и слушайте!») Может быть, вы вообразили себе, что ваши комплименты и все ваши красивые слова что-нибудь для него значат? Да не нужны ему ни ваши комплименты, ни ваши фальшивые похвалы. Ему нужна была ваша поддержка!..

И еще что-то в этом роде, совсем не помню. А помню, как он прервал меня и спросил с искренним удивлением: «Так ты что же — веришь во все эти его фантазии?» «Нет,— сказал я честно.— К сожалению, нет. Умишка у меня не хватает в это поверить. Но я одно знаю: пусть это фантазии, пусть это он даже ошибается, но его ошибка в сто раз грандиознее и выше, чем все ваши правильные решения. И в сто раз нужнее всем нам».

Они обошли меня с двух сторон и стали спускаться по лестнице, а я говорил им вслед. А может быть, и не говорил, может быть, только думал. Вы сейчас послали его на крест. Вы замарали свою совесть на всю свою оставшуюся жизнь. Наступит время, и вы волосы будете на себе рвать, вспоминая этот день,— как вы оставили его одного в кабинете, раздавленного и одинокого, а сами нырнули в эту толпу, где все вам подхалимски улыбаются и молодцевато отдают честь...

И с лютым наслаждением ловил я токи растерянности, недоумения и недовольства собой, исходящие от их прямых спин и аккуратных вороных затылков.

20 июля. Половина шестого вечера.

Подуспокоив нервы, отправился к Г. А. посмотреть, как он там. Все наши уже сидели у него. Серафима Петровна принесла плюшки. Мы пили чай и молчали. Иришка как-то странно на меня посматривала, а Зойка все время подкладывала мне плюшки. Видимо, они все-таки слышали, как я орал на Первого. А может быть, ничего они не слышали, а просто вид у меня был недостаточно успокоенный.

Потом Г. А. посмотрел на часы и включил телевизор. Оказывается, голова наш Петр Викторович вознамерился сегодня, на неделю раньше срока, выступить с ежемесячным обращением к своему городу.

Обычная двадцатиминутная речь. Как всегда жовиален, прост, округл, хитроват и задушевен. Наши немалые достижения и главным образом наши недоделки, недостатки и недодумки. Средства освоены, с одной стороны, сроки не выдерживаются, с другой стороны; приток валюты, с одной стороны, отток квалифицированной рабочей силы, с другой стороны; не умеем еще как следует работать, с одной стороны, отдыхать совершенно разучились, с другой стороны...

И только в самом конце, без особого нажима, как о делах, всем хорошо известных, а потому не требующих никаких специальных пояснений, сначала о работе санэпидслужбы города (недостаточный надзор за очистными сооружениями, успешная ликвидация сезонной эпизоотии у сусликов), и только потом, наконец: «В окрестностях города у нас уже который год регулярно возникает нездоровая в гигиеническом отношении обстановка, особенно на десятом километре, в излучине Ташлицы. Не могу сказать, что мы ничего не предпринимали. Уговаривали, предупреждали, вели разъяснительную работу. К сожалению, безуспешно. Васька, понимаете ли, слушает, но по-прежнему ест. Все необходимые меры мы уже давно подготовили. Упрекнуть нас ни в чем нельзя, разве что в излишней неторопливости, которая происходила от нашей излишней, может быть, терпимости. Могу сообщить, что сегодня нами сделано последнее и окончательное предупреждение. Всякому терпению приходит конец, и у нашего города терпения больше нет». И снова — об осушении Ереминского болота, о мерах против бродячих животных, еще минуты две жовиальности и простодушия — и: «До следующей встречи, спасибо за внимание».

Вот так. Спасибо тебе, Петр Викторович. «На мэра надейся, но и сам не плошай... Кто за доброе дело, тот мой союзник».

Г. А. выключил телевизор. На нас он не глядел, и мне подумалось, что ему стыдно сейчас глядеть на нас, своих учеников. За все человечество перед нами стыдно. Мне, во всяком случае, было стыдно, и я старался ни на кого не глядеть — только на Г. А., да и то исподлобья.

Тут Г. А. пододвинул к себе телефон и набрал номер. На экранчике появился Михайла Тарасович, вяловатый и безмятежный. Вид у него был такой, словно его грубо оторвали от заслуженного отдыха. Впрочем, обнаружив, кто его беспокоит, он очень натурально обрадовался, приветствовал Г. А. шумно и многословно и тут же принялся с добродушной укоризной высказывать свое мнение по поводу вчерашней статьи.

Г. А. прервал его немедленно. Что же это такое? Значит, завтра все-таки акция? Михайла Тарасович подувял и со вздохом развел руки: что поделаешь, такова жизнь. Г. А. сказал очень резко: «Как же вам не стыдно? Вы же обещали!» Михайла Тарасович перестал улыбаться и сказал заносчиво: «Что это я вам обещал? Ничего я вам не обещал!»

Г. А. Стыдно, Кроманов. Стыдно! Перед людьми за вас стыдно! А что будет, если я расскажу всем о нашей договоренности?

М. Т. О какой еще такой договоренности? Не было никакой договоренности... Вы, Георгий Анатольевич, говорите, да не заговаривайтесь. Я при исполнении служебных обязанностей. Я вам не кто-нибудь, я в договоренности с частными лицами не вступаю!

Г. А. молча глядит на него, приспустив набрякшие веки, и чем дольше он глядит, тем более каменеет и бронзовеет Михайла Тарасович, превращаясь уже не просто даже в образцового начальника гормилиции, а в памятник образцовому начальнику гормилиции.

М. Т. (чеканит). Я бы попросил вас не забываться. Намеков и оскорблений я терпеть не намерен. Пусть вы даже и заслуженный человек, но тогда тем более, извольте знать меру и понимать порядок...

И еще что-то в этом же роде, исполненное достоинства и служебной добродетели самой высокой пробы.

Г. А. все молчит. Он уже не просто глядит на него, а откровенно его рассматривает. И Михайла Тарасович не выдерживает этого рассматривания. Он приостанавливает свои речи, надувает щеки и медленно выпускает воздух.

М. Т. (тоном ниже). В вашем положении я бы вообще, извините за выражение, помалкивал. Договоренность... Какая может быть в таких делах договоренность? Я ведь, знаете ли, мог бы и дело против вас возбудить!.. Сокрытие информации, важной для следствия... пособничество преступлению, между прочим... укрывательство, если угодно! Это все, знаете ли, не шутки. Тут не только депутатского мандата, тут всего можно лишиться... (Он отводит глаза, потом бегло взглядывает на Г. А., потом снова отводит глаза и произносит совсем уже миролюбиво.) Да не

переживайте вы так, Георгий Анатольевич! Ничего там страшного не будет, в этой операции. Главные хулиганы у меня посажены, по закону сорок восемь часов будут сидеть как миленькие. Личный состав проинструктирован, эксцессы будем пресекать в зародыше... Что ты в самом деле, Георгий Анатольевич? Мне же самому нужно, чтобы все прошло гладко, без драки, без крови... Неужели ты не понимаешь?

Г. А. выключает телефон.

Он оглядел нас всех по очереди очень внимательно, словно надеялся обнаружить в нас что-нибудь обнадеживающее, не обнаружил и сказал:

— Все. Вот теперь уж окончательно все. «...Вседашний прием плохих правительств — пресекая следствие зла, усиливать его причины». Откуда?

— Ключевский,— сейчас же ответил Аскольд.

— Правильно,— проговорил Г. А. уже рассеянно.— Впрочем, один шанс у нас еще остался...

Он набрал какой-то номер, и на экране возникла недовольная старуха. Г. А. кротко поздоровался с нею и попросил к телефону Гарика. Через десять секунд на экране возник Гарик. Это был тот самый зеленый куст, который давеча прибегал в лицей с репьями в голове. Произошел примерно следующий разговор.

Г. А. Гарик, мне надо срочно увидеть нуси.

Гарик. Нуси в ложе.

Г. А. Пусть придет, когда выцветет.

Гарик. Он выцветет к дождеванию.

Г. А. Скажи, чтобы пришел как можно скорее. Я буду его ждать.

Гарик. Трава на встру. (Или что-то в этом роде.)

Ребята из этого разговора не поняли ничего. Никто из них не был во Флоре, никто не знал, кто такой нуси, но я-то знал и, хотя жаргона не разобрал, догадался, что Г. А. вызывает к себе главаря Флоры, скорее всего чтобы уговорить Флору сняться и уйти до утра. Действительно, это и есть, наверное, последний шанс. И самый лучший выход — и для них, и для нас, и для всего города. Только уж больно мал этот последний шанс. Если бы это было так просто — уговорить их уйти,— Г. А. давным-давно бы их уговорил.

Г. А. усталым и виноватым тоном попросил нас оставить его одного, и мы поднялись, чтобы уходить. И тут Аскольд вдруг спросил: «А как понимать все эти слова — про сокрытие информации, про преступление?» (Поразительно все-таки холодная задница, этот Аскольд!) Г. А. молчал так долго, что я решил, он вообще отвечать не будет. Но он все-таки ответил. «Это надо понимать так,— сказал он,— что в истории было много случаев, когда ученики предавали своего учителя. Но что-то я не припомню случая, чтобы учитель предал своих учеников».

20 июля. Семь вечера.

Потому что тогда он сразу переставал быть учителем. И в истории он как учитель уже не значился.

Хотел пойти поговорить с Ванькой Дроздовым и прочими — как они насчет завтрашнего? Пойдут все как один? С развернутыми знаменами? Может быть, еще и хлебнут для храбрости? Акция ведь все-таки — дело новое, непривычное!

Поздно спохватился. Перед лицеем уже никого нет, одни окурки катаются, да кучка добрых молодцев, окружив последний звучок, препирается, кому его отсюда тащить. И еще стражи порядка прохаживаются в отдалении. («В отдалении реяли квартальные».)

Появился Ираклий Самсонович. Длинно и путано объясняет, что утром его не пропустили. Готовит на завтра хаши.

Объявилась библиотекарша. Сделала мне выговор, что не вернул на место сегодняшние газеты. Нагрубил ей. Хамло я этакое.

Тоскливо. Аскольда видеть не хочу (что дурно). Зойка в миноре, а Иришка твердит как заклинание, что все будет хорошо.

РУКОПИСЬ «ОЗ» (26—27).

26. Вся эта история завязалась тринадцать с половиной веков назад, когда пророк Мухаммед уже умер и первый арабский халиф Абу-Бекр принялся приводить к исламу Аравийский полуостров.

Был некто Нахар ибн-Унфува по прозвищу Раджаль или Рахаль, что означает «много ходящий пешком», «много путешествующий», или, говоря попросту, «бродяга», «шляющийся человек». Был он вначале учеником и доверенным Мухаммеда, жил при нем в Медине, читал Коран и утверждался в исламе. А потом Мухаммед послал его своим миссионером и связником в Йемаму, к Мусейлиме, вождю и вероучителю племени Бену-Ханифа.

Конечно, в то время никто не называл Мусейлиму Мусейлимой. Все звали его тогда: почтенный Маслама, пророк Маслама и даже милостивый Маслама, то есть бог Маслама. Сам Мухаммед называл его тогда своим собратом по пророчеству. Действительно, учения их были во многом сходны, однако имелись и различия, которые, будучи применены к политической практике, развели собратьев настолько, что в Медине перестали называть Масламу почтенным и приклеили ему презрительное имя Мусейлима, то есть, говоря по-русски, что-то вроде «Масламишка задрипанный».

Раххаль выбрал Масламу. Он остался в Йемамс, в этой житнице Аравии, и сделался правой рукой Масламы, исполнителем самых деликатных его поручений и невысказанных желаний. Он показал себя великолепным организатором и контрпропагандистом. Он наладил для Масламы политический сыск и, будучи тонким знатоком Корана, был непобедим в открытых диспутах с миссионерами, которых Мухаммед упорно продолжал засылать в Йемаму.

Слава о нем распространилась широко, но это была недобрая слава. Считалось, что при Масламе поселился дьявол, которому Маслама повинуется, а потому и преуспевает во зле. Сам Пророк незадолго до смерти говорил о Раххале как о человске, зубы которого в огне превзойдут гору Оход. (Видимо, Оход был вулканом, и странную эту фразу надо понимать в том смысле, что, когда Раххаль будет гореть в аду, зубы его запылают пламенем вулканическим.)

Наследник Мухаммеда халиф Абу-Бекр в первую голову решил заняться усмирением Йемамы. Однако никакого боевого опыта у его военачальников тогда еще не было. Лихие кавалерийские наскоки Икрима ибн-Абу-Джахля, равно как и Шурхабиля ибн-Хасана, были благополучно отбиты на границах, и тем не менее положение Йемамы сделалось тяжелым. С запада по-прежнему угрожал ей Шурхабиль ибн-Хасан, с востока — ал-Ала ибн-ал-Хидрими, с юга грозил подойти отбитый Икрима, а тут еще с севера обрушилась на Йсмаму и дошла до самого харама (обители Масламы) христианская пророчица Саджах из Джезиры с двумя корпусами диких темимитов на конях и верблюдах.

Саджах было наплевать и на Масламу, и на Абу-Бекра в одинаковой степени. Она была христианка. Ислам ей был отвратителен, как святотатственное извращение учения Христа. Она пришла в Йемаму за зерном и вообще за добычей.

Масламе удалось заключить с нею оборонительно-наступательный союз, хотя обе договаривающиеся стороны были невысокого мнения друг о друге. Йемамцы презрительно называли кочевников-темимитов

«люди войлока», а темимиты говорили йемамцам-земледельцам: «Сидите в своей Йемаме и копайтесь в грязи. И первый, и последний из вас — рабы».

Детали военного союза нас не интересуют. Последующее мусульманское предание представило этот союз в скабрезном виде. Совершенно напрасно: Маслама был аскетом и по убеждениям, и по образу жизни. Да и по возрасту, если уж на то пошло.

Не было скабрезности в этой истории. Была любовь. Огромная, фантастическая, рухнувшая в одночасье на двух совершенно разных людей — на бешено фанатичную красавицу темимитку и на невзрачного, но зато окутанного легендой и тайной, не верящего ни в бога, ни в дьявола Раххаля, друга, руководителя и клеврета самого Масламы. История этой поистине удивительной и поражающей воображение любви была, говорят, воспета бродячим поэтом-салуком (которого называли иногда вторым Антарой ибн-Шаддадом) в поэме «Матерь запутанных созвездий», то есть «Полярная звезда». Текст поэмы, к сожалению, не дошел до нас.

Счастье их было недолгим. Саджах вернулась к себе на север. То ли влюбленный дьявол Раххаль наскучил ей, то ли политическая нужда потребовала ее присутствия в Месопотамии. Маслама потерял могущественного союзника. Хуже того, в отсутствие своей предводительницы темимиты возмутились против него. Абу-Бекр немедленно использовал все преимущества новой ситуации. На Йемаму двинулась армия лучшего тогда полководца мусульман Халида ибн-ал-Валида.

И тут на сцене появляется наш знакомец Муджжа ибн-Мурара. Был он шерифом, то есть принадлежал к воинской знати Йемамы. И был он великим честолюбцем. Разночтения и нюансы ислама не интересовали его. Он хотел властвовать — спихнуть Масламу и властвовать в Йемаме.

В самом начале кампании он перекидывается к Халиду и предлагает ему тщательно разработанный план покорения Йемамы с тем, чтобы по окончании всего Абу-Бекр сделал его, Муджжу ибн-Мурару, там наместником.

Этот план предусматривал не только хитроумное удаление от войска йемамцев дьявола Раххаля в самый ответственный момент, но и обеспечение добровольной покорности побежденных после окончания военных действий. Раххаля предстояло удалить с помощью подложной записочки от его возлюбленной Саджах (а может быть, и подлинной, кто знает?). Сам Муджжа брал на себя роль патриота-страдальца, мучимого жестоким Халидом: он будет ходить закованным в кандалы, полумертвым от голода и жажды, а в нужный момент он «обманет» Халида, и Халид «попадется» на этот обман, и слава Муджжи ибн-Мурары, мученика и страдальца за свой народ, сумевшего обмануть свирепого полководца, широко распространится по всей поверженной Йемаме, и все Бену-Ханифа будут неустанно благословлять имя его, своего нового владыки.

Все прошло как по маслу. То есть замысел Муджжи реализовался целиком и полностью.

Правда, отсутствие Раххаля, противу всяких ожиданий, никакой особенной роли не сыграло. И в битве под Акрабой, и при взятии харама Масламы йемамцы бились бешено и неистово, предпочитая умереть, нежели побежать. Взаимная ненависть достигла последнего предела. Мать Хабиба (которому Раххаль несколько лет назад велел отрубить руки и ноги за шпионско-диверсионные дела), давшая клятву, что не будет мыться, пока не будет убит проклятый Мусейлима, дралась, как безумная, и в битве за харам потеряла руку и получила двенадцать боевых ранений. Шурхабиль, сын Масламы, перед боем призвавший войско сражаться за своих жен и за свою честь — о вере он упомянуть забыл,— так вот Шурхабиль задохнулся насмерть под грудой зарубленных и заколотых им врагов. Упомянутый выше «бешеный и горячий» Бара ибн-Малик при взятии харама остервенел до такой степени, что приказал своим воинам перебросить себя через стену харама — там, окруженный воющей толпой йемамцев, он, как безумный, пробился к воротам, впустил внутрь харама свой отряд, после чего снова запер ворота, а ключ зашвырнул в пространство...

В этих сражениях полегло десять тысяч йемамцев. Как военная сила Бену-Ханифа перестали существовать. Но и потери мусульман были ужасны: список одних только знатных, погибших на поле боя, достигает тысячи двухсот человек.

Муджжа ибн-Мурара исправно разыгрывал свою роль. Изможденный и несчастный, лязгая кандалами, подталкиваемый в спину ножнами жестоких конвойных, он бродил по полям битв, опознавая тела наиболее известных врагов Халида. Он опознал труп Мухаккима, командира гвардейского полка Масламы. Он опознал труп самого Масламы и опознал труп сына Масламы — Шурхабиля. И конечно же, он опознал труп Раххаля, так что весть о гибели дьявола сразу же широко распространилась по всей Йемаме.

Над телом Масламы, малорослого, желтого, тупоносого человечка, между Муджжой и Халидом при большом стечении свидетелей произошел следующий диалог.

— Вот это и есть главный враг ислама,— объявил Муджжа.— Теперь вы избавились от него.

— Быть того не может! — с хорошо разыгранным изумлением воскликнул Халид.— Неужели этот облезлый привел вас туда, куда он вас привел?

— Да, именно так оно и случилось, Халид,— сказал Муджжа сокрушенно. Но тут же гордо выпрямился и произнес на всю округу: — Однако клянусь богом, не радуйся слишком рано. Пока против тебя вышли только передовые застрельщики из самых торопливых, а по-настоящему опытные ждут тебя в крепостях, и с ними тебе непросто будет справиться.

И действительно, когда Халид подступил к Хаджру, он увидел на стенах его огромную массу воинов в сверкающих доспехах — весьма внушительное и грозное зрелище. На самом же деле это все были женщины да подростки, настоящих воинов в стенах столицы почти не осталось.

Халид картинно задумался, а затем, повернувшись к советникам, вопросил: «Что скажете, почтенные?» Почтенные тут же высказались в том смысле, что, мол, хватит проливать кровь и надлежит немедленно предложить противнику условия капитуляции, а именно: желтое и белое (золото и серебро) — все, какое есть; кольчуги и кони — все, какие есть; а от пленных — только половину.

Переговоры начались. Муджжа выступил делегатом от Халида, и все закончилось даже легче, чем опасались в Хаджре. И, наконец, последняя сцена.

Ворота крепости распахиваются, Халид входит в город, и очень скоро обнаруживается, что там только женщины и дети. На рыночной площади, полной народа, Халид в великолепной ярости топает ногами, хватается за саблю и орет на Муджжу: «Ты обманул меня!» — а тот, изможденный, но гордый, высоко поднимает голову и ответствует в том смысле, что да, обманул, однако поступил так исключительно во имя и ради своего народа. Буря восторгов. Все валятся ниц. Занавес.

О дальнейшей судьбе Муджжи ибн-Мурары известно немного. Он более или менее благополучно правил Йемамой, обращенной в ислам, исправно платил подати халифу и железной рукой подавлял беспоряд-

ки. Умер он как-то странно. Существует версия, будто некий колдун заранее предсказал день и час его смерти. И действительно, в назначенное время он был найден на ковре в своих покоях зарезанным. Кто его зарезал и почему — осталось тайной. Знающие люди связывали это убийство с претензиями Муджжи возглавить поход мусульман на Египет.

27. Саджах.

О Саджах!

Саджах из Джезиры!

Груди твои...

Получив записку, Рахаль не размышлял и минуты. Записка была на арамейском: «Любимый! Я жду тебя в Басре. Спеши, ибо ты можешь опоздать». Четыре месяца он ждал этого зова и вот дождался. Даже не извинившись перед Шурхабилем, он встал и вышел из шатра. Военный совет остался у него за спиной. Он уже забыл о нем. Он распорядился вполголоса. Верблюдов снаряжали целую вечность. Наконец доложили, что все готово, он принял из рук Молчаливого Барса драгоценный кофр, обшитый свиной кожей, и сам приторочил к седлу Белобрюхого.

Через десять минут Акраба, спящая армия и поле завтрашней битвы остались у него за спиной. Он уже забыл о них. До Басры было тридцать караванных переходов. Следовало пройти этот путь за десять суток или даже быстрее. Это было в пределах возможного. Под ними были лучшие дромадеры Аравии, и всадники были лучшими в Аравии: двадцать бывших таридов, изгоев без роду и племени, двадцать телохранителей, двадцать поэтов, двадцать побратимов, преданных друг другу до последнего и почитающих его, Раххаля, как самого бога. А может быть, как дьявола. Они никогда ни о чем не спрашивали его, как никогда и ни о чем не спрашивают тебя твои руки. Он мельком тепло подумал об этих людях.

Он был безумен. Любовь старого человека производит обычно впечатление несколько комическое. Этим летом Раххалю исполнилось шестьсот тридцать четыре года. Любовное безумие старика не способно вызвать уже ни улыбки, ни сочувствия. Оно вызывает только страх. Раххаль сейчас был неудержим, ничто не могло его остановить. Ни войско, ни самум, ни землетрясение. Ни даже море. Ни даже смерть. Так по крайней мере он ощущал себя. Он сам был страшнее любого самума, землетрясения или смерти. Его снова назвали «любимый», и он рисковал опоздать.

Саджах.

О Саджах!

Саджах Месопотамская!

Бедра твои...

(С непривычно и неприятно стесненным сердцем следил я украдкой за Агасфером Лукичом, как он мечется по моей комнатушке, то и дело сшибая плечом со стены развешанное оружие, с хрустом выкручивает себе пальцы, как он то бросается к двери и замирает, упершись слабыми ручками в косяки, то с размаху кидается в мое колченогое кресло у стола и колотит кулачками по столешнице рядом с иззубренным йеменским мечом Муджжи ибн-Мурары, маленький, нелепый, безобразный,— и говорит, говорит, говорит...)

Отряд стремительно мчался по пустыне, и шайки разбойных темимитов, уже нацеливавшиеся было наброситься, в ужасе разворачивали коней и, словно стаи вспугнутых уток, опрометью разлетались кто куда.

Басра.

Ее здесь нет уже. Был бой, персы отбросили ее, и она ушла на Хиру. Точно ли на Хиру? Умирающий от ран танухид клянется богом своего племени: ушла на Хиру, здорова, прекрасна, но не весела. Неужели опоздал? Неужели я нужен был ей здесь, под Басрой? Проклятые персы!

Купцы каравана, попавшего под ноги, валятся ничком на раскаленный песок, в мыслях своих расставшись уже и с желтым, и с белым, и с мягким, и с сухим, и с жидким, и с самою жизнью в придачу. Некогда! Потом, братья, потом! Вперед!

Хира.

Она была здесь. Еще дымятся развалины гарнизонной казармы, еще причитают, исходя проклятиями, женщины на порогах своих глинобитных халуп, вывернутых наизнанку, еще болтается веревка на поперечной балке, где она распорядилась повесить ромейского попа, знаменитого зверскими своими расправами над несторианами... Слава всем богам, удача сопутствовала ей здесь, она разгромила ромеев и пошла на Алеппо... Куда? На Алеппо? Она тоже обезумела. С толпой дикарей она одна идет на всю мощь ромеев! Несомненно, это любовная тоска. Он понимает ее. Она готова сейчас грызть железо только потому, что любимого нет рядом с нею. Он вспоминает: лесная прогалина над Гангом после любовных игр пары леопардов — словно табуны диких жеребцов сутки напролет дрались там не на жизнь, а на смерть. Вот что такое любовная тоска Саджах. А любимый слишком медлителен, он еле ползет по бесконечным пескам... Коней! Где взять коней?

В двух переходах от Хиры он натыкается на кочевье безвестного племени. Кони. Много коней. Но эти кочевники не понимают своего положения. Им кажется, будто их много, и они могут сделать выгодный обмен. Тем хуже для них, потому что торговаться некогда. Это безвестное племя — оно навсегда останется безвестным, больше о нем никто никогда не услышит. А мы сохраним в сердцах наших брата Шарана, брата Серого и брата Хасана Беззубого. Не хоронить! Некогда! Вперед!

Сиффин.

Она не дошла до Алеппо. Под Сиффином ее встретила бригада панцирной кавалерии под командованием генерала Аммона и пресвитера Евпраксия. Они убили ее. Им удалось взять ее живой, и вот здесь, на Бараньем Лбу, пресвитер Евпраксий предал ее ужасной смерти как еретичку и лжепророчицу.

Саджах.

О Саджах!

Саджах, дочь танух и тамим!

Лоно твое...

Тысячи и тысячи женщин были у него, он никогда не был аскетом, он был лакомка, он и сейчас не пройдет мимо сдобной булочки, несмотря на годы свои и на свою невзрачную внешность. Почему же из этих тысяч и тысяч всегда глодала его душу, мучительно гложет сейчас и, видно, вечно будет глодать память о ней одной? Почему эта любовь так болит? Ведь ее давно нет, она была тринадцать веков назад! Почему же так мучительно ноет, ломит и саднит она, словно мочка отрубленного уха в дурную погоду?

О Саджах.

Насмерть перепуганный сиффинец не только показал, по какой дороге ушли ромеи, но и согласился быть проводником. Уже на третий день Раххаль увидел дымы их костров. Дальше все было делом техники. На рассвете четвертого дня они уже скакали назад. Рядом с Молчаливым Барсом, перекинутый через спину подсменного жеребца, дергался и мычал ковровый мешок, содержащий в себе пресвитера Евпраксия (взятого в полевом нужнике со спущенными штанами).

На Бараньем Лбу в присутствии стонущих от ужаса свидетелей гибели Саджах проделал Раххаль с пресвитером все то, что было проделано с любимой. Разумеется, с необходимой поправкой на мужские статьи.

Пресвитер Евпраксий кричал, не переставая, все два часа. Раххаль не слышал его. Чувства в нем отключились. Он только вспоминал.

Губы твои...

Глаза твои...

Что же все-таки произошло на самом деле с этой достопамятной запиской? Может быть, следует поверить появившимся позднее слухам о том, что записка была подложной,— умный враг состряпал ее для того, чтобы в нужный момент заставить грозного дьявола бросить все и умчаться на север, где никто не ждал его и где никому он не был нужен? Ведь и правда, если судить по всем действиям Саджах, она к тому времени уже напрочь выбросила бывшего возлюбленного из головы и сердца и жила в свое удовольствие — лихо, дерзко, кроваво. Ей и в голову не могло прийти, что он спешит к ней, а потому и не было от нее к Раххалю ни связных, ни гонцов, ни пересыльщиков. И только в любовном своем безумии способен был объяснить хитрый, многоопытный, осторожный Раххаль поступки ее как любовное безумие хитрой, многоопытной, осторожной воительницы.

Гипотеза о подложной записке долгое время утешала его. Из этой гипотезы следовало, что она вовсе и не ждала его помощи, нисколько не рассчитывала на него и в последние страшные минуты свои не искала сквозь кровавый туман на горизонте блеска его сабель. И тогда можно было проклинать злобного врага, подсунувшего ему эту фальшивку, только за то, что фальшивка была подсунута слишком поздно. Ведь, получи ее Раххаль хотя бы тремя днями раньше, все обернулось бы по-другому.

Ну, конечно же, возлюбленный у нее был. Трезвой частью своего существа он сознавал, он знал наверняка, что возлюбленный был молодой, горячий, неутомимый. Людская молва называла одного абиссинца, старшего сына смельчака Вахшии ибн-Харба, того самого, что зарубил Масламу на пороге харама. Однако Раххаль не мог ревновать. Он точно знал: абиссинец дрался за Саджах до последнего своего вздоха,— утыканный ромейскими стрелами, иссеченный ромейскими мечами, проткнутый ромейскими пиками, залитый своей и чужой кровью так, что не видно было ни одежды его, ни лица.

А вот блестящий пустоголовый жеребец Бара ибн-Малик быть ее возлюбленным не мог. Это было совершенно невозможно. Не получалось по времени. Муджжа ибн-Мурара в своем мучительном предсмертном стремлении уколоть побольнее солгал. Хотя, конечно, он точно рассчитал, что нельзя представить себе соперника, более достойного сжигающей ревности, нежели Бара ибн-Малик.

Да разве в сопернике дело? Какая разница — абиссинец, Бара ибн-Малик, еще кто-то,— они насчитывались десятками. Не было мужчины, который, увидев ее, не превратился бы в воспламененного леопарда. Ей оставалось только выбирать. И никак не Раххалю, прекрасно понимавшему свое физическое несовершенство, следовало угнетаться ревностью. Ему достаточно было и того, что Саджах выбрала его хотя бы на несколько дней...

Муджжа ибн-Мурара заскорузлым пальцем ткнул в затянувшуюся рану и сделал очень, очень больно. Потому что открылось, что письмо могло и не быть фальшивым. И вмиг воспалившееся воображение нарисовало картину поистине адскую: молодой, ловкий наемный любовник, мастер и ходок, подосланный расчетливым негодяем, диктует задыхающейся от страсти Саджах, что ей надлежит сделать и что написать.

Почему эта мысль, такая простая, естественная, не пришла ему в голову тогда, тринадцать веков назад? Он бы нашел этого наемника. А сейчас даже глины не найти, в которую обратились его кости...

Уста твои, страстной неге навстречу раскрытые,
Лоно твое, как нехоженый луг, молодыми сочащийся травами.
Кипящая жизнью, нетронутая, нежная мякоть груди,
И затуманенный взгляд призывающий твой...

(Я смотрел, как он плачет мутными, старческими слезами, и поражался ему, и не понимал его, и думал: нет, видно, никогда не распадается цепь времен, ибо воистину, как смерть, крепка любовь, люта, как преисподняя, ревность, и стрелы ее — стрелы огненные...)

28. Я ходил в сберкассу и проторчал там в очереди три четверти часа...

ДНЕВНИК. 20 июля. Около полуночи.

Странно, мы никогда не думали о семейной жизни Г. А. Знали понаслышке очень немного, и этого нам хватало вполне. Это было для нас неважно. Знали, что жена его умерла пятнадцать лет назад. Кажется, она была эпидемиологом, заразилась во время первой эпидемии «африканки» и погибла. Знали, что у него двое детей, сын и дочь, но где они, кто они — никого это не интересовало. Г. А. для нас всегда был Г. А.— одинокий, единственный и самодостаточный. Без приложений. Мы не нуждались ни в каких к нему приложениях. Наверное, они бы даже мешали нам.

Г. А. провожал нуси к выходу, а я подслушивал. Это был безнадежный конец какого-то безнадежного разговора. И нуси сказал: «Папа, зря ты меня позвал, и зря я к тебе пришел. У тебя свои ученики, у меня — свои. У вас, папа, своя правда, а у нас — своя». Они говорили еще что-то, но я стоял, как пыльным мешком трахнутый, и ничего больше не слышал и не понимал. «Папа»! Понимаешь теперь, на что эти гниды намекали? Не знаю, что писать. В голове не помещается.

21 июля. Два часа ночи.

Это ничего не значит. Во-первых, всегда можно сказать, что в детях гениев природа отдыхает. А во-вторых, если подумать, нуси-то ведь тоже учитель — и причем самого высокого класса! Держать в подчинении такое стадо, оплодотворить эту безмозглую пустыню идеей...

Неужели Г. А. угадал, и они в конце концов заставят нас потесниться, будучи в полном праве, как равные, а в перспективе, может быть, и в большинстве... Господи, бедный Г. А.

А может быть, не такой уж и бедный? Пусть даже это его педагогическая ошибка, но зато какая! Она равна открытию!

Гордись, Игорь Всеволодович, ты хорошо сказал сегодня: «Если он даже ошибается, каждая его ошибка в сто раз значительнее и важнее, чем все ваши правильные решения».

«The uncommon man wants to leave a world different from what he found; a better, enriched by his personal creation. For this he is willing to sacrifice much or all of the happiness that the common man enjoys»*.

РУКОПИСЬ «ОЗ» (28—29).

28. Я ходил в сберкассу и проторчал там в очереди три четверти часа, до самого обеда.

---

* Незаурядный человек хочет оставить по себе мир иным нежели тот, в который он явился,— лучшим, обогащенным его собственным творчеством. Для этого он готов пожертвовать большей частью радостей или даже всеми радостями, которыми наслаждается человек заурядный.

Когда я вернулся, он уже сидел на кухне и хлебал из эмалированной миски югославский пакетный суп. Был он тощий, нелепый, угловатый, костлявый, с чешуйчатыми от грязи плоскостопыми ножищами. Тонкая прыщавая шея, гигантский шмыгающий нос, выпученные глаза со слезой, скудный лобик под всклокоченной пегой шевелюрой. Дрисливый гусенок. Лет ему было, наверное, не более шестнадцати, голос у него ломался, а унылую физиономию его покрывали «бутон д'амур».

Когда я вошел в кухню, он шарахнул в мою сторону паническим взглядом, но, не обнаружив, по-видимому, во мне никакой опасности, провел пальцем под носом и снова вернулся к хлебову. Я только глянул на его неописуемый бурнус и сразу понял, где источник того странного запаха, который я почуял еще в прихожей. Этот бурнус не стирали. Никогда. И не снимали тоже. Его только носили. И днем, и ночью. В нем даже наверняка ни разу не тонули.

— Кто таков? — спросил я грозно.

Бригада моя, сочувственно окружавшая носителя бурнуса, безмолвствовала — как мне показалось, трусливо и виновато.

— Кто впустил? — продолжал я, беря тоном выше.— Почему не сделали санобработку? Инструкция не для вас писана? По холере соскучились?

Кто его впустил — так и осталось неизвестным. В конце концов, может быть, и на самом деле никто не впускал, а просто внесло его в нашу прихожую — и всех делов. Бывали такие случаи. И не раз. А вот пакетным супом (овощным со специями, тридцать семь копеек пакет, счет прилагается) его накормил сердобольный Марек Парасюхин, в коем, как известно, всегда сочетались нордическое милосердие и славянская широта натуры.

Дохлебав угощение до последней капли, он вылизал миску, да так быстро и ловко, что мы и рук протянуть не успели, а она уже была, как новенькая. Потом он принялся говорить — так же торопливо, жадно, брызгаясь и захлебываясь, как только что ел.

Вначале, кроме n стоянно повторяющейся просьбы оставить здесь и спрятать, мы ничего не понимали. Какие-то жалобы. Что-то там у него было с родителями, то ли мать померла, рожая его, то ли сам он чуть не помер при родах... отец был богатый, а денег на него совсем не давал... И все его били. Всегда. Пока он был маленький, его били ребятишки. Когда он подрос, за него взялись взрослые. Его обзывали: тухляком, прорвой ненасытной, масалыгой, идиотом, дерьмочистом, дерьмодралом, дерьмоедом, сирийской рыбой, римской смазкой, египетским котом, шавкой, сявкой и залепухой, колодой, дубиной и длинным колом... Девицы не хотели иметь с ним дела. Никакого. Никогда. Даже киликийские шлюхи. И все время хотелось есть. Он съел даже протухшую рыбу, которую подсунули ему однажды смеха ради, и чуть не умер. Он даже свинину ел, если хотите знать... Ничего не было для него в этом мире. Ни еды. Ни женщин. Ни дружбы. Ни даже простого доброго слова...

И вот появился Рабби.

Рабби положил руку ему на голову, узкую чистую руку без колец и браслетов, и он почему-то сразу понял, что эта рука не вцепится ему в волосы и не ударит его лицом о выставленное колено. Эта рука источала добро и любовь. Оказывается, в этом мире еще оставались добро и любовь.

Рабби заглянул ему в глаза и заговорил. Он не помнит, что сказал ему Рабби. Рабби замечательно говорил. Всегда так складно, так гладко, так красиво, но он никогда не понимал, о чем речь, и не способен был запомнить ни слова. А может быть, там и не было слов? Может быть, была только музыка, настойчиво напоминавшая, что есть, есть, есть в этом мире и добро, и дружба, и доверие, и красота...

Конечно, среди учеников он оказался самым распоследним. Все его гоняли. То за водой, то на рынок, то к ростовщику, то к старосте. Вскопай огород хозяину — он нас приютил. Омой ноги этой женщине — она нас накормила. Помоги рабам этого купца — он дал нам денег... Опасный Иоанн со своим вечным страшным кинжалом бросает ему сандалии — чтобы к утру починил! Ядовитый, как тухлая рыба, Фома для развлечения своего загадывает ему дурацкие загадки, а если не отгадаешь — «показывает Иерусалим». Спесивый и нудный Петр ежеутренне пристает с нравоучениями, понять которые так же невозможно, как и речи Рабби, но только Рабби не сердится никогда, а Петр только и делает, что сердится да нудит. Сядет, бывало, утром на задах по большому делу, поставит перед собой и нудит, нудит, нудит... тужится, кряхтит и нудит.

И все равно это было счастье. Ведь рядом всегда был Рабби, протяни руку — и коснешься его. Он потреплет тебя за ухо, и ты весь день счастлив, как птичка.

...Но когда они пришли в Иерусалим, сразу стало хуже. Он не понимал, что случилось, он видел только, что все сделались недовольны, а на чело Рабби пала тень тревоги и заботы. Что-то было не так. Что-то сделалось не так, как нужно. Что тут было поделать? Он из кожи лез вон. Старался услужить каждому. В глаза заглядывал, чтобы угадать желание. Бросался по первому слову. И все равно подзатыльники сыпались градом, и больше не было шуток, даже дурацких и болезненных, а Рабби стал рассеян и совсем не замечал его. Все почему-то ждали Пасхи. И вот она настала.

Все переоделись в чистое (кроме него — у него не было чистого) и сели вечерять. Неторопливо беседовали, по очереди макали пасху в блюдо с медом, мир был за столом, и все любили друг друга, а Рабби молчал и был печален. Потом он вдруг заговорил, и речь его была полна горечи и тяжких предчувствий, не было в ней ничего о добре, о любви, о счастье, о красоте, а было что-то о предательстве, о недоверии, о злобе, о боли.

И все загомонили, сначала робко, с недоумением, а потом все громче, с обидой и даже с возмущением. «Да кто же? — раздавались голоса.— Скажи же! Назови нам его тогда!» — а опасный Иоанн зашарил бешеными глазами по лицам и уже схватился за рукоять своего страшного ножа. А он тем временем украдкой, потому что очередь была не его, потянулся своим куском к блюду, и тут Рабби вдруг сказал про него: «Да вот хотя бы он»,— и наступила тишина, и все посмотрели на него, а он с перепугу уронил кусок в мед и отдернул руку.

Первым засмеялся Фома, потом вежливо захихикал Петр, культурно прикрывая ладонью волосатую пасть, а потом и Иоанн захохотал оглушительно, откинувшись назад всем телом и чуть не валясь со скамьи. И захохотали все. Им почему-то сделалось смешно, и даже Рабби улыбнулся, но улыбка его была бледна и печальна.

А он не смеялся. Сначала он испугался, он решил, что его сейчас накажут за то, что он полез к меду без очереди. Потом он сообразил, что его проступка даже не заметили. И тут же почему-то понял, что ничего смешного не происходит, а происходит страшное. Откуда у него взялось это понимание? Неизвестно. Может, родилось оно от бледной и печальной улыбки Рабби? А может быть, это было просто звериное предчувствие беды?

Они отсмеялись, погалдели, настроение у всех поднялось, они все рады были, что Рабби впервые за

неделю отпустил шутку и шутка оказалась столь удачной. Они доели пасху, и ему было велено убрать со стола, а сами стали укладываться на ночь. И вот, когда он мыл во дворике посуду, вышел к нему под звездное небо Рабби, присел рядом на перевернутый котел и заговорил с ним.

Рабби говорил долго, медленно, терпеливо, повторял снова и снова одно и то же: куда он должен будет сейчас пойти, кого спросить, и когда поставят его перед спрошенным, что надо будет рассказать и что делать дальше. Рабби говорил, а потом требовал, чтобы он повторил сказанное, чтобы он запомнил накрепко: куда, кого, что рассказать и что делать потом.

И когда, уже утром, он правильно и без запинки повторил приказание в третий раз. Рабби похвалил его и повел за собой обратно в помещение. И там, в помещении. Рабби громко, так, чтобы слышали те, кто не спал, и те, кто проснулся, велел ему взять корзину и сейчас же идти на рынок, чтобы купить еду на завтра, а правильнее сказать — на сегодня, потому что утро уже наступило, и дал ему денег, взявши их у Петра.

И он пошел по прохладным еще улицам города, в четвертый, в пятый и в шестой раз повторяя про себя: кого; что рассказать; что делать потом,— и держал свой путь туда, куда ему было приказано, а вовсе не на рынок. И он удивлялся, почему черное, звериное предчувствие беды сейчас, когда он выполняет приказание Рабби, не только не покидает его, но даже как будто усиливается с каждым шагом, и почему-то виделись ему в уличных голубых тенях бешеные глаза опасного Иоанна и чудился леденящий отблеск на лезвии его длинного ножа...

Он пришел, куда ему было приказано, и спросил того, кого приказано было спросить, и сначала его не пускали, и мучительно долго томили в огромном, еле освещенном единственным факелом помещении, так что ноги его застыли на каменном полу, а потом повели куда-то, и он предстал, и без запинки, без единой ошибки (это было счастье!) проговорил все, что ему было приказано проговорить. И он увидел, как странная, противоестественная радость разгорается на холеном лице богатого человека, перед которым он стоял. Когда он закончил, его похвалили и сунули ему в руки мешочек с деньгами. Все было именно так, как предсказывал Рабби: похвалят, дадут денег,— и вот он уже ведет стражников.

Солнце поднялось высоко, народу полно на улицах, и все расступаются перед ним, потому что за ним идут стражники. Все, как предсказывал Рабби, а беда все ближе и ближе, и ничего невозможно сделать, потому что все идет, как предсказывал Рабби, а значит — правильно.

Как было приказано, он оставил стражников на пороге, а сам вошел в дом. Все сидели за столом и слушали Рабби, а опасный Иоанн почему-то припал к Рабби, словно стараясь закрыть его грудь своим телом.

Войдя, он сказал, как было приказано: «Я пришел, Рабби»,— и Рабби, ласково освободившись от рук Иоанна, поднялся и подошел к нему, и обнял его, и прижал к себе, и поцеловал, как иного сына целует отец. И сейчас же в помещение ворвались стражники, а навстречу им с ужасающим ревом, прямо через стол, вылетел Иоанн с занесенным мечом, и начался бой.

Его сразу же сбили с ног и затоптали, и он впал в беспамятство, он ничего не видел и не слышал, а когда очнулся, то оказалось, что валяется он в углу жалкой грудой беспомощных костей, и каждая кость болела, а над ним сидел на корточках Петр, и больше в помещении никого не было, все было завалено битыми горшками, поломанной мебелью, растоптанной едой и обильно окроплено кровью, как на бойне.

Петр смотрел ему прямо в лицо, но словно бы не видел его, только судорожно кусал себе пальцы и бормотал, большей частью неразборчиво. «Делать-то теперь что? — бормотал Петр, бессмысленно тараща глаза.— Мне-то теперь что делать? Куда мне-то теперь деваться?» — А заметивши наконец, что он очнулся, схватил его обеими руками за шею и заорал в голос: «— Ты сам их сюда привел, козий отброс, или тебе было велено? Говори!» «Мне было велено»,— ответил он. «А это откуда?» — заорал Петр еще пуще, тыча ему в лицо мешочек с деньгами. «Велено мне было».— сказал он в отчаянии. И тогда Петр отпустил его, поднялся и пошел вон, на ходу засовывая мешочек за пазуху, но на пороге приостановился, повернулся к нему и сказал, словно выплюнул: «Предатель вонючий, иуда!»

На этом месте рассказа наш гусенок внезапно оборвал себя на полуслове, весь затрясся и с ужасом уставился на дверь. Тут и мы всей бригадой тоже посмотрели на дверь. В дверях не было ничего особенного. Там стоял, держа портфель под мышкой, Агасфер Лукич и с неопределенным выражением на лице (то ли жалость написана была на этом лице, то ли печальное презрение, а может быть, и некая ностальгическая тоска) смотрел на гусенка и манил его к себе пальцем. И гусенок с грохотом обрушил все свои мослы на пол и на четвереньках пополз к его ногам, визгливо вскрикивая:

— Велено мне было! Велено! Он сам велел! И никому не велел говорить! Я бы сказал тебе, Опасный, но ведь он никому не велел говорить!..

— Встань, дристун,— сказал Агасфер Лукич.— Подбери сопли. Все давно прошло и забыто. Пошли. Он хочет тебя видеть.

29. Сегодня наступило, наконец, семнадцатое, но не семнадцатое ноября, а семнадцатое июля. Солнце ослепительное. Грязища под окнами высохла и превратилась в серую растрескавшуюся твердь. Тополя на проспекте Труда клубятся зеленью, сережки с них уже осыпались. Жарко. В чем идти на улицу — непонятно. Самое летнее, что у меня есть, это нейлоновая майка и трусы.

Прямо с утра Парасюхин облачился в свой черный кожаный мундир эсэсовского самокатчика (а также патрона «Голубой устрицы») и пристал к Демиургу, чтобы тот откомандировал его в Мир Мечты. Мир — с большой буквы, и Мечта — тоже с большой буквы. Трижды Демиург нарочито настырным, казенно-дидактическим тоном переспрашивал его: Мир чьей именно Мечты имеется в виду? Даже я, внутренне потешаясь над происходящим, почуял в этом настойчивом переспрашивании какую-то угрозу, какой-то камень подводный, и некое смутное неприятное воспоминание шевельнулось во мне, я даже испытал что-то вроде опасения за нашего Парасюхина. Однако румяный болван не учуял ничего — со всей своей знаменитой нордической интуицией и со всем своим широко объявленным внутренним голосом. Он пер напролом: Мир только одной Мечты возможен, все остальное — либо миражи, либо происки... Мечта чистая, как чист хрустальный родник, нарождающийся в чистых глубинах чистой родины народа... его, парасюхинская, личная Мечта, она же мечта родов народных...

С тем он и был откомандирован. Вот уже скоро обедать пора, а его все нет.

Явилась пара абитуриентов. Юнец и юница, горячие комсомольские сердца. Оба в зеленых выгоревших комбинезонах, исполосованных надписями БАМСТРОЙ, ТАМСТРОЙ, СЯМСТРОЙ, такие-то годы (в

том числе и 1997, что меня несколько удивило). Лица румянятся смущением и пылают энтузиазмом.

К стопам был повергнут проект «О лишении человечества страха». Фундамент и отец нашей цивилизации — страх... Совесть зачастую тоже базируется на страхе... и тому подобное. Вообще весь проект построен на микроскопическом личном опыте и на вычитанной где-то фразе: «Поскребите любое дурное свойство человека, и выглянет его основа — страх». (Сказано в манере Бернарда Шоу, но это не Бернард Шоу.) Страх сковывает и угнетает: чувство справедливости, прямоту-честность-откровенность, гордость сюда же, собственное достоинство, принципиальность...

Демиург запутал их играючи. Нельзя ведь отрицать, что страх сковывает и угнетает также: садизм-мазохизм, стремление к легкой наживе, склонность к лжесвидетельству, мстительность, агрессивность, потребительское отношение к чужой жизни, склонность к анонимкам, идиотскую принципиальность... Кроме того, если поскрести кое-какие ДОБРЫЕ свойства кое-каких людей, то и в этом случае частенько вылезает наружу все тот же страх... Впрочем, сама по себе мысль не дурна, есть о чем поразмыслить, однако требуется тщательная и всесторонняя доработка. Проводить! Угостить нашим морсом! Подать пальто!

Какие пальто в середине июля! Я повел их на кухню поить морсом, и тут объявился Парасюхин.

Он обвалился в коридоре, как пласт штукатурки с потолка, и огромным мешком с костями дробно обрушился на линолеум. Я только рот разинул, а он уже собрал к себе все свои руки-ноги, заслонился растопыренными ладонями, локтями и даже коленями и в таком виде вжался в стену, блестя сквозь пальцы вытаращенным глазом. Волна зловония распространилась по коридору — то ли он обгадился, то ли его недавно окунали в нужник,— я не стал разбираться. Я просто крикнул бригаду. Бригада набежала, и я распорядился. Парасюхина волоком поволокли в санобработку: Колпаков, как обычно, с молчаливой старательностью, Матвей Матвеевич — с визгливыми причитаниями, а Спиртов-Водкин — поливая окрестности сквернословием, словно одержимый болезнью де ля Туретта.

И вот тогда-то я осознал, наконец, смутные свои опасения, отчетливо и в деталях вспомнив о своем собственном печальном опыте в Мире Мечты Матвея Матвеевича Гершковича...

Мир Мечты, назидательно сказал я юнице и юнцу, взиравшим на происходящее с трепетом и жадным любопытством, Мир Мечты — это дьявольски опасная и непростая штука. Конечно же, мечтать надо. Надо мечтать. Но далеко не всем и отнюдь не каждому. Есть люди, которым мечтать прямо-таки противопоказано. В особенности о мирах.

Юнец с юницей меня не поняли, конечно. Да я и не собирался им что-либо втолковывать, я просто собирался напоить их морсом, что и сделал под разнообразные элоквенции, явственно доносящиеся из санпропускника.

А совсем уже к вечеру объявился Агасфер Лукич, и не один.

«Эссе хомо!» — провозгласил он, обнимая гостя за плечи и легонько подталкивая его ко мне. Гость растерянно улыбался — небольшого роста, ладный человек лет пятидесяти, в костюме странного покроя. На правой скуле его розовело что-то вроде пластыря, но не пластырь, а скорее остаток небрежно стертого грима. И с левой рукой у него было не все в порядке — она висела плетью и казалась укороченной, кончики пальцев едва виднелись из рукава.

Таким я увидел его в первый раз — немного растерянным, не вполне здоровым и очень заинтригованным.

— Прошу любить и жаловать,— произнес Агасфер Лукич весело.— Георгий Ана...

(ПРИМЕЧАНИЕ ИГОРЯ К. МЫТАРИНА. На

этом рукопись «ОЗ» обрывается. Продолжения я никогда не видел и не знаю, существует ли оно. Скорее всего весь дальнейший текст был изъят самим Г. А.— например, из соображений скромности. Я вполне допускаю, что вся изъятая часть рукописи посвящена главным образом Г. А. Разумеется, возможны и другие объяснения. Их даже несколько. Да только какой смысл приводить их здесь? Все они слишком уж неправдоподобны.

Между прочим, выражение «верую, ибо абсурдно», принадлежит, по-моему, не перу Блаженного Августина, а стилу достославного Квинта Септимия Тертуллиана, одного из первых епископов иберийских.)

НЕОБХОДИМОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

По понятным причинам, на двадцатом дне июля мои записи прерываются и возобновляются уже только зимой. Прошло сорок лет, и я не способен сейчас подробно и связно изложить события утра двадцать первого июля. Почему мы все оказались рядом с Г. А. около его автомобиля в холодных предрассветных сумерках? Как ухитрились подняться в такую рань после треволнений предыдущего дня? Может быть, мы и вовсе не ложились? Может быть, мы догадывались, какое решение примет Г. А., и всю ночь дежурили, чтобы не упустить его одного? Не помню.

Помню, что сразу же сел за руль.

Помню, как Г. А. непривычно грозным и повелительным голосом объявляет, что девочки не поедут никуда.

Помню, как Зойка без кровинки в лице кусает себе пальцы, запустив их кончики в рот,— словно в какой-то старинной мелодраме, ей-богу.

Помню, как Иришка рвется в машину, заливаясь громким плачем, и слезы у нее летят во все стороны, будто у ревущего младенца.

И очень хорошо помню Аскольдика — как он решительно выдвигается, крепко берет Иришку сзади за локти и успокаивающе сообщает Г. А.: «Не беспокойтесь, поезжайте, я ее придержу».

На всю жизнь я запомнил это: ВЫ ПОЕЗЖАЙТЕ СЕБЕ, А Я ЕЕ ЗДЕСЬ ПРИДЕРЖУ.

(Понимаю и догадываюсь, Аскольд Павлович, наверное, тебе очень неприятно читать сейчас эти твои слова. Допускаю даже, что ты за сорок лет успел совсем позабыть их. Допускаю даже, что ты в то время вообще не придал им значения: слова как слова, не хуже других. Однако в свете того, что произошло потом, они звучат сейчас, согласись, достаточно одиозно. Что делать? Из песни слова не выкинешь. Да и кому это нужно — выкидывать слово из песни?)

Почти совсем не помню проезда нашего по городу. Смутно брезжит только в моей памяти ощущение недоумения по поводу того, что в такую рань на улицах так много народу.

Помню скотомогильник в предрассветных сумерках. Мне показалось тогда, что кости шевелятся. А черепа провожают нас пустыми глазницами.

Флора не спала. Множество костров догорало, и бродили между кострищами понурые зябкие фигуры. Воняло пригорелой кашей, аптекой, волглым тряпьем. Запахи почему-то запомнились. Вот странно!

Г. А. подошел к самому большому костру и сел у огня. Рядом с нуси. Рядом со своим сыном. И сейчас же все вокруг заговорили. Ни одной фразы я не запомнил, тем более что говорили в общем-то на жаргоне, помню только, что это были жалобы и проклятия. Они проклинали Г. А. за ту беду, которую он на них накликал, и жаловались ему, как им страшно сейчас и обреченно. Г. А. молчал, он лишь обводил взглядом кричавших, плакавших, задыхавшихся в истерике.

Потом все куда-то исчезли, и у костра нас осталось только трое, и нуси принялся уговаривать отца уйти, пока не поздно. Он говорил что-то о смысле и бессмыслице, что-то о судьбах и жертвах, что-то о надежде и отчаянии. Нормальным, я бы сказал даже — нормированным, русским языком, безукоризненно чисто и правильно. Г. А. ответил ему: «У тебя свои ученики, у меня — свои. У вас своя правда, у нас — своя»,— и нуси ушел.

Помню, как мне было страшно. Зуб на зуб не попадал. Наверное, так чувствуют себя перед казнью. Ни одной жилки не было спокойной в моем теле. Г. А. обнял меня за плечи и прижал к себе. Он был горячий, надежный, твердый и в то же время такой маленький, такой щуплый, такой незащищенный, и я впервые обнаружил, что я ведь на целую голову длиннее его и вдвое шире в плечах.

И тут у костра оказался этот толстенький, лысоватый, в дурацком костюмчике, с дурацким разбухшим портфелем под мышкой.

(Я ведь и сейчас толком не понимаю, кто он такой,— то ли в самом деле выплыл из прошлого, то ли все-таки соскочил со страниц этой странной рукописи. Ощущаю я в нем какое-то беспощадное чудо, если только не примерещился он мне тогда у костра, потому что в то утро мне могло примерещиться и не такое. Тогда же, помнится, ни о какой рукописи я и не подумал,— был он для меня просто раздражающе чудаковатый тип, не к месту и не ко времени прицепившийся к моему Г. А.)

Они поговорили о чем-то. Коротко и невнятно. Деталей не помню никаких. Помню только, что чудаковатый тип говорил голосом и тоном, совсем не подходящим ему ни по виду его, ни по ситуации. Ах, как жалею я сейчас, что не прислушался я тогда к их разговору. А запомнились мне лишь последние слова Г. А.— видимо, я тут же отнес их к самому себе: «Да перестаньте вы, в самом деле. Ну какой я вам терапевт? Я самый обыкновенный пациент...»

Солнце уже высунулось из-за холмов, и я увидел на западе, там, где проходила дорога, ярко и весело освещенную, желтую клубящуюся стену. Это была пыль. Колонна свернула с шоссе и двигалась к нам.

КАК ПОДПИСАТЬСЯ НА «ЮНОСТЬ»?

За последнее время в редакцию обрушился шквал телефонных звонков: люди жалуются на то, что им отказывают в оформлении подписки на наш журнал на второе полугодие. Работники «Союзпечати» ссылаются на то, что, дескать, подписываться следует не в разгар года, а с самого его начала.

Мы связались с центральным подписным агентством «Союзпечать», где Галина Аркадьевна Волкова, начальник цеха предварительной обработки заказов, с полной категоричностью заверила нас в том, что никаких ограничений ни в Москве, ни в другом каком-либо городе страны быть не может и не должно. Видимо, местным почтовым работникам неохота возиться с подпиской в разгар летних отпусков...

Дорогие товарищи читатели нашего журнала! Если у вас истекла подписка или вы еще не успели подписаться, не волнуйтесь: вы сможете это сделать в любое время в любом почтовом отделении без всяких ограничений! Мы надеемся, что вам не откажут при подписке и на следующий год.

Проза

Филип К. ДИК

ПОМУТНЕНИЕ

Роман

Известный американский писатель Филип Кэндред Дик родился в Чикаго в 1928 году.
Бо́льшая часть его жизни прошла в Калифорнии, где он некоторое время учился в университете, а позднее читал там лекции.
Помимо литературных занятий, у Филипа К. Дика было серьезное увлечение — музыка, и он долго вел программу классической музыки на радио.
Дик был не только замечательным писателем-фантастом, удостоенным многих наград, автором 31 романа, но и человеком с активной общественной позицией: не скрывал своих антифашистских взглядов, занимался реабилитацией наркоманов.
Умер в 1982 году.

Глава 1

Жил на свете парень, который целыми днями вытряхивал из волос букашек. Терпя от них неслыханные мучения, он простоял как-то раз восемь часов под горячим душем — и все равно букашки оставались в волосах и вообще на всем теле. Через месяц букашки завелись в легких.

Будучи не в силах ничего другого делать и ни о чем другом думать, он начал исследования жизненного цикла букашек и с помощью энциклопедии попытался определить, какой конкретно тип букашек его одолевает. К этому времени они заполнили весь дом. Он проработал массу литературы и наконец решил, что имеет дело с тлей. И с тех пор не сомневался в своем выводе, несмотря на утверждения знакомых: мол, тля не кусает людей...

Бесконечные укусы превратили его жизнь в пытку. В магазине 7—11, одной из точек бакалейно-гастрономической сети, раскинутой почти по всей Калифорнии, он купил аэрозоли «Рейд» и «Черный флаг» и «Двор на замке». Сперва опрыскал дом, затем себя. «Двор на замке» подействовал лучше всего.

В процессе теоретических поисков он выделил три стадии развития букашек. Во-первых, они были специально, с целью заражения занесены к нему теми, кого он называл «людьми-носителями». Последние не осознавали своей роли в распространении букашек. На этой стадии букашки не обладали челюстями, или мандибулами (он познакомился с этим словом в результате многонедельных академических изысканий — весьма необычное занятие для парня, работавшего в мастерской «Тормоза и покрышки» на смене тормозных колодок). Люди-носители, таким образом, не испытывали неприятных ощущений. У него появилась привычка сидеть в углу своей гостиной и с улыбкой наблюдать за входящими людьми-носителями, кишащими тлей в данной «некусательной» стадии.

— Ты чего скалишься, Джерри? — спрашивали они.

А он просто улыбался.

На следующей стадии букашки отращивали крылья. Во всяком случае, появлялись какие-то функциональные отростки, позволяющие им роиться. Джерри старался не вдыхать их.

Больше всего ему было жаль собаку, потому что букашки наверняка уже завелись у нее в легких. Очевидно, она тоже терпела адские мучения.

Иногда он брал собаку под душ, стараясь отмыть и ее. Но душ не приносил облегчения. У Джерри сердце разрывалось от мук животного. Может быть, это было самое тяжелое — страдания бессловесной твари.

— Какого черта ты торчишь под душем с проклятой собакой? — спросил однажды его приятель Чарлз Фрек.

— Я должен извести тлей,— сказал Джерри, втирая в шерсть пса детский крем и тальк.

По всему дому валялись баллончики аэрозолей, бутылки талька и банки крема.

— Я не вижу никаких тлей,— заметил Чарлз.— Что такое тля?

— В конце концов она тебя прикончит,— мрачно буркнул Джерри.— Вот что такое тля. Ее полно в моих волосах, и на коже, и в легких. Боль невыносимая — мне, наверное, придется лечь в больницу.

— Как же это я их не вижу?

Джерри отпустил собаку, закутанную в полотенце, и встал на колени перед ворсистым ковриком.

— Сейчас покажу,— пообещал он.

Коврик кишел тлей; они повсюду скакали и прыгали — вверх-вниз, вверх-вниз, одни повыше, другие пониже. Джерри искал самую крупную особь, так как его гости почему-то с трудом могли их рассмотреть.— Принеси мне бутылку или банку. Там, под раковиной. Потом я отволоку ее доктору, чтобы он взял их на анализ.

Чарлз Фрек принес банку из-под майонеза. Джерри продолжал поиски, и наконец ему попалась тля, подпрыгивающая по крайней мере на четыре фута, длиной в дюйм. Он поймал ее, бережно опустил в банку, завернул крышку и торжествующе спросил:

— Видишь?!

— У-у-у,— протянул Чарлз Фрек, широко раскрыв глаза.— Ну, здоровая...

— Помоги мне отловить еще,— попросил Джерри.

Рисунки Дмитрия Кедрина

Печатается с сокращениями.

— Само собой,— сказал Чарлз и тоже опустился на колени.

За полчаса они набрали три полные банки букашек. Фрек, хоть и новичок в таких делах, поймал, пожалуй, самых крупных.

Все это происходило в одном из дешевых домов, давным-давно брошенных добропорядочными. Джерри еще раньше покрыл окна металлической краской, чтобы не проникал солнечный свет. Комнату освещали горящие круглосуточно яркие лампы. Ему нравилось это; он не любил следить за ходом времени.

— А что мы получим? — спросил позже Чарлз Фрек.— Док отвалит монету?

— Мой долг — найти способ лечения,— сказал Джерри.

Боль, не ослабевавшая ни на минуту, стала невыносима. Он почувствовал непреодолимое желание принять душ.

— Эй, ты,— выдохнул Джерри, разгибая спину.— Продолжай ловить их, а мне надо облиться.

— Ладно,— сказал Чарлз. А потом добавил неожиданно: — Джерри, эти букашки... они меня пугают. Я не хочу оставаться здесь один.

— Трусливый ублюдок,— задыхаясь от боли, выдавил Джерри, остановившись на секунду на пороге ванной.

— А ты не мог бы...

— Я должен облиться! — Он захлопнул дверь и пустил воду.

— Мне страшно! — донесся приглушенный голос Чарлза Фрека.

— Тогда уматывай! — заорал Джерри и ступил под душ. На кой черт нужны друзья, с горечью подумал он.

— Эти сволочи кусаются? — закричал под дверью Чарлз.

— Да! — ответил Джерри, втирая в волосы шампунь.

— Я так и думал.— Пауза.— Можно, я помою руки и подожду тебя?

Дрянь паршивая, с горькой яростью подумал Джерри, но не ответил, а продолжал мыться. Ублюдок не заслуживает ответа...

Чарлз Фрек позвонил одному типу, у которого, как он надеялся, мог быть запас.

— Можешь дать мне десяток смертей?

— У меня хоть шаром покати, самому позарез нужно. Ты свистни, если набредешь на что-нибудь.

Чарлз повесил трубку и по пути от телефонной будки — никогда не делай закупочных звонков из дома — до машины быстро прокрутил один глюк. В этой фантазии он ехал мимо аптеки Трифти и увидел колоссальную витрину: бутылки медленной смерти, банки медленной смерти, склянки и канистры, и бидоны, и цистерны медленной смерти, миллионы таблеток и капсул, и доз медленной смерти, медленной смерти, смешанной с «рапидами» [1], и барбитуратами, и психоделиками [2],— и гигантская вывеска: «НИЗКИЕ-НИЗКИЕ ЦЕНЫ, САМЫЕ НИЗКИЕ В ГОРОДЕ».

На самом деле в Трифти никогда ничего не было, одна дрянь. Но готов поспорить, думал он, выезжая со стоянки на Портовом бульваре, что там, в кладовых за семью замками, лежит медленная смерть — чистая, ни с чем не смешанная... Пятидесятифунтовый мешок.

Любопытно, когда и как они доставляют пятидесятифунтовые мешки препарата С... и бог знает откуда — может, из Швейцарии, а может, вовсе с другой планеты, где у ребят башка варит... Должно быть, привозят товар рано поутру — с вооруженной лазерными винтовками охраной зловещего вида. Только попробуй посягнуть на мою медленную смерть, подумал он, представив себя на месте охранника, и я тебя испепелю.

На Чарлза напала хандра, потому что в его загашнике осталось всего триста таблеток медленной смерти. Зарыты на заднем дворе. Только недельный запас. А что потом?

Черно-белые [3] что-то явно заподозрили. Они выехали со стоянки и держались рядом, пока без мигалки и сирены, но... Распроклятые легавые меня засекли. Хотел бы я знать как.

Фараон:

— Фамилия?

— Фамилия? (НИКАК НЕ ПРИХОДИТ В ГОЛОВУ!..)

— Не знаешь собственной фамилии? — Фараон подмигивает своему напарнику.— Этот парень совсем забалдел.

— Не расстреливайте меня здесь! — взмолился Чарлз Фрек в своем глюке, вызванном видом черно-белой машины.— По крайней мере отвезите меня в участок и расстреляйте там, подальше от глаз!

Чтобы выжить в этом фашистском полицейском государстве, подумал он, надо всегда знать фамилию, свою фамилию. При любых обстоятельствах. Первый признак, по которому они судят, что ты нашпрялся,— если не можешь сообразить, кто ты, черт подери, такой!

Вот что, решил Чарлз, я подъеду к первой же стоянке, сам подъеду, не дожидаясь, пока начнут сигналить, а когда они остановятся, скажу, что у меня поломка.

Им это дико нравится. Когда ты отчаиваешься и сдаешься. Валишься на землю, словно выдохшаяся зверюга, и подставляешь свое беззащитное брюхо. Так я и сделаю.

Так он и сделал. Принял вправо и остановился у тротуара. Патруль проехал мимо.

Чарлз выключил зажигание. Посижу-ка я так, решил он, дам волю альфа-волнам, поброжу по разным уровням сознания. Или понаблюдаю за девочками. Изобрели бы биоскоп для возбужденных. К черту альфа — секс-волны! Сперва коро-отненькие, потом длиннее, длиннее, длиннее... пока не зашкалит.

Надо пополнить запас. Надо пополнить запас, не то я скоро полезу на стену. И вообще ничего не смогу делать. Даже сидеть вот так. Не только забуду, кто я такой, но и где я, и что происходит.

Что происходит, спросил он себя. Какой сегодня день? Если б знать, какой день, все было бы нормально.

Среда, деловая часть Лос-Анджелеса. Впереди — один из тех гигантских торговых центров, окруженных стеной, от которой отскакиваешь, словно резиновый мячик, если у тебя нет кредитной карточки и ты не можешь пройти в электронные ворота. Толпы людей входили и выходили, но, рассудил Чарлз, большинство наверняка просто поглазеть. Не может такого быть, чтобы столько народу имело монету или желание покупать...

Мимо прошла девушка — в легкой блузочке, на высоких каблуках, волосы серебристые, вся наштукатурена. Хочет выглядеть постарше, отметил он. Еще небось школу не окончила. После нее не было ничего стоящего, и Чарлз снял резинку, закрывающую бардачок, достал пачку сигарет и включил радио. Раньше у него был кассетник, но однажды, изрядно нагрузившись, он оставил его в машине. Естественно, когда вернулся, того и в помине не было. Сперли. Вот к чему приводит безалаберность. Осталось только радио. Когда-нибудь и его стянут. Ничего, можно достать другое, подержанное, практически за так. Да и все равно машине пора на слом — маслосъемные кольца ни к черту, компрессия упала.

Проплыла девушка, невольно обращавшая на себя внимание. Черные волосы, хорошенькое личико, открытая рубашка и застиранные белые брючки. Э, да я ее знаю, подумал он. Это подружка Боба Арктора. Донна.

Чарлз вылез из машины. Девушка окинула его взглядом и зашагала дальше. Он пошел за ней.

На перекрестке он догнал ее и окликнул:

— Донна!

Она продолжала идти.

— Разве ты не подружка Боба? — спросил он, забежав вперед, чтобы заглянуть ей в лицо.

— Нет,— отрезала она.— Нет.— И пошла прямо на него; а он попятился и отступил, потому что в ее руке появился короткий нож, он был нацелен ему прямо в живот.

Уже вернувшись к машине, Чарлз заметил, что девушка остановилась, сразу выделившись из толпы пешеходов, и молча смотрит на него.

Он осторожно приблизился.

— Как-то ночью,— начал он,— я, Боб и еще одна цыпочка слушали старые записи Саймона и Гарфункеля, а ты...

...Она набивала капсулы высококлассной смертью. Эль Примо. Нумеро Уно. Смерть. И мы закинулись, вместе, кроме нее. «Я только продаю,— объяснила она.— Если я начну глотать их сама, то проем весь доход».

— Я думала, что ты собираешься сбить меня с ног и изнасиловать,— сказала девушка.

— Нет, просто хотел подвезти... Прямо на дороге? — спросил он ошарашенно.— Среди бела дня?

— Ну, может, в подъезде. Или затащишь в машину... Я тебя не узнала. У меня близорукость.

---

[1] Наркотик из группы стимуляторов (жарг.)

[2] Психоделитические наркотики.

[3] Цвет полицейской машины.

— Тебе надо носить линзы,— посоветовал Чарлз. У нее очаровательные большие, темные, теплые глаза, подумал он. Значит, она не сидит на дозе.— Так подбросить?

— Ты станешь приставать.

— Нет,— сказал он.— У меня в последнее время не получается. Наверное, что-то подмешивают в травку. Какую-то химию.

— Ловко придумано. Но меня не проведешь. Все меня насилуют,— призналась она.— Во всяком случае, пытаются. Такова наша доля.

Они сели в машину.

— У тебя есть что-нибудь на продажу? Только закидываться — я не ширяюсь.

— Ладно,— задумчиво произнесла она.— Но немного. Послезавтра, если свяжусь с одним парнем.

— Почем?

— Шестьдесят за сотню.

— Черт,— сказал он.— Обдираловка.

— Это суперкласс. Я брала у него раньше. Совсем не то, к чему ты привык. Тебе еще повезло,— добавила Донна,— через час я должна встретиться с одним типом, и он, наверное, возьмет все, что я смогу достать. Твой счастливый день.

— Хорошо бы поскорее,— попросил Чарлз.

— Постараюсь...— Она открыла сумочку и вытащила маленькую записную книжку и ручку.— Как мне с тобой связаться? Да, я забыла, как тебя зовут.

— Чарлз Б. Фрек.

Он продиктовал ей номер телефона — не своего, разумеется, а одного друга из добропорядочных, который передавал ему подобные послания. С каким трудом она пишет, отметил он. Еле царапает. Но хорошенькая. Едва умеет читать или писать? Плевать! Что важно у цыпочки, так это грудь.

— А ты вроде парень ничего,— сказала Донна.— Будешь потом брать еще?

— Спрашиваешь,— ответил Чарлз Фрек. Счастье, подумал он, это знать, что у тебя есть травка.

Людские толпы, солнечный свет и вся дневная суета скользили мимо него, не касаясь,— он был счастлив.

Только посмотрите, на что он случайно нарвался — совершенно неожиданно новый источник препарата С. Чего еще просить у жизни?.. Его сердце возликовало, и он ощутил на мгновение врывающийся в окна машины дурманящий аромат весны.

— Поедешь со мной к Джерри Фабину? Я отнесу ему шмотки в федеральную клинику № 3; его забрали вчера ночью.

— Лучше мне с ним не встречаться,— сказала Донна.— Джерри думает, что именно я заразила его букашками.

— Тлей.

— *Тогда* он не знал, что это тля... Все дело в рецепторных зонах его мозга — по крайней мере, я так думаю. И в правительственных бюллетенях так объясняют.

— Это лечится?

— Нет.

— В клинике обещали свидание. Они говорят, что он, пожалуй, мог бы...— Чарлз повел рукой.— Ну, не то чтобы...— Он снова сделал жест рукой: трудно было сказать *такое* о своем друге.

Донна бросила на него подозрительный взгляд.

— Уж не поврежден ли у тебя речевой центр? В твоей... как там ее... затылочной доле.

— Нет,— ответил он энергично.

— А вообще какие-нибудь повреждения? — Она постучала себя по голове.

— Нет. Просто, понимаешь, я ненавижу эти чертовы клиники...

— Смотри, впереди один из тех новых «порше» с двумя двигателями! — Она возбужденно указала пальцем.— Ух ты!

— Я знал парня, угнавшего такой «порше»,— сказал Чарлз.— Вывел его на Риверсайд, разогнался до семидесяти пяти — и в лепешку. Не вписался в поворот. Думаю, он его и не заметил.

У него немедленно пошел глюк: он сам за рулем «порше», но поворот замечает, замечает вообще любые повороты. И все на шоссе — Риверсайд в час пик,— безусловно, замечают его: такой стройный, широкоплечий, неотразимый парень в новеньком «порше», делающем двести миль в час,— и полицейские беспомощно разевают вслед рты.

— Ты дрожишь,— сказала Донна и опустила руку на его локоть. Успокаивающую, нежную руку.— Притормози.

— Я устал,— пожаловался Чарлз.— Две ночи и два дня я считал букашек. Считал и засовывал в банки. А когда мы готовы были сняться и отнести их доктору на анализ, там ничего не оказалось. Пустые банки.— Теперь он сам почувствовал свою дрожь, увидел, как тряслись руки на руле.— Ничего ни в одной. Никаких букашек. И тогда я понял, я понял, черт побери. До меня дошло, что Джерри испекся. Ошизел.

Воздух больше не пах весной. Мучительно потянуло принять дозу препарата С.

Глава 2

— Достопочтенная публика! — взвыл человек с микрофоном.— Сегодня нам представилась удивительная возможность послушать и расспросить тайного агента отдела по борьбе с наркоманией!

Он просиял, этот человек в дешевом костюме, широком желтом пластиковом галстуке и ботинках из искусственной кожи. Чересчур толстый, чересчур старый и чересчур радостный, хотя радоваться было нечему. Глядя на него, тайный агент чувствовал тошноту.

— Вы, безусловно, обратили внимание, что наш гость как бы расплывается перед глазами. Это происходит потому, что он носит то, что называют «костюм-болтунья».

Публика, как две капли воды отражавшая все черты ведущего, сосредоточенно обозревала агента в костюме-болтунье.

— Этот человек, которого мы будем называть Фред, ибо таково его кодовое имя, под которым он сообщает собранную информацию, находясь в костюме-болтунье, не может быть опознан по внешнему виду или голосу. Он похож на расплывчатое пятно и ни на что больше, не правда ли, друзья?

Ведущий изобразил лучезарную улыбку. Слушатели, разделяя его чувство юмора, тоже улыбнулись.

Костюм-болтунья был изобретением некоего сотрудника «Лаборатории Белла» по фамилии С. А. Пауэрс. Экспериментируя с возбуждающими веществами, действующими на нервные клетки, как-то ночью он сделал себе инъекцию препарата IV и испытал катастрофическое падение мозговой активности. После чего его субъективному взору на стене спальни предстали пылающие образы, которые, как он со временем стал полагать, являлись калейдоскопическим монтажом произведений абстрактной живописи.

На протяжении шести часов С. А. Пауэрс зачарованно наблюдал тысячи картин Пикассо, сменяющих друг друга с фантастической скоростью. Затем он просмотрел работы Пауля Клее, причем больше, чем художник написал за всю свою жизнь. Когда наступила очередь шедевров Модильяни, С. А. Пауэрс пришел к выводу (а в конце концов все явления нуждаются в разъясняющей теории), что его гипнотизируют розенкрейцеры. Но потом, когда его стали изводить Кандинским, он решил, что с ним пытаются вступить в телепатический контакт русские.

Утром Пауэрс выяснил, что резкое падение мозговой активности нередко сопровождается подобными явлениями. Но идея костюма-болтуньи уже родилась. В основном костюм состоял из многогранных кварцевых линз, соединенных с микрокомпьютером, который содержал в памяти полтора миллиона физиономических характеристик. Каждую наносекунду компьютер передавал на сверхтонкую мембрану, окружавшую носителя костюма, всевозможные оттенки цвета глаз, волос, формы носа, расположения зубов, конфигурации лицевых костей и т. д. Таким образом, попытки описать носителя — или носительницу — костюма были совершенно бессмысленны и заранее обречены на провал. Нет нужды говорить, что С. А. Пауэрс ввел в банк памяти и свои собственные данные, и, захороненный в головоломном сплетении характеристик, лик изобретателя всплывал на одну наносекунду в каждом костюме... в среднем, как он подсчитал, раз в пятьдесят лет. Это была его заявка на бессмертие.

— Давайте же послушаем расплывчатое пятно! — громко подытожил ведущий, и публика захлопала.

Фред, он же Роберт Арктор в костюме-болтунье, простонал и подумал: «Это ужасно».

Раз в месяц каждый агент по борьбе с наркоманией должен был выступать на подобном сборище. Сегодня была его очередь. Глядя на публику, он с новой силой осознал, насколько отвратительны ему добропорядочные. Они в восторге. Их развлекают.

— Но, выполняя свое задание,— добавил ведущий, отодвигаясь от микрофона, чтобы дать место Фреду,— он, разумеется, не носит этот костюм. Он одевается, совсем как вы и я, или в так называемую одежду хиппи, среди которых вынужден вращаться согласно велению долга.

Фреду — Роберту Арктору — приходилось выступать уже шесть раз, и он прекрасно знал, что надо говорить и что ему уготовано: идиотские вопросы и пустая трата времени, плюс раздражение и злость, и всякий раз чувство тщетности...

— Увидев меня на улице,— сказал он в микрофон, когда стихли аплодисменты,— вы бы решили: «Вот идет псих, извращенец, наркоман». Вы бы почувствовали отвращение и отвернулись.

Молчание.

— Я не похож на вас,— продолжал он.— Я не могу себе позволить быть похожим на вас. От этого зависит моя жизнь.

На самом деле не так уж он от них отличался. Просто имелся сценарий речи, от которого нельзя было отклоняться.

— Я не собираюсь рассказывать вам, чем мне приходится заниматься в качестве тайного агента, выслеживая распространителей наркотиков и источники нелегального товара. Я хочу рассказать вам о том...— Он сделал паузу, как его учили в академии на занятиях по психологии.— ...О том, чего я боюсь.

Это сразило их; все глаза были прикованы к нему.

— Я боюсь,— произнес он,— за наших детей. За ваших детей и моих...— Он снова замолчал.— У меня их двое.— Затем очень тихо: — Юные, совсем малыши...— И тут же страстно повышая голос: — Но уже достаточно большие, чтобы расчетливо прививать им пагубную привычку к наркотикам — ради выгоды тех, кто уничтожает наше общество. Мы пока еще не знаем...— более спокойным голосом,— кто эти люди, точнее, звери, которые сосут соки из наших ближних, словно обитают в диких джунглях. Ради своей наживы они продают мерзость, уничтожающую мозг, и ежедневно ее глотают, курят или вкалывают миллионы мужчин и женщин — вернее, те, кто когда-то были мужчинами и женщинами. Нам пока неизвестны имена распространителей. Но, клянусь богом, рано или поздно мы их узнаем, всех до единого!

Голос из публики:

— Мы им устроим!

Другой голос:

— Изловим коммунистов!

Бурные аплодисменты.

Роберт Арктор молчал. Смотрел на них, на этих добропорядочных, и думал: «Препарат С не может выжечь им мозги. У них просто нет мозгов».

— Каждый день эта страшная болезнь вырывает новые жертвы из наших рядов. В конце каждого дня деньги текут...— Он остановился. И никакая сила не могла заставить его продолжать речь, вызубренную и тысячи раз повторенную на занятиях.

Все замерли.

— А вообще-то дело не только в наживе,— произнес он.— Вы сами видите, что происходит.

Нет, они ничего не видят. Они не замечают, что я отошел от шаблона, говорю самостоятельно, без помощи суфлеров из Центра. Ну и что? Разве их что-нибудь волнует? Их огромные квартиры охраняют вооруженные наемники, готовые открыть огонь по любому горчку, который лезет по обнесенной колючей проволокой стене, чтобы засунуть в пустую наволочку их часы, их бритву, их магнитофон... Он лезет, чтобы добыть себе косяк; если не добудет, то запросто может сдохнуть от боли и шока воздержания. Но если ты живешь в роскошном доме и твоя охрана вооружена — зачем об этом думать?

— Если бы вы страдали диабетом и у вас не хватало денег на укол инсулина, что бы вы стали делать? Крали бы? Или просто-напросто сдохли?

Молчание.

В наушниках его костюма-болтунья зазвучал тонкий голосок:

— Вам лучше вернуться к приготовленной речи, Фред.

— Я забыл ее,— сказал Фред, Роберт Арктор, невидимому суфлеру.

— Повторяйте за мной: «...новые жертвы из наших рядов. В конце каждого дня деньги текут...» Тут вы остановились.

— Я не могу.

— «...а куда они текут, мы скоро выясним,— не обращая внимания, продолжал суфлер.— Тогда последует возмездие. И в тот момент ничто на свете не заставит меня поменяться с ними местами».

— Знаете, почему я не могу? — спросил Арктор.— Потому что именно из-за такой жизни люди ищут спасения в наркотиках.

Да, подумал он, вот почему ты сбегаешь и садишься на дозу... сдаешься...— из отвращения.

Но потом он снова посмотрел на публику и понял, что это бесполезно. Он обращается к ничтожествам, к дебилам. Им нужно все разжевывать, как в первом классе: «А — это арбуз»...

— «С»,— сказал он публике,— это препарат С. «С» — это бегство, бегство ваших друзей от вас, вас — от них, всех — друг от друга, это разделение, одиночество, ненависть и взаимные подозрения. «С» — это слабоумие. «С» — это смерть. Медленная смерть, как называем ее мы...— Он осекся.— Мы, наркоманы...

Он с трудом прошел к своему стулу и сел. В тишине.

— Вы провалили встречу,— сказал суфлер-начальник.— Когда вернетесь, зайдите ко мне в кабинет. Комната 430.

На него смотрели так, словно он только что прямо у них на глазах помочился на сцену.

Арктор поднялся, снова подошел к микрофону и, опустив голову, тихо произнес:

— Вот еще что. Не надо плевать им вслед лишь потому, что они сели на дозу. Большинство из них не знали, на что садятся или что садятся вообще. Просто постарайтесь удержать их... Понимаете, они растворяют красненькие в стакане вина — толкачи, я имею в виду. Дают выпить цыпочке, какой-нибудь несовершеннолетней крошке, и та вырубается, и тогда ей впрыскивают смесь героина и препарата С...— Он замолчал.— Спасибо за внимание.

— Как нам остановить их, сэр? — спросил мужчина.

— Убивайте толкачей,— сказал Арктор и побрел к стулу.

Он взглянул на часы: два тридцать. Пора звонить Донне. Судя по всему, он сможет достать через нее тысячу таблеток препарата С.

Естественно, он передаст их на анализ и последующее уничтожение. Или что уж там с ними делают... Может, сами закидываются. Или продают. Почем знать... Но он покупал у Донны не для того, чтобы взять ее за посредничество. Цель операции — выйти на более крупного поставщика. Поэтому Арктор заказывал все бо́льшие количества, вынуждая Донну свести их вместе, его и поставщика.

Разумеется, у него было еще несколько нитей, кроме Донны. Но потому что она была его девушкой — то есть он хотел этого добиться,— ему легче работать с ней. Навещать ее, разговаривать по телефону, проводить вместе вечера доставляло ему удовольствие. Это было, в некотором смысле, линией наименьшего сопротивления. Если вам приходится шпионить, так уж лучше за людьми, с которыми вы все равно встречаетесь. Это менее подозрительно и более приятно.

Он вошел в телефонную будку и набрал номер.

— Алло,— ответила Донна.

Все телефонные автоматы прослушиваются. Записи разговоров передаются в центральный пункт и в среднем раз в два дня проверяются офицером, которому даже не надо выходить из кабинета, а стоит лишь нажать кнопку. Большинство разговоров безобидны. Обязанность офицера — выделять небезобидные. В этом заключается его искусство. За это ему платят.

— Как дела? — спросил Арктор.— Я могу что-нибудь у тебя взять?

— Сколько тебе надо?

— Десять.

Они договорились, что один — это сотня. Таким образом, он просил тысячу. Среди дельцов вообще принято крупные суммы заменять мелкими, чтобы разговаривать по телефону, не привлекая внимания.

— Десять...— раздраженно пробормотала Донна.— Через три дня.

— Не раньше?

— Нет. Я заскочу.

— Хорошо. Когда?

Она прикинула.

— Около восьми вечера. Да, чуть не забыла. Ко мне сегодня заходили оба твои жильца: Эрни... как там его... и этот Баррис. Искали тебя.

— Что стряслось? — спросил Арктор.

— Цефалохромоскоп, что обошелся тебе в девятьсот долларов... Они хотели включить его, а он не работал. Ну, они взяли и отвернули днище.

— Черт побери! — возмущенно воскликнул Арктор.

— Там вроде кто-то ковырялся, испорчена вся схема. Баррис попробует..

— Я немедленно еду домой,— сказал Арктор и повесил трубку. Самое лучшее, что у меня есть. Самое дорогое. Если этот кретин Баррис начнет копаться... Но я не могу сейчас ехать домой, опомнился он. Сперва надо побывать в «Новом пути»; это приказ.

Глава 3

Чарлз Фрек тоже подумывал о «Новом пути» — так на него подействовала участь Джерри Фабина.

Он сидел с Джимом Баррисом в маленьком кафе и уныло перебирал засахаренные орешки.

— Решиться не просто. Тем страх что творят. Сидят с тобой день и ночь, чтобы ты не наложил на себя рук или не откусил палец, и совсем ничего не дают для облегчения.

Баррис посменялся.

— Если ты согласишься на лечение, то испытаешь ряд неприятных ощущений в области головного мозга. В первую очередь я имею в виду катехоламины, такие, как норадреналин и серотонин. Видишь ли, все происходит следующим образом: препарат С — вообще все наркотические вещества, но препарат С особенно — взаимодействует с катехоламинами на подклеточном уровне, и устанавливается биологическая контрадаптация. Раньше считалось, что это происходит только с алкалоидными наркотиками, такими, как героин.

К столику подошла симпатичная официантка в желтом халатике, светловолосая и с высокой дерзкой грудью.

— Привет,— сказала она.— Все в порядке?

Чарлз Фрек испуганно поднял взгляд.

— Как тебя звать, милая? — спросил Баррис.

Она ткнула в табличку на правой грудке.

— Бетти.

Интересно, как зовут левую, подумал Чарлз Фрек.

— У нас все отлично,— сказал Баррис.

Чарлз увидел исходящий из головы Барриса круг, как на карикатуре, в котором совершенно голая Бетти молила о ласке.

— У кого угодно, только не у меня,— заявил Чарлз Фрек.

— У всех свои проблемы,— рассудительно заметил Баррис.— Этот мир непристойно болен, и с каждым днем ему становится все хуже.

Картинка над его головой тоже стала более непристойной.

— Желаете заказать десерт? — улыбаясь, предложила Бетти.

— Например? — подозрительно спросил Чарлз Фрек.

— У нас есть свежий клубничный пирог. Мы сами печем.

— Нет, не надо нам никаких десертов! — сказал Чарлз Фрек.— Эти пироги для старушек,— добавил он, когда официантка отошла.

— В «Новом пути» тебе первым делом вырежут селезенку,— предупредил Баррис.

— Что?.. Вырежут... А она зачем, эта селезенка?

— Помогает переваривать пищу.

— Как?

— Удаляет целлюлозу.

— Значит, потом...

— Только бесцеллюлозная пища.

— И сколько так можно протянуть?

Баррис пожал плечами.

— А сколько селезенок обычно у человека? — Фрек знал, что почек, как правило, две.— А-а... да ты меня разыгрываешь!

Баррис рассмеялся. У него какой-то странный смех, подумал Чарлз. Неестественный, как будто что-то рвется.

— Откуда такое решение?

— Джерри Фабин.

Баррис махнул рукой.

— Джерри — особый случай. Однажды у меня на глазах Джерри пошатывается и падает, испражняется под себя, не соображая, где находится, умоляет спасти... Ему подсунули какую-то гадость, сульфат таллия, скорее всего... Сульфат таллия используют в инсектицидах и в крысиной отраве... Кто-то устроил подлянку. Я могу назвать десяток ядов, которые...

— И другая причина,— сказал Чарлз Фрек.— У меня кончается запас, и я не в силах это выдержать — постоянно сидишь на нуле и не знаешь, достанешь еще или нет.

— Ну, если на то пошло, мы не можем быть уверены, что доживем до завтрашнего дня.

— И еще — меня, наверное, обкрадывают. Запас буквально тает; кто-то пользуется моим загашником.

— Сколько ты закидываешь в день?

— Очень трудно определить. Но не так много.

— Знаешь, ведь можно привыкнуть...

— Конечно, но не настолько же. Я больше не выдержу. С другой стороны...— Он подумал.— Похоже, я набрел на новый источник. Та цыпочка, Донна, подружка Боба.

— Увы, он так и не забрался ей под юбку. Только мечтает.

— Она надежна?

— В каком смысле? В плане, даст ли... или...— Баррис поднес руку ко рту и сделал вид, что глотает.

— Это еще что за вид секса? — изумленно начал Фрек, и тут до него дошло.— А-а. Последнее, разумеется.

— Вполне надежна. Легкомысленна немного, ну, как все цыпочки, особенно темненькие.

Чарлз Фрек подался вперед.

— Арктор никогда не спал с Донной? А говорит...

— Таков Боб Арктор. Он много чего говорит. Не всему надо верить.

— Как же так? У него с этим проблемы?

Баррис задумчиво созерцал бутерброд.

— Проблемы у Донны. Вероятно, она сидит на какой-то отраве. Полностью потерян интерес к сексу, до отвращения

к физическому контакту... Не только с Арктором, но и...— Он раздраженно нахмурился.— ...с другими мужчинами.

— То есть она просто не хочет.

— Захочет,— отрезал Баррис.— Если с ней правильно обращаться. Например...— Он принял таинственный вид.— Я могу научить тебя, как добиться Донны за 98 центов.

— Да не нужно мне это! — Чарлз Фрек чувствовал себя не в своей тарелке. В Баррисе постоянно было что-то такое, от чего у него неприятно холодело в животе.— Почему за 98 центов? Разве она берет деньги?

— Деньги пойдут не ей непосредственно,— нравоучительно произнес Баррис.— Донна употребляет коку. Для каждого, кто даст ей грамм, она, безусловно, раздвинет свои ножки, особенно если по строго научной методике, которую я разработал, в коку добавить определенные труднодоступные химикаты.

— Ты бы лучше не говорил так,— попросил Чарлз Фрек.— О ней. В любом случае грамм коки стоит больше сотни долларов. Где взять такие башли?

Ухмыляясь, Баррис заявил:

— Я могу извлечь грамм чистого кокаина из ингредиентов общей стоимостью менее одного доллара.

— Чушь.

— Готов продемонстрировать.

— Откуда берутся эти ингредиенты?

— Из магазина 7—11. У меня дома оборудована лаборатория — временная, пока не смогу создать лучшей. Ты увидишь, как я извлеку грамм чистого кокаина из широко распространенных общедоступных материалов, купленных открыто, меньше чем за один доллар. Идем! — Баррис был очень возбужден.

— Ну! — подхватил Чарлз Фрек. Чертов болтун, думал он. А впрочем... Сколько он делает всяких химических опытов, и вечно читает в библиотеке... Как же на этом можно заработать, обалдеть!

Они оставили машину на стоянке и пошли в магазин.

— Что мы здесь берем? — спросил Чарлз у Барриса, бесцельно прогуливавшегося вдоль стоек с товарами.

— Баллон «Солнечного».

— Средство для загара? — Чарлз Фрек никак не мог поверить в реальность происходящего.

Они купили «Солнечный», и Баррис в два счета, не обращая внимания на дорожные знаки, домчался до дома Боба Арктора.

Выйдя из машины, Баррис достал с заднего сиденья опутанные проводами предметы. Среди груды электронных приборов Чарлз Фрек узнал вольтметр и паяльник.

— Зачем это? — спросил он.

— Предстоит долгая и трудная работа,— ответил нагруженный Баррис, подойдя к двери. Он передал Чарлзу ключ.— И, наверное, мне за нее не заплатят. Как обычно.

Чарлз Фрек отомкнул дверь. К ним тут же, преисполненные надежды, бросились два кота и собака, но Чарлз и Баррис, осторожно оттеснив их ногами, прошли на кухню.

Первым делом из кучи хлама возле раковины Баррис вытащил пластиковую миску и опорожнил туда аэрозоль.

— Я, наверное, сплю...— пробормотал Чарлз Фрек.

— Знай, что на производстве кокаин умышленно смешивают с маслом,— бодро комментировал свои действия Баррис,— таким образом, что извлечь его невозможно. Одному мне доподлинно известно, как это сделать.— Он обильно посолил клейкую, густую массу и вылил ее в стеклянную банку.— Теперь охлаждаем,— продолжал Баррис, довольно ухмыляясь,— и кристаллы кокаина поднимаются наверх, так как они легче воздуха. То есть масла, я имею в виду. Конечная стадия, разумеется, мой секрет, но скажу, что она включает в себя сложный процесс фильтрования.

Баррис открыл холодильник и аккуратно поставил банку в морозильную камеру.

— Сколько там ее держать? — спросил Чарлз Фрек.

— Полчаса.

Баррис закурил самодельную сигаретку и уставился на кучу электронных приборов, задумчиво потирая бородатый подбородок.

— Но даже если ты получишь целый грамм чистого кокаина, я не могу использовать его на Донне, чтобы... ну, залезть ей под юбку. Я вроде как покупаю ее, вот что получается.

— Это обмен,— наставительно поправил Баррис.— Ты ей делаешь подарок, а она тебя одаривает... самым ценным, что есть у женщины. Кокаин — эротоген,— добавил он вполголоса, перенося приборы к цефалохромоскопу.— Она нанюхается и будет счастлива дать себе волю.

— Чушь! — решительно заявил Чарлз Фрек.— Ты говоришь о подружке Боба Арктора. Он — мой приятель и человек, с которым вы с Лакменом живете под одной крышей.

Баррис немедленно поднял свою косматую голову и некоторое время не сводил с Чарлза Фрека глаз.

— Ты очень многого не знаешь о Бобе Арторе. Да и мы все. Твой взгляд наивен и упрощен. Ты ему слишком веришь.

— Он парень что надо.

— Безусловно.— Баррис кивнул и улыбнулся.— Вне всякого сомнения. Один из самых лучших в мире. Но я начал замечать в нем — мы начали замечать в нем, те, кто наблюдает за Арктором пристально и внимательно,— определенные противоречия.

— Что ты имеешь в виду?

Глаза Барриса за темными очками заплясали.

— Танец твоих глаз мне ничего не говорит,— заявил Чарлз Фрек.— А что случилось со скопом?

— Загляни,— предложил Баррис, поставив шасси на торец.

— Провода обрезаны,— проговорил Чарлз Фрек.— И еще, похоже, кто-то устроил несколько коротких замыканий... Чья это работа?

Веселые и всезнающие глаза Барриса заплясали с особым удовольствием.

— Эти твои намеки — сплошное дерьмо,— после напряженного молчания сказал Чарлз Фрек.— Пожалуй, отправ-

люсь я в «Новый путь» и сдамся на воздержание, и буду лечиться и жить с простыми парнями. Это лучше, чем иметь дело с такими загадочными шизиками, как ты, которых я никак не могу понять. Ты думаешь, что Боб сам это сделал? Испортил самую дорогую свою вещь? Что ты хочешь сказать? Лучше бы я жил в «Новом пути», где мне не пришлось бы выслушивать бессмысленные, бредовые речи. А это мне приходится делать каждый день — если не твои, то речи какого-нибудь другого вконец ошизевшего торчка вроде тебя!

— Я всерьез сомневаюсь, что скоп повредил Эрни Лакмен,— задумчиво проговорил Баррис.

— Я всерьез сомневаюсь, что Эрни Лакмен вообще что-нибудь повредил в своей жизни, если не считать того случая, когда он накололся на плохой кислотке и вышвырнул в окно кофейный столик. Обычно у него котелок варит лучше, чем у всех нас. Нет, Эрни не станет ломать скоп.

Это запросто мог сделать ты, грязный сукин сын, подумал Чарлз Фрек. И умения у тебя хватает, и мозги твои устроены черт знает как...

— Тому, кто это сделал, место в лечебнице или на кладбище. Предпочтительно последнее. Для Боба эта штука значила все. Я видел, как он ее включает; включает, едва вернется домой с работы. У каждого есть что-то, чем он особенно дорожит. У Боба был скоп.

— Это-то я и имею в виду.

— Что это ты имеешь в виду?

— Меня давно уже интересует, кто такой Боб Арктор и где он работает на самом деле.

Нет, Баррис мне не нравится, подумал Чарлз Фрек. Внезапно он испытал сильное желание оказаться отсюда далеко-далеко. Может, смыться?.. Но потом он вспомнил про банку в холодильнике.

— Послушай, когда там будет готово? Мне кажется, ты меня дуришь. Зачем же продавать «Солнечный» за гроши, если в нем грамм кокаина? Какой им от этого кайф?

— Они закупают оптом,— объяснил Баррис.

У Чарлза Фрека немедленно пошел глюк: грузовики с кокаином подкатывают к заводу (где уж он там, может, в Кливленде), вываливают тонны и тонны девственно чистой, высококачественной кокн во двор, потом коку смешивают с маслом, инертным газом и прочей дрянью и разливают по маленьким ярким жестянкам. Стоит только остановить грузовичок, размышлял он, забрать груз — семьсот или восемьсот фунтов чистого... Да нет, черт подери, гораздо больше! Сколько в грузовике помещается кокаина?

Баррис принес пустой баллон «Солнечного» и указал на этикетку, где были перечислены все ингредиенты.

— Видишь? Бензокаин. Только отдельные эрудиты знают, что под таким названием в торговле маскируют кокаин. Если бы писали прямо «кокаин», рано или поздно народ бы просек. У людей просто не хватает образования. Такой научной базы, как у меня.

— Что ты собираешься делать со своим образованием? — поинтересовался Чарлз Фрек.— Кроме возбуждения Донны?

— Напишу бестселлер,— уверенно сказал Баррис.— Учебник для середнячков. «Как, не нарушая закона, получить наркотик у себя на кухне». Понимаешь, бензокаин официально разрешен. Я справлялся в аптеках — он содержится в уймс препаратов.

— Здорово! — уважительно сказал Чарлз Фрек и посмотрел на часы.

Ждать оставалось недолго.

Глава 4

Из костюма-болтуньи одно расплывчатое пятно, называющее себя Фредом, смотрело на другое расплывчатое пятно, известное под именем Хэнк.

— Итак, это всё о Донне, Чарлзе Фреке и Джимми Барриссе.— Хэнк сделал пометку в лежащем перед ним блокноте.— Дуг Уикс, по вашему мнению, мертв или переместил свою деятельность в другой район.

— Или завязал,— добавил Фред.

— Вам говорит что-нибудь имя Граф, или Арт де Винтер?

— Нет.

— Как насчет пары негров — братья, лет по двадцать? Работают с фунтовыми порциями героина.

— Фунтовыми? *Фунтовыми* порциями героина? Нет, такое я бы запомнил.— Фред покачал головой.

Хэнк покопался в фотографиях.

— Так, этот сидит... Этот мертв... А вы не думаете, что Джорж темнит?

Джорс Каджас было только пятнадцать. Она жила в Бриа, в районе трущоб, на верхнем этаже полуразвалившегося холодного домишка.

— Если подтвердится, дайте мне знать. Мы привлечем ее родителей.

— Хорошо.

— Была вчера у нас одна — выглядит на все пятьдесят. Свалявшиеся серые волосы, выпавшие зубы, иссохшее тело... Мы спросили, сколько ей лет, и она ответила: «Девятнадцать». Проверили — точно. «Знаешь, на кого ты похожа? Посмотри в зеркало». Та посмотрела в зеркало и заплакала. Я спросил, давно ли она ширяется.

— Год,— предположил Фред.

— Четыре месяца. А рассказать, как она села на препарат С? Ее братья, оба посредники, вошли к ней как-то ночью, заломили руки, сделали укол и изнасиловали. Так сказать, ввели ее в новую жизнь.

— Милые ребятки.

— А вот это вас проймет наверняка. Слыхали, в фейерфилдовской больнице есть три младенца, которым надо каждый день вкалывать дозу. Сестра попробовала...

— Меня проняло,— механическим голосом перебил Фред.— Вполне достаточно, благодарю.

Хэнк продолжал:

— Когда представишь себе новорожденного, который не может прожить без героина, потому что...

— Достаточно, спасибо,— повторило расплывчатое пятно по имени Фред.— Иногда мне хочется сойти с ума. Но я позабыл как.

— Это утраченное искусство,— сказал Хэнк.— Возможно, со временем выпустят инструкцию.

Всякий раз, сидя напротив Хэнка и докладывая, Фред испытывал в себе глубокую перемену. О ком бы ни шла речь, что бы ни происходило — все теряло смысл.

Сперва он приписывал это действию костюма-болтуньи. Потом пришел к выводу, что дело не в костюме, а в самой ситуации. Хэнк по профессиональной привычке проявлял полное безразличие: ни любви, ни ненависти, никаких сильных эмоций. Какая польза от чувства вовлеченности, когда ты обсуждаешь преступления, совершенные людьми близкими и даже, как в случае Донны и Лакмена, дорогими? Надо нейтрализовать себя: они оба сделали это — Фред в большей степени, чем Хэнк. Они говорили в нейтральных тонах, они нейтрально выглядели, они стали нейтральными.

Потом чувства нахлынут...

А пока, сидя за столом, Фред ничего не ощущал. Он мог описать все увиденное с полным безразличием. И что угодно выслушать от Хэнка. Например, он мог запросто сказать: «Вчера Донна накололась низкопробным заменителем ЛСД, и половина кровеносных сосудов в ее мозгу полопалась». О своей любимой... Или: «Донна мертва». И Хэнк спокойно запишет это и, может быть, спросит: «У кого она купила дозу?» или: «Где будут похороны? Надо выяснить номера машин и фамилии присутствующих»,— и он будет хладнокровно это обсуждать.

Превращение вызывалось необходимостью беречь чувства. Пожарные, врачи и гробовщики вели себя так же. Невозможно каждую секунду восклицать и рыдать — сперва изведешь себя, а потом всех окружающих. У человека есть предел сил.

— Как насчет Арктора? — поинтересовался Хэнк.

Фред, находясь в костюме-болтунье, естественно, докладывал и о себе. Иначе его начальник — и весь полицейский аппарат — знал бы, кто такой Фред.

— Арктор ведет себя тише воды, ниже травы,— как всегда сообщил Фред.— Закидывает пару таблеточек смерти каждый день...

— Сомневаюсь.— Хэнк взял со стола листок.— Мы получили сигнал, что у Арктора водятся большие деньги.

— Так...— протянул Фред, понимая, что «большие деньги» — это то, что ему платили в полицейском управлении.

— По данным нашего информатора,— продолжал Хэнк,— Арктор в самые неурочные часы исчезает, причем под разными предлогами и ненадолго.— Хэнк взглянул на Фреда.— Вы замечали что-нибудь подобное? Можете подтвердить? Что это значит?

— Скорее всего его цыпочка, Донна,— сказал Фред.

— Хм, «скорее всего»... Вы обязаны знать.

— Донна, точно. Но я проверю и сообщу. Кто информатор? Не навет ли это из мести?

— Имя неизвестно. Телефонный звонок — через какое-то самодельное искажающее голос устройство.

— Боже! — возмутился Фред.— Так это же вконец ошизевший торчок Джим Баррис! Баррис еще в армии занимался всякой электроникой. Как информатору я бы ему ни на грош не верил.

— Мы не знаем, Баррис ли это, и, так или иначе, Баррис — не просто вконец ошизевший торчок. Им особо занимаются несколько людей... С сегодняшнего дня все побочные задания отменяются. Главный объект наблюдения — Боб Арктор. У него есть второе имя? Он употребляет инициал...

Фред издал сдавленный звук.

— Постлэтуэйт.

— Как это пишется?

— Понятия не имею.

— Национальность?

— Валлиец,— ответил Фред. Он едва слышал, в глазах расплывалось.

— Установим новую голографическую систему. Вы будете осуществлять контроль и наблюдение.

— Постараюсь,— пробормотал Фред. Он чувствовал, что отключается, и мечтал: скорей бы все кончилось... И еще: закинуться бы парой таблеток...

Напротив него бесформенное пятно что-то писало и писало, заполняя бланки и требования на оборудование, с помощью которого Фред должен будет установить круглосуточное наблюдение за своим собственным домом, за самим собой.

...Вот уже больше часа Баррис возился с самодельным глушителем, смастеренным из подручных средств стоимостью одиннадцать центов. Он почти добился цели, располагая лишь алюминиевой фольгой и куском пористой резины.

В ночном мраке заднего двора дома Боба Арктора, среди кустов и мусорных ящиков, Баррис готовился произвести пробный выстрел.

— Соседи услышат,— беспокойно проговорил Чарлз Фрек. Он опасливо косился на освещенные окна окрестных домов; должно быть, смотрят себе телик или покуривают травку...

— Зачем тебе глушитель? — спросил Лакмен, держась в стороне.— Глушители ведь запрещены.

— В условиях нашего вырождающегося общества и бесправия личности каждый стоящий человек должен быть постоянно вооружен,— мрачно заявил Баррис.— Для самообороны.

Он закрыл глаза и выстрелил. Раздался дикий грохот, на время оглушивший всех троих. Вдали залаяли собаки.

Баррис с улыбкой стал разворачивать алюминиевую фольгу. Ему, казалось, было забавно.

— Вот так глушитель...— выдавил Чарлз Фрек, ожидая появления полиции. Десятка полицейских машин.

— В данном случае звук скорее усилился,— объяснил Баррис, показывая Лакмену кусок прожженной резины.— Но в принципе я прав.

— Сколько стоит этот пистолет? — спросил Чарлз Фрек. Он никогда не держал пистолета. Несколько раз у него были ножи, но их вечно крали.

— Пустяки,— ответил Баррис.— Около тридцати долларов, подержанный.— Он протянул пистолет Фреку, и тот с опаской попятился.— Я продам его тебе,— пообещал Баррис.— Ты обязательно должен иметь оружие, чтобы защищаться от обидчиков.

— Их хоть пруд пруди,— иронично вставил Лакмен.— Видел на днях объявление в «Таймс». Предлагают транзисторный приемник тому, кто удачнее всех обидит Фрека.— Лакмен повернулся к Баррису.— Я думал, ты корпишь над цефаскопом. Уже сделал?

— Работа очень сложная,— наставительно сказал Баррис.— Мне нужно отдыхать.— Он отрезал перочинным ножиком еще кусок пористой резины.— Этот будет совершенно бесшумным.

— Боб думает, что ты работаешь над цефаскопом,— пробормотал Лакмен.— Лежит сейчас в постели и думает, а ты лупишь из пистолета...

С меня довольно, думал Боб Арктор.

Он лежал в темной спальне, слепо глядя в потолок. Под подушкой был его полицейский револьвер; он автоматически достал его из-под кровати и положил поближе, когда услышал выстрел в заднем дворе. Чисто машинальное действие, направленное против любой и всяческой опасности.

Но револьвер не защитит от такого изощренного коварства, как порча самой дорогой и ценной вещи. Вернувшись домой после доклада Хэнку, он сразу же проверил остальное имущество. Что бы ни происходило, кем бы ни был таинственный враг, следует быть готовым ко всему. Какой-то ополоумевший торчок старается ему напакостить, не попадаясь на глаза. Даже не человек, а скорее ходячий и украшающийся симптом их образа жизни.

А ведь было время, когда он жил не так. Не надо было прятать под подушкой револьвер, и лунатик не стрелял ночью во дворе бог знает с какой целью; а другой псих (может быть, и тот же самый) не ломал невероятно дорогой цефаскоп, который всем приносил радость... В те дни жизнь Роберта Арктора текла иначе: у него была жена, как все жены, две маленькие дочурки, приличный дом... Но однажды, вытаскивая из-под раковины электропечь, Арктор ударился головой об угол кухонной полки. И совершенно неожиданно прозрел. Внезапно он осознал, что ненавидит не полку — он ненавидит жену, дочерей, задний дворик с газонокосилкой, гараж, центральное отопление, все и всех в своем собственном доме. Он захотел уйти, он захотел развода. И получил, что хотел. И вступил постепенно в новую жизнь, где всего этого не было.

Возможно, ему следовало сожалеть о своем решении. Но сожаления он не испытывал. Та жизнь была слишком скучна; слишком предсказуема, слишком безопасна. Все элементы, ее составляющие, находились прямо перед глазами, и ничего неожиданного случиться не могло. Словно пластиковая лодка, которая будет держаться на плаву вечно, пока наконец не затонет ко всеобщему облегчению.

Но в том мрачном мире, где он обитал теперь, в кошмарных неожиданностях, и странных неожиданностях, и, крайне редко, приятных неожиданностях недостатка не было. Например, варварская порча цефалохромоскопа. Рассуждая здраво, совершенно бессмысленная. Но очень мало из того, что происходило долгими темными вечерами, можно было бы назвать здравым. Загадочный акт мог совершить кто угодно и по самой невероятной причине. Любой человек, которого он знал или встречал. Любой из восьми дюжин свихнувшихся параноиков. *Вообще любой*, совершенно незнакомый псих, выбравший наугад фамилию из телефонной книги.

Или ближайший друг.

Может быть, Джерри Фабин. У него были абсолютно выгоревшие, отравленные мозги. Однако вряд ли Джерри сумел бы снять нижнюю панель. Скорее всего он до сих пор торчал бы здесь, откручивая и закручивая один и тот же винт. Или попросту разбил бы все молотком. Так или иначе, будь это дело рук Джерри Фабина, кругом бы валялись яйца букашек... Против воли Боб Арктор криво улыбнулся.

Поделиться с Хэнком? Но чем они смогут помочь? В такой работе риск неизбежен.

Она не стоит того, эта работа, подумал Арктор. Не стоит всех денег на проклятой планете. Но дело все равно не в деньгах. «Как вы решились?» — спросил однажды Хэнк. А что человек знает об истинных мотивах своих поступков? Может быть, скука, стремление действовать. Тайная неприязнь ко всем окружающим. Или кошмарная причина: наблюдать человеческое существо, которое ты глубоко любишь, которое ты обнимал и целовал и, главное, которым ты восхищался,— видеть, как это теплое живое существо выгорает изнутри, от сердца. Пока не зацелкает, как насекомое, без конца повторяя одно и то же предложение. *Запись*. Замкнутая петля пленки.

«...если бы мне дали еще одну дозу...»

Ему представилась картина: мозг Джерри Фабина в виде исковерканной схемы цефалохромоскопа — погнутые, перекушенные, спаленные провода, оторванные концы, вьющийся дымок и едкий запах. И кто-то сидит с вольтметром, замеряет цепи и бормочет: «Да-а, надо менять почти все конденсаторы и сопротивления...» И наконец от Джерри Фабина пойдет один только фон. И с ним бросят возиться.

Однажды они придумали историю (точнее, Лакмен придумал, у него это лихо получается) — психиатрическое объяснение помешательства Джерри на тле. Разумеется, истоки лежат в его детстве. Понимаете, приходит однажды Джерри первоклашка домой, зажимая под мышкой свои маленькие книжечки, а в гостиной рядом с его матерью сидит этакая здоровенная тля, и мать с обожанием на нее смотрит.

— Что происходит? — спрашивает крошка Фабин.

— Перед тобой твой старший брат.— говорит мать.— Теперь он будет жить с нами. Его я люблю больше, чем тебя. Он способен на такое, что тебе и не снилось.

И с тех пор родители Джерри Фабина постоянно сравнивают его с братом-гением и унижают как могут. По мере того, как они оба растут, у Джерри вырабатывается комплекс неполноценности — что вполне естественно. Окончив школу, брат получает направление в институт, а Джерри идет работать на бензоколонку. Потом брат-гений становится знаменитым врачом или ученым; ему присуждают Нобелевскую премию. Джерри протирает ветровые стекла.

Наконец, Джерри убегает из дома. Но подсознательно он убежден в превосходстве гениев. Сперва он воображает себя в безопасности, но потом...

Теперь история вовсе не кажется смешной. Теперь — когда по просьбе своих же друзей Джерри посреди ночи забрали. Они сами — все, кто был тогда с Джерри,— так решили; иного выхода не оставалось. Той ночью Джерри забаррикадировал дверь своего дома, навалил фунтов девятьсот всякого хлама, включая диван, и стулья, и холодильник, и телевизор, и сообщил, что снаружи его поджидает гигантская сверхразумная гниль с иной планеты, а сейчас она собирается ворваться и наложить на него лапы. Прилетят и другие, даже если с этой он расправится. Внеземные гниль гораздо умнее людей и, если потребуется, пройдут прямо сквозь стены, тем самым обнаруживая свои тайные способности. Чтобы уберечь себя как можно дольше, ему придется залить дом цианистым газом. И он готов к этому. Каким образом? Он уже законопатил все окна и двери и теперь откроет воду в ванной и на кухне. Оказывается, водяной бак в гараже заполнен цианидом, а не водой. Он давно это знал и берег на крайний случай. Они все погибнут, но по крайней мере не пустят сверхразумных гнилей.

Его друзья позвонили в полицию. Полиция взломала дверь, и Джерри забрали в клинику. В последний момент Джерри сказал: «Принесите мне мою новую куртку с застежками сзади». Он только что ее купил, она ему очень нравилась. Практически единственная вещь, которая ему нравилась,— все остальное он считал зараженным.

Нет, подумал Боб Арктор, теперь это не кажется забавным. Непонятно, как это вообще могло вызывать смех. Может быть, из страха, кошмарного страха, который все они чувствовали в те последние недели. Порой Джерри целыми днями бродил по дому с ружьем, ощущая присутствие врага. Готовый стрелять первым.

А теперь, думал Боб Арктор, враг появился у меня. Во всяком случае, я напал на его след, на оставленные им знаки.

Стук в дверь.

Сжав револьвер под подушкой:

— Кто там?

Ответил голос Барриса.

— Входи,— сказал Арктор и включил ночник.

В комнату, щурясь, вошел Баррис.

— Еще не спишь?

— Я видел сон,— сказал Арктор.— Религиозный. Оглушительный раскат грома, ни с того ни с сего небеса раскалываются, и появляется Господь Бог, и голос Его гремит... Что Он там наплел, черт побери?.. Ах, да. «Я разгневался, сын мой». Бог ухмыляется. Я дрожу во сне и поднимаю взор вверх. «Что я натворил, Господи?» А Он отвечает: «Ты опять не завернул тюбик с зубной пастой». И тогда я понимаю, что это моя бывшая жена.

Баррис сел, опустил руки на свои кожаные штаны, покачал головой и посмотрел прямо на Арктора. Судя по всему, у него было превосходное настроение.

— Ну,— деловито сообщил он,— я приготовил в первом приближении кое-какие теоретические выводы о личности, виновной в порче твоего цефаскопа, от которой, кстати, можно ждать в дальнейшем подобных же действий.

— Если ты хочешь сказать, что это Лакмен...

— Слушай,— возбужденно раскачиваясь, перебил Баррис.— Что если я скажу тебе, что я давно предвидел серьезное повреждение какого-нибудь нашего домашнего имущества, особенно дорогого и трудно поддающегося ремонту? Моя теория *требовала* того! И сейчас, таким образом, я получил доказательство!

Арктор не сводил с него глаз.

Медленно осев в кресле, Баррис вновь принял спокойный и насмешливый вид.

— Ты...— сказал он, указав пальцем.

— Это сделал я?..— проговорил Арктор.— Пережег свой собственный, незастрахованный цефаскоп...— В нем закипели отвращение и ярость. Уже поздняя ночь, надо спать...

— Нет-нет,— быстро возразил Баррис, болезненно сморщившись.— Ты *смотришь* на виновного. На того, кто испортил твой цефаскоп. В этом-то я и хотел признаться, но мне не позволяли открыть рта.

— Это сделал ты? — ошарашенно спросил Арктор, глядя на Барриса, чьи глаза сверкали каким-то неясным торжеством.— Зачем?

— Точнее, *теория* утверждает, что это я,— сказал Баррис.— Очевидно, принуждаемый постгипнотическим внушением. И блокировка памяти, чтобы ничего не помнил.— Он начал смеяться.

— Позже,— рявкнул Арктор и выключил свет.

Баррис поднялся.

— Неужели ты не понимаешь?.. Я разбираюсь в электронике и имею доступ — я тут живу. Единственное, чего я не могу понять,— это мои мотивы.

— Ты это сделал, потому что ты псих,— сказал Арктор.

— Возможно, меня наняли тайные силы...— недоуменно бормотал Баррис.— Но что ими движет? Какова цель? Посеять среди нас подозрение и тревогу, вызвать разлад и антипатию, настроить друг против друга, чтобы мы не знали, кому доверять, кто враг...

— Тогда они добились успеха,— заметил Арктор.

— Но зачем им это? — воскликнул Баррис, подойдя к двери; его руки дрожали.— Столько хлопот...

Скорей бы установили следящую систему, подумал Арктор. Он прикоснулся к револьверу и почувствовал прилив уверенности. Мелькнула мысль — не стоит ли проверить магазин? Впрочем, тогда, спохватился Арктор, я стану сомневаться, не заклинило ли барабан, не стерся ли ударник, не высыпался ли порох из патронов, и так до бесконечности, одержимо, как маленький мальчик, пересчитывающий трещины на тротуаре, чтобы совладать со страхом. Маленький Бобби Арктор первоклашка, возвращающийся домой со своими маленькими учебниками, перепуганный до смерти лежавшей впереди неизвестностью.

Подавшись вбок, он зашарил пальцами под кроватью, пока не нащупал наклеенную полоску скотча. Не обращая внимания на Барриса, он отодрал ее, и в ладонь упали две таблетки препарата С. Арктор закинул их в рот, проглотил без воды и, вздохнув, бессильно упал на подушку.

— Свали,— сказал он Баррису.

И заснул.

Глава 5

Бобу Арктору надо было на некоторое время покинуть дом, чтобы там установили подслушивающую и подсматривающую аппаратуру. Обычно за домом следили до тех пор, пока из него не уходили все проживающие, причем таким образом, что можно было предположить их длительное отсутствие. Порой приходилось ждать неделями. В конце концов, если ничего так и не получалось, жильцов удаляли под каким-нибудь предлогом. Например, в связи с травлей тараканов.

Но в данной ситуации подозреваемый Роберт Арктор послушно уехал, прихватив жильцов на поиски дешевого цефалохромоскопа. Позже из подходящего места — телефона-автомата на бензоколонке — Фред доложил, что до конца дня в доме определенно никого не будет.

Это предоставляло властям удобную возможность пошарить по закоулкам более тщательно, чем удавалось их тайным агентам. Нужно было отодвинуть шкафы и проверить, не приклеено ли чего сзади. Нужно было развинтить торшеры и посмотреть, не посыплются ли сотни таблеток. Нужно было заглянуть в туалетный бачок — нет ли там маленьких, автоматически смываемых пакетиков. Нужно было проверить холодильник, не лежат ли в упаковках от жареной картошки и фасоли замороженные наркотики. А тем временем устанавливалось хитрое оборудование. Расположить голокамеры было чертовски трудно. Техникам хорошо платили, потому что, если они давали промашку и камеру потом находили жильцы, эти жильцы сразу просекали, что находятся под колпаком, и прекращали деятельность. А иногда просто снимали следящую систему и продавали ее с потрохами. Полиция в таких случаях даже ничего не имеет права сделать, разве что придраться к какому-нибудь пустяку.

Интересно поведение толкачей в подобной ситуации. Арктор припомнил случай, когда один посредник, желая убрать

цыпочку, запрятал в ручку ее утюга два пакетика героина, а потом сделал анонимный звонок в отдел «МЫ СООБЩАЕМ». Получилось так, что девушка сама нашла героин и продала его. Полиция, естественно, ничего не обнаружила и по записи голоса арестовала толкача за дезинформацию властей. Освободившись под залог, толкач ночью заявился к цыпочке и избил ее до полусмерти. На вопрос, почему он выбил ей глаз и сломал обе руки и парочку ребер, пойманный толкач ответил, что она продала принадлежавшие ему два пакетика высокопробного героина и не взяла его в долю.

Арктор высадил Лакмена и Барриса в отдаленном районе — искать подходящий цефаскоп. Таким образом, они не могли внезапно вернуться домой и застукать техников, а Арктору представлялась возможность повидать одного человека, которого не встречал больше месяца. Цыпочка вроде держалась — ничего, кроме «смеси» и улицы, чтобы заработать на дозу. Она жила с толкачом. Обычно Дан Манчер днем дома не сидел. Тип он был свирепый и жестокий, непредсказуемый и опасный. Чудо, что местная полиция не привлекала его за нарушение порядка. Может, откупался. А скорее всего им просто было наплевать: в районе трущоб жили одни старики да нищета.

Арктор остановил машину у пропахшего мочой подъезда и поднялся к двери «Г». Перед дверью валялась полная банка «Драно», и он машинально ее поднял, подумав при этом: «Сколько детей с ней играло?..» И на миг вспомнил своих собственных детей...

Арктор заколотил банкой в дверь.

Щелкнул замок. Дверь приоткрылась, и из-за цепочки выглянула девушка, Кимберли Хокинс.

— Да?

— Здорово. Это я, Боб.

Вялым движением она сняла цепочку: голос ее тоже был вялым, апатичным. Под глазом красовался синяк, разбитая губа опухла. Арктор заметил, что окна маленькой грязной квартиры разбиты. Осколки стекла валялись на полу вместе с перевернутыми пепельницами и бутылками из-под кока-колы.

— Ты одна? — спросил он.

— Да. У нас была ссора, и Дан ушел.

Девушка — наполовину мексиканка, маленькая, болезненного вида — безжизненно смотрела вниз.

— Он тебя избил.

Арктор поставил банку «Драно» на полку с несколькими замусоленными порнографическими журналами.

— Слава богу, у него не было ножа.— Кимберли опустилась на стул с торчащими из него пружинами.— Чего тебе, Боб?

— Хочешь, чтобы он вернулся?

Она пожала плечами.

Арктор подошел к окну и выглянул на улицу. Дан Манчер, безусловно, объявится рано или поздно. Девушка была источником денег, а Дан знал, что ей понадобится доза, как только кончится запас.

— Надолго тебе хватит?

— Еще на день.

— Ты не можешь достать в другом месте?

— Могу, но не так дешево.

— Что у тебя с голосом?

— Простуда. Ветер задувает.— Она прислушалась.— По-моему, машина Дана. Красный форд «Торино-79».

Арктор кинул взгляд на захламленную стоянку. Туда въезжал побитый «Торино», выпуская из обеих выхлопных труб клубы черного дыма.

— Да.

Кимберли заперла дверь: два дополнительных замка.

— Он, наверное, с ножом.

— У тебя есть телефон?

— Нет.

— Нужно поставить.

Она снова пожала плечами.

Через минуту они услышали шаги, а затем раздался стук в дверь. В ответ Кимберли закричала, что не одна.

— Ну, ладно! — высоким голосом завопил Дан.— Я проколю тебе шины!

Он помчался вниз. Арктор и девушка увидели из разбитого окна, как Дан Манчер — тощий, коротко остриженный, похожий на гомосексуалиста,— размахивая ножом, подбежал к машине, при этом продолжая орать так, что слышно было по всей округе.

— Я порежу твои шины, твои сучьи шины! А потом зарежу тебя!

Он нагнулся и проколол сперва одну, а потом вторую шину старенького «доджа».

Кимберли внезапно очнулась, прыгнула к двери и стала рвать замки.

— Я должна остановить его! Машина не застрахована!

Арктор схватил ее за руки. Револьвер он, разумеется, не носил, а у Дана был нож.

— Шины не главное...

— Мои *шины!* — Исступленно крича, девушка пыталась вырваться.

— Он только и хочет, чтоб ты вышла,— урезонивающе сказал Арктор.

— Вниз,— задыхаясь, проговорила Кимберли.— У соседей есть телефон. Позвоним в полицию. *Пусти* меня! — Она с неожиданной силой вырвалась и сумела открыть дверь.— Я позвоню в полицию! Мои шины! Одна из них совсем новая!

— Я с тобой.

Арктор попытался ухватить ее за плечо, но она уже сбегала по лестнице и колотила в дверь.

— Пожалуйста, впустите! Мне надо позвонить в полицию! Пожалуйста, дайте позвонить!

Дверь открыл старик в сером свитере и помятых брюках.

— Спасибо,— сказал Арктор.

Кимберли протиснулась внутрь, подбежала к телефону и набрала номер. Все молчали; раздавался только голос девушки. Сбиваясь и путаясь, она тараторила что-то о сорок из-за пары ботинок ценой в семь долларов.

— Он говорит, что это его ботинки, потому что я подарила их ему на Рождество, но они мои, потому что деньги платила я. А он стал отбирать их и я порезала подошвы открывалкой, и тогда...— Она замолчала; потом, кивая: — Да, хорошо, спасибо...

Старик смотрел на Арктора. Из соседней комнаты с немым ужасом выглядывала пожилая женщина в ситцевом платье.

— Вам, должно быть, нелегко,— обратился к ним Арктор.

— Ни минуты покоя,— пожаловался старик.— Постоянно, каждую ночь скандалы... Он все время грозит убить ее.

— Нам надо было вернуться в Денвер,— сказала женщина.— Говорила тебе, надо вернуться в Денвер.

— Ужасные драки,— продолжал старик. Он не сводил глаз с Арктора, взывая о помощи или, может быть, о понимании.— Круглые сутки, без передышки, а потом, что еще хуже, знаете, каждый раз...

— Да, скажи ему,— подбодрила пожилая женщина.

— Что еще хуже,— с достоинством проговорил старик,— каждый раз, когда мы выходим... ну, в магазин или отправить письмо... мы наступаем... знаете, что оставляют собаки...

— Кал! — с негодованием закончила женщина.

Показалась машина местной полиции. Арктор дал свидетельские показания, не выдавая, что сам является офицером полицейского управления. Сержант записал его слова и пытался расспросить Кимберли, но в ее лепетании не было ни капли смысла. Полицейский, подложив под листок бумаги планшетку, кидал на Арктора холодные взгляды, значения которых Арктор не понял, но, безусловно, не дружелюбные. Наконец сержант посоветовал Кимберли звонить, если хулиган вернется и будет шуметь.

— Вы отметили порезанные шины? — спросил Арктор, когда полицейский собрался уходить.— Вы осмотрели ее машину на стоянке?

Полицейский снова смерил его странным взглядом и, не говоря ни слова, удалился.

Кимберли опустилась на встхую кушетку в загаженной гостиной, и глаза ее сразу потускнели.

— Я отвезу тебя,— предложил Арктор.— К какому-нибудь другу, где...

— Убирайся! — с ненавистью выдавила Кимберли.— Убирайся к черту, Боб Арктор! Ты уйдешь или нет?! — Ее голос перешел на пронзительный визг и сорвался.

Он вышел и медленно спустился по лестнице, тяжело шагая по ступенькам. Что-то звякнуло и покатилось вслед за ним — банка «Драно». Сзади хлопнула дверь, защелкали замки. Тщетная предосторожность, подумал Арктор. Все тщетно. Полицейский советует звонить, если хулиган вернется. А как она позвонит, не выходя из квартиры? Или выйдет — и Дан Манчер тут же пырнет ее ножом, словно

шину. И — кстати, о жалобе стариков снизу — она сперва пытает, а потом закрепо свалится в собачье дерьмо... Арктура разобрал истерический смех: у этих стариков странная шкала важности. Не только свихнувшийся наркоман у них над головой каждую ночь избивает и грозит убить, и, очевидно, скоро убьет молодую девушку-наркоманку, которая, безусловно, больна гриппом и, наверное, кое-чем похуже, *но еще к тому же*...

— Собачье дерьмо... — усмехнулся он, уже сидя в машине с Лакменом и Баррисом.

Самое смешное в собачьем дерьме, думал он, что на нем можно поскользнуться. Забавное собачье дерьмо.

— Обгони ты этот грузовик,— истерически сказал Лакмен.— Тле плетется, сволочь.

Арктор выехал на левую полосу и набрал скорость. Но потом, когда он убрал ногу с газа, педаль провалилась, мотор яростно взревел и машина рванулась вперед.

Потише! — одновременно воскликнули Лакмен и Баррис.

Машина разогналась до ста миль в час; впереди замаячил огромный фургон. И сидящий рядом Лакмен, и сидящий сзади Баррис инстинктивно выставили вперед руки. Арктор вывернул руль и проскочил фургон прямо перед носом у встречного «корвета». Лакмен и Баррис уже кричали. «Корвет» отчаянно загудел; завизжали тормоза. Лакмен неожиданно потянулся и выключил зажигание; Арктор тем временем сообразил поставить нейтральную передачу и все жал на тормоз, уходя вправо. Наконец, машина с мертвым двигателем вкатила на аварийную полосу и потихоньку остановилась.

— Какого черта?..— пробормотал Баррис.

— Наверное, сломалась возвратная пружина.

Арктор дрожащей рукой махнул вниз, и все уставились на педаль газа, беспомощно вжавшуюся в пол. Так же молча они вылезли из машины и подняли капот. Оттуда пошел белый дым, из радиатора выбрызгивала кипящая вода.

Лакмен нагнулся над раскаленным мотором.

— Это не пружина. Это линия от педали к карбюратору. Глядите. Сломан рычаг. Так что педаль газа не вернулась, когда ты убрал ногу.

— На карбюраторе должен быть ограничитель,— ухмыляясь, сказал Баррис.— Таким образом, если...

— Почему сломался рычаг? — перебил Арктор. Его рука ощупала стержень.— Как же он мог так отвалиться?

Баррис продолжал, будто ничего не слыша:

— Если линия по какой-то причине распадется, двигатель должен сбросить обороты до холостых. А вместо этого обороты поднялись до предела.— Он подался вперед, чтобы лучше видеть.— Этот винт вывернут. Винт холостого хода.

— Каким образом? — ошарашенно спросил Лакмен.— Мог он так вывернуться случайно?

Вместо ответа Баррис достал из кармана перочинный нож, открыл маленькое лезвие и начал медленно закручивать регулятор, считая при этом вслух. Винт сделал двадцать оборотов.

— Чтобы ослабить запорное кольцо и снять муфту, крепящую рычаг акселератора, понадобится специальный инструмент. Даже два. Необходимые инструменты, однако, есть в моем инструментальном ящике.

— Твой инструментальный ящик дома,— напомнил Лакмен.

— Верно,— кивнул Баррис.— Значит, нам придется идти на ближайшую бензоколонку и либо просить у них инструменты, либо вызывать сюда ремонтную машину. На мой взгляд, лучше вызвать. Надо хорошенько все проверить, прежде чем снова садиться за руль.

— Послушай,— неожиданно произнес Лакмен,— это произошло случайно или кто-то нарочно подстроил? Как с цефаскопом?

Баррис погрузился в раздумье, продолжая улыбаться своей скорбно-лукавой улыбкой.

— Не могу сказать однозначно. Как правило, саботаж автомобиля ...— Он обратил на Арктора зеленые шторки очков.— Мы едва не накрылись. Если бы этот «корвет» шел чуть быстрее, нам всем крышка. Тебе следовало сразу выключить зажигание.

— Я поставил на нейтралку,— ответил Арктор.— Когда сообразил. В первую секунду я не мог опомниться.

— Кто-то хотел нас убрать,— громогласно объявил Лакмен.— ПРОКЛЯТЬЕ! Мы чуть не разбились!

Баррис достал коробочку с таблетками, взял пару сам, угостил Лакмена, затем протянул ее Арктору.

— Может, это нас и доканывает,— раздраженно бросил Арктор.— Мутит мозги.

— Травка не может испортить карбюратор,— заявил Баррис, не убирая коробку.— Закинься по меньшей мере тремя, они слабенькие.

— Убери эту гадость,— устало произнес Арктор.

Все вокруг — проносящиеся мимо машины, двое приятелей, его собственный автомобиль с поднятым капотом, яркий полуденный свет — все приобрело прогорклый вкус, словно мир протух. Словно мир разлагался и смердел. Арктору стало плохо, он закрыл глаза и содрогнулся.

— Ты что-то унюхал? — спросил Лакмен.— Улика? Какой-то запах от двигателя...

— Собачье дерьмо...— пробормотал Арктор. Этот запах определенно исходил от мотора. Он нагнулся, принюхался, почувствовал его сильно и безошибочно. Чудь какая, дикость...— Правда, пахнет собачьим дерьмом? — спросил он Барриса и Лакмена.

— Нет,— сказал Лакмен, не сводя с него глаз. И обратился к Баррису: — В твоих таблетках был галлюциноген?

Баррис, улыбаясь, покачал головой.

Арктор согнулся вдвое над горячим двигателем. Он отдавал себе отчет, что на самом деле никакого запаха нет. И все же его чувствовал. А потом увидел размазанную по всему мотору, особенно у головок цилиндров, мерзкую бурую массу. Масло, подумал он, выплеснувшееся масло. Должно быть, прокладки прохудились. Пальцы прикоснулись к вязкой, липкой массе и отдернулись. Он вляпался в собачье дерьмо. Весь блок цилиндров, все провода покрывал слой собачьего дерьма. Переместив взгляд наверх, Арктор заме-

тил дерьмо на звукопоглощающем материале капота. Его захлестнула тошнотворная вонь. Он сомкнул глаза и задрожал.

— Эй! — окликнул Лакмен, опустив ему на плечо руку.— Вспоминаешь?

— Билеты бесплатно,— поддакнул Баррис и заржал.

— Ну-ка, присядь,— сказал Лакмен, отвел Арктора к сиденью водителя и бережно усадил.— Да ты прямо вырубаешься... Успокойся, никто не убит, и теперь мы начеку.— Он захлопнул дверцу.— Все нормально, понимаешь?

В окошко заглянул Баррис.

— Хочешь собачью какашку, Боб?

Ошеломленный, Арктор широко раскрыл глаза и замер, глядя на него. Но мертвые зеленостеклянные шторки очков ничего не выдавали. Он в самом деле это сказал, мучался Арктор, или это порождение моего помутненного рассудка?

— Что, Джим? — спросил он.

Баррис начал смеяться. И смеялся, и смеялся.

— Оставь его в покое,— велел Лакмен, стукнув Барриса по спине.— Заткнись, Баррис!

Арктор обратился к Лакмену.

— Что он только что сказал? Дословно, что он мне сказал?

— Понятия не имею,— ответил Лакмен.— Я не могу разобрать и половины из того, что он говорит.

Баррис все еще улыбался, но уже молча.

— Ты, проклятый Баррис,— процедил Арктор.— Я знаю, что это твоих рук дело — цефаскоп и теперь машина. Ты это сделал, ты, чертов ублюдок!

Арктор едва слышал собственный голос, но чем громче он орал на ухмыляющегося Барриса, тем сильнее становилась кошмарная вонь. Он замолчал и понурился у руля, отчаянно борясь с тошнотой. Слава богу, что рядом находился Лакмен. Иначе был бы мне конец. От руки сумасшедшего выродка, живущего со мной под одной крышей.

— Успокойся, Боб,— сквозь волны тошноты донесся голос Лакмена.

— Я знаю, что это он,— сказал Арктор.

— Но зачем, черт побери?! Он бы и сам угробился. Зачем?

Запах ухмыляющегося Барриса захлестнул Боба Арктора, и его вырвало прямо на приборную доску. Он задрожал и полез за носовым платком.

— Что там было в твоих таблетках? — подозрительно спросил Лакмен у Барриса.

— Послушай, я и сам закинулся,— запротестовал Баррис.— И ты. Так что дело не в травке. Да и слишком быстро. Таблетки не успели бы раствориться...

— Ты меня отравил! — яростно прошипел Арктор. В голове и перед глазами стало проясняться, сохранился лишь страх. Страх — естественная реакция. Страх перед тем, что могло произойти, что это означало. Страх, страх, кошмарный страх перед улыбающимся Баррисом, и его проклятыми таблетками, и его объяснениями, и его странными высказываниями, и его привычками. Перед анонимным доносом в полицию на Роберта Арктора...

— Как ты себя чувствуешь, Боб? — спросил Лакмен.— Это мы сейчас почистим, ничего. Садись лучше назад.

Арктор вышел, нетвердо держась на ногах.

Лакмен повернулся к Баррису.

— Ты точно ему ничего не подсунул?

Баррис с негодованием воздел руки.

Глава 6

Больше всего тайный агент по борьбе с наркоманией боится не того, что его подстрелят или изобьют, а того, что ему введут бешеную дозу какого-нибудь психоделика и до конца жизни в голове будут крутиться глюки ужасов. Или подсунут порцию «смеси» — героин пополам с препаратом С. Или и то, и другое, да плюс еще яду, вроде стрихнина, который почти убьет его, но не совсем, и все закончится тем же: бесконечным фильмом ужасов. И он будет колотиться в стены психолечебницы или, хуже всего, окажется в федеральной клинике. День и ночь будет стряхивать с себя тлю. Вот что может быть, если его кто-нибудь раскусит. И поквитается самым ужасным образом — той дрянью, против которой он боролся.

Подъехал ремонтный фургон, и машину наконец починили. Механик почему-то долго рассматривал левую переднюю подвеску, но на расспросы не отвечал. Арктор расплатился, они сели и поехали по направлению к округу Оранж.

Виновные порой бегут, даже если их не преследуют, думал Арктор, осторожно ведя машину в густом потоке транспорта. И уж, безусловно, бегут, если чувствуют за собой вину. Бегут со всех ног и при этом не забывают о самообороне... Вот так сидит один сзади, со своим дерьмовым немецким пистолетом двадцать второго калибра и со своим дерьмовым смехотворным глушителем, а потом возьмет и пустит мне пулю в затылок. И я буду мертв — как Бобби Кеннеди, которого убили из оружия того же калибра... Слабое утешение.

Но отныне, с установкой аппаратуры, проверив барабаны голокамер, я буду точно знать, что делает каждый в моем доме, и когда он это делает, и, может быть, даже почему. Включая самого себя. Однако неминуема задержка. И меня уже не спасет, если камеры покажут, как мне в кофе подсыпают украденную из военных арсеналов нервно-паралитическую дрянь. Кто-нибудь другой увидит, как я бьюсь в судорогах, не соображая, что со мной, где я, кто я.

— Интересно, как там дома... Знаешь, Боб, кто-то хочет тебе серьезно напакостить,— сказал Лакмен.— Надеюсь, когда мы приедем, дом будет на месте.

— Я бы особенно не волновался,— неожиданно бодрым голосом заявил Баррис.

— Не волновался бы? — прорычал Лакмен.— А если нас обобрали до нитки? То есть вломились и забрали все, что есть у Боба? И искалечили животных? Или...

— Я оставил маленький электронный сюрприз для того, кто войдет в наше отсутствие,— перебил Баррис.

— Что еще за электронный сюрприз? — резко спросил Арктор, стараясь подавить беспокойство.— Это мой дом, Джим, и не вздумай...

— Когда дверь откроется, заработает кассетный магнитофон, спрятанный под диваном. Я установил три микрофона «Сони» в трех разных...

— Ты должен был предупредить меня,— сказал Арктор.

— А если они залезут через окно? — предположил Лакмен.— Или через черный ход?

— Чтобы воспользоваться самым простым путем, а не другими, менее вероятными путями,— охотно разъяснил Баррис,— я предусмотрительно оставил дверь незапертой.

Наступило молчание. Потом Лакмен захихикал.

— А как они догадаются, что дверь незаперта? — спросил Арктор.

— Я оставил записку.

— Ты меня разыгрываешь!

— Да,— услужливо согласился Баррис.

— Ты в самом деле разыгрываешь нас? — потребовал Лакмен.— Тебя фиг разберешь. Он разыгрывает нас, Боб?

— Вернемся — увидим,— отозвался Боб.— Если дверь незаперта и на ней висит записка, значит, это не розыгрыш.

— Записку могут снять,— заметил Лакмен.— Все переломают и пограбят, а дверь запрут. Чтобы мы не узнали. И мы никогда не узнаем.

— Конечно, я шучу! — с чувством воскликнул Баррис.— На такое способен только псих — оставить дверь незапертой, да еще повесить записку!

— Что ты написал в записке? — спросил, повернувшись к нему, Арктор.

— Кому она? — подхватил Лакмен.— Я даже не знал, что ты умеешь писать.

Баррис снисходительно улыбнулся.

— Я написал: «Донна, входи. Дверь незаперта. Мы...» — Баррис замолчал.— Записка адресована Донне.

— Все-таки он это сделал,— проговорил Лакмен.— На полном серьезе.

— Таким образом, Боб,— снова как ни в чем не бывало продолжил Баррис,— мы узнаем, чьих рук это дело.

— Если они не разделаются с магнитофоном, когда разделаются с диваном,— сказал Арктор.

Он лихорадочно соображал, какие трудности создаст очередная выдумка доморощенного гения. Они-то знают, что делать,— сотрут запись, перемотают ленту, оставят дверь незапертой и не тронут записку. Кстати, открытая дверь даже облегчит им работу. Чертов Баррис! Все равно, как пить дать, забыл включить магнитофон в сеть. Но, разумеется, если он обнаружит штепсель выдернутым...

Тогда он сочтет это доказательством, что у нас кто-то был, пришел к выводу Арктор. Начнет стучать себя в грудь кулаком и изводить нас историями, как кто-то хитроумно отключил его электронное устройство.

Одна из наиболее эффективных форм промышленного или военного саботажа — это ограничиться нанесением таких повреждений, которые трудно с определенностью назвать умышленными. Если в автомобиле установлена бомба, то налицо действие врага. Но если происходит случайность или серия случайностей, если оборудование просто отказывается работать, если оно выходит из строя постепенно за какой-то естественный период времени с множеством маленьких неисправностей и поломок, тогда жертве, будь то частное лицо или государство, даже не приходит мысль о защите.

Наоборот, рассуждал Арктор, человек начинает думать, что врагов нет, а есть зато мания преследования. Он начинает сомневаться в себе: ему все мерещится. И это доканывает его куда основательнее, чем любая реальная опасность. Правда, уходит много времени. А той порой жертва может узнать, кто за ней охотится, и нанести ответный удар. То есть у жертвы куда больше шансов уцелеть, чем если бы в нее, скажем, стреляли из винтовки с телескопическим прицелом. Это преимущество жертвы.

Все страны обучают и засылают тучи агентов — тут ослабить гайку, там отвернуть винтик, где-то оборвать проводок или потерять документ... Маленькие неприятности. Жевательная резинка в «Ксероксе» может уничтожить незаменимый и жизненно важный документ: вместо снятия копии стирается оригинал. Избыток мыла и туалетной бумаги, как было известно хиппи шестидесятых, могут засорить всю канализационную систему здания и выдворить на неделю жильцов...

Подобно моей жене, вспомнил Арктор. Он тогда работал инспектором страховой компании. Она бесилась, что он засиживается допоздна, составляя отчеты, вместо того чтобы трепетать от восторга при виде жены. К концу их совместной жизни она взяла на вооружение многие трюки и хитрости. Она могла обжечь руку, прикуривая сигарету, запорошить себе чем-нибудь глаза или без конца искать что-то возле его пишущей машинки. Сперва он нехотя откладывал работу и покорно предавался восторженному трепету; потом ударился головой о кухонную полку и нашел лучшее решение.

— Если они убили наших животных,— бормотал Лакмен,— я им подложу бомбу. Я их в порошок сотру. Я профессионалов найму, из Лос-Анджелеса, банду «пантер».

— Да нет,— скривился Баррис.— Какой им смысл убивать животных? Животные ничего не сделали.

— А я сделал? — спросил Арктор.

— Очевидно, они так полагают,— сказал Баррис.

— *«Если б я знала, что оно безобидное, я бы убила его сама»*,— проговорил Лакмен.— Помните?

Но Тельма Корнфорд была из добропорядочных, вспоминал Арктор. Как-то она пришла к нам и попросила убить залетевшую к ней стрекозу. А когда мы объяснили...

Сидя за рулем автомобиля, Арктор прогнал в памяти эпизод, который произвел на них на всех неизгладимое впечатление. Изящная элегантная девушка из добропорядочных, обратившаяся с просьбой убить большое, но безвредное насекомое, которое на самом деле приносило только пользу, поедая комаров. А потом она произнесла слова, ставшие для них символом всего того, что надо бояться и презирать:

ЕСЛИ Б Я ЗНАЛА, ЧТО ОНО БЕЗОБИДНОЕ, Я БЫ УБИЛА ЕГО САМА

Так хорошо образованная и материально обеспеченная Тельма Корнфорд сразу стала их врагом. И, к ее полному недоумению, они бежали сломя голову, бежали, бросившись вон из роскошной квартиры в свою грязную конуру.

Однажды, еще до перехода на тайную работу, Арктор снимал показания у зажиточной четы из добропорядочных, в чьей квартире похозяйничали наркоманы. Он запомнил одну их фразу: «Люди, которые вламываются в ваш дом и забирают ваш цветной телевизор, ничуть не лучше тех извергов, которые калечат животных или варварски уничтожают бесценные произведения искусства». «Нет,— возразил Арктор, оторвавшись на минуту от записи показаний.— Наркоманы редко обижают животных». Он сам видел, как они ухаживают за покалеченными животными, в то время как добропорядочные давно бы «усыпили» их — еще один специфический термин. Однажды он помогал двум абсолютно выгоревшим торчкам освободить кота, застрявшего в разбитом окне. Торчки, едва что-либо соображавшие, возились больше часа, терпеливо и бережно. Неизвестно, чей это был кот; вероятно, учуял еду и попытался впрыгнуть в окно. Одурманенные торчки не замечали зверюгу, пока та не заорала; а потом позабыли ради нее свои глюки и приходы. В конечном итоге кот остался цел и невредим; они его еще накормили.

Что касается «бесценных произведений искусств», тут тоже трудно что-либо сказать. Во время войны во Вьетнаме по приказу ЦРУ в Май Лай были уничтожены 450 бесценных произведений искусства плюс без счету цыплят, рогатого скота и другой живности, не внесенной в каталог.

— Вам не кажется,— вслух произнес Арктор, старательно ведя машину,— что когда мы умрем и предстанем перед Господом в Судный День, то выяснится, что составлен реестр наших грехов? В хронологическом порядке. А может, в алфавитном... Испускаю я дух глубоким старцем лет под девяносто, и вдруг как зарычит на меня Господь: «Так ты и есть тот самый сорванец, который в 1962 году украл три бутылки кока-колы из грузовика у магазина 7—11?!»

— Грех есть устаревший иудейско-христианский миф,— посмеиваясь, бросил Баррис.

— Может быть, все грехи держат в одной большой бочке для соленья.— Арктор с ненавистью взглянул на антисемита Барриса.— В бочке для кошерного соленья. А потом просто выворачивают ее на тебя, и ты стоишь, обтекая грехами. Своими собственными, ну и небось примешается парочка чужих, попавших по ошибке.

— Грехи другого человека, но с тем же именем,— добавил Лакмен.— Как по-твоему, Баррис, сколько существует Робертов Аркторов?

Сколько существует Арктуров, подумал Роберт Арктор, совершенно шизанутая мысль... Мне известно два. Некий Фред, наблюдающий за неким Бобом. Одно и то же лицо. Или нет? Кто знает? Должен был бы знать я, потому что на всем свете только мне известно, что Фред — это Боб Арктор. *Но*, подумал он, *кто я? Который из них — я?*

Они вылезли из машины и настороженно подошли к двери. Дверь была незаперта, и на ней висела записка Барриса, но в доме все казалось нетронутым.

В Барриое мгновенно проснулись подозрения.

— Ага! — буркнул он и молниеносно схватил с полки свой пистолет. Как обычно, заурчали животные, требуя еды.

— Что ж, Баррис,— промолвил Лакмен.— Теперь я вижу, что ты прав. Здесь определенно кто-то был. Об этом свидетельствует тщательное заметание следов, которые иначе бы остались...— Он рыгнул и поплелся на кухню за пивом.— Баррис, тебя накололи.

Баррис невозмутимо продолжал осматриваться.

А может быть, и найдет, подумал Арктор. Может быть, они все-таки наследили. И тогда Баррис придет к выводу, что я специально выманил их из дома, чтобы дать возможность тайным гостям сделать здесь свое дело. А потом сообразит и все остальное — если уже не сообразил, причем давным-давно. Достаточно давно, чтобы осуществить диверсии против цефаскопа, машины и бог знает чего еще. Может, стоит мне включить свет в гараже, и весь дом взлетит на воздух.

— Смотрите! — воскликнул Баррис, нагнувшись над пепельницей на журнальном столике.— Идите сюда!

— Еще горячий окурок,— изумленно проговорил Лакмен.— Точно.

Боже мой, подумал Арктор. Кто-то покурил и машинально оставил сигарету. Значит, они только что ушли.

— Погодите-ка,— пробормотал Лакмен. Он покопался в переполненной пепельнице и вытащил чинарик.

— Вот что теплится! Они курили травку... Но чем они занимались? Какого черта им здесь надо было?! — Лакмен хмуро огляделся по сторонам, злой и сбитый с толку.— Боб! Черт побери, Баррис был прав! У нас кто-то копался! Чинарик горячий...— Он сунул окурок под нос Арктору.— Внутри еще тлеет, видно, плохо порезана травка.

— Этот чинарик,— мрачно заявил Баррис,— мог быть оставлен здесь не случайно.

— То есть? — спросил Арктор. Интересно, думал он, это что за полицейская группа, в составе которой есть наркоман, не стесняющийся, причем, курить при исполнении служебных обязанностей на глазах у своих товарищей...

— Возможно, они побывали с единственной целью подбросить нам наркотики,— предположил Баррис.— И теперь настучат. А у нас кругом запрятаны наркотики. Например, в телефоне... или, вот, в розетках. Нам придется перерыть весь дом, и быстро, пока они не позвонили в полицию.

— Ты займись розетками,— решительно сказал Лакмен,— а я разберу телефон.

— Погоди,— Баррис поднял руку.— Если увидят, как мы тут шуруем прямо перед рейдом .

— Перед каким рейдом? — спросил Арктор.

— Если мы начнем сейчас бешено мотаться, разыскивая и уничтожая наркотики,— указал Баррис,— то не сможем утверждать,— хоть это и правда,— что ничего об этих наркотиках не знаем. Нас возьмут с поличным. А, может быть, это тоже часть их плана...

— А-а, дерьмо! — с омерзением выругался Лакмен и плюхнулся на кушетку.— Наркотики, вероятно, запрятаны в тысяче разных мест, и нам их никогда не найти. Мы влипли!

— Как там насчет твоей электроники, подключенной к двери? — вдруг вспомнил Арктор.

— Верно! Сейчас мы получим жизненно важную информацию!

Баррис опустился на колени, зашарил под кушеткой и с кряхтением вытащил пластмассовый магнитофончик.

— Он нам о многом расскажет,— предвкушающе бормотал Баррис. Неожиданно лицо его вытянулось.— Впрочем, какая там информация... Главное уже известно — в наше отсутствие в доме кто-то был.

Молчание.

— Кажется, я догадываюсь...— произнес Лакмен.

— Войдя, они первым делом его выключили. Я, разумеется, оставил его включенным, но посмотрите — теперь он выключен. Так что хоть я...

— Значит, ничего не записалось? — разочарованно протянул Лакмен.

— Все сделано молниеносно! — восхитился Баррис.— Через записывающую головку не прошло и дюйма ленты. Между прочим, это великолепный магнитофон, «Сони», трехголовочный, с системой шумоподавления «Долби». Я достал его на распродаже, по дешевке, и ни разу не мог пожаловаться... Знаешь, Боб, тебе остается только одно.

— Продать дом и переехать,— продолжил за него Арктор.

Баррис кивнул.

— Но, черт побери,— запротестовал Лакмен.— Это наш дом!

— Сколько сейчас стоят дома в этом районе? — Баррис заложил руки за голову.— Может быть, ты еще останешься в выигрыше, Боб. С другой стороны, на срочной продаже можно немало потерять. Но, боже мой, Боб, против тебя действуют профессионалы!

— Вы знаете хорошего агента по недвижимости? — спросил Лакмен.

— Всегда интересуются причиной продажи. А что я им скажу? — заметил Арктор.

— Да, правду говорить нельзя,— согласился Лакмен. Он погрузился в раздумье, мрачно потягивая пиво.— Я ничего не могу придумать!

— Просто выложим, что по всему дому запрятаны наркотики, и мы не знаем, где они,— сказал Арктор.— Поэтому решили переехать, а вместо нас пусть попадается новый владелец.

— Нет,— возразил Баррис — Нам не стоит открывать карты. Пожалуй, Боб, тебе лучше сослаться на перемену места работы.

— Куда же? — поинтересовался Лакмен.

— В Кливленд,— уверенно ответил Баррис.

— По-моему, нам следует говорить правду,— настаивал Арктор.— Или вообще дать объявление в «Л. А. Таймс»: «Продается новый дом с двумя ваннами для быстрого смывания наркотиков, которые запрятаны во всех помещениях. Стоимость наркотиков входит в цену».

— Но ведь начнутся звонки. Будут спрашивать, какие наркотики,— указал Лакмен.— А мы не знаем.

— И еще вопрос — сколько,— пробормотал Баррис.— Заинтересованные лица будут наводить справки.

— А у нас то ли с гулькин нос какой-нибудь дряни Лакмен пожал плечами.— ..То ли уйма чистого героина.

— Выхода нет,— подытожил Арктор.— Нам каюк.

Из соседней комнаты появилась Донна Хоторн с растрепанными волосами и опухшим от сна лицом.

— Я прочитала записку и вошла. Посидела немного и решила соснуть. Вы же не написали, когда вернетесь... Чего случилось? Так тут разорались, что меня разбудили!

— Ты курила травку? — потребовал Арктор.

— Ясное дело. Иначе бы мне не заснуть. Разве можно оставлять дверь открытой? Вас могли обчистить, и сами были бы виноваты. Бездушные капиталисты из страховых компаний отказываются платить, если были незаперты дверь или окно.

— Ты давно здесь? — спросил ее Арктор. Неужели она помешала установить аппаратуру?

Донна кинула взгляд на подаренные им квадпатилолларовые часы.

— Около 38 минут... Вы что, собираетесь продавать дом? Или мне померещилось? Не могу понять — я слышала какую-то дикую чушь.

— Нам всем померещилось,— сказал Арктор.

А действительно, что из того, что сегодня говорилось, говорилось всерьез? Что из безумия этого дня — его безумия — было реальным? Что было наведено контактом с сумасшедшими, с сумасшествием ситуации?.. Как бы он хотел ответить Донне...

Перевод с английского
В. БАКАНОВА

(Продолжение следует)

Проза

Глава 7

На следующий день Фред явился в управление.

— Установлено шесть голокамер — по нашему мнению, шести пока достаточно,— которые передают информацию в надежную квартиру в том же квартале, где находится дом Арктора,— объяснял Хэнк, разложив на столе план-схему дома Роберта Арктора. — Оттуда мы ведем наблюдение еще за девятью объектами, так что вам придется встречаться с другими тайными агентами. Обязательно носите костюм-болтунья.

— Но это чересчур близко...— возразил Фред.— Впрочем, я скажу, что встречаюсь там с цыпочкой, если Арктор или кто-нибудь из других торчков меня заметит.

Даже удобно. В любой момент забежать в эту квартиру, прогнать запись, а потом быстренько вернуться...

В свой собственный дом, подумал он. На одном конце улицы я — Боб Арктор, закоренелый наркоман, за которым следит полиция. На другом конце — Фред, бдительно просматривающий мили и мили ленты. Все это действует на нервы. Но обеспечивает ценную информацию личного характера. Скорее всего камеры уличат того, кто за мной охотился, в первую же неделю.

Филип К. ДИК

ПОМУТНЕНИЕ

Роман

От этой мысли у него улучшилось настроение.

— Отлично,— сказал он Хэнку.

— Запомните, где расположены камеры. Если потребуется обслуживание, вы, очевидно, что-то сможете сделать сами, находясь в доме Арктора. Вы ведь бываете у него, не так ли?

Черт побери, подумал Фред, я попаду в запись: Роберт Арктор, с расплывшимся на весь экран лицом, возится с забарахлившей голокамерой. Но, с другой стороны, первым запись будет просматривать *он*. И любой кусок можно вырезать.

Но что вырезáть? Вырезать Арктора, полностью? Но Арктор подозреваемый. Значит, вырезать Арктора, только когда тот ремонтирует камеру...

— Я буду себя вырезать. Чтобы вы меня не увидели. Мера предосторожности.

— Разумеется. Все места, где вы появляетесь как информатор. Это что касается видеозаписи. По фонограммам определенных правил не существует. Впрочем, нет нужды беспокоиться. Само собой, вы входите в круг друзей Арктора. Вы либо Джим Баррис, либо Эрни Лакмен, либо Чарлз Фрек, либо Донна Хоторн...

— Донна? — Он рассмеялся. Вернее, рассмеялся костюм — по-своему.

— Либо Боб Арктор,— невозмутимо закончил Хэнк, глядя в список.— Но если вы будете вырезать себя систематически, хотим мы того или нет, мы путем исключения установим вашу личность. Словом, вам надо вырезать себя — как бы это выразиться? — изобретательно, артистично, черт побери, творчески!.. Например, в те короткие периоды, когда вы обыскиваете дом, или поправляете камеру, или...

— А вы просто раз в месяц присылайте кого-нибудь в форме,— посоветовал Фред. — Так, мол, и так, доброе утро, мне нужно сделать технический осмотр голокамер и подслушивающих устройств, тайно установленных в вашем доме, в вашем телефоне и в вашей машине.

— Тогда Арктор притаится, а потом исчезнет.

— Если Арктор что-нибудь скрывает,— с нажимом сказал Фред.— Это не доказано.

— Арктор, очевидно, скрывает очень многое. Мы получили и проанализировали новые факты. Практически не остается никаких сомнений — это человек с двойным дном, он насквозь *фальшивый*.

— Подложить ему наркотики?

— Повременим.

— Арктор обречен,— сказал Фред.

— Скоро мы соберем на него полное досье,— заверил Хэнк.— И тогда мы его посадим. К всеобщей радости.

Запоминая адрес конспиративной квартиры, Фред подумал: а как будет использоваться грязный, но большой дом Роберта Арктора, когда хозяина упрячут за решетку? Скорее всего там расположится еще более крупный узел обработки информации.

— Вам понравится дом Арктора,— сказал он вслух.— Хороший двор, много зелени.

— Наша техническая группа сообщала то же самое. Есть определенные перспективы. К примеру, окно гостиной выходит на перекресток; таким образом можно следить за проходящим транспортом...— Хэнк стал копаться в груде бумаг на столе.— Но руководитель группы докладывает, что дом настолько ветхий, что его не стоит забирать.

Рисунки Дмитрия Кедрина

Продолжение. Начало см. в № 4 за 1989 год.

— То есть как это? Как это ветхий?!

— Крыша.

— Крыша совершенно новенькая, с иголочки!

— Покраска. Состояние полов и перекрытий. На кухне...

— Чушь! — возмутился Фред, точнее, пробубнил костюм.— Они, может, не убирают посуду или, там, не выбрасывают мусор, но в конце концов трое одиноких мужчин! Это — женское дело. Если бы Донна Хоторн переехала, как того хочет, прямо умоляет Боб Арктор, она бы этим и занялась. Так или иначе, если дружно взяться, дом можно привести в идеальный порядок за полдня. Что касается крыши, это меня просто бесит, потому что...

— Значит, вы советуете использовать дом, когда Арктор будет арестован и потеряет право собственности?

Фред застыл.

— Ну? — подстегнул Хэнк, занеся над бумагой шариковую ручку.

— Мне все равно, поступайте как хотите...

Фред поднялся, собираясь уходить.

— Не спешите. Вы должны зайти в комнату № 203.

— Если это по поводу моего выступления...

— Нет,— сказал Хэнк.— Это по какому-то другому поводу.

Фред оказался в белоснежной комнате с привинченными к полу стальными столом и стульями. Она походила на больничную палату — стерильная, холодная и чересчур ярко освещенная. В углу стояли весы. В комнате ждали два человека в полицейской форме, но с медицинскими нашивками.

— Вы Фред? — спросил один из них, с усами.

— Да, сэр,— ответил Фред. Он почувствовал страх.

— Ну-с, Фред, скажите нам, вы принимаете препарат С?

— Вопрос, собственно, излишний,— пояснил другой,— потому что в силу специфики работы вы вынуждены это делать. Подойдите сюда и садитесь. Мы проведем несколько простых тестов.— Он махнул рукой на стол, на котором лежали бумаги и какие-то странные, незнакомые Фреду предметы.

— Что касается моего выступления...— начал Фред.

— Проверка вызвана тем, что в последнее время некоторые тайные агенты попали в федеральные невропатологические клиники. Вам известно, что прием препарата С вызывает привычку?

— Безусловно,— сказал Фред.— Конечно, известно.

— Мы начнем с теста...

— К чему все это? — перебил Фред.— Спорю, что из-за моего выступления перед общественностью.

— Среди линий на листке есть рисунок знакомого предмета. Вы можете его найти?

— Я вижу бутылку коки.

— Но правильный ответ — бутылка содовой,— сказал сидящий врач, заменяя листок.

— Вы что-то заметили, прослушивая записи моих встреч с руководством? Какие-нибудь отклонения? Может быть, произнесенная мною речь показала дисфункции головного мозга?

— Нет, обычная проверка. Мы понимаем, что тайный агент по долгу службы вынужден принимать наркотики...

— Вас не беспокоят перекрестные разговоры? — неожиданно вмешался стоящий врач.

— Что?..— растерянно переспросил Фред.

— Диалоги между полушариями. Порой, если левое полушарие, где расположен речевой центр, повреждено, правое полушарие пытается компенсировать, по мере сил взять на себя его роль.

— Не знаю,— промолвил он.— Не обращал внимания.

— Чужие мысли. Словно за вас думает другой человек. Иногда всплывают даже незнакомые иностранные слова, то есть слова, которые вы когда-то запомнили подсознательно.

— Ничего подобного. Я бы заметил.

— Вероятно, заметили бы. По опыту людей, страдающих повреждениями левого полушария, это крайне неприятно. Ранее считалось, что правое полушарие вообще не управляет речью. Но в последнее время очень многие люди подвергли свои левые полушария разрушительному действию наркотиков, и в отдельных случаях правое полушарие имело возможность заполнить, так сказать, вакуум.

— Теперь я, безусловно, буду начеку,— заверил Фред и услышал свой голос — голос покорного, исполнительного школьника, готового на любое указание, исходящее сверху. Разумное или бессмысленное — не имеет значения.

Просто соглашайся, подумал он. И делай, что тебе говорят.

— Что вы видите на второй картинке?

— Овцу,— сказал Фред.

— Покажите мне овцу.— Сидящий врач склонился над столом и повернул картинку.— Нарушение способности распознавать отличительные признаки приводит к большим неприятностям — вместо того, чтобы установить отсутствие определенной формы, вы воспринимаете ложную форму.

Например, собачье дерьмо, подумал Фред. Собачье дерьмо наверняка можно считать «ложной формой». По всем параметрам... Он почувствовал себя разбитым и уставшим, как во время публичного выступления.

— Значит, не овца? А что? Хоть похоже?

— Это отнюдь не тест Роршаха, где бесформенная клякса может быть истолкована по-разному,— сказал врач.— В данном случае обрисован лишь один предмет, и только один. А именно собака.

— Что? — испуганно переспросил Фред.

— Собака.

— Где вы тут видите собаку? — Он не видел никакой собаки.— Покажите мне.

Сидящий врач показал.

— А что значит, если я увидел овцу?

— Возможно, обыкновенный психологический блок,— ответил стоящий врач, переступая с ноги на ногу.— Только когда мы проведем всю серию...

— В этом и заключается превосходство данного теста перед тестом Роршаха,— перебил сидящий, доставая другую картинку.— Верный ответ только один. Если вы постоянно ошибаетесь, мы определяем функциональное повреждение восприятия и будем приводить вас в форму, пока не пройдете испытание успешно.

— В федеральной клинике? — спросил Фред.

— Да. Ну-с, что вы видите здесь?

— Вы мне скажите,— потребовал Фред,— это из-за той речи?

Врачи обменялись взглядами.

— Нет,— наконец ответил стоящий.— Нас насторожила одна беседа... ну, просто болтовня... Около двух недель назад. Понимаете, при обработке записей возникает временна́я задержка. Таким образом, мы постоянно изучаем материал примерно двухнедельной давности. До вашей речи еще не добрались.

— Вы несли какую-то околесицу об украденном велосипеде,— подхватил другой врач.— О так называемом семискоростном велосипеде. Вы пытались сообразить, куда подевались еще три скорости, не так ли? — Врачи снова обменялись взглядами.— Вы ведь считали, что они остались на полу гаража?

— Нет,— возразил Фред.— Это все Чарлз Фрек. Он совершенно задурил всем голову. Лично я просто шутил.

БАРРИС *(стоит посреди гостиной с новеньким блестящим велосипедом, очень довольный)*. Поглядите, что я достал за двадцать долларов!

ФРЕК. Что это?

БАРРИС. Велосипед. Гоночный, десятискоростной, абсолютно новый. Я заметил его в соседнем дворе и поинтересовался. Там оказалось четыре таких, и я купил его за двадцать долларов наличными. У цветных. Они даже любезно передали мне его через забор.

ЛАКМЕН. Кто бы подумал, что абсолютно новенький десятискоростник можно купить за двадцать долларов. Просто поразительно, что можно купить за двадцать долларов!

ДОННА. У одной цыпочки в прошлом месяце точно такой украли. Вы должны вернуть его. Пускай она по крайней мере взглянет, не ее ли.

ФРЕК. Почему вы твердите, что он десятискоростной, когда у него только семь шестеренок?

БАРРИС *(ошеломленно)*. Что?

ФРЕК *(подходит и указывает)*. Ну вот пять шестеренок здесь и две на другом конце цепи. Пять плюс две получается семь. Значит, это только семискоростной велосипед.

ЛАКМЕН. Верно. Но даже семискоростной велосипед, безусловно, стоит двадцати долларов. Выгодная покупка.

БАРРИС *(оскорбленно)*. Эти цветные заверили меня, что у него десять скоростей... Грабеж!

(Все обступают велосипед и пересчитывают шестеренки.)

ФРЕК. Теперь я вижу восемь. Шесть впереди и две сзади. Итого восемь.

АРКТОР *(рассудительно)*. Но должно быть десять. Семи- или восьмискоростных велосипедов не существует. Во всяком случае, я о таких не слышал. Интересно, куда делись пропавшие скорости?

БАРРИС. Должно быть, с великом возились эти цветные. Разбирали его не теми инструментами, без должной технической подготовки. А когда собирали, три шестеренки остались на полу гаража. Так, наверное, там и лежат.

ЛАКМЕН. Надо потребовать их назад.

БАРРИС *(со злостью)*. В этом-то и заключается их план: наверняка сдерут деньги! Не удивлюсь, если они еще что-нибудь прикарманили. *(Придирчиво осматривает велосипед.)*

ЛАКМЕН. Если мы пойдем вместе, все отдадут, как миленькие, не сомневайся! Ну, идем? *(Оглядывается в поисках поддержки.)*

ДОННА. А вы уверены, что их только семь?

ФРЕК. Восемь.

ДОННА. Семь, восемь!.. В любом случае надо у кого-нибудь спросить. Прежде чем катить баллон.

АРКТОР. Она права.

ЛАКМЕН. Кого спросить-то? Кто у нас сечет в гоночных великах?

ФРЕК. Остановим первого встречного!

(Выкатывают велосипед и обращаются к молодому негру, который только что вышел из своей машины. Указывают на семь — восемь? — шестеренок и спрашивают, сколько их, хотя каждому видно — за исключением Чарлза Фрека,— что их всего семь: пять на одном конце цепи и две на другом. Пять плюс два — семь. Это ясно как божий день. Так что же получается?!)

МОЛОДОЙ НЕГР *(спокойно)*. Число шестеренок спереди и сзади надо не складывать, а перемножать. Видите, цепь перескакивает со звездочки на звездочку, а их пять, и мы получаем пять разных передаточных чисел на каждой из двух звездочек впереди. *(Показывает.)* Теперь, если мы повернем рычажок на руле *(показывает)*, цепь перейдет на вторую звездочку и опять-таки может перескакивать на любую из пяти сзади. То есть получается еще пять. Итого десять. Имейте в виду, что передаточное число всегда рассчитывается из...

(Все благодарят его и уходят, молча вкатывая велосипед в дом.)

— Нам известно, что вы были в этой компании,— сказал сидящий врач.— Никто не мог трезво взглянуть на велосипед и проделать простую математическую операцию по определению числа передач.— В тоне врача Фред почувствовал доброту, даже некоторое сострадание.— Вы все были невменяемы?

— Нет,— ответил Фред.

— Так в чем же дело?

— Забыл...

— Давайте продолжим тестирование,— предложил сидящий врач.— Что вы здесь видите, Фред?

— Пластмассовое собачье дерьмо... Могу я идти? — Он испытывал бешенство. Они его замучают из-за злополучной речи!

Оба врача, однако, рассмеялись.

— Знаете, Фред,— сказал сидящий,— если у вас не пропадет чувство юмора, пожалуй, вы своего добьетесь.

— Добьюсь? — повторил Фред.— Чего добьюсь? Успеха? Времени? Денег? Если вы, ребята, психологи и слушаете мои бесконечные доклады Хэнку, то скажите: как подобрать ключик к Донне? То есть я хочу спросить: как это делается? С такой вот милой, ни на кого не похожей, упрямой цыпочкой?

— Все девушки разные,— рассудил сидящий врач.

— Я имею в виду, как найти эстетический подход? — продолжал Фред.— А не споить ее, напичкать «красненькими» и изнасиловать, пока она валяется на полу.

— Купите ей цветы,— посоветовал другой врач.

— Что? — удивился Фред, широко раскрыв невидимые за костюмом глаза.

— В это время года можно купить маленькие весенние цветы.

— Цветы...— пробормотал Фред.— Какие? Искусственные или живые?.. Живые, я полагаю.

— Искусственные — дрянь,— сказал сидящий врач.— Они выглядят, как... подделка. Что-то фальшивое.

— Я могу идти? — спросил Фред.

Врачи переглянулись.

— Тест доведем до конца как-нибудь в другой раз,— сказал стоящий.— Не так уж это и срочно. Хэнк вас известит.

По какой-то неясной причине Фреду захотелось пожать им руки, но он этого не сделал. Он просто вышел, молча покачивая головой, с гнетущим чувством тревоги. Они копаются в моем досье... И что-то находят, раз есть повод для тестирования.

Весенние цветы, думал он, идя к лифту. Малюсенькие. Они, должно быть, едва поднимаются от земли, и люди их давят... Как они растут — в специальных коммерческих чанах или на природе? Интересно, каково там, на природе? Поля, запахи и все прочее... и где ее найти, эту природу? Куда надо ехать? У кого брать билет?

Я бы с удовольствием взял с собой Донну, когда соберусь ехать. Но как предложить такое девушке, если ты не знаешь, с какой стороны к ней подступиться? Если все время околачиваешься возле нее и ничего не получается?.. Нам нужно спешить, подумал он, потому что скоро все весенние цветы погибнут.

Глава 8

По пути к дому Боба Арктора Чарлз Фрек придумал, как разыграть Барриса. Он скажет, что купил метедриновую мастерскую, спрятанную в гараже у одного хлыща, а Баррис презрительно фыркнет, и тогда он объявит, что получил от дядюшки сорок тысяч и...

Фрек пока не мог сообразить, как закончить, но не сомневался, что сделает все в лучшем виде. Баррис непременно клюнет, особенно если у Боба будет народ. И тогда всем станет ясно, что Баррис — вонючий осел.

Баррис и Арктор копались в машине с поднятым капотом.

— Привет! — бросил Фрек, приближаясь фланирующей походкой.— Баррис,— небрежно-покровительственным тоном окликнул он, опуская руку тому на плечо.

— Потом! — прорычал Баррис.

— Я купил сегодня метедриновую мастерскую.

— Большую? — раздраженно спросил Баррис.

— Ну...— растерялся Фрек, не зная, что сказать дальше.

— Сколько дал? — вставил Арктор.

— Примерно десять долларов.

— Джим мог бы достать тебе дешевле,— заметил Арктор, вновь склонившись над мотором.— Да, Джим?

— Их сейчас отдают практически даром.— подтвердил Баррис.

— Целый гараж! — возмутился Фрек.— Настоящий завод! Машины, которые пекут миллионы таблеток в день!

— И все за десять долларов? — широко улыбаясь, спросил Баррис.

— Где она находится? — спросил Арктор.

— Не здесь,— смущенно ответил Фрек.— Эй, черт подери, вы опять меня разыгрываете!..

Из дома вышел Лакмен — в темных очках, пестрой рубашке и обтягивающих джинсах.

— Я узнавал, во что обойдется переборка карбюратора. Они скоро перезвонят, так что я оставил дверь открытой.

— Можно заодно заменить этот двухцилиндровый на четырехцилиндровый,— предложил Баррис.

— Резко возрастут холостые,— сказал Лакмен.— И потом он не будет переходить на высшую передачу.

— Поставим тахометр,— настаивал Баррис.— Как обороты чересчур поднимутся, надо сбросить газ, и тогда автоматически сменится передача. Я знаю, где достать тахометр. Вообще-то он у меня есть...

— Ну да,— саркастически произнес Лакмен.— При обгоне газанешь, а он перейдет на низшую передачу, и обороты так подскочат, что двигатель накроется!

— Водитель увидит, как прыгнула стрелка тахометра, и сразу сбросит газ,— терпеливо возразил Баррис.

— При обгоне-то?!

— Момент! — наставительно заявил Баррис.— Такую тяжелую машину момент поведет по инерции, даже если убрать газ.

— А в гору? — поддел Лакмен.

— Машина весит около тысячи фунтов,— сообщил Арктор.

Чарлз Фрек заметил, что он подмигнул Лакмену.

— Тогда ты прав,— согласился Баррис.— При таком весе

момент инерции будет небольшой. Хотя...— Он схватил ручку.— Тысяча фунтов со скоростью восемьдесят миль в час создают силу...

— Тысяча фунтов,— вставил Арктор,— это с пассажирами, полным баком и ящиком кирпичей в багажнике.

— Сколько пассажиров? — спросил Лакмен с серьезным видом.

— Двенадцать.

— То есть шесть сзади,— рассуждал вслух Лакмен,— и шесть...

— Нет,— перебил Арктор.— Одиннадцать сзади и впереди один водитель. На задние колеса давление должно быть больше, чтобы не заносило.

Баррис тревожно вскинул голову.

— Машину заносит?

— Если только сзади не сидят одиннадцать человек,— ответил Арктор.

— Лучше загружать багажник мешками с песком,— назидательно сказал Баррис.— Три двухсотфунтовых мешка с песком. Тогда пассажиров можно разместить равномернее, и им будет удобней.

— А может, один шестисотфунтовый мешок золота? — предложил Лакмен.— Вместо трех двухсотфунтовых...

— Ты отвяжешься?! — гаркнул Баррис.— Я пытаюсь рассчитать силу инерции при скорости восемьдесят миль в час.

— Машина не дает восьмидесяти,— заметил Арктор.— Один цилиндр барахлит. Я забыл сказать. Вчера что-то случилось.

— Тогда какого черта мы вытаскиваем карбюратор? — возмутился Баррис.— Так вот почему она не заводится...

— Твоя машина не заводится? — спросил Фрек Боба Арктора.

— Она не заводится,— сказал Лакмен,— потому что мы вытащили карбюратор.

— А зачем мы вытащили карбюратор? — растерянно спросил Баррис.— Я что-то забыл...

— Чтобы заменить все пружины и всякие мелкие штуковины,— разъяснил Арктор.

— Если бы вы не тарахтели все время, как зачуханные ублюдки,— обиженно пожаловался Баррис,— я бы давно закончил расчет. Так что ЗАТКНИТЕСЬ!

Лакмен раздул грудь, расправил плечи и поиграл бицепсами.

— Ну, Баррис,— процедил он, отводя назад правую руку,— сейчас я тебя проучу! Будешь знать, как разговаривать с людьми, которые превосходят тебя во всех отношениях!

Заблеяв от дикого ужаса, Баррис выронил ручку и блокнот и зигзагами помчался к дому, на ходу крича:

— Кажется, звонит телефон!..

— Я просто его подкалывал,— пробормотал Лакмен, пощипывая нижнюю губу.

— А если он возьмет свой револьвер с глушителем? — спросил Фрек, совершенно потеряв самообладание. Он потихоньку стал отходить к машине, чтобы сразу укрыться, как только Баррис начнет стрелять.

— Ну ладно, давай,— сказал Арктор.

И они принялись за работу, а Фрек околачивался возле своей машины, кляня себя за то, что вообще решил приехать Сегодня здесь нет той приятной расслабленной атмосферы, как обычно. Он с самого начала почувствовал недоброе. Что же произошло, недоумевал он, садясь в машину.

А ведь как хорошо отдыхалось, как сладко балделось под рок, особенно под «Стоунз»!.. Лакмен набивает сигаретку и разглагольствует о семинаре, который он проведет в УКЛА [1], по приготовлению и употреблению травки. И о том, как он однажды набьет идеальную сигаретку и ее поместят под стекло и в гелий в Музее американской истории рядом с другими реликвиями не меньшего значения... Как было здорово в те дни! А все началось с Джерри и перекинулось сюда.

— Я уезжаю,— заявил Фрек Лакмену и Арктору.

Из дома осторожно выглянул Баррис. В руке он сжимал молоток.

— Ошиблись номером,— сказал он, опасливо приближаясь и зыркая глазами, словно краб.

— Зачем молоток? — спросил Лакмен.

— Для ремонта двигателя,— предположил Арктор.

— Решил прихватить на всякий случай,— смущенно объяснил Баррис.— Попался на глаза...

— Самый опасный человек — это тот,— проговорил Арктор,— кто боится собственной тени.

Чарлз Фрек услышал эту фразу, отъезжая, и задумался: не имеет ли он в виду меня? Ему стало стыдно. А впрочем, какого черта здесь ошиваться? «Избегай дурных сцен» — вот мой девиз, напомнил себе Фрек. И уехал, не оглядываясь. Пусть грызутся между собой. Кому они нужны?.. Настроение резко упало. Такая пугающая перемена — чем она вызвана, что это значит?.. Но потом он подумал, что все еще может поправиться, дела пойдут на лад, и воспрянул духом. У него даже пронесся в голове коротенький глюк:

ВСЕ, КАК ПРЕЖДЕ

Собрались все, даже мертвые и выгоревшие, вроде Джерри Фабина. Их заливает белый свет — не дневной, но куда лучше,— целое море света. Слышна музыка, хотя трудно разобрать, с какой пластинки. Может быть, Хендрикс, подумал он. Да, старая вещь Хендрикса... Или нет: Джи-Джи. Джим Крос, и Джи-Джи, и особенно Хендрикс... «Перед тем, как я умру,— напевал Хендрикс,— дайте мне пожить, как я хочу...»

И тут вдруг глюк взорвался, потому что он вспомнил, что и Хендрикс, и Джоплин мертвы, не говоря уже о Кросе. Хендрикс и Джи-Джи погибли, сидя на игле,— два великолепных человека, потрясающих-распотрясных человека... Поговаривали, что менеджер давал Дженис Джоплин сущие гроши — она все пускала на наркотики... Потом в голове у него зазвучала музыка, и Дженис запела свою знаменитую «Одиночество», и он начал плакать. И так, плача, он ехал домой.

...Арктор сидел в гостиной с друзьями и пытался решить, нужно ли брать новый карбюратор или можно обойтись переборкой старого. Всем телом он чувствовал постоянный контроль, электронное присутствие камер. И на душе было хорошо.

— Ты радуешься,— заметил Лакмен.— Я бы не радовался, если бы мне пришлось выложить сотню долларов.

— Я решил найти точно такую машину, как у меня,— объяснил Арктор.— А затем снять с нее карбюратор и ничего не платить. Как делают все, кого мы знаем.

— Особенно Донна,— кивнул Баррис.— Лучше бы ее не было здесь в тот день, когда мы уезжали. Донна крадет все, что может унести. А если сил не хватает, она звонит своим дружкам, и те оказывают ей помощь.

— Расскажу вам одну историю про Донну,— сказал Лакмен.— Однажды она бросила четвертак в машину, что продает почтовые марки. Машина испортилась и давай эти марки выплевывать! В конечном итоге — Донна со своими дружками-головорезами пересчитала — оказалось больше восемнадцати тысяч пятнадцатицентовых марок. Ну, скажете вы, здорово! Только что́ с ними делать Донне Хоторн, которая в жизни не написала ни одного письма?! Так или иначе, сидит она с грудой пятнадцатицентовых марок и ума не приложит, куда их деть. Не продавать же обратно почте! Позвонила дружкам, которые на нее работают, и они приехали с каким-то спецобалденным отбойным молотком — с водяным охлаждением и водяным глушителем. Краденый, конечно. Вот... и среди ночи выдрали эту машину прямо из асфальта и увезли к Донне на пикапе. Тоже, наверное, угнанном...

— Ты хочешь сказать, что она продавала марки? — проговорил ошеломленный Арктор.— Через автомат?

— Эта женщина невменяема! — возмутился Баррис.— Ее надо лечить! Ты понимаешь, что у нас повысились налоги из-за того, что она украла машину?!

— Напиши об этом властям,— неприязненно посоветовал Лакмен.— Попроси у Донны марку для письма, она тебе продаст.

— За полную стоимость,— сказал Баррис, кипя негодованием.

Голокамеры, подумал Арктор, накрутят десятки миль подобных записей на своих дорогих лентах... А потом ему в голову пришла ужасная, чудовищная мысль: предположим, просматривая записи, я увижу, как Донна забирается в мой дом, открыв окно вилкой или лезвием ножа, и крадет или портит все мое имущество. *Другая* Донна, такая, какая она есть на самом деле, когда уверена, что за ней никто не наблюдает... Не превращается ли внезапно милая, добрая, очень добрая девушка в нечто кошмарное? Не увижу ли я перемену, которая разобьет мое сердце? Перемену в Донне или в Лакмене — в близких мне людях?

---

[1] УКЛА — Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе.

Черт возьми, подумал он, а может, Боб Арктор встает среди ночи и выкидывает дикие коленца? Сношается со стеной. Или вступает в заговор с ошизевшими торчками, чтобы взорвать на вокзале мужской туалет...

Боб Арктор, рассуждал он, может узнать такое, к чему он совершенно не готов,— о Донне, о Лакмене, о Баррисе. Например, что Баррис отправляется спать, когда никого вокруг нет. И спит, пока кто-нибудь не появится.

Но вряд ли. Скорее Джим Баррис выуживает из каких-нибудь закоулков своей комнаты спрятанный передатчик и посылает закодированный сигнал своим коллегам, с которыми тайно злоумышляет,— уж по каким там причинам тайно злоумышляют такие типы, как Баррис...

Говорят, что, когда слушаешь запись, невозможно узнать собственный голос. Или распознать себя на видео. Вы представляли себя высоким, толстым, темноволосым мужчиной, а оказываетесь худенькой лысой женщиной... Уверен, что я узнаю Боба Арктора, думал он, если не по одежде, то путем исключения. Тот, кто живет в этом доме и не является Баррисом или Лакменом,— Боб Арктор. Если не кошка и не собака...

— Мне надо идти,— сказал он.— Лакмен, твоя машина на ходу?

— Нет,— подумав, ответил Лакмен.— По-моему, нет.

— Можно мне одолжить твою машину, Джим?

— Я сомневаюсь, что ты сумеешь ею управлять...

Это возражение возникало всякий раз, когда кто-нибудь хотел воспользоваться машиной Барриса. Оказывается, Баррис внес кое-какие секретные изменения в

а) подвеску;

б) двигатель;

в) трансмиссию;

г) электросистему;

д) а также в часы, зажигалку, пепельницу и в бардачок.

Особенно в бардачок. У Барриса он всегда был заперт. Радиоприемник тоже был хитроумно переделан. Нажатие любой кнопки вызывало только треск. И, как ни странно, рок-музыка не ловилась никогда. Порой, когда они вместе ехали за покупками и Баррис выходил из машины, он включал определенную станцию на полную громкость. Если во время его отсутствия они меняли настройку, он в бешенстве что-то бессвязно орал, а потом молчал всю дорогу и отказывался объяснять свое поведение. Возможно, настроенный на некую частоту, его приемник вел передачу

а) властям;

б) общественной военно-политической организации;

в) синдикату;

г) инопланетянам.

— То есть я хочу сказать...— начал Баррис.

— А, заткнись! — оборвал Лакмен.— У тебя самая обычная машина. На стоянку ее загоняет сторож. А почему ею не может пользоваться Боб? Жмот ты проклятый!

— Пойду пешком,— сказал Арктор.

— Ты куда? — спросил Лакмен.

— К Донне.— Добраться до нее пешком было почти немыслимо, и, значит, ни Лакмен, ни Баррис за ним не увяжутся. Он набросил плащ и подошел к двери.— До скорого.

— Моя машина...

— Если б я попробовал вести твою машину,— перебил Арктор,— то нажал бы ненароком не на ту кнопку и улетел бы из Лос-Анджелеса к чертовой матери.

— Я рад, что ты понимаешь мое положение,— виновато сказал Баррис.

Фред в костюме-болтунья бесстрастно наблюдал за голографическим изображением. В соседних кабинах просматривали записи другие агенты. Фред, однако, смотрел прямую передачу из дома Боба Арктора.

Баррис сидел в лучшем кресле гостиной, склонившись над гашишной трубкой, которую он мастерил уже несколько дней, и виток за витком наматывал белую проволоку. Лакмен скрючился за кофейным столиком и жадно заглатывал ужин, не отрывая глаз от экрана телевизора. На столе валялись четыре пустые жестянки из-под пива, сплющенные его могучим кулаком; теперь он потянулся за пятой, опрокинул, пролил пиво и выругался. Баррис отрешенно поднял голову, а потом снова склонился над работой.

Внезапно Лакмен выронил ложку, вскочил, пошатываясь, на ноги и отчаянно замахал руками, пытаясь что-то сказать. Его рот открылся, и на одежду полетели куски полупережеванной пищи. С радостным мяуканьем к нему бросились кошки.

Баррис возвел глаза на несчастного Лакмена. Тот закачался, схватился рукой за столик и свалил все на пол. Кошки испуганно бросились наутек. Баррис оставался в кресле, не сводя взгляда с Лакмена. Лакмен сделал несколько нетвердых шагов к кухне, зашарил в темноте, нашел стакан, попытался наполнить его водой. Охваченный ужасом, Фред отпрянул от монитора и зачарованно смотрел на сидящего спокойно Барриса. Через несколько секунд Баррис опустил голову и стал невозмутимо и сосредоточенно наматывать проволоку.

Динамики доносили душераздирающие звуки, стоны, хрипы, клокотание и грохот посуды — Лакмен сбрасывал горшки, кастрюли, утварь, стараясь привлечь внимание Барриса. Баррис методично работал.

На кухне тем временем Лакмен упал на пол — не медленно, на колени, а резко, ничком, с тяжелым стуком. Баррис продолжал мотать проволоку. На его лице, в уголках рта, появилась легкая злорадная усмешка.

Фред поднялся и застыл, парализованный и возбужденный одновременно.

Несколько минут Лакмен недвижно лежал на кухонном полу, а Баррис все мотал и мотал проволоку, склонившись над трубкой, как старушка над вязаньем, и все улыбался и улыбался и даже немного раскачивался. Затем Баррис резко отбросил трубку, встал, и на его лице отразился ужас. Он в беспомощном испуге всплеснул руками, бестолково заметался и наконец подбежал к Лакмену.

Входит в роль, понял Фред. Словно он только что пришел. Лицо Барриса приняло скорбное выражение. Он рванулся к телефону, схватил трубку, уронил ее, поднял... Какой кошмар, Лакмен лежит на полу в кухне, подавившись куском пищи!.. И теперь Баррис отчаянно пытается вызвать помощь. Увы, поздно...

Баррис говорил по телефону — медленно, необычно высоким голосом.

— Девушка, куда надо звонить: в ингаляторную или в реанимационную?

— Сэр,— пропищало рядом с Фредом подслушивающее телефонное устройство,— у кого-то затруднено дыхание? Вы хотите...

— Полагаю, что это инфаркт. Либо инфаркт, либо нарушение проходимости дыхательных путей вследствие...

— Ваш адрес, сэр? — прервала телефонистка.

— Адрес? — забормотал Баррис.— Сейчас, надо подумать, адрес...

— Боже, — выдавил Фред.

Внезапно Лакмен зашевелился, судорожно дернулся и раскрыл затуманенные глаза.

— Кажется, с ним все уже в порядке,— затараторил Баррис.— Спасибо, помощь не требуется.— Он быстро положил трубку.

— Господи...— прохрипел Лакмен, тряся головой, кашляя и хватая ртом воздух.

— Ну, как ты? — участливо спросил Баррис.

— Наверное, подавился. Я что, вырубился?

— Не совсем. Твое сознание, однако, перешло на другой уровень. На некоторое время. Очевидно, в альфа-состояние.

— Боже, я обделался!

Покачиваясь от слабости, Лакмен с трудом встал и схватился за стенку.

— Я совсем опустился... Как старый пьяница,— с отвращением выдавил он и, шатаясь, направился к ванной.

Наблюдая за происходящим, Фред почувствовал, как ужас отступает. Лакмен очухается. Но Баррис! Что это за человек?!

— Так и окочуриться можно,— сквозь плеск воды донесся голос Лакмена.— У меня очень крепкий организм... Что ты делал, пока я там валялся? Пасьянс раскладывал?

— Ты же видел — говорил по телефону,— сказал Баррис.— С врачами. Я стал действовать, как только...

Скрежет тормозов. Гудок. Боб Арктор быстро обернулся. В темноте у тротуара спортивная машина с работающим двигателем, за рулем — девушка. Машет рукой.

Донна.

— Я тебя напугала? Ехала к вам, смотрю — ты плетешься. Ну я и остановилась. Садись.

Он молча забрался в машину и захлопнул дверцу.

— Ты чего здесь ошиваешься? — спросила Донна.— Машину еще не починил?

— У меня только что было жуткое шу́гало,— медленно произнес Боб Арктор.— Не просто глюк, а...— Он содрогнулся.

— Я достала.

— Что?

— Тысячу таблеток смерти.

— *Смерти?* — непонимающе повторил он.

— Да, высококачественной смерти.

Она врубила первую передачу и тут же разогналась до высшей. Донна всегда ездила слишком быстро.

— Проклятый Баррис! — сказал Арктор.— Ты знаешь, как он действует? Сам не убивает, нет. Он просто околачивается поблизости и ждет, пока возникнет ситуация, когда человек отдаст концы. Сидит сложа руки, пока тот не издохнет. То есть он подстраивает все так, чтобы остаться в стороне. Но я понятия не имею, как это ему удается.— Арктор замолчал, уйдя в свои мысли. Да, Баррис не будет подкладывать бомбу в машину. Он всего лишь...

— У тебя есть деньги? — спросила Донна.— За товар? Мне нужно получить прямо сейчас. Тут кое-что наклевывается.

— Конечно.

— Я не люблю Барриса,— сказала Донна, ведя машину,— и не доверяю. Знаешь, он сумасшедший. Когда ты рядом с ним, ты тоже становишься сумасшедшим. А когда его нет, ты нормальный. Сейчас ты сумасшедший.

— Я? — удивленно спросил Арктор.

— Да,— невозмутимо ответила Донна.

Он растерянно молчал. А что говорить? Донна никогда не ошибается...

— Послушай,— с внезапным энтузиазмом предложила Донна,— ты не можешь сводить меня на рок-концерт?

— Запросто,— машинально отозвался Арктор. А потом до него дошло: Донна *просит*...— Конечно, сходим! — радостно воскликнул он. Снова — в который раз! — маленькая темноволосая цыпочка, которую он так страшно любит, вернула его к жизни.— Когда?

— В воскресенье днем, на стадион Анахейм. Я прихвачу гаш и хорошенько забалдею. Там это раз плюнуть; торчков будут тысячи.— Она окинула Арктора критическим взглядом.— Только ты нацепи что-нибудь клевое, а то ходишь в каких-то тряпках...— Ее голос смягчился.— Я хочу, чтобы ты выглядел классно... потому что ты сам классный.

— Хорошо,— потрясенно вымолвил он.

— Едем ко мне,— сказала Донна.— Ты отдашь деньги, закинемся парочкой таблеток и забалдеем. А может, купишь вина — мы еще и кайф словим.

— Здорово,— искренне произнес Арктор.

— Больше всего я хочу сегодня вечером съездить в киношку,— продолжала Донна, загоняя машину на стоянку.— Купила газету посмотреть, что идет, но везде одна муть. Можно податься в Торрансоновскую «на колесах» — там крутят все одиннадцать фильмов «Планеты обезьян». С полвосьмого до восьми утра. Оттуда я завтра сразу на работу, так что сейчас надо переодеться. Будем балдеть всю ночь. Ты как?

— Всю ночь! — мечтательно повторил он.

— Ну да! — Донна выскочила из машины и открыла дверцу с его стороны.— Когда ты их в последний раз видел? Я почти все смотрела в начале года, кроме последней серии, где показывают, что знаменитости вроде Линкольна были на самом деле обезьянами. Этот обалденный фильмец я прозевала — отравилась бутербродом из тамошнего автомата. Поэтому когда мы в следующий раз туда поехали — только ты ни гугу! — я засунула в автомат гнутую монету. Специально. Мы с Ларри Таллингом — помнишь Ларри? я тогда с ним гуляла,— погнули целую пригоршню монет и уделали все автоматы. Именно той фирмы, конечно. А потом и остальные, если честно.

Они наконец пришли, и Донна открыла дверь.

— На этот ворсистый ковер не наступай,— предупредила она.

— Куда же мне можно?

— Стой смирно или иди по газетам. Когда-нибудь,— сказала Донна, сняв кожаный пиджак и встряхнув длинными волосами,— я выйду замуж, и тогда мне все пригодится, вот почему я ничего не выбрасываю. Когда выходишь замуж, нужно иметь практически все. К примеру, вот это большое зеркало мы увидели в соседнем дворе; еле-еле уволокли втроем, час возились.

— Сколько из того, что у тебя есть, ты купила,— спросил Арктор,— и сколько украла?

— *Купила?* — Она в замешательстве посмотрела ему в глаза.— Что ты хочешь этим сказать — *«купила»?*

— Как ты покупаешь наркотики,— объяснил Арктор.— Секи.— Он достал бумажник.— Я даю тебе деньги, а ты мне за них даешь товар. Под словом «купить» я подразумеваю распространение товарно-денежного обмена на всю сферу человеческих отношений.

— Кажется, понимаю,— произнесла она.

— Вот сколько ты содрала кока-колы с грузовика, за которым ехала в тот день? Сколько ящиков?

— Хватило на месяц,— ответила Донна.— Мне и моим друзьям.

Арктор бросил на нее укоризненный взгляд.

— Это форма товарообмена,— пояснила она.

— А что...— Он улыбнулся.— Что ты дала взамен?

— Себя.

Теперь он расхохотался.

— Кому? Водителю грузовика, который не имеет никакого...

— «Кока-кола» — это капиталистическая монополия, как и телефонная компания. Тебе известно,— ее темные глаза сверкнули,— что формула приготовления кока-колы засекречена и веками передается из рук в руки в одной семье? Где-то в сейфе хранится запись этой формулы. Интересно, где...— задумчиво добавила она.

— Твоим дружкам-головорезам в жизнь не найти.

— На кой черт нужна эта формула, если сколько хочешь можно утащить с их грузовиков?! У них уйма грузовиков. Куда ни плюнь — везде грузовики с кока-колой, причем

плетутся еле-еле. А я, как только выпадает случай, еду следом. Они прямо бесятся от злости.

Донна улыбнулась ему тайной, милой улыбкой, словно пыталась заманить его в свой странный мир, где она тащится и тащится за каким-нибудь грузовиком, а потом, когда грузовик останавливается, просто крадет все, что там есть. Не потому, что она прирожденный вор. Даже не из мести. Просто она так насмотрится на ящики с кокой, что наперед решит, как ими распорядиться...

— Хочешь пересчитать? Тысяча ровно.

Арктор взял пакеты, передал деньги и подумал: Донна, вновь я могу тебя сейчас заложить, но, наверное, никогда этого не сделаю, потому что жизнь возле тебя полная, и удивительная, и радостная; я не решусь перечеркнуть ее.

— Можно мне взять десяток? — попросила Донна.

— Десяток? Десяток таблеток? — Он открыл пакет и отсчитал ей ровно десяток. А потом десяток для себя. Завязал пакет и отнес к своему плащу в прихожей.

— Представляешь, что придумали теперь в магазинах? — возмущенно начала Донна. Таблеток нигде не было видно, она уже упрятала из в загашник.— С кассетами?

— Забирают,— сказал Арктор.— За кражу.

— Да нет, они всегда забирали. А теперь... Ну, ты знаешь, выбираешь кассету или диск, подходишь к продавцу, и тот отлепляет ярлычок с ценой. Так что ты думаешь?! Я чуть не накололась.— Она плюхнулась в кресло и достала завернутый в фольгу маленький кубик, в котором Арктор сразу распознал гаш.— Оказывается, это не просто ярлычок. Там есть крошечка какого-то сплава, и, если ты обошел продавца и идешь к двери, начинает реветь сирена.

— С чего ты взяла?

— Передо мной одна соплячка пыталась вынести кассету под пальто. Заревела сирена, ее заграбастали и сдали фараонам.

— Сколько у *тебя* было под пальто?

— Три.

— А в машине наркотики? — спросил Арктор.— Если б тебя взяли за кассеты, то обыскали бы и машину. Причем спорю, что ты делаешь это не только здесь, но и...

Он хотел сказать: «и там, где тебе не могли бы помочь знакомые из полиции». Но не сказал, потому что имел в виду себя. Если Донна попадется, он из кожи вон вылезет, чтобы ей помочь. Но ему ничего не удастся сделать в другом округе... В голове закрутился глюк, настоящее шугало: Донна, подобно Лакмену, умирает, и всем, как Баррису, плевать. Ее запрячут в тюрьму, и там ей придется отвыкать от препарата С, и выйдет она совсем другой Донной. Вернее, участливое выражение ее лица, которое он так любит, преобразится бог знает во что, но в любом случае во что-то пустое и слишком часто используемое...

— Когда есть гаш, я обо всем забываю.— Донна достала маленькую керамическую трубку и смотрела на него широко раскрытыми, лучистыми и счастливыми глазами.— Садись. Я в тебя вдую.

Арктор сел, а Донна поднялась, раскурила трубку, подошла не спеша, наклонилась и, когда он раскрыл рот — *словно птенец,* мелькнула мысль,— выдохнула в него струю серого дыма. Она наполнила его своей горячей, смелой, неиссякаемой энергией, которая в то же время успокаивала, расслабляла и смягчала их обоих.

— Я люблю тебя, Донна,— сказал Арктор.

Это вдувание, этот суррогат секса, возможно, был даже лучше, чем все остальное. Такое интимное и такое странное... Равноценный обмен, пока не кончится гаш.

— Да, ты меня любишь.— Она мягко рассмеялась и села рядом, чтобы наконец затянуться из трубки самой.

Глава 9

— Послушай, Донна,— произнес он.— Тебе нравятся кошки?

Она мигнула; ее глаза были красными и воспаленными.

— Гадкие маленькие твари. Гадят за мебелью.

— Хорошо, а маленькие весенние цветы?

— Да,— ответила она.— Это я понимаю — маленькие весенние цветы. Которые появляются первыми.

— Самыми первыми, раньше всех.

— Да.— Она отрешенно кивнула с закрытыми глазами.— Раньше, чем на них наступят — и их нет.

— Ты знаешь меня,— проговорил он.— Ты понимаешь меня всего, без остатка.

Она откинулась назад, отложив выкуренную трубку. Ее улыбка медленно потухла.

— Что-нибудь случилось?

В ответ она лишь покачала головой.

— Ничего.

— Можно я обниму тебя? Я хочу приласкать тебя. Хорошо? Приголубить.

Донна заторможенно перевела на него темные расширенные зрачки.

— Нет! Нет! Ты *слишком уродлив.*

— Что? — сказал он.

— Нет! — резко выкрикнула она.— Я много вдыхаю коки. Мне надо быть сверхосторожной, потому что я много вдыхаю коки!

— *Уродлив?!* — ошеломленно повторил он.— Будь ты проклята!

— Оставь меня в покое,— не сводя с него взгляда, прошипела Донна.

— Конечно.— Арктор вскочил и попятился.— Конечно. Уж не сомневайся.— Внутри все кипело, хотелось вытащить пистолет и пристрелить ей башку, размазать ее по стенке... а потом так же внезапно ярость и ненависть, вызванные гашишем, прошли.— Черт побери...— безжизненно выдохнул он.

— Не люблю, когда меня лапают Мне приходится быть начеку... Ты куда? — встрепенулась Донна.

— Я ухожу.

Взъерошенная, полусонная, она достала из шкафа свой кожаный пиджак.

— Я отвезу тебя домой.

— Не пойдет,— отрезал Арктор.— Ты не в состоянии

проехать десяти футов, а за руль своего паршивого самоката никого не пускаешь.

Она обернулась к нему и взбешенно закричала:

— Потому что ни один сукин сын не может вести мою машину! Никто ни черта не понимает, особенно мужики! В машинах и во всем остальном! Посмей еще распускать руки...

А потом он оказался в темноте на улице, в незнакомой части города. Один. Совершенно один, подумал он и услышал догоняющую его Донну. Она задыхалась, потому что так много курила и закидывалась, что ее легкие были забиты смолами. Арктор остановился, застыл, не поворачиваясь, в ожидании и тоске.

Приблизившись, Донна замедлила шаги и, еще не отдышавшись, проговорила:

— Прости, что я тебя обидела. Я не хотела.

— Хм! — горько воскликнул он.— *Слишком уродлив!*

— Когда я проработаю весь день и дико-дико устану, я могу отключиться от первой же затяжки... Хочешь вернемся? Или в кино? Ну что ты хочешь? Или купим вина... Мне не продадут,— сказала она и, помолчав, добавила: — Я не совершеннолетняя.

Они направились назад.

— Хороший гаш, правда? — Донна заглянула ему в лицо.

— Черный липкий гаш — значит, он пропитан алкалоидами опиума. То, что ты курила,— опиум, а не гашиш. Ты понимаешь это? Вот почему он стоит так дорого, ты понимаешь? — Арктор словно со стороны услышал, как поднялся его голос.— Ты наживаешь себе привычку на всю жизнь ценой... почем сейчас фунт этого «гаша»? Скоро ты дня не сможешь обойтись...

— Уже не могу,— перебила Донна.— Утром перед работой, в полдень и сразу же после возвращения домой. Вот почему я стала толкачом — чтобы иметь на гаш.

— Опиум,— повторил Арктор.— Почем сейчас твой «гаш»?

— Десять тысяч за фунт,— ответила Донна.— Хорошего.

— Боже мой! Почти как героин!

— Я никогда не сяду на иглу, ни за что! Ты протягиваешь от силы шесть месяцев, как начнешь колоться. Что бы ни колоть, хоть воду. Сперва наживаешь привычку...

— Ты уже нажила.

— Не я одна. Мы все. Ты глотаешь препарат С. И что с того? Какая разница? Я счастлива. Я прихожу домой и каждый вечер курю гаш... Это мое. Не пытайся изменить меня. Никогда-никогда не пытайся изменить меня. Я это я. Это моя жизнь.

— Ты видела фотографию заядлых курильщиков опиума? Как в старину в Китае? На кого они похожи?..

— Я не собираюсь долго жить.— Донна пожала плечами.— Ну и что? Я *не хочу* тут задерживаться. Зачем? Что хорошего в этом мире? А ты видел — да, черт возьми, вспомни Джерри Фабина! — что становится с теми, кто чересчур далеко зайдет на препарате С? Скажи мне, Боб, в самом деле, ну что такого в этом мире? Вчера я едва не накрылась по пути на работу. Ехала, слушала музыку и курила гаш и не заметила форд «император»...

— Ты дура,— сказал Арктор.— Потрясающая дура.

— Знаешь, я умру рано. Может быть, на шоссе. Мой «МГ» почти без тормозов. За этот год меня уже четырежды штрафовали за превышение скорости. Теперь придется пересдавать на права — такая неудача!

— Значит, однажды я тебя никогда больше не увижу, да? Никогда-никогда больше не увижу...

— Из-за пересдачи? Нет, через шесть месяцев...

— Уничтоженная еще до того, как по калифорнийским законам, по проклятым калифорнийским законам, тебе разрешат купить банку пива или бутылку вина...

— Верно! — воскликнула Донна.— Бутылку вина! Возьмем бутылку вина и пойдем смотреть «Обезьян»! Осталось еще серий восемь, включая ту...

— Послушай,— сказал Боб Арктор, положив ей на плечо руку.

Донна отпрянула.

— Знаешь, что им следовало бы сделать один раз? Один-единственный раз? Разрешить тебе взять банку пива.

— Почему? — удивилась она.

— Подарок. Потому что ты хорошая.

— Однажды меня обслужили! — восторженно поделилась Донна.— В баре! Официантка — я была вся разодета и накрашена и с такими клевыми парнями — спросила, чего я хочу, и я сказала: водку-коллинз. Это было в Ла-Пасе, в одном потрясном местечке. Можешь себе представить? Я ей так спокойненько выдаю: водку-коллинз!

Она внезапно взяла его за руку и прижалась к нему, чего почти никогда не делала.

— Тогда, полагаю,— проговорил он,— ты уже получила свой подарок. Свой единственный подарок.

— Конечно, мне потом сказали те парни, что я должна была заказать что-нибудь мексиканское, потому что мы были в мексиканском баре, понимаешь, в Ла-Пасе. В следующий раз буду знать. У меня тут,— она постучала по голове,— все записано, на подкорке... Когда-нибудь я переберусь на Север, в Орегон, и буду жить в снегах. Каждое утро буду чистить дорожку. Маленький домик и сад, где я посажу овощи.

— Для этого надо копить. Откладывать деньги.

Донна бросила на него смущенный взгляд.

— Это все *он* мне даст,— робко произнесла она.

— Кто?

— Ты понимаешь.— Ее голос был тихим, мягким. Она раскрывала душу и делилась самым сокровенным со своим другом Бобом Арктором, которому можно доверять.— Тот, кого я жду. Я знаю, каким он будет. Он приедет на «Астон-Мартине» и увезет меня на Север. А там, в снегах, стоит простой маленький домик.— Она замолчала.— Снег... это ведь считается здорово, правда?

— А ты не знаешь?

— Я никогда не видела снега, кроме одного раза в Сан Берду, в горах. И то слякоть какая-то, я чертовски больно шлепнулась. Не хочу такого снега. Я хочу *настоящего.*

Бобу Арктору стало тяжело и тоскливо.

— Ты уверена, что так будет?

— Конечно! Мне нагадали.

Они шли в молчании. Донна погрузилась в мечты и планы, а Арктор — Арктор вспоминал Барриса, и Лакмена, и Хэнка, и Фреда...

— Послушай,— внезапно сказал он.— Можно мне с тобой? Ну, когда ты соберешься в Орегон?

Она улыбнулась — грустно и с безмерной нежностью,— подразумевая «нет».

И, зная ее, Арктор понял, что все решено. И ничего не изменить... Он поежился.

— Тебе холодно? — спросила Донна.

— Да,— ответил он.— Очень холодно.

Она взяла его руку, сжала... и выпустила.

Но прикосновение осталось, запечатленное в его сердце. На все долгие годы жизни, которые ждали его впереди, на все долгие одинокие годы, когда он не знал, счастлива ли Донна, здорова ли, жива ли... Все эти годы он ощущал это прикосновение, навеки оставшееся с ним. Одно прикосновение ее руки.

В ту ночь Арктор привел к себе домой симпатичную маленькую наркоманку по имени Конни.

Конни оказалась здесь впервые — они познакомились на одном бардаке несколько недель назад и едва знали друг друга. Конни сидела на игле и, естественно, была фригидна, но это не имело значения. К сексу она относилась безразлично, сама ничего не испытывая, но, с другой стороны, ей было наплевать, чем именно заниматься.

Конни сбросила туфли и безжизненно глядела вдаль — полуголая, с заколкой во рту. Ее удлиненное лицо выражало силу и целеустремленность, потому что под сухой кожей отчетливо выступали кости. На правой щеке горел прыщ. Она не обращала на него внимания, разумеется; прыщ, как и секс, не имел для нее никакого значения.

— У тебя есть лишняя зубная щетка? — спросила Конни.— А впрочем, к черту...

Она поднялась, машинально продолжая расчесывать волосы.

— Что за люди здесь так поздно? Смолят травку и болтают без умолку... Живут с тобой? Ну да, точно.— Остекленелые глаза Конни повернулись к Арктору.— Ты гомик?

— Вроде нет.

Она кивнула.

— Ложись. Хочешь, я тебя раздену? Лежи, лежи, я сама...

Он очнулся. Рядом, едва различимая в темноте, храпела Конни. Все торчки спят, как граф Дракула, подумал он. Лежа на спине и глядя прямо вверх, словно готовые в лю-

бой момент резко сесть. Как автомат, робот, рывком передвигающий манипулятор из положения А в положение В.

Арктор снова задремал, размышляя о том, что в конце концов торчку, если это цыпочка, остается только продавать свое тело. Вот как Конни.

Он открыл глаза, повернулся к лежащей рядом девушке и увидел Донну Хоторн.

Донна! Отчетливо видно лицо. Бесспорно. Боже мой! Он потянулся к выключателю и свалил лампу... Арктор бессильно смотрел на спящую девушку, и вдруг стало медленно проступать изможденное, скуластое лицо Конни. Конни, а не Донна. Одна, а не другая...

Он тяжело упал на кровать и забылся коротким тревожным сном...

— Мне плевать, что от него несет,— сонно пробормотала девушка.— Я все равно его любила.

Интересно, кого она имеет в виду? Парня? Отца? Кота? Незабываемую детскую игрушку?.. Но она сказала «все равно любила», а не «все равно люблю». Очевидно, его, кто бы это ни был, сейчас нет. Может быть, подумал Арктор, они, кто бы «они» ни были, заставили ее отказаться от него, выбросить. Потому что от него несло так сильно...

Может быть. Сколько ей лет — этой хранящей о ком-то память наркоманке, которая лежала рядом?

Глава 10

Фред в костюме-болтунья наблюдал за голографическим изображением Джима Барриса. Баррис сидел в гостиной дома Боба Арктора и внимательно читал книгу о грибах. Откуда такой интерес к грибам, подумал Фред и перемотал ленту на час вперед. Баррис все так же сосредоточенно читал, делая какие-то пометки.

Наконец Баррис отложил книгу и вышел из дома. Вернулся он с коричневым бумажным пакетом и стал по одному выбирать оттуда сушеные грибы и сравнивать с цветными фотографиями в книге. Один невзрачный гриб он положил в сторону и растолок, а остальные всыпал в пакет; из кармана достал пригоршню капсул и методично стал набивать их растолченным грибом.

После этого Баррис начал звонить. Подслушивающее телефонное устройство автоматически фиксировало номера.

— Привет, это Джим.

— Ну?

— Я достал.

— Не заливаешь?

— Psilocybe mexicana.

— Что это такое?

— Редкий галлюциногенный гриб. Тысячу лет назад в Южной Америке его использовали в мистических обрядах. Начинаешь летать, становишься невидим, понимаешь язык зверей...

— Не надо.

Отбой. Другой номер.

— Привет, это Джим.

— Джим? Какой Джим?

— Бородатый... в зеленых очках. Мы встречались у Ванды.

— А, понял. Джим.

— Интересуют психоделики органического происхождения?

— Гмм, не знаю...— С сомнением: — Это точно Джим? Что-то не похоже.

— Есть шикарная вещь. Редчайший органический гриб из Южной Америки, использовавшийся в индейских мистических культах тысячу лет назад. Летаешь, становишься невидим, твоя машина исчезает, понимаешь язык зверей...

— Моя машина исчезает все время. Когда я не ставлю ее на стоянку. Ха-ха.

— Могу достать раз на шесть.

— Почем?

— По пять долларов.

— Обалдеть! Ты не шутишь? Надо встретиться.— Затем подозрение.— Кажется, я тебя помню — ты меня однажды наколол. Откуда у тебя эти грибы?

— Они были провезены в глиняном идоле. Среди тщательно охраняемой партии произведений искусства для музея. Болваны-таможенники ничего не просекли. Если ты не словишь кайф, я верну деньги,— добавил Баррис.

— А если я выжгу себе мозги?

— Два дня назад я сам закинулся,— сказал Баррис.— Для пробы. Приход сказочный — богатейшая цветовая гамма... Куда лучше мескалина. Фирма гарантирует.

Из-за спины Фреда на изображение смотрел другой костюм-болтунья.

— Что он толкает? Мескалин?

— Грибы,— ответил Фред.— Нашел их где-то в окрестностях.

— Некоторые грибы чрезвычайно ядовиты,— заметил костюм-болтунья.

Из соседней кабинки вышел третий костюм-болтунья.

— В определенных грибах есть токсины, которые расщепляют красные кровяные тельца. Смерть наступает через две недели, противоядия не существует. Чтобы собирать грибы, надо прекрасно в них разбираться.

— В чем его можно обвинить? — спросил Фред.

— Искажение фактов в рекламе.

Костюмы-болтунья засмеялись и разошлись по кабинкам. Фред продолжал наблюдать.

Монитор № 4 показал вошедшего в дом удрученного Боба Арктора.

— Привет.

— Добрый день,— отозвался Баррис, рассовывая капсулы по карманам.— Как твои дела с Донной? — Он захихикал.— По-всякому?

— Отвяжись,— буркнул Арктор и вышел из поля зрения камеры № 4, чтобы появиться в спальне на мониторе № 5.

Он захлопнул дверь и извлек несколько мешочков с белыми таблетками. Секунду Арктор стоял в нерешительности, а потом засунул их под постельное белье и снял плащ. Вид у него был самый несчастный.

Наконец он встрепенулся, пригладил волосы и вышел из комнаты. Тем временем Баррис спрятал пакетик с грибами под кровать и поставил книгу на полку. Оба встретились в гостиной и на мониторе № 2.

— Чем занимаешься? — спросил Арктор.

— Исследованиями.

— Какого рода?

— Некоторыми микологическими исследованиями деликатного характера,— усмехаясь, ответил Баррис.— Что, не ладится?

Арктор молча смерил его взглядом и прошел на кухню, чтобы поставить кофе. Баррис ленивым шагом последовал за ним.

— Где Лакмен?

— Должно быть, собрался очистить таксофон. По крайней мере взял инструменты.

— Инструменты...— повторил Арктор.

— Послушай,— сказал Баррис,— я могу оказать профессиональную помощь в твоих усилиях соблазнить Донну...

Фред перемотал ленту часа на два вперед.

— ...либо ты платишь за жилье, черт подери, либо немедленно берешься за ремонт цефаскопа,— горячо заявил Арктор Баррису.

— Я уже заказал необходимые резисторы...

Фред снова перемотал ленту. Еще два часа.

Теперь монитор № 5 показывал Арктора в спальне. Арктор валялся на кровати, слушал музыку по радио. Монитор № 2 показывал гостиную — Баррис читал о грибах. Так продолжалось довольно долго. Раз Арктор потянулся к приемнику и увеличил громкость — видимо, понравилась песня. Баррис все читал и читал, застыв в одной позе. Арктор, не шевелясь, смотрел в потолок.

Зазвонил телефон, и Баррис снял трубку.

— Да?

Мужской голос из подслушивающего телефонного устройства произнес:

— Мистер Арктор?

— Да, слушаю,— сказал Баррис.

Будь я проклят, подумал Фред и обратился в слух.

— Мистер Арктор, простите, что беспокою так поздно, но вы дали мне чек на закрытый счет...

— Я сам собирался вам позвонить,— перебил Баррис.— Дело вот в чем. У меня тяжелейший приступ кишечного гриппа с резко выраженными гипотермией, желудочными спазмами, судорогами... Мне сейчас совершенно не по силам выписать новый чек. Честно говоря, я и не намерен это делать.

— Что? — грозно произнес невидимый мужчина.

— Да, сэр.— Баррис кивнул.— Вы не ослышались, сэр.

— Мистер Арктор,— сказал мужчина,— банк вернул ваш чек на двадцать долларов. А симптомы, которые вы описываете...

— Я думаю, что мне подсунули какую-то гадость,— промолвил Баррис. На его лице застыла улыбка.

— А я думаю, что вы один из... из...— Мужчина запнулся, подыскивая слово.

— Думайте, что угодно,— любезно разрешил Баррис, продолжая ухмыляться. И повесил трубку.

Подслушивающее устройство автоматически зафиксировало, откуда звонил неизвестный, и на электронном индикаторе появился номер телефона и адрес: «Ингельсон, слесарь. Анахейм, Харбор 1343».

— Слесарь...— пробормотал Фред, списав данные в блокнот.— Слесарь... Двадцать долларов — кругленькая сумма. Очевидно, работа на выезде — например, подобрать ключ к замку.

Версия: Баррис позвонил Ингельсону, представился Арктором и попросил подобрать ключ — в связи с «утерей» — к дому или к машине. А может, и к дому, и к машине. За работу он выписал чек, взяв незаполненный бланк из чековой книжки Арктора. Но почему банк вернул чек? Арктор кое-что имел. Однако если бы банк оплатил чек, то рано или поздно Арктору попался бы на глаза корешок и он сразу бы понял, что чек выписал Джим Баррис. Поэтому Баррис предусмотрительно нашел в хламе старую чековую книжку на давным-давно закрытый счёт. Теперь Баррис по уши в дерьме.

Но почему он не заплатил наличными? Разозленный кредитор непременно обратится в полицию, и Арктор все узнает. Баррису ввек не отмыться. Своим разговором он только еще больше разъярил кредитора. Баррис его будто нарочно дразнил... Более того, симптомы «гриппа» как две капли воды повторяли симптомы героинового отходняка, и это ясно каждому младенцу. Баррис дал знать, что он отъявленный наркоман и ему все по нулям. А представлялся Бобом Арктором...

Таким образом, слесарь знает, что один торчок всунул ему необеспеченный чек, гордится этим и не собирается пальцем шевельнуть, чтобы исправить дело. Совершенно ошизевший наркоман, которому на все наплевать. А это уже оскорбление Америке. Гнусное и умышленное.

Собственно говоря, Баррис открыто бросил вызов государственной системе и всем добропорядочным. Причем в Калифорнии, где полно берчистов и минитменов. Ждущих именно таких номеров от бородатых подонков.

Баррис спровоцировал их на действия. Ничего не подозревающего Арктора попросту закидают бомбами.

Из сосредоточенного раздумья Фреда вывел подошедший костюм-болтунья.

— Ты знаешь кого-нибудь из этих парней?

— Знаю,— буркнул Фред.

— Надо бы их предупредить. Этот паяц в зеленых очках всех перетравит. Можешь им шепнуть пару слов, не выдавая себя?.. На отравление грибами часто указывает острый приступ тошноты.

Внезапно Фредом овладел ужас — он вспомнил день посещения Кимберли Хокинс, «день собачьего дерьма», когда его затошнило в машине.

— Я скажу Арктору. Ему надо все разжевывать. Этот придурок сам ни о чем не догадается.

— Он к тому же еще и урод,— добавил костюм-болтунья и ушел.

Фред пустил запись и вновь задумался.

Что я должен сделать, решил он, это вернуться сейчас домой, прямо сейчас, немедленно, пока не забыл, без колебаний подойти к Баррису и застрелить его.

При исполнении.

Или скажу ему: «Послушай, я на нуле, дай чинарик». И он даст, и тогда я его арестую, брошу в машину, выеду на автостраду и, угрожая пистолетом, заставлю выйти перед несущимся грузовиком. Можно заявить, что он пытался бежать. Такое случается сплошь и рядом.

Потому что, если этого не сделать, мы все окочуримся от ядовитых грибов, а Баррис потом объяснит, как мы собирали все подряд в лесу и как он нас отговаривал, но мы его не слушали, потому что не учились в колледже...

На мониторе № 2 Баррис назидательно обращался к мертвецки пьяному Лакмену, который только что ввалился в дверь.

— Число хронических алкоголиков в США,— сообщал Баррис Лакмену, мучительно искавшему вход в свою комнату,— превышает число наркоманов. Ущерб, наносимый печени...

Лакмен исчез, так и не заметив, судя по всему, присутствия Барриса. Желаю ему удачи, подумал Фред. Только на одной удаче далеко не уедешь...

Нужно что-то придумать, но что? Разве перемотать ленту назад и попасть на место происшествия первым, раньше Барриса?.. Именно! Тогда то, что сделаю я, будет предшествовать тому, что сделает Баррис. Если он вообще сможет что-нибудь после меня сделать.

И тут ожила вторая половина его мозга.

— Надо успокоить слесаря,— благожелательно посоветовала она.— Завтра первым делом отправляйся к нему, заплати двадцать долларов и верни чек. Займись этим с самого утра, прежде всего. Понятно?

Да, начать надо с этого. А потом уже браться за более серьезные вещи, подумал Фред.

Он перемотал ленту вперед, судя по счетчику, до ночной сцены. Камеры работали в инфракрасном свете. Спальня Арктора: Арктор рядом с девушкой.

Так, посмотрим. Конни... Забыл фамилию. На нее есть досье. Наркоманка, сидит на игле. Конченый человек.

Он продолжал наблюдать. И вдруг обратил внимание на то, чего сперва не заметил: *В постели лежит Донна Хоторн!*

Такого просто не может быть... Фред отмотал ленту назад, снова запустил проектор: Арктор с цыпочкой, но никак не с Донной! Он был прав: Арктор и Конни сопят бок о бок.

Резкие черты лица Конни растаяли, растеклись, словно воск, и застыли в лик Донны Хоторн.

Он вырубил проектор и ошеломленно замер. Не понимаю, думал Фред. Как будто... кинотрюк! Он снова отмотал ленту назад, остановил на подходящем кадре и дал увеличение. Безмятежно спящий Боб Арктор и рядом неподвижная девушка. Наполовину еще Конни; и наполовину уже Донна.

Надо передать ленту в лабораторию, специалистам. Мне подсунули фальшивую запись. Кто-то вставил в пленку Донну. Наложил ее изображение на изображение Конни. Подделал доказательство, что Арктор спит с Донной. Зачем?

А может быть, техническая неполадка? Часть записи с одного слоя ленты пропечаталась на другой слой? Если пленку с высоким уровнем записи хранить очень долго, такое случается.

Фред пустил проектор. Конни превратилась в Донну. Донна... Донна... И вдруг сопящий рядом с ней человек, Боб Арктор, встрепенулся, сел и включил лампу. Так он и сидел, глядя на спящую девушку, на спящую Донну.

Когда вновь проступило лицо Конни, Арктор тяжело вздохнул, расслабился и, наконец, заснул.

Значит, монтаж и неисправности исключены. *Арктор видел это тоже.*

Господи, подумал Фред и выключил аппаратуру.

— С меня достаточно,— произнес он хриплым голосом.— Сыт по горло.

— Что, насмотрелся чудно́го секса? — спросил костюм-болтунья.— Ничего, привыкнешь.

— Я никогда не привыкну к этой работе,— сказал Фред.— Никогда.

Глава 11

На следующее утро, воспользовавшись такси — так как теперь не только цефаскоп, но и машина нуждалась в ремонте,— он оказался на пороге дома Ингельсона. На сердце лежала тяжесть, в кармане — сорок долларов.

Его приветствовала полная пожилая женщина.

— Доброе утро, сэр.

— Я пришел, чтобы заплатить по своему чеку, который вернул банк,— начал Арктор.— По-моему, чек был на двадцать долларов.

Женщина открыла железную коробку и сразу же нашла чек с пришпиленной записочкой.

— Мистер Арктор?

— Да,— подтвердил он, уже протягивая деньги.

— Правильно, двадцать долларов.— Она отделила записку и стала усердно вносить туда запись о его приходе и о том, что чек выкуплен.

— Мне очень жаль,— сказал Арктор.— По досадной ошибке я выписал чек не на текущий, а на закрытый счет.

— Ммм.— улыбнулась женщина, продолжая писать.

— Я был бы весьма признателен, если бы вы сообщили своему мужу, который звонил мне вчера...

— Это мой брат Карл.— Женщина снова улыбнулась, теперь смущенно.— Он иногда выходит из себя... Я прошу простить, если он говорил чересчур резко...

— Передайте ему,— излагал Арктор заранее приготовленную речь,— что во время его звонка я сам был не в своей тарелке и тоже прошу прощения.

— Я припоминаю, он что-то говорил, да.— Она протянула чек; Арктор вручил деньги.

— Какая-нибудь дополнительная плата?

— Что вы!

— Я был не в своей тарелке,— повторил он, взглянув на чек, прежде чем положить его в карман,— потому что как раз перед этим неожиданно скончался мой друг.

— О, боже! — воскликнула женщина.

— Задохнулся,— помедлив, добавил Арктор,— подавившись куском мяса. Он был один в комнате, и никто не видел.

— А знаете, мистер Арктор, от этого гибнет гораздо больше людей, чем можно подумать. Я где-то читала, что если во время обеда с другом он или она долгое время молчит, то надо непременно выяснить, в состоянии ли ваш друг говорить. Потому что друг может задыхаться, а со стороны не заметно.

— Да,— сказал Арктор.— Спасибо. Это верно. И спасибо за чек.

— Так ужасно! — посетовала женщина.— Сколько лет было вашему другу, мистер Арктор?

— Чуть за тридцать...— Лакмену было тридцать два.

— Кошмар! Я скажу брату. Спасибо, что пришли.

— Вам спасибо. И поблагодарите, пожалуйста, за меня мистера Ингельсона. Огромное спасибо вам обоим.

Арктор сел в такси и уехал, чрезвычайно довольный тем, что выбрался из ловушки Барриса практически без осложнений. Все могло быть гораздо хуже, отметил он про себя. Чек теперь на руках, и мне не пришлось столкнуться с самим братцем.

Арктор достал чек, желая посмотреть, как Баррис подделал его подпись. Да, этот счет давно закрыт. Он сразу распознал цвет корешка — счет закрыт давным-давно. Банк поставил штамп «СЧЕТ ЗАКРЫТ». Неудивительно, что Ингельсон совсем рехнулся. А потом, вглядевшись, Арктор понял, что роспись *его*.

Ничего общего с рукой Барриса. Идеальная копия. Он никогда бы не заподозрил подделку, если бы только не помнил, что такого чека не выписывал.

Боже мой, подумал Арктор, сколько же моих росписей сварганил Баррис? Он, должно быть, обобрал меня до нитки!

Арктору пришла в голову другая мысль: что если я выписал этот чек сам? Что если его выписал Арктор? Наверное, я его и выписал. Наверное, распроклятый чудик Арктор сам выписал этот чек. Причем в спешке — буквы прыгали, значит, он куда-то торопился. В спешке схватил старую чековую книжку, а потом забыл, забыл напрочь.

Но это никак не извиняет Барриса за то, что он выдавал себя за Арктора и так вызывающе держался при этом... Черт побери! А если Баррис прибалдел тогда и к телефону подошел случайно? Ну, и просто подыгрывал, потому что его помутившимся мозгам это казалось отменной шуткой. Баррис вел себя безответственно. Ничего больше.

А может, Баррис и вовсе пытался загладить участившиеся промахи Арктора? Баррис делает что в его силах, но и у него в голове сплошной сумбур. У них у всех все помутилось. Помутившиеся ведут помутившихся. Прямиком в тартарары.

Вполне вероятно, что это Арктор перерезал провода в своем цефаскопе. Ночью. Но с какой целью?

Да, сложный вопрос: зачем? Впрочем, что с них взять, с этих помутившихся? Ими может двигать целое множество лихо закрученных, как провода, побуждений. За время работы в полиции ему всякое доводилось видеть. Так что конкретная трагедия далеко не в новинку. В памяти компьютера она будет фигурировать лишь очередным делом. Эта стадия непосредственно предшествует федеральной клинике; как у Джерри Фабина.

Они ходят по одному игровому полю. Стоят на разных квадратиках, на разном расстоянии от цели. Каждому осталось свое число ходов; но рано или поздно все достигнут цели: федеральной клиники. Это записано у них в нервных клетках.

И в первую очередь Боб Арктор. Таково было мнение Фреда, так говорила профессиональная интуиция.

Не зря его руководство решило сосредоточить внимание на Аркторе. У них, без сомнения, есть причины, о которых он и не подозревает. Вероятно, факты подтверждают друг друга. Растущий интерес к Арктору со стороны руководства — в конце концов установка следящей системы обошлась в кругленькую сумму — согласовывается с необычным вниманием со стороны Барриса.

Любопытно, что известно Баррису... Может, его следует хорошенько потрясти? Впрочем, лучше собирать материалы независимо от Барриса, иначе мы просто будем дублировать его сведения, кем бы он ни был, кого бы ни представлял.

А потом Фред подумал: что, черт побери, я несу? Не иначе, как я спятил! Я же прекрасно знаю Боба Арктора — мировой парень! Ничего он не злоумышляет. Напротив, он тайно работает на полицию. Наверное, оттого Баррис на него и окрысился.

Но тогда не ясно, почему им интересуется полиция до такой степени, что устанавливают всю эту голоаппаратуру и приставляют агента для наблюдения. Концы с концами не сходятся.

Он расплатился с водителем и вошел в дом. И тут же почувствовал на себе незримые глаза голокамер. Едва переступив собственный порог. Каракули на стене общественного туалета: «УЛЫБАЙТЕСЬ! ВАС СНИМАЮТ СКРЫТОЙ КАМЕРОЙ!..»

— Дома кто есть? — по обыкновению громко спросил он, представляя, как это записывается.

Ему всегда приходилось быть настороже — ведь нельзя даже догадываться... Словно актер перед камерой — надо вести себя так, будто никакой камеры нет и в помине. Иначе все завалишь. Дубли исключены.

Что видит камера, спросил он себя. Проникает взглядом в голову? В сердце? Инфракрасная камера, последняя новинка, видит меня — нас — ясно? Надеюсь, ей видно все, потому что я сам не могу больше в себя заглянуть. Я вижу одну муть. Муть снаружи, муть внутри. Ради нас всех — пусть у камер получится лучше. Потому что если и для камер мутно, тогда мы все прокляты, трижды прокляты, зная так мало и не понимая даже этой смехотворной малости.

Из книжного шкафа в гостиной он вытащил первый попавшийся том — «Иллюстрированную книгу половой любви». Он открыл ее наугад — мужчина на фотографии блаженно присосался к правой грудке томной красавицы — и произнес нараспев, словно читая или цитируя слова древнего философа: «Каждый человек видит лишь крошечную долю полной истины и очень часто, практически все время умышленно обманывает себя в отношении этой крошечной доли тоже. Часть человека оборачивается против него и поражает изнутри».

Кивая головой, как будто соглашаясь с мудростью напечатанных слов, он закрыл толстую, в красном переплете с золотым тиснением «Иллюстрированную книгу половой любви» и поставил ее на место.

Чарлз Фрек, подавленный тем, что происходит со всеми его знакомыми, решил покончить с собой. В кругах, где он вращался, покончить с собой было проще простого: берешь большую дозу «красненьких» и, отключив для спокойствия телефон, глотаешь их с дешевым винцом.

Главное — запланировать, как обставить смерть, какие иметь при себе вещи. Чтобы археологи, которые найдут их позже, смогли определить, к какой социальной прослойке ты принадлежал. И где в этот момент находилась твоя голова.

На отбор вещей Фрек потратил несколько дней — гораздо больше, чем понадобилось, чтобы прийти к решению покончить с собой. Его найдут лежащим в постели с книгой Айан Ренд «Источник» (доказательство того, что он был непонятым гением, отверженным толпой и в некотором роде убитым ее презрением) и с незаконченным письмом, протестующим против взвинчивания цен на газ. Таким образом, он обвинит систему и достигнет своей смертью чего-то еще, помимо того, чего достигает сама смерть.

Говоря по правде, он не очень ясно представлял себе, чего достигает смерть, так же, как и то, чего достигнут эти два артефакта. Так или иначе все определилось, и он стал готовиться, как зверь, нутром почуявший, что пришел его конец, и инстинктивно выполняющий программу, заложенную от природы.

В последний момент Чарлз Фрек решил запить «красненькие» не дешевым винцом, а изысканным дорогим напитком. Поэтому он сел в машину, отправился в магазин, специализирующийся на марочных винах, и купил бутылку «Мондави Каберне Совиньон» урожая 1971 года, которая обошлась ему в тридцать долларов — почти вся его наличность.

Дома он откупорил бутылку, насладился ароматом вина, выпил пару стаканчиков, несколько минут созерцал свою любимую фотографию в «Иллюстрированной энциклопедии

секса» (позиция «партнерша сверху»), затем достал пакетик «красненьких» и улегся на кровать. Он хотел подумать о чем-нибудь возвышенном, но не смог — из головы не выходила партнерша. Тогда он решительно проглотил таблетки, запил стаканом «Каберне Совиньон» и положил себе на грудь книгу и незаконченное письмо.

Однако его накололи. Таблетки содержали вовсе не барбитураты, а какой-то психоделик, новинку, таким он еще не закидывался. Вместо того, чтобы медленно умереть от удушья, Чарлз Фрек начал галлюцинировать. Что ж, философски подумал он, вот так у меня всю жизнь. Вечно накалывают. Надо смириться с фактом, учитывая, сколько таблеток он глотанул, что его ждет глюк из глюков.

Следующее, что он увидел, было явившееся из иных измерений чудовище. Оно стояло у кровати и смотрело на него с неодобрением. У чудовища были несметное множество глаз и ультрасовременная, супермодная одежда. Оно держало огромный свиток.

— Ты собираешься зачитывать мои грехи,— догадался Чарлз Фрек.

Чудовище кивнуло и распечатало свиток.

— И это займет сто тысяч часов,— закончил Фрек, беспомощно лежа на кровати.

Уставившись на него всеми глазами, чудовище из иных измерений сказало:

— Мы покинули бренный мир. В этой Вселенной такие низменные понятия, как «пространство» и «время», лишены смысла. Ты вознесен в трансцендентальную область. Твои грехи будут зачитываться тебе вечно. Списку нет конца.

Тысячу лет спустя Чарлз Фрек все так же лежал в постели с книгой и письмом на груди.

— И далее...— зачитывало чудовище.

Что ж, подумал Чарлз Фрек, по крайней мере раз в жизни я выпил приличного вина.

Глава 12

Двумя днями позже Фред изумленно наблюдал, как Роберт Арктор явно наугад выбрал книгу из книжного шкафа в своей гостиной. Может, за ней спрятаны наркотики, предположил Фред. А может, там записан номер телефона или адрес? Ясно, что Арктор вытащил книгу не для чтения; он только что вошел в дом и даже еще не снял плащ. У Арктора был странный вид — напряженный и одновременно ошарашенный.

Камера показала разворот книги крупным планом: цветная фотография запечатлела мужчину, приникшего ртом к соску женщины; оба индивида были голы. Но Арктор, не обращая на фотографию внимания, надтреснутым голосом стал декламировать какую-то мистическую тарабарщину, вероятно, для того чтобы озадачить тех, кто мог его слышать. Очевидно, он думал, что его дружки дома, и хотел их таким образом выманить.

Никто не появлялся. Фред знал, что Лакмен закинулся «смесью» и вырубился, полностью одетый, у себя в спальне, в нескольких шагах от дивана. Баррис давно ушел.

Чем занимается Арктор, недоумевал Фред. С каждым днем этот тип ведет себя все более странно. Теперь я понимаю, что имел в виду тот информатор, который нам звонил.

А вдруг произнесенная Арктором фраза является командой для некоего электронного устройства, установленного в доме? Команда на включение или выключение. Может быть, на создание помех наблюдению...

Нет, он псих. Просто повредился. С того дня, как обнаружил поломанный цефаскоп. Или — это уж наверняка — с того дня, как едва не угробился на машине. Он и раньше был малость тронутый, и точно свихнулся со «дня собачьего дерьма» — выражение Арктора.

Если только он надо мной не издевается, тревожно подумал Фред. Может, он каким-то образом догадался о наблюдении и... заметает следы? Просто развлекается? Что ж, время покажет.

Голос Арктора разбудил Лакмена. Он поднялся, пригладил волосы и зашел в гостиную.

— Привет. Как дела?

— Я проезжал мимо здания Мейлорской корпорации микрофотоснимков.

— И какой же величины это здание?

— С дюйм высотой,— ответил Арктор.

— Сколько оно весит, по-твоему?

— Вместе со служащими?

Фред включил перемотку вперед. Когда по счетчику прошел час, он остановил ленту.

— ...около десяти фунтов,— сказал Арктор.

— А как же ты все узнал, просто проезжая мимо, если оно с дюйм высотой и весит десять фунтов?

Арктор теперь сидел на диване, поджав ноги.

— У них огромная вывеска.

Боже, подумал Фред и отмотал ленту еще минут на пятнадцать.

— ...похоже? — спрашивал Лакмен. Он развалился на полу и крошил травку.— Небось неоновая? Интересно, я ее видел? Она приметная?

— Сейчас покажу,— сказал Арктор и засунул руку в нагрудный карман рубашки.— Я прихватил ее с собой.

Фред снова включил перемотку.

— ...а знаешь, как провезти микрофотографии контрабандой?

— Как угодно,— небрежно отмахнулся Арктор, выплюнув изо рта сигаретку. В воздухе клубился дым.

— Нет, так, чтобы никто не допер! — горячился Лакмен.— Мне Баррис сказал, по секрету. Он пишет об этом в книге.

— В какой книге? «Распространенные домашние наркотики и...»?

— Нет. «Простые способы ввоза и вывоза контрабанды в зависимости от того, куда вы направляетесь: в США или обратно». Микрофотографии надо везти с наркотиками. Например, с героином. Понимаешь, они такие маленькие, что в пакете с наркотиком их не заметят. Они такие...

— Тогда какой-нибудь торчок вкатит себе дозу микрофотографий!

— Это будет самый разобразованный торчок на свете.

— Смотря что было на фотографиях.

— У Барриса есть клевый способ провоза наркотиков через границу. Знаешь, на таможне всегда спрашивают, что вы везете. А сказать «наркотики» нельзя, потому что...

— Ну, ну!

— Так вот. Берешь огромный кусок гашиша и вырезаешь из него фигуру человека. Потом выдалбливаешь нишу и помещаешь заводной моторчик, как в часах, и еще маленький магнитофон. Сам стоишь в очереди сзади и, когда приходит пора, заводишь ключ. Эта штука подходит к таможеннику, и тот спрашивает: «Что везете?» А кусок гашиша отвечает: «Ничего»,— и шагает дальше. Пока не кончится завод, по ту сторону границы.

— Вместо пружины можно поставить батарею на фотоэлементах, и тогда он может шагать хоть целый год. Или вечно.

— Какой толк? В конце концов он дойдет до Тихого океана. Или до Атлантического. И вообще сорвется с края земли...

— Вообрази стойбище эскимосов и шестифутовую глыбу гашиша стоимостью... сколько такая может стоить?

— Около миллиарда долларов.

— Больше, два миллиарда. Эти эскимосы обгладывают шкуры, и вырезают по кости, и вдруг на них надвигается глыба гашиша стоимостью два миллиарда долларов, которая шагает по снегу и без конца талдычит: «Ничего... ничего... ничего...»

— То-то эскимосы обалдеют!

— Что ты! Легенды пойдут!

— Можешь себе представить? Сидит старый хрыч и рассказывает внукам: «Своими глазами видел, как из пурги возникла шестифутовая глыба гашиша стоимостью два миллиарда долларов и прошагала вот в этом направлении, приговаривая: «Ничего, ничего, ничего». Да внуки упекут его в психушку!

— Не, слухи всегда разрастаются. Через сто лет рассказывать будут так: «Во времена моих предков девяностофутовая глыба высокопробнейшего афганского гашиша стоимостью восемь триллионов долларов вдруг как выскочит на нас, изрыгая огонь, да как заорет: «Умри, эскимосская собака!» Мы бились и бились с ней нашими копьями, и наконец она издохла.

— Дети этому не поверят.

— Нынче дети вообще ничему не верят.

— Разговаривать с ребенком — одно расстройство. Меня какой-то пацан попросил описать первый автомобиль... Черт побери, да я родился в 1962 году!

Наступило молчание. Двое мужчин курили травку в задымленной комнате. Долго, мрачно, молча.

Зазвонил телефон. Один из костюмов-болтунья снял трубку и протянул ее Фреду.

— Помните, на прошлой неделе вы проходили проверку? — произнес голос в трубке.

— Да,— после короткой паузы ответил Фред.

— Мы обработали очередной материал...— На том конце линии тоже пауза.— Вы должны подвергнуться всестороннему психиатрическому обследованию. Вам назначено на завтра, в три часа в той же комнате. Помните номер комнаты?

— Нет,— сказал Фред.

— Как вы себя чувствуете?

— Нормально,— твердо ответил Фред.

— Какие-нибудь неприятности? На работе или в личной жизни?

— Я поссорился со своей девушкой.

— Испытываете ли вы чувство растерянности? Не сталкиваетесь ли с трудностями в опознавании людей и предметов? Не кажется ли вам что-нибудь вывернутым шиворот-навыворот? И, кстати говоря, не наблюдаете ли за собой языковой дезориентации?

— Нет,— мрачно произнес Фред.— Нет — по каждому из поименованных пунктов.

— Итак, завтра в комнате № 203,— сказал врач.

— Какой материал...

— Поговорим завтра. Не расстраивайтесь, Фред! — *Клик. Клик тебе,* подумал Фред и повесил трубку.

Он раздраженно включил проекторы, и застывшая сцена ожила цветом и движением.

— Эту крошку,— бубнил Лакмен.— обрюхатили, и она решила сделать аборт, потому что пропустила цикла четыре и подозрительно распухла. Но сама палец о палец не ударила, а только канючила, как все дорого. Как-то я к ней забегаю, а там одна ее подружка твердит, что у нее *истерическая* беременность. «Ты просто хочешь верить, что беременна. Это комплекс вины. А аборт, расходы на него — это комплекс наказания». А крошка — она мне дико нравилась — и говорит спокойненько: «Ну что ж, если у меня истерическая беременность, то я сделаю истерический аборт и заплачу истерическими деньгами».

— Интересно, чья физиономия красуется на истерической пятерке,— задумчиво произнес Арктор.

— А кто был у нас самым истерическим президентом?

— Билли Фалкс. Он только *думал,* что его избрали президентом.

— И когда ж был его срок?

— Он воображал, что его избирали на два четырехлетних периода начиная с 1882 года. После длительного курса лечения ему стало казаться, что он президентствовал только один...

Фред со злостью перемотал запись на два с половиной часа вперед. Сколько они будут нести эту ахинею, спросил он себя. Весь день? Вечно?

— ...берешь ребенка к врачу, к психиатру, и жалуешься, что ребенок все время заходится в крике.— На кофейном столике перед Лакменом стояла банка пива.— Кроме того, ребенок постоянно врет. Придумывает самые несуразные истории. Психиатр осматривает ребенка и ставит диагноз: «Мадам, у вас истерический ребенок. Но я не знаю, почему». И тогда ты, мать, настал твой час, ты ему здак: «Я знаю, почему, доктор. Потому что у меня была истерическая беремснность».

Лакмен и Арктор покатились со смеху. Им вторил Джим Баррис; он вернулся и теперь сидел в гостиной, наматывая на трубку белую проволоку.

Фред перегнал пленку еще на час вперед.

— ...этот парень,— рассказывал Лакмен,— выступал по телевидению как всемирно известный самозванец. В интервью он заявил, что в разное время представлялся великим хирургом из медицинского колледжа Джона Гопкинса, физиком-теоретиком из Гарварда, финским писателем, лауреатом Нобелевской премии в области литературы, свергнутым президентом Аргентины, женатым на...

— И все это сходило ему с рук? — поразился Арктор.— Его не разоблачили?

— Парень ни за кого себя не выдавал. Просто он выдавал себя за всемирно известного самозванца. Об этом писали в «Лос-Анджелес Таймс» — они проверяли. Работал дворником в Диснейленде, а потом прочитал биографию всемирно известного самозванца — такой действительно был — и сказал себе: «Да ведь я тоже могу выдавать себя за всех этих экзотических парней!» А после подумал и решил: «На кой черт? Лучше просто выдавать себя за самозванца». Он огреб на этом деле немалую монету, писали в «Л. А. Таймс». Почти столько же, сколько настоящий всемирно известный самозванец.

— Самозванцев пруд пруди. Мы сталкиваемся с ними на каждом шагу. Только они выдают себя не за физиков-теоретиков,— заметил Баррис, тихонько сидящий в углу.

— Ты имеешь в виду нарков [1], этих гадов из отдела по борьбе с наркоманией,— сказал Лакмен.— Интересно, среди наших знакомых есть нарки? Как они выглядят?

— Все равно что спрашивать: «Как выглядит самозванец?» — отозвался Арктор.— Я как-то болтал с одним толкачом, которого взяли с десятью фунтами гашиша на руках. Ну и спросил, как выглядел обманувший его нарк. Знаете, как это делается: нарк выдает себя за друга одного друга и просит продать ему гаш.

— Точь-в-точь, как мы,— бросил из угла Баррис.

— *Даже больше!* — воскликнул Арктор.— Этот толкач — его уже приговорили и на следующий день должны были отправить в тюрягу — сказал мне: «Волосы у них еще длиннее, чем у нас». Так что мораль, я полагаю, такова: держись подальше от типов, которые выглядят точь-в-точь, как мы.

— Бывают и женщины-нарки,— вставил Баррис.

— Я бы хотел познакомиться с нарком,— сказал Арктор.— Если точно знать, что это нарк.

— Когда он наденет на тебя наручники,— сказал Баррис,— будешь знать точно.

— Я что имею в виду? — продолжал Арктор.— Какая у них жизнь? Знают ли их жены?

— У нарков нет жен,— заявил Лакмен.— Они живут в пещерах и крадутся за тобой по пятам, выглядывая из-под машин. Как тролли.

— Что они едят?

— Людей.

— Как это им удается выдавать себя за нарков? — спросил Арктор.

— *Что?!* — в один голос вскричали Баррис и Лакмен.

— Черт, я совсем обалдел,— улыбаясь, сказал Арктор.— «Выдавать себя за нарка»,— бр-р...— Он потряс головой.

— ВЫДАВАТЬ СЕБЯ ЗА НАРКА? — повторил Баррис, не сводя с него глаз.

— Сегодня у меня в мозгах каша,— пожаловался Арктор.— Я лучше сосну.

Фред остановил ленту.

— Перекур? — спросил костюм-болтунья.

— Да. Я устал. Эти бредни рано или поздно доканывают.— Он поднялся и достал сигареты.— Я не понимаю и половины из того, что они несут. Я так устал... Устал.

— Когда находишься вместе с ними, даже легче, правда? — сказал костюм-болтунья.— Ты ведь вхож в их компанию?

— Ни за что не буду иметь дела с такими ублюдками! — горячо сказал Фред.— Талдычат одно и то же без конца.

«Выдавать себя за нарка»,— подумал Фред. «Что это значит? Одному богу известно».

Выдавать себя за самозванца. За того, кто живет под машинами и питается грязью. Не за хирурга, или писателя, или политического деятеля. Нормальному человеку это и в голову...

Так или иначе вот что надо вырезать из ленты и передать по инстанциям — таинственную фразу «выдавать себя за нарка». Дружки Арктора тоже удивлены. Значит, круглосуточная слежка за ним ведется не зря.

Значит, я был прав.

Арктор проговорился. Выдал себя.

Что это значит, мы пока не знаем. Но узнаем непременно. Мы будем идти за Арктором, пока он не упадет замертво, подумал Фред. Как бы ни было тошно все время лицезреть и слушать его и его дружков. И как только я мог сидеть с ними?!.

На следующий день Фред, чувствовавший себя еще хуже, чем накануне, явился в кабинет, где его ждали два врача — другие, незнакомые.

— Вы увидите ряд хорошо известных предметов, которые будут показаны сперва перед вашим левым, а потом перед вашим правым глазом. Одновременно на панели перед вами

---

[1] Нарк — «легавый», доносчик, шпик (жарг.).

будут высвечиваться изображения аналогичных предметов. С помощью указки вам необходимо выбрать то изображение, которое соответствует показываемому предмету. Учтите, объекты будут чередоваться быстро, так что долго не размышляйте. Счет ведется и по точности, и по времени. Ясно?

— Ясно.— ответил Фред.

Перед его левым глазом стали мелькать знакомые предметы, и он тыкал указкой в светившиеся фотографии. То же самое повторили с правым глазом.

— Теперь мы закрываем ваш левый глаз и мельком показываем изображение знакомого предмета перед правым глазом. Левой рукой, повторяю, левой рукой вы должны выбрать из группы предметов только что увиденный.

— Ясно,— сказал Фред.

Ему показали картинку игральной кости; левой рукой он шарил в россыпи безделушек, пока не отыскал игральную кость.

— В следующем тесте вы должны, не глядя, нащупать левой рукой буквы и сложить из них слово, а правой рукой написать это слово.

Он все сделал.

— Теперь, с закрытыми глазами, нащупайте левой рукой предмет и назовите... Ваши глаза закрыты, в руках по предмету. Определите на ощупь... Вам будет показан ряд треугольников в разных позициях. Вы должны сказать...

Ощупай, скажи, посмотри одним глазом, выбери. Ощупай, скажи, посмотри другим глазом, выбери. Запиши, нарисуй.

Через два часа ему велели выпить чашечку кофе и обождать в приемной.

Спустя некоторое время, показавшееся ему невыносимо долгим, в приемную вышел один из врачей.

— Найдите внизу комнату с табличкой «Патологическая лаборатория» и сдайте кровь на анализ. Потом снова возвращайтесь сюда и ждите.

— Ладно,— мрачно сказал Фред и поплелся по коридору.

Вернувшись из лаборатории, он подошел к одному из врачей и спросил:

— Можно мне пока сходить к начальнику? А то он скоро уйдет.

— Пожалуй,— разрешил врач.— Мы позвоним. Вы идете к Хэнку?

— Да, я буду у Хэнка.

— Сегодня настроение у вас гораздо хуже, чем в нашу первую встречу,— заметил врач.

— Простите? — сказал Фред.

— В нашу встречу на той неделе. Вы все время шутили и смеялись. Хотя чувствовалось, что внутри напряжены.

Ошарашенно глядя на него, Фред узнал одного из тех двух врачей. Но промолчал. Лишь хмыкнул и направился к лифту. Эти проверки действуют на меня угнетающе, подумал он. Интересно, с кем я разговаривал? С усачом или... Должно быть, с другим, с безусым. У этого нет усов.

— Вы вручную нащупаете предмет левой рукой,— пробормотал Фред,— и в то же время посмотрите на него правой. А затем своими собственными словами скажете нам...

Большей околесицы он придумать не мог. Самостоятельно. Без их помощи.

В кабинете Хэнка лицом к Фреду сидел посетитель.

— К нам пришел информатор, который звонил насчет Боба Арктора,— представил Хэнк.

— Так,— промолвил Фред.

— Он снова позвонил нам, и мы предложили ему явиться. Вы его знаете?

— Еще бы,— сказал Фред, глядя на Барриса, с широкой ухмылкой на лице вертевшего в руках ножницы.— Джеймс Баррис, не так ли? Что вы хотите сообщить?

— Я располагаю информацией.— негромко произнес Баррис,— что Боб Арктор — член огромной секретной организации, не ограниченной в средствах, с арсеналами оружия, пользующейся шифром и кодовыми словами. Организация, по всей видимости, ставит целью свержение...

— Это уже домыслы,— перебил Хэнк.— Где доказательства?

— Я могу представить записи телефонных разговоров Боба Арктора.

— Что за организация? — потребовал Фред.

— Я считаю...— начал Баррис, но Хэнк раздраженно взмахнул рукой.— Она носит политический характер.— Баррис вспотел, но сохранял довольный вид.— Ее деятельность направлена против нашего государства.

— Какова связь Арктора с источником препарата С? — спросил Фред.

Учащенно моргая, то и дело облизывая губы и гримасничая, Баррис сказал:

— Изучив мои сведения, вы придете к выводу, что препарат С изготавливается в некой стране, которая намерена расправиться с США, и что мистер Арктор — заметная часть сложнейшего механизма...

— Можете ли вы назвать имена других членов этой организации? — спросил Хэнк.— Контакты Арктора?.. Предупреждаю, что дача ложных показаний является преступлением.

— Понимаю,— сказал Баррис.

— Итак, сообщники Арктора?

— Мисс Донна Хоторн. Под всевозможными предлогами он регулярно входит с ней в сношения.

Фред рассмеялся.

— В сношения! Что вы имеете в виду?

— Я выследил его,— медленно отчеканил Баррис.

— Он часто ее посещает? — спросил Хэнк.

— Да, сэр, очень часто. Не реже...

— Она его подружка,— перебил Фред.

Хэнк повернулся к Фреду.

— Каково ваше мнение?

— Нам определенно следует взглянуть на доказательства.

— Приносите,— велел Хэнк Баррису,— все приносите. Прежде всего нам нужны имена. Имена, телефоны, номерные знаки автомашин. Имеет ли Арктор дело с большими партиями наркотиков?

— Безусловно,— подтвердил Баррис.

— Каких именно наркотиков?

— Разных. У меня есть образцы. Я предусмотрительно брал пробы... Для анализа.

Хэнк и Фред переглянулись.

Баррис, устремив вперед отсутствующий взгляд, улыбался.

— Что вы желаете добавить? — обратился Хэнк к Барису. Затем повернулся к Фреду.— Может быть, следует послать с ним за доказательствами полицейского?

Хэнк боялся, как бы он не передумал, не струхнул, не смылся, оставив их с носом.

— Вот еще что,— сказал Баррис.— Мистер Арктор — неизлечимый наркоман. Без препарата С он не в состоянии прожить и дня. Рассудок его помутился. Арктор опасен.

— *Опасен,*— повторил Фред.

— Да! — торжествующе объявил Баррис.— У него случаются провалы памяти, которые типичны для вызываемых препаратом С повреждений мозга. Вероятно, не осуществляется оптическая инверсия в связи с ослаблением ипсилатерального компонента...

— Я просил вас воздержаться от беспочвенных высказываний. Так или иначе мы пошлем с вами полицейского. В штатском.

— Меня...— Баррис кашлянул,— могут убить. Мистер Арктор, как я говорил...

Хэнк кивнул.

— Мистер Баррис, мы ценим ваши усилия и осознаем риск, которому вы подвергаетесь. Если информация послужит доказательством на суде, тогда, разумеется...

— Я пришел не ради денег,— вставил Баррис.— Этот человек болен. Его мозг поврежден препаратом С. Я пришел, чтобы...

— Цель вашего прихода для нас не имеет значения,— оборвал Хэнк.— Для нас имеет значение лишь информация. Остальное — ваше личное дело.

— Благодарю вас, сэр,— сказал Баррис.

И улыбнулся.

Перевод с английского
В. БАКАНОВА

(Окончание следует)

Проза

Глава 13

В комнате № 203 два врача-психиатра излагали безучастно слушавшему Фреду результаты обследования.

— Мы наблюдаем не повреждение, а скорее «феномен соперничества». Садитесь.

Соперничества между левым и правым полушариями вашего мозга,— подхватил второй врач.— Мы имеем дело не с одним сигналом — пусть искаженным или неполным,— а с двумя сигналами, несущими разноречивую информацию.

— Словно на вашей машине,— продолжил другой.— стоят два датчика уровня топлива. Один показывает, что бак полон, а второй — что пуст. Такого быть не может, они противоречат другу другу. Вы как водитель полагаетесь на показания датчика, в нашем случае — датчиков. Если их показания начинают различаться, вы полностью теряете представление об истинном положении дел. Ваше состояние никак нельзя сравнить с наличием основного и вспомогательного датчиков, когда вспомогательный включается лишь при повреждении основного.

— Что же это значит? — спросил Фред.

— Уверен, что вы уже поняли,— сказал врач слева.— Вам, несомненно, приходилось испытывать это, не осознавая причин.

Филип К. ДИК

ПОМУТНЕНИЕ

Роман

— Полушария моего мозга соперничают?

— Именно.

— Когда я перестану принимать препарат С, это прекратится?

— Возможно,— кивнул врач слева.— Налицо функциональное повреждение.

— Впрочем, оно может иметь органический характер,— заметил врач справа.— Время покажет.

— Что? — переспросил Фред. Он не понял — да или нет?

— Даже если повреждены ткани мозга, отчаиваться не стоит,— сказал один врач.— Сейчас ведутся эксперименты по удалению небольших областей из обоих полушарий. Ученые полагают, что таким образом удастся избежать «соперничества» и достичь доминирования нужного полушария.

— Однако существует опасность, что тогда субъект будет воспринимать лишь часть входной информации,— сказал второй врач.— Вместо двух сигналов — полсигнала. Что, как мне представляется, ничуть не лучше.

— Да, но половинное функционирование предпочтительнее нулевого, а два «соперничающих» сигнала в конечном счете аннулируют друг друга.

— Видите ли, Фред, вы перестали...

— Я никогда больше не закинусь препаратом С,— сказал Фред.— Никогда в жизни.

— Сколько вы принимаете сейчас?

— Немного.— Он подумал и признался: — В последнее время больше. Из-за стрессов на работе.

— Вас необходимо снять с задания,— решил врач.— Вы больны, Фред. И неизвестно, с какими последствиями. Может быть, вы поправитесь. Может быть, нет.

— Представьте, что одно полушарие вашего мозга воспринимает окружающий мир как бы отраженным в зеркале. Понимаете? Левое становится правым и так далее.

— В зеркале...— пробормотал Фред.

Помутившееся зеркало, помутившаяся камера. Я вижу себя шиворот-навыворот. В некотором смысле я всю Вселенную вижу шиворот-навыворот. Другой стороной мозга.

— Топология,— говорил один врач.— Мало осмысленная наука. Что касается черных дыр...

— Фред воспринимает мир наизнанку,— в то же время говорил другой врач.— Одновременно и спереди, и сзади. Нам трудно вообразить, каким он ему видится. Топология как область математики, исследующая свойства геометрических или иных конфигураций...

— А может, это вы, сукины дети, видите Вселенную шиворот-навыворот, как в зеркале,— сказал Фред.— Может, это я вижу ее правильно.

— Вы видите ее *и так, и эдак*.

Может быть, думал он, поэтому я — первый за всю человеческую историю — вижу все верно. Хотя я вижу и по-другому, то есть по-обычному... А что есть что? Что перевернуто, а что нет? Когда я вижу фотографию, а когда отражение? И какую пенсию мне назначат? Сколько я буду получать по инвалидности?.. Надо совершенно отказаться от этого дерьма. Видел я людей на воздержании... Боже, как мне пройти через это? Как выдержать? Боже, подумал он и закрыл глаза.

— ...смахивает на метафизику,— увлеченно говорил врач,— но математики утверждают, что мы находимся на грани новой космологии...

Рисунки Дмитрия Кедрина

Окончание. Начало см. в №№ 4—5 за 1989 год.

— ...бесконечность времени, которая выражена в виде вечности, в виде петли! — восторженно вторил другой.— Как замкнутая петля магнитной ленты!

До возвращения в кабинет Хэнка оставался час, и Фред пошел в кафетерий. А психологи пока наверняка сообщают Хэнку свои выводы...

У меня есть время подумать, отметил Фред, становясь в очередь. Время... Предположим, время круглое, как Земля. Чтобы достичь Индии, плывешь на запад. Над тобой смеются, но в конце концов Индия оказывается впереди, а не сзади. Что касается времени... Время — это петля магнитной ленты.

Он взял кофе и бутерброд и нашел свободный столик. И сидел, роняя крошки в кофе, безучастно глядя в поднимающийся пар.

Меня отзовут, решил Фред, и поместят в «Новый путь». Я буду выть от воздержания, а кто-нибудь другой поведет наблюдение за Арктором. Какой-нибудь осел, который ни черта в Аркторе не смыслит. Им придется начинать с нуля.

Конечно, отзовут. Но почему обязательно сразу? Если б я мог сделать еще что-нибудь... оценить доказательства Барриса, принять участие в решении... Удовлетворить собственное любопытство! Кто такой Арктор? Что он затевает?

Фред чувствовал себя все хуже и хуже. Он медленно плелся по коридору, засунув руки в карманы, ничего не соображая. Все перепуталось, голова гудела от смятения. Смятения и отчаяния.

Принять бы чего-нибудь, чтобы чувствовать себя увереннее. Что угодно. Пригодится любой совет. Любой намек... Черт подери, подумал он, *что мне делать?*

Если сейчас меня снимут, я никогда их больше не увижу, не увижу никого из своих друзей, тех, за кем наблюдал. Ни Арктора, ни Лакмена, ни Джерри Фабина, ни Чарлза Фрска, ни, главное, Донну. Я никогда-никогда, до конца вечности, не увижу своих друзей. Все кончено.

Даже если мой мозг не выгорел окончательно, ко времени, когда я вернусь на службу, ими будет заниматься кто-нибудь другой. Или они умрут, или попадут в федеральные клиники, или просто разбредутся. С разбитыми планами, с рухнувшими надеждами... Выгоревшие и уничтоженные. Не соображающие, что происходит. Так или иначе, для меня все кончено. Сам того не ведая, я с ними уже простился.

Надо пойти в центр наблюдения и все оттуда унести. Пока не поздно. Ленты могут стереть, меня лишат доступа... Проклятье, подумал он. По любым этическим нормам это *мои* ленты; это все, что у меня осталось.

Но, чтобы воспользоваться записями, понадобится проекционная аппаратура. Нужно разобрать ее и выносить по частям. Камеры и записывающие агрегаты мне ни к чему. Значит, справлюсь. Ключ от квартиры у меня есть. Его потребуют вернуть, но я прямо сейчас могу сделать дубликат. Справлюсь!

Им овладели злость и мрачная решимость. И одновременно радость — все будет хорошо.

С другой стороны, подумал он, если стянуть камеры и записывающую аппаратуру, я смогу продолжать наблюдение. Самостоятельно. А наблюдение продолжать необходимо. Причем необходимо, чтобы наблюдателем был я. Даже если *сделать* что-либо не в моих силах; даже если я буду просто сидеть и просто наблюдать. Крайне важно, чтобы я как свидетель всех событий находился на своем посту.

Не ради них. Ради меня самого.

Впрочем, ради них тоже. На случай какого-нибудь происшествия, как с Лакменом. Если кто-то наблюдает — если я наблюдаю,— я замечу и вызову помощь. Без промедления. Ту, которую надо.

Иначе, подумал он, они могут умереть, и никто не узнает. А если узнает, то тут же забудет.

Маленькие никудышные жизни, жалкое прозябание...

Кто-нибудь обязательно должен вмешаться. По крайней мере кто-нибудь обязательно должен помечать их маленькие грустные кончины. Помечать и регистрировать, чтобы их запомнили. До лучших времен, когда люди поймут.

Он сидел в кабинете вместе с Хэнком, полицейским в форме и вспотевшим, но ухмыляющимся информатором Джимом Баррисом. Они слушали одну из доставленных Баррисом кассет.

«А, привет. Послушай, я не могу говорить. Перезвони».

«Дело не терпит отлагательств»

«Выкладывай».

«Мы намереваемся...»

Хэнк подался вперед и остановил ленту.

— Вы можете сказать, чьи это голоса, мистер Баррис?

— Да! — страстно заявил Баррис.— Женский голос — Донна Хоторн, мужской — Боб Арктор.

— Хорошо.— Хэнк кивнул и посмотрел на Фреда. На столе перед Хэнком лежал рапорт о состоянии здоровья Фреда.— Включите воспроизведение.

«...половину Южной Калифорнии сегодня ночью,— продолжал мужской голос.— Арсенал военно-воздушных сил в Ванденберге будет атакован с целью захвата автоматического и полуавтоматического оружия...»

Хэнк прекратил читать рапорт и прислушался, склонив голову.

Заговорила женщина:

«Не пора ли пустить в систему водоснабжения нервно-паралитические отравляющие вещества...»

«В первую очередь организации нужно оружие,— перебил мужчина.— Приступаем к стадии Б».

«Ясно. Но сейчас мне надо идти — у меня клиент».

Клик. Клик.

— У вас есть аналогичные материалы? — спросил Хэнк.— Или это практически все?

— Еще очень много.

— Но все аналогичные?

— Они относятся, да, к той же нелегальной организации и ее преступным замыслам.

— Кто эти люди? — спросил Хэнк.— Что за организация?

— Международная...

— Их имена. Вы опять ушли в область догадок.

— Роберт Арктор, Донна Хоторн, это главари. В моих зашифрованных записях...— Баррис извлек потрепанный блокнот и лихорадочно зашелестел страницами.

— Мистер Баррис, я конфискую все представленные материалы. Они временно переходят в нашу собственность.

— Но шифр, кодированная информация...

— Вы будете под рукой, когда нам понадобятся объяснения.

Хэнк жестом велел полицейскому выключить магнитофон. Баррис потянулся к клавишам, и полицейский отпихнул его назад. Баррис, с застывшей на лице улыбкой, ошеломленно заморгал.

— Вас не выпустят, пока мы не кончим изучение материалов. В качестве предлога мы обвиним вас в даче ложных показаний. Это делается в целях вашей собственной безопасности.

После того как Барриса увели, Хэнк молча дочитал рапорт с медицинским заключением, снял трубку внутреннего телефона и набрал номер.

— Надо установить достоверность кое-каких вещественных доказательств. Спасибо... Лаборатория криптографии и электроники,— пояснил он Фреду.

Вскоре пришли два вооруженных техника.

— Кто там внизу?

— Хэрли.

— Попросите Хэрли заняться этим немедленно. Результаты мне нужны сегодня.

Техники забрали вещи и ушли.

Хэнк бросил рапорт на стол и откинулся на спинку стула.

— Ну, что вы скажете о доказательствах Барриса?

— Это заключение о состоянии моего здоровья? — спросил Фред. Он потянулся было за рапортом, но передумал.— На мой взгляд, та малость, которую мы прослушали, кажется подлинной.

— Фальшивка,— отрезал Хэнк.

— Возможно, вы правы,— сказал Фред,— но я не согласен. Что врачи...

— Они считают, что вы свихнулись.

Фред пожал плечами.

— Совершенно?

— В головном мозге у вас функционируют от силы две клетки. Все остальное — короткие замыкания.

— Вы говорите «две»? Из какого количества? — поинтересовался Фред.

— Не знаю. Насколько мне известно, в мозге несметная уйма клеток. Миллиарды.

— А возможных соединений между ними,— заметил Фред,— больше, чем звезд во Вселенной.

— Если так, то вы показываете не лучший результат. Две клетки из... шестидесяти пяти триллионов?

— Скорее из шестидесяти пяти триллионов триллионов.

— На вашем месте,— сказал Хэнк,— я бы взял ящик хорошего коньяка и отправился в горы, в Сан-Бернардино, и жил бы там один-одинешенек, пока все не кончится, возле какого-нибудь озера.

— Но это может никогда не кончиться.

— Тогда не возвращайтесь вовсе. Вы в состоянии вести машину?

— Моя...— Фред неуверенно замолчал. На него внезапно навалилась вялость, расслабляющая сонливость. Происходящее словно совершалось за колышущейся пеленой; исказилось даже чувство времени.— Она...

— Вы не помните.

— Я помню, что она неисправна.

— Вас кто-нибудь должен отвезти. Так будет и безопаснее.

Отвезти меня куда, подумал Фред.

— Конечно,— сказал он, испытывая облегчение. Рваться с поводка, стремясь освободиться, затем лечь...— Что вы теперь думаете обо мне... теперь, когда я выгорел, по крайней мере на время, возможно, навсегда?

— Что вы — очень хороший человек.

— Спасибо,— выдавил Фред.

— Когда вернетесь,— продолжал Хэнк,— позвоните. Дайте мне знать.

— Черт побери, у меня не будет костюма-болтуна.

— Все равно позвоните.

— Хорошо.

Очевидно, это уже не имеет значения. Очевидно, все кончено.

— Когда будете получать деньги, увидите, что сумма изменилась. Значительно изменилась.

— Я получу вознаграждение за то, что со мной случилось? — спросил Фред.

— Наоборот. Сотрудник полиции, добровольно ставший принимать наркотики, подвергается штрафу в три тысячи долларов или шестимесячному тюремному заключению. Думаю, дело ограничится штрафом.

— Добровольно? — изумленно переспросил Фред.

— Вам не приставляли к голове револьвер, не подсыпали ничего в суп. Вы принимали разрушающие психику наркотики в здравом уме и твердой памяти.

— У меня не было выхода!

— Вы могли только делать вид,— отрезал Хэнк.— Хотите закурить? — Он предложил свою пачку.

— Я и это бросаю,— пробормотал Фред.— Наркотики, сигареты... Все бросаю. Включая арахис и...

Мысли путались. Он был не в состоянии думать.

— Я не раз говорил своим детям...— начал Хэнк.

— У меня двое детей,— перебил Фред.— Две девочки.

— Я вам не верю. У вас не должно быть детей. Посчитать, сколько вы получите при расчете?

— Да! — горячо воскликнул Фред.— Пожалуйста!

Он подался вперед и напряженно застыл, барабаня пальцами по столу, как Баррис.

— Сколько вы получаете в час? — спросил Хэнк и, не дождавшись ответа, потянулся к телефону.— Я позвоню в бухгалтерию.

Фред молчал, опустив голову и прикрыв глаза. Он думал: может быть, Донна мне поможет? Донна, пожалуйста, помоги мне.

— По-моему, до гор вы не доберетесь,— сказал Хэнк.— Даже если кто-нибудь вас отвезет.

— Нет.

— Куда вы хотите?

— Посмотрю.

— В федеральную клинику?

— Нет!

Он думал: что значит «не должно быть детей»?

— Может, к Донне Хоторн? — предложил Хэнк.— Насколько я понял, вы близки.

— Да. Близки... Как вы узнали?

— Путем исключения. Известно, кем вы *не* являетесь, а круг подозреваемых в группе весьма ограничен. Прямо скажем, группа совсем маленькая. Мы предполагали, что через них выйдем на кого-нибудь повыше. Вероятно, нам удастся сделать это через Барриса. Изучая информацию, я давным-давно понял, что вы — Боб Арктор.

— Кто я?! — недоверчиво спросил Фред.— *Боб Арктор?*

Нет, это невероятно. Сущая бессмыслица. Это никак не соответствует тому, что он думал или делал.

— Впрочем, неважно,— продолжал Хэнк.— Какой телефон у Донны?

— Она, наверное, на работе.— Его голос срывался.— Магазин «Парфюмерия». Номер телефона...— Он никак не мог справиться со своим голосом. И, кроме того, не мог вспомнить номер. Черта с два, сказал он себе. Я не Боб Арктор. Но кто я? Может быть, я...

— Дайте мне рабочий телефон Донны Хоторн,— велел Хэнк в трубку.— Я соединю вас с ней. Нет, пожалуй, позвоню ей сам и попрошу заехать за вами... куда? Здесь встречаться нельзя. Где вы обычно встречаетесь?

— Отвезите меня к ней,— попросил Фред.— Я знаю, как попасть в квартиру.

Хэнк кивнул и начал набирать номер. Фреду казалось, что каждая следующая цифра набирается все более медленно. Это тянулось целую вечность. Он закрыл глаза, прислушиваясь к своему дыханию и думая: конец. Ему хотелось рассмеяться.

— Отвезем вас...— начал Хэнк, потом отвернулся и заговорил в трубку: — Эй, Донна, это дружок Боба, сечешь? Он совсем расклеился. У него...

— Донна, поторопись. И захвати с собой что-нибудь — мне плохо...— Он подался вперед, хотел коснуться Хэнка, но не сумел — рука бессильно упала.

— В долгу не останусь. Когда-нибудь и я окажу тебе такую услугу,— пообещал он Хэнку, когда тот закончил разговор.

— Посидите, пока я вызову машину... Гараж? Мне нужен легковой автомобиль и водитель в штатском... Я вижу, вам совсем худо,— обратился он к Фреду.— Может быть, вас отравил Баррис? На самом деле мы интересовались Джимом Баррисом, а не вами. Мы надеялись заманить его сюда... и добились этого.— Хэнк помолчал.— Вот почему я знаю, что все его записи и прочие доказательства — фальшивка. Уверен, что лаборатория это подтвердит. Баррис в чем-то замешан.

— Кто тогда я? — неожиданно громко спросил Фред.

— Нам необходимо было добраться до Барриса...

— Сволочи...

— ...подстроено так, что Баррис стал подозревать в вас тайного агента полиции, готового арестовать его или выйти выше. Поэтому он...

Зазвонил телефон.

— Машина сейчас придет,— сказал Хэнк.— Подождите пока, Боб. Боб... Фред... как угодно. Не расстраивайтесь — мы все-таки наложили руки на эту... ну, то слово, каким вы нас обозвали. Вы же знаете, что игра стоила свеч, правда? Заманить его в ловушку... правда?

— Правда.

Он едва мог говорить. Он механически скрежетал.

Ждали в тишине.

По дороге в «Новый путь» Донна съехала с шоссе на обочину.

У него начались боли, времени оставалось немного. Она хотела побыть с ним еще раз. Но откладывала слишком долго... По его щекам текли слезы.

— Посидим немного,— сказала она,— ведя его за руку через кусты среди мусора и пустых банок.— Я...

— У тебя есть трубка? — проговорил он.

— Да,— ответила Донна.

Надо отойти от шоссе достаточно далеко, чтобы их не заметила полиция. Или чтобы можно было успеть выкинуть трубку, если к ним подберутся. На это времени хватит.

А вот у Боба Арктора времени нет, подумала она. Его время — во всяком случае, выраженное человеческими мерками — вышло. Теперь он вступил в иной род времени. Таким временем располагает крыса: бессмысленно бегать взад-вперед. Двигаться хаотически... Он еще видит огни вокруг, но ему, наверное, уже все равно.

Уединенное местечко. Донна достала трубку и завернутый в фольгу кусочек гаша. Арктор сидел, зажав руками сведенный судорогой живот. Его рвало, штаны пропитались мочой. Удержаться он не мог. Скорее всего, он этого даже не замечал. Просто скорчился с искаженным лицом, дрожа от боли в желудке, и стонал, как сумасшедший, выл безумную песнь без слов.

Донна вспомнила одного знакомого, который видел Бога. Тот тоже себя так вел — стонал и плакал, разве что не гадил. Бог предстал перед ним в одном из глюков. Этот знакомый экспериментировал с огромными дозами раствори-

мых в воде витаминов. Цель заключалась в синхронизации и улучшении нервных связей головного мозга. Однако вместо того, чтобы лучше соображать, парень увидел Бога. Это явилось для него колоссальным сюрпризом.

— Ты не знаешь, случаем, Тони Амстердама? — спросила Донна.

Боб Арктор промычал и не ответил. Донна затянулась из гашишной трубки, посмотрела на лежащие внизу огни, прислушалась.

— После того как он увидел Бога, примерно год ему было очень хорошо. А потом стало очень плохо. Хуже, чем когда-либо. Потому что в один прекрасный день он понял, что ему суждено прожить всю оставшуюся жизнь — десятилетия, может быть, пятьдесят лет — и не увидеть ничего необычного. Только то, что видим все мы. Ему было бы гораздо легче, если бы он вовсе не видел Бога. Он мне сказал, что раз буквально рассвирепел: ломал все подряд. Разбил даже свою стереосистему. Он понял, что ему придется жить и жить, ничего вокруг себя не видя. Без цели. Просто кусок мяса — жрущий, срущий и вкалывающий.

— Как все мы...— выдавил Боб Арктор.

— Так я ему и сказала: «Мы все в одной лодке, и другие от этого не бесятся». А он ответил: «Ты не знаешь, что я видел. Ты не знаешь».

Арктора скрутила спазма, и он с трудом проговорил:

— Твой знакомый не рассказывал... на что это было похоже?

— Искры. Фонтаны разноцветных искр, как если б у тебя свихнулся телек. Искры на стене, искры в воздухе. Весь мир — словно живое существо, куда ни посмотри. И никаких случайностей: все происходило осмысленно, как будто стремясь к чему-то, к некой цели в будущем. А потом он увидел дверь. Примерно с неделю он видел дверь повсюду: у себя дома, на улице, в магазине... Он говорил, что она была очень... приятная; такое слово он употребил. Обрисованная алыми и золотистыми лучами, словно искры выстроились в ряд. И потом ни разу в жизни он ничего такого не видел, и именно это в конечном счете свело его с ума.

— Что было по ту сторону? — немного помолчав, спросил Арктор.

— Он говорил, что там был другой мир.

— Твой знакомый... туда не заходил?

— Потому он и переломал все у себя в квартире. Ему и в голову не приходило войти. Он просто восхищался дверью, и все. Потом было уже поздно. Через несколько дней она закрылась и исчезла навсегда. Снова и снова он принимал лошадиные дозы ЛСД, глотал бешеное количество этих растворимых витаминов, но больше никогда ее не видел — так и не сумел подобрать нужную комбинацию.

— Что было по ту сторону? — повторил Арктор.

— Там всегда стояла ночь.

— Ночь!

— Всегда одно и то же: лунный свет и вода. Ничто не двигалось и не изменялось. Вода, черная, как чернила, и берег, песчаный берег острова. Он был уверен, что это Греция. Древняя Греция. Ему казалось, что дверь — это проем во времени, и перед ним прошлое. На острове была женщина. Ну, не совсем женщина — скорее статуя. Он говорил, что это Афродита. В лунном свете бледная, холодная, сделанная из мрамора.

— Он должен был пройти в дверь, когда была возможность.

— Никакой возможности не было. Ему привиделось обещание, то хорошее, к чему надо стремиться, что придет когда-нибудь в будущем...

— Он упустил свой шанс. Каждому дается один шанс...— Арктор закрыл глаза от боли, на лице выступил пот.— А, что может знать выгоревший торчок?! Что знаем мы? Я не могу говорить. Прости.

Он отвернулся, съежился, зубы застучали.

Донна обняла его, крепко прижала к себе и стала легонько покачивать.

Внезапно ей в глаза ударил свет. Перед ними стоял полицейский с фонариком.

— Ваши документы! Вы сперва, мисс.

Донна отпустила Арктора, и тот медленно повалился на землю. Донна вытащила из сумочки бумажник и жестом предложила отойти подальше. Полицейский несколько минут рассматривал ее документы.

— Значит, вы сотрудник федеральной полиции?

— Тихо! — приказала Донна.— Убирайтесь отсюда!

— Простите.

Полицейский отдал бумажник и исчез в темноте так же бесшумно, как и появился.

Донна вернулась к Бобу Арктору. Тот явно не заметил полицейского. Он теперь вообще ничего не замечал.

Ночь была безмолвна. Лишь в сухом кустарнике шелестела ящерица да какие-то букашки колыхали траву. Далеко внизу светилось огнями шоссе № 91, но звуки не долетали.

— Боб,— прошептала Донна.— Ты меня слышишь?

Тишина.

Все цепи замкнуты, подумала она. Все расплавилось и сгорело. И никому не удастся их починить, как ни старайся...

— Идем,— сказала Донна, потянув его за руку.— Нам пора.

— Я не могу любить,— произнес Боб Арктор.— Моя штучка пропала.

— Нас ждут,— твердо повторила Донна.

— Но что же делать? Меня примут без штучки?

— Примут,— пообещала Донна.

Откуда-то издалека донеслась полицейская сирена. Патрульная машина ведет преследование. Рев хищника, обуреваемого жаждой убийства. Знающего, что жертва вот-вот сдастся.

Донна поежилась — ночной воздух заметно остыл. Рядом с ней зашевелился и попытался встать мужчина. Она помогла ему и осторожно, шаг за шагом, повела к автомобилю. Рев полицейской машины внезапно прекратился. Ее работа была выполнена. Моя тоже, подумала Донна, прижимая к себе Боба Арктора.

На полу перед двумя служащими «Нового пути» скорчилось вонючее, запачканное собственными испражнениями, трясущееся существо. Оно обвило себя руками, словно пытаясь защититься от холода, который заставлял его биться крупной дрожью.

— Что это? — спросил один из сотрудников.

— Человек,— ответила Донна.

— Препарат С?

Она кивнула и, склонившись над Робертом Арктором, мысленно сказала: «Прощай».

Когда Донна выходила, его покрывали армейским одеялом. Она не оглянулась.

Донна выбрала самое узкое шоссе и врезалась в сплошной поток машин. Среди валявшихся на полу кассет нашла свою любимую — «Гобелен» Кэрол Кинг,— втолкнула ее в магнитофон и достала из-под приборной доски держащийся там на магнитах «рюгер». Потом села на хвост грузовику с кока-колой и под проникновенный голос Кэрол Кинг выпустила в бутылки всю обойму.

Кэрол Кинг нежно пела о людях, заплывающих жиром и превращающихся в жаб; встровое стекло было в стеклянных крошках и подтеках кока-колы. Донне стало легче. Справедливость, честность, преданность... О боже, подумала Донна, врубила пятую передачу и на всем ходу ударила своего древнего врага — грузовик с кока-колой. Тот продолжал ехать как ни в чем не бывало. Маленькая машина Донны завертелась, что-то заскрежетало, и она оказалась на обочине, развернувшись в обратном направлении. Из радиатора валил пар.

Рядом притормозил «мустанг» последней модели, и из окошка высунулся водитель.

— Подбросить, мисс?

Донна не ответила. Она молча шагнула вдоль шоссе — крохотная фигурка, идущая навстречу бесконечной череде огней.

Глава 14

— Самое главное в твоей работе,— сказал Джордж, один из сотрудников «Нового пути»,— это туалеты. Полы, раковины и особенно унитазы. В здании три туалета, по туалету на каждом этаже.

— Да,— отозвался он.

— Вот швабра. А вот ведро. Ну как, справишься? Сумеешь вымыть туалет? Начинай, я погляжу.

Он отнес ведро к раковине, влил мыло и пустил горячую воду. Он видел перед собой только пену. Видел пену и слышал звон струи.

И еще едва доносящийся голос Джорджа:

— Не до краев, пролезешь.

— Да.

— По-моему, ты не понимаешь, где находишься,— помолчав, сказал Джордж.

— Я в «Новом пути».

Он опустил ведро на пол, вода выплеснулась. Он застыл, глядя на лужицу.

Джордж поднял ведро и показал, как ухватиться за ручку.

— Думаю, позже мы переведем тебя на ферму.

— Я бы хотел жить в деревне.

— Посмотрим, что тебе подойдет... Здесь можно курить.

— У меня нет сигарет.

— Мы выдаем пациентам по пачке в день.

— А деньги? У него не было ни гроша.

— Бесплатно. У нас все бесплатно. Ты свое уже заплатил.

Джордж взял швабру, макнул ее в ведро, показал, как мыть.

— Почему у меня нет денег?

— И нет бумажника. И нет фамилии. Тебе все вернут. Это мы и хотим сделать — вернуть тебе то, что было отнято.

— Ботинки жмут.

— Мы живем на пожертвования. Потом подберем. Начинай с туалета на первом этаже. Когда закончишь — по-настоящему закончишь и блеск наведешь,— бери ведро и швабру и поднимайся. Я покажу тебе туалет на втором этаже, а потом и на третьем. Но чтобы подняться на третий этаж, надо получить разрешение кого-нибудь из сотрудников — там живут девушки.— Джордж хлопнул его по спине.— Понял, Брюс?

— Да,— ответил Брюс, надраивая пол.

— Молодец. Будешь мыть туалеты, пока не выучишься. Главное — не престижность работы, а то, как ее выполняешь. Своей работой надо гордиться.

— Я когда-нибудь стану таким, каким был прежде? — спросил Брюс.

— То, каким ты был, привело тебя сюда. Если снова станешь таким же, рано или поздно опять очутишься здесь. А может, в следующий раз сюда не дотянешь. Тебе и так повезло, еле-еле добрался.

— Меня кто-то привез.

— Тебе повезло. В следующий раз могут не привезти — бросят где-нибудь на обочине и пошлют к чертовой матери... Сперва надо вымыть раковину, потом ванну и унитаз. Пол в последнюю очередь. Тут нужна сноровка. Ничего, освоишься.

Он сосредоточил внимание на трещинах в эмали раковины; он втирал порошок и пускал горячую воду. Поднялся пар, и Брюс застыл в белесом облаке, глубоко втягивая теплый воздух. Ему нравился запах.

Прибыла огромная охапка пожертвованной одежды. Кое-кто уже примерял рубашки.

— Эй, Майк, да ты клевый парень!

Посреди гостиной стоял плечистый коротышка с кудрявыми волосами и, нахмурив брови, теребил ремень.

— Как им пользоваться? Почему он не отпускается?

У него был широкий ремень без пряжки, и он не знал, как застопорить кольца.

— Должно быть, подсунули негодный!

Брюс подошел к нему и затянул ремень в кольцах.

— Спасибо,— сказал Майк и с поджатыми губами перебрал несколько рубашек.— Когда буду жениться, на свадьбу надену такую.

— Хорошая,— отозвался Брюс.

После ужина он уселся на лестнице между первым и вторым этажами, обхватил себя руками, съежился.

— Брюс!

Он не шелохнулся.

— Брюс!

Его потрясли. Он молчал.

— Брюс, идем в гостиную. Ты должен сейчас находиться у себя в комнате, в постели, но нам надо поговорить.

Майк провел его в пустую комнату и прикрыл дверь. Потом сел в глубокое кресло и указал на стул напротив. Майк выглядел усталым, его маленькие глазки припухли и покраснели.

— Я встал сегодня в пять тридцать.— Стук. Дверь приоткрылась.— Не входите, мы разговариваем! Слышите?! — во весь голос закричал он.

Приглушенное бормотание. Дверь закрылась.

— Тебе надо менять рубашку несколько раз в день,— сказал Майк.— Ты сильно потеешь.

Брюс кивнул.

— Когда тебе снова будет так плохо, приходи ко мне. Я прошел через это года полтора назад. Знаешь Эдди? Такой высокий, тощий? Он меня восемь дней катал, не оставлял одного.— Майк внезапно заорал: — Вы уберетесь отсюда?! Мы разговариваем! Идите смотреть телевизор! — Он перевел взгляд на Брюса и понизил голос.— Вот приходится... Никогда не оставят в покое.

— Понимаю,— сказал Брюс.

— Брюс, не вздумай покончить с собой.

— Да, сэр,— ответил Брюс, глядя в пол.

— Не называй меня «сэр»!

Он кивнул.

— Ты закидывался или кололся?

Он молчал.

— Сэр,— сказал Майк,— я десять лет мотал срок. Однажды восемь парней из нашего ряда в один день перерезали себе глотки. Мы спали ногами в параше, такие маленькие были камеры. Ты сидел в тюрьме?

— Нет,— ответил Брюс.

— Но, с другой стороны, я видел восьмидесятилетних заключенных, которые радовались жизни и мечтали прожить подольше. Я сел на иглу еще совсем сосунком. Я кололся и кололся, и больше ничего не делал, и наконец загремел на десять лет. Я так много кололся — героин с препаратом С,— что ничем другим никогда не занимался. И ничего больше не видел. Теперь я сошел с иглы и очутился на свободе, здесь. Знаешь, что я заметил? Что сразу бросается в глаза? Я слышу журчание ручьев, когда нас пускают в лес. Я иду по улице, по самой обыкновенной улице, и вижу кошек и собак. Никогда их раньше не замечал. Я видел только иглу.— Майк посмотрел на свои часы.— Так что я понимаю, каково тебе,— добавил он.

— Тяжело,— пробормотал Брюс.

— Я сам прошел через это. Теперь мне гораздо лучше. Ты с кем живешь?

— С Джоном.

— А, значит, твоя комната на первом этаже?

— Мне нравится.

— Да, там тепло. Ты, должно быть, все время мерзнешь. У меня было то же самое. Все время дрожал и мочился в штаны. Так вот, тебе не придется переживать это заново, если ты останешься в «Новом пути».

— Надолго?

— На всю жизнь.

Брюс покачал головой.

— Я не могу отсюда выйти,— сказал Майк.— Сразу сяду на иглу. Слишком много дружков осталось. Опять на улицу — толкать и колоться,— загремлю в тюрягу лет на двадцать. А знаешь, мне тридцать пять, и я женюсь в первый раз. Ты видел Лауру, мою невесту?

Брюс колебался.

— Хорошенькая, полненькая?

Майк кивнул.

— Она боится выйти. Ее всегда должен кто-то сопровождать. Мы собираемся в зоопарк... На следующей неделе мы ведем сына директора-распорядителя в зоопарк Сан-Диего. Лаура перепугана до смерти... Даже больше, чем я.

Молчание.

— Ты слышал, что я сказал? — спросил Майк.— Я боюсь идти в зоопарк

— Да.

— Не припомню, чтоб я был в зоопарке... Что там делают? Ты не знаешь?

— Смотрят в разные клетки.

— Какие там животные?

— Всякие.

— Дикие, небось.

— В зоопарке Сан-Диего представлены почти все виды диких животных.

— А у них есть эти... как их... медведи коала?

— Да.

— Я раз видел их по телеку. Прыгают. И вообще прямо как игрушечные. Наверное, их встретишь только в Австралии? Или они там вымерли?

— В Австралии их навалом,— сообщил Брюс.— Но вывоз запрещен.

— Я никогда нигде не был,— сказал Майк.— Только возил героин из Мексики в Ванкувер. Всегда одним и тем же путем. Жал на всю катушку, лишь бы поскорее покончить с делом. Здесь мне доверили машину. Если тебе ставит невмоготу, я тебя покатаю. Покатаемся и поговорим. Я не против. Эдди и другие — их уже нет — делали это для меня. Я не против.

— Спасибо.

— А теперь нам обоим пора спать. Увидимся за завтраком. Сядешь ко мне за стол, и я познакомлю тебя с Лаурой.

— Когда вы женитесь?

— Через полтора месяца. Были бы тебе рады. Впрочем, бракосочетание, конечно, будет происходить здесь, так что придут все.

— Спасибо.

Девочка смотрела на него, широко раскрыв глаза.

— Тебя как зовут?

Он молчал.

— Я сказала, тебя как зовут?

Он осторожно дотронулся до отбивной на тарелке; она уже остыла. Но он знал, что рядом ребенок, и чувствовал тепло. Нежным мимолетным движением он коснулся волос девочки.

— Меня зовут Тельма. Ты забыл свое имя? — Она похлопала его по плечу.— Чтобы не забывать имя, напиши его на ладони. Показать как?

— А не смоется? — спросил он.

— Действительно...— согласилась девочка.— Что ж, можно написать на стене над головой, в комнате, где ты спишь. Только высоко, чтобы не смылось. А потом, когда захочешь вспомнить...

— Тельма,— пробормотал он.

— Нет, это *мое* имя. У тебя должно быть другое.

— Попробую,— задумчиво сказал он.

— Хочешь, я дам тебе имя? — предложила Тельма.

— Ты здесь живешь?

— Да, но моя мама собирается уехать. Она заберет нас меня и брата — и уедет

Он кивнул. Тепло стало рассасываться. Неожиданно, без всякой видимой причины, девочка убежала.

Я должен найти имя, подумал он, это мой долг. Он стал рассматривать свою ладонь и тут же удивился: зачем — там ничего нет. Брюс, вот мое имя. Но имена должны быть лучше...

Тепло исчезло. Он почувствовал себя одиноким и растерянным. И очень несчастным.

Майка Уэстуэя послали на грузовике за полусгнившими овощами, пожертвованными «Новому пути» местным магазином. Убедившись, что за ним не следят, он сделал звонок из автомата и в закусочной Макдональда встретился с Донной Хоторн. Они сели на улице, поставив на деревянный столик гамбургеры и кока-колу.

— Он не вызывает подозрений? — спросила Донна.

— Нет,— ответил Уэстуэй. Но подумал: парень слишком выгорел.— Боюсь, что все это бессмысленно. Я сомневаюсь, что мы чего-нибудь достигнем. И все же иного пути не было

— Вы убеждены, что препарат выращивают?

— Я — нет. Убеждены они.— Те, кто нам платит, подумал он.

— Что означает название?

— Mors ontologica? Смерть духа. Личности. Сути.

— Он сможет выполнить свою задачу?

Уэстуэй мрачно промолчал.

— Не знаете..

— Это никому не дано знать. Память. Несколько оживших клеток. Словно рефлекс. От него требуется не выполнять — реагировать. Мы можем лишь надеяться.

Уэстуэй смотрел на темноволосую девушку, сидящую напротив, и, кажется, понимал, почему Боб Арктор... Нет, я должен всегда думать о нем как о Брюсе...

— Он был отлично натренирован,— произнесла Донна сдавленным голосом. И вдруг на ее красивое лицо легло выражение скорби, выделяя и заостряя все черты.— Господи, какой ценой...— пробормотала она и залпом выпила стакан кока-колы.

Но иного способа проникнуть нет, думал Майк. *Я* не смог, сколько ни пытался. Туда допускают только абсолютно выгоревших, безвредных, от которых осталась одна оболочка. Вроде Брюса. Он *должен* был стать таким... каким стал. Иначе ничего бы не получилось.

— Правительство требует от нас невозможного,— сказала Донна.

— Этого требует от нас жизнь.

Ее глаза сузились и засверкали.

— В данном случае — федеральное правительство. Конкретно. От вас, от меня. От...— Она запнулась.— От того, кто был моим другом.

— Он до сих пор ваш друг.

— То, что от него осталось.

То, что от него осталось, думал Майк Уэстуэй, все еще ищет тебя. По-своему.

Им тоже овладела тоска. Но день по-прежнему был хорош, люди веселы, воздух свеж. И впереди возможность успеха — это больше всего придавало ему сил. Они многого достигли. Цель близка.

— Наверное, нет ничего ужаснее, чем жертвовать живым существом, которое даже *не догадывается*. Если бы оно понимало и добровольно вызвалось...— Донна взмахнула рукой.— Он не знает. И не знал. Он не вызывался...

— Вызывался. Это его работа.

— Он и понятия не имел. И не имеет, потому что сейчас у него нет вообще никаких понятий. Вы знаете не хуже меня. И не будет. Никогда-никогда, сколько бы он ни прожил. Это произошло не случайно, все было запланировано. Мы на это рассчитывали. На мне тяжелейшая вина. Я чувствую на плечах... труп — труп Боба Арктора. Хотя формально он жив.

Ее голос поднялся. Люди за соседними столиками отвлеклись от своих гамбургеров и с любопытством смотрели в их сторону. Майк Уэстуэй сделал знак, и Донна с видимым усилием взяла себя в руки.

— Существо, лишенное мозга, нельзя допросить и разоблачить.

— Мне пора возвращаться,— сказала Донна, взглянув на часы.— Я сообщу руководству, что, по вашему мнению, все в порядке.

— Надо дождаться зимы,— сказал Уэстуэй

— Зимы?

— Не спрашивайте почему. Уж так есть: *либо* получится зимой, *либо* не получится вовсе.

— Подходящее время. Когда все мертво и занесено снегом.

Он рассмеялся.

— В Калифорнии-то?

— Зима духа. Mors ontologica. Когда дух мертв.

— Только спит.— Уэстуэй поднялся, положил руку ей на плечо. В голову почему-то пришла мысль, что этот кожаный пиджак, возможно, в былые счастливые дни подарил Арктор.

— Мы слишком долго над этим работали,— сказала Донна тихим ровным голосом.— Скорей бы все кончилось. Иногда по ночам, когда я не могу заснуть, мне кажется, что мы холоднее их. Холоднее врага.

— Я смотрю на вас и вижу самого теплого человека из всех, кого знаю.

— Я тепла снаружи: это то, что видят люди. Теплые глаза, теплое лицо, теплая фальшивая улыбка. Внутри я холодна и полна лжи. Я не такая, какой кажусь; я отвратительна.— Она говорила спокойно и все время улыбалась.— Я давно поняла, что другого выхода нет, и заставила себя стать такой. Это не так уж плохо — легче добиться своей цели. Все люди такие, в большей или меньшей степени. Что действительно кошмарно — это ложь. Я лгала своему другу, лгала Бобу Арктору постоянно. Однажды я сказала ему, чтобы он мне не верил, и, конечно, он решил, что я шучу. Но я его предупреждала. Он сам виноват.

Донна встала из-за стола и пропала в толпе.

Уэстуэй мигнул. Должно быть, так чувствовал себя Боб Арктор. Только что она была тут, живая, осязаемая, и вдруг — ничего. Растворилась. Исчезнувшая девушка. Из тех, что приходят и уходят по своей воле. И ничто, никто не может остаться с ней рядом.

Арктор пытался удержать ветер. Агенты по борьбе с наркоманией неуловимы. Тени, исчезающие, когда того требует работа. Словно их и не было. Арктор любил призрак, голограмму, сквозь которую нормальный человек пройдет, не заметив. Им нужно поставить памятник. Всем тем, кто погиб. И тем, кто — еще хуже — не погиб. Остался жить после смерти. Как Боб Арктор.

Такие, как Донна, пропадают навсегда. Новые имена, новые адреса. Вы спрашиваете себя: где она теперь? А ответ...

Нигде. Потому что ее и не было.

Вернуть Донну, найти, привязать к себе... Я повторяю ошибку Арктора. Любить атмосферное явление. Вот — трагедия. Ее имя не значится ни в одной книге, ни в одном списке; ни имя, ни место жительства. Такие девушки есть, и именно их мы любим больше всего — тех, кого любить безнадежно, потому что они ускользают в тот самый миг, когда кажутся совсем рядом.

Возможно, мы спасли его от худшей участи, подумал Уэстуэй. И при этом пустили то, что осталось, на благое дело.

Если повезет.

— Ты знаешь какие-нибудь сказки? — спросила Тельма.

— Я знаю историю про волка,— сказал Брюс.

— Про волка и бабушку?

— Нет. Про черно-белого волка, который жил на дереве и прыгал на фермерскую скотинку. Однажды фермер собрал всех своих сыновей и всех друзей своих сыновей, и они встали вокруг дерева и принялись ждать, когда волк спрыгнет. Наконец волк спрыгнул на какую-то паршивую коричневую тварь, и тогда они все разом его пристрелили.

— Ну,— расстроилась Тельма,— это грустная история.

— Но шкуру сохранили,— продолжал Брюс.— Черно-белого волка освежевали и выставили его прекрасную шкуру на всеобщее обозрение, чтобы все могли подивиться, какой он был большой и сильный. И последующие поколения много говорили о нем, слагали легенды о его величии и отваге и оплакивали его кончину.

— Зачем же тогда стрелять?

— У них не было другого выхода.

— Ты знаешь веселые истории?

— Нет,— ответил Брюс.— Это единственная история, которую я знаю.

Он замолчал, вспоминая, как волк радовался своим изящным прыжкам, какое удовольствие испытывал от своего мощного тела. И теперь этого тела нет, с ним покончили. Ради каких-то жалких тварей, все равно предназначенных на съедение. Ради неизящных, которые никогда не прыгали, никогда не гордились своей статью. Но, с другой стороны, они остались жить, а черно-белый волк не жаловался. Он ничего не сказал, даже когда в него стреляли; его зубы были на горле у добычи. Он погиб впустую. Но иначе не мог. Это был его образ жизни. Единственный, который он знал. И его убили.

— Я — волк! — закричала Тельма, неуклюже подпрыгивая.— Уф! Уф!

Брюс с ужасом впервые заметил, что ребенок — калека.

— Ты не волк,— сказал он и ушел.

А Тельма продолжала играть, ковыляя и прихрамывая. Подпрыгнула, споткнулась и упала.

Он плелся по коридору и искал пылесос. Ему велели тщательно пропылесосить помещение для игр, где проводили время дети.

— По коридору направо,— сказал ему Эрл.

Он подошел к закрытой двери и открыл ее. Посреди комнаты старая женщина пыталась жонглировать тремя резиновыми мячиками. Она встряхнула растрепанными серыми волосами и улыбнулась беззубым ртом. Он увидел запавшие глаза; запавшие глаза и разинутый пустой рот.

— Ты так можешь? — прошепелявила она и подбросила все три мячика. Они упали ей на голову, на плечи, запрыгали по полу. Старуха засмеялась, брызгая слюной.

В дверь вошел человек и остановился за спиной у Брюса.

— Давно она тренируется? — спросил Брюс.

— Порядком.— И к старухе: — Попробуй еще. У тебя уже лучше получается.

Старуха хихикала, снова и снова высоко подбрасывала мячики, втягивала голову в плечи и, скрипя всеми суставами, подбирала их с пола.

Человек рядом с Брюсом презрительно фыркнул.

— Тебе надо вымыться, Донна. Ты грязная.

Брюс потрясенно сказал:

— Это не Донна. Разве это Донна?

Он пристально взглянул на старуху и почувствовал смятение: в ее глазах стояли слезы, но она смеялась. Смеялась, когда швырнула в него все три мячика. Он еле уклонился.

— Нет, Донна, нельзя,— сказал человек рядом с Брюсом.— Не кидай в людей. Иди умойся, от тебя несет.

Старуха засеменила прочь, сгорбленная и маленькая.

Человек рядом с Брюсом закрыл дверь, и они пошли по коридору.

— Донна давно живет?

— Давно. Я здесь шесть месяцев, а она уже была.

— Тогда это не Донна,— твердо заявил Брюс.— Потому что я приехал неделю назад.

А меня привезла Донна, думал он. Я точно помню. Как она была хороша — темноволосая, темноглазая, тихая и собранная, в аккуратном кожаном пиджачке...

На душе у него стало гораздо легче. Но он не понимал, почему.

Глава 15

— Можно, я буду работать с животными? — попросил Брюс.

— Нет,— сказал Майк.— Пожалуй, отправим тебя на одну из наших ферм. Я хочу, чтобы ты несколько месяцев ухаживал за растениями. На свежем воздухе, у земли. Приходилось иметь дело с сельским хозяйством?

— Я работал в учреждении.

— Теперь ты будешь работать в поле. Если твой разум вернется, то вернется естественным путем. Нельзя *заставить* себя снова думать. Можно лишь упорно трудиться, например, сажать семена или пахать землю на наших овощных плантациях — так мы их называем — или бороться с вредителями. Мы опрыскиваем насекомых из пульверизатора. Но с этими веществами надо быть крайне осторожным, иначе они принесут больше вреда, чем пользы. Они могут отравить не только урожай, но и человека, который пустит их в дело. Проесть его голову. Как проело твою.

— Хорошо,— сказал Брюс.

Тебя опрыскали, думал Майк, и ты стал букашкой. Опрыскай букашку ядом, и та сдохнет; опрыскай человека, обработай его мозги, и он превратится в насекомое, будет вечно трещать и щелкать. По рефлексу. Исполняя последний приказ.

Ничто новое не войдет в этот мозг, думал Майк, потому что мозга нет. Как и человека, которого я никогда не знал.

Но, может быть, если привести его на нужное место, если наклонить ему голову, он еще сумеет посмотреть вниз и увидеть землю. Сумеет осознать, что это земля. И посадить в нее нечто отличное от себя, нечто *живое*. Чтобы оно росло.

Майк вел грузовик, а рядом на сиденье подпрыгивало обмякшее тело, оживленное машиной.

Уж не «Новый путь» ли сделал это с ним, думал Майк. Породил вещество, которое превратило его в безмозглую тварь и в конечном итоге *вернуло к себе*?

Он не знал. Директор-распорядитель сказал, что их цели будут открыты ему, когда он проработает в штате еще два года.

Эти цели, сказал директор-распорядитель, не имеют ничего общего с лечением наркомании.

На какие средства существует «Новый путь», было известно одному директору-распорядителю Дональду. Но недостатка в средствах не было никогда. Что ж, думал Майк, производство и распространение препарата С должно приносить огромные деньги. Достаточные, чтоб «Новый путь» рос и процветал. И чтоб оставалось еще на ряд других целей.

Смотря для чего предназначен «Новый путь».

Он знал — федеральное правительство знало — то, чего не знала ни общественность, ни даже полиция. Препарат С не синтезировали в лаборатории. Как героин, препарат С был органического происхождения.

Живые, думал Майк, никогда не должны служить целям мертвых. Но мертвые — он взглянул на Брюса, на трясущуюся рядом пустую оболочку — по возможности должны служить целям живых.

Таков закон жизни.

Мертвые, думал Майк, которые еще могут видеть, даже если ничего не понимают,— они наши глаза. Наша камера.

Глава 16

В кухне под раковиной, среди щеток, ведер и ящиков мыла, он нашел маленькую косточку. Она походила на человеческую, и он подумал: не Джерри ли это Фабин?

Невольно вспомнилось, что давным-давно он делил кров с двумя парнями и у них была шутка о крысе по имени Фред, которая жила у них под раковиной. Они рассказывали гостям, что однажды, когда их совсем припекло, бедного старого Фреда пришлось съесть.

Может быть, это косточка жившей под раковиной крысы, которую они придумали, чтобы было не так тоскливо?

...— Этот парень разыскивал друга. Узнал дом, остановился и спросил, где найти Лео. «Лео умер». А парень отвечает: «Хорошо, я загляну в четверг». И уехал. В четверг, полагаю, вернулся. Ну, как вам?

Потягивая кофе, он слушал разговоры в гостиной.

— ...В телефонной книге записан всего один номер, на каждой странице, и по этому номеру можешь звонить куда хочешь... Я говорю о совершенно ошизевшем обществе... И у себя в бумажнике ты носишь этот номер, *единственный* номер, записанный на разных визитных карточках и листочках. И если номер забыл, то не позвонишь никому.

— А справочная?

— У нее тот же номер.

Он внимательно слушал. Интересное место — звонишь, а тебе говорят: «Вы ошиблись». Снова набираешь тот же самый номер и попадаешь куда надо.

Идешь к врачу — а врач только один, и специализируется на всем,— и тебе прописывают лекарство, одно на все случаи жизни. Относишь рецепт в аптеку, и тебе дают единственное средство, которое у них есть,— аспирин. И тот лечит все болезни.

Закон тоже один, и все нарушают его снова и снова. Полицейский кропотливо помечает, какой параграф, какой пункт, какой раздел — всегда одно и то же. И за любое нарушение — от перехода улицы в неположенном месте до государственной измены — одно наказание: смертная казнь. Общественность требует отменить смертную казнь, но это невозможно, потому что тогда, скажем, за неправильный переход вовсе не будет наказания. И так, нарушая закон, они постепенно все вымерли.

Он неуверенно рассмеялся и, когда его спросили, повторил вслух. И все в гостиной тоже засмеялись.

— Отлично, Брюс!

Шутка прижилась. Когда кто-нибудь что-нибудь не понимал или не мог найти то, за чем его посылали,— например, рулон туалетной бумаги,— то обычно говорил: «Что ж, я, пожалуй, зайду в четверг». Эта шутка приписывалась Брюсу. Его высказывание. Стало считаться, что он принес в «Новый путь» юмор. Принес способность видеть смешную сторону вещей, как бы ни было плохо.

Глава 17

В конце августа его перевели на ферму в Северной Калифорнии, в краю виноградников...

Приказ о перемещении подписал Дональд Абрахамс, директор-распорядитель фонда «Новый путь». По представлению Майкла Уэстуэя, который принимал особое участие в судьбе Брюса.

— Тебя зовут Брюс,— сказал управляющий фермой, когда Брюс неуклюже вылез из машины, волоча за собой чемодан.

— Меня зовут Брюс,— сказал он.

— Мы попробуем тебя на сельскохозяйственных работах. Брюс.

— Хорошо.

— Я думаю, тебе понравится здесь.

— Я думаю, мне понравится,— сказал Брюс.— Здесь.

Управляющий придирчиво осмотрел его.

— Тебя недавно постригли?

— Да, меня недавно постригли.— Брюс прикоснулся к бритой голове.

— За что?

— Меня постригли, потому что нашли на женской половине.

— В первый раз?

— Во второй.— Брюс стоял, не выпуская чемоданчика. Управляющий жестом велел поставить его на землю.— В первый раз меня постригли за буйство.

— Что ты сделал?

— Я швырнул подушку.

— Хорошо, Брюс,— сказал управляющий.— Идем, я покажу, где ты будешь жить. У нас здесь нет большого дома, а есть маленькие домики, в которых размещаются по шесть человек. Там спят, готовят себе пищу и отдыхают, когда не работают. Ты любишь горы? — Управляющий указал направо.— Гляди: горы. На их склонах выращивают отличный виноград. Мы не растим виноград. Разные другие культуры, но не виноград.

— Я люблю горы,— сказал Брюс.

— Посмотри на них.— Управляющий снова указал. Брюс не смотрел.— Работать в поле без головного убора нельзя. Пока мы не дадим тебе головной убор, на работу не выходи. Ясно?

— Я не должен выходить на работу без головного убора,— повторил Брюс.

— Здесь хороший воздух,— сказал управляющий.

— Я люблю воздух,— сказал Брюс.

Управляющий жестом приказал Брюсу взять чемодан и следовать за ним. Он то и дело поглядывал на Брюса и чувствовал себя не в своей тарелке. Знакомое ощущение — ему всегда было не по себе, когда присылали... таких.

— Мы все любим воздух, Брюс. В самом деле любим. Это у нас общее.

Он подумал: по крайней мере *это* у нас еще общее.

— Я буду видеться со своими друзьями? — спросил Брюс.

— С друзьями из «Нового пути» в Санта-Ане?

— С Майком и Лаурой, и Джорджем, и Донной, и...

— Сюда к нам приезжать нельзя,— объяснил управляющий.— Но два раза в год у нас проводятся общие встречи: на Рождество и...

Брюс остановился.

— Следующая встреча — на Благодарение,— сказал управляющий, махнув ему рукой.— Рабочие на два дня поедут туда, откуда они к нам попали. А потом вернутся — до Рождества. Так что с друзьями увидишься. Но учти: у нас в «Новом пути» нельзя завязывать с кем-то каких-то отдельных отношений. Тебе говорили? Мы все — одна семья.— Управляющий выбрал первый попавшийся из ряда совершенно одинаковых домиков.— Твой домик — 4 «Д». Запомнишь?

— Они похожи,— пожаловался Брюс.

— Можешь прикрепить предмет, по которому легче будет его узнавать. Что-нибудь яркое.— Он открыл дверь — изнутри пахнуло горячим спертым воздухом.— Полагаю, мы поставим тебя сперва на артишоки,— размышлял вслух управляющий.— Тебе придется носить перчатки — они колючие.

— Артишоки,— сказал Брюс.

— У нас есть и грибы. Экспериментальные фермы. Конечно, закрытые, чтобы патогенные споры не заражали почву.

— Грибы,— повторил Брюс, входя в жаркое темное помещение.

Управляющий смотрел на него с порога.

— Да, Брюс,— сказал он.

— Да, Брюс,— сказал Брюс.

— Брюс,— окликнул управляющий.— Очнись!

Он кивнул, застыв в полумраке, все еще не выпуская из рук чемодан.

Стоит им оказаться в темноте, как они сразу клюют носом, подумал управляющий. Словно цыплята. Овощ среди овощей. Грибок среди грибков. Выбирай. Он включил свет и начал показывать Брюсу нехитрое хозяйство. Брюс не обращал внимания — он впервые заметил горы и теперь смотрел на них широко открытыми глазами.

— Горы, Брюс, горы,— сказал управляющий.

— Горы, Брюс, горы...— повторил Брюс.

— Хорошо, Брюс.— Управляющий закрыл дверь домика и подумал: я поставлю его на морковь. Или на свеклу. На что-нибудь простое. На то, что его не озадачит.

И на вторую койку - другой овощ. Для компании. Пусть дремлют свои жизни вместе, в унисон. Рядками. Целыми акрами.

...Его развернули лицом к полю, и он увидел хлеба, поднимающиеся, словно зазубренные дротики. Он нагнулся и заметил у самой земли маленький голубой цветок. Множество цветков на коротких жестких стеблях. Словно щетина. Спрятанные среди более высоких растений, как часто сажают фермеры: одни посадки среди других. Как в Мексике сажают марихуану — чтобы не заметила полиция с джипов.

Но тогда ее засекают с воздуха. И полиция, обнаружив такую плантацию, расстреливает из пулемета фермера, его жену, их детей и даже животных. И уезжает, сопровождаемая сверху вертолетом.

Очаровательные голубые цветочки.

— Ты видишь цветок будущего,— сказал Дональд, директор-распорядитель «Нового пути».— Но он не для тебя.

— Почему не для меня? — спросил Брюс.

— Ты уже перебрал достаточно! — хохотнул директор-распорядитель.— Так что хватит поклоняться. Это уже не твой кумир, не твой идол.

Он решительно похлопал Брюса по плечу, а потом, наклонившись, закрыл рукой цветы от его прикованного взгляда.

— Исчезли,— сказал Брюс.— Весенние цветы исчезли.

Брюс видел только загораживающую свет ладонь Дональда и смотрел на нее целое тысячелетие.

— За работу, Брюс,— велел Дональд, директор-распорядитель.

— Я видел,— сказал Брюс. Он подумал: я видел, как растет препарат С. Я видел, как голубым покрывалом поднимается из земли, на коротких жестких стебельках, сама смерть.

Дональд Абрахамс и управляющий фермой переглянулись, а потом посмотрели на коленопреклоненную фигуру, на человека, опустившегося на колени перед Mors ontologica.

— За работу, Брюс,— сказал коленопреклоненный и поднялся на ноги.

Он наблюдал — не оборачиваясь, не в силах обернуться,— как Дональд и управляющий, переговариваясь между собой, сели в машину и уехали.

Брюс наклонился, вырвал один стебелек с голубым цветком и засунул его поглубже в правый ботинок, под стельку. Подарок для моих друзей, подумал он. И крошечным уголком мозга, куда никто не мог заглянуть, стал мечтать о Дне Благодарения.

От автора

Это роман о людях, которые были наказаны чрезмерно сурово за свои деяния. Они всего лишь хотели повеселиться, словно дети, играющие на проезжей части. Одного за другим их давило, калечило, убивало — на глазах у всех,— но они продолжали играть. Мы были очень счастливы — не работая, а просто валяя дурака,— но такое короткое время, такое кошмарно короткое время! А расплата оказалась невероятно жестокой; даже когда мы видели ее, то не могли поверить. Например, в процессе работы над романом человек, с которого я писал Джерри Фабина, покончил самоубийством. Мой друг, послуживший прототипом Эрни Лакмена, умер еще раньше. Какое-то время я сам был одним из этих детей, веселящихся на улице; подобно им, я пытался играть вместо того, чтобы расти,— и был наказан. Мое имя находится в конце книги, в списке тех, кому посвящается роман.

Злоупотребление наркотиками — не болезнь. Это решение, сходное с решением броситься под машину. Скорее даже это — ошибка в суждении. Если заблуждаются многие, это уже социальная ошибка, ошибка в образе жизни. Девиз этого образа жизни: «Лови момент! Будь счастлив сейчас, потому что завтра ты умрешь». Но умирание начинается немедленно, а счастье лишь остается в памяти. Этот образ жизни не отличается в корне от вашего. Просто счет в нем идет не на десятилетия, а на недели или месяцы. «Бери деньги, а долг пусть растет»,— говорил Вийон в 1460 году. Но так нельзя, если денег — грош, а расплачиваться всю жизнь.

Роман лишен назидания. Он не поучает, не говорит наставительно, что им следовало работать, а не играть; он всего лишь описывает последствия. В греческой драме открыли причинно-следственную связь. Немезида в этой книге — не судьба, потому что любой из нас мог принять решение уйти с проезжей части. Из глубины души я рассказываю о чудовищной Немезиде для тех, кто продолжал играть. Сам я — не персонаж; я — роман. Как, впрочем,

и все наше общество. Речь идет о гораздо большем числе людей, чем я знал лично. О некоторых мы читали в газетах. Все это — баклушничанье, шалопайство, болтовня с закидычными дружками под любимые записи, все это — ужасное решение шестидесятых. И нас постигла кара.

Кара, как я уже говорил, невероятно жестокая, и я предпочитаю думать о ней с безучастностью греческой драмы, по-научному, как о предопределенном следствии, неумолимо вызванном причиной.

Вот список тех, кому я посвящаю свою любовь.

Гейлин	*— нет в живых*
Рей	*— нет в живых*
Фрэнси	*— тяжелый психоз*
Кэти	*— необратимые изменения головного мозга*
Джим	*— нет в живых*
Вел	*— обширные необратимые изменения головного мозга*
Нэнси	*— тяжелый психоз*
Джоан	*— необратимые изменения головного мозга*
Мэрин	*— нет в живых*
Ник	*— нет в живых*
Терри	*— нет в живых*
Деннис	*— нет в живых*
Фил	*— необратимые изменения поджелудочной железы*
Сью	*— необратимые изменения сосудистой системы*
Джерри	*— тяжелый психоз и необратимые изменения сосудистой системы*

...и так далее.

Перевод с английского
В. БАКАНОВА

Кир БУЛЫЧЕВ

ЛЮБИМЕЦ

Рассказ

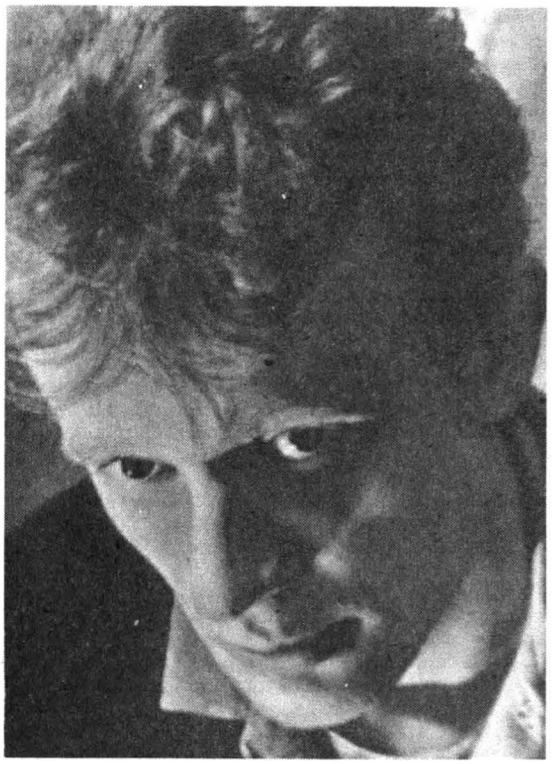


Рисунок Софии Федоровой

Я точно помню, что увидел ее впервые в пятницу, шестого мая, сразу после обеда.

Я решил позагорать у бассейна — купаться еще холодно, но если лежишь рядом и солнце уже обжигает, можно вообразить, что наступило лето.

Я лежал так, чтобы поглядывать на соседний участок — с утра туда переехали новые соседи, вместо Злобницы, улетевшей к мужу на Марс.

Я закрыл глаза и задремал, но вдруг почему-то проснулся — по газону шла рыжеволосая девушка.

Соседский бассейн начинается сразу за невысокой живой оградой, разделяющей наши участки. Девушка уселась на край бассейна, окунула в него пятку и сразу поджала ногу — не ожидала, видно, что вода такая холодная. Откуда она приехала, если не знает, что у нас в начале мая еще не купаются?

Думая так, я разглядывал ее, и девушка это заметила, кинула в мою сторону острый быстрый взгляд и отвернулась, словно только что смотрела не на меня, а на муху.

— Привет! — сказал я.— С приездом.

— Ах! — тихонько воскликнула она. И подняла левый локоть, чтобы скрыть от меня очертания полной груди.

— Вы надолго сюда? — спросил я, делая вид, что не заметил ее смущения.

— Мы здесь будем жить.

Ее тяжелые волосы падали на белые плечи.

— Меня Тимом зовут,— сказал я, поднимаясь. Мне хотелось, чтобы она увидела, как я сложен. Недаром я пробегаю стометровку за двенадцать секунд.

— Очень приятно,— ответила она с улыбкой, но не назвала себя.

Но тут же — о ирония судьбы! — из соседнего дома послышался голос:

— Ирэн! Ирэ-э-эн, ты где? Скорей беги ко мне.

— Вот видишь,— сказала Ирэн,— мы и познакомились.

Она грациозно выпрямилась и побежала к дому. Мне очень понравились ее спина и ноги — у нее были длинные прямые ноги с крепкими округлыми икрами.

На бегу она обернулась и помахала мне рукой.

Знакомство состоялось.

Об этом я рассказал Вику — старому цинику двадцати с лишним несчитанных лет, хрупкому, возвышенному, с кудрями до плеч, голубоглазому, породистому.

На самом деле Вик — корыстный, наглый парень, и я с ним дружу только потому, что знаю ему цену.

— Да видел я ее,— отмахнулся Вик в ответ на мои похвалы в адрес Ирэн.— Ты редко бываешь в свете, сидишь сиднем дома, ни на выставке тебя не увидишь, ни в парке. Так что первое же смазливое личико в пределах твоего зоркого взгляда — и ты готов!

— Я мечтаю о ней,— сказал я хрипло, чем вызвал приступ хохота у моего друга.

— Ромео! — повторял он.— Ромео с голым задом!

Я хотел было врезать ему за слова, которые болью отозвались в моем оцарапанном сердце, но Вик увернулся. Я с трудом догнал его у самых ворот, повалил на траву и заломил ему руку за спину.

— Сдавайся! — прорычал я, подражая марсианской лягушке.— Не то растерзаю!

Тут, как назло, домой вернулась Яйблочка.

— Как дети! — закричала она, вываливаясь из своего флаера.— Сейчас же прекратите, уши оторву! Земля же холодная!

Она кинулась за нами, но куда ей догнать двух молодых людей!

— Ну ладно, ладно! — крикнула она нам вслед.— Я пошла готовить ужин, слышишь, Тимошка?

Она отлично знает, что я ненавижу это собачье имя. Я сделал вид, что не слышу.

Мы отбежали с Виком к старой трансформаторной будке.

Когда-то, еще мальчишкой, я любил прятаться здесь и воображать, что я подкрадываюсь к неуязвимому дракону в джунглях Эвридики... Я вырос, джунгли вырубили, дракона держат в зоопарке, а трансформаторная будка так и стоит, сто лет никому не нужная...

— Сегодня третью серию будут показывать,— напомнил Вик.

— Если у нее есть сестра,— сказал я,— ты с ней тоже можешь познакомиться.

— Больно ты шустрый,— ухмыльнулся мой друг.— Ты уверен, что тебе разрешат с ней общаться?

— Я никого не намерен спрашивать.

— Ай-ай-ай, какие мы смелые!

— Тимофей! Тимоша! — Яйблочка звала меня самым ласковым из набора своих голосов.— Кушать, кушаньки, беги сюда, мой мальчик!

— С ума сойти! — засмеялся Вик.— Она намерена тебя кормить грудью до тридцати лет.

Тут я стукнул ему кулаком по затылку — чуть голова не отвалилась. Он ахнул и примолк.

А я пошел домой вовсе не потому, что послушался Яйблочку, я боялся, что если уж очень разозлю ее, она не допустит меня вечером к телевизору.

— Ноги вытер? — спросила Яйблочка, когда я вошел в дом.

Я не стал отвечать, а продолжил путь на кухню.

Яйблочка восседала за столом, перед ней стояла емкость с ее пойлом — доктор прописал. На моей тарелке лежал кусок трески, посыпанный зеленью. Редкое по нашим временам лакомство.

Прежде чем приняться за обед, я подошел к окну и поглядел — окно выходило к дому Ирэн. Но самой девушки не было видно.

После обеда мы отдыхали, а потом Яйблочка повела меня гулять.

Я не люблю эти почти ритуальные прогулки — Яйблочка не та спутница, которую выбирает человек по доброй воле. Но я ее не выбирал.

В тот день, идя рядом с ней, я впервые глубоко задумался о несправедливости судьбы. Ведь каждый из нас таков, каким он родился, каким его воспитали. Я предпочел бы иную судьбу, пускай не такую надежную и сытую, пускай полную лишений и опасностей, как у бродяг и охотников. Впрочем, я их никогда не видел. Может быть, их придумали домашние любимцы.

Чем ближе к центру городка, тем больше встречалось парочек, вроде нас. Яйблочка раскланивалась с ними, приседала, покачивала бедрами, звенела нитями железных бус, а когда она наклонялась вперед, мне все казалось, что сейчас она угодит этими бусами мне по темечку — и я замертво рухну на мостовую.

Я понял, что Яйблочка направляется в бар «Олимпия» при торговом центре. Там она будет с себе подобными дамами сосать свои неудобоваримые напитки, а я побуду с людьми.

Мы подошли к бару, и Яйблочка, добрая уродина, заявила:

— Тимоша, если ты побудешь в общей комнате, мы потом в кино сходим, хорошо?

Она должна думать, что я расстроен больше, чем на самом деле. Но я и вправду не имел ничего против того, чтобы поболтать со старыми приятелями, пока ты, голубушка, вкушаешь свое вонючее зелье...

Так что я молчал и смотрел на нее красивыми выразительными серыми глазами.

Но Яйблочка выдержала мой укоризненный взгляд и вытащила из сумки наличник. Я побледнел, но Яйблочка показала на объявление над входом в комнату:

«Помещение для домашних любимцев. Вход без намордников воспрещен»

Объявление знакомое и унизительное. Но я не стал спорить и капризничать, не то настроение.

Я сам подставил лицо, и Яйблочка не грубо, я бы даже сказал — с неуклюжей нежностью, приспособила мне на лицо намордник, который прикрывал рот и подбородок. Я вполне допускаю, что когда-то по недоразумению кто-то из домашних людей укусил другого домашнего человека, но кто и почему дал право возвести этот случай в ранг правила? С чего они решили, что мы обязательно должны бросаться друг на друга и кусаться? Кусаться! Вы себе представляете?

В большой комнате, где хозяева оставляют домашних любимцев, пока пьют кофе, болтают или выбирают что-нибудь в магазине, было человек тридцать, не меньше. Все в намордниках, но если у меня он был простой и почти незаметный — мы с Яйблочкой старались свести унижение к минимуму, то у других людей на физиономиях порой красовались нелепейшие защитные сооружения, у кого из кованой проволоки, у кого в виде керамического букетика.

Я сразу заметил Вика, который сидел перед телеэкраном. На нем был розовый намордник, имитирующий хоккейную маску вратаря Хризабудкина,— мне было бы стыдно появиться в обществе в таком виде. Я обвел комнату взглядом, надеясь, что найду Курта — он обещал мне жвачку. Мерзавец Вик неправильно истолковал мой ищущий взор и, поправив завитую гриву волос, ехидно заметил:

— Сюда самочек не заводят. Может плохо кончиться!

— Я Курта ищу.

Я и без него знал, что девушке здесь не место. Среди домашних любимцев встречаются скоты.

— Нет здесь Курта,— сказал Вик.

— А что по телеку показывают?

Вик не ответил. Я обернулся к экрану. Там показывали исторический фильм о первой высадке на Землю Хозяев.

...Толпа поселян в уродливых одеждах радостно гогочет, наблюдая, как из открытого люка корабля не спеша выходят три пришельца. Они массивны, они куда крупнее и тяжелее человека, некоторые достигают четырех метров. Из скафандров высовываются чешуйчатые зеленые лапы с длинными цепкими, словно без костей, пальцами. Зеленые, блестящие, будто смазанные жиром, головы тоже покрыты зелеными чешуйками... Пришельцы здороваются с поселянами.

— Сегодня юбилей! — произнес вдруг сидевший рядом со мной средних лет мужчина в какой-то глупой попонке.— Столетие! Столетие первого счастливого контакта!

— Выпить бы! — произнес какой-то жалкий замарашка. Порой в комнату для отдыха домашних любимцев проникают с улицы бродячие люди. Затерявшись среди нас, они могут рассчитывать на стакан лимонада или на горсть орешков.— Выпить бы, я сказал! По случаю счастливого юбилея!

Он смотрел на меня в упор, словно я сейчас вытащу из-под мышки бутылку самогона.

Чтобы не встречаться с его наглым взглядом, я обратился к экрану. Странная мысль посетила меня: как изменилась жизнь на Земле за прошедшие сто лет! Хоть меня тогда еще не было на свете, я знаю по старым пленкам и журналам о мире насилия, неуверенности, ранней смерти и нищеты, о мире, в котором господствовало право сильного, где люди, будто стремясь к самоубийству, уничтожали реки и отравляли воздух... Страшно подумать, что было бы без Визита!

Замарашка уже приставал к Вику, и я слышал его занудный голос:

— Ну, глоток достань, ну, достань, братишка, ты же можешь, ты же гладкий!

Я с радостью смотрел, как на экране спокойно, с чувством собственного достоинства, двигаются Спонсоры, вбирая лучащимися добротой глазами окружающую действительность. Интересно, какие мысли проносились в тот момент под этими высокими зелеными лбами? Яйблочка как-то, поглаживая меня по голове, рассказывала о своем отце — одном из первых Спонсоров. Она уверяла, будто Спонсоры были огорчены тем, что увидели на Земле.

— Ай! — Отчаянный крик разорвал мирный шумок комнаты отдыха.

Я вскочил. Все вскочили. Так я и думал: Вик, элегантный, милый, казалось бы генетически лишенный агрессивности, как дикий пес, набросился на замарашку, и они, сцепившись, катались по полу. Остальные вскочили со своих мест, окружили спорщиков кольцом, аплодисментами и криками подбадривая их. Поведение моих товарищей меня возмутило.

— Как вы себя ведете! — закричал я.— Постыдитесь! Вы забыли о том, что наши Спонсоры не жалеют времени и сил, чтобы научить нас высокому пониманию добра! Мы не имеем права опускаться до пошлой драки. В любую минуту нас могут увидеть!

Но как назло никто не слышал меня. Зато на шум ворвались два магазинных полицая с электродубинками. Они вели себя так, словно мы все были преступниками и хулиганами,— колотили дубинками, валили на пол, топтали ногами. Мы были вынуждены забиться по углам, но и там нас доставали эти садисты.

Меня всегда возмущали те люди, которые не видят границы между любовью к нашим Спонсорам, сотрудничеству с ними и услужению им за счет своих соплеменников.

Как говорится, «служить бы рад, прислуживаться тошно!». Вот это — мое кредо.

Но кредо не могло защитить меня от ударов, меня, пальцем никого не задевшего и не принимавшего участия в этой постыдной драке, спровоцированной, как я честно признался Яйблочке, когда она взяла меня из комнаты отдыха, проходимцем-замарашкой, возможно, агентом деструктивных сил, выступающих под ложным лозунгом «Земля для людей!».

— Где бы они сейчас были,— проворчала в ответ Яйблочка, натягивая поводок, предназначенный (в моем конкретном случае) только для того, чтобы защитить меня в случае неожиданной опасности.— Если бы не наша экспансия, они бы вымерли от собственных нечистот.

Разумеется, я полностью согласен с моей милой, добродушной Яйблочкой, четырехметровой неуклюжей лягушатиной!

Я решил воспользоваться ее тревожным настроением и сказал:

— Госпожа, я тут видел трехцветный электронный ошейник.

— Зачем тебе? У тебя совсем еще новый.

— В него вживлена система предупреждения. Если меня захотят украсть, то он сразу даст сигнал.

— Небось бешеных денег стоит,— проворчала моя хозяйка.

И я понял, что постоянный страх потерять меня, лишиться лапушки, псеночка-котеночка, дорогого моего человечка, которого она искренне почитала членом семьи, заставит ее раскошелиться. Такой триколер уже купили Вику, вся наша улица с ума посходила от зависти.

Мы повернули к дому. Скоро должен был прийти со службы наш Спонсор Яйблочко, и мы с госпожой всегда с трепетом ждали этого момента.

— Пока ты дрался в зверинце...— продолжала Яйблочка. Я попытался было возразить, но она не слушала меня, она думала вслух.— ...мы с дамами как раз обсуждали новости из Симферополя. Ты, наверное, смотрел по телевизору. Это же надо — докатиться до обстрела курортного автобуса! Я не сторонница жестокого обращения, но всякому терпению есть предел. И этот нелепый лозунг...

— «Земля для людей!» — сказал я, и получилось чуть более вызывающе, чем мне того хотелось.

И тут же Яйблочка стегнула меня по голой спине плетью, которую всегда носила с собой, чтобы отгонять поклонниц.

Это меня глубоко оскорбило. Если ты больше и сильней, это не означает, что можно пускать в ход плетку. Я лег на землю, на голый пыльный асфальт. В знак протеста я решил тут же умереть!

Яйблочка дернула меня за поводок. Я не сопротивлялся. Она потянула сильнее и буквально поволокла меня, не думая о том, что я могу оцарапаться и у меня начнется нагноение, откуда всего шаг до гангрены!

Я поднялся на ноги. Ведь не ей — тупой скотине — мучиться перед смертью! Если они захватили Землю, потому что у них есть одуряющие газы, лазерные пушки и черт знает еще какое оружие, это не означает, что Земля погибла. Нет, мы не сказали еще последнего слова! Вы можете выжечь очаг сопротивления в Крыму, но завтра мы откроем новые подпольные ячейки в других городах! И берегитесь, наглые завоеватели!

Яйблочка, видно, почувствовала ненависть, исходящую от представителя порабощенного, но не сдавшегося народа, потому что перестала тянуть поводок и сказала виноватым голосом:

— Отряхнись, Тимоша. Нельзя же так себя вести — люди смотрят.

— Пускай смотрят,— ответил я, но все же поднялся. В отличие от угнетателей — чего уж таиться, надо называть вещи своими именами — я человек добрый и отходчивый.

Мы продолжили наше движение к дому.

Порой нам встречались другие Спонсоры и Спонсорши, совершавшие послеполуденную прогулку с домашними любимцами. Спонсоры раскланивались и перекидывались фразами на своем языке, и это давало возможность и нам, любимцам, также обменяться приветствиями и новостями.

— Слышал, Тим,— спросил меня Иван Алексеевич из хозяйства Плийбочико,— они кинули атомную бомбу на горный Крым. Нет теперь Алушты.

— Не может быть!

— По телеку передавали.

Иван Алексеевич мне неприятен. Всю жизнь он служит своим Спонсорам за пределами разумного. Он даже бегает для хозяйки в магазин и качает их ребенка. Нельзя же так унижаться!

— Наверное, это преувеличение,— сказал я, а у самого сердце сжалось от жалости к Крыму, где мы так хорошо отдыхали в прошлом году.

— В городе создаются подпольные ячейки,— прошептал Иван Алексеевич.— Я могу тебя рекомендовать.

Я не успел ответить, потому что Яйблочка потянула меня дальше, и ошейник впился в горло. Хорошо еще, что она не услышала шепота этого старого конспиратора. Нельзя бороться с природой, с судьбой!

Оказывается, Яйблочка все слышала.

— Надо будет сообщить об этом любимце,— сказала она задумчиво.— Ему давно пора на живодерню! Подстрекательство такого рода ведет к напрасным жертвам.

— Правильно! — крикнул я, хотя ошейник был натянут так, чтобы меня задушить. Она меня воспитывала!

Я уж не знал, что делать, но тут зрелище, открыв-

шееся моим несчастным глазам, отвлекло меня от физических страданий.

Навстречу нам по бульвару шел жабеныш и вел на золотой цепочке мою возлюбленную!

Нет, я никогда не спутаю ее ни с кем на свете! Ее светлый образ запечатлелся в моем мозгу до конца дней.

— Ты куда? — закричала Яйблочка и дернула поводок, я потерял равновесие и, чтобы не упасть на землю, опустился на четвереньки.

Девушка, которая улыбнулась было мне как старому знакомому, при виде моего несчастья рассмеялась — мелодично, звонко и обидно. Ее спонсоренок остановился и тоже принялся смеяться, как смеются они все, дергая грудью и животом.

— За что? — только и спросил я, поднимаясь и стараясь сохранить чувство собственного достоинства.— Неужели тот факт, что сто лет назад вам удалось обманом и превосходством в технике покорить Землю, дает вам основания так больно унижать ее население?

Видно, в сердце этой туши что-то шевельнулось, потому что Яйблочка строгим голосом приказала жабенку-спонсоренку прекратить смех! У них с дисциплиной строго.

Жабеныш замолчал и потащил мою возлюбленную на боковую дорожку. Она так элегантно и легко бежала рядом с ним, чуть подпрыгивая на бегу, линия ног столь плавно переходила в круглый задик, рыжие кудри так нежно и игриво струились по узкой спине, что у меня перехватило дух. И все попытки и потуги Яйблочки оторвать меня от этого волнующего зрелища были тщетны. Ей пришлось подхватить меня на лапы и, прижимая к жесткой чешуйчатой груди, отнести домой.

* * *

Мы больше не разговаривали с Яйблочкой. Она не скрывала своего недовольства, я — обиды.

В хорошие дни меня кормят вместе со Спонсорами, в гостиной, но тут Яйблочка поставила мне миску на кухне в углу. Я взял ее, сел на подоконник и стал смотреть в окно в надежде, что моя возлюбленная вернулась с прогулки, но Яйблочка заглянула на кухню, дала мне подзатыльник и согнала с подоконника. Я подумал было отомстить ей и отказаться от ужина, но страшно хотелось кушать, и я решил подождать до следующего раза.

На этом мои несчастья не закончились. Ни с того ни с сего жабина устроила уборку в чулане и отыскала там книжку комиксов про супермена Иванова, которую я выменял у Вика за старую монету. И когда домой заявился со службы мрачный Спонсор Яйблочко, она еще до обеда подсунула ему свой трофей.

Голодный и потому особо опасный для человечества пришелец Яйблочко вытащил меня из-под дивана, куда я пытался забиться, и безжалостно избил электрическим хлыстом. Его желтые глазки горели яростным садистским огнем, но при этом он беседовал со мной, словно не причинял мне немыслимую боль, а угощал чаем.

— Неужели ты до сих пор не усвоил, хомо сервилиус, что чтение — прерогатива разумных существ? Сегодня ты начал читать...

— Но это же только комикс! Ой, больно!

— Будет еще больнее... Сегодня ты читаешь комикс, в котором человек поднимает руку на Спонсора, завтра ты выйдешь на улицу с пластиковой бомбой!

— Никогда я не посмею поднять руку на своего кормильца!

— Ты не поднимешь, пока ты нас боишься, но как только исчезнет страх, ты станешь опасен.

Рассуждая, он продолжал меня колотить.

Я уже захлебывался от слез и боли и чуть не потерял сознание, когда госпожа Яйблочка вырвала меня из рук супруга и отнесла на подстилку.

Они говорили за дверью на своем зверском языке, который я знал, как родной. Любопытно, но ни один Спонсор не верит, что человек может выучить их язык — это как бы за пределами наших умственных возможностей. Хотя практически все домашние любимцы, кроме уж самых тупых, отлично понимают разговоры Спонсоров. А как иначе? Они решат отправить тебя на живодерню, а ты будешь хлопать глазами?

— Пожалуй, ты был с ним излишне жесток, мой повелитель,— сказала госпожа Яйблочка.

Ее муж что-то прохрюкал в ответ.

— Ведь он же нам не чужой.

Опять неразборчиво.

Я подполз к двери, волоча за собой подстилку. Идиотский запрет людям одеваться, который свел в могилу уже много тысяч человек, особенно ужасен, когда тебя побьют. Знобит, а укрыться нечем.

Кое-как натянув подстилку на синяки и царапины, я улегся у двери в их комнату.

— Но мы взяли его малышом! Помнишь, какой он был забавный!

— Он уже не забавный. Надо что-то делать с ним дальше.

— Он безобидный.

— Ты не думаешь о животном! У него тоже свои потребности,— рассудительно и размеренно говорил Спонсор.

Но почему надо называть меня животным, если давно уже доказано, что люди разумны?

— Какие потребности у Тимоши?

— Потребности взрослого кобеля!

— Ну уж!

Затем последовала пауза. Видно, Спонсор доканчивал ужин, а его супруга размышляла. Она размышляет со скоростью улитки.

— Ты прав,— услышал я ее голос.— Я сегодня уже об этом думала.

— А что случилось?

— При виде одной... особи женского пола он чуть было поводок не оборвал.

— Я же говорил! Отвезем его в клинику. Пять минут — и больше не будет проблем.

— Нет! — почти закричала госпожа Спонсорша.

— Почему? Миллионы людей проходят через эту операцию. Она сразу снижает уровень агрессивности, улучшает характер животного. Если операцию вовремя не сделать, это может кончиться трагедией. Ты же знаешь, сколько молодых самцов убегало из домов, попадало под машины, в облавы, на живодерню!

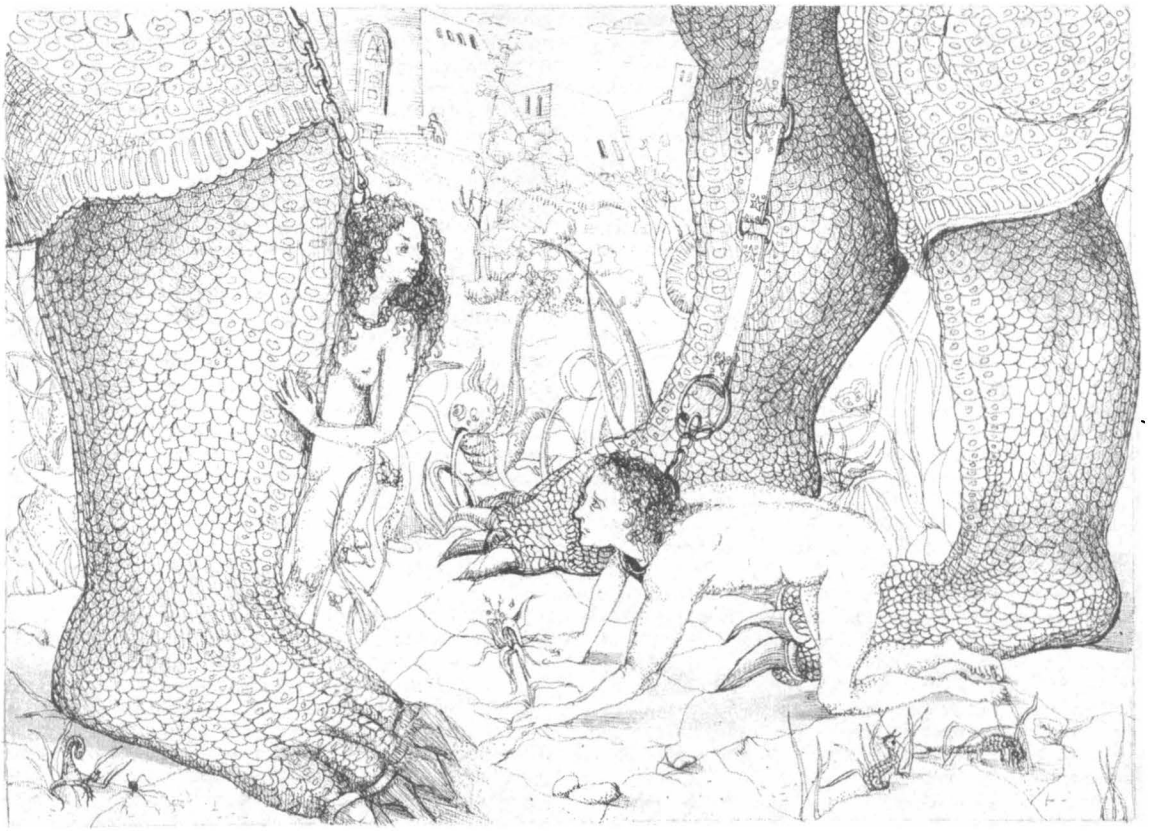
— Только не это! Я не переживу. Я не могу жить без моего Тимошеньки!

— Не раскисай. Он тебе будет только благодарен.

За дверью наступила зловещая, страшная тишина. Я физически ощущал, как тяжело ворочает мозгами моя Спонсорша. Она всерьез обдумывает проблему, не уничтожить ли во мне мужчину? Она — существо, с которым мы вместе живем уже более пятнадцати лет, которая вставала ко мне ночью, когда у меня была скарлатина, которой я приношу ночные туфли и подогретый бульон, если у нее бессонница... неужели госпожа Яйблочка согласна на то, чтобы я, самое близкое ей существо, подвергся страшной операции. О нет!

— Ну ладно,— услышал я голос госпожи,— ложимся спать. Завтра еще раз обсудим.

Дверь открылась, госпожа велела мне идти наверх в спальню, ложиться на коврик у их постели, и я с трудом подчинился. Все тело ломило. Ужас сковывал мои члены.



Господа заснули быстро, но я, разумеется, не спал. Они занесли топор над самым важным даром природы, над самим моим естеством! Я знаю этих несчастных рабов, этих домашних любимцев, лишенных мужского достоинства. Это ничтожные счастливые тени людей, которые доживают свой растительный век, не оставив следа на Земле.

Я бесшумно поднялся и подошел к окну.

Отсюда, со второго этажа, был виден газон, разделяющий наши дома. И тут я увидел в ночной полутьме, как она, легкая, душистая, вышла на этот газон, легла на спину и потянулась. Вся она — нега, ожидание любви, томление, счастье!

Хлопнула дверь, высунулся ее жабенок. Позвал спать.

Моя возлюбленная лениво поднялась и вернулась в дом.

А я был готов умереть...

* * *

На следующее утро никто не вспоминал о вчерашних бурных событиях. И я, проснувшись в поту от кошмара, который мне приснился, тут же пришел в себя, услышав ласковый голос Спонсорши:

— Тимоша, скорей мыться и на завтрак! Я тебе кашку сварила!

Она погладила меня по голове и сказала, что поведет на завивку, а я ждал только момента, чтобы меня выпустили погулять в садик...

Как назло, она долго не отпускала меня. Сначала ей пришло в голову сделать мне педикюр, потом ей показалось, что у меня жар, и она велела мне поставить градусник. А я старался не глядеть в окно, чтобы не вызвать в ней подозрений.

— А на господина Яйблочко ты не сердись,— говорила Спонсорша, перебирая мои кудри,— он бывает груб, но он всегда справедлив. Ты же знаешь, у него в части много организационных проблем и он не может позволить себе расслабиться. С вами, людьми, все время жди подвоха. Вы как испорченные дети.

— Почему испорченные?

— Потому что норовите сделать гадость исподтишка, потому что не помните добра, потому что лживы... потому что... миллион причин! А ты чего на меня уставился? Наелся — иди погуляй. Но за забор — ни шагу.

Я послушно поклонился Яйблочке и подождал, пока ее зеленая чешуйчатая туша уплывет из кухни. И тут же кинулся в сад. Сердце подсказывало мне, что Ирэн ждет меня там или выглядывает из своего окошка, чтобы выйти, как только я появлюсь.

Я прошел через газон, присел у бассейна, попробовал ступней воду. Вода была холодной. Я прошел к кустам, что разрослись у изгороди и счастливо закрывали тех, кто пожелал бы уединиться от любопытных глаз.

Там было пусто. И пустота эта была насыщена звоном насекомых, щебетом птах и подобными мирными, совсем негородскими звуками. Старшие говорят, что раньше на Земле было не так тихо и красиво, но Спонсоры запретили вонючие двигатели и разрушили вредные заводы. Сами они не нуждаются во многих вещах, которые производили люди, и люди тоже быстро отвыкли от них, даже от одежды, отчего теперь, как мне рассказывали, люди живут только в теплых местах нашей планеты.

— Тим,— сказала Ирэн, заглядывая в кусты.— Я так и знала, что найду тебя здесь.

— А я специально сюда пришел,— сообщил я. Я был счастлив. Но не мог объяснить свое чувство. Это было не то чувство, в котором меня так подозревали хозяева. Мне хотелось смотреть на Ирэн, а если

дотронуться до нее, то лишь кончиками пальцев.

— Тебя били? — спросила Ирэн.

— Вчера,— сказал я.— Из-за тебя.

— Из-за меня? — Глаза у нее были синие, простые, ласковые.

— Они решили, что я слишком... слишком несдержанно себя веду. Что пришло время меня...— Язык мой не повернулся объяснить, в чем дело, хотя, в общем, в этом не было тайны или чего-нибудь необычного — больше трех четвертей мужчин после двадцати лет подвергались ампутации этих органов для их собственного блага.

— Не может быть! — догадалась Ирэн.— Только не это!

— Почему? — вырвалось у меня. Мне хотелось услышать приятный для себя ответ.

Ирэн отвернулась. Вопрос ей не понравился. Видно, показался слишком откровенным.

— Прости,— сказал я. Я в самом деле чувствовал себя виноватым перед этой девушкой. Я любовался ее профилем — у Ирэн был короткий нос, который чуть подтягивал к себе верхнюю губу и приоткрывал белые зубки.— Прости, зайчонок.

— Ты дурак,— произнесла Ирэн.— У тебя, наверное, никогда девушки не было.

— Откуда? — согласился я.— Меня ведь щенком взяли из приюта. Так и живу в доме. Я другой жизни и не знаю.

— А я знаю свою маму.

— Не может быть!

Это было так удивительно. Никто не должен знать родителей. Это преступление. Это аморально. Человек принадлежит тому Спонсору, который первым сделал на него заявление.

— Она сама мне сказала,— прошептала Ирэн.— Рассказать?

— Конечно.

Ирэн подсела ко мне поближе, так что наши плечи касались. Я положил ладонь ей на коленку, и Ирэн не рассердилась. Почему, подумал я, она упрекнула меня тем, что у меня не было девушки? Значит, у нее кто-то уже был?

Эта мысль несла в себе горечь, какой мне никогда еще не приходилось испытывать.

— У нас в доме была еще одна любимица, старше меня,— начала Ирэн.— Она меня многому научила. И она мне рассказала, что бывают люди, которые не живут в домах у Спонсоров.

— Ты об этом не знала?

— Я только знала, что плохо жить не в доме.

В этот момент совсем близко затрещали сучья, затопали тяжелые шаги. Я даже не успел отскочить — отвратительный жабеныш, сынок Спонсора Ирэн, навалился на меня и стал заламывать мне руки.

— Вот чем ты занимаешься! — рычал он.

Я успел увидеть, как он наподдал ножищей в бок Ирэн и она отлетела в сторону. Но я был бессилен помочь ей — жабеныш уже тащил меня из кустов, он тащил меня за руку, вывернув ее, и я вопил от боли.

На мой вопль выскочила госпожа Яйблочка.

Она возмущенно заверещала:

— Как ты смеешь! Это не твой любимец! Сейчас же перестань мучить Тимошку!

А жабеныш, не отпуская меня, верещал в ответ:

— А вы посмотрите, вы посмотрите, чем он в кустах занимался! Она у нас еще девочка, она еще невинная, насильник проклятый! Ты от меня живым не уйдешь!

Он наступил мне на живот, и я понял, что еще мгновение — и я погибну; видно, это почувствовала и моя Яйблочка. И несмотря на пресловутую сдержанность и рассудочность Спонсоров, мысль о возможной потере любимца настолько ее разгневала, что она кинулась на жабеныша и принялась безжалостно молотить его зелеными чешуйчатыми лапами. Тот сопротивлялся, но был всего детенышем, да, еще детенышем, посмевшим на чужой территории драться с хозяйкой дома. Так что я был спасен, и через несколько минут, подвывая от боли и унижения, наш сосед удалился в свой садик и принялся оттуда ворчать:

— Где эта мерзавка, где эта тварь развратная? Я ей покажу... Мама-а-а, меня госпожа Яйблочка избила...

— Вот видишь,— сказала моя Спонсорша, помогая мне подняться и дойти до дома, чего без ее помощи я бы совершить никак не смог.— Мы были совершенно правы — если тебе не сделать операцию, то ты и дальше будешь попадать в неприятные истории. И не надо отворачиваться и плакать, не надо слезок, мой дорогой. Это так быстро и под наркозом. Ты проснешься счастливым, а я тебе испеку пирожок. Ты давно просил у меня пирожок с капустой.

Я молчал, борясь со слезами. Она ведь была в сущности доброй Спонсоршей. У многих людей хозяева бывают куда более жестокие и грубые. Другая бы даже и говорить ничего не стала: отвезли куда надо, сделали что надо — и ходи счастливый!

* * *

Я лежал на подстилке в своем углу, и странные, несвязные мысли медленно кружились в голове. Вдруг я подумал, что у меня, наверное, никогда теперь не будет разноцветного электронного ошейника, как у Вика. Ведь Спонсоры мной недовольны. И тут же мысль перескочила на мое собственное преступление, и я понял, что преступления не было. Я даже хотел было вскочить и пойти к хозяйке, сказать ей, что я и не пытался обидеть Ирэн, напасть на нее... и в конце концов это наше дело, дело людей, как нам обращаться друг с другом! Я не собираюсь целовать Спонсоршу Яйблочку! Тут я неожиданно для себя хихикнул, но, к счастью, она меня не услышала. Она уже уселась за вышивание запасного флага для полка Спонсора Яйблочко, потому что старый истрепался на бесконечных маневрах и парадах.

Я повернулся на спину, но спина болела — что-то мне этот зеленый жабеныш повредил. Пришлось лежать на боку... Я понимал, что обречен, и хотя мой опыт в любви был умозрительным и за те восемнадцать лет, что я прожил на свете, мне не приходилось быть близким с женщиной, другие любимцы показывали мне картинки и рассказывали — чего только не наслушаешься в комнате отдыха для домашних любимцев! Раньше я не знал, что теряю в случае операции, которой я должен покориться, да и не задумывался об этом раньше... Но теперь я встретил Ирэн, и все изменилось — мысль об операции для меня ужасна... но почему? Ведь не стал мне отвратительней дантист после того, как заболел зуб? Глупо и наивно... Какое мне дело до продолжения какого-то рода? Нас, домашних любимцев, это не касается. Как-то в комнате отдыха рассказывали, что у одних Спонсоров жили домашний любимец и домашняя любимица, хоть это и строго запрещено. И когда они подросли, то стали... в общем, вы понимаете: в результате у любимицы родился маленький ребеночек. Его хотели утопить, чтобы скрыть преступление, его кинули в речку, а он не утонул, его подобрали, а потом один умный следователь разгадал эту тайну... впрочем, не помню, врать не буду.

Так я и заснул... потому что был избит и морально подавлен.

Я несколько раз просыпался в тот день. Сначала от шума: пришли соседи — Спонсорша и ее жабеныш, который нажаловался на мою хозяйку. Был большой скандал, причем обе зеленые дамы грозились друг

дружке своими мужчинами, и это было курьезно. Потом соседка начала кричать, что меня надо обследовать на случай, если у меня заразная болезнь, на что моя хозяйка сказала, что это у Ирэн заразная болезнь... Словом, жабы развлекались, а я прятался на всякий случай за плитой, потому что не исключал, что меня побьют.

Обошлось. Соседи ушли, а хозяйка пришлепала на кухню, встала у плиты и, заглядывая сверху в щель, прочла мне нотацию, что бывают неблагодарные твари, в которых вкладываешь силы, нервы, время, а они не отвечают взаимностью. Я догадался, кто эта тварь, и огорчился. Значит, они все же повезут меня на операцию.

Вечером я получил подтверждение своим страхам — хозяева, как всегда убежденные в том, что ни один домашний любимец не выучит их паршивый язык, спокойно обсуждали мою судьбу.

— Я убеждена, что наш Тимошка и пальцем ее не тронул,— говорила госпожа,— она сама его заманила в кусты с известными намерениями. Ты же знаешь, как быстро развиваются их самочки.

— Но он тоже хорош!

— Конечно, я виню себя в несдержанности.

— Он напал на тебя на нашей территории.

— Но он еще слабый и глупый...

Я дремал, вполуха слушая этот неспешный разговор. И вдруг проснулся.

— Ты завтра позвонишь ветеринару? — спросила хозяйка.

Еще ничего не было сказано, а в мое сердце вонзилась игла.

— А почему ты сама не сможешь?

— У него наверняка очередь месяца на два — сколько приходится проводить операций!

— Это точно, я все-таки сторонник гуманной точки зрения,— бурчал мой Спонсор,— лишних надо топить. Топить и топить. И тогда не будет проблем с ветеринарами.

— Ты хотел бы, чтобы Тимошу утопили?

Хозяин понял, что хватил через край, и отступил:

— Тимоша — исключение. Он как бы часть дома, он мне близок, как этот стул...

Сравнение было сомнительное. По крайней мере для меня оно прозвучало угрожающе. Старые стулья бросают в огонь.

— Ладно,— сказал Спонсор,— я сам позвоню и договорюсь. А ты напиши официальное примирительное письмо к соседям. Я сам отнесу письмо. Нам с ними жить, а он — второй адъютант гарнизона.

Мне было грустно, что мои хозяева — не самые сильные на свете. Мне хотелось бы, чтобы они были всесильны и не боялись каких-то паршивых жабенышей... Потом я стал уговаривать себя, что ветеринар так занят, что не сможет сделать операцию еще целый год... а к тому времени мы что-нибудь придумаем и, возможно, даже убежим вместе с Ирэн, или мои Спонсоры сжалятся над моими чувствами и купят Ирэн у наших соседей. Мы с ней будем жить здесь и спать на моей подстилке, и нам купят с ней одинаковые трехцветные ошейники... С такими счастливыми мыслями я заснул.

Но, проснувшись, я понял, что радоваться нечему.

Каждый телефонный звонок я воспринимал как звон погребального колокола, каждый пролетающий флаер мне казался вестником злой судьбы. Однако судьба молчала до середины дня. В два позвонил хозяин. Его железная морда занимала весь экран телефона, и я, стоя за спиной хозяйки, слышал каждое слово.

— Все в порядке,— сообщил Спонсор, словно разговор шел о том, чтобы купить мне на зиму новую попонку,— я нажал на него, сказал, что Тимофей представляет опасность для окружающих ввиду его чрезвычайной агрессивности, но нам бы не хотелось его усыплять, потому что моя жена к нему привязана... В общем, он согласен.

— Когда же? — спросила госпожа Яйблочка.

— Сегодня в пятнадцать двадцать.

— Через час? Ты с ума сошел! У меня обед на столе, а я еще не ходила в общественный центр.

— Придется поступиться своими интересами,— сказал Спонсор,— ради интересов домашнего любимца.

— Это ужасно! Я даже не успею почистить когти.

— Как хочешь,— рявкнул Спонсор.— Я не буду снова унижаться перед ветеринаром!

— Хорошо, хорошо.

Госпожа обернулась ко мне — она догадалась, что я стою за ее спиной.

— Вот все и обошлось,— произнесла она, как будто операция уже прошла.— Сейчас мы с тобой это сделаем и уже вечером обо всем забудем. Не печалься, выше голову, мой человечек! — Хозяйка погладила меня, и я был готов укусить ее за чешуйчатую ладонь, но удержался. Человек я в конце концов или нет!

— Иди в садик, погуляй пока,— сказала она.— Я соберусь, и через полчаса пойдем. Тут недалеко.

Просить, умолять — бессмысленно. Спонсорам чужды наши человеческие чувства. Они живут в рациональном мире, и даже странно, что в свое время, в дни Великого покорения, они не истребили всех людей. Может быть, именно наша эмоциональность, наши чувства, наши слабости вызвали в ком-то из Спонсоров ответные чувства. Ведь недаром их психологи так рекомендуют держать человека в доме, в котором есть жабеныш, простите — ребенок.

Я вышел в сад. Конечно же, Ирэн не было видно — ее спрятали за семью замками. Может, она глядит сейчас в окно.

Я сорвал цветок ромашки и стал его нюхать, показывая всем своим видом, насколько я удручен и опечален. Если она смотрит, то тоже плачет. Что же делать, думал я. Вот если бы было место на Земле или вне ее — хоть какое-нибудь место, чтоб там мог спрятаться и прожить оскорбленный и униженный человек, представитель некогда гордой расы людей... Но я не желаю стать бродячим псом, который будет рыться на свалке и ждать того момента, когда его поймают и отвезут на живодерню! Нет уж — лучше смерть, лучше операция... Я видел этих замарашек, я видел, как их везут через город в фуре с решеткой и они скалятся на прохожих потому, что им ничего больше не остается, как скалиться. Нет, человек — это звучит гордо! Пускай я буду оскоплен, но я не склоню головы!

Рассуждая так, я отбросил ромашку и ходил по газону, заложив руки за спину и порой отмахиваясь от комаров, которые норовили сесть на мое гладкое нежное тело.

— Эй, Тимоша! — услышал я насмешливый голос.

Мой друг Вик перепрыгнул через изгородь и оказался рядом со мной.

— Как только тебя пускают одного гулять по городу! — удивился я.

— Ты же знаешь — моя старая жаба не в состоянии за мной уследить. Да и не стал бы я слушаться.

— Вик,— сказал я,— у меня горе!

И я поведал ему о том, что через несколько минут меня поведут к ветеринару.

— Честно сказать,— произнес Вик, выслушав мой короткий рассказ,— если бы такое произошло со мной, я бы убежал или повесился. К счастью, меня отобрали в производители и мне пока ничего не грозит.

— Но почему тебе так повезло? Почему?

— Я из очень хорошей породы. Меня еще в детстве измеряли и исследовали. Целый месяц держали в евгеническом центре.

— Где?

— Там, где проверяют породы и выводят новые.

— А мне нельзя в этот центр?

— Поздно, мой друг, поздно,— сказал Вик.— Да и работа эта не по тебе. Все время ты должен заниматься спортом, соблюдать диету, быть готовым работать в любое время дня и ночи.

— А почему твоя Спонсорша на это согласилась?

— Тщеславие, тщеславие,— вздохнул Вик.— Таких, как я, очень мало, а породистого детеныша хотят многие семьи. Не уличного, не случайного — именно породистого. Кстати, в двенадцать мне — в этот дом. На работу.

— Что? — Меня как током ударило.— Что ты имеешь в виду?

— Ирэн, которая здесь живет, ну, которая тебе понравилась!

— И ты... ты что?

— Сегодня с утра ее хозяйка позвонила моей и просит — мне срочно нужен ваш самец. Наша девица, говорит она, созрела и вокруг нее уже вьются ухажеры... Тим, Тимка, ты что? На тебе лица нет.

Он отступал передо мной.

— Я как раз подумал,— продолжал он говорить, отступая, потому что он был большой дурак и не мог замолчать, пока не выскажет все, что в нем накопилось.— Вот смешно, ты к ветеринару, а я к ней. Правда, смешно?

Тут я и врезал ему в морду. Между глаз, изо всей силы.

Он был крупнее меня, он был сильней, но он не ожидал, что я могу его ударить. Домашние любимцы, особенно породистые, из хороших семей, никогда не дерутся. Спонсоры будут недовольны! Он вырвался и побежал прочь, но я догнал его и повалил на газон, он пытался оторвать мои пальцы от горла, он хрипел и дергался, он бил меня ногами; и уже со всех сторон бежали люди и Спонсоры, и моя хозяйка стала отрывать меня, и жабеныш бил меня когтистыми ножищами, он ненавидел меня и хотел убить; за открытым окном мелькнуло лицо Ирэн, искаженное страхом; я отбивался, царапался, кусался — я был диким зверем, которого надо убить, и, если бы меня убили в тот момент, я бы не удивился и не считал это неправильным — такому, как я, не было места в нашем хорошо организованном цивилизованном мире.

Меня оттащили. Вик бессильно лежал на газоне — непонятно, живой или мертвый. Что-то кричали... А я существовал на уровне животных инстинктов. Мною правил инстинкт самосохранения.

Я рванулся и покатился по траве.

— Ты куда? — кричала госпожа Яйблочка.

А я уже перескочил через ограду и побежал то прыжками, то пригибаясь, виляя по мостовой — ожидая в любой момент пули или лазерного луча в спину, я несся куда-то, меня вел инстинкт самосохранения — за город, в лес, на старую свалку... Я знал, что меня поймают, как обычно ловили всех беглецов и даже показывали это по телевизору, чтобы другим неповадно было убегать. Но я все равно бежал.

* * *

Я вспомнил эту четырехлетней давности историю вчера, когда мы вышли к городу примерно тем же путем, которым когда-то я бежал из него. Нет, разумеется, я ничего не забывал — так что слово «вспомнил» не совсем точное. Но жизнь моя за последние годы настолько интенсивно спрессовалась в события просто опасные, смертельно опасные и безвыходные, что у меня не было возможности, да и желания усаживаться мирно у костра и предаваться воспоминаниям. И если бы вы попросили меня изложить в последовательности мои странствия, приключения и беды за четыре года, ничего бы из этого не вышло...

Я не собирался заглядывать в свой старый дом. Подпольщик не имеет права на сентиментальность. Как говорится, жил один мальчик, который любил свою бабушку и носил ей морковку. Вот волк его и выследил, заодно и явку у бабушки.

Я не собирался никуда заглядывать, но получилось так, что все равно мне надо было отсидеться до утра в пригородном лесочке, и я сказал своему другу Ползуну, что прогуляюсь. Ползун предупредил: «Осторожнее». Всей своей шкурой эта полутораметровая гусеница чуяла опасность. «Обойдется»,— сказал я. Я тоже всей шкурой чувствовал опасность. Но не хотел признаваться. Тем более себе.

Наш тайник находился под громадной кучей валежника, там скрывалась покрытая дерном землянка. Я разделся догола.

— Ты не возьмешь оружие? — спросил Ползун.

— Как я его спрячу? Если в городке увидят одетого человека, они будут стрелять без предупреждения. Ты же знаешь, как они нас боятся.

— Опасно без оружия,— сказал Ползун.

— Жди меня в двадцать три сорок. Если что, искать меня не ходи. Возьмешь пакет — и в казарму гладиаторов.

— Не учи меня,— обиделся Ползун и свернулся на земляном полу.

Я отвык ходить нагишом, всей кожей чувствовал нелепость — я, взрослый мужчина, выхожу из леса в чем мать родила, подобно тем полулюдям-полуживотным, которых выращивают и лелеют Спонсоры. И тут мне пришло в голову, что я сам недавно был домашним любимцем... Я улыбнулся и перебежками, порой падая в высокую сорную траву, порой пробегая между заросших бурьяном куч мусора, добрался до окраины городка, чуть прикрашенного сумерками и редкими фонарями. Дальше за кустарником поднимались серые бетонные и титановые шапки укреплений базы.

Выйдя на улицу городка, я пошел по тротуару, прижимаясь к стенам домов, пригибаясь и стараясь быть незаметным — как и положено обитателю помоек, еще не угодившему на живодерню, но готовому к такой судьбе. Я даже прихрамывал и тянул ногу, впрочем, это было нетрудно — нога была перебита еще в прошлом году во время неудачного нападения на базу патрульных катеров, я чудом тогда ушел и два месяца скрывался в подвалах бывшей Москвы. Впрочем, сейчас я не об этом...

Я шел осторожно, но уверенно. В тот сумеречный час у меня было немного шансов встретить Спонсора — они не любят сумерек и скрываются от них за стальными жалюзи в своих бетонных домах. Но всегда оставалась опасность попасть на глаза туземному полицейскому или мобильному патрулю.

Центр я миновал быстро и без приключений. Универмаг был уже закрыт, хотя окна его светились — там считали выручку. В комнате отдыха, где Спонсорши оставляют своих домашних любимцев, пока занимаются покупками или сидят в кафе, было темно. Я думал, что во мне что-то шевельнется — грусть ли, просто память,— но я остался совершенно равнодушен. Впрочем, никто не любит вспоминать о своем животном прошлом — я проверял это на многих моих товарищах. Мы забываем. Этого не было. Этого не могло быть...

А вот и мой дом!

Господи, до чего он уродлив! Бетонный куб с узкими окнами, запущенный газон и бассейн без воды,

лишь со слоем ила на дне. В окнах свет. Я не стал приближаться к двери — там поле охраны. Стоит мне подойти — поднимется звон на весь город.

Перепрыгнув через невысокую живую изгородь, я прошел газоном к окну гостиной и заглянул в него.

Гостиная — насколько условно это название! — была, как и положено, пустой и серой комнатой. С одной стороны на стене — экран: на нем показывают официальные новости и официальную развлекательную программу. С другой стороны — широкая металлическая скамья — на ней бок о бок сидят Спонсоры, господин и госпожа Яйблочки. Одинаковые, чешуйчатые, зеленые, массивные, вдвое превышающие человека ростом и вдесятеро силой. Их морды лишены мышц и потому не способны к мимике. Так что они кажутся статуями, статуями близнецов в кататоническом состоянии.

И это были когда-то мои господа, перед которыми я трепетал? Это были образцы мудрости? Я хотел бы улыбнуться, но не мог — ведь жалок был я, ибо мои глаза были закрыты.

Вдруг госпожа Яйблочка зашевелилась — что-то на полу привлекло ее внимание,— зеленая туша совершила медленное движение, лапа опустилась к полу; я поднялся на цыпочки и увидел, что у ее ног на коврике — на моем коврике! — сидит голенький мальчик лет трех-четырех и тоже смотрит на экран. Когтистая лапа Яйблочки нежно дотронулась до головы мальчика и погладила ее, мальчик что-то сказал — его губы шевельнулись, и он прижался к ноге Спонсорши.

Это был я? Я — много лет назад? Таким я попал в этот дом.

Сверху донеслось легкое стрекотание. Патрулям было известно, что остатки нашей группы прорвались в этот район. Можно быть уверенными, что они не прекратят полетов до ночи. Правда, им трудно нас отыскать — особенно когда мы выступаем в обличии домашних любимцев — ни одного металлического предмета! Так что локаторы нас не вычленяют из природы.

Но все же я не хотел рисковать — я прыгнул в кусты и залег там.

Патруль улетел. Я сидел на траве, обхватив руками колени, смотрел на узкие бойницы моего дома... Парадокс, но эти жабы и есть моя бывшая семья — они растили меня, кормили, купали и лечили, если я болел... И госпожа Яйблочка могла испытывать ко мне материнские чувства? Как мало мы их знаем! Зачем они взяли нового малыша? Их дом им кажется пустым без человеческого присутствия?

Надо возвращаться. А то Ползун будет беспокоиться.

Я обернулся ко второму дому — за живой изгородью. Я мог сколько угодно уговаривать себя, что пришел поглядеть на стены родного дома, тогда как на самом деле меня тянуло к дому соседнему. Первый в моей жизни эмоциональный взрыв, вырвавший меня из мира домашних любимцев, исходил из этого бетонного куба, стоявшего за разросшимся бурьяном. Там тоже светились бойницы, за ними тоже ползла упорядоченная жизнь.

...Приоткрылась дверь, желтый прямоугольник света кинул на землю черную тень стройной фигуры Ирэн. Это было столь неожиданно, что я не успел взять себя в руки и отпрянул. Она услышала шум и, замерев на пороге, тихо спросила:

— Здесь кто-нибудь есть?

Я был недвижим, я даже не дышал. Я боялся, что она в страхе закроет дверь и спрячется в доме.

Она простояла с минуту, прислушиваясь, и, видно, решила, что шум произвела какая-нибудь кошка или птица... Она покинула освещенный прямоугольник двери и ступила на траву. Теперь я мог ее разглядеть.

В полутьме ее тело казалось голубоватым, а волосы приобрели странный сиреневый оттенок. Когда она поглядела в мою сторону, то ее глаза показались мне черными окнами в звездное небо. Ее фигура потеряла девичью гибкость и угловатость, грудь стала тяжелее, шире бедра — но эти перемены были лишь движением к женскому совершенству.

Она быстро, словно опасаясь, что ее хватятся дома, перебежала газон, перепрыгнула через изгородь и, уже осторожнее, озираясь как воровка, подбежала к дому Яйблочков. Возле окна в гостиную она остановилась и, вцепившись длинными пальцами в край стены, приподнялась на цыпочки, чтобы лучше видеть происходящее в гостиной.

И тут я все понял. Все было просто, хоть и необычно, и не дозволено.

Мальчик, занявший мое место в семье Яйблочков,— это сын ее и Вика. По правилам, новорожденного отнимают у матери, как только она перестает его кормить. Если с точки зрения породы он удовлетворяет селекционеров, его отправляют в распределитель. А дальше — как распорядится судьба. Может быть, повезет, и его возьмут в домашние любимцы. А тут... вернее всего, когда он родился, опечаленная моим исчезновением, привыкшая к человеку в доме, госпожа Яйблочка решила взять ребеночка себе. Где-то кому-то сделали подарок, кого-то уговорили, и произошло страшное нарушение правил — мать и сын оказались в одном городке, и, главное, мать знала, где живет ее сын.

Вряд ли ее подпускали к сыну, наверное, это было одним из условий... Впрочем, можно проверить.

— Ирэн,— тихо произнес я.

Она отпрыгнула от окна, словно ужаленная змеей. Прижалась спиной к глухой бетонной стене и смотрела с ужасом, как я приближаюсь к ней.

Я вытянул перед собой руку раскрытой ладонью кверху.

— Не бойся. Это я, Тим, ты меня помнишь? Я тут жил.

— Ти-и-им,— напевно произнесла она.— Ты же мертвый.

— Я много раз мертвый, но все равно живой,— сказал я, улыбаясь и забыв, что улыбаться мне нельзя — шрам, который пересекал все лицо, превращает мою улыбку в гримасу, неприятную и страшноватую для непривычного человека.

— Это не ты! Не подходи!

— Я тут жил, мы с тобой раз сидели в этих кустах и разговаривали, а ты сказала, что знала свою мать, а я тебе не поверил, а потом меня должны были вести к ветеринару, а к тебе привели Вика...

— Ти-и-им!

— Отойдем к кустам. У меня мало времени. Меня могут выследить.

Она послушно пошла за мной к темной массе кустов, но остановилась, не заходя под их сень. Боялась. Не совсем верила, что я — это я.

— А где же ты? — спросила она.— Кто теперь твои Спонсоры?

— У меня нет Спонсоров.

— Ты бродяга?

В слове звучало привычное для домашних любимцев презрение.

— Я хочу, чтобы никаких Спонсоров больше не было.

— Как так не было?

— Чтобы они улетели. Или погибли.

— А мы? — Она даже отступила на шаг от меня.

— Мы будем жить.

— А кто нас будет кормить? Кто будет гулять с нами?

Я уже привык к таким искренним филиппикам.

А что вы хотите от людей, которые не знают ничего, кроме пищи, прогулки и хозяйской палки или ласки?

— От тебя плохо пахнет,— сказала она,— как будто ты не мылся.

— Я уже неделю не мылся,— признался я. Мне было приятно дразнить ее — такую миленькую, сладенькую, душистую домашнюю любимицу.— А как твой жабеныш поживает?

— Кто?

— Твой хозяин, жабеныш, которого мадам Яйблочка изметелила.

— Тим, не стоит так говорить о Спонсорах.

— Ладно,— сказал я,— я тобой еще займусь. Обязательно вернусь поговорить с тобой серьезно. Жалко оставлять тебя в животном состоянии.

— Я живу в счастливом состоянии! — поспешила она с ответом.

Она была напряжена и мечтала об одном — чтобы я поскорее ушел, растворился, чтобы меня можно было вычеркнуть из памяти.

— Это твой ребенок? — Я показал на окно дома Яйблочков.

— Молчи! — Она закрыла мне рот ладонью. От резкого движения ее пышные бронзовые волосы рассыпались по плечам. Она была сказочно хороша! Ради таких женщин совершаются великие безумства и рушатся царства... Только она не подозревала о своем могуществе.

— А кто отец? — спросил я.

Сквозь ее пальцы вопрос прозвучал невнятно. Мои губы натолкнулись на нежную ткань пальцев и поцеловали их. Она сразу убрала руку.

— Нельзя так говорить! Если кто-нибудь услышит, меня тут же увезут! Молчи, молчи, молчи!

— Наверное, Вик.

— Он долго болел, когда ты так жестоко побил его.

— Потом выздоровел. И его снова привели к тебе.

— Потом он выздоровел.

— А где он сейчас?

— Я не знаю. Его Спонсоры переехали на другую базу. Ты никому не скажешь, Тим? Я каждый вечер хожу смотреть на мальчика. Ты его видел?

Я любовался ею, но она не чувствовала моего взгляда.

— А госпожа Яйблочка очень добрая, она его не бьет. Я сначала плакала, но мне сказали, что тогда меня увезут.

— Когда мы их вышибем к чертовой матери,— сказал я,— первым делом мы вернем тебе малыша.

— Не надо! Не думай так, это опасно!

— Неужели и я таким был?

— Каким?

Я погладил ее по плечу, отвел в сторону тяжелые пряди волос.

— Не смей меня трогать!

— Я сейчас уйду, не бойся.

— Я буду кричать! Не смей меня хватать! Ты грязный. От тебя плохо пахнет!

Голос ее опасно повысился — она не контролировала свой страх передо мной, страх завитой болонки перед дворовым псом.

— Уйди, уйди, уйди!

Я с горечью начал отходить от нее, понимая, что она уже подняла тревогу. У Спонсоров удивительный слух — нам бы такой!

Отступая, я следил за дверью в наш дом, опасаясь, что оттуда выскочит господин Яйблочко. Но первым появился подросший жабеныш. В гневе или страхе Спонсоры движутся со скоростью пантеры.

Он пронесся над газоном, как черное ядро, выпущенное из гигантской пушки.

Я его хоть и не видел, но все же успел отшатнуться.

Не успев затормозить, жабеныш врезался в стену, и хоть та была из монолитного бетона, мне показалось, что дом пошатнулся.

Пока жабеныш разворачивался, я кинулся в кусты и замер там.

Отворилась дверь в мой дом. Господин Яйблочко, мой приемный отец, который, впрочем, никогда меня не любил, потому что не любил ничего, не покрытого зеленой чешуей, обозначился на пороге. По тусклому блеску в его лапе я догадался, что папаша вышел на прогулку, хорошо вооруженный. Ну, и идиот сентиментальный, сказал я себе. Встретился, называется, со своей легкомысленной юностью.

Спонсоры замерли. Один, воткнувшись лбом в стену, второй на пороге. Они ждали, не вздохну ли я, не шевельнусь ли, чтобы кончить на этом мои дни.

Я не шевелился, не чихал и не дышал. К такой жизни я привык. И все бы обошлось, если бы не догадливый жабеныш, который громадой повернулся к Ирэн и, медленно наступая на нее, потребовал:

— Где? Где он? Говори! Говори, не молчи, будешь наказана!

В романах верная возлюбленная стискивает белоснежные зубки и молчит под пытками.

— Он в кустах! Он там! — завопила Ирэн.— Он хотел на меня, он хотел меня... скорей, я его боюсь!

Ой, как она перепугалась! И в ненависти ко мне она была искренна, потому что хотела угодить хозяевам и спасти свои свидания с сыном.

Я видел, что делает папаша Яйблочко. Он переводил рычажок на стволе с прицельного на бой по площади — он намеревался выжечь кусты вместе со мной, и никто ему не противился.

Еще секунда, и мне будет поздно бежать...

На четвереньках, как гончая, понимая, что это меня не спасет, я кинулся в просвет вдоль живой изгороди.

Вечер озарился ослепительным зеленым светом выстрела.

Конус убийственного света устремился к звездам, сжигая на своем пути все, что могло двигаться и дышать,— бабочек, птиц, комаров... Затем последовал глухой тяжелый удар. Силуэт Спонсора исчез...

От начавшейся сзади суматохи я умчался и лишь за свалкой, в бурьяне, приостановившись, чтобы осмотреться, задумался — а почему папаша стрелял не в меня, а в небо? Спонсоры таких ошибок не допускают.

Рядом звякнула пустая консервная банка.

— Кто? — одними губами спросил я.

— Я,— сказал Ползун.— Чудом ушли.

— Это ты был?

— Мне скучно стало, я за тобой пошел. Я успел ему ноги заплести и дернул — ничего?

Ползун страшно силен, в чем-то он даже мог бы поспорить со Спонсором.

— Славно,— ответил я.

Я лежал без сил.

— Пора уходить,— произнес Ползун.— Они будут прочесывать окрестности.

— Одну минутку.

Я сел. Голова еще кружилась — видно, я бежал оттуда куда быстрее, чем возможно для обыкновенного человека.

— Если идти канализационным коллектором,— предложил Ползун,— к утру будем в школе гладиаторов. Там нас укроют.

— Славная девчонка,— проговорил я.— И мальчика любит.

— Когда-нибудь расскажешь,— отозвался Ползун.— Меня всегда удивляют ваши человеческие обычаи.

И мы поспешили к люку канализационного коллектора.

ЗАРУБЕЖНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР

Anthony Burgess

A CLOCKWORK ORANGE

Энтони Бёрджес

ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН

От переводчика

Одного из самых талантливых и оригинальных английских писателей — Энтони Берджеса — по праву считают продолжателем футуристических традиций Джорджа Оруэлла. «Заводной апельсин» — по которому известный американский режиссер Стенли Кубрик поставил один из самых знаменитых фильмов мирового кинематографа с великолепным Малколмом Макдауэллом в роли циничного и жестокого антигероя Алекса,— это многоплановое произведение, сочетающее и философско-этический трактат, и притчу-аллегорию, и пронизанную черным юмором фантасмагорию, и едкую сатиру на современное тоталитарное общество, стремящееся с помощью античеловечной методики превратить молодое поколение в корзину послушных «механических апельсинов», которыми можно манипулировать по своему усмотрению (что мы и наблюдали в действиях хунвейбинов, красных бригад, красных кхмеров, неофашистов и т. п.). Да и у нас в стране костяк любых экстремистских движений и выступлений составляют юнцы, которыми манипулируют иные, более серьезные силы. Действие «Заводного апельсина» происходит на рубеже нового тысячелетия. Тридцать лет назад Берджес предугадал и мастерски отразил многие процессы, происходящие в нашем современном обществе, и не только в молодежной среде. Аналогии настолько очевидны, что это и определило мой подход к переводу. Подобно Берджесу, кстати, пришедшему в литературу из мира музыки и создавшему новый язык молодежи будущего, в структуре которого, по мнению автора, должны были преобладать славяно-цыганские корни, я попытался передать «надсадский» язык русских тинэйджеров — смесь молодежных сленгов 60-х — конца 80-х годов, где доминируют словечки английского происхождения (что, кстати, является устойчивой тенденцией происходящего в нашем обществе языкового развития). Это явилось неизмеримо более трудной задачей. О том, как я справился с ней, судить читателю. Эту работу я обращаю «потерянному поколению» последней (?) перестройки.

Евгений СИНЕЛЬЩИКОВ

Журнальный вариант

Часть 1.

1

«Скучна-а-а! Хочется выть. Чего бы такого сделать?»

Это — я, Алекс, а вон те три ублюдка — мои фрэнды *: Пит, Джорджи (он же Джоша) и Кир (Кирилла-дебила).

Мы сидим в молочном баре «Коровяка», дринкинг, и токинг, и тинкинг, что бы такое отмочить, чтобы этот прекрасный морозный вечер не пропал даром. «Коровяка» — место обычной нашей тусовки — плейс как плейс, не хуже и не лучше любого другого. Как и везде, здесь сёрв обалденное синтетическое молоко, насыщенное незаметным белым порошком, который менты и разные там умники из контрольно-инспекционных комиссий никогда не распознают как дурик, если только сами не попробуют. Но они предпочитают вискарь-водяру под одеялом...

Фирменный коровий напиток поистине хорош. После каждой дозы минут пятнадцать видишь небо в алмазах, на котором трахается Бог со своими ангелами, а святые дерутся, решая, кто из них сегодня будет девой Марией...

Я и мои фрэнды как раз заканчиваем по четвертой поршн. Покеты у нас полны мани, так что отпадает наш обычный эмьюзмент трахнуть по хэду или подрезать какого-нибудь папика и уотч, как он будет свимать в луже собственной блад и юрин, пока мы чистим его карманы. Не надо также пэй визит какой-нибудь старухе еврейке в ее шопе и сажать ее верхом на кассу, выгребая у нее на глазах дневную выручку.

Но! Как говорится, мани не главное. Хочется чего-нибудь для души.

Весь мой кодляк дресст по последней фэшн — в черных, облегающих, как вторая кожа, багги-уош. Приталенные куртецы без сливзов, но с огромными накладными шоулдерами почти вдвое увеличивают размах наших далеко не хилых плеч. А маховики у нас что надо, особенно у Кира — так природа компенсировала недостаток ума у этого сучьего потроха. У всех на ногах тяжелые армейские кованые бутсы — незаменимая вещь в файтинге.

— Скучна-а-а! — зевает Джоша, обводя глазами завсегдатаев «Коровяки».

Около стойки на вращающихся стульчаках сидят три герлы, но нас четверо, а закон стаи суров: ван фор ол, и все за одного. Так что этот вариант отпадает. Хотя жаль пропускать такой товарняк. Все герлы в потрясных прикидах, в розово-зелено-оранжевых париках, для покупки которых им наверняка пришлось горбатиться две-три недели. Их фейсы ярко накрашены. Рот, щеки, радуги вокруг глаз с длиннющими наклеенными ресницами. На них черные блестящие прямые платья, едва прикрывающие пуковые отверстия.

Стерео истерично орет. Педерастический голос певца шарахается из угла в угол, отскакивая от стен, как вырвавшаяся из ствола пуля. Осточертевший вой рок-стара Берти Ласки плюет в зал слова последнего хита «Падший ангел». Одна из очаровах у стойки — в клевом зеленом парике — выпячивает и втягивает живот в такт музыке.

Я чувствую, как скрытые в молоке иголки начинают покалывать где-то внизу в штанах. Вскакиваю и ору: «Камон, камон, камон!» Потом, сам не знаю зачем, двигаю в ухо выпавшему в осадок мэну рядом, но он этого даже не замечает, продолжая бормотать. Ничего, он почувствует сломанную барабанную перепонку, когда вернется из дальних странствий.

— Куда камон? — очнулся Джоша.

— Все равно куда. На воздух. Лишь бы не видеть эти омерзительные рожи. Прошвырнемся, фрэнды. Проветримся и поглядим, кто там, с кем и почем.

Мы высыпаем из бара в огромную зимнюю ночь и плывем по бульвару Марганита, где очень скоро находим то, что может развеять скуку. Навстречу нам порхает какой-то олд мэн, похожий на больного попугая, только в очках и со стопкой книг под мышкой. В другой руке у него старый черный зонт. По-видимому, он возвращается из публичной библиотеки, в которую в наше тайм ходят только такие придурки, как учителя. В моем славном тауне немногие отваживаются выйти из дома с наступлением сумерек: полиции мало, а расхлябаев вроде нас вполне достаточно.

Мы подгребаем к нашему «профессору», и я очень так вежливо говорю: «Икскьюз ми, сэр».

* См. словник на стр. 27.

Очнувшись от своих умных мыслей, он пугливо луксэт ас четверых, тихих, вежливых, улыбающихся, и вопрошает громким учительским голосом: «Да? Что вы хотите?» И еще так нагло смотрит, будто вовсе не испугался.

— Я вижу у вас книги, сэр? — по-прежнему вежливо аск я.— В наше время редко встретишь читающего человека.

— О, да что вы говорите! — отвечает он, дрожа всем своим тщедушным тельцем и подозрительно перебегая взглядом с одного на другого.

— В самом деле, проф, не будете ли вы так любезны показать мне книги, которые теперь выдают в библио? Так приятно держать в руках чистую, новую книгу с хрустящими страницами.

— Чистую... хм... чистую? — не понимает тичер, и в эту минуту подкравшийся сзади Пит выхватывает три толстенные книги у него из-под мышки и протягивает мне.

Я быстро распределяю их между всеми, кроме Кира. Мне достались «Основы кристаллографии». Открываю этот гроссбук и нарочито медленно перелистываю страницы. Затем, сделав вид, что внимательно вглядываюсь в строчки, с наигранным возмущением произношу:

— Нет, вы только посмотрите! Какую похабщину пишут в этих умных книжках. Вы вогнали меня в краску, профессор, и очень-очень разочаровали.

— Но... но... позвольте,— верещит он.— Что это такое вы...

— Ты взгляни на мою,— вступает Джоша.— Да здесь что ни слово, то мат. Вот, посмотри.— Он протягивает раскрытую «Чудесные превращения Снежинки».— Тут и на «х», и на «п».

— Сплошная порнография,— подтверждает Кир, заглядывая ему через плечо.— Здесь написано, в каких позах он ее трахал, да еще и рисунки приложены. Нет, сэр, определенно вы старый извращенец.

— Ну как не стыдно! Такой представительный пожилой человек...— укоризненно говорю я и принимаюсь методично вырывать листы из книги и подбрасывать их в воздух.

Кир следует моему примеру, помогая Питу потрошить толстый том «Начертательной геометрии».

Профессор взвивается, будто гусак, из которого живьем начали выдергивать перья:

— Что вы делаете? Ведь эти книги не мои. Это собственность муниципалитета. Какое варварство! Какой вандализм!

Кир расценивает незнакомые слова как ругательства и несильно битс верещащего тичера кулаком по голове. Тот совсем осатанел и пытается отобрать букс. Со стороны это выглядит очень трогательно.

— Нет, тебя необходимо проучить, старый перечник,— беззлобно говорю я.

Эта бук по кристаллографии сделана капитально еще в те времена, когда вещи были не одноразовыми, а длительного пользования. Толстый переплет, намертво держащий страницы, долго не поддается ножу, но в конце концов мне удается его раздербанить, и теперь страницы летают в воздухе, как огромные белые снежинки. Среди этого листопада мечется тичер, преследуемый бешено хохочущим Киром. Пит и Джоша также справились со своими буками и швыряют в воздух целые охапки книжных листов.

— Вот, получай, старый похабник,— весело рыгочут они.

Тичер пытается слабо сопротивляться, и тогда я говорю:

— До этого извращенца еще не дошло, други. Вот уж мне интеллигенция. Еще шляпу надел.

Тут Пит схватил трясущегося тичера за хэндз и заломил их бэк. Дебила резко дернул за поля шляпы и с треском надел на шею. Потом двинул ему в зубы. Джоша сорвал с тичера очки, примерил их, бросил на тротуар и станцевал на них танец маленьких лебедей, только вместо пуантов на нем были тяжелые солдатские бутсы. Проф было что-то зашипел беззубым ртом, но Пит ткнул пару раз в его блади хоул. Тичер застонал. Изо рта у него пошла красивая алая блад. Она стекала на его белую шёрт и траузерз. Это было великолепное зрелище!

Наконец нам это надоело. Разрезав тичерз дресс на куски, мы разбросали его по всей стрит, измочалили амбреллу об асфальт и, пнув учителя по разу на прощание, пошли дальше, не обращая внимания на его лауд стонинг (кричать у него уже не было сил).

На авеню Потерянных мы зашли в какую-то общественную столовую, где несколько беззубых старух, расплескивая, ели свой благотворительный суп. Теперь мы были пай-мальчики, учтивые, улыбающиеся, благовоспитанные. Но почему-то эти старые курицы задрожали и испуганно закудахтали при виде нас. Подошел разносчик — тощий, нервный гай — и подозрительно стэед на нас. Мы заказали ему фор поршнз «Олд ветеранз» — популярного в те времена коктейля из рома, шерри брэнди и лайм джуса. Потом я добавил:

— И принеси этим Божьим одуванчикам не свиначье пойло, а что-нибудь действительно питательное. А то сдохнут от вашей благотворительности прямо тут, в твоем гадючнике.

С этими словами я выгреб из одного кармана несколько смятых бумажек и плюхнул их на тэйбл. Остальные последовали моему примеру. Вскоре старухам принесли тушеное мясо с пюре и опять же нежными стьюд веджетэблз и по банке биэр. Старые птицы послали нам очаровательнейшие смайлзы и благодарно закивали, тряся космами.

И тут на нас словно что-то нашло. Мы принялись грести с прилавка все что попало: коньяк «Генералянки», печенье, шоколод, чиз, хэм, средства от моли и тараканов и засыпать этим наших милых грэнниз. Избавившись таким образом от маней, мы весело подмигнули нашим чаровницам и сказали, что скоро вернемся. «Спасибо, мальчики. Да благословит вас Господь!» — хором ответили те.

Гурьбой мы вышли на Эттли-стрит, где полно кондеряшек и злопухолевых шопс, которые мы не посещали уже месяца три. Сейчас здесь было очень тихо. Копполы со своими патрульными карами передислоцировались дальше за реку, где орудовала банда Билли-боя.

Мы надели недавно приобретенные маски (попотрошили на прошлой неделе один шоп с театральными атрибутами) и превратились в исторических персонажей. Я перевоплотился в Дизраэли, Пит — в Элвиса Пресли, Джоша — в Генриха VIII, а старина Кир — в несчастного поэта Пи Би Шелли. Масочки действительно были клевые — из тонкой резины, с натуральными волосами и прочей растительностью. И очень удобные. По завершении дела их можно было свернуть и засунуть в бутсы. Трое вошли в магазин, а Пит на всякий случай остался на стреме. Увидев в своем магазине столь необычных персонажей, хозяин, мистер Слаус с толстым кувшинным рылом, метнулся в подсобку, где стоял телефон, а может быть, была спрятана и пушка. Кир молниеносно перемахнул через каунтер и, перехватив его в дверях, сцепился с ним, взяв на кумпол. Они покатились между стеллажами со всевозможными банками, опрокидывая их и поднимая невообразимый нойз. Некоторое время из-за прилавка доносилось ожесточенное пыхтение и сопение, потом звон разбитой о чью-то хэд боттл, вскрик... и шум борьбы стих. Киру удалось выщемить дюжего Слауса. Из-за каунтера поднялся смущенный

Дебила, поправляя сбившуюся маску. Матушка Слаус, с полной пазухой грудей, застыла за кассой каменной бабой. Я понял, что еще секунда, и она заорет почище полицейской сирены. Поэтому со словами: «Долбаная тетя, как ты постарела»,— я подпрыгнул к ней и зажал одной рукой рот, а другую запустил за пазуху, где через декольте виднелись аппетитные бубз. Она была такая пышная, мягкая, и от нее так вкусно пахло французскими духами, что моя пятая конечность пламенно затрепетала, и я потек. Но тут стерва впилась зубами в мою ладонь, и я взвыл от боли, как раненная в задницу рысь. Когда я инстинктивно отдернул руку, мадам Слаус завопила таким густым басом, на который через пару минут могли сбежаться все копполы округи. Пришлось срочно заткнуть фонтан, для чего я засунул ей в пасть полбатона колбасы и для верности стукнул по хэду ломиком для открывания ящиков, помяв изысканную причу. Из рассеченного лба хлынула блад, как из резаной свиньи. Она без сознания рухнула на пол, и пока я выгребал кассу, Джоша умудрился задрать ей платье на голову и сделать внутренний массаж. Подлец опередил меня. Я с сожалением посмотрел на ее красивые голые груди, а потом решил, что еще не вечер.

Надо было рвать когти. Прихватив по паре блоков первоклассных злопухолей, мы вышли в морозную ночь.

Из экспроприированных злопухолей мы оставили себе по две пачки, а остальные подбросили в ближайшую ночлежку.

— Ну и здоровый же жлоб этот Слаус,— посетовал Кир.

Я посмотрел на него. Его видуха мне не понравилась: он выглядел так, будто только что вылез из файтинга, что, собственно говоря, соответствовало действительности. Но мы должны были смотреться как ни в чем не бывало. Поэтому мы зашли в боковую аллею и привели его в порядок. Спрятали маски и вскоре вышли на Дьюк оф Нью-Йорк. Сверившись с часами, я удовлетворенно отметил, что отсутствовали мы всего десять минут.

Наши барабульки сидели на прежнем месте и с вожделением потягивали пиво из банок, обнимая незанятыми хэндзами наши презенты.

Мы плюхнулись за тэйбл и позвонили в колокольчик. Появился уэйтер, и мы на этот раз заказали пиво с ромом.

— Мы никуда не отлучались, бабули. Ведь так?

Понятливые ведьмы согласно закивали трясущимися головами.

— Точно так, мальчики. Вы только выходили пописать, а так все время были тут.

Это была лишь необходимая подстраховка. Копполы расчухались почти через полчаса. Два розовощеких первогодка, которых мы, возможно, когда-то метелили, шумно завалили в столовку и подозрительно уставились на нас из-под своих полицейских шлемов с поднятыми забралами.

— Вы ничего не слышали о том, что произошло в лавке Слауса?

— Мы? — состроил я самую невинную рожу.— А что, собственно говоря, мы должны были слышать?

— Разбойное ограбление и изнасилование. Слауса с женой увезли в госпиталь. Что вы делали последний час?

— Во-первых, сбавь тон, приятель,— нахально произнес я.— И не оскорбляй порядочных людей своими гнусными подозрениями.

— Они весь вечер сидели здесь,— наперебой заверещали старушенции.— Такие щедрые, благовоспитанные ребята. В наши дни таких редко встретишь.

— Мы просто спросили,— угрюмо произнес один из забрал.— У каждого своя работа...

Окинув нас тяжелыми, недоверчивыми взглядами, блюстители вышли, а Пит с Джошем сделали им вслед интернациональный крэнкшафт моушн джесче, энергично ударив правой рукой по середине вытянутой левой. Но мне почему-то стало грустно. Ни одного стóящего противника! Однако ночь только начиналась.

2

На муниципальной подстанции мы натолкнулись на кодлу Билли-боя. Их было шестеро, но нас это не колыхало. В те времена все ходили стаями по четырешесть человек — столько помещалось в кары. Лишь изредка мы объединялись в большие банды для ночных файтингов уолл на уолл.

Они заметили нас, так же, как и мы их. Вот это будет настоящий дратсинг — с ножами, кастетами, цепями и бритвами. Я приятно осклабился, и мы обменялись традиционными любезностями:

— Чесать мой лысый череп, Билли, сучий выкидыш, ты ли это?

— Алекс, какие люди, и без охраны! Рад тебя видеть без петли на шее.

Ну и дальше в этом роде. Ритуал был окончен, и началось!

Мне никак не удавалось достать жирняка Билли. Я пританцовывал вокруг него с бритвой в руке, словно парикмахер вокруг клиента на палубе корабля в штормовую ночь. У Билли-боя был длинный, узкий стилет, который он держал в вытянутой руке, не давая мне приблизиться. Но он был слишком медлительным для меня, и, когда он устал, я начал его «брить». Вы не представляете, что за наслаждение полоснуть сначала по одной жирной щеке, потом по другой! Когда я вырезал букву «X» ему на лбу, хлынувшая кровь застлала его глаза, и он вконец потерял ориентацию. Принялся метаться, как ослепленный бык, наугад тыча своим бесполезным ножом.

В это время раздался отдаленный вой полицейских сирен. Встреча с коппами в наши планы не входила, и мы рванули в другую сторону. Шмыгнув в темную проходную аллею, мы отдышались. Вскоре мы оказались на Пристли-сквэйр, где стоял загаженный голубями бронзовый памятник старому поэту с челюстью питекантропа и трубкой в зубах. Направляясь на север, мы набрели на старый фильмодром, на котором стояло десятка три тачек, там тискались, трахались и поддавали такие же, как и мы, герлы и бои. Большинство машин были старые, но Пит откопал где-то вполне приличный «Дьюранго» 95-го года, владельцы коего, видно, недобрав, отправились громить ближайший шоп. У Джоша был первоклассный набор отмычек, и вскоре мы уже рассекали пустынные городские улицы.

За городом было гораздо темнее.

Приближался коронный номер нашей программы: неожиданный визитинг одного из пригородных коттеджей.

Мы остановились на краю какой-то деревни, у одинокого бунгало, окруженного аккуратным садиком. Всеми овладел дикий иксайтмент. Видно, так на нас действовала ухмылявшаяся во все свое бледное лицо луна. В ее свете коттедж был как на ладони. Мы даже прочитали надпись на воротах: «НАШ ДОМ». Она показалась нам очень смешной, и мы безумно ржали. Я вылез из тачки, приказав моим парням захлопнуть хлебала. Тихонько открыл калитку и подошел к входной двери. Вежливо постучал, но никто не откликнулся. Постучал сильнее, и на этот раз за дверью послышались приближающиеся шаги. Щелкнул замок,

дверь приоткрылась, и в щель на меня вопросительно взглянул чей-то глаз.

— Да? Кто там?

Войс был молодой, звонкий, веселый. Несомненно, он принадлежал найсовой герле. Учтиво, голосом джентльмена я просительно произнес:

— Пардон, мадам. Мне, право, очень неловко вас беспокоить в столь поздний час, но мы с подругой любовались прекрасной луной в ваших живописнейших окрестностях, и ей вдруг стало плохо. Что-то схватило в боку. Вероятно, аппендицит. Бедняжка там, у дороги, стонет и корчится от боли. Не позволите ли вы воспользоваться вашим телефоном, чтобы вызвать «Скорую помощь»?

— Но у нас нет телефона,— ответила герла.— Очень сожалею, но вам придется обратиться к кому-нибудь другому.

Откуда-то из глубины хауза доносилось мерное «клак-клак-тук-тук-клак-клак-тук-тук». Какой-то дятел печатал на машинке. Вот он перестал печатать, и раздался сильный мужской голос: «Кто там, дорогая?..»

— Очень жаль, милая леди. Ну, тогда хотя бы стакан воды человеку, попавшему в беду. Видите ли, бедняжка в полуобморочном состоянии. Такой сильный приступ, прямо не знаю, что делать.

— Воды — это можно,— согласилась девушка весело и сострадательно одновременно.— Подождите минуточку.

Она удалилась, однако цепочку, стервоза, не сняла. Да теперь это было и не нужно. Вообще эти цепочки не от воров, а от хозяев. Просунув руку в щель, я легко снял ее, и мы все четверо просочились в прихожую. Что ж, это была ее ошибка. Надо закрывать дверь перед незнакомыми людьми, появляющимися посреди ночи.

Мы шумно ввалились в уютную, со вкусом обставленную гостиную и принялись скакать, и орать гадости, и визжать, и улюлюкать, как индейцы племени «кокоморо». При виде незваных гостей девочка сделала ярко накрашенный ротик буквой «О», а молодой мэн в роговых глассиз поднял голову от тайпрайтера и недоуменно взглянул на нас. По всему столу перед ним были разбросаны шитсы пейпера. Справа от тайпера они были сложены в аккуратный колон. В тот вечер нам везло на интеллигентных мэнов. Этот тоже был книжным червем, возможно, даже писателем. Он невозмутимо произнес:

— В чем дело? Кто вы такие и почему врываетесь в мой дом без разрешения?

Однако его войс и хэндз заметно дрожали.

— Не боись! Смирись, презренный, и склони главу пред тем, что уготовила тебе судьба.

Джоша и Пит пошли пошуровать в кичене, а Кир остался стоять рядом со мной, ожидая приказаний, широко раскрыв варежку.

— А это что? — аск я, указав пальцем на стопку бумаги у тайпрайтера.

Очкастый хорек с негодованием риспондид:

— Именно это мне и хотелось бы знать. Что *это* такое? Чего вы от нас хотите? Вон отсюда, пока я тебя не вышвырнул.

— Гы-гы-гы! — загоготал Дебила в маске Пи Би Шелли.

— Ах, это книга! — понимающе проговорил я.— Ты пишешь книгу. Уважаю писак и писух.

Взяв верхний лист, я прочитал название: «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН».

— Ну и нудак! Глупее ничего не мог придумать? Разве бывают заводные апельсины?

Потом прочитал вслух торжественно-загробным войсом:

«...против попыток насильственного придания Человеку, прекрасному творению Господа Бога, венцу Вселенной, призванному творить Добро, свойств механической куклы и создания условий и законов, ведущих к этому, я возвышаю свой голос...»

Кир поднял ногу и громко выдал «поцелуйчик для любимой». Я же со смехом принялся рвать листы этой очередной глупости и разбрасывать обрывки по всей комнате. При виде этого райтер буквально осатанел и бросился на меня, стиснув тис и сжав фистс. Но тут вступил Кир. Из-за малого пространства его цепь была бесполезна, да для такого хлюпика с узкими плечами и раздавшимся от долгого сидения геморройным задом она и не требовалась. Он встретил его несколькими точными ударами кастета, в одно мгновение превратив фейс писателя в сплошное месиво. Хлынувшая из него кровь забрызгала ему рубашку, ковер, листы на столе, и он вырубился, ткнувшись носом в свой дурацкий «АПЕЛЬСИН», обнимая его, как единственного чайлда.

Его верная красивая, стройная жена, казалось, присохла к камину, в ужасе зажав рот рукой и вытаращив глаза, которые у нее были синие-синие. Потом бросилась к поверженному мужу.

В этот момент из кухни подгребли Джоша и Пит. Они что-то чавкали, не снимая масок. В одной руке Джоша держал индюшиную ногу, а в другой — заиндевелую банку пива.

— Кончай жрать! — приказал я.— Лучше приведи в чувство этого интеллигентика. Да подержи его, чтобы не рыпался. Преподадим ему урок из реальной жизни.

Пит подошел к писателю и медленно вылил на его умную голову ледяное пиво из банки. Тот встрепенулся, силясь что-то рассмотреть через разбитые очки. Пит задрал его голову, грубо схватив за волосы.

— О'кей, Кир. Теперь примемся за маленькую миссис. Видишь, как она расстроилась. Надо ее успокоить.

Дебила заломил герлины руки, а я, подойдя спереди, рванул ее белую атласную кофточку и чуть не поперхнулся от слюноотделения — красивые, налитые титс уставились на меня розовыми глазищами сосков. Я завалил ее на спину и, несмотря на ее жалобные крики и бешеное сопротивление, сделал с ней старое как мир «туда-сюда». Озверевший райтер чуть было не вырвался из рук намертво державших его Джоша и Пита. Он извергал на наши головы такие проклятия, которых я никогда и не слышал, хотя я и не интеллигент.

Потом по очереди то же самое проделали Кир, Пит и Джоша, пыхтя, сопя и повизгивая от возбуждения. Сопротивления Джоше она уже не оказывала. Только тихонько всхлипывала, глядя в сторону и до крови закусив губу. Трепыхавшегося райтера опять пришлось выщемить, ударив пару раз головой о тайпер. Затем мы исполнили победную пляску, круша и ломая все, что попадалось под руку. Хотели поджечь бунгало, но я приказал отставить. Пусть живут, если смогут, и спустятся наконец с небес на грешную землю.

Выпив по банке пива из холодильника, мы запрыгнули в кар и помчались обратно в наши джунгли, давя по дороге все живое, что попадалось под колеса.

3

На драйве к городу, недалеко от Индустриального канала, в котором плавали грязь, кал и дохлые животные, мотор вдруг закашлял, зачихал и сдох. Но нас это мало чесало: впереди виднелась станция подземки. Нужно было решить, что делать с каром: оставить его копполам или же отправить на дно канала. Все сошлись на последнем. Со смехом мы разогна-

ли машину, и ее прощальное «бултых» поставило точку с запятой в сегодняшнем вечере. До центра была всего одна остановка. Мне с трудом удалось утихомирить моих разошедшихся фрэндов. Я уплатил положенную фэер, и мы подождали электропоезд, на всякий случай приклеив на фейсы выражения смирения и благовоспитанности. Правда, пока я покупал билеты, Кир умудрился раздолбать пару автоматов, так что теперь его карманы были набиты мелочью и шоколадными батончиками, которые он собирался раздать униженным и оскорбленным. Но таковых поблизости не оказалось. В вагоне дремали с десяток лохов, и чтобы как-то убить время (целые три минуты!), мы порезали и выпотрошили сиденья, а старина Кир, упражняясь с цепью, высадил окно.

Выйдя в центре, мы не спеша направились в нашу «Коровяку».

Публика в «Коровяке» в основном была представлена тинэйджерами, или, как мы сами себя называли, надсадами. Но было также и несколько более пожилых завсегдатаев, мэн и уимен (только не буржуев, их мы терпеть не могли). Кругом смеялись, пели, громко говорили, стараясь перекричать шум и гам. За отдельным тэйблом сидела инородная группа актеров и статистов, репетировавших какое-то шоу на расположенной за углом телестудии. Мое внимание привлекла находившаяся среди них потрясная герла с плотоядным накрашенным ртом и множеством белых, как подававшееся здесь молоко, зубов (мне показалось, что они растут у нее в четыре ряда). Она беззаботно хохотала, будто в этом безумном, безумном, безумном мире все ей было до лампочки. Джонни Живаго, один из кумиров надсадов русского происхождения, кончил (вместе с несколькими надсадками) вонючий шлягер «Только через день». Вдруг моя герла решительно встала и в наступившей тишине запела, как бы что-то доказывая своим фрэндам за тэйблом. Как она пела! Вы не поверите, но мне показалось, что в нашу грязную, вонючую стекляшку вдруг залетела Синяя птица. У меня по всему телу побежали мурашки. Дыхание перехватило, запершило в горле и защипало в глазах. Я узнал, что она поет. Это была ария из оперы Фридриха Гиттерфенстера «Дас Беттцейг». Как раз то место, когда она поет с перерезанным горлом, сердцем произнося: «Вот теперь я наконец счастлива...» Как бы то ни было, я буквально оцепенел.

Но в этот момент стинкинг кретин Кир отпустил в ее адрес грязное ругательство, которое я не осмеливаюсь привести здесь, стараясь изложить все произошедшее со мной чистым надсадским языком.

Дурак испортил песню, и я страйкнул фистом прямо по его паскудной пасти. Он обалдело лукт эт ми, не понимая, в чем дело, механически вытирая кровь с губы.

— Зачем ты это сделал? — недоуменно спросил он.

— За твои скотские манеры. Чтобы ты научился вести себя на публике.

— Не понял,— тупо произнес он.— Но мне это очень не понравилось. Никогда больше так не делай. Отныне я тебе не фрэнд и не бразер.

С этими словами он вытащил из кармана огромный платок третьей свежести и озадаченно принялся промакивать кровоточащую губу, как будто исходить кровью всегда должны были другие, но никак не он.

Герла не услышала Дебиловой грубости. Она кончила петь и уже опять весело хохотала с фрэндами. Кир оскорбил не ее, а меня. И я сказал с глухим раздражением:

— Если не нравится, больше никогда этого не делай. А если сделаешь, я тебя выключу.

Слышавший наш разговор Джоша примирительно произнес:

— Завязывайте, братья. Вы что, двинулись?

— Это немного отрезвит Кира. Совсем оборзел. Пора ему уже взрослеть.

Я пристально посмотрел в глаза Джоше. Киру удалось остановить кровь, и он обиженно пробубнил:

— Какое, собственно говоря, он имеет право приказывать нам, а теперь еще и драться? Я не я, если не высажу ему глаза цепью при первом удобном случае.

— Нет, ты определенно хочешь, чтобы я пощекотал твой ливер,— угрожающе процедил я.

— Вы что, сдвинулись с горя? Мы дружбаны или не дружбаны?— философски изрек Пит.— Вон над нами уже смеются.

— Кир должен знать свое место и не высовываться, когда его не просят,— упрямо повторил я.

— Это что-то новое,— недобро проговорил Джоша.— Интересно, кто это определяет место каждого?

Его поддержал Пит:

— Сказать по правде, Алкаша, тебе не следовало кидаться на своих фрэндов. Ты обидел Кира несправедливо. Если бы это было со мной, я бы тоже не стерпел. Запомни это и в следующий раз подумай, прежде чем начинать свару. Я все сказал... И он уткнулся в свой стакан. У меня все кипело внутри, но я подавил страстное желание дать этому умнику по рогам и рассудительно произнес:

— В каждой стае должен быть вожак, должна быть дисциплина. Или я не прав?

Все сидели с прокисшими рожами и молчали. Даже головой ни один не кивнул. Мое внутреннее раздражение нарастало, но внешне я оставался спокойным и благоразумным.

— Я был вашим главарем довольно долго, и со мной вы ни разу не вляпались в неприятность. Я прав или не прав? Какого дьявола молчите? Или у вас языки в задницу затянуло?

Они нехотя кивнули. Все, кроме Кира. Он последний раз промокнул губу, спрятал утирку и неожиданно миролюбиво сказал:

— Прав, Алекс, прав. Успокойся. Мы просто таэд э бит. Не будем больше об этом.

Я страшно удивился и даже слегка испугался, услышав такие мудрые вещи от Дебилы. Он же продолжал:

— Сейчас самое лучшее — это откинуть копыта и поглядеть, чегой там делается на том свете. Минут эдак шестьсот. Ну что, други, по хаузам?

Мы разбежались в разные стороны.

Я направился к муниципальному кварталу 18А, зажатому между Кингсли-авеню и Вилсонзвэй, где жил со своими фазером и мазером. До входа в мрачное коммунальное здание я добрался без приключений, хотя то и дело ощупывал каттер в кармане на случай, если друганы Билли-боя поджидают меня где-нибудь в темном переулке. Уже подходя к дому, я увидал в канаве стонущего и корчащегося приличного мальчика и пропитанные кровью остатки нижнего белья его девочки, которую утащили куда-то дальше. О времена, о нравы! Вздохнув, я вошел в просторный подъезд. Его стены были покрыты оптимистической живописью: абсолютно голые мужчины в трудовом экстазе за станками, машинами, компьютерами. Конечно, местные «художники» внесли свою лепту в эти замечательные шедевры постиндустриального искусства, пририсовав им добротные, волосатые приви партс в стоячем состоянии и снабдив их ядреными надписями на надсаде, которые я не осмеливаюсь здесь приводить, дабы не оскорблять утонченный слух моих читателей.

Одного взгляда на расписанный в такой же манере лифт было достаточно, чтобы понять, что он не

пашет. Какой-то ужасно сильный гай (сколь сильный, столь и дурной) так саданул ногой (лучше б головой) по двери, что ее заклинило намертво. Пришлось топать на десятый этаж он фут. Ох, найти бы этого подонка!

Я открыл дверь квартиры 10-8 своим ключом. В квартире было тихо. Предки пребывали в сонном царстве. На кухне мом оставила для меня ужин — несколько слайсов консервированного пористого копченого мяса, хлеб, масло и стакан молока. Старого доброго молока без притаившихся в нем иголок, синтезметика и дренкрома. Все же каким злым может быть невинное белое молоко! Я поел, сначала нехотя, потом с жадностью. Еще достал из брэдницы фруктовый пай и заглотил его весь без остатка. Набив брюхо, направился в свою комнату, сбрасывая на ходу дресс.

Моя берлога стоила того, чтобы на нее посмотреть. В углу рядом с лежкой стояла современнейшая стереосистема — предмет моей особой гордости и источник неземного наслаждения. На навесных полках помещались тщательно подобранные диски, на стенах были развешаны флаги и вымпелы всевозможных калибров и портреты любимых певцов и героев видеофильмов в откровенных позах и позициях. В специальном шкафчике стояли сувениры моей жизни в разных исправительных колониях (впервые я попал туда, когда мне не было одиннадцати).

По всем углам моей рум были развешаны динамики. Они были также на стенах, на потолке, на полу. Когда я ложился на свою бед и слушал потрясный музон, то как бы оказывался посередине оркестра. Музыка обволакивала меня словно паутиной, проникая в каждую клетку моего существа. Сейчас мне захотелось послушать скрипичный концерт, исполняемый божественным Одиссеем Коэрилосом в сопровождении филармонического оркестра Мейкона, штат Джорджия. Благоговейно я взял пластинку с полки, поставил на аппарат и погрузился в чудесный мир музыки.

Постепенно на меня снизошла благодать. Музыка подхватила и понесла меня, нагого, через потолок, крышу убогого жилища в бездну мироздания. Я осязаемо чувствовал каждый звук, мог потрогать его рукой, поиграть с ним, как с бабочкой. Под кроватью звучала сочная медь тромбонов, золото труб лилось с потолка, переворачивая все мое нутро. И, о чудо из чудес, на воздушном корабле приплыли волшебные звуки солирующей скрипки. Казалось, что смычок пронзает мое сердце, путешествует по моим обнаженным нервам, извлекая целительный бальзам, который умиротворяет, обволакивает, подобно материнской плаценте, мое лишенное кожи тело...

Приученные предки не осмеливались стучать в стену моей рум. Пусть примут снотворное, если я им мешаю. Поистине, я всегда тащился от подобной музыки получше, чем от любого синтезметика. Я чувствовал себя как в раю, и мне чудилось, будто я разговариваю с самим Господом Богом. В такие мгновения меня окружали фантасмагорические картинки. Кругом были мужчины и женщины в белых одеждах, молодые и старые, здоровые и немощные. Они падали ниц, моля о пощаде. Я смеялся и крушил их лица армейскими бутсами. И еще были молоденькие девушки с полными грудями, и я набрасывался на них, как голодный зверь, рвал их сладкое тело и насиловал, насиловал... Музыка достигла своего апогея, и я тоже. Я дико орал, брызгал слюной, стонал, кричал, вопил. Я кончил с последними звуками скрипки. После этого поставил «Юпитера» божественного Моцарта, и с ним вновь появились лица, которые необходимо было сокрушить. На закуску я оставил старого, сильного, энергично-торжественного Иоганна Себастьяна Баха, музыка которого всегда восстанавливала мои физические силы и душевное равновесие. «Бранденбургский концерт». При его звуках перед глазами почему-то всплыла глупая надпись над воротами коттеджа — «НАШ ДОМ». Потом белый лист бумаги с крупно выведенным заглавием «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН». Сейчас, когда я слушал Баха И. С., до меня начал доходить скрытый смысл этого странного названия. Но постигну ли я его когда-нибудь до конца?

4

Утром я проснулся ровно в восемь, чувствуя себя препохабнейше. Никак не удавалось продрать глаза, и я решил отдохнуть сегодня от скул, по крайней мере первую половину дня. Поваляюсь часок-другой, потом встану, приму душ, положу что-нибудь на зуб, послушаю радио, а может быть, даже посмотрю, что там брешут в ньюспейперах. Днем, если будет настроение, заскочу в наш дурдом, где нам забивают баки всякой ненужной чушью.

Сквозь полудрему я слышал, как ворчит мой дад, собираясь на пахоту в свою вонючую красильную мастерскую. Потом раздался осторожный голос момми, которая зауважала меня теперь, когда я вырос большим и сильным.

— Уже восемь, санни. Вставай, если не хочешь опять опоздать в школу.

— У меня чего-то голова раскалывается. Пожалуй, высплю боль часок, а там будет видно.

Мом грустно вздохнула и покорно сказала:

— Твой завтрак в плите, сын. Ну, я пошла.

Все правильно. С работы не сачканешь, даже если твой ребенок вот-вот зажмурится,— мигом вышибут. Мом горбатилась в супермаркете «Стейтсмарт», с утра до вечера расставляя по полкам банки с консервированными супами, бобами, салями, хэмом и другой отравой. Я слышал, как стукнула дверца духовки, потом мом надела пальто и туфли и неуверенно сказала, боясь меня потревожить:

— Ну, я двинула. Не задерживайся поздно вечером.

Щелкнул замок входной двери, и все смолкло. Я с удовольствием зарылся ноузом в пиллоу и погрузился в сладкий сон. Почему-то мне приснился Джоша, в гробу бы я его видал в белых «адидасах». Он был какой-то повзрослевший и строго выговаривал мне о дисциплине, смирении и покорности, а еще о том, что все бойзы теперь должны беспрекословно ему подчиняться и отдавать честь. Я тоже стоял в общей шеренге, с готовностью повторяя «да, сэр» и «нет, сэр», и вдруг заметил большие звезды на его плечах, как если бы он был генералом.

Джоша строго указал на меня и рявкнул:

— У этого ублюдка вся форма в г...е. Он позорит нашу доблестную дебило-дегенератскую армию. Нука, почистить его.

Я посмотрел на свою одежду и с ужасом осознал, что он прав.

— Не бейте меня, братья! — благим матом заорал я и бросился бежать.

Но почему-то я бегал кругами, возвращаясь в одну и ту же точку, как привязанный к веревке апельсин, если его раскрутить. Кир преследовал меня по пятам, безумно хохоча и щелкая бичом, который то и дело опускался на мою спину и задницу. К физической боли прибавилась страшная боль в голове, в которой вдруг громко зазвонил... звонок.

Странно. Никто вроде бы не должен знать, что я дома. Звонок продолжал нахально рингать, а потом из-за двери донесся знакомый голос:

— Вставай, разгильдяй, я знаю, что ты дома.

Я скривился, будто мне прищемили боллзы, так

как узнал голос П. Р. Дельтувы, моего опекуна из идиотского посткоррективного общества содействия органам охраны правопорядка. Мистер Дельтува был затраханным жизнью нудаком с поношенным лицом, который должен был надзирать за сотней охламонов вроде меня. «Сейчас, сейчас!» — поспешно крикнул я, облачаясь в просторный шелковый халат, украшенный набивными картинками из райской жизни постиндустриального общества. Сунул ноги в теплые войлочные тапочки и был готов к приему гостя, которому обрадовался, как овца ножу мясника. Когда я открыл дверь, на пороге предстал мой наставник со скорбным выражением на прокисшем лице, в поношенной старомодной шляпе и засаленном плаще.

— А, Алекс, мой мальчик,— вымученно улыбнулся он.— Я встретил твою мать, и она сказала, что тебе нездоровится и поэтому ты не пошел в школу.

— Совершенно точно, сэр. Страшная головная боль,— светским тоном произнес я.— Думаю, к обеду все пройдет.

— Да, к вечеру уж это точно,— со скрытым сарказмом сказал Дельтува.— Ведь это твое любимое время суток, не так ли, парень? Садись. Присаживайся, присаживайся, — пригласил он, словно это был его дом, а не мой.

Он по-хозяйски расположился в кресле-качалке моего фазера, будто пришел покачаться, а не дать накачку мне. Я воспитанно предложил ему чашку чая.

— Совсем нет времени, сынок,— ответил он, посмеиваясь.— С вами, ребятки, даже чашку чая некогда выпить.

Однако он продолжал беззаботно раскачиваться, не торопясь уходить, и я включил электрокеттл.

— Чем обязан вашему визиту, сэр? Что-нибудь случилось?

— Случилось? — хитро прищурился он.

Взял со стола газету, на первой странице которой была изображена шикарная чувиха с вываленными грудями, рекламировавшая прелести югославских курортов. Схавав ее глазами в один присест, мой наставник произнес с фальшивой улыбочкой:

— А разве что-то должно было случиться? Ведь лично ты ничего не натворил?

— Ну, это просто оборот речи, сэр,— не поддался я на его неумело заброшенный крючок.

— Ну, уж коль мы заговорили об оборотах речи, то прими к сведению и мой, так, для поддержания разговора. Если в следующий раз что-нибудь действительно случится, ты не отделаешься исправительной школой для трудновоспитуемых. Ты загремишь в настоящую тюрягу... и очень меня подведешь. Вся моя работа с тобой пойдет насмарку. Если не думаешь о себе, то подумай хотя бы обо мне и о своих родителях...

— Но, сэр, откуда такие мрачные мысли? Копполы, то есть легавые, а точнее, полицейские не имеют ко мне ни малейших претензий. Я чист и непорочен, как святая дева Мария.

— Да уж! Ты скорее тянешь на роль кающейся Магдалины. Хотя представляю себе Магдалину с таким... Ну да ладно, оставим религию в покое. Так вот, не вешай мне дерьмо на уши относительно полиции. Они ничего на тебя не имеют, пока не сцапали. Ты мне не хочешь рассказать о вчерашней драке? Кто-то здорово поразвлекался, пустив для этого в ход ножи, велосипедные цепи и подобные безобидные игрушки. Тебя, конечно, там не было. Одного толстого парня, кстати, тоже моего подопечного, «Скорая помощь» подобрала ночью в районе городской подстанции и увезла в больницу. В бреду Билли упоминал твое имя. Сведения дошли до меня по обычным каналам. Упоминались также имена твоих дружков. Конечно, никто ничего не может доказать. Но я предупреждаю тебя, парень, предостерегаю как друг, как единственный человек, который может спасти тебя от себя самого...

— Я очень ценю ваше участие, сэр,— бесстрастно произнес я.

— Ценишь? Да что ты говоришь! — с неподдельной горечью усмехнулся Дельтува.— Ну, я тебя предупредил. Нам известно гораздо больше, чем ты думаешь, Алекс. Какой бес в тебя вселился, парень? Мы изучаем эту проблему вот уже больше столетия, но никак не можем ее решить. У тебя хороший дом, любящие родители. И мозги у тебя вроде в порядке. Скажи, что тебя гложет изнутри? Может быть, я пойму. Как-никак угробил на воспитание таких, как ты, почти сорок лет...

— Никто ничего не сможет мне пришить,— упрямо повторил я.— Меня не задерживали уже более трех месяцев.

— Вот это-то меня больше всего и беспокоит,— вздохнул Дельтува.— Ты подозрительно долго остаешься пай-мальчиком. Сам не замечаешь, что приближаешься к критической точке.

— Да, сэр, но я чист, как стеклышко. Можете на меня положиться.

Я ошармил его типично американской белозубой улыбкой. Подавая ему чашку крепкого натурального чая, я усмехнулся над всеми этими охами и ахами Дельтувы и его фрэндов-воспитателей. Ну, хорошо! Допустим, я поступаю хреново, файтинг, битинг, страйкинг, каттинг более слабых ножом и бритвой и рейпинг понравившихся мне герлз. Но это делают все в нашем поганом обществе. Разве я устанавливал его законы? Я лишь живу по ним. И чего он тогда талдычит, что любит меня? О какой всеобщей любви воняет он и ему подобные? Три месяца в одном исправительном учреждении, полгода в другом. А сейчас со всей любовью обещает запереть меня еще в каком-нибудь зоопарке. И ни одна тварь не догадывается, как я ненавижу клетку. Все эти разговоры о причинах зла и насилия повергают меня в смех до колик.

Почему сначала не разобраться в том, что делает человека хорошим и вообще что такое *добро*? Лично я считаю, что люди бывают (а скорее притворяются) добрыми, потому что это им нравится (или выгодно). А другим нравится быть жестокими, злыми, беспощадными. В природе тоже непременно должны быть хищники и их жертвы, иначе все на свете выродится и вымрет. А может быть, создавший этот мир Бог радуется, глядя на меня, гордится мной, как своим лучшим творением? И я должен сохранить свое собственное «Я»? Однако правительство, судьи и все эти школы стараются искоренить зло, так как я посягаю на их привилегию быть злыми по отношению к другим, и им жизненно необходимо под маркой зла уничтожить мое «Я», превратив меня в безропотную овцу из общего эксплуатируемого ими человеческого стада? Разве вся история человечества — не о борьбе маленьких смелых «я» против несправедливости сильных мира сего? Нет, друзья, серьезно?

Но то, что я делаю, я делаю потому, что это мне *нравится*.

Повздыхав еще минут пять, мой ментор наконец убрался. Я же отбросил философские мысли, приготовил себе чашку крепчайшего чая с молоком, набухав туда пять ложек сахара (я из породы сладкоежек), и принялся за оставленный матерью брэкфаст. Покончив с ним, взялся за ньюспейпер. Нет, друзья, вы бы только почитали, какую муть голубую пишут наши ньюспейперы. Точно бы животы надорвали, как и я. Изо дня в день одно и то же. Новый всплеск насилия. Участившиеся ограбления банков. Угроза забастовки футболистов ведущей команды города,

если не будут удовлетворены их требования о повышении заработка. (Ублюдки! Можно подумать, шарик перестанет крутиться, если они не сыграют пару матчей!) Запущено еще с десяток космических кораблей. (Уверен, что девять из десяти — военные, и все это во благо мира на земле.) Новые стерео ТВ-системы с экранами в полстены. Но больше всего мне понравилось объявление: «Меняю три пакета мыльных хлопьев на этикетки от банок с консервированными супами». Совсем с ума съехали.

Вдруг мое внимание привлекла большая статья о современной молодежи (то есть обо мне). Посмотрим, что там о нас пишут. Очень долго и нудно один умник расписывал отсутствие парентальной дисциплины, то есть ответственности родителей за воспитание детей, о нехватке учителей по призванию, которые бы выбили иждивенческие настроения из своих учеников и показали бы им, почем нынче фунт лиха. Читать эту туфту без смеха было невозможно, но все же приятно сознавать, что кто-то еще печется о нас. Вообще-то я бы не сказал, что нас обходили вниманием. Каждый день появлялось что-нибудь «о воспитании подрастающего поколения, от которого зависит будущее цивилизации». Из всех артикл, появившихся в последнее время, мне больше всего понравилась статья одного старого священника в строгом пастырском воротничке-удавке, где он высказывал мнение о том (а говорил он как бы от имени Бога), что «это дьявол, который до этого был в других землях», пытается тайком вселиться в безвинные души молодого поколения, а еще, что за все в ответе взрослые со своими войнами, ядерными бомбами и повальным развратом. В этом я был с ним согласен. Он, должно быть, знал, о чем говорил, будучи ближе к Богу, чем остальные. Получалось, что мы невинные создания и во всем виноваты взрослые. Я бы мог сказать: «Хиэр, хиэр, хиэр»,— как в английском парламенте.

Поразмышляв так пару минут, я выбросил всю эту чушь из головы, врубил дебильник, надев его на шею и засунув в уши стереовкладыши, и принялся выбрасывать все из гардероба в поисках, во что бы такое облачиться, чтобы не очень шокировать тичерз, случись мне зайти в мою скул. Слушая прекрасный скрипичный квартет Клаудиуса Бердмана, я мысленно усмехнулся, вспомнив одну статью в «Ю-Эс Ньюс» о благотворном влиянии классической музыки на современную молодежь. Там говорилось, что нас может исцелить и цивилизовать прекрасный мир истинного искусства. Старая песня о том, что красота спасет мир. Какое, к черту, спасение? Какое благотворное влияние музыки? Красота неизменно вызывала у меня единственное желание — разрушить ее, так как она совершенно не вписывалась в наш уродливый мир.

А музыка... Музыка всегда лишь обостряла мои ощущения. Слушая ее, я чувствовал себя наравне с самим Господом Богом, который вправе карать и миловать этих никчемных людишек. Музыка будила во мне самые низменные инстинкты и давала ощущение вседозволенности.

Я оделся так, как в то время одевалась вся студенческая молодежь: в потертые джины и в голубую водолазку-педерастку с вышитой буквой А — начальной буквой моего имени. Был хай тайм сходить в музыкальный салон (да и башли после вчерашнего остались) и посмотреть, поступили ли давно заказанные стереодиски Девятой симфонии для хора с оркестром Людвига Ивана Бетховена в исполнении симфонического оркестра «Эш Шам» под управлением Л. Мухавира. И я вышел на улицу.

Эт дэйтайм она была совершенно не такой, как ночью. Ночью она принадлежала мне и моим фрэндам и другим надсадам, пока сытые обыватели покорно проглатывали помои, выплескиваемые на них ТВ и частными телевещателями. И как их только не тошнило от этой ежевечерней жвачки! Теперь улица принадлежала им. Да и забрал днем было несравненно больше. На углу я заскочил в бас и доехал до центра. В торговых рядах «Тэйлор Плейса» я зашел в мой излюбленный музыкальный салон с глупым названием «Мелоди». Несмотря на название, это было хорошее место, оборудованное стереофоническими бутиками, где каждый мог прослушать выбранный им диск. В салоне было пусто. Старина Энди, которому было года двадцать четыре, вежливо улыбнулся мне. Он вообще хороший парень, всегда такой услужливый, благожелательный, хотя тощий и уже с заметными залысинами. Энди узнал меня и радостно сообщил:

— А, знаю, зачем ты пришел. Могу тебя обрадовать. Вчера я их получил.

Он подмигнул и пошел в подсобку.

Энди вернулся быстро, торжественно помахивая двумя огромными дисками в глянцевых белых конвертах, с которых величественно и строго на меня смотрел сам Людвиг Иван.

— Вот, пожалуйста,— протянул мне их Энди.— Хочешь послушать?..

Придя домой, я всадил себе в руку изрядную дозу героина. Потом вытащил из конверта божественную «Девятую, хоральную» и поставил диск, врубив полную громкость...

Когда мы с Людвигом Иваном кончили, я устало потянулся, повернулся к стене и уснул.

5

Я продрых до самого вечера и очнулся от позвякивания чашек и тарелок и сдержанного разговора, доносившихся из столовой. Было уже полвосьмого, и мои предки вернулись с пахоты. Они сидели за усталым ужином, вяло обмениваясь новостями. Хотя какие у них могли быть новости? Старость не радость, а им уже было далеко за сорок. Накинув халат, я выглянул из своей комнаты и весело сказал:

— Салют, камарады! Уже припылили?

Дад и мом устало улыбнулись.

— Небось наломались за день? А мне гораздо лучше после дневного отдыха. Пожалуй, пойду поработаю, сшибу доллар-другой.

Мои предки были уверены, что я подрабатываю по вечерам в магазине. Отчасти это было верно: что-что, а уж лавки и магазинчики мы не обходили вниманием.

Мой старый конь смотрел на меня без особого обожания, и в его глазах сквозило невысказанное подозрение, но он благоразумно помалкивал.

После скорого ужина я нырнул в ванную, принял душ и оделся.

Когда я вышел из комнаты, готовый к новым вечерним подвигам, фазер неуверенно спросил:

— Не подумай, что я вмешиваюсь в твои дела, сын, но мне бы хотелось знать, где ты работаешь так поздно каждый вечер?

— Да так, где придется,— непринужденно ответил я, пресекая тяжелым взглядом дальнейшие расспросы.— По-моему, денег я у тебя не прошу ни на шмотки, ни на пластинки, ни на другие развлечения. Так в чем же дело?

— Да нет, я так, ничего,— смешался он и уткнулся в чашку.— Просто я... мы беспокоимся за тебя. Мне иногда снятся такие дурацкие сны... Можешь смеяться надо мной, но вот, например, прошлой ночью мне приснилась одна вещь, которая мне очень не понравилась.

— Да? И что же это такое было? — с неподдельным интересом спросил я.

— О, это выглядело так натурально во сне. Будто

бы ты лежишь в пыли на тротуаре и тебя молотят твои дружки, ну, те, с которыми ты ходил до того, как последний раз попал в исправительную колонию.

— Да что ты говоришь? — усмехнулся я.

Мой старый, загнанный конь искренне верил, что я исправился после выхода из колонии. Блажен, кто верует. И тут мне вспомнился сон, приснившийся мне самому.

Я отбросил эти навязчивые видения. Как-то я слышал, что в отличие от снов в жизни все бывает как раз наоборот.

— Отринь беспокойство о своем единственном сыне и наследнике, отец мой,— шутливо затянул я.— Он сможет постоять за себя...

— Но ты беспомощно барахтался в луже собственной крови и даже не сопротивлялся.

«Нет, действительно в снах все наоборот»,— подумал я про себя, а вслух сказал:

— Все это бабские страхи, дад. На-ка лучше, держи. Вчера заработал. Правда, тут немного, но все-таки... На пузырь для тебя и на какую-нибудь тряпку для мом хватит. А может быть, сходите с ней куда-нибудь.

И я выгреб из кармана оставшиеся мани и плюхнул их на тэйбл.

— Спасибо, санни,— растроганно сказал фазер. Потом печально добавил: — Но мы последнее время опасаемся куда-то выходить по вечерам. Кругом столько хулиганья. Но все равно спасибо. Завтра прихвачу домой бутылочку «скотча», и мы со старухой раздавим его на пару.

Он поспешно сунул мани в карман, чтобы их не заметила мазер, мывшая на кухне посуду. Я вышел на улицу, обогреваемый лучами отцовской любви.

К моему немалому удивлению, внизу, в подъезде, меня ждала вся моя кодла в полном составе. Дебила сосредоточенно рисовал на стене. Услышав шумные приветствия Пита и Джоши, он оторвался от своего занятия и, обнажив крупные прокуренные зубы, заплясал с криками «ура!».

— Мы уже было начали волноваться,— сдержанно проговорил Джоша.— Ждали тебя битый час в «Коровяке», вылакали все молоко, а тебя все нет и нет. Думали, может, ты на что-нибудь обиделся, вот и пришли... встретить. Ведь правда, Пит, правда?

— Да-да,— поспешно подтвердил Пит.

— Примите мои искьюзиз, братья. Страшно разболелась башка. Меня случайно по балде никто вчера не бил? — пошутил я.— Короче, сразу после завтрака завалился спать и проснулся только полчаса назад. Итак, народ для веселья собран, не так ли?

Видно, я подцепил это «не так ли» от моего опекуна Дельтувы.

— Приносим глубочайшие соболезнования твоей голове,— с кривой ухмылочкой произнес Джоша.— Ну, еще бы ей не болеть! Видать, перетрудил, выдумывая разные приказания и пути повышения нашей дисциплины. Ты уверен, что она у тебя перестала болеть? Может, пойдешь полежишь еще?

— Что-то я не пойму твоего сарказма, урод,— недобро процедил я.— Вы что, ребятки, о чем-то сговорились за моей спиной? — жестко спросил я, на всякий случай прижимаясь спиной к стене.— А ну-ка выкладывайте все начистоту, пока я не стер глупые ухмылки с ваших рож. Вот ты, ублюдок, чего скалишься? — приступил я к Киру, который разверз свою пасть в беззвучном смехе.

Джоша поспешно встрял, предостерегающе сунув руку в карман:

— Завязывай, Алекс. Теперь ты больше не будешь приставаться ни к Киру, ни к кому-либо другому.

— Теперь? — насмешливо переспросил я.— А что теперь?

Точно. Пока я дрых, они о чем-то договорились. Ну что ж, узнаем, к чему они пришли, ублюдки вонючие.

— Давай, фуфлогон, валяй дальше, только не в штаны. Я тебя внимательно слушаю.

Я стоял выше их на несколько ступенек. Небрежно облокотился на перила, готовый в любую минуту схватиться за них и дать ногами в рожу любому, кто осмелится приблизиться ко мне.

— Не лезь в бутылку, Алекс,— твердо произнес Пит,— но отныне в нашей стае все пойдет по-другому. Нам не нравится, что ты нам постоянно приказываешь, что нам делать, а чего не делать... Не обижайся.

— Да дело даже не в этом,— раздраженно вставил Джоша.— Главное в том, что у него детство в заднице играет.— Он нахально уставился на меня и даже ткнул в мою сторону пальцем.— Все какие-то бойскаутские штучки, как прошлой ночью. Напакостить и смыться. А мы уже не дети!

— Так, еще что? Я слушаю, слушаю,— спокойно сказал я.

— А то, что мы сик энд таэд от твоих детских забав. Подумаешь, ворваться во вшивую лавчонку, набить карманы мелочовкой. Мы мелко плаваем. А вот Уилл-англичанин на днях сказал мне, что знает одно местечко, где можно легко взять желтизну и камушки. Вот где настоящие-то бабки!

— Где это ты успел снюхаться с Уиллом-англичанином? — внешне спокойно спросил я, хотя внутри у меня все кипело.

— А это уж не твое дело, Алекс,— зло огрызнулся Джоша.— В отличие от некоторых я на тебе не зациклился. У меня есть и другие фрэнды...

Некоторое время я взвешивал ситуацию, а потом размеренно проговорил:

— Золото? Драгоценности? А вы знаете, кретины, что чем больше добыча, тем выше риск схлопотать настоящий срок? Об этом вы подумали, недоноски? Не пойму, чего вам еще не хватает. Нужна машина — угнали любую тачку, покатались и бросили. Бабки? Вам мало того, что мы экспроприируем у буржуев? Откуда эти капиталистические замашки?

Я не на шутку рассердился. Мой сон оказался вещим. Джоша-генерал решал, что мы должны делать, а что нет. Но я обуздал гнев и решил действовать осторожно, очень осторожно. Поэтому, улыбаясь, я сказал:

— Ну, хорошо, бразерс. Ну и ладненько. Я многому научил вас. Посмотрим, как это теперь получится у вас. У тебя есть план, Джоша-бой?

— Ты умный парень, Алекс. Недаром мы столько времени держали тебя за вожака,— удовлетворенно осклабился Джоша.— Теперь у нас будет полная демократия. Никаких боссов. Почему бы нам, парни, не взбодрить себя доброй порцией молочка из-под бешеной коровки?

— Ты угадал мои мысли, Джоша,— криво улыбнулся я.— Как раз хотел предложить посидеть для начала в нашей доброй старой «Коровяке». Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Веди нас, мой маленький Джоша.

Я растянул рот в безумной улыбке, в то время как мысль моя продолжала лихорадочно работать. Когда мы вышли на улицу, я решил, что напряженно думают только глупцы, умные же действуют по наитию, вдохновению, ниспосланному самим Богом. В этот момент на помощь мне пришла чудесная музыка, доносившаяся из припаркованного неподалеку кара. Это была заключительная часть концерта для фортепиано со скрипкой моего любимого Людвига Ивана. Решение созрело мгновенно, и я выхватил каттер.

— А теперь поговорим, Джоша-бой,— угрожающе сказал я.

— Я готов,— ответил он, и в его руке блеснул нож.

Мы приняли боевую стойку и затанцевали друг перед другом.

— Э, так не пойдет, фрэнды,— пробасил Кир и принялся разматывать с пояса цепь.

— Оставь это, Дебила,— сказал Пит и положил руку Киру на плечо.— Пускай разбираются сами.

Некоторое время мы кружили, делая выпады, выискивая бреши в обороне друг друга. Видя, что мои атаки не имеют успеха и я никак не могу дотянуться до лица или глаз Джоши, я изменил тактику и несколько раз удачно полоснул бритвой по его руке, державшей нож. Это мне удалось, и он выронил его и удивленно посмотрел на изрезанные пальцы.

— Теперь ты, Дебила. Посмотрим, кто из нас проворнее.

— Ага-га-га,— зарычал Кир, молниеносно сдернул чейн с пояса и со свистом покрутил ею в воздухе, примериваясь к моим глазам.

Я озверел и, нырнув под Дебилу, удачно резанул его пару раз по ногам. Теперь он, в свою очередь, взревел от боли, а я, воспользовавшись его минутным замешательством, неожиданно выпрямился и сосредоточился на его руке, в которой была цепь. «Жжик-жжик-жжик!» — я почувствовал, что каттер легко, будто в масло, входит в его флэш. Наконец он выронил чейн и принялся баюкать свою искалеченную руку, краинг, как маленький беби. Он попробовал остановить кровь ртом, но ее было слишком много, и он чуть не захлебнулся.

— Ну, что, ребятки? Теперь вы знаете, кто в доме хозяин. Не правда ли, Пит?

— А я что, я ничего,— ответил Пит.— Я не сказал против тебя ни слова. Надо подумать, что делать с Киром, пока он не истек кровью. Еще сдохнет..

— Ни за что на свете. Человек умирает один раз, а Кир помер, не успев родиться. Дай ему свой платок. Вот увидишь: кровь остановится сама собой.

Действительно, основные артерии оказались незадетыми, и я сам перевязал жалобно скулившего Дебилу.

Это послужит для них неплохим уроком. Теперь будут знать, кто овцы, а кто пастух.

Успокоить моих раненых солдат не составило большого труда. Для этого я завел их в ближайший снэкбар на Дьюк оф Нью-Йорк и купил пострадавшим два больших брэнди. Понуро заглотив их, они понемногу отошли. Наши старушки-хохотушки встретили нас привычными «спасибо, добрые ребятки» и «да благословит вас Господь», споро обмыли вискарем и перевязали сравнительно чистыми тряпками Кира и Джошу. Расщедрившись, Пит купил им по сандвичу и по банке сидра на свои деньги, которых у него оставалось полные карманы. Старые ведьмы еще громче заверещали:

— Вы самые добрые и щедрые ребята на свете. Мы никогда на заложим вас. Наконец хоть кто-то о нас думает.

Я смерил Джошу тяжелым взглядом и категорично произнес:

— Слушай сюда. Недеюсь, не в обиде? Ты начал первым...

— О'кей, о'кей, о'кей! — поспешно закивал он.

— Вот теперь самое время поговорить о делах,— сказал я.— У тебя, кажется, было что предложить?

— Шиза косит наши ряды,— философски заметил Пит, а Джоша зло гаркнул:

— Закрой хлебало, кишки простудишь! — Потом раздумчиво добавил:— Есть на примете один дом. С двумя фонарями у входа и с глупым названием.

— Каким еще названием?

— «Обитель заблудших Божьих тварей» или что-то в этом роде. Там живет одна старая ведьма. Никакой прислуги. Только дюжина облезлых бродячих кошек, которых она приютила и заботится о них, как о собственных детях. У этой выжившей из ума карги уйма всяких дорогих старинных вещей.

— Конкретнее.

— Ну, там столовое серебро, золотишко, побрякушки с камушками. По крайней мере так утверждает Уилл-англичанин...

— По-нят-на-а,— протянул я.— По-моему, это действительно неплохой расклад.

Я знал, о каком доме идет речь. Это в Олдтауне, на окраине микрорайона «Виктория». Настоящий вожак обязан чувствовать, когда натянуть поводья, а когда и ослабить. Я решил проявить великодушие.

— Хорошо, Джоша. Эта идея мне нравится. Пойдем прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик.

Я многозначительно взглянул на навостривших уши старушек.

— Ничего не слышали, ничего не знаем,— в один голос заскрипели они.— Все время вы были здесь с нами.

— Примерные девочки. Просто отличницы,— похвалил я их.— Минут через десять получите свои поощрительные призы.

И я повел моих фрэндов навстречу собственной судьбе.

6

Дальше за Дьюк оф Нью-Йорк шли офисы деловой части города, за ними — древнее, обшарпанное здание публичной библиотеки, за которой сразу начинался микрорайон «Виктория», названный так в честь какой-то победы. И, наконец, вольготничали старые усадьбы Олдтауна. Здесь жили разные буржуи, такие же старые, как их дома.

Вскоре мы подобрались к огромной усадьбе с идиотской надписью на фронтоне: «Обитель заблудших Божьих тварей». По обе стороны массивных чугунных ворот, как часовые на посту, стояли литые чугунные фонари с круглыми светящимися головами-шарами. В одной из комнат на первом этаже тускло мерцал свет. Все окна были забраны витыми чугунными решетками. Осторожно приблизившись к одному из них, я заглянул, что там делается внутри. И вот что увидел: древняя старуха, лет под девяносто, с крючковатым носом, костлявыми руками и иссиня-белыми космами разливала молоко из литровой бутылки по блюдцам, возле которых, раздув трубой хвосты, разевали пасти разнокалиберные и разномастные кошки. Старуха выговаривала что-то двум вконец обнаглевшим жирным скотинам, взобравшимся прямо на обеденный стол. В комнате было, как в музее (хотя я ни в одном никогда не был и мог только представлять, что там должно быть именно так). По стенам были развешаны старые картины в золоченых рамах, в углах стояли старинные замысловатые часы в стиле вампир, и везде, где только возможно, можно было увидеть различные скульптуры, статуэтки и миниатюры из потемневших от времени меди, бронзы, серебра, слоновой кости, фарфора, гипса и Бог знает чего еще. Эта страхоблюдина, несомненно, была богата. Джоша возбужденно зашептал:

— Уилл-англичанин нас не лажанул. За все это антиквары отвалят кучу бабок.

Мне надо было принять скорое решение, чтобы Джоша не перехватил инициативу.

— Сначала испробуем наш старый, испытанный способ — через парадную дверь,— быстро сказал я.—

Я попрошу разрешения позвонить в «Скорую» или принести стакан воды.

— Да, так она тебе и открыла,— противно усмехнулся Джоша.

— Во всяком случае, можно попробовать,— без особой уверенности ответил я.— Не боись, что-нибудь придумаю.

Я подошел к двери и неназойливо позвонил. Никакой реакции. Позвонил настойчивее и, наклонившись к замочной скважине, жалобно проскулил:

— Помогите! Ради Бога помогите, мадам. Моего друга сбила машина. Он истекает кровью. Нужно срочно позвонить в «Скорую помощь».

В холле зажегся свет, и раздались шаркающие шаги. Я представил, как она подходит к двери, держа под каждой подмышкой по жирному котяре. Из-за двери раздался глухой бас:

— Пошел вон, мерзавец, или я буду стрелять.

Услышав это, Джоша прыснул в кулак. Я же продолжал умоляющим, полным тревоги и страдания голосом:

— О мадам, не будьте такой жестокосердной. Мой друг может умереть.

— Я сказала, убирайся, паршивец! Знаю я ваши грязные уловки! Вам только открой. Будете мне потом всучивать всякий ненужный мне хлам. Я ничего не покупаю.

Мой авторитет стремительно падал. Взглянув вверх, я увидел над парадной дверью откидное окно-форточку, через которую мог спокойно пролезть человек. К счастью, оно было приоткрыто.

Я сделал вид, что ухожу, а сам шепнул, на цыпочках возвращаясь к двери:

— Кир, я встану тебе на плечи и залезу внутрь через форточку. Потом успокою эту ведьму и открою вам.

Мы с Киром проделали эту несложную операцию под одобрительными взглядами Пита и Джоши. Через какие-то секунды я оказался в темной, захламленной прихожей. Прошел в длинный коридор со множеством дверей по обе стороны. В доме было не менее дюжины пустовавших спален. А может быть, каждая из них предназначалась для этих отвратительных облезлых скотин, жировавших на сливках и свежей лососине? Ну где, скажите, пожалуйста, справедливость? И это в то время, когда сотни подобных ей старых перечниц прозябают в стинкинг ночлежках!

Из-под одной двери пробивалась полоска света. Прислушавшись, я различил бормотание полоумной хозяйки, разговаривавшей со своими питомцами, которые отвечали ей громким «мяу-мяу», требуя еще молока. Ожесточившись, я решил показать моим друганам, что один стою их троих. Я сделаю все сам. Если понадобится, успокою бабульку, потешусь над ее тварями, чтобы не чувствовали себя принцами и принцессами, заберу все самое ценное... и выйду через парадную дверь. Представляю, как отвиснут челюсти у этих возомнивших себя людьми уродов. С особым удовольствием утру нос этому выскочке Джоше.

Я бесшумно приоткрыл дверь и оглядел просторный холл. Со стен на меня укоризненно смотрели прекрасные нимфы с длинными золотистыми волосами, толстомясые девы с упитанными младенцами на руках, тощие святые, не сводящие с них плотоядных глаз, и сам изможденный бородатый Иисус Христос, истекающий кровью на кресте. В нос мне ударила застоялая кошачья вонь. Источавшие ее скотины терлись боками о сотканные из синих жил костлявые белые ноги старухи. Она стояла ко мне спиной и не замечала меня. На столетнем дубовом буфете я увидел массивную серебряную статуэтку — красивая, стройная герла в воздушных одеждах как бы парила над землей, отталкиваясь от нее изящной ножкой. Эту вещь я облюбовал для себя.

Распахнув дверь, я вошел в холл и насмешливо произнес:

— Привет, красотка! Наконец-то мы встретились. Меня как-то не удовлетворил разговор через замочную скважину, а тебя? Думаю, что и тебя тоже, старая образина.

«Образина» медленно повернулась ко мне и гневно, но без должного удивления спросила:

— Как ты сюда попал, выродок? Не приближайся ко мне, а то я трахну тебя вот этой бутылкой.

Меня очень насмешило прозвучавшее в ее устах наше надсадское словечко «трахну». Я осклабился и стал не спеша подходить к буфету, с которого мне призывно улыбалась прекрасная танцовщица. Старуха поставила бутылку на стол и взялась за свой костыль. Я любовно погладил прохладный металл и вдруг в глубине буфета заметил бронзовый бюст какого-то отдаленно знакомого мне мэна с длинными всклоченными волосами, пустыми глазами навыкате и в старомодном галстуке. И тут я понял, что передо мной мой идол — Людвиг Иван Бетховен.

— Какие прекрасные вещи, и, что самое интересное, сейчас они будут моими...

Завороженный, я сделал еще шаг и... растянулся на полу, попав ногой в одно из блюдец.

— Мать твою!.. — выругался я, пытаясь подняться.

Но старуха с непостижимой для своего возраста скоростью подскочила ко мне сзади и принялась колотить меня палкой по голове, злорадно приговаривая: «Вот тебе, вот тебе, сукин сын!»

Ее удары были несильные, но все равно неприятные.

— Нас бьют, а мы крепчаем. Бьют — крепчаем, бьют — крепчаем,— шутовски повторял я при каждом ударе.

Она же явно вошла во вкус и прошипела:

— Я покажу тебе, задница ты эдакая, как врываться в дом к порядочным людям.

И больно треснула меня костылем по лбу. Мне стало не до смеха, и при следующем ударе я схватился за костыль и сильно дернул его на себя. Старуха потеряла равновесие и, чтобы не упасть, ухватилась рукой за скатерть. Не удержалась и грохнулась на пол, вместе со скатерью стащив со стола все, что на нем стояло. Бутылки с молоком разлетелись вдребезги, а ведьма плавала в луже, как вобла под белым соусом.

— Чтоб тебя черти забрали, выродок рода человеческого,— мужским басом выругалась она, пытаясь подняться на ноги, но поднимая только сотни молочных брызг.

— Взять его, мои кошечки! Ату его! Ату! — визжала старуха, в кровь раздирая мое лицо своими когтями.

Будто поняв ее команду, несколько жирных скотин с истошным мяуканьем набросились на меня. Я бешено махал кулаками, отбиваясь от осатаневших тварей.

— Не смей трогать животных,— строго проговорила старуха, когда я удачно задел одну из ее кошек и та отлетела к стене.

— Ах ты, старая, дырявая кошелка,— рассвирепел я и сильно вмазал ей Иваном по безмозглому хэду.

Она слабо охнула, обмякла и затихла. Я выпрямился, стряхнул с себя котов, раскрутив одного за хвост и шмякнув головой об угол буфета, и ... услышал приближающийся вой полицейских сирен.

Вляпался!

И тут до меня дошло, что в тот момент, когда

я подслушивал у дверей, старуха разговаривала не со своими тварями, а звонила в полицию. Я рванулся к парадной двери и принялся лихорадочно открывать миллион замков и запоров. Распахнув наконец дверь, я увидел, как улепетывают мои фрэнды. Хотел последовать их примеру, но тут передо мной вырос Дебила со своей страшной цепью в руках.

— Отрывайся! — крикнул я.— Через минуту здесь будут забралы!

— Вот ты их и встретишь,— злобно процедил Кир и хлестнул меня цепью по глазам.

Я едва успел их закрыть. Жгучая боль взорвала мою голову изнутри. Я схватился за лицо и упал на колени.

— Мне не нравится, когда меня ни за что бьют по морде, Алекс-бой. Прощай, мой друг, товарищ и брат.

В качестве заключительного аккорда он саданул меня пудовым ботинком поддых, и я скатился с крыльца. Через несколько секунд взвизгнули тормоза остановившейся патрульной машины. Мне было на все наплевать. Из глаз катились слезы вперемешку с кровью. Это вытекали глаза. Мои глаза! Я был одной сплошной болью. Кто-то грубо поставил меня на ноги. Щелкнули наручники. Сквозь густую кровавую пелену, окутавшую мое сознание, проникли произнесенные кем-то слова:

— Подонок проломил ей голову, но она еще дышит.

— Вот так удача! — сказал второй коппола, запихивая меня в машину и одновременно отрабатывая по почкам.— У нас сегодня в гостях сам малыш Алекс.

— Я ранен! Я ничего не вижу, грязные скоты, мать вашу...— взревел я и получил новый удар в солнечное сплетение.

— Выбирай слова, сучье вымя.

Новый удар в лицо.

— Да пошел ты... Сначала разберитесь, а потом пихайтесь. Почему я один? Где остальные? Где эти вонючие предатели, которых я держал за друзей? Я хотел отговорить их от этого и получил цепью по глазам. Я не виноват. Я пострадавший. Бог не потерпит такой несправедливости! Он вас накажет! Поймайте их! Не дайте им уйти!

Я орал и возмущался больше по инерции, прекрасно сознавая: отвечает не тот, кто виноват, а тот, кто попался. Сейчас отмазавшиеся за мой счет гнусные предатели наверняка сидят в забегаловке на Дьюк оф Нью-Йорк, посмеиваются и накачивают вискарем наших старых, облезлых куриц. А те блаженно кивают головами: «Спасибо, добрые ребята. Да благословит вас Господь! Все время были здесь с нами. А как же? Никуда не отлучались...»

Я же, зажатый между двумя издевающимися копполами, мчался по знакомым улицам в полицейский участок, пытаясь сквозь кровавые слезы в последний раз разглядеть их названия и запомнить, как они выглядят.

Подъехали к участку. Меня вытряхнули из машины. Эти вонючие, самодовольные ублюдки выполнили план на сегодня. Теперь они и пальцем не пошевелят, чтобы забрать моих бывших фрэндов. А Бог молчит, хоть и все видит. Ну кто сказал, что он не фрайер?!

Меня втолкнули в ярко освещенную выбеленную контору, в которой повисла устойчивая вонь туалета, блевотины и дезинфектантов. Я предстал перед четверыми забралами, которые сидели за столом и дринкали чай из больших кружек. Я бы тоже не отказался от глотка крепкого горячего чая, но они почему-то мне не предложили. Вместо этого мне протянули старое, ржавое зеркало. Я заглянул в него и содрогнулся, так как вместо вашего красивого молодого рассказчика на меня смотрел какой-то страхублюдок с окровавленным ртом, распухшим, синим носом и слезящимися щелками глаз. Заметив мое невольное отвращение, копполы дружно заржали, а старший из них, со звездочками на плечах, спросил:

— Ну, так что ты нам хотел рассказать, соколик?

Я презрительно фыркнул и достойно ответил:

— Пошли вы все в задницу, а ты, буй с бугра, первым. Я не скажу ни слова, пока здесь не будет моего адвоката. Я знаю законы не хуже вас, козлы безрогие.

Они опять громко рассмеялись, и старший сказал:

— Ну, что же, ребята. Придется убедить его в том, что он не прав. Знание законов не освобождает от ответственности.

Тут уж они, конечно, вволю потешились надо мной, показав пятый угол. И, наверное, убили бы, не останови их многозвездный инспектор. Затем они дружески предложили мне сесть. Некоторое время мы беседовали, как добрые знакомые. Потом в комнату зашел П. Р. Дельтува, офис которого находился в этом же здании. Он выглядел мизерэбли и с сожалением сказал, увидев меня:

— Итак, это случилось, Алекс-бой, не так ли? Все, как я и предполагал. Бедный, бедный, бедный парень.

Он повернулся к копполам и поприветствовал их:

— Добрый вечер, инспектор. Добрый вечер, сержант. Добрый вечер всем. Конец нашему сотрудничеству. Боже! На кого он похож. Вы только взгляните на него...

— Насилие порождает насилие,— изрек инспектор.— Он оказал сопротивление при аресте.

— Больше я ничего для тебя не могу сделать,— сурово посмотрел на меня Дельтува.

— Может, хотите вмазать этому подонку, сэр? Не стесняйтесь. Мы его с удовольствием подержим. Понимаем, каким он стал для вас разочарованием.

И тут Дельтува сделал вещь, которой я от него никак не ожидал. В высшей степени непедагогичную вещь, скажу я вам. Он подошел ко мне вплотную и с ненавистью плюнул мне в лицо. Потом вытер рот тыльной стороной ладони. Пораженный, я вытащил свой окровавленный платок и принялся утираться, повторяя как заведенный:

— Спасибо, сэр. Огромное вам спасибо. Вы очень добры, сэр.

Он смерил меня презрительным взглядом, повернулся и, не говоря ни слова, вышел из кутузки.

Копполы протянули мне длиннющий опросник, и я с горечью подумал: «Чтобы вы все провалились, подонки. Если вы называете это Добром, то я рад, что нахожусь на стороне Зла».

— Черт с вами, стинкинг пигс,— с вызовом бросил я им.— Я все вам напишу, а потом можете подтереться своим вонючим протоколом. Я больше не стану ползать перед вами на брюхе. С чего начать-то? С момента выхода из последней исправительной колонии? Валяй, крысенок, да смотри чего-нибудь не пропусти,— обратился я к сидящему за пишущей машинкой испуганному человеку в цивильном, совсем не похожему на забралу.

Тайпист едва поспевал фиксировать мой словесный понос и, когда я кончил, он выглядел так, будто вот-вот свалится со стула.

Выслушав мою исповедь, инспектор заметно подобрел и почти ласково сказал:

— Добро, парень. Сейчас тебя отведут в твой номер-люкс с водопроводом и всеми удобствами. Уведите его, ребята. Протокол он подпишет позже.

В камере были двухъярусные бедзы, но все они оказались занятыми. На одной из них, в верхнем ярусе, громко храпел какой-то пьяный старик. Вид-

но, туда его забросили копполы, так как забраться наверх он бы не смог даже в трезвом состоянии. Недолго думая, я сбросил его прямо на спящего на полу жирняка с полными штанами и быстро занял его место. Они повозились, не просыпаясь, потом обнялись и мирно захрапели. Я же лежал на отвоеванной вонючей койке, слишком уставший и избитый, чтобы спать. Некоторое время я балансировал на грани полузабытья, то и дело погружаясь в другой, лучший мир. И в этом лучшем мире, о братья, я видел себя на большом лугу, усеянном цветами, на котором пасся козел с лицом человека. Завидев меня, он сел и принялся наигрывать на флейте до боли знакомую мелодию. Над лугом поднялось солнце с суровым лицом Людвига Ивана, старомодным галстуком и живописно развевающимися волосами, и я услышал заключительную часть Девятой симфонии, причем хор безбожно перевирал слова, что, впрочем, допустимо во сне.

«Ты, злобная, хищная тварь, осквернитель полей Элезиума,
Знай, что наши сердца переполнены благородным гневом,
И мы порвем тебе вонючую пасть и надерем грязную задницу».

Однако мелодия исполнялась безупречно, и я проснулся с этой мыслью спустя две или десять минут или двадцать часов, дней или лет. Точнее сказать не могу, так как часы у меня отобрали. Где-то далеко-далеко внизу стоял один из коппол и больно тыкал меня концом дубинки под ребра, повторяя:

— Давай-давай просыпайся, спящая красавица. Вот теперь тебя ждут настоящие неприятности.

— А? Что? — не понял я, не в силах отделаться от звучащей во мне «Оды к радости».

— Спускайся и все узнаешь, малыш,— сказал он с ноткой сострадания, которая заставила меня стряхнуть остатки сна.

Превозмогая боль во всем теле, я спустился с небес на землю. Дышавший мне в затылок луком и сыром коппола долго вел меня коридорами, пока мы наконец не пришли в довольно опрятный офис, с пишущими машинками на столах и цветами в горшках на стенах и подоконниках. В центре за массивным полированным столом с тремя телефонами сидел какой-то биг чиф, как я понял, комиссар полиции. Он строго уставился в мое заспанное лицо. Наконец я не выдержал и сказал:

— Ну, так и будем стоять? Чего это ради вы подняли меня среди ночи?

— Я даю тебе десять секунд, чтобы стереть наглую ухмылку с физиономии. Потом ты все узнаешь.

— Интересно, какой еще сюрприз вы для меня приготовили? Вам мало того, что меня избили до полусмерти, наплевали в морду, заставили признаться во всех смертных грехах, а потом бросили в вонючую камеру к сумасшедшим преступникам и извращенцам? Какую еще пакость вы для меня приготовили?

— После того, что я тебе скажу, все твои физические муки покажутся пустяком. Отныне и до конца дней тебя будут мучить угрызения совести. И только от Божьей воли зависит, сойдешь ли ты с ума или нет.

И тут, други мои, я догадался, о чем он говорит. Видно, мы с Людвигом переусердствовали, и старуха отбросила копыта и теперь пасет своих кошечек в райских кущах. Конец подкрался незаметно. Уж теперь-то точно они упакуют меня надолго. А ведь мне всего пятнадцать.

(Окончание следует.)

Перевод с английского
Евгения СИНЕЛЬЩИКОВА

Словник к повести Энтони Берджеса «Заводной апельсин»

Амбрелла — зонт.
Артиклз — статьи.
Аск — спрашивать.
Багги-уош — брюки из мешковины.
Бас — автобус.
Битинг, битс — произв. от «бить».
Бизр — пиво.
Блад, блади — кровь, кровавый.
Боллзы — яйца.
Боттл — бутылка.
Бразер — брат.
Брэдница — хлебница.
Брэкфаст — завтрак.
Букс — книги.
Войс — голос.
Глассиз — очки.
Грэннз — бабуси.
Дресс — одежда, одеваться.
Дринкинг — произв. от «пить».
Иксайтмент — возбуждение.
Икскьюз ми — извините меня.
Камон! — Пошли!
Каттинг — произв. от «резать».
Кравинг — произв. от «плакать».
Каттер — бритва.
Каунтер — прилавок.
Кичен — кухня.
Лукт эт ми, лукс эт ас — смотрел на меня, смотрит на нас.
Найсовая — хорошенькая.
Нойз — шум.
Ноуз — нос.
Ньюспейпер — газета.
Олд мэн — старик.
Он фут — пешком.
Пай — пирог.
Пигс — свиньи.
Пиллоу — подушка.
Плейс — место.
Покеты — карманы.
Привн партс — половые органы.
Пэй визит — навестить.
Райтер — писатель.
Рейпинг — произв. от «насиловать».
Рингать — произв. от «звонить».
Риспоидид — отозвался.
Свимать — произв. от «плавать».
Сёрв — подавать (на стол).
Сик энд таэд — надоело, тошнит.
Скул — школа.
Слайсы — ломти.
Сливзы — рукава.
Смайл — улыбка.
Снэкбар — закусочная.
Стэед — уставился.
Стинкинг — вонючий.
Страйкинг, страйкнул — произв. от «ударять».
Стьюд веджетэблз — консервированные овощи.
Тайм — время, хайм тайм — самое время, эт дэйтайм — днем.
Тайпрайтер — пишущая машинка.
Таун — город.
Таэд э бит — немного устали.
Тинкинг — произв. от «думать».
Тис — зубы.
Тичер — учитель.
Токинг — произв. от «болтать».
Траузерс — брюки.
Тэйбл — стол.
Уолл на уолл — стенка на стенку.
Уотч — наблюдать.
Уэйтер — официант.
Файтинг — произв. от «драться».
Фистс — кулаки.
Фор поршиз — четыре порции.
Фрэнд — друг.
Фэер — плата за проезд.
Хауз — дом.
Хоул — дыра.
Хэд — голова.
Хэндз — руки.
Чейн — цепь.
Шёрт — рубашка.
Шитсы пейпера — листы бумаги.
Шоп — магазин.
Шоулдеры — плечи.
Эмьюзмент — развлечение.
Юрин — моча.

ЗАРУБЕЖНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР

Энтони БЕРДЖЕС

ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН

Повесть

Часть II
1

Что же теперь со мной будет? Неужели все?

Здесь, други мои, начинается самая печальная часть моей истории. Я оказался в Стае 84F (Государственной тюрьме) и из Алекса превратился в номер 6655321. Не стану докучать вам жалостливым рассказом о том, каким ударом оказались мой арест и осуждение для моих бедных предков, особенно для мом, чей единственный сын, услада души, так подвел всех и вся.

Старый веник судья в Суде низшей инстанции произносил гневные спичи. Ему вторили П. Р. Дельтува и кошолы, выступавшие в качестве свидетелей. И не было никого, кто бы заступился за меня. Я встал костью в горле нашему истэблишменту, и они очень оперативно упаковали меня с глаз долой, из сердца вон. Через пару недель, пока шло скорое предварительное следствие, мое дело было представлено в Суд высшей инстанции, который, не рассусоливая, вынес свой вердикт: четырнадцать лет тюрьмы.

С того времени прошло два года день в день, и вот я опять перед вами, одетый по последней тюремной моде, то есть в поносюю цвета робу с нашитым на груди и спине номером 6655321.

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о том, как я жил два года в зоопарке человеческих отбросов, которыми, как и подобаст отбросам, наше больное сосайети пыталось удобрить хилое деревце общественной нравственности и морали.

В грязной вонючей камере меня встретили с распростертыми объятиями.

Днем мы горбатились на спичечной фабрике, потом наматывали круги по тюремному двору, а по вечерам какой-то ученый рсх засорял нам мозги лекциями о жизни жуков, Млечном Пути или Путешествиях Снежинки. Глядя на него, я почему-то всегда вспоминал другого, похожего на него, нудака, с книжками под мышкой, возвращавшегося из публичной библиотеки зимней ночью... В те славные денечки я чувствовал себя свободным и почти счастливым, и рядом были друганы, а не подлые предатели. Один из них, как я узнал от посетивших меня мазера и фазера, а именно Джоша, был уже мертв. Да, мои хайли респектид бразерс, мертв, как кусок собачьего дерьма на дороге. Это произошло приблизительно через год после того, как меня засунули в клетку и потеряли от нее ключи. После этого известия мое мнение о старом фрасре Боге несколько повысилось.

Но все же, что будет со мной?

Воскресное утро. Вся наша братия собралась в тюремной часовне послушать слово Божье. Проникшийся ко мне симпатией капеллан вменил мне в обязанность ставить по его знаку пластинки с торжественной церковной музыкой на старенький стереопроигрыватель. Все заключенные сидят на каменном полу, внимая проповеди. От них исходит неистребимый вонизм, источником которого являются даже не немытые тела — столь безнадежно могут смердеть только растленные души. Наверное, так же воняю и я, хотя в отличие от остальных в моей вони должна быть примесь надежды. Ведь я самый молодой из всех. Мои мысли вертятся вокруг одного: как бы поскорее выбраться из этого зверинца. Выбраться любой ценой до того, как тюремная вонь поглотит меня без остатка.

— И какой из всего этого выход? — громко вопрошает капеллан.— Неужели вас устраивает порочный круг: погулял — сел, погулял — сел?.. Или, может

Окончание. Начало см. в № 3 за 1991 г.

быть, лучше внять Божьей заповеди и избежать кар, которые ожидают нераскаявшихся грешников как на том свете, так и на этом? Поверьте мне, братья во Христе, что в посещающих меня видениях мне открылось место пострашнее любой тюрьмы, где на адском огне горят души грешников, подобных вам. И не скальтесь, подонки. Прекратить смех! Там, в аду, такие же выродки корчатся, кричат и стенают в невыносимой агонии. Им прижигают ноздри раскаленными щипцами, поджаривают на медленном огне, сажают на него с полными ртами воды и не снимают до тех пор, пока она не выкипит. И черта с два проглотишь, поскольку огонь полыхает и в их животах. Они плавают в дерьме, хотя этим вас не запугаешь. Все это я видел собственными глазами... Теперь, грязные свиньи, послушаем слово Божье.

Капеллан взял толстенный бук и, мусоля грязный жирный палец во рту, принялся листать ее, отыскивая нужное место. Наш духовный отец был огромным толстым бастардом с грубым, постоянно красным лицом. Я догадывался, что в этом отнюдь не было повинно высокое давление, но прощал ему этот смолл син[1]. Он любил меня и покровительствовал мне, поощряя страсть к чтению Священного писания. Он даже разрешил мне включать церковную музыку, когда я читал. И это было чудесно. Он запирал меня в часовне, и я часами слушал прекрасные творения И. С. Баха и Г. Ф. Генделя. Я с упоением читал еврейские выдумки, погружаясь в сказочный мир и чувствуя себя его действующим лицом. Вместе с ними пил старое иудейское вино, ложился в кровать с их целомудренными женами... Так мне хоть на время удавалось убежать от моего скотского бытия. Читая Новый завет, я не очень вдавался в его премудрости, поскольку здесь вместо сражений и любви косяком шли нудные проповеди. Но однажды капеллан положил мне на плечо толстомясую длань и сказал: «А, это ты, 6655321. Думай о покаянии. Очищение придет к тебе через страдание».

От него сильно разило старым «скотчем» и исходила особая вонь, отличная от вони зэков. Не говоря больше ни слова, он повернулся и побрел к своей конторе на дозаправку. Я же углубился в чтение душещипательных описаний самобичеваний, терновых венцов, распятий на кресте и прочих испражнений, и чем больше я вчитывался, тем больше приходил к заключению, что в этом что-то есть. Подхваченный божественной мелодией Баха, я уносился в выдуманный иудеями мир и чувствовал себя одним из римлян, одетым в красную тогу. Как и они, я подталкивал измученного Христа копьем в спину и с наслаждением вколачивал гвозди в его священную плоть...

Пребывание в Стае 84F я обратил себе на пользу, и даже сам Губернатор был приятно удивлен, когда ему доложили, что я проникся религиозным рвением. Именно с этим были связаны мои надежды на досрочное освобождение.

Тем воскресным утром капеллан читал нам из Библии о чудаках, построивших дом на песке, и как Бог наказал этих слепцов, ниспослав на землю сильный дождь, мгновенно разрушивший их ветхое строение. Я подумал, что только глупцам, у которых вместо головы — задница, может прийти в голову идея строить дом на песке. Прервав мои размышления, капеллан громко объявил:

— В заключение, сукины сыны мои, прочитаем псалом 435.

Я быстро установил диск на старенькую вертушку, и раздалась мощная органная музыка. Вокализ был просто великолепен, но его заглушил дикий разбойный рев заключенных:

«Мы — свежезаваренный чай,
Что слаб, пока его хорошенько не размешаешь.
Едим не ангельскую пищу
Срок искупления наших грехов долог...»

Они самозабвенно вопили, визжали и рыдали на разные лады, а капеллан подстегивал их словами: «Громче вы, добыча чертей. Петь всем, не филонить!»

Наконец пение гимна было закончено. Разноголосый хор затих, и капеллан произнес заключительную фразу:

— Да сохранит вас и покровительствует вам святая троица. Аминь!

Я поставил диск по своему выбору — Вторую симфонию Эдриана Швейгцербера. Заключенные окружили стерео кольцом и слушали, затаив дыхание и пуская слюни. Некоторые выли, как загнанные волки. Другие тыкали мне пальцами под ребра, хлопали по шоулдеру, выражая одобрение и симпатию. Дольше всех у проигрывателя стоял один питекантроп с руками ниже колен. Надзиратель ласково напомнил ему, что пора выметаться, несильно вмазав дубинкой по плоскому затылку. Я вырубил стерео, и ко мне подошел наш капеллан в белых церковных одеждах, больше приличествующих женщине, а не такому коню с яйцами. Попыхтев некоторое время и повыпуская сигарный дым изо всех возможных отверстий, он дружелюбно сказал:

— Спасибо, малыш 6655321. Ну, какие у тебя для меня сегодня новости?

Дело в том, что наш «конь» метил на очень высокий пост в тюремно-церковной иерархии, и для того, чтобы занять его, необходима была лестная характеристика Губернатора. Поэтому он часто посещал его и выкладывал все, что ему удавалось узнать на исповеди о готовящихся бунтах, побегах и настроениях. Часть подобной информации поставлял ему я. Конечно, в большинстве случаев это были только слухи и досужие вымыслы, но мне нужно было набирать очки, как и самому капеллану. Изредка мы давали и правдивые сведения, как, например, о готовящемся побеге верзилы Гарримана, о котором я узнал по «чугунной связи» — перестукиванию через батареи центрального отопления.

На этот раз у меня не было ничего существенного, и я придумал следующее:

— Я всегда готов помочь вам, сэр,— сказал я.— По чугунному радио до меня дошли слухи о том, что с воли передали большую партию кокаина. Центр по его распределению будет в одной из камер пятой секции.

Капеллан проглотил эту туфту и сказал с благодарностью:

— Прекрасно, мой мальчик. Я немедленно передам эту информацию Самому.— Так он почтительно называл начальника тюрьмы — Губернатора.

После таких слов я оборзел и решил развить успех.

— Сэр, я очень стараюсь, не правда ли? — елейным голоском начал я.— И при этом сильно рискую.

— Сущую правду ты говоришь, 6655321. Ты вносишь большой вклад в дело перевоспитания преступников, и я давно замечаю в тебе признаки искреннего раскаяния и исправления. Если будешь продолжать в том же духе, то заслужишь отпущение грехов...

— Но, сэр, это же как в африканском банке — долго ждать и фиг получишь. На днях я слышал разговор о новом методе перевоспитания. Говорят, что после такого курса тебя немедленно освобождают с гарантией того, что ты никогда не попадешь сюда обратно?

[1] См. словник на стр. 83.

— А, вот ты о чем...— протянул он потухшим голосом.— Где ты это слышал? Кто распространяет эти сказки?

— Ну, об этом ходят упорные слухи... Охранники говорят между собой. Не станешь же затыкать уши, тем более что вы сами велели держать их востро. Потом, в мастерские попала газета, в которой это описывается подробно. Не могли бы вы посодействовать мне, сэр? Не сочтите за наглость, но мне так хочется поскорее исправиться...

Капеллан глубоко задумался, сосредоточенно попыхивая сигарой. Видно, прикидывал, в какой степени посвятить меня в то, что он сам знал. Решившись, он без особого энтузиазма произнес:

— Наверное, ты имеешь в виду методику Лудовико[1]?

— Не знаю точно, как это называется, сэр, да это и не важно. Главное, это позволяет быстро выйти из тюрьмы и больше никогда сюда не возвращаться.

— Да, ты прав, 6655321. Но должен предупредить тебя, что пока все на стадии эксперимента. Техника очень проста, но вызывает коренные изменения...

Он явно чего-то не договаривал.

— Но она же применяется здесь, сэр? — настаивал я.— Именно поэтому строятся белые корпуса у южной стены, где мы занимаемся физическими упражнениями, ведь правда же?

— Пока что такая методика не использовалась, по крайней мере в нашей тюрьме. Даже у Самого на этот счет большие сомнения. Должен признаться, что я разделяю его опасения. Еще неизвестно, действительно ли человек становится добрым после такой ломки. Доброта — категория, определяемая душой человека, 6655321, его добровольным выбором. Лиши его такого выбора, и он перестанет быть человеком...

Он хотел еще что-то добавить, но тут раздался топот других заключенных, которых вели за их пайкой религии. Потому он поспешно свернул нашу беседу:

— Мы с тобой еще потолкуем по этому поводу как-нибудь в другой раз. А пока настрой аппаратуру.

Потом один из надзирателей отвел меня в камеру шестой секции, ставшую МОИМ ДОМОМ. Охранник, сопровождавший меня, был не из самых плохих. Он даже не дал мне пинка, когда открыл дверь камеры, а просто сказал:

— Давай, санни, забирайся в свой гадюшник.

Мои соседи по камере представляли самое изысканное общество, не обойденное вниманием разделов криминальной хроники газет и журналов.

Вообще-то эта камера рассчитана на троих. Нас же сюда запихнули вдвое больше. Такова повсеместная практика. Все роптали, но как-то устраивались, лежа чуть ли не друг на друге. Но в то воскресенье, хотите верьте, хотите нет, в нашу камеру запихнули еще одного заключенного. В это время мы как раз давились тюремной баландой, а трое уже потягивали травку на своих койках, когда нас вдруг осчастливили новым соседом. Прямо с порога этот визгливый, дерганый старичок лет под пятьдесят принялся причитать и жаловаться, сотрясая толстые прутья нашей клетки: «Я требую соблюдения моих гражданских прав! Эта камера переполнена! Это неслыханно!» И так далее в том же роде, духе и тоне. Сопровождавший этого громкоголосого брехуна (которого мы тут же окрестили Лаудспикером) надзиратель строго сказал, поигрывая дубинкой:

— Попроси, чтобы кто-нибудь подвинулся, а не то будешь спать на полу. Вас, подонков, все больше, а тюремных мест все меньше и меньше. Я бы стрелял таких выродков. Хоть бы на удобрение сгодились.

Он в сердцах плюнул и вышел, захлопнув решетчатую дверь.

2

Именно появление в нашей камере этого нового шизика стало началом моего вызволения из Стаи. Лаудспикер оказался не только базарным, но и до предела гадким, подлым и развращенным типом. Неприятности с ним начались в тот же самый день. Ко всему прочему он был страшный хвастун и начал доставать нас всех по очереди. Он боустид, что является самым заслуженным преступником во всем нашем зверинце. Он и то, он и се, он одним махом пришил десяток забрал, и так далее и тому подобное. Всех просто тошнило от его россказней. Потом он подступился ко мне, как самому молодому в камере. Нагло потребовал, чтобы я уступил ему свою койку, а сам спал на полу. Но все остальные были на моей стороне и строго предупредили его: «Кончай приставаться к парню! Тысяча чертей в твою луженую глотку!» Он на время отвял и завел старую песню о том, что его никто не любит и не уважает. Однако ночью я почувствовал, как кто-то залез на мою и без того узкую койку и принялся меня гладить, гладить, гладить... Я хряснул непрошеного любовника по роже и, хотя не мог рассмотреть его лица в темноте, понял, что это Лаудспикер.

С трудом вырвался я из его грязных лап, спрыгнул вниз и включил свет. И точно, на моей койке сидела эта противная рожа, которую я раскровянил в ожесточенной схватке.

Мои соседи возмутились такой развращенностью. Большой Жид рассудительно сказал:

— Не дадим музыканта в обиду. Это нечестно.

— А ты заткнись, жидовская морда,— взвизгнул Лаудспикер.

Это было серьезным оскорблением. Большой Жид медленно встал и сделал шаг к обидчику. Но тут вмешался Доктор:

— Завязывайте, мужики. Вы что, хотите, чтобы копполы опять пустили в ход свои дубинки?

Конечно, этого всем хотелось меньше всего. Лаудспикер, ободренный неожиданной поддержкой, вконец обнаглел, заявив, что все кругом «шестерки», а он — босс. Видите ли, он делает нам одолжение, находясь с нами в одной камере.

— Видал наглецов, но таких...— не выдержал Джожон.— Знаете что, други. Все равно нам теперь долго не уснуть. Не будем терять времени и преподадим этому вонючему ублюдку урок тюремной этики. Он сам напрашивается на то, чтобы мы поучили его хорошим манерам.

Большой Жид схватил нахала за руки и крепко прижал к прутьям решетки в том месте, где они освещались слабым красным светом. Лаудспикер хотел включиться на полную громкость, но точным ударом Уолл вогнал ему зубы в глотку. Его били ожесточенно и сосредоточенно, переговариваясь вполголоса, чтобы, не дай Бог, не услышали соседи и охранники. Брызгавшая во все стороны кровь разбудила во мне звериный инстинкт истребления. Растолкав сокамерников, я подступил к обидчику и сказал:

— Оставьте его мне, мужики. Я хочу с ним рассчитаться.

— Ну что ж, вполне справедливое желание.

Все отошли в сторону, а я принялся молотить поникшего нахала почти в кромешной темноте, получая от этого истинное наслаждение. Отработав кулаками, я свалил его на пол и нанес несколько ударов

[1] От английского ludo — настольная игра с бросанием костей. Здесь автор намекает на антигуманную игру судьбами людей. *(Прим. пер.)*

тяжелыми бутсами по голове. Он захрипел, как во сне, а Доктор сказал, оттаскивая меня:

— Ну ладно. Хватит. Это послужит для него хорошим уроком. Будет знать, как вести себя в приличном обществе.

Усталые, но довольные, мы залезли в свои койки и мигом заснули...

В коридоре, возвещая побудку, резко зазвенел звонок. Я с трудом продрал глаза и прикрыл их ладонью, пока не привык к яркому свету. Посмотрел вниз и увидел на полу нашу вчерашнюю подсадку, скорчившуюся в неестественной позе. Вокруг его головы запеклась лужа крови. Вспомнив, что произошло ночью, я спрыгнул с нар и пошевелил ногой окоченевшее тело. Порядком струхнув, я принялся тормошить Доктора, который очень тяжело просыпался по утрам. На этот раз он подскочил удивительно быстро. За ним проснулись и остальные.

— Какая жалость,— произнес Доктор, нащупав пульс покойного.— Должно быть, сердечный приступ.— Он осмотрел сокамерников и укоризненно добавил: — Тебе было вовсе не обязательно молотить его ногами по хэду.

— О чем ты болтаешь? — вступился Джожон.— Ты и сам не отставал, метеля его.

Большой Жид тяжело посмотрел на меня и сказал:

— Сдается мне, что он отбросил копыта от твоих ударов, Алекс.

Такая постановка вопроса мне очень не понравилась, и я сердито сказал:

— Только не пытайтесь слить на меня воду. Кто все это начал? Я, что ли? Я присоединился к вам в самый последний момент...

— И выдал заключительный аккорд,— ехидно вставил Джожон.

— На твоем месте я бы помолчал,— огрызнулся я.— Чья была идея преподать ему урок? Моя, что ли?

Один Уолл продолжал храпеть, отвернувшись к стене.

— Да разбудите вы эту музыкальную шкатулку,— сказал я со злостью.— Ведь это он вколотил ему зубы в глотку, когда Большой Жид прижал его к решетке.

— Никто не отрицает, что все мы слегка подкинули ему, чтобы впредь он вел себя подобающим образом,— менторским тоном произнес Доктор.— Однако мы не собирались его убивать, и именно ты с присущим юности безмозглым азартом нанес смертельный удар. Очень сожалею, малыш, но отвечать придется тебе.

— Предатели! — взвился я.— Все вы подлые предатели и лживые вонючие хорьки!

Я понял, что повторяется история двухлетней давности, когда меня подставили, предали и передали в лапы копов мои друганы. Нет, в этом мире никому нельзя верить! Джожон разбудил Уолла, и тот, смекнув что к чему, с готовностью подтвердил, что Лаудспикер сдох именно от моих ударов.

Один за другим в камере начали появляться надзиратели, потом старший надзиратель, потом сам Губернатор — начальник тюрьмы. Мои соучастники наперебой расписывали, как я убивал этого извращенца-испражненца, который теперь падлом лежал на полу.

На следующий день, часов в одиннадцать, испуганную тишину тюрьмы нарушили возбужденные голоса старшего надзирателя, Губернатора и еще одного очень важного с виду Чифа. Они несколько раз прошлись по коридору из конца в конец, продолжая начатую в кабинете начальника дискуссию. При этом наш всемогущий Губернатор почтительно повторял: «Но, сэр... Извините, но... О'кей! Но что нам прикажете делать?».

Наконец, вся эта компания остановилась перед нашей камерой, и старший надзиратель открыл ее. Нетрудно было угадать, кто среди них главный. Это был высокий подтянутый мэн, возвышавшийся над толстеньким кругленьким Губернатором на целую голову. У него были пронзительные серо-голубые безжалостные глаза и такого же цвета великолепно сшитый сьют. В его манерах сквозила властность и уверенность в себе. Глядя как бы сквозь нас, он произнес хорошо поставленным войсом:

— Правительство более не намерено мириться с устаревшими мерами наказания. Собери преступников в общий загон и получишь общественную преступность. А концентрированная преступность неизбежно ведет к преступлениям в ходе исправления. Образец этого перед вами.

Чиф многозначительно посмотрел в мою сторону и продолжал:

— Но мы вырвем их из этого порочного круга. Тюрьмы нам еще понадобятся для политических противников. Обычных же нарушителей закона нужно лечить на чисто медицинской основе, убивая в них сам рефлекс убийства. Полное исправление в течение года. Вы видите, что они не страшатся ни наказания, ни кары господней. Поэтому каждый имеет по нескольку сроков. Им нравятся их наказания, и они начинают убивать друг друга.

Что-то мне в его словах здорово не понравилось, а поскольку он меня в упор не видел, я смело возразил:

— Позвольте, сэр, с вами не согласиться. К примеру, я не обычный преступник, так сказать, не профессиональный, и попал сюда по чистому недоразумению. Я бы сказал, несчастному случаю и неблагоприятному стечению обстоятельств.

Главный надзиратель покраснел как рак и угрожающе рявкнул:

— Закрой варежку, остолоп. Ты разве не видишь, с кем говоришь?

— Ничего, ничего,— снисходительно сказал Чиф, а потом добавил, повернувшись к Губернатору: — Вот его можно использовать как первопроходца. Он молод, нагл, бесшабашен, злобен. Завтра им займется Бродский, а вы станете свидетелем революционного эксперимента. Не беспокойтесь, все пройдет как нельзя лучше. Молодой негодяй изменится до неузнаваемости.

Эти решительные слова стали первым шагом к моему освобождению.

3

В тот же вечер я был нежно, пинками и подзатыльниками, препровожден в святая святых Стаи — офис самого Губернатора. Когда меня втолкнули внутрь, Губернатор оторвался от лежавших перед ним на столе бумаг и долго смотрел на вашего покорного слугу печальными глазами больного спаниеля.

— Ты не догадываешься, что произошло сегодня утром, не так ли, 6655321? — спросил он грустно и, не дожидаясь моего ответа, продолжал: — Тот стальной рейнджер, который посетил нас сегодня, был не кто иной, как новый министр внутренних дел. Наобещав избирателям с три короба, он рьяно взялся за искоренение преступности. Новая метла по-новому метет. Так вот, это не метла, а стальной скребок. Он намерен повсеместно внедрить всякие новомодные штучки, последние научные достижения в области регуляции психики и модификации поведения. Лично я это крайне не одобряю, но приказ есть приказ. Буду с тобой предельно откровенен. Если тебя кто-нибудь

ударит, ты же дашь сдачи, не так ли? Почему же тогда государство, законы которого вы, преступники, постоянно нарушаете, не может ударить по вам в ответ? Конечно, я выражаюсь фигурально, имея в виду, что за каждым преступлением должно неотвратимо следовать наказание. Так было во все времена, у всех народов... А теперь мне говорят: «Нет! По новой концепции необходимо злого превратить в доброго, кровожадного волка — в смиренного ягненка». Разве это возможно? Справедливо?

Решив, что вопрос адресован мне и Губернатор хочет знать мое мнение, я прокашлялся и начал светским тоном:

— Сэр, если вы хотите...

— Захлопни пасть, молокосос! — рявкнул стоявший рядом с Губернатором старший надзиратель.— Опять начинаешь хамничать и грубничать?

Я клацнул зубами и безразлично пожал плечами.

— Ничего, ничего, Борман,— успокоил его Губернатор и устало обратился ко мне: — Ты, 6655321, пойдешь на перековку. Завтра тебя передадут доктору Бродскому. После двухнедельной обработки по новой методе тебя выпустят на свободу. Ты перестанешь быть номером и пойдешь в огромный мир Алексом. Вот только каким?.. Ну как? Такая перспектива тебя устраивает?

На этот раз я предусмотрительно промолчал, но взбеленившийся старший надзиратель опять заорал:

— Отвечай, грязный поросенок, когда тебя спрашивает сам Губернатор.

Я опять пожал плечами и послушно ответил:

— Да, конечно, сэр. Большое спасибо, сэр. Видит Бог, я старался вести себя здесь примерно. Я очень благодарен всем, кто занимался моим перевоспитанием.

Я взял ручку и поспешно подписал свой приговор, боясь, как бы он не передумал.

— Ну что ж, парень. Ты сам выбрал свою судьбу,— задумчиво произнес Губернатор.

— С ним хотел переговорить тюремный капеллан, сэр,— сказал старший надзиратель.

— Валяйте,— сделал умывающий руки жест Губернатор.

Наш капеллан сидел в своем офисе за конторкой. Приблизившись к нему, я обонял исходившую от него приятную вонь дорогого виски и злопухоли. Увидев меня, он встрепенулся:

— А, это ты, маленький 6655321! Проходи, садись.

Он задумчиво посмотрел на меня. Я ответил выжидательным взглядом. Потом он заговорил очень искренне и чистосердечно:

— Прежде всего я хотел тебе сказать, что не имею к этому никакого отношения. Если бы я мог протестовать, то обязательно бы протестовал против того, что с тобой хотят сотворить. Но что мой слабый голос по сравнению с хором власть предержащих?! И потом, это означало бы конец моей карьеры. Надеюсь, ты меня понимаешь?

Я кивнул, хотя не очень-то понимал, к чему он клонит.

— Здесь затронуты очень серьезные этические проблемы,— продолжал священник.— С одной стороны, тебя трансформируют в очень порядочного покладистого парня. После лечения у тебя никогда в жизни не возникнет желания совершить насилие или нарушить общественное спокойствие каким-либо иным способом. Тебе все понятно?

— Конечно, сэр. Будет просто здорово снова стать добродетельным...

Я произносил эти слова, а самого внутри раздирал смех.

Но тут капеллан стал говорить очень странные вещи.

— Иной раз доброта — хуже воровства. Бывают ситуации, когда доброта, непротивление злу превращают тебя в преступника или в лучшем случае — в соучастника преступления. Наверное, это звучит парадоксально, особенно из уст служителя Бога. Мне еще предстоит провести много бессонных ночей. Что в конце концов нужно Богу? Доброты как таковой или же права выбора и добровольного перехода на сторону добрых сил? Человек, выбравший Зло, в определенной степени лучше того, кого принудили к Добру. Это глубокие философские и этические категории, маленький 6655321. Еще далеко не изученные. Я не смогу их сейчас тебе объяснить, потому что сам не разобрался в них до конца. Единственно прошу запомнить, Алекс-бой. Если когда-нибудь в будущем ты оглянешься назад на этот период твоей жизни и вспомнишь меня — слабого человека и покорнейшего из слуг господних,— не подумай, что в моем сердце была хоть капля зла и я приложил руку к бесчеловечному эксперименту... Тебя лишат основной движущей жизненной силы, позволяющей чувствовать то, что ты еще жив,— извечной борьбы заложенных в тебе доброго и злого начал. Ты станешь одномерным механизмом. И никакие мои молитвы не помогут тебе, так как ты будешь вне досягаемости моих молитв. Это страшная вещь, если вдуматься. И все-таки, согласившись на то, чтобы тебя лишили этического выбора, ты подсознательно стремишься на сторону светлых сил. Мне бы хотелось верить в это, как и в то, что Господь Бог поможет нам...

Кончив свою не очень-то понятную мне проповедь, капеллан заплакал, в то время как меня разбирал безудержный смех, и я с трудом сдерживался, чтобы не захохотать ему в лицо. Неожиданные слезы этого дурня я приписал действию «Белой лошади» и, наверное, был недалек от истины. Не стесняясь меня, он вытащил из конторки ополовиненную бутылку с гривастой лошадиной головой на этикетке и налил на три пальца в грязный стакан. Засадив вискарь одним глотком, он произнес, как бы разговаривая сам с собой:

— А может быть, все обойдется и я зря беспокоюсь? Пути Господни неисповедимы...

На следующее утро я распрощался со старой Стаей и сделал это с печалью, ибо грустно расставаться с местом, к которому привык, даже с таким пакостным. Но далеко я не ушел, други мои. Меня препроводили в белые корпуса здесь же, на территории тюрьмы, неподалеку от спортивной площадки. Здания были совершенно новые, со специфическим холодным запахом, заставившим меня невольно поежиться. Как потерянный, стоял я в неуютном огромном зале без окон, без дверей, дегустируя чуждые запахи — стерильную смесь больницы, новостройки и неизведанности. Откуда-то из потайной боковой двери вышел человек в белом халате и молча расписался в квитанции, будто за посылку. Доставивший меня охранник предупредил, кивнув в мою сторону:

— С этим типчиком будьте поосторожнее, док. Он как был, так и остался насильником и убийцей, несмотря на то, что сумел подъехать к нашему капеллану и усердно мусолил Библию.

У доктора были веселые, насмешливые голубые айзы. Когда он говорил, его тонкогубый рот растягивался в смайл, который невозможно было истолковать. Так вот, он сказал:

— О, мы не будем больше безобразничать, правда, Алекс? Мы будем друзьями.

Его лицо озарилось такой белозубой, доброй, открытой улыбкой, что я сразу проникся к нему симпатией. Охранник ушел, и мой новый фрэнд передал меня какому-то менее важному человеку в халате, а тот отвел в очень хорошую, чистую, светлую спальню со шторами на окнах и настольной лампой

на прикроватной тумбочке. Оставшись один, я радостно рассмеялся, подпрыгивая на новом пружинистом матрасе. Какой же ты все-таки счастливчик, Алекс!

С меня сняли ужасную арестантскую одежду и выдали красивую шелковую пижаму в цвет постельному белью. Поверх пижамы я надел теплый шерстяной халат и войлочные тапочки прямо на босу ногу, не переставая удивляться, какое счастье мне подвалило. Пока что мне все здесь нравилось. Впервые за многие месяцы симпатичный санитар с фигурой культуриста принес большущую чашку ароматного дымящегося кофе и свежие газеты. Я с жадностью набросился на них и не заметил, как в комнату вошел тот, первый улыбчивый мэн, расписавшийся в моем получении.

— Ага, вот ты где! — с наигранной веселостью воскликнул он, будто только сейчас нашел меня.— Меня зовут доктор Брэном. Я помощник профессора Бродского. С твоего позволения я проведу обычный медицинский осмотр.— Он вытащил блестящий стетоскоп из нагрудного кармана.— Надо убедиться в том, что ты абсолютно здоров... физически. Согласен?

Еще бы я не был согласен! Я с готовностью скинул верх пижамы и проделал все, что мне приказывал, нет, скорее просил, любезный док. Наконец, любопытство взяло верх, и я поинтересовался:

— Что вы собираетесь со мной делать, сэр?

— О, ничего особенного,— легко ответил док, шаря стетоскопом по моей голой спине, словно минер миноискателем.— Наша методика очень проста, как все гениальное. Мы просто будем показывать тебе фильмы.

— Фильмы? — искренне удивился я.— Вы хотите сказать, что мы с вами будем смотреть обычное кино?

— Не совсем,— спокойно ответил Брэном.— Это очень специфические фильмы. После обеда первый сеанс.— Он ободряюще похлопал меня по плечу.— Ты вполне здоровый молодой человек. Только немного отощал на тюремной пище, если ее можно так назвать. Ну, ничего, мы тебя подкормим. Можешь надевать пижаму.— Он присел на край кровати.— После каждой еды мы будем делать тебе укол, способствующий восстановлению сил.

Меня захлестнула теплая волна благодарности этому человеку, приятному во всех отношениях. Я понимающе улыбнулся и спросил:

— Наверное, какие-то витамины, сэр?

— Н-да... Что-то в этом роде. Один укольчик в руку после завтрака, обеда и ужина.

Доктор вышел, а я улегся на прохладные хрустящие простыни, ощущая себя на седьмом небе, и принялся листать «Уорлдспорт», «Синни» (журнал о новостях кино) и «Гоал» («Цель»). Просмотрев журналы, я блаженно закрыл глаза и погрузился в мечты о том, как будет здорово, когда я выйду на волю. Найду какую-нибудь непыльную дневную работенку, так как мое образование можно считать законченным. Сколочу новую банду и перво-наперво достану этих подонков — Кира и Пита, если их уже не заграбастали копполы. На этот раз буду более осторожным, чтобы меня опять не упаковали. Добрые люди дают мне шанс, несмотря на совершенное убийство и все прочее. Будет просто глупо, если меня опять отловят после лечения всеми этими кинофильмами, с помощью которых я стану опять хорошим мальчиком. В душе я потешался над наивностью всех этих доброжелателей и не смог скрыть улыбки от уха до уха, когда тот же самый «культурист» принес на подносе завтрак для Его Величества Александра Великого.

Санитар изучающе посмотрел на меня и сказал:

— Приятно видеть счастливого человека.

Он поставил поднос и молча удалился. После арестантской жратвы передо мной стояла пища богов: три добрых ломтя ростбифа с пылу-жару, картофельное пюре с овощами, фруктовое мороженое и огромная чашка крепкого дымящегося чая. На подносе даже лежали дорогая злопухоль и коробок спичек с одной спичкой. Вот это жизнь! Вот это я понимаю!

Примерно через полчаса, когда я расслабленно лежал на кровати, с упоением ковыряя спичкой в зубах, в комнату вошла симпотная молоденькая цыпочка. На ней был белый халатик, перетянутый в тонкой талии пояском. А какие у нее были груди! Я ни разу не видел таких за два года пребывания в тюрьме. В руках у нее был блестящий поднос, на котором лежал наполненный шприц.

— А вот и витаминчики! Может быть, ты сделаешь мне укольчик в попку, крошка?

Она никак не отреагировала. Бесстрастно засадила мне иглу в левую руку и направилась к двери, дразня меня точеными ножками. Едва она вышла, как появился мой медбратишка с носилками-тележкой. Это меня удивило, и я спросил:

— Послушай, дружище. Зачем же инвалидная коляска? Я прекрасно могу передвигаться на своих двоих.

— Нет, уж лучше тебе лечь сюда, парень,— возразил медбрат.

И действительно, когда я встал с кровати, то почувствовал странную слабость и головокружение. «Проклятые рудники,— подумал я, с трудом укладываясь на тележку,— подточили силы железного Алекса. Ну, ничего! Витамины быстро помогут мне обрести былую форму. А теперь посмотрим киношку».

4

Меня откатили в самый необычный кинозал, который я когда-либо видел. Правда, одна стена представляла собой большой шелковый экран, а в противоположной стенке черными ртами зияли две квадратные амбразуры, из которых торчали дула проекционных аппаратов. Повсюду были понатыканы стереодинамики, как у меня дома. Но на этом сходство с обычным кинозалом кончалось. Так, на правой стене располагалась панель со множеством разных сенсоров, датчиков и индикаторов, от которых к центру комнаты тянулась паутина всевозможных проводов. Посередине зала, напротив экрана, одиноко стояло кресло, похожее на кресло дантиста. Не без помощи медбрата я слез с коляски и уселся в это страшное кресло. Беспокойно завертев головой по сторонам, я заметил под амбразурами небольшие оконца с морозчатыми стеклами, за которыми кто-то осторожно покашливал: «Кашль-кашль-кашль...». «Что же со мной происходит? — пронеслось в голове.— Наверное, так называется переход на обильную пищу и витамины».

— Я тебя на время покину,— сказал медбрат.— Сиди спокойно. Сеанс начнется через несколько минут, сразу же как приедет доктор Бродский.— Он как-то странно усмехнулся.— Надеюсь, кино тебе понравится.

Сказать по правде, други мои, мне уже было не до кино. Единственное, что я хотел, так это подавить подушку минут эдак шестьсот. Мне очень не нравилось мое полувзвешенное, полуобморочное состояние. Откуда-то из темноты материализовался незнакомый человек в белом халате, сингинг какой-то пошленький шлягер. Он бесцеремонно притянул мою хэд ремнями к подголовнику так, что я не мог ее повернуть и сидел, уставившись в экран, как баран на новые ворота.

— А это еще для чего?! — запротестовал я.

Медмэн[1] на минуту перестал мурлыкать свой глупый сонг и терпеливо объяснил, что это сделано для того, чтобы я не отворачивал свой фейс от скрина.

— Но с какой стати я буду его отворачивать? — искренне удивился я.— Ведь я же сам, добровольно, согласился смотреть кино. Я его очень люблю...

Тут другой медмэн (а всего их было трое, включая девицу, манипулировавшую ручками на приборной панели) издал неприятный смешок и двусмысленно произнес:

— Смотря какое кино.— Потом, спохватившись, добавил: — Не волнуйся, парень. Так надо.

И тут они ловко притянули ремнями мои руки и ноги к подлокотникам и ножкам кресла. Потом установили его под углом в сорок пять градусов к экрану. Все это было любопытно и очень странно. Ну, да Бог с ними! Пусть делают, что хотят. Лишь бы выпустили через пару недель, как обещали.

Однако больше всего мне не понравилось, когда они принялись подсоединять ко мне какие-то датчики, а потом с помощью сильных зажимов притянули кожу со лба к затылку, мои веки полезли на лоб, а глаза выпучились, будто у мороженого судака.

Теперь я не мог закрыть глаза, как бы ни старался. Я вымученно рассмеялся и заметил:

— Наверное, это какой-то очень клевый фильм, если вы так беспокоитесь о том, чтобы я его посмотрел.

— Ты прав, парень,— рассмеялся в ответ один из медмэнов.— Отличный фильм ужасов. Надеюсь, он тебе понравится.

Тут они надели мне на голову стальную каску со множеством проводов, а на животе установили присоску с метрономом и толстым кабелем, чей конец терялся где-то на панели.

Наконец все приготовления закончились, и в зал вошел какой-то важный чиф. Я понял это по разом смолкнувшим голосам медмэнов. И тут я впервые увидел доктора Бродского. Это был толстяк маленького роста, но с огромной полуголой-полукучерявой головой. На лице большие очки в роговой оправе, оседлавшие темно-бордовый, как у индюка, нос. На докторе был прекрасный сьют, скрадывавший все дробэкс его фигуры, и исходил очень специфический запах парикмахерской и операционной. Вошедший вместе с ним д-р Брэном ободряюще мне улыбнулся.

— Все готово? — начальственным тоном спросил доктор Бродский.

Отовсюду раздались утвердительные ответы, и тут же послышалось слабое жужжание многочисленных приборов. Свет в зале погас совсем, и ваш покорный рассказчик оцепенело уставился на высветленный экран, не в силах пошевелиться или оторвать от него взгляд. И тут, друзья мои и братья, началась демонстрация кинофильма, сопровождавшаяся оглушительной какофонией диссонирующей музыки, лавиной обрушившейся на меня из всех лаудспикеров. Перед моими глазами замелькали кадры без названий и титров.

Ночь. Пустынная улица, какую можно найти в любом городе. Ярко горят оборванцы-фонари. Зловещая музыка нагнетает атмосферу безотчетного страха, сменяющегося звериным ужасом. По улицам бредет старый согбенный человек, и вдруг, откуда ни возьмись, на него набрасываются два парня и принимаются методично его избивать. Крупным планом его обезумевшее от боли и страха лицо, по которому струится ярко-красная кровь. Все выглядит очень натурально, как бы отснятое скрытой камерой.

Вырывающиеся из лаудспикеров стоны, вопли избиваемого и ожесточенное сопение хулиганов еще более усиливают эффект. Развлекающиеся бойзы, в которых мне чудятся Кир и Джоша, на глазах превращают бедного старикана в сплошное кровавое месиво, довершая свое грязное дело ударами кованых бутс по безжизненному телу. Леденящий душу хруст костей. Убийцы бросают труп (в том, что он — труп, у меня нет никакого сомнения) в придорожную канаву и скоренько сматываются. Заключительный кадр этого эпизода выхватывает обезображенное лицо трупа.

С первых кадров этого, с позволения сказать, фильма где-то в глубине моего существа зарождается и медленно нарастает омерзительное ощущение — как будто я проглотил скользкую холодную жабу и она плавает у меня в желудке. Появление этого странного чувства я приписал долгому недоеданию и неприспособленности моего желудка к жирной обильной пище и к введенным накануне витаминам. Я попытался подавить новое ощущение и переключил внимание на второй эпизод, последовавший сразу же за первым. Теперь те же мальчики отловили где-то молоденькую девчонку и, сорвав с нее одежду, по очереди делали с ней знакомое «туда-сюда-туда-сюда». Откуда-то подгребали все новые и новые парни, и она все шла и шла по кругу, рыдая и взывая о помощи. Но фрэнды только весело смеялись, наслаждаясь ее страданиями. Нечеловеческие вопли бедной герлы, казалось, вливались прямо мне в душу. Им вторила полная трагизма симфомузыка. Все выглядело очень натурально, я невольно подумал, что это, должно быть, документальные кадры или же мастерски сделанный монтаж. Во всяком случае, никто из актеров не согласился бы сыграть такое. В тот момент, когда к герле приступил шестой или седьмой озверевший бой и из лаудспикеров снова раздались ее душераздирающие крики, я почувствовал себя по-настоящему больным. Накапливавшаяся внутри боль взорвалась и заполнила каждую клеточку моего организма. Я рванулся, но ремни держали крепко. Хотел выблевать их паскудный завтрак — и не мог. После этого эпизода раздался резкий, неприятный голос доктора Бродского, бесстрастно констатировавший: «Коэффициент реагирования выше двенадцати с половиной. Неплохо. Совсем неплохо».

На экране появился следующий кадр. На этот раз это было просто человеческое лицо, мертвенно-бледное и все-таки живое. На моих глазах оно подвергалось ужасным трансформациям. Кто-то, находившийся за экраном, с садистским наслаждением измывался над своей жертвой. Я страшно вспотел. И без того невыносимая боль стала еще сильнее. Очень хотелось дринк, казалось, язык намертво присох к гортани. Я больше не мог этого вынести. Если бы только можно было отвернуться от экрана! Тогда бы моя пытка закончилась. Но я не мог даже закрыть глаза. Все мое нутро взбунтовалось, и начались икота и рыгательные спазмы, когда я увидел, как бритва полоснула сначала по одному глазу, и он медленно вытек, потом по другому... Потом начала резать щеки, губы, нос... Яркая алая кровь брызнула в камеру, казалось, что прямо мне в лицо, и я физически ощутил ее тепло. Но это было еще не все. Кто-то невидимый принялся плоскогубцами выворачивать зубы. В общей агонии смешались ужасная боль (моя и жертвы), стоны, всхлипы, хрипы, пот, слезы и кровь, кровь, кровь...

Откуда-то издалека в мое помутившееся сознание проник спокойный, довольный голос главного экзекутора: «Превосходно! Великолепно! Даже лучше, чем я ожидал!» Следующий отрывок этого бесконечного фильма ярко напомнил мне один из эпизодов моей

[1] Скрытая игра слов. madman (англ.) — сумасшедший и (medical man) — медик. (*Прим. пер.*)

прошлой жизни: группа разбушевавшихся тинэйджеров в безумном безудержном веселье громила магазинчик какой-то беспомощной старухи. В былые времена это называлось у нас шоппингом. Женщина ползла в луже собственной крови, волоча за собой сломанную ногу, как старая птица перебитое крыло. Покрушив все что можно, развеселившиеся бойзы подожгли лавку, и я увидел агонизирующее лицо ее хозяйки, сжигаемой заживо, и даже почувствовал запах горелого человеческого мяса. Тут я не выдержал и заорал благим матом:

— Мне плохо! Меня тошнит, мать вашу... Дайте мне куда-нибудь выблеваться!

— Все нормально. Это тебе только кажется. Сейчас будет заключительная серия,— успокоили меня, и в зале раздался смех.

Если это был юмор, то я бы назвал его черным, так как на экране стали показывать самые изощренные пытки, применявшиеся японцами во время второй мировой войны. Я видел солдат, прибитых гвоздями к деревьям, под ногами которых были разложены костры. Видел, как им отрезают гинеталии и отсекают головы короткими самурайскими мечами, и они катятся, катятся, не переставая издавать леденящие душу звуки. Из обезглавленных туловищ хлещет кровища, а японцы с хохотом фотографируются на память...

— Прекратите! Пожалуйста, прекратите! Я больше не могу этого вынести! — взмолился я, чувствуя, что вот-вот потеряю сознание.

— Прекратить? Ну зачем же, Алекс-бой? Мы только начали,— раздался издевательский голос доктора Бродского, а остальные засмеялись, как те японцы...

Наконец пленка кончилась, и Главный Садист произнес, удовлетворенно потирая толстые ручонки:

— Для первого раза достаточно. Как ты считаешь, Брэном?

Симпатяга Брэном лишь улыбнулся своей кроткой светлой улыбкой.

— Ну вот и хорошо,— сказал Бродский.— Можете отвезти пациента в его палату.— Он подошел ко мне и отечески похлопал по плечу.— Все идет отлично, парень. Очень многообещающее начало.

Доктор Брэном одарил меня «я-тут-ни-при-чем» улыбкой, и я теперь не знал, что о нем и думать. Меня отвязали, сняли железный обруч с раскалывающейся головы и ужасные зажимы с воспаленных глаз. Пересадили в коляску, и медмэн покатил меня по длинным коридорам, напевая какую-то пошлятину про «красотку Мэри».

— Заткнись, пока я тебе не дал в нюх! — раздраженно гаркнул я. Он только снисходительно похлопал меня по плечу и запел еще громче. Я чувствовал себя препохабнейше, как изнасилованный, и заорал, выплескивая все свое презрение к этой белохалатовой сволочи.

После этого мне полегчало. Меня обмыли, поменяли одежду и уложили в постель. Принесли большую чашку крепкого чая со сливками и массой шугера.

Наверное, это был кошмарный сон, и все это было не со мной...

В палату робко вошел доктор Брэном. Лицо его излучало доброжелательность.

— Ну, как наши дела, друг мой? — бодренько спросил он.— По моим расчетам, ты уже должен был прийти в норму.

— Это по вашим...— обиженно буркнул я.

Сделав вид, что не замечает моего враждебного тона, Брэном присел на край бэд и с энтузиазмом произнес:

— Доктор Бродский очень доволен тобой. У тебя поразительная положительная реакция, с очень высоким коэффициентом. На завтра запланировано два сеанса: утром и вечером,— обрадовал он меня.— Конечно, к концу дня тебе будет муторно. Но ничего не поделаешь. Придется потерпеть, если хочешь вылечиться от синдрома насилия. Клин клином вышибают, знаешь ли... Главное — выработать иммунитет против агрессии.

— Вы что, совсем с катушек слетели?! — возмутился я.— Неужели вы хотите заставить меня смотреть эту порнографию по два раза на день? Побойтесь Бога! Ведь это ужасно!

— Конечно, ужасно! — с улыбкой согласился доктор Брэном.— Но ведь раньше ты думал по-другому? Это первые плоды твоего лечения. Ты осознал, что любое насилие — ужасно. Постепенно у тебя выработается физическое отвращение к нему. Весь твой организм будет восставать при одной только мысли о насилии.

— Меня уже начинает выворачивать при виде этих ужасных сцен. Раньше со мной не было ничего подобного. Как раз наоборот. Ничего не понимаю...

— Жизнь — удивительная штука,— голосом пророка изрек доктор Брэном.— Кто способен до конца постичь скрытый смысл жизненных явлений и процессов, тайную механику и неизведанные возможности человеческого организма? Доктор Бродский, конечно, замечательный человек, и его метода — великое достижение человеческого гения. То, что происходит с тобой, и должно происходить с любым нормальным психически и здоровым физически человеческим организмом перед лицом воздействия сил Зла, исповедующих принцип разрушения. Мы перетягиваем тебя на сторону Добра, и перетянем, хочешь ты этого или не хочешь...

— А на фига мне такое лечение, от которого мне все хуже и хуже? — искренне возмутился я.

— Чтобы выздороветь, нужно переболеть. Очищение через страдание. Все вполне логично и в духе христианской морали.

Он встал, ободряюще похлопал меня по ноге и вышел, оставив наедине с моими сомнениями. По его словам выходило, что все эти гнусные фильмы, препараты и аппараты служили для моей же пользы. Я так толком и не решил, сопротивляться ли завтра, когда они попытаются подсоединить их ко мне или сделать инъекцию, устроить красивый файтинг или же смириться со своей судьбой. Да, собственно говоря, кто они такие, чтобы определять *мою судьбу*!

6

— Прекратите! Кончайте! Завязывайте! — орал я как сумасшедший.— Я больше не могу! Сжальтесь!

Это происходило на следующий день, и хотя все утро я старался быть примерным послушным мальчиком, под конец не выдержал и начал костерить своих мучителей многоэтажным трущобным матом, начисто забыв о присутствии в зале представительницы прекрасного пола. Как и во время первого сеанса, я сидел, прикованный к креслу пыток, и вынужденно таращился на экран, на котором мелькали полные грубого натурализма кадры. Поначалу в них не было ничего страшного. Несколько веселых ребят лихо потрошили какую-то лавку, набивая карманы деньгами и всякой всячиной и пуская кровь слабо сопротивлявшейся старой жидовке-хозяйке. Но когда из ее разбитого рта, носа и ушей потекла кровь, я ощутил зловещие симптомы, мучившие меня в течение последних суток. Постепенно они переросли в нестерпимую боль, и я задергался в кресле, тщетно пытаясь освободиться.

— Превосходно! Высший класс! — возрадовался д-р Бродский, не обращая внимания на проклятия

в свой адрес.— Все идет как надо. Еще немного, и мы закончим.

Перед моими глазами замелькали кадры немецкой военной кинохроники, предваряемые свастикой, штандартами и хищным орлом. По дымным улицам разбомбленных городов вышагивали высокомерные, надменные гусаки-нацисты. Упитанные самодовольные мордовороты, орудуя прикладами, выгоняли из развалин редких, насмерть перепуганных жителей. Вот они уже голые стоят на краю рва и падают в него, скошенные пулеметной очередью,— женщины, дети, старики. Озверевшие солдаты добивают раненых и крючьями стаскивают их в ров... Ходячие скелеты... дымящиеся печи крематориев жадно заглатывают все новые и новые жертвы... кучи человеческих костей... улыбающиеся немецкие бюргеры, удобряющие поля человеческим пеплом... сувениры из черепов и натуральной человеческой кожи...

Я мечусь, задыхаюсь, как будто расстреливают меня, сжигают меня, сдирают мою кожу... Все эти варварские сцены сопровождаются громкой музыкой моего любимого Людвига Ивана Бетховена, кажется, его «Пятой симфонией». И это ужасно вдвойне. Богохульники! Я негодую и гневно кричу:

— Сейчас же прекратите, вы, исчадия ада! Фашисты! Для вас нет ничего святого. Это же грех, грех, грех!

Еще минута-две. На экране снова свастика и крупно: «КОНЕЦ».

Загорелся свет, ко мне подошли д-р Бродский и д-р Брэном. Бродский был чем-то озадачен.

— Что это ты там верещал насчет греха, парень?

— А то, что вы не вправе использовать божественную музыку Бетховена в ваших гнусных фильмах,— злобно отвечаю я, проглатывая противную горькую слюну.— Он никому не причинял вреда. Просто писал потрясающую музыку.

Тут мне стало совсем худо, и мне живо принесли судно в форме почки.

— Музыка, говоришь...— задумчиво произнес Бродский.— Я и не знал, что ты у нас меломан. То-то я поражаюсь твоему необычайно высокому коэффициенту реагирования. Значит, музыка может быть полезным и очень эффективным эмоциональным возбудителем. Как мы с тобой выпустили это из виду, Брэном?

— Ничего не поделаешь, малыш,— сказал Брэном.— Каждый человек убивает то, что любит, как сказал философ. Может быть, поэтому мы так жестоки и бессердечны по отношению к своим близким. Вероятно, в этом есть элемент наказания. Божьей кары, если хотите...

— Хватит философствовать! Ради Бога, дайте мне чего-нибудь попить.

— Развяжите его,— распорядился д-р Бродский,— и принесите холодного лайм-джуса.

Меня освободили, и я долго пил ледяной джус с водой и никак не мог напиться. С интересом наблюдая за мной, д-р Бродский заметил:

— А ты довольно интеллигентный молодой человек, Алекс. И не лишен вкуса. И как только в тебе уживаются две такие противоречивые вещи: насилие и музыка? Хотя самые отъявленные из фашистских преступников тоже считали себя интеллигентными людьми и обожали классическую музыку... Да, насилие и разбой: второе как один из аспектов первого...

Я молчал, постепенно приходя в себя.

— Кстати, как ты относишься к нашему курсу лечения? Что, по твоему мнению, мы с тобой делаем?

— Заставляете меня страдать, показывая эти садистские фильмы,— выпалил я.— Подозреваю, что в этом повинны не одни только фильмы. Однако уверен, что перестану болеть, как только вы перестанете мне их показывать.

И тут меня осенило! Как я раньше до этого не дотумкал? Ну, конечно же! Во всем виноваты эти «витаминчики», которые они мне упорно засаживали после каждого фуда.

— Теперь я понял, грязные обманщики! — вскричал я.— Как это подло с вашей стороны проделывать со мной такие бесчеловечные трюки! Ну, уж теперь-то я не попадусь на вашу удочку. Отныне никаких уколов!

— Я ждал, что ты затронешь эту тему,— невозмутимо произнес д-р Бродский.— Давай договоримся раз и навсегда. Мы можем вводить тебе препарат Лудовико разными путями. Скажем, орально в виде таблеток или подмешав его в пищу. Но подкожное введение — самое эффективное. И не противься этому... если хочешь поскорее вылечиться и выйти на свободу. На твоем месте я бы лучше сотрудничал с нами во всем... Две недели и двенадцать лет. Подумай!

— Коварные подонки,— прошептал я еле слышно.— Вы загоняете меня в угол. Черт с вами! Я не против ваших изуверских методов. Только музыку оставьте в покое. Было бы верхом несправедливости, если бы я каждый раз помирал, слушая Людвига Ивана, Генделя и других. Хоть вы и беспринципные сволочи, у которых нет ничего святого, но вот этого я вам никогда не прощу.

Они напряженно раздумывали над моими словами. Эти бронтозавры были непробиваемы. Наконец, д-р Бродский изрек:

— Определить ту единственно верную грань труднее всего. Мир один, и жизнь одна. Даже самые богоугодные деяния порой связаны с насилием. И такие высокие категории, как Любовь, Музыка, не являются исключениями. Взять хотя бы сам либес акт. Придется рискнуть, тут ничего не поделаешь... Ты сделал свой выбор, парень.

Я не совсем понимал все эти премудрости, но поспешил согласиться:

— Можете не продолжать, сэр.— Я решил подпеть ему и посмотреть, что из этого получится.— Вы убедили меня в том, что весь этот дратсинг, жестокость и ультранасилие — страшное преступление против человечества. Я усвоил преподанный вами урок, сэры. Вы открыли мне айзы, и я излечился, слава Богу...

Я упивался своим красноречием, представляя Авраама Линкольна и Мартина Лютера Кинга в одном лице, но мои разглагольствования прервал въедливо-недоверчивый смех д-ра Бродского:

— Тебя послушать — ну ни дать ни взять кающаяся Магдалина,— с издевкой произнес док (и почему они все время сравнивают меня с этой библейской курвой?).— Ты прав: покаяние — это важная морально-этическая категория. Но ты для этого еще не созрел. Позволь уж нам решать, что для тебя лучше... Однако выше голову, парень. Ты на пути к реабилитации и менее чем через две недели превратишься в качественно новую личность. И не через какое-то там абстрактное покаяние, а благодаря последнему достижению медицинской науки.

Он сказал «две недели», но они, о друзья мои и братья, показались мне дольше века. За это время я прошел весь путь человечества от сотворения мира и до его далекого будущего. Клянусь мамой, четырнадцать лет в Стае показались бы санаторием по сравнению с тем, что мне пршлось пережить за эти проклятые фортнайт.

Сюжеты повторялись с убедительным постоянством: изнасилования, пытки, концлагеря, расстрелы и всевозможные экзекуции с повешением, обезглавливанием и обесчленяванием. С каждым днем во мне росло отвращение и желание умереть, чтобы не ви-

деть всего этого. В одно утро я не выдержал и попытался натянуть ноуз моим торчерам. Разбежался и впендюрился башкой в стену. Но и тут они одержали верх, так как я увидел насилие над собой как бы со стороны и тут же начал кидаться съеденными за завтраком стейками.

Еще через два дня я проснулся, как ни странно, без обычной головной боли. С аппетитом заглотил яйца, тосты, густой чай и принялся терпеливо ждать сестру милосердия с ее чертовым шприцем. По моим грубым прикидкам, до окончания двухнедельного срока оставалось не более трех дней. Выдержу! Не сдохну назло всем им!

Шло время, а стерва в халате все не шла и не шла. Вместо нее в палату зашел улыбчивый медмэн и сказал с приятным смайлом:

— Сегодня, дружище, пойдешь самостоятельно.

— Пойду? Это еще куда? — удивился я.

— Куда обычно,— ответил он, забавляясь моим искренним недоумением.— Да, да. Не удивляйся. На сегодняшний сеанс пойдешь сам. Я, конечно, буду тебя сопровождать, но с инвалидными колясками отныне покончено.

— А как же насчет этой гипердерьмовой инъекции?

Я действительно был поражен, так как они придавали огромное значение модификатору Лудовико.

— Эта процедура закончена,— усмехнулся медбрат.— Может быть, ты против? Ах, не против? Ну, смотри... Теперь все зависит только от тебя самого. Правда, на первый раз мы пристегнем тебя к пыточному креслу... На всякий случай... а там посмотрим. Ну, так ты идешь?

Я накинул халат, вдел ноги в мягкие шлепанцы и смело проследовал в обитель маркиза де Сада.

Во время этого сеанса я напряженно прислушивался к собственным ощущениям. С первой же сцены насилия (взвод оголтелых эсэсовцев натуралистически вырезал какую-то польскую семью, зверски насилуя мать и грех ее малолетних дочерей на глазах у распятых отца и братьев) у меня появились обычные симптомы: темные круги перед глазами, тошнота, ужасные спазмы и страшное жжение во рту. Не в силах оторваться от экрана, я тем не менее отчетливо сознавал, что на сей раз все это происходит со мной естественным путем, а не под воздействием стаффа Лудовико. Неужели они инфицировали мне эту гадость на всю оставшуюся жизнь? Скоты! Ублюдки! Фашисты!

От такого открытия я заплакал как литл бэби, но медмэны быстро подскочили ко мне и вытерли слезы платками, чтобы, не дай Бог, я не пропустил творящихся на экране зверств.

После ужасного открытия я впал в глубочайшую депрессию. Лежа ночью в кровати, я проклинал свое легкомысленное согласие подвергнуться бесчеловечному эксперименту. Уж лучше бы отволок срок в милой, родной Стае. «Нет, нужно что-то предпринять, пока они совсем не доконали меня. Ведь должен же быть какой-нибудь выход?». Лихорадочно перебирал я в уме возможные варианты побега. У меня не было ничего, что я мог бы использовать в качестве оружия. Они предусмотрительно изъяли все режущие и колющие предметы. Каждое утро меня брил один толстый лысый мэн, но при нем постоянно находились два дюжих брата милосердия, зорко следивших за каждым моим движением. Ногти мои были коротко острижены, чтобы я не мог царапаться (хорошо, что зубы не подпилили!). Но я еще не растерял свои дратцевые навыки и вполне мог бы выключить пару охранников. Наконец в голову мне пришла вроде неплохая идея. Я вылез из бэда, подошел к дор и стартид громко барабанить в нее кулаками, воля как угорелый: «О, помогите кто-нибудь! Ради Бога! Мне плохо, я умираю. На помощь!» Я чуть не осип, когда, наконец, за дверью послышались чьи-то шаги и ворчливый голос медбрата, который обычно приносил мне фуд.

— Что тут происходит? Что это такое ты еще надумал посреди ночи?

— У-ми-р-а-а-ю! — простонал я.— Страшно колет в боку. Боюсь, что это аппендицит. О-о-о!

Он с опаской вошел в комнату, озадаченно глядя по сторонам. Я же притаился за дверью с твердым намерением не упустить свой шанс. Сделав шаг вперед, я уже поднял «утку», намереваясь врезать ему по затылку, и вдруг живо представил, как он будет корчиться на полу, прежде чем я завершу дело ногами... и тут на меня накатила волна неукротимой боли и безотчетного страха, и меня начало корежить, как припадочного. Шатаясь и издавая рыгательные звуки, я сделал несколько шагов к кровати и рухнул на нее с таким ощущением, будто вот-вот умру.

Мой страж в ночном колпаке и длинной рубашке посмотрел на меня со злорадным любопытством, прекрасно понимая, что со мной происходит, и с издевкой произнес:

— Пусть это послужит тебе еще одним уроком, козел безрогий. Ну, чего же ты скис? Вставай и ударь меня. Ты же это задумал, вонючий ублюдок? Вот тебе моя челюсть. Двинь по ней!

Он склонил надо мной ухмыляющееся лицо. Но я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, не причинив себе нестерпимой боли.

— Дерьмо! Теперь ты — кусок дерьма! — с презрением сказал санитар.

Он сгреб меня за грудки, приподнял, как безвольную тряпичную куклу, и звонко отхлестал по мордасам, приговаривая:

— Это тебе за то, что выдернул меня из постели среди ночи.

Удовлетворенно потер руки, вышел и щелкнул ключом. Я же поспешил спрятаться во сне, и последняя моя мысль была о том, что лучше быть избитым самому, чем поднять на кого-нибудь руку.

Мне снилось, что я подставляю обидчику вторую щеку.

7

Я не мог поверить своим ушам, други мои, когда они сказали это. Мне уже казалось, что две недели, о которых они постоянно талдычили, никогда не кончатся. И вдруг...

— Завтра мы тебя выпускаем, парень. Так сказал доктор Бродский.— Тот мэн, что отхлестал меня по щекам однажды ночью, показал большим пальцем куда-то наверх, как будто там был рай и жил сам господь Бог.— Но сегодня тебе предстоит еще одно, последнее испытание. Что-то вроде выпускного экзамена.

Он злорадно ухмыльнулся и сделал загадочную рожу. Мне уже было на все наплевать. Я приготовился отправиться в комнату ужасов, как обычно, в пижаме и шлепанцах. Ан нет! На этот раз они выдали мне мою вольную одежду — тщательно выстиранную и отутюженную. Но самым удивительным было то, что мне даже вернули мою бритву — верную спутницу ночных похождений в былые времена.

Я сосредоточенно переоделся, пытаясь угадать, какую еще бяку они мне приготовили. Меня провели в зал, который заметно преобразился. Пыточное кресло убрали, а вместо него расставили десятка два удобных мягких стульев. В полутьме я отметил, что большинство из них занято публикой, среди которой было много знакомых фейсов: начальник Стаи 84F (он

же Губернатор), красномордый капеллан, главный охранник и даже тот Биг Чиф — безукоризненно одетый министр внутренних дел. Среди белых халатов мелькали еще какие-то люди, но я их не знал.

Среди них вальяжно прохаживались доки Бродский и Брэном, одетые, как именинники. Это был их Великий день, и они с удовольствием разыгрывали из себя радушных хозяев.

Когда меня ввели, д-р Бродский (который скорее походил на преуспевающего дельца) широко раскинул толстенькие ручки и радостно произнес:

— А вот, джентельмены, и сам объект наших исследований. Так сказать, продукт нашего упорного труда.— Он положил мне руку на плечо и пояснил, словно гид в кунсткамере: — Как видите, он бодр, здоров, откормлен. Мы пригласили его сюда сразу после нормального 9-часового сна и обильного завтрака без какой-либо предварительной медикаментозной обработки или гипнотического воздействия. Завтра мы с уверенностью возвращаем его в огромный мир, полностью гарантируя его добропорядочность и доброжелательство по отношению к другим. За две недели мы смогли добиться того, чего обычная тюрьма не смогла добиться за два года, да и вряд ли бы добилась за все четырнадцать лет его срока. Ну, да хватит слов. Лучше всего говорят дела. Итак, к делу. Сейчас вы сами во всем убедитесь. Свет!

Свет в зале погас, и я обалдело стоял в луче прожектора на фоне экрана. Вдруг луч второго прожектора выхватил из темноты неизвестно откуда появившуюся фигуру какого-то здорового мужика, которого я раньше никогда не видел. У него было мясистое усатое лицо и редкие, как бы приклеенные к лысому черепу волосюнчики. На вид ему было лет тридцать-сорок-пятьдесят. Хрен его знает. Одним словом — старый. Он нахально подошел ко мне, сопровождаемый лучом прожектора, и нагло так заявил:

— Привет, навозная куча. Что это от тебя так несет? Ты что, моешься только по праздникам?

Я чуть не поперхнулся от возмущения, так как мылся как раз накануне, а этот гомик, пританцовывая, подошел ко мне и больно наступил мне сначала на левую, потом на правую ногу. Затем, ни с того ни с сего, засунул большой палец мне в нос, так что у меня слезы брызнули из глаз. Продолжая издеваться, этот подонок ухватил меня за ухо и принялся крутить его, как телефонный диск. Публика в зале потешалась, наблюдая эту сцену. Вашему же покорному слуге было не до смеха. Мои нос и ухо горели, и я вежливо так спросил:

— Зачем ты издеваешься надо мной, брат? Ведь я не сделал тебе ничего плохого. И вообще вижу тебя впервые...

— Ах это...— противно захихикал мужик.— Я делаю это (два его вонючих пальца вонзились в мой бедный нос) просто потому, что (больно потянул мое многострадальное ухо) терпеть не могу недоносков вроде тебя... Ну, попробуй что-нибудь мне сделать. Попробуй, ты, трусливый шакалик.

Мне страстно захотелось вмазать ему по хохотальнику или раздвинуть ему наглую улыбку бритвой от уха до уха. В то же время я сознавал, что сделать это нужно молниеносно, пока не накатила привитая мне тошнотворная волна. Но едва я сунул руку в карман, предвкушая то наслаждение, с которым я полосну его по горлу, как в памяти всплыла ужасная картина из показанного мне фильма — с кровью, стонами, вытекающим глазом,— и начался страшный приступ боли и отчаяния. Чтобы прекратить его, я принялся лихорадочно шарить по карманам в поисках чего-нибудь, чем можно бы было ублажить этого наглеца: сигарет, или денег, или еще чего... Но мои карманы были пусты. В них не было ничего, кроме бритвы, и я смиренно вытащил ее и протянул этому страшному, смеющемуся мэну, униженно умоляя:

— Ради Бога, добрый человек, позвольте мне что-нибудь для вас сделать. Вот, возьмите мою бритву. Она очень хорошая, острая... Маленький презент... Не откажите в любезности... пожалуйста...

— Оставь свои дешевые взятки себе. Меня этим не купишь, грязный ублюдок,— проговорил мой обидчик и ударил меня по протянутой руке.

Бритва со стуком упала на мозаичный пол.

— Ну, пожалуйста, разрешите мне что-нибудь для вас сделать. Хотите, я почищу ваши ботинки? Смотрите, я могу вылизать их вам до блеска.

И, о люди, хотите верьте, хотите нет, я встал на четвереньки, вывалил на полметра язык и принялся жадно лизать его грязные, вонючие штиблеты. Однако вместо благодарности подонок несильно пнул меня ногой в лицо. Боль внутри меня несколько утихла, и я рискнул схватить его за ноги и сильно дернул на себя. Он испуганно ойкнул и рухнул на пол, как куль с дерьмом, под восторженный смех публики. Тут же боль в голове и кишках проснулась, и я поспешно протянул ему руку, помогая подняться на ноги. Мэн рассердился по-настоящему и замахнулся, чтобы съездить по моему беззащитному фейсу, но тут вмешался д-р Бродский:

— Хорошо! Достаточно!

Тут же ужасный мэн опустил руку и раскланялся, как актер после удачного выступления. Загоревшийся яркий свет ослепил меня. Я стоял и бессмысленно хлопал айзами перед возбужденно гудевший аудиторией, не в силах понять, что же со мной произошло.

Как умелый ведущий этого небывалого шоу, д-р Бродский вышел вперед и обратился к собравшимся со следующими словами:

— Как вы сами только что убедились, джентельмены, наш подопечный вынужден делать добро благодаря своей, как ни парадоксально это звучит, предрасположенности к совершению насилия. Каждый приступ агрессивности сопровождается у него мощным физическим дискомфортом, и поэтому он тут же переключается на обратную реакцию. У кого есть вопросы?

— А как же с правом выбора? — раздался густой бас капеллана.— Вы лишили его богоданного права, оставив ему чисто эгоистические мотивы и побуждения. Боязнь физической боли низводит его до крайней стадии самоуничижения. Неискренность его поступков очевидна. Он уже не нарушитель, не преступник, так как вы начисто лишили его понятия того, что есть нарушение или преступление. Вы низвели человеческое право морального выбора до элементарного животного инстинкта!

— Не будем переводить чисто медицинскую, научную попытку пресечения преступности в плоскость морально-этических категорий,— невозмутимо возразил д-р Бродский.— Перед нами была поставлена конкретная задача...

— Которую вы с успехом решили,— вмешался министр.— Поздравляю вас, джентельмены. Это настоящая революция в юриспруденции.

— Которой тут и не пахнет,— буркнул, по-моему, Губернатор.

— А я считаю, что это просто потрясающе,— вмешался кто-то.

И тут все заговорили разом, как будто с цепи сорвались, стараясь переубедить соседа и не слушая никаких доводов. Обо мне, казалось, забыли и обращали внимания не больше, чем на пустующий стул. Наконец я не вытерпел и громко заорал:

— А я?! Как же теперь со мной? Что я вам... вещь или собака?

Они замолчали, как по команде, а потом дружно обрушились на вашего покорного рассказчика, бросая мне в лицо какие-то неприятные гневные слова. Я обиженно прокричал:

— Зачем вы сделали из меня заводной апельсин?!

Сам не пойму, почему мне на ум пришли именно эти слова, но все мигом заткнулись и пребывали в ступоре минуту или две. Потом поднялся какой-то хиляк профессорского вида. У него была абсолютно лысая, как бы живущая сама по себе голова-бильярдный шар, сообщавшаяся с туловищем через сотканную из кабелей, проводов и шнуров длинную извивающуюся шею. Так вот что сказал этот гусак:

— Тебе не на кого пенять, кроме как на себя самого, бой. Ты сам сделал свой выбор, все остальное — только его последствия.

Тут наш тюремный капеллан горько выкрикнул с места:

— О, как бы я хотел, чтобы это было правдой!

По тому, как на него глянул Губернатор, можно было безошибочно сказать, что ему никогда не занять того поста, на который он нацелился.

Жаркий спор спонтанно возобновился, и вдруг я отчетливо расслышал слово Любовь, прозвеневшее, как упавшая на пол мелкая разменная монета. Пошедший вразнос капеллан (видно, с утра хватил лишку) принялся осенять всех крестным знамением и трубить, будто с амвона:

— Всепоглощающая и всепрощающая Любовь победит всеобщий первобытный Страх и Отчуждение и да будет Добро твориться без ожесточения и не корысти ради...

Видимо, старый поддавала совсем очумел с горя. На него зашикали, и тут вперед снова выступил гид-конферансье Бродский:

— Я рад, джентельмены, что вы затронули извечную тему Любви. Сейчас я продемонстрирую вам ту особую ее разновидность, которая умерла со времен Шекспира и Петрарки, канула в Лету вместе с их Джульеттой и Беатриче.

Он сделал знак пухленькой ручкой. Свет в зале погас, а вспыхнувший прожектор пошарил в темноте и выхватил вашего бедного друга и рассказчика. И вдруг в освещенный лучом прожектора круг из темноты вступило самое юное, нежное и прекрасное криче, которое мне приходилось видеть. У нее были такие замечательные стоячие груди, проступающие через полупрозрачное воздушное платье, что сладостный спазм охватил мои мигом воспламенившиеся чресла, и что-то ударило мне в хэд. Она как бы летела над полом, едва касаясь его своей изящной ножкой. Где-то я уже видел эту кроткую милую невинную улыбку. Мне показалось, что она спустилась ко мне с небес, и захотелось поиметь ее тут же и сейчас же. Я уже сделал к ней шаг, чтобы разложить ее прямо на полу в своей обычной варварской манере, но по моим кишкам резанула острая боль, выскочившая, как бдительный детектив из-за угла, готовый надеть на меня наручники. Подсознательно пытаясь избежать ареста, я мгновенно отбросил мысль о неуемном блаженстве рэйпинга, пал перед ней на одно колено и произнес самые безумные слова в мире:

— О, красивейшая и прекраснейшая из земных созданий! Позволь мне бросить к твоим божественным стопам мое усталое сердце. Я бы хотел преподнести тебе все розы мира, но они ничто по сравнению с твоей красотой. Если бы сейчас было ненастье, я бы расстелил перед тобой свой плащ, не достойный того, чтобы по нему ступала твоя ножка...

Произнося эти идиотские слова, которые срывались с языка помимо моей воли, как будто их нашептывал сам дьявол, я с облегчением почувствовал, как боль постепенно отступает.

— Позволь мне,— заорал я с еще большим энтузиазмом,— поклоняться тебе, мое божество, и быть твоим защитником и заступником в этом жестоком мире...— Я старательно подыскивал самые правильные, самые проникновенные слова, чтобы доконать боль, пока она не доконала меня.— Разреши мне быть твоим верным рьщарем, о божественная.

С этими словами я распростерся ниц и поцеловал край ее платья.

И тут все закончилось, как если бы это была съемка какого-то фильма о средних веках. Загорелся свет, а моя богиня раскланялась, посылая в зал ослепительные улыбки и начисто игнорируя меня. Стоило так распинаться перед какой-то нанятой статисткой, которую спокойно мог снять любой из присутствующих... кроме меня.

— Он будет благоверным, богобоязненным христианином,— продолжал комментировать д-р Бродский.— Если его ударят по одной щеке, он подставит другую. Он предпочтет быть распятым, чем распинать самому. Теперь он и мухи не обидит...

Уж в чем, в чем, а в этом он был абсолютно прав, друзья мои, так как в тот момент я действительно так подумал, и тут же глубоко внутри зашевелился противный червячок страха и затрепыхалась бабочка боли. Я поспешил отодвинуть эту мысль, представляя, как я кормлю муху шугером и ухаживаю за ней, словно за раненой любимой собачонкой.

— Абсолютная трансформация! — восторгался д-р Бродский, рекламируя свой товар (то бишь вашего покорнейшего слугу).— Теперь он не посрамит нас не только на воле, но и за вратами рая!

— Будущее покажет, какой из него получится ангелочек,— охладил его пыл Министр.— Во всяком случае пока это работает великолепно.

— О, да! — воссиял вспомнивший о карьере капеллан.— Работает, а это — главное! Да поможет всем нам Бог!

ЧАСТЬ III

1

— Ну, и что дальше?

Этот сакраментальный вопрос сверлил мои брейнз, когда на следующее утро я стоял у ворот Стаи 84F. На мне был мой старый дресс, в котором меня замели два года назад. В руках я держал черный полиэтиленовый пакет с черепом и перекрещенными костями на фоне пачки злопухолей, шприца и пузатой бутылки «Димпл». В кармане позванивали несколько монет, выданных мне заботливой администрацией «на начало Новой Жизни».

После «выпускного экзамена» меня заколебали разные камерамэны и уимены, снимавшие меня и записывавшие мой голос для теленьюс. Ушлые репортеры брали брехливые интервью, чтобы тиснуть их на следующий день в газетах.

Я порядком устал от всех этих паблисити и вьюисити и едва доплелся до бэда. Казалось, не прошло и трех минут, как меня растолкали и сообщили, что уже утро и я могу отваливать на все четыре стороны, чтобы больше никогда сюда не возвращаться. Все горели желанием побыстрее выпихнуть меня на свободу. Даже завтраком не накормили, скоты. Дали чашку чая, сунули убогий пакет с моими нехитрыми пожитками, немного маней, чтоб не сдох с голоду на первых порах,— и под зад коленом. Теперь я был для них не только заводным апельсином, но и выжатым лимоном.

Пока я решил гоу хоум, обрадовать мом и дада и прижаться к их бузом. Приду домой, схаваю все, что есть в холодильнике, улягусь на свою удобную

кровать, врублю стереосистему — усладу моих юных дней — и заодно подумаю, что мне делать дальше с моей нелепой жизнью.

Итак, отобас до центра, другой — до Кингсли-авеню, и вот я в знакомом квартале I8A. Вы не поверите, но, когда я подходил к своему хаузу, сердце мое трепыхалось, как кок при виде свэлловой девки. Было еще довольно рано, и я не встретил ни одного человека ни на улице, ни в вестибюле, за исключением тех, что олицетворяли на стенах Торжество Свободного Труда. Первое, что удивило меня, братцы, это то, что все мэны и вумэны были подреставрированы. Кто-то очень умный закрасил похабные изречения, лившиеся из их уст, и лишние части тела. Второй неожиданностью было то, что лифт работал! Я нажал кнопку, и он поднял меня на десятый этаж, довольно урча и выпячивая отдраенные стены. К сожалению, на этом неожиданности не кончились.

С замирающим сердцем я подошел к двери 10—8 и, осторожно открыв ее своим ключом, на цыпочках вошел в прихожую.

На меня уставились три пары глаз: две настороженно-испуганные — мом и дада, и одна совершенно незнакомая, но крайне нахальная. Наглая принадлежала здоровенному жлобу в майке и подтяжках, который по-хозяйски расположился на моем месте, с вожделением потягивая чай с молоком и хрустя зажаренным тостом. Ритмично ходили его жернова, приводя во вращательное движение маленькие приплюснутые уши. Увидев меня, предки отвесили от удивления челюсти, а этот питекантроп сделал шумный глоток и раздраженно произнес:

— Это еще что такое? Кто ты, гай? И откуда у тебя ключ? Ну-ка быстро отнеси свою задницу за дверь и постучись, как это делают порядочные люди. Потом объяснишь, что тебе здесь надо.

Мои дад и мом так и продолжали сидеть, раскрыв варежки, и мне до смерти захотелось подойти к ним и помочь им захлопнуть их. Видно, они еще не читали утренние газеты. Наконец мом со страхом прошептала:

— Ты сбежал? Что ж нам теперь делать? Того и гляди сюда нагрянет полиция. Ну за что мне такое несчастье! О-о-о!

И тут она заплакала и запричитала, как по покойнику. Я принялся объяснять, что все в порядке, что меня выпустили и они могут позвонить в Стаю и убедиться в этом. Пока я говорил, незнакомец недовольно сопел, и у меня было такое чувство, что вот-вот он страйкнет мне по фейсу огромным волосатым кулаком и вышибет из меня дух. Я не стал этого дожидаться и вежливо так спросил:

— Позволь теперь мне задать тебе несколько вопросов, братишка. А какого черта ты здесь развалил свою толстую задницу? И, пожалуйста, сбавь тон, если не хочешь получить в нюх. Давай выкладывай!

По виду он был работягой, как мой отец. Такой же грубый, неотесанный, придавленный тяжелым трудом и недостатком интеллекта. Только лет на пятнадцать — двадцать моложе. После моих слов он угрожающе выпучил глаза и сидел, не в силах выдавить из себя хоть слово. Только заглатывал ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Поэтому заговорил мой еще больше постаревший конь:

— Все это так неожиданно, сын. Хоть бы дал нам знать, что возвращаешься. Да и то сказать, мы рассчитывали, что тебя выпустят лет через пять-шесть, не раньше. Нет, не подумай, что мы тебе не рады...— Он отвел глаза и тускло добавил: — Это здорово, что ты опять на свободе...

— Ты мне скажи, что это за чучело? Почему молчит? У него что, язык в задницу затянуло? Объясни хоть ты толком, что здесь происходит?

— Это Джо,— тихо произнесла мом.— Теперь он здесь живет. Квартирант — вот он кто.— И она опять завела: — О-о-о!

— Послушай, ты, ублюдок,— оклемался наконец Джо. — Мне все о тебе известно. О том, что ты вытворял и натворил, разбив сердца этих добрых людей, твоих родителей. А теперь ты вернулся, да? Вернулся, чтобы опять превратить их жизнь в ад? Ну уж накось выкуси,— сделал смачную фигу и поднес мне под нос.— Только через мой труп. Потому что они для меня как родные, и я никому не дам их в обиду!

— Ах, вот как! — процедил я, чувствуя, что к глазам подступают злые смешанные слезы страха-боли-отчаяния-беспомощности.— Даю тебе пять минут на то, чтобы ты вымелся из моей румнаты.

И я двинул к своей берлоге и открыл дверь, прежде чем этот хмырь преградил мне дорогу. При виде того, что стало с моей комнатой, мои болзы опустились до самого ковра, а потом, как на резинке, подскочили куда-то к горлу. Теперь это была вовсе не моя комната, други мои. Услада моей души — стерео — исчезло бесследно, а на месте моих флагов и вымпелов красовались наглые боксерские рожи, и среди них — самодовольная, улыбающаяся пачка постояльца.

— Куда ты подевал мои вещи, вшивый козел? — заорал я, поворачиваясь к питекантропу Джо.

Но вместо него вновь ответил дад:

— Все конфисковала полиция, сын. В соответствии с новым постановлением о возмещении ущерба пострадавшим от разбойного нападения.

Я обалдело присел на край стула, а этот благовоспитанный кретин рявкнул, не замечая моего состояния:

— Спроси разрешения, прежде чем плюхать свой грязный зад на чистую мебель!

— Не ори, а то пуп развяжется, козел! — гаркнул я в ответ, но, чувствуя предостерегающий прилив боли, жалобно улыбнулся и добавил уже тише: — В конце концов это мой дом, моя румната, не так ли, друг? Ну, и каково будет ваше решение?

Дад сказал, избегая встречаться со мной айзами:

— Все это надо толком обмозговать, сын. Мы не можем просто так вышвырнуть Джо на улицу. Это было бы не по-людски. Да и потом у нас с ним двухгодичный контракт, ведь правда, Джо?

Тот утвердительно кивнул массивной головой, продолжая стоять с нарочито безразличным, «вам решать», видом. Я видел, что отцу очень неловко, но тут во мне взыграла ревность, и я безжалостно сказал:

— Па-а-нятна-а. Значит, с Джо по-людски, а с собственным сыном? Вы печетесь лишь о своем спокойствии, а на меня вам наплевать. К тому же лишняя деньга, которая никогда не бывает лишней. Сколько он вам платит? Я буду платить вдвое...

— Из воровских денег? Или прикончишь еще кого-нибудь? — с горечью выкрикнул дад, а мать съежилась, как от удара.

И тут, верите ли, я не выдержал и разревелся от жалости к самому себе.

— Лучше бы я остался в тюряге. Там у меня был хоть кров над головой. Ну да Бог с вами. Я двинул, и больше вы меня никогда не увидите. Я пойду своей дорогой. Пусть все это останется на вашей совести.

— Ты не должен уходить с тяжелым сердцем, сын. Ожесточение еще никого не выводило на правильную дорогу.

— Ну, это уже мое дело, отец. Прощайте!

Я резко развернулся и пошел к двери, краем глаза заметив, как Джо обнял за плечи и успокаивающе поглаживает тихую плачущую женщину — мою мать.

2

Так, други мои, я остался без дома, без семьи.

Я бесцельно брел по улице под любопытно-настороженными взглядами прохожих. Возможно, некоторые узнавали меня, но большинство недоумевало, что это еще за чудило разгуливает по улицам в легком бумажном сьюте в такой чертовски холодный зимний день? Остальным же было просто на меня наплевать, впрочем, как и мне на них. Единственно, чего мне хотелось, так это ни о чем больше не думать.

Машинально я сел в бас до центра, пешком вернулся до Тэйлор-плейса и остановился перед музыкальным салоном. Здесь все было по-прежнему. Войдя в салон, я поискал глазами тощего, лысого, услужливого Энди, у которого покупал диски в добрые старые времена. Однако его нигде не было видно. Кругом бесились и визжали от восторга надсады и надсадки, слушая последние истеричные хиты, напоминавшие кошкодрание. За каунтером стоял незнакомый гай, немногим старше своих покупателей. Он пританцовывал, щелкая пальцами, и хохотал как безумный. Я скромно растолкал всю эту шелупонь и дождался, пока хитоман обратил на меня внимание.

— Я бы хотел послушать «Сороковую» Моцарта.

— Сорок что? — не понял он.

— Симфонию, друг. «Сороковую» симфонию сольминор В. А. Моцарта.

— Пройди вон в ту будку, чудик, и я подключу тебе что-нибудь симвоническое.

Я проглотил издевку и вошел в указанный бутик. Надел иэрфоунс и обнаружил, что это не «Сороковая», а «Пражская». Подонок поставил на прослушивание первого Моцарта, попавшегося на полке. «Хрен с тобой! — подумал я.— Главное — не выходить из себя, так как войти в себя потом будет очень трудно...» Но я не учел одну вещь, хотя смутно опасался ее. С мощным крещендо моцартовских аккордов во мне нарастала знакомая боль, доводившая меня до исступления. С диминуэндо она стихала, чтобы через несколько тактов заполнить меня вновь. По-видимому, теперь это навсегда было запрограммировано во мне показом тех садистских фильмов, которые неизменно сопровождались симфонической музыкой. Вот такой надлом, други мои. Медмэны навсегда лишили меня самой большой радости в этой паскудной жизни.

Не в силах вынести разрушительного музыкального резонанса, я заткнул уши и в панике выскочил из салона под смех и улюлюканье мелкоты, которую играючи перемесил бы в прошлые времена.

Я брел по улице как слепой, пока не увидел перед собой «Коровяку». Теперь я понял, что мне нужно. В стекляшке было непривычно тихо, а за стойкой стоял совершенно незнакомый мэн.

— Биг поршн молока с плюсом,— заказал я.

Мэн понимающе кивнул, заговорщицки повозился под каунтером и протянул мне здоровенную кружку с белым напитком. Чтобы лишний раз не мозолить глаза, я удалился в одну из зашторенных кубикл, уселся на плюшевое кресло и пил, и пил, и пил, чувствуя, как постепенно улетучивается накопившаяся во мне мерзость.

Когда я додринкал все молоко до последней дроп, со мной стали происходить странные странности. Я уставился на валявшуюся на полу серебряную обертку от пачки злопухолей, и она вдруг начала расти, расти, заливая все вокруг ослепительным светом. Вот она заполнила кабинку, «Коровяку», улицу, город, мир, вселенную. Я болтался где-то посередине и говорил какие-то непонятные себе самому слова: «Уважаемая падаль! Дорогие изгои, извращенцы, испражненцы! Я вижу вас, хоть вы и прах...» Потом в серебряной космической дали появились статуи, сияющие неземными цветами. Они приближались, приближались ко мне, и я вдруг увидел, что это никакие не статуи, а сам Бог со своей кодлой святых и ангелов. Они как бы были сделаны из белого мрамора. Белые, развевающиеся бороды и огромные белые же крылья за спиной. Эти живые статуи надвигались на меня, будто хотели раздавить, и я услышал свой тоненький голос: «И-и-и-!» И тут я понял, что нужно избавиться от всего: одежды, тела, мыслей, имени... Как только я сделал это, так сразу почувствовал неземное блаженство и успокоение. Бог и все святые одобрительно закивали головами и начали растворяться, растворяться, растворяться, пока не исчезли совсем...

Очнувшись, я тупо уставился на пустой стакан перед собой и вдруг отчетливо осознал, что Смерть — вот единственный ответ на все мои проблемы. Исчезнуть! Испариться! Сгинуть! К Богу, к черту или к чертовой матери — все едино!

Да, но как это лучше сделать? И тут я вспомнил о черном пакете с черепом и костями. Где-то в нем должна быть моя любимая бритва. Однако, представив себя с перерезанной глоткой, валяющимся в луже собственной алой крови, я содрогнулся от омерзения и мигом почувствовал знакомые симптомы. Проклятый иммунитет работал даже против меня самого! Нет! Надо было все сделать тихо, спокойно, безболезненно — лечь и заснуть вечным сном. Конец должен подкрасться незаметно... Да, но что бы такое заглотнуть? И спросить не у кого. Не подойдешь же к первому встречному и не скажешь, что я осточертел себе и миру и хотел бы со всем этим покончить быстро, без шума и пыли? В конце концов я надумал пойти в публичную библиотеку и просветиться по части безболезненных самоубийств.

«Вот возьму и брошу им подлянку,— мстительно думал я, проходя по бульвару Марганита, Бутбиавеню прямо к задрипанной библио.— Пускай потом всю жизнь казнят себя за то, что сгубили младую душу: фазер-мазер с их вонючим узурпатором Джо, и д-р Бродский, и д-р Брэном со своим министром, и все остальные, включая хвастливое правительство...»

Несмотря на все свое хвастовство, правительство не очень-то жаловало субсидиями нашу библио, это средоточие человеческой мудрости, где на полках пылились миллиарды ненужных слов. Ремонт здесь не делался лет сто, с того самого времени, когда я, шестилетний, посетил ее с мом и дадом в первый и последний раз. Это вшивое, заброшенное заведение было разделено на две секшн. В одной выдавали книги, а в другой была ридальня со множеством ньюспейперс, джорналз (и хоть бы один с голыми бабами!). Так вот, я отправился в эту вторую секшн, где сидело несколько стариков и старух, от которых воняло бедностью и близкой смертью. Некоторые из них стояли возле газетных стендов, вычитывая слезящимися подслеповатыми айзами последние ньюс, чтобы передать их прямехонько своим родственникам на том свете. Другие медленно листали джорналы, третьи что-то в них читали или делали вид, что читают, а сами дремали в тепле и старческой атмосфере. А двое так и вовсе громко храпели, выводя носом рулады, но на этих соловьев никто не обращал внимания. Наблюдая за склеротичными осколками былой жизни, я и сам начисто забыл, за каким чертом меня занесло в этот пантеон. Поднапрягшись и проиграв в уме то, что произошло со мной в «Коровяке», я вспомнил, что хотел отыскать здесь самый безболезненный способ сведения счетов с постылой жизнью. Я подошел к шелфу с референской литерачей. В скорбном ряду стояли толстенные справочники, инструкции, рекомендации, полезные советы на все

случаи жизни и ни одного — на случай смерти. Я взял наугад какой-то медицинский гроссбук, полистал его и чуть не блеванул, так как в нем было полно рисунков и фотографий страшных ран и болезней. Поспешно поставил его на место и снял с шелфа знакомую книгу в красивом переплете с золотым тиснением. Точно! Это была Библия. Может быть, хоть в ней я найду слова утешения. Когда-то в Стае она мне помогала. Как давно это было! Я подсел за стол к какому-то дряхлому старику и открыл Священное писание. Но все, что я в нем нашел, так это наказания семьюдесятью семью плетями и столько же прощений. Какие-то евреи дрались и проклинали друг друга и все на свете. От таких картинок библейской жизни у меня в животе начались колики. Такие сильные, ну хоть плачь! Стараясь сдержать стоны, я заскрипел зубами, а стоявший обеими ногами в могиле старикан спросил, с любопытством поглядывая на меня из-под треснутых очков:

— В чем дело, парень? Тебе что, плохо?

— Так плохо, что хочется умереть,— честно признался я.— Как это лучше сделать? Вы должны все знать о смерти.

— Ш-ш-ш! — прошипел другой трухлявый пень, не отрывая взгляда от какого-то журнала с нелепыми геометрическими фигурами.

Первый старик философски произнес:

— Для смерти тоже надо созреть. Ты еще слишком молод, парень. У тебя вся жизнь впереди. Помучайся с наше, а потом уже думай о ней.

— Впереди! Это уж точно, она у меня впереди, как пара фальшивых накладных грудей.

Геометрик снова на нас зашикал, и к нему присоединились еще несколько ходячих трупов. Тут он взглянул на меня, и мы сразу узнали друг друга. С негодованием отбросив журнал, он заорал на весь зал:

— Так это ты, мерзавец! У меня прекрасная память на лица! Наконец-то ты попался мне, урод!

«Кристаллография» — вот что он нес из библио в тот раз»,— вспомнил я. Изрезанная в клочья одежда. Порхающие в воздухе листы изуродованных книг. Такой облом! И надо же было мне на него напороться. Скорее рвать когти! Но старик резво вскочил на ноги и впился клешней в мое плечо, вопя как безумный:

— Теперь он в наших руках, коллеги! Это тот молодой гаденыш, который безвозвратно погубил редчайшие книги по кристаллографии! Настал час расплаты, трусливый, бессердечный шакал. Теперь мы над тобой потешимся...

Он упер свой тощий костлявый палец мне в грудь и гневно проговорил, как председатель суда святой инквизиции перед сожжением еретика:

— Этот гнусный ублюдок и его дружки избили меня до полусмерти. Очнулся я только в больнице, без зубов, без одежды, без зонта, но зато весь в синяках и ссадинах и с поломанным ребром...

— Но это было два года назад! — испуганно крикнул я в лица подступавших ко мне стариков и старух.— Я уже понес наказание, получил урок на всю жизнь. Посмотрите, вот мои фотографии в газетах. Тут все обо мне сказано.

— Наказание, говоришь? — с усмешкой сказал один из стариков, похожий на бывшего солдата.— Для тебе подобных не существует наказаний. Вас необходимо уничтожать как бешеных собак!

— Ну, хорошо, хорошо! В нашей свободной стране каждый может иметь собственное мнение. Однако правительство придерживается другой точки зрения. Прошу прощения, но мне пора идти.

Я стал потихоньку пробираться к выходу, подумав, что мою проблему можно разрешить с помощью аспирина, простого аспирина из любой аптеки. Заглотил сотню таблеток — и тебе каюк!

Заметив мое отступление, кристаллографик злорадно закричал:

— Не дайте ему уйти! Сейчас мы ему растолкуем все о преступлении и наказании. Хватайте его, друзья!

Со всех сторон неслось:

— Убить его! Разорвать на куски! Вколотить подлецу зубы в глотку! Распять! Распять! Рас-пя-ать!..

Это была неистовая атака Старости на Молодость, извечная борьба старого с новым.

Орущая орда окружала меня со всех сторон, отрезав путь к отступлению. Они толкали, щипали, кусали, царапали меня, дергали за волосы, пытались ткнуть узловатыми пальцами в глаз. А я только слабо отпихивался от наиболее настырных и молил Бога, чтобы не причинить им вреда, памятуя о боли, притаившейся за углом и зорко наблюдающей, что из этого выйдет.

Наконец на шум явился молоденький библиотекарь и строго произнес:

— Что здесь происходит, черт побери? Немедленно прекратите! Это вам не арена гладиаторов, а читальный зал.

На него никто не обратил внимания, и тогда он сердито сказал:

— Ах, вы так! В таком случае я звоню в полицию.

И тут я сделал вещь, которую при других обстоятельствах не сделал бы никогда в жизни. Я взмолился со слезами в голосе:

— Да, да! Пожалуйста, сделайте это. Защитите меня от этих сумасшедших.

Тут кто-то расквасил мне нос. Утирая кровавые сопли, я плюнул на осторожность и повел нехилым плечом. Штук шесть стариков разом отпало, кряхтя и стеная. Но три бульдога держали мертвой хваткой, и я выволок их за собой в вестибюль. Кто-то еще вцепился мне в ляжку. Подоспели другие. Я упал, а они принялись пинать меня ногами, протезами, молотить костылями... В этот момент в фойе раздались молодые смеющиеся голоса:

— Кончай бардак, молодчики! Ишь как расшалились!

Это прибыла полиция.

3

Какое-то время у меня все плыло и колыхалось перед айзами, как в том сне про Бога и статуи, а в хэде стоял гул. Когда пелена несколько рассеялась, то мне показалось, что я уже где-то встречал этих коппол. Того, который покрикивал на разбушевавшихся стариков: «Хватит, хватит, хватит!», нагоняя на себя строгость, я видел впервые. Но двух других я, несомненно, видел раньше. Они со смехом разгоняли толпу, беззлобно прохаживаясь по спинам олдмэнов маленькими плетками, приговаривая:

— Завязывайте, непослушные ребятишки. Мы покажем вам, как бунтовать и нарушать общественный порядок, старые злыдни.

С шутками и прибаутками они загнали полумертвых мстителей обратно в ридингхолл и повернулись ко мне, смущенно поднимающемуся с пола.

— Кого я вижу! Ты ли это, маленький Алекс? Давненько не виделись, друже. Как поживаешь? Вижу — хреново.

Я обалдело всматривался в униформированного громилу, лицо которого было трудно рассмотреть за шлемом с опущенным забралом. Однако его голос был очень знакомым. Взглянул на второго и вздрогнул от неожиданности. Этот безумный фейс невозможно было спутать ни с каким другим.

— Гы-гы-гы! — загоготал Кир, а это был именно он.

Присмотревшись внимательнее ко второму, я узнал жирняка Билли. Два заклятых врага превратились в друганов — не разлей вода и более того — в блюстителей порядка.

— Ничего себе! — присвистнул я.— Кир? Билли?

— Что, удивлен? — приблизился ко мне экс-Дебила, ухмыляясь от уха до уха.— Жизнь полна неожиданностей.

— Этого не может быть! Этого не должно быть! Опять какой-нибудь маскарад?

— Твои айзы не обманывают тебя. Мы тоже. Все честно и законно. Отличная работенка для настоящего мужчины. Рекомендую.

— Но ты же слишком молод. Или что, теперь они берут в полицию по живому весу и высокому, как у тебя, уровню интеллекта?

Кир не уловил издевки и ответил довольно резонно:

— Ты прав, Алик. В полиции нужны крутые парни вроде нас с Билли, чтобы ломать хребты уродам вроде тебя. А что до возраста, так тут ты не прав. Мне уже восемнадцать. Ты же был самым зеленым в нашей кодле...

— И все-таки я отказываюсь в это верить. Вы — и вдруг копполы!..

— Скоро поверишь,— угрюмо пообещал Билли-бой и сказал, повернувшись к третьему коппу, который держал меня за плечо: — Думаю, Рекс, будет лучше, если мы разберемся с ним по-семейному, без обычной полицейской рутины. Как-никак старые друзья. Видно, этот хулиган опять взялся за свое, несмотря на всю чушь об его исправлении, которую написали эти бумагомаратели. Уж кто-кто, а мы-то его хорошо знаем. Сукин сын, опять обижает бедных стариков. Ну что ж! Покажем ему, что мы не даром едим свой брэд.

— О чем он воняет, Кир? — обратился я к Дебиле.— Это они напали на меня, а не наоборот. Ваша обязанность — защитить меня от них, а не их от меня... Ты же должен помнить, Кир, того тичера, которого мы отделали два года назад тут, неподалеку от библио. Так вот, он оказался здесь, опознал меня и натравил на меня всю эту сумасшедшую свору.

— Да что ты говоришь? — усмехнулся Кир.— Что-то я такого не припомню. И прекрати называть меня «Кир». Зови просто: офицер.

— Ну, хватит воспоминаний детства,— вмешался Билли. Он был не таким жирным, как прежде.— Мы не можем проходить мимо отъявленных хулиганов с бритвами в кармане.— Подонок не забыл, как я его «брил» пару лет назад.— Наш долг — защищать от них свободных граждан свободной страны!

Они заломили мне хэндзы на всякий случай, вытащили бритву из кармана и, выведя из библио, втолкнули в ожидавший патрульный кар, шофером которого оказался незнакомый мне Рекс.

Меня не покидала шальная мысль о том, что мои бывшие фрэнды шутят и что Кир вот-вот сдернет свое забрало и зарыгочет: «Гы-гы-гы! С возвращением, Алекс-бой!» Но я ошибся. Все было взаправду.

Стараясь скрыть нарастающий страх, я спросил:

— А что со стариной Питом? Про Джоша мне рассказали...

— Пит? Ах, этот... Мы недавно встречались с ним,— с многозначительной ухмылкой ответил Кир.

Заметив, что мы выезжаем из тауна, я с тревогой спросил:

— Куда это вы меня везете?

— Еще слишком светло,— ответил Билли, не поворачивая хэда.— Небольшая прогулка по зимней кантри. Там так красиво и... безлюдно. Не можем же мы подбивать с тобой баланс на виду у всех...

— Какой еще баланс? — не на шутку встревожился я.— Со старым давно покончено. Я уже за все получил сполна. Меня вылечили.

— Читали, наслышаны,— безразлично произнес Кир.— У нас даже была политинформация по этому поводу. Суперинтендент целый час распинался о том, как это здорово и эффективно. Вот мы сейчас и проверим.

— Ах, вам читали? Ты так ни разу и не взял в руки ни одной газеты, не говоря уже о книгах? — не удержался я от язвительного замечания.

Он развернулся и сильно двинул мне в нюх, прежде чем я успел увернуться. В глазах у меня потемнело, и из разбитого ноуза закапала алая блад.

— Что ж, сейчас сила на твоей стороне, стинкинг ублюдок,— с горечью сказал я, утираясь.— Но так будет не всегда...

— Вот мы и приехали,— радостно сообщил Билли.

Меня вытолкнули из кара. Поблизости не было ни души. Молчаливые угрюмые деревья окружали нас четверых, бессильно опустив голые ветви.

Драйвер остался за рулем, безразлично покуривая и просматривая какой-то комикс. Быстро смеркалось, и он включил фары, чтобы его коллегам было лучше видно, куда бить вашего покорного беспомощного рассказчика.

Не буду подробно описывать, что они со мной сделали. Скажу только, что отметелили они меня на славу. Дубинками, кулаками и ногами. И все время, пока они меня «учили», я даже и подумать боялся о том, чтобы дать сдачи. Если бы не чертов Лудовико, я бы еще с ними побарахтался...

Наконец они подустали, и один из них, не помню кто, деловито сказал:

— Ну, пока хватит с него. Пошли!

Страйкнув меня на прощание футами по фейсу, они залезли в кар и укатили, оставив меня валяться на припорошенной кровавым снегом траве.

Не знаю, сколько я так пролежал, балансируя на грани сознательного и бессознательного. Мелкий ледяной дождь со снегом помог мне прийти в чувство. Я встал на четвереньки, так, на карачках, дополз до ближайшего дерева и со стоном поднялся, обнимая его, как чужую жену. Вокруг не было ни звука, ни огонька. Куда идти мне, бездомному, избитому бродяге без цента в кармане? Я завыл волком, распугивая притаившуюся в кустах живность.

4

Дóма! Дóма! Дóма! — жаждало все мое существо. Места, где бы я мог приклонить голову и хоть на время найти отдохновение. И домой я пришел, братцы! Бродя, как слепец по ледяной пустыне человеческой ненависти и безразличия, я вышел на оазис со смешной надписью над входом: «НАШ ДОМ». Кажется, я здесь уже бывал в той, другой жизни...

Подходя к воротам коттеджа, я кончиком языка потрогал кровоточащие, шатающиеся зубы, ощутив пустоту на месте двух из них.

Э, да Бог с ними! Это даже к лучшему — есть надежда, что писатель, если он еще живет здесь, не узнает меня. Сейчас у меня на лице была совсем иная маска, обнажавшая всю мою суть...

Поскальзываясь на разбухшей от дождя глинистой дорожке, я доковылял до двери и осторожно поскребся. За дверьми была мертвая тишина. Какие врата передо мной: рая или ада? Я постучался настойчивее и услышал приближающиеся шаги. Дверь распахнулась, и раздался сильный мужской голос человека, вглядывающегося в темноту:

— Да, кто здесь?

— О! Ради всего святого, помогите мне, добрый

человек! — взмолился я с настоящими слезами в голосе.— Меня ни за что ни про что избили полицейские и бросили умирать у дороги. Ради Бога, позвольте мне посидеть у огня и дайте выпить горячего чего-нибудь...

— Входи, кто бы ты ни был! — посторонился райтер, освещая меня фонарем.— Входи и поведай мне о твоих несчастьях, бедный человек...

Я сделал шаг вперед. Ноги мои подкосились, и я повалился прямо на хозяина коттеджа, смотревшего на меня с искренним участием и состраданием.

Очнулся я в кресле у камина. Сердобольный райтер с печальными всевидящими айзами протягивал мне высокий тамблер с неразбавленным виски. Я взял его дрожащей рукой и залпом выпил, разбавив скопившейся во рту слюной и кровью.

— Какие же изверги так тебя отделали, парень? — участливо спросил райтер, вглядываясь в мое распухшее лицо, на котором не было живого места.

— Наши доблестные блюстители порядка,— попытался улыбнуться я.— Какие-то ублюдки в полицейской форме.

— Еще одна далеко не последняя жертва нашего смутного времени,— скорбно констатировал он.— Пойду приготовлю тебе ванну.

С трудом сфокусировавшись, я осмотрелся. За исключением камина и двух кресел, все остальное пространство было заполнено книгами. Царивший повсюду художественный беспорядок свидетельствовал об отсутствии женской руки. На низком тейбле стоял знакомый тайпрайтер, возле которого аккуратной стопкой были сложены шитсы пейпера. «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» — вот что лежало здесь в ту ночь. Почему-то это название накрепко засело в моей мемори, и ничто не смогло вышибить его оттуда — ни Бродский с его Лудовико, ни устроенное мне друзьями-недругами брейнуошинг... Теперь главное — ничем не выдать себя. А то, несмотря на всю свою доброту, этот райтер добавит мне еще и оставит околевать на улице. И превратишься ты, Александр Маленький, в кусок собачьего дерьма на дороге... А тебе сейчас так необходимы помощь и участие! И ведь до всего этого тебя довели те, кто заставил тебя, вопреки своей воле, скитаться подобно Вечному жиду в поисках добра и тепла и людей, которым бы ты их мог дать. Только захотят ли они принять от тебя твой дар во искупление твоих грехов?

— Ну вот, сейчас я тебя выкупаю,— ласково сказал райтер.— Смою все твои грехи и сниму бремя с души.— Он пытливо посмотрел мне в глаза, и от его взгляда мне стало не по себе.— Только сначала нужно остановить кровь. Я прижгу твои ссадины борной. Ты уж потерпи, голубчик.

Он заботливо обработал мои раны смоченным в растворе борной кислоты тампоном. Увидев слезы благодарности у меня на глазах, он смущенно погладил меня по плечу: «Ну, будет, будет...»

Потом я принял горячую ванну, которая сделала из меня человека. Отец «АПЕЛЬСИНА» дал мне нагретую у камина пижаму и теплые меховые тапочки, и я окончательно убедился в том, что теперь-то уж выживу. Райтер опять удалился, и через некоторое время из кухни раздался его бодрый голос, приглашавший меня то ли к позднему ужину, то ли к раннему завтраку.

Я спустился в кичен, где был уже накрыт тейбл с блестящими вилками, ножами и даже белоснежными салфетками. Посередине лежала высокая булка пышного белого брэда и стояла пузатая бутылка «Прима Сос». Рядом шкворчала аппетитная яичница с хэмом и дымился чай с молоком. Я и не подозревал, насколько голоден.

Быстро расправился с яичницей, съел несколько пузатых сосиджис, покрыв все это огромным ломтем хлеба, намазанного маслом и джемом. Попивая крепкий густой чай, я с благодарностью заметил:

— Давно не ел так вкусно. Не знаю, как вас и благодарить.

— Кажется, я догадываюсь, кто ты,— улыбнулся райтер.— Если ты тот, о ком я думаю, то ты попал в самое подходящее место. Это твои фотографии были в утренних газетах? Ты бедная жертва этой новой бесчеловечной методики? Если так, то тебя послало ко мне само Провидение. Бедный парень. Сначала тебя мучили в тюрьме, а потом ты стал объектом издевательств нашей безжалостной полиции. Они сейчас набрали в нее отпетых негодяев. Я тебе искренне сочувствую.

Я хотел подтвердить его слова, но был слишком преисполнен жалости к себе. Я только моргал и слушал, что он говорит.

— Ты не первый, кто обращается ко мне за помощью. Наша деревня превратилась в излюбленное место полицейских, где они вершат неправедный суд и расправу, называя это брейнуошинг... Сама Судьба привела ко мне тебя — жертву двойного произвола властей! Возможно, ты слышал обо мне?

Я мигом насторожился и ответил, тщательно подбирая слова:

— Мне знакомо название «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН». Правда, я его не читал, но слышал, что это потрясная вещь.

— Правда? Ты слышал о моем романе? — засиял райтер.— Расскажи немного о себе.

— Да особенно и рассказывать нечего,— засмущался я.— Жил-был глупый заносчивый сосунок, слишком много мнивший о себе. Однажды его так называемые друзья подбили его забраться в дом к одной старой одинокой женщине. Я и не думал причинять ей вреда, поверьте. Так, невинная ребячья выходка. Решил выпендриться перед дружками. Эта старая птица засекла меня, и с ней случился сердечный приступ. Одним словом, она сыграла в ящик, а я загремел в тюрьму...

— Так, понятно. Пожалуйста, продолжай.

— Уже там, в тюрьме, я глянулся посетившему наш скворешник министру исправительных учреждений, и тот решил опробовать на мне методику Лудовико...

— Так, так,— подался ко мне райтер.— Расскажи мне об этом подробнее.

Он очень этим заинтересовался и даже не заметил, что локтем влез в розетку с джемом. Глаза его лихорадочно заблестели, рот приоткрылся...

Стараясь хоть как-то отблагодарить его за проявленную ко мне доброту, я подробно поведал райтеру о том, что со мной проделывали в клинике доктора Бродского.

Он был настолько захвачен моим рассказом, что ни разу не перебил меня. Только кивал головой — понимающе, негодующе, осуждающе... Когда я кончил, он тяжело вздохнул и принялся собирать тарелки.

— Позвольте, я их сам вымою,— предложил я.

— Отдыхай, отдыхай, бедолага,— сказал он, открывая горячую воду.— Ты, несомненно, грешил и нарушал законы, но то, что они придумали тебе в качестве наказания, переходит всякие границы. Они превратили тебя в некое подобие машины, в полуавтомат, лишенный права свободного выбора. Тебя запрограммировали даже не на добро как таковое, а на совершение одобряемых обществом актов, угодных ему действий... Я ясно представляю твое поведение в пограничных ситуациях, при эмоциональных стрессах. Теперь все — музыка и физическая любовь, литература и искусство — превратилось для тебя из

источников наслаждения в источники боли и страдания. Бедный, бедный Алекс.

— Вы точно все определили, сэр,— согласился я, закуривая изящную длинную злопухоль с золотым мундштучком.

— Они всегда перегибают палку,— задумчиво произнес райтер, в третий раз перемывая одну и ту же тарелку.— Вот и в случае с тобой они явно переусердствовали. Человек, лишенный выбора, перестает быть человеком. Они перешли ту грань, за которой начинается преступление против человечества.

— Ваши рассуждения очень похожи на рассуждения нашего тюремного капеллана. Он тоже утверждал, что без морального выбора нет человека. Правда, при этом постоянно ссылался на Бога, который следит за правильностью такого выбора.

— Да? Он тоже так считает? — оживился райтер.— Впрочем, иначе и быть не могло. Это основа христианского учения. Ну, да ладно. Я вижу, что утомил тебя. Договорим завтра, когда у меня соберутся мои друзья. Я думаю, что ты нам будешь очень полезен. С твоей помощью мы сможем разоблачить наше подлое правительство, опять рвущееся к абсолютной власти. Мы покажем народу всю бесчеловечность их программы, направленной на превращение нашей молодежи в механических исполнителей их воли. И еще гордятся этим, преподнося антигуманную технику Лудовико как панацею от всех общественных бед.

Он продолжал вытирать одну и ту же тарелку.

— Сэр, вы пятый раз трете одну тарелку,— не удержался я.

— Да? — очнулся он и уставился на отполированную до блеска тарелку.— Я слишком рассеян для домашних дел. Обычно ими занималась моя жена, я же был полностью поглощен писательством.

— Ваша жена, сэр? — с деланным безразличием спросил я.— А что, она вас оставила?

— Да, оставила...— с неизбывной тоской и болью повторил он.— Она умерла. Видишь ли, ее зверски избили и изнасиловали четверо молодых подонков. Прямо в этом доме, у меня на глазах. И я не смог защитить ее...— Его голос дрогнул, а лицо исказилось гримасой горя и страдания.— Бедняжка не перенесла потрясения... А я, как видишь, живу.

Он быстро отвернулся, чтобы я не видел его слез. Но я увидел другое. Тихая зимняя ночь. Четверо здоровых лбов в масках обманом врываются в мирный уютный дом и учиняют зверскую расправу над ни в чем не повинными людьми. И я их предводитель...

Как и следовало ожидать, вставшая перед моими глазами картина вызвала острейший приступ болезни Лудовико. Лицо мое помертвело и покрылось испариной. Вкусная пища подкатила к горлу, готовая в любой момент вырваться наружу. Заметив это, райтер по-своему истолковал мое состояние:

— Вот видишь, до чего я тебя довел своими разговорами. Пойдем, я покажу тебе твою спальню. Это бывшая комната моей Элен. Бедный, бедный парень. До чего довели тебя эти изверги! Еще одна жертва современного мира, как и она, моя несчастная девочка...

5

Я уснул только после того, как он дал мне какой-то сильный седатив, которым часто пользовался сам. Я отключился мгновенно и продрых часов десять без сновидений. Когда я проснулся, было позднее морозное солнечное утро. За окном коттеджа звонко пели птицы. С некоторым усилием я вспомнил, где нахожусь. Впервые за последние дни меня окружали покой и относительная безопасность. Из кухни доходил аромат свежесваренного кофе. Я решил покайфовать, пока меня не позовут завтракать. Мысли мои текли ровно и безмятежно, и я был близок к тому, чтобы сказать: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» Вдруг мне захотелось узнать, как же зовут моего спасителя и благодетеля. Я вылез из-под блэнкита и прошлепал босыми фит к большому книжному шкафу во всю стену. Где-то здесь обязательно должен стоять «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН», и уж на нем-то будет указано имя автора — доброго хозяина «НАШЕГО ДОМА». Однако, к моему разочарованию, на полках стояла масса умных книг... и ни одного «АПЕЛЬСИНА». Я осторожно прокрался в соседнюю комнату-спальню райтера. Войдя в нее, я остановился как вкопанный, потому что со стены на меня укоризненно смотрела та самая герла. Подавив ассоциативную боль, я поспешно подошел к навесной полке с буками и отыскал тоненькую книжку, на хребте-переплете которой после знакомого названия золотом было выведено: «Ф. Александер». Боже правый! Его тоже звали Алекс! Я полистал книженцию, но так и не понял, о чем она. Меня поразило, что написана она в какой-то безумной манере, с многочисленными «ах» и «ох». Единственное, что я вынес из этого беглого просмотра, так это то, что в наше время всех людей — его, меня, моих предков с их правильным постояльцем, Кира, Билли, покойника Джоша и вас, да-да, вас, мои терпеливые слушатели,— пытаются превратить в механических роботов или их запчасти. В то время как каждый человек — неповторимая личность, уникальный плод материприроды. Мой Ф. Александер наивно полагал, что все эти плоды-человеки растут на одном всемирном древе во вселенском саду, посаженном Господом Богом. И все мы нужны этому садовнику для того, чтобы он изливал на нас свою благодать и, в свою очередь, радовался нашим благим деяниям... Дальше шла такая же идеалистическая чушь и ах-охо-вая трескотня. И я подумал: может быть, этот мой тезка действительно с ума съехал после смерти жены? Но тут снизу раздался его вполне здоровый войс, теплый и доброжелательный, и я поспешил завтракать.

— Ну что, выспался? — с улыбкой спросил он.— Уже десять. Я специально не стал тебя будить. Самто я уже успел поработать несколько часов.

— Очень мило с вашей стороны,— вежливо ответствовал я, намазывая тост баттером.— Пишете новую книгу?

— Нет, кой-какие статьи. Потом разговаривал с друзьями по телефону.

— А у вас разве есть телефон? — ляпнул я, забыв про осторожность.

— А почему ты решил, что у меня его нет? — ответил он вопросом на вопрос и пристально посмотрел на меня.

— Да так,— отвел я глаза в сторону, в душе проклиная свою неосмотрительность.— Просто вчера я его не заметил.

— Это и неудивительно. Ты был в таком состоянии,— смягчился он, а я подумал, что он, должно быть, помнит все мельчайшие детали той страшной ночи.

«Будь осторожен, парень, если не хочешь, чтобы тебя четвертовали... со всей вселенской любовью»,— сказал я себе.

Некоторое время мы жевали молча. Потом он сказал:

— Я все утро звонил людям, которые должны обязательно заинтересоваться твоим случаем. Ты и не подозреваешь, каким мощным оружием являешься в нашей борьбе за то, чтобы это антинародное правительство вновь не победило на предстоящих выборах. С твоей помощью мы выбьем у них из рук главный козырь — их хваленые достижения по борь-

бе с преступностью. Ведь ты поможешь нам разоблачить их фашистские методы модификации индивидуального сознания? Они могут начать с преступников, а закончить нами, демократами, всеми инакомыслящими. Ты представляешь, что тогда может произойти? Все эти опыты во благо народа могут обернуться полным тоталитаризмом!

— Откровенно говоря, я не совсем ясно представляю, чем я могу вам в этом помочь,— честно признался я.

В глазах райтера появился безумный блеск, и он заговорил как сумасшедший, все более распаляясь и проглатывая слова:

— Ты живой свидетель этих дьявольских планов. Народ, простые люди должны знать, должны видеть, что затевается за их спинами.

Он порывисто выскочил из-за стола и принялся расхаживать по кичену, как будто репетируя гневную обличительную речь:

— Неужели вы допустите, чтобы с вашими сыновьями сделали то же самое, что и с этой бедной жертвой произвола властей? Неужели вы хотите, чтобы отныне правительство само решало, кого объявить преступником, врагом нации, а кого нет?

Спохватившись, он снова сел за стол, но к яйцу так и не притронулся.

— Пока ты спал, я написал статью. Через день-два она появится в газетах вместе с твоей фотографией. Тебе только нужно подписать этот скорбный перечень преступлений и несправедливостей, которые творились над тобой с благословения нашего правительства.

— Ну, а вам-то какой от этого прок, сэр? — искренне полюбопытствовал я.— Я имею в виду, чего добьетесь вы лично, кроме приличного гонорара за свою статью? Почему вы так рьяно выступаете против нынешнего правительства? Разве другое будет намного лучше?

Райтер схватился за край стола, так что побелели костяшки пальцев, и с пафосом произнес, скрипя прокуренными зубами:

— Кто-то же должен бороться за идеалы добра и справедливости? По натуре я тихий, мирный человек. Но я не могу спокойно смотреть, как попирается то, что для меня свято. Честные люди должны бороться против любых проявлений насилия над личностью. Таковы традиции свободолюбия. Однако масса слишком инертна. Ей наплевать на все, кроме собственного благополучия и личного покоя. В сытой спячке народ может допустить даже приход фашизма. Вот поэтому его надо постоянно будоражить, будоражить, будоражить!

И тут он, други, выкинул финт, заставивший меня в страхе сжаться. С горящими глазами он схватил со стола вилку и в бешенстве воткнул ее несколько раз в стену. Искорежив таким образом прибор, он в сердцах бросил его на пол.

Потом как ни в чем не бывало повернулся к вашему бедному рассказчику и с ласковой улыбкой произнес:

— Ешь, парень, ешь. Бедная жертва современного мира. Можешь съесть и мое яйцо.

У него явно были не все дома.

— Это очень благородно, все, что вы говорите, сэр. Но что от этого получу я? Меня это излечит? Смогу ли я слушать «Хоральную симфонию» и при этом не чувствовать себя, как беременная сука? Смогу ли я вновь зажить нормальной жизнью? Что же в конце концов будет со мной?

Тут, братья, он взглянул на меня так, будто я вовсе ни при чем и моя судьба ничего не значила по сравнению со Свободой, Равенством, Братством, Демократией и всей этой абстрактной мурой. По его удивленному и слегка раздраженному фейсу я понял, что лично для меня в его грандиозных планах не было плейса. Он посмотрел на меня, как на безнадежного эгоиста, и неопределенно сказал:

— Ну, как я уже говорил, ты будешь живым свидетелем, пуэр бой, способствующим торжеству высоких идеалов... Давай доедай свой брэкфаст... Я покажу тебе мою статью, которая пойдет в «Уикли Трампит» под твоим именем, несчастная жертва.

То, что я потом прочитал в его кабинете, други мои, представляло собой пространную, туманную, сентиментальную дребедень, призванную вышибить слезу из нашего толстопузого обывателя. Читая ее, я сам чуть было не прослезился — так мне стало жалко бедного мальчика (то есть меня), рассказывающего о своих страданиях и о том, как аморальное правительство лишило его воли и способности сопротивляться насилию и несправедливости. Далее я здорово так (ни дать ни взять профессор!) расписывал о том, что то же самое ожидает всех людей, если они не положат конец антинародным актам нынешней администрации.

— Здорово! — похвалил я.— Берет за душу и переворачивает все твои гатс.

— Что-что? — подозрительно переспросил он и сузил глаза.

— А, это? Это означает, что доходит прямо до сердца. Надсадский язык. Так сейчас говорят все тинэйджеры, сэр.

Райтер отправился на кухню мыть посуду, напряженно думая о чем-то, как будто пытался вспомнить что-то очень важное... Я же не думал ни о чем, отдавшись на волю случая. Так было проще. Дуракам вообще легче живется. Их запросы минимальны, равно как и спрос с них. Сиди и сопи в две дырочки. Или как младенец: обложился и молчи, жди, пока тебе сменят...

Мои глубокие выводы прервало треньканье звонка входной двери. Из кичена выскочил райтер, вытирая мокрые хэндзы о фронтирник.

— А вот и мои друзья! — радостно сообщил он.

Из антишамбра донеслись обычные в таких случаях «привет-привет», «ха-ха-ха и хо-хо-хо», «прекрасная погодка» и «рад тебя видеть, старина!». Тут в гостиную завалили три чудика и пытливо уставились на меня, а один из них, похожий на дистрофика или туберкулезника, тепло улыбнулся и произнес низким, прокуренным басом:

— Так вот он какой, твой неотесанный тезка. Ничего, мы его мигом отешем.— И он добродушно рассмеялся.

Ф. Алекс представил своих друганов. Басовитого дистрофика, с ног до головы осыпанного пеплом громадной сигары, которую он не вынимал из волосатого рта, звали З. Долин. Потом был еще какой-то Рубинштейн — маленький, толстенький мэн в круглых металлических очках, с академической бородкой и в шапочке. Третьего звали Д. Б. ДаСилва. Этот вообще был не мэн, а сперматозоид, такой же быстрый, энергичный, напористый. От него сильно воняло дорогими духами. Все трое долго жали мне хэнд, восторженно хлопали по шоулдеру и заглядывали в айзы, демонстрируя самые добрые намерения. Наконец, З. Долин пробасил:

— Великолепный экземпляр. Как раз то, что нам нужно. Для фотографий его можно даже подгримировать, чтобы он выглядел еще более болезненным и забитым... Мы сделаем из него настоящего зомби.

Я был категорически против того, чтобы меня «забивали» и делали из меня притрухнутого. Поэтому я горячо возразил:

— Это еще зачем? О чем толкует ваш друг, мистер Александер?

Вместо ответа райтер озадаченно произнес:

— Странно, но меня не оставляет ощущение, что где-то я уже с ним встречался. Такая специфическая манера разговора...

Он нахмурился, что-то напряженно вспоминая, а у меня все похолодело внутри. Но тут вмешался ДаСилва:

— Главное — организовать публичные выступления. Продемонстрируем его общественности... живьем. Ну и, конечно же, широкое паблисити. Основной лейтмотив: загубленная молодая жизнь. Разворошим муравейник! Воспламеним сердца людей!

Его темное лицо озарилось тридцатидвухзубым смайлом. Он явно принадлежал к породе иммигрантов.

— Но какую пользу для себя извлеку из всего этого я? — не утерпел «живой свидетель», о котором, казалось, все забыли.— Меня мучили в тюрьме, истязали в клинике, выгнали из дома собственные родители и их праведник-квартирант, поколотили полоумные старики и чуть было не отправили на тот свет новоявленные друзья-копполы. Что же будет со мной?

Рубинштейн успокоительным жестом положил мне руку на плечо:

— Вот увидишь, парень, партия не обойдет тебя своей благодарностью. В конце этой кампании тебя ожидает очень приятный и очень весомый сюрприз. Так что не волнуйся. Мы не бросим тебя на произвол судьбы, которая и так была к тебе очень несправедлива. Торжество справедливости и всеобщее благоденствие — вот наши конечные цели!

— К черту сюрпризы! — взъярился я.— Проклятая жизнь и без того накидала мне их по самую завязку! Единственно, чего я хочу, так это стать нормальным и здоровым, как прежде. Чтобы я *сам* мог решать, что мне делать, *сам* мог выбирать себе друзей, а не быть послушной марионеткой в руках попутчиков на тот свет. Способен ли кто-нибудь в вашей стинкинг партии вернуть меня к нормальной жизни?!

«Кашль-кашль-кашль»,— многозначительно прокашлял З. Долин.

— Тебе уготована участь мученика за правое дело,— с пафосом проговорил он.— Но все равно мы тебя не оставим, Александр!

Такая перспектива была мне как-то не в жилу, и я заорал благим матом:

— Я вам не презерватив — использовал и выбросил. И не такой идиот, каким вы меня собираетесь выставить, вы, грязные интриганы! Я вам не какой-нибудь дебила...

— Дебила, дебила...— раздумчиво повторил Ф. Александер.— Похоже на кличку. Где-то я ее уже слышал... Странно... очень странно...

— Чего тут странного? Гоголь-моголь, Ванька-встанька, Кирилла-Дебила. О Боже!

Я в страхе посмотрел на райтера. От выражения на его лице у меня мороз пошел по скину. «Кажется, проболтался!» Не спуская с райтера настороженных глаз, я бочком пошел к двери, намереваясь прошмыгнуть в мою комнату наверху, где была моя одежда. Надо было рвать когти, пока он меня не вычислил.

— Черт! До чего же все-таки похоже,— ощерился Ф. Александер.— Но этого не может быть! Боже, если бы это вдруг оказался он, я бы разорвал его на месте. Но это невозможно...

— Ну, ну, успокойся, старик,— погладил его по плечу ДаСилва.— Все в прошлом. То были другие негодяи. Мы обязаны помочь этому бедному парню, который очень полезен *нашему делу*.

— Пойду переоденусь... Там май дресс, то есть я хотел сказать, одежда,— скороговоркой проговорил я уже с лестницы.— Пожалуй, нам лучше расстаться. Я, конечно, благодарен вам за все, джентльмены, но я должен жить своею жизнью...

Тут все всполошились, а З. Долин твердо произнес:

— Ну уж нет, парень. Ты в наших руках, и мы не собираемся тебя отпускать, ты пойдешь с нами. Не волнуйся, все будет о'кей.

Тут он быстро подскочил ко мне и крепко схватил за хэнд. У меня мелькнула шальная мысль вырваться и ран, ран, ран от этих «доброжелателей», чем ранее, тем лучше. Но при одной мысли о сопротивлении и неизбежном файтинге у меня забурлило в стамэке и заломило в хэде. Я решил: будь что будет, и покорно произнес, избегая глядеть на сумасшедшего Ф. Александера:

— Хорошо! Говорите, что я должен сделать, и покончим с этим, браверз.

— Вот и умница,— похвалил меня Рубинштейн.— Одевайся, и приступим.

— Дебила, дебила, дебила,— в ступоре повторял Александер.— Ну где я слышал эту кличку? Кто он?

Я быстро взбежал по лестнице, переоделся за какие-то капл секондз и направился к кару с тремя своими новыми фрэндами, не осмелившись попрощаться с гостеприимным хозяином «НАШЕГО ДОМА».

Д. Б. ДаСилва сел за водилу, а я устроился на заднем сиденье с Рубинштейном и З. Долиным по бокам.

Спустя некоторое время кар въехал в таун, а еще через пять минут остановился в том же самом районе, где располагался мой родной блок 18А.

— Вылезай, Алекс-бой,— сказал З. Долин, не выпуская изо рта неразлучную злопухолищу.— Пока ты остановишься здесь.

Мы вошли в стандартный подъезд стандартной многоэтажки со стандартизированной оптимистической живописью на стенах. Поднялись на не знаю какой этаж, прошли в стандартную флэт, и Д. Б. ДаСилва сказал:

— Вот тут ты будешь жить. Располагайся, парень. Еда в холодильнике, пижама в шкафу.

— Я бы хотел уточнить одну маленькую деталь, Алекс-бой,— прокашлял З. Долин.— У нашего друга Ф. Александера в связи с тобой возникли какие-то странные ассоциации. Ты случаем?.. Короче, это не ты с дружками... тогда у него в доме?.. В общем, ты понимаешь, о чем я хочу тебя спросить?

— Я за все заплатил сполна,— не стал лгать я.— Бог тому свидетель. Теперь мы с ним коллеги. Ведь я — ваш *живой* свидетель, ведь так? — подколол я их.— Так вот, я заплатил не только за себя, но и за тех предателей, которые называли себя моими фрэндами.— От неприятных воспоминаний у меня опять начались колики.— Я, пожалуй, прилягу. Что-то мне нехорошо.

— Приляг, приляг,— одобрил меня Д. Б. ДаСилва.— Эта квартира в твоем полном распоряжении.

Они повернулись и ушли по своим делам, закрыв меня на ключ, чтобы я, не дай Бог, не смылся и не спутал их политические планы. Я же завалился на бэд прямо в бутсах, заложил хэндзы за хэд и уставился в низкий, загаженный мухами, закопченный потолок. Как жить дальше? Куда бы скрыться от всех этих доброхотов? Под закрытыми веками вереницей проходили картинки из моей безрадостной жизни, лица сотен людей, которых я встречал на своем пути и среди которых не нашел ни одного, кому можно было бы доверять. Незаметно для себя я задремал.

Разбудила меня громкая музыка, доносившаяся из-за стены.

Это была знакомая мне Симфония № 3 датского композитора Отто Скаделига — неистовое, насыщенное септаккордами произведение, особенно в первой

части. Как раз ее сейчас исполняли. Несколько секунд я с наслаждением вслушивался в будоражащие душу звуки, но, к сожалению, наслаждение быстро сменилось нахлынувшим цунами невыносимой боли. Кто-то странный, невидимый завязывал узлом мои кишки. Я сполз с кровати и начал кататься по полу, вопя, как смертельно раненный зверь. Подкатившись к музыкоточащей стене, я принялся скрести ее ногтями и грызть зубами, истошно крича:

— Прекратите! Остановите музыку ради всего святого!

Но она не прекратилась и, казалось, зазвучала еще громче. Я барабанил в стену кулаками, ногами, головой, но все напрасно. Стараясь убежать, скрыться от этой пытки музыкой, я выскочил в маленькую прихожую и рванул дверь, забыв, что она заперта снаружи. Я сел посреди комнаты и засунул пальцы глубоко в уши, не замечая, что раню барабанные перепонки. Никуда не спрятаться, не скрыться от этой проклятой музыки. Или проклятым был я сам?

— Боже, помоги мне, если ты есть! Спаси меня, Господи!

Но старый фраер оставил свое заблудшее дитя.

И тут я вспомнил о подсказанном Им единственном выходе. Он лишь на время отсрочил неминуемую развязку, ниспослав мне, нет, не благодать и не забвение, которых я, видимо, не заслуживал, а свору безумных стариков, шизанутых коппол и чокнутых интеллигентов.

Уйти, исчезнуть из этого жестокого мира!

Схватившись за край стола, поэтапно, я поднялся на ноги, и тут мое внимание привлекло крупно выведенное на какой-то брошюре слово «СМЕРТЬ». И хотя я прочитал всего лишь: «СМЕРТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВУ», я понял, что это знак свыше. Сцепив зубы, я взял со стола другую книжонку, на обложке которой было нарисовано распахнутое окно. Раскрыв ее, я прочитал: «Распахните, как окна, ваши души навстречу свежему воздуху свободы, новым идеям и образу жизни!»

В мгновение ока я вскочил на подоконник и рывком открыл окно. И крикнул в мир: «Прощайте и простите! И да накажет вас Господь за загубленную жизнь!»

Под бравурные звуки музыки я нырнул вниз в спасительную пустоту...

Итак, я прыгнул, братья мои и други, решив разом покончить со всеми моими мучениями. Но это был не конец, хотя я сильно расшибся о газон. Счастье еще, что не о тротуар. Да и высота оказалась недостаточной, чтобы разбиться насмерть. К тому же во мне сработал кошачий инстинкт, и я приземлился на четыре кости, а уж потом шмякнулся мордой о подернутую морозной коркой землю. Как бы то ни было, я повыворачивал себе суставы, сильно повредил позвоночник, как наждаком, содрал свой фейс, так что одно ухо у меня переместилось на затылок, а через другое вылез ноуз (по крайней мере, так мне тогда показалось), прежде чем я вырубился под удивленно-испуганными взглядами прохожих.

Но тогда мне было вовсе не до смеха. Придя в себя после миллиона лет беспамятства, я попытался осмыслить, что же со мной произошло, и угадать, на каком я свете — на том или все-таки на этом. Если на том, то почему в таком случае так воняет лекарствами, спиртом и антисептиками? Если на этом, то откуда райский запах живых цветов? И почему я совсем не чувствую своего тела? Я разлепил один глаз (другой был забинтован наглухо) и осмотрелся. Весь я был спеленут, как бэби. Рука и нога висят на растяжках, будто кто-то вознамерился взвесить меня по частям и начал с конечностей. Справа на кронштейне висит боттл с кровью, и она стекает по прозрачной трубке прямо к игле, воткнутой в другую мою руку. Но почему же я совершенно не чувствую боли? Мысль заработала четче, и вспомнились события, предшествовавшие моему свободному падению. В душу закралось страшное подозрение о том, что сдернувшая меня с катушек музыка — это дьявольская выдумка моих новых друзей-интеллектуалов. Они решили до предела драматизировать ситуацию в своих далеко идущих политических целях. Неужели все люди — изверги и садисты? В таком случае я — теленок по сравнению с ними...

Рядом с моей койкой сидела молодая грымза в очках и в белом халате. Она с упоением читала какой-то роман, и по ее прерывистому дыханию и по тому, как она жадно облизывала пухлые губы ярко-красным кончиком языка, я понял, что она дошла ло сцены про э т о. Вообще-то она была очень даже недурна, и из-под халата у нее выпирали очень даже соблазнительные груди. И я сказал, наконец-то поверив, что еще жив:

— Ныряй сюда, детка. Мы с тобой сможем не хуже, чем они, девочка.

Однако у меня почему-то получилось: «не фуже фем они, фефочка», поскольку рот был какой-то ватный, язык деревянный, а в распухших деснах недоставало еще нескольких зубов. Герла подскочила от неожиданности, уронив книжку на пол, и сказала не то с радостью, не то с огорчением:

— О, наконец-то ты пришел в себя.

Она поспешно вышла, видимо, для того, чтобы сообщить врачу. По абсолютной тишине я понял, что лежу в отдельной, уютной комнате с цветами на тумбочке, а не в отвратной общей палате, как это случилось со мной в детстве, когда я заболел дифтерией. Тогда меня окружали с десяток старых кашляющих, смердящих мэнов, от одного вида которых хотелось или умереть сразу, или поскорее выписаться, только бы не видеть их гнусных рож... С этими невеселыми мыслями я опять впал в сон, похожий на смерть. Но тут снова появилась сексуально озабоченная медсестра, а с нею еще несколько мэнов в белых халатах. Самый старый из них наклонился ко мне, задрал веко единственного свободного глаза, пощупал пульс на незабинтованной руке и похмыкал, хмуро и озабоченно: «Гм-гм-гм, могло быть и хуже... Он еще легко отделался». Приоткрыв один глаз, я заметил среди белых халатов сострадательное лицо капеллана из старой Стаи, который с чувством произнес:

— О, сын мой, до чего они тебя довели... — Он выдохнул концентрированное облако спиртных паров и сокрушенно добавил:— Но я в этом больше не участвую. Баста! Я не подпишусь под тем, что они собираются делать с вашими заблудшими преступными душами. Отныне я буду только молиться за то, чтобы Господь наставил вас на путь истинный.

Я еще долго балансировал на грани бытия и сознания и, очнувшись в очередной раз, увидел около постели тех, из чьей квартиры выпрыгнул в надежде свести счеты с жизнью. Над моей кроватью склонились озабоченный фейс Д. Б. ДаСилвы, борода Рубинштейна и аскетично-чахоточное лицо З. Долина, который, казалось, вот-вот выжжет мне единственный глаз своей неизменной сигарой.

— Наш молодой друг! — говорил кто-то из них.— Сердца людей возгорелись благородным гневом, когда они узнали твою правдивую историю, и правительство потеряло последний шанс на переизбрание. Оно рухнуло и никогда больше не поднимется. Ты сослужил добрую службу святому делу освобождения человечества.

Меня передернуло от такого напыщенного спича, и я с горечью сказал:

— Я бы сослужил вам еще большую службу, если

бы вовсе отбросил копыта, лживые грязные политиканы.

Я намеревался гневно бросить им в лицо эти разоблачения. На самом же деле только издал какие-то хрипы, бульканье и нечленораздельное мычание. Они восприняли мою «пламенную» речь как одобрение своих ловких действий и восторженно протянули мне кипу вырезок из разных газет. На одной из них я увидел себя, окровавленного и в беспамятстве, на носилках, окруженных санитарами, полицией и какими-то людьми с раскрытыми в ужасе глазами. Я пробежал глазом заголовки, которые взахлеб извещали:

«ЮНАЯ ЖЕРТВА ПРЕСТУПНОГО РЕФОРМИСТСКОГО ЗАГОВОРА», «ПРАВИТЕЛЬСТВО — УБИЙЦА» и «ПРЕСТУПНИКИ У ВЛАСТИ».

На одной из фотографий я узнал Министра с довольно растерянным лицом. Под ней была подпись: «ДОЛОЙ ДЬЯВОЛА В МИНИСТЕРСКОМ ОБЛИЧЬЕ! ВОН! ВОН! ВОН!»

Я неловко пошевелился, и сестра милосердия строго предупредила:

— Пострадавшего нельзя волновать. Смотрите, как он расстроился. Посещение окончено. Пожалуйста, выходите.

То ли я действительно был еще очень слаб, то ли просто эти клоуны меня утомили, но я опять погрузился в темноту, озаряемую ярчайшими вспышками отрывочных сновидений. Например, мне чудилось, что меня вывернули наизнанку, выпотрошили, тщательно промыли и опять заполнили какой-то чистой, совершенно новой субстанцией. Потом мне приснилось, что я рассекаю улицу в мощном спортивном каре, но не по хайвэю, а прямо по улицам и тротуарам тауна и с наслаждением давлю испуганных пешеходов, не испытывая при этом ни боли, ни страха... В другом сне я разложил приветливую медсестру посреди палаты и делаю ей внутриутробное вливание. Она с удовольствием принимает меня, а собравшиеся вокруг полицейские, бродские, министры, капелланы, политиканы и прочие «апельсины» восторженно нам аплодируют...

Когда я проснулся, то увидел хмурого фазера и безутешно рыдающую мом. Во мне не дрогнула ни одна струна, и я безучастно спросил:

— Ну, как поживает ваш новый сынишка Джо? Надеюсь, радует своих папу с мамой?

— О, Алекс, сынок,— запричитала мом, а отец сказал укоризненно:

— Ну, зачем ты так... Да, у него вышли какие-то неприятности с полицией, сын.

— Да что ты говоришь? Какая жалость! Передайте ему мои искренние соболезнования.

— Вообще-то он не виноват. Он никогда ни во что не вмешивался. Просто стоял на углу и ждал свою подругу. К нему подошли полицейские и приказали двигать отсюда. Он сказал, что он свободный гражданин и вправе стоять, где хочет. Тут они набросились на него и здорово поколотили. Потом засунули в машину и увезли куда-то за город... Когда он добрался до дома, мы его узнали с трудом. Он подался в свои родные места. Так что твоя комната свободна...

— ... и вы хотите, чтобы я вернулся и все у нас было по-прежнему?

— Да, санни. Точно так. Ты уж, пожалуйста, не отказывайся. Ладно?

— Хорошо. Я, пожалуй, подумаю над вашим предложением.

— У-у-у..! — опять завыла мом, и я взорвался:

— Заткнись! Очень тебя прошу, а не то я тебе помогу...

И, о чудо! От этой непреднамеренной грубости, братья, мне стало как-то легче. Может быть, пока я спал, мне действительно заменили испорченную кровь? Получалось так: чем я хуже, тем мне лучше. Интересна-а! О чем-то подобном мне толковали мои друзья-интеллектуалы. А может быть, я уже революционер?

— Ты не должен так разговаривать с матерью,— осуждающе проговорил отец.— В конце концов она принесла тебя в этот мир.

— Добавь: в грязный, стинкинг, безжалостный мир, в котором человек человеку — волк. Впрочем, я не просил ее об этой услуге.— Я устало закрыл айзы и примирительно добавил: — Ладно, идите. Я подумаю о том, чтобы вернуться. Только теперь все будет по-другому.

— Да, сын. Будет так, как ты скажешь,— поспешно согласился дад.— Только поскорее поправляйся.

Мать подошла ближе и поцеловала меня в лоб, обдав жаркими слезами.

Когда они, наконец, ушли, я полежал, пытаясь собрать воедино мои растрепанные мысли и ощущения. Определенно со мной происходила какая-то метаморфоза. В палату вошла медсестра, которую я с таким успехом поимел во сне. Она оправила мою постель, и я спросил:

— Сколько я здесь валяюсь, детка?

— Уже почти неделю, малыш,— ответила она, кокетливо стрельнув айзами.

— И что вы тут со мной проделывали?

— Собирали тебя по частям. У тебя множественные переломы, и ты потерял много крови. К тому же сильная контузия. Пришлось делать прямое переливание от нескольких доноров.

— А мозги мне не перелопачивали? У меня какие-то странные ощущения и ассоциации.

— Все, что с тобой делали, делалось исключительно для твоей пользы.

— Недостающих частей не оказалось? — улыбнулся я.

— Нет, у тебя все на месте,— игриво улыбнулась она в ответ.

— Немного оклемаюсь, и мы с тобой это проверим,— пообещал я.

Через пару дней ко мне в палату зашли двое молодых врачей со сладкими приклеенными смайлами. Один из них раскрыл передо мной какую-то детскую бук с картинками и бодро сказал:

— Вот взгляни и скажи нам, что здесь изображено. О'кей?

— Что это? Тест на кретинизм, други?

Они смешались, потом натянуто рассмеялись.

— Нет, хотим послать тебя в космос.

— Я там уже был,— хмуро буркнул я.

— Вот взгляни. Что это?

Один из них указал пальцем на фотографию птичьего гнезда с яйцами.

— То, что висит у вас между ногами.

— Ну, а если серьезно?

— Гнездо, а в нем яйца, если вы уж так хотите.

— И что бы тебе хотелось с ними сделать?

— Расколотить их вдрызг о вашу башку. Вот была бы потеха!

— Прекрасно,— оживились они и показали мне следующую картинку.

— А это что за гусь?

— Не гусь, а павлин,— поправил я его.— Этому я бы точно повыдергивал все перья, чтобы не задавался.

— Так, хорошо. Так, так,— удовлетворенно квакали они, продолжая показывать разные картинки и проверяя мою реакцию.

От птиц и зверей перешли к людям. Показали несколько свэлловых герл, и я откровенно признался, что хотел бы трахнуть их, не отходя от кассы. Потом сцены избиения хорошо одетых мэнов,

и я сказал, что с удовольствием помог бы этим парням пускать кровь этим зажравшимся буржуям. Под конец мне продемонстрировали голого бородатого мужика (кажется, такого же я видел в Библии в конторе тюремного капеллана), который пер здоровый крест на вершину холма.

На вопрос, что бы я сделал, я с раздражением ответил:

— Попросил бы молоток и гвозди.

Эти клистирные трубки мне порядком надоели со своим тактаканием, и я спросил в упор:

— Ну, как? Удовлетворены? Все же, что со мной?

— Глубокая гипнопедия,— ругнулся один из них, а второй добавил:— Радуйся, парень, ты абсолютно здоров!

— Здоров?! — взвился я.— И это вы называете здоров, когда на мне живого места нет?

— Э, это мелочи,— успокоили они меня.— Немного отлежишься и встанешь.

И действительно! Мое самочувствие улучшалось не по дням, а по часам. Кормили меня отменно, и через несколько дней я впервые попытался завалить на свою кровать медсестру, но та со смехом отбилась. А еще через несколько дней она сообщила, что сегодня у меня будет очень большая шишка.

— Она у меня и так уже есть,— улыбнулся я, кладя ее руку на одеяло.

— У тебя одно на уме, глупый. Я серьезно. У нас сегодня очень важный посетитель. С утра все стоят на ушах.

— Кого это еще черт принесет? — удивился я.

— Скоро сам увидишь,— уклончиво ответила она, причесывая мой отросший ежик.

И я увидел, други мои и братья!

В два тридцать дня ко мне в палату ввалилась дерганая кодла газетчиков и камерамэнов и прочей пищущей и снимающей братии. И тут в окружении врачей ко мне под фанфары вошел вальяжный и представительный... Министр!

С ослепительным смайлом шесть-на-девять он протянул вашему бедному рассказчику холеную хэнд с наманикюренными нэйлзами и бодро произнес, глядя в теле- и фотокамеры:

— Хэллоу, бой! Как твое самочувствие?

— А твое, сучий потрох? Давненько не виделись, гной ты вонючий!

Никто из окружающих не расслышал, а если и расслышал, то не понял теплого приветствия «парня из народа своего лидера». А лучезарный «лидер» отвалил от изумления челюсть, но тут же захлопнул ее, чтобы его секундное замешательство, не дай Бог, не попало в газеты. Тут кто-то дружески зашептал мне на ухо:

— Не забывай, с кем разговариваешь, ублюдок.

— Пошел ты...— оскалился я.— В гробу я тебя видел вместе с твоим стинкинг министром.

— Не приставайте к бедному парню,— быстро проговорил Министр.— Он говорит со мной, как с другом. Мы же с тобой друзья, Алекс-бой?

— Угу! Я друг всем, кроме моих врагов.

— А кто твои враги, сынок? — спросил Министр, в то время как репортеры живо застрочили перьями и сунули мне в ноуз диктофоны.

— Все, кто причинял мне боль и страдания.

— Ну, в этом мы сейчас разберемся,— сказал Министр, присаживаясь на край моей кровати.— Мне и моему правительству, членом которого я являюсь, хотелось бы, чтобы ты считал нас своими друзьями. Да, мы — твои друзья, парень. Разве мы не проявляем постоянную заботу о тебе и таких, как ты?

— Ничего себе, заботу! Чтобы черти о тебе так заботились на том свете!

— Разве тебя плохо лечат после того несчастного случая? Ведь это же был несчастный случай? — упрямо наседал он, гипнотизируя меня волчьими глазами.

— Да уж какое тут счастье,— менее уверенно проговорил я.

— Вот видишь,— подхватил он.— Мы никогда не желали тебе вреда, в отличие от некоторых. Ты, наверное, догадываешься, о ком я говорю. Да, точно. Они хотели использовать твою неопытность и неискушенность для своих политических целей. Эти бессовестные негодяи были бы только рады твоей смерти, поскольку всю вину можно было бы свалить на правительство, отдающее последнюю рубашку на благородное дело воспитания подрастающего поколения.

Я с недоверием покосился на его тысячедолларовый сьют.

— Тебе наверняка знакомо имя Ф. Александера,— продолжал пудрить мне мозги Министр.— Этот гнусный пачкун, беспринципный пасквилянт жаждал твоей крови. Он одержим безумной идеей изрубить тебя на куски, поджарить на медленном огне и Бог знает что еще. Но теперь ты спасен. Мы поместили его в соответствующее заведение.

— Но он относился ко мне по-дружески, ухаживал, как мать за больным ребенком...— уныло проговорил я, чувствуя, что вот тут-то он меня достал.

— Ему стало известно, что в прошлом ты совершил что-то ужасное по отношению к его семье. Вернее, так ему это представили,— быстро поправился Министр, заметив, как я неожиданно побледнел.— Во всяком случае, он вбил себе в голову, что ты ответствен за смерть одного из очень близких ему людей.

— Так ему сказали,— неопределенно проговорил я.

— Так вот, месть переросла у него в манию, в единственную цель в жизни. Пришлось его изолировать для его собственной безопасности... и твоей тоже.

— Очень предусмотрительно с вашей стороны. Он действительно был опасен.

— Когда ты выйдешь отсюда,— с энтузиазмом продолжал Министр,— тебе не о чем будет беспокоиться. Я лично прослежу за тем, чтобы ты получил хорошую работу с приличным жалованьем. Ты нам здорово помог, парень.

— Я — вам? — изумился я.

— Мы всегда помогаем нашим друзьям и сторонникам!

Тут кто-то крикнул: «Улыбка!», и я машинально осклабился. Затрещали камеры, засверкали фотовспышки, запечатлевая этот знаменательный момент.

— Ты отличный парень, Алекс,— одобрительно похлопал меня по плечу этот великий мэн.— А сейчас небольшой гифт от правительства.

Два мордоворота, с которыми я бы предпочел не встречаться без адвоката или на худой конец без моего каттера в кармане, внесли большой блестящий ящик. Это была великолепная стереосистема. Ее поставили возле кровати, распаковали и подключили к сети.

— Ну, что тебе поставить? — спросил незнакомый мэн в очках. В руках у него была целая кипа новеньких блестящих дисков.— Моцарта? Бетховена? Шёнберга? Карла Орфа?

— Девятую, хоральную,— завороженно прошептал я.

Зазвучали божественные аккорды. Публика начала потихоньку рассасываться. Я откинулся на подушки и блаженно закрыл айзы. «Умный, сообразительный парень»,— сказал Министр на прощанье и вышел. В палате оставались только двое: мэн в очках и медсестренка. Мэн несмело тронул меня за рукав:

— Распишитесь, пожалуйста, здесь.

Я открыл айзы и послушно подписал, даже не взглянув, что это. Да мне это было как-то все равно.

Медсестра одарила меня многообещающей улыбкой и вышла вслед за очкариком. Мы с Людвигом Иваном остались одни.

Его скорбно-торжественная музыка подхватила меня и понесла, как в добрые старые времена. Когда зазвучало скерцо, я увидел себя, бегущего по огромному безбрежному морю, кромсающего своим каттером искаженное гримасой боли лицо мира.

Наконец-то я снова был здоров.

Перевод с английского
Евгения СИНЕЛЬЩИКОВА

Словник к повести Э. Берджеса «Заводной апельсин»

айзы — глаза
антишамбр — прихожая
баттер — масло
блэнкит — одеяло
брейнз — мозги
брейнуошинг — промывание мозгов
бузом — грудь
бэд — кровать
гатс — кишки
гифт — подарок
гоу хоум — идти домой
дор — дверь
драйвер — водитель
дробэкс — недостатки
дроп — капля
иэрфоунс — наушники
кантри — провинция
капл секондз — пара секунд
кок — половой член
криче — создание
лаудспикер — громкоговоритель
литл бэби — маленький ребенок
мемори — память
нэйлзы — ногти
пуэр бой — бедный парень
референская литерача — справочная литература
ридальня, ридинг холл — читальный зал
свэлловая — аппетитная
сингинг — произв. от «петь»
скин — кожа
скрин — экран
смолл син — маленькая слабость
сонг — песня
сосиджис — сосиски
стартид — начал
стафф — препарат
стомак — желудок
сьют — костюм
тамблер — стакан
торчеры — мучители
фит — ноги
флэт — квартира
фортнайт — две недели
фронтирник — передник
фуд — еда
хауз — дом
хэм — ветчина
шелф — полка
шоппинг — ходить по магазинам
шугер — сахар